

РАССКАЗЫ
И ПЬЕСЫ

ЕМЕЛЬЯН
ИУДАЧЕВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Annotation

Жизнь, полную побед и поражений, хмельной вольной любви и отчаянной удали прожил Емельян Пугачев, прежде чем топор палача взлетел над его головой. Россия XVIII века... Необузданные нравы, дикие страсти, казачья и мужичья вольница, рвущаяся из степей, охваченных мятежом, к Москве и Питеру. Заговоры, хитросплетения интриг при дворе «матушки-государыни» Екатерины II, столь же сластолюбивой, сколь и жестокой. А рядом с ней прославленные государственные мужи... Все это воскрешает знаменитая эпопея Вячеслава Шишкова – мощное, многокрасочное повествование об одной из самых драматических эпох русской истории.

Вячеслав Шишков Емельян Пугачев, т.1

Книга первая

Часть первая

Глава I

Казак Пугачев. Сражение при Гросс-Эггерсдорфе

1

Казак Емельян Пугачев родился в Зимовейской станице Войска Донского. Родители его жили в бедности, занимались хлебопашеством.

Емельян – парнишка озорной, любил драки, преотлично воровал на бахчах арбузы, лихо ездил без седла, умел попеть и поплясать. Отец его, Иван Пугач, да и старики-станичники говорили ему:

– Ну, Омелька, казак из тебя добрый будет... Раста, брат! Турку бить пойдешь...

– Я в Запорожье утеку, в Сечу, – отвечал парнишка, поблескивая темными, большими, чуть раскосыми глазами.

До их станицы иным часом долетали кой-какие вести об удивительных воинственных людях, живущих по Днепру, – на островах Хортице и Тамаковском да по речке Подпильной.

Как-то в летнюю пору Емельян со сверстниками забрался на островок, что против их родной станицы.

– Запорожцы! – кричал он детворе. – Тут Запорожская Сеча будет у нас. Вали все добро в кучу. Оно общее. А я кошевой атаман – Омелька Грозный... Ежели кто украдет – того на раду, на суд, камень к ногам да в воду... Во как у нас!

Ребята складывали в кучу сухари, лепешки, яйца. Васька-сосед баклагу пива притащил, Ерошка – одноглазого живого петуха (привязали за ногу к тачке). У всех луки, стрелы, копья, деревянные сабли.

Гостила о ту пору в Зимовейской, у своей тетки, ледащенькая девчонка из соседней станицы Есауловской. Мальчишки и ее уманили с собой, хотя Омелька знал, что в настоящую Сечу бабам впуску нет.

Соньке он сделал снисхождение.

По приказу атамана она остригла ему овечьими ножницами голову, оставив только на темени клочок волос – чуприну.

– Оселедец зовется, – пояснил Омелька Грозный. Он наклеил себе из конского хвоста запорожские усищи, взял в руку палку с воткнутым на конце зеленым яблоком. – Это по-казацки буздыхан зовется, булава. Кто меня не станет слушать, чалпан долой с плеч.

Одноглазый петух то и дело распевал ку-ка-ре-ку, а к вечеру, когда запорожцы проголодались, певуну оттяпали голову, ощипали его. Костер горел ярко, от котла с петухом вкусный пар валил. Запорожцы

наелись, стали пить пиво. Хотя пива было маловато, но все по казацким обычаям притворились пьяными, ходили по острову в обнимку, пели песни. Васька дернул Соньку за косичку. Сонька закричала, смазала Ваську ложкой по щеке, тот заплакал и дважды ударил девчонку кулаком в нос. Девчонка замотала головой и тоже заплакала.

Из кустов выскочил атаман Грозный.

– Эге-ге... Соньку забижать? Ладно... – Он созвал всех на раду, в круг, взял булаву с объединенным кем-то яблоком.

Васька присужден был к розгам. Спустили с него штаны и дали дерку.

– Плакать не моги, а то камень к ногам да в воду...

Сонька торжествовала. С умилением она посматривала на длинноусого запорожца, защитника своего, атамана Грозного.

– Сеча, спать! – приказал Емельян. – А чуть тревога, все вскакивать. Сей ночи будем брать в полон Царьград с турецким султаном. А встретятся молоденькие туркини – тоже хватай в нашу Сечу. На хорошеньких поженимся...

Сонька сразу сникла и надулась. Исподлобья посматривая на Емельку, она сказала:

– Дурак стриженный. Баран! Вот уж-ужо матке скажу, она те вздует... И про петуха скажу.

– Геть, замолчь! – прикрикнул атаман, закурил батькину с тютюном люльку, заплевался, закашлялся. – Ну, старики-станишники, – обратился он к детворе, – теперь по своим куреням и спать.

Ночью раздалась тревога. Сонька со всех сил колотила палкой в котел. Емельян свистал и гикал:

– Гей, Сеча!.. Все на конь... В поход, куренные атаманы – молодцы! Постоим за веру православную! Айда Царьград воевать.

Через час они уже были на бахче. Им удалось связать пасечника, древнего дедку Наума. Он был сильно пьян, таращил глаза на свору ребятишек, мычал, плевался. Омелька Грозный командовал:

– Хорошень вяжи султана!.. Стой за правую веру! Срезай кавуны, которые поядреней.

А утром всю «запорожскую сечу» больно пересекли вицами родители. Омельке Грозному досталась особо жаркая пареха: и за несусветное озорство, и за стриженую, как у худой овцы, башку. Попало и Соньке от тетки ее.

Через десять лет девчонка выросла. Возмужал и Емельян. Их поженили. С той поры Сонька стала Софьей Дмитриевной Пугачевой.

Но прошла веселая неделя, и сердце Софьи из жарких ночей упало прямо в ледяную стужу: Емельяна угнали в Пруссию, отдав под начало полковника Ильи Денисова, походного атамана донских полков.

2

Русское воинство под водительством главнокомандующего, старого графа Апраксина, покинув Польшу, с весны 1757 года, отряд за отрядом, стало вступать в пределы Пруссии. Телеги, арбы, таратайки растянулись на многие версты (во всей армии было до тридцати тысяч подвод).

Проехав Польшу с грязнейшими дорогами и бедным населением, Емельян Пугачев заметил, что пошли места, совсем отменные от польских. Теперь попадались чистые, хорошо построенные селения, мощенные камнем, обсаженные деревьями хорошие дороги, прочные мосты. Всюду исправный порядок, довольство. Жители не бежали от русских, а сидели в своих домах; женщины выносили солдатам свежую воду, квас, а иногда и хлеб да парочку яичек. Словом, русское войско двигалось как будто по дружеской стране. Пугачева это удивляло.

Он не понимал, как не понимало и большинство солдат, из-за чего идет война. Правда, в праздничные дни, когда служили в походных церквах обедни, полковые священники в проповедях призывали проливать кровь свою и вражью во имя Божие, обещая царство небесное за доблестную смерть на поле брани. А за что проливать кровь – об этом проповедники помалкивали. Начальство тоже пыталось иногда объяснить, раздавало манифесты, царицыны разные указы, но толку было мало. Пугачев спрашивал хорунжих, есаулов, те в один голос отвечали: «По указу ее императорского величества государыни Елизаветы» .

Семилетняя война имеет свою, довольно сложную историю. Она была продолжением войны за так называемое «Австрийское наследство»^[1]. Король прусский Фридрих II, одаренный стратег, был политиком ловким, лишенным совести и благопристойности. Он, не стесняясь, говорил:

– Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточно силы, занимайте ее немедленно. Как только вы это сделаете, вы всегда найдете достаточное количество юристов, которые докажут, что вы имели все права на занятую территорию.

Руководствуясь этим правилом, он возмечтал захватить часть земель своей союзницы Австрии, где была королевой Мария-Терезия.

Незадолго до войны Фридрих был союзником Франции и врагом Англии, находившейся в жестокой колониальной войне с Францией. В то же время Россия состояла в давнишнем дружественном союзе с Австрией и в деловом договорном соглашении с Англией. Но воинственный Фридрих разом разрушил политическое равновесие Европы, существовавшее десятки лет. И вышло так, что путем интриг и темных комбинаций союзница России Англия, к немалому возмущению русского двора, перешла на сторону своего старого врага Пруссии, а Франция, устрешенная ростом прусского военного могущества и оскорбленная вероломством своего бывшего союзника Фридриха, переметнувшегося на сторону Англии, объявила себя защитницей Австрии. Россия, опасаясь захватнической политики Фридриха II, высказала свое непреклонное намерение оставаться верной своей союзнице – Австрии.

Таким образом, нарушив свои прежние взаимоотношения, европейские державы разбились на два враждующих лагеря: против Пруссии и Англии оказались три великие державы – Россия, Франция, Австрия. А вскоре к ним примкнула еще и Швеция.

Фридрих II никак не ожидал, что Россия ввяжется в эту войну. Правда, он был невысокого мнения о русской армии. «Москвитяне суть дикие орды, – говорил король, – они никак не могут сопротивляться моим благоустроенным войскам».

Тем не менее, видя перед собой столь грозную коалицию, он несколько опешил.

Он имел под ружьем двести тысяч войска, против него шло триста. Однако надежда была на то, что пока русский медведь соберется с силами и выползет из своей берлоги, он, Фридрих, успеет по отдельности разгромить своих врагов. Чтоб ослабить русских, он мечтал поднять против них турок и устроить в Петербурге дворцовый переворот. Но Турция, не подготовленная к войне, наотрез отказалась ссориться с Россией. В перспективе оставался Петербург.

Фридрих знал, что русская императрица Елизавета к нему издавна питает отвращение, зато был почти уверен, что великий князь, голштинiec Петр, считавший себя вечным подмастерьем Фридриха, окажет ему помощь. С женой Петра – Екатериной, немкой по природе, пожалуй, тоже можно варить пиво. Если в ней расщекотать тщеславие, если обольстить ее призраком короны, она может оказаться в числе его клеветов. Да, да, он опутает Россию сетью всяческих интриг и затем на поле брани поставит эту державу на колени!

Итак, подкуп, интриги, шпионаж – вот верные союзники Фридриха II.

В это время при русском дворе состоял в качестве английского посланника молодой, образованный, энергичный и ловкий сэр Уильямс. Он сразу же стал агентом Фридриха и, тонко маскируясь, начал действовать во вред российским интересам.

3

Уже стоял конец июня, но погода все еще холодная, трава чуть-чуть пробивалась, свежего корма лошадям не было, покупали овес и сено. Поэтому кавалерийские отряды часто посылались за фуражом по окрестным селениям и поместьям, платили за фураж наличными, все шло как не надо лучше.

Но вскорости случилась пренеприятная оказия. Был выслан на разведку отряд в полтысячи сабель драгунского полка, чугуевских и донских казаков. Отрядом командовал легкомысленный французик Де-ла-Рю. Проехав два десятка миль и не видя неприятеля, майор заключил, что неприятель сидит еще очень далеко, где-то у черта на куличках. В деревне Кумелен он вольготно расположился с отрядом на бивак, стал гулять и пить, а глядя на него, стал бражничать и весь его отряд. Вдруг – тревога: «Неприятель, неприятель!» Бражники носились по деревне, ловили коней, кричали. Пьяный майор, раскачиваясь в седле, мчался вдоль улицы, махал саблей, орал пронзительно: «За деревню! Стройся... Сабли вон!..»

И не успели еще драгуны как следует построиться, как увидели мчащихся на них желтых и черных прусских гусаров. Казаки с флангов ударили на неприятеля, стараясь превеликим гиканьем и криком устроить врага. Но прусские гусары не робкого десятка – они дали по казакам два хороших из пистолетов залпа, казаки повернули коней и врассыпную – наутек, гусары устремились прямо на русских драгунов. Те опрометью, без выстрела, поскакали по полям. Неприятель, «сидя на плечах» драгунов, гнал их через две деревни, пока с русской стороны не подоспел сикурс. наших убито было шестьдесят человек, двадцать шесть захвачено в плен, у неприятеля оказалась сраженною одна лошадь.

Восемнадцатилетний Емельян Пугачев получил в этой стычке первую боевую закалку. Красный, чубастый, весь как кипяток, он кричал на своих: «Так-то вы, дьяволы, воюете?!» Свои посылали его к черту, трясли бородами, обзывали «щенячьей лапой».

Постыдное бегство наших произвело на армию угнетающее впечатление: стало быть, враг силен, а мы слабы. Фельдмаршал, рассвирепев, разжаловал майора Де-ла-Рю в солдаты, а вахмистра его команды Дрябова, отличившегося храбростью, произвел в поручики.

Вскоре через понтонные мосты были переброшены из-за реки Прегель и остальные части армии вместе с главной квартирой фельдмаршала Апраксина. Пучеглазый, внушительного телосложения, тучный и обрюзгший, фельдмаршал ехал в богатом, с графскими гербами, экипаже вместе с двумя собачонками – кудлатой и облезшей, за ним на двадцати пяти трехконных рыдванах следовало его личное имущество и штат прислуги – повара, лакеи, камердинеры, два куафера, негр, священник и портной, везли походную церковь, несколько палаток, кухню, погреб вин. Было похоже, что это передвигается не главный полководец, которому вверено стотысячное воинство, а знатный вельможа совершает от безделья пышное путешествие по европейским странам. Глядя на эту обременительную для армии канитель, солдаты горестно шептались у костров.

На последнем апраксинском возу, набитом ящиками с бакалеей и всяческими сладостями, сидел юркий, плутоватый человек, лакей не лакей, а доверенный Апраксина – некий Барышников, держал золотую клетку с попугаем. Пугачев тут как тут, трясется на лошаденке рядом с возом и все поглядывает на невиданную птицу, все поглядывает. Птица серая, нос крючком, на голове красный хохолок, а на клетке золоченая княжеская корона. А попугай молчал-молчал, да и прогнусил казаку по-человечьи:

– Здравья желаю, ваше величество!

Пугачев, вытаращив глаза, скакнул с лошаденкой в сторону, схватился за шапку.

– Вот это птаха, – сказал он, оправившись, и вновь подъехал к возу. – Дядька, а как твоя птаха зовется?

– Попугай.

– А пошто ж ее пугать?

– Бестолочь! Название у ей такое – попугай. А ты кто и по какой причине здесь околачиваешься?

– Нам приказано господину фельдмаршалу палатку ставить...

В это время попугай отчетливо залопотал:

– Пушка, пушка... Баталия.

У Пугачева зашевелились на затылке волосы, он мысленно перекрестился и подумал: «Ну и чертова птичка... Не иначе – оборотень».

Хмурым взором он окинул растянувшийся на версту фельдмаршальский обоз, взглянул на пару жирных окороков, висевших на перекладине последнего воза, ему страшно захотелось есть, а брюхо его с непривычки болело от неизвестной в России картошки... Он запальчиво крикнул Барышникову:

– А вы, должно, с графом на свадьбу к Фридриху собрались. Гляди, он вас женит! – и, стегнув лошаденку, помчался с дороги в лес.

На днях был занят без боя чистенький городок Гумбинен и несколько селений. В конце июля произошла вторая стычка казаков с отрядом неприятеля. На этот раз казаки опрокинули пруссаков и загнали их в болото. Пугачев впервые окровавил тут свою саблю, был этим счастлив, чувствовал себя как под хмельком. Да и вся армия приободрилась: стало быть, пруссаки тоже умеют казаться спинами.

4

Время проходило в мелких стычках. Войска двигались в боевом порядке, всяк находился в своей части, и Пугачеву нельзя было слоняться где попало.

В середине августа войска снова переправились через реку Прегель, вышли на Гросс-Эггерсдорфское поле. Вся русская армия расположилась на прекрасном, хорошо укрепленном природою месте. Так, по крайней мере, казалось военачальникам.

Место это представляло собой возвышенную равнину, версты две длиной, около версты шириной. Сзади – с обрывистыми и крутыми берегами река, ограждающая тыл армии, впереди – неширокая, в полторы версты, полоса непролазного леса, подошедшего справа к самой реке, а с чет–вертой стороны, слева – огромный и глубокий буерак. Из этого места было лишь два выхода: справа – небольшая прогалина между лесом и рекой, слева – проход в четверть версты между лесом и буераком. Стотысячная армия расположилась тылом к реке, фронтом к лесу, а за полосой леса простиралось обширное Гросс-Эггерсдорфское поле.

О неприятеле ни слуху ни духу. Как будто его и нет. Разбив палатки, армия проводила время в праздности.

Но Пугачев не дремал, для него безделье хуже смерти. Он еще в Польше познакомился со старым бомбардиром Павлом Носовым. Пожилой, но крепкий еще вояка любил веселого и дотошного казака, который о всем любопытствовал: как устроена пушка, как ее наводят, как из нее палят. Да не только о всем этом любопытствовал, а и выказал тут же на глазах бомбардира большую в обращении с орудием сметливость.

Вот и теперь вдвоем сидели они возле потухшего костра. Емеля подтачивал прорезь в пушечном запале, пел донские песни, старик чинил штаны. Только что выстиранные подштанники бомбардира сушились на шесте, голые ноги его волосаты, тощи, в левой икре выхвачен осколком гранаты кусок мускула, давнишняя рана затянута синеватой кожей.

– Конечно, место доброе, оборониться можно, – сказал Носов, – только командиры наши не вовсе хороши... Надо бы чрез лес дороги ладить к полю, а мы вот с тобой, Омелька, песни поем.

– Да, – ответил Емельян. – Ежели поднапрут на нас со всех сторон, нам и податься некуда...

– Напереть – не напрут, – возразил старик, раскуривая трубку, – а выходы отсюда тесноваты, с обозом каша будет.

Пугачев подумал, большеглазо посмотрел в сторону реки, сказал:

– И на кой прах все обозы сюда постащили? Я бы их оставил за рекой, а через реку мосты навел бы, лесу-то много здесь.

Под пегими усами старика растеклась приятная улыбка, он прищурился на парня, потрянул головой, ласково сказал:

– Башка у тебя варит... Дело говоришь. Тебе бы, Омелька, ахвицером быть... Только вот темный ты, навроде меня: читать-писать не смыслишь.

– К грамоте у меня сердце не больно лежит, дядя Павел. Я воевать люблю. Пошто мне грамота? Вот, сказывают, солдата Дрябова и без грамоты в офицеры произвели. Чуешь?

– Дрябов не солдат, а вахмистр был.

– Все едино, что хлеб, что мякина. Не барин же! Вот и я добыюсь. Душа из меня вон, добыюсь!..

– Бахвал ты, – так же ласково забрюзжал старик, вдевая в иглу провощенную нитку. – У тебя, чтоб быть ахвицером, кишка тонка. Это дело господское... А мы с тобой, Омелька, в подлом сословии родились. Гольтьба мы.

Емельян перестал мурлыкать песню, отложил в сторону напильник.

– Это какое такое подлое сословие? – спросил он сквозь зубы и покосился на изрытое морщинами лицо бомбардира.

Тот стал, кряхтя, надевать штаны.

– Мы подлого званья с тобой, Омелька. Гольтьба! И вся солдатня наша подлого званья... Не люди мы.

– А кто же?! – вскричал Пугачев и ударил себя в грудь.

Прогудел вдали пушечный выстрел, за ним другой – поближе. Никто не обратил на них внимания. Но вот ударили еще три выстрела.

В армии поднялась тревога. По плацдарму уже носились на лошадях адъютанты с ординарцами, кричали:

– Выходи в строй!.. Выводи полки перед фрунт... Ше-ве-ли-и-ись...

Люди бросали все, чем занимались, выскакивали из палаток, седлали лошадей, хватали ружья, надевали амуницию, бежали каждый к месту своего полка, строились в ряды. Повсюду негромкий шум, звяк оружия, беготня, понуждение от начальства. Очень быстро боевые полки были на своих местах, ожидая повеления, куда идти. И уже всем мерещился за лесом неприятель. Большинство солдат еще ни разу не бывали в деле. Всех прохватывал внутренний холодок, в острых образах рисовалась первая встреча с врагом, кровавый бой.

Заиграла музыка, развернулись знамена, полки с великой поспешностью были выведены за лес, на просторное Эггерсдорфское поле. А там – что за притча? – неприятеля нет и в помине, поле чисто, вдали лес чернел, и хоть бы один человек попался на глаза. Пусто.

Простояли до вечера, сожгли деревню и церемониальным маршем возвратились в лагерь. О неприятеле опять забыли думать. Офицеры играли в карты, пили вино, шутили; генерал-майор Хомяков в двадцатый раз перебирал коллекцию тростей; фельдмаршал Апраксин за обедом объелся жареным поросенком с кашей, ему дважды ставили клизму; казаки пели и плясали; солдаты стирали в реке, искали друг у друга в головах, собирали грибы в лесу.

Ночь прошла благополучно. Поутру били не генеральный марш, а зорю, значит, и сей день армия будет в спокойствии стоять на месте.

Однако после полудня, когда армия обедала, стукнул выстрел вестовой пушки. В это время бомбардир Носов снял с тагана котелок похлебки из баранины, а Пугачев вытащил из-за голенища деревянную ложку.

– Ого, – сказал старик, – тревога! Пожалуй, и пожрать не дадут.

– Наматывай!..

Оба, обжигаясь, принялись хлебать. Ударил второй выстрел. В армии началось легкое движение. Пугачев поймал кусок баранины и по-волчьи проворно рвал его зубами.

Ударил третий выстрел. Тогда поднялись по всему лагерю великое смятение и шум. У бомбардира с

Пугачевым упали из рук ложки. Всюду беготня, крик и понуждение. Земля тряслась от тяжести и грохота пушек, вывозимых откормленными лошадьми на позицию. Воздух дрожал от гиканья погонщиков и фурлейтов, стегающих лошадей кнутами.

Через час полки были выведены в поле и построены. Пред войсками уже разъезжал великолепный фельдмаршал Апраксин, окруженный великолепнейшей свитой. Конь под огромным фельдмаршалом скакал, плясал, бил ногами. Фельдмаршал кряхтел, но лицо у него грозное, он часто сплевывал гнилую отрыжку, утирался надушенным платком.

В свите гарцевал на рослом коне генерал-майор Петр Панин, живой и подвижный, глаза насмешливы, губы сжаты в ядовитой улыбке, – он косился на толстое брюхо фельдмаршала.

Сытые кони начищены, лоснятся, отливают на солнце атласом. И все блестит, и все сверкает: оружие, наборная сбруя, чеканные седла, расшитые шелком и золотом дорогие попоны.

Армия стояла обращенная лицом к врагу. Но врага и на этот раз не было в помине. С чувством напряженного ожидания армия стоит час и два.

– Черт знает, – нахлобучивая шляпу на глаза, чтоб не палило солнце, раздраженно бросает фельдмаршал свите. – Где же неприятель? Какого же рожна он не идет?.. Трусит?..

– Нет, граф, неприятель храбр и скоропоспешен, – отозвался известный дерзкий остряк Петр Иванович Панин, в глазах его полускрытый смех. – Неприятель или заканчивает обед и пьет шампанское, или обходит вас с тыла.

– Вы думаете? – Граф Апраксин подымает густые брови и, болезненно постанывая, косится вполуоборот через плечо назад, где тыл. – Не может тому случиться, чтоб с тылу...

– А кроме сего, мне мыслится, – продолжал Панин, отмахиваясь красным платком от комаров, – мне мыслится, что никогда так не бывает, чтоб одна армия стояла наготове, при всем параде, с пушками, а другая, вражеская, таким же парадом шла навстречу. Баталии зачастую начинаются внезапно. Но ради чего мы сюда пришли и здесь стоим, как индюки? Осмелюсь, граф, узнать...

– Утром разведка донесла, – пожимая плечами, стал как бы оправдываться граф Апраксин, – будто граф Дона, самый лучший прусский генерал, стоит за лесом с сорока эскадронами гусаров да драгунов, а главные силы пруссаков подходят к лесу.

Вдали, то здесь то там, потрескивала ружейная перестрелка казачьей разведки с неприятелем. С пригорка было пущено в лес несколько бомб из шуваловских дальнобойных гаубиц. Стоявшая под лесом деревня загорелась. Ответа из-за леса не последовало. Полки снова были отведены в лагерь.

5

Главная ставка Апраксина – целый поселок: большие и маленькие палатки для адъютантов и прислуги, походная церковь, склады, кухня, канцелярия, парикмахерская, баня.

В круглой палатке фельдмаршала начался военный совет. Большой овальный стол накрыт красною скатертью с золотыми кистями (граф любил во всем пышность), горело в шандалах и канделябрах сорок восемь свечей, за столом сам Апраксин и генералитет в походной форме. По правую руку Апраксина – генерал Веймарн (он все время войны «водил» Апраксина, как бычка на веревочке), по левую – молодой, но очень талантливый генерал Вильбуа, который частенько говаривал своим приятелям: «При нынешних порядках у меня пропадает всякая охота воевать. Черт их возьми!.. Здесь надо притворяться таким же дураком, как и все... Иначе всех сделаешь себе врагами». На столе хорошая немецкая карта, гусиные перья, карандаши, бумага; на коленях Апраксина черный мопс, такой же пучеглазый и тупорылый, как хозяин. Земля прикрыта коврами. Накурено. Тикают бронзовые часы. Два лакея снимают щипцами нагар со свечей, подают кофе, разливают по бокалам и рюмкам вино и ликеры.

Пыхтя и посапывая, Апраксин говорит ленивым, надтреснутым тенорком:

– По всему видимому, неприятель не хочет нам дать открытой баталии, он боится высунуть из лесу свой нос и выйти в поле. По всему видимому, он пытается, заняв самую тесную дефилию, заградить нам путь к дальнейшему продвижению нашей армии вперед и всем тем воспрепятствовать, чтоб мы его не обошли и не вышли прямо к Кенигсбергу. Таково мое мнение после зрелых размышлений. А вы как мыслите, молодежь? Граф Румянцев, вы? Генерал Вильбуа?

Курносый, толстощекий, быстрый взглядом, Румянцев повел плечом и командирским, слегка осипшим басом с горячностью сказал:

– Мой сказ короток, ваше сиятельство. Нам надлежит немедля идти врагу навстречу, принудить дать баталию и разбить его в пух и в прах.

«Баталия, баталия!» – крикнул из клетки попугай тоже командирским басом и почесал лапкой за ухом.

Генералитет улыбнулся. Вильбуа и Румянцев громко захохотали. Мопс не то с завистью, не то с презрением покосился на чертову птичку и с чувством собачьего достоинства лизнул хозяина в дряблый подбородок.

Апраксин поцеловал мопса в шиворот (граф Захар Чернышев сделал брезгливую гримасу). Обведя присутствующих ленивым взором, фельдмаршал спросил:

– Но куда и каким местом к нему идти? Ежели прямо через Эггерсдорфское поле – идти не можно: враг стоит за большим лесом, а сквозь оный только одна узкая дорога, да и та пруссаками занята. Как вы, господа, сей тактический вопрос желали бы разрешить?

После коротких рассуждений решено вести войска через поле, обходить лес с левой стороны и опрокинуться на врага всей силой.

– А главное: не мешкать, действовать быстро, – сказали в один голос Румянцев и Чернышев.

– Совершенно согласен с вами, господа генералы, – кивнул им Апраксин. – Мы и впрямь во всем поспешаем слишком... медленно... И так уж канцлер Бестужев, Алексей Петрович, то и дело пишет мне: «Поспешай, поспешай, про тебя небылицы по Питеру плетут». Да и матушка Елизавета недовольна, аprobацией не жалуется – долго, мол, в Польше позадержались вы. А как тут поспешать?.. Поспешись –

людей насмешишь.

– А не поспешишь, врага упустишь, ваше сиятельство, – ядовито заговорил Петр Панин и незаметно переглянулся с Румянцевым. – И кто с умом спешит, тот всегда и во всем успевает. Возьмем генерала Фермора. Он в Либаве присоединил к себе подвезенные морем наши полки, восемнадцатого июня вступил в Пруссию, двадцатого обложил Мемель, а уже двадцать четвертого эту крепость взял. А мы полгода пропировали в Польше и до сих пор не унюхали, чем пахнет вражий порох... Государыня императрица за столь сугубое поспешание вряд ли по головке погладит нас.

Апраксин сидел весь красный, будто Панин не словами стегал его, а парил в жаркой бане веником. Маскируя свое смущение, он стал сонливо зевать и закрепщивать гнилозубый рот, потом, ища хоть в ком-нибудь поддержки и не находя ее, обиженно сказал:

– Ау, ау... Плохой я главнокомандующий. Я фельдмаршал мирный, а не военный. Я так и государыне молвил. Ну что ж, господа, назначайте вместо меня Фермора, он генерал боевой. Сменяйте, сменяйте меня... ежели дана вам на то власть. А ежели этой власти за вами нет, то... повелеваю!.. – Апраксин сбросил с колен мопса и встал. Весь генералитет точно так же поднялся. – Повелеваю: завтра чем свет по вестовой моей пушке выступить в поход. А вам, Петр Иванович, – выпучив глаза, обратился он к злословному Панину, – зная вас за отважного воина, я предоставляю случай особо отличиться. Для сего определяю вас в самое жаркое дело.

«Ах ты, старый кабан», – подумал Панин и – вслух:

– Я жары не боюсь, ваше сиятельство. Но не терплю тех, кто тщится нагнать на меня холоду. Я не труслив, но горд. А пруссаков бояться – на войну не ходить. Весь к услугам вашего сиятельства!

Генералитет отпущен.

Апраксин устал. Ленивый и нерасторопный, он не подумал о разработке диспозиции войск на завтрашний день, он только успел набросать коротенький приказ по армии и прилег часок-другой всхрапнуть. А там видно будет, ночь-то длинна.

Выходя из палатки, Панин шепнул Румянцеву:

– Не смею утверждать категорически, но мнится мне, что этот безмозглый баран не побрезгует положить в карман от прусского командования кое-какой куртаж.

– О да, – живо согласился Румянцев. – Его медлительность припахивает изменой.

– Во всяком случае, она равносильна измене, – подхватил Панин.

По армии объявлен приказ: всех солдат снабдить на трое суток провизией, вывести «перед фронт», всем ночевать «в ружье».

Каким-то случаем прусское командование сведало о предстоящем наступлении русских. И пока граф Апраксин спал себе и почивал спокойно, проворный враг плел хитроумные сети, чтобы погубить нас.

6

Пред утром 19 августа густой туман рассеялся. Лошади, опустив головы, дремали. На траве, на палатках и всюду лежала роса.

Ударил вестовая пушка, лагерь пришел в движение. Вместо обычной зори стали бить генеральный марш. Значит, готовься к походу. Вскоре прозвучал сигнал: «На воза!», и войска тотчас стали снимать все палатки, мазать колеса дегтем, впрягать в повозки лошадей, грузить имущество. Фурлейты спрашивали: «Брать ли рогатки?» Приказ: «Брать, брать». (Деревянных рогаток – тысячи, целый лес. Они большая обуза. Их возят в особых телегах за каждым полком для прикрытия фронта от неприятельской конницы.)

Через двадцать минут обозы тронулись в путь. Было еще темно.

Равнина – где лагерь – как дно муравейника. Все копошилось, серело, алело, чернело, двигалось взад и вперед, вправо и влево. Люди сползались в живые кучки, эти кучки росли, то вытягиваясь в линию, то сжимаясь в квадрат. Кучек все больше и больше. Вот они оцетинились сталью. По всем направлениям засновали всадники. С тысячи мест сизыми киверами потянулись к небу дымки догорающих костров.

Емельян Пугачев кой-как, вразвалку, сидит в седле вблизи палатки атамана Денисова. Конь под ним высокий, белый. Емельян привел его из ночной разведки: смахнул башку прусскому драгуну-барину, а коня его увел. Коню этому сегодня хватит работы: Пугачев за свою особую расторопность назначен был вчера ординарцем полковника-атамана Денисова.

Донцы еще прохлаждаются, наскоро пьют кипятком с солью и хлебом. Грузный, заспанный Денисов выходит из палатки, вестовой подает ему умываться. За рекой по далекому горизонту медленно растекалась заря. В лесу куковала ранняя кукушка.

В противоположной стороне, почти за две версты от Пугачева, там, где темный выход в Эггерсдорфское поле, – сплошное огромное месиво, оттуда доносились невообразимый шум, треск, скрип, выкрики. Денисов, вытираясь рушником, спросил Пугачева:

– Что там такое?

– А это, надо полагать, обозы сбились в кучу... Порядку нет, ваше высокородие.

– А ну, слетай!

Пугачев гикнул и умчался.

У выхода в поле действительно творилось нечто ужасное. Впереди тесной дефилеи, через которую тянулись бесчисленные обозы, растекалась ручьевина по заболоченной местности. Непролазным киселем густела грязь. Передние повозки завязли, задние стали напирать на них, обгонять их и – по грудь коням – увязали сами, на них надвигались задние. Тут же, попеременно с повозками, шли побатальонно воинские части.

В конце концов лавина не в одну тысячу повозок закупорила весь проход – пушкой не пробьешь. Здесь все перемешалось: артиллерия с ящиками и снарядами, солдатские обозы, генеральские экипажи, многие сотни телег с рогатками, офицерские повозки.

А сзади на это месиво из лошадей, солдат, повозок напирала двинувшиеся полки. Всюду крики: «Дорогу, дорогу!» – но дороги не было.

И в момент такой бестолковщины, в момент отчаянных, но безуспешных попыток освободить проход, по войску и обозам покатила сначала тихая молва: «Пруссаки наступают, они уже близко»; затем

разговоры – все крепче и крепче, вот слышались отдельные панические выкрики: «Неприятель, неприятель!» Но путем никто ничего не знал еще.

Тем временем 2-й Московский полк, уже выведенный в Эггерсдорфское поле, вдруг увидел перед собой грозные шеренги спешившего к нему врага. Полк стоял как раз у выхода с забитой обозами прогалины и прикрывал доступ в лагерь. Командиры и солдаты диву дались: каким манером враг, никем не замеченный, мог пройти версты четыре полем и почти сесть на шею нашим? А где ж была разведка? И о чем думало главное командование?

Небольшая колонна артиллерии, находящаяся при Московском полку, тотчас открыла по неприятелю огонь.

Этот близкий гром пушек произвел в обозной толпе смятение. Люди сразу как бы посходили с ума. Поднялись вопли.

В одном месте командиры кричали: «Сюда! Сюда! Артиллерию сюда!» В другом раздавалось: «Конницу скорей, конницу!» Но яростней всех был вопль: «Обозы прочь, назад!.. Прочь, прочь! Обозы назад, назад, назад!..» Возницы и фурманы с гиком и руганью в три кнута полосовали лошадей. Генералы, полковники и простые офицеры потеряли всякий разум, они совались возле обозов без памяти, не зная, что им делать.

Почти все полки еще находились за обозом, в лагере, а пробраться на поле с амуницией, с пушками сквозь густейший непролазный лес было невозможно. «Просеки, просеки рубить!» – бестолково раздавалась запоздалая команда. Но тут уже не до просек. Полки дожидались, пока расчистят от обоза злосчастную прогалину. Успел вывести свою дивизию на бранное поле лишь генерал-аншеф Лопухин.

А пушки гремели и гремели. Неприятельские ядра, проносясь со свистом, уже стали шуркать по обозам.

Часть донцов умудрилась пробраться меж обозами и опушкой леса и, спешившись, выстроилась на отдаленном пригорке в левой стороне поля. Пригорок прикрыт с тыла болотом и кустарником. Тут же была и батарея со старым бомбардиром Павлом Носовым. Вскоре подошел еще армейский полк.

Емельян Пугачев сидел на коне, ждал поручений атамана, во все стороны вертел головой. Справа и вперед от него видно было все Эггерсдорфское поле, на нем – прусская армия как на ладони. А за полем, верстах в пяти, зеленел огромный лес. Атаман Денисов то и дело прикладывал к глазу подзорную трубу.

Начинало светать. Вставало солнце.

Пруссаки вытянулись двумя длинными линиями на том самом месте, где вчера стояли две развернутых линии русских. И снова – возмущенные наши голоса:

– Каким это способом пруссаки подкрались к нам? Этакое позорище! Проспать врага... С потрохами продают нас.

7

Гросс-Эггерсдорфская битва началась ровно в восемь часов утра.

Наши немногие гренадерские полки только еще выстраивались вдоль опушки леса. Между тем первая линия пруссаков быстрым шагом уже двинулась в атаку и, приблизившись, дала по нашим залп. Русские не отвечали. «Почему наши молчат?» – заговорили между собой люди на пригорке, где Пугачев. Но русские молчали, потому что продолжали строиться, вытягиваться в линию, да и пули неприятеля пока не долетали.

Пруссаки, заряжая на ходу ружья, продвинулись еще на несколько сажен и дали второй залп. Русские опять смолчали. Они все еще вытягивали боевую свою линию. «Бегом, бегом!» – покрикивали там офицеры. Петр Панин скакал на коне, поощряя солдат: «Поспешай, братцы, да в лоб его, в лоб!» Второй залп кой-кого из гренадеров зацепил, человек десять упало. Зарядив на ходу ружья, пруссаки дали третий дружный залп. Их фронт стал помаленьку заволакиваться дымом.

Тем временем русские полки уже успели развернуть свой фронт больше чем на версту. Генерал Лопухин, бесстрашно проносясь на коне вдоль фронта, командовал: «Стрелять метко, в три шеренги, залпами!» И сразу треснул дружный залп. Загремели русские пушки. Началась жаркая, врассыпную, перестрелка.

Все затянуло дымом.

Через поле отдельными частями перебегали подкрепления из второй линии пруссаков, подвозились порох и снаряды, прыгали по кочкам пушки, скакали взад и вперед вражеские ординарцы.

Враг упорную атаку направил в два места: против главного входа в лагерь, где кипела перестрелка, и против второго входа с левой стороны. Но там стойко держался 1-й Гренадерский полк под командою полковника Языкова. Враг всюду действовал по заранее составленной диспозиции, а русские валили «наобум святых» как Бог на душу положит.

Враг измышлял запереть русских в лагере и всех, кто там был, передушить.

Главнокомандующий Апраксин, окруженный свитой, громоздился на коне в значительном отдалении от битвы. Он не отрывал от глаз трубу, но плохо видел и мало понимал в происходящем. Он почти не отдавал никаких приказов, только покрикивал: «Валяй, валяй!»

Пугачев первый заметил кавалерию, показавшуюся на правом фланге врага. Заметил ее и Панин. Он подскакал к графу Апраксину.

– Ваше сиятельство! Прикажете казакам атаковать неприятельскую конницу.

– Валяй, валяй, голубчик, валяй! Ах, это вы, Петр Иваныч? – замахал трубой и заохал Апраксин.

Панин полетел стрелой на пригорок к атаману Денисову. Пугачев стрелой с пригорка от Денисова к Апраксину.

– Стой, казак! – на всем скаку крикнул Панин. Оба коня враз остановились. Приседая на задние ноги, они пахали землю передними.

– Куда?

– К главнокомандующему... Конница вражья объявилась.

– Передай приказ атаману Денисову – взять вражью конницу в пики!

Кругом пахло порохом. Сизо-голубыми ключьями тянулись струи дыма. Всюду задирчивый треск ружейных выстрелов и то близкие, то далекие раскаты пушечной пальбы.

Пугачев подкатил к своим. Полторы тысячи донцов уже успели сесть на коней. Раздалась команда. Туча казаков – пики наперевес – с пронзительным гиканьем стремительно мчалась на врага. Прусская конница поджидала атаку недвижно. Подпустив донцов поближе, пруссаки дали по ним уверенный залп. Донцы опешили, ряды их смешались, гиканье смолкло, многие упали с коней. Пальнули в пруссаков беглым огнем. Пуссаки вновь ответили залпом. Донцы повернули коней и марш-марш назад. Прусские кирасиры и драгуны – палаши наголо – помчались за ними. Обскакивая болото с кустарником, они гнали казаков к русскому фронту и, настигнув, стали их рубить. Казакам некуда деваться. Тогда левый наш фланг расступился, пропустил лавину донцов. Первый эскадрон прусских кирасиров успел прорваться на хвосте донцов за русский фронт и там рубил направо и налево, кого придется. В нашем тылу – вой, крик, паника. Меж тем полки неприятельской конницы в полном порядке поэскадронно неудержимо текли быстрой рекой чрез поле на передовую линию русских. Казалось, враги презирали страх, смерть и нашу пехоту, угрожая стоптать ее.

Атаман Денисов наблюдал с возвышения, бесновался: «Ах, черти, ах, черти!» И крикнул стоявшему рядом с ним Пугачеву: «Лети на батарею... Огонь картечью! Разини, дьяволы!» Пугачев, весь дрожа, поскакал. Бомбардиры уже успели повернуть батарею в сторону мчавшейся конницы врага, забивали пушки картечью.

Пугачев вместе с бомбардиром Носовым стал наводить в сторону неприятеля медную пушку. Прусские эскадроны, взвивая густейшую пыль, один за другим четко скакали. Наша пехота овладела собой, стала отстреливаться, пытаясь сомкнуть разорванный фронт.

«Пли!» И вдруг ахнули сразу пять пушек. Залп был удачен, картечь сражала пруссаков десятками, сотнями. Фронт пехоты сомкнулся. С правого фланга скакали три сотни чугуевцев. А сзади них мчался Панин. «Пли!» И снова оглушительный залп. Вражеские эскадроны смешались, повернули назад, в беспорядке поскакали полем обратно к лесу. Донцы оправились, вместе с чугуевцами бросились преследовать врага, рубили, сажали на пики. Эскадрон, прорвавшийся за русский фронт, был весь уничтожен.

Пугачев так увлекся баталией, что забыл свою обязанность ординарца. Вольной птицей перелетал он теперь с места на место, куда его тянула удаль.

А над фронтом, где разгорался жестокий бой, стояло густейшее облако дыма: с той и другой стороны продолжалась неумолчная ружейная перестрелка, пальба из пушек и гаубиц.

Перевес был целиком на стороне неприятеля. Мы были очень малочисленны, у нас дралось всего одиннадцать полков. И резерв в нужном количестве к нам не поступал: от своих главных сил, от лагеря, мы были отрезаны.

Апраксин вконец растерялся. Все шло самотеком, вразброд, каждый военачальник действовал на свой страх и риск. Сильная артиллерия пруссаков работала отлично, тогда как большая часть русской завязла в болотах, застряла среди обоза в лагере и, лишь постепенно выпрастываясь, орудие за орудием, медленно выходила на позиции. Хотя обозы в нашем лагере, двигаясь назад, постепенно освобождали выход в поле и казалось, что теперь можно кой-как выводить из лагеря войска и подвозить снаряды, но сметливый враг в оба выхода из лагеря направил свою силу артиллерийского огня, а затем двинул в бой свежие полки.

Пугачев, рискуя жизнью, проник на коне в запертый со всех сторон русский лагерь. Там был видимый порядок: полки стояли под ружьем, артиллерия в упряжке. Но вместе с тем – всеобщая какая-то

выжидательная напряженность и тупое уныние среди людей. Прислушиваясь к канонаде, к долетавшим через лес глухим звукам битвы и не в силах помочь своим братьям, многие солдаты горестно трясли головами, крадучись утирали мокрые глаза, а иные плакали в открытую, справедливо ожесточаясь на погубительные распоряжки командования.

Пугачев увидел: от лагеря через лес ведут к бранному полю две просеки, но топоров мало, работы хватит на неделю. «Эх, черти генералы... Вразумить вас некому», – подумал он и спросил бородатого лесоруба:

– Пошто войско не посылают на фронт?

– Два полка прутся лесом на выручку, – ответил бородач. – С пушками было тронулись да со снарядами. Только, вишь, побросали все, куда тут... Вон она, пушка-то, вон другая... Несподручно. Ради этого и просеку ведем, понял?

– Кто спослал полки-то?

– Сам Румянцев. Эвот-эвот он сидит рядом с графом Чернышевым... Курносый такой, толсторожий... А нет ли у тя покурить, казак?

Но Пугачев, ничтоже сумняшеся, уже подлетел к двум молодым графам, сидевшим друг против друга на барабанах. Подъехал, спрыгнул с коня, вытянулся во фронт и, охваченный жаром битвы, бесстрашно обратился к быстроглазому Румянцеву:

– Ваше превосходительство! Треба солдат на фронт поболее... Двух полков маловато. наших дуже колотят...

– Откуда ты?

– От графа Апраксина, – соврал Пугачев. – Вам приказ велено отдать...

Глаза Румянцева под высоко вскинутыми бровями сердито запрыгали, он вскочил и крикнул:

– Пошли его, старого мопса, ко всем чертям!.. – Румянцев знал, что фельдмаршал Апраксин в немилости у царицы Елизаветы, и в выражениях по его адресу не церемонился. Апраксина и прочих генералов он стал пушить сплеча по матушке. (Пугачев приятно улыбнулся.) Обращаясь к Чернышеву, Румянцев возбужденно заговорил: – Через каждые десять минут шлют ко мне гонцов, даже Панин был: «Выводи, выводи...» А как я выведу, раз мы, по милости Апраксина, заперты?.. Я давно послал Рязанский полк тем местом, где обозы захрясли, а много ли из полка на фронт явилось? Две роты... А ребята – молодец к молодцу. – Румянцев вздохнул, передернул плечами и, выколачивая короткую трубку о барабан, сердито добавил: – Беда, ежели львами командует баран.

– Н-да-а... – протянул Чернышев. – Пожалуй, лучше, когда баранами командует лев.

– В сто раз лучше!

Помедля и ничуть не стесняясь присутствия Пугачева, граф Захар Чернышев сказал:

– Он до крайности ленив и труслив, наш Апраксин. В третьем году пьяный гетман Разумовский едва морду не набил ему. Граф только побряхтел, и – никакого отпора... Трус!

Румянцев вынул изо рта трубку, сплюнул и с желчностью проговорил:

– Этот толстобрюхий бегемот выписал себе из Петербурга двенадцать пар шикарного обмундирования, надеясь в Риге да в Варшаве сражаться с дамами. Вот скотина!.. С таким фельдмаршалом не до побед.

Из лесу выводили под руки раненых с забинтованными лбами, окровавленными лицами, вытекшими

глазами, с руками на перевязи, некоторые, шатаясь, шли самостоятельно, некоторые со стоном ползли на четвереньках. Это – изувеченные на Эггерсдорфском поле гренадеры, каким-то чудом пробравшиеся сквозь лес, чрез который трудно пройти даже медведю. Все тянулись к полевому лазарету, что расположился в трех больших палатках. Оттуда доносились вопли и проклятья. Пугачев, косясь на лазарет, спросил Румянцева:

– Прикажете ехать?

Румянцев в ответ махнул рукой, подозвал к себе кого-то из раненых. Пугачев призадержался сесть в седло, его одолевало мальчишеское любопытство.

– Где ранен?

– На левом фланге, ваше-ство...

– Сядь, – и Румянцев подкатил пожилому гренадеру свой барабан. – Ну что, жарко в бою?

– Жарко... А ен все лезет да лезет. наших много полегло, к лесу подаваться стали, а он знай лезет, знай лезет... Распорядок добрый у него, а у нас порядку ни синь-пороху. Только генерал Лопухин за всех орудует...

Генерал-аншеф В. А. Лопухин, видя, как обессилевшие солдаты его дивизии шаг за шагом стали отходить назад, то скакал на коне перед отступавшими, то, бросив раненую лошадь, бежал по рядам войск, чуть не плача, умолял:

– Братцы, ребятушки... Стойте, не рушьте фрунта! За честь России! Братцы, за мной!.. – Изнемогший, он сам истекал кровью, перебитая рука болталась, в сапоге жмыхала кровь.

Летали, рвались неприятельские бомбы, стегала картечь, пули с визгом вырывали обреченных. Мужественные гренадеры и прочие потрепанные неприятелем полки все еще держались, как непреоборимая стена.

Однако от минуты к минуте русскому фронту становилось тяжелей. Вот уже два часа отстреливались от ретивого врага, но были на исходе порох и свинец. Некоторые смельчаки с отчаянием бросались вперед, выхватывали из сумки убитого противника порох, патроны и посылали во врага его же пули. Иные, раненые, окровавленные, прижавшись спиной к дереву, бессильно оборонялись штыками, били врага прикладами. Иные, в припадке безумия, остервенело кидались в толпу неприятеля, мысля поразить их всех, и, растерзанные, гибли.

Наши ряды сильно поредели, офицеры побиты и поранены, фронт дрогнул, круто подался вспять, ближе к лесу. Неприятель, заметив эту ретираду, с удвоенным ожесточением бросился на отступавших.

Завязался дьявольский рукопашный бой.

Того, кто обессилел, кололи, топтали, как падаль, резали, душили. Русских осталось немного; неприятель подавлял числом и натиском свежих сил. Изнемогающий генерал Лопухин поощрял своих. Кричал безумным голосом:

– Вперед! Коли! Коли!..

Вот его схватили и, залитого кровью, волокли по земле в полон. Трое наших гренадеров, забыв, что сами погибали, разъяренными волками бросились выручать своего генерала и, уже мертвого, растерзанного, перетащили на свою сторону.

Вся опушка леса оглашалась воплем, стоном, криками убиваемых. Кровь текла ручьями. Прижатые к лесу, богатыри-гренадеры все еще продолжали обороняться с яростью. Но враг уже врезался в обоз и победоносно бежал дальше, в самый лагерь. Полное поражение русских было очевидно. Враг

торжествовал.

8

И вдруг:

– Идут!.. Наши идут... Держись, ребята!!! – прозвенел чей-то резкий, как медный звук трубы, голос. Это орал что есть силы Пугачев. Он гикнул: – Р-рубай, так и так!.. Рубай!!! —выхватил саблю и врезался в ряды противника.

Из лесу вымахнули четыре всадника. Впереди на вороном скакуне Румянцев. За ним рота за ротой выбегали из гущи непролазного леса солдаты 3-го Гренадерского и Новгородского полков.

Они быстро – бегом, бегом – строились в боевой порядок. Пред их фронтом, гневный, проскакал Румянцев.

– Ребята, осмотрись! – командовал он. – Целься верней! Залп!

С треском ударило несколько тысяч еще холодных, не закопченных порохом ружей.

– Залп!!!

И вновь убийственный залп.

– Довольно, – приказал Румянцев. Его сабля сверкнула на солнце. – Ребята, в штыки!!!

И с оглушающим ревом «ура, ура!» несколько тысяч бодрых солдат ринулись в бой. За ними, забыв усталость, бросились измученные гренадерские полки, Московский, Рязанский, и остатки дивизии Лопухина.

Крепкий фронт неприятеля на протяжении двух верст был опрокинут. Пруссаки пробовали сопротивляться, стреляли, оборонялись штыками, но русские, не останавливаясь, стремительно перли вперед, сметая все на своем пути.

Враг побежал.

– Валяй, валяй, валяй! С нами Бог! – носился на грузном коне в тылу наших войск грузный Апраксин. Его так растрясло, он так был взволнован и нервно раздавлен событиями, что больше не в силах держаться в седле. С адъютантом и взводом гусаров он отъехал в самое безопасное место, повалился в холодок и, раскинув руки и ноги, пыхтел, как морж на льдине.

Сражением руководили теперь генералы Румянцев и Фермор. Пушки неприятеля, хотя и не особенно метко, все же тревожили наших. Но с правого фланга уже спешили на быстроногих конях чугуевцы – в атаку на батареи врага.

С левого фланга скакали донцы, за ними – полтысячи полуголых калмыков: они спустили по пояс красные суконные бешметы и, ошетинив пики, с визгом мчались колоть и топтать утекавших пруссаков.

Пугачев, давно отбившись от своих, работал то с гусарами, то с пехотой, колол и рубил, счастливо спасаясь от смерти.

Горячий генерал-майор Петр Панин, увлеченный удачным исходом сражения, ускакал далеко вперед, вслед за гусарами. Тут было жарко. Неприятель на это место двинул из-за леса остатки резервов. Тут шел ожесточенный бой, последняя ставка неприятеля. Завязалась огневая перестрелка. Пугачев палил из винтовки.

Вдруг видит он: на левом фланге отряда конь Панина с разбегу упал на колени, Панин перелетел через конскую шею; конь, прошитый вражьими пулями, перевернулся на бок, взлягнув ногами, затих. К

Панину с криком «Эге! Генерал, генерал!» стремительно бежало с десятков пруссаков. Пугачев ударил плетью коня, что есть силы подскакал к генералу, спрыгнул:

– Садись враз, – и подсобил белому от страха и потерявшему силы Панину залезть в седло.

– А ты как же?

– Не сумлевайтесь, у меня ноги волчьи, утеку! – и Пугачев ударил коня ладонью по холке.

– Спасибо, казак! – и Панин пришпорил коня.

Над Эггерсдорфским полем, от леса до леса, висела пылица и желто-сизый дым. Горели деревни.

Баталия кончилась. Почва подмокла от конской и человеческой крови. Было 3 часа дня 19 августа 1757 года.

Панин долго допытывался потом и не мог отыскать казака, который даровал ему жизнь на поле сражения. Он хотел оказать казаку-герою высокую милость.

Чрез семнадцать лет, и тоже на поле брани, но при других обстоятельствах, судьба вновь столкнет лицом к лицу графа Петра Панина и донского казака Емельяна Пугачева – мужицкого царя. Казак узнает графа и не подаст о том виду. Граф не узнает казака, но барской рукой отблагодарит его за спасение от смерти – громкой, на всю Россию, пощечиной. Сердце казака обольется тогда кипучей кровью и желчью.

Когда все стало приходить в порядок, казак Пугачев держал ответ пред атаманом Денисовым.

– Где твой конь?

– Убили.

– Ты мой ординарец... Куда ты, песий сын, пропал?

– Воевал.

– Где мой рысак Пегаш? Он выдан тебе под присмотр.

– Я воевал... Я пруссаков бил. За всем не усмотришь. Сбежал, должно, ваш конь.

Полковник Илья Денисов, суровый службист, кликнул двух старых преданных ему казаков и приказал им: ординарца Емельяна Пугачева за его тяжкие преступления по службе выдрать нещадно плетью.

К Пугачеву тотчас же подошли два пожилых казака.

– А ну-ка, молодчик, спускай портки, – сказал сквозь зубы рыжебородый, с плеткой в руке, детина.

Пугачев, тяжело дыша, выжидательно уставился в усатое лицо полковника Денисова, как бы вопрошая мрачного начальника – шутит он или взаправду действует?

– Ну! Вали его на землю, – приказал Денисов.

– Ваше высокоблагородие, – взмолился Пугачев. – За что же это? Ведь я по-честному воевал. А ваш Пегаш...

– Молчать!

– Пегаш ваш найдется, вашескородие... Да я вам рысака такого добуду, что...

– Молчать, безрогая скотина!.. Хуже будет.

Пугачева схватили, брякнули на землю.

– Не позорьте, пощадите, вашескородие... Заслужу! – закричал Пугачев истошно.

Поверженный вниз лицом, он умолк, взглянул на притихших, хмурых зевак вокруг, зажмурился,

стиснул зубы и скрюченными пальцами вцепился в пахучую полынь-траву.

Экзекуция началась, но, как ни усердствовал рыжебородый, Пугачев терпел: ни стоны, ни вздоха, только скрипел зубами.

– Довольно! – крикнул атаман Денисов.

Емельян встал, с трудом натянул рубаху, его из стороны в сторону покачивало. Он выплюнул набившуюся в рот землю со стебельком полыни и стоял против атамана, вперив взор ему под ноги.

– Можешь идти, Пугачев, – сказал атаман. – Другой раз помни...

Пугачев нога за ногу пошел прочь. Да, он будет помнить... Ему век не забыть этой награды за боевой труд его.

Спина болезненно ныла, словно обваренная кипятком, сквозь рубаху пятнами проступала кровь.

– Больно, Омеля? – сочувственно спрашивали провожавшие его товарищи.

Вместо ответа Емельян так взглянул на них, что люди прикусили языки.

А через день-другой Пугачев носился среди казаков как ни в чем не бывало. Разве только стал он менее разговорчив, а уж если принимался «точить ляды», то тут ему – никто не перечь. Со старшими по войску он приметно играл надвое: поддакивая и соглашаясь, он вместе с тем таил в глазах бесшабашную ухмылку, точно говоря про себя: «Вот он я, попробуй-ка ухватить меня».

И тот же атаман Денисов, приглядываясь к Емельяну, говорил о нем не иначе как о «превеликом бестии».

– Храбр и дерзок хлопец, но зело двусмыслен. Мало я его драл.

Впрочем, и это, новое, в Емельяне с течением времени примелькалось и перестало задевать внимание окружающих.

27 августа, поздно вечером, в Царское Село, где жила императрица Елизавета, прискакал с театра войны курьер: генерал-майор Петр Панин с трубящими в серебряные трубы почтальонами. Он привез известие о нашей полной победе 19 августа над прусским фельдмаршалом Левальдом на берегах Прегеля, при деревне Гросс-Эггерсдорф. Обнимая Панина, Елизавета прослезилась. А на другой день, в четыре часа утра, с Петропавловской крепости прогрехотал сто один пушечный выстрел. Столица торжественно стала праздновать первую над пруссаками викторию.

Глава II

Бой при деревне Цорндорф. Вечеринка у братьев Орловых

1

В сущности, празднества оказались преждевременными: русская армия, вместо преследования неприятеля, стала отходить к границе, оставляя врагам с таким трудом завоеванные земли. Поспешное отступление походило на бегство: приказано жечь фуры, топить в воде порох и снаряды, заклепывать пушки. Солдаты недоумевали, по всем воинским частям стало перелетать из уст в уста страшное слово: «измена». Союзники громко выражали свое возмущение по поводу ничем не оправданных действий русского командования. Конечно, был недоволен всем этим и правящий Петербург.

Главнокомандующий фельдмаршал Апраксин был смещен, на его место назначен генерал Фермор.

Война затягивалась. Необходимо было подсылать в действующую армию подкрепления из России. Рекрутский набор дал сорок три тысячи человек, из них укомплектовано в полки двадцать четыре тысячи рекрутов, а куда подевались остальные девятнадцать тысяч – неизвестно. Сенат запрашивал об этом Военную коллегию, но быстро собрать надлежащие сведения о пропавших рекрутах было невозможно: почта работала столь медленно, что приказ, отправленный из Петербурга, например, в Смоленск, тащился туда месяц и двенадцать дней.

В исходе зимы генерал кригс-комиссар князь Яков Шаховской, проезжая по улицам Москвы, повстречал вблизи главного военного госпиталя странный обоз: на нескольких дровнях валялись рекруты.

– Стой! Куда? – спросил он сопровождавшего обоз унтер-офицера.

– Да вот на людей хвороба напала, ваше превосходительство, – ответил тот. – Возили в госпиталь, да не приняли, сказывают: места нет, в обрат велели везти в команду.

– А скажи-ка ты мне, унтер, не таясь, из-за чего такая хвороба ежегодно нападает на молодых парней, на новобранцев? – спросил князь.

Унтер помялся, взглянул в добродушное стариковское лицо князя и сказал:

– Ежели молвить по правде, ваше превосходительство, сие приключается от непорядка. Рекрутов из деревень пригоняют, а жительство им не приготовлено и кормиться им, сердешным, почитай, нечем. И околачиваются они в лютую стужу где попало, по дворам да по улицам. А ночуют либо в торговых банях из милости, либо где-нито под мостом, али в складах дровяных, по-собачьи. Вот и студятся. А бабы, глядя на них, плачут, вот, мол, сколь сладко нашим сынкам царскую-то службу отбывать. Чрез сие великий ропот идет промеж народа...

– Ну, это ты далеко шагнул, унтер, а по сути прав, прав, – вздохнув и печально покивав головой, сказал старик.

Лежавшие на дровнях больные, с посиневшими лицами, новобранцы тоскливо и растерянно посматривали на князя, с робостью умоляли: «Ради Бога, не оставь, барин... Умираем». А некоторые казались полумертвыми, остекленевшими глазами они безжизненно глядели в морозное небо.

– Повертывай за мной, – приказал унтер-офицеру князь Шаховской.

Возле главного крыльца госпиталя, куда подкатил в карете князь, стояло еще четверо дровней с умирающими и больными. Князь едва успел выйти из кареты, как к нему сбежали по ступенькам крыльца главный врач и комиссар.

– Это позорище, господа, – набросился на них Шаховской.

Больные и умирающие, услыша «заступление» за них, завывали с дровней, закричали:

– Погибаем, спасите, добрые люди!

Тогда главный врач и комиссар оба вдруг стали, торопясь, говорить Шаховскому:

– Ваше сиятельство, не извольте ходить дальше крыльца, у нас тут люди в жестоких лихорадках да в прилипчивых горячках. Ими не токмо покои, но сени наполнены. Сделалась великая духота, а окна по зимнему делу отворять не можно. Они не токмо один другого заражают, но и прислугу ввергают в болезнь. А посему присылаемые команды мы отсылаем обратно, чтоб не умножать на счет госпиталя численность мертвых.

Тут два подошедших от дровней унтер-офицера доложили князю: несколько человек уже умерли в пути, а иные, находясь в прежалком от стужи состоянии, замерзают...

– Вот что, – сказал взволнованный князь врачу. – Приказываю немедленно вывести из госпиталя на частные квартиры все посторонние службы, а в освободившееся помещение принять больных. Немедленно!

Врач и комиссар, кланяясь, ответили:

– Способа к тому, ваше сиятельство, никакого нет. Никто ни за какую цену, боясь заразы, не решается для сей цели уступить свой дом.

Князь вспомнил, что недалеко от госпиталя, на берегу Яузы-реки, имеется немалое деревянное строение, в коем помещалась дворцовая пивоварня, но в отсутствие ее величества производство напитков там ныне сокращено. Князь своей властью приказал: перевести прачечную и всех госпитальных служителей в пивоваренный дворцового ведомства двор. Приказ князя был исполнен.

Шаховской этим случаем поверг себя в печальные размышления: уж ежели в Москве обращаются с новобранцами хуже, чем с собаками, то что же в остальной России? Так вот куда подевались девятнадцать тысяч недостающих рекрутов!

Находящееся в Петербурге дворцовое ведомство, обиженное самочинством Шаховского и по проискам братьев Шуваловых, послало на него жалобу в сенат. А вскоре из Петербурга приехал к Шаховскому офицер и подал ему бумагу от начальника страшной Тайной канцелярии Александра Шувалова: «Ее императорскому величеству известно учинилось, что вы самовольно заняли в дворцовом пивоваренном доме те камеры, в коих для собственного употребления ее величества производятся пиво и кислые щи, и поместили в них прачек, кои со всякими нечистотами белье с больных моют...» и т. д., а в конце бумаги приказ: «Всех больных и прачек немедленно перевести из той пивоварни в дом ваш для жилья их, не обходя ни единого покоя в ваших палатах, а также и вашей спальни».

Князь Шаховской сразу заскучал. Он дал себе зарок никогда впредь не вступаться в милом своем отечестве за угнетенных и страдающих.

Действующая армия стояла тем временем на винтер-квартирах. Среди офицерства ходили упорные слухи, что бывший главнокомандующий Апраксин будет предан суду за государственную измену. Многие считали изменой неожиданное отступление после нашей победы при Гросс-Эггерсдорфском поле.

Огромный обоз с личным имуществом Апраксина стал грузиться для отправки в Россию. А месяца за два перед этим преданный графу Апраксину прасол Барышников, тот, что, сидя на возу, вел разговор с Емельяном Пугачевым о птичке-попугайке, повез в Петербург семь бочонков знаменитых селедок в дар графине и письмо графа к ее сиятельству.

Далее по поводу этих необычных селедок начинаются разные сплетни и домыслы. Будто бы граф сказал Барышникову :

– Вот тебе накладные, голубчик, вот тебе пропуска через заставы, сдай графине селедки в целости и письмо не утерай. Селедки превкусные, я их купил задешево.

Барышников катил на тройке, селедки сдал в целости, получил от графини благодарность. Графиня спросила:

– Неужели, голубчик, граф не вручил тебе письма на мое имя?

– Никак нет, ваше сиятельство.

Через три месяца приехал граф. Облобызав графиню, он прежде всего будто бы спросил:

– Ну как, вкусны ль селедочки?

– Очень замечательные, – ответила графиня, – последний бочонок доедаем.

Граф побелел, спросил:

– А мое письмо? А золото?

– Никакого золота не видела, никакого письма не получила.

Тут Апраксин будто бы выдохнул: «Ах он, мерзавец!» – и упал мертвым.

На самом же деле было несколько иначе. Графа Апраксина отозвали не в Петербург, а в Нарву и предали суду. Туда тайным образом приезжал «великий инквизитор» А. Шувалов снимать с него допросы. Следствие и суд тянулись больше года. Апраксина перевели поближе к Петербургу, в селение Четыре Руки, где во время допроса с ним приключился разрыв сердца.

А вскоре после его смерти на петербургском горизонте появился и стал действовать маленький безвестный человек из бедных посадских города Вязьмы – Иван Сидорович Барышников, впоследствии ставший большим и знатным.

2

В начале 1758 года столица Восточной Пруссии славный город Кенигсберг сдался без боя. Русские встречены были колокольным по всему городу звоном, на башнях и возле городских ворот играли в трубы и литавры, граждане стояли шпалерами в угрюмом молчании.

Емельян Пугачев ехал на каурой кобыленке, в тороках у него сухари и поросенок, закупленный им в попутном селении. Выставив из-под шапки черный чуб, он с любопытством глазел на красивый город, на чисто одетых жителей. А румяной девчонке с подобранными косами подмигнул и помахал шапкой:

– Эй, как тебя... Матреша! Вот и мы...

В Емельяне Пугачеве вдруг заговорило чувство патриота: город сдался без боя, значит – русская армия сильна. А ежели хитрый Фридрих иным часом и порядочно-таки накладывает русским, это от плохих начальников. Был главнокомандующим толстомясый «крякун» граф Апраксин, будто бы вором оказался, взятку взял, родине изменил – отозвали в Питер. Был главнокомандующим генерал Фермор, тоже не из притких.

Казачий отряд расположился на торговой площади против кирхи и ратуши с высокой башней. Было холодно, ленивый порошил снежок. Зажгли костры.

У Пугачева, пока он добывал огня, поросенка украли, а сухари он отнес в подарок бомбардиру Павлу Носову, старому другу и наставнику его по стрельбе из пушки.

К кострам приходили горожане – большей частью подвыпившие мастеровщина да мальчишки, садились у костров, что-то талалакали по-своему; но Емельян ничего не понимал. Делились табаком, приносили пиво, картофель, вяленую рыбу. Приходили подчас и женщины.

Подошла Матильда с этаким-этаким широким задом, должно быть, прачка; руки красные, моклыжки на пальцах стертые, на плече корзина. А с прачкой – девушка, голубые глаза блестят, и губки аккуратные. Надо быть, прачкина дочка. У дальних костров толпился народ, солдаты пели песни, плясали. А возле Емельянина костра остались только эти двое. Девчонка улыбается да все посматривает на Емельяна, все посматривает... А Емельян лицом чист, глаза веселые, кой-какие черные усишки стали пробиваться. Девчонка глядела-глядела, да и говорит:

– Ви ист дайне наме? (Как твое имя?)

– Исть дать вам?.. – переспросил Пугачев. – Да чего я вам дам, сам все съел... На вот! – и он, порывшись в вещевом мешке, подал девушке заваливающий ржаной сухарь.

Та затрясла головой и отстранилась, а толстозадая поставила корзину, взялась за бока и захохотала на всю площадь. Девушка, обращаясь к казаку, опять что-то залопотала не по-русски. Емельян мазнул пальцем по усишкам, прикинул в мыслях и ответил:

– Нетути, я не женат пока, я холостой. Хочешь замуж за меня?

Девушка переглянулась с матерью, улыбнулась и потупилась. Емельян от пива был совсем веселенький. Он подумал, что девчонка, пожалуй, непрочь бы выйти за него на небольшое время замуж: мужики все на войне, одно старичье осталось...

– Да вы садитесь, чего стоять-то... В ногах правды нет! – Сидя на брошенном у костра седле, он подтащил войлочный потник, раскинул его возле себя и вежливо потянул девушку к себе за край подола. – Садись, Настя, не бойся!

Та быстро нагнулась и с хохотом ударила Емельяна по озорной руке. Емельян, приятно всхрипнув, также захохотал и сказал толстой прачке, елико возможно поясняя свои слова жестами:

– А ты, мамаша, шагала бы отсюда прочь... Глянь – прешпект какой важнецкий, церковь Божья. Иди, пройдишь.

– Найн, найн, – затрясла головой прачка.

– Ну, най, так най... Черт с тобой, старая ведьма! – сказал Емельян с досадой.

В нем вдруг взыграла кровь донского степняка, он вскочил, вмиг облапил завизжавшую девушку, два раза чмокнул в щечку, а третий раз в уста. Но грузная прачка, хрипло заорав, дала ему такого леща по шее, что Емельян посунулся носом. И обе женщины с руганью побежали прочь.

С угла на угол сонно закричали караульные, залаяли сторожевые псы. От соседнего костра раздался смех.

– Эй, Омелька!.. Баба-то удалей тебя, ладно смазала, – скалил зубы проснувшийся казак.

Емельян потер шею, опять присел к костру, стрельнул смеющимся глазом вслед удалявшимся злодейкам, пробурчал:

– Погодь, погодь, немецкая корова.

Он вынул оселок, поплевал на него, стал натачивать саблю. Собаки смолкли, снова тишина. Редкий летел снежок. На площади сквозь мглу серели торговые будки и ларьки. Где-то через площадь высоко огонек мутнел. С башни ратуши плавно прозвучал серебряный звон – одиннадцать. Прошел быстрым маршем военный патруль. Казачьи костры погасли.

Емелька громко позевнул, поскреб пятерней густые волосы, привязал к ноге дремавшую свою лошаденку и, сладко улыбаясь грезам, завалился спать, седло в голову. Сны снились военные – топот копыт, барабан, звон сабель.

Пугачев жил весь в битвах. Жажда подвига, отвага, мечта о лихих наездах охватили его всего. Он мало думал о доме, о родных и совсем не думал о смерти. Он сжился с боевой обстановкой и чувствовал себя в ней как рыба в большой реке.

Его часть вскоре отозвана была из Кенигсберга на поле военных действий.

3

4 августа 1758 года русские войска подошли к Кюстрину и калеными ядрами в несколько дней сожгли почти весь город. Фридрих, находившийся возле Праги, кинулся на выручку крепости. Он тайком переправился чрез реку Одер ниже Кюстрина и этим маршем отрезал наши главные силы от корпуса генерала Румянцева, стоявшего в нескольких милях вниз по Одери.

Главкомандующий генерал Фермор снял осаду и, отойдя к деревне Цорндорф, расположился на выгодных позициях.

В девять часов утра 14 августа Фридрих излюбленным своим косым ударом напал на правое крыло русской армии, где стоял новонабранный корпус, люди которого хотя и были сильны, но еще не нюхали пороху. И все-таки они встретили шеренги прусских гренадеров дружным ружейным огнем, а русская конница, врубившись в ряды врага, принудила пруссаков попятиться. Русские успели забрать двадцать шесть неприятельских пушек.

Но тут приключилось несчастье. Русская многочисленная конница, со свистом и гиканьем вырвавшись из каре, подняла густейшую пыль, а сильный ветер, как на грех, дул в нашу сторону. Вторая русская линия сразу окуталась тучами пыли и дыма. Пыль залепила глаза, и – ничего не видать. Русские, залп за залпом, палили наугад, пули летели то в нашу конницу, то в нашу переднюю линию. Пользуясь удобнейшим случаем, прусский генерал Зейдлиц ударил всей своей кавалерией по русской коннице и опрокинул ее на нашу пехоту. Он сразу перепутал наши ряды, не стало ни фронта, ни линий, солдаты, разбившись врозь, дрались уже отдельными кучками. А пыль все гуще и гуще. Все стали незрячими. Еще минута, и русские перемешались с пруссаками. Стоном все застонало, началась резня.

А донские казаки, утекая, все еще оборонялись от кавалерии Зейдлица. Пугачев с азартом, с прикриком рубил и рубил. Он сбросил чекмень, потерял шапку, вот сабля его с силой ударила в чужое железо, сломалась, а кобыленка под ним зашаталась, осела и рухнула. И быть бы ему растоптанным стальными копытами вражеской конницы, но спасла его все та же непроглядная пыль. Ага, вот оно дерево, осокорь! Укрывшись за деревом, он мигом припал на левое колено и крепко упер в землю древко пики, прикрученной к правой руке выше локтя, а стальным острием ее и зорким глазом караулил врага, как зверолов медведя. Пред ним темной метелицей клубились пыль и дым, мимо него, гремя доспехами, скакали прусские всадники. Звяк, топот, хряст, выстрелы – и пика поймала вынырнувшую из пыльной завесы чью-то грудь. «О, майн Гот!..» – и проткнутый прусский всадник упал. Пугачев разом к его коню, разом в седло, и куда-то понес его испугавшийся конь. Все это было делом минуты. Ружейные выстрелы, пушки гремят, крики, ругань, команда...

На правом крыле, где новобранцы, бой продолжался. Был полдень. Яркое солнце било прямо в глаза русским воинам, солнце слепило их. Под натиском сильнейшего врага новобранцы дорого продавали свою жизнь: падали, умирали, но не сдавались и не помышляли о бегстве. Но в конце концов пруссаки их смяли.

Во втором часу дня Фридрих приказал атаковать и левое крыло русской армии. Тут пруссаки наткнулись на закаленные боевые полки. Бравый кирасирский полк первый принял на плечи удар врага. Сухощавый длиннолицый полковник Петр Дмитриевич Еропкин отважно бился в первых рядах. Обок с ним богатырски рубил длинным палашом дважды раненный и не бросивший фронта молодой офицер Григорий Орлов.

Дружный ружейный огонь, молодецкая контратака ошеломили врага, и, потеряв мужество, враг вскоре побежал врассыпную. На глазах удивленного короля русские гнали пруссаков в болото, в трясины, поражая без милосердия. Сам король очутился в крайней опасности: почти вся свита его была побита,

поранена, король ускакал, а флигель-адъютант короля, граф Шверин, взят в плен.

На левом крыле наша победа была очевидна.

Вдруг примчалась конница Зейдлица. Опрокинутые, спасавшиеся бегством пруссаки ободрились, их пехота снова бросилась вперед, завязалась упорная битва.

Русские пушки работали метко, ядра и бомбы врывались в гущу наступающих пруссаков.

– Пушка горячая, вашблагородие, дать бы остыть, – предупреждал Павел Носов подоспевшего офицера Григория Орлова. – Подряд двенадцать разов палили... Как бы не хряпнула.

– Черт с ней... Дуй тринадцатый!

– Ой, разорвет...

– Дай-ка я наведу, – и отважный Григорий Орлов, раненный в руку и ногу, сдерживая острую боль, подбежал к пушке.

Горячий бой гремел по всему фронту с переменным успехом. Русские войска упорно сопротивлялись численно превосходящим пруссакам. Особенно отличались наши мушкетерские полки. Третий мушкетерский под командой Бибикова потерял в бою почти всех офицеров и много солдат. Юный поручик Михельсон был тяжело ранен штыком в голову. С обеих сторон потери были огромны.

Пугачев с казаком Семибратовым вез в тороках, как в люльке, старика-генерала Броуна, получившего семнадцать ран. Множество санитаров с носилками непрерывно подбирали изувеченных воинов.

Солнце меркло, садилось, а бой все гремел.

Поздний вечер. Обе стороны расстреляли весь порох, дрались врукопашную. Штыки, сабли, приклады, ножи – все было пущено в ход. Душили один другого руками, в кровь царапали лица, грызлись, как звери. Все люди как бы посходили с ума.

Но вот прихлынула тьма. А вместе с ней нечеловеческая ярость бойцов начала резко выдыхаться: воля парализовалась, мускулы потеряли силу, веки враз отяжелели, бойцов охватила какая-то дурманная, необоримая сонливость. Сражение всюду стало само собой стихать. Вконец ослабевшие противники, прерывая ожесточенную драку, с закрытыми, как у лунатиков, глазами, падали там, где захватила их ночь. И почти сразу же крепко засыпали. Живые валялись в темноте вперемежку с мертвецами, русские – с пруссаками. Над страшным ночлегом носились бредовые выкрики, вопли, неестественный хохот, визг. Люди, ополоумев, вскакивали, махали руками: «Коли! Пли! Ур-р-ра!» – и снова валились на политую кровью луговину.

Главные силы обеих армий всю ночь простояли под ружьем. Солдаты, кой-как поужинавши сухарями с водой, всю ночь не смыкали глаз: враг рядом, а Фридрих коварен, хитер. Павел Носов сидел па лафете пушки и, чтоб не сборол сон, тихонько мурлыкал солдатские песни. А Емельян Пугачев и не слышал, как заснул. Его разбудила утренняя зоревая пушка.

Ночь прошла. Стали бить зорю. Солдаты по своим частям вместе со священниками и дьячками пели утреннюю молитву. Вновь начались небольшие стычки с неприятелем.

Никто не мог решить, кому же принадлежит победа. Весь штаб советовал Фермору дать немцам бой: русская армия сильна, солдаты только-только «вошли во вкус»... Но Фермор, струсив, приказал отступить. Русские стали отходить не спеша и в полном порядке. Фридрих преследовать их не отважился: у него не было пороха, люди и кони его утомились. Он ушел в Кюстрин.

И опять стали роптать у костров младшие офицеры и солдаты:

– Лютеранин... немец... Подкуплен... Какой он командующий! С корпусом Румянцева не сумел соединиться. А всю армию построил встреч ветра, против солнца и едва всех не погубил. Изменник!..

Слово «измена» звучало в русской армии с самого начала войны. И не без основания.

Пружины, нажатые в Петербурге английскими посланниками Уильямсом и Кейтом, действовали вовсю. В дело измены родине были возвращены фельдмаршал Апраксин, друг и поклонник Фридриха II граф Головкин и другие. Фридрих получал нужные ему сведения и от прочих лиц, проживавших в Петербурге: от своей сестры принцессы Оранской, саксонского резидента Функе, шведа Горна, курляндца Мирбаха, голландского посланника ван Сварта, пользовавшегося, через попустительство Бестужева, наибольшим доверием русского двора.

Все эти предатели, а с ними и множество других, были подкуплены английским и прусским золотом.

И лишь наследник русского престола великий князь Петр Федорович действовал в качестве прусского шпиона безвозмездно, ради преклонения пред Фридрихом II, ради презрения к России. Иногда присутствуя на заседаниях военной конференции, он все ее военно-тактические планы с поспешностью пересылал в ставку Фридриха, который таким образом узнавал их раньше, чем русское командование.

Сотня, где был Пугачев, получила задание конвоировать наших раненых офицеров в город Кенигсберг. Расставаясь с Пугачевым, старый служака Павел Носов сказал:

– Ну, бывай здоров, сынок! Не ведаю, доведется ли свидеться. Уж больно свирепа война-то, чуешь. Ох, Господи, прости... Как бой – ничего, притерпишься. А как оглянешься назад, – по спине мурашки. И глянь – какие храбрые, сукины коты, стрель их в пятку!.. Что наши солдаты, что немецкие. Да не отстают и господа офицеры. Хоша бы взять Григория Григорьевича Орлова. Чем не орел? По всем статьям – ирой!

4

Мелкопоместных дворян Орловых было пять братьев. Блистательной славой при дворе пользовался Григорий Григорьевич Орлов.

Двадцатипятилетний силач, красавец, он вел жизнь, полную разгула и веселости. В прусской войне, в ожесточенной битве при Цорндорфе, офицер Григорий Орлов удивил войска неустранимой своей храбростью, равнодушием к опасностям, азартной игрой в смерть и в жизнь. Он получил в бою три ранения, но все-таки остался жив и не покинул своего поста.

В той же битве взятый в плен адъютант прусского короля граф Шверин в марте 1759 года перевезен в Петербург. К соблазну многих, ему отвели только что отстроенный великолепный дворец Строганова у Полицейского моста на Невском; вообще, он чувствовал себя в России не как военнопленный, а как «знатный иностранец».

Великий князь Петр принял графа Шверина с распростертыми объятиями, вместе с ним бражничал, открыто катался по городу. Петр однажды сказал ему:

– Я считал бы первейшей честью для себя служить в армии великого полководца короля Фридриха.

– Если будет позволено вашим высочеством, я почту за особое счастье довести о сем до сведения его величества, моего владыки, – воскликнул Шверин, с изумлением уставившись в наивно веселое лицо Петра.

– Нет, – чуть задумавшись, ответил Петр, – пусть это останется между нами. А впрочем... И знаете что, дорогой мой граф? Если б я был императором, вы не были бы военнопленным.

Бывший адъютант Фридриха II граф Шверин облобызал руку наследника русского престола.

Григорий Орлов тоже возвратился с театра войны в Питер, был в звании пристава причислен к графу Шверину и, вместе с графом, начал бывать при малом дворе, где впервые встретился с великой княгиней Екатериной Алексеевной, женой Петра Федоровича, наследника престола. И сразу же подпал он под неотразимое обаяние молодой княгини.

В следующем, 1760 году, он уже артиллерийский поручик и личный адъютант генерал-фельдцейхмейстера, самого блестящего из русских вельмож графа Петра Шувалова, двоюродного брата Ивана Ивановича Шувалова, всесильного фаворита царствующей императрицы Елизаветы.

Ветренный Орлов к прелестницам никогда равнодушен не был. Он верен своей натуре остался и теперь. Как только сделался адъютантом Шувалова, нимало не смущаясь, тотчас же впал в блуд и отбил у своего сиятельного начальника любовницу, известную по красоте и развращенности княгиню Елену Куракину. С графом Петром Ивановичем Шуваловым от сего приключились скоропостижные немощи: геморрой, колики, кровавый понос и трясавица. И если б не тайное заступничество великой княгини Екатерины Алексеевны, падкому на любовь Григорию Орлову грозили бы неисчислимые невзгоды.

Ноябрь. Темная ночь. Мокрая с холодом непогодь. Нева злится. Небо черное, мрачное. Скрипят на Невском редкие заправленные маслом фонари. Будочки с алебардами топчутся возле своих будок, дуют от холода в пригоршни, сердито покрикивают в тьму: «Эй, кто идет? По-да-а-льше!»

Санкт-Петербург спит. Только у Григория Орлова на Малой Морской в окнах свет, парадная дверь настежь, дом полон гостей.

В двух первых комнатах молодые офицеры, сослуживцы Григория Орлова, режутся в карты. В третьей,

где кабинет хозяина, веселый шум, взрывы раскатистого хохота: Григорий и Алексей Орловы рассказывают гостям похабные анекдоты. Тут были: капитан Преображенского полка Бредихин, измайловцы – два брата Рославлевы, Ласунский и прочие. Все молодежь. В коротких перерывах раздаётся:

– Митька, трубку! Митька, трубку!

Проворный казачок в голубой рубахе и сафьяновых сапогах с загнутыми носами то и дело подает гостям курящиеся трубки с длинными, в полтора аршина, черешневыми чубуками. Весь кабинет набит густыми клубами табачного дыма – едва мерцают в канделябрах огоньки.

Только что вошедший со свежего воздуха капитан преображенец Пассек принялся от адского дыма чихать и кашлять:

– Фу-фу... Да что вы, черти, как надымили! Ну чисто на прусской баталии у вас... Митька, трубку!

Его последние слова были приняты в хохот.

Григорий Орлов сказал:

– Что ж, прусский дух нам должен быть зело приятен: хоть и воюем с пруссаками, а между прочим они нам не враги...

– Как так? – приподнял густые брови Пассек.

– Не притворяйся, голубчик, дурачком, – продолжал Орлов по-французски, чтоб не понял казачок. Он говорил на чужеземном языке неважно, с запинкой, не вдруг подбирая слова. – Матушке государыне Елизавете надлежит скоро к праотцам переселиться, а будущий император наш, всему свету ведомо, почитает Фридриха Второго своим другом и во всем подражает ему.

Пассек подергал пальцами вправо-влево свой мясистый длинный нос, что-то пробурчал и устало повалился на турецкую кушетку. Он высок, широкоплеч, грузен, выражение лица приветливое, умное, носит парик, большой щеголь, часа по два проводит у зеркала. Как и большинство офицеров – картежник.

– Да-да, братцы-гвардейцы, – сказал густым басом верзила и силач Алексей Орлов. У него вдоль левой щеки глубокий сабельный шрам, нанесенный в пьяной драке лейб-компанцем Александром Ивановичем. – Приходит нам всем, гвардейцам, неминуемая беда. Великий князь нашу гвардию янычарами считает. Не кем-нибудь, а я-ны-ча-рами, ха-ха!.. И грозит унять.

– Хуже, – перебил его Григорий. – Недавно его высочество изволил выразиться так: «Гвардейцы только блокируют резиденцию, они не способны к военным экзерцициям и всегда для правительства опасны».

– Дурак, а умный, – кто-то неестественным голосом проквакал от печки и, сипло перхая, захихикал.

– Кто-кто дурак? – и все, широко улыбаясь, повернули головы в темный угол, к печке.

– А я знаю, про кого его сиятельство сказали: дурак, а умный, – прозвенел из полумрака веселый голос казачка. Мальчонка успел нализаться сладкого вина из опорожненных бутылок, не в меру стал развязен, сыпал табак мимо трубок, натыкался на мебель. – Это про великого князя... сказано.

Все громко, как грохот камней, захохотали, дым дрогнул, и дрогнули стекла. Из соседней комнаты на взрыв смеха прибежали Хитрово, семнадцатилетний вахмистр Потемкин и еще двое офицеров. Тоже принялись невесть чему хохотать. Хохотал за компанию и курносый Митька.

Григорий Орлов нахмурился и постучал в пол трубкой.

– Митька, – сказал он, – я тебе, мизерабль несчастный, до колен уши оттяну, я тебя завтра же продам на рынке, как курицу, а замест тебя арапчонка куплю. Пшел вон!

Казачок всхлипнул, стал тереть кулаками глаза и, пошатываясь, побрел к двери. Всем сделалось жаль маленького Митьку.

– Устами младенца сам Бог глаголет, – заметил капитан Пассек и подмигнул Митьке в спину.

– Эти боги на кухне околачиваются, – возразил Алексей Орлов, – денщики, да солдаты, да торговцы из мелочных лавчонок, сиречь – простой народ. Видали, господа? Это очень примечательно.

– Митька! – крикнул подобревший хозяин. – Встань передо мной, как лист перед травой...

Полупьяный, с воспаленными глазами, казачок выскочил из-за портьера и повалился в ноги хозяину.

– Я вижу, подлец, что у тебя в безмозглой башке творится. Я тебя насквозь вижу, – притворно запугивал он Митьку, грозя пальцем. – Встань! И ежели ты, петух щипаный, еще хоть раз скажешь или только подумаешь, что его высочество великий князь дурак, я тебе, знаешь, что сделаю?

– Зна-а-ю, – виновато хныкал Митька.

Все прыснули. Человек у печки подавился смехом и закашлялся. Митька ушел.

Григорий Орлов прикрыл за ним дверь и тихо, но с разжигаящими жестами стал говорить:

– Эх, братцы-гвардейцы. И какой это, к чертовой матери, великий князь. Наши войска гибнут в прусской войне тысячами. У государыни Елизаветы слезы не просыхают от наших потерь, а рекомый русский великий князь радуется и похваляется, что он истый пруссак... А перстень носит с рожей короля Фридриха. Срам, друзья, срам...

– Вот этими своими ушами слышал! – громогласно закричал Алексей Орлов, но Григорий погрозил ему пальцем. Алексей сбавил голос: – Когда наши наклали немцам при Гросс-Эггерсдорфе, великий князь проклинал храбрость русских и с горя нажрался пьян как стелька...

– А вы ведаете, что есть пьяный великий князь? – подхватил Григорий Орлов и, запахнувшись в бухарский халат, стал взад и вперед вышагивать по кабинету. – Когда он нажрется красного вина да пива со своими голштинцами, он буйствует, ругается, как конюх... Обнажает шпагу! А кому от него больше всех тягостей? Разумеется, великой княгине. Уж мне ли не знать!

Все поглядели на него с надеждой, завистью и тревогой. Грузный Пассек перевалился на кушетке с боку на бок, язвительно сказал:

– Этот самый Карл-Петр-Ульрих из Голштинии, сиречь Петр Федорыч, смею молвить, разумом зело скуден. Ведь ему тридцать три года стукнуло, а он много дурашливей Митьки-казачка... Хотя бы эта игра в солдатики... Эта казнь крысы по законам военного времени... Позор!

Григорий Орлов и гости стали пить вино, жженку, шампанское. Пили с печалью, с раздражительным задором. Вино не веселило, вместо бодрой радости растекалась по жилам горечь.

– Да оно и понятно, господа, – желчно начал Пассек. – Ведь он же круглый неуч, только и всего, что на скрипке пиликает, да кадрили хорошо пляшет, да ногами прусскую муштру горазд откалывать. Что он читает? Ничего.

– Как ничего? Ошибаетесь, капитан, – прозвучал из темноты, от печки, все тот же насмешливый голос, неизвестно кому принадлежащий. – Недавно он купил полвоза лютеранских молитвенников. А еще уважает читать кровавые сказки про разбойников. Вместе с метрессой своей Марфуткой Шафировой...

– Но ведь ныне при нем... – начал было молчавший до сего капитан Бредихин и осекся.

– Не смущайтесь, не смущайтесь, Бредихин, – и из-за печки вылез князь Михаил Иванович Дашков, муж молоденькой Екатерины Романовны Воронцовой, бывшей в дружбе с великой княгиней. Он вынул

золотой с бриллиантами портсигар, достал заграничную сигару и от свечи закурил. – Вы хотели сказать, Бредихин, что великий князь путается ныне с моей свояченицей – с сестрой моей жены, с Лизкой Воронцовой? Ну что ж, всем сие ведомо, и... дуракам закон не писан... Словом, вкус у великого князя ничуть не лучше, чем у самого последнего капрала. Я Марфутку Шафирову весьма довольно знаю: костлявая, тощая, шея, как у цапли. Да и Лизка не лучше: словно телка холмогорская, толстая. И неряха. От нее всегда потом пахнет, как от козла. Фи! Ни дать ни взять – трактирная служанка. И в придачу – дура набитая. Ну, стало быть, два сапога пара – она да князь. А я милости у них не ищу, я ничего не ищу у них. А она, дура, черт знает о чем мечтает... Она, тетеха, мечтает ни больше ни меньше, как быть российской императрицей! – выкрикнул Дашков, с маху швырнул сигару на пол и, сердито отдуваясь, снова залез за печку.

Растерявшиеся гости не знали, как отнестись к резкой вспышке старшего товарища. В неловком молчании чокнулись, выпили.

Князь Дашков снова вылез из своего темного убежища. Ему хотелось высказаться до конца.

– И уж кстати, – начал он, насупив брови и глядя куда-то вбок. – А чего ради у нас такие потери на войне, почему нас иногда жестоко бьют? Да очень просто... Измена. Шпионаж. Вот смотрите: английский посланник Кейт – шпион, голландский ван Сварт – шпион, наш русский генерал Корф со своей любовницей – шпионы. И прочие, и прочие. Все они служат прусскому королю, все подкуплены прусским золотом, кроме нашего великого князя, который состоит шпионом Фридриха задаром.

– Не может быть! – все закричали в один голос.

– Говорю доверительно... Можете не верить, господа, это поистине чудовищно, но это так. Кейт всегда сообщает великому князю все новости с театра войны, разумеется – блюдя прусские интересы, а великий князь передает ему сведения о нашей армии.

– Тьфу! – с остервенением плюнул хозяин и по-солдатски обругался.

Кто-то из облаков табачного дыма уныло изрек, вздохнув:

– И это будущий самодержец Российской империи...

– Ну, сие еще бабушка надвое сказала, – загремел Алексей Орлов, потягивая горячую жженку. Он вспотел, шрам на его лице раскраснелся.

– Этот чужак плюет на всех нас, – учащая свой шаг, в раздражении сказал хозяин, его взгляд стал зол и быстр. – Плюет на всю Русь, на религию, на все обычаи наши. А наипаче на гвардию. Он рад живьем нас слопать, да государыни побаивается. Словом... Надо как-то... Надо как-то позаботиться, господа, и о своих головах. – Последняя фраза была сказана не громко, но столь выразительно, что прозвучала в сердце каждого как боевой призыв.

Послышалось злобное покашливание, нервный звяк шпор. Младший женоподобный Рославлев стал тихонечко высвистывать воинственный мотивчик. У Бредихина дьявольски ныл зуб. Хватаясь за вспухшую щеку, он сказал:

– Ха! Гвардию уничтожить, гвардию уничтожить... Легко сказать. Гвардии десять тысяч. А у него кто? Голштинского сброда тыщи две-три... – Он приподнялся за столом и взял на больной зуб водки.

Григорий Орлов, не ответив на слова Бредихина, прислонился спиной к изразцовой, в синих голландских пейзажиках, печке, закинул руки назад, полы халата повисли.

– И возьмите во внимание, – засверкал он большими, покрасневшими от частых кутежей глазами, – сей ублюдок день ото дня становится наглей. Раньше свою голштинскую форму с прусским орденом

Черного Орла он позволял себе носить у себя в покоях, а теперь только в ней и щеголяет. Ха!.. А вместо гвардейской формы вашей, установленной великим Петром, вводятся, как вам ведомо, прусские разноцветные мундирчики в обтяжку с бранденбургскими петлицами. Ха! Ха!

Атмосфера накаливалась. В лицах гостей – напряжение, глаза озлоблялись. Наступило гнетущее молчание. Но чувствовалось, что тишина вот-вот взорвется. И вдруг, как из тучи гром:

– Действовать! – выпалил силач-рубака Алексей Орлов и, притопнув, вскинул кулаки. – Действовать, действовать, братцы, надо. Действовать, пока не поздно...

– Но как, как? – привстав на кушетке, пожимал мясистыми плечами рослый Пассек. – Ежели имеешь план, скажи... Как?

– Ребята, слушайте меня, – низким басом протрубил Григорий Орлов. Он запрокинул голову, касаясь затылком печки. – Мы здесь люди свои, каждый за каждого поручиться может. Обстоятельства таковы... Не от себя, не от себя говорю вам. Вы понимаете меня, ребята? От причуд этого шута венценосного наипаче страдает великая княгиня (Григорий на мгновение смежил глаза, представил себе облик Екатерины Алексеевны). И по величайшему секрету вам: у Петра Федорыча в голове решено и, как говорится, подписано: коль скоро станет он самодержцем, жену немедленно заточит в монастырь, а в государыни возведет Елизавету Воронцову... (– А не я ль вам говорил?! – спросил из-за печки князь Дашков.) Да, да. А сына Екатерины, Павла Петровича, лишит законного права на наследование престолом. Чуете, ребята? А нас, дворян российских (он впился в распахнутые полы своего халата и потряс ими), а нас, дворян, рекомый сатрап турнет ко всем чертям и замест вас призовет пруссаков с голштинцами, как уже призвал двух голштинских дядьев своих. Вот вам истина, если хотите. Под клятвой подтвердить могу...

Взволнованные гвардейцы нервно кусали губы, вгрызались в чубуки, зябко вздрагивали. Перед ними вставали судьбы родины, в мыслях подымались мрачные вопросы, кровно задевавшие их как представителей родовитого дворянства.

Григорию Орлову жарко от печки, от вскипевшей крови. Сбросил халат, вновь стал мерно вышагивать по комнате. В белейшей, в плиссе и кружевах, сорочке, заправленной в короткие, цвета сирени, панталоны и перехваченной по талии чеканным серебряным поясом, он широкоплеч, высок и строен. На сильных, с большими икрами ногах шелковые светлые чулки и бархатные туфли с высокими каблуками. Взволнованные гости невольно залюбовались и его великолепной, как изваяние отличного скульптора, фигурой, и величественной поступью, и красиво очерченным, вызывающе смелым, выразительным лицом. Они были влюблены в Григория Орлова – и гости и братья его.

– Итак, – продолжал хозяин, по-умному подчеркивая нужное жестами и голосом, – великой княгине угрожают беды, дворянству – неисчислимы невзгоды, престолу российскому – потрясения, а в перспективе всей родине нашей – мрак. Что ж нам делать, друзья мои? – Он поджал губы, обвел гостей взором вопросительным и шумно задышал.

Молчали. Ждали подсказа от хозяина. Только Алексей Орлов не сдержался, выкрикнул:

– Дерзать!.. Вот что делать. Действовать!

Григорий Орлов движением руки и холодной улыбкой остановил горячность брата и стал говорить, торопясь и задыхаясь:

– Великий князь вместе со своими надменными голштинцами презирает великую княгиню, презирает все русское. А великая княгиня русский народ любит и славой российского оружия дорожит. Она чаёт, что на ее защиту встанут офицеры гвардии и войско, она также полагает найти опору и в публике... – Вдруг он спохватился, нахмурил брови, отрицательно затряс головой: – Нет, нет... Клевету на нее. Этого желания

я из ее уст не слышал и вам о нем не говорил. Ее высочество лишь обретается в сугубом унынии и день и ночь. Ее высочество зело скорбит, однако к ограждению покоя своего никаких мер принимать не тщится, во всем полагаясь на произволение Божие...

Невидимка Дашков на два смысла улыбнулся. Григорий Орлов ныряющей походкой приблизился на цыпочках к двери в соседнюю комнату, без шума закрыл ее, прижался к ней спиной. Его лицо стало таинственным, дугой изогнутые брови поднялись, он подался корпусом вперед и, глядя в глаза капитану Пассеку, зашептал:

– Ребята, а знаете что? Государыня Елизавета почитает Петра Федорыча неспособным к правлению страной, что он не достоин-де занимать трон. Ее величество изволили выразиться про него: «Племянник мой урод, черт его возьми!» Ее величество склоняется назначить своим преемником малолетнего Павла Петровича. Да и сама великая княгиня Екатерина будто не раз говаривала датскому посланнику барону Сетей, что она предпочитает быть матерью императора, чем супругой его. Поняли, ребята? – громко закончил Григорий Орлов и посверкал на всех глазами. – Ну а дальше что? Как вы, ребята, себе мыслите? Император малолетний Павел, при нем регентшей Екатерина – мать. А Голштинского выроodka, Петра, куда? – Он скрестил руки на груди, поджал полные губы и выжидательно стал раскачиваться корпусом.

– Время покажет, – раздумчивым тоном промолвил Пассек.

– Ха, время, – с ехидством улыбнулся хозяин, брови его изломились в гневе. – Вот мы, русские, всегда так. Авось, да небось, да как-нибудь. Ну что ж, время так время. – Он легким шагом приблизился к столу, выпил чарку водки, крикнул, съел груздок. – Все ж таки солдатам, ребята, надлежит помаленьку внушать, остороженько, с умом... Только на это денег треба, а денег у нас черт ма. Нету!.. Эх, черт, не везет нам... – Ударом ноги он опрокинул расшитый шелками каминный экран, устало опустился на кушетку, подпер ладонью голову с завитым в букли припудренным париком и закрыл глаза.

Гости поняли – хозяин утомился, пора по домам. Слышно было, как черный ветер лижет окна, с визгом врывается в печную трубу, гонит по улице сорванный с крыши железный лист. С Петропавловской крепости ударила пушка – прибывает вода в Неве. Английские куранты в глубине кабинета пробили три часа и стали бредить-вызванивать серебряную пьеску. Подвыпивший Алексей Орлов от нечего делать сидел у печки, возился с железной кочергой. Мало-мало попыхтев над ней и запачкав руки, он связал из кочерги, как из веревки, узел. Все взирали на его работу с удивлением.

Вдруг, сломав угрюмую тишину, с тавризского, увешанного старинным оружием ковра, что прибит над кушеткой, сорвался проржавленный средневековый топор. Он стукнулся торчком в тугую спину согнувшегося Пассека, затем перепрыгнул в колени дремавшего Григория Орлова. От неожиданности все вздрогнули, переглянулись. Григорий Орлов боднул головой и гадливо отшвырнул топор, его сонные глаза расширились, лицо побелело.

– Топор... Топор... – с глухим хрипом сказал он. – Что сие значит, господа?

– Ничего не значит, – отозвался из-за печки голос. – Выскочил гвоздик. Вот и все. – Сказав так, князь Дашков выпростался на свет Божий, поднял топор, подслеповато присмотрелся к нему и сказал с ухмылкой: – Эх, топорик, топорик... Вот смотрю на тебя, а на язык просятся жестокие слова временщика Бирона. Проклятый палач сказал: «Русскими должно повелевать кнутом или топором». Но ради чего до сих пор уцелела на плечах его собственная башка – не ведаю и немало тому дивлюсь.

Глава III

Большое Кунерсдорфское сражение

1

Генерал Фермор вскоре после Цорндорфской битвы от главного командования был отстранен. В Кенигсберг прибыл новый главнокомандующий, граф Петр Семенович Салтыков. Старичок маленький, простенький, седенький, он гулял по улицам города в скромном белом, украинских полков, кафтане без всяких побрякушек и пышностей, его сопровождали всего лишь два-три человека свиты. Кенигсбергцы дивились, как этой «беленькой курочке» доверили командовать «столь великой армией». Но вскоре слава о нем разнеслась повсюду.

Летом 1759 года русские войска стали лагерем в четырех верстах от города Франкфурта, что на реке Одере, у деревни Кунерсдорф. Здесь 1 августа произошло самое крупное, самое кровопролитное за всю Семилетнюю войну сражение.

Армия заняла холмистую местность на северо-восток от Одера. Деревня Кунерсдорф находилась в середине расположения войск.

По всему русскому фронту версты на три – цепь костров. Заря давно погасла, в небе стоял белесый месяц, мигали звезды. Деревня Кунерсдорф была пустынна: все жители, страшась предстоящей битвы, скрылись в леса. У костров солдаты ели кашу, кой-где пели песни и плясали. Иногда слышался дружный хохот. Приблудные собаки, весело влаивая, перебежали от костра к костру. Многие из псов жили при армии года по два, по три, они делили с войсками все ужасы похода и доставляли солдатам немалые развлечения и радость.

Полковник 3-го мушкетерского полка Александр Ильич Бибилов стоял на лысине кургана. Прислушиваясь к звукам обычной лагерной жизни, он окидывал грустным взором и чуждый небосвод, и укутанную голубоватой полутьмой чужую землю. Ведь завтра на всем этом обрамленном кострами пространстве, вместо песен и смеха, загремит кровопролитный бой. И эти песенники, и эти бесшабашные плясуны, может быть, первыми сложат здесь свои головы. Взволнованный Бибилов взглянул в сторону далекой своей родины, прерывисто вздохнул и, вынув пенковую греческую трубку, пошел к ближайшему костру, чтобы закурить от уголька.

У костра былолюдно, весело. Мушкетеры – народ средних лет и молодые – слушали старого солдата Никанора из Олонецкого края. Он грубыми кривыми пальцами звонко играл на небольших походных гусях и сиплым голосом вел былинку про Илью Муромца. Старые, замызганные, со следами огненных угольков от костра, эти гусли принадлежали еще деду Никанора, солдат дорожил ими. В его торбе были икона, гусли и в тряпочке щепоть родной земли.

Многие солдаты возили с собой, как нечто самое святое, родную землю.

Все с любовью посматривали в беззубый рот старого сказителя, на его обвисшие щеки и напряженные морщины на вспотевшем лбу.

Молодой офицерик Михельсон, коротавший время у костра, увидав подходившего Бибилова, вдруг вскочил и скомандовал:

– Смирно!

Все поднялись и – навтыяжку.

– Вольно, ребята, – мягким тенористым голосом сказал полковник, щуря от света внимательно глядевшие карие глаза. – Ну как? Воюем завтра, братцы?

– Воюем, вашскородие, – в один голос ответили солдаты.

– Смотрите, жарко будет... Сам Фридрих здесь, – сказал, улыбаясь, Бибииков.

– Нам это нипочем, вашскородие, – заговорили солдаты. – Фридрих ли, алибо кто другой.

Все стояли, сидел один лохматый Шарик и, поглядывая в продолговатое, с высоким лбом, добродушное лицо Бибиикова, мел хвостом землю.

– Помните, братцы, – продолжал Бибииков, попыхивая трубкой. – В бою поглядывай друг за другом, береги товарища. В случае опасности не прозевай выручить. Не бойся! Начальство слушай, да и сам мозгами шевели.

– Да уж охулки на руку не положим... Поди, не впервой!

Темно-бронзовые от загара лица солдат были бодры, голоса звучали уверенно. Бибииков с радостью подумал: «Ну и молодцы, Русь сермяжная. С такими весь свет штурмовать можно».

– Ну, спокойной ночи, братцы! Поди, и спать пора, – проговорил Бибииков. И, обратясь к Михельсону: – А ну, господин поручик, пройдемся.

Быстроглазый круглолицый Михельсон шагал рядом со своим полковником.

– Ну, дружок Иван Иванович, как живешь? Что из деревни пишут? Ну, как голова? Болит?

– Нет, господин полковник, – по-юношески звонким голосом ответил Михельсон и потрогал глубокий шрам на голове от штыковой раны, полученной им под Цорндорфом. – Боли особой не чувствую, а в ушах шумит. И бессонница порой...

– То-то же... Поберегать себя надо, дружок. Который тебе год?

– Девятнадцать скоро.

– Юн, юн. Поберегай, мол, себя-то, на рожон не лезь. Храбрость без ума недорого стоит.

– Сладить с собой не могу, господин полковник. Война для меня – как вода для рыбы. Я для войны рожден. И как бой – все позабываю. В чувство прихожу лишь после боя. Я смерти не боюсь, господин полковник.

Взобравшись на бугор, они шагали взад-вперед возле палатки Бибиикова.

– Господин полковник, – заговорил Михельсон, – а верно ли, что у Фридриха наемные войска?

– А ты не знал? – поднял брови Бибииков и взял молодого человека под руку. – Это нам еще в Петербурге было ведомо. У Фридриха рекрутского набора нет. Он большую часть своего войска вербует через помещиков из их же крепостных, либо из городских голодранцев. А четверть его солдат вербуются из всякого заграничного сброда: тут тебе и швейцарцы, и голландцы, англичане, испанцы, французы да всякого жита по лопате.

– Удивляюсь, – пожал плечами Михельсон. – Чего же ради они столь храбры, весь этот сброд?

– А пуля офицера в спину трусу, а палки, а шпицрутены?.. И поверь, дружок Иван Иванович, долго ли, коротко ли, Фридрих напорется на русские штыки, и от его военной славы только чад пойдет. – Бибииков был взволнован, говорил приподнятым голосом и все больше и больше ускорял свой шаг.

– Я тоже так мыслю, – охотно согласился с ним Михельсон, его круглые щеки порозовели.

Костры один за другим угасали, звуки тушевывались, меркли. Лагерь погружался в сон.

– Ну, прощайте, голубчик. Идите спать. Давайте-ка поцелуемся, – и Бибиков по-родственному обнял растроганного Михельсона. – Значит, Фридриха завтра бьем?

– Бьем, господин полковник.

2

Меж тем скороспешный Фридрих поднялся в два часа ночи, сигнальными ракетами разбудил свою армию и сразу двинул ее в поход.

Сухощавый, несколько сутулый, с прямым длинным носом, небольшим строгим ртом, острым подбородком и огромными темно-синими глазами, оживлявшими мускулистое загорелое лицо, Фридрих, объезжая полки и батареи, громким, мужественным голосом кричал:

– Солдаты! Поздравляю с походом. В бою назад ни шагу. Умри, но победи. Ваш король всегда среди вас... Вперед!

Ближняя дорога лежала через лес и крутые горы, разделявшие обе армии. Чтобы не утомить солдат, он повел их в длинный обход и появился на виду у русских только около полудня.

Не дав русскому командованию опомниться, а своим солдатам отдохнуть, он решил быстро напасть на левый русский фланг и начал строить части своих войск, стягивая их к перелескам.

На левом крыле стоял князь Голицын с «новым корпусом» из молодых солдат. Поперечная линия, обращенная непосредственно против врага, за теснотой места состояла лишь из двух полков.

Затрубили трубы, забили вражеские и русские барабаны, заиграли оркестры. Шеренги прусских гренадеров, выйдя из леса, устремились в лог, чтоб сбежать затем в глубокий овраг.

– Батареи! Огонь картечью!..

Бомбардир Павел Носов с горящим смоляным факелом подскочил к своей пушке.

Многочисленные батареи метко разили бежавшего на русских врага. Но враг, пополняя убыль все новыми и новыми шеренгами, стремительно спускался вниз, в овраг. Преодолев кручу, неприятель выбрался наверх. Русские изрядно стегнули его пушечной картечью и ружейным огнем. Однако немецкие гренадеры по телам своих убитых товарищей яростно бросились на два русских полка. Оба полка вскоре были смяты пруссаками.

Князь Голицын взамен погибших полков двинул четыре мушкетерских, чтоб короткими людскими перемычками задержать напор врага.

Третий мушкетерский полк вел в бой Бибииков. Когда его полку приспело время драться, юный Михельсон будто охмелел. Он выхватил у своего ординарца пику и с воплем «Вперед, ребята!» бросился в гущу неприятельских шеренг. Он сразу же дважды был контужен, затем тяжело ранен пулей навывлет в поясницу. Потеряв сознание, он повалился на трупы. Бибииков, заметив это, поскакал вперед: «Солдаты! Спасай поручика Михельсона». И вот Михельсон найден и со слабыми признаками жизни отнесен под градом пуль в место безопасное. Первым бросился его спасать старый солдат Никанор, гусельник. У него у самого сильно оцарапана штыком щека, сочилась кровь, но он этого не замечал. Из грязной бутылки он плеснул в побелевшее лицо Михельсона водой. Михельсон открыл глаза, весь сморщился, оскалился от страшной боли, застонал.

Солнце ярко горело в небе. Изнурительный зной охватил всю землю. Двести неприятельских пушек гудели не переставая; пороховой дым клубился, застилая пространство. С грохотом и пламенем разрывались бомбы и ящики с зарядами, взлетали на воздух колеса, лафеты пушек, разорванные на части тела людей и лошадей.

Мушкетерские полки дрались с неослабевающим мужеством. Бибииков все время был на линии огня. Вдруг вблизи рванула бомба. Конь Бибиикова сразу рухнул и подмял под себя седока. Бибииков,

ушибленный конем и оглохший от взрыва, едва поднялся. Его увели.

А неприятель, щедро подкрепляемый свежими силами, стал одолевать и полки мушкетеров. Многие русские батареи были уже в руках врага. Пруссаки стремительно подавались вперед.

Положение русской армии становилось трудным.

Главнокомандующий Салтыков приказал генералу Панину бросить в бой еще два гренадерских полка. За теснотой места русским невозможно было сразу развернуть свои силы. Между тем Фридрих, перестроив свои войска в массивную колонну, решил загнать русскую армию, как гигантским поршнем в трубе, на правый наш фланг и там расплющить ее. Густая колонна неудержимо двинулась на русские позиции.

Уже деревня Кунерсдорф, расположенная в середине нашего растянувшегося длинной и узкой лентой фронта, осталась у Фридриха в тылу. Фридрих торжествовал. Фридрих явно видел, что русским некуда податься: слева – река, справа – непроходимое болото, впереди – буераки. Они должны были сдаться в плен или погибнуть.

Русское командование растерялось. Салтыков соскочил с коня, пал на колени, молился: «Господи, вразуми! Спаси вверенное мне воинство».

Торжествующий Фридрих, обращаясь к свите, приказал:

– Гонцов! В Берлин, в Шлезию, к брату моему принцу Генриху. К закату солнца русская армия будет уничтожена.

Гонцы тотчас мчались с отрадным известием.

Через некоторое время кровавая битва как-то стихийно стала затихать. Пруссаки ослабили свой яростный напор. Измученные, они хотели передышки. Генералы из свиты советовали распаленному Фридриху, ввиду полной прусской победы, остановить бой.

– Господа генералы! – воскликнул Фридрих и, достав золотую табакерку, нюхнул табак. – Господа генералы! Русскую армию нужно не только побеждать, но истреблять до конца. Иначе она снова возродится.

Опытный воин генерал Зейдлиц особо настойчиво обратился к Фридриху:

– Ваше величество! Победа очевидна. Русские загнаны на тесный правый фланг. Большинство их орудий в наших руках. Наши солдаты изнемогают от десятичасового перехода, от непрерывной кровавой схватки, от ужасного зноя. Они с двух часов ночи на ногах... Разгром русских можно завершить завтра.

Фридрих задумался. Кусал сухие тонкие губы. Подбородок его еще более заострился, прямой взмокший нос хмуро навис над кривившимся ртом. В душе он ненавидел Зейдлица как своего соперника, готового похитить его боевую славу.

– Хорошо, – сказал король, тяжело переводя дыхание, и отхлебнул из фляги глоток холодного кофе, все лицо его было покрыто обильным потом. – А ты, Ведель, как думаешь? – обратился он к своему молодому любимцу.

– Я с вами согласен, ваше величество. Бой надо продолжать до конца, чтоб не дать врагу передышки.

– Отлично! Реванш... – охрипшим голосом закричал король, выхватывая шпагу. – Ну, так с Богом, марш вперед!

И крепко пришпорил лошадь. Генералы переглянулись. Зейдлиц, пожимая плечами, с ненавистью покосился на ничтожного царедворца Веделя и поскакал к своим кавалерийским полкам. За королем

двинулся отряд гусаров-телохранителей.

– Солдаты, вперед! – выкатывая глаза, скомандовал Фридрих. – Ваш король с вами!

Пруссаки действительно устали, они изнемогали от жары, от неукротимой жажды, но, видя среди своих рядов короля, с новыми силами послушно бросались вперед. Правый русский фланг был от врага еще далеко. Многие полки стояли там в тесноте, в бездействии. Запряженные парами вола подвозили с реки воду. Здесь было сравнительно спокойно, бой кипел в двух верстах. Но многочисленные маркитанты быстро собрали палатки, сложили товары на возы, приготовились к бегству.

Граф Салтыков стоял со свитой на высоком пригорке. Прищурился и прикрываясь ладонью от солнца, он зорко наблюдал за ходом сражения. Пороховой дым сизыми клочьями плавал над побоищем.

– Выдыхаются, выдыхаются, – бормотал Салтыков себе под нос. И вдруг закричал: – Господа! Немцы выдыхаются... А где австрийцы со своим Лаудоном?

– На еврейском кладбище, возле наших батарей, ваше сиятельство.

– Ввести в действие. Они застоялись.

С приказом поскакал адъютант. К Салтыкову с разных мест боя подъезжали ординарцы, курьеры, адъютанты.

– Ваше сиятельство, – взмокшие от пота, задышливо рапортовали они, в их глазах мелькала тревога. – Ваше высокопревосходительство! Фазис боя критический. Пруссаки пытаются заключить нашу армию в мешок!..

– А мы в этом мешке сделаем такую дырицу, что немцу и не заштопать, – с юмором и прежним мужеством ответил седенький простенький главнокомандующий. К нему вернулись самообладание, воля, ясность ума. Без мундира, без знаков отличия, простоволосый, в одной пропотевшей дотемна рубахе, он поскакал со всем штабом на другой высокий взлобок, еще раз окинул взглядом клубившуюся дымом и грохотом арену битвы.

– Берегите вон ту высоту... как ее?.. Шпицберг, – показал он трубой, – и другие высоты. Чтоб доконать нас, немец неминуемо полезет на них. Скажите Фермору и графу Румянцеву, чтоб занимали высоты. Да чтоб дали нашим молодцам по чарке водки.

Три иностранных волонтера, бывших при штабе, наперебой говорили Салтыкову по-французски:

– Ваши солдаты, граф, достойны удивления. Мы с утра были в самом пекле. Они как железные...

Салтыков с благодарной улыбкой кивнул им и положил в рот питерский сладкий леденчик.

3

Шесть часов вечера, солнце склонялось, жара сдавала, но бой стал разгораться с новой силой. Румянцев с Фермором начали занимать указанные главнокомандующим высоты, там были русские батареи.

И действительно, чтоб сделать нам пагубу, Фридрих вскоре повел войска брать высоты. Главные силы его были обращены на высоту Шпицберг. Он бесстрашно скакал по шеренгам солдат, воинственными криками поощрял их к бою:

– Вперед, герои мои!

– К черту! – брюзжали в ответ уставшие гренадеры, провожая короля злобными взглядами.

– Господа ротные командиры! – стараясь преодолеть гул ружейной пальбы, орал во весь рот полковники, разъезжая сзади атакующих шеренг. – Принудьте капралов усердней погонять людей.

Упитанные капралы направо-налево лупили отстающих солдат увесистыми палками:

– Вперед, усатые черти, вперед!

Вот удар палки обрушился на голову замедлившего шаг солдата-ирландца. Тот повернулся к капралу и крепким ударом приклада сшиб его с ног. Щелкнул выстрел, ирландец упал, офицер-палач, убив ирландца, опустил дуло дымившегося пистолета.

– Вперед, усатые черти, форан, форан! Пулю в спину! – и палки капралов бьют измученных прусских солдат, погоняют их, как стадо на бойню.

Пуля ударила в королевского коня, конь упал, упал и Фридрих. Падая, он обостренным сознанием уразумел, что все его дело проиграно и все возможности остановить битву для него исчезли: вновь вспыхнувшее побоище приняло стихийный характер, и не во власти человека было прервать его. Флигель-адъютант Гец подхватил короля, предоставил ему свою лошадь.

– Ваше величество! Мы не можем рисковать вашей жизнью, это место крайне опасное, – со всех сторон предупреждали короля.

Фридрих криво ухмыльнулся, в огромных глазах его бешенство.

– Нам подобает все испытать для получения победы, – нимало не веря в победу, нервно сказал он, садясь на коня. – И мне надлежит так же хорошо исправлять свою должность, как и всем прочим.

Ядра русских орудий, град русских пуль косили неприятеля. По склонам холмов немцы, как сумасшедшие, лезли на приступ высот. Русские дрались с небывалым мужеством, с запальчивым ожесточением. Лежа, с колена, стоя они встречали врага ружейными залпами и, расстреляв порох, бросались врукопашную. Здоровенные парни попеременно с седыми стариками кидались на врага дружно, без страха, напористо: «Вали, вали, братцы! Коли их, окаянных!» Взмахивают штыки и приклады, сверкают сабли офицеров; стон, визг, падают, падают, падают... На смену им – новые.

– Напирай, ребята, напирай! Ломай хребты.

И вот, шаг за шагом, пруссаки начинают сдавать, под натиском русских штыков сползают с горы.

– Форан, форан! – хрипло орут капралы, понуждая солдат палками. Но ряды пруссаков заметно тают, капралов тоже становится все меньше и меньше. На подкрепленье разбитых рядов раздраженный, встревоженный Фридрих бросает новые силы. И снова:

– Форан, форан, усатые черти! Вперед!

Молодой подполковник Александр Васильевич Суворов, штабной офицер дивизии Фермора, выпросил себе четыре роты: «Ваше превосходительство, дозвоьте. Душа горит». Небольшого роста, сухонький, вихрастый, с длинной шпагой в руке он бежит впереди своих молодцов, с ловкостью перескакивает через канавы и рвы. Достигнув места схватки, он весело подмаргивает солдатам, кричит:

– Стрелять недосуг, в штыки, в штыки!

А поработав геройски штыками, под условный крик Суворова: «Умерли!» – суворовцы, один по одному, падали на землю. И когда напирающий враг, считая их мертвыми, пробежал над ними вперед, вдруг, по звонкой команде Суворова: «Ожили!» – все вскакивали и с оглушительным криком «Ур-р-а-а!» разили неприятеля в тыл штыками и пулями.

Тем временем железная конница генерала Зейдлица, последний оплот короля, полк за полком, бросалась на штурм наших высот. Но меткий огонь русских пушек гнал их прочь. Сам Зейдлиц был ранен. Его сменил принц Евгений. Прусская конница трижды кидалась на приступ и всякий раз отступала с уроном. Во второй атаке был ранен картечью и принц. На выручку потрепанной коннице ринулись белые, королевской гвардии, гусары. Русские пули и ядра быстро смяли их. Предводитель гусаров разорван вместе с конем русской бомбой.

Румянцев и Панин вводили в бой свежие силы, умело обрушивая их на противника. Граф Салтыков с напряженным вниманием озирает в «перспективную» трубу поле битвы. Внешне он был спокоен, но все горело в нем. Он посапывал, то и дело облизывал пересохшие губы, возле выпуклых слезящихся глаз складывались радостные морщинки. «Так-так-так... Ай молодцы!» – с удовлетворенным кряхтением покрикивал он.

Пруссаки ослабли. Многие части их пришли в замешательство. Распалившийся Фридрих, проносясь по расстроенному фронту, воочию видел, что его боевые орлы посматривают на ближний лесок, готовятся к позорному бегству. Он распекал генералов, кричал на полковников, отчаянно вопил солдатам: «Вперед, храбрецы, я с вами!», но пруссаки, потеряв воинственный дух, своему королю больше не повиновались.

Помрачневший король скакал дальше. Вдруг пуля, цокнув, ударила его в грудь. Фридрих качнулся, осадил коня, на мгновение зашурлил и тяжело вздохнул. Затем выхватил из левого кармана табакерку, в которой застряла русская пуля, и с крайним волнением сказал свите:

– Слава провидению!.. Оно не зря спасло вашего короля.

– Ваше величество! – в один голос вскрикнули насмерть перепуганные адъютанты.

Фридрих снял черную шляпу с высоким султаном из страусовых перьев и перекрестился. Его темно-рыжие с проседью кудри шевелились под ветром. Он вздернул плечом, пришпорил коня и выбросил в правую сторону дрожавшую руку.

– Смотрите, смотрите, там – австрийская конница!.. А слева – казаки. Где Зейдлиц? – Он бешено мчался, его красная епанча раздувалась под ветром, как окровавленный парус.

Действительно, генерал Лаудон, построив великолепную австрийскую конницу в стороне от побоища, врубился с правого бока в гущу пруссаков. А с флангов и с тылу дружно теснили неприятельскую пехоту славный Сибирский, Апшеронский, Псковский и другие полки под командою Панина и Румянцева.

Весь прусский фронт дрогнул, будто пруссакам вдруг протрубили отбой. Передние их ряды повернули назад и, сшибая своих, пристреливая ненавистных капралов, всем гуртом бежали обратно.

– Боже! Все гибнет!.. – хватаясь за голову, простонал его величество прусский король. Выразительные,

огромные глаза его стали безумны.

А в этот миг, приплясывая, подскакивая на стременах смирно стоявшей лошади и бросив поводья, бил в ладоши граф Салтыков. Он громко смеялся, на лице его гримаса восторга.

– Господи! Враг бежит... Победа, победа!.. Господи, благодарю тебя... – кричит он, на глазах его слезы, губы дрожат, маленький седенький граф то бьет в ладоши, то крестится: – Победа, победа!..

И во все русские войска перекинулось:

– Победа! Победа!

Всюду, от высот до реки, громогласно гремит «ура!», бьют барабаны, враг, впавший в ужас, всюду стремительно спасается бегством в лес, на мосты и вплавь через реку. А вслед за ним с гиканьем, свистом, пики наперевес, во весь опор скачут чугуевцы и донские казаки: «Ги-ги-ги! Ура! Ура!»

Все пространство в движении. Как серой метелью, как вьюгой, все пространство – куда ни кинь взор – покрыто бегущими.

Пруссаки бросают оружие, бегут во все стороны, спасаясь в густые леса.

Король Фридрих на пегой кобыле бессмысленно мечется в самом хвосте своей армии. Спасения нет королю. К нему устремились чугуевцы, чтоб взять его в плен.

– Притвиц! Притвиц! Я погибаю...

При ротмистре Притвице всего лишь сорок гусаров – телохранителей Фридриха. Притвиц выхватил саблю. Сорок гусаров, жертвуя собой, бросились навстречу казакам и почти все поголовно погибли. А король ускакал. В беспамятстве он потерял шляпу с султаном. Ее подобрал казак и доставил Панину[2].

Было одиннадцать вечера. Обозначились звезды, опять засветлела луна. Где-то бой барабана, где-то треск, залп, приглушенные стоны людей...

Но все было кончено.

4

Солдаты бережно подхватили главнокомандующего и с неумолчным, от всего сердца, криком «ура» стали качать его. Коротконогий, пухленький старичок высоко взлетал над толпой и мягко падал в упругие руки воинов. Вот он опустился на ноги, глубоко, с облегчением вздохнул – фууу, подтянул штаны, сказал:

– Спасибо, солдаты. Спасибо, молодцы. Добрую бучку дали Фридриху.

Солдаты опять закричали оглушительно: «Ур-р-а-а!» – и стали швырять вверх шапки. Салтыков пошарил в карманах штанов, вытянул тюрючок с леденцами, подал солдатам:

– Вот... пососите... леденчики. – Он все еще в одной рубахе, без парика, щеки морщинистые, с румянцем, седые, торчком, волосы, большие уставшие глаза то широко открыты, то по-стариковски щурятся.

– А мы с жалобой к вам, ваше высокое сиятельство. Посовещались промеж собой, да и насмелились... – выдвинулся из толпы не старый еще, черноголовый солдат с серьгой в ухе. – Харч дюже плох. Не вдосыт едим... Уж не прогневайтесь.

«Ну так и есть, – подумал Салтыков, – а я им, дурак, леденчиков».

– Да, верно, ребята, плохо... Паскудно это у нас, снабжение-то, с провиантом-то. Да и деньги-то из Питера шлют с заминкой... Уж вы как-нибудь.

– Как на спозицию вышли, сухари одни, да картофель, да лук. А к картофелю мы не приобыкли. Иным часом и убоинки хочется, ваше сиятельство. Уж постарайся...

– Распоряжусь, распоряжусь, ребята.

– Мы как-то двух бычишек заблудящих в лесу словили, да только свежевать принялись, тут нас и сцапали. Его превосходительство Панин приказал плетьюми нас драть...

– И я бы выдрал, и я бы, – подморгнул Салтыков. – Сами виноваты, ребята, с бычишками-то со своими. Так заблудящие, говорите? – И Салтыков снова подморгнул. – А вы бы уж как-нибудь того... это самое... Куда-нибудь подальше, подальше, в чащу бы, либо в овраг. Да потемней когда, чтоб ни Панин, ни Фермор не видали. А то лапти плетете, а концов хоронить не умеете.

Солдаты засмеялись. Горел костер, становилось свежо, луна светила. Возле палатки главнокомандующего стояла под ружьем шеренга часовых. Знамя высилось.

Салтыкову подали мундир и шляпу. Солдаты, пожелав утомленному генералу спокойной ночи, стали было расходиться.

– Погодите-ка, ребята... Я вот о чем хочу... – Он заложил руки за спину и взад-вперед медленно прошелся. – Да! Мужество! – выкрикнул он и вскинул вверх руку. – Дивлюсь я на вас, сынов моей родины, и сердце мое преисполняется гордостью. Король Фридрих французов бьет, австрияков бьет, англичанку бьет. А от нас сам бит бывает. Все бегут от него, а от нас он сам бежит. А ведь солдаты-то у него ничего себе, его солдат, хоть и наемные они, охаять не можно... Ну-тка, братцы, скажите мне без утайки, почему это я не знаю случая, чтобы русский солдат всей массой, всем скопом утекал от врага? В толк не могу взять.

Молодой адъютант поморщился, он считал подобный разговор военачальника для дисциплины вредным.

А солдаты сказали:

– По тому самому, ваше высокопревосходительство, мы не убегает от неприятеля, что бежать расчету

нет...

– Это как – расчету нет?.. Чего-то не пойму я... – переспросил Салтыков и переглянулся с адъютантом.

– А очень просто – расчету нет... Себе дороже! – хором закричали солдаты, а чернявый, что с серьгой в ухе, сказал:

– Ежели мы на линии стоим да стреляем, алибо, допустим, штыком орудуем, мы друг друга чуем, вместях все, тут уж про все на свете забываешь, одно на уме: как бы поболе немцев повалить да самому вживе остаться. И ежели ты, скажем, сплоховал, товарищ выручит. А когда в бег от противника ударишься, один, как заяц в степу, останешься: тот сюда бежит, этот туда, а глаз-то в спине нетути, ни хрена не видать, чего сзади дается. Вот тут-та либо конем тебя стопчут, либо башку осекут. Ой, бежать несподручно...

Салтыков, руки назад, с интересом вглядывался в загорелые утомленные лица солдат, внимательно вслушивался в их простые откровенные речи.

– И все ж таки не могу в мысль взять... Ведь вот вы в бою стоите как каменные. Либо умираете, либо побеждаете. А не бежите... и не сдаетесь...

– А кто ж его ведает, – сказал солдат с серьгой в ухе, переступил с ноги на ногу и одернул окровавленную возле плеча рубаху. – Мы, конечно, народ темный. А доведись, так твою растак, до драки, мы уж друг за дружку стоим. Конечно, дураки...

– Что? Что? Дураки? – Салтыков прижал ладони к животу, запрокинул голову и тихонько похохотал. – Не дураки вы, а герои. Храбрецы!

Солдаты приободрились, закричали наперебой:

– А храбрость в нас – от природы, ваше высокое сиятельство. Должно полагать, матери наши такими нас родят...

– То-то же – от природы! – громко сказал Салтыков, и уставшие глаза его оживились. – Такова, стало, природа русская, да не только русская, а и прочих народов, населяющих Россию и на войне подвигающихся, – это храбрость, упорство, сознание долга пред отечеством...

– Во-во-во! – опять закричали солдаты. – В этом суть. Мы хоша и в чужой земле, а все же нам сдается – отечество свое защищаем, за Русь стоим. И нам вот радостно, ежели, скажем, где появишься, ну там в Кенигсберге либо в Польше, где на зимних фатерах, идешь себе, ноздри вверх и думаешь: а ведь мы расейские... Стало – сильна Россия!

– Правильно, солдатики... Сильна Россия! – воскликнул Салтыков. Он сразу как бы помолодел, весь изнутри светился, широкая улыбка растеклась по его загорелому лицу. Он, еще раз подтянув сползавшие штаны, обратился к адъютанту: – Полезно, зело полезно нашему брату у простого звания людей мудрости учиться. – И, обернувшись к палатке, крикнул дежурному офицеру: – Слушай, казначей! А принеси-ка сюда, дружок, серебреца мешочек, рублевиков, да одели солдат.

Солдаты, их было сотни полторы, дружно гаркнули благодарность.

5

По всему утихшему полю, скудно освещенному лунным светом, двигались сотни огней: это солдаты и санитары с пылавшими факелами подбирали своих и чужих раненых. По склонам холмов, в буераках, в кустах попеременно с покойниками валялись живые. Слышались стоны, хрипы, слабые выкрики: «Я здесь, спасите!» Раненые сами подползали к санитарам, взывали: «Братцы, братцы...» Многие мученики с перешибленными хребтами, с оторванными конечностями, истекающие кровью, умоляли прикончить их. Изувеченный пожилой гренадер еле внятно просил: «В торбе узелок с родимой землицей, будете зарывать, посыпьте».

К штабу главнокомандующего приводили взятых в плен генералов, полковников.

Всего пленных пруссаков было пять тысяч с лишком, восемь тысяч убито, пятнадцать тысяч ранено. Наши потери были тоже немалые.

Спешно заканчивая свою пока еще неточную реляцию, граф писал императрице Елизавете Петровне: «Ваше величество, не извольте удивляться нашим большим потерям. Вам известно, что прусский король всегда победы над собой продает очень дорого».

Пред утром, передавая трем курьерам донесение в Питер, граф Салтыков, вздохнув, с горечью сказал генералитету:

– Да, господа... Ежели мне доведется еще такое же сражение выиграть, то, чего доброго, принуждено мне будет одному с посошком в руках несть известие о том в Петербург.

Между тем королевские курьеры, посланные Фридрихом в пять часов дня с вестью о полном разгроме русской армии, прискакали в Берлин того же числа поздно вечером.

Столица еще не ложилась спать. Наслаждаясь теплой ночью, молодежь наполняла сады, скверы, площади. В кофейнях, трактирах, гостхаузах шумел народ. И вот одна, другая и третья пушка прогрехотали в неурочный час над Берлином.

Жители всполошились, выглядывали из окон, выбегали на улицу, взволнованно восклицали:

– Беда! Уж не враг ли подступает к стенам...

Толстый Фриц, сотрудник городской газеты, сбросив одеяло, соскочил с кровати, высунув в окно голову в белом колпаке, проквакал:

– Эй, что случилось?

По улицам бежали толпы горожан, разъезжали рейтара герольды с факелами, на перекрестках они трубили в трубы, зычно возвещали:

– Великий наш король Фридрих одержал полную победу при Франкфурте, у деревни Кунерсдорф! Вся русская армия уничтожена. Жалкие ее остатки взяты в плен. Тысячи разбойников казаков с веревками на шее будут завтра приведены сюда. Готовьте им встречу!

Толпа воинственно, радостно заорала:

– Победа, победа!.. Конец войне!..

Толстый Фриц накинул халат и побежал, кряхтя, вверх по лестнице, где жили его товарищи по газете, художники братья Шульц, забарабанил в дощатую некрашеную дверь:

– Эй, черти! Дрыхнете, что ли? Победа!.. В редакцию, ребята...

В редакции одной из пяти берлинских газет, помещавшейся в подвале ратуши, уже стряпались листовки, кропалась газета с грязными, барабанного стиля, статейками, жестоко оскорбляющими русскую армию, императрицу Елизавету и всю Россию. Карикатуристы изображали казаков лохматыми страшными мужиками с чудовищно зверскими лицами, лошадиными зубами в оскаленных ртах, а графа Салтыкова – в виде жирной свиньи, которую ведет на цепочке бравый прусский гренадер.

В пивнушках, в кабачках было необычайно оживленно. Веселились горожане и на улицах. Невзирая на поздний час, кой-где зажгли иллюминацию, всюду бродили веселые толпы с бумажными разноцветными фонариками, пели песни, приплясывали, целовались, воинственно кричали:

– Да здравствует великий, непобедимый Фридрих!

6

А несчастный Фридрих спасался тем временем в разгромленной деревушке Этшер. Он лежал на скамье в какой-то разбитой, без дверей и без окон, хибарке. В головах седло, вместо пуховика пук соломы, король по самый подбородок укрыт красной, простреленной в трех местах епанчой.

Лунный свет падал на его лицо. Лица, впрочем, не было: были огромные воспаленные глаза и длинный нос. В стороне два адъютанта и один гренадер на карауле у входа. А за избой – руины, пустыня, безмолвие.

– Русские, русские... проклятые русские... – скрежеща зубами, бормочет Фридрих, он хочет закрыть глаза и не может. – Яду мне. Неужели у вас не найдется яду? – Он впадает в забытие, в его мозгу кошмары, он бредит: – Шляпу, шляпу... Где шляпа?

Адъютант шепчет товарищу:

– Надо бы его величеству кровь пустить. Но нет доктора.

– Кровь пущена всей королевской армии, – с печальной иронией, шепотом отвечает другой адъютант, вынимает платок и сморкается.

Вдруг Фридрих вскочил:

– Огня!

Вздрагивая всем телом и ожесточенно вскидывая рыжие брови, он при скудном огарке пишет в Берлин письмо брату Генриху, затем – прусским министрам. Рука с пером прыгает.

«Наши потери, – писал он брату, – очень значительны: из армии в сорок восемь тысяч человек у меня вряд ли осталось три тысячи. Все бежит, и у меня нет больше власти над войском. В Берлине хорошо сделают, если подумают о своей безопасности. Жестокое несчастье, я его не переживу. Последствия битвы будут хуже, чем сама битва: у меня больше нет никаких средств, и, скажу без утайки, я считаю все потерянным. Я не переживу гибели моего отечества. Прощай навсегда».

Глаза Фридриха помутнели, он застонал, бросил перо, схватился за голову.

– Проклятые москвиты, варвары! *Русского мало убить, его надо еще и мертвого-то повалить.*

7

На рассвете стали копать могилы. Русских убитых зарыто две тысячи шестьсот, прусских – семь тысяч триста.

На рассвете же вернулись из лесов к своим родным очагам мирные жители. От обширной деревни Кунерсдорф остались дымящиеся развалины. Цветущие сады и огороды были расхищены, земля взрыта бомбами, ядрами. Жители бросились на поля. Но там поспевшая пшеница была потоптана, смешана с грязью. Все погибло, все уничтожено в битве, длившейся с полудня до вечера. Война в один день превратила жителей в нищих.

На тряских фургонах, по разбитым дорогам раненых увозили в лазареты. Там без усыпления, без наркоза будут им отпиливать поврежденные руки и ноги, будут извлекать из воспалившихся ран пули и куски чугуна. Чтоб оглушить сознание, им дадут по стакану водки. Многие в муках умрут.

Вскоре Салтыков сделал смотр русской армии. У солдат та же бравая, железная сила, бодрость во взоре.

Салтыков докладывал в Петербург:

«Ревность, храбрость и мужество всего генералитета и неустрашимого воинства, особливо послушание оно, довольно описать не могу, одним словом – *похвальный и беспримерный поступок солдатства привел в удивление всех чужестранных волонтеров*».

Русское командование получило щедрые награды: Салтыков произведен в фельдмаршалы, а Мария-Терезия прислала ему драгоценный перстень, осыпанную бриллиантами табакерку и пять тысяч червонцев. Остальные военачальники получили от Петербурга чины, ордена, земли с крестьянами.

Только солдаты остались без награждения.

– Могила без креста – вот награда нам, – роптали солдаты у костров.

– Правильно говорится: ежели одному милость, всем обида.

– Кому пироги да пышки, а нам желваки да шишки... Терпи, ребята!

– А ежели не сложишь здесь голову да прибудешь домой в побывку, там того гаже. Нищета. Ни поесть, ни попить. Одно знай – барину угождать, а то недолго и на конюшню. Вот там, за нашу службу царскую, награждение и примешь. Не верно, что ли?

– А все-таки воевать, ребята, нам беспрерывно нужно, – кряхтя, сказал Павел Носов. Он крутил над пламенем костра грязную рубаху, рубаха надувалась колоколом. – До скончания живота подобает вашему брату неприятеля бить. Вот я, скажем, стар...

– А кто супротив этого спор ведет? – прорвал его усатый артиллерист Варсонофий Перешиби-Нос, он был грамотен, говорил складно. – В этом слава оружия нашего и всего нашего кореню, всего потомства-племени. За отечество, поди, кровь-то проливаем? Об этом всяк ведает и на том стоит.

– Вестимо так! – воскликнул Павел Носов, но тут подол его рубахи вспыхнул, он быстро смял огонь корявыми ладонями. – Я и не иду супротив тебя, мил человек. Я вот к чему хотел... Порядки здесь супротив наших лучше, а мужики чище наших, взять одежду, взять еду. Мужик здесь жрет не по-нашенски – хлеб с лебедой да с мякиной, как мы. У него эвот – свиньи, гуси, индюки. Опять же огороды ихние: там тебе всякая овощь, и назвать-то ее мы не смыслим, как вымолвить.

– Здесь крестьяне грамотные которые, – сказал Перешиби-Нос. – Да и порядочное число их,

грамотеев-то. Они и книжки, и даже газетки чтут.

– Погодь, погодь, мил человек, – проговорил Павел Носов, натягивая на сухореброе тело рубаху. – Стало быть, не приспело еще времечко...

– Времечко, времечко, – передразнил его Варсонофий Перешиби-Нос и вытащил из костра упекшуюся картошку. – Под нашими барами жить – до скончания века в темных дураках сидеть!

– Ау, мил человек, терпеть надо, – вздохнул Павел Носов и стал раскуривать носогрейку. – Видно, так самим Богом утверждено: барам жиреть, а нам хиреть. За добрым барином и мужику жить не столь тяжко, а за лихим и мужику лихо. А где лихо мужику, там иным часом и мутня выходит, самовольство, мужик за вилы берется, барину грозит...

– Ха! – по-сердитому хакнул Варсонофий и, подергав длинные усы, язвительно уставился на Павла Носова. – А ты, поди, бунты-то мужичьи смирял? Мутню-то?

– Ну, ин усмирял, – немедля, сконфуженно ответил Носов.

– Так пошто ж ты усмирял-то?

– Дурак ты али умный? – обиделся старик. – Ведь по приказу. Ежели б не стал усмирать, меня самого усмирили б до самой смерти...

Широкоплечий Варсонофий обвел компанию солдат суровым взором и сказал:

– Вот по эфтому самому я и молвил, что недружный мы народ. Ведь вот мы сами мужики, о мужике печалуемся и эфтого самого мужика своеручно изничтожаем. Бар надо изничтожать, бар! А не мужика...

К костру подходил, высвистывая песенку, подвыпивший штаб-офицер. Вольные разговоры оборвались.

Блистательная наша победа под Кунерсдорфом праздновалась в Петербурге пышно.

Однако, несмотря на свою честность и преданность России, граф Салтыков не смог в полной мере использовать плоды своих побед. Начались недомолвки между ним и австрийским командованием, которое требовало доконать пруссаков общими силами. Салтыков отвечал: «На это я отважиться не могу, ибо без того вверенная мне армия довольно сдержала неприятеля и немало претерпела. Теперь надо бы нам покой дать, а вам работать, потому что вы все лето пропустили бесплодно». Ссылаясь на отсутствие фуража и продовольствия, Салтыков отвел армию на зимние квартиры.

Глава IV

Жизнь в Кенигсберге

1

В Кенигсберг стали поступать раненые.

Возле ворот герцогского замка, где жил русский губернатор, остановились три фургона с больными офицерами. Им отведен каменный флигель. С крыльца сбежал молодой офицер Болотов^[3], сказал стоявшим во дворе дежурным казакам:

– Ребята, носилки!

Емельян Пугачев и три его товарища бросились с носилками к фургонам. Первым был бережно переложен на носилки Михельсон. Чтоб не пострадал в тряской дороге разбитый пулей позвоночник, Михельсон лежал привязанным к доске с мягкой подстилкой. Пугачев всмотрелся в его лицо. Круглое, несколько дней тому назад румяное, оно было мертвенно бледно, щеки и губы ввалились, как у покойника. Казаки, подхватив носилки, пошагали. Пугачев был в изголовье больного.

– Поди, больно, ваше благородие? – участливо спросил он.

– Больно, казак, – слабым голосом ответил Михельсон и с натугой поднял взгляд на Пугачева. – В позвонок ударила, проклятая. А под Цорндорфом – штыком в голову...

– Тяжко вам досталось, ваше благородие, видать – храбрый вы, – и Пугачев вздохнул. Ему искренно было жаль молоденького офицера.

Ни сном, ни духом не чаял он, что этот полумертвый барин, Иван Иванович Михельсон, чрез полтора десятка лет станет самым упорным, самым назойливым и неотступным врагом Емельяна Пугачева.

Вскоре, выйдя из превращенного в госпиталь флигеля, офицер Болотов опять обратился к расторопному Пугачеву:

– Эй, казак, как тебя... Аптеку знаешь? Отвези, дружок, сигнатурку, там лекарства приготовят поручику Михельсону.

Взяв бумажку, Пугачев вскочил в седло. Ему ли не знать аптеку. Да он весь Кенигсберг как свои пять пальцев знает. Он на трех европейских да на двух немецких свадьбах гулял, он первый плясун и песенник, ему везде почет и уваженье. Да, и уваженье, невзирая на то, что под атамановой плетью позорище принял... Ну, да это особь-статья. Об этом без толку тужить нечего. Опять же и то помнить треба: иной битый семерых небитых стоит.

2

Восточная Пруссия с ее столичным городом Кенигсбергом вот уже второй год принадлежала России. В Кенигсберге было сформировано русское управление страной, издавалась военная газета, в городском театре силами офицеров ставились трагедии русских писателей. На местном монетном дворе чеканились российские деньги с изображением императрицы Елизаветы и прусского орла. Во время войны вся страна была наводнена неполновесной полуфальшивой монетой, которую в изобилии выпускал Фридрих, поэтому обнищавший немецкий народ с особой охотой принимал русские деньги. Иногда, приказом российской власти, схватывались даже сановные немцы, уличенные в политических проступках, их препровождали в Петербург, в когти страшной Тайной канцелярии. Так, пилавский помещик Вагнер был после суда направлен на вечное поселение в Сибирь.

Словом, россияне чувствовали себя в Восточной Пруссии полновластными хозяевами.

Губернатор барон Корф жил в центре города, на горе в старинном герцогском замке с высокой четырехугольной башней, на шпиге которой развевался российский императорский штандарт. В этом замке бывал и Петр I во время своего путешествия с Лифортом.

Всю жизнь проведший в России, барон Корф русским разговорным языком владел прилично, однако ни читать, ни писать по-русски не умел. Он был хорошо воспитан светски, но умом крупного администратора не обладал, поэтому все управление страной лежало на его чиновниках. Он был еще не стар и вскоре же по приезде из России завел шашни с местной красавицей баронессой Кейзерлинг. Как говорили злые языки, она будто бы втянула его в шпионскую службу Фридриху II.

Все свои огромные доходы с имений и жалованье Корф употреблял на «представительство»: устраивал еженедельные балы и концерты, на которых бывала не только вся знать Восточной Пруссии, но приезжали даже магнаты из Польши. На его балах отплясывали и прибывающие с боевого фронта военачальники, вроде Петра Панина и генерала Вильбуа. В свое время прыгали и вертелись в этих великолепных залах замка и красавец поручик Григорий Орлов с нашим военнопленным молодым графом Шверинном, личным адъютантом Фридриха.

Губернатор Корф великолепием своей светской жизни задавал всем тон. За ним пыжилась знать, за знатью – обыватель. В залах ратуши, биржи и гасхаузах – танцы, танцы. Как будто войны и духу не было. А между тем на полях сражений кровь лилась не переставая, и ежедневно десятками умирали в госпиталях раненые.

Адъютант губернатора, молодой офицер Болотов, жаловался товарищам:

– Я в сие время и науку запустил. Зарезвился да затанцевался в прах... Брошу, брошу...

По праздничным дням Корф устраивал такие блестящие иллюминации, такие фейерверки и народные гулянья, каких кенигсбергцам во сне не снилось. В Кенигсберге и его форштадтах были расквартированы русские войска. Большинство молодых офицеров вело праздный образ жизни, занималось кутежами, дебоширством или любовными утехами с податливыми немками.

Иные же офицеры, как, например, А. Т. Болотов, Писарев, Пассек^[4], весь свой досуг употребляли с превеликой пользой для себя. Они были завсегдатаями книжных аукционов и лавок, занимались философией и «натуральными науками», изучали немецкий язык, посещали местную кунсткамеру и картинную галерею, слушали лекции в университете.

В то время, невзирая на войну, наука в Кенигсберге процветала. Были ученые физики, математики, философы. Среди философов первое и особое место занимал молодой Иммануил Кант, бывший до

последнего времени домашним учителем и лишь недавно получивший ученую докторскую степень.

Русское передовое офицерство интересовалось всем полезным, жадно впитывало в себя все то, чего нельзя было иметь и видеть в своем отечестве. Отказывая себе во всем, любознательные молодые люди все свои недостатки ухлопывали на покупку полезных книг, рукописей, оптических и физических приборов.

Богач Пассек скупал и переправлял в Россию дорогие картины, эстампы, книги и целые физические кабинеты с электрическими машинами, воздушными насосами, камер-обскурами, микроскопами, глобусами и т. д.

Солдаты тоже немало старались усвоить себе из невиданной, поражающей воображение чужеземной культуры. Их внимание останавливалось на большом трудолюбии местных жителей, на опрятных жилищах и одежде, на величине и красоте городских построек.

Гуляя в общественных садах и скверах и заглядывая в частные огороды, наши солдаты много дивились и разнообразию пород фруктовых деревьев и сельскохозяйственной культуре.

Тароватые мужички-солдаты, ни слова не понимая по-немецки, все же находили с хозяевами огородов общий язык и выпрашивали себе семян, в надежде, ежели Бог не отнимет живота, когда-нибудь насадить такую благодать на своей родной земле.

Молодой казак Пугачев был тоже любознателен и до новых впечатлений жаден. Он почасту назначался в дозоры и ночные рунды для охраны городского спокойствия или разъезжал по городу с пакетами губернаторской канцелярии. Он знал Кенигсберг, как свою Зимовейскую станицу. Он объехал окружавший город земляной вал с бастионами, был в цитадели Фридрихсбург на левом берегу Прегеля, проезжал по узким переулкам между многими кварталами, сплошь застроенными семиэтажными шпиклерами, то есть хлебными амбарами. В праздник с компанией казаков катался на лодке по каналам, ездил к устью Прегеля, где пристают иностранные корабли, где в шинках пьют-гуляют шкиперы-голландцы. Он не раз тоже с ними гуливал, подвыпив – дрался, бил других и сам бывал бит.

3

На всполье, между двумя форштадтами, саперные части вели практические занятия. Проезжавший Пугачев остановил лошаденку, спешился и подошел к молодому прапорщику.

– Это что, ваше благородие? Траншеи роют ребята-то? Дозвольте полюбопытствовать.

– А чего же тут любопытного? Роют и роют, – покуривая прусскую сигаретку, ответил молоденький прапорщик в ухарски набекренной шляпе. – Вот сейчас березу взрывать будем. Видишь березу на бугре? Вот она взлетит... Это действительно интересно.

– Под нее подкоп, что ли?

– Ну да, подземный лаз, – прапорщик подудил в рожок, сбил солдат в кучу и спросил их: – Как, ребята, угадать, чтоб подкоп точно подвел к тому предмету, который надлежит взорвать? Ведь под землей-то темно.

– Темно, ваше благородие, – хором ответили солдаты.

– А для этого употребляется, ребята, вот эта штучка, – он вынул из кармана компас и толково, повторив несколько раз, объяснил способ его употребления.

Пугачев, заткнув за пояс полы длинного кафтана, жадно слушал, непрерывно следил за стрелкой-живчиком.

– И вот, допустим, что эта береза суть башня неприятельской крепости, ее надлежит тайно от врага взорвать. Мы начинаем подкоп, скажем – за версту, за две, зарываемся в грунт, направление определяем под землей компасом, а расстояние, которое нам известно по плану, измеряем тоже под землей цепью либо саженью. Чтоб земля не рушилась, ставим по всему лазу деревянные крепи. Понятно ли, ребята? Казак, ежели хочешь, полезай.

– С полным нашим удовольствием! – крикнул Пугачев, сбросил кафтан и приготовился нырнуть в обделанный стояками лаз.

– Обожди, казак. Эй, Семенов! Возьми-ка круг со шнуром да вместе с казаком прикрепите конец шнура к взрываемой массе.

Семенов полез первым, за ним Пугачев. Ползти надо было сажень сто. Вскоре солдат и Пугачев, пятась задом, вылезли обратно грязные, вспотевшие. В руке солдата был конец шнура. Добыв огня, прапорщик поджег шнур.

– Вот, ребята, шнур будет тлеть, он пропитан горючим составом. И как только огонь по шнуру дойдет до взрывающей массы, береза взлетит! Ну а ежели взрыв фукнет мимо, в стороне от березы, – значит, мы не угадали подкоп под неприятельскую башню подвести, враг будет рад и обзовет нас дураками. Чрез четверть часа береза должна упасть.

– Ой ли... Чего-то не верится, – усомнился Пугачев.

Но вот земля загудела, ухнула, а береза, охваченная столбом земли и пламени, приподнялась на воздух и упала.

– Молодцы, – похвалил прапорщик.

И все с криком «ура» помчались взапуски к образовавшемуся провалищу.

После этого Пугачев часто рассказывал своим о том, как он постиг науку, или, по его выражению,

«способа нашел» делать подкопы и взрывать неприятельские крепости. Он и в мыслях не имел, что эти «способа» когда-нибудь ему пригодятся. Однако они пригодились ему ровно через пятнадцать лет.

4

В канцелярию губернатора поступили сведения, что на глухой окраине города, в одном из закоулков, тайно вербуются люди в армию Фридриха.

Емельян Пугачев получил от офицера Болотова приказ взять четырех казаков, идти к месту вербовки, казаков спрятать где-нибудь поблизости, а самому Пугачеву быть в толпе и ждать дальнейших распоряжений.

Полдень. Солнце. Хвост большой очереди вылез в непроезжий переулок-тупичок. Цепь людей загибала в ворота каменного под черепичной кровлей дома, тянулась двором и вливалась в дощатую дверь пустого каретника. Над дверью вывеска:

«Наемка батраков в имение графа Кауфмана».

В очереди сотни две оборванцев. Тут были и молодые люди с наглым выражением лица и кабацкими ухватками, были и пожилые, бородатые, были безрукие калеки, горбуны, кривые, хромоногие, попадались и красивые парни, они весело пересмеивались друг с другом и подмигивали проходившим девушкам. По пояс голый, босой парень с кровоподтеками возле заплывших глаз, с расцарапанными в драке спиной и грудью то прицеливался залезть в карман соседа, то ощупывал свои штаны, очевидно, собираясь пропить и их. Тут толкались представители многих наций. Вот горбоносый турок в красной феске, вот усатый румын в синей короткой куртке с медными бубенцами вместо пуговиц, вот бритоусый шотландец с рыжей, из-под нижней челюсти, бородой и трубкой в пожелтевших больших зубах. Вот медно-бронзовый бородатый грек; его лицо как бы смазано жиром, из ушей и ноздрей прут волосы, он жует маслины, сплевывает косточки в спину соседа.

Офицер Болотов, прикрывшись епанчой и спрятав офицерскую шляпу, вошел в полутемный, освещенный небольшим окном каретник, густо набитый народом. За небольшим столом возле самого окна сидел жирный, с отвисшими щеками, прусский капрал. Полуоблезлая голова его склонилась над квитанционной книгой, куда он вписывал завербованных. На столе – грязный парик, жбан квасу, плетка со свинцовой пулькой на конце и серебряная большая табакерка. Не заметив скрытно притаившегося в уголке русского офицера, он продолжал заниматься своим делом.

– Ты! – И капрал строго воззрился зелеными узенькими глазами в простодушное лицо стоявшего перед ним детина с покатыми плечами. Высокий детина задвигал хохлатыми бровями и писклявым, не по росту, голосом сказал:

– Я батрак. Жена, трое детей. Ежели положите хорошее жалованье – пойду. Вы мало платите...

И весь каретник взволновался, закричал:

– Мало платите! Прибавьте... А то плюнем и уйдем.

– Я не имею права прибавить. Жалованье утверждено хозяином. Четыре талера пять грошей в месяц...

– Нам остается три талера, а талер и пять грошей каждый месяц отбирается будто бы на обмундирование... Грабеж!

– Все время так платим, много лет! – кричал капрал.

– Правда, много лет... Только в прежнее время с москвитами войны не было. Прежде воевали с французами да с австрийцами. А с русским сцепишься, живым от него не уйдешь. Да мы лучше в леса грабить бросимся, чем жизнь отдавать за ваши фальшивые деньги...

– Что?! Фальшивые?! – Капрал привскочил и стегнул плетью себя по голенищу. – Не желаете, марш вон! Ваши ноги к полу не припаяны.

– А ты не кричи, господин капрал. Не своей волей пришли к тебе. Нужда гонит.

– Ну, ты! Согласен? – снова уставился капрал в плаксивое лицо высокого детины.

– Лошади нет, коровы нет, королевские гусары отобрали... И работы нет. Согласен, – сморгнув слезу, сказал детина.

– На, – и капрал протянул ему квитанцию. – Явка через два дня в казарму крепости Кюстрин, в семь часов десять минут утра. Следующий!

К столу один за другим протискивались иностранцы, быстро соглашались на условия. Рассматривая паспорта и подмаргивая какому-либо дюжему в клетчатых штанах ирландцу, капрал бубнил:

– Краденый... Фальшивый паспорт-то. Ведь не твой? Ведь ты у какого-нибудь убитого вытащил. Я вас, мародеров, знаю. Вы на войне награбите того-сего да и до свиданья. Да с чужим паспортом в вербовку снова лезете. Я вас зна-а-ю, молодчиков. Вот один хват из Литвы пять раз бежал с войны, пять раз к нам нанимался. На шестой раз я своеручно пулю ему в лоб загнол. Ну, ладно... Только чтоб по-честному служить. Следующий!

Оттирая других, к столу подошли сразу четыре мордастых голодранца. Они одного роста и похожи друг на друга. От них пахло прелью и свиначником. Перемигнувшись и тупоумно захихикав, они сказали:

– Мы воры. Мы, господин капрал, бывшие воры. Мы неделю тому назад освобождены из тюрьмы.

– А-а-а-а... Так бы и говорили толком, – сказал капрал, насмешливо оттопырив жирные губы. – Ворами мы не брезгуем, берем, берем. Воры, особливо же головорезы, народ храбрый. Берем, берем. Только знайте, ребята, я вас в свою роту возьму, я вас вышколю. Я своему гренадеру из воров палкой затылок пробил под Цорндорфом. А теперь он произведен в капралы. Берем, берем воров... – Запыхтев, капрал выписал квитанцию и подал им.

– А деньги? – в один голос спросили воры.

– Деньги в казарме, ребята.

– Да мы со вчерашнего вечера не жравши. Дайте хоть по два талера на брата.

– Без разговоров! – топнул капрал, и его узенькие глазки сердито расширились.

– Нам воровать, что ли, идти опять? Мы не хотим быть ворами. Мы, может быть, почестнее вас теперь. Дайте талер.

– Не дам, нахальные ваши морды!

– Чтоб вас черт побрал с войной вместе! – Они скомкали квитанции и швырнули их в голову остолбеневшего капрала. Тот выскочил из-за стола, сгреб двух воров за шиворот и поволок их к двери. Воры крутились, орали, старались вырваться. Капрал с силой вышвырнул их на улицу. Воры, захохотав, побежали вчетвером вдоль переулка.

Капрал, отдуваясь и пыхтя, устало опустился на скрипучую скамейку. Стал доставать платок, чтоб отереться, и вдруг во всю мочь завопил:

– Кошелек!.. Кошелек из кармана!.. Ай, ай, и серебряная табакерка! – Весь дрожа, капрал вскочил, губы его кривились, глаза моргали. – Лови, держи! – бестолково метался он, совал в стол квитанционную книгу, гнал всех вон: – Идите, друзья... Контора закрыта... О, мой Бог!

– Вы арестованы, – по-немецки кто-то произнес сзади него крепким голосом.

Он обернулся, попятился от русского офицера, подобрал тугой живот, сделал руки по швам, сказал растерянно:

– За что? Кто имеет право меня арестовать? Я управляющий имением графа Кауфмана. Я частным образом набираю здесь батраков для полевых работ на землях его сиятельства...

– Врете! Я знаю, кто вы и куда набираете людей. На территории, принадлежащей российской короне, вы не имели права заниматься вербовкой солдат в армию нашего врага. Вы арестованы.

Пугачев с казаками уже стоял возле двери в сарай.

– Взять капрала и отвести в замок! – приказал Пугачеву офицер.

Пугачев любил бывать на пристани. Устье Прегеля кишело парусниками, суденышками, быстрыми челнами. У причалов стояли рыболовные шхуны, боты и оснащенные расписными парусами большие корабли. Шла нагрузка и выгрузка морских «посудин». Сотни грузчиков катали по крепким сходням дубовые бочки с рыбой, олифой, солониной. Бородатые боцманы-голландцы с румянцем во всю щеку дудели в свистульки, крикливо ругались, а иным часом прохаживались кнутом по спинам зазевавшихся грузчиков. Было шумно, терпко пахло смолой, рыбой, сыростью, бурым дымом над кострами.

А вот два русских корабля. Они доставили из матушки России горы овса и муки в мешках, военную амуницию в хорошо слаженных ящиках, бочки с порохом, ядра, пушки, мортиры.

Зазвучала русская надсадная «Дубинушка», и тяжелые медные орудия, поставленные на лафеты и подхваченные веревочными ляжками, полезли через борт на бревенчатые сходни, а по сходням тихонько поползли в обширный, из дикого камня цейхгауз.

Пугачев, увлеченный работой, сбегал вниз, поздоровался с солдатами, таскавшими под навес мешки, сказал:

– А ну, земляки, дай и мне поиграть, – он сбросил чекмень, поплевал в пригоршни и с азартом принялся за дело. Штабель мешков уже стал ростом выше головы. Пугачев со спины подошедшего к нему грузчика схватывал за уши тяжелый мешок с овсом и легко, словно пуховую подушку, швырял его на верх штабеля. Солдаты дивились его силе:

– Смотри, казак, пуп сорвешь, нутряная жила хряпнет...

Но казак благополучно проработал допоздна. За труды получил серебряный гривенник и чарку водки.

Работа разожгла в нем кровь, чарочка развеселила сердце. Эх, поплясать бы!.. Да с кем? И который уже раз ему снова вспомнился вольный Дон, просторные степи, покрытые зеленым большетравьем, голосистые девки с молодницами, чубастые казаки, песни, плясы, занятные сказы сивобородых дедов тихой ночью где-нибудь у костра, на берегу. И вспомнилась его любимая бабенушка, родная Софья Митревна. Какова-то она там, в станице Зимовейской?

Он вскочил в свой челн, встал дубом и, отталкиваясь длинной жердью, забуровил вверх по Прегелю. И погрезилась ему, словно живая, Сонюшка. Вот она улыбнулась ему и что-то молвила. Он кивнул ей и запел:

Разнесчастная бабенушка
Под оконушком сидит...

5

Пугачев вскоре был из Кенигсберга отправлен вместе со своим отрядом в действующую армию.

Однажды в конце лета, во время роздыха, Пугачев взял десяток молодых донцов и направился с ними «пошукать» кормов для лошадей. Придвигался вечер. Донцы решили остановиться на ночевку.

– Чья часть? – спросил Пугачев, подъезжая к костру.

– Команда Суворова, – с чувством гордости отвечали сидевшие вокруг костра солдаты Тверского драгунского полка.

Это имя уже и тогда входило между солдатами в славу. Много доброго слышал о Суворове и Пугачев.

– Слых есть – в жарких делах вы были, под Кунерсдорфом, – чтоб польстить солдатам, сказал обросший темной бородкой Пугачев и слез с коня.

– О-о-о, как в полыме! Под Суворовым лошадь была расстреляна, а другая ранена! – враз воскликнули солдаты и содвинулись, чтоб дать казаку место сесть. – А теперича нам целую неделю отдых пожалован. Гуляй – не хочу. На боку лежим, вошь бьем да огнем жарим у костров.

Тут все солдатские головы повернулись влево, солдаты зашептали: «Суворов, Суворов...»

Пугачев тоже глянул влево и сквозь сумрак видит: бежит чрез поле сухощавый, в белой рубаше, вправленной в темные штаны, невысокого роста человек с черным на шее галстуком, волочит по луговине за рукав мундир, под пазухой – сверток. А за человеком катится копной жирный повар грек в белом фартуке и белом колпаке.

– Ваше скородие, – пуча глаза и задыхаясь, взывает повар. – Что повелите приготовить на ужин? Есть молодые индюшки, есть барашек...

– Кашу, кашу, кашу, – отмахивается, отлягивается на бегу Суворов. – Сам индюков ешь... Помилуй Бог!.. Кашу, кашу. Я не приду, я – туда... – и, покрикивая: – Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре! – он припустился к палатке на пригорке, где тоже горел костер.

– К старикам-барабанщикам наш Александр Василич поспешает. Во чудодей! – и солдаты с ласковостью засмеялись.

– Ужо и я, – сказал любопытный Пугачев. – Прогонит так прогонит. Господи, благослови, – он оправил кафтан, покрепче надвинул на ухо шапку и шустро пошагал вслед за Суворовым.

– Здорово, молодцы-барабанщики! – крикнул, подбежав, Суворов. Шестеро барабанщиков вскочили, гаркнули приветствие. – Вольно! Садись, молодцы, – он бросил возле куста потрепанный мундир и сел на него по-турецки. – Каша есть? А ну, Филипп Иваныч, подсыпь в котелок. Ложку, ложку! (Барабанщик с седой косичкой выхватил из-за голенища деревянную ложку.) Наматывай! – сам себе скомандовал Суворов и принялся есть кашу, бормоча: – Велю, велю, велю. Сала нету... Ах, собаки... Выдавать велю. Рот дерет. А вот смажем... Иваныч, нацеди-ка шкалик! – Он повернул голову и большими серыми глазами глянул в загорелое лицо подоспевшего и робко стоявшего возле палатки человека. – А ты кто?

– Казак, ваше высокоблагородие! Донской казак Пугачев. За фуражом.

– Пугачев? А ну, казак Пугачев, садись к костру. Иваныч! – вновь обратился он к старику барабанщику. – А ну, пугни Пугачева шнапсом. Пьешь, казак?

– Никак нет, ваше высокоблагородие, а только что по приказу выпью.

– Молодец... – Он развязал свой узелок, достал штоф французской водки и передал Филиппу Ивановичу. – Насыпь-ка всем по чарочке.

Все благополучно выпили, крикнули, закусили хлебом с солью. Пугачев неотрывно смотрел на простецкого командира, и в его казацкой душе, испытавшей всякую грубость от начальства, закипало теплое чувство какого-то особого почтения. Суворов, то подмигивая солдатам, то гримасничая, стал накручивать торчком чуб над высоким, покрытым ранними морщинами умным лбом. Да и все сухощекое, обветренное, с румянцем, лицо его, несмотря на молодые годы, иссечено мелкими морщинками. Узкогрудый, сухонький, он спокойно сидеть не мог: то передергивал острыми плечами, то подбоченивался, то вскидывал руки вверх и покрикивал: «Война, война!»

Голос его резок, тенорист, звонок. Он как бы рубит каждую фразу из гремучего листа металла. Вот он взмахнул локтями, еще раз крикнул:

– Война! Эх, детки, детки. А за кого воюем? За мать-Россию воюем. Помилуй Бог. Молодцы вы.

Солдаты в молчании внимали. Пугачев насмелился и с дрожью в голосе, едва не всхлипнув от странного волнения, проговорил:

– И мы молодцы, ваше высокоблагородие, а уж вы-то, дозволейте молвить, – вы из молодцов молодец.

– Спасибо, казак Пугачев. А ну, Филипп Иваныч, пугни Пугачева второй чаркой. Барабанщик!.. О-о, барабанщик-мученик... Впереди, впереди. Трах-тара-рах, трах-тара-рах... – Суворов наскоро перекрестился, повесил голову, с минуту глядел в землю, от его прямого, с небольшой горбинкой, носа шли, огибая углы рта, глубокие охватистые складки. Искусно управляя ими, Суворов мог придать своему подвижному лицу то грустное, то суровое, то радостное выражение. Вот он вскинул голову и подмигнул барабанщику: – Иваныч! Суворову, Суворову поднеси. И всем...

Все поднялись с чарками, дружно прокричали:

– Будь здоров, отец наш!

– Пейте, детки. А врага бить будем. Штыком, штыком! Влево коли, вправо коли! Пуля дура, штык молодец. А казацкая сабля тоже – ого-го... Жжих – и нет башки! Пугачев, песни можешь?

– Завсегда могу. Я голосист.

– Стой! Дай я сперва. Старуха у меня там, в Кончанском, в селе моем. Нянька. Ох, мастерица, ох, затейница. Не поет, а вопит. Аж слеза берет.

Суворов быстро крутнул головой, сорвал с жердины висевшую над его плечом просохшую портянку барабанщика. Тот с испугом закричал:

– Ваше высокоблагородие!.. Не трогайте! Вот рушничок почище...

– Помилуй Бог, Иваныч, не шуми, – погрозил Суворов пальцем, взял рушник, живо подвязался им по-бабьи, как платком, весь сморщился, выпятил подбородок, стал похож на старушонку.

Пугачев и солдаты не могли стерпеть, улыбнулись. Суворов сугорбился, подшибился рукой и, пришамкивая, запел-завопил старушечьим голосом:

Головами мосты мощены,
Из кровей реки пропущены,
Ох-ти, да ох-ти, да ох-ти мне.

– Это про войну, братцы, про кроволитье, – сказал Суворов натуральным голосом и резко

разогнулся. – Ой и добры же слова в песне, ребята. Все кричат – Гомер, Гомер! А вот он – Гомер, старухи деревенские. Не слова, а жемчуг, бриллиантовые бусинки. Берегите, братцы, старину!

Он опять сугорбился, сморщился, снова завопил:

Круг сердечушка с ружья палят,
По бокам пуля пролятывают,
Мати дома убивается,
Сынок милый не вертается...

Он вопил протяжно и столь выразительно, с такой неподдельной жалостью к жертвам войны, что солдаты начали пофыркивать носами, Иваныч смахнул слезу, и плохо бритые губы его задергались.

Быстро темнело. Стали бить вдали вечернюю зорю. Суворов вскочил, сорвал с головы рушник, припустился к своей палатке, крикнул на бегу:

– Соломки, соломки подбросьте! Спать к вам...

Глава V

Берлин взят

1

Наступила весна 1760 года. Вновь началось великое передвижение войск.

После разгрома прусской армии под Кунерсдорфом предприимчивый Фридрих сумел – правда, с большими усилиями – набрать новые войска. Вся Пруссия, изнуренная непосильными налогами, изнывала от войны. В народе подымался ропот.

Со всех сторон прусские области были окружены врагами Фридриха.

Граф Салтыков тоже двинул на Фридриха сильную армию, зимовавшую в Польше.

Русские войска пока что стояли вблизи реки Одер в бездействии. Осторожный Салтыков берег свою армию и не хотел одними своими силами вступать в бой с Фридрихом. Его возмущало, что австрийский генерал Лаудон все время идет по пятам прусской армии и не решается атаковать ее. Салтыков сетовал австрийскому главнокомандующему фельдмаршалу Дауну: «Если вы не воспрепятствовали королю перейти Эльбу, Шпрее и Бобер, то ничто не помешает ему перейти и Одер, соединиться с принцем Генрихом и обрушиться на меня всюю силою. Но я прямо говорю: как только король перейдет Одер, я в тот же час иду обратно в Польшу, ибо здесь ни солдатам, ни коням еды нет».

После этого Даун решил дать бой Фридриху, но в двухчасовом сражении был разбит и бежал. Несмотря на столь быструю победу, Фридрих все же очутился в тяжелом положении: у него были пусты фуры и казна. Он повернул к Бреславию, материальной своей базе. Салтыков не сумел воспользоваться замешательством Фридриха и без видимой причины стал отводить армию назад.

А время шло, наступила осень. Салтыков захворал «гипохондрией», с разрешения Петербурга подал в отставку, передав командование армией графу Фермору.

Между тем оправившийся Фридрих стал теснить австрийцев, он пытался отрезать их от хлебной Богемии, окружить и уничтожить.

Чтоб отвлечь внимание Фридриха от австрийской армии, Фермор приказал графу Захару Григорьевичу Чернышеву открыть поход к Берлину.

Двадцать тысяч русских войск, подкрепленных пятнадцатью тысячами австрийцев, двинулись к столице Пруссии.

Генерал-майор Тотлебен, ссылаясь на свое отличное знание слабых сторон в защите столицы Фридриха, выпросил в ставке Чернышева три тысячи драгунов с гренадерами и через несколько быстрых переходов был уже под Берлином. Австрийцы, под командой Ласси, остались далеко позади. 23 сентября (ст. ст.) Тотлебен занял три дороги к Галльским, Бранденбургским и Котбусским городским воротам, а вскоре отправил в город парламентаря-офицера с требованием сдачи столицы.

Фридрих не предвидел возможности столь молниеносного налета на Берлин и никаких мер к его защите своевременно не принял. У берлинского коменданта Рохова имелось лишь тысячи полторы солдат.

Был ясный осенний день. Узнав о наступлении русских, весь город всполошился. «КазакИ, казакИ!» –

кричали жители, напуганные газетными измышлениями о лютых зверствах русского казачества. Любопытные бежали к воротам, залезали на крыши домов, на колокольни, откуда видны были окраины Берлина. В старинном костеле св. Марии ударили в набат, на пожарных каланчах выбросили тревожные знаки. По улицам, вздымая пыль, скакали взад-вперед рейтары^[5], что-то кричали. То здесь, то там небольшими кучками спешили прусские солдаты, дружно отбивая шаг и направляясь к королевскому замку. Где-то слышались выстрелы, бой барабанов, звуки медных рожков.

В двух придворных с гербами каретах к ратуше подкатили раненный в Кунерсдорфском сражении генерал Зейдлиц и старик фельдмаршал Левальд, армия которого была бита русскими при Гросс-Эггерсдорфе. Оба они проживали на излечении в Берлине.

На кратком военном совещании, напыжившись и шлепая толстыми бритыми губами, старик Левальд сказал:

– Что, сдаваться? Мы ответим дерзкому врагу свинцом и порохом. Мобилизовать все силы до последнего инвалида. Выдать боеспособным гражданам оружие... Все да защиту столицы! Я патриот своего отечества. Я сам встану... Слышите, комендант? Мы с генералом Зейдлицем оба примем участие в обороне... Не так ли, генерал!?

– Ваше высокопревосходительство! – шустро встал юркий, маленький, с хитрыми глазами, знатный берлинский банкир Гоцковский. Расшаркиваясь пред фельдмаршалом и слегка заикаясь, он слащавым голосом заговорил: – Будучи в наилучших отношениях с графом Тотлебенем, много лет проживавшим в Берлине, я беру на себя смелость, если к тому будет соизволение высшего начальства (он отвесил поклон Левальду) и столичного городского магистрата... Ээ... ээ... я приложу все силы к тому, чтобы склонить графа Тотлебена не наносить особых ущербов ни городу, ни казне, ни берлинской мануфактуре, ни... ээ... ээ...

– Позвольте, – пристукнув палкой, хмуро и грозно перебил его Левальд. – Но город еще не сдан и не думает сдаваться. О чем вы говорите? – Лицо банкира враз покрылось испариной, он, как черепаха, вобрал черноволосую голову в плечи и двумя пальцами прикрыл рот. Левальд поднялся: – Господа! Продолжайте заседать. Здесь будет штаб обороны. Генерал Зейдлиц, а мы поспешим с вами к месту военных операций. – Волоча ногу и опираясь на палку, фельдмаршал направился к выходу.

Получив отказ в сдаче города, Тотлебен выставил на Темпельгофской горе две батареи и приказал начать обстрел Берлина.

Бомбардировка продолжалась с двух дня до шести часов вечера. Было выпущено по городу более трехсот гаубичных бомб и зажигательных просмоленных каркасов. Ядро прибило крышу королевского замка. Отряды пожарников быстро тушили возникавшие пожары. По улицам взад-вперед бегали вооруженные граждане и любопытные мальчишки. Воинственные инвалиды култыхали на костылях к воротам. Гремя колесами по мостовой, двигались от центра к городским заставам многочисленные арбы и телеги с товарами перепуганных купцов. По главным улицам проворно перебегали с лесенками фонарщики, зажигая свет.

Город не сдавался. В десять часов Тотлебен вновь открыл пушечную пальбу по городу.

Около полуночи казачьи разъезды схватили в поле возле Галльских ворот однорукого пруссак в военной форме. Он заявил на русском языке, что имеет личное поручение и пакет от фельдмаршала Левальда к ясновельможному графу Тотлебену. Безрукого доставили в палатку графа. Выслав из палатки адъютанта и лакея, граф сурово взглянул в глаза безрукого. Тот стал на колени и подал Тотлебену небольшую записку банкира Гоцкого. Тотлебен прочел и сжег на свече. Затем он написал на клочке бумаги: «Готовьте контрибуцию. Сдавайтесь». А вместо подписи приложил сургучную именную печать своим перстнем. Отдавая записку безрукому, он негромко сказал по-немецки:

– Вместе с этой запиской передашь господину Гоцковскому, чтоб не тревожился. А это возьми себе, – и граф протянул безрукому три золотых империала. Кликнув адъютанта, он на французском языке приказал: – Вот что, милый мой, скажите-ка двум моим ординарцам, чтоб этого человека, присланного с пакетом от Левальда, они вывели за расположение наших войск и отпустили на все четыре стороны.

Нужны были энергичные меры, ценна была каждая минута, между тем Тотлебен стоял со своим отрядом в полном бездействии. А враг не дремал: на помощь осажденному Берлину подоспел из Померании принц Виртембергский с пятью тысячами войск. Тогда Тотлебен отступил в местечко Кепеник, что в двенадцати верстах от Берлина.

2

Сюда вскоре прибыл со своим корпусом и граф Чернышев. Он довольно кисло обошелся с Тотлебенем, зная его, по рассказам в свете, за человека тщеславного и легкомысленного, краснбая и едва ли не пройдоху.

– Как?! До сих пор Берлин не взят? Может быть, прихода Фридриха дожидаетесь?

– Мы, граф, ждали вас, – угодливо доложил Тотлебен.

В это время в Берлин вошел десятитысячный корпус прусского генерала Гильзена. Принц Виртембергский и Гильзен, соединив свои силы, выступили навстречу русским.

Граф Чернышев приказал двинуть войска вперед, сбить пруссаков и окружить столицу.

Начались кровопролитные схватки. Русские войска всюду теснили неприятеля. Казаки и конные гренадеры уничтожили три отряда прусской конницы. Русская артиллерия действовала искусно. Потрепанный неприятель стал поспешно откатываться к городу. Ни палки капралов, ни пули офицеров в спину отступающим больше не помогали. Всюду нарастало грозное русское «ура»!

Преследуемый казаками и киргизской конницей, враг без оглядки побежал.

Прусское командование, проведав, что в помощь Чернышеву подходит корпус генерала Панина, решило сдать город на милость победителя. Под прикрытием темной сентябрьской ночи прусский корпус оставил Берлин и скрылся в окрестных лесах.

Хотя русские пушки замолкли, но в городе никто не спал.

Объятый страхом сотрудник правительственной газеты, толстый, лысый Фриц, накинув на плечи заячье одеяло, кряхтя и постанывая, поднялся в мансарду к художникам братьям Шульц и так же, как в ту неприятную ночь, забарабанил в дощатую некрашеную дверь:

– Эй, вы!.. Да отоприте же...

Но дверь была не заперта. Фриц, кой-как протиснув в узкую дверь свое тугое брюхо, ввалился в холостецкое логово. Братья-художники были вдрызг пьяны. Младший, рыжий, в больших круглых очках, валялся под столом и храпел, а старший, чернявый, облокотившись о столешницу и выпучив помутневшие глаза на Фрица, издавал нечленораздельное мычание. На столе опрокинутый набор бочонок пива и едва мерцающий светец с конопляным маслом, а в оловянной тарелке кучки моченого гороха и соленых ржаных сухариков. В углу – изъеденное молью чучело медвежонка с трубкой во рту, на плохо штукатуренных стенах карикатуры на казаков, русских генералов, императрицу Елизавету: запрокинув голову, с короной на макушке, и раздув толстые щеки, она хлестала водку прямо из штофа. Фриц быстро сорвал со стены все рисунки, бросил в камин и поджег. Старший Шульц замычал и ударил кулаком в стол. Фриц схватил художника за плечи, стал трясти его, с отчаяньем кричать в лицо:

– Шульц! Иоганн!.. Камерад! Очнись. Через час, через два казаки подденут нас на свои вилы и сбросят в волны Шпрее... Ой, ой... Что делать? Наши войска ушли. Мы сдаем город варварам!..

– Не может быть?! – завопил пришедший в себя Иоганн Шульц, схватился за виски и попытался приподняться...

А на утренней заре, когда небо на востоке едва зарозовело, из Котбусских ворот выехали с белым флагом два парламентаря-офицера и трубач. Они направлялись в передовой отряд русских войск, к Тотлебену, с капитуляционной грамотой, подписанной комендантом Берлина, генералом Роховым. На

башенном шпице Котбусских ворот сидел воркующий белый голубь, в лучах зари он казался розовым.

– Глядите: голубок... Удача будет, – не без грусти сказал парламентар своему товарищу.

В русском лагере пробили зорю. Дежурный офицер разбудил Тотлебена. Не умываясь, в халате и туфлях на босу ногу, Тотлебен принял парламентаря, а через короткий срок с гусарами, драгунами, конногренадерами и частью пехоты Тотлебен двинулся в Берлин. Возле Котбусских ворот он был встречен генералом Роховым и депутатами города. В кордегардии ворот Тотлебен подписал предварительные условия капитуляции. Депутаты были пасмурны, позевывали, ежились от утренней свежести. Комендант Рохов нервничал, он был бледен, кусал кривившиеся губы. Он отрапортовал Тотлебену, что берлинский гарнизон сложил оружие.

– Снимите шагу, – приказал ему Тотлебен. – Отныне вы не комендант Берлина, а мой военнопленный.

Рохов повиновался. Отдали шаги и прочие прусские офицеры.

– Бригадир Бахман, – обратился Тотлебен к своему подчиненному. – С сего двадцать восьмого сентября вы – русский комендант Берлина. Распорядитесь без промедления занять казаками и пехотой все ворота города, а равным образом и высоты, где стоят неприятельские батареи.

Было шесть утра. Солнце встало. В его лучах горели кресты костелов, шпиц королевского дворца, вражеские заклепанные пушки у ворот. Блестели уздечки, стремяна, медные кокарды на красных гусарских шляпах, штыки строившейся пехоты. Над воротами взвился российский флаг.

В семь часов раздалась команда, забили барабаны. Началось торжественное вступление русских войск в Берлин.

Впереди ехал со свитой граф Тотлебен. За ним с развернутыми знаменами многие эскадроны драгунов и конногренадеров в пышной парадной форме. А сзади, ощетинив острые штыки, шагала серая пехота.

Измученные недавними боями русские солдаты были суровы видом, в их взорах из-под насупленных бровей сверкала гордость победителей.

Гремели оркестры церемониальными маршами, песельники сильными голосами исполняли бравые песни с присвистом. Под медную музыку и песни кони с подстриженными хвостами подплясывали, похрапывали, кивали головами, как бы раскланиваясь с толпами берлинцев, стоявших по обе стороны дороги. Горожане в полном молчании встречали врага, захватившего их город.

Шествие направлялось по улицам столицы к королевскому дворцу. Главные части войска были расквартированы в окрестностях Берлина. Напуганные жители, ожидавшие погромов и бесчинств, с удивлением наблюдали, как русская пехота и казаки мирно проследовали в отведенные им казармы.

Граф Чернышев ночевал в двенадцати верстах от Берлина, в местечке Кепеник, в королевском загородном замке. Он всю ночь не спал от невыносимой зубной боли. Рано поутру прискакал курьер с известием, что Берлин сдался и что граф Тотлебен ведет переговоры со столичными властями об условиях сдачи.

– *Не вести* переговоры об условиях, а *диктовать* эти условия! – вспыхнул Чернышев. – Одеваться! Кофе! Двух писарей сюда!

Граф Чернышев был в сильном гневе на Тотлебена и на самого себя. «И угораздил же меня черт так нелепо проворонить взятие столицы. Ха, не угодно ли... Берлин взят не русским генералом графом Чернышевым, а каким-то проходимцем Тотлебенем, иноземным выходцем... А все проклятые зубы

причиной». Чернышев схватился за опухшую щеку, застонал и крикнул:

– Зубодера ко мне!

Вошедший доктор (лысая голова, большие красные руки) сказал:

– Ваше сиятельство, у вас опухоль десны, надо выждать, пока созреет и прорвется флюс. Я сейчас вам припарку...

– К чертовой матери твою припарку... Рви!

Когда доктор нажал на сгнивший зуб холодной сталью, у Чернышева брызнули из глаз слезы, но зуб благополучно вылетел. Чернышев перекрестился.

3

Тотлебен, избравший для своего пребывания королевский замок, стал полным хозяином столицы. Возле него все время вертелся шустрый берлинский банкир Гоцковский. Он пользовался большим влиянием в среде столичных дельцов. В Берлине и его окрестностях были сосредоточены крупнейшие фабрики, суконные, шелковые, ситценабивные, а также фарфоровые, фаянсовые и многие другие заводы, поэтому мир коммерческих воротил был здесь особо богат и силен. Гоцковский считал себя большим другом Тотлебена – при встрече они облобызались и вспомнили свои былые кутежи в Берлине. Банкир осыпал Тотлебена лестью, лаской и подарками. Он, как челнок в ткацком станке, носился в своей голубой карете взад-вперед то в магистрат, то к фабрикантам, то к Тотлебену. Он весь проникся духом патриотизма и мнил себя добрым гением несчастного города. Богатый, предприимчивый Гоцковский был очень щедр, Тотлебен же чрезмерно покладист.

На заседании магистрата, где присутствовали президент Кирхехен, бургомистры, ротман и где заслушан был выработанный магистратом текст капитуляции, Тотлебен, распаляясь фальшивым гневом, топал, кричал, запугивал:

– Конtribusi четыре миллиона, и – ни пфеннига меньше! Такова воля и точное повеление командующих экспедиционным корпусом графа Чернышева и генерала Панина... Иначе – фабрики будут взорваны, Берлин предан огню...

А возвратясь в королевский замок, Тотлебен дал банкиру Гоцковскому согласие подписать документ о сдаче города. Текст этого исторического документа начинается так:

«Пункты капитуляции, которую столичный город Берлин, из милости ее императорского величества всероссийской императрицы и по известному его сиятельства командующего генерала человеколюбию, получить надеется:

1) Чтоб сей столичный город и все обыватели...» и т. д.

Иные пункты капитуляции были выгодны не столько нам, сколько пруссакам. Так, контрибуция снижена до полутора миллионов талеров, да и то наличными город уплачивал пятьсот тысяч, остальная сумма – ненадежными купеческими векселями.

Граф Чернышев, узнав о столь мягких условиях капитуляции, пришел в ярость, но, чтоб не подорвать авторитета Тотлебена и, тем самым, всего российского воинства, волей-неволей согласился на условия капитуляции.

За столь выгодную для Берлина сделку Тотлебен внакладе не остался. И только лишь он успел получить от Гоцкого превеликий куртаж, или акциденцию, а по-русски – взятку, как явился в кабинет адъютант и подал ему опечатанный казенными печатями пакет.

– От его превосходительства генерала Петра Ивановича Панина.

Приказ написан был по-французски, так как Панин знал, что Тотлебен в русском языке слаб. Тотлебену тем более был неприятен самый тон приказа и его содержание.

Он послал за Гоцковским и, когда тот явился, молча подал ему бумагу Панина. Банкир ознакомился с нею, пожал плечами, закатил глаза и, заикаясь, произнес:

– Это-это-это... невозможно!

– Но войдите, мой любезный, в положение вашего покорного слуги. Я никак не могу послушаться категорического приказа!

– Сиятельный граф, – вкрадчиво сказал Гоцковский, – сверх того, что вы уже получили, мы обещаем вам то самое имение в Померании, которое вы облюбовали, оно оценивается в девяносто шесть тысяч талеров...

– Но я не могу, не могу, поймите же, – простонал Тотлебен. – Мне насторого приказано разрушить до основания все фабрики, являющиеся собственностью его величества короля...

Гоцковский прищурил левый глаз, прищелкнул пальцами и таинственно улыбнулся.

– Сиятельный граф, – начал он, – смею вас заверить и клятвой своей подтвердить, что эти помянутые королевские фабрики – его величеству королю не принадлежат, ибо весь доход с них... ээ... в казну не отчисляется, а поступает целиком на содержание большого сиротского дома в Потсдаме.

– О, тогда оборот дела меняется, – повеселел Тотлебен. – И ежели это действительно так, я, в виде гарантии, должен потребовать от вас, любезнейший Гоцковский, письменного на то свидетельства, а также утверждения присягою и... еще, хотя бы для проформы, показаний каких-либо знатных свидетелей...

– За свидетелями дело не станет, граф, – и Гоцковский поспешил к выходу.

Тотлебен провел рукой по белокурым курчавым волосам и осмотрелся. В четырех темных бронзовых шандалах горело сорок восемь свечей. Потолок высокого готического кабинета окутан был давящей мглой. На черном выступе пылавшего камина позеленевшие от времени бронзовые часы показывали полночь. По мрачным стенам в неверном колеблющемся свете старинное оружие – щиты, кольчуги, шлемы. По углам – чугунные стопудовые рыцари в латах и доспехах. С потолка на черной толстой цепи спускалась черная тяжелая люстра. Все было грузно, мрачно и мертво, лишь играющий огонь в камине да неяркий блеск свечей напоминали о жизни.

...Тем временем банкир Гоцковский, по привычке потирая руки, громыхал чрез ночную тьму в своей голубой карете в ратушу, где днем и ночью дежурил весь состав магистрата.

4

Ночь прошла благополучно. Казачьи разъезды, пешие патрули и рунды блюли порядок. Комендант города Бахман не слезал с седла. Полуторастотысячное население столицы, видя строгую дисциплину среди русских войск, успокоилось.

В шесть часов утра, проехав старинный мост Курфюрстенбрюкке, Пугачев с Семибратовым возвращались из ночного дозора. Им очень хотелось есть. Они с завистью посматривали на открываемые булочные с золотым кренделем вместо вывески, на спешивших к рынку торговков, везущих на небольших тележках молоко и зелень. Люди все гуще стали заполнять проснувшиеся улицы. Вот пробежала с веселым криком ранняя кучка школьников, два пастора степенно идут в кирху; пыля и гремя, прокатила почтовая тройка, на телеге почтальон с пистолетом и шпагой. Встречались нищие, инвалиды на костылях, женщины, девушки, толпами шли к фабрикам работные люди в коротких кафтанах.

Иные из прохожих, завидя бравых наездников, приветствовали их улыбчивыми взглядами, взмахивали шляпами, платочками. А некоторые, наоборот, грозили кулаками.

Быстро остановив тележку, торговка подала казакам небольшой кувшин молока, румяный пирожник совал им горячие пирожки с капустой.

– Эссен зи, эссен зи! Кушайте.

– В газетах ввали, что казаки и все русские – грабители, – переговаривались в толпе, – а они парни хоть куда...

Кучка ребятишек держала шумный совет, что бы такое подарить казакам. Беловолосый, что постарше, взглянув на шапки георгинов возле соседнего дома под остроконечной черепичной крышей, вбежал в палисад и, не решаясь самовольно сорвать чужие цветы, стал стучать подвешенным на крыльце деревянным молотком в жестяной лист, прибитый к двери.

– Хозяйка, – сказал он появившейся в дверях старухе в белом чепце. – Вот два казака на дороге... Видите? Нельзя ли сорвать для них два ваших георгина?

– Сорви, сорви... Да погоди-ка, – и она достала из кармана вязаной кофты две спелых груши. – Передай им... Да только сам не сожри...

– Ха! Что вы...

Собиралась толпа зевак. Узкий переулок вблизи казармы наполнился говором. Мальчики с ясными улыбками на счастливых рожицах поднесли казакам цветы и груши.

В третьем этаже дома из грубо тесанного камня с треском растворилось окно, раненый старый прусский офицер в рыжем парике сердито махал руками, кричал:

– Эй, вы! Врагов отечества?! Врагов его величества короля? Прочь, прочь! Стрелять буду...

Пугачев вытер губы, тряхнул чубом, сказал:

– Ну спасибо, миряне, на угощении. Не знаю, как вы, а мы с дружкой очень довольные вами остаемся. Прощайте! – Казаки двинулись дальше.

В этот день по приказу Чернышева были взорваны и разрушены до основания арсенал, литейный двор, королевские ружейные фабрики и шпажные заводы Берлина, Потсдама и Шпандау, а также все пороховые мельницы. Огромная военная добыча – пушки, ружья, шпаги, порох – немедленно отправлялась в нашу армию.

Австрийский корпус генерала Ласси, подошедший от Потсдама и не участвовавший во взятии столицы, намеревался тоже войти в Берлин. Но австрийцев в воротах остановили наши пикеты, ссылаясь на условия капитуляции, по которым большая часть русского корпуса тоже остается в поле. Ласси усмехнулся, сказал: «Здесь не вы одни хозяева» – и насильно под барабанный бой ввел несколько своих полков в Берлин, чтобы расквартировать их в домах столицы.

С приходом войск генерала Ласси в городе сразу начались беспорядки. Едва осмотревшись, австрийцы бросились грабить жителей, разбивать их квартиры. Во многих улицах слышались вопли, проклятия, пальба из пистолетов и ружей. Возникали пожары.

Комендант Бахман, поспевая с сильным отрядом казаков всюду, где беспорядки, старался навести спокойствие.

Граф Чернышев жил в Кепенике. Заметив над Берлином зарево, он вскочил в седло и в сопровождении пяти эскадронов гусаров двенадцать верст проскакал вмах. Выяснив положение дела, он приказал немедленно очистить улицы столицы от грабителей.

– Пустить в ход оружие! Мародеров расстреливать на месте.

К ночи погромы во всем Берлине были приостановлены. Расставлены сильные караулы из русских возле королевских конюшен, обсерватории, оперного театра, зданий академии наук и академии художеств, возле больниц и госпиталей, возле университета и прочих общественных зданий.

Чернышев поместился в королевском дворце. Тотлебен, живший в другой половине дворца, на следующее утро явился к Чернышеву с докладом. Чернышев не подал ему руки и не предложил сесть. Похолодевший Тотлебен стоял навытяжку.

– Известно ли вам, граф, что король движется сюда?

– Нет, не известно, ваше сиятельство.

– Потребовали ли вы от магистра ключи Берлина?

– Нет.

– Отлично! – Чернышев зажмурился, поправил тугой ворот мундира, достал из сумки голубоватый лист бумаги и потряс им в воздухе. – Подписанная вами капитуляция составлена слишком мягко для Берлина, и всемилостивейшая государыня вряд ли останется нами довольна. – Чернышев пристально уставился Тотлебену в лицо. В глазах Тотлебена отразилось сильное душевное волнение. – А изъяты ли вами деньги и прочие ценности из правительственных учреждений столицы?

– Нет, ваше сиятельство. Но я это исполню.

– Приведен ли в ход приказ генерала Панина о секвестровании мануфактуры королевских фабрик?

– Нет, ваше сиятельство, – произнес побледневший Тотлебен. – Но я имел к этому сильные основания. Вот извольте посмотреть документы, – и Тотлебен подал Чернышеву два исписанных листа бумаги с сургучными печатями. – Эти документы удостоверяют, что так называемые королевские фабрики работают не в пользу короля, а...

Чернышев, не читая, разорвал оба листа, скомкал их, швырнул на пол и, едва сдерживая себя, сказал:

– Сегодня же извольте отправить в наш лагерь все товары королевских фабрик. Я буду иметь личное за сим наблюдение. – Он поднялся и, опираясь кулаками в стол, резко проговорил: – В вашем поведении, граф, я усматриваю нечто большее, чем нарушение воинской дисциплины. Прощайте.

5

Ровно в полдень, по приглашению Чернышева, прибыл во дворец весь магистрат. Чернышев потребовал немедленно представить ему ключи города Берлина. Президент магистрата Кирхехен, высокий и худой старик в орденах и медалях, отвесил Чернышеву поклон и, покашливая, тонким голосом заговорил:

– Ваше сиятельство, всемилостивый военачальник! Умоляем вас отменить свое требование. Передачей вашему сиятельству ключей столицы была бы нанесена кровная обида его величеству королю и причинился бы вечный позор нашей нации.

– Смею вас заверить, – ответил, приподымаясь, Чернышев, – что нация тут ровно ни при чем. Против нас воюет король, а не нация. И может всегда статься, что ваша нация окажется однажды не против нас, а с нами...

– Когда граф Тотлебен взял Берлин, он о ключах ни слова... – начал было Кирхехен, но Чернышев грубо прервал его:

– Замолчите! Граф Тотлебен Берлина не брал. Берлин взят русскими солдатами. Потрудитесь без промедления доставить мне ключи.

Золоченые ключи в шкатулке из мореного дуба с железным прусским орлом на крышке чрез час были вручены Чернышеву и перешли на славу России в ее владение. Вез ключи в придворной карете президент магистрата Кирхехен, глаза его были полны слез. Карету эскортировали три эскадрона русских гусаров с развернутыми знаменами и оркестром.

В конце дня Чернышев в открытом экипаже катался по городу. Его сопровождала сотня казаков. Пугачев с любопытством приглядывался к огромному городу Берлину.

– Я полагал, Кенигсберг-то город, а он супротив Берлина – деревня, – сказал он Семибратову, скакавшему голова в голову с ним.

Широченная и прямая улица Унтерденлинден, обсаженная посередине четырьмя рядами лип и обстроенная прекрасными домами, особенно поразила воображение казаков. Когда они помчались в зеленые заросли Тиргартена, большого, трехверстной длины, парка, со множеством дорожек, прудов и затейливых беседок, Чернышев пошел пешком направо, к реке Шпрее. Еще не улетевшие грачи с граем возвращались с полей, в кустах, потрескивая, посвистывая, перепархивали дрозды и пичуги. Хваченная инеем густая листва была живописна: желтая, фиолетовая, рдяная, как кровь, она радовала глаз.

А вот и неширокая Шпрее. Вода в ней не успела еще совсем остыть. Каких-то три наших солдата, оголив себя и наскоро перекрестившись, с разбегу кинулись в воду, громко загоготали и, отфыркиваясь, поплыли на тот берег.

– Хороша ль водичка? – с хохотом кричали им с берега.

– Хороша-то хороша. Только дюже мокрая! Одно слово – немецкая...

На берегу кучки наших солдат чистили обозных и верховых коней, стирали белье, негромко пели проголосную тамбовскую. Пылал костер.

Пугачев водил взором по этой чужой ему реке, прислушивался к тягучей родной песне, ему вспоминался вольный Дон, сердце его облилось тоской по родине. «Домой, домой», – стучало сердце.

Вечером, проглядывая в библиотеке замка берлинские газеты за годы войны, Чернышев шумно

негодовал. Помимо массы дерзких и каверзных карикатур на русских полководцев, казаков, Елизавету, его особо злили наглые поклепы на жестокость и варварство русского воинства. То мы в каком-то местечке по локоть отрубили руки трем почтенным старикам, то добывали кинжалами из чресла беременных женщин еще не родившихся младенцев, то, вытащив из церкви престарелого пастора, обмотали его соломой и живьем сожгли.

– Ну, я им, этим газетирам, завтра праздничек устрою... Диатрибы проклятые, – проговорил Чернышев и отшвырнул газеты.

Утром следующего дня к плацу перед замком, где еще при отце Фридрихе II был цветущий сад (Люстгартен), со всех сторон спешил оповещенный о небывалом зрелище народ. Было воскресенье. Во всю длину плаца вытянулись в две шеренги солдаты, у каждого в руке пучок розог. В середине – бледные, растерянные сотрудники всех столичных газет, листовок и журналов. Тут же – высокая виселица с веревкой. Под виселицей пылал костер. Возле костра, наступив сапогом на кипу газет, стоял в красной рубахе и широкополой шляпе рослый палач. Чернышев с «перспективной» трубой в руке наблюдал эту картину из распахнутого окна замка.

Раздалась команда. Пять барабанов забили дробь. Палач, пачку за пачкой, стал швырять в огонь газетные листы... Капралы и казаки начали стаскивать с газетиров одежду. Газетиры дрожали.

Заиграл рожок. Бой барабанов прекратился. Адъютант графа Чернышева верхом на статном белом коне поднял руку. Весь плац погрузился в мертвое молчание. Взоры всех были устремлены на адъютанта. Громко, на немецком языке, адъютант объявил:

– За бесчестную клевету и грязную ложь, коими собранные газетиры на протяжении всей войны порочили Россию и ее славную армию, надлежит их прогнать сквозь строй.

Приговоренные пришли в трепет, стали что-то лепетать, стали приводить в свое оправдание жалкие доводы: «Мы действовали под давлением хозяев», – иные упали на колени и, обращаясь к адъютанту, молили о пощаде.

– Снимай портки, жирный черт, – пыхтел усатый капрал над толстым Фрицем. – Тебе по-русски говорят – снимай!

Но тот двумя горстями со всех сил держал штаны и весь трясся. Многочисленное сборище зевало шумело, волновалось. Из толпы слышались нервные выкрики:

– Шульц!.. Фриц!.. Рауль!.. Мужайтесь! Мы здесь, мы с вами.

Снова заиграл рожок. Все смолкло. Переконфуженные газетиры понуро стояли без штанов. Адъютант взмахнул рукой и торжественно, на весь плац, громко объявил:

– Всероссийская императрица Елизавета, в своем неизреченном милосердии даже к врагам своим, на сей раз всемилостивейше прощает преступных газетиров и берет с них клятвенное слово впредь такими продержаниями не заниматься.

Адъютант уехал. Казаки вскочили в седла. Солдаты с бравыми песнями строем разошлись. Публика помогла опозоренным газетчикам одеваться. Фриц, тяжело отдуваясь и вытирая с толстой шеи пот, прихватил пучок розог себе на память.

В этот же день было объявлено выступление из Берлина.

Распоряжением нашего командования взяты были все деньги, какие оказались в казначействе, в государственном банке и прочих казенных учреждениях, а также получен так называемый «дусергельд», то есть подарок русским и австрийским солдатам двухсот тысяч талеров.

Банкир Гоцковский готовился дать в ратуше русским военачальникам торжественный обед, но Чернышев затею эту отклонил.

За русским комендантом Бахманом магистрат прислал карету. Изливаясь в благодарности за поддержание в столице столь великой дисциплины, магистрат поднес ему как коменданту города десять тысяч талеров в награду. Не приняв денег, Бахман не без яда ответил:

– Я довольно награжден и тою честью, что несколько дней был комендантом Берлина.

Войска выступили в полном порядке. Впереди – донцы. Они успели сложить про свой поход песню. Потряхивая чубом, с лукавой смешинкой в черных, навывкате глазах, Пугачев звонко начал:

Часто Фридриха мы били,
К нему в гости мы зашли,
Всю столицу перерыли,
Короля в ней не нашли.

Ударяя в бубны, в тулумбас, казаки с присвистом азартно подхватили:

Эх, любо, братцы, любо,
Любо врага бить!
С нашим атаманом
Не приходится тужить.
Эх, нечего тужить!

Опять залихватская запевка Пугачева:

Мы в Берлине погуляли,
Фридрих будет помнить нас.
В Шпре-реке коней купали,
Весь повывезли запас.

И снова дружные голоса казаков:

Эх, любо, братцы, любо,
Любо врага бить!..

Глава VI

Чугунные рыцари

1

Наступил 1761 год, чреватый важными неожиданностями. Так, вместо Фермора, на пост главнокомандующего был неожиданно назначен фельдмаршал Бутурлин. Всем было в удивленье, что на протяжении пяти лет войны сменялся вот уже четвертый военачальник. И, как на беду, все эти сановитые горе-воеводы, даже граф Салтыков, не обладали в полной мере качествами главнокомандующего. У них была своеобразная, весьма удобная для Фридриха тактика: восемь месяцев сидеть где-нибудь в Польше, два месяца идти к полю битвы, два месяца воевать, успешно разгромить вражескую армию и, не использовав до конца победы, не поставив разбитого врага на колени, снова с легким сердцем уходить на зимние квартиры в Польшу, то есть возвращаться к праздному восьмимесячному прозябанию за счет русского крестьянства, изнывающего от военных поборов. А вот наступит лето, можно опять пойти подраться с Фридрихом. И так тянулось это из года в год.

Всех горе-воевод подсовывал мужественной русской армии правящий Петербург, отчасти и сама Елизавета.

Горе-воеводой оказался на деле и фельдмаршал Бутурлин. Про него шла молва, что он навряд ли способен и три полка водить, где же ему всей армией командовать?

И еще говорили:

– Да если б главнокомандующим граф Румянцев встал три года еще тому назад, мир был бы заключен.

Бутурлину шестьдесят семь лет. Высокий, плотный, с красным горбатым носом, воспаленными, навывате, глазами, он говорил густым басом, на подчиненных наводил иногда трепет, но с солдатами обращался милостиво. Когда-то он учился в морском корпусе, был денщиком Петра I, принимал участие в Полтавской баталии. Его хорошо знали при дворе. На куртагах он не раз кутил с самой Елизаветой, а на придворных балах, танцуя в паре с государыней, фельдмаршал с таким азартом топал грузными сапожищами в паркетный пол, что по всему дворцу шел треск и грохот, как от пушечной пальбы. Человек хотя и недалекий, но прямой и честный, он, к сожалению, чрез меру зашибал винцом. Бывали в походе случаи, когда военачальник этот забирался к солдатам в палатку, и там начиналась веселая попойка. Когда все, за исключением адъютанта, были пьяны, фельдмаршал, расчувствовавшись и целуясь с гренадерами, тут же производил их в офицеры, а его самого затем уносили на квартиру. Проснувшись и пососав на опохмелку соленый огурчик, он утром призывал адъютанта и спрашивал:

– Ну как?

– Вот, господин фельдмаршал, извольте утвердить производство семерых солдат в первый офицерский чин, – и служака-адъютант совал Бутурлину список новых офицеров.

– Каких, каких таких... семерых солдат? – тарасил глаза Бутурлин. – А-а-а, вспомнил!.. Ну-тка, покличь их сюды.

Он сидел на кровати в одной расстегнутой рубаше и подштанниках. На груди, поросшей густой

шерстью, висел нательный золотой крестик, маленький образок Александра Невского и шагреновая ладанка, в которой зашита лягушечья лапка – средство против вражьей пули.

Когда вошедшие гренадеры гаркнули приветствие, Бутурлин, взглянув в список, сказал:

– Окуньков! Который Окуньков? Ты? Очень хорошо. (Широкоплечий, рослый Окуньков, в полной надежде получить офицерский чин, приятно улыбался.) Слушай, Окуньков, – продолжал Бутурлин, которому лакей натягивал штаны, – ну какой ты, к чертовой бабушке, офицер! И что за радость тебе, голубчик Окуньков, офицером быть? Ведь ты солдат первостатейный, а офицеришком самым последним будешь. Ты подумай-ко, голубчик, да ответь мне по чистой совести, чем тебе лучше быть: свежим ржаным хлебом али паршивым калачом?

– Паршивым калачом, ваше высокопревосходительство! – прокричал солдат, тараша на фельдмаршала полные упования глаза. – Мы в согласии!

– Гм, гм... А ты грамотный?

– Не так чтобы уж очень, а маленько есть, ваше высокопревосходительство.

– А ну-тка, прочти, – и фельдмаршал подал ему воинский устав.

Окуньков, раскрыв книжку, задвигал бровями, руки его затряслись, он сказал:

– В глазах чегой-то... того-этого... Как вчера был, конечно, приурезавши... И как будучи получивши контузию в голову – всею грамоту отшибло, ваше высокопревосходительство!

– Вот и слава Богу, – отечески сказал Бутурлин. – Оставайся-ка ты, дружок, чем был раньше. Да и вы, братцы, идите с Богом к себе... Стойте-ка! Вот вам по пятаку на табачишко.

2

Русская армия зимовала в Польше. Кончался январь. Из России прибывали новые воинские части, боевые припасы, амуниция. Получив из дома третье письмо о тяжелом состоянии здоровья государыни, Бутурлин загрустил.

Однажды, когда кругом гудела вьюга и ветер нудно завывал в трубе, Бутурлин выпивал с глазу на глаз с адъютантом, своим любимцем.

– А ради чего я пью! – говорил Бутурлин, и губы его начинали подрагивать. – Да потому, что матушку жалко, матушка дюже плоха становится, дюже часто болести нападают на нее: то рвота, то обмороки, то головушка болит. Мнится мне, уж не отравили ли нашу великую полковницу припущенники Фридриха, что при дворе толкутся. А матушка-т к людям доверчива... А красавица-то какая! Будь я помоложе, я бы... Вон Алешка-то Разумовский с царьков слетел, теперь Ванька Шувалов ляжками дрыгает возле матушки... Молокосос! Ну, он плясун, знаешь, петиметр такой, щеголь, – фельдмаршал чокнулся с офицером, понюхал луковку.

Офицер насмелился, спросил, когда же предвидится окончание войны.

– Нынче, голубушка моя, нынче! – отвечивал фельдмаршал. – Надоела уж нам эта кутерьма. Фридрих весь истощен, можно сказать – при последнем издыхании, ну да и мы дюже от войны претерпеваем. Хотя матушка Елизавета, осерчав, рекла: «Ежели, мол, все союзники отступятся, одна буду воевать, половину туалетов своих продам да бриллиантов, а все-таки Фридриха доконаю». Вот она какая у нас. А как посылала меня на фронт, молвить изволила: «Ну, прощай, Александр Борисыч, знаю, победишь ты, да уж мне не доведется о той победе слушать, навряд ли суждено нам с тобой на этом свете свидеться». Сказала так и горько-прегорько заплакала. – Бутурлин вытер платком глаза и посморкался. – Да мы давно Фридриха прикончили бы, еще граф Салтыков стоптал бы его, – вся беда в том, что в действиях своих озираемся мы на Питер. Вдруг матушка Богу душу отдаст? Что скажет новый-то владыка, Петр-то Федорыч? Ведь он на Фридриха-то молится. Ведь он нас... за победу-то нашу... знаешь, куда? В Сибирь! Вот мы и... танцуем раком... Только ты, голубушка моя, в высокую политику не вдавайся, помалкивай себе.

– Нем, как рыба, господин фельдмаршал, – щелкнув шпорами, сказал офицер. – И осмелюсь доложить: на графа Тотлебена поступило множество жалоб.

– На Тотлебена? Ну-тка, ну-тка, – оживился Бутурлин.

– Жалуются штаб-офицеры, слишком жесток он. Его там все ненавидят. Недавно наказал шпицрутенами тридцать рядовых казаков за плохое содержание пикетов, а за компанию с ними выдрал и старшин. Сегодня же получен рапорт самого Тотлебена: рапортует, что арестовал бригадира Краснощекова и полковника Перфильева.

– Ах он, сукин сын! – закричал Бутурлин. – Да как он смел! Ведь бригадир-то без малого генерал. Ну там казачишек... это еще туда-сюда, а вот старшин... Эх, и вздую же я его, подлеца. Иноземец какой-то, бывший волонтеришка, да чтобы русскую армию пороть! Мне про него, про бахвала, и граф Чернышев немало сказывал. Ох, бестия, ох, сволота!.. Эй, денщик! Убери-ка, братец, все к чертям, только луковку оставь. Господин адъютант, ну-тка дайкося мне бумагу да перо. Я ему реприманд устрою! – Бутурлин оседлал красный нос очками и принялся за строжайший выговор Тотлебену с приказом немедленно освободить бригадира и полковника из-под ареста. Бутурлин, как и Чернышев, ненавидел Тотлебена, он чуял в нем врага и ждал случая поймать его.

Полученный от главнокомандующего суровый ордер задел Тотлебена за живое. И без того был он

сильно раздражен невниманием к себе правящего Петербурга. За взятие Берлина он ничем не был награжден, даже не повышен в чине. Это ли не издевательство!

А дело было так: после резкого выговора или, вернее, строгого допроса, происшедшего в берлинском королевском замке, кичливый и самонадеянный Тотлебен страстно возненавидел своего обидчика графа Чернышева. И с того часа его неотступно преследовала мысль выставить своего врага на посмеянье всей Европы. «Такой разговор со мной только я да стены слышали, а вот я о тебе поговорю, во все концы мира гулы пойдут», – твердил Тотлебен, обдумывая каждую строку своей реляции о взятии Берлина.

И реляция была составлена. Не посылая в Петербург, Тотлебен поспешил опубликовать ее в заграничной прессе. В своей информации Тотлебен хвастливо выставлял себя на первый план, сводил на нет значение графа Чернышева, резко порицал его как военачальника, а заодно вынес на суд Европы и некоторые недочеты русской армии. Эта реляция своевременно попала в руки фельдмаршала Бутурлина, он тотчас же препроводил ее в Питер. Елизавета на Тотлебена разгневалась. Она писала, что «реляция сочинена крайне продерзостно, ибо Тотлебен свою заслугу увеличивает на иждивение всей армии, особливо же поносит графа Чернышева с его корпусом». Быть бы Тотлебену худо, но тут за опального вступился всесильный государственный канцлер Воронцов, после чего из правящего Петербурга «высочайше повелено было, предавая все происшедшее совершенному забвению, обнадежить Тотлебена вновь монаршей милостью». Тотлебен успокоился. Но все его существование продолжал отравлять ему «этот старый барбос, этот пьяница Бутурлин». Вот и теперь... Получить такой разнос за каких-то паршивых казашишек...

3

Наступила весна. Тотлебен со своей частью находился в Померании. Сюда же должен был прийти корпус графа П. А. Румянцева для осады сильной приморской крепости Кольберг. Ожидалось прибытие русского флота и тяжелой артиллерии.

Хитроумный Бутурлин вздумал поманить не менее хитрого Тотлебена: а не может ли, мол, храбрый граф, на удивление всего мира, вновь проявить свое геройство и, не дожидаясь прибытия флота, молодецким налетом взять крепость Кольберг столь же искусно, как был взят Берлин. Истолковав такое предложение как насмешку, Тотлебен от подобной чести отказался. Тогда Бутурлин приказал ему: находившиеся под его командой три пехотных полка передать графу Румянцеву, а самому Тотлебену с легкими войсками выступить из Померании на соединение с главной армией.

Но тут для Тотлебена произошло нечто неожиданное.

Полковник Аш, назначенный Бутурлиным заведывать делопроизводством графа Тотлебена, плохо знавшего русский язык, прислал Бутурлину секретное письмо, в котором сообщалось: «Кажется, что граф Тотлебен поступает не по долгу своей присяги и, как я думаю, находится в переписке с неприятелем». Полковник Аш, глаза и уши Бутурлина, писал далее о том, что Тотлебен получает корреспонденцию с неприятельской стороны, что прусский военачальник в Померании генерал Кернер почасту присылает в наш лагерь трубачей и офицеров для якобы разрешенных фельдмаршалом Бутурлиным переговоров о временном перемирии, что недавно берлинский банкир Гоцковский прожил в нашем лагере три дня по каким-то денежным делам и что смутившийся Тотлебен, очевидно, желая задобрить полковника Аша, подарил ему, Ашу, золотые драгоценные часы. «Все это и многое другое, – заключает Аш, – наводит меня на сомнение, что Тотлебен какую-то фальшивость чинит с нами, и я сделал проект, как его в уповательных фальшивостях поймать».

Прочитав это письмо, Бутурлин всохотнул и, сжав кулаки, сказал по адресу Тотлебена:

– Вскормили змейку на свою шейку.

Вскоре в русском лагере полковник Аш встретил конфиденца^[6] Саббатку из Берлина, прибывшего просить свидания с Тотлебенем. Полковник Аш это свидание устроил. На другой день Тотлебен отпустил Саббатку, приказав капитану Фафиусу проводить его с казаками до неприятельской крепости Кюстрин. Полковник Аш задержал Саббатку и обыскал его. В сапоге Саббатки оказался пакет без адреса, но за печатью Тотлебена, а в нем – точный перевод ордера Бутурлина с указанием предстоящего маршрута русской армии из Познани в Силезию и – еще собственноручная записка Тотлебена к Фридриху II. «Верный слуга получил сегодня милостивое письмо принципала своего и надеется, что и сам принципал письмо раба своего получил, которое он к принцу 1086 отослал, и о новых переменах 521, 864, 960 объявить не оставил. Верный раб по гроб не перестанет служить своему принципалу 1284, 711, 6-45, 389».

Около полуночи, когда Тотлебен уже лежал в кровати, в его спальню неожиданно вошли три полковника: Биллов, Зарич и Фуггер. Один из них, держа в руке бумагу, произнес:

– По высочайшему указу вы арестованы... – промолчав, резко добавил: – За сношение с неприятелем.

Тотлебен обомлел. Ему показалось, что это не три подчиненных ему полковника, а три чугунных рыцаря, те, что стояли в королевском дворце в Берлине, вздыбив возле его кровати, грузно ударили в пол чугунными секирами. Тотлебен вцепился горстями в одеяло и, исказившись в лице, воскликнул:

– Это ли награда за мою верную службу! За что, за что арестовать меня?

– У вашего шпиона Саббатки обнаружены позорящие вас документы.

– Хорошо, берите меня. Я отправлюсь с вами под эскортом к фельдмаршалу, где моя невинность сразу же объявится, – волнуясь, говорил Тотлебен по-французски. – Вы можете делать со мной что хотите... Но вы испортите этим начатую мною против Фридриха кампанию...

Были отобраны сабли, пистолеты, деньги, а все бумаги тотчас опечатаны. Среди бумаг найден черновик большого письма прусскому королю.

Тотлебена вместе с его людьми и конфидентом Саббаткой вывезли сначала в ставку главнокомандующего, затем в Петербург, где все арестованные были заключены в Петропавловскую крепость. Вскоре после ареста были перехвачены письма короля и письма банкира Гоцковского. Банкир сообщил Тотлебену, что король обещает два миллиона за склонение российского двора в его пользу.

Следствие по делу Тотлебена вела особая военная комиссия под председательством бывшего кенигсбергского губернатора, барона Корфа. На допросе Тотлебен извивался, как придавленная палкой змея. Он показал, что его сношения с королем были целиком направлены к пользе и славе России. Он-де рассчитывал при удобных обстоятельствах заманить короля на личное свидание и во время randevу захватить его в плен.

Суд постановил: «Тотлебена, как изменника, казнить смертью. Саббатку освободить, ибо он был лишь письмоносцем и шпионом Тотлебена»[\[7\]](#).

4

Тем временем на арене войны происходили небольшие, но подчас кровавые стычки между мелкими частями борющихся сторон. Бутурлину было предписано Петербургом оставить Польшу и вести армию в Силезию, на соединение с австрийским корпусом барона Лаудона. Обе армии, русская и австрийская, должны были идти друг другу навстречу. А корпус Румянцева шел осаждать Кольберг.

Русская и австрийская армии соединились лишь в августе и вскоре вошли в соприкосновение с войсками Фридриха. Видя перед собой столь грозную силу, Фридрих струсил и быстро отошел под защиту пушек прекрасно укрепленного города Швейдница, в сорока верстах от Бреслава, в Силезии. Изнемогающий Фридрих, потерявший многих своих талантливых военачальников и с трудом набравший себе второсортную армию, теперь уже не отваживался нападать на врага, а предпочитал тактику оборонительную.

Союзники последовали за ним и окружили его армию кольцом с трех сторон. Положение Фридриха стало невероятно трудным, он был заперт, как медведь в берлоге. Но охотники и на этот раз упустили зверя. Вместо того чтоб немедленно ударить на врага всей силой, союзники тратили дорогое время на военные совещания, излишние споры, сочинение сложных диспозиций. Лишенный мужества Бутурлин не слушался смелых советов Чернышева, мешая Лаудону, портил все дело.

А Фридрих не зевал. Работая темными ночами, он всей армией тайно рыл окопы, траншеи, волчьи ямы, воздвигал редуты, ставил батареи и чрез трое суток превратил свой лагерь в неборимую твердыню, вооруженную пятьюстами пушек. Время для успешного нападения на Фридриха было упущено. Союзные военачальники воочию убедились, что штурм прусских укреплений теперь стоил бы неисчислимых человеческих жертв.

Невзирая на строжайшие приказы Петербурга дать общими силами Фридриху бой, фельдмаршал Бутурлин на это не решился. На военном совете он сказал Лаудону:

– Ежели хотите, начинайте приступ. Только я на это дело больше одного корпуса пожертвовать не отважусь. Да и чего ради? Не из-за вас ли, австрийцев, вся эта каша-то заварилась?

Место тут было голодное, русские войска получали только хлеб да воду, и Бутурлин решил вести армию обратно в Польшу, оставив в лагере лишь двадцатитысячный корпус Чернышева.

Его отход принес много неприятностей как венскому двору, так и правящему Петербургу. Разгневавшись на Бутурлина, Елизавета писала ему: «Не скроем от вас, что этим известием мы были больше опечалены, чем если бы с войском нашим случилось какое-нибудь несчастье».

Фридрих все-таки боялся напасть даже на уменьшившиеся почти вдвое полки противника. Он снялся с места и отошел в глубь опустошенной своей страны. Вскоре после его ухода предприимчивый Лаудон, поддержанный частью войск Чернышева, быстрым налетом овладел богатым и хорошо укрепленным городом Швейдницем. В штурме особенно отличились русские гренадеры.

Вскоре пала и осажденная Румянцевым сильнейшая крепость Кольберг. Ключи крепости с торжественным донесением о победе искусный полководец Румянцев отослал в Петербург. Из Кольберга и Швейдница большими толпами пригоняли в Кенигсберг пленных прусских офицеров и военачальников.

Спрашивается, каковы же были конечные результаты столь злосчастной для народов длительной войны?

Русская армия и армия австрийцев представляли собою грозную свежую силу в двести тысяч бойцов.

Фридрих же располагал всего лишь шестьдесятю тысячами наскоро обученных, плохо одетых солдат. После Кунерсдорфской, славной для русского оружия, битвы Фридрих уже не мог оправиться. Его армия потеряла дух, лучшие офицеры были побиты или попали в плен. Фридрих сам не скрывал, что войско его совсем не то, каким оно было в начале войны. Он говорил своим друзьям:

– Мое теперешнее войско годится только для того, чтобы пугать им неприятеля издали.

Фридрих сознавал, что его враги, сохранившие боевую готовность своих армий, хотя медленно, но достигают желаемой цели и что борьба для него становится невозможной. Сколько-нибудь улучшить свое положение у Фридриха не было никаких надежд. За долгие годы войны Пруссия пришла в нищету, людей у Фридриха нет, денег нет, продуктов нет, в стране начались волнения. Круг судьбы Фридриха замыкался. Теперь ничто не могло спасти его, кроме чуда или счастливой случайности.

Глава VII

Петр Федорович III, император всероссийский

1

Каждая жизнь на земле, как и жизнь властелинов, кончается смертью.

Около трех часов пополудни, 25 декабря 1761 года, в праздник рождества Христова, скончалась в старом зимнем дворце императрица Елизавета, «привенчанная»^[8] дочь Петра I и «непомнящей родства» Екатерины.

Очень полная, высокого роста, с лицом одутловатым, но величественным и спокойным, бывшая государыня тяжело лежала на легких, умятых пуховиках, по грудь прикрытая шелковым, ярко-табачного цвета, одеялом. Изящные руки с побледневшими ногтями сложены на груди по-православному, крест-накрест. Изголовье взбито, приподнято. Наволочка с правой стороны в еще непросохших слезах: покидать жизнь веселую и трудную, оставлять обширную державу в бессильных руках злосчастного, черт его возьми, племянника было тяжело государыне сверх меры. И чудилось, что, чуть вскинув черные, выразительные брови, она грозит новому императору мертвым взглядом, ненавидит его, шлет ему проклятия.

За час до смерти Елизаветы наследник престола сидел в комнате рядом со спальней, где умирала императрица, и с нетерпением ожидал конца. А за две комнаты от спальни помещались сановитые: князь Никита Трубецкой и генерал кригс-комиссар А. И. Глебов. В этой комнате толпилась кучка перепуганной знати, перешептывались, трясли головами, нюхали табак, утирали носы платками. Восседавшие за письменным столом Трубецкой и Глебов кивком пальца подзывали по очереди близких к наследству особ, тихо переговаривались с ними, что-то писали, ходили с докладами к наследнику.

По галереям, коридорам, во всем дворце царила суматоха.

При последнем вздохе государыни были: новый император Петр Федорович III, новая императрица Екатерина Алексеевна и четыре врача, не смогшие продлить угасающую жизнь и на четыре секунды. Старший из них, лейб-медик Мупзей, повернувшись к царствующим особам, опустив голову, взор, руки, взволнованно по-французски объявил о кончине государыни.

Петр Федорович, подмигнув покойнице, лейб-медику и всему миру, сделал лицо елико возможно постным. Екатерина, всхлипнув, прикрыла ладонью припухшие от долгих слез глаза. Она вся в крайней тревоге. Обычное самообладание оставило ее. С особой остротой в ее мыслях промелькнула еще не ошившая сцена, происшедшая сегодня поутру. К ней дерзновенно проник Григорий Орлов. От имени капитана гвардии князя Михаила Дашкова, волнуясь и устремляя на Екатерину умоляющие, в слезах, глаза, Орлов сказал: «Повели, владычица сердец наших, мы тебя возведем на престол». Перепуганная Екатерина, привскочив с кресла, зажала его рот ладонью, зашептала: «Бога ради... Как можно сие? Бросьте вздор!» Поцеловав ароматную ладонь ее, он уже с большей настойчивостью стал торопливо говорить: «Ваше высочество... Ловите момент... Государыня кончается... Мы все в страхе за судьбу любезного отечества... Мы все умрем за вас. Не медлите, решайтесь!» «Нет, нет, – ответила она, чувствуя, как разрывается под корсажем ее сердце, – ваше предприятие есть рановременное, плод еще не созрел. Давайте ждать... Что Бог захочет, то и будет». И вот теперь у постели скончавшейся императрицы она готова упрекать себя за свой нерешительный, бабий ответ мужественному гвардейцу. «Господи, помоги, помоги мне», – шепчет

она.

Открылись двери. Из приемной чинно, парами вошли члены Сената, придворные и сановники высших рангов. Зал огласился рыданиями. Екатерина тоже заплакала, кинулась к покойнице, с искренней горестью припала к ее груди.

Узкоплечий император состроил гримасу «себе на уме», быстро повернулся кругом и, с приступком переставляя негнувшиися ноги и приподняв правое плечо, вышел. По коридору, на виду у публики, царь вышагивал размеренно и четко, он держал левую руку у шпаги, правой чуть помахивал; но чем ближе к своей комнате, тем походка его становилась быстрее, вот он вбежал к себе, притопнул, неестественно захохотал, подхватил на руки пыхтящую собачонку, стал с ней кружиться, вздохнул выкрикивать:

– Томи, Томи!.. Я император... Я император, самодержец всероссийский!.. Наконец-то, Томи... Довольно нам неприятных встреч с тетушкой... Что, что? Ты у кого на руках, псина собачья? Пошла вон, пошла вон! – Петр швырнул собачонку через стол в кресло. – Смирно! На караул! – и, подтянувшись и помахивая чуть согнутой в локте длинной рукой, приблизился к зеркалу, стукнул каблук в каблук: – Ваше величество! Мы, Божией милостью, император и самодержец всероссийский. – И как бы спохватился, прищелкнул пальцами, отпрянул от зеркала прочь. – Шляпу-шляпу-шляпу... – надвинул на глаза неуклюжую голштинскую шляпищу с пером (и без того небольшое лицо его сразу стало маленьким, детским, треугольным), выхватил из ножен шпагу и, вскинув ее, по всем правилам торжественных парадов продефилировал перед портретом Фридриха Прусского: – Салют! Салют! – Повернулся и еще раз прошел, повернулся и еще раз прошел грудью вперед, салютуя шпагой. – Фридрих... Великий Фридрих, брат мой!.. Отныне я, император всероссийский, вечный твой друг... Вся моя армия и весь я к твоим услугам, дорогой добрый брат и отец мой великий Фридрих. Эй, кто там? Трубку императору! И... кружку пива...

Не однажды битый, но любимый им лакей, губастый пожилой арап Нарцис исполнил приказ. Петр с жадностью выпил пиво.

– Еще кружку! И Мельгунова сюда... Император требует к себе. Император!..

Вторую кружку с особой учтивостью величаво и чванно подал на серебряном подносе сам генерал-полковник Мельгунов. Государь с жадностью осушил и эту объемистую кружку: округлый, стянутый кушаком живот его заметно раздулся.

– Слушай, Алексей Петрович! – скрипящим, крикливым голосом воскликнул новый государь. – Я, император, приказываю тебе... – он напыжился, сдвинул жидковатые брови. Большие, на полудетском лице, темные глаза его улыбались и серьезились, улыбались и прикидывались грозными. Он впервые повелевал как неограниченный владыка. От часто произносимого им слова «император» кровь приятно вскипала в нем, как от шампанского, и всякий раз бросалась в голову. – Передай государыне императрице, что император просит ее величество оставаться при теле почившей государыни и ожидать распоряжений государя императора, то есть моих.

«Полуглупо, как всегда», – внутренне усмехнулся умный Мельгунов, сказал:

– Слушаю, ваше величество, – и вышел.

Гремя серебряными шпорами, Петр величаво изволил проследовать в свою опочивальню. Тяжелая дверь льстиво заскрипела: «император». Он видит – все стоит перед ним в страхе, навтыяжку: сотни оловянных и вылепленных из теста раскрашенных солдатиков, прусские всадники, расставленные наверху запылившихся шкафов, чучело прусского витязя в доспехах, скрипка, столы, стулья, кровать, с длинными чубуками трубки – все эти бездушные вещи глядят на своего владыку почтительно и удивленно.

Слабый мозг Петра горел, сердце взбалмошно выстукивало: «Император, император, император».

Перекликались в клетках чижи со щеглами: «Император, император». Маятник мюнхенских часов размеренно отбрякивал: «Им-пе-ра-тор». Углы взнузданных губ государя полезли вверх, обнажая в благодарной улыбке коричневые от безмерного куренья и плохого ухода зубы.

И вдруг, омрачая эти минуты самовлюбленного величия, какая-то каналья осмелилась крикнуть повелителю в лицо:

– Дурак!

Петр Федорович разинул рот, заморгал правым глазом, выхватил шпагу, в два прыжка скакнул к медному кольцу, где жался желтый попугай, и с размаху ударил по птице шпагой. Попугай, подсвистнув, перелетел на печку и еще два раза прогнусил: «Дурак...»

Государь затопал, в бешенстве завизжал, швырнул в анафемскую птичку игрушечной пушкой. Вбежавшему арапу, давясь словами и слюной, стал в торопливости выкрикивать:

– Поймать, поймать, поймать!.. Поймать эту ку-ку-ку-рицу. Ощипать и бросить кошке... Кто ее научил? Кто ее научил? – и, красный, потный, выбежал в конференц-зал. – Я им покажу, я им всем покажу! Я не тетушка Елизавета в сарафане. Я, я... – бубнил он, не зная, чем успокоить себя.

2

В комнате с гробом читали Евангелие, окна открыты, втекал морозный воздух. Началась панихида, совершаемая знаменитым митрополитом новгородским Дмитрием Сеченовым. При пении придворным хором «Со святыми упокой» одетая в глубокий траур Екатерина и все присутствующие опустили на колени. Петр стоял столбом. Екатерина шептала ему: «Встаньте, встаньте на колени». Но тот никак не мог этого сделать: длинные голенища ботфорт необычайно узки, жестки, как железо, и столь туго напялены на ноги, что колени не сгибались. Петр обычно двигался, переставляя ноги, как деревянные ходули, а если нужно было сесть, он, подпрыгнув, шлепался сиденьем с кресло, либо проделывал сложный акробатический прием: встав спиной к креслу, хватался за его поручни, выставляя ноги вперед в сильный наклон к полу и, скользя пятками по паркету, благополучно падал в кресло.

– Встаньте, прошу вас, – настойчиво повторила Екатерина, тшась не уронить высокого звания своего супруга в глазах новых его подданных.

Петр состроил гримасу и, выкинув ногами пируэт, попробовал опуститься. Левую ногу он оттянул елико возможно назад, сделал огромное усилие согнуть в колене и правую ногу, голенище громко заскрипело, как коростель в болоте, а нога и не думала сгибаться. Тогда Петр с отчаянием повалился лицом вперед в надежде справиться с деревянными ногами, лежа на полу. Он уперся ладонями в ковер и, оттопыривая зад и выгорбливая узкоплечую спину, тужился подволочить ноги к животу, чтоб всей силой согнуть их и хоть как-нибудь стать на колени. «О, черт», – кряхтел он, гримасничая, как на пытке, и скрежеща зубами. Видя безобразную и беспомощную позу его, два адъютанта живо подхватили государя под руки и враз вздыбили.

Пока вспотевший Петр корячился на полу, погребальное песнопение закончилось, все поднялись, злясь в душе на государя, что в столь трагическую минуту устроил такую гишпанскую комедию. От великой неприятности на щеках Екатерины сквозь пудру яркий проступил румянец. Екатерина негодовала на Петра и в то же время преисполнялась радостью: чем больше уронит себя новый император во мнении придворной знати, тем для нее лучше.

Митрополит произнес краткую речь, восхваляя деяния покойной и скорбя о том, что великая государыня безвременно скончалась.

– Слава Богу, слава Богу, слава Богу, – скороговоркой выборматывал новый император, улыбаясь и подмигивая церковному, в золотой митре, краснобаю, а все присутствующие плакали, проливая слезы и Екатерина.

Затем все пошли в дворцовую церковь для принесения торжественной присяги. С крепости был пушечный салют.

В тот же день, в куртажной галерее, за три комнаты от покойницы, сервирован был на полтора персон ужин, и, невзирая на траур, повелено было государем: всем быть на том ужине в светлом платье.

Подобное нарушение самых простых приличий прозвучало среди ошеломленной знати как явный вызов, как жесточайшее оскорбление издревле установленных обычаев.

Ужин проходил весело. Император, как водится, изрядно выпивал и в открытую амурничал с сидевшей против него любовницей своей Елизаветой Воронцовой. Мрачная, погруженная в свою печаль, с заплаканными глазами сидела рядом с царем Екатерина. За креслом Петра стоял осиротевший фаворит покойной императрицы Иван Иванович Шувалов. Он полон был искреннего горя, но и он принужден притворяться беспечным, радостным. Рядом с Екатериной толстобрюхий князь Никита Трубецкой. Сей

«птенец Петра Великого», друг старика князя Кантемира, переживший семь царствований, видел падение многих своих милостивцев и благоприятелей, а иногда и сам участвовал в их гибели, но по своей изворотливости всегда умел вовремя оставить слабых и перебраться на сторону сильнейшую.

– Ваше императорское величество! – то и дело восклицает Никита Юрьевич Трубецкой, вытягивая жирную шею и стараясь зацеловать своего нового владыку взором преданного пса. Он прежде притворялся убогим и хилым, нынче счел полезным для своей карьеры затянуть свое тучное, на коротких ногах, тело в тугой мундир. – Не нахожу слов выразить вам, государь, радость, меня обуревающую, что наконец-то появился на земле русский великий царь, внук приснопамятного великого Петра... Радуюсь от всего сердца, что судьбы женского правления на Руси волею Божией завершены. Отныне нами, россиянами, владеет повелитель...

Многие дамы с заплаканными глазами и многие вельможи – даже великий канцлер Михаил Ларионович Варенцов (дядя любовницы Петра), – взвесив льстивые выкрики этой старой увертливой лисы и не желая попасть в дурни, тоже принялись во все тяжкие распинаться в лести, стараясь захвалить быстро хмелевшего царя. Возмущенной Екатерине казалось, что Бог в один момент лишил все это сиятельное общество стыда и чести. И ей стало страшно за себя, о чем впоследствии она и рассказывала своим близким.

Царь хмелел от вина и льстивых похвал, щекочущих его тщеславие. В незрелом мозгу его вмиг поднялись хвастливые мыслишки, он действительно возомнил себя великим и стал вслух величаться, как внезапно разбогатевший купчик, – я-ста да я-ста.

– Я в России не любим. Знаю, знаю! – выкрикивал он, покрывая своим резким, скрипучим голосом дружный хор льстивых царедворцев, старавшихся уверить императора, что вся Россия готова лобызать с сыновней любовью его священные стопы. – Знаю, знаю! – пристукивал он то хрустальным бокалом, то вилкой, украшенной короной. – Кто предан мне, того приближу и возвеличу (многообещающий кивок в сторону Елизаветы Воронцовой), кто супротивничает, того уничтожу... С Пруссией мир, мир... С Данией война... Сам поведу, сам поведу войска!.. Вы еще не ведаете, сколь я искусен в стратегии. Я перекрою карту всего света... Мы с Фридрихом... О, великий Фридрих!.. Апраксин изменник... Чернышев дурак... Подать мне Миниха, фельдмаршала Миниха подать сюда! Подать Бирона! Всех из ссылки вернуть! Я не позволю... Что, что? Прошу вас не вмешиваться, прошу не вмешиваться, прошу не вмешиваться! – повернув лицо к Екатерине и косясь на все, он стукнул пред ней бокалом и расплескал по скатерти наливку.

Обрюзгая Елизавета Воронцова, изобразив позу величия, высокомерно взирала и на императора, и на приглашенных, и на свою соперницу Екатерину, удрученно молчавшую весь ужин. Расфуфыренные, в бриллиантах, княгини, графини и сенаторши втихомолку подольщались к жирной Елизавете, лаская ее взором и словами. Екатерина же действительно была в тени, ее как будто никто не замечал.

Она всю ночь проплакала, отметив это в памятной своей тетради.

Наутро, 26 декабря, ей принесли приказ: быть сегодня на парадном обеде в богатой робе, сидеть за столом в порядке, указанном билетами.

Обед с представителями иностранных дворов, приносивших утром поздравления с восшествием на престол, прошел так же шумно, как и вчерашний ужин. В спальне покойницы, пока длился обед, врачи анатомировали тело Елизаветы.

Французский посланник, молодой красавец барон Бретэль, и его жена, присутствовавшие на обеде, делились дома впечатлениями.

– А вы заметили, какой удрученный вид имела императрица? – сказал барон, сняв парик и швырнув его за этажерку.

– Для меня более чем ясно, что государыня никакого значения иметь не будет. Она одинока, – ответила баронесса. – Император удвоил свое внимание к этой противной мегере, девице Воронцовой. Императрица в ужасном положении: к ней относятся все с явным холодком. Бедная Екатерина!

– Успокойтесь, мой друг, – возразил барон, вытирая ароматным спиртом голову свою. – Вы плохо знаете молодую императрицу... А я достаточно слышан о ее смелости, отваге, дерзании...

– Но я вижу, я же вижу...

– Простите, мой друг. Вы ничего не видите, а если и видите что-либо, то чисто, простите меня, по-женски.

Баронесса обиделась, потупила подведенные глаза. Барон подскочил, поцеловал ей руку. Он хотел сказать: «Я уверен, что Екатерина рано или поздно прибегнет к какой-либо крайней мере... Я отлично знаю молодых ее друзей. Они решатся для нее на все, поставив на карту даже свои головы, лишь бы она этого пожелала». Но барон почел опасным доверить эти мысли своей супруге. Он их изложил в зашифрованной депеше королю Людовику XV.

Барону Бретэлю бросилась в глаза также и странная форма манифеста о восшествии на престол Петра III, в нем не были упомянуты ни императрица Екатерина, ни наследник престола Павел. Удивил манифест и все петербургское общество, породив впоследствии многие кривотолки по всей России. Были поражены и молодые, горячие поклонники Екатерины: братья Орловы и все, кто с ними.

– Ну не прав ли я был, друзья?! – восклицал возмущенный Григорий Орлов при первой же встрече с товарищами.

Воспитатель малолетнего князя Павла Петровича сенатор Никита Иванович Панин, бывший посол в Швеции, человек тонкий, либеральный, умный политик, любящий своего воспитанника, читая манифест, только руками развел:

– Что сие значит? В толк не возьму... Кто ж у нас наследник? И почему ни слова об императрице? Сдается мне – этот старый дурак канцлер Воронцов прочит на престол Лизку, племянницу свою. У-зур-паторы...

Но больше всех была поражена манифестом сама Екатерина. Итак, супруг желает низвести ее на степень ничтожества. Великого князя, семилетнего Павла, он не считает своим сыном, а ее перестанет скоро считать императрицей. Екатерина поняла, что ей предстоит упорная борьба с окружавшими ее врагами. Но она постарается разбить назревший против нее заговор.

– Погибнуть или...

3

На следующий день, невзирая на объявленный во всей империи траур, Петр Федорович уехал к графу Шереметеву править святки. Встретил здесь крестницу свою, княгиню Екатерину Романовну Дашкову, младшую сестру своей любовницы, приятельницу молодой императрицы. Она маленького роста, толстощекая, большеглазая, лоб высокий, черноволосая, взгляд глубоко посаженных глаз умный, насмешливый, она оживлена и в общем миловидна. Подгибая одно колено, она по-модному, со всей грацией присела перед государем, а свою старшую сестрицу окатила полупрезрительным, с насмешкой, взором. Петр, словно отмахиваясь от шмеля, боднул головой, нервно взял Дашкову под руку, отвел в уголок под пальмы. Дашкова вопросительно взглянула в его большие покрасневшие глаза. А хозяйева дома, граф и графиня Шереметевы, повели Елизавету Воронцову в зал стиля барокко, где толпились разряженные гости.

– Дитя мое, – заговорил Петр по-французски, отбивая ногой такт. – Вам не мешало бы помнить, дитя мое, что водить хлеб-соль с честными дураками, каковы мы с вашей сестрой Романовной, гораздо безопаснее, чем с теми великими умниками, кои выжмут из апельсина сок, а корки бросят под ноги.

– Ваше величество! – подобно ракете, вспыхнула темпераментная молодая княгиня. – Я стараюсь платить дань равного почитания и государю своему и его супруге Екатерине Алексеевне...

– Ах, вы меня не понимаете, дружок, или не хотите понять. Почему вы не показываетесь в моем дворце? Почему вы дружны с государыней, а к Романовне поворачиваете спину и не хотите иметь с ней никаких альянцев? – Он стал говорить задыхающимся шепотом, подмаргивая проходящим гостям, а кой-кому из них показывая язык. – Если вы, дружок мой, желаете слушаться моего совета, то старайтесь дорожить нами с Романовной немного побольше. Поверьте мне, я говорю ради вашей же пользы. Вы не иначе можете устроить вашу карьеру в свете, как изучая желанья и стараясь снискать расположение и покровительство вашей сестры...

– Простите, но все-таки я не совсем вас понимаю, государь, – взволнованно и пытаюсь пресечь этот неприятный разговор, сказала Дашкова.

– А вы старайтесь понять, старайтесь понять, мой друг! – закричал Петр, но тотчас сбавил голос; смешное, покрытое следами оспы лицо его стало любезным и льстивым. – Пойдем, перебросимся в «самрис», – и потащил смущенную Дашкову к карточному столу.

Там уже играли двое Нарышкиных с женами, подруга царицы, красивая графиня Брюс, бывшая любовница Петра белолицая Матрена Теплова, приятель царя, молодой Гудович, и флигель-адъютант Анжерн. Все быстро поднялись и – навтыяжку. Дамы, подобрав к талии унизанные бриллиантами ручки, жеманно стали приседать.

– Продолжайте, продолжайте, господа, – встряхнул Петр широким обшлагом с красными отворотами и вновь соорудил гримасу. – Примите нас с княгиней. Ого! Чего ради по такой маленькой играет?

Петр размашисто, не следя за изысканностью жестов, вывалил из кармана кучу золота и поставил по десяти червонцев на очко. Ставка слишком огромная даже для тугого кошелька княгини Дашковой. Все хотя и поморщились, однако принуждены были подчиниться прихоти царя. Внутренне издеваясь над карикатурным Петром, Дашкова подумала: «Разбогател, дорвался. А еще недавно столь профершпилился на голоштанников голштинцев, что и на содержание своей Романовны денег не стало: Екатерине Алексеевне довелось взять на свой кошт любовницу супруга своего». И Дашкова, не сдержавшись, по-детски рассмеялась.

– Что, что? – подозрительно выпалил император. – Вы что, княгинюшка? Ага, бью!.. Гудович, ты как? И тебя бью. Ага! Денежки мои, денежки мои... – сгребая червонцы, закричал он радостно и, как ребенок, стал прихлопывать в ладоши. – Вы оба в ремизе.

– «Вы оба в ремизе», как сказал некий индийский принц, стаскивая за бороду с ложа своей супруги незнакомца... – в тон Петру закричал подоспевший остряк и балагур, барон Строганов.

Вертявая Дашкова, хихикнув, прикрыла губы веером, Петр заморгал правым глазом, покраснел и нервно дернул головой: в углу, заставленном широколистыми цветами, на золоченом диване, весь в белой замше, бобрах и золоте, красавец молодой поляк и, плечо в плечо с ним, – полнотелая, безвкусно расфранченная Елизавета Воронцова. Она весело смеялась, слегка ударяя кавалера веером; тот подпрыгивал точеной, в белых лосинах, ляжкой и что-то врал.

– Садитесь, Строганов! – гневно крикнул ревнивый император и пристукнул в пол шпагой. Строганов, учтиво поклонясь царю, опустился в кресло. Он упрекал себя за свою неуместную остроту, так метко задевшую Петра. – Ставьте, Строганов. Десять червонцев на очко... Или у вас нет золота? Тогда ставьте на соль. У вас ее много... Где это, на какой реке? На Миссисипи? На-на-на Волге?.. На-на... на Висле?

– У барона Строганова, ваше величество, – подхватила дерзкая Екатерина Романовна Дашкова, – масса соли на реке Каме в Соликамске, а еще больше – на языке, в речах...

– О, о, о! – завертелся в кресле Петр. – Да вы, княгиня, все знаете лучше меня. У вас, у вас... – он, кривляясь, постучал себя пальцем по лбу. – Вы, две Екатерины, великие умники. О-о, вы обе зело умны. А мы уж, а мы... Ну-с, чей ход? – Император злился, углы рта то висли, то вздергивались, ревнивый взгляд летал от Елизаветы Воронцовой к насмешливому Строганову, от Строганова к лебезившему пред Елизаветой поляку.

– Да, между прочим!.. – воскликнул Петр и бросил карты.

Бряцающая шпорами, приблизились к столу непрошеные два бравых толстобрюхих голштинца – генерал Шильд и полковник фон Берг.

Голштинцы-вояки явились во дворец Шереметева без зова и подошли к государю попросту, нарушив этим придворный этикет. Сановная аристократия привыкла считать многих голштинских офицеров либо бывшими сапожниками, либо простыми капрами прусской службы. Поэтому все, кроме императора, при их появлении поморщились.

Первым нарушителем условных приличностей был сам Петр. Он сразу подметил кислые гримасы спесивой знати, и, чтоб унижить знать, чтоб сбить ей чопорность и спесь, Петр с непринужденным, но деланным равнодушием крикнул стоявшим навтыяжку голштинцам:

– Садитесь, господа!

Рядом с Дашковой бесцеремонно сел усач фон Берг. Та, с брезгливостью отстранившись от незваного соседа, придвинула свой стул к Петру, вынула венецианский флакончик в золотой оправе и слегка опрыскала себя духами. От голштинцев пахло водкой и сапогами. Они не знали, как держать себя в столь высоком обществе, и, чтоб замаскировать свое смущение, тотчас вытащили из штанов глиняные трубки и закурили. Подражая им в грубости манер и желая казаться воинственным, Петр тоже вытащил курносую глиняную трубку и тоже закурил. Дамы легким дуновением незаметно отгоняли вонючий дым, а развязная Дашкова принялась махать одновременно и платком и веером: «Фи, фи...»

– Я давеча сказал: между прочим... О чем, бишь, я? – взгляд Петра опять поймал на прицел Елизавету Воронцову и красавчика-поляка. – Да! Вы, господа, помните этого мальчишку... как его, как его?.. гвардейца, юнкера...

– Челищева?

– Челищева, Челищева!.. Нет, я ему не могу простить... Как?! Позволить себе увлечь графиню Гендрикову, племянницу мою?.. Это уж слишком, это уж слишком, господа.

Голштинцы, ни слова не понимая по-французски, пучили на Петра глаза, согласно кивали головами, страшно дымили.

– Клянусь вам!.. Я прикажу сего юнца, ради примера прочим офицерам, казнить за предерзостную любовь к особе царствующего дома. Казнить! – и царь погрозил перстом почему-то в сторону поляка.

– Простите, государь, – заметила Дашкова, отмахивая клубы дыма. – Но рубить молодому повесе голову слишком жестоко. Тем более что еще не доказано, гнусная сплетня это или так и было... Во всяком разе, такая кара превысила бы меру преступления...

– Вы, мой друг, совершенное дитя, – пожал плечами Петр; он выколотил пепел из трубки прямо на пол и подал ее полковнику фон Бергу (впрочем, фон Берг, один из тайных голштинских шпионов Фридриха II, никогда не был «фоном», а просто – Берг, бывший цирюльник в прусской армии, получивший от Петра III чин полковника за свою воинственную осанку). Полковник фон Берг набил трубку табаком, закурил от свечи, вытер слюну с черенка полой неопрятного мундира и, описав трубкой возле царского рта круг (это должно было означать признак отменной галантности), сунул ее кончик в вытянутые, как для поцелуя, губы императора. Все, таясь, с лукавством ухмыльнулись. Строганов подчеркнуто прикрикнул.

– Вы, дитя мое, – продолжал император, обращаясь к вертлявой Дашковой, – когда станете постарше, поймете, что, отменяя смертную казнь, мы потворствуем всякой непокорности и всевозможным беспорядкам. – Петр сильно затынулся трубкой и закашлялся.

– Но, государь, – вызывающе ответила княгиня, щеки ее горели, – вы о сем говорите столь убежденным тоном, что ваши высокие слова сильно беспокоивают нас. Ведь мы все, за исключением ваших бравых голштинских генералов, жили в царствование тихое, елизаветинское...

– Ну что ж, хотя бы... хотя бы... Зато у вас ни порядка, ни дисциплины. Нет, сударыня, вы еще слишком дитя и ничего не смыслите в этих делах... Господа! Игра продолжается. Чей ход?

Он в игре не то чтобы жульничал, но иногда под шумок передергивал картишки. Его партнеры, вместо того чтоб ударить самодержца по голове шандалом, принуждены смотреть на легкое шулерство своего государя сквозь пальцы. Петр выигрывал, добрел, шутил, огребая золото. Быстро продувшая денежки восемнадцатилетняя княгиня Дашкова с ребяческой дерзостью сказала:

– Разрешите мне, государь, выйти из игры.

– Играйте, играйте! Счастье переменчиво.

– Я не столь богата, чтоб поддаться на вашу очень, *очень тонкую игру*.

– Да! – тотчас притворился царь круглым дурачком. – Искусный стратег сразу виден даже и в картежной игре...

– Я бы предпочла плохого стратега искусному, лишь бы он не нарушал установленных в игре правил... А играл бы, как все мы.

– Ха-ха-ха! – не к месту деланно захохотали brave голштинцы.

– Это бес, а не женщина, – шепнула Брюсиха Нарышкиной.

Петр резко повернулся боком к Дашковой и, поймав веселый смех своей любовницы, подозвал Гудовича и сказал ему громко:

– Поди к Елизавете Романовне, чтоб сейчас же шла сюда к столу.

За столом стало тихо, но весь зал шумел. От игорного стола валил дым, как на пожарище. Строганов сделал из носового платка ушастого зайчика, пугал им Дашкову, стараясь не попасться на мрачные глаза царя. Петр видел: Гудович подкатил по паркету, как по льду, к креслу Елизаветы Воронцовой, полячек-красавчик встал, начал шаркать ногами, брякать шпорами, сгибаясь в почтительном поклоне перед вдруг нахмурившейся Елизаветой Воронцовой, и браво отошел прочь, в пеструю толпу гуляющих гостей. Елизавета тоже поднялась, сердито оправила юбки и, ничего не ответив Гудовичу, вперевалку пошла назло Петру в другой зал. К ней тотчас подскочили два блестящих кавалера.

– Моя сестрица пользуется, к удивлению моему, немалым успехом, – не утерпела уязвить самолюбие Петра княгиня Дашкова.

Петр, приспособив ноги, крепко уперся руками в стол и пружинно поднялся. Игроки вскочили – мужчины в струнку, дамы стали приседать. Петр повелительно сказал:

– Продолжайте, господа, – и на вытянутых, негнущихся ногах круто зашагал вслед за Елизаветой.

В малой голубой гостиной, где толпились придворные, офицеры Измайловского и других полков, разные дамы в раздутых, как колокол, платьях, все подтянулись. Старец князь Никита Трубецкой, обычно притворявшийся хилым подагриком, сидел теперь возле стены на кушетке в туго затянутом, тесном мундире, весь расшитый золотом, весь увешанный крестами и звездами. На заплывших коротких ногах ботфорты с бряцающими шпорами. Горло крепко стянуто форменным шарфом, глаза лезут на лоб, лицо красное. Большебрюхий, пыхтящий, он сидел барабаном, легонько постанывая. Возле него – кучка льстецов, подхалимов нового царствования. Всяк пробовал почву, тверда ли, всяк норовил укрепиться, опрокинуть противника, стать выше всех.

И лишь раздалось: «Государь, государь», – все вдруг вскочили, кинулись в стороны, расступились широкой дорогой. Барабанообразный старик Трубецкой, бросив постанывать, забыв про подагру, вдруг превратился в непобедимого воина: шпага бряцала, шпоры звенели, он стал в ряд измайловцев – грудь вперед, брюхо назад, замер, ел глазами шагавшего, словно на ходулях, невзрачного самодержца, как бы силясь сказать: «Я здесь, ваше величество. Я весь ваш по гроб жизни». Потешное приседание вспыхнувших дам, почтительная тишина, военная вытяжка.

И этой широкой дорогой, никого не заметив, а разинув рот и кривляясь, быстро проследовал раздосадованный царь. Раздувая ноздри, принюхиваясь, хватаясь за шпагу, он весь погружен в поиски вероломной Елизаветы Романовны.

4

Императрица не пожаловала к Шереметеву в гости, сказала больно кашлем, читала дома Гельвеция. Через сени от ее покоев несколько дней тому назад были приготовлены две комнаты, где раньше жил Александр Иванович Шувалов, начальник страшной Тайной канцелярии. В эти комнаты перебрался Петр, а свои покои уступил «Лизке» Воронцовой. Эта жесточайшая затея императора была для оскорбленной Екатерины мучительна, как инквизиторская пытка.

С шереметевского ужина Петр с возлюбленной вернулись поздно и в великой ссоре. Он прошел в покой Романовны. Любимая горничная (камерюнгфера) императрицы Катерина Ивановна Шаргородская, поощряемая к тому царицей, горазда была подслушивать. Как только поднялся в комнатах Лизки шум, горничная прокралась кошкой в коридор, нырнула за шкаф, затаилась, как охотник на звериной облаве. А шум за ясеновой дверью креп и креп: Лизка крыла царя резким визгом, царь отругивался по-прусски, топал ногами, орал козлом.

Вдруг распахнулась дверь, царь треснул Лизку по щеке, но сия здоровецкая бабища ловким пинком вышибла замухрышку мужчину в коридор и захлопнула дверь. Царь от затрещины посунулся носом, всхлипнул, парик съехал в сторону, косичка с черным бантом жалко легла на плечо, галстук растрепан, повис, огромная шпага болталась в ногах, звяк шпор притих. Постоял, как выгнанный школьник, было рванулся к каверзной двери, но перетрусил, вновь злобно всхлипнул, закрыл лицо нежными дланями и неверной походкой направился коридором к себе. К великому удивлению притаившейся горничной, впаянные в ботфорты царские ноги на сей раз сгибались в коленях; император был вдребезги пьян.

На другой день, к вечеру, Екатерине подали от Елизаветы Воронцовой письмо со всепокорнейшей просьбой навестить ее, болящую, для неотложных переговоров о наиважнейшем деле. Екатерина, стгорая любопытством, переломила себя, пошла.

Двадцатипятилетняя Елизавета Воронцова, неприбранная, с распущенными волосами, лежала на кровати и плакала.

– Вы больны? – спросила Екатерина и присела возле нее. Та схватила ее руки, с отчаянием сжимала их, покрывала поцелуями. – Чем вы больны?

– Я вас очень прошу, – ответила Елизавета, – сходить к Пьеру и умолять его от моего имени, пусть он отошлет меня к отцу... Здесь, во дворце, мне тяжело. Пьера окружают гады, подлизы, шпионы, я вчера у Шереметевых и Пьера ругала и его приятелей ругала... Он, пьяный, стал шуметь и, в отместку мне, пытался арестовать моего отца. Сходите к нему, Бога ради!

– Прошу вас, – сухо сказала императрица, – для сей комиссии избрать кого-либо другого... Чаю, попытка моя была бы государю досадительна...

– А так ему и надо! – со злостью приподнялась Елизавета на локте. – Нет, умоляю вас, мне больше некого просить.

Часу в седьмом, когда зажгли огни во дворце, Екатерина пошла к Петру. Он был в шлафроке, взад-вперед ходил по комнате, лицо сонное, дряблое.

– Здравствуйте, – сказал он, схватился за щеку и, пососав больной зуб, сплюнул в песочницу. – Я изумлен... Вы так редко ко мне...

– Если вы дивитесь моему приходу, то еще более удивитесь, когда сведаете, с чем я пришла, – сказала Екатерина.

– Очень прошу вас, говорите, – сказал Петр.

После вчерашней баталии он чувствовал себя пред Екатериной виноватым и хотел быть с ней отменно вежливым. Однако мысль, что он неограниченный монарх и, стало быть, никто не смеет читать ему нотации о любом его дебоширстве, что Екатерину он не любит и не может любить, мысль, что Павел, вполне возможно, не его сын, а пригульный, – все эти соображения быстро отразились на его актерской, до чрезвычайности подвижной физиономии: углы губ обвисли, лицо стало кислым и капризным. Однако большие глаза его вооружились встречным огнем против блестящих насмешливой энергией темно-голубых глаз императрицы.

– Я готов... Я слушаю.

Тогда Екатерина, изложив причину своего визита, передала ему просьбу Елизаветы Романовны.

Петр удивился. «Повторите, мадам», – сухо сказал он. Екатерина повторила. Вошли генерал-полковник Мельгунов и шталмейстер Лев Нарышкин, приближенные Петра. Государь рассказал им о всем, только что услышанном, просил совета. Обсуждали положение очень долго. Екатерина устала.

– Ваше величество, – адресовались к Петру Мельгунов с Нарышкиным, – пускай Елизавета Романовна изволит ожидать ответа лично от вашего величества.

– Да, да! – обрадовался Петр. – Я так и думал... Мадам! – в совершенно недопустимой по этикету форме обратился он при посторонних к Екатерине, будто к простой женщине. – Вы слышали, мадам? Так и передайте Романовне.

Придворные переглянулись. Разгневанная столь неучтивым обращением с ней государя, Екатерина вышла.

От Петра к Елизавете Воронцовой и обратно шмыгали взад-вперед Мельгунов и Нарышкин. Так продолжалось до одиннадцати вечера, когда направился к ней сам Петр. При его появлении она и не подумала встать. Вчера заушенный ею Петр все-таки поклонился ей. Та не пожелала ответить на поклон. Чтобы досадить ей за вчерашнее, Петр вызывающе отхаркнулся и плюнул на ковер из обезьяньих шкур, затем позвякал шпорами, накопил в сердце злобу, прокричал: «Извольте оставаться во дворце до особого моего распоряжения! Молчать, молчать!» – и, как угорелый, побежал вон, опаски ради косясь через плечо, как бы эта пышногрудая бабища снова не посунула его в загривок.

На следующий день вечером к Екатерине заявился Петр с Нарышкиным и Мельгуновым. Все трое под хмелем.

– Разрешите нам, ваше величество, – гримасничая, начал император, – разрешите принести жалобу на Елизавету Романовну.

– Сдается мне, сие не по адресу: я не отец ее, не дядя и не супруг, – подчеркивая «не супруг», ответила Екатерина. Молодая женщина была прекрасна в этот вечер. Она только что окончила любовную записочку Григорию Орлову. Темно-голубые глаза ее мерцали еще неостывшими восторгами, излитыми в кудрявых строках на розовой ароматной странице.

Государь с придворными принялись наперебой бранить Елизавету Воронцову: она груба, она лицемерна, она лишена вкуса и женского обаяния, и прочая, и прочая.

– Что вы на это скажете, ваше величество? – прерывали частыми вопросами свои двусмысленные речи царь и оба его друга.

Екатерина сразу поняла их смертельное желание втянуть ее в этот разговор. Но она молчала. Петр стал злиться.

– Нет, вы представьте себе, ваше величество, – развел он руками и оттопырил взнузданные губы. – Я ее пожаловал в ваши камер-фрейлины, а она, вообразите... она отказалась надеть ваш портрет, а пожелала иметь портрет мой... Ну, как сие расчесть? – Он глядел в глаза жены, ждал: вот-вот Екатерина рассердится на Воронцову, насупит брови, топнет.

Но Екатерина, к огорчению его, приняла это известие со смехом.

– А вам, ваше величество, не ведомо, – проговорила она, – что женщины зело капризны и в сердечных выборах своих руководствуются скорей чувством, нежели разумом?

– Да, но этим она оскорбила вас, мой друг, и меня, императора, – он погримасничал, поморгал правым глазом и круто повернулся: – Пойдемте, господа!

Все трое удалились.

Брыластый Лев Нарышкин, имевший кличку «шпынь», то есть балагур, затейник, вскоре вернулся к покоям Екатерины и помяукал возле двери (он любил мяукать кошкой или кукарекать петухом). Его впустили. С оттенком упрека, но с заискивающей улыбкой на бабьем, густо напудренном лице он стал нашептывать царице:

– Ваше величество изволили упустить отменную оказию выгнать эту особу из дворца вон. Мы с Мельгуновым много к этому положили стараний, а вы не изволили воспользоваться.

– Она для меня безразлична, эта султанша, – ответила Екатерина, не без удовольствия прислушиваясь, как хорошо прозвучало удачно найденное слово – «султанша».

Нарышкин выпрямился, низкий отвесил поклон и вышел.

Между тем «султанша» весьма крепко устроилась во дворце и в сердце государя. Она стала пользоваться всяческим поводом унижить Екатерину и выдвинуть себя. Все оскорбления переносились Екатериной молча.

А во дворце или где-нибудь у новых подлипал-приятелей всякий день случались прескверные истории. За ужином с изрядным возлиянием Бахусу нередко были громкие скандальчики. Новый царь-самодур в пьяном виде приказывал арестовывать то одного, то другого из гостей, иных же угодивших ему нахалов приближал к себе тут же и, на зависть прочим, награждал орденами.

– Молчать, молчать! – обычно покрикивал захмелевший Петр, но и без того все молчали.

Екатерина не участвовала в пьяных куртагах, она сказывалась больной и подолгу проводила время на глазах у публики, поклонявшейся гробу почившей императрицы.

Екатерина прилагала все силы к тому, чтобы заставить забыть, что она иностранка. «Султанша» же от Петра Федоровича не отставала, нередко возвращалась в свои покои тоже под хмельком.

5

Вскоре меж Петром и «султаншей» опять стряслась ссора из-за юной какой-то прелестницы-менады. «Султанша» прегрубо оскорбила Пьера действием, Пьер бросил в нее дымящуюся глиняную трубку с табаком и убежал. Но чрез полчаса, подкрепившись выпивкой, вновь явился, стал ласкаться к Елизавете, называть ее душечкой, толстушкой, сдобненькой Психеей и еще как-то очень нежно. Лежавшая в постели «султанша» прослезилась. Прослезился и Петр. Он стал жаловаться на свою судьбу, что он в этой страшной России всем чужой, что единственный верный друг его – это вот она, сердешная Романовна. «Султанша» расчувствовалась, скривила алый ротик и заплакала. Заплакал и государь, присаживаясь на край перины. Плача, он сбросил на пол парик, отер слезы наволочкой в кружевах и, рыгнув от чрезмерной выпивки, жалобно сказал:

– А ты, Романовна, обижаешь меня... Даже... даже... – он хотел сказать «даже бьешь меня», но язык не повернулся. – А ведь я – император.

Пьяная Романовна почувствовала в голосе Петра искренность и боль, ей стало жаль его, она широко открыла глаза и, сознав свою великую пред ним вину, собралась разразиться рыданием.

– Поверь, Романовна, Катюку я заточу в монастырь, тебя возведу на престол, вопреки и всему и всем поставлю тебя императрицей. Я характером в деда моего, Петра Великого. Только пожалей меня.

Тогда Романовна уткнулась румяным лицом в подушку и от внезапной радости громко, вприхлюпку, зарыдала. Зарыдал и самодержец. Он обхватил ее за тугие обнаженные плечи, стал целовать, ублажая обещаниями:

– Ты моя отрада, ты моя ненаглядная жена.

Она поискала платок, не найдя его, высморкалась в простыню с орлами, сказала, целуя Петра:

– Разденься. Я пособлю тебе.

Он с усилием поднялся, с еще большим усилием сел на диван, вытянул ноги. Полнотелая, босоногая «султанша» в тончайшей рубаше с орлами уцепилась за ботфорт и сначала легонько, потом все сильней и сильней стала тянуть его с ноги Пьера. Он пучеглазился, как мопс, крепко цепляясь за диван. Она дважды стаскивала Пьера с дивана на пол, вспотела, покраснелась, но сапог ни с места, как припаян.

– Ты много пьешь, дорогой Пьер. У тебя запухли ноги, – сказала она.

Он пошел разуваться к себе: «Я сейчас вернусь, голубушка Романовна». Проходя мимо караула, притворился трезвым, не шатался. Часовые замирали, носы вверх, ели владыку взглядом. В дверях император все-таки ударился сначала правым, затем левым плечом в косяки.

– Гудович, разуться мне, – веселеньким голосом сказал он дежурному адъютанту.

Пришли три дюжих камер-лакея. Царь сел в крепко привинченное к полу массивное кресло, вполне приспособленное для операции.

– Дозвольте, ваше императорское величество, – сдерживая бас, сказал ставший сзади кресла великан-лакей Митрич – плешивый, борода большая, рыжая, с проседью (не в пример прочим, за его заслуги ему разрешено носить бороду). – Дозвольте ручки...

Сидящий в кресле император чуть приподнял локти. Митрич почтительно обхватил его длинным полотенцем через грудь подмышки и, намотав концы полотенца на свои здоровецкие руки, приготовился править императором, как лошадью.

– Смирно! – крикнул Митрич громовым раскатом (во всем дворце все сказали себе или подумали: «Государя разувает»). Стоявшие у ног императора два лакея вытянулись в струнку, окаменели. – На-ачинай! – еще громогласней скомандовал Митрич, широко разевая пасть. Оба лакея бросились к туго вытянутой императорской ноге и схватились за сапог. – Отста-а-вить! – свирепо гаркнул Митрич. Молодые мордастые лакеи отскочили. Митрич был тоже слегка выпивши: по случаю святок он только что отужинал у своей кумы, жены истопника, пропустив там три больших стакана водки. Поэтому в ритуале разувания, сочиненном самим Петром, он допустил промашку. Улыбаясь во все свое рыжее, как пламень, бородастое лицо, Митрич нежнейше произнес: «Осмеливаюсь доложить вашему величеству, не тую ножку изволили вытянуть, соблаговолите эту ножку подобрать, а левеньку, согласно артикула, вытяните...» Император открыл глаза, промямлил: «Что?» – Митрич столь же нежно и приятно повторил. «Ах, да», – сказал задремавший император. И вновь громоносная команда: «Смирно! На-а-чинай...» Лакеи вцепились в сапог. Митрич крепко держал полотенце и покрикивал: «Легче, легче!.. Ножку не повреди. Ну, пошел-пошел-пошел!»

Левый сапог снят. Император с облегчением вздохнул, голова его склонилась на грудь. Арап Нарцис принес теплую воду, розовое масло и все нужное для омовения ног. Через несколько минут дружной работы и второй сапог был снят. Император, дав сильный крен вперед, крепко спал, распространяя удушливый винный запах. Митрич продолжал, как на вожжах, править императором. Лакеи в красных, с золотыми позументами ливреях стояли на вытяжку. Никто не знал, как быть. Минуло еще полчаса. Митрича тоже стало бросать в необоримый сон: покачивался, глядел в потолок, но глаза слипались, он клевал носом, наконец резко посунулся и наехал брюхом на кресло, потревожив государя. На цыпочках вошел Андрей Васильевич Гудович.

– Спит?

– Так точно, изволили нечаянно почить.

Гудович, покашливая возле императора, дважды окликнул его, легонько потрепал за плечо, стал трепать покрепче, стал раскачивать его взад-вперед; император кланялся, жевал губами, взмыкивал, но не пробуждался.

– Давайте раздевать, – сказал Гудович.

Стали аккуратно раздевать. Император был как мертвый: голова моталась, руки падали.

– Тихо, тихо... – грозя пальцем, шептал Гудович. – Тихо, тихо...

С грехом пополам сняли мундир, камзол, чулки. Арап принялся мыть ноги самодержца душистым мылом.

– Тихо, тихо... – шептал Гудович.

Вдруг император закричал:

– Молчать! – Все вытянулись. – Вольно! – крикнул император и вновь закрыл глаза. Его раздели и на руках потащили к кровати.

Митрича развезло. Прикрывая рот ладошкой, он фамильярно зашептал генералу Гудовичу:

– Кажинный Божий день выпимши... Ай-яй... А натура слабовата, берегчи надобно натуру-то евонную, а то, спаси Бог, долго ли... Вот они выпивать изволят сверх меры, а тетушка их, покойная государыня императрица, через три горницы отседав в гробех лежала. Нешто сие порядок? – он сморщился, утер глаза расшитым обшлагом ливреи.

Так начал свое царствование Петр Федорович III, император всероссийский, родной внук Петра I,

двоюродный внук Карла XII шведского и троюродный брат жены своей Екатерины Алексеевны.

Глава VIII

Вместе с тетушкой Петр хоронит и себя. Враг России – друг Петра

1

Придворный ювелир-бриллиантщик, выходец из Швейцарии, Иеремия Позье, сильно объевшись на каком-то пиршестве, умирал одновременно с царицей Елизаветой. Он въехал в Россию тринадцатилетним мальчиком, теперь ему сорок шесть лет. Высокое мастерство и бескорыстность француза очень ценились при дворе. Умиравшая Елизавета послала к нему своего врача. Тот за день умудрился пустить больному три раза кровь и поставить шесть клистиров. Сверх сего велел выпить большую склянку слабительного. Хотя Позье и почитал себя натурой крепкой, однако после столь сугубого лечения почел за благо призвать к себе пастора для напутствия в жизнь вечную. Когда больному было особенно тяжело, пожаловал офицер с просьбой от великого князя Петра Федоровича достать в кредит золотую, осыпанную бриллиантами табакерку. А как по приказу императрицы Елизаветы великому князю кредит был закрыт, то убитая горем жена Позье выпроводила офицера ни с чем, сказав, что муж ее при смерти.

Елизавета умерла, Позье, очистив желудок, поправился, на престол вступил великий князь.

Позье, восстав из мертвых, впал в отчаянье. По этикету ему надлежало быть во дворце, чтоб поздравить нового императора с восшествием на престол. Но будет ли он принят и не турнут ли его на жительство в Сибирь за дерзостный отказ подыскать в кредит вчерашнему великому князю табакерку?

Он написал графине Елизавете Воронцовой, просил помочь ему в беде. Она пригласила его в свою половину. В девять часов вечера она приняла его. Вскоре вошел веселый Петр с Гудовичем и Нарышкиным. Разодетый в пух и прах толстобрюхенький Позье, низко кланяясь, петушком подкатился к Петру поцеловать руку.

– А, это вы, Позье? – и Петр обнял ювелира. – А мне сказали, что вы собираетесь умирать.

– Собирался, но передумал, желая поздравить вас, ваше величество, императором, – набравшись смелости, развязно ответил Позье. Петр засмеялся и, подмигнув ювелиру, сказал:

– Я теперь богат, заплачу вам. Денег у меня ныне много.

– Я крайне счастлив, государь, взглянуть на ваши деньги, узнать, как они пахнут. Я пятнадцать лет не видал их от вас, ваше величество.

– Дорогой Позье! Да я же не виноват в том, что мне столь мало давала тетушка денег и я кругом в долгу. А теперь чем могу вам служить?

– Тем, ваше величество, что позволите и мне иметь честь служить вашему величеству, если я имею счастье быть вам угодным.

– Хорошо, – подрыгивая ногой, ответил Петр. – Назначаю вас моим ювелиром с чином бригадира, чтоб вы могли входить в мой кабинет, когда захотите. Андрей Васильевич, – обратился он к Гудовичу, – съезди, пожалуй, в Сенат, чтоб о сем тотчас указ выписали.

Позье поцеловал у государя руку и, грациозно поводя локтями, вышел. Его нагнали Гудович с

Нарышкиным, затем подошел Мельгунов, наперебой поздравляя его «с монаршей милостью». Позье улыбался им, но на душе его скребли кошки: он чувствовал, что с этой монаршей милостью он лезет в пропасть. Действительно, дня через два эти молодые люди, подъезжая к дому ювелира в придворных каретах, то один, то другой стали обивать его пороги. Заглядывали сюда и конференц-секретарь, известный кутила и краснобай Дмитрий Васильевич Волков, А. И. Глебов, второй Нарышкин и другие представители великосветской молодежи. Позье хорошо они были известны по своим дурным наклонностям, мотовству на чужой счет, корыстолюбию. Они не были богаты, но держали себя с ювелиром гораздо надменнее самого императора, воображая, что своим посещением делают ювелиру большую честь. Они заказывали ему все, что приходило им на ум, и, разумеется, в долг без отдачи. Отказать им Позье не мог, опасаясь, что эти великосветские люди могут восстановить Петра против него, тогда ювелиру пришлось бы закрывать свою небезвыгодную лавочку.

Эти же царедворцы-карьеристы всячески старались в своих выгодах поссорить царицу Екатерину с ее мужем. По городу ходили об этом упорные слухи, и вскоре Позье в правдивости сих слухов убедился лично.

Однажды, получив заказ от Екатерины, Позье выходил из ее покоев.

– Откуда это вы, Позье? – остановил его в коридоре проходивший со свитой Петр. Позье ответил. Петр, выпятив грудь, грубо сказал ему:

– Я вам запрещаю... Слышите? Запрещаю являться к ней...

Позье остолбенел.

2

Петр III продолжал делать политические промахи.

Так, в три полка гвардии, где по давнишним традициям считался полковником лишь сам царствующий монарх, были назначены полковники: в Преображенский – князь Никита Трубецкой, в Семеновский – граф Кирилл Разумовский, в Конногвардейский – только что вызванный в Россию и ненавидимый гвардией дядя государя, принц Жорж (Георг) Голштинский.

Этим актом Петр умышленно нанес всей гвардии удар, забываемое оскорбление. Возмущенные сторонники Екатерины, копя в душе злобу, открыто ликовали. «Эта сугубая затрещина даром государю не пройдет», – мрачно предрекал Григорий Орлов.

Граф Роман Воронцов, отец «Лизки-султанши», своекорыстно обольщался, что дочь его, столкнув Екатерину, станет сама императрицей. Он больше всех скорбел о том, что Петр даже в столь короткие дни царствования успел восстановить против себя многих. По-родственному советуясь со своим братом Михаилом Воронцовым, великим канцлером, он все время нашептывал царю:

– Ваше величество, вам надлежит проявить некий акт монаршей милости, дабы обратить на себя взоры подданных и прилепить сердца их к своей особе.

Царь не знал, в чем же должен заключаться этот высокий акт. Роман Воронцов нашептывал: надо-де возратить кой-кого из ссылки, надо-де даровать «вольности дворянству», то есть чтоб навсегда избавить дворян от службы обязательной, как бывало прежде, а нести дворянам службу по своей воле, сколько и где они пожелают.

– Особливо же, государь, надлежит вам вспомнить о мужиках. Подлый народ также должен благословлять священное имя вашего величества. Объявите, государь, таковую милость, коя коснулась бы всех людишек мелких. Таковой высочайшей милостью могло бы быть уменьшение цены на соль. Правда, она мера отчасти подорвет доходы государственные, но сие поправимо: с течением времени, когда ваше имя в народе довольно укрепится как имя благодетеля, можно цену на соль паки с постепенностью накинуть.

17 января царь в парадной карете прикатил со свитой в Сенат, пробыл здесь два часа, подписал заготовленный указ о возвращении из ссылки Менгдена, семьи Лилиенфельдов, Лопухиной и знаменитого выходца из Пруссии фельдмаршала Миниха, смелого политического интригана, сосланного покойной Елизаветой в Сибирь. Затем «соизволил указать»: продажную цену на соль наложить самую умеренную.

25 января 1762 года, то есть спустя месяц после смерти, состоялись похороны Елизаветы. Тело на поклонение народу было выставлено в огромном тронном зале, занимавшем целый флигель, пристроенный к деревянному дворцу^[9]. Пышностью своей отделки этот двухсветный зал восхищал даже иностранцев. Веселая Елизавета очень часто устраивала здесь маскарады, в коих участвовало до полутора тысяч масок. В одну минуту зажигалось не менее десяти тысяч свечей. Огни отражались в венецианских зеркалах. По залу под музыку двигалось в шикарных костюмах множество масок, отплясывая кадрили, менуэты и прочие танцы. В соседней комнате веселая Елизавета играла в фараон или в пикет, а к десяти часам удалялась в свои покои, чтоб сменить костюм и надеть маску. Затем снова появлялась в зале, отплясывая до пяти-шести часов утра. Обладая красивыми ногами и сильным корпусом, она любила наряжаться в костюм пажей или средневековых рыцарей.

А вот теперь веселая Елизавета лежит в гробу на возвышенном месте, под богатым балдахинном с золотой ковеной парчой и горностаевым, до земли, спуском. Она лежит в серебряной глазетовой робе с

кружевными рукавами. Несмотря на благовонные курения, в зале слегка попахивает трупом. Статс-дамы и фрейлины, размещенные по рангам, стоят в глубоком трауре, окружая одр Елизаветы. Митрополит Дмитрий Сеченов и духовенство в черных ризах готовы начать заупокойное моление. Присутствуют все сановники, все чины двора.

Величественно вошла невысокая, в глубоком трауре, печальная Екатерина. Все взоры разом обратились к ней. Красивый паж нес за царицей сделанную Позье золотую корону. Отвечая на поклоны, она поднялась к изголовью гроба и стала возлагать корону на слегка вспухшую голову покойницы. Но корона не налезала. Печальная Екатерина, выразив на лице мину христианского смирения, усмотрела среди толпы толстобрюхого, на коротких ножках, ювелира и подала знак помочь ей. Застигнутый врасплох, Позье спешно скорчил слезливую гримасу, с отменной грациозностью приблизился к смертному одру, вытащил из кармана щипчики и мигом приладил корону куда надо.

Началась торжественная панихида, закурились клубы ладана. Молящиеся чинно стояли с возженными свечами, а Петр, нарушая благолепие, расхаживал, как журавль, меж рядами дам, болтая то с одной, то с другой из них по-французски вслух, кривлялся, подмигивал в сторону духовенства, говоря: «Бородатые козлы... Я их всех прикажу обрить». Среди молящихся поднялся ропот... Митрополит Дмитрий Сеченов, взглянув через плечо на игривого царя, грозно нахмурил брови, но Петр показал митрополиту язык и повернулся к нему спину.

Наконец тело повезли на золоченой колеснице из дворца через Неву в Петропавловскую крепость. Несметное стечение народа, шпалерами вдоль всего пути стоят войска, в воздухе пение, музыка, унылый перезвон колоколов и вьюжный ветер с моря.

За траурной колесницей впереди всех следует император, за ним, отступя на двадцать шагов, Екатерина, и далее, вместе с церемониймейстером, бароном Лефортом, вся сановная знать, чинно, по рангам. Император в черной траурной епанче с белыми орлами; длинный шлейф епанчи несут, поддерживая, старшие камергеры. Малая голова императора с детским личиком покрыта треуголкой. Но под этой большой шляпой нет здравых мыслей, есть порхающие, как мотыльки, обрывки мыслишек и воспоминаний. «Да-да-да, – думает он, – тетушка пыталась меня отправить в баню, в русскую, в русскую. Фе-е-е... А... я... я... ненавижу баню, я умру от бани...» И мысли его перескакивают в Голштинию. «Меня преследуют с самого детства. Рок, судьба... Мой воспитатель Броммер, там, в Голштинии... он топал на меня, мальчишку, страдал меня: „Я вас так велю высечь, – говорил он, – что собаки будут кровь лизать. Как я был бы рад, чтоб вы сейчас же издохли“. Да как он смел это говорить? Ах он, свинья...»

– Молчать, молчать! – вскрикивал на ходу император, и мысль его тотчас переносилась на другое. Ветер дул с моря, косичка за спиной самодержца моталась, шлейф епанчи, поддерживаемый шеренгой камергеров, надувался под ветром. Император повернул голову вправо-влево, покосился назад: приподнятый над землей конец шлейфа нес высокий и тучный граф Шереметев, обер-камергер двора. Император скорчил рожу, прыснул и неожиданно остановился. И все, кто сзади: печальная Екатерина, свита, весь кортеж – тоже в недоумении остановились. А колесница с гробом, духовенство, регалии, венки, многочисленные депутации с хоругвями и прочие продолжали двигаться усыпанной можжевельником дорогой по льду через Неву. Император гримасничал и, озоруя, делал четкий шаг на месте. Отпустив колесницу сажен на тридцать, он командовал:

– Бегом, марш! – и что есть духу мчался догонять процессию.

Камергеры, вместе с графом Шереметевым поддерживающие епанчу, мчались вслед за императором. Шереметев на бегу сопел, выкатывал глаза. Ожиревшим камергерам нет сил поспевать за ледащим и легким государем. Они бросили епанчу, остановились, отирали пот, пыхтели, лоя ртом воздух. Почувствовав свободу, император неся подобно крылатому коню. Подхваченный ветром

пятнадцатипятиаршинный шлейф сразу взвился в пространство и шлепал и прихлопывал в воздухе, как парус в бурю. Император хохотал.

– Я озяб, озяб... Надо же погреться, господа, – говорил он подоспевшим камергерам.

Те опять взялись за шлейф, колесница отдалилась на изрядную дистанцию и – снова бег, снова шлепал, плескался черный парус. На невском временном мосту дубом стоявшие в своих санях купцы и кучки ротозеев тыкали в бегущего монарха перстами, удивленно пучили глаза, пересмехались:

– Глянь, братцы, глянь! Кажись, царек-то наш ума рехнулся...

Как сказочный черт на черных крыльях, царь догнал золотую колесницу, оглянулся: задохнувшийся Шереметев упал и ходил по снегу на четвереньках, камергеры, сгорая от стыда, поспешали к императору. Самодержец хихикал про себя.

Екатерина, а за ней вся процессия далеко отстали от колесницы с гробом. Екатерина злилась и бледнела. Когда самодержец всероссийский припустился в третий раз, Екатериною был послан конный адъютант остановить процессию.

Через два часа с верхов крепости раздался пушечный салют, потрясший воздух: прах Елизаветы предали земле. Император во время салюта поморщился и хвастливо заявил свите, что он-де вскорости прикажет дать залп из ста осадных пушек, ха!.. Озлобленный Шереметев осмелился заметить, что от такого залпа рухнут в столице все дома. Царь заморгал на него правым глазом и немилостиво произнес:

– Вы, граф, ничего не смыслите. Вы даже бегаєте, как корова... Я приму меры научить вас... Я всех вас буду учить экзерциции... Муштра, муштра!.. Ежедневно... Да-с!..

В этот день по кабакам, питейным, в домах и всюду – только и разговоров было, что о чудачествах молодого государя. Мальчишки, на потеху взрослых, играли по дворам и переулкам в похороны: царь бегал с рогожей за плечами, Шереметев падал.

Вечером помрачневший Петр вошел, пошатываясь, в покои жены.

– Нет, нет, – начал он хриплым голосом, то вскидывая руки к лицу, то опуская их. – Я не подхожу для русских... И русские – для меня... Я убежден, что погибну здесь.

– Не поддавайтесь этой фатальной идее, – ответила Екатерина, – и старайтесь заставить каждого в России любить вас. А вы как сегодня вели себя?

Петр скривил гримасу и, нечаянно икнув, сказал: «Пардон, мадам». Екатерина наморщила нос, подняла брови:

– Идите спать. От вас пахнет водкой. Фи!

Петр повернулся и ушел.

3

Царь быстро обростал родней из Голштинии. Недавно явившийся с женой и двумя сыновьями дядя царя, принц Жорж, уже был произведен в фельдмаршалы и сразу назначен полковником лейб-гвардии Конного полка с невиданным жалованием сорок восемь тысяч рублей в год и с титулом «его высочества». Вскоре приехал второй царский дядя, принц Петр Голштейн-Бекский с женой и дочкой; он тоже был произведен в фельдмаршалы, назначен петербургским генерал-губернатором и командиром над всеми полевыми и гарнизонными полками Петербурга, Финляндии, Эстляндии и Нарвы. Такое незаслуженное возвышение голштинских полунищих прихлебателей возмущало русских, а в гвардейских офицерах усиливало негодование.

Про принцесс говорили: «Смотрите-ка, эти иностранки чуть не голые приехали к нам, а уедут богачками». Принцессы посетили ювелира Позье, показали свои плохонькие бриллианты, просили совета, как являться ко двору в высокаторжественные дни и, вообще, каковы нравы России?

– Ваши светлости! – начал Позье свое сообщение. – В этой стране все женщины, какого бы ни были звания, от высокопоставленных особ до крестьянки, румянятся, полагая, что к лицу иметь красные щеки. Наряды дам очень богаты, равно как и золотые вещи их. Бриллиантов придворные дамы надевают изумительное множество. Даже на дамах сравнительно низшего звания нанизано бриллиантов тысяч на двадцать рублей.

Рыжеволосые принцессы ахали, завистливо закатывали глазки, брюхатенький Позье надавал жару:

– Русская покойная императрица обладала такими драгоценными уборами, как ни одна из государынь Европы. Парадная корона императрицы Елизаветы состоит из бриллиантов, жемчуга и самоцветных камней: рубинов, сапфиров, изумрудов. Все эти камни считаются крупнейшими в мире.

Когда Позье вогнал принцесс в испарину, они сказали:

– Помогите нам... Мы по оплошности оставили крупные бриллианты в Голштинии, захватили с собой мелочь. Как нам быть? Мы и в деньгах испытываем некоторое затруднение, но знаем, что наш племянник император Петр окажет нам милость...

Оказанная впоследствии знатым голштинцам милость стоила России не один миллион. А пока – придворный ювелир Позье состряпал двум этим дамам и девочке несколько уборов из фальшивых камней разных цветов; он подобрал их и перемешал с бриллиантами с таким искусством, что все светские дамы терялись в догадках, откуда такое богатство у заезжих голштинок.

Когда Позье, по зову Петра, явился ко двору, его обступили придворные дамы.

– Неужели то настоящие камни?

– О да, о да! – воскликнул верный Позье.

Петр пригласил француза в кабинет и, узнав про его хитрость, пришел в восторг, очень много смеялся.

– Вы, как черт, изобретательны!

7 февраля Петр объявил в Сенате:

– Отныне Тайная Розыскных Дел Канцелярия быть не имеет.

Этот гуманный и умный политический жест, неизвестно кем государю внушенный, подтвердился через две недели манифестом, составленным тайным секретарем Д. В. Волковым. В манифесте между прочим говорилось: «Тайная Розыскных Дел Канцелярия уничтожается отныне навсегда, а дела оной

имеют быть взяты в Сенат и за печатью к вечному забвению в Архив положатся». «Ненавистное выражение, а именно: „слово и дело“ – не долженствует отныне значить ничего, и мы запрещаем – не употреблять оно никому; о сем, кто отныне оно употребит, в пьянстве или в драке, или избегая побоев и наказания, таковых тотчас наказывать так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники».

Царь боялся всяких письменных дел пуще огня. Второй важный манифест о давненько обещанной «вольности дворянской» писался Волковым же.

– Романовна, ангел, – обратился Петр вечером к своей возлюбленной. – Вот уж мы с Дмитрием Васильичем запремся в горнице и будем всю ночь писать. Ты не мешай нам. Дела важные, касаемые государственного благоустройства.

Романовна поужинала тертыми рябчиками, изрядно выпила бургундского, посудачила с камер-фрау и легла в постель. Когда наступила ночь, царь запер Волкова в горнице, а вместо собственной персоны оставил с ним своего датского кобеля.

– Напиши, пожалуй, Дмитрий Васильич, какой-нибудь важный указ, я просмотрю завтра, – сказал он, подмигнув, и ушел до утра кутить с благоприятелями.

Очутившись в странном положении, веселый и умный Волков поохотал над собой, поразговаривал с датским кобелем: «Ты собака, а я волк... Хочешь, съем тебя?» – потом долго ломал голову, о чем писать. «Ба! Вот... О вольности... Давнишняя мечта дворянства...» – прихлопнул себя по высокому лбу и, потягивая английское пиво, стал сочинять манифест «о вольности дворянской» в отмену обязательной военной и гражданской службы, введенной Петром Великим.

Написав, много смеялся: «Манифест о вольности дворянства готов, а я, дворянин, сижу запертым самдруг с собакой. И выпуску нет... Ха-ха». На другой день, 18 февраля, этот манифест был подписан Петром и опубликован.

Так выпускались царем большой политической важности манифесты и указы.

Во исполнение мысли почившей Елизаветы, а главное по подсказу либерального Никиты Панина, отчасти же по своекорыстным наущениям графов Воронцовых, дан был и третий именной указ о монастырских вотчинах, об отобрании от монастырей и церквей крепостных крестьян и переводе их в государственные. Петр к крестьянам относился, разумеется, с полнейшим равнодушием и не ради их благополучия подписал сей указ. Но все же подписал его с особым удовольствием: он попов и монахов ненавидел.

Указ составлен Волковым в умной, иронической форме. «Соединяя благочестие с пользой отечества... монашествующих, яко сего временного жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских попечений... крестьянам отдать землю, которую они прежде пахали на архиереев, монастыри и церкви».

Этот указ был близок мужицкому сердцу, и о нем долго вспоминали.

Плохо образованный, слабовольный и от природы недалекий, Петр не мог самостоятельно охватить интересы огромной страны да никогда к этому и не стремился и никакой к тому охоты не имел. Однако вспыльчивое, взбалмошное сердце его нередко было открыто к добру. И, побуждаемый благоприятными обстоятельствами, он с охотой подмахивал манифест или указ, обещавший какую-нибудь «милость».

Этим пользовались некоторые приближенные, торопливо выдавая народу за подпись Петра авансы, способствующие укрепить в народной массе доброе имя молодого государя, упрочить незыблемость его престола, а тем самым обеспечить карьеру и себе.

Вот и генерал-прокурор Сената Глебов стал нашептывать государю разные идеи. Государь то отвергал их, то соглашался с ними, смотря по состоянию духа. И вот – именной указ: бежавшим в Польшу и в другие

заграничные страны раскольникам возвратиться в Россию, причем не должно делать никакого препятствия в исполнении церковного закона по их обыкновению и старопечатным книгам, ибо «внутри Всероссийской империи и иноверные, яко магометане и идолопоклонники, состоят», и что отвращать раскольников от старой веры должно не принуждением и огорчением их, а мерами увещевания.

Раскольники стали почитать Петра III своим заступником, а связанные с гонением на старую веру ужасные случаи самосожжения прекратились.

Этот указ точно так же сыграл немалую роль в движении Емельяна Пугачева, расположив в его пользу много раскольников.

Когда Петру никто не нашепывал и если были к тому наглядные причины, он впадал в законодательное творчество самостоятельно. Так, возвращаясь ночью из Аничковского дворца от гетмана Кирилла Разумовского верхом на коне в трезвом виде, он подвергся нападению бродячих псов. На следующий день на имя генерал-полицеймейстера Корфа вышел именной высочайший указ: «Извести имеющихся в Санктпетербурге собак близ дворца. Петр».

Или: над головой Петра пролетало мирное стадо ворон. Одна из них без всякого злого умысла непочтительно капнула на шляпу молодого самодержца. Именной высочайший, не особенно грамотный указ: «Дворцовым егерям стрелять на улицах столицы ворон и птиц. Петр».

4

Освобожденные из ссылки Миних, Лелиенфельды, граф Лесток, Менгден со всей признательностью императору окружили его престол. Вскоре получил свободу и временщик Бирон, умертвивший за десять лет своего правления одиннадцать тысяч человек. Он был любовником царицы Анны Ивановны. Перед своей смертью она назначила его регентом Российской империи. Но через двадцать два дня своего регентства Бирон был арестован фельдмаршалом Минихом, осужден на вечное заточение в Сибирь^[10] и прожил в изгнании двадцать два года.

И вот два кровных врага, Миних и Бирон, снова встретились при дворе Петра, благодетеля своего.

Русские вельможи и вся сторона Екатерины косились на этих иноземцев, копили злобу на Петра: почему он всех их возвратил из ссылки, осыпал милостями, а многие русские все еще томятся в заточении?

Но партия Екатерины и даже сами приверженцы царя впали в изрядное раздражение, когда узналось, что с исконным врагом России, с прусским королем Фридрихом II, царь Петр, никого не спросясь, заключил мир и дружбу.

Война с Пруссией продолжалась пять лет. Для русского оружия она, в общем, была удачна.

В конце кампании 1761 года разбитый Фридрих с остатками войска отступил в крепость Бреславль и стал там отсиживаться. Он впал в душевный маразм, два месяца не выходил из комнаты: он боялся показываться войску. Надежды на спасение у него не было: он больше не мог рассчитывать на медлительность русских войск – ими командовал теперь образованный, молодой, талантливый генерал Румянцев, ему поручено было Елизаветой взять неприступную крепость Кольберг, и он ее взял.

Положение Фридриха II становилось безвыходным: союзница Англия перестала помогать ему деньгами. Прусский народ упал духом и все сильнее озлоблялся против своего короля. Словом, Фридриху угрожала гибель.

И вдруг... На долю несчастного Фридриха выпал счастливейший случай.

Известие о том, что русская императрица Елизавета Петровна при смерти, сразу окрылило Фридриха: на престоле будет Петр Федорович, преклоняющийся пред гением его. И в своих расчетах Фридрих не ошибся. Вскоре развернувшиеся в России события превзошли все его надежды: Елизавета умерла, воцарился Петр, молодая царица Екатерина волею упрямого супруга устранена с поля политической жизни. Итак, Фридрих ожил, союзники увяли.

События шли так: в середине февраля 1762 года вернулся от Фридриха посланный Петром генерал Гудович: он отвозил прусскому королю известие о восшествии на престол Петра III и «высочайшее» письмо с выражением дружеских чувств к вчерашнему врагу России.

Гудович совершил на государственный счет прекрасное турне, но нищей России эта поездка вскочила в изрядную копеечку: царь пожаловал своему любимцу Гудовичу шесть деревень в пределах Черниговской губернии.

Фридрих вскоре направил в Петербург посланника Гольца с благодарственным письмом к царю («Да будет ваше царствование долго и счастливо!») и с прусским орденом в награду императору. Ловкому Фридриху этот орден ровно ничего не стоил, но нищей России он влетел в немалую копеечку: почти выигранная военная кампания сорвалась, союзники – в гневе на Россию.

Мир с Пруссией был заключен, предварительный договор подписан, завоеванные нами у Пруссии земли возвращены обратно. Шестнадцать тысяч отборного русского войска соединены с войсками

Фридриха II, чтоб нанести решительный удар Австрии, вчерашней союзнице России.

Этот неожиданный, бессмысленный, своевольный мир с Фридрихом II глубоко оскорбил все классы русского общества, от властвующих вельмож, царедворцев, купечества, духовенства и до бесправного солдата. Такой вероломный мир с давнишним врагом России считали издевательством молодого царя над всеми русскими.

Среди солдат действующей армии поднялся ропот: «За что ж мы кровь проливали? Били, били немцев, а тут, на вот те, с немцами вместе других бить заставляют... Да что это в Питере-то, с ума, что ли, посходили? Хватит воевать!..»

Ну что ж, худой мир лучше доброй ссоры. Но Петр не ради миролюбия сломал всю политику Елизаветы, а чтоб, отказавшись от одной войны, бросить войска и средства на новую, явно безумную войну с Данией из-за пустых каких-то голштинских дел.

5

Екатерина затаилась. Она все видела, все знала, все понимала. Она вела закулисную борьбу против прусской политики своего супруга, стараясь в этом опереться на общественное мнение. Вместе с Никитой Паниным, вместе со своими сторонниками-гвардейцами она скорбела о том, что вся политическая жизнь России отныне ведется не Петром III, а коварным прусским посланником Гольцем, действующим по указке Фридриха II.

Гольц и все приспешники Петра обращали внимание молодого государя на то, что не худо бы устроить слежку за ее величеством – Екатериной, особенно же за гвардейцами Орловыми. Но Петр отмахивался со всей беспечностью упрямого недоросля. Он считал себя, как и все бездарности, проницательным, умеющим разбираться в людях.

Толстомясая «султанша» через своего отца графа Романа Воронцова и прочих соглядатаев выведала настроение Екатерины и науськивала Петра на свою соперницу. Тот, выпивши, побежал в послеобеденную пору объясняться со своей супругой. Екатерина все еще ходила в широком траурном платье, что скрывало ее беременность от посторонних взоров, а главное – от императора, давным-давно переставшего интересоваться ею как женщиной.

– Вы начинаете становиться невыносимо гордой, – начал он, подергивая головой и плечами. – Я сумею вас образумить...

Екатерина подняла на него лучистые глаза, спокойно сказала:

– В чем вы видите мою гордость?

– Вы очень прямо держитесь... Весь ваш вид... И ваше поведение... и вообще...

– Разве, чтоб вам понравиться, нужно гнуть спину, как гнут рабы перед турецким султаном?

– Я сумею вас образумить, мадам!..

– Каким образом? – В глазах Екатерины презрительная ненависть, на губах улыбка.

Петр, прислонясь спиной к стене, быстро вытащил из ножен шпагу и, гримасничая, с угрозой встряхнул ею.

– Что это значит? Уж не рассчитываете ли вы драться со мной на шпагах?

– Да!

– Тогда, ваше величество, мне также нужна шпага, – весело сказала Екатерина. – Иначе сатисфакция состояться не может.

– Молчать, молчать! Вы ужасно злы. Вы пантера! – крикнул Петр и с треском вдвинул шпагу в ножны.

– В чем же вы видите мою злость? Сделайте милость, объясните...

Петр сорвался с места и, звеня шпорами, стал бегать взад-вперед, бормотать глупости, выкрикнул, подобно попугаю: «Молчать, молчать!..», и, пошатываясь, вышел.

В его голове сумбур. И над сумбуром – единая мысль: он скоро выступит в поход против Дании, скоро встретится со своим другом – великим из великих, Фридрихом. То-то будет знаменитое свидание!

Когда Петр ушел, из-за ширмы выпорхнула красавица графиня Брюс, близкая подруга Екатерины. Обе молодые женщины принялись хохотать. Графиня беззаботно, Екатерина нервно.

– Очень храбрый воин ваш супруг, ваше величество, – смеялась графиня. – Я видела в щелочку, как он

угрожал вам шпагой.

– Любезный друг, Прасковья Александровна, – воскликнула Екатерина. – Но ведь я не крыса, я женщина, я государыня! Вы слышали, как он казнил крысу?

– Вы шутите, ваше величество... – подняла изогнутые брови графиня Брюс и облизнулась, предвкушая услышать интересное.

– Нисколько. Он тогда был еще великим князем. Впрочем, ему было под тридцать лет. Однажды я вошла в его комнату. Посреди комнаты виселица, на ней – дохлая крыса, большущая-большущая, фи... Я спросила его, что это все значит? Он ответил: «Эта мерзкая крыса перелезла через вал фортеции (он показал рукой на огромный стол, где сооружена была игрушечная крепость) и на бастиионе слопала двух часовых». – «Но ведь ваши часовые – из крахмала и муки...» – «Хотя бы, хотя бы. Я тотчас созвал военный совет, в коем участвовали мой лакей Митрич, все камердинеры, хохол Карпович и Нарцис. Я председательствовал. По законам военного времени суд приговорил крысу к смертной казни через повешение». Не в силах сдержаться, я расхохоталась. А он сказал мне: «Ах, вы, женщины, ничего не понимаете в военных законах». Я не переставала хохотать. Он надулся. Я сказала: «Хороши ваши военные законы, ежели крысу повесили, не спросив и не выслушав ее оправдания».

Графиня Брюс много этому рассказу смеялась. И вдруг заметила: плечи Екатерины стали подергиваться, подбородок дрожать. Екатерина упала в кресло, набросила кашемировую шаль и громко, вздохнув, зарыдала.

– Ваше величество... милая, ваше величество! – кинулась к ней перепуганная Прасковья Александровна. Обняв ее за располневшую талию, графиня Брюс нечаянно коснулась тугого приподнятого живота Екатерины и удивленным шепотом, целуя государыню в завитки темных волос, воскликнула: – Вы... вы!.. И от меня скрываете... Ах, какая вы, право... Ваше величество...

Согретая нежностью женщины, Екатерина благодарно усмехнулась, откинула шаль и, сморкаясь в раздушенный платочек с короною, мешая в одно слезы и смех, тихо промолвила:

– Да, душа моя, Прасковья Александровна, я... я беременна. Роды – месяца через два. Но это – строжайшая тайна, умоляю вас как друга. А ребенка тотчас отдам. Бедное дитя!

Растроганная графиня уткнулась белым лбом в суховатое плечо государыни, стала лить слезы на черный шелк ее траурного платья. Задышавшись, бормотала воркующе:

– Какая вы милая, ваше величество, какая вы душка... Буду молить Бога о вашем бесценном здравии день и ночь.

– И вот в такое-то время, вы только подумайте, милый друг, – голос, подбородок и щеки Екатерины вновь задрожали, – я в опале, я на краю гибели, я окружена врагами, друзей у меня – вы да Кэтти Дашкова... Ну, кто еще?.. Не ведаю, кто...

– Ваше величество! – еще крепче прильнула к ней Брюс. – Вы забыли, ваше величество, упомянуть имя рыцаря, готового отдать за вас жизнь.

– О! – выпрямилась Екатерина, лицо ее вспыхнуло. – Сей рыцарь есть единая отрада моя, единая надежда... Вы же это знаете, мой милый друг.

– Ваше величество! Ваш рыцарь, Григорий Григорьевич Орлов, неотступно просит свидания с вами...

– Да, но... как это сделать? Этот несносный адъютант Перфильев приставлен государем следить за Орловым... Как это сделать?

Графиня Брюс хотела ответить: «Да так же, как на прошлой неделе», но почла неприличным и

ответила так:

– Очень просто, ваше величество. Мой муж сейчас в Москве. Рандеву состоится в моем доме. Сегодня ночью государь будет в Аничковском дворце у гетмана Разумовского... Кутеж до утра. И Перфильев будет при государе. Вы ж знаете, ваше величество. Ровно в одиннадцать я заезжаю за вами в карете...

– Я в мужском костюме, в широком плаще, в шляпе, надвинутой на глаза, выхожу вместе с вами?.. – засмеялась царица.

– Нет, вы лучше оденьтесь Катериной Ивановной, вашей камеристкой...

– Нет-нет, мужчиной!.. Пусть Гришенька не сразу узнает меня...

Из половины государя доносились плаксивые звуки скрипки: Петр неплохо играл какую-то sentimentalno-заунывную пьеску.

Вскоре состоялся переезд в новый, еще не вполне достроенный знаменитым Растрелли Зимний дворец. Петр сам распределил все помещения. Ближе к себе, на антресолях, поместил Елизавету Воронцову, а царицу Екатерину – в самый отдаленный край дворца. Между передней и покоями царицы – малолетний великий князь Павел с воспитателем его Никитой Ивановичем Паниным. Уединенное помещение Екатерины было ей на руку: удобней видеться с нужными ей людьми, а главное – ей предстояли тайные роды, что она благополучно и совершила, родив на Пасхе, 11 апреля, сына Алексея^[11]. Отец новорожденного, то есть офицер Григорий Орлов, при родах не присутствовал. А ребенок вскоре исчез.

6

Внутренние дела России не сулили ничего хорошего. То здесь, то там волновались пашенные крестьяне. В вотчинах Татищева и Хлопова в Тверском и Клинском уездах мужики срыли и разбросали помещичьи дома, житницы с хлебом и оброчные деньги разграбили, а помещиков повыгнали вон, сказав им, чтоб больше сюда не ездили; приказчиков и дворовых людей хотели убить, но смиловались, однако из вотчины выбили вон. Шумели крестьяне и по Московскому, Белевскому, Галицкому, Каширскому, Тульскому, Епифанскому и другим уездам – всего до восьми тысяч человек.

Волновались на Урале раскольники и крестьяне, приписанные к заводам графа Чернышева и Демидовых; они подали в Сенат жалобу, что «управители и приказчики притесняют их, увечат, а иных до смерти убили».

Начались волнения и в Москве среди фабричных суконной мануфактуры: удерживают-де у них заработанные деньги и дают на делание сукон скверную шерсть.

Сенат всякий раз докладывал царю о народных возмущениях, царь отмахивался, говорил: «Решайте сами, а мне недосуг, я озабочен более важными для государства делами, я готовлюсь к войне с Данией. Вот возвращусь с триумфом с поля военных действий, тогда займусь и помещиком, и мужиком, и фабрикантом».

Действительно Петру некогда заниматься какими-то малыми делами в какой-то там России. Эту провинциальную Россию он не знал, да и не хотел знать, он даже не ощущал ее. Он весь был погружен в военные занятия. Ему и во сне грезились битвы да победы. Добрый по натуре, но плохо воспитанный, заносчивый, вспыльчивый и от природы невеликого ума, этот круглый неуч не мог подметить, что императорский самодержавный трон его со всех сторон обложен целым ворохом горючего.

И трагедия Петра заключалась в том, что он сам разбрасывал это горючее возле монаршего престола, замыкая жизнь-судьбу свою в заколдованный круг противоречий и роковых опасностей, что он сам держал в немудрой руке пылающий факел, он сам как бы являлся первым поджигателем: еще лишняя искра, еще неверный его шаг, и трон взлетит на воздух. Петр своею странною персоною был самым лютым, самым коварным, самым жестоким врагом себе.

Он разогнал елизаветинскую лейб-компанию – эту «гвардию в гвардии», эту привилегированную часть гвардии, возведшую в 1741 году Елизавету на престол. Содержание ее стоило государству два миллиона ежегодно. Вот и чудесно! Роспуск дворцовых прихлебателей был заслугой Петра даже в глазах его врагов. Но беда в том, что, бесстрашно разогнав старую русскую лейб-компанию, Петр тотчас сформировал из иностранцев голштинскую гвардию и поспешил отдать ей все свое сердце. Подобный акт дворянская гвардия учла, разумеется, не в пользу императора. Лейб-компания тоже злилась. «Возведением на престол Елизаветы мы очистили и Петру Третьему путь к трону, – говорили они. – А нас расформировали».

Как уже известно, первую роль в войсках играл иностранный принц Георг Голштинский (по-солдатски – «Жоржа»). Солдафон, пьяница, зазнайка, презирающий все русское, принц Георг своими поступками возмущал не только военное дворянство, но и рядовых солдат.

Петр решил: всю гвардию, все войско повернуть на прусский образец. Вместо просторных одноцветных зеленых мундиров, он одел войско в разноцветную, узкую, на прусский манер, форму. Завел в войсках безмерно строгую дисциплину. Наказание солдат батожем, кнутом и кошками – отменено, впредь приказано бить палками и фухтелем^[12]. Начались ежедневные, и в дождь и в бурю, военные

экзерциции. Отдан приказ стянуть в Петербург для военной муштры пятнадцать тысяч войска.

Глава IX

Две Екатерины. Гетман Разумовский

1

Весенний мелкий дождь, слякоть. Плац перед Зимним дворцом. Под ногами смешанный с грязью и конским пометом снег. Эту хлюпающую грязь месит не одна тысяча мужицких и барских сапог. Все в новых кафтанах, на плечах самопалы, косички болтаются.

Маленький Петр на коне. В зеленой накидке, с орденом прусского короля, в треуголке с плюмажем. Треуголка вся мокрая, дождевая вода скатывается на плечи, на спину, за шиворот, но Петр равнодушен к погоде, он держит экзамен на закаленного прусского воина. Из-под шляпы – два больших темных глаза, то веселых, то грустных, то строгих, смотря по тому, как делает русское воинство прусский размашистый шаг.

– Бего-о-м... Марш! – громко командует он. Голос его – резкий, запальчивый и неприятный – кроет всю площадь. – Кру-го-ом!.. (И глаза его стали вдруг злыми, губы обвисли.) Гетман Разумовский!.. Надо слушать мою команду не брюхом, а ухом. Я еще не сказал – марш. Стыдно, стыдно!.. – Царь вытаращил из-под шляпы глаза и вновь закричал: – Круго-о-м... Марш! (Солдаты бегут в такт, слышно пыхтение, звяк самопалов, хлюп промокших ног.) Стой!

Впереди первого взвода, пробежав лишних два шага и со страхом посунувшись пятками взад, утвердился на месте, как вкопанный, низенький, толстенький старичок со звездой на груди, с голубой под кафтаном лентой. Он задыхался, как запаленная лошадь, широко открыв рот и полные испуга глаза, косил их в ту сторону, где скомороший царек на коне, и с трепетом ждал обидного высочайшего окрика. Он был несчастен и жалок. «Отдохнуть бы, в кроватку бы, выпить горячего пуншу... Сукин ты сын, ваше величество... Небось сам на коне, как на печке...»

В эту минуту короткого роздыха он вскинул дальнозоркие глаза на дворец. И видит... за зеркальным стеклом два хорошеньких личика. «Матушка-государыня, заступись, заступись! Не дай скоропостижно скончать дни живота моего в сей проклятой экзерциции... Когда же возьмешь бразды правления в благоразумные руки свои, о мать-государыня?.. Торопись, всеблагая!..» И видит жест белой руки в свою сторону.

– О, бедни, бедни мой старикашечка... Милая Кэтти, вы не можете видеть, кто сей толстячок? – еще плохо владея русским языком, обратилась царица к молоденькой Дашковой, показав ей лорнетом на стоявшего впереди первого взвода пыхтевшего старца.

– Это... это... Да это ж наш князька генераль Трубецкой... А вы не узнали? – ответила тоже на русском наречии природная русская княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная княжна Воронцова.

– Как, Трубецкой? Никита Юрьевич?.. Господи помилуй!.. – изумилась императрица. – Но ведь он старушечка, ведь он есть генераль-прокурор Сената?

– Да, да... Только старушечка – дама, ваше величество, позвольте поправить вас, а он есть старичок...

– Вуй, вуй, старичок... Но, милая Кэтти, вы анрюсс выражайтесь тоже не есть очень правильно. Или ви нарошно передразняют меня?

– О, мой Бог! – всплеснув белыми ручками, Екатерина Романовна вскинула брови и сложила сердечком уста. – Могу ли я, ваше величество... Но я и сама очень плохо по-русски.

Они улыбнулись друг дружке конфузливо и перешли на французский.

– Ведь у несчастного Трубецкого больные ноги, подагрическая ломота, – сказала государыня. – Поэтому он и в Сенат по целым месяцам не ездит, да и дома к нему доступа нет. И вдруг...

– И вдруг, ваше величество, – заулыбалась говорливая стрекотушка Екатерина Романовна. – И вдруг государь жалует ему звание фельдмаршала. А раз так, пожалуйста на плац топать ножками с молодцами... Экзерциция, ваше величество, ныне для всех обязательна. И старых и малых.

– Знаю, знаю, мой друг... Это мне в большую печаль, – приняла скорбный лик молодая царица. – Ну к чему мучить столь почтенных людей? Скажите, к чему?

– Это воля вашего высокого супруга, ваше величество.

– Глупая воля! Это есть чванный каприз, фанфаронство. Не более... – Брови ее величества сдвинулись, щеки алеют. Дашкова, чтоб сбить настроение царицы, притворялась веселенькой.

– Представьте, ваше величество... Только Алексей Григорьич Разумовский как-то избавился от сего публичного капральства.

– Ну да... Алексей Григорьич просто-напросто откупился. Да, да... Просто дал взятку, а государь ее принял. В день переезда нашей фамилии в Зимний дворец очаровательный дедушка преподнес государю драгоценную трость и просил дозволения присовокупить к подарку – знаете, сколько? – миллион рублей... И его величество деньги те взял...

Екатерина Романовна растерянно захлопали глазками.

– А что касаясь младшего Разумовского, гетмана Кирилла, то он, ваше величество, принужден держать у себя молодого офицера, который дает ему ежедневно уроки новой прусской экзерциции.

– Сей светлый государственный ум рожден царствовать, а не ради капральских артикулов, – в раздражении перебила ее государыня, и лицо ее снова стало печальным. – Бедный, бедный. Но ведь государь его любит и чтит. И в то же время ежечасно при публике обращает в шуту. Дивлюсь моему государю.

За окнами на плацу продолжалось учение. Звенел крикливый голос Петра:

– Правифланговый третьего взвода на гауптвахт... Раз, два! Раз, два! Лево! Лево!.. Бараны!.. Я вас, чертячьи головы, вишколю... Раз, два! Айн, цвай! Четвертый взвод, слушай! Весь взвод под арест! Взводный – под ружье на три ночи к пакхаузам.

Учение продолжается уже битых три часа. Кроме Петра на коне и его свиты, все несказанно устали месить глубокий вязкий снег. Выбившись из последних сил, один за другим упали шесть солдат.

– Убрать, убрать! – бесился всегда ожесточавшийся на экзерцициях царек. – Поставить новых!

Адъютант Перфильев то и дело скачет от Петра с приказами.

– Гетман Разумовский! – кричит Петр. – Подбирайте живот! Прямой вытягивай ногу! Вы опять идете, как вьючный двугорбый верблюд. Плечи, плечи назад!..

Изнеженный гетман Кирилл Разумовский, подобно князю Трубецкому, нервничал, куксился, проклинал и жизнь и царя.

Эти царские окрики не могли долететь до ушей государыни, но их слышала гвардия, слышало войско. Щедрый на помощь солдатам и малоимущим офицерам, Кирилл Разумовский был кумиром всей гвардии.

Публичная, почти ежедневная насмешка царя над гетманом коробила всех.

– Ваше величество, – прижимая руки к груди и выразив на умном лице таинственность, восторженно шепчет Дашкова. – Ваше величество, если б вы только знали, сколь много у вас друзей среди гвардии: пять братьев Орловых, Ласунский, Пассек, Росла...

– Чшш... – и царица посунулась к Дашковой. – Закройте ваши уста, сии стены с ушами. Мне ведомо очень, очень многое, даже то, чего вы, по своей молодости, не можете знать, мой любезный друг... А впрочем, я рада вас выслушать. Пойдемте ко мне.

Взволнованная Дашкова поймала изящную руку Екатерины и покрыла ее поцелуями.

– Ваше величество! Тучи над вашей головой сгущаются. Доверьтесь мне. Я достойна вашего доверия. Моя жизнь принадлежит вам, государыня. Приказывайте, располагайте мною. Я в курсе всех дел. Скажите, какой ваш план? Я держу полную связь...

– Чш-ш-ш... У меня плана нет. Все в руке Божией, – с притворным смирением прошептала Екатерина.

2

Прозвучали по коридору размашистые, военные шаги. Петр проследовал на антресоли, в покои Елизаветы Воронцовой, завтракать.

– Романовна! Романовна! – сразу зашумел он, бросая арапу Нарцису мокрые плащ и шляпу. – Сегодняшняя экзерциция из рук вон плоха... За ночь навалило снегу, дождь... И этот неженка, сибарит гетман Разумовский! У него ноги, как из ваты, и ходит, как двугорбый верблюд. Мне надоело вычитывать ему рацеи. Я охрип, кричавши на него... Нарцис! Рюмку ежевичной. А я все же его люблю. И он меня любит, Романовна... А не пригласить ли его откушать с нами?

– Что ж, – ленивым голосом проговорила Воронцова, сидя возле венецианского туалета и лениво сажая себе на щеку мушку. – Пригласи, Пьер... Он человек решпектабельный...

– Ну да, ну да... Я и сам к нему полный решпект имею. – Петр подергал висевшую вдоль дверного косяка расшитую бисером розетку. На звонок вошел саженный лысый бородач Митрич, стукнул в каблук и – грудь вперед – замер. – Здорово, Митрич! Ну, как ты сегодня – пьян есть?

– Никак нет, ваше императорское величество! – гаркнул бородач и, прикрыв рот рукой, покашлял в сторону. – Мы не пьем...

– Ха-ха... Смирр-но! (Митрич замер.) Шагом марш! Ать-два, ать-два... Стой! (Пройдя четыре шага, Митрич остановился. Воронцова смотрела во все глаза на причуды императора.) Кру-гом! Ать-два! (Митрич, согласно артикулу, молодецки повернулся задом к Петру.) Сложи руки, сложи руки! Нагнись...

– Никак нет... Не имею смелости, ваше величество, к вам раком стать...

– Император повелевает: нагнись!..

– Как угодно вашему величеству. А токмо что... – пробасил Митрич и, покрутив головой, с неохотой нагнулся.

Петр, разбежавшись, перепрыгнул через него, как в чехарду, и крикнул:

– Вольно, Митрич! Скажи адъютанту Перфильеву, пускай немедля добудет гетмана Разумовского, Кирилл Григорыча. Мы просим его откушать с нами... Фриштык, фриштык!..

Вспотевший Митрич вылез вон. Государь, игриво тронув на ходу пухлую грудь Елизаветы Воронцовой, воскликнул:

– Могу ли я после сего верить?

Та встревожилась, ленивым голосом спросила:

– Кому, Пьер, мне?.. О, вполне...

– Ах, нет! Ах, нет!.. Я не про то. Я про Панина Никиту. Представь, я произвожу его в высокий чин фельдмаршала. Эрго: пожалуйста на плац-парад маршировать со всеми, нечего в затхлых комнатах с великим князьком торчать. А он, а он... Ха-ха!.. Он чуть не на коленях стал отказываться от сей чести, от фельдмаршалства, от плац-парада и умолять оставить его в прежних чинах... Каков?.. Мне все уши прожужжали: Панин умный. Панин просвещенный политик... Но могу ли я теперь сему поверить? Вздор! Не политик, а политикан, он под дудку царицы Екатерины пляшет, он заодно с ней. Он против меня. Сукин сын. Они все, каналы, против меня! – петушился Петр, быстро бегая из угла в угол, путаясь несгибавшимися ногами в длинной шпаге.

– Пьер, снимите эспантон, он вам в помеху.

– Вздор! Сие не есть эспантон, сие есть прусского образца шпага... И я его ненавижу, этого Панина! Я этого умника опять в Стокгольм упрячу, пусть там торчит, изучает глупые конституции.

Без доклада вошел красивый, плотный, чуть сутуловатый богач Кирилл Разумовский. Он в красном, расшитом золотом и жемчугом кафтане, на пряжках туфель – яхонты, коса длинная, с большим бантом. Нос ложбинкой, в живых глазах светятся ум и юмор.

– А, старик, – прыгая через ножку, по-мальчишески резво подскочил к нему Петр.

– Никак нет, государь, мне до стариков далеко, я ровесник вам. Но, сдается мне, вы задались состарить и себя и меня своими ежедневными экзерцициями.

– Вздор, вздор! – Петр схватил его за обе руки и подтащил к Воронцовой: – Романовна! Тщусь счастьем рекомендовать тебе: бывший пастух, ныне сиятельный граф и гетман всея Малыя России Кирилл Григорьевич Пастуховский. То бишь... – Мы довольно знакомы с графом Кириллом, – вправо-влево повела головой Елизавета Романовна.

– Как? Когда? – дурачился Петр, кривляясь.

Гетман улыбался, но глаза его злы.

– Я познакомился с княжной Елизаветой в то время, когда вы были маленьким князьком, государь, в вашей маленькой Голштинии, – резко сказал он.

Оскорбленный Петр дернул носом, закрыл правый глаз и задргал ногой.

– А что касасямо пастушеского званья моего, правду изволили молвить, государь. И если вам не ведомо, сделайте милость взять в память: я долгое время пробыл за границей, в Германии, Франции, Италии, особливо долго и усердно слушал лекции в Берлине и Геттингене. И смею молвить, что пастух Пастуховский, как вы соизволили обмолвиться, изощрен в науках навряд ли менее государя своего...

Подчеркнутая холодность, с которой говорил гетман, глубоко оскорбляла болезненное тщеславие царя. Петр завертел шеей, закривлялся, покраснел, готов был разразиться гневом, побежал по комнате прочь от Разумовского, схватил скрипку, ударил в струны смычком, бросил. Гетман, наслаждаясь причиненной царю болью, сел без приглашения в кресло.

– Я внук Петра Первого Великого! – бия себя в грудь, с азартом закричал царь. – Я внук Карла Двенадцатого шведского! А ты кто? – царь показал ему язык.

– Я пастух, – хладнокровно ответил гетман, отирая с высокого лба испарину. – А достодолжное для пастуха образование я приобрел милостью почившей императрицы Елизаветы, вашей тетушки. И ныне состою президентом Российской Академии наук.

– Романовна! – вдруг закричал Петр, и его подвижное, как у актера, лицо вновь стало веселым. – А знаешь, кто перед тобой сидит? – указал он на гетмана. – Это мой дядюшка. Der Onkel... Только не родной, а как это по-русски?.. Что?

– Двоюродный, Пьер... – подсказала Романовна.

– Чудесно! Двоюродный. А родной мой дядюшка – твой братец, слышишь, гетман, твой брат, венчаный супруг моей тетушки, Алексей Григорьич Разумовский, к которому я полный решпект имею... И почитаю за отца.

– Это есть непреложная истина, государь. – Вздохнув, гетман опустил голову. Пред его мысленным взором траурной тенью прошла почившая Елизавета.

Петр с разбегу подбежал к поднявшемуся гетману и бросился ему на шею.

– Der Onkel!.. Милый мой дядюшка!.. Чаю, обидел тебя! Ну прощай меня, прощай, пожалуй... А знаешь, а знаешь? – стал он трясти гетмана за обе руки. – Я получил от великого Фридриха высокое награждение... Мой друг Фридрих... (Глаза Разумовского засверкали презрительной холодностью, а Петр, отступив три шага, гордо откинул голову, отставил ногу и ткнул в надетую через плечо генеральскую ленту прусского ордена.) Мой друг Фридрих изволил произвести меня в генерал-майоры прусской службы.

Едва скрывая гнев, Разумовский сказал с коварством:

– Вы можете с лихвой отомстить ему, государь: в отместку произведите его в русские фельдмаршалы.

Озадаченный Петр разинул рот и ничего не ответил.

3

21 апреля Екатерина торжественно отпраздновала день своего рождения (ей исполнилось тридцать три года) и дала в малом тронном зале аудиенцию австрийскому послу графу Мерси Аржанто. Присутствовал весь двор и иностранные послы. Екатерина все еще носила траур. В ответ на приветственную речь австрийского посла она откинула голову и, не спеша, впервые произнесла по-французски официальную речь. Этот день был одним из знаменательных дней ее жизни: она держала пред Европой экзамен политической зрелости. Она еще плохо говорила по-русски, но французским языком владела в совершенстве.

Яркий, выступивший на ее нежных щеках румянец свидетельствовал о сильном внутреннем волнении ее. Но чуть приподнятый голос звучал все-таки спокойно, музыкально. Она была горда тем, что вся речь составлена лично ею, без посторонней помощи. Да и с кем она могла посоветоваться? – разве что с Никитой Паниным, но и с ним она не советовалась. Правда, что смысл слов довольно банален, но речь была облечена в изысканную форму со всеми дипломатическими учтивостями.

Осмысленно модулируя глубоким, захватывающим слушателя голосом, она придавала особый блеск произносимым ею словам. Все с изумлением разинули рты, напрягли слух, и эта невысокая, изящная женщина вдруг на глазах у всех выросла в заметную фигуру, с которой Европе придется еще иметь дело. Даже Никита Иванович Панин, чей зрелый государственный ум был холоден и всегда трезв, поддался обаянию и, устремив на Екатерину загоревшийся взор, тихо вымолвил: «Умница».

Панин, оба Разумовские, И. И. Шувалов, Трубецкой и другие допущенные к целованию руки государыни искренно поздравляли Екатерину с успехом. В особенности восторгалась без меры княгиня Дашкова. У царицы на душе ликование, однако она продолжала притворяться печальной, почти подавленной.

Государь на аудиенции намеренно отсутствовал: он репетировал скрипичные пьесы, готовясь к собственному музыкальному концерту.

24 апреля был заключен с нетерпением ожидаемый Петром трактат мира с Пруссией. В одной из статей трактата говорилось:

«Российский император в два месяца возвратит королю Прусскому все области, земли, города, места и крепости, ему (королю) принадлежащие и в течение войны российским оружием занятые».

В сердцах россиян, в особенности – войска, ужасный смысл трактата отозвался глухой болью, как удар из-за угла, в спину. Патриотические чувства каждого были оскорблены: значит, кровь русская пролилась на вражьих полях впустую.

Легкомысленный Петр от радости скакал через ножку, с криком «ура» салютовал портрету Фридриха. На плацпараде с войсками был многомилостив. Громко объявил с коня:

– Солдаты! Я и его королевское величество Фридрих Прусский заключили между собой договор вечного мира и вечной дружбы! – И бесшабашно, очертя голову, провозгласил: – Солдаты! За моего друга Фридриха – ура!!!

Смущенное войско кричало «ура», но без восторга. Царь приказал выдать солдатам по три чарки водки.

Через пять дней мир с Пруссией праздновался торжественным обедом. Дальновидная Екатерина, зная, сколь тяжело русские сановники переживают заключение этого мира, присутствовать на обеде

отказалась под предлогом болезни. Взбешенный Петр кричал на антресолях у Лизки-«султанши»:

– Я ее вылечу! Вот я ее вылечу...

Горничная Екатерина Ивановна эти крики поспешила подслушать и с прибавкой пересказала их государыне. Старик-камердинер Тимофей Евреинов, прослезившись, советовал Екатерине:

– Матушка, ваше величество... Надо бы сходить вам откушать... А то государь император изволят злиться. Как бы лиха какого не приключилось! Они, Бог с ними, сумасшедшие. Однако быть на обеде Екатерина отказалась. Поэтому к столу приглашены были только мужчины. Обед прошел в полном унынии. Был оживлен лишь император. Он в прусском мундире, в ленте прусского черного орла. Под конец он напился, чудил, выкрикивал: «Воля Фридриха – воля Божья!» И еще выкрикивал: «Весь мир будет свидетелем, как я отхлещу по щекам Данию... Да здравствует моя великая Голштиния!» Послы-иноземцы, привычные к выходкам Петра, злорадно запоминали каждый жест его, чтоб тотчас описать обо всем своим государям.

Петр точно так же признал обед скучным, однобоким без веселого женского смеха и объявил, что после обмена ратификациями мирного договора он устроит доброе пиршество с участием итальянских, придворного театра, комедианток, хорошеньких танцовщиц и прочих прелестных гурий, а вкуче с ними, может, и сам кой-что сыграет на скрипке, ибо всему свету ведомо, сколь отменно постиг он сие труднейшее искусство.

На другой день, проспавшись, Петр приказал дворцовому архитектору скакать в Шлиссельбург, выбрать там место и приступить к постройке добротного, но без всяких пышностей дома. Для кого – о том знала лишь Елизавета Романовна. Царь под секретом шепнул ей, кому вскорости жить в том каземате надлежит.

Все помыслы Петра вращались исключительно возле датского вопроса. Все же остальное было для него между прочим. Он окончательно утратил способность верно мыслить, он даже потерял звериное, данное от природы чувство самозащиты и неудержимо катился в погибель.

Войскам отдан приказ быть готовыми к выступлению. Прошел слух, что русских солдат поставят под команду Фридриха II.

В войсках поднялся ропот, особенно громкий среди гвардии. Гвардейцы привыкли к безмятежной жизни при дворе, и вдруг – повеление следовать за государем куда-то на край света. Озлобленные, они не желали покидать столицу и собирались на войну стиснув зубы. Более смелые среди них вопрошали своих офицеров: «Куда и на кой прах нас уведят из столицы?» Те отвечали уклончиво, избегая смотреть в глаза солдатам: «Император поведет нас в свою Голштинию, он желает отомстить обиды, нанесенные его предкам Данией, и оттягать от нее все отнятые у голштинцев земли». Гвардейцы разглашали этот ответ своим товарищам, многие с отчаянностью бежали из казарм кутить в кабаки – арест так арест, – напивались там в лоск, орали: «Не пойдем! Пушай сам, ежели хочет, на войну прется вкуче с Фридрихом своим да с Жоржей. Уж и так нас замучил своими вахт-парадами да артикулами на немецкий лад!» Крикунов хватили, били палками, били фухтелем, усылали куда надо. Расправа с крикунами была сигналом к началу волнений: «Пушай всех ссылают!.. Мы все заодно». Беспорядки вспыхивали в гвардии и армии и с жестокостью подавлялись.

Петр считал минуты до воинственного выступления в датский поход. И заветная цель, мечта всей жизни – свидание с Фридрихом! Уже было установлено место встречи.

Но Фридрих, изучая донесения своих политических клеветников, испугался, что его простоватый друг, из которого можно вить веревки, удалясь из России, этим самым поможет сбросить себя с престола. Падение Петра было бы для Фридриха большим ударом. Поэтому, своей корысти ради, он стал застрачивать Петра

всяческими страхами, как нянька малого ребенка – букой. Его гонец день и ночь мчал к Петру письма. Фридрих писал:

«Мне бы очень хотелось, чтоб ваше величество короновались, эта церемония произведет сильное впечатление на народ, привыкший видеть своих государей коронованными. Я вам скажу откровенно, что не доверяю русским... Предположите, что какой-нибудь негодяй начнет в ваше отсутствие интриговать для возведения на престол Ивана Антоновича, составит заговор, чтоб вывести Ивана из темницы, подговорит войско и других негодяев: не должны ли вы будете тогда покинуть войну против датчан и поспешно возвратиться, чтобы тушить пожар собственного дома...»

Петр ответил, что короноваться перед походом у него не осталось времени, ему не успеть надеть роскошных фейерверков, да к тому же и корона еще не готова. «Что касается Ивана [\[13\]](#), то я держу его под крепкой стражей, и если б русские хотели сделать мне зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не предпринимаю никаких предосторожностей, ходя пешком по улицам, что Гольц может засвидетельствовать».

Глава X

Узник без имени

1

Венценосный шлиссельбургский узник Иван Антонович, о котором пишет Фридрих, «несчастнорожденный» для престола, всю жизнь провел в страданиях и умер бесславно от руки насильника.

Петр II, сын цесаревича Алексея Петровича, преданного по приказу своего отца Петра I особому суду и умершего от пыток, скончался от оспы пятнадцатилетним мальчиком. По смерти его вступила на престол Анна Ивановна, племянница Петра I. Она притащила из Курляндии своего любовника, некоего мелкопоместного курляндского дворянина Бирона.

Анна Ивановна царствовала десять лет и перед смертью своей назначила всероссийским императором грудного младенца – Ивана Антоновича, сына принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны и принца Брауншвейг-Люненбургского Антона-Ульриха. В Анне Леопольдовне текла хоть капелька русской крови (она дочь Екатерины Ивановны, родной племянницы Петра I), а ее супруг Антон-Ульрих был просто-напросто кавалер со стороны.

Регентом лежавшего в пеленках всероссийского самодержца Ивана III^[14] был назначен 16 октября 1740 года бывший любовник Анны Ивановны всевластный Бирон, а 17 октября царица Анна умерла.

В народе разнесся глухой ропот. Почему-де царем сделали малютку в зыбке, какого-то Ивана Антоновича? И почему-де он взял верх над законной дочерью Петра I, здоровой, красивой и веселой девушкой Елизаветой Петровной?

После сего приехавшая с ребенком в Россию мать императора Анна Леопольдовна была провозглашена великой княгиней и назначена правительницей государства. Именем грудного младенца издавались указы, велись войны, а о народе, об империи и о самом младенце совершенно забыли. Правда, во время торжественных церемоний, например, когда приехало в Петербург персидское посольство, малютку выносили в пеленках на балкон, чтобы показать народу. Но сбежавшийся люд мало интересовался и им и его матерью, а искал взором царевну Елизавету Петровну, отворачиваясь от набивших оскомину немецких властелинов.

И в ночь на 25 ноября 1741 года разразилась дворцовая революция. Цесаревна Елизавета, опираясь на придворную знать и гвардейцев-гренадеров^[15], арестовывает младенца Ивана III с его родителями и провозглашает себя императрицей.

Молодая Елизавета отличалась необычайной красотой и веселым нравом. У ног ее с давних пор пресмыкался добрый десяток женихов вплоть до французского короля Людовика XV, принца персидского – сына шаха Надира – и молоденького племянника ее Петра II, по уши влюбившегося в свою очаровательную тетку. Но она предпочла остаться девой и, поддерживая обычную придворную традицию, обзаводилась «рабами своего сердца».

Через солидный опыт в сердечно-интимных делах своих Елизавета пришла к заключению, что вряд ли она произведет теперь на свет сына, наследника. Поэтому, желая обеспечить вопрос престолонаследия, она шлет в Голштинию за своим четырнадцатилетним племянником Петром – Карлом-Ульрихом (будущим

Петром III), обращает его в православие и объявляет великим князем и наследником престола.

А в 1744 году, когда Петру Федоровичу шел шестнадцатый год, ему была выбрана невеста, мелкопоместная принцесса Цербтская София-Августа-Фредерика (впоследствии – Екатерина II). Таким образом, по линии престолонаследия все благополучно шло своим порядком. О судьбе же арестованного ребенка – императора Ивана III – даже и в придворных сферах никто не знал ничего достоверного, и имя его произносилось шепотом.

Судьба же свергнутого младенца-императора была такова. 12 декабря, то есть спустя семнадцать дней после воцарения Елизаветы, из Петербурга выехало под сильным конвоем несколько повозок. В одной из них – укутанный в меховой мешок «несчастнорожденный» Иван с отцом и матерью. Они изгонялись чрез Нарву, Ригу на свою родину, в Брауншвейг. Ивану было шестнадцать месяцев, из них тринадцать он считался императором. Ему больше никогда не придется видеть Петербург.

Охраняя свое собственное спокойствие, Елизавета старалась стереть при дворе и в народе всякую память о нем: уничтожены все монеты и медали с изображением Ивана III, собраны в Сенат и там сожжены все бумаги, в которых упоминалось его имя.

Тревога Елизаветы была не напрасна. Семь месяцев спустя после переворота камер-лакей Турчанинов и два гвардейца, пожалев Ивана III, составили заговор: Елизавету и голштинского принца Петра Федоровича умертвить, на престол возвести низложенного Ивана III Антоновича. А еще год спустя был открыт заговор подполковника Лопухина опять в пользу Ивана III. В это время, вот уже целый год, изгнанная брауншвейгская фамилия содержалась под крепкой стражей в Риге. Елизавета опасалась, что, находясь за границей и придя в возраст, Иван III может оказаться опасным претендентом на русский престол. Поэтому она решила вместо заграницы переправить всю фамилию в Ораниенбург (Раненбург)[\[16\]](#), а вскоре приказала отвезти их в Соловецкий монастырь.

При выезде из Ораниенбурга, по приказу Елизаветы, четырехлетнего ребенка впервые и навсегда разлучили с родителями. Его увез в отдельном экипаже майор Миллер, получив указ: «Оного посадить в коляску и самому с ним сесть. Именем называть его „Григорий“. Проезжать только ночью, иметь всегда коляску закрытой, о младенце никому не объявлять».

Был март 1745 года. Была весенняя распутица. Ребенок скучал и плакал. Изгнанники надолго застряли в Холмогорах, в бывшем архиерейском доме. Елизавета, узнав о сем, приказала: «Известным персонам здесь и жить в теснейшем заключении, младенец отдельно».

Вскоре камергеру барону Корфу, ведающему «известными персонами», дан был секретнейший приказ: «Ежели, по воле Божьей, случится кому из них смерть, особливо же принцессе Анне или принцу Иоанну, то, учиня над умершим телом анатомию и положи в спирт, тотчас же смертное тело к нам прислать с нарочным офицером».

Но супруги брауншвейгские вовсе и не думали умирать, а, наоборот, благополучно в изгнании плодились. Так, Анна Леопольдовна в Холмогорах разрешилась сыном. Елизавета и весь двор поморщились: в Риге родилась девочка, а вот теперь опять принц, новый претендент, брат Ивана. Не прошло и года, опять беда, опять родился мальчишка. Получив о сем известие, императрица Елизавета в великой досаде изволила оный рапорт изорвать в клочки. «Престранная плодливость... Ну прямо крысы!» – воскликнула она.

Однако, родив Алексея, принцесса Анна захворала и в марте 1746 года «великою горячкою и волею Божьей помре». Елизавета ликовала: слава Богу, брауншвейгская семья пошла на убыль. Анатомированное тело Анны Леопольдовны прибыло в Питер, прямо в Александро-Невский монастырь, где почившая принцесса и погребена с почестями.

В это время хворый от природы и недавно перенесший смертельные болезни – осложненную корь и оспу – великий князь Петр Федорович опять лежал больным. Елизавета, Екатерина, двор, иностранные послы предвидели, что в случае смерти Петра Федоровича неминуемо будет объявлен наследником престола все тот же принц-младенец, бывший император Иван III.

У великой княгини Екатерины Алексеевны при этих мрачных мыслях переворачивалось сердце, она четко понимала, что заточение Ивана есть причина ее личного благополучия. Она ко всему прислушивалась, присматривалась, мысленно одобряла все жестокие, прямо бесчеловечные действия Елизаветы по отношению к брауншвейгской фамилии и «несчастнорожденному» Ивану; она знакомилась с подробностями дворцовой революции, возведшей Елизавету на престол, и находила, что подобные перевороты не только возможны, но и легко осуществимы.

2

Время шло. Елизавета благополучно царствовала, полузабыв о заключенном подраставшем Иване. Петр Федорович развлекался игрой в оловянные солдатики, иногда пилил на скрипке, дрессировал свору собак и помаленьку пьянствовал, не забывая в то же время забавляться и любовными утехами, в коих чистосердечно каялся молодой своей жене.

Молодая жена Екатерина Алексеевна, подражая нареченной тетке, собственному мужу и высшему свету, точно так же предавалась влечению сердца, но в любовных утехх супругу своему не признавалась.

Сначала и впервые Екатерина увлеклась одним из трех братьев-офицеров, камер-лакеем великого князя – Андреем Гавриловичем Чернышевым. Хотя это увлечение носило платонический характер, но тем не менее все три «продерзостных» брата были из Петербурга высланы. Заглядывался на Екатерину и молодой граф, гетман Малороссии, Кирилл Разумовский. В 1751 году она стала играть в любовь с веселым, умным камер-юнкером графом Захаром Чернышевым (участником прусской войны и однофамильцем Андрея Чернышева). Однако эта любовь продолжалась недолго^[17]. На смену графу Чернышеву явился новый обожатель, блестящий камергер великокняжеского двора Сергей Васильевич Салтыков. Он был, по выражению самой Екатерины, «прекрасен, как майский день, никто с ним не мог равняться, даже при большом дворе Елизаветы». Поигрывая с ним в «любишь – не любишь», Екатерина по молодости лет дважды доигралась до беременности, но оба эти неосторожные случаи, которые держались в великой тайне, кончились преблагополучными выкидышами.

Вскоре Екатерину постигла третья беременность (не дознано, от мужа или от Сергея Салтыкова). И 20 сентября 1754 года она родила будущего наследника престола, Павла Петровича^[18].

Праздник для царствующего дома величайший. Он имел не столько семейное, сколько политическое значение. Начались пиршества, пушечная пальба, фейерверки, маскарады. Вопрос о престолонаследии, таким образом, разрешился вполне благополучно. Теперь не страшит Елизавету призрак изгнанника Ивана III. Теперь, даже в случае смерти Петра Федоровича, наследником престола будет объявлен не Иван, а новорожденный Павел. Теперь Елизавета может веселиться и спать спокойно.

Но тут произошло нечто для «несчастнорожденного» Ивана совершенно трагическое. Попал в лапы страшной Тайной канцелярии тобольский посадский человек Иван Зубарев и на допросе под лютой пыткой показал: в 1755 году он ездил с товарами беглых русских купцов в Пруссию. Там его завербовали в прусскую гвардию и послали обратно в Россию, в раскольничьи скиты, с ответственным политическим наказом: «Уговори-де раскольников, чтоб сами склонялись к нам, пруссакам, и помогли вступить на престол Ивану Антоновичу. Ты подай только весть ему, а мы в будущем, в 1756 году, подошлем к Архангельску корабли под видом купечества, чтоб выкрасть Ивана Антоновича. А как мы его выкрадем, то сделаем-де чрез раскольничьих старцев бунт, чтоб возвести Ивана III на престол. А как сделается бунт, то мы, пруссаки, придем-де с нашим войском к русской границе».

Узнав о столь опасном умысле Зубарева, Елизавета сразу лишилась сна, веселости и аппетита. И тотчас – высочайшее повеление: немедленно переправить Ивана в Шлиссельбург к вечному заточению в крепости. Сержант лейб-компании Савин вывез его в глухую ночь тайно от отца.

В Шлиссельбурге надзор за Иваном поручался капитану Шубину. В инструкции между прочим говорилось: «Кроме вас и прапорщика, в ту казарму никому не входить, чтоб арестанта видеть никто не мог. Вам в команде вашей отнюдь никому не сказывать, каков арестант, стар или молод, русский или иностранец, о чем подтвердить под смертной казнью, коли кто скажет».

«Узнику без имени» было в это время шестнадцать лет.

Шлиссельбургский каземат, где сидел Иван, узкий, длинный, пол каменный, стекла единственного окна покрашены белой краской. Кровать, ширма, стол, скамья, табуретки. В переднем углу образ богородицы, перед ним лампадка. На полке груды церковных книг в кожаных переплетах. Каземат плохо проветривался, солнце здесь никогда не бывает, затхлый полумрак, холодная сырость.

Узник среднего роста, тонок, волосы длинные, лицо необычайно бело, болезненно, нос большой, глаза окружены нехорошими тенями, в них временами гнев, но чаще они задумчивы. Кафтан, камзол, штаны грубого синего сукна, чулки темные, башмаки с пряжками, на каблуках подковы.

3

Идут годы. Наступает 1759 год. Узнику девятнадцать лет. Ежегодно на рождество и пасху к нему приходит священник, служит молебен. Узник прикладывается ко кресту, вопрошает с жаром:

– Скажи, отец, кто я?

– Раб Божий, – робко отвечает священник, торопясь уйти.

– Врешь, старик, врешь! – в безумии кричит узник. – Я принц!.. Я здешней империи повелитель... Стой, старик!

Но священник уже успел выскочить, вбегает сменивший Шубина капитан Овцын, с ним – прапорщик.

Узник бросается на них:

– Опять, опять игемоны?! Слуги ада... Кто я?

– Безымянный узник, – с волнением отвечает Овцын и пятится от наступающего на него страшного и жалкого Ивана.

– Палач... Молчи!.. Я разможжу твою башку. Я задушу тебя!

– За сие ответишь, – возражает Овцын. – Тебе за это самому отсекут голову.

Глаза узника ширятся, рот открыт, перед узником встают воспоминания.

– Голову? – подавленно и тихо переспрашивает он. – Моя голова и так давно отрублена... Бедная голова моя... – Он вскидывает широкие ладони, стискивает ими виски и расхлябанно, шатаясь из стороны в сторону, идет к своей кровати, с грохотом отбрасывает ногой ширму, валится на кровать лицом в подушку и начинает выть, как зверь.

Офицер и прапорщик уходят, щелкает замок железной двери.

Сегодня первый день пасхи. Не торчат же Овцыну здесь, он ушел на обед к коменданту. На стол вскарабкались две мыши, лакомятся едой. Вой узника переходит в тихий плач, разрываемый истерическим повизгиванием. Отчаяние пресеклось тяжелым сном со стоном и бредом. Но вот к узнику возвращается сознание.

В полумраке седовласый солдат топит огненную печь, дрова трещат, стреляют золотыми, как звезды, угольками, желтое полымя, солдат курит трубку.

– Здравствуй, солдат!.. Христос воскрес!

– Воистину воскрес, – отвечает старик солдат, он стоит на коленях пред печкой, мешает кочергой дрова.

– А ты что нашептываешь там? Ты что это волхвуешь? Вы все, шептуны, смерти моей ищите... Вот я вам! – грозит узник пальцем. И затем – тихо: – Ты пошто, солдатик, уж который год не пуцаешь меня гулять?.. Все гуляют, один я сижу.

– А вот и неправда твоя, – говорит старый хромой солдат, – здесь никто не гуляет, здесь все сидят... Вот и я сижу. Видишь?

– А пошто же в Холмогорах гуляют, я в окно смотрел?

– То в Холмогорах, а то у нас. Ты, парень, не равняй...

– А здесь что, здесь какое место?

– Тут трущоба, мил человек, – попыхивает трубкой солдат. – Буераки да болотина... Тут пень на колоду брешет.

– А как зовется это место? Далеко ль оно от Петербурга, от Москвы?

– Сие место зовется – пагуба... И ни Питера, ни Москвы отсель не видно.

– Врешь, солдат!.. Вижу, что врешь. Тебя тоже научили врать. А ты не ври, ты ведь старик – грех ведь... Я тринадцать ночей сюда ехал. А куда привезли меня вороги мои – не вестен я. Грех вам всем будет. Все станете в аду кипеть, а я, грешный, вкупе со Христом обрящусь. Вздуй, солдатик, фонарь: темно здесь, мыши... Я про себя в книгах вычитал, в апокалипсисе. И наречется имя ему «Иоанн»...

– Ха-ха, – как-то неестественно запорхал солдат стариковским смехом. – Попал в небо пальцем... Это ты-то Иоанн?..

– Дурак! Свинья! Пошел вон, дурак!.. Меня младенчиком от матери отняли, от отца... Я принц!.. Я император Иоанн! Вот ужо стану царем, тебе голову ссеку! – Он вскочил, разорвал ворот рубахи, пал с разбегу на колени перед образом и, простирая руки к огоньку лампадки, кричал неистово и страшно: – Господи Иисусе Христе, спаси меня, спаси меня! Господи Иисусе Христе!!!

В последующее время узник вел себя особенно буйно: бросался с кулаками на капитана Овцына, швырял в него тарелками, бутылками, кричал: «Смеешь ли ты, свинья, меня унимать?.. Я тебя сам уйму!.. Я здешней империи принц и государь ваш!»

Глава XI

Мясник Хряпов. «Карету его величеству!»

1

В мае закончены все приготовления к походу в Данию. Верховые кони государя уже были отправлены. Петр на прощание кормил их сахаром, говорил: «Вы своими копытами будете топтать землю исконных врагов моих».

Кто же станет управлять Всероссийскою монархией в отсутствие царя? Простонародье, купечество и все жители столицы наивно ожидали, что замест царя будет управлять делами государства сама Екатерина. Однако все они просчитались: по проискам голштинских своих родственников, а также Романа Воронцова, отца Лизки-«султанши», учрежден особый совет во главе с принцем Голштейн-Бекским Петром. Опять голштинец, опять не любимый народом немчура.

В начале июня приехал из Ростова Великого в Петербург крупный огородник Андрей Иванович Фролов заключить сделку с двором на поставку овощей. Остановился он у земляка своего мясника Хряпова, что снабжал двор мясом. Поцеловались в обнимку, по-старинному, крест-накрест. Весь налитый жиром, красный, пыхтящий мясник сказал:

– Вот и добро, Андрюша, что прибыл вовремя: завтра праздники начнутся, три дня велено гулять. Царек наш, чтоб ему, мир с Фридрихом заключил... Слыхал?

– Слыхал, слышал... – ответил щупленький огородник. – Уж чего пакостней – война не кончена, а он с врагом мир заключает. Не в большом уме царек наш...

К обеду приехал в одноколке лакей царя – рыжебородый и плешивый верзила Митрич.

– Отпросился у царя-батюшки: «Езжай, говорит, Федор Митрич, разгуляйся». А теперь время летнее, топить печей не надо, знай ковры выбивай да у Лизаветы Романовны клопов шпарь... Должно, царь от голштинцев натаскал.

Митрич всегда под хмельком, дышит тяжело, с присвистом, говорит густым басом.

Вместе с гостями сели за стол хозяйка и трое детей мясника. Старшему, Мишке, одиннадцать лет. Но хозяин жену и детей из-за стола выгнал – пущай обедают в кухне, а здесь пойдут разные умственные речи, и бабе, а наипаче ребятам, нечего уши развешивать. Хозяйка надулась, дети, уходя, заплакали: и унижение при гостях, и зело хотелось им послушать, что будет сказывать весь обшитый позументами, весь в медалях плешастый дядя, уж очень занятно он рассказывает о дворце, о дворцовых людях и обычаях. Но хозяин стукнул кулачищем в стол – и все исчезли.

Мясник Хряпов, крепостной крестьянин, плативший своему барину большой оброк, жил богато в собственном доме на Садовой, поставлял ко двору битую птицу, горы разных мясов, даже рыбу – иногда с тухлинкой, но чрез хорошую взятку и тухлинка благополучно сходила с рук: «Сожрут».

Щи были жирнущие, из миски вкусный пар, подавала жирнущая же баба Секлетинья в засаленном грязном сарафане с подоткнутым подолом.

Хотя день был будний, но весь Питер по приказу праздновал, лавки с обеда заперты, хозяин в шелковой рубахе, волосы смазаны репейным маслом, расчесаны на прямой пробор, свисают крышей. Из

кухни несло чадом: Секлетинья и мальчишка на посылках Колька топили сало, разливали по плошкам: полицией велено завтра иллюминировать весь город.

Выпили смородиной по три стопки, похвалили, перешли на пиво. Секлетинья принесла жареной телятины. Мысли у приятелей взыграли, языки распоясались, потекла беседа. Огородник Андрей Иванович подергал черную бородку и, поблескивая белыми зубами, начал:

– Я, други мои, ко Господу прилежен и владыку нашего ростовского Арсения^[19] чту, справедлив и дерзновенен. И как вышел царский указ мужиков с землей от монастырей отобрать, Господи Боже, что содеялось... Мужики бросились рубить монастырские леса, сено грабить, рыбу в святых прудах да озерах ловить... Арсений монахов выслал: «Братие, защищай Божье имущество». Куда тут!.. Мужики монахов так взлупили, едва ноги унесли: «Бей долгогривых по царскому приказу!» Вот вам, други мои, каков наш царь-государь...

– А-я-яй, а-я-яй, – изумился хозяин, отирая рушником взмокшее лицо.

– И собрал нас, почетных прихожан, митрополит Арсений на первой неделе великого поста в Белую палату. «Ну, говорит, православные, по милости нового царя нам, монахам, с голоду умирать. Например, говорит, воевода ростовский Петр Протасьев был распален указом царским, тотчас по всем вотчинам монастырским опечатал все житницы, оставив меня со всем духовенством без пропитания, всем нам идти нищими по миру. О-хо-хо, о-хо-хо... Да этак, братия, говорит владыка, и турецкий султан не поступил бы со своими подданными, как дозволил себе царь православный. О-хо-хо, о-хо-хо... Царь жизнь нашу приводит к стенаниям и горестям...» Тут владыка Арсений прослезился, и мы все от мала до велика заплакали.

Хозяин-мясник, слушая земляка, тоже заплакал, затряс головой и засморкался в ручник.

– Я владыку Арсения знаю, я его знаю... Горячий, справедливый пастырь, – сказал он и предложил выпить с горя крепчайшей тминной.

Хозяин с огородником пили рюмками, Митрич пил стаканом.

– И вот, други мои, – опять заговорил Андрей Иванович, закусывая соленым, с чесночным духом, огурчиком, – и достает владыка из-под рясы бумагу и оглашает жалобу в Сенат, написанную по-латынски и по-русски зело умственно и плачевно. «Вот, говорит владыка-митрополит, сию бумагу острого и высокого рассуждения я завтра же отправлю с иеросхимонахом Лукою в Санкт-Петербург».

– Я хорошо вестен, что с сим старцем Лукою содеялось и как Петр Федорович его обласкать изволил, – прогудел красный от лихого питья царев лакей.

– Погодь, погодь, Митрич. Дай досказать, а ежели навру, поправишь. И вот, други мои, минуло с того времени два месяца. И возвращается из Питера наш иеросхимонах Лука чуть жив и докладывает митрополиту ростовскому Арсению: «Вручил, говорит, аз грешный оное прошение во царские его величества руки, припав к стопам его, в Сенате, весь генералитет тут был, и обер-секретарь с расстановкой то прошение огласил. Тогда его величество пришли в сугубый азарт, закричали на меня гласом велиим, затопали: „Вон! Вон, бородатый козел! В крепость! Молчать, молчать!“ Меня тут сразу из ума вышибло, покачнулся и враспяжку на пол повалился. И закатали меня за сию бумагу острого и высокого рассуждения на шесть недель на хлеб и на воду в Невский монастырь под караул...»

Секлетинья поросенка с кашей подала.

– А ну, расскажи, Федор Митрич, как же государыня-то молодая, она-то что? Ведь ты денно-ночно возле царской семьи трешься, поди много знаешь. Не таись, люди свои...

– Много знаю, да мало болтаю, – приосанился Митрич, но пьяная голова его клонилась. – А кабы болтал, давно бы на каторге в Сибири был. – Он помолчал, побряхтел, для отрезвления понюхал табачку.

Огородник с хозяином уставились в его усатый рот, ждали откровений. – Государыня тихо-скромно себя соблюдает, жительствоует от царя в особых покоях, а царь все с Лизаветой Романовной... Она привязала царя-то к себе, как коня к столбу. Все с ней да с ней блезир ведет...

– Блезир? Ишь ты, – прищелкнул языком огородник.

– А государыня по их пьяным куртагам не ходит, а сидит смирнехонько да тихомолком дело делает.

– Тихомолком? Ишь ты...

Хозяин положил Митричу поросенка с кашей. Митрич тяжело задышал, расстегнул пуговицы штанов, принялся за поросенка.

– Да, да, – сказал хозяин. – А чем-то попахивает в воздухе таким-этаким... Быть смуте!.. Вот только как бы государыня не сплосала да не угодила в монастырь.

Огородник перекрестился и вздохнул. Митрич сказал:

– Не в монастырь, а похуже. Мы-то все знаем... Слуги-то все тайности ихние больше царя знают, да молчат. Вот и я помалкиваю...

Хозяин лукаво усмехнулся, налил тминной.

– А ну, за великого молчальника, за Федора Митрича выпьем здравицу!

Выпили. Митрич, зажав в горсть бороду, таинственным шепотом сказал:

– Намеднись Лизка самого-то по щекам хлестала, три оплеухи нанесла... Ну какой же это, к свиньям поганым, царь? Бывало, Петр Великий, дедушка-то его, сам всех по зубам бил. Вот это царь!.. А этот хоть и внук, а дерьмо. Тот куст, да не та ягода. Дурак не дурак, а захлебнувшись.

– Царь! Царь! – слышались на улице резкие выкрики.

А в комнату ворвались ребятишки!

– Батеньки! Царя везут!

Все бросились к окну, распахнули настежь.

2

– Эвот, эвот Корф катит, генерал-аншеф, полиции начальник, – тыча пальцем в пролетевшую тройку, пояснил мясник Хряпов. – А с ним рядом на лошаденке скачет евонный адъютант Болотов, большого ума барин.

За Корфом пронеслась другая тройка, за ней третья – пыль столбом, вслед им взвод конных голштинцев, затем на паре гнедых в открытом лакированном экипаже Петр с Елизаветой Воронцовой, следом за ними еще две тройки с девицами и хохочущими офицерами, сзади опять взвод голштинских драгунов на чистокровных скакунах. Драгуны в светло-голубых с белыми отворотами мундирах и в больших с крагами перчатках формы Карла XII. По обеим сторонам всполошившейся улицы бежал простой народ, громко крича кто «ура», кто «дурак»; в воротах, на перекрестках, одеваемые облаками пыли, тоже толпились праздные зеваки. Вдруг веселый шум толпы покрыла пронзительные озорные голоса:

– Эй, Лизавета! Не на свое место уселась!

– Ура Катерине Алексеевне!.. Ура!!!

– Глянь, братцы!.. Новая государыня... Царская пресуха...

– Га-а-а!!! А подать сюда!.. – вопила конная полиция, надвигаясь на толпу. – Где крикуны, где они?.. Га-а-а... – улыбаясь во все лицо, не страшно грозили полицейские нагайками.

– Ура-а!!! Ура!.. Дура-ак!..

Но все промчалось, прогремело, все заволочлось плотной тучей пыли. Только собачий лай стоял да кибитка протарахтела сзади. На кибитке подпрыгивает сундук, в нем что-то брякает, как сухие кости. Возница, надвинув шляпу на глаза, постегивает лошадеенок и свистит.

– А это наш Наумыч, – продирая осовелые глаза, мычит пьяный Митрич. – Глиняные трубки за царем везет. Для раскури, значит. А царь поехал на веселую пирушку к дяде за город...

– К принцу Жорже?

– Пошто к Жорже... К Петру Голштейн-Бекскому... У царя дядьев-крохоборов не обери-бери...

Хватаясь за стены, Митрич едва дополз до дивана, повалился и заснул.

Хозяин сел к столу, спросил огородника:

– На много ль тысяч сделку с двором ладишь повершить?

– Да тысяч десятка на полтора, а то и больше. Ведь я первый раз здесь. У меня на огородах капуста, лук, огурцы, морковь. Да вот второй год к кофейам цикорий развожу, уродился добрый. А огороды у меня громадные...

– Доведется тебе, землячок, тышонку на смазь в дворцовой конторе выбросить, как говорится, барашка в бумажке.

– Ой... А где мне взять?..

– А ты думал как? Ты еще, брат, вижу, не напистерился, голенький. Я дам, ежели нет. – Хозяин принес в мешочке золото, положил на стол гербовый вексельный лист. – Вот тебе тыща, пересчитай. А теперича давай вексель на тысячу двести. А ты думал как? Нет, я вижу, ты вовсе даже не напистерился, плохой из тебя купец будет, плохой... И еще вот чего, друг: празднички мы с тобой погуляем, условие с дворцовой конторой заключишь да гони-ка ты опять в свой Ростов, сколачивай-ка всех огородников тамошних в один

кулак, вроде как артель за круговой порукой. Я тебе помощь окажу большое дело заварить, чаю – вы меня апосля отблагодарите.

– Какое ж дело-то, Нил Иваныч?

– А вот какое дело: на всю армию и флот соленые огурцы да рубленую капусту заготавливать, да грибы соленые, да яблоки моченые, дело прямо стотысячное. На всю армию и флот! Чуешь? А то дворянчишки из своих имений доставляют... Надо их нашему брату всех взять под ногу: купцам торговать, дворянам служить да войну вести... Чуешь, где ночуешь? Ха!.. Я четверых дворянчиков – мясом было вздумали торговать, нас, мясников природных, хотели сковырнуть, а на-ка выкуси, – я их всех в трубу пустил, сам едва в долговую яму не попал, да Никола-угодник спас, а их всех без порток оставил!

Хозяин захохотал; глядя на него, несмело засмеялся и гость.

– Ну, милай, – расчувствовался хозяин и обнял гостя. – Я мужик, ты из голытьбы посадской, а вот теперя кто мы с тобой? Купцы мы!

– Так, так, Нил Иваныч, купцы.

– Я чаю, многие из мужиков ныне в купечество пойдут. А не пойдут, дураки будут, баре задавят их капиталищем своим, хоть хозяева они никудашные, зато капиталов много. Вот в чем суть. А мужик али, допустим, какой посадский головастый человек, он с умом, он с опытом и работать умеет. Вот уж я тебя с моим закадычным другом Барышниковым сведу... Вот хват!.. Ну и хват!.. – И хозяин пересказал гостю мошеннический случай с селедками и золотом.

– Да неужто?!

– Уж поверь!.. Сам-то он не говорит, а слушок-то катится. Ныне две лавки имеет, Барышников-то, да трактир. Ужо сходим. Секлетинья! Полпива жбан, да пушай хозяйка выйдет сюда.

На диване блаженно похрапывал упившийся Митрич.

3

Государя встретил у подъезда шестидесятипятилетний фельдмаршал принц Петр Голштейн-Бекский со своими адъютантами-голштинцами. До прибытия царя в зале стояло у всех угнетающее чопорное настроение: принц Петр с семейством помешались на этикете и придворных приличиях. Но появившийся в зале узкоплечий царь с детским лицом и задорным блеском в выпуклых глазах сразу сбил и спесь и этикеты.

– Здравствуйте, господа! – крикливо поздоровался он, вбегая в залу. Все изогнулись в низком поклоне. Дамы стали приседать. Кавалеры вместе с Гудовичем и трое толстобрюхих – старый князь Никита Трубецкой, голштинцы: генерал Шильд и полковник фон Берг – окаменело стояли навтыяжку. – Фэ! Духами воняет, как в аптеке. Теперь время военное, господа. Медам, прошу садиться. Гудович, трубку...

И несколько десятков голландских глиняных трубок, привезенных императором, быстро задымили. Даже те, кто сроду не курил, неумело набив трубки кнастером и другими табаками, в угоду царю тоже зачадили, перхая и покашливая. В зале стало как в харчевне. Голштинские мужланы то и дело поплевывали сквозь зубы на ковры, им стал подражать и царь. Густые клубы дыма заволокли пространство. Дамы отмахивались веерами, утыкали носы в раздушенные платочки. А царь, как журавль, расхаживал ко комнате, больше всех дымил, улыбался, похохатывал:

– Прекрасно, прекрасно. Воин обязан курить. Все должны курить, включая женщин... Да, да, медам! Я опубликую указ... С некурящих мужчин – штраф, с хорошеньких женщин – фанты... – он шутил то с тем, то с другим, старца Никиту Трубецкого похлопал ладонью по тугому животу: – Плохо, князь, на экзерцициях стараешься, жиру много... Как на войну с Данией пойдешь? Медам, позвольте отрекомендовать! – возгласил царь, подталкивая чрез табачный туман только что вошедших девиц в крикливых нарядах. – Вот плясунья Полина, исполнит зондер-танец, вот беленькая попрыгунья Каролиночка, по канату, как по плац-параду, ходит... Лутче князь Трубецкого... Вот Мэри, вот Лизетт...

Развязные девчонки, подпрыгивая и посмеиваясь, приседали, вздергивали обнаженными плечиками. Дамы, брезгливо морщась, осматривали их в лорнеты, но сквозь дым было плохо видно.

– Откройте окна. Ради Бога! Этак задохнуться можно, – зывали дамы.

Окна распахнули. В сад повалил дым, как из горящего здания. А трубки попыхивали и попыхивали; особенно старались бравые голштинцы – их человек двадцать – и сам Петр.

В этой бесшабашной обстановке чванливый хозяин чувствовал себя подавленно. Хотя он и привык к беспечным фривольностям царственного своего племянника, но... помилуйте... на что это похоже?.. В его вельможные палаты затесались какие-то крашенные девки, какие-то... какие-то... О позор! Впалые щеки его покрыл нервный румянец, губы дрожали. Он растерянно взглянул в набеленное лицо добрейшей своей, расфуфыренной в пух и прах старой принцессы – полуфальшивые бриллиантовые серьги мастера Позье тряслись в ее оттопыренных ушах, она, лицемерно и болезненно улыбаясь немилым гостям и императору, тоже мучительно страдала. Принц незаметно перевел ревизующий взор в сторону иностранных дипломатов. Министры – английский Кейт и прусский Гольц – неотрывными взглядами следили за пустоцветом-царьком, изредка перебрасываясь между собою сухими короткими фразами и двусмысленно подмигивая один другому.

Принц все более и более омрачался.

По блестящему паркету, по турецким коврам неслышно подскользил к нему обер-лакей в разноцветной, как павлин, одежде.

– Ваша светлость, стол готов.

Принц приблизился к царьку.

– Государь, рад просить ваше величество и всех любезных гостей отужинать, – громко проговорил он с кислой улыбкой.

Царь, ничего не ответив, швырнул трубку в хрустальную с бронзой вазу.

Величаво подшагав, гремя шпорами, к Елизавете Романовне, принц с изысканной простотой предложил ей руку и вопросительно посмотрел на императора. Тот было направился к старой принцессе, чтоб в первой паре открыть шествие в столовую, но вдруг передумал, торопливо забежал вперед, повернулся лицом к строившимся парам, трижды ударил в ладоши.

– Медам, мсье! Я церемоний не терплю. Стол брать штурмом. Места захват!.. Кто где, кто где... Бегом, марш! – и, подпрыгивая на негнувшихся ногах, побежал через комнаты в столовую, за ним стадом вся толпа.

Толстобрюхий князь Никита Трубецкой, рискуя мгновенно кончить жизнь апоплексическим ударом, страшно пыхтя и сразу вспотев, прибежал к столу вслед за царем вторым.

– Здесь, ваше величество! – радостно отрапортовал он, задыхаясь.

– Молодец, князь... Садись рядом!

Стол взят штурмом. Комедиантки, итальянские певицы и танцоры с наскака усаживались возле довольного царя. Грузная Елизавета Романовна, раскачивая наливными плечами, прибежала последней, и ей не было места.

– Гудович, встань! – скомандовал царь. – Романовна, садись. Гудович, стой сзади нее...

– Срам, срам, – шептались дамы Трубецкая, Разумовская, Строганова, Брюс и другие, – с кем это он нас посадил, в какой компании?.. Комедиантки и какие-то цирюльники... Фи...

– Медам! – услышал чутким ухом Петр. – Среди женщин нет чинов... Все равны, все равны.

Взглянув на прусского посланника Гольца, император встал, и все вскочили.

– Прошу поднять бокал за мой камрад великого Фридриха. Ура-а! Репнин, я назначаю тебя министром-адъютантом его величества короля Фридриха! Волков, издать о сем указ!

Князь Репнин и Волков поклонились.

Началось пьянство и обжорство. Скуповатый хозяин принц Петр с тоской посматривал на шумную ватагу прожорливых комедиантов: голштинцы, девчонки и танцоры поглощали снедь и пития с аппетитом голодной саранчи.

Веселый ужин, весь в смехе, болтовне и выкриках, тянулся довольно долго. Почти все гости, кроме фельдмаршала Миниха, кроме хитрого, все подмечающего Гольца и некоторых чопорных дам, были довольно пьяны; даже у старца Никиты Трубецкого по-хмельному отвисла нижняя губа. Стоявший за государем острослов и шутник Строганов усердно подливал в бокалы царю и князю Трубецкому.

– Пей, дедушка, пей, – гримасничая и подмаргивая правым глазом, понуждал взбалмошный гуляка-царь своего несчастного соседа.

Шум и гам – как в базарной харчевне, где гуляют дорвавшиеся до водки ямщики.

Царь своим пронзительным криком покрывал все голоса, он нес несусветную ахинею, мысли его путались, были сумбурны. Впрочем, его почти никто не слушал.

– О мой Фридрих! – кричал он, путая немецкую и русскую речь. – Мы скоро с тобой встретимся... Дания будет бита! Я еще юношей с отрядом карабинеров разогнал становище богемских разбойников... Ах, вы не верите?

– Не богемских разбойников, ваше величество, а табор мирных цыган, – возразил ему из хмельного тумана резкий чей-то голос, похожий на голос австрийского посла.

– Молчать, молчать! – и царь, сердито гримасничая, стал совать девчонкам в нос перстень с портретом Фридриха. – Целуйте, поклоняйтесь!.. Встать! Впрочем... вольно. Романовна!.. В Ораниенбаум. Актеры, медемуазель! В Ораниенбаум!.. Вы услышите там в моей персоне неплохого скрипача. Полина, Лизочка! Ха-ха-ха... Царь ваш ох! – мелел, ох! – мелел...

– На воздух! В сад... Здесь так накурено, такая духота!

– Ваше величество, ве-великий государь, – покачиваясь и посовываясь носом, склонился перед царем изрядно подвыпивший кутила Роман Воронцов. – Соизвольте проследовать в сад... Там чи-чистый воздух... и... и... белая... (Воронцов громко икнул) белая ночь... ваше величество, – он, как теленок, облизывал толстые губы, и выпуклые глаза его были глупые, телячьи.

Куранты, вызванивая наивный серебряный мотивчик, пробили двенадцать. Объевшиеся гости, пытая и шатаясь, повалили чрез веранду в сад. Впереди, повиснув на плече Строганова, потешно семенил пьяный император.

4

В тихом воздухе застыла белая невская ночь. Небо на западе было еще нежно-палевым, с перламутровым отсветом. Отраженные лучи давно закатившегося солнца еще блуждали в онемевшем пространстве. Весь небольшой загородный сад, огражденный чугунной решеткой, наполненный дремавшими деревьями хвойных и лиственных пород, с затейливыми коврами цветников, с немудрыми гипсовыми статуями, с пересохшим фонтаном, с прямолинейно расчерченными желтыми дорожками – напоминал собою живую акварель изысканного вкуса. Чем-то хрупким, к чему нельзя грубо прикоснуться, а можно лишь благоговейно созерцать, казался этот милый уголок, пронизанный задумчивым светом прозрачных северных небес. Блаженный покой и тишина.

И, разрывая эту тишину, попирая топотом веселых ног, крикливыми возгласами, пьяным смехом, визгом, ватага царедворцев сразу вдребезги разбила, как драгоценный сосуд тончайшего стекла, эту невскую чудодейственную ночь и, разбив, стала грубо топтать ее осколки.

Очумелые гости, вытаращив посоловевшие глаза, шатались по широкой дорожке, охваченной бордюром подстриженных кустарников. Винные пары на свежем воздухе пуще ударили в мозг и в ноги. Пьяные люди вскоре перестали соображать, где они, с кем они, и, поощряемые самим императором, который гундосо покрикивал: «Без церемоний, господа, без церемоний!» – распоясались вовсю.

Трое Нарышкиных (придворный шут Лев Нарышкин успел нарядиться кормилицей) ударились в пляс, падая и сминая цветочные клумбы. Приплясывали и барыни, жеманно придерживая концами пальцев свои платья; однако хмель бросал их в стороны; они с хохотом валились в объятия молодого генерала Мельгунова или подвернувшихся голштинцев. Гудович залез на березу и каркал вороном. Гости гонялись друг за другом и за визжавшими актерками (царь по-немецки поощрял: «Хватай девок, хватай девок!»), бесцеремонно поддавая один другому коленом киселя, играли в чехарду, издевались над толстобрюхим князем Никитой Трубецким: два голштинских молокососа Ланг и Грин с лошадиным ржаньем свалили князя на дорожку и под хохот нахалов стали загибать ему салазки.

Охмелевший старик в возне чуть не умер; весь испачканный песком, он крикнул голштинцам: «Мерзавцы, прочь!» Едва дополз до скамейки и, обхватив голову, заплакал: «Оскорбляют. Такое унижение... Я князь! Я древнерусский князь, мерзавцы». Седая голова без парика тряслась, бежали ручьем слезы, утирался обшлагом кафтана и с ненавистью бросал взоры в сторону царя.

Гримасничая и подмаргивая правым глазом, предоставленный самому себе, царь, посаженный шутом Нарышкиным, кой-как вскарабкался на кирпичный пьедестал с солнечными часами и, став в позу триумфатора, резким голосом кричал:

– Остригу бороды всем попам! Иконы вон!.. Мы с братом Фридрихом завоюем весь мир!.. Воля Фридриха – воля Божья... Молчать, молчать! Где Гудович?

– Здесь, ваше величество! Карр... Карр...

– Гудович! Скачи в Петропавловскую крепость... Салют из всех пушек... Преклоняйтесь, все преклоняйтесь... Канальи, мизерабли, разбойники, разбойники, русские подлецы... – Он выхватил длинную шпагу, покачнулся и упал.

Отделившись от группы трезвых и сказав: «Пardon, pardon», к царю пошагали долговязый принц Петр и фельдмаршал Миних, чтоб как-нибудь затушевать это постыдное зрелище. Напересек им, чуть не опрокинув Миниха, промчался за девчонками пьяный голштинский ротмистр Витих, он улюлюкал и лаял по-собачьи. В тон ему Гудович каркал с березы вороном. Два голштинца – фон Берг и майор Стефани,

обхватив одно и то же дерево и столкнувшись лбами, мерзко очищали желудки. Гофмаршал Измаилов на веранде прямо из горлышка тянул вино.

Жалкий царь, впавший в охмеление и всеми забытый, сидел на земле, вытянув негнувшиися ноги; он припал спиной к пьедесталу, опер ладони о землю, свесил голову на грудь и что-то бормотал. Шпага валялась возле. На царя никто не обращал внимания, даже Елизавета Воронцова. Оливкового цвета широкое лицо ее покраснелось, оспенные рубцы выступили ярче, она откальвала трепака с тайным секретарем красавцем Волковым. Упившийся Мельгунов лежал пластом в кустах и охал. Разгульный Роман Воронцов, сбросив кафтан, затеял борьбу с Нарышкиным, он свалил Нарышкина, и оба они, взягивая ногами и пыхтя, впереверт катались, орали, превращая цветущую картину в грязь. Шум, крики, визги, беготня. В беседке бесшабашно наяривала музыка.

– О, милый мой дядя, спаси меня, спаси меня, – простонал император навстречу принцу. Он силился приподняться, побледневшее лицо исказилось скорбной гримасой, в его неустойчивой душе – трагический разлад и чувство страха. – Да, да, меня убьют здесь, в этой стране... Проклятая, ненавистная Россия. Дядя, спаси меня, спаси, спаси...

– Что за вздор! Любезный мой мальчик! Ты вернешься победителем из похода в Данию. Царствование твое будет из славных славное...

Вместе с Минихом и подбжежавшим Александром Шуваловым они бережно поставили царя на ноги, кой-как отряхнули его запачканный мундир, поправили сбившийся парик, вложили шпагу в ножны, повели. Из голенищ царских ботфорт торчали анютины глазки с резедой. Предупрежденная, беззаботно подковыляла толстуха Елизавета Воронцова. Досадливым голосом спросила:

– Готов, Пьер?

– Как видишь, Романовна... Готофф, готофф. Гудович, трубку!

– Карету его величества! – скомандовал принц Петр.

– Карету его величества! – подхватил команду начальник полиции Корф.

– Карету его величества!!! – прокричали два лакея и бросились к конюшням.

На террасе, в каменной позе, с окаменавшим лицом стоял прусский посланник барон Гольц. Губы его кривились, глаза презрительно щурились.

– И это русский император, – с холодной надменностью бросил он в воздух.

А сидевший рядом с графиней Брюс английский министр Кейт сказал ей:

– Послушайте, графиня, да ведь ваш император совсем сумасшедший. Не будучи безумным, нельзя так поступать, как он поступает... Всех этих голштинских солдафонов следовало бы повесить на дереве. О, позор...

– Бедная Екатерина, – вздохнув, тихо сказала Брюс и потупилась.

– Смею просить вас, графиня, передать ее величеству мое отменное, наилучшее почтение.

Звуки бубенцов и крики «ура» возвестили об отъезде государя. Вся вельможная знать, пошатываясь, поддерживаемая лакеями, помаленьку разбрелась к экипажам. Принц Петр, высокий, испитой и тощий, вместе с лакеями и взводом гренадеров лично хватал за шиворот пьяных голштинских офицеров, кричал солдатам:

– Таскайте их вон, валяя на рюска телег, вози прямо гауптвахт! Шволочь...

И опять кричал:

– Девка, девка, актерка и вся шволочь – вон, вон! Взашей!

Сад опустел. В гостиной, прижавшись к плачущей принцессе, лила слезы ее юная дочь. Обе они оплакивали саксонскую и севрскую побитую посуду, истоптанный, как табуном коней, сад.

– О варвары... о варвары...

Глава XII

Умная «дура». Гвардия гуляет

1

Трехдневные торжества начались 9 июня благодарственным молебствием во всех церквах. Здания украшены прусскими и российскими флагами. На Дворцовой площади государь произвел осмотр гвардейским и полевым полкам, поздравил войска с русско-прусским миром. Прогремели салюты из пушек и ружей. Войска и сбежавшиеся народные массы царское поздравление приняли холодно. Народ, как обычно, «ура» не кричал, шапок вверх не бросал, стоял молча.

Никита Трубецкой в церкви и на параде отсутствовал: лежал дома, страдал от вчерашней оскорбительной пирушки.

Петр тоже уныл, не оживлен, чувствовал на душе горечь. Предстоящий отъезд на войну, свидание с Фридрихом и перспектива триумфального возвращения с поля брани сегодня не радовали его. Уверенность в грядущих своих успехах в нем заколебалась. Пытливо, с внутренним трепетом он всматривался из-под полей большой, надвинутой на глаза треугольной шляпы в суровые лица проходивших мимо него гвардейских полков. Сердце его замирало. «Да, да, они янычары... Настоящие янычары. К черту гвардию, распустить гвардию, вывести из столицы вон – и, может быть, правы Фридрих и Гольц, указывая мне, что я окружен врагами...»

Он возвращался домой в золоченой карете один, твердил вслух:

– Этот день будет для меня несчастьем. Проклятая страна... Боже, убереги меня от врагов, не отнимай из моей жизни мою Романовну. Боже, уничтожь, унизь Екатерину.

Прибыв во дворец, он с какой-то фатальной нежностью бросился обнимать Елизавету Воронцову, он весь дрожал, озирался, гримасничал, нервно шептал:

– Романовна, Романовна... Друг мой... Спаси меня, побереги.

Императрица Екатерина сегодня чувствовала себя тоже не в своей тарелке: болела голова, шалили нервы, она была внутренне возбуждена, но старалась казаться спокойной.

– Итак, ваше величество, – начала тихо, по-французски, Екатерина Романовна Дашкова, – уже многие приготовления, благодаря моему неусыпному старанию и помощи друзей моих, приходят к концу.

– Какие приготовления, к чему приготовления? – с лицемерным неведением приподняла Екатерина черные брови.

– Ваше величество! – обиженно воскликнула Дашкова. – Но ведь события близятся, все готово...

– Вы долго, мой друг, будете одержимы пророчеством? – Екатерина скрашивала свои колкие слова обольстительной улыбкой, нюхая букетик резеды. В закулисных политических делах Екатерина была осведомлена в десять раз лучше Дашковой. Но молоденькая Дашкова, имея в руках кой-какие нити борьбы придворных партий, наивно воображала, что именно она, а не кто-либо другой, есть главная пружина «заговора» в пользу Екатерины, пред которой она преклонялась горячо, искренно и страстно.

– Вы столь неопытны, что роль дельфийской Пифии вам не к лицу, мой юный друг, – продолжала

государыня. – И напрасно вы берете на себя роль Сибиллы.

Тщеславная, болезненно самолюбивая Дашкова была потрясена пренебрежительным отношением к ней Екатерины. Широко открытые глаза увлажнились, она всплеснула руками и подалась всем корпусом к Екатерине.

– О, ваше величество! – воскликнула она трагическим шепотом. – Вы все еще продолжаете мне не доверять... Но знайте, что...

– Именем Бога умоляю вас, княгиня, – перебила ее Екатерина, – не подвергайте себя опасности... Если б вы из-за меня потерпели несчастье, я вечно буду жалеть...

– Ваше величество! Как бы ни была велика опасность, она вся упадет только на меня. Если б моя беззаветная любовь к вам привела меня к эшафоту, верьте, вы не будете его жертвой...

Екатерине ничего не оставалось, как притянуть к себе Дашкову, поцеловать ее в лоб и сказать ей:

– Ну что ж вы, друг мой, знаете? Я рада выслушать вас... Только ради Бога – тише... Каждая дверь, каждая маленькая щелочка – это большое ухо.

Боясь, как бы ее не оборвала Екатерина, и подавив в себе вздох обиды, княгиня Дашкова заговорила взволнованно и быстро. Она дважды имела свидание со своим дядей Никитой Паниным, она сообщила ему, что составлен комплот с целью свергнуть Петра и возвести на престол Екатерину. Панин поддакивал, соглашался, говорил, что другого средства спасти Россию нет, но высказывал опасения возможных междоусобий. (Красиво очерченные глаза Екатерины едва заметно ухмыльнулись: она не могла себе представить более разительного контраста, чем молоденькая пылкая Дашкова и медлительный, чрезвычайно осторожный Панин.) Затем Дашкова, все более возбуждаясь, перечислила и заговорщиков: Репин, Ласунский, Пассек, двое Рославлевых, Бредихин, Орловы и другие. (При упоминании об Орловых сердце Екатерины забилося чаще.) Ну вот, например, она разговаривала на ту же тему с некоторыми молодыми офицерами, сослуживцами ее мужа, – офицеры совершенно соглашались с ней, называли своих товарищей, тоже согласных действовать, как только император уедет к заграничной армии. Ей хотелось бы привлечь к заговору и гетмана Разумовского, она думает переговорить об этом с Мельгуновым...

– Удивительные новости вы, мой друг, сообщили мне, – кусая кривившиеся в усмешку губы, прервала ее Екатерина. – Я не ожидала, что вы такая... такая отважная.

– Ваше величество! Будьте готовы. Время близится. Момент может наступить внезапно. А мною все сделано, все нити заговора в моих руках...

– Но мне сдается, что у вас нити не от заговора, а от разговоров. А сие, мой друг, не одно и то же. Итак, Кэtti, будьте сугубо осторожны, умоляю вас.

Слушая мелодичную болтовню подруги, Екатерина внутренне улыбалась: прежде чем княгиня Дашкова услышала первое слово о возможности переворота, Екатерина уже в продолжение шести месяцев, с момента воцарения Петра, лично сносилась со всеми главными лицами ожидаемых дворцовых событий, но она вела опасную игру необычайно скрытно, не оставляя ни малейших подозрений не только в русских царедворцах партии Петра, но даже в проницательных хитрых всезнайках – иностранных посллах.

Не в силах разгадать тайных дум Екатерины, княгиня Дашкова чувствовала себя подавленно, как маленькая девочка перед строгой тетей.

Прогремел полдневный выстрел пушки. Вошла горничная Катерина Ивановна.

– Ваше величество, мсье Мишель ожидает вас к туалету...

2

Через два часа Екатерина и княгиня Дашкова присутствовали на парадном обеде. В большой дворцовой зале сервированы столы на четыреста персон. За «высочайшим» столом – в середине, на своем обычном месте, Екатерина, на конце стола – Петр, рядом с ним барон Гольц, дальше – вельможи первого ранга с женами, иностранные послы, Елизавета Воронцова и родственники царя – голштинские принцы Георг и Петр. Царь трезв, но не в духе. Он бросал уничтожающие взгляды на Екатерину. Она старалась казаться спокойной, расточала соседям очаровательные улыбки, но душа ее вся во мгле.

Царь предложил три тоста: за императорскую фамилию, прусского короля и мир с Пруссией. Дежурные офицеры закричали по коридорам, по лестницам, до самой улицы: «Салют, салют!» Уличный часовой, задрал голову, крикнул махальщику на крыше: «Салют!» – махальщик взмахнул крест-накрест двумя флагами, с крепости загремели пушки.

Все поднялись, поднялся и Петр. Сидела лишь Екатерина, она отхлебнула шампанского и поставила бокал. Все прокричали «ура», выпили, сели. Царь сразу вскипел, в бешенстве стал гримасничать, кривить губы, приказал стоявшему сзади его кресла дежурному генерал-адъютанту Гудовичу:

– Андрей Васильич, сейчас же спроси ее величество, почему она не потрудилась подняться, когда пили здоровье императорской фамилии?

Гремели пушки, дзинькали стекла в окнах и хрусталь на столе, играл на хорах оркестр. Выслушав Гудовича, Екатерина опустила глаза и с твердостью сказала:

– Передайте его величеству, что, по моим соображениям, императорская фамилия состоит из его величества, меня и нашего сына Павла, посему – требование императора, чтоб я вставала, кажется мне бессмысленным.

За столом гудел шум, разговоры не прерывались, но все сразу подметили что-то неладное и наострили слух.

Гудович, подойдя к Петру, доложил ответ государыни, елико возможно смягчая стиль ее выражений, Петр завертел головой во все стороны, пальцы левой руки трепетали, правой судорожно комкал салфетку.

– Передай ей, что она дура. Она должна знать, что к императорской фамилии принадлежат и мои дяди, принцы Голштинские... Дура она... Ступай!

Гудович, пожав плечами и изменившись в лице, нога за ногу направился к государыне. А царь, поймав горящий взгляд Екатерины, вдруг через весь стол крикнул ей:

– Дура!

Разговоры и звяк серебряных ножей и вилок на мгновение пресеклись. Грубое слово упало, как камень, как грязный плевок. Всем стало крайне неловко. Барон Гольц хмуро поморщился. Все подняли головы, безмолвно вращая глазами от Петра к царице. На мгновенье – немая картина. Но воспитанность высшего общества сразу сбила неловкость молчания – снова шум, разговоры, манерность и шуточки, гости ловко прикинулись глухими ко всякого рода «высочайшим» вульгарностям.

Однако все ждали скандала, все в страхе готовились к дальнейшему гневу царя, как бы царь не обрушил гнев на их головы. Всяко бывает...

Царь резко схватил граненый графин бургундского, налил в фужер и с жадностью выпил. Жидковолосые брови его скакали вверх-вниз, глаза то презрительно щурились, то вдруг выкатывались в приступе испуга, в горле переливались хрипы нервного удушья.

– Александр Сергеевич, – обратилась царица к стоявшему за ее креслом графу Строганову, глаза ее покрыты слезами, уши пылают, на щеках красные пятна. – Потешьте меня чем-нибудь веселеньким. У вас такой изобретательный ум... Я вас прошу.

Массивный Строганов неуклюже согнулся, деланно ослабился.

– Был такой, ваше величество, казус, занесенный в скрижали амурных походов французских пейзажистов. Однажды, лунной ночью, молодая прекрасная пастушка наткнулась в поле на спящего полуодетого юношу...

Екатерина чрез силу смеялась, но слезы скандально крупнели, падали в блюдо вкусных воздушностей. Остроумный шутник вел анекдот на французском наречии. Откровенные непристойности он облакал в столь изящную форму, что они, теряя цинизм, звучали пикантно и вызвали дружный смех соседей Екатерины.

Слегка опьяневший Петр, справившись с приступом гнева, стал болтать своему соседу Гольцу всякую несурезицу, восхвалял себя и Фридриха, говорил о собаках, о своей знаменитой скрипке работы итальянца Гваданини, о том, что Иван Антонович сошел с ума и живет за крепким запором, что он, император Петр III, ничуть не боится один гулять пешком даже ночью по улицам города, что он досконально изучил прусскую военную тактику и берется в любой момент разбить французского полководца де Сент-Жермена. Бросая эти бессвязные фразы, сам все косился на говорливого Строганова, бормотал себе под нос: «Молчать, молчать, обезьяна!» Пил вино, чокался, пил, затем стал хохотать по-солдатски, раскатисто. Гольц все больше и больше мрачнел, морщился, с горечью думал: «Шут не может долго оставаться на троне».

Обед закончился. Хор солдат орал под окнами походные, с присвистом, песни. Царь, удаляясь в покои, приказал князю Барятинскому арестовать Екатерину, а Строганова немедленно выслать в его загородный дом. Барятинский растерялся. Он бросился к принцу Георгу, умоляя его как-нибудь исправить столь невероятный приказ об аресте царицы.

Рыжий и толстый принц Георг, не менее пьяный, чем император, шумно вломился в царские покои и, не обратив внимания на полураздетую Елизавету Воронцову, шмыгнувшую за китайскую ширму, сразу накинулся на племянника:

– Прошу тебя, милый Пьер, тотчас же отменить постыдный приказ об аресте жены.

– Ни-ког-да...

– Этой глупостью ты губишь себя и... нас всех...

– Как ты осмеливаешься мне это говорить? Мне, императору? Молчать! Руки по швам!..

– Любезный Пьер... Брось глупости. Я говорю с тобой как отец. Ты только подумай, если еще на это способен, что ты наделал? Что скажут про тебя иностранные посланники?

– Пусть только пикнут, я в пять минут вышвырну их за пределы России...

– Так может рассуждать только помешанный или от природы слабоумный... А Гольц? О-о, что он напишет великому Фридриху?

– Молчать! Все письма Гольца перлюстрируются моей канцелярией, Александром Шуваловым... Гольц – мой друг...

– Ты хочешь, чтобы завтра же вспыхнул в столице бунт? Ты этого хочешь? Ты, верно, забыл про шлиссельбургского узника? Так я тебе напоминаю о нем. И я не уйду отсюда, пока ты не отменишь свой дурацкий приказ.

– Старый баран! – скакнул Петр к дяде и выхватил свою огромную шпагу. – Сатисфакция, сатисфакция!

Принц отпрянул к печке, закричал:

– Спасите от этого пьяницы!.. Эй, слуги! – и тоже обнажил шпагу. Их шпаги со звоном скрестились.

– Я снесу с плеч твою глупую башку! – кипел принц, пуча глаза.

– А я разрублю тебя пополам, как полено! – с хрипом выплевывал царь.

Но обе шпаги были совершенно тупые, ими можно лишь действовать как палкой. Елизавета Воронцова, накинув халат, визжала: «Пьер, Пьер, оставь!.. Ваша светлость!» – и, схватив Петра, как за хвост, за фалды мундира, тянула его прочь; царь, пыхтя, отлягивался. Меж драчунами упал на колени рыжебородый плешивый верзила Митрич и завыл заполошным, как старая баба, голосом:

– Не допущу, вот те Христос, не допущу! Да лучше я сам себя зарежу... Вот те Христос, зарежу!.. Ваше величество!.. Ваша светлость! Миленькие... Поцелуйтесь...

Бабий вой хмельного великана был столь дик, а бородатое, искаженное ужасом лицо его столь потешно, что оба задиры, любившие Митрича, вдруг захохотали и бросили тупые шпаги на пол. Неприятный шар-мюнцель закончился. Принц от сильного волнения хрипел, как мопс. Вспыльчивый царек сразу остыл.

– Романовна, дядя! – вышагивая вспотычку по комнате и гримасничая, воскликнул он. (Сияющий Митрич почтительно подал ему шпагу.) – Как только минуют торжества, еду в Кронштадт инспектировать флот. Я его тоже веду в Данию... Слышишь, дядя? А посему... Митрич! Беги к Барятинскому, подтверди приказ о высылке этого фигляра Строганова, а что касаето второго приказа – отменить. От-ме-нить!..

– Слушаюсь, – заторопился Митрич, выпячиваясь задом из покоев.

За ним горделиво, но тоже вспотычку, молча направился к выходу и мрачнейший принц.

3

Вечером возле многих домов зажгли смрадные плошки, а в каждом окне – по две свечи. На улицах шум, на Царицыном лугу[20] – карусели, канатоходцы, Петрушка.

В десять часов, сытно поужинав, мясник Хряпов с огородником Фроловым гуляли по городу, прислушиваясь, приглядываясь, чем дышат люди. Приятелей удивляло, что всюду, куда они совали носы, уже известно было про великий скандал на торжественном царском обеде: приказ об аресте и «дура» были у всех на языке, все осуждали царя, жалели Екатерину. Трезвые делились мыслями втихомолку, обиняками, а пьяные болтали по кабакам и переулкам в открытую, нередко нарываясь на полицейских. В иное время за такие слова всю жизнь маяться, а вот теперь гладко сходило с рук: полицейский слегка даст пьяному в загривок и отечески пальцем погрозит: мол, сии неподобные речи болтай, да оглядывайся. Кабаки и трактиры набиты серым народом, матросами, гвардейцами, «пехтурой», дворниками, захудалыми чиновниками.

Земляки перебрались через Неву яликом на Васильевский остров, подошли к знакомому трактиру «Зеленая дубрава». Дверь трактира заперта, пустили их не вдруг.

– Уж простите Бога для, у нас се-вечер гости по выбору, – сказал малый в красной рубахе и побежал «доложиться» хозяину.

– Будь здоров, дружок Барышников! – весело приветствовал хозяина мясник Хряпов. – А мы к тебе. Вот приятеля привел. Пивцо-то аглицкое есть?

– А куда оно делось, – ответил из-за стойки быстроглазый хозяин, он высок, жилист, сухощек, рыжая бородка хохолком. – Для добрых гостей завсегда есть... Проходите вон в тот уголок.

– А селечка-то есть? Поди, из Пруссии-то изрядно ее вывез... – и мясник, захихикав, плутовато подмигнул хозяину, а огородника ткнул локтем в бок.

– Ты лясы-то не точи, Нил Иваныч, – тенористо прогнусил Барышников. – А то матерком пуцу.

Мясник Хряпов захихикал пуще, отмахнулся рукой и, брюхо вперед, повел огородника в уголок к столу.

– Хи-хи-хи... Не любит про селетки-то, в драку лезет. Ох, хитрец, ох, хитрец, – мясник снял тонкого сукна чуйку, расстегнул ворот рубахи и провел медным гребнем по напомаженным волосам и бородище.

Курносый, угреватый половой в белом фартуке притащил пива и посоленных ржаных сухариков. Трактир богатый, обширный, высокие стены оклеены цветистыми шпалерами, столики покрыты опрятными скатертями, много мух, босоногие мальчишки в красных рубахах отгоняют их от посетителей метелками из конского волоса.

За соседним столиком полный, пучеглазый помещик, покуривая трубку, ведет деловую беседу с сенатским чиновником и подьячим о продаже трех крепостных музыкантов и чернобровой девки: «Не девка, а богиня, любую барыню за пояс заткнет». Дальше за пятью сдвинутыми столами шумно пьет «зелено вино» большая компания гвардейцев.

– А ну, ребята, за здоровье его величества Фридриха... Ура! – вызывающе кричит пьяный сержант, подмигивая солдатам.

– Подь к черту! – с хохотом обрывают его гуляки. – За ее величество Екатерину Алексеевну... Ура!

– Чшш... – откуда-то слышится предостерегающее шипенье. И вслед за этим:

– Господа гвардейцы! У нас покедова Петр на троне... Петр Федорыч...

– Ха-ха-ха!.. – без стеснения гогочут гвардейцы. – Ловко сказано: «покедова». Гвардейцы! Выпьем чару за «покедова» Петра Федорыча... Ур-ра! А там, что Бог даст...

Гвардейцы пьют, подмигивают друг другу и гостям. Барышников из-за стойки ухмыляется. Помещик пучит пьяные глаза, попыхивает трубкой и тоже ухмыляется в усы.

– Знамение времени, знамение времени, – с притворным сокрушением вздыхает ненавидящий царя подьячий. И шепчет, озираясь: – Слухи зело мрачные по столице ходят... Прислушайтесь, как гвардия шумит... Не в аванта же император наш. А про арест да про «дуру» слыхали?.. Грехи!

– Грехи, братия, грехи, – подхватывает сухопарый старик-монах с кружкой. – Пожертвуйте на разоренную обитель, рабы Божии.

– Кто разорил-то? – выкрикивает издали сержант. Гвардейцы хохочут.

– Игемон разорил, султан турецкий, – кланяется монах, подставляя кружку; лицо его строго, в умных глазах злые огоньки. – Землю от нас отобрали, мужиков отобрали... И довелось нам, Христа ради, по миру скитаться. Жертвуйте, рабы Божии.

Огородник ткнул мясника в бок: «Слыхал?» А гвардейцы закричали:

– Не голштинский ли султан-то это был?

– Сами знаете кто, детушки. Чего меня, мниха старого, во грех вводите. Царь православный сие учинил. Вот кто, – зашептал старик, прикрывая ладошкой рот. – Бают, попов всех обрить приказал, бают, иконы приказал из церквей повынести... Ох, грехи, грехи тяжкие. Молитесь, братия, Богу, стойте за веру православную... С нами Бог...

– А чего ж государыня-то смотрит, Екатерина-то Алексеевна? – громко говорит, подымаясь, купеческой складки бородатый дядя, на румяных щеках улыбочивые ямочки. – Пошто матушка-царица окорот супругу своему не делает? Пошто на лютеранство веру нашу православную рушить дозволяет?

– Да здравствует государыня Екатерина! – орут гвардейские солдаты.

– Да здравствует Екатерина! – подхватывает весь трактир.

Барышников резко стучит ножом в медный поднос: «Тихо, тихо, тихо!» – выскакивает из-за стойки, испуганно взывает:

– Господа посетители!.. Нельзя шуметь... Хоша с полицией мы в мире и полиции здесь духу нет (все весело с благодарностью смеются), одначе упреждаю, дорогие гости, чтобы душевредных опасных слов у меня ни-ни... Отец Паисий, ступай с Богом, иди, иди, откуль пришел, – и вразвалку продвигается меж столами к мяснику.

Час поздний. Белая ночь затмилась. В трактире посерело. Мальчишки зажигают свечи. На улице гармошка, песни, визг.

– А-а, Барышников, садись, дружок! – восклицает мясник Хряпов и шепчет: – Вот, брат, какой шум у тебя. Да и по другим кабакам не мене. Ну, не ко двору царь и не ко двору, как черная корова...

– Тш-ш-ш... – грозит Барышников. – Молчок, старичок, старушка денежку даст, – и хочет идти дальше.

– Слышь-ка, Барышников, – схватил его за руку мясник. – Врут ли, нет ли, быдто ты семь бочонков золота себе с войны привез?

– Брось, брось... Как тебе охота такие враки слушать, – и кричит по-злому: – Иди, иди, отец Паисий, не проедайся тут!

Паисий в дверь, а из двери, с улицы, звеня шпорами, быстро входят два великана в преображенных времен Петра I офицерских мундирах, лица скрыты черными масками, кружева приспущены до бритых подбородков, в прорезы сверкают веселые глаза. Враз все смолкло.

– Помогай Бог гулять, жители! – громко произносит один из великанов. По трактиру гул ответных приветствий и путаный шепот:

– Кто такие, кто такие?

– Целовальник! – басисто кричит второй великан. – На каждый стол по две кварты пива за наш счет.

Загремела посуда. Ввалился с улиц хор плясунов и песенников – гвардейцы и артиллеристы, все вполпьяна.

– Гвардия, песню! Целовальник! Двери на запор... Пляши, ребята! – командуют великаны, прихлопывая в ладоши, выбрякивая шпорами.

Два десятка только что вошедших красавцев-богатырей, наскоро хватив по чарке и подбоченившись, дружно грянули отборными голосами залихватскую:

При долинушке калинушка стоит,
На калине соловей-птица сидит,
Горьку ягодку калинушку клюет,
Он малиною закусывает.

Быстро раздвинули столы, и четверо гвардейцев бросились в дробный пляс. Тут все сорвалось и закрутилось: песня, топот, сопелки, дудки. По трактиру ветерки пошли, молодые голоса рвут песню с гиком, с присвистом, звенит в ушах, звякают стекла, взмигивают, стелются плашмя хвостатые огоньки свечей. Гости прихлынули вплотную к плясунам. Довольные лица улыбаются, хмельные глаза горят. Крики:

– Пуще! Пуще... А ну, гвардия, надбавь!..

– Веселись, гвардия! – все покрывает громовой голос великана. – В Данию не ходить! Ружья не отдавать! Государыню беречь! Государыня в опасности...

– Ур-ра! – орет гвардия и гости. – А что государыня? Жива ли, здорова ли?

– Жива, здорова, – великан швыряет на стол гвардейцам пригоршни серебряных рублей. – Лови, ребята! На завтрашнюю гулянку... А ну! – Он призывно взмахивает рукой в замшевой перчатке, и сотня гвардейских глоток прогремела:

– Ур-ра Екатерине Алексеевне!!! Защитим матушку!

– Ур-ра!!! Ура!..

Оба великана резко хлопали в ладоши:

– Гвардейцы, по казармам!

Солдаты послушно повалили вон. За ними – великаны. Один из них, Алексей Орлов, схватил Барышникова за плечо, встряхнул – рубаха лопнула:

– Полиции и подозрительных нет?

– Клянусь Богом, вашскородие! – задыхаясь от боли, крикливо прогнусил Барышников. – Все гости лично мне знакомые. Все до единого... Чужим впуску нет. А полиция взаперти сидит, вашскородие, водку хлещет...

– Помни, Барышников... Чуть чего, пополам перерублю, – не на шутку пригрозил Орлов.

Великаны вскочили на верховых коней и умчались. По улицам несло чадом от дымящихся плошек.

– Кто такие, кто такие? – шумели взбудораженные гости. – Эй, хозяин!.. Не Орловы ли? Один, кажись, Пассек, спиница – во...

– Бросьте, бросьте, – разминая плечо, затекшее от железной хватки великана, успокаивал гостей хозяин. – Какие, к свиньям, Орловы... Очумели, что ли, вы... Это замаскированные солдаты, два денщика. Я их знаю.

Не попадая зуб на зуб, хозяин пальцем поманил мальчишку:

– Степка, загляни в окно с улицы, какова полиция.

– Глядел, дяденька... Все пьяные на полу лежат.

– Гаси огни. Эй, господа гости!.. Просим оставить заведение.

Третий час ночи. По небосводу течет новая заря. На улицах, среди дороги, под воротами валяются пьяные. В будках дремлют караульные. Рыбачьи челны и рябики бороздят озаренные невские воды. Белая ночь гаснет, зачинается предутрие. В домах тишина. Город спит.

Но Екатерина бодрствует.

4

Тотчас после бранного, прогремевшего на всю Европу слова «дура» оскорбленная Екатерина заперлась в своем кабинете. Сдерживая громкие стоны, она выкрикивала: «Боже мой, какая я несчастная... Гришенька, Гриша, где ты?..» – заламывала руки, валилась на диван, рыдала. Но взвинченные чувства вскоре подчинились разуму. Слово «дура» только обижало Екатерину, а вот гнусный приказ царя пугал и подавлял ее. Если сегодня отменен приказ об аресте Екатерины, то завтра он может быть исполнен. Екатерина теперь ясно видела, что под ее ногами разверзается земля, что ее личная жизнь и судьба империи в опасности, что время действия наступило.

«Будь мудра, будь мужественна и осторожна», – внушает она самой себе. Мозг ее горит. Воображение рисует картины наплывающих событий. Екатерина мысленно сочиняет манифесты, указы, воззвания. К великой досаде, она плохо еще владеет русским языком. Она поручит свое дело Гришеньке, но свет-Гришенька тоже не горазд до бумаг высокого штиля. Она укажет начертать манифест Волкову совместно с Никитой Паниным: «Божьей милостью мы, императрица и самодержица всероссийская Екатерина Вторая» и прочая и прочая.

Но как поймать презренного Петра и куда запрятать? Ей припоминается широкоплечий и хмурый, всей душой преданный ей Пассек. Не так давно он упал к ее ногам и воскликнул: «Ваше величество, супруг ваш с ненавистной вам персоной женского рода чинит пешком променад к домику Петра Великого. Мать-государыня, повели, и я среди бела дня при всей гвардии насмерть поражу врага твоего!» Екатерина ответила ему: «Господин капитан гвардии! Не уподобляйте себя римскому заговорщику. И не тщитесь забрызгать меня кровью. Сей несчастный Дон Кихот унизит себя сам своими несуразными делами и, унизив, упадет».

А с кем же предстоит Екатерине иметь дело? Сенат, духовенство, высшее дворянство, гвардия, войско, Гришенька. Но Никита Панин мнит заменить Петра малолетним наследником Павлом, а ее, Екатерину, сделать регентшей. Даже намекал о конституции. Ни-ког-да этого не будет! Оставьте, сеньор Панин, свои политические бредни. Нет, нет, Екатерина властна взять в свои руки полные самодержавные права. Она добудет их! Братья Орловы «со товарищи» принесли Екатерине рыцарскую клятву возвести ее на всероссийский трон.

...Курчавая болонка, спавшая на козетке, вдруг пробудилась, насторожила уши и звонко залилась. По деревянной мостовой мерный лязг копыт. Какая-то сила бросила Екатерину к окну. «Не он ли?» Два всадника, почтительно приподняв шляпы и повернув закрытые черными масками лица в сторону дворца, проехали неспешной рысью. Один из них, увидав в окне Екатерину, весь подобрался, приосанился, чуть поотстал от товарища, приподнял с лица маску и послал своей даме едва приметный, но полный изящества воздушный поцелуй.

Сердце Екатерины сладостно замерло, улыбнувшиеся губы прошептали: «Гришенька... Душа моя».

Торжества продолжались на второй и на третий день. Днем народные увеселения, ночью балы, гульба, фейерверки. По городу слонялись кучками пьяные гвардейцы, почти открыто поносили русские порядки и царя. Всюду рыскали какие-то подозрительные люди, распускали слухи, что крымский хан стоит на границе, ждет, когда войска будут выведены в Данию, тогда хан набросится на Россию; что во многих губерниях восстали против бар мужики; что монастырские крестьяне сбегаются толпами со всех сторон и не повинуются новому указу об отобрании их от монастырей.

На площадях, на мостах, на Царицыном лугу возле каруселей, по кабакам и по трактирам, подзуживаемый гвардейцами и подкупленными прощелыгами, народ брюзжал:

– Царю надо не в Данию ехать, а в Москву, короноваться, как и все государи. А такого-то царя, не помазанного на царство, не грех и скovyрнуть...

Настроение столицы и состояние умов Екатерина прекрасно знала и, может быть, даже косвенно всему этому содействовала. Развязка приближается. Екатерина напрягает все силы ума и воли и спокойно выжидает удобного момента.

Петр отправился на летнее жительство в Ораниенбаум. Весь большой двор (несколько сановников и царедворцев и семнадцать дам) 12 июня последовал за ним. Екатерине приказано немедленно перебраться в Петергоф, что вблизи Ораниенбаума. Из чувства самосохранения Петр боялся оставить ее хозяйничать в столице. Тем не менее Екатерина под благовидным предлогом задержалась в Санкт-Петербурге на пять дней, употребив это время в огромный вред царю и в великую пользу для себя.

Глава XIII

Заговор

1

После отъезда государя в Ораниенбаум киягиня Дашкова потеряла сон и аппетит. Даже книги – ее воздух и дыхание – перестали для нее существовать. Императрица Екатерина наконец оценила ее привязанность к себе; ее личные качества – мужество, изворотливость, храбрость – и, оценив, воспользовалась ею. Молоденькой Дашковой казалось, что она есть первое лицо при государыне и самостоятельно сплетает сети заговора. На самом же деле она была лишь на побегушках у опытной Екатерины. При ее помощи стала теперь осторожно устанавливаться связь между высшими сановниками (Никита Панин, гетман Разумовский, князь Волконский) и Екатериной. Гвардейские офицеры с Пассеком точно так же неоднократно имели с Дашковой свидания, но гвардейцами главным образом руководили два брата Орловы, а ими в свою очередь вертела сама Екатерина.

Главою движения против царя был, разумеется, Никита Панин и стоявшая за ним компания прогрессивных аристократов-феодалов. В это время в Москве аристократы группировались вокруг университета и поэта М. М. Хераскова^[21] (он заведовал университетской типографией и вскоре был назначен ректором университета.) Но москвичи острополитических идей почти что не касались, они вели борьбу пером, пытаясь поднять в стране прогрессивное и культурное движение, их идеал – просвещенная монархия. В Петербурге же, наоборот, шла осторожная, но упорная борьба за власть.

Умный Панин ненавидел Петра III как свою противоположность и не возлагал на его царствование никаких надежд. Весь свой талант и свое влияние он перенес на «обработку» Екатерины. С ее воцарением он предвидел широкие возможности к обновлению России. Свергнув Петра III, он мечтал объявить законным государем малолетнего Павла, и чтоб до его совершеннолетия при нем была регентшей Екатерина, а при ней – он, Панин, и группа правящих аристократов. Уж они-то сумеют прибрать Екатерину к рукам и положить конец абсолютизму. Никита Панин, распространяя свое влияние, вел дружбу и с передовой литературой, вождем которой был знаменитый поэт Сумароков. Тщеславный, считавший себя равным Буало и Вольтеру, Сумароков происходил из стародворянской семьи и состоял в это время директором первого русского театра в Петербурге, основанного ярославским актером Волковым.

И Сумароков со своими друзьями, и Никита Панин со своими – били в одну точку: присмотревшись к Екатерине, они время от времени вызывали ее на откровенность. Осторожная Екатерина отвечала им полупамятками, она искала популярности среди литературной и придворной фронды. Подготавливая себе в фавориты Григория Орлова, она, кривя душой, возмущалась фаворитизмом вообще и грабительским поведением Шуваловых; она всячески старалась подчеркнуть свое вольномыслие, она, пожалуй, готова заключить с Никитой Паниным и его группой негласный союз против Петра III (но боится целиком попасть к ним в руки); намеками и на ходу бросаемыми мыслями она как бы говорит: «Надейтесь на меня, я ученица Бейля, Монтескье, Вольтера, и вы не можете поэтому сомневаться в глубине моих политических убеждений, я против деспотии. Я, как Монтескье, за аристократическую конституцию. Ведь я философ, а не какой-нибудь азиатский сатрап. Словом, помогите мне достигнуть власти, и вы будете со мной соцарствовать».

На другой день после отъезда Петра III в Ораниенбаум Никита Панин был позван к Екатерине. В этот

вечер она была чрезмерно взволнована и встретила Панина особенно милостиво и любезно. Ее волосы в пышной прическе слегка припудрены, брови тонки, красивые темно-голубые глаза, которыми она в нужные моменты так ловко умеет играть, таили выражение «себе на уме», ее маленькие свежие губы пленяли улыбкой, темно-синий роброн, оттенявший белизну полуоткрытой груди, стягивал тонкую талию и ниспадал пышным, на кринолине из китового уса, колоколом. При встрече с Екатериной Никита Панин всякий раз подпадал под обаяние этой женщины и всякий раз злился на себя; он знал, что имеет дело с политическим врагом своим, ибо и государственные идеи их не всегда между собою совпадали. Примерно то же самое чувствовала по отношению к Панину и Екатерина.

– Дорогой и добрый друг, Никита Иванович, – по-французски начала она, певуче модулируя своим звонким голосом. – Я всегда восторгалась свободолюбивым образом ваших мыслей. Вы первый просвещенный человек в России, вы европеец, впитавший в себя в продолжение многолетнего вашего пребывания в Швеции конституционные идеи Запада... – как бы захлебнувшись словами, она замолчала и потупилась.

Панин сразу сметил, что сейчас должно наступить окончательное объяснение и торг за власть. Его сердце застучало сильнее.

– Мне кажется, государыня, вы гораздо преувеличиваете мои слабые качества, и боюсь, чтоб впоследствии вы не разочаровались во мне...

– Я вам верю, мой друг, как никому. Я вижу, что политический горизонт нашего любезного отечества покрыт тучами. Будем, Никита Иванович, откровенны до конца. Вы видите, какого монарха имеет отечество наше... Какие пути, какую судьбу он готовит России? Он ненавидит Россию, он ненавидит и вас, мой любезный друг...

– Я знаю, государыня, – тихо сказал Панин, – но неограниченные самодержцы всегда своевольны и зачастую в мнениях своих неправы, а подвластный им человек – всегда раб и абсолютно бесправен.

При подчеркнутых Паниным словах «неограниченные самодержцы» по лицу Екатерины скользнула едва заметная тень раздражения, они оба глядели один другому в глаза, следили друг за дружкой.

– Да-а, – раздумчиво протянула она и, притворившись наивной, сказала: – Но ведь, но ведь... Что может быть выше прав самодержца?.. Разве один Бог.

– Закон, ваше величество! Основные законы государства превыше всего. Им равно подчиняются и самодержец и раб... Так мыслит и Монтескье.

– Да, да, – прошептала Екатерина, тонкими пальцами она коснулась высокого лба, к щекам ее прихлынула краска. – И если б несказанным промыслом Божиим мой не-ко-ро-нованный супруг потерял престол, какие же перспективы вам грезятся?

– Пока у нас нет точного регламента о престолонаследии, вы совершенно правильно, ваше величество, изволили выразиться: дальнейшие судьбы трона не больше, как греза, как летучий туман. – Панин сидел, свободно откинувшись в кресле и положив ногу на ногу. – Я мыслил бы, если мне позволено будет вашим величеством, императором быть великому князю Павлу Петровичу, возлюбленному сыну вашему...

Екатерина гордо, порывисто откинула голову, и ее слегка раздвоенный подбородок задрожал.

– А я, при малолетнем сыне моем, регентша?

Панин быстро поднялся, стукнул каблук в каблук, с легким поклоном тихо молвил:

– Да, государыня, – и снова сел.

Драгоценное кольцо на груди государыни стало учащенно колыхаться. Она опустила брови, веки и голову, Панин с любопытным нетерпением ждал, что она скажет. За себя он ничуть не боялся: сидели друг перед другом два заговорщика против царствующего монарха. Панин жадно наблюдал за искусной игрой Екатерины. Он заметил, как голова ее никнет все ниже и ниже, как ноздри римского носа ее вздрагивают и раздуваются от участвовавших вздохов. Она сказала трагическим шепотом:

– Я столь несчастна, столь унижена супругом своим, что в крайнем случае, если этого требуют интересы России, я предпочту стать матерью императора, нежели супругой его... Я столь несчастна и всеми покинута. – Из смеженных глаз ее брызнули бисером слезы.

Панин улыбнулся, но, тотчас придав лицу скорбь, он вскочил; как хороший актер, стал заламывать руки, припал пред плачущей женщиной на одно колено, взывал взволнованным, умоляющим голосом:

– Ваше величество, государыня, будьте мужественны. О, поверьте мне, государыня, ваши слезы огнем жгут мое сердце. Успокойтесь, внимайте совету человека, который готов ради вашего счастья сложить к стопам вашим самую жизнь свою, – голос его рвался, замирал, как бы увязая в глухих рыданиях, но все естество царедворца ликовало.

Екатерина утирала платочком глаза. Панин приник к ее дрожащей руке, стал осыпать кисть руки поцелуями. Но поцелуи его были для Екатерины как прикосновения кинжала.

Панин встал, сановито и важно пронес свою особу к окну и по-русски вкрадчиво вымолвил:

– Надо все обдумать, государыня, все взвесить, прикинуть и так и сяк. Час благосклонен, ваше величество, и проекты государственных комбинаций многообразны суть. Не огорчайтесь!

Она повернула в его сторону надменное лицо, и глаза ее засверкали. Раздельно и ясно она сказала:

– Милый друг мой, Никита Иваныч. У меня единая надежда на Бога, на вас и на любезную моему сердцу гвардию... Да, да, на гвардию!.. – повторила она порывисто.

Никиту Иваныча пронизала нервная дрожь. Впрочем, он быстро превозмог себя и еще раз попытался вырвать у самовластной Екатерины нужное ему признание. Очень ласковым, но тонко намекающим тоном он произнес:

– Гвардия – сила. Однако ваше искреннее желание, государыня, гораздо сильнее гвардии: ведь како похощете вы, тако и будет.

Екатерина молчала и хмурилась. Панин чувствовал, что дело с воцарением Павла безвозвратно проиграно: ведь он мог опираться в борьбе лишь на личный авторитет да на кучку своих единомышленников, на стороне же Екатерины – дворяне-гвардейцы и десять тысяч штыков.

Но как бы там ни было, Екатерина никак не могла бы остаться без Панина: ведь он главный механик всего государственного аппарата, он вдохновитель заговора, он влиятельнейший из вельмож, он руководит иностранной коллегией, и он, поэтому, единственный человек, с мнением которого считается вся Европа: захочет Панин, воцарение Екатерины будет встречено Европой с восторгом, захочет Панин, и может возгореться война против узурпаторши, похитившей «священные» права сверженного императора. Наконец, кто, кроме Панина, может руководить первыми шагами Екатерины II по управлению столь обширным государством? Итак, Екатерина без Панина беспомощна. Так по крайней мере полагал сам Панин.

Пассек и братья Орловы вымолили через Дашкову от Екатерины ее личные записки, чтоб иметь возможность убедить своих друзей в ее согласии.

Записка Орловым:

Царица строжайше велела Дашковой проследить, чтоб обе записки по миновании в них надобности были сожжены.

Орловы с Пассеком сумели завербовать в свои ряды сорок офицеров и десять тысяч гвардии. Необходимо было окончательно договориться с Никитой Паниным, князем Волконским и любимцем гвардии гетманом Кириллом Разумовским, командовавшим Измайловским полком. Гетман Разумовский обладал несметными богатствами, щедро помогал офицерам и солдатам, снисходительно относился к их слабостям, мирволил им. И царица отлично понимала, что «где гетман, там и гвардия».

Чтоб избежать подозрений, дальновидная Екатерина, исполняя волю Петра, 17 июня выехала в Петергоф. Семилетний сын ее великий князь Павел был оставлен в Петербурге на попечении своего воспитателя обер-гофмейстера Панина.

2

Петр проводил время в Ораниенбауме беспечно и праздно. Впрочем, он ежедневно устраивал вахтпарады и всякие экзерциции с голштинцами, вечерами – пьяные кутежи, пиры, домашние спектакли: царь играл в оркестре на скрипке, а комедию вели придворные дамы и кавалеры.

Однажды, слегка одурманенный выпивкой и непрерывным курением трубки, Петр после фриштика прошел осмотреть свою многочисленную псарню и показать гостям свои владения. Проходя мимо голштинской церкви, он сказал своим спутникам:

– Когда я был великим князем, я мечтал выстроить здесь капуцинский монастырь, чтоб весь двор и я с женой носили одеяния монахов-капуцинов. И у всякого свой ослик, чтоб ездить с кувшином за водой... И вообще... О, мечты, мечты!

– Вы слишком влюбчивы, государь, чтоб быть монахом, – игриво погрозила ему мизинчиком красавица графиня Брюс.

– Вы правы, – выпятил грудь Петр и, вздернув плечи, приосанился. – Но мне бы тогда открылся тернистый и сладостный путь грехопадений.

Зашли в маленький «Эрмитаж», с шутками и прибаутками осмотрели кунсткамеру с ее монстрами: человеческий скелет о двух головах и трех руках, ребенок с лицом «лягушачьего образа», три пальца канонира в спирте, ремень человеческой кожи и т. д. Посетили «Минажерию», где содержались звери и птицы. Медвежонок, принадлежавший голштинцу капитану Лангу, увидав гостей, закрутил башкой и позвериному заулыбался, затем встал дубом, прижал передние лапы к брюху, начал кланяться и просительно порявкивать. Петр снял перчатку и подал ему на ладони кусок сахара. Елизавета Романовна, бесцеремонно зевнув, выразила желание покататься с горы. Каталая гора, построенная Ринальди, представляла собой десятисаженную башню, увенчанную золоченым куполом, от нее тянулся на полверсты пологий скат, по обе стороны его богатая колоннада тосканского ордена. Покатались на золоченых колясочках, выпили по бокалу освежительного, закусили воздушным безе.

Вернувшись домой, Петр выпил два бокала английского пива, попил на скрипке и стал бегать, как маленький, со своей любимой собачкой вокруг биллиарда. Пес, виляя хвостом, громко лаял, Петр того громче кричал, пес разодрал ему штаны, он высек пса арапником и вышвырнул за дверь. Повалился на кушетку, не лежалось, взгляд скользнул по портрету Петра I: «Дедушка, преобразователь! Все по-новому. Я тоже». Взял лютеранский молитвенник, перелистал, крикнул арапа Нарциса, велел позвать Гудовича.

– Вот что, Андрей Васильевич, – сказал он своему генерал-адъютанту. – Немедленно пусть явится ко мне... этот поп. Ну, вот этот бородатый... Дмитрий.

– Митрополит новгородский Дмитрий Сеченов, ваше величество?.. Первоприсутствующий в Синоде?..

– Я – первоприсутствующий в Синоде, и не кто иной!

Поздним вечером на четверке цугом подкатил ко дворцу митрополит.

Представ перед государем, он издали с чувством неловкости преподал ему благословение. Государь в ответ соорил иерарху гримасу и, не пригласив сесть, крикливо сказал по-немецки:

– Император Петр Великий, мой дед, стриг бороды боярам. Я иду по его стопам. Повелеваю: извольте, сударь мой, распорядиться, чтоб все попы были бритые и вместо хламид носили платье, как иностранные пасторы!.. Андрей Васильич, переведите! – Петр задергал шейю, замотал головой, взъершился, ожидая возражений владыки.

Гудович, краснея, стал переводить. Митрополит оборвал его:

– Не трудитесь, генерал. Немецкий язык мне ведом... Лишь неведома мне причина, побудившая монарха православного шествовать не по стопам деда своего, блаженные памяти Великого Петра, а по вихлястым петлям церкви лютеранской.

– Да, да, господин архиерей! Да, да... – заgrimасничал, заморгал правым глазом Петр.

Дмитрий Сеченов пожал полными плечами, опустил низко голову, раскидистая с проседью борода его закрыла усыпанную бриллиантами панагию. Петр заговорил по-французски:

– Повелеваю: в храмах оставить лишь иконы Спасителя и Богородицы... Чтоб прочих икон так называемых вашим святым в храмах не было. Чтоб посты были не обязательны для всех, а кто хочет, пусть постится... Греха прелюбодеяния нет! Этот грех выдуман... Сам Христос прощал другим этот грех... Гудович, переведите!..

– Ваше величество! Французский язык мне ведом не меньше немецкого! – воскликнул архиерей и пристукнул жезлом с двумя золотыми змеями на верхушке. Старику не хватало дыхания. Перед строгими глазами его летали темные тени, кровь стучала в виски. – Ваше величество! Словесный указ вашего величества должен быть изложен в письменной форме. Я доложу о сем владыке – митрополиту петербургскому и всем членам святейшего Синода. Для столь коренной ломки канонов и догматов церкви православной довелось бы, согласно духовного регламента, собрать всероссийский собор...

– Собирайте, господин архиерей, хоть десять соборов! – закричал царь; стоявший возле него Гудович выразительно кашлянул, что-то шепнул ему; царь пришел в себя, сбавил тон. – Можете собирать собор, но моя воля непреклонна. Ибо я есть глава вашей церкви.

– Сугубо ошибаетесь, государь, мня себя главою церкви православной, – спокойно возразил Дмитрий Сеченов. – Глава церкви есть во веки веков Христос. А главою Синода является монарх, коронованный и миропомазанный на царство. Вы же, ваше величество, медлите воспринять корону в Успенском соборе в Москве, как это делали предки ваши... А посему...

– А посему... Прощайте, господин архиерей! Я вами, сударь мой, очень, очень недоволен.

Дмитрий Сеченов издал кой-как преподал благословение, кой-как поклонился и с гордостью, однако весь сотрясаясь от злости и скорби, вышел вон.

25 июня Синод получил высочайший указ: все исповедания объявляются равноправными с государственной господствующей религией, обряды православной церкви отменяются, церковное имущество отбирается в казну.

Этот наскоро состряпанный указ и нелепый разговор царя с Дмитрием Сеченовым произвели на знатное духовенство удручающее впечатление. Официальная церковь оказалась, подобно гвардии, во враждебных отношениях с царем.

3

В один из дней придворный бриллианщик Иеремия Позье получил приказ явиться ко двору в Ораниенбаум. Дальновидный француз прихватил с собой брошь из бриллиантов для Елизаветы Воронцовой и рано утром явился в Ораниенбаумский дворец, в помещение графини.

– Встала ли графиня? – спросил он горничных.

– Нет, мсье... Графиня еще не встала, но и не спит, потому что не в духе.

– В таком случае я уеду.

– Что вы, что вы!.. Мы уже доложили о вас. Благоволите подождать.

Через несколько минут Позье был введен в помещение графини. Она сидела перед туалетным столиком. На ее полных губах капризная гримаса, в глазах любопытство и простоватое ожидание подарочка. Позье расшаркался, пылливо взглянул на нее и поцеловал руку.

– Вы не в духе?.. Поэтому – разрешите мне откланяться.

– Нет, ради Бога! – и она вскочила со стула. – Что вы принесли мне хорошенького?

– У меня ничего нет для тех, кто не в духе, – шаркнув ногой, подобострастно изогнулся француз.

Она с хохотом кинулась к нему, принялась обшаривать его карманы.

Через потайную дверь неожиданно появился в халате царь.

– Что это значит? – пожимая плечами, полугневно, полуигриво спросил он.

– Ваше величество! – воскликнул Позье, целуя протянутую царскую руку. – Я очень рад, что вы изволили явиться ко мне на выручку. Я хотел показать графине одну изящнейшую вещь, но графиня не в духе, и я отказался от своего намерения.

– Прекрасно сделали, Позье. Не давайте ей, отдайте мне.

Позье двумя перстами извлек из кармана маленький футляр и со всей грацией француза протянул его императору. Елизавета Романовна сделала быстрый маневр завладеть вещичкой. Позье ловким вольтом руки обманул графиню, и вещичка чуть-чуть не досталась императору, но Елизавета Романовна успела схватить руку ювелира, француз перебросил футляр в другую руку. Тут зачалась шумная возня. Брюхатенький француз с сувениром в поднятой руке, пыхтя, крутился волчком, возле него с ловкостью откормленной ярославской телки подпрыгивала и трясла телесами графиня, тщась перехватить сувенир. Глаза ее горели, как у кошки перед мышонком. А царь-цапля тоже бегал вокруг Позье, кричал: «А moi, monsieur, а moi», и с наскока, едва не опрокинув и Позье и графиню, вдруг выхватил футляр. Позье улыбался и сипло дышал. Елизавета Романовна, притворившись обиженной пай-девочкой, надула губки. Царь с выражением проказливого школьника показывал ей язык и рассматривал сверкавшую бриллиантами дорогую брошь.

– Дарю тебе, Романовна! – сказал он торжественно-насмешливым голосом. – Но с условием, чтобы ты развеселилась.

Графиня с жадностью схватила подарок и ушла. Петр заказал ювелиру несколько вещей к своим предстоящим именинам, велел передать ему ключ от драгоценных вещей в петербургском дворце с наказом почистить их и доставить сюда. Деловой разговор окончен. Позье приготовился поцеловать Петру руку и выйти, но Петр сказал:

– Куда вы спешите? Вы сегодня останетесь здесь. Я хочу, чтоб вы посмотрели мою комедию. Вот вам билет. Я все билеты раздаю сам. Можете пообедать с моими медиками.

Перед обедом Позье в одиночестве прогуливался по парку. На большом озере шло сражение двух маленьких галер. Одетые матросами голштинцы дружно взмахивали веслами, стреляли из крошечных пушек, брали на бордаж, схватывались врукопашную. Царь, стоя на высоком береговом помосте, кричал команду, махал флагом, топал ногами, азартно бил в барабан, всем существом своим с жаром участвовал в этой детской игре людей-марионеток. Затем началось утомительное ученье голштинских войск на плац-параде. Четыре голштинских знамени склонились долу, когда к фронту подъехал на серой кобыле император.

Вечером началась в придворном театре комедия. Екатерина тоже получила билет. Приглашение равнялось приказу. Она приехала из Петергофа. Позье сидел против сцены, под ложей, где помещалась императрица. Она в глубоком трауре; при ней две фрейлины и молоденький паж в светло-зеленом мундире, красном камзоле, зеленых штанах, шелковых чулках, белых башмаках с пряжками и красными каблуками – признак высокого дворянства. Разместившиеся в ложах возле оркестра дамы обмахивались веерами, весело болтали с кавалерами.

Появился царь, под мышкой скрипка, в руке смычок. Все встали. Он быстро прошел меж рядами кресел в оркестр итальянцев и русских офицеров, сел за пюпитр, перелистал ноты, начал настраивать скрипку. Он был сегодня, пожалуй, красив. Веселые глаза блестели, густо напудренные вержет и букли оттеняли загорелое с румянцем лицо. Он играл довольно хорошо и бегло и всегда выступал на придворных куртагах. У него было несколько лучших по тому времени скрипок: Страдивариуса, Руджиери, Амати. В Ораниенбауме он устроил музыкальную из детей служителей школу.

С шумом отдернулся шелковый в золотых звездах занавес, и глупенькая комедийка, сопровождаемая жидковатой игрой оркестра, началась. На сцену смотрели мало, любопытствующие взоры сосредоточились на Екатерине. Она очень грустна, озабочена, замкнута. В антракте раздались дружные хлопки. Вместо любителей актеров, на аплодисменты поднялся из оркестра царь; прижимая скрипку к груди, он изысканно раскланивался с публикой.

К Позье подошел паж, передал ему приглашение Екатерины прибыть после спектакля в ее покои. Вспомнив строжайшее запрещение государя заходить к Екатерине, Позье весьма опечалился. Но, никем не замеченный, он умудрился проникнуть к ней. Она сидела на диване, казалась утомленной, душевно измученной. На ее коленях облезлая собачонка с серебряным бубенчиком.

– Позье, я повредила свой орден святой Екатерины, – проговорила царица. – Возьмите его с собой и поправьте. (Она приказала горничной снять с себя этот орден и передала француз.)

– Осмелюсь спросить, ваше величество, – стоя навытяжку, сказал француз, – вы не возвратитесь в Петергоф, а изволите остаться на ужин здесь?

– Мне бы этого не хотелось. В Петергофе мне было бы веселее. А здесь – скука, скука. Я вас, Позье, завтра жду в Петергофе. Я имею передать вам несколько вещей для переделки. Прощайте.

Позье, припав на одно колено, поцеловал руку Екатерины и вышел.

Вслед за удалившимся Позье был впущен в покои императрицы генерал-адъютант Гудович.

– Ваше величество, – сказал он, руки по швам, и вскинул голову. – Его величество приказали доложить вашему величеству, что его величество канун своих именин, то есть день 28 июня, изволят проводить в Петергофе, в обществе вашего величества.

– Передайте его величеству, – с холодной маской на лице проговорила Екатерина, – что я весьма польщена ожидаемым визитом его величества ко мне и в назначенный день буду ждать государя со всеми его гостями у себя в Петергофе.

Генерал Гудович не сумел подметить ни особого блеска глаз Екатерины, ни явных ноток сарказма в ее голосе.

4

25 июня вечером состоялось свидание Никиты Панина с гетманом Кириллом Разумовским. «Авдиенция» произошла в Аничковском дворце, принадлежавшем Алексею Григорьевичу Разумовскому. Вельможи дружески обнялись и поцеловались. Затем, уставясь глаза в глаза, с минуту держали один другого за руки, доверчиво улыбались, в то же время старались всмотреться в глубину души друг друга. Взор у каждого был светел и открыт.

Заперли двери, по персидским коврам прошли в глубь комнаты, отделанной бронзой, кленом и палевым штофом, уселись возле беломраморного холодного камина, предложили друг другу из золотых табакерок отведать табачку.

Обер-гофмейстер Панин в парике, в голубом кафтане с желтыми бархатными обшлагами, в брюссельских тончайших кружевах. Ему сорок четыре года. Он несколько грузен, осанист и, пожалуй, красив. Полные щеки припудрены, большие серые глаза улыбочивы, блестят умом. Знатный царедворец, он много путешествовал, был очень образован, долгое время занимал место посланника в Копенгагене, затем – полномочного министра в Стокгольме.

– Итак, мой добрый друг, прямо к делу, – начал Панин глубоким, проникающим в душу голосом. – Образ мыслей нашего императора и действия его наводят дурные импресии, они производят впечатление чего-то удивительно недодуманного, недоделанного.

– Я бы даже так молвил, – с украинским акцентом сказал гетман Разумовский. – На вещи серьезные он смотрит взглядом маленького дитя, а к детским забавам относится с серьезностью зрелого батьки... И далее: сей голштинский выходец вовсе не знает и не хочет знать армию, он боится живых солдат, они слишком громоздки для него. И он за-водит оловянных солдатиков и забавляется с ними с серьезностью зрелого мужа. Какая-то глупость, дурачество, фиглярство...

– *Militaire marotte*, – перевел на французский Панин. – Вглядитесь, мой добрый друг, в его судьбу. – Панин простер руку вперед, склонил голову набок и прищурился, как охотник пред выстрелом. – Судьба приуготовила этому голштинскому принцу два трона – шведский и русский, а ему лишь впору, да и то, пожалуй, велик, даже маленький голштинский трон. И вдруг судьба бросает его на престол необъятно огромной Российской империи. Но... его слабый ум не может расширяться, чтоб охватить ее пределы и ее нужды. Он называет Россию проклятой страной, он боится ее, как ребенок, оставленный в обширном пустом доме. – Панин говорил не громко, но голос его насыщен ненавистью и сарказмом. – И что же мы наблюдаем? – продолжал он. – Под давлением страха, среды и собственного вкуса государь окружил себя обществом недостойным, он создал себе свой жалкий голштинский мирок и тщетно старается скрыться в нем от страшной ему России. Он не знает России и не хочет знать ее. Для него интересы государства и само государство как бы замкнулись в его дворце. Отечество наше сейчас похоже на корабль, управляемый сумасшедшим капитаном. Подобное положение дел я считаю ужасным, ваше сиятельство.

– Ясно, ясно! – с какой-то веселостью отозвался гетман, он поставил ногу на парчовый диван и, покряхтывая, стал натягивать сползавший чулок. – Хе-хе. Любопытный разговорчик недавно проистекал между государем и мною. Или, правильнее (гетман выпрямился, подмигнул Панину и с игривостью прищелкнул двумя пальцами), между мною и государем. Хе-хе. (Панин одобрительно кивнул головой, улыбнулся.) «Гетман, я вас назначу главнокомандующим моей армией против датчан». – «Благодарю вас, государь. Но доведется сзади послать вторую армию». – «Для чего?» – «Чтоб она штыками подгоняла первую идти в немилый поход».

– И что же он? – вскинулся Панин, приготовясь рассмеяться.

– Да ничего... – пожал плечами гетман и, выхватив платок, чихнул. – Император показал мне язык, отвернулся и сплюнул.

Панин, сотрясая плечами, беззвучно засмеялся и потом сказал:

– Вы, добрый мой друг, остроумец известный. А вот я вчера вел беседу с преосвященным Дмитрием. С печалью поведал мне оный владыка свой разговор с царем в гораздо ином духе, чем ваше, я бы сказал, препирательство.

– Я знаю, знаю...

– Про указ об иконах и прочем тоже знаете? Я дал владыке Дмитрию совет указ этот схоронить под сукно... Время терпит, как сказал мудрый Соломон. И вот... – Панин выпрямился и оправил звезду на андреевской ленте, – подводя итоги, прямо скажу: из всего, что мы ведаем о сем странном царе, проистекает неминуемая гибель для государства... – Голос его стал тверд и властен. – Гетман граф Разумовский! Отечество, любимая родина наша в опасности.

– Не родина, Никита Иваныч, а матушка Екатерина!

– Верно... Наша родина – увы! – непробудно спит.

– То-то же, – встряхнул пудреными буклями гетман и воскликнул: – Никита Иваныч, я решительно готов!

– Готовы? Так действуйте, действуйте, гетман. Станем действовать вместе. Сроки близятся. Не таясь, обязан открыть вам, что мною посвящен в сие дело и генерал-аншеф князь Волконский. Он человек храбрый, осторожный, пользуется отменным доверием в армии. Я не знаю, как будет... Но в мечтах у меня – единственный выход без особых потрясений, без крови и, к тому же, национально оправданный: Павел – император, он юноша русских кровей; при нем регентша Екатерина Алексеевна.

– Пока медведь не убит, шкуру делить нечего, любезный друг.

– Убит? Никакого убийства, ни капли крови.

– О Боже правый! Да это ж пословица.

Панин на мгновение задумался, глаза его стали хитрить, вилять, испугались. Он быстро прикинул в уме и сказал:

– Сие мыслится мне, как наиболее законное и логически возможное. Но я не чурюсь и от другой комбинации. Отнюдь нет, отнюдь нет...

– На престол – государыню! – влоборота уставился на Панина гетман; глаза его тоже стали хитрить и вилять.

– Хотя бы... Отнюдь не чурюсь вашей мысли. Только – мнится мне – самодержавные права будущей повелительницы надлежит ограничить.

– А как именно? – и гетман, сморщив гладкий подбородок, развел руками. – Это неудобь-имоверное дело зело хлопотливо и гораздо сложно.

Панин соорил недовольную мину.

Чтоб пояснить свои мысли, гетман сказал:

– Орловы там, с матушкой-то. Гвардия... о? – и поднял палец.

– Вы – тоже гвардия! – воскликнул Панин. – Вы ж гвардии Измайловского полка полковник.

– Який бис! – воскликнул и гетман, горько усмехаясь. Сей день – полковник, а завтра – покойник... Ха!

Каша заваривается крутая... А говорится: не круто начинай, да круто кончай.

Панин с искренней дрожью в голосе сказал:

– Мне близки интересы моего воспитанника цесаревича Павла Петровича, коего я люблю паче сына. Мальчик одаренный, острый, и сердце его в руке Божией, – и чувствительный Панин слегка прослезился. – Когда я говорил о нем как о будущем государе, Екатерина Алексеевна, видя, что ее собираются низвести до роли регентши, изволила жаловаться на свое несчастное положение. Она даже всплакнула при сем, чем и сделала в душе моей колебание.

– Ну, слеза у матушки скоро сохнет.

Вельможи снова, лицо в лицо, крепко взялись за руки, снова пытливо глядели друг другу в глаза. «Веришь ли? Не предашь ли?» – мысленно вопрошали один другого. «Верю тебе, не предам тебя. Верь и ты мне». Оба горячо обнялись. Панин сказал:

– Ежели иного исхода нет, пущай, коли так, матушка садится на престол. Ну что ж... За ней сила, за нами государственный опыт и разум... Попытаем побороться.

Взволнованный гетман вдруг оживился, широко задышал, глаза засверкали. Ударяя в левую ладонь ребром правой, он сердито прошипел:

– А можно о-так, о-так, с Орловыми: Гришу – геть, Алешу – геть, а как император Павел в возраст войдет, матушку такожде – геть!

Панин улыбнулся. Вельможи опять крепко пожали друг другу руки. Долго думали, взвешивали все обстоятельства сложного дела. И все же вопрос о том, кого возводить па престол: мать или сына, – остался не вполне выясненным.

– По моему разумению, – Панин деликатно взял гетмана под руку и пошел с ним к окну, – вы, гетман, всенепременно должны заманить царя в Петербург. К вам царь имеет полный респект, и я чаю, – вы сможете сие сделать.

– Лъщу себя надеждой, что сделаю... Лишь бы мотив был придуман...

– Мотив – поход в Данию, всенародный молебен, парад, что-нибудь в этом роде. А там – видно будет. Арестовать можно в спальне, в постели, ночью. И да поможет нам Бог... – мрачно закончил Панин.

– Бог и... молодцы-гвардейцы! – с бодрой веселостью подхватил гетман.

Спустя два часа Никита Иванович Панин вел такую же беседу с князем Волконским. Казалось, все сулило удачу, Панин мог спокойно ожидать грядущих событий.

Глава XIV

«Сон в летнюю ночь»

1

События развернулись неожиданно и совсем не так, как предполагала сторона Екатерины.

Главный зачинщик придворной трагикомедии был случай.

Исторический маскарад начался случаем внезапным: вечером 27 июня, то есть спустя два дня после свидания Разумовского с Паниным, был арестован капитан Пассек, один из немногих главарей дворцового переворота. Этот случай сразу поставил на ноги всех заговорщиков, в особенности собутыльников Пассека – отчаянных братьев Орловых. Что делать? А ну как Пассек под пыткой откроет все нити заговора? Тогда головы полетят с плеч, как кочны. Тогда, пожалуй, и «матушке» несдобровать. Сначала все растерялись, казалось, ничего приготовлено не было, «случай» застал всех врасплох.

Григорий Орлов в поисках Н. И. Панина примчался к княгине Дашковой, его племяннице. Панин как раз сидел у нее.

– Пассек арестован, – с мужеством заявил Орлов.

Екатерина Дашкова вскочила, схватилась за голову, стала метаться от Панина к Орлову. Лицо ее побелело.

– Успокойтесь, княгинюшка, – спокойно сказал Панин. – Ну арестован. Ну что ж из того? Начудил чего-нибудь по службе, вот и посадили...

– О, если б так! – трагически заламывая руки и в то же время лоя свое изображение в настенном зеркале, восклицала Дашкова. – Нет, дядя, ошибаетесь, Пассек арестован по приказу государя. Он на допросе может всех нас выдать с головой! Григорий Григорьевич... Пришло время немедля начинать восстание.

– Друг мой, – перебил ее Панин и принялся резонерствовать: – Я считаю вас за пламенную патриотку. Вы, знаю, чужды личных, честолюбивых расчетов. Но... Какое восстание? Надо сперва все толком разузнать, взвесить обстоятельства, а не с бухты-барахты. Во-первых, за что арестован Пассек, во-вторых, каково настроение на сей день в гвардейских полках...

– Настроение крепкое, – в свою очередь перебил Панина Григорий Орлов. Он стоял возле секретера, откинув назад красивую голову, и время от времени хитрым прищуром насмешливо взглядывал в сторону хозяйки. – Солдаты молодцы. Давно готовы. Да вот вам: я только что повстречал унтер-офицера Гаврилу Державина. У него из-под подушки деньги хапнули в казарме. Он выбежал ловить вора, глядит: кучка солдат его полка горланит во дворе: «Пусть только наш полк выйдет в поход в Данию, мы кой-кого спросим, куда нас ведут... Не пойдём... Мы нашу матушку не оставим, мы рады служить ей!» Таких казусов хоть отбавляй...

Дашкова звонко, как ребенок, засмеялась, забила в ладоши:

– Bravo, bravo! Слышите, Никита Иваныч, слышите?.. Ах вы, телепень! Ну, до чего же, дядечка, вы медлительный. Кунктатор вы! Больше огня, дядечка... Надо действовать!

Панин поморщился и, прикрывшись рукавом кафтана, аппетитно зевнул.

– В жизни – осмотрительность первое дело, молодая княгинюшка, – сказал и поднялся. – А в политике – хладнокровие первейшее правило.

Он вернулся в Зимний дворец поздно вечером, выпил стакан брусничной воды и сразу же завалился спать. Им все обдумано до мельчайших подробностей, тайные распоряжения давным-давно сделаны. Теперь можно всхрапнуть.

В тот же час легла спать в Петергофе, в низеньком длинном Монплезире, и царица Екатерина.

Княгине Дашковой вскоре принесли от портного мужской костюм. Стала примерять, вертелась перед зеркалом. Здесь режет, там жмет, шагать непривычно. Разделась, глазки слипались, мужа нет, наскоро помолилась перед образом: «Господи, пошли мне мужество для предстоящего дела. Помоги двум Екатеринам, рабам твоим». Пылкая почитательница Вольтера, она в Бога верила условно, но надвигается момент исключительный, надо напрячь все душевные силы. Легла в постель. Чтоб не разболелась у княгини голова, горничная убрала из спальни большущий букет жасмина, тот, что преподнес Панин.

– Покойной ночи, ваше сиятельство!

– Покойной ночи, Лизетт! Приготовьте мне костюм, ботфорты и плащ. Если кто постучится хоть в самую глухую ночь, сию же минуту будить меня... И скажите в конюшне, чтоб все было наготове.

Утомленная необычайными треволениями, она вытянулась, тотчас крепко заснула и благополучно проспала все, к чему так страстно стремилась ее романтическая натура.

Молодую Дашкову подняли на ноги уже в новом царствовании.

2

Но гвардейцы в ту ночь не спали.

Не спал в Ораниенбауме и царь Петр.

Он еще утром 27-го получил из столицы подробный доклад о том, что молодой офицер Ребиндер обращался к полковнику Будбергу, советуя ему присоединиться со своим полком к гвардии, будто бы решившейся возвести на престол Екатерину; что вчера вечером, 26 июня, простой капрал спрашивал поручика Измайлова, скоро ли свергнут императора, причем на допросе в полковой канцелярии капрал показал, что об этом же он спрашивал и капитана Пассека, который будто бы прогнал его. Однако в канцелярии лежало известное императору показание некоего солдата, что Пассек еще накануне оскорблял императора поносными словами.

Прочитав этот неприятнейший доклад, Петр вспыхнул, забежал по кабинету, нервный тик исказил его лицо. Потом он вдруг остановился, хлопнул себя по лбу и стал выкрикивать в сторону оторопевшего дежурного генерала.

– Труссы! Они там все труссы, все походили с ума. Какой-то офицеришка Ребиндер. Да что он значит? Или дурак капрал... Возвести Екатерину! Ха! А я, а я? Куда же меня? Да что я, пешка, что ли? Труссы! У меня там надежный человек, адъютант Перфильев. Он молчит, значит, все благополучно. Генерал! Выдайте голштинцам по чарке водки. А Пассека немедленно арестовать, арестовать! Вы слышали? Как он смел?! Через час я отправляюсь на охоту... Я им пропишу переворот!.. Труссы!.. Завтра всем двором выезд в гости к государыне императрице. Вот мое повеление ее величеству. – Петр вынул из-за обшлага прусского мундира записку и подал генералу. – Немедля отправить. До свидания, генерал! Ступайте.

Между тем Григорий Орлов выведал: Пассек сидит под караулом на полковом дворе, а его рота, узнав об аресте, сбежалась в боевом вооружении без всякого приказанья на ротный плац и, постояв во фронте, нехотя разошлась.

Вернувшись к себе, он встретил дома – черт его дери! – адъютанта Перфильева (глаза и уши государя).

– Ба! Григорий Григорьевич! А я вас давненько поджидаю... Может быть, в картишки перебросимся?

– Ну что ж, давайте... Митька, трубку!..

Началась азартная игра и пьянство. Обескураженный Орлов, как бы подвергнутый в такой ответственный момент домашнему аресту, впал в отчаяние и не знал, как отвязаться от назойливого посетителя. Он хрипел от злости, с ожесточением проигрывал золото, накачивал зловредного гостя водкой.

Гетман Кирилл Разумовский был очень взволнован. От него только что ушел соучастник тайной группы – третий из братьев Орловых – Федор. Гетман немедленно потребовал к себе содержателя типографии Академии наук адъюнкта Тауберта и строго-настрого объявил ему:

– Вот что, сокол мой. В подземельях Академии сидят наборщик и печатник при станке; они будут печатать ночью манифест о воцарении ее величества Екатерины. Текст будет передан... Вы должны быть с ними, будете иметь наблюдение за корректурой...

– Ваше сиятельство! – взмолился было Тауберт.

– Ни слова, душенька... Я есть президент Академии, я приказываю вам. Правда, что тут дело о моей и вашей голове, но ведь вы, ангел, знаете обо всем об этом слишком много... Идите... Да хранит вас Бог.

Через несколько часов пришло время Петру Федоровичу спать, Екатерине – бодрствовать.

3

В третьем часу северной белой ночи рысцой бежала четверка крепких коней, впряженных в обыкновенную ямскую карету. Два молодых путника, Алексей Орлов и Василий Ильич Бибииков, не изнуря лошадей, подвигались к Петергофу. Перед отъездом из столицы они обменялись заряженными пистолетами и братски обняли друг друга. Алексею Орлову сказал:

– В случае неудачи, ты поразишь меня, а я тебя. Сразу!

– Клянусь, Алеша, – ответил Бибииков.

Увеселительный домик Монплезира, где почивала Екатерина, никем не охранялся: ни часовых, ни дворника. На зеленой луговине пасся на привязи рыжий теленок. В цветнике кралась к чирикавшей птичке серая кошка. Орлов швырнул в нее камнем и вошел во дворец. Весь дом спал. В уборной лежало парадное платье Екатерины, завтра высочайший, в присутствии Петра, торжественный обед. Орлов с благоговеньем поклонился платью и обошел его на цыпочках.

– Государыня, государыня, встаньте, – будила спящую камер-фрейлина Екатерина Ивановна Шаргородская.

Екатерина вздрогнула и, как на пружинах, приподнялась. Спутанные темно-каштановые волосы в папильотках, чепец съехал на ухо, в темно-голубых, вялых от сна глазах удивление.

– Ваше величество, в соседней горнице Алексей Григорьевич Орлов.

– Орлов?!

Из-за двери раздалось:

– Государыня, пора вставать! Все готово к вашему провозглашению.

Екатерина, сбросив одеяло, вскочила:

– Гребень!.. Волосы!.. стакан воды! Смочите губку... – взгляд ее упал на бронзовые часы под колпаком: пять утра.

Камер-фрейлина отдернула шторы, распахнула окно. Ворвался ранний, розоватый свет и запах утренней прохлады.

Орлов, находившийся в соседней со спальней комнате, изрядно волновался, колотилось сердце, пересохло во рту, хотелось дернуть стаканчик водки. На мавританском столике в хрустальной вазе в виде лебеда крупная петергофская земляника. Он поддел горсть прохладных ягод и торопливо отправил в рот. Прожевывая и с опасением посматривая на дверь в спальню государыни, с возмущением он вспомнил, что царь запретил садовникам выдавать к столу императрицы любимые ею фрукты. Горничная покупала их у местного огородника Желонкина. «Ладно, ладно... скоро сочтемся, царек!» – злобно прошептал Орлов и вынул белый носовой платок, чтоб вытереть запачканную красным соком руку, но – передумал, вытер об испод мягкого кресла, потом уж о платок.

Постучав в дверь, он загремел:

– Не медлите, ваше величество!.. Все готово, гвардия с нетерпением ждет. Торопитесь, государыня!

Спальня наполнилась звуками суетливости, выкриками, шепотом. Наспех отерев лицо ароматным спиртом, Екатерина, полуодетая, заканчивая туалет на ходу, выпорхнула к великану Орлову.

В этой дворцовой комнатке-шкатулке он был очень громоздок, едва не касался головой потолка.

Мрачный, он вдруг весь просиял, будто вошедшая миниатюрная женщина в обычном черном платье была лучезарным солнцем; быстро, с особым жаром поцеловал протянутую руку и побежал вперед по тропинкам пустынного в эту минуту парка. Следом за ним – Екатерина, горничная Шаргородская и только что одевшийся камер-лакей Шкурин. Все они торопливо, вприпрыжку спешили за Орловым.

Всходило солнце. Екатерина с горничной сели в карету. Шкурин с офицером Бибиковым стали на запятки, Орлов примостился с кучером, и кони понеслись.

Екатерина чувствовала себя прекрасно.

– Похищение сабинянок, – улыбаясь, сказала она. – Или «Сон в летнюю ночь...». Вы не находите?

– Да, да, государыня, – откликнулась Шаргородская. – Прямо-таки Шехерезада... Ах, у вас в волосах папильоточка торчит.

– Где? – Екатерина откинула с головы испанскую кружевную шаль. – Выньте... Боже, у меня спустился чулок. Мы забыли подвязку, – и Екатерина, натягивая на белоснежную ногу чулок, нервно смеялась.

Улыбался и Орлов: подвязка государыни лежала у него в кармане. «Ни за что не отдам... На груди буду носить, у сердца», – думал он и покрикивал долгобородому кучеру:

– Не жалей, борода! Дери! Шпарь!

Ранние встречные, сидящие на подводах, не знали, кто едет в закрытой карете, но, чтоб не получить плетью по спине, на всякий случай снимали шапки.

Екатерина приподняла шторку, высунула голову из окна и вдруг закричала:

– Мишель! Мишель!

Сухощавый француз-парикмахер, большой лоботряс и бабник, переночевавший у очередной хорошенькой горничной из барской дачи, спешил к Петергофу во дворец, чтобы загодя сделать императрице туалет: ведь сегодня она ждет высокого гостя из Ораниенбаума, самого Петра. Как только его окликнули, он вскинул взор и обмер: в карете государыня, на запятках люди... впереди офицер.

«О мон Дье! – в страхе подумал он, всплеснув руками. – Государыня арестована».

– Следуйте, Мишель, за мной.

Не помня себя, путаясь в серой накидке, он едва взгромоздился на запятки между Бибиковым и Шкуриным, сразу побледнел, стал дрожать, стал стучать зубами, силы покидали его. «О мон Дье... – невнятно выборматывал он, – государыню отправляют в Сибирь... И я попал...» Умоляюще он взглянул на Бибикова. Но молодой офицер, сразу оценив душевное состояние несчастного Мишеля, с притворной грустью подмигнул в задок закрытой кареты, где помещалась государыня, и ребром ладони рубанул себя по загривку.

– Финир...

Изнеженный француз ахнул и едва не упал с запяток.

– Погоняй, погоняй, борода! – покрикивал Орлов.

Становилось жарко. Взмокшие лошади выбивались из сил, роняли в пыль белую пену из оскаленных ртов, храпели.

Навстречу – здоровенный крестьянин на возу сена, лошадь добрая, видать – господская.

– Мужик, стой! – крикнул Орлов, соскочил с козел и начал выпрягать лошадь крестьянина.

Рыжебородый тоже спрыгнул с воза, толкнул Орлова. Тот, озлившись, швырнул крестьянина в канаву.

Пострадавший, непотребно ругаясь, вылез из канавы и побежал к изгороди выломать хорошую жердину. Но быстрый Орлов успел уже перепрячь лошадей, оставив крестьянину свою усталую пристяжку. Поехали дальше.

Вдоль дороги попадались нарядные, все в зелени дворцы столичной знати, и очень близко голубело тихое море, сновали рыбацьи челны, над горизонтом кучились белые грозовые облака.

Кони вздымали тучи пыли, едкая пыль проникала и в карету. Екатерина принялась чихать. Веселое и бодрое настроение ее исчезло, оно сменилось минутами удручающего раздумья. В неверных, быстро ускользающих мыслях то мелькали держава со скипетром и алмазная корона, то плаха и топор. Она нервно передергивала плечами, она не узнавала себя. Куда девалось ее мужество? Ей нужна сейчас чья-то сильная поддержка, иначе она разрыдается и прикажет повернуть лошадей обратно...

Вдруг: «Сто-о-й!» – и четверня остановилась. Кто-то рванул в карете дверцу. Екатерина ахнула, из глаз ее полились слезы. Богатырские руки Григория Григорьевича Орлова подхватили ее и поставили на землю. Коленопреклоненный Орлов поцеловал ее руку.

– Ваше величество, почтительнейше прошу вас в мой экипаж...

Рядом – грудь вперед, обнаженная шпага на караул – замер князь Федор Баратынский. Екатерина с обольщающей сквозь слезы улыбкой кивнула ему головой и, вся пропыленная, села в открытую простенькую коляску рядом с Григорием Орловым.

Кони дружно взяли, понеслись мимо «Красного кабачка» в столицу.

– Гришенька, Гриша, – взволнованно и благодарно шептала Екатерина, слегка прижимаясь к близкому своему другу.

– Государыня, свет мой... Дела блестящи... Измайловцы ждут ваше величество.

От Григория Орлова изрядно попахивало сиводралом, большие глаза его утомлены, мутны от бессонницы. Он всю ночь не мог отвязаться от Перфильева, продул ему в карты много денег, оба дебоширили, кутили до зари; наконец пьяный Перфильев, промямлив: «Под столом увидимся», свалился на пол и захрапел.

В деревне Калинкиной, в черте столицы, начались слободы Измайловского полка. Григорий Орлов соскочил с сиденья и сломя голову побежал вперед. Лошади шагом подвигались к полковой кордегардии.

У ворот стоял на часах восемнадцатилетний солдат Николай Новиков, два года тому назад исключенный из московской гимназии «за нехождение в классы и леность». Новиков вскинул голову, сделал артикул ружьем, Екатерина милостиво ему улыбнулась. Она не ведала, что, много лет спустя, ей доведется лить слезы досады и горечи от остро-славного пера возмужавшего Новикова.

Барабан резко забил тревогу. Из казарм выбегали, одеваясь на ходу, солдаты. Пересекая плац, бежал к Орлову офицер. Горнист, надув щеки, заиграл в трубу, дробь барабана участилась.

Было восемь часов утра.

Екатерина вышла из коляски.

4

Уж не этот ли гул барабана и боевой клич трубы разбудили императора? Петр вскочил, свесив с кровати ноги.

– Фу... Я застрелил утку. Где она? Какой глупый сон... Гудович!

Вбежал лакей Митрич, вскоре за ним полуодетый генерал-адъютант Гудович.

– Странный сон, господа, – рассуждал император, подобрав левую ногу и колупая мозоль. – Представьте, кошка... Глаза желтые, злые, сама черная. Хорошо это или плохо? Митрич, как?

– Да как, ваше величество, – замылся бородатый, тугой на мысли лакей. – Конечно, ежели мужику-дураку приснится кошка, либо бабе дурашливой, это, верно, к худу. Ну а ежели особе священной, вроде вас, ваше величество, то кошка во сне обозначает... это самое... как сказать... – Он усмотрел чрез окно сгущавшиеся облака и брякнул: – Кошка к грому императорам снится, к грозе!.. Я этак слыхивал... – Митрич покашлял в ладонь, осторожно покосился на Петра, отошел на цыпочках в уголок и стал там трясти царские штаны.

– Она подкрадывалась к моей короне, это презренное животное. Я в нее выстрелил и... представьте – не кошка, а утка.

– Ах, утка? Так бы и сказали, ваше величество, – отозвался Митрич и еще раз встряхнул штанами. – Одно дело утка, а другое дело кошка. Утка от кошки или, допустим, от кота штука завсегда отменная. Ежели жареная утка, это к хорошему...

– Живая, живая! – раздраженно вскрикнул Петр и показал лакею язык.

– А живая утка – того лучше, ваше величество. Значит – пир на весь мир, фиверки, музыка...

– Глупый сон, глупый сон, глупый, глупый, – зачастил Петр, – у меня еще нет короны, нет... Какая корона? Митрич, умываться! Который час? Восемь? Пиротехники посланы в Петергоф?

– Два дня тому назад, государь, – ответил генерал-адъютант.

– Гудович, прикажите доставить сюда Пассека! Я его лично высеку плетью и ущемлю ему язык... Впрочем, нет... После праздников. После, после.

Петр был сегодня особенно бодр и свеж. Кофе он пил один, на ходу. Елизавета Романовна да и многие во дворце еще почивали. Он спустился с холма, где дворец, вышел на берег к пристани. Пред ним за нешироким морским пространством виднелся Кронштадт с крепостным валом. Возле укрепленного острова стоял, ожидая приказа императора, вооруженный флот.

А там, где-то далеко, за пределами Кронштадта, вправо или влево, Петр не знал точно, лежала ненавистная Дания. Да, да, Петр бросит на датчан весь свой флот, он лично поведет сушей свои несокрушимые полки, он растопчет гадину, он вернет извечно принадлежавшие милой Голштинии земли. Он возвратится победоносным триумфатором на золотой колеснице, весь осиянный славою, путь его будет усеян розами.

Берегись тогда, коварная Екатерина!

...К Екатерине кинулись измайловцы, стали целовать руки, платье, называть ее – «избавительница, матушка». Кричали: «Веди! Все за тебя умрем!» Они негодовали на Петра и были польщены тем, что государыня явилась к ним, простым солдатам, искать защиты. Ходили слухи, будто бы Григорий Орлов

обещал: «Не подгадь, молодцы, а уж винца похлебаем вдосыт».

Радостные возгласы «ура» чередовались с криками: «Да здравствует матушка Екатерина!» А куча росла и росла, измайловцев становилось густо. Крупные, сильные, они взирали на невысокую, с лучистыми глазами темноволосую красавицу, как на икону.

– Расступись! – загремел голос Григория Орлова.

И сразу просека – в людском лесу. По просеке приближался с крестом и Евангелием полковой священник Алексей Михайлов. Старый, он не мог быстро переставлять ноги, его волокли под руки двое бравых великанов. Прискакал на громадном жеребце сам полковник Измайловского полка, гетман Кирилл Разумовский. Он опустил на колени и, прослезившись, поцеловал руку царицы.

Под открытым небом началась первая присяга на верность новой повелительнице – Екатерине II. И снова крики «ура».

Отныне в России три самодержавных повелителя: двое властвуют, третий – за решеткой.

Екатерина вновь садится в коляску (на облучке рядом с кучером – седовласый отец Алексей в эпитрахили, с крестом в руках; сбоку на своем скакуне – гетман Разумовский), и, окруженная орущей толпой измайловских офицеров и солдат, благодарно улыбаясь и раскланиваясь, она едет в Семеновский полк. От оглушительного рева: «Да здравствует Екатерина!» – казалось, дрогнула и уплыла в вечность тень императора Петра Федоровича III.

5

Весть о необычайном событии быстро облетела все полки. Братья Орловы порхали на рысистых конях по всему Петербургу. Их курьеры и посыльные скакали из дворца к Панину, к Волконскому. От Панина неслись его гонцы в Сенат, в Синод, к воинственной княгине Дашковой, которая все еще сладко почивала.

Вскоре всполошился весь пробудившийся город. Измайловцы, семеновцы, часть преображенцев спешили от казарм к Невской перспективе.

Горожане и солдаты бежали по Литейной, Садовой, переулкам и улицам, направляясь к Зимнему дворцу. По Невской перспективе люди шли густой беспорядочной массой, весело шумели, переговаривались, до хрипоты кричали «ура». Торговцы запирали лавки, присоединялись к публике.

За наследником Павлом был послан полковник Мелиссино. Никита Иванович Панин разбудил сладко почивавшего мальчика. Медлить некогда, и полуодетого Павла везут в открытом экипаже в Казанский собор к присяге. Он крайне встревожен, он не может понять, к чему такая торопливость. До него долетали странные слухи о каких-то назревающих в придворной жизни событиях. И вот сейчас, сидя рядом с Никитой Ивановичем в быстро мчавшемся экипаже, окруженном эскортом скачущих всадников, мальчик с тоской и страхом озирается на шумные толпы спешивших горожан, и его сердце замирало. Он перевел вопросительный взор на замкнутое, обычно ласковое, а в эту минуту суровое лицо своего воспитателя, и умоляющие глаза его вдруг наполнились слезами.

– Никита Иваныч! Что стряслось? Это куда мы едем? Почему народ кричит?

– Успокойтесь, успокойтесь, ваше высочество. Ничего страшного. Вы мужчина. Клики народные от ликования. Народ течет к Казанской церкви. И мы туда же поспешаем, дабы учинить присягу новой государыне, всеблаготворительнице матери вашей.

– Новой государыне? А где же родитель мой? – закартавил наследник. – Что... что... с ним? – Он заплакал, стыдливо прикрывая лицо рукавом голубого, накинутого на плечи кафтана.

Чувствительный Панин со всей нежностью обнял наследника, поцеловал его в непричесанную голову и, выхватив кружевной платок, стал бережно вытирать увлажненные слезами глаза и ланиты мальчика.

– Бодритесь, ваше высочество. На вас верные войска и ваш верноподданный народ взирают.

Процессия с Екатериной, выехав с Садовой, двигалась среди толпиц по Невской перспективе. Вдруг показались на рысях стройные эскадроны конногвардейского полка. С неистовыми криками «ура» они тоже присоединились к Екатерине. Окруженная со всех сторон гвардейскими полками процессия остановилась у Казанского собора^[22]. Загудел-залился малиновый трезвон колоколов. После краткого в соборе молебна с многолетием «самодержице Екатерине II и наследнику цесаревичу Павлу Петровичу» императрица вступила в Зимний дворец. Было около десяти часов утра.

Глава XV

Переполох. Екатерина оседлала коня и Россию. Кронштадт зарядил пушки картечью

1

А в одиннадцать часов кончался обычный высочайший развод голштинским войскам. При появлении Елизаветы Романовны голштинские знамена склонились, как перед императрицей. Петр просиял, поздравил войска с чаркой водки.

После развода были поданы кареты, коляски, линейки.

Царь пригласил гостей ехать в Петергоф, чтоб накануне Петрова дня присутствовать при большом обеде в Монплезире у ее величества императрицы, а вечером принести государю поздравление с наступающим днем ангела и быть за ужиным столом.

В парадной открытой коляске Петр поместился вместе с Елизаветой Воронцовой, прусским министром Гольцом и тремя молодыми дамами. Елизавета Воронцова со звездой на красной муаровой через плечо ленте – орден св. Екатерины. Все сопровождающие Петра вельможи и сам Петр ехали запросто, без особых регалий, Елизавета же напялила на себя ленту с единственной целью унижить соперницу свою – императрицу.

Коляску государя конвоировал блестящий отряд гусаров. Экипажи один за другим катили по дороге, гладкой и влажной от недавно пробрызнувшего дождика. Прусский министр Гольц был сегодня не в духе. Да и вообще вся эта большая канитель при дворе маленького императора не предвещала ничего хорошего ни карьере Гольца, ни его родине.

– Вы знаете, господин министр, – начал Петр, – к чему может присниться жареная курица? Я видел сегодня сон.

– Курица не знаю, – ответил Гольц, сидевший против государя, – а жареный, поющий ку-ку-ре-ку петух всегда снится к отменной выпивке, ваше величество.

Дамы рассмеялись. Царь сказал:

– Вы правы, господин министр. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Мои пиротехники устроят нам блистательный фейерверк. Я приказал отпустить сто двадцать пудов пороха. Ночью катанье на иллюминированных шлюпках. Я прикажу подать в Петергоф весь флот. – Он стал гримасничать, кривляться, царственной рукой благосклонно коснулся коленки графини Брюс и сказал: – На вас, графиня, ораниенбаумский воздух действует великолепно: ваши щечки стали алеть, и, когда вы улыбаетесь, на них появляются восхитительные ямочки.

Красивая графиня смутилась, чрез румяна и пудру сразу выступил натуральный румянец, засмеялась в нос, заглянула в серебряное зеркальце.

– Ах, ваше величество, не смущайте свою пленницу, – нараспев сказала она, обнажая в улыбке белизну зубов.

– Пленницу? – с хохотом вскрикнул Петр и подтолкнул Елизавету Воронцову. – Слышала, Романовна?

Но милая графиня, пока ваше сердце не завоевано мною, не считайте себя моей пленницей.

– Пред вооруженной силой вашего величества падают не только женские сердца, но даже крепости, – не то льстиво, не то желая обидеть Петра, принудившего ее быть при нем, а не при Екатерине, сказала графиня Брюс и потупила взор.

– За иную обладательницу сердца можно отдать все крепости мира, а в придачу и самую жизнь, – возразил Петр.

– Жизнь владык, ваше величество, увы, принадлежит не им самим, а их подданным, – лукаво заметил Гольц, и в глазах его сверкнули злые огоньки. Фраза явно двусмысленна: и лесть и издевательское застрашивание.

– Ха-ха! Очень хорошо вами, Гольц, сказано: когда жареный петух запоеет ку-ку-ре-ку... Господа, давайте запоем все курицами... Кудях-тах-тах! – замахал он руками, как клуша крыльями, и потешно стал ужиматься и гримасничать (кучер покосился через плечо на дурашливого императора и ухмыльнулся в бородищу). – Ну, пойте, пойте же! Медам, господин министр...

Гольц, поддерживая свое достоинство, опять кольнул царя, к которому относился с плохо скрываемым презрением:

– Мой государь Фридрих, узнав, что я пою курицей, боюсь, выразит мне свое неудовольствие.

Царь заморгал правым глазом и резко сказал:

– Если он *ваш* государь, то он *мой* друг! И я сумею защитить вас пред его величеством. Кроме того, смею думать, что против орла вы – курица (Гольц сидел как раз против государя).

Проглотив пилюлю, немец приложил руку к сердцу и почтительно поклонился императору.

...Меж тем в Петергофе поднялся переполох: дворцовому коменданту доложили, что исчезла государыня с камер-фрейлиной, лакеем и парикмахером Мишелем. Обшарили весь парк, беседки, все углы. Пьяненький солдат показал, что когда он, возвращаясь поутру из трактира, перелезал через забор, то видел, как выходили из парка две женщины, а кто такие – не приметил.

Останавливали редких проезжих из Петербурга, но они решительно ничего не знали, да и дорога опустела: экстренным приказом Никиты Панина – по всем дорогам устроены заставы, выезд из Петербурга прекращен.

В это время прискакал в Петергоф генерал-адъютант Гудович. Узнав, в чем дело, он пришпорил коня и повернул обратно. Экипаж Петра был в полуверсте от Петергофа. Гудович, подъехав к царю, проговорил:

– Ваше величество, соизвольте остановить коляску.

– Что за глупость! Почему? – крикнул Петр.

Гудович, спрыгнув с коня, стал шептать Петру на ухо. Тот побледнел, сказал гостям:

– Пустите меня вон, – затем отошел с Гудовичем в сторону, раздражительно выпрашивал его, крикнул: – Этого не может быть, не может быть! Она не могла послушаться моего повеления ждать меня сегодня... Романовна и вы, господа, – обратился он к гостям, – прогуляйтесь до дворца пешком, тут близко, – вскочил в коляску и во весь дух помчался ко дворцу.

Оставшиеся недоуменно пожимали плечами. Елизавета Романовна, предчувствуя что-то недоброе, начала похныкивать. Все шли молча.

Петр с Гудовичем обшарили весь большой дворец и Монплеизир. Петр, дав поблажку своей ярости, сошвырнул с кресла бальное платье Екатерины, поддел его ногой. Грохнул об пол вазу с земляникой,

хрустальный лебедь – вдребезги. В спальне беспорядок, кровать прикрыта кое-как, рассыпана пудра, пролита вода. Петр, скрипя зубами, пошарил тростью под кроватью, заглянул в шкафы. Весь опустошенный гневом, выбежал на воздух и, переводя сердитое дыхание, крикнул подоспевшим Романовне и дамам:

– Ну, не говорил ли я, что она способна на все!

Тут подволокли к Петру пойманного на дороге плюгавенького подвыпившего мужичонку. Козлобородый, оборванный, со слюнявым ртом, повалился Петру в ноги. От него изрядно несло сивухой и чесноком. Петр брезгливо подернул носом и отступил на шаг. Мужик забормотал:

– Вот меня сгребли, а за что сгребли, не ведаю. А выехал я к куму в гости, кум в Раибове [\[23\]](#) служит, конюшни твоей милости царские чистит. Завтра Петры-Павлы, завтра именинник он, кум-то мой... А солдаты на заставе не пускают: «Куды прешь, не велено!..» Я упросил, укланял. А ты, светлый царь-государь, не печалуйся, жива-целехонька царица-то, в Питере она. И в Питере, слава-то Христу, все благополучно. Солдатни стоит возле Казанской церкви видимо-невидимо, «ура» кричат.

Петр позеленел, бросил в него перчаткой:

– Дурак! Арестовать его!.. Мушик... Вонючая скотина... В палки его!.. Заковать!.. Сослать в Сибирь! – Петр гримасничал, бегал взад-вперед по дорожке, дергал головой.

– Ваше величество, – пред царем вытянулся в струнку высокий, опрятно одетый в простую чуйку человек и, встав на колени, подал Петру записку: – От его высочества принца Голштинского Георга... Я его переряженный слуга, зипун надел.

Петр схватил записку, быстро пробежал ее, закрыл глаза и покачнулся. Овладев собой, упавшим голосом проговорил:

– Послушайте, послушайте, что пишет мой Жорж...

Миних, Гудович, Трубецкой, принц Петр Голштейн-Бекский, все общество посунулось к опечаленному императору, окружило его. Он, задыхаясь, тихо прочел:

«Гвардейские полки взбунтовались: императрица впереди, бьет девять часов, она идет в Казанскую церковь; кажется, весь народ вовлечен в это движение. И где ж твои подданные? Где верные войска? Тороплюсь писать. Опасаюсь сам лишиться жизни. Поспешай...»

– Ну, вот теперь видите, господа, что я был прав. Она низкая дрянь...

Пораженные этой грозной новостью, все опустили головы. Все верили в успех Екатерины. Всем угрожали немилости нового царствования, опала. Елизавета Романовна поднесла к лицу платок. У тучного Трубецкого начались неполадки с животом, он надолго куда-то скрылся. У принца Петра стала неметь и плохо слушаться левая нога.

Утомленный, обескураженный Петр пошел с Гольцем, Романом Воронцовым, Волковым, Гудовичем и Нарышкиным в нижний сад, к каналу. Остальные гости бродили, как тени, возле дворца, сидели на решетке, обдумывали в молчании, как бы лучше ускользнуть в лагерь Екатерины. Ни солнечный день, ни пенье птиц не радовали их.

На Петра сыпались умные и глупые советы. Гольц предлагал немедленно бежать в Нарву, к войскам, идущим в действующую армию. Волков считал необходимым с небольшой свитой явиться государю лично в Петербург.

– Вы, ваше величество, укажете войскам и народу на свои священные права, на свое высокое происхождение – вы внук великого Петра, расспросите народ о нуждах, дадите милостивое обещание...

Кто-то предлагал бежать прямо в Голштинию. Униженный пред своими подданными,

нерешительный, раздавленный событиями, Петр отвергал советы, либо соглашался с ними и снова отвергал.

2

Екатерина в это время торжественно восседала в тронном зале Зимнего дворца. Присягали Сенат, Синод, члены высших государственных учреждений, генералы, офицеры.

Двадцать тысяч войск всех видов оружия стояли в боевом порядке возле дворца, охраняя государыню. Они тоже все были приведены к присяге. Двери дворца – настежь, входил, кто хотел, всякому лестно взглянуть на царицу, поцеловать ей руку. Опьяненная дурманом власти, она всем улыбалась, говорила ласковые слова, всех благодарила. И без того румяные щеки ее горели. Чрезмерно взволнованная, как бы приподнятая над жизнью напором необычайных событий, она до краев преисполнена была высшей патетикой, кровь в ней бурлила, мозг горел, потерявшие сон глаза метали лихорадочные искры. Все преклонялись пред ней. Она чувствовала себя обожествленной, кружилась голова, захватывало дух, словно на неокрепших еще крыльях она совершала опасный полет над пропастью.

Панин примчал из Казанского собора малолетнего цесаревича Павла Петровича, одетого небрежно, наспех. Екатерина с балкона показала его войскам и публике.

Всматриваясь с балкона в несметные полчища солдат и любопытной толпы, швырявшей вверх шапки, вслушиваясь в неистово-радостный рев десятков тысяч глоток, она вдруг, со всей наивностью, поверила в истинную любовь к себе народа. Окруженная генералитетом, взволнованная до последней кровинки и вся сияющая, она возвращается под неумолчный рев толпы обратно в тронный зал и, еле сдерживая счастливые слезы, шепчет Панину:

– Слышите, Никита Иваныч? Это вам не дворцовый переворот, когда Елизавету посадила на престол какая-то рота лейбкомпанцев. Слышите? Меня венчает на царство народ...

Бывалый царедворец иронически подумал: «Этот же самый народ умеет и по-иному покричать, от этого крика может и не поздоровиться». Но, соблюдая торжественность минуты и гордо вышагивая рядом с самодержицей, он громко молвил:

– Все предвещает, государыня, счастливейший путь вашего царствования.

Всюду разъезжали герольды, красавцы-всадники с перьями на шляпах, раздавали манифесты о восшествии на престол Екатерины. Люди с жадностью набрасывались на свежепечатные листы, но ничего не могли понять. А где же император Петр? Жив или помер? Почто про него в манифесте ни слова, ни полслова?

Меж тем по городу еще с утра ходили кем-то распускаемые слухи, что император упал с лошади и разбился насмерть.

3

Петр все еще бодрился. Он петухом шагал на негнущихся ногах взад-вперед возле цветочной клумбы пышного петергофского парка, выборматывал никому не страшные угрозы, гневно сшибал тросточкой цветы. Из толпы генералов выдвинулся канцлер М. Л. Воронцов.

– Разрешите мне, государь, поехать в Петербург. Я имею силу над умами народа и императрицы. Я пушу в ход все свое красноречие, весь свой авторитет, я урезоню императрицу, указав ей на всю неблагоприятность ее поступка.

– Пожалуйста, граф. И тотчас возвращайтесь ко мне.

– Сочту священным долгом, государь.

– И передайте ей, что она будет повешена, как крыса! – Он обнял Воронцова, и карета с гербом унесла канцлера в столицу.

А вслед за ним были посланы уже самим Петром князь Трубецкой и граф Шувалов с повелением удерживать гвардию в повиновении. Царь сказал им, что, если они сумеют поразить узурпаторшу кинжалом, имена их будут для него незабвенны.

– Гудович! Потрудитесь тотчас составить приказ верным моим голштинцам. Без промедления чтоб спешили из Ораниенбаума сюда со всей артиллерией...

Он вдруг стал бегать, подобно помешанному, часто просил пить, кричал: «Стол, два стола, бумаги!» Диктовал приказы: гусарам ездить по всем дорогам к Петербургу, сгонять сюда из соседних деревень крестьян с топорами и лопатами, задерживать проходящие полки, привлекать их к Петергофу обещанием от государя милостей.

В Кронштадт был послан полковник Неелов с указом переправить в Петергоф три тысячи солдат с боевыми патронами.

Угнетенное состояние Петра сменилось вспышкой суетливой деятельности. Он поискал Гольца взглядом, прусского министра близко не было. Тогда он сбросил с себя прусский мундир с прусской лентой и велел лакеям облечь его в мундир русский и возложить все знаки отличия Российской империи.

Придворные и четыре писца переписывали именные указы, царь подписывал их на ходу, где-нибудь на парапете шлюза. Гусары развозили их. Но в его противоречивых повелениях не было ни логики, ни зрелой мысли. Впрочем, указы Петра теперь никому не нужны, их никто не будет читать.

– Пить, пить! – требовал он.

Ему принесли воду, наливку, пиво, но пил он только московский, с изюмом, квас, не касаясь до хмельного. Он принялся сам строчить безграмотные, на русском языке, манифесты, преисполненные ругательствами по адресу Екатерины. Писал, разрывал их на части и, наконец, засадил писать тайного секретаря Д. В. Волкова. А сам, встав в позу, грозно указывая на петергофские высоты, закричал так пронзительно, что все вскочили:

– Рыть в зверинце траншеи!.. Редуты!.. Ставить пушки... Труссы! Я сам буду командовать. Я засыплю картечью, ядрами всех ее проклятых янычаров вместе с ней. Я всем им устрою здесь хорошую могилу!..

– Государь, – твердой походкой приблизился к нему по кленовой аллее престарелый Миних. Он лелеял тайную мечту, что пришло время снова ему выдвинуться в первые ряды вельмож и снова стать, как при царице Анне, обладателем власти. – Государь, больше спокойствия, и – престол ваш будет спасен.

Опустошенный Петр вперил большие, детски-наивные глаза в сурового старика, опустил по швам обессиленные руки.

Крупный, крепкий Миних, хмуря брови, взял хилого Петра под руку и повел по кленовой аллее прочь от людей.

Многие из оставшихся вельмож стали подумывать о бегстве в лагерь государыни, положение всех их было очень незавидное.

– Слушайте меня, великий государь, внимательно, – каким-то лающим, с удушьем, голосом начал Миних. – Чрез несколько часов ваша супруга может оказаться здесь с двадцатитысячным войском и сильной артиллерией... (Петр боднул головой, захлопал глазами.) Поверьте мне, старому вояке, что ни Петергоф, где мы находимся, ни окрестности не могут против превосходных сил удержаться более двадцати минут. А я знаю скотство русского солдата: ваше слабое сопротивление кончится тем, что озлобленные солдаты убьют вас, а окружающих ваше величество тоже убьют!

Петр резко отстранился от Миниха, задергал головой, заморгал правым глазом и сердито прошептал:

– Что вы говорите, фельдмаршал... Я не узнаю вас.

Фельдмаршал пожал плечами, в его строгих, под нависшими бровями, глазах – едва уловимые искры презрения. Несколько мгновений смотрели друг другу в лицо. Широко открытые глаза Петра вдруг испугались.

– Так что же нам делать, фельдмаршал? – растерянно спросил он.

Миних вновь взял его под руку, опять повел в глубь кленовой аллеи.

– Прежде всего, мой государь, спокойствие духа. Вы ж закаленный воин, вы ж друг великого Фридриха.

– О да! – не поняв насмешки, напыщенно воскликнул Петр, выпятил, как индюк, грудь и проткнул тростью воздух. – Дальше, фельдмаршал...

– Спасение ваше, государь, в Кронштадте: там снаряженный флот и верный гарнизон. Счастье переменчиво. Лишь бы выиграть один день. И все это ночное бунтарство в столице само собой иссякнет. А ежели б и продолжалось оно, то на вашей стороне, государь, будут грозные силы, которые могут заставить трепетать восставший Петербург... Тр-ре-петать! – с треском произнес Миних и погрозил в сторону столицы.

Петр вырвался от Миниха, как с привязи щенка, и, помахивая тросточкой, помчался к толпе придворных с криком:

– Господа, мы спасены!

В Кронштадт немедленно отплыл на шлюпке генерал голштинского отряда Девьер и князь Иван Сергеевич Барятинский с высочайшим повелением приготовить крепость к принятию государя. А первый приказ о присылке в Петергоф военной силы в три тысячи штыков – отменить.

Из Ораниенбаума подошли тем временем с развернутыми знаменами голштинские войска и небольшие русские части. Одушевленный их приходом и советами фельдмаршала, Петр впал в воинственное настроение. Велел привести отряд в боевой порядок, а свите запальчиво сказал:

– Мне не подобает бежать, не сразившись с неприятелем. И вы все трусы, трусы! И Миних трус.

Приказал войскам занимать высоты в зверинце, рыть окопы, выставить все пушки. От Петра утаили, что у артиллерии ядер очень мало, а картечи вовсе нет. Общее командование голштинским отрядом и

русскими частями Петр поручил своему любимцу генерал-майору Измайлову.

– Михайло Львович, я тебя почитаю своим другом. Будешь ли верен мне?

– Буду, государь.

– Клянешься ли?

– Клянусь!..

Было четыре часа дня.

4

В этот час у Зимнего дворца начался маскарад с переодеванием: каптенармусы привезли в особых фурах старые елизаветинские мундиры; солдаты срывали с себя ненавистную прусскую форму, бросали каски, облачались в прежнее обмундирование.

Выйдя из Зимнего еще недостроенного дворца, чтоб перебраться в Елизаветинский, что у Полицейского моста, Екатерина не узнала своих переодевшихся войск, так же шумно приветствовавших ее.

В Елизаветинском дворце состоялось совещание генералитета: как быть с низложенным Петром и вообще что делать дальше? И опять спешно строчились указы, приказы, именные повеления, опять летели во все стороны гонцы.

Никита Иванович Панин предостерег:

– Нам страшней всего Кронштадт.

Императрица тотчас собственноручно написала коротенький указ на имя адмирала Талызина, бывшего на совещании:

Талызин поспешил сесть в простую шлюпку и тайно выехал в Кронштадт. Но туда, как сказано, еще ранее направился посол Петра, генерал Девьер. Предстояла встреча двух врагов. Кто кого пересилит, перехитрит, за тем останется и Кронштадт.

Деликатный вопрос о личной судьбе Петра III разрешился быстро. Понюхав табачку из золотой табакерки государыни, Панин начал:

– Понеже двум государям один престол занимать невместно...

– Бывшего императора арестовать, – смело закончила его мысль Екатерина.

Генерал-майор Савин получил повеление немедленно отправиться в Шлиссельбург, чтобы приготовить приличное помещение Петру. Было указано на тот самый дом, который строил Петр для заточения Екатерины.

А войска все подходили и подходили из окрестностей столицы и примыкали к восставшим, выстраиваясь вдоль Мойки и по Морским улицам.

Наконец из Ораниенбаума прибыл к Екатерине канцлер, граф М. Л. Воронцов. Через набитые людьми дворцовые залы он едва протиснулся до кабинета, где с лихорадочным жаром шло заседание.

– Ваше величество, – взволнованно обратился он к Екатерине. – Я как верноподданный своего государя и присягнувший ему...

– Знаю, – прервала его Екатерина, прищутив глаза и загадочно улыбаясь, – вы прибыли с поручением бывшего императора доказать мне незаконность моего поступка или убить меня... (Воронцов изумленно развел руками и отступил на шаг.) Но, милый граф... – Екатерина встала, взяла канцлера под руку, подвела к окну. – Взгляните на это людское море, на лес штыков и – поймите меня. Не я действую: я повинуюсь желанию народа.

В ее взгляде сквозили усмешка и презрение к раздавленному недругу. Голова канцлера кружилась, сердце изнемогало, мысль кричала: «Выбирай скорей, решай, решай: смерть или измена».

После мучительных колебаний канцлер Воронцов, как и прибывшие вслед за ним Шувалов с Трубецким, беспрекословно присягнули ей и к ожидавшему их Петру не возвратились.

И вообще к императору не возвратился ни один его гонец. Это Петра удручало, бесило. В семь часов вечера он наскоро, по-лагерному, пообедал: на скамейку, где он сидел, поставили жаркое, бутерброды, бургундское, шампанское. Предчувствуя, что скоро все оставят его, царь с горя много пил и порядочно-таки опьянел, но бодрость духа уже навсегда покинула его.

Меж тем деятельность Екатерины с каждым часом возрастала.

Екатерина с царедворцами ясно видела, что Петр в свою защиту ничего предпринять не в состоянии. Не теряя времени, она сбросила с себя маску куклы, повинующейся «желанию народа», и нанесла последний удар своему немощному супругу.

Около десяти часов вечера размашистым, но твердым почерком она написала Сенату краткий указ:

Охваченная воинственным пылом, уверенная в окончательной победе и полном торжестве своем, она вся преобразилась: глаза ее светились силой, мужеством, голос звенел властно, жесты стали повелительны, весь лик надменен и дерзок.

Царедворцы вдруг почувствовали, что имеют дело с женщиной сильного ума и не менее сильной воли. Многие сразу принизили себя, потеряв даже тень собственного достоинства. Многие, рабски согнув спины, обратились в лстивых лисиц: они уже помахивали хвостами, заранее пуская слюни, облизываясь на вкусные куски, которые вот-вот бросит им, своим рабишкам, всемиловейшая рука великой повелительницы.

Маскарад продолжался, все катилось, как по маслу. Екатерина облеклась в форму лейб-гвардии Семеновского полка, надела андреевскую через плечо ленту. Будучи искусной наездницей, молодцевато вскочила она на заседланного белоснежного коня и, обнажив шпагу, проехала перед гвардией. И снова бешеный рев войск и огромной толпы зевак, звучная музыка. Полетели вверх шапки. Екатерина обратился к сопровождавшему ее генералитету:

– Этот энтузиазм народа и войск напоминает мне энтузиазм времен Кромвеля.

Когда все смолкло, она, проехав по рядам войск, объявила себя полковником гвардии и мановением руки приказала полкам выступить в Петергоф. Гвардия двинулась повзводно, церемониальным маршем, с музыкой. Но раньше гвардии ушла еще в восемь часов вечера легкая кавалерия – гусары и казаки, предводимые поручиком Алексеем Орловым. За легкой кавалерией двигалась артиллерия с несколькими полевыми полками. А в арьергарде, под водительством самой Екатерины – гвардия.

Рядом с большой Екатериной тряслась Екатерина малая, тоже на коне и тоже в гвардейском мундире. Обе женщины весело болтали. Сзади в свите – два фельдмаршала – Бутурлин с Трубецким, гетман Разумовский, князь Волконский, граф Шувалов и другие.

5

И наконец-то... – слава Богу, слава Богу! – по сизой морской зыби быстро скользит к Петергофу шлюпка. Все бросились на берег. Флигель-адъютант Петра, князь Иван Сергеевич Барятинский, светлый гонец из Кронштадта, привозит Петру от генерала голштинца Девьера весть: «Кронштадт готов встретить своего императора и постоять за него до последней капли крови».

Всех вдруг обуяла радость... Велик Бог земли русской! – значит, еще не все потеряно.

– Не я ли говорил, великий государь, что спасение ваше в Кронштадте, – с бодростью, но подобострастно воскликнул Миних, окидывая воодушевившихся гостей пронизательным взглядом.

Все столпились возле монарха. Он порывисто обнял Миниха, обнял счастливого князя Барятинского. На подвижном лице Петра снова насмешливая улыбка, он опять стал шутить, гримасничать, было пустился играть в догоняшки с двенадцатилетней принцессой Голштинской, но прусский министр Гольц сказал:

– Надо немедленно отплыть в крепость!

– В Кронштадт, в Кронштадт... Немедля! – воскликнул царь.

Однако сразу этого сделать нельзя – нужно украсить галеру коврами, драгоценными вазами с букетами цветов, а на яхту перенести кухню с винами: ведь плавание будет совершать не кто-нибудь, а высочайшая особа императора.

Обнадеженный и обольщенный верностью флота и крепостного гарнизона, Петр приказал: «Голштинским войскам идти обратно в Ораниенбаум, оставаться там спокойными».

Вдруг примчались на взмыленных конях два гусара. Они кричали, что казаки с артиллерией движутся от столицы к Петергофу. И тут уж не до цветов с коврами: Петр и гости, не раздумывая, бросились к морю.

В одиннадцать часов ночи оба судна при хорошем попутном ветре вышли в Кронштадт. Вместе с Петром и Елизаветой Воронцовой в галере было двадцать девять человек придворной знати, да на яхте вместе с Гольцем восемнадцать человек, да придворная прислуга в трюме.

Итак, суда быстро скользят к твердыням грозного Кронштадта, спасение близко, – слава Богу, слава Богу! – белая ночь благоухает морской влагой и всех бодрит.

– Шампанского! – повелевает Петр.

Возле входа в гавань императорская галера и яхта отдают якорь. Вход в гавань закрыт боном. Петр садится со свитой в шлюпку, подъезжает к бону, громко приказывает:

– Слушай команду!.. Отдать бон!..

Мичман Кожухин, дежуривший на бастионе, кричит в трубку:

– Ретируйтесь в море! В Кронштадт пропуску нет!

Петр вспылil: «Дурак! Р-ракаля!» – и задергал шеей. Но тут же вспомнил, генерал Девьер доносил ему чрез князя Барятинского, что по Кронштадту дано распоряжение никого в крепость не впускать, что Кронштадт верен императору и готов к его защите. Значит, караульный – молодец, он действует по закону и, как только узнает, что говорит с ним сам император, немедленно впустит его.

Петр вскочил на скамейку шлюпки, сбросил плащ и, выставив напоказ андреевскую чрез плечо ленту, резким голосом приказал:

– Караульный, всмотрись!.. Перед тобой сам император Петр!..

– У нас больше нет императора Петра! – дерзко отвечал в трубу мичман Кожухин. – У нас императрица Екатерина. Ретируйтесь прочь!

Кровь бросилась Петру в голову, зазвенело в ушах, похолодело сердце.

– Что это значит, князь? – дергаясь, закричал он сиплым голосом на Бярятинского (у молодого флигель-адъютанта душа ушла в пятки). – Извольте повторить, что вам сказал мой Девьер!

– Генерал Девьер приказал доложить вашему величеству, что Кронштадт готов встретить своего императора и постоять за него до последнего издыхания.

– Так в чем же дело?

Но Бярятинский и сам не понимал, что тут происходит.

А вышло очень просто. Лишь только князь Бярятинский с радостным известием выбрался на шлюпке из Кронштадта в Петергоф, как в Кронштадт в девять часов вечера благополучно прибыл посланный Екатериной адмирал Талызин. Он там искусно и быстро склонил на сторону Екатерины коменданта Нуммерса, арестовал подосланного Петром голштинского генерала Девьера и привел матросов с солдатами к присяге императрице.

А мичман Кожухин все громче, все настойчивей кричал с бастиона в рупор:

– Ретируйтесь прочь! Иначе прикажу стрелять!

– Изменник!!! Арестовать, арестовать! – вне себя орал обезумевший царь, он весь содрогался, свирепо топал, тяжело дышал, все в его глазах темнело, качался берег с бастионами. Его подхватили под руки.

В Кронштадте бьют тревогу. Видно, как на бастионы бегут к пушкам солдаты. Тревога подымается и на всех судах флота. Пушкарки и группы солдат ожесточенно орут с бастиона:

– Галеры прочь! Галеры прочь!.. Наводи пушки!..

Яхта и галера впопыхах рубят причальные канаты и на веслах спешно уходят в море.

Ошеломленный Петр, собрав последние силы, приказывает галере плыть в Ораниенбаум, яхте – в Петергоф.

Неожиданное вероломство верного императору Кронштадта потрясло Петра.

От огромной Российской империи и его неограниченной власти остались теперь два судна, Ораниенбаум да голштинский плохо вооруженный сброд.

Петр изнемогал. Мертвенно-бледный, дрожащий, он едва сошел в каюту, свалился на диван и, застонав, впал в беспамятство. Рыдающая Елизавета Воронцова поспешила к нему. Был час ночи.

Глава XVI

Трагедия окончена

1

А в пять часов утра возле «Красного кабачка», в лагере Екатерины, отдан был разбуженным войскам приказ – готовиться к дальнейшему походу в Петергоф.

«Красный кабачок» – грязный трактир, излюбленное место извозчиков. Екатерина, не раздеваясь, легла отдохнуть в неопрятную постель с клопами. Клопы с особым удовольствием и совершенно безнаказанно впервые вкушали царской крови. Екатерина сладко похрапывала. И в шесть утра она уже опять в седле, впереди войск.

Сведений, где Петр, что с ним, к ней до сих пор не поступало. И только возле Сергиевской пустыни все разъяснилось: князь Голицын привез из Ораниенбаума Екатерине собственноручное письмо Петра, в котором он сознавался в своей неправоте по отношению к императрице, клялся впредь исправиться, предлагал вечный с нею мир и совместное царствование.

Екатерина, прочтя, жестко ухмыльнулась. Князь Голицын тут же присягнул ей. Письмо осталось без ответа.

Вскоре Екатерина полновластно вошла в тот самый Монплеизир, из которого сутки тому назад, крадучись, убежала.

В полдень она получила второе письмо бывшего царя, доставленное ей генералом Измайловым. Печальный Петр просил прощения, соглашался отречься от престола, умолял отпустить его в Голштинию вместе с генералом Гудовичем и фрейлиной Е. Р. Воронцовой. Екатерина с сугубым вниманием читала это письмо. Она отчетливо понимала, что Петра ни в коем разе нельзя выпускать из пределов России. Петр должен быть арестован. Однако без кровопролития сделать это трудно: Петр все же окружен тремя тысячами преданных ему голштинцев, а Екатерина вовсе не желает запятнать эпизод переворота кровью; она боится суда истории, нелестного мнения потомков.

Н. И. Панин совместно с генералитетом тщетно ломали головы, как без жестокого побоища схватить царя: на сей раз вдохновение их не осеняло. Спасибо, помог близкий друг царя генерал Измайлов, привезший от Петра письмо и Петру коварно изменивший. Он предложил Екатерине свои услуги исполнить деликатную и тяжелую миссию привести в Петергоф бывшего царька живьем. Екатерина «всемилодивейше» согласилась.

Панин вместе с Екатериной составили акт об отречении. Петр должен был собственноручно переписать его и подписать:

«В краткое время правительства моего самодержавного Российским государством самым делом узнал я тягость и бремя, силам моим несогласное, чтоб мне не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительства владеть Российским государством. Почему и восчувствовал я внутреннюю оною перемену, наклоняющуюся к падению его целости и к приобретению себе вечного чрез то бесславия. Того ради, помыслив я сам в себе, беспристрастно и непринужденно чрез сие объявляю не токмо всему Российскому государству, но и целому свету торжественно, что я от правительства Российским государством на весь век мой отрицаюсь... в чем клятву мою чистосердечно пред Богом и всецелым светом

приношу нелицемерно, все сие отрицание написав моею собственной рукой. Июня 29 дня, 1762 года».

2

Измайлов вернулся в Ораниенбаум вместе с Григорием Орловым и князем Голицыным. Переговоры генерал Измайлов вел с Петром с глазу на глаз в аудиенц-зале. Петр казался еще более, чем обычно, слабым и подавленным. Сегодня 29 июня, день тезоименитства императора.

– Позвольте поздравить вас, государь, с днем вашего ангела, – как ни в чем не бывало начал друг Петра, генерал Измайлов. Такое неуместное приветствие прозвучало как издевательство.

Петр кивнул головой, его шея обмотана белым платком – торчала вата, – голос был хрипл, видимо, он простудился вчерашней ночью на море.

– Есть ли ответ от императрицы? – не глядя на генерала, выкрикнул Петр.

– Есть, ваше величество, – и, придав лицу маску скорби, вероломный генерал Измайлов вручил бывшему царю акт отречения и маленькую записочку царицы.

Петр вялыми после бессонницы глазами просмотрел акт, стукнул в стол перстнем и надорвал бумагу.

– Не хочу!.. Что они там затевают? Сейчас же еду в армию, в Пруссию, в Голштинию... Я пойду на подлую узурпаторшу войной... Молчать, молчать! И где твоя, Измайлов, клятва?! – выкрикивал он простуженным голосом, хватаясь то за шею, то за шпагу. – Всюду предатели!

– Войска ее величества в двух часах отсюда, – спокойно сказал Измайлов. – Сводный казачий отряд под начальством Алексея Орлова уже окружает Ораниенбаум. А ее величество государыня императрица повелевает немедля быть вам в Петергофе. И я, как верный раб ваш, дружески советую вам, государь, исполнить высочайшее повеление, – с нескрываемым ехидством закончил Измайлов.

Петр заскрежетал зубами, сверкнул на изменника взглядом презрения, приоткрыл дверь, крикнул: «Трубку!..» – стал дымить, стал быстро шагать по комнате. В глазах туман. Он чувствовал, что ему приходится играть теперь не с оловянными солдатиками, а сойтись грудью в грудь с живыми богатырями. Он дрожал от унижения и бессильной злобы, его ум мешался, кровь леденела. Выбежав в соседний танцевальный зал, он кричал там среди пустых стен: «Молчать, молчать!» Опять вернулся, стиснул обеими руками голову, несколько мгновений стоял с закрытыми глазами, как бы в столбняке, потом, застонав, подбежал к овальному столу и судорожно схватил лист свежей бумаги, подсунутый ему Измайловым.

Вскоре генерал Измайлов вынес Григорию Орлову и князю Голицыну собственноручный акт Петра об отречении. Те на полном карьере поскакали в Петергоф.

Измайлов, успев при помощи казаков разоружить трехтысячный отряд голштинцев, торопил Петра с отъездом. Провожать царя вышла вся прислуга. Хныкали, целовали его руки, шептали потихоньку от Измайлова:

– Батюшка наш... Схоронись куда-нибудь, лошади твои заседланы, беги в Голштинию... А то она прикажет... убить тебя.

Петр обнял плачущего Нарциса, сказал:

– Дети мои, теперь мы ничего не значим...

Через полчаса отъехала от дворца печальная карета, в ней печальный Петр, Елизавета Воронцова, Гудович и – торжествующий Измайлов. Вдруг залаяла, жутко завывала во дворе многочисленная псарня, как бы прощаясь с арестованным хозяином. Петр зажал уши ладонями, сморщился, закрыл глаза, по щекам его катились слезы. За оградой зеленого парка карету окружил екатерининский отряд гусаров. В отряде

гарцевал на вороном жеребце рослый и ловкий молодой красавец, капрал Григорий Потемкин.

Петру отвели в Петергофе павильон. С «султанши» тотчас сорвали екатерининскую ленту со звездой. Дежурному офицеру Петр сам вручил свою шпагу. С пленника сняли андреевскую ленту и преображенский мундир. Он остался босиком, в одной рубахе, в подштанниках, растоптанный, жалкий. От сильного волнения он не мог произнести ни слова.

Спустя время зашел в расшитом кафтане сенатор Никита Панин – властный, сияющий, с гордо откинутой головой. Но когда он взглянул на бывшего своего повелителя, полулежавшего в кресле, одетого в простой помятый халат, с компрессом на голове, Панин душевно ослабел.

– Никита Иваныч! Только вы один, нелицемерный благодетель мой, можете защитить нас... – в порыве горести прокричал Петр, угловато встал и, запахнув беспоясный халат, расслабленно подошел к Панину. – Я ничего не ищу, ничего не требую, – заговорил он торопливо по-французски. – Передайте государыне... Я прошу только не разлучать меня с Романовной... Да, да... С Романовной... Он ловил надушенные руки растерявшегося вельможи и вдруг громко зарыдал.

Холеное лицо Панина выразило произвольную брезгливость и жестокое страдание: такой мучительной минуты он не испытывал во всю свою жизнь. «Да я палач, невольный палач, – с содроганием подумал он и про себя взмолился: – Господи, прости меня».

– Успокойтесь, успокойтесь, – крайне смущенно твердил он вслух, стараясь хоть как-нибудь подбодрить свою «жертву».

Но Петр, мотая головой и ничего не видя, продолжал громко, взхлеб рыдать.

А Елизавета Романовна, стоя на коленях возле Панина, причитала:

– Никита Иваныч, Никита Иваныч! Вы такой великодушный... Умоляю вас...

Весь внутренне растерзанный, с гримасой неизъяснимой жалости, Панин пятился к двери. Петр с Елизаветой выкрикнули жалкие слова и, видя в Панине единственного своего спасителя, ползли за ним, отчаянно умоляя его о пощаде. Панин едва открыл дверь и, выпучив глаза, чуть не бегом поспешил во дворец, к императрице. Его мучило удушье, он дрожал.

Екатерина приказала: Петра немедленно отвезти в Ропшу и там держать без выпуска, а бывшую фрейлину, княгиню Елизавету Воронцову, выслать под караулом в Москву.

В четыре дня четырехместная карета с завешанными окнами, запряженная шестерней, выехала с Петром, под сильным конвоем гренадеров, в Ропшу. Начальство над конвоем было поручено Алексею Орлову, в помощь ему дали Пассека, Баскакова и князя Федора Барятинского. А бывшую «султаншу» в закрытом дормезе, в сопровождении двух солдат, отправили в Москву. Генерал Гудович был тоже арестован.

Переворот закончен. Екатерина возвещала:

«Божие благословение пред нами и всем отечеством нашим излилось, чрез сие я вам, господа сенаторы, объявляю, что она рука Божия почти и конец всему делу благословенный оказывает».

В тот же вечер двинулись из Петергофа в обратный поход все войска. А на другой день, под звон колоколов, под несмолкаемые оркестры военных трубачей и пушечные салюты Екатерина торжественно вступила в Петербург.

Было воскресенье. Солнце. Жара. Столица веселилась, бражничала. Все кабаки, трактиры, винные

погреб для солдат открыты настежь. Солдаты да и простолюдины напивались вином вдосыт и запасались хмельным впрок: и водку, и пиво, и виноградные вина сливали в одно место, в котелки, в ведра, в баклаги, а у кого не было под руками ничего – цедили в сапог.

Итак, Екатерина царствует. Вчерашний император Петр сидит под арестом в Ропшинском дворце. В пленках венчанный на царство бывший император Иван Антонович томится в Шлиссельбургской крепости.

Недаром престарелый фельдмаршал Миних восклицал позже среди друзей:

– Мне довелось, между прочим, присягать трем царственным особам: Иоанну Антоновичу, Петру Федоровичу и Екатерине. И все трое по сей день – живы. Случай во всемирной истории единственный... Шекспир, где ты?!

3

Ропшинский дворец построил Петр Великий и подарил своему любимому князю Ромодановскому, затем дворец был отписан в казну. Арестованный царек прибыл в Ропшу вечером 29 июня, в день своего ангела, и помещен был в спальне дворца. Он остался один, у дверей – часовой. Окна плотно завешаны зелеными гардинами. В комнате тюремный полумрак. Унылый Петр робко подошел к окну, отодвинул гардину. За окном – цветущий парк, и где-то за горизонтами – милая Голштиния.

– Прочь от окна! – закричал часовой от двери.

– Прочь от окна! – грубо закричали в парке гренадеры и, подбежав к окну, направили ружья в грудь Петра.

Их много за окном, весь дворец оцеплен ими, они ненавидят бывшего царя.

Опустив голову, Петр отошел в глубь комнаты.

– Задерни занавеску! – крикнул часовой.

Петр подошел, задернул.

– Ты не моги к окнам подходить, черт тонконогий. Не приказано. А нет – штыка отведаешь.

Каждым шагом, каждым движением вчерашнего повелителя всея России теперь грубо повелевал простой солдат.

На другой день, с утра, был при Петре, кроме часового, дежурный офицер. Петр попросился погулять в парк, офицер отказал.

Приехал Алексей Орлов. Большой, статный, он вошел к Петру с громыхающим бодрым хохотком.

– Ну, здравствуйте, Петр Федорыч! Как изволили почивать?

– Плохо. Господин офицер грубит, часовой из рук вон груб.

Гремя шпорами, Орлов подошел к солдату и дал ему по уху легкую затрещину. Петр закричал:

– Не этот!.. Другой... Тот сменился.

– Ничего, в задаток, – сказал Орлов.

Щека солдата покраснела, подбородок дрожал.

– Мне хочется в парк погулять, а вот офицер не велит.

– Это почему? – сказал Орлов. – Пойдемте, Петр Федорыч, пойдемте. – Орлов распахнул дверь на террасу, в солнечный простор, пропустил Петра вперед, а дежурившим на террасе гренадерам незаметно подмигнул. Те враз загородили штыками выход. – Ну, значит, нельзя, – сказал Орлов. – Вертайте, батюшка Петр Федорыч, в комнату. Нельзя, Никита Иванович Панин запретил...

– Ой, Панин ли?! – слабым голосом, тяжело переводя вздох, воскликнул Петр. – Не Панин, а сдается мне – Екатерина...

– Ну, вот уж нет, – отвечал Орлов. – Матушка государыня печется о вас, как о... как... Да вот... – он крикнул в дверь, и два солдата втащили в комнату большой сундук. – Это вам, Петр Федорыч, государыня изволили прислать в подарок. – Орлов открыл сундук и начал выгружать на стол снедь, питье, сладости, жаренный в сахаре миндаль, глазированные померанцы, абрикосы, персики, целые горы пряников, закусок, батареи английского портера, бургундского, картузы с ароматным табаком. – Ну, чем Бог послал...

Подкрепимся... Потом в картишки.

– У меня ни гроша, поручик, – с плачевной гримасой сказал Петр.

– Господи, твоя воля! – воскликнул Орлов и бросил на стол кожаный мешочек с червонцами. – Да вам от казны будет отпущено в меру вашего аппетита, сколько душе угодно!

– Мне много и не надо. Куда мне? Вот бы лекаря моего, Лидерса, я совсем болен... Очень болит голова.

– Вижу, – сказал Орлов, смачно пожирая увесистые ломти вестфальской ветчины и запивая пивом. – Шея у вас тонкая, весь вы болезненный, волосенки реденькие. Глаза красные...

– Это от неприятностей...

– Ну, какая там неприятность. Все под Богом ходим. Все, батюшка Петр Федорыч, все!.. А шейка у вас действительно тонковата, Петр Федорыч, зело тонковата.

– Да что тебе далась моя шея! – прикрикнул Петр. – Повесить, что ли, собираешься меня?! – Петр стал бегать по комнате, гримасничать, фыркать.

– Боже сохрани! Да что вы... – замахал на него руками Орлов. – Я ж по-дружески.

– Молчать, молчать! – выборматывал Петр, подбежал к камину, облокотился о мраморный выступ, обхватил ладонями голову, плечи его стали подпрыгивать. Он стоял спиной к удивленному Орлову, сквозь всхлипы кричал надтреснуто: – Дайте мне Елизавету Романовну! За что вы, варвары, мучаете меня?! Дайте Романовну!..

У Орлова остановился в горле кусок, он пучеглазо глядел в спину вчерашнего императора, на его запрокинутую, стиснутую ладонями, полуоблыселую голову. Красные губы Орлова кривились в недоброй улыбке.

– Ну, скрипку, ну, собачку, камердинера... Ну, Нарциса дайте мне... Негодяи!.. Узурпаторы!.. – выставлял узник.

Подшли офицеры: Бредихин, князь Федор Барятинский (тот, что когда-то не исполнил приказа Петра арестовать Екатерину), Пассек и другие. Петра успокоили, сели за стол, стали пить, несли грязную похабщину, хохотали. Даже солдат, ухмыляясь, крепко закусил губы, чтобы не прыснуть. Только Петр был мрачен, скучал и вздыхал.

Узнав о просьбе узника, Екатерина тотчас отправила в Ораниенбаум генералу В. И. Суворову [\[24\]](#) приказание: «По получении сего извольте прислать в Ропшу лекаря Лидерса, да арапа Нарциса, да камердинера Тимлера, да велите им брать с собою скрипку бывшего государя, да его мопсинку, собаку...»

На другой день комната узника оживилась. Под смычком Петра плаксиво зазвучала горестная скрипка, камердинер и Нарцис смирно стояли у камина и, поймав взор господина своего, со всех ног бросались к нему, чтобы исполнить то или иное желание его.

Разжиревший мопс то ластился, кряхтя, к Петру, то подолгу смотрел в тоскующие глаза его. Пес недоумевал, почему хозяин перестал прыгать чрез ножку, хохотать и бегать с ним, с мопсом, по аллеям парка? И куда запропастилась добрая толстая тетя, пичкавшая его, мопса, сладостями? И почему хозяин уехал сюда, почему нет с ними прежних человек, а все новые... Странные, очень странные дела творятся... Мопс вскакивает на широкую под балдахином кровать, ложится в ногах Петра, вздыхает, в его собачьих преданных глазах влажная печаль.

4

Сегодня дежурили при Петре уже два новых офицера, такие же грубые, как и вчерашний. Петр послал Екатерине письмо на французском языке:

Но в расчеты Екатерины вовсе не входило отпускать Петра куда бы то ни было за пределы России. Она сама да и все приближенные вместе с Паниным судили и рядили, как быть с Петром. Петр являлся вечной угрозой участникам переворота и спокойствию самой империи. Уже дважды в присутствии Екатерины обсуждался этот вопрос, но Екатерина, выслушивая доводы, молчала, предоставляя приближенным читать ее мысли. Конечно, самое лучшее, если б Петр догадался умереть. Но жизнь каждого из смертных, в том числе и несчастного Петра, «в руце Божией».

В конце концов приближенные убедились, что Петр так или иначе должен быть устранен с государственного горизонта. Стали думать, как бы тайно от царицы измыслить к тому план и осуществить его без ее явного согласия.

Между тем кутила Алексей Орлов вместе с офицерами продолжал навещать Петра, устраивать попойки, картежную игру, ссоры между бывшим царьком и офицерами. Петр мало ел, мало пил, охал, жаловался на живот, часто ложился. «Господи, уже не отравил ли меня этот разбойник Орлов?» – в беспомощной тоске думал он и не знал, как спасти жизнь свою.

В ожидании великих милостей брату и себе, Алексей Орлов пьяно, безграмотно, торопливо и небрежно писал императрице:

Екатерина на следующий день, 3 июля, прислала лекаря Лидерса, а вслед за ним прибыл в Ропшу штаб-лекарь Паульсен. Оба врача особых ухудшений в здоровье узника не нашли.

Ночью, оставшись один, Петр много плакал, а уснув, все звал во сне Романовну. Утром написал два последних письма. Одно по-французски:

(Читая это письмо наедине, Екатерина прослезилась. Но тут же самой себе: «Я должна быть сильна духом и тверда, как камень. Нерешительность – удел слабоумных».)

Второе письмо по-русски:

5

6 июля был подписан Екатериной пространный манифест. Высокопарным стилем в нем излагался смысл совершившихся событий. Наряду с начертанными многообещающими реформами были в манифесте и здравые мысли: «Самовластие, не обузданное человеколюбивыми качествами в государе, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям бывает причиною». А посему Екатерина «наиторжественно» обещает дать народу такие законы, которые вывели бы «верных слуг отечества из уныния и оскорбления». Эти все мысли – плод, конечно, настойчивого внушения Панина.

В этот же день, то есть 6 июля утром, когда Петр еще спал, его камердинер Тиммлер пошел в парк пройтись, был схвачен, посажен в экипаж и увезен. Та же участь постигла и Нарциса, вышедшего поискать исчезнувшего камердинера. При Петре остался жирный мопс, офицер Бредихин, часовой с ружьем.

Петр скучал. С тоской смотрел он на скрипку. Скучал и мопс. Но вот прибыла веселая компания: Алексей Орлов, князя Иван и Федор Барятинские, адъютант Академии Г. Н. Теплов^[25], бывший ярославский купец, ныне получивший дворянство, актер Федор Волков, юный капрал Григорий Потемкин, бывший лейб-компанец артиллерист Александр Шванвич и другие. Всего – чертова дюжина – тринадцать человек. У дверей – на часах два гренадерских сержанта.

Проехав от Петербурга сорок верст, гости проголодались. Стали закусывать и пить. Петр жаловался на нездоровье, был вял, отказывался выпивать. Но гости, в особенности Алексей Орлов, предлагали такие обязывающие тосты, что отказаться Петру было невозможно. Пили за матушку Екатерину, за милую Голштинию, за Елизавету Романовну, за прусского короля Фридриха.

И мало-помалу Петр стал хмелеть, на испорченном оспой лице его появился румянец, колики прошли.

Начался шумный разговор, смех. Выпито было много. Актер Волков (основатель русского театра), повязав кудрявую голову салфеткой, потешно разыгрывал ярославскую просвирию. Орлов – воеводу-взяточника. Богатырски сложенный великан Потемкин разделся донага, препоясался полотенцем и, хотя был немножко кривоног, стал изображать то Аполлона, то Венеру. Затем нескладным хором принялись орать песни. Волков пел хорошо, отменно плясал «русскую». От грубого баса Орлова звенело в ушах и гудела скрипка Петра. А мопс стал зло лаять. Орлов припал на четвереньки, зарывал на собаку по-медвежьему; мопс, обомлев, забился под кровать. Опять хохот.

В комнате мрачно, зажгли свечи, уселись играть в карты.

Захмелевший Петр играл задирчиво, спорил, вырывал у Федора Барятинского карты, плел чепуху, кричал:

– Я знаю, знаю!.. Государыня вернет мне Романовну и отпустит меня к пруссакам. Я писал ее величеству... Что?

Двадцатилетний князь Федор Барятинский, с тайным умыслом вызвать Петра на скандал, грубо бросил ему:

– Государыня и не помыслит отпустить тебя в Пруссию. Ты – никто!

Петр перекошил рот, вспылал:

– Как смеешь, мизерабль, говорить мне «ты»?!

– А как ты смеешь говорить мне «ты»? Я князь, а ты кто?

– Я царских кровей, дурак! – завизжал Петр.

– Тевтонская в тебе кровь, не русская...

– Молчать!..

И оба, сипло задышав, вскочили. Петр сгреб бутылку, Федор Барятинский схватился за шпагу.

– Федька, сядь! – Орлов сильной рукой развел их. – Петр Федорыч, садись. И... не лайся. Тут тебе не Ораниенбаум, не Голштиния... А мы не оловянные солдатики. Ходи, твой ход. Карта к тебе привалила знатнецкая. А Федька Барятинский дело говорит: ежели тебя в Пруссию пустить, ты на нас Фридриха приведешь...

– Он и сам придет!.. – вздрагивая и мотая головой, задышливо ответил Петр. – Фридрих извещен о моем несчастье... Сам придет!..

– Пусть приходит, – хрипло возразил Орлов и залпом выпил чарку рому. – Пусть приходит твой Фридрих. У нас в Шлиссельбургской крепости казематов хватит...

– С войском придет! – запальчиво вскричал Петр и швырнул карты Орлову в лицо, руки его тряслись. – С войском!.. Дураки!.. Собаки!

– Ах, вот ты как?! – вскочил Орлов, глаза его налились кровью. – Значит, ты есть изменник государыни?!

Петр взглянул в ожесточившиеся лица бражников и сразу понял, что он среди врагов, что круг судьбы его замкнулся. Но, вместо страха, в нем внезапно взорвались хмельное буйство, отчаяние, и в исступлении он закричал:

– Не я изменник, а вы все изменники, клятвопреступники! Молчать! Молчать! Кому вы, разбойники, присягали?!

– А вот кому! – и охмелевший Федор Барятинский с размаху ударил Петра кулаком по голове.

Петр ахнул и упал. Пьяный Орлов, перекосив рот, горой рухнул на него, придавил ему коленом грудь и с остервенением впился страшной рукой в его шею. Поднялся кавардак. Все кинулись к Орлову, тащили его прочь, озверелый мопс яростно рвал его штаны. Петр хрипел, бился затылком об пол, в страшной предсмертной гримасе показал Орлову окровавленный язык, затрясся и вдруг утих.

Еле переводя дух, весь облившийся потом, с потемневшим рубцом на щеке, Орлов поднялся, отрезвевшими глазами посмотрел на жалко скорчившегося Петра и, опрокидывая мебель, стал медленно пятиться. Он тяжело пыхтел, разинув рот, вытаращенные глаза его мутнели, дрожащими руками он судорожно хватался за бока, за щеки, сжимал крепко виски, как бы стараясь очнуться. Потом из его пасти полез грохочущий сумасшедший хохот.

Все замерли, страшась приблизиться к обезумевшему великану, все были как в бреду.

– А-а-а, – в отчаянии выл Орлов; бешеная сила вступила в него; он схватил кресло – и об пол, опрокинул стол, сгреб дубовую скамью и брякнул о камин, скамья вдребезги, из камина полетели кирпичи.

Гости, сшибая часовых, – опрометью вон. Остались Шванвич и Федор Барятинский.

– Алеша, Алеша, – дружески зывали они к Орлову. Тот сказал полоумно: «Ась?» – забился в угол, уткнулся лбом в стену и принялся тонкоголосо выскуливать:

– Что мы натворили... Господи, Господи!.. Прости окаянство мое!

Но вот в его раздавленном сознании мелькнула не плаха с топором, а острое ощущение надежды: он не убийца, он герой... И уже великие милости сияют, блещут пред его глазами.

Он весь собрался в стальной комок, облегченно передохнул и сразу протрезвел рассудком.

Глава XVII

Петра похоронили как простого офицера. В народе пошли толки

1

В шесть часов вечера из Ропши во весь опор прискакал в Петербург гонец. Екатерина обедала в тесном кругу придворных, весело болтала, была, как всегда, остроумна. Ей подали запечатанный пакет с надписью: «Весьма секретно, в собственные руки ее величества, от кн. Барятинского». Она бегло прочла записку, задышала взволнованно, поднялась: «Пардон, я на минутку» – и, продолжая улыбаться, удалилась к себе.

Вскоре к ней был позван Панин. Он нашел Екатерину плачущей.

– Бывший император мертв, – сказала она, сдерживая слезы.

– Великая государыня! – удрученным голосом воскликнул Панин и, схлестнув в замок пальцы, поднял к потолку взор. – На свете все превратно... Маловременная жизнь наша непостоянна, надежды обманчивы. Мужайтесь, государыня...

– Я потрясена этою смертью как женщина и поставлена в ужаснейшее положение как императрица. О, какая поистине трагедия! Прочтите, Никита Иваныч, записку...

Панин с брезгливой миной взял лист серой неопрятной бумаги с оборванным уголком, надел очки. Пьяной рукой Алексея Орлова было написано:

«Матушка милосердная государыня. Как мне изъяснить, описать, что случилось, не поверишь верному своему рабу; но, как перед Богом, скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка – его нет на свете... Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя. Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Федором; не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневали тебя и погубили души навек».

– Да, – сказал Панин взволнованно. – Написано с сугубой искренностью, но казус зело подлый, и забота правительства вашего гораздо осложняется.

Екатерина, понюхивая из флакончика нашатырный спирт, сказала:

– Бывают на свете положения очень странные... Только друг мой, Никита Иваныч, все сие наистрожайший секрет.

– Да... Но Европа имеет отменный нюх... И тень сего казуса, ежели не принять к тому меры, может пасть на вас, государыня, – с угрозой в голосе сказал Панин, мысленно стараясь, так сказать, схватить Екатерину за горло. Снова почувствовав полную свою зависимость от Панина, Екатерина взметнула бровями:

– Проследуйте к столу, я сейчас.

Когда Панин вышел, она выпрямилась и застыла на месте в холодном оцепенении. Пред ее мысленным взором стоял большеглазый печальный Петр, он простирал к ней бессильные руки, хриплым голосом молил: «Ваше величество, ваше величество... Не делайте меня несчастным».

Екатерина сдвинула брови, наваждение растаяло. Она подняла взор к висевшей в углу небольшой иконе Богородицы, подбородок ее задрожал, глаза ее увлажнились. Но не чувство жалости к убитому супругу отразилось на взволнованном лице ее, оно все исполнено было внутренним ликованием. «Да будет воля твоя», – твердо сказала она, спрятала роковую записку Орлова в потайной ларец и поспешила в столовую. (Это обеляющее Екатерину письмо пролежало в ларце тридцать четыре года; оно найдено графом Растопчиным после смерти Екатерины; с него снята копия; затем оно попало в руки не любившего свою мать Павла I, тот прочел его и злорадно бросил в камин.)

Григорий Орлов, получивший высокое придворное звание камергера и генерал-адъютанта, валялся после обеда в ногах своей дамы сердца. Двери кабинета закрыты. Обнимая трепетные колени императрицы, он молил:

– Не губите братишку моего, дурака Алешку! Я ему изрядно надавал по зубам... Государыня, ведь вы ныне супруга моя перед Богом.

Екатерина слегка поморщилась, вскинула правую бровь и сказала:

– Не торопите, ваше превосходительство, события. Пред Богом – это не значит, что пред людьми.

Смущенный Григорий поднялся, умоляюще взглянул на Екатерину и повесил голову.

Привстав на цыпочки, Екатерина по-холодному поцеловала его в лоб и, шурша юбками, стремительно удалилась.

На другой день воспоследовал мошеннический «скорбный» манифест. В нем сообщалось, что в день 6 июля «бывший император Петр Третий, обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим, впал в преежестокую колику» и что, несмотря на оказанную ему врачебную помощь, «к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца... он волею всевышнего Бога скончался».

2

Праха Петра 8 июля привезли в Петербург, в Невский монастырь, и выставили для поклонения в темной комнате, стены коей завешаны были черным сукном. Гроб обит малиновым бархатом с широким серебряным позументом, поставлен под катафалк. Покойник одет не как император всероссийский, а как простой офицер, в мундир голштинских драгунов, руки сложены накрест, в длинных, с крагами, перчатках. Лицо густо припудрено, однако очень темное, в пятнах. На раздавленной шее широкий шарф. Прическа без парика, без буклей. Окна открыты, жидкие волосы треплет сквозняк. Возле гроба нет ни орденов, ни знаков отличий – покойник простой офицер, не больше... Мрачно стоят часовые. Свечи в подсвечниках мерцают тускло. Окна прикрыты флером. В комнате нарочитая сутемень.

В монастырской ограде, на площади масса народу. Торопливой лентой тянутся в траурный дом, проходят из соседнего помещения в комнату с гробом, наступая друг другу на пятки, быстро идут мимо катафалка, со вздохом отдают праху поклон, пытаются всмотреться в почерневшее лицо мертвеца, но офицеры покрикивают:

– Проходи, проходи!

10 июля похороны. Лужайки и кладбище забиты народом. Все ждут не дождутся небывалого зрелища. Съезжаются высшие чины государства.

Но Екатерина, якобы по болезни, то ли по просьбе Сената, отсутствует.

Престарелый фельдмаршал Миних, прощаясь с покойником, плачет: Петр вернул его из ссылки, осыпал милостями.

Петр был погребен не в императорской усыпальнице, что в храме Петропавловской крепости, а в Благовещенской церкви монастыря, рядом с бывшей правительницей Анной Леопольдовной.

Народ удивлялся, почему такие скромные похороны, почему не было царицы. Пошли разные толки.

Так скончал жизнь свою «случайный гость русского престола» Петр Федорович III, император и самодержец всероссийский.

Но спустя одиннадцать лет его призрак в грозе и буре вновь появится на страницах русской истории. А еще много позже, в декабре 1796 года, тотчас после смерти Екатерины, воцарившимся Павлом прах Петра III будет коронован и погребен вторично. Восстав за честь убитого отца и чтоб отомстить вероломной матери своей, Павел I повелит: прах Петра переложить в новый пышный гроб, возложить на прах корону и царские регалии, торжественно перенести из Невского монастыря сначала в Зимний дворец, затем в собор Петропавловской крепости, оба гроба – Екатерины и ее супруга Петра III – выставить в соборе рядом и, отправив всенародную панихиду, предать усопших погребению с царскими почестями.

3

Город обычен, торговля вовсю, траурных флагов не вывешено. Праздный народ повалил с похорон по кабакам, по трактирам помянуть великого покойника, о том о сем покалякать.

Сегодня очень жарко. Мясник Хряпов с огородником Андреем Ивановичем Фроловым пошли на Неву купаться. Возле дровяных штабелей берег усеян народом. Оказывается, вытащили утопленника, откачали. Это арап Нарцис. Накануне похорон он был освобожден из-под ареста, а сегодня, проводив императора в могилу, пошел на Неву, долго бродил берегом, потом бросился в воду с целью покончить свои дни. Мокрый, жалкий, он, покачиваясь, сидел на песке, полусонно твердил:

– Убиль, убиль... Моя Петер... Се рамно не буду жить...

Подроспела полиция. Нарциса посадили на линейку, увезли. В толпе гадали, кто такой этот самый арап и что такое бормотал он.

Мясник Хряпов сказал:

– Как же вы не знаете? Лицо известное. Это слуга Петра Федоровича, покойника, царство ему небесное.

Тогда многие обнажили головы, стали креститься. Чернобородый плотник в лаптях, ни к кому не обращаясь, заговорил:

– Вот ты и посуди... Арап, можно сказать – чумичка, а сердце-то у него жалостливое... Что-то вот никто не утопился, жалеючи царя... А черномазый в воду мырнул... Видно, царь не плох был до простого люда, до слуг-то своих.

– А-а, не плох? – сердито ввязался рыжий парень в фартуке, без шапки и с серьгой в ухе. – А по што ж ты матушке Катерине в петропавлов день уру кричал?..

– Народ кричал, и я кричал... Молчать, что ли? – возразил чернобородый плотник. – Да ты и сам, лешева голова, гайкал... Рядом шли.

– Врешь! Хоть борода длинная, а врешь... Я не гайкал... И других отговаривал.

– Ха, он, рыжий черт, отговаривал! – с ехидством прокричал плотник. – А где у ты шапка? Закинул ты шапку свою, как орал... А тоже: я-ста да я-ста...

Толпа стала смеяться над ними, подзуживать. Рыжий парень сдернул с плеч берестяной, на постромках, туго набитый кошель и, не говоря худого слова, с размаху смазал им чернобородого по уху. Боднув головой, чернобородый бросил пилу, засучил рукава и грудью полез на рыжего драться. За рыжего сразу вступились трое, за чернобородого четверо. Полетели кошель, котомки, шапки, наступила горячая работа кулакам. К той и другой стороне приставали пьяные и трезвые доброхоты, народ попер стенка на стенку. Со всех концов бежали к берегу любопытные и тоже безоглядно ввязывались в свалку. Взмахивали над толпою кулаки, новые на веревках лапти. Гул стоял, крик и матерщина.

Знаменитый мясник Хряпов, вспомнив молодость и поддавшись настроению толпы, тоже вступил в бой. Он ловко орудовал здоровенными кулаками, сшибая наземь кого попало. Суматошный шум, гвалт, ничего немисливо понять. Лезли в уши разные крепкие словечки: «Петр Федорыч – он на соль цену сшиб! Бей их!!!» – «Землю от монастырей царь отобрал!» – «Мужиков слобонил! Ур-р-ра!» – «Матушка Катерина тоже не подгадила! Ура! Ура!» – «Присяга!» – «Крест целовали!!!» – «А вот я те поцелую. Получай!» – «Ура матушке Катерине!» – «Дворянам не по нраву пришелся, сбросили». – «Убили... Убили!»

– Кого убили? – Свистки, будочники с алебардами, разъезд казаков, полиция: – Р-ра-зой-дись!

Толпа очухалась, бросилась в стороны, как стадо овец от волка. На песке валялись лапти, кошель, всякая одежина и – трое попорченных в свалке. Казаки и полиция лупили бегущих ременными нагайками.

Окровавленный, но шустрый Хряпов, невзирая на трясущееся брюхо, бежал впереди всех вдоль пыльного, уставленного дровами берега; он задыхался, присел к водичке, стал, пыхтя, замывать в Неве разбитый нос.

Благовестили ко всеобщей. Широкая Нева горела в лучах солнца. Над водой кружились с тоскливым криком чайки.

Вечером мясник с распухшим носом и огородник с завязанным глазом успели оба подвыпить, сидели в трактире Барышникова «Зеленая дубрава».

Хозяин подвел к их столу щупленького, невысокого роста человека с козьей бороденкой, с зоркими бегающими глазками.

– Это вот ржевский купец Остафий Трифонович Долгополов, примите в компанию, – проговорил Барышников, усаживая гостя, и сам сел.

– Слышал, слышал про вас, – загнул хриловатым тенорочком Долгополов [\[26\]](#), заискивающе заглядывая в заплывшее жиром лицо Хряпова. – Вы к государеву двору мясо доставляете, а я для царских конюшен – овец. С покойным государем лично знакомы были.

– Нет, я кофеев с императором пить не удостоился, а капиталы приобрел, – с оттенком надменной безразличности покосился столичный толстосум на невзрачного Долгополова, одетого в потертую чуйку и нечищенные простые сапоги. Затем достал серебряную табакерку, всем предложил понюхать: «Набивай нос табачком, в голове моль не заведется», поблестел золотыми кольцами, вынул без нужды золотые заморские часы, посмотрел время. Долгополов притих, сконфузился. Мясник поманил пологого пальцем:

– А ну-ка, братец, на всю компанию расстарайся уха наварной из налиных печенок да расстегайчик с потрохами. Да спроворь скорей водки штоф.

Долгополов сразу ожил, заерзал, сказал, вздохнув:

– Приехал я из Ржева-города долгишко с дворцовой конторы получить, да сказали мне тама-ка, приходи, мол, месяца через два, нам не до этого. Вот какие дырявые дела-то мои. И сижу я в столице без гроша. Может, вы одолжите под вексель сотняшки две? – тронул он мягкое плечо мясника. – Я человек верный, да за меня и Барышников поручиться может...

– Раз он поручиться может, у него и бери, – сухо сказал мясник. – Да у него и капиталов несравнимо со мной, он на селедках миллионы нажил.

– Ну, ты! – прикрикнул на него сухопарый Барышников и, накручивая бороденку, приятно захихикал.

Уха превкусная, штоф усыхал, вино развязало языки. Да и вообще в трактире довольно шумно. Народ здесь всякий, но на этот раз ни одного солдата.

В соседней комнате три рожечника играли заунывные песни. А когда смолкли, раздался раскатистый, сильнейший бас иеродиакона, выгнанного из Невского монастыря за сугубое пьянство. Многие повывлезли из-за столов, толпились в дверях, умильно слушали, разинув рты.

Черный и лохматый, похожий на грека, иеродиакон поднялся во весь рост и, держа в десной руке стакан водки, провозглашал «вечную память в бозе почившему императору Петру Третьему». Голос его гудел страшно и уныло, а по впалым щекам текли пьяные слезы. Старички мотали головами, осеняли себя

крестом и тоже готовы были пустить слезу.

Иеродиакон залпом осушил стакан, крикнул и сказал:

– Царь зело пил, и аз многогрешный такожде сим стражду. Вот крикну в стакан, и стекло от велия гласа мего разлетится. За посмотреньє – рубль!

Любители быстро собрали деньги. Иеродиакон поставил пустой стакан на стол, поднес к нему отверстую пасть и гаркнул: «Ха!» – стакан раскололся надвое. Все восторженно захохотали. А иеродиакону вручили другой стакан, наполненный водкой, и сказали:

– А ну, отец, возгаркни многолетие благочестивейшей, самодержавнейшей...

– Не стану! – выпучив глаза, заорал иеродиакон и затряс кудлатой головой. Опрокинув водку в пасть, он вытер усы и гнусаво запел на манер стихирь: – Дщерь Вавилона окаянная, како ты восходи-и-ла на престол...

Барышников, прислушавшись из другой комнаты, приказал вышибить пьяного забулдыгу вон да надавать ему елико возможно по заливку, дабы не порочил своим неподобным поведением православную религию. Монаха уволокли. Снова заиграли щекастые рожечники с гусяром. Многие заказывали блины и пряженцы, как на поминках, кричали рожечникам:

– Бросьте скоморошничать, а то изобьем вас!.. Царя сегодня закопали, а они в гусли-мысли.

За многочисленными столиками гул стоял, только и разговоров, что о последних событиях в столице. Почти все были порядочно подвыпивши, кричали, не стесняясь. Старый кузнец с ремешком через лоб, посасывая трубку, бубнил все одно и то же:

– Знатно, знатно вышло. Гвардия, армия, смерть в одночасье... Видать, самим сатаной сработано... Знатно, знатно вышло. Видать, самим сатаной...

– А почему, дозвольте вас спросить, – заговорил, размахивая ложкой, кривой маляр в запачканной красками рубахе. – Почему это – прочь, прочь проходи! Нет, врешь, подлая душа, ты дай мне покойничку-то в лик взглянуть, в мертвый лик. – Тот ли покойничек-то, не подставной ли?..

– Ха! Вот ты даже как, – с удивлением протянул кто-то из дымных облаков.

– Да-да-да, – забормотал охмелевший мясник Хряпов. – Страшные дела творятся! Аж жуть берет. Да-да-да. А вы послушали бы, что народ гуторит, даже совсем отлично от того, что в манифестах пропечатывают. Недалеко ходить: взять, к примеру, моих ямщиков из обоза...

4

Действительно, по всему Питеру множилось толки, пересуды, небылицы. На извозчицких биржах, на постоянных дворах, по кабакам, по воровским притонам, на рынках среди баб, на церковных папертях в кучках нищей братии, в казармах, в купеческих молодцовских и всюду, всюду одни и те же разговоры.

Полиция хватала людей сотнями, вырывала бороды, ломала ребра.

Начальник полиции генерал Корф, любимец Петра, ловко угождающий ныне императрице, делал сводку всей этой изузистой политической невнятице.

Наихарактернейшие слухи были таковы:

1. «Царь батюшка не умер своей смертью, а его, болтают, укокошили.

– Кто укокошил?

– А поди знай, кто. Кому надо, тот и укокошил. Поди, дворяне. Знамо, не простой же люд руки станет пачкать. Тьфу!»

2. «Замест государя, бают, другого похоронили, а государь быдто бы в Голштинию утек, к себе домой.

– Откуда знаешь?

– От кума Егора, а куму Егору евонная сноха Мавра сказывала, а евонной снохе Мавре на рынке какой-то нищоброд на костылях баял.

– Кто же бывшего государя в Голштинию отправил?

– Поди знай, кто. Может, сама государыня запечаловалась, отпустила; может, чрез подкуп великие люди помогли. А того верней – сам Господь-батюшка смиловался, по своей мудрости сработал».

3. «Царь Петр Федорыч жив-здоров. Сказывают, ему фельдмаршал Миних свободу даровал. Всех Орловых быдто опоил незловредно зельем, а как уснули они, граф Миних быдто бы и говорит: ваше бывшее величество, ступайте на все четыре стороны, вы меня от каторги спасли, я вас от неминуемой смерти.

– Так где же теперь бывший император?

– А Господь его ведает. Где-нибудь в народе укрылся, обличье переменил... Нешто долго.

– А слыхивал я этот глупый разговор в кабаке возле Покрова. А я пьяный был, на ногах, конечно, не стоял. Кто болтал, хоть жилы из меня тяните, не помню».

Генерал Корф прекрасно понимал, что эти вздорные слухи, эту «городскую эху» во что бы то ни стало надлежит пресечь, иначе они потекут из Петербурга и замутят всю Русь. Но как, но как пресечь?

Кум Егор выехал на большой крытой лодке по Неве, по Ладожским каналам, по Свири горшками торговать, всем по пути по величайшему секрету сказывал о питерских делах; сват Матвей на Макарьевскую ярмарку с товарами укатил, охапку по белому свету столичных новостей повез; просвирня Настасья Николаевна в Осташков на богомолье собралась, к Нилу-чудотворцу, а там – вся Русь; дед Макар на прусский фронт капралу-сыну отписал – Петр Федорович-де умер в одночасье от превеликих каких-то колик, а может статья, и жив-де государь; нищоброды пошли с кошельми по Руси гулять; белобокие сороки летели из столицы во все концы-просторы, уносили на хвостах слухи, пересуды и рассказы.

Нет, ни генералу Корфу, ни сенатору Никите Панину не удержать под дырявым решетом дыму от пожара, не погасить «людскую эху» никакими манифестами, никакой хитростью-премудростью.

Истинно сказано: ветром море колышет, молвою – народ.

Докатилась молва эта и до молодого донского казака Емельяна Пугачева.

Часть вторая

Глава I

Екатерина II, императрица Всероссийская

1

Донцы были вытребованы с прусской войны и, по смерти Петра III, отпущены домой. Емельян вернулся цел и невредим в родную Зимовейскую станицу, к молодой жене своей Софье Дмитриевне.

Всюду в станицах по церквам служили заупокойные панихиды по Петру, всюду распевались молебны о здравии самодержавнейшей Екатерины и наследника престола Павла. Но в народе ходили путаные слухи о том, что император жив. Слухам веры не давали, и они, под влиянием духовенства и власть имущих людей, скоро и надолго заглохли.

Пышно, торжественно и совсем не по средствам нищей России была отпразднована в Москве коронация императрицы Екатерины. Заказана золотая корона, горностаевая мантия и сто двадцать дубовых бочек с железными обручами, емкостью каждая бочка на пять тысяч рублей серебряной монеты, а всего за шестьсот тысяч рублей – для бросания денег в народ. Нет сомнения, что три четверти этих денег остались в карманах повелевающих, надзирающих и швыряющих.

Екатериною было указано гофмейстеру Никите Панину везти на московские торжества великого князя Павла Петровича. Мальчик как раз в это время хворал, в тяжелой дороге болезнь его усилилась. Настойчивые просьбы Никиты Панина дать в пути больному роздых остались втуне, повелено маршрут выполнить в точности.

Такое непонятное жестокосердие Екатерины к своему сыну объясняется просто. До нее не раз доходили слухи, что некоторые честолюбцы из гвардии не прочь были вступить за погрязшие права Павла Петровича. Интересы и права правнука Петра Великого противопоставались самовольному захвату власти чужеродною немкою. Об этом Екатерина была также осведомлена из тайно вскрытых дипломатических депеш барона Гольца в Берлин и Беранже в Париж. Она знала, что подобные толки имеют отклик и в среде народной.

Значит, около имени великого князя Павла Петровича, хотя бы и помимо его воли, объединялись недовольные тогдашним положением. И Екатерине волей-неволей приходилось усматривать в собственном сыне опасного соперника. А соперников обыкновенно не рекомендуется покидать без надзора, вне поля своего личного влияния. Вот почему, во избежание, так сказать, неприятностей, Екатерина не считалась ни с какими опасностями для сына в дороге.

Парадный въезд в Москву состоялся 13 сентября 1762 года. Москва преобразилась. Длинные однообразные заборы возле пустырей были прикрыты понатыканным ельником, стены домов и домишек увешаны дорогими коврами, балконы украшены драпировками из цветистых шелковых материй. На перекрестках, площадях воздвигнуты галереи и арки. На улицах, на балконах и даже на крышах – всюду народ. Москва захлебывалась колокольными звонами, гремели пушки, толпы орали «ура».

Екатерина и блестящая свитская знать ехали в открытых экипажах. За Екатериной следовал конвой

конной гвардии. По обе стороны шествия шпалерами стояли войска. Наряды придворных дам блестели на солнце золотом, серебром, драгоценными камнями. Иностранные гости дивились, откуда берутся средства на столь ослепительную роскошь. Но так повелось исстари: императорский двор подражал в пышности расточительному королевскому двору Франции – «великолепной Версалии», вельможи подражали российской царице, за вельможами тянулись знатные, но обедневшие роды, а за знатью пыжилась мелкотравчатая дворянская срединка: закладывались и продавались последние вотчинные поместья, вырубались заповедные леса, крестьяне удушались поборами, с молотка шли деревни, вереницы рабов. Мелкота, полужанья, а иногда и вельможи становились жертвою непосильных расходов, «вылетали в трубу», хирели, попрошайничали «Христа ради» у подножья престола.

Понятно, что в конце концов жертвою этой умопомрачительной роскоши оказывался простой русский народ.

Коронация состоялась 22 сентября в Успенском соборе, в Кремле, при великом стечении публики. Затем начались балы, церемониальные приемы; раздавались с высоты престола щедрые награды, братья Орловы возведены были в графское достоинство, Григорий Орлов пожалован в генерал-адъютанты, звезда его поднялась в зенит.

Целую неделю весь Кремль с соборами и Иваном Великим блестел чрез густую тьму осенних ночей огнями иллюминации. По улицам, площадям и на Царицыном лугу поставлены были столы и «на великолепно сделанных, изрядною резною работою и позолотою украшенных амвонах быки жареные со многочисленною живностью и хлебом, за которыми в бочках позолоченных и посеребренных пиво и мед». На Кремлевской площади^[27], под окнами Грановитой палаты, пущены фонтаны красного и белого вина. Из окон бросали в народ пригоршнями золотые жетоны, серебряные деньги. Крики «ура» сменялись ревом свалки: было немало сворочено скул, поубавлено бород, поломано ребер. Иных так потоптали тут, что они помнили коронацию даже до смерти.

И все-таки Екатерина осталась московскими праздниками довольна, убежденная, что ей следовало пользоваться всяким обольщающим темные умы случаем, дабы снискать себе благорасположение народа.

Руководствуясь теми же соображениями, Екатерина предприняла путешествие в Троице-Сергиеву лавру, где монахи в ожидании великих благ почтили ее трехдневным торжеством.

2

Ну что ж, после святых молитв в монастыре и смиренных воздыханий можно снова поразвлечься великосветскими утехами. Екатерина пробыла в Москве больше полугода. И изо дня в день – театры, шумные балы, придворные маскарады, парадные обеды у вельмож, загородные прогулки. Все это, конечно, стоило колоссальных средств, но все блистало изысканной красотой, изяществом.

Недаром даже мрачный, всегда угрюмый английский посланник граф Букингэм, беседуя на любительском придворном спектакле с французским посланником Бретэлем, сказал ему:

– Я удивляюсь, барон, до чего талантливы эти русские. Например, графиня Брюс или граф Григорий Орлов с молодым графом Шуваловым. Они выполняли главные роли с таким умом, ловкостью и свободой, что дай Бог так играть и знаменитым европейским актерам...

– Но самой лучшей актрисой, надо предвидеть, окажется сама императрица.

– Вы думаете? – гнусаво спросил граф Букингэм, подымая на собеседника выпуклые и красные от сильного насморка глаза. И сам себе тотчас ответил: – О, без сомнения, так. Вы, барон, разумеется, имеете в перспективе не ту сцену, а ту политическую арену, где выступают представители великих европейских держав?

– А красавицы? А какие красавицы, граф! – неучтиво прервал его пылкий и падкий до женских прелестей Бретэль. – Глядите, начались танцы... И откуда они берутся, эти воздушные феи, эти очаровательные фрейлины, эти пышные, рослые, так откровенно декольтированные дамы?.. Вы, граф, не чувствуете себя на Олимпе, среди богинь? Я думаю, что не во всякой стране можно отыскать столько обладательниц поистине классической красоты...

– Я даже затрудняюсь, – с плохо скрываемым восторгом и с внутренней национальной завистью невнятно прогнусил угрюмый англичанин, – я затрудняюсь, в каких выражениях дать депешу моему правительству об этом исключительном вечере. Даже беспристрастное его описание может показаться преувеличенным...

– О да, да! – с жаром воскликнул Бретэль. Вдруг они оба вскочили и, придав лицам сияющий вид, стали с легким изяществом быстро скользить по паркету навстречу приближавшейся к ним со свитой Екатерине. На ней было платье *adrienne* из алого гро-детура, выложенного по швам, в рисунок, серебряным галуном, в темных припудренных волосах – жемчужный аграф, на груди – бриллиантовое кольцо.

Придворные и в особенности наблюдательные иностранцы стали замечать в настроении Екатерины большую перемену. Действительно, Екатерина никак не могла отделаться от мучившей ее душевной тревоги. И это, как в зеркале, отражалось на ее лице.

Екатерина пригласила Букингэма поиграть с ней в шахматы. Улучив момент, Букингэм сказал ей:

– Меня крайне волнует, ваше величество, что, невзирая на столь блестящие коронационные торжества, ваше чело омрачается каким-то беспокойством.

– Да, граф, – потупив глаза и чуть приподняв тонкие брови, ответила Екатерина. – За последнее время меня то и дело посещает меланхолия. Боюсь, граф, вам признаться, но мне кажется, что я не вполне счастлива. Впрочем, я не знаю, есть ли в мире хоть один счастливый человек. – Алмазы на ее груди затрепетали от вдоха.

– Где же источник, питающий нежелательное настроение вашего величества? – допытывался

чрезмерно любознательный дипломат.

– Не знаю, – нервно ответила Екатерина, встряхнув гордо откинутой головой и этим жестом кладя предел коварному любопытству.

Да, Екатерине было над чем призадуматься: едва прошло три месяца со дня переворота, возведшего ее на престол, как уже был раскрыт заговор, о котором она узнала, будучи в Москве.

28 октября, ранним, с заморозками, утром по улицам веселящейся Москвы тревожно забили барабаны, затрещали трещотки, на Красной площади – страшный эшафот, на эшафоте – четверо преступников, над ними, при многих тысячах сбежавшегося люда, по всей форме учиняется жестокая экзекуция.

Ни простой народ, ни даже высший свет ничего не знали о случившемся. Все это дело было окутано глубокой тайной. Имена преступников обнародованы не были. Соответствующий манифест составлен весьма туманно. О безымянных преступниках в нем говорилось как о беспокойных людях, покушавшихся на ниспровержение императрицы и оскорбительно отзывавшихся о ней. А в циркулярах к русским дипломатам за границей заговорщики названы «извергами всего человеческого общества».

Впоследствии узналось, что «извергами» были офицеры гвардии – Петр Хрущев и три брата Гурьевы. Тотчас после экзекуции все они, под сильным конвоем, навечно отправлены в отдаленные окраины Сибири.

Суть дела, вкратце, такова. По Петербургу, среди гвардейских офицеров, стали ходить слухи о существовании двух политических партий: одна якобы стремилась к возведению на престол шлиссельбургского узника принца Иоанна, другая хотела иметь императором малолетнего Павла Петровича, а регентом при нем – Никиту Панина.

Следственная комиссия установила, что в последний день коронации, на званом у Петра Хрущева обеде, было великое пьянство и что по пьяному делу Петр Хрущев – известный шутник и весельчак, будто бы «государыню бранил матерно» и кричал: «Екатерине не быть, а быть царем Ивану Антоновичу». А Семен Гурьев уверял, что в их партии до тысячи человек, что там и Панин, и гетман Разумовский, и Шувалов.

Среди хмельного шума, метко обличая друг друга, гвардейцы будто бы кричали:

– Дураки мы! На престол чужеродную иностранку посадили.

А Петр Хрущев, грохая об пол хрустальные фужеры и с превеликим бешенством топча их сапогами, вопиял:

– Орловы втравили нас в пагубу! Россию погубили! А мы, гвардейцы, продали за бочонок водки последние капли крови императора Петра Великого. Позор нам всем!

Было арестовано пятнадцать офицеров. На допросе все они от предъявленного им обвинения отперлись: были-де пьяны, но крамольных речей никто не произносил, а кто показывал на них, тот-де лжец и провокатор. Следственная комиссия, разобрав дело, ничего преступного в нем не нашла: вульгарно выражаясь – пустая, во хмелью, болтовня. В этом успокоительном смысле и было донесено императрице.

Но Екатерина взглянула на дело иначе. Она приказала:

– Не прятать концы, а со всей серьезностью дознаться истины.

И тогда во имя «изыскания истины» было решено – подозреваемых пытаться!

Петр Хрущев и Семен Гурьев «для изыскания истины» были под батожем расспрашиваны, но оба

утверждаются на своих прежних показаниях». Следственная комиссия постановила – главных виновников разжаловать и записать навечно в солдаты.

Но и этот приговор Екатерину не удовлетворил. Она понимала, что всякое потворство в таком деле опасно, что ее престол колеблется и что нужен устрашающий пример, чтоб раз и навсегда пресечь всякие крамольные мечты.

Следственная комиссия оказалась весьма податливой: она быстро поправила свою ошибку и, полагая, что «матушке» хочется проявить в сем деле акт милосердия, вынесла новый жесточайший приговор, так сказать, с запасом: Петру Хрущеву и Семену Гурьеву отсечь голову, Ивана и Петра Гурьевых положить на плаху и потом, не чиня экзекуции, послать навечно в каторжную работу и т. д.

Вот тут-то «матушке» действительно и представился случай пролить милосердную слезу и успокоить свое чувствительное сердце: политическим преступникам она даровала жизнь.

Все виновные были сосланы на каторгу. А вскоре, за торжествами, это дело забылось. Но нельзя его забыть Екатерине. Вот почему чело ее было омрачено тревогой, вот почему она не могла считать себя вполне счастливой.

Особенно же остро она переживала текущие, по очередным вопросам столкновения с Никитой Паниным, весьма приличные по этикету, но оскорбительные для нее по существу.

В манифесте от 6 июля 1762 года о восшествии Екатерины на престол были обнародованы, по настоянию Никиты Панина, следующие строки: «Наиторжественнейше обещаем Нашим императорским словом *узаконить такие государственные установления*, по которым правительство любезного Нашего отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело».

Выдав подобный громадного политического значения вексель, Екатерина призадумалась и, под влиянием Орловых и Бестужева, стала выискивать пути, чтоб сыграть на попятную. Тем временем Никита Панин, будучи на коронационных торжествах в Москве, в продолжительной беседе с императрицей настойчиво подчеркнул ей, что прежние формы правления ныне устарели, что Россия в этом отношении слишком отстала от Европы – от той же Швеции, которая, в сущности, является аристократической республикой, а посему:

– Разрешите, государыня, представить на благоусмотрение вашего величества мой обширный проект реформы верховного правительства России, – Панин подал Екатерине исписанный четким прямым почерком фолиант и как тонкий дипломат проговорил: – Ласкаю себя надеждой, что, рассмотрев, одоблив и введя в действие мои предположения, вы сим самым, государыня, исполните пред Россией свои *наиторжественнейшие обещания*, кои вы изволили возвестить народу в недавнем манифесте.

С недовольной, даже брезгливой улыбкой Екатерина взяла фолиант, стала, кусая губы, небрежно перелистывать страницы. Она вспомнила, с каким упорством этот неотвязный Панин вел с ней торг пред самым переворотом, как он был с ней груб тогда, почти дерзок. Но в то же время судьба ее еще не была предрешена – Екатериною могли тогда играть, диктовать ей свою волю. Ныне же она, «милостью Божией и волею народа», не регентша при сыне, как того хотел Никита Панин, а, слава Богу, – самодержавная, коронованная в Кремле императрица.

– Хорошо, друг мой Никита Иваныч, я вчитаюсь и все обдумаю. Я высоко ценю вас как мудрейшего государственного мужа, защищающего непоколебимость моих обещаний! – не преминула уколоть она своего недоброжелателя.

По проекту Панина, сенат должен быть разделен на департаменты (то есть министерства) и получить

большую самостоятельность. Главный же фокус проекта – это учреждение особого Императорского совета из восьми вельмож, отлично зарекомендовавших себя на государственном поприще, причем Императорскому совету надлежит решать дела и устанавливать законы *совместно с императрицей*. Этот пункт проекта Панин поясняет так: «Государь никак иначе власть в полезное действие произвести не может, как разумным ее разделением между некоторым малым числом избранных к тому единственно персон».

И Екатерина, и все ее приверженцы, читавшие проект, отнеслись к нему совершенно отрицательно. Екатерина усмотрела, что мудрейший государственный муж явно пытается ограничить ее самодержавные права. Но резко отвергнуть проект Екатерина все же опасалась: как-никак, а с партией Панина необходимо считаться.

Начинается игра в бирюльки – самая отчаянная волокита. Панин представляет Екатерине уже готовый к подписи соответствующий манифест, Екатерина находит в нем ошибки. Панин переделывает, Екатерина снова придирается. Панин переделывает в пятый раз, Екатерина тянет с подписанием. Но вот, 28 декабря 1762 года, манифест об учреждении Императорского совета Екатериною в Москве подписан. Окрыленный успехом, Панин готов торжествовать свою победу: наконец-то деспотизм в России как-никак ограничен, самодержавия больше нет, власть Орловых отныне пресечется!

В тот же вечер Екатерина назначила в Кремлевском дворце совещание из трех лиц: Бестужева и двух Орловых. Ее стол завален свежими русскими книгами из академической книжной лавки. Она казалась необычайно взволнованной, будто опьяненной, щеки и глаза ее горели.

– Батюшка, Алексей Петрович, – жалобным голосом обратилась она к Бестужеву, сидевшему, съжившись, как филин, возле горячей печки. На нем старомодный огромный парик, называемый алонже. – Батюшка, Алексей Петрович! – уже крикливо повторила она глухому старику.

Тот вскочил:

– Ась, ась? – подсеменил, побряхтывая, к царице, сугорбился и наставил к уху ладонь, чтоб лучше слышать.

Екатерина громко, сердитым голосом, подражая голосу Никиты Панина, прочла манифест и сказала:

– Господа! Я сей акт сего числа скрепила своим подписом.

Несколько мгновений стояла тишина. Бестужев тряс головой и жевал губами. Шрам на щеке Алексея Орлова потемнел. А Григорий Орлов вдруг вскочил, трагически всплеснул руками и, посунувшись к Екатерине, громогласно завопил:

– Ваше величество! Государыня, государыня! – От злости к Никите Панину, этому властолюбивому хитрецу, он ничего больше произнести не мог.

Вопль Орлова вдохнул в сознание Екатерины необоримую силу самозащиты, колебаниям ее сразу настал конец.

Лицо ее сделалось спокойным, она тихо встала, перекрестилась, высоко подняла свежий, пахнувший типографской краской манифест и неторопливо, с затаенным сладострастием, разорвала его надвое.

Григорий Орлов, шумно выдохнув из груди весь воздух, припал к ногам ее, стал целовать край ее одежды.

Итак, стремление партии Панина обуздать власть императрицы и на сей раз не осуществилось. Никита Панин потерпел второе поражение.

Двор продолжал веселиться вовсю. Московский люд в конце концов тоже получил свою долю удовольствий. Наступила масленица. По Москве появились афиши, что в три последних дня масляной недели с 10 часов утра ежедневно по улицам Немецкой, двум Басманным, Мясницкой и Покровке будет ездить большой маскарад под названием «Торжествующая Минерва», в коем изъясится «гнусность пороков и стезя наук и добродетели». На смотренье маскарада и на вечернее катанье с гор приглашались «всякого звания люди». А на тех гуляньях в особом театре представят, мол, народу разные игрища, кукольные комедии, гокус-покус и пр.

И вот на маскарадные зрелища, сочиненные и остроумно поставленные знаменитым актером Федором Волковым, привалила вся Москва – даже древние старцы и старухи.

– Пойдем, пойдем, бабка, – собиралась беднота в подвалах, домишках и лачугах. – Торжествующая будет ездить... Винерка какая-то, чтоб ей...

– Ничего не Винерка... А, поди, сама царица. С жиру бесится, безмужница. Мужика бы ей.

Погода была приятная: нехолодный серенький денек и полное безветрие. Маскарадное шествие растянулось на две версты, в нем участвовало двести колесниц и четыре тысячи человек, оно состояло из двенадцати отделов. Практическая цель маскарада высмеять, в поучение народа, пьянство, невежество, несогласие, блудодейство, мздоимство, спесь, мотовство, распутство. Тут было наворочено всего: движущиеся горы, портшезы, колесницы, трубачи, посаженные на верблюдов фурии, арлекины, нетопыри, тигры, преогромные исполины, смехотворные карлы; вот хромая правда на костылях, вот храбрый дурак верхом на быке лицом к хвосту, вот верблюд тащит громадную колесницу, на которой люлька, в люльке – старуха играет в карты и сосет рожок, при ней – маленькая девочка с лозою, вот «акциденция, сидящая на яйцах, и три вылупившиеся из яиц гарпии» и прочая и прочая – всего сорок живых картин. Не спеша и чинно все двигалось вперед. И, несмотря на то что при каждой картине свой хор звучно и стройно пел стихи, поясняющие содержание картины, народ безмолвно пялил глаза и ничего не понимал: ни в акциденциях, ни в гарпиях, ни в сосущих рожок старухах.

А между тем смысл маскарадной сатиры был направлен не столько против народа, сколько против правящих классов, против беззакония и несправедливости в России. По крайней мере был таков замысел Сумарокова и Хераскова с их компанией, то есть «литературного штаба» партии Панина. Этим поэтам были поручены пояснительные к живым картинам стихи и сатирические куплеты. Но главный гвоздь сатиры – «Хор ко превратному свету» – Екатерина запретила. Этим нанесена была Сумарокову «высочайшая» пощечина. Екатерина платила Сумарокову жалованье, не обременяя его какой-либо службой, она приказала Академии наук бесплатно печатать книги поэта, она награждала его чинами, с благодарностью принимая от него торжественные оды, но как только он дерзнул сунуть нос во внутреннюю политику, она указала поэту его место.

3

Коронационные торжества закончились, наступил семинедельный великий пост.

В дни коронации Екатерина получила около тысячи прошений от страждущих рабов своих. Жаловались крестьяне и дворовые на бесчеловечное истязание их помещиками, жаловался и городской московский люд на несправедливые, продажные суды, на безбожное взяточничество в разных приказах, канцеляриях. Прошения написаны как бы кровью и слезами. Общий их тон: «Погибаем, погибаем, заступись, о всеблагая мати!» Были прошения и от помещиков из захолустных мест России: появились-де в наших местах разбойники, жгут усадьбы, режут барский скот, а мужики-холопы им не препятствуют и даже сами перебегают в их шайки, нельзя ли-де выслать солдат с пушками.

А бывали прошения и содержания пустейшего, они вызывали на лице Екатерины грустную улыбку. Некая скудородная барынька, Анна Ватазина, жена товарища костромского воеводы, прося Екатерину о производстве мужа в следующий чин, писала: «Умились, матушка, надо мною, сиротою, прикажи указом, а я подвезу вашему величеству лучших собачек четыре: Еполит да Жульку, Жанету, Маркиза» и т. д.

Передав Никите Панину «сей монстр», Екатерина сказала:

– Даже и меня хотят сделать взяточницей.

– Да, государыня, – прочтя монстр, вздохнул Панин. – Взятка, увы, смертоносно точит корень древа, имя которому – Россия. Вашему величеству доведется обратить свой взор на устройство дел внутренних. К примеру – суд. Судей надлежит всех сместить и назначить людей достойных...

– А где их взять?! – воскликнула Екатерина. – Суд обратился в место торжища, где нищего делают богатым, а богатого нищим.

– С некоей поправкой, государыня, – сказал Панин. – Нищего никогда суды богатым не делают, они его уничтожают.

Весь великий пост, устав от пиршеств и куртагов, Екатерина настойчиво занималась многими государственными делами.

А после пасхи она предприняла из Москвы путешествие пешком на богомолье в древний Ростов-Великий. Там неисчислимая сила богомольцев, стекающихся со всех концов России на поклонение новоявленным мощам святителя Дмитрия. То-то любо будет сердцу государыни: вся Русь узрит, сколь благочестива она и сколь готова стать защитницей веры православной.

Но в Ростове сидел ее лютей враг, митрополит Арсений Мациевич, и подобное обстоятельство Екатерину немало омрачало. Этот смелый, предерзостный старик успел нагрубить и Петру III за отобрание от монастырей крестьян да не остался в долгу и пред Екатериной – «грабительницей церкви». Публично и бесстрашно он распускал про нее такие обличительные слухи, за которые дерзновенным разглашателям обычно рубят голову. (Спустя месяц после «высочайшего» богомолья Арсений был арестован, предан суду «за оскорбление величества», лишен сана и сослан в карельский монастырь «на крепкое смотрение».)

Пешеходное паломничество Екатерины, этой усердной поклонницы свободомыслящей французской литературы, было поистине смехотворно. Она выходила из какого-нибудь селенья действительно пешком, шла верст десять. А рядом – ехала карета и эскадрон кавалергардов. Где-нибудь в безлюдном месте она садилась в карету, ее отвозили в то селенье, откуда она утром вышла. Здесь она изволила обедать, изволила отдохнуть сколько душе угодно, затем опять садилась в карету, подъезжала к тому месту, где оборвала свой путь, и снова шла пешком. Затем ее вновь отвозили на покой. На следующий день то же

самое. Правда, погода ей не благоприятствовала – иногда случались даже снежные метели, – она писала Панину: «Богу не угодно мое пешехождение, подвергаемся инде в карете переехать».

Селенья по пути следования благочестивой Богомолицы начальство старалось приукрасить, скрыть прущее наружу неустройство: пред избушками на курьих ножках втыкались свежесрубленные елки, чинились соломенные крыши, кое-как красились ворота разведенным дегтем или наваром из луковых перьев, дорога посыпалась песком, иные завалившиеся набок хибарки прикрывались большими щитами с вензелем царицы; всех собак велено было задавить либо запереть в овины и накрепко скрутить им морды веревками, дабы смердящее псы каким-нибудь случаем не взгавкали на пешешествующую государыню.

В каждом селении на лужайке накрыт стол с яствами и питием – творог, калачи, моченая брусника, сотовый мед, молоко, квас, – авось государыня, умаявшись, пожелает чего-нибудь пригубить.

Как-то Екатерине заблагорассудилось возле такого столика остановиться. Дежуривший вблизи мордастый полицейский сразу пришел в ужас: он выкатил на государыню глаза, разинул рот и окаменел. В правой руке его висит вдоль сапога толстая нагайка.

А по-праздничному разодетые девушки, напротив, безбоязненно окружили матушку-царицу и, улыбаясь, млели от любопытства.

– Ну что, красны девицы, рады ли вы мне? – ласково спросила Екатерина.

Девки всплеснули руками, с пленительной простотой ответили:

– Ах ты, дура ты этакая!.. Да неужто нет! Вестимо рады!.. Ведь ты, поди, одна у нас – царица-то.

Екатерина удовлетворенно улыбнулась. А окаменевший полицейский, услышав: «Ах ты, дура», хлестнул себя нагайкой по голенищу, перевел грозный взор на озорных девок. Ох, и вспишет он им спины!

Екатерина этой встречей осталась весьма довольна. Какие милые, непосредственные девушки! То-то будет весело, когда она в дружеской компании расскажет об этом придворной знати. Она подарила девушкам золотой червонец на орехи и направилась своей дорогой. Полицейский не сразу пришел в чувство – он подбросил вверх шапку и в полубеспамятстве со страху заорал «ура».

Однажды, нагнав императрицу, из кареты выскочил бравый Григорий Орлов. Благоговейно поцеловав руку своей «дамы сердца», сказал:

– Я чаю, вы изволили приустать, государыня, немало натрудили ножки. Смее просить вас проследовать в карету, чтоб ехать к столу. Обед готов, ваши собачки соскучились по вас, свита тоже ожидает с нетерпением.

Он говорил быстро, слегка согнувшись в полупоклоне, она не сводила глаз с красавца-великана, но во взгляде ее была некоторая отчужденность.

– Вы, мой друг, сегодня ужасно многоречивы. Уж не чересчур ли хлебнули хмельного? – улыбнулась она.

Он бережно взял ее под руку, повел к закрытой карете и сказал:

– Нет, государыня... Я трезв... Но меня опьяняет ваш голос, ваш взор и вся вы. – Она промолчала, он сел с ней рядом, карета поехала обратно. Он продолжал: – Нет, вы ангел, а не женщина. Меня давно подмывает пошарить по вашей божественной спинке – нет ли у вас крылышек?

Не открывая рта, Екатерина засмеялась в нос и погрозила Орлову пальцем. Сразу же забыв и ростовского «враля» – митрополита Арсения, и то, что за окном кареты пролетают капли холодного дождя, она почувствовала себя счастливою. С жеманной улыбкой она ответила:

– У государыни должны быть крылья, а не крылышки. Государыня должна быть подобна всевидящей орлице.

– Матушка-государыня! – воскликнул новоиспеченный граф. – Вы орлица, я Орлов... Чего же лучше? – и он, забыв всякий придворный этикет, обнял Екатерину столь крепко, что у нее лопнула шнуровка.

Дорога шла то в горку, то под горку, кудрявый кучер благопристойно посвистывал, умело управляя шестерней. Чрез маленькое, в глухой передней стенке, застекленное оконце виднелась его тугая, сутулая спина.

После неловкого молчания Екатерина взволнованно сказала:

– Ты, Гришенька, есть сатана. Ты всесветно известный ловелас и ветреник. Ты рад склонить к грехопадению смиренную богомолку-пилигримку. Грех, Гришенька, грех.

Орлов, жадно целуя нежную руку подруги, вздохнув, ответил:

– Господь милосерд и к прекрасным кающимся грешницам скоропослушен.

Екатерина вдруг помрачнела и, уже слушая, что рассказывал ей Орлов, упорно молчала, она вся ушла в охватившие ее грустные думы. Ей вспомнился недавний случай, происшедший в Царском Селе незадолго до коронации на интимном ужине, в обществе Никиты Панина, гетмана Кирилла Разумовского и Григория Орлова: сей последний, переложив чрез край горячительных напитков, сделался весьма развязен и впал в чрезмерное хвастовство. Вели шумный разговор о недавнем перевороте 28 июня, вспоминали всякие героические и смешные эпизоды. Но вот заговорила Екатерина, и все смолкли. Она сказала по-французски:

– Все дело заключалось в том, чтоб или погибнуть вместе с сумасшедшим, или спастись вместе с народом, который хотел избавиться от подобного царя.

– Да что, матушка, – обращаясь к Екатерине, бесцеремонно воскликнул Орлов и не то в шутку, не то всерьез – Екатерина до сих пор не может понять – стал с наигранной наивностью бахвалиться: – Я столь огромное влияние имею на гвардию, что, если б я с братишками захотел, мог бы чрез месяц и вас, матушка, свергнуть с престола. Чрез месяц!

Екатерина тогда сверкнула на него холодным взором, чрез силу улыбнулась, опустила голову. А остряк гетман Разумовский, потешно избоченясь, захохотал в глаза Орлову и – тоже не то всерьез, не то в шутку бросил:

– Наверяд ли, Гриша... Чрез месяц, говоришь? Но, друг мой, не дожидаясь твоего месяца, а этак неделки через две, мы трохи-трохи повесили бы тебя. Хе-хе-хе...

Екатерина благодарно кивнула гетману.

Сразу придя в память, Григорий Орлов поспешно налил два бокала шампанеи.

– Гетман! Поцелуемся... – фальшиво прокричал он. – И выпьем за здоровье всемилостивой матушки. Я дурак, дурак... Матушка! Я пошутил. Казни меня... – и он опустился перед нею на колени. Она нехотя подала ему для лобызанья руку и, полузакрыв глаза, так же нехотя – на мгновенье коснулась губами его лба.

И вот теперь, сидя в карете бок о бок со своим фаворитом, Екатерина упорно и вдумчиво взвешивала свою грядущую судьбу. Ей надо вести себя умно и осторожно. За нею зорко наблюдают. Ей доподлинно известно, что почти каждый солдат гвардии считает себя виновником ее воцарения, что многие гвардейские офицеры мнят себя недостаточно награжденными за участие в перевороте, и поэтому среди гвардейцев носится скрытый дух вражды и недовольства; что у Григория Орлова много врагов.

И ежели он загремит сверху вниз, пожалуй, несдобровать и Екатерине.

А тут еще этот страшный полупризрак, черт его забери, претендент на престол – Иван Антонович! Он как бельмо на глазу Екатерины, он сугубо опасен ей!.. Разве не свидетельствует об этом гнуснейший заговор Хрущева с Гурьевыми! А ее болезненный сын, восьмилетний Павел... Ведь партия Паниных спит и видит, как бы чрез подходящий случай вместо Екатерины посадить мальчишку на престол. Но от такого-то пассажа уж как-нибудь она уберется...

Не то Екатерине страшно, про что много говорят, – страшно то, о чем молчат!

Как неимоверно трудны первые шаги царствования, сколь призрачна земная власть! И на глазах Екатерины слезы.

– Государыня, государыня! Вас приветствует народ. Я открою дверцу, махните ручкой... – говорит Орлов.

– Нет, нет, оставь, – отвечает она, ей сейчас не до народа.

Она косится в сторону любимого своего Гришеньки – в нем вся ее надежда. «Муж! Мой милый муж», – мысленно шепчет она, и ей хочется это мужественное, это крепкое слово произнести вслух и еще раз напомнить своему ветреному спутнику, что ей грозит беда.

Карета остановилась. С радостным визгом бросились к хозяйке две собачонки – верней их нет на свете! Ударил барабан, раздалась команда, офицер и солдаты молодцевато сделали на караул.

Вдали маячил на коне красноносый полицейский унтер с нагайкой, он осаживал сермяжных мужиков в лаптях, дабы их видом не оскорбить светозарных очей владычицы империи.

Государыня, шурша юбками, распространяя вокруг тончайший аромат французских духов, быстро впорхнула на крыльцо.

4

И вот Екатерина круто принялась за сложные дела государственного устройства.

Было обращено строжайшее внимание на лихоимство, взяточничество, казнокрадство, продажные суды. Вся Русь погибала от лихоимства. Начиная с губернаторов и воевод, «разоряющих всякими способами обитающих под их правосудием», и кончая последней мелкой сошкой – все торговали своим официальным положением. Весьма толковый, либеральный манифест, подсказанный Никитой Паниным и написанный собственной рукой Екатерины, был направлен на искоренение этой злокачественной язвы. Однако он никакого успеха не имел и не мог иметь: одними словами, как бы хороши они ни были, делу не поможешь...

Интересен и плодотворен манифест, опубликованный на многих языках и во многих заграничных газетах об иностранных поселенцах в России. Продолжая политику Петра Великого, Екатерина задумала населить приволжские пустыри между Саратовом и Астраханью выходцами из западных соседних стран, дабы эти колонисты, привезя с собой европейскую культуру, могли «умножить благополучие империи». На переселение из-за границы двадцати тысяч семейств, главным образом немцев, русское правительство издержало семь миллионов рублей, что являлось по тем временам колоссальнейшей суммой [28].

В связи с этим мероприятием стал вопрос о так называемых «беглых». С незапамятных времен многие русские люди – крестьяне, раскольники, солдаты – от непомерных угнетений очертя голову бежали на Урал, на Дон, за Волгу, в Швецию, Турцию, преимущественно в соседнюю с нами Польшу; бежали куда попало – хоть к черту на рога, – лишь бы подальше от своего немилого отечества.

Приглашая в Россию иноземцев, Екатерина, естественно, не могла «без сожаления вспомнить о природных русских подданных, любезное отечество свое оставивших». Екатерина продолжала держать перед Европой экзамен политической зрелости – она обнародовала о беглых либеральный манифест, явившийся лишь подробным толкованием краткого, наспех выпущенного Петром III, указа.

Этот острый вопрос все-таки решался Екатериной слишком скороспело и поверхностно. Ее манифест являлся не более как вытяжным пластырем, а не радикальным лечением болезни.

Дворянская фронда стала изыскивать более надежные способы лечения, и военный генерал Петр Панин представил Екатерине свой рецепт.

Братья Панины (и те, кто шел за ними) были явные крепостники, но, будучи людьми либеральными и в своей среде высококультурными, они не только ратовали на широкие реформы государственного управления, но и ставили вопрос о реформах социального строя, о введении строгой законности в отношениях между бариним и мужиком, лишь бы то, разумеется, было не в прямой ущерб дворянским интересам.

В своей докладной «записке о беглых» Петр Панин смело указывает много коренных причин побегов крестьян в Польшу, причем главная причина – «ничем не ограниченная помещичья власть с выступлением в роскоши из всей умеренности... употреблением своих подданных в работы, не только превосходящие примеры заграничных жителей, но частенько у многих выступающие и из сносности человеческой»... Генерал Панин требовал запрещения продажи людей в одиночку и в рекруты, уменьшения крепостных повинностей, опеки над помещиком, злоупотребляющим крепостным правом, предоставления крестьянину права жаловаться на помещика.

Петр Панин рекомендовал распространить эту реформу на всю империю.

Екатерина боялась, что рецепт Панина вызовет взрыв недовольства среди массы мелкопоместного

дворянства, на которое, по ее убеждению, главным образом опиралась ее власть. И свернуть на дорогу Панина – это значит лишиться престола, а может быть, и жизни. Поэтому «вольнлюбивые измышления» Панина она, не колеблясь, отвергла.

Таким афронтом Петр Панин был очень обескуражен, неприязнь его к Екатерине возросла.

Опубликованный манифест Екатерины, приглашавший беглецов возвратиться в Россию, как предвидели братья Панины, не имел того успеха, на который рассчитывала императрица: люди возвращались из-за границы сотнями, бежали туда тысячами.

Правительство решило, наконец, бороться с «утекцами» крутыми мерами. В 1764 году была сформирована особая карательная экспедиция под начальством генерала Маслова для «выгонки» осевших на Ветке^[29] беглых раскольников и прочих бежавших из России людей обиженных.

В эту экспедицию командировали и отряд донских казаков во главе с есаулом Яковлевым. Сюда попал и Емельян Пугачев: на это темное дело ему очень не хотелось ехать, но откупиться от похода бедному казаку было нечем.

Расправа с беглыми на Ветке была на этот раз очень жестокая: раскольничьи скиты и селения, по приказу генерала Маслова, были расхищены, преданы огню, многие беглецы переловлены, угнаны на поселение в Сибирь.

Емельян Пугачев пылливо присматривался к беглецам – этим вольнлюбивым людям, раздумывал о причинах их бегства из России, узнавал тайные тропы за рубеж, на Ветку: авось, когда-нибудь эти запретные пути ему пригодятся.

А пока что он снова возвратился к своему семейству и, живя в бедности, стал заниматься хлебопашеством.

Вскоре Екатерина натолкнулась на весьма трудный вопрос – о горнозаводских крестьянах. Она еще плохо знала жизнь, не предвидела всех последствий своих «прожектов», и, когда на Урале началось восстание работных людей, ей пришлось сбросить вольтерянство и, вместо любвеобильных в манифесте уверений, выдвинуть против уральских бунтарей штыки и пушки.

Труд горнозаводских крестьян считался хуже каторги. Вольной волей на заводы никто не шел, поэтому еще полсотни лет тому назад был издан регламент, дававший заводчикам право покупать у помещиков целые деревни с землей и без земли. Так многие десятки тысяч хлеборобов были куплены, насильственно переброшены на Урал и навечно закабалены заводчикам.

Хозяева заводов – либо вельможная знать, либо разбогатевшие купцы – жили в столице, заводами же ведали управители, приказчики. Вот эти-то наемники, соблюдая свои собственные выгоды, и загоняли, при попустительстве хозяев, рабочего человека в гроб.

Еще при Петре III начались на Урале беспорядки. Карательные меры ни к чему не привели, и к моменту воцарения Екатерины число возмущившихся горнозаводских крестьян достигло сорока девяти тысяч.

Со свойственным ей умом и энергией Екатерина пожелала вырвать это социальное зло с корнем и, встав на защиту людей работных, объявила указом:

«Всем заводчикам отныне к их заводам деревень с землями и без земель не покупать, а довольствоваться вольными наемными по пашпортам за договорную плату людьми».

Итак, труд обязательный, каторжный заменен трудом вольнонаемным.

Подобный шаг Екатерины, ошеломив хозяев-толстосумов, при своем осуществлении нанес многие беды и самой Екатерине, и толстосумам, и даже тем злосчастным работным людям, которых она мечтала облагодетельствовать. И на самом деле: этот манифест мог бы взволновать и спокойное население, а ведь на Урале протекала забастовка, и, когда там узналось содержание царской грамоты, бастующий народ перекрестился:

– Ого, ребята! Стало – правильно мы... На работы не выходить, в случае чего – приказчиков вешай! А кому желательно – езжай со всей рухлядишкой в родную сторону. Мы ныне вольные. Матушка-государыня за нас.

Весь горнозаводский Урал вскоре был охвачен восстанием. Работные люди в простоте своей так и полагали, что они действуют заодно с матушкой-царицей, что вольность их освящена законом и потому – им черт не брат.

А в это время всполошившиеся аристократы-горнозаводчики – граф Шувалов, два графа Воронцовы, графы Ягужинский, Сиверс, Чернышев, знатные Демидовы и прочие и прочие – поверглись, фигурально говоря, пред Екатериной на колени и в выражениях самых изящных по форме, но со скрытым озлоблением против манифеста, в один голос возопили: матушка, что же ты наделала, ведь ты-де росчерком пера губишь горнозаводскую промышленность, которую с таким упорством насаждал на Урале Великий Петр!

– Ваше императорское величество! Повелите изыскать меры к потушению пожарища, дабы бедствие сие не перебросилось на соседние провинции и на самое сердце России. Ваше величество! Чернь жестока и в корысти своей неукротима...

Царица не на шутку перетрусилась и, по внушению Григория Орлова, круто повернулась к рабочим «высочайшим» тылом. Проще говоря, она тотчас поручила тушить сибирский пожар молодому расторопному «брандмейстеру» – князю А. А. Вяземскому.

«Нужда теперь в том состоит, – не краснея, писала она князю, – чтоб крестьян привести в должное рабское послушание и усмирить. А ежели будет сопротивление – употребить против них оружие и даже до пушек».

Князь Александр Вяземский, человек жестокий и тупой, но очень исполнительный, был весьма подходящ для роли «брандмейстера». Закоренелый крепостник, еще не оперившийся враг дворянской фронды, он был ненавистен группе братьев Паниных, зато мил сердцу Орловых – такими людьми они вообще довольно дорожили.

И вот в руках Вяземского большая воинская сила. Заводские крестьяне-рабочие осыпали появившиеся против них солдатские команды градом упреков:

– Вы изменники государыни! Вас, лиходеев, хозяева подкупили. А мы – по манифесту... Не поддавайся, мирянушки!..

– Расходись! Становись на работу! – кричали командиры.

– Не пойдем! Пуцай нам контора расчет выдаст... Мы тихо-смирно по деревням своим разбредемся... Мы – по манифесту... А нет, мы к матушке-государыне ходоков пошлем... Злодеи!

– Пли! – слышалось в ответ. И пушечная картечь опрокидывала толпу, разила насмерть. Многие в страхе разбежались, многие падали и умирали.

Так благие пожелания кончились грохотом пушек и кровью казненных.

Эту кровь рабочий люд припомнит Екатерине – вместо слез и стенаний он ответит ей залпом своих

собственных пушек, когда появится на сибирских заводах грозный Пугачев.

5

Еще будучи великой княгиней, а затем и при Петре III, Екатерина примечала, что внутренними делами России никто не интересуется, что государственный механизм работает кое-как: чадит, скрипит, идет вспотычку, по инерции. Она понимала, что так продолжаться не может, и, вступив на престол, решила благоустроить свое «любезное отечество». Но для предстоящих реформ талантливых, толковых людей из дворянской аристократии возле нее не оказалось. Прихлебателей и сторонников Петра III: казнокрада и взяточника Романа Воронцова, его брата, слабоумного, продажного канцлера М. Воронцова, братьев Шуваловых, Миниха и прочих – она от престола отстранила, новых сподвижников пока что не приобрела – за исключением одаренного Никиты Панина, который перешел к ней, так сказать, по наследству от прежнего царствования. Правда, терся возле нее возвращенный ею из ссылки просвещенный политик – бывший канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, которому она многим была обязана^[30]. Но он, этот последний «птенец» Петра I, дряхл, упрям и стал не в меру подхалимен. То он носитися со льстивым проектом поднести императрице титул «великой, премудрой матери отечества», то – может быть, по внушению братьев Орловых – собирает подписи под петицией Екатерине о том, чтоб состоялся ее брак с Григорием Орловым. Но первый угодливый проект, как неблагоприятный, она рыцарски отклонила, а уронить свой престиж настолько, чтобы превратиться в madame Орлову, не захотела. Тем не менее Бестужев пользовался особым доверием Екатерины.

Впрочем, главная персона при дворе – сиятельный граф Григорий Григорьевич Орлов. Однако Екатерина, быстро раскрыв его, поняла, что он, к сожалению, государственным умом не обладает, недостаточно образован, ветрен, любит по пьянствовать, посорить деньгами, вообще пожить в свое удовольствие. Она отчетливо себе представляла, что одна только красивая внешность еще не может являться опорой престола. Напротив того, Орлов, сумевший своим высокомерием восстановить против себя многих былых своих товарищей, сам нуждался в высоком покровительстве Екатерины. Но сила Орлова в том, что он искренно предан Екатерине. Он был единственным человеком, которому Екатерина абсолютно доверяла.

Честолюбивый, ослепленный блестящей карьерой, Орлов тщился разделить с Екатериной трон и стать царем, он верил в возможность подобного «марьяжа», он во сне и наяву об этом грезил. Но Екатерина отдала ему лишь свое сердце, оставив за собою право своевластно и безраздельно управлять империей.

Конечно, и при дворе, и в двух столицах, и вообще на местах было много людей одаренных, болеющих нуждами народными (например, тот же Ломоносов). Но они случайно, а может статься, и умышленно, не попали в поле зрения политического кругозора царицы. И в этом ее историческая слепота.

Дважды в неделю она присутствовала на заседаниях Сената, где удивляла сенаторов своим непреклонным характером, политической зрелостью, государственным широким кругозором.

Худ или хорош Сенат, состоящий из крупного дворянства, – он являлся в стране большой государственной силой, с которой Екатерине доводилось не только работать, но и серьезно считаться. Недаром и назывался он: «Правительствующий Сенат».

В числе сенаторов был Петр Панин, произведенный Екатериною по окончании Прусской войны в полные генералы. Этот либеральный феодал возглавлял в Сенате дворянскую против императрицы фронду и вел себя независимо. Однажды Екатерина привезла в Сенат новый указ и огласила его. Все сенаторы, кроме Петра Панина, встали, благодарили ее.

– А вы, господин сенатор? – обратилась она к нему.

– Я не могу согласиться с тем, что считаю неправильным. Но ежели мне монархиня прикажет, я обязан буду подчиниться.

В начале 1764 года, чтоб разбить в Сенате дворянскую фронду, Екатерина назначила генерал-прокурором (главой) Сената князя А. А. Вяземского, недавнего душителя работных людей на Урале. Будучи врагом прогресса, этот тридцатисемилетний князь был приверженцем царицы и Орловых.

Екатерина, изложив свою программу, старалась внушить ему:

– Имейте в виду, Александр Алексеич, в Сенате вы встретите две партии. И каждая партия будет вас тянуть к себе. В одной люди честных нравов, хотя и недальновидны разумом, они нам не есть опасны. Виды же другой партии простираются дальше. Например, генерал Панин Петр много смотрел чужие земли, он все наше критикует и мечтает завести у нас иноземные порядки. Вы держите себя так, чтоб обе партии поскорей исчезли навсегда. В ущерб интересам страны они там грызутся, аки псы. Они не понимают, что Сенат установлен лишь для исполнения законов, ему предписанных. А между тем Сенат не единожды выходил из своих границ и садился в чужие сани. Однако ж покамест я жива, несбыточные мечтания их я пресеку. – И Екатерина, повысив голос, заключила знаменитой фразой: – Российская империя столь обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая иная форма правления ей вредна!

Вскоре фронда в Сенате была разбита. Покоренный, приниженный Сенат из главенствующего в государстве учреждения обратился в какую-то судебную канцелярию и «богадельню для вельмож».

Глава II

«Промысел Божий». Несчастнорожденный Иванушка

1

Итак, государственная машина пришла в действие, стала работать полным ходом.

Но грозный призрак в образе шлиссельбургского узника непрерывно, неотвязно подавлял дух Екатерины.

Шел 1764 год.

«Городская эха», подстегнутая недавним политическим процессом офицера Хрущева со товарищи, вопреки строжайшему манифесту «о молчании», все еще продолжала с упорством гудеть о принце Иоанне. Эта «эха» постепенно проникла и в медвежьи уголки государства. Русский же народ, склонный к высоким чувствам, всегда интересовался и скорбел о судьбе невинно страдающего узника, а в просторечьи – «несчастливого Иванушки». Подобное настроение страны было доподлинно известно Екатерине.

На днях ей попалась в руки копия письма Вольтера к г. Аржанталю (привез ее из Парижа И. И. Шувалов, большой почитатель Вольтера и лично знакомый с ним). Между прочим Вольтер писал: «Я немного тревожусь о моей императрице Екатерине, как бы принц Иван не свергнул нашу благодетельницу». Это прозрение мудреца окончательно лишило Екатерину душевного спокойствия. Что же делать ей, что предпринять для предотвращения катастрофы? Рассчитывать на естественную скоропостижную смерть принца Екатерина не могла. Он здоров, ему двадцать четыре года, и разум его не помрачен. Ведь вскоре после своего воцарения Екатерина имела с принцем тайное свидание, и если бы она заметила, что Иоанн безумен, она тотчас же опубликовала бы об этом радостном для нее явлении манифест: умалишенный претендент не может быть обладателем престола. Но манифеста не последовало.

Значит, к ограждению своих прав Екатерине оставался один выход: насильственное умерщвление принца Иоанна.

«Какое Бог похощет, тако и совершится», – тщетно стараясь преодолеть великие соблазны и душевные терзания, лицемерила Екатерина сама с собой.

И вот «промысел Божий» начинает постепенно плести подлые и миру невидимые сети.

Сети стали плестись сыздавна. Два приставленных к Иванушке офицера – Власьев и Чекин, в дополнение указа Петра III: «арестанта живого в руки не отдавать», получили новую секретную инструкцию за подписью Никиты Панина: «Ежели случится, чтоб кто пришел с командою или один, без именного, за собственноручным Ее Императорского Величества подписанием, повеления или письменного от меня приказа и захотел арестанта у вас взять, то оно некому не отдавать. Буде же так она сильна будет рука, что спастись не можно, то арестанта умертвить, а живого в руки не отдавать» и т. д.

Оба названных тюремщика, Власьев и Чекин, восемь лет проведенные в крепости вместе с принцем Иоанном, и сами в конце концов уподобились заключенным: они лишены были права выходить за пределы крепости, переписываться с родными, видаться со знакомыми. И вот возопили они к Панину:

«Помилосердствуйте».

Панин с учтивостью ответил им весьма знаменательным во всей этой темной истории письмом [\[31\]](#).

«Благородные господа капитан Власьев и поручик Чекин.

Я не сомневался, что вы, находясь в вашем месте, претерпеваете долговременную трудность... Извольте взять еще некоторое терпение... а при том уверяю вас, что ваша комиссия для вас скоро окончится и вы без воздаяния не останетесь. Ваш всегда доброжелательный слуга Н. Панин. Августа 10 дня 1763 года».

Но прошло четыре месяца, обещанного окончания их «комиссии» все еще не наступало, и несчастные офицеры-тюремщики вновь взмолились к Панину: «Больше сил нету, выпустите нас из Шлиссельбурга». В конце 1763 года Панин просит их новым письмом еще немного потерпеть: *«оное ваше разрешение не дале, как до первых летних месяцев продлиться может»*. И в задаток благ будущих шлет каждому из них по тысяче рублей.

Весной 1764 года разные бредни об Иване Антоновиче, не прекращавшиеся и раньше, стали особенно обильны, тревожны и настойчивы. В Петербурге поговаривали о какой-то предстоящей катастрофе. Откуда исходили эти слухи, неизвестно. Казалось бы – осторожность диктовала правительству принять против праздной болтовни те или иные меры. Но правительство оставалось к опасным слухам равнодушным. Их почему-то не особенно боялась и Екатерина. После пасхи начали появляться в Петербурге подметные письма, прокламации, пророчащие скорую катастрофу или зовущие к возмущению. В одном письме говорили: «Как скоро волею Божьею Иоанн престол получит, Миних, Остерман и Бирон в отставку...» В другом грозили, что «уже время наступает к бунту». В третьем писали: «Графа Захара Чернышева четвертовать, Алексея Разумовского, Григория Орлова також, государыню выслать в свою землю, а надлежит на царский престол утвердить непорочного царя и неповинного Иоанна Антоновича».

Екатерина с непонятным спокойствием прочитывала эти безыменные доносы и, передавая однажды объемистую пачку их князю Вяземскому, сказала:

– Все сие презрения достойно.

Тучи над Екатериной сгущались, вот-вот ударит гром. Всегда крайне настороженной и осторожной Екатерине надлежало бы крепко сидеть в Петербурге, чтоб во всеоружии встретить катастрофу. Но... случилось иное. Осененная благопоспешествующим «промыслом Божьим», она, ничтоже сумняшеся, 20 июня покидает пределы своего государства и в сопровождении Орлова предпринимает пышное путешествие в Лифляндию якобы для устроения политической важности дел.

2

В Петербурге, видимо, тот же «промысел Божий», та же благодать снизошла и на молодого офицера, подпоручика Василья Яковлевича Мировича.

Тщедушный, среднего роста, кривоногий, с большим выпуклым лбом и черными, горящими огнем фанатизма глазами, он влачил службу в крайней нужде, снимал плохонькую комнату «вверху над сенми» в доме партикулярной верфи, в Литейной части Петербурга. Происходя из знатного рода Мировичей, он был крайне честолобив и не однажды возбуждал безуспешные ходатайства о возвращении ему имений его деда-изменника, последовавшего за Мазепой. Он даже добился свидания с гетманом Разумовским.

– Га! Хлопец, землячок! Ну, что, карбованцев треба? – радушно воскликнул гетман.

Мирович, блестя глазами, объяснил ему крикливым нервным голосом цель своего визита.

– Именья деда, говоришь? Нет, хлопец. Мертвого из гроба не ворочают. Ты, хлопец, пробивай себе дорогу сам. Норови сгрести фортуна за чуприну, вот як – цоп! И будешь таким же паном, как и прочие.

Впечатлительный Мирович принял совет гетмана всерьез. И ему запала мысль действительно схватить счастье за рога. Но как? И где это загадочное счастье? Его рота довольно часто несла под его начальством караул в Шлиссельбургской крепости. Он обратил внимание, что в крепости есть казематы и что возле каземата С-1 всегда одна и та же несменяемая особая охрана. Здесь томился никому не ведомый «безыменный колодник». Год тому назад отставной барабанщик по пьяному делу сболтнул Мировичу, что безыменный узник есть бывший император Иван III Антонович. Наконец-то! Счастье само дается ему в руки!

Эта весть потрясла Мировича и навсегда лишила его покоя.

Ему хорошо были известны эпизоды дворцовых переворотов. Чтоб навеки прославиться, он, ни много ни мало, умыслил возвести Ивана Антоновича на престол.

В начале июля наступила его очередь идти на караул в Шлиссельбургскую крепость. Он жил теперь в форштадте за рекой Невой, против самой крепости. В последние дни он смело и пылко стал склонять трех капралов и солдат своей роты принять участие в перевороте.

– Екатерины, ведомо вам, в Петербурге нету, – нервным голосом нашептывал он солдатам, и черные глаза его горели. – Она уехала с Григорием Орловым в Ригу, за него замуж выходить. Она немка, и помоги Никола-чудотворец, чтоб ей оттуда не вернуться. А Иван Антонович происходит от колена Петра Великого. Престол российский – его престол.

Солдаты колебались. Но они любили Мировича и верили ему.

3

Екатерина с Григорием Орловым, генералом Петром Паниным и свитой медленно подвигалась в направлении к Риге. Песчаная дорога и нестерпимая жара делали путь неподатливым и трудным.

Жарко было и в столице. Обер-гофмейстер Никита Панин с десятилетним наследником Павлом проводили лето в Царском Селе.

Послеобеденный отдых кончился. Никита Панин с учителем наследника, молодым офицером С. А. Порошиным^[32], и сам наследник с китайской, слоновой кости, тросточкой в руке выходят на прогулку. Сзади за ними – два лакея в галунах и огромный казак в лохматой шапке.

Из правого крыла Екатерининского дворца они спустились в собственный садик ее величества. Раздалась команда: «Смирно! На караул!» Бравые гренадеры стукнули ружейными прикладами в плиты панели, выпятили грудь, выкатили на Павла Петровича глаза, замерли. «Вольно!» – писклявым детским голоском выкрикнул наследник и, помахивая тросточкой, чрез ножку поскакал вперед.

– Ваше высочество! – остановил его Панин, и они все трое неспешно двинулись вниз, к большому озеру. – Когда вы подаете солдатам команду, ведите себя, ваше высочество, подобающе, не уподобляйтесь козлоногим сатирам. А вы чрез ножку гоп да гоп. Сие по военным правилам возбраняется.

– Почему возбраняется? Докажите, сударь, почему? Вы сей день, Никита Иваныч, придираетесь ко мне, – картаво и быстро заговорил мальчик. – Порошин! Ведь этот дядя придирается ко мне?

– Никак нет, ваше высочество. Его высокопревосходительство, Никита Иваныч, резонно молвил... – слегка улыбаясь, ответил ласкательным тоном Порошин.

Осанистый Панин ленивым жестом достал кружевной платок, вытер вспотевшую шею и осторожно взял наследника под руку. Слегка задыхаясь и пыхтя после сытного обеда, сановник низким голосом проговорил:

– Я вам, батюшка, Павел Петрович, еще в прошлый раз сказывал...

– Опять рацеи?

– Да, рацеи, – нажал на голос Панин.

– Дайте же мне побегать, сударь. Где Ванька, мальчик садовника? Покличьте гарсона Ваньку! Мы с ним взапуски...

– Не Ванька, а Ваня, ваше высочество, – менторским тоном заметил Порошин. – Уничижительное имя – есть кличка, присущая не людям, а скотам.

Курносый, пучеглазый мальчик надулся и, тщетно стараясь освободиться от горячей, вспотевшей руки Панина, стал сердито пыхтеть. И все-таки вырвался от Панина, быстрого побегал к цветущей куртине, сорвал три цветка – беленький, желтенький, красненький – и чрез ножку – к Панину:

– Никита Иваныч! Извольте в петличку, сударь, в петличку... Не гневайтесь. Ну пожурили и – будет.

Панин улыбнулся и полными губами чмокнул руку наследника. Над царскосельским озером заходило солнце. Зеленый островок с концертным павильоном стал розовато-коричневым. Обширная гладь озера горела в блеске заката.

Пламенела золотая дорога, и на бескрайной поверхности Ладожского озера белые паруса рыбачьих судов розовели вдаль. Тишина, простор и чуть тронутое лазурью бледное небо.

Но безымянный узник, прикинув к полукруглому за железной решеткой окну, этой широкой и вольной картины не видит: его тоскующий взор, то вспыхивая, то погасая, упирается все в тот же противный, мощный камень, нелюдимый дворик, огражденный проклятыми стенами. И так изо дня в день, из года в год... Когда же избавленья? Хоть бы смерть пришла...

Он тонок, сутул и чрезвычайно бел лицом. Большой орлиный нос заострился, щеки ввалились, он – как чахлое, лишенное воздуха и света дерево. Длинные, белокурые, чуть седеющие волосы раскинуты по плечам, как у монаха. Одежда грязная, старая, в заплатках.

– Григорий, Григорий, Григорий мое имя... А где же Иоанн? Нету Иоанна. Все мне говорят, что нету. А был, а был. Они все врут, колдуны проклятые, шептуны. Они сглазили меня, лихоту на мой разум напустили. Огнем на меня дышат. Смарадом адовым. А я помню, что был я рожден Иоанном. Я принц, я повелитель здешней империи.

– Ты что это такое выорматываешь, Григорий? – скрипучим голосом спрашивает его старый солдат в седой щетине, он сидит у стола, вяжет себе кисет из гарусной шерсти.

– Я ничего, ничего, дядя, – поворачивается к нему Иоанн, на мгновение закрывает белыми ладонями лицо, как бы собираясь разрыдаться, затем закидывает руки назад и, стуча грубыми башмаками, начинает быстро шагать по сводчатому каземату. Он морщит лоб, угрюмо смотрит в пол, думает. Шаги его мерно брякают железными подковами в камень плит, а старому солдату грезится, что за окном чья-то тяжелая рука загоняет в гроб гвозди. Узник остановился, жалостно посмотрел в глаза солдату и тихим голосом, слегка заикаясь, заговорил:

– А слыхивал ли ты, солдат, житие Алексея, человека Божьего? Четы-Минеи, вот она книжица-то, эвот! Он был сын царский, и в юности покинул дом отца своего, и покинул супругу милую, и всю царскую пышность отгел, и, отряся прах от ног своих, сокрылся... Ты слышишь, солдат?

– Сказывай, сказывай, слышу. Я божественное люблю... – Солдат остановил вязанье, облокотился на стол, а сухими кулаками подпер скулы, отчего углы глаз перекошились, полезли к вискам, как у китайца, и с вниманием стал вслушиваться в речь узника.

– И вот много лет минуло. И стал Алексей, царский сын, нищим. И приходит он как-то ко двору в рубище и с сумкою для корок хлеба. И просит слуг: «Помогите ради Христа на пропитание убогому». А слуги, не узнаша его и схватив вервие, гнаху вон... – Вдруг узник подбежал к солдату и, бросив руку на его плечо и согнувшись, закричал:

– Алексей, царский сын, – это я! Вот я нищ, убог, возвращаюсь в царский дом свой... И вы слуги мои, не признав сына царева, гоните меня!

Солдат вскочил и, подхватив вязанье с клубком шерсти, пятился от Иоанна.

– Не бойся меня, солдат... Я смиренный. Вот сжалится Бог надо мной да посадит меня царем царствующим, я тишайший буду, никого казнить не стану. Ведь во мне плоти нет, солдат, плоть умерла, остался дух свят, дух Иоанн. Я тебе много добра сделаю! И Власьеву, и Чекину... – косноязычно выкрикивал он, наступая на солдата.

– Стой ты, стой! – пятился от него солдат, отмахиваясь клубком и вязаньем. – Какой ты Иоанн, к свиным! Ты Григорий, Гришка-дурак, заика...

Лицо узника все сморщилось, он всхлипнул, всплеснул руками и пал пред солдатом на колени:

– Скажи, скажи, ну миленький, ну желанненький... Кто та жена в хламиде черной, что посетила меня давно, с год, с два? Кто она, красавица такая, все выпытывала, все взором глаз небесных влияние творила по зраку моему убогому?.. Меня возили в те поры, возили куда-то, лицо завязали мне тряпицей... Уж не

невеста ли моя нареченная, суженая? Аль на погубленье души моей сатана принес ее? Ой, скажи, ой, скажи, солдат!.. Сжался, смилуйся! – Он распростерся на полу ниц. Вся грудь его наполнилась рыданьем. А когда поднялся, солдата пред ним не оказалось, была чугунная дверь с замком, были затхлые стены да лампада в углу перед иконой.

Иоанн пошатнулся, трагически запрокинул голову, стиснул вскинутыми ладонями виски и каким-то перхающим голосом сипло и задышливо стал выбрасывать убогие слова:

– Господи! Мнози борят мя страсти... Спаси меня! Спаси меня!

Панину подают пакет. Он ломает печать, подносит бумагу к самым глазам, пробегает ее содержание и, оставив наследника на попечение Порошина, спешит во дворец. Он быстро пишет секретный короткий приказ: выставить сильный военный дозор по обоим берегам Невы в трех верстах выше Петербурга, дозору быть начеку, всех плывущих водою или направляющихся к столице берегом, какого бы чина и звания ни были, – хватать.

Серая пелена неба поредела. Спустилась на землю июльская белая ночь.

Екатерине жарко, душно. Она встает с позолоченного ложа, оправляет пред зеркалом чепец и, накинув сиреневый кружевной капот, подходит к открытому окну. Возле крыльца старинного рыцарского замка, где она пребывает, стоят четыре стража. Они в средневековых панцирях и шлемах, их стальные тесаки обнажены. Чужеземные витязи охраняют покой российской императрицы. Екатерина пересекает спальню и соседнюю с ней горницу и выходит на балкон. Пред ней море цветов всех ароматов, всех оттенков. Буйно цветут кусты жасмина, а дальше – заросли отцветающей сирени, а еще дальше – кудрявая стена могучих дубов и кленов. Поют бессонные соловьи. Екатерина трепетными ноздрями втягивает пьянящий воздух. Как хорошо кругом! Но сердце ее сжимается в тревоге, она ищет прищуренными глазами восточную сторону, где на произвол судьбы брошен ею Петербург. Из ее груди вырывается глубокий-глубокий, тяжкий-тяжкий вздох. Что там, как там? Бодрствует ли Никита Иваныч Панин? Ведь ему вверены наследник престола и спокойствие страны.

Да, Никита Панин в Царском Селе бодрствует. Среди ночи он вдруг зазвонил в серебряный звонок и вошедшему сонному адъютанту, не успевшему надеть парик с косичкой, приказал тотчас закладывать карету в Петербург.

4

Да, да. Ночь. Надо действовать, действовать немедленно! Мысль Мировича горит. Он таращит в полумрак безумные глаза: там, возле изразцовой печки – огненный трон, на троне – юный Иоанн, и перед ним на коленях он, Василий Мирович, подающий на серебряном подносе Иоанну корону, державу, скипетр...

Пробило час ночи. Мирович в полутьме разделся и лег спать.

Заскрипела дверь, вошел фурьер Лебедев, объявил, что комендант приказал, не тревожа Мировича, пропустить из крепости гребцов. В половине второго снова явился тот же фурьер – комендант приказал пропустить в крепость канцеляриста и гребцов. А чрез несколько минут опять приказ – пропустить из крепости гребцов обратно.

– Баста! – фатальным голосом выкрикнул Мирович. – Прочь, раздумье! Больше ни минуты. Слава так слава, а коли смерть так смерть. – Он схватил мундир, шарф, шагу, шляпу и, одеваясь на ходу, побежал из кордегардии в солдатскую караульную. – К р-ружьё! – заорал он что есть силы.

Быстро собравшаяся команда в тридцать семь штыков построилась на дворе крепости во фронт.

– Забить в ружья пули! – громко приказал Мирович.

Солдаты с шумом, с бряком стали заряжать ружья.

На крыльцо выскочил в одном халате комендант и злобно спросил Мировича:

– Что случилось? По чьему приказу?

Мирович кинулся к нему, с маху ударил его в лоб прикладом и, крикнув:

– Мерзавец! Невинного государя держишь здесь! – приказал его арестовать.

Третий час ночи. Светло. Прохладно. Чрез башни, чрез гранитные стены, чрез крыши казематов с Ладожского озера наплывал густой туман. Он вдруг заполнил все пространство белой мутью: пропали крепостные стены, очертания дома коменданта, пропали шеренги солдат, исчезло небо. Люди пришли в смятение.

Кой-как перестроив команду в три шеренги, Мирович сквозь туман кинулся наобум с солдатами к каземату С-1.

– Стой! Кто идет? – окрикнул караульный.

– Идем к государю! – громко ответил Мирович.

Тогда от каземата пыхнули мутные огни, прогремел из шестнадцати ружей недружный залп. Но туман густ и бел, как молоко: каземат и все кругом скрылось, как в волшебной сказке. Мирович скомандовал:

– Огонь!.. Всем фронтом – пли! – затрещали выстрелы по направлению к пропавшему в тумане каземату.

Дав залп, солдаты стали в страхе разбегаться, пошел ропот.

– Стой! – раздался из тумана голос Мировича. – Слушай манифест! – и, выхватив бумагу, Мирович быстро стал читать собравшимся солдатам. А затем закричал гарнизонной команде, что у каземата: – Ребята, не палить! Изменники...

Туман ответил:

– Сами изменники! Палить будем, – и снова ударил из тумана в туман слепой безвредный залп.

– Пушку, пушку сюда!.. Вот я вас пушкой... – стал застрашивать невидимый в тумане Мирович. – Солдаты, на бастион! – Солдаты, плутая в белых облаках тумана, потащились за пушкой, Мирович – в комендантский дом за ключами от порохового склада, на ходу встречным часовым кричал: – Ни в крепость, ни из крепости никого не впускать, не выпускать! Кто прорвется – стрелять!

С трудом притащили пушку, засыпали пороху, стали забивать ядро. Мирович послал к гарнизонной команде своего сержанта с приказом, чтоб сдавались, чтоб выслали к Мировичу офицеров Власьева и Чекина, иначе «его благородие» немедля учинит пальбу из пушек.

Сквозь туман громкий ответ:

– Конец пальбе! И вы не смейте бить по нам из пушек.

Тогда обрадованный Мирович бросился со своими солдатами к каземату и, наткнувшись на Чекина, потащил его в сени:

– Говори, где государь?

– У нас государыня, а не государь.

Мирович ударил его по затылку и, потрясая ружьем, сумасшедше заорал:

– Отпирай двери! Заколю! – и направил на него штык.

Чекин, зябко передернув плечами, без сопротивления отпер дверь.

Мирович с солдатами по семи каменным ступенькам вбежали в темный каземат.

– Огня!

Затрещал-заплевался смольевой факел, тьма за клубилась дымом, туманом, неверным колеблющимся светом. На каменных плитах в луже крови валялся недвижимый Иоанн. Проткнуты шпагой левый бок, грудь и ранена шея. Пальцы скрючены, рот полуоткрыт, большие полутемные глаза удивленно смотрят в каменные своды.

Мирович и солдаты содрогнулись.

Двое убийц – Чекин и Власьев, бледные, взволнованные, стояли в стороне. Мирович опустился на колени перед трупом, поцеловал Иоанну руку.

Мертвеца суетливо, с шепотом, со вздохами положили на кровать, прикрыли красной епанчой, отнесли к фронтовому месту.

Туман рассеялся. Восток в заре. Светло, как днем.

Мирович приказал бить утренний побудок, а команде взять «на караул». Страшно забили барабаны. У солдат прошел по спине мороз. Мирович, отдавая воинские почести почившему, салютовал шпагой. Затем, потеряв самообладание, весь похолодевший, отрешенный от жизни, он приблизился к праху, вновь поцеловал руку Иоанна и сказал солдатам:

– Братцы! Други! Вот наш государь... Теперь мы не столь счастливы, как несчастны. А всех больше за то я претерплю. Вы не виноваты. Я за вас буду ответственать, и все мучения на себе снесу. – По щекам Мировича катились слезы. Он стал обходить шеренги, обнимать каждого солдата, благодарить и целовать.

Вдруг на него сзади бросился капрал: «А ну-ка, барин!» – и с помощью пришедших в себя солдат снял с него шпагу. Явился освобожденный солдатами комендант. Он сорвал с Мировича офицерский знак. Мирович и его солдаты арестованы, крепость заперта. Никите Панину срочно строчится донесение.

Итак, умыслив спасти Иоанна, Екатерину же лишить престола, Мирович Иоанна погубил, а спас Екатерину: отныне ничто не угрожает ее трону, шлиссельбургский узник мертв.

Об этой шлиссельбургской «диве» она узнала лишь четыре дня спустя, утром 9 июля, тотчас по приезде в Ригу.

Она всплеснула руками, прослезилась и воскликнула:

– Руководствие Божие чудное и несказуемое есть!

Из Петербурга скакали в Ригу курьер за курьером. Екатерина писала по-французски Панину: «Провидение оказало мне очевидный знак своей милости, придав такой конец этому предприятию...» И далее, по-русски: «Я ныне более спешу как прежде возвратиться в Петербург, дабы сие дело скорее окончить и тем далних дуратских разглашений пресечь».

Она вернулась в столицу лишь в конце июля, а 17 августа был опубликован «во всенародное известие» манифест о «приневоленном» убийстве Иоанна.

Верховный суд, разобравший дело в скорый срок, 9 сентября подписал сентенцию приговора: «Отсечь Мировичу голову и, оставя его тело народу на позорище до вечера, сжечь оное потом вкупе с эшафотом, на котором та смертная казнь учинена будет».

5

Поутру, 15 сентября, на Петербургском острове, на Обжорном рынке состоялась казнь Мировича.

Народу собралось очень много. Все свободные места, свайный мост, крыши домов, заборы, деревья были усеяны народом.

Мясник Хряпов со своим приятелем, бывшим придворным лакеем Митричем (ныне уволенным за пьянство), стояли в обнимку на узкой скамейке, принесенной за пятак из соседнего дома дворником.

Эшафот с палачом окружен солдатами и густым кольцом зевак. Все, вытянув шеи, ждут. Гул, говор, шум. В толпищах разговоры:

– Помилуют, помяни мое слово, помилуют... Мирович ни при чем тут, не он убил.

– Как не он! В сентенции ясно пропечатано: «чего несчастного принца убийцам должно признать Мировича». На, читай.

– Ой, Митрич, Митрич, – сказал Хряпов лакею. – И пошто мы на этокое позорище пришли!

– Дабы милость государыни своими очами зреть.

– Милость? Ха! Дождешься.

– Да уж поверь. Уж мне ли не знать. Весь век при дворе проторчал. Да и кавалерия також-де думает. Мне знакомый полковничиска сказывал: Мировичу будет дарована жизнь.

Почти по всей людской громаде была крепкая уверенность, что Мировича помилуют. Так же думал и стоявший в своей роте унтер-офицер Преображенского полка Г. Р. Державин.

– Давай об заклад, – не изменяя застывшей позы и держа у ноги ружье, шептал он своему соседу. – Всемиловейшая помилует. Да и граф Алексей Григорьевич Орлов так изволил говорить намедни.

– Гляди, гляди, сентенцию читать закончили, – в ответ ему шептал сосед-преображенец. – Барабаны бьют, палач подходит...

– Хоть сто палачей! – под бой барабанов уверенно сказал Державин, потряхивая пудренными буклями, свисавшими из-под голубой шляпы. – Помнишь, как с Хрущевым в Москве: положили голову на плаху для видимости, и больше ничего. Тако и с Мировичем...

Но вот сверкнул топор, лакей Митрич отвернулся, защурился. Хряпов от волнения оборвался со скамейки – топор сверкнул, народ тысячегрудно во всю мочь ахнул, «отпетая» голова Мировича в руке палача высоко приподнялась над эшафотом. Люди обмерли, попадали с крыш, с заборов, стоявшая на мосту толпа с такой силой содрогнулась, что мост заколебался, затрещал.

Итак, «сей дешператной и безрассудной соур»^[33], как выразилась Екатерина, начался и закончился кровью.

Прямые убийцы Иоанна – офицеры Власьев и Чекин, вместо справедливой кары, получили по семь тысяч награды, большие чины и хорошую службу. Им приказано соблюдать о всем этом деле строжайшее молчание. Цепь печальных событий казалась большинству естественной, ставящей Екатерину вне всяких подозрений. Но эта несносная «городская эха», не щадя Екатерину, стала судить и рядить по-своему. Получалось, что вся шлиссельбургская «нелепа» была искусно подстроена.

Однако то была одна лишь догадка, ни один человек в то время не знал ни секретных бумаг, ни тайных изустных приказов, ни сокровенных пружин, пущенных в дело укрепления власти.

Но ныне, пред судом истории, все налицо. И старые дворцовые ребусы могут быть правдоподобно разгаданы.

Чтобы успокоить мятущийся дух Екатерины, Никита Панин, со всей присущей ему деликатностью, как-то сказал ей:

– Не печальтесь, государыня. Божие провидение изыскало мудрый способ избавить любезное вашему материнскому сердцу отечество от величайших потрясений. Воцарение, Боже упаси, слабоумного, неподготовленного к управлению столь обширным государством принца Иоанна было бы чревато грозными последствиями.

– Да, добрый Никита Иваныч, – опустив голову, с неподдельным сокрушением ответила Екатерина. – Мы с вами действовали, руководствуясь промыслом Божиим и теми же самыми мотивами, по которым действовал и великий Петр, не пощадивший даже своего родного сына.

– Да будет среди народов благословенно имя ваше, великая государыня. – Они оба вздохнули.

Глава III

Ломоносов. У малолетнего цесаревича гости.

Жестокая филиппика

1

От места казни первой отъехала карета графа А. С. Строганова. Граф спешил в Зимний дворец к наследнику.

На своей двуколке поплелся к себе и Митрич, живущий теперь на Седьмой линии Васильевского острова. Рядом с ним – хмурый мясник Хряпов. Долго ехали молча. Всенародное позорище^[34] отняло у обоих языки.

Они ехали правым берегом Невы мимо наплавного моста, соединявшего Васильевский остров с городом против Исаакиевской церкви. В Петербурге считалось шестьдесят две тысячи жителей, наиболее населена левобережная часть города, а Петербургская и Выборгская стороны заметно пустовали. На Васильевском острове застроены набережная и Галерная гавань, восточная же и западная части острова – кочковатое болото, поросшее лесом и кустарником. Здесь в ночное время нередко грабежи.

– И пошто ты в такое неудобственное место затесался? – спросил Хряпов, осматриваясь по сторонам.

– Жизнь повернулась ко мне хвостом, вот и... – плаксиво ответил Митрич. – Сам ведаешь, уволили меня.

– А мои дела, Митрич, тоже не веселят, – сказал, вздыхая, Хряпов. – Барышников, подлая душа, против меня линию ведет. Он, грабитель, так полагаю, Федору Григорьевичу Орлову «барашка в бумажке» сунул, и слых есть, что меня из придворных поставщиков турнут. Барышников, подлая душа, все откупа под себя умыслил взять.

Вдруг Митрич остановил лошадь и соскочил с двуколки: направляясь поперек просеки, прорубленной в лесу для Большого проспекта, тяжело шел, опираясь на палку, атлетически сложенный, изрядного роста пожилой человек в сером плаще и темной шляпе. Огромный Митрич подбежал к нему, обнажил свою плешивую голову и, низко кланяясь и норовя поймать руку человека, чтоб, по лакейской натуре, облобызать ее, загудел:

– Здравствуйте, батюшка Михайло Васильич!

Тот, предупредив маневр Митрича, быстро заложил руки назад, полное, губастое, с большими серо-голубыми глазами лицо его заулыбалось. Громким, басистым голосом он спросил:

– Уж не с позорища ли едешь, землячок?

– С него, с него, Михайло Васильич, батюшка... Молитесь за упокой души раба Божия Василия: с плеч головушку снесли ему.

Михайло Васильич только рукой махнул, наморщил лоб, посмотрел вдоль просеки, в сторону Невы.

– Торжествуйте, Немезиды и Минервы, – произнес он про себя. – Пожалуй, ныне надо ожидать, что убийцы доподлинные в графское достоинство возведены будут, аки Орловы господа... Ась? – добавил он

тихо, чтоб не услышал Хряпов, бывший в некотором отдалении.

– Не знаю-с, не знаю-с... – оглаживая бородищу, смущенно подал голос Митрич. – Как всемилостивейшая матушка распорядится...

– Токмо при матушке-та зело много батюшек... Ась? – улыбнулся глазами собеседник и вынул черепаховую табакерку.

Митрич поспешно выхватил из камзола свою серебряную вызолоченную табакерку и, открыв ее грязными ногтями, с поклоном поднес собеседнику:

– Прошу моего отведать. Забористый! Самого императора Петра Федоровича, покойничка – запасу-с... Батюшка, Михайло Васильич! Много вашей милости благодарны мы со старухой за своего племяша. Спасибо, что приделили его в свою фабричку.

– Работает, работает. Тщусь надеждой – мастер из него выйдет добрый. В орнаменте разбирается и в оттенках цветных камушков имеет глаз отменно верный...

Подъехала карета, открылась дверка, и красивый, в блестящей военной форме человек, высунувшись из кареты, командирским басом проговорил:

– Вот он где. А я тебя, Михайло Васильич, ищу... Садись!

– А-а, Алексей Григорьич! – попросту поклонясь, проговорил тот и, поддерживаемый Митричем, тяжело полез в карету графа Алексея Орлова.

– Кто такой? – спросил Хряпов бывшего лакея, когда их двуколка двинулась вперед, шурша колесами по щебню.

– Сам граф Орлов.

– Да не про графа я. Алешка Орлов, сукин сын, задолжал моей фирме сверх пяти тысяч. Рябчиков жрать да пьянствовать любит, а денежки платить – нет его.

– А другого-то нешто не знаешь? Ломоносов это. Самый что ни на есть ученый по России человек...

– А кто его знает... В моих должниках не ходит. А до ученых мне горя мало. Дако-сь наплевать... Вижу – человек здоровецкий, только чаю, ногами не доволен.

– О-о, силач! – захлебнулся улыбкой Митрич. – Из поморов, из мужиков, с-под Архангельска. Землячок мой любезный. Евоный батька первеющий в Холмогорах рыбак. А сам-то он всю науку превзошел за границей.

Двуколка стала повертывать на Седьмую линию.

– Вот на самом том месте, видишь, соснычок стоит, – указал Митрич в конец просеки Большого проспекта. – Тут господин профессор Ломоносов в ночное время троих воров избил... Да-а-а, – раздумчиво протянул Митрич. – Был конь, да изъездился. Так и Ломоносов господин. Винцом зашибал, сердяга. Любил погулеванить. Я с ним, почитай, с вьюных годов знаком. Тпру, приехали...

2

...И карета Алексея Орлова остановилась. Ломоносов ввел гостя в свою двухэтажную мозаичную мастерскую, помещавшуюся на его земле, за его собственным домом по Новоисаакиевской улице на Мойке. Тут же были выстроены и десять небольших каменных покоев для мастеров.

– Ну, фабрикант, кажи, кажи, что у тебя тут, – сказал всегда веселый и беззаботный Орлов.

М. В. Ломоносов действительно был полунищим фабрикантом. Его кипучей, всегда деятельной натуре тесно в стенах Академии. От физических и механических опытов, от бесконечных вычислений, писания ученых трактатов его неудержимо тянуло к живому труду, в самую гущу жизни. В его гениальную голову влетела мысль завести в России тонкое итальянское искусство мозаики. Десять лет тому назад, по его ходатайству, было ему нарезано в Копорском уезде девять тысяч десятин земли, закреплены за ним четыре деревни с двумя сотнями крестьян и выдана небольшая денежная ссуда. В деревне Усть-Рудицы, верстах в семидесяти от Петербурга, он построил маленький стеклянный завод. В главном здании, длиной восемь, шириной шесть сажень, помещалась лаборатория с несколькими печами для выработки цветных стекол, а к этому зданию примыкала небольшая мастерская. Вот и вся фабрика.

А в петербургской мастерской, куда они вошли, главным образом выделялись нужные для мозаики стеклянные всевозможных цветов палочки (смальты) и производились мозаичные работы.

– Вот-с, пожалуйста. – Ломоносов снял плащ, бросил его на скамейку и повел Орлова к застекленному шкафу. – Помимо смальты, мы делаем бисер, пронизки, стеклярус. А вот и графинчики у нас есть, и кружки, и табакерки, фужеры, блюдца, запонки, набалдашники... Всякого жита по лопате.

– Изящно, Михайло Васильич, одобряю, брат, одобряю. Вещицы хоть куда, хоть ко двору. Только, чаю, не в этом твоя сила, не в графинчиках да бисере. В науках слава твоя, Михайло Васильич.

Ломоносов, усмехаясь глазами, поклонился и сказал:

– А может статься и – в лире. Стихотворство – моя утеха. Физика – мои упражнения.

Два богатыря – молодой и пятидесятидвухлетний – бывший мелкопоместный дворянин и бывший простой мужик улыбочиво смотрели друг другу в глаза. На Ломоносове широкая шелковая блуза, вправленная в табачного цвета штаны, на шее – пышный белый, в складках, галстук, на ногах, вместо длинных чулок и башмаков, суконные на пуговицах сапоги – большие ноги его опухали.

– Старишься, Михайло Васильич. С палочкой ходишь. Поправляйся, брат, оздоравливай да ко мне приезжай, спляшем...

– Нет уж, не до плясов мне ныне, Алексей Григорьич, не до ваших придворных комеражей. Со смертного одра едва-едва встал, – стараясь сдерживать раскатистый свой голос, ответил Ломоносов. – Впрочем сказать, я о смерти не тужу: пожил, потерпел. А умру – дети отечества обо мне пожалеют, – с гордым блеском в глазах сказал он и откинул в седых буклях голову.

Был обеденный перерыв, в мастерской пусто. Орлов закурил трубку. На его лощеных пальцах блестели бриллианты. Дорогого шелка блуза и штаны Ломоносова – в пятнах от химических реактивов, брюссельские кружевные манжеты слегка засалены.

– От кого ж ты потерпел-то? – спросил Орлов.

– Да ото всех по малости. И терпел и паки буду терпеть до кончания живота. Врагов много у меня...

– Да ведь ты сам-то зубаст, Михайло Васильич.

– Зубаст, зубаст, Алексей Григорьич... Правильно молвил – зубаст. (Орлов сел, Ломоносов, подпираясь палкою, стал вышагивать по кирпичному полу.) А чего ради ото всех недругов своих претерпеваю? Стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы научились россияне премудрости книжной да искусствам, чтобы показали свое достоинство! – закричал Ломоносов и, вскинув палку вверх, затряс толстыми обветренными щеками. – Единого хошет Михайло Ломоносов – широкого просвещения россиян, чтоб они гордились отечеством своим, со всем тщанием изучали его. Вот у нас в рекомой Академии все немцы да иноземцы разные. Но ведь, голубчик Алексей Григорьич, надобно и о русских людях пещись, и их помалу в ученье тянуть. У иноземцев же нет доброхотства учить русских юношей. А ведь есть парнишки, природой одаренные, маленькие Ломоносовы. А без Ломоносовых Россия все равно, что пашня без семян. Да вот я... Кто я был? Хоть смерть в глаза мои глядит, а молвлю не без гордости: я много лет являюсь украшением Академии наук. – Ломоносов понюхал табак и снова закричал, как на площади: – Я и до историка Миллера доберусь, я и до нашего Нестора-летописца доберусь! Почто они в сочинительстве своем предпочтенье иноземцам отдают против русских?.. Я другой раз – лют.

Орлов с любопытством глядел на разгорячившегося Ломоносова и сквозь клубы дыма, не выпуская трубки из зубов, спросил:

– А верно ли, Михайло Васильич, будто ты намедни, явившись в конференц-зал Академии, изволил показать заседавшим некую фигуру из трех пальцев, апосля чего ушел, изрядно хлопнув дверью?

– Кукиш, кукиш показал! – закричал Ломоносов, большие глаза его запрыгали, крутые брови взлетели вверх. – И по немецкой матушке обложил всех. Я дураков ругать люблю.

– При дворе, узнав про твой дебош, много тому смеялись, – и Орлов раскатисто захохотал.

– Враги, злопыхатели, антагонисты! – выкрикивал Ломоносов, пристукивая палкой в кирпичный пол. – Затирают меня, унижить меня хотят, властвовать надо мною... А я не боюсь, я другому и по шее накладу. Да доведись до драки, я – знаешь что? Ведь я, мотри, рыбак, корпуленция во мне крепкая. А они всемиловейшим нашептывали на меня, и государыне Елизавете, и ныне царствующей императрице. А кто они? Разные Миллеры да Трауберты, немцы. Да еще Сумароков – нежные песенки кропает...

Орлов знал про давнишнюю вражду простака Ломоносова и кичившегося своим старинным дворянским происхождением Сумарокова. Некоторые озорные баре, да и сам Алексей Орлов, нарочно приглашали к себе на обед этих двух недругов, чтоб сравнить их в словесной схватке. Хотя Ломоносов был неповоротлив в обыденной жизни и неохоч заводить знакомства, однако иные приглашения принимал. Когда подвыпивший Сумароков начинал своими приставањьями докучать Ломоносову, тот со всей горячностью резко отвечал ему, и эта резкость почти всегда переходила в недозволенную грубость, в брань. Сумароков же был в ответах хотя и спокоен, но дерзок, и если не остроумен, то остер. Конечная победа оставалась за ним.

И вот теперь, с интересом слушая Ломоносова, гость сочувственно улыбался ему.

– Я Сашку Сумарокова давно знаю. Он еще у матушки Елизаветы тарелки на кухне вылизывал. И ныне, поди, милостивой государыне нашей все глаза намозолил, все пороги пообивал во дворцах да в палатах. В звать лезет... Да и Васька Тредьяковский – кутья кислая – не лучше его: в «Трудолюбивой Пчеле» пасквили на меня строчит, желчь распускает (сие по-гречески зовется – диатриба), мол, малеванная живопись превосходней мозаичной... Дурак! Да Болонская Академия наук намедни избрала меня за мозаику-то почетным членом своим. И сим – горжусь. А он... Виршеплет! Его вирши только на подтирку разве... Ему ли в ямбах разбираться да в хорях. А вот пойдем-ка, пойдем, Алексей Григорьич, ваше графское сиятельство, наверх, там посветлее, я покажу вам «Полтавскую баталию». Я одной мозаичной работою не токмо Ваську Тредьяковского, а точию всех итальянцев поражу.

Богатыри, колебля шагами темную лестницу, поднялись наверх. Отдышавшись и потеряв правую коленку, Ломоносов подвел Орлова к массивному, из бревен, станку, на котором покоилась огромная – в ширину двенадцать, в высоту одиннадцать аршин – батальная картина Полтавского боя, на переднем плане Петр I на коне.

– Камушков стеклянных, из коих картина сложена, десятки тысяч, – сказал Ломоносов. – На медной сковороде она укреплена, оная сковорода со скобами весит сто тридцать пудов. Махина!

Солнце било мимо фигуры Петра. Орлов схватил станок и хотел передвинуть так, чтоб фигура Петра попала под солнечные лучи. Станок скрипел, не подавался. Ломоносов сказал:

– Легче солнце повернуть, чем станок.

Орлов сорвал перчатки, сунул их в карман камзола, вновь вцепился в станок, расставил ноги и закусил губы, плечи его набухли мышцами, как чугуном, лицо налилось кровью, рубец на щеке потемнел, он перекосил рот, весь задрожал, станок крякнул и заскорготал, тяжело заелозив со скрипом по полу. Фигура Петра попала под солнце. Разгоняя прилившую кровь, Орлов концами пальцев стал крепко водить по лбу от переносицы к вискам. Глаза его сверкали. Изумленный Ломоносов, выйдя из оцепенения, восторженно захохотал, зааплодировал, шумно закричал:

– Да ведь тут весу пудов с триста! Алексей Григорьич, да вы, ей-Богу, Геракл. Ну, помогите вам Зевс очистить конюшни Авгия, – продолжал он другим тоном. – Навозу, навозу у нас – тьфу! – вся Русь в навозе.

Орлов, тяжело дыша и почти не слыша его, повернулся к картине, сказал:

– Ну вот... Теперь вижу, что Петр Алексеич зело хорош...

– «Он Бог, он Бог твой был, Россия», – кивая Петру и молитвенно сложив руки, вполголоса продекламировал Ломоносов отрывок своей старой оды. – Да не токмо я, а и прочие... Взять графа Ивана Григорьича Чернышева, и он восклицал про Петра Великого: «Это истинно Бог был на земле во времена отцов наших!»

– Хорош, хорош Петр Алексеич... Да и вся картина добра зело. Кто начертал картину?

– Да кто же! Все Ломоносов со учениками – даровитые парнишки у меня. Ведь в Марбурге-то, у немцев-то, я не токмо иностранные языки отменно изучал, но такожде и в рисовании зело преуспевал. Ломоносов кутилка – об этом всяка мразь трубит. А вот что Ломоносов великий росс, что он Московскому университету десять лет тому назад основу положил... Даже всемилостивейшая матушка, покровительница искусств и наук... – Лицо Ломоносова дрогнуло, задергались губы.

Орлов хмуро взглянул на него.

– Была, была у меня... Со всей свитой была недавно, – переняв его взгляд, спохватился Ломоносов. – Ее величество изволили посетить мою мастерскую, подробное рассмотрение сей картине произвели, изволили милостиво беседовать со мною более двух часов.

Блаженство нового и дней златых причина,
Великому Петру вослед Екатерина
Величеством своим снисходит до наук
И славы праведной усугубляет звук...—

вяло продекламировал Ломоносов. – И сие правда сущая: к художествам ревность ее, с похвалою скажу, весьма отменна, и поощрительные речи ее величества были ко мне зело благожелательны, – молвил он и подумал: «Хитрая немка, коварная, всего насулила, а толку нет, худородных русских людей, вроде меня, держит в торможении, к кормилу государственного корабля не допускает». И, подумав так,

Ломоносов испугался: да уж, полно, не выпалил ли он сгоряча эти мысли вслух. Он быстро вскинул взор в лицо Орлова. Нет, ничего. Орлов внимательно рассматривает стеклянные камушки в многочисленных ящичках, стоявших на полу и на длинных скамьях. Тогда Ломоносов, успокоившись, сказал: – Обласкала, обласкала государыня... А Михайло Ломоносов и по сей день в малых чинах и не в пример малое содержание по штату получает. А почему сие? Да потому, что не токмо у стола знатных, либо у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога.

Ломоносов ждал, что ответит на это Алексей Орлов. Но тот молчал. Ломоносов вздохнул, и на круглом щекастом лице его появилась гримаса незаслуженно оскорбленного самолюбия. Он сказал:

– Эта стеклянная смальта, которую изволишь разглядывать, Алексей Григорьевич, думаешь, сразу далась мне? Взял, мол, истолок, красочки подбросил, да и в печку варить! Нет, ваше сиятельство. Ломоносов за три года три тысячи опытов над сим проделал. Три тысячи! Вот в этом сундуке лабораторные журналы, по-латыни писанные мною, хранятся, пусть лежат потомкам в назидание.

Видя, что гость начинает скучать, Ломоносов взял его под руку, ввел в свой маленький рабочий кабинет, извлек из венского с инкрустацией шкафика графин с мутноватой, апельсинового цвета жижицей и, налив в серебряную стопку, подмигнул Орлову:

– Ну-тка, граф, с устаточку, изволь вкусить «ломоносовки».

– А ты?

– Ногами маюсь. И рад бы, да эскулапами заказано...

С жадностью одним духом проглотив вино, Орлов широко разинул рот, с испугом выпучил глаза и перестал дышать. Затем боднул головой, выдохнул: «Уф ты, черт», по-кабацки сплюнул и, вытерев градом покотившиеся слезы, с укоризной сказал хозяину:

– Вот так «ломоносовка»! Да уж, полно, не отравил ли ты меня, Михайло Васильич? Все нутро индо огнем взнялось...

– Что ты, Алексей Григорьич! – отмахнулся Ломоносов, по-мальчишески плутовато подморгнул ему и захохотал: – Это чистый шпирт... настойка на стручках турецкого перца. Посольство из Турции приезжало, ну там мой шурин Иван Цильх и расстарался для меня.

Орлов вошел во вкус, присел и под копченую стерлядку осушил весь графин до донышка. Он пил, а Ломоносов вел беседу. Он говорил о небесном громе, о силе электричества, о несметных богатствах, сокрытых в недрах отечественной земли, о судьбах великой империи. Орлову давно прискучила пустая, по-французски, болтовня придворных дам и кавалеров, ему сейчас приятно было слушать, как из русских уст и на языке российском текло остроумное, обширное знание.

3

У великого князя, десятилетнего Павла Петровича, в этот день были гости: А. С. Строганов, голштинiec Сальдерн, князь Мещерский, граф Захар Чернышев и знатный вельможа, весельчак, шталмейстер Лев Нарышкин, друг Екатерины; в придворных кругах его звали «шпынь», то есть балагур, шут. Все они, вместе с Павлом, расселись вокруг птичника (огромной клетки с певчими птицами), как возле сцены зрители. Павел пустил устроенный в птичнике фонтанчик: пернатые вспорхнули, всполошились, вступили в птичью перебранку. Зрители заплодировали... Они дурачились и, потешая Павла, всякий раз, когда снегирь или щегол выкидывали какое-нибудь коленце, кричали, как дети: «Молодец, Щегол Иваныч! Уважь еще... Анкор, анкор!» Больше всех паясничал, покашливая и прихехекивая, длиннолицый, с тестообразными дряблыми щеками, «шпынь».

Вошел веселенький Алексей Орлов, подарил Павлу конский убор, выложенный хрусталами и топазами.

– С фабрики Михайлы Ломоносова, – сказал Орлов. – Тысячу рублей заплатил.

– Благодарю, благодарю. Вот вырасту, деревню тебе дам, две деревни. Ах, как мне нравится, – картавил курносый мальчик. – Петр Иваныч Панин обещал допустить меня на смотр. Я буду верхом и в этой, как ее... Порошин! Как? Сбруя?

– Конский убор, ваше высочество, – откликнулся красавец, воспитатель Павла.

– Пусть Ломоносов сделает мне какую-нито электрическую машину позанятней. Он физикус. А он, чаю, сильный? – спросил мальчик.

– Почему вы так думаете, ваше высочество?

– Ломоносов! – воскликнул Павел. – Он, должно, всем носы ломает.

Рассматривавшие подарок гости засмеялись. Орлов, подбоченясь, сказал:

– Да, Ломоносов сильный, вы правы, ваше высочество... (Мальчик, разумеется, не знал, что Орлов убил его отца, но он все же чувствовал какую-то неприязнь к нему, он покосился снизу вверх на огромного, бесцеремонно подбоченившегося Орлова, хотел капризно крикнуть: «Руки по швам!», но, вспомнив про подарок, проявить при старших неучтивость постеснялся.) Господа, свеженькое! – забасил Орлов. – Мне Ломоносов только что сказывал. (Его окружили гости; Сальдерн, князь Мещерский и брюхатенький «шпынь» Нарышкин внимали ему с подобострастием. Его рот от «ломоносовки» все еще горел.) Я, говорит Ломоносов, в оно время силен был. И приключился, говорит, промежду мной и тремя матросами шармюнцель с мордобоем. Шел, говорит, я с Невы просекой Большого проспекта, делал здоровья ради променад. А ночь глухая, и кругом ни души. Тут трое грабителей из лесу шасть на меня. Я, говорит, кэ-эк дал одному по морде, он и чувствий порешился... Кэ-эк другому хлобыстнул, он в кусты кувырк-кувырк... А третьего, говорит, я сгреб за шиворот и – под себя. Сижу на нем верхом, кричу: «Смертоубийство, что ли, злодеи, умыслили сотворить надо мной, над профессором химии?» «Нет, – отвечает, – ограбить маленечко хотели да отпустить с Богом...» А я, говорит, на него: «А, каналья! Так я же сам тебя ограблю...» – и приказал ему все долой с себя снимать. Грабитель разделся до исподнего, а я, говорит Ломоносов, взвалил его холщовые доспехи на плечо и зашагал с сими военными трофеями к себе в Академию...

Павел, перестав быть центром внимания, тронул Льва Нарышкина за расшитый золотом рукав и, недружелюбно косясь на Орлова, тихонечко сказал:

– Пойдемте, пойдемте, сударь, прочь... Я вам что-то покажу. А он врет, и от него вином припахивает

изрядно... – и они оба, пучеглазый мальчик в голубом кафтане и придворный «шпынь», схватившись за руки, поскакали чрез ножку в желтый зал.

Меж тем в зал, где были гости, вошли два брата Панины: изящный, сановитый обер-гофмейстер Никита Иванович и его младший брат генерал-вояка Петр. Все сразу смолкли, приняли непринужденно почтительные позы, уставились в лицо Никиты Панина. Всесильный вельможа, первый министр империи, люто ненавидя всех братьев Орловых, скопом ведущих против него коварные интриги, с самой приветливой улыбкой пошел навстречу тоже улыбавшемуся и тоже ненавидящему его Алексею Орлову – и два врага с утонченной вежливостью обменялись приветствиями. Лакей доложил, что обед подан. Орлов поцеловал вбежавшему наследнику руку и, откланявшись со всеми, пошел на антресоли, в апартаменты своего брата Григория, чтоб вместе с ним направиться к столу императрицы.

Обед наследника был очень оживлен. К обеду еще пришли Г. Н. Теплев и полковник князь Белосельский. За каждым гостем стояло по лакею. Строганов стал рассказывать о только что виденной им казни.

– Мирович держал себя на эшафоте, а равно и во время судопроизводства необычайно мужественно. Вплоть до плахи. Волосы убраны по самой последней моде, одет в новое платье. Шел, народу раскланивался, лицо веселое, шутил с палачом, шедшим слева от него...

Никита Панин с тревогой посмотрел на внимательно слушавшего впечатлительного наследника.

– После, после, граф... Без подробностей, – сказал он Строганову и, чтоб сбить настроение примолкших собеседников, остроумно и выразительно заговорил: – Будучи в Стокгольме, я слышал такой казус... Молодой пастор пришел в гости к своему другу. И видит: зацепив себя веревочной петлей под мышку, тот благополучно висит на гвозде. «Что с тобой?» – воскликнул пришедший. «Да вот хочу кончить жизнь самоубийством, но никак не удается, вишу без толку вот уже два часа». – «Так ты не туда накинул петлю, надо же на горло». – «Пробовал! – с печалью в голосе воскликнул висевший. – Пробовал, не могу: как только петля стягивает шею, я начинаю задыхаться...»

Громче всех смеялся и бил в ладоши наследник. Он без парика, в локонах. Парикмахер Дюфур, ежедневно убирающий его волосы, сегодня положил ему по три букли с каждой стороны.

– Никита Иваныч!.. А нуте, а нуте еще, – просил он. – Вы всегда забавно сказываете. Семен Андреич! – обратился он к Порошину, – а ты потрудись, пожалуй, записать в дневничок свой, что Никита Иваныч сказывает забавное...

Порошин, покраснев, поклонился. Никита Иваныч, неласково покосившись на смущенного Порошина, сказал: – А извольте-ка вы сами, ваше высочество, переложить сие на французский диалект и показать мне.

подавали костный мозг, только что входившие в моду макароны и самые свежие устрицы.

– Устерцы! Вот чудесно, – гримасничая, облизываясь, выкрикнул длиннолицый Лев Нарышкин и подмигнул наследнику. – Я знавал одну домовитую, но полуглупую барыньку, переселившуюся из тамбовской деревни в Петербург. Она тотчас по переезде в столицу получила в подарок устрицы. Дело было в марте, а она примыслила, экономии ради, сохранить оные устрицы до именин супруга своего, до Петрова дня, сиречь до конца июня...

Строганов, громко захохотав, промолвил:

– Воображаю, сколь вкусны стали ее устрицы!

Никита Иванович потребовал пылавшую огнем конфорку, подошел к приставленному вспомогательному столику, поддернул рукава и начал варить устрицы с английским пивом. Великий князь приказал подать к своему стулу приступочек и, привстав на оный, глядел, как Панин варит суп.

– Итак, внимание, – бросая устрицы в пиво и помешивая ложкой, начал Панин. – Сие произошло недавно. В эрмитажную оперу, куда никого не приказано пущать ниже штаб-офицерского чина, залез простой фельдфебель. Вы, ваше высочество, изволите знать, что есть фельдфебель? Это старший солдат. Лакей, приставленный проверять при входе и записывать чины, спросил его: «Ваш чин?» «Фельдфебель», – браво ответил солдат. «А что это за чин?» – спросил незнайка-лакей. Солдат молодежато подтянулся и молвил: «В русской армии только три фельда: фельдмаршал, фельдцехмейстер и фельдфебель. Так сам рассуди, каков это чин». Тогда лакей с честью и поклонами пропустил находчивого солдата.

Опять все засмеялись, Наследник, посунувшись вперед, испуганно крикнул:

– Горит, горит!

Все привскочили, Панин, бросив ложку, схватился за свою вспыхнувшую кружевную манжету.

Пивной на устрицах суп был превосходен, но наследнику не дали: «он пьянит, вам не показано», и предложили расстегайки с грибами и рассольник. Голштинец Сальдерн, которого все считали интриганом и человеком недалеким, посапывая и облизывая толстые губы, вдруг заговорил о том, что во Франции такие кареты делают, в коих, пока едешь от почты до почты, кушанье изготавливается. На что Петр Панин, грубовато оборвав его, сказал:

– Карета – что. Я видал такие сапоги, в коих рябчика или кусок мяса изжарить можно, верхом едучи, – и Петр раскатился зычным хохотом. Он видом суровой и проще брата Никиты, но скор на смех и веселость.

Речь зашла о картежной игре. Наследник оживился, выкрикнул: «Давайте после обеда в три-три играть!»

Никита Иванович сказал:

– Граф Алексей Григорьевич Разумовский богатейшие банки закладывал в игре и нарочито проигрывал, ведь он несметно богат. Многие пользовались этим. Взять Настасью Михайловну Измайлову, она почасту крадывала деньги. Да и другие тоже. За князем Одоевским раз подметили, как он хапнет незаметно в шляпу, да и выйдет в сени, хапнет, да и паки выйдет. Так он перетаскивал в шляпе тыщи с три и в сенях слуге своему передал. Каковы нравы, господа?

Все принялись за перепелок с брусничным вареньем. Затем за арбуз и виноград, доставляемый в столицу в бочках с патокой. Петр Панин много рассказывал о Прусской войне, о том, как его какой-то удалец донской казак спас от плена, а может, и от смерти.

Наследник весь превратился во внимание. Затем стали толковать о делах гражданских. Никита Панин сказал, что вот в его Иностранной коллегии приказные люди совсем иные, нежели в других приказах, и весь штиль Иностранной коллегии иной. А почему? Да потому, что он старается провести туда образованных, вроде Фонвизина, молодых людей. Наследник поднялся, и все поднялись.

– За компанию! Не обессудьте, господа, – проговорил он, как взрослый, и побежал вокруг зала.

Перешли в парадные комнаты наследника. Шесть карликов, одетых в зеленые атласные кафтаны и пудренные парички, стояли, как изваяния, вдоль стен концертной залы. Крупная французская собака Султан, подарок графа Чернышева, бросилась ластиться к наследнику. Тот схватил собаку за ошейник и поманил пальцем старого карлика:

– А ну-тка, Савелий Данилыч, садись!

– Куды, батюшка? – пропищал крохотный старичок, подкатившись горошком к Павлу.

– Как «куды»? Да на Султана.

Старичок, подпрыгнув, ловко сел на собаку, как на коня ездок.

– Але-але. Султан! – прихлопнул наследник пса.

Тот, виляя хвостом, радостно поскакал по кругу.

– Гоп-гоп, гоп-гоп, – попискивал старичок, лихо подбочениваясь, но вся душа его дрожала, он весь вспотел.

– Ну, Савелий Данилыч, – сказал Никита Панин под смех гостей, – ты рейтар изрядный... Прямо – казак!

Граф Строганов сел за клавикорды, нежно проиграл несколько итальянских мелодий. Ему аплодировали.

Вышел седой, долгобородый гусяр, одетый в синюю с галунами рубаху, в пояс поклонился на три стороны, сел, заиграл на певучих струнах «кавалерский балет». Ему помогли трое дударей. Двое карликов раздвинули портьеры, из кавалерской залы впорхнула красавица княжна Хованская, сделав присутствующим книксен, с легкостью и грацией стала танцевать. Глаза мужчин загорелись. Великий князь тоже засмотрелся на прелестницу.

4

Апартаменты Никиты Панина в Зимнем дворце были пышно обставлены. На полах ковры, стены в драгоценных гобеленах и картинах итальянских мастеров. Беломраморный, прекрасно сделанный бюст его невесты графини А. П. Шереметевой, золоченая елизаветинская мебель, тяжелые тканые портьеры. Но кабинет прост: мореного дуба мебель в прямолинейном строгом стиле, массивные, набитые книгами зеркальные шкафы. Огромный стол завален рукописями, делами коллегий и Сената.

У стола навтыяжку круглолицый, краснощекий молодой человек, в небольшом парике и скромном костюме, он только что бросил писать, перо не просохло, пальцы правой руки запачканы чернилами. Он низко поклонился Петру Панину. Надменный генерал даже не счел нужным кивнуть ему. «Шляхтич^[35] какой-нибудь, мразь», – высокомерно подумал он и сел по другую сторону стола. Никита, обращаясь к брату, молвил:

– Ваше превосходительство, позволь рекомендовать тебе: Денис Иванович Фонвизин, дворянин, отпрыск distinguished родителей.

– А, – небрежно сказал Петр, едва удостоив молодого человека хмурым взглядом.

Фонвизин очень оскорбился, пухлые губы его чуть скривились, в груди под ложечкой заняло. «Ведь я и сам „фон“, а не кто-нибудь... Так зачем же такое небрежение?» – с горечью подумал он, косясь на генерала, и сердце его забилося учащенно.

– Денис Иванович отменно изощрен в латынском и европейских языках, он кончил Московский университет. Хороший переводчик, даже комедию сочинил, «Корион», в Эрмитажном театре пойдет, – старался Никита как можно лучше отрекомендовать молодого Фонвизина. – Думаю приспособить его в Иностранную коллегию.

– Сколько у вашего батюшки душ? – посапывая, спросил Петр.

– Около пятисот, ваше превосходительство.

– Как это – около... Точно, точно!

– Четыреста восемьдесят девять.

– А... – удовлетворенно сказал Петр Панин и, не вставая, нехотя протянул чрез стол Фонвизину руку. – Ну, здравствуйте.

Никита Панин, улыбаясь полными губами, не знал, чем скрасить грубость брата. Положив руку на плечо Фонвизина, спросил:

– Ну что, ознакомился с турецкой дипломатией?

– Ознакомился, ваше высокопревосходительство.

– Путаная, каверзная... Ну да эту хитрость азиатскую мы разберем. Ну, иди с Богом, Денис Иванович, отдыхай... Я тебя вот ужю представлю моему другу, датскому посланнику, барону Ассельбургу.

Братья остались одни. Никита сказал:

– Их род старинный. И мысли юноши под стать нашим: деспотию презирает искренно, а також-де и о бесправном положении крепостного мужика скорбит.

Вошли увешанные звездами, медалями, крестами гетман Кирилл Разумовский и знаменитый полководец, граф Петр Александрович Румянцев, побивший пруссаков при Гросс-Эггерсдорфском поле и

одержавший многие победы в Семилетней войне с Фридрихом II. Они только что откушали у императрицы. Лакей, двигаясь неслышной тенью, подал фрукты, кофе, романою. «Комильфотный», картинный сибарит-гетман – весь в золоте, в алмазах; в руке шляпа с бриллиантовым аграфом. Красивое, несколько грубоватое лицо его удручено.

– Фу, фу... – сказал он. – Матушка гневается на меня. А за что, про что – не ведаю. Вызвала из Малороссии. Уж, почитай, с полгода торчу тут.

– Мало матушке ручки целуешь, гетман, вот и гневается, – сказал Петр Панин и насупился. – Надо матушке сладкие речи говорить да поддакивать. Надо спину гнуть, а ты горд, горд...

– Будешь гнуться – переломишься, – вздохнув, ответил гетман.

– А ты гнись так, чтоб гнулось, а не так, чтоб лопнуло.

– Я не бараний рог, – с достоинством бросил гетман и стал начищать маленькой щеточкой бриллиантовый перстень.

– Разве вы, граф Кирилло, не ведаете, чего ради государыня вас вызвала из Глухова? – спросил Никита.

– Да какие-нибудь наказы сочинять, клонящиеся до устройства гетманства, – ответил Разумовский, и хитрые глаза его завияли. – Помимо сего, я дерзнул государыне на ее апробацию челобитную представить, где просил сделать гетманство наследственным в нашем, графов Разумовских, роде.

Никита иронически сощурился, сказал:

– Да, граф Кирилло, дело с гетманством путаное, старинное... «Це дило треба разжуваты...» Вот ее величество сим и занимается и ответа вам не дает до днесь... Но вам ли печалиться, Кирилло Григорыч?

Граф Разумовский молча посапывал и продолжал чистить бриллианты.

– А ну, Никита Иваныч, расскажи-ка о гетманстве-то, пожалуй, только кратенько, – любопытствовал Румянцев, поудобней усаживаясь в кресло. – У тебя это, как на ладони, а я как-то... не больно ясно...

– Могу, – согласился Никита. – Вопрос о южных окраинах я изучил досконально. Изволь, если хочешь. В аспекте историческом. Ну-с... В некоем царстве, в преогромном государстве, а именно у нас, когда Петр Первый еще двенадцатилетним мальчуганом был, польский король Ян Собесский разгромил под Веной турок. И приезжает к нашим царям-мальчикам, Петру да брату его Ивану, посольство и просит их взять эту хищную птицу, Турцию, под российскую корону. «Вся Греция и Азия ожидает вас. Встаньте твердой ногой в Крыму и возьмите Константинополь». Это завершилось тем, что любовник царевны Софьи, Голицын, дважды ходил войной на Крым и оба раза афронт получил. Петр Великий прорубил просеку не токмо в Европу, но и к Черному морю, дважды Азов осаждал... А наша матушка...

– Всемиловейшая, – подсказал с ухмылкой Петр Панин.

– А наша государыня, будучи ума острого, не преминула сообразить, что первой угрозой от набегов на нашу южную окраину крымских ханов, данников Турции, – суть запорожцы. Недаром московские цари называли их – «витязи христианства». Запорожская Сечь, как вам ведомо, состоит из малороссийского казачества купно со всякими беглыми. Сия свободная военная община обрекла себя на тяжелую, мучительную жизнь, дабы охранять любимую отчизну свою от бусурманских орд да от ляхов. И заслуги их пред государством российским неисчислимы суть...

– А ну, выпьем, панове, за вильну Запорижску Сичь! – силясь разжечь себя, схлопал гетман в ладоши и плутовато подмигнул компании.

– Трохи годи, гетман, – в тон ему шутливо ответил Никита Панин. – Еще рановременно поднимать тост

за казачество: при Полтавской битве, как вам ведомо, оно предалось шведам, и украинский гетман, Мазепа, России изменил. Блаженная памяти Петр Первый разрушил Сечь и замест гетманства учредить изволил Малороссийскую коллегия. Но при дочери его, государыне Елизавете, ежели не запамятовал, в тысяча семьсот пятидесятом году, гетманство было паки восстановлено. И гетманом Малороссии был назначен... был назначен... – Тут Никита Панин, потехи ради, разыграл штучку: тер лоб, жмурился, как бы припоминая: – Кто, бишь, был назначен-то?.. Граф Кирилло, кто?

– Я! – с вернувшейся к нему веселостью ударил себя в грудь Кирилл Разумовский и легонько поскреб выше коленки ногу.

Все засмеялись. Никита, быстро разлив по бокалам романею, громко выкрикнул:

– Выпьем, друзья! Хай живе *бывший* гетман Разумовский!

– Як бывший? – всполошился гетман.

– Государыня решила гетманство уничтожить, – выпив и торопливо прожевывая виноград, сказал Никита. – В сем смысле уже указано государыней заготовить манифест.

Разумовский широко открыл глаза на Никиту Панина, поднял брови и удрученно сел. Лицо его стало постным.

Генерал Петр Панин, с минуту постояв с низко опущенной головой, вдруг стал вышагивать. Он недавно овдовел. Он никак не мог побороть в себе чувства одиночества, примириться с превратностью судьбы. Он сегодня особенно зол, желчен, мрачен.

– Да, да, это на Катю похоже, – брюзгливо бросил он. – Катя не любит особливых царьков в своей империи. А гетман – малороссийский царь.

– Государыня зело опасается, – сказал Никита, – самостоятельности окраин. Она постоянно стремится к уменьшению и уничтожению политической обособленности оных. Взять Малороссию, казачьи области...

– Нашептывают, нашептывают ей! – крикнул Петр Панин, меряя комнату крупными шагами, шпоры на его ботфортах сердито звякали. – Орловы все, сволочи. Да и Бестужев, старый баран.

Никите послышалось, что за дверью кто-то топчется. Позабыв сановитость, он чуть не бегом к двери, распахнул ее, заглянул в коридор. Пусто. Он запер дверь на ключ и плотно затянул тяжелые драпри.

– Нет, на сей раз не Орловы, ваше превосходительство, – сказал он брату. – На сей раз Теплов шепнул матушке, чтоб гетманство похоронить.

– Как Теплов?! – воскликнул ошеломленный гетман. – Да он же... Когда я, по приезде из Малороссии, еще в марте, к матушке пришел, он, бисов сын, кинулся жарко целовать меня!

Петр Панин зло захохотал. Толстощекий Румянцев, не вынимая трубки из зубов, сказал:

– Целование Иуды. «И лобза, его же предаде».

А Никита Иванович в тон ему добавил:

– «Да претерпи лучше раны приятеля, нежели ласкательные целования вражия».

Гетман развел руками, залпом выпил чашку кофе. Притворяясь наивным простачком и все отлично понимая, хитрый украинец, почесывая ногу, жалобно проговорил:

– Гневается матушка, гневается. Апремант за апремантом...

– Пушай гневается! – вскричал Петр Панин. – Куснул ее шмель, да, видно, не в то место. Я ее насквозь вижу... Неограниченная самодержица, подумаешь. Когда шляхетство при нашей помощи возводило ее на

престол, всего насулила, а как время пришло по векселю платить, она, аки вор, оный вексель разорвала. А кто? Орловы да Тепловы разные... Беспортошное шляхетство, мразь. Ну, да и мы, столбовые дворяне, хороши... Рыцарство в нас затмевается, родовитые фамилии наши меркнут... Регентша! – взмахнул он рукой и притопнул, шпоры взвизгнули. – И дальше – стоп! А мелкопоместная гвардия императрицей ее сделала... Чубуки!..

– В борьбе всегда учитываются силы, ваше превосходительство, – несколько обиженным тоном отозвался Никита.

– Отлично знаю, ваше высокопревосходительство, – ответил брату Петр. (При посторонних, соблюдая фамильные традиции, братья всегда величали друг друга по чинам.) Нас хотя и немного, но ведь мы, аристократы, вершина политики и нации российской. А ежели она желает только на мелкопоместное дворянство опираться, на шляхетство, прогадает. Взять процесс Хрущева... Да кругом недовольство, кругом.

– Государыня пока что опирается и на нас и на партию Орловых, – спокойно заметил Никита.

– Ага! Как бы она между двух стульев не трюпнулась.

– И сядет, – пробасил Румянцев. – Надлежало бы ей одного берега держаться.

– Всемиловейшая присматривается, силы набирает, – сказал гетман, с тоской поглядывая чрез окно на широкую Неву. По сизому течению ее лениво скользили груженные кирпичом, древесным углем, лесом большие баржи, многочисленные лодки и похожие на гондолы, расписные, с балдахином рябики, служащие для прогулок: гребцы на рябиках пели песни.

Никита снял парик и напялил его за ширмой на деревянную болванку. И все сняли парики. Холеные бритые физиономии вельмож, утратив женственность и театральность, сразу преобразились до неузнаваемости, стали мужественней, проще. Петр Панин оказался довольно лысоватым, в кудрявых волосах графа Разумовского – густая проседь, черные волосы графа Румянцева торчали коротким бобриком. Никита Панин без парика выглядел значительно моложе. Все столпились у зеркала, проверяли лица. Никита попудрил нос и попрыскал волосы духами. Налили романи, чокнулись, выпили. Графу Румянцеву пришла на память молодая красоточка, княжна Хованская, он прихватил концами пальцев полы длинного мундира, как женское платье, и, фривольно улыбаясь, отколол веселый танец.

Гетман сбросил кафтан и тоже хотел было прикаблучить гопака, но передумал; он вспомнил предательство Теплова, и ногам его стало обидно. Во время длинных разговоров он раза два прятался за ширму, спускал кюлоты^[36] и тщетно пытался поймать терзавшую его блоху.

Петр Панин, уцепив парик за косичку и крутя им, как пращей, продолжал брюзжать:

– Катя думает, что она есть роза, жасмин – губки, ножки, глазки, – пускай она своими прелестями иноземных индюков удивляет. А на мой солдатский взгляд она не роза, а куст гороху при большой дороге: кто ни пройдет, всяк щипнет...

– О так, о так! – злорадно выкрикнул гетман. Он сейчас был всю сердит на «всемиловейшую матушку».

– А нас это не касается, – вступился за Екатерину граф Румянцев. – Женщина в самом прыску, в поре, как говорится.

– Она всех красавчиков перебрала. Поди, ты, гетман, тоже к ее губам припадал? – то и дело прикладываясь к романи, не унимался желчный Петр Панин. – Да сдается мне, что и Павел-то не ее сын... Ходят слухи, что она от Серезки Салтыкова девчонку скинула, а мальчонка-то, Павел-то, чухонец из мызы из какой-то...

Румянцев дипломатично крякнул, захлопал глазами и стал чесать за ухом.

– Петр, Петр! – посунулся к брату испугавшийся Никита и осторожно взял его за плечо. – Вздор ты говоришь – вздор, сущий вздор. Сие не сообразно с правдой. Химера... Ты, смею молвить, поистине новый Эзоп-баснетворец. Не унижай себя сам сумасбродным абсурдом и не оскорбляй мое чувство к наследнику. Ведь ты знаешь, как я его люблю.

– Прости, братец, прости... Ведь и я люблю наследника. Романея проклятая... – Петр от возбуждения вспотел, он виновато мигал и скомканным париком утирал свое раскрасневшееся грубоватое лицо вояки.

Но раз попала ему «вожжа под хвост», он уже не мог сдержать злословия по адресу насолившей ему Екатерины.

– Господа, – возбужденно воскликнул он. – А взять Бестужева... Ведь этот старый черт Бестужев и Россию втравил в войну с Пруссией и тайным агентом Фридриха состоял... Да и Катеньку-то нашу заставил шпионить в пользу Фридриха. Английский посол Уильямс дал ей сорок тысяч якобы в долг от английского короля и сказал: «Вот Елизавета умрет, мы вас императрицей сделаем, а ваш супруг не в счет. Вы только всеми силами старайтесь помешать России в войне против Пруссии». Не так ли я говорю, господа?

– Брось, Петр. Все это не так было, все это ложь. И кто тебе наврал?

– Да ты, Никита, – с раздражением сказал Петр Панин. – И чего таиться? Мы люди свои, предателей среди нас нету... А я прямо скажу: Катенька наша – бывшая шпионка Фридриха. Да рубите мне голову – не отпрусь! – закричал он. – Мужа руками Орловых убила, Ивана-узника велела убить!

Лицо Никиты Панина вдруг сложилось в болезненную гримасу, он метнул на брата бровью и сказал:

– Ни шпионаж, ни иного образа политическая измена не могла входить в планы Екатерины Алексеевны, тогдашней великой княгини, ибо она уже в то время приуготовляла себя к роли императрицы. А некая политическая игра, некая интрига с английским двором, может статься, и велась ею... И к твоей жестокой филиппике по адресу ее величества позволь, Петр, внести некую поправку: не Бестужев вовлек великую княгиню Екатерину в политическую интригу, а, наоборот, она его вовлекла.

Петр Панин в ответ злобно захохотал и с ожесточением зарядил обе ноздри табаком.

Гетман начал собираться. Он со всеми дружески расцеловался и ленивой, вразвалку походкой вышел.

– Не пойму, что он за человек, – сказал про гетмана граф Румянцев.

– Лодырь, лежебок, – грубо отозвался Петр, он швырнул парик на подзеркальник и, постанывая, развалился на широкой оттоманке: его мучила подагра.

– Сибарит, сиречь неженка и сластолюбец, – поспешил Никита Панин облагородить реплику Петра.

– Правда, гетман в политике бестолков... Не ко двору ни нам, ни Орловым. Однако я к нему полный решпект имею, – проговорил Петр. – Он в хороших европейских обычаях воспитан, хотя родом и пастух.

– Да ведь и мой отец при особе Петра Великого денщиком был, – отозвался граф Румянцев и выжидательно уставился на Петра Панина.

– Знаем, знаем твоего всеславного отца, – дружески и по-солдатски грубовато подмигнул ему Петр Панин.

Выпуклые глаза Румянцева под крутыми, высоко вскинутыми бровями растерянно заулыбались, но на выразительном щекастом лице его отразилось сложное внутреннее переживание: и некий упрек Панину за его чрезмерную развязность, и в то же время оттенок гордости, что он – не кто-нибудь, а Петр Румянцев, родной (побочный) сын Петра Великого. Об этом знал весь «высший свет», граф Румянцев пользовался

особым вниманием и при дворе Елизаветы и при дворе Екатерины.

Он повернулся на каблуках, заложил руки назад и, высвистывая мотивчик боевой солдатской песни, четко промаршировал по кабинету.

Затем все трое сняли кафтаны (Никита надел колпак) и бок о бок улеглись на оттоманку. По персидским коврам вплыл, как облако, голубой лакей. Он тихо спустил на окна шторы.

10 ноября 1764 года последовал указ об уничтожении гетманства. «Для надлежащего Малой Россией управления учреждена Малороссийская коллегия», президентом которой назначен граф П. А. Румянцев. В секретной инструкции Екатерина советовала ему «иметь и волчьи зубы и лисий хвост». Екатерина знала, что при Разумовском, пользуясь его слабостью, многочисленные старшины грабили народ, спешили забирать свободные земли и деревни «в вечное и потомственное свое и наследников своих владение». Екатерина послала деятельного и честного Румянцева прижать старшин, избавить простой люд от чрезмерных поборов; ей нужны «могучие, воинственные» казаки. Обласканные, они помогут ей выбить крымского хана из Тавриды и потягаться с Турцией.

А бывшему гетману Разумовскому, этому тунеядцу и сибаритствующему бездельнику, этому обладателю несметных, полученных от императрицы Елизаветы сокровищ, царствующая Екатерина постановила выдать: пенсию в размере гетманского содержания пятьдесят тысяч рублей в год, десять тысяч рублей из малороссийских доходов, город Гадя с селами и деревнями, Быковскую волость и дворец в Батурине.

Глава IV

Вольное экономическое общество. Наказ

1

В середине марта 1765 года тяжело заболел Михайло Васильевич Ломоносов. При нем неотлучно находился первый приятель его, академик Штелин. Изнемогающий Ломоносов жаловался ому:

– Яков Яковлич, друг!.. Я вижу, что должен вскорости умереть, на смерть смотрю равнодушно и спокойно. Об одном жалею: не мог я совершить того, что предпринял для пользы отечества, для процветания наук, для славы российской Академии... Боюсь, зело боюсь, что все мои благие намерения исчезнут вместе со мною, а Россию нашу паки тьма окутает, – губы его вздрагивали, по щекам катились слезы.

Великий патриот, великий мыслитель, ученый и поэт 4 апреля скончался.

На торжественных похоронах присутствовала почти вся столица. Густые толпы народа шли за гробом. Процессия двигалась к Невскому монастырю.

К академику Штелину подошел всегда злобствующий на Ломоносова поэт Сумароков.

– Угомонился, – злорадно и нагло сказал он, кивая на гроб. – Теперь уж больше не станет шуметь да зазнаваться...

– Посмели бы вы сказать ему эти слова при жизни, – с достоинством ответил академик. – Пред нами прах не зазнайки, а гения.

Нечто подобное повторилось и в стенах дворца. Узнав о смерти Ломоносова, малолетний великий князь Павел сказал своему воспитателю, офицеру Порошину:

– Чего о дураке жалеть. Казну только разорял и ничего не сделал.

Мальчишка бормотал, видимо, с чужого голоса, еще плохо разбираясь в том, что возле него творится. Порошин, конечно, мог бы, если б имел на то право и мужество, разъяснить ему, что не Ломоносов, получавший грошовую пенсию, а его венценосная мать немилосердно разоряет казну, тратя огромные государственные средства на своих фаворитов и роскошества.

Все-таки Порошин не убоился вступить за честь и славу великого покойника и прочел мальчишке строгую нотацию. Честнейший Порошин вскоре был от обязанностей воспитателя освобожден.

Итак, Ломоносов умер, Россия осиротела.

Ломоносову должно было по праву принадлежать первейшее место у кормила государственного правления, однако дворянские правящие классы считали его человеком опасным, он был ими едва терпим, царствующая же императрица тоже отвернулась от него. По ее приказу все бумаги Ломоносова, хранившиеся в его доме, тотчас после смерти великого ученого были опечатаны графом Григорием Орловым.

Но многие просвещенные люди страны и некоторые из либеральных вельмож немало скорбели о горькой утрате, которую понесло отечество со смертью русского гения.

Вся многотрудная жизнь Ломоносова прошла в едином стремлении помочь России, помочь своему народу. То он выступает в качестве государственного деятеля и веско излагает свои мысли в пространном письме патрону своему Шувалову «о размножении и сохранении российского народа». То сочиняет трактат о пути из России в Индию «Сибирским Океаном», добивается кредитов на опытную экспедицию, деятельно снаряжает ее, и, хотя смерть обрывает его работу, тем не менее, спустя несколько недель после кончины Ломоносова, адмирал Чичагов с тремя фрегатами выходит из Архангельска в Ледовитый океан[37]. То он пишет или обдумывает темы для статей об исправлении нравов и о большем народе просвещении, о размножении ремесленных дел и художеств, о лучшей государственной экономии, об исправлении земледелия и т. д.

Ломоносов ясней всех своих современников сознавал, что давно пришло время заняться вопросами внутреннего экономического положения России, он всячески будил и толкал вперед дремавшие силы ее.

Правительство, двор и передовые люди были осведомлены о ненормальном состоянии отсталого народного хозяйства: земледельческое население нищало, волнения среди крестьян становились явлением обычным.

Осенью 1765 года Екатерина пригласила на чашку чая наиболее близких двору сановников. В одном из уютных покоев Зимнего дворца собрались: три брата Орловых, глава правительства Никита Панин, графы Захар и Иван Чернышевы, Сиверс, Олсуфьев, Бибииков, Черкасов, Роман Воронцов, придворный библиотекарь Тауберт[38] и прочие.

Беседа за чаем протекала непринужденно. Захар Чернышев, бывший сердечный друг Екатерины, забавно рассказывал анекдоты из боевой жизни. Екатерина, как всегда, успешно острила, пересыпая свою французскую речь русскими, иногда невпопад, пословицами. Впрочем, она теперь хорошо говорила по-русски.

– Господа, – сказала она. – Шутки в сторону, соловья баснями не угощают, давайте о делах...

– Я хоть и не соловей, а птица иной породы, – не позволено прервал императрицу Григорий Орлов, – только я зело проголодался. Бифштексик бы с кровью по-охотничьи. Матушка, как насчет хлеба насущного?

– Григорий Григорьич, помолчи, – ничуть не осердясь и даже со снисходительной улыбкой проговорила Екатерина. Нарядный изумрудный фермуар, как бы подчеркивая ее благодушное настроение, празднично блестел на жемчужном ожерелье. – Господа, приглашаю вас прислушаться, – она заглянула в свою записную книжечку. – Вам ведомо, что финансы моей империи очень далеко не блестящи. По вступлении моем на престол я нашла их слишком расстроеными. Монетный двор, со времен царя Алексея Михайловича, считал денег в обращении сто миллионов золотой и серебряной монетой, из коих сорок миллионов вышедшими из империи за границу. Нам, господа, надлежало бы подумать о выпуске в обращение бумажных денег. Блаженной памяти государыня Елизавета во время Прусской войны искала занять три миллиона в Голландии, но охотников на тот заем не явилось, сиречь кредита или доверия к России не было. Вот, господа, очень, очень кратко – как было. Прошлый год мы государственный бюджет заключили без убытка, зато нынешний год доходы казны упали с девятнадцати миллионов в прошлом году до десяти миллионов. Сие очень нетерпимо. Мы чересчур расходчивы. А надо, чтоб какова одежда, так и ножки протягивать. У нас одежда очень слишком коротка, а ножки чересчур длинные. А надлежит как раз наоборот...

– Ежели наоборот, матушка, то одежда-то со шлейфом получится, – оправляя золотой камергерский ключ, укрепленный на голубой ленте у левого бедра, попробовал сострить Григорий Орлов.

Екатерина опустила веки с длинными ресницами и, подавая знак к молчанию, побрякала о край чашки ложечкой.

– О господа, как бы я желала, – воскликнула государыня, распахнув и снова сложив веер, – как бы я желала видеть истинное лицо моего отечества, познать нужды народа своего! Хочу много, много ездить по России.

– Знаешь что, матушка, – пробасил Григорий Орлов и, поднявшись, огромный и статный, подошел к маленькой в сравнении с ним Екатерине, нагнулся, бесцеремонно положил руку на ее плечо, сказал: – Уж ежели путешествовать задумала, так надлежит тебе, матушка, у какого-нито кудесника шапку-невидимку добыть. А то тебе, матушка, такое напоказывают, что и впрямь подумаешь: ахти, как хороша да богата Россия, – он чмокнул Екатерине руку и стал вышагивать по лионскому ковру.

Стало тихо, все сидели, как истуканы, всех шокировало поведение зазнавшегося фаворита. Бесшабашный, недалекий Григорий Орлов даже при посторонних вел себя с Екатериной без всякого стеснения, как муж. Пикируясь с ней, он иногда позволял себе говорить по ее адресу колкие грубости. В его голосе звучали нотки человека, знающего цену своего влияния на любимую женщину, которая готова все простить ему. Он как бы кичился пред другими своим положением избранника сердца государыни. Екатерина великодушно сносила поведение Орлова, стараясь обращать в шутку его грубоватые выходки. Ее ум и воля в эти минуты подчинялись чувству: она самозабвенно любила его. Однако посторонних сановников от таких интимных сцен внутренне коробило. А Никита Панин в подобных случаях, ядовито улыбаясь, думал: «Ну, слава Богу, что в фаворитах Гришка Орлов. Фаворит с умом и достоинством был бы мне более опасен».

– Если дозволено будет вашим величеством, – проговорил, поклонясь, сидевший вблизи Екатерины граф Сиверс, – я мог бы доложить вам о некоторых глухих уголках нашего отечества.

– Ах, прошу вас, милый Яков Ефимыч! Я вас полагаю за очень просвещенного, очень деятельного человека. Я вас слушаю... Одна минутка, одна минутка! – и, позвонив в колокольчик, она велела дежурной фрейлине подать ей рабочую корзиночку. Вынув начатое вязанье, три клубка разноцветной шерсти и костяные спицы, она приготовилась вязать теплый на зиму капотик своей любимой собачке, дремавшей у нее на коленях.

Олсуфьев, Черкасов и Роман Воронцов бросились к столу, за которым сидела Екатерина, чтоб поближе к ней поставить горящие канделябры, но Григорий Орлов, подлетев, ловко отстранил услужливых царедворцев и сам передвинул канделябры. Екатерина поблагодарила его улыбкой, спицы в ее проворных руках заработали, шерстяные клубки зашевелились.

– Итак, – начал молодой, полный сил граф Сиверс, одернув свой скромный темно-синего сукна кафтан. – Повелением и милостью вашего величества я с прошлого года состою в должности начальника обширнейшей Новгородской губернии, в кою входят провинции Олонецкая, Тверская, Псковская и Великолуцкая. Я объехал многие города и селения, и моему взору везде представала картина наипечальнейшая. Взять Псков. По своему красивому и удобному для торговли положению он мог бы быть в ином состоянии и не возбуждать такой жалости. У меня нет слов, ваше величество, для выражения моих чувств о разорении этого города! Скажу одно: он так же несчастен, как и Великий Новгород, и страдает той же чахоткою. Солдаты – коих два полка – казарм не имеют, живут в домах обывателей, чрез что обыватель справедливо ропщет. Как в одном, так и в другом городе почти равные причины разорения, и не одни политические, но и нравственные: нравы так испорчены, что умножение человеческого рода почти пресеклось.

На тонком лице Екатерины отразилось удивление, брови ее приподнялись, спицы в холеных руках

остановились. После паузы Сиверс продолжал:

– В судах повсеместно взяточничество, невероятная волокита. В Новгороде из трехсот просьб решаются в год по два, по три дела. Каменный дом провинциальной канцелярии во Пскове развалился, воеводского двора вовсе нет, и воевода живет в таком ветхом доме, что мне стыдно и не без страха было в него войти. Город Осташков – сущая деревня, в воеводском доме только сороки да вороны, ни площади, ни лавок я не нашел. В Холме больше тысячи душ, и только один человек умеет писать...

– Да неужели?! – воскликнула императрица.

– Увы, сие так, – развел руками Сиверс. – Своей монархине докладываю истину.

– Срам-срам, – пристукнула каблучком императрица. – Ну а крестьяне?

– О крестьянстве должен вообще заметить, что оно еще более заслуживает жалости по незнанию грамоте, ибо это незнание подвергает его множеству обид. А кроме сего – земля обрабатывается самым первобытным способом, она плохо удобряется, урожаи ничтожны. Не в меру притесняемые помещиками крестьяне нищают. На крестьян помещики накладывают какой угодно оброк и требуют с них какой угодно тягчайшей работы.

По почину графа Сиверса высказывали свои наблюдения над деревней и прочие приглашенные. Екатерина время от времени бросала вязанье и золотым карандашиком делала заметки в записной книжке.

– Я, господа, жду от вас изыскать способы к улучшению экономического состояния нашего отечества, – мягко и в то же время повелительно сказала она.

– Всемиловитейшая государыня, – проговорил, подымаясь, Сиверс. И все поднялись. Григорий Орлов демонстративно некоторое время посидел, но и он с леностью и небрежением поднялся. Сиверс достал из кожаной дорожной сумки бумагу за многими подписями. – Повелите повергнуть к стопам вашим на предмет благоусмотрения проект устава сочиненного нами общества, – сказал он и с поклоном подал бумагу императрице.

– Ваше величество! – приподнятым, торжественным голосом продолжал Сиверс. – Мы, пятнадцать человек, во главе с графом Григорием Григорьевичем Орловым соединились добровольным согласием в общество, в котором вознамерились совокупным трудом стараться об исправлении отечественного земледелия и домостроительства. Мы просим вас, государыня, принять оное общество под ваше монаршее покровительство и чтоб общество управлялось собственными нашими трудами и установлениями, почему и называлось бы «Вольным экономическим обществом»[\[39\]](#).

Мысль о создании общества была давно известна Екатерине чрез Григория Орлова. С целью положить начало этому делу и были сегодня приглашены близкие Екатерине лица. Еще неделю тому назад она негласно ознакомилась с проектом устава, но, притворяясь теперь, что она впервые устав видит, императрица наспех пробежала взглядом исписанные листы и ответила собравшимся заранее подготовленной фразой:

– План и устав ваш, которыми вы друг другу обязались, мы похваляем. Извольте быть благонадежны, что мы оное приемлем в особое наше покровительство.

Часы пробили десять. Екатерина встала, обвела всех ласкательной улыбкой, кивнула головой и в сопровождении двух собак, Григория Орлова, фрейлины и четырех пажей удалилась во внутренние покои. Путь ее шествия по длинным темным коридорам лакеи освещали высоко приподнятыми горящими шандалами. Два скорохода, бежавшие впереди императрицы, тенористо покрикивали гвардейцам-часовым, расставленным по коридорам:

– Ее величество! Ее величество!

Солдаты взяли ружья на караул, офицеры, выхватив шпаги, делали салют. Близко сдвинутые высокие стены коридора в свете колыхавшихся огней как бы раздвигались, давая простор хозяйке дома и владычице империи. Гулко слышались лишь четкие частые шаги Екатерины и медленная, твердая поступь олимпийца Григория Орлова. Остальные смертные, низайшие рабы, скользили по паркету на цыпочках, неслышно.

Граф Сиверс на радостях бросился обнимать Никиту Панина. Тот, не без наигранной патетики, сказал:

– Сие вольное учреждение ваше есть утренняя заря деловой общественности России. Бог вам в помощь.

Императрица дала обществу девиз: «Пчелы, в улей мед приносящие», с надписью – «полезное», и пожертвовала шесть тысяч на покупку дома.

Первым председателем общества был Григорий Орлов.

Общество вскоре широко развернуло свою деятельность. По всей стране разослано было шестьдесят пять вопросов по земледелию, ремеслам и промыслам. Ответы на эту анкету дали возможность обществу ознакомиться с хозяйственным состоянием крестьянской России.

Впрочем, в этом начинании общество шло по следам Ломоносова, который еще в 1760 году разослал чрез Сенат в города, местечки и монастыри всей империи анкеты со многими вопросами географического и экономического порядка.

Екатерина поддерживала деятельность общества. Ей, склонной по натуре к загадочности и актерской игре, зачем-то понадобилось писать в общество от имени «неизвестного лица» мужского рода и подписываться инициалами «И. Е.».

На заседании, где разбиралось письмо «неизвестного», Григорий Орлов заявил:

– Нечего глазами хлопать. Это писала матушка. Только, чур – прикинемся простецами и станем держать сие в секрете. Матушке об этом ни гу-гу...

В следующем году был получен обществом изящный ящичек, в котором тысяча червонных и письмо того же «неизвестного» за той же подписью «И. Е.». В письме – вопрос: «В чем состоит собственность земледельца – в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то и другое для пользы общенародной иметь может?» Другими словами – спрашивалось: нужно ли для общенародной пользы уничтожить крепостное право и наделить крестьян в собственность помещичьей землей, или, оставив все по-старому, дать крестьянам лишь право владеть движимым имуществом? В письме сообщалось, что в награду за достойное решение вопроса и вообще на издержки общества назначается препровождаемая тысяча червонцев. Чрезвычайное собрание общества постановило объявить конкурс на правильное решение опубликованного вопроса. За лучшее сочинение назначалась премия в сто червонцев и золотая медаль.

На публикацию тотчас отозвался поэт Сумароков. В своем ответе он выразил не только свои взгляды, а и мнение по этому вопросу многочисленных своих единомышленников. Он писал[40]:

«...Потребна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода? На это я скажу: потребна ли канарейке, забавляющей меня, вольность или потребна клетка? И потребна ли стерегущей мой дом собаке цепь? Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи; однако одна улетит, а другая будет грызть людей; так одно потребно ради крестьянина, а другое ради дворянина...

...Что же дворянин будет тогда делать, когда мужики и земля будут не его, а дворянину что

останется?.. В прочем свобода крестьян не только обществу вредна, но и пагубна».

К сроку было прислано на разных языках сто двадцать ответов. Лучшим признано сочинение проживавшего в Петербурге немца Беарде-де-Лаббея, доктора прав в Аахене. Общий его вывод: крестьянин должен быть свободным и должен владеть землей, но освобождать крестьян нужно *постепенно*. Между прочим он писал:

«...О вы, цари! Если вы не желаете быть мучителями ваших народов, то должны вы быть отцами ваших подданных. Крестьяне суть ваши чада: как же вы можете видеть ваших чад рабами?»

«...Но слышу голоса вельмож, пораженных сею новостью и отвращающихся от того, чтоб отказаться от ужасного (крепостного) права...»

«...Что будет из наших полей? – без сомнения, скажут некоторые владельцы, которые только одну наружность вещей обозреть в состоянии. – Кто станет земли наши пахать, когда рабы наши будут вольными? Кто будет работать на наших фабриках и мануфактурах, когда мы не будем иметь права удержать и принудить к работе наших рабов? Нет, господа! Дав вольность вашим крестьянам, вы ничего не потеряете, но еще умножите ваши доходы и т. д.»

Однако свободолюбивый автор не рекомендовал немедленного освобождения крестьян.

«...Должно приуготовить рабов к принятию вольности прежде, нежели дана им будет какая собственность... Когда просветится их разум и исправятся их нравы, тогда уже можно будет разрешить оковы рабства...»

Собрание Вольного экономического общества, состоящего почти сплошь из крупных крепостников, премировав это сочинение, растерялось. Большинство было против опубликования столь дерзких, потрясающих государственные основы, высказываний. Как быть? Напечатать, конечно, легко. А вдруг по напечатании «неизвестный» благодетель «И. Е.» придет в гнев и все «вольное общество»... сошлет в Сибирь!

2

Апартаменты Григория Орлова помещались в Зимнем дворце на антресолях. Но почти каждый вечер, свободный от кутежей на стороне или длительных поездок в гатчинские, а то новгородские леса на охоту, он проводил с императрицей в ее интимных покоях.

В шелковом, перетянutom опояскою, капоте без фижм и кринолинов парадных платьев, скрывающих естественную форму тела, Екатерина казалась изящно сложенной и была быстра в движениях. В белом кружевном чепце она сидела за маленьким письменным столом, заканчивала давно начатый ею перевод на русский язык «Велизария» – философский роман французского писателя Жана Мармонтеля.

Григорий Орлов, подобрав обутые в шлепанцы ноги, полулежал на удобном диване, просматривал свежий номер газеты «Санкт-Петербургские Ведомости». Он в атласном, с золотой вышивкой, халате, шея и грудь обнажены, русые, слегка завитые волосы подрублены в скобку, по-казацки. Глаза его наткнулись, как на кочку, на объявление в газете:

«В Четвертой Мещанской в № 111 продаются две молодые девки, собой видные, грудастые, белье шьют и в тамбур, гладят и крахмалят, и стряпать мастерицы. Последняя цена им 1000 рублей. Тут же продается жеребец, да бык, да стая гончих собак, числом пятьдесят, по сходной цене».

Орлов поморщился. Он знал, что крепостных не только продают, но проигрывают в карты, дают ими взятки, платят врачам за лечение. Надо бы опять обратить внимание государыни, ну да как-нибудь в другой раз...

– Да! Матушка... Прости, что докучаю тебе. Мужичишка, Васька Безухий, медвежатник мой, приходил намердись ко мне, сказывал – двух медведей обложил в берлогах под Гатчиной... Поехать доведется, стукнуть.

Екатерина, отложив работу, быстро оправила чепец, скользом взглянула в лежавшее возле нее зеркальце и, машинально облизнув губы, повернулась к Орлову.

– И надолго сей променад?

– Да Бог его ведает... На недельку.

– Вот ты все ездешь, дела свои запустил, меня одну бросаешь. Ну да, впрочем, ты ферлакур известный, Гришенька.

– Утешители у тебя найдутся, – с ревнивым чувством во взгляде и голосе несдержно упрекнул ее Орлов и, насупившись, швырнул газету на пол.

Екатерина, в упор глядя на него, выжидательно молчала. Она приготовилась к самозащите, она собиралась выпустить когти, но, признаваясь самой себе, что в своих упреках Орлов был прав, она опустила веки, и губы ее капризно скривились.

Вошел с охапкой дров скуластый глухонемой калмык в красном жупане, стал растапливать камин. Был поздний вечер, восковые свечи задумчиво горели в люстре, в канделябрах, в настенных бра. Камин запылал, калмык скрылся. Орлов запер за ним дверь.

– Ну а как же в твоём Вольном экономическом обществе, Григорий Григорыч? Да!.. И какой же ветреник этот Сумароков. Своим письмом в твоё общество он опорочил своё имя пред потомками на веки вечные. Внутренние его помыслы далеко не те, о чём бряцает его лира. Да, вот тебе, – Екатерина, порывшись в ящиках стола, вынула пачку бумаг с надписью «Запрещаю» и нашла в ней кудряво написанное стихотворение Сумарокова «Хор ко превратному свету». – Слушай, что он написал в своей

сатире к моей коронации, сравнивая порядки у нас и за границей:

Со крестьян там кожи не сдирают
Деревень на карты там не ставят,
За морем людьми не торгуют.

А вот конец письма в адрес твоего общества: «Впрочем, свобода крестьян не только обществу вредна, но и пагубна». Как сие аттестовать прикажешь? Сие есть – двоедушие.

– Ой, матушка, Катенька... Ты столь премудра, что... – и, заскрипев пружинами дивана, Орлов поднялся. – Дозволь перецеловать все твои мизинчики...

– Их только два...

– Ой, четыре... Ей-Богу же, четыре! – и, подбежав к Екатерине сзади и запрокинув ей голову, он с жаром поцеловал ее в маленькие губы.

– Довольно, довольно, Гришенька, – запротестовала Екатерина. – Мой рабочий день, ваше сиятельство, еще не кончился. Делаю вам выговор... Ревнивец!

– Ой, матушка! – всплеснул руками и обойдя стол так, чтоб быть лицо в лицо с Екатериной, воскликнул Орлов. – Ужо я приведу к тебе стихотворца Дениса Фонвизина, говорят – душа-парень, весельчак. Как-то довелось слышать мне его... Он столь похоже Сумарокова передразнивает и в голосе, и в манерах, даже умом, так что Сумароков и сам не мог бы сказать иначе, как то, что Фонвизин говорит его голосом. Я чаю, ты прямо обхохочешься, прямо пальчики оближешь, как услышишь его. Дозволь!

Екатерина молчала. Орлов смотрел на нее с восхищением. Аккуратно сложив вынутые бумаги, она спрятала их в стол и, не обращая внимания на Орлова, взялась за гусиное перо, чтоб продолжать прерванную работу. Обескураженный Орлов прошелся по комнате, поворошил клюкой горящий камин, подбросил дров и отщипнул ветку винограда, горой лежавшего в севрской вазе. «Дурак, – подумал про себя Орлов, – газету швырнул, огорчил бабенку. Осел... Подтянуться надо».

Желая овладеть вниманием Екатерины, Орлов, переменяя тон, попробовал заговорить о деле:

– Ваше величество! А как вы соизволили отнестись к сочинению Беарде-де-Лаббея? Наши все перетрусили, прочтя оное, и пришли в недоумение – публиковать его в печати или нет? За публикацию Ванька да Захарка Чернышевы, Сиверс, Бибииков, Теплов, Роман Воронцов и другие, а вот Черкасов против, генерал-прокурор Сената Вяземский ни туда ни сюда, дать мнение отказаться, тебя опасается, хитрец коварный. Словом, одиннадцать голосов за напечатание, а шестнадцать против. А ты как думаешь, матушка?

– Напечатать, – не колеблясь, ответила Екатерина.

Орлов поставил клюку в угол, несколько мгновений удивленно смотрел на Екатерину.

– Но, матушка... – сказал он. – Ведь оный немец требует мужиков освободить и барскую землю отдать им. Ему-то хорошо в философию пускаться, у него, я чаю, ничего, кроме штанов, нет.

– Мое мнение – печатать, – повторила Екатерина. – Ты, Гришенька, я вижу, не столь далеко уехал от господина Сумарокова. Не зря же говорится по-русски: два рыбака – пара.

– Матушка! – захохотал Орлов. – Доколе ты будешь пословицы перевирать? Не рыбака, а сапога. Два сапога – пара!

– Нет, нет... про рыбаков, – капризно сказала Екатерина, оскорбленная неуместной веселостью Орлова.

– А тогда: рыбак рыбака видит издалека. Это, что ли, молвить хотела?

– Потрудись заказать мне список пословиц.

– Добро, добро... Чулкову Мишке закажу, он сих дел мастер.

Желая в свою очередь уколоть Орлова, она спросила:

– Ну а как ты во французском успеваешь? Чаю, пора бы уж...

– Не спрашивай, матушка, не лезет. Трудно шибко, – захолопал Орлов глазами. – Да и французишка попался – прямо скажу – дрянь. Говорим, говорим с ним по-французски, да и нарежемся водки по-русски, – и, чтоб замаять этот неприятный для него разговор, он вновь перевел на дело: – Опасаюсь я, матушка, как бы чего худого в публике не вышло, ежели напечатать этого самого Беарде. Разговоры всякие пойдут, крамольные кривотолки, то да се.

– Не бойся, мой друг, – сказала Екатерина, подымаясь. Утомленная трехчасовым сидением за столом, она быстрым движением взбросила вверх руки, привстала на цыпочки и потянулась. – Беарде-де-Лаббей в своей пьесе рекомендует освободить крестьян не иначе, как прежде просветив их. А это... а это...

– Стало, на ваш век хватит? – улыбаясь, спросил Орлов, а, не получив ответа, задал в упор другой вопрос: – Ну а ты-то, матушка, ты-то желала бы освободить православных мужичков? Ну-тка?

– А как ты думаешь, мой друг? – прищурившись на Григория Орлова и потряхивая откинутой головой, с неожиданным раздражением произнесла Екатерина.

– А я ничего не думаю.

– Сие зело сожальительно...

– Четвертый год живу с тобой, матушка, душа в душу, а каковы твои сокровенные помыслы касательно дел важных – не ведаю. Ты себе на уме, матушка. Не вдруг поймешь тебя, – подавленным голосом, но с оттенком иронии сказал Орлов и, прислонясь спиной к стене, ждал проявления гнева государыни.

На лице Екатерины отразилось страдание. Чуть вздрагивающим голосом с нотками истинной печали, но все же довольно сухо, она сказала:

– Я ценю вас, ваше сиятельство, за вашу отменную верность мне, за честность вашу, за преданность престолу, но зело скорблю, что природа наделила вас умом ленивым и в сложный механизм государственных дел не проницательным. Прервем этот разговор...

– Хоть, может статься, я и дурак, матушка, – выждав время, виновато промолвил Орлов, – а я на твоём месте мужичков православных погодил бы освободять.

Екатерина молчала, кусала губы, хмурилась. Но вот, надо полагать, в душе ее поднялось большое человеческое чувство к другу. Она заулыбалась, ямочки появились на щеках, лучистые глаза милостиво устремились на притихшего Орлова.

– Друг мой, Гришенька! – воскликнула она. – Вообрази себе: вот императрица Екатерина Вторая завтра публикует указ: «Крестьянам отныне быть свободными. Помещичьи земли навечно передаются в собственность крестьянам». Что бы тогда было? Как ты полагаешь?

– Мужики благословляли бы твое пресветлое имя из века в век...

– А помещики?

– Ну, помещики... – замялся Орлов и развел руками. – Помещики, пожалуй, того... Они бы... пожалуй...

Екатерина улыбалась на замешательство своего друга и, зная, что ее слова рано или поздно станут достоянием истории, погрозила в пространство пальцем, выразительно сказала:

– Боюсь, Гришенька, что тогда *помещики успели бы повесить меня прежде, чем освобожденные мною мужички прибежали бы спасти меня.*

– Матушка! – в восторженном опьянении закричал Орлов. – Паки говорю тебе: ты – премудра.

3

Екатерина с наследником Павлом виделась довольно редко, она не любила его, но все же вынуждена была заботиться о его воспитании. Ей хотелось во что бы то ни стало залучить в Петербург знаменитого французского математика философа Даламбера. «Разве не лестно личное общение со свободным мыслителем, гонимым на родине отцами церкви? Разве не приятны были бы вольнолюбивые беседы с ним в чертогах Северной Семирамиды? Пусть знают Вольтер, Дидро, кичливый Фридрих Второй, пусть знает весь свет, что Екатерина Вторая есть великая женщина своего века, великая мать великой России...» – размышляла сама с собой Екатерина.

И вот, еще будучи на коронации в Москве, она пишет Даламберу письмо, предлагает ему воспитание своего сына. Даламбер отказался. В дружеском письме к Вольтеру он в шутовском, остроумном тоне объяснял причину своего отказа так: «Я очень подвержен геморрою, а он слишком опасен в этой стране». (Намек на внезапную смерть Петра III, умершего, как гласил манифест, от «геморроидальных коллик».)

Екатерина дважды приглашала его и дважды получала отказ. Тем не менее она выплачивала Даламберу пенсию до самой его смерти.

Екатерина не оставила своим вниманием и третьего философа – знаменитого Дидро. Узнав о материальных затруднениях философа, она за пятнадцать тысяч ливров купила его библиотеку, оставила ее в пожизненное его пользование, назначила ему ежегодное жалованье в тысячу ливров как хранителю библиотеки и приказала выплатить оное за пятьдесят лет вперед. Даламбер с Вольтером ответили на этот поступок Екатерины восторженными письмами.

Перо Вольтера имело большую власть над умами Франции. Может быть, благодаря его льстивым отзывам о русской императрице, а также и потому, что за границей не вполне еще раскусили ее сущность, имя этой одареннейшей женщины в западных странах, в особенности во Франции, было, пожалуй, более популярно, чем в России.

Заглазно называя Екатерину «моя Като», Вольтер неутомимо превозносил и защищал ее от нападок, оправдывая даже ее жестокие поступки.

«Я ее рыцарь против всех, – писал он госпоже де Деффоид. – Я знаю, что ее обвиняют в каких-то пустяках по отношению к ее мужу; но это дела семейные, в которые я не вмешиваюсь. В общем, и недурно, когда есть ошибка, которую надо исправить; это заставляет делать большие усилия, чтобы получать общее уважение и восхищение».

Восхищаться Екатериной со стороны было не так уж трудно и вполне простительно. Ее действия и намерения осчастливить своих подданных могли только издали казаться искренними и устойчивыми, они, как фальшивые камни, имели много блеску, но мало ценности.

Под напором назревшей в государстве нужды пересмотреть и дополнить устаревшие основные законы империи, Екатерина, по совету Никиты Панина и некоторых либерально настроенных сановников, предприняла созвать в Москве Большую Комиссию из представителей сословий для выработки Нового Уложения, то есть основных законов. А в руководство этой Комиссии сочинила знаменитый свой Наказ. Между делом и увеселениями она трудилась над ним более двух лет, изредка совещаясь в последнее полугодие с новгородским губернатором Сиверсом, Паниным, Орловым, Бестужевым, Бибиковым. Нового, оригинального в Наказе не так уж много. В сущности, это перелицованные на свой лад взгляды Монтескье из его книги «Дух законов» и восхитившие Екатерину мысли итальянца Беккариа в только что вышедшей

его книге «О преступлениях и наказаниях».

Екатерина, не стесняясь, говорила:

– Я ограбила Монтескье и Беккарию. Я как автор похожа на ворону в павлиньих перьях.

Наказ написан в довольно либеральном духе. Екатерина во многом перещеголяла здесь, может быть, в провокационном смысле, панинцев и сумароковцев с их политической программой. Наказ, выпущенный в Париже на французском языке, был признан там политически вредным и тотчас запрещен. Фридрих III встретил Наказ с брезгливой миной.

Никита Панин, прочитав это женское рукоделье, не без яда воскликнул:

– Государыня! От сих ваших великих аксиом даже стены рухнут.

А хмурый, умный Сиверс сказал:

– Если бы будущий законодатель оказался вровень с сочиненным вами Наказом, ваше величество, то Новое Уложение было бы наилучшим памятником вашего царствования.

В грубейшей лести царедворцев сквозила ирония. Они, как и Вольтер, отлично понимали цену столь нашумевшего Наказа. Не ради облегчения народной участи писался он (что впоследствии блестяще подтвердилось), а ради тщеславных потуг Екатерины прослыть в глазах Европы просвещеннейшей, гуманнейшей и т. д. императрицей.

В Наказе она против смертной казни. Вопросы уголовного судопроизводства разработаны ею гуманно: «Приложить должно более старания к тому, чтоб вселить законами добрые нравы во граждан, нежели привести дух их в уныние казнями». – «Хотите ли предупредить преступление? Сделайте, чтоб просвещение распространилось между людьми».

И все-таки императрица в Наказе твердо отстаивала начало абсолютизма: «Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая оным правит». – «Самодержавных правлений намерение и конец – есть слава граждан, государства и государя».

Зато о крепостном праве, взаимоотношениях мужика и барина было сказано не много, но столь крепко, что мысли Екатерины вызвали взрыв протеста из лагеря многочисленных крепостников, которым была роздана на критику первая редакция Наказа.

Генерал Петр Панин, называя Наказ «пирожком ни с чем», впоследствии заглазно корил Екатерину:

– В этой немке преизбыточествуют хитрость и коварство. Она в своем Наказе расставила на нас, как на зверей, кляпцы. А ну-тка, мол, како они думают о крепостном праве?

4

Сумароков, считавший себя русским Вольтером, надел очки, наморщил лоб, стал медленно перелистывать только что полученную им «высочайшую» рукопись. Плотные синеватые листы хрустели, пахли краской.

Камердинер Данилыч в нанковом, ниже колен сюртуке и серых валенках, растапливал камин, совал под сырые дрова пучки рукописей, принадлежавших начинающим поэтам и брошенных барином в корзину. Он сутул, узкогруд, высок, плешив. В серых покорных глазах выражение собачьей преданности господину.

Сумароков среднего роста, немного косоплеч, но очень изящен в общем облике и в несколько распушенных манерах. Слегка обрюзгшее лицо его довольно миловидно, оно обрамлено пышными рыжеватыми, уже седеющими волосами. Губы улыбочивы, карие глаза глубоко посажены. Он в мягком темно-зеленом, английского сукна, шлафроке. Он всю ночь прокутил с этим милейшим весельчаком Денисом Иванычем Фонвизиным и сегодня встал поздно с головной болью. Старик Данилыч отечески журит его, советует выкушать натошак святой водицы, да чашечку огуречного рассола, да капустки кочанной.

– Брось, брось, Данилыч, – несколько грассируя, говорил Сумароков. – До святой ли водички тут, лучше принеси-ка мне водочки. А огуречный рассол вот он где, – и поэт похлопывает белой ладонью по синеватым листам Наказа. – Трепещи, Данилыч! Сие есть неизъяснимая мудрости творение благочестивейшей государыни императрицы.

– Знаю, знаю, батюшка Лександр Петрович. Курьер из дворца приволок, так сказывал. И еще сказывал курьер, что матушка-т в пять часов утра встает да сама себе кофейку скипятит, тут сядет да до самого обеда пишет. А после обеда рукоделием изволит заниматься. Вот и вы бы, Лександр Петрович, брали бы с них пример. А вы когда сегодня поднялись? Уж скоро к вечерням звонить будут...

Небольшой, но со вкусом обставленный кабинет был украшен книжными шкапами и портретами знаменитых актеров Волкова, Дмитриевского, Шумского. Над столом овальный, в масляных красках, портрет улыбочивой эффектной императрицы. На письменном столе – рукописи, газеты, свежие книжки журналов, а среди всяких безделушек – три «счастливые» подковы, причем одна из них принадлежит историческому белому коню, на котором счастливая «матушка» брала в плен своего несчастного супруга.

Напившись кофе и пофриштыкав, Сумароков закричал:

– Ба! Ха-ха... Ну, нет-с, нет-с, ваше величество. На сей счет мы с вами жестоко поспорим. Как?! Отменить крепостное право? Мерси, мерси... – И он, смакуя и зло посмеиваясь, стал читать параграфы Наказа: – «Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великого числа освобожденных». Ха! Афоризм умный, но чересчур, чересчур... Ха! Освободить мужиков *вдруг* нельзя, а, значит, понемногу должно. Ха-ха... Да нет! Это притворяется она, дурочкой прикидывается, шутки шутит... Данилыч, слышишь? У нашей матушки ум за разум зашел, высказывает хотенье всех мужиков помаленьку освободить. Да нешто это возможно, Данилыч?

Тот, не сразу переварив слова барина и все-таки поняв их смысл, набожно перекрестился, на глазах проступили радостные слезы, он взял клюку и молча стал ворошить в камине.

– Слушай, слушай: «Не может земледельство процветать тут, где никто не имеет ничего собственного». Ага, значит, мужикам собственность подавай? Слушай дальше: «Законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества и привести их в такое состояние, чтоб они могли купить

сами себе свободу». Мерси, мерси, ваше величество... Токмо примите в память – здесь не Англия, не Швеция и не Украина, здесь – Русь, ваше величество, с укладом искони древним. – Заносчивый, неводержный, склонный к дразгам и ссорам, он решил на сей раз посчитаться с Екатериной, которая иногда не стеснялась относиться к нему пренебрежительно. Он выпил серебряный стаканчик тминной, слегка прихрамывая, прошел к дивану, разлегся и закинул руки за голову.

– Данилыч, подойди-ка сюда, стань тут. Ну хорошо, допустим, выйдет закон отобрать у господ крестьян да дворню. А я-то, я-то с кем же останусь? Кто станет раздевать меня, обед готовить? (Старый Данилыч тер лысину, вздыхал, топтался.) Нет, ты сам, Данилыч, смекни – господа, оставшись без дворни, станут чахнуть, погибать. На что это похоже? А там, по деревням-то! Великий разлад пойдет промежду помещиком и крепостными, свара, межусобица, и ради усмиренья мужиков придется войска туда посылать, целые полки двигать, кровь лить! А ныне, что ж... ныне помещики проживают спокойно в своих вотчинах, с мужиками ладят.

– В Кашинском уезде, Лександр Петрович, сказывают, на той неделе барыню дворня зарезала, а под Новым городом – барина-старика да двоих молодых господ ухайдакали, – соболезнующим голосом проговорил Данилыч, но Сумароков в точности не мог понять, на чьей же стороне его сочувствие.

– Ну и молчи. Ишь ты раскудахтался... Зарезали, зарезали...

– Я, Лександр Петрович, правду молвлю.

– Правду... Правда ныне не в почете, старик. В моих творениях я тоже суцу правду излил, а всемилостивая государыня на дыбы, нет-нет, да ножкой и притопнет. Вот те и правда. А тебе ведомо, кто я? Я первый пиит в России, да меня весь свет знает, Париж обо мне пишет. Да если б не я, и театра в России не было бы. Я не граф какой-нибудь, я Сумароков! А ты – зарезали. Деревня... Дай-ка тминной!..

Он выпил, пожевал вяленой рыбы и брезгливо сплюнул.

– А я, Данилыч, критику и на помещиков делаю, кои тиранство для крестьян своих приуготавливают, мануфактуры у себя заводят и прочие вымыслы. Суконные заводы ныне в моде. Да разве для земледелия полезны они? Не токмо суконные дворянские заводы, но и лионские шелковые ткани приносят во Франции обогащения меньше, нежели земледелие. А Россия паче всего на земледелие уповати должна! И чтобы заводы не одному помещику доходны были, а и крестьянам. И были бы крестьяне работники, а не каторжники. Тогда они и резать помещиков не станут. Эх, да чепуха это. Разве дворянское дело заниматься фабрикой? С Мишки Ломоносова, царство ему небесное, узоры нечем брать: он был мужик, он, бывало, треску живьем жрал. Фабрикантом-то ему больше пристало быть, нежели поэтом...

Взбодривая себя табаком и тминной, Сумароков всю ночь просидел над Наказом.

Екатерина, просматривая докладную записку Сумарокова, гневалась. Подчеркнув то место, где Сумароков особо сильно противоречил ее мыслям, Екатерина сбоку написала: «Господин Сумароков хороший поэт, но слишком скоро думает, чтобы быть хорошим законодателем. Он связи хорошей в мыслях не имеет, чтобы критиковать цель». По поводу какого-то параграфа Сумароков написал: «Для краткости времени без всякого возражения мною оставлен». Екатерина иронически добавила: «Потери в том нету».

Но и помимо Сумарокова Наказ был достаточно пощипан вельможными персонами «вельми разномыслящими». Дворяне-крепостники, будто сговорившись, в один голос трубили Екатерине:

– Государыня! Не совершайте столь рискованного шага. Крепостное право освящено церковью и Богом. Связанный раб покорен, освобожденный страшен. Он страшен и для помещиков, и для вас, государыня, и для спокойствия империи вашего величества. Ведь тогда вся русская земля содрогнется, устои восколеблются, храмина здания государственного рухнет, и мы все погибнем... А ныне – все ко

благополучию в империи вашей совершается, достаток крепостных крестьян год от году множится, помещики тщатся, елико возможно, рачительно опекать их. И, благодарение Богу, крестьяне с похвальной любовью относятся к своим помещикам, почитая их за отцов...

– И бывает, – иронически прищурившись, подала свой голос Екатерина, – бывает, что крестьяне любимых помещиков немножечко зарезывают...

Подобные разговоры приводили Екатерину в радость. Под давлением крепостников Екатерина притворялась невинной жертвой и делала вид, что ее запугали.

Впрочем, тут происходила обоюдная игра. Крепостники-помещики считали Наказ мыльным пузырем, пустыми литературными упражнениями царицы, – они знали, что столь умная женщина, как Екатерина, никогда не осмелится уничтожить крепостное право, так как это в первую голову грозило бы ей гибелью. В то же время Екатерина, выставляя себя в Наказе защитницей крестьян, отлично видела, что помещики в ее искренность ни капельки не верят и, соблюдая лишь придворный этикет, притворяются напуганными ожидаемой с высоты престола реформой.

Наказ пришлось наполовину вымарать. Особенно сильно был урезан вопрос о крепостном праве.

Глава V

В Грановитой палате

1

С возникновением Вольного экономического общества и с выборами в Большую Комиссию для общественной жизни России, казалось, наступила полоса оживления. Как только приспело время выборов, вся Россия, все медвежьи углы ее зашевелились. Устоявшаяся, подобно болоту, сонная и пресная жизнь страны получила острую закваску. Эта положительная сторона внутренней политики Екатерины умаялась тем, что выборы производились под сильным давлением агентов правительства и что в депутаты главным образом выбирались знатные вельможи, состоятельные помещики, купцы, фабриканты, крупные чиновники. Многомиллионное же крепостное крестьянство к участию в Большой Комиссии допущено не было. В Москву съехалось со всей России пятьсот шестьдесят четыре депутата. На долю дворян приходилось сто пятьдесят депутатов, представителей городов – двести, однодворцев, казаков, пахотных солдат – пятьдесят, малых народностей – около пятидесяти.

Из казацких депутатов обращали на себя внимание выправкой и живостью характера сотник Оренбургского войска Падуров и сотник Астраханского войска В. Горский, будущие участники пугачевского движения.

Торжественное открытие Большой Комиссии состоялось 30 июля 1767 года в Кремлевском дворце в присутствии императрицы. Она только что возвратилась из приятного путешествия по Волге – от Твери до Казани. В окружении придворных, имея слева от себя великого князя Павла, она стояла на возвышении возле раззолоченного тронного кресла. После речей митрополита Дмитрия Сеченова (единственного депутата от духовенства), вице-канцлера князя Голицына и генерал-прокурора Сената Вяземского, после криков «ура» депутаты допущены были к целованию руки императрицы

Депутатам загодя было разъяснено, как при этом вести себя. Поднявшись на три ступени трона, депутату надлежало отвесить государыне поясной поклон, затем, опустив руки по швам, учтиво, не борясь, прикоснуться губами к всемилостивой ручке, снова отвесить поясной поклон и степенно отходить в сторонку. Было также сказано, что те депутаты, кои наелись луку, а наипаче чесноку, или приняли малую толику водки, от церемониала целования должны воздержаться, а ежели и у таких будет усердие приблизиться к священной императорской особе, то в таком разе подходящий должен накрепко запереть в себе дыхание.

После подобного напутствия многие убоялись приближаться к матушке.

А вот депутат Оренбургского казачьего войска, сотник Тимофей Иванович Падуров не преминул участвовать в придворном церемониале, невзирая на то, что изрядно поутру выпил водки и наелся баранины с чесноком. Ну да ведь он не кто-нибудь, не пахотный солдат, не однодворец голоштаный, ведь он сотник, сиречь, – третий офицерский чин. А чеснок... эка штука! Пущай и государыня нюхает, чем молодцы казацкого рода пахнут. А что ж такое? Он мужчина очень видный, статный, борода обрита, черные усы закручены, чуб вихрастый, лицо круглое, медно-красное, про него все говорят – красавец.

Депутаты подходили к трону вожжой, друг другу в затылок. Шаг за шагом продвигаясь по красному сукну, Падуров глаз не спускал с улыбчивой Екатерины. Он взирал на нее не как на божество, слетевшее с

заоблачных высот на землю, а без затей и попросту, как на пригоженькую, с расчудесным личиком, боярыню: до женского пола он был шибко падок и кровь имел горячую, недаром в его груди так сильно бьется сердце и таким задорным блеском горят его черные, навывкате, глаза. Эх, будь это где-нито в укромном месте, облапил бы он мать-государыню за талию и вlepил бы в ее розовые губки простецкий, по-казацки, поцелуй.

Пред ним и уж совсем близко, на верхней площадке трона, стояла обворожительная Екатерина. От ее талии ниспадала до земли, подобно золотому широченному внизу колоколу, парчовая на фижмах роба, чрез высокую грудь шла лента со звездой, на точеной шее горьмя горели драгоценные камни, на припудренных взбитых волосах покоилась небольшая алмазная корона, и на плечи накинута, подобно мантии, из золотой парчи порфира, подбитая горностаевым белоснежным мехом, длинный шлейф ее отброшен к золоченому с большим двуглавым орлом креслу. Из-под края парчовой одежды выглядывали маленькие царицыны ножки в золотых туфлях. Московский чеботарь эти туфельки обузил, они сильно беспокоили Екатерину, она ставила то одну, то другую ногу на каблук, носком кверху, торжественное настроение ее с каждой минутой угасало, тонкие брови хмурились, подбородок неприятно выпирал вперед.

«А ручки... – смахнув с лица испарину, мысленно восторгался Падуров. – Боже ж ты мой, какие ручки!.. Белые, как лебединое перо, маленькие, складные... Да никто на свете, ни одна казачка, ни одна барыня столичная не имеет столь нежных ручек». В левой руке Екатерина держала скипетр – такую точеную золотую белендрясинку с небывалой величины бриллиантом на конце, а правую руку торопливо совала в депутатские усы да в бороды для лобызания.

Екатерина подняла на подошедшего Падурова свой взор. Весь содрогнувшись, казак чуть ли не до земли поклонился волшебному видению и привстал на последнюю ступеньку трона. Глянув с мольбой и упованием в лучистые глаза Екатерины и громко, от всей души выдохнув мужественным голосом: «Дозволь, владычица», – он нагнул шею с сильным загивком и азартно припал горячими губами к ее руке. Своей земляной огромной лапищей, привыкшей останавливать на всем скаку дикого коня, он подхватил эту легкую, как воздух, ручку и трижды чмокнул ее взасос столь гулко и напористо, что стоявший слева от императрицы князь Вяземский сердито, как гусь, зашипел на казака, а миниатюрная Екатерина, удивленно уставясь в склонившееся к ее руке воинственное лицо дюжего детины, изволила, вместо гнева, всемиловейше улыбнуться.

Чрез каких-нибудь семь лет эта маленькая, легкая, как воздух, ручка подпишет жесточайшую сентенцию, по которой депутат Большой Комиссии Тимофей Иванович Падуров за участие в великом пугачевском мятеже будет предан смертной казни.

2

Несколько дней спустя начались деловые заседания Комиссии. Председателем, или маршалом заседаний, был избран костромской депутат, герой Прусской войны А. И. Бибиков. Ему был вручен маршальский жезл.

Грановитая палата, где проходили заседания, напоминала древний храм. Крестовые своды, подпертые могучими, четырехугольного сечения, столбами, украшены яркой живописью религиозного содержания. Стены обиты красным сукном. Ребра сводов и вспарушенные части столбов обделаны блестящей бронзой. Двери взяты в позлащенную искусную резьбу с пилястрами и высокими кокошниками. С потолка спускаются пышные итальянской работы люстры. Широкие, поддерживающие потолок столбы от основания до верха охвачены витринами, уставленными старинной из литого золота с драгоценными камнями утварью и чеканной серебряной посудой. Все эти богатства царей московских горят и блещут. Глаза депутатов разбегаются при виде этих сокровищ.

У стены, против главного входа, на возвышении – стол, покрытый красным бархатом с золотой бахромой. За столом – маршал Бибиков, Вяземский и директор Комиссии Шувалов. В первых рядах митрополит Дмитрий Сеченов в темно-синей мантии, в белом клобуке с бриллиантовым крестом, с золоченым жезлом в руке, князь Волконский, граф Алексей Орлов – богатырского вида, с большим шрамом на щеке, военный генерал граф Петр Панин, граф Строганов, князь Щербатов и другие. Здесь все блестит, играет красками: богатые кафтаны с золотым шитьем, красные или голубые чрез плечо ленты, большие лучистые звезды на груди, пышные, белоснежные, в буклях парики, холеные то высокомерные, то ласковые лица.

Дальше идут депутаты попроще: мелкое дворянство, офицеры, торговое сословие, ремесленники, казаки, пахотные солдаты, представители малых народностей в своих пестрых халатах. В петлице у каждого депутата, на золотой цепочке, золотой овальный депутатский знак, на одной стороне его вензель императрицы, на другой надпись: «Блаженство каждого и всех».

Возле депутатских скамей и возле маршальского стола – высокие аналои, за которыми секретари ведут протоколы заседаний, передают маршалу письменные заявления депутатов.

Виднейшим секретарем Комиссии был знаменитый впоследствии Николай Иванович Новиков. Мы видели его в роли восемнадцатилетнего рядового солдата, когда он, пять лет тому назад, в день дворцового переворота стоял на часах у ворот Измайловского полка и ружейным артикулом приветствовал приехавшую к измайловцам Екатерину. А ныне, по должности секретаря Большой Комиссии, ему было поручено ведение протоколов седьмого отделения Комиссии о «среднем роде людей», а также он вел журналы общего собрания депутатов для личного доклада императрице. Это ему дало возможность бывать в обществе Бибикова, во дворце и принимать участие в деловых разговорах с Екатериной. Она, с обычной для нее проницательностью, оценила его способность, остроту и прогрессивный характер его суждений и хорошо запомнила этого серьезного молодого человека, нимало не догадываясь, что он впоследствии испортит ей много крови.

Жарко, душно. Депутаты отирают потные лица платками или полами халатов. Сидевший в заднем ряду огромный краснощекий калмык в малиновом халате по забывчивости вынул трубку и стал ее раскуривать. Подошедший пристав ткнул его в брюхо тростью и погрозил пальцем.

Всякий раз, как только маршал подымался на ступеньки помоста, чтоб открыть очередное заседание, сотник Тимофей Падуров с волнением ждал появления императрицы. Но вот уже наступило седьмое заседание, императрица не появлялась. Разочарованный Падуров хмурился и раздраженно сквозь усы

бросал: «Эхма...» Рядом с ним – сотник Горский. Они переглядываются и, уставившись на какого-то плешивого оратора, начинают без всякой охоты рассеянно слушать очередную дворянскую гугню...

– ...крестьяне Каргопольского уезда ленивы, упорны и пьяницы... – монотонно, с выкриками на некоторых фразах битый час читал по бумаге свою речь депутат от дворян Глазов.

– Как-как?! – обернулся к депутату, громогласно крикнув с передней скамьи, депутат Санкт-Петербурга, граф Алексей Орлов. – Ты не выражайся этак-то!

За столом вскочил маршал Бибииков, зазвонил в звонок, велел депутату прекратить чтение речи. В зале – движение, одобрительный шепот.

– Господа депутаты! – обратился маршал к собранию. – Депутат дворянин Глазов допустил недозволенное оскорбление каргопольских крестьян, представитель коих здесь присутствует, обозвав их ленивыми, упорными и пьяницами. Сии слова звучат обидно для всякого человеческого звания, для крестьянского сословия такожде, ибо и в крестьянском сословии существуют добродетели и благородные чувства. Господа депутаты, что с депутатом от дворян Глазовым следует учинить?

– Исключить из собрания, – гулким басом сказал Алексей Орлов.

– Штрафом обложить.

Путем двойной баллотировки оказалось – сто пять голосов за исключение, триста двадцать три – за штраф.

В повестке дня была речь знаменитого оратора, высокообразованного, но довольно консервативного писателя-историографа князя Щербатова [41]. Принадлежа к высшему кругу фамильной аристократии [42], он никогда царедворцем не был и Екатерину недолюбливал. Избранный от дворян Ярославского уезда, он являлся горячим защитником своих сословных интересов.

Когда по приглашению Бибиикова он поднялся с места, высокий, статный, изысканно одетый, с лицом энергичным, но надменным, все с нескрываемым любопытством обернулись в его сторону, как бы приготовясь слушать в театре великого актера.

Охорашиваясь и дав время полюбоваться собой, князь начал с того, что объявил поход против всяких там офицеров да приказных разночинцев, которые за выслугу лет «из грязи лезут в князи». По его мнению, дворянин лишь тот, кто происходит от доблестных предков.

– Такого истинного дворянина при самом его рождении святое отечество наше принимает в свои объятия и как бы говорит ему: ты родился от добродетельных предков, поэтому ты более, чем другие, должен показать мне и твою добродетель и твое усердие... Рожденный в таких условиях, воспитанный в таких мыслях человек при воспоминании о делах своих славных предков будет побуждаем ко всяким великим подвигам...

Скрестив руки на груди и окидывая надменным взглядом всех тех, кто не родовит и не знатен, он, в подтверждение своих риторически построенных рассуждений, стал приводить цитаты из древнего римского писателя Варрона и из знаменитого законника барона Пуффендорфа, который писал: «Чины сами собой не дают дворянства, но государь дает титул дворянину, кому заблагорассудит».

Возвеличивая родовитую аристократию и еще более унижая служилое офицерство, Щербатов говорит:

– Осмелюсь еще присовокупить, что всякий разночинец, дабы дослужиться до офицерского чина, не откажется льстить страстям своего начальника и употреблять другие низкие способы для снискания его благоволения. Достигши до офицерского чина, эти люди уже обуреваемы желанием приобрести себе

имение, они не брезгают никакими путями для достижения желанного конца. Оттого порождается мздоимство, похищение и всякое подобное тому зло.

Князь достает бумагу и зачитывает пункты своих выводов:

– Итак, первое: дабы никто из разночинцев в право дворянское не мог вступать, как по единой монаршей власти. Второе: дворяне имеют преимущественное пред другими званиями право служить отечеству с тем, чтобы им определена была особая милость. Третье: нахожу полезным предоставить *одному дворянскому сословию* иметь фабрики и горные заводы, а равно и продавать как свои домашние произведения, так и другие...

– Ишь ты! – кто-то крикнул с места. – А мы-то, купцы-то, как же?

Его речь^[43] все время сопровождалась то неодобрительным шепотом, то раздражительными выкриками. Особенно волновались представители военного сословия.

Депутаты расходились по квартирам в горячих разговорах. Группа купцов, пересекая Кремлевскую площадь, громко осуждала речь Щербатова.

– Ха! Ишь ты, ишь ты... Офицеры – не дворяне, – кипятился депутат Рыбинска, купец Алексей Попов. Он широк, косолап, рыжая с проседью густая борода, хохлатые брови, умный взгляд; армяк английского сукна, длинные начищенные сапоги, картуз. – Ха! Офицеры – не дворяне. Как бы да не так! Да у меня вот дочь за офицера выдана. Дворянка она или не дворянка?

– Дворянка, дворянка, Лексей Петрович! Не сумлевайся, – хором подхватили купцы, попевая за легким на ногу Поповым.

– То-то, что дворянка. И не князю Щербатову из дворянства ее вышвырнуть. А слышь, ха! Слышь, почтенные, как он насчет торгового-то сословия отозвался... Торговать, мол, одним столбовым дворянам... Ха! Ох, и прохвачу я, почтенные, князя этого с песочком...

И в другой, мелкодворянской, группе военного сословия, вышедшей на Красную площадь чрез Никольские ворота, тоже со страстностью обсуждалась речь князя.

– Слишком много о себе думает этот зазнавшийся барин, – говорил депутат Днепровского пикинерного полка, майор Козельский. – Хоть и знатен он, хоть и красноречием обладает отменным, только не ему рушить установления Петра Великого, даровавшего права дворянства каждому офицеру – будь он из простых солдат, будь из мужиков, все едино... Вот я, офицер. Я кровь свою за отечество проливал и впредь не уклонюсь проливать. А он что?

– Он гисторические книги пишет.

– Пиши, что хочешь пиши, только служилое дворянство оскорблять не смей. Я и сам пишу, и смею полагать, что не хуже его владею пером и мыслью, – раздраженно говорил майор, потуже перетягивая вокруг талии пышный офицерский шарф.

И купец Попов, приютившийся в доме знакомого священника, и майор Козельский, снявший номер в трактире на Остоженке, стали готовить «отпорные» речи на взволновавшую их речь Щербатова.

На Красной площади всегда толпились любопытные, подстерегающие выход депутатов из Кремля. Это главным образом – господские дворовые, каковых в Москве было более шестидесяти тысяч, либо мелкие торговые люди, крестьяне, ремесленники, служилая приказная мелкота. Они, крадучись, шли за кучками депутатов, жадно вслушиваясь в каждое их слово, или, выбрав депутата попроще и поприветливей, кланялись ему и вступали с ним в разговоры по душам.

– А скажите, ваша честь, – вежливо начинал низенький, с оттопыренными ушами, старичок в рыжем колпаке и залатанной ливрее, – как там насчет крестьянства, ничего не чутко еще?

– Не чутко, брат, не чутко. Покамест дворяне козыряют. Опосля их – купечество учнет свои нужды выкладывать, а тут уж дойдет черед и до крестьян. Любопытствуешь, старик?

– А то как же, ваша честь!.. К нам из деревень кажинный Божий праздник ездят, то индюков тащат, то поросят да уток. Ну, и лестно им дознать, как, мол, Комиссия, чего про мужиков депутаты бают? А сам-то я господ Мельгуновых дворовый человек.

И уже возле депутата добрая дюжина крестьян – кто в лаптях, кто босиком, у иных пилы, топоры. Лица их угрюмы, движения порывисты, нетерпеливы.

– А матушка-царица-то бывает ли на собраньях на ваших? – звучит вопрос, и все взоры влипли депутату в рот.

– То-то, что не появляется, – отвечает депутат.

Крестьяне причмокивают, неодобрительно крутят бородами.

– Слых был, – басит пегобородый великан с большим мешком на загорбке, – быдто бы государыня-то за мужика стоит, волю дать хочет, а дворяны перечат ей...

– Не знаю, почтенный человек, не знаю, – уклончиво отвечает депутат и скрывается в дверях трактира на Ильинке с вывеской «Добро пожаловать».

Крестьяне останавливаются, чешут в затылках. Пегобородый сбрасывает мешок наземь, садится возле трактира на широкую скамью, басисто говорит:

– Надо к Маслову иттить – он свой человек, хошь и дворянин, а свой...

– Я его знаю, – тенорком выкрикивает дворовый с оттопыренными ушами, – он бедней другого мужика, этот самый Маслов. А за мужика горой! Я-то ведь многих знаю. Взять офицера Козельского. Евоный денщик, краснорожий такой, мордастый, то и дело к нам на кухню бегаёт, с девками игру ведёт, а те, кобылы, рады. Он сказывал, быдто офицер Козельский дюже-де крепко за мужика стоит.

– Вот и пойдёмте, ребята, к нему да к Маслову, нуждишки свои обскажем... – раздались голоса.

– А чего ж – пойдёмте... К ним туды народу нашенского густо валит...

– Да добрых-то депутатов наберется немало... Сказывали, тут еще другой офицер-войка, вот только прозвище забыл.

3

На следующем заседании с отповедью князю выступил высокообразованный угрюмый видом офицер Я. П. Козельский^[44]. Он в зеленом мундире, в ботфортах; простое широкоскулое лицо его в следах оспы, брови хмуро сдвинуты.

– Как многотрудна военная служба во флоте и как тяжела она в сухопутной армии, я не стану объяснять, ибо предмет этот слишком обширен, – начал он. – Многие князья и сановники, может быть, этого и не знают, так им могут рассказать ратные люди, там послужившие, о тех невероятных трудах, которые они понесли в турецких и прусских походах, претерпевая раны и даже лишаясь жизни.

Князь Щербатов слушал речь Козельского, закрыв глаза, будто дремал.

– И мысль, высказанная здесь некоторыми депутатами, – продолжал Козельский, – скорее может быть отнесена к их безграничному самолюбию. Они желают, чтобы им одним пользоваться дворянством. Да, да!.. Только им одним... (Князь Щербатов вдруг открыл глаза и вскинул голову в сторону оратора.) А прочим, какого бы они достоинства, чести и верности своему монарху и отечеству ни были, лишиться этого преимущества навсегда...

– Так и надо, – резко бросил Щербатов.

– Нет, так не надо, ваше сиятельство! – с гордостью проговорил Козельский. – Надо стараться, ваше сиятельство, взаимно делать друг другу добро, сколь это возможно.

По всей палате одобрительные загудели голоса, а веки князя Щербатова снова пренебрежительно смежились.

Депутат Терского семейного войска, полковник Миронов, коренастый человек с насмешливыми глазами и темной бородой, в своей страстной речи между прочим сказал неотразимую, обидную для родовых дворян истину:

– Достоинство дворян не рождается от природы, но приобретаетса заслугами своему отечеству. Могут ли господа российские дворяне сказать о своих предках, что все они родились от дворян? Нет, господа великие дворяне, ваши предки были изначала тоже незнатного происхождения: либо мужики, либо простые люди посадские.

Настроение подогревалось. Князь Щербатов ожил, скорчил на припудренном лице презрительную гримасу. И как только казачий полковник Миронов кончил, князь поднялся.

– Прошу покорно разрешения достопочтенного нашего маршала начать мне.

– Ваше сиятельство, князь Михаилу Михайлыч, – сказал, приподнявшись, Бибиков. – Прошу вас свое мнение высказать.

Снова все взоры приковались к стоявшему, подобно изваянию, князю Щербатову. Он начал взволнованно, дрожащим голосом, «с крайним движением духа».

– Нам было только что сказано, что все древние российские фамилии произошли от низких предков. Весьма удивляюсь, что эти господа-депутаты укоряют подлым началом древние российские родословные, тогда как не только одна Россия, – князь вскинул руку и потряс ею в воздухе, – но и вся Вселенная может быть свидетелем противного! – Голос князя вознесся и загремел на всю Грановитую палату: – Как может собранная ныне в лице своих депутатов Россия слышать нарекания подлости на такие роды, которые в непрерывном течении многих веков оказали ей свои услуги? Как не вспомнит Россия пролитую кровь сих почтеннейших мужей? – Князь простер вперед трепещущие руки, запрокинул голову в припудренных

буклях и, уставясь взором в крестовые своды палаты, стал извергать из уст своих потоки живописных слов: – Будь мне свидетелем, дражайшее отечество, в услугах, тебе оказанных верными твоими сынами – дворянами древних фамилий! Вы будете мне свидетели, самые те места, где мы для нашего благополучия собраны! Не вы ли обретались во власти хищных рук? Вы, божественные храмы, не были ли посрамлены от иноверцев? Кто же в гибели твоей, Россия, подал тебе руку помощи? – то верные чада твои – древние российские дворяне. Они, они, оставя все и жертвуя своей жизнью, они тебя освободили от чуждого ига, они приобрели тебе прежнюю вольность! – Он обернулся назад, посмотрел во все стороны, как бы отыскивая взором всех несогласных с ним, и закончил: – Но потомки древних родов не затворяют надменною врата для доблести, а хотят, чтобы желающие войти к ним в собратство удостоились того добродетелью, которую сам монарх увенчал бы дворянским званием. – Он кивнул головой и, откинув фалды кафтана рытого бархата, сел.

Депутаты, взволнованные и ошеломленные красноречием князя Щербатова, недвижимо сидели в тех же застывших позах, в каких они слушали речь.

Так, со словесным шумом протекала «великая пря» между крупными вельможными дворянами и дворянами мелкими, служилыми. Дворянскому вопросу было отдано десять заседаний.

Потом на арену общественного словопрения выступил торговый и промышленный класс.

На одном из осенних заседаний произносит речь умный купец Рыбной слободы [45] Попов.

– Ныне господа дворяне домогаются, чтобы купцам запрещено было иметь всякие фабрики да горные заводы, которые устроены купцами на их собственные капиталы, и чтоб фабрики и заводы принадлежали только одним дворянам. Сие, господа депутаты, я называю помешательством, сиречь – затемнением умов фамильного просвещенного дворянства!.. – Хохлатые брови его задвигались, на мясистых щеках показались смешливые ямочки, а тенористый голос стал резок, язвителен: – И вот вам наглядная разница. Ежели строит фабрику купец, то окрестные крестьяне от нее всякое удовольствие имеют: продают лес, камень, доски, нанимаются за добрую плату на постройку, а когда фабрика открыта, идут работать за порядочные деньги. Ну ежели барин строит фабрику, крестьяне должны с плачем да с воплем доставлять ему все материалы задаром и служить ему на этой фабрике всю жизнь безденежно, и единое поощрительство сим бедным – тумачи да плети...

Так, во взаимных обличениях представителей противоположных интересов проступала правда о тяжелой судьбе раба-крестьянина.

– Господа депутаты! – восклицает купец Попов, окидывая умным взором всю Грановитую палату. – Ежели сия несурязица, которую выставляют фамильные столбовые дворяне, будет утверждена законом, вся отечественная коммерция придет в упадок и разорение.

Заключая речь, он приводит по пунктам свое мнение. В пятом и шестом пунктах говорится:

– Дворянину не позволять торговать и ни у кого не покупать купеческое право. Владеть фабриками и разными коммерческими промыслами дворянам, по их званию, несвойственно и непристойно... (На губах князя Щербатова заиграла улыбка, но глаза стали напряженны, злы.) И ежели кто из дворян вступит в торговый промысел, – продолжает купец Попов, рубя ладонью воздух, – то есть будет перекупать и продавать, то все перекупное конфисковать в казну!

Графы Шувалов, Воронцов, Ягужинский и другие, имеющие горные заводы и весьма склонные к коммерческим делам, злобно уставились на Попова, а Ягужинский, не без ехидства, громко сказал:

– Ого! Новый законодавец в чуйке...

Однако купец был не из трусливых, он насквозь видел ничего не смыслящих в коммерции, бездарных

вельмож, кои, под покровительством императрицы, алчно тянутся к несвойственным им источникам наживы, чтоб чрез меру роскошествовать и сорить добытыми без труда капиталами. Купец люто ненавидел их.

– Это не токмо мое мнение, господа великие дворяне, но такожде думает и все почтенное купечество, доверившее мне свой голос. Уж не прогневайтесь, – спокойно произнес он. – И уж к слову молвлю: нам, природным купцам, мешают заниматься отечественной промышленностью не токмо дворяне, но и разночинцы, но и крестьяне. И мы, купцы, в наказе постановили: те из крестьян и разночинцев, кои пожелают пользоваться купеческим правом, должны записаться в купечество навечно.

Поднялся купец Забрев и начал читать наказ тульского купечества. Он высок и тощ, личико маленькое, голое, волосы на прямой пробор свисают к ушам крышей, голос писклявый. Слушая его, депутаты улыбаются. Тульские купцы просили разрешения покупать им «для домовых нужд крепостных безземельных людей по три человека мужеска пола, а женска по пропорции числа оного». Со стороны купцов были просьбы и курьезные, вызвавшие веселые ухмылки и даже смех собрания. Забрев, покашливая, пискляво читал:

– За бой и бесчестие купца штраф повелеть умножить. А именно: ежели в драке вырвут бороду купцу первой гильдии – штраф сто рублей, за бороду второй гильдии – пятьдесят рублей, а за бороду третьей гильдии – тридцать два рубля с полтиной.

Граф Алексей Орлов при этих словах схватился за бока, запрокинул голову и, округлив рот, сначала, как в страшном удушьи, засипел, затем, не в силах сдержаться, раскатился басистым хохотом. Маршал, улыбаясь глазами, схватил звонок и предостерегающе зазвонил. Между тем в переднем ряду кресел поднялся все тот же князь Щербатов. Указав на стремление Петра Великого привести внешнюю торговлю России в цветущее состояние, князь загремел в сторону купцов:

– Отвечали ль купцы таким попеченьям? Учредили ль они конторы в других государствах? Посылали ль они своих детей за границу учиться торговле? Нет! Они ничего этого не сделали.

Наряду с эффектными фразами полемического порядка князь Щербатов высказал и немало трезвых либеральных мыслей.

– Если мы рассмотрим самое употребление и жизнь фабричных работников, то увидим, что, кроме небольшого числа мастеров, которые, для того чтобы они не показывали своего искусства посторонним, содержатся у купцов, как невольники, кроме, говорю, этих мастеров, прочие работники находятся в весьма худом состоянии как относительно их содержания, так и нравственности. Самый этот столичный город Москва может свидетельствовать о пьянстве, о распутном состоянии людей, оставленных без всякого попечения о нравственной их стороне. А посему... – Князь сделал паузу и, набрав в легкие воздуха, громогласно закончил: – надлежало бы внушить фабрикантам, чтоб они своих работников мало-помалу старались делать вольными за хорошее поведение и за лучшее знание искусства.

С особой силой Щербатов обрушился на тульских купцов за их притязания покупать для себя крепостных.

– Обратим взоры наши на человечество и устыдимся об одном помышлении дойти до такой суровости, чтобы равный нам по природе сравнен был со скотом и поодиночке был продаваем. Древние времена приводят нас в ужас, когда вспомним, что людей, как скотину, на торгах продавали.

– И поныне за милую душу продают! – крикнул, сверкая глазами, сотник Падуров.

– Сему не верю, – обернулся князь к говорившему. – Где доказательства?

– Князь! Почитайте объявления в газетах о продаже людей, – выкрикнул казачий полковник Миронов.

Князь Щербатов, капризно наморщив высокий лоб, согласно кивнул головой Миронову и с еще большим воодушевлением продолжал:

– Разность случая возвела нас на степень властителей над крестьянами, однако мы не должны забывать, господа депутаты, что и они суть равные нам создания. – Он облизнул пересохшие губы и с пафосом воскликнул: – Какое сердце не тронется, глядя на истекающие слезы несчастного проданного, оставляющего и место своего жилища, и тех, кем рожден и с кем привык всегда жить! Кто не сжалится на вопль, на слезы остающихся? Я не сомневаюсь, господа депутаты, что почтенная Комиссия наша узаконит запрещение продавать людей поодиночке, без земли[46].

С возражением князю Щербатову дружно выступили купцы, они горячо защищали свои интересы, однако ни один из них не был столь красноречив, как он, и никто не располагал таким запасом всевозможнейших коммерческих сведений.

Во время перерыва заседания купец Солодовников, депутат города Тихвина, потряхивая длинной бородой, сказал князю Щербатову:

– Ты, князюшка, хоть и многонько лишнего говоришь по своей горячности, зато много и правды про нашего брата. С тобой спор вести трудно, потому как ты, ваше сиятельство, разумными рассуждениями отменно одарен от Бога.

Князь Щербатов в ответ схватил купца в охапку и простодушно трижды поцеловал его. Оказанной при всем народе такую честью долгобородый купец немало смутился, он не знал от радости, что делать, и не изыскал ничего более лучшего, как всыпать в треугольную с плюмажем шляпу князя Щербатова пригоршню каленых орехов, которые очень любил и всегда таскал с собой.

Прения по вопросам торговли и промышленности затянулись на несколько заседаний. Это была борьба сословных притязаний, стремление двух наиболее многочисленных депутатских групп – дворянства и купечества – «отграничиться друг от друга с наибольшей выгодой каждого за счет другого».

4

Екатерина, живущая в Головинском дворце за Яузой, чрез доклады Бибикова и других была точно осведомлена о всем происходящем в Грановитой палате. Она направляла ход заседаний в нужное ей русло и не раз высказывала Бибикову явное неудовольствие к речам князя Щербатова, к которому издавна относилась с неприязнью.

Недовольна она была и самим Бибиковым, превосходным воякой, но незадачливым и неумелым руководителем депутатских заседаний. Он нередко путал ведение дел, усложнял простые вопросы, а вопросы сложные непозволительно комкал: то зря придирался к депутатам, требуя от них, как от школьников, степенного поведения и тишины, то чрезмерно распускал вожжи.

Живя в Москве, Екатерина занималась сложными делами империи. Так, в начале 1768 года ее указами был учрежден государственный ассигнационный банк и, впервые в России, выпущены бумажные деньги. Это важное мероприятие, разработанное при участии Вольного экономического общества, послужило большим подспорьем торговле и промышленности.

В том же году введено обязательное для всей страны оспопрививание. Натуральная оспа причиняла России большие бедствия. Темное население даже столичных городов упорствовало в прививке оспы, считая надрезы на руке печатью антихриста. Екатерина, показав пример другим и вопреки уговорам Григория Орлова не делать этого, первая привила себе оспенный яд.

Екатерину немало тревожило настроение умов крестьянской массы в связи с протекающей работой Большой Комиссии. Она получила много подметных анонимных писем. Изливая в них всяческую покорность и любовь к императрице, крестьяне спрашивали ее, когда же депутаты приступят к мужичьим делам, – вот уж полгода прошло, а ни земли, ни воли крестьянам-де не дают. И ежели матушку в этих делах теснят великие бары да помещики, то пускай-де матушка только пресветлым оком поведет, а уж они, крестьяне, с дворянами-то рассчитаться всегда рады. Иные же письма содержали в себе явную угрозу по адресу самой Екатерины: мы-де надеялись на тебя, как на свою защиту, как на стену нерушимую, только, по всему видать, что ты-де стакнулась со дворянами.

Екатерина строго-настрого приказала держать самое тщательное наблюдение за проживавшими в Москве крестьянами, болтунов схватывать, а праздношатающихся выдворять вон. Григорий Орлов ей нашептывал:

– Вот, матушка-Катенька, заварила ты кашу на свою голову с Наказом со своим да с Комиссией-то с этой. Наобещала в Наказе-то мужикам с три короба, вот теперь и расхлебывай.

– Все сумнительное в Наказе вымарано, – возражала Екатерина.

– Оно так, матушка, вымарано. Только ты ведь два года его сочинять изволила, а молва-то шла. Ты думаешь, что такие Сумароковы да братцы Панины не трепали языком? Трепачи первые... Они, матушка, радехоньки живьем тебя скушать. Вот помяни мое слово, бунты пойдут.

Екатерина уже не рада была своей затее с Наказом и Комиссией. И стала изыскивать благовидный предлог к скорейшему прекращению своих широких, но бесплодных начинаний.

Во внутренних губерниях было снова неспокойно. После открытия Большой Комиссии крестьянские волнения прекратились, народ терпеливо стал ожидать улучшений своей участи, однако, потеряв надежду, озлобленное крестьянство опять стало выходить из повиновения помещикам, иногда прибегая к самой последней крайности – убийству своих господ.

Сенат доносил Екатерине, что повсеместно расплодилось множество воров, бродяг, разбойников и что в приволжских губерниях стало опасно передвигаться без охраны.

Наличие разбойничьих шаек удивляться не приходится: разбойники сами собой из недр земли не появлялись, их плодили своими действиями сами же помещики. Но великому удивлению подобно то обстоятельство, что в самом центре Москвы, под носом у местных властей и на виду у всего московского народа, вот уже семь лет безнаказанно существовал в своей берлоге самый кровавый, самый отъявленный разбойник.

Злодеяния этого разбойника были хорошо известны российскому правительству и самой Екатерине.

Имя и звание этого разбойника – знатная помещица Дарья Николаевна Салтыкова, а в просторечьи – «Салтычиха-людоедка».

Глава VI

«Мучительница и душегубица»[\[47\]](#)

1

Владетельница многих деревень, она жила в собственных палатах на углу Кузнецкого моста и Лубянки; убийства совершала либо в этом доме, либо в своем подмосковном сельце Троицком, где проводила летние месяцы.

Овдовев в 1756 году и имея двадцать пять лет отроду, она делается полноправной хозяйкой и начинает терзать своих подданных. Она истязала людей не ради каких-либо страшных с их стороны преступлений, а за самые пустячные проступки: то женщины якобы плохо вымоют пол, то не чисто выстирают белье или грубовато ответят помещице.

Был у нее конюх Ермолай Ильин. Она убила у него жену. Он женился во второй раз. Она убила и вторую жену его. Спустя время он женился в третий раз. Салтычиха собственноручно – скалкою и поленом – убила и третью жену его, Федосью.

Это убийство произошло в Москве, священник хоронить Федосью отказался, Салтычиха велела везти тело в сельцо Троицкое и там закопать. А мужу убитой пригрозила:

– Ты хоть и в донос на меня пойдешь – знаю, голубчик, знаю! – только ничего не сыщешь. В Сыском приказе тебя кнутом выдерут и на каторгу сошлют.

Ездил разбойница на богомолье в Киев. На возвратном пути остановилась в одном из своих имений – Вокшине, где и убила девку свою Марью Петрову. Сначала якобы за нечисто вымытые полы Салтычиха принялась бить Марью тяжелою скалкою. Натешившись, приказала гайдуку Богомолу драть ее езжалым кнутом. Затем замученную девушку загнали в пруд, а был ноябрь, вода с краев в пруду подмерзала. Обезумевшая, с полчаса простояла несчастная в ледяной воде по горло. Салтыкова приказала ей снова перемыть полы, но Марья работать уже не могла, а только тряслась и стонала. Разбойница добила ее палкой с гвоздями. Марья тут же в хоромах испустила к вечеру дух.

В разные сроки и в разных местах – то в Москве, то в Троицком – были таким же образом убиты еще шесть девушек; младшей из них, Паше Никитиной, всего двенадцать лет.

Замужнюю Прасковью Ларионову Салтычиха собственноручно била железною клюкою и поленом, а гайдук с конюхом добивали батожем. Барыня кричала из окна:

– Бейте до смерти!.. Я в ответе. Хоть от вотчин своих отстать готова, а вас вышколю! Никто ничего сделать мне не может...

Тело замученной, прикрыв рогожей, повезли из Москвы в Троицкое; на тело, по приказу Салтыковой, положили грудного ребенка убитой; дорогой ребенок замерз на трупе матери.

Так же зверски были изничтожаемы и мужчины.

2

Зимний вечер, небо шершавое, низкое, серое. Начиная пошаливать поземок, предвестник вьюги.

В старомодном возке подкатила к своему дому Дарья Салтыкова, возвратившись от всеобщей из Успенского кремлевского собора. Прибежавшая дворня повалилась ей в ноги:

– С наступающим праздничком, матушка-барыня!

Она в ответ только фыркнула и, сплюнув в сугроб, вступила в хоромы. Девки, едва дыша от страха, бросились снимать с нее соболий салоп, бегали по горницам со свечами, зажигали люстры, канделябры. Печи крепко натоплены, цветные дорожки постланы гладко, птички в клетках спят.

Кормилица Василиса да спальная девушка Аксиныя повели ее под руки к накрытому у печки чайному столу, где мурлыкал и пофыркивал серебряный самовар.

Дарья Николаевна, тряхнув локтями и грубо бросив женщинам: «Дуры!», вырвалась из их рук, тяжелой ныряющей походкой приблизилась к переднему углу и стала истоиво креститься на большую позлащенную икону, пред которой мерцали три лампы, освещавшие сутулую, раздобревшую фигуру Салтычихи. Ей всего тридцать лет, но на вид она много старше. Выражение темного скуластого лица ее злое, отталкивающее. Влажный рот велик, нос горбат, глаза выпучены. Под кружевным чепцом копна черных волос, над вздернутой губой – небольшие усы. Всякий в доме знает, что она никогда не улыбается. Она почти ни с кем не водит компании, любит водку, но пьет ее в мрачном одиночестве. Взор ее по часам задумчив – и тогда живая мысль в нем отсутствует – или грозен и яростен, тогда зрачки расширяются, глаза полны бешенства, всем слугам становится страшно.

В этом проклятом доме никто не видит себе покоя. Все чувствуют себя бесправными, беззащитными, приговоренными к смерти, всяк ждет своей очереди. Были случаи, что из страха пред ожидаемыми истязаниями иные лишались рассудка – кончали с собой.

– Господи, прости меня, грешницу, – говорит благочестивая Салтычиха и крестится.

Крестятся и стоящие сзади нее Василиса с Аксиной.

Сделав пред иконой земной поклон и припав лбом к полу, Салтычиха вдруг заорала:

– Пол! Ах, дьяволы... Опять, опять поганно вымыли... Вот я ж их!..

– Бабы дресвой мыли, матушка-барыня, да с мыльцем... Дважды, – робко пытается защитить поломоек пожилая кормилица.

– Молчать! Позвать сюда Хрисанфа.

И вот молодой крестьянин Хрисанф Андреев явился. Он сухощав, лицо белое, с нежным девичьем румянцем, курчавая русая бородка, кроткие глаза. Болезненно развратная Салтычиха склоняла его к блудному греху, но тихий Хрисанф, будучи недавно женатым, от этого «содома» уклонился. Он был приставлен доглядывать за поломойками, соблюдающими чистоту в палатах. Да разве мужское это дело? Эх, барыня, барыня...

Он стоит на коленях пред грозной Салтычихой, испуганно смотрит ей в лицо. В загоревшихся глазах ее нет никакой к нему жалости, в них копится звериное бешенство, Хрисанф холодеет. «Отходили мои ноженьки – смерть...» – в ужасе думает он, и борода его жалко подрагивает.

При виде этого молодого смиренного мужика – очередной жертвы – у богобоязненной матушки-барыни все внутри затряслось.

– Ты чего ж, паскуда, столь нерадиво за бабами досматривал? А? Я что тебе приказала? А?

– Прошибся... Помилуйте... Только что они старались, – сказал он покорным голосом, молитвенно складывая руки на груди. Если б он крикнул на мучительницу, если б вскочил и дал ей в ухо, это, может быть, привело бы разбойницу в чувство. Но пришибленный, тихий вид его и эти телячьи, умоляющие глаза сразу бросили Салтычиху в ярость. Она давно не забавлялась кровавыми утexas, сладострастие вмиг обуяло ее душу. Волчьи глаза ее перекошились, лохматые брови сдвинулись к переносице, взор помутился. Заскрежетав зубами, она схватила стул и ударила им Хрисанфа по голове. Хрисанф охнул, пал на четвереньки, побелел.

– Аксютка! Живо за Федотом... – выдохнула Салтычиха, сорвала с гвоздя увесистый арапник и сильной рукой стала драть обомлевшего крестьянина. Поднявшись на колени, он только встряхивал локтями и старался уберечь глаза: мучительница лупила арапником куда попало. Вот уже кровь проступила сквозь рубаху, сквозь штаны, и все лицо его было испачкано кровью. Тут Салтычиха, как хищная медведица, навалилась на него, мигом сорвала с него одежду и снова схватилась за окровавленный арапник.

Прибежал бородатый пожилой Федот, родной дядя истязаемого.

– Дядя! Дай защиту, беги в Сыскной приказ, – завопил голый, в чем мать родила, Хрисанф, плача и сморкаясь кровью.

– Бей насмерть! – закричала Салтычиха и бросила Федоту арапник.

Федот жалобно, как ребенок, захныкал и, боясь послушаться, стал стегать племянника.

– Ах, ты мазать, старый черт, ты мазать?! – опять завопила Салтычиха. – Бей что есть силы! А то прикончу и тебя...

– Барыня... – жалобно скосоротился Федот и обронил арапник. – Уволь, матушка, ослобони... Силов нет... Ведь родной он... – Старик, охваченный горем и отчаяньем, стал как бы вне ума, он ползал в ногах у Салтычихи, совал ей нож, хрипел: – На ножик, на, на... Ведь все равно забьешь Хрисанфа, так уж полосни его в сердце ножом... Да и меня заодно... Ой, Господи! И заступиться некому. Пропали мы!

Салтычиха, не помня себя, заметалась по горнице, схватила подвернувшийся утюг и ударила им Федота по голове, старик вскрикнул и лишился чувств. Она, закусив губы и выкатив глаза, вновь начала увечить Хрисанфа, норовя ударить его арапником по самым чувствительным местам. Хрисанф вертелся на полу, на весь дом визжал и выл. Василиса с Аксиньей, истерически всхлипывая, убежали.

Салтычиха, ничего не видя перед собой, кроме своей жертвы, уж не могла остановить себя. Не переставая, она наносила человеку смертельные удары то арапником, то утыканной гвоздями палкой.

Все во дворе и в страшном доме притаилось, будто вымерло. По пустынным горницам шли гулы от падающей мебели, от площадной ругани иступленной Салтычихи, от стонов и выкриков Хрисанфа.

Но вот Хрисанф затих и безжизненно распростерся рядом с безмолвным дядей.

Взмокшая от пота, забрызганная кровью Салтычиха подбоченилась, безумно загоготала. Нырьющей походкой она подошла к шкафу, залпом выпила чайную чашку анисовой водки, сплюнула, покосилась на позлащенную с тремя лампадами икону, покосилась на тела замученных, прохрипела:

– А вот я ж вас подыму... Аксютка, Василиска!

Но никто не отзывался, было тихо, в черные стекла начавшаяся вьюга била, в печных трубах ветер завывал.

Тяжело пыхтя, Салтычиха докрасна раскалила на горящих в печке углях железные щипцы и, схватив ими едва живого Хрисанфа за ухо, посадила его. Смерд, дым, Хрисанф ник головой, постанывал, валился.

Она обставила его стульями, чтобы не падал, и снова припекла ему лицо клещами. Он уже не мог ни стонать, ни защищаться.

– Разбойница... – еле внятно прошептал он и повалился навзничь.

– Ага, ага, заговорил... А вот я те покажу разбойницу, я те умою... – она схватила самовар и опрокинула кипяток на голову Хрисанфа. Забыв осторожность, она сильно ошпарила себе руки и ноги, но в припадке бешенства не почувствовала ожогов. Привалившись в угол между стеной и печкой, она запрокинула косматую голову и, как сом на песке, ловила ртом воздух. Мясистая грудь ее задышливо колыхалась, выпученные глаза полузакрыты, с мучительной гримасой на лице она скрюченными пальцами судорожно разрывала на себе ворот платья – разбойнице не хватало воздуха.

Кто-то дважды простонал – племянник или дядя.

Она вдруг вся съежилась, поджала к бокам локти. Колени ее дрожали, она едва держалась на ногах. Сделав над собой последнее усилие, она стремительно кинулась во двор.

– Эй, люди, люди! – дико орала она сквозь снежную метелицу. Очнувшегося Федота она велела приковать в бане на цепь, а едва живого, ослепшего, обваренного кипятком Хрисанфа выбросить на снег.

– Пусть валяется, пока не околеет. Я вам, сволочи! – угрозила она кулаком на дворню. Голос ее был чужой, не такой, как всегда, а надтреснутый, хриплый и, словно у заики, прерывистый.

А как все ушли и в горницах снова стало тихо – только вьюга лизала с улицы темные провалы окон, – она с жадностью выпила еще чашку водки, шатаясь, добралась по стенке до кровати, упала грудью в пуховики и навзрыд заплакала. Ее трясло, корчило, подбрасывало, как в сильнейшей лихорадке.

Вбежали со свечой бледные, перепуганные Василиса и Аксиныя.

– Попа, попа... Отца Матвея со крестом... Пуцай цирюльник придет... да кровь отворит мне... Молитесь, молитесь пуце... – Она металася, ляскала зубами.

Василиса, мысленно проклиная свирепую разбойницу, стала опрыскивать ее крещенской водой.

3

Такова была помещица Дарья Салтыкова – редкий тип исключительной человеческой жестокости. За семь лет вдовства она успела убить или до смерти замучить сто тридцать восемь человек, главным образом «женок и девок».

Почему же несчастные крепостные люди так безропотно и на протяжении стольких лет переносили разбой своей изуверки-барыни? Ответ прост. На судебном процессе ее крепостные в один голос показали, что они не смели пикнуть против своей лютой госпожи, так как были ею вконец застращены и всякий час жизни своей чувствовали себя приговоренными к смерти.

Впрочем, и среди них встречались смелые головы. В московский Сыскной приказ трижды являлись ее крепостные с жалобой, но так как полицейские власти были Салтычихой подкуплены, то всякий раз дело кончалось тем, что доносителей, якобы за ложный донос, нещадно били кнутом и ссылали на каторгу.

Но вот, летом 1762 года, вскоре после вступления на престол Екатерины II, двум дворовым людям Салтыковой удалось подать прошение в руки самой Екатерины. Доведенные до полного отчаяния, крестьяне писали:

«Слезно просим ради имени Божия высочайшим вашего величества всещедрым матерним защищением помиловать, до конца милосердно не оставить».

Екатерина приказала арестовать Дарью Салтыкову домашним арестом. Юстиц-коллегии (министерству юстиции) приступить к производству следствия.

Однако Салтыкова и бровью не повела, она слепо верила в непобедимую силу взятки.

Следствие тянулось шесть лет. Обвиняемая во всех своих разбоях запиралась, а подкупленные приказные изо всех сил старались даже обелить ее.

Наконец за дело принялась сама Екатерина. Она лично просмотрела весь следственный материал, нашла Салтычиху во всем виновной и повелела Юстиц-коллегии предать ее строгому суду.

Юстиц-коллегия вынесла суровый приговор: отсечь Дарье Салтыковой голову, а тело ее, положив на колесо, выставить на позорище народу.

Вот тут-то Екатерине, успевшей к тому времени перебраться со двором в Петербург, пришлось призадуматься. Она сочла для себя опасным казнить смертью столь видную дворянку, состоявшую по мужу в близком родстве с фамилиями Салтыковых, Строгановых, Головиных, Толстых, Голицыных, Нарышкиных... А вдруг представители этих знатных родов кровно обидятся и затаят на Екатерину злобу. И она даровала Салтыковой жизнь.

В указе Сенату от 2 октября 1768 года, называя Салтычиху уродом человечества и подтверждая, что она есть виновница великого числа душегубства среди своих слуг, что имеет она душу совершенно богоотступную и мучительскую, а сердце развращенное и яростное, Екатерина между прочим повелевала:

По всей Москве были расклеены публикации о наказании злодейки Салтычихи на Красной площади 18 октября.

На заседании Большой Комиссии было оглашено о сем депутатам.

Вся необъятная Москва поднялась с утра на ноги. Было воскресенье, всюду гудел праздничный благовест больших и малых колоколов, густыми хлопьями первый снег валил, грязная, неряшливая Москва стала нарядной, в одночасье побелела и напудрилась. Весело переговариваясь, большими толпами

спешил к Красной площади народ.

Два казацких депутата, сотники Горский и Падуров, тоже направились на любопытное «позорище». Оба молодые, усатые, в подбитых лисьим мехом длиннополых чекменях, в остроконечных, заломанных на затылок шапках, они спускались по Тверской, щелкали орехи и, встряхивая длинными чубами, подмигивали краснощеким молодкам.

Швыряясь снежками и получая подзатыльники от старших, бежали крикливыми стайками мальчишки. На перекрестках красноносые сбитенщики торговали сладким пойлом, черпая его из закутанных ватными одеялами корчаг.

– Дешево, дешево! А вот чашка полушка, с пирогом грош. Налетай, отцы да деды, молодцы да девы!

– Да свежие ль у ты пироги-то?

– Помилуйте-с... самые свежие, третий день пар валит!..

Вдруг вся улица зашумела:

– Везут, везут! – и народ, подобрав полы, бросился к Кремлю, чтоб скорей занять место поближе к эшафоту.

Проскакал рейтар, за ним другой, третий.

– Дай дорогу! С дороги прочь!

Мутно просерела чрез падучий снег команда спешенных гусаров, за ними – шеренга гренадеров с четырьмя барабанщиками впереди, а следом в простых санях-ропусках – разбойница Салтычиха. Она была одета в белый смертный саван, по обе стороны ее сидели с обнаженными тесаками гренадеры. Народ кричал:

– Людоедка! Убивица! Вот сейчас башку тебе срубят с плеч... Сата-на-а...

Окованная кандалами, как бы ничего не видя и не слыша, Салтычиха сидела в ропусах сгорбившись, угрюмо глядела в землю и лишь на ухабах, когда ее встряхивало, хваталась за коленку гренадера. Тюремщики сказали преступнице, что ей оттяпают голову, она страшилась смертного часа, глаза ее погасли, все в ней приникло, опустилось, замерло.

Красная площадь густо набита народом. Конная и пешая полиция, работая тесаками и нагайками, с трудом проложила для процессии дорогу к эшафоту. Крыши торговых рядов, зубчатые кремлевские стены, ларьки, деревья, верхушки возков и карет, окна домов и домишек усыпаны народом. Где возможно было хоть как-нибудь уцепиться, там обязательно торчал человек.

Вот по толпе, как по морю, заходили волны: плечи, головы заколыхались.

– Везут, везут!

Под треск и грохот барабанов Салтычиху ввели на высокий эшафот. Взволнованная до предела, она задыхалась, жадно ловила ртом воздух, ноги не слушались, едва переступали. Воспаленный взор ее суетливо и цепко обшаривал эшафот. Она искала орудия казни. Но ни виселицы, ни плахи с топором... Неужели помилуют? Сердце рвануло, сердце бросило в голову кровь, щекам стало жарко...

Ее приковали к столбу, надели на шею белый картон с крупными печатными словами: «Мучительница и душегубица». Безграмотная, она хрипло спросила чиновника:

– Чего тут прописано?

– А вот услышишь, – ответил тот, и, как только кончили бить барабаны, раздался резкий звук трубы и на всю площадь выкрик:

– Московский наро-о-д!.. Слуша-а-а-ай!

Толпа замерла, разинула рты. Тучный чиновник громогласно и четко стал читать по бумаге сентенцию.

Впервые узнав из сентенции, что Салтычиха замучила насмерть сто тридцать восемь человек, Падуров содрогнулся. И вместе с ним содрогнулась вся площадь, весь народ. Великий гуд прокатился по народу.

Падурова охватила какая-то внутренняя тошнота и в то же время чувство жестокой мести.

– Душегубка... Убивица... Руби ей голову!.. Полосуй ее топором на части, – в тысячи охрипших от ярости глоток вопил народ. – Смерть ей! Смерть!

Падуров взглянул в сверкающие глаза этой необозримой поднятой на дыбы толпищи, на перекошенные гневом рты, на судорожно сжимавшиеся пальцы, и вся душа его наполнилась высоким ликованием: Падуров чувствовал и видел, что он дышит одним дыханием с народом, горит одной с ним мезтью к врагам своим и что во всем народе точно так же, как и в нем, Падурове, живет единая бунтарская душа и что эта закованная в железница народная душа ждет не дождется своего смелого водителя, чтоб разом разбить цепи рабства.

Падуров захлебнулся каким-то волнующим предчувствием и вместе с народом точно так же потрясал кулаками, так же выкрикивал проклятия: «Смерть ей! Смерть, смерть!»

А чиновник в белом парике тем временем уже кончал указ Екатерины... И так, изуверке дарована жизнь...

У Салтычихи дрогнули щеки, из груди вырвался с шумом вздох облегчения, гремя цепями, она закрестилась на церковь Василия Блаженного.

Падуров с Горским стояли вблизи эшафота, в кучке бывших дворовых Салтычихи. Грозя кулаками, палками, клюшками, швыряя в злодейку чем попало, дворовые люди издевательски кричали:

– Людоедка!.. Видишь нас? Мы эвот здеся. Иди-ка, матушка-барыня, сюды да помучай нас, слуг своих... Ха-ха!..

– Эй, служивые! Подайте-ка нам эту ведьму... Мясо до костей сдерем!

Салтычиха резко повернула к дворне голову. Глаза ее стали ехидны. Поваренок Федька ловко пустил ей в лицо снежком и, по старой привычке, со страху присел в толпе. Дворня захохотала. Салтычиха, боднув головой, едва промигалась от ослепившего ее снега, вся затряслась. Дворня стала дразнить ее, вихляться, кричать. Салтычиха пришла в бешенство: затопала по помосту сапожищами, безобразно оскалила зубы и, сжав кулаки, рванулась на дворню медведицей, железные цепи впились в нее, столб зашатался, помост затрещал:

– Я вам, сволочи!.. Я вам!.. На колени!..

Палач ударил ее кулаком по загривку.

– Цыть, ты! Смирно стой...

Салтычиха сжалась, всхлинула, из глаз ее потекли горохом слезы, голова поникла на грудь, на груди картонка: «Мучительница и душегубица».

Народ стал помаленьку расходиться. Падуров, тоже собравшись уходить, негромко сказал стоявшему рядом с ним дворовому человеку в овчинной кирейке с большим воротом: – Вот они каковы, ваши помещики-то. Вешать их надобно...

– Вестимо так! – крикливо, с бесстрашием, ответил тот. – Вешать да головы рубить. Они все звери

лютые, господин казак. Все до единого... Вот хошь на святые соборы побожусь...

– Все не все, а есть, – мягким голосом сказал высокий благообразный старик в темном армяке, он без шапки, лысая голова, длинная кольцами борода.

– Все, все! Вот-те Христос, все, – с горячностью твердил дворовый в кирейке.

– Да ты, милячок, не петушись, – так же спокойно сказал благообразный старец. – Я на сгоревший Божий храм десять лет подаянье собирал, всю Русь истоптал лаптями, так уж мне ли этих самых помещиков не знать. Всякие, дружок, помещики водятся. Доводилось мне, миленький, слыживать и про таких, что и рады бы дать волю мужику, да... – Старик опасливо повертел головой во все стороны, шепотом добавил: – Да царица не велит...

– А-а-а... Ишь ты... Не велит?! – прищелкивая языком, ядовито и насмешливо проговорил низкорослый, с шершавой бороденкой, пучеглазый мужичок, стоявший бок о бок с Падуровым... – Ишь ты, ишь ты... Ха! Погодь, ядрена каша, – засопел он, раздувая волосатые ноздри, – придет пора-времечко, и на мужичьей улице будет праздник... Тогда и спрашивать ее, царицу-то, никто не станет... У-у-ух ты!.. – Он вскинул кулаки, потряс ими в воздухе и, сверкая глазами, низенький, тщедушный, нырнул в толпу.

«Бунтарь... Живая душа...» – подумал про него Падуров.

Прошел час. Разбойницу увезли. Палачи стали бить кнутами и тавром клеймить лбы: дворецкого Салтычихи за то, что был у нее в особой милости; кучера, гайдука и прочих, что пособляли мучительнице убивать людей. Последним драли и клеймили сельского попа за то, что, не донося властям, тайно хоронил умученных дворовых.

Салтычиху тотчас же заключили в подземелье возле соборной церкви Ивановского монастыря, где она и просидела без выпуска одиннадцать лет [\[48\]](#).

По всей Москве долгое время только и разговоров было, что про Салтычиху. Всех острее переживали это происшествие многочисленные московские крестьяне. Доставалось на орехи помещикам, доставалось и правительству, да под шумок, с оглядкой, костили на обе корки и самое Екатерину.

Разные дворецкие, разные лакеи с кучерами из когда-то подслушанных барских разговоров с точностью знали, какому любовнику и сколько крестьянских душ раздала «сердитая на любовь» матушка Екатерина. По одним подсчетам выходило – миллион, по другим – семьсот с лишним тысяч человеческих душ.

Слышавшие это крестьяне не верили своим ушам – только крестились да вздыхали. – Ну, ма-а-тушка... Вот это так матушка, – ахали они за чарочкой где-нибудь в укромном месте и пускали таким смачным словцом по адресу всемиловитой матушки, что у нее, наверное, в эти минуты горели уши.

Крестьяне еще азартней стали заседать на депутатов, всюду подкарауливали их, толпились возле их квартир и продолжали напористо долбить своих радетелей, как вода долбит твердый камень. Как ни старались депутаты втолковать им, что представителей помещичьих крестьян в Большой Комиссии, к великому сожалению, нету, а в депутатских наказах от государственных и экономических крестьян выставляются лишь мелкие нуждишки землепашцев, однако обитающее в Москве крепостное крестьянское сословие все же неотступно просило:

– Вы нашим именем толкуйте... Мало ли чего в наказах нетути. Наплевать нам на наказания ихние! Мы сами, слава-те Христу, живые люди. Так и не обсказывайте: крепостной мужик, мол, воли требует, земли требует.

Глава VII

Боевые речи

1

Наконец-то наступило время рассмотрению в Комиссии крестьянских дел. Наказ Екатерины, которым надлежало руководствоваться депутатам, был столь хитроумно и туманно написан, что не давал ни малейшей возможности поставить в Комиссии «крестьянский вопрос» по-серьезному. Поэтому в депутатских наказах с мест об уничтожении крепостного права и в помине не было. Были лишь жалобы свободных крестьян (государственных и экономических) на недостаток и плохое качество земли, на свое полуголодное существование, на обременительную барщину, а также на непосильную работу и обсчеты крестьян, приписанных к горному делу, чрез что заводские работники пришли «во всеконечное разорение и нищету».

Все депутаты находились теперь под впечатлением дела Салтычихи. Крупные и среднего достатка помещики заметно присмирели, зато остальные депутаты подняли головы.

Острые прения возбудил весьма важный, коренной вопрос о бегстве крестьян от помещиков.

Граф Петр Иванович Панин, боевой генерал и недруг Екатерины, сделал с места заявление:

– Еще в самом начале царствования нашей всемилостивейшей государыни я лично подал ее величеству подробную докладную записку о причинах вынужденного бегства крестьян от помещиков и о мерах к прекращению сего позорного бедствия, из коих главной мерой я полагал обуздание жестокости помещиков по отношению к своим крепостным. Я ласкал себя надеждой, что мое мнение будет принято возлюбленной монархиней нашей во внимание, но ее величество, не найдя нужным считаться с ним, сочли за благо для отечества сей вопрос отстранить от пресветлых очей своих.

Многие депутаты уловили в словах Петра Панина смелую иронию. А близкие к Панину люди, знавшие неприязнь его к императрице, не могли сдержаться от едва заметной сочувственной улыбки.

После него содержательную речь произнес дерптский профессор Урсинус.

Затем выступил молодой поручик артиллерии Коробьин. Он говорил не со своего места, как обычно, а поднявшись на помост и обратясь к собранию. Лицо его – гордое, открытое, лоб широкий. Взор быстрых, глубоко посаженных глаз то пробегает по рядам вельмож, то упирается во взволнованные лица депутатов от земли.

Бесстрашно обвиняя помещиков в жестокости, он между прочим говорит:

– Есть помещики, которые, промотав пожитки и наделав долгов, продают своих людей. Есть и такие, кои, увидев своего крестьянина, трудами рук своих скопившего себе кой-какой достаток, лишают вдруг, корысти ради, всех плодов его старания. Сожаления достойно взирать на крестьянина, непосильным трудом собирающего себе от земли мало-помалу некий достаток, почитаемый им за бесценное сокровище, в надежде во время болезни своей или старости питать себя и семью свою. И вдруг помещичьим приказом крестьянин лишается всех своих с таким трудом собранных пожитков. – Офицер Коробьин возвысил свой голос и, сжав правую руку в кулак, с особой выразительностью заключил: – Сие есть низкое посягательство на крестьянскую собственность!.. (Среди депутатов-помещиков сильное

движение, они сердито сморкаются, кашляют, угрожающе жестикулируют, стараясь запугать Коробьина.) Но он продолжает: – Сие, говорю, угрожает разорением целому государству, ибо тогда только в силе находится общество, когда составляющие оное члены все довольны. От сего их покойствие, от сего и дух, к защищению своего отечества распалющийся, происходит. Масса народная есть душа государства! – почти выкрикнул он и сделал паузу.

Падуров, слыша эти слова, встал в задних рядах во весь рост, ему хотелось подойти к офицеру и братски обнять его.

– А причину бегства крестьян, – продолжал меж тем Коробьин, – суть помещики, отягчающие крестьян своим правлением. Яркий пример тому – великие жестокости злодейки Салтычихи.

– Верно, верно! – закричали со всех сторон многие депутаты.

– И для того всячески стараться должно предупредить помянутые случаи, как крестьянам несносные, вредные всем членам общества и государству пагубные. Предлагаю: ограничить законом власть помещиков в доходах со своих подданных, а также оградить крестьянина от корыстолюбия, произвола и насилия помещика.

Сотник Падуров, услышав сзади себя тихие всхлипы, обернулся и увидел, что у некоторых депутатов-простолюдинов катятся по щекам слезы.

Звонок маршала. Перерыв заседания. Задетые за живое помещики, окружив Коробьина, обрушились на него с упреками.

– Вы, милостивый государь, плохо знакомы с положением дел... Да-с, да-с! Молоды вы еще очень, – кричали они.

– Вы, господин офицер, по неопытности своей, еще не знаете мужиков, – наседали другие. – Мужики порочны по природе, склонны к пьянству, к разбою, к бродяжничеству. Крутые меры надо против мужика, а не послабления.

– Эх, господа, все ваши упреки в мою голову недостойны дворянского звания, – резко прервал их разгорячившийся Коробьин и отошел прочь.

Несмотря на явное недовольство крупных феодалов поведением Коробьина, преобладающее большинство депутатов, даже многие мелкопоместные дворяне, были на его стороне, что блестяще подтвердилось при баллотировке в частную комиссию «о рудокопании и торговле». Никому ранее не ведомый офицер Коробьин получил 260 белых избирательных шаров из 306. Это было решительной демонстрацией в пользу Коробьина: во все время существования Большой Комиссии ни один депутат не удостоился столь высокого доверия собрания.

После баллотировки выступил уже известный собранию угрюмый видом, широкоскулый майор Козельский^[49].

– Вопрос о защищении имущественных прав крестьян назрел потому, – сказал он, – что удручение рабства принижает крестьян, умаляет доходность их труда. А число помещиков, кои во вред себе и обществу разоряют своих крестьян, все умножается и умножается.

– Ах, вот как?! – раздался с дворянских кресел угрожающий голос.

– А что, не правда, что ли? – звучным басом покрыл его граф Алексей Орлов.

– Правда, правда, ваше сиятельство! – обрадованно закричали с задних мест.

Граф Алексей Орлов считался человеком прямодушным, пред Екатериной особенно не раболепствующим, он держал себя особняком, самостоятельно, за что и пользовался у публики

уважением.

Козельский одернул зеленый свой мундир и, нахмурясь, произнес:

– Пчела, приобретшая мед, почитает его за собственное добро, защищает его, жалит, жизнь теряет, как только кто-либо подойдет ко гнезду ее. Крестьянин же – чувствующий человек, он вперед знает, что все, что бы ни было у него, то – говорят ему, – это, мол, не твое, а помещиково. Изба, лошадь, корова, соха, шубенка – все помещиково... Господа депутаты! Вы подумайте, положи руку на сердце, как при подобных условиях крестьянину быть благонравну и добродетельну, когда ему не остается никакого средства быть таким. Отсюда, может статься, будучи в унынии, крестьянин и пьянствует когда, только вряд ли он пьет больше своего барина.

Речь Козельского всех взволновала. На многих лицах горькие улыбки.

– Теперь насчет земли... – продолжал Козельский. – По всей России ныне производится генеральное межевание. И нам думается, что все земли надо разделить и размежевать так, чтобы крестьяне, живущие за помещиками, имели свою собственную землю – не помещичью, а собственную! – подчеркнул Козельский. – Чтобы мужики, почитая сии земельные участки за свой собственный удел, основательнее обзаводиться и постоянное жить могли...

– Что-что?! – и озлобленные глаза возмущенных дворян гневно уставились на смолкшего Козельского. – Что?! Мужикам землю в собственность намежевать? Думаете ли вы, господин депутат, о чем говорите?

– Да, думаю. И очень крепко, – сдвинув черные брови, подняв плечи, резко бросил им Козельский. – Не мешало бы и вам, господа дворяне, над сим вопросом призадуматься. Пора, пора! Многие помещики говорят и пишут, что облегчение делать невыполированному, неученому и темному народу в его трудностях предосудительно. А я полагаю, что некоторые из них так говорят по незнанию вопроса, по неумеренному своему самолюбию и что почитают в неумеренном господствовании над людьми лучшую для себя пользу. И я смело говорю вам на это: чрез свободу идут к просвещению, а не наоборот...

В зале сразу шум, как на базаре. Растерявшийся Бибииков, секретари и пристава пробуют навести порядок.

...Итак, большинство дворян, купцы и фабриканты в своих речах защищали исключительно свои классовые выгоды. И лишь два мужественных офицера, Козельский и Коробьин, являясь как бы прообразом декабристов, а вместе с ними и другие либерально настроенные депутаты выступали горячими поборниками крестьянских интересов.

Слово берет Щербатов, он прямо-таки взбешен крамольными речами депутатов. Как?! Нарезать мужикам землю? Помилуйте, да это ж пахнет государственным переворотом, что по-французски зовется: ре-во-лю-ция! Его лицо стало еще более надменным, чем всегда. Он говорил, красуясь и вскидывая брови:

– Депутаты Коробьин и Козельский представляют, дабы часть некоторого имения дать крестьянам в собственность. Позволительно спросить: из каких же земель им сию собственность нарезать? Ответвую. Большая часть земель еще в древние времена дана государями в вотчины дворянам за их верную службу отечеству: за сопротивление татарам и полякам, за неоднократное освобождение Москвы...

– Не одни же дворяне Москву-то освобождали, поди, и мужики пособляли вам! – раздалось восклицание, прерванное звонком Бибиикова.

– Так как же возможно отнять от дворян сии земли? – все громче и круче забирал Щербатов. – Как можно отнять земли, данные в награждение тем дворянам, что от ига татарского Россию освободили, что запечатлели свою верность и усердие к своим монархам во время бунтов и усобиц мучительными своими

смертями, что многие провинции России завоевали! И эти полученные в награждение земли отнять и отдать – кому же? Отдать своим подданным! И я говорю: сие было бы несправедливо, да и великая Екатерина сему воспротивилась бы.

Оглянувшись назад, он сказал:

– Я слышал долетевший до моего слуха голос, что, мол, и мужики дворянам помогали в походах. Да, сие верно. Но без предводителя мужики никогда одни этого не сотворили бы, они лишь следовали за ведущими их предводителями и выполняли их веления. Я, впрочем, надеюсь, – закончил князь, – что боголюбивые, правдоискательные крестьяне и сами сего насилия над дворянами желать не будут.

«Глупец... А еще исторический сочинитель», – подумали про него Коробьин и Козельский. А Падуров только кривнул головой, прищелкнул языком и желчно улыбнулся.

Но вот, и совершенно неожиданно, произвел немалый переполох в чинном заседании смелый голос того самого депутата Маслова, которого живущие в Москве крестьяне считали своим верным ходатаем.

Маленький, щупленький, со втянутыми щеками, с козьей темной бороденкой, запинаясь и покашливая, он негромко и застенчиво начал:

– Я, господа депутаты, человек малого достатка...

– Где ты?.. Тебя и не видно... – раздались многие голоса с передних и боковых кресел. – Покажись всем, иди на возвышенье...

– Ничего... Я и с низинки потолкую...

Депутаты приподнялись, поглядели на его невзрачную, бедно одетую фигурку, улыбнулись, сели.

– Вот я и говорю, – начал Маслов, – что человек я малого достатка. Я дворянин-однодворец. Это про нас, про однодворцев, говорится: «Сам сеет, сам орет, сам и денежки гребет». Подданных у меня, или крепостных, только один Кешка-старик, да и тот глухой и разумом недовольный. А живности... Собака на трех лапах да два петуха. Вот и все. То Кешка на мне пашет, то я на нем пашу. Вот и все.

Депутаты обрадовались живому натуральному слову, повернулись к Маслову.

– Господа депутаты! В Наказе всемилостивейшей государыни напечатано: «Мужики, большею частью, имеют по двенадцати, по пятнадцати и до двадцати детей из одного супружества, однако редко и четвертая часть приходит в совершеннолетний возраст». И я отвечаю вам, почтенное собрание, отчего сие происходит. Как можно бедному человеку детей своих воспитать, ежели его барин тщится не по средствам жить и тем своих людей чрезмерно отягчает. Есть такие владельцы: людей у него находится примерно только двадцать человек, и то будет половина на пашне, а другая при нем в лакействе, и по своей роскоши приумножает псовую охоту, и старается неусыпно и мужиков работою понуждать, дабы роскошество свое прокормить, а того не думает, что чрез его отягощение мужичьи дети с голоду зело умирают; барин же веселится, смотря на псовую охоту, а крестьяне горько плачут, взирая на своих голых и голодных малых детей. – Андрей Маслов, наморщив нос и прищурив подслеповатые глаза, заглянул в свою записку и продолжал: – Господа депутаты! Тут упрекали крестьян за побеги, а в рассуждение не входили, от радости ли покидает мужик свои малые детища, чего ни единый зверь в норе – своих щенят, ни птица в гнезде – птенцов своих не сделают, только несчастному в свете человеку сие по нужде приключается... – Однодворец Андрей Маслов почесал в затылке, оглянулся назад, как бы ища поддержки у бедноты, выпучил глаза и с решимостью закончил:

– Вот тут с самого начала заседаний был спор промеж дворянами столбовыми, матерыми и дворянами мелкопоместными, кто-де из сих дворян лучше? А по-моему, по-простецки – все дворяне одинаковы – дворяне и дворяне – все с одной буквы пишутся. И все пред Богом да пред мужиком

одинаково повинны. Да, пожалуй, крупные-то дворяне меньше утесняют крестьян, нежели мелкие, которые из подьячих да из полицейских крючков выслужились, ежели вы хотите знать. И мое мнение такое будет – хотите слушайте, хотите нет... Я мыслю, господа высокие депутаты, что настал черед устранить целиком всю помещичью власть... Чего? Да, да, устранить целиком!.. Довольно уж барам властвовать над людьми. А крепостных крестьян, взяв их от помещиков, передать в управление особой правительственной коллегии, кою надлежит вам учредить. И пущай та коллегия ведает этими крестьянами на тех же правах, как и крестьянами бывшими церковными, ныне экономическими. Пущай она в пользу помещиков и оброк с них собирает. Только оброк самый малый, для мужика не разорительный. Вот и весь мой сказ. А это вот мой письменный отзыв, – и Маслов, подойдя к секретарю Новикову, передал ему свою записку.

Выступление Маслова показалось собранию дворян столь необоснованным и несерьезным, а сам депутат Маслов – столь жалким и, по мнению дворян, дурашливым, что его задорная речь прозвучала для них как дребезг слов презренного шута.

2

Хотя личность депутатов считалась по закону неприкосновенной, однако злосчастный депутат Маслов получил негласный от полицейской власти выговор с приказом впредь таких речей не говорить, а держать язык за зубами, в противном же случае он может-де навсегда лишиться и зубов и языка.

За депутатами Коробьиним, Козельским и Падуровым установлен негласный надзор полиции. А всех приходящих к ним крестьян приказано хватать и тащить, куда следует.

Тем не менее, кучки крестьян продолжали скрытно собираться; тут были крестьяне оброчные, отпросившиеся у своих господ в Москву на заработки, были барские холопы-челядинцы, были ходоки, нарочито посланные в Москву землепашцами с Волги, с Камы, с Северной Двины и прочих мест России. Все они, как библейские одержимые болезнями, ждали у Силоамской купели возмущения воды от дуновения слетевшего с небес архангела: вода заплещет, заиграет, и кто войдет в нее – здоров будет.

В начале работ Большой Комиссии таким ангелом-целителем они считали матушку Екатерину, затем, проведая, что она к делу крестьян относится прохладно, переложили упование свое на некоторых депутатов. А с течением времени, поняв полное бессилие этих депутатов бороться против зубастых вельмож и богатейшей знати, крестьяне сурово говорили:

– Ни от царицы, ни от бар, ни от купцов великого заступленья ждать нам нечего. Они свою линию гнут. А надо нам самим топоры острить.

Крестьяне тайно похаживали к депутатам, а сами депутаты почасту заглядывали к секретарю Комиссии, молодому Новикову, связанному с либеральными кругами Панина и Сумарокова. Депутаты эти – пахотные солдаты, крестьяне, казаки, однодворцы и мелкопоместные, вроде Коробьина, шляхтичи подолгу беседовали с Николаем Ивановичем, вскрывая пред ним правду русской жизни. Горький сок этих бесед в скором времени сослужит ему большую службу. Чрез год, возглавив передовую журналистику, Новиков станет издавать сатирический журнал «Трутенъ», на страницах которого он поведет борьбу с органами власти и с самой Екатериной. Вот тогда-то он широко воспользуется как материалом своими былыми беседами с депутатами Комиссии.

Большая Комиссия работала шестнадцать месяцев и зимой 1768 года, якобы по случаю начинавшейся войны России с Турцией, была распущена. Многообещающая, но далеко не доведенная до конца затея императрицы с Наказом и Большой Комиссией по результатам своим хотя и была мертворожденной, однако она оказала огромное влияние на общественное сознание России.

Темная, лишенная гласности страна, где ущемлялся малейший проблеск живой мысли, вдруг, при первой же попытке правительства ослабить гнет, выявила немало способных, истинных сынов отечества. В боевых, прекрасно построенных речах, прогремевших впоследствии по всей России, эти недюжинные русские люди мужественно критиковали существующий государственный порядок и смело подымали на заседаниях Комиссии важные политические вопросы, касаться которых самодержавная Екатерина считала лишь своим священным правом.

Бурные заседания Комиссии и пугали и сердили Екатерину.

Не желая рисковать ни престолом, ни своей жизнью, она решительно пресекла свою игру в либерализм.

Как только распространился по государству слух, что московская Комиссия, ничего мужикам не давшая, закрыта, крепостное крестьянство во многих местах России ответило на это бунтами.

Крестьяне Олсуфьевых, Леонтьевых, Лопухиных, Толстых, Измайловых и прочих подали Екатерине свои приговоры о том, что в повиновении у помещиков своих они быть не желают. Также пришли в непослушание крестьяне, приписанные к горным заводам Чернышева, Походяшина и Воронцова. Бунтовали и крепостные крестьяне игольной фабрики Рюмина в Рязани.

Такое вызывающее поведение деревни Екатерину крайне тревожило.

– Гришенька, твое предречение сбывается. Ты прав, – говорила она Орлову.

Екатерина II, эта венценосная представительница так называемого просвещенного абсолютизма, была несравненно умнее и дальновиднее многих своих современников. В письме генерал-прокурору Вяземскому по поводу намерения Сената предать суровой каре крестьян, убивших своего барина, она просит смягчить судебный приговор.

«Положение крестьян таково критическое, – пишет Екатерина, – что, кроме как тишиной и человеколюбивыми учреждениями, бунта их ничем избегнуть не можно. А если мы не согласимся на уменьшение жестокости и умерение крестьянам нестерпимого их положения, *то и против нашей воли сами оную волю возьмут рано или поздно*».

«Человеколюбивыми учреждениями» помочь на сей раз было трудно. Бунты продолжались. Но все эти мелкие, хотя и многочисленные взлеты вольности шли самотеком и ничего, кроме вреда, мужику не приносили: *народ брел розно*.

И все-таки в недрах народной жизни копилась буря. Пока лишь отдаленные вспышки озаряли мужицкое небо.

Глава VIII

Путь-дорога. Купеческий сундук

1

Вот уже больше трех лет прошло, как Пугачев вернулся из Польши на родину.

Он продолжал нести войсковые тяготы и обрабатывать с семейством землю. Однако наскучило казаку перебиваться с хлеба на воду. Плечи у него широкие, силищи хоть отбавляй, а семья – мать с женой да детишки малые – иным часом и впроголодь живет. А вот два его шабра-соседа в богатеях ходят да пятеро казаков возле церкви просторные хаты понастроили себе – есаул, сотник да три хорунжих. Пугачеву же нет ни в чем удачи, а ведь его из десятка не выкинешь – лихой казак.

Загрустил Пугачев. И снова захотелось ему счастья поискать.

«Да душа из меня вон, кишки на луговину... Найду!»

Потянуло его пошататься по Руси, повыведать, повынюхать, чем простой народ дышит и «смыслит ли народ свое счастье за хвост ловить».

Вскоре подвернулся удобный случай. Как-то Софья сказала ему:

– Не пролежи бока. Чего ты валяешься, как лежень?

Пугачев лениво осмотрел крупную, широкую в бедрах фигуру жены, сказал:

– Я лежу, а мысли мои гуляют. Чего-то скучно мне.

– Холстов у нас нема, обносились. И дегтю нетути. Сгонял бы в Царицын. Может, там есть.

И вот два молодых дружка, Пугачев да Ванька Семибратов, выправив у станичного атамана отпускные бумаги, прикатили на своих кобылках в Царицын. Выпили в царевом кабаке по чарочке, гороховым киселем с конопляным маслом закусили и стали бродить по базару. Но бабы такую цену ломают за холсты, что ахнешь.

Пошли они на конную. Там в шалаше дед с внуком сидят. В двух бочках и в трех баклагах – деготь. Белоголовый мальчонка с загорелой, замазанной дегтем мордочкой приветливо заулыбался казакам, стал зазывать их по-торговому:

– А вот черного медку, господа казаки!..

Казаки подсели к шалашу, достали кисеты, закурили. Разговорились с дедом. Дед плешастый, сивобородый, посконная, до колен, рубаха запачкана дегтем, маслом. В тени, в холодке – жбан квасу.

– Мы, ведаешь, дальние, кормилец... Со всей худобой здесь-ка. Вон в мешке шубенки да рухлядишка всякая. Мы с-под Кунгура-города – поди, слышал? В Богородском селе живем, кой-какую торговлишку веду я... Вот, вот... Да стар становлюсь, время бросать все, о душе пекчись... Ох, грехи, грехи...

– А сюда-то как попал ты, дедушка?.. Далече ведь... – спросил Пугачев.

– Водичкой, водичкой, кормилец. Сначала лошадьми товар в Осу подвезли, на Каму на реку. А оттоль, благославясь, на большой лодке по Каме да по Волге-матке, все вниз да вниз... Так на водяных крыльях, ведаешь, и донес Господь.

Казачи узнали, что старик живет в густых кунгурских лесах, у него и пасека большая имеется, пчела любит его, пчела у него, слава Богу, медиста, не как у других прочих.

Выведав, что деготь в той стороне, почитай, дарма можно купить, Пугачев размечтался. Эх, если б деньги, много денег! Он с Семибратовым удалился бы на Каму, привез бы сколько можно товаров и с большим барышом распродал бы их на Дону. Вот и новый, светлый курень покрасовался бы у Пугачева, и Софьюшка с семейством были бы одеты-обуты, и два коня стояли бы у него, и сабля была бы черкесская, в серебре с золотой насечкой.

– Я бы, пожалуй, тронулся на Каму за товарами, да денег черт ма... – уныло сказал Пугачев, глядя в очи деда.

– В деньгах вся суть, – прокряхтел старик, – без денег везде худенек...

Пугачев опустил голову, задумался. Нет, не везет ему в жизни, никак не можно казаку выбиться из бедности. Ну а ежели они с Семибратовым продадут на ярмарке своих коней, рубля по три, по четыре за коня дадут, да седло у Пугачева боевое – на Прусской войне с генеральского немецкого коня досталось. Седло прямо-таки драгоценное! Да такое седло за два червонца с руками оторвут...

2

А в это время счастье прямо в руки катилось Пугачеву. Глядь: по площади, мимо дедова шалаша, народ бежит, все тычут пальцами в сторону Волги, кричат:

– Купец!.. Купец утонул...

Казачи, позабыв попрощаться с дедом, вскочили на коней и туда.

На желтом песчаном припlese, у самой воды – большая толпа. Мокрого утопленника вверх-вниз на парусе швыряют. В каждый угол холщового паруса по два бородача вцепились и под команду: «Давай! Давай! Повыше! Ощо разок!» – усердно подбрасывали безжизненное тело кверху. Вдруг:

– Стой! – закричал рыжий в лаптях. – Блюет, ожил... Клади на землю...

Изо рта, из ноздрей утопленника хлынула вода, его перевернули на бок, стали мять брюхо, давить грудь. Кто-то орал из толпы:

– Язык, язык надобно ужать да легонько вытягивать из рта, чтобы «а-а-а» сказал.

Прибежал подлекарь. Прибежали два попа с напестольными крестами в руках. Сбежался без малого весь город.

Через полчаса купец, еще крепкий по виду старичок с седой бородкой, лежал возле костра на подушках, вздыхал, стонал и плакал. Он лежал голый, по грудь покрытый простыней, платье и белье его сушилось тут же у костра. По обе стороны спасенного стояли на коленях два священника с воздетыми в десной руке крестами, отчетливо читали над купцом молитвы. Недужный часто икал и крестился, в глазах – слезы. Подлекарь «отворил» больному жилу, принялся кровь пускать.

Было тепло и душно, из-за Волги дул знойный ветер, садилось солнце, рябь воды ярко пылала золотом, больно глазам глядеть.

Пугачев успел узнать всю подноготную. Саратовский купец Мешков, отправив с товарами сына Митьку в Нижний на Макарьевское торжище, сам поплыл по большой воде в Царицын. Он собирался из Царицына на Дон попасть, чтоб там большой табун коней закупить. А кони ему дозарезу нужны: задумал он по всему краю в зимнее время обозы с товарами пустить. И вот грех случился. Плыли они левым берегом, а как стали против Царицына через Волгу перебираться, сидевший в корме солдат с деревянной ногой по пьяному делу направил загруженную лодку прямо на плывущий оплоток из двух бревен. Лодка зачерпнула воды и сразу же – вверх дном. Трое утонули: солдат, приказчик из черемисов и подручный мальчишка, а захлебнувшийся купец всплыл, его выволокли за волосы.

Пылил городом усатый форсун-городничий [\[50\]](#) с черным коком из-под белого картуза, а сзади, едва поспевая за его экипажем, бежали будочники и полицейские солдаты, тащили на длинном шесте рыбацью сеть вылавливать утопшего. Городничий к происшествию сильно запоздал по той причине, что после обеда завалился спать, его будили больше часу. Он еще не знал, кто такой утонувший купец, а когда ему по дороге доложили, что фамилия купца – Мешков, он схватился за голову и воскликнул:

– Боже мой! Да ведь это ж наш благодетель. На богоугодные заведения жертву приносит завсегда.

Подъехав и убедившись, что благодетеля спасли, он просиял, присел возле купца на песок, долго ахал, соболезнавал купцу и дивился великому произволению Божию – что Господь спас жизнь праведника. Купец был очень слаб, в ответ только слегка кивал головой и шевелил губами. Городничий осведомился у купца, уж не родственники ли, Боже упаси, или, может быть, вообще близкие его утопи в Волге? Купец ответил: «Нет, чужие...» Тогда городничий, сказав: «Ну и слава Богу», совершенно успокоился, велел

будочникам и солдатам бросить на землю сеть и очистить песчаную отмель от народа.

– Ох, ох... Ничего мне не жаль, – поскуливал купец, – а жаль кованный сундук с выручкой: серебро да золотишко в нем. Ох-ох ты, Боже ж мой...

«Ишь ты, хапуга, черт, – промелькнуло в мыслях Пугачева, – ему наживы жалче людей». Казак спросил:

– А сколь бы ваша милость положила мне, коли б я предоставил ваш кованный сундук вот об это место?

Старик тяжело поднял на него мутные глаза. Пугачев ему понравился: широкоплечий, тонкий в талии, быстроглазый, с черной небольшой бородкой. Тихо, почти шепотом, сказал купец:

– Ежели недельку побиться, я бы и сам поднял с народом, я знаю способа. Только мне недосуг. А где ж тебе... Ох...

– Дозвольте, я сведаюсь, – сказал Пугачев, – сплаваю туда. Чихнуть не успеете, вернусь и в точности все обскажу вам, батюшка.

Пугачев, не дождавшись ответа, вскочил в чью-то лодку и чрез десять минут подплыл к тому месту, где утонул сундук. Здесь уже сгрудилась добрая полсотня лодок. Голые мужики и парни то и дело ныряли и, задышливо отфыркиваясь, с вытаращенными глазами выбрасывались на поверхность, кричали наперебой:

– Глыбко!.. На сундуке стоял! В жизнь не достать!.. Воздухов не хватает в грудях!..

– А ну-тка, хрещеные, я, – сказал плешивый кривой рыбак. – Я под водой страсть люблю жить, – он быстро оголился и, перекрестившись, ринулся вниз головой в воду.

Он сидел под водой очень долго, минуты с три. С лодки закричали:

– Робяты, мырай!.. Никак утоп Лукич-то.

Пока ахали да собирались, Лукич вынырнул. Отдышавшись, сказал:

– Нипочем не поднять, хрещеные. Сундук шибко чижолый, ручки одной нетути железной, сбоку. Довелось бы арканом его окручивать, а какими способами аркан под сундушное днище подпихнуть, не ведаю... Надобно зимы ждать, авось со льду как... А теперича нечего и биться...

Пугачев язвительно захохотал. Рыбак, сунув голую ногу в портошницу, сердито бросил Пугачеву:

– А ты, цыган, не скаль зубы-то... Не менее тебя смыслю.

– Дайте-кась шест сюда, – властно крикнул Пугачев. Ему услужливо сразу сунули три жерди. Он нащупал жердиной сундук и определил его размеры. Затем вытащил шест и растопыренной пяденью смерил по шесту глыбь воды над сундуком: вышло без малого четыре аршина...

– Хотите, братейники, два ведра водки с меня сдернуть? – спросил Пугачев.

– Желаим! – игриво ответили с лодок, полагая, что молодец сказал это в шутку; однако у многих слюна пошла.

– Тогда плавайте об это место два сплотка, два салика, да на кажинном сплотке по столбу становьте, а поверх столбов перекладину. Через перекладину аркан перекинем, сундук зацепим, из воды учнем вызволять. Ну, живо!

Полсотни лодок тесным кольцом окружили лодку Пугачева. Люди уповательно уставились на быстрого детину.

– Обманешь, цыган...

– Да ну вас к лешему в ноздрю, не цыган я, а казак с Дону. Коня моего видите на берегу? Ставлю коня в заклад, раз не верите.

– Верим, казак! – всерьез закричали с лодок. – Завтра к обеду справим...

– Завтра к обеду-то сундук илом затынет, его и не чутко будет, – сверкая белыми зубами, опять захохотал Пугачев. – Эх вы, головы... Носы-то у вас не тем концом пришиты...

– А когда же тебе?

– Да чтобы через час времени все было на месте. Ну, айда, айда, нечего раздобаривать.

– Поусердствуем, казак!.. – крикнул народ. – Только, дружок, не обмани... Не обидь винишком-то... – и полсотни лодок вперегонки понеслись к стоявшим вдоль берега плотам.

– Ну вот, ваша милость, – сказал Пугачев сидевшему на подушках купцу, возле которого расположились на сыпучем песке пятеро богатых торговцев города Царицына и городничий. Купец приоделся, раздумялся, повеселел. Справа от него торчали в песке бутылка водочной настойки на березовых почках и серебряная чарочка. Пугачев поклонился купцу:

– Езжайте, батюшка, со Христом на покой, только молвите, куда вашу щикатулочку с деньгами предоставить... Не успеете двух разов чихнуть, все будет вготове... Сколь положите за старанье за мое?

– Ах, милый, – прищурился купец на казака и улыбнулся. – Полсотни рубликов серебришка дам... Не пожалел бы.

У Пугачева заиграла вся душа. Шутка ли сказать – полсотни рубликов! Да ведь таких деньжищ во сне ему не снилось...

– Что вы на смех-то меня подымаете, – притворился Пугачев кровно обиженным. – С сундуком дело чижолое. Жизнь порешить можно. А мне не лопнуть стать. Себе дороже. Вот сотню выкладывайте, не скупитесь, батюшка...

– Ладно, дам и сотню, – охотно согласился купец. – Токмо напередки ведаю, не выйдет ничего... Ведь в сундуке-то мотри, одного серебрища семь пудов... – Купец торопливо трижды перекрестился, вслед рука его потянулась за чарочкой. К бутылке бросились сразу все пять торговцев, но усатый городничий гулким басом грозно крикнул, бесцеремонно их оттер и самолично налил купцу березовой настойки. В его доме городничиха уже взбивала именитому купцу пышные пуховики: за богатым человеком и поухаживать не грех, богатый человек в накладе не оставит.

– Каким же способом станешь ты подымать, молодчик милый? – проглотив настойку, спросил купец.

– А уж это моя забота, не вам, батюшка, об этом печаль иметь. Мы, донцы, в этом трохи-трохи маракуем. Только вот беда: веревок нет...

Двое полицейских, по приказу городничего, помчались в торговые лавки за веревками, Семибратов с Пугачевым бросились на базар искать камышовые дудки.

Пострадавшего купца увез к себе городничий.

3

Еще солнце не закатилось, как уже все было готово. К месту, где был сундук, подводились на шестах два сплотка, у костра, окруженный народом, сидел с острым кинжалом Пугачев.

Кинжал быстро мелькал в его руке, из двух камышовых стволов он мастерил длинную дудку для дыхания под водой. Место стыка двух стволов он просмолил варом, кипящим в котелке у костра. Конец пятиаршинной дудки он вставил в изогнутый коровий рог со срезанным острием.

– Поплыли! – крикнул он Семибратову. – Жители, подмогни ему веревки в лодку покласть.

Вскоре оба причалили к сплоткам, оборудованным двумя столбами с перекладиной, как приказано было Пугачевым. На сплотках – человек сорок. Плешивый рыбак Лукич, сняв шляпу, сказал:

– Готово, хозяин.

Пугачев, проверив жердью положение сундука, перекинул конец добротной веревки через перекладину, к концу прикрепил камень и спустил на дно. Затем торопливо разделся – крепкие мускулы заиграли под белой кожей, – привязал к спине камень в полпуда, чтоб вода не вздымала тело с глубины, взял в рот коровий рог с камышовой трубкой, продул ее и, перекрестившись, погрузился в воду. Конец трубки торчал над водой, чутно было, как из него вырывалось сиплое дыхание.

– Глянь, черт, сатана, что измыслил, – говорили на сплотках. – Да с такой трубкой-то неделю под водой жить можно.

Рыбак Лукич только головой крутил. Вот конец веревки заиграл, полез в воду, еще, еще, очевидно, Пугачев обматывал под водой веревкой сундук...

– Трави, трави веселей веревку-то! – командовал Семибратов. – Пускай вслабую.

Из конца дудки все шумней, все чаще вырывалось дыхание. Вот дудка, быстро приподнявшись торчком, всплыла наверх, как поплавок, и легла набок. А вслед за нею выскочил и Пугачев. С бороды, с черных густых волос стекала вода, влажная кожа порозовела.

– Ну, с выпивкой вас, молодчики, – сказал он, шустро одеваясь. – Хватай с Богом за веревку, вздымай сундук.

Старику Мешкову снова занедужилось, лежал па пуховиках и охал. В доме и без того духота, теплынь, а он попросил затопить в его горенке печку.

На дубовом, обтянутом шагреновой кожей диване, в напряженных позах, положив руки на колени и повернув головы в сторону купца, сидели комендант города полковник Цыплетев, бургомистр и ратман в мундирах и при шпагах. Хозяин дома – городничий, распушив усы, уныло сидел в кресле возле благодетеля, сладко заглядывал ему в глаза. На мягких стульях восседали знатные торговцы города Царицына. Все сомлели от жары, тяжело дышали разинутыми ртами, обмахивались платочками, потели.

Но вот все задвигалось, загрохотало: пред кроватью благодетеля два казака взгромоздили обитый бело-матовым, «под мороз», вологодским железом сундучище. Купец сразу ожил, заулыбался, привстал. Он заголил рубаху, снял висевший рядом с золотым нательным крестиком большой, как пистолет, ключ, подал его городничему:

– А ну-тка, голубчик, открой скорей... Не наложили ль варнаки замест серебра да золота каменьев. С них станется.

Пугачев обиженно прикашлянул. Сундук открылся с музыкальным звоном. Купец, забыв болезнь, самодовольно, с кряхтением, в одном белье опустился возле сундука на колени, торопливо пересчитал, перещупал все мешки, затем повернулся лицом в передний угол, благоговейно всплеснул руками и троекратно земно поклонился образу спасителя, закатывая глаза и ударяясь морщинистым высоким лбом в дубовые доски пола.

– Вынь-кось один мешочек, – сказал он Пугачеву, – да развяжи его, да отсчитай ровно сто рублей. Только счет веди верный, без обмана. А то я знаю вас... – он зябко передернул плечами и, поддерживаемый городничим и бургомистром, снова залез на кровать, под цветное, из шелковых лоскутов, одеяло.

Пугачев, звеня рублевиками с изображением улыбчивой Екатерины, отсчитал.

– Это тебе по договору, – сказал купец, и простое лицо его умаслилось добродушной улыбкой. – Отсчитай-кось, друг милый, еще сто. Только без обману чтобы, я проверю.

Пугачев, подумав: «Это наверняка подхалюзе-городничему», отсчитал.

– Эту мзду також-де возьми себе за удаль за свою. Удивил, брат, ты меня немало, – сказал купец.

Пугачев взыграл духом.

– Отсчитай еще полста, – торжественно сказал купец в третий раз.

Пугачев отсчитал, подумав: «А это кому же будет?»

– Сие награждение примешь за проворство за свое. Не чаял я, что столь скоро можно обернуться с таким многотрудным делом. Ты молвил даве: не успею я и двух разов чихнуть, как сундук здесь будет, а я еще ни единого раза не чихнул, только икал изрядно.

Господа засмеялись, подхалимно закивали благодетелю, глаза их покрылись как бы маслом. Все время сидевший на корточках Пугачев вскочил, он ощутил в груди такую радость, что подбоченился, ударил пяткой в пол, крутнулся и уж в пляс хотел пойти, да застыдился умильно смеющихся господ.

Сгребая с полу рублевики себе в широкие карманы и в мерлушковую шапку, весь насыщенный мучительной и в то же время сладкой радостью, он громко выкрикнул купцу:

– Ну, батюшка, спасибочка тебе!.. По-честному ты со мной... Вы, батюшка, не сумлевайтесь, я и с товарищем, и с народишком, что помогал мне, поделюсь... А вот, батюшка, коли милосердный Господь еще приведет вам утонуть, либо на лихих людей натакаться, да коли мне случится в том месте быть, не сумлевайтесь, спасение окажу скорое. Чихнуть не успеете, батюшка, – восторженно молол Пугачев, плохо вдумываясь от волнения в смысл слов своих.

Но господа и благодетель сразу поняли, что слова его искренни, что идут они от простого сердца, и снова засмеялись.

– Как звать тебя, молодец хороший? – вытирая глаза от веселых слез, спросил купец.

– Емельян Пугачев, ваша милость, казак донской.

– Запиши, пожалуйста, Ермолай Фомич, – обратился купец к городничему. – О здравии раба Божия Емельяна попам своим молиться прикажу.

– А вашу милость как звать-величать по изотчеству? – спросил Пугачев, туго затягивая по длиннополому чекменю кушак.

– А меня Петром Сильчем зовут, фамиль Мешков...

– Хорошо, батюшка... Авось повстречаемся когда. Я тоже вспоминать вас стану. Прощевайте,

батюшка... Оздоровляйте... – кланяясь, сказал Пугачев и, весь набитый серебром, направился к выходу.

Оделив народ и передав часть денег Семибратову за его услуги, Пугачев поехал со своим дружкой к собору; там, в келейке под колокольной, светился огонек, там жил соборный пономарь, торговавший свечами и просвирками. Хотя было уже одиннадцать часов вечера, но пономарь еще не спал. Ванька Семибратов купил за пятак толстенную, перевитую золотой фольгой свечу, велел пономарю завтра поставить ее образу владычицы, а Пугачев обменял семьдесят рублей на семь золотых импералов.

– Неужто у ты золота-то нет боле? – спросил он пономаря. – У меня серебра еще с сотнягу наберется. Все карманы оттянуло. А мы с товарищем завтра в дальний путь тронемся...

– А ежели собираетесь в дальний путь, советую тебе, казак, золото зашить либо в штаны, либо в шапку. А то неровен час – время лихое ведь, сам чуешь.

Пугачев согласился. Пономарь, горбун с длинными, как у монаха, волосами и в закапанном воском кафтанишке взял очки, иголку, ножницы. Выдав горбуну четыре имперала, Пугачев повернулся к нему спиной и попросил зашить золотые монетки в заднюю часть штанов, пониже гашника. А три остальных имперала стал самолично зашивать в шапку, благо там дырка подходящая была.

И только вышли они с Семибратовым из келейки, как подкатился к ним подвыпивший, маленького роста человек с косичкой, голос писклявый, с гнусавинкой. Шея у него обмотана шарфом, кафтан приличный, с галунами.

– Господа казаки, – загнул он, – чую, вы при капиталах, вы деньги у горбача меняли, я в окошко подглядел. Шагайте за мной, в веселое место доставлю вас... Винцо, бабенки, чего хочешь, того просишь...

– Да кто ты сам-то? – нахмурил брови Пугачев.

– Не сумлевайтесь, станичники. Я человек казенный, всему городу вестный, канцеляристом с прописью состою в некоем богоугодном заведении.

– Вроде как из крапивного семя, значит?

– Вроде Володи, на манер Кузьмы, хе-хе... Именитый купец Мешков, коего сатана утопить хотел, а Бог спас, двоих ребяток моих крестил, кумом мне доводится. Не сумлевайтесь. Шагайте. А то все питейные в канун завтрашнего праздника закрыты, ночь ведь... Ну а там, у Федосьи Ларионовны, завсегда веселье... Она кума моя. Скучать, хе-хе, не доведется.

Казаки малость подумали, помялись... А что ж, после таких скоропоспешных делов, пожалуй, не грех и покурлесить! И они втроем поехали. Пугачев посадил гнусавого человека позади себя, велел крепче держаться за опояску.

Весело ли было в веселом доме, ни Пугачев, ни Семибратов не упомнят. Утром проснулись они среди могил на кладбище, оба их коня к березе привязаны, травку щиплют, в кустарнике распевают малые пичуги, в дальнем углу хоронят покойника, «вечную память» попы с дьячками тоскливо тянут.

– Батюшки! – закричал Пугачев, хлопнув себя по карманам. – Ванька, а где же деньги?

Семибратов пошарил оторопело в пустых своих карманах, сел на могилу, затряс головой и молча заплакал. Ну до чего ему жалко было двадцати пяти рублей! Сердце Пугачева тоже заскучало.

– Вот как умыли нас с тобой, спасибо, спасибо, – растерянно бормотал он, ощупывая зад штанов и шапку. – И чего ты, дурак толсторожий, воешь? Неужто приличествует казаку слезами умываться? Не хнычь, дурак. Золото все в целости у меня. Что в шапке, что в штанах. Не добрались. А ведь их, чуешь, сволочей-то, воришек-то, помню, много крутилось возле нас. У меня боле сотни выкрали... Ах, злодеи, ах, ироды... Ты вот что скажи: таперь ли нам пошукать по канцеляриям да того гундосого дьявола саблей

зарубить, али как возворотимся с Камы расквитаться с ним?

– Я на Каму ехать не в согласьи, я домой подаваться буду, – буркнул Семибратов, вытирая кулаком слезы.

– Дурак... Да что у тебя в Зимовейской-то – жена да малые дети, что ли? Казак всю жизнь долю свою искать по свету должен. А ты что? Баба.

– Горазд далече туда ехать-то.

– А ты нешто забыл, – закричал Пугачев, заскочив на могилу и поправляя покосившийся крест, – ты забыл, как король Фридрих с войском тысячу верст за две недели пробежал? А мы чем хуже Фридриха? Айда!

Пугачев добыл из шапки золотую монету, и вскоре они оба с Семибратовым, накупив всякой снеди, сидели в шалаше деда-дегтяря на конной площади. Выведав у него все, что им надо было знать про путь-дорогу, казаки направились на базар, разыскали там своего земляка-станичника. Пугачев послал с ним своему семейству пять рублей, велел сказать Софье Митревне и матери поклоны, и чтоб они не сумлевались. Пугачев едет с Семибратовым на Каму за товаром, Семибратов своей старой матке тоже отправил рубль целковый.

К полдню, недолго думая, казаки на лодке переправились чрез Волгу (лошади греблись за лодкой вплавь), мало-мало отдохнули на берегу, помолились на царицынские церкви за рекой, поцеловались и, вскочив в седла, приняли путь на север.

Глава IX

Путь-дорога. Барская нагаечка. Добрый барин

1

Время стояло теплое, ехали с приятностью, ночевали у костра где-нибудь в поле, в перелеске, а то и в барской роще. Но когда заждит, случалось коротать ночи и по крестьянским избам. В пути-дороге насмотрелись казаки и худого и доброго. Впрочем, доброго-то в крестьянской жизни видели они немного.

Однажды в праздник – троицын день был – пред казаками предстало странное зрелище. С покрытого лесом пригорка спускалась по дороге навстречу казакам большая вереница всадников. Впереди на черном коне ехал краснорожий пожилой усач-помещик в желтых штанах и зеленом казакине внакидку, на щекастой большой голове его – какой-то плюгавенький, блином, картузик. Он неуклюже, локти врозь, восседал копной в богатом седле, а сзади него, на том же коне, прижавшись грудью к толстяку, сидела румяная, красивая, в красном сарафане, девка. Справа и слева от черного коня шагали, вихляясь и приплясывая, еще с десятков девок, рослых, румяных, одна краше другой, кто с бубном, кто с балалайкой, кто с гитарой. А сзади двигались на холеных конях, по два в ряд, барские холопы – шуты, скоморохи, стремянные, доезжачие, в синих зипунах, в красных колпаках, у поясов – арапники. Все были пьяны. Ехали враскачку, многие клевали носом, чуть не падали с коней, «доставали ухом землю». По луговине рыскали три гончих пса. Вот помещик мазнул ладонью по усищам, подмигнул девкам и, широко разинув пасть, хрипло загорланил с присвистом:

Ходила младшенька по малинку!..
Фю-ю!

Он лихо взмахнул рукой, и девки, а за ними и дворня, грянули:

Наколола ноженьку на былинку!

Загудели струны, забрякал бубен, залились берестяные рожки, подвыпившие девки на ходу пустились в пляс. Высоко задрав подолы, они кружились, подскакивали, взлягивали босыми белыми ногами, вздымая пыль. И вся эта компания двигалась вперед с хохотом, песнями, дудками, визготней и гамом.

Казаки остановились на обочине дороги. Пугачеву захотелось срубить барину башку.

– Шапки долой! – увидав казаков, гикнул помещик и остановил коня. И все остановились. – Кто вы такие, сволочи?! Шапки долой!

– Не такой ты чин, чтоб пред тобой шапку ломать! – закричал и Пугачев, сдвигая брови к переносице.

– Поедем, тут пропадешь с тобой, – предостерег Пугачева Ванька Семибратов и было тронул своего коня.

Надвигаясь на казаков, помещик вскинул нагайку и во всю мочь заорал:

– Шапки долой, смерды!

– Сам снимай шапку, гладкий черт! – закричал в ответ вскипевший Пугачев и выхватил кривую саблю. – А вот я ее вместе с собачьей башкой твоей сниму! Мы гонцы самой государыни, по секретному

делу едем. Вот таким, как ты, что от матерей да отцов девок себе на потеху волокут, поведено государыней руки назад крутить да на лоб клейма ставить. Геть, сучий сын!.. – не помня себя, весь объятый какой-то опасной, нахлынувшей на него страстью, кричал Пугачев.

Помещик на мгновение опешил, разинул рот и застыл, как истукан. А девушки, слыша участливые и грозные слова чернобородого детины, бросились друг дружке на шею и залились слезами.

Помещик очнулся.

– Эй, псаки! – закричал он с подвизгом. – Спускай собак! Трави их, смердов... Дуй в нагайки!

И вся дворня, крутя нагайками, послушно ринулась на казаков.

– Прядай, Ванька, до разу, – бросил Пугачев, – не сладить нам! – и казаки, под раскатистый хохот помещика, поскакали полем наутек.

Но барские лошади – не в пример казачьим; холуйские плети хлестко шпарили удиравших без дороги молодцов, только пыль летела из казачьих чекменей. Спасибо – повстречалась изгородь. Донские лошади легко перемахнули через нее, холопы отстали.

Пугачев поежился, посмотрел им вслед, досадливо засмеялся:

– Ну вот, Ванька, и барских нагаечек отведали.

– С тобой отведаешь, – недружелюбно ответил упарившийся Семибратов. – С тобой, бесов сын, и в острог недолго угодить. Больно горяч некстати...

– Мы, Ванька, – не слушая его, смеялся Пугачев, – мы с тобой, как под Цорндорфом в Прусскую войну от конницы Зейдлица, стрекача дали...

– А где у ты шапка-то?! – испуганно закричал Семибратов.

– Не бойсь, шапка за пазухой. – Пугачев вынул шапку и оцупал зашитые в ней деньги.

Друзья свернули на проселок. Пугачев ехал молча, но весь ушел в думы, впервые в жизни повстречавшись сегодня лицом к лицу с российским самодуром-барином.

2

Они въехали в деревню и постучали под окном новой высокой избы. Поднялось волоковое оконце, за ним – сморщенное лицо старухи в повойнике.

– Чего вам, кормильцы?

– Каравай хлебца, бабынька, да кваску нет ли? Мы заплатим.

Старуха позвала их в избу, свешала на безмене каравай свежего хлеба, подала горшок молока, две деревянные ложки.

– Хлебайте-ка с Богом. Корова-то у нас добрая, и хлеб есть, старик мой на барщине в десятниках ходит, ну так барин-то бережет нас. А у других корки хлеба-то нету, по миру побираются. Вот, кормильцы мои, вот... – Старуха села против них, подшибилась рукой, поджала сухие губы.

Казачи с аппетитом уплетали хлеб и молоко. Старуха была словоохотлива.

– А барин-то наш, гвардии подпрапорщик Колпаков Лексей Лександрыч, – зашамкала она, – седни ради праздника Христова с девками на прогул поехал. Ну-к и мой старик-то с ним, по приказу. По приказу, кормильцы, по приказу, а то и званья не взял бы в такой сором поехать, ведь праздник седни, грех.

Казачи насторожились. Крепкие удары плеток еще не остыли на их спинах. Пугачев сказал:

– Мы видели вашего барина со всей челядью. И какая вам, крестьянам, неволя этакому борову девок-то отдавать своих? У нас на Дону так не водится.

– Ах, кормилец, – всплеснула руками бабка. – Вот и видать, что ты не тутошний, а дальний... Да как же не отдать-то, родной ты мой. Ведь он барин, а мы верные рабы его. Волосья на себе рвешь, да отдаешь.

– Не себе, а ему, паскуде, надо волосы-то выдрать вместе с мясом, – сердито буркнул Пугачев: не глянулась ему эта смиренная старушка.

– Пошто ж выдрать ему волосья-то, кормилец? Он барин добрецкий, он хрещеных, кои покорны ему, не забиждает... А кои не потрафляют ему, уж не прогневайся... И девушков, ежели берет к себе, бережет их. Он, барин-то наш, Лексей-то Лександрыч, один как перст, во всем роде своем великом остался. Мать-то свою, Марью Степановну, в гроб вогнал чрез девок, Лексей-то Лександрыч, гвардии подпрапорщик-то. Уж больно лаком до девок-то он, сердешный, ну, а мать-то евоная супротив него шла, он ее смертным боем колотил, сколь разов Марья-то Степановна, упокой ее Господи, под образами лежала, а тут глядь-поглядь и Богу душу отдала... Ой, грехи, грехи... А так барин добрый... Ешьте, родимые мои, кушайте во доброе здоровье, я еще молочка-то приплесну...

– А я бы, бабка, свою дочь не отдал, я бы его, змия, зарубил, – с горячностью сказал Пугачев, вытирая усы ладонью.

– Ах, ягодка моя, – возразила хозяйка, – эвот сосед наш, старик упорный, знаешь, такой да норовистый. И была у него дочь Дуня, ну прямо картина писаная. Как-то девки купались, и Дуня с ними, а барин-то на брюхе подполз да из кустышков и высмотрел всех девок. А Дуня-т из себя белая, а Дуня-т из себя грудастая да, как солдат, рослая. Пуще всех поглянулась она барину. Вот призывает барин ейного родителя и строго-настрого приказывает предоставить ему Дуню: «Я, говорит, избу тебе новую сгрохаю, не забуду тебя». А Гаврило-то, дурак, в отпор пошел. Ну и... Хошь и двоюродный брат он мне доводится, а кругом дурак. Барин все равно его Дуню отобрал, а ему, дураку, замест новой избы страданья лютые...

– Ну, как же его барин отблагодарил-то?

– Ой, да и не спрашивайте, – отмахнулась старуха и поправила на седой голове повойник. – А то как начну сказывать про него, про дурака, вся аж затрясусь и к сердечушку подкатывает, – скоротилась она, заморгала белесыми глазами и примолкла.

Пугачев все понял, вздохнул, с неприязнью посмотрел на старуху и спросил:

– Сколько с нас причитается?

– Да чего ж, ягодка моя... За ковригу положь копеечки две да за молочко хошь копейку.

– Сдается мне, что избу-то новую барин не зря тебе поставил, – и Пугачев выбросил на стол деньги. – Уж, полно, не отдала ль и ты барину-то на поругание дочерь альбо внучку?

– А тебе какое дело! – засверкала хитрыми глазами старуха, лицо ее стало злым. – Ну, ин отдала... Моя Марфонька, третий год пошел, как у барина живет, жистью не нахвалится... А через нее и нам со стариком утеснения нет... Барина ублажать нужно, сынки...

– Ведьма ты! – крикнул Пугачев, и казаки пошли к двери. – Треба бы тебе, как курице, башку с плеч смахнуть, старой чертовке... Да вместе и с барином с твоим.

– Ах ты, толсторожий, – старуха схватила ухват, шустро поддела им Пугачева, как горшок, и, надувшись, с силой вытолкнула в дверь. – Вон, вон пошли! Вон из моего дома!.. Чтоб хлеб мой поперек горла тебе стал! Да чтоб от молока брюхо тебе разорвало на сорок частей, да чтоб утроба твоя распалась, да чтоб кишки на улку повывлетывали! – ругаясь так, она с проворством стукнула Пугачева, а за ним и Семибратова ухватом по затылку и закрючила дверь.

Казаки выскочили на улицу со смехом.

– Ай, бабка, – сказал Пугачев, – да она не уступит и нашим казачкам. В военном артикуле она горазд смышленая...

Семибратов молча потер затылок. Они осмотрелись. Среди двух десятков вросших в землю, крытых трухлявой соломой убогих хатенок красовались три хороших избы: бабкина да две через дорогу.

– Зайдем-ка к старику, любопытства для, как его... Гаврила, кабудь, – сказал Пугачев. Чрез минуту они были в завалившейся набок, подпертой тремя слегами избе. На улице яркий день, а в избе сутемень. Скамью, куда можно сесть, казаки отыскивали ощупью.

Маленькое оконце, затянутое вместо стекла бычьим пузырем, солома, как в хлеву, на земляном полу, черные стены, под потолком облако вспугнутых мух, у печки стадо тараканов. Глиняные, обвитые берестой горшки на полке, светец с корытцем, на скамьях две прялки да валец, возле двери голик, лохань да рукомойник – вот и вся утварь.

Да на скрипучем дощатом настиле на козлах, вытянув обмотанные тряпьем ноги, не переставая стонет хозяин. Он богатырского сложения, в русой бороде, с сильным выразительным лицом. Большие серые глаза из-под густых бровей смотрят строго и печально.

Казаки обсказали, что они за люди, куда путь правят, где были, с кем встречались. Обсказали и про бабку.

– А изувечил он, кровопиец, мои ноженьки, вот, послушайте, как, – перестав стонать, гулким мужественным голосом проговорил Гаврила. – Гниют мои ноженьки, ни днем, ни ночью покою не вижу, смерть зову, не идет. – Он тяжело приподнялся и размотал изуродованную ногу.

Казаки, взглянув на увечье, горестно закачали головами. Всю ступню раздуло, подошва и пальцы черные, в мокрых волдырях, кровоточат, истекают гноем.

– Гниют, головой гниют, – болезненно повторил хозяин. – Нет ли у вас, люди добрые, средствивев каких? Чем-чем только не пользовали меня, а все без толку: и куриным-то наземом мазали, и бараньим осердием, и тараканов толкли да прикладывали, и ребячьим мочивом пытали мыть... Знахаря да коновалы бают: доведется, мол, обе ноги напрочь рубить. О-хо-хо... Вот тебе на... Были-были ноги, а тут нетути. А он, изверг, барин-то наш, анафема проклятая, не велел меня домой-то тащить... Пускай, говорит, сам ползет на карачках. Как сняли меня это с костра-то, я без памяти упал...

– С какого костра? – изумился Пугачев.

– Да нешто бабка-то не сказывала вам? Как случился промежду мной да промеж барином из-за дочери моей разговор, я крутенько ответил: мол, в каких это законах сказано, чтоб единорожоное дитяtko барам на потеху отдавать? Я, мол, до губернатора дойду, до государыни, а напредки тебя, мол, кровопивец, разорву! Да и схвати тут я барина за глотку, да и брякни оземь. Ой, сударики, что и подеялось тут... Меня сгребли, свалили, а барин-то зачал меня лежачего топтать. И велел он кострище запаливать, Господи помилуй, Господи помилуй... А как прогорел кострище, велел барин по огневым угольям взад-вперед меня разутого, босого под руки водить. Я дурью заревел, аж свет белый закачался, хотел подкорючить ноги-то – не тут-то было, барин как зыкнет на холопов, они и повисли, как собаки, на ноженьках моих... Ой, да лучше бы в костер меня кинули. Легче бы...

Русский богатырь поднял пудовую руку, прикрыл ладонью глаза и заплакал.

Пугачеву не хватало воздуха. Он растерянно глядел то на искалеченную ногу, то в лицо сидевшего бородача, тяжело вздыхал, глядел и ничего не видел.

– Избу мне рубят новую, сказывали. Дунюшка схлопотала будто. А куда мне изба? Гроб мне надобен... – Терпение Гаврилы лопнуло, он сморщился, вытер слезы, побелел от несносных мук и, протяжно застонав, упал на спину.

Пугачев от всей своей бедности положил на стол серебряный рублевик. Казаки отдали хозяину низкий поклон. сказали: «Оздоровливай» – и зашагали к двери.

– Ведь я не один, люди добрые, ведь семья-то у меня четыре души, – говорил им вдогонку хозяин, – да на барщину всю деревню угнали, даром что праздник великий... Ох, Господи помилуй, и попить-то некому подать... Дунюшка моя, Дунюшка... желанная...

Удаляясь, казаки слышали, как богатырь вновь застонал, заплакал.

До самого поздна казаки ехали молча.

3

За целую сотню верст ходили слухи о милостивом богатом помещике Иване Петровиче Ракитине.

А вот и сельцо Ракитино, деревянная церковка на пригорке, березовая роща, белый барский дом. Избы хорошие, окна высокие, рамы остеклены, сверх тесовых крыш выведены трубы – значит, от барина в дровах отказу нет: жилища топятся не по-черному. Пред избами густые палисадники и земли на задах под огородами довольно. И сами крестьяне одеты почище, нежели в других деревнях, и видом они поприглядней, и ухватками порасторопней, и нет забитого, униженного выражения в глазах, люди, как люди, давно таких не видывали на своем пути казаки.

Остановились они на роздых в избе дедки Архипа. Семья небольшая, старик с женой да сын Влас, первейший кузнец на всю округу, собой красавец: рослый, крепкий, кудрявый, глаза веселые. Девки по нем сохли, а он жениться не спешил, хотелось ему по сердцу хозяйку выбрать.

Старуха готовила к обеду тюрю на квасу с аржаными сухарями да с толченым луком, еще горох да кашу гречневую.

– Все балакают, больно добер, барин-то ваш... Верно ли? – покрестившись на иконы, спросил Пугачев.

– Верно, верно, проезжающий, – с готовностью ответила старуха.

А кузнец Влас ухмыльнулся и сказал:

– Хвали рожь в стогу, а барина в гробу... Они все на одну статью...

– Ой, да что ты, сынок, очнись, – замахала на него мать руками.

– Слава те Христу, за нашим за Иваном Петровичем жить можно, – заговорил старик, накрывая на стол и косясь на сына. – Назови-ка его барином, он живо заорет на тебя: «Какой я тебе барин, я Иван Петрович. Не смей меня барином звать, а то на конюшне задеру!»

– Неужто и он дерет, хороший барин-то? – спросил Пугачев.

– Сроду никого не парывал. Да он пальцем не потрожит... Вот он какой... Ну, барыня, верно, что... с характером. Оцо брат евоный был, Борис Петрович, полковник отставной, они сообща владели деревнями-то боле двух тысяч душ под ними... Эвот сколько! Ну, Борис-то Петрович отказался от своей доли. Созвал наше сельцо, сел в коляску да и говорит: «Прощевайте, крестьяне. Я больше не помещик вам, а вот в чем я был, в том и уезжаю от вас». Да и укатил. Вот он какой, Борис-то Петрович. А глядя на него, а может статья, уговор промежду братьев был, Иван-то Петрович хотел нам полную волю объявить и бумагу сготовил такую да в Питер отослал. Ну только прошло после того разу много ли мало ли время, как вызывает его царица к себе в столицию да и говорит ему, это царица-то: «Ты что же это, говорит, Иван Петрович, миленький, такие дела хочешь зачинать, чтобы мужикам вольную объявить? Этого, миленькой, делать не моги, а то, говорит, другие-прочие мужики прознают да по всей империи моей бунт подымут, волю давай им. А я всему хрестьянству воли не могу дать, а то дашь волю мужику, помещики на меня, на государыню свою, разозлятся да, чего доброго, пристукнут где, алибо отравы в кушанье подмешают, ведь вокруг престола моего, говорит, их полон дворец. Запрещаю, говорит, тебе, миленькой Иван Петрович, сиди, как сидел, и не рыпайся, а будешь рыпаться, так я тебя самого на чепь посажу». Так с тем Иван Петрович и вернулся. Да вот он – легок на помине, глянь!

Архип выставил в окно бороду, поклонился, сказал:

– Здорово-ти живешь, Иван Петрович! Здорово, отец наш.

– Здравствуй, Архип Иваныч, – ответил барин. Он невысок ростом, сухощав, на бритом умном лице большие темные глаза, из-под шляпы седые кудри, одет в английский пестрый казакин, в руке трость с золотым набалдашником, у ног скачет собачонка Крошка, с котенка ростом. – Это какие люди к тебе прибыли? Ай, сколь расчудесно седельце! А вот это ведь казацкое седельце-то. И лошадки доброездные... Да уж, полно, не казаки ли у тя? Покажь, покажь их мне...

Пугачев с Семибратовым вышли на улицу и поклонились. Помещик Ракитин выведаль у них: кто, куда, зачем, и сказал:

– Собирайтесь ко мне... Архип Иваныч! Не прогневайся... Это мои гости, мои гости. Я люблю гостей... А то – скука. Как раз к обеду утрафим. Я еще не ел с утра. Ем мало. Мне семьдесят лет, а в перегоняшки еще могу. Берите лошадей, собирайтесь. Про войну порасскажете, мы с женой любим про войну, у меня под Цорндорфом два сына убиты, больше никого нет. Брат ушел. Я зело люблю гостей... – он говорил резко, быстрым, каким-то раздраженно-капризным голосом.

Казаки повиновались. Барин приказал конюху поставить казацких лошадей в конюшню, задать овса, выскрести, выхолить их.

И вот казаки – на барской кухне, сидят, трубки курят, посматривают, как повар с кухаркой пироги из плиты тягают, тоненькой лучинкой тычут в них, упеклись ли. У казаков слюни пошли, все бы съели, всю бы кухню, уж очень вкусный дух от плиты валит. Приходят старые бабки да старики с горшками, с плошками, поваренок отливает им в горшки щей, мяса накладывает. Благодарят, крестятся, уходят.

– Кому же это? – спросил Пугачев.

– Крестникам Иван Петровича да кумовьям, да мало ли у него. У него, почитай, полсела их. Надоели, вот тебе Христос. Барыня сердится, гони, говорит, их, а барин велит милостыню творить. Вот и бьешься, – брюзжал толстобрюхий повар с перебитым посерединке носом. – О многих господах я слыхивал, а такого теленка, как Иван Петрович наш, еще свет не родил, вот тебе Христос. Все чегой-то пишет да пишет, да гостей водит к себе с большой дороги... Этта двух слепых приволок к себе, двух побирушек-пьяниц, в чистую половину завел, велел божественное петь. Ну, барыня забоялась, как бы крохоборы вшей не натрясли, вытурила их. Барин осерчал, три дня не разговаривал с барыней, дулся, а драться чтобы промеж себя, этого у наших господ не заведено...

– А мужики-то у вас, кабудь, неплохо живут, – промолвил Пугачев.

– А чего им, – ответил повар, переворачивая лопаткой цыплят в жаровне. – У нас много мужиков в отхожий промысел идут, в Москву да в Нижний. Добрый заработок имеют, барину ладный оброк платят. Взять Хряпова, мясника, Нил Иваныча, он говядину во дворец поставляет в Питере. Он нашего барина крепостной, Хряпов-то, а вольную барин не дает ему. Наш барин упрямый, не приведи Бог. Ему хоть кол на голове теши...

Повар потер брюхо, съел поджаристую корочку от цыпленка, сказал:

– Хряпов-то намедни приезжал сюда, сказывал, быдто царица вольную мужикам собирается объявить, быдто епутаты со всей земли съехали в Москву – помещики да торговые люди. Есть, говорит, малость епутатов и от крестьян вольных, а от крепостных мужиков ни одного. Вот мы и дождемся великого решенья... Только, что ни говори, а покудова помещики живы, мужикам воли не видать.

Пришла из горниц женщина лет тридцати, некрасивая, курносая, лицо в оспинах, брови вылезли, одета неопрятно. С казаками – ни здравствуй, ни прощай, нюхнула воздух, поморщилась, буркнула что-то повару, вильнула хвостом, ушла.

– Кто такая? – спросили казаки.

– Да в горницах услужает, дворовая девка Марьюшка, сызмальства при господах живет.

Невтерпеж стало казакам, есть захотелось вот как. Пугачев ласковым голосом сказал повару:

– Эх, добрый человек, хоть бы варева-то плеснул нам малую толику, щец-то...

Но в эту минуту быстро вошел в кухню молодой лакей в сером сюртуке.

– Ну, как, Платоныч, пироги готовы?

– Готовы, – ответил повар.

Тогда лакей, поклонясь казакам, проговорил:

– Господа приказали просить вас откушать с ними.

– Как? – будто ошпаренные, вскочили казаки. – Благодарствуем, мы как-нито здесь... Мысленное ли дело!

– Такова воля Ивана Петровича... Прошу.

– Постой, приятель, – сказал Пугачев. – Ведь мы с дороги. Хошь бы пыль из штанов повытрусить да сапоги деготком трохи-трохи смазать.

Лакей улыбнулся, хлопнул в ладоши, крикнул вбежавшему из горниц мальчишке-казачку:

– Щетку! Вычисти на крыльце гостей, умыться подай. (Пугачев, подмигнув Ваньке, приснул в горсть.) Сапоги сырой тряпкой вытрешь... – И, обратясь к казакам: – А дегтем смазывать невозможно: первым делом – ароматы по комнатам пойдут, вторым делом – собачке вредно, головка разболеться может у них...

Пугачеву стало совсем весело, он тихонько всхотнул и головой покрутил.

Вот казаки и в столовой. Они в длиннополых с красными лацканами опрятных чекменях и при саблях. Собачоночка загремела бубенчиками, подскакала к гостям на трех лапках-спичечках и, поджигая четвертую лапку, звонко взлаяла на них, словно канарейка зачивикала. Она показалась широкоплечему Пугачеву совсем махонькой, ну прямо с блоху. Однако собачонка воображала себя страшным зверем – она то и дело оглядывалась на хозяев, пучила бисерные глазки, свирепо оскаливала крохотную пасть: «съем, съем, съем», вгрызалась в сапожища Пугачева, делая вид, что сейчас в клочья разорвет казака и сожрет его вместе с сапогами.

– Не бойтесь, не бойтесь, – отозвалась из-за стола барыня, – песик не кусается.

– А кто ее ведает... – ухмыльнулся Пугачев, ради шутки пятясь от кукольной собачки и прикрывая рот ладонью: – Возьмет да и тяпнет.

Иван Петрович громко захохотал:

– Усь, усь!.. Крошка! Съешь их, съешь! Ну, присаживайтесь. Марфа Тимофеевна, не обессудь, – заискивающе обратился он к жене, – донские казаки это... С Прусской войны... Порасскажут... Любопытно.

Барыня пожала плечами и нахохлилась.

– Дозвольте нам сабли снять, ваше высокоблагородие, – браво вытянулся Пугачев, а глядя на него и Ванька.

– Голубчик! Да я, по чину, коли хочешь, не высокоблагородие, а ваше превосходительство...

– Ой, прошибся я, господин барин...

– И не барин я, а... Иван Петрович.

– Вдругорядь прошибся! – крикнул Пугачев. – Дозвольте, Иван Петрович, нам с Иваном

Семибратовым сабли снять.

– Снимите, снимите... Поставьте в угол... Это хорошо, – сказал хозяин, а хозяйка, чопорная дама в кружевном чепце, пристально рассматривала молодцеватых казаков. – Где вы сии тонкости переняли? – спросил хозяин.

– Будучи на Прусской войне, а также в городе Кенигсберге и в Берлине, доводилось иметь видимость, как господа офицеры садятся есть за стол, только сняв сабли... – Сознывая, в каком он обществе находится, Пугачев старался выражаться самыми высокими словами.

Пищу подавали два лакея. Пугачев присматривался к господам, как они кушают: они пироги ножом режут да маленькими кусочками в рот, и он так же. А когда Ванька Семибратов стал очень громко чавкать, он пнул его под столом ногой:

– Не чавкай... Свинья ты, что ли, у корыта?

Хозяин расспрашивал казаков про войну. Пугачев отвечал очень складно, слегка подвирая. А как подвыпил, стал врать гуще. Ванька Семибратов в отместку ему тоже толкнул его локтем и шепнул:

– Ты всякую дурунку-то не городи, бесстыжие твои бельма. Они, чай, с понятием, хозяева-то.

Захмелел и хозяин. Он угощал казаков денисовкой.

– Сам Петр Первый уважал ее. Я опосля шведской баталии к государю на ассамблею угодил. Фестиваль такой, по-тогдашнему – ассамблея. Вот было попито... Проснулся под столом.

Пугачев широко ухмыльнулся, чокнулся с хозяином, сказал :

– Уж больно крестьяне хвалят вас, Иван Петрович.

– Они-то меня хвалят, да я-то их не больно... Иной раз слушаться не хотят. Я стараюсь как бы лучше, а они, того не понимая, думают, что это во вред им, сердятся на меня. Вот такой есть Пров Михайлыч, хороший мужик, работающий, я ему: «Здравствуй, Пров Михайлыч!» – а он, ни слова не ответив, так срыву отвернулся, бороду вверх да и пошел от меня прочь чесать. А вся и провинность моя в том, что он хотел кабак открыть и денег просил у меня на обзаведение, а я отказал.

– Значит, он не в полном своем уме, Иван Петрович, – вежливо проговорил Пугачев, и, полагая, что для приятного обхождения в знатном обществе подобает как можно чаще хохотать, он вновь захохотал. Так дельвали, бывало, офицеры за столом губернатора Корфа в Кенигсберге. Вообще-то Пугачев привык хохотать громко, страстно, а здесь, повинувшись собственной находчивости, он похихатывал нежно, благородно. Ванька Семибратов сурово вращал глазами, ел молча и, взглядывая на смеющегося товарища, всякий раз стыдливо прыскал в горсть. Эх, жаль, у Пугачева носового платочка нет, он бы показал, как настоящий форс пускают...

Хозяин все подкладывал да подкладывал казакам пирога. Пирог был сдобный, слоеный, казаки отродясь такого не едали. От пятой доли Емельян Иваныч отказался:

– Благодарствую, горазд объелся, не лезет... – и очень громко, по казачьей привычке, рыгнул. Допустив столь великую промашку, он сразу спохватился, выпучил на строгую барыню глаза и замер.

Барыня милостиво улыбнулась и, приняв из рук лакея клубнику со взбитыми сливками, протянула эту сладость Пугачеву.

Вечером казаки пили чай на кухне с поваром, поваренком и кухаркой. Затем пришли два старика-крестьянина.

– Вот вы люди чужедальние, проехали много мест, – сказал повар и почесал крючковатым пальцем

перебитый нос. – Не довелось ли слышать вам, будто бы государь Петр Федорыч Третий жив-живехонек и появился особой своей не то под Смоленском, не то под Полтавой в образе простого вахмистра?

– Кабудь слых такой влетал в уши, – ответил Пугачев. – Да ведь мало ли дурнинушку какую загибают... Врут!

– Врут ли, нет ли, не нам судить, – возразил повар, разламывая подсушенную на плите самодельную баранку. – Барин наш тоже говорил – врут, а промежду прочим, на свете всяко бывает.

Пугачев подумал, сказал:

– Ежели б Петр Федорыч объявился, он бы снова на престол сел.

– А кто же его пустит-то? Уж не государыня ли наша? Ха! Чудак ты, вот те Христос... А еще казак донской...

Пугачев сердито откликнулся:

– Коли народ похощет – быть ему сызнова царем, а не похощет – не прогневайся.

– Во-во-во! – и повар ткнул в грудь Пугачеву пальцем. – Ежели он, батюшка, истинно жив, в народе укрепу снискать должен. А народ-то поперет...

– По-о-прет! – подхватили старики-крестьяне. – Мир за кем хошь поперет, лишь бы польза миру была.

4

Казакам отвели на ночь горенку рядом с прихожей. Они разоблоклись и легли. На колокольне пробило девять часов. Молодежь по праздничному делу еще водила на луговине хороводы. В соседней горнице свет горел. Взад-вперед ходил Иван Петрович, сам с собой чего-то бормотал. Вот заиграл он на клавиночках и запел баском. Но вскоре музыка оборвалась, он закричал:

– Марьюшка, Марьюшка! Позови сюда Марьюшку!

Любопытные разговоры за стенкой начались. Пугачев встал, подошел на цыпочках к стеклянной занавешенной двери, чуть загнул край занавески. Его не видать, зато ему все видно: в соседней горнице горит под потолком целый куст свечей, у печки растрепана Марьюшка стоит, по паркетам вышагивает, руки назад, барин. Щеки его от винца румяны, сам слегка пошатывается.

– Вот что, Марьюшка, – говорил Иван Петрович, усаживаясь в кресло и отпивая из серебряного жбана квасу. – Ты в моем доме, Марьюшка, с малых лет отменно служишь. Я положил обет Богу пещись о судьбах своих крепостных. А тебе тридцать пять скоро, а жизнь твоя зело не устроена. В девках ты... Я тебя, Марьюшка, замуж собираюсь выдать...

– Ой да, Иван Петрович, – стала пожимать плечами, отмахиваться рыжая, курносая растрепана Марьюшка. – Да и кто меня этакую возьмет? Никто не польстится, не позарится... Разве что пастух Гараська, колченогий дурачок...

– Да уж ежели я посватаю, женится на тебе самолучший молодец... Уж будь спокойна... Иди, приберись.

Марьюшка радостно засмеялась, закрыла лицо руками, убежала, тяжело пришлепывая голыми пятками. Пугачев шепнул Семибратову:

– Ванька, однако барин-то тебя хочет окрутить на Марьюшке...

– Ни в жизнь не соглашусь.

А барин между тем велел позвать кузнеца Власа.

– Вот что, Бова Королевич, – сказал он, окинув взором вошедшего красавца-парня. – Я тебя, Влас, оженить хочу.

– Ваша господская воля, батюшка Иван Петрович, – и Влас, часто замигав, повалился барину в ноги.

– Встань да беги скорей домой, приоденься. И чтоб опрометью сюда.

Влас бросился домой.

У Пугачева затомилось сердце. «Господи ты Боже мой, – подумал он. – Так неужели он кузнеца принудит на такой растопырке ожениться?.. Не может того быть...»

Первой явилась Марьюшка в скрипучих полусапожках, в кумачовой кофте, рыжие волосы коровьим маслом смазаны, косичка с желтой ленточкой, толстые щеки подрумянены «куксином», вылезшие брови жженой пробкой подведены. Нескладная, с плоской грудью и широкими, как у лошади, бедрами, она заискивающе заулыбалась барину, обнажая большие, вкривь и вкось понатыканные зубы.

– Ну вот, – сказал барин, – ну вот... Сейчас и суженый припожалует.

Она провела пальцем под носом, почесала под мышками и снова прислонилась спиной к печке.

Чрез полированную гладь стола из карельской березы, звеня бубенчиками, проскакала в переступь на

лапках-спичечках черненькая Крошка, подпрыгнув, уселась барину на плечо, стала лизать ему ухо. Тут послышались мужественные торопливые шаги, в горницу вошел красавец Влас в синего сукна поддевке. Вдруг он, как вкопанный, остановился, перевел вспыхнувшие глаза с барина на Марьюшку, голова его упала на грудь, богатырские руки стали комкать-мять войлочную шляпу.

– Ну вот... и суженая тебе, Бова Королевич. Она хорошая слуга мне... Я не покину вас, – промолвил барин и, положив Крошку на ладонь, стал пальцем щекотать ей брюшко. Собачка побряхтывала, отлягивалась лапкой.

– Люба ли? – громко спросил Власа барин и выжидательно-строго поджал губы.

Марьюшка захихикала, ужимчиво прикрываясь кумачовым рукавом, а Влас, всхлипнув, схватился за голову, упал барину в ноги.

– Ваша воля, ваша воля, – бормотал он задыхаясь. – А только не в согласи я... Не губите!..

– Вот и хорошо, вот и отлично, – прикинувшись глухим, перебил его барин и закричал: – Посмел бы ты не согласиться!.. Да я бы в солдаты тебя продал, дурака!

Легкой поступью вошла старая барыня, на плечах кружевная накидка, на ногах бисерные туфли – дар игуменьи женского монастыря, вошла и важно села против мужа.

– Марфа Тимофеевна, вот будущие супруги, – и барин повел холеной рукой от Власа к Марьюшке.

Барыня вскинула к глазам лорнет, пожала полными плечами, нахмурилась, сердито залопотала не по-русски. Барин, пристукивая ладонью в стол, стал резким голосом что-то возражать ей. Так спорили они с минуту. Барыня опять пожала плечами, запрокинула голову и устало закрыла выпуклые, под черными бровями, глаза.

– Значит, Марфа Тимофеевна, приданое Марьюшке сшить из господского добра, – сказал Иван Петрович своей супруге. – Чтоб обильно было всего, большой сундук. Власу выдать добротного сукна тулуп, валенки и кожаные сапоги. Хорошую корову им дать, удойницу и десяток овец. Свадьбу сыграть господским пивом и харчами... Кончено! В то воскресенье свадьба. Ступайте.

Кузнец вышел в коридор шатаясь. Он шел коридором нога за ногу, прикрыв глаза ладонью, подергивая плечами и отрывисто всхлипывая.

– Влас, – тронул его сзади босоногий, в одних исподних, Пугачев. – Как же это, а?.. Мысленное ли это дело...

– Смертным боем бить ее буду, стерву, – прохрипел Влас, глаза его стали страшными. – Году не пройдет, как сдохнет...

Он ушел. Надев штаны, чекмень и саблю, Пугачев на цыпочках вошел в барские комнаты. Он увидел лядащий зад барина и подметки его туфель: стоя на коленях, барин клал земные поклоны перед образом нерукотворного спаса. Кукольная собачоночка сидела возле, поджимала то левое, то правое кукольное ушко и, вторя барину, мелодично полаивала на икону. Пугачев кашлянул. Собачоночка подпрыгнула, замелькав лапками, бросилась к вошедшему и залилась-запела канарейкой. Барин быстро поднялся, запахнул халат. Пугачев стоял навтыжку, каблук в каблук.

– Что скажешь, Емельян Иваныч, гость милый? – спросил помещик, сдерживая раздражение. – Не спишь еще?

– Не сплю, Иван Петрович, батюшка. Разговор ваш ненароком слышал насчет кузнеца-то... Плачет кузнец-то, горазд горюет... Не можно ли, батюшка, в обрат поворотить дело-то?.. Помилосердствуйте.

– Нет, Емельян Иваныч, – сухо ответил помещик и нахохлился. – Приказ главнокомандующего должен

быть свят и не отменяется. Сам, поди, знаешь.

– Ой, барин, отменяется, – нахохлился и Пугачев, назвав Ивана Петровича барином. – Коли приказ никудышный, солдаты сами рушат его для ради спасения жизни своей. Вот вы, барин, Богу-то молитесь, а ведь Бог-то молитву-то вашу навряд ли примет. Не по правде поступили вы, барин. Уж вы не прогневайтесь, я по-простецки.

Рот барина помаленьку открывался, в больших темных глазах замелькали злые огоньки.

– Вы помышляете – Марье добро сделали, ан вы великое зло ей сотворили: ведь кузнец-то убьет ее... Да и себя прикончит... Две души загинут ни за что, ни про что... А кто в ответе перед Богом да перед добрыми людьми будет?

– Стерпятся – слюбятся, казак, – сердито вымолвил барин и, размахивая полами халата, стал быстро взад-вперед вышагивать, его седые кудри мотались возле ушей. – Да и какое тебе дело в мои распоряжения встревать? Подо мной боле двух тысяч душ крестьянства... Я сам знаю... Иди-ка спать, казак, – повелительно махнул он рукой к двери.

– Душ-то у тебя много, это верно, – ехидно сказал Пугачев, поворачиваясь к выходу, – а в самом-то тебе настоящей души и нет... Пар в тебе, как в собаке...

– Пошел вон, дурак! – притопнув, крикнул барин и побежал в свои покои.

– Верно говорится: барская ласка до порога. Прощевайте, ваше превосходительство! – вслед ему дерзко бросил Пугачев. И почему-то вдруг вспомнилось Емельяну Ивановичу то далекое и жуткое, что произошло с ним в прусском походе по воле атамана Денисова. Вспомнил все до мельчайшей подробности, даже почудилось, как чмокает, вгрызается в спину плетка палача-казака и горят от стыда, от боли скулы... Будто вчера все было!

Войдя в отведенную казакам горенку, он сказал Семибратову:

– Собирай хабур-чибур... Поедем... Лучше где-нито в поле заночуем.

– Что ж ты трясешься-то, как сучка?

– С Иван Петровичем разговор имел, с благодетелем. Побранка вышла. Эх, да... чего там... Видать, все бары одним миром мазаны, – он взял свое боевое седельце и рывком выхватил из-под подушки заветную шапку с зашитым в ней богатством.

Казаки вышли, хлопнув дверью.

Глава X

Село Большие Травы. Гром

1

Недели полторы спустя казаки уклонились от Волги: река пошла влево, они ударились вправо.

Рожь набирала колос, лето в этих местах стояло засушливое, на нивах попы служили перед иконами молебны о ниспослании с небес «дождевого лияния». Густые толпы испитых, впавших в отчаянье крестьян молились усердно, опускались на колени, припадали лбами к пересохшей от зноя земле.

Казаки, проезжая мимо таких богомолебствий, снимали шапки, тоже крестились, тоже просили дождя: через засуху подножного корма для их лошадемок было мало. Но небеса как бы заперли на ключ свои плодоносные источники, «дождевого лияния» не наступало.

Народ терял последние надежды, народ ждал голода и мора.

Вот, в верстах в пяти, село Большие Травы, белая церковь на горе, обширный барский дом, кучей, как овцы, грудятся серые избенки, в стороне лес синеет.

Должно быть, из села еле внятно долетали звуки набата. Казаки приостановились. Пожар, что ли, там? Но ни дыму, ни огня.

Ветер дул, рожь шумела, вербы гнулись.

Мимо казаков, высунув языки, к селу пробежали два белоголовых, стриженных под горшок парня с дубинами, следом за ними – черный, как цыган, крестьянин с топором в руке, за ним, вприскочку, – две молодые бабы с молотильными цепями. Слева, прямо по меже, тянулся вожжой народ к большой дороге, справа спешили люди по проселку, поддергивая портки, бежали мальчишки, бежали девчонки с косичками наподобие мышиных хвостиков, и все торопились к селу, в гору, навстречь заполошному набату.

Ветер путал бегучие выкрики, казаки только и смогли уловить:

– Солдат... Солдата выдрали. Барское гнездо спалил!..

Вот остановился возле казаков простоволосый дядя в лаптях, он вторнул в землю вилы, оперся о рукоятку, в груди у него хрипело, с красного лица лил пот.

– Братцы, нет ли покурить?

Пугачев сунул ему свою трубку, спросил:

– Это чегой-то у вас стряслось?

– А толком и сам не ведаю... Все бегут, и я побег, – уклончиво и хмуро прохрипел дядя, ударяя стальным огнивом по кремню. – Анадьсь барин трое суток в погребе держал меня на чеки прикованным, ну простыл я дюже, задышка берет... У нас барин, в рот ему ноги, огневой, хуже бешеного пса... А управитель-то лютей барина, из немчуры. Барину-т хвамили Перегудов, ране в полиции служил, деньжищ нахапал да на уродце-колченожке, барыньке нашей природной, оженился. А та богачка шибкая. Ну-к, я пошел, спасибо.

– Стой... Так чегу ж там у вас приключилось-то, на селе-то?

– А приключилось вот чего... С час тому прибежал к нам из села верховой, вот прибежал верховой и созвал всю деревню нашу. Теките, говорит, православные, в село, у нас там буча подымается. Заслуженного капрала Ивана Иваныча Капустина барин выдрал. Капрал, говорит, пришел к своим в побывку, бравый такой солдат, в рот ему ноги, весь в медалях, в немецких сражениях нахватал наград. И девушку, говорит, он высватал себе добрую, хотел к барину идти, чтоб, значит, дозволил венцы надеть. А седни большой праздник случись. Капрал-то возьми да и встань, говорит, в церкви рядом с нашим зверем-баринном, а сам весь в медалях и мундёр добрецкого сукна. А у барина-то нашего, в рот ему ноги, ни медали, ни креста, даже звезды, как у генералов, и той нет. Ну, людишки, знамо, все на заслуженного солдата глаза пялят, поклоны ему отдают, здравствуются... А на барина никто и оком не ведет. Барина лютая зависть забрала. И приказал барин выдрать солдата при всем народе розгами. Как зачали, говорит, с заслуженного солдата-то, с капрала-то, мундёр срывать да штанцы стаскивать, повалился капрал пред баринном на колени, завыл: «Ой, да не срамите меня, кавалера заслуженного, при всем честном народе, в чем же вина моя?» И как зачали, говорит, его драть, он закричал в народ: «Мужики! Вашу кровь проливают. Заступитесь!» Народишко взбулгачился, зашумел да на барина: «Пошто невинного дерешь, злодей?» Тут барин из себя вышел, приказал крикунов хватать да сечь плетьюми нещадно. Как это верховой обсказал нам, мы все и взбеленились. Я вилы сгреб, есть усердие такое вилами барские печенки тронуть. Меня Митродором звать... Фу-у... опять задышка. Да вы не военные ли будете?

– Казаки. С Дону.

– Ой, робяты... Уж вы не оставьте нас, Бога для, пособите... А то слых есть, управитель-немчура, в рот ему ноги, из города войско требует, а город-то недалеко от нас... Ой, что только будет, что будет... Фу-у-у...

Пугачев предложил дяде Митродору сесть на коня, и все втроем они двинулись к селу.

2

Улицы и переулки большого села, куда въехали казаки, были шумны, суетливы. Крестьяне и крестьянки всех возрастов бежали к барской риге, кричали:

– Удавился, удавился!..

Казаки тоже поспешили за народом. Рига окружена густой толпой. Привязав коней к пряслу, казаки протолкались вперед. Под навесом на перекладине висел крепкого сложения полураздетый нестарый человек. Спина, бока и грудь вдоль и поперек исхлестаны плетью, сгустки крови запеклись на потемневшей коже. Лицо разбито, один глаз закрыт, другой страшно смотрит на толпу. Возле, на сером камне, растрепав седые волосы, дико воеет мать покойного, заламывает руки, простирает их к замученному сыну.

– Замолчи, старуха, не воротишь, – стоя перед ней на коленях, гладит ее по сутулой спине широкоплечий старик Иван Капустин; седая борода его трясется, по щекам, по бороде потоки слез. – Эх, сынок, сынок... Не стерпел поруганья, сам на себя руки наложил... Не сразили тебя пули немецкие, сразила нагайка барская. А уж ты ли не вояка был!.. Голова на войне проломлена, нога стрелена, плечо рублено... Эх, сынок, родная моя кровушка...

Впереди толпы, обнявшись со своей матерью, обливалась слезами красивая девушка, невеста замученного.

– Вот, братцы, подивитесь, какую издевку допустил сучий барин над капралом ее величества! – гулким басом выкрикнул корпусный с большими рыжими усами солдат в артиллерийской форме.

«Да ведь это никак Перешиби-Нос», – мелькнуло в мыслях Пугачева.

– Снимай с петли, нечего полицию дожидаться! – скомандовал усач. – Где мундир с медалями, нужно приодеть да и в гроб класть...

Эти слова ударили плачущей матери в сердце, она взвизгнула и замертво повалилась с камня. Усач, перекрестившись и крикнув: «Режь веревку!» – подхватил мертвеца за ноги, а забравшийся на перекладину парнишка рассек веревку ножом. Мертвеца положили на солому. Кто-то подал усачу мундир покойного с тремя медалями за Цорндорф, Кунерсдорфскую баталию и за взятие Берлина.

– Здоров будь, Перешиби-Нос, – и Пугачев тронул товарища за плечо.

– Ой, да никак ты, Пугачев? – всмотревшись в лицо казака, изумился Перешиби-Нос. – Да какими это ветрами тебя к нашему берегу-то пригнало?.. – и зашумел: – А где сучий барин, где управитель?! Хватать всех прихвостней!

Толпа, как отара овец, бросилась на гору, к помещицкому дому.

А Пугачев с Семибратовым, всех опередив на конях, уже были возле каменных, с колоннами палат.

– Занимай двери! Становись возле окон, чтобы мышь не проскочила... Вяжи дворню! – командовал Пугачев и первый, а за ним народ, бросился в палаты.

Дворня разбежалась. Трясущийся старик-дворецкий в ливрее с позуменгами опустил на колени, заикаясь, сказал, что барин и барыня, как только ударили всполох, приказали заложить карету и угнали в город.

– А управитель где?

– Управитель тоже изволил уехать с барином, – сморщив бритое дряблое лицо, захныкал дворецкий.

– Врешь! Чего врешь, старый лизоблюд! – звонко вскричали только что прибежавшие в хоромы мальчишки. – Мы не столь давно видали его... Он, немчура, холера, по барскому двору в колпаке совался.

Рыжий дядя Митродор ударил дворецкого по уху, тот упал на четвереньки, под крепкими пинками крестьян заскулил, пополз в угол. Крестьяне, мужики и бабы похватили со столов подсвечники, тарелки, скатерти, стали срывать с окон кружевные портьеры.

...А толпа во дворе сшибала с амбаров, с кладовок, с каретника замки, вывозила экипажи, вытаскивала упряжь, ящики с вином, окорока, банки с вареньем, выкатывала бочки с медом, огурцами, моченой брусникой.

– Ложи, ложи сюда!.. В одну кучу, – показывая костылем, кричал большебородый сухой старик в белом балахоне.

Вырвавшиеся из псарни собаки с остервенением лаяли в сто глоток. Десяток псов с расколотыми черепами, с отбитыми задами крутились по земле, сдыхали в корчах.

...Отряд крестьян с дубинками ошарил весь двор, все закоулки, управитель – как сквозь землю.

Удалее всех шныряли вездесущие ребята. И на крышах и под крышами, в колодец заглянули, в помойку слазили. Нет нигде.

– Да, может, в лес утек, анафема, в рот ему ноги! – хрипел на бегу дядя Митродор с вилами под мышкой; он торопливо, с жадностью, перхая и давясь, уплетал барский пирог.

Распахнули житницу. Огромная золотистая гора пшеницы. Из-под стрех выпорхнули ласточки.

– Вот где богатство-то! – изумились крестьяне, ошаривая глазами житницу. – А и здесь-ка управителя-то нетути... Куда же он схоронился-то?

Пугачев, карабкаясь, залез на гору пшеничного зерна, поймал ухом какой-то подозрительный сипящий звук, зорко осмотрелся, и на лице его промелькнула хитрая ухмылка.

– Ну, мирянушки, сейчас чудо будет, – приметив нечто необычное, с веселостью сказал он. – Трохи-трохи потешу вас... Гляньте! – Он нагнулся и зажал большим пальцем едва приметный кончик дудки, вершка на два торчащий по-над зерном.

Крестьяне разинули рты и затаили дух. Вдруг зерно зашевелилось.

– Ой, ты! Управитель! – в один голос воскликнули они и, раздувая ноздри, попятились.

Из зерна, как из омута, разом вынырнула толстощекая, с жирным подзобком, шарообразная голова в синем колпаке. Голова, глубоко вздохнув, разинула рыбий рот, сморщила приплюснутый нос, сощурила безбровые глаза, громко чихнула и по-кошачьи отфыркнулась. Все злобно захохотали.

Рыжий дядя Митродор от ярости не мог произнести ни слова, ему невтерпеж было садануть управителя в бок вилами, но он опасался Пугачева. Хватаясь за грудь, он только хрипел, сплевывал, скорготал зубами. По его заросшим рыжей шерстью скулам ходили желваки.

3

Весь обширный барский двор полон народа. Люди суетились, кричали, бестолково бегали то к риге, куда вели управителя, то к барским палатам, то в церковную ограду. Здесь, возле церкви, под березками, гуляки пили заморские вина, орали песни, плясали, плакали. Гульба была и вблизи барских кладовых: оголодавшие крестьяне, пустив в ход ножи и зубы, лакомились окороками, маринованными рябчиками, вялеными осетрами, а ребяташки дрались возле банок с вареньем, перемазанные, чумазые, они поддевали варенье горстями, глотали с наслаждением, защуривая глаза. Собаки повывлезали из прикрытий, стали с народом ласковы, виляли хвостами, получали подачки.

Подвыпившие крестьяне поставленную Пугачевым возле дома стражу сшибли, оказавшего сопротивление буйной толпе солдата Перешиби-Нос помяли, он с руганью бежал.

Все тот же сивобородый, бровастый дед в длинном балахоне, тыча костью, распоряжался в комнатах:

– Соломы, соломы волоките, православные!.. Все огню предать. Поганое гнездо. На наших кровях добро нажито...

Распалившиеся, с лихорадочным блеском в глазах крестьяне взад-вперед носились по дому.

– Православные, тихо-смирно выноси иконы, – тыча костью в передний угол и крестясь, приказывал бровастый дед. – Святые иконы жегчи великий грех, по избам разберем... Выноси портрет Петра Федорыча, он о мужиках пекся, его баре замучили... Петра Алексеича выноси, Великого.

– А царицу-те спасать? – вопрошала курносая растрепанная баба, держа в руках портрет императрицы.

– Катерину погоду выносить, становь к стенке, пушай горит... Она не больно-то нам мироволит, а все более дворянчикам. Она ходок наших в железа велела заковать... Соломы, соломы волоки!.. Эй, народы!

Из окон кувыркаются стулья, кресла, зеркала, хрустальные шкафы. Барские портреты в золоченых рамках проткнуты вилами, сорваны со стены, растоптаны.

Шум, гам в горницах и во дворе.

А по небу плывет туча, отдаленный громовой раскат прогудел, но его никто в суетне не слышал.

...Подвели к барской риге толстобрюхого, на коротких ножках, управителя. Он без кафтана, в одном шелковом пропылившемся камзоле, в суконных кюлотах, в длинных чулках и щегольских туфлях. На него пристально и страшно таращился помертвевшими глазами только что пойманный и повешенный толпой барский ненавидимый крестьянами староста.

– О, майн Гот, я оччень, оччень боялся мертва тела, отпущайте меня, пожалуйста, – немец не попадал зубом на зуб, тряся, воловья жирная шея и толстые обвисшие щеки налились кровью, безбровые глаза часто мигали.

– Веди его... В омут... Камень на шею! – неистово кричал народ, передние посунулись к управителю, чтоб растерзать его.

– Ой, сохраняйте майна жизнь... мужики-крестьянчики добренькой... Станем оччень смирно жить-поживать... – прижимая к груди руки, тоненько выскуливал немец; голосом, глазами, всем существом своим он молил толпу о пощаде. – Люблю вас буду оччень, оччень...

– Хах! – язвительно, дружно, словно выстрел, хахнула толпа. – Любишь ты нас, как тараканов: где

видишь, там и давишь...

И взвились, сотрясли воздух и душу немца мстительные голоса:

– Душегуб! Убивец!.. Двоих стариков плетью задрал до смерти, женщину брюхатую не пощадил, опосля твоих палок умерла, Вавилу застрелил, барскими псами народ травишь, трем мужикам собаки горло перегрызли. Ваньку с Кузькой не в зачет в солдаты сдал... По твоей да по барской милости, убивец, шашнадцать могил на погосте!.. Ты всю вотчину перепорол. Вот ты как нас любишь... Братцы, а седни нешто не лил он нашей кровушки. Мы за невинного капрала вступились, а ты нас в кнуты, в палочья, в плети. Братцы-хрестьяне, смерть ему! Любил, змей, бороды драть, люби и свою подставлять... В омут! В речку!..

– Мужичка оччень хорошенькие, добренькие... Мне барин приказал... барин, барин, ваша господин... Змилюйтесь!..

Вдруг все пространство опахнуло ярким светом, рванул, потряс землю страшный громовой удар. Бушевавшая под навесом толпа вздрогнула, разом взлетевшие руки закрестились: «свят, свят, свят»... А управитель, побелев, пал на колени, заткнул уши, завизжал:

– О майн Гот, Гот. Смерть!.. Отпускайте меня в домочек...

Крестьяне издевательски захохотали, им было известно, что управитель до ужаса боится грома.

– А-а-а, покойника да грома небесного спужался?! – проговорил кудрявый парень. – Перекиньте-ка аркан рядышком с энтим. Подводи!

Управитель со страху онемел. Чьи-то мстительные руки накиннули ему на шею петлю.

– Стой, не так. Треба, чтоб не сразу подох. – Кудрявый парень с серьгой в ухе перетянул аркан с шеи на подмышки, петля охватила грудь, прошла под пазухами и туго затянулась возле крылец на спине.

Вздернутый управитель закачался лицо в лицо с удавленным старостой.

– Доннер... Блиц... Мертвый тел... О майн Гот... Что ви делает?! Солдаты, солдаты идут сюда... Офицеры, пушка... Снимайт меня, мушьицка шволачь!.. Шволачь!..

Ударил гром, управитель завыл, закашлялся, толпа из-под обширного, на столбах, навеса повалила вон.

Туча приближалась с великим шумом. От потемневшего неба мрак растекся по земле. Упругий порыв ветра взметнул пыль и сор, по-озорному задрал подолы сарафанов, распахнул полы зипунов, стал срывать шапки, трепать бороды.

– Мушьицка шволачь! Шволачь! Всех каторга! Сибир... – крутятся на веревке и потеряв всякую надежду на спасение, отчаянно выкрикивал управитель.

Ветер пошалил и стих. Но вот ему на смену с гулом, треском, как смерч, пронесся ярый ураган. Роща зашумела, закачала плечами, молодые березы внатуг согнулись до земли. Упали первые крупные капли. Опять сверкнула молния, тарарахнул гром, воздух разом присмирел. Из черной тучи обильными потоками хлынул дождь-проливень.

Всюду быстрый хлюпающий топот. Загнув хламиды на головы, во все стороны улепетывал народ, спасаясь от дождя.

– Дождь, дождь! – скакали по лужам радостные мальчишки. – Ныне с хлебом будем... Дождь!

Расположенная в поле, на отлете от барского двора, рига осталась одинокой. В ней ни души, и кругом полное безмолвие.

– Ой, што ви делайт!.. Снимайт меня... – вопил вслед удалявшимся крестьянам подвешенный на веревке управитель.

Дядя Митродор поотстал от толпы, сорвал с плеча вилы и, гонимый силой мести, побежал обратно к риге. Вскоре там раздался короткий страшный визг.

4

Прошел вечер, наступила ночь.

Пугачев с Семибратовым нашли приют у родителей погибшего капрала. Сюда пришел и артиллерист Перешиби-Нос.

В светце горела трескучая еловая лучина, золотые угольки падали в корытце с водой и, взбулькнув, умирали.

В переднем углу под образами, на столе, накрытом набойчатой скатертью, покоилось тело капрала царской службы Ивана Ивановича Капустина, на груди медали, на глазах большие екатерининские пятаки.

Спать не ложились, всех обуяла тревога и мучительная скорбь. Старик, кряхтя и роняя слезы, мастерил гроб сыну. Семибратов помогал ему. Старуха пластом лежала на полотах, маятно вздыхала, плакала. На коленях Пугачева, хмурясь на жалкий огонек, мурлыкала пестрая кошка. Пугачев вполголоса расспрашивал артиллериста о Павле Носове.

– Любил я старика... Где-то он, каков?

– В побывку тоже навроде меня отпросился, – тихо ответил Перешиби-Нос и вздохнул. – Чижало нашему брату солдату. С вами, вольными казаками, не уравнивать. Казак отвоевался и лежи дома на боку.

– Ну, брат, и нам не дюже сладко, – возразил Пугачев, поглаживая кошку. – Бедность, чуешь, душу гложет. Вот и мы с Семибратовым в дальние края едем горе мыкать, не от чего иного, как от бедности. Да замест спокойствия эвот в какую бучу втюхались.

– Уж вы, казаченьки, не спокидайте нас в этакой беде, – сказал хозяин.

Пугачев вынул из торбы напильник с бруском и принялся натачивать саблю.

– Да-а, – протянул Перешиби-Нос. – Вспомянешь по-доброму, ерш те в бок, и Прусскую войну. Да мы там, можно сказать, как паны жили. А как возвратились в Россию, Боже ж ты мой, аж сердце кровью облилось. Встретили нас в Питере превеликой муштрой на немецкий лад, да телесные наказания почасту были, солдаты в уныние пришли, с отчаянья на нож бросались, или в петлю головой... За одну зиму, помню, в одной только нашей казарме, ерш те в бок, семеро повесилось. А кой-кто и в бега ударился. Это в столице. А придешь в деревню в побывку, там и вовсе сквернота одна: голод, бедность да истязания от бар великие... Эх, ерш те в бок...

Вдруг беседа прервалась: по улице вскачь промчалась лошадь, за ней другая.

– Солдаты! Солдаты идут! – кричали за окнами.

Пугачев выскочил на улицу. Дождь кончался. В небе стоял на рогу месяц. Ведя в поводу упарившегося коня, к Пугачеву подошел парень в заплатанном мокром кафтане и взмокшей грибом шляпенке. Сбегались люди.

– Хозяевы, на сход ладьте, – возбужденно сказал им парень. – Мы с Мишкой Сусловым из Сукромен прискакали, солдаты из городу к нам на подводах понаехали, сорок девять душ, ахвицер с нимя... Утресь суды тронуться сулили, к обеду ждита...

Откуда-то пьяная долетала песня. Собаки лаяли. На колокольне опять ударили всполох. Вскоре барский двор, покрытый после дождя вязкой грязью, наполнился крестьянами. Зажгли костры. Жители грудились кучками, каждый к своей деревне: Машкина, Чупрынова, Карасикова – все они сбегались в село еще вчера на зов набата, а теперь, судя по выкрикам, по гулу голосов, инодеревенцы сговаривались

уходить подобру-поздорову восвояси.

– Кто верховодить будет? – слышались бодрые голоса. – Давайте поклонимся казакам.

– Слушай, громада! – Пугачев преподнялся на стремянах и замахал шапкой. Возле него плотно сбились только жители села Большие Травы. – У кого ружья, самопалы, тащи сюда, а пороху мы в барском доме пошукаем... Перепалка будет добрая... Только вы не трусьте, крестьянушки...

– Нет у нас ни хрена, казак, – заголосили крестьяне. – А кулаками супротив ружей не намашешь. Побьют нас!..

И многие подхватили:

– Побьют нас солдаты... Ой, мати-богородица, чего ж нам, горемыкам, делать-то?

Слыша это, инодеревенцы, один по одному, стали крадучись подаваться в стороны, отставать от крестьян села Большие Травы, кой у кого на загорбках узлы с барским добром. Тогда Пугачев что есть силы закричал с коня:

– Куда вы, стой! Не можно, мирянушки, в этокое время втикать до дому. Не можно своих бросать... Коли вы сгрудитесь воедино и дадите отпор всем гамузом, от солдатишек и дрызгу не найти: ведь вас полтыщи, как не более, на кажинного солдата десяток мужиков, за милую душу сомнете их, мирянушки. А уж мы постараемся... Мы Фридриха били, Берлин брали!

Крестьяне села Большие Травы безмолвно переминались с ноги на ногу, сопели, а те, что собрались утекать, кричали издали:

– Тебе хорошо, казак! Ты вскочил на конь, расшаршил ноги, да и был таков... А ведь нам солдатня-то кроволитье учинит. Ахвицер-то, поди, лизаться не будет с нами.

И еще то здесь, то там слышались малодушные выкрики:

– Покориться надо барину, с повинной ийти!.. Вот чего...

– А-а-а, с повинной?! Хоромы барские разграбили, узлов себе понавязали, господской наливочки нажрались да с повинной?

– Нате вам узлы, нате, подавитесь! – галдели инодеревенцы, с гневом швыряя в грязь тяжелую поклажу. – Эй, мужики, гляньте!.. Мы безо всего уходим...

Была серая ночь. В березах встряхивались, бредили грачи. На крестьян напала оторопь. В барский дом трусливые руки уже втаскивали выброшенную мебель, вносили узлы, рухлядь, вкатывали в каретник ободранные экипажи, а срезанную с фаэтонов кожу совали в кузова. Ожившая дворня, осмелев, бродила по комнатам, пытаясь под окрики дворецкого навести хоть какой-нибудь порядок в доме.

Толпа возле Пугачева редела, подтаивала с боков, как снежный ком возле костра. Казакам и Варсонофию Перешибиде-Нос, сидевшему ту же на коне, летели в уши боязливые речи оставшихся. Крестьяне, размахивая руками, сердито сплевывая, говорили о том, что вот набегут солдаты, усмирят народ и учнут вешать чрез десятого. Так, мол, было в селе Вознесенском, в сотне верст отсель, троих зачинщиков повесили, четверых запороли насмерть. А возле Пензы, а в Тамбовском уезде, а под Тверью – всем зачинщикам карачун пришел, вечную память спели.

Дух Пугачева помутился. Ведь он, проезжий казак, главный зачинщик здесь. Уж кому-кому, а ему-то первая петля будет. А не плюнуть ли Пугачеву на мужиков, не бросить ли все это заделье да вместе с Семибратовым не сигануть ли под шумок в кусты?

Но тут вылез вперед огромный парнище. Он зычно крикнул:

– Братцы! – сорвал с кудрявой головы шапчонку и шмякнул ее оземь. – Отцы, братцы, старики!.. Нам так и так пропадать доводится. Стой, братцы, до последнего! Солдатишек мы побьем, барина зарежем. Тады новый барин приделится сюды, авось вольготней под ним жить станет. Пострадать должны за правду, братцы... И-эх! Пропадать так пропадать! – и парнище, подпрыгнув, с великим отчаяньем снова шмякнул свою шапчонку оземь.

Народ, разбившись на кучки, шумел, совещался, кричал, спорил. Но вот люди повернулись к парню, к казакам.

– Верно, Микита, толкуешь, правильно... – все тесно сбились возле Пугачева. – Ну, а как ты мекаешь, Омелян Иваныч?

У Пугачева сразу прошли все опасения, все страхи за себя.

– Громада! – встряхнув головой, громко сказал он. – Время зря тратить не приходится. Избирайте наибольшего себе. Без головы не можно... Сами ведаете: руль кораблю дорогу правит...

– Тебя в наибольшие, тебя! – в один голос загудела громада. – Будитя попа!.. Вали все в церкву крест целовать, чтобы свято, чтобы друг за дружку, значит...

Всей ватагой двинулись к церкви.

В барской кузне четверо деревенских кузнецов, по указанию Пугачева, с азартом выковывали наконечники для пик.

Пока шла в церкви присяга, наступил рассвет.

5

Отчаявшиеся женщины, подхватив на руки малых ребят и обливаясь слезами, корили на барском дворе смятенных мужиков:

– Ах вы, нехристи, ах вы, пьяницы проклятые! Что это вы задумали?! Ведь солдаты идут... Бегите, оканные, скорей в лес... Хоронитесь!

Было присмирившие мужики вдруг ощетинились, стали огрызаться, пинать баб в загорбки, началась свара, потасовка, мужья стали «учить» жен уму-разуму, давали подзатыльники, слегка крутили за косы. Плакали-заливались ребяташки, визжали женщины, сиплыми голосами орали мужчины. От рева, от гвалта качался воздух.

– Геть! – закричал подскакавший Пугачев. У него через плечо, как генеральская лента, повязано полотенце – знак власти. Бесшабашный, молодой, он казался теперь возмужавшим, зрелым.

Драка стихла. Бабы смущенно стали оправляться, мужики расчесывать пятерней потрепанные бороды, подбирать сбитые шапки.

– Эй, слушай! – звонко бросил Пугачев. – Кто помоложе да поудалей, садись на конь. С полсотни конников наберется – и будя. Ну, живо, живо! Съезжаться сюда, на барский двор.

Несколько человек беспрекословно побежали к домам за лошадьми. Женщины сказали:

– Чем же вы, дураки бородатые, обороняться-то станете? Стойте ужо, мы хоть камень таскать будем... А ну, бабы, за камнем на речку...

Распоряженьем Пугачева и стараньем крестьян все было приготовлено: мост через речонку на большой дороге разобран, трое ворот барского двора закрыты и приперты изнутри бревнами, лошади заседланы, пики розданы, камни скучены по всему двору, крестьяне вооружены топорами, косами, свинчатками, безменами, крючьями на веревках, длинными ножами. Нашлось пять ружей, но пороху было маловато.

Пугачев поскакал к церкви. Он быстро залез на колокольню, где бессменно дежурили косоротый старик и парнишка. Высокая колокольня стояла на горе, направо лес, налево лес, а прямо широкая столбовая дорога. И как на ладони – пять убогих деревенок.

Поднявшееся над лесом солнце набирало силу, мокрая земля курилась, над мочажинами, над речкой залег туман.

Пугачев прищурился и, сделав ладони трубкой, впился взглядом в дорожную, покрытую сизой дымкой даль. Глаз степного человека зорок. Пугачев, пристально всматриваясь, вдруг засопел, плечи его зашевелились.

– Глянь, едут... На многих подводах. Дуй в набат, звоняй! – крикнул он, скатился с лестницы, вскочил в седло и, въехав в калитку барского двора, заорал в полный голос: – Е-е-едут!.. Дружки, приготовьсь!.. Стало, Варсонофий Перешибид-Нос ваш командир во дворе. Его слушайте... Ворота да калитки на запор. Ни впуск, ни выпуск... Семибратов, конники, айда за мной!

Сполошный колокол яростно бросал во все концы свой медный зов.

Бабы разбежались по избам. Оставшиеся во дворе крестьяне стали истово креститься, потуже затягивали кушаки...

Полсотни конников с пиками двинулись за Пугачевым в ближний лесок, чтоб там схорониться до

поры.

Два огромных козла, распространяя запах псины, вышли на улицу, раздумчиво стояли у калитки. Гоготали гуси, пели петухи, кричали утки, грачи с веселым граем улетали на поля.

– Омелян! – нерешительно окликнул Пугачева едущий рядом с ним Семибратов. – Как хошь, а я уеду... Пропадешь тут. Ну тя к ляду.

– Ну и проваливай к лешему под хвост, толсторожий дурень. Без тебя обойдемся... Лес по дереву да море по рыбине не тужат.

– Я к домам поворочу. На Дон... Как хошь... А тут не из-за чего биться... – Семибратов вздохнул, ему стыдно было поднять глаза на Пугачева. – Софье-то твоей кланяться?

– Подь в ноздю, дура, – буркнул Пугачев и въехал с конниками в лес.

Семибратов, понурясь и злобствуя на себя, что покидает друга, постоял, подумал и, вздохнув, повернул за Пугачевым.

Глава XI

Войнишка. Пир горой

1

Солнце высоко взнялось. Воинский отряд остановился возле церкви. Прозвучал рожок. Полсотни солдат с ружьями соскочили с десяти подвод, окружили офицера. Немолодой, нестарый, с унылым будничным лицом офицер, сугорбясь, сидел на коне. Ноги, брюхо серого коня и стоптанные, со шпорами, сапоги офицера заляпаны мокрой грязью.

С колокольни стащили косоротого старика и парнишку. Парнишка куснул солдату руку, рванулся, убежал. Офицер дважды опоясал старика нагайкой, спросил, где бунтари. Старик мычал, маячил руками, он был глухонемой.

Улица была пустынна, только горланили петухи да кошки шныряли чрез дорогу. Солдаты обежали два десятка изб – всюду пусто. Лишь в одной – столетняя старуха на печи.

Офицер в дороге простудился, у него болели зубы, он был зол и раздражителен. Он в душе проклинал свою судьбу, начальство и этих буйнов-мужиков. За каких-нибудь два года вот уже четвертый раз его гоняют на усмирение волнений, а в чинах обходят. Нет, не везет ему...

Отряд вынул из ружейных стволов паклю, забил пули. Все маршем, под бой барабана, направились к барскому двору.

Офицер осмотрелся. Барский дом с садами глядел в поле, а в полуверсте зеленел сосновый лес. В барском дворе присмирели.

– Полон двор народа, ваше благородие, – докладывали солдаты, прильнувшие к щелям крепкого забора. – Сотни с две, а то так и боле...

– Отпирай! – и солдаты загрохотали прикладами в калитку. Верх забора утыкан длинными острыми гвоздями, чтобы не залезли воры. Только наверху высоких ворот не было гвоздей.

Офицер подъехал к воротам, сказал солдату:

– А ну, поддержи коня, – поднялся во весь рост и встал на седло, теперь ворота оказались ему по пояс. Левой рукой он уперся в поросшую лишайником крышу ворот, а в правой держал пистолет.

– Эй, вы! – сердито закричал он. – Возмутители против священных прав ее императорского величества. Немедленно открыть ворота! Немедленно выдать всех зачинщиков!

Весь двор пришел в движение. Суровая и любопытная толпа стала осторожно приближаться к воротам, над которыми высилась скрытая до пояса фигура офицера.

– Р-разойдись!.. Стрелять буду! Выдавай, мерзавцы, зачинщиков!..

Раздались отрывистые выкрики:

– Чтоб тебе язык в нутро поворотило! Нет у нас зачинщиков. Мы друг за друга.

– Мы не супротив государыни, мы супротив злодея-барина. Смертоубивец он!

– Шашнадцать могил!.. Капрала задрал! Посмотри поди, капрал царской службы в гробу лежит.

Вникни, разбери...

– Молчать, мерзавцы! – яростно гаркнул он. – Сдавайтесь, а то кровью весь двор залью...

Толпа завывала, в офицера и в сидевших на заборе солдат полетели камни, палки.

– Вали-вали! – подбадривал толпу Варсонофий Перешиби-Нос, перебегая от кучки к кучке. – Швыряй гущу!

Глаза офицера выкатились, он заорал:

– Нате вам, вшивые черти! – и выстрелил из пистолета.

Толпа шарахнулась в стороны, рыжий дядя Митродор с вилами, вскрикнув, упал замертво.

– Пли! – скомандовал офицер солдатам. Но увесистый камень, ударив офицера в голову, сразу оглушил его. Он взмахнул руками, пал животом поверх ворот и, потеряв сознание, впереверт кувырнулся на барский двор.

– Ура-а! – радостно завопили мужики и с оглушительным гамом бросились топтать его.

– Стой, не трог! Тащи офицера к бане мыться! – распорядился Перешиби-Нос и, выбежав на середину двора, замахал шапкой, закричал:

– Ого-о-онь... Стреляй солдатню!.. Пуляй, пуляй их...

Из окошек людской притаившиеся крестьяне открыли по солдатам недружную пальбу из ружей.

Завязалась перестрелка. На дворе беготня, крики.

– Эй, мужики! – сполошно заорал с высокой липы дозорный парень. – Дворня понаехала! С ружьями!

Действительно, человек двадцать дворни под началом барского бурмистра из богатеньких крестьян прытко подбегали на конях к помещицкому дому. Господские холопы еще вчера сопровождали беглеца-барина, сегодня вернулись на помощь воинскому отряду.

– Давай, давай веселей, солдатики! – шумел с коня ненавидимый крестьянами хитроглазый бурмистр. Голос у него писклявый, бороденка реденькая, щеки исклеваны оспой. – Мы своего господина слуги верные. Чего смотрите? Руби забор!

Топоры с кряком застучали в смолистые доски. Притащили два бревна. Раскачивая их, дворня и солдаты усердно долбили ими в ворота.

Перестрелка продолжалась. У мужиков порох на исходе. Два барских егеря хищно карабкались на забор, как росомахи. Град камней сшибал с забора солдат и дворню. При каждой удаче осажденные орали дружное «ура».

– Забей пули в ружья! – скомандовал отряду старший солдат, заменивший офицера.

Ворота затрещали. С треском обрушились два звена забора.

Барский двор широко открылся. Крестьяне, увидав солдатские штыки, отхлынули прочь, стали жаться к флигелям, к людской, к сараям.

– Васька! – задрал к вершине дерева усатую голову, закричал Перешиби-Нос. – Пугача не чутко с мужиками?

– Едут, едут, растак их!.. Ура! – и Васька, как белка, поскакал по сучьям вниз и спрыгнул с дерева.

– Сыпь на полку порох! – скомандовал старший солдат.

По полю во всю прыть мчались серой лавой полсотни конников.

– Ударь, ударь, молодчики! – звонко голосил впереди конников Пугачев на своей любимой лошадке Ласточке. Рядом с ним, нахлобучив шапку до бровей, скакал – пика наперевес – Ванька Семибратов.

– Ур-р-ра... Ур-ра! – чувствуя сильную подмогу, крестьяне во дворе разом хлынули к пролету. Впереди них, с грузным артиллерийским тесаком в руке, мчался Перешибид-Нос. – Ур-ра! Ура!

Заполошно ударил барабан. Солдаты и дворян, видя мчащихся конников и бегущих мужиков, сразу оробели. Дворян покарабкалась на лошадей.

– Ударь, ударь, молодчики! – и Пугачев с Ванькой Семибратовым мигом сбросили пикой с седла трех барских холуев.

Солдаты испуганно прижались спинами к забору, дали недружный залп и заорали: «Сдаемся!» Мстительно заработали мужицкие колья, топоры. С разрубленным черепом, истекая кровью, валялся бурмистр. Крестьяне яростно топтали его. Уцелевшая дворян, настегивая коней, утекала во всю прыть. Солдаты в страхе побросали ружья, пали на колени:

– Мы не своей волей... Не убивайте нас!

Им вязали руки. Упорных, пустивших в ход штыки, без жалости умерщвляли.

Все было кончено.

2

В барском дворе зачинался пир. Победители поймали поваренка Мишку и вывели у него, что под барским домом есть подвал, а там бочка старой водки и гора бутылок. Набежавшие бабы топили кухню, кипятили в котле кофе, прямо в зернах, валили туда сахар, лили молоко: «эх, хошь денек да наш», спорили друг с дружкой о том, как надо готовить кофе по-господски, незлобно перекорялись.

Хлебнувшие вина крестьяне резали, свежевали барских овец, свиней, тащили к стряпухам и мясо и квашеную капусту, ухмыляясь в бороды, говорили:

– Эх, хошь убоинки поесть... Ну и добро без барина... Паска господня!

– Вот ужо-ужо, – пугали их бабы. – Думаете, барин стерпит?.. Вот ужо-ужо. Всех вас передерут да перевешают...

– Ладно, ладно... Пожалуй, веревок не хватит... Да что у нас, ноги, что ли, отсохли? На вольные земли ударимся, в бега.

Послали благовестить в большой колокол. Во двор притащили аналой, хоругви, иконы, привели попа с дьячком, раздули кадило, велели попу облачиться, велели благодарственный молебен петь о дарованной победе, а ежели поп будет упорствовать, они надают ему по шее, тогда он больше им не поп и пускай убирается ко всем чертям...

Кудлатый смиренный батюшка в лаптях и в посконной заплатанной рясе облачился в парчовые ризы, взял заскорузлой рукой кадило и, не попадая со страху зубом на зуб, начал молебен. Нос у него толстый, щеки толстые, голос толстый. Крестьяне во всю глотку подпевали ему. Мужики, страшно выкатывая глаза, азартно ревели быками, бабы тоненько повизгивали.

После молебна расселись на луговине обедать. Все хорошо подвыпили, даже ребятишки. Батюшка, отец Сидор, любитель покутить, больше не трясся, он хлебал жирные щи, жевал свинину, целовался, пел плясовые песни, плакал, легонькая бороденка его моталась.

– Ох, ох, горе нам, братия моя... – качал он кудлатой головой. – И вас всех в Сибирь угонят и меня заедино с вами, аки протопота Аввакума-многотерпца...

– Пущай гонит! – шумели крестьяне. – А кто ж на него, на убивца, спину-то будет гнуть? А?

Сладкий кофе хлебали ложками; возле котла – давка, всем любопытно отведать барского пойла. Крепкими зубами хрупали зерна, сплевывали на луговину – горечь!.. Не то всерьез, не то в шутку укоряли баб:

– Не упрел горох-то ваш... Его варить да и варить надобно.

Пьяный поваренок, черноглазый Мишка, в белом колпаке и при переднике, покатывался со смеху:

– Зерна-т молоть надуть, кофей-то... Ах вы, ду-у-ры!..

– Ври, молоть... На ветрянке, что ли?

– Пошто на ветрянке, а такая меленка есть ручная, хромоножка-барыня сама мелет...

– Так что ж ты ране-то молчал, цыганские твои бельма! – напустились на него смутившиеся хмельные бабы; они с хохотом загнули Мишке салазки, навалились на него, стали целовать. Мишка орал, отлягивался от баб.

Несколько парней и мужиков, вспомнив о пленных солдатах, пошли угощать их. Шли в обнимку,

пошатываясь, земля под ногами качалась.

Из пятидесяти человек двое солдат убиты, тридцать пять сидели взаперти, остальные пропали без вести, надо быть – бежали.

– Вот, солдатики, кланяемся вам винцом... Уж не прогневайтесь, – и крестьяне стали обносить солдат водкой, совать куски хлеба.

Связанные по рукам солдаты сидели в сарае на соломе, старые и молодые, с заплетенными, как у девок, косичками. Недаром, когда они, направляясь в село Большие Травы, проходили по деревням, маленькие ребятишки, указывая на них пальцем, кричали:

– Мамынька, деда, тятя, глянь – девки в штанах идут!

Солдатам на время развязали руки, они выпили вина, пожевали хлеба, утолили водой жажду, стали умолять крестьян:

– Отпустите, ради Бога, нас, не делайте нам позора...

– И не проситя, и не проситя, – отмахивались руками крестьяне, – не бывать тому!.. Вы опять супротив нас пойдете.

Возле кузни – толпа. Мужчины сдернули с лохматых голов войлочные шляпенки, крестятся. На земле – безжизненное тело рыжебородого дяди Митродора в беспоясой, залитой кровью рубашке. Скуластое лицо спокойно, руки спокойны, они сложены на груди крест-накрест, они больше не схватятся за вилы, а плотно закрытые глаза никогда не увидят неба.

Рядом с ним сидит на камне в понурой позе сгорбленный отчаяньем капитан Несменов. Мундир, рейтузы да и сам он весь в грязи. Голова низко опущена. Он стиснул виски ладонями – на указательном пальце золотое обручальное кольцо, – упорно глядит в землю, ничего не видит, ничего не слышит. Он крепко прикован цепью к труп убитого им Митродора. Кузнецы постарались. Такова была воля взбунтовавшихся крестьян.

– Так и в землю его живьем закопаем с покойничком вместех... В одну могилу. Бог рассудит их... Чего, ахвицер, молчишь? Эй, ты! Говори.

Офицер опустил руки, вяло поднял голову, взглянул на толпу мутными глазами. Лицо у него некрасивое, нос длинный, губы толстые, глаз подбит, ухо надорвано. Он ни слова не сказал толпе, только вздохнул, вновь низко опустил сидящую голову, опять сжал ладонями виски. Истопанному, избитому телу его было больно, мучительно сжималось сердце, сердце его тосковало большой тоской.

– Поди, деревенька у ты какая-никакая есть?.. Поди, тоже тиранишь мужиков-то крепостных своих?.. Да ты язык, должно, проглотил, чего ли? Эй, ты!

Нет, у капитана Несменова деревеньки не было, а была жена, мать, четверо детей, была унижительная бедность и лишения.

У рыжего дяди Митродора, что лежал бездыханным на земле, тоже была мать, жена и пятеро детей. Он тоже очень беден, он не богаче офицера, он, пожалуй, много бедней его. Вот теперь его семья осиротела, кормилец-поилец мертв. Но семья еще не ведала о его смерти, да лучше бы ей об этом и не знать – то-то будет горе.

Степанида негромко сказала:

– Вот бы этак-то нашего барина-змея приковать... А этот какой– то смирный... Чегой-то жалко, бабы, мне его, ахвицера-т...

Вдруг плечи и полуседая голова сидевшего в согбенной позе офицера задержались, цепь звякнула, перхающий не то кашель, не то стон вылетел из его груди.

– Плачет, – прошептали бабы.

У ног офицера поставили кувшин с водой, положили полкраюхи хлеба.

– Пожуй... Испей водички-то. Человек ведь тоже... – слышались соболезнующие голоса.

Не отрывая от головы рук, офицер сердито пнул ногой кувшин, пнул краюху хлеба. Цепь, соединяющая пуповиной живого и мертвого, натянулась, звякнула, покойник шевельнулся.

А там, посреди двора, под тремя высокими липами, гулял народ. Три трехструнные балалайки звенькали, бубен бил, пастушьи рожки дудели, десяток парней прицокивал в такт пустопорожними бутылками. И под эту развеселую музыку с удалством и присвистом шлепали лаптями плясуны: девки в пестрядинных сарафанах поводили круглыми плечами, подбоченивались и, семеня ногами, проплывали павами. Возле них, приседая, подскакивая, кувыряясь через голову, крутились парни.

В другом кружке гулял захмелевший поп. Он сбросил подрясник, сорвал с головы скуфейку и под общий хохот трижды пускался в пляс, трижды валился вверх лаптями.

– Винца, батя, переложил! – хватаясь за животы, хохотали бражники.

Всюду было весело: на барском дворе, и возле церкви, и на улице села. Крестьяне ходили в обнимку, пьяными голосами нескладно кричали песни. Драк не было.

Наступил вечерний поздний час, а село еще не уgomонилось. Прилетевшие с полей скворцы, грачи и всякая малая пичуга сроду такого веселья не видали и не слыхивали таких разудалых песен.

3

В барском доме степенные крестьяне – старики и середовичи – окружили стол, тот самый стол, за которым еще так недавно пировали баре.

Замест бар сидят за столом пегобородые старцы с длинными клюшками в руках, сидит Емельян Иванович Пугачев да еще курносый дьячок с оловянными глазами и потешной косичкой. Кругом – народ. Все трезвые, и Пугачев трезвехонек. А вот как хотелось ему оскоромиться винцом, большой соблазн был, да на таком горячем деле не дозволила душа. Пугачев запхал в торбу восемь бутылок заграничного вина, да Ванька Семибратов бутылок шесть, ежели все обойдется честь-честью – погуляют; вот уж, может статься, в соседнем селе такой пир загнут, такую хвиль-метель подымут с парнями да девахами, что, ой-люли, завей горе веревочкой!

У дьячка Парамоныча от перепою да от страха рука дрожит, гусиное, хорошо очиненное перо по голубой господской бумаге идет вспотык, буквы пляшут, закорючки да хвостики виляют, строки клонятся книзу. Дьячок щурится, протирает круглые железные очки подолом холщовой набойчатой рубахи, вздыхает, крестится и говорит:

– Охо-хо... Братия, ослобоните... Страшусь против барина идти... Он меня, человека убогого, собакам стравит...

– Пиши, пиши, – понуждают его крестьяне, – ты ведь наш хлеб-то ешь, а не барский. Страдать, так всем вместях. Куда мы, туда и ты. Пиши!

Перо скрипит. Пишется слезное прошение на имя «благочестивейшей, всесвятнейшей, всемилостивейшей и самодержавнейшей государыни Екатерины Алексеевны, всечестной матери сирых и убогих».

– Чего написал-то? – поводя пушистыми бровями, спрашивает важный видом Пугачев.

Дьячок, прищурившись и наморщив нос, читает:

– «...а как вышеглаголемый помещик в неизреченном жестокосердии своем идет супротив законов...»

– Пиши, – говорит Пугачев, – супротив всяких законов Божеских и человеческих. И мы, горькие, не зрим себе заступления от толикого мучения и тиранства. Написал?

– Постой, постой, не шибко борзо. Слеп я, – скрипит дьячок пером и голосом; от дьячка пахнет винным перегаром и лампадным маслом, по его приплюснутому носу струится пот.

– Дядьки да деда, обсказывай, каки примали тиранства? – все так же хмуря брови, обращается Пугачев к крестьянам.

Дед Никита, борода лопатой, плешь блестит, побряхтел, пошевелил покатыми плечами и, ударив клюшкой в пол, гулким басом произнес:

– Дочь мою молодшую, замужнюю, брюхатая она была, на сносях... Барин выдрал ее кнутьями, будто бы она сала кусочек унесла с барского двора... По животу били. Она скинула мертвеньким, а на третий день Богу душу отдала. – Никита заморгал, отвернулся.

Пугачев вздохнул и сердито крякнул.

Другой старик сказал:

– Барин полем проезжал, старуха моя промешкала поклон отдать, барин плетью ее по голове со всего маху, а в плети-то пулька-свинчатка, барин-то прошиб голову бабке-то, наскрозь прошиб, до мозга. Бабка

ума рехнулась, по сей день в дураках ходит. Сладко ли?

– Пиши! – крикнул Пугачев дьячку. – Чего слюни распустил?

Встал третий дед, горбатый, он одет в последнюю рвань и тлен, заплатка на заплате.

– Отпиши, Парамоныч, поусердствуй, – сказал он дьячку. – Внучка моя, девчоночка Марфутка, при горбунье-барыне в услуженье состояла. Лядащенькая такая да тихая... Чем-то не утрафила она барыне-т, злодей-барин своеручно арапельником собачьим исстегал ее, а тут схватил за ноги да разов пяток головенкой о печку грохнул... Горячка приключилась с Марфуткой-то, умерла, царство небесное ее детской душеньке...

Прошение «чадолюбивой матери отечества» строчится и час и два. Случаи мучения и тиранства приводятся страшные. В толпе слышатся тяжелые вздохи:

– Шашнадцать могил, шашнадцать могил...

Глаза горят, кровь в жилах то холодеет, то вскипает.

Возле двери в коридор стоят на карауле кудрявый парнище с топором и Ванька Семибратов.

Дьячок изнемог. Сердобольная рука ставит пред ним штоф водки.

– Пиши, – говорит Пугачев. – Тако поступать, как поступает рекомый злодей-помещик, и в Туретчине невмысленно, а ведь батьковщина наша Россия есть. Написал, что ли? И вознамерились мы, горькие, защитить себя самолично...

Долго еще писалось прошение. Зажгли пред дьячком четыре свечи. Выпил дьячок полтора стакана водки, нос сизым стал, губы заслюнявились, косичка расплелась. В конце бумаги дьячок написал:

Бросив перо и размяв движением пальцев затекшую руку, дьячок покивал головой и с горькой улыбкой молвил:

– Неразумные мужики... Жалко мне вас и себя такожде. Ведь высочайший престрогий указ есть – жаловаться мужикам государыне на господина своего не повелено.

– Мы выборных пошлем, как-нито всунут ей в ручки белые... В церкви где, али как... А где надо, и деньжатами мोगим, дело покажет... Не погибать жа! – шумел народ.

– Мужики неразумные... Выборных ваших схватят и в цепи закуют, – дьячок допил водку, закашлялся и, сугорбленный, пошел, пошатываясь, к выходу.

Глава XII

Погоня. Вино было крепкое

1

Опять ночь спустилась. В синем небе над белой церковью месяц встал. На колокольне дозорит зоркий и трезвый мужик Сысой. По дороге к городу выехали на «вершних» конях два расторопных парня с охотничьими мало-пульками. Чуть что – прискачут в село, поднимут гвалт.

Казачи ночуют на поповском сеновале. Они дали слово крестьянам не покидать их в такой беде. Варсонофий Перешиби-Нос, пришедший на родину в побывку, спит в хате престарелых родителей своих, жена его зачахла в городе и прошлой зимой умерла.

Вся природа погрузилась в сон. Спят леса, цветы и травы, спят собаки, куры, кони, спит смертным сном в гробу умученный, исхлестанный плетьюми капрал.

Все спит в природе, лишь соловьи не спят, да «омертвевший» месяц привычно катится по небосводу, отражая на сонную землю солнцев свет.

Впрочем, во многочисленных избенках бедняки-крестьяне не смыкают глаз. Им не до сна. Что-то будет завтра, чем-то кончится вся эта кутерьма, кто-то будет вздернут на удавке, кто выпорот кнутом, кого погонят на вечные времена в Сибирь или отдадут не в зачет в солдаты? Сердце растревожено, мозг горит, глаза таращатся во тьму, хоть выткни.

Не спит и побитый взбунтовавшимся народом грабитель-целовальник. Рыжеволосая кудлатая голова его обмотана мокрым полотенцем, одутловатое лицо в кровоподтеках, поврежденная в суставе нога вспухла, мозжит и ноет, она обложена намыленным мочалом. Целовальник постанывает тонким голосом и строптиво косится на икону, что не смогла уберечь его от разграбления.

– Свои жа, свои жа... Ах, черти голозадые, – бормочет он. – Ведь я такой же крепостной крестьянин нашего господина, с мужиками одних кровей. А вот, пообидели, пообидели... своего же брата... за что, про что? Да гори они все огнем! Чтоб барин на осине их всех перевешал, сволочей анафемских! Ох-ти мне... Чем же таперича я стану барину оброк платить?.. Ведь оброку-то барин пятьсот рубликов в год с меня дерет! А где я возьму? Все побито, все пограблено... А барин – сквалыга, он все едино взыщет, избу отберет, трех коров отберет, лошадушек к себе сведет, с сумой в куски пустит... Ох-ти мне...

Он лежит на кровати, жена плачет, четверо ребятишек спят на полу, хорошие сны видят, улыбаются.

Отцу Сидору не заспалось. Свесив с полатей взлохмаченную голову, он крикнул:

– Матка! Беги за дьячком. Пуцай к заупокойной обедне звонит. Капрала седни хоронить, Ивана Ивановича Капустина.

– Дрыхни! – огрызнулась матушка, дремотно покачивая ребенка в зыбке. – Еще третьи петухи не пели... Пьяница!

По груди, по лицу чутко спящего Пугачева сиганула мышь. «Ой!» – крикнул он сквозь сон, едва продрав глаза и, ничего не соображая, сел. Темно. Он пощупал левой рукой – зашуршало сено. Он пощупал правой – наткнулся на чье-то широкое лицо. Это Семибратов захлеб и с треском, как барабанный бой, храпел возле него. Пугачев пришел в чувство, ткнул соседа в бок, сказал:

– Ванька, вставай... Матрешка в ворота стучит...

Семибратов открыл сначала левый, потом правый глаз, пошлепал губами и сонно пробормотал:

– Чего врешь. Кака така Матрешка?

– Заспал должно. Ведь ты сам же Матрешку-то присугласил сюда, девку-т...

– Ты слепых-то на столбы не наводи, ботало коровье!.. – осердился Семибратов.

Пугачев захохотал. Семибратов поднялся, поскреб двумя пятернями взъерошенные волосы, позевнул и вновь упал на сено.

– Да ты что, черт! – крикнул Пугачев и встряхнул Ваньку за шиворот. – Айда живчиком на улку, треба караулы проверить.

Он не больно-то надеялся на осторожность подгулявших вчера мужиков, ему самому не терпелось дознаться, бодрствуют ли караульные возле барского амбара, в котором заперты пленные солдаты.

Пугачев распахнул ворота поповского сеновала, казаки вышли на свежий воздух. Месяц закатился, побледневшие звезды еще не погасли, ночь кончалась, серел предутренний рассвет. Казацкие кони паслись во дворе на травке. В поповской избе открыто окно. Слышно, как скрипит березовый оцеп зыбки, как бессонная попададя, качая ребенка, бредит колыбельную:

Вырастай, моя малютка, будешь в золоте ходить,
Будешь в золоте ходить, чисто серебро носить...

Казаки перекрестились на церковь, отряхнулись от сена, оправили сабли. Кругом сонная тишина, только в стороне барского дома лениво побрехивали собаки. Пугачев с Семибратовым направились туда. Пугачев шел стройной, быстрой поступью, Семибратов вперевалку еле поспевал за ним.

Чем ближе подвигались они к барскому двору, тем отчетливей доносились до их ушей и лай собак и отдельные выкрики.

– Чи мужики проснулись, чи дворня зыкает, – и казаки набавили шаг.

Вот и крашенный забор. Казаки нагнули шеи и через вчерашнюю пробоину в заборе пролезли в барский двор.

Пугачев вдруг широко открыл глаза, разинул рот и обмер.

– Ванька, – прошептал он. – Чего это? Чи сон, чи нет...

Ванька, чтоб окончательно проснуться, больно дернул себя за нос и тоже разинул рот. Пред казаками предстало поразившее их зрелище.

Чрез мутную сутемень полурассвета серел господский дом, на высоком балконе в ливрее с галунами стоял старый дворецкий, окруженный дворней.

На плацу пред домом неясно маячили построившиеся в две шеренги солдаты, а возле них офицер с рукой на перевязи и с обмотанной полотенцем головой. «Да неужто это он? И неужто это пленные солдаты?» – мелькнуло в сознании казаков. Да, это был капитан Несменов. Он начал выкликать солдат по фамилии и отмечать в списке:

– Митрофанов!

– Здесь.

– Палкин!

– Здесь.

– Дедушкин!

– Нету... Убитый он...

Оба казака, осторожно ступая, выпятились задом на улицу и притаились возле пролома в заборе.

«Измена, – подумал Пугачев, – всех пленных солдатишек выпустил какой-то враг... И офицера вкупе. Ну и дураки же мы».

Казаки напрягли слух. Офицер окончил перекличку и, подняв взор к балкону, болезненным голосом, едва ворочая языком, спросил:

– Лука Платоныч, а не знаешь, друг, куда наши ружья подевались?!

– А ружья, ваше благородие, мужичье порастащило, – перегибаясь чрез перила, ответил дворецкий. – И господских три ружья украдено... Мой совет, ваше благородие, перво-наперво двух казачишек забеглых сыскать да сцапать, а третьего – солдата нашего села Варсонофия, фамиль Перешиби-Нос, он у своих родителей в побывке... Эта троечка – главные возмутители... Ежели их в кровь выпороть, всею подноготную докажут. А опосля того и повесить не грех.

Пугачев с Семибратовым переглянулись. У них враз заскучали животы.

– Без ружей мы бессильны, – уныло сказал офицер и, постанывая, присел на разбитый из-под вина ящик. – Значит, барин ваш в незадолге обещал прибыть?

– С минуты на минуту дожидаем. Ночной стафет с нарочным получен. Быдто артилерия идет, три пушки да конники... как их?.. дрягуны, што ли. Да скоро теперича, скоро. Ишь, рассвет идет, небо-то на восточной стороне опахнуло прожелтью... Уж теперича всполох не забрякают на колокольне, не-е-т... Моим распорядком, ваше благородие, звонари сняты с-под колоколов, в подвале сидят. А егеря да доезжачие двух бунтовских конников на дороге изловили, парней нашенских, такожде в подвале обретаются, кнутобойной парехи ждут. А лапотники-то наши, вы сами ведаете, вином обожрались, до полден подрыхнут. – Дворецкий понюхал табаку, посморкался и спросил: – А не угодно ли вашему благородию крепкого чайку на скору руку? Самовар вскипел...

В этот миг мимо притаившихся Пугачева с Семибратовым проехали на рысях трое драгунов. Увидав казаков, они повернули лошадей и, подъехав к ним, спросили:

– Помещичий дом этот, что ли?

– Этот самый, – сказал Пугачев.

– А вы кто такие? – спросил старший.

– Слуги барские. Добро его стережем, – ответил Пугачев. – Езжайте во двор, там чаю вам сготовили, самовар кипит.

Драгуны, не сказав ни слова, поехали к воротам, а казаки что есть силы припустились на попов двор. Прибежав, они поспешно стали снаряжаться: седлали коней, совали в торока хлеб, лук, бутылки с барским вином, перекладывая их сеном, чтобы в дороге не побились. Эх, надо бы Перешиби-Носа разбудить, да черт его ведает, где он ночует...

– Давай, давай, пошевеливайся, – торопил Ваньку Пугачев.

Восток все больше наливался зарей, в березах встрепенулись птицы, по соломенной поповской крыше степенно выступал лобастый кот, в хлевах стали взмыкивать коровы, а люди все еще не пробуждались.

Вдруг где-то близко, может быть, возле барского двора, ревнула пушка, казацкие кони заплясали, лобастый кот, взягнув задними ногами, оборвался с крыши, грачи дружно с шумом сорвались с гнезд и закружились над селом. Казаки вскочили в седла.

– Втикаем, Ванька! – крикнул Пугачев. – Прядай, чертяка, до разу!..

Пугающе и страшно ревнула другая пушка. Все село враз всполошилось, загрохали калитки, заскрипели ворота, стали отрывисто перекликаться люди.

Мимо церкви проскакал эскадрон драгунов, за ним быстро шли безоружные солдаты. Затрубил рожок. Драгуны спешили.

– По избам! – раздалась команда. – Мужиков таскать на барский двор!

2

Казачи, нахлестывая коней, скакали к лесу. Окруженная верховой дворней, катилась по столбовой дороге к селу Большие Травы громоздкая карета с господами.

Казачи, не решаясь ехать большаком, правились по опушке леса, выискивали свертка на проселок.

– Омелька, – сказал Семибратов. – Ты врал, поди, быдто бы Матрешка стучалась, меня требовала?

– Вот толсторожий дурак, – захохотал Пугачев, – погони нам не миновать, а он – Матрешка...

Они свернули на проселок. Вихлястая дорога пересекла березовую заросль и вынесла казаков на усыпанную полевыми цветами луговину. Здесь пасся большой табун барских лошадей. Жеребята-одногодки и стригунчики то валялись на росистой траве, то, задрвав хвосты и взлягивая, весело взад-вперед носились. На пригорке, сторожко подняв голову, стоял высокий, статный жеребец, вожак табуна. Под мягкими лучами выплывавшего из-под земли солнца рыжий жеребец казался изваянием из бронзы.

– Ах, сатана... Вот конь! – восторженно присвистнул Пугачев, любуясь жеребцом.

Жеребец повернул красивую голову с белой звездой на лбу в сторону казаков и залиvisto заржал. Визгливо заржали в ответ и казацкие лошадки. Тогда почти весь табун бросил щипать траву и с любопытством повернулся к всадникам. Холеные, породистые кони, приветствуя казацких лошадеенок, стали размашисто кивать им головами, как бы раскланиваясь с ними, и было двинулись им навстречу. Но бронзовый жеребец, чтоб прекратить беспорядок, сорвался с места и, распушив длинный, по щиколотку, хвост, с полным сознанием своей красоты и мощи величественно и неспешно пронес себя по луговине, опоясав табун дугой. Когда он как вкопанный остановился, малые жеребята, сразу атаковав его, затеяли с ним потешную игру. Грациозно подобрав передние ноги, они подпрыгивали к его высоко вскинутой голове, пытаясь приласкаться, или, слегка согнув шеи, с разбегу проскакивали у него между ногами под брюхом, как под аркой. Бронзовый жеребец стоял, как изваяние, лишь пошевеливал хвостом, поводил ушами, с кротостью и любопытством посматривая на свое потомство. Статные кобылицы щипали сочную траву, косясь на красавца-жеребца и тайно, может быть, вздыхая.

– Нам заводных [\[51\]](#) коняг треба взять, – сказал Пугачев, – а то на нашенских-то не утечь, словят, чего доброго.

– Жеребец не даст, загрызет, – возразил Семибратов.

– Ты прочь гони жеребца, дуй его хорошень нагайкой, ежели сунется, а я спворю двух добрых меринков, благо пастухи дрыхнут.

Пугачев отрезал от краюхи большой ломоть хлеба, круто посолил его и, привязав свою лошадь к березе, смело вошел в табун. Походил там, ласково, с цыганской повадкой, посвистал, выбрал крепкого коня. – «Серко, Серко...» – шлепнул его по мускулистой холке, отломил кусок хлеба и всунул ему в мягкие губы. Конь съел вкусную подачу и, похрапывая, стал лизать соленую ладонь чужого человека.

Пугачев вынул из кармана ломоть, мазнул им по лошадиным губам и, поманивая коня: «тирсе, тирсе, тирсе», сначала прытко зашагал от него, затем пустился трусцой к лесу, соблазняя послушно бежавшую за ним лошадь соленым лакомством. Миновав табун, Пугачев схватил коня за гриву и в момент уселся на него верхом. Семибратов, потряхивая нагайкой, наблюдал за рыжим жеребцом и за проворным другом. Жеребец сердито бил передней ногой землю, потом как-то по-особому пронзительно заржал и, выгнув шею, вмах помчался на пригорок.

Солнечный шар только-только успел выкатиться из-под земли, а казаки уже заседывали в перелеске

холеных барских лошадей.

Вдруг, и совершенно неожиданно, на казаков набросилась подкравшаяся молча собачья свора.

Псы примчались со стороны пасшегося табуна. Очевидно, они вместе с пастухом всю ночь честно стерегли табун, а перед утром их, как на грех, свалил тяжелый сон. Лохматый, весь в шишках чертополоха пес яростно вцепился Семибратову в зад и сразу вырвал большой клоч штанов. Семибратов дико заорал, с силой пнул пса сапогом, потерял равновесие, ляпнулся на спину и, продолжая орать, стал отчаянно отлягиваться ногами. Пугачева атаковали сразу три пса.

– Ванька, Ванька! – кричал он, выхватив саблю. – Держи, черт, лошадь! – Но зная, что Ваньке приходится туго, он вмиг схватил левой рукой поводья барских лошадей и, рубнув саблей, отсек лохматому псу, что наседавал на Ваньку, хвост вместе с частью зада. Сдерживая взвизгивших на дыбы коней и разъярившись, он рубнул другую собаку с такой силой, что развалил ее пополам, и сабля его, задев березовый пенек, сломалась.

Семибратов вскочил и тоже выхватил саблю. Бесхвостый пес колесом крутился по земле, пронзительно визжал, а две уцелевшие собаки, испуганно поджав уши и оцетинив хребты, отскочили прочь. Подбегали два пастуха с кнутами.

– На конь! – скомандовал Пугачев, быстро подобрав отломившийся клинок сабли. И казаки, продираясь сквозь чащу, ходко двинулись чрез заросль куда глаза глядят, за ними бежали привязанные к седлам казацкие лошадки.

Исхлестанные ветками и сучьями, с расцарапанными в кровь лицами, они вскоре выбрались на большую дорогу и верст тридцать без передышки проскакали во весь опор. Кони – как в мыле, из оскаленных ртов лепешками шлепалась на землю белая пена. Особенно заморился конь под Пугачевым: широкоплечий казак не тучен, но дюж, он весь как сбит из тугих мускулов и крепкой кости.

Казаки были в одних рубахах. Сложенные чекмени ремнями прикручены к седлу. Пугачев первым соскочил на землю и стал разминать затекшие ноги. Он взглянул озорными глазами на Ваньку Семибратова, устало слезавшего с седла, хлопнул себя по бедрам и раскатисто захохотал: на самом заду парня, обнажив тело, зияла прореха размером с большую сковородку.

– Эк тебя пронимает, бородатого лешегона, – ощупывая голый зад, уныло пробормотал Ванька Семибратов. Он суетливо стал искать выдранный клоч штанов и на седле, и под седлом, и возле коня – на луговине. – Ой ты, горе. В дороге обронил, – чуть не плача сказал он, лицо его стало глупым. – Чего ж делать-то?..

Тогда Пугачев схватился за живот и от неудержимого хохота повалился на землю.

Семибратов подбежал к нему и пнул его сапогом в бок.

– Черт, сатана, – сердито надул он губы и стал Пугачева упрекать: – Вот украл барских-то лошадей, а пастухам из-за тебя от барина бучка будет.

– Ишь ты, жалостливый какой... Пастухи завсегда оправдаются, раз мы двух псов зарубили. А мы по крайности от петли спаслись.

Тут пререкания меж ними оборвались: вздымая дорожную пыль, скакал на них всадник.

– Варсонофий! – в один голос заорали казаки.

– Казаченьки! Родные!.. – артиллерист Перешиби-Нос спрыгнул с незаседланной лошади и бросился обнимать казаков. – Едва утек. Бог спас, а то бы... Ну до чего я радехонек, что с вами встрелся.

– Куда же ты теперь, Варсонофий?

– Я больше не солдат, ребята... Порешил в бегах быть. А то живота лишат непременно. Уж-ко что будет там!

Чтобы не попадаться на глаза, они укрылись до сумерек в лесной тущобе. Расположившись у костра в заросшей ельником балке, они принялись за обед, две бутылочки барского вина достали.

– Ой, что-то подеется с крестьянством, – проговорил Перешиб-Нос, и усатое, в оспинах, лицо его стало печальным. – Наипаче опасуюсь за родителей за своих.

– Крови много прольется, а толку ни на эстолько, – сказал Пугачев. – Ни к чему это.

– Таких вот войнишек много на Руси... Пых-пых и погасло. Для крестьянства ничем-чего, одно душевредство... А барам хоть бы хрен.

Пугачев подумал и сказал:

– Вот коли б способа оказались все крестьянство зараз взбулгачить, дело бы.

– Мысли твои одобрительные, ладные мысли, – сказал Перешиб-Нос, и угрюмые глаза его оживились. – В мыслях-то всяко можно рассудить, а поди-ка, сунься... Ого!

– Да, подходящих способов не чутко, чтобы зараз всех мужиков взбулгачить, – вздохнув, согласился Пугачев. – И откуль взялись эти баре? Кто их по всей земле понасадил, кто крестьян на поругание им отдал? От царей, что ли, повелось?

– Ничего не от царей, – возразил Перешиб-Нос, отхлебнув вина из бутылки и закусывая хлебом. Он, как и все старые солдаты, любил пофилософствовать. – Это от Бога. Уж так устроено. А цари тоже из дворян на царство сажались. Народ сажал их. Взять царя Михайлу Федорыча, он боярин был, Романов. А кто до него царствовал, пес его ведает. Хошь и грамотный я, а ни хрена про царей не смыслю.

– Да нешто грамотный ты? – удивился Пугачев.

– Грамотный, – не без гордости сказал Варсонофий, вытер губы и рыгнул. – Я в денщиках у офицера Першина был, евонная любовница займовалась со мной, спасибо, поучила. А ты, Омельян, темный?

Пугачеву стало стыдно, он смущенно замигал, задвигал бровями и сказал, краснея:

– Я дюже грамотный был, понимаешь, пономарь учил меня грамоте-то. Да упал я, чуешь, с дерева на Прусской войне, вдарился головой о камень. С той поры, чуешь, всюю память отшибло. Как корова слизнула языком. Ужо время будет в дороге, поучи меня, Варсонофий... Ты приделайся пока что к нам...

Был солнечный день, а в хвойном густом лесу стояла прохладная сутемень. Все трое завалились спать, седла в головы. На спящих сразу же насели комары и мураши, но после вина и усталости беглецам спалось крепко.

3

Ни Ванька Семибратов, ни лежащий рядом с ним Варсонофий не могли сразу сообразить, что с ними происходит, – проснулись связанными по рукам; два драгуна, насеив на них, крутили им веревками ноги.

– Караул! – заорал спросонок Ванька.

А два других здоровецких драгуна работали над лежащим Пугачевым.

– Геть, геть! – кричал, вырываясь, Пугачев. В момент подогнув ноги, он с такой силой ударил ими большеного драгуна в брюхо, что тот закувыркался, как заяц с горы, а другого он сгреб за горло и давнул. Тот выкатил глаза и захрипел. К Пугачеву бросились от связанных еще два драгуна, Пугачев вскочил и, оскалив зубы, стал отбиваться, как от собак медведь. Надавав им тумачков, он поймал закомелистую орясину и размахнулся ею, яростно крича:

– Убью! Только сунься...

Драгуны отбежали прочь. Старший скомандовал:

– Стреляй!..

Драгуны направили на Пугачева четыре ружья. Плачущий Ванька Семибратов вопил:

– Омелька, сдавайся, сдавайся скорые! Ой, смертынька...

Связанный Варсонофий с усилием приподнялся, крикнул драгунам: .

– Солдаты! Братцы... Что вы делаете, в своего стреляете...

Пугачев отшвырнул жердину и миролюбиво сел. Солдаты опустили ружья и опасливо стали подходить к беглецам.

– Вы арестованные, – тяжело пыхтя, сказал старший драгун со шрамом поперек щеки. – Нам приказано схватить вас и в Большие Травы доставить.

Беглецы молчали. Варсонофий спросил:

– А чего же нам будет там?

– Петля, – ответил драгун.

Длительное молчание. Ванька Семибратов плаксиво скосоротился. Варсонофий Перешибид-Нос, вздохнув, сказал:

– Спасибо. Видать, вы солдаты добрые. К своему же брату жалости у вас много, – и большие усы его задрожали.

– Мы присягу сполняем, – с раздражением ответил старший. – Вот приведем вас, вы упадете в ноги барину да начальству, покатайтесь, авось помилуют. Я вам добра желаю...

– Ты нам добра желаешь, в воду пихаешь, а мы на берег лезем, жить хотим, – подняв голову и посматривая исподлобья на драгуна, насмешливо сказал Пугачев. – Ужо-ко вам медалей дадут да по гривеннику денег за удалство, что своих, как Юда, предали. Ну, у меня медалей для вас нетути, а есть вино. Пять бутылок. Желаете выпить?

– На деле мы не пьем, – сказал старший и стал натрушивать из ладунки порох на пистолетную полку. – А твое вино все едино нашим будет. Собирайтесь-ка!

– Эх, жалко, у меня сабля хряпнула пополам, – прищурившись на старшего, сказал Пугачев, – а то я

показал бы тебе, как с плеч головы летят.

Драгуны, озлобленные, стояли в настороженных позах, готовые пистолеты в руках. Старший закричал на Пугачева:

– Больно-то не запугивай, мы не трусливого десятка! Как бы твоей толстой шее в петлю не угодить. Мне сказывали про тебя. Ты наиглавный возмутитель, Пугач-казак!

– Небось и я не из трусливых. Я и ожгусь, не затужу, – огрызнулся Пугачев.

– Вот что, драгуны, голуби мои, – ласково начал Перешиби-Нос. – Ведь мы не за кого-нибудь, а за крестьянство вступились. А ведь вы и сами из крестьян. На нашем месте, может статься, такожде и вы поступили бы. Мы супротив сучьего барина, ерш ему в бок, к мужикам пристали. Не вам бы, голуби мои, ловить нас да по мужикам стрелять. Бар, а не мужиков изничтожать надо!

Старший, глядя в землю, сказал:

– Ничего не поделаешь: присяга. С нас взыск.

– А вы, ребята, видали ее величества замученного капрала Капустина, весь в медалях? – спросил Пугачев.

– Нет, не видали такого, – сказал старший.

– Ну-к побачьте. Он в селе Большие Травы в гробу лежит. На Прусской войне он кровь проливал, а сучий барин в одночасье застегал его насмерть. Вот кровопивца какого вас пригнали защищать.

Драгуны смутились, переглянулись друг с другом и потупились.

– Да неужли правда это? – спросил старший и сел.

Перешиби-Нос как очевидец во всех подробностях пересказал происшедшее в селе Большие Травы.

– А ну развязать им руки-ноги, – приказал старший, глаза и голос его подобрели. – Ладно, – сказал он, – будь что будет, а мы вас не потрогаем, только коней заберем.

– Забирайте. Не жаль, – проговорил Пугачев, незаметно подмигнув Перешиби-Носу. – Ванька! Тягай вина сюда, хлеб тащи, лук, свинина копченая тамotka есть. А это вот вам, приятели-драгуны, примите-ка, – и Пугачев, вынув из шапки червонец, подал его старшему.

Глаза драгунов заблестели, губы приятно улыбнулись: «этакое богатство свалилось, по два с полтиной на рыло», а Ванька Семибратов, видя щедрость Пугачева, сразу заскучал и в душе обозвал приятеля дурнем.

Лошадей драгуны расседлали, пустили пастись, подживили костер, началась пирушка. Пугачев откупорил шилом пять бутылок, каждую попробовал, две бутылки самого крепкого вина поставил в холодильник. Пили по очереди из деревянной чашки. Было жарко, вино ударило в головы. Стали петь походные песни, стали обниматься. Старший драгун, покрутив усы и ударив себя в грудь, закричал:

– Меня самого сколько разов шпицрутенами, бывало, истязали... А царской службе моей осьмнадцать лет. Медалью награжден. А полковник наш – зверь, чуть что, по зубам норовит, – он затряс головой, высморкался и заплакал.

Три молодых драгуна тоже захмелели, они распоясались, сбросили ладанки, снимали мундиры, никого не слушая, кричали все вместе какую-то несурязицу, лезли целоваться к старшему:

– Отец наш... Отец наш... Иван Назарыч... Умр-р-рем!.. Служба... Ур-ра... Турку бить... А мужика – ни-ни!..

– Бар бить!.. Они гаже турок! – кричал и Пугачев.

Беглецы пили мало, но и они были пьяны. А пьяней всех – Пугачев. С удалью напевая песни и приплясывая, он из оврага было покарабкался наверх, но четыре раза, под взрывы хохота драгунов, впереверт кувыркнулся по откосу.

Выписывая вавилоны, он достал из холодка две бутылки крепкого вина и стал угощать драгунов:

– Пейте-кося... За батьковщину! И-эх, разнопьяное винцо-пойлице!..

Вино было забористое, обжигало рот. Старший, хватив залпом, выпучил глаза, уперся кулаками в землю, опустил голову, фыркнул, как кот, и весь судорожно передернулся. Пугачев, покачиваясь, налил по второй.

– Теперь за дружбу нашу, за побратимство! Вестивал, саблея... – выборматывал он слышанные от «доброто барина» словечки.

– А сам-от чего не пьешь, казак?

– Ку-у-ды тут, – отмахнулся Пугачев и дал такой крен, что еле удержался на ногах. – Мы ведь еще до солнышка употчивались. Эй, Варсонофий! Ванька!..

Но оба его товарища, широко раскинув руки, разбросав ноги, напропалую храпели. Пугачев захохотал, икнул, промямлил :

– Пья-пья... пьяные хари... Мордофили...

Драгуны хватили по второй, по третьей. И не успела еще откуковать кукушка, как все четверо бесчувственно повалились на землю, что-то пробормотали, покричали и уснули.

Пугачев поглядел на них, ухмыльнулся и тоже прилег возле своих.

Кукушка опять закуковала, красноголовый дятел прилетел, запальчиво застучал по стволине стальным носом, как трещотка.

Когда драгуны захрапели, Пугачев приподнялся и тихо сказал:

– Ребята, пора.

Все трое пошли ловить и седлать коней. Ванька предлагал взять у драгунов пистолеты и ружья.

– Не можно этого, – строго сказал Пугачев. – Пошто ж солдат под палки подводить... Забудь и думать.

Перешиби-Нос после слов Пугачева даже драгунского седла не взял, а вот как надо бы... Теперь им особенно-то опасаться в дороге нечего, можно ехать большаком. Ванька Семибратов у костра замешкался, он обшаривал карманы старшего драгуна.

Взмахнули нагайками, поехали. Пугачев оглянулся на храпевших драгунов, засмеялся и сказал:

– Присяга...

Пробирались сквозь чащу. Семибратов подал Пугачеву золотой червонец.

– На, схорони. Нам пригодится, а им не за что... А и ловко же ты, анчутка, пьяным-то прикинулся. А глядя на тебя – и мы.

– Слышь-ка, Варсонофий, – начал Пугачев. Но тот быстро перебил его:

– Ах, ерш те в бок! Что же я, баран... Ведь пожарище там, ребята, страшный, на селе-то... Два барских сеновала да гумно запалили мужики... До двух тысяч пудов сена. А на гумне скирды пшеницы прошлогодней немолоченой... Огонь фукнул выше колокольни...

– Ништо, ништо... Молодцы дядьки, – широко заулыбался Пугачев. – Ну а каким побытом солдатишек-то из-под караула выпустили?

– Дворецкий, старый черт, слюнтяев деревенских обманул... Мне Мишка-поваренок сказывал, он, ерш те в бок, тоже в бега собирается, в лес удрал, воет. Вот выслал быдто бы дворецкий караульным похлебки мясной, да и сам вышел к ним: «Нате-ка, говорит, похлебайте, жалко мне вас, говорит, дураков. Эх, ребята, ребята!» А сам, змей, этот дворецкий-то, в похлебку-то сонного снадобья подмешал. Ну, те, знамо, набросились, да где сидели, тут и торнулись носами. Так сонных и в подземелье, ерш те в бок, засадили их. Вот как учат дураков дикошарых.

Путники выбрались на большак и поскакали.

Глава XIII

Рыбий человек. Пугачев изрядно лечит зубы.

Малина-ягода

1

Пугачев и Семибратов, завершив огромный путь, добрались, наконец, до селения Мамадыш, переправились чрез Вятку и, пробежав десяток верст, выехали на Каму.

– Эй, молодайка, – крикнул Пугачев. – Это какое жительство?

– А нешто не знаешь? Котловка это жительство, вот как. Котловка село, – ответила улыбчивая круглолицая женщина и подцепила ведра коромыслом. Она молода, стройна, красива.

– А где бы нам ночь скоротать?

– Да где... Уж и не знаю, где... Вот попроситесь нето к рыбьему человеку. Звать его Карп, а прозвищем Карась. Как есть – рыба. Проезжающие-то у него пристают. А вы, солдаты, што? Разбойников, чего ли, ловить наехали?

– Нет, мы казаки с Дону. По своей воле едем. Холстов да дегтю станем закупать. – А-а, так-так... А то у нас по Каме, сказывают, разбойники шалют, купцов да богатых быдто грабят. Ну-к, намеднись солдаты пробегали мимо нас.

– Окромя дегтю мы и женщин хорошеньких скупаем, – подмигнул ей Пугачев. – По пятаку за фунт.

– Дешево, чернявый, ценишь... Да ты, полно, уж не барин ли какой, живьем людей скупаешь? – Она вскинула ведра на плечо и пошла. – Прощевайте...

Оба конных витязя двинулись за ней. Ванька глаз не спускал с пышнотелой румяной бабы, чего-то хотел сказать ей, но не находил слов, только шлепал губами, улыбался и краснел. Пугачев, подметив его смущение, сквозь смех бросил:

– Эх, и не речист ты, Ванька. – И, набекренив шапку, обратился к молодой: – Вот этот толстогубенький велел сказать вам: ах, вы по нраву нам, приходите поиграть на лужок, на травку.

– Озорники какие, – стыдливо потупилась молодайка, несколько задерживая шаг, – нам не до игры. А вот коли холсты занадобятся, продала бы... И деготь у свекра есть.

– Благодарствую, – весело сказал Пугачев, подбочениваясь и покручивая бородку. – Вы нам холсты да деготь, мы вам толстогубенького... Баш на баш... Жалаите?

– Ах, нет... Мы только куделю да кошек меняем на ситцы, татары ездят, – повела глазами молодуха и, плавно покачивая полными плечами, сказала нараспев: – А вот тебя бы, цыганок чернобороденький, – кивнула она Пугачеву, – пожалуй, выменяла бы, кабы воля моя была. Пригож ты, сниться будешь.

Ванька сразу померк, надул губы, а Пугачев заулыбался во все лицо, сдернул с головы мерлушчатую шапку, широко взмахнул ею вправо-влево и молодцевато поклонился молодухе:

– Благодарствую вдругорядь. Ой да ты, кундюбочка моя! Растревожила ты мое ретивое... Ой да какая ж ты приглядчивая! ..

– Не бесись, казак... Люди смотрят, – строго сказала она, нахмурилась, указала рукой на большую избу: – Вот здесь-ка Карп Степаныч жительство имеет, – и ходко пошла своей дорогой.

Казачи остановились. Пугачев все еще глядел очарованными глазами вслед уходившей молодой.

2

Карп Степанович, по прозвищу Карась, средних лет, небольшого роста, кругленький, безбородый, как скопец, плечи покатые, глаза умные, с прищуром.

Он оказался человеком расторопным, свел казаков с крестьянином Вавиловым, у которого Пугачев и сторговал за недорого небольшое суденышко с готовым дегтем.

У Пугачева было два червонца в шапке да четыре червонца зашито в штанах пониже гашника, да за пазухой брякали рублевки – ведь казаки за весь тысячеверстный путь истратили на харч всего только сорок три копейки. А Вавилову нужно было заплатит за суденышко и деготь ровно сорок два рубля.

Пугачев зашел с Семибратовым в амбарушку, обнажил кинжал, спустил штаны и стал добывать из-под гашника деньги. Батюшки-светы! Замест четырех червонцев зашиты в штанах лишь один золотой червонец и три медных деньги... Пугачев аж затрясся, бросил кинжал и заскрипел зубами.

– Омелька, что ты? – всполошился Семибратов.

– У нас с тобой только три червонца по десяти рублей да три медных гроша, – хрипло сказал Пугачев. – А три монеты золотых у пономаря в Царицыне под колокольней остались. Обманул нас горбатый черт, замест золота медяки зашил... Да, брат Ванька, не впрок купецкие деньги пошли нам.

Пожалели, потужили, нечего делать, доведется коней продавать. Запродал Емельян свою донскую лошадку Ласточку Карпу Степанычу за девять рублей двадцать три копейки, торговались долго, выпили. А барского коня хозяин присоветовал в Елабугу вести, да на базаре с цыганами не вожгаться, цыгане живо околпачат, а прямо ехать к воеводе, он хоть и собака, а рослых коней любит, и деньжищ у него хоть двор мости, – хапуга, вор!

Барский конь Серко принадлежал Семибратову, а другого своего коня Пугачев пожертвовал по доброму своему сердцу Варсонофию Перешиби-Нос, тот на полдороге в леса свернул, чтоб укрыться где-нито от розыска и обзавестись хозяйством. Эх, хорош мужик! Путем-дорогой он казаков грамоте учил: буки-аз-ба, ба! веди-аз-ва, ва! Даже Емельян Иваныч поднаторел кое-как свою фамилию прутиком на песке царапать: «Пу-га-чов».

– Ну, Ванька, причмокни Серка в губы, почеломкайся... Только ты его и видел... – Пугачев вскочил на свою запроданную хозяину лошадку, Серка в чумбур взял, в повод, и попылил вдоль камских берегов.

Вот оно село Понайка, вот Подмонастырка, а вот и городок Елабуга, всего двадцать верст каких-нибудь.

Дав лошадям передохнуть, выкупал их в Каме, пригладил скребницей, высушил и – прямо к воеводе.

Воеводский дом обширный, приземистый. У ворот в полосатой будке будочник с алебардой дремлет, по двору гуси вперевалку ходят, травку щиплют, свинья с поросятами месятку в корыте чавкают, два полицейских стражника – мещеряк да русский – возле открытой конюшни в тринку режутся, в картеж. В стойлах два коня овес хрупают, увидали новых лошадей, затопали копытами, заржали.

– Откуда? С пакетом, что ли? – прогнусил из открытого окна воевода.

Левая скула его сильно вспухла, подвязана большим платком, куделя из-под платка торчит, красный нос в прыщах, глазки узенькие, темные волосы ежом.

– К вашей милости, – снял шапку Пугачев, – вот отменного коня продавать вам пригнал... Сказывали мне...

– Заходи! – крикнул воевода, умильно косясь на породистого рослого коня с атласной шерстью, в серых яблоках.

Пока Пугачев подымался вверх, воевода ударил в ладоши и что-то приказал бывшим во дворе стражникам.

– Ну, здорово, дружок, здорово, миленький, – ласково сказал он Пугачеву.

Видя столь приятное обхождение, Емельян Иванович взыграл духом, гаркнул:

– Желаю здравствовать вашему высокоблагородию!..

Воевода запахнул полы татарского бешмета, сел за стол и, подперев подбородок кулаками, лукаво прищурился на Пугачева.

– И сколько же ты, голубчик, просишь за лошадку?

– Да сто рубликов желательнее бы...

– Сто рубликов? – чуть перекосив рот, переспросил воевода. – Горазд дешево, горазд дешево просишь.

– Это для ради вас токмо, ваше высокоблагородие, мне цыган да сальные пупы на рынке сто двадцать пять сулили...

– Дешево, дешево, спасибо, – воевода легонько застонал, потрогал больную щеку и закатил глаза. – А ты кто таков сам-то, милушка моя? – спросил он, приятно улыбаясь.

– Я казак с Дону, – приятно заулыбался и Пугачев. – При мне паспорт.

Воевода вдруг вскочил, грохнул кулаком в стол и заорал петушиным голосом:

– Ах ты, сволочь! Конокрад ты, сволочь, а не казак... Гей, стражники! – он схватил звонок и оглушительно зазвонил. – Ты эту кобылицу у протопопа украл, у нашего протопопа! Вот ты какой казак... Ах ты, сволочь!

Пугачев изумленно разинул рот и задвигал бровями:

– За что же так бесчестите меня? И вовсе не кобылица, а мерин это...

– Я тебе покажу – мерин!.. Ах ты, сволочь... Встать у дверей! – скомандовал он вбежавшим стражникам, русскому да мешеряку. – Я тебе покажу, как у протопопа кобыл воровать. Я тебя, вора, в колодки, на цепь, на цепь! А завтра на базарной площади палач с тебя, конокрад, три шкуры спустит... Ах ты, сволочь. Вор!..

В груди Пугачева заклокотало, глаза налились кровью.

– Геть, гадючье отродье! – заорал он вне себя и полез на воеводу. – Руки коротки, чтоб донского казака срамить. Еще тебя вареный петух в брюхо не клевал... Еще ты...

– Вяжи его! – кружась вокруг стола и схватив подсвечник, по-петушиному проверещал воевода. – Стражники!

И едва успел он рот закрыть, едва успел замахнуться на казака подсвечником, как Пугачев со всего маху треснул его по большой скуле кулачищем. Воевода взвыл и кувырнулся на пол, и Пугачев, отбиваясь ногами от стражи, выпрыгнул в окно.

– Конь! Где конь мой?.. – замотался он по двору и, не видя Серка, вскочил на свою донскую лошаденку Ласточку. – Гады! Коня моего збуздали... Коня давай, коня!.. Во-о-ры...

Поднялась невообразимая сумятица. Повыскакали воеводиха, ребята, нянька, писаришки, повар с

поваренком; на трещотку, на свистки спешили во двор полицейские старики-солдаты, стражники, будочники, сбегались праздные зеваки: бабы, сапожники, сбитенщики, бурлаки с Камы, нищebroды.

– Ой, ой! – не переставая, вопила толстая воеводиха, указывая на казака. – Имайте! Мужа зарезал, разбойник... Мужа убил...

– Туда ему и дорога! – по-озорному кричали из толпы.

– Бейте в сполох! Ворота, ворота запирайте... Ой! ой!..

Народ – ни с места. На Пугачева кинулись седые старики-солдаты, стражники. Пугачев выхватил вгорячах саблю – ручка да остаток клинка в четверть аршина – и страшно заорал: «Геть, геть!» Он показался толпе столь грозным, а сабля столь длинной и сверкающей, что толпа шарахнулась в стороны. Бывалая лошадка взвилась на дыбы, ударила в воздух задом. Пугачев оправил шапку и, сшибая толпившихся у ворот зевак, вымахнул на улицу.

Все это произошло в минуту. Пугачев, нахлестывая Ласточку, под лай собак неся косыми переулками, вот прорезал он весь город и, чтоб обмануть погоню, поскакал полем в противоположную сторону от Котловки. Однако погони не было. Он выбрался на яровой лесистый берег, перевел дух и повернул лошадь на Котловку.

– Ну чего, продал коня-то? – встретил его возле избы Ванька Семибратов.

– Продал, – буркнул Пугачев.

– За дорого?

– Цену подходящую взял, – хмурясь, ответил Пугачев и добавил: – Расчелся горазд хорошо.

Вечером ужинали на берегу Камы, у самой воды, возле суденышка с дегтем. Карп Степанович потчевал гостей знаменитой камской белугой. Водка была. Пугачев пил с жадностью, молчал.

Наелись до отвалу. Ванька лежал на песке вверх лицом, сытно рыгал. Рыбий человек подправлял костер. Было сумеречно. Подошла с ведрами статная женщина, певучим голосом проговорила:

– Мир на беседе!

– Спасибочко, – ответили от костра. Хозяин сказал:

– Присаживайся, Катеринушка, покалякай с нами.

Она переняла пристальный взгляд Пугачева, охотно поставила ведра, расчистила ладонью песок от сора, присела. Пугачев сразу узнал в ней свою вчерашнюю знакомку, но не подал вида.

– Уехал старик-то, свекор-то? – спросил рыбий человек.

– Уехал... На завод вытребовали замест мужа моего, – протянула Катерина. – А свекровка-т в гости к сестре ушла в Свиные Горы. Одна домовничаю.

– Поди, трохи-трохи страшновато одной-то? – спросил Пугачев. – Я вот один здесь-ка ночую, на суденышке на энтом, да и то страшусь, того гляди, водяной ночью в омут утянет за бороду.

Катерина улыбнулась, в ее больших глазах вспыхнули любопытные огоньки. «Придет», – подумал Пугачев.

– Нет, я не боюсь одна. А коли и боялась бы, куда деваться?

В это время на островке в кустах защелкал соловей. Сердце Пугачева облилось истомой. Взор его приковался к губам Катерины – губы улыбочивые, сочные, ему захотелось поцеловать их.

Карп Степанович отрезал два ломтя хлеба, положил на них большой кусок белуги, подал женщине.

– Ну-ка, Катеринушка, покушай. Поберечь тебя некому, одна ты.

– Спасибо, – сказала Катерина. – Я домой снесу. Соседка наша, тетка Лукерья, в бедности мается, с ней поделюсь.

Катерина встала, зачерпнула воды, взяла рыбу, попрощалась и пошла.

– Ой, бедно, бедно живет народишко, – вздохнув, сказал рыбий человек. – Наше село приписано к Авзяно-Петровскому дворянина Евдокима Демидова заводу. И земская контора при селе. Почитай, всех мужиков на завод угоняют. От мала до велика. Кто уголья жжет, кто руду копает. Голод, холод, мокреть, а жрать втридорога у конторы заводской надо купить, а заработок – грошики. С голоду пухнут, мрут. А спину гнут с зари до темна, и поспать недосуг. Бунтуют, а толку нет, в бега бегут, да ловят их. Ой, горемышная на заводах жизнь.

– Тьфу ты! – с сердцем плюнул Пугачев. – Под барами крестьянству худо, на заводах того гаже... А где же хорошо-то?

– В могиле, – подумав, ответил рыбий человек.

3

Семибратов увел лошадей в ночное. Пугачев завалился спать на причаленном к берегу дегтярном суденышке: товар караулить надо. Лежал, в небо глядел, ночь была белая, звезд в небе не было.

Вот всплеск весла по воде. Пугачев чуть привстал. В блеклом мареве совсем близко от него лодка плывет.

– Катерина, – тихо позвал он и поднялся. – Посади меня в лодочку. Не заспалось тебе, что ли? Соловьев, что ли, плывешь слушать?

– Плыву соловьев слушать. Да плакать. Садись, цыганок.

И вот они в два весла подплывают молча к соловьиному острову. Малиной, земляникой пахнет, сладостный дух стоит, дикие утки в зарослях крикают. Пугачев взволновался: видит лицо побледневшее, видит губы улыбочивые, но голубые глаза ее печальны, слезы в глазах.

– Пошто же тебе плакать? Ты такая пригоженькая... – дрогнув сердцем, сказал Пугачев.

– О муже плачу, о хозяине. Умер хозяин. Убили его... На заводе солдаты застрелили, как бунт был. Одна я... – Весло упало из рук ее, и слезы стали падать в колени. Она в стареньком опрятном сарафане с медными, как бубенчики, пуговками.

Лодка стояла в кустах. Пугачев молчал. Она вытерла слезы рукавом полотняной рубахи, сказала:

– Жалко шибко его... Во снах вижу. Все приходит ко мне, говорит-говорит, наговориться не может. Иным часом страшно... Боюсь. И жизнь не мила... Камень бы, да в воду.

– Мертвого с погоста не вернуть, – сказал Пугачев, отламывая кудрявую ветвь талинки. – Потужишь да забудешь. Замуж выйдешь.

– А кто меня возьмет? – она опустила голову, и губы ее задергались. – Парней у нас нет ладных, кто поздоровше, на завод гонят. Мозгляки одни на селе. Да так думаю: хозяйина-то мне и не забыть вовеки.

– За-а-будешь, – протянул Пугачев и погладил руку Катерины. – Я тебя, Катеринушка, и взял бы в женки, да...

– Ну так что? Бери...

– Горе мое – женатик я. Врать не стану. И детки есть... Двоечка.

– Счастливая твоя жена, – вздохнула Катерина.

– Она-то счастливая, да я-то несчастный. До баб горазд охоч. Сердце у меня что ни на есть блудливое.

Катерина долго молчала. Она боялась поднять свой взор на чернявого. Он тоже молчал, он слушал соловьиные трели, и сердце его, как на качелях, стало качаться от Камы к родному Дону, где также в эту пору от земли до неба соловьиная ночь стоит.

Катерина прошептала:

– Ребеночек был у меня, сыночек. Петюнькой звать. Жил годик, а тут Бог прибрал. Горевала я, жалко было в могилу-то свою кровушку тащить, – она поникла головой, скрестила руки, и снова из глаз ее закапали слезы. – И пошто Бог покарал меня, пошто мужа с сынком прибрал к себе?

– Еще родишь, – сказал Пугачев, – этому горю трохи-трохи помочь можно, а слезы лить нечего... Кто собирается избу рубить, не плачет, а бревна возит. Горе твое, говорю, поправимое.

Катерина вздохнула, подняла на Пугачева глаза, хотела улыбнуться, но губы ее вновь задрожали, задержались.

Пугачев схватил Катерину и с такой силой трижды поцеловал ее в мокрые глаза, в щеки, в закричавший рот, что лодка заколыхалась и серый соловей, похожий на большого воробья, выпорхнув из ближнего куста, перелетел подальше.

Она оттолкнула Пугачева, с милым укором сказала:

– Какие казаки охальные, в чужих садах норовят малину рвать.

Пугачев вытер губы, подморгнул ей и захохотал негромко.

Она взяла корзину, подтянула за таловый куст лодку к берегу и вылезла на островок.

– Прощай, – с тоской сказала она. – В лес по ягоды пойду.

– Не прощай, а здравствуй, – и Пугачев тоже покарабкался на берег.

Ночью, пока Пугачев брал ягоды, в село Котловку приехал воеводский стражник, высмотрень. Он постучался в избу Карпа Степановича, кума своего, и стал его спрашивать, не пробежал ли, мол, в тутошних местах чернобородый, военного обличья, конный человек, воевода, мол, приказал об этом человеке допытаться, и ежели где повстречается тот чернобородый, то и схватить его.

Карп Степанович Карась – мужик умный, он сразу догадался, что его постояльца ищут, и сказал:

– Нет, такого человека у нас не чутко. А по какому случаю воевода разыскивает его?

– Да онный человек воеводу нашего по сусалам смазал. У воеводы зуб гнил, щеку эвот как разнесло. Ну-к, чернобородый-то как порснул воеводу по скуле, у него и зуб вылетел и рожа в прежнее положение пришла, зараз оздоровел.

Рыбий человек засмеялся, ухмыльнулся в кудлатую бороду и высмотрень.

– А для ради чего шум-то промеж них вышел? – спросил Карп Степанович и выставил угощение.

Стражник подробно рассказал, как было дело, и добавил:

– Опося гвалту воевода плетью отстегал воеводику свою: «Ты, говорит, жирная квашня, при всем народе осрамила мое званье. Кто ж меня, воеводу, смеет бить? Чернобородый не бил меня, а зуб пользовал по моему приказу...» Вся Елабуга со смеху покатывается, а воевода хоть бы что, вчерась вечером на краденном коне верхом по городу скакал.

Кумовья расстались перед утром. Стражник поехал в Елабугу пьяный, с песнями.

Пугачев, узнав о наезде соглядатая, низко поклонился рыбьему человеку:

– Спасибочко... Вовек не забуду тебе этого.

Опаски ради он спустил свое суденышко версты на две ниже села Котловки. Там прожили они с Семибратовым еще трое суток.

Исподнее у казаков поистлело, у товарищей, по заказу Пугачева, было к отплытию новое, добротного холста белье. Да еще Пугачев сделал себе два полотняных носовых платочка. Ванька Семибратов от платков отказался – на что они ему сдались? Пугачев выругал его: мало ли на обратной дороге какой знатнецкий случай может быть, вот тогда носовые-то платки авось и сгодятся...

Пугачев не раз приходил в Котловку, чтоб повидаться с Катериной да холстов с дегтем докупить. Холстов он купил много, у одной Катерины пятьдесят три аршина, по две копейки за аршин, на рубль шесть копеек, да сверх сего выдал Катерине целый золотой империял за ягоды, Катерина заливалась слезами.

– Поплывем на Дон, вольной казачкой будешь, кундюбочка моя. Ванька в жены тебя возьмет.

– Как я брошу родную сторону? – плакала Катерина. – Здеся-ка на погосте сыночек лежит, а в Урал-горах муж убитый...

Рыбий человек, Карп Степанович Карась, прощаясь с Пугачевым, пристально поглядел в чернобородое, с веселым задором, лицо своего гостя, сказал:

– Ну, Омельян Иваныч, доведется ли нам с тобой ощо когда свидеться?

– Мабудь, и встренемся когда, – сказал Пугачев, по-простецки обнимая рыбьего человека. – Только навряд ли. Горазд далече до тебя.

Разве мог Пугачев когда-нибудь помыслить, что пройдет немного лет, и он снова будет в селе Котловке, да не простым казаком, а грозным мужицким царем в силе и славе, что призовет он рыбьего человека и повелит быть ему над всей волостью полковником...

Особенно трогательно, как с верным другом, расставался Емельян Иванович со своей боевой кобылкой. С прожелтью белая, Ласточка была не крупна, но крепка и вынослива, отличалась добрым нравом и резвостью.

– Ну, Ласточка, подруженька моя, оставайся. Послужила ты мне правдой-совестью... Прощай... – Он огладил лошадку и похлопал ладонью по ее крутой, сильной шее. Ласточка, похрапывая, кланялась ему, умными черными глазами глядела в чернобородое, такое родное лицо своего бывшего хозяина.

Пугачев, не оглядываясь, быстро пошел прочь. Ласточка вздохнула.

Эхма! Никогда не забыть донскому казаку своей лошадки...

Уплыли втроем: Ванька Семибратов, Пугачев да тутошний крестьянин Вавилов. Рассчитаться с Вавиловым за посудину с дегтем денег у казаков не хватило, при благополучной торговле расквитаются в Царицыне.

В Царицын они приплыли уже глубокой осенью. Всю обратную дорогу, когда останавливались в селениях, слышали много разговоров о московских заседаниях выборных людей. Одни говорили, что, мол, выйдут новые законы, по которым мужик будет с землей и волей. Другие отрицательно мотали головами и в глаза смеялись легковерным:

– И не дожидайтесь! Все останется, как было.

И крестьянин Вавилов, и Емельян Пугачев тоже думали, что बारे вряд ли доброй волей расстанутся с землей. А Ванька Семибратов в разговоры не встревал, трудными делами он интересовался мало.

Итак, путь-дорога кончилась. Для молодого Пугачева она была поучительна. Он перенес в ней много испытаний, приобрел большой житейский опыт, возмужал и теперь смотрел на жизнь иными, менее доверчивыми глазами.

Правда, он не имел в душе ни особых намерений, ни каких-либо широких замыслов, он был как все. Он не задумывался о том, что его случайные встречи с купцами, воеводами, помещиками и эта мужичья войнишка в селе Большие Травы впоследствии окажутся нужными ему, как воздух, как дыхание.

Часть третья

Глава I

Исторический пейзаж. Турция и Польша. Крестник Петра Великого

1

По своему воцарении Екатерина утверждала, что после разорительной войны с Пруссией России нужен многолетний мир. «Мир необходим нашей обширной империи; мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях».

Вместе с тем с самого начала царствования Екатерина желала иметь влияние и вес в Европе. Хотя она и старалась руководить внешней политикой самостоятельно, независимо от фаворитов и, в особенности, от иностранных при русском дворе послов, но главным незаменимым ее советником всегда был граф Никита Панин, глава Иностранной коллегии.

Вскоре Россия стала играть политическую роль, равную роли главных держав центральной Европы, а среди северных стран – первенствующую.

Обладая политическим искусством и тактом, Екатерина сумела расположить к себе Фридриха II и вела с ним обширную переписку по вопросам общеевропейских дел.

А с Францией и Австрией отношения России были натянутые. Русская дипломатия, связав судьбу России с Пруссией, руководствовалась в своих делах системой так казываемого «северного аккорда», куда входили: Россия, Пруссия, Англия, Дания, Швеция, Польша. Противовесом «северному аккорду» было франко-австрийское соглашение.

Но эта система не казалась достаточно прочной и устойчивой: яблоком раздора могла послужить судьба Польши, которой угрожал раздел. Екатерине удалось без войны поставить Польшу и Курляндию в зависимое от России положение. Она действовала дипломатическим путем, распоряжениями полицейского характера и военными демонстрациями.

Польша, меж тем, постепенно приходила в упадок, крестьяне и ремесленники бедствовали. Власть короля Августа III сводилась на нет, господствовали крупные магнаты и шляхта, их поддерживало католическое духовенство. Однако паны все время враждовали между собой, внутренние смуты раздирали Польшу, а это было на руку иностранным государствам, стремившимся превратить Польшу в своего вассала и создать из Речи Посполитой барьер против России.

В 1763 году польский король умер, и России пришлось энергично ввязаться в дела Польши. Екатерина добилась того, что новым королем был избран Станислав Понятовский, ее давнишний сердечный друг, когда-то состоявший при русском дворе. С этого времени политика Польши диктовалась всецело Екатериной. А в Европе стали ходить разжигающие слухи о намерении вдовствующей Екатерины вступить в брак с новым королем и в результате этого ловкого хода присоединить всю Польшу к России.

Русское влияние в Польше сильно раздражало Европу. В феврале 1768 года в Польше вспыхнул мятеж

как протест против русской политики. Мятеж возглавлял Иосиф Пулавский. Ядро восстания составляли паны, магнаты, шляхта. Они объявили Станислава Понятовского низложенным, а себя – главарями так называемой Барской конфедерации, учрежденной при поддержке Турции, Франции и отчасти Австрии в Баре для охраны шляхетских привилегий.

Для подавления мятежа из России были посланы воинские части, они соединились с войсками Станислава Понятовского. Начались неудачные для конфедерации стычки. Поляки очутились в тяжелом положении, каковое усугублялось противошляхетскими восстаниями крестьян. В конце концов политические обстоятельства сложились так, что Польша оказалась накануне раздела между Россией и Пруссией. Польская дипломатия малодушно полагала:

– После Бога первая и единственная есть Турция, могущая оказать нам помощь.

Меж тем Россия с давних пор воевала с Турцией, стараясь присоединить к себе Крым и открыть широкие ворота в Черное море. Чтобы вырвать из рук России Польшу и этим ослабить все возрастающее в Европе значение России, Франция задумала науськать на нее турецкого султана. Екатерина сильно разгневалась на Францию. Она говорила про нового французского посланника:

– Господин Сабатье будет мною встречен как собака, попадающаяся в игру в кегли.

Турция оказалась податливой. Этому помог подвернувшийся случай: русский отряд, преследуя конфедератов, ворвался в турецкое местечко Балту. Султан, подстрекаемый Францией, высокомерно потребовал немедленного очищения всей Польши от русских войск, а вслед за этим объявил России войну.

Екатерина предвидела, что война с турками будет многолетней. Всюду закипела напряженная, по устройению воинских сил, работа. Много трудилась и Екатерина. Она обычно вставала в шесть часов утра и, по наблюдениям Миниха, проводила в занятиях по пятнадцати часов в сутки. Между прочим... она удовлетворенно говорила:

– Я так расщекотала наших морских по их ремеслу, что они огневые стали.

Весной 1768 года наши армии под предводительством графа Румянцева, Петра Панина и князя Голицына дошли до турецкой границы.

Стараясь возбудить в графе Румянцеве военный пыл и честолюбие, Екатерина писала ему:

«Великие дела увидим в нашем веку, и турецкая громада подвержена будет некоторому потрясению... На Вас Европа смотрит!»

На совещании в Государственном Совете Григорий Орлов высказал мысль об экспедиции в Средиземное море:

– Я буду настаивать на этом неотступно. Окончательную цель войны я вижу в том, чтоб по Черному морю было завоевано право свободного мореплавания.

Усиленно, не теряя времени, сооружался на Азовском море русский флот.

Двинув главные силы к границам Турции, Россия направила дополнительный воинский отряд в Польшу, чтобы покончить с конфедератами. Весной 1769 года выступил в Варшаву бригадир Александр Васильевич Суворов. Общее же командование русскими войсками в Польше принадлежало генералу Веймарну.

Конфедераты стояли под Брестом, ими руководили сыновья умершего старика Пулавского – Франц и Казимир. Выказывая находчивость, храбрость и высокую военную тактику, Суворов всюду разбивал конфедератов. При этом его военная задача облегчалась сочувственным отношением нашего, польского и

жестоко угнетаемого шляхтой белорусского крестьянства.

Казимир Пулавский погиб в сражении, незадачливый Франц бежал в Америку, а меньшей их брат попал в плен и был препровожден в Казань к губернатору Бранту. Большие партии пленных конфедератов направлялись в глубь России: в Казань, Оренбург, Пермь, Тобольск, Челябинск.

В январе 1769 года произошло внезапное вторжение в Россию крымских татар. Многие русские были уведены в плен. Но этот разбойничий набег был последним.

Ранней весной 1770 года из Кронштадта отправился в первое океанское плавание весь наличный флот. Руководителем экспедиции в архипелаг назначен был не проходивший морской службы граф Алексей Орлов (он проживал на излечении в Италии). Флот вели Спиридов и Эльфингстон. Талантливый ученик Петра Великого адмирал Спиридов во время плавания усердно обучал команду стрельбе и маневрированию кораблей. Удивив Европу, флот довольно быстро, на парусах и веслах, покрыл огромное пространство, принял в Италии на борт графа Орлова, обогнул Грецию и вошел в архипелаг.

Подступив к Наварину, флот овладел фортами и взорвал их.

Преследуя турецкий флот, русские корабли настигли его у острова Хиоса, недалеко от бухты Чесмы. Неприятельский флот был во много раз больше русского. Он имел шестнадцать линейных кораблей, вооруженных тысячью двумястами пушек, шесть фрегатов и около сотни более мелких судов. У русских же было только девять кораблей с высокими бортами да несколько брандеров и мелких вспомогательных судов.

При виде столь крупного неравенства Орлов пришел в уныние. Но на военном совете русские моряки высказали единодушное желание победить или умереть. Воинственное настроение всей команды сулило победу.

24 июня 1770 года начались военные действия на море.

Турецкий флот левым крылом примыкал к скалистому острову Хиосу, а правым – к отмели, ему трудно было свободно маневрировать.

Русский флот двумя колоннами двинулся на неприятеля. Адмирал Спиридов, имевший у себя на корабле «Евстафий» Федора Орлова, предводительствовал авангардом, контрадмирал Эльфингстон – арьергардом, а главнокомандующий Алексей Орлов остался в кордебаталии.

Неумолчно гремели пушки. Русская эскадра постепенно приближалась к неприятельской. Ружейные выстрелы уже стали помогать пушечным. Корабль «Евстафий», руководимый храбрым адмиралом, сражался против трех кораблей и одной шебеки. Через несколько минут «Евстафий» сцепился на абордаж с самым сильным флагманским турецким кораблем. Русские матросы уже перескакивали на неприятельскую палубу, началась отчаянная резня.

Русский унтер-офицер, бородач, кинулся к корме, стал срывать адмиральский турецкий флаг. Турки с гвалтом: «Алла-Алла!» – набросились на него, в схватке отсекали ему руку. Стиснув флаг зубами, бородач с азартом стал отбиваться уцелевшей рукою, но его подняли на штыки. Подоспевшие русские в свирепой резне вырвали от врагов тело товарища, подхватили флаг и как боевой трофей вручили его тогда же адмиралу Спиридову.

Русские удалцы тем временем успели запалить вражеский корабль. Турки как угорелые носились по палубе, с заплоским криком тушили пожар: в трюме – порох, корабль вот-вот взлетит на воздух. Спиридов и Федор Орлов, почувствовав угрозу и своему кораблю, поспешно сели в шлюпку. И не успели они отплыть, как подгоревшая, охваченная огнем грот-мачта турецкого корабля грохнулась на «Евстафию»,

посыпались снопами искры, «Евстафий» загорелся. Люди стали бросаться в воду. Со страшным громом и треском взлетел на воздух вражеский корабль. Вслед за ним взорвался и «Евстафий». Турецкие корабли принялись впопыхах рубить причальные канаты и быстро уходить прочь.

Граф Алексей Орлов, наблюдая жесточайшее сражение и усмотрев, что «Евстафий» взорван, почел своего брата Федора погибшим, с отчаянья лишился чувств. Вслед за тем, очнувшись, он приказал поднять все паруса и бросился со своими кораблями в середину неприятельских, поражая их ядрами. Турецкий флот в смятении и беспорядке бежал в Чесменскую бухту. Дневной бой закончился.

Весь следующий день русские готовились к новой атаке, набивали горючим четыре брандера. Эти особого назначения суда должны сцепиться (свалиться) с противником, поджечь себя и спалить вражеский корабль. Работа на брандерах смертельно опасна. На клич охотников нашлось много, больше чем нужно.

В лунную, тихую ночь на 26 июня русская эскадра стала подходить к турецкой. В начале второго часа ночи от стрельбы с русских кораблей загорелся турецкий фрегат. Взвились три боевые ракеты, означающие приказ: «Брандеры, вперед!» Четыре брандера понеслись на неприятеля. На головном – отважный молодой лейтенант Ильин.

– Ну, ребята-морячки, вот сейчас славный фейерверк увидим! – сбив бескозырку на затылок, подбадривал он команду смельчаков. – А ежели и умрем, так с треском!..

Вот они уже в середине вражеской эскадры, вот «свалились» с турецким кораблем.

– Запа-а-ливай! – раздалась команда.

Горючее в брандере вспыхнуло. Снопы огня фукнули на неприятельскую палубу.

– В шлюпку! – скомандовал Ильин. И шлюпка, унося смельчаков прочь от смерти, заскользила по глади черных вод.

Неприятельский корабль взорвался. Смельчаки с Ильиным бросили весла, закричали «ура!». Вот взорвался другой турецкий корабль, вот третий...

Брандеры работали на славу. От огромных пожарищ возникла сильная тяга воздуха: ветер упруго шел в сторону турецкой эскадры. Враг растерялся.

Русские моряки, пораженные невиданным зрелищем, кричали «ура», били из пушек по обезумевшим туркам. Языки пламени перелетали во тьме подобно зловеющим огненным драконам, падали на турецкие корабли, зажигали их. Со страшным треском взлетели сразу два турецких фрегата.

От взрывов сотрясалось пространство, кругом катились неумолчные гулы. Морякам казалось, что вскипало, выплескивалось море, что отблески пожарищ красили волны в кровь и бледный месяц перескакивал в страхе из облака в облако.

Взрывы продолжались. Вместе с фонтанами пламени и сизо-розовыми клубами дыма взлетали к небу пылающие паруса, объятые огнем мачты, обломки судов, разорванные на части трупы, и все это с шипением и шумом валилось в бездну моря. Воздух содрогался, оглушительно гудел. Подернутый густейшим дымом горизонт качался.

Наблюдая огневую гибель вражеской эскадры, Алексей Орлов от возбуждения дрожал, прищелкивал языком и пальцами, хрипло выкрикивал:

– О матушка, о великая государыня!.. Видишь ли? Слышишь ли? Славу твоего пресветлого имени морячки наши держат с честью!

Под усами хмурого адмирала Спиридова нет-нет да и покажется восторженная улыбка.

Набежавший Орлов схватил его в охапку, подбросил вверх и, поймав на руки, принялся целовать.

– Победа, адмирал, победа!

А взрывы гремят. К рассвету вся турецкая эскадра была обращена в дым и пепел. Погибло шестьдесят пять турецких кораблей с двадцатью тысячами человек. Русские лишились одного корабля и шестисот восьми человек, в том числе тридцати офицеров.

Спиридов под сильнейшим впечатлением огневого боя писал своему приятелю графу Ивану Чернышеву:

«Турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили, и оставили на том месте престрашное зрелище, а сами стали быть во всем архипелаге господствующими».

Вскоре после Чесменского боя, покрывшего российский флот вечной славой, русским армиям удалось нанести туркам потрясающие удары и на сухом пути.

2

Весной, после победоносных стычек с турками, крупный отряд донцов под начальством полковника Кутейникова двинулся со второй армией графа Петра Панина в поход к сильнейшей крепости – Бендерам.

Емельяну Пугачеву, призванному вместе с донцами, редко доводилось быть в таких тяжелых походах. Войска шли по опустошенному войной месту, селения еще в прошлом году были разрушены, преданы огню: ни фуража, ни продуктов... Жители разбежались. Да и весенняя погода подгуляла: днем то нестерпимая жара, то ливень, ночью – пронизывающий холод; у Пугачева стали побаливать ноги.

И еще невзгода: кругом свирепствовала страшная чума. Солдатам и казакам, как противочумное средство, иногда выдавали по чарке водки с чесноком и забористым турецким перцем.

Как-то случилось казакам добыть в брошенном шинке три больших бочки виноградного вина. Как раз подоспели два дня роздыха, казаки хорошо кутнули. Был пьян и Пугачев.

Сидели у костра, вспоминали Дон, сказывали занятные истории о турецких колдунах и ведьмах. Складней всех подвирал Пугачев.

Ванька Семибратов взял прислоненную к кусту нарядную саблю Пугачева, стал ее рассматривать. И все потянулись к сабле. Рукоятка ее отделана золотом, а по стальному клинку золотой насечкой – надпись.

– Откудов ты эту знатную саблюку добыл? – спросил Пугачева старый пегобородый сотник Кавун.

Пугачев сделал серьезное лицо и заплетающимся языком сказал:

– По-по-жалована мне она сабля самим императором Петром Первым.

Пьяный сотник вытаращил на Пугачева глаза, спросил:

– Самолично? Петром Великим?

– Самолично... На крестины. Я Петру Великому, покойному императору, родным крестником довожусь.

Казаки разинули рты, примолкли, уставились на сотника, ждали, что он скажет. Сотник сказал:

– Это... это, брат, ого-то... Береги саблю! Эта сабля дорогого стоит. Да к ней, как ко святой иконе, прикладываться по воскресеньям треба. И чего ж ты, ведьмячья твоя лапа, молчал?

– А чего мне хвастать-то? Я не уважаю хвастунов, – сказал Пугачев, пряча под усами плутоватую улыбочку.

Весть о знаменитой сабле вскоре распространилась по лагерю. К Пугачеву казаки стали относиться с особым уважением. Пугачева это забавляло.

Через три дня он был приглашен в палатку полковника Кутейникова. Там сидел и походный атаман Тимофей Греков, начальник Пугачева.

– А ну-ка, Емельян, покажь саблю Петра Великого, – попросил атаман и прищурился. – Так ты доподлинно царев крестник?

Пугачев подал саблю и сказал, что Петр Великий доподлинно крестил его. Государь в то самое время проезжал в Воронеж корабли снастить. Об этом сказывала ему мать, а сам Пугачев этого не помнит, он был тогда несмысленшем, качался в зыбке, мамкину сиську сосал.

Тогда оба начальника враз захохотали. Пугачев понурил голову. Зажав в горсть густую бороду и смешливо прищутив глаза, атаман сказал:

– Да ежели б Петр Первый крестил тебя даже в остатний год жизни своея, то и тебе ныне было бы под пятьдесят годков. А тебе сколько? Поди, не насчитать и тридцати. – Плечи и тугой живот атамана заколыхались в беззвучном смехе.

Пугачев переступил с ноги на ногу, почесал затылок.

– Да и надпись-то вычеканена по-арабски, – сказал полковник, подавая саблю Пугачеву. – Сдается мне, что ты отобрал эту саблю у какого-нито турецкого паши. Сознайся, ведь ты выдумал, что ты крестник Петра Великого? А ежели выдумал, то чего ради?

– Выдумал, как есть – выдумал, – сознался Пугачев, глядя в землю. – А выдумал не ради намерений каких, не ради паскудства, но чтоб *произвесть себя отличным от других*.

– Га! – Походный атаман Греков вскинул палец вверх. – От то гарно, казак Пугачев! Добре молвил: *произвесть себя отличным от других*.

Полковник Кутейников, подергивая сивый ус, согласно закивал головой. Пугачев бодро прикашлянул и, не мигая, глядел в лицо начальству.

– Только вот что, казак Пугачев, – сказал полковник. – Отличным от других надо стараться произвесть себя на поле брани, а не...

– В сражениях я, ваше высокоблагородие, о смерти не помышляю, первым в пекло лезу.

– Храбрость твоя ведома, Пугачев, – проговорил атаман, посасывая турецкую, с кулак, люльку. – Ну, ступай себе с Богом. Служи!

Летом 1770 года началась кровавая осада сильной турецкой крепости Бендер.

Емельян Пугачев, особо отличившийся в этом горячем деле, был произведен за свою умную храбрость в чин хорунжего, то есть в первый казачий офицерский чин.

В ночь на 16 сентября, после ожесточенного штурма, крепость пала.

«Медведь издох», – доносил Петр Панин Екатерине. Однако этот медведь достался в руки победителей не даром: вторая русская армия потеряла при штурме пятую часть своего состава.

Тем временем армия Румянцева тоже одерживала победу за победой. Но беда в том, что в Турции усиленно распространялась смертоносная чума, и военачальникам пришлось вести русскую армию по малонаселенным местностям. При впадении реки Ларги в Прут Румянцев встретил восьмидесятитысячную армию противника. У Румянцева было, вместе с больными, около двадцати тысяч человек. Он объявил войскам:

– Слава и достоинство наше не терпят, чтоб сносить присутствие неприятеля, стоящего в виду нас, не наступая на него!

Наступление произошло 7 июля. Турки были сломлены, разбиты и бежали.

В этой славной битве отличился любимец Бибикова молодой вояка Иван Иванович Михельсон. Ни тяжелые раны, полученные в Прусской войне, ни плохое состояние здоровья не подорвали его отваги. Со своим эскадром он первый ворвался в турецкий лагерь, быстро взял на «ура» восемь неприятельских пушек, но тут же был ранен в руку пулей навывлет. За этот подвиг его произвели в премьер-майоры.

За частые поражения два великих визиря были смещены. Третий, Халимбей, узнав, что у Румянцева всего семнадцать тысяч войска, перебросил через Дунай свою стопятидесятитысячную армию в надежде раздавить Румянцева. На берегах реки Кагула 21 июля «азиатское количество столкнулось с европейским

качеством». Был момент, когда многочисленные янычары смяли русских, наши побежали. Но тут с отборными гренадерскими полками бросился на выручку сам Румянцев. Раздался его зычный голос: «Ребята, стой!» Русские остановились, непоколебимой стеной окружили своего командира, гренадеры ударили в штыки, артиллерия довершила дело. Враг в беспорядке бежал, оставив на поле двадцать тысяч убитых, всю артиллерию и весь свой лагерь. У нас убитых было триста пятьдесят три человека.

В своем донесении о Кагульской победе Румянцев, сравнивая тактику своих войск с тактикой древних римлян, между прочим писал Екатерине: «Не так ли армия вашего величества теперь поступает, когда не спрашивает, как велик неприятель, а ищет только, где он».

За эту победу граф Румянцев был пожалован в фельдмаршалы, а впоследствии, в честь победы при Кагуле, в Царском Селе воздвигли мраморный обелиск.

Восторгаясь героизмом русских победоносных войск, Екатерина изрекала афоризмы:

– Победа есть враг войны и начало мира. Победою истребляется война и прокладывается путь к миру.

А между тем набор шел за набором, маломощное закрепощенное крестьянство, работавшее четыре дня в неделю на помещика, обессиливало, хирело.

3

Полк, где служил хорунжий Пугачев, после горячих боев был отведен на винтер-квартиры, в село Голую Каменку. Наступило зимнее затишье.

Однажды, попав в городок Елизаветград, Емельян Пугачев зашел, любопытства ради, в турецкую кофейню, присел к окну и попросил себе кружку черной, незнакомой ему жижицы.

Тут было много военных, они вели шумные разговоры. Вот трое молодых, слегка подвыпивших офицеров-щеголей за столиком у окна. Хотя все трое навеселе, но беседа у них серьезная. Понял Пугачев из той беседы не все, а что понял, то показалось ему до крайности любопытным. Офицеры говорили о войне, о том, что-де эта война с турками должна проложить чрез Черное море путь-дорогу русскому хлебу к заморским державам, а то русская торговля на юге совсем хиреет. Выходило: битвы с турками не из-за чего иного зачались, как лишь из-за того, чтобы помещик да купец могли зерно с своих полей и прочие товары пустить в торговый оборот за морем. Эге-ге, значит, вот из-за чего война... Нехай так!

Еще пуще привлекла внимание Пугачева беседа за столом, у стойки. Сидели там молодой гусарский офицер да сам хозяин заведения, полнотелый черноусый человек с иссиня-темными глазами. Как выяснилось из разговора, хозяин был черногорцем, часто жила в Петербурге и неплохо говорил по-русски.

– Да, да, господин поручик, странные на свете дела бывают, – с акцентом, громко повествовал черногорец. – Вот уже больше года по Далмации и Черногории разъезжает неизвестное лицо. То он лекарь, то он одетый в рубище мужик. И никто не может узнать, откуда он, кто он такой. Только вдруг объявляет себя... знаете, господин поручик, кем? Московским Петром Третьим!

Пугачев разинул рот и затаил дыхание. Он жаден был до всяких слухов. Удивленно выпучил глаза и гусарский офицер.

– Да, да, – не терпящим возражения тоном продолжал черногорец. – И тогда многие стали стекаться к нему. А некто Марк Ямовик обратился к народу с речью, что этот таинственный человек есть подлинный император Петр Третий, бежавший из заточения в России, что он видел его в Петербурге. И в речительство своих слов оный Марк Ямовик давал свое имущество и голову свою на отсечение.

– И что же дальше? – поспешно спросил гусар, допивая кофе.

Черногорец пожал плечами, сделал гримасу недоумения, сказал:

– Что дальше – и сам не знаю. Жду вестей от своего знакомого из Черногории – Боро Станиссека, сына губернатора, умершего в Петербурге. Ну а вы, господин офицер, видали покойного императора?

– А как же! – воскликнул гусар.

– Каков же он из себя?

– Из себя он был... из себя он был... – Гусар, повертывая голову, обводил неторопливым взором во множестве сидевших за столиками военных и штатских, русских, поляков и турок, и вдруг пристальный взгляд его остановился на большеглазом исхудавшем Пугачеве. – Вы видите вон того хорунжего?.. Под окном который, донской казак... Изрядно он смахивает на Петра Федорыча... И окладом лица и особенно глазами. Только бородашку сбрить.

Хотя гусар говорил негромко, но чуткий Пугачев даже сквозь шум кофейни услышал эти слова.

На следующее утро под каким-то предлогом он пробрался в палатку, где был штаб донских казацких

полков, и, украдкой, стал пристально всматриваться в надкаминое зеркало.

«Неужто жив покойничек? Стало, не зря народ о нем балакает», – думал он и все крутился перед зеркалом, набекренивал на ухо мерлушковую шапку.

К нему подошел с обнаженной саблей часовой-казак:

– Тебе, господин хорунжий, к докладу?

– Нет, – ответил резко Пугачев и вышел.

Столь поразившие Пугачева необычайные слова черногорца вскоре забылись. На смену пришли другие интересы и волнения. Снова раздался шум боевой опасной жизни. Но Пугачеву воевать больше не пришлось. Он тяжело заболел. От скудного питания у него образовались нарывы на груди, а от сильной простуды – ревматизм в ногах: ноги ныли день и ночь. Из строя его отчислили на лечение.

Захворавший Пугачев лежал в лазарете. Большинство больных валялось на полу, на соломе, Пугачев же «огоревал» себе холщевую койку. Здесь помещались «нетрудные» больные, не было слышно ни криков, ни стенаний. Бродили санитары из слабосильной команды, раза два в день заглядывали лекари. Солдаты почему-то недолюбливали их, заглазно называли «людоморами». Соседи Пугачева добрые, из нестарых мужиков. Велись беседы по душам о том, о сем, а всего больше – насчет войны.

– Вот воюем, – сказал тамбовец, обросший рыжей щетиной; голова его была забинтована. – А поди раскуси, из-за чего война? Пес ее ведает.

– Из-за чего... По приказу! – протянул другой, чернявый. – Раз приказано – воюй.

Пугачев многодумно ухмыльнулся и проговорил:

– Хы, приказано... С бацу не прикажут, зазря. Попервоначалу обмозгуют дело-то, а тут уж и кулаки в ход.

– Вестимо! Без этого не можно, без розмыслу, – прошепелявил парень с выбитыми в рукопашном бою зубами. – Это тебе не в деревне, стенка на стенку, и – никаких.

Пугачев помолчал, затем неожиданно спросил:

– У ваших бар, поди, много земли-то?

– Земли-то? – отозвался тамбовец в рыжей щетине. – Под нашим барином тыщи полторы десятин.

– А наш помещик, в отставке штык-юнкер Хитрово, на семи тысячах десятин сидит, – подхватил чернявый. – Всю зиму хлеб-то евонный возят...

– Куда же?

– Куда?.. На Волгу, оттуда по весне – в Питер. Бурлаки тянут, путины две-три ломают за лето по воде.

– От нашенского барина тоже в Питер хлеб плышет. Прямо на удивленье, сколь же народу в Питере-то, чтобы весь хлеб с Расеи сжирать?

– Эх, деревня, голова тетерья, – незлобиво пошутил Пугачев и закинул руки за голову. – Из Питера наш хлеб в заморские разные страны тянется, на всякие торжища. Вот я в Кенигсберге был, ярмарка там знатная живет, ну-к и там нашего хлеба да пеньки сколь хошь. Раскусили, мужики, куда хлеб-то втикает, труды-то ваши кровные?

– Да ты, Омелян, сам раскусил, а уж мы теперь жевать учнем, – засмеялись солдаты. – У тебя, казак, видать, ум густой, что твоя капуста.

– Звестно, – проговорил Пугачев. – А то хрюкнула свинья зря ума, ее волк и схрумкал. А вот ежели

взять нашу сторону – Дон да Понизовье все, от нас хлеб в Питер не с руки возить, горазд далече, а надо где коло вблизи норовить. Вот тут-то, братцы-мужики, Черное море зараз и сгодилось бы. Нагрузил кораблики, оснастил да и дуй не стой на заморское торжище.

– Да уж это так, – поддержали солдаты.

– А чье Черное море-то? – поднялся на локте Пугачев. – Турецкое море-то, вот чье. Смекнули, братцы?

– Э-э-э, – протянули мужики и заулыбались. – Стало, хотится нашему царству-государству по султанскому морю путь-дорожку проложить?

– Кабудь так, – молвил Пугачев. – Чрез это и войнишка тянется. Петр Великий под Питером вызнал да отвоевал пути-дороги к тамошнему морю, а мы вот здесь-ка того же добиваемся.

Помолчали. Рыжий поправил бинт на голове, сказал:

– А на кой прах сдалось нам море? Нам бы только сытыми быть.

– Сытыми? – вскинулся на него Пугачев. – Горазд много захотел ты, дядя. Сытым быть... Ха! А не хошь ли воли да землицы барской, да чтобы и самому барином быть?

– А чего ж, – приподнялся на полу рыжий солдат. – Мужик от воли ни в жизнь не трекнулся бы, за волей он живчиком пошел бы, лишь бы поддержка была от миру.

– Как же, дожидайся... Поддержал волк ягненка за ногу... Ха! – ухмыльнулся Пугачев. – Мотри, дядя, ежели б ты помещиком заделался, ой, по-иному загуторил бы. Пожалуй, завопил бы во весь рот: «А подавай сюды море! Желая корабли со своим хлебом водить!»

Все гулко засмеялись.

Тамбовец в рыжей щетине, уцапав за рубахой блоху, сказал:

– Нам тысяч десятин не надобно, а хошь бы десятинки две-три, да чтобы свои, кровные.

– Во-во! – дружно выкрикнули солдаты. – Чтобы своя была земля – не помещичья, а то, веришь ли, петуха на канат привязываем, чтоб на барскую землю не залез. У нас земли, что у журавля на кочке.

– Кабудь так, – одобрил Пугачев. – Я хошь и казак, а помещичью жизнь наскрозь произошел, трохи понасмотрелся. Вот ваш хлеб-то за границу плывет, оттуда взамен серебро да золото, а в чей карман? В ваш?

– Ха, в наш... В нашем кармане вошь на аркане... Эхе-хе... Вот воюем, а дома-то, может, кору с древес едят.

– Ну, будет вам, братцы, не канючите, – примиряюще сказал Пугачев. – Есть и у вас, помещичьих, деревни сытые. Я видал. – И, помолчав, добавил: – А воюем мы, дружки, подходяще, охула не клади на нас. Злее вояки, чем крестьянство да казачество, и на свете нет. Супротив нас ни одни народы вырабатывать не могут – кишка тонка.

– Да уж как поднапрям всем миром, знай беги от нас да не оглядывайся!

Вошел «людомор» в очках. В его руке большая бутылка с настоем перувианской корки, из кармана торчит завернутая в тряпочку оловянная ложка. Вокруг хмуро примолкли.

4

Мелкие сражения все еще продолжались в Польше. По своим масштабам они не могли удовлетворить воинственный дух Суворова – его тянуло к боям крупного значения, он стал проситься на турецкий фронт. К тому же у него были нелады с генералом Веймарном, военачальником медлительным и допускавшим ненужные жестокости по отношению к конфедератам. Суворова это приводило в бешенство. Он страдал.

Екатерина призвала к себе Бибикова. Тот явился подтянутый, неизменно веселый, с быстрым взглядом.

– Голубчик Александр Ильич, – начала Екатерина. – До вас дело доспелось. Хочу вас просить немедля отъезжать в Польшу. Генерала Веймарна мы увольняем, он ни рыба ни мясо. Его заменяйте вы. Кланяйтесь Александру Суворову, мы производим его в генерал-майоры. Он на свою руку охулка не кладет, побивает полячков играючи. – На розовых щеках Екатерины появились улыбочивые ямочки; шутливым, но в то же время настойчивым тоном она сказала: – Токмо – предуведомляю вас, голубчик Александр Ильич, держите свое сердце взаперти: как бы оно от польских панночек обольщено не было и не претерпело бы...

– Мое сердце всегда у ваших ног и в полном распоряжении вашего величества, – сделав реверанс и плавный вольт рукой, в тон ей ответил Бибиков.

Екатерина, поджав тонкие губы, снова улыбнулась и милостиво погрозила ему пальцем.

Бибиков зашел в покои наследника Павла Петровича, которого он очень любил и с которым был в переписке. А пред отъездом в Варшаву направился за инструкциями в кабинет графа Никиты Панина^[52], первого министра Российской империи:

– Ну, граф, благословляйте!

– Да благословит вас Бог и великая Екатерина, – с ласковой улыбкой дипломата ответил Панин. Он несколько потучнел, обрюзг, но, как и всегда, бодр и в манерах великолепен. – Тучки, тучки, Александр Ильич, показались над нашими делами в Польше. И, окромя вас, некого мне туда послать. Разогнать доведется тучки-то.

– Как бы из тучки сильного грома не было, – сказал Бибиков.

– Гром-от не там, а в Турции гремит. Европейские державы знатно злятся на нас: Чесму, да Кагул, да Ларгу не могут простить нам. Австрия союз с Турцией заключила, свои войска к Польше пододвинула. А Фридрих король... ох, уж этот скоропоспешный рыцарь, коварник великий! Он также к польским границам пододвинул свои войска, но тайно. А вот Франция, та откровеннее всех: она послала в Польшу своего генерала Дюмуре с большим отрядом французов.

– И что же?

– Да ничего, – вздернув круглым плечом, с ужимкой ответил Панин. – Предстоит Суворову сабелькой изрядно помахать...

– В этом сомневаться не приходится, – и сидевший в кресле Бибиков закинул ногу на ногу.

Панин пристально поглядел в глаза Бибикова. Он считал его своим другом.

– Да и знаете что?.. – Прихрамывая на отсиженную ногу и поморщиваясь, Панин стал ходить по кабинету. – Только, чур: между нами, доверительно... Непокойно на Руси у нас, добрейший Александр Ильич, ой непокойно. Мужики пошаливают, господ норовят за горло взять, поместья жгут. А воинской силы нет, войска в Турции да в Польше. Сами видите – внутреннее положение отечества нашего не из

легких.

– А где же беспокойно, граф?

– Где? Да во многих местах помаленьку. И под Пензой, и под Тверью, и в Нижегородской губернии, и в Казанской... Да мало ли? Вот года с два тому назад крупный бунт был возле Волги, в селе Большие Травы...

– Большие Травы? – поднял брови Бибилов. – Так это же именье Перегудова! Большой руки подлец, знаю, знаю.

– Может, он и подлец, – сказал Панин, приостанавливаясь, – а порядок-то нарушен.

– Зачинщики-то кару понесли?

– То-то, что нет! – выкрикнул Панин. – Каких-то двое казашишек проезжих да солдатишка тамошний мужиков-то подбили к бунту. Подбили да и – драла. Так и не словили их.

– А сам Перегудов?

– А Перегудов уцелел.

– Жаль, – улыбнулся Бибилов. – Ведь он тиран и притеснитель.

– Да, да, – возбуждаясь, проговорил Панин. – И не успели унять возмутителей в селе Большие Травы, как у нас под носом бунт содеялся, в псковской вотчине Ягужинского графа. Там управляющий некий французик де Вальс кашу заварил. Или вот вам!.. – граф прихлопнул ладонью лежавший на столе переплетенный том – «Экстракт дела о возмущении работных людей на Петровских олонецких заводах».

– Я, почитай, год в деревне прожил, – сказал Бибилов, – об этом деле мельком слышал, но тонкостей не ведаю.

– На Петровских заводах пушки льют, помимо всего прочего. – Панин сел за стол и придвинул к себе «дело». – К заводам приписано больше десяти тысяч крестьян – русских и карел. Работа принудительная: хочешь не хочешь, а иди. Не сообразуясь со здравым смыслом, администрация тягала крестьян на завод в самую горячую земледельческую страду. Это озлобляло мужиков. Вы сами знаете: на войну с турками пушки надобны, вот мужиков и заставляли работать чрез плети да палки день и ночь. А тут еще приказ – ломать мрамор для строящегося Исаакиевского собора. Мужик и спать недосуг. Каторгу из завода сотворили! Ну, народ и поуперся, возмутители нашлись. Калистратов, молодой мужик, да еще кой-кто из крикунов. Словом, коротко сказать, заварилась на заводах кутерьма, многие крестьяне кинули работу, в бега ударились; начались преследования, плети, пытки, насмерть забивали иных. Сенат всполошился, послал на завод комиссию из трех пьяных дураков, те сидели там не один месяц, бражничали, взяточки с заводского начальства брали. Сенат этих трех дураков снял, послал туда одного умного – новгородского губернатора графа Сиверса. Ну, сами знаете, Сиверс человек образованнейший и честнейший. Сам он туда по болезни не поехал, а рассмотрел дело по бумагам и дал Сенату свое мнение. В нем он во всем обвиновал администрацию заводскую, а крестьян во всем оправдал.

– Да что вы?! – не без удовольствия воскликнул Бибилов.

– А вам сие в удивление? Он пишет, что причина послушания крестьян состоит в чрезвычайно тягостном и беспорядочном наряде работников к поставке материалов, угля да леса в самую горячую земледельческую пору; крестьяне, лишаясь таким образом возможности снискивать пропитание от своих земледельческих занятий, пришли в отчаянье. И главною причиною отчаяния этого несчастного народа были, по мнению Сиверса, бездарные правители петрозаводской канцелярии. Вот его записка, – сказал Никита Панин, перелистывая дело. – Он ее кончает так: «Я молчал бы, если б не слышал глухих жалоб,

которых причины должны быть важны, если жалобы слышатся так издали». Поелику доводы Сиверса были правильны, – ухмыльнулся Панин, – Сенат оставил его записку втуне, и замест трех первых дураков послал туда наводить порядки четвертого дурака, генерала Лыкошина. А волнение все шире да шире. Лыкошину довелось отправить в леса воинскую команду в сто человек, повел ее офицерик Ламсдорф. И вот слушайте, дорогой Александр Ильич... Ага! Чаек плывет... Прошу...

Лакей, подав чай и кучу сладостей, ушел.

«Привел свою дружину Ламсдорф в большое село Кижы, а там толпища больше шести тысяч: ружья, рогатины, кинжалы, народ там, почитай, звероловы все, охотники. Щупленький Ламсдорф для храбрости выпил, стал гарцевать на конике, стал покрикивать:

– Выдавайте возмутителей! Становитесь на работы!

А те:

– Ты, барин, лучше передай-кось в наши руки царский манифест. Да убирайся вместе с солдатней покудов жив, а то всем вам могила здесь будет!

Ламсдорф перетрусил, велел повертывать обратно. Толпа захохотала, двинулась за солдатами, ругала их, кричала:

– Ну, счастливы, солдатые, что стрелять не зачали! – Верст с восемь они провожали отряд свистом, руганью.

Сенат, получив известие, Ламсдорфа сместил, а послал к возмущившимся капитан-поручика Ржевского с подлинным именованным указом императрицы. В указе некие льготы давались мужикам, мужики приглашались становиться на работу. Ржевский повел дело умиротворения по-умному. Несколько тысяч крестьян стали на работу. А непокорных в крае оставалось еще много. На усмирение послан был полковник князь Урусов. Ну, он и усмирил их... На сей раз все крестьяне объявили себя послушными...»

Панин допил чай, опять зашагал по кабинету и воскликнул:

– Ох, уж эти послушные из-под палки крестьяне! Это, я вам скажу, – порох. Чуть что – и снова кутерьма... Нет, плохо в отечестве нашем. Мужик за пазухой камень держит... И как отрегулировать сей сложнейший вопрос о барине и мужике – хоть убей меня – не ведаю...

– Опасаюсь, как бы сей вопрос не взялся отрегулировать сам мужик, – угрюмо сказал Бибииков.

Он ушел от графа Панина встревоженным. Его сознание было угнетено. Из разговоров с сановниками, с дворней, из переписки с друзьями да и по собственным наблюдениям он знал, что отношения между крестьянами и барями в дворянской России год от года становятся невыносимей. Вспышки, бунтарства, разбои. Назревают какие-то тяжчайшие события, а воинской силы нет. «Хорошо, если Бог пронесет грозу, если удастся скоро разделаться с Турцией и Польшей. А вдруг – тьфу, тьфу! – появится какой-нибудь Гришка Отрепьев? Запылает тогда дворянская Россия!»

Подобные мысли не давали спать и придворной знати, и крупным рабовладельцам, и многочисленному мелкопоместному дворянству. Беспокоили они и Екатерину. Впрочем, царица надеялась на «промысел Божий» и на ретивость карательных отрядов. Ну, там она придумает еще какие-нибудь штучки, чуть полезные мужику и не очень вредные дворянам...

Барин тревожился, скучал, а потомственный мужик радовался. Петербург почти наполовину был населен крепостными; живущая при господах дворня, оброчные крестьяне, строительные работные люди... Кровно связанные со всей страной, они лучше всех знали о том, что творится на Руси. При встречах на базарах, в трактирах, церквях, шинках у них только и разговоров было, что о тяжелой доле мужика, о

кровопролитных войнах, о том, что авось и на их улице будет праздник.

Глава II

Псковская вотчина

1

Граф Ягужинский был крупным рабовладельцем; имел металлургические заводы на Урале, чулочную фабрику в Москве; сам жил в Питере, часто путешествовал по заграницам, в свои деревни заглядывал редко.

Псковской вотчиной, где значилось по ревизским сказкам больше шести тысяч душ мужского пола, управлял его крепостной Герасим Степанов. Он был хорошо грамотен, много читал, умел играть на скрипке, был горазд на нотное пение; граф считал его натурой одаренной. Герасим с малых лет работал писчиком при конторе в селе Хмель, получал жалованье полтора, затем три, затем пять рублей в год, жил скудно. А как вошел в возраст, женился, был определен в приказчики. За неподкупную честность, отменное знание земледельческих работ, умение ладить с крестьянами приказчик, на зависть многим, вскоре был назначен графом в управляющие псковской вотчиной. Герасиму Степанову было в великое удивление, что ему, «худородному и маломощному, попущено столь почетное звание».

Прошло два года. Бесчестные завистники, жившие в селе, бывшие барские лакеи и прочего рода прихлебатели всячески пытались оклеветать его пред графом, злокозненно мстя ему, что он – из мужиков мужик – вылез наверх и руководит ими, будто благородный. Летели на него в Питер грязные доносы, подковырки, кляузы.

Летом неожиданно приехал сюда француз де Вальс, управитель московских вотчин графа Ягужинского. Волею проживающего в Петербурге графа Герасим Степанов смещен в приказчики, управителем же назначен вместо него де Вальс. От такой незаслуженной обиды Герасим Степанов впал в недуг, а враги его возрадовались.

Де Вальс донельзя корыстен и жесток. Для своего личного обогащения придумал завести здесь ткацкую фабричку. «Что ж, – раздумывал ловкий француз, – в этом крае лен родится в изобилии, труд даровой, заставлю подлых смердов полотна ткать, аршин графу, два себе, граф сюда и носу не показывает, значит, путь к богатству верный».

Толстый, плешивый, на коротких ножках де Вальс стал совещаться со своим подручным, чахлым, полубезносым французиком Антоном Бодейном. Решили, чрез угрозу и обман, собирать в свою пользу ежемесячную дань с крестьян всей вотчины. Строжайшее объявление о сем крестьяне приняли враждебно. Ходатаем за них пришел Герасим Степанов. Ему тридцать два года, натурой он был крепок, лицом миловиден. Француз до своих очей его не допустил, велел вытолкать в шею.

Де Вальс держал себя князьком. По деревням разъезжал на тройке вороных, окруженный гайдуками, наводил страх – при встрече мужики должны были валиться на колени, – сек правого и виноватого.

Крестьяне дивились, чего ради какому-то французिशке этакая власть на русской земле дана? Пробовали жаловаться, но толку никакого: француз успел все начальство провинциальной псковской канцелярии задобрить взяткой, пирогами. По-русски ничего не говорил, кроме: «Шволочь! Загною тюрьма, мать-мать-мать». При нем переводчик Стахий Трофимов, безликий, робкий, природою из дьячков, когда-то состоял при походной церкви российского посланника во Франции.

Однажды вечером француз проезжал чрез небольшую деревеньку. В него полетели камни, палки, слышались выкрики:

– Убьем!.. Не минуешь наших рук.

Француз перетрусил, ударил кучера в спину, гнусаво заорал:

– Але!.. Марш-марш.

Утром был призван приказчик Герасим Степанов. Француз восседал в золоченом кресле, как царь на троне. Лысый, без парика, в расстегнутом бархатном камзоле, лицо одутловатое, в красных пятнах, на столе – собачий арапник.

– Вот что, любезный, – сказал через переводчика француз. – Мне известно, что мужики хорошо тебя слушаются. Внуши им, чтоб они вполне подчинялись мне и не буянили. Иначе худо будет и тебе и мужикам.

На то раздраженный Герасим смело ответил:

– Вашей малости должно быть ведомо, что любовь подчиненных надобно сыскивать кротким и отеческим отношением к ним. Вы же, сударь, желаете угнетать народ незаконными поборами, я о сем буду отписывать его сиятельству, графу Ягужинскому.

Француз де Вальс на эти речи затопал ногами и, задав Герасиму Степанову страх, затаил на него большую злобу, как на человека опасного и непокорного.

Прошел февраль. Дыхнуло теплым ветром, дороги начали буреть, в березах заграяли грачи. Из-под Москвы приехали в село Хмель мастера (московские крепостные графа Ягужинского), привезли ткацкие станки.

– Это что же такое будет? – любопытствовали дворня и крестьяне.

– А вот заставит вас француз день и ночь тонкую пряжу прясть да полотна ткать, – не то в шутку, не то вправду наговаривали мастера. – Дочек ваших заберет на фабричку, сперва перепортит всех, опосля того прикажет над станками спину гнуть до самой смерти. Да и вам, отцы, делов будет невпроворот с этой самой фабричкой.

На крестьян уныние напало, крестились: «Господи, убереги от козней бусурманских...»

Станки вскоре были установлены в трех флигелях и большом амбаре. По деревням срочно составлялись списки на баб, на девок, на слабосильных мужиков.

Среди крестьян началось брожение. На барском дворе, на лесных заготовках, по овинам кое-кто из смельчаков заводил разговоры. Особливо же шел шум по кабакам, вино распаяло мысли, пьяные кричали:

– Нет, врешь! Не поддадимся хранчюзской образине.

– Братцы! Надо бучу зачинать. Сжегчи все окаянное гнездо, нарахать хранчюза, чтоб утек.

В воскресенье староста оповестил народ, чтоб первая очередь в понедельник чем свет явилась на барский двор – будут ткацким работам обучать. Бабы, девки плакали, мужики шумели:

– И не подумаем пойти! У нас своих делов по горло. Так и обскажи хранчюзу.

В полдни трех мужиков арестовали, баб с девками перепороли, большой плач стоял.

Народ схватился за последнюю попытку спасти себя. На многолюдном сходе пяти больших селений мужики порешили послать в Питер выборных с поклоном к сиятельному графу, чтоб граф освободил их от

немилой работы, от поборов, чтоб убрал чужестранца и русскому народу притеснителя, а поставил над ними, как допреждь, бывшего управляющего Герасима Артамоновича Степанова – он мужик верный, свой.

Ходоки с писаной бумагой выбыли в столицу. Но в пути, по кляузному доносу, были схвачены, избиты и приказом ожесточенного де Вальса увезены со стражею во Псков. Особо сильно претерпел почтенный старец Данила Чернавин: у него нашли бумаги к сиятельному графу Ягужинскому. Прислужники француза топтали старика ногами, волочили по земле за бороду, прошибли череп.

Когда узналось об этом, началась немалая в народе заваруха. Крестьяне двухтысячной толпой подвалили к барскому дому, где сидели запершись два француза, переводчик и шестеро гайдуков-служителей.

Народ в тыщу ртов орал:

– Эй, управитель чертов! Покажись к нам на пару слов. Так-на-так перемолвиться охота...

Из форточки высунул бородатую с косичкой голову переводчик Стахий Трофимов:

– Братцы, чего вам надобно? Барин де Вальс просит вас не шуметь.

– Мы тебе не братцы! – с великим гулом и злостью отвечала несметная толпа. – А твой хранчюз нам не барин. Наш природный барин – граф. А твой хранчюз со всем своим кобельем пушай убирается отсюда восвосяи. А то вот обволочем весь дом соломой и спалим вас всех!

Тут грохнул в раму град камней, треснули, зазвенели стекла. Осажденные в страхе бросились во внутренние горницы. А на улице все свирепей, все громче:

– Ломай амбар! Кроши станки ихние анафемские! Соломы, соломы тащи к дому... Давай огню!

Чернобородый, со страшным лицом дядя сшиб замок, толпа, распахнув ворота, ворвалась в амбар, раздался глухой грохот, треск, из амбара кувыркались колеса, шкивы, станины, народ в ярости крушил чертовые затеи.

Французы, да и вся челядь, едва не умерли со страху. По горницам заволокло сновали две румяные с пышными телесами горничные, какие-то грязные кухонные бабы, лакеи, парикмахер Жан... Все суетились, хватали то одно, то другое, пихали в узлы. Де Вальс дрожмя дрожал, отдавая бессмысленные приказания. Он был пьян. Его обрядили в сарафан и душегрею, голову обмотали шалью, одели бабой и полубезносого французика, обоих запхали в кухне на полати, загородили квашней, горшками, валенками, велели не дышать, иначе сыщут, сдернут и зарежут... А как наступил седой вечер, буйная толпа намерзлась, отошала, схлынула домой, грозя прийти завтра утром и вверх дном перевернуть французское гнездо.

Осажденные, добыв мужицкие подводы, тайно проселками удрали в бабьем виде в город Псков.

На масленой неделе в село Хмель прибыла из Пскова воинская в двести человек команда при четырех офицерах. Тихомолком взято ночью семеро замеченных в буйстве крестьян. А приказчик Герасим Степанов получил от де Вальса ордер немедля явиться к нему во Псков.

Его жена и мать ударились в слезы. Он сказал:

– Не поеду. Я лучше в Польшу убегу. Туда много наших мужиков ушло. А то де Вальс меня замучает. Я человек бесправный.

Тогда мать, жена и малолетняя дочь пуще заплакали:

– А мы-то? Мы пропадем без тебя. Нас в гроб вгонят... Положись на волю Божью, поезжай.

2

А вот и старинный, когда-то вольный город Псков с седым кремлем-детинцем, выдавшим полчища Стефана Батория, с древними соборами, с многочисленными храмами, с белокаменными палатами купцов Поганкиных.

Герасим Степанов всей душой любил свой город, но ныне вступил в него, как преступник в холодную тюрьму.

Оба француза с переводчиком, окруженные, как свитой, барскими холопами, жили во Пскове, в богатом доме графа Ягужинского. Герасим Степанов, унылый и взволнованный, предстал пред де Вальсом. Тот зверем взглянул на него, через переводчика спросил:

– Что ты, каналья, наделал? В селе Хмель и во всей вотчине у тебя свои люди. По наущению твоему они противу меня бунт подняли. Выходит, ты главный бунтовщик...

И не успел растерявшийся Герасим рта раскрыть, как француз приказал заковать его в ножные кандалы и бросить в каменный подвал под домом. В этой сырой темнице не было печи для сугрева, не было рамы в окне. Герасим попал прямо на мороз. Его здесь встретили воем и стенанием шестеро скованных избитых ходоков-крестьян из села Хмель.

Едва живой старик Данило Чернавин, у которого неделю тому назад отобрали бумагу крестьян к графу Ягужинскому, слабым голосом, чрез вздох и сипоту советовал:

– Намедни здесь писарь наш мучился в оковах, он требовал, чтоб вели его в гражданский суд... Требовай и ты, Герасим Артамоныч, ты шибкий грамотей, тебя послушают.

Наутро явился с ключом полубезносый француз Бодеин, отпер подвал. Герасим без всякой учтивости закричал на чахлого французика:

– За что вы, беззаконники, морите меня в морозном погребе?! Ежели я бунтовщик, отдайте меня к осуждению в гражданский суд.

Тогда по знаку Бодеина четверо солдат с ружьями вновь повели его из подвала в верхний этаж к де Вальсу.

– Мать-мать-мать, – сквернословно встретил его француз. – Мушьяк! Шволочь! Пусть он, собака, не упорствует! – и, не получив от него учтвого ответа, француз с наскока ударил его по щеке и раз и два, велел связать ему руки назад.

И снова сырой холод, мрак. Зима еще не кончилась.

Шли дни и ночи, миновала неделя. К заключенным крестьянам никого не допускали, питали весьма скудно, даже для телесной нужды выпуску не было: в углу стоял вонючий, омерзительный ушат, его ни разу не выносили. Заключенные пребывали в злобе и унынии, роптали на Бога, на судьбу, кляли начальство, власть. Сивобородый старик с заплывшими от побоев глазами, Прохор Гусаков, вздыхал и охал.

– Где это видано, где это слыхано, – с надсадой кряхтел он, – чтобы над русским мужиком всякая заморская гнида измывалась, – и подымал свой голос до негодующего крика: – Баба государством правит! Сладко ест, сладко пьет да гуляет с толстомясой кавалерией, слез наших не видит, воздыханий не слышит, да ей и слышать-то охоты нет. Эх, неправда ты, неправда русская!

Небо засияло синью, капель была. Но в сырой подвал солнце не захаживало. В окно, лишенное рамы,

виден тесный, скучный мир: деревянный покривившийся забор, серая стена соседнего каменного дома да кусочек неба. У забора обледенелая гора смерзшихся помоев, на ней кошка дохлая с веревкой на шее, опорки, битые горшки, грязь, дрызг.

Повадилась к узникам мужицкая птичка – воробей, прикармливали крошками, радовались ему. Прилетал воробей каждое утро – толстенький, нечесаный, хохлатый, прилетал и, подмигивая и чирикавая, как бы говорил: «Здорово, мужички, чирк-пере-чирк. Ничего, терпите... С крыш течет! Грачи кричат! Чирк-пере-чирк». На душе мужиков теплело.

На шестнадцатый день ввергли в узилище троих избитых крестьян псковской деревни Охабенье. Бородатые лица в синяках, глаза бессмысленно блуждают.

– Почитай всю вотчину перепороли через десятого, пятьсот с гаком человек, – отдышавшись, стали жаловаться вновь пригнанные крестьяне. – А вот мы трое поупорствовали, нас по офицерскому приказу изувечили, ни сесть, ни лечь. Ох, разбойники, ох, ироды... А за хвабричку ихнюю, кою мы миром поломали, на всю вотчину превеликую наложили дань. Вот что хранчюз наделал, черная душа. Теперича последнюю корову со двора сводят, сундуки перетряхивают, с плеч шубы рвут... Ой, ты...

– Ну а какова семья моя? – робко, срывающимся голосом спросил мужиков Герасим, и сердце его вперевой пошло.

– В бега ударилась, дружочек, твоя семья, вот что... В бега, в бега, в бега. Всю живность, все иждивение побросали, невесть куда скрылись, – и мать твою, и жену, и дочь малую. Слых прошел, их тоже станут пытать да бить. Вот они и утекли подобру-поздорову... Утекли, кормилец, утекли. Мотри, не в Польшу ли.

Удрученный Герасим принял удар молча, только все в нем задрожало. Испитой, постаревший от голода и печали, гремя железницами на ногах, он сел в углу на опрокинутый ящик и предался злобным размышлениям... «Вот я, безвинный, лишился свободы, лишился семьи и здоровья, – думал он, – дважды заушен был злодеем французом, аки прощельжник, и заключен невесть за что жесточае сущего разбойника... Теперь уж никто не поможет мне. Погиб я...»

3

Наступила долгожданная святая ночь. Сотрясая тишину и стены древнего детинца, раскатисто ударил тысячепудовый колокол Троицкого собора.

Узники сразу оживились. Суетливо засветили фонарь и, взволнованные, глянули в темень весенней ночи. Превеликим гулом гудели многочисленные, с серебром, колокола. Звучные волны благовеста на фоне тысячепудовых, в октаву, переливов толкались в стены узилища, как бы подстрекая пленников к побегу, и, затопляя собою все пространство, уносились ввысь. И какая-то радость подхватила узников на крылья. Тяжелым вздохом выдохнув всю скорбь с души, узники, под лязг цепей, бросились обнимать друг друга.

– Христос воскрес, братцы! Христос воскрес! – Бороды их тряслись, по втянутым щекам – ручьями слезы.

Но порыв ликования быстро схлынул, на душе вновь горько и черно, пожалуй, тяжелей, чем прежде. Два седобородых деда, Данило Чернавин да Прохор Гусаков, бессильно упав на землю, бились головами в стены, в отчаянии рвали на себе волосы и, мешая рыдания с хриплым кашлем, жутко вопили:

– Христос воскрес, это верно. А мы?.. Мы-то когда же воскреснем? Братцы, родненькие наши, все мы сгнием здесь...

Бросились утешать их, но и сами утешающие плакали навзрыд, и не было слов, и нечего было сказать, нечем помочь беде.

Подступил к окну часовой с ружьем, глянул в погреб:

– Эй, вы! Дураки такие. Ну, чего воете-то? Мужичье характерное. Тьфу!

Он отошел, пофыркал носом, морщинистое простодушное лицо вскоробилось жалостью, опять приступил к окну:

– Эй, Степанов, Вавилов, Злобин, хотите покурить? Нате вам. Христос воскрес... Эх, вы-ы-ы, сиволапые... Нате по яичку, разговейтесь.

Фонарь скудно мерцал. Благовест кончился. Перелаивались по городу псы. Где-то пропел петух-полуночник. Караульный на улице с ожесточением бил в трещотку. Тяжело прогремел железом по камню тарантас купца.

Проходил первый день пасхи. Старик Данило Чернавин занедужился вконец. У него все ныло и ломило: отбитые внутренности, исхлестанная плетками спина... Он кряхтел и охал, жаловался, что «внутрих палит», пил ледяную воду. Его положили на солому в уголок, тепло укутали. А как ударили по городу к торжественной вечерне, стал он удушливо хрипеть. Закованные в цепи крестьяне и приказчик Герасим Степанов окружили его, не ведали, чем умирающему пособить.

В это время жирный француз де Вальс и полубезносый французишка Бодаин были приглашены воеводой, генерал-майором Поздняковым, к пасхальному столу, вместе с многими почетными гостями до тошноты обжирались вкусными яствами, запивали французской водкой, бургундским, английским портером, бишофом, вели веселые разговоры, хохотали во все горло, пускали из трубок ароматный дым: «ха-ха, хи-хи», – им море по колено...

...Герасим, да и прочие, что на ногах, стали чрез оконце умолять солдат:

– Служивые! Человек у нас мается смертно, Данило-дед. Бегите, служивые, скорейча наверх, в

господские покои, надобно какие-нито способа принять.

Явился пьяный кудряш-цирюльник, большеносый, черный, как цыган, и грязный. Он отворил кровь старику, перетянул ему руку выше надреза бечевкой. Крови в глиняную чашку вытекло много, цирюльник выплеснул ее на побуревший снег, над снегом тепленький парок пошел. Старик сначала затих, потом стал метаться и стонать, слабым голосом звал Дуньку-большую, Дуньку-маленькую, Оленку – внучат своих, – звал попа, чтоб причастил.

– Умираю, братцы, – шептал он. – Истоптали меня всего. Хранчюз приказал... Бог ему судья... – Он закрыл голубые тоскующие глаза, поежился. – Темно-о-о... Вздыху нет... На улку ба-а... – и, как рыба на песке, стал ловить ртом воздух.

С большой опаской, бережно подтащили его к окну, он захрипел, началась предсмертная икота, разинул рот с белыми зубами, вздрогнул и скончался.

Загремели железища, все опустились на колени.

Вошли с рогожными носилками четверо пожилых солдат. Лица их сумрачны. Переговариваясь взволнованным шепотом, осторожно переложили мертвеца на носилки, поплевали себе на руки, неспешно понесли. Узники, трясущимися голосами и глотая слезы, затянули похоронное: «Святой Боже». Морщинистое умное лицо мертвеца сделалось белым, сдвинутые брови распрямились, легли спокойно. Данила стал свят лицом и чист. Солдаты вынесли тело на волю, дверь могилы снова захлопнулась, щелкнули замки. На воле свежо, отрадно. Герасиму показалось, что мертвец Данило как бы силился взглянуть в последний раз на заходящее солнышко, по глаза его незрячи. Веселая стайка воробьев на заборе встретила Данилу дружным щебетом: «Карачун мужичку, чирк-пере-чирк...» Две вороны терзали оттаявшую кошку с веревкой на шее, горласто дрались.

...А в этот самый миг камергер двора граф Сергей Павлович Ягужинский беспечально пребывал во дворце блистательной Екатерины Алексеевны, императрицы всероссийской. Располневшая царица-государыня, рачительная мать народа своего, разодетая в пух и прах в драгоценное золото и каменья, изволила собираться с блестящей свитой своей в придворный, ее величества, эрмитажный театр на смотрение французской пьесы с танцами и переодеваньем.

...Меж тем де Вальс замыслил новое надругательство: пришел кудряш-цирюльник, наголо остриг всем по-каторжному волосы. Насильно обезображенные крестьяне, особливо старики, были неутешны, плакали.

Вскороги Герасима отвели из подвала в верхние покои к де Вальсу. Герасим заметил некую во французе растерянность.

– Ты графский человек, посему я тебя к нему и отправлю, – сказал де Вальс. – Что граф изволит, то с тобой и учинит.

Вечером он был препоручен отставному сержанту Воинову да конюху Якову и увезен в Питер.

4

Графский дом в столице встретил Герасима немилостиво: под сугубым караулом, скованный, он просидел без всякого спросу и резолюции еще девятнадцать суток. Видно, графу не до него. На двадцатый день его впервые расковали.

В халате с золотыми кистями, без парика, пожилой, черноглазый, с горбатым носом, граф Ягужинский в малой столовой кофе пил. Пред ним в согбенной позе, изнуренный, безобразный и, как преступник, остриженный стоял Герасим Артамонович Степанов. Граф прекрасно знал своего бывшего управляющего, всегда дорожил им, возвышал его. А вот сейчас, нимало не удивившись видом Герасима, взглянул на него с обидным равнодушием.

– Слушай, Герасим! А скажи мне, голубчик, вот что... – начал он изнеженным, с пришепетом, голосом. И стал выпрашивать о земледелии, каким способом размножить посев льна, как лучше удобрить землю и о прочем. О самом же Герасиме, о замученных де Вальсом мужиках будто ему и дела нет. Ведь знает же граф обо всем этом – и молчит. Тогда где же закон, куда делась правда, у кого мужик должен искать защищение себе? «Граф видит поруганный зрак мой и плачевное состояние мое, – раздумывал Герасим, – и хоть бы слово молвил в мое облегчение, а обидчику французу – в укор». Сам же заговорить об этом он не посмел: пред ним его владыка, сиятельнейший граф, а он – мужик, раб, даже не человек: он вещь.

Вдруг неожиданно гость – граф Александр Сергеевич Строганов.

– Ба! Что это за чудо? – взглянув на униженного, нищенски одетого человека, воскликнул он.

– А так... – замялся смутившийся хозяин, – крепостной мой, бывший управитель, псковской вотчины моей командовал. Да вот де Вальс штуку с ним сыграл, – граф Ягужинский усмехнулся.

– Позвольте, позвольте, граф, – прищурился Строганов и, откинув фалдочки мундира, сел на золоченый, обитый белым штофом, стул. – Это какой де Вальс, это какой де Вальс? – зачистил он. – Уж не ваш ли московский управляющий? Ведь он же – жулик! Ведь он в Москве, помню, влопался в прескверную историю с заповедными, фальшиво привезенными из Парижа товарами.

– Да, да, – неприятно поморщился хозяин. – Но это дело мне удалось замять...

– Замять? – вскинул рыжеватые брови Строганов. – Удивляюсь... Вы, граф, такой же неисправимый добряк, как и...

Герасим Степанов открыл рот, насторожил слух, весь замер в напряжении. Граф Ягужинский побаивался острого на слова Строганова, виновато улыбнулся, достал золотую табакерку (подарок короля шведского Адольфа-Фридриха), протянул гостю:

– Прошу, граф... А что касаясь де Вальса, я непростительную ошибку допустил: перевел его в псковскую вотчину, отчего произошла большая худоба. В чем каюсь...

– Представляю, представляю, – гость аппетитно понюхал табак и подморгнул хозяину. – А скажите, милый граф, вы часто наезжаете в свою псковскую вотчину?

Играя табакеркой и потряхивая головой, хозяин ответил с фальшивой улыбкой:

– К стыду моему, года три-четыре тому назад был там. А что?

– Понимаю, понимаю... Балы, приемы, выезды, парти де плезир в заморские страны. И я так же, и я так же, точь-в-точь... А до мужика, что денежки нам добывает на роскошество наше, нам и дела нет... – Гость скользом взглянул на бесправного раба, а тот недоумевал: стоять ли ему или отдать поклон – и вон.

– Знаю, граф, знаю, – поджав к бокам локти, хозяин замахал на гостя кистями рук, – вы, граф, превеликий вольтерьянец, знаю, знаю... И, прошу, бросим об этом. Так вот я и говорю... де Вальс натворил там таких делов, что по меньшей мере достоин каторги... Словом сказать, он в Пскове схвачен, его везут сюда.

Герасим, слыша такие речи, покачнувшись, кровь кинулась в голову, радостно сжалось сердце. Граф Ягужинский с видом сочувствия взглянул на него, а гость язвительно сказал:

– Выпустят вашего француза, уж поверьте мне. Может, вы даже сами опять замнете дело? Ась, ась? А нет – тот ракалья полицию подкупит, воеводу купит с потрохами... Да, да, поверьте. Где у нас на Руси найдешь такого честного человека, чтоб данной ему большой власти во зло не употребил? Нет таких, нет таких... Апчхи!

– А вот честный человек, – и граф Ягужинский кивнул головой в сторону близкого к обмороку Герасима.

Граф Александр Сергеевич Строганов сощурил на Герасима глаза и насмешливо проговорил:

– Не сомневаюсь. Но чего же ради он обрит, как каторжник, и имеет такой несчастный вид, словно его целый год держали в колодках? Ужли же это удел всякого честного русского?

Герасим схватился за голову и грохнулся на пол. Вбежали слуги.

...В кухне сидел мясник Нил Иванович Хряпов. Волосы смазаны репейным маслом, спускаются к ушам крышей. Он играл в шашки с поваром.

Спустя три дня Герасим Степанов оздоровел. Графский секретарь объявил ему, что приказом его сиятельства он определяется приказчиком в мызу Колтыши. Герасим обрадовался и этому небольшому месту, поспешил в Казанский собор, горячо молился пред иконой:

– Благодарю тебя, владычица, что не оставлен тобою в погибели и от всех скорбей избавлен паче надежды.

Потянулось время. Герасим то возвышался графом, то унижался до былинки. Наконец граф вздумал направить его на свои уральские заводы. Там судьба сведет Герасима Степанова с мужицким царем Емельяном Пугачевым.

Прощаясь, граф сказал ему:

– В Москве чума: долго не задерживайся. Справишь дела – и дальше. Отпишешь мне, что творится на моей чулочной фабричке. Чаю, все зачумели там либо разбежались. Ни слуху ни духу. Ну, с Богом.

Глава III

Моровое поветрие. Сухаревка

1

В конце 1770 года в Москве распространилась занесенная из Турции чума, или так называемая моровая язва, а в просторечье – мор.

Такой страшной гостьи не бывало в Москве со времен Алексея Михайловича, и, как погасить пламень язвы, надлежащих знаний у медицины не имелось.

Главный доктор сухопутной госпитали, Афанасий Шафонский, стоя навтыяжку пред главным начальником Москвы, престарелым фельдмаршалом, графом Петром Семеновичем Салтыковым, тугим на ухо, докладывал ему писклявым голосом. Маленький, седенький, простенький граф Салтыков, бывший главнокомандующий в Прусскую войну, сидел в массивном с очень высокой спинкой кресле, как боженька в ките.

– Сия болезнь, ваше сиятельство, – докладывал доктор, – занесена к нам чрез вывозимые с войны вещи, как-то: ковры, ткани и прочее. Вопреки запрещению вещи сии провозятся военными господами из Турции тайно.

– Что ж, войско наше мародерством занимается? Вот ужо сыну напишу... У меня там сын Ванька дивизией ворочает. Кха-кха... Какие ж признаки сей болезни? – и граф приложил к ушной раковине руку козырьком, чтоб лучше слышать.

– Первая симптома болезни – озноб, ваше сиятельство. Точно по коже подерет...

Граф нервно передернул плечами, он вдруг почувствовал в себе озноб, осанка его пропала.

– Еще какие признаки? – подавленно спросил он.

– Жар... Язык сух и словно клеем обложен. Пот. Тошнота, рвота. Тоска, беспокойствие духа, страх. А главнейший в заразе знак – слабость всего тела: руки, ноги дрожат.

У графа Салтыкова задрожали ноги. Этот прославленный победитель Фридриха II страшно боялся заразы, он остро переживал речь доктора. Затаив дыхание, он чутко прислушивался к тому, что совершается у него в организме.

– Голос становится томен, выговор невразумителен и замешателен, язык будто приморожен или прикушен.

– Так, так... Дальше, дальше... Я вас слушаю внимательно, – чтоб проверить состояние своего голоса, четко и отдельно проговорил граф. Убедившись, что выговор его не замешателен и язык не приморожен, граф несколько взбодрился и сказал: – Да вы садитесь, Афанасий Порфирыч. (Доктор Шафонский сел.) Ну-с, ну-с?

– Бывает бред, иногда бешенство, больного надобно вязать, но сие редко. Боль головы, как после угара, глаза мутные, у одних красные и как бы пьяны, у других выпучены...

– Выпучены? – хрипло переспросил граф. – Вот у меня выпучены глаза.

– У вас, граф, сие от природы. Успокойтесь, граф.

Фельдмаршал волосатой маленькой рукой потянулся к золотой, усыпанной бриллиантами табакерке (подарок австрийской императрицы Марии-Терезии), угостил доктора табачком, сам понюхал и, чтоб попробовать крепость ног, прошелся петушком по обширному, мрачному кабинету. Ноги не дрыгали, озноба не было, язык клеем не обложен. «Слава Богу, слава Богу». У двери стоял, как изваяние, под ружьем солдат. Возле камина, в расшитой ливрее – такой же маленький, седенький, как и барин, лакей с отвислой губой и косичкой.

– Ну а решительный какой-нибудь знак?

– А сие, граф, – багровые пятна, рекомые в народе «марушки», а в медицине – «петихии», они по всему телу величиной в горошину и больше. Еще – черный чирей, рекомый – язвенный угорь, сиречь – карбункул. А также опухание многих желез, сиречь – бубон.

– Голубчик Афанасий Порфирыч, – с растерянной улыбкой сказал граф Салтыков, приближаясь к доктору и почувствовав, что его некоторые железы как будто припухли. – Освидетельствуйте меня, пожалуй, нет ли на мне этих... этих марушек... и... бубонов...

– Что вы, граф, – с иронической улыбкой воскликнул доктор. – В палаты вельмож и во дворцы сей болезни входу нет. Она ищет себе поживу среди людей низкого звания, среди черни.

– Нет уж, нет уж, потрудитесь осмотреть меня немедля. Что?

– Слушаю-с, – и Шафонский с затаенной ухмылкой на тонких губах поднялся.

– Васька! Пособи раздеться... – крикнул Салтыков дряхлому лакею и, поманив доктора перстом, направился в спальню, на ходу расстегивая золоченые пуговицы мундира.

Восьмидесятилетний Васька (ровесник своему барину), вздрогнув от окрика, сначала засеменил на месте, будто для разбега, затем кинулся, суча локтями, вслед за баринком. Но граф вдруг остановился и, глядя выцветшими большими глазами в упор на доктора, спросил:

– А вы сегодня в заразной гошпитали были?

– Был-с.

– Тогда не надо...

– Но я же... я мылся, окурился...

– Ну, ладно. Идемте... Что? Впрочем... Голубчик Афанасий Порфирыч, лучше завтра... Вы, голубчик, завтра часиков в семь утра, в гошпиталь не заходите, а прямо из дома ко мне. Садитесь. Кха-кха...

Граф и доктор опять уселись, немного вкось друг к другу.

– Осмелюсь доложить вашему сиятельству, выработанные при медицинской конторе наставления, как предохранить себя от заразы, отпечатаны и развешаны повсеместно, но чернь срывает их.

– Срывает? Ах, негодяи, – он встряхнул серебряный звонок и крикнул вбежавшему дежурному: – Вели, братец, добыть оберполицмейстера Бахметева. – И, обратясь к доктору: – Что в наставлениях?

– Тело часто холодной водою с уксусом обмывать... (– Обмываю теплою, – сказал граф.) В покаях уксусом на раскаленные кирпичи поливать, окуривать в покаях часто можжевельником, ладаном, не выходить с тощим желудком на воздух... (– Не выхожу, – сказал граф, ему захотелось есть.) Ходя по улице, иметь во рту что-либо пряное: имбирь, калган, корень ир, чтоб обильно шла слюна, кою сплевывать. Часто нюхать уксус безоардический, еще лучше уксус «четырёх разбойников», и оным мыть под мышками и в пахах. (– Мою в пахах, нюхаю «четырёх разбойников», – повторил граф; отвисший и дряблый, как тряпка, подбородок его подпрыгивал.) И... носить на голом теле... вот это... – доктор, поджав нижнюю губу,

вытянул шею и выудил пальцами из-за ворота малый мешочек на шнурке.

– Что, ладанка? С наговором?! – вскинул голову граф. – В нашептыванья не верю, в ваши колдовские ладанки...

– Сие – не ладанка, сие есть камфара, ваше сиятельство. И позвольте вам презентовать, – он достал из саквояжа такой же мешочек на шнурке и подал графу.

– Тогда другое дело, тогда другое дело, – граф принял мешочек, понюхал его, перекрестился и, выпучив глаза, засунул ладанку за ворот. – Ну-с, ваше время истекло. Я жду генерал-поручика Еропкина. Кха-кха... Тьфу!

Доктор вскочил, вытянулся и с поклоном вышел.

Коридор, парадная лестница и комната ожиданий в нижнем этаже, куда он спустился, были подернуты сизоватым удушливым дымом от чрезмерных курений противочумными веществами. Каждые четверть часа по всем жилым комнатам графских опустевших палат пробегали казачки и лакеи, в их руках – железные совки с раскаленными кирпичами, на которые они поливали душистый уксус. На улице и во дворе вокруг дома боязливого фельдмаршала горели неугасимые костры, куда слуги бросали на страх чуме можжевельные ветки.

В кабинет вошел генерал-поручик Еропкин, тоже бывший участник Прусской войны. Он в белом небольшом парике, длиннолиц, сухощав, не стар, с живыми карими глазами.

– Чем могу служить, граф?

– Я призвал вас, голубчик Петр Дмитрич, вот зачем... – зашамкал Салтыков, сгорбившись и облизывая сухие губы. – Ведь мы с вами вместе Фридриха побеждали... Помогите мне, голубчик... Я всеми брошен, слаб, стар, а злое поветрие горазд шибко распространяется по Москве.

2

Мясник Нил Иванович Хряпов прибыл в Москву в конце июля 1771 года, в самый разгар чумы. Он назначил здесь свидание с огородником Фроловым, хотелось у него признаться деньжонок, так как дела мясника сильно пошатнулись, он был разорен, терпел острую нужду, впадал в отчаянье.

Москва обширностью своею занимала в окружности тридцать шесть верст. В ней много просторных господских палат, с таким великим числом излишней дворни, что эти палаты представляли собою не дома в обычном смысле, а целые большие сельбища. Господа, спасая животы, давно уехали в поместья, брошенная дворня погибала от заразы либо разбегалась по деревням.

В Москве сто тринадцать мелких фабричек и заводов, при тринадцати тысячах постоянных работников (кроме приходящих с воли). Самая крупная фабрика – это Большой суконный двор у Каменного моста на берегу Москвы-реки. Хозяин фабрики – Илья Докучаев с товарищами. У него-то и остановился мясник Хряпов.

Чума началась в старой госпитали на Введенских горах, госпиталь сожгли, зараза перекечевала в центр Москвы, на Большой Суконный двор. Граф Салтыков, по совещании с московскими сенаторами, постановил: «Здоровых фабричных вывести из Суконного двора за город, определить к ним лекаря, место жительства оцепить, покинутый Суконный двор тоже оцепить».

Но фабричные, испугавшись каких-то казенных мероприятий и не доверяя начальству, подбур-поздорову разбежались в количестве двух тысяч человек с Суконного двора и стали, скрываясь, жить по всей Москве.

Всякие ремесленники, промышленники и работники обычно набирались в Москву со всего государства, они все почти из крепостных крестьян и постоянного жительства в белокаменной не имели. Побросав все, они стали утекать по своим деревням, увозя с собой зараженный после мертвецов скарб, а иногда и захворавших товарищей. Поэтому чума не только распространилась в пределах Московской губернии, но и перебросилась в Смоленскую, Нижегородскую, Казанскую и Воронежскую.

А не любивший новшеств граф Салтыков, вопреки приказам Екатерины, продолжал упорствовать, медлил с необходимыми мерами пресечения, давая усилиться болезни. Он писал императрице:

«В установлении карантин для всех выезжающих, как приказали ваше величество, кажется, надобности нет. И въезд в Москву запретить опасно: почти весь город питается покупным хлебом – ежели привозу не будет, то будет голод, все работы станут, за семь же верст никто не пойдет покупать, а будут грабить; и без того воровства довольно. Москву запереть способу нет, войска нет, кем окружить».

Действительно, огромное пространство города и большие толпы людей, пришедших в страх, требовали для восстановления порядка много войска. Однако, по причине войны с Турцией, в Москве был лишь неполный Великолуцкий полк в триста пятьдесят человек да кой-какие команды из старых солдат.

К июлю язва разыгралась. Из двенадцати тысяч московских жилых домов в шести тысячах были больные чумой, а в трех тысячах – все жители вымерли.

Народ стал впадать в панику, переходящую в отчаянье.

– Мы не столь чумы боимся, сколь карантин да больниц, – жаловался народ. – Из больницы либо карантина прямой путь – погост.

Мясник Хряпов, слоняясь по Москве в поисках огородника Фролова, посмотрелся разных страхов. Он

был жаден до жизни, до наблюдений над страстишками людей, он всем интересовался, всюду попевал.

Придя поздно вечером к себе на квартиру, к дому купца Ильи Докучаева, суконного фабриканта, он постучал в запертые ворота. Залаял пес, подошел дворник, посмотрел в щелку чрез высокий забор, сказал:

– Хозяин утресь из Москвы уехадчи со всей семьей. А тебя, друг, боле не приказано пущать, потому ты по заразам шляешься. На-ко вот, лови! – дворник перебросил через забор завернутую в одеяло подушку и тощий, шитый разноцветными шерстями саквояжик мясника.

Хряпов спорить не стал, подобрал вещишки, впал в раздумье, куда ему, на ночь глядя, идти. Он пошел кривым переулком. А был поздний вечер. Навстречу попадались редкие прохожие. Иные шли торопливо, зажав нос тряпкой, смоченной уксусом, шарахались от встречных в сторону, иные едва тащились, пошатываясь и хватаясь за стены, за фонарные столбы.

Какой-то старик, по виду мастеровой, упал, ударившись затылком в занавешенное окно жилого подвала. Стекло разбилось. Упавший застонал протяжно, хотел перекреститься, рука не донесла, перевернулся навзничь и затих. Хряпов с интересом остановился: умер или нет, и что будет дальше?

В подвале вспыхнул огонек, отвернулась занавеска, чье-то бледное лицо мелькнуло. Вскоре заскрипела дверь, вышли двое. Лица замотаны тряпками, для глаз – щелки, оба в рукавицах, зацепили мертвеца петлей за ногу и поволокли его по пыльной дороге.

– Куда? – спросил их присевший на тумбочку Хряпов.

Те не ответили, подтащили мертвеца к чужому пустырю и, оставив его вместе с веревкой на ноге, быстро ушли домой.

Стало сильно темнеть. Выступили звезды. Ночь теплая, тихая. На пригорке блестели золоченые главы маленькой церковки. Вчера Хряпов молился в ней. Он знал, что в ограде – старый погост и луговина с рощей. Вот и отлично. Он на лужку между могил и переночует. Он поднялся и хотел идти, как вдруг заметил сквозь сугемень, что возле теплого еще мертвеца задержалась высокая, в лохмотьях, босая фигура. Хряпов, таясь, подошел ближе. «Умер, болезный? – не надеясь на ответ, спросил мертвеца нищий. – Ну, полеживай со Христом, царство тебе небесное».

Кряхтя, он присел, стащил с мертвых ног сапоги, обулся в них, веревку спрятал за пазуху и, крестясь, зашагал своей дорогой.

Хряпов только головой покачал, укоризненно почмокал и направился к златоглавой церкви.

Бросив подушку на луговину возле могилы с черным крестом, он до глаз накрылся одеялом и сразу уснул. Долго ли проспал – не знает. Только чувствует – то ли во сне, то ли наяву, – будто телега скрипит, лошади всхрапывают: «Эй! А ну-ка сюда с крючьями...» Вдруг нечто тяжелое и острое вонзилось в его плечо, и мясника поволокли.

– Караул, караул! – спросонок закричал он и, едва продрав глаза, вскочил.

– Кто ты таков? – спросил его всадник, офицер. А двое крючников бросили веревки и отцепили от суконной разодранной чуйки Хряпова железную кошку.

– Я приезжий из Питера купец, – сказал Хряпов.

– Почему ж ты, раз не очумел и жив, валяешься на земле, как падаль? Документ!

Хряпов подал паспорт. Офицеру поднесли фонарь. Проверив паспорт, он вернул его купцу, слез с лошади, уселся на могилу. Телега, поскрипев, остановилась возле ворот ограды.

– Сколько? – устало спросил офицер и закурил от фонарного огарка трубку.

– Тринадцать было. А четырнадцатого взяли под забором сейчас на пустыре, – ответили еще трое подошедших от телеги и тоже уселись на лужок.

– Подальше, подальше! – прогнал их офицер.

Санитары, называемые «полицейскими погонщиками», пересели. Все они одеты в вощаные^[53] архалуки, в длинные вощаные рукавицы, на головы надвинуты пропитанные дегтем мешки с дырками для глаз и носа.

– Сколько голышей? – спросил офицер и взял в рот какую-то целебную жвачку.

– Восьмеро, с девятого только сапоги сняты.

– Скоты, ворье... Расстреливать на месте надо, – буркнул офицер и добавил: – Можно, ребята, к яме везти, закапывать.

– А вот маленько отдохнем, ваше благородие, дюже уставши. Покурим вот. С вечера не куривши.

Они стащили маски и рукавицы, стали закуривать от фонаря.

– А ты чего не куришь? – спросил мясника сухощекий бородатый погонщик. – Курить – от чумы пользительно, толкуют.

– Я чумы не больно-то боюсь. Меня и без табаку не возьмет. Глянь, какой я икранный... – сказал мясник, поглаживая толстое брюхо.

– Икранный? – ухмыльнулся бородач. – Мы таких, как ты, икранных-то, поди, тысяч с двадцать закопали...

– Двадцать ты-ы-сяч?! – изумленно протянул мясник и перекрестился, страх напал. – Ваше благородие, да неужто эстолько народу мрет?

Не ответив, офицер скомандовал: «Поехали!» – и вскочил в седло.

Мясника кидало в сон. Он вновь прилег между могил и укрылся с головой. Скрип телеги смолк за поворотом. Где-то вдаль, нарушая тишину, прозвучал набат, протряслись два бегучих голоса: «Пожар, пожар за Москвой-рекой!» Но Хряпова набат не напугал, его напугало другое.

Едва он успел забыться, как слышит сквозь сон, будто землю возле него роют и швыряют лопатами и какие-то люди шепчутся, что-то волокут, кряхтя, что-то поставили на землю, вот завсхлипывала, застонала женщина, и вслед за тем мужской сдавленный голос: «Маменька, вы погубите нас... Да молчите же!»

Хряпов с трудом открыл глаза и приподнялся на локте. Шагах в двадцати от него сквозь мрачную ночь маячили два ручных фонаря, один на земле, возле ямы, которую торопливо рыли двое, другой – в руке человека. Фонарь бросал свет на согбенную старуху, одетую в черное: из-под траурного, повязанного по-старушечьи платка глядело сухонькое треугольное лицо с вытарашенными, испуганными глазами.

– Смиритесь, маменька, не убивайтесь... Ау, папеньку не воротишь, воля Божья на то, ау, – утешал старуху сын ее, поглаживая мать по трясущейся голове.

– Господи... Без панихиды, как собаку... Ой, Пров Михайлыч, Пров Михайлыч, жела-а-нный! – И слезы текли, и сморкалась она, и горько, болезненно постанывала.

По ту сторону свежей могилы серел некрашенный гроб.

– Скоро ли, молодцы? – тихо спросил сын и подошел к краю могилы.

– Можно спускать, Пантелей Прович, – выпрямился бородатый приказчик, воткнул лопату в землю и вытер пот с лица.

– Давай, с Богом, – сказал сын.

Хряпов поднялся, подошел ближе и спрятался за березой.

Гроб опустили на веревках в яму, стали быстро забрасывать землей. Старуха громко завывала, затряслась, поползла на карачках к могиле.

– Маменька! Замолчите! – зашипел сын. – Нищим, что ли, хотите сделать меня? Ведь ежели дознаются, что покойник у нас, все имущество наше в костер пойдет. И пошто вы притащились сюда, этакая хворая?

Вдруг старуха перекинулась на бок, судорожно скорчилась, впилась руками в землю, ее подбросило, она захрипела и вскоре смолкла.

Сын суетливо, на коленях, припал над ней, осветил потемневшее лицо фонарем, и точно какая сила опрокинула его на спину, вот он вскочил и бросился вон из церковной ограды, то взмахивая фонарем, как кадиллом, то в отчаянье хватаясь за голову и оглашая ночь сумасшедшими выкриками:

– Маменька, тятенька... Господи! И за что такое наказание посылаешь мне?

Спину Хряпова опажнуло морозом, он задрожал и, пошатываясь и натыкаясь на могилы, полпелся к своему логову.

– Тут очумеешь, придется утекать, – бормотал он.

Старый приказчик сказал молодому:

– Дом наш чумной, Иван. Ведь и хозяйка зачумела. Оставаться в нем пагубно. Давай-ка, соколики, бежать отсель, пока чума не забрала.

– Да куда бежать-то, Митрий Федорыч?

– Куда все бегут... Знамо куда... в деревню. Господишки давным-давно все разъехались. А мы что? Да мы хуже господишек, что ли? Бросай, Иван, лопаты, все бросай, поедем.

– Митрий Федорыч! Ежели старуха мертвая, давай обнимаем серьги. Все равно ее ограбят, дак лучше мы, по знакомству, вроде как за старанье за наше.

– Брось, брось, Иван... – опасливо озираясь на мертвую старуху и крестясь, сказал старший. – Это тебе сатана внушает. Не дело говоришь, дружок. И грех, и пагуба...

Хряпов перетащил подушку к самой церкви, к алтарю, и вновь прилег. Пред утром его сборол крепчайший сон. Пробудился от грачиного грая в вершинах берез, громких раздражительных выкриков и гнусавого пения. Три слепца у соседней богатой, с мраморным надгробием, могилы тянули:

Ой вы, гробы, гробы, превечные дома.
Сколько нам ни жити, вас не миновати...

Он поднялся, прищурил отяжелевшие глаза и видит: толпа сотни в три окружила рыжебородого тощего священника, стоящего на гранитном крыльце. Народ путанно кричал:

– Подымайте, православные, иконы да кресты! Никого не слушайте... Никола-чудотворец оборонит нас... Не слушайте докторей! Они вам наскажут. Это никакая не чума – это гнилая горячка зовется. Отец Осип, отпирай церковь!

– Не можно мне, братия и сестры. На крестные ходы запрещенье вышло, не велено нам.

– От кого запрещенье? От Амвросия? А мы его и слушать не хотим. Отчего ж такое – у Егорья можно, у

Покрова можно, у Всех святых, что на Кулишках, можно, а у нас нельзя?.. По всей Москве крестные ходы ходят... Отпирай!..

– Вчерашний день консистория подписку с нас отобрала, православные... Архиепископ наш Амвросий угрожает мерами лютыми. От сходбищ людских зараза, мол, проистекает.

– А наплевать нам на Амвросия! Что он, главней Господа Бога, что ли? Мы в ответе – отпирай!..

Вскоре большая толпа с хоругвями, крестами, иконами двинулась из церкви в обход своего участка. К толпе пристал и Хряпов. В разноголосицу надрывно пел народ: «Святителю отче Николае, моли Бога о нас!» Священник кропил дорогу и дома святой водой. Трезвонили маленькие колокола. Утро было жаркое.

В толпе преобладали женщины, толпа настроена нервно, крикливо, в воспаленных глазах тупое отчаянье или покорность року, народ одет бедно: много лапотников, еще больше босых, калек, увечных... Со всех сторон сбегались прихожане, толпа росла. От лежащих под заборами или посреди дороги мертвецов народ шарахался в стороны, иные отплевывались, но большинство в страхе и с малодушным трепетом осеняло себя крестом.

Вдруг двое застонали в толпе, шатаясь и охая, стали пробираться к жилью, третий, выкатив глаза, упал прямо в пыль. Кудрявый парень тащил в холодок внезапно захворавшего старика-отца, помертвевшее лицо больного покрылось бурыми пятнами, лысина запотела; тоскливо закрыв глаза, он еле переставлял ноги, жевал язык, трясся и мычал. Парень, скривив дрожащий рот и не видя света, тихо скулил.

Навстречу крестному ходу протарахтели страшные черные дроги, возле них озлобленно шагали в страшных одеждах, в страшных масках полицейские погонщики. С ними – кудлатая дворняга. Из-под рогожной дерюги, прикрывавшей мертвую поклажу, торчали две пары голых ног, облепленных мухами, иссохших, в синих язвах... Дроги остановились возле очередного мертвеца.

Священника стало тошнить, он выронил кадило, оперся о плечо обомлевшего дьячка, похолодев, проямлил:

– Господи, не оставь душу погибающую. Лихо мне... Трясет.

3

Было раннее утро. Мясник Хряпов очутился на пыльной и грязной толкучке возле Сухаревой башни. Хотелось есть. Но съестного на рынке мало. Скушал блюдо толченого гороху да хороший скосок хлеба и выпил шесть кружек горячего сбитня.

Пока завтракал, жадными глазами осматривал шумную толкучку. Пыль, палящее солнце, необозримое многолюдство. Изредка тархтят телеги, проезжает дозорный солдат верхом да, высунув языки, бегают поджарые собаки. Без всякого порядка торговли сидят где попало, как пни в лесу, торгуют молоком, вареным осердием, овощами. Их многие сотни. Шляются торговцы старым хламом, но, завидя полицейского, шустро скрываются в толпе. Кудрявый ярославец весело и звонко покрикивает: «А вот сусальных пряничков кому! А вот сахарных петушков, на грош пара!» Толпами бродят нищие, назойливо прося корочку хлеба либо грошик. Двух слепых с холщовыми кошельками провел поводырь-мальчишка, слепцы держались за длинную палку и гнусаво тянули стихирю о смертном часе. «Можжевельнику, можжевельнику! – надрывалась старуха-крестьянка с мешком за плечами. – Покупайте, кормильцы, бают, можжевельником окуривать пользительно». Проходят не то сельские попики, не то монахи – неряшливые, лохматые, в ветхих рясах...

Слева – резкие крики, покрывающие сплошной гул многотысячной барахолки; там скопом бьют вора, вот вор вырвался и, перепрыгивая, как конь, чрез повсюду рассеявшихся торговков, окровавленный, в растерзанной рубашке, мчится прочь от смертного боя.

И снова крики: «Умер, умер!.. Двое очоурились». Это невдалеке от допивавшего сбитень Хряпова. Народ хлынул волной с того клятого места во все стороны. Важно шагал туда седоусый полицейский: «Где умер? Кто? По какому случаю?» – «Чума забрала... Не знаешь? Двоих». Полицейский остановился, затрубил в медный рожок. Двое умерших лежали в пыли, жалко подобрал к животу ноги. Торговки, подхватив свои корзины и безмены, суетливо перебирались подальше от теплых трупов.

Медный рожок еще раз прозвенел тревогу. Из стоявшего на пустыре, в бурьяне, наспех сколоченного сарайчика вышли двое в балахонах, зачали мертвецов крючьями и лениво поволокли их, вздымая пыль, к сарайчику.

Вся эта человеческая драма почти никакого впечатления на великое торжище не произвела.

Впрочем, возмущился чисто выбритый желтолицый старичок. Он опрятно одет в серый полукафтан со светлыми пуговицами. Сидел он возле самой Сухаревой башни за столом топорной работы, заставленным пузырьками разных величин, бумажными и холщовыми тюрючками и деревянными ящичками.

– Ах, проваленные, ах, идолы нечестивые, – качал он головой, и глаза его слезились. – На носилках повелено, а они волокут упокойничков, аки подохлах псов... Ах, люди, люди!

Хряпов с любопытством остановился возле него, сказал:

– Да, это верно, старичок. По всей Москве так. Я самовидцем был. Это не дело.

– Управа мала, людей нет, – воскликнул старичок и сердито подобрал сухие губы. – Начальство все поразбежалось, баре уехали, а чернь брошена на волю Божию. Эвот полицейские и те из Москвы бегут, а многие померли. С первого сего августа взяты из розыскной экспедиции на смерть осужденные преступники, убивцы. Вот им-то и повелено таскать умерших.

– А ты сам-то кто, старичок почтенный, и чем торгуешь?

– А я, батюшка ты мой, штатный сторож при медицинской конторе, штатный сторож, мол. Вот и

посылают меня каждый день в торговлю снадобьями душеполезными, сиречь – уксус «четырех разбойников», стиракс, ладан, корень, калмус рекомый и прочая.

– Эй, купца! Продаешь шурум-бурум? – подергал татарин завернутую в одеяло подушку мясника.

Хряпов, мерно шагающий по площади, грубо отстранил его и пошел было прочь, но его окружили «сальные пупы» – прасолы в чуйках, наперебой стали сулить ему цену. Хряпов злился, посылал их ко всем чертям. «Товар не продажный! Это постель моя», – покрикивал он, выбираясь из охватившей его кучки старьевщиков. Тогда они стали осыпать его насмешками:

– Он это из-под мертвого стянул.

– Я сам видел! Это подушка чумовая, братцы, самая счастливая.

– Где из-под мертвого? Где чумовая? В чем суть? – появился подвыпивший полицейский и, вырвав сверток из рук Хряпова, важно зашагал к пылавшему возле Сухаревой башни огромному костру.

Как ни доказывал Хряпов седоусому полицейскому, что подушка его собственная, как ни умолял его – хмурый полицейский швырнул вещишки Хряпова в огонь, затем подошел к ведру, наполненному грязным уксусом, и сунул обе руки в жидкость. Один палец на его руке был обрублен.

– Макай, тебе говорят, – крикнул он на Хряпова, – а то на съезжий двор сведу... Зар-р-раза чертова... Нам так повелено.

– Повелено? А кто повелел-то? – кричали из толпы зевак.

– Не твоего ума дело, кто повелел. А только что повелено... – тарачил красные глаза на толпу обозлившийся беспальный полицейский.

– Лекаришки это, немчура, – пискливо, с пришепотом, прогнусавил горбатый карапузик, отставной подьячий. Большая, не по росту, голова его вдавлена в крутую грудь. Личико лисье, хитрые и пронырливые слезящиеся глазки. Он стоял рядом с Хряповым, от него несло сиводралом. – Это они, они на погубление православных христиан бусурманские порядки завели, вот кто, – часто взмигивая, гнусавил подьячий. – Гошпитали да лазареты с карантенами, да при церквах чтоб людей не хоронить, да имение жегчи.

– Они, они, это верно! – слышались в народе выкрики и злобные смешки.

– Я-то знаю, у меня и глаза и уши довольно действуют. Нас два брата с Арбата, и оба горбаты... Дыра-дело, дыра-дело, – поддернув лежавшую на горбу клетчатую старенькую шаль и потешно подбоченившись, продолжал карапузик подьячий. – Например, повивального дела Эрасмус немец – раз, штат-физикус Риндер – два, Касьян Ягельский – три, императорского воспитательного дому доктор Мартенс – четыре, уволенный от службы доктор Шкиодан – пять... Да тут, ребята, и пальцев не хватит... Барон фон Аш, Иван Кулман, Кристиан Ладю. И токмо трое русских – Афанасий Шафонский да два доктора Московского университета, господы профессоры Вениаминов да Зыбелин. Вот вам – Медицинский совет рекомый. Всё немцы, всё немцы, ахти, как сладко... Дыра-дело!

– Да и царица-то наша – немка! Токмо русской прикидывается. Вот она и тянет своих-то, – неожиданно пробасил широкоплечий бородач, подстриженный в кружало, по-раскольничьи.

– Эй, кто сказал, кто это сказал?! – хватаясь за тесак, нырнул в толпу, как в омут, озверевший беспальный полицейский. – Лови, держи!

Толпа попятилась и, убоявшись обнаженного тупого тесака, кинулась врассыпную.

Замордованный, забитый, но своевольный и отчаянный народ на бегу зло перекликался:

– А что, не верно, что ли? Немка и есть... Скоро, скоро объявится царь-батюшка Петр Федорыч!..

– Слых есть, в народе скрывается, сердешный... Промежду нас бродит.

– Пушай только на Москву придет да ручкой поманит, все к нему прилепимся!

– Ой, ой, теките, чадцы Христовы, опять беспалый гонится! – и раскольник, подобрав полы и пригибаясь, скрылся в толпе, как медведь в трущобе.

– Други, други! – взывал бежавший рядом с Хряповым горбатый подьячий-старикашка. Напаянный на его лобастую голову гарусный колпак жалко свисал к левому плечу и встряхивался. – Нет ли у кого на шкалик?.. А соленький огурчик на закусочку у меня вот он-он... Свежепросольный.

– Пойдем выпьем, – с готовностью предложил запыхавшийся мясник.

Они стали наискось пересекать большую набитую народом площадь. Остановливались возле шумных кучек праздного, озлобленного люда. В каждой кучке – свой крикун. То старый солдат на деревяшке, то брошенный на произвол судьбы дворовый человек, то запуганный церковными властями загулявший попик в драной шляпе грибом, или наказанный плетьюми нагрубивший начальству посадский человек, или убежавший из лазарета фабричный. Но больше и громче всех орали ядреные московские бабы и беззубые старухи.

– Бани закрыли-припечатали!.. Где рабочему люду грешные телеса помыть? Озор-р-ство!..

– В карантены проклятые без разбору волокут. Из здоровых покойничков вырабатывают... Ха!

– Всю Москву извести хотят, весь простой люд.

– Бунт надо зачинать.

– Бунт, бунт! Это верно, – подхватывает народ, сторожко озираясь, как бы не угодить в лапы вездесущих будочников.

Мясник Хряпов ткнул подьячего в горб:

– Пойдем, а то как кур в ошип попадешься тут.

– Да, да... Шумок зачинается... – подмигнул подьячий. – Шумит Москва-матушка, шумит. Да дож-дутся! А я люблю. Во мне, милый мой, такожде кипит все. Я человек обиженный. Шагай!

Свернув в переулок, они подошли к питейному дому с красной вывеской.

В дом их не пустили, на стук в запертую дверь крикнули:

– Идите к окошку! Ослепли, что ли?

В открытое окно вставлена железная решетка. Мясник, заглядывая с улицы в дом, потребовал два добрых шкалика тминной. Целовальник налил, сказал сквозь решетку: «Кладите деньги об это место» – и высунул на улицу кринку с уксусом.

Мясник бросил в уксус полтину серебром. Целовальник извлек ее щипцами, опустил в кринку восемь медных пятаков и, протянув из-за решетки мяснику щипцы, проговорил:

– Получи, почтенный, сдачу.

Опорожнив шкалик, горбун-подьячий прогнусил тенорком:

– Дивны дела твои, Господи... Деньги в уксус, а из шкаликов твоих, может, пред нами какой чумовой трескал. Ты их в уксус-то макал? Шкалики-то?

– Нет, – ответил целовальник, – повелено токмо деньги в уксусе мочить.

После третьего шкалика подьячий загнусил песню и, сорвав шаль с горба, стал помахивать ею и

приплясывать. Но сухое морщинистое личико его было печально, красные глаза в слезах.

– Пошагаем в Кремль, – сказал он, заикаясь, – я кой-что тебе покажу там. Я все порядки знаю. Ох, мил человек, кругом зело паскудно... Тяжко, тяжело человеку жить. А наипаче мне. Живу в Москве, в немалой тоске... Дыра-дело, дыра-дело...

Они двинулись по Сретенке, по Большой Лубянке. Подьячий то и дело показывал по сторонам:

– Ишь, сколько много домов-то заколочено. И там, и вот тут, и во дворе еще... Царица ты моя небесная! Это все выморочные. И хозяева в земле.

В церквах благовестили к обедне. Дорога пыльная, без мостовой, только на перекрестках проложены из крупных булыг тропки, да попадались деревянные настилы возле барских и богатых купеческих домов. По краям дороги росла чахлая трава, чертополох, крапива, а иные непроезжие тупички зеленели, как сельский выгон, там паслись козы, тупорылый бык лежал и, раздувая ноздри, нюхал воздух. Изредка встречались пешеходы, кто в церковь, кто с корзинкой на базар.

Глава IV

Красная площадь. Зодчий Баженов и архиепископ Амвросий

1

На Красной площади было почище и народу значительно меньше, чем на Сухаревке. Возле Лобного места паслись на травке привязанные к деревянным рогаткам две козы – они принадлежали будочнику, который тут же прохаживался возле своей будки, раскрашенной наискось белыми и черными полосами. В торговых каменных рядах купцы и приказчики, заложив назад руки и поплеывая, от нечего делать глазели на площадь или, поддев горсть овса, бросали стайке сизокрылых голубей.

Очень людно у церкви Василия Блаженного. Там пестрели рогожные и дощатые балаганы, текла торговлюшка. На Иване Великом заблаговестили к «достойне».

Весь народ на площади, побросав дела, оборвав на полуслове разговоры, обнажил враз головы, истово закрестился на кремлевские соборы.

Хряпов и не отстававший от него подьячий очутились на широком каменном мосту, перекинутом через глубокий ров, идущий вдоль стен Кремля. Ров когда-то был выложен белым камнем, а теперь порос бурьяном и крапивой, туда бросали всякий хлам, там ютились собаки и бездомные пропившиеся люди.

Мост служил проходом к Спасской башне. На мосту, по обе стороны, многочисленные ларьки с новыми и старыми книгами, с лубочными картинками. В иных ларьках пожилые милovidные монахини торговали образками, крестиками, священным маслом, ваткой от гробов московских чудотворцев и собственным рукоеслом: бисерными мешочками, поясками, четками.

– Кто это? – Хряпов толкнул в бок своего приятеля и моргнул в сторону неспешно шагавшего мостом человека. Народ, расступаясь пред ним, давал ему дорогу, ларешники срывали картузы, низко кланялись. Человек только что вышел из остановившейся у моста пышной кареты с гербом графа Салтыкова и направился к Спасской башне. У него приятное напудренное, несколько женственное лицо, волнистые длинные волосы, умные, утомленные глаза, улыбчивый рот. Он в башмаках, в черных чулках, в коротких, по колено, штанах, чрез левое плечо небрежно перекинут итальянский бирюзового цвета плащ, на голове черная шапочка с павлиньим пером. Следом за ним – мальчик в сером полукафтани с красным воротником, в руке связка книг, под мышками – длинные бумажные рулоны.

– Кто это? – шепотом повторил вопрос Хряпов.

– Архитектор Баженов... Зело знаменит, в Кремле живет, – прошептал подьячий, треугольное сморщенное личико его сразу облеклось в восторг и благоговейный трепет; он было хотел припасть к ногам знаменитого человека, чтоб получить пяточок на водку, но тот, обнажив по обычаю голову, уже входил в Спасские ворота.

– Зри, друже, – проговорил горбун, указывая на две шеренги попов, выстроившихся, как солдаты, под воротами башни. – Долгогривые во святом месте торг учинили, метлой бы их...

Попов – около сотни, брюхатых и тощих, волосатых и лысых, дряхлых и крепких. Рясы на них задрипанные, в заплатах, сапожишки рваные, двое – в лаптях. Все они – либо удаленные на покой за выслугу лет, либо изгнанные из церквей за пьянство, большинство же – не имеющие собственного прихода, обремененные немалыми семьями, обнищавшие тунеядцы. Обликом они розны, но преобладающее выражение лиц – нахрапистость, жадность, ханжество. Зажиточные люди относились к ним с нескрываемым презрением, беднота же скрепя сердце приглашала их на совершение треб по сходным ценам.

Оба спутника вдвинулись в гущу толпившихся возле попов людей. Попы, злобно косясь друг на друга, зазывают:

– А вот молебен у Иверской за четвертак!..

– Я отслужу владычице за пять алтын с акафистом!..

– Ну и служи! – перебивает его рыжебородый поп. – У тебя голос с гнусом, как у козла.

– А ты с утра пьян, зеньки залил.

– А вот панихида на кладбище: с подводой гривенник, пешком – четвертак.

– Обедню, обедню, обедню служу! Ничего не вкушал еще, могу служение совершать по чину апостольскому... За послушение – рубль!

– Возьми полтину, батюшка, – подходит к нему бедно одетый старик с внучкой. – Вот мать девчонки от чумы померши, а моя дочь. Сорок ден сегодня, как Бог прибрал... Сороковуст...

– Дешево, дешево даешь, дед... – торопливо бросает бородатый пастырь, в руке у него крупитчатый калач; скосив широкий рот, он вновь орет: – А вот святую литургию, поминальную обедню!.. Рубль цена, рубль цена! (Лядащенькая девчонка, вложив палец в рот, с удивлением и страхом смотрит серыми наивными глазенками в отверстую пасть попа.) Дешевше не найдешь, старче праведный, – обращается он к старику.

– На-айду... Вас, как собак недавленных, – брюзжит под нос осерчавший старик и тащит внучку дальше.

– Девять гривен! – хватает его поп. – Соглашайся скорей, не то – закушу, – и он, поднеся калач ко рту, оскаливает желтые зубы.

– Стой, не закусывай! – останавливает его дед. – Бери шесть гривен. Не хошь?

– Могу и за шесть гривен, старче, только дрянно будет... Прямо говорю, вельми погано будет, лучше прибавь, а то ей-ей закушу... – Поп опять, застрачивая нанимателя, подносит калач ко рту.

– Ну, так и быть... Бери, батя, семь гривен. Не по-твоему, не по-моему...

– Ладно, – сунув за пазуху калач, поп срывается с места. За ним, едва поспевая, семенит на согнутых ногах дед и, держась за поясок деда, вприпрыжку – повеселевшая девчонка.

Подьячий, ударив себя по ляжкам, закатывается хехекающим бараньим хохотком:

– Слышал? Закушу, говорит. А раз закусит, благодати лишается, литургию служить подобает токмо натошак... Хе-хе! Ну и хитропузые попы пошли.

Вдруг толпа примолкла, попы засуетились, пугливо завияли глазами во все стороны: под воротами незаметно появились из Кремля – консисторский дьяк[54] в синем со светлыми пуговицами кафтане, с ним писчик и четверо консисторских стражей, вооруженных тесаками.

– Где попуешь? Какого прихода, говори! – закричал дьяк на толстого, потного, лохматого батюшку.

Писчик открыл книжку, чтоб записать, а четверо стражей загородили на Красную площадь выход. Вопрошаемый что-то невнятно промычал, низко кланяясь дьяку, все же остальные духовные особы враз бросились гурьбой из-под ворот, смяли растерявшихся стражей и галопом поскакали наутек – кто чрез мост, кто в ров.

Пятеро попов все же были схвачены и под едкий смех развеселившейся толпы отведены в консисторию на строгий суд архиепископа Амвросия.

2

На возвышенном Лобном месте, воздев правую руку и ударяя в каменные плиты посохом с медным шаром на вершухе, орал что есть мочи зверообразный человечище:

– Сюды! Сюды! Вся Москва – сюды... Курицыны дети, аз приидох к вам... Кайтесь, кайтесь!.. А не то всех покараю, всех лихоманке отдам...

И вновь, и вновь бежит праздный люд к Лобному месту. Бабы, всплескивая на бегу руками, истерически завывают:

– Уродливый, уродливый! Митенька уродливый пришел... Митенька вещает...

– Бедный Митенька, несчастный Митенька... – подхватил их вопль одетый в тленное рублище юродивый. На его груди железный, пуд весом, крест, припутанный к туловищу тяжелыми цепями-веригами. Он бросил посох, порывисто закрыл ладонями испитое костистое лицо, стал рыдать-выскуливать жутким воющим голосом, переходящим в собачий лай, свалывшаяся борода его тряслась, черные волосы взлохмачены.

Толпа, охватившая Лобное место, затихла, люди стояли в каком-то оцепенении, рты открыты, взоры устремлены на Митеньку. Вот руки Митеньки упали, большие пылающие глаза его были мокры от обильных, градом катившихся слез, он вдруг тихо засмеялся и, тряся боками и задом, стал вяло, как во сне, не борзясь, приплясывать вперед и назад, вправо и влево, продолжая полоумно улыбаться.

– Митенька! Блаженненький! Помолись за нас... Отведи чуму, утихомирь! – выкрикивали, крестясь, бабы и, безотчетно подражая полоумному, тоже зачинали истерично притопывать, приплясывать и плакать.

А народ все прибывал, запоздавшие норовили протиснуться вперед, поднималась перебранка.

– Коза, коза! – пронзительно закричал вдруг Митенька. Толпа смолкла, наострила слух. – Коза из чужедальних земель приплыла, сама себе рога позолотила, барана с мосточка сбросила. Барана сбросила, козленочка зарезала. А козленочек-от бе-е-ленький, а козленочек-от неви-и-нненький!.. Она траву ест, выем трясет, – вихляясь и взмахивая руками, выкрикивает Митенька, большие глаза его горят, брови скачут вверх и вниз, на лбу резкие продольные морщины. – А волк-от ходит, волк-от стережет козу...

– Кто же коза-то, блаженненький? Кто же волк-от? – приподнимаясь на цыпочки, вопрошали жители, плотно облепившие Лобное место.

– Тоже... Политикус, – проквакал горбун-подьячий, ткнув локтем затомленного жаром мясника. – Коза-то, пожалуй, царица Катерина будет. А козленочек – шлиссельбургский узник... Хе!.. А баран-то... Хе-хе...

– Эй, эй, расходись! Рас-с-ходись! – со всех сторон наезжая на толпу, кричали полицейские рейтары.

– Стой, братцы, не беги! Блаженненький не выдаст!.. – орал народ.

Вдруг щелкнули ружейные выстрелы, и толпа помчалась прочь.

– Блаженный, уходи! Уходи, блаженный, покудов цел! – грозили полицейские юродивому.

– Не пойду, псы борзые. Мне козленочка жалко, козленочек бе-е-е... а его ножом... – отмахивался Митенька и, пав на колени, стал креститься, стал ударять лбом в древние, обгаренные многою кровью каменные плиты. – Я богомолец за всю Русь.

– Конец торгу! Конец торгу! Шабаш! – потрясая нагайками, гарцевали по Красной площади

многочисленные рейтары, гнали торжище от храма Василия Блаженного. – Приказом главнокомандующего торг закрыт... До скончания чумы. Конец торгу!

– Слышь, приятель, – потрепал мясник по плечу безусого безбородого человека средних лет, одетого в опрятную чуйку. Безбородый, углубившись, рассматривал у книгоноши картинки и книги. – Где же я тебя видал?

– Не знаю-с, не припомню-с, – ответил тот, вежливо приподнимая с лакированным козырем картуз. – Может, вы у графа Ягужинского изволили в Питере бывать? Я его сиятельства раб... Герасим Степанов...

– А-а-а, верно! – воскликнул мясник и широко заулыбался. – С тобой еще отваживались, помню, в людскую притащили тебя, упал ты, что ли.

– Так, так-с... был такой грех.

– Да пойдете куда-нито в холодок, ежели не торопитесь. – Мясник был рад встрече с земляком, хотелось разузнать – как и что там в Питере.

И все трое, вместе с горбуном-подьячим, перейдя ров, уселись возле кремлевской стены в тень на зеленую луговину, лицом к торговым рядам. Герасим Степанов развязал узелок, стал угощать житными с картошкой деревенскими пирогами, мясник на раскинутой по луговине шали горбуна рассыпал связку баранок:

– Хрупайте, угощайтесь...

И не успели они по баранке съесть, как к ним, плетясь нога за ногу, приблизился одетый в потертую казачью форму бородатый человек, он сдернул мерлушковую шапку, стал кланяться и, как бы стыдась, стал тихим голосом просить подаяния. Хряпов сунул ему две баранки.

– Я, отцы и братья, яицкий казак, может, слыхали, Федот Кожин, – сказал подошедший и присел на лужок. – И отбился я, ежова голова, от своих товарищей, что посланы с вольного Яика к самой матушке-царице с жалобой на великие притеснения, нам чинимые злодеями нашими, старшинами...

– Эвот ты кто... – заинтересовался мясник. – Каким же манером ты отстал?

– От графа Чернышева указ был наших депутатов схватывать в Питере да на войну с турками гнать. Вот я и утек сюда. Ведь я, други, самой матушке в ручки прошение наше слезное подал. А ейный гайдук, ежова голова, два раза меня за это самое нагайкой вытянул.

Горбун-подьячий, подмигнув казаку, захохотал барашком и сказал:

– За битого двух небитых дают... А ты на службу определяйся. Воинов великая недостача в Москве, берут.

– Слов нет, на службу я вчерась определился, ежова голова, – высморкавшись и смахнув слезу, ответил казак. – Из охотных людей конный полицейский батальон набран.

3

Часы на Спасской башне, установленные еще при царе Михаиле английским мастером Головеем, пробили одиннадцать.

В обширную, со сводчатыми расписными потолками келию архиепископа Амвросия, живущего в кремлевском Чудовом монастыре, молодой с напомаженными волосами келейник подал на серебряном подносе две чашки кофе, подогретые сливки и сдобные сухарики.

– Кушайте, Василий Иванович, прошу вас, – несколько мешковатым жестом пригласил Амвросий архитектора Баженова. С изысканным поклоном тот принял чашку и стал помешивать кофе серебряной, с крестиком на конце, ложечкой.

– Не премину паки и паки возблагодарить вас, возлюбленный брат мой во Христе, – тенористо, с южным акцентом и чуть косноязычно заговорил Амвросий, прихлебывая кофе и прикрывая ладонью черную, подстриженную с боков бороду, – что вот вы, человек ума просвещенного, предупредили меня сегодня о непотребстве попов моих, кои, посрамляя сан свой, учиняют у Спасских ворот корыстный торг, приводя в соблазн паству. Иным часом там слышится сквернословная брань, а то и драка. А после служения многие из попов, не имея дому и пристанища, остальное время по харчевням провождают или же, напившись допьяна, по улицам безобразно скитаются. И многие мрут от заразы: здесь смертную язвою мы окружены все. И это – пастыри наши. И где же? Здесь, в древней столице православной. А что же в отдаленных селах? Страшусь подумать о сем.

– Воображаю, владыко, что подобные пастыри творят, обращая в христиан язычников, как-то: башкир, татар, черемисов, – нахмурясь, сказал Баженов.

– Вот, вот! – воскликнул архиепископ Амвросий. – Там, на окраинах наших, с несчастными иноверцами происходит сплошной разбой. Там прославленный умом Дмитрий Сеченов подвизался неразумно. Да что далеко ходить, возьмите Москву нашу... Мой предшественник, покойный митрополит Тимофей, был паче меры добродушен, распустил вожжи, и чрез сие – все зло. Консистория, ведающая духовными делами, превратилась при нем в вертеп взяточников и пьяниц. Я наступил им на горло, во страх консисторским татам и разбойникам я издал приказ с угрозой садить нарушителей устава на цепь, сковывать в железы, вычитать жалованье без всякого послабления. Чрез сие нажил много врагов себе... – Амвросий закрыл умные, косо прорезанные, как у китайца, глаза и тяжело вздохнул. Невзирая на свой стариковский возраст, он имел темные волосы и свежее, чуть одутловатое лицо. – А нелюбовь ко мне лиц духовных передалась и в простой народ и даже в темные слои купечества. «Уж очень строг архиерей у нас, – ропщет народ, – даже крестные ходы запретил, по шапке бы его...» Да, строг! – возвысил Амвросий голос. – Держу вервие в руке, и уж замахнулся, и стану сечь вервием всякого, кто против правды, – глаза архиерея горели, он был возбужден, дышал глубоко. Как бы устыдившись своей вспышки, он с мягкостью заулыбался хмуро сидевшему гостю и сказал: – Прошу прощенья, Василий Иванович. Но, верите ли? Накипело, накипело у меня...

– Я, владыко, вполне сочувствую вам и предначертания ваши полагаю весьма полезными, – сказал гость, приподымаясь.

Амвросий быстро, как на пружинах, тоже встал и витиевато спросил гостя:

– А когда же вы позволите мне, старому монаху, посетить вашу храмину искусств, где вы, под сенью музы вдохновения, проявляете свой гений?

– Да хоть сейчас, владыко.

– С охотой.

Келейник почтительно подал Амвросию монашеский черный клобук с алмазным крестом и серебряный посох. По ковровым дорожкам оба, не торопясь, пошли анфиладой невысоких комнат, стены которых увешаны старинными портретами бородатых митрополитов московских.

Тридцатитрехлетний Баженов по справедливости считался при дворе выдающимся русским зодчим, он носил почетное звание члена императорской Академии художеств, а также звание профессора трех европейских академий: Римской, Болонской и Флорентийской. Он был в добрых отношениях с Григорием Орловым, работал одно время в артиллерийском ведомстве, имел чин капитана артиллерии. По личному поручению Екатерины он ныне занимался проектом перепланировки всего Кремля. Его модельная мастерская помещалась недалеко от Чудова монастыря, возле Ивана Великого.

– Не желаете ль по пути заглянуть в мое скромное книгохранилище? – и Амвросий отворил дверь в обширный зал, вдоль стен которого высились под самый потолок книжные шкафы, длинный стол посреди зала завален книгами, старинными пергаментными и папирусными свитками, хартиями, рукописями. Попахивало книжной затхолью и восковой мастикой от свеженатертого паркета, летала моль, солнце играло на позлащенных переплетах. – В сем тишайшем склепе я провожу весь досуг свой. Ведь по случаю эпидемии я, грешный человек, никуда не выезжаю, сижу здесь, аки узник. И смею погордиться: ежели вы творец линий и осязаемых объемов, то я в некоем роде творец словесности. «Поучения» написал, еще «Службу Дмитрию Ростовскому», да заканчиваю «Рассуждение против атеистов и неутралистов», да вожусь над переводом «Псалтыря» с древнееврейского. От своего родителя, милостивый государь мой, унаследовал я склонность к занятию словесностью. Отец мой, по фамилии Зертис, родом из Валахии, был зело учен и служил переводчиком у гетмана Мазепы.

Баженов ввел архиерея в свою модельную мастерскую, насыщенную бодрящим запахом смолистой сосны и политуры. Там работало десятка два столяров, резчиков, токарей, лепных дел мастеров, чертежников. Все бросили работу, вытянулись, отвесили поклоны.

Кругом – сложенные возле стен в штабеля и всюду разбросанные бруски, колонки, лекала, барельефы, миниатюрные балюстрады, архитравы, рустики... Это – заготовка большой модели будущих колоссальных кремлевских сооружений^[55].

Разметая рясой кудрявые стружки, Амвросий быстро приблизился к стене с наколотыми на ней, тонко исполненными акварелью, чертежами. В его прищуренных глазах заиграло восхищение.

– Дивное зрелище! Неизреченная красота, – искренно восторгался он, кивая головою и причмокивая.

– Это перспективный генеральный вид, владыко, – заговорил взволнованный Баженов. – А вот, в более крупном масштабе, самый дворец. Длина его по берегу Москвы-реки, с загибом в охват Кремля, триста сажен. Главная зала в нем, приходящаяся насупротив Архангельского собора, длиной пятьдесят сажен. Она будет высока, пространственна, светла и украшена колоннадой дорического ордена, обелисками и многими статуями, изображающими в аллегориях мощь государства Российского. А вот это весь, преобразенный по моему проекту Кремль, – и Баженов подвел Амвросия к третьему огромному, в перспективе, чертежу. – Извольте видеть: Иван Великий и все кремлевские соборы включены в общую композицию, рекомую ансамбль. Все лишнее снесено, площадь расчищена, всюду колоннады, портики, обелиски, порталы, здесь триумфальные врата.

– Осанна, осанна вам, – не слушая его, продолжал восторгаться старик Амвросий. – Град горний, велия лепота...

Баженов оправил русые кудри, закинул голову, как будто стал выше ростом, в глазах, в лице – гордость, вдохновение, но возле губ трагические складки.

– Да! Не похваляясь скажу, – воскликнул он, – ежели б все оное осуществить, сия сказка русская, сей русский гений воспарил бы на крылах. Довольно нам ходить на поводу у иностранцев. Эти де Ламоты, Шлютеры, Фростенберги и тутти кванти... Мы обязаны преклониться пред их гением, но у нас и отечественные зодчие достойны быть увенчаны лаврами бессмертия. Взять строителя собора Николы Морского в Петербурге Чевакинского, или помощника моего – Казакова, или Ухтомского, братьев Яковлевых, Мичурина, Квасова... Да вот недавно граф Строганов показывал мне рисунки своего крепостного парнишки, лет двенадцать ему, – Андрюшки Воронихина... Талант! Или взять дивный храм Василия Блаженного... Кто строил? Барма да Постник – неведомые русские люди сотворили; шатровую форму деревянных церквей они перевели на камень и словно резцом изваяли из камня сие чудо всенародное, в центре – храм, и к нему впритык – восемь столповых церквей, восемь дивных башен, а всего совокупно девять храмов. И откуда взяли мысль? Такая сказка только во сне могла пригрезиться. Гений русский, гений русский! – воскликнул Баженов, губы его дрожали, глаза увлажнились.

Мастера и рабочие, приостановив дело, внимали красноречью архитектора, разинув рты. Архитектор кусал губы, хмурился. Амвросий сказал:

– Чаю, ваш преображенный Кремль затмит своим зраком и величественный римский собор Петра, и прославленную площадь Марка в Венеции. Осанна вам!

– О, если б сие осуществилось! Но нет, не чаю того: у меня, владыко, много завистников, много недругов в Питере, и что бы я ни задумал, чертежи расхвалят, да и отложат в сторонку: попроще надо, дорого, мол. Не везет мне, владыко... Великий неудачник я, – и вновь возле губ его резко прочертились складки.

4

...Пробил на башне час. Первый штоф быстро усыхал, захмелевший казак вышибал затычку из второго. Непьющий Герасим Степанов тихим голосом кончал рассказывать свою печальную историю.

– Вот что подлая душа, французишко де Вальс, с поущения графа Ягужинского, мог проделать надо мной, над скудородным русским. И не было мне со стороны закона ни толикого защищения... – Он вздохнул, покосился на клевавшего носом горбуна и закончил: – А еду я теперь простым приказчиком на его сиятельства графа Ягужинского заводы, на Урал.

– Ура-а! – закричал проснувшийся горбун-подьячий, потешный, жалкий, вскочил и брякнулся.

– Эх тебя... Приснилось? – пробрюзжал мясник Хряпов.

– Дай-дай-дай... – квакал горбун, подползая к штофу, гарусный колпак его съехал на левое ухо. – Дай пососать. Все пропил, все потерял... Супругу схоронил, потомки мои бросили меня, Господи помилуй, дыра-дело, дыра-дело... Нас два брата с Арбата, и оба горбаты. Ха! Погибаю, отцы. Измывались на службе всяко: били, заушали меня, водой поливали из ушата, эх... Ну, что ж из того... брал взятки, брал взятки... Тебе полтину, а начальству сотню... Начальник брюхо отпустил, я погиб... А нас таких пропоиц по Москве многие тысячи. А почему? Вздыху мелкому человеку нет, вздыху, вздыху. Кругом неправда, друг дружку поедом едят. В злости все... Немцы, баре, карантены... А чума валит, Господи помилуй. Дыра-дело, дыра-дело, Господи, прости, – он выпил, зачихал, закашлялся, пустил слюну, развалился на лужку и быстро захрапел.

– Пьянь горячая, – с досадой сказал мясник и тоже выпил. – Ха! Горе у него... Велико ли у него горе-то?.. Подумаешь... дела большие у него, четвертак в день жалованья получал. Тьфу! А у меня, Герасим... Веришь ли, нет ли? – возвысил он голос, вытаращил озлившиеся глаза и стал теревить бороду. – Ежели у тебя, Герасим, горе, так у меня вдвое. Ведь я поставщик двора был! Чуешь? Во как... Двора-а-а императорского! А теперя разорили меня всего, донага раздели, анафемы. А кто? Жулик один, наш же брат-савоська, из простых. Сначала он, тварь низкая, ограбил Апраксина, графа. Граф, изменник, взятку на войне взял от короля Фридриха, а его Барышников ограбил. Граф подох, а Барышников раздулся, в миллионах теперя... Меня разул, раздел, всех зорит, кто под руку ему подвернется... Откупщик! Соль откупил, водку откупил... Взятки пригоршнями швыряет... Все законы за него. За награбленное золото чины себе купил... Помещик теперя, вот он кто! Своих мужиков дерет на конюшне: на, мужик! На тебе, мужик! – Хряпов скрипел зубами, с маху бил кулаками в землю, ударял себя в грудь, рвал ворот рубахи – в раж вошел. – Мужика мне жалко истязуемого, натуру мужицкую! Я сам мужик, барина Ракитина крепостной, я своим скудным умишком капиталы нажил, а Барышников, аспид, разорил меня... Где, Герасим, правда, где закон, где Бог?! Бей господишек!

Пьяненький, большеносый бородач-казак, отхлебнув из штофа, заморгал на мясника покрасневшими раскосыми глазами:

– Разорили тебя, говоришь? Ну и слава те Христу, паки человеком станешь.

– Дурак ты, войско яицкое, – сплюнул сквозь зубы Хряпов и отвернулся от казака. Затем вдруг вскочил с расшитого шерстями саквояжа и закричал на всю площадь: – Герасим! Веришь ли? Обида, обида!.. Дом мой продали, баба с горя умерла, ребятишек по родне распихал, сам в великой нужде, вот наскреб остаточков тыщенки полторы, сюда прибыл, думал снова дело заводить здесь... А вот... эх, Герасим! Веришь ли? Как поразмыслию, и не тянет уж больше ни к чему... Лютость во мне, Герасим! Все печенки-селезенки горят. В разбойники пойду, в живорезы... Из купчишек, из гра-афьев пух пушу!.. Бей их,

грабителей народных, бей! – Лохматый, захмелевший, он тряс бородой, махал кулаками, как в драке, красная рубаха из полурасстегнутых штанов вылезла. – Гарасим! Возьми меня, возьми к себе... Атаманом буду! – орал он, ударяя себя в грудь.

От Никольских ворот к ним пробирались вдоль кремлевской стены четверо стариков-солдат.

– Брось, брось, жители, буянить, – издали покрикивали они. – Неровен час, начальник какой... Заарестует... Сами знаете – карантены, чума. Ну, здоровы будьте. И мы к вам.

Мясник сразу утих, старики, кряхтя и охая, устало присели на лужок, блеклые глаза их дремали, седые косички потешно топорщились из-под войлочных шляп.

Один из них был бомбардир Павел Носов – давнишний старый друг молодого Емельяна Пугачева. Со времени их разлуки на Прусской войне прошел уже десяток лет, а Павел Носов мало изменился: такой же крепкий, закаленный, только погасли огоньки в глазах. Крепостной крестьянин, он своей долгой солдатчиной заслужил себе полную волю, ему бы можно на покой, но он так сроднился с военной жизнью, что упросил начальство оставить его послужить отечеству до смерти. Его направили на форпост на вольные оренбургские земли, да вот он, будучи в Москве, за чумным лихолетьем, задержался.

Корявый и курносый старик, которого товарищи звали Васькой, развязал на косичке порыжевший бант, привычными пальцами ловко расплел косу, вынул торчавшую в ней по казенному образцу лучинку, стал расчесывать медным гребнем длинные, как у женщины, волосы.

– А мы с караула, в Кремле стояли... А теперича поспать в холодке, жарко дюже... Эвот! У вас и винцо и баранки. Богато, хрещеные, живете... Дайте-ка нам хотя по бараночке. В брюхе-то пусто у нас... Восемь гривен на месяц жалованья огребаем – не зажируешь. А кругом дороговизна, ни к чему приступу нет. Вот помяните мое слово, голод будет, потому – чума.

– Не голод, а бунт... Усобица, – сказал бородач казак Кожин и сплюнул.

– Знамо дело, – подхватил старый солдат, беззубо давя деснами баранку. – Голод за собой и усобицу приведет. Жрать нечего, а выпить – душа горит.

– Слых был, врут ли, нет ли, – зашамкал беззубый семидесятилетний солдат Васька, – будто бы царь-государь Петр Федорыч оказал себя на Руси, в Полтавщине, что ли. Годов с пяток тому прошумела молва, да исчезнула... Врут, поди.

– Ничего не врут, – подхватил Павел Носов. – Петр Третий жив, правда-истина. В прошлом годе он где-то под Астраханью объявился, три солдата нашей батареи сказывали, они с офицером коней закупали тамака. По всему астраханскому краю вестно было: Петр Федорыч жив, он опять примет царство и станет льготить мужиков.

– Брешут, – убежденно сказал мясник, поднял штоф, взболтнул, пригубил, – Петр Федорыч померши, его погребения самовидцем был.

Горбун-подьячий ожил, открыл воспаленный левый глаз, жалобно проквашал:

– Петра Федорыча придушили, Иоанна Антоновича зарезали... Дыра-дело, дыра-дело. Грех им, душителям неправедным.

5

Архиепископ Амвросий сидел в рабочем кабинете Баженова. С потолка спускалась елизаветинских времен в наборных хрустальных бляхах люстра с восковыми розового цвета свечами. Вдоль стен резные, по рисункам хозяина, дубовые шкафы, шифоньерки, бюро. На стенах, обитых голубоватым штофом, два портрета кисти Антропова, несколько миниатюр Ротари и датского живописца Эрихсена. Дорогие ковры – дар графа Салтыкова. Письменный стол завален «Московскими ведомостями», брошюрами, книгами на русском и иноземных языках. Тут и «Эмиль» с первой частью «Исповеди» Руссо, запрещенные Екатериной, и старинный роман Гриммельсгаузена «Симплициссимус», и устав Вольного экономического общества. Рулоны чертежей, кроки, эскизы, готовальни, заграничные краски в тюбиках...

Амвросий поник головой, насупясь, перебирал в смущении янтарные четки. Потом поднял взор на Баженова, пронизательно посмотрел в его печальные, несколько рассеянные глаза и спросил, вздохнув:

– В то время вы, чаю, за границей были?

– Да, владыко, в Италии. И вскоре после убиения Иоанна Антоновича вернулся в Россию.

– Могу ли я вас спросить доверительно, по секрету, не доводилось ли вам, будучи за границей, читать отклики в иностранных изданиях о сем кровавом позорище русском?

– Разумеется, разумеется, владыко. Даже у меня сохранился изданный в Лондоне листок. – Баженов открыл полированный изящный секретер и, порывшись в бумагах, сказал: – Вот он: «Заметки путешественника на манифест от 17 авг. 1764 г.». Послушайте, владыко, выдержки: «Как ни была уже печальна судьба несчастного Ивана, ему не удалось избежать и последнего насилия со стороны нации, не охотно упускающей всякий случай проявить свое зверство». Ну, и так далее... А вот не угодно ли философическое умозаключение: «Одни и те же действия не всегда имеют одни и те же последствия. Родившиеся под различными созвездиями два изменника испытывают различную судьбу: один возведен в графы, кавалер многих орденов, сенатор („Это про Григория Орлова“, – пояснил Баженов), другому (Мировичу) отрублена голова и тело его сожжено вместе с эшафотом».

– Я не наскучил вам? – закуривая заграничную сигару, спросил Баженов. – Эта эха в Европе наиболее спокойная. А был, помню, острый, как перец, отзыв «Свободного англичанина»; Екатерина, говорят, сим отзывом, да и многими подобными была зело задета. Она уразумела, что свободное мнение общества не щадит и особ коронованных. И прошу вас, владыко, обратить внимание: Европа кричит: народ, народ, народ!.. А при чем тут русский народ? В придворных злодеяниях русский народ ничуть не виноват. А общественное мнение нашей публики зажато клещами...

– Простой народ на сии темные события откликается по-своему, он свою имеет эху, – отозвался внимательно слушавший хозяина Амвросий. – На убиение принца Иоанна тотчас же отозвалась провинция. Я имею с некими сенаторами связи, чрез оных вестен, что вскоре после убиения появились в провинции сочувствия не токмо к участи Иоанна, но и к судьбе Петра Третьего. Так, год спустя, рассматривалось Сенатом по сему поводу шесть тайных дел, а в следующем году – десять. Народ помнит, народ ничего не забывает и в основу суждений своих полагает правду единую, – закончил Амвросий и заторопился уходить.

– Минутку, владыко! Вот не угодно ли взглянуть на кусок из манифеста, заготовленного несчастным Мировичем, разумеется, от имени принца Иоанна...

– Я знаю этот манифест. Я не люблю Мировича! – воскликнул Амвросий. – Сей суеславный безумец суть наемник собственного тщеславия. Друг мой Василий Иванович, сожгите сии продерзостные и гнусные строки, что изbleвал бунтовщик якобы от имени Иоанна Антоновича. Мирович не о народе, Мирович о

себе пекся.

– Ныне наша матушка, великая покровительница искусств, – сказал Баженов, – от претендентов на престол свободна: ни Петра, ни Иоанна нет. Опасаюсь – самозванцы будут... Как вы мыслите, владыко?

– Самозванцы были, есть и будут, – и владыко поднялся.

...Меж тем услужливый казак Федот Кожин расстарался еще двумя штофами, краюхой хлеба и зеленым луком.

Чрез залитую солнцем площадь проходили группами и в одиночку пешеходы, проезжали кареты, линейки с купеческими семьями.

Тяжело плелась вперевалку Марфуша-пророчица – московская дурочка. Она жила в башне у Варварских ворот, где келия старика-монаха; она страшилась татей и разбойников, поэтому всю свою одежку – платьев с десятков и ветхий заячий тулупчик – напяливала на себя. Она вся увешана тряпьем. Даже измызанную подушку, придерживая за угол, волокла по дороге. Двигаясь необъятной копной по площади, дурочка кривлялась и орала:

– Покарал вас Бог, московские люди, покарал! Бога забыли, дураки, водку жрете! Камением побьет вас Бог, чертей найдет. Брысь, брысь, черти, брысь! – она стала плевать и закрепивать пространство со всех сторон, затем направилась к приземистым одноэтажным галереям торговых рядов, расположенных, корпус за корпусом, между Ильинкой и Никольской. В рядах пусто.

– Жрать хочу, жрать хочу, – выскуливает дурочка.

Пятеро пьяных кузнецов, в кожаных прожженных фартуках, обняв друг друга за шеи, вспотык шагают от Варварки.

– Открывай базары! – ругаясь, буйно кричат они. – Москву со всех застав заперли, привозу нет. Голоду хотите, бунту? Открывай Москву, а нет – громить учнем!

– Бунтует народ, – прислушиваясь к людскому гулу, промямлил лежавший вверх бородой мясник и сплюнул через губу.

– По всей России беспорядки, – поддержал его Герасим Степанов.

Закинув руки за голову, он лежал возле мясника, силился заснуть и не мог – душа скорбела.

Все восьмеро приятелей лежали вповалочку. Солдаты и маленький горбун похрапывали во сне.

– Эй, Фомка! – окликнул будочник пробежавшего сынишку и указал на лежавшего мясника с компанией. – Слетай, голубь, за ров – чи живые там, чи мертвые. Пять, шесть, семь, восемь человек. Ежели зачумели, беги на пунхт, чтобы каторжан спосылали с крючьями. Стой, дослушай! Да чтобы не Спасским мостом волокли покойников, а в ров пущай скатят да по канаве к Москве-реке, тамotka у Живого[56] моста чумовой плот...

Глава V

Лихой казак. Войско Яицкое. В царскосельском парке

1

Чума все еще давала себя знать и в нашей армии, действующей против турок. Однако быстрыми мерами ее там пресекли. Вскоре стала донимать наших воинов азиатская лихорадка. Госпитали были переполнены.

Болезнь Пугачева затягивалась. Он с завистью смотрел на своих выздоровевших товарищей, покидающих стены лазарета. Ой, да и наскучило же ему валяться среди больных!

Походный атаман Греков, видя, что Пугачев нуждается в длительном отдыхе, отпустил его вместе с другими хворавшими казаками на поправку домой.

Здоровье Пугачева восстанавливалось плохо. Старики-станичники присоветовали ему хлопотать об отставке. В конце февраля 1771 года он на собственной лодке поплыл в главный их город Черкасск, где имел резиденцию атаман Войска Донского Ефремов. Там нашел приют у казачки Скоробогатой. В войсковой канцелярии сказал дьяку:

– Я прибыл сюда в отставку хлопотать: у меня болят грудь и ноги.

– Ложись в лазарет, – ответил дьяк. – И ежели твоя болезнь будет неизлечима, получишь отставку, а ежели оздоровеешь, опять на войну пошлем.

Пугачеву это не понравилось: идти на войну, покинув на произвол судьбы большую семью, у него не было никакой охоты. Он не знал, что ему делать. А в это время в действующую армию вновь затребовали отпущенных на отдых казаков, в том числе и Пугачева. Атаман Войска Донского Ефремов велел отдохнувшим казакам двинуться в поход, при этом намекнул им, что от похода можно откупиться. Пугачев со своей командой направился чрез Донец в действующую армию, но в дороге убедился, что по болезни он дальше ехать не в силах. Он нанял за себя казака Бирюкова, отдав ему двух заседланных коней, саблю, синюю бурку и двенадцать рублей. Бирюков уехал на войну. Пугачев остался на поправку дома.

Когда здоровье его несколько покрепло, он поехал в Таганрог к своей родной сестре казачке Павловой. Муж Федосьи Ивановны, казак Павлов, жаловался Пугачеву, что вот их, вместе со многими казаками, переселили с начала турецкой войны из Зимовейской и других станиц на вечное жительство в Таганрог. А жить здесь трудно, здесь все по-новому: замест атаманов заведены полковники, замест старшин – ротмистры, а донские привилегии и древние обычаи повелено матушкой-государыней забыть.

– Нас хотят обучать по-гусарски и всяким регулярным военным приемам.

– Врешь, Павлов, не может тому статься, – удивился Пугачев. – Как отцы и деды Войска Донского служили, так и вы должны служить.

– Не веришь – присмотришь. И как только почали ломать нашу казачью жизнь, многие из нас надумали отсель бежать. Да и бегут уж... Я тоже собираюсь...

– Куда намерен?

– Ежели с женой, то на Русь, а ежели один – в Запорожскую Сечь.

– В Сечь не попадешь, а на Руси поймают тебя, – подумав, сказал Пугачев. – И коли бежать, то бежать надо на Терек, там, слух был, нашего семейного народу много, прожить там способно, и укрыться есть где – лесу довольно. А сверх того – атаману Терского семейного войска и указ дан, чтобы таких утеклцов у себя приючал. – Развеселившись, Пугачев ударил ладонью ладонь. – Бежим! И я с вами...

Сборы были недолги. Федосья отпросилась у начальства съездить в Зимовейскую станицу повидаться с матерью и вместе с братом Емельяном выехала туда, а Павлов с тремя товарищами должны были приехать недели через две, чтоб избежать подозрения ротмистра.

Когда все сгрудились, Пугачев троих беглецов и сестру оставил в степи, а сам с зятем Павловым прокрался ночью задворками домой.

– Вот что, матушка, – сказал он. – Зять-то мой с сестрой Федосьей мыслят за Терек бежать. Да и меня с собой присуглашают. Там воли больше.

Мать с женой и проснувшийся старший сын Трошка заплакали, стали отговаривать:

– Мы в такой нужде, а ты хочешь бросать нас. То по войнам шатаешься, то на Терек... Побойся Бога!

Прошла неделя в тайных переговорах Пугачева с беглецами (он раздумал бежать с ними, а те настаивали). Наконец, видя неотступную просьбу зятя, Пугачев притворился, что согласен.

Посадив беглецов ночью в лодку, он спустился с ними по Дону на семь верст, высадил их на ногайский берег, а сам на лодке – прочь и крикнул:

– Дорогу на Маныч знаете? Идите той дорогой, в самый Терек упретесь.

– Стой, куда ты?! – всполошились обманутые беглецы. Зять выхватил саблю, кинулся за Пугачевым в воду. – Стой, лиходей!..

Но Пугачев только шапчонкой помахал и скрылся в сырой туманной мгле. Под ним холодная вода чернела, вслед ему сквозь туман летела отчаянная ругань покинутых.

Не найдя дороги к Тереку, беглецы спустя полтора месяца вернулись в Зимовейскую, их арестовали. На допросе в станичной канцелярии они показали, что Пугачев переправил их через Дон и хотел бежать с ними. А Пугачев знал, что за пособничество беглецам он может угодить на каторгу. Спасая себя, он взял хлеба и скитался по степи недели две. А как вышел хлеб, ночью вернулся домой. Жена, заплакав, сказала ему:

– Мать и зять увезены в Черкасск. И тебя ищут...

Пугачева вскоре тоже арестовали, увезли в Черкасск, но он из-под караула сбежал, трое суток просидел в камышах, по зимнему времени продрог, отоцал, крадучись пробрался в Зимовейскую и там скрывался у себя на чердаке до рождества.

Живому духу Пугачева невтерпеж было томиться взаперти. За двое суток до рождественских праздников он объявил семье, что едет на Терек, а когда обоснуется там, то и их к себе возьмет. Ночью вскочил в седло и поминай, как звали.

Плутая по степным местам и стараясь скрадом объезжать заставы и пикеты, он благополучно прибыл в станицу Дубовскую. Здесь он обратился к войсковому атаману с просьбой приписать его в Терское семейное войско. Пугачев, конечно, утаил, что он беглый, и атаман Татаринцев охотно записал его в Дубовскую станицу.

Тут он прожил самое малое время, выправил себе билет на три недели и махнул в станицу Войска Донского – Ищорскую.

Умный и находчивый, он стал проявлять свои богатые способности. Как-то в праздник, на большом сборище казаков трех станиц, он обратился к донским казакам:

– Что ж вы, други, смирнехонько сидите да небо коптите зря? Чего ж ради терские казаки получают жалованье и провиант не в пример больше вас? Вот избирайте меня своим атаманом, посылайте в Питенбурх, я в государственной Военной коллегии обхлопочу вам всякие льготы. У меня в столице крепкая заручка есть. А нет – так я и до самой государыни дойду, до самого графа Орлова...

Все три станичных атамана и старики развесили уши. Ухватки, взор и голос Пугачева им были по сердцу: «Ну и лихой казак!» Они единогласно дали заручную подписку с желанием иметь Емельяна Пугачева своим главным атаманом и снабдили его на путевые расходы в Питер двадцатью рублями.

Для каких-то своих умыслов Пугачев заказал двум казакам свинцовую печать атамана Войска Донского, а сам поехал в город Моздок, купил себе синий китайский бешмет, желтые сапоги, лисий малахай, саблю, белый шелковый кушак и провианту, заплатив за все это семь рублей сорок две копейки.

А при выезде из Моздока, 9 февраля, нарвался за рогаткой на заставу, был схвачен, посажен под арест и прикован цепью к стулу^[57]. А выбравшие его казаки и резчики свинцовой печати были «нешадно батожьем наказаны».

Емельяна Пугачева как злостного беглого и «прельстителя несмысленных казаков» ожидала жестокая расправа. Но дело обернулось по-иному. В ночь на 13 февраля 1772 года арестант выпросился у дежурного офицера за натуральной нуждой на двор. Его сопровождал часовой. Оба они вышли с гауптвахты, вытащили по необходимости и тяжелый чурбан, к которому Пугачев был прикован. Вышли, а назад не вернулись.

В донесении о побеге Пугачева и солдата между прочим говорится:

«Оный Пугачев содержался на стуле с цепью и с замком, которое стуло оставил у нужника с тремя цепочными звенами, а три звена и замок унес с собой».

Беглецы свели двух войсковых лошадей и за ночь успели изрядно ускакать. На день спрятались в лесу. Солдат, греясь у костра, сказал Пугачеву:

- А слышал ли ты, что в Яицком войске несусветная буча идет, кутерьма? Целая войнишка...
- Откудов знаешь?
- С ветерком доносит, землячок.

2

Действительно в войске яицких казаков было очень беспокойно.

...Приуральский край, за ним среднее и нижнее Поволжье переходят в раздольные донские степи. Все это вместе взятое огромное пространство издревле считалось казацким вольным краем. Сюда невозбранно стекалась всякого рода голытьба: обиженные правительством, помещиками, фабрикантами и заводчиками трудовые люди, приговоренные к каторге и виселице «смерды», беглые солдаты и гонимые официальной церковью раскольники.

Когда вольный Дон не стал вмещать этих гулящих по степям людей, они принуждены были податься на восток – в свободные приволжские просторы, на реки Иргиз и Яик[58]. Год за годом оседая здесь, они стали заниматься главным образом рыбной ловлей и охотой. Так с течением времени образовалось признанное правительством яицкое казачество.

Но, кроме русских гулящих людей, эти степные пространства спокон веков были еще населены иноплеменными народами: башкирцами, калмыками, киргизами, татарами и т. п. По этим местам в незапамятное время проходила широкая дорога кочевых орд, передвигавшихся на Дон, на Днепр, на Дунай и дальше.

Из века в век донское и днепровское казачество вело борьбу с кочевниками, утверждая свое господство в южных степях. Тем же самым пришлось поневоле заниматься и яицкому казачеству на юго-восточной окраине России.

Правительство, со времен Петра Великого стремясь оградить интересы русской колонизации в богатом уральском крае и в оренбургских степях, поставило казачью жизнь на военную ногу.

Казачи стали подчиняться государственной Военной коллегии и руководствоваться в своей жизни законоположениями, исходящими из Петербурга.

Цепи на бывшей казацкой вольности все крепили и крепили, среди казаков все больше и больше стало наблюдаться расслоение. Казацкая, хоть и выборная, администрация – атаманы и старшины – опиралась в своих действиях по преимуществу на зажиточную группу яицкого казачества. Образовалась таким образом «старшинская сторона». Она противопоставляла себя и свои интересы всей остальной массе казачества, так называемой «войсковой стороне».

И вот мало-помалу началась борьба между старшинской и войсковой враждующими сторонами.

Сыр-бор в Яицком войске загорелся из-за жульнических махинаций атамана и старшин.

Рядовые казаки получали от казны жалованье. Хлеба они не сеяли, а содержали себя рыбной ловлей на Яике.

С 1752 года все рыбные промыслы атаманы сдавали частным лицам на откуп, уплачивая за это казне десять тысяч пятьсот рублей. Остальные деньги, полученные от продажи рыбы, шли на административные расходы и делились между казаками.

Вот тут-то и начались злоупотребления власти. Уже в продолжение трех[59] лет станичный атаманы Мартемьян Бородин не выдавал казакам рыбных денег ни гроша, заявляя, что их едва хватает на покрытие откупа. Казаки впадали в нищету, начальство жирело.

Мартемьян Бородин, получив чин полковника, захватил себе в степи огромные участки земли, имел много крепостных из беглых крестьян, калмыков, киргизов, словом, стал крупным помещиком. Человек с

сильной волей, с жестоким характером, он был главным угнетателем казацкой бедноты.

Казацкая беднота стала предъявлять Бородину свои законные требования: «Давай деньги, кажи отчет!» Мартемьян Бородин прибежал к насилиям, многих наказывал плетью, «яко озорников и людей мятежных», жаловался в петербургскую Военную коллегия, что большинство казаков бунтует и не слушается его. С той поры враждующие части войска получили в народе новые, так сказать дополнительные клички: меньшая, державшая сторону старшин, стала называться «старшинской», или «послушной стороной», а все остальные казаки – «войсковая», или «непослушная сторона», состоящая сплошь из бедноты.

Непослушная сторона решила послать гонцов к самой императрице с челобитной за подписями двух тысяч восьмисот человек. Казаки просили атамана Бородина убрать и позволить им, казакам, выбрать нового атамана по своему хотенью.

Двое выборных потащились на край света, в Питер.

Екатерина отнеслась к просьбе казаков внимательно, приказала Военной коллегии по всей справедливости рассмотреть их дело, и «если то подлинно учинено против их привилегии и им принадлежит выбор наказного атамана из их общества, то дайте им по воле выбрать, кого захотят».

Однако даже повеление Екатерины в полной мере исполнено не было. Правда, командированный из Петербурга генерал-майор Потапов, прибыв весной 1763 года в Яицкий городок, велел выбрать из казаков сорок человек доверенных, которые могли бы доказать виновность атамана Бородина и старшин. Произведенным расследованием преступления их во всем подтвердились. Генерал Потапов отстранил от дел Бородина и двух старшин и попытался навязать войску своих кандидатов в атаманы. Казаки отказались. Уезжая в Петербург, Потапов оставил вместо себя офицера драгунского полка Новокрещенова. В конце 1765 года последовал указ Военной коллегии, по которому отстраненные атаман Бородин и двое старшин лишались чинов и должностей и с них взыскивалась в пользу казаков определенная сумма денег; предписывалось выбрать вольными согласными голосами трех кандидатов в атаманы и представить их имена Военной коллегии, а до утверждения нового атамана поручить управление делами выбранным из старшин и казаков.

Войсковая сторона указом была довольна. Но вскоре офицер Новокрещенов приказал: главного зачинщика междоусобия казака Логинова сослать в Тобольск, ездившего в Петербург с челобитной казака Копеечкина записать в солдаты, сорок человек доверенных, выбранных казачьим кругом, наказать палками и отправить без очереди на службу в Гурьев-городок.

Оскорбленное войско снова направило в Питер гонцов с жалобой на незаконные поступки майора.

Прошло полгода.

Разбирать дело прибыл генерал-майор Черепов, командующий войсками в Оренбурге, человек свирепый и решительный. С генералом была отправлена из Оренбурга часть драгунов. Он немедленно потребовал от казаков избрать трех кандидатов в атаманы: немилого бедноте дьяка Суетина, Митрясова и Федора Бородина, сына отстраненного атамана. Казаки ответили полным отказом избрать их и выдвинули в кандидаты своих трех человек.

Разгневанный генерал прервал с непослушными казаками переговоры. Наутро забил набат в колокол, сигнал: «Собираться в казачий круг».

Войско собиралось на площади, против каменного корпуса войсковой избы. Широкое место для круга ограждено деревянными перилами. Внутри перил – рундук, место для атамана и старшин.

Непослушная сторона казаков, по приказу генерала, была окружена цепью вооруженных драгунов.

Казачьи смутились и, оставаясь в отдалении, не хотели приближаться к перилам у круга.

Генерал Черепов вместе с майором Новокрещеновым, старшинами и зажиточными казаками вошли в круг. Генерал занял на рундуке место атамана. Он поднялся с кресла и, крутя черный ус, сердито прокричал:

- Слушайте указ!.. Придвиньтесь ближе к перилам.
- Нам и здесь хорошо слышно. Не глухие... – ответили непослушные.
- Подойдите ближе! – побагровев, крикнул генерал.

Казачьи не двигались. В морозном воздухе все замерло. Замерли в своих позах сидевшие на рундуке за столом старшины. Генерал сорвался с рундука, быстрым шагом вышел за перила, встал позади драгунов, отдал им приказ стрелять по непокорным. Вслед за трескучим залпом в воздух почти все войско пало на землю. Казачьи испуганно стали кричать:

- Помилуйте, ваше превосходительство! Мы не чужем за собой никакой вины.
- Пли!.. – загремел генерал.

Драгуны, не желая проливать кровь, снова дали залп в воздух, но несколько пуль все же угодило в лежащих на снегу казаков: трех человек убило, семерых ранило.

- Помилуй, батюшка, – валяясь на снегу, молвили безоружные казаки. – За что?
- Будете ли повиноваться указам государыни?
- Ваше превосходительство! – стали выкрикивать казаки. – Войско завсегда Богу, государыне и указам ее повинно.

Генерал скоро уехал в Оренбург.

Развал и неразбериха в Яицком войске продолжались. А время шло. Враждующие стороны жаловались одна на другую в Петербург.

В конце концов обеим сторонам по одному из пунктов спора удалось достигнуть соглашения: был казачьим кругом выбран и Военной коллегией утвержден в звании атамана рядовой казак Петр Тамбовцев. Человек честный, но слабохарактерный, он не мог сломить упорства старшинской партии. Постепенно подпадая под влияние старшин, Тамбовцев перешел открыто на их сторону, а казакам народной партии чинил всякие обиды. Казачьи, раздражаясь, говорили:

- Не мы ли его выбрали? Вот те и свой брат-савоська...

Продолжавшаяся с Турцией война требовала новых боевых сил. Правительство решило в помощь действующей армии сформировать особый так называемый Московский легион в шесть тысяч человек из вольных людей; туда должны были входить пехота, кавалерия и отряд яицких казаков в триста тридцать пять человек. Указ об этом получен на Яике в начале 1770 года. Все Яицкое войско поднялось на дыбы, отказалось подчиниться этому указу.

На площади, в избах, по хуторам были одни и те же разговоры:

- Не ходить! Из нас хотят сделать солдат. Хотят регулярство завести. Бороды скрести повелено... Над нашими исконными обычаями, над древним благочестием насмехаться...
- Атаманы и старшины – предатели!

Собрался казачий круг. Казак Чумаков^[60] сказал:

– Давайте от всего войска просить матушку-царицу, пускай освободит нас от легионной службы.

Громада подхватила:

– Все пойдем до императрицы, все поголовно... Как раньше наши деды-прадеды служили, так и мы на прежних поведенциях и отеческих порядках безо всякого отрицания служить должны. А в штат легиона не хотим!

Атаман Тамбовцев, негласно наущаемый коварным Мартемьяном Бородиным, решился на крайнюю меру: для формирования легионного отряда хватать кого попало. Чрез бесчисленные насилия, мордобой и жестокую распрю было нахватано, наловлено сколько по штату надо – триста тридцать пять человек. Всех их держали под арестом, а в Питер донесли, что приказ Военной коллегии исполнен и команда будет препровождена под конвоем в Симбирск.

Но напрасно атаман обольщал себя такой надеждой: растревоженный улей Яицкого войска все больше и больше раздражался. Боясь мести атамана, большинство казаков, спасая животы свои, рассыпалось по степям и дальним хуторам, благо летняя пора стояла, – везде приют.

Непослушная сторона успела тайно отправить в Петербург депутацию из двадцати двух человек, собрав им в дорогу по тридцать копеек с дома.

3

Депутация, возглавляемая сотником Портновым, в июле 1770 года прибыла в Царское Село, где жила Екатерина.

Депутацию во дворец не пустили, не пустили и в парк, из которого можно бы как-нибудь, хоть по водосточной трубе, залезть в открытое дворцовое оконце. Как быть? Сотник Портнов с двумя молодыми казаками с утра ходил возле железных решеток, заглядывая в парк, не покажется ли императрица.

– Она! Ей же Богу, она, – закричал бесхитростный Портнов и ткнул рукой по направлению спускавшейся от дворцового пандуса к озеру группы: впереди две женщины – побольше и поменьше, возле них две собачонки – тоже побольше и поменьше, на три шага сзади – высокий статный генерал с тростью («Это граф Орлов, Григорий Григорьевич», – прошептал сотник), сзади него два пажа, а в некотором отдалении – пять гайдуков в малиновых кафтанах.

Около всех ворот в парк стояли с ружьями драгуны.

Иван Портнов вложил пальцы в рот и трижды свистнул. Через две-три минуты к сотнику сбежались остальные девятнадцать казаков.

– Господи благослови, – проговорил Портнов, с легкостью перемахнул через невысокую железную решетку и, творя молитву, побежал напрямик к Екатерине, которая успела спуститься к озеру и теперь бросала подплывшим лебедям кусочки хлеба.

За Портновым, топоча, как степные кони, бежали два десятка казаков. Придерживая у бедер сабли, они боязливо озирались на гнавшегося за ними солдата с ружьем.

– Стой! Стой! Стрелять буду! – вопил солдат.

Где-то близко забил барабан тревогу, зазвонил колокольчик, раздалась крикливая команда. И вскоре целая рать, ружья наперевес, ринулась за казаками. Но казакам теперь не страшно, они уже подлетали к государыне.

Екатерина, одетая в светло-голубой просторный пеньюар и кружевной чепец, быстро повернулась на шум и только лишь произнесла: «Что это значит?», как запыхавшийся сотник Портнов, сдернув шапку, повалился Екатерине в ноги, уткнулся лбом в зеленую траву, а вытянутой правой рукой совал царице челобитную. Он по простоте душевной зашуриса, чтоб не ослепнуть от блистательного зрака государыни, рыжая борода его подрагивала, он пронзительно кричал:

– Мать всеблагая!.. Ваше величество! Прими, прими слезное прошение наше... Препоручаем себя вашему величеству. От наших старшин против беззаконных их поступков и наглого разорительства высочайшей десницей защиты и обороны...

Два десятка казаков тоже стали на колени. Они смущенно мигали и ничего пред собой не видели, кроме трепетного белого листа бумаги и миловидной, «райского фасона», женщины.

Граф Григорий Орлов, блистая золотом кафтана и бриллиантами драгоценных колец, грозил им тростью, но про себя улыбался.

Екатерина приняла бумагу, подняла брови, сотник Иван Портнов услышал «небесный» голос:

– Встаньте, казаки.

Бородачи поднялись, замерли, руки по швам.

Голос Екатерины сделался по-земному раздражителен. Она спросила:

– Ведомо ли вам, казаки, что мне лично подавать прошения регламент воспрещает?

– Ведомо, ваше величество! – гаркнул сотник Портнов и выпучил испуганные глаза на Екатерину.

– А ежели ведомо, то чего ради ты это сделал, сотник?

– Винимся, ваше величество! – опять гаркнул Портнов. – Тако войсковой круг постановил, чтоб лично, значит... В ручки.

– Круг-то круг, – сказала Екатерина, – а над кругом все-таки – я... я... Уж который раз вы чините сие беззаконие... И что вас мир не берет?

– Винимся, ваше величество! – и все казаки снова упали на колени.

Екатерина вскинула к глазам лорнет, с интересом присмотрелась к широкоплечим бородачам и заговорила по-французски с княгиней Головиной.

Орлов резко сказал казакам:

– Ответ чрез Военную коллегию... Ну, марш отсюда!

Екатерина, прервав разговор с Головиной, окинула Орлова улыбочиво-укоризненным взглядом и приказала похожему на девушку пажу:

– Проводи, пожалуйста, казаков во дворец, пускай их там покормят. И... и... по стаканчику водки...

Казаки, облегченно задышав, третий раз бухнулись Екатерине в ноги.

В челобитной депутаты просили царицу не определять казаков в легионные полки, приказать удовлетворить их денежным и хлебным жалованьем, которого они не получали пять лет.

Через месяц Екатерина повелела Военной коллегии немедленно удовлетворить просьбу казаков. Но об освобождении их от легионной службы в последовавшем указе не было ни слова. Таким решением депутаты остались недовольны, в Военной коллегии вели себя дерзко, на предложение возвратиться на Яик не согласились и данную им грамоту на имя войска оставили в зале коллегии.

Вскоре казакам вторично удалось вручить императрице новую челобитную, где они вновь просили уволить их от службы в легионе.

Видя подобное упорство депутатов, Екатерина указала Военной коллегии: «Снисходя на просьбу яицких казаков, увольняем их вовсе от легионной команды, *куда их впредь не наряжать*».

Для умиротворения войска были командированы на Яик лично известный Екатерине, друг Григория Орлова, офицер Семеновского полка Дурново, а из Оренбурга – генерал-майор Давыдов.

Наступил март 1771 года. За это время стряслась беда с калмыками. Правительство решило послать на войну в Турцию двадцать тысяч калмыков. В ответ на это тридцать тысяч калмыцких кибиток, бросив свои кочевья, бежали в Китай^[61]. На Яик пришло высочайшее повеление командировать в Кизляр пятьсот казаков в погоню за калмыками.

Этот неожиданный сюрприз был войску весьма неприятен. Собирались один за другим четыре очень шумных круга. Непослушная сторона наотрез отказалась идти в команду.

– Почему?

– А вот почему... – и сотник непослушной партии подал атаману копию указа, полученную депутатами в Военной коллегии год тому назад. В этой копии столичным переписчиком был искажен в пользу казаков текст высочайшего указа и вместо слов: «куда (то есть в легион) их впредь не наряжать», в копии сказано:

«никуда их впредь не наряжать».

Это послужило сигналом к полному отказу от командировки в Кизляр.

Генерал Давыдов и петербургский офицер Дурново послали обо всем этом донесение в Военную коллегию. А непослушная сторона вновь выбрала депутацию под начальством сотника Кирпичникова. Депутация прибыла в Петербург в середине лета 1771 года.

Сотник Кирпичников явился к начальнику Военной коллегии графу Захару Чернышеву, чтоб подать чрез него челобитную императрице. Но граф заорал на Кирпичникова:

– Ты чего шляешься один?.. Сколько вас здесь?.. Двадцать пять человек? Надоели со своими просьбицами... Придите все, тогда приму вашу челобитную. А может, и арестую всех.

Депутаты изыскали способ подать челобитную Екатерине лично. В июне месяце, когда императрица ехала в Сенат, рыжебородый казак Федот Кожин, пав на колени, успел подать ей челобитную. Его арестовали, но он ухитрился сбежать в Москву.

Прошло около пяти месяцев. Военная коллегия дала полиции приказ: «Изыскать депутатов и на квартирах не держать, яко сущих злодеев». Вскоре шестеро депутатов было арестовано, им остригли волосы, обрили бороды и насильно отправили, по приказу Чернышева, простыми солдатами в действующую против турок армию. А высочайшего решения все еще не приходило.

Сотник Иван Кирпичников решил обратиться за покровительством к графу Григорию Орлову, но, узнав, что граф куда-то выехал, он обратился к его брату Ивану Григорьевичу. Захар Чернышев был ставленником Никиты Панина и, стало быть, враг партии братьев Орловых. Граф Иван Орлов по-простецки обласкал Кирпичникова.

– Слышал, слышал. Двенадцать лет тянется ваше дело... Ха! Это черт знает что, – сказал он. – Граф Чернышев ваше дело совсем запутал, знаю, знаю... Он большими делами руководствовать не может... Ну-с, так... Садись, сотник!

Он дал Кирпичникову письмо и сказал:

– Отправляйся прямо на Яик, а в Военную коллегию не заходи: граф Захар – он знаешь какой, пожалуй, по зубам даст. Это письмо передай капитану Дурново у себя на Яике. С этим письмом тебя и депутатов пропустят, где хочешь... Только Москву объезжайте. Чума лютует там...

Глава VI

Чудо. Пир во время чумы

1

Шел сентябрь 1771 года. Чума в Москве свирепствовала с особым ожесточением.

Люди вымирали в короткое время целыми домами. По улицам, в особенности на окраинах, валялись мертвые тела. В тех домах, где обнаруживался больной, ретивые начальники всех здоровых насильно с великим криком и скандалами угоняли в карантин или в госпиталь; там здоровые люди нередко заболели и гибли. Такие меры восстанавливали население против лекарей и госпиталей. Распространились слухи, что начальство подкупило лекарей извести всю бедноту. Бани давным-давно запечатаны. Рынки закрыты. Начался голод. Многие, у кого еще остались силы, поспешили из Москвы крадучись утечь, иногда умыкая с собой и захворавших. Иные умудрялись даже убежать из госпиталей и карантинных. Их ловили, схватывали, избивали. Иногда на избивавших наваливалась толпа и побивала их камнями. Вся Москва была пронизана недобрим предчувствием. «Быть худу, быть худу!» – кричали по площадям и возле церквей юродивые и кликуши. Грабежи, убийства чрезмерно умножились. Твердой власти не существовало. Порядок всюду был нарушен. Народ все более и более охватывала паника. Казалось, еще немного, и Москва погибнет от чумы и беспорядка. Но вот произошло чудо...

Темный народ поверил тому чуду и, вздохнув, подумал: «Стало, Господь-батюшка оглянулся на нас, стало, не вся надежда потеряна». По всей Москве из края в край летела весть: «Старому попу в церкви Всех святых, что на Кулишке, явилась-де сама пресвятая Богородица и сказала-де тому попу, как злое поветрие изжить... Теките, православные, в сию мать-церковь, поп врать не станет, объяснит».

Вся церковь на Кулишке, вся церковная ограда, прилегающие улочки и переулки полны народа. Шум, гвалт, как на пожаре. Ничего не разобрать.

И только глубокой ночью людская громада повалила от Всесвятской церкви с крестным ходом к Китай-городу. Из попутных храмов выходили с хоругвями, крестами, иконами новые кучи богомольцев, вливались в общую массу. Толпа росла, над толпой пыль вилась, слышалось гроыхающее среди темной ночи нестройное пение стихир. Старый, лысый, но крепкий поп время от времени давал громким голосом пояснение любопытным:

– Два богобоязненных мирянина – гвардейского Семеновского полка солдат, раб Божий Бяков, да другой – фабричный, раб Божий Илья Афанасьев – оба духовные чада мои, во вчерашней ночи одарены были дивным сновидением...

– Как, оба враз увидели? – удивленно вопрошали маловеры.

– Оба враз, оба враз, братья мои! Вот в этом-то и есть чудо рачения Божия о нас грешных. И явилась им приснодева Богородица и рекла: «Тридцать лет прошло, как у моего образа боголюбской Божьей матери, что над Варварскими воротами, никто-де свечей не ставит. За сие, прогневавшись, хотел Христос послать-де на Москву каменный дождь, дабы всю Москву с землей сровнять, но я упростила-де своего сына Божия. И замест камениев быть по Москве трехмесячному мору. Молитесь-де тому образу, и испытание сие скоро преидет».

Как ни глупа была эта басня, народ изумлялся, ахал, вздыхал, с упованием крестился, и во все

стороны дерзновенное летело пение: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

Хоромы и московская контора графа Ягужинского были еще с августа заколочены. На карауле – старый солдат с ружьем. И Герасиму Степанову волей-неволей пришлось искать убежище на стороне. Ехать на далекий Урал в каторжную обстановку ему не больно-то хотелось, решил пожить в столице, авось скоро откроется контора, он подкрепит свои финансы и тогда уж двинется в путь.

Он нашел приют у своего земляка-псковитянина, старого монаха Иосифа, коротавшего дни свои в одинокой келье, что на башне у Варварских ворот. Туда вели ржавая железная дверь и темная каменная лесенка. Келья о двух узких, как щель, оконцах помещалась под самой крышей. Она скорей походила на тюрьму, чем на жилище человека: низенькая, круглая, как баран, с закоптевшими каменными стенами, маленькой печуркой для сугрева и варки пищи. Одетый в порыжевшую, закапанную воском рясу и вытертую скуфейку, старец Иосиф тощ, высок и ликом благообразен. Он весь в деле: то шил башмаки, то туфли для покойников, то сидел согнувшись над столом, красивым уставным почерком переписывал с копии редкого Софийского списка «Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию в 1468 году», иногда незатейно малевал дешевые, для деревень, иконы.

...Перед утром чрез открытое оконце вместе с прохладным ветерком стали долетать сюда некий шум и отдаленные звуки песнопений. Иосиф проснулся, толкнул в бок Герасима: «Чуешь, чадо, – Москва шумит!» Герасим вскочил, протер глаза. Монах стал поджиглять погасавшую возле посребренного образа большую лампаду. Заскрипела внизу, хлопнула с треском железная дверь, кто-то пыхтел и ругался, поднимаясь по лестнице, вот дверь в келью распахнулась, в нее протиснулась боком, подобно копне, Марфуша-пророчица.

– Ишь, дрыхнете! – завопила она и швырнула подушку к печурке. – Чу! Народ валит, попы идут, ангелы воспевают... Молитесь Богу, все молитесь! Днесь спасение миру бысть... – Она жадно выпила два ковша воды, сорвала с седой головы старую соломенную шляпу с цветами и несколько чепцов и, заохав, повалилась в изнеможении возле печурки на пол. Она, как кочан капусты: на ней «семьдесят семь одежек». Скрытые юбками, на ней висели мешочки с тряпьем, с обглоданными костями, гнилыми огурцами и яблоками, сухарями, протухлой рыбой, пуговками, лентами, железными подковами. Она всю эту дрянь таскала с собой как драгоценность.

Рассветало. На Спасской башне пробило четыре. Монах с Герасимом высунулись из окна, с хлопотливым граем пронеслась осенняя стая галок. Пыльная, местами поросшая бурьяном и кустарником площадь пред Китайской стеной стала заполняться людом. Показался крестный ход, тускло мерцали, покачиваясь над толпой, запрестольные слюдяные фонари. Против Варварских ворот процессия остановилась, пение смолкло, все головы запрокинулись, многие тысячи глаз с упованием воззрились на большой старинный образ боголюбской Богородицы, прибитый над аркой Варварских ворот. Народ стал усердно креститься, сгибать спины в низких поклонах, некоторые бросались на колени, земно кланялись. «Свечей, свечей! Лестницу давайте!» – слышались голоса. Появились свечи, появилась лестница, ее приставили к арке против иконы, и лысый старик-штукатур в черном, со сборками кафтане полез с пучком горящих восковых свечей. Вскоре свечи засияли перед образом. Герасим с монахом видели, как со всех сторон подходят в епитрахиях попы, доброхоты тащат аналои, расставляют их поближе к воротам. Рыжий поп гонит седовласого попа с аналоем прочь: «Я первый!.. Мое место!» За седовласого вступаются прихожане, разгорается торг, шумное препирательство, потасовка. Так и в другом и в третьем месте. «Православные, православные, уймись! Всем места хватит!» – взмахивая крестами, кричат попы, их больше дюжины. Наконец порядок восстановлен, народ разбился на кучки, каждая кучка у своего аналоя, возле своего попа. Начинают петь одновременно несколько молебнов.

Наступил полдень, уставшие уходили, им на смену являлись новые, толпа росла. Отряд конной полиции с офицером разъезжал вокруг ошалевшей толпы, разгонять толпу боялся. Показалась рота старых солдат-гвардейцев. Они тоже были бессильны, многотысячная толпа на их окрики не обращала ни малейшего внимания. Здоровенные, грязные, в кожаных фартуках, с засученными рукавами кузнецы (на Варварке три большие купеческие кузницы), пробираясь от кучки к кучке и косясь на воинскую команду, негромко внушали молящимся:

– Ребята, надо хоть дубины, что ли, в руки взять, либо камня. В случае солдаты нападут, солдат бить.

Всюду раздавалось: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

Лысый старичок-штукатур уже десятый раз карабкался по лестнице к иконе, ставил все новые и новые свечи.

– Православные! Порадейте на всемирную свечу преблагой заступнице, кладите деньги вот в эти сундуки.

Появились два кованых железом огромных сундука. Зазвенели пятаки, гроши, полтины. Молящиеся взапуски друг перед другом изъявляли свою набожность. Подъезжали купеческие семейства на дрогах, на линейках, протискивались вперед, швыряли в сундуки серебряные рублевки, золотые червонцы. В воротах густо толпились молящиеся, не было ни проходу, ни проезду.

Настал вечер, народ не расходился.

В бесчисленной толпе было немало зараженных чумой. В этом диком скопище зараза невозбранно распространялась. До ночи упало около трех десятков человек, некоторые тут же умирали. Появились с крючьями арестанты и каторжные в страшных одеждах, в страшных масках, впереди – арестант с белым флажком в руке, что означало: «Берегись». Народ боязливо поджимался, уступал им дорогу, перебежал поближе к попам, поближе к чудотворной иконе; санитары, зацепив крючьями труп, волокли его к телеге.

Герасим с монахом успели выспаться и, вновь припав к окну, с тоской и болью в сердце наблюдали нелепое, по такое понятное им зрелище.

Наступила вторая ночь.

Черное месиво людей возле ворот опоясано со всех сторон пылающими кострами. Тысячи зажженных свечей в руках молящихся, подобно ивановским червячкам, светятся из ночного мрака. Пред ликом подъятого над воротами образа возжен целый сноп свечей. Трепетный свет от них падает вниз в толпу, вырывает из тьмы лысые, кудлатые или крытые платочками головы. Всюду разрозненные, отрывистые выкрики, вопли, стоны, звяк медных пятак, непрерывные всем хором возгласы: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» И где-то ловили, избивали карманников, где-то истошно вопили: «Караул, грабят!» Откуда-то налетала разгульная песня беспросыпных отчаянных гуляк.

Эту ночь, с 11 на 12 сентября, архиепископ Амвросий не сомкнул глаз. Он понимал всю опасность поповской затеи с чудом и решил утром же разделаться с корыстолюбивыми попами.

А между тем чума стала валить в Москве больше тысячи человек в сутки. Москве грозили голод и неисчислимы бедствия.

Главнокомандующий Москвы, престарелый граф Салтыков, послал Екатерине отчаянное донесение:

«Карантины ныне учреждать нужды не видится, да уже и поздно, из Москвы почти все выехали, да и подлость вся бежит: маркитантов, хлебников, калачников, квасников и всех, кто съестными припасами торгует, уже мало осталось. Мужики в город съестного из деревень не доставляют, не без опасности

голоду, зима приходит, дров не везут, народ приуныл и обробел. Болезнь уже так умножилась, что никакого способу не остается оную прекратить. С нуждою можно что купить съестное, работ нет, хлебных магазейнов нет. Генерал-поручик Еропкин старается неусыпно оное зло прекратить, но все труды его тщетны. Кругом меня во всех домах мрут, и я запер свои ворота, сию один, опасаюсь и себе несчастья. В присутственных местах все дела остановились, приказные служители заражаются. Приемлю смелость просить мне дозволить на сие злое время отлучиться».

Отправив письмо, Салтыков в тот же день бросил Москву на произвол судьбы и уехал в свою подмосковную, в Марфино.

2

Читая в Царском Селе это письмо, Екатерина разгневалась.

– Старый хрыч, – наморщив нос, сказала она и стала золотым карандашиком подчеркивать некоторые, возмутившие ее строки. «Я запер свои ворота, сижу один, опасаясь и себе несчастья», – она подчеркнула дважды и, кинув карандашик, воскликнула: – И это кунерсдорфский победитель! На войне побеждал, а эпидемии в дрейф лег. Как твое мнение, Григорий Григорьич?

Они пили послеобеденный кофе в очаровательном крошечном «голубом кабинете», что рядом с опочивальней. Стены, потолок отделаны молочным и синим зеркальным стеклом с массивными украшениями золоченой бронзы. По стенам бронзовые барельефы в медальонах синего стекла. В глубине комнаты, на возвышении в одну ступень, – широкий турецкий диван, покрытый голубоватым штофом, столик и два табурета на синих стеклянных ножках. Эту маленькую комнату Екатерина очень любила и называла ее «табакеркой». На столике – нераспечатанная колода карт и письмо фельдмаршала Салтыкова.

Бывший «сердечный друг Гришенька», ныне просто Григорий Григорьич, болезненно чувствовал охлаждение к нему императрицы. Он не знал, а лишь догадывался, что несравненный его кумир – Екатерина – завела себе, так сказать, «тайную любовь на стороне». Он с душевной печалью глядел чрез зеркальное, до самого полу, окно, выходящее в собственный садик Екатерины. Тронутые ранними утренниками дубы, клены и липы медленно роняли свои пожелтевшие или рдяные, как кровь, листья.

– Как боевой герой он достоин вечной славы, – сказала Екатерина, – а как администратор он зело устарел. Я перестаю уважать и любить его. А ты как полагаешь?

Весь подтянутый, Орлов быстро повернул напудренное, чуть надменное лицо к царице и весьма почтительным голосом, в котором Екатерина-женщина, однако, почувствовала холодок уязвленного мужского самолюбия, ответил:

– На свете, ваше величество, многое превратно. Вот дуб, – и, не оборачиваясь, он махнул через плечо шелковым платочком в сторону парка. – Пришла осень, дуб теряет листья, наступит зима, дуб оголится, и уже вы взор свой не остановите на нем...

– Ах, ваше сиятельство, оставьте сантименты, я всерьез... Я имею на тебя, Григорий Григорьич, некоторые виды...

– Я рад слушать, ваше величество, – подчеркнуто вежливо, но с намеренной сухостью ответил Орлов.

Екатерина деловитым, уверенным голосом стала сетовать на всяческие беспорядки, царящие в ее империи.

– Подумать страшно... Рабы восстают на господ, фабричные – на владельцев... Даже на Каме появились разбойники. Пятнадцать воровских шаек! А война с турками тянется и тянется...

Она умолкла, понурившись, и в эту минуту с порога:

– Граф Никита Иваныч Панин! – гортанным голосом прокричал курчавый негр в красном, обшитом золотыми галунами кафтане со срезанными полами.

Располневший, приятно улыбающийся темноглазый граф Панин, которому даровано право являться к царице без доклада, неспешно приблизился к ней, поцеловал протянутую руку, затем жеманно и не так, как раньше, – без тени вынужденного подобоострастия – раскланялся с Орловым.

– Садитесь, Никита Иваныч, – указала Екатерина на место возле себя и, взяв холеной рукой с

оттопыренным мизинчиком пуховку, попудрила слегка вспотевший лоб. – Вы как раз кстати... Прочтите, пожалуй, что пишет этот московский старый хрыч...

Панин читал бумагу, гримасничая. Полные губы его пробовали сложиться в улыбку, а подведенные брови хмурились.

Пригубив чашку с кофе, она горячо заговорила, пересыпая русскую речь французскими фразами. Она хорошо играла своим голосом, она умела обольстить им слушателя, а иногда привести его в трепет. Теперь голос ее звучал иронически, глаза раздраженно и нервно жмурились, она облизывала пересохшие губы.

– Никакого способу у него не остается прекратить болезнь! Как это вам нравится? Но не от послабления ли тех, коим поручена безопасность Москвы, вкралась болезнь в сей дивный город? Тому уже другой год, как нами повелено поставить пограничные кордоны и карантин по всем дорогам, откуда можно иметь опасение для Москвы. И вот, в декабре прошлого года она болезнь, чрез попустительство и ротозейство властей, появилась в Москве. Мы немедля предписали фельдмаршалу Салтыкову все те способы, кои только придумать можно для скорейшего пресечения сего зла. Но оный старый дедушка либо ничего из предписанного отселе, либо гораздо мало да и то с крайним расслаблением проводил, полагаясь токмо на авось либо на милость всевышнего, но... – тут голос Екатерины зазвучал суровой иронией, – но, быв, по согрешениям нашим, часто милости Божией недостойны, мы с благочестивым фельдмаршалом нашим довели Москву до того, что там мрет по тысяче наших подданных в сутки. Наш милый дедушка полагает все новое пустым и бесполезным... Какая рутина!.. Как это глупо... tout cela tient à la barbe de nos ancêtres[62]...

– Но ведь там теперь к сему делу генерал-поручик Еропкин определен вами, всемилостивейшая государыня, – заметил Панин.

– О да... Но сего мало. Граф Григорий Григорьич, пожалуй, собирайтесь ездить в Москву и, прошу вас, без промедления.

Орлов встал, поклонился и снова сел. В его мыслях промелькнул образ его опасного соперника – умного, ловкого Потемкина. Да и впрямь не он ли, не Потемкин ли, подставляет ему ножку? Пресыщенное богатством и славой сердце его от сухих официальных слов императрицы сжалось. Граф Панин со злорадным удивлением наблюдал столь разительно изменившиеся отношения императрицы к всеильному Орлову – лютому врагу Никиты Панина.

3

Всякому нужно было теперь о самом себе помышлять. Любивший покушать мясник Хряпов отощал. Озлобленный, он вышел утром из калитки серого деревянного домика на Большой Ордынке (здесь он нашел уют), снял картуз, усердно покрестился на все стороны и ходко зашагал к Серпуховской заставе, за которой отведено было торжище; туда съезжались из окрестных деревень крестьяне с продуктами. Улица была малолюдна.

Возле Коровьего вала вдруг он увидел троих бегущих в серых больничных халатах. Один из них, чернобородый, щупленький, сбросил мешавший ему длинный халат, сбросил шлепанцы и в одном белье кинулся что есть силы к Москве-реке. Мясник Хряпов от удивления остолбенел.

– Фролов, Фролов! – завопил он, узнав в бегущем ростовского огородника, которого он столько времени тщетно старался разыскать. Но мясника чуть не сшибли запыхавшиеся карантинные сторожа и два будочника с трещотками.

– Лови, хватай! – на бегу кричали они. – Из карантена удрали... Десять чумовых... Фабричные суконщики... Держи, держи! Из открытых на гвалт окошек перекликались жители: «Не пожар ли?» – «Нет, должно, голицынский карантен расшибли...» – «Ну?.. Вчерась, толкуют, на Введенских горах в лазарете буча была...» – «Да начне-е-тся», – с вещим злорадством в голосе бросил из окна соседу длиннородый дед.

«Быть бунту, – покрутил головой мясник и пошел вперед. – Вот те и Фролов...»

В четырех верстах за Серпуховской заставой, в чистом поле, торжище подобно большому пожару: длинной цепью костры горели, к небу густо смрад и дым валил. По сю сторону костров тысячи голодных москвичей (фабричных, мастеровых, мещан, «крапивного семени» из приказов) с корзинами, мешками, флягами. По ту сторону костров маячили сквозь дым вздетые кверху, как погорелый лес, оглобли. Вскрапывали выпряженные лошади. На телегах горы печеного хлеба, муки, картошки, капусты, всяких круп. Мужики-торговцы переругивались с покупателями.

– Грабители! Креста на вас нету... Этакую цену драть.

– Вот ужо господам вашим нажалуемся, они вам спины-то вздерут!.. Мы знаем – вы графьев Черкасовых, – кричал старик-купец в очках и бархатном картузике. – Вот ужо, ужо!

– Ты нас кнутами не стращай, дедка! – отругиваются чрез огонь и дым два молодых крестьянина в лаптях. – Наши спины к этому привышны. Погодь, придет наша пора, всех графьев вот в этакий кострище пошвыряем... Да и тебе, алтынник, не сдобровать!

– Эй, вы там! – покрикивает выслужившийся из солдат старый офицер на деревяшке. – Купил и уходи! Купил и уходи, – с воинственным видом култыхает он вдоль огня.

Костры растянулись сажень на двести. На луговине грызутся из-за костей тощие псы. У костров, где торг, расхаживают полицейские и старые солдаты-гвардейцы.

– А-а-а, войско Яицкое! – обрадовался мясник Хряпов, завидя одетого в гвардейский полукафтан казака Федота Кожина с палашом при бедре. – Определился?

– Служу, служу, знакомый, – во всю бороду заулыбался тот. – А ты чего покупаешь, говядины, что ли? Баранины? Тогда шагай, знакомый, эвот в тое место. Только за линию костров Боже упаси переходить.

– Эй, борода! – чрез дым позвал Хряпов торговавшего мясом курносого, маленького, с большой бородищей смешного мужика. – Отвесь-ка поскорей заднюю баранью...

Тот взял безмен, прикрикнул, веселым голосом заговорил:

– Ну и баранинка. Сам бы ел, да барин забранится. Барская!.. Вези, говорит, Силантий, да хорошо продай, не обворуй меня, а то пореху получишь. У нас барин злой, перец ест... Резали его, да не дорезали. Он жив остался, а Петрухе повару ноздри вырвали да фьют в Сибирь-землю... На, получай! – он поддел баранью ногу на багор, поддержал немного над огнем и, переправив через костер, сбросил в чан с водой.

Подъезжали к торжищу купеческие и казенные дроги, тарантасы. Фабричные и мастеровые – тощие, с ввалившимися, ожесточенными глазами, жадно посматривали, как на эти экипажи грузят картошку, мясо, крупу, поднимали шумный ропот:

– Ишь, возами увозят... А нам где взять? Фабрики все опечатаны стоят, заработков нет, жрать нечего... ребятенки голодают... Да что нам, последний крест, что ли, из-под рубахи продавать?

– Ребята! Грабь купцов!.. Расшибай лазареты, там жратвы довольно напасено...

Тут набежали сердитые солдаты, подкултыхал на деревяшке офицер:

– Р-р-разойдись!.. Огонь прикажу открыть...

– Молчи, ваше благородие! А то деревяшку твою оторвем да ею же и устукаем тебя...

– Дураки! Мерзавцы! Я в сраженьях ноги лишился, веру-отчество защищал.

– Бар защищал ты да купчишек-алтынников. Вот кого.

– Скуси патрон! Сыпь на полку порох! Стреляй! – взъерившись и притопнув деревяшкой, крикнул офицер.

Толпа разбежалась.

4

Наступило 15 сентября. Вечер был темный, лишь у Варварских ворот поблескивали, блуждали огоньки.

Герасим Степанов высунулся из оконца своей кельи. На Спасской башне пробило девять. Толпа стала редеть. Хрипели истомленные попы с дьячками, нестройно, устало подвывали богомольцы. Слонялись дурочки, юродивые, вещала над аркой Марфуша-пророчица. Пучеглазый парень в беспоясой рубахе лазил вверх и вниз по лестнице, гасил и зажигал свечи. В набитые доверху сундуки звякали на «мирскую свечу» деньги. Казна окарауливалась небольшим отрядом богомольцев, вооруженных кольями, ножами, гирьками на веревках.

Герасим, прищурившись, с высоты своего оконца вдруг увидел: вынырнув из тьмы, к сундукам быстро подошли семеро храбрых солдат-гвардейцев, с ними унтер-офицер и двое консисторских подьячих с сургучом и печатью. Молебны у десяти аналоев, расставленных на приличном расстоянии друг от друга, сразу прекратились; все взоры повернулись к сундукам; стало тихо и тревожно.

Подьячие, приблизившись к страже из богомольцев, твердо сказали:

– Владыкой Амвросием повелено казну в сундуках опечатать, дабы она...

В толпе кто-то заорал: «Бей подьячих!» – и вооруженные чем попало люди оравой бросились к храбрым солдатам, смяли их, отняли ружья. Солдаты, едва вырвавшись из рук бунтовщиков, обнажили тесаки, стали защищаться. Опрокинутые подьячие, дрожа от страха и заикаясь, вопили: «Мы повелением владыки Амвросия сие творим, помилуйте!» Завязалась свалка.

В соседней церкви ударили в набат, при рогаточных караулах на улицах – бой трещоток. А следом зазвонили в колокола и в других церквях и на Спасской башне.

Вскоре страшным сплошным звоном всколыхнулась вся тьма Москвы от края и до края. Где-то пушка глухо ухнула, либо ударил далекий громовой раскат.

– Братцы, набат, набат... Чу, пушка! – Народ еще больше распался. – Зачинай, братцы, зачинай!..

Вмиг сундуки были опрокинуты, толпа, смяв духовенство, повалив аналои, набросилась на деньги, снова закипела отъявленная ругань, дикий крик и кровопролитье.

Образ боголюбской Богородицы, пред которым только что проливались слезы, всеми сразу был забыт, он оказался никому не нужным, сотни свечей пред ним, догорая, гасли, жалко падали на дорогу. Вся площадь громыхала гвалтом, воплями, неистовыми криками: «Караул, караул! Грабят... Бей их, бей начальство, дави толстосумов! Смерть Амвросию! Карантены, карантены! Жги! В Кремль, братцы, в Кремль!»

А сполох во всех церквях гудел, гудел. Всюду будочники непрерывно трещали в трещотки, трубили в рожки. И где-то вдали вспыхнули пожары.

У Герасима свело морозом кожу на спине.

И, словно вешние льды при половодье, по улицам, площадям и переулкам двинулся к Варварским воротам со всей Москвы народ.

Амвросий в мужичьем, из сермяги, армяке, с закрученными в косу и спрятанными под крестьянскую войлочную шляпу волосами, вышел на Кремлевскую площадь, слабо освещенную редкими масляными фонарями, земно поклонился златоглавым кремлевским соборам, вместе со своим племянником,

консисторским канцеляристом, сел в простую бричку и чрез Никольские ворота, крадучись, выехал в Донской монастырь.

Навстречу им с палками, топорами, железными клюшками, топоча сапогами по деревянному настилу, непрерывной цепью бежал и поспешно шел сквозь тьму народ, старые и молодые, женщины и ребятишки, задыхно кричали на бегу прерывистыми голосами:

– Начальство владычицу грабит... Не дадим Богородицу, не дадим! Животы положим за всевышнюю заступницу... Это новый архиерей все, смерть Амвросию!

Подъехавший к Китай-городу с пятью конными гусарами обер-полицмейстер Бахметев увидел десяти тысячное скопище людей, толпившихся в возбуждении по обе стороны стены между Ильинскими и Варварскими воротами.

– Зачем вы здесь? – спросил Бахметев.

– На сполох сбежались... За матушку пресвятую Богородицу до последнего издыхания стоять.

Бахметев пожал плечами и поехал с конвоем к генералу Еропкину с докладом. У Воскресенских ворот он встретил бежавшую толпу. Народ стекался от Охотного ряда, с Моховой, Тверской. Впереди толпы в синем из китайки балахоне бородатый мясник Хряпов с дубиной на плече. Не переставая и повторяя одно и то же, он что есть мочи кричал:

– Ребята! Поспешайте постоять за мать пресвятую Богородицу! – Весь взмокший, он облизывал пересохшие губы, потягивал на бегу из бутылки то ли вино, то ли воду. – Ребята! Поспешайте постоять за мать пресвятую Богородицу...

Объятый кромешной тьмой город был страшен. Но далеко не вся Москва примкнула к бунту. Многие, не зная куда, бежали ради любопытства. А большинство мирных жителей сидело по домам, накрепко заперев ворота. Сплошной набат, непрерывный звук трещоток, топот, гвалт, ругань бегущих бунтарей, жуткий вой дворовых псов вселяли в сердца мирных людей немалый ужас. Сидящие взаперти не могли понять, что творится на Москве. Одни думали, что турки одержали над нами победу и берут Москву, другие – что фабричный люд разбивает карантин, иные полагали, уж не объявился ли в Кремле каким чудом сам государь Петр Федорович III, о нем давно живет молва среди московского народа...

Бой трещоток продолжался, набатный звон кой-где еще гудел, будочники спешно загораживали улицы рогатками: «Нет проходу!.. Назад, назад. Нет проходу!» – но рассерженный народ воинственно опрокидывал преграды, все бежал, бежал, потрясая ночную тьму буйными, бессмысленными криками.

И вот хлынула толпа от Варварских ворот в Кремль. Пробегая Спасским мостом, буйны опрокидывали в ров все книжные лари и лавки. Ворвавшись в Кремль, они бросились к Чудову монастырю, вломившись в покои архиерея, всюду искали Амвросия, выволокли из-под его кровати за ноги какого-то пожилого сухопарого монаха с золотым наперсным крестом и, приняв его за Амвросия, начали трепать. Келейники и подоспевшие седовласые монахи стали защищать его: «Православные, это ж не владыко Амвросий!.. Это евоновый брат меньшей, Никон, архимандрит Воскресенского монастыря, на излечение сюда прибыл...» – «А где Амвросий?» – «Невесть куда скрылся, еще вчера вон выехал...»

Тогда избитого Никона отпустили. От ужаса он лишился речи и через две недели умер. Бросились все ломать и коверкать, разбили кельи, разгромили консисторию, драгоценную библиотеку, вышибли окна, двери, изломали печи, в домово́й архиерейской церкви буйные кучки раскольников содрали с престола серебряный оклад, похитили утварь и дорогие сосуды, антиминс разодрали на куски, иконы щепали топорами, из перин выпускали пух и перья.

А внизу тем временем взламывались купеческие винные склады.

Силач-кузнец тяжелым молотом сшибал с прикряком огромные замки. Приставленные окарауливать склады, старые, с седыми косами, солдаты-инвалиды, побросав кремневые ружья, тоже кинулись взламывать тяжелые, обитые железом двери. Им помогали скучавшие по вину монахи.

– Подается, подается!

Вот двери распахнулись, в нос шибанул из складов крепкий веселящий сердце дух. Пред складом уже успели развести костер из поломанной архиерейской мебели, консисторских бумаг, драгоценных книг, расколотых икон. Из темных складов к огоньку повыкатили бочки с французской водкой, английским пивом, понатащили тысячи бутылок с заморскими винами.

– Чередом, чередом таскай, не бей! – покрикивали караульные солдаты. – Прольешь, не выпьешь!

– Знай бей, хватит! На всю Москву у них, сволочей, запасено. А ну, попробуем господского! – Заработали тесаки, бутылкам ссекали, как курицам, головы, забулькало-полилось вино, вспыхнули новые костры, закружились мысли, развязались языки, повеселели ноги, у костров во всех местах разудалая песня грянула, плясы поднялись.

– И-эх, завей горе веревочкой... Гуляй, душа!

Полночная тьма колыхалась от пламени костров. Иван Великий, вознесясь во тьму седым столбом, мерно как бы покачивался, золотая его шапка, вобрав в себя отражение огней, казалось, строила странные гримасы.

Древняя историческая, выдавшая многие виды Кремлевская площадь впервые за всю жизнь справляла в дни чумы страшный пир.

Кремль в эти часы был грозен.

Всех полицейских, офицеров и суровых в длиннополых сюртуках старцев, приходящих сюда с уговорами, толпа забрасывала камнями.

Бледный, встревоженный зодчий Баженов всю ночь простоял у окна молельного дома, пытливо вглядываясь в то, что творится перед его изумленными глазами.

К рассвету вся Кремлевская площадь, мощенная белыми плитами, покрытая перьями и пухом, казалась необозримым полем кровавой сечи. Она сплошь была усеяна то ли мертвыми, то ли пьяными телами. Гнусавый храп, предсмертные стоны, дикий бред и одуряющий винный запах густо нависли над площадью.

Весь красный, с подбитым глазом, Хряпов, широко раскинув руки и ноги, лежал вверх бородой возле царь-пушки и богатырски всхрапывал. Около него, сжавшись в комочек, ютился бездыханный, опившийся вином, жалкий горбун-подьячий в жалком колпачке.

Не одна тысяча московского всех состояний сброда лежала вповалочку: челядинцы в замызганных кафтанах из мухояра, падкие на дармовое винцо мелкие купчишки, подьячие с козьими бородками и всякая «приказная строка», бабы, подростки, молодые иноки и седовласые брюхатые монахи, разные гулящие непотребные женки, фабричный люд, мастеровые, расстриги-попы и старые солдаты-инвалиды, бывшие в карауле при складах, немалое количество отвратительных нищих, кликуш, калек, юродивых... В подвальных складах тоже много опившихся и утонувших в выпущенном из бочек вине и пиве.

Кремлевская площадь казалась мертвой. Лишь проснувшиеся голуби и галки, перелетая стайками и взвевая с площади легкий пух, изыскивали, что бы поклевать, да неприхотливые псы, робко повилявая

хвостами, шлялись от тела к телу, облизывали заплеванные бороды и пожирали всякую изверженную дрянь.

Вслед за собаками и птицами, когда на Спасской башне отзвонили шесть и наступил рассвет, появились живые люди: полиция, будочники, солдаты, приехали на конях обер-полицмейстер Бахметев с офицером Саблуковым.

К девяти часам утра площадь была очищена от пьяных и проспавшихся.

Смерть за ночь широко прошла над человеческим месивом усердных вчерашних богомольцев: на белых кремлевских плитах осталось больше сотни мертвецов. И не разобрать – опились люди или очумели. Но не все ль равно? – страшные санитары-погонщики в страшных масках всех поволокли крючьями к чумовым страшным фургонам, повезли за город, в общую яму.

Маленький подъячий едет в могилу пышно, по-богачу; его аккуратно положили в фургон на самый верх. Несчастный в жизни, он теперь царит над мертвецами, он придавил собою мертвецов. Скорчившись калачиком, он тихонько лежит, и к жизни и к смерти равнодушный. Лишь полуоткрытый голый рот, подводя всему трагический итог, как бы хочет вымолвить: «Дыра-дело, дыра-дело».

Профессор академий – Римской, Болонской, Флорентийской – зодчий Баженов, распустив по плечам взлохмаченные волосы, опять стоял у своего окна и, наблюдая угрюмую действительность, молча глотал слезы.

По тряской дороге к смертным ямам чумные возы вдруг зашевелились, из возов слышались стоны мнимых мертвецов: «Спасите, спасите».

И снова возбужденная толпа, еще с вечера разгорячившаяся буйством:

– А-а-а, живых хоронят?! Кувыркой возы... Бей погонщиков, бей начальство! Выручай народ!..

И без всякого опасения заразиться набежавшие люди голыми руками стали разбирать возы, вытаскивать из кучи мертвецов воскресших винопивцев и ярыжек.

5

Едва очистилась площадь от трупов, Кремль снова, и очень быстро, стал заполняться сбродом. Многие бросились в подвалы допивать вино. А большое скопище бунтарей, узнав, что Амвросий скрывается в Донском монастыре, живо сговорилось и побежало туда ловить его.

От генерал-поручика Еропкина примчался в монастырь офицер. Он предложил Амвросию скорей переодеться и немедля ехать вместе с ним на Хорошево, за город.

– Моя кибитка ожидает вас в конце сада князя Трубецкого. Поспешайте, владыко! Сюда бежит народ.

Действительно, разбив по пути несколько карантинных, мятежная толпа с шумом, гамом, ружейными выстрелами буйно подтекла к Донскому монастырю.

Архиерей еще не успел сесть в кибитку, как монастырские стены были атакованы народом. «Отпирай, отпирай!» – и ворота затрещали.

Окруженный старыми монахами, смятенный архиерей поспешно вошел в собор, поднялся на хоры, схоронился за иконостасом. Но ворвавшаяся толпа нашла его, выволокла во двор, к колокольне. Потрясенный, бледный, но не потерявший мужества, Амвросий твердо спросил:

– Что вы, безумные, надо мною злоумышляете? Не я ли пекся о спасении вашем, не я ли хотел укротить попов, обманувших вас измышленным ими богомерзким чудом?

Толпа не слушала. Подстрекаемая целовальником Дмитриевым, толпа орала:

– Молчи, молчи, антихрист! Не ты ли послал грабить Богородицу? Не ты ли воспретил хоронить покойников у церквей? Не ты ли присудил забирать нас в карантинные?

– Бей супротивника народного! Бей богоотступника!

И толпа в восемь колеев принялась избивать архиерея. Он рухнул на землю. Толпа остановилась. Но вот «присмотря, что правая рука отмахкою двинулася, с чего принялися паки бить колыями по голове. Какой-то штрафной поп последним довершил ударом, оторвав несколько от главы, коя часть над глазом и осталася висящею».

Страсти в Москве не угомонились. Побросав свои жилища, многие отчаянные непроспавшиеся головы стягивались в кучки, всюду открыто слышались разжигающие выкрики – идти в Кремль, похозяйничать в соборах, разбить на Красной площади гостиный двор, пощупать купечество, разграбить и пожечь дворянские палаты, уничтожить карантинные.

В иных местах бородатые неведомые люди кричали в подгулявшую толпу, словно швыряли в солому горящие головешки:

– Пропадает, пропадает, мирянушки, Русь крещеная! То войну с неверными Господь попустил, то поветрие моровое. А пошто так? А по то, что немка нами правит, мирянушки! Куда она дела супруга своего, государя нашего Петра Федорыча? А?

– В народе, коло нас бродит государь! – уверенно отвечают голоса из плотно сбитой, взбудораженной толпы.

– Ничего не в народе, – сморкаясь в красный платок, громко говорит седобородый представительный старообрядец в картузе со светлым козырем. – За границу его величество утек, к тальянцам. У папы римского в сокрытии живет.

– Р-р-ра-зойдись! – обнажая тупые тесаки, угрожающе орут подоспевшие жалкие видом старики-солдаты под водительством бомбардира Павла Носова.

Подгулявшая толпа встречает их дружелюбным хохотом. По толпе уже гуляют из рук в руки два штофа зелена вина.

– Эй, деды-воины! А ну, выпьем за здравие государя Петра Федорыча. Ур-ра!

В эти разгульные дни подобных толп было в Москве много. Они состояли главным образом из барской дворни, брошенной бежавшими господами, да из фабричных работников с примесью «крапивного семени», ремесленников и мелких торговцев. О чем бы ни судачили эти толпы, о чем бы они ни спорили, – разговоры о недовольстве Екатериной-немкой, разговоры о нетерпеливом ожидании скорого пришествия Петра III стихийно возникали всюду.

Генерал-поручик Еропкин отлично понимал, что спасение Москвы – в военной силе. Весь этот день он с большим трудом, «кусочками», «собирал команду, кой-как к вечеру сколотил отряд в сто двадцать человек и добыл две неважные пушонки». С этой горсточкой людей около шести часов вечера он двинулся от Остоженки к Кремлю.

На разношерстный, распаленный событиями сброд, заполнивший Красную площадь, появление отряда не произвело никакого впечатления. А при входе через Боровицкие ворота в Кремль отряд был встречен дубьем, ожесточенными криками. Солдаты зарядили пушки, ружья, стали запирать ворота в Кремль.

После ружейного залпа и штыковой атаки многие трусливо побежали из Кремля, иных стали ловить, вязать, сажать в подвал.

На Красной площади шум не унимался, народ прибывал. Яицкий казак, бородатый и косоглазый Федот Кожин, сбжав со своей полицейской службы, подзуживал вооруженную кольями толпу:

– Дуй, братцы, напролом в Кремль! Нас сила, мы солдатишек, как курей, затопчем. Я вольный казак войска Яицкого. Вперед, братцы! – свирепо косил он глазом и потрясал ржавым тесаком.

Шумел против Спасских ворот и мясник Хряпов. Подбитый глаз его завязан красной тряпицей, за эти беспокойные дни он заметно похудел, нос заострился, давно нечесаная борода свалаялась в мочалку.

Из Спасских ворот выехал на рыжем рослом коне генерал-поручик Еропкин. Он бесстрашно врезался в толпу, всячески стал успокаивать народ:

– Полно-ка, полно, друзья мои. Опомнитесь да подумайте, что это вы затеяли...

В этот миг больно перепоясала Еропкина по сутулой спине увесистая дубина, полетели камнищи, кирпичи.

– Убивай, ежова голова, начальство! – орал подоспевший со своей оравой яицкий казак. – Вали напролом в ворота! Вперед, вперед, старатели!

– Братцы! – что есть силы горланил и Хряпов, размахивая железной палкой. – Постоим за себя!.. Не робей!

Раненый Еропкин, грозя нагайкой и визгливо вскрикивая: «Стрелять прикажу!.. Будет вам, дуракам, жарко!», ускакал в Кремль.

Живо были подкачены в Кремле к Спасским воротам две пушки, и, когда народ ворвался в ворота, был дан выстрел картечью, а затем – ядром. Сраженные и насмерть перепуганные мятежники грудой повалились друг на друга. Оставшиеся в живых, придя в память, повыскакивали на Красную площадь.

Вслед за ними выкачены на площадь и обе пушки. Офицеры Саблуков и Волоцкий дали по удиравшим еще два выстрела картечью и несколько залпов из ружей. Красная площадь опустела. Убито около сотни, схвачено двести сорок девять человек. Между пойманными множество подьячих и приказной мелкоты из всех коллегий; были мясники с Охотного, крепостные крестьяне, бородатые раскольники и кабацкие ярыжки.

Попался и мясник Хряпов, раненный картечью в ногу.

Уведомленный о беспорядках фельдмаршал Салтыков 17 сентября утром въехал на шестерке каурых в первопрестольную столицу. Увешанный ладанками с камфарой и то и дело опрыскивая себя противочумными снадобьями, маленький, седенький, простенький, он сидел в обширной закрытой карете, как в большом сундуке суслик, и брюзгливо бормотал себе под нос проклятья подлым взбунтовавшимся людишкам. За спиной кучера и позади кареты – две жаровни с пылавшими углями и раскаленными камнями; два казачка бросали в жаровни благовонный порошок и плескали уксус «четырёх разбойников». От мчавшейся кареты с фореитором на передней лошади валили двумя хвостами дым и пар. За экипажем, поддерживая порточки, бежали босоногие мальчуганы, кричали:

– Глянь, глянь, пожар!.. Барина опаливают в карете!

Вскоре вступил в Москву и Великолуцкий, в триста пятьдесят штыков, полк.

Мятеж утих в Москве, но искры его перекинулись в подмосковные поместья, деревни, экономические и дворцовые вотчины.

В окрестных селах появились бунтари, нарядившиеся в военные мундиры. Ложными указами, якобы от губернской канцелярии, они стали сеять смуту. Это были дворовые люди, покинутые проживавшими в Москве господами, или потерявшие службу канцеляристы и подьячие, или обозленные на жизнь фабричные. Они действовали в разных местах складно, как по уговору: сзывали крестьян, отбирали подписки от попов и старост, говорили: «Коль скоро услышите в Москве набат либо пальбу из пушек, тотчас поспешайте в город с дубьем, рогатинами, топорами. В Москве крамола. Амвросий-изменник убит. Еропкин убит. Фельдмаршал Салтыков под караулом. Все они супротивники государыни. Из Петербурга указ получен: дворянские дома разрушать, всю рухлядь из оных палат делить промеж бедноты».

В разных деревнях и селах пятеро бунтарей было схвачено помещичьими пикетчиками, попался и яицкий казак Федот Кожин.

Стало холодеть. Чума приметным образом пошла на убыль. За всю эпидемию умерло в Москве более ста тысяч человек. Да немало было жертв и в двухстах заразившихся деревнях Московского уезда. На борьбу с чумой по одной только Москве была без толку затрачена правительством огромная сумма в четыреста тысяч рублей.

В конце сентября прибыл с большой свитой и воинскими частями граф Григорий Орлов. На месте убийства Амвросия были казнены виселицей уличенные в злодеянии – целовальник из московских купцов Иван Дмитриев и полковника Раевского дворовый человек Василий Андреев. Изрядное число людей было наказано кнутами. Многие отсиживались в остроге, среди них – бывший придворный мясник Хряпов и казак Яицкого войска Федот Кожин.

Глава VII

Воинский отпор. Не пилось, не елось

1

Пока наши депутаты мытарились по Питеру в поисках правды, в Яицком городке произошли чрезвычайные события. Подоспел вторичный ордер оренбургского губернатора Рейнсдорпа на немедленную отправку команды в Кизляр для ловли калмыков.

Генерал Давыдов получил новое назначение, на его место прибыл из Оренбурга генерал-майор фон Траубенберг.

Человек решительный, самовластный, грубый и озлобленный действиями непослушных казаков, генерал Траубенберг настойчиво потребовал немедленной отсылки команды в Кизляр. Но сотники и казаки непослушной стороны в круг не пришли, да, в сущности, и являться в круг было некому: почти все непослушные, боясь преследований, разбрелись по хуторам и займищам или жили в домах под укрывательством.

В январе 1772 года депутация, во главе с Кирпичниковым, возвратилась из Петербурга в Яицкий городок.

В тот же день сотник Кирпичников передал капитану Дурново запечатанное письмо от графа Орлова.

Прочтя письмо, Дурново сказал:

– Войско целый год поджидало вашего возвращения из Петербурга и до сего времени не отправило команду в Кизляр. Поэтому растолкуйте войску, что команду должно отправить немедля.

– А мне какое дело? – заносчиво возразил Кирпичников. – Как войско умыслит, так и поступит.

К вечеру, в доме отставного казака Толкачева, сотник Кирпичников отдавал отчет казакам. Весь дом был окружен большой толпой. Среди толпы слонялись и казаки старшинской стороны, но их брали за шиворот, выталкивали вон. Кирпичников вышел к народу и сказал:

– На челобитные наши, не единожды подаваемые самой императрице, резолюции не последовало.

– Что ж делать нам? – уныло раздалась голоса.

– Не ведаю, – развел руками Кирпичников и, оглядевшись по сторонам, как бы опасаясь чужих ушей, заговорил не громко, но отчетливо: – А пакостит нам во всем граф Чернышев. Он многих наших выловил, кого плетью драл бесчеловечно, кого в Петропавловскую крепость бросил, аки сущих злодеев и разбойников. Нам, братья-казаки, самим за себя стоять надо, вот что. – Кирпичников поднял руку и потряс ею в воздухе. – Самим за себя, говорю! А то граф Чернышев всех изведет и с приплодом нашим, вот что. Он без ведома государыни генерала Траубенберга сюда прислал, чтоб доконать нас.

Глаза казаков загорелись, голоса окрепли. Потирая на морозе уши, казаки кричали:

– Говори, сотник, что нам делать?.. Мы от правды не трекнемся. Сказывай!

– Сейчас давайте спосылаем к капитану Дурново выборных, и пусть наши выборные просят его немедля отрешить старшин, как сказано в указе. Сколько давать сроку? – спросил Кирпичников.

– День... два дня... Мало!..

– Ежели на третий день посылке старшин не отрешат, – угрожающе заговорил Кирпичников, – ежели положенного штрафа с них не взыщут и войску жалованье за пять лет не уплатят, тогда, братья-казаки, мы поступим воинским отпором! – выкрикнул он, встряхнув высоко поднятыми кулаками.

– Верно! Воинским отпором... Чего терпеть!.. – по-боевому откликнулась толпа.

На другой день в избу сотника вошли три казака старшинской стороны.

– Генерал-майор Траубенберг приказал спросить, имеется ли у тебя указ, по которому ты мутишь народ?

– Указа нет, – сдвинув брови, сурово ответил Кирпичников.

– Думаешь ли ты круг собирать?

– Я не атаман.

– Хоть и не атаман, да войско слушается тебя больше, чем атамана.

– Уходите! – крикнул на них Кирпичников. – Да не шляйтесь ко мне, я иду в баню... Баба, собери белье!

Удивленный таким поведением Кирпичникова, генерал пожал плечами и нервно поскреб плохо выбритую щеку.

– Ну я ж его, бунтаря, проучу.

Бывшему в войсковой канцелярии старшине Окутину он сказал:

– Будь друг, сходи, пожалуй, к Кирпичникову, прикажи ему от моего имени, чтоб немедля шел сюда. Атаман, старшины и послушная сторона желают услышать от него, что воспоследовало по челобитью их в Санкт-Петербурге? Мы соберем круг.

Как только Окутин стал стучаться к Кирпичникову, тот выскочил из избы, дал старшине по шее и с бранью столкнул его с крыльца.

– А-а-а... Ты старшину бить?! – заорал тот. – Ведь я полковник!..

Кирпичников затрясся и выхватил из ножен саблю:

– Уходи, покуда я из тебя двух полковников не сделал!.. Казаки, гоните его, собаку, со двора!..

Траубенберг, выслушав побитого Окутина, вспылел. В его груди закипело. Он прикидывал в уме собственные карты и карты своего упорного противника. Игра начинала становиться рискованной – он сильно побаивался навлечь на себя недовольство при дворе, ему хотелось поэтому всеми силами без шума умиротворить непослушную сторону казаков. Он послал к Кирпичникову депутацию из тридцати казаков с дьяком во главе и с тем же старшиной Окутиным – пусть они как можно резоннее втолкуют Кирпичникову, что так своевольничать нельзя, и пусть тихо-смирно приведут его в войсковую канцелярию.

Отряд спокойно, не борзаясь, вошел во двор сотника Кирпичникова. Казаки легонько постучали в дверь. Ответа не было. Они постучали покрепче. Из сенец хозяйка закричала:

– Нет самого! Ушел.

– В баню, что ли? – Казаки осмотрели баню – пусто. Осмотрели сеновал и хлев. Пусто. Опять стали стучать в дверь, стали ломиться и кричать: – Открой! По приказу его превосходительства.

На крик и грохот начали выбегать соседки, останавливаться прохожие. Быстро собралась буйная толпа

казаков непослушной стороны.

– Наших бьют! – кричали они. – Хватай старшинских приспешников. Имай под свой караул!

Загорелось побоище. Казаки вязали друг друга, таскали пленных всяк в свою сторону. Трое бородатых казаков были схвачены старшинской стороной и на арканах уведены в войсковую канцелярию. Генерал Траубенберг приказал выдрать их на площади плетью, посадить под караул.

Оскорбленная этим непослушная сторона воинственно приняла вызов Траубенберга. В казачью кровь вломился дух стойкого сопротивления.

По Толкачевой (она же Кабанкина) улице, выходящей окнами на берег Яика, стали со всего города стекаться непослушной стороны казаки. На берегу запылали для сугрева огнистые костры.

Огромное скопище непослушных расставило по улицам собственные пикеты с приказом всех выходящих из своих домов казаков старшинской стороны ловить и сажать под караул. А сотники из бедняцких семей разослали повестки, чтоб все непослушные – как городские, так и живущие по хуторам и форпостам, и стар и млад – тем же часом собрались на совещание в Толкачеву улицу.

И вскоре со всех сторон начали стекаться непослушные, кто верхом, кто в санях, кто пеший.

Вся Толкачева и прилежащие к ней улицы, соседние дворы и избы наполнились народом. Зажигались новые костры, похрапывали лошади, слышались гиканье, задорные разговоры, крик. В толпе много воинственных казачек-женщин. То боевым выкриком, то насмешливым, ядреным, под хохот толпы, словом они наддавали пылу, подогревали настроение.

Оставшимся в своих домах казакам старшинской стороны стало страшно. Им ежеминутно угрожали насилия от казацкой бедноты. Спасая себя, они под прикрытием морозных сумерек по одному, по два прокрадывались к войсковой канцелярии под защиту пушек. Туда же невесть с чего потащились в ночную пору подозрительные возы с сеном, с соломой, с барахлом.

– Стой! – закричали возле церкви пикетчики и засмеялись, окружив ползущий мимо них воз сена, из которого торчали ноги.

Баба испуганно стегнула лошаденку.

– Стой, кума, стой! – и молодой губастый казак Ермилка, уцепившись ручищами за торчавшие бахилы, выволок из сена икряного широкоплечего бородача.

– Здорово, Акинфиев! Куда собрался? – с хохотом загалдели пикетчики.

– А ну-ка, братцы, у кого пика повострей? Надо воз прощупать, авось еще рыбину проткнем... Ха-ха! – по-озорному громко закричал веселый Ермилка и выхватил пика у соседа.

– Погодь, толсторожий! – заплакав, что есть силы заорала тетка. – Там ощо хозяин мой...

Вдруг весь воз вздрогнул и снизу доверху зашевелился, из сена вылезли еще четыре бородача с короткими винтовками. Посапывая и пыхтя, они конфузливо сдернули с голов шапки. Старик сказал пикетчикам:

– Не трожьте нас, ребята. Не делайте нам бесчестья...

– И не совестно вашим харям-то, казаки? – обрушились на них пикетчики. – Богатых защищать лезете да администрацию набеглую?.. А сами-то вы кто? Гольтьба ведь...

– Точно, гольтьба, – глядя в землю, забурчали пойманные. – Мы в долгах ходим у богатеев да у старшин... Вот и опасаемся перечить-то...

– Айда, приклоняйтесь в непослушную. А нет – шубы перешивать учнем вам, пыль полетит, – потряс

губастый Ермилка нагайкой.

Баба по-злому заголосила, заругалась:

– Ах вы, черти. Опять кроволитья захотели?.. Видно, дожидаетесь, чтоб батюшко Исус Христос опять заплакал!

– Как заплакал? – разинули рты казаки и посунулись к Матрене.

– Как, как, – огрызнулась она, отирая горстью слезы: – Неужто не слышали – у Анны Глуховой спасов образ плакал горькими, когда проклятый генерал Черепов расстреливал вас, дураков бородатых, возле круга-то?..

Казаки переглянулись и закрутили головами.

С высоты пустынных небес глядел холодным глазом месяц. Каленый мороз крепчал. Раздираемые морозом, потрескивали бревна в избах. Казачьи бороды, мохнатые лошаденки, оголенные ветви деревьев в садах и огородах запушнели инеем. Мороз словно клещами щипал носы, уши, жег щеки, леденил кровь, прохватывал зябким холодом насквозь. Но возбужденное казачество всю ночь не расходилось. Число костров умножилось.

2

Зацветало над Яиком памятное утро 13 января 1772 года. Народ на Толкачевой все прибывал и прибывал. Отставные и служилые казаки, конные и пешие, малолетки, подростки, жены, матери, кто вооружен ружьем, кто саблей, кто пикой, а то и просто палкой – все это человеческое скопище шумело, волновалось, ребятишки затеяли игру, собаки носились взад-вперед, весело полаивали. Что делать, на что решиться – казаки не знали. «Мы правды ищем, своих прав добиваемся, а не кроволитья...»

– Ох, будет, будет кроволитье... – прорицали старухи.

– Глянь, пушки расставляют! – заголосили мальчишки и живо стали взбираться на деревья. Собачонки, крутя хвостами и задрав вверх морды, игриво облаивали их, как белок.

Действительно, на пригорках вблизи войсковой избы расставлялись по приказу генерала пушки с таким расчетом, чтобы они могли «анфилировать» улицы. За пушками строилась регулярная команда Алексеевского пехотного полка, сто пятьдесят человек старых солдат.

– Изничтожить хотят нас, – подавленно толковали между собою казаки.

Слухи о плачущем образе спасителя все крепили. А вот и сама Анна Глухова, крупная, колченогая, средних лет казачка. Окруженная толпой, она шла с базара, несла за ноги окостенелого на морозе зайца-беляка.

– ...а вдругорядь он, батюшка, плакал, когда из войска требованы были казаки в легион... Теперича такожде плачет, это уже в третий раз... Ох, быть беде, быть беде, – печалилась казачка Анна, крутя головой и горестно причмокивая.

– Верно, тетка! – закричал народ и большой толпой повалил в дом Анны Глуховой.

Церковный староста, благословясь, снял с божницы образ, всмотрелся в изображенный лик Христа, слез текущих не заметил, но все же усмотрел, что от глаз шли высохшие ручейки, как бы намазанные маслом. Еще завернули к старухе Бирюковой за образом Богородицы.

Когда на Толкачевой улице заметили подходившую процессию с иконами, а в Кирсановской и Петропавловской церквях затрезвонили во все колокола, несметное скопище бросилось к иконам, мгновенно обнажило головы, и, как один, все упали на колени. И в тысячу уст завопили:

– Господи, Сусе Христе!.. Заступись, помилуй! Постой за дело правое. Боже, Боже наш... Погибаем!

Пока проносили иконы в церковь, все непокорное воинство, весь народ лежал, уткнувшись лбами в землю, у всех горячие слезы текли в холодный снег.

– Спаси, спаси нас, владыко Господи...

В это время генерал Траубенберг заряжал картечью пушки, а еще вчера посланный им гонец скакал к Оренбургу с донесением о восстании казаков и с просьбой выслать немедленную помощь.

Народная громада повалила с Толкачевой улицы вслед за иконами и, пройдя версту, остановилась возле Петропавловской церкви. Пока в храме пели молебен, пока непокорными казаками испрашивалось Божие благословение пред началом решительных против врагов действий, священник Васильев, у которого лежало сердце к бедноте, заметив среди толпы высокого сутулого казака Максима Шигаева^[63], сказал ему:

– Пойдем, друже, к гвардии капитану Дурново, укланяем его как-нибудь.

Придя в войсковую канцелярию, Шигаев упал Дурново в ноги:

– Войско просит тебя, исполни, батюшка, все по указу пресветлой государыни.

– Пусть войско разойдется по домам, – ответил Дурново, – тогда дней через десять я все дела разберу.

– Войско просит сделать эту милость сегодня... Сядьте, батюшка Сергей Дмитриевич, на коня да объявите войску...

– Нет, благодарствую, – с надменной усмешкой ответил Дурново. – Может, вы меня ухлопать хотите? Нет, ведь я велик у государыни-то, – и столичный щеголь Дурново гневно ушел в другую горницу.

Протискиваясь сквозь людскую гущу в храм, взлохмаченный священник и сутулый Максим Шигаев бросали в толпу:

– Помолимся, братья-казаки, да присяга будет вам, чтоб друг за друга без обмана стоять, без хитрости... Начальство мольбам нашим, увы, не вняло.

После присяги и краткого молебствия казаки подняли три образа и, разделившись на два отряда, двинулись по Большой и Ульяновской улицам прямо к войсковой избе. Лица у всех угрюмы, в сердцах уныние: люди не знали, что сейчас ожидает их. Бабы громко вздыхали.

Впереди по белому снегу чернели на пригорках пушки, возле них – пушкари и регулярная команда. А сзади, на плацу, приведенные в боевую готовность двести пятьдесят человек казаков послушной стороны. Чуть поодаль – гневный генерал-майор. Он не торопясь, но воинственно расхаживает пред кучкой старшин с атаманом, что-то невнятно бормочет, косясь то на бравого капитана Дурново, стоявшего на пригорке с армейским офицером, то на медленно приближавшееся к нему скопище восставших.

Толпа неспешно шла в озлобленном молчании. Максим Григорьевич Шигаев, сообразив, что сейчас могут грянуть пушки, вдруг повернул коня к народу грудью и приподнялся на стременах.

– Стой, громада! (Взволнованная толпа, задерживая шаг, лениво приостановилась.) Потерпи, войско казачье, малость. Дай срок – я прихвачу старичков с иконами да еще раз схожу перемолвиться с Сергеем Митричем Дурново... Авось он смилосердствуется, рассудит нас со старшинами-то.

Громада согласилась. Шигаев соскочил с коня и с тремя стариками, несущими иконы, бесстрашно двинулся посреди улицы прямо на пушки.

Но толпу – точно шилом в бок: наиболее горячие и прыткие, попеременно с любопытствующими мальчишками, стали прокрадываться вслед за Шигаевым, держась возле стен улицы. Первым бросился черный, как грек, Зарубин-Чика [\[64\]](#) с обнаженной саблей.

– Куда вы, лешие, стой! – кричал им встревоженный народ. – Пущай одни деды с Шигаевым...

Шигаев с чинно несущими иконы стариками едва достигли колокольни, как по знаку Траубенберга ударила пушка, за ней другая, третья...

Народ ахнул, подскочил, будто смертоносный вихрь ожег толпу. Вдруг раздались разъяренные вопли, и толпа сплошной лавой хлынула к врагу. В трех церквах резко забили в набат, затрещали ружейные выстрелы, пронзительно завывали женщины, бросаясь в переулки, ломаясь во дворы. Заполнив всю улицу взорвавшимся гамом, криком, визгом, осатаневшие казаки неслись вперед, вперед, на черные жерла медных пушек.

– Бей, кроши! – рвались, визжали тысячи бегучих голосов. Пушки мигом взяты приступом, часть пушкарей зарублена. – Повертывай послушным в рожу!.. Засыпай картечь!.. Фитиль, фитиль! – И раз за разом, оглушая окрестность, пушки уже стегают свинцовым градом помчавшихся кто куда послушных казаков и смятую команду старых солдат в седых косичках.

Раненный пулей в руку, генерал Траубенберг, стреляя из пистолета, под натиском толпы стал с кучкой

солдат быстро отступить к избе сотника Семена Тамбовцева.

– Бери главного медведя! – крикнул черномазый Зарубин-Чика. – Рубай, рубай! – хрипло завыл он, сверкая саблей.

Генерал Траубенберг, побелев, волчьим скоком взбежал на крыльцо, чтоб скрыться в избу. Но ловкий Чика упругим и резким взмахом сабли сразу свалил генерала с ног. С гиком налетели казаки, генерал был изрублен.

Возле батареи толпа человек в сорок наседала на капитана Дурново. Сабельными ударами разрубили руку, повредили голову, пикой сшибли с ног, стали бить дубьем, топтать.

– Что вы, проклятые! – закричал подбежавший Максим Григорьевич Шигаев; надвое расчесанная темно-русская борода его моталась. – Кого бьете? Государыня всех вас за него перевешает...

Казаки отрезвели, поволокли Дурново за ноги в тюрьму, бросили в холодный каземат и двери заперли.

Войсковой атаман Петр Тамбовцев и несколько старшин были заколоты. Ненавистный Мартемьян Бородин успел где-то схорониться.

По городу шел грабеж: жилища генерала, старшин, атамана и зажиточных казаков подвергались расхищению. Закоченевший на морозе труп Тамбовцева был обезглавлен. Посаженная на пику голова его высоко торчала возле войсковой избы. Мальчишки швыряли в голову снежками.

– Волоки кровопивцев в степь, пускай их в степи зверье сожрет!.. – слышались выкрики.

Пред вечером ударили сполох: набатный колокол, сзывая всех в войсковой круг, звучал теперь как-то по-особому уныло, страшно. Казаки толковали:

– Это Бог пособил нам победить супротивников-то пресветлой государыни: мы казенный интерес соблюли и волю себе отвоевали... Государыня делом довольна будет.

Собрание было страстное. Многие казаки подвыпили. Избрали себе новых старшин, постановили предать ссоры забвению, жить спокойно, а главных врагов войска умертвить.

Постановление было исполнено немедленно: кой-кто из старшин и их дружков, дьяк Суетин и войсковой писарь Июгунов были убиты. Трупы их брошены в реки Чаган и Яик.

3

Чувство мести удовлетворено, земля Яицкого городка полита кровью, страсти еще не остыли, и многотрудное лихолетье для непослушных казаков не прекращалось.

Прошел слух, что из Оренбурга двинуто войско карать казаков. Люди в Яицком городке стали тужить, печалиться. И снова, как прежде, написали челобитную Екатерине, где обвиняли во всем генерала Траубенберга и войскового атамана Петра Тамбовцева, которые «расставя по улицам пушки и зарядя их ядрами и картечами, начали по нас, низайших, стрелять и побили насмерть более ста человек и многих переранили».

В Питер была отправлена с этой челобитной депутация.

Екатерина, известившись о казачьих беспорядках, приказала послать из Москвы генерал-майора Фреймана с гренадерской ротой для наведения на Яике порядков силою оружия.

Меж тем миновала зима, отшумели воды Яика, приближалось лето. И вместе с наступившим летом повел свое наступление на казачью жизнь генерал Фрейман. Выйдя с войсками из Оренбурга, он в середине мая был уже в крепости Рассыпной, и вскоре в Яицком городке стало ведомо, что Фрейман «речку Киндель перелазит».

Казачи чувствовали, чем пахнет поход Фреймана, решили в руки ему не даваться и открыть против него военные действия. Круг постановил: просить помощи киргизского Нур-Али-хана, приказать форпостам доставить в Яицкую крепость половинное количество пороху и половинное число казаков.

Началась быстрая мобилизация, началась война.

К генералу Фрейману выехала депутация казаков под начальством есаула Афанасия Петровича Перфильева (впоследствии главного и до конца верного соратника Пугачева). Фрейман ответил депутатам, что идет он на Яицкий городок с требованием выдать всех зачинщиков кровавого возмущения.

– Зачинщиков у нас нет, – сказал Перфильев. – Мы все повинны пред милостивой государыней.

– У нас имеются списки, – возразил Фрейман.

– Списки ваши неверные, – мужественно проговорил Перфильев. – А войско поручило сказать вам, что главные нарушители нашего покоя были атаманы Мартемьян Бородин да Тамбовцев со старшинами.

– Врешь, есаул... Вас к возмущенью подстрекали.

– Нет, ваше превосходительство. Имея каждый обиду, мы все сами собой, а не по возмущению чьему...

– Выдайте по списку сорок человек, остальным я никакого вреда не сделаю.

На некрасивом, суровом лице есаула Афанасия Перфильева забурели старые следы оспы. Кланяясь генералу Фрейману и глядя на него исподлобья злыми глазами, он сказал:

– Мы послали всемилостивейшей государыне челобитную... Вот дожидаемся указа. А вас низайше просим, ваше превосходительство, границ Яицкого войска не переходить.

– Я действую по силе данного мне оренбургским губернатором Рейнсдорпом приказа. Поезжайте домой и постарайтесь привести казаков к повиновению. Даю вам сроку три дня.

Подобный ответ Фреймана, привезенный Перфильевым в военный лагерь на реке Ембулатовке, казакам не понравился. Казачий круг под напором старшин воинственно постановил: «Ежели Фрейман

подойдет к реке Ембулатовке, вступить с ним в бой».

В продолжение пяти дней происходили неудачные для казаков стычки.

8 июня генерал Фрейман вошел победителем в Яицкий городок и в нем укрепился.

Первая партия арестованных в восемьдесят шесть человек была отправлена в Оренбург, где уже работала следственная комиссия.

Из Петербурга пришло «высочайшее» повеление, пришла для свободолюбивых казаков великая беда: Екатерина наносила решительный удар их старинным обычаям и вольности.

Как ответ на кровавый мятеж казаков Екатериною повелевалось: в Яицком городке учредить должность коменданта с гарнизоном, должность атамана, войсковой круг и войсковую канцелярию упразднить, бить в набат навсегда воспретить, всех казаков разделить на полки с подчинением их оренбургскому войсковому начальству.

– В Персию надо втикать, либо в Хиву, – узнав о «высочайшей милости», с отчаяньем говорил народ. – Пропало войско Яицкое!

Комендантом городка назначен полковник Симонов, а его помощник – бывший старшина Мартемьян Бородин.

Яицкий городок сильно опустел. Из четырех тысяч домишек и домов многие были заколочены: население частью разбрелось по степи и дальним хуторам, многие – в том числе есаул Афанасий Перфильев и Зарубин-Чика – бежали в укромные места, многие были схвачены, закованы в железы и направлены как преступники в Оренбург. Все остроги губернского города, тюремные избы, гауптвахты уже набиты до отказа арестованными. Стали вселять их в лавки гостиного и менового дворов, в дровяные амбары, в холодные и сырые подвальные помещения купеческих домов.

В оренбургских застенках начались допросы с пристрастием и великие пытки, кровь потекла.

А в Яицком городке жизнь становилась час от часу тягостней, печальней. Над оставшимся населением навис, будто каменная туча, страх ареста по оговору пытаемых в Оренбурге товарищей. Люди извелись, не пилоь, не елось, смолкла живая речь, нигде не прозвучит смешинка, не всплеснется бодрый девичий голос, люди с ввалившимися глазами бродили, как тени, люди до утра боялись ложиться спать, шептались всю ночь в своих избах робким шепотом, то и дело подбегали к окну, чутко вслушиваясь в тьму ночи, не проскрипят ли под окнами шаги комендантских солдат, не ударит ли в калитку приклад ружья: «Отпирай! Именем закона...»

И вот в такое-то мрачное время, когда смерть кажется всякому милее жизни, вдруг в Яицком городке тайно прозвучала весть, что где-то на Волге, будто бы в Царицыне, в том самом Московском легионе, от службы в котором так упорно отказывались казаки, объявился под видом простого солдата царь-государь Петр Федорович III и что он обещает великое защищение всем угнетенным и обиженным.

Эта весть не была для казаков внезапной, ослепляющей: слухи о том, что Петр III жив, носились на Яике и пять и десять лет тому назад.

Но ныне, когда Яицкое войско было всего лишено и находилось в великом подозрении и опале, подобный слух был принят казачеством как достоверное известие. Вся казацкая громада сразу взбодрилась, всколыхнулась.

Глава VIII

Федот, да не тот. Скиталец Пугачев. В келье у Филарета

1

Что же случилось необычного и откуда возникла новая легенда о появившемся царе? А случилось вот что.

Сорок лет тому назад, в 1734 году, были переселены тысяча пятьдесят семь семей донских казаков на Волгу, между станицею Камышенскою и городом Царицыном. Образовалось так называемое Волгское казачье войско.

Для облегчения своей сторожевой службы казаки с охотой стали принимать к себе и записывать в казачество всех беглых и бездомных людей, искателей свободы и приволья.

В январе 1772 года записался в Волгское казачье войско крестьянин графа Романа Воронцова – Федот Богомолов, бежавший от своего помещика из села Спасского, Саранского уезда. Вскоре Богомолова зачислили в Московский легион. Когда легион вышел из Дубовки и направился в поход на турецкую войну, новозаписавшийся казак Богомолов, «будучи безмерно пьян», объявил себя императором Петром III. По приказу начальника, после большого скандала с поверившими самозванцу казаками, Богомолов был схвачен, отправлен в Царицын, там присужден к публичному наказанию кнутом, вырыванию ноздрей и вечной ссылке на каторгу в Нерчинск. Единственный в Царицыне палач от беспросыпного пьянства захворал белой горячкой, пришлось писать в Астрахань, чтоб прислали другого палача. Пока шла переписка, Богомолов всячески подготавливал себе путь к побегу. Вместе с другими своими товарищами он сидел в колодках в крепком месте у Царицынских ворот под сильным караулом. За что содержался преступник и кто он такой, никто из караульных не знал. Такая таинственность крайне возбуждала любопытство стражи. Хитрый Богомолов этим с ловкостью воспользовался. Однажды ночью он подзвал к себе караульного солдата, показал ему на своем теле изображение креста и сказал:

– Глянь-ка! Это – царский знак. Я император Петр Федорыч Третий.

Солдат с трепетом поверил в басню, и дня через два толпы жителей Царицына стали собираться у Царицынских ворот, на окраине города, с тайной надеждой видеть императора.

Донские казаки и казачки, приезжавшие в близкий от Дону Царицын на базар, перенесли эту «нелепу» и на Дон.

А в это время в Донском войске разгорались своя собственная склока и неразбериха. Выбранный в атаманы в 1758 году помещик Данило Ефремов владел огромнейшим богатством. Он захватил себе большие пространства по реке Медведице, перевел туда часть своих крепостных из внутренних губерний и стал широко принимать крестьян, бежавших от притеснений помещиков. И вскоре зажил полновластным и своевольным царьком. Лично известный царице Елизавете Петровне, он вымолил у нее согласие на то, чтоб звание атамана Войска Донского было наследственным в его роде, и передал это звание своему сыну.

Новый атаман Степан Ефремов, уже не выбранный казаками, а, так сказать, коронованный отцом, был, как и отец, самовластен и тщеславен, но, не обладая его умом и тактом, стал злоупотреблять своей

властью в ущерб казачьей массе. В 1771 году он подал в Военную коллегию проект, клонящийся к усилению власти войскового атамана и допущению его неограниченно распоряжаться всеми войсковыми суммами. Но тут дело сорвалось: одновременно с проектом Военная коллегия получила и донос на атамана Ефремова. Двое старшин обвиняли его в расхищении войсковой казны и провианта, во взяточничестве и, главное, в тайных сношениях с кабардинскими князьями и пограничными татарами, то есть в политической измене. А в это время, как известно, протекала война с Турцией.

Военной коллегией были приняты, в связи с доносом, экстренные меры. Она послала в резиденцию войскового атамана, в город Черкасск, одного за другим, трех генералов; среди них – тот самый генерал-майор Черепов, что расстреливал в Яицком городке безоружных лежащих казаков. Этим трем генералам был поручен общий надзор за атаманом и наблюдение, чтоб тот незамедлительно исполнил требование главнокомандующего выслать в Турцию новую партию казаков.

Властному атаману не по нраву были торчавшие перед его глазами генералы.

Он решил посчитаться с Петербургом и кой-кому открыто говорил:

– Раз правительство прислало ко мне соглядатаев, так я уберусь со всем войском в горы и таких бед натворю, что Екатерина век меня не забудет. Стоит только Джан-Малибет-бею слово молвить, так ни одной души на Дону не останется.

Эти угрозы долетели до ушей правительства. Петербург потребовал атамана Ефремова в Военную коллегию. Ефремов отказался. Тогда Военная коллегия приказала генералу Черепову немедленно выслать атамана в Питер силою. Непокорному атаману после такого приказа бросилась в голову мысль открытой борьбы с Питером, он с высокомерием «начал» на приказ и, выехав из Черкаска, направился по донским станциям с целью возбуждения казаков против правительства.

– Станичники! – взывал он на казачьих майданах. – Вам грозит регулярство, из вас хотят сделать солдат, осенью будет набор рекрутов. А вы, станичники, стойте за свои исконные права, держитесь за меня, я избавлю вас...

Среди донцов началось волнение.

– А-а-а, нас в солдаты?! В рекрутство?! – кричали они. – Это нам кашу гадит Черепов генерал. Да мы доразу его в куски изрубим! Тут ему не Яик, а Дон!

Поднявшиеся в войске беспорядки повергли ничтожного генерал-майора Черепова в административный испуг и сердечный трепет за свою собственную шкуру. Озорной и взбалмошный атаман Ефремов теперь представлялся ему исполином, который одним щелчком способен погубить всю карьеру генерала. Желая не допустить опасного атамана в Черкасск, генерал выставил на дороге сотню вооруженных казаков. Но атаман в город и не думал возвращаться, он поехал в свое имение «Зеленый двор» и сказался больным.

А Черепов тем временем приказал прочесть в войсковом круге грамоту Военной коллегии о немедленном отзыве атамана Ефремова в Санкт-Петербург и о том, что распоряжения атамана с сего числа для казаков недействительны.

Казачья снова подняла шум. Они ненавидели этого представителя официальной власти, они желали стоять за свою власть, за атамана. Вразнобой кричали:

– Эта грамота дешево стоит: она подписана графом Чернышевым, а ручки всемилостивой государыни нет!

– Нашего атамана в город не впускают. Велено стрелять в него... Где это видано? По войсковом атамане мы стрелять не станем!

– Этот Черепов – нечистый дух, а не генерал. Он хочет нас в регулярство писать, в солдаты. В реку его!

Возбужденные казаки бросились к квартире генерала Черепова; дом, где он жил, разбили и разграбили, генерал побежал, чтоб укрыться, в крепость, его догнали, дали взбучку, поволокли топить к реке. Но навстречу бушевавшему народу уже ехал со свитой атаман Ефремов. Он спас Черепова, взял его в свой дом, лукаво сказал:

– Это войско, мой любезный генерал, не Яицкое, а Донское.

Бунтовство атамана кончилось так: его все-таки арестовали, доставили в Питер, там судили и, по совокупности преступлений, приговорили к смертной казни. Но Екатерина заменила казнь вечной ссылкой в Пернов[65].

Верностью донских казаков Екатерина очень дорожила. Дабы подкупить войско своей милостью и благоволением, дальновидная царица скрепя сердце помиловала и вожаков-казаков, замешанных в деле атамана Ефремова.

2

Обращаясь на несколько назад, мы видим, что первый взрыв волнения среди донцов, когда атаман Степан Ефремов огорошил их известием, что казаков «обращают в регулярство», точно совпадает по времени с вооруженным мятежом яицкого казачества. И как раз в эту пору среди Волгского казачьего войска объявился, как было уже сказано, самозванец Богомоллов под видом Петра III.

Он все еще продолжал сидеть в тайном каземате у Царицынских ворот. Весть о нем перекинулась в Пятиизбяную станицу, а оттуда – по всему Дону. Перекинулась она и к яицким казакам. Самозванца Богомоллова, чрез подкуп стражи, все чаще и чаще стали навещать любопытствующие люди. «Пожалуй, он и верно – царь», – говорили в народе.

В сети такой басни втюхался даже поп Никифор Григорьев. Самозванец, показав ему знаки, сбил с толку и попу.

– Уж ты, батюшка, постарайся, вызволи меня из беды, я тебя в митрополиты поставлю, – просил попу Богомоллов. – В ночь на двадцать пятое я донских казаков ожидаю на выручку... Тревога будет. Кому надо – шепни.

В надежде получить себе великую корысть, поп взыграл духом и, проходя мимо барабанщика, лежавшего возле своего дома на травке под рябиной, кой-что шепнул ему.

Но миновала назначенная ночь, наступило утро, тревоги не было. Однако весть о заговоре дошла до астраханского губернатора Бекетова, случайно прибывшего в Царицын. Он приказал перевести опасного колодника на гауптвахту, а попу схватить и заковать в железы.

Когда Богомоллова под конвоем вели по улице, он заорал в толпу:

– Миряне, не выдайте государя!..

Но ему заткнули рот, бросили в телегу и вскачь умчали на гауптвахту. Арестованный поп с тоски, с перепугу был пьян. Его вели в канцелярию через базар. Он вырвался и кинулся бежать к народу:

– Православные, спасай!..

Праздная толпа обрадовалась случаю подраться с солдатней немилого правительства, быстро выломала колья в базарных шалашах и, оставив попу, бросилась к гауптвахте. Комендант города полковник Цыплетев велел ударить тревогу и приказал солдатам в случае надобности стрелять в народ. Бунт в Царицыне быстро прекратился.

В начале августа Федот Богомоллов был нещадно бит кнутом, ему вырезали ноздри, в дополнение к «царским» знакам выбили на лбу позорный знак «К», что значит – «каторжник», и глухой ночью вывезли в лодке в Саратов для направления в Сибирь. Но изувеченный палачом Богомоллов дорогою умер.

Так незадачливо кончил дни свои беглый крестьянин графа Романа Воронцова – сиятельного отца известной нам и тоже незадачливой Лизки-«султанши».

Высоко замахнулся русский мужик Федот Богомоллов, да плохо ударил. Он не имел ни ума, ни находчивости, ни отваги, которыми обладал выдавший виды донской казак Емельян Пугачев, поэтому и самозванство мужика Богомоллова оказалось никчемным, и имя его почти бесследно прошло для истории.

К двум бунтарям того времени примыкает и третий – войсковой атаман донского казачества Степан Ефремов, главный начальник Емельяна Пугачева, крупнейший помещик, известный в придворных кругах человек. Уж, казалось бы, ему-то в бунтарстве – все карты в руки. Влиятельный среди казаков и народа, он

мог бы поднять и вести за собой все яицкое, волгское и донское казачество, легко мог бы выполнить то, чем грозил, то есть соединить свои силы с кабардинскими князьями, с кумыкским князем Темиром, с пограничными татарами, сильным ударом обрушиться на внутренние губернии, поднять крестьянство, занять Москву и стать неминуемой угрозой для Санкт-Петербурга. Но... Степан Ефремов в вожди не годился. В его натуре мы видим уязвленное пустое тщеславие, безвольную страстность и всякое отсутствие хотя бы малой идеи во благо народа. Впрочем, казнокрад и стяжатель, крупный магнат, крепостник – он и бунтарем-то стал по особым, личным причинам: наступили как кошке на хвост, он и пискнул, скакнул на обидчика, царапнул когтями – и сдался. Вспыхнул, как порох, пустил дух – и погас.

Итак, все трое – барин, мужик и казак – соревновались, так сказать, на звание героя истории. Двое бесславно «просыпались», а третий – казак Пугачев – от края до края сотряс основы империи. И напрасно Екатерина II со спесивой иронией остроловно писала Вольтеру: «Маркиз Пугачев, маркиз Пугачев...» Но, наверно, сердце ее в тот момент обливалось желчью и самделишной трусостью: она чувствовала, только стыдилась сознаться, что казак Пугачев – не маркиз со страниц авантюрного романа французского, не презренный изгой, а доподлинный вождь народа – опасный и грозный.

3

Бродяжническая жизнь Емельяна Пугачева продолжалась.

В те времена вся Русь кишела беглецами, бродягами. Бежали работные люди от непосильного труда, бежали солдаты от военной службы, длившейся тридцать пять лет, бежали закоренелые каторжники или невинно осужденные, которым грозил кнут, колесование, смерть; бежали купеческие дети, пропив отцовские или чужие деньги, даже бежали купцы, избавляясь от долговой ямы, тюрьмы, позора; бежал разный люд и сброд, а главное – массами скрывались от своих тиранов-бар крепостные крестьяне.

Десятки и сотни тысяч замученных, но решительных и сильных волей людей, пренебрегая всякой опасностью, проходили труднейший путь бродяжничества – в надежде найти лучшую участь и хоть кой-какую свободу.

Таким бродягой стал и бедный семейный казак Емельян Пугачев. Он лелеял малую мысль – найти притык себе и семейству где-нибудь на вольной земле среди таких же, как он, вольнолюбивых людей, растоптанных жизнью на родине.

Вот и гоняли его озорные ветерки то на Кавказ, то на границу с Польшей, то к старцам в скиты, то снова на Дон, на Яик, на Каму, на Волгу, в Казань... А там и пошло, и пошло. И уж не слабый ветродуй, верховик, а самый отчаянный кожедер-ветрище вспарусил думы бродяги, взметнул, закрутил и с маху бросил его прямо в огонь подоспевших восстаний.

И все уже было в треске, в громе, в пламени. И внутренний голос сказал ему: «Не зевай, Емельян! Проснись». Пугачев распахнул большие глаза в жизнь, как в сказку, и не ослеп, не попятился, а открыл широкую грудь навстречу всем ветрам, всем бурь-погодам.

В последний раз мы видели безвестного бродягу Пугачева в ночь на 13 февраля 1772 года, когда, разбив цепи, он бежал из тюрьмы городка Моздока.

Бродяжья фантазия, лукавая сметка и зовы жизни стали бросать Пугачева туда и сюда. Прошло порядочно времени.

И вот мы снова встречаем его в стародубском раскольничьем скиту у старца Василия. Пугачев признался старцу, что он беглый казак.

– И скажи ты мне, Бога для, старец праведный, где бы мне голову преклонить да пожить по тихости. У меня на Дону жена с малыми ребятами.

Угощая странника редькой с квасом, старец сказал:

– А прямой тебе путь, милый мой, в Польшу. Здесь проходит всяких беглых множество, а там они бегут на Ветку[66], в раскольничьи разоренные скиты. Прожив там малое время, они придут на Добрянский форпост и скажут: «Мы раскольники, выходцы из Польши». А как обнародован указ, данный еще блаженная памяти государем Петром Третьим, и по сему указу велено польских выходцев селить кто куда похочет, то и дадут тебе билет на жительство в любое место, кое тебе глянется. Вот застава с нашей местности перейдет подале, я тебя, чадо, выведу.

С грехом пополам Пугачев прожил у старца три месяца. Косил сено, работал по плотничьей части, сколотил себе деньжонок.

Старец предложил Пугачеву поучиться по церковным книгам грамоте. Пугачев сказал старцу Василию (как и солдату Перешиви-Нос в своем пути на Каму), что он, Емельян, еще в юности своей знал грамоту

больно ладно, да вот случился грех, в Прусскую войну с дерева упал да головой о камень вдарился... Не особенно прилежный, Пугачев вникал в учебу плохо, но, будучи натурой одаренной, он все же читать по печатному научился. А писать не горазд был и сам старец.

Вскоре, следуя советам последнего, Пугачев попал на Ветку, затем на Добрянский форпост. Там встретил много беглых, которые по чумному времени выдержали карантин. Беглые научали Пугачева:

– Ты показывай на форпосте, что, мол, в Польше родился и желаешь подаваться на Русь. А ежели скажешь, что родина твоя – Дон, привязку сделают.

Пугачев чрез два дня так и поступил. На вопрос майора Мельникова: «Какой ты человек и как тебя звать-величать?» – он, не тая своего имени, ответил: «Я польский уроженец, зовусь Емельян, Иванов сын, Пугачев».

Он был записан в книгу. Лекарь-старик раздеваться не велел, только заставил три раза перейти через огонь, посмотрел ему в глаза, сказал:

– Опасной болезни нет в тебе, по здоровью не сумнителен.

Просидев шесть недель в карантине, они вдвоем с солдатом Логачевым получили от майора Мельникова паспорт для свободного прохода к месту избранного ими жительства на реке Иргиз, в дворцовую Малыковскую волость [\[67\]](#).

За время пребывания в карантине Пугачев часто хаживал к добрянским купцам-раскольникам Кожевникову и Крылову. Он даже помогал Кожевникову строить баню и толково исполнял торговые поручения. Видя в Пугачеве смекалистого, с сильной волей человека, Кожевников предлагал ему заняться в Добрянском форпосте торговлей, давал на это денег.

– Благодарствую, – ответил Пугачев, – займовался я и торговым рукомерлом, на Каму с дружкой донским казаком ездил, в Котловку село, холсты да деготь скупали с ним, суденышко свое огоревали. Да ни хрена не вышло. Купчишки в Царицыне, дай им Бог здоровья, пообманули нас, ну мы с огорченьица кое пропили, кое так прахом пошло. Нет, отец, тяга к торговле не живет во мне...

– Воля твоя, – обидчиво сказал старик Кожевников. – Потчевать можно, неволить грех... Тебе бы, Емельян, атаманом быть. Удали в тебе много, токмо какой-то нескладной ты, непоседливый... Слоняешься, как Каин.

– Я атаманствовать не прочь... Ведь я на турецкой войне – хорунжий. К какому ж войску ты меня в атаманы метишь?

– Про яицких казаков слыхал? Перетырка там идет.

– Слыхал, слыхал... Яицкие казаки нам шабры, соседи.

Тем разговор и кончился.

Получив паспорт, Пугачев пошел к Кожевникову попросить в путь-дорогу милостыню. Тот подал ему рубль да большой хлеб и сказал:

– Кланяйся отцу Филарету, старцу скитскому. Меня, Кожевникова, на Иргизе всякая собака знает. Ды, слышь, посоветайся-ка с Филаретом-то про Яик. Он башка-а-а.

В станице Глазуновской Войска Донского, куда приехал Пугачев, он с жадностью вслушивался в рассказы о кровавом восстании на Яике, о волнении волгских и донских казаков. Посмотреть бывалого человека набилась полна изба народу. Пугачев купил вина, стал угощать.

– Вот, батюшка ты мой, – хлопнув винца, обратился к Пугачеву седобородый казак-хозяин. –

Объявился в Царицыне царь-государь Петр Федорыч. Как ходил слух в народе много лет, что жив царь, так оно и вышло... Стало, не врал народ. А царь-государь долго скрывался, а вот в Царицыне объявил себя. Начальство опять схватило государя, да только его вдругорядь Бог спас...

Глаза Пугачева заблестели.

– Бежал, что ли? – спросил он.

– Бежал, бежал, – с радостной готовностью враз ответила вся застоллица. – А куда скрылся, неведомо.

Пугачев наложил на большой ломоть соленых грибов, выпил водки, стал неторопливо закусывать.

– Ну а чем же люб народу царь Петр Федорович? – спросил он, чавкая грибы.

– Ха, голова с затылком! – зашумели собравшиеся. – Да нето не слыхал, как народ-то весь мается?

– Взять нас, казаков, – сгорбась, подошел от печки к столу отставной старый есаул. – Наше войско при Петре Федорыче в спокое жило, а теперича нас царица Катерина в регулярство писать измыслила, по солдатскому ранжиру. Эвот в Яицком городке войскового атамана больше нет и званья – царский полковник Симонов посажен... Ох, беда, беда! Пропадает казачество.

– Под бабой али под царем век коротать?.. Подумать надо! – с задором и тоской выкрикнул хозяин.

– Петр Федорыч Третий царь бывалыча и о мужиках знатно пекся, – заскрипел от печки стариковский голос. – Вот я монастырским крепостным был, да бежал – теперя в казаки уже десять лет записан. Маялись мы под монастырем во как. А Петр Федорыч, как сел на престол, слободил нас, сирых, волю нам даровал. За это и был с престола, свет наш, скинут... А кем? Боярами большими да архиереями.

– Да он бы, ежели б Господь привел поцарствовать, не токмо церковных да монастырских, а всех бы подчистую мужиков слободил!

– Ежели Петр Федорыч объявится, помещикам лихо будет, – нажав на голос, подхватил Пугачев. – По всей России царь, поди, освобождение мужику-то провозгласит. Лишь бы похотел прийти к народу своему.

– Придет, придет батюшка! Дай срок, придет, – осеняя себя крестом и вздыхая, с воодушевлением прорекали казаки и казачки.

Эти разговоры замутили Пугачеву голову и сердце. Он заторопился ехать на Волгу, в дворцовое село Малыковку^[68], откуда в Мечетную слободу^[69], что на реке Иргизе, к всечестному игумену Филарету, поближе к яицкому казачеству.

4

Река Ирғиз, левый приток Волги между Хвалынском и Саратовом, издревле заселена была раскольниками. По переписи 1765 года обитало там тысяча сто восемьдесят оседлых душ. Но при переписи множество беглецов временно поутекало, и количество их не поддается исчислению.

Пройдя с котомкой за плечами около восьмидесяти верст, Пугачев достиг Филаретова скита с деревянной церковкой Введенья богородицы. Дремучий лес, кусты, узкая дорога в пеньях и кореньях, в лесу, на полянках, десятка полтора крепко срубленных избушек. Было утро, легкий снежок летел, из церкви вышли толпой в длинных одеждах старики-бородачи. Впереди, подпираясь посохом, семенил вертлявый чернородый человек с желтым испитым лицом, орлиным носом и живыми из-под хмурых бровей глазами. Суконный с беличьим воротником зипун его распахнулся, обнажив добротный подрясник, перехваченный голубым, шитым шерстями широким поясом, в левой руке ременные четки-лестовки, на голове – четырехгранная шапка с шерстяным внизу обручиком.

Пугачев сразу признал в нем игумена и, подойдя к нему, повалился в ноги.

– Благослови, старец ангельский... Раскольник[70] я, с Ветки шествую спасения ради. И шлет тебе добрянский купец Кожевников низкий поклон до самые земли.

– Встань, сын мой... Здрав буди именем Господа, – игумен Филарет прощупал Пугачева быстрым пронизательным взглядом, по-старозаветному благословил его и поцеловал в щеку.

От Пугачева пахло вином и редькой. Филарет чуть поморщился, черные глаза его по-хитрому заулыбались.

Старцы, уставя бороды в грудь, с любопытством толпились возле Пугачева. Кругом запорошенный снегом лес, перепархивали стайки веселых галок, тоненько перезванивали колокола.

– Я беглый казак донской, – тихо сказал Пугачев, прикрывая рот рукой. – Только не выдай меня, отец Филарет, приголубь, пожалуй...

– Что ты, что ты! Покамест ты путешествовал, купец Кожевников цедулку про тебя прислал с верным человеком, восхвалял тебя. Мужайся, чадо, и не унывай, что беглец суть, – ответил Филарет и переглянулся со старцами. – Исус Христос, Господь наш, такожде не имел, где главу приклонити... – и снова воззрился на старцев.

Старцы смущенно потупились. Все до единого они тоже были бродяги и беглые. И жизнь каждого из них замысловата и по-своему красочна. В эти глухие места, на Ирғиз, бежали со времен Петра I всех толков раскольники не только ради спасения души, но и спасая шкуру свою от церковных гонителей, царских тиранов и помещиков. А в древние времена сюда слеталась и всякая вольница, искавшая свободы и легкой наживы. Но как выросли здесь раскольничьи скиты да уметы (постоялые дворы), в иргизских лесах и в оврагах стало потише.

– Вот, зри, чадо, – сказал Филарет, указывая посохом. – Это ветрянка наша, муку молоть. За лесом – пашни, бахчи, пасеки. А эвот – омшаник, в нем Господня пчелка зимует. Вот оставайся нито, раб Божий, потрудись вкупе с нашей братией Бога для. А жительство у нас обширное, скитов много.

Пугачев быстро поднял голову, встряхнул плечами и надел заячью шапку-сибирку.

– Нет, старец ангельский, – сказал он, – спасать душу погожу, вот поболе накоплю грехов, тогда уж... А мне бы с тобой, отец, тово... побалакать кой о чем... Как на Яике-то? В народе молва – замордовали казачишек-то.

– Пойдем в келью, кстати молвить, и потрапезовать час приспел, – проговорил Филарет и, обратясь к старцам: – Грядите с миром, отцы, восвояси... Да будет над вами благословение Божие.

Старцы отдали поясной поклон Филарету, побрели чрез лес, чрез сугробы, зверючьими тропками. Мимо идущего Филарета с Пугачевым двигались подводы с бревнами, сеном, дровами. Возницы загодя сдергивали шапки, низко кланялись Филарету.

– Вот бревна заготовляем, – пояснил Филарет Пугачеву, – трапезную ладим строить, число братии нашей приумножается, да и беглыми Бог не оставляет – о вчерашней ночи шестеро притряслось помещичьих, с ними – баба с ребенком. Да вот они...

Путники подошли к большой избе Филарета. Ставни расписаны белым и синим. На лбу ворот врезан восьмиконечный, крытый финифтью крест. Группа крестьян-оборванцев опустилась на колени. Четырехлетний мальчик в лапоточках, стоя возле матери, тер кулачками глаза и похныкивал.

– Хлеба, хлеба, отец игумен, хле-е-ба. Не жрамши... Хоть корочек, – в один голос завывали беглые, складывая крест-накрест руки на груди.

Пугачев быстро сбросил с плеч торбу и все содержимое ее высыпал в подставленные бабой полы шубейки: мороженая рыба, куски хлеба, лепешки, криночка с маслом – всю эту снедь наподавали Пугачеву в дороге. Баба, скривив рот, заплакала: «Кормилец, кормилец». Мальчонка уцапал лепешку и с жадностью – в рот.

– Нешто вас не покормили утресь-то? – строго спросил Филарет.

– Нет, отец... Кору в лесу с древес отымали да чавкали, да стебельки по ельнику, да желуди... Ох, ты...

Филарет постучал в окно посохом, выскочил белобрысый парень в беспоясной рубахе.

– Брат Пантелей, отведи сырых к отцу Ипату, пуцай вдосыт напитают их, – приказал парню Филарет и, обратясь к мужикам: – А землянку-т нашли?

– Нашли, нашли, отец, спасет тя Бог. Там, бают, человек вчерась задавился... Да нам ни к чему, Господь с ним. Мы ведмежьей берлоге рады.

– Пошто в бега-то ударились? – шевеля бровями, спросил Пугачев.

– Ой, кормилец, – гнусаво заголосили вразнобой крестьяне. – Вишь, два семейства нас... Вишь ты, барин-то, помещик-то наш, гвардии подпрапорщик, Колпаков Лексей Лександрыч, дюже свиреп, многих до смерти запарывал езжалыми кнутьями. А нас, вот два семейства, на гнедого жеребца да на двух борзых кобелей сменять пожелал, в чужедальную сторону, вишь ты, довелось бы перебираться нам, убогим. Ну, мы поупорствовали. Нас всех перепороли на конюшне. И бабочку вот эту самую, тетку Маланью, тоже не пощадили. А тут, вишь ты, душевный человек, в ночь барина-то нашего дворня решила жизни – по горлу ножом полыснули, по горлу, по горлу, родимые мои, гвардии подпрапорщика-то, барина-то. А барин-то злодей, одинокий был, при нем девушек наших-то до двух десятков жило, спать к себе таскал по две да по три, это барин-то... Ну, тут шум великий содеялся, а до города далече, до начальства-то... Вот многие и дали тягала – поминай, как звали. И мы, вишь ты, в том числе подобру-поздорову пожелали утечь. Вот тебе и вся недолга.

Пугачев сразу вспомнил путь-дорогу с Ванькой Семибратовым на Каму, вспомнил встречу с толстобрюхим барином, вспомнил хлесткие нагаечки барских холуев.

Над его переносицей легла вертикальная складка, сквозь зубы он сказал:

– А ведь я барина-то вашего, злодея, знаю, Лексея-то Лександрыча. И девок, коих он на прогул брал, видывал...

– О-о-о-ой! – изумились крестьяне. – Стало, ты бывал в наших-то местах?

– Бывал. И старика знаю, коего барин по огневым угольям босого таскал, как его?.. Григорий, кажись...

– О-о-о-о!.. Верно, верно... Не Григорий, а Гаврилой звать. Умер он, покойна головушка, умер. Антонов огонь приключился с ним, ноженьки-то почернели, дюже маялся, на всю деревню в голос вопил...

– Жалко старика, – сказал Пугачев. – А вашему барину нужно бы напредки шкуру до ребер содрать, а уж опосля прирезать.

Келья Филарета большая, о двух горницах, а кухня отдельно, чрез сени, – там и брат Пантелей жил. Гостевая горенка, куда вошли Филарет с Пугачевым, в четыре крохотных слюдяных оконца. В переднем углу в серебряных окладах темноликие иконы, кипарисные большие и малые кресты, три синего и красного стекла возженные лампы. Огоньки играли на серебряных ризах, ласково дробили сутемь, горели тихими цветистыми отблесками. От этих огоньков и всего вида чистой горницы, пропахшей ладаном, воском и ароматом кипарисного дерева, сумрачной душе Пугачева стало уютно и тепло.

Раздевшись, Филарет подошел к кожаному аналою и, перебирая лестовку, сотворил краткую молитву. Пугачев рассеянно тоже помахал рукой. На широкой жарко натопленной лежанке сидел бровастый и пучеглазый, как филин, рыжий кот. Кровать старца вся в шелках, гора подушек к потолку, белые наволочки в прошивках.

– Это – почитатели мои московские, да и тутошные казацкие женки такожде пекутся обо мне, многогрешном. Всего натащили в убогую келию мою, – как бы оправдываясь, проговорил Филарет певучим голосом. – Ведь сам-то из купцов я буду – да, да, из московских купцов, во второй гильдии числился, мелочным товаром торговал. Только Господь призвал меня к себе, и я все бросил, ибо – суета сует и всяческая суета есть суета мирская.

Пугачев в разговор не вступал, только потряхивал в знак согласия головой да бросал взгляды на горячую лежанку. Старец же Филарет говорить зело любил. Высокий и тощий, стриженный по-кержацки в скобку под горшок, как и Пугачев, он и лицом своим, и живыми – то веселыми, то строгими – глазами смахивал на Пугачева.

– Я, старец ангельский, на печку сяду, чего-то ноги окоченели, зашлись. На турецкой войне застудил их, ноют дюже, да и раны... – сказал Пугачев, взгромоздился на лежанку, приятно закричал, снял стоптанные сапоги, принялся сматывать с ног прелые онучи. Рыжий кот потянул ноздрей крепкий, как спирт, дух, блаженно зажмурился, замурлыкал. Пугачев, посапывая, развесил онучи на душник.

Филарет опустился в кресло под белейшим чехлом, начал, смакуя слова, вспоминать вслух о Москве и нравах ее, о греховной жизни вельможной знати, о матушке-Екатерине и Григории Орлове, с коим она восхотела прикрыть свой блудный грех таинством венчания, да Синод не разрешил ей – наступил на длинный шлейф, затем он перешел на воспоминания об императоре Петре III и трагической судьбе его.

– Вот он, он... Зри, чадо Емельян. С живого царя списан, – и старец указал перстом на поясной, в масляных красках, портрет Петра, висевший в простенке между окон.

Пугачева как ветром сдуло с лежанки. Он с живостью подбежал к портрету, сощурил по-кошачьи глаза и, выборматывая: «С живого. Ишь ты... С живого...» – жадно впился в картину. Однако маленькие оконца скудно давали свет. Пугачев вытащил из предиконного подсвечника толстую, желтого воска свечу, затеплил ее от лампы и, ошаривая пламенем лик царев, стал как бы впитывать в себя странные черты молодого, в седых буклях человека, насмешливо глядевшего на бродягу-казака большими улыбчивыми глазами.

Ему не раз доводилось видывать царские портреты, только он мало обращал тогда на них внимания –

думал, что царей малюют понаслышке, как в ум взбредет. А вот тут – с живого!

– Сей портрет прислан мне чрез московского первой гильдии купца Бурдастова в дар от гвардии секунд-майора Ярославцева, почитателя истинной веры. Потрет зело схож, сказывали мне...

– Он не в бороде, царь-то, – тоном сожаления тихо проговорил Пугачев.

– Даром, что не в бороде, – возразил старец, – зато нам, рекомым раскольникам, соизволил манифестом даровать «крест и бороду», сиречь – пресек гонения нас, сирых, установил нам право по старозаветному обычаю бороду носить и поклоняться животворящему кресту восьмиконечному, а не крыжу постыдному, аки у рекомых православных. А наипаче мил сей праведник нашему старозаветному сердцу тем, что дал разрешенье всем сущим за границей нашим беглецам-раскольникам ничтоже сумняшеса воротиться в Русь, селиться, кто где похощет, строить свои храмы и чинить церковную службу по-своему. Да, поистине, сей император Петр Федорыч светлой памятью своей во вся дни почит неисходно в сердцах наших... – Филарет вдруг встал и порывисто выбросил руку с лестовкой к портрету. – И если б сей государь снова появился среди своего народа, чтоб низвергнуть с престола воровски захватившую трон дочь Вавилона окаянную, мы, старообрядцы, все до единого сложили бы к его царским стопам земные богатства наши: золото, жемчуг, серебро и самую жизнь свою отдали бы на служение сему великому страдальцу! – со страстностью восклицал в полусумраке тенористым голосом старец Филарет. – А ты ведаешь, какая сила на Руси мы, рекомые раскольники? Мы и грамотностью взяли, и многие вельможи к нам преклонны, и доброй половиной всех капиталов владеем мы...

Свеча в руке Пугачева дрожала, опустив голову, он дышал всей грудью, с внутренним трепетом вслушиваясь в слова Филарета.

– Раб Божий Емельян! – горящими глазами взглянул на него старец. – Сотворим молитву о пресветлом государе Петре Федорыче. Ежели он в бозе почил лютой смертью от рук нечестивой боярщины, да будет ему место свято в небесном раю отца славы. А ежели он жив и здравствует, как гласит людская молва, да явится он снова на поприще всенародное, да соберет возле знамен своих силу великую, и да вложит сам Бог в десницу его карающий меч, а в сердце – пламя... Молись, Емельян! – И чернородый старец упал на колени пред лампадами. То часто ударяясь головой в землю, то воздевая руки к небесам, он выдыхал гулким шепотом жаркие слова молитвы.

Пугачев, как зачарованный, стоял дубом позади Филарета, рассеянно болтал рукой, думал о своем, заветном, вода помутившимся взором от огоньков лампы, от распростертого на полу старца к насмешливым устам Петра, к угревной лежанке, на которой рыжий кот, сшибив лапой прелую онучу, сладострастно жевал ее, зажмурившись. «Без бороды, без бороды... Скобленное рыло... А глазом, кажись, схож...» – думал Пугачев, вспомнив турецкую кофейню и любопытный разговор гусара с черногорцем.

Старец поднялся и снова сел устало в кресло. Пугачев сам насквозь был пропитан дорожными слухами о Петре III. Желая проверить их, он спросил старца:

– А нешто в народе чутко?.. Про самого-то, про императора-то?

– Чутко, сыне мой, чутко, – и многознающий начетчик-старец стал в убедительных словах рассказывать усевшемуся на лежанку гостю о том, что уже на его памятях четырежды объявлялись под именем императора Петра III какие-то люди-человеки. Но по малому ли уму своему или по воле Божией самозванцы те всякий раз были уловляемы. Вот и последний самозванец в городе Царицыне, тому назад всего четыре месяца, был схвачен, но будто бы бежал, только нам плохо в сие верится. Скорей всего – самозванца задавили палачи.

– Самозванец, не настоящий? – дыша сквозь ноздри и колупая мозоли на ногах, спросил с лежанки Пугачев.

– Да, сыне мой, мнится мне – не настоящий. А настоящий – может, и жив, может, Петра Федорыча Бог спас. Ну да жив ли, не жив ли, не нам знать, а только народ ждет его с упованием, и народу все едино – царь али самозванец, лишь бы заодно с ним был. И то сказать: народ похощет – любого вождем своим сотворит!

Пугачев выпучил глаза на Филарета, замер. Наступило молчание.

Но вот встал в дверях брат Пантелей.

– Обоз пришел с Яицкого городка, отец игумен, – сказал он, отдавая поясной поклон игумену. – Казаки рыбкой да икоркой кланяются святой обители твоей. Выгружать благословишь?

– На ключи. Я помедля выйду.

Слово «икорка» вызвало в Емельяне Пугачеве вкусовое ощущение; ему захотелось есть, на минуту он позабыл о самозванце, но все же, преодолевая чувство голода, сказал:

– Чудно все это, отец честной игумен. Чудны слова твои... Похощет народ, любого вождем над собой сделает... А ежели... самозванный он, вождь-то?.. Разжуй, старец ангельский, чтоб в мысль мне пало.

Старец взглянул в суровое лицо гостя и, подойдя к нему, спросил:

– Грамотен ли ты, чадо?

– Нет, темный, – глухо ответил Пугачев.

– И читать по-печатному не маракуешь?

– По-печатному – могу. А вот писать...

Старец вздохнул, сказал:

– Вопрошаешь меня о самозванцах. Изволь, обскажу... Самозванцев много на Руси было о всяку пору. Но главные суть – два ложных объявленца: два Дмитрия. Сие в досюльные времена началось, в смутную годину, при царе Годунове Борисе... А как помре Борис, сын его, вьюноша Федор, вступил на царство. Ну, Лжедмитрий Первый и скovyрнул законного царя Федора и сам сел царствовать...

– И долго он в царях ходил?

– Нет, не долго. Наущенный боярами, народ дознался, что не царь он да что латинскую веру ввести умыслил, растерзал его.

– Ишь ты, – задумчиво сказал Пугачев. – Стало, не угодил народу. – И неожиданно, просящим голосом: – Старец ангельский, попитал бы ты меня трохи-трохи. Животы подвело... Спроворь, пожалуй.

– Добро, добро, – старец подхватил Пугачева под руку и повел трапезовать.

В кухне жарко. Хозяин и гость разделись до рубах. За столом, покрытым чистой браной скатертью, сидели два бородатых казака. Они вскочили, бухнулись Филарету в ноги. Обняв казаков, он благословил их.

Голодный Пугачев дорвался до осетровой икры. Он наложил ее стогом в оловянную тарелку, накрошил луку и давай есть икру большой деревянной ложкой, словно кашу. Но вот горбоносый, чубатый сотник Терентьев, степенно оглаживая бороду, завел речь. Пугачев сразу оживился.

Терентьев подробно рассказал о последней кровавой схватке, когда беднота на богачей поднялась, казенного генерала убили, войскового атамана Петра Тамбовцева убили, а с ним еще четырех старшин.

Пугачев, слушая, то и дело задавал вопросы, ему хотелось все знать до подоплеки.

– Любопытен и жаден ты, в корень смотришь. Сие зело одобрительно, – похвалил его Филарет. –

Хлебай уху.

Казакі говорили:

– Великое разорение у нас... Многих похватали, казни ждут. Умышляли мы всем войскам бежать в Астрабад, да генерал Фрейман повернул нас...

– Нет, – сказал Пугачев, – не в Астрабад, а куда бежал Некрасов [\[71\]](#), вот туда надо, на Кубань-реку... Там наши донцы примут вас и не покашляют.

– Да мы бы не прочь и ныне туда утечь, да с чем? Ни денег, ни человека-знатеца нет, – проговорил Терентьев.

– Деньги есть, – не задумываясь, хвастливо сказал Пугачев и приосанился. – У меня на все войско хватит. И места те я знаю хорошо. А вам, казаки-молодцы, атамана треба доброго, вот чего.

Все уставились на Пугачева. Проницательный Филарет, взглянув Пугачеву в глаза, с лукавым недоверием спросил:

– Откуда ж у тебя, чадо, деньги столь великие?

– Это – мое дело, – помедля, ответил Пугачев загадочно. Филарет ухмыльнулся в черные усы. Пугачев деловито продолжал:

– Ладно, господа казаки... Я, как-нито, смахаю на Яик лично, рыбы мне надобно трохи-трохи купить да икры. Там разведая, чем дышите. И вы уж не оставьте меня, буде нуждица придет насчет... рыбы-то.

В церковке зазвонили к повечерию. Игумен Филарет с казаками пошли молиться. Пугачев улегся спать.

За трое суток, проведенных в скиту, Пугачев отъелся, подобрел лицом, впалые щеки его покраснелись. Снова ходила в нем силища. Он целыми днями сидел в бездействии на печке, с интересом слушал, что говорит ему старец Филарет, но у того целая охапка всяких дел, придет, потолкует и надолго скроется. Впрочем, Пугачев рад побыть и в одиночестве. Все сильнее, все настойчивей его обольщала мысль пробраться на Яик, уговорить казаков идти всем войском в Туретчину – только пускай выберут его, Пугачева, атаманом. А что же, и выберут. Чем он не вышел? А уж ему ли не сумеет войску угодить – он человек бывалый, всяческих генералов несчетное число перевидал. Эх, и зажил бы Емельян Иваныч Пугачев. Семью перевез бы к себе, в каменных палатах обитали бы...

Мерещилась его живому воображению и другая ослепляющая возможность, но он, с решимостью и ничуть не сожалея, гнал ее прочь как колдовское наваждение.

Игумен Филарет проводил его до Мечетной слободы.

Глава IX

Заграничный купец. «Как во городе было во Казани»

1

В Сызранской степи, на берегу речки Таловой, от Яицкого городка в шестидесяти, от Иргиза в семидесяти верстах, находился так называемый Таловый умет, или постоянный двор.

Покосившаяся, в шесть окон, изба, большой сарай, две амбарушки, баня да кой-как крытый пригон для лошадей. На высоком шесте, прибитом к воротам, укреплено старое колесо и болтается на бечевке клоч сена – самодельная вывеска: заезжайте, мол, обогреться и коней покормить.

Лохматый, сидящий на привязи барбос выставил из катуха седую от мороза башку и сипло залаял в степь. И сразу со всех сторон набежала с дурашливым лаем целая свора шавок.

Низкорослый хозяин Талового умета Оболяев с пегой бороденкой и добрыми обморщиненными глазами цыкнул на собак и закричал пришлой беглянке-бабе, рубившей колуном дрова:

– Старуха, слышь, едут, еремина курица! Затопляй скорей печку.

Подводы, одна с мешками муки, другая с двумя седоками, остановились у ворот. Пугачев, не торопясь, выпростался из саней. Он – в овчинном новом тулупе, в валенках, в заячьей белой шапке-сибирке, в огромных собачьих рукавицах. Старик, хозяин лошадей Филиппов, выпряг их, повел в хлев отстояться.

– Будь здоров! – поприветствовал Пугачев Оболяева и прошел с ним в избу. – Сколько до Яицкого городка считаете?

– Шестьдесят верстов, еремина курица... А твоя милость – какой человек, откудов и куда путь держишь?

– Я заграничный, купец, на Яик за рыбой еду... А тебя как звать? Живал ли ты в Яицком городке?

– Я пахотный солдат Оболяев Степан, а прозвищем – Еремина Курица. Я сам-то из мужиков Симбирского уезда, а сызмальства в Яицком городке в работниках трепался у богатых казаков, у самого атамана, еремина курица, царство ему небесное, Петра Тамбовцева работал. Мне все казачество, еремина курица, знакомо. Да и ныне вот то один, то другой наезжают ко мне, в умет, потужить да покалякать... Мне вся их подноготная ведома.

– Погано живут?

– У-у-у, не приведи Господь... – затряс головой Еремина Курица и шумно отсморгнул на земляной пол. – В тоске живут.

Пугачев выпил одним духом ковш квасу, крякнул, спросил, вытирая усы:

– А не поедут ли люди на Кубань со мною, к некрасовцам? Как полагаешь?

– Да чего полагать! Знамо, еремина курица, поедут... Ежели, твоя милость, желаешь, близехонько тут два казака живут, в землянке, два брата Закладновы, они гулебщики [\[72\]](#), лисиц приехали имать.

– Не можно ли спсылать за ними? Мол, у проезжающего нуждица до них есть.

Вскоре после трапезы в избу вошли два рослых казака, братья Закладновы.

– Кто нас требует? – спросил Григорий Закладнов.

– Я, – ответил Пугачев. Покосившись на бабу у печки, он сказал: – Выйдемте-ка, потолковать треба.

Оба брата Закладновы, Еремина Курица и Пугачев подошли к сараю. Пугачев тихо заговорил:

– Вот, господа казаки, скажите-ка, не утаивая, что у вас там, какие разорения, какие обиды от старшин?

Братья Закладновы, переглядываясь друг с другом и с Ереминой Курицей, пересказали Пугачеву, что творится сей день в войске Яицком.

– Многих под караул берут, многих сыскивают, – говорил Григорий Закладнов, всматриваясь в хмурое лицо Пугачева. – Слых идет, в Оренбурге двенадцать наших к четвертованию приговорены, сорок семь – к повешению, да трое – к отсечению голов...

– Не слых идет, а доподлинная правда, – перебил брата молодой парень Ефрем Закладнов. – Самолично я объявление читал. Следственная комиссия этак постановила от семнадцатого сентября сего года. В Питер увезли постановление-то на подпись всемилостивой государыне.

– А-я-яй, а-я-яй, – причмокивая, качал головой Пугачев. – Надо, господа казаки, как-нито выкручиваться из беды, а нет – всех вас переимают. Я бы вас мог на Кубань свести, к некрасовцам, на реку Лобу. А там отдались бы в подданство турецкому султану. Нам бы только границу проскочить, там у меня товару на двести тысяч рублей, на первое время я все войско коштовать бы стал. Да и турецкий паша нас встретит, ведь он мне знаком, он хоть пять миллионов нам выдаст, только знай живи...

– А кто таков ты сам-то? – с недоверчивостью в голосе спросил Пугачева оробевший Григорий Закладнов.

– А сам я – заграничный купец Емельян Федоров, раскольник. Меня за раскол царские чиновники шпыняют, едва в тюрьму не угодил. Мне такожде треба куда-то укрыться. Только вы, господа казаки, о нашей беседе – молчок, чтобы шито-крыто!

Братья Закладновы повеселели. Григорий даже перекрестился.

– Дай-то, Господи! Мы пошли бы все с тобой... Еремка! Тащи-ка господину купцу лисичку в подарочек...

– Благодарствую, не надо, – сказал Пугачев. – Стало быть, я в Яицком городке лично буду. А вот казак Денис Пьянов либо Толкачев дома? Старец Филарет балакал мне о них.

2

Вечером 22 ноября 1772 года Пугачев со своим спутником, крестьянином Филипповым, въехав на двух подводах в Яицкий городок, направились сквозь сизые с морозцем сумерки прямо во двор раскольника Дениса Пьянова, отставного казака.

– Принимаешь ли, старичок, гостей? От всечестного игумена Филарета поклон тебе привез, – прекрестясь на иконы двуперстием, сказал хозяину Пугачев.

– Мы добрым гостям завсегда радехоньки. А кои по благословенью отца Филарета жалуют, рады наособицу, – приветливо ответил седобородый, румяный крепыш-хозяин.

За ужином пили вино, вели беседу все о том же самом. Хозяин толковал, что народ в городке живет в отчаянье и великом унынии, казаки ждут расправы.

После ужина завалились спать: Пугачев с хозяином на печке, крестьянин Филиппов на полу. Жена Пьянова – Аграфена – с дочкой ушли в другую половину. Когда Филиппов захрапел, хозяин Денис Пьянов толкнул Пугачева в бок и зашептал:

– Гостенек, слышь-ка... Спишь? Молва ходит, будто в Царицыне воровской человек объявился, государем Петром Федорычем себя назвал. Да Бог знает, ныне слуху нет о нем. Иные баили, что скрылся он, иные – что засекли его насмерть... А ты ничего в дороге-то не расчухал про это самое?

Сердце Пугачева замерло. В хмельную голову бросилась кровь. Он ответил казаку:

– Не воровской человек выдал себя за царя, а сам царь объявился в Царицыне, сам Петр Федорыч. Правда, в Царицыне его схватили, только он ушел, а замест его замучили другого, чтоб следы скрыть.

Пьянов широко открыл глаза, стараясь рассмотреть через тьму лицо гостя.

– Не может тому статься, гостенек, – сбираясь с мыслями, возразил он Пугачеву. – Ведь государь наш Петр Федорыч умер в Питере.

– Неправда твоя, – убежденно сказал Пугачев и приподнялся на локте. – Государь был спасен от лютой смерти в Питенбурхе, такожде и в Царицыне.

– Навряд ли, – усомнился Пьянов.

Пугачев ничего не ответил. Он в душе выругал себя, что малознакомому человеку наболтал какую-то несурязицу, в которую и сам не верил. А все винцо... Помедля, он перевел разговор прямо к своей заветной цели, исполнение которой казалось ему вполне возможным.

– И как это вы, вольные казаки, терпите толикое утеснение в привилегиях своих. Где же отвага ваша? Бабы вы... (Пьянов вздыхал, почесывался, обороняясь от наседавших на него тараканов и клопов.) А я бы провел вас в Туретчину, на Лобу на реку...

– Мы бы рады-радехоньки пойти с вами, – зашептал Пьянов, закрепивая широкий позевок, – да только как же пройдем татарские орды? Да и люди мы все бедные...

– Орда нам рада будет. А на выход я подарю в каждую семью по двенадцати рублей.

– Да что ты за человек?! – с изумлением негромко воскликнул Пьянов. – И откуда у тебя эстолько денег?

Тогда Пугачев вновь начал рассказывать затверженную им басню о том, что он заграничный торговый человек, и о своих оставленных на границе богатствах: парча, ковры, халаты, сапоги – все это он накупил в

Египте да в Персии, а по чумному времени товары в Россию ввезти не мог.

У хозяина от этих речей набеглого гостя кружилась голова. Поелозив по печке задом, он придвинулся к гостю вплотную и, волнуясь, сказал:

– Статочное ли это дело... Ведь такой уймы денег ни у кого нет, ни у единого купца... Разве что у государя...

Пугачева как подбросило. Он сел, свесил ноги с печки и, ударяя себя в грудь, произнес:

– Я и есть государь Петр Федорыч. В Царицыне-то Бог да добрые люди сохранили меня. А замест меня засекли солдата караульного.

Вскочил и Пьянов, тоже свесил ноги, вытаращил на Пугачева глаза. А тот, опамятовавшись, испугался своих слов, схватился за голову, громко окликнул храпевшего на полу Филиппова:

– Эй, Семен, Семен, Филиппов!

– Чего гайкаешь? – не вдруг отозвался крестьянин.

– Ты ничего не слышал?

– Нет, я спал крепко. А чего такое?

– Мне попритчилось, – сказал Пугачев, облегченно передохнув, – быдто в окно кто сбрыкал.

– Спяну тебе, должно, – недружелюбно ответил Филиппов, косясь на смутно маячившую фигуру Пугачева: в замерзшие окна скупо вливал лунный свет.

Взволнованный Денис Пьянов, дрожа и постукивая зубами, слез с печки, накинул на плечи татарский бешмет и вышел очухаться на улицу. Следом за ним выбрался и Пугачев. Сели рядом на крыльцо, многодумно молчали.

У оставшегося в избе старика Филиппова защемило сердце: он сквозь сон слышал разбудивший его выкрик Пугачева: «Я не купец, а я государь Петр Федорыч». Господи помилуй, Господи помилуй... Как же быть? Ведь влопаешься через знакомство с таким оголтелым... Господи помилуй!..

– Как же тебя Бог сохранил? И где же ты, свет наш, целые десять лет скитался? – тихо заговорил Пьянов. Он верил и не верил словам своего подвыпившего гостя.

– А со мной милостью Божью так стряслось: прибежала ко мне во дворец гвардия, графы, князья и взяли меня под караул, да, спасибо, капитан Маслов отпустил меня. Я принял на себя зрак простого человека и скрывался в Польше да в Цареграде... В Египте был, у фараонов... (Пугачев шевелил бровями, напрягая мысль, про какую бы страну еще сказать.) В Персии был, в Пруссии. А оттудов прямо к вам, на Яик...

Пьянов встал и, плохо еще владея мыслями и чувствами, низко поклонился Пугачеву.

– Хорошо, батюшка. Я перемолвлюсь со стариками насчет Туретчины-то. Что скажут, перескажу тебе.

– Токмо, чур, Денис Иваныч, балакай с людьми по выбору, не всякому о сей тайне ляпай, – внушительно погрозил Пугачев пальцем.

Звезды на небе – крупные и яркие. Лобастый с перламутровым отливом месяц катился книзу. На голубоватой церкви блестел в голубом сиянии восьмиконечный крест. Не стукнет, не брякнет, всюду холодная предутренняя тишина. Мороз важно продрал рассолодевшего на жаркой печке Пугачева. Он зябко передернул плечами, мысль его прояснилась, он понял наконец, на какую погибель обрекает себя этим ночным разговором с Денисом Пьяновым. В его душе встал страх. «К черту, к черту. Отрекусь от слов. На попятный сыграю», – стискивая зубы, подумал Емельян.

– Вот что, Денис Иваныч, – мужественным голосом с решимостью начал он. – Я тебе молвил, быдто я истинный царь Петр Федорыч... Чуешь? Ну дак... – сказал он и вдруг запнулся. Ослепляющая мысль, которую он все время гнал от себя прочь, снова навязчиво встала перед ним во всей своей силе. А в крови его продолжал еще хмель гулять – вино за ужином было крепкое. Пугачев весь, от головы до пят, как-то покоробился, вздернул плечом: «Эх, была не была. Назвался груздем, полезай в кузов». – Слышь, старик, не всякому, мол, сказывай-то... А я вдругорядь молвлю тебе: я есмь всамделишный царь!..

Огибая церковную ограду, двигался с дозором разъезд солдат. Кони пофыркивали и храпели, легкий парок подымался от их разгоряченных в беге тел. Сидящие на крыльце, пригнувшись, шмыгнули в избу.

Пугачев прожил в Яицком городке у казака Пьянова целую неделю. Пьянов, улуча момент, как-то вышептывал ему:

– Вот, ваше величество, баял я о вас старикам нашим казакам про усердие ваше в Туретчину нас вести, на Кубань. Они пришли в радость и говорят: это, мол, дело великое, надо со всеми, мол, казаками перетолковать, вот когда они соберутся всем гамузом на багренье, тогда уж...

– А что я царь есть, про сие сказывал?

– Явственно объяснить пострашился, вашество, а обиняком давал намек.

– А они что? – Пугачев перестал дышать.

Денис Пьянов, заикаясь, вымолвил:

– В сумнительство пришли.

Пугачев нахмурился, крикнул.

С утра до вечера он стал пропадать на базарах: приглядывался к народу, жадно внимал, не говорят ли что о тайно проживающем в Яицком городке Петре Федоровиче III. Но ни звука об этом в народе не услышал, и не знал Пугачев, радоваться ему по сему случаю или сожалеть.

Он купил себе пестрядины на рубаху да полтора пуда сазанов, а мужик Семен Филиппов навьючил два воза рыбы, и оба путника направились обратно.

19 декабря, по навету крестьянина-предателя Семена Филиппова, Пугачев был в Малыковке сыскан, схвачен стражей и представлен к «управительским делам». На допросе сознался, что он беглый донской казак Зимовейской станицы, а ежели на него от Семена Филиппова такой поклеп был, то, верно, он с пьяных глаз советовал казакам бежать на Кубань, а сам никакого намеренья не имел и в разговоре с Пьяновым царем себя не величал.

Его заковали в кандалы и направили сначала в Симбирск, далее – в Казань.

В степях поднялась несусветная метелица, пришлось задержаться на постоялом дворе в Сызрани два дня. Войдя в избу, Пугачев жаловался, что ознобил ногу, просил стащить с него сапоги. Когда разували, из сапога выпало пять столбиков золотых и серебряных денег, завернутых в бумагу наподобие трубочек. Пугачев развернул одну из них, вынул оттуда червонный в два рубля пятьдесят копеек, велел купить на четвертак вина. Эти деньги дал ему игумен Филарет.

– На мне был «через» (пояс) с серебряными деньгами, да в гаманце [\[73\]](#) рублей с тридцать, да рубашка стеганая дорожная, в ней зашито было сорок два рубля. Да, видишь, в Малыковке обобрали меня всего, повытчик обобрали. Ну да Бог с ним. Дай Господи жить ему с моими деньгами.

За обедом Пугачев с двумя сопровождавшими его крестьянами, Шмоткиным и Поповым, хорошо выпили. Пугачев дал Шмоткину, якобы на сохранение, несколько червонцев.

Спустя два дня, когда улеглась метель, стали садиться в сани. Шмоткин отозвал Попова в сторону, показал ему десять золотых.

– Наш Емельян-то хочет от нас уйти... Как ты думаешь, не прижать ли мне червонцы-то?

– Боюсь... Пропадай он с ними. Верни деньги-то ему, – отсоветовал Попов. – Да смотри, брат, ухо-то держи остро. Не давай ему вожжей в руки. Эвот он какой черт. А глазищи-то – страсть! Давечь пьяный зыркнул на меня, я чуть не обмер.

– Благо ты сказал мне, я теперя и сам с саней не сойду, да и рогатину из рук не выпущу.

Скованного в кандалы Пугачева, опаски ради, стали прикручивать к саням цепью.

– Чего вы, ребята, делаете, – укоряюще заговорил Пугачев. – Эх, братцы, братцы. Ведь в Цареграде хранится неисчислимое множество денег моих. Ведь я купец, с заграницей торг водил. Не присугласитесь ли вы, братцы, довезти меня до Стародуба-то? Сотворите милость, постарайтесь. Коли Бог принесет подобро-поздорову в Стародуб, я невесть как награжу вас, золотом засыплю до макушки.

– Нет, Емельян Иваныч, – возразил Попов. – Мне своя голова дороже всякого богатства.

В Казань Пугачев был доставлен 4 января 1773 года.

При допросе он был раздет. Его спину протерли круто посоленной водой, на коже выступили темные полосы. Тогда ему задали вопрос: кнутом или плетью наказывали его и по какому поводу бежал он в Польшу? Пугачев показал то же, что и в Малыковке, добавив:

– Ни кнутом, ни плетью я наказан не был. А сек меня на Прусской войне полковник Денисов – я его лошадь упустил.

По приказу казанского губернатора фон Бранта Пугачев был посажен в так называемые «черные тюрьмы», что в подвалах старой полуразрушенной губернской канцелярии, в Кремле.

Вслед за арестом Пугачева сыск направился схватить и Дениса Пянова. Но тот сумел бесследно скрыться.

3

В тюрьме Пугачев повел себя по-умному. Он, как и прежде, стал выдавать себя за раскольника, всем говорил, что вины на нем никакой нет и страдает он по поклепному делу за «крест в бороду». По ночам, когда большинство арестантов спит, он раскидывал выданный ему рваный полушубок, становился на него, чтоб не застыли ноги, и, гремя кандалами, начинал усерднейше, с коленопреклонением, молиться. Такую комедию он проделывал часто. И по всей тюрьме разнеслась о нем слава, как о человеке набожном, благочестивом. Караульные солдаты стали относиться к нему с сочувствием и жалостью. Все называли его Емельяном Иванычем. Особливо начали отличать его зажиточные раскольники города Казани, приносившие в тюрьму душеспасительные подаянья заключенным. Пугачеву всегда перепадало больше всех, но он, по святости своей, самые сладкие куски раздавал караульным солдатам и товарищам. Словом, смиренный Пугачев был тих, скоропослушен и при этом всегда задумчив. Случайно узнав от раскольников, что в Казань заказывать иконы прибыл игумен Филарет, Пугачев взмолился:

– Ой, да скажите вы ему... Ой, да пусть похлопочет об освобожденьи моем.

У Филарета не было крепкой руки среди администрации, а как он торопился ехать обратно на Иргиз, то оставил приятелю своему, купцу Щолокову, письмо с горячей просьбой выручить раскольника Емельяна Пугачева из узилища кромешного. Сам же Щолоков был в это время по торговым делам в Москве.

Филарет уехал. Щолоков не приезжал, Пугачев продолжал томиться в неизвестности несколько недель. За это время он хорошо спознался с колодником Парфеном Дружининым, купцом пригорода Алата Казанской губернии. Купцу сорок восемь лет, лицом тощ, борода козлиная, погасшие глаза ввалились.

– А сижу я здесь давно, – покашливая, жаловался Дружинин. – У меня в пригороде свой домик, жена да трое ребят. Купцы выбрали меня целовальником – казенной солью торговать в селе Сретенском. Год времени спустя сделали мне учет, в соли нехватка вышла семи тысяч пудов. За сие дело стражду.

– Вижу, улепетывать отсель надо, Парфен Петрович, – и Пугачев подмигнул купцу.

– Добро бы... Да как? Способов нетути. Солдат на штык подденет.

– Примыслить надобно. На-а-айдем способа.

Застучали запоры, заскрипела железная дверь, в тюрьму вошел низенький, присадистый, седобородый человек в лисьем кафтане. У сопровождавшего его мальчика за плечами на веревке связка больших пшеничных калачей. Присмотревшись к подвальной промозглой мгле, старик спросил:

– А где тут донской казак Емельян Иванов?

– Я самый, – и Пугачев, гремя цепями, поднялся. – Ой, да уж не ваша ли милость Василий Федорыч Щолоков?

– Как есть перед тобой, – ответил купец. – Васютка, сбрось-ка несчастненькому два калачика.

Пугачев, смущенно помигивая и глядя с кротостью в ясные глаза Щолокова, проговорил:

– Распречестной игумен Филарет приказывал вашей милости кланяться нижайше и попросить вас, чтоб вы обо мне, бедном, постарались пред губернатором.

– За что сидишь?

– По поклепному делу за «крест и бороду».

– Добро, миленький. Я и до губернатора схожу, мы с ним хлеб-соль водим, до секретаря схожу.

– Постарайтесь, Бога для! – посунувшись к купцу, шепотом заговорил Пугачев. – Да посулите губернатору-то сто рублей, а то и поболее. И секретарю, у которого дело мое, также суньте хоша рублей с двадцать. На взятку господишки-то падки. А денег у меня много, на хранение у отца Филарета оставил я, – врал Пугачев.

Щолоков подарил Пугачеву рубль и чрез несколько дней пошел к секретарю Абрамову с просьбой, что «ежели дело колодника Емельки не велико и не противно законам, то не притесняйте его, за что вам старец Филарет служить будет».

Вскоре Пугачеву повезло, должно быть, раскольник Щолоков помог. По определению губернатора в марте 1773 года с него сняли тяжелые кандалы и только на ноги положили легкие железа. За благочестие, послушание и кротость Пугачева часто отпускали с прочими колодниками в город на работу, он широко этим пользовался, ходил по Арскому полю, пытливо изучал расположение Казани, по-умному заводил случайные знакомства, ласковой шуткой и подачкой приручил к себе хмурых конвойных солдат. Словом, все шло как по маслу, надежда на побег возрастала у него.

4

Тем временем участь его решилась в Петербурге. Велик ли, мал ли преступник Пугачев, но Екатерина все же заинтересовалась им. Шестого мая было ею повелено: «Казака Пугачева наказать плетьюми и как бродягу, привыкшего к праздной и продерзостной жизни, сослать в город Пелым, где употреблять его на казенную работу, давая ему в пропитание по три копейки на день». Это высочайшее повеление неторопливо попелось по убойным весенним дорогам из Питера в Казань.

Будто почуяв над собой угрозу, Пугачев заторопился. К тому побудил его поразивший всех арестантов случай. Как-то под вечер он с купцом Дружининым таскал в тюремную кухню воду из колодца. Вдруг на внутреннем дворе, огражденном частоколом, раздался бой барабана и следом – громкий, протяжный стон, затем стон стал затихать, затихать и снова – душераздирающий безумный вопль. Дружинин охнул, затрясся, зажал уши. У Пугачева пошел по спине озноб.

– Ведут, ведут! – слышались отовсюду выкрики. – За смертоубийство сотню кнутов получил, это колодник Новоселов Ванька.

Мимо Пугачева с Дружининым провели полуживого человека с оголенной, в кровь исхлестанной спиной. Его волокли под руки два старых солдата с угрюмыми лицами. Он еле переставлял закованные в железо ноги, все время как бы падая вперед. Закрыв глаза, он в полузабытьи жевал губами и тоненько, пощечячи, постанывал, голова моталась, руки повисли, как у мертвеца. Сзади наказанного шли с бумагами в руках франтоватый секретарь и бледнолицый офицер в стоптанных сапожишках.

А в нескольких шагах позади – откормленный мордастый палач, гладко бритое лицо его простоудушно и глупо, по низкому лбу ремешок, поддерживающий аккуратно расчесанные волосы, он – в красной шелковой рубаше, в татарском, с форсом накинутом на плечо бешмете, в козловых, крытых лаком сапогах.

Он несомненно пьян, идет враскачку, пошатываясь и сплевывая через губу. Наглым взглядом окинув толпу присмиривших колодников, он погрозил им ремненным окровавленным кнутом. Колодники, которым в скором будущем предстояла страшная встреча с палачом, кланялись ему в пояс, подхалимно улыбались, но большинство с лютой сверкали на него глазами и сквозь зубы шипели: «Палач, заплочный мастер, смертоубийца, кат! Чтоб утроба твоя распалась... Чтоб тебя земля не приняла... Чтоб кровью нашей охлебаться. Кат! Чумной!»

Пугачев с Дружининым забились на нары, легли бок о бок, долго лежали молча.

– Вот и нам будет то же. Видал? – начал Дружинин.

– Я те сказывал, нужно в побег нам, – ответил Пугачев. – Как погонят нас на Арское поле на работы, да коли караул будет невелик, в лодку сядем, да и были таковы. Ведь теперя вода-то полая, поперет...

– На лодке несподручно, не враз ее сыщешь, а надо сухопутьем. Я лошадь куплю, только куда тронемся?

– Об этом не пекись... – успокоил Пугачев. – На Яик можно, либо на Иргиз. Лишь бы выбраться.

Утром пришел восемнадцатилетний сын Дружинина – Филимон, принес отцу съестного. Отведя парня в сторону, отец велел ему всенепременно купить лошадь и телегу: «Мы с дружкой бежать надумали». Сын стал отказываться, стал уговаривать отца эту затею бросить: «А то словят – смертию казнят».

– Я тебя страшной клятвой проклянута! – перекосив рот, замахнулся на парня Дружинин.

Сын заплакал, покашлял в кулак, сказал:

– Ладно, тятенька. Сполню.

Чрез два дня подвода была готова. Был готов к побегу и караульный солдат Григорий Мищенко. Он уважал Пугачева, верил ему и на его предложение бежать ответил радостным согласием.

29 мая, в восемь часов утра, Пугачев с Дружининым направились к караульному офицеру.

– Ваше благородие, – сказал Дружинин, низко кланяясь. – Отпустите нас за милостыней к соборному протопопу отцу Ивану Ефремову, он мне родня.

Офицер, вполне доверяя Пугачеву и Дружинину, отпустил их, а в конвой к ним назначил солдата Рыбакова и пожелавшего сопровождать их солдата Мищенко. У Пугачева кровь бросилась в голову: все идет не надо лучше. Офицер строжайше наказал солдатам:

– Далее попа никуда с колодниками не ходить, чрез полчаса быть обратно на тюремном дворе.

Войдя в поповский дом, Дружинин облобызался с тучным протопопом, вынул денег и попросил соборного дьячка, любившего выпить, сбегать за вином, пивом и медом. Выпивали наспех, без закуски, залпом. Впрочем, сами пить весьма береглись, а накачивали вдосыт солдата Рыбакова, не знавшего о побеге. Солдат быстро охмелел, по губам слюни, стал стучать кулаком в стол, мямлить потолстевшим языком:

– Ну-н-ну... Собирайтесь поскорейча... Пора, эй, вы!

Ему дали еще стакан водки, смешанной с пивом. Он выпил, крякнул, вытаращил глаза и запел песню. Его подхватили под руки и повели. У церкви стояла запряженная кибитка. На облучке сидел парень Филимон Дружинин.

Чтоб обмануть солдата Рыбакова, отец Дружинин крикнул:

– Эй, ямщик! Что возьмешь до Кремля доставить нас?

– Пятак, – ответил Филимон.

– Больно дорожишься, – сказал Пугачев. – Ну да ладно уж... Пользуйся.

Пугачев с Дружининым сначала впихнули в кибитку пьяного солдата Рыбакова, затем залезли сами с солдатом Мищенко, закрылись рогожей. Парень Филимон пришпандорил коня кнутом, кибитка понеслась. Рыбаков сразу же заснул. А когда отъехали от Казани верст десять, он очнулся, ткнул Пугачева в бок, пробормотал:

– И чегой-то столь долго едем?.. Слышь...

– Да вот, брат, – смеясь, ответил Пугачев. – Кривой дорогой везут. Стой! Приехали... Вот и Кремль. А ну, вылазь, служивый.

Он столкнул Рыбакова на дорогу, свистнул по-разбойничьи, и кибитка, утонув в пыли, умчалась. А пьяный Рыбаков, ничего не соображая, кой-как добрал до дворцового села Царицына и упал под забор в крапиву возле управительского дома.

Губернатору Якову Ларионовичу фон Бранту было доложено об утеклцах лишь на пятый день побега.

Старик-губернатор, слушая доклад секретаря, хотел рассвирепеть, но, щадя свое неважное здоровье, передумал. Он лишь с укоризной покачал головой, почмокал губами.

– Ах, господа... Вы меня без ножичка зарезаете... Ну что я отвечу генерал-прокурору Сената? Вот не угодно ли? – и губернатор старческой рукой с синими склеротическими жилами сунул секретарю столичное письмо, где сообщалось высочайшее повеление от 6 мая – «наказать Пугачева плетью и сослать в Пелым». – Это письмо из Санкт-Петербурга двадцать пять дней тащилось. Вот это поспешение!

Ну-с. Кого я накажу плетьюми, кого в Пелым сошлю? Вы говорите, оный беглец бежал? Молодец... Ах, какой молодец! А ежели он бежал, надо его скоренько поймать... Поймать, поймать негодяев! – вспылил фон Брант, но, услышав свой резкий, опасный для здоровья выкрик, тотчас пресек себя и отхлебнул брусничной воды со льдом.

Началась удивительная по своей российской медлительности розыскная канитель. Впрочем, фон Брант тотчас приказал сообщить во все свои уезды о побеге, а в иргизских селениях предписал вести поиски утеклевцов с особым тщанием, ибо «живущие на Иргизах раскольники бесстрашно всяких бродяг к себе приемлют». Однако двухнедельные поиски ни к чему не привели. Раздосадованный губернатор с прискорбием сообщил в Питер генерал-прокурору Сената князю Вяземскому, что высочайшее повеление о телесном наказании Пугачева и ссылке его в Пелым «не учинено, ибо предуказанный Емельян Пугачев за три дня до получения вашего сиятельства письма, с часовым, бывшим при нем солдатом, бежал». Это губернаторское письмо тащилось до Петербурга ровно сорок семь суток и лишь 13 августа в двенадцать часов ночи было срочно доложено вице-президенту Военной коллегии графу Захару Чернышеву.

Петербург – не Казань, Петербург сразу оценил, что за птица Пугачев. Поскакали курьеры на Дон, в Оренбург, в Казань с непреклонным приказом ловить продерзкого Емельку Пугачева, ловить, ловить!

Глава X

Избавитель нашелся

1

В тот самый день, когда граф Чернышев подписывал в Питере указ оренбургскому губернатору и грамоту Войску Донскому о поимке Пугачева, то есть 14 августа 1773 года, Емельян Пугачев, весело на обе стороны поплеывая и подмурлыкивая песню, подъехал на своей собственной лошадке к знакомому ему Таловому умету. Хозяин умета Степан Оболяев, увидя гостя, радостно закричал:

– Ах, живая душа на костылях! Где запропастился, откудов тебя, еремина курица, Бог принес? Более полугода не видались.

– Да так, брат... Шатался кой-где по белу свету, – уклончиво ответил Пугачев и спросил: – А что, брат Степан Максимыч, меня не шукали здесь? А как Денис Пьянов, казак, жив ли?

– Про тебя, еремина курица, слава Богу, не чутко, – ответил хозяин. – А вот Пьянов где-то бегают. На Яике комендант полковник Симонов проведал, быдто бы Пьянов подбивал казаков на Кубань втекать, а тебя будто в атаманы, еремина курица... А ну, пойдем в избу, арбузов отведаем, поспели... Ныне, еремина курица, Бог уродил арбузов-то... – Хитрый, неглупый уметчик отлично знал, что Пугачев сидел по клепному делу в казанском остроге, но, не слыша от него об этом ни слова, счел нужным не огорчать своего гостя расспросами.

Пугачев прожил в Таловом умете с неделю. Он жадно искал встречи с казаками, поэтому с утра до ночи проводил время в степи, благо погода была хорошая, стрелял сайгаков [\[74\]](#).

Однажды, выслеживая раненого сайгака, он верст на пятнадцать ушагал от умета Ереминой Курицы.

Берег речки. Он за день уморился и прилег в кустах. И как только дал телу отдых, все те же навязчивые мысли охватили его голову. Вот он – безвестный, бежавший из тюрьмы бродяга. Поди, его всюду ловят, ведь он преступник важный, не вор, не конокрад какой-нибудь, ведь он тогда невесть чего наболтал про себя старому Денису Пьянову. «Я царь, я царь...» Ой, словят, ноздри вырвут, на каторгу сошлют... «Эх, бедная моя головушка!.. Знать, не дожждаться мне денечков золотых». А может, и пофартит еще. Может, яицкие казаки вожаком своим выберут. «А я повел бы их, я бы на Кубань повел их, либо в другие вольные места. А как утрафил бы казакам трохи-трохи, они, может статься, и атаманом поставили бы над собой. Чего бы лучше. Атаман вольного войска Яицкого Емельян Пугачев! Булава в руке, войсковая печать в кармане!..»

– Была бы голова, будет и булава, – сказал он вслух, и от вожделенных мечтаний что-то похожее на стон вырвалось из его груди.

Вдруг видит: на противоположном высоком откосе маленькой речонки зашуршал-зашевелился куст, из-за него вылез дед с котелком и стал спускаться к воде.

– Здорово, старина! – выйдя на берег, крикнул Пугачев. – Беглый, чево ли? От сыщиков, чево ли, спасаешься? Да ты меня не бойся, я и сам вроде так...

– Ой, кормилец, – взглядевшись в чернобородого детину, сказал старик. – Беглые мы, это верно. От лютого помещика тягала задали. Нас здесь-ка в укрытии четыре семейства. Не жравши сидим. В городок

бы надо за хлебушком, да опасаемся. Нет ли у ты хошь корочки, кормилец? Да ты сам-то кто будешь?

Пугачев распластал ножом пополам буханку хлеба, сказал:

– Лови, дед, – и перебросил хлеб чрез речку.

– Ой ты, кормилец, ой, миленький... – давясь радостными слезами, прокричал старик. А Пугачев, будто сраженный пулей, мигом упал в кусты: на том берегу, один за одним выросли шестеро конных казаков.

– Ты что за человек? – спросил старика рыжебородый.

– Житель, кормилец, – краюха хлеба выпала из рук старика.

– Кажи паспорт!

– Нетути, кормилец, – и старик повалился в ноги рыжебородому. Тот вытянул его нагайкой, огляделся по сторонам, махнул своим:

– Эй, сюда!.. Ого, да тут много их, глянь, каких нор понарыли, что твои суслики. А ну, молодцы, пошукай!

Казаки бросились выгонять на свет живущих в земле людей. Выскакивали из нор старые и молодые, бабы, ребята. Казаки подстегивали их, вязали руки.

– За что экая напасть... Ой, Господи! – вопили женщины. – Родненькие наши, помилуйте нас, пожалейте.

– Пожалеть? – взъершился было рыжебородый, но сразу сбавил тон. – Я-то пожалел бы, да ведь с нас зыск. Поди, про старшину Бородина слышали, про Мартемьяна? Он нас самих в нагайки. Черти-то вас носят, окаянных. Нет, чтобы куда подале схорониться, к городку претесь все.

– Нужда велит, кормилец. Ой ослобони, родименький...

– Вот скажите без утайки, – важно подбоченился казак, – не слонялся ли промеж вас чернобородый такой, лет ему с тридцать пять, росту по приметам не больно высокого, взором нахрапист, а звать – Емелька Пугачев. Вот, дедушка, укажи, где он, ты врать не будешь. Тогда живчиком развяжу всех, идите на все стороны.

Пугачев, лежа на противоположном берегу крохотной речонки, обомлел, вмялся в землю, затаил дыхание.

– Ну так как, дедушка? – переспросил рыжебородый.

Старик поднял с земли хлеб, сдунул с него песок, раздумчиво посмотрел за речку, в сторону Пугачева, затем перевел глаза на казака, сказал:

– Нетути, кормилец. Не примечали такого человека, – лицо его вдруг наморщилось, борода затряслась, колени подогнулись, он охнул, схватился за куст.

Пугачев едва передохнул. «Ой, дед... Вот спасибо-то». Подбородок его дрогнул, сердце под рубахой заныло-застучало.

Рыжебородый приказал:

– Китаев с Конопатовым, гоните их в город на одном аркане, сколько их?.. Шесть, восемь, одиннадцать... А мы дальше.

Беглецов нанизали, как бусы, на длинную веревку. Беглецы тащили на себе немудрый скарб, крутили головами, крестились, плакали. Сзади всех была привязана маленькая, щупленькая, одетая в рвань

девочка. Она семенила босыми ножонками, все оглядывалась да оглядывалась на свою пещеру, терла заскорузлыми кулачками глаза, обращаясь к верховому казаку, пискливо поскуливала: «Ой, дяденька, ой, миленький, я куколку забыла тама-ка. Развяжи меня, я куколку возьму». Вот ее-то пуще всех было жаль Пугачеву.

Когда скрылись все и стало тихо, он подумал: «Ну, Омелька, берегись... А то висеть тебе, царю, на перекладинке». Он возвратился в умет ночью.

Как-то в конце недели, придя с охоты домой, встретил он в умете троих незнакомых крестьян с бритыми, как у каторжников, головами.

– На-ка, Степан Максимыч, вот животину добыл, – сказал он хозяину и сбросил из-за спины убитого сайгака. – Освежуй, брат, да свари похлебки с кашницей. А вы что за люди? – обратился он к крестьянам.

Хотя на Пугачеве – простая, запачканная сайгачной кровью, грубого холста рубаха и рваные коты, а на голове колпак из шерсти, но суровое выражение загорелого чернобородого лица, властный взор и повелительный голос испугали крестьян, они повалились незнакомцу в ноги.

– Ой, желанный человек, мы беглые поселенцы, мужики, вот Алексеев да Федотов, а я – Чучков зовусь. И гнали нас из-под Москвы, с Коломны, на стругах, на вечное поселение в Сибирь-землю. Половина в дороге перемерла народу-то... Из Казани города мы, тройка нас, бежали да сюда ударились... Уж не оставьте нас...

– Хорошо, братцы, не унывайте, – напуская важность на себя, говорил Пугачев. – Я вас не оставлю... А покудов живите свободно здесь. Только старшинских сыщиков страшитесь.

Ободренные крестьяне утирали кулаками слезы. Старший из них, Чучков, улучив минуту, шепотом спросил уметчика, что это за человек толковал с ними.

– А это дубовский важный казак, – скрытно, по-хитрому ответил Еремина Курица. Спустя два дня, нарядив крестьян на дальний сенокос, он уехал в Яицкий городок к знакомому казаку Григорию Закладнову.

В Яицком городке смятение и неурядица продолжались. Казаки ожидали своей участи по делу об убийстве генерала Траубенберга. А тут, после бегства казака Дениса Пьянова распространились слухи, что у Пьянова-де суток трое жил некий «великий человек», а кто он таков – неведомо. Вместо скрывавшегося Пьянова полковник Симонов приказал схватить его жену Аграфену. На допросе под присягой и припугиванием она показала только, что был-де в их доме проезжий купец с черной бородой, из себя видный и нахрапистый, купил-де рыбы и уехал, а какой он человек, она не знает. Аграфену продержали под арестом всю зиму и ничего не добились от нее. Значит, ни начальство, ни казаки не могли доподлинно узнать, кто такой этот «великий человек» и зачем он побывал в Яицком городке.

Пока Пугачев сидел в остроге, слухи множились, приукрашались. Какой-нибудь старый дед-казак, нос в нос соткнувшись с другим таким же дедом и взяв с того страшную клятву, шептал, что «великий человек», пожалуй, не кто иной, как сам батюшка государь Петр Федорыч, Денис Пьянов, мол, намеки делал.

– К рождеству в нашем городке объявится, свет наш, обещал.

– Не к рождеству, а весной, когда казаки всем гамузом на плавню соберутся, на багренье.

Да и среди казаков, что помоложе, всю зиму ходили упорные слухи. Так, на охоте за лисицами казак Гребнев повстречался с товарищем своим Зарубиным-Чикой.

– Будь здоров, Чика! Ну, каково промышляешь? А слыхал про добрые вести?

– Про худые слыхал... Будто в Оренбург указ Военной коллегии поступил, расправу над нами скоро будут чинить. Бежать доведется. А добрые вести не про нас, брат.

– Есть добрые вести, ой, Чика, есть, только под большой тайной поведаю тебе. Гришка Закладнов быдто сказывал, что у Ереминой Курицы проживал купец. Закладнов купца того в уме прошлой зимой встретил. Купец спросил Гришуху: «Слыхал я, будто яицкие казаки в большой беде. Верно ли?» Тот обсказал всю несчастную бытность казацкую. Купец записал слова его и молвил: «Я под видом купца посещу ваш Яик и буду иметь высокое пребывание свое у Дениса Пьянова», – сказал так и куда-то скрылся. Во, брат Чика...

– Любо слушать, – проговорил меднолицый чернобородый Чика, слез с седла и стал раскуривать трубку. – Ну а дале что?

– А дале – Гришуха Закладнов быдто бы встретил купца вдругорядь. Купец собрался от Ереминой Курицы в Мечетную к старцам ехать. Вскочил в седло по-молодецки да и гаркнул: «Прощевайте, господа казаки! Был я у вас в Яицком городке. К весне опять буду с великими делами. Всех вас избавлю от лютых бед. Сабли точите да порох готовьте!» – стегнул коня плетью, да и был таков.

– Кто же он?! – вскричал, загорелся похожий на цыгана Чика.

– Великий человек. То ли обапол царицы живет, то ли сам кровей царских.

Слухи крепили. Казаки, таясь от баб и болтунов, не на шутку стали готовиться к встрече избавителя; не спалось, не елось – эх, только бы весна пришла!

Но пришла весна, рыбные плавни кончились, избавитель не явился. Прошло лето, расцвели-разлапушились сады. И вместо избавителя пал на яицкое казачество громовой удар. Правда, приговор по делу восстания был значительно смягчен. Замест шестидесяти двух смертных приговоров чрез повешенье, четвертованье и отсечение головы «всемилодивейше» определено: шестнадцать человек наказать кнутом, вырезать ноздри, поставить знаки и сослать на Нерчинские заводы «вечно», кроме сего, шестьдесят восемь казаков наказывались более умеренно – от плетей и ссылки в Сибирь с женами и детьми до отдачи в солдаты. Все же остальное мятежное казачество, две тысячи четыреста шестьдесят один человек, от наказания пока освобождены. Указано вновь привести их к присяге.

Меж тем возвратившийся уметчик Еремина Курица, войдя в хомутецкую, немало удивился: Пугачев, положив локти на стол и шевеля бородой, читал вслух книгу.

– Не пожелаешь ли послушать умных слов? – обратился он к хозяину и подал ему книгу. – Вот книжица. Нюхни!.. Всем книгам книга, такой ни у старца Филарета, ни у губернатора нетути. Книга сия немецкая.

Пораженный уметчик, умевший кое-как читать, поднес книгу к подслеповатым глазам – действительно, буквы в книге не русские, книга в важнецком из свиной кожи переплете пахла кисловато, вкусно, на переплете золотой орел, обрезы золотые. Хозяин наморщил лоб, недоуменно задвигал бровями, спросил:

– Откудов, гостенек дорогой, эту премудрость добыл?

– Бог даровал, – уклончиво ответил Пугачев (он купил ее за две копейки в Казани на толчке). – Садись. Слухай.

– Да неужто маракуешь не по-нашенски-то? – озадаченно спросил хозяин.

– Кабы не знал, не стал бы. Я по-немецки буду умом читать, глазами, а тебе – по-русскому калякать.

Чуешь?

– Ах, еремина курица, да откуда ж знаешь все это?

– Откудов, откудов... Не твоего ума дело, – сказал Пугачев. – Я в Пруссии был, в Туретчине был... Ну, слухай.

Вошли беглец-крестьянин Чучков с своей бабой. Пугачев закрыл книгу.

Баба сказала:

– Идите нито в баню-то, мужики. Жару много.

Уметчик, чтоб подальше от греха, бросил слушать чтение Пугачева и стал звать его париться. Парились вдвоем. Увидав на груди Пугачева, под сосками, два белых сморщенных пятна, уметчик спросил:

– Чегой-то у тебя такое?

Нахлестываясь веником, Пугачев смолчал, но подумал, что уметчик неспроста задал ему такой вопрос. Что бы это значило? Уже не видался ли уметчик с Денисом Пьяновым, которому Пугачев в конце прошлого года назвал себя Петром III?

Ужинали в хомутецкой, или «постоялой», горнице, в ней обычно останавливались прохожие и проезжие постояльцы. Русская глинобитная печь, возле нее у трубы – густые тучи тараканов, в углу рукомойник и лохань, в ней плавают арбузные корки. Стены черные, прокоптелые, и в солнечный-то день здесь мрачно. Воздух пропах кислятиной, копотью, дегтем, вонью прелых онуч. Вдоль стен – нары с пыльными, просаленными обрывками кошмы, ключьями овчинных полушубков, грязным тряпьем, пучками соломы в головах. На стене возле двери, на деревянных спицах – хомуты, вожжи, чересседельники.

После ужина Пугачев уходит с уметчиком спать на свежий воздух в большой сарай, по-казацки – «баз». Там широкая под пологом кровать со свежим сеником и большими пуховыми подушками. Спят крепко. Пугачев во сне то храпит, как конь, то бредит с визгливыми стонами и криком.

Поутру, умываясь у колодца, Пугачев прищурился на уметчика, заговорил:

– Вот, Степан Максимыч, ты давеча в бане спросил, что-де за знаки на мне. Так это знаки – чуешь какие?

– А какие такие знаки, еремина курица?!

– Курица, Максимыч, ты и есть, – с притворным упреком сказал Пугачев. – Ужели не слышал ничего о царских знаках? Ведь всякий царь от рожденья имеет их. Экой ты, право...

– Да ты, еремина курица, что? Откудов у тебя царские знаки могут быть?.. – воскликнул удивленный уметчик и приткнул на землю ведро с водой.

– Не сдогадываешься, значит, к чему говорю? – утираясь рушником, взволнованно произнес Пугачев. – Экой ты безумна-ай! – Пугачев швырнул рушник на плечо уметчика, сверкнул глазами, с властностью сказал:

– Да ведь я государь ваш Петр Федорыч...

Брови уметчика скакнули вверх, он покачнулся. Задыхаясь и потряхивая пегой бороденкой, стал выборматывать:

– Ерем кур... Ер кур... Как же это?.. Чтоб ко мне, в умет... Ер кур... ер кур... Ведь указы есть государыни Катерины... По всему свету, ерем кур, везде толкуют... Да нет, не может тому статья, ерем кур... Государь Петр Федорыч умер.

– Врешь! – грозно притопнул Пугачев. Уметчик вздрогнул, одернул рубаху, вытянул руки по швам. – Петр Федорыч, слава Христу, жив... Это выдумка была, что умер. Ты взирай на меня, как на него. Я и есть он, он и есть я.

В голове уметчика сразу – буря мыслей: в Царицыне государь объявился, Денис Пьянов убежал, разные слухи, золотой орел на книге, знаки на груди... И – все спуталось. Он стоял на дрожащих ногах и кланялся, кланялся и бормотал, не смея поднять глаз.

– Уж не прогневайся... Не прогневайся, ер кур. По глупости, по простоте с тобой как с простым человеком. Не вели казнить, ер кур...

– Да что ты, раб Степан! Чего же ради мне гневаться на тебя? – Пугачев взял его под руку и повел к окруженному ракетами пруду, где хлюпались утки. – Ведь ты же, Степан Максимыч, не ведал, кто я. Да и впредь до времени чтоб никакого почтения не оказал ты мне. Чувешь? А обходись со мной как с простым человеком. И что я государь, никому, окромя яицких казаков, не надо сказывать. Да и не всякому балакай, а только казакам войсковой стороны, а старшинской стороне избави Бог открыть. А ба-а-бам... – Пугачев строго пригрозил уметчику пальцем. – Чтоб ни единой бабе, ни войсковой, ни старшинской. А то они по великой бабьей тайности на базарах болты начнут болтать.

– Слушаюсь, надежа-государь, – во рту уметчика пересохло, сердце обмирало, как на крутых качелях. – Я Гришухе Закладному доложу, вы его знаете с евоным братом Ефремкой: как зимусь в прошлом годе лисиц промышляли они, вашей милости показывались. Григорий обещал вскорости быть.

– Хорошо, – сказал Пугачев. – Я помню его. Так смотри же, Степан Максимыч, постарайся. Ведь я тебя не оставлю, счастлив вовеки будешь. Ведай, тебе откроюсь: лютые вороги мои в цепи меня заковали, в тюрьму в Казань бросили, только Бог спас помазанника своего. Побереги меня, Степан.

Через три дня Григорий Закладнов действительно приехал в Таловый умет, выпросил у Ереминой Курицы ненадолго лошадь для работы и собрался уезжать. Уметчик тихо зашептал ему, указывая на Пугачева, задумчиво сидевшего возле база:

– Слышь, Гриша, как ты думаешь об этом человеке, велик ли, мал ли он?

– А я почем знаю... Ведь он ране сказывался купцом заграничным, Емельяном Ивановым.

– Царь это, – набрав в грудь воздух, выдохнул уметчик и уставился в бородатое лицо Закладнова. – Сам государь Петр Федорыч... На выручку, еремина курица, к вашей войсковой бедноте явился. Книга у него с золотым орлом, знаки. Вот, еремина курица, какие дела-то...

Закладнов разинул рот, сбил на затылок шапку и, замигав, воскликнул:

– Вот так диво дивное!.. Ну, стало, Господь-батюшка поискал нас...

К ним важной выступью, голову вверх, подходил Пугачев. Остановившись в трех шагах от Закладнова, он спросил:

– Слышал ли ты, Григорий, обо мне от Степана Максимыча?

– Слышал, батюшка.

– Ну, то-то же. Я не купец, а Петр Федорыч Третий, царь. Поезжай, друг, поскорейча домой и толкуй добрым старикам, чтобы ко мне приезжали, да не мешкали. Присугласи их... А коли замешкаются и добра себе не захотят, я ведь долго ждать не стану, я ведь скроюсь, как дым. Искать будете, а не найдете. А я держу в помыслах всех вас избавить от разорения старшин и на Кубань увести. Да смотри, Григорий, чтобы старшинская сторона не узнала. У тебя жинка имеется?

– Как же без жинки!

– Ну так и ей не говори. А то сыщики ваши по степи рыщут, всякий куст обнюхивают.

Закладнов, большим поклоном поклонясь, залез было в телегу. Уметчик сказал:

– погоди! каша упрела. Заправься да уж и поедешь тогда.

Закладнов обедал со всеми на голом столе, Пугачев – за особым столом, накрытым бранной скатертью. Возле Пугачева – книга. Когда он замечал, что вся застольица смотрит на него, брал в руки книгу и, шевеля губами, про себя читал. Григорий Закладнов только головой крутил да причмокивал.

2

...В Яицком городке возле церкви – несусветимый плач и вой: на многих подводах угонялись в Сибирь сто сорок четыре бедняцких души целыми семьями с малыми ребятишками и дряхлыми старцами. Огромное скопище бедноты, сбжавшейся на проводы, мрачно окружало готовый тронуться обоз, а народ все еще прибывал. Оцепившие обоз конные и пешие солдаты щетинили штыки, замахивались нагайками, понуждая народ не напирать и расходиться по домам. Офицерик-немец в темно-зеленом сюртуке и шляпе с белой выпушкой выкрикивал с коня:

– Какие тут узоры?! Р-р-разойдись!.. Н-не толпись! Что, что? По заслугам на каторгу везут... Зря не будут.

– Тебя бы, немецкого барина, туда-то, – запальчиво бросали бабы из толпы. – Тебе русской крови нешто жаль? А на них нет вины...

– Что, что? Благодарите все милостивейшую монархиню, что ваши головы остались на плечах...

– Благодарим, благодарим! – явно издевательски зазвенели мужские и бабьи голоса. – Много довольны государыней.

Офицерик-немец, притворившись, что не понял «оскорбления величества», весь вспыхнул, стегнул коня – и прочь от крикунов.

По улицам ходили патрули, не давали собираться в кучки. От дома коменданта, полковника Симонова, усугубляя страдания приговоренных, прогарцевала к заставе нарядная сотня богатеньких казаков. Заломив бараньи с бархатом остроконечные шапки, сверкая на солнце сбруей и оружием в чеканном серебре, сотня важно проехала мимо печального обоза. Богатенькие бросали презрительные взгляды на удрученно сидевших в телегах каторжан, своих былых товарищей. Те, отворачиваясь и скрежеща зубами, посылали им вдогонку проклятия.

Но вот команда: «Вперед, вперед!» – заскрипели телеги, обоз двинулся, увозя насильно в Сибирь сто сорок четыре души приговоренных. Выдохнув протяжное «о-о-ой ты...» – они истово закрестились на церковь с погостом, надрывно, давясь слезами, взголосоли в провожавшую толпу:

– Прощайте, прощайте, желанные казаченьки!.. Простите нас, грешных. Хоть когда вспомните... Прощайте, могилки сродников наших! Ой, рядышком не лежать нам с вами, белы косточки. Прощай, Яик вольный!.. Прощай, весь мир честной... Прощай, прощай навек, вольное казачество!

Толпа отвечала, как буря в лесу, общим ревом, взмахивала шапками, платками. Заглушая грохот и скрип обоза, громко рыдал весь народ в толпе и на телегах – от нежных девушек до бородатых, закаленных в боях казаков. Густейшая пыль, поднявшаяся в воздухе, размазалась по лицам сырой от слез гряздой. На тридцати пяти телегах – котомки, сундучки, кошель, мешки, и в каждом заветном семейном сундучке упрятан заветный узелок с родной землей – когда настигнет смерть в чужом краю, всякий чаёт получить под гробовую доску щепоть священнейшего праха, родной своей земли, облитой в долгую жизнь яицкого казачества немалою кровью и слезами.

Из дворов выбегали запоздавшие, бросались пред проезжавшими телегами на колени в пыль, земно кланялись, с болью слезно выкрикивали: «Прощайте, прощайте, страдальцы безвинные, до страшного суда Христова!» И так – по обе стороны дороги, пока двигался обоз, вплоть до самого выезда из города. У женщин, сидевших на телегах, от напряженного плача и выкриков лица пожелтели, голоса осипли. Иные женщины, обессилев, лежали поперек телег, лицом вниз, вздрагивая плечами, вздохнув, приглушенно рыдая. Их отцы, мужья и братья сидели с окаменелыми лицами; иной сидит-сидит, и вдруг слезы потекут,

он их не унимает, только головой трясет и хватается за сердце. Спокойно и даже с удовольствием сидели на телегах малолетки, весело переключаясь с соседями.

– Ванька! – кричал белокрысы трехлеток. – У нас конь уда-ле-е-е...

– Нет, наш лучше... У нас с хвосто-о-ом!..

– Акулька! Глянь, два кота на крыше-е-е...

– Наплева-а-ть! А у нас у бабушки брюхо схватило... Плачи-ит...

Обоз ушел, сто сорок четыре души уехали мучиться, умирать в чужую землю, покинув на родине заколоченные хаты.

Обоз ушел, но не ушло из Яицкого городка смертное уныние. Вольное дыхание увядало, как вянет зеленеющая крона дерева, у которого подрубили корни. Хотя жизнь все же кой-как тащилась, но всяк существовал теперь, стиснув зубы, и каждое казачье сердце нудно ныло, как исхлестанная езжалыми кнутами спина.

Солнце светит, но света не дает, птицы распевают, но людские уши замурованы, колокола залиристо и весело гудят, но каждому бьет в душу погребальный звон. И каждый видит пред собою отверстую могилу, куда «милостыню» зазнавшегося Петербурга и высокоmaterним попечением «благочестивейшей» императрицы свалены все вольности казацкие, свалены все вековечные устои свободолюбивого народа, задавлены и тоже свалены в могилу полные героизма мятежные вспышки казацкой бедноты, столь опасные для дворянского покоя Империи Российской.

И мерещится опальным казакам, что чьи-то услужливые руки уже похватили лопаты, чтоб эту отверстую могилу казачьих вольностей сровнять с землей. И мерещится казакам, будто ставят многочисленные виселицы, будто возводят эшафот и палач восходит по кровавым ступеням к плахе с топором.

Ждет, ждет казацкая громада избавителя, однако избавитель не приходит.

Но вдруг – как в подземном замурованном подвале, до отказа набитом людьми, где нечем дышать и не для чего жить, – вдруг чья-то сильная рука пробивает брешь и вместо смерти снова в подвале жизнь.

Вдруг, когда уже казалось, что все погибло, трубным звуком прогудела весть: «Избавитель нашелся!»

3

Шел теплый дождь, темнело. Еремина Курица задал лошадям овса, подбросил коровам сена, собирался домой на печку. Слышит, топочут кони, видит сквозь сутемень и сеть дождя – двое казаков-гулебщиков подъехали к умету.

– Не можно ли от непогоды укрыться у тебя, переночевать? – спросил низкорослый казак Кунишников. – А то сайгаков промышляли мы да запозднились.

– Заезжайте, заезжайте, места хватит, – сказал Еремина Курица, сразу сметив, что осторожные гулебщики не ради охоты на сайгаков приехали сюда.

Казачи соскочили с лошадей. Бородач Денис Караваев с бельмом на правом глазу, подойдя вплотную к Ереминой Курице, тихо проговорил:

– Не ты ли хозяин умета будешь?

– Я самый. А что?

– Да ничего. – Караваев помялся, повздыхал, с опаской поглядел по сторонам, спросил шепотом: – Правда ли, что у тебя скрывается человек, который будто бы называет себя государем Петром Федорычем?

Уметчик подергал пегонькую бородачку, переступил с ноги на ногу, боялся дать прямой ответ.

– Кто это вам наплел такие баляндрысы? – в смущеньи бросил он.

– Григорий Закладнов, вот кто.

– А-а, так, так, – сразу повеселел уметчик. – Стало, вы оба, ерем кур, войсковой стороны будете? Дело. В таком разе поведаю: есть у меня такой человек. Только теперя, ерем кур, видеться с ним не можно, чужие люди есть, а оставайтесь вы до утра, тогда уж...

Приехавшие пустили стреноженных лошадей на траву, пожевали хлеба с арбузом и, за поздним часом, устроились спать на базу на сене. У противоположной короткой стены сарая, за цветистой занавеской, ночевался Пугачев с хозяином умета.

– Гости, ерем кур, приехали к тебе, – ложась спать, шепнул уметчик Пугачеву, – утречком прими их, батюшка.

– Ладно, – шепотом же ответил Пугачев. – А ты утресь проведай, бывали ли они в Питенбурхе во дворце и знают ли, как к государю подходить? Ты прикажи им, как войдут ко мне, чтобы на колени стали и руку мою, руку облобызали бы.

Утром уметчик подошел к проснувшимся казакам, переговорил с ними, распахнул ворота сарая – хлынул ослепительный солнечный свет – и с торжествующим выраженьем помятого, еще не умытого лица отдернул занавеску. Казачи увидели пред собою сидящего за столом чернобородого, черноусого, с горящими глазами детину. Они вскочили, отряхнулись, оправили свои кафтаны и, подойдя к столу на цыпочках, упали на колени.

– Уж не прогневайтесь, вашество, мы путем и поклониться-то не смыслим, – с волненьем проговорил, заикаясь, бельмастый Караваев.

– Встаньте, господа казачи, – и Пугачев протянул им руку ладонью вниз. Те с робостью приложились к руке. – Ну а чего ради прибыли вы ко мне, господа?

– А мы к вам, ваше... величество, присланы милости просить и заступления за нас, сирых...

Пугачев взглянул в их лица пронзительно: уж не притворяются ли, не злоумышляют ли против него. Но лица их были подобострастны, голоса звучали искренно. Торопясь, но с толком казаки поведали Пугачеву о той немислимой беде, в которую попало Яицкое войско.

– А мы хотели по-старому служить, по прежним грамотам, как при царе Петре Великом.

Пока шла беседа, у Пугачева было то скорбное, то гневное лицо, он пыхтел, сжимал кулаки, бормотал: «Ах, злодеи, ах, негодники!» А как кончили, он огладил бороду, потрогал книжку с золотым обрезом и, выбирая слова, произнес:

– Ну, други мои, слушайте в оба уха, что скажу, и старикам вашим передайте... Ведайте, други, ежели вы хотите за меня вступиться, то и я за вас вступлюсь. Помогите нам, Господи... – и Пугачев, подняв к небу взор, двуперстием истово перекрестился.

Казаки заплакали, повалились Пугачеву в ноги:

– Приказывай, надежа-государь!.. Все войско примет тебя. Не выдадим, надежа-государь... Верь!

Сердце Пугачева вскачь пошло, губы запрыгали, он сморщился, сморгнул слезу, быстро встал.

– Ну, соколы ясные, детушки мои! У вас таперя пеший сизой орел, так подправьте сизому орлу крылья! – И Пугачев выкинул руки вверх и в стороны. Большие черные глаза его сверкали, весь вид его, невзирая на бедную одежду, стал важен и внушителен. Казаки, разинув рты, попятились. Обнимая их, он с дрожью в охрипшем от волнения голосе, говорил: – Я жалую ваше войско рекою Яиком, рыбными ловлями, угождями, всей землей безданно и беспошлинно... А также и санными покосами... И солью... Бери соль дарма, вези на все четыре ветра, кто куда похочет...

– Много довольны, ваше величество, милостью твоей великой, – вновь упали казаки в ноги Пугачеву. – Верой и правдой служить станем, крест поцелуем... Умрем!

В распахнутых воротах маячил, выставив бороду, беглый крестьянин Чучков. Внимая неслыханному разговору и тому, что казаки величают чернобородого надеждой-государем, Афанасий Чучков обратился в столб. Заметя его, Пугачев махнул рукой, крикнул:

– Иди, иди, брат, не твое дело тут!

Совещание в сарае продолжалось. Пугачев велел казакам приготовить знамена, купить голи разных цветов шелку и шнура, а ему, государю, наряд добрый, фасонистую с бархатным верхом шапку.

– Не можно ли записать надежа-государь, что да что надобно купить. А то у нас головы дырявые. Да добро было бы указ ваш выдать на войско.

Пугачев смущенно замигал, побряхтел, почесал за ухом, молвил:

– Ни чернил, ни бумаги нетути здесь. Я бы, конечно, написал. Впрочем сказать, ведомо ли вам, детушки, что указы пишут великие писари цареви, а император токмо подпись кладет? Ну так вот, поезжайте скорее на Яик, объявляйте войску обо мне да дня через два, много через три, опять сюда скачите.

– Сенокосы у нас, надежа-государь, страдная пора! Не можно ли, батюшка, недельку повременить? – сказали казаки, кланяясь.

– Ну нет, господа казаки... – возразил Пугачев строго. – Надобно как можно поспешать. А то в огласку дело пойдет, и вам и мне худо будет... Тогда меня здесь и не сыщете. Уж вы, детушки, старайтесь сами о себе... Да и о других пекитесь...

Кунишников с Денисом Караваевым сели в седла и, приветствуя Пугачева поднятыми на пиках

шапками, скрылись в степи.

Крестьянин Афанасий Чучков подбежал к Пугачеву, сдернул колпак с обритой по-каторжному головы, припал к ногам его и, целуя сапоги, выкрикивал сквозь внезапные слезы умиления:

– Батюшка, надежа-государь, не оставь рабов своих, холопов...

Пугачев поднял его.

– Скоро не станет рабов. И ты слободу примешь... А покудов никому не сказывай, кто я есмь, – сказал он и с проворством пошел к речке Таловой выкупаться. Его походка – четкая, быстрая, легкая. Чучков, глядя на него, залюбовался: «Ишь ты... Как девка складная идет, не по-нашенски, не по-мужиковски...»

Пугачев разделся, с маху бросился в речку. Лето кончалось, а вода все еще теплая, как молоко парное. Поплавал бы подоле, да спешить надо, и песню бы спел, да нет уж, опосля. Но в счастливые моменты Пугачев без песен не жил. Вот и тут, надевая одежду прямо на мокрое тело, он тенористо и складно запел:

При бережку, при лужку,
При счастливой до-о-оле,
При станичном табуне
Конь гулял на воле,
Казак был в нево-о-ле...

Пел с огоньком, бросая слова и выразительные взгляды в сторону Яика, ныне ставшего ему родным и близким.

Гуляй, гуляй, серый конь,
Пока твоя во-л-ля.
Вот поймаю, зауздаю
Шелковой уздою.
Ты бежи, бежи, мой конь,
Бежи, торопись...

– Да, верно, – оборвав песню, сказал он самому себе. – Торопись, поторапливайся, Емелька... Тебе, темному, на Иргиз к старцам треба спешить, писаря искать... А то казаки и впрямь в дураках оставят. Эх ты, ца-а-арь!..

Он вприскок – на умет и, на скорую руку похлебав овсянки, заторопил Еремину Курицу ехать с ним на Иргиз-реку.

– Не опасно ли, батюшка? – предостерег его уметчик. – Ведь вас знают там все...

– Бог сохранит, – сказал Пугачев. – Мне письменного человека в канцелярию мою до краю надобно. А их, чаю, в скитах довольноно.

4

Дорога была грязная. Путники на двух сытых конях ехали верхами степью. В Исаакиевском скиту остановились. По приказу Пугачева уметчик сбегал к старцам, отыскал игумена, сказал ему, что объявился государь Петр Федорыч и что оный государь приказывает всем скрытным в иргизских скитах беглецам немедля идти под Яицкий городок и там дожидаться повелений. Игумен перекрестился, сказал:

– Дай-то Бог. А скрытных людей нет у нас. Было человек с полсотни, да от команды сыщиков поразбежались все. А как соберутся – пошлю, непременно пошлю.

Путники тронулись в Мечетную слободу, к куму Емельяна Ивановича – Степану Косову, тесть которого, старик-крестьянин Семен Филиппов, в прошлом году с испугу донес на Пугачева. Сердце не лежало ехать к куму, да Пугачеву пришла блажь выволить от Степана Косова свое имущество.

Прибыв в Мечетную, уметчик остановился у околицы, а Пугачев поехал к куму, но дома не застал того – кум возил хлеб на гумно. Пугачев направился к жнивью и возле слободы встретил возвращавшегося домой Косова. Тот изменился в лице, глаза его испуганно забегали.

– Откудов Бог принес тебя, куманек?.. Вот встреча... – озираясь по сторонам, сладко запел он.

– Откудов – сам ведаешь, – неласково ответил Пугачев. – Дай Бог здоровья тестю твоему, в Казанском остроге по его милости тюрю с червяками хлебал. А вот, кум, помнишь, поди, у тебя рубахи мои, да рыба, да лошадь осталась...

– Все, родимый мой, в Малыковку забрали, да и меня не единожды таскали на допрос... Слых был, что ты из тюрьмы утек... Верно ли? А паспорт-то, Емельян Иваныч, есть ли у тебя?

– Знамо есть, – зорко всматриваясь в лицо кума, ответил Емельян.

Степан Косов, мужик большой, сильный, шел по дороге пешком, рядом с ним ехал в седле встревоженный допросом Пугачев.

– А покажи-ка.

– Для ради каких делов, кум, запонадобился тебе мой паспорт?

Путники вступили в край Мечетной слободы.

– Паспорт-то? – переспросил кум и, завидя двух жителей, стоявших у ворот, поманил их рукой к себе. Те стали лениво подходить. Косов шагнул к Пугачеву, сказал в упор: – А пойдём-ка лучше к нашему выборному, – и протянул руку, чтоб схватить коня за узду.

Но Пугачев, опоясав плетью сначала кума, потом своего коня, помчался. Под быстрый топоток копыт, под шум ветра в ушах в его сознание внезапно вломились отрывки песни:

Ты бежи, бежи, мой ко-о-нь,
Бе-е-жи, торопи-ися...

Он покрепче нахлобучил шапку, взмотнул локтем, захохотал.

– Чего ты, ерем кур?! – крикнул подскакавший к нему уметчик.

– Лихоманка задави этого Косова, – вытирая пот с лица, ответил Пугачев. – Собака, паспорт требует. Было за грудки взял. Едва утек...

– Пошто же ты, батюшка, поехал к таким злодеям?

– Айда к скитам! Уж там-то нас не вдруг сыщешь... – и всадники ударились к Тимофееву скиту, что верстах в пятнадцати от Мечетной.

Было уже темновато, а в лесу и совсем темно. Всадники, перекрестившись на избяную церковь с восьмиконечным «древлего благочестия» крестом, въехали во двор скитского игумена, старца Пахомия. Вкусно пахло свежим хлебом.

Из пекарни вышел маленький курносый старец с седой косичкой.

– А, купец никак, раб Божий обшит кожей... Хе-хе... А это кто? Эге!.. Еремина Курица... Ах ты, живая душа на костылях, – посмеиваясь и щуря глазки, шутил старец.

Пугачев слез с коня, спросил:

– А нет ли, отец Пахомий, у ты письменного человека?.. Шибко надобен... А опричь того – беглецов нет ли?

– Да вот я! – воскликнул веселый старец и подбоченился. – Я и письменный человек, и беглец, и на дуде игрец... Хе-хе-хе...

В этот миг по дороге затарахтела топотня, на быстрых рысях пробежала ватага конников, впереди на рослом мерине пугачевский кум – Косов.

– Погоня, ер кур, ер кур... – прошипел уметчик.

Тут Косов вдруг завернул коня, крикнул своим:

– А вот, кажись, и они... Айда во двор, робята!

Пугачев, бросив лошадь, стремглав кинулся мимо пекарни, мимо старцевых келий, по огородам, через тын, скакнул в челн и, подпираясь шестом, переправился на тот берег реки Иргиза.

Чрез сутемень долетали до него крики, ругань во дворе Пахомия.

– Говори, чертов сын, куда утек смутьян? – сердито спрашивал Косов помертвевшего уметчика.

– Эвот-эвот туды он побежал, ер кур, – бормотал уметчик, кивая головой. – Вон в ту келейку.

Уметчика заперли в баню, и человек двадцать погони вместе со старцем Пахомием принялись обшаривать все кельи. Ударили в набат. Медный колокол гулко бросал сплошные звуки во все концы надвинувшейся ночи, в дремучий за Иргизом лес, в котором укрылся Пугачев. На звон набата вылезли из своих дальних келий сонные старцы. Творя «Исусову молитву», озираясь, искали, не зачался ли где, Боже упаси, пожар. Даже с соседнего, Филаретовского, скита приехали на конях люди. Поиски бесплодно продолжались, сентябрьская ночь была темна, а в скиту – всего два самодельных фонаречка.

Погоня, захватив с собой арестованного уметчика, уехала ни с чем.

Когда все смолкло, Пугачев перебрался обратно чрез Иргиз, зашел в монастырский двор. В кельях крепко спали. Он тихонько отворил дверь в пекарню, принюхиваясь, нащупал в темноте буханку хлеба, разломил ее, покормил хлебом своего коня и сам почавкал с аппетитом.

Не торопясь, Пугачев залез в седло и прилепнул застоявшуюся лошадь по ядреной холке. Ехал лесом, озираячись. Дремучий лес безмятежно спал. По всему Иргизу, по всем марчугам и сыртам лежала ночь. Он посмотрел на звездное небо, ковш Большой Медведицы зацепил собою черную кайму лесов – невзадолге и рассветать начнет.

Пугачев крутил головой, дивился незадачливому дню. Но уныния и в помине не было, он легонько посвистал и замурлыкал себе под нос:

Гуляй, гуляй, серый конь,

Пока твоя во-о-ля...

Милое слово «воля» взбадривало его, он смело глядел вперед, в свое будущее и чрез открывшиеся степи, залитые розоватым светом восходящего солнца, правил серого коня к осиротевшему теперь Таловому умету, где должны ожидать государя своего от Яицкого воинства гонцы.

Глава XI

Посмотренье царю гонцы делают с сумнительством. Петр так Петр, Емельян так Емельян

1

Яицкий городок осушал от слез глаза, солнце стало светить по-иному, а сердца многих сжимались волнующим предчувствием. Почти никто еще ничего путем не знал, но слухи о новоявленном царе распространялись. Этому способствовали бельмастый бородач Денис Караваев и низкорослый, с простоватым лицом, Кунишников, недавно вернувшийся домой из Талового умета.

Молодой казак войсковой стороны, краснощекий Мясников рано утром заглянул в дом Дениса Караваева, проведал о «батюшке» и с этой вестью поспешил к дружку своему Чике-Зарубину. Тот сидел в предбаннике, лил свинцовые пули с Петром Кочуровым, известным выпивохой.

– Слыхали чудо? – и белобрысый, мордастый Тимоха Мясников, покручивая маленькую бороденку клинышком, было принялся рассказывать.

– Чудо не чудо, – перебил его быстроглазый Чика, – а этот слух мне давненько в уши влетел, мне Гребнев сказывливал, а ему Гришуха Закладнов, живовидец... Только я шибкой веры не даю, мало ль что брякают... Вот болтали же, что в Царицыне объявился царь, ну ему ноздри и вырвали, царю-то...

Мясников не хотел распространяться при запивохе Кочурове, он позвал Чика с собой на базар, живенького-де поросеночка присмотреть. Путем-дорогой Мясников говорил:

– Батюшка ведь повелел прислать к нему двух человек. Не поехать ли нам с тобой, Чика?

– А за чем дело стало? Вот завтра и поедем, не мешкая, – ответил падкий до приключений Зарубин-Чика.

– Караваев толковал, что он тоже собирается с кем-то к батюшке...

– Ну и пускай едут, – сказал Чика, – они своим чередом, мы – своим.

Их встретили двое молодцов войсковой стороны.

– Куда, братцы, шагаете? Не на базар ли?

Остановились, стали закуривать, трут не зажигался, шутили, смеялись. Подошел патруль из трех солдат.

– Расходись, расходись, казаки-молодцы, – мягко сказал старший. – Нешто не читали приказа комендантского?

– Неграмотны, – прищурил глаза черный, как грек, Чика. – Уж шибко много приказов комендант вам пишет, лучше бы жалованья поболее платил.

– Попридержи язык, – изменив тон, строго сказал старший. – Я, брат, помню тебя... В канун преображенья Господня, помнится, по тебе плеть гуляла... Иди-ка, брат.

– Сегодня в твоей руке плеть, завтра в моей будет, – бросил задирчивый Чика и зашагал прочь, бубня:

– Дождетесь, косы-то девкины овечьими ножницами обстрижем...

А в другом и в третьем месте появлялись патрули, следили, чтоб казаки войсковой стороны не табунились. Подходя к своей хате, Чика увидел пятерых, сидевших в холодке, казаков, они резали ножами арбузы и сторожко, озираясь во все стороны, вели беседу.

– Мне сам Денис Караваев сказывал, – потряхивая рыжей курчавой бородой, говорил вполголоса веснушчатый Андрей Кожевников. – Доподлинный государь на Таловом умеете... Приглашает казаков к себе, двух, либо трех, вроде как депутатов войсковых.

– Беспременно надо ехать к батюшке, – подхватили казаки. – Эй, Чика, садись на чем стоишь!..

– К кому это ехать? – спросил Чика, присаживаясь к товарищам на луговину и подцепив сочный кусок кроваво-красного арбуза.

– Да ты что, впервой слышишь? Ведь объявился государь!

– Неужто? А кто вам сказывал? – прикинувшись непонимающим, спросил Чика.

– Да Денис Караваев с Кунишниковым, вот кто, – с раздражением ответил рыжебородый Андрей Кожевников. – Доведется ехать укрыть его, батюшку, а то у старшинской стороны ноздри широки, как у верблюда ухо, живо пронюхают... Не возьмешься ли ты за это дело, Чика? Государя побережь?!

– Отчего не взяться, я возьмусь, поеду, – не задумываясь, ответил тот. – А куда же укрою его?

– А уж это не твоя печаль, – сказал Андрей Кожевников, поплеывая арбузными семечками. – Вези прямо ко мне на хутор, там Михайло да Степка, братья мои. Там есть, где укрыться. Стало, едешь?

Чика охотно согласился и на это предложение Кожевникова, утаив от него, что дал слово также и Мясникову ехать к «батюшке». Казаки, завидя патруль, похватили недоеденные арбузы и быстро разошлись.

В это время к бельмастому бородачу Денису Караваеву постучался в калитку высокий, сутулый, с надвое расчесанной темно-русой бородой Максим Шигаев. Ему открыла белобрысенькая девчоночка в красном платке. Караваев, от которого начались все слухи о «батюшке», сидел у печки, рылся в огромном сундуке, окованном железом. Ему помогала жена его, румяная и круглая. На полу навалены цветные тряпки, бабьи наряды.

– Здоров будь, Денис... Здорово, Варвара, – поприветствовал Шигаев. – Чего это вы тут ярмарку развели?..

– Да вот... по хозяйству... Девчонке ленту ищем подходявяую, – запнулся хозяин.

Варвара неприязненно покосилась на гостя и вышла.

Умный Шигаев сразу сметил опасливое настроение хозяев. Усаживаясь на скамью, спросил:

– А правда ли, Денис, сказывают, в Таловом умеете царя ты видел?

Караваев взглянул в серые, острые глаза гостя – и от-рекся:

– Ничего не знаю я... Это народ плетет... Глупость какая!

Казаки войсковой стороны относились к Максиму Григорьевичу Шигаеву с подозрением: 13 января прошлого года он принимал большое участие в кровавом деле против старшин и генерала Траубенберга, но почему-то был помилован и не понес никакого наказания. Хотя официально всякому было ведомо, что Шигаев прощен за спасение капитана Дурново от смерти, однако подозрительные казаки плохо этому верили и меж собой толковали: «Наверняка из войсковой в старшинскую сторону Максим Шигаев по

тайности переметнулся».

Видя такое к себе недоверие хозяина, Шигаев помрачнел, еще больше ссутулился и, глядя в пол, сказал:

– Понапрасну вы, братцы, сторонитесь меня. Я завсегда за народ. Не я ли первый с тремя стариками да с иконами на Траубенберга шел, а вы все бочком-бочком да возле стенок? Добро, что от картечи меня Бог избавил, мимо просвистала... Эй вы, нелюди, обижаете меня зазря. Что ж вам, сердце свое, что ли, вынуть: на, смотри!.. – Он говорил быстро, заикаясь, затем встал, мазнул рукой по надвое расчесанной темно-русой бороде и зашагал к выходу. – Прощай!

– Постой, Максим Григорыч, – остановил его пристыженный Караваев. – Не потаю от тебя: доподлинно видел человека, кой называет себя Петром Федорычем. С Сергеем Кунишниковым оба-два – мы были у него третьеводнись. Царь приказал чрез три дня прибыть к нему. Поедем-ка со мной, голубь... раз ты не супротив народа... Ты человек головастый и в Питере бывывал, вот и посмотришь государя, перемолвишься с ним.

– Давай, поедем... – с готовностью согласился Шигаев, серые, острые глаза его подобрели.

– А мы вот с бабой, уж не потаю от тебя, тряпочек цветных государю-то выискиваем на хорунки^[75] да позументу... Он наказывал. Стало, завтра двинемся?

– Ладно. Уж раз сказал, вилять не стану.

Меж тем Зарубин-Чика еще с вечера стал собираться в путь со своим дружкой Мясниковым. Жена Чики, узнав, стала бранить его:

– Забулдыжник!.. Этакое дело затеваешь... Да тебе ли нос совать? Мало тебя дерут да в каталаге морят за буйство за твое?

– Замолчь! – заорал Чика и, предупреждая жену, чтоб она о «батюшке» никому и пикнуть не могла, оттрепал ее за косы.

В избе Мясникова тоже происходила свара. Молодой краснощекий Мясников боялся жены, как заяц волка. Жена у него суровая, черноглазая и сильная, любила погулять и выпить. Когда Мясников робко заикнулся, что завтра собирается с Чикой депутатом к государю, Лукерья сразу оглушила его страшным криком, сорвала с полки вожжи, чтоб дать мужу лупку. Мясников было схватился за саблю, но, опамятававшись, бросился спасаться в огород. Лукерья настигла его, свалила меж гряд и потрепала. Тихий Мясников побожился Лукерье, что не поедет гонцом к «батюшке». И примиренье состоялось.

Утром за Тимофеем Мясниковым заехал громкоголосый, никогда не унывающий Зарубин-Чика. Лукерья дома не было, ушла к обедне в церковь.

– Уж, полно, ехать ли нам, – стал мяться Мясников, вспомнив вчерашнюю перетырку с бабой. – И без нас найдутся... Да и пошто ехать-то? Как бы худа какого не было...

– Ну и дурак ты, Тимоха... Вот баба! Ведь вчерась ты сам меня звал. Сбирайся живо, толсторожий черт! – дружески заругался горячий Чика. – Вроде как гулебщиками будем, я и ружьишко прихватил.

Друзья выехали верхами в Таловый умет. А спустя часа два следом за ними потряслись в телеге и Денис Караваев с Максимом Шигаевым. Им и в мысль не приходило, что впереди них правятся «на посмотренье к батюшке» два других посланца войсковой стороны – Мясников и Чика.

Всадники прибыли в Таловый умет к вечеру. Зарубин-Чика спросил подметавшего двор крестьянина, дома ли хозяин и тот человек, что живет у него. Крестьянин ответил, что оба они, и хозяин и гость, куда-то уехали, а скоро ль вернутся, он не знает.

– Да не ты ли Афанасий Чучков? – спросил Чика.

– Я самый, а вы кто такие будете?

– Ты нас не страшись, – и Чика назвал себя с товарищем. – Мы депутаты от войска к батюшке-царю, гонцы. Вот видишь, и твое имя узнали. Не святым же духом мы. Нам сказано было. И ежели государь где схоронился, толкуй нам без боязни: мы слуги его величества.

Тогда крестьянин сказал:

– Царь велел, чтоб вы его подождали тут... А он, правда, что уехал, не вру... Сегодня в ночь, а то завтра будет здесь во всяком разе...

Зарубин-Чика понимал, что оставаться возле умета при большой дороге опасно: мало ль тут народу проезжего да прохожего бывает. Он сказал мужику:

– Мы в степь подадимся. Вон возле тех кустов крутиться станем. И заночуем там. А как батюшка пожалует, кликни нас.

Другая пара – Максим Шигаев с Караваевым, – не доехав верст трех до умета, заночевала в степи. Утром, бросив телегу в кустах, Денис Караваев погнал верхом в умет. Крестьянин Чучков сказал ему, что ни «батюшки», ни Ереминой Курицы нет еще, а вот два казака прибыли сюда, Мясников да Чика, эвот-эвот они за теми кустышками живут.

Услышать о двух незваных свидетелях Караваеву было неприятно. Ну, Мясников туда-сюда, а вот Чика – человек причинный и нахрапистый, от него всячинки можно ожидать. Вообще Караваев, да и не он один, а многие казаки побаивались друг друга «при начатии столь великих дел». А вдруг неустойка... Господи ты Боже мой!.. Хорошо, ежели петля, а то – четвертовать учнут.

– А ты ничего не сказывал им про государя?

– Все обсказал... Они назвались епутатами. Ну, я и... тово...

– Ах ты, чудак-рыбак... Пошто ж ты всякому ляпаешь? Договоришься, снимут с плеч башку, – уныло поблескивая бельмом, пенял ему Караваев. – Ну, я с товарищем по ту сторону речки буду. Когда приедут, уведошь, мальчонку пошли...

Подъезжая к «ночеве», Караваев заметил у своей телеги двух всадников, Мясникова и Чику. А Максима Шигаева, с которым он приехал, возле телеги не было. Зная отношение к себе казаков и опасаясь встречи с Чикой, грубияном и охальником, осторожный Максим Шигаев спрятался в приречных камышах.

– Здорово, Денис Иваныч! – крикнул Чика навстречу подъехавшему Караваеву. – Сайгачишек, что ли, пожаловал стрелять? А где же товарищ твой? Мы тебя сам-друг видели. Кто он таков?

Караваев уставился бельмом на Чику, неохотно сказал:

– Да тут... как его... калмычонок один подсел ко мне. Сайгаков ушел промышлять, надо быть.

Зарубин-Чика на всю степь захохотал:

– Ой, да и лукавый ты, Караваев!.. Даром, что долгобородый, а лукав, лукав, брат. Ведь ты к государю, к Петру Федорычу, приехал с Шигаевым... А то-о-же – калмык, калмычонок... – И Чика снова захохотал во все горло.

– Полно врать-то тебе, болтушка, – огрызнулся Караваев. – Мы и не слыхивали этого ничего. Откудов здесь государю быть? Окстись!

2

В это время «государь» прибыл в умет. От двух бессонных ночей лицо его утомлено, глаза потускнели.

Крестьянин Чучков, низко кланяясь и пособляя слезть «батюшке» с седла, спросил:

– А где же Еремина Курица?

– Курицу твою петухи затоптали в скиту у Пахомия, – грустно улыбнулся Пугачев. – А мужики из Мечетной весь хохол ей повыдергали да, поди, и во щи покрошили. Ну а был ли кто от войска Яицкого?

– Были, были, надежа-государь. Четверо!

Афанасий Чучков вместе с племянником Ереминой Курицы, Васькой, залезли на крышу сарая, стали махать шапками.

Быстро прискакал Карavaев. Простодушно осклабясь, он поздоровался с Пугачевым как со знакомым и пригласил пожаловать в свой стан, к телеге, где дожидается казак Шигаев.

Пугачев попросил Ваську подмазать свои рваные сапоги дегтем, встряхнул пропылившийся армяк, подтянулся, расчесал медным гребнем волосы на голове и бороду, сел на свежую карavaевскую лошадь и поехал рысцой вперед. А Денис Карavaев направился пешим вслед за ним.

Подъехав к задумчиво сидевшему на траве возле телеги Максиму Шигаеву, Пугачев слез с коня, поклонился казаку и молча сел рядом. Горбоносый, с надвое расчесанной бородой, Максим Григорьевич Шигаев показался Пугачеву степенным и заслуживающим доверия. А Шигаев, приняв Пугачева за простого человека, не обращал на него никакого внимания, он нетерпеливо поглядывал на Карavaева, подходившего к ним, и громко закричал ему:

– Ну как, Денис Иваныч? Не прибыл еще сам-то?

– А вот он, вот наш батюшка, – указал тот, подходя, на Пугачева.

Оторопевший Шигаев вскочил, бросил робкий взгляд на Пугачева, сорвал с головы шапку и со всем почтеньем поклонился ему:

– Ой, прости, милостивец, что по дурости своей казацкой шибко дрянно обошелся с тобой.

– Ништо, ништо, друг мой, – проговорил Пугачев. – А вот скажи-ка мне, чем закончилась ваша тяжба со старшинами, с недругами вашими?

Высокий и тонкий Максим Шигаев, сутулясь и держа руки по швам, принялся рассказывать. А Карavaев, раскинув на лугу большой женин платок, как скатерть, стал готовить угощение: сотовый мед, яблоки, арбузы. Вдали, быстро приближаясь к становищу, показались два всадника. Шигаев оборвал речь, выкрикнул:

– Ишь ты! Опять Чика с Мясниковым. Боюсь этого вора Чики, человек он сорви-голова, задира. Давай, государь, схоронимся в камыши, пускай они своей дорогой правятся. А то с этим Чикой пропадешь, пожалуй.

Шигаев и Пугачев, не раздумывая, поспешили в кустарник и, отойдя немного, засели в камыши, а Карavaев торопливо стал прятать в телегу угощение.

– Где государь? – еще издали закричал Чика. – На уме сказывали, что он здесь-ка.

Карavaев растерялся, смотрел на подъехавшего ближе Чикой озлобленно, не зная, что ответить ему.

– Чего шары-то уставил на меня? А это чья шапка? – и Чика указал кнутом на валявшуюся шапку

Шигаева. – Я все равно не уеду отсель, пока своеглазно не увижу, хоть трое суток просижу. Мясников, слезай!

Оба всадника соскочили с коней.

Караваев волновался, большую бороду его шевелил легкий ветерок. Он вздыхал, бормотал себе под нос, бесцельно ходил вокруг телеги, вытащил из передка мешок. Чика смотрел на него выпуклыми черными глазами насмешливо и нагло. Караваев не выдержал, прерывающимся голосом заговорил:

– Слушай, Чика. Только ты не обидься, друг. Мы, признаться, опасаемся тебя. Сам знаешь, дело у нас затеялось, прямо скажу, страховатистое, голов лишиться можем.

– Ну?

– Поклянись, что ты зла нам не учинишь... Тогда мы тебе батюшку покажем. – Денис Караваев достал из мешка икону и водрузил ее на телегу, прислонив к арбузу. – Вот помолись-ка, брат, Богу да клятву принеси. Тогда поверю тебе.

Зарубин-Чика с Мясниковым, помолясь иконе, облобызали ее и поклялись держать все в тайне.

Караваев, как живой воды хлебнул, быстро спрятал икону, залез на телегу, повернулся в сторону речки и призывно закричал:

– Максим! Шигаев!.. Выходи...

Из кустов вышел Пугачев, за ним – длинный Шигаев. Быстро и четко ступая, Пугачев приблизился к телеге.

– Здравствуй, войско Яицкое! – приподнятым тоном сказал он. – Раньше ваши отцы и деды, да и сами вы в Москву да в Питенбурх к великим государям ездили, а ныне Бог внял слезам вашим – сам монарх явился к вам. Вот я тот, кого ищете, Петр Федорыч Третий, царь.

Мясников и Чика низко поклонились Пугачеву. У Чики кровь прилила к щекам и заныло сердце: он чаял увидеть царя в сиянии и славе, а пред ним простак.

– Бояре возненавидели меня: ведь я за простой люд заступник был, а бояр не миловал. Они меня престола лишили и задумали извести смертью, да Бог сохранил помазанника своего. Я долго странствовал. А ныне положил в сердце своем снова на престол вступить... Окажите мне, детушки, защищение и помощь.

Голос Пугачева звучал искренно, речь выходила складной, в печальном, исхудалом лице – большая скорбь, но глаза, глядевшие в упор на Чику, горели решимостью. Казаки вперебой проговорили:

– Послужим, батюшка... Рады служить тебе...

Караваев суетливо готовил трапезу. Пугачев сел на траву. Сзади него стоял Максим Шигаев. Денис Караваев кромсал арбуз, преподносил на кончике ножа лучшие куски царю. Подошел с умета крестьянин Чучков, поклонился и, не дожидая приглашенья, сел рядом с Пугачевым, подогнув под себя ноги в трепаных лаптях. Мясников и Чика, стесняясь сесть с государем без зову, отошли к телеге, присели на оглоблю. Караваев подставил Пугачеву на блюде мед. На запах налетели из тальника осы и шмели. Шигаев отмахивал их от государя шапкой.

– Да, други мои, – говорил Пугачев, исподлобья все еще косясь на Чику. – Много я за двенадцать лет скитаний претерпел бедности. Вот и ныне, видите, какой? – он с пренебрежительной ухмылкой одернул полу армяка, вздохнул: – А мне ли, государю, в сем непотребном платье хаживать? Ничего, терплю... Народ мой верный еще пуще терпит.

– Терпим, терпим, батюшка... Ну, да об эфтом в другой раз, в свободное времечко, а теперича, ваше

величество, покажи-ка нам, батюшка, свои царские знаки, – осмелев, проговорил Денис Караваев. Он, в сущности, сказал то спроста, сгорая нетерпением, чтоб все присутствующие, особливо коварный Чика, скорей уверовали в царя новоявленного.

Пугачев вскинул голову, сдвинул грозно брови и бросил Караваеву в упор:

– Раб ты мой, а хочешь повелевать мною!..

Все враз замерло: Денис Караваев от резкого окрика «батюшки» побелел, Чика разинул рот. Мясников привстал с оглобли. Максим Шигаев, кланяясь и желая скрасить грубость Дениса, сказал певучим голоском:

– Не прогневайся, свет наш... Мы не обучены... Мы путем и молвить-то не смыслим.

Пугачев схватил нож и, проговорив:

– Раз не верите, так смотрите же, – распорол ворот рубахи. – Ведайте, вот знаки царские...

Все нагнулись над знаками на груди пониже сосков. У толстощекого Тимохи Мясникова руки и ноги от страху затряслись. Казаки, прищелкивая языками, выражали удивление, Денис Караваев даже перекрестился. Только Зарубин-Чика остался осмотром недоволен, он отошел в кусты тальника, там, крадучись, просмеялся, затем вышел из кустов и стал шептать Караваеву, стараясь удержаться от улыбки:

– А пошто же он в бороде и стрижен по-казацки? Да и сряда мужичья. Царь-то Петр Федорыч на портрете бритый, видывал я в канцелярии.

– А это он, свет наш, опаски ради укрывает себя, чтоб сыщики прицепки не сделали. Сего для и бороду запустил в рост.

Подслушав шепот, Пугачев приободрился.

– Царь есть великая особа, други мои, – поучительно начал он. – Когда государь сидит на престоле, он народа своего не зрит и скорбей его не чует. А вот пришел царь в народ, его не с радостью, а с сумнительством встречают. Эх, детушки, детушки!.. А вы верьте мне. Вот примечайте, как узнают истинных государей, – и, раздвинув на левом виске волосы, он показал след от старой оспины.

– Надежа-государь, орел это, что ли? – пополам согнувшись над сидевшим «государем» и уставя горбатый нос в белое сморщенное пятнышко, робко спросил длинный Максим Шигаев.

– Не орел, а императорский герб, друг мой.

– Что ж, надежа, все цари с гербом рождаются, алибо промыслом Божим по восшествии на престол сие творится?

Пугачеву почудилась в голосе Шигаева издевка.

– Из предвеку так, – сурово произнес он, подымаясь. – А и то сказать, вам, простым людям, оной тайны ведать не положено. – Пугачев видел, что ему плоховато верят. Скорбно у него на сердце стало и жутко. Он каждую минуту ждал, что его обзовут вором и набросят на шею аркан. Ба! Да ведь у него есть книжка с золотым орлом! А не поможет ли она убедить казаков в его царственном происхождении? Он хлопнул себя по карманам штанов, суетливо пощупал за пазухой – книжки не оказалось: видимо, он обронил ее в иргизском лесу, спасаясь от погони. «Дурак, дурак, этакую знатную вещицу потерял». Но медлить недосуг. Внутренне взволнованный и оробевший, он выпрямился во весь рост, сложил руки на груди, с гордостью откинул голову и спросил отчаянным голосом: – Ну, верите ль таперя мне, детушки, что я есть истинный царь Петр Федорыч, владыка ваш?

– Верим! Верим! – дружно откликнулись казаки. – За великого государя признаем.

Пугачев весь затрясся и смахнул с побелевшего лица горошины пота.

Наобещав казакам всяких благ, он приказал двум из них ехать в городок за хорунками, а двум оставаться здесь, оберегать его особу.

Шигаев с Караваемым выехали в Яицкий городок, а Пугачев с Чикой и Мясниковым направились в степь.

3

Двигались верхами. Ночевали в степи без костров, таились, опасаясь сыщиков коменданта Симонова. Утром опять тронулись в путь. Чика вел царя чрез Сырт, гористой степью, на хутора братьев Кожевниковых.

Пред Пугачевым расстилались незнакомые, скучные места. На душе было смутно, тягостно, он не знал, что его ожидает впереди. Он весь теперь в зависимости от Чики и Мясникова. А что у них в мыслях? Может быть, оба казака – предатели. Ну, этот краснощекий, с беленькой, клинышком, бородкой, кажись, парень ничего. А вот черный лупоглазый Чика? Выжига, околотень какой-то, прямо – черт? Ведь Чика сразу усомнился, что Пугачев есть царь, да, поди, и теперь не верит. Неужто они, дьяволы, предадут его? «Эх, Емельян, Емельян... Не попятиться ли тебе, отпетая твоя головушка, пока не поздно?.. Подумай-ка над тем, что затеял ты, дитячко безумное... Ради малых ребятишек, ради жены да матери родимой пожалей бесшабашную башку свою». В тяжелом раздумье Пугачев ехал на серой кобыле, повесив голову и надсадно вздыхая.

Гуляй, гуляй, серый конь,
Пока твоя во-оля... —

снова назойливо пришла ему на память все та же песня. Но милое слово «воля», получив на этот раз особый зловещий смысл, направилось отравленной стрелой против его собственного сердца. И сердцу стало невыносимо больно. Где она, золотая воля? Была – и нет ее. – Вздремнулось, ваше величество? – спросил его ехавший справа Чика.

– Вздремнулось, казак. Третью ночь не сплю.

– Скоро на месте будем, – проговорил Чика и почему-то вздохнул.

Пугачев протер глаза, встряхнул плечами, задумался. Он посмотрел по сторонам – все та же выжженная степь, кой-где холмики, кой-где деревцо торчит.

Исподволь, незаметно, и степь, и небо, и все четыре конца земли свернулись, словно необозримый плат, обняли Пугачева, приплюснули, он стал, как в мешке, охваченный со всех сторон какой-то плотной пустотой, и – все исчезло.

Он зябко вздрогнул, шире открыл глаза – степь, небо, голова в голову Чика мотается в седле. Пугачев уголком глаз поглядел чрез плечо в чубастое, чернобородое, медное от загара лицо казака и заговорил:

– Петр Первый, покойный дедушка мой родной, странствовал в чужих землях лет семь. А я вот десять годков за границей пробыл. Да два года меж простого люду странствовал по Россиюшке... И где только не привел мне Бог побыть.

Казаки молчали, словно оглохли оба.

– Ведь Иван Окутин, старшина ваш, поди, помнит меня, – продолжал он менее уверенно. – Поди, не забыл, как я жаловал его саблей да ковшом, когда в цари садился.

Казаки молчали.

«Плохо дело», – решил Пугачев и не на шутку сробел. Конь под ним закачался, степь заколыхалась, пред глазами встал туман. Напряжением воли овладев собой, он спросил:

– А как вы, други мои, полагаете, согласны ли будут ваши казаки признать меня?

Опять молчание. Пугачева бросило в холод, потом в жар. Но вот Тимоха Мясников ответил:

– А кто ж их знает, ваше величество, может статься – примут, а может, и не примут...

А Чика добавил покровительственно:

– Уж мы постараемся, ваше величество. Люб ты нам.

Теперь недоверчиво взглянул на него Пугачев: «Вот, поди, узнай, что у человека на сердце». Просверкала речка Малый Чаган, поросшая тальником. Невдалеке, на взлобке серел Чаганский форпост. И как легли сумерки, три всадника подъехали к хутору младшего брата Андрея Кожевникова, Михайлы.

Михайло сидел на завалинке со стариком, отставным казаком Шаварновским. Седоусый казак жил из милости на хлебах братьев Кожевниковых в отдельной избе.

– Куда, братцы, путь держите? – спросил Михайло, подымаясь с завалинки и здороваясь с Чикой и Мясниковым.

– Да куда, к тебе! Вот и гостя привезли. Принимай, браток.

Михайло взглянул на чужого человека в верблюьем армяке и в холщовой рубахе.

– А что за человек?

– Государь Петр Федорыч, батюшка наш, – не моргнув глазом, выпалил Чика. На душе Пугачева потеплело, а Михайло как в землю врос, стоял столбом и таращил глаза, потеряв способность речи.

– Язык, что ли, ты, Михайло, проглотил? – сказал Чика. – Ведь мне твой брат Андрюха так и молвил: вези, говорит, прямо к нам, на хутор, есть где укрыться.

Пугачев потупил глаза. Ему неприятен был такой прием.

– Боюсь, братцы, прямо боюсь, – наконец проговорил Михайло. – Ведь у меня завсегда народ толчется, сыщики шмыгают, долго ли до беды. Воля ваша, опаска меня берет. Вот, может, к дедушке?..

– А милости просим! – радостно воскликнул Шаварновский, и продубленное лицо его взрябилось улыбочивыми морщинами.

Изба старика небольшая, чисто внутри выбеленная. Сели за ужин. Пришел старший Кожевников, рыжебородый Андрей, внимательно, с подозрением присмотрелся к гостю, поморщил нос, вздохнул: гость что-то не понравился ему. А гость сидел в переднем углу, держал себя с достоинством, цепко присматривался к людям. Ему хотелось воздействовать на умы собравшихся, уверить людей, что он есть подлинный государь. Он ждал подходящего момента, с интересом вслушиваясь, что нашептывают братьям Кожевниковым Чика с Мясниковым. «За меня стоят... Слава те Христу, за меня!.. Спасибо Чике», – думал он.

Михайло Кожевников стал сдаваться. Шептал:

– Ведь я, господа, не столь давно с депутацией в Питер ездил. Ну и там слух такой... Жив, мол, Петр Федорыч. Правда, публикации о его смерти были, а вот в прошлом году болтали же в народе, что он, батюшка, объявился-де в Царицыне и там запытан.

Пугачев подбоченился, веско проговорил:

– Эту побаску враги мои лютые распускают, что я запытан в Царицыне. Вот я – жив, здоров. – И повел длинный рассказ о царской незадачливой судьбе своей. Он говорил плавно, вдумчиво, грудным глубоким голосом, располагающим к доверию. Он выдумывал разные небылицы о чудесном избавлении из-под ареста в Ораниенбауме (с помощью какого-то капитана Маслова), о своих заграничных странствиях, о возвращении в Россию и т. п.

Он сочинял находчиво и складно, дивясь себе. И чем больше привирал, тем сильней работала его

фантазия. Все развесили уши, вытянули жилистые шеи в сторону «батюшки», слушали, не мигая. Лишь Андрей Кожевников поглядывал на Пугачева подозрительно, курчавая рыжая борода его обвисла, веснушки побелели, он все больше убеждался, что это не царь, а какой-то «охряпка» подставной.

– В святых книгах предуказано пророками объявиться мне, государю, года чрез полтора... Ну, я не смог сдержаться, видя народ свой в великой пагубе. И было мне видение в ночи, будто бы голос присносущный наущал меня: «Благословенный раб Петр, иди-де в Яицкий городок, спасай войско, оно тебя примет и защиту даст, а то и не увидишь-де, как всех их у тебя растащут. В Яицком городке, молвил голос, даже образ спасителя рыдает дненощно, видя утеснение казацкое...»

– Рыдал, рыдал!.. Так и было. Точь-в-точь!.. – кривя рот, вскричал седоусый старик Шаварновский, и по его щекам покатались слезы.

– Да неужто верно, детушки? – ловко притворился Пугачев (он на базаре в Яицком городке слышал о «рыдающем спасителе»).

– Правильно, ваше величество, – подтвердила застолица. – У казачки Анны Глуховой в хате образ тот...

Пугачев, кряхтя после сытного ужина, покачал головой и, не подымаясь со скамейки, сделал трудный полуоборот к иконам и набожно осенил себя двуперстием. И все за ним перекрестились.

– Стало, и сам Бог так велит, господа казаки. Посему и пришел я к вам. Вы, детушки, только держитесь за мою правую долю да не отставайте. Сизой орел вознесет вас и даст вам жизнь добрую. А ежели сизого орла упустите, не пеняйте на него – сизой орел найдет себе место... – с оттенком угрозы закончил он.

– Что ты, батюшка! – и старик Шаварновский, тряся сивыми усами, опять пустил слезу.

Вся застолица, передохнув от горячих речей царя, заговорила:

– Оставайся с нами, надежа-государь. Послужим тебе!

– Благодарствую, – ответил Пугачев.

Чика, помедля, встал и низехонько поклонился ему:

– Я, ваше величество, сейчас двинусь к войску о твоей персоне объявить. Баклуши бить некогда...

– Хорошо, друг, поезжай. Сроку даю тебе три дня. Уведомишь, что молвит войско.

А на другой день Пугачев приказал и Мясникову ехать в городок – купить красные козловые сапоги, шитую подушку на седло и богатый намет вместо потника. Дал ему три рубля, сказал:

– Отыщи, друг, писаря доброго и надежным людям объявляй о государе Петре Федорыче. А где я пребываю своей персоной, того не сказывай.

В тот же день уехал и Андрей Кожевников. Мрачный, разрываемый сомнением, он мчался вмах. Приехав в городок, он стал жаловаться Максиму Шигаеву, что «вор Чика навязал им какого-то охряпку-проходимца, да и говорит, вор, что это Петр Федорыч». Умный Шигаев, видя душевное состояние Андрея Кожевникова, притворился, что сочувствует ему.

Зарубин-Чика тоже мучился сомнением: дело с «батюшкой» нечисто! Прибыв домой, он поздним вечером направился к Денису Караваеву.

– Слушай, Денис... только Бога ради не таись от меня – дело общее затеваем... Что за человек этот самый... Петр Федорыч?

Бельмастый Караваев вначале слепо верил, что тот «великий человек», пред которым они с Кунишниковым в сарае Ереминой Курицы когда-то стояли на коленях и проливали слезы умиления, есть воистину надежа-государь. Но после осмотра «царских знаков» в его душу вломилось сомнение. Однако

сейчас ему не хотелось откровенничать. Оглаживая волнистую бороду свою и недоверчиво поглядывая на Чику, он молчал.

– А знаешь что, Денис Иваныч, ведь мне «батюшка»-то наш открылся: ведь он не царь, а простой казак, – не моргнув глазом, ловко соврал плутоватый Чика, явно стараясь вызвать скрытного Караваева на откровенность.

К бородатому лицу Дениса Караваева прилила краска. Он подошел к окну, заглянул на улицу, заглянул под занавеску, не подслушивает ли их любопытная Варвара. Затем взволнованно положил Чике руку на плечо:

– Поклянись ты мне, Чика, что ни отцу с матерью, ни жене, ни чужим людям не станешь болтать?

– Вот тебе Христос, ей-Богу нет, да что ты, Денис!

– Тогда слушай, – шумно передохнув и как бы прощаясь со сладким сновидением, решительно заговорил Денис Иванович Караваев. – Конечно, горько нам думать, что он не царь, а, допустим, донской казак. Ну и Бог с ним. Пусть он вместо государя за нас заступит, а нам все едино, лишь бы в добре быть.

Глаза Чики заиграли, к бронзовым щекам тоже прилила густая краска.

– Так тому и быть! – крикнул он и с отчаяньем, с каким-то горьким удальством бросил шапку об пол. – Стало, так на роду написано нашему войску.

– А может, он и царь... Почем нам знать? – пытаюсь озадачить Чика, задумчиво молвил Караваев.

– Нам хуч бы пес, абы яйца нес... – махнул рукой Чика.

4

«Царь он или не царь?» – ломал голову Зарубин-Чика. Он пробыл в Яицком городке несколько дней, ходил по базарам, прислушивался к голосу народному. Большинство казаков войсковой руки знали, что где-то вблизи городка скрывается государь, но относились к этому по-разному:

«Коли это подлинный царь, тогда раздумывать нечего. Коменданта со старшинами перевязать, и айда всем войском к батюшке. Ну а ежели он подставной, тогда как? Часть войска примет, другая – не примет. Стало, опять усобица пойдет, опять кроволитье. А наша жизнь после мятежа и так вся вверх дном. Чегой-то, братцы, боязно... Сумнительство берет...»

И Чика, и Мясников, ничего путем не сделав, ни с кем в городке не переговорив, а лишь наслушавшись сбивчивых базарных разговоров, явились на хутор братьев Кожевниковых.

Мясников привез государю сафьяновые сапоги, подушку под седло и хороший намет. Пугачев спросил, объявили ль они надежным людям о государе императоре. В ответ Чика с Мясниковым стали наперебой врать:

– Многим уважительным людям объявили, надежа-государь, и в городке и по зимовьям... Кои верят, а кои в сумнительстве. Мы твоим именем приказывали верным людям собираться по нашей повестке на речку Усиху.

– Ну ладно, увидим, что будет, – ответил Пугачев сурово.

Общим советом решено: здесь оставаться опасно, надо тотчас же уезжать на вершину речки Усихи – отсюда двадцать, от Яицкого городка полсотни верст. Место там открытое, степное и безлюдное. А на кургане – высокое дерево, залезешь – все концы видать.

Ночью оседлали четырех коней и втроем поехали. Четвертый крепкий конь – заводной, в запас под Пугачева. «Батюшка» не толст, но тяжел и силен, редкая лошадь могла долго бежать под ним.

Новое место Пугачеву понравилось.

– Шибко караулистое место, дозорное, – похвалял он, – уж тут-то не сцапают нас врасплох.

Тимоха Мясников по приказу Пугачева снова уехал в городок за представителями войска. Чика остался с Пугачевым сам-друг. «Кто же, кто же он? Царь или не царь, царь или обормот дикой?» – неотступно мучило Чикю. И вот, не выдержал, мысленно перекрестился, бухнул напрямки:

– Не прогневайся, батюшка, скажи-ка мне сущую правду, не утай: точный ли ты государь есть?

Пугачев по-страшному засверкал на Чикю глазами. Но Чика не струсил, заложил руки за спину и на грозный взгляд Пугачева ответил наглым и смелым взглядом.

– Не стращай, батюшка, я не больно-то пуглив. А лучше откройся, ведь нас не много здесь, ведь двоечка только, ты да я. Мне вот Денис Караваев сказал...

– Что он, безумный, сказал тебе?

– А то и сказал, что ты донской казак, – ловил Пугачева нахрапистый Чика. – Уж не прогневайся, гостенек милай!

Пугачев затрясся, заорал:

– Врешь, дурак! Врешь, – плюнул и пошел быстрым шагом к речке.

– От людей-то, может, и утаишь, да от Бога-то не утаишь! – закричал ему в спину Чика и поспешил за

ним следом, чтоб разом кончить разговор.

Пугачев круто повернулся к Чике, тот остановился в трех шагах от него, посверкали друг на друга глазами, как обнаженными саблями.

– Я точно государь, Петр Федорыч. Всю правду говорю тебе со истиной. А ты раб мой подначальный! – запальчиво прокричал Пугачев, ударяя себя кулаком в грудь.

Чика, всячески сдерживаясь, твердил свое:

– Я Каравеу Денису клятву принес, чтобы в тайности держать... Ну так вот и тебе, батюшка, клянусь, уж ты верь мне. И какой ты есть человек – донской казак али нет, велика ль мне в том корысть? А раз мы приняли тебя, батюшка, за государя, стало – и делу конец, стало – так тому и быть.

Голос Чики был теперь с дрожью, искренний, на глазах навернулась влага. Пугачев вплотную приблизился к нему и, собрав всю внутреннюю силу, молвил:

– Ну, Чика... Своими речами в пот ты меня вогнал... Только молчи, только, чур, молчок... Слышишь, Чика? Пускай умрет это в тебе. Чуешь? Христом-Богом заклинаю... А то и твоя и моя голова с плеч покатится. Да и только ли это одно. Думки мои сердешные, розмыслы загинут. Ну, сядем давай, потолкуем. (Они сели на луговине.) Фу... И сам не знаю, чего со мной... – Его била лихорадка, зубы стучали, белки глаз пожелтели, задергался живчик возле левого виска. – Поведаю правду тебе... Знай: я есть донской казак Емельян Иванов Пугачев.

Он поднял глаза на тяжело дышавшего Чикю, полагая, что тот, обозленный, вскочит с бранью, плюнет ему в бороду и, бросив его, уйдет. Но, к немалому изумлению Пугачева, бронзовое, мужественное лицо Чики, обросшее черной клочковатой бородой, грустно улыбалось, а насмешливые, наглые глаза выражали теперь дружелюбие.

– Вот спасибо! Вот благодарим! – радостно выкрикивал он, подымаясь. – Нам все едино – что хлеб, что мякина... Петр так Петр, Емельян так Емельян... А казачество за тобой пойдет... Пойдет, пойдет! – Он был крайне возбужден, переступая ногами, подергивая плечом.

– Как ходил я по Дону да по разным городам, – говорил повеселевший Пугачев, – везде, брат Чика, толковали, что Петр Федорыч жив и здоровствует. И мыслю я, Чика, сгрудить великую силу да Москву взять. Войска-то там нетути, на войне с турками солдаты...

– А ежели, ваше величество, вы и не завладеете Московским царством, – сказал, захлебываясь, Чика, – так мы с вами сделаем на Яике свое царство-государство.

– Вперед заглядывать нечего, – сказал Пугачев. – А я от тебя, Чика, не потаю: о том, что я простой казак, еще трем людям открыл – Шигаеву, да Каравеу, да Пьянову.

– Эх, ваше величество! – Чика уже не слушал Пугачева. – Выпить бы на радостях... Душа горит!

– Погодь, погодь, друг... Тому время не приспело еще.

Легли спать без костра, укрывшись потниками и бешметами, Чика сразу захрапел. Взволнованному Пугачеву не спалось. Он потрясен был столь неожиданным оборотом дела. После объяснения с Чикой он сразу почувствовал себя бодрее, неумелое притворство, что он царь, связывало его свободу по рукам, по ногам. И это тяготило его. Так пусть же не он, не Емельян Пугачев, а ближайшие его сотоварищи вводят в заблуждение народ именем царя, он же пред народом и пред избравшими его в цари казаками будет прав, он будет чист душой.

Ночь была в звездах, темная и тихая. Пахло полынью, увядающими травами, сухой землей. Слышно, как стреноженные лошади хрупают траву, пофыркивают, неуклюже переступают на трех ногах по луговине.

В смятенном сознании Пугачева толпились беспорядочные мысли, образы. Жена, ребятишки, множество знакомых и незнакомых лиц, старец Филарет, Еремина Курица, старый бомбардир с Прусской войны Павел Носов, и Ванька Семибратов, и Перешиб-Нос, и тот пьяный солдат, которого он выставил из воровской кибитки в городе Казани, и конокрад воевода, которому он выбил зуб, и какие-то бабы-молодицы, вроде Катерины, заигрывали с ним. Весь народ кланялся ему и называл... великим государем.

«Ай, дурачки, ай, дурачки вы, детушки... И пошто вам государь?» – нашептывал Пугачев, хлопая во тьме бессонными глазами, затем начал рассуждать сам с собой полным голосом, затем встал и, прикрыв храпевшего Чику своим зипуном, направился к речке, ходил взад-вперед вдоль берега, говорил, говорил, в задумчивости останавливался, ерошил густую шапку волос, швырял в степь вызывающие выкрики, с силой ударял себя в грудь сжатыми кулаками. И снова зачинал ходить вперед-назад, вперед-назад.

Голова горела, мозг воспалялся, – слышались ему громы пушек, барабанная дробь, и кони скачут, и виселицы воздвигаются, и пожаром объято все кругом.

Пугачев таращит безумные глаза, всей грудью выдыхает: «Ух ты!» – и бежит к речке, пробует рукой дремотные струи – вода холодна. Припав на колени, он до плеч погружает в воду кудлатую голову.

Степь молчит, караулистое дерево не шелохнется, неколебимая вечность безмолвно проплывает над землей, сменяя ночь на день, сбрасывая прах ночной в бесконечную череду столетий.

Глава XII

«Не ради себя, ради черни замордованной положил я объявиться». Клятва

1

Утром над степью появилось солнце. Стали в балке, крадучись, разводить огонь. Чика присмотрелся к Пугачеву, покачал головой.

– Э-э, да ты, ваше величество, сесть зачал. Глянь, в бороде и на висках – у тя...

– Ну? С чего бы это? – буркнул Пугачев.

– Да кой тебе год-то будет?

– Тридцать пять...

– Молодой ты, – любовно сказал Чика. Пугачев как-то сразу стал ему родным и близким.

– Глянь, двое конников! – вскричал Пугачев и кивнул к востоку, где верстах в четырех от стана ленивой рысцой двигались всадники.

Чика живо поймал лошадей и без седла вмах полетел им напересек.

– Стой! Куда вы, ребята?

Оба казака остановились.

– Сайгаков промышлять едем. А ты откуда?

– А вот поворачивайте коней, айда к дымку. Там человек нас ждет.

– Кто такой?

– Великий государь Петр Федорыч, – крепко сказал Чика и, насупив брови, со строгостью взглянул на казаков.

Те изумились («откуда быть в степи государю»), но перечить не посмели, да и любопытство одолевало их.

Пугачев, завидя приближавшихся, быстро надел новые красные сапоги, медным гребнем расчесал волосы и бороду, разбросал ковром нарядный намет, положил шитую бисером подушку, сел и подбоченился левой рукой.

Не доезжая до него, всадники, вместе с Чикой, соскочили с лошадей, чинно приблизились к Пугачеву, низко поклонились ему.

– Ваше императорское величество! – браво гаркнул Чика, сдернув шапку с головы. – Дозвольте доложить! Это двое наших казаков, Чанов да Кочуров.

– Куда путь держите? – кивнул казакам Пугачев.

– Да вот сайгачишек пострелять собрались.

– Ну нет, други мои. Уж раз вы встретились со мной, так уж не уходите от меня. Я государь ваш...

(Казачи переступили с ноги на ногу, переглянулись.) А ежели вы замыслите убежать, бойтесь... Как вступлю в городок, велю повесить вас.

Казачи с внутренней неохотой повиновались.

Вскоре приехал из городка Тимоха Мясников. Улучив минуту, Чика отвел его в сторону и поведал разговор свой с Пугачевым. Тот не особенно удивился, подумал и, таясь, сказал:

– Наше дело маленькое. Царь или не царь он – наплевать. Войско захочет, так и из грязи сделает князя.

– Проворства и способности, я примечаю, с избытком в нем. Опять же с норовом он, видать... Горазд люб он мне, – сказал Чика.

– А нам чего же боле надобно? – рассудительно промолвил краснощекий Мясников; он был предан начатому делу искренно и бескорыстно, стал деятелен, отважен и сноровист. – Мы его за царя сочтем. А уж он за это постарается для нас... Так ли, Чика?

– Так, Тимоха... Только, чур-чур, великая тайна это...

– Дурак ты какой... Башка-то у меня одна ведь.

После обеда Чика поехал на хутора Кожевниковых да Коновалова попросить снеди и палатку для царя. Утром, вместе с Чикой, в царскую ставку прибыли Сидор Кожевников (младший из братьев), старик Василий Коновалов и еще четыре казака. Разбили Пугачеву палатку, а сами, десять человек, жили под открытым небом с неделю. Впрочем, деловитый Мясников то и дело гонял в городок.

На другой день приехал Михайло Кожевников. Его сомнение в «батюшке» ловко разбил Чика. Теперь Михайло слепо верил, что Пугачев есть царь.

Емельян Иванович считал Михайлу Кожевникова человеком бывалым (в Питер ездил), для дела полезным и пригласил его в свою палатку.

– Не наезжали ль к тебе, Михайло, какие люди с розыском?

– Нет, батюшка, ваше величество, все благополучно. Когда же вы, батюшка, объявитесь?

– А когда войско на плавни соберется, тогда уж...

– Не знаю, батюшка, – подумав, сказал Михайло, – ведь туда старшины понаедут и казаки послушной стороны. Пожалуй, вас принять не согласятся.

– А тогда мы всех казаков послушной стороны перевяжем и со славой в городок войдем.

– А ведь там, в городке-то, Симонов комендант с регулярным войском да с пушками. Пожалуй, не допустит вас.

– Не допустит – и не надобно. Тогда мимо пройду, на Русь пробираться стану.

– А с кем же на Русь-то пойдете?

– Так полагаю, люду разного огромно много пристанет ко мне. А ежели малое людство будет, скроюсь опять. Ведь мне не надлежало еще показываться год семь месяцев, да кровь печенками стала спекаться во мне, как увидел я на Руси, что народ-то простой терпит. Ах, бедные вы, несчастные детушки мои... Ведь не ради себя, ради черни замордованной положил я до срока объявиться. Ведь пришел я к вам на отеческую и вашу славу, други мои. А уж сам я царствовать не стану, чего-то не нравится мне царствовать, а возведу на царство Павла Петровича, сына моего. Ну а начальство во всяком месте сменю, губернаторов да воевод, казнокрадов да взяточников, да душегубов всех вон! И по всей Руси казацкое устройство заведу. Чтобы солдат и духу не было.

Так изложил Пугачев программу своих действий.

Приехал Иван Харчев поклониться государю полведром водки.

– Ежели Бог допустит, мы, ваше величество, головы за вас положим и послужим вам... – сказал он.

– Благодарствую. Вы меня побережете, детушки, и я вас поберегу.

Морщась от дыма, расторопный Тимоха Мясников варил в овраге похлебку из баранины, мешал в котле крутую кашу с салом. Чика кромсал астраханские селедки, арбузы, хлеб, накрывал под деревом ужин прямо на земле.

За ужином Пугачев восседал на почетном месте. Он в набойчатой чистой рубахе и пестром халате – дар старика Василья Коновалова. Михайло Кожевников вытряхнул из торбы несколько оловянных чарок. А одну, серебряную, с орлом, купленную им в Питере, он подал Пугачеву.

– Ишь ты, государственная, – улыбаясь, сказал тот. – Благодарствую.

Иван Харчев, глотая слюни, вытащил затычку из дубового бочонка и налил всем хмельнику [\[76\]](#).

Пугачев взял чарку с орлом, поднял ее и громко провозгласил:

– Здравствуй я, надежа-государь Петр Федорыч Третий!

Все поднялись с места и во весь голос закричали:

– Быть здоров тебе, отец наш! На многие лета здравствовать... – и выпили.

Этот первый заздравный тост и публичное признание казаками Пугачева царем своим прошли торжественно и чинно. Собравшиеся, особливо сам Пугачев, ясно почувствовали, на какой опасный подвиг они обрекают себя, в какую мучительную неизвестность бросают свою жизнь. У всякого в этот момент не раз перевернулось сердце и застыла в жилах кровь; но дело сделано, возврата нет! Борода Пугачева тряслась, он смахнул пот с лица. Резко прокаркал пролетающий ворон. Казаки проводили его тревожными взорами.

– Присядьте, господа казаки, – кивнул Пугачев; он хотел бы показать фасон, но ни вилок, ни ножей не было, он взял кусок селедки рукою и, снова вспомнив трудные господские слова, сказал:

– Я приобвык на фуршетах есть, чтобы саблея да вестивал, а вот довелось же...

– Уж не прогневайся, батюшка, – и Харчев налил по второй.

– А теперь давай выпьем в честь всемилостивой государыни, – невпопад проговорил Василий Коновалов.

– Не гоже за нее пить, – строго остановил его Пугачев. – Катька в беду меня ввела. – Он поднял вторую чару, возгласив: – Здравствуй, наследник мой, Павел Петрович!

Все закричали в честь наследника «ура», выпили. Прежде чем выпить чару, Пугачев всякий раз крестился. Становилось шумно.

– Эх, хороша беседа, да подносят редко, – шутил веселый Чика.

Пугачев замигал, отвернулся, вытер халатом набежавшую слезу, с горечью в голосе сказал:

– Разрывается, разрывается отцовское-то сердце мое... Ох, и жаль мне Павла Петровича, нарощенное детище мое, шибко жаль... Спортят там его, сердешного...

Казаки притихли, с умилением и любопытством взирали на своего царя, изливавшего родительские чувства. Горячий, неуравновешенный Зарубин-Чика глядел на Пугачева во все глаза, шептал, как во сне:

– Господи помилуй... Да ведь он – царь, да вот ей-Богу же он всамделишный царь Петр Третий...

2

Спустя два дня в Яицком городке решались вопросы первостатейной важности. Шигаев, Зарубин-Чика, Мясников, Караваев, еще илецкий казак Максим Горшков темным вечером сидели без огня в бане. Они прослышали, что до коменданта Симонова дошли кой-какие вести о таинственных событиях.

– Ну, братцы, таперя уши-то пошире надо держать, а рот-то поуже, – вполголоса сказал Чика.

Эта пятерка в последний раз совещалась пред началом дела, признать ли Пугачева за царя?

– Раз такой слух в народе издавна утвердился, что Петр Третий жив, – заговорил, покашливая, длинный Шигаев, – значит, казаков надо к тому склонять, что есть он истинный царь. А обличьем, сказывают, смахивает на покойного императора, и человек, кажись, расторопный.

– Проворства в нем хоть отбавляй, казак смышленный, – заметил Чика. – И сильный, черт... Под ним малодушная лошаденка на четыре колена раскорячится...

– Я полагаю, братцы, признать его, – сказал Тимоха Мясников. – А ты как, Денис Иваныч?

– Я в полном согласье, – ответил Караваев.

– А ты, Горшков?

– Да чего про меня толковать, я не спячусь. А спячусь – убейте, – басистым голосом проговорил безбородый, как скопец, Максим Горшков.

В тесной бане каганец погашен, лишь в каменке раскаленные угли золотились, красноватые отблески мягко ошаривали напряженные лица казаков.

Умный Шигаев, мазнув пальцами по надвое расчесанной бороде и покашляв, неторопливую, дельную речь повел:

– Ну, други, не единожды советования промежду нас были, и, видать по всему, домыслили мы принять на себя почин к объявлению войску Яицкому, что рекомый Пугачев есть истинный и природный царь Петр Федорыч. Стало, *отныне мы берем объявившегося государя под свое защищение и ставим над собою властелином.*

Все притихли, едва переводили дыхание. Складные, значительные слова товарища глубоко западали в душу, пьянили кровь. – А кто из нас сему воспротивится, того смертью казнить, – гулко добавил Максим Горшков.

– Это верно, – подтвердили все, – чтоб страх среди нас был за дело наше общее.

– Слушай дальше, казаки, – помедля, сказал Максим Шигаев. – У нас, на Яике, жизнь ныне учинилась трудная, и удовольствия никакого мы от Петербурга не получили. Так ли, братья казаки? И злоба неутолимая на толикую несправедливость завсегда крылась в нас и донине кроется. А вот таперь время пришло, и случай удобный в руки нам пал. Стало, приняв государя, мы чаем, что будет он восстановителем изничтоженных прав наших, вольностей наших и обрядов дедовских, *а бар и всяких господишек, кои в сем деле больше всего умничают, он с корнем истребит силою народною...* Да он, батюшка, и сам такожде мыслит, он, батюшка, с очей на очи сказывал мне сие. Опричь того, я чаю, что сила наша умножится и приумножится от черни, коя тоже вся вконец разорена.

Совет закончился обоюдною клятвою и целованием креста, который был захвачен с собою предусмотрительным Караваевым. Все пятеро облобызались друг с другом, говоря: «Бог нам в помощь... Дай-то Господи... Либо головы положим, либо здоровы будем и во счастья. И ты будь здоров, государь Петр

Федорыч!»

Взволнованные казаки роняли слезы, но тьма скрывала эти их слезы от них самих.

3

Петербургским ставленником, комендантом Симоновым, были пущены в народ соглядатаи. Они толкались по кабакам и базарам, прикидывались простачками или пьяными, пытались завести разговоры по душам, но казаки сразу узнавали их.

– Молчком, братцы... Высмотрень идет, сыщик комендантский.

Иной казак-запивоха и взболтнет что-нибудь в питейном, и выкрикнет с угрозой:

– Погодь, погодь, скоро добрая учнется раскачка! Весь Яик на дыбы подыметяся...

Его хватали, волокли «еле можахом» в канцелярию, давали проспаться, а на допросе он, знай, одно твердил: «Ничего не помню, зря ума молол, гораздо пьян был». Ему списывали спину, морили суток трое в каталаге и ни с чем выбрасывали.

Коменданту полковнику Симонову крайне нужно было знать, где скрывается преступный человек, принявший на себя имя покойного государя, и кто те злоумыслители, которые укрывают самозванца? Но казаки столь крепко спаяны и молчаливы, что Симонов никак не может залучить в свои сети хотя бы одного предателя-доносчика. Даже приведенный сюда из Малыковки арестант Еремина Курица не смог дать нужных о Пугачеве сведений. Симонов выходил из себя, посылал во все стороны розыскные отряды, но толку не было.

Меж тем партия Пугачева не дремала, молва о царе шла теперь по городку между степенными людьми более открыто. Старый казак Плотников, пригласив к себе соседа казака «середовича»^[77] Якова Почиталина, вел с ним разговор.

Василий Якимыч Плотников пользовался всеобщим уважением, к нему стекались все новости и часто приходили казаки за советами. Его дом не богат, но гостеприимен. Старик жил со своей старухой и внуком Васькой, а сын был убит в прошлогоднюю усобицу.

– Великие милости нам царь обещает, – говорил Плотников. Он благообразный, бородатый, с большой лысиной и крючковатым, как у филина, носом. – Как ты думаешь, следует ли нам принять его?

– А как же не принять, Василь Якимыч? – почтительно ответил старику пожилой усатый Почиталин. – Ведь житышко наше день ото дня гаже.

Пришел на огонек молодой казак Сидор Кожевников, поздоровался со стариками, отвел хозяина к печке, зашептал:

– По важному делу к тебе, Василий Якимыч.

– Да ты не таись. Почиталин – свой человек.

Сидор взглянул в открытое, большеусое, со впалыми щеками лицо Почиталина и, присев на лавку, обратился к хозяину:

– Государь требует, Василий Якимыч, как можно постараться о хорунках. Не сможешь ли, Василий Якимыч? Мы искали, да...

И не успел он досказать, как явился краснощекий Тимоха Мясников и стал тоже говорить о знаменах.

– Да еще государь наказывал голи разных цветов купить, да шелку, да галуна. А денег не дал. А у меня за душой хоть бы грош.

– Денег я собрал, – ответил хозяин и полез в сундук. – Я десять рублей собрал, кто два, кто рубль

пожертвовал. Хватит, пооди, – он вытащил из сундука матерчатый сверток.

– Ну-ка, держи, Тимофей, давай разматываем.

Два огромных войсковых знамени, старых и потрепанных, сероватого и синего цвета протянулись от стены к стене.

– Да откуда ты это, Василий Якимыч?! – воскликнули трое гостей и восторженно заулыбались. – Ведь это наши, войсковые...

– Они, они, – ответил хозяин, лысина его блестела, борода шевелилась от самодовольной улыбки. – Как есть они. Государыней жалованные войску. Это мне один детина притащил. Как убивали генерала Траубенберга, казак Дроздов спроворил из войсковой избы стянуть.

– Государыня – войску, а войско государю их пожалует! – и здоровяк Тимоха Мясников захохотал.

– Ну а батюшка-т не собирается в городок прибыть? – спросил Почиталин.

– Нет, – ответил Мясников. – Я об этом толковал государю, он сказал: «А пошто я к ним воровски поеду? Пущай-ка лучше войско пришлет ко мне выборных своих, старичков либо середовичей, тогда, говорит, я усветуюсь с ними о дальнейшем». Да еще, говорит: «Всепременно письменного человека добудьте мне, чтоб с бумагой явился, с чернилами». Вот что молвил батюшка.

Казачи помолчали, подумали. Ни Плотников, ни Почиталин, разумеется, не знали, что «батюшка» не царь, а такой же простой казак, как и они.

– Слышь-ка, Яков Митрич, – обратился хозяин к Почиталину, – чего нам долго грамотея-то искать? Посылай-ка к государю Ивана своего... Чего лучше.

Глаза Почиталина горделиво заблестели, он подергал длинный серый ус, сказал смиренно:

– Да, пооди, молод для этаких делов мой Иванушка-т... Правда, голова-то золотая у него и книжки многие с отрочества читывал, а чего он в государевом деле смыслит?

– Брось, брось! – посыпались на него подзадоривающие восклицания. – Царь не станет с него строго взыскивать. Парень натреет живо, а в почете-то будет в каком... Ого!

Морщинистые щеки Почиталина-отца вспыхнули. Потупив глаза в пол, проговорил:

– Что ж, ежели ваш совет да его усердье будет, благословлю сынка, благословлю.

В этот миг раздался резкий стук в закрытое ставнями окно. Хозяин крикнул:

– Васютка знак подает... Лезь, приятели, в подвал, хоронись! Знамена хватай с собой! – и погасил огонь.

Закрыв за ними люк, перекрестился и, нервно вздрагивая, вышел на улицу. Поздний вечер был. Медленно, вдоль улицы, направляясь к его дому, шел патруль. Солдаты громко разговаривали, смеялись, их объемистые короткие трубки попыхивали сквозь сутемень огоньками и дымили.

– Есть в доме кто чужой? – спросил Плотникова старший.

– Никого нетути... Свои только.

– Не ждешь ли царя, старик? – крикнул седой капрал с косичкой и захохотал.

– Окстись, служивый, – продрожал голосом перепуганный Плотников. – Отродясь не слыхивал. Какой такой царь? Откудов он?

– Тебе о том лучше знать, – на ходу сказал капрал. – Кое-кто у нас на примете имеется из ваших. – И патруль, удаляясь, растаял во тьме.

Плотников проводил их ненавистным взглядом, постоял, подумал, поблагодарил притаившегося у ворот внука своего Васютку, что караулит хорошо, и хотел уже домой идти, как вдруг показался из-за угла пьяный старшина Мартемьян Бородин. Этот богач, из-за плутней которого разгорелось кровавое дело яицких казаков, распоряжением Петербурга снова был восстановлен в своих правах. За самостоятельный характер Плотникова, за смелые его речи на войсковых кругах Бородин считал старого казака личным своим врагом.

– Стой, казак! – заорал он, когда Плотников повернулся было к калитке. – Руки по швам! Пред кем стоишь?

Плотников вытянулся.

– У тебя, старый черт, сборища бывают!.. Царя, сукины дети, ждете!.. Я вам покажу царя!.. – Бородин развернулся и ударил старика в ухо.

Удар был крепок. Плотников покачнулся, сквозь стиснутые зубы замычал от боли, в голове звон пошел.

Васютка громко заплакал, побежал в дом.

Тучный Мартемьян Бородин напирал на старика грудью, сжимал кулаки, собирался еще ударить. Плотников пятился.

– За что ж бьете, ваше высокоблагородие, меня, старика? Побойтесь Бога... – с горьким укором сказал он.

Мартемьян Бородин, запыхтев, еще раз с силой ткнул казака жирным кулаком в лицо и с грязной руганью зашагал дальше. Из разбитого носа Плотникова потекла кровь. Не вытирая ни слез, ни крови, Плотников вошел в дом.

– Вот, приятели, смотрите, как нашего брата сволочные старшины за верную службу потчуют, – жаловался вылезшим из подполья казакам.

– Да кто тебя? Матюшка Бородин, что ли?

– Он, брюхатый боров, он!

– Эх и дураки мы, ребята, не зарубили его, дьявола, когда растатурица была, – сказал Тимоха Мясников. – Да еще дождется. Быть ему на пике!

Глава XIII

«Здравствуй, войско Яицкое!»

1

Пред полковником Симоновым в комендантской канцелярии стоял колченогий отставной казак Кононов.

– Как получил сведения сии? Показывай, – звонко приказал узкоплечий Симонов с большим шрамом на щеке. – Писарь, заноси.

– Во избежание новой смуты... – опираясь на клюшку и покашливая, робко начал Кононов. – Ко мне... это самое... пришел, значит, мой крестник, как его... Петр Кочуров, в сильном во хмелю. Во избежание смуты молвит мне: «А вот, говорит, крестный, слухи, говорит, ходят о царе... как его... быдто царь проявился под Яиком». Я, конечно, на крестника загайкал: «Ой ты, говорю, пьяный дурак. Откудов сии посоромные речи слышал?» Он говорит: «Да Мясников Тимоха брякал мне, токмо никому не приказывал сказывать...» А я возьми да и спроси крестника своего: «А где же, мол, этот проходимец, этот царь упомещается?» А крестник говорит... как его... что, мол, «где-то на Усихе... То ли на Усихе на речке, то ли на кожевниковских хуторах...». Сам пьяный, это верно... Может, и врал все с пьяных глаз... А во избежание смуты, ваше скородие... надо бы... как его... проверку тому месту произвести.

Тем временем выехали к Пугачеву депутаты войска – Кузьма Фофанов и Дмитрий Лысов. Чтоб отвлечь подозрение, они правились поодиночке и в разное время, сначала в Сластины зимовья, принадлежавшие Мясникову, в десяти верстах от городка. А сам Мясников еще ночью прибыл в это место и поджидал казаков.

Фофанов всегда пользовался доверием товарищей, а юркий Лысов, избежавший, подобно Шигаеву, наказания за бунт, был у бедноты в подозрении. Человек сравнительно зажиточный, смекалистый и настойчивый, он прямо к горлу с ножом пристал к Тимохе Мясникову: возьми да возьми меня к «батюшке». И до того Мясникову надоел, что тот скрепя сердце взял его.

Но дело сделано, и все трое отправились из Сластиных зимовьев в стан Пугачева. Сутулый, небольшого роста, Лысов, пошевеливая козлиной бородкой на треугольном сухощекном личике, рассказывал разные побаски, беспечно хохотал.

Ну до чего нахрапист этот дьявол Митька!

А вот и караулистое дерево, а вот и стан. Зарубин-Чика, верный страж царя, увидав вдали трех всадников, принял их за передовой отряд объездной команды, что по-казацки – эртаул. «Ах, черти, – подумал он, – придется в бой вступить, людей хватит у нас...» – И стал маячить пикою, что означало: «Не подходи, сопротивляться будем».

– Ха, пугает... Уж не батюшка ли это? – сощурив пронырливые глаза, закатился деланным хохотом сутулый Митька Лысов и, по озорству, тоже стал маячить пикой. Но дальнорзоркий Мясников, узнав осанистого Чичу-Зарубина, поспешил сделать на рысистой своей лошади беглый круг, что означало: «Съезжаются не враги, а товарищи». Такой же ответный круг сделал и Чика.

– Детушки, бегите скорей к старикам, примите коней от них с честью, – приказал под деревом Пугачев

бывшим при нем Коновалову и Сидору Кожевникову.

У речки белела царская палатка. Возле нее горел костер, толпились вновь прибывшие к государю люди – казаки и четыре татарина: пожилой плечистый Идыркей Алметьев, прозвищем Идорка, его сын Болтай, еще Барын Мусаев, прозвищем Баранка, и еще старик Аманыч.

Когда Фофанов и Лысов подошли, Пугачев приосанился, сказал громко:

– Здравствуй, войско Яицкое! – и протянул им правую, вниз ладонью, руку. Те, низко наклонясь, облобызали ее. Лысов, мысленно смеючись, подумал: «Ручка навряд ли царская, этакой лапищей волков давить». – Пошто же вы, други мои, прибыли сюда? – спросил Пугачев.

– А прибыли мы в честь поклона вашему величеству, – степенно отозвался Фофанов. – Опречь того, хотелось ведать нам, в добром ли вы здоровье...

– Благодарствую. Я великий государь ваш Петр Федорыч. Поставьте меня на престол по-прежнему. Тогда по всей Руси державу казацкую сотворю, сниму с народа все тяготы, горькие слезы вытру, чтоб всякой душе вольготно жилось. А сюда призвал я вас, детушки, чтоб вы оповестили войско собраться ко мне скопом... – Пугачев нахмурил брови и потер ладонью лоб, ему хотелось говорить складно, веско и чтоб не мужичья, не простая его речь была, а складная, как у царя, как у старца Филарета. «Эх, беда... в башке мыслей много, а язык-дурак не вырабатывает». – И я, значит, так порешил... значит, высокие умыслы во мне царские такие... Повелеваю собраться казакам, сот до пяти, об это место в полной походной амуниции. Чуете, господа казаки мои верные? Такжеже повелеваю великим моим царским именем оповестить войско ждать меня, государя, на первом же обеде^[78]. С пятисотенным верным воинством своим я, великий государь, прибуду к ним.

– Навряд ли, надежа-государь, плавни-то у нас будут, – прервали его Фофанов и Лысов. – Как бы Симонов полковник не отказал нам рыбу-то ловить...

Пугачев прищурился, посоветовался глазами с Чикой и, забрав в горсть бороду, раздумчиво проговорил:

– Хорошо... хорошо... Да и не время, детушки, рыбу ловить. Это верно. Мы и на другую горазды ловлю, замест багров – пики, да ружья, да пушки картечами забьем. А рыба не уйдет. А все ваши протори я царской своей казной покрою. – Пугачев вдруг оживился, вскинул голову, взмахнул рукой: – И промыслил я, великий государь, идти силой прямо в Яицкий городок. Якобы ведет царь не Яицкое, а Донское войско... Сие будет полковнику Симонову в страх, а нам во славу!

Казаки молчали. За спиной государя стояли подошедшие от костра четверо татар. Махалкой из конского хвоста Идорка усердно отгонял от государя налетавших шмелей и мошкар. Фофанов, кланяясь, сказал:

– Ваше величество, не сумлевайтесь... Мы о ваших приказах войско оповестим...

– Благодарствую. Да вот одежишку бы привезли мне, вишь сряда-то на мне какая, вот я весь тут, – ухмыльнулся Пугачев и потрепал заплатанные штаны. – Даже чекменя^[79] нетути.

– Ежели сыщем, привезем, – грубовато ответил Митька Лысов, он вконец разочаровался в «батюшке». – А то, верно, сряда-то у тебя не государева. Пожалуй, войско увидит в такой сряде, носом закрутит, – и Митька хихикнул.

Пугачев сверкнул на него глазами, Чика из-за спины государя угрожающе Митьке кулаком потряс.

Мясников раскинул на луговине два знамени. Пугачев, прищелкивая языком, полюбовался, сказал:

– Горазд огромные, да мало их, треба еще, – и велел каждое знамя разорвать на две части.

Лысов, Фофанов, Мясников уехали. Навстречу им попались молодой Иван Почиталин и старик Василий Якимыч Плотников, пожелавший скрыться от преследований избившего его старшины Бородина.

Перед поездкой к государю Почиталин-отец трогательно проводил своего сына:

– Служи, служи, Иванушка, делу казацкому. А занадобится, и живот свой за святое дело положи... – и отец поцеловал сына в пушистые, льняного цвета, кудри.

Пугачев отдыхал в палатке. Широкоплечий Идорка, увешанный кривыми ножами и кинжалами, стоял у входа.

Старик Плотников и Почиталин Иван слезли с лошадей, подошли к палатке.

– Стой, – прошептал Идорка и предупреждающе помаячил им рукой. – Бачка-осударь спать легла...

– Не сплю! – крикнул из палатки Пугачев. – Кто там? Входи!

Старик и юноша, войдя в палатку, опустились на колени пред сидевшим на чурбане возле маленького столика Пугачевым. Столик – четыре вбитых в землю кола, сверху, замест досок, натянут потник из кошмы. На столике взрезанные арбуз и дыня. Пугачев выплюнул семечки, бросил в угол обглоданную арбузную корку, вытер об рубаху руки, усы и бороду и протянул для целования правую руку. С волнением припав к руке, старик Плотников сказал:

– Вот, ваше величество, сей детина – шибкий грамотей, казак наш яицкий, Ваня Почиталин.

– Гарно, гарно... Будешь писать по моему указу, молодец, – с чувством особенного удовольствия сказал Пугачев, окидывая внимательным взглядом долговязого, с голубыми глазами, краснощекого юношу.

– Я ведь, ваше величество, пишу больно худо, боюсь, не потрафлю вашей милости, – робко, срывающимся голосом проговорил Почиталин.

– Ништо, ништо, потрафишь... Служи, молодец, я не оставлю тебя...

– Буду стараться, ваше величество, по край ума своего. А это вот вам, извольте, носите оное во здравие, – и Почиталин подал Пугачеву новый зеленый, с золотым позументом, зипун, шелковый кушак, бешмет подержанный да с бархатным верхом мерлушковую шапку-трухменку.

– От кого же это прислано мне?

– Сей срядой я вашему величеству кланяюсь, – сказал молодец.

– Благодарствую, – проговорил, улыбаясь, Пугачев, поднялся, стал встряхивать зипун с золотыми позументами, – ах, добер, горазд добер, – и натягивать его на себя, зипун в плечах трещал.

2

Между тем Тимофей Мясников приехал в городок домой, чтоб сшить себе сапоги и снова мчаться к Пугачеву. На него с плачем набросилась жена:

– Вот, доездили, толсторожий дурень. Чего глаза-то вылупил? Ищут тебя! Ой ты, горюшко наше... Замест тебя, проклятуций ты дурак, брата Гаврилу твоего сцапали.

Мясников разинул рот, схватился за голову: «Загибло дело, пропал государь, погоня будет». Забыв про сапоги и ни слова не сказав жене, он побежал к приятелю, казаку Лухманову, схоронился у него на подволоке под крышей и послал хозяйскую девчонку разыскать Степана Кожевникова.

Тот быстро прибежал на зов.

– Степа, друг, – выдавливая из себя слова, заговорил расстроенный Мясников. – Дуй само скоро на Усиху, уведошь батюшку: мол, Мартемьян Бородин ловить его выпустил в поход. Поспешай, Степа, а то всем нам неминуемая погибель...

Рано поутру Степан Кожевников примчался на хутор своих братьев. Старик Шаварновский сказал ему, что его брат, Михайло Кожевников, вчера вечером схвачен розыскным отрядом Бородина и уведен. Степан Кожевников, проскакавший всю ночь, вяло выслушал и, едва не падая от усталости, поплелся в сарай, чтоб хоть чуточку поспать.

– Что ты, в уме ли ты? – зашумел Шаварновский. – Мчи скорей на Усиху, а то все загинем...

Степан, пробурчав: «Шибко уморился я», – кой-как превозмог усталость, окатил голову ключевой водой и мигом выехал в стан царя.

Широкоплечий, статный, тонкий в талии, Пугачев в новом наряде был неузнаваем. Сверкая на солнце золотыми позументами зеленого зипуна, лихо надвинув на густые брови бархатную шапку-трухменку, он важно прохаживался по луговине, рассуждая с десятком окруживших его людей.

Подскакавший Степан Кожевников закричал с седла:

– Что же вы тут! Мясников приказал сказывать вам проворней убираться отсюда... Старшина Бородин ищет вас, сюда спешит. Мишку зацапал, братейника моего...

– Казаки, на конь! – раздалась немедля команда Пугачева.

Все в момент оседлали лошадей, бросили палатку с провиантом и, под водительством Чики, пустились по реке Усихе вскачь.

Эта внезапная тревога была напрасной, скорой опасности не предстояло: старшина Мартемьян Бородин с арестованным Михаилом Кожевниковым возвратились в Яицкий городок.

Допрос, длившийся четыре часа, чинил сам полковник Симонов. На все вопросы: где Мясников, жил ли у них на хуторе злодей, именуемый себя царем, куда он скрылся? – Михаил Кожевников сначала ответил отказом, затем, после истязания плетьюми, открыл, что знал.

Полковник Симонов живо отправил на Усиху, где караулистое дерево, отряд из тридцати казаков под началом двух сотников и сержанта с приказом схватить «злодея» и всю его воровскую шайку (Симонову еще неизвестно было имя самозванца, он называл его – «злодей»).

...Проскакали вмах верст пять. Вдруг Чика заполошно крикнул:

– Стой! – и, обратясь к ехавшему рядом с ним Идыркею, бросил: – Глянь, высмотрень хоронится...

– Адя-адя! – и татарин с Чикой помчались к кустам, где, припадая к коню, старался спрятаться наездник.

Вместе с Пугачевым все остановились, с горячим любопытством наблюдая за погоней.

Вскоре показались Идыркей с Чикой. Татарин вел на аркане приземистого, простоволосого человека, одетого в зеленый ватник. Он был пьян или притворился пьяным – шел, пошатываясь. Его круглое, щекастое лицо бессмысленно улыбалось, хищные рысьи глаза смотрели на поджидавших его всадников с наглостью.

– Это писаришка симоновский, ваше величество, – сказал Пугачеву Ваня Почиталин. – А ране-то он Матюшке Бородину служил. Из богатеньких, бедности не мирволил. Теперя пропил все, забулдыга...

Идыркей снял с него петлю и, держа в руке наготове кривой нож, ждал приказа.

– Сколько тебе, Иуда, высмотрень проклятый, Симонов-то платит за предательство твое? – зашумели казаки.

– Много... А вам, братцы казаки, заплатит того боле, – буркнул высмотрень. – Эге ж, да тут много вас, голубчиков... Степка Кожевников, Ванька Почиталин, Кочуровы братейники, Плотников – старый черт, Чика... Эге ж! Ну и погуляет же по вашим спинам плетка... Не отвертитесь, голубчики...

– Молчи, козье вымя, Иуда, леший, – заругались казаки, сверкая взорами. Старик Плотников судорожно ухватился за рукоятку сабли.

– Эге ж... А это что за чучело? Кабудь не нашинский, – мотнул высмотрень круглой головой на Пугачева. – Э-ге-ге-е-е, так вот вы какого вора царем-то своим... Хватай его, господа казаки, прощенье примете!..

И без того угрюмые брови Пугачева сдвинулись, в широко распахнутых глазах засверкали огни, он наехал конем на прощелыжника, отдельно спросил:

– Кто вор?

Тот открыл рот и в страхе попятился от всадника. Сделалось необычайно тихо, все как бы омертвело вокруг.

Сдерживая гнев в груди, Пугачев снова повторил:

– Кто вор?

– Ты вор! – с пьяной отчаянностью выкрикнул предатель и, обомлев, быстро-быстро посунулся назад.

Со свистом сверкнула в воздухе кривая сабля. Пугачев с такой невероятной силой рубанул предателя, что у того кисть вскинутой руки и круглая рысья голова отлетели прочь.

– Га-а-хх, – гулко раздалось вокруг, и казачьи груди сразу во всю мочь задышали.

– Убрать падаль! – приказал Пугачев.

– Да чего, батюшка, ваше величество, убирать эту стерву-то, – весь трясясь, проговорил Чика. – Его, гада, сей же ночью волки слопают... Дозволь, батюшка, сабельку твою в порядок привести, – он осторожно взял из рук Пугачева блестящую на солнце саблю, с усердием вытер ее о полынь-траву, затем о полу своего чекменя и, низко поклонясь, подал Пугачеву.

Опять все двинулись вперед. Скакали молча. Казаки только переглядывались друг с другом да, таясь, показывали глазами на Пугачева. Да-а-а, они не промахнулись: «батюшка» на согрубителей, на поперечников мирских – лют. Он, свет, сумеет народную силенку в своих могучих руках держать. С таким можно вершить немалые дела. Жить да быть ему, долго здравствовать!

Пугачев тоже не проронил ни слова. Бурная вспышка гнева постепенно затихала в нем.

Проскакав от стана верст десять, Пугачев предложил путникам свернуть в степь.

– Ой, бачка-осударь, пошто нам степями колесить, хурда-мурда делать, а езда хутор Толкачев, там и людей, борони Бог, много нахватаешь, – сняв с головы малахай, почтительно советовал государю крепыш Идорка.

– А ты?

– Моя татарским кибиткам пойдет, наберу людей, выезжать буду на дорогу, вас выжидать. Как побежишь в городок, и мы к тебе всем гамузом пристанем.

Кони стали в круг, Пугачев – посредине. Держали совет, что делать.

Чика, пошептавшись с Иваном Почиталиным, сказал:

– Идорка дело толкует. Нужно пробираться к Толкачевым хуторам. Может, там и верно народ есть – казаки войсковой руки, да и новые подойдут. Тогда на городок пойдем с ними. А нет – на Узени ударимся, там место скрытное, камыш.

– А как вы полагаете, Кочуровы? – и Пугачев раздумчиво перевел на братьев глаза.

– Да так же, как и Чика, – ответил Кузьма Кочуров.

К нему присоединились опрошенные Василий Коновалов, Сюзюк Малаев и другие. Пугачев сказал:

– Мало ли, много ли людей соберется к нам на Толкачевы хутора, а идти на Яицкий городок не миновать. Коли удача будет, супротивников в городке перевяжем. А нет – врассыпную кинемся, кто куда. Как, Чика, по-твоему?

– По-моему, ваше величество, лишь бы в городок нам подступить, оттудов перебегут к нам многие, кои у Симонова на примете, ведь он цацкаться не будет с ними, живо порубит головы...

– Стало, едем к Толкачевым, нехай так, – решил Пугачев, и все двинулись рысцой на Толкачевы хутора, что в ста верстах от городка Яицкого.

Чика был прав: полковник Симонов не дремал. Симонов по всему городу разыскивал Тимофея Мясникова, Коновалова, Чику, старика Василия Плотникова.

3

– Вот мы к народу правимся, – сказал на привале Пугачев, – надо бы чего-нито письменное люду-то объявить. А ну-ка, молодец Почиталин, напиши само хорошо, посмотри – мастер ли писать.

Иван Почиталин с трепетом повинился. Из торбы, где были всякие письменные вещи и книжонки, он достал бумагу, медную чернильницу и гусиное перо, отошел в сторону, раскинул на луговине бешмет, лег на него брюхом и, перекрестившись, принялся за работу.

Мысли распирала разгоряченную голову парня. Он был толков, не по годам своим вдумчив, он много слышал стариковских разговоров об утраченной казацкой вольности, о том, как было бы чудесно жить, если б было у казаков то, да это, да вот это. Впрочем, Иван Почиталин сейчас выскажет в бумаге, чего ждет народ, он с большой ясностью и сам понимает чаянья сырых людей. Да и сам царь-батюшка в дороге много толковал, только вот как бы поскладней, да покудрявей, да чтоб рука проклятая не дрыгала... ишь, пляшет...

Пугачев со свитой, не расседывая коней, не разводя костра, чтоб приготовить пищу, очень долго стояли молча в отдаленье.

Подойдя к Пугачеву и поклонясь, Иван наконец подал ему бумагу. Все уткнули носы в письмо, дивились четкости почерка, кудряшкам, завитушкам. Пугачев, нахмурясь, шевелил губами, затем сказал:

– Хорошо пишешь, горазд. Будь секретарем моим.

– Это – манифест, ваше величество... Вам подписать вот тут надлежит, – и секретарь обмакнул перо в чернила.

– Что ты, что ты, молодец, – смутившись, отмахнулся Пугачев. – Мне руку свою до самой Москвы не можно казать, – он провел быстрым взглядом по напряженным лицам казаков и счел нужным добавить веско: – А почему так, в оном есть великие причины, коих уму простому ведать не подобает. Только одно скажу: где рука, там и голова... Чуешь, секретарь? Подпиши замест государя сам.

Почиталин, поклонившись, подписал.

Пугачев, бережно сложив бумагу, сунул ее за пазуху.

В полночь, в сентябрьской темноте, прибыли на Толкачевский хутор. Местность тут удобная: степь, перелески, речка. Здесь много казачьих хуторов, разбросанных то тут, то там. Хозяина не было, радушно встретил гостей хозяйский брат, Петр Толкачев. Чика отвел его в сторону и сразу атаковал:

– Государь требует, чтоб все живущие здесь казаки собрались поутру сюда. Иди, Толкачев, объяви соседям...

Уставшие, все улеглись спать на сеновале, но Чике не до сна. Он знал местность хорошо; долго вышагивал чрез густую тьму по хуторам, проваливался в ямы, натыкался на изгороди, нагайкой отбивался от собак, будил хозяев, объявлял:

– Завтра утречком собирайтесь, братцы, на Толкачевский хутор. Великий человек там вас будет ждать, а кто такой – узнаете. Коли доброй жизни хотите себе, не зевайте, казаки.

Так ходил он от хутора к хутору, пока не изнемог.

Рано утром 16 сентября к дому Толкачева подошло до полусотни казаков, калмыков и беглых русских крестьян. Их пустили в дом.

В небольшой горнице, в переднем углу под образами, сидел принаряженный, важный видом Пугачев.

А возле него, в некотором отдалении, не шелохнувшись, стояла свита. Вошедшие с жадным любопытством пялили глаза на «великого человека» и на свиту.

– Оpozнaйте меня, детушки, – негромко сказал им Пугачев.

Тут выдвинулся Чика и с жаром заговорил:

– Солнышко красное нам засияло, приятели-казаки, белый свет в незрячие очи вошел: с нами сидит-присутствует сам государь Петр Федорыч Третий!

Толпу охватила оторопь, удивленье, страх. С улицы под окнами кричали вновь пришедшие:

– Выходи, покажь нам, кто есть великий человек!.. Эй, Чика... Пошто суприглашал нас?

Тогда все вышли на улицу. Горело солнце. Воздух ядерн, пахуч, щеглы хлопотливо оклеивали в палисадах спелую рябину, пели петухи, кричали жирные утки, медленно плыли сквозь «бабье лето» дымчатые паутины, а над ними, в заоблачной голубизне, с прощальным курлыканием раскидистым углом тянули к югу журавли.

Пугачев невольно взбросил к небу голову, со щемящей, ударившей в душу тоской взглянул на вольную стаю любезных сердцу птиц: «Вы вот улетаете, а я, кажись, в силки попал», – но, поборов мгновенное смущение, смело вошел в круг народа.

– Я истинный государь ваш Петр Федорыч Третий. Верьте мне, детушки. Я жив, а не умер. Вот я пред вами весь тут. А замест меня похоронен другой, схожий со мной обличьем. Так Богу угодно было и добрым людям. Служите мне верой и правдой, я вас у своего царского сердца стану держать... Жалую вас всей вольностью, жалую я вас, великий государь, морями, травами, землей, рыбой, жалованьем добрым... Вы первыми в моем царстве будете. Я между миру бывал, повсюду хаживал. В странствиях своих самовидцем я был, сколь тягостно чернь живет, сколь люто мучают ее баре-господишки... Опречь того уведомился я и про ваши великие обиды... – Пугачев уставился в землю, покачал головой и, вздохнув, возвысил голос: – Да, да, детушки, правда говорится: когда настоящего пастыря не станет, народ погибает начисто. А вот я, государь ваш, защищу вас и покараю нещадно всех супротивников ваших, уповайте на меня!

Все, как один, повалились на колени.

– Послужим тебе, батюшка, послужим до последнего издыхания! Всем народом под свое защищенье тебя возьмем! – выкрикивал воодушевленный люд. У многих катились слезы. – Повелевай, отец наш!

Две молодницы принесли из часовни старозаветную икону. Началась чинная присяга государю. Всяк, от мала до велика, с усердием целовал икону, в безмолвии земно кланялся царю.

– Таперя, детушки, отправляйтесь по домам. Объявляйте по форпостам и где люди есть, что я, государь ваш, тут. А завтра, сев на коня, с пикой в руках, при сабле, при ружье, при полной парадной амуниции, быть вам около меня. Кто не явится, рук наших не минует. С изменником я крут.

– Твоя воля, батюшка!.. Присягали тебе... Рабы твои по гроб.

4

На другой день вооруженные собрались всадники. К Пугачеву еще примкнули казаки двух форпостов – Кожехаровского и Бударинского. Всего походных людей скопилось больше сотни. Сияющий Пугачев сел на рослого гнедого жеребца, въехал в круг и приказал:

– Секретарь! Читай войску манифест...

Все соскочили с седел, обнажили головы и, по примеру Чики, подняли кверху правые руки. Иван Почиталин развернул бумагу и громко, не борзая, стал выговаривать^[80]:

Толпа ответила радостными кликами, полетели вверх шапки.

«Семнадцатый сентябрь, семнадцатый сентябрь, – лезло в уши Пугачева, он старался и не мог припомнить. – Семнадцатый сентябрь... Что бы это значило?» Но раздумывать не было времени.

– На конь! – взмахнув рукой, скомандовал он. – Развернуть хорунки!

Пять разноцветных знамен, прибитых к пикам, запестрели в солнечном сиянии. На каждом знамени нашит белый восьмиконечный старозаветный крест.

Пугачев, за ним все – перекрестились.

– Вперед, детушки! – раздалась зычная команда государя.

Губастый горнист Ермилка проиграл в медный рожок. Впереди двигалась шеренга знаменосцев, за нею Пугачев со свитой, за ним – стройными рядами остальные. Бежали в отдалении женщины, старики и дети, взмахивали прощально шапками, платками и руками, крестили в счастливый путь, кричали: «Дай Бог удачу! Господь вас храни!» – обильные утирали слезы.

Войско приняло путь на Яицкий городок.

Дорога была не пыльная, кони бежали рысью.

«А-а-а, вот оно что. Семнадцатый сентябрь... Да ведь моя Софьюшка именинница сегодня», – вспомнил наконец Пугачев.

Может быть, в этот миг вспомнила его и Софья. В родной Зимовейской станице уж несколько раз тревожили ее, то и дело таскали к станичному атаману, лазили в подпол и на подволоку, скрытую стражу возле ее хаты ставили, держали на уме: авось опасный беглец Емелька Пугачев домой вернется, авось им в лапы угодит. «Эх ты, шатун, шатун, Омелянушка, зернышко мое. Спокинул меня, сироту, с малыми ребятами», – шепчет, может быть, брошенная мужем Софья, а сама глядит чрез Дон, от церкви на холме, в сторону восточную, глядит и плачет.

Пугачев вздохнул, задумался, голова его поникла. Подметив настроенье государя, Чика подъехал с левой руки его, громко спросил:

– Не можно ли, ваше величество, песню вдарить?

Пугачев поднял на него пустые, отрешенные глаза и ничего не ответил. Тогда Чика моргнул курносому толсторожему парню с рыжим из-под шапки чубом:

– Ермилка, запеснячивай!

Мордастый Ермилка откашлялся, ухмыльнулся, узенькие глаза его превратились в щелки, он поправил чуб, пошлепал губами и, чуть откинувшись в седле, высоким голосом запел:

Ты возмой, возмой, туча грозная,

Ты пролей, пролей, част-крупен дождик...

Казачи оживились, и стоголосая песня бурей ударила в степь и в небо:

На Руси давно правды нетути,
Одна кривдушка ходит по свету.

Взбодрился и Пугачев. Он знал эту песню и мастер был петь. Он хотел пристать к зычному хору казаков, но, подумав, что государю вряд ли подобает петь в трезвом виде, намеренье свое пресек.

По дороге прилеплялись к войску казаки из ближних хуторов, татары и калмыки. Рать росла.

А между тем давнишний указ графа Чернышева от 14 августа о поимке беглого казака Емельяна Пугачева, скрывшегося из Казанского острога, был доставлен оренбургскому губернатору Рейнсдорпу с особым гонцом в начале сентября. В указе строжайше повелевалось: разыскивать беглеца в пределах Оренбургской губернии, «особливо Яицкого войска в жилищах», а поймав, заковать в крепкие кандалы и «за особливым конвоем» отправить в Казань.

Губернатору Рейнсдорпу была совершенно непонятна столь великая тревога Петербурга по поводу бегства какого-то там жалкого острожника: сбежал, и черт с ним; их многие тысячи таких... Раздраженный Рейнсдорп ответил в Петербург, в Военную коллегию, что всяческие меры приняты были, но, к сожалению, беглец не обнаружен.

По злой иронии судьбы Рейнсдорп подписывал этот свой рапорт 18 сентября 1773 года, как раз в тот день, когда Пугачев, легко овладев Бударинским форпостом, подходил к Яицкому городку.

А поиски, меж тем, с обычной волокитой продолжались в пределах губерний Оренбургской и Казанской, а также по станицам Войска Донского.

Но напрасно ищут *бродягу Пугачева*: чванному Петербургу еще не скоро будет ведомо, что бродяги Пугачева нет и духу на Руси, а есть под именем Петра Федоровича III *грозный вождь восставших* – Емельян Иванович Пугачев.

Волею народа он есть – и действует!..

Книга вторая

Часть первая

Глава I

Строители столицы. Заморские диковинки. Возле хмельного чана

1

Молодой Санкт-Петербург застраивался, хорошел.

Нева, Фонтанка, Мойка, каналы одевались в тесаный гранит. Отечественные и западноевропейские зодчие состязались в искусстве воздвигать величественные дворцы, хоромы вельмож, казенные палаты, храмы.

Многие десятки тысяч крестьян, покинув убогие, под соломенными кровлями, деревни, устремлялись на заработки в Петербург, чтоб скопить деньжонок на уплату оброка помещику. Чрезмерным трудом, ценою болезней, а нередко и смерти, влача зачастую существование беспризорных псов, они с большим радением приукрашали царствующий город.

В иные незадачливые годы, когда лихорадки, желудочные заболевания и другие недуги нещадно косили строительных рабочих, пятая часть их ложилась костью в заболоченные земли Петербурга, и тысячи кормильцев не возвращались к своим семьям.

Рабочий люд стремился в столицу со всех концов страны. Из Белоруссии двигались землекопы, из Ярославской губернии – каменщики, штукатуры и печники, из Костромской – плотники, столяры, из Галичского уезда – «комнатные живописцы» и маляры, Олонецкий край давал мраморщиков и гранильщиков. «Мастера книгопечатания» были главным образом зыряне, выходцы из Вологодской губернии. Тульский край доставлял коновалов, кучеров и дворников, Тверская губерния – сапожников.

Только по одной Московской большой дороге ежегодно приходило через заставу в Петербург до двадцати тысяч пешеходов. Да немалое число крестьян приплывало в столицу водой на плотках, баркасах и баржах с грузом строительных материалов.

Еще с зимы разъезжали по деревням мелкие подрядчики из ловких москвичей и ярославцев или приказчики крупных подрядческих контор. С разрешения помещиков они вербовали крестьян, давали им в задаток по рублю на семью, заносили в шнуровые книги, ставили условие быть в столице к пасхе, к началу строительных работ.

С весны Петербург становился оживленным, многолюдным. Через все заставы вливались в город партии крестьян, прибывших со своими старостами на строительные работы. Ежели староста – бывалый человек, он вел артель сразу к квартире подрядчика. Большинство же пришельцев, с пилами, топорами, сундуками, кошельками, валило на площадь возле Синего моста через Мойку, невдалеке от дворца графов Чернышевых. Здесь издавна было нечто вроде биржи труда – место найма рабочих, прислуги, а иногда и

продажи рабов. Огромное скопище народу уже часов с четырех утра занимало всю площадь, оба берега Мойки, мост. Одни, сбросив с плеч инструменты, стояли, опершись на заступ или заложив мозолистые руки за спину, другие сидели на парапетах, на камнях, а третьи, утомившись, спали прямо на земле, положив под голову берестяной кошель.

Сбитенщики, пирожницы, лотошники, что «под брюхом лавочку носят», сновали между крестьянами.

– А вот сбитню горячего!..

– Кэ-эпченой рыбы!.. Сиги-и, стерляди! Кэ-эпченой рыбы!

– Пирожков крупчатых, пирожков!

Мужики облизывались, сплевывали, крутили бородами – им не до пирожков: эвот полдни скоро, а рабочего народу нисколь не убывает... Чего ж это хозяева-то не идут?

Но вот подъезжают, подходят приказчики, мелкие подрядчики. От артелей отделяются старосты, вступают в торг с нанимателями. Торг идет и час, и два. Старосты божатся, бьют себя в грудь, указывают руками на артель: «Да ты, милый, глянь, какие молодцы-то!.. Да они черта своротят... Прибавляй, не обижай землекопов-то...»

Староста Пров Лукич сбавляет по полтине, подрядчик прибавляет по гривеннику. «Тьфу ты, скупердяй!» – плюет староста и отходит к своим посоветаться. Подрядчик, насулив обидно малую цену, идет дальше.

Тогда вся артель кричит ему:

– Стой, стой!.. В согласьи мы... Эй ты, сквалы-ы-га! Время зря проводить неохота, а то бы...

– А не хотите, как хотите. На ваше место тыщи набегут... Только свистни! – Подрядчик, в синей чуйке, нахлобучивает картуз со светлым козырем и машет мужикам рукою: – Ладно, шагай за мной, ребята!

– Айда, братцы! – И вся артель в тридцать человек зашевелилась.

Артельная стряпуха, курносая, толстощекая, изрытая оспинами Матрена, взвалила на загорбок мешок с добром, продела руки в лямки, приготовилась идти.

– Будите рыжего-то. Ишь, черт, храпит, словно у себя на полатах! Эй, Митюха, вставай, дьявол!

– Да никак он нажравшись! Три ему уши хорошенько. Митька, Митька!

Двинулись, расталкивая толпу локтями. Рыжебородого пьяного Митьку ведут под руки; глаза у него закрыты, он с трудом переставляет ноги.

Вот на паре вороных подъехал в великолепном экипаже крупнейший столичный подрядчик Барышников. Не вылезая из фаэтона, он отдавал приказания двум подбежавшим к нему приказчикам:

– Вы, ребята, за рублем не гонитесь. Сулите цену настоящую – лучше стараться будут. Да и жрать станут посытней – глядишь, и хворости середь них помене будет. А то учнут животами маяться, работы не жди!

– Так-с, так-с, так-с, – подобострастно поддакивали приказчики. – Число душ по спискам прикажете?

– Даже сверх можно! Плотников занадобится первой руки полсотни человек, второй – сотню. Каменщиков – человек триста пятьдесят, достальных по списку...

– Этак, Иван Сидорыч, восьмьсот душ выйдет, – замечает один из приказчиков, – а подвалов-то у нас снято на четыреста...

– Ну, ежели на четыреста сняли, так туда и всю тысячу вбять можно. Не господа, не подохнут!

Барышников приказал толстозадому кучеру (в клеенчатой шляпе и в запашном, синего сукна, кафтане с талией под мышками) ехать к Казанскому собору, затем на угол Невского и Владимирской, затем на Сенную площадь и Никольский мост. Во всех этих местах пильщики, маляры, каменщики, чернорабочие каждый Божий день терпеливо ожидают найма. Барышников велел своим многочисленным десятникам завербовать не менее двух тысяч человек. Он участвовал в постройке огромного дворца^[81] для графа Григория Орлова, а также в облицовке гранитом берегов Мойки.

В позапрошлом году от строительных работ Барышников положил в карман сорок тысяч чистоганом, в прошлом – шестьдесят, а нынче, «ежели Божья воля будет», собирается он нажать не менее сотни тысяч. Да еще откупа приносили Ивану Сидорычу огромные доходы. Теперь он был по-настоящему богат.

С тех пор как продал он земляку свой питерский трактир, Барышников заметно пополнил, как будто стал выше ростом; он записался в купеческую гильдию, со вкусом одевался в немецкое платье, имел для выезда карету и четверку кровных лошадей, снимал хорошую квартиру. Теперь Иван Сидорыч больше походил на богатого провинциального помещика, чем на бывшего прасола и дельца, во время Семилетней войны ограбившего фельдмаршала графа Апраксина.

Его неотвязно обольщала мысль заделаться помещиком, быть неограниченным владельцем живых душ. Но, при всем своем богатстве, он оставался человеком низшего сословия, что лишало его права приобрести на свое имя землю с крепостными крестьянами.

Впрочем, закон строг и незыблем лишь для сырых и смиренных, богатому же да нахрапистому человеку всякий закон не трудно обойти. В конце концов Барышников может скупить сколько угодно земли и сколько угодно мужиков не лично на себя, а на любое подставное лицо. Уж кому-кому, а Ивану-то Сидорычу Барышникову найти для такой роли верного человека не составляло труда: ему вся знать знакома, даже есть кой-какая зацепка и при дворе.

2

День был праздничный, солнечный. Возле Синего моста любопытства ради чинят променады петербургские щеголи: канцеляристы из коллегий, стряпчие, молодые офицеры, приказчики-гостинодворцы, заезжие помещики с женами и прочий праздный люд.

У Синего моста стоят шеренгой желающие наняться в услужение: толстобрюхие, румяные повара при фартуках и в белых колпаках, конюхи в безрукавках и начищенных сапогах, бородатые дворники с метлами. Вот отдельная группа чисто одетых, подтянутых, бритых, припудренных молодцов. Это – лакеи. Они нагло и презрительно посматривают на проходящих скромных барынек, но перед светскими господами, подъезжающими на рысаках, вытягиваются в струнку, отвешивают манерные поклоны, придавая своим лицам рабски покорное выражение.

– Послушай, как тебя... Выйди! – манит мизинцем, вылезши из кабриолета, знатный барин.

Лакей стремительно вырывается вперед, останавливается – руки по швам – перед господином, чуть набок склоняет голову, весь превращается во внимание. Слух его ловит несколько небрежно брошенных вопросов:

– Сколько лет? Где служил? Как звать? Почему меняешь службу? Есть ли рекомендации? Вольный или крепостной?

Не повышая голоса, стараясь придать фразам особую заученную интонацию и выразительность, отчетливо и внятно лакей отвечает господину. Тот оглядывает с головы до ног стройную, рослую фигуру молодца, красивое лицо его с быстрыми, смысленными глазами. «Человек» ему нравится.

– Грамотен ли ты, Жан?

– Да, ваше сиятельство. Читаю книги, романы, почерк в письме имею добрый. В случае семейного торжества могу составить пиитическое приветствие. При досуге исполняю на скрипиче заунывные и веселые пьесы.

– Давно ли из деревни, Жан?

– Седьмой год, ваше сиятельство. Прямо от сохи. Грамоте обучался самоуком, при досуге...

Барин немало дивится способностям будущего своего лакея, говорит ему:

– Сегодня же обратись в мою контору... Знаешь? Там тебе объявят условия и зачислят в штат.

– Мерси бьен, ваше сиятельство. – И Жан – или, как он числился по паспорту, крепостной помещика Трегубова, Иван Пряников, – одернув фрак и набекренив поярковую шляпу, пошагал к месту своего нового служения.

В другой части города, на Никольском мосту, стояли старые и молодые няньки и кухарки, в повойниках, платочках, чепчиках. За ними – живописная шеренга рослых полнотелых кормилиц. Они в цветастых сарафанах, в тончайшего полотна белейших сорочках с пышными рукавами и в высоких кокошниках, чрез шею – связки бус. У некоторых на руках младенцы.

Малокровные петербургские барыньки в сопровождении лакеев или горничных, с пренебрежением проходя мимо низкорослых, щупленьких кормилиц, направляются то к одной, то к другой краснощекой, дородной женщине. Они просят кормилиц расстегнуть сорочку, пристально осматривают груди, щупают их, желая определить, достаточно ли туги, избыточно ли могут дать молока.

Сухопарая, в седых локонах, старуха, за которой лакей бережно таскает на руках жирного мопса с

прикушенным кончиком языка, осмотрев молодую женщину, сказала ей:

– А тебя, голубушка, пожалуй, возьму. Я беру мамку для своей дочки, адмиральши, – ей Бог даровал сына-первенца. Скажи, ты крепостная али вольная? И кто твой муж? И как тебя зовут?

– Зовут меня Татьяной. А мужа у меня нету, барыня. Я вдова. Да я вам опосля расскажу, вы будьте без сумления, – стыдливо опустила Татьяна синие, под темными ресницами, глаза. Ей и впрямь совестно было рассказывать о себе чужой барыне.

Жизнь молодой Татьяны сложилась так. Ее, сироту, девчонкой купил за семь рублей забулдыжный офицерик из мелкопоместных дворян, некто Вахромеев. Был он пьяница и картежник, жил на Литейной, в квартире из трех маленьких комнат. Сам занимал две комнаты, а в темной, выходящей окном в стену, жили три молодые купленные им девушки. Новую, Татьяну, поселил он в каморке под лестницей. Девушки ежедневно уходили к мастерице-швее, с утра до ночи обучались шитью и вышиванию гладью. Стала к швее ходить и Татьяна. Из рассказов старого солдата, коротавшего жалкую жизнь в кухне и бесплатно работавшего на офицера в должности денщика, стряпухи, няньки и прачки, Татьяна узнала, что офицер за пять лет скупил до тридцати молоденьких девчонок. Он обучал их какому-либо ремеслу, а когда они входили в возраст, развращал их; красивых иногда сдавал выгодно в аренду на месяц, на два своим холостякам-сослуживцам, затем перепродавал девушек с большим барышом в качестве домашних портних, кастелянш или горничных, а на их место приобретал за гроши новых. Он кормил своих рабынь скудно, одевал плохо, потому девушки волей-неволей должны были тайком от господина снискивать себе пропитание. Вечерами они заглядывали в кабачки или на купеческую пристань с целью подработать деньжонок своими прелестями. По словам денщика, одна из девушек года три тому назад заболела дурной болезнью и заживо сгнила, другая от тоски повесилась, третья бросилась в Неву, но была спасена. Офицеру все это сходило с рук.

Был случай при Татьяне. Пришли к офицеру три торговца коврами, три чернобородых перса, ради покупки девушек на вывоз в Персию. Показывая товар лицом, офицер велел трем девушкам раздеться. Персы пришли от молодых красоток в восхищение и, не жалея денег, купили их по триста рублей за душу – цена по тому времени необычайно высокая. Так как закон воспрещал продавать живой товар на вывоз за пределы государства, то офицеру Вахромееву пришлось в обход закона, по совету стряпчего, составить с персами официальное договорное условие, по которому хозяин отдавал девушек якобы в обучение ковровому мастерству сроком на двадцать пять лет каждую.

Девушки с отчаяния, что их вскорости увезут невесть куда – на чужбину, предались столь неутешному рыданию, что на их вопли сбежался со всего квартала народ.

– На расправу! Офицера на расправу! Персюков на расправу! Бей их! – шумел, осведомившись о причине девичьего горя, народ. В окна квартиры Вахромеева полетели камни.

Явившийся наряд полиции, установив, что сделка совершена на законном основании, нагайками разогнал толпу. Защиты и спасения проданным девушкам не было.

Войдя в возраст, Татьяна стала любовницей офицера. Она ненавидела своего тирана, но, чтобы избавиться от постыдной жизни, у нее были только два пути: побег или самоубийство. Но бежать – это значит быть пойманной, наказанной кнутом и снова водворенной к господину. Оставалась смерть! Умирать Татьяне не хотелось. Она неустанно молила Бога, чтоб лиходей скорей продал ее в какое-либо семейство. Но Вахромеев привязался к ней и не желал с ней расставаться. Она забеременела от него и родила.

Однако настал конец. Офицер проиграл в карты казенные деньги, его пришли арестовать; он схватил пистолет и застрелился. Что же после этого произошло с Татьяной? Нашлись добрые люди, которые помогли ей стать вольной. Дело разбиралось в одном из столов юстиц-коллегии. Дознано было, что

самоубийца не имеет наследников, кроме новорожденного сына, мать которого, Татьяна Пирогова, крепостная самоубийцы, после судебного разбирательства объявлена вольной.

Через неделю ребенок умер, и вот Татьяна решила попытать счастья в кормилицах.

Пока барынька осматривала молодую женщину, вся недолгая жизнь промелькнула в ее сознании как тяжелый сон. Ей едва минуло девятнадцать лет, но глаза ее задумчивы и скорбны. Только одно тяжелое видела она в жизни и на собственном опыте убедилась, что каждый человек имеет свою страшную судьбу, исполненную несчастий. «Пройдя сквозь всю землю, ни единого человека не сыщешь счастливого», – говаривал бывало девушкам мудрый старый денщик офицера-самоубийцы.

Все это пришло Татьяне как-то вдруг, и такое смятение охватило ее душу, что она почти ничего не слыхала, о чем расспрашивала ее барыня.

– Три рубля в месяц будешь получать на всем готовом. Согласна ли?

– Согласна, – ответила Татьяна и, всхлипнув, заплакала.

– Идем. Кормилицам плакать нельзя, молоко прогоркнет. Садись на дрожки, милая... Степка, пошел!

Шестидесятилетний беззубый Степка зачмокал, задергал вожжами. Дрожки двинулись, затарахтели, увозя свободную Татьяну из плена в плен.

3

Солнце светило ярко, по-весеннему. Косые лучи его оживляли стройную перспективу улиц, кудрявую молодую зелень в садах и скверах, праздничные группы нарядно разодетых прохожих, лакировку шикарных карет, лоск выхоленных рысаков, легкие крылья порхающих в небесной синеве белых голубей.

Белокипенными брызгами рябилась Нева, а золотой шпиг собора Петропавловской крепости, подобно огненоносному копью, вонзался в небо. Многочисленные челны, душегубки, лодки да нарядные, разукрашенные резьбой рябики знатных вельмож, правительственных коллегий и частных предпринимателей скользили по каналам, Фонтанке, Мойке и Неве. Этих любимых жителями средств передвижения было в столице не меньше, чем лошадиных упряжек. На иных рябиках гуляли по праздничному делу пьяненькие, с гармошками, песнями, балалайками и выпивкой. Шумно и весело было на воде.

Вот увеселительный рябик князя Юсупова, похожий своим убранством на богатую венецианскую гондолу; в корме – просторный балдахин, украшенный портьерами малинового бархата с мишурной золоченой бахромой, в середине – места для двенадцати гребцов, в носу – хор песенников. Рябик играет под солнцем яркими красками, резьбой и позолотой. Гребцы сильные, загорелые красавцы, одеты в шитые серебром, вишневого цвета куртки, на головах шляпы с пышными перьями. Под балдахином старая княгиня с внуками – девочкой и мальчиком, два лакея, калмычонок в красном жупане, немка с англичанкой. Хор песенников в двадцать человек складно запекает:

Как у ключика у гремучего,
У колодезя у студеного
Добрый молодец сам коня поил,
Красна-девица воду черпала...

Протяжная грустная песня плавно катилась над невскими водами.

– Суши весла! – скомандовал из-под балдахина молоденький барчонок в морской форме.

Белые весла были враз подняты. Вода стекала с лопастей хрустальными брызгами. Гребцы дружно пристали к хору. И как только ударила песня, на всех ближних рябиках сразу все смолкло. Как маленькие рыбешки, они окружили просторный рябик Юсупова и, держась на некотором от него расстоянии, всей флотилией двинулись вслед за ним по течению.

Старинная русская песня своим словесным складом и величиим напева всех очаровывала, будила в сердце давно забытое, родное. Обаянию песни прежде всех поддались подвыпившие и пьяные: они трясли головами, косили набок рты, всхлипывали. Старушки устремляли усталые глаза вниз, жевали губами, вздыхали. Влюбленные девушки и молодые люди брались за руки, смотрели друг другу в глаза, как в волшебное зеркало, и, внимая песенным голосам, таинственно улыбались.

Юсуповский рябик остановился посреди реки, а песня плыла, плыла:

Как возговорил добрый молодец:
«Где ж любовь твоя, душа-девица?
Ты зачем мое сердце вынула,
А сама дала обещаннице
Моему врагу быть женой навек?..»

– Мочи весла! Приналяг! – скомандовал барчонок.

Рябик пошел к Васильевскому острову, к пристани купеческих иностранных кораблей. Там иноземные гости торгуют разными диковинками.

Вот сюда-то, в этот любопытный уголок столицы, и отправилась ради развлечения внуков старая княгиня Юсупова.

Сюда же катил на своих кровных рысаках и богач Барышников. Ему хотелось подобрать какой-нибудь любопытный презент для Алексея Григорьевича Орлова; с пустыми руками являться просителем в графский дом – дело неподходящее.

На пристани Васильевского острова – как на ярмарке. Не один десяток больших и средних парусных кораблей под иностранными флагами был пришвартован к деревянной, из рубленых ряжей, набережной. Все палубы и берег завалены бочками с рыбой, икрой, сливами, маслинами, виноградным вином, английским эльбиром, олифой. Тут же лежали штабелями джутовые мешки с сахаром, рисом, орехами. Поверх штабелей, прикрытых сложенными парусами, спали в разных позах утомленные ночной гулянкой матросы. На скатанных в круг просмоленных канатах, на кнехтах сидели, покуривая трубки, или прохаживались по палубе караульные боцманы и вахтенные.

Сегодня воскресенье – выгрузки нет, трюмы заперты на замки, ключи у хозяев. Хозяева либо пьют вино с русскими купцами в своих каютках, либо толкутся среди гуляющей публики.

Пахнет соленой рыбой, смолой, олифой, сыростью, перебродившим вином. На поверхности воды играют солнечные блики.

На пристани и на берегу, под вековыми дубами с молодой листвой, идет торговля. Чернобородые греки и кудрявые, оливкового цвета итальянцы продают разноцветных попугаев, крохотных, с грецкий орех, изумительного оперения колибри, одетых в теплые кофточки мартышек, шимпанзе, тропические растения, ароматические снадобья и прочие редкостные вещи. А вот моряки-голландцы, с бритыми лицами и курчавыми рыжеватыми бородами, растущими от уха до уха из-под нижней челюсти. Они в кожаных жилетах, в кожаных с наушниками шапках, в коротких штанах, белых чулках и грубых, неизносимых туфлях с толстыми подошвами. Голландцы торгуют небольшими сочно написанными натюрмортами в золоченых рамах, а также шоколадом, жирными селедками в стеклянных бочоночках, кружевами, отрезами тончайшего голландского полотна. Ряд иноземных моряков-спекулянтов растянулся почти на версту – шведы, датчане, норвежцы, англичане, турки в красных фесках. У каждого приколот к шапке или к куртке ярлык с правом на розничную торговлю. Коммуникационные столичные комиссары, проверяя ярлыки, не упускают случая воспользоваться от торгующих матросов мелкой взяткой.

Многочисленная гуляющая публика покупает диковинки с большой охотой, они приятны и недороги.

Какой-то франтик купил тросточку с рукояткой в виде обнаженной женщины; группа офицеров с хохотом рассматривает и покупает гравюры, изображающие «секретные акты» любви; соборный протоиерей подбирает по глазам очки: наденет и, морща нос, заглянет в страницы карманного Евангелия. Купчиха сторговала ларчик, оклеенный цветными ракушками; монашенка соблазняется кипарисовыми образками с Афон-горы; пьяный немец-булочник с Невского проспекта ищет шнапсу, из карманов его белой куртки торчат две терракотовые фляги рижского бальзама. Большим спросом пользуются апельсины и финики в стеклянных банках.

Обе стороны объясняются знаками, мимикой или пишут цену на бумажке.

Барышников хотел купить огромного страуса, что тоскливо стоял привязанным за ногу к дереву, но подошел бывший царский денщик Митрич, узнал, что страус предназначается в подарок графу Алексею Орлову, и отсоветовал:

– Не примут-с... Они не таковские!

Барышников сказал:

– Хотелось мне попугайчика говорящего купить, да все неподходящие, лопочут не по-русски.

– Да, да! – ответил Митрич, поглядывая на сотни клеток с шумно кричавшими на все лады попугаями. – Вот ежели бы найти такого попугая, чтоб поматерно ругался... Холостые господа ругательных птичек сильно уважают. Знавал я такую птаху у графа Захара Григорьевича Чернышева. Она птичка могла выражаться на двенадцать ладов. Она, бывало, матерится, а господа от хохота чуть на пол не падают.

– Кто же обучал-то ее? – спросил всерьез заинтересованный Барышников.

– А ее отдавали в науку олонецким пильщикам в ночлежку.

Барышников, пробиваясь локтями через толпу, отвел Митрича в сторону, разъяснил ему цель предстоящего визита к Орлову и показал ему изумительной работы небольшой черепаховый, с золотой инкрустацией, ларчик.

– Ужели и этот не примет?

– Не примут.

– Ну а коль я сей ларчик золотыми червонцами набью?

– Они в деньгах не нуждаются... Что им деньги? Толкнитесь-ка вы, батюшка, лучше к братцу их, к Ивану Григорьичу. Братец и даяние ваше примет, и дело с вами сделает. Таково мнение мое... А впрочем, вам видней.

– Гм, – сказал Барышников, – надо подумать. А ты что тут, Митрич?

– Да так я, скуки ради. Старуха моя от водяной болезни умерла. Поил, поил ее, голубушку, настоем из черных тараканов – знатец один советовал, – а она, царство ей небесное, вся водой и взнялась. Теперь один как перст. Скучно. То к ней на могилку схожу, то в Александро-Невский монастырь – ко гробнице приснопамятного благодетеля моего императора Петра Федоровича... Ох-тих-ти...

– Иди ко мне служить. И тебе хорошо будет, и мне честь – бывший императорский лакей при моей особе.

Огромная бородача Митрича зашевелилась от кривой улыбки. Он снял шляпу – лысина засияла под солнцем – и низко поклонился Барышникову:

– Премного благодарен вам, батюшка. Да ведь стар я.

– А я и не буду утруждать тебя больно-то. У меня лакей молодой есть. А ты станешь главным. Я тебе форму справлю с такими галунами, что ты и при дворце-то не нашивал. У тебя медали-то есть?

– А как же, батюшка, четыре штучки-с... А сверх того офицерский крест. Вся грудь увешана.

– Ну, стало быть, не надо лучше! Беру тебя!

– Сам государь изволил приколоть мне крестик-то. Оба мы с ним пьяненькие тогда были. Он говорит: «Я, говорит, Митрич, люблю тебя... как папашу своего... На-ка, грит, носи. Да смотри, береги меня пуще». И при сих словах изволил снять крест со своей груди и мне приколоть. А вот я и уберег его... Ловко уберег благодетеля... – Митрич отвернулся, замигал, засопел, по его щекам покатались слезы.

– Не тужи. У меня тебе не хуже будет. У меня в намерении такие дела заворачивать, что ахнут все.

– Премного благодарствую. Я в согласьи.

Старуха Юсупова остановилась возле места, где продавали привезенных негров – под видом отдачи

их в услужение богатым вельможам. Во дворец Юсуповых как раз требовались два негра. Был у них один, но состарился, да, кроме того, граф Шереметев имеет у себя четырех негров, а Юсуповым в чем бы то ни было отставать от Шереметевых не хотелось. Старуха сторговала двух негров – одного плечистого, средних лет богатыря, другого – лет тринадцати мальчика с печальными глазами. Она заплатила высокую сумму, втрое превышавшую цену за хорошего русского слугу. Княгиня с внуками села в подкатившую за ней карету, поручив лакею с полицейским доставить негров на дом в рябике.

По ее отъезде разыгралась сцена, заставившая многих даже из видавших виды случайных зрителей содрогнуться. Старуха Юсупова не знала, что ей придется навеки разлучить отца с сыном. Если б она знала это, она купила бы вместе с мальчиком и отца его или же отказалась бы от покупки сына. Когда отец, уже седоватый, но мускулистый, плотный человек, увидел, что его сына уводят, а он остается и, может быть, будет продан где-нибудь в другом государстве, он бросился к плачущему детищу; сын повис на его шее и замер. Белки огромных глаз отца засверкали, толстые губы скривились в страшную гримасу, обнажив ряд белейших, как саксонский фарфор, зубов. Он обнял сына, и вся его коренастая фигура напряглась, как бы приготовившись к защите этого тихого мальчика, единственной его радости в жизни.

– Бери! – и лакей с полицейским подошли вплотную к мальчику.

Отец, скрежеща зубами, принялся отчаянно что-то выкрикивать гортанным голосом и изо всех сил отлягиваться от лакея. Затем он обрушил на голову полицейского такой сокрушительный удар кулаком, что тот слетел с ног, вторым ударом он разбил лицо лакея. А когда на чернокожего набросились матросы, он расшвырял их и с диким воплем бросился в Неву. Его кинулись спасать, подплыли на двух лодках, вытащили за шиворот, но он, выхватив из кармана бритву, на глазах у сына перерезал себе горло.

Со всех сторон сбегались люди. Толпа враз воспламенилась, как подожженный стог сухого сена.

– Видали, братцы? Иноземец жизнь свою решил!.. Стало, не сладко и ему доспелось.

– На чужбине, братцы, он... В чужой земле... Пожалеть человека надо.

– Хоть он и черный, а душа-то у него, может статься, побелей, чем у иного барина.

– А вот уже поглядим, какова у наших бар душа!.. Грудины-то им в спорем!

– Мало им крепостных-то своих, так из-за морей ищут потехи ради!

– Накажет их за это Господь-батюшка!

– Да еще как накажет-то!.. Цари им мирволят да потворствуют, а Всевышнего не купишь!

Всех сильнее шумели набежавшие строительные рабочие, барская челядь, мастеравые.

4

Артель землекопов вместе со своим старостой, долгобородым Провом Лукичом, и подрядчиком пришагала наконец к двухэтажному каменному дому на Сенной. Подрядчик вытер платком вспотевший загривок и повел артель в полуподвальное помещение. Комната хотя и большая, но для тридцати душ довольно тесная; потолок – рукой достать, стены сырые, два небольших оконца. Нары в два ряда, скамьи, стол – вот и все убранство.

– А печка-то где же? Как же хлебы-то выпекать да обед варить станем? – спросил староста. – Мы без печки не согласны.

– Не будет печки, мы лопаты в руки да и были таковы, – зашумела артель.

– Ну ладно, не орите, – сказал подрядчик. – Я кирпич предоставлю, а печника найдете сами.

На том и порешили. Подрядчик объявил распоряжок:

– На работу, ребята, становиться в пять утра, с работы уходить в девять вечера, перерыв на обед – два часа.

– Ой-ой-ой! – зачесали землекопы в затылках. – Стало, это сколько же часов на тебя пуп-то надрывать? Эй, Лукич, а ну смекни.

Староста, пригибая к ладони пальцы и пошевеливая губами, сказал:

– Выходит, ребяташки, четырнадцать часов чистых... Много, хозяин.

– Много и есть... Да ты сдурел! – закричала артель. – Сквозь сутки, что ль, работать. Эй ты, мохнорылый черт! Не согласны мы без прибавки...

– Я вам прибавлю, окаянные! – зашумел на крикунов подрядчик. – Я вам так прибавлю, что своих не узнаете...

– Ну, так уж и не прогневайся, – раздался голоса. – Уж в таком разе так и работать тебе станем: разов десяток землю колупнем да и за раскур!

– А это вот на что? – сказал подрядчик, угрожающе потряхивая жилистым кулаком. – Ахну – зубы скакают. А нет – в часть да портки долой, только говори, где чешется.

Артель присмирела. Подрядчик ушел.

Корявая тетка Матрена достала из кошеля завернутую в чистый платок икону Богоматери, достала молоток с гвоздями, приложилась к иконе, забрала в рот гвозди и полезла прибивать образ в передний угол. Она трудилась с иконкою, а тридцать человек, разинув рты, смотрели на нее. Староста командовал: «Выше, ниже, правей чуток... Ладно, колоти!» Когда икона была водружена, все стали креститься на нее, вздыхать.

Староста послал Матрену на рынок купить чего-либо поснедать всухомятку. А под вечерок пускай она собирает всех в баню. После же бани они, всем скопом, пойдут в трактир горяченького попить – как он называется... Чай, что ли? Да и водочки можно будет пропустить по махонькой.

Матрена ушла. Лукич сел за стол, вынул из сундучка записную книгу, чернильницу с гусиным пером и счеты.

– Садись, ребята, надо нам расход-приход смекнуть, – сказал он и надел грубой работы очки. – Значит, милые, робить мы будем с первого числа мая до Покрова, всего пять месяцев. Договоренная

плата наша – по сорок копеек на день. Это в месяц ложится, выключая праздники, за двадцать пять ден... – он стал щелкать на счетах костяшками. – В месяц, стало быть, ложится десять рублей ровно. А за все пять месяцев на кажинную душу набегает по полсотни рубликов. Верно?

Все присмирили, внимательно вслушиваясь в речь вожака. Напряженная тишина нарушалась лишь мерным похрапыванием спавшего на нарах пьяного Митьки.

– На прохарченье сколько класть, ребята?

– Клади по три целковых на месяц с рыла, – сказал молодой паренек с заячьей губой, – по два пятака на день.

– Больно жирно! – замахали на него руками. – Клади, Лукич, по рублю на месяц.

– По рублю мало, ребята, – проговорил староста. – Давайте по два целковых, а там видно будет, можно и убавить.

Дальнейшие разговоры показали, что из пятидесяти рублей всего заработка каждый должен был уплатить своему барину пятнадцать рублей оброка да два рубля в месяц на харч – то есть десять рублей за все пятимесячное рабочее время.

– Вторым делом, ребята, кто за обедом будет материться – портки долой и по сидячему месту ложками лупить, – предложил староста.

– Ха-ха-ха! Согласны! – развеселились землекопы.

– Третьим делом, чтобы к нашей стряпухе Матрене ни-ни-ни... Она бабочка тихая, я пообещал ейной матери-старухе блюсти ее...

– Блюда, блюда! – опять захохотала артель. – Замок повесь ей либо колокольчик валдайский.

Староста забрякал на счетах костяшками, сказал:

– Стало быть, судари мои, ежели скостить оброк, да харч, да прогульные, всего-навсего домой вы припрете, ни много ни мало... по двадцать три рубля, – сказал он и вдруг закричал: – Стой, стой! А себя-то с Матреной, старый хомяк, забыл! Мне, ребята, как еще в деревне уговор был, по рублю с носу за труды за мои да Матренушке по полтине – ей делов выше головы будет.

Матрена приперла на себе хлеба, квасу, сеченой капусты, репчатого луку.

– Вот, мужики, – сказала она. – Харч здесь-ка дорогой: оржаной хлеб решетный грош фунт, а ситный-то копейка... А к мясу и приступу нет: говядина фунт три копейки, а свининка-то четыре – по базарной росписи, говорят...

– Пусть свинину баре жрут, – возразил парень с заячьей губой.

Помолились. Принялись за еду. Лукич расправил бороду, взял деревянную ложку, сказал:

– Эй, мужицкое крошево, кисло да дешево! Хлебай, робя!

5

Пьяница рыжебородый Митька перед началом работ направился, по примеру прошлых лет, в церковь, чтоб подать священнику «трезвую записку» с зарокom не прикасаться к вину до положенного времени.

Сначала он зашел в церковную сторожку, битком набитую такими же, как и он, бражниками. В унылых позах, с мутными глазами, стояли они перед седым дьячком, строчившим «трезвые записки». Когда очередь дошла до Митрия, дьячок спросил его:

– Сколько кладешь?

– Богу две копейки, тебе грошик.

– Маловато, чадо. По носу вижу, что ты питух горький, бесов возле тебя вьется, как возле меду мух. Клади Богу три копейки, священнику две, мне копеечку.

Митрий согласился. Дьячок, пофыркивая носом, стал скрипеть гусиным пером по бумажке:

«Раб Божий Димитрий зарекается пред престолом Господним к вину не касаться до Михайлова дня, сиречь восьмого ноембврия, а ежели он, раб Божий, зарок допрежь срока нарушит, да будут ему на том свете муки лютые».

Дьячок прочел, получил мзду, спросил:

– Ты, поди, неграмотный? Тогда становь вот здесь крестик.

После обедни все сто двадцать пьяниц слушали особый молебен о ниспослании винопивцам воздержания. Затем священник отобрал от каждого записки, подсунул их под престол и сказал:

– Кто напьется до положенного срока и не смoет сего греха покаянием, того ждут великие беды.

Все новые трезвенники вышли из церкви в глубоком унынии. Стиснув зубы и глядя в землю, они в озлобленном молчании расходились по домам.

Староста Лукич вскоре направился на постройку Мраморного дворца, чтобы пригласить работавшего там своего земляка Ваньку Пронина сложить артели русскую печку. На огромной постройке трудились главным образом рабочие Барышникова. Здесь было более четырехсот человек. Работами распорядились приказчики да десятники, а главным командиром был смотритель Петр Петрович Рябчиков. Он когда-то служил при сенате старшим писчиком, хапнул крупную взятку со вдовы-помещицы, начальства не спросив и с начальством не поделясь, а поэтому и выгнан был со службы «за пьяные дебоши и предосудительное поведение». Вида он был свирепого: пучеглазый, лохматый, жилистый. Ходил руки назад, закусив зубами нижнюю губу. Через плечо – плеть. Он почти ежедневно пьян с утра, имел привычку пакостно ругаться, был также «ёрзок на руку». К месту постройки приходил раза два в день, и тогда его сиплый от перепоя голос гремел не переставая, наводя на рабочих уныние и страх. Остальное время смотритель проводил по трактирам, иногда валялся пьяный где-нибудь в канаве.

Проходя мимо разговаривавшего с печником Прова Лукича, смотритель вытянул старика плетью. Лукич круто обернулся к обидчику, крикнул:

– Это за что же? А?..

Смотритель, потряхивая плетью, как ни в чем не бывало пошагал дальше, окруженный приказчиками. Они уже успели наклеузничать ему на некоторых нерадивых, по их мнению, рабочих.

Подойдя к артели плотников, со всем старанием занятых своим делом, Рябчиков рявкнул:

– Который?

– А вот курносый, шея шарфом обмотана, – шепнул приказчик.

Смотритель взял курного парня за шиворот и нанес несколько ударов плетью. Запуганный парень не посмел даже пикнуть.

День был субботний. В Петропавловской крепости, как раз через Неву, против постройки, куранты отбили шесть раз. По городу заблаговестили ко всеобщей. Рабочие сняли шапки, покрестились и снова принялись за дело. Даже под праздник им льготного времени не было. А многим вот как хотелось сходить в церковь, душу отвести: послушать знаменитых певчих, поглазеть на народ, на благолепное служение.

Печник Ванька Пронин, разминавший на подмостках глину, сказал Прову Лукичу:

– Ты, отец, пройдишь по набережной, а через часок-другой опять приходи. Эвон, видишь, возле забора палатка белеет да флачок метлесит, – ну-к, об это место и приходи.

Лукич так и сделал. Погулял, полюбовался на зеркальную Неву, на рябики, на увенчанный архангелом золотой шпиг Петропавловской крепости, посмотрел, как сотни две солдат копрами сваи на Невской набережной бьют, наконец пришел к палатке, что в углу строительного участка, и присел на штабель скобленных бревен.

У палатки стоял огромный дубовый чан с железными обручами. Возле чана – высокий одноглазый человек с мочальной бороденкой, при фартуке и в черном картузе. Лукич с удивлением заметил: на вбитых по краям чана гвоздях висели рубахи, картузы, портки, сапоги, даже лапти, и прочий ношенный скарб. «Что такое?» – подумал он.

С воли, с площади, скорым шагом приблизился к чану черномазый, с серьгой в ухе, малый и резким голосом крикнул одноглазому:

– Ведро!

Одноглазый почерпнул из чана ведро жидкости и перелил ее через воронку в две полуведерные фляги. Черномазый забил фляги деревянными с тряпкой втулками, запихал в мешок, взял мешок под мышку и ушел.

«Вареная вода, должно», – подумал Лукич и направился к одноглазому напиться.

– А ну, приятель, почерпни-ка водички мне, – сказал он, – угорел чегой-то я – знать, с селедок, страсть пить хочется.

– На сколько тебе? – спросил тот и подергал за протянутую меж кольями веревочку. Висевшие на ней оловянные посудинки в виде черпачков задрыгали, заплясали, как блестящие рыбки. – На копейку, на две, а вот эта – на три, в ней три глотка добрых. – Да Бог с тобой, – поднял Лукич голос, – да ведь ей вон сколько в Неве, водицы-то твоей...

Кривой всхотнул бараньим голоском:

– С такой воды, браток, живо угоришь, и лапти вверх. Не вода это, а самая забористая сивуха. Хлебнешь – упадешь, вскочишь – опять захочешь.

– Ты лясы-то, вижу, мастер точить. Ярославец, что ли?

– Нет, мы московские, – ответил кривоглазый, поддев из чана трехкопеечным черпаком сивухи. Он понюхал ее и стал тихонечко выливать обратно, очевидно, пытаясь соблазнить старосту. – Эх, добро винцо! Барышниковское! Ведь я не от себя, а от господина подрядчика Барышникова. У него пять таких

распивочных... У него, у Барышникова-то, мотри, в пяти местах стройка идет по Питенбурху, а в шестом – в Царском Селе – пруды он чистит. А вон тот парень, с серьгой в ухе, что ведро взял, этот от меня вразнос торгует.

– Так-так-так, – поддакивал Лукич и, указав на развешанное вокруг чана барахлишко, спросил: – А это что же?

– А это... Кое пропито, кое в залог сдадено. Вот за эти самые сапожнишки недопито восемь посудынок трехкопеечных. Сегодня суббота, хозяин придет, Бог даст, допьет.

Оказалось, что кривой арендует палатку у Барышникова за тысячу рублей и наживает, по его собственному признанию, чистоганом рублей шестьсот.

– Куда ж тебе, грешный ты человек, этакую прорву денег? – сердито спросил кривого Пров Лукич.

– Хах, ты, – и одноглазый снова засмеялся бараньим голоском. – Ну и дед-всевед! Задом в гроб глядишь, а ума не нажил. Первым делом – избу я поставил себе новую на Васильевском острове; вторым делом – корову-удойницу да лошадок завел... Да вот графу Шереметеву платить надо, барину своему.

– Из крепостных, значит? Да ты бы выкупил себя на волю.

– Хах, ты, – опять хахнул кривой. – Он, брат, граф-то Шереметев, никому воли не дает, не-е-ет, брат! Многие его крепостные мужики в Питере да в Москве в купцах ходят, в ба-а-ль-шущих купцах! Взять моего соседа из нашей деревни, Митрия Ивановича Пастухова, – о-о-о, главный во всем Питере богач, самой первой гильдии купец и фабрикант великий! Он к графу-то, к Шереметеву-то, на четверке рысаков подъезжает, не как-нибудь. Во, брат, какие мужички есть! Это понимать надо, – и кривоглазый целовальник, захлебнувшись хвастливыми словами, вскинул палец вверх. – Уж он бы, Пастухов-то наш, мог бы на волю откупиться, он графу миллион сулил, да граф не отпускает. Вот каков граф-то Шереметев, барин-то наш!.. А ведь он, гляди, не гордый. Пастухова-то иным часом к обеду кличет... Призовет, а там уже целая застольца князьев, графьев да генералов. Ну, Митрий Иваныч обхождение знает, со всеми об ручку поздоровкается, сам в лучшем наряде, под бородой да на грудях медали со крестами; сидит в кресле честь-честью, наравне со всеми пьет-ест. А граф подымается со стаканом в руках да и говорит: «Ну, господа, тепереча выпьем мы за моего мужичка, за Митрия Иваныча Пастухова, он мне миллион давал, чтобы я его на свободу выпустил, а я не хочу. Мне антиресно, – говорит, – что в крепостных у меня такие мужики. Ведь вот он, миллионщик, пожалуй, всех вас, господа, с потрохами купит, – а я, промежду прочим, могу его, как раба, сейчас же на конюшню отправить и порку дать».

– Да уж не врешь ли ты? – усомнился Пров Лукич. Он заинтересовался рассказом, стоял возле чана, расставив ноги и опершись подбородком на длинную палку с завитком.

– Тьфу ты! – рассердился целовальник. – Мне сам камердинер его сиятельства сказывал. А знаешь, сколько купец Пастухов платит Шереметеву оброку-то?

– Да, поди, тысяч с полсотни в год?

– Десять рублей всего! – закричал целовальник, и его большой кадык задвигался вверх-вниз по хрящеватому горлу. – Вровень со мной платит... Не берет больше граф! Понял ты это?

Вскоре ударил сигнальный колокол.

– Шабаш, шабаш! – раздавались всюду близкие и далекие выкрики.

К целовальнику подбежали два подростка.

– Что, пострелята, запозднились? – строго сказал целовальник. – Надевай скорей фартуки! – И,

обратясь к Прову Лукичу, проговорил: – Это наследники мои, отцу помогать прибежали.

Толпы рабочих быстро расходились по домам. А человек с полсотни, перескакивая через котлованы, канавы, штабеля, мчались, как бешеные кони, к чану, чтобы занять поскорей очередь. Несколько позже набежали рабочие с чужих соседнихстроек.

– Налетай, налетай! – оживился целовальник, улыбаясь одним глазом. – Не все вдруг, по одному да почаще, по одному да почаще!

Прибежал и печник Ванька Пронин.

– Пров Лукич! Шагай скорееича, – кричал он земляку. – Угощай, отец!.. Магарыч с тебя.

Лукич примостился с ним в очередь. Все, глотая слюну и держа в руках кто головку лука, кто кусок хлеба с селедкой, начали чинно продвигаться к чудодейственному чану.

Длинный конопатый дядя принялся упрашивать хозяина отпустить ему два глоточка в долг. Целовальник замахал на него руками:

– Проваливай, проваливай!.. Ведь ты же заработок получил.

– Получил, да не пришлось мне ни хрена! Старик у меня умер, в деревню довелось послать денег-то. Да вот помянуть родителя-то, царство ему небесное, желательно.

– Сымай рубаху, – скомандовал конопатому хозяин. – Шевелись, копайся, в руки не давайся.

– Как же я голый по городу пойду? Без рубахи-то?

– Разувайся... Только сапожишки твои гроша медного не стоят.

Влас стал, ругаясь, разуваться. Целовальник приказал сынишке перевязать сапоги лычком и повесить на вбитый в чан гвоздик.

Влас, не торгуясь и не спросив, какую цену целовальник кладет на сапоги, вместо двух глотков выпил с горя четыре трехкопеечных ковшичка, по три хороших глотка каждый. Затем, шатаясь, отошел в сторонку, опустился на колени, стал усердно креститься на Петропавловский крепостной собор, бить земные поклоны и, пофыркивая носом, приговаривать:

– Упокой, Господи, душеньку родителя моего Панфила... Эй, батька, батька...

А целовальник деловито кричал ему:

– Эй, богомолец! Рыжий! За сапожнишки твои тридцать копеек кладу, пропил ты двенадцать.

Влас только рукой махнул, а люди зашумели:

– Уж больно обижаешь ты народ, Исай Кузьмич... Худо-бедно – рублевку стоят сапоги-то. Они, почитай, новые.

Подошел лохматый мужичок-карапузик в рваной однорядке с длинными, не по росту, рукавами и в обмызганном, нескладном, как воронье гнездо, картузишке. Весь облик его – жалкий, приниженный, виноватый. Он поднял на долговязого целовальника свое изможденное, с козьей бородкой и редкими усиками, лицо, подморгнул и прошептал стыдливо:

– Пять черепушечек трехкопеечных, Исай Кузьмич... На, получи! – и он сунул ему горстку медяков.

Целовальник особым, среднего размера, ковшиком поддел порцию пойла и подал карапузику. Тот вздохнул, перекрестился и жадно прильнул к ковшику губами. Целовальник крикнул:

– Пей над чаном! Сколько разов вам толковать! А то наземь текет добро-то.

– Ладно, – просипел мужичок, послушно перегнулся над чаном и с наслаждением, закрыв глаза и причмокивая, принялся тянуть из ковшика. Вино, оmyвая усики, бороденку, подбородок, покапывало в чан.

И вдруг, когда уже в ковше засверкало донышко, грязный заласенный картуз сорвался с головы питуха, шлепнулся в чан, как большая утка в озеро, и утонул.

– Ах ты, сволочь! – зашумел целовальник. – Четыре копейки штрафа с тебя.

Все захохотали. Парень с веселыми глазами крикнул:

– Пошто он утонул-то? Чугунный, что ли, у тя картуз-то?

– Трубка в нем цыганская, – засипел испугавшийся карапузик, утирая мокрый рот подолом рубахи. – В кулак ростом трубка-то, глиняная.

Выудив со дна утопленные вещи, целовальник забросил трубку в репей, а набухший вином картузище принялся, ради пущей экономии, выжимать, выкручивать над чаном, как прачка белье. Выжав почти досуха, целовальник со всей силы хлестнул мужичка картузом по щеке.

К чану неожиданно подошел с воли все тот же широкоплечий малый с серьгой в ухе и, как в первый раз, резко отрубил, словно в медную доску булатным молотом ударил:

– Ведро!

В стороне стояли двое беспоясных, подававших прошлое воскресенье священнику «трезвые записки». Они впились взорами в тех, что глотали водку, и то и дело густо сплевывали, скоргоча зубами; на их напряженных лицах холодная испарина.

Один, не выдержав, ткнул себя кулаком в грудь пониже бороды, хрипло закричал:

– Зарок, так твою! Заррок!.. – и быстро пошагал прочь. По дороге он сгреб камнище и, выпучив глаза, швырнул его в пробегающую собаку.

– Заррок!..

Другой из зарочных, с печалью посмотрев приятелю вслед, остался на месте. Вся душа его, видимо, стремилась к чану, но упрямые ноги будто вросли в грунт; посмеиваясь, люди говорили в его сторону:

– Мученик! А ведь, все одно, нарушит... Днем раньше, днем позже – обязательно обманет Бога-то.

Глава II

Интимные вечера в Эрмитаже. Волшебные устрицы. Бунтишка

1

Целовальник в своем рассказе Прову Лукичу действительно против истины приукрасил очень мало.

Весь город говорил об именитом купце – крепостном крестьянине графа Шереметева; весь город дивился необычайному русскому мужику, пришедшему в столицу с пустой котомкой, в лаптях и сумевшему стать миллионером, дивился и одному из графов Шереметевых, который за свои несметные богатства был прозван Младшим Крезом.

Поводом к этим разговорам был званый обед в великолепном дворце графа Шереметева, что на Фонтанке. Среди высоких вельмож и знатных лиц, приглашенных на обед, присутствовал в качестве почетного гостя и худородный мужичок, подлый раб графа Дмитрий Иванович Пастухов.

Эрмитаж – что значит: келья, убежище отшельника – был самым любимым во дворце местом Екатерины. Здание Эрмитажа, сооруженное французским зодчим Деламотом в 1765 году, выходило на Неву и было соединено с Зимним дворцом аркой, переброшенной через Зимнюю канавку^[82]. В Эрмитаже помещались театр и картинная галерея, основание которой положил Петр I. При Екатерине уже насчитывалось более двух тысяч картин знаменитых европейских мастеров. Здесь Екатерина проводила интимные вечера среди близких своих людей, и быть приглашенным на такой вечер считалось большой честью. Гости и хозяйка подчинялись правилам, сочиненным в шуточной форме самой императрицей. Например: «1. Оставить все чины вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги... 3. Быть веселым, однако и ничего не портить, не ломать и ничего не грызть... 5. Говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих уши и головы не заболели... 9. Кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий всегда мог найти свои ноги для выхода из дверей», и т.д.

За нарушение правил виноватый должен был выпить стакан холодной воды и прочесть страницу «Телемахида». Регламентом предписывалось также при обращении к Екатерине называть ее просто по имени или мадам, так как под сводами Эрмитажа она желала быть лишь радушной хозяйкой.

Придворные спектакли обычно заканчивались рано, и хозяйка немедля переходила с гостями в эрмитажный салон. Тут начинались игры в билетики, отгадки, фанты, жмурки. Игры шли шумно, резво и даже фривольно. Екатерина была первая затейница.

Однажды, отстав от игры в фанты, она села за карты. Вдруг в компании веселящихся наступила тишина. На вопрос Екатерины, что означает сия заминка, ей смущенно ответили:

- Ваш фант вынулся.
- Что ж присуждено мне делать?
- Велено вам сесть на пол.
- Для чего же нет, – и Екатерина, оставив игру в карты, тотчас села на пол.

Помимо веселья, подчас подымались в Эрмитаже и вопросы государственной важности, и иногда, присматриваясь к людям в их непринужденном поведении, Екатерина определяла характер каждого, делала оценку уму и способностям, и нередко через эрмитажные куртаги производились назначения лиц на государственные должности.

Граф Александр Сергеич Строганов, сумевший снискать благорасположение императрицы живым своим характером, однажды, после спектакля, за чашкой чаю в Эрмитаже, начал было рассказывать Екатерине про любопытный шереметевский обед...

– Знаю, слышала. Вы там присутствовали?

– Да, мадам. Не только присутствовал, но после оно и носом немножечко клевал.

Екатерина с улыбкой погрозила ему пальцем и стала опрашивать левой рукой локоны.

– Я слышала и о Пастухове, да и о других коммерческих людях из крестьян. Это – крепостные Шереметева, Уваровых, Воронцовых, Ягужинского и прочих. Оные крепостные люди имеют ювелирные лавки, экспортные заграничные конторы, шелковые фабрики. Я, Александр Сергеич, к промышленным людям отношусь с полным респектом. Они, наперекор дворянству, умеют капиталы созидать, из грошей делают миллионы, тогда как господа дворяне, наоборот, от миллионов зачастую до нищенской суммы. Я ценю труды Вольного экономического общества, да и сама, как вы, верно, осведомлены уже, пекусь о торговле и промыслах российских.

Екатерина рассказала о том, как лет пять тому назад тульские и казанские купцы – Виноградов, Пономарев, Вахромеев и другие – составили содружество для торговли с заграницей, как она своим иждивением соорудила фрегат о тридцати шести пушках «Надежда благополучия». Купцы погрузили на судно железо, юфть, парусные полотна, табак, икру, воск, канаты и под начальством фактора компании, казанского купца Пономарева, вышли в дальнее плавание и благополучно прибыли в Ливорно.

– Я счастлива, – заключила Екатерина, – что по моему почину впервые на водах Средиземного моря был поднят российский торговый флаг. Впервые!

Екатерина движением руки опять оправила локоны, откинулась на спинку кресла, приподняла обнаженные плечи и, приняв величавую позу, как бы напрашивалась на искреннюю, без лести, похвалу.

– О великая и премудрая государыня! – воскликнул наблюдательный Строганов. – Под славным скипетром вашего величества искусства, торговля и промышленность державы российской немалое процветание имеют.

Екатерина с благосклонной улыбкой кивнула ему головой и потянулась к табакерке. Он тоже вынул табакерку и добросовестно зарядил ноздри ароматной темно-желтой пылью. Екатерина же, сделав вид, что взяла понюшку табаку, изящно щелкнула перед ноздрями пустыми пальцами и тотчас отерла нежнейшим, невесомым платочком свой, римского склада, нос.

Любуясь каждым жестом Екатерины, граф всякий раз, как и многие из царедворцев, поддадал под обаяние этой несравненной сорокапятилетней женщины, не утратившей ни свежести лица, ни стройности стана. «Она даже кашляет с удивительной грацией», – подумал он.

– Теперь расскажите, граф, как же вел себя этот купчина Пастухов? – спросила Екатерина.

– С охотой! – ответил Строганов. – Оный купчина вел себя с подобающим достоинством и без тени робости или унижительного низкопоклонства. Вот Пастухов встал, поднял бокал и, обратясь к Шереметеву, молвил: «Ваше сиятельство, я считаю за великое счастье присутствовать за вашим столом, пить за ваше здоровье и, чтобы не впасть в отчаяние, не терять надежды на то, что когда-нибудь вы соблаговолите отпустить меня на волю». А граф ему в ответ: «Голубчик Дмитрий, миллион отступного ты мне даешь?..

Оставь деньги при себе! Для меня больше славы владеть не лишним миллионом, а таким человеком, как ты».

– А знаешь, Александр Сергеевич, – молвила Екатерина, наливая Строганову чай: – Скажу тебе конфиденциально, как я однажды подкузьмила этого самого сумасброда-спесивца. Будь друг, послушай... Некий петербургский фабрикант, тоже из крепостных Шереметева, бывает часто в Риге и ведет немалый торг с границей. Я стороной проведала, что в его дочь влюбился лифляндский барон. Мужичок рад случаю породниться с молодым бароном, но тот ни за что не хочет вступать в брак с крепостной девушкой. Ну, ни за что, ни за какой сдобный коврижка, как говорится... Фабрикант-мужичок дважды валялся в ногах Шереметева, давал ему выкупного тоже, кажись, миллион, но спесивец и слышать не пожелал о вольной. И что же, и что же? Бедняжка девушка безутешна, мужичок стал зело запивать... И я, Александр Сергеич, пустилась тут на маленький бабий хитрость. О-о-о, мы, бабеночки, себе на уме. И вот слушай, слушай... Это произошло вот тут же, где мы с тобой сидим. Я при большой компании сказала Шереметеву: «Милый граф! Я восхищена вашим благородным поступком, я от души благодарна вам!» А он мне: «За что, Екатерина Алексеевна?» – «Как за что? Неужели не догадываетесь? Ваш поступок заключается в том, что вы, не взяв никакого выкупа, дали вольную вашему крепостному, фабриканту Ситникову...» (Тут я маленечко заметила, как граф выпучил на меня глаза и пожал плечами.) «Господа, вы слышали?» – адресовалась я к присутствующим и почувствовала, как мои щеки от моего вранья запылали. «Вы, милый граф, – сказала я, – благодетельствовал отца, сделали счастливой и его дочь. Сия молодая особа, став ныне вольной, сможет соединиться узами Гименея с горячо любимым ею женихом. Словом, вы, граф, сотворили доброе дело, перед которым бледнеют ваши прочие добрые дела. Еще раз выражаю вам свою горячую признательность. Я, милый граф, в великом от вас восторге», – закончила я свою роль... Что же оставалось делать атакованному мною графу? Он поднялся – этаким красным, этаким пыхтящим, злой, – я испугалась, что его кондрашка хватит, – рассыпался в благодарности за мои милостивые слова и материнское попечение о своих подданных и в момент скрылся... А назавтра я узнала, что он тотчас подписал Ситникову вольную, внушив ему: «Ты, голубчик, всем толкуй, что свободу получил от меня не сегодня, а еще неделю тому назад». Каково!

– Я об этом невероятно остроумном казусе впервой слышу, – с притворным восторгом воскликнул Строганов, – и немало дивлюсь, мадам, вашей сугубой скромности.

– Но, милый друг... Не могу же я о всяком пустячке трубить перед глазами всего света.

– Слава вам, Екатерина Алексеевна! Вы изобретательны, как...

– Как ведьма с горы Брокен или гомеровская Цирцея?

– Нет, что вы, мадам! – захлебнувшись приливом нежных чувств, снова воскликнул Строганов. – Вы – гений добра и... и... красоты.

– Шутник! – засмеялась сквозь ноздри императрица и с игривой легкостью стукнула его веером по белому гладкому лбу.

И вдруг раздался слащавый иронический голос:

– Нет, нет... Нет, я ничего не вижу... – Неуклюжий, большой, пухлый Елагин – сенатор и «главной придворных спектаклей дирекции начальник», грузно опираясь на толстую трость и шутиво прикрыв глаза ладонью, остановился вблизи Екатерины. – Нет, нет... Я ничего не видал, не слышал.

Императрица и Строганов сидели в уютной глубокой нише, задрапированной шелками и заставленной пальмами. Через зал проходили придворные дамы и кавалеры.

– А-а, месье франкмасон! – позвала Елагина Екатерина. – Иди сюда, Иван Перфильич. Садись скорей...

Ну, как нога твоя?

Тучный Елагин с шарообразной большой головой, неся на щекастом холеном лице широкую улыбку и сильно прихрамывая, приблизился к Екатерине, поцеловал ее протянутую руку, по-приятельски обнялся со Строгановым и сказал:

– Только не франкмасон, мадам. Я суть великий мастер нашей ложи вольных каменщиков, коя подчинена лондонской ложе-матери...

– А тебе ведомо ли, Перфильич, что членом этой лондонской ложи-матери состоит и всеизвестный авантюрист Калиостро? – спросила Екатерина, обливая Елагина насмешливым, холодным взглядом. – Впрочем, я ваших тонкостей не понимаю и масонских устремлений не признаю... Все, что окутано тайной, вроде ухищрений вашего колдуна и алхимика Калиостро, есть шарлатанство, какими бы высокими принципами оно не прикрывалось. Истина же всегда выступает в свет с приподнятым забралом. Так-то, мой друг....

– Но... всеблагая матушка великая государыня... я мог бы вам возразить... – начал было оправдываться ошеломленный таким афронтом истый масон Елагин, улыбка сбежала с лица его. – Я с юности моей имею склонность ко всему таинственному.

– Сие сожаления достойно, – тотчас возразила Екатерина. – Да ты садись... А что касемо до толпы, увлекающейся всякой транценденцией и теозофическими бреднями, уж ты не обессудь меня, – эта толпа отнюдь меня еще не знает. Предрассудки, как и тиранство, никогда не были и не будут душою свободных наук, а я готова постоять за оные... История же с магом Калиостро, с тем, как он всякими подземными гномусами и огненными саламандрами одурачивает вельможных простофиль, – позор для моей столицы! Дивлюсь, – закончила она по-французски, – дивлюсь, что самое вздорное мнение, становясь всеобщим, смущает надолго разум и здравое суждение. – Она сделала паузу и отхлебнула глоток остывшего чая. – Так вот что, месье Елагин... Раз Калиостро к тебе вхож, так ты, ежели не страшишься его чар, намекни ему, пожалуй, чтоб он поскорей убирался из Петербурга, пусть не испытывает моего терпения, иначе я вышвырну этого розенкрейцера из России... по этапу!

Екатерина нервничала, то и дело распахивала и резко складывала веер, и вместо ласковых, теплых огоньков глаза ее стали излучать холодный блеск. Всем троим сделалось неловко. Елагин, признавая правоту Екатерины, чувствовал себя виноватым.

Один из ближайших сподвижников Екатерины, Иван Перфильич Елагин, не был ни богат, ни знатен. Но, пользуясь крупными от двора подачками и занимая хорошо оплачиваемые, но бездоходные должности, жил пышно и открыто. На одном из петербургских островов, впоследствии названном по его имени – Елагиным, он имел дворец, нередко посещаемый вельможами, столичными сановниками, избранными певцами Итальянской оперы. Иногда, в летнее время, заглядывала сюда и сама Екатерина.

Уважая Елагина за его правдивость, порядочность и широкую образованность, она была связана с ним и чисто литературными делами: Елагин, совместно с другими придворными, помогал ей переводить «Велизария» Мармонтеля. Императрица почитала его как самого трудолюбивого переводчика; он в свое время перевел многотомный роман Прево «Приключения маркиза Г.», перевел мольеровского «Мизантропа» и даже, подражая своему учителю Сумарокову, пробовал кропать стишки, иногда повергая их на суд Екатерины.

Однако за последнее время, с тех пор как Елагин был посвящен в масоны, а затем он стал приглашать Калиостро в свой дом на медиумические сеансы, отношение к нему Екатерины заметно охладело.

Калиостро, этот ловкий проходимец, после странствования по Южной Франции, Италии и Мальте попал в Митаву, а затем и в Петербург. В качестве якобы врача и алхимика он сначала занимался

изготовлением жизненного эликсира и добыванием из ртути золота посредством философского камня. Впрочем, золото, и в довольно большом количестве, он добывал отнюдь не с помощью философского камня, а от продажи жизненного эликсира и через наглый обман слишком доверчивых своих знакомцев из столичной знати.

В число обманутых русских простофиль первым попал Елагин, а за ним и блестящий екатерининский вельможа – Александр Сергеевич Строганов.

Екатерину особенно раздражала та печальная действительность, что близкие ей люди, поклонники великих энциклопедистов, были столь бесхарактерны и беспринципны, столь слабы в рациональном способе мышления. «В них никакие Гельвеции, никакие Вольтеры, – думала она, – не смогут искоренить мистических настроений. Такие люди всегда стремятся за пределы возможного, поддаются фантастическим бредням о других мирах, якобы населенных душами людей умерших, с которыми можно вступать в сношения через особо избранных людей, вроде Калиостро, Сведенборга, Сен-Мартена и прочих чудодеев».

Екатерина с душевной горечью думала об этих так называемых образованных русских людях высшего общества, легко попадающих из настроений мистических в лапы ловких мистификаторов.

Через зал величественно и неспешно нес свою фигуру граф Никита Иванович Панин. В его опущенной левой руке портфель красного сафьяна с золотым гербом. Сановник, отыскивая царицу, бросал взоры направо и налево. Вот он увидел ее и, не изменяя горделивой поступи, а лишь чуть-чуть ускорив шаг, направился к императрице.

– А, Никита Иванович!.. Добро пожаловать к нашему шалашу, – поторопилась сказать Екатерина, косясь на красный, иностранной коллегии, портфель.

– Во-первых, – целуя изящную надушенную ее руку, проговорил Панин. – Во-первых, прошу прощения, Екатерина Алексеевна, что я по необходимости нарушил ваше рандеву с друзьями.

– В чем есть сия необходимость? Неотложные дела? – и царица снова покосилась с неприязнью на портфель. – Турция? Франция?

– И Турция, и Франция, Екатерина Алексеевна. И ежели вы милостиво разрешите мне... – начал Панин, приготовившись открыть портфель.

Но Екатерина, коснувшись веером его руки, произнесла официальным, лишь слегка и с натугой подогретым тоном:

– Граф, только не здесь. Решать дела я привыкла у себя в кабинете, где скоро имею быть.

– Прежде всего я пекусь об интересах России, мадам...

– Я тоже, граф, – сухо сказала Екатерина.

Движением губ выразив на лице легкую гримасу досады, граф холодно поклонился и с подчеркнутой поспешностью отошел прочь от Екатерины.

Царица была довольна тем, что ей представился случай несколько принизить в глазах посторонних своего давнишнего противника. Сложное чувство таилось у нее к этому гордому, умному и просвещенному человеку, первому сановнику империи и воспитателю ее сына Павла. Он помогал ей войти на ступени трона, и за оказанную помощь она оставалась неизменно признательной. Но этот же самый Панин, опираясь на свою партию, мечтал лишить ее престола в пользу малолетнего Павла. Унизительный для Екатерины торг вел с ней Панин накануне самого переворота, жертвой которого стал царствовавший в то

время Петр III. Под личиной доброжелательства и дружбы всемогущий Панин собирался не более не менее – превратить ее в послушную ему куклу на троне.

– Я мыслил бы, – говорил тогда Панин, – императором быть Павлу Петровичу, возлюбленному вашему сыну.

– А я, при малолетнем сыне моем, регентша?

– Да, государыня, – отвечал Панин твердо.

Как?! Ей быть регентшей при сыне, чтоб, когда он возмужает, навсегда утратить власть? Нет, никогда этого не будет, ни-ко-гда!

– Я так несчастна, так унижена своим супругом, что для блага России готова скорее быть матерью императора, чем оставаться супругой его, – с горечью ответила Екатерина и заплакала.

Екатерина всегда будет помнить, как Панин упал к ее ногам, стал утешать ее, стал целовать ей руки. Каждый поцелуй его был для Екатерины поцелуем Иуды. И она тотчас решила припугнуть Панина, в прах разбить его дерзкие мечтанья.

– Но... милый друг мой, Никита Иваныч, – сказала она, – у меня единая надежда на Бога, на вас и на преданную мне гвардию. Да, да, на гвардию...

Она видела, как властный царедворец весь внутренне сжался. Карта его была бита. Да, Екатерина опиралась, с помощью братьев Орловых, на многочисленную гвардию; Панин – лишь на десяток-другой сановитого дворянства.

Такого коварного поступка она вовеки не могла простить Панину. Но ведь он главный механик всего государственного аппарата, он влиятельнейший из вельмож, он мудро руководит внешней политикой, с его мнением считается Европа. Словом, в то время Панин много значил для дела Екатерины. Однако это было десять лет назад, а теперь... Теперь престол Екатерины крепок и незыблем, бразды правления она сама научилась держать в своих руках, а наследник престола Павел еще слишком юн и лишен необходимых качеств в опасной борьбе за власть. Он никогда не посмеет – да и не сможет – свергнуть мать с престола. Ему не на кого опереться, и никакие Панины не в состоянии помочь ему.

Такие мысли, то четко, то вразброд, вскипали в мозгу Екатерины. Сердце сжималось, взор устремлялся куда-то вдаль и обращался внутрь взволнованной души.

Нет, она и здесь, в этом тихом убежище, не может оставаться лишь любезной хозяйкой, каждый час и каждый миг она – императрица.

Рассеянно прислушивается Екатерина к беспечной болтовне двух своих друзей, она им улыбается, иногда произносит ту или иную фразу, но взор ее, как бы пронизывая каменные стены, видит шагающего по дворцовым залам Никиту Панина. «До свидания, до свидания, Никита Иваныч... От подножия престола вы скоро будете устранены окончательно».

После досадного разговора с Екатериной граф Панин понуро шел по коридорам огромного пустынного дворца, пробиваясь на половину великого князя Павла.

«Вот уж-ка, уж она женит сына, всякими милостями осыплет меня и вышвырнет! Землями наградит да золотом. Ей казенного-то сундука не жаль, – все больше и больше раздражался Панин. – Эх, Никита, Никита!.. Ляжками, брат, ты не вышел, да и нос у тебя не столь казистый – а-ля русс. А то бы...» – горько проиронизировал он над собою.

В китайском, с темно-красным драконом, чайнике дежурная фрейлина подала горячий чай, цукерброды и сухарики. Екатерина налила гостям по чашке.

Камер-лакей неслышной поступью приблизился к царице и поднес ей на серебряном подносе два пакета с сургучными печатями.

– Из действующей армии, ваше императорское величество. Экстра! – отчеканил браво лакей, стоя навытяжку.

По знаку царицы он удалился. Екатерина читала надписи на конвертах. В правом углу одного было крупно и безграмотно означено: «В сопственные ручки... экстра». Это от Григория Орлова. На другом, мелким почерком: «Экстра». Это от Григория Потемкина. Два Григория, два фаворита – бывший и будущий. Они как легкое облако проплыли перед взором Екатерины, улыбнулись ей и оба исчезли. И на их месте появился на миг во всей реальности красавчик Васильчиков. Екатерина нервно шевельнулась, вздохнула и положила нераспечатанные конверты на круглый столик.

В этой скромной келье она не только императрица, но и женщина, с прихотливыми чувствами, с непостоянным сердцем. Впрочем, Екатерина Алексеевна не без основания могла гордиться тем, что она в первую очередь императрица-женщина и лишь потом – женщина-императрица. Разум всегда властвовал у нее над чувствами.

– Итак, господа, – после длительной паузы начала Екатерина, – в Турции война, кровь проливается, смерть разгуливает, а мы вот тут сидим да кой-кому косточки перемываем.

– Смею ласкать себя надеждой, мадам, – торопливо проглотив цукерброд, сладким голосом проговорил Елагин, – что война расширит пределы вашей империи и...

– Гений войны, – подхватил Строганов, – повергнет к вашим священным стопам все Черное море. А в нем... рыбы, мадам, рыбы!.. На всю Россию хватит!

– Ты все шутишь, Александр Сергеич, а мне, право, не до шуток. Ведь пять лет воюем...

– Но, матушка! Но, всеблагая! – воскликнули оба гостя. А Строганов сказал:

– Надо бы, Екатерина Алексеевна, к регламенту ваших вечеров добавить: «Входящий, не омрачай чела своего глубоким раздумьем».

– Да, ты прав, Александр Сергеич, – сделав над собой усилие, вновь оживилась Екатерина.

2

– Ты, Перфильич, извини меня и не злись, – сказала царица подобранным голосом. – Как ты со своим костыльком управился по столь высоким нашим лестницам? – и она указала глазами на толстую с серебряным набалдашником трость его.

– О всеблагая, – складывая молитвенно руки и наклонив крупную голову к правому плечу, воскликнул Елагин. – Я воспарил в сию тихую обитель на крыльях Мельпомены и Терпсихоры.

– Я думаю, что тебе помогли все девять муз, а десятая на придачу – Габриэльша... Великий ветреник ты, Перфильич, неисправимый ферлакур. Я чаю, ты восхищен своей Габриэльшей выше меры.

– Это не есть восхищение ума, Екатерина Алексеевна, но восхищение сердца, – слегка грассируя, произнес Елагин.

– Охотно верю. Но страсти наши всегда против разума воюют, – с притворной застенчивостью улынулась Екатерина. – А столь прилежное восхищение сердца иногда в ногу ударяет, и человек с того разу начинает на костыльках ходить.

Елагин, комически состроив виноватую мину, распустил пухлые губы и пожал плечами, а Строганов, прикрыв рот рукою, сипяще захихикал.

Великосветскому миру, падкому на всякие слухи о любовных шашнях, было известно, что пожилой лоботряс и селадон Елагин по уши втюрился в красивую итальянскую певицу Габриэль. Много было смеху и пересудов, когда узналось, что жестокосердная оперная дива, желая поиздеваться над влюбленным в нее Елагиным, принудила его сплясать вместе с ней веселый танец. Тучный, неуклюжий, как бегемот, да к тому же и подвыпивший, директор оперы Елагин, исполняя каприз подведомственной ему дамы сердца, проделав несколько бравурных па с припрыгом, вывихнул себе ногу и на целый месяц слег в постель.

Екатерина разгневалась на Габриэльшу, но не ради ее коварного поступка с Перфильичем, а потому, что эта певица, перезаключая контракт на следующий театральный сезон, заломила с дирекции неслыханную годовую плату в десять тысяч пятьсот рублей, тогда как на содержание всей оперы отпускалось дворов всего семнадцать тысяч в год.

Екатерина улыбнулась смеющемуся графу Строганову и, повернувшись к Елагину, спросила его:

– Послушайте, Иван Перфильич, а верно ли, будто бы, когда вы сказали Габриэльше, что-де в России столь огромное жалованье только фельдмаршалы получают, Габриэльша будто бы тебе ответила: «Ну так пусть ваши фельдмаршалы и в опере поют». Правда сие или вымысел?

Да, это была правда. Но Елагин с деланным возмущением, пристукнув тростью об пол, не задумываясь, возразил:

– Это, мадам, злостная ахинея, чушь, анекдот досужих сплетников.

Екатерина, сразу подметив, что он, щадя Габриэльшу, врет, смущенно отвернулась от него.

Елагин собрался уходить, ссылаясь на появившуюся боль в ноге. Екатерина резко встряхнула лежавший на столе звонок. Мигом, как из-под земли, явились два изящно одетых молоденьких пажа и фрейлина.

– Проводите его высокопревосходительство до кареты, – приказала императрица.

Когда все удалились, она, приняв из рук Строганова очищенный апельсин, сказала:

– Он большой повеса, этот самый толстячок. Помесь селадона с сибаритом...

– Есть, мадам, смачное, круглое словцо: «бабник».

Екатерина рассмеялась:

– Бабник, бабник!.. Ах, как это чудесно, – и, достав золотой карандашик, записала в книжечку: «Бабник – сиречь по бабским делам мастер».

– Про таких господ пышнотелые субретки из простушек говорят: «Этот барин ерзок на руку», – наддавал жару краснобай Строганов.

Екатерина снова рассмеялась. Кончики ушей ее покраснелись, видимо, от смущенья перед Строгановым, она записала: «Ерзок на руку – сиречь в бабской стратегии имеет достодолжный натиск и проворство, раз-два-три».

– С тобой, Александр Сергеич, поведешься, многим фигуральностям и веселым терминам научишься.

– Да, матушка, это правда... С собакой ляжешь – с блохами встанешь, как говорится.

– А знаешь, мне, как в некотором разе сочинительнице, хотя и весьма посредственной, все эти простонародные словечки и присказки зело необходимы.

– Матушка! – воскликнул Строганов. – Да вы же...

– Помолчи, Александр Сергеич, знаю, что расхваливать будешь мои листомарательные опусы. А вот господин стихотворец Сумароков да журнальных дел мастер Новиков поругивают меня в своих статейках. Иной раз, черт их возьми, пребольно. Хотя я к ним, к этим диатрибам, особой обиды не питаю, а все русское, народное – былины, песни – я ценю не меньше, чем они. Вот я и пословицы собрать заказала Ипполиту Федоровичу Богдановичу...

– Собрание пословиц было бы осмотрительнее заказать актеру Чулкову, – сказал Строганов. – Он записывает пословицы и песни непосредственно из уст народа и не портит их.

Екатерина, выразив на лице мину притворного недоумения, подняла брови и проговорила:

– А знаете что... Я очень ценю как пиита Михайлу Попова.

– Попова? Но ведь они с Чулковым только готовые песни собирают.

– Попов и сам отменно изобретает их, – перебила Екатерина. – Я знаю две его песенки по образцу народных, я наизусть вытвердила их. Одна, «Ты несчастный добрый молодец», даже певчими моими распевается.

– Вы, мадам, видать, обожаете народные песни?

– А ведомо тебе, при каких обстоятельствах я полюбила их? Как-то, еще будучи великой княгиней, я ночью прокралась в комнату тетушки, императрицы Елизаветы, прельстила меня песня: кто-то складно-складно пел чудным голосом. А пел ее наш милый Алексей Григорьевич Разумовский, бывший пастушок... Он поет, а чуть пьяненькая матушка Елизавета подшибилась рукой, глядит на него и плачет. Сцена – умиления достойна. И я-то едва-едва не расплакалась, столь складно, столь изумительно пел граф Разумовский^[83]. С тех самых пор я без ума от простонародной песни.

– Я ценю Попова более за его комическую оперу «Анюту», – почтительно выслушав Екатерину, сказал Строганов.

– Да, – возразила Екатерина, – но Вольтер сделал свою «Нанину» более тонко. А сюжеты обеих пьес сходственны.

Часы пробили одиннадцать. Императрица, привыкшая ложиться в десять и чем свет вставать, заторопилась. И только лишь показалась она в зале, как ее окружила блестящая свита, и она, привычно

улыбаясь всем, двинулась во внутренние помещения Зимнего дворца.

Вскоре, пользуясь правом входить к царице без доклада, проследовал в ее покои Никита Панин с красным портфелем под мышкой.

3

Иван Сидорыч Барышников, подъехав к дворцу графа Шереметева, что на Фонтанке, прошел в графскую вотчинную контору.

Две большие чистые горницы разделялись на «столы» или на «повытья». Особый судейский стол, накрытый красным сукном, помещался за перилами; на нем – «Уложение о наказаниях», приказы и формы графских бумаг. На высоких стенах царские портреты, писанные масляными красками, и эстампы с изображением генералов. На большой стене возле стола вотчинного управителя – генеральная всех вотчин ландкарта. Через сени, за железную дверь – кладовая для хранения денежных сборов с крестьян и предприятий, рядом с ней караульня с большим комплектом вооруженной стражи, рассыльных и артельщиков; все они, как и все служащие в конторе, – крепостные Шереметева. Против караульни вход в архив.

Когда Барышников вошел в контору, все встали – бургомистр, приказчик, секретари и писари, поднялся даже сам вотчинный управитель. Все отдали Барышникову поклон, как известному по Петербургу богачу. Барышников удовлетворенно прикрикнул, склонил в их сторону голову. Служащие сели, снова принялись скрипеть перьями, переписывая сводные ведомости, шнуровые книги. А управитель еще раз поклонился Барышникову и указал возле себя на стул. Управитель вотчинами, сухонький маленький старичок с приятным бритым лицом, Петр Иванович Сывороткин, тоже крепостной Шереметевых, безвыездно жил в Питере, получал достаточное жалованье, выстроил в деревне многочисленной своей семье два хороших, под железом, дома и был собственной судьбой вполне доволен.

– Ну а как ваш сынок-с? – улыбчиво спросил Сывороткин.

– А мой Ванька в шляхетском кадетском корпусе обучается. Через годика два, глядишь, офицером будет.

– Приятно-с. Очень, очень приятно слышать-с!

– А я к тебе, брат, Петр Иванович! Присоветуй, – и, слегка пригладив ладошкой рыжие волосы, Барышников изложил управляющему цель своего приезда: он, изволите ли видеть, задумал приобрести себе – конечно, на подставное лицо – тыщонку-другую мужиков с землей, так вот не посоветует ли ему Петр Иванович, куда по таким делам податься, в какую губернию ехать? Да, может быть, и сам граф Шереметев уступит Барышникову участок из своей смоленской вотчины?

– Ведь я сам-то из Смоленской губернии, вот и хотелось бы обосноваться на родине.

– Да оно, конечно-с, – подумав, ответил приятный старичок. – У их сиятельства и в Смоленской, и в иных прочих губерниях деревеньки с землицей есть. Вознесенская, Мещериново, Братцево... да мало ли... Только навряд ли его сиятельство пожелает переуступить их. Однако стукнитесь к его сиятельству, авось договоритесь. А что касаясь адресочков разных господ, что, как я слышал, не прочь продать свою земельку, то... – Он вынул записную книжку из кармана своей серой куртки с золочеными пуговицами, на которых был изображен герб Шереметевых, и сказал: – Ну-с, вот вам бумажка, вот перышко, прошу записывать-с.

Выйдя из вотчинной конторы, Барышников заметил на стене коридора объявление и стал читать:

– Интересуетесь? – окликнул его проходивший в контору дворецкий.

– Ох, голубчик, господин Лакров! – повернулся к нему Барышников. – Я у тебя сиропу бутылочек пять куплю. На-ка получи, – и он подал ему золотой. – Доложись, пожалуй, обо мне его сиятельству да не оставь

словечко замолвить за меня. Я вот по какому делу... – Барышников кратко рассказал ему о своих хлопотах.

Граф Петр Борисыч Шереметев, или, как его прозвали за несметные богатства, Младший Крез, был не в духе. Сегодня в его великолепном дворце званый ужин. Да не какой-нибудь, не для одной вельможной знати, к которой чванный граф относился в душе с большим презрением, на этом ужине будет присутствовать высочайшая особа – великий князь Павел Петрович. Может статься, и сама «матушка» пожалует.

И, как на грех, во всем Петербурге нет свежих устриц. Скандал! Без устриц великий князь за стол не сядет, приученный к сей гастрономической дряни старым чертом Никитою Паниным. Во все места, где только можно встретить модные сии моллюски, были посланы гонцы: в рыбный ряд, в рыбные лавки богатых коммерсантов, ведущих торговлю с границей, на купеческую пристань. Устриц не оказалось нигде... Вот так российская столица, черт бы ее драл!.. Устриц – и тех нет!

Высокий, тучный и несколько сутулый граф, с гладко причесанными на прямой пробор французом-куафером русыми волосами, шагал по кабинету. Серые глаза под высоко вскинутыми бровями были сердиты, маленький рот раздраженно кривился.

– Даже в Гостином дворе у Гирса нет. А у него уже всегда свежие каперсы, анчоусы, цитроны, трюфеля и устрицы. У Форзелиуса и Генриха Шульца на Невском тоже нет. Ахти беда!

Граф запахнул табачного цвета бархатный халат и, скользя по изящным наборным паркетам мягкими сафьяновыми сапогами, спустился вниз, к парадному крыльцу, зашел в переднюю, что рядом с вестибюлем, сел под окно и стал смотреть сквозь стекла во двор, нетерпеливо поджидая вновь посланных по городу гонцов: авось каким-нибудь чудом удастся им добыть эти проклятые устрицы.

– Ну, прямо хоть ужин откладывай. Нет, сие дело невозможное. Ха, черт... Бывает же... Полцарства за бочонок устриц!

Степенно вошел в сером будничном полукафтаны старичок-дворецкий. Он остановился в пяти шагах от графа, замер, гордое лицо его окаменело, он отчетливо, не тихо и не громко, произнес:

– Ваше сиятельство. Известный коммерческий предприниматель господин Барышников прибыл во дворец вашего сиятельства и просит вашу милость дать ему аудиенцию по наиважнейшему делу. Ожидает в приемной.

– Ах, Ванька Барышников?! Гони к черту!

– Слушаюсь! – и дворецкий, сделав недовольную мину и пожав плечами, направился к выходу.

– Впрочем, стой. Спроси-ка, нет ли у него устриц? Он пройдоха. Полцарства за бочонок устриц! И спроси, чего ему надобно?

Граф несколько повеселел. Вдруг Ванька Барышников, этот прожженный жулик, выручит. Вот бы!

Вновь явившийся дворецкий, притворно вздыхая и соболезнуня своему хозяину, заявил:

– Ваше сиятельство. Оный Иван Сидорыч Барышников просил вашей милости доложить, что он насмелился явиться к вашему сиятельству с самой низжайшей просьбой: не продадите ль вы ему тысячу крепостных крестьян с землей в одной из вотчин вашего сиятельства. Он мог бы даже купить до пяти тысяч мужиков...

– Что, что? – приподнялся с кресла граф. – Я?.. Ему?.. Крестьян?.. Ну а устрицы?

– Устриц нет у него, ваше сиятельство... И не предвидятся. Он сам ищет для подарка Алексею Григорьевичу Орлову.

– Вон гони! – закричал Шереметев. – Я знаю этого каторжника. В три шеи гони! Ежели будет ко мне шляться, на конюшне выпорю! – Граф был в гневе. Большое круглое лицо его побагровело.

Дворецкий понуро шел к ожидавшему его Барышникову. Как же «посполитичнее» ответить этому выжиге? А то он, чего доброго, разгневадается да и золотой империял требует обратно. О Барышникове дворецкий знал всю подноготную. Какой-то задрипа-мещанишка из Вязьмы, он в Семилетнюю войну втерся к главнокомандующему графу Апраксину в доверенные. Как говорили злые языки, Апраксин получил взятку от Фридриха II и велел Барышникову доставить в Питер несколько бочонков якобы с селедками, а на дне каждого бочонка было спрятано золото. Тароватый Барышников об этом пронюхал и, как прибыл из Пруссии в Питер, передал графине Апраксиной одни селедки, а золото же притаил. С того и в люди вышел. Эх, человеки! Божьего-то суда нет на вас, на подлецов...

Граф Шереметев, вдвое перегнувшись, недвижно сидел в кресле, как истукан. Уголок рта подергивался в нервном тике. Граф чувствовал себя несчастным из несчастных.

Снова появился дворецкий. Он не вошел чинно, как всегда, он потерял весь лоск и выправку; патрицианское, со строгими чертами, лицо его утонуло в радостной улыбке – стало похоже на самое обыкновенное лицо какой-нибудь смеющейся бабки Феклы, и голос у него сделался пискливый, с петушиной прихлупкой. Позабыв, что перед ним сам сиятельнейший граф, первейший богач во всей империи, он, как полоумный, завопил:

– Петр Борисыч, батюшка!

– Что? – вскочил граф Шереметев.

– Купец Шелушин к тебе, Назар Гаврилыч, твой крепостной...

– Ну! – и Шереметев от сладкого предчувствия перестал дышать. Перестал дышать и дворецкий. – Да говори же, черт тебя заешь!..

– Кажись, с этими самыми, как их... Тьфу!.. Память от радости отшибло.

– Да уж не с устрицами ли?

– Во-во-во! С ними.

Шереметев побежал к крыльцу, от радости он прихлопывал в ладоши: «Ура, ура!»

Назар Гаврилыч Шелушин, с аккуратно подстриженной темной бородкой, с живыми быстрыми глазами, уже вкатывал пудовый бочонок на крыльцо.

– Назарка! Назарка! Черт, дьявол! – в веселом исступлении закричал Шереметев, бросился к купцу и стал обнимать его, как пропадавшего без вести и вдруг появившегося родного сына. – Ну, выручил, выручил! И откуда это Бог тебя принес?

– Из Риги, ваше сиятельство! Только-только паруса спустил на своем кораблике... Да вот услышал, что вы интересуетесь... Я мигом к вам. Свеженькие... Куда прикажете, в кухню?

– Пойдем, пойдем, пойдем... Кати сюда, – и Шереметев, подоткнув полы халата, сам стал помогать купцу катить бочонок. Сел в кресло, опрокинул бочонок вверх дном, велел подать бумагу и перо.

– Ты сколько мне, Назар, сулил, чтоб я тебя на волю выпустил?

– Двести тысяч серебром, ваше сиятельство, – склонив голову набок и, словно ласковый кот, заглядывая в глаза своему владыке, сказал сладким тенорком купец. – У меня, ваше сиятельство, три сына молодца. В двоих дворянские дочки влюблены, а третий сам в одну иноземку благородненькую втюрившись, извините. И ни одна невеста за крепостных рабов не идет замуж: ни дворяночки, ни

иноземочка. А ныне дела моей фирмы, слава Богу, хороши: лен, пеньку, да сало, да мед с добрым барышом продал в Риге. И согласен буду вашей милости за выкуп все триста тысконок предложить.

Граф Шереметев, разложив бумагу на верхнем дне бочонка и не слушая купца, быстро писал. Затем посыпал бумагу песочком из фарфоровой песочницы, поднял голову, взял бумагу за уголок и подал ее купцу.

– Получай, господин Шелушин, Назар Гаврилыч. Отныне вольный ты... Со всем родом твоим.

– Батюшка!.. Петр Борисыч!.. – и больше ни слова купец не мог вымолвить; он всплеснул руками, его рот скривился, нижняя челюсть затряслась. Но вот, передохнув, он забормотал: – А деньги, а триста тысяч... Я мигом...

– Мне сегодня устрицы дороже твоих денег. Понял?

Назар Гаврилыч рухнул графу в ноги.

В отдалении стоял старичок-дворецкий. Наблюдая эту сцену, он тоже втихомолку хлюпал носом. Ему понятна была радость купца, но он не понимал поступка графа. «Мать-Богородица! Бывают же такие сумасшедшие!.. Да он лучше сдернул бы с купца триста тысяч да этими деньгами бедность бы одарил. Мало ли несчастных на белом свете», – думал он горько.

4

Подрядчик, у которого работала артель Прова Лукича, оказался человеком бессовестным: зря налагал на землекопов штрафы, увеличивал часы рабочего дня, неаккуратно выплачивал деньги. Хлопоты дела не улучшили: полиция была подрядчиком подкуплена, отвечала на неоднократные жалобы отказом и застрашиванием арестовать Лукича, а его артель, якобы неблагонадежную, выслать по этапу. Артель впадала в нищету, в отчаянье, и вот уже целую неделю питались люди водой и хлебом.

Митрий после трезвого зарока крепился долго, работал со всем усердием, но, когда начались неприятности с подрядчиком, он, как говорится, соскочил с зарубки и запил горькую. Однажды вечером будочник приволок его пьяным и в совершенно голом виде. Матрена, взглянув на него, ахнула, всплеснула руками и заплакала. Артель купила Митьке новую рубаху за восемь копеек, новые штаны из казинета за четырнадцать копеек и липовые лапти за копейку с грошем.

Во многих других артелях столицы тоже было не лучше. В летние месяцы от плохого питания стали развиваться желудочные болезни, рабочие умирали в больницах, а главным образом по убогим своим квартирнкам – в подвалах, сараях, на баржах. Умерло двое и в артели Прова Лукича.

Строительные рабочие, встречаясь в трактирах, кабаках и живопырках, узнавали друг от друга о житье-бытье столичного работного люда. Из разговоров было ясно, что далеко не все подрядчики такие живоглоты, как подрядчик артели Прова Лукича или богачи, первостатейные купцы Долгов, Митрясов, Кошкин и другие. Наряду с ними были подрядчики и добросовестные, вроде купца Барышникова. Хотя и они старались выжать из рабочих всю силу, но разорять их вконец считали делом безбожным, хлопотливым и, главное, для себя невыгодным: пойдет про них худая слава, и на следующий год опытных рабочих, пожалуй, пряниками не заманишь к себе.

Эти встречи и разговоры в конце концов привели к тому, что в одном из трактиров какой-то пропившийся стрюцкий состряпал от четырех тысяч рабочих жалобную бумагу на имя самой императрицы. А через неделю, в праздник, двести пятьдесят человек выборных двинулись к Зимнему дворцу.

Их ко дворцу не допустили, они остановились на площади и взорами, полными надежды, влипли в окна величественного здания. Как только появлялась в каком-либо окне женская фигура, вся толпа падала на колени, кланялась, вожак потрясал бумагой. Фигура быстро исчезала. Так, принимая показавшуюся в окне женщину за матушку-царицу, толпа трижды валилась на колени. К ним вышел из дворца некий бритый барин и стал на ломаном языке что-то разъяснять, шуметь и ругаться. Из толпы заорали:

– Чего он лопочет, немецкая морда! Пуцай русского пришлют...

На смену немцу явился молодой, статный офицер. Он ласково сказал:

– Вы что, братцы! Вы, видать, с какой-то просьбой к ее величеству? Государыни в столице нет, она имеет пребывание в Царском Селе. Только я не советую вам туда ходить: подавать прошения в руки государыни запрещено. Вы оставьте свою бумагу в канцелярии по приему прошений, на высочайшее имя приносимых.

Толпа, состоявшая из бледных, испитых оборванцев, присмирела. Первым заговорил высокий, скуластый плотник:

– Милай!.. Ваше благородие! Ты погляди, в какую последнюю нищету пришли мы?.. Стыдобушка по городу пройти.

Едва он проговорил это, как из переулка показался большой наряд конной полицейской стражи.

Толпа разбежалась, но, по условию, снова собралась на Сенном рынке. Решили, не откладывая, сейчас же идти в Царское Село. Дошагав до Пулковских высот и свернув влево, они вскоре увидели густо поросшую зелеными парками возвышенность и сверкавшие над зеленью пять золотых главок дворцовой церкви. В конце Кузьминского поселка их встретила у Царскосельской заставы рота гвардейских солдат.

Между столицей и Царским Селом, через каждые пять верст, стояли сигнальные вышки. С вершины их – днем флагами, а с наступлением темноты условными огнями – столица могла переговариваться с Царским Селом. Очевидно, о походе артели в императорскую резиденцию было своевременно сигнализировано. Комендант, в предотвращение беспорядков, поспешил дать ходокам отпор. Он подлетел к ним на рослом коне и браво гаркнул:

– Куда прете!.. Разойдись!

Изможденные двадцатипятиверстным переходом, мужики едва держались на ногах.

– Ваше благородие, милостивец! Допусти, ради Создателя, до матушки, просьбицу охота ее милости вручить, – завyli они в голос и направились было вперед.

– Осади, лапотники, осади! – заорал комендант, он подскакал к своим гвардейцам, махнул им рукой, и те, опустив ружья со штыками, железным шагом двинулись на оторопевших ходоков. Артель, оробев, попятилась с ругательствами, криками:

– Браты! Это что же, погибать?! Где правда, где Бог? До матушки не допускают...

А кучка смельчаков, свернув с дороги, в отчаянье побежала в улицы Царского Села. Но все тотчас были переловлены подоспевшим казачьим разъездом. Был схвачен и пьяница рыжебородый Митька.

Все арестованные были впоследствии судимы как бунтовщики. Суд постановил выдрать виновных плетью, посадить на полгода в тюрьму, затем выслать этапным путем на родину.

Многие тысячи строительных рабочих, узнав о царскосельском происшествии, пришли в волнение. Возгорались бунтишки, мелкие перетырки с полицией, было в разное время убито из мести три десятника, два приказчика и управляющий, еще пропал без вести управитель подрядчика-живодера купца Долгова.

Встречаясь в корчмах, банях, а то где-нибудь за городом, в лесочке, сезонники говорили:

– Наперло нас со всей России дворцы да палаты им, гадам, строить. А нам-то какая корысть? Ни с чем сюда пришли, ни с чем и домой вернемся.

– До царицы не допускают, вот что ты толкуй.

– Кабы велела, так допустили бы, беспременно бы допустили. Это она сама препон кладет.

– Видать, страшится мужиков-то...

– Вестимо, страшится. От мужика чижолый дух идет, а она, толстомясая, приобылка с гвардией гулять... Чаи, кофеи, пампушки...

– Третий ампирактор, Петр Федорыч, этак-то не делывал. Он мужика берег, а гвардию-то, слышать было, по шерсти не гладил.

– Вот за это самое Орловы графья, жеребчики-то матушкины, и повалили его.

– Пойдемте-ка, братцы, всем скопом в Александро-Невский монастырь панихиду по нем, по батюшке, служить пред гробом его.

– Эх, и дураки вы, братцы! – прозвенел надсадный, с хитрой подковыркой, голос. – Да нешто по живому панихиду служат?

– А и верно! – спохватились мужики. – Есть слух, будто жив-невредим он, батюшка наш.

– Есть, есть, мужики... Эвот анадьсь какой-то старичок-солдатик на работе к нам подсел да сказывал, что-де...

И зачались, и потекли из уст разные были-небылицы, слухи, домыслы, общий смысл которых: «Император Петр III жив, скрывается до поры в народе».

Но никто еще в столице путем не знал о суровых событиях, начавшихся на Яике.

Глава III

Гроза надвинулась. «Встань, сержант!..» Первые казни

1

В Яицком городке, возле палат коменданта, резко бил барабан. Это означало: офицерам и старшинам немедленно собраться в комендантскую канцелярию.

Было 19 сентября 1773 года. Семь часов утра. Косые лучи осеннего солнца пронизывали кисейные занавески на окнах, ложились по крашеному полу золотистыми квадратами. В одном из таких квадратов сидел четырехлетний голоногий мальчик в одной исподней рубашонке^[84]. Толстощекий, пышненький, он лепил из хлебного мякиша солдатиков и лошадок. Возле него стояло на полу блюдце со сметаной. Мальчик попыхтит, попыхтит, да и лизнет сметанки.

– Барабан... чу, барабан, батенька! – прокартавил он и, бросив мякиш, посмотрел на отца снизу вверх.

– Да, брат Ваня, барабан, – сказал отец и заторопился. – Давай, давай, мать!

Это Андрей Прохорыч Крылов, капитан. Он плотный, короткошей, в темной рубахе с расстегнутым воротом и босиком. Волосы белокурые, длинные; он заплетает их в косичку с бантом, как положено артикулом.

– Черт бы их драл-то! Пожрать не дадут! – брюзжал он, отодвигая от себя сковородку с недоеденной жареной рыбой.

Из-за перегородки, где топилась русская печь, стремительно вышла смуглая, раскрасневшаяся у печки капитанша и поставила перед мужем кучу горячих пряженчиков на оловянной тарелке, а следом за ней девочка-калмычка несла в глиняной кружке чай, вскипяченный в чугунке.

– Полно-ка, не торопись! Не на пожар, успеешь, – сказала капитанша мужу и велела девчонке принести из спальни шпагу, мундир и сапоги капитана.

Вслед за девчонкой бросился и Ваня. Он притащил отцу шляпу, широкую шелковую опояску и офицерский знак.

Андрей Прохорыч смачно жевал сдобные пряженчики, посматривая через окно на улицу. По пыльной дороге шагал, как цапля, долговязый сержант, за ним, застегивая на ходу мундир, поспешал кривой старшина. В церкви наискосок благовестили к ранней обедне.

– Батенька, не ходи на улку, – сказал Ваня. Он стоял у стола, положив подбородок на столешницу, нос и щеки у него в сметане. Захлебываясь и стараясь подобрать слова, мальчик лепетал: – Там, батенька, Пугач... У-у, какой... Страшный-престрашный!

– Ты чего это разболтался?.. Какой такой Пугач?

– Царь это.

– Ах ты дурак этакий, ососок!.. Вот погоди, я те дам царя... Мать, умой его да подай-ка сюда плетку...

Ваня взглянул на хмурое лицо отца, сорвался с места и прытко удрал через сенцы в спальню. Он

плетки не боялся, его всегда стращают, а не бьют. Он пуще всего не любил умываться, особенно с мылом... Ой, ты! Глаза больно щиплет. Нет, уж лучше под кровать залезть, там и притаиться: поищут-поищут да и плюнут. Нет уж, пусть сами умываются, а я еще маленький!

Вошел денщик, старый хромым солдат с косичкой, под мышкой щетка, в руках начищенные, в заплатах, сапоги.

– Ну, что слышно, Семеныч? – спросил денщика Крылов.

– Идет, ваше благородие... В окрестностях показался, – натягивая на барина сапоги, зашамкал Семеныч. – Еще утресь, до зорьки, бекетчики наши на сопке солому жгли, знак давали, – стало, идет злодей, идет нечистая сила...

– Ха! А мы-то ищем по степу целый месяц. Слых есть, а где он, неумытая образаина, поди знай... Из казачишек клещами не вытянешь. А вот оказывается, что он и сам идет. Да полно, не врут ли?

– Пошто врут! Истинная правда, ваше благородие. Вчерась трое калмычишек на базар прискакали, бучу подняли: «Айда царю встречу, бачка-осударь войной прет!»

– Пускай прет, не шибко-то испугаемся: ворота на запор да и к пушкам... А ты, старый болтун, помалкивай, – рассеянно сказал Крылов и, наскоро перекрестившись, вышел на улицу.

Проводив барина, Семеныч потоптался, спросил хозяйку:

– А как же с базаром-то? Идти ли, нет ли?

Капитанша подхватила с лавки корзину.

– Иди, иди. Мяса купишь, осетринки. Да штоф красного уксуса не забудь, – и дала ему на покупку двадцать копеек медью. – Смотри, поскорей приходи... Чегой-то боязно...

– Да не страшись, матушка... У нас сила, а у него чего? Только бы поближе подманить окаянного. Враз схватим!

Денщик ушел, и капитанша опустилась в камышовое кресло и, страдальчески сложив брови, устремила растерянный взор в передний угол, где полочка с дешевыми, покрытыми фольгой иконами, с черствой просвиркой и пучком вербы от «страстей Господних». Сердце женщины замирало.

– Матушка-Богородица, отведи грозу, спаси, помилуй воина Андрея да младенца Ивана, – шептала она.

– Ну, кого же тебе, старшина, в помощь дать? – обращаясь к кривому Окутину, говорил комендант Яицкой крепости, полковник Симонов. – Ну, скажем... Крылова, капитана... Да вот он и сам легок на помине... Поздненько, поздненько, барин. У нас горячка, а ты...

– Винюсь, господин полковник. Не чаял столь ранней тревоги, – вытянулся посреди канцелярии Крылов.

– Ладно, садись.

Широкоплечий, коренастый Крылов неуклюже уселся рядом с молодым сержантом за длинный, накрытый красным сукном стол. Возле подтянутого, узкоплечего и сухого Симонова устроился толстый, лохматый, брыластый, с опухшими от пьянства глазами войсковой старшина – полковник Мартемьян Бородин. Он дышал тяжело и подремывал: вчера всю ночь прогулял у кума на крестинах. По другую руку Симонова сидел хмурый секунд-майор Наумов. Остальные офицеры и младшие старшины – кто за столом, кто возле стен, на обитых сукном лавках.

С простенка меж окон глядела на всех улыбочивая Екатерина в золоченой раме.

– Стало, ты, господин Окутин, забрав конных казаков с сотню али больше, выйдешь в поле вместе с отрядом секунд-майора Наумова, в коем отряде быть двум либо трем некомплектным ротам пехоты, – отчетливо говорил Симонов. – Приказываю изыскать способ злодея схватить, толпу разогнать. А как настроение казаков?

– Сумнительное, господин полковник.

– Старайся в отряд набирать казаков, к службе нерадивых, образом мыслей вольных. У меня особой надежды на них нет. Ежели и передадутся злодею, жалеть не буду, без них воздух чище станет. А старшинской стороны казаков покамест не тревожь, они нам пригодятся: еще неизвестно, как обернется дело-то. С Богом, Окутин!.. Не зевай, гляди в оба! – закончил Симонов и, посмотрев в одноглазое лицо Окутина, смутился.

Обиженный словами Симонова – «гляди в оба», Окутин наморщил лоб и сел.

– Ну-с... За сим... Сержант Николаев!

Тот поднялся, высокий и поджарый. На молодом, сильно загорелом лице со светлыми, песочного цвета усами выражение растерянности и тревоги.

– Тебе предстоит задача многотрудная. Возьмешь у подъячего восемь опечатанных конвертов и, на пути в Оренбург, развезешь их по форпостам. А конверт за сургучными печатями – лично губернатору Рейнсдорпу. Конверты береги, они с важным оглашением о воре Емельке Пугачеве, похитившем имя покойного государя Петра Третьего. Собирайся в путь, брат Николаев, незамедлительно.

Сержант поклонился и вышел. Вся его стройная фигура как бы надломилась, на лицо набежала тень.

Симонов позвонил. Два гайдука, с нагайками через плечо, ввели калмыка. Три дня тому назад его схватил в степи казачий разъезд старшины Окутина. Глаза у калмыка раскосые, злые, усы и борода реденькие.

– А ну, молодцы, вытяните его вдоль спины покрепче! – хрипло выкрикнул дремавший перед тем Мартемьян Бородин.

Гайдуки крест-накрест ударили калмыка нагайками.

– За что, собак кудой, бьешь? – ошетинился тот.

– Тебя не бить, а убить надобно, – буркнул старшина Окутин и покосился на Симонова.

– Отвечай, Аманов, – резко заговорил Симонов, – какие дары вчера получил вор Пугачев Емелька от киргизкайсацкого Нур-Али-хана?

– Осударь принял от хана коня да седло с бешметом, – помолчав, откликнулся калмык.

– Какой государь? – ударил кулаком в стол Симонов, и большой шрам на его щеке потемнел. – У нас государя нет, есть государыня.

– А ну, насыпать! – махнул Мартемьян Бородин гайдукам и понюхал из тавлинки табаку.

Гайдуки принялись было стегать калмыка, но Симонов их остановил и, обращаясь к Бородину, произнес сквозь зубы:

– Полковник Бородин, допрос веду я... И... прошу не вмешиваться!

Окутин, достав из сумки, подал Симонову две бумаги:

– Оба эти письма калмык Аманов вез от злодея к Нур-Али-хану. Одно по-русски, другое по-калмыцки.

Отхлебнув из стакана воды, Симонов громко огласил:

– «Я ваш милостивый государь Петр Федорович. Сие мое именное повеление киргиз-кайсацкому Нур-Али-хану для отнятия о состоянии моем сомнения. Сегодня пришлите ко мне вашего сына Салтана со ста человеками в доказательство верности вашей с посланным сим от нашего величества к вашему степенству ближним вашим Уразом Амановым с товарищами. Император Петр Федорович».

– Как ты появился возле злодея Пугачева? – спросил Симонов, комкая в кулаке послание самозванца.

– Я прибыл вместе с муллой Забиром от Нур-Али-хана к осударю с дарами, – ответил через переводчика все еще озлобленно Аманов.

– Кто писал сие гнусное письмо?

– Ваш казак Болтай, Идоркин сын.

– А ты знаешь Идорку? – спросил Симонов.

– Он у меня бабу украл, жену мою.

Тучный Мартемьян Бородин хихикнул, зачихал в платок.

– Где ты встретил злодея Емельку Пугачева?

– Осударь вчера находился ниже Чаганского форпоста. При нем яицких казаков триста душ. Осударь сюда идет...

Офицеры и старшины переглянулись.

2

Глазастый молодой казак крикнул со сторожевой вышки Чаганского форпоста:

– Государь с толпой показался!

Казаки, старые и молодые, вылезли из своих плетеных, обмазанных глиной шалашей и, защищаясь ладонями от утреннего солнца, воззрились в степь. Там, в клубах пыли, двигались всадники.

Чаганский форпост, как и прочие форпосты Оренбургской линии, являлся одним из защитных пунктов против набегов калмыков и киргизов. Форпосты и пикеты строились на один манер, они имели вид маленькой крепостицы: невысокий земляной вал, сторожевая бревенчатая вышка, несколько шалашей, чугунная старая пушка да человек двадцать казаков.

Костер горел. В котле кипела баранья, с пшеном, похлебка. У корыта, засучив рукава, старый казак стирал белье. Возле котла, принухиваясь и пуская слюни, вертелась черная собачонка.

К стоявшим на валу казакам, отделившись от толпы, подскакали три всадника. Один из них крикнул с седла:

– Признаете ли государя Петра Федоровича? Вот он самолично шествует с верным воинством своим к Яицкому городку – спасти всех казаков от лютыя напасти.

– Признаем! Давно поджидаем батюшку, – с готовностью откликнулись казаки. – Ой, да никак это ты, Чика?

– Я, – ответил Чика-Зарубин. – Сколько вас здесь? Шастнадцать. Седлайте коней, теките к государю. Да не мешкайте! – И всадники поехали дальше.

Вскоре группа казаков Чаганского форпоста подошла на рысях к стану Пугачева.

– Здорово, детушки! – поприветствовал Емельян Иваныч соскочивших с коней молодцов.

– Рады служить тебе, ваше величество! – закричали казаки.

– Съединяйтесь, детушки, с моим воинством. Будете верны мне, государю, – ласку мою восчувствуете, стану льготить вас, а отстанете от меня – смерть примете. С изменниками я крут!

– Твои рабы, ваше величество! – вновь закричали казаки и повалились на колени. – Не вели казнить, вели миловать.

– Встаньте, детушки! Я ваш отец и царь ваш, – ласково произнес Емельян Иваныч.

Казаки поднялись и с любопытством стали присматриваться к государю. Не высок, не низок, в плечах широк и мясист, а в талии поджар. Полнощекое строгое лицо в густой черной бороде с легкой проседью; волосы подрублены по-кержацки, под горшок, на лоб зачесана подстриженная челка; меж крутыми пушистыми бровями нет-нет да и врывается глубокая складка. Глаза темные, жаркие, пронизывающие; встретишься взором с ними – и мимовольно дрогнет сердце. Одет батюшка не по-царски, просто. На нем тканый из верблюжьей шерсти поношенный бешмет, подпоясанный шелковым кушаком с кистями, на голове мерлушковая с красным напуском шапка-трухменка. Поди, у батюшки и царская сряда есть, да он, видать, бережет ее, в походы-то не надевает: эвот пылища какая по дорогам, по сыртам.

Пугачев взад-вперед расхаживал по луговине. То смотрел в землю, то вскидывал голову, пристально вглядывался в побуревшую степь, в какое-нибудь показавшееся пыльное облачко. Иногда он сердито сплевывал сквозь зубы.

Уже несколько форпостов с охотой передались новоявленному императору. Присоединялись к его толпе и казаки, жившие на зимовьях или скрывавшиеся в бегах от преследования коменданта и старшин.

Пугачев старался казаться довольным таким успешным началом, но душа его была беспокойна: предвиделось много трудностей. Впереди – Яицкий городок с полковником Симоновым, Оренбург с генералом Рейнсдорпом, впереди – вся жизнь, окутанная грозovým туманом.

Вот, по команде царя, все вскочили в седла и тронулись в путь-дорогу. Рядом с Пугачевым ехал чернобородый, с темно-бронзовым, как у грека, лицом Зарубин-Чика. Нос у него большой, горбатый, глаза быстрые, веселые. Громкоголосый Чика никогда не унывает. Вот и сейчас он старается развлечь государя, чтоб в дороге не скучал, но тот через плечо смотрит на него и говорит:

– На Яицкий городок войной идем, а пушек у нас черт-ма...

– Да, пушек маловато, а кои с форпостов снимали, пять штук, так нешто это пушки? Из них очумелую собаку не убьешь.

– Да-а, – раздумчиво протянул Пугачев. – Ежели б у нас батарейки на две добрых пушек было, ну тогда, как говорится, отойди-подвинься. А при пушках – чтоб бомбардиры хватистые... Да ведь возле пушек-то я и сам могу орудовать, дело бывалое.

Он вспомнил про свой поход в Пруссию, где, вместе с донцами, сражался в молодых годах против войск Фридриха II. Вспомнил и про старого бомбардира Павла Носова, с коим водил на той войне дружбу. «Эх, где-то ты теперь, родимый старичок? Жив ли?» – подумал Емельян Иwanyч и, вздохнув, молвил:

– Вот ужo, как скопим силу, на уральские заводы доверенных людей учнем спосылывать. Пушки там заберем, новые лить будем. Тамо-ка, слышал я, знатецы по пушечным делам имеются.

– Да уж это так... Лишь бы нам народом обрасти. Не торопись, батюшка. Ведь ты и в царях-то третий день ходишь. Выступили мы семнадцатого, а сегодня... девятнадцатое сентября.

– Нет, Чика, поспешность не вредит, – возразил Пугачев. – А ведь, слышь, артиллерия – дело великое, Чика. На Яике из пушки вдарить – по Москве да по Питеру гулы пойдут. Ась? – и Пугачев по-хитрому прищурился на Чика, отчего лицо его из сторожко сурового сделалось простым и по-мужичьи добродушным.

– Да уж... Чего тут, – проговорил Зарубин-Чика и, указав рукой вперед, добавил с облегчением: – А вот и городок наш на виду, ваше величество. Эвот кресты-то взблескивают на солнышке.

Церковные кресты сияли в далеком мареве, солнце спускалось, чистое небо голубело над головами. Пугачев раздумчиво молчал.

– Не пора ли привал, ваше величество, да поснедать... – опять сказал Чика, и вся толпа, по знаку Пугачева, остановилась.

В тороках у казаков и в телегах были туши баранов, живые, связанные попарно куры, хлеб, сало. Стали разводять костры. И в суете не заметили, как к стану подкатила бричка с рогожным верхом. Ее конвоировали двое верховых казаков.

– Вылазь! – крикнул одни из конвоиров. – Чика, примай! Барина пымали.

Из брички угловато стал вылезать долговязый бледный сержант Дмитрий Николаев.

Колченогий возница соскочил с облучка и попросил у рыжеусого казака Давилина покурить. А сержанта подвели к сидевшему на пне Пугачеву.

– Откуда, кто таков? – подбоченясь, спросил пленника Пугачев.

Сержант, руки по швам, назвал себя и добавил, что послан комендантом Симоновым вплоть до Астрахани курьером.

– Подай сюда бумаги, что с собой везешь.

– Бумаг у меня не имеется, – дрогнувшим голосом проговорил Николаев. – Послан словесно упредить на форпостах, чтоб не дремали, потому как по левому берегу Яика орда показалась.

Пугачев, чувствуя на себе ожидающие взоры казаков и приставших к его толпе крестьян, колебался: как ему поступить с сержантом из вражеского лагеря? А вот как... Ведь он, Пугачев, царь среди своего народа, – стало быть, его ответ сержанту должен быть словом государственным.

– В таком разе, ежели ты по казенному делу, то поезжай, – веско сказал Пугачев. – Ежели насчет орды, так это дело нужное, государственное.

Сержант Николаев поклонился, четко сделал налево кругом (Пугачеву понравилась выправка его), и переполненный радостью, что спасся от гибели, поспешил к кибитке. И только лишь занес он ногу, чтоб сесть, как сильная рука казака Давилина цепко схватила его за шиворот:

– Стой, изменник! А это что? – и Давилин сунул в лицо Николаеву восемь отпечатанных пакетов. – Возница-то твой не столь крив душой, как ты. Пока тебя государь опрашивал, возница-то из твоей сумки указы симоновские выпростал... Марш к государю!

Трепещущий Николаев снова предстал перед Пугачевым.

– Что скажешь, друг? – тихо, без злобы, скорее насмешливо спросил Пугачев.

Николаев стоял ни жив ни мертв, низко опустив голову.

Давилин вручил государю пакеты и обо всем торопливо сказал ему. Пугачев повертел пакеты и передал их своему молодому секретарю, Ване Почиталину.

– Читай в гул, появственней!

Выслушав, Пугачев разорвал бумаги и ледяным голосом сказал окружающим:

– Что ж Пугачева ловить? Пугачев сам в городок идет. И коли я – Пугачев, как они облыжно называют меня, так пусть словят и в цепи закуют. А ежели я истинный государь, должны они с честью встретить меня. Дураки, изменники!.. Государя своего с каким-то беглым казаком спутали... – Он прихмурился и, не глядя на казаков, обратился к пленнику: – Пошто же ты обманул, сержант, государя своего? Пошто правды враз не сказал нам? Давилин! Вели-ка приготовить молодцу перекладинку...

Прямой и тощий Николаев неуклюже взмахнул локтями и пал Пугачеву в ноги.

– Винюсь перед вашим императорским величеством!.. Убоялся, смалодушничал. Верой и правдой служить буду... помилуйте!

– Не слушай его, батюшка, он те наскажет!.. – кричали казаки от старой ветлы, перекидывая через ее сук аркан с петлей.

– Брось галдеть! – порывистым взмахом руки остановил Пугачев казаков. – В животе да в смерти не вы, люди подначальные, а один Бог волен да я, государь. Встань, сержант! Милую тебя, служи мне верно!

И, обратясь к притихшим казакам, продолжал:

– Господа, войско казацкое! Он человек в военном артикуле грамотный, пуская вам, а такожде и мне, государю вашему, служит. Без знающих людей царскому величеству быть не подобает. Секретарь! Мы Божию милостью определяем сержанта Николаева для начала в помощники тебе...

– Слушаю, ваше сиятельство! – тряхнув льняным чубом, выкрикнул голубоглазый юноша Ваня Почиталин. Все бывшие при этом случае казаки, татары и крестьяне, чувствуя над собой сильную руку «батюшки», пришли в радость. «Батюшка» справедлив, «батюшка» гневен, да отходчив, уж он-то умеет защитить их, надо крепко держаться за царскую его полу.

Казаки на цыпочках ходили возле «батюшки», говорили друг с другом вполголоса, осторожно поглядывали на своего государя: не моргнет ли глазом, не соблаговолит ли приказать чего.

А несчастный сержант все еще трясся, не попадал зуб на зуб. В его раздернутом сознании беспорядочно мелькали Симонов, семья, товарищи, перекинутый через сук аркан, в ключья изорванные казенные пакеты. И этот бородатый детина, с черной грязью под ногтями, с выбитым, надо быть, в пьяной драке, передним верхним зубом, – царь. «Господи помилуй!.. Да уж не сон ли все это?.. Всемиловитая государыня Екатерина Алексеевна, пощади подлого раба своего, долг свой нарушившего!» – вскидывая глаза к голубому небу, вздыхал он.

Обедали в лощине, опоясанной древними кудрявыми ветлами. Проворный татарин толмач Идорка едва успел подать «батюшке» лучший кусок баранины с чесноком, как с караульного дерева, что на поляне, скатился толстогубый, чубастый Ермилка. Он прытко подбежал к пятерым своим товарищам, в сторонке от компании хлебавшим из котелка рыбную щербу. Те, побросав ложки, вмиг вскочили на коней. И вот полдюжины всадников помчались по степи к дальним, верстах в трех, кустам.

Обед продолжался. На Ермилку с товарищами мало кто обратил внимание. А меж тем отряд Ермилки, разбившись надвое, летел во всю скачь поправее, другие – полее, чтоб отрезать какому-то неизвестному всаднику путь к отступлению. Перед этим всадником бежал что есть силы некий человек. Вот он с маху опрокинулся на землю – удавка поймала его за шею; а как только всадник подскакал к нему, человек, освободившись от петли, опять побежал. Всадник в момент настиг его и дважды вытянул нагайкой. Человек пронзительно закричал и, выхватив нож, бросился на всадника. Тут на них с двух сторон наскочили казаки.

– Хватай! – и Ермилка ловко поймал за узду чужого коня, во всаднике он узнал молодого казака Скворкина. – Скворкин, долой с коня, Тимоха, залазь...

Тяжело дышавший Тимоха Мясников, бросая ненавистные взгляды на своего обидчика и ругая его, устало залез в седло. Скворкину связали назад руки и, понуждая нагайками, повели меж двух коней к стану.

Когда Мясников, соскочив с коня и сорвав шапку с головы, стал подходить к государю, тот, сидя по-татарски на ковре, аппетитно ел баранину. Мясников забежал перед его лицом и повалился в ноги.

– Здравствуй, раб мой верный, казак Мясников, – покровительственно сказал Емельян Иваныч, сразу узнав знакомого ему Тимоху Мясникова. Наскоро облизнув пальцы, он вытер их об рушник и подал казаку руку для лобызания. – Где был? Что видел?

– Ой, батюшка, ваше величество, – часто взмигивая, словно собираясь заплакать, начал обычной своей скороговоркой краснощекий, с беловатой бороденкой Тимоха Мясников. – В кустах, батюшка, хоронился от комендантских сыщиков, в кустах да по трясинам... А вот сволочь, старшинский казачишка, таки скрал меня, – и Тимоха мотнул головой в сторону Скворкина.

В некотором отдалении стояла группа молодых казаков, среди них Ермилка и только что изловленный Скворкин. Все с обнаженными головами, один Скворкин в шапке.

Угрюмо покосившись в их сторону и заметив связанного по рукам молодца, Пугачев внимательно вслушивался в слова Мясникова.

Тимоха опять слезливо замигал, шумно высморкался и, утираясь подолом рубахи, закончил тенорком:

– Этот высмотрень нагайкой меня сек да орал мне в уши, чтобы я сказывал, где царь приبلудный и сколько за собой он силы ведет. Бородиным Матюшкой гад этот подослан выслеживать за тобой, батюшка...

– Господа казаки, подведите его ко мне да развяжите ему руки, – проговорил Пугачев, кивая головою на изловленного старшинского прихвостня.

Тот был опрятно одет, на ногах новые, расшитые шелком татарские сапоги с загнутыми носами. Ермилка, крикнув «Долой шапку!», дал ему затрещину, шапка слетела в кусты.

– А-я-яй, ая-яй, – глядя в упор на Скворкина и покачивая головой, начал Пугачев. – Смотрю я на тебя и дивлюсь: замест того, чтобы мне, государю, служить, ты умыслил против меня шпионничать. Уж лучше бы дома сидел, а шпионить-то меня пусть бы кто другой ехал, постарее да посмышленей тебя. Экой дурак ты!

И уже большая толпа собралась вокруг «батюшки». Казаки хотели подать свой голос, чтобы казнить сыщика, да побоялись, как бы государь опять не прогневался на них. Однако Давилин и Дубов, перебивая один другого, говорили:

– Подлинно он плут... Прикажи, надежа-государь, повесить гаденыша... Батька его завсегда обиды нам творил. Да и сын не лучше батьки – смертный оскорбитель и обидчик наш...

– Прикажи, ваше величество, вздернуть гада! – осмелев, закричали казаки. – Самый мерзопакостный он, даром что молодой... Ишь, глазищами-то зыркает, словно змея из-за пазухи!..

Парень и впрямь косил во все стороны желтовато-рыжими глазами, как бы собираясь броситься в кусты. И никакого внимания «батюшке», хотя бы слово молвил, хотя бы голову перед царем склонил.

Пугачев поднялся, заложив руки за спину, раз-другой прошелся по ковру, сказал глухо, но крепко:

– Что ж, господа казаки... Ежели не люб он вам...

Он не договорил, но казаки поняли его царскую волю и поволокли молодца к старым ветлам.

3

Секунд-майор Наумов, перейдя со своим отрядом через реку Чаган и выставив возле моста две пары пушек, дальше не пошел. Верстах в трех от него маячили пугачевские всадники, толпились люди. Наумов приказал старшине Окутину двинуть вперед сотню казаков, чтобы разведать силы врага.

Окутин боялся далеко отходить от пехоты и пушек, он не надеялся на верность своих казаков: войсковые шпионы еще вчера упреждали его, что промеж дурных казачишек мутня идет. Сотня Окутина, вместе с бывшим при ней капитаном Крыловым, остановилась.

Вдруг со стороны пугачевцев показался казак, он высоко держал над шапкой бумагу. Крылов и Окутин двинулись ему навстречу.

– Указ... указ государя! – голосил всадник и, подскакав к Окутину, вручил ему пакет. – Государь приказал прочесть всем... на голос!

– Какой такой государь? – закричал Окутин.

Но казака уже и след простыл. Окутин, не читая бумаги, сунул ее капитану Крылову, тот спрятал бумагу в карман.

– Что ж вы не читаете? Читайте, что там написано... – загалдели казаки.

– Молчать! – прикрикнул Окутин. – Не ваше дело!

– А чье же, как не наше? – вызывающе проговорил пожилой казак Яков Почиталин. – Братья-казаки, требуй!..

Поднялась словесная перепалка. Окутин с Крыловым, оробев, дали сотне приказ отступить к отряду Наумова. Но в кучке влиятельных казаков Андрей Овчинников, Яков Почиталин, Лысов, Фофанов во весь голос дружно закричали:

– Кто государю служить готов, айда за нами!

И больше сотни казаков, вскинув над головами ружья и пики, умчались по направлению к стану мятежников.

– Пропало войско Яицкое, – в унынии сказал Окутину капитан Крылов. – Уж раз измена завелась, так пойдет!

Казаки-пугачевцы встретили перебежчиков ликующими кликами. Ваня Почиталин, усмотрев среди подъехавших всадников своего отца, бросился было к нему со всех ног, но, вспомнив, что есть он у государя персона, сразу придал себе солидность и, подойдя к родителю, важно, со степенностью сказал:

– Здравствуй, батенька... Все ли здоровы?

И когда Яков Митрич прижал сына к груди и трижды с родительской нежностью поцеловал его в вихрастую голову, в лоб и в губы, секретарь государя скривил рот и всхлипнул.

Между тем Пугачев с едва скрытой радостью принимал верных слуг. Все они, сдернув с голов шапки, стояли на коленях.

Увидав среди них плешивого Митьку Лысова, Пугачев несколько омрачился. Не нравился ему этот низкорослый, хитрый, с козлиной бороденкой человек. Еще так недавно, когда войсковые депутаты чинили в степи Пугачеву посмотренье – быть или не быть ему царем, – этот самый Митька Лысов разные каверзные подковырки Пугачеву пускал.

Первым по старшинству лет подошел к руке «батюшки» большеусый, со впалыми щеками, Яков Почиталин.

– Что ты за человек? – спросил Пугачев.

– Я, надежа-государь, родным отцом довожусь Иванушке, что писарем тебе служит.

– Иван, верно ли сказывает?

– Истинно верно, ваше величество.

– Ну, царское спасибо тебе за сына, старик! Служи и ты мне, как предкам моим отцы твои служили.

Тем временем на помощь секунд-майору Наумову из крепости подошла еще сотня казаков под началом старшины Витошнова. Заметив, что пугачевцы всей толпой двинулись в обход моста, защищенного пушками, Наумов приказал старшине воспрепятствовать переправе мятежников вброд на другой берег Чагана. А бывшему среди сотни пожилому казаку Шигаеву секунд-майор сказал:

– Слушай, Максим Григорыч... Я тебя знаю давно за человека умного... Сделай милость, как войдешь в соприкосновение с толпой, урезонь казаков, чтоб откололись от вора...

– Ладно, – буркнул Шигаев и надвинул шапку на глаза.

Сотня Витошнова на рысях пошла навстречу пугачевцам. Подпустив сотню на близкую дистанцию, Пугачев подал команду:

– Детушки! Окружай изменников с флангов, а я с тылу по хвосту вдарю... Вали в обхват!

Взвились кони, засверкали на заходящем солнце сабли, пыль по степи пошла. Однако рубиться не пришлось: почти вся сотня, насильно захватив своего старшину Витошнова, передалась мятежникам, и лишь с десятков казаков помчались обратно наутек, но их поймали, связанными приволокли к Пугачеву и потребовали немедленной им казни.

– Пускай до утра сидят под караулом. А завтра моя высочайшая воля воспоследует, – сказал государь.

Пугачев был настроен сейчас на самый добрый лад: ведь за один день к нему переходит самовольно вторая сотня боевых казаков. Это ли не удача!

Толпа переправилась через реку и, оказавшись в тылу отряда секунд-майора Наумова, принудила его убраться в крепость.

Наступил вечер. Толпа расположилась на ночлег.

За ночь невдалеке от палатки государя казаки соорудили виселицу, они надеялись, что так или иначе, а супротивникам народным доведется качаться на веревках.

На другой день, после завтрака, Пугачев приказал казакам собраться в круг. Горнист Ермилка в медный, начищенный бузиной рожок проиграл сбор. Со вчерашнего дня на нем красовались расшитые шелком татарские сапоги, снятые им с повешенного сыщика.

Пугачев искал случая, чтобы укрепить в своем молодом войске незыблемую уверенность, что есть он не вор Емелька, как внушало казакам яицкое начальство, а истинный государь.

– Позвать сюда старшину Витошнова! – велел он.

Начальник передавшейся вчера сотни, Андрей Витошнов, был человек старый, сухой, лицо скуластое, со втянутыми щеками, борода седоватая, взгляд исподлобья, хмурый.

Пугачев уселся на покрытый ковром пень. Подошедший Витошнов оказался как раз под виселицей,

петля болталась над самой его головой.

Пугачев устремил на старика пронзительный взор свой. Сердце Витошнова захолонуло.

– Ты, старик, много разов бывывал в Питенбурхе. Видал ли меня там, владыку своего? – внятно спросил Емельян Иваныч.

Казачи разинули рты, ждали, что ответит старшина. Витошнов потупился, переступил с ноги на ногу и, запинаясь, ответил:

– Кабыть, видал, батюшка. Помню.

Глаза Пугачева засияли. Он поднялся, громко сказал:

– Слышали ль, детушки, что старик молвит? Видал меня в столице и ныне признал во мне третьего императора Петра Федорыча.

Казачи ответили одобрительным гулом. Из толпы раздались голоса:

– Надежа-государь, а что повелишь делать со старшинскими змеенышами?

– Надлежало бы их на путь наставить да к присяге привести. Авось в ум войдут да нам верно служить будут, – присматриваясь к толпе, сказал Пугачев.

Поднялся шум. Два степенных казака, Овчинников да Максим Шигаев, стали внушать «батюшке», что казачество этим людям не верит. Они, мол, богатенькие, им и присяга не присяга, они, мол, все равно государевых слуг мутить станут.

– В прошлом году зимой – тебе, батюшка, ведомо – в войске Яицком мутня была, – сказал Максим Шигаев, помахивая концами пальцев по надвое расчесанной бороде, – в те поры наши казаки генерала Траубенберга прикончили. Так уже мы знаем, что эти молодчики старшинской руки держались, супротив громады шли.

– В нас, в казаков войсковой бедняцкой руки, картежами палили!

– Истинная правда... Так! – снова зашумели в толпе.

– Не лучше ль, батюшка, ваше величество, – сказал Овчинников, – повесить их, чтоб им в наказание, а прочим во страх.

– За Витошнова-старика мы поручимся, – кричали казаки. – И за Гришуху Бородина поручимся, даром что он племянник Мартемьяна, нашего гонителя. А этих – смерти предать! Довольно им измываться над нами!

Пугачев насупился, невнятно пробурчал: «Верно, ежели попала под каблук змея – топчи!..» – взмахнул рукой и резко возгласил:

– Быть по-вашему!

Кривой, «страховидный» казак Бурнов, избравший себе службу царского палача, поспешил исполнить повеленье «батюшки».

Глава IV

Именное повеление. Клятва. «Бал продолжается!»

1

Капитан Крылов возвратился домой поздним вечером, было темно, в теплом небе звезды мерцали, Ваня уже спал.

– Ну, мать, пропало войско Яицкое, – раздраженно сказал он жене. – Казачишки бегут к вору, как полоумные... Ужо-ко он медом будет их кормить. Андрюшка Витошнов сбежал, старый черт, с целой сотней дураков, да утром утекло полсотни... Заваривается каша!

Семеныч подал капитану умыться, капитанша принесла бок жареной индейки да флягу с травничком, однако Крылов за стол не сел, а поспешил к коменданту.

У Симонова сидели Мартемьян Бородин и секунд-майор Наумов, пили чай с вареньем из ежевики и с сотовым медом. Крылова пригласили к столу. Вместо захворавшей комендантши чай разливала Даша, милостивая девушка, приемная дочь Симонова.

– Подкрепился дома-то? – спросил Симонов Крылова.

– Не успел, господин полковник.

– Дашенька, скомандуй-ка борщу капитану... Отменный борщ!

Крылов вынул из кармана бумагу мятежников и, рассказав, как она попала к нему, передал ее коменданту.

Тот надел очки, приблизил к себе свечу, стал вслух читать:

– «Войскам Яицкого коменданту, казакам, всем служивым и всякого звания людям мое именное повеление». – Ах, бестия! Складно... И почерк добрый, – встряхнул бумагой комендант. – Неужели сам он, Пугач, писал?

Мартемьян Бородин заглянул через плечо Симонову в бумагу и, распространяя сивушный дух, прохрипел:

– Сдается мне – Ванька Почиталин это. Его рука. Его, его! Он лучший писчик по всему Яику, он, помнится, мои атаманские реляции, на высочайшее имя приносимые, перебелил... Он, он!.. Недаром к вору удрал, наглец... Только бы поймать, праву руку отсеку пащенку! Стойте-ка, – тучный Бородин, опершись о столешницу, поднялся, шустро подошел к окну и, распахнув раму, заорал во тьму сентябрьской ночи:

– Эй, казак!.. Дежурный! Скачи к Яшке Почиталину, веди его, усатого дьявола, на веревке в искряную избу либо на гауптвахту. Да пук розог приготовь! Приведешь, мне доложишь...

– Напрасно хлопочешь, Мартемьян Иваныч, – вмешался Крылов, с аппетитом хлебая борщ. – Яков Почиталин и племянник твой Григорий с казаками к вору утекли...

– Да ну-у?! – протянул Бородин и снова заорал в окно: – Эй, казак! Отставить!

Симонов, поморщившись, сказал Бородину:

– Экой ты беспокойный. Сядь, – и стал продолжать чтение «воровской» бумаги:

– «Как деды и отцы служили предкам моим, так и мне послужите, великому государю, и за то будете жалованы крестом и бородою, реками и морями, денежным жалованьем и всякою вольностью». (Вот он чем берет их, болванов, – заметил Симонов.) «Повеление мое исполняйте и со усердием меня, великого государя, встречайте, а если будете противиться, то восчувствуете как от Бога, так и от меня гнев. Великий государь Петр Третий Всероссийский».

Симонов отшвырнул бумагу, а Бородин затряс усищами, зашумел:

– Встретим, дай срок! Уж мы тебя, злодея, встретим... Ах ты, каторжник, ах ты, рыло неумытое. Царь... Ха-ха-ха! Мы те покажем Петра Третьего Всероссийского!.. А нут-ка, Андрей Прохорыч, отмахни мне кусочек поросятинки. Ха, подумаешь, дерьмо какое, в цари полез!.. Дашенька, подай мне, старику, горчички да водочки чуток... С горя, ей-Богу, с горя! Ведь я, Дашенька, кумекал с Гришкой окрутить тебя святым венцом, а глянь, что вышло... ну, подожди ж, племянничек родимый...

В просторной горнице темно, лишь две свечи в бронзовых подсвечниках горели, и никто не заметил, как густо скраснела Дашенька: у ней на сердце не Гришка Бородин, а гвардии сержант Митя Николаев. Где-то он, благополучен ли? Поди, уж к Оренбургу подъезжает. Ой, Митя, Митя!.. Уехал и проститься позабыл.

...А в это время сержанту Николаеву рубили ножом косу: подвели к стоячему дереву, примостили затылком да и тяпнули.

– Ну вот, и казаком стал, – проговорил краснощекий Тимоха Мясников и бросил пук волос в траву.

– А ведь ты, Николаев, из господишек: либо сбежишь, либо нас продашь, – сказал Митька Лысов и зло захохотал.

– Ни то, ни другое, – сердито возразил сержант. – Не хуже вас служить стану государю...

– Ой ли?.. – и нахрапистый Митька, опять захохотав, погрозил сержанту пальцем.

...По белой стене мотались-елозили тени от сидящих за столом. Вот одна быстро издыбила и уперлась головой в потолок. Это поднялся комендант, полковник Симонов.

– Значит, как я и говорил вам на совещании... (Крылов, опоздавший к совещанию, особо внимательно вслушивался в слова начальника.) В перспективе предстоят нам немалые хлопоты со злодейской толпой. Добро, ежели поймает вора... Только как ловить будем, какими силами? У меня пятнадцать штаб- и обер-офицеров, пятьдесят три сержанта с унтер-офицерами да семьсот человек рядовых, ну еще сотня оренбургских казаков, на коих, признаться, я шибко-то положиться не могу. Вот и вся моя воинская сила! А крепостца наша, увы, в самом плачевном положении. Вот в каких обстоятельствах застаёт неимоверный по внезапности и каверзный по дерзости своей подлый казус. И доверительно вам говорю, господа командиры, не могу я решиться на риск вывести все наши силы за городок, чтоб сразить злодея: выведешь, да чего доброго, и назад не вернешься. Ведь сами знаете, каково настроение яицких казаков и всех жителей в городке, население при всякой в наших рядах заминке примет сторону самозванца.

– Искру туши до пожара, беду отводи до удара, господин полковник, – сказал Крылов.

– То-то же и есть! – в волнении воскликнул Симонов, ероша стриженные в бобрин волосы. – Пуще всего опасаясь, что искра разгорится в пламя... при нашем невольном попустительстве. – Он вздохнул и потупился. И все вздохнули. – Итак, взвешивая обстоятельства, нам волей-неволей остается взять тактику оборонительную. И положиться на Господа Бога, а наипаче на самих себя. Гм, гм... надеяться на помощь Оренбурга вряд ли следует: Рейнсдорп сам может оказаться в опасном состоянии. Да еще неизвестно, когда мой курьер сержант Николаев доскачет до него, а может, и вовсе не доскачет... – потряхивая головой, тихо, с грустью, закончил он.

Черноволосая круглощекая Дашенька при этих словах заморгала и незаметно смахнула тонкими пальцами наворачнувшиеся слезы.

Гости раскланялись с хозяевами, пошли к выходу. Симонов, остановив Бородина, взял его под руку, отвел к окну.

– Вот что, господин старшина, – сказал он, – хотя ты такой же полковник, как и я...

– И сверх сего бывший войсковой атаман, – проговорил басом Мартемьян Бородин, вскинув на Симонова мутные полупьяные глаза.

– Да, – подтвердил Симонов. – Но все-таки хоть ты и «сверх сего», а подо мной, брат, служишь, ибо я комендант вверенной мне ее величеством крепости. А посему, имея в виду времена тревожные, приказываю тебе: пить брось! – резко сказал Симонов. – Ежели хоть однажды нарушишь мое приказание – на меня не пеняй: тотчас будешь посажен на гауптвахту и к тебе будет приставлен лекарь с пиявками и рвотным...

– Да Боже сохрани! Да что вы, Иван Данилыч, батюшка. Брошу, брошу!.. Ведь я и не пью много-то. Ведь это я с праздника покуролесил, Воздвиженьев день был, – заторопился, запыхтел Мартемьян Бородин, – двадцать пять лет верой и правдой служу всемилостивой. И верность свою докажу ее величеству. Рубите мне голову с плеч, ежели я на аркане не приведу к вам вора Емельку! – потрясая кулаками и жирным загривком, закричал Мартемьян Бородин, отечные мешки под его глазами взмокли, он скривил рот и пьяно завсхлипывал.

Оба полковника обнялись и простились.

Симонов остался в столовой один. Да еще Дашенька тут же прибирала посуду. Он оперся о стол ладонями, опустил черноволосую, с легкой проседью, голову и желчно подумал про только что ушедшего Бородина: «Неуч, лихоимством и подлостью стяжавший немалые богатства. Рабов, негодяй, завел себе из калмычишек. Если б не был ты мздоимцем да утеснителем, и восстания на Яике не случилось бы. А не было бы восстания, и Пугачев в здешних местах был бы немислим. Ты, Мартемьян Бородин, создал Пугачева!»

– Вы что сказать изволили, папенька? – спросила Даша.

– А? Нет, я ничего, – откликнулся Симонов. – Иди-ка, там тебя на кухне Мавра ждет.

Даша вытерла большую фарфоровую кружку петербургского ломоносовского завода и, вздохнув, вышла. Как только захлопнулась за ней дверь, Симонов схватил из шкафа штоф с водкой, с проворностью налил почти полную кружку, перекрестился, выпил залпом, крикнул и, махнув рукой, побрел к себе в спальню.

2

К полдню, приблизясь ко городку версты на полторы, толпа в нерешительности остановилась: на том же месте, как и вчера, стоял отряд секунд-майора Наумова, впереди отряда – густые рогатки, а перед рогатками – четыре полевые пушки.

Лишь только часть пугачевцев пошла, для пробы, конным строем на отряд, пушки загрохотали, засвистела картечь, конники повернули обратно. Огорченный упорством Яицкого городка, Пугачев на совете сказал:

– С голыми руками супротив пушек соваться нечего. Я свое войско верное зря тратить не стану. Пойдемте прочь куда ни то. Авось одумаются, гонцов за нами спысывают. Тогда с честью войдем в городок.

– Пойдем, ваше величество, по линии до Илецкой крепости, – мазнув по надвое расчесанной темно-русой бороде, присоветовал высокий, сутулый Максим Шигаев. – По пути форпосты встренутся, людей да пушки забирать там станем.

Казачи поддакнули Шигаеву. Пугачев подумал, снял шапку, почесал затылок. Ему нравился этот степенный казак с умными серыми глазами, да, в сущности, и спорить-то было не о чем.

– Ну ин пойдем по линии. Так тому и быть, – сказал он.

Двинулись степной дорогой вверх по Яику.

Возле форпоста Рубежного, пройдя полсотни верст, толпа остановилась на роздых. После обеда Пугачев велел трубить сбор в казачий круг. Снова залился-зазвенел рожок губастого Ермилки. Звание горниста было его гордостью.

Когда круг собрался и Пугачев вошел в него, шапки с голов как ветром сдувало.

– Вот, детушки, – громко начал Пугачев, – вас теперь у меня поболее четырех сотен. Неверная жена моя, немка окаянная Катерина, что со дворянами престола родительского лишила меня, она и вас всех, детушки мои, пообидела, лишила войско Яицкое привилегий и вольностей и замест атамана подсунула коменданта Симонова. Ну, Бог ей судья. А вот я, третий император Петр Федорыч, обычаи ваши древние блюду и сызнава дарю вам казацкое устройство, согласуемо древним обычаям. И положил я подкрепить вас чинами и званием, чтобы вы не бегали от меня, а были во всем довольны. Сего ради повелеваю выбрать вам себе вольным выбором атамана, полковника, есаула и четырех хорунжих. А ты, простой казак Давилин, отныне будь при моей особе дежурным, вроде адъютанта... Ну, с Богом!

Казачи закричали «ура», стали швырять вверх шапки. Пугачев поклонился кругу, отер пот с лица и пошел в свою палатку. Его поддерживали под локотки Яким Давилин и Зарубин-Чика, искренне привязанный к государю и больше всех оберегавший его.

Уж солнце стало садиться, когда Емельяну Ивановичу доложили, что круг закончил свое дело.

Андрей Овчинников выбран войсковым атаманом. Дмитрий Лысов – полковником, старик Андрей Витошнов – есаулом. Кочуров, Григорий Бородин и еще двое – хорунжими.

– В сем звании вашем мы согласны утвердить вас. Служите мне и делу нашему верою и правдою, – торжественно молвил Пугачев стоявшим на коленях выбранным и допустил их к целованию руки. Поискав глазами, подозвал он к себе сержанта Николаева:

– Исполнил ли ты, молодец, повеление мое, написал ли присягу?

– Готова, ваше величество, – и сержант с учтивыми поклонами поднес государю лист бумаги.

– Секретарь, огласи присягу, да погромче, чтоб многому людству слышно было.

Иван Почиталин принял с поклоном из рук государя лист, вскочил на телегу, где, хлопая крыльями, горланил на всю степь красноперый петух, и неспешно, смакуя каждое слово присяги, прочел:

– «Я, казак войска государева, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред святым его Евангелием, в том, что хочу и должен всепресветлейшему, державнейшему, великому государю императору Петру Федорычу служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли крови, в чем да поможет мне Господь Бог всемогущий».

Все казаки стояли без шапок, каждый вскинул вверх правую руку.

– Клянётесь ли повиноваться мне, своему государю? – спросил Пугачев.

– Клянемся! – гаркнули во всю грудь казаки, потрясая шапками. – Верой и правдой служить обязуемся!

– Клянётесь ли, что не спокинете меня, государя своего, и не разбредетесь по ветру, покамест мы вкупе не повершим дела великого?

– Клянемся, надежа-государь! Повелевай нами, свет наш!

Долго еще слышалось по степи: «Клянемся, клянемся!» Сам государь и большинство казаков смаргивали навернувшиеся слезы. Государь любовался бравыми, готовыми на подвиг молодцами; казаки любовались государем. От сердца к сердцу, из очей в очи шли невидимые токи взаимного доверия между вооруженной ратью и вождем ее.

О завтрашнем дне не думалось на людях. Только ночью, когда в изголовье – боевое седло, у ног конь привязан, а вверху бескрайняя крыша в звездах, мятежному казаку, будь он молод или стар, не дают покою думы о будущем. Казак ворочается с боку на бок, надвигает шапку на глаза, на уши, чтоб забыться, но думы не покидают его, и думы эти страшны. Они страшны потому, что к прошлому нет возврата, что навсегда отрезан путь к семье, к горькому родному дыму, от которого порой, быть может, градом катились из глаз слезы.

Прощай, прошлое, прощай, родимая семья! Теперь казак-мятежник живет лишь настоящим часом.

А в настоящем – яркое солнце светит, в небе журавли летят, пылит дорога, надежа-государь со свитой едут, знамена реют, телеги тархтят, и красноперый прилудный петух поет свое «кукареку».

А там, позади, на страх врагам, покачиваются в петлях одиннадцать раздетых, разутых богатеньких казаков.

И вот уже во сто глоток грянула, взвилась лихая песня. Ежели будет во всем удача, то дня через два, присоединив к себе попутные форпосты, государева рать должна вступить в казачий Илецкий городок.

Не доезжая Оренбурга, версты за три от него, старый яицкий казак Петр Пустобаев услышал в городе пальбу из пушек и приостановился.

– О мать Пресвятая Богородица... что же это? Уж не злодей ли окаянный в город вошел? Как бы в лапищи к ему не угодить, в богомерзкие. Чу!.. Опять палят...

На дороге из-за кустов показался верблюд, на нем маленький бронзоволикий черноусый киргиз в малахае. Верблюд, мерно вышагивая и чуть покачиваясь, шел из города. Конь Пустобаева захрапел, заплясал, бросился в сторону. Казак передернул узду, вытянул коня плетью, крикнул:

– Эй, малайка! А что в городе, чи спокойно, чи нет?

– Э-э-э... покой, покой... нашава... – раскачнувшись, ответил киргиз и, подмигнув казаку, захохотал.

«Пьяная морда», – подумал Пустобаев. Миновав Меновой двор, он въехал в город. Было семь часов вечера, только что кончилась всенощная, трезвонили колокола. На городской окраине избушки, мазанки, либо огород с полверсты, в нем шалаш, а на грядках с капустой вороньи пугала. Сыпучий песок кругом, беспризорно бродят коровы, козы, овцы, с лаем бросаются под ноги казацкой лошадки зубастые псы. Пустобаев работает плеткой направо-налево.

А вот и базар, торговые ряды, соборная церковь, цейхгауз, гауптвахта, дома купцов и начальства, дворец губернатора. Все тихо, разбойников нет, жители ходят спокойно, мирно. И тут только Пустобаев заметил: у богатых домов, в гостинном дворе и на высоких шестах дворца губернатора развеваются флаги... Вот так оказия!.. Царский день, что ли, какой? А в окнах дворца уйма света, свечи да свечи, как в Божьей церкви о пасхальной заутрени.

Он зашел в кордегардию и сказал дремавшему за столом дежурному старому капралу, чтоб тот немедленно доложил губернатору о прибытии курьера от коменданта Симонова «по самонужнейшему делу».

– Пакет, что ли, у тебя? Давай я снесу, – потягиваясь и зевая во весь рот, сказал капрал.

– Ну, как можно... Лично, из рук в руки приказано... Самонужнейшее!

– А что стряслось?

– Как что стряслось? Нешто не знаете? Нешто наш сержант не приезжал к вам с донесением?

– Никакого сержанта...

– Ай, Боже ж ты мой! – воскликнул бородатый казак, опускаясь на лавку. – Неужто злодей изымал его?

– Да что случилось-то?

– Как что!.. – гулко крикнул Пустобаев и замотал бородой. – По степу Емелька Пугач с шайкой бродит, народ мутит, форпосты берет, к Яицкому городку делал подступ... Ах, Боже ж ты мой... Вот те и Митрий Павлыч Николаев!.. Ну, иди, иди, господин капрал, доложись... А по какому разу у вас артиллерийская пальба и флаги везде выкинуты? Уж не государыня ли матушка именинница?

– Никакая не государыня, а сама губернаторша именинница, сама Росдорфша, вот кто, – с необычайной важностью, очевидно, желая поразить воображение провинциального казака, сказал старый, беззубый капрал и самодовольно запыхтел сквозь усы: – Ну, шагай, проведу тебя в палаты через кухню... Только навряд ли примет сам-то. Поди, выпивши, а то и вовсе раскорячился. Винища этого самого таскали, таскали к обеду, конца-краю нет. Целый полк в лоск спить можно... На-ка,хвати чарку и ты, – он достал из шкафа с делами штоф водки, поднес казаку стакан и сам выпил. Пустобаев только теперь заметил, что капрал не особенно тверд на ногах. – Так какой, говоришь, Пугач, что еще за Пугач такой?

– Вот увидишь... А не увидишь, так услышишь...

– А ты не страшай, – пробубнил капрал, направляясь через сад в кухню. – Мы с его высокопревосходительством и не таких Пугачей пугали. А то заладил – Пугач да Пугач... Тьфу! А еще казак... Шагай веселей!

– Он государем назвался, Петром Третьим... Вот он какой, Пугач-то!

– То есть как это государем назвался?! – заорал капрал, входя с казаком в кухню. – Ах, государем? Петром Третьим, покойником? Ах ты, сукин ты сын!.. Я те покажу... Эй, повар, прачка, кухарка, хватайте разбойника, бунтовщика! Я те покажу, как государем называться! – И капрал сгреб казака двумя горстями за густую бородину.

– Да ты что, пьяная твоя харя! – заорал казак и с маху брякнул капрала на пол.

Вся кухня враз захохотала. Казак присмотрелся: кухня была пьяна. Вошел молодой офицер.

Казак стоял в передней вот уже порядочно времени, а из покоев никто не появлялся. Где-то в задних комнатах сотрясала стены духовая музыка, раздавался размеренный трескучий топот и лязг шпор – должно быть, шли там плясы. При свете двух оплывших свечей на подзеркальнике казак осмотрел себя в огромном, от потолка до полу, зеркале: русая, с сильной проседью, борода целехонька, от капральских пьяных лап, кажись, ни один волос не пострадал. Ну и слава те Господи!

В соседнем зале беготня, выкрики, визгливый женский хохот – надо быть, в жмурки господа играют. Казак услышал приближавшиеся к передней мужские голоса, отскочил от зеркала, вытянулся в струнку.

– Да, да, да... Касак? Ах, касак?.. От Симонофф?.. Где он, где?

В переднюю вошли четверо: сам генерал-поручик Иван Андреич Рейнсдорп, два его адъютанта и молодой офицерчик, что повстречал казака в кухне.

Губернатор был невысок и мало осанист, с круглым брюшком, ножки тонкие, в длинных чулках, башмаках и серого цвета атласных кюлотах. Такой же, со срезанными полами, кафтан, расшитый серебряной травкой, на кафтане – звезда, кресты, медали. Яйцеобразное, раскрасневшееся от выпивки лицо губернатора было маловыразительно: преобладали черты туповатости, чванства.

Из апартаментов в переднюю он нес себя как бы на цыпочках, прижав локти к бокам, оттопырив мизинцы и слегка повиливая бедрами. Увидав в отдалении замершего на месте человека, он приостановился, вскинул к глазам лорнет, оправленный в черепаху и золото, и стал наступать на Пустобаева. Позабыв дышать, дюжий детина глядел в лицо генерала бодро и преданно. Генерал ближе, ближе... И вот лорнет его уперся в бородишку казака. «Гм», – сказал генерал и стал отступать, пятясь задом. Остановился, чуть выставил правую ногу вперед, выпятил грудь, чтоб казаться воинственным, и командирским охрипшим баском крикнул с задором:

– Здорово, касак!

– Здрaвы бывайте, ваше высокопревосходительство! – выкатив глаза, гаркнул казак-бородач с такой силой, что подвыпивший губернатор покачнулся, удивленно вскинул рыжие брови и, обернувшись, подмигнул толпившимся возле дверей гостям:

– Вот голос... Оччень, оччень карашо... Кто такой, что скажешь, касак? – И губернатор снова поднес к большим карим глазам изящный лорнет свой.

– Дозвольте репортовать! Строевой казак Яицкого городка Петр Пустобаев, спосылован господином комендантом Симоновым с важным пакетом к вам, батюшка, ваше высокопревосходительство, и повелено мне оный пакет препоручить вам в собственные ручки... Дозвольте репортовать!

Губернатор, оттопырив мизинец, украшенный бриллиантовым перстнем, с миной брезгливости принял пакет за уголок двумя пальцами и чрез плечо протянул его адъютанту:

– Симонофф... пакет... Что за экстренность? Можно бы повременить! У меня, видишь, бал.

– Самоважнейшее дело, батюшка! – опять гаркнул Пустобаев. – Господин комендант приказал: ежели, говорит, тебя, Пустобаев, в дороге словят злодеи да пакет отберут, ты, говорит, ежели, говорит, от петли избавишься, как можно старайся утечь от разбойников и прямо, говорит...

– Тсс... Стой, касак!.. Какие разбойники, какая петля? Какая утечь? Пфе... Гаспада! Ви слышaете? У меня в губернии тишь да гладь, да Божья благодать. А они там, а они с Симонофф... – вспетушился, засеменял взад-вперед ножками губернатор.

– Насмелюсь доложить. К Яицкому городку подступал намердись Емелька Пугачев, с изменниками... Он государем себя назвал, Петром Федорычем, силу скопляет, грозит, лиходей, всех перевешать, кои не согласятся признать его богомерзкую харю за государя покойного...

– Што, што, што?! – Губернатор округлил рот, вскинул к глазам лорнет, попятился.

И среди гостей, толпившихся в дверях, раздались восклицания любопытства, тревоги.

– Пасфольте, пасфольте... – бормотал губернатор, то повертываясь в сторону гостей, то устремляя свой взор на казака. Его жирное, яйцеобразное лицо еще более покраснелось, темно-рыжие брови с косичкой жалко мотались. – Или я оччень есть пьян, или твоя Симонофф, как это... ну как это?.. Твоя Симонофф сбился с ума... есть помешанный... Его маленечко надо в дольхауз сажать. Но я, кажется... я, кажется...

– Иван Андреич!.. Вы ни капельки не пьяны, вы душка, – прозвенел от дверей голосок, и маленькая блондинка с крупным бюстом, одетая в бальное, смело декольтированное платье, вольным жестом послала молодящемуся губернатору воздушный поцелуй. – Кончайте же скорей, Иван Андреич... Нас ждут фанты...

Глаза губернатора потонули в блаженной улыбке. Забыв про яицкого казака, коменданта Симонова, злодея Пугачева и обратясь всей своей персоной к блондинке с пышным бюстом, он поцеловал концы собственных пальцев.

– Данке зер, данке зер... Один момент, и я... тотчас, тотчас...

– Пугач от Яицкого городка отогнан, ваше высокопревосходительство!.. – гаркнул казак, с удивленьем и злобой посматривая на генерала и на барыньку. – Так что полторы сотни наших казачишек ускакали к нему, к злодею... Дозвольте доложить! Передались, значит...

– Шо, шо, шо? Как ты скасал, дружок? Ах, ты еще здесь? Поручик! Распоряжайтесь касаку водка...

В толпе громко зашептали: «Кресло, кресло генералу». В дальних комнатах продолжала греметь музыка, все так же слышался трескучий, подобный ружейным залпам, топот лихих танцоров.

– Данке! – Поблагодарив услужливого офицера, губернатор устало опустился в придвинутое ему кресло. – Гаспада! Я слюшаю битого час вот этот касак и нисшшево не паньмайт... – развел он руками. – Пугашов, Пугашов... Какой такой Пугашов?..

– Ваше высокопревосходительство! – с ноткой досады в голосе воскликнул адъютант, держа в руке рапорт полковника Симонова. Он все время порывался доложить губернатору содержание бумаги. – Разрешите...

– Ба! – прервал его генерал, ударив себя ладошкой в покатый морщинистый лоб. – Припоминайт, припоминайт... Вильгельмьян Пугашов... Знаю!

– Осмелюсь, генерал, доложить...

– Знай, знай!.. Лютше вас знай... Он каторжник, рваный ноздря. Был схвачен, посажен в казанский тюрьма, но милейший Яков Ларионович Брант^[85] оччень маленечко прозевал его, и сей каторжная душа маленечко ату, ату... бежалъ...

– Разрешите, генерал, – и адъютант в лакированных ботфортах щелкнул шпорами. – Его сиятельство Захар Григорыч Чернышев^[86], не далее как месяц тому назад...

– Знай, знай!.. Лютше вас знай... Граф Чернышев приказал хватать его, хватать! – Губернатор оскалил белые ровные зубы и срыву схватил руками воздух. – И што же? Я выпускал своя канцелярия сотни бумаг, сотни настрожайших приказов... Но где его поймать? А вот он... он, рваный ноздря, сам дается в руки... Хе-хе-хе... Гаспада! Нет, ви слышите, ви слышите?.. Государь... Петр Федорыч... Симоноффа напугал... Хе-хе-хе!

Слушай, касак! Разговаривай Симонофф, пусть он спит спокойно. Таких Петр Федорычев мы маленько вешаем и плеточкой стегаем до самой смерти... генерал Рейнсдорп зорко смотрит своя губерния, и государыня императрисс им оччень, оччень довольна. И сей злодей потерпит казнь сами люта... Только, полагаю, сей злодей и в поминках нет. Видумка, фата-моргана, сказка... Пфе, пфе...

– Разрешите, генерал. Комендант Симонов излагает факты... И факты содержания весьма острого...

– Только не тотчас, не тотчас, – вскочил с кресла генерал и, прижав локти к толстым бокам, отмахнулся ладонями. – Зафтра, поручик, зафтра. Горячка нет, пустой вздор. Слушай, сержант! Отведи, голюбчик, касака на кухня, чтоб был сыт, пьян и... и... нос в кабаке. Прощай, касак! Обнимаю меня, генерала... – и губернатор, благосклонно улыбаясь, двинулся навстречу казаку.

– Не могу насмелиться, ваше высокопревосходительство, – попятился Пустобаев и провел рукавом кафтана по губам, чтоб приготовиться к поцелую. – Не достоин я...

– А вот я насмеливаюсь, я достоин! – Низкорослый генерал обнял верзилу и поцеловал его в бороду. – О! Учитесь, молодежь, как надо обращаться рюска простой шалвек... – сказал губернатор.

Офицеры с улыбкой пристукнули каблуком о каблук. А казак Пустобаев запыхтел, завздыхал. Губернатор быстро повернулся кругом, щелкнул пальцами:

– Але, але, гаспада... Бал продолжается! – И, окруженный толпой гостей и подхваченный под руку блондинкой, он направился в апартаменты.

– Люблю простой рюска народ, люблю касак!.. А образованный класс, о, нет, нет... где-то там, в облаках... мечты, химеры, а штоб твердо на почва стать, нет того, нет того... Вот я – немец... с гордостью говорю – немец... У-ти-ли-таризм! О! Чтоб не сказать более... Гаспада! В фантики... Гоп-ля! Больше жизни!.. Бал продолжается!.. А где же именинница?

Возвращаясь ни с чем из Оренбурга, казак Пустобаев у самой Татищевой встретил запряженную парой кибитку с рогожным кузовом, ее сопровождали два верховых казака.

– Ой, матушка! – заглянув внутрь кибитки и узнав в сидящей там женщине капитаншу Крылову, вскричал Пустобаев, сдернул шапку, соскочил с коня. – Да куда же вы собрались? Уж не в Ренбурх ли?

– В Оренбург, в Оренбург, – сказала капитанша, высунув из кузова бурое, пропылившееся лицо. Кибитка остановилась. – Андрей Прохорыч так распорядился, отправил нас с Ваней, а сам, голубчик, один-одинехонек остался... в этакую-то страсть... – Капитанша выхватила из рукава беличьего салопы носовой платок и всплакнула.

Рядом со смуглой, сухощавой капитаншей сидела дородная нянька, а меж ними – Ваня. Он безмятежно спал, перегнувшись в колени матери.

– А что ж, матушка... И верно рассудил Андрей-то Прохорыч... Неровен час... А в Ренбурхе от злодея сподручней отсидеться-то можно... Ну, да Бог хранит... А как же, матушка, вас ангелы Божьи невредимо чрез толпу-то злодейскую пронесли?

– Да ночью проскочили... Ой, да и страху было. Ведь они подле Илецкого городка стоят. А вот Бог пронес.

– Я, матушка, в обрат возьму, провожу вас до Ренбурха-то.

– Что ты, что ты, Пустобаев! Поди, тебе губернатором спешное поручение дадено...

– Да нетути, матушка. Именины, вишь ты, у губернатора-то, сама генеральша именинница, гостей полон дворец, и все пьяные, и губернатор под турахом. Дак ему не до Пугачева! Полопотал, полопотал дурнинушку какую-то, покривлялся, опосля того возгаркнул: «Продолжайте бал!» – да с тем и убрался... Э-

эх... Одно звание, что губернатор...

Капитанша словам Пустобаева подивилась и разрешила сопровождать ее до Оренбурга. Пустобаев обрадовался. У него страшно болела голова, он прошлой ночью в генеральской кухне столь усердно наакался водки да всяких вин, что с ним лихо приключилось, на весь губернаторский дом стонал и охал. Теперь в самый раз будет в Оренбурге опохмелиться.

Сзади кибитки примостился на сене хромой солдат Семеныч, денщик капитана Крылова. Его голова с потешной косичкой моталась, как у мертвого барана. Старое, изморщенное лицо было красно, он пускал слюни и сладко спал.

– Пьяный?

– Пьяный, – улыбаясь, ответили едущие в ряд с Пустобаевым казаки. – Дважды с козел кувыркался. Ну-к мы прикрутили его полотенцем к задку. Тут спокой!

– А где же добыл он вина-то? – с надеждой спросил Пустобаев.

– Да вином-то мы, слава те Христу, мало-мало запаслись, – сказал молодой казак. – Не хошь ли, дед?

– А ну дай чуток сглотнуть... Дюже башка трещит.

Могутный и широкоплечий, он приостановился, ужал в пудовую лапищу глиняную баклажку с водкой, задрал седоватую бороду и, что приняла душа, – откушал.

Вот и слава Богу, и развеселился. Догнал кибитку, перегнулся в седле, заглянул в лицо Крыловой, гулко прокричал:

– Вспомнил, матушка! Ей-Богу, вспомнил...

– Чо вспомнил-то?

– А как же, – заулыбался Пустобаев, оттопырил большой палец и с маху ткнул им в свою грудь. – Его высокопревосходительство извоили меня самолично в бороду причмокнуть.

– Да неужто? Поцеловал, что ли?

– Как есть! – еще громче закричал Пустобаев. – Мы с ним оба-два обнявшись были. Я тверезый, они выпитчи...

Крылова улыбнулась, а Пустобаев продолжал, вдруг похмурав лицом:

– И вот еще что, матушка! Николаева-то нашего, сержанта-то, что с донесеньем к губернатору спосылан, нетути в Ренбурхе!

– Как так? – ахнула капитанша. – Да где же он? Неужто... к злодею угодил?

– Похоже, что так, – трезвея, подал казак голос и тяжело вздохнул.

Глава V

Илецкий городок. Царский лик. Раздумье

1

Новоизбранный атаман государева войска Андрей Афанасьевич Овчинников, имея на левой руке белую повязку – знак власти, въехал с двадцатью конными казаками в Илецкий городок.

Городок расположен на возвышенном левом берегу Яика, вблизи устья реки Илека и в стороне от большого тракта на Оренбург. Кругом по яицкому левобережью тянулась всхолмленная степь. Городок обнесен земляным валом, имеющим вид неправильного четырехугольника, а поверх вала – бревенчатый заплот с раскатами и батареями для двенадцати пушек. В крепостцу вели двое ворот, в ней помещались казармы, покои для начальства, провиантский магазин, соляная управа, несколько домов зажиточных казаков; остальная же казачья масса жила в трехстах домишках возле вала – здесь был базар, каменная церковь, кой-какая торговля и соляные лавки.

Илецкие казаки права на рыбную ловлю не имели, занимались хлебопашеством, скотоводством, работали по добыванию соли на соляных развалах.

Местность возле городка и даже в самой крепости изрыта глубокими ямами: в некоторых из них копошились киргизы, калмыки и казаки, ломали каменную соль, огромные куски ее сваливали на тачки и отвозили к штабелям. Илецкая высокого качества соль славилась издревле, ею снабжалось почти все Приволжье.

Овчинников остановился со свитой на базаре. Длиннолицый, горбоносый, с русой, кудрявой, как овечья шерсть, бородкой, он сказал толпе набежавших казаков:

– Я послан от самого государя Петра Федорыча...

Но его тут же перебили возбужденные голоса:

– А как же наш атаман Портнов третьеводнись на казацком кругу оглашал бумагу коменданта Симонова, а в оной бумаге сказано, што все врачки: мол, что Петр Федорыч давно умерши, а бунт, мол, бунтит беглый донской казак Емелька Пугачев, защищайте, мол, от него, злодея, крепость... Народ шумел. Овчинников крикнул с коня:

– Братья казаки! Не слушайте никого, меня слушайте. К вам идет истинный государь, он в семи верстах отсюда. И вы, атаманы-молодцы, дурость свою бросьте, а встречайте его величество с хлебом да солью. А ежели перечить будете да воспротивитесь – смотрите, атаманы-молодцы, государь грозен, непокорных он вешать станет, а городок ваш выжжет и вырубит. Собирайте круг, решайте!

В набат звонить было запрещено. Нашелся барабан. В сопровождении оживленной кучи мальчишек барабанщик быстро прошагал по городку.

Услышав бой барабана, илецкий атаман Лазарь Портнов взобрался на земляной вал и стал наблюдать, что творится на площади.

Меж тем Андрей Овчинников и с ним шесть казаков из его свиты двинулись к дому зажиточного казака Александра Творогова, знакомого Овчинникову.

Узнав от Овчинникова, что сейчас на кругу решается участь городка и что завтра должен прибыть сюда сам государь, Творогов обрадовался и выразил желание дать приют высокому гостю у себя.

– Уж я всмятку расшибусь, а батюшке утрафлю...

Был вечер. На огонек пришел безбородый, как скопец, Максим Горшков. Он несколько дней скрывался от преследований Симонова и Мартемьяна Бородина. Он один из той пятерки^[87], которая еще так недавно, запершись ночью в бане Тимохи Мясникова, целовала крест на верность Пугачеву и торжественно клялась хранить известную им пятерым тайну, что Пугачев не царь, а самозванец. Тайну эту пятерка хранила крепко.

Узнав о том, что «государь» намерен завтра вступить в Илецкий городок, Максим Горшков простодушно обнял Овчинникова, потом Творогова и грубым голосом, с оттенком сильного волнения, воскликнул:

– Ну и праздничек у нас будет! Свет увидим!..

И уже к ночи прибыла к Овчинникову депутация от круга.

Большинство порешило принять государя с честью.

Атаман Лазарь Портнов, еще вчера приказавший вырубить звено в мосту чрез Яик, чтоб воспрепятствовать переправе Пугачева, только что узнал от своих наушников о постановлении круга и, потеряв мужество, решил этой же ночью бежать.

Но предусмотрительный Овчинников распорядился поставить возле его дома караул.

На следующий день к полудню войско Пугачева через восстановленный за ночь мост переправилось на илецкую сторону.

Возле открытых крепостных ворот большой толпой стояли одетые по-праздничному казаки со знаменами и пиками, женщины, ребята. Впереди толпы два священника в парчовых пасхальных ризах, лохматый дьякон, дьячки и клир с хоругвиями, запрестольными крестами, иконами в серебряных окладах. Вся эта цветистая картина с белой приземистой церковкой, поросшим блеклою травой и бурьяном крепостным валом, выглядывающими из-за него красными крышами построек, полусгнившим, в лишаях, бревенчатым тыном поверх вала и кудрявыми садами возле хат – вся эта необычная картина, мягко освещенная утренним сентябрьским солнцем, поражала и настраивала на особый лад Пугачева. Он впервые въезжал в укрепленный городок как признанный государь.

В свежем воздухе весело звенькали, трезвонили, бухали колокола, клир дружно и уверенно пел церковную стихирю, лохматый дьякон, не переставая, махал курящимся кадиллом в сторону приближающегося государя, в тысячу ртов кричал приветствия народ, взмахивая шапками, цветистыми шалями, вскинув к небу сверкающий частокол остроконечных пик.

И как только подъехал государь, знамена и пики преклонились, а народ, от беспорточного мальчишки до престарелого попа, стал на колени.

Пугачев со свитой подъехал ближе, осадил коня, приосанился, обвел толпу неспешным строгим взглядом и громко поздоровался:

– Здорово, господа илецкие казаки!.. Встаньте, детушки!

Народ дружно поднялся на ноги и, кто во что горазд, до хрипоты кричал:

– Будь здоров, надежа-государь!

Государь соскочил с коня, передал поводья дежурному Давилину, четкой поступью подошел к иконе и, перекрестясь, приложился к ней. Оба священника и дьякон успели благоговейно облобызать руку императорской особы. Пугачев принял сей знак раболепия как должное, однако левый его ус пошевелился от плохо скрытой ухмылки. Затем он, сделав так же четко полуоборот, принял на оловянном блюде хлеб да соль от Максима Горшкова с Твороговым.

Окруженный народом и свитой, под сенью церковных хоругвей, он затем торжественно прошествовал через крепостные ворота к церкви. По правую и левую руку от него в пылавшей на солнце парче и с воздетыми крестами шли два священника, молодой и старый, а перед царем, пятась задом, беспрерывно кадил ему лохматый, тоже в золотой парче, соборный дьякон. Дымя ароматным ладаном, он то и дело кланялся великому гостю поясным поклоном.

Колокольный трезвон вдруг смолк, заговорил государь:

– Вы не верьте, детушки, что вам супротивники мои накажут. Я доподлинный государь есть. Служите мне верой и правдой. А я, великий государь, уже отведу от вас, горемык, утеснения и бедность.

– От утеснения и бедностей избавить обещает! – подхватили в толпе, с улички на уличку. Весть эта от кучки к кучке пробежала по всему городку.

– Когда Бог сподобит Питенбурх покорить да престол оттягать, я у великих бояр и деревни, и села отниму, посажу их на жалованье, пусть служат. А тем, что с престола меня сбросили, тем без пощады головы порублю. Сын мой, Павел Петрович, человек молодой, так он, поди, и не знает меня, отвык от отца-то... Коим-то веком одно дитяtko нажито. Дай Бог мне снова свидеться с ним... – На глазах государя навернулись слезы.

Так, шествуя к церкви, беседовал Пугачев с окружавшим его народом, а сам нет-нет да и покосится на идущего рядом с ним старого попа. И вдруг сурово сказал ему:

– Чего пялишься на меня, поп? Не признал, что ли? – и сдвинул брови.

По спине старого попа ледяной холодок прополз, поп обомлел, откачнулся от Пугачева, прошамкал:

– Признаю, признаю, батюшка ваше величество... Как не признать!

– А коли признаешь, поминай только мое, государево, имя в церкви, а имя государыни похерь. И чтоб напредки такожде было. Как донесут меня ноги до Питера, я Катерину в монастырь заточу, пускай там грехи отмаливает. А ты, поп, верный народ мой приведи к присяге.

После молебна духовенство первое присягнуло государю, затем присяга учинена была всему илецкому войску.

Когда государь вышел из церкви, загремели ружья, затрезвонили колокола. Он приказал отворить двери кабака, пусть ради государева праздника побалуется народ винишком безденежно.

Но вот лицо его омрачилось, будто вспомнил он нечто досадное.

– А где же здешний атаман... как его... где Лазарь Портнов? Пошто он рапорт не чинил и не присягал мне, государю своему? Уж полно, не утек ли хитрец?

– Дозвольте, ваше величество, – шагнул вперед Андрей Овчинников, держа руки по швам. – Оного злодея атамана я своевластно заарестовать приказал. Уж не прогневайтесь...

И люди стали жаловаться государю, что атаман Портнов шибко обижал их и многих вконец разорил. Максим Горшков с Твороговым подтвердили голоса эти.

– Коли такой он обидчик, а мне супротивник, прикажи, Овчинников, чтоб ныне же злодея предать

смерти, – сказал Пугачев.

2

Весь второй этаж богатого дома Ивана Творогова отведен для государя.

За накрытым в красном углу, под иконами, большим столом восседает на подушке Пугачев. Он уже успел побывать в жаркой бане, разомлел, красное лицо его в мелкой испарине, он утирается свежим рушником и пьет холодный настой на малине с медом.

– Доложь мне, пожалуй, Иван Александрыч, как илецкие-то казаки живут, ладно ли? – спросил хозяина.

– Да не ахти как живут, батюшка...

– Ты садись, Александрыч.

Творогов сначала отказывается, затем с низким поклоном нерешительно садится против Пугачева. Он считает его истинным государем Петром Федоровичем, поэтому в обращении с высоким гостем радушен и чрезмерно подобоострастен. Пугачеву это по сердцу, он разговаривает с хозяином милостиво и доверчиво.

Свита государя, во главе с Андреем Овчинниковым, не смея без зову приблизиться к столу, смиренно стоит возле большой, украшенной изразцами печки, посматривает в сторону государя, ловит его взгляды, перешептывается. Государь доволен и поведением свиты. Пусть стоят, пока не прикажет им сесть. На то и государь он!

Стол накрыт на десять персон. Оловянные тарелки, железные вилки, стальные, в костяной оправе, ножи, деревянные ложки. Три серебряные чары, стаканы, кружки, глиняные и стеклянные жбаны, флаги, зеленые штофы дутого стекла. Большая солонка и высокие подсвечники, искусно высеченные из крепкой илецкой каменной соли. Пугачев любит всю эту утварь, прищелкивает языком, спрашивает, где сии диковинки выделывают.

– Да у нас же, наши казаки, надежа-государь, старики которые. Ведь в здешних местах соль ломают.

– Видел! – говорит Пугачев. – Весь грунт ископанный. Много соли-то?

– Без краю. Инженерной команды офицер наемднись приезжал, сказывал: наша соль первая на свете и хватит ее на тысячу лет. А продает ее казна по тридцать пять копеек с пудика.

– Дороговато, – сказал Пугачев, – уж я сбросить прикажу – чтоб по два гривенника...

– Ой, надежа-государь! Пока вы в баньке парились, наши казакишки всю соль-то из складов растащили безденежно, в грабки...

– Как это можно? – поднял Пугачев голову. – Давилин! Поди уйми народ... Моим именем...

Давилин сорвался было с места. Хозяин сказал:

– Да уж поздно, батюшка. Что с возу упало, считай – пропало!

– Ахти беда, ахти беда какая! – сокрушенно покачивал головой Пугачев. – Этакой убыток казне причинили, неразумные...

В это время три женщины – мать хозяина, его красивая жена Стеша и подросток-дочка – притащили снизу варено-жарево. Поставив блюда на стол, они кувырнулись втроем в ноги Пугачеву. Тот, заглянул в лучистые Стешины глаза, протянул женщинам руку для лобызания.

– Благослови, батюшка ваше величество, поснедать, – кланялся Пугачеву хозяин.

– Благодарствую, ништо, ништо! – сказал Пугачев и, обратясь к свите: – Ну, господа атаманы, залазьте,

коли так, за стол. Ты, Андрей Афанасьевич, садись по праву мою руку, – велел он Овчинникову. – Ты, Чика, – по леву, а хозяин супротив государя пускай сидит – так во всех императорских саблях полагается. А достальные гости – кто где садись.

Помолясь на икону, все чинно уселись, женщины ушли, началась еда.

– Завтра, атаманы молодцы, мы государственной важности дела станем вершить, смотренье крепости учиним, в складах наведем ревизию. А сей день – отдых, – сказал Пугачев, принимая из рук хозяина серебряную чару.

Ели много, смачно чавкая и облизывая пальцы, пили еще больше. Женщины то и дело подносили новые блюда с бараниной, рыбой, курятиной.

Стеша всякий раз, крадучись, поглядывала на красивого, статного батюшку-царя.

Пугачев слегка охмелел, стал на язык развязен.

– Империя моя богата, – говорил он, обгладывая куриную ножку. – В Сибири соболь да золото, на Урал-горах железо да медь – там пушки льют. А у вас вот соль. Вот сколь богата, господа казаки, держава моя великая! С заграницей не сравнить нашу Россишку, далеко не родня. Там только одна видимость. Бывал я в Пруссии у Фридриха, бывал в гостях и у турецкого султана, и у папы римского прожил в прикрытии сколько-то годов – всего насмотрелся.

И он, не отставая в аппетите и проворстве от прочих едоков, принялся рассказывать о славном городе Берлине, о Кенигсберге, о том, какие в Кенигсберге богатые ярмарки живут и какие на эти ярмарки съезжаются морем и сушей люди со всего света. Тут тебе и поляки, и французы с англичанами, эфиопы и гишпанцы. Еще говорил он о том, как ездил на охоту с Фридрихом Прусским, как они устукали матерущего медведя в пятьдесят пудов, как из райских птиц жареное кушали: ну, такой превкусной пищи сроду не доводилось есть, да навряд ли когда и доведется.

Казаки, уничтожая снедь и пития, слушали государя со вниманием.

Невоздержанный полковник Дмитрий Лысов перехватил хмельного. Сначала икота напала на него, затем сон стал одолевать – он упер плешивую с козлиной бородкой головку в столешницу и громко захрапел. Пугачев, прервав рассказ и насупив брови, уставился на него. Еще с первой их встречи на степном умете^[88] не лежала у Пугачева душа к нему.

– Поднять полковника! – приказал Пугачев. – Пускай прямо сидит пред государем. А не может – уведите его.

Лысова выволокли вон и уложили в сенцах.

Трапеза тянулась допоздна. Все были пьяны, кроме Пугачева и хозяина. Все вышли, пошатываясь.

Слышно было, как по улицам, с песней, с балалайкой, с бубнами, гуляли илецкие казаки.

Дом казненного атамана Портнова был расхищен дочиста. Казаки принесли Творогову триста серебряных рублевиков, жалованный ковш, два бешмета, кафтан, канаватную лисью шубу и кушак.

– Примай шурум-бурум для государя!

Государь почивал после обильного обеда. Во сне стонал, скорготал зубами и вдруг вскочил: ему пригрезилось, будто генерал Петр Иванович Панин, крикнув: «Взять Бендеры!», – пребольно опоясал его нагайкой. Свесив ноги, Пугачев сидел на пуховиках за пологом, весь от пота мокрый, хлопал в темноте глазами, не мог сообразить, где он? Неужто в Турции? Но ни Бендер, ни Панина! Мертвая тишина.

– Эй! – крикнул он. Тьма молчала. – Эй! Где я?

– Здесь, ваше величество! – Из соседней комнаты вышел со свечой хозяин. – Проснулись? Уж очинно мало почивать изволили – часу не прошло...

– Да неужто? – изумился и вместе с тем обрадовался Пугачев. – А я, брат, взопрел, Иван Александрыч. Дюже мягко у тебя тут да и гораздо угревно под пологом-то. Спасибо тебе. Да ты, часом, не грамотен ли? – спросил Пугачев, причесывая гребнем взлохмаченную голову.

– Мало-мало грамотен, ваше величество, – и серые, с хитринкой и лукавством глаза Творогова выжидательно воззрились на государя.

– Добро, добро, Иван Александрыч! Грамотеи мне шибко нужны. Послужи, брат, мне. Награждение примешь.

Пугачев встал и прошелся по горнице, устланной узорными дорожками. Тут Творогов подал государю присланные казаками вещи. Пугачев принялся рассматривать их.

– Это называется военная добыча, трохеви, – оживленно говорил он, примеривая шубу. Он деньги рассовал по карманам – карманы огрузили, шубу повесил на колок и сказал: – А знаешь, Иван Александрыч, можно ли сюда поболее девок нагнать приглядистых, чтоб песни поиграли, потешили бы сердце мое царское.

– Ой, батюшка ваше величество! Да разом, разом все сполню! Плясунов не надо ли, казачишек?

– Ни-ни!.. – погрозил батюшка пальцем. – Только мы с тобой – ты да я. Ну я-то плясать не стану, мне не подобает с простым людом. Ну а ты-то попляши, ты молодой. Кой тебе год-то?

– Тридцать два минуло, батюшка.

– Добро, добро! Ты вот что, ты никого не пускай, и Давилина не пускай... А караул возле твоего дома держат?

– Держат, батюшка... И две пушки выкачены. – Хозяин быстро вышел, сказав: – Сейчас холодненького вам пришлю.

Пугачев распахнул окно. Прохладный воздух ворвался в горенку, и пламя свечей заколыхалось. В небе уже стояли звезды, с площади доносились шумные крики, песни. Вот мимо окон поспешно прошагал хозяин, за ним пробежала его дочь-подросток. А к Пугачеву вошла красивая, полногрудая Стеша, поставила на круглый столик баклагу с питьем, проговорила нараспев:

– Пожалуйте, батюшка, прохладиться!

– Благодарствую, – ответил Пугачев, внезапно обнял Стешу и силой поцеловал ее в сочные губы, сказав: – Знай государя императора!

Та охнула, отстранилась, на мгновение закрыла лицо руками, затем руки упали, мускулы лица дрогнули, и не понять было Пугачеву – улыбается Стеша или плачет.

– Свет мой! – страстно выдохнула Стеша.

3

Огоньки, огоньки, много огоньков! И девок много! В большой горнице, где был обед, из угла в угол протянуты под потолком крест-накрест две бечевки, к ним привязаны три дюжины свечей, да четыре свечи горели на столе в высоких подсвечниках из соли. Свечи толстые, самодельные, горели ярко, не чадили.

Государь восседал на широком мягком стуле посреди дверного проема в спальню, как врезанная в раму картина. По обе стороны его горели на круглых столиках две свечи, нарочно зажженные Стешей, чтоб лучше был виден лик царя.

Стены оклеены розоватыми, в цветах, шпалерами, потолок выбелен, на низких окнах – кисея и гераньки. На стене у входной двери в порядке развешаны ружья, сабли, прочие военные доспехи. Вдоль стены – прикрытые коврами сундуки с добром.

Осматривая горницу при свете свечей и наткнувшись взором на окованные жестью сундуки, Пугачев вспомнил купеческий сундук, добытый им со дна Волги, вспомнил весь свой путь с Ванькой Семибратовым на Каму^[89] и вспомнил молодую красотку Катерину. «Вот бы посмотрела теперь на меня, на государя императора», – с невольной тревогой подумал он, дивясь своей судьбе, вознесшей его из безвестного бродяги в степень государя. Вспомнив о далекой Катерине, о соловьиной ночи на реке, он тотчас же перевел свой взор на Стешу, сидевшую в пяти шагах от него. Глаза их встретились. Стеша облизнула губы и потупилась. «Хороша хозяйка, приглядиста!» – вновь подумал он и, заслышав шаги вошедшего в горницу плечистого хозяина с медной сулеей в руке, отвел глаза от запылавшего лица смиренной Стеши.

– Вот, ваше величество, сладкий медок, год в земле зарытый был. Для ради вас выкопал. Выкушайте чарочку. Только дюже крепок он, много пить поостерегитесь, батюшка! – Хозяин, наклонившись, кричал эти слова в самое ухо государю, обычным же голосом говорить было бесполезно: тридцать девушек, сидевших вдоль стен на лавках и на сундуках, с такой силой и с таким самозабвенным азартом горланили песни, что звенело в ушах и вздрагивали стекла.

Пугачев жмурил довольные глаза то на голосистых девок, то на колыхавшиеся задорные огоньки свечей. Он выпил меду, крикнул, утер усы, сказал:

– Ну и добер мед твой, Иван Александрыч! Слышь-ка, мне подобает девкам деньги швырять, а у меня рубли. Не можешь ли разбить их на серебряную мелочь, пятаки да гривенники?

Творогов охотно на это согласился. Пугачев отсыпал ему в полу пригоршню рублевиков и выпил вторую чару меду. В голове у него загудело, по рукам, по ногам потекла пьяная истома. Взглянул на девок, те уже в пляс пошли. Песня, взвизги, топот – дом дрожит!

Девки не больно-то приглянулись Пугачеву: «мелкого роста», плотные, присадистые. «Не девки, а крупа», – разочарованно подумал он. Но вот в плавном хороводе показалась статная, высокая девица. Она то подбоченивалась и улыбочиво кивала головой подругам, картинно вправо-влево изгибалась, вскидывала руку, помахивала платочком, как бы подманивая к себе милого, и, поводя плечами, плыла мелкой переступью по раскидистому кругу.

Пугачеву показалась она столь гибкой, столь прекрасной, что его сердце вперебой пошло, а большие глаза вспыхнули, как у филина во тьме.

Все до единой девки глаз не спускали с Пугачева, а она хоть бы разок взглянула в его сторону. Пугачев мазнул по усам, по бороде ладонью, вздернул плечи, приосанился. А как он считал себя одетым для царской особы не особенно нарядно, то, когда подошел хозяин с целым блюдом серебряной мелочи, он сказал:

– Поддай-кось мне шубу сюды, Иван Александрыч, чегой-то мерзну я.

– Мигом, ваше величество!.. Только жарыща у нас, с чего бы это вы заколели-то?.. – Пугачев запахнул накинутую на плечи богатую, с огромным воротником, шубу и снова сел, величественный, важный, каким и подобает быть царю.

Все до единой девки, топоча ногами, глаз не сводят с государя, а вот та гордячка только платочком машет и опять никакого внимания ни к государю, ни к его лисьей, крытой алым канаватом, шубе. Ах ты, бесенок!..

– Кто такая? – спросил Пугачев стоявшего сзади него хозяина.

– А это Устинья Кузнецова, ваше императорское величество, яицкого казака Петра Кузнецова дочь. Матери нету у нее, у бедной, сиротки. В наш городок к тетке погостить приехала.

– Не в замужестве?

– Нетути... Ведь ей только шестнадцать годков сполнилось. Вы не глядите, что такая рослая... Девчонка и девчонка!

Пугачев прищурил правый глаз, засопел сквозь ноздри, сказал:

– Слушай, Иван Александрыч, я сейчас стану деньги швырять... Что, в полу-то дыр да щелей у тебя нету, не закатятся?

– Пол плотный, батюшка, потешьтесь, пошвыряйте...

Пугачев ужал в обе горсти мелочь, размахнулся и швырнул в пляшущих девок.

– Лови, красавицы, на орехи да на пряники!

Девки с криком «Спасибо, батюшка, спасибо, надежа-государь!» бросились подбирать повсюду раскатившиеся деньги. А вот Устинья Кузнецова и не подумала ловить царскую подачку, она отерлась белым платком, оправила волосы и села под окна, к государю боком, точно бы и в помине его нет. Ну, право же бесенок, а не девка!

Государь схватил еще горсть денег, вскинул руку и, словно картечью из пушки, стрельнул прямехонько в Устинью Кузнецову. Но охмелевшая рука промахнулась, серебряная картечь пролетела мимо, ударила в стену, зазвенела, взбренькала и рассыпалась, как град.

– Устинья! – нетерпеливо крикнул Пугачев. – Подь сюда, девонька!

Она тотчас встала, быстро, четко подошла к государю, низехонько отвесила ему поклон.

Лицо у нее продолговатое, нежное, румяное, аккуратно очерченные губы плотно поджаты, льняного цвета, вьющиеся на висках волосы заплетены в тугую косу. «Ой, красива!» – про себя молвил Пугачев, невольно отводя взор от задорно-бесстрашных темных глаз ее.

– Вались, вались батюшке в ноги да целуй ручку государеву, – делая растопыренной ладонью жест книзу, командовал хозяин.

– Не надобно, отставить! – крикнул Пугачев. Рывком сбросив шубу с правого плеча, он вытащил из кармана горсть серебряных рублей, сказал девушке: – Подставляй подол, красавица. Прими дар от государя. – Та приподняла концами пальцев красный, в белых кружевах, фартук. Пугачев всыпал туда деньги: – А когда станешь замуж выходить, весточку пришли мне, эстафет. Государь желает на свадьбе на твоей пир вести. Ну ступай, красавица, с Богом, да поиграй мне песенок. Мастерица ты!

Устинья сызнова низко поклонилась государю и, поводя наливными плечами, прочь пошла.

Пугачев потянулся к третьей чарке. Хозяин только головой крутнул: годовалый мед после третьей валит всякого.

– Опасаюсь, ваше величество, как бы не сборол вас мед-то, – сказал он.

– В препорцию, – ответил государь и, перекрестясь, выпил.

А девки снова завели песни и плясы. Устинья звонко зачинала:

Чтобы рученьки играли,
Чтобы ноженьки плясали...

Девки подхватывали:

Ай-люли, ай-люли,
Скачет заяц в криули!..

Поднялся бурный пляс. Хозяин сбросил кафтан и, ударяя ладонями по голенищам, тоже кинулся плясать. Пред охмелевшими глазами Пугачева все крутилось, метлесило, дом качался, стены прыгали, вихрь по горнице ходил, огоньки свечей мотались ошалело – вот-вот сорвутся и, как жар-птицы, в поднебесье улетят.

– Ай-люли, ай-люли! – гремели песни, и пол с треском грохотал, гудел.

– Ай-люли, ай-люли, – выпив четвертую, затем и пятую чару, стал подпевать, стал прихлопывать в ладоши Пугачев.

Чтобы щечки розовели,
Девьи губоньки алели...

– Ай-люли, ай-люли! – гремели голоса, и горбоносый хозяин подскакивал с присвистом под самый потолок.

– Ай-люли, ай-люли, – с улыбкой подпевал счастливый Пугачев.

Все плыло, крутилось, кувыркалось, а он подпевал да подпевал. Затем откинулся к спинке стула, блаженно улыбнулся, сказал:

– В пле... в плепорцию... Ась? – смежил глаза и захрапел.

4

Солнце едва показалось, а Пугачев был уже на ногах. Пошел в баню, чтоб веничком похвостаться да вчерашний хмель выбить. Ну и мед! Затем он завтракал. Хозяин предлагал опохмелиться, Пугачев наотрез отказался:

– И тебе на деле не советую.

Давилину он отдал приказ, чтоб тот распорядился седлать коня.

– Да немедля передать атаману Овчинникову, чтоб все войско было в крепости в строевом порядке, а илецких казаков выстроить особо – три сотни, в походной амуниции.

В крепость он прибыл в сопровождении Ивана Творогова и всей свиты. Опять в честь государя стали палить пушки, но он тотчас запретил – нечего по-пустому порох тратить.

Подъехав к илецким казакам, стоявшим в конном строю, он поздоровался с ними и громко возгласил:

– Господа илецкие казаки! Поздравляю вас с полковником, каковым быть имеет, по моему высочайшему повелению, известный вам казак Иван Александрыч Творогов. Ему покоряйтесь, отселе он главный начальник ваш.

Казаки закричали благодарность и согласие, а произведенный в полковники Творогов скатился с рослого коня и пал государю в ноги. Затем казаки, сотня за сотней, не спеша проехали перед государем.

Государь слез с коня и произвел подробный осмотр крепости: объяснения давали новый полковник Творогов и бывший сержант, ныне хорунжий, Дмитрий Николаев. Были тщательно осмотрены пятнадцать пушек, годными признаны десять, из них четыре медных. У трех не было лафетов, лежали на поломанных телегах. Государь приказал, чтоб к завтраку же были сделаны лафеты.

– Чумаков! – обратился он к яицкому казаку Федору Чумакову. – Мне вестно, что ты знатец в батарейном деле. Так быть же у меня начальником всей моей артиллерии. Ты вместе с Николаевым забери из складов порох, свинец, снаряды и представь мне оных список.

– Слушаюсь, надежа-государь, – сказал, низко кланяясь, кривоногий сорокапятiletний Федор Федотыч Чумаков. У него круглое костистое лицо, нос толстый, с защипочкой, бурая борода лопатой.

От здания к зданию, от батареи к батарее, обычной своей походкой шел Пугачев столь быстро, что свита едва поспевала за ним вприпрыжку.

«Ну и легок батюшка на ногу!» – думал всякий.

Обошли крепостной вал.

Все повернулись взором к церкви. Возле нее, на суку древней осокори, висел, руки вниз, разутый и полураздетый атаман Лазарь Портнов.

К Пугачеву вперевалку подошел упитанный, румяный человек с густой, опрятно расчесанной бородой, снял обеими руками шапку и, чинно поклонившись, сказал:

– Позволь, надежа-государь, слово молвить. Аз раб Божий православной древлеапостольской веры, храмы наши убираю малеванием, а такожде и лики старозаветных икон подновляю. Вот намерднись довелось мне писать лик старца Филарета, всечестного игумена...

При упоминании о Филарете, игумене раскольничьего скита, что на реке Иргизе, глаза Пугачева

расширились. Еще так недавно, под обликом бродяги, Емельян Иваныч прожил у него в укрытии три дня. Тогда в мятущуюся душу запали многие слова умного старца. Игумен говорил, что Петр Федорыч, может быть, жив, а может, и умер, как знать? Только народ ждет его с упоением. И еще: «Народ похощет, любого своим сотворит, лишь бы отважный да немалого ума человек сыскался», – произнес тогда старец поразившие Пугачева слова.

И вот сейчас перед ним бородатый Богомаз... Уж не обмолвился ли ненароком игумен Филарет, не сказал ли чего лишнего этому человеку? И Пугачеву стало неприятно. Он взглянул на румяного, голубоглазого бородача с немалым подозрением. Но открытое, добродушное лицо живописца успокоило его. Человек в черном длиннополом казакине, на кожаной ляжке через плечо висит перепачканный мазками красок деревянный ящичек, кисти рук живописца белые, с длинными пальцами.

– Говори, что тебе надобно и как звать тебя?

– Зовут меня Иван, сын Прохоров. А как вы были, батюшка, скорым заступником веры нашей древлей, обрелось во мне усердие писать лик ваш царский, – заискивающе улыбнулся живописец.

– Изрядно, изрядно! – Пугачев покрутил усы, поднял плечи.

– Для ради сего в укромное место куда-нибудь нужно, надежа-государь...

Сержант Николаев, смущенно хлопая глазами, сказал не без робости:

– Наидостойным местом я почел бы канцелярию, ваше величество, там и холст сыщется. Да и находитесь вы своей особой против нее.

– Добро, добро, Николаев! Нехай так, – сказал Пугачев и пошел в канцелярию. Все последовали за ним.

Сержант Николаев тронул живописца за плечо и показал глазами на висевший в дубовой раме поясной портрет Екатерины: валяй, мол, на нем. Живописец подморгал, улыбнулся, кивнул головой в сторону Пугачева: а вдруг, мол, батюшка на это прогневается. Николаев шепнул: «А ты спроси».

– Ваше царское величество, – масляным голосом обратился бородач-живописец к Пугачеву. Он без тени сомнения принимал его за истинного императора. – Хоша у меня припасена для ради письма лика вашего подгрунтованная холстина, да, вишь ты, беда – подрамника нету.

– Да как же быть-то, Иван Прохоров?

– Да вот как быть... Дозвольте, батюшка, посадить вас на всемилостивую матушку, – и живописец указал рукою на портрет.

Пугачев пристойно рассмеялся (подражая ему, все вокруг заулыбались), крутнул головой, сказал:

– Ну и штукарь!.. Чего ж ты, бороду, что ли, намалюешь Катерине-то да усы?

– Пошто! Я напредки грунтом ее перекрою, а как грунт поджухнет, вас на оном писать зачну.

В канцелярии было довольно светло. Пугачев обернулся к портрету и прищурился. На него вполоборота глядела величавая дама с большими глазами, с поджатыми, слегка улыбающимися губами, с оголенными круглыми плечами, к правому плечу голубая лента, на груди осыпанная драгоценными камнями звезда.

– Гордячка!.. Заговорщица!.. – Он сдвинул брови, лик его стал грозным. Живописец, неотрывно наблюдавший за Пугачевым, переступил с ноги на ногу, оробел. – Вот ужо соберу силу да трягну Москвой, тогда и тебе, красавица, туго будет... Станешь локоток кусать, да не вдруг-то укусишь. Ладно, сажай на Катьку! – приказал он бородачу.

Портрет сорвали со стены. Пыль, дохлые мухи, паутина, живой паук...

Живописец попросил государя, чтоб все ушли, не мешали бы. Пугачев оставил дежурного Давилина. Живописец раскрыл ящик с кистями и красками в стеклянных пузырьках, заткнутых деревянными пробками. Терпко запахло скипидаром и олифой. Покрыв портрет серым грунтом, бородач сказал:

– Ой, беда, многотрудно писать лик-то ваш, батюшка, зело много скорби в очах-то ваших светлых. А вторым делом, эвот, эвот какие складки меж бровей-то к челу идут, как у Николы Чудотворца – гневлив на неправду Христов угодник был, – говоря так, речистый живописец перетащил с Давилиным на середину канцелярии дубовую скамью. Давилин свернул втрое свой чекмень и положил под сиденье государя.

Тот сел, расчесал гребнем усы, бороду, приосанился, поправил высокую мерлушковую шапку. Давилин взломал кинжалом запертый кленовый шкаф, добыл голубоватые листы добротной бумаги. Иван Прохоров, близоруко прищуриваясь и оскаливая зубы, внимательно рассматривал лицо Пугачева и штрих за штрихом накладывал на бумагу очиненным липовым углем. Это был набросок, проба.

– Слышь, Прохоров? – сказал Пугачев. – А долго ль мне, как статуя, сидеть доведется?

– Да не столь долго, надежа-государь, прижухнет грунт скоренько, у меня средства особые подмешаны... – откликнулся живописец и, чтоб развлечь батюшку, стал рассказывать: – За веру стражду, ваше величество. Из богоспасаемого града Воронежа от гонителей веры нашей бежать повелось страха ради. И даде мне приют всечестной старец Филарет, под единою кровлей обретаемся с ним вкупе.

Пугачев вновь встревожился.

– Сколь давно ты у него проживаешь-то?

– Да с весны, батюшка, с нынешней весны, с месяца мая. Старец-то в Казань меня спосылывал, к Щелокову-купцу. Таперичь в обрат вертаюсь. В Яицкий городок заезжал, а там, ведаешь, рабов Божьих нашей веры довольно. Да беда! В руки Симонова коменданта едва не угодил...

– Ах, наглец, изменник! – сказал Пугачев, отмахнувшись от мухи. – Не уйдет он от моей царской руки. Его да еще Крылова капитана со всем отродьем в петлю вздерну... Супротивление оказывали мне.

– Ну, вот таперичь, ваше величество, замрите, – прервал царя живописец, взял загрунтованный портрет Екатерины и, помолясь на восток двуперстием, приступил к делу. – Не ворочайтесь, батюшка, сидите смирно. Да не можно ли в пресветлые очи-то улыбочку пустить, а то горазд хмурый выйдете, батюшка...

– Благодарствую, пуцу, – сказал Пугачев. Но как ни старался, не мог придать глазам веселость.

– Ах, ах! – сокрушался живописец. – Хошь морщинки-то по челу меж глаз как ни то разгладьте...

Портрет писался в напряженном молчании.

Были выписаны глаза да основные черты лица, все же остальное едва намечено.

– Сие распишу и без вашего усердного сидения, батюшка. Зело притомились, поди?

Пугачев действительно заскучал. Но сознание, что его пишут как царя, давало ему силы переносить скованность неволи...

– Ну вот, присмотритесь, ваше величество...

Пугачев подошел к портрету.

– Неужто я таков? Горазд грозен да немилостив...

– Сущий вы, батюшка, – что видело око мое, то и на холст положило, – потупясь, ответил живописец. –

Взор царственный, вселяющий в души смертных немалый трепет, неправду людскую, аки огонь, сжигающий.

– Давилин, схож ли я?

– Капелька в капельку, ваше величество! Ежели бороду снять, на великого Петра Алексеича смахивать станете...

– На дедушку моего? Не врешь, так правда! – сказал Пугачев и вышел. Портрет ему не понравился. Он ожидал увидеть себя в славе и сиянии, с державой и скипетром в руках. И пожалел затраченное время.

...Через две недели портрет был в келье игумена Филарета. Кланяясь в ноги старцу, живописец восторженно говорил:

– Лик государя объявленного, Петра Федорыча, списал, великого заступника веры нашей...

– Покажь, покажь.

Живописец развязал портрет, упакованный в синюю набойчатую скатерть, и, как некую святыню, подал игумену. Тот долго всматривался в черты изображенного лица. Наконец воскликнул:

– Ай-ай-ай! Хотя и не больно схож, а он... Камо гряди от лица твоего? Аще взыду на гору, ты тамо еси; аще спущуся во ад, ты тамо еси... Вскую шаташася, – старец произносил слова эти каким-то загадочным голосом, а в его глубоких темных глазах поблескивали огоньки.

Живописец смущенно нашептывал старцу:

– В народе толкуют, атамана Портнова в Илецком городке вздернул царь-батюшка, Симонова собирается казни предать. Ну и грозен, грозен Петр Федорыч, радетель наш. А власти не признают его, за беглого казака Омельку Пугачева принимают, окаянные!

Филарет, как вошли в келью, сказал:

– Надлежит сему государеву портрету подписану быть. Мы умрем, а он останется на посмотренье людям.

Зная, что Иван Прохоров не горазд в грамоте, Филарет достал из-за божницы пузырек с чернилами, очинил гусиное перо и приготовился писать. Перед тем, не доверяя очам своим, он заглянул в пожелтевшую тетрадь с записями о событиях и встречах и на давней странице сыскал строки: «Сего числа имел беседу с забеглым казаком по имени Емельян Пугачев; нашей веры человек, но дик и странен, донос же попадаем в сиром звании своем гладом духа и проворством помышления».

Живописец, кланяясь в пояс, молвил:

– Ты, отче Филарет, пиши тако: сей-де лик пресветлого императора и государя Петра Федорыча Третьего, великого ревнителя веры нашей древлей, писан-де той же веры Иваном, сыном Прохоровым... в тысяча семьсот...

– Да уж не учи, знаю! – перебил его старец и оправил очки. Скорбно, про себя, в бороду улыбаясь, он на обратной стороне портрета вывел следующую надпись:

5

Государя со свитой угощал обедом Иван Творогов. Перед началом трапезы, кланяясь, он сказал:

– Бью челом, хлебом да солью да третьей любовью, – и всем налил водки.

А государю поднесла чару на медном с эмалью персидском блюде сама Стеша. Красивая, рослая, румяная, с лукавым в глазах блеском, она была в лучшем наряде и походила на боярышню.

Но Пугачев, приняв чарку, хотя и положил на блюдо пять рублевиков, взглянул на Стешу равнодушно.

Обиженная Стеша горестно вздохнула, потупилась. А вот как ей хотелось, чтобы государь чокнулся с ней и при всех поцеловал ее. Неужли эта птичка остроносая, Устька Кузнецова, батюшку приворожила?

Все выпили в честь новой полковницы-хозяйки и полковника-хозяина, а когда Творогов взял бутылку, чтобы снова налить водки, Пугачев махнул рукой:

– Убрать! Негоже теперь.

Казачи переглянулись, бороды их печально повисли. За обедом был совет, куда на завтра путь держать. Решили двинуться к крепости Рассыпной.

– Оная крепостца махонькая, ваше величество, – сказал Творогов, покручивая кудрявую бородку. – Она по ту сторону Яика, по пути к Оренбургу. В полугоре стоит. Супротив нее киргиз-кайсаки вброд Яик переходят, народу пакости чинят.

– А кто там комендант и много ли воинской силы? – спросил Пугачев.

– Комендантом там майор Веловский. При нем полсотни оренбургских казаков да рота старых солдатишек.

– Не больно страшно, – сказал Пугачев. – Почитайлин, напиши-ка им мой манифест. А где сержант Николаев? Пущай и он вместилах с тобой работает, он поболее тебя учился-то.

Казачи опять переглянулись. Им не нравилось, что государь приближает к себе какое-то дворянское отродье.

Сержант Николаев без зова обедать с государем не посмел. Приближенные косятся на него, как на чужака, особенно Митька Лысов, а с ним заодно Давилин. К тому же душевное состояние сержанта было самое подавленное. Он сидел на земляном полу, жевал хлеб с маслом, глаза его застилались слезами.

С трепетом осматривал он последнюю судьбу свою. Предвидение своего трагического конца повергало его в трепет.

– Что я наделал, что наделал... Уж лучше бы быть мне повешенным, нежели изменником... – шептал сержант, но, взглянув на висевший труп казненного Портнова, судорожно передернул плечами. – Ну как мне быть? – уж в который раз безответно вопрошал он самого себя. – Бежать? За мной следят. Да и как явлюсь с обрезанной косой к полковнику Симонову. К тому же предатель-возница наверняка всем разболтал, как я кувыркался в ноги Пугачеву. А ежели остаться служить верой и правдой? Но кому служить? И чего эта толпа изменников хочет? Всех их ждет веревка с перекладиной... А вместе с ними и меня!

Он, двадцатипятилетний молодец, стиснул дрожавшие губы, голубые выпуклые глаза его засверкали; пристукнув кулаком в землю, сержант неожиданно для самого себя выкрикнул:

– Служить!

Все в нем замерло, все подчинилось этому внезапному, но крепкому решению. Да, он будет служить

новому хозяину, как верный пес. И никаких помышлений об измене!

– Служить! – еще решительней выкрикнул сержант.

Он снова стал взвешивать все обстоятельства, вдумываться в нелегкие, сложные условия предстоящей жизни. Ну что ж... Пугачев даровал ему жизнь, приблизил его к себе, и в тяжелый час он, Николаев, всегда найдет у этого человека защиту.

А вдруг Пугачев воистину есть государь Петр Третий, как о том твердит разбойник Чика и тот старый дурак, Почиталин?

Царь! Пострадавший, убитый, воскресший, ищущий для народа правды! Диво мне, что он царский облик потерял, – вон сколько в рабском виде жил, простым смердом...

Сержанту показалось, что земля вздрогнула под ним и заколыхалось небо: он закрыл руками лицо, как от сильного света, и повалился навзничь.

– Николаев! Эвот ты где валяешься... Беги скорей, государь кличет...

Он поднял голову. Пред ним стояли два вершних казака. Он вскочил и побежал.

– Дашенька, милая Дашенька! – спотыкаясь, бормотал он на бегу. – Ты думаешь, что я погиб? Нет, я жив еще... Но – погибаю!

...Дашенька в эти минуты лежала в своей горенке, на деревянной, под кисейным пологом, кровати, ее голова завязана мокрым полотенцем, глаза покрасневшие, заплаканные.

Из Оренбурга возвратился сегодня в Яицкий городок старый казак Пустобаев. После доклада коменданту он зашел в горенку Дашеньки и поведал ей горькую весть о том, что сержант Митрий Павлыч Николаев до Оренбурга не доехал, сгинул без вести. Но никто, как Бог! Придет время, суженый возьмет да и объявится. И убиваться столь прекрасной девоньке нечего: в отчаянье, сказывают, грех один, а мы все под милостию Божьей ходим.

Ни приемной матери, ни приемному отцу своему Дашенька не обмолвилась ни словом. Рассудительная и своевольная, она решила пережить беду одна. Ну, может быть, при случае посоветуется с тайной подруженькой, Устей Кузнецовой, девушкой умной, с твердым характером, Дашеньке преданной.

«Эх, Митя, Митя! Неужли же угодил ты в руки разбойника, неужли же злодей голову срубил тебе, а тело бросил на растерзание волков степных?» – мысленно причитает Даша, и белая подушка ее мокра от слез.

...И откуда знать было осиротевшей Дашеньке, что Митя ее жив, невредим? Вот он сидит в избе с кудрявым молодцом Иваном Почиталиным, и вельнем государя оба сочиняют манифест. Они пишут наспех, государь не терпит промедления и, наверное, укажет им внести какие ни на есть в манифест поправки.

Сержант Николаев пишет бумагу со всей искренностью, двоедушничать – не в его нраве, ему хочется, чтоб этот бородатый человек остался его трудом доволен и чтоб крепость Рассыпная без пролития крови подчинилась ему.

Окончив, оба молодца направились к государю. Но было уже поздно: стоявшие у крыльца на карауле казаки повернули их обратно:

– Не приказано пущать. Его величество почивают.

Когда Пугачев ушел на покой в отведенную ему спальню, новая полковница, Стеша, уснула своего мужа на тот конец улицы, к дьяконице, за дрожжами – завтра, мол, гостей на дорогу пирогами придется

угостить.

И только новый полковник за ворота, Стеша опрометью вверх по лестнице: надо же царю-батюшке оправить изголовье.

Комендант Рассыпной крепости, майор Веловский, «возмутительного» пугачевского листа не принял. И как стали приближаться пугачевцы, он открыл по ним огонь из ружей. Но защитников крепости было весьма мало. Веловский объявил, чтобы все, кто хочет спастись, бежали в комендантский дом. Офицеры и несколько солдат заперлись в крепком деревянном доме и стали метко отстреливаться из окон. Среди войска Пугачева были убитые и раненые.

– Зажигай! – кричали озлобленные пугачевцы и с пучками горячей соломы стали прокрадываться к осажденному дому.

Пугачев послал Давилина с приказом, чтоб дом не поджигали, а супротивников взяли живьем.

– А то, вишь, ветер: крепость огнем возьмется, все жительство безвинных людей сгорит. Не можно это, детушки.

Вскоре казаки, осыпаемые пулями, вломились в комендантский дом и всех защитников доставили к Пугачеву. Он отдал такой приказ: майора Веловского с женой и офицера повесить, сдавшихся солдат поверстать в казаки, обрезать им косы, привести к присяге.

Забрав три пушки, порох и снаряды, войско на следующий день выступило к Нижне-Озерной крепости.

Пугачев чувствовал себя уверенно. Войско его дерется храбро, берет форпосты и крепости, уничтожает походя вражеские отряды. Еще осталось взять три крепости, а там – знай катись вольной дорогой к самому Оренбургу.

Глава VI

Нижне-Озерная и Татищева. Дух крепостного гарнизона. Ссора

1

Губернатор Рейнсдорп получил новое известие: прискакавший из Илецка гонец доложил, что городок занят мятежниками и население встретило самозванца хлебом-солью.

Беспечный, бестолковый губернатор, вместо того чтоб это известие проверить, разослал по городу приглашения на новый бал по случаю коронации императрицы.

Среди бала пришел рапорт коменданта Татищевой крепости, полковника Елагина, о занятии Пугачевым Илецкого городка и казни атамана Портнова. Казалось бы, известие ошеломляющее. Но, чтоб не омрачить торжества, губернатор скрыл от гостей грозившую всем опасность. Он был совершенно уверен в силе Оренбургской крепости, в отваге защитников ее и в собственной непогрешимости в делах военных. Пугачевцев же он считал просто-напросто шайкой разбойников, пополнявшейся изменниками-казачишками. Намерения этой обнаглевшей шайки – погулять, попить, пограбить. Впрочем, у генерала Рейнсдорпа разговор с «воровским сбродом» будет не долгов, без особого труда он сотрет с лица земли всю «нечисть»!

Итак, прежде всего – спокойствие, спокойствие... Бал продолжается!

На другой день после бала явился с письмом посланец Нур-Али-хана. Этот владетельный азиат вел хитрую игру: он хотел оставаться верным царствующей императрице и в то же время вести дружбу с новоявленным царем. Рейнсдорпу он писал:

Далее он предлагал губернатору, ежели в том будет нужда, собрать своих пять тысяч киргизов, идти по следам самозванца и пленить его.

Рейнсдорп на словах передал посланцу, что в помощи хана не нуждается, так как для «сокрушения злодея» достаточно и русских войск.

В тот же день, получив, в дополнение ко всем другим известиям, тревожный рапорт полковника Симонова, губернатор сделал распоряжение бригадиру барону Билову выступить с воинским отрядом при шести полевых пушках навстречу самозванцу. Билову предписывалось идти к Илецкому городку, злодейскую толпу разбить, мятежников переловить.

К вечеру 25 сентября 1773 года отряд барона Билова прибыл в Татищеву крепость, что в шестидесяти шести верстах от Оренбурга. А часа два спустя подъехал туда на бричке и сам Билев.

Комендант крепости, старик Елагин, с нескрываемой радостью встретил его возле крепостных ворот:

– Ну вот, батюшка Иван Карлыч, и вы пожаловали, спасибо! А утресь ко мне дочь заявила, Лидочка. Она, ежели изволите помнить, с нонешней весны в замужестве за Харловым, комендантом Нижне-Озерной. Ну, вот он и отправил ее в родительский дом: в Татищевой, мол, укрытие-то покрепче... Ох, Господи, вот до чего дожили, Иван Карлыч!.. Слыхано ли, видано ли, чтоб казаки, нарушив святую присягу, к разбойнику передались! Ну да ничего! Мы им покажем, где раки зимуют... В бараний рог

согнем... И без промедления! Как полагаете?

– По сведениям, у злодея до трех тысяч казаков и всякий сброд, – тяжело шагая рядом с Елагиным и посапывая, отозвался тучный, коротконогий барон Билов.

– Откуда там три тысячи?! А хотя бы и так. У нас ведь тринадцать пушек.

– У него, по имеющимся данным, тоже пушки есть. Но... будем уповать, что пресечем!..

– Он, батюшка Иван Карлыч, этот супостат Емелька, в Илецкой защите атамана Портнова повесить приказал... Таковы слухи в народе.

– Фсдор, фсдор! – вращая водянистыми глазами, выкрикнул Билов и потянул из кармана трубку с кисетом.

– Нет, не вздор, – неожиданно рассердясь на легкомыслие немца, сказал полковник Елагин. – Да что вы, Иван Карлыч, все как-то в натыр идете?..

Они шли по узкой крепостной улочке, обстроенной приземистыми, крытыми соломой глинобитными казармами, кирпичными красными складами фуража, амуниции, топлива, зарывшимися в землю и обложенными дерном пороховыми погребями. Между постройками – небольшие огороды с грядами мака, подсолнухов. Много скворешен на шестах. У колодца с журавлем – два длинных корыта, жидкая вокруг грязца и деревянные надолбы, огрызенные лошадьми. Человек пятнадцать молодых казаков, особому подсвистывая – фиу, фиу, – поят коней с оживлением, что-то рассказывают, громко хохочут. Завидя командиров, смолкают и, перемигнувшись друг с другом, без особой охоты и радения, кой-как вытягиваются перед проходящим начальством. Рожи у казаков себе на уме, в прищуренных глазах их отблеск тайных мыслей. Рассеянный Билов этого всего не замечал, но благоразумный и пытливый полковник еще и до этого дня видел в поведении своих людей нечто странное, пугающее, и это сильно угнетало его.

Да взять хотя бы этих пожилых, плохо бритых солдат с обветренными, морщинистыми лицами. Вот они сидят вдоль казарм, на завалинках. Двое, поглядывая на багряно-мутный диск заходящего солнца и сугорбясь, тянут грубыми голосами, как слепцы, заунывную стихирю; другие, вооружившись большими иголками, сощурившись, латают порты и рубахи. Иные, поставив в ноги шайки с водой, при помощи шомпола и палки неторопливо промывают стволы ружей и пищалей, а иные сидят вовсе без дела, балакают, как старухи у паперти, позевывают, закрепивая беззубые рты. Словом, держат себя солдаты так, будто кругом тишь да гладь.

Проходя, Елагин нарочито строго смотрит в их сторону. Солдаты неохотно встают, и уже нет того, чтобы – каблук в каблук, грудь вперед, руки по швам. Один даже не подумал подняться. Поелозив задом на завалинке, он спрятался за спину стоявшего перед ним и притаился.

– Кувалдин! – в полный голос окликнул старого солдата полковник. – Встать, сукин сын... Ко мне!..

Шаркая по земле ногами, старик кой-как подбежал.

– Почему не встаешь, когда перед глазами начальство! – Старик мялся, молчал. – Тебя или не тебя спрашиваю?

– Слеп я стал, ваше высокоблагородие, не дозрил вас.

– Какой же ты, к чертовой матери, воин, как же ты во врага стрелять будешь? Раз слеп стал, в могилу, значит, пора...

– Пора, пора, это так, – тряхнул головой Кувалдин и вызывающе, с оттенком угрозы добавил: – Вот ужо многие в нее, в могилушку-то, улягутся. А будя Божья воля, тожно и мне не сдобровать.

– Пшел прочь, дура! – крикнул на старика Елагин.

А вот и комендантский, крепко выстроенный одноэтажный каменный дом. Высокое крыльцо с перилами, палисадник, рябина, полосатая будка, часовой с ружьем, полосатый столб, на столбе вестовой, в полпуда, колокол.

– Покорно прошу, многотимый Иван Карлыч, запросто поужинать у меня да и переночевать.

Встретила их печальная Лидия. Ей двадцать третий год, она невысока, с тонкой талией. Серые под густыми бровями глаза на миловидном загорелом лице выразительны и грустны.

Барон Билов тупо взглянул на нее, расшаркался и поцеловал ей руку.

В клетке под потолком высвистывала канарейка, ей откликались из соседней горницы сразу два щегла. Денщик принял от Билова дорожный архалук и трость.

2

Всем елагинским хозяйством заправляла комендантша. Толстенькая, кругленькая, со здоровым румянцем на щеках, она по своим довольно обширным полям и пашням разъезжала верхом на калмыцкой лошадке.

Время позднее, осеннее, а у нее еще овсы не скошены, вконец пересохли, зерно течет. Виной же тому ее супруг – полковник Елагин. Как ни ссорилась с ним, как ни корила его: «Службист неразумный, в генералы, что ли, тянешься?» – он все же на своем поставил и вместо полтораста солдат, нужных для второго сенокоса и прочих полевых работ, отпустил за последний месяц всего сорок человек, да и те – калека на калеке. «Ты, мать, в мои дела не суйся. Орда по степи грабежами промышляет, киргиз-кайсаки, не могу же я крепость обнажить». Вот чем прикрывается, непутевый!

Но сегодня у нее на работе, слава Богу, все сто сорок человек.

– Давай, давай, старички!.. Давай, давай, солдатики! – покрикивая, скачет она на своем коньке по жнивью, подобно воеводе.

Она в длинных мужских сапогах, в короткой юбке, из-под которой выглядывают полосатые шаровары. На голове – солдатская войлочная шляпа.

Старые солдаты вяжут снопы, с трудом разгибают затекшие спины, потягиваются, брюзжат:

– Приморились, матушка. С утренней зари бьемся, а уж скоро солнцу закатиться. Домой пора.

– Ладно, ладно... Выспитесь еще...

– Да ведь через силу-то и конь не потянет. Не молоденькие!

– А ты, капрал, знай подгоняй их, чего слюни-то распустил? А то у меня живо за решетку угодишь! Ну, ну, дружней, – и комендантша скачет к двум молодым казакам, сгребавшим сено в копны.

Старики, не слушая окриков капрала, бросают работу, сходятся в кружок, садятся на снопы, закуривают носогрейки.

Глядя на эту странную группу утомленных людей, трудно было признать в них стойких воинов, геройством которых немало восхищался в свое время прусский король Фридрих. Согбенные, с погасшими глазами на морщинистых медно-бурых лицах, с пучками кое-как заправленных волос на затылке, они напоминали собой скорее сельских пономарей, чем боевых солдат.

– Вот, братцы, какова наша служба царская... – ворчат старики, разминая сухими кулаками затекшие поясницы. – Не ее величеству служим, а комендантше...

– У нас ли одних так?! У всех ахвицеров этакая же повадка – гонять солдат на работы на свои... Планида наша такая, – откликается соседям сухонький, низкорослый старичонка и широко раскрывает в позевоте беззубый рот: зубы съело время, повыбило начальство.

Действительно, не только у полковника Елагина, но и по всему Яику, вместе с Яицким городком, вместе с крепостями и столицей края – Оренбургом, атаманы, старшины, офицеры и даже сам генерал Рейнсдорп, обзаведясь большими хуторами, в той или иной мере занимались сельским хозяйством и в качестве рабочей силы употребляли солдат, казаков, беглых, изловленных киргизов, калмыков. Иные же, как атаман Мартемьян Бородин, за гроши скупали рабов из бедноты малых народностей и закабалили их себе, как вечных данников.

3

Крепость Нижне-Озерная, куда подступал Пугачев, стояла на крутом утесистом берегу Яика и была обнесена бревенчатым частоколом, на стенах и возле ворот – несколько пушек. Крепостной гарнизон – это горсть престарелых солдат, не более того – драгун да полсотни переселившихся сюда оренбургских казаков.

Комендант крепости, майор Харлов, отправив свою жену в Татищеву, к отцу ее, коменданту Елагину, ждал от тестя подкрепление.

Елагин с дочерью Лидией чуть не на коленях умоляли барона Билова скорее идти с войском выручать Харлова и крепость. Но Билов отказался: пусть Харлов спасает себя, как знает. Впрочем, он вышел с отрядом в поле, прошел верст пятнадцать и вернулся: не хватило отважного духу!

Таким образом, Нижне-Озерная крепость обречена была на самозащиту. Харлов все еще ждал какой-то, откуда ни на есть, помощи, как чуда. Но вместо помощи все оренбургские казаки, как только стало смеркаться, вскочили на коней и умчались в сторону войск Пугачева.

Харлов пришел в отчаянье, однако решил защищаться до конца. С помощью денщика он перевез свои пожитки в дом своего кума Киселева, расставил возле пушек крепостной гарнизон с четырьмя офицерами и, приметив уныние старых солдат, сказал им:

– Смерти ли боитесь? Не бойтесь смерти, бойтесь измены государыне.

Солдаты вздыхали, смотрели в землю, что-то бормотали невнятное, иные осеняли себя крестом. Чтоб подбодрить их, майор Харлов поднес им водки и сам выпил. Когда стемнело, с раската, где стояли пушки, ясно было видно, как в верстах двух от крепости засветились костры пугачевцев.

– А ну, зажигай фитили! – скомандовал по линии Харлов.

Старые бомбардиры с неохотой разобрали по рукам длинные палки с намотанной на концы паклей, стали мочать паклю в лагунки с дегтем, высекать огонь и раздувать трут.

Харлов сам навел на костры жерла пушек и подал команду:

– Поджигай запалы!

Со скалы, где крепость, дыхнув длинным огнем, ударило в степь несколько пушечных выстрелов.

– Ваше благородие, да нешто ядро достанет врага? Только зря снаряды сничтожаем, – раздраженно сказал криворотый бомбардир. – Эхма-а, – вздохнул он и, казалось, хотел добавить: «Сдаваться бы надо, ваше благородие, вот что!»

– А мы без ядер палить будем, для острастки! – как бы оправдываясь, проговорил Харлов и закричал: – Подтаскивай, ребята, картузы с порохом! Дуй вхолостую! И врагу острастка, и нам веселей. А как подойдут разбойники, мы их позаправде пугнем...

От костра, где стояли в козлах ружья со штыками, раздались сердитые выкрики:

– Разбойники, нет ли, а только одно осталось нам: сдаваться!

– Нам супротив его силы не выдюжить...

– Казакишки не зря спокинули крепость-то.

– Людство малое у нас, а в петле помирать кому охота!

Харлов дрогнул, но не подал виду, что слышал эти возмущившие его голоса. Он опять скомандовал:

– Запалы! А ну, веселей!

Пушки вновь ахнули в темную глухую степь огнем и дымом. Мрачный Харлов отошел в край раската и, запрокинув голову, потянул из фляги хмель. «Да, на таких надежды нет... Видно, отвоевался ты на этом свете, Харлов! Прощай, Лидочка, голубка моя, прощай», – шепчет он и с тоскою вглядывается в сторону Татищевой, куда скрылась любимая жена, с которой ему довелось прожить всего пять месяцев.

Снова ревнули в темную ночь, одна за другой, четыре пушки. Комендант допил водку и велел денщику дополнить флягу до краев. В голове у него зашумело. Он приблизился к группе солдат и, напрягая волю, крикливо произнес:

– Чего приуныли, ребята? Давай-ка песню!

– Не до песен, ваше благородие, – надо бы помолиться да к смерти подготовиться... вот чего! – В мутных глазах старика стояли слезы.

«Кончено, все кончено», – решил про себя Харлов и отошел прочь.

Небо на востоке стало розоветь, на западе – сереть, занималось утро. Вскоре лагерь Пугачева пришел в движение.

Захмелевший от выпитой водки и от бессонной ночи, Харлов стоял с молодым офицером Мишиным на раскате. Он махнул барабанщику рукой. Как-то ненужно, сиротливо, зазвучал барабан: тра-та, тра-та-та... Дремавшие солдаты встрепенулись.

– К пушкам! – скомандовал Харлов.

– К пушкам! – скомандовали офицеры.

Солдаты с подавленною бранью вскарабкались на вал.

По бурому полю на крепость надвигалась конная толпа. Впереди, на статном коне, – сам Пугачев, за ним – свита, знамена, лес поднятых пик.

Крепость молчала. Сдается, что ли? Но вот внезапно пушки зевнули, засвистела картечь, заскакали ядра.

– Ах, изменники! – сдвинув густые брови, ахнул Пугачев и подстегнул коня.

Отряд пошел к крепости рысью.

– Ваше царское величество, – подскакал к Пугачеву встревоженный Яков Почиталин. – Поопаситесь, батюшка... Отъехали бы вы к сторонке. Вишь, ядра...

– Старый ты человек, а говоришь чистую дурь, – спокойно ответил Пугачев. – Разве пушки на царей льют?!

– ...Запалы! Запалы! – не сводя с надвигавшегося врага глаз, командовал Харлов.

Пушки гремели, не переставая. И вдруг, словно сговорившись, смолкли. Пугачевцы приближались. С их стороны уже слышались ружейные залпы.

– Давай! Чего ж вы!.. – заорал Харлов и оглянулся. У пушек и за валом почти никого не было. Лишь прячась за частоколом, маячили тенями десятка полтора стариков, да на валу суетились четыре офицера, пытаясь надсадистыми криками: «Назад, черти! Назад!» – вернуть разбегающихся кто куда солдат.

Харлов теперь сам, в одиночку, перебегал от пушки к пушке и зажигал запалы, сам себе командовал: «Пли! Пли!..»

Но уже с треском рушились ворота, пугачевская конница вскочила в крепость. Харлов выхватил саблю.

– Ура! Ура!.. – закричал он дико, пронзительно и бросился с вала навстречу коннице.

Ударом пики ему выбили глаз, на щеку брызнула кровь, глазное яблоко моталось на толстом нерве, как маятник. Исступленный Харлов продолжал помахать саблей направо-налево. В него вонзилось сразу несколько пик.

Изрублены, исколоты были все офицеры и почти все солдаты. А те, кому удалось бежать, снова вернулись и, пав на колени, вопили дико:

– Признаем государя, отца своего!..

Казачьи-оренбургцы, что вчера ускакали из крепости в стан Пугачева, рассыпались – одни по домам, другие – по складам, третьи бросились в дом харловского кума Киселева.

– Эй, показывай, где харловское добро?

Им указали. Они принялись вытаскивать пожитки на улицу. Два казака – трезвый и успевший здесь, в крепости, вдрызг напиться – вцепились в большой расписной сундук. Дочь Киселева кинулась им в ноги, заплакала:

– Ой, родные, государи мои!.. Я ж невеста... Это ж мой сундук, с приданым!

Казак, который потрезвее, отступился от сундука, сказал пьяному:

– Пойдем. Грех забирать Анютку!

Но пьяный ударил девку сапогом в лицо, она облилась кровью, завывала. Вбежали еще пятеро.

– Подхватывай! – крикнул им пьяный.

Сундук выволокли. Девка мчалась по улице.

– Где надежда-государь? Где?! – кричала она, не помня себя.

Пугачев стоял на раскате, осматривал с Чумаковым пушки. Девка повалилась в ноги царю и, целуя сапоги его, запричитала.

– Встань, милая, – приказал Пугачев и, подхватив девушку под мышки, поднял ее, как перышко. – Кто смел обидеть тебя?!

Пораженная неожиданной милостью, запинаясь и хныча, она рассказала о своем горе. Пальцы рук Пугачева сжались, разжались. Через ноздри задышав, он крикнул Давилину:

– Немедля найтись!

И вот молодой пьяный казак, с глазами тупыми и наглыми, сдернув шапку, остановился перед царем. А кругом – сбежавшийся народ: казаки, солдаты, жители.

– Он? – спросил государь. – Этот?

– Этот самый, – ответила девка. – Кузька-похабник, он здесь-ка в казаках служит... Эх ты, бесстыжай!..

– Детушки! – крикнул Пугачев, подымаясь на лафет пушки. – С пьянства да с грабительства немислимо нам дело свое зачинать! Обижать беззащитных женок, да сирот, да стариков недужных по нраву ли вам? Вот девушку избил паскудник... Да что она, княгиня, что ли, какая, альбо барыня?! А вторым разом – он, безумный, пьян нажрался. Наше же дело военное, наше дело государственное... А посему... да исполнится царское повеление мое... Давилин! Оного Кузьку вздернуть на крепостных воротах, пусть все зрят, чего достоин!

– Помилуй, помилуй... – вопил пьяный казак, упав перед Пугачевым на колени.

– Вора миловать – доброго губить, – крикнул Пугачев.

4

Татищева крепость переживала крайнюю тревогу: было получено известие о разгроме Нижне-Озерной и гибели майора Харлова.

Лидия Федоровна упала в обморок, комендантша бросилась на колени перед образом, дородный комендант Елагин, застонав и побагровев, рухнул в кресло. Но вслед он пришел в себя... Не время отдаваться отчаянию, надо действовать. На горах, в каких-нибудь трех верстах от крепости, показалась толпища пугачевцев.

Он жадно выпивает кружку холодного квасу и спешит в канцелярию. Там бригадир барон Билов.

– Ну что ж, – овладевая собой, говорит Елагин и вопросительно смотрит в глаза неподвижно сидящего за столом тучного, с блеклыми глазами, бригадира. – У нас с вами, Иван Карлыч, около тысячи человек воинской силы, да пятнадцать пушек, да крепостные стены, хоть и деревянные, а прочности доброй. Авось устоим? Как вы чаете?

– Устоять должны, – выдавил сквозь зубы барон и, округлив толстые губы, пыхнул табачным дымом.

– Я бы просил вас немедля выслать в поле изрядный секурс, чтоб дать врагу сражение.

– И не подумаю, – более твердо сказал Билов, выхватив изо рта трубку и взмахнув ею.

Елагин поднял брови.

– Это почему, позвольте вас спросить? По какой причине вы изволили молвить «не подумаю»?

– Как, как почему?.. – И Билов, пристукивая в пол длинной трубкой, раздельно сказал: – Перво, я старше вас чином и не находил бы столь нужным давать вам ответа. Два – я только-только вернулся из похода, быв на позиции восемнадцать верст от вашей крепость.

– Ради чего же порешили вы вернуться, не дав майору Харлову помощи?

– Ради того, что там, в Нижне-Озерной, пальба пушек... Весь мой штаб офицеров советовал вернуться, так как...

– Так как вы трус! – выпалил, снова весь побагровев, Елагин.

– Как вы смейт?! Я прикажу вас арестовать!.. – и, замахнувшись длинной, в два аршина, трубкой, барон кинулся на Елагина.

– Не приближайтесь, не приближайтесь! Зарублю! – и Елагин схватился за шашку.

В эту минуту в прихожей скрипнула дверь, послышалось покашливание, в канцелярию явились к утреннему своему часу писаря.

Первым опамятовался полковник Елагин. С волнением в голосе он сказал Билову:

– Господин бригадир! Бросим пререкания. В сей грозный час они не к лицу нам и не ко времени...

– Господин полковник, извиняйт меня... Нервы, нервы! Не сплю ночей.

– У меня тоже... тоже не сладко на сердце, – примиряюще проговорил Елагин. – В животе и смерти Бог волен, как говорится... Одначе мнится мне, что всех нас ждет неминуемая гибель.

– Может, вас ждет гибель, меня не ждет гибель, – пробубнил с досадою барон и, показав Елагину мясистую спину, направился вперевалку к выходу.

Елагин резко встряхнул звонком. Вбежал дежурный.

– Капитана Березкина!

Явился офицер Березкин – щуплый, облезлый, безбровый, с тупо вытаращенными глазами человек. Елагин приказал ему взять отряд из пехотинцев и казаков, пушку и выйти из крепости, чтобы разведать силы мятежников.

Вскоре заскрипели на всю степь давно не мазанные крепостные ворота, отряд вышел в поле. За действиями разведки полковник Елагин наблюдал с вышки, сооруженной на крепостном валу. Барон Биллов с сотником Падуровым стояли возле вышки.

Тимофей Иванович Падуров, статный тридцатипятилетний красавец с пышными темными усами и чубом, прибыл во главе казачьего отряда из Оренбурга вместе с Билловым. В день своего приезда, проходя мимо дома коменданта, он увидел стоящую на крыльце красивую молодую женщину. «Кто такая, неужели жена этого старого верблюда Елагина?» Он снял шапку, тряхнул чубом, со всей учтивостью поклонился ей и, не останавливаясь, прошел в канцелярию. Узнав, что это супруга майора Харлова, он стал изыскивать способы поближе познакомиться с ней. И вот сегодня утром новое ошеломляющее известие: она – вдова. «Черт побери, а не грех бы и приволокнуться за красоткой», – неожиданно подумалось ему. Но он тотчас же себя пресек: «Омерзительно и глупо. Ведь такое горе у нее стряслось, а я женат и сына имею взрослого... К черту!.. Однако, что с нею станется, когда будет взята крепость? Бедная женщина...»

Отряд офицера Березкина, казавшийся вблизи очень внушительным, отдаляясь от стен крепости, постепенно превращался в малую толпишку: степные пространства съедали его. Не успели люди пройти и версты, как с ближних гор лавой ринулись на них всадники.

– Погибли наши! – сказал Падуров, и глаза его заблестели.

Биллов облизнулся, зашлепал губами и не успел ответить Падурову, как уже все было кончено: офицер Березкин, поддетый на пику, рухнул с коня, пехота с казаками частью порублена, частью захвачена в плен, и лишь солдат Колесников с тремя товарищами, нашпоривая лошадей, успели умчаться пушкой в крепость.

– Ах, шорт их возьми, ловко бьются! – прищелкивая языком и сопя, сказал Биллов спустившемуся с вышки Елагину. Биллов успел хорошо выпить и сытно закусить.

Глава VII

Комендант Елагин. «Детушки! На штурм! На слом!» «Открой мне очи...»

1

Крепость пришла в смятение. Всех солдат, молодых и старых, выгнали из казарм, поставили под ружье вдоль крепостного вала, канониры с бомбардирами разместились на деревянных раскатах возле тринадцати медных и чугунных пушек. Тридцать стариков, сказавшись больными, залезли спасаться в казармах под нары, но свирепые капралы обнаружили их и погнали на фронт палками. В обывательских домах – немолчный плач женщин, перебранка: всех мужчин, способных носить оружие, приказано сгонять на защиту крепости. Всюду ропот, недовольство, слезы.

Слезы, уныние и в дому коменданта. Лидия Федоровна в траурном черном платье сидит в обнимку с матерью в спальне. Обе безмолвно плачут. Как ни доказывал им комендант Елагин, что крепость безопасна, у них неистребимое предчувствие страшных бедствий.

– Маменька, сестрица, не бойтесь, – вбежал шустрый семилетний Коля. За его поясом – деревянный кинжал, в руке – копьё, конец которого обтянут свинцовой китайской бумагой из-под чая. – Бригадир Билев приказал всем своим казакам выйти из крепости да рассыпаться по степи. Сотник Падуров уж повел казаков. Я тоже побегу, догоню да рассыплюсь... – и мальчик воинственно потряс копьём. – Маменька, дозвольте!

– Только тебя там не хватало, – сказала мать, моргая красными глазами. – Подай-ка нашатырь в бутылочке.

Подавая нашатырь, черноглазый Коля говорил взахлеб:

– Не плачьте, маменька. У нас еще тысяча... У нас одних казаков при Падурове шесть сотен. А Падуров... молодчина! Он мне чего-то подарил... Лидка, пойдем покажу.

– Это что еще за Лидка! – оборвала его мать.

– Он мне леденчик подарил... Видишь, Лидуха? И еще чегой-то. Пойдем, – и он подмигнул сестре.

Мальчик чувствовал себя взрослым и, подражая отцу, старался, как умел, подбодрить женщин, но его маленькое сердце все же тревожно билось и страдало.

В соседней комнате слышались грузные шаги коменданта.

– Мать, выйди-ка сюда...

Крепкая, приземистая комендантша сорвалась с места и, звеня висевшими у нее за поясом ключами, проворно выкатилась за дверь.

– Лидка, на... – и мальчик, косясь на дверь, сунул сестре записку. – От него это...

Лидия развернула вчетверо сложенную четко написанную бумажку и прежде всего отыскала подпись: «Тимофей Падуров». Сердце ее болезненно сжалось, густые брови в изумлении приподнялись. «Несравненная, бесценная Лидия Федоровна. Я знаю, что вас постигло неутешное горе. Я ласкаю себя

мыслью помочь вам, но путей к тому не ведаю...»

Ее рука с недочитанным письмом упала на колени, кончики побледневших губ обвисли, веки задрожали, голова поникла.

– Чего, чего, чего он пишет-то? – подметив волнение сестры, зачастил смутившийся Коля.

Но вот в спальню мрачной тенью, шатаясь, вошла комендантша. Закрыв пригоршнями мокрое от слез лицо и шатаясь, она завывала:

– Кормилец-то наш, желанный-то наш, отец-то наш...

– Маменька! – обомлев, вскочила Лидия. – Маменька, что стряслось?

– Чистое белье надел... К смерти приготовился...

Женщины бросились друг дружке на шею, громко зарыдали.

– Да ну вас совсем, – часто замигав, жалобно сказал мальчик, острые плечи его быстро поднялись и опустились. – Бабы какие... Воют и воют целый день... – Он укоризненно покосился на женщин, но глаза его вдруг залились слезами. Он бросил копье, сорвавшимся цыплячьим голосом закричал: – Только и плачут, только и плачут!.. – и, кривя рот, всхлипывая, побежал к выходу.

– Стой, Николенька, – поймал его вошедший в спальню отец.

Полковник был в новом мундире, при всех орденах. Седые волосы всклокочены, мужественное лицо бледно, губы подергивались, меж бровями вертикальная врубилась складка.

– Ну вот... Только вы ничего не опасайтесь... Ну вот... страшного ничего. Крепость устоит да еще и побьет супостатов-то. А все ж таки... на всякий случай... По закону христианскому благословить хочу. Ну, Лидочка...

Дочь, вся сотрясаясь, опустилась на колени, обняла ноги отца, прижалась пылавшей щекой к его новым, начищенным ботфортам со шпорами.

Мальчик стоял тут же. Он старался осмыслить происходящее. Но слезы застилали свет. Он видел, как лицо сестры исказилось мукою, как у отца дрожат колени и подергивается правая щека. Мальчик шевельнул плечами и вытер отсыревший нос рукавом рубахи.

Трижды перекрестив и поцеловав дочь, старик Елагин обратился к жене.

– Прощай, старушка, – выдохнул он и громко зафыркал носом. – Да ты не страшись. Бог милосерд. Все обойдется, как нельзя лучше. Тридцать лет прожили с тобой. Прощай, старенькая... – В широкой груди его захрипело.

– Прощай, Федор Павлыч, прости меня.

– Прощай, касатка моя!

– Прощай, Федор Павлыч, батюшка! – Какими-то отрешенными глазами она с благоговением смотрела в его лицо, как на икону. Он обнял ее. У старухи дрожал подбородок, дрожали ноги, дрожала душа.

Полковник подозвал сына. Мальчик быстро справился с собой, перестал плакать и, вплотную придвинувшись к отцу, стал рассматривать изящные, с золотом и эмалью, кресты на груди отца.

– Ну вот, Николай... Ты мужчина. Не куксись.

– Я ничего... я... я...

– Учись, слушайся, уважай старших. Завсегда будь мужественным, храбрым. А как подрастешь, имей

попечение о сестре, о матери. – У старого полковника кривился рот, трепетало правое веко. – И... навсегда будь верен царю, отечеству... как и отец твой... Прощай.

Пять сотен оренбургских казаков приказанием Билова рассыпались по степи. Сбоку, то бросаясь вперед, то возвращаясь, гарцевал сотник Падуров. Этим маневром Билов рассчитывал задать мятежникам страх: пусть видят злодеи, сколь велика сила защитников.

Стал гулять ветерок, пыль понеслась, хвосты лошадей задирались в сторону крепости. На вал, к тому месту, где было начальство, взобрался козлиной тропинкой священник в епитрахили, с крестом и Евангелием. Он прочел краткую молитву, окропил пушки и воинов, осенил крестом Билова с Елагиным, офицеров и всех защитников. Коля таскал за ним кадило и медный кувшин со святой водой.

– Отец Симеон, осените святым крестом казаков в поле, – громко сказал Елагин. – Смотрите, на них набегают мятежники.

Действительно, подскакав к отряду Падурова сажен на тридцать, пугачевские всадники дали по казакам ружейный залп. Два казака упали, задетая пулей лошадь, взягивая задом, понеслась по степи и брякнулась на землю.

Отец Симеон высоко воздел руки с крестом и, троекратно осеняя поле брани, во всю мочь запел:

Взбранной воеводе – победительная!
Яко имущая державу непобедимую...
От всяких нас бед освободи, да зовем ти...

Наблюдавший в подзорную трубу Билов вдруг заорал не своим голосом:

– Ах он... так его! Измена!.. О Бог мой... Измена... Стреляйте в него, стреляйте!.. Пушка! Пушка!..

– Измена! – закричал и Елагин.

«Измена, братцы, измена...» – прошумело по всему гарнизону.

– Измена! – крикнул не то испуганно, не то восторженно и семилетний Коля, улепетывая домой с известием, которым он собирался удивить мать и сестру. – Измена, измена! Падуров злодеям передался. И все казаки. Измена! – без передыху кричал он, бросив медный кувшин и крутя кадилом, как пращой.

...Падуров выхватил белый платок, замахал нападающим: «Стой! Стой!» Затем он скомандовал казакам построиться по сотням, и всем гамузом с криком «ура», со склоненными пиками оренбуржцы двинулись в сторону пугачевцев.

– Ур-ра! Ур-ра!.. – охрипшими от радости глотками встречали новых друзей пугачевские конники.

Со свитой подъезжал Пугачев. Падуров соскочил с коня, обнажил голову.

– Рапортую, государь! – молодецки гаркнул он и, всматриваясь в чернобородое лицо Пугачева, мысленно ухмыльнулся: «Вот так Петр Федорыч... Хоть бы бороду обрил». – Рапортую: пять сотен оренбургских казаков бьют челом вашему величеству, просят принять их под высокую царскую руку.

– Благодарствую, – проговорил Пугачев, окидывая орлиным взглядом бравую фигуру Падурова. – Кто таков?

– Сотник Тимофей Иванов Падуров.

– Так будь же моим полковником! Господа оренбургские казаки, вот вам полковник ваш!

– Ур-ра! – заорали только что передавшиеся казаки, швыряя вверх шапки.

Тут с крепости грянули, одна за другой, одиннадцать пушек.

– Ого! – сказал Пугачев и, прищутив правый глаз, свирепо покосился на крепость.

2

С присоединением казаков Падурова силы Пугачева значительно окрепли. Емельян Иваныч решил на штурм крепости. Часть войска под начальством старика Андрея Витошнова он направил на Татищеву, с низовой стороны реки Яика, а сам двинулся сверху по течению.

Однако Билов и Елагин удачной пальбой из пушек и ружей успели отбить обе атаки.

– Стой, детушки, – сказал Пугачев, когда обе его части сошлись вместе. – Не гоже нам зря ума людей терять. А умыслил я тактику. Нужно ветер запрячь, чтобы помогал нам, детушки. Ишь, кожедер, завихаривает...

Падая с гор и все усиливаясь, ветер дул прямо на крепость.

– С нами Бог, – весело щуря то правый, то левый глаз, проговорил Пугачев и приказал поджечь наметанные возле крепостных стен большие стога сена.

Взнялось, закрутилось, пыхнуло в разных местах пламя. Ближняя к крепости степь сразу оделась в огромные шапки огня.

– Ги! Ги! Ги! – радуясь огню, как малые ребята, гикали, приплясывали татары, казаки, калмыки. – Нишаво, нишаво, бульно ладно...

Озорной ветрище, крутясь и воя, налетал на шапки, с шумом ощипывал с них косматые золотые перья. Шапки дрожали, качались, таяли, никли к земле. В густых клубах розоватого, черного, желтого дыма, отрываясь от шапок, летели на крепость жар-птицы. С вихрем ветра, дыма и пламени, распушив золотые крылья и хвост, жар-птицы садились на соломенные крыши сараев, амбаров, хибарок, стоявших впритык к крепостному тыну. И в одночасье деревянные стены крепости были охвачены огнем.

– Вот так бачка-осударь! – восторженно прищелкивали языками татары. – Бульно хитро... Якши, якши!..

В крепостной церкви забили сполох. На валу рассыпалась мерная дробь барабана. Гарнизонные солдаты, защитники крепости, тарасили на пожар глаза, в смятенье бормотали:

– Глянь, глянь, огонь за стены перелетывает. Пропали мы и все наше жительство!

Иссиня-желтое пламя коварно и ласково гладило, щупало темные бревна крепостных укреплений. А налетевший порывистый ветер мигом раздувал вялое пламя в прожорливую бурную силу. Стены до самого верха, до батарей запылали. Загорелись крепостные ворота.

– Горим, горим! – завопили впавшие в отчаянье солдаты. А те из семейных солдат и вольных людей, которые жили оседло в хибарках и лачугах, уже больше не слушая приказаний начальников, побежали спасать свое добро и семейства.

Но многие солдаты, кое-кто из бомбардиров, живших в казармах, остались на месте. Зарядив пистолеты, пищали и ружья, они делали вид, что готовы к отпору врага.

Елагин и особенно Билов пришли в крайнее замешательство, не зная, что предпринять. Билов дрожал, оплывшее лицо его стало иссиня-белым.

– Пали! Пали! – кричал охрипший Елагин.

Но палить было некуда: густым дымом заволокло все пространство, а снизу, цепляясь багровыми когтями, ползло по стене вверх пламя, и земля под ногами тлела. Воздух накаливался. Было нестерпимо жарко. Солдаты срывали с себя сермяжные куртки, кутали в них головы, пятились от огня.

Пушки что было силы гремели впустую сквозь дым и огонь. Внизу, под самой стеной у горевших ворот, полковник Елагин внезапно услышал зычный выкрик:

– Де-е-е-тушки!! На штурм!.. На слом!..

Это, привстав на стременах, подавал команду сам Пугачев, и в его голосе было столько силы и власти, что, помимо воли, сознание полковника пронизала мысль: уж не есть ли это в самом деле российский престолодержатель?!

Ломая деревянные рогатки, заслоны, надолбы, пугачевцы вслед за вождем своим прокладывали дорогу к воротам.

– На слом! На слом!.. – гремели освирепевшие голоса.

В крепостном поселке шум, гам. Бабы, солдатки, ребята, переругиваясь и гайкая, волокут из горящих жилищ всякий скарб, выгоняют со дворов скот, бегут с ведрами за водой. Дурным голосом мычат коровы, заполошно визжат свиньи, скачут, как угорелые, козлы. А набатный колокол все гулче, все отчаянней. Но вот загорелась церковь, и колокол смолк. Пожар разгулялся среди крепостных построек не на шутку.

– Господин полковник! – подскакивал к задыхавшемуся в дыму Елагину то один, то другой офицер. – На казармах воспламенились крыши, церковь горит, канцелярия горит... Вашему дому угрожает огонь. Что делать?

– Стрелять, вот что! Соблюдать присягу!..

На лысую голову, на жирный, в складках, загривок Билова старый солдат льет из ведра холодную воду. Билов отфыркивается, бормочет: «Боже мой, Боже мой, подобный крепость потерять... Я никогда не питал надежды на этот фронт Падуров, но... крепость!» И закричал истошно:

– Елагин! Где полковник Елагин?

А полковник в это время подбежал с горстью верных солдат к самому краю вала, выхватил пистолет и страшным, лающим голосом командовал:

– Залп! Залп!

Солдаты, три офицера и Елагин стреляли вниз, в дым, прицеливаясь по буйным крикам осаждающих.

– Забей пули! Сыпь на полку порох! Залп! Залп!.. – кашляя и плача от едкого дыма, командует Елагин.

Вот снизу, из клубов густого дыма, ударил ответно дружный залп, два солдата упали, остальные, оробев, скатились с вала.

По тесовой, поросшей лишайником крыше каменного дома Елагина бесстрашно сновала приземистая комендантша. В мужских бахилах, в короткой старой юбчонке, в овчинной кацавейке и порыжевшей солдатской шляпе, она со старым денщиком торопливо устилает верблюжьими кошмами обращенный к пожару скат крыши. В воздухе жарко, как в печке.

– Давай воды! Давай воды! – подбежав к торчащей над крышей пожарной лестнице, сколоченной из жердей, звонко кричит комендантша, обливаясь потом.

Кухарка, два солдата и чернобородый конюх таскают из колодца воду, ведро за ведром подают вверх. Комендантша все позабыла – что с мужем, что с сыном, что с дочерью; с внезапно явившейся силой она хватает ведра и, позвякивая связкой ключей у пояса, опрокидывает воду на крышу и снова швыряет ведра вниз: «Давай, давай!..»

...Кругом треск, грохот, пламя, дымище. Вдруг гулко ударила пушка, а следом – крики, стоны, страшная брань. Это полковник Елагин, подтащив с солдатами пушку вплотную к горящим воротам, поджег

запал, пушка взревела и ахнула картечью в толпу ринувшихся на штурм пугачевцев.

В Елагине нет страха, он больше не помнит себя. Туман или дым вокруг него, пожар или молнии, рев пушек или громовые раскаты – все спуталось в его сознании. Он был в состоянии мрачного бешенства.

– Пли! Пли! – иступленно хрипел он, вперяя обезумевшие глаза в то ужасное и неодолимое, что было смертью. Мстительно вскинув кулаки, полковник скрипел зубами и, ничего не поняв, не успев даже почувствовать боли, рухнул на землю. Пронзенное массивное тело его было тотчас же подмято мчавшейся с диким ревом конницей.

Началась резня. Всюду сверкают ножи, кинжалы, острия топоров. «Режь, бей, коли!» Страшные чернобородые, рыжебородые, усатые, бритые лица. Зубы стиснуты или злобно оскалены. В накаленных яростью глазах забвенья всего, чем перед тем жили, радовались и печаловались люди. Дым, огонь, лязг сабель, жалобное ржанье раненых коней, стоны падающих солдат... Штык порет сердце, выстрелы, выстрелы, визгливые выкрики, протяжные ругань, проклятия.

Солдаты побросали оружие – их сотни три, – вскинули руки, кричали: «Сдаемся, сдаемся!»

...Комендантша, забыв семью и себя, стреляла через окно чердака по бегущим врагам. Возле нее три ружья и две пары пистолетов. Выстрелы метки, вот двое свалились – казак и татарин, за ними еще и еще.

Скачет Падуров, что-то кричит. Комендантша, хищно прищурясь, взяла его на прицел... Она стреляла без промаха. Но тут кто-то схватил ее за волосы и поволок по узкой лестнице вниз: «А-а, ведьма чертячья!»

...И снова пронзительный, на всю крепость, голос Пугачева:

– Де-е-тушки! Воинство мое! Пожар туши! Кое водой заливай, кое землей забрасывай... спасай погреба с порохом. Государеву казну спасай! Рви огню голову!

Из конца в конец сотни глоток подхватывают:

– Заливай! Государь приказывает!..

Дружной работой огонь сбили быстро. Ветер затих, воздух стал неподвижен. Дым помаленьку рассеялся.

Больше трехсот плененных солдат гнали пугачевцы в свой лагерь, за полверсты от крепости. Пленным отрезали косы, привели к присяге, переименовали в «государевы казаки».

На крепостной площади, возле церкви, качались на виселице бригадир Билов и комендантша Елагина.

Вскоре из крепости прибыл в свой стан Пугачев. Ему представили толпу пленных офицеров, приказчиков соляных складов, казначея, мелких торгашей. Среди пленных была и Лидия Федоровна Харлова с семилетним Колей. Их нашли на чердаке у просвирни.

Сотник Падуров не имел возможности даже перемолвиться с Харловой. Бледный, взволнованный, он стоял позади государя, сидевшего на табурете под деревом.

Пугачев приказал всех офицеров и одного из приказчиков повесить. Иван Бурнов, набычась, подошел к обреченным и погнал их в сторонку. Никто из смертников о помиловании не просил.

Пугачев подал знак. К нему подвели Харлову и ошетинившегося, как зверенок, Колю, за поясом у него – деревянный кинжал.

Лидия Харлова в черном платье с приставшей к нему сенной трухой. Она остановилась в пяти шагах от Пугачева и, с омерзением взглянув на него, низко опустила голову. Левая щека ее запачкана сажей, платье местами разорвано, обнажилось круглое белое плечо.

– Ну, здравствуй, красавица, – сказал Пугачев, – кто ты, откуда и как попала сюда?

Падуров, встав лицом к Пугачеву, с волнением сказал:

– Дозвольте, ваше величество... Это дочь коменданта Елагина со своим братом, вдова коменданта Нижне-Озерной – Харлова. Прошу милости вашего величества отдать их под мое защищение.

Харлова взбросила голову, широко распахнула на Падурова глаза. Пугачев сидел, чуть нагнувшись, оперев локоть о колено, и покручивал бороду.

– Негоже, полковник Падуров... – косясь то на Падурова, то на Харлову, проговорил он. – Да ты воином прибыл ко мне, али... бабьим заступником?.. Давилин! Прикажи отвести эту с мальчишкой в мою палатку, – сказал он и, обратясь к остальным пяти пленным: – А вы будьте моим именем вольны, идите с Богом по домам. На вас вины не зрю.

Из крепости утром прибыл сержант Николаев.

– Ваше величество! Деньги в сумме двух тысяч трехсот семидесяти трех рублей пересчитаны и опечатаны. Как изволите распорядиться?

– Дайте-ка нам с Падуровым коней, – приказал Пугачев. – А ну, полковник, айда за мной в крепость казну принимать.

Подъехав к канцелярии, оба всадника соскочили с седел. Обиженный государем Падуров был хмур и зол. Пугачев похлопал его по плечу и, подмигнув, сказал:

– Не хнычь... Крепость-то наша... Лязь ли, нельзя ли, а пришли да взяли! Так-тося, полковник. – Он сказал это столь задушевым голосом и столь милостиво при этом улыбнулся, что впавший в уныние Падуров сразу повеселел.

При виде вошедшего царя все бывшие в комендантской канцелярии встали, бросили на пол дымившиеся козьи ножки, низко поклонились ему. Атаман Овчинников и полковник Творогов доложили государю, что казенные деньги пересчитаны, а на складах проверяется амуниция, фураж, харч, оружие.

– Чтоб всему списки были сготовлены, – сказал Пугачев. – Это, Почиталин, твое дело! С тебя взыск будет. Как перепишешь, мне подашь.

Ваня Почиталин поклонился, Пугачев велел при нем сызнова пересчитать деньги. «Денежка счет любит», – сказал он, а когда все было кончено, мешок с медью и сума с серебром и золотом опечатаны, он приказал всем удалиться, кроме Падурова.

– Запри дверь, – сказал ему Емельян Иваныч.

3

Канцелярия коменданта – большая горница с низким потолком. Обшарканные задами и спинами стены грязны. На некрашеном полу окурки, плевки, мусор, несмываемые брызги чернил. На стене прокопченная большая карта России, указ Военной коллегии, чертежи пушки и гаубицы. Возле писарского стола на гвозде нитки для сшивания дел, линейка, огромные ножницы. Портрет Екатерины снят с протенка, брошен в угол, на его месте стоят со связанными крест-накрест древками государевы знамена.

Пугачев с Падуровым перешли в кабинет коменданта. Здесь уютнее, чище. Пугачев сел в комендантское кресло за широкий стол. Он ножницами остриг кончик гусиного пера, стал чистить им под ногтями.

– Верить ли ты в меня, Падуров? Признаешь ли правое дело мое? – неожиданно и как бы между прочим спросил он казака.

– Я присягу вам чинил, ваше величество, – негромко ответил Падуров. – Если б в дело ваше не верил, супротив бы вас шел, а не с вами, как ныне.

– Благодарствую, – проговорил Пугачев глухо. – А коли верить, помоги, брат. Ты, вижу, человек здешний, бывалый, вот и в депутатах государственных хаживал...

– Сей знак свидетельствует о моем депутатском звании, коего я не лишен и поныне, – и Падуров показал Пугачеву висевший на груди золотой жетон Большой комиссии.

– Добро, добро! – Пугачев, наморщив нос, с любопытством рассматривал значок, даже поколупал его ногтем. – А я в таких книжных людях, как ты, нужду имею шибкую, полковник. Служи!

– Усердно благодарю, ваше величество, – откликнулся Падуров. – Готов служить.

– Ну а чего да чего ты в депутатах делал-то? – спросил Пугачев, расстегивая ворот и отдуваясь.

Падуров, не торопясь, начал рассказывать о том, как в 1767 году повелением Екатерины созвана была в Москве Большая комиссия для выработки Нового уложения, то есть основных законов. В Москву съехалось тогда пятьсот шестьдесят четыре депутата. Вот в их-то числе и был депутатом от Оренбургского войска сотник Падуров. Заседания Большой комиссии продолжались целых шестнадцать месяцев. За это время Падуров познакомился со многими депутатами, почасту беседовал с ходоками-крестьянами из разных мест России. Пребывание в Москве, по словам Падурова, пошло ему на большую пользу: увеличились его знания о бесправном положении крепостных крестьян и заводских работных людей, о роли вельмож в стране, а также крупного и мелкопоместного дворянства, о торговом сословии.

– Одним словом, ваше величество, чрез депутатство свое я совсем иным человеком стал. Будто бы с горы высокой посмотрел на жизнь отечества своего... Раньше-то ко всему равнодушен был и никакого любопытства к жизни не имел, жил и жил, как дикий козел в степу. Опосля того задумываться начал – что, да почему, да нельзя ли, мол, каким-либо способом рабскую жизнь нашу хотя бы на малую толику облегчить.

– Во! – вскинул Пугачев указательный палец. – Дело балакаешь, полковник, дело!

– А сняли бельма с моих глаз два офицера-депутата – век не забуду их – Козельский да Коробьин. Светлые головы, дай им Бог! Они за мужика, ваше величество, стояли, да ведь как! Без трусости, без малодушия. Опречь того, много вольных речей и от прочих депутатов наслушался я...

– Ишь ты, ишь ты, – поддакивал Пугачев, то прищуривая, то открывая правый глаз.

– Матушка Екатерина уж и сама не рада стала, что народ с России собрала да допустила говорить по-людски. А испугавшись, повелела работы Большой комиссии закрыть якобы по причине начавшейся войны с Турцией, – вздохнул Падуров.

– Коварница... Ах, коварница... Да ведь я знаю ее ухватки-то лисьи, знаю, как она хвостом-то долгим следы горазда заметать.

– Правда ваша, государь. И промеж депутатов оное мнение о матушке втайне разглашалось. И ничего путного из ее затеи не вышло: поводила-поводила депутатов за нос да и по домам отправила. Но все же, я чаю, мозги-то у многих через пребывание в Москве проветрились. А сие, государь, России на большую пользу.

Пугачев молчал, присматривался к темноусому статному Падурову, как бы взвешивая: хитрит казак или и впрямь душу открыл настееж. «Нет, кажись, нашего поля ягода», – подумал Пугачев и молвил:

– Я окраину эту оренбургскую не больно явственно знаю, не бывывал здесь. И выходит шибко пакостно: замест того, чтобы армию свою вести, плетусь туда, куда ведут меня. А гоже ли это, подумай-ка, полковник?

– Сие дело поправимое, ваше величество. Дозвольте... – Он заглянул в один шкаф, в другой шкаф, порылся на полках, вытащил кучу чертежей и, найдя нужную карту, раскинул ее перед Пугачевым.

– Вот план расположения сторожевых линий всего Оренбургского края.

Глаза Пугачева пытливо насторожились. Он с напряжением принялся слушать казака, вникая в каждое его слово.

– Вот это город Оренбург с крепостью.

– Где? – Пугачев, посапывая, уткнулся в план.

– А вот! – указал карандашом Падуров. – Извольте видеть... На запад от Оренбурга идет самарская линия укреплений до самой Самары.

– Где Самара?

– Вот Самара. Он нее идут крепости Борская, Бузулукская, Сорочинская, Чернореченская и другие – вплоть до Оренбурга.

Пугачев долго рассматривал местоположение этих «фортеций». Падуров далее стал указывать на линию крепостей к югу от Оренбурга, через Яицкий городок до Гурьева у Каспийского моря, и к западу – до крепости Орской.

– Всего тогда было выстроено, государь, сто четырнадцать укреплений.

– Скажи на милость, сколь много... Сто четырнадцать! – воскликнул, подняв брови, Пугачев. – А вот ответь мне, кто оные крепости строил, когда и по какой нужде? Я чаю, уж не Петр ли Великий, дедушка мой, спроворил?

Падуров покосился на «внука» Петра Первого, сказал:

– Нет, государь. Почитай, все крепости и самый город Оренбург основал лет тридцать тому назад начальник Оренбургского края, генерал Неплюев. Тогда этот край только-только завоеван был нами. А ради чего строились тут крепости, доложу вашему величеству как-нито после, ныне же страшусь притомить вас, разговор долог будет...

– Толкуй безотложно... Открой мне очи! – Пугачев смутился слетевшим с языка признанием темноты своей и опустил взор. Затем взглянул на собеседника и, видя все то же, исполненное доброжелательством,

лицо его, заговорил потеплевшим голосом: – Я, ведаешь, во дворце-то многому учен, да, горе, – не тому, чему надобно. А как, чуешь, довелось мне от Гришки Орлова бежать да сколько лет по Руси-то во образце мужичьем скитаться, так я, веришь ли, все перезабыл. Не токма разные там хитрые науки, а и по-немецкому байкать запамятовал. Во, брат Падуров, как!.. Ну и напередки скажу тебе: не жалею об этом... Не жалею и не жалею, – повторил он и глубоко, всей своей широкой грудью, передохнул. – Я, брат Падуров, как в народе жил, таких наук набрался, что они там, в Питере-то, во дворцах-то, чихать смущаются... от моих наук-то. Я всю Россию на них опрокину! Наука у меня твердая! Ась, ась?

Он все еще не спускал с Падурова пристальных, как бы выщупывающих глаз. Падуров чувствовал, что ему немедля нужно успокоить этого насторожившегося человека. Да, успокоить, заверить его в своей преданности. И, чуть помешкав, он сказал, глядя, как в бездонный колодец, в большие темные глаза Пугачева:

– Я так полагаю, ваше величество, что и дед ваш, Петр Первый, тем и могучен был, что народа не гнушался, и, подобно вам, от народа сирого науки перенимал...

– В прицел, в прицел брякнул! В самый прицел! – обрадованно закричал Пугачев и всем корпусом отвалился в кресло. – Ну, сыпь дальше, сказывай.

– Как только Оренбургский край был завоеван, начался грабеж местных земель русскими промышленниками. Взять, к примеру, Белорецкий завод братьев Твердышевых. Оный завод купил у башкир семьсот тысяч десятин земли с лесом и без леса за шестьсот рублей, то есть за тысячу десятин уплатил меньше чем по рублю, или за медную копейку – двенадцать десятин.

– Ая-яй... Пошто же они, дураки, за такую пустяковину продавали-то?

– Насильно, ваше величество. А которые не соглашались – тех в тюрьму.

– Ах, трясушка их заברי... Злодеи... – причмокивая, Пугачев сокрушенно покачал головой.

– Опречь того, насмелюсь сказать вам, что татарская беднота страдает, пожалуй, еще горше, чем башкирская. Богатые татары-помещики, ваше величество, владели огромными землями, правительство закрепощало за ними землепашцев-татар, – продолжал Падуров. – Наиболее богатые помещики-татары возводились в дворянское достоинство.

– Ишь ты, богатые возводились, – желчно сказал Пугачев. – А вот мы бедных учнем возводить! А всех великих графов, злыдней проклятущих, на рели вздернем! – И Пугачев пристукнул кулаком в столешницу.

Падуров, не торопясь, рассказал Пугачеву, что и прочим народностям живется тоже несладко. Недаром всего лишь два года тому назад сто семьдесят тысяч калмыков, покинув родные степи, откочевали в Персию.

– Видать, на тутошних раздольных степях только богатым просторно жить-то, а бедному люду... тово... шибко ужимисто.

– Так, государь, – склонил Падуров голову. – Такжеде тесно и на Южном Урале, где вельможи да купцы начали заводы строить. Горные промыслы год от году приумножались, а посему и земля под заводы все больше да больше урезывалась у башкирцев. Особливым же хищником был граф Петр Шувалов с родственниками да приспешниками.

– Ну вот, ну вот, – сказал Емельян Иваныч и, опустив подстриженную «в кружало» голову, отдался малое время раздумью. – Все иноверцы, такжеде и мужики русские, – проговорил он, – шибко утесняются правителями, да барамы с купечеством, да судьями лихими. Люто претерпевает народ. Эх, ты, горе, горе! Слышь, полковник... Вот ты про башкирцев сказывал. Это когда же у них растатурица-то была, мутня-то?

– А последнее восстание возгорелось, ваше величество, двадцать лет тому назад. Обиженные башкирцы по душевной простоте верили в могущество императрицы Елизаветы, что даст им заступление. Они трижды засылали к ней депутацию, но всякий раз депутатов схватывали еще в Башкирии, местные власти срубали им головы. После сего мулла Батырша Алеев разъезжал по Башкирии, подбивал башкирцев да татар с киргизами на священную войну против поработителей. Тогда оренбургский губернатор Неплюев, скопив военную силу, измыслил натравить народ на народ. Когда башкирцы и киргизы затеяли меж собою распрю, генерал Неплюев этим коварно воспользовался. И восстание было потоплено в крови. Погибло тогда шестнадцать тысяч убитыми, четыре тысячи брошено было в тюрьмы, у трехсот человек отрезаны носы и уши, семьсот деревень сожжено.

– Так, так! Хм... – угрожающе вымолвил Пугачев, набрал полную грудь воздуха, надул щеки и с шумом выдохнул.

– Вот, государь, как доднесь обстоит дело, – закончил Падуров. – А башкирцы да и другие народы, я сам слышал, давно толкуют промеж собой: «Носится, мол, слух, будто на государственный престол мужской пол взведен будет замест бабьего. В то время, мол, какой ни есть милости просить постараемся. И что мужской пол царских кровей – это, мол, спасшийся от смерти император Петр Федорыч Третий».

Пугачев согласно кивнул головой и, все так же отдуваясь, медленно прошелся по канцелярии.

– Приготовьтесь, государь! – с волнением возгласил Падуров. Ему вспомнились громкие складные речи знаменитого князя Щербатова в московской Грановитой палате, и, выбирая слова, он произнес приподнятым голосом: – Думается мне, что шествие вашего величества яко царя и заступника всех обиженных будет зело успешно.

– Благодарствую, полковник, благодарствую, – сказал Пугачев, растроганный сердечными словами Падурова.

Наступило недолгое молчание. Пугачев, прищурившись, пристально глядел в сторону. Под впечатлением только что слышанных слов в его сознании вдруг возникла картина: широкая степь, вдали лесистые горы, изжелта-красный шар солнца падает на край земли, и некий живой поток быстро несется по коричневой степи от солнца к Пугачеву. Вот поток ближе, больше, шире... И вьется... облаками пыль, и топот гудит над степью. Это – дикие, гривастые кони, распушив хвосты, закусив удила и всхрапывая, мчат на своих хребтах несметные полчища всадников. Ближе, шире, громче... Стоп!.. Пугачев, как в саду, в окружении цветов всех красок: яркие маки, желтые кувшинки, тюльпаны, васильки. Это бронзовые быстроглазые люди в цветистых халатах, в тубетейках, в меховых малахаях на бритых головах радостной ратью окружили Пугачева. «Детушки, верные башкирцы, будьте со мной, я осушу слезы ваши!» – «Бачка-осударь, веди нас, куда хочешь!» И степь задрожала, и солнце остановилось от воинственных кликов. «Детушки, верные мои народы...» – начал было Пугачев, но обольстительное видение дрогнуло и, подобно степному мареву, исчезло.

– Ась? – произнес, встряхнувшись, Пугачев и стал собираться. – На-ка ключ, отомкни вот тот поставец да подай сюда сумку с золотом.

Когда приказ был исполнен, Пугачев сорвал с сумы печати, а суму протянул Падурову:

– Бери, друг, сколько надо... Да бери больше на расходы на твои. Люб ты мне!

Темные обветренные щеки Падурова вспыхнули.

– Нет, ваше величество, – потряс он головой. – Видно, еще не все дворцовые науки вами забыты, – он угрюмо глядел на Пугачева и не прикасался к червонцам. – Не гневайтесь, государь, но слово мое такое: я живота и помыслов своих на червонцы не перекладаю!

Пугачев в упор смотрел на него, затем сказал:

– Спасибо, брат Падуров, спасибо. Первый ты не погнался за корыстью. И коли так, вот тебе моя государева рука! – И он крепко-накрепко обнял его.

Растроганный Падуров долго молчал.

Глава VIII

На Москву или на Оренбург? В Каргале. Тайные подруги

1

Утром было совещание: куда идти дальше?

Военный совет заседал в той же комендантской канцелярии. Накануне ночью было немало выпито вина. У всех трещали головы. Зарубин-Чика нет-нет да и клюнет носом и со страхом выпучит глаза на государя.

Первым говорил Падуров. Он сказал, что от крепости Татищевой лежат две дороги: на Оренбург и на Казань. По его мнению, с Оренбургом возиться нечего, город сильно укреплен, да и на кой прах, по правде-то сказать, он нужен? А надо идти прямо на Казань, на Волгу. Скорей всего, что там армия государя быстро станет обрастать народом, пристанут крестьяне, волжские бурлаки да башкирцы, поднимутся татары, и тогда, усилясь, можно-де смело повернуть на Нижний, а там – и на Москву. Зело важно заставить правительство врасплох, пока оно не очухалось, пока не собрало для отпора нужные воинские части. И вот тогда-то правительству поистине-де будет худо, потому что все императрицыны войска ныне угнаны в Турцию. А ежели засесть под Оренбургом, то еще неизвестно, скоро ль доведется сей крепкий орешек раскусить. И в случае долгого сиденья под Оренбургом правительство-де употребит это время себе на пользу, оно даже может заключить скороспешный мир с Турцией и двинуть против государевой армии свои освободившиеся полки.

– Мой совет – брать путь на Казань, – заключил он.

– Ну нет, дружок, Тимофей Иваныч, – сразу же стали возражать ему атаманы, есаулы и полковники. – Как это возможно, чтобы наш главный город Оренбург мимо пройти. Да нас галки засмеют за такое дело-то! А Казань да Нижний не уйдут от наших рук, и Москва не уйдет. Башкирцы же с кочевниками сами сюда привалят всем гамузом... Перво-наперво Оренбург надо сокрушить, чтобы Рейнсдорпишка в спину нам не ударил. Вы что, Тимофей Иваныч?!

– Добро, добро, – подтвердил Пугачев, – сия военная тактика завсегда может приключиться. Мы пойдем, а он, немчура, и саданет нам в зад.

– Нечем ему будет садануть-то, ваше величество, – хмуро сказал Падуров.

Споры обострились. Горбоносый атаман Овчинников, покручивая кудрявую, как овечья шерсть, бороду, крикливо говорил:

– Мы, братцы казаки, в случае лихо приспеется нам, может от Оренбурга-то откатиться, хвосты в зубы да и наутек – либо в Золотую Мечеть, либо в Персию, либо в Туретчину, куда и сам батюшка звал нас. А ежели под Казанью захряснем, ну уж не прогневайся, уж оттуда, чтоб утечь, таких не будет способов. Окромя того, Оренбург давит да душит нас, прямо за горло берет. В первую голову боем его взять треба. Без Оренбурга нам не быть!

– Ну а ты как думаешь, Максим Григорыч? – спросил Пугачев умного Шигаева.

Тот поднялся, высокий, сутулый, с надвое расчесанной темно-русой бородой, и, покашливая, тенористо заговорил:

– Что ж, ваше величество... Нам на Москву начхать, да и на Питер начхать! Да, может, нам и средствиев никаких не хватит на Москву-то поход чинить. А нам, всем казакам вкупе, желательно бы свое казачье царство иметь, с казацкими свычаями древними, с вольной волей казацкой, и чтобы столицей нашей был вольный город Оренбург. Вот как, ваше величество, старики наши и все казачество желало бы. Да ведь и сам ты, батюшка, пленных солдат в казаки писать повелеваешь. Да и в армии своей ты не регулярство, а казацкое войсковое строение заводишь, согласуемо обычаям древним. Об чем еще деды наши при Степане Тимофеиче Разине мечты имели!

– Не толико ваш край, а и всю Россию я чаю в казаки поверстать, – сказал Пугачев.

– А уж это как придется, – боднув головой, не утерпел съязвить сухощекий, плешивый Митька Лысов. – Вот и Разин Степан оное мечтание держал, а что случилось?

Пугачев с неприязнью покосился на него.

Падуров крутил и покусывал свои молодецкие усы, затем сказал в сторону Шигаева:

– Врага нужно поражать в сердце, Максим Григорьич. А твой Оренбург – ноги.

– Нет, не ноги, Тимофей Иваныч, нет, не ноги, – обидчиво ответил Шигаев и покашлял. – Петербург с Москвой есть голова, а Оренбург – сердце. Ведь за Оренбургом-то вся Сибирь лежит...

– Оренбург погоды не делает, да и сделать николи не сможет. Оренбург – окраинская сторона, и не в Оренбурге суть, – с дрожью в голосе высказывал Падуров.

– Обидно слышать это от тебя, Тимофей Иваныч, – заговорили вокруг с упреком. – Ведь ты сам казачьего роду-племени, а балакаешь, аки москаль какой.

Стало тихо. На дремавшего Чику напала икота. Он выпил ковш воды и смочил голову.

– Ну а ты, стар человек, как полагаешь? – нарушив молчание, спросил Пугачев есаула Андрея Витошнова.

Скуластый сухой старик с седоватой бородой, посматривая исподлобья на Пугачева, робко ответил:

– Куда поведете, батюшка, верное воинство свое, туда и мой конь побежит.

Все бывшие в свите стали упрашивать государя принять путь к Оренбургу.

Пугачев с ответом замешкался.

Доводы Падурова были более понятны и близки его горячему сердцу, чем упрямое желание приближенных. Однако и речи Овчинникова о том, что в случае неудачи можно от Оренбурга в Туретчину и в Персию податься, тоже казались Пугачеву резонными. Но главное – у него не было охоты вступать в раздор с большинством. Он сказал:

– Немедля идти под Казань было бы куда складнее, господа атаманы. Ну, ежели ваше общее намеренье Оренбургу осаду со штурмом учинить, я, великий государь, супротивничать не стану вам.

Свита поклонилась государю. Подвыпивший Чика встал, ударил шапкой о ладонь и с пьяной горячностью сказал:

– Ваше величество, отдели мне сколько-нито войска. Я один на Казань пойду!

– Иди-ка ты, Чика, не на Казань, а на сеновал... Проспись, – со строгостью посмотрев на лупоглазого цыгана Чику, сказал совсем не строго Пугачев.

Пугачевцы прожили в Татищевой трое суток. Проводили время весело, в гульбе. Забрав лучшие по всей яйцкой линии пушки, амуницию, провиант, вино, соль, деньги, они двинулись к Чернореченской крепости.

Комендант крепости Краузе загодя скрылся в Оренбург, а крепость встретила Пугачева с честью.

На роздыхе явилась к Пугачеву дворовая девушка капитана Нечаева, взятого в плен в Татищевой. Ей было лет под тридцать. Высокая, ядреная, чернобровая – кровь с молоком, – она кувырнулась Пугачеву в ноги и завыла. Пугачев приказал ей подняться, спросил, как звать ее и что ей надо? Она встала, сказала, что зовут ее Ненилой и что ее шибко тиранствовал барин офицер Нечаев. Сказав так, она снова кувырнулась в ноги. Пугачев спросил:

– Как же ты, этакая крепкая да гладкая, барину-то поддалась?

– Да ведь я-то гладка, а он, пес, того глаже... Изгалялся всяко, плетьюми стегал.

Пугачев приказал разыскать капитана Нечаева и вздернуть. Ненила в третий раз кувырнулась Пугачеву в ноги:

– Спасибо, надежа-государь, заступничек наш... Уж не оставь меня, рабу.

– Куда же мне тебя приделить-то? – в раздумье промолвил Пугачев. – Погодь, погодь... А смыслишь ли ты, Ненилушка, щи да кашу варить, ну там еще разные царские блюда, вроде кукли-цукли всякие, меринанцы...

Ненила утерла широкие губы, весело сказала:

– Кашу да щи завсегда сварю... Я, чуешь, управная.

– Так будь же моей стряпухой, потрафляй мне.

Ненила еще раз повалилась Пугачеву в ноги.

Обращаясь к старику Почиталину, которому были вручены ключи от склада, Пугачев сказал:

– Слышь, Яков Митрич! Приодень возьми девку, сарафанишко какой-нито дай поцветистей да ленточек, бабы это любят, да отведи, слышь, в палатку мою. Пущай она мне да заодно и барыньке Харловой услужает.

2

До Оренбурга оставалось всего около тридцати верст.

Если б Пугачев не провел зря четверо суток в Татищевой да в Чернореченской, он легко мог бы овладеть не готовым еще к обороне Оренбургом. Однако использовать столь удобный случай пугачевцы прозевали.

Известие, что Татищева крепость пала, привело Рейнсдорпа в испуг. Сильная крепость, надежный оплот Оренбурга, в руках разбойников! Нет, это нечто невероятное... «О, какой катастрофа! Этот Вильгельмьян Пугашов вовсе не разбойник, он во много разов лютее разбойника, он со свой сброд коварна шволочь», – по-русски думал он, бегая вдоль кабинета и нервно кусая сухие губы.

Еще 24 сентября Рейнсдорп трем губернаторам – казанскому, сибирскому и астраханскому – отправил бумаги о появлении Пугачева и об угрожающей всему краю опасности. А 28 сентября, получив сведения о трагической судьбе Татищевой крепости, экстренно собрал военное совещание. Присутствовали: обер-комендант генерал Валленштерн, войсковой атаман Могутов, действительный статский советник Старов-Милюков (бывший полковник артиллерии), чиновники Мясоедов да Тимашев и директор таможни Обухов – люди важные, откормленные, самонадеянные.

Рейнсдорп задвигал рыжими бровями, придал лицу выражение воинственности и начал:

– Господа! Этот, шорт его возьми, касак Пугашов со своя шайка угрожает Оренбургу. И брать его за простой разбойник не есть возможно. Он, шорт его возьми, опасный коварный враг. Это-это так и есть, прошу верить мне, старого вояке. Ну-с... Будем подсчитать, с Богом помолясь, наши силы.

Развернули ведомости, сводки. Оказалось, вся Оренбургская губерния охраняется тремя легкими полевыми командами – в них всего 1230 человек – да несколькими гарнизонными батальонами и местным казачьим населением. Эти ничтожные воинские части разбросаны по необъятной территории, и, при сложившихся обстоятельствах, подтянуть их в срок к городу было почти невозможно. Собственно же защитников Оренбурга числилось всего 2900 человек, из них нерегулярных войск не более 174 человек, да гарнизонных солдат (большинство престарелых и калек) 1314 душ. Остальные – казаки, инвалиды, обыватели и еще 350 татар, на верность коих было опасно положиться.

Решили, что со столь малыми силами нечего и пытаться вступить с мятежниками в открытый бой, а дай Бог как-нибудь отсиживаться в крепости, пока не придет выручка извне.

О количестве мятежников сведений у Рейнсдорпа не было. Однако предположительно говорили, что Пугачев располагает по крайней мере тремя тысячами конников и многими пушками. А главная беда в том, что силы злодея все возрастают. Так, было оглашено донесение, что пятьсот башкирцев, высланных из Оренбурга в помощь Татищевой крепости, подобно отряду сотника Падурова, целиком передались мятежникам.

– Вот вам! – воскликнул Рейнсдорп и снова, и снова тянулся к табакерке. Кончик белого носа его от частых понюшек стал коричневым, покрытые веснушками щеки раскраснелись.

Постановили тотчас отправить приказ начальнику Верхне-Озерной дистанции, бригадиру Корфу, чтоб гарнизон и орудия как Пречистенской крепости, так и уцелевших от мятежной заразы форпостов немедленно были направлены в Оренбург.

Вторым пунктом постановили: все мосты через Сакмару разломать, кояги и лодки сжечь, дабы неприятель употребить их для себя не мог. Далее было постановлено привести артиллерию в исправное

состояние, подчинив ее Старову-Милюкову; разночинцам, имеющим ружья, назначить места для обороны крепости, а безоружных определить для тушения пожаров; при сем «дать обер-коменданту строгий приказ, чтобы никто из тех мест, где кто назначен, отнюдь не отлучались, хотя бы и пожар собственного дома увидели!»

Совещались без перерыва с утра до вечера, съели тут же за столом два больших пирога с осетриной, много выпили квасу и воды с вареньем. В канцелярии от табачного дыма сизо, окна закрыты наглухо – губернатор боится простуды. Для очистки воздуха кривой казак затопил печь камышовыми дудками. Губернаторша дважды присылала мужу микстуру от геморроя и подагрические капли. Лекарства подавал на серебряном подносе бравый лакей из польских конфедератов, в галунах и свежих перчатках.

С башенки над зданием гауптвахты раздался мелодичный бой курантов, пробило восемь часов. Все утомились, стали впадать в легкое обалдение; губернатор, а за ним и другие, прикрываясь ладонями, сладко позевывали.

Но вот все ожило. За окнами слышались многие голоса, топот, пофыркивание и ржанье коней. Все бросились к окнам. Через площадь двигалась в беспорядке конная небольшая толпа сеитовских татар, два дня тому назад посланных из Оренбурга в количестве трехсот человек на помощь Татищевой. Из лачуг, домов, домишек выбегали жители, с любопытством расспрашивали возвратившихся – что, как и почему вернулись.

– Кудой дела! – кричали с коней гололобые татары. – Кудой дела! Татищева горит мало-мало, начальство секим-башка, Чернореченский крепость забирал сапсем... Ой, бульно кудой дела...

– Чернореченская сдалась, что ли?

– Сапсем сдалась!..

– А чего мало вас? – не отставали жители. – Злодей, что ли, перебил?

– Пошто перебил... Мало-мало наша сеитовцы ихний толпа побежал... Сэ равно ветер – жжж! – и нету... Сто, да ешо полста... э... Яман-дело!

Начальство, прильнув к окнам и чуть приоткрыв рамы, в угрюмом молчании прислушивалось к говору улицы.

– Фу-у... Слыхали? Вот вам... Каша заваривается не на шутку, – отдуваясь, проговорил хриплым басом тучный директор пограничной таможни Обухов. – А где же его высокопревосходительство? Где Иван Андреич?

Губернатора в канцелярии не было. Сторожа зажигали в шандалах свечи.

Меж тем Иван Андреич Рейнсдорп, как только услышал о падении Чернореченской крепости, незаметно и с великой поспешностью вымахнул из канцелярии и через остекленный переход, соединяющий присутственные места с апартаментами, чуть не вприпрыжку побежал к себе в покои.

Покинутые губернатором начальствующие лица, водившие между собой крепкую дружбу, принялись взволнованно из угла в угол вышагивать. То закинув руки за спину, то с жаром жестикулируя, они стали костить губернатора, обмениваясь сначала негромкими отрывочными фразами, перешедшими затем в горячие, полные желчи откровенные высказывания. Да как же, помилуйте! Творится нечто необычное. Горсть яицких казачишек-бунтарей передалась разбойнику. Вот тут-то сразу и нужно было раздавить этот ничтожненький бунтишко. А что сделал губернатор? Вместо энергичных действий он задавал пиры, похваляясь своим военным гением. Ха! Гений... Геморроидальная шишка, плясун, бабник. Загородные дворцы себе строит на казенный кошт, рабов закабалил... Острожник Емельян Пугачев больше месяца в его губернии шатается, а он и сном-духом не ведал об этом. Вот теперь дождался гостя, теперь узнал! Поди-ка

сунься! И вы заметили, господа, что Рейнсдорп перестал Пугачева разбойником ругать, а величает: «Неприятель»? И воистину, какой же разбойник, ежели крепости ему сдаются, башкирцы с татарами бегут к нему, даже Падуров, уж на что был надежный человек – депутат, сотник, человек толковый, книжный, – и тот не постыдился передаться самозванцу. Да, господа, враг у ворот, а мы к его встрече не готовы. А кто в сем повинен? Иван Андреич Рейнсдорп.

– Его высокопревосходительство просит вас, господа, проследовать в его опочивальню, – звонко прокричал с порога адъютант.

Губернатор принял их, лежа в кровати. На голове белый колпак с розовой кисточкой, на курносом лице болезненная мина. Начальствующие подобный прием справедливо считали для себя оскорбительным; они друг с другом переглядывались, пожимали плечами. Тучный Обухов сердито пыхтел, намереваясь тотчас же удалиться.

– Извиняйт, господа, – слабым голосом проговорил губернатор. – Маленечко... как это, как это... занедужился, эскулап уложил немного в постель. Садитесь, господа. (Все сели, хмурые, обозленные.) Итак, господа, мне только что доложил сотник сеитовских татар Мустафанов, что неприятель занял Чернореченскую. О, какой несчастье!

– А кто ж виноват, ваше высокопревосходительство? – шумно сопя, начал директор таможни Обухов. – Не наш ли штаб виноват, дав врагу время столь много усилиться?

– Ви, любезный Митри Павлич, хотите сказать – виноват губернатор Рейнсдорп? – Опершись о стол волосатыми кулаками, губернатор быстро приподнялся. – Да, может быть... Но мой поступка критиковать никто не имеет права, кроме... кроме ее величества, государыни императрисс...

– А равным образом и Военной коллегии во главе с графом Захаром Григорьичем Чернышевым, – колко сказал обер-комендант генерал Валленштерн, зная неприязненное отношение к Рейнсдорпу графа Чернышева.

– Шо, шо? – завертел головой оскорбленный губернатор. – О, мы с граф Чернышеф старинный друзья, чтоб не сказать боле... Итак, господа, враг у ворот...

– У гнилых ворот, ваше высокопревосходительство, – добавил неожиданно и резко Обухов. – Крепость как следует принять врага не готова...

– Шо? – Глаза губернатора стали злыми, он сорвал с головы колпак и бросил его в ноги. – Итак, враг у ворот. Но ви не трусьте, ви держите большой надежда на мой предостаточный военный опыт. В мой голова двадцать прожект, самых оччень хитрых. Я его, сукин кот, ату-ату! Чрез двух недель эта самая царь Петр Федорыч, шорт его возьми, будет на цепочка приведен сюда, и мы на площадь при весь народ отрубим его дерзкий голофф... – Лицо губернатора покраснелось от внутреннего возбуждения и резких воинственных жестов руками. Он устало выдохнул воздух и снова прилег. Рыжие, с сильной проседью, завитушки волос свисли на выпуклый лоб его.

Едва сдерживая едкие улыбки и только краем уха вслушиваясь в болтовню губернатора, начальствующие лица с немалым любопытством осматривали богатое убранство спальни. Стены обиты светло-розовым персидским шелком, резная, под слоновую кость, искусной работы мебель, над кроватью пышный балдахин, увенчанный золоченым толстоцекием купидоном. Венецианское зеркало, севрские умывальные приборы. Под расписным потолком два хрустальных, французской работы, фонаря. Драгоценные персидские ковры на полу. Всюду расточительная роскошь, великолепиие.

«Казна-матушка все стерпит», – думали начальствующие лица – иные с болью и тревогой в сердце, а кто и с плохо скрываемой завистью.

– Ждем ваших распоряжений, генерал, – сказал, подымаясь, плотный, пучеглазый Валленштерн.

– Извольте, господа, оччень мало отдохнуть, – сказал он, – и после сего приступить осмотр крепость, сами тщательный, сами аккуратный.

– Как? Ночью?

– Ночь! Ночь! С факелами. Время военный. Каждый минут оччень дорогой. И чтоб вся инженерская команд была с вами. Господин адъютант, распоряжайтесь через три часоф мне экипаж... Я сам приму распорядок осмотра.

3

Рейнсдорп страшился, что со столь малым числом защитников крепости ему будет трудно оборонять Оренбург от Пугачева. А Пугачев, как раз наоборот, считал, что с его слабыми силами нечего к Оренбургу и нос совать.

Именно поэтому Емельян Иваныч охотно принял приглашение жителей татарского селения Каргалы не оставить своей царской милостью и навестить их. Вот и хорошо. Пожалуй, часть татар воссоединится с ним. А из Каргалы он махнет в Сакмарский городок, населенный яицкими казаками. Нет сомнения, что и те примут его руку. Вот тогда-то уж можно будет и Оренбургу приступ учинить.

– Нам, господа атаманы, силы свои скоплять надо. Сего ради умыслил я идти в Каргалу да в Сакмарский казачий городок.

Пугачевцы ехали то глинистой, то солончаковой степью с невысокими гривками и сыртами. Слева были видны в далеком мареве сизые отроги гор. День выдался солнечный, по-осеннему свежий. Суслики и тушканчики, покинув норы, грелись на солнце. Завидя шумную ватагу, они приподымались на задние лапки, с любопытством вытягивали мордочки навстречу всадникам, принюхивались и, лукаво засвистев, ныряли в норки. Эти певучие посвисты, похожие на веселую игру, сопровождали пугачевцев всю дорогу.

Вдруг Пугачев засуетился, закричал ехавшему с ним рядом старику Почиталину:

– Дай, дай скорей! – и сорвал с его плеча ружье.

Орел-стервятник, кружившийся над степью, враз сложил крылья и камнем пал на зазевавшегося суслика. Ударил смертельный выстрел. Видевшие это казаки радостно захохотали:

– Ой, надежа-государь!.. Вот это вдарил!.. По-царски!

Пугачев, возбужденно улыбаясь, передал ружье Почиталину. Чубастый горнист Ермилка уже волок за ноги большую, с доброго барана, птицу.

– Куда прикажешь, ваше величество, курочку-т? – зашлепал он толстыми губами и в простодушной улыбке растянул рот до ушей.

– Ощипли да покроши во щи... Видать, курица навариста, – развеселясь, засмеялся Пугачев.

Обласканный вниманьем государя, захлебнулся хохотком и казак Ермилка. Его узенькие глазки утонули в мясистых, нажеванных щеках. Облизываясь и пофыркивая, он с гордостью косился на молодых казаков: мол, смотрите, каков я – самого государя в смех вогнал. Глядя на государя и на Ермилку, ближние шеренги конников тоже улыбались: было всем приятно, что государь не гнушается пошутить с простым казаком.

Пугачев, прищутив правый глаз, покосился на фаэтон с Харловой, ее малолетним братишкой Колей и Ненилой. Фаэтон, сверкая на солнце лакировкой, двигался по гладкой луговине в стороне от дороги – там не так пыльно. Рядом с фаэтоном ехал на крупном коне полковник Падуров. Он пытался завести разговор с Харловой, но та молчала, понуро опустив голову. Измученные, покрасневшие от слез и бессонницы глаза ее были обведены темными тенями. Время от времени оборачиваясь в сторону чернобородого царя, Падуров издали кидал на него конфузливые, опасливые взгляды: а вдруг «батюшка» из пустяковой ревности вознегодует на него? В сердце Пугачева действительно вскипала временами не то что ревность, а нечто близкое к досаде супротив бабьего угодника Падурова, но он всякий раз подавлял это чувство. Да и стоит ли беспокоиться из-за этой неподатливой барыньки? Недотрога, плакса, капризница! «Я к ней с лаской, а она, знай, слезами умывается... Смотрю, смотрю, да и выгоню в три шеи. Чистоплюйка, черт...»

– Слышь, горнист! Ты покажи-ка эту курочку Лидии Федоровне да мальчонке ейной. Пущай подивятся.

– Федоровне? – переспросил Ермилка Пугачева. – До разу... – и, потряхнув чубом, тронул свою лошадку.

Пугачев видел, как Ермилка подъехал к экипажу, бросил орла в ноги женщинам и, то ударяя себя в грудь, то оборачиваясь и тыча в сторону Пугачева, с жаром что-то говорил.

Харлова резко отвернулась, сидевший против нее Коля потрогал орла ногой и с пренебрежением спросил Ермилку:

– Кто, Пугач убил?

– Государь птицу подстрелил. Своеручно...

– Для тебя – государь, для меня – бродяга, – сказал Коля, и глаза его сверкнули.

– Молчи, щенка кудой! – прохрипел татарин-возница и, круто обернувшись, замахнулся на мальчишку кнутом.

– Не смей! – крикнул вознице Падуров, а мальчонке крепко погрозил пальцем.

Харлова, тронув брата за колено, испуганно запричитала:

– Коленька, умоляю... Будь умница...

У мальчика задрожали веки, чуть покривился рот, он взглянул в побледневшее лицо сестры, всхлипнул и часто замигал, уставясь взором в бегущую под ногами пыльную дорогу. Затем внезапно схватил орла и резким движением выбросил его из фэтона.

«Змееныш какой», – подумал Ермилка, хотел обругать его, да не посмел из-за Падурова. Но вот Падуров приподнял шапку, с чувством сказал: «Прощайте, Лидия Федоровна», – и бочком-бочком, стараясь незаметно миновать государя, отъехал к своей части оренбуржцев. Ермилка тоже было собрался поворотить коня. Окидывая простоватым взглядом унылую Харлову и краснощекую Ненилу, он решил, что дородная девушка хотя и перестарок, а много краше барыньки, да и характер у Ненилы куда лучше.

Первого октября, в полдень, каргалинские татары торжественно встречали государя.

Каргала^[91] стояла в стороне от тракта, в двадцати двух верстах от Оренбурга. Населявшие ее татары были зажиточны, они занимались скотоводством, хлебопашеством и торговлей с хивинцами, бухарцами и прочими соседними азиатскими народами.

В Каргале было около трех тысяч жителей. Числом построек она мало уступала Оренбургу. Но постройки деревянные, глинобитные, каменных жилищ – наперечет. Избушки, домишки понатырканы, как Бог на душу положит. Улочки узкие, кривые, грязные. Сотни псов.

На торговой площади возле мечети разостланы по луговине дорогие ковры, поставлен резной дубовый стул. К подъехавшему государю приблизились два татарина, подхватили его под руки. Вся же толпа татар, сняв шапки, пала ниц, уткнув лбы в землю. Вдали маячили празднично одетые женщины, они не смели приблизиться к священному государеву месту.

– Встаньте, детушки, – сказал Пугачев, садясь на стул. – Где у вас люди-то хорошие да почтенные?

– Ой, бачка-осударь, все в Оренбург забраны. Валла-билла!.. – ответили татары и стали подходить к целованию государевой руки. Видный старик в чалме и в круглых серебряных очках, прикладывая правую ладонь то к лбу, то к сердцу, вступил с Пугачевым в разговор. Зажиточный, бывалый, он ездывал в Казань, в Москву и в Мекку на поклонение гробу Мухамета, говорил по-русски чисто.

– Весь сеитовский татар с Оренбургу к тебе, бачка-осударь, убежит, – сказал старик. – Да и отсель

бульно много наших правоверных за тобой собирается. Бульно много.

Вслушиваясь в певучий голос старика, Пугачев подумал: ежели татары так охотно собираются идти к нему, то, пожалуй, еще охотней пойдут под его знамена столь богатые конной силой башкирцы. Он повернул голову и негромко сказал стоявшему на почетном карауле, с обнаженной саблей, полковнику Падурову:

– Сменись, мой друг, с кем ни то, да возьми с собой Ваню Почиталина, да еще Николаева. Да где-нибудь в избе спроворьте-ка высочайший манифест ко всем башкирцам. Чтобы всем им было ведомо, и пуская всякий без сумнительства и промедления ко мне спешит с конем, а того лучше – о-двуконь.

4

Три пугачевца и четвертый, юный татарин Али, ознакомленный в казанском медресе с мудростью ислама, с жаром стали составлять воззвание к башкирскому народу. Они сидели в просторной и светлой избе родителей Али. Сначала дело шло туго, но вот мать Али и его сестра, красавица Фатма, поставили на стол два жбана с крепким кумысом и деревянные крашеные чашки в виде тюбетеек. Отец Али имел двадцать кобылиц, мать славилась умением готовить волшебный степной напиток.

Фатма была одета в яркий халат, перехваченный по тонкой талии золотистой шелковой, с кистями, шалью; на открытой точеной шее ожерелье из золотых и серебряных монет – русских, персидских, турецких. Матовое, с легким румянцем, лицо ее оживлялось сиянием черных глаз. Игривая и сильная, как степная кобылица, она сразу ошеломила влюбчивого Падурова. И все давнишние и недавние его сердечные уколы и царапины в момент иссякли. Померк в его сознании и печальный облик страдающей Лидии Харловой. Черт возьми, черт возьми!.. Погиб, опять погиб Падуров...

Мать увела девушку. Падуров снова потянулся к кумысу. Стало шумно. Обсуждалась каждая фраза манифеста, строки все больше и больше словесно расцветали и кудрявились:

Вдруг с улицы слышались быстро приближающиеся крики: то ли «ура», то ли «алла» кричал народ.

– Государь к нам едет, – сказал Али. – Мы обедом станем его потчевать.

– Где, здесь? – с изумлением сказал Падуров.

– Тут кудой, теснота, – сказал Али. – Рядом наш большой дом... Там.

Они все поспешно вышли на улицу.

Возле двухэтажного соседнего дома Пугачев остановился: Али держал царского коня под уздцы, а его отец – старик в чалме, с очками на носу – и еще другой татарин почтительно подхватили государя под руки.

Приподняв занавеску, из-за оконного косяка скрытно пялилась на государя Фатма. Падуров поклонился Пугачеву и, сказав: «Готово, ваше величество», – подал ему вложенную в конверт бумагу.

Взошли наверх. Женщины, слегка прикрывая длинными рукавами свои лица, кувырнулись государю в ноги. Усталый Пугачев протянул им для целования руку. Он не обратил на Фатму ни малейшего внимания. Пройдя в маленькую комнату об одном окне, Пугачев сел к окну (под его ноги чьей-то волшебной рукой подsunул коврик) и велел секретарю, Ване Почиталину, зачесть написанное.

– Вот встань-ка рядом со мной, чтоб мне видать было.

Секретарь принялся за чтение. Голос у него выразительный, звонкий. Пугачев, перегнувшись, неотрывно следил за строчками, по которым бежал взор секретаря.

– А ну, еще перечти, да не борзась, а с толком...

Продолжая с напряжением следить за строчками и за глазами секретаря, Пугачев, казалось, старался запомнить каждое произнесенное Почиталиным слово. Затем он взял указ в руки, наморщил лоб и, шевеля губами, сделал вид, что внимательно читает.

– Эх ты! Врачки какие... Падуров, гляди сюды, – сказал он. Падуров стал сзади Пугачева и, перегнувшись через его плечо, заглядывал в те строки, на кои «батюшка» указывал толстым пальцем. – Вот тут, видишь, сказано: «... услыша мое имя, ко мне идите», а подобает сказать: «Идите, мол, конны, а того лучше о-двуконь». Я ж, Тимофей Иванович, о сем упреждал тебя... Забыл?

– Запомятовал, ваше величество.

– Вдругорядь будь внимательней, взыск чинить учну. А вот, гляди, в этом месте сказано: «Ныне я вас жалую даже допоследка землями, лесами» и прочим, прочим – добавить предлежит, «а такожде денежным жалованьем, свинцом и порохом».

Пугачев указывал строки совершенно точно и читал написанное правильно. Падуров с удовлетворением подумал: «А ведь „батюшка“ грамоте-то не плохо знает». На самом же деле из выкрутасистого, с завитушками, почерка своего секретаря Пугачев не мог разобрать как следует ни единого слова. Да он и не пытался это сделать: этакую писарскую кудрявицу и доброму-то книжнику надо пообедавши читать.

– Немедля прикажи, Тимофей Иваныч, Идыркею перетолмачить на башкирскую статью.

– Слушаю, ваше величество! – ответил Падуров. – Сделаю вставки, что усмотреть изволили, да кой-какие ошибочки письменные я заметил... Исправить подлежит.

– Сойдет и так, – возразил Пугачев и почесал в затылке. – Лишь бы явственно было да мысли подходящие... Давилин! – обратился он к дежурному. – А ты, друг мой, коль скоро бумагу перебелят, немедленно отправь ее сей же день в Башкирию. А в кое место гонцу скакать, наш хозяин-бабай укажет тебе.

Сержант Николаев чувствовал себя в этот день отвратительно. С душевным смятением он думал о своей милой Даше. Как-то она там, жива ли, здорова ли, думает ли о нем хоть изредка? Да! Пусть сержант Николаев успокоится: Даша о нем помнит.

Сегодня первое октября, большой праздник – Покров. Сержант вспоминает, как в этот день он хаживал к обедне, как из церкви провожал Дашеньку до дому. То-то было хорошо: погода свежая, трава седая от инея, спелой рябины на ветках – красным-красно.

Сегодня Покров. Дашенька действительно ходила с приемной матерью в церковь. Все так же ярко светит остывающее солнце, все так же спелой рябины на ветках красным-красно. Только нет милого, некому проводить Дашеньку до дому.

И вот, по случаю праздника, под вечерок приходит в гости к Дашеньке тайная подруга ее Устинья Кузнецова. Капитанша сердится на Дашеньку: невместно, мол, дочке коменданта водиться с простой казачьей девкой. Но Дашенька любит Устинью за ее верный характер, за девью красоту, за печальные песни.

Устя помолилась на образ с горящей лампадкой, сняла с головы шелковый полушалок и, поцеловав Дашеньку в губы, сказала:

– А ведь я твоего суженого видела, Митрия Павлыча...

– Уж не во сне ли?

– Пошто во сне... Въяве видела, вот как тебя.

Дашенька всплеснула руками:

– Ну сказывай, сказывай скорей, где, когда?

Девушки сели возле предзеркального столика. Устинья, пощелкивая орехи, стала не спеша рассказывать, как она недавно гостила у тетки в Илецком городке и как в это самое время городок передался без боя толпе мятежников.

– Вот тут-то, в толпе-то этой, я и усмотрела сержантика-то твоего...

– Ой, да очнись, Устинья! Что ты, в какой толпе?

– Да в той самой, вот в какой... Худой да длинный, а волосы-то по казачьи острижены, косу-то ему обкорнали, и одет-то он по-казачьи, не вдруг признаешь...

– Господи, да как же он попал-то? – заметалась, всполошилась Даша. – Да говорила ли ты с ним?

– А и не подумала говорить. Он рыло отворотил от меня – да ходу! Должно, чует, что совесть не чиста.

Дашенька вынула из-за пояса носовой платок, собираясь заплакать. Устинья, спохватившись, затараторила:

– Да ты, подружка, не тужи... Он и сам, поди, не рад... Я все узнала. Он в полон попал. Казаки ладили повесить его, да сам батюшка помиловал. Вот он и остался служить ему, батюшке-т, в петлю-то не больно сладко лезть, до кого хошь доведись... Да мы твоего дружка выручим, подруженька, не горюй, ягодка моя... Вызволим!

Даша заплакала. Устинья опустилась возле нее на колени, обвила ее за шею сильными руками.

– Ой, Митенька, Митенька, – заливалась слезами Даша. – Ну кто, кто его станет выручать?

– Да мы с тобой, вот кто... Я батюшке песни пела да плясала – батюшка мне пять рубликов пожаловал. Вот и поедем к нему. Уж я батюшку-то упрошу, укланяю.

– Какой это батюшка, что за батюшка такой? – насторожилась Даша, перестала плакать и осторожно сняла со своих похолодевших плеч теплые руки Устиньи.

Казачка поднялась с полу и, придвинув стул, села колени в колени с Дашей.

– Слушай, – зашептала она, озираясь на дверь. – Батюшка – доподлинный царь-государь... Вот кто батюшка.

– Это душегубец-то? Побойся ты, Устинья, Бога! – воскликнула Даша, губы ее задергались.

– Да не шуми ты! – сдвинув брови, загрозила Устинья. – Неровен час, полковник Симонов нагрянет, папаша нареченный твой. – И снова зашептала: – Только ты, подруженька, молчок, никому не брякай. А я тебе вот что... Сам Иван Александрыч Творогов его за государя признал, а уж он казак умный да богатый.

– Стало, он умен, твой Творогов, а все достальные дураки – и папенька, и Крылов, и губернатор... Вот какое, девка, у тебя понятие... Да ты с ума сошла, чего ли? Разбойника, душегуба за царя принять! Да истинный-то Петр Федорыч одиннадцать лет тому назад умер. Про это и в книгах пропечатано. Что же он, из могилы, чего ли, встал?

– Откуда мне знать, – с сердцем проговорила Устинья. – В народе говорят – похоронили подставного, а доподлинный-то государь в сокрытие ушел.

– Эх ты, дура-дура! – потряхивая головой, укоризненно сказала Даша.

Устинья встала, накинула на голову полшалока, проговорила охрипшим от возбужденья голосом:

– Да мне что? Плевала я! Не мой суженый. Ну и сиди... Прощай!..

Глава IX

Каторжник Хлопуша. Фатьма рушит закон. Бачку-осударя татары торжественно несут на кресле

1

Ночной осмотр крепости был губернатором отменен до следующего дня. Крепость давным-давно не ремонтировалась, хотя деньги на ее благоустройство ежегодно из Петербурга получались.

Правительство имело полное основание полагать, что Оренбургская крепость, сооружавшаяся одиннадцать лет инженерными генералами, снабженная семьюдесятью добрыми орудиями и всем необходимым, представляет собою неодолимую твердыню. На самом же деле все укрепление состояло из земляного вала с десятью бастионами и двумя полубастионами, примыкавшими к обрывистому правому берегу Яика. Между бастионами – четыре выхода из города. Одеты камнем были только два бастиона, на остальных не завершены даже земляные работы.

Окружавшие город рвы заросли бурьяном. Обыватели свозили сюда ободранные туши дохлых лошадей, битые горшки, бутылки, щепки, всякий дрызг. Через ров в любом месте ездили на телегах, и лишь в немногих местах, где откосы взяты в камень, было невозможно пробраться из крепости в город. Бревенчатый частокол вдоль вала и ограждающие ров рогатки отсутствовали. Крепостные ворота затворов не имели.

Губернатор хватался за голову, с отчаяньем выкрикивал:

– Всех, всех суду предать!

Но окружавшие его начальствующие лица и некоторые штаб-офицеры утешались тем, что в первую голову предавать суду пришлось бы губернатору себя.

Было сделано распоряжение: немедленно приступить к углублению рва и проведению всех необходимых крепостных работ силами гарнизона, сидевших в тюрьме каторжан и всех способных к труду местных жителей. Работать день и ночь. Уклоняющихся и нерадивых наказывать тут же, на месте.

Вскоре закипела работа. Появились тысячи тележных подвод. С ночи по всему фронту работ зажгли костры. Слышались крики, ругань, понуканье, скрип немазаных колес. По улицам города, через осеннюю тьму, сновали люди с фонарями, плелись, позвякивая кандалами, каторжники, скакали курьеры, вышагивали, гордо подняв голову, верблюды с поклажей на горбах.

Столь внезапно поднявшаяся суматоха напугала жителей и породила многие толки. В народе стали поговаривать, что Емельян Пугачев, которого начальство всячески стремится опорочить, совсем даже не простой казак, а «другого состояния».

У костров, как только отвернутся капралы с понукалами, сходятся нос к носу люди.

– Ну, как, братухи, неужто это и впрямь Петр Третий к нам шествует? – раскуривая от уголька трубку, шепчет бородач с подбитым глазом.

– Он, он, – враз отзываются козы бородки, длинные носы, сутулые спины. – Самоглавнейше – он... Он, батюшка, жив-живехонек, из Питера-т скрыться успел...

– Вре-о-о...

– Правда-истина... – шамкает беззубый коренастый старичок, подвязанный по ушам пестреньким платочком. – У меня в землянке намеднись казак с его стану ночевал. Ну-к он все обсказывал, казак-от. У него, брат, войсков – уйма. И пушек сколь хошь... Попы навстречь выходят с образами...

– Я тебе дам, старый черт, попы! – выплывает из тьмы на свет костра капрал и трясет нагайкой. – Прразойдись!

Подобные разговоры который уж день носятся по городу, будоражат жителей. Начальству известно, что пугачевцы подослали в Оренбург своих головорезов-возмутителей, начальство из кожи лезет, чтоб поймать их, но они неуловимы.

Чтоб положить конец всяким вздорным кривотолкам, Рейнсдорп измыслил составить воззвание к жителям и огласить оную публикацию в воскресенье, 30 сентября, во всех семи церквах.

Каменный, с золотыми куполами, Введенский собор до отказа набит молящимися. После обедни на амвон вышел курчавый, губастый дьякон. Он положил на аналой бумагу, обвернул концом парчового ораря указательный перст, перекрестился и отверз уста:

Народ всколыхнулся, вытянул шеи, замер.

И вдруг из густой толпы молящихся резкий тенористый выкрик:

– Ври, дьякон, да не завирайся! Лицо у батюшки-царя чистое, почище, чем у тебя, дьякон, и ноздри целы! А как батюшка прикладывается к святым иконам, шапочку завсегда снимает... Эх, ты, брехало! А вы, миряне, принимайте батюшку без сумления. Он доподлинный царь!

Сначала все замерли, оцепенели, затем поднялась небывалая сумятица. Народ кричал, кто во что горазд, женщины испуганно взгайкивали и визжали, дьякон, выпучив глаза и потрясая публикацией, оглушительно взывал:

– Братия! Тихо, тихо...

Два лохматых стражника, врезавшись в толпу, волокли смелого пугачевца вон из церкви. Перед самым выходом, у паперти, стражников схватил народ, чернобородый пугачевец вымахнул на улицу, мигом вскочил на свою шустрю кобылку, и – только пыль взвилась. Имя пугачевца – яицкий казак Костицын.

Эта глупейшая губернаторская публикация, впоследствии оказавшая несравненную услугу Емельяну Пугачеву, наделала много неприятностей начальству. А Рейнсдорп, узнав о происшествии в соборе, едва не умер от «конгестии». Военный врач бросил ему кровь.

Директор таможни, тучный Обухов, злобствовал и на дурака губернатора, и на церковную оголтелую толпу. Его жена, невысокая блондинка с пышным бюстом, знакомая нам по губернаторскому балу и питавшая к Рейнсдорпу нежные чувства, будучи весьма религиозной, молилась в этот день в соборе. Она стояла в передних рядах, вблизи амвона, и, когда началось смятение, каким-то несчастным случаем угодила в костюмятку. Вернулась с богомолбствия весьма потисканной и без бриллиантовых сережек.

2

Итак, сказав на военном совещании: «В мой голова двадцать прожект самых оччень хитрых», – Иван Андреич Рейнсдорп начал их осуществлять.

Прожект с публикацией возымел на жителей действие отрицательное. Тем не менее приказом губернатора лживая публикация читалась и в войсках. Все воинские силы были размещены теперь вдоль оборонительной линии укреплений, разбитой на семь участков. К каждому из семидесяти орудий было приставлено по пяти человек прислуги.

Наступила очередь второму прожекту губернатора.

– Вот что, – сделав курносое лицо таинственным, сказал Рейнсдорп статскому советнику Тимашеву. – Я ночь и день думаю да думаю... Не есть ли, душенька, в ваша тюрьма этакий, этакий большуща злодей, разбойничка? У меня гениальный прожект, чтобы не сказать боле...

– Есть, ваше высокопревосходительство, – охотно и в то же время с удивлением ответил Тимашев, подумав: «Что за штучку хочет еще выкинуть милейший Иван Андреич?» – Этого добра хоть отбавляй.

– О! Отбавляй мне, душенька, какого-нибудь сукина кота, рвана ноздря.

– Да вот – Хлопуша, ваше высокопревосходительство, – сказал Тимашев. – Два раза в Сибири бежал, воровал и разбойничал в пределах Оренбургской губернии, четыре раза бит кнутом, ноздри рваные, на роже поставлены знаки. Он некогда и в моей вотчине работывал поденщиком, в сельце Никольском. А ныне оный каторжник Хлопуша содержится в нашем остроге, скованный по рукам, по ногам.

– О! О!.. Клопуша...

Через час перед губернатором стоял очень высокий, плечистый, сутулый, с изуродованным лицом человек в железных кандалах. Взлохмаченные волосы на голове и в бороде – цвета грязной мочалы, глаза белесые, холодные, на лбу и щеках клейма: «В.О.Р.». Нос повязан тряпицей.

– Здорово, Клопуш! – бодро поздоровался губернатор, с омерзением присматриваясь к человеку и в то же время радуясь в душе, что этот сильный отъявленный злодей лучше всех исполнит мудрейшее губернаторское поручение. – Ну, какафо, сукин кот, поживайте?

– Да срамно, ваше превосходительство, – глухо прогнусил Хлопуша. – Сырость, темень, жратво собачье... с тухлятинкой.

– Малядец, малядец, Клопуш, – кончики ушей и полные, отвисшие щеки Рейнсдорпа покраснелись. Он встал, сунул руки назад, под скошенные фалды кафтана, прошелся взад-вперед и, остановясь перед Хлопушей, крикнул:

– Ты свободна! Я тотчас прикажу снять с тебя эта... эта... цепочка. Ты свободна! В острог больше не ходить будешь... Полный свобода!

Хлопуша, гремя кандалами, повалился Рейнсдорпу в ноги.

– Батюшка... Отец, отец... – голос его сорвался: закованный в железо человек до самозабвенья любил волю.

– Встань, сукин кот Клопуш. Хочешь мне служить?

– Ой, батюшка, ой, ваше превосходительство! Да с полным моим усердием...

– Слюшай, знаешь ли ты про злодея Вильгельмьян Пугашов?

– Нет, батюшка, не слыхивал. Ведь я в остроге без выпуску сижу.

Тогда губернатор кратко рассказал о Пугачеве, похитившем имя покойного государя Петра Федорыча и угрожавшем нашествием со своей толпой на Оренбург.

– Ах, он змей! Ах, он варнак!.. – и Хлопуша, в припадке притворного усердия, затряс кулаками, зазвенел железами. – Прикажи, ваше превосходительство... Да я его... варначину! Убью и не крикну!.. Ах, он сволота несчастная!..

– Так-так-так, так-так-так, – как селезень, побрякивал губернатор, восхищенный горячей готовностью каторжника. – Слушай, Клопуш... Убить не надо. А ты его живенького... на веревочка, на цепочка, ату-ату. Схватывай и маленько тащи-тащи сюда. За сей подвига трехсот рублей получишь... Больше, больше! Пятьсот рублей. И полный оправдань... В капрал произведу! От государыни императрисс медаль получишь. Еще чего, еще чего... – облизывая губы, возбужденно тараторил губернатор и с победоносным видом бросал многозначительные взоры на сидевших за столом четырех начальников: дескать, учитесь, как нужно обращаться с простым людом, видите, видите – даже самый закоренелый преступник стал смирен, как овечка.

– Ты мне, батюшка, деньжат малую толику дай, ваше превосходительство... Да дозвожь перво к бабе моей сходить, она недалечко тут, в Берде.

– На, на, на, Клопуш... Вот тебе рубль, вот три, вот пять, вот десять рублей. Будет?

– Премного довольны вами, ваше превосходительство, – и Хлопуша, ужав деньги в огромную горсть, низко поклонился Рейнсдорпу.

– Момент!.. Бабочка твоя... как это, как это? – подарка... Адъютант! Але-але, – и, мотнув головой адъютанту, чтоб следовал за ним, он шустро пошел во внутренние покои.

– Комедия, – сказал негромко директор таможни, толстобрюхий Обухов, и, потащив за собою суконную скатерть, стал неуклюже вылезать из-за стола.

– Н-да, прожектец, – подмигнув, поднялся за ним начальник артиллерии Старов-Милюков.

Тимофеев и обер-комендант Валленштерн продолжали сидеть за столом, внимательно посматривая на страшного Хлопушу. Лицо преступника казалось неподвижным, но наблюдательный Валленштерн подметил, что его белесые глаза лукаво поблескивали, как бы насмехаясь и над губернатором, и над бывшими здесь господами. Непринужденно почесываясь, Хлопуша чувствовал себя великолепно, хотя ему не совсем еще верилось в незыблемость счастья, столь внезапно свалившегося на его отпетую голову. Два конвойных солдата, справа и слева от него, стояли с ружьями, не шелохнувшись.

– Клопуш, Клопуш! – ворвался чрезмерно возбужденный губернатор в сопровождении адъютанта, тащившего под мышкой кусок шерстяной ткани. – Вот это, мой миленький, твоя бабочка от меня подарок.

– Премного благодарны, ваше превосходительство, – и обрадованный Хлопуша во все лицо так широко заулыбался, что тряпица приподнялась, обнажив черный провал на месте носа.

Губернатор с брезгливостью отпрянул от него, уткнулся лицом в надушенный платок, затем велел адъютанту, чтоб тот передал Хлопуше четыре пакета.

– Тут, миленький Клопуш, указы о злодей Пугашов и увещательный письма к инсургентам. Один пакет отдавай яицким касакам, другой – илецким, третий – оренбургским, а четвертый – давай в ручки сам Вильгельмьян Пугашов. Всем будешь рассказывать, что он не государь есть, а беглый касак. Поньмайт?

– Понимаю, батюшка... Много довольны.

Хлопуша, чтоб не спутать, кому какой пакет вручить, рассовывал их по разным карманам,

погромыхая цепями и приговаривая: – Этот яйцким, этот ренбургским...

– Итак, Клопуш... Я и господа начальство, и весь народ станем дожидай тебя с Пугашов три-четыре дней.

– Уж поверь, батюшка, уж сполню!

– Господин адъютант, распорядитесь расковать Клопуш, дать ему полная свобода. Прощай, миленький сукин кот Клопуш, да сохраняйт тебя сам Господь Бог.

Хлопуша крякнул, поклонился и пошел, цепи загремели. Губернатор облегченно, всей грудью, сделал «уф-фу-фу» и для очистки воздуха приказал зажечь в комнате ароматные курительные «монашки».

– Ну-с, господа! – важно отставив ногу, затянутую в белый нитяный чулок, и выпятив брюшко, губернатор пытался придать своей особе осанку испытанного хитрейшего вельможи. – Убедились ли вы, что я кой-какой панимаю обращеньи простой народ?

– Убедились, ваше высокопревосходительство, – едва сдерживая улыбки, ответили начальники.

– Поздравляйт меня, господа. Я беру смелость предскажит, что сей инсurreкции я положу скорого конца. Я одержу громкий побед над злодеем без пушка, онэ зольдат, онэ крепость... А теперечко приступим, господа, военный совещаний. Генерал-майор Валленштерн! Ваш доклад...

3

Состояние духа Падурова было зыбкое. Его влекли боевые подвиги, но и татарка Фатьма не выходила из ума. За царским обедом она не показывалась. Шербет и свежий сотовый мед подавал Али. Падуров не досидел до конца пиршества, сказавшись больным.

Прогулялся по селению. Вдруг захотелось написать далекому товарищу. Толмач Идорка отвел его в избу своего знакомца, бедняка-татарина. Падуров вынул из сумки бумагу с походной чернильницей, стал писать:

Далее Падуров подробно описал свою первую встречу с государем, длительные беседы с ним, ход начавшихся военных действий, сочувствие народа, который все больше да больше прилепляется к «батюшке».

На конверте надписал:

Пришел молодой Али в безрукавном, алого сукна, зияяне. Глаза горят.

– Чего носа повесил? – насмешливо спросил он Падурова и положил руку на его плечо.

– Да так чего-то... Вот письмо написал приятелю в Россию, да как доставить – ума не приложу.

– Твой ум кудой, – захохотал Али. – Давай сюда, батька мой мало-мало в Москов ездить будет, оттудова в Питер.

Падуров с готовностью передал письмо и объяснил, куда и кому его доставить.

– Слушай, Али... – начал Падуров и остановился. Поднял на юношу глаза, сердце забилося. Спросил: – Твоя сестра Фатьма – девушка?

– Нет... вдов... Его хозяин туркам убит на война. Той неделя наша мулла казенный известье получил. Фатьма не плачет, Фатьма не любил его.

Сердце Падурова застучало еще сильней, к щекам кровь бросилась, он проговорил:

– Слушай, Али... На твоей сестре жениться хочу. Уж очень она, Али, по нраву мне прихлась.

Али снова захохотал, запрыгал на одной ноге и, явно шутя, сказал:

– Да она и так пойдет. Зачем жениться? Она велела тебе, пожалста, говорить: «Миленький мой, усатенькой».

Тогда Падуров вскочил, бросился обнимать Али.

Эта забубенная головушка – легкомысленный, но преданный Пугачеву оренбургский казак, когда попадал в боевую обстановку, всякий раз совершенно перерождался. Он тогда забывал свою оставшуюся в Оренбурге семью – жену и взрослого сына, забывал свой хорошо построенный дом и крепко налаженное хозяйство и, как отчаянный пловец, не имея твердой уверенности, переплывет он бурную реку или нет, безоглядно бросался в пучину походной жизни.

– Слушай, Али, хороший мой, да ведь отец твой не отпустит ко мне Фатьму-то? Ведь у вас закон очень строгий.

– Какой тебе дело – отец! Теперя другой виремя, видишь – какой виремя. Беспарадка... Новый царь-осударь пришла, новый закон давать будет. Кабы старый виремя, а то виремя сапсем другой. А я тоже... Я завтра адя-адя!.. С государем ухожу.

– А где государь?

– Бачка-осударь с молодой татарам на луг скакать бросился. Шибко якши скачет... Адя-адя! Прамо стрела, прамо ветер. Пожалста...

Быстро вошла в избу набеленная, насурмленная, вся сверкающая Фатьма. Сразу запахло цветами, степью, свежестью. Пораженный Падуров вскочил, замигал, не мог взять в толк, что ему делать.

4

По случаю приезда государя послеобеденное время Каргала проводила весело.

День был sereneкий, солнце то покажется, то надолго скроется в тоскливо ползущих облаках.

Блеклая степь, ярко разубранные кони, пыль. На невысоком взлобке разбита палатка из белой киргизской кошмы. Возле палатки два знамени, двое часовых: в открытой палатке – государь.

По склону взлобка и внизу – огромная толпа празднично одетых каргалинцев. Татары в длинных ситцевых, ниже колен, рубахах, в безрукавных зиянках, в цветных полосатых халатах, в голубых шабурах и бешметах, на чисто выбритых головах расшитые шелком тюбетейки. Мулла и хаджи – то есть правоверные, побывавшие в Мекке, – в белоснежных чалмах.

Женщины – в широчайших, с нагрудниками, рубахах, в разноцветных шароварах, в зиянках или ярких халатах; на головах накинута покрывала, а то надеты шелковые, униженные монетами колпачки.

Выхолненные кони стоят в стороне. Гривы заплетены, как у девок, в косы. В гривах ленты. Хвосты расчесаны. Молодые джигиты, поблескивая глазами и раздувая ноздри, держат коней под уздцы.

Крепкий чалый конь Пугачева привязан возле палатки. На нем отделанное чеканным серебром бухарское седло – подарок старика-хозяина, где остановился Пугачев, хаджи Забира Сулейманова.

– Еге-гей! Идут! Адя-адя! – закричали в толпище, и все устремили взоры на быстро приближавшееся облако пыли.

Это мчатся на конях-птицах лихие наездники, взявшие двенадцативерстовой круг по степи.

Вот скачет-скачет первый всадник, гикает, бьет коня плетью. За ним – другой, третий. И прямо – к флагу, поставленному против палатки. У флага – судьи. Взмыленные лошади широко поводят боками, дрожат, белая пена комками падает с губ на землю.

От великой толпищи, как от моря волна, оторвалась ватага любопытных.

– Валла-билла!.. Ура-а! – и ринулась к флагу. За ними – свора веселых собак.

Остальные семнадцать всадников далеко отстали. Но и они показались – снова бегущее облако пыли, снова топот, взмах плеток, гиканье.

Пугачев подал знак платком. Три победителя, отерев пот с бронзовых лиц и подхватив друг друга под локти, спешат к государю. Валяются ему в ноги, встают, целуют руку.

– Благодарствую. Молодцы, джигиты! – сказал Пугачев и каждому дал по три рубля серебром.

– Спасибо, бачка-осударь, – широко улыбаются джигиты бронзовыми лицами, черными глазами, белыми зубами. – Бири нас себе-себе... Вуйна будим вувать.

– Идите, детушки, под мою царскую руку и других с собой зовите.

Затем затеялись скачки. Были поставлены высокие, в рост человека, заслоны из речных камышей. Молодые джигиты вскочили на свежих холеных коней.

Один за другим кони-птицы понесли седоков на приступ. Надо было перескочить четыре заслона. И никто не мог этого сделать. Лишь один Али сумел взять три заслона, а четвертый все-таки сшиб.

Но вот неожиданно вырвалась вперед и понеслась, как из лука стрела, черноокая Фатьма. Пораженные зрелищем мулла и хаджи в белоснежных чалмах и вся толпа сердито закричали:

– Ой, ой... Баба!.. Закон рушит... Валла-билла!.. На что похоже!..

Конь Фатьмы черный, долгогривый. Фатьма – в белом казакине, в красных шароварах, в парчовой шапочке с собольей оторочкой.

Пугачев нетерпеливо поднялся с кресла, приложил к глазам руку козырьком, чтоб лучше видеть.

Легкий конь Фатьмы, отшвыривая копытами пространство, взвился раз, взвился два, взвился три – взятые заслоны остались сзади.

И вдруг, когда конь татарки летел, подобно пуле, из-за четвертого заслона с лаем кинулась под ноги коня огромная, как волк, собака. Пугливый конь на всем скаку резко метнулся в сторону, потерял равновесие и с маху брякнулся на спину, четырьмя копытами вверх.

– Фатьма! – вскричал Падуров и проворно скатился с седла на луговину. Он подхватил тяжело подымавшуюся красавицу и поставил ее на ноги.

– Нишяво, ладно, миленький Падур... Маленько нога.

И, не успели опомниться, – под ликующий рев толпы сам царь скакал на приступ. Он вытянул губы, подобрал щеки, всем корпусом подался вперед – и дал коню волю. Конь взвился раз, взвился два, взвился три... Гиканье, плетка, коню пятками в бок, и – все осталось позади.

– Урла! Урла!.. – сотрясая вольный воздух, загромыхала степь.

Царь-победитель повернул коня и, подъехав к народу и к судьям, сказал прерывистым голосом:

– А нут-ка... Подымите-ка камыши на пол-аршинчика кверху... на кнутовище.

Судьи защелкали языками, затрясли широкими лбами:

– Уююй, бачка-осударь, бульно высоко... Кудой дела... Конь, поди, не шайтан... Да и сам ты, бачка-осударь...

– Государю подобает высоко взлетать. Давай.

Пугачев отъехал сажень на двести. Разгоряченному коню не стоялось: то выплясывал, поводя ушами, то выделывал курбеты. Пугачев огладил коня, пошлепал по его вспотевшей шее, нахлобучил шапку и, нагнувшись к луке, вихрем ринулся вперед.

Вся степь замерла, только стальные копыта размеренно били то в землю, то в воздух да селезенка играла в широкой утробе коня. Степь закачалась, звон в ушах, ветер, сердце стучит, грудь перестала дышать, искры в глазах, взлет, взлет, взлет, еще последний страшный – над высоко приподнятой преградой, и – ровный, ровный бег в славу, и ликующий гомон толпы.

Вот бачку-царя усадили в кресло, несут в кресле на руках. Бубны, дудки, свистульки. Песня.

Надвинулся вечер. За вечером упала на землю беззвездная темная ночь.

Этой же ночью Хлопуша двинулся на поиски Емельяна Пугачева.

Он успел побывать в Берде у бабы с сыном, попарился в бане. И вот идет сквозь тьму, как сквозь путаный сон. Сон это или явь? Воля, паспорт, деньги! Не брякают больше кандалы, натруженные цепями ноги тоскливо ноют. Ну и наплевать, пусть ноют, нужно поторапливаться – губернатор дал сроку всего три-четыре дня. Дак как бы еще губернатор на попятную не сыграл, с них, с окаянных, станется. «А ну, скажет, к лешему в ноздрю этого Клопуш... Взять его, сукина кота, схватить в Берде у бабы, да сызнава на цепь». Емко шагая по ровной степной дороге и представив себе дурашливого губернатора, Хлопуша даже улыбнулся. А все-таки хорошо, что он в ночь ушел, – теперь лови ветра в поле!

Перед утром его сморило. Он подался влево от дороги, прилег в кустах. А поутру, уже солнце встало, унюхала его набеглая собака, облаяла. Он присел и взглянул на собаку по-свирепому. Та сроду не видала такого странного безносого лица, таких белых выпученных глаз... Испугалась, заполошно тявкнула и, оцетинив шерсть на хребте, отскочила прочь.

– Что за человек? – вдруг подлетел к Хлопуше разъезд казаков. – Паспорт есть?

– Нетути.

– Хватай его! Это каторжник, безносый... с клеймами...

– Ну нет, молодчики... Меня не вдруг-то схватишь, – гнусавым басом спокойно сказал Хлопуша и обмотал нос тряпкой.

– Ты кто таков? От Пугача подсланец, чи к нему бежишь? Признавайся!

– К нему бегу, молодчики. Это верно... По указу самого губернатора. Вот и грамотка, ежели маракуете читать, – и он подал пожилому конопатому казаку бумагу.

Тот, глядя в бумагу, долго шевелил губами, затем, сказав: «Чудеса, да и только», – прочел вслух:

– «Всем заставам, пикетам, секретам и разъездам предьявителю сего свидетельства ссыльнокаторжному Хлопуше, он же Соколов, чинить беспрепятственный пропуск. Обер-комендант генерал-майор Валленштерн».

– В которой стороне Пугач? – спросил с важностью Хлопуша, обратно принимая бумагу.

– А кто его знает, – сказал старший. – Слых есть, что злодей с-под Татищевой к Каргале путь взял.

Хлопуше не хотелось больше оставаться с казачишками, он сказал: «Прощевайте» – взял котомку и пошел. Отойдя с версту, сел у ручейка, подкрепился вяленой рыбой с хлебом – и дальше в путь.

Поздно вечером каргалинские угожья начались. А он все шел, все шел. И уже в потемках соткнулся нос к носу со знакомым бердянским кузнецом из казацких детей, Сидором. Разговорились. На вопрос Хлопуши, где найти Пугачева, кузнец ответил:

– Государь стоит с войском на старице реки Сакмары, на самом берегу.

– Какой государь, – перебил его Хлопуша, – я про Пугача спрашиваю...

– Для кого Пугач, для кого и царь. Ты к нему, как к царю, подходи, а не то...

– Как подойти, знаю, – прогнусил Хлопуша.

– А чтоб тебе приметно было, увидишь там повешенных трех человек...

– О-о-о, – протянул Хлопуша. – Это пошто же их?

– Подсланы будто бы от Рейнсдорпа были.

Хлопуша засипел, закашлялся.

Глава X

«Все мы гулящие, Ненилушка». Пугачев окинул оборванца суровым взглядом. Заветное письмо. На Оренбург!

1

А в ночь на 2 октября в Сакмарский городок приехали несколько казаков с Максимом Шигаевым и Петром Митрясовым. Им нужно было подготовить жителей к приему государя.

На следующее утро была устроена в версте от города встреча. Пугачев подъехал со всем войском, поздоровался с народом, слез с коня, приложился к кресту, поцеловал хлеб-соль и сел на стул. Он был не в духе. Еще вчера Шигаев доложил ему, что строевые казаки, по требованию губернатора, ушли из Сакмарского городка вместе с атаманом в Оренбург.

– Где у вас казаки? – обратился он к народу.

– В Оренбург забраны, ваше величество. А кои на службе, – стали отвечать из толпы. – Да еще двадцать человек оставил атаман для почтовой гоньбы, только и тех-то нету тутотка.

– Сыскать! Всех сыскать! Не сыщете – только и жить будете. Поп! Тебя атаманом в этой местности ставлю.

Священник упал Пугачеву в ноги:

– Помилуй, батюшка. Какой я атаман?!

– Ладно. Не хуже будешь того, кой убежал к Рейнсдорпу.

Пугачев удалился в лагерь.

– Вот, ваше величество, – доложили ему там. – Трех подосланцев наши разъезды пымали: из Оренбурга они.

– Повесить! – крикнул Пугачев. – Бурьян в поле – рви без милости!..

Страховидный Иван Бурнов пошел делать свое дело.

К Пугачеву, сняв шапку, приблизился, в сопровождении Давилина, казак Костицын.

– Дозволь, надежа-государь, слово молвить. (Пугачев кивнул головой.) Был я, батюшка, в соборе, в Оренбурге... И слышал, как дьякон всему народу губернаторскую дурнинушку вычитывал...

Костицын подробно рассказал о происшествии в соборе, о том, какие в городе ходят толки, и, вынув из кармана, подал Пугачеву печатную публикацию Рейнсдорпа.

– А это, ваше величество, я в торговых рядах со стены содрал. Вот по такой гумаге дьякон-то и вычитывал.

Пугачев, прищутив правый глаз, воззрился в бумагу, зашевелил губами. Шрифт публикации был крупный, содержание короткое; Пугачев, хотя и с большим трудом, все-таки осилил кое-что из

напечатанного, сказал Давилину:

– Пускай секретарь сюда прибежит. Да пригласи-ка ко мне всех атаманов с полковниками да есаулами. Да и казаков скличь! – Костицыну он подал три рубля. – А это вот за верную службу прими. И впредь служи тако. Ступай.

Когда собрались все в круг, Иван Почиталин, по приказу Пугачева, громко стал читать публикацию. Пугачев внимательно присматривался к выражению лиц собравшихся казаков. Вдруг все заулыбались, затем захохотали. Пугачев, тоже усмехаясь, во весь рост поднялся, снял шапку, сказал:

– Вот я и шапку снял... Смотрите! А губернатор, наглец, пишет, что никогда я шапки не снимаю, боюсь воровские знаки показать. Зрите сами: знаков на мне нет, лицо чистое, ноздри целы. Ах, злодей, злодей... То я беглый казак Пугачев, то ноздри у меня рваные! Вот как всего оболгал меня Рейнсдорп, дай Бог ему... Ах, изменник!

– А вы, ваше величество, начхайте на него! – тряхнув бородой, воскликнул Андрей Овчинников. – Вишь, он зря ума какую хреновину нагородил: Богу на грех, людям на смех!

– Ему, губернатору-то, с горы видней, – как всегда, с ужимками, двусмысленно бросил Митька Лысов.

– Я вас, ваше величество, еще в молодых годках видывал, – вкрадчиво проговорил, кланяясь, старик Витошнов. – Как в то время вы любили правым глазком подмаргивать, а передние зубки у вас были со щербинкой, также и ныне мы зрим в вас.

На глазах Пугачева появились слезы. Он тронул языком пустоту, где когда-то был зуб, и сказал:

– Слышали, господа атаманы, что верный мой полковник Витошнов говорит?

– Надежа-государь! – громко закричали все, а всех громче неистово выкрикивал Иван Зарубин-Чика. – Умрем за тебя, за государя своего! Все чинно разошлись. Сутулый, кривоплечий Митька Лысов, вышагивая, что-то бурмотал себе под нос, разводил руками, крутил головой, хихикал.

Час был поздний. Горели костры. Ветер дул. По небу волоклись хмурые тучи. Обмелевшая Сакмара брюзжала, взмыривая на шиверах и перекатах.

У царской палатки – или, по-татарски, кибитки – стояла краснощекая Ненила. Скрестив руки на груди и засунув ладони под мышки, она поджидала государя. Печальная Харлова лежала в соседней кибитке за пологом. Быстрым шагом, как всегда, приблизился к Нениле Пугачев. Она развязала на нем кушак, пособила снять кафтан, взяла шапку, велела присесть на камень, стала стаскивать сапоги. Он упирался руками в ее мясистые плечи. Она сказала:

– Ужин сготовила... Кумысу да меду каргалинские татары привезли. А Лидия Федоровна все плачет да плачет. Поди, надежа, распотешь ее.

– А парнишка где?

– А ейный парнишка, Колька, в моей кибитке, эвот-эвот рядышком.

– Ты, слышь, и ему пожрать дай, Ненилушка.

Давилин расставлял часовых вблизи кибитки Пугачева.

– И так кормлю. А ты, батюшка, хошь бы покойников-то приказал убрать, – кивнула она головой на трех висевших неподалеку губернаторских шпионов. – Страх берет. Как и спать стану.

– А ты Ермилку либо Ваньку Бурнова положи к себе, – шутил Пугачев.

– Тоже молвишь, батюшка, – обиделась Ненила. – Я, поди, не курвина дочь, не гулящая какая...

– Эх, все мы гулящие, Ненилушка, – вздохнул Пугачев, взял зажженный фонарь и вошел в палатку.

Рано утром, едва солнце встало, он был уже на ногах. Он поехал поздороваться с каргалинскими татарами, пятисотенный боевой отряд которых вместе с Падуровым, Али и Фатьмой прибыл ночью в лагерь.

Пугачев был бодр, радостен. Шутка ли – полтысячи таких удалых всадников влились в его молодую рать. Да еще сотня сакмарских казаков подросла.

Падуров, сняв шапку, сказал ему:

– Прошу разрешения вашего величества татарке Фатьме жить при мне.

Глаза Падурова то улыбались, то страшились.

– Ладно, так и быть, – подумав и нахмурившись, сказал Пугачев. – Эх ты, бабник...

– Она не баба – она воин, ваше величество.

– Хорош воин, с коня вверх тормашками сверзилась, – ухмыльнулся Пугачев, вспомнив скачки на празднике.

В полдня татары устроили состязание с яицкими казаками в бегах и борьбе.

Пугачев остался у своей палатки вдвоем с Шигаевым. Неспешно прохаживались между палаткой и берегом реки, где под ветерком покачивались на виселице трупы. Говорили о делах, о том, что надо-де приводить армию в порядок: число людей подходит к трем тысячам, и двадцать добрых пушек есть – пора, мол, на полки народ делить да покрепче дисциплину заводить. Пожалуй, время и под Оренбург подступ сделать, и так сколько времени зря промешкали.

– Да еще, ваше величество, доложить хочу: ночью мои ребята схватили высмотреня. Казачишка молоденький. Я его вздернуть приказал. – Они подошли к самой бровке высокого берега и повернулись, чтоб идти обратно. Внизу, под обрывом, слышались шумные шорохи: галька шуршала, потрескивали ветки кустов. «Козлы либо овцы скачут», – подумал Шигаев. – Подослан был оный сыщик губернатором Рейнсдорпом, чтобы пушки наши заклепать да промеж казаков мутню вчинить, – продолжал он вслух. – Да надобно и вам, батюшка, остерегаться одному-то гулять. Береженого Бог бережет...

И тут, не пройдя от берега и пяти шагов, вдруг, как по команде, будто им в спину ударил кто-то, оба быстро обернулись.

На них, словно из-под земли выпрыгнув, тяжело шагал высокий сутулый человек с завязанным носом, в косматой шапке, он исподлобья глядел в их лица разбойными глазами.

– Стой! Башку ссеку! – вне себя вскричал Шигаев и выхватил саблю.

– Брось, – прохрипел верзила. – Ты косарем-то не больно маши. Я стреляный и рубленый! – Серdito взглянув на Пугачева неприятными, белесыми, как оловянные шары, глазами, верзила спросил его гнусавым голосом: – А где тут у вас самозванный царь? У меня нуждица до него...

– Пошто он тебе? Какая еще нуждица? – перебил его Пугачев, одетый в простой казачий чекмень.

– А уж это не твоего ума дело, – переступил с ноги на ногу верзила.

И едва успел он рот раскрыть, как три рыжих казака, выскочив из-под ярового берега, разом сшибли его с ног.

Тяжело подымаясь с земли, он поливал сваливших его казаков отборной руганью и с неприязнью косился на Шигаева.

– Ой, батюшки-светы! – вдруг вскричал Шигаев. – Хлопуша, да неужто это ты?

– Я самый, – задышливо проговорил Хлопуша; в груди его хрипело. – А это ты, никак! Здравствуй, Максим Григорьич.

Пугачев с ног до головы окинул оборванца суровым взглядом и насупил брови.

– Ты что за человек? Откуда? – спросил Пугачев.

– Да вот он знает меня, кто я таков, – ответил Хлопуша и тряхнул локтями, желая освободиться от крепких казачьих рук, державших его.

– Ваше величество, это – Хлопуша, я его знаю. Он человек бедный, порядочный. Мы с ним вместе в оренбургском остроге сидели. Я, ваше величество, осужден был по казачьему бунту, – сказал Шигаев, сняв шапку и покашливая. – Ребята, не держите его.

Хлопуша, поняв, что перед ним сам Пугачев, тоже стащил с головы шапку, кой-как кивнул ему и, ухмыляясь в бороду, сказал:

– К тебе я.

– По какому делу? Служить мне хочешь аль убить подослан?

Хлопуша молчал. Он стоял теперь в окружении набежавших казаков. Они не спускали глаз с широкоплечего детины.

– Отвечай, – строго повторил Пугачев. – Кем подослан? По какому делу?

– А вот по какому, – ответил Хлопуша, беспокойно моргая глазами, и, порывшись за пазухой, вытащил четыре пакета. – Один тебе, а три казакам велено. Сам губернатор приказал. Только перепутал я их... Да уж бери все, мне не жалко! – Прикрякнув, он протянул пакеты Пугачеву.

Пугачев повертел их перед глазами и, не распечатывая, велел отнести к себе в палатку.

В это время из-за бугра вымахнул всадник. Остановившись, он обернул коня назад, кому-то замахал шапкой и закричал пронзительно и тонко:

– Али-ля!.. Здеся бачка-осударь? Адя-адя!..

И вот перед Пугачевым – нанизанные на общий аркан четыре связанных по рукам человека. Их поймали на дороге каргалинские татары. Пугачев стоял в окружении приближенных. Он спросил пленников:

– Кто вы такие?

Тогда все четверо повалились на колени.

Старик Пустобаев, сдерживая гулкий бас, в волнении проговорил:

– А послал нас, твое царское здоровье, наш полковник Симонов из Яицкой крепости в Оренбург с бумагами. Вот и бумаги... Уж не прогневайся, – и огромный старик достал из сумки большой пакет.

– Поди прими, – приказал Пугачев сержанту Николаеву.

Сержанта бросило в испарину. Он хорошо знал этого услужливого старика, и молодому человеку вдруг стало до боли стыдно взглянуть в глаза его. Он подскочил к нему и быстро выхватил из его рук бумагу.

– Знаешь ли ты, дед, кто перед тобой стоит? – спросил Пугачев и подбоченился.

Долгобородый, богатырски сложенный Пустобаев взглянул на Пугачева мутными, будто пьяными,

глазами и громогласно сказал:

– А откуда ж мне было знать-то, батюшка?.. Мы люди подначальные. А начальство нам все уши прожужжало: Пугачев да Пугачев...

– Совести в тебе нет, старик, – сказал Пугачев. – Начальству веришь, а народу, что за царем идет, не веришь.

– А вот теперича я, хошь и стар, а вижу: как есть государь ты, ваше величество... Я, пожалуй, в согласье... того... послужить тебе.

– Пошто же ты раньше вольной волей не пришел к моему царскому имени? Ведь ты только тогда пришел и царем признал меня, когда на аркане тебя привели...

– Винюсь, батюшка... Маху дал, – сказал старик, и большая борода его затряслась.

– Ну, так повесить всех четырех, – приказал Пугачев. – Пускай восчувствуют, как мимо меня в Оренбург гулять. Вздернуть!

Шигаев и другие степенные яицкие казаки стали упрашивать Пугачева помиловать старика Пустобаева и молодого мальчишку, яицкого казака Мизинова.

– Пустобаев, ваше величество, невзирая, что стар, а начальство чинами не жалует его, по сей день в рядовых он, – сказал Шигаев, помахивая ладонью по своей надвое расчесанной бороде. – Как бунт был, старик-то войсковую нашу руку держал.

– Помилуй, батюшка! – гаркнул Пустобаев и пристукнул себя кулачищем в грудь. – Служить буду верою-правдою!

От его трубного голоса у Пугачева зазвенело в ушах. И все ласково воззрились на поднявшегося огромного, как матерый медведь, деда. Сердитые глаза Пугачева улыбнулись.

– А тебе, малец, столькой год? – спросил он Мизинова.

– Это мне-та? – со страху кривя рот и подергиваясь, проговорил Мизинов. – Мне в Покров семнадцать сполнилось. Лета мои не вышли еще, а вот Симонов... это самое... как его... забрал меня в казаки.

– Ну, ладно, молодой ты. С тебя и взыску нет. Живи! И ты, старик, здоров будь. Идите с Богом. Николаев, проводи их. Накормить, напоить вдосыт! И коней вернуть. Ну да уж и вас двоих милую. Идите все четверо. А где этот... ноздри рваны у которого?

– Я здесь-ка, – нехотя выдвинулся из толпы Хлопуша. Он возвышался над всеми на целую голову.

– Взять его под караул. Опосля сам вызову его. Покрепче подумай, с каким умыслом шел ко мне, – обернулся к Хлопуше Пугачев. – Не оправдаешься – не взыщи, только ты и свету видел. Почитайлин! Пойдем-ка разберемся в бумагах, что от Рейнсдорпа с ним присланы.

2

Юный, голубоглазый, похожий на девушку Мизинов, как только услышал себе помилование, враз залился обильными слезами.

– Что, дурачок, воешь? – гукает старик Пустобаев. – Радоваться должен.

– Я и то радуюсь, – хлюпает Мизинов, и уже облегчающий смех охватил его. – Ой, да и напужался я... Вот страх, вот страх-то...

Пустобаев вышептывал шагавшему рядом с ним сержанту Николаеву:

– Да, Митрий Павлыч, а мы все думали, что тебя в живых нетути. Барышня Дарья Кузьминишна извелась вся по тебе... Стой-ка, стой-ка, – старик порылся за пазухой и, вытащив, передал Николаеву маленький за печатью пакет. – Не дозрили, не отобрали.

Николаев вглядывался в письмо, в ласковые любезные сердцу девичьи слова. Руки его дрожали, и дрожал в них голубой бумажный листок.

Они подошли к шалашу из соломы и веток, жилищу Николаева. Сели. Дед, ухмыляясь, подшучивал над Мизиновым. Сержант Николаев читал:

«Ненаглядный мой Митенька! Ежели тебя захватили в полон, беги скорей домой, всякие способа выискивай, чтобы убежать от разбойника. Да сохрани Господи и Царица Небесная жизнь твою! Ты, Митенька, не верь никому, что он царь, он великой государыни нашей сущий супротивник...»

Тут строки заскакали в глазах сержанта Николаева, сердце заныло, в груди стало тесно, не хватало воздуха. «Подлец, подлец я... Изменник. Бежать! Куда бежать? Поздно... Милая Дашенька, несчастная моя Дашенька».

– Чего ты мотаешься-то, Митрий Павлыч! Чего ты побелел-то? – Старик выволок из широких штанов посудину с сивухой и подал ее потерявшему себя Николаеву. – Ну-ка, братцы, зелено! Не прокисло бы оно!..

Сержант с торопливой жадностью проглотил добрую порцию противного теплого пойла. Перед его глазами дробились, скакали черные каракульки:

«Устинья Кузнечиха обещает съездить в стан злодея, укланять его, чтоб отпустил тебя. Поначалу мы рассорились с ней, после помирились. Она девка хоть и норовистая, а добрая. И меня подбивает ехать. Говорит, что царь милостив до нее и твоего суженого, говорит, беспременно отпустит. А я ее ругаю, дуру... Какой он царь! Ты, драгоценный Митенька...»

– А вот они где, – и перед компанией появился сутулый, покашливающий Шигаев.

Дед, запрокинув вверх бородатую голову, тянул из штофа зелье. С трудом оторвав губы от бутылки, он крякнул, плюнул и трогательно проговорил:

– Ну, Максим Григорьич, батюшка, уж и в соображение не возьму, как и возблагодарить тебя... Спасибо тебе, милостивец! Кабы не ты, смерть бы нам с мальцом...

И они оба с вихрастым юнцом Мизиновым низко поклонились Шигаеву. Тот подсел к ним на луговину, сказал, похлопывая деда по крутому плечу:

– Ты, Пустобаев, не сомневайся в государе-то. Он доподлинный! Завтречко тебе с Мизиновым присягу учиним.

– А я в отпор и не иду, Максим Григорьич. Мне кому не служить, так служить.

– Ты этак-то не брякай, старик, – вразумительно сказал Шигаев. – Одно дело народу, царю его служить, другое дело тем, кто народ в тоске держит, в порабощении.

– Оно точно, – вздохнул старик и опасливо огляделся по сторонам. – А по правде-то тебе сказать, Максим Григорьич, уж ты прости меня, дурака старого... Сдается мне, не затмил ли сатана ваши очи погубления ради? Как бы в подлецах не остаться, Максим Григорьич. Присягу-то всемилостивой государыне рушить – душа дрожит. Ведь меня скоро и на тот свет позовут. Каково-то мне будет там перед Господом глазищами-то хлопать да ответ держать. Господь-батюшка скажет: «Что ж ты, Пустобаев, под конец часу своего-то проштрафился? Нешто не толковали тебе рабы мои – полковник Симонов да генерал Рейнсдорп, – что Петр Федорович давно помре? Эй, скажет, ангелы-архангелы, покличьте-ка сюда душу усопшего Петра Федорыча!..»

Умный Шигаев, закусив бороду, с улыбкой покашивался на захмелевшего старого казака.

– И вот, войдет усопший Петр Федорыч, а на головушке-то его – мученический злат-венец. И велит ему Господь Бог: «А ну, скажет, избличи-ка, усопший Петр Федорыч, казака Пустобаева, что за раз две присяги рушил: и тебе, и благоверной супруге твоей Екатерине Алексеевне». – «Господи, – скажет тогда Петр Федорыч, – он, старый хрен, весь пред тобой, нечего и обличать его. Раз он, пьяный дурак, вору Пугачеву присягнул, сажай его скорее в котлы кипучие».

– Стой, старик, – прервал его улыбавшийся Шигаев.

А юный казачок Мизинов, слыша такую речь старого казака, всхлипнул, отвернулся и, крадучись, снова облился слезами.

– А ты вот что в оправданье Богу-то скажи, – проговорил Шигаев, ласково заглядывая в угрюмые глаза Пустобаева. – Господи, скажи, престол твой предвечный столь высоко над землею вознесен, что тебе, Господи, и не видно, как великие дворяне да архиереи обманывают тебя. Ведь они Петра Федорыча-то насильно с престола сверзили да живота лишить хотели, только люди добрые пособили бежать ему да в народе укрыться. Он промежду народа двенадцать лет скрывался, всякое горе людское выведал, а как невмочь стало ему человеческие страдания выносить, он, батюшка, и объявился. И я, мол, Господи, вторично присягнул ему. Да и еще скажи Богу-то: ведь ты и сам, Господи Христе, во образе человека бедного такожде по земле ходил, такожде визнавал, какую маяту простой люд терпит. Не ты ли, Господи Христе, молвил: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Вот, Пустобаев, как надо Господу-то отвечать.

Пустобаев сидел, сгорбившись, упорно глядел в землю, думал. Наконец сказал:

– Одно дело – Царь Небесный во образе простого человека, другое дело – простой человек во образе царя. Ты, брат Максим Григорьич, писанием церковным не собьешь меня. Хоша я и темный, а в писании-то со слыха не хуже другого прочего кумекаю. Ежели я уверю, что он царь, а не прибудыш, присягну, а ежели...

– Как знаешь, – сразу охладев, проговорил Шигаев, поднялся и пошел прочь. – Думай, старик.

Во многих местах горели костры, разбившееся на кучки войско готовило себе обед. Кой-где у костров, подоткнув подола и засучив рукава, стряпали молодые и пожилые женщины: это каргалинские татарки и сакмарские казачки, провожавшие своих мужей и сыновей в поход. Вдоль берега Сакмары стояли на лафетах в два ряда восемнадцать пушек и два единорога, возле них – вооруженные артиллеристы, канониры. Тут же разбита палатка начальника артиллерии Чумакова. В укромном месте, вдали от костров,

на возах – ядра, гранаты, порох в картузах. Строгий казачий караул никого сюда не допускает. Возле палатки войскового начальника, атамана Андрея Овчинникова, говорливая кучка молодых казаков заготавливает походные хорунки (знамена). Две казачки – одна рябая и брюхатая, другая скуластая и тонкая, как жердь, – напевая песни, проворно, без усталости работают иголками: на широкие цветные полотнища знамен нашивают кресты, вензеля, изображающие , и короны.

Стан раскинулся на версту. Дымочки тянутся к нему, слышен крикливый говор, песня, хохот. Вдали кони пасутся. Их сторожат казаки и приставшие к войску псы. Тощий пес с обвисшим задом лечится какой-то одному ему ведомой травой: сорвет стебелек, пожует, проглотит. По зеленой пойме реки жирует стадо войсковых овец.

Губастый горнист Ермилка поймал в реке двух небольших черепах и несет их в подарок – одну Нениле, другую барыньке Харловой.

Мальчик Коля прибежал в палатку к сестре.

– А ты, Лидка, все плачешь? – говорит он ей, поднимая брови и взвизгивая. – Ну, что ж такое... Эка штука... Меня Ермилка на коне катал. Вмах-вах!..

Лидия сквозь слезы улыбается. Круглолицая, побледневшая, с темными кругами возле глаз, она стала еще красивее, оттенок горести и страдания придал еще больше прелести простым, милым чертам ее лица. Она нагружает карманы брата леденцами, пряниками, дает вина ему.

Коля с жадностью пьет, прикрывая, как взрослый, просит еще. Душа его тоже скорбит безмерно: о чем бы он ни думал, ему все время мерещатся покойные отец, мать... Иногда среди ночи он отрывает голову от подушек и через тьму взывает к матери: «Мама... Мамусинька моя!..» Но тьма молчит. Коля похудел, поблек, кисти его рук стали как бы восковыми. Притворяясь веселым, он высвистывает песенку, говорит:

– Ермилка на трубе меня обещался выучить. Вчера он играл, а мы с Ненилой плясали... А чего мне горевать-то? Мне тут по нраву жить... Любопытно... И черепахи есть.

Он говорит быстро, взалел, и чувствует, что сестра не верит его веселости. Коля затихает. Резко отвернувшись от сестры, он старается остановить подрагивающий подбородок и успокоить плаксивую гримасу на лице... Вот он овладел собой, улыбнулся. Ласково он смотрит на сестру и снова быстро-быстро говорит:

– А ты, Лидка, не больно-то... Ты не ссорься с ним, не лайся. Ты не серди Пугача-то... Эко дело... Наплевать!.. И Ненила говорит... Зря, говорит, она рыло воротит в сторону. Это про тебя-то. И вправду, Лидочка, миленькая... Нас с тобой защитить некому! Батеньки нету, маменьки нету. Мы одни здесь...

Лидия схватила брата в охапку, усадила на кровать с пуховыми перинами, и оба они, прижавшись друг к другу, заплакали.

– Ли-ли-лидочка, – хлюпал мальчик, целуя сестру в мокрые глаза. – А что, ежели я Падурова упрошу... чтобы он у-у-укра-укра-укра тебя... Вскочили бы мы на три коня, да прямо в-в-в Оренбург... А там бы он женился на тебе... Вот бы... Вот бы!..

Вдруг раздалось вблизи: «Ура-а, ура!.. Гайда!» Мальчик опрометью выскочил из палатки и побежал к себе.

Земля задрожала, всадники примчались: Пугачев, красный, возбужденный, быстро вошел в палатку Харловой.

– Ну что, Лидия Федоровна? Опять вся в тучах да в непогодушке, – он строго, но улыбочиво взглянул на

поднявшую женщину и бросил в угол саблю. – Все плачешь?.. Эх, глуха ты, как ноченька! Не дожидаться, видно, мне зари твоей... Эй, кто там? Тащи сюда испить чего... Кумыску, что ли, да покрепче!..

3

Сержант Николаев ушел от Пустобаева в кусты, сидел в укрытии, вновь и вновь перечитывал Дашино письмо. Вдруг ветви зашуршали, сержант суетливо сунул письмо в карман.

– А, барчук, влопался? – захохотал выросший пред ним Митька Лысов. Сутулый, небольшой, брюхатенький, личико треугольником, лисьи глаза ядовито прищурены. – Так-так-так... А ведь я знаю, сволочь ты этакая, ведь ты стрекача хочешь задать, да прямо к Рейнсдорпу; о-так, о-так, ваше превосходительство, у Пугача, у кровопивца, войска три тысячи, сто пушек, и все такое...

– Чего ты зря ума плетешь, Лысов?

– А-а-а, не по носу табак? Да меня, брат, не проведешь! Ведь ты батюшку-то и верно за Пугача считаешь. Хоть и втерся к нему, сволочь этакая, а...

– Как смеешь меня, сержанта, сволочить?!

– Ха! Сержант... Ты сержант, а я полковник... Встать, паскуда дворянская, раз с тобой полковник говорит! – и подвыпивший Лысов выхватил саблю.

Николаев вскочил на ноги.

– Напрасно вы, господин полковник, обижаете меня, – со злобной дрожью в голосе сказал сержант. – Я не втирался к государю, а он сам меня завсегда зовет. Вот и присягу писать велел. Я государю рад стараться...

– И без тебя старателей сколь хошь... А вот ты, дворянчик, ластишься к Пугачу... то бишь, к государю, и нас, простых людишек, не дворянского роду, оттираешь от пресветлых его очей... Сма-а-атри, брат! – и Лысов, перекосив рот, погрозил сержанту пальцем. – А ну-ка, вывертывай карманы, сволочь! – Митька Лысов шагнул к переставшему дышать сержанту. «Письмо... Пропала моя голова... Петля будет», – стегнуло черным светом в голове обомлевшего молодого человека.

И только лишь Лысов руку протянул, чтоб выудить из кармана Николаева губительную бумажку, как раздались сразу три-четыре голоса:

– Николаев! Николаев!.. Где ты, черт?.. Государь тебя кличет. Эй!

Чудом спасшийся Николаев, как птица под выстрелом, сорвался с места и понесся к палатке Пугачева.

– Стой, стой! – орал ему вдогонку Митька Лысов.

Но длинноногий сержант несся чрез кусты, чрез поле, как волк от охотника. По пути на миг остановился у забытого костра, с сердечной болью бросил в пламя Дашино письмо – и дальше.

– Вот что, друг, – сказал Пугачев вошедшему в палатку Николаеву. – Чтоб наутро были здесь поп да татарский мулла: верных мне каргалинских татар да сакмарских казаков к присяге приведем. Да покличь-ка сюда этого безносого... как его... рваные ноздри... Пущай придет.

– Слушаюсь, – сказал Николаев, повернулся по-военному налево кругом и... лицом к лицу столкнулся с ворвавшимся в палатку Митькой Лысовым.

– Стой, стой, изменник! – схватил он Николаева в охапку. – Надежа-государь, прикажи обыскать его, у него, у дворянской сучки, в кармане подметные письма от Симонова... Сам видел...

Николаев рванулся, оттолкнул нахрапистого Митьку и бодрым голосом сказал:

– Ваше величество, этот человек спьяну поклеп возводит на меня...

– Выворачивай карманы, сволочь! – закричал Митька.

– Брось орать, Лысов, – сказал хмуро Пугачев.

– Ваше величество, вот я весь перед вами, – уверенно проговорил Николаев. – Прикажите со всем тщанием обыскать меня на ваших глазах. И ежели что найдется, снимите с меня голову. А ежели ничего не сыщется, защитите меня...

Пугачев пристально посмотрел в его простое, открытое лицо и сказал тихо:

– Иди, Николаев. Верю тебе и всякое бережение к тебе держать буду.

Тогда Митька Лысов, встряхивая локтями и чуть не замахиваясь на Пугачева, дико закричал:

– Вот так царь, ну и царь у нас!.. Дворянчику верит, а мне веры нет... Ха-ха...

Пугачев прищурил на Митьку правый глаз и ударил в ладони. Вбежавшему увешанному кривыми ножами широкоплечему Идыркею сказал:

– Возьми-ка полковника за шиворот да выведи. Во хмелю он.

Николаев шел за Хлопушей с чувством радостного облегчения. И уже в который раз вновь и вновь давал себе слово верой и правдой служить человеку, назвавшемуся государем. «Только одно добро от него вижу для себя, одну милость, – растроганно думал он. – И, кто его знает, ежели рассказать бы ему про мою любовь к Дашеньке, может, и отпустил бы он меня на волю...»

Вместе с приведенным в царскую палатку Хлопушей пришли атаман Овчинников, полковник Творогов, секретарь Ваня Почиталин.

Пугачев был в цветном персидском халате с желтыми золотистыми шнурами. Темные и густые, зачесанные наперед волосы закрывали ему выпуклый лоб. Он сидел, все стояли.

– Оправдываться припожаловал? – спросил Пугачев Хлопушу и, оглядывая его изуродованное лицо, стал прикрывать то правый, то левый глаз. – Поди, много ты на своем веку обедукурил? Ну-ка, сказывай, кто ты, кем подослан и с какой целью? Не оправдаешься – очам твоим защуриться придется.

– Я оренбургский ссыльный, каторжник, – сказал верзила, он уже без наглости, а почтительно и прямо смотрел на Пугачева. – Зовусь Хлопушей, а по паспорту – Соколов, сам из простонародья. На уральских заводах середь работных людей бывал. Оренбургский губернатор снял с моих рук-ног железища и послал меня в твою толпу, чтобы людям твоим и тебе передать пакеты, а что да что в тех пакетах, мне неведомо.

– Зато мне ведомо, – тихо произнес Пугачев. – Сказывай дальше!

– И губернаторишко велел еще мутить твою толпу, чтобы людишки твои изловили бы тебя, батюшка, да притащили бы к нему, к этому самому Рейнсдорпу. Еще приказано было, чтобы порох у тебя спортить, а пушки заклепать. – Он говорил внатуг, с остановками, гукающим гнусавым голосом, моргая бровями.

– Ну вот, лови меня, ежели тебе велено, да тащи к Рейнсдорпу, – сказал Пугачев так же тихо, но глаза его воспламенились. – А тебе в том корысть большая будет – Рейнсдорп озолотит тебя.

– Нет, батюшка, меня уж и так озолотили: вишь, как обличье-то испохабили, – и Хлопуша шевельнул перстами тряпицу на носу.

Пугачев покачал головой, сказал:

– Вот, господа атаманы, какие губернаторы-то у меня сидят, сами видите! Им только бы простых людей кнутьями бить да ноздри рвать. Ахти беда... Погоди, погоди, доберусь уж я до этого Рейнсдорпа, так не токмо ноздри, а и ноги-то из зада вырвать ему прикажу. – Он вскочил, сгреб со стола бумаги губернатора, сунул их секретарю. – Почиталин! Брось в огонь сии богомерзкие писачки. Писал писака, а

звать его – собака! Слушай, Хлопуша. Шагай-ка, брат, ты в оборот к губернатору...

– Ни в жисть, батюшка, будь он трижды через нитку проклят...

– Полно-ко ты, полно, – язвительно перебил его атаман Андрей Овчинников и с явным подозрением посверкал на каторжника умными серыми глазами. – Ведь ты подослан к нам убить государя. Ты, все у нас подмета, сбежишь от нас да и перескажешь Рейнсдорпу-то. Лучше правду говори, а то, как свят Бог, повесим!

– Я всю правду молвил, – опустив руки, ответил Хлопуша.

– Твоя правда-то прямая, как дуга, – не унимался Овчинников.

– А есть ли у тебя деньги-то? – не слушая атамана, спросил Пугачев.

– Четыре алтына осталось, – ответил Хлопуша, переминаясь с ноги на ногу. – Правда, что Рейнсдорп пожаловал мне малую толику, так я все бабе своей оставил с мальцом. Они в Бердах живут, в бедности маются.

Пугачев ходил за ковер, к кровати, вынес семь рублей, сказал:

– Возьми покамест да приоденься, а это лохмотье сожги. Полковник Творогов! Распорядись выдать ему из цейхауза одежонку. А ты, Хлопуша, как поиздержишься, скажи. Ну, ступай, друг мой, будь свободен. На тебе нет вины.

Когда оправданный верзила облегченно запыхтел и, поклонясь, ушел, Овчинников приступил к Пугачеву:

– Воля твоя, ваше величество, а на мою стать – повесить его надлежит. Прикажи, государь. Он плут и каторжник! Вот помяни мое слово, он и людей наших учнет подговаривать. Прикажи покончить с ним.

– Ну нет, Андрей Афанасьич, об этом забудь и думать, – возразил с сердцем Пугачев. – Он еще сгодится нам. Такие, обиженные начальством, люди завсегда пригодятся нам. Оно, конечно, присматривать трохи-трохи надо! А как охула никакого не будет на него, тогда поразмыслим, что да как.

– Тебе виднее, – потупясь, раздраженно ответил Овчинников. – Твоя воля. А только сам, батюшка, ведаешь: черт игумену не попутчик.

– Он не черт, а у нас не монастырь. Ась? – прищуря правый глаз, проговорил Пугачев и, чтобы отвязаться от Овчинникова, стал, не переставая, широко зевать, закрещивая рот двуперстием.

Передовая разведка Пугачева вечером 3 октября уже гарцевала возле Оренбурга. И в то же самое время боевой отряд майора Наумова при ликующих кликах горожан входил в город.

Несколько дней назад Наумов был послан комендантом Яицкой крепости Симоновым в погоню за Пугачевым. Получив в дороге известие, что силы врага значительно окрепли, Наумов счел за нужное, не возвращаясь в Яицкий городок, идти чрез степь скорым маршем прямо в Оренбург.

Майор привел на выручку города двести сорок шесть человек хорошо обученной пехоты и триста семьдесят восемь верных правительству зажиточных казаков, коими командовал лютый враг Пугачева, бывший атаман Мартемьян Бородин, или, как его звали пугачевцы, жирный Матюшка.

Удрученный предстоящими событиями, губернатор Рейнсдорп с приходом неожиданного подкрепления воспрянул духом.

На военном совещании, осведомившись, нет ли каких «самых лютчих вестей от сукин кот Клопуш», он сказал:

– Ну, господа, поздравляю! С прибытием храбрый майор Наумофф наша Оренбургская крепость, в случае атаки, в состояние пришла.

При этом он встал, подошел к Наумову и, троекратно, крест-накрест, по старинному русскому обычаю, обнимая, облобызал его.

В субботу 5 октября в одиннадцатом часу утра армия Пугачева перешла Яик, миновала Казачьи луга, что в пяти верстах от города, и, после небольшого роздыха, двинулась к Оренбургу.

В армии было около 2500 человек, 20 орудий, много зарядов и 10 бочек пороха. Пугачев приказал Овчинникову:

– Растяни народ в одну шеренгу да так и веди! Пушай Рейнсдорпишка думает, что у меня десять тысяч войска, да волосы на себе рвет. А как приведешь на гору, остановись, в тех мыслях, чтобы городским – меня, а мне – городских видно было.

Военная хитрость Пугачева удалась. Увидав столь великую армию противника, город пришел в крайнее смятение, жители уже представляли себе неминуемую гибель, по всему городу поднялся плач и неутешное рыдание.

Барабаны ударили тревогу. С колоколен зазвучал набат. Гарнизон стал по местам. На батареях зарядили пушки.

Все с нетерпением и страхом ждали приступа грозного врага, которому сдаются крепости, в стан которого толпами устремляется народ.

Глава XI

Неприятное известие. Табакерка императрицы. «Анафема»

1

Граф Григорий Орлов весной 1772 года отправился в Фокшаны на конгресс, для участия в дипломатических переговорах с Турцией.

Как уже было сказано, императрица навсегда охладела к своему любимцу и, в его отсутствие, приблизила к своей особе некоего Васильчикова. Узнав о столь коварной перемене, «дуралей Орлов», как его заглазно называл Никита Панин, тотчас бросил в Фокшанах все дела и поскакал обратно. Но под самым Петербургом ему был нанесен жестокий удар: он был задержан в Гатчине, и ему было предписано выдержать там, в его собственном дворце, длительный «карантин».

Орлов был потрясен черной неблагодарностью Екатерины. В его душе столь сильно «бушевало оскорбленное самолюбие», что он первые дни неволи беспросыпно пил и был близок, по свидетельству окружающих, к самоубийству. Лишь через несколько месяцев он получил разрешение явиться в Петербург, отправился туда и при свидании с Екатериной понял наконец, что сердечные дела его непоправимы. Он поспешил уехать «в отпуск» в Ревель.

В конце мая 1773 года Орлов вновь получил разрешение явиться в столицу. Стараясь искупить свою вину перед ним – ведь он же, безвестный тогда офицер, «завоевал» Екатерине престол и корону! – императрица наградила его княжеским достоинством, преподнесла ему в подарок так называемый Мраморный дворец, что на Неве, и дозволила занять все прежние служебные посты.

Возможно, эту благосклонность императрицы Орлов был обязан отчасти и тем, что Екатерину не переставали беспокоить мечтания Павла о троне самодержца. Она не то чтобы видела в сыне сколько-нибудь серьезного соперника, но предерзостные его мечтания, о которых неустанно доносили ей тайные соглядатаи, напоминали Екатерине вообще о всяких случайностях, и потому незачем было пренебрегать ничем и никем, кто мог бы в черный час оказаться если не опорой, то хотя бы «подпорой» ее престола.

Тогда же, намереваясь отвлечь девятнадцатилетнего Павла от его сумасбродных мыслей о власти, Екатерина решила женить его. И, чтобы убить одним выстрелом двух зайцев, она, неизменно трезвая и крайне практичная, не удержалась и тут от сложной дипломатической игры, в результате которой выбор ее пал на принцессу Вильгельмину, дочь ландграфини Гессен-Дармштадтской.

Как раз в разгар лета, когда недавно пожалованный княжеским титулом Григорий Орлов вновь осваивал возвращенные ему почетные службы, в столицу прибыла ландграфиня с тремя своими дочерьми-невестами. Павлу ничего не оставалось, как одобрить выбор матери и связать свою судьбу с одной из трех – Вильгельминой. Впрочем, отличаясь с отроческих лет крайней чувствительностью и влюбчивостью, Павел всерьез увлекся юною принцессой, тем более что она, как и он, избегала светского шума, парадов, танцев, слишком обильного общества подруг... (Это не помешало, однако, столь скромной Вильгельмине, после того как она сделалась женой Павла, обзавестись любовником в лице близкого друга своего мужа Андрея Разумовского. Об этом коварстве жены и друга Павлу стало впоследствии известно.)

Так или иначе, Вильгельмина овладела сердцем Павла, и вскоре она была крещена в православную веру, наречена Натальей Алексеевной и всенародно объявлена невестой цесаревича.

Обер-гофмейстер граф Никита Панин, скрыто враждебные отношения с которым у Екатерины продолжались, был, само собой разумеется, от роли наставника цесаревича отстранен. А в день своей коронации, 22 сентября, за неделю до бракосочетания Павла, императрица осыпала Панина милостями и наградами.

О, если бы великий сердцевед, «фернейский патриарх» Вольтер, прикрывшись шапкой-невидимкой, мог наблюдать свою «Северную Семирамиду» в минуты, когда она составляла список наград ненавистному ей человеку! Какую жестокую борьбу противоречивых страстей подметил бы он в душе «несравненной Като», каким ядовитым сарказмом наполнилось бы его собственное сознание.

Панин получил звание фельдмаршала, 8500 душ крестьян с землей, 100 000 рублей на обзаведение, очень ценный серебряный сервиз, дом в Петербурге, ежегодной пенсии 25 000 да годового жалованья 14 000. Все эти щедроты для недостаточно богатого казенного сундука, при необычайной дешевизне жизни, были по тому времени колоссальны.

Но Панин все-таки остался глубоко раздосадованным, потрясенным, убитым, потому что его заветная мечта о переходе престола к цесаревичу с усилением, таким образом, его, Панина, личной власти навсегда погасла. Вступивший в совершеннолетие Павел не только не стал по праву императором, но даже не был допущен матерью к какому бы то ни было участию в управлении государством. «Я хочу сама управлять, и пусть об этом знает Европа», – не раз заявляла императрица своим друзьям.

В виде некоего протеста – пусть знает Екатерина! – Панин часть пожалованных ему земель подарил трем своим секретарям: Фонвизину, Бакунину и Убри. Разумеется, здесь также был своеобразный жест перед лицом истории.

После отставки Панина императрица вздохнула свободно. «Дом был очищен», – писала она несколько позже госпоже Бьельке.

Она понимала, что из всех ее врагов самый опасный не тот, кто искусно владел оружием и обладает вооруженными приверженцами, а тот, кто умел играть силами общества в данной исторической обстановке и мог вовремя самый малый афронт истории обратить в разящее оружие противу ее, монархини... Любой гвардеец был в состоянии, по ее приказу, выбить меч из рук любого ее врага, но меч, коим вооружен Никита Панин, просто выбить из его рук невозможно, как невозможно силою меча остановить страсть и волю, мысль и веру человека... Да, этот ревностный масон имел далеко зашедшее влияние не только на ее жалкого сына, но и на многие умы как в самой империи, так и за ее пределами... И вот – ура, ура! – Панин отставлен, вернее – «выставлен». И значит – дом очищен.

По случаю бракосочетания Павла, происходившего 29 сентября 1773 года, был устроен ряд пышных торжеств, придворных блестящих балов. Около двух недель столица празднично шумела. Затем молодая чета, со всем «малым двором», отбыла в Царское Село, куда вскоре начали поступать первые слухи о самозванном Петре Третьем.

Эти слухи (часто через голову придворных вельмож Екатерины) были весьма смутны и содержали немало от темных сказочных рассказов, какие цесаревич слышал еще в младенчестве от окружающих его нянек, мамушек и от самой царицы Елизаветы. Тут было все: крушение Вавилона, близость «второго пришествия» и многое другое, мрачное, таинственное и грозное, что нашло, однако, живой отклик в отуманенном сознании панинского ученика-масона.

Разумеется, Павел не представлял себе мужицкий бунт иначе, как мятеж воров и разбойников, но ужас перед ним был едва ли сильнее того чувства, которое терзало его сердце при мысли о загадочно

жуткой судьбе отца-императора и о роли в этой судьбе матери-императрицы.

2

В Белом зале Зимнего дворца гремел оркестр преображенцев: там шли танцы. В Золотой гостиной, где присутствовала императрица, придворный певческий хор исполнял «Ивушку», «По улице мостовой», «Лучинушку» и другие песни.

Екатерина в музыке разбиралась плоховато, на музыкально-вокальных концертах в Эрмитаже она, прежде чем начать аплодировать, присматривалась к соседям, но народная хоровая песня была близка ее пониманию, и она зачастую приглашала к себе песенников.

Императрица сидела в удобном кресле, в некотором отдалении от стены. Позади нее стояли два пажа. Под ногами лежала гобеленовая подушка. Рядом занимал кресло восточный принц Джехангир; у него было красивое темно-бронзовое лицо с небольшими иссиня-черными усами. Это был легкомысленный, совсем еще молодой человек.

Два толстогубых евнуха держали над ним нечто вроде легкого шелкового балдахина. Третий евнух помахивал на своего властелина пышным, из страусовых перьев, опахалом. На голове принца повязана тончайшего белого шелка чалма, перевитая нитями крупного жемчуга.

Свечи в люстрах, хрустальных жирандолях и настенных кенкетах горели ярко, разливая по залу живой трепещущий свет.

Когда взоры принца встречались с лукаво улыбавшимися глазами Екатерины, его лицо тотчас облекалось в улыбку, он прикладывал правую ладонь ко лбу, к сердцу и почтительно наклонял голову повелительнице. Пока рука принца перемещалась ото лба к сердцу, его изящные длинные пальцы, унизанные бриллиантовыми кольцами, трепетали и двигались, подобно щупальцам осьминога. Это делалось умышленно, с единственной целью поразить воображение гостей игрою дивных сокровищ.

Впрочем, он весь был осыпан драгоценными камнями, он весь блистал богатством. Недаром в предпринятом им путешествии в Париж и Лондон, с заездом в Петербург, его сопровождал эскорт в сто сабель лучших наездников Индии.

Екатерине принц нравится. Она про себя зовет его чудачком. Она, пожалуй, интереса ради, не прочь была бы исполнить с ним индийский дуэт мимолетной утехи, но ее новый друг, Григорий Александрович Потемкин, недавно прибывший с театра турецкой войны, неотступно и зорко оберегал ее. Ее и, разумеется, свою честь! А мощный хор певчих в атласных, малинового цвета, кафтанах, будто отвечая на затаенные мысли Екатерины, пел:

Голова болит, худо можется,
Худо можется, нездоровится,
Я украдуся, нагуляюся,
Уворююся, нацелуюся.

Прислушавшись к песне, Екатерина переглянулась со своей соседкой, графиней Брюс, слегка ударила ее веером по обнаженному полному плечу, и обе они, с оттенком нежной и милой таинственности, засмеялись.

Певчих сменил хор рожечников. В антракте к Екатерине и ее высокому гостю подкатили столик с вазами апельсинов, винограда, слив, цукербродов и всевозможных восточных сладостей. Лакеи обносили гостей десертом на легких подносах. Екатерина, подавая принцу вазу с шоколадом, сказала по-французски:

– Нравится ли вам, месье, наше общество и пение хора?

– О, мадам! – воскликнул он гортанным тенорком, несколько коверкая французский язык. – Пользуясь вашим благосклонным гостеприимством, я чувствую здесь себя, как на небесах.

– Нет, мой друг, у нас здесь все земное. Но почему вам вздумалось путешествовать в одиночестве? Вы, правда, очень молоды, но, я полагаю, у вас есть супруга?

– У меня тысяча супруг и полторы тысячи... одалисок, мадам, – как ни в чем не бывало сказал он. – Но я всех их променял бы на... – Он хотел сказать «на вас, мадам», но счел это все же неучтивым. – Всех их я променял бы на одну из ваших восхитительных красавиц и... и... дал бы еще в придачу семь белых слонов.

Екатерина весело рассмеялась

В это время загремел дружный хор рожечников, разговор пресекся. Все семьдесят музыкантов были одеты в светло-зеленые, с желтой выпушкой, кафтаны.

Вскоре через зал стремительно пронес свою атлетическую фигуру Григорий Потемкин. Едва за ним поспевая, торопилась вприпрыжку его свита. В голубом кафтане и серебристо-белом парике, он пронзающим взором своего единственного живого глаза^[93] искал Екатерину.

Все сидящие как-то сразу подобрались и повернули лица в его сторону. Придворные угадывали, что фортуна неудачливого фаворита Васильчикова уже клонится долу, а князь Орлов, вызванный Екатериной из Гатчины, вряд ли сумеет вернуть себе утраченное расположение императрицы. Значит, на державном небосклоне взойдет третья звезда, и ею, без сомнения, будет Григорий Александрович Потемкин. Екатерина встретила своего любимца кивком головы, улыбкою, мягким прищуром глаз.

Оставив свиту посреди зала, Потемкин, возбужденный, покрасневшийся, быстро подошел к Екатерине, склонился к ней и поцеловал протянутую руку.

– Пляшешь, Григорий Александрович?

– Пляшу, матушка, – мужественным голосом ответил Потемкин и неприязненно покосился на принца. Тот, в свою очередь, настороженно оглядывал великана с ног до головы.

Вынув из камзола золотые часы-луковицу и взглянув на них, Потемкин вполголоса произнес:

– Скоро одиннадцать. Тебе, матушка, почивать пора.

– Нет, еще рано, – всматриваясь в его сильное, выразительное лицо снизу вверх, откликнулась Екатерина. – А ты иди, Григорий Александрыч, попляши еще. Ты отменно пляшешь – видно, сам Меркурий подвязал к твоим ногам крылышки... Да пора бы тебе и на фронт поспешать, – полувопросительно, с оттенком некоторой нерешительности, почти робости, добавила она негромко.

– Поспешу, поспешу, матушка... А скоро ли эта заморская птица какаду улетучится от нас? – Он покосился на пылавшего золотом, яхонтами, алмазами индийского принца и, поклонившись Екатерине, так же стремительно, как вошел, ринулся, никого не замечая, в зал, к танцам.

– Ревнивец, – обратясь к своей подруге, графине Брюс, шепнула Екатерина и поднялась. Вскочил и принц. Тотчас за ними поднялись и все гости.

Императрица предложила принцу руку, и они оба, окруженные свитой, двинулись в Белый зал. Принц издал некий птичий звук, и тогда евнухи, переменяя места, вознесли балдахин над головой царицы.

Принц млел, принц был покорен Екатериной. Поддавшись искушению, он украдкой погладил бело-розовую оголенную руку ее. Екатерина сдержанно улыбалась, продолжая милостиво кивать публике, стоявшей шпалерами на ее пути.

Вдоль стен первого зала тянулись длинные столы, изобильно уставленные всевозможными фруктами.

Во втором зале на столах горы пирожных, мороженого, шалей (желе), шоколадных и прочих конфет, от которых веяло тонким благоуханием. В третьем зале – енды и бутылки с прохладительными.

В Белом зале было многолюдно: на вечере присутствовало до восьми тысяч приглашенных горожан. Шли шумные танцы. Петербург продолжал веселиться.

Екатерина приостановилась. Потемкин с азартом отплясывал мазурку. Он так крутился и с такой силой топал, что по дворцу шли гулы.

Принц дал евнухам по легкому щелчку и, переняв у них ручки балдахина, сам теперь держал над головою «божества». Проводив императрицу до жилых покоев, все возвратились в пышные, торжественные залы.

Разгорячившийся принц выпил залпом три бокала холодного шампанского, вынул из кармана миниатюрный граненый флакончик с отрезвляющим снадобьем, изготовленным факирами, понюхал из него взятяжку правой и левой ноздрей, затем, оставив евнухов и двух своих адъютантов, смешался с массой гостей. Он ходил среди них, как по базару, и бесцеремонно рассматривал хорошеньких женщин, словно цыган лошадей. Затем он выбрался к танцующим и, забыв Екатерину, сразу был пленен тремя очаровательными красавицами: графиней Шереметевой, графиней Строгановой, княжной Уваровой. Рослые, цветущие, резво переступая ножками, они то стремительно неслись в веселом танце, то, грациозно приседая, медленно проплывали в менуэте.

Принц, пощелкивая языком и пальцами, издавал звуки, подобные блянию барашка, хлопал в ладоши, улыбался.

После гавота все три грации, подхватив друг дружку под руки и обмахиваясь веерами, прохаживались в окружении светской молодежи по залу.

Принц следовал за ними. Он был от красавиц в непосредственной близости и не спускал жадного взора с их оголенных спин. Вот он быстро опередил их, затем круто повернулся и, сверкая алмазным пером в чалме, двинулся им навстречу. Прикладывая ладонь ко лбу и сердцу, он отдавал им жеманные поклоны, в то же время всматриваясь в их возбужденные танцами лица. Он проделывал это три раза, то есть три раза обгонял их и снова шел им навстречу, и снова отвешивал им поклоны, вызывая своим поведением улыбки и дружный смех наблюдавших его гостей. Он отошел к столу, наскоро выпил еще бокал шампанского, снова понюхал отрезвляющее снадобье, вынул из кармана блестящую дудочку и продудел какие-то призывные ноты. К нему подскочили его люди. Он сказал адъютанту:

– Приведи сюда самого главного, самого высокого, что подходил к царице.

Адъютант побежал через анфиладу комнат и скоро вернулся.

– Генерал Потемкин, – сказал он, – ожидает вашу светлость в Круглой зале.

Охмелевший принц не без гримасы досады пожал плечами, но все же поспешил за адъютантом.

В небольшом круглом зальце, куда он вошел, никого, кроме Потемкина и его свиты, не было. Потемкину было известно о странном поведении принца в зале. Он сидел за овальным столиком, на котором помещался графин с винным крепчайшим спиртом, разбавленным ямайским ромом, и два больших кубка. При появлении принца Потемкин поднялся.

– Ваша светлость, – сказал он по-французски, и его живой глаз заулыбался. – Перед началом нашей беседы мы, по русскому обычаю, должны осушить с вами кубки в честь всероссийской императрицы, – и он подал принцу до краев наполненный кубок.

Принц тянул обжигающий напиток долго. Покончив наконец, он выпучил глаза и с головы до пят встряхнулся. Принц и Потемкин разговаривали стоя.

– Генерал, – начал Джахангир, – мне необходимы три женщины, которых я облюбовал: две беленькие в голубых одеждах и одна черненькая в белом. Желал бы приобрести их в собственность. И чем скорее, тем лучше! Думаю, что сделать будет не трудно: женщины – очень некрасивы собой, подслеповатые и кривобокие, и я надеюсь, что их владельцы не возьмут за них дорого... Я прошу, ваше превосходительство, оказать мне содействие.

– Но, ваша светлость, мы людьми не торгуем, – возразил Потемкин, и его мясистые напудренные щеки дрогнули в едва сдерживаемой улыбке.

– О, я привык, генерал, чтоб мои просьбы исполнялись, – задирчиво проговорил принц, и, так как его ноги стали от выпитого спирта слабеть и подгибаться, он схватился левой рукой за край стола.

– Повторяю вам, ваша светлость, мы человеческими душами не торгуем.

– Генерал! – вскричал косяязычно принц. – Во-первых, я говорю о женщинах, а вы – о душах... и потом, вы говорите неправду. Я просматривал ваши газеты... И переводчик все утро читал мне объявления о продаже именно людей... душ...

– Гм, гм, – промычал Потемкин; по его высокому лбу скользнули морщинки. – В редчайших случаях, принц, некоторые хозяева действительно продают людей, но... только не на вывоз за границу, ваша светлость, только не на вывоз!

– Неправда, неправда, генерал! Мой человек вчера купил очень молоденькую красотку за горсть золота...

– Поверьте, принц, эта красотка будет от вашего человека отобрана полицией...

– Ошибаетесь, генерал. Ваша полиция получила две горсти золота и...

– Ваша светлость, – перебил его Потемкин, – прошу вас выпить кубок в честь вашей прекрасной Индии, – и подал Джахангиру до краев наполненный кубок.

– Гран мерси, гран мерси!

Потемкин выпил кубок, не морщась; принц расставил ноги, на его лице изобразилось отчаяние, он пил огнеподобную жидкость большими глотками, с содроганием. Оправившись, он произнес вопросительно:

– Итак?

– Я должен сообщить вам, принц, что хотя наш закон иногда и потворствует землевладельцам, помещикам, продающим своих собственных слуг... Слуг, собственных! – особо выразительно подчеркнул Потемкин. – Но ведь вы... хотите купить не рабынь, а вольных титулованных дворянок: двух графинь и княжну.

– Тем лучше, тем лучше! – с азартом вскричал принц и, пошатнувшись, схватился за край стола уже обеими руками. – Вы, может быть, думаете, у меня не хватит средств? Генерал, мой друг, мой дорогой друг... Я люблю их... Я... я... я не могу без них существовать. О мои белоснежные богини! Бог Олло, бог Керим, бог Рагим... – он оторвал от стола руки, страстно всплеснул ими, и его отбросило в сторону.

Широкая грудь Потемкина приподнялась, бока заходили от скованного хохота, но он все-таки сдержался. А принц снова просунулся к столу, вцепился в него, как утопающий в плывущую корягу, и закричал:

– Пол-Индии за три северных жемчужины... Но я желаю видеть их обнаженными, подобно богиням. Позвать красавиц!

Потемкина как прорвало: уткнувшись лбом в пригоршни и вдвое согнувшись, будто у него внезапно схватило живот, он с грохочущим хохотом выбежал вон. К пьяному принцу, изумленному поведением Потемкина, подскочил с поклонами старший евнух и засюсюкал:

– Сын солнца сияющего, брат луны, потомок великих моголов, владыко владык. Ты забыл припасть священными ноздрями к чудодейственному флакону и вдохнуть в себя живительную силу, возвращающую опьяненному ясность рассудка.

Принц достал волшебный флакончик для отрезвления, нюхнул, однако ноги его стали, как вата, он бессильно сел на пол, затем растянулся во весь рост по ковру, сплюнул, раскинул руки, пробормотал что-то и в момент заснул.

Его бережно положили на диван.

Потемкин, выскочив из зальца, как раз повстречал трех красавиц, прельстивших принца, – Шереметеву, Уварову и Строганову.

– Григорий Александрович, что с вами? – воскликнула черноглазая Шереметева. – Куда вы столь стремительно и в столь великом веселье?

Он приостановился, выпрямил корпус, раскрасневшееся лицо его все еще коробилось в гримасе смеха.

– Медам!.. О медам! Вы запроданы! За три миллиона! И завтра же едете в Индию! В качестве жен принца. Все три! Ха-ха-ха!.. – залился он. – Бегу за указом к ее величеству... Вот, чаю, потеха будет.

Екатерина еще не ложилась на покой и, выслушав Потемкина, долго вместе с ним смеялась этой индийской истории. В приступе веселости она даже хотела тотчас же позвать к себе трех красавиц, невольных героинь сегодняшнего бала, и на сон грядущий слегка позубоскалить над потешной перспективой быть им, великосветским дамам, рабынями заморского ферлакура. Потемкин вдруг помрачнел, потер лоб, закинул руки под кафтан, на поясицу, и, вышагивая по будуару, сказал Екатерине:

– Матушка, великая государыня, перестань смеяться, тут ей-ей не до смеху. Сам перст судьбы, в положениях острых, указывает тебе на горькое неприличие торговли рабами. Ведь мы, матушка, как-никак, все ж таки – Европа.

Екатерина поняла его и тоже помрачнела. В ее сознании вновь воскресли давние речи, когда-то раздававшиеся в Грановитой палате. Даже такой незыблемый столп вельможного дворянства и блюститель патриархальных нравов, как князь Щербатов, и тот, не стесняясь, высказывался тогда против варварского обычая торговать людьми, как скотом.

– Так что же мне, по-твоему, делать, Григорий Александрович? – страдальчески подняв брови, сказала Екатерина. – Я опубликовала закон, запрещающий продавать крестьян без земли... Разве этого... недостаточно?

– Законы пишутся, чтоб их исполнять, – с внешним хладнокровием ответил Потемкин. – А те, кому ведать надлежит, полагают, что законы существуют для того, чтобы корысти ради обходить их. И обходят, ваше величество!

Екатерина задумалась, закурила польского образца пахитоску. Пальцы, меж которыми пахитоска была зажата, дрожали.

– Ну а что бы, Григорий Александрович, сделал... ты?

– Пожалуй, я всем супротивникам, кои нарушают закон, стал бы рубить головы, как рубил Иван Грозный, – и Потемкин шумно задышал.

– О, рубить головы... Но ведь мы, как-никак, все-таки Европа! – повторила Екатерина только что оброненную им фразу.

Как всем умным людям, было Екатерине свойственно чувство иронии, которое в мрачные моменты жизни облегчало ей состояние духа. И теперь, представив себе Потемкина в роли палача, казнящего непослушное дворянство, она засмеялась с особым придыханием, в нос.

– Хотелось бы нам посмотреть, мой Грозный Григорий, как стал бы ты вести себя, обладая не мелким, как ныне, а крупнейшим дворянским поместьем. Мнится нам, что рука твоя не учинила бы посягательства на собственную голову... Или я ошибаюсь?

В ее голосе звучали насмешка и горечь. Он угрюмо взглянул на нее, видимо, собираясь дать ей не совсем приятную для нее отповедь, но, сдержав себя и слегка побледнев в том усилении воли, спокойно сказал:

– Я не искушен, матушка, в диалектике, говорю, что думаю. А думаю тако: не знаю, каким был бы я в образе магната, но мне доподлинно ведомо, что иные помещики, даже из знати, закоснелые суть азиаты. У них в одной руке Вольтер, в другой – кнут! А пыжится вон как: мы-ста да мы-ста! Сами же суть казнокрады, лихоимцы и преступники. Вот для сих голов топорик-то я и наточил бы... Не позорь великую державу!

Екатерина собиралась возражать ему, но он, захмелев от выпитого перед тем спирта, не слушая ее, продолжал с хмурою запальчивостью:

– Наши военные действия обещают нам славный конец. Россия Екатерины разверзнет новое окно в Европу... с юга! И, ты прости мне, матушка, – голос его дрогнул, – страшусь, страшусь даже помыслить: с чем, с каким, извини меня, рылом мы в калашный ряд Европы?! Будь моя воля...

Неслышно ступая, Екатерина подошла к нему, ароматной розовой ладонью прикрыла ему рот, сказала:

– Ах, mon enfant terrible^[94]. Пусть твою голову не терзают сомнения... Европу, мой милый, будет интересоваться не наше «рыло», а злаки с наших земельных угодий! Поспешай на театр войны, возвращайся победителем, и ты будешь увенчан лаврами славы.

Он схватил царственную руку и припал к ней горячими губами.

3

Пока длился этот разговор, через октябрьскую темную ночь по площадям и безлюдным проспектам уснувшей столицы катил к Зимнему дворцу президент Военной коллегии, граф Захар Чернышев. Он вез императрице ошеломляющее известие: она больше не вдова, в оренбургских степях объявился воскресший из мертвых супруг ее, бывший император Петр III.

Известия о мятеже «бродяги Емельки Пугачева», недавно бежавшего из казанского острога, доставили Чернышеву с недопустимым промедлением, и не без основания граф опасался, что царица в великом будет гневе. Против ожидания, гнева не последовало.

Письмо главнокомандующего Москвы, князя Волконского, адресованное на имя Чернышева, а также донесения Рейнсдорпа и Бранта Екатерина выслушала с внутренним напряжением, на ее щеках выступили алые пятна, однако ничем иным она не выдала своего волнения, даже попробовала сострить:

– Что-то мой супруг стал часто воскресать, – проговорила она, щурясь. – Доведется поглубже зарыть его в землю...

– Сняв допреждь того голову ему, как, бывало, дельвали мы с другими прочими Петрами Федоровичами, объявленцами, – воспрянув духом, сказал Чернышев.

Екатерина, заглянув ему в глаза, неожиданно потупилась. В памяти ее ожил печальный образ Петра, его предсмертные письма к ней, вся трагическая судьба его. И на какое-то мгновение тревога с новой силой коснулась ее сердца.

– Когда возгорелась смута? – спросила она, придавая взгляду своему повелительность и строгость.

«Ну вот, начинается», – снова оробев, подумал Чернышев и ответил:

– Восемнадцатого сентября, ваше величество, сей Пугачев подступил к Яицкому городку, но комендантом Симоновым был прогнан.

– Стало, важнейшее известие шло до нас месяц. Сегодня пятнадцатое октября. Такое поистине черепашье поспешение горькому смеху подобно, – уже с раздражением добавила Екатерина.

– Подобное промедление, всемилостивая государыня, надо думать, проистекало от нерачительности губернатора Рейнсдорпа, коему я...

– Ох, уж мне немецкий сей кунктатор! Да при том же, сколько помнится, он и глуп, как... как два индюка!..

– Я отправляю ему строгий выговор, ваше величество, – пристукнув в пол носком сапога, сказал Чернышев.

– Да, да, выговор и... воинскую силу!

– Полагаю, государыня, что в Оренбургском крае своих войск с преизбытком, чтоб с Божьей помощью с бунтовщиками прикончить.

– Граф, – с усмешкой произнесла Екатерина, нервно крутя на пальце бриллиантовый перстень, – пока мы с Божьей помощью соберемся Пугачева имать, сей бродяга с помощью мужичьей задаст нам такого жару-пылу, что... Впрочем, я довольно утомлена, два часа ночи. Ты, Захар Григорьич, завтра собирай военный совет, на оном буду присутствовать лично в девять утра.

Прощаясь с графом, она заметила ему:

– Среди петербургской черни разговоры о казацком бунте носились еще недели две назад. Я о сем предуведомлена через Тайную, розыскных дел, канцелярию. И зело ныне раскаиваюсь, что должного внимания на сию эху народную не обратила.

Вслушиваясь в ворчливый голос Екатерины, Чернышев только пожимал плечами, но возражать не решался. Не Тайная канцелярия, а он, граф Чернышев, докладывал императрице о слухах среди простолюдинов, и не две недели, а всего восемь дней тому назад...

«Либо у матушки память коротка, либо по-прежнему она не склонна признавать свои ошибки... Но, черт побери! Какая же поистине волшебная сорока притащила на хвосте этот анафемский слухок о самозванце? – раздумывал Чернышев, возвращаясь в карете через спящую столицу к себе. – А главное, главное, на целую неделю раньше официального извещения... Вот и не верь после этого в людскую болтовню на площадях».

...Как кровь по кровеносным сосудам докатывается до самых отдаленных от сердца участков живого тела, так и по большим и малым проселочным дорогам во все уголки России катилась весть о начинавшемся под Оренбургом народном смятении. От языка к языку, от селения к селению, из уезда в уезд, из губернии в губернию! Казань, Астрахань, Саратов, Пенза, Рязань, Москва были уже достаточно насыщены темными слухами. Дошли эти слухи и до царствующего Санкт-Петербурга.

В ночь с 4 на 5 октября, при полном неведении властей о событиях, было выужено из кабаков и заключено в полицейские участки с десятков подвыпивших гуляк, которые молили по пьяному делу всякий вздор о каком-то царе-батюшке, появившемся на Яике: будто бы царь-батюшка этот собрал большую силу и обещал извести на Руси всех помещиков; землю их отдать мужикам, а весь черный люд всячески льготить своей царской милостью.

Узнав, что люди, схваченные в разных местах и допрошенные в разных участках столицы, показали, как по уговору, одно и то же, генерал-полицмейстер встревожился. На следующий день по всем базарам, различным притонам и просто по людным местам были разосланы опытные сыщики присматриваться, подслушивать, вынюхивать, хватать. И схвачено было до сотни крикунов. Ответы на допросах с пристрастием опять были те же: появился-де под Оренбургом царь Петр Федорович Третий. Но откуда шли подобные слухи и кем они были пущены в народ, точно узнать не удалось.

Генерал-полицмейстер немедля доложил обо всем графу Чернышеву. Чернышев – Екатерине. Императрица отнеслась тогда, восемь дней тому назад, к столь исключительному известию совершенно спокойно, с некоторым даже безразличием. Она только сказала:

– Сия народная эха ничего серьезного не обозначает. Либо есть эта фантазии темного люда, либо происки наших внешних врагов, кои всегда стремятся сеять смуту в умах наших подданных. Да суди сам, Захар Григорыч, ежели б этакая болтовня была согласованной с истиной, губернатор Рейнсдорп не преминул бы нас о сем уведомить. Но Рейнсдорп молчит – значит, его губерния в спокое.

Вот тебе и спокой!

4

Отпустив Чернышева, расстроенная Екатерина приказала себя раздеть и, даже позабыв освежить лицо любимым своим протиранием «неувядающая роза» (изобретение придворного врача Рубини), бросилась в постель. Ее обычный ужин – сливочный сыр с тмином, молоко и творог – остался нетронутым. Она взглянула на каминные часы – без пяти минут три, – закрыла глаза и... почувствовала, что ей долго теперь не уснуть.

Она спустила с плеч сорочку, чтобы легче было дышать, поправила ажурный кружевной чепец, закинула руки за голову и задумалась.

И сразу, как птицы на одинокое дерево в степи, налетели всяческие, государственной важности, заботы. Время стояло тревожное. С переменным успехом пятый год тянулась война у Черного моря, финансы государства истощались, крестьянство и городское население нищали, живая сила страны шла на убыль.

Мало было радости и во внешней политике. Недавний раздел Польши породил зависть держав, в том акте не участвовавших. Так, Франция, недоброжелательно настроенная к России, натравливала против Екатерины короля Швеции. Таким образом, ненадежным становилось и положение северо-западных русских границ. Словом, нынешний 1773 год едва ли не самый тяжелый.

Да, было над чем призадуматься! А тут еще это гадкое известие о смуте. Она отлично понимала, что всякий серьезный мятеж, ежели его вовремя не подавить, может обратиться в подлинное бедствие не только для государства, но и для личной судьбы ее, Екатерины.

Взять хотя бы Никиту Панина. Сей муж отстранен наконец от великого князя Павла, но продолжает жить и действовать, а его партия все еще сильна, и тот хитрый сановник не преминет, разумеется, использовать затруднительные обстоятельства в империи, чтобы с новым рвением нашептывать Павлу всяческие злокозненные прожекты об истинном самодержавии, которое, с соизволения Царя Небесного, поможет царю земному, Божьему помазаннику, осчастливить народ.

В секретном ларьке императрицы еще хранятся изъятые у Павла таинственные рукописи масонов о царе – духовном вожде народа!

И вот, вдобавок, эта смута на Яике! Новый претендент на престол, новый враг!

«...Это... мой личный враг, может быть, самый опасный из всех врагов, – не находя душе своей покоя, шепчет Екатерина. – О, да, да... Бродяга Пугачев бежал не столь давно из казанского острога... Помню, отлично все помню... И, нет сомнения, человек сей зело опасный. А ежели так, то... немедля, немедля пресечь... уничтожить! – выкрикнула она, вскинув, как бы разя незримого врага, обе руки. – Вырвать смуту с корнем!.. Раз и навсегда! Иначе...»

«Ах, как долго не писала я моему мудрому другу... – обрывая тревожное течение мыслей, вспомнила о Вольтере. – Завтра же надо сообщить ему все, просить у него отеческой поддержки, зрелого совета. Впрочем... какой же совет может преподать сей добрый сентиментальный старец? Его философические воззрения столь возвышенны, сколь и непрактичны. А ныне, как никогда, мне нужны ясность мысли и решительность, непреклонная решительность, холодная трезвость мысли! Жаль, весьма жаль, что Потемкин должен быть занят врагом внешним. Вот человек, который мог бы стать мне в бедах истинной опорой! Но... как, однако, печально, что в трудные часы жизни приходится опираться на персоны... И сколь велико, надо полагать, счастье венценосца, коему опора – все его отечество! Выпадет ли когда-нибудь подобное счастье мне?.. Боже мой, ведь уже тридцать лет провела я в лоне этой страны, и о сю пору

многое в ней для меня загадка! Уж не потому ли, что я, царствующая монархиня, все еще только гостя здесь?»

«Да нет же, нет! – отмахивалась она от этих пугающих ее залетных мыслей. – Кажется, я начинаю утопать в сфере вольтеровских обольстительных заблуждений... Нет и нет! Счастье России – мое счастье, и мое счастье – есть счастье и слава Российской Империи».

Уже брезжил за окнами туманный рассвет, когда императрица забылась наконец.

Переступив в положенный утренний час порог царской опочивальни, камер-фрау застала свою повелительницу спящей. Царица лежала ниц, уткнувшись лицом в подушку. Правая ее нога, изящная и бледная, со следами чулочных подвязок на нежной коже, высунувшись из-под пухового одеяла, то и дело судорожно подергивалась.

Камер-фрау, постояв некоторое время в нерешительности, сделала на всякий случай книксен перед спящей императрицей и неслышно скрылась за дверью.

5

Военное совещание при Государственном совете началось ровно в девять. Председательствовала Екатерина. После бессонной ночи лицо ее носило следы крайнего утомления. Но все-таки заседание она вела энергично, положа в основу обсуждения непреклонное желание спешными мерами пресечь мятеж.

– Я с горечью вижу, – говорила она с нескрываемой ноткою раздражения в голосе, – вижу, что и без того время упущено! Злодей, как сие усматривается из донесений губернаторов, знатно усилился и такую на себя важность принял, что, куда в крепость ни придет, всюду к несмысленной черни сожаление оказывает, яко подлинный государь к своим подданным. Сими льстивыми словами разбойник и уловляет глупых, темных людей. А наипаче прелесть им оказывает обещанием... земли и воли! Вот в чем опасность наибольшая, господа генералы. Итак, надобно наметить и без отлагательства привести в действие меры к уловлению злодея. Но я желаю, и это прошу запомнить, – подчеркнула Екатерина, – я желаю, чтоб известие о бунте и все меры к его прекращению хранились в крайней конфиденции, дабы не давать повода заграничным при нашем дворе министрам к предположению, что смута имеет для государства какое-либо серьезное значение.

После краткого обмена мнениями постановлено было: приказать князю Волконскому командировать из Калуги в Казань генерал-майора Фреймана и отправить из Москвы на обывательских подводах триста человек Томского полка с четырьмя пушками; кроме того, из Новгорода в Казань послать на ямских подводах роту гренадерского полка с двумя пушками. Вот пока и все.

Впрочем, было еще предписано коменданту Царицына, полковнику Цыплетеву, всячески препятствовать переправе Пугачева на правый берег Волги, а коменданту крепости св. Дмитрия^[95], генералу Потапову, – не пропускать Пугачева на Дон, в случае если бы злодей вздумал направиться к себе на родину.

Был «наскоро» выбран и главный военачальник – молодой генерал-майор Кар, коему поручалось «учинить над злодеем Пугачевым поиск и стараться как самого его, так и злодейскую его шайку переловить и тем все злоумышления прекратить». И еще сообщалось в предписании тому же Кару, что вслед ему будет выслан «увещательный манифест» к населению.

На другой день для составления манифеста был вновь собран Государственный совет. На заседании, среди прочих членов совета, присутствовали граф Никита Панин и только что прибывший из Ревеля князь Григорий Орлов. Императрица поставила перед советом вопрос:

– Считают ли господа члены Государственного совета достаточными меры, принятые на первый случай для пресечения мятежа?

– Ваше величество, я считаю, что силы, как на месте сущие, так и туда посланные, с избытком достаточны для угашения мятежа, – ответил первым Захар Чернышев. И весь Государственный совет молчаливым киванием голов с ним согласился. – Это ничтожное возмущение не может иметь иных следствий, кроме что будет некоторая помеха рекрутскому набору да умножит шайки всяких ослушников и разбойников... Что такое «его величество император» Пугачев? – произнес Чернышев с такою серьезно-ядовитой миной, что невольно все заулыбались. – Это безграмотный донской казакишка, бродяга и пропойца! Какая за ним сила? На мой глаз, две-три сотни яицких казаков-изменников да сотни три ну много – пятьсот мужиков с клюшками, да всякого безоружного сброда. Вот и все его содейственники! А у нас... а у нас там, по Оренбургской линии – помилуйте! – довольно количество регулярства, с пушками, с мортирами, и все верные, преданные вашему величеству войска, – сказал он, поклонясь Екатерине. – А на опасный случай – в запасе сибирский корпус генерала Деколонга. Я чаю, что сибирский губернатор Денис

Иванович Чичерин уже извещен Рейнсдорпом о сем казусе.

Итак, все более выяснялось, что Государственный совет считал силы Пугачева и возможности распространения мятежа ничтожными, а наличие имеющихся в угрожаемых местах воинских частей для уничтожения «злодейской шайки» вполне достаточным.

А между тем по российским просторам, один за другим, скакали к Петербургу курьеры. Передовой из них уже подъезжал к Москве. Он дня через четыре появится в Петербурге и ошеломит правительство вестями чрезвычайными. И никто не ведал – а меньше всего граф Чернышев, – что в то время, пока из Оренбурга скакал губернаторский курьер, Оренбург уже был со всех сторон обложен пугачевцами и что отныне очень долго в столице не появится очередной курьер губернатора Рейнсдорпа.

В дальнейшем ходе заседания был зачитан проект манифеста. Составленный наспех манифест был сух, мало толков и вообще никакими положительными качествами не отличался. Приказано было отпечатать его в двухстах экземплярах и вручить Кару. Тем временем Кар по грязнейшим осенним дорогам уже подвигался к Москве, и курьер с манифестом нагнал его 18 октября в Вышнем Волочке.

Три дня спустя после заседания Государственного совета, поздно вечером, Захар Григорыч Чернышев, лежа у себя на софе в домашнем халате, читал восточную повесть Вольтера «Задиг, или Судьба». Чернышев нашел эту повесть игривой, острой, полной занимательными приключениями Задига, который, поборов силой разума все препятствия, становится царем Вавилона, и все подданные прославляют его мудрое царствование. Ну вот, книжица осилена, и, надо надеяться, Екатерина не будет уже теперь шпынять Чернышева за то, что он мало читает этого старого еретика, автора «Орлеанской девы».

Стук в дверь. Вошедший адъютант подал Чернышеву два донесения Рейнсдорпа от 7 и 9 октября. Чернышев читал бумажки, волнуясь, пожимая плечами и посапывая. Он даже вспотел. Рейнсдорп доносил, что Пугачев овладел несколькими крепостями и предал казни через повешение некоторых комендантов. В толпу злодея продолжают передаваться большие казачьи отряды, и уже третьи сутки злодей стоит под Оренбургом. Состояние духа оренбургского гарнизона, особливо же офицеров, нерешительное и требовало беспрестанного с его, Рейнсдорпа, стороны ободрения.

– Фу ты, черт, – выдохнул Чернышев и, отбросив донесения, принялся читать адресованное ему лично письмо губернатора.

– И жаль, что не умертвили, – процедил с крайней досадой Чернышев. – Старый колпак! Да он куда хуже покойного фельдмаршала Апраксина.

Граф быстро оделся, швырнул томик Вольтера в угол между тумбой и софой, набожно перекрестился и, преисполненный тревоги, помчался, несмотря на поздний час, во дворец.

Выслушав Чернышева, Екатерина сказала:

– Как видишь, Захар Григорыч, ты недооценивал события. Высокомерие свое оставь и принимайся без промедления за дело по-серьезному.

«Это самое могла бы ты, матушка, сказать и себе», – с горечью подумал граф, а вслух промышал что-то в свое оправдание и поспешно ретировался.

Мрачные известия произвели среди двора изрядный переполох. Столица стала развивать лихорадочную деятельность.

Прежде всего Екатерина, изменяя дружбе своей с безбожником Вольтером, обратилась за помощью к церкви. Она просила казанского архиепископа Вениамина о том, чтобы священники его епархии читали по

церквам увещательные наставления, кои удерживали бы паству от темномыслия и присоединения к самозванцу.

В Москву, Псков, Бахмут, Могилев помчались курьеры с приказом Военной коллегии местным военачальникам отправить скорым поспешением на ямских подводах в Казань, Царицын и Саратов отряды: три роты Томского полка, два гусарских эскадрона, четыре легких команды – с повелением командирам их хранить в наивысшем секрете цель и назначение передвигаемых частей.

Генерал-фельдцейхмейстеру князю Григорию Орлову предписано было отправить в Казань на ямских две тысячи ружей, а в Москву – две пушки крупного калибра с прислугой и зарядами.

Приказ губернатору Рейнсдорпу гласил: «Изыскивая все способы, постарайтесь вы, губернатор, накопившуюся мятежническую толпу разлить и рассеять, а заводчика всему злу, самозванца Пугачева, схватить: у вас регулярных войск состоит в таком количестве, что всякая шатающаяся шайка отнюдь противостоять им не может, когда только споспешествует руководству войскам ее величества храбрость и мужество».

Был также послан приказ и командующему сибирским корпусом генерал-поручику Деколонгу – елико возможно, отвращать воинской силой «помянутого бездельника» от государевых в Сибири рудокопных заводов. Но столичный приказ не застал Деколонга на месте, он уже успел выступить в Челябинск к Оренбургу.

Сибирский губернатор Чичерин, жительствующий в Тобольске, проявил кипучую деятельность. Он направил на подставных лошадях к Оренбургской линии три роты с двумя пушками и стал мобилизовать приписных казаков, отставных солдат и даже татар. Зашевелился и комендант Троицкой крепости, бригадир Фейервар, – он тоже начал передвигать воинские части сообразно с обстановкой.

Деколонг между тем уже достиг Троицкой крепости и просил разрешения Рейнсдорпа двинуть свои сильные полевые команды на помощь Оренбургу. Однако вскоре Деколонгом был получен от Рейнсдорпа оскорбительный ответ: Рейнсдорп с обычной, присущей ему, тупостью писал, что в полевых командах Деколонга он вовсе не нуждается и что в самом непродолжительном времени, уповая на милость Божию, он, губернатор, собственными силами изменника Пугачева прикончит. А бригадиру Фейервару губернатор дал строгий выговор за то, что тот посмел запросить воинскую помощь из Сибири: «Требования ваши я почитаю за излишние».

Получив такой афронт, и Деколонг, и Фейервар только головами покачали.

Казанский губернатор, старик фон Брант, точно так же проявил воинственную деловитость. Регулярного войска в его губернии было крайне мало, всю надежду он возлагал на отставных солдат-поселенцев, правда, не имевших оружия и забывших воинскую муштру. Тем не менее он велел генерал-майору Миллеру собрать эти силы и расположить их по южной границе Казанской губернии. Всего было собрано до 1500 поселенных солдат.

Брант выехал на ближайшую к мятежу границу губернии, чтоб зорко следить за поведением бунтовщиков. Он приказал ставропольскому коменданту, бригадиру фон Фегезаку, собрать сколько возможно войск и двинуться на выручку Оренбурга. Помимо того, Брант отдал приказ сибирскому коменданту, полковнику Чернышеву, идти со своим отрядом к самарской линии укреплений^[96], забирая по пути калмыцкую конницу и регулярные части. Одновременно с этим было распоряжение премьер-майору фон Варнстедту отправиться с отрядом из Кичуя к Бузулуку.

Таким образом, против безвестного дотолем Емельяна Пугачева ополчились, как мы видим, Рейнсдорп и фон Брант, Валленштерн и Деколонг, Фейервар и фон Фегезак, Миллер и Варнстедт, Кар и Фрейман, а впоследствии – Михельсон, Меллин, Муфель и другие.

Встревоженная Екатерина пользовалась теперь всяким случаем, чтоб выведать настроение народа, особенно крестьянства. Интересовали ее и настроения землевладельцев.

Узнав, что бывший гетман Малороссии Разумовский перебирается на зиму в свой Глухов, поближе к Киеву, царица имела с ним беседу.

– Послушай, Кирилл Григорьич, – сказала она. – Как будешь переезжать к себе, узнавай состояние умов крестьян, а заодно и помещиков, и какова там эха пугачевской смуты. Ведь я, сам ведаешь, толь из своего окна вижу Россию, а что творится в глуши, где мне знать?

– Да, матушка, – прикинувшись простачком, ответил ей бывший гетман, точивший на Екатерину зуб – ведь она, по-царски наградив Разумовского, вырвала из его рук власть. – Ты не Петр Великий, это он, бывало, всюду поспевал и в бричке, и верхом, а инде и пешком по болотам. Для него Россия, как облупленное яичко, на ладошке была. А ты, матушка, женщина, тебе и Бог простит. Тебя хоть и прокатят по Волге до Казани, так нешто покажут явь-то нереченную!

Гетман знал, что эти слова сильно заденут императрицу. И Екатерина действительно смутилась. Однако, чтоб замаскировать это, она рассыпалась перед графом в благодарности за его искренность и прямоту, а в подтверждение слов своих достала из кармана робы драгоценную табакерку и наградила ею бывшего гетмана, сказав:

– Я очень уважаю и люблю тебя, Кирилл Григорьич, маленечко люби и ты меня... Чуть-чуть, чуть-чуть, – с неуловимой прелестью врожденного кокетства закончила Екатерина.

Разумовский ехал пышно, по-царски, и в каждом уезде, через который лежал его путь, был с триумфом встречаем местными дворянами. В очень удобной, на качающихся рессорах, карете, запряженной восьмеркой лошадей, и в сопровождении собственного полуэскадрона молодцов, одетых в гусарскую форму, граф въехал однажды под вечер во двор богатого помещика.

На подъезде гость был встречен хозяином и тридцатью, со всего уезда, помещиками в пышных париках, праздничных кафтанах, шелковых чулках. Женщины отсутствовали – хозяйка дома была в отъезде.

В десятом часу начался торжественный ужин с французско-украинским обильным столом. Сначала было скучно, чинно, как в мужском монастыре, произносились обычные тосты – за царствующий дом, за высокого гостя, за хозяев. Затем, в меру опорожненных бутылок, застольца оживилась. Один перед другим помещики старались рассказать графу что-нибудь занятное, изощрялись в остроумии, с собачьей преданностью заглядывали великому вельможе в глаза.

Лишь один скромно одетый старичок со впалыми, будто стесанными щеками (сидел по край стола, на торчку), насытившись яствами, сосредоточенно и мрачно глядел в тарелку с остатками недоеденного рябчика и не принимал участия в шумной беседе. Он, казалось, был болен либо чем-то сильно удручен. Впрочем, на него никто не обращал внимания.

– ...Да он сам, сам расскажет! – восклицал, продолжая разговор, граф Разумовский. Он отрезал серебряным ножичком и клал в рот сочные куски арбуза. – Иван Абрамович, будь друг, расскажи!

– Да вы, ваше сиятельство, лучше меня расскажете, – отозвался черноволосый, с приятным лицом, адъютант графа, молодой подполковник Бородин.

– Ну, ладно! Тилько где трохи-трохи брехать начну, одерни меня за фалду... – Граф подбоченился и начал: – Сей чоловик був по то время парубком... Скільки тебе годков-то було?

– Восемнадцать, ваше сиятельство. Но я был хлопец крупный, и мне давали все двадцать пять.

– Ось! – поднял палец бывший гетман. – И вот слушайте, панове, який этот хлопчик был засоня. Едет он с эстафетой к фельдмаршалу Салтыкову от самой матушки Елизаветы – превечный покой душе ее. – Граф перекрестился, а глядя на него, и все гости, не угашая улыбок, тоже перекрестились. Лишь мрачный старичок сидел, как изваяние, смотрел в тарелку. – А дело было в Прусскую войну. Грязюка на дорогах – лошадям по колено, а дорога тряская, таратайка дыр-дыр-дыр по камням... тут уже не до сна, а того гляди, от трясовицы очи выпрыгнут. Ровно семь суток проскакал хлопец по такой грязюке, и день и ночь, и день и ночь. Да так за это время умаялся, так уездился, что... В какой городок ты приехал?

– В первый от границы прусский городишко.

– Видит он: двухэтажный домочек с вывеской: «Кофейня». И сейчас же – туда. Подымается наверх, ему навстречу две немки-хозяйки: «Ах, русский офицер, ах, пожалуйста!» – и тотчас побежали готовить кофе. А сей хлопчик, как у него очи уже не взирали на Божий свет, повалился на кушетку и, пока кофе готовили, заснул... Ха-ха!..

– Ха-ха-ха! – отозвалась предупредительно застолица.

– Ось добре. Немочки принялись гостя будить. Не тут-то было! Уж что они над ним ни вытворяли: и уши терли, и дубом ставили, и в ноздре щетинкой щекотали, а вьюнош, как зарезанный гусак, тильки головой мотае да мычит... Ось добре... А немочки-то в помещении одни проживали, ни прислуги, никого. Матильде годиков под сорок, Кларе годиков под тридцать, родные сестры. И обе, заметьте себе, девушки, а младшая – Клара – еще прехорошенькая, пышка! А как были они зело набожны и девическую честь свою блюли пуще глаза, то, дабы избежать всяких среди соседей кривотолков, рассудили вытащить вьюношу на холодок. Вот они, с великим кряхтеньем, за руки да за ноги выволокли его со второго этажа на улицу и положили на лавку у ворот. А вьюнош спит. Як освежеванная свинячая туша. Ха-ха-ха!..

– Ха-ха-ха!.. – всохотнула застолица.

– Ну, продолжай, дружок, теперь ты сам, – обратился граф к адъютанту и вынул из кармана табакерку.

Осыпанная бриллиантами золотая табакерка, отражая в себе огни двух люстр, засверкала волшебным сиянием. Все взоры влипли в чудодейственную штучку, глаза загорались то вожделением и завистью, то очарованием и любопытством. Граф, наблюдая вприщур восхищенные лица публики, не спеша пощелкал по крышке табакерки двумя перстами, тщеславия ради повертел ее перед огнями люстр, открыл, понюхал табак и только лишь хотел опустить в карман, как услышал почтительный, задыхающийся от восторга голос соседа, осанистого, с благородным лицом, помещика.

– Осмелюсь, ваше сиятельство... Дозвольте полюбопытствовать.

– Зараз, зараз... Прошу, – и граф передал табакерку соседу.

Табакерка пошла по рукам от гостя к гостю.

– Ну, дружок, мы ждем, – вновь обратился граф Разумовский к адъютанту.

Тот, сочтя, что второй раз отказываться неприлично, вытянул руки, посмотрел на красиво отточенные ногти и начал:

– Дальше было так, господа. Обе девушки, поскольку стояло ночное время, легли в постельку спать. И вдруг слышат – по крыше дождь барабанит. «Матильдочка, – сказала Клара, – как же быть? Ведь офицера промочит холодный дождик, он может заболеть...» – «Придется внести его, Клара. Не дай Бог, захворает да еще умрет.. Все-таки жаль!» – «Но как же нам с мужчиной ночевать? Что скажут соседи? Это очень неприлично, это грешно». – «Бог простит, давай внесем...»

– От-то чертяка! – захохотал граф, прихлебывая ароматный глинтвейн. – Откуда же знаешь их

разговор? Под кроватью у них, что ли, сидел?

– Нет, граф... Я спал в это время не под кроватью, а под дождем, но они впоследствии сами рассказали мне. Итак, оные девушки снова вволокли меня во второй этаж и положили на ту же самую кушетку. Проснулся я на другой день, к обеду. Вскочил, как сумасшедший. Боже мой! Эстафета ее величества, фельдмаршал Салтыков!.. Хозяйки заторопились готовить завтрак, а я побежал за лошадьми. Страшно болел затылок. Я пощупал его, он весь вспух, весь в шишках. Ну, значит, девушки, на руках, волокли меня почем зря, и дважды, дважды пересчитал я затылком ступени их проклятой лестницы!

Гости засмеялись. Лакеи налили вина.

– Ха! Вот как спят русские люди! – воскликнул слегка захмелевший граф и с укором посмотрел на присутствующих. – А особенно крепко спит, в смысле иносказательном, наш дворянский корпус. И до таких пор дворяне будут спать, покуда гром не грянет. О, Господи, прости меня грешного, и я таков, и я таков. «И в лениности все житие мое иждих», как в церкви поется, – он едва лишь покосился на бутылку бургундского, как все подмечающий красавец лакей с ловкостью и манерной грацией наполнил хрустальный бокал вином и подвинул графу.

– Да, ваше сиятельство, – вздохнул хозяин, узкоплечий, высокий и большеголовый человек в голубом атласном кафтане со звездой и в огромном старинном парике. – К стыду нашего дворянского сословия, мы, во вред себе и государству, малодетельны, празднотлюбивы и не любопытны.

– Не то я видел, господа, обучаясь за границей, – сказал граф. – О, поверьте... Там дворянин-помещик изощрен в науке. Культура знаков там разработана в доскональности. Помещик там от земли берет все, что она может дать. А мы что? Мы только от мужика берем все, под метелку! От земли же ничего не умеем брать. – Граф, оставив украинские словечки и шуточный тон, говорил теперь с серьезностью. – И вот – результаты... Поди, вам ведомо, что где-то там, в оренбургских степях, появился самозванец во образе покойного императора Петра Федоровича, воюет крепости, мутит народ, обещает мужикам землю, ведет их против помещиков... Словом, под Оренбургом грянул гром. Ну а у вас, в вашей Смоленщине, как мужики себя ведут?

– Да будто бы спокойно, ваше сиятельство, – пожимая плечами, ответили дружно помещики. – Однако среди народа заметно некое шатание умов, небрежение господской работой и прочие признаки свойства зело тревожного. Мужики как бы чего-то ждут...

– Вот, панове дворяне, откуда беда-то на вас идет. Мужик воскорбел о рабском своем состоянии и оное восхотел превозмочь...

– Сие неистовое его хотенье, ваше сиятельство, противно Богу, закону и традициям дворянским, из предвека существующим, – проговорил хозяин.

– Ну, Бог-то тут ни при чем, а дворянам, верю, противно! – жмуря в лукавой улыбке утомленные глаза, сказал бывший гетман. – Ну, и как же вы думаете, господа помещики?.. Представьте себе, что мужицкое смятение будет все расти да расти. Как надлежит в сие время помещику относиться к мужику? Нут-ка, нут-ка...

Гости переглядывались друг с другом, молчали. Сосед графа, солидный, осанистый человек, сказал басом:

– В ежовых рукавицах в сие время мужика надлежит держать, чтоб пресечь в нем вздорное мечтанье в самом корне...

– Вот именно! – раздался голоса. – Ныне о послаблении речи быть не должно.

– Нут-ка, нут-ка, – с поощрительной настойчивостью понукал дворян вельможа. Ему необходимо было

наиточнейше знать, чем дышит помещичья Россия, – таков ведь строжайший наказ матушки. – Нут-ка, нут-ка, – еще раз повторил он и, вспомнив о табакерке, засунул пальцы в верхний карман камзола. Но табакерки там не оказалось. Меж тем помещики, перебивая друг друга, продолжали разговор. Забыв о понюшке, граф стал внимательно вслушиваться в их речи.

– Вот вы толкуете – ежовы рукавицы, – с жаром говорил краснолицый помещик, потряхивая полными, пожеванными щеками. – А где эти ежовы рукавицы? Дайте их нам! Вот недавно у меня мужики перепились да побушевать вздумали, мне из города прислали для усмирения четырех инвалидов, при них офицера с деревянной ногой. Так не им меня, а мне их защищать пришлось от подлого народа.

– Да, ваше сиятельство! – загалдели со всех сторон. – С этой турецкой войной государство внутри бессильно стало. А тут слухи о самозванце. Мужик голову поднял, того гляди за топоры возьмется да красного петуха учнет пускать...

– К тому есть примеры! – поднявшись, звонко выкрикивал подвыпивший сутулый помещик в рыжем парике. Он говорил быстро, был суетлив, успевал хватать со стола темно-синие сливы, бросать их в рот и торопливо прожевывать. – ...Взять князя Треухова, у него только что закончился бунт мужиков. Или взять помещика, секунд-майора Красина, у того мужики убили приказчика, удавили бурмистра, сам Красин бежал в Смоленск, а мужики весь барский хлеб по домам разворовали. Или, скажем...

– А как же вы, любезные дворяне, толковали, что у вас в губернии тишь да гладь? – перебил его Разумовский, насмешливо прищурил глаза и потряхивая головой.

– Обеспокоить вашу особу, граф, не хотелось...

– Я правду от вас хочу слышать, а вы меня баснями...

– Просим прощения, граф, – как шмели, загудели помещики, уставясь преданными глазами в помрачневшее лицо Разумовского. А подвыпивший помещик в рыжем парике, поддев на вилку соленый груздок и отправив его в рот, закричал:

– Увы, увы, ваше сиятельство! Мужики у нас непокорство проявлять привычку взяли, по овинам собираются, разговоры ведут, а о чем говорят – неведомо! И ни плетей, ни тюрьмы не страшатся. У меня на той недели убежали двое и двух коней свели. А среди моей дворни толки: дескать, ускакали на барских конях к объявленному царю под Оренбург.

– Вот вам... Не угодно ли, – раздраженно молвил Разумовский и глубоко вздохнул. – Да, панове, не умеем мы заботливыми хозяевами быть, не хотим о мужике пекчись. Через это самое добрую уготавливаем почву для всяких Пугачевых. Сами себе яму роим, панове!

– Дозвольте, ваше сиятельство, доложить, – прокричал с дальнего конца брюхатенький человек с живыми глазами; он сорвал с лысой головы парик, помахал им себе в лицо и, чуть приподнявшись, сунул его под сиденье. – Быть хорошим хозяином и своим мужикам благодетелем в нашем отечестве возбраняется, ваше сиятельство.

– Как так? – поднял брови граф.

– А так! В шестьдесят втором году, когда государь наш Петр Федорович тихую кончину воспринял («Дал бы Бог тебе такой тихой кончиной помереть», – ухмыльнулся про себя Разумовский), нашу Смоленскую губернию голод посетил. А как у меня при небольшом, но исправном хозяйстве были порядочные-таки запасы хлеба, то я, щадя жизнь своих голодающих крепостных, принял их на свой кошт. И мои крестьяне в благодарность за то, что я их кормлю, стали работать даже усерднее, чем раньше. И что же случилось, ваше сиятельство? Нет, вы послушайте, вы только послушайте!

– Бросьте-ка вы, Афанасий Федорыч, докучать его сиятельству. Знаем, знаем... Чепуховый ваш

рассказ, тоску наведете только, – раздалось два или три протестующих голоса.

– Нет, не брошу!.. Нет, соседушки дорогие, не брошу! – напористо выкрикнул толстобрюхенький Афанасий Федорыч и посверкал на крикунов обозленными глазами. – Вдруг, ваше сиятельство, наезжают ко мне скопом со всего уезда помещики – кой-кто из них сидит за сим столом – и начинают мне угрожать: «Ах ты такой-сякой, да мы на тебя жаловаться будем, ты черный народ возбуждаешь к бунту». Я, не ведая никакой вины за собой перед правительством, прошу их объясниться. А они мне: «У наших мужиков нет ни куска хлеба, и мы ни зерна не даем им, а ты своих кормишь. Да как ты смеешь? Да знаешь ли, что через это воспоследует?» – «Знаю, – говорю. – Мои крестьяне живы будут, а ваши с голода помрут». – «Врешь! А выйдет вот что: наши мужики, проведав, что ты своих кормишь, а мы не кормим, перебьют нас всех. Ты бунтовщик, ты дворянское сословие позоришь... Мы сейчас подаем бумагу губернатору, чтоб он приказал арестовать тебя».

– Ха-ха-ха! – раскатисто и громко захохотал Разумовский. – Значит, ату, ату его! Не будь я своеволен...

На этот раз графского хохота никто не поддержал, а его сиятельству приспело наконец желание нюхнуть табачку, он похлопал себя вновь по карманам, нахмурился и выкрикнул:

– Господа! Потрудитесь возвратить мою табакерку. У кого моя табакерка?

Все зашевелились, заерзали, зазвучали отрывистые фразы, пререкания. «Иван Иваныч, я ж вам передал, помните?» – «А я передал Федору Петровичу». – «А я, а я... Я уж не помню кому... Тут через стол все тянулись».

– Ну что ж, табакерки не находится? – выждав время, спросил граф голосом потвердевшим и поднялся.

Наступило молчание. Все сидели, пожимая плечами, подозрительно косясь друг на друга. Всяк почувствовал себя необычайно гадко. Гости, а в особенности хозяин, понимали, что произошел величайший скандал: среди дворян был вор.

– В таком разе уж не погневайтесь на меня, панове, уж я сам буду разыскивать табакерку... Я бы плюнул на это дело и ногой растер, ежели бы сам ее купил, а то табакерка-то суть презент самой матушки. Потрудитесь уж, господа, вывернуть карманы... – проговорил граф Разумовский не то в шутку, не то всерьез.

Все, хмурия брови и сопя, принялись с поспешностью выворачивать карманы.

Первым был обыскан хозяин, вторым – адъютант графа подполковник Бородин. Граф осмотрел карманы, прощупал горячими ладонями его спину, бока и грудь, даже пошарил за широкими голенищами ботфорт. Все поняли, что граф не шутит. Граф внимательно осмотрел третьего, четвертого, пятого, осмотрел, наконец, двенадцатого и приблизился к тихому старичку, все в той же мрачной позе сидевшему последним, с правой стороны стола.

Старичок весь дрожал, его бросало то в жар, то в холод, горящее ярким румянцем сухощекое лицо его покрылось испариной, седой паричок жалко съехал на ухо.

– Встань, любезный! – приказал подошедший к нему граф. – Ты что ж карманы не вывернул, любезный, а?

Вскочив на ноги, старичок взглянул в глаза графа тихим, умоляющим взором, прижал к груди стиснутые в замок кисти рук и чуть слышно прошептал:

– Ваше сиятельство, будьте великодушны, не губите!.. – он едва передохнул и полузакрыв глаза. – Пощадите меня, пойдите в соседнюю комнату, я вам все открою, – нашептывал он и, не в силах от

волнения стоять, схватился руками за спинку кресла.

– Пойдем, душенька, пойдем, – громко произнес граф. – Иди вперед, указывай дорогу!

И граф двинулся вслед за сухоньким старичком, расхлябанно шаркающим больными ногами по натертым паркетам. На старичке помятый, серого цвета кафтан с протертыми возле локтей рукавами и стоптанные, порыжелые сапожки.

Осанистый, пухлый граф напоминал собой откормленного сибирского кота, а серенький старичок был похож на приговоренного к лютой смерти неопытного мышонка.

Великолепный вельможа, сияя драгоценными камнями, нанизанными на его богатый, рытого бархата кафтан и щегольские туфли, на ходу повернул голову к гостям и многозначительно потряс вытянутым указательным пальцем, как бы говоря: «Ну и распатроню я этого мазурика».

Когда они оба – граф и старик – скрылись, за столом начались бранчливые пересуды:

– Вот мошенник... Ну можно ли было...

– Нет, это сверх всяких вероятий...

– Ну, укради он у меня или у кого другого, а то у вельможи, всему свету известно...

– Да кто его, господа, притащил сюда, того прощельгу?

– Сам притащился...

– Царь Небесный, со мной чуть не приключился удар... Уж я лакеев своих заподозрил... Господи, Боже мой!

А там за дверью маленький старичок, то и дело прикладывая к глазам засморканный платочек, срывающимся задышливым голосом пытался разъяснить графу плачевное свое положение:

– Видит Бог, видит Бог, ваше сиятельство, я табакерки вашей не брал и к ней не прикасался... – через всхлипы и вздохи говорил он, выстукивая зубами дробь. – А как я беден и малую имею толику землицы, а детей содержу шестеро, да жену, да женину мать, в параличе лежащую, то почасту мы и голодаем. Вот жена иным часом и наущает меня: поезжай, Васенька, туда-то, я-де слышала, званый обед там, хоть и соприглашен ты, а как-нито проскочи, уприси лакеев, укланяй, они-де авось смилосердствуются – пустят. А за столом-то наедайся с усердием, да и нам-де кой-чего прихватишь... Так, ваше сиятельство, я на своей кобылке да в бричке рогожной и разъезжаю по богатым людям, снискивая себе пропитание. Вот, ваше сиятельство, и сюда я таким же манером попал, крадучись.

– Но почему ж ты не показал карманы, раз заявляешь, что у тебя табакерки моей нет? – видя явное заpiration старика, раздраженно спросил граф.

– Ваше сиятельство, грех вам столь обидно думать на меня, на старого. Ежели повелите, я здесь не токмо что карманы, сам до наготы разденусь... А при всех гостях не вывернул я карманы потому, что вот, извольте посмотреть: в этом кармане две доли пирога у меня с мясом, в этом – кусок пирога с вареньем, а в этом – парочка рябчиков, а в этом – белый хлеб с ветчиной да с белорыбицей. Это суть и есть пропитание для нищего семейства моего! – Изможденное лицо старика взрыбилось в горестной гримасе, он упал графу в ноги и залепетал: – Не губите, ваше высокое сиятельство... и умоляю вас, никому не сказывать о моем... невольном... прегрешении!

– Это не грех, не грех, голубчик, – с чувством соболезнования молвил граф и, поспешно, насколько ему позволяла дородность, подхватил расслабленного старика под мышки, поставил его на ноги. – Верю тебе, старче! На-ка, брат, возьми на бедность, – граф запустил руку в глубокий карман штанов, чтоб достать несколько золотых монет, и вдруг ущупал там драгоценную пропажу... На мгновение он пришел в

столбняк, красногубый рот его передернулся. Затем, сунув старику горсть червонцев, он, потеряв всю свою респектабельность, с облегчающим хохотом вошел в столовую:

– Эврика! Эврика!.. Господа! Пропажа нашлась, – он поднял руку и посверкал табакеркой перед огнями. – И знаете, кто вор?

– Знаем!.. – хором, с ожесточением ответили гости.

– Я – вор! – ткнул граф Разумовский табакеркой себя в грудь. – Прошу прощения за тревожнения!

Все уставились на графа выпученными глазами. И не успели еще вокруг опомниться, как вбежал лакей и, подскочив к хозяину, что-то сказал ему на ухо.

Хозяин с шумом поднялся, задышливо проговорил:

– Господа! Несчастье. Кажется, старичок-то у нас... того!

Все быстро, толкаясь в дверях, вошли в соседнюю комнату. Щупленький, сухощекий старичок, в парике с косичкой, разметался на полу в жалкой позе, вверх лицом. Левая рука его откинута, в скрюченных пальцах – червонцы, дар Разумовского. Из кармана торчит кусок пирога. На лице тихая, виноватая улыбка, будто старичок хотел сказать: «Уж вы не прогневайтесь, господа... Ненароком я... Уж так приключилось со мною».

Граф Разумовский сказал:

– Ну, такому дворянину отныне никакая мужичья смута не страшна.

– Ему, ваше сиятельство, и при жизни мужичья-то смута не была страшна! – подхватил кто-то из гостей резким до неприятности голосом. – Покойник – сосед мой по имению... У него и крепостных-то душ всего-навсего семеро, да и те, извините меня, древнего возраста, а то калеки-с...

Все угрюмо поглядывали то на покойника, то на знатного гостя, а тот, опустив голову, растерянно вертел в пальцах драгоценную табакерку.

В ту самую пору, когда граф Разумовский «усиливался изучать» настроения смоленского дворянства, в городе Казани, в грозовой атмосфере надвигавшихся событий, разыграна была некая церковная интермедия.

5 октября поутру архиепископ Вениамин выехал из монастыря в кафедральный кремлевский собор в парадном, отделанном яркой позолотой «берлине», на шестерке лошадей; кучер – в голубом кафтане с плюмажем. Впереди рысцою подвигались двое верховых архиерейских служек в зеленых епанчах; передний держал на руке святительскую мантию, задний – серебряный посох. Встречные, не исключая татар, срывали шапки, отвешивали низкие поклоны проезжавшему владыке.

После торжественного облачения в мантию, при пении хора, престарелый седобородый Вениамин с паперти проследовал в собор, где и совершил краткое молебствие. Затем, в окружении духовенства и клира, под сенью хоругвей, весь в сиянии золотой парчи, он появился на высоком воскрылии собора. Все здесь преисполнено было пышности.

У подножия кремля лежал в блеске осеннего солнца большой полурусский, полутатарский город со многими мечетями и церквями. Вдали, сквозь темное кружево голых деревьев, отсвечивала, туманилась Волга. Кремль был набит народом. Возле собора люди стояли густо, плечо в плечо. Впереди, в длиннополых синих кафтанах, – именитые казанские купцы-бородачи: Крупенниковы, Носов, Мухин, Корнилов, Кобелевы, Пчелины, Иноземцев и многие другие. Некоторые с медалями, а иные, занимавшие в городском магистрате выборные должности, в мундирах и при шпагах. Отдельной, довольно

многочисленной группой стояли пленные польские конфедераты с Пулавским во главе.

Внизу, справа, четким строем замерли два батальона одетых в бушлаты солдат с развернутым, потрепанным в боях полковым знаменем. Слева выстроились воспитанники первой казанской гимназии с ее директором, подполковником фон Каницем, и тринадцатью учителями.

А непосредственно перед воскрылием собора и на широких каменных ступенях его – начальствующие лица, вся знать, а также немало помещиков, бежавших в Казань со своими семьями из бунтовавших деревень и селений.

Впереди всех, на бархатном коврике – старый губернатор Брант. Несмотря на довольно теплый день, он в меховой шубейке. Бритый, быстроглазый, с румяными отвисшими щечками, он бросал вокруг воинственные взоры, спесиво пожевывал губами.

Начался торжественный чин проклятия. Полковник скомандовал войскам: «На караул!» Ружья дружно звякнули к ноге, барабаны ударили тревожную дробь.

Высокий и тучный протодьякон, получив благословение Вениамина, вступил на лобное место и осанисто перекрестился. Бой барабанов смолк. Наступила тишина. В толпах люди раскрыли рты, уставились взорами на протодьякона. Он недавно был переведен в Казань из Вологды с повышением. Народ имел случай слушать его впервые: ужо-ка грянет!

Протодьякон шевельнул могучими плечами, открыл широкую пасть и, вместо громоносного басистого возгласа, неожиданно воскричал тонким, резким, пронзающим душу тенорком. Изумленные богомольцы засипели от неудержимого смеха, благопристойно утыкаясь лицом в пригоршни.

– Богоотступник и злодей, – отдельно вопил фистулою протодьякон, – злодей, поправший законы Божеские и человеческие и дерзновенно похитивший велелепое имя в бозе почившего императора Петра Федоровича Третьего, беглый донской казак Емелька Пугачев да бу-у-удет... – анафема! – возгласил Вениамин.

– Да будет а-на-фе-ма, проклят! – неистово закончил протодьякон.

Мощный хор, при медленном погребальном перезвоне колоколов, мрачно трижды пропел:

– А-на-фе-ма! Ана-фема! Ана-фема!

В народе завздохали, затрясли головами. Трудно было разгадать, что думал народ. Расходились люди молча, потупившись в землю. На лицах пасмурно и хмуро. Старушки плакали: близится, мол, светопреставленье, грядет антихрист с окаянным своим воинством во образе нечестивца Пугача, выроodka от блудницы-девки.

А в этот самый час Емельян Пугачев, только что преданный анафеме, в бодром расположении духа «чинил порядок» среди своего придвинувшегося к Оренбургу воинства. И то же, что в Казани, солнце щедро заливало благостным своим золотом дикие степные поля – плацдарм предстоящих грозных битв.

Глава XII

Стычки. Золотая горенка. Девичья ссора

1

Армия Пугачева, возросшая до 2400 человек, стояла на горе в бездействии. Несколько смелых яицких казаков и татар спустились в форштадт^[97] и пробовали затащить на колокольню егорьевской церкви пушку, но Рейнсдорп распорядился пугнуть их артиллерийскими выстрелами и зажечь предместье. Смелычаки бежали. Предместье запылало.

Казак Иван Солодовников подскакал к самому крепостному валу, воткнул в землю колышек с привязанной к нему бумагой, гаркнул: «Государев указ!» – и под свист пуль умчался.

Указ Пугачева до солдатской массы не дошел, его прочли немногие офицеры и тотчас же отправили Рейнсдорпу. Бумага гласила:

«Сим моим именным указом регулярной команде, рядовым солдатам и офицерам повелеваю: послужите мне, своему законному государю Петру Федоровичу, до последней капли крови и, оставя принужденное послушание к неверным командирам вашим, которые вас развращают и лишают вместе с собой великой милости моей, придите ко мне с послушанием и, положи оружие свое перед знаменами моими, явите свою верноподданническую мне, великому государю, верность, за что награждены и пожалованы мною будете. Как вы, так и потомки ваши первые выгоды в государстве моем иметь будете и славную службу при лице моем служить определитесь...» и т.д.

Рейнсдорп, сердито хмурясь, прочитал бумагу дважды, подивился ее складному слогу, подчеркнул иные фразы и велел подшить к недавно заведенному делу № 41 «О государственном злодее, беглом казаке Емельке Пугачеве».

Два дня продолжалось спокойствие. На третий – часть пугачевцев двинулась к Меновому двору, чтоб поживиться там купеческими товарами. Меновый двор, где производилась главная торговля со степью, стоял в двух верстах от города, за рекой Яиком. Обнесенный каменной стеной с несколькими рядами лавок, складами и службами, Меновый двор представлял собою обычный тип восточных базаров.

Рейнсдорп выслал отряд драгун и казаков, которые прогнали мятежников и около сотни человек захватили в плен. Ободренный сим успехом, губернатор так обрадовался, что за фриштыком, кушая пирог с солеными груздочками, велел даже кликнуть своего немца-повара:

– Вот што, голубчик Шульц... Я тебя поздравляю с очень вкусным пирожком, а ты мне поздравляйт с победа. Выпьем!

Перед обедом, на военном совещании, он настоял издать приказ.

– Завтра, девятого, – сказал он, – дружно атаковать неприятеля. Я ему, сукин кот... Я ему, я ему... Капут!

Однако наутро явился в расстроенных чувствах комендант крепости, генерал-майор Валленштерн, человек деятельный, храбрый, умно-насмешливый.

– Наши дела, Иван Андреич, весьма печальны, – сообщил он Рейнсдорпу.

– Шо, шо, шо? – вскричал тот, выпучив глаза. – Я вас не понимаю...

– Командиры частей, назначенных вами в наступление, только что заявили мне, что их офицеры да и многие нижние чины изъявляют великую робость, ежели не страх...

– Пасфольте, пасфольте... Но мы же победили!

– Победителями были вчера, а сегодня в войсках роптание.

– Что ж делать? Какоф ваше мнение?

Валленштерн, относившийся к Рейнсдорпу иронически, ответил:

– Я здесь человек новый, две недели тому назад переведенный из Сибири, а посему затрудняюсь дать вам должный ответ.

– Тогда ответ дам я... Вылазку отменить! – закричал Рейнсдорп и, размахивая руками, принялся вышагивать по кабинету. – Нас мало войск и нет кароших офицеров. Не могу же я, не могу же я... сам вести зольдат в атака. Шорт знает што такое... Пфе!.. А этот Клопуш, помните? Он еще не вернулся из командировка?

– Надо полагать, что не вернется.

– Шо?

Чтоб доконать губернатора, Валленштерн сказал:

– В городе пойманы два шпиона. Под пыткой оба показали, что подсланы Пугачевым убить... гм... гм... господина губернатора.

– То есть меня?

– Судя по тому, что в оной должности состоите вы, ваше высокопревосходительство, Пугачев имел в прешпекте именно вас.

Губернатор опустился в кресло. Лицо его приняло багрово-синеватый тон. Был немедля позван полковой лекарь – бросить Рейнсдорпу кровь.

Оправившись, он стал писать уже известное нам вполосное письмо графу Чернышеву.

Прошло три дня. Приняв оборонительную тактику, Рейнсдорп поневоле предоставил Пугачеву свободу действия. Пугачев становился таким образом полным хозяином края. Вскоре, однако, Рейнсдорп сообразил, что далее так продолжаться не может. Он был ответствен за судьбу края, а наипаче того дрожал за собственную карьеру, благодаря чему проявил неожиданно даже личную храбрость. Так, он, например, по три раза в день появлялся в самых опасных местах, стал обходить позиции, шутил с солдатами, подбадривал офицеров.

Тем временем Пугачев все шире и настойчивее развивал свою деятельность. Он всюду рассылал гонцов с пылкими воззваниями, приглашающими в его армию калмыков, ногайцев, киргизов, заводских и крепостных помещичьих крестьян. Он повелевал выпускать на волю всех содержавшихся в тюрьмах «и у прочих хозяев имеющихся в невольности людей».

Не в пример казенным, написанным невразумительным канцелярским языком приказам, реляциям и рапортам, грамоты Пугачева большей частью были кратки, общепонятны и толковы. Они писались либо его секретарями при личном участии вождя, либо скопом, когда любой атаман, а иным часом и случайный казак или мудрый старик-крестьянин нет-нет да и подадут свой голос; нет-нет да и ввернут крепкое словцо. А когда черновая бумага зачитывалась Пугачеву, он сам делал поправки.

– Больно кудревато, – говорил он. – Ты прямо пиши: «голова будет рублена».

Вот яркий, замечательный по стилю образец письменного народного творчества – одно из октябрьских воззваний Пугачева к русскому населению:

У Пугачева во всяких людях недостатка теперь не было, и манифесты к мусульманскому населению писались по-татарски, по-арабски, даже по-турецки и на иранском наречии. Эти манифесты распространялись на местах о множестве, по наслегам, кочевьям, улусам.

Манифесты эти сочинялись в восточном вкусе – выпренье, витиевато и образно, а самый титул императора преподносился с большой пышностью:

Однажды, когда заслушивался указ башкирским старшинам, Максим Шигаев сказал Пугачеву:

– Как бы, ваше величество, по первости-то не отпугнуть башкирских-то стариков, верхушку-то башкирскую. Может, они по первости и не столь склонны против государыни выступать. Как бы они в сумнительство не пришли да и народ свой не помutilи. Кто их ведает, что у них на уме-то.

Пугачев, заложив руки назад и опустив голову, прошелся, затем, пристально заглянув в лицо Шигаева, сказал:

– Дело, Максим Григорыч, говоришь. Пожалуй, доведется и Катерину уважить. А как настанет пора-время, народ сам разберет, что к чему.

Очередной указ был переделан, вставили в текст весьма хитроумное добавление:

– Ну вот, теперь, пожалуй, в самый аккурат, – выслушав исправленный указ, сказал Пугачев; живые глаза его улыбались. – Хоша Катя моя и дрожайшая, и сладчайшая, а государь-то властительный все же не она, а я!

Башкирский мулла Кинзя Арсланов, получив один из пугачевских указов, отправил собственноручное письмо башкирскому старшине Аблаю Мурзагулову и прочим старшинам: «Желаемое нам от Бога дал Бог нам. От земли потерянный, царь Петр Федорович подлинный сам, клянусь тебе Богом».

И таких собственноручных, от своего разумения писанных посланий к башкирцам и кочевникам среди известных народу лиц было немало.

Когда же, случалось, подслушивал Емельян Иваныч бранчивый говорок промеж не забывших старину казаков о том, что-де не больно ли усердно царь-батюшка «нехристей» к сердцу принимает, не чрез край ли мирволит всяким там калмычишкам и прочей орде, Пугачев подзывал к себе недовольных и со строгою вразумительностью говорил:

– Как есть мы единая, всяя державная Россия, то и предлежит быть в ней всякому существу племени единый увет и порядок. Я допряма вам, детушки, толкую – тако и в писании сказано: «Славят всевышнего все племена и народы». А всевышний, как и царь земной, един на всех, вроде пастыря в стаде. Мотри же, – добавляет он строго, – у нас в стане никаких чтобы межусобиц, никаких раздоров не было промеж себя. Нам окаянствовать не к лицу, детушки, а надобно жить купно со всеми. По какому хошь пальцу вдарь обушком, всей руке больно... Для руки все пальцы одинаковы, такожде для государя вашего – все народы... Верно ли сказываю, детушки?

Люди многотумно переглядывались между собой, и кто-нибудь из степенных казаков, один за всех, давал батюшке ответ:

– Истина твоя, царь-государь... Ты – отец народам.

По-иному держал себя Емельян Иваныч с провинившимися атаманами, слыша от них злое слово в сторону «нехристей». Однажды, поймав на такой брани полковника Лысова, сгреб его за ворот, будто в шутку, да так потрянул, что у Митьки сцакали зубы и шапка покатила на землю.

– Ты чего это, полковничек, лаешься? Сам ты в таком разе из басурманов басурман... Мотри, брат, чтобы этой погудки я от тебя впредь не слышал!

И затем, видя растерянность Лысова, продолжал более мирно:

– Эх ты, теленок несмысленный... А еще в полковники выбран... Мне не то обидно, что татар да башкирцев с калмыками костишь ты, а то обидно, что людишки-то эти в моем воинстве и ничего от них, окромя верности, мы не видим. Уразумел?

А Зарубину-Чике он по этому поводу, с глазу на глаз, сказал:

– Вот что, друг... Последи-ка за Лысовым. Дюже задирист он насчет инородья-то. Межусобицы да раздоры середь нашей армии не нам, а Катерининым приспешникам нужны. Верно балакают: семеро промеж себя дерутся, осьмой радуется.

Чика согласно кивнул головой, но в оправданье стариков заметил:

– Искони у нас, казаков, этак-то повелось, сам знаешь, батюшка. Мы, эвон, и мужика ниже себя ставим... Ну, да ништо, ваше величество... Обомнется – обтерпится! А последить за Митькой – послежу, будь в надеже.

2

Еще не прошло и месяца, как Пугачев поднял восстание, а уже не только смежные две губернии – Оренбургская и Казанская, но и обе столицы, потеряв покой, пришли в смятение.

Местные власти, не имея общего руководства, маневрировали находившимися в их распоряжении малочисленными отрядами вслепую. Петербург слал генерала Кара.

В то же время со всех сторон, большими толпами, к Пугачеву подходил народ.

В Башкирии был получен государев указ, произведший на тамошний народ неотразимое впечатление. И Башкирия зашевелилась. Прибывший туда от бригадира Корфа сержант Белов обратился к собравшимся с приказом идти на помощь Верхне-Озерной крепости. Башкирцы, осердясь, кричали в ответ:

– Довольно русским начальникам обижать нас! Мы все идем к заступнику-государю.

Первая партия в четыреста конных, вооруженных луками и копьями, башкирцев и впрямь вскоре прибыла к Пугачеву. Затем старшина, он же мулла, Кинзя Арсланов и Еман Серай привели еще тысячу своих соплеменников. Довольный Пугачев произвел муллу Кинзю Арсланова в полковники.

По мере того как регулярные войска распоряжением Рейнсдорпа покидали маленькие крепостцы, форпосты и собирались в центральных пунктах обороны, оставшееся население с особой охотой принимало сторону новоявленного государя, брошенные же укрепления тотчас занимались пугачевцами. Так были заняты крепости Пречистенская, Красногорская и другие более мелкие укрепления.

Пугачев о многих занятых пунктах, за их отдаленностью, даже и не знал. Новые самозванные начальники захваченных укрепленных мест, действуя без его ведома, но его именем, всюду встречали привет и сочувствие народа.

Помещики, видя надвигающуюся на них грозу, оставляли свое добро и кто куда бежали. Все имения, верст на двести вокруг Оренбурга, были брошены владельцами. Первыми удрали из своих гнезд отставные офицеры Ляхов, Кудрявцев, Куроедов, еще Михайло Карамзин^[99].

Едва успел старый Карамзин выбыть с места, как в его село Михайловку нагрянула дюжина яицких казаков. Работавшие у церкви крестьяне бросились было бежать.

– Стойте! – закричали казаки. – Ведите сюда вашего барина на суд, на расправу.

– Ох, кормильцы... Выбыл, выбыл барин.

– Тогда собирайте поголовно всех на господский двор.

Сбежавшимся крестьянам седоусый казак Назарьев объявил:

– Мы посланы от армии государя Петра Федорыча зорить помещичьи дома, а всем вам, крестьянам, давать волю. Отныне вы, мужики, вольны! На помещика не работайте, податей ему не платите, скот и земли барские, а также хлеб забирайте себе.

Вскоре в Михайловку пришли три крестьянина из соседней деревни. Был праздник, церковь и церковная ограда полны народа. Один из прибывших, старик Травкин, собрав вокруг себя крестьян, сказал им:

– Вот мы втроем были под Оренбургом, у самого батюшки. Он принял нас милостиво, спросил: «Служить ко мне, что ли, прибыли?» Мы же ответствовали: «Нет, не служить, а к тебе, отец, на посмотренье. И насчет воли спросить у тебя, свет наш». Батюшка сказал: «У меня нет невольников, у меня все вольны, и вы также. Всем объявляйте, что податей помещикам не платить, на помещиков не

работать, некрутов в царицыну армию не давать. А чтобы верные крестьяне ко мне шли». И выдал нам, свет наш, великий указ. Вот он! – Старик Травкин вынул из-за пазухи бумагу с печатью и наказал народу: – Зовите попов, пуцай чтут вгул царскую бумагу.

Из церкви вышли на паперть два священника. Один из них спросил собравшихся:

– Что надо, православные?

Старик Травкин подал бумагу, сказал:

– Читай, батя, в народ. От государя Петра Федорыча грамота... А не станешь, тогда на себя пеняй!

Священник, побледнев, принялся дрожащим голосом читать. Народ опустился на колени. Только барский бурмистр остался стоять столбом. Ему дали по затылку, и он тоже пал на колени. Когда чтение закончилось, из толпы приказали:

– Читай вдругорядь, да появственней!

Священник прочел указ трижды. Затем всей толпой пропели многолетие государю.

Угостив в награду за послушание попов, крестьяне велели им сделать с указа несколько списков. И на другой день пять человек доброхотов, вместе со стариком Травкиным, заложив в таранасы барских лошадей, стали разъезжать с теми списками по дальним деревням. Встречным людям они махали шапками, кричали:

– Радуйтесь и веселитесь! Волю везем. Вот он – указ царев.

А когда попадались им на дороге экипажи с помещиками или начальством, они сдергивали шапки и, на всякий случай, низко кланялись господам.

И в иных местах объявлялись грамотеи-доброхоты, которые строчили новые списки, а порою составляли и новые указы. Усердные царю-батюшке гонцы развозили эти грамоты по многим жителям. Так повсюду двинулся, зашумел народ, словно полоя вода весной.

Меж тем старик Травкин успел перебраться из Оренбургской в Казанскую губернию, где впоследствии и был, по неосторожности, схвачен стражею.

Как уже было сказано, многие и многие помещики покинули свои гнезда. А вот барыня Пополутова никак бежать не пожелала. Проводив мужа в Пензу, она схоронилась в лесу, в сторожке. Однако, когда наехало человек двадцать казаков, крестьяне барыню выдали и приволокли в барский двор. Выпытывая, где у нее схоронены богатства, казаки били ее плетьюми.

– Хороша ли она была с вами? – спрашивали пугачевцы крестьян.

– Барин хорош, а она несусветная стерва, – в один голос отвечали мужики.

Помещицу Пополутову снова принялись драть. С особым усердием стегали свою госпожу крестьяне.

Тем временем казаки занялись хозяйственными делами: грузили муку, крупу и прочее добро на подводы, забирали с собой барский скот и лошадей. Крестьянам, справедливости ради, они выдали на каждое тягло по пяти барских овец, малоимущим же еще по лошади и телке.

Поговорив о печальнике народном – о государе, о новой жизни, которую он обещает всем страждущим, и пригласив крестьян вооружаться, скопляться в отряды и следовать к «батюшке» на подмогу, казаки собрались в путь. Крестьяне, в особенности же те, что секли барыню, взмолились к ним:

– Ой, казаченьки, уж вы ее, злодейку-то нашу, взяли бы на свой ответ, а то она оправится, тварюга, всем нам тогда несдобровать.

Казачи барыню пристрелили.

– А как же с девчонками ейными, господа казаки? У нее три маленькие дочери остались.

Рыжебородый хорунжий, посоветовавшись с людьми из отряда, сказал:

– Девочки ни в чем не повинны. Вы их разберите по домам и содержите детские души в совести. А как войдут оные в возраст, выдайте мужикам в замужество.

Во многих селениях, оставленных барями на произвол судьбы, крепостные крестьяне ударились попервости в разгул и в пьянство. Однако более смелые и предприимчивые стали сбиваться в артели и, нагрузив подводы барским хлебом, держали путь к Оренбургу, к самому пресветлому государю. Туда же, рискуя быть перехваченными начальством, следовали, в одиночку и группами, ходоки от работных людей с заводских предприятий, нередко – отдаленных: с Камы и Вятки, из-под Мамадыша и других мест.

3

Время подходило холодное. Ночами держались морозцы. Степные мочажины и речонки подзамерзали, закрайки Яика подернулись зеленоватым молодым ледком.

Пугачевцам становилось туговато. Ютились они в шалашах из веток, в случайных ямах и пещерах, коротали ночи у костров. Пугачев с Харловой жили в киргизской юрте.

Вскоре вся армия перешла на зимние квартиры в Бердскую слободу, или, как ее называли, в Берды, что в шести верстах от Оренбурга.

Пугачеву заранее был приготовлен просторный дом зажиточного казака Ситникова, и назван был тот дом «Государевым дворцом». Полы здесь заново выскоблили, потолки выбелили, стены трех горниц оклеили шпалерами, а стены четвертой горницы, что поболее, вместо шпалер обили шумихой, то есть листками сусального золота; широкую же купеческую печь местный маляр покрыл живописным орнаментом из птиц и цветочков, посадив в середину государственный герб – двуглавого орла. На полу – ковры, у стен – добротная мебель, вывезенная из разграбленных дач Рейнсдорпа и Рычкова. В простенках – два зеркала и портрет великого князя Павла Петровича, добытый атаманом Овчинниковым в имени Тимашева. В переднем углу, в богатых окладах, старозаветные иконы, возле печки – государево знамя.

Емельян Иваныч немало пышному убранству дивился. Золотая горница доставила ему особое удовольствие. Он зачмокал губами, запищелкивал языком: «Ах, добро, добро». – Кто же здесь постарался-то?

– Мы с сержантом Николаевым, ваше величество, да атаман Овчинников, – ответил Падуров. – А Чика у нас вроде подрядчика – краски добывал, за всем досматривал.

– Благодарствую, – сказал Пугачев и поощрительно похлопал Николаева по плечу: – Старайси, старайси... Вот ишо маленечко поприсмотрюсь к тебе, молодец, да в подполковники и произведу. – Взглянув на портрет Павла, он покивал портрету головой, вздохнул и, прослезившись, молвил: – Поди, забыл ты меня, Павлуша, родителя-то своего. Ох, болит, болит по тебе мое сердце родительское. Эх ты, дитятко рожонное...

В спальне он потрогал кровать под шелковым одеялом, ткнул кулаком в середку взбитых пуховиков – рука увязла по локоть, сказал:

– Бабе спать. А солдату-казаку негоже, да и не свычно. В походах на локотке спать надо, кулак под голову, а высоко – два пальца сбрось, – но, спохватившись, добавил: – Почивали и мы на этих перинках в молодости лет, а вот поотвыкли. – Подмигнув Падурову, громко распорядился: – Пущай Харлова, сирота наша, довольствуется, ей пуховик этот, а я где-нито в боковушке.

Проходя по горенкам, он пристально что-то искал взором и, не найдя, с деланным равнодушием молвил в сторону Падурова:

– Завладела Катерина прародительским престолом моим... Эх, вот сиденьице так сиденьице! Бывало, взойдешь по ступенькам... – и он осекся, вдруг подумав, что, быть может, у престола никаких и ступенек не полагается. Слышал он не раз, что цари «восходят на престол», а дальше его представление о престоле тонуло в сумерках полного незнания. «Леший его ведает, этот самый престол, – может, к нему лестница приставляется». И, странно, не найдя в бердском «дворце» своем положенного царям трона, он почувствовал скорбное волнение, что чаще и чаще, с течением времени, стало посещать его. Точно и впрямь он когда-то владел несметным царским счастьем и всяческим добром, да впоследствии всего лишился. Видимо, исполнение роли, навязанной ему судьбою, не прошло для Емельяна Ивановича

бесследно, как не проходит даром лицедейство и любому актеру, человеческим сознанием которого неприметно овладевает чужая, выдуманная роль.

Помимо того, приняв лик царский, Емельян Иванович на все, что окружало его, не мог не взирать очами своих «подданных», ищущих должного благолепия не только в делах царя, но и в самой обстановке житья-бытья его.

Они стояли в горнице, изукрашенной сусальным золотом. Чья-то услужливая рука зажгла в канделябрах свечи, тихие огоньки отразились в зеркалах, поползли колеблющимся отблеском по золоченым стенам.

– Глянется ли, ваше величество? – спросил Максим Шигаев, ожидая высокой похвалы Пугачева.

Тот, прищутив правый глаз, скользнул взглядом по праздничным лицам казаков и не спеша ответил:

– Хошь и не больно гарно, Максим Григорыч, великому государю в избушке жить, да не в избушке дело, а в вашем, моих верноподданных, усердии. И то сказать: я, господа казаки, в берлоге жить рад-радехонек, лишь бы сирому людству облегченье с того шло. – Помолчав, заметил еще: – Постарайтесь, детушки, чтобы штандарт на крыше был, да красное крыльцо украсьте. А на новоселье такой пир ахнем, чертям будет тошно!.. Казаки оживились, бодали друг друга локтями, широко улыбались.

– А не позвать ли нам, господа атаманы, на наш честной пир губернатора Рейнсдорпа? – вновь прищутив правый глаз, с серьезностью спросил Пугачев.

Казаки фыркнули в бороды. Зарубин-Чика, почесав за ухом, сказал:

– Навряд пойдет. Нешто он благородное обхождение понимает? Вот разве что Хлопушу за ним пошлем? У Хлопуши с губернатором союз-дружба.

Взрыв дружного хохота покрыл эти слова Чики.

Приближенные Пугачева и те из казаков, что были потолковей да постарше, разместились в Бердах по избам. Рядовые пугачевцы принялись рыть себе землянки, устраивать теплые шалаши, приспособливать под жилье амбары, сараи да бани, готовить на зиму кизяки, солому да хворост для сугрева.

Коренные жители нашествию пугачевцев попервости обрадовались: настанет время пьяное, богатое, гульливое. В особенности были рады девки с молодыми бабами: уж вот-то попируют...

4

Вскоре по всему Яику, по всем оренбургским просторам выпал первый снег.

Даша, приемная дочь Симонова, коменданта, сидела под оконцем в теплой своей горенке и, проворно работая иглой, подрубала носовые платки.

Скука... То есть такая скука – плакать хочется. Хоть бы за Устей Кузнецовой спосылать! Даша отложила шитье, сняла наперсток, уставилась взором за окно. Снег валит. И ничего не видно там, за двором, все помутнело, скрылось в падучем снеге. По двору боров бродит, на него от скуки потягивает старый барбос, две заседланные лошади хрупаят у коновязи свежее сено, кучка молодых казаков забились от снега под навес, что-то врут друг другу, скалят зубы. Стряпуха Маланья пронесла из погреба оловянную миску с квашеной капустой. Над забором пробелела усатая голова всадника в облепленной снегом, словно сахарной, шапке.

Даша ничего этого не замечает: она вся в неотвязных думах. И глаза ее полны слез... Больше месяца прошло, о Митеньке ни слуху ни духу. Да и старик Пустобаев, с которым она отправила Митеньке записку, тоже как сгинул. Что за напасть такая? Неужели этот проклятый Пугач ловит всех честных людей и держит под страхом расправы в своем таборе?

А отчаянная Устя настойчиво подбивает ехать к этому разбойнику: поедем да поедем! Ежели, говорит, твой Митрий еще не повешен, я, говорит, всенепременно вымолю его у государя. Безумная! Она все еще подлого супостата государем почитает.

Скрипнула дверь. Даша вздрогнула, оглянулась. На пороге улыбчивая девушка в короткой шубейке, в накинута на голову шали козьего пуха.

– Устя! – и Даша бросилась на шею своей подруге.

От юной казачки пахло степными ветрами, первым свежим снегом.

– Вот что, девонька, – сказала Устя, встряхивая шаль и пристукивая подкованными чоботами, как копытцами. Она подошла к окну и села очи в очи с Дашей. – Надумала я в Илецкий городок к тетке пробраться. А оттудова, ежели все тихо-мирно будет, в царское становище метнусь: у меня от Ивана Александровича Творогова пропуск за печатью имеется.

– Ах, Устя! – всплеснула руками Даша. – Неужли ж ты к самому ироду-Пугачу?

– А что такое? – подбоченившись, ответила Устинья. – Я отчаянная, на то и казачка. Да и видеть мне его, царя-то, крайность пришла: Пустобаева старика жалко, ведь он мне двоюродный дед.

– Слыхала я от папеньки, что Пустобаев твой к Пугачу в лапы угодил.

– Об чем и речь. Вот и упаду в ноги надежи-государя да и завою, завою на голос. Разжалобится, отпустит старика, еще, может, гостинцев даст. Он хошь и царь, а слышно, до пригожих баб да девок падок. Эвот толкуют, Стешка Творогова отпустила мужа с царем-то, а сама день и ночь по батюшке-то воеет: вот как он приголубил бабу да околдовал, даром что простая казачка. Едем, Даша. Вот установится дорожка, и дуй, не стой.

– Да что ты, что ты, Устя, опомнись!.. На этакую погибель зовешь меня!

– Ах, Дарья, Дарья! Своей погибели не бойся, чужую жизнь береги. Да и чего нам, девкам, подеется? Подумай-ка покрепче о судьбишке горемычного Митрия Павлыча своего. Ежели жив еще, царь вольным молодца сделает... уж мы умолим государя, укланяем!

– Ох, нет, Устя. Да разве папенька отпустит меня? Да и маменька еще не вернувшись из Казани. А без родительского благословения нешто можно в столь опасную экспедицию пускаться?

– Какие они тебе родители! Чужие они тебе. И у меня матушки нет, сиротинки мы с тобой, Даша. Да и то сказать: всякий человек сам о судьбе своей должен пекчись... Ты же Митю любишь.

Даша молча уткнулась разгоревшимся лицом в косынку и завсхлипывала.

Казачка нахмурила брови, сказала с надменностью:

– Из разного теста мы с тобой! Не хочешь – как хочешь. Только знай, девка: ежели я твоего Митрия Павлыча сама вызволю, мой он будет!

– Что ты, что ты! – вскричала Даша. – Да мы же с Митенькой тайно обручены, вот и кольцо у меня в шкатулочке, – она торопливо встала, звякнула ключом комода, вынула червонного золота кольцо, показала его Усте. – Никто об этом не знает, только я с Митенькой, да вот еще ты теперь, третья.

– А я и знать не хочу... Обручены вы, да не венчаны. Эка штука! Да я от него, может, тоже этакое же кольцо имею да супир вдобавок. Клятву тебе даю: не поедешь – мой будет, мой! А ты – рыбица вяленая, вот ты кто.

Лицо Даши исказилось от боли, она заглянула в темные, без проблеска, глаза Устиньи, сердце ее замерло.

– Ты жестокая, жестокая, – заговорила она порывисто. – Я Митеньку люблю, а ты врешь, все врешь на него! Ты нарочно это... Он меня любит, а тебя вовсе и не знает... Ну как, ну как я поеду? – заламывала Даша руки.

– Ладно, не езд, – отрубила казачка. – Пускай, пускай твой Митька, сержант у царя-батюшки, свадьбу с тобой заочно справит... на перекладинке!..

Даша вскрикнула:

– Ой, что ты, что ты!.. – и ничком упала на кровать.

Глава XIII

Зверь-тройка. «Затрясса, барин?!» Просьбица

1

Степь широкая, белая, неоглядная. Бугры, песчаные сопки, кой-где перелесок протемнеет, и снова она, белоснежная. Да вверху, над головою, холодное иссиня-бледное небо. Степь и небо.

По наезженной, утыканной блеклыми вешками дороге легкие санки скользят.

Безлюдно вокруг. Редко-редко казачий разъезд на горизонте промаячит да попадутся встречу оборванцы – нищелюды с кошельками, либо какой-нибудь скуластый беглый мужичок с пугливыми глазами снимет шапку, спросит: «А где, мол, к Ренбурху дорога пролегает?» – «А по какому же случаю тебе в Оренбург зандобилось, дядя?» – «Да так, – ответит он, ковыряя палкой снег, – слых у нас прошел, быдто... это самое... как его...» – и замнется, и глазами влипнет в землю.

Глухо в степи. Хоть бы ветер поднялся, хоть бы вьюга завывала свою песню... Нет, тишь и глушь в степи. Лишь с заячьими петлями, с волчьими следами убродные снега белеют, отливая синью, да из простора в простор легкие саночки скользят.

Однако пара лошадеенок притомилась, путь они пробежали длинный; у коренника обвисла нижняя губа, пристяжка хитрит, держит постромки вслабую.

Сзади кто-то настигает, седоки-девушки оглядываются: скачут четыре казака и, помахивая плетками, дико орут:

– Дорогу, дорогу государю!

И санки только лишь успели своротить с дороги, как невдалеке показалась тройка борзых коней. На задке расписных саней – ковер, под ногами седоков – ковер, на облучке – Ермилка, кудреватый чуб его стелется по ветру.

– Стой, Ермил! – крикнул Пугачев, и, как вкопанная, тройка стала. – Эге! – сказал Емельян Иванович, всматриваясь в девушек. – Да никак знакомая? Ну, так и есть... Устинья, ты?

– Я, царь-батюшка! – звонко и радостно прокричала из санок Устя и, как бы готовясь к поцелую, отерла рукой губы.

Рядом с Пугачевым, форсисто выставив на волю ногу в валенке, сидел черномазый, горбоносый Чика-Зарубин.

– Беги-ка проворней, Чика, сядь с тою, с другой, а Устю – ко мне.

– Разом, батюшка, – крикнул Чика и поспешил к девичьим саням.

– Здорово, Устинья Петровна, – приподнял он шапку с черноволосой головы. – А это ж кто такая? Ой, да никак Дарья Кузьминишна.

– Молчи, Зарубин, – сказала Устя и моргнула Чике бровью. – Это дочка нашего нового дьячка. Так я и надеже-государю буду сказывать. И ты этак же говори.

– Да как же наasmелюсь я батюшку обманывать? – возмутился Чика. – Как мне врать, ежели она дочь

нашего коменданта?

– А ты ври, да знай: вреда с того батюшке не будет, а безвинной девушке – польза!

Тройке не стоялось. Рослые гнедые трясли головами, норовили укусить друг друга за морды, всхрапывали, бешеным глазом косились по сторонам, по-озорному били копытом в снег.

– Ну, здравствуй, Устинья, – приветливо сказал Пугачев, ожидая, что казачка встанет на колени и земно поклонится ему.

– Будь здоров, надежа-государь, – ответила девушка. Едва кивнув головой, она без приглашенья залезла в ковровые сани и, как ни в чем не бывало, уселась рядом с государем.

«Гордячка», – снова как и там, в Илецком городке, на плясах, подумал Пугачев про Устинью и крикнул ямщику:

– Пошел, пошел, молодец!

Бесшабашный Ермилка привстал, причмокнул, потрянул вожжами:

– Эх, кони чужие, хомут не свой, погоняй, не стой!

И, закусив удила, ринулась, понесла зверь-тройка.

У казачки захватило дух. Поймав ухом веселую присказку Ермилки, она спросила Пугачева:

– Чьи же это кони-то, батюшка?

– Государственные, – с ухмылкой ответил Емельян Иванович. – Повелел я взять их из конюшни моего губернатора Рейнсдорпа... Царским своим именем! Чуешь? А вот уже приспеет пора-времечко – на самом Рейнсдорпе воду прикажу возить... Ха-ха!.. – и он громко рассмеялся. На нем надет был старый из овчин тулуп и замызганная, как у пропойцы, шапчонка. Заметив, что казачка с откровенной насмешливостью смотрит на его плохой наряд, он сказал: – А это я, девушка, нарочно в чужую шкурку-то обрядился, чтоб не узнавали, чтоб лиха какого в дороге не стряслось, ведь Рейнсдорп-то тоже, поди, не дремлет. А я в этом обмундировании под самые городские ворота к нему подъезжал. – Пугачев сбросил с левого плеча тулуп, обнял девушку за талию и, сказав: «Эх, личико твое румяно!» – чмокнул ее в холодную розовую щеку.

Устя не сопротивлялась: у нее на уме такое дело, что хочешь не хочешь, а угождать батюшке надо. Ой, ой, какая у него теплая да сильная ручища, аж ребрушки взныли...

– А по какому же делу, красавица, едешь ты и к кому?

– Да к кому же боле-то?.. К тебе, свет наш, к вашей царской милости.

– Ах, вот как! Гарно, гарно, – и, скосив черные, навывкате, глаза, Пугачев еще крепче прижал ее к себе.

Кругом глубокие заструги снега – степной ветер в прошлую ночь похозяйничал на славу. Снег, снег да синее небо над головою! Не забыть Усте никогда этой гонки во весь дух, плечо в плечо с чернобородым царем-батюшкой.

В Бердах снегу тоже немалые сугробы. Пугачевские крестьяне да казаки, побряхтывая, переговариваясь, разгребали снежные заносы перед государевым двором. На крутой, одетой железом крыше полощется под ветерком императорский штандарт – большой желтый флаг с черным орлом в середине. Орла намалевал, как умел, сержант Дмитрий Николаев.

Он и сейчас сидит под окнами в нижнем этаже, в отведенной ему горенке государевых палат, и трудолюбиво срисовывает с медной монеты большого орла. Надо сделать на картоне три таких рисунка, выстричь, раскрасить суриком и приклеить к золоченым стенам в верхнем этаже. Государю будет это приятно.

Молодой сержант постепенно входил в новый, непривычный быт и, главное, в житейские интересы пугачевцев. Душевный разлад день ото дня ослабевал. Перед глазами поистине совершалась сказка: армия Пугачева росла, на клич самозванца устремлялся со всех сторон народ, а среди простого люда были и такие, как Падуров. Один за другим передаются они в лагерь Пугачева и во всеуслышание провозглашают чернородого бродягу своим истинным царем. Это ли не диво!

Из разговора с Падуровым, из манифестов и указов, что сочиняли они вместе, наконец, из поведенья самого «батюшки» сержант Николаев начинал угадывать, что над всей той дерзкой заварухой веет вещий дух вольной вольности, что народ сбегается к самозванцу не зря и не только для разгула, грабежа да пьянства, как раньше думал Николаев. Нет, люди искали в лагере мятежника правды и возмездия врагам своим.

Понимать-то Николаев это понимал, однако... он хоть и бедный, да все же дворянин. Нет, стыдно, стыдно ему идти против присяги государыне, против издревле существующих на Руси порядков. Раб есть раб, господин есть господин – так уж самой природой установлено: уши человека не растут выше головы, и негоже рабу быть выше господина.

И вот снова качаются его мысли вправо-влево, как маятник, и так нехорошо, и этак плохо. И уж он сам себе не мил – слюняй какой-то!..

А все же таки Пугачев по сердцу Николаеву. Люб ему простой этот человек. Не царский сан, человека любит в нем сержант. Так думал Николаев, подмалевывая картинного орла. Потом его мысли, как фонарь в ночи, повернули к родному Яицкому городку. «Даша, Дашенька...»

Густым наплывом охватили его милые, неповторимые воспоминания. Тихие вечера над Яиком, соловьиные трели-посвисты в кустах прибрежных, бледные звезды в небе. Плывет, плывет счастливая лодочка, а в ней – счастливых двое. «Митенька, – едва слышно говорит она, – ну до чего же, Митенька, сладко соловьи поют». А у самой в глазах такой восторг, и вся она полна такую нежной и чистой страстью, что Митенька, забыв себя, и ночь, и звезды, вдруг оказался, как орех в скорлупе, в некоем ограниченном и тесном мире: все кругом исчезло, весь мир замкнулся в Дашеньке. Вот она, в белом, с пышными оборками, платье, с васильковым венком на голове... Он бросил на дно закачавшейся лодки мокрое весло, встал перед Дашей на колени, а она, с удивившей молодца смелостью, стала целовать его в губы, в лоб, в глаза. Целует, а сама вздыхает да нашептывает: «Ой, грех... ой, грех, Митенька...»

Вспоминая все это, такое недавнее и далекое, такое милое и несбыточное, сержант Николаев судорожно передернул плечами, будто собирался всхлипнуть. Но он удержался от слез.

– Митрий Павлыч, – услышал он над собой знакомый голос.

Это яицкий казак Кузьма Фофанов. Жил казак здесь, вместе с Николаевым, в подизбице, исполняя обязанности дворецкого, был хранителем «военной добычи» государя, а когда стряпуха Ненила напивалась, то и царским поваром.

– Митрий Павлыч, тебя полковник Лысов кличет.

– Митька Лысов? – переспросил сержант. – Чего ему нужно от меня? – Он надел шапку, татарский азям из армячины и вышел на воздух.

Он не любил и побаивался этого нахального и злого Лысова. Особенно же после случая с письмом Дашеньки. Он знал, что полковник злобствует на него и каждому внушает, что вот, мол, он, жидконогий сержант-дворянчик, сумел подлизаться к государю и оттирает от «батюшки» верных слуг – простых казаков... И уже иные, ради наветов Лысова, стали коситься на сержанта.

На открытом крыльце с точеными перилами и дальше, в сенцах, толпились отборные яицкие казаки –

государев конвой. Кое-кто из них сметал с лестницы лузгу подсолнечных семечек, другие смазывали ворванью сапоги или, сняв шапку, расчесывали кудри медным гребнем; четверо, примостившись на приступках, дулись в карты.

Позвякивая заливчатым колокольчиком и бубенцами, зверь-тройка врезалась в дремотную слободу Берды. Караульный забрякал в колотушку, его песик о трех лапах сипло залаял.

– Государь, государь! – взголосили подскакавшие ко дворцу казаки.

И все вдруг засуетились. Забил барабан, почетный караул рослых молодцов – сабли наголо – выстроился снизу вверх по обе стороны лестницы, на крыльцо выбежал в новом чекмене дежурный Давилин, выскочили, как угорелые, две девки – Ненила и татарка, подхватили батюшку под локотки.

Пугачев на ходу приказал:

– Покличьте-ка начальника артиллерии Чумакова. Пушай внизу подождет, в приемной!

Он велел Нениле провести Устю в заднюю горницу, а когда подъедет с Чикой другая девушка, так и ее туда же.

– Я не замедлю, – сказал он Устинье Кузнецовой. – В тую минутку и доложишь мне о делишках своих.

Вскоре прибыла Даша в сопровождении Зарубина-Чики. Он сказал:

– Ты, Устинья, говори государю всю правду, не любит он, когда врут. Ждите. А я Митрия Павлыча поищу, он, сказывали, ушел куда-то.

Возвратился Пугачев. Он в новом недлинном кафтане из тонкого сукна, в голубой шелковой рубахе с высоким воротом, в широких шароварах и желтого цвета козловых сапогах. В его руке белый узелок с пряниками, орехами, сахарными леденцами. Он положил узелок на ломберный стол, накрытый вязаной скатертью, сказал:

– Отведайте-ка сладенького.

Девушки взяли по мятному прянику в виде рыбки, сели на стулья. Пугачев уселся на сундук, покрытый мохнатым ковром. Он не сразу оторвал свой ожигающий взор от красивого лица Устиньи. Статная, не по летам дородная казачка сидела прямо, грудь вперед, не сутулясь, как Даша, и перебирала концами пальцев, будто играя, тугую, перекинутую через плечо золотистого цвета косу. С задорным бесстрашием и любопытством смотрела она, не мигая, в лицо государя.

2

– Здорово, Митрий Павлыч, – сощурился хитрые глаза, вкрадчиво поприветствовал подходившего сержанта сухощекий, с козьей бороденкой Митька Лысов.

– Желаю здравствовать, господин полковник, – вежливо, чтоб не раздражать злого человека, ответил сержант.

– А ты чего-то все дома да дома торчишь? Батюшку-то и без тебя есть кому сторожить. Ха-ха. Батюшка-т, поди, не сахарный, не растает. А я к девкам гулять иду, составь компанство...

Сержант Николаев не охоч был до гулянок, он вел жизнь чистую, как подобает жениху, но ничего не поделаешь, надо же господина полковника уважить. И сержант, смалодушничав, ответил:

– Хоть и недосуг мне, да и нездоровится, но раз вы желаете – извольте, – и, длинный, сугорбленный, он пошагал рядом с низкорослым Митькой Лысовым.

– Вот гарно! – сказал Лысов. – Слободские девки на мельнице собираются, у мельника свои две девки, наливные да пригожие, как спелые дыни. Ну, плясы там у них, винишко.

Уже спустился вечер. В жилищах огоньки зажгли. Прошел старик сторож с колотушкой, к его кушаку привязан трехлапый пес, он култыхал за стариком и покряхтывал. Митька Лысов вложил два пальца в широкий рот и пронзительно свистнул. Пес хамкнул на него, караульный отпрянул прочь и с перепугу забрякал в колотушку.

Из сутемени выдвинулись на свет четыре молодых казака, двое с балалайками, двое с длинными дудками. Сняв шапки, они поклонились полковнику и как-то бессмысленно захохотали. Сержант заметил, что они пьяны. У одного, долгоносого, из кармана свитки торчит зеленого стекла штоф, на ходу слышно, как в нем булькает жидкость.

Тронулись вперед. Казаки во всю мощь горланили песни, наяривали на балалайках, насвистывали в дудки. Слобода кончилась, дорога пошла чистым полем. Вдали едва-едва виднелись два мутных огонька, как два глаза степного волка.

– Вот и мельница маячит... Видишь, сержант? Там и девки, – сказал Лысов.

Сержант молчал. У него затосковало сердце. Ему хотелось повернуть обратно, однако сзади него шли два казака и загадочно похихикивающий Лысов.

Сумерки сгущались все больше, облачное низкое небо было мрачно, справа темнел кустарник у речки, степь казалась нелюдимой, как заброшенное кладбище. Но вот конный разъезд казаков-пугачевцев.

– Стой! – и три всадника наехали на веселую компанию. – Кто? Куда? Пропуск!

– Я – полковник, – поднял бороденку Лысов. – С приятелями гулять идем.

– Добро, – сказал голоусик с чубом из-под шапки. – На мельницу, чего ли?

– Туда, туда, – ответили дружки Лысова и захохотали.

– Казаки, – сказал разъезду сержант Николаев, – возьмите меня кто-либо к себе на конь, мне занедужилось чего-то.

– Нук-чо... Садись ко мне, господин сержант, – предложил один, чубастый.

– Куда?! – и Митька Лысов с долгоносим казаком сгребли сержанта за азам. – Какой же ты, к чертовой бабушке, товарищ, раз компанство рушишь? Разъезд! Айда своим путем-дорогой! В слободе-то государя

ждут, – скомандовал полковник.

Всадники двинулись вперед.

Почувяв неладное, Николаев молча бросился за всадниками вдогонку. Но его снова крепко схватила пара злобных рук:

– Ку-у-да?!

С великой тоской посмотрел сержант в спины удалявшемуся разъезду, еще раз рванулс я и, поняв, что у него нет сил разомкнуть вражеские руки, бросил Митьке Лысову в упор:

– Что тебе надо, Лысов? Смотри, государь узнает... Пусти меня!

– Ага, затрясся, барин?! Нет, не пустим, – задышал сквозь вздернутые ноздри Лысов. – А то ты нас Пугачу... Ту бишь... Тьфу ты!.. Ха-ха-ха... А знаешь ли, сволочь, что таких вот дворянчиков батюшка-то в речке топить нам указал?

– Врешь, негодяй! – не помня себя, с отчаяньем завопил сержант и что есть силы ударил Лысова сверху вниз по голове. Тот, чавкнув зубами, слетел с ног, а Николаев опять бросился в сторону Берды. Но длинноносый успел подставить ему ногу и стукнуть чем-то тяжелым по затылку. Сержант Николаев во весь рост, с маху, упал лицом в снег и, теряя сознание, видел, как к нему подбегал с арканом Митька Лысов.

Тем временем Пугачев, заглядывая в порозовевшее круглое лицо тихой Даши, говорил:

– Так рассказывай, красавица, кто такая и откуда прибыла?

– Я приемная дочь полковника Симонова, – ответила Даша дрогнувшим голосом. – Зовут меня Дарьей.

– Симонова? Коменданта Симонова?!

Даша тихо ответила: «Да» – и поникла головой. Брови Пугачева сдвинулись, и не то обиженно, не то сердито оттопырилась усатая губа.

Дверь в соседнее золотое зальце была закрыта неплотно. Глазастая Устя досмотрела, как в просвете раза два мелькнула в зальце женская фигура, и слышно было, как там прошуршало шелковое платье. Летучие женские шаги. «Кто же это там? Да уж не Харлова ли барынька?» – подумала Устинья. Она взглянула в строгие пугачевские глаза и, сделав выражение лица просительным и кротким, сказала:

– Даша-то, надежа-государь, сиротинка! Приемная она у Симонова. Ты не гневайся на нее, ваше величество, она ничем не виновата пред тобой.

– Знаю, что не виновата, – ответил Пугачев и почесал под бородой. – Мы супротив баб войну не ведем... А иным часом приключится и баб вешаем. Эвот комендантша Елагина в Татищевой из ружья в моих пуляла, ей-ей. Ну, знамо дело, повелел я вздернуть!

В золотом зальце тихий стон послышался. Пугачев покосился на полуоткрытую дверь, по его подвижному лицу прошла судорога. Помедля, он спросил Дашу:

– Твой Симонов за государя меня не признает, а считает за Пугачева какого-то. Ну, да он у меня еще спознается с веревкой. А ты, как ты? Говори, не таясь, по правде...

– Ой, не спрашивайте, ради Бога, об этом, – заломила Даша руки и умоляюще поглядела в хмурое чернобородое лицо его. – Я признаю вас добрым, милосердным человеком. Вот и Устя об этом говорила, и ваш казак Чика, что ехал сейчас со мной. Он очень расхваливал вас. Ведь вы защитник всех несчастных. А я, сирота, действительно несчастна. Родных отца и матери у меня нет... И единственно, кто дорог мне, это... –

голос Даши дрожал, и устремленные на Пугачева глаза ее были полны слез. Вдруг, всхлипнув, она бросилась перед ним на колени:

– Батюшка, ради всего святого, помилуйте его, отпустите его со мной... Он мой жених...

– Да кто таков? О ком ты? Ась?

– О Митеньке. О Дмитриии Павлыче Николаеве прошу, – проговорила Даша.

– Эге-ге... Вот оно дело-то какое! – Пугачев во все лицо заулыбался, свесил ноги с сундука, встал и ловко поднял обливающуюся слезами девушку. – Не плачь, сирота, – сказал он, – все будет по-твоему. Хоть завтра и свадьбу сыграем. Только знай: ни тебя, ни сержанта Николаева я от себя никуда не пущу. Суженый твой мне тоже по сердцу пришелся. Согласна ли? Брось изменника Симонова. Замест него я, царь, твоим отцом буду....

Было просиявшее лицо Даши снова омрачилось. Она низко склонила голову и, молча вздыхая, роняла слезы.

Пугачев тоже вздохнул, коснулся рукою плеча Даши и тронул за локоть Устинью:

– Эх, доченьки вы мои, милые, пригожие. Коротко счастье-то девичье ваше на свете живет, и доведется, видно, мне, государю, просьбицу вашу обдумать, да вам раздуматься треба...

– Батюшка, – проговорила Устинья. – Я ведь тоже к тебе с великой просьбицей: отпусти ты домой Пустобаева-старика, – сказала Устя, отвешивая Пугачеву поясной поклон. – Дюже шибко по нем старуха его убивается, а он мне родных кровей человек.

– Пустобаева? Что ты, что ты! – замахал Пугачев руками, но глаза его улыбались. – Ведь Пустобаев мне присягу принимал. Ну, девки, этак вы всех верных слуг моих расхитите... Ой, да сколь же вредны вы, – покачал он головой.

Дверь скрипнула, просунулась чья-то бородатая голова.

– Войди, полковник, – сказал Пугачев.

В горенку вошел вперевалку, на кривых ногах, начальник артиллерии Федор Чумаков. Потряхивая широкой бурой, как медвежья шерсть, бородою, он низко поклонился Пугачеву, затем, прищурившись, оглядел девушек.

– Батюшки мои! – вдруг воскликнул он. – Да никак землячки?

– Землячки, землячки, Федор Федотыч, – улыбаясь, ответила Устя, а Даша беспокойно отвернулась. – Я вот твоего двоюродного братца выручать приехала, государю челом бить.

– Это кого же? Не Пустобаева ли? – спросил Чумаков.

– Вот что, Федор Федотыч, – перебил Чумакова Пугачев. – Дельце у нас знатное на очереди.

– Слушаю, ваше величество, – опустил руки по швам пожилой Чумаков; его круглое, толстоносое лицо стало серьезным и внимательным.

За окнами стемнело. Чубастый Ермилка внес горящие свечи в медных подсвечниках и, пока ставил их на стол, спроворил сунуть себе со стола в рукав кусок леденца и пряник. Подморгнув Усте, он крадущейся походкой, вывертывая пятки, вышел.

– Люди у тебя в порядке, полковник?

– В порядке, ваше величество.

– Нам, мой друг, – сказал Пугачев, – треба дурака Рейнсдорпа за нос провести. Ты вели-ка людям сей

ночи как можно ближе к валу крепостному прокрасться. И пускай они там костров шесть, а то и поболее разложат. Да чтобы ярко костры горели, да чтобы костер от костра шагов на полтора-два каждый. Чуешь, полковник? А коль скоро запалют костры, пускай на сторону втикают. Я чаю, Рейнсдорп перепугается да сослепу по кострам из пушек палить учнет. А ты, друг, тем временем на другом участке, темной-то укрываясь, пушки выкати. Да сколь можно ближе к крепости-то. Да чтоб не скрипнуло, небрякнуло... Чуешь?

– Чую, батюшка, как не чують. Сколь пущенок-то?

– Как это – сколь?.. Все! Мы на зорьке трах-тарарах Рейнсдорпу учиним... Штурм!

Пугачев довольно долго говорил с Чумаковым. Наконец Чумаков ушел. В горенку из золотого зальца заглянул Давилин и кивком головы вызвал к себе Пугачева. Там, кроме Давилина, был еще и Чика. Вдвоем они подхватили царя под руки, отвели в дальний угол, к печке, зашептали наперебой:

– Батюшка, сей вечер Митька Лысов с четырьмя казакишками прикончили сержанта Николаева, в речке утопили. Нами все дело разобрано. Лысов с краю-то в отпор шел, а тут сознался, – и они вкратце рассказали, как им удалось быстро распутать дело.

– Ай-яй-яй... – закрутил головою Пугачев и с шумом выдохнул воздух. – Как... моих людей убивать?!

– Я его, ваше величество, – с горячностью сказал Чика-Зарубин, – я его, подлюгу, самоуправца, Митьку того на дыбки поднял бы!...

– А ты не учи меня. Созовите-ка через часок-другой атаманов об это место. Всех! И чтобы Лысов всенепременно тут же. Ах ты, Боже мой! Как теперь с девками-то мне быть? Вот что, Чика. Распорядись, пожалуй, чтоб немедленно тройку заложили, да девок обратно, в Илецкий городок, с охраною. А оттуда они дорогу сами найдут. Ну их к чумару! По мне, лучше самую лютую сечу с врагом выдержать, чем бабью голосьбу слушать. – Он помолчал. – Да, вот еще что, голубь мой, – снова обратился он к Чике, – поди-ка ты к девушкам да перекинься с ними словечком... А о сержанте-то, смотри, молчок. Чуешь? Верней же того ты наскжи-ка девкам-то быль-небылицу. Пропал-де сержант Николаев без вести. Намедни послал-де царь сержанта в Оренбург к губернатору с приказом крепость сдать, а он, видимо, по малодушию изменил нам и Рейнсдорпу передался. Стало, по всей видимости, в Оренбурге он теперь, жених-то, мол, твой, сержант этот. Чуешь? Значит, иди. А здесь-ка вам, кундюбочки, мол, оставаться не можно, штурм будет. Так и толкуй девушкам.

Выслушав Чика, Устинья задумалась, а Дашенька вся вдруг просветлела. «Слава Богу, слава Богу!» – радостно твердила она про себя. Ей было очевидно, что Бог сжалился над ее возлюбленным и спас его от великого бесчестья, и только часом позже, сидя в санках и вслушиваясь в лихое гиканье ямщика, она почувствовала такую нестерпимую тоску, что вслух разревелась.

Над степью шумела темная, непогожая ночь. Колючий ветер, озоруя в просторных степях, крутил летевший с неба снег, переметал обставленную вешками дорогу.

3

Время перевалило за полночь, а Пугачев с утра еще не пил, не ел.

Стряпуха Ненила с сонными глазами накрыла ему в золотом зальце стол, подала в оловянном блюде щей из кислой капусты со свиной. Он покрошил во щи чесноку, с жадностью, обжигаясь, съел и велел еще подать.

Вошли Овчинников, Творогов, Давилин, Чика и с ними Митька Лысов. Атаманы сказали:

– Хлеб да соль твоей милости!

– Благодарствую, – ответил Пугачев. Он пригласил всех, кроме Лысова, присесть к столу. – А ты, Лысов, подь к печке.

Лысову это не понравилось. Он отошел к печке, но по-сердитому прищурился на Пугачева.

– Вот, други мои, – обсасывая свиной хрящ, начал Пугачев. – У меня, к великому горю моему, секретарь загиб, сержант Николаев. А я без книжного человека, как без рук. Да, спасибо, заместитель в наличности, есть кому сержанта заменить. – Тут он поднял голос до строгости и круто обернулся к печке: – Повелеваем тебе, Лысов, отныне быть нашим секретарем. Отправляйся-ка эвот в тую горницу, подадут тебе там всякий письменный припас, и немедля сготовь ты губернатору Рейнсдорпу указ мой, чтоб крепость сдавал, а то горазд худо ему доспеется. Всякие умственные резонты подпусти, чтоб посолонее вышло, чтоб читал Рейнсдорп да носом крутил.

Вдруг побагровевшее лицо Лысова вытянулось, рот раскрылся, козья борода обвисла, но прищуренные глаза по-прежнему смотрели на Пугачева нагло, по-ехидному. Переступив с ноги на ногу, он сказал:

– И чего ты, батюшка, вздумал издевку чинить надо мной? Сам ведаешь, что в грамоте я навовсе темный.

Пугачев ударил кулаком в столешницу (подпрыгнула-затарактела миска) и на полный голос закричал:

– Так как же ты смел, наглец, моего Николаева пагубе предать?!

– А ты, батюшка, того... не гайкай... Захлопни роток-то свой. Я, слава те Христу, не оглох еще, – дерзко прогавкал Лысов и, поправив кушак, откашлялся. – Ежели мы и прикончили дворянчика, так уж, верь, не зря. Он, гнида, твою милость материть почал, а я вступился за тебя, а он на меня, как волк бешеный, едва не убил.

– Врешь! – снова закричал Пугачев, вновь грохнув кулаком в столешницу. – Ты бабьих-то сказок не толкуй мне! Я Николаева почище тебя знаю. Он на меня черным словом не замахнется. Да и вас пятеро было супротив одного. Врешь, смрад ты этакий!

Наступило молчание. Лысов расстегнул ворот рубахи и, сипло дыша, раскашлялся. Затем едва слышно забормотал:

– Он, батюшка, хошь и грамотей хороший, а все же барин, барская душонка...

– Молчи! Барин ли, татарин ли – не твоего ума дело! Иной барин, да поверней тебя, смрада! Скользкий ты человечиска, Лысов, что твой налим.

– Я-то налим, – обозленно проверещал Лысов, – а ты вот в осетрах ходишь. Дак ты уж против нас-то, против атаманов, сдержись, в щеть-то не иди... А то... неровен час...

– Молчать, паскуда! – Пугачев вскочил и, сжав кулаки, шагнул к Лысову. Тот, выкинув руку вперед, в страхе пятился от грозного Пугачева, бормотал:

– Да ты не больно-то... Не ты меня в полковники выбрал, твое величество, казачий круг выбрал.

Пугачев, заглушая его голос, приказал:

– Давилин! Взять полковника Лысова под арест. На хлеб да на воду. Снять с него саблю... – и, обратясь к Лысову, погрозил ему пальцем: – Последнюю предосторогу я тебе делаю!

Когда Лысова обезоруживали, он шумно пыхтел, скрежетал зубами, из глаз у него катились слезы.

– Погодь, погодь, батюшка! – придушенно выкрикивал он. – Сочтемся... Чистоганчиком отблагодарю...

– Не угрожайвай! – и Пугачев вышел, резко хлопнув дверью.

Огни во «дворце» один за другим стали погасать. Сонная тишина в доме и на улице. Разве что всадник промчится или спросонок взбредет озябший пес. Еще слышно было, как тикают стенные английские часы в золотом зальце да за печкой однообразно и размеренно чирикает сверчок.

Прошло два часа. Вдруг тьма вздрогнула: в царской спальне внезапно возникли истошные крики, ругань, пронзительный визг, вопль, хлесткие удары нагайкой.

С заднего крыльца выскочила во двор полураздетая Лидия Харлова и, захлебываясь неутешными рыданиями, побежала мимо всполошившейся стражи. Она бежала через тьму, через огороды – вдаль.

А в четвертом часу ночи в Бердах забил барабан. Во «дворце» зажглись огни. Атаманы-пугачевцы съезжались на конях к царскому крыльцу. Вскоре на крыльцо вышел в сером суконном полушубке Пугачев. Он был мрачен. На левой щеке его, от виска к бороде, темнели царапины, и в свете, что шел снопом от окна, было видно, как слегка подергивалось припухшее, тоже левое, веко.

Ермилка подвел царю рослого коня. Пугачев проворно вскочил в седло, взмахнул рукою. Всадники гурьбой двинулись за ним. «Нет уж, хватит, – бормотал он про себя, сплевывая по ветру. – Правильно сказывают: с бабой свяжешься, сам бабой обернешься. Нет уж, будет!.. Нам и своих, придворных, отбавляй – не надо...»

– Ты что-то молвил, батюшка, ваше величество? – подъехав к нему, подал голос Чика.

– Так это я, – не сразу откликнулся Пугачев. – Вот, к примеру, эта Харлова у нас... Как волчицу не корми, а она все в лес да в лес глядит. А ведь женщина-то какая... Загляденье! – воскликнул Пугачев и глубоко вздохнул.

– Эх, батюшка, – возразил Чика. – На мой мужичий характер, всякая баба хуже козы. Да у семи баб и половины козьей души не будет... Ха-ха-ха!..

– Захлопни рот, Чика! – осадил его Пугачев. – На дело едем.

– Винюсь, батюшка, прошибся.

Ночь была еще в полной силе. Расшалившийся с вечера ветер почти угомонился. Он лишь ползал по лысым взгорьям да, бросаясь в крутые балки, исподтишка шевелил там черные оголенные кусты. И ни единого звука вокруг, кроме этого ползучего ветреного шороха да бодрящего слух снежного скрипа под конскими копытами.

Глава XIV

Хлопуше оказано доверие. Злодейская расправа. «Оженить надо батюшку». Воинственный казак

1

Выехав за слободу, всадники увидели справа от себя шесть бурно пылавших в темноте больших костров. Хитрость Пугачева удалась: с ближайших форпостов крепости по пожарищу открыли орудийную пальбу.

Тем временем, пользуясь попутными к городу местными прикрытиями, Пугачев с Чумаковым довольно искусно расставили подвезенные среди ночи пушки, выслали вперед цепи стрелков и чуть свет открыли канонаду. Крепость отвечала. Перестрелка с перерывами продолжалась почти весь день, но без всякого успеха для обеих сторон: только попусту тратили порох и ядра.

К крепостному валу во время перестрелки подъезжали одиночные пугачевцы и, не страшась пуль, кричали:

– Эй, господа казаки! Защитнички! Одумайтесь-ка, поклонитесь-ка государю Петру Федорычу! Он, батюшка, с нами.

– Никаких батюшков ваших не признаем, мы матушку Екатерину признаем! – орали в ответ с вала.

– Вашей Катерине наша Марина двоюродная Прасковья! – в ответ бросали озорники пугачевцы.

К вечеру, собрав совет, Пугачев держал такое слово:

– У Рейнсдорпа на каждую нашу пушку по пяти своих. Нет, детушки, нужды нам почем зря людей расходовать. Мы их, изменников, ежели не сдадутся, голодом выморим!

Втайне он не терял надежды как-нибудь захватить крепость врасплох. В течение двух недель, почти ежедневно, он подвозил пушки к крепостным фортам и размещал их всякий раз ближе да ближе к цели. Снова орудийная перепалка, снова приступ, снова ответная вылазка защитников, короткая схватка – и беспорядочное отступление осаждающих. Преобладающее количество крепостной артиллерии явно брало верх над пугачевцами, и тогда Емельян Иваныч решил, что «в крепость влезть не можно, с малым числом пушек крепости не одолеть».

Но вот стали приходить известия, что небольшими самочинно возникавшими отрядами пугачевцев заняты на Урале купеческие заводы: Воскресенский, Преображенский и Верхотурский. Вскоре в стан Пугачева были доставлены и трофеи: несколько пушек, снаряды, порох и деньги.

Емельян Иваныч всему этому был много рад и начал изыскивать способы к дальнейшему развитию своей артиллерии. Он направлял в разные стороны указы, или, как их называли в Петербурге, «прельстительные письма». Засылал на места и своих людей. Как-то он приказал разыскать и доставить к нему Хлопушу-Соколова.

Огромный, слегка подвыпивший Хлопуша, в новых валенках, черненом нагольном полушубке, перехваченном красным кушаком, подойдя к дому Пугачева, полез было на крыльцо, но его остановил

караул:

– Куда прешь! Ослеп, что ли?..

– К самому требуют. Шигаев прибежал за мной с час тому назад.

– Эй, Маслюк! Давай во дворец к дежурному! Безносый-де просится.

Заскрипели ступеньки, запела скрипучую песню дверь, через минуту Маслюк крикнул сверху:

– Пущай идет!

Хлопуша только головой крутнул на новые порядки, выругался про себя, сказал: «Оказия» – и грузно пошагал наверх.

Его провели в боковую горницу. На окошках цветы, посреди пола, в кадке, большое заморское деревцо с разлапистыми листьями, над ним, у потолка – русский чиж в клетке.

Царь играл у окна с Шигаевым в шашки. На крутом плече Пугачева, перебирая лапками и задрав хвост, ужимался, мурлыкал, терся головой о волосатую царскую щеку белый котенок.

– А-а, Хлопушка! – произнес Пугачев и «съел» у зазевавшегося Шигаева «дамку». – Сыт ли, здоров ли?

– Благодарим покорно, покудов сыт и в добром здравии... чего и вашей милости желаем.

– О моей милости не пекись, за мое здоровье попы во всех церквах, снизу доверху, Бога просят.

Хлопуша умолк. Волосы у каторжника гладко причесаны, борода аккуратно подстрижена, взгляд диковатых белесых глаз вдумчивый, через искаленный нос – чистая, поперек лица, повязка.

– А я ведь думал, Хлопуша, что ты все у меня повысмотришь да и к Рейнсдорпу обратно, – продолжал Пугачев, прищуривая правый глаз на шашки.

– Пошто мне бегать. – прогнусил Хлопуша. – Ходил однава тайком к своей бабе с робенчишком, да вот, сам видишь, опять с тобой...

– Ну, и на том спасибо. Коль ты со мной, стало – и я с тобой... Три шашечки зеваешь, Максим Григорьич. Все три, брат! – Пугачев с резким стуком перекрыл у Шигаева шашки, затем искоса, сбоку, взглянул на Хлопушу и спросил: – Ну как там, у Рейнсдорпа, порядки-то каковы, народ-то что гуторит?

– А что народ? Народу положено губернаторишку костить. Да и поделом. Ни тебе фуража для скотины, ни тебе пропитанья для жителей на запас. А как ты его нынче кругом запер, ему теперича ни вздохнуть, ни охнуть!

Пугачев скосил в улыбке рот, но вслед за тем ойкнул и сбросил с плеча котенка: в припадке нежности зверюшка запустил когти ему в шею. Котенок встряхнулся, подбежал к Хлопуше и принялся тереться мордой о его валеный сапог. Верзила нагнулся и огромной горстью взял котенка к себе на грудь.

– В шашках зевака ты отменный, Максим Григорьич, – снова обратился Пугачев к Шигаеву, – смотри, не прозевай, друг, сена в степу.

– Да уж прозевали, батюшка Петр Федорыч, прозевали, – потупился Шигаев и виновато замигал.

– Как так, прозевали? – воскликнул Пугачев. – Шутишь ты?

За Шигаева откликнулся Хлопуша:

– Сей ночи сотни четыре городских подвод на степу были, большую уйму сена в город ухитили, да, поди, не менее подвод в лес по дрова губернатором отряжено.

– Прозевали, ваше величество, прозевали, – подавленно твердил Шигаев, встряхивая расчесанной

бородю.

Пугачев опрокинул на пол шашечницу, круто поднялся из-за стола, закинул руки за спину, принялся взад-вперед вышагивать.

– А где же наши разъезды были, где секреты? Спали, что ли? Ни порядку, ни строгости у нас, Максим Григорьич!

– Нету, нету, батюшка, – с горечью в голосе согласился Шигаев. – Ни сего, ни оного.

– Повесить! – гаркнул Пугачев, остановившись возле Хлопуши. Тот сбросил с рук котенка и попятился.

– Кого, батюшка? – покорно спросил Шигаев.

– А кто на карауле сей ночи в степу спал, вот кого!.. Выбрать одного да для ради острастки и вздернуть... Под барабанный бой! И чтобы всех собрать, чтобы принародно!

Вошедший Падуров, поклонясь Пугачеву, с минуту наблюдал за ним, затем на цыпочках подошел к Шигаеву, остановился позади него, шепнул ему на ухо: «Встань – видишь, государь на ногах». Шигаев торопливо поднялся.

Падуров, взяв стул за спинку, произнес:

– Разрешите, ваше величество...

Пугачев сердито уставился на него глазами.

– Чего разрешить-то? Уж не опять ли жениться задумал?

– Разрешите сесть, ваше величество, – и молодеватые усы Падурова дрогнули от улыбки.

– А! – воскликнул Пугачев. – Садись, садись... И ты, Шигаев.

У Хлопуши пот проступил на лбу. Уж если этот Падуров, заседавший от казачества у самой царицы на большом всенародном совете, так держится тут, даже величеством Пугача величает, то... чем черт не шутит: вдруг и впрямь он не Пугач, а царь взаправдашний!

– Я полагал бы, государь, – говорил между тем Падуров, – когда нашей силы скопится поболее, учредить у нас Военную коллегую.

– На манер той, где Захар Чернышев сидит? – живо откликнулся Пугачев.

– Вот! И чтоб всякий из начальников ваших был к чему-нибудь определен.

– Ништо, ништо... Гарно! – сказал Пугачев. – Поставим и мы графа Чернышева.

– Ваше величество, – робко ввязался Шигаев. – Хлопушу-то отпустили бы, чего ему тут тереться? Ведь он любопытник наторелый.

С обидой взглянув на Шигаева, Хлопуша обратился к Пугачеву:

– Я могу и уйтить, ежели на подозрении держите...

– Ан вон и нет, мой друг, – возразил Пугачев, подсобляя Шигаеву ногой сгребать на полу рассыпанные шашки. – Ежели б я подозрение имел, так уж, верь мне, Соколов, давно бы тебя черви грызли... У меня к тебе государственное поручение примыслено. Ну, таперь подь к печке и сядь. Да хорошень прислушайся, что скажу.

Услыхав слова «государственное поручение», Хлопуша разинул волосатый рот и попятился к печке. «А ей-Богу, царь! Либо ловко прикидывается», – сказал он себе.

– Бывал ли ты когда-нито в Авзяно-Петровском дворянина Демидова заводе? – спросил его Пугачев.

– Не доводилось, – молвил Хлопуша, усаживаясь на указанном ему месте.

– Так вот что, Хлопуша-Соколов... Приказываю тебе моим царским именем: возьми-ка ты в провозатые себе крестьянина Иванова Митрия, что явился перед наши царевы очи с того завода, да еще прихвати доброконных казаков пяток и поезжай немедленно со Господом в оный завод. Путь не близкий – не менее как триста верст, а то и с гаком... И толкуй там моим вышним именем... Слышишь? Царским моим именем! – поднял голос Пугачев и сурово покосился на Хлопушу.

Того словно ветром вскинуло.

– Слышу, надежа-государь, – откликнулся он стоя.

– Так вот, объяви работным людям мой писанный указ. Да разузнай, не можно ли промежду них сыскать мастера – мортиры лить? А ежели это дело у них налажено ране было, пущай того дела не прекращают. Нам мортиры во как надобны! – и Пугачев провел ребром руки у себя по горлу. – Понял, Соколов?

– Понял, – начал Хлопуша, – понял...

– ...ваше величество, – подсказал ему Падуров.

Хлопуша тихонько взглянул на Падурова и гнусаво промычал что-то в тряпицу, но Пугачев махнул рукой:

– Иди, Соколов, сготовляй себя в поход.

Проводив Хлопушу, а вслед за ним и Шигаева, Пугачев сказал Падурову:

– Вот что, Тимофей Иванович, уж ты не больно-то церемонии у меня заводи. Я твое усердие понимаю и благодарствую, конечно. Только ведай: порядки нам положены не барские, не дворцовые, а какие есть – казацкие. Давай-ка, брат, как-нито попроще.

– О дисциплине пекусь, государь.

– Гарно, гарно, о дисциплине пекись – без нее ни страху, ни порядку. Только уж когда мы со своими ближними – можно, пожалуй, и не столь истоиво. Эх, Тимофей Иваныч, жалко мне сержанта Николаева, – неожиданно перевел он разговор. – Шибко, признаться, к людям я привыкаю. Похоже, и ты из таких?

– Из таких, ваше величество.

– А из таких, так слухай. Замотался я, веришь ли, с этой барынькой Харловой! Намеднись я ей слово, она мне десять, да как завопит, да как затопчет об пол пятками... Ну да ведь и я горяч. В горячке я себя не помню... В горячке я и за нагайку могу!

– Харлову? Нагайкой? – отступил на шаг Падуров и так взглянул на Пугачева, будто увидал за его плечами нечто жуткое, затем, брезгливо дергая усами, пробубнил, потупясь:

– Не дело, не дело, государь...

– То-то и есть, что не дело, – проговорил Пугачев раздумчиво. – Об этом самом и я помышляю... одно, выходит, беспокойство! Истинно говорится: как волчицу ни корми, она все в лес норовит.

– Да ведь и другой сказ есть, ваше величество, сами небось слышали: насильно мил не будешь, – угрюмо сказал Падуров. – Как же теперь быть-то, государь? Не гоже ведь нам не токмо что человека, а и тварь бессловесную зря терзать...

Пугачев помолчал.

– А знаешь что, Падуров? – внезапно оживился он. – Бери-ка ты цацу эту себе! Ась?

– Нет, ваше величество, благодарствую, мне и одной довольно, – с улыбкой откликнулся Падуров. – Будь мы в Санкт-Петербурге с вами, при дворце, – ну, куда бы ни шло! А ведь сами же только что изволили сказывать: порядков дворцовых нам не заводить

Пугачев понял его и тоже ухмыльнулся, потирая рукою бороду. – Вижу, Тимофей Иваныч, урок мой зазря не прошел тебе. Мозговат ты... Ну, ин довольно об этом!..

Вслед за Хлопушей был отправлен на сторону и полковник Шигаев. Ему поручалось объехать все верхние яицкие форпосты и собрать верных казаков в стан государя. Царский указ, врученный Шигаеву, начинался так:

2

Вскоре после отъезда Хлопуши и Шигаева в Бердах произошло кровавое событие.

С субботы на воскресенье, после церковной всенощной, после жаркой предпраздничной бани и сытного ужина с довольным возлиянием, жители слободы крепко уснули. Спал и весь пугачевский дом, лишь чуткие старухи, жившие по соседству с царскими покоями, слышали сквозь сон, как где-то близко прозвучали выстрелы, затем почувались отчаянные женские вопли, еще выстрел – и все умолкло.

Бабка Фекла вскочила с печки, перекрестилась, поскребла пятерней седую голову, прошамкала: «Наваждение!» – и снова повалилась на печку. Бабка Анна тоже закрестилась, зашептала: «Чу-чу пуляют!.. А либо сон студный пригрезился».

– Эй, мужики! – крикнула она. – Слыхали?

Но вся изба сытно храпела и во сне постанывала. «Пригрезилось и есть», – подумала бабка, но все же подошла к оконцу, заглянула.

Ночь стояла лунная. Голубели сыпучие снега, туманились далекие просторы, поблескивали мертвым пламенем остекленные окна избенок. Два запорошенных снегом вороньих пугала на огороде были, как два безликих привидения с распростертыми руками. И этот огромный огород, примыкавший к дому Пугачева, походил на заброшенное кладбище: взрытые, местами обнаженные от снега гряды темнели, как могилы. В глубине виднелась покосившаяся баня, будто старая часовня на погосте, а молодые вишни с голыми ветвями напоминали надмогильные кресты.

Проезжавший на рассвете задворками крестьянин взглянул из саней в сторону бани и с великого перепугу обмер. Затем он прытко повернул лошадь и, работая кнутом, помчался обратно вскачь.

Вскоре сбежались к бане любопытные.

Раскинув руки, на снегу лежала, в одной сорочке, босая Лидия Харлова. Возле нее, припав правой щекой к ее груди, лежал малолетний брат Харловой – Николай. Оба они залиты были кровью, пораженные пулями: Харлова – в грудь, брат ее – в голову.

Люди ахали, озирались по сторонам, переговаривались шепотом:

– Царь-то батюшка выгнал барыньку-т. Он дворянок-то не шибко привечает. Ох, ох, ох! Мальчишку-то жалко, несмысленыш еще.

Когда доложили о происшедшем Пугачеву, он сбледнел с лица и так выкатил глаза, что окружающие попятились.

Кто же посмел посягнуть на его, государя, священные права живота и смерти? Уж не Лысов ли опять?!

Весь этот день Пугачев был замкнут и мрачен, он не выходил из дому, не принимал никого и к себе.

– Ах, барынька, барынька! Горе-горькая твоя участь, – бормотал он, вышагивая из угла в угол по золотому зальцу.

Следствие по делу о разбое вел атаман Овчинников, а при нем состояли Чумаков и Творогов. Было опрошено немало казаков и жителей слободы. Многим известно было, что Харлова, после того как Пугачев однажды ночью прогнал ее от себя, оказалась в руках возвращавшейся с пьяного пиршества компании во главе с Митькою Лысовым. На другую ночь три загулявших татарина да хорунжий Усачев выкрали Харлову у Митьки. Произошла свалка, в которой молодой татарин был убит, казак же из лысовской шайки сильно

ранен, а сам Лысов отделался ссадинами. После скандала он бегал с завязанной рукой по улице, грозил, что перевешает всех татар, а барынька все равно будет его.

На допросе Лысов вел себя вызывающе, орал на следователей, угрожал расправиться с каждым по-своему, а в деле запыртался. При этом он рассуждал так:

– Убили паскудницу – туда ей и дорога! Эка, подумаешь, беда какая! Одной дворянкой на свете меньше стало, ну и слава Богу!.. Ха! Да ежели бы ее не убить, из-за нее полвойска перегрызлось бы. Она крученая, она и мне чуть нос не оторвала, – и он слегка подергал пальцами свой вспухнувший, в сизых кровоподтеках, нос.

– Не ври-ка, не ври, Митя! Это татарин тебя долбанул в нюхалку-то, – сказал Творогов хмуро.

Так ни с чем и отпустили Лысова, хотя все были уверены, что убийство – его рук дело. На совещании порешили: «батюшку» в подробности следствия не посвящать, а доложить только, что виновные не сысканы. О Митьке также ни слова, а то «батюшка», пожалуй, самолично с плеч голову ему смахнет – не шибко он уважает Митьку. А ведь Лысов как-никак выборный полковник, и ежели его казнить, войско-то, чего доброго, всю дисциплину порушит.

Под конец совещания подоспел Чика, да Горшков, да Мясников Тимоха. Чужих в избе не стало, за кружкой пива рассуждали про то, про се.

– Хорош-то он хорош, слов нет! – сказал Иван Творогов, когда речь зашла о государе, и криво улыбнулся. – А только вот насчет бабьего подола знатно охоч величество! Надо бы его нам сообща беронить от женских-то...

– Либо его от баб беронить, либо баб от него хоронить, – громко всхохотал Чика, покручивая пятерней курчавую, чернущую, как у цыгана, бороду. – К тебе, Иван Александрыч, кажись, Стеша твоя прибыла?

– Прибыла намерднись, – с неохотой ответил Творогов.

– Вот и держи ее под замком, а то батюшка дозрит, заахаешь, мотри.

Творогов был ревнив, а свою Стешу он считал писаной кралей.

– Мы, поди, воевать сюда пришли, а не с бабами возюкаться, – проговорил он с досадой.

– Вот это правда твоя, – подал голос пожилой, степенный Чумаков.

– Ха-ха-ха! – еще громче залился большеротый Чика. – А пошто ж ты, Федор Федотыч, вдовую-то дьячиху к себе из Нижне-Озерской уманил?

– Ври, ври больше, ботало коровье! – буркнул в бороду Чумаков, но глаза его по-молодому вспыхнули.

Тогда все разом загалдели:

– Не таись, не таись, Федор Федотыч! Видали твою духовную, вчерась она курей на базаре скупала. Всем бабочка взяла: и личиком, и станом, и выходка форсистая... Ну а ежели и култыхает по леву ногу да косовата чуть – изъяну в том большого нету.

Чумаков отмахивался, бормотал:

– Для хозяйства она у меня, при домашности. Куда мне – старый я человек, – и потягивал из кружки хмельное пиво.

Стали перемывать друг другу косточки. Оказалось, у многих крали заведены были. У Падурова – татарочка, у Творогова – собственная красоточка, законная супруга, у Чики – шестипудовая купеческая дочка, у Тимохи Мясникова тоже какая-то скрытница живет... «Вот только батюшка наш на вдовьем

положении».

– Оженить бы, что ли, его? А то не приличествует государю со всякой канителиться, – сказал захмелевший Чумаков.

– Царям на простых жениться не положено, из предвека так, – с серьезностью возразил атаман Овчинников, – а какую-нито присуху подсунуть ему – это можно.

– А ведь, братцы, пригож наш батюшка-то! – выкрикнул похожий на скопца Горшков. —За него каждая пойдет. Эвот как ехал он намеднись, избоченясь, Карагалинской слободой, молодки все глаза проглядели на царя-то. А одна бабенушка до та пор голову поворачивала, гляючи на батюшку, аж в позвонках у ней хряпнуло. Ей-ей!

3

Все разбрелись по своим делам. Атаман Овчинников – с докладом к Пугачеву. Караул у дворца отбил в его честь артикул ружьем, но Овчинников передумал идти с парадного, прошел по черному ходу на кухню – была у него надежда перекусить, очень проголодался он.

Ермилка сидел на кухонной лавке под окнами и в зажатой меж коленями кринке сбивал мутовкой масло из сметаны. Толстые губы его в уголках были запачканы сметаной. Завидя входившего атамана, он вскочил, сунул на стол кринку, одернул фартук и, шлепая губами, крикнул атаману честь-приветствие.

– Вот что, братейник, – сказал Овчинников, – выйди-ка ты да почисти моего коня.

Ермилка взял скребницу со щеткой и тотчас же удалился. Овчинников, улыбочиво прищурив на Ненилу серые глаза, погрозил ей пальцем, молвил:

– А ты, слышь, толстая, не шибко батюшке-то досаждай великатностью-то своей женской, а то ты, краснорожая, присосешься, как пиявица, тебя и не оттянешь. А ему силушки-то на иные подвиги потребны.

Ненила бросила ухват, подбоченилась и зашумела, надвигаясь грудью на Овчинникова:

– Да ты что это, атаманская твоя душа, меня, девушку, позоришь? Да я те, за такие твои речи, из живого полбороды выдеру!

– Экая ты глупая! – засмеялся Овчинников и присел к столу. – Лучше дай-ка мне перекусить чего-нито малость.

– Знаю я твою малость, – брюзжала Ненила. – Тебе бараний бок подай – ты и его за присест умнешь. Любите вы, атаманы, батюшку обжирать, в расход казну вводить.

Ворча, она все же кинула гостю рушник, а на стол поставила миску со снедью.

Овчинников, уплетая жареные куски баранины с кашей, говорил:

– Надобно жизнь батюшке устроить попышней да попрigлядней. Поди, скучает он по этой... по Харловой-то?

– И не думает, – азартно заговорила Ненила. – Он арапельником кажинную ночь ее учил.

– Ну, уж и кажинную...

– А что ж, неправду говорю? Учил, да не выучил, зря только утруждался.

– Вот уж надо будет предоставить сюда штучки две опрятных женщин, смазливеньких, – заговорил, отрыгивая, атаман, – чтоб обихаживали его величество, как полагается во дворце: и постель прибирать, и одежду подать да почистить. А то не по-царски он живет. Страмота!

– И не смей, и не смей, Андрей Афанасьич! – замахала на него руками Ненила. – Сама управлюсь... И не смей!

– Так ты же на кухне...

– И на кухне, и около батюшки. И разуть-обуть могу, я и в баньку могу свести... А чего ж такое? Он царь, я его раба. Его ублажать Бог повелел.

Ненила вдруг вскинула голову, прислушалась: в верхнем этаже заскрипела дверь на кухонную лестницу, вслед послышался голос Пугачева.

– Ненила, эй! Портянки-то просохли?

– Просохли, твое величество, просохли! – закричала снизу Ненила и засуеилась. – Отвернись скорееича, Афанасьич, переодеться мне.

Горбоносый Овчинников, улыбаясь одними глазами, отвернулся к окну.

– Хоть бы занавесочку какую повесить, так не из чего. И переодеться негде, – говорила Ненила, торопливо меняя на себе платье.

Озорник Овчинников попытался было повернуться к ней, но дородная курносая красавица сердито заорала:

– Не пялься, пучеглазый! А нет, клюкой по харе съезжу... не посмотрю, что ты атаманишка! – Она быстро надела новую черную юбку, быстро накиннула шелковый шушун с пышными сборами назад, повязала по черным волосам алую ленту, ополоснула руки, освежила водой разгоряченное лицо, сорвала с шеста портянки, подскочила к зеркальцу, заглянула.

А сверху снова нетерпеливый, властный голос:

– Да ты чего там, телиться, что ли, собралась?! С кем это лясы точишь?

– Бегу, бегу! – и Ненила, сотрясая лестницу, потопала наверх.

Вскоре направился туда и атаман Овчинников. У него до царя серьезный был разговор.

4

Обедали втроем: Пугачев, Падуров и Овчинников. Говорили о делах, о том, что завтра же надо отправить небольшие отряды в помещичьи села Ставропольско-Самарского края: барские запасы пощупать да на зиму в Берды провианту подвезти, а главное – мужиков на дыбки поднять.

– А как с барами мужики управятся, пускай к нам, в наше войско, идут, – сказал Овчинников.

– Высочайших указов надобно поболее изготовить, да чтоб попы в церквах народу оглашали, – проговорил Пугачев. – Ты, Падуров, подмогни Ванюшке Почиталину бумаги-то писать. Эх, Николаева нету!..

И, только начали «по второй», зазвенела за окном лихая казацкая песня, с гиком, с присвистом.

Стоявший при дверях Давилин бросился на улицу и, тотчас вернувшись, доложил:

– Максим Григорьич Шигаев из похода вертанулся, сто десять казаков с верхнеяицкой линии привел.

– Добро, добро! Покличь сюда полковника, – оживился Пугачев и подошел к окошку. На улице уже сгустились сумерки, валил хлопьями мокрый снег, и ничего там нельзя было разглядеть.

Вошел Шигаев, а с ним молодой казак Тимофей Чернов.

Шигаев перекрестился на старинную икону, мазнул концами пальцев по надвое расчесанной бороде и, отдав поклон застольице, сказал:

– Здорово, батюшка, ваше величество! Здорово, атаманы!.. Хлеб да соль!

– Милости просим, будь гостем! – и Пугачев дал знак рукой Ермилке: – Подмогни полковнику!

Чубастый Ермилка и вошедшая с киселем из облепихи рослая Ненила разом насели на покашливавшего Шигаева. Он был в дорожном, поверх кечменя, архалуке из верблюжины. За дальнюю дорогу архалук насквозь промок, сильно осел, не было возможности стащить его с вытянутых рук Шигаева.

– Ну, прямо как припаялись рукава-то! – надсадливо пыхтела Ненила.

– Потряхивай, потряхивай! – хрипел и кашлял полковник. – Ой, легче!

Ненила с Ермилкой работали, как два грабителя при большой дороге: архалук трещал по швам, полковник от дюжей встряски мотался во все стороны. Но, слава Богу, все обошлось не надо лучше: архалук уже висел на гвозде, а двое помогавших, и особенно сам Шигаев, дышали во всю грудь, будто приморившиеся кони.

– Присядь покамест, полковник, отдохни.

– Ну а ты, молодец, с чем пожаловал? – обратился Пугачев к молодому казаку Чернову, смирно стоявшему, каблук в каблук, подобно каменному изваянию.

– Осмелюсь доложить, мы Сорочинскую крепость взяли, – гаркнул казак, при каждом слове вздергивая головой и крепко взмигивая, как от сильного света.

– Кто это – мы? – прикрыв правый глаз, уставился Пугачев на молодца.

– А мы – это вкупе с четырьмя яицкими казаками.

– Не может тому статья, молодец, чтобы впятером этакую крепость взять!

– Истинно, не вру, ваше величество!

– Что же, один поп, что ли, крепость-то защищал? Чего-то не пойму я.

– Нет, поп не защищал, – ответил казак, – поп Кирилла сам первый присягу учинил вашему величеству.

– Ну, стало, один комендант защищал?

– И комендант не защищал. Комендант с дюжего испугу вышел навстречь нам с хлебом-солью... И вот, конечно, было дело так. Сорочинская, конечно, в ста в семидесяти верстах отсюда. Вот мы и подкатили к крепости-то – я с четырьмя казаками яицкими да сто двадцать калмыков конных...

– Ха! – ударил себя по коленкам Пугачев и вместе с креслом повернулся к казаку. – Экой ты путаник, казак... Стало, не пятеро было на приступе-то, а сто двадцать, да вас пятеро!

– Во-во! – потряхивая рыжим чубом и все так же крепко взмигивая, охотно подтвердил казак Чернов. – Как есть – сто двадцать пять... А где же тут пятерым!.. Нешто пятерым с этакой крепостицей совладать!

Обескураженный допросом государя, казак почесывал затылок, глядел себе под ноги, покашливал.

– Ну а чего ж ты привез оттудова, какие трохвеи? С чем, мол, приехал-то?!

– А привез я с собой, конечно, две пушки, – сразу оживился казак, – пушки важнецкие, обе орленые, из меди литые, да еще тридцать пять бочек пороху, да два ящика ядер, да всю денежную казну на пяти подводах, конечно...

Все весело засмеялись, а казака от душевной натуги бросило в испарину.

– Экой ты, экой ты!.. – покрикивал Пугачев, наливая вина в стакан. – С этого бы и начал, с военной добычи. А то заладил: впятером да впятером... Молодец ты, видать, хватистый, а путем балакать не можешь. На-ка, выпей! Ненила, поднеси молодцу на блюде. Пей, сотник Чернов!

– Я рядовой, ваше величество.

– Отныне будь сотником! Жалую тебя за старание за твое, что честь и славу воинства моего приумножил. Подойди к руке...

Падуров и Овчинников показывали жестами новому сотнику, что надо делать, но он не понимал. Тогда Ненила что-то шепнула ему, он шагнул к Пугачеву, повалился ему в землю и, стоя на коленях, поцеловал его руку.

– Спасибочко, царь-государь, от всей, конечно, казацкой души, от крови-сердца. Уж не погневайся!

– Встань, сотник. Ну, пей во здравие. Да погоди-ка... – Пугачев прошел в спальню, побрякал там ключами, вышел, подал сотнику золотой. – На, сотник. Старайся, – и, обратясь к Овчинникову: – А ты, атаман, распорядись одеть-обуть сотника попрigлядистей. А пятерым казакам и калмыкам, что Сорочинскую брали, выдать по четвертаку и выкатить малый бочонок водки, пушай погуляют. А теперь, сотник, сказывай, как было дело.

– Было дело так, – начал Тимофей Чернов. – Я, конечно дело, въехал один в толпу жителей, стал объявлять им, что сам царь-государь идет в крепость. Прямо скажу – врать стал. Опосля того поехал я по городу, махая копьем, само-громко орал, чтобы все людишки выбегали за город со святыми иконами и чтобы во все колокола били. А кто, мол, встречать не пойдет, тех велено мне колоть даже до смерти.

Слушая рыжеусого воинственного казака, все приятно улыбались. Казак после стакана водки пришел в себя и заговорил складно. Пугачев покручивал бороду и поощрительно подмигивал ему; казак действительно докладывал сущую правду. Он рассказал, как на другой день толпа калмыков и пятеро казаков с белым знаменем стала подходить к Сорочинску. Народ высыпал из городка с хоругвями, с иконами, с попом Кириллом. А впереди всех – сам комендант с хлебом-солью.

– Тут я спрыгнул с коня, приложился, конечно дело, ко кресту и велел всем идти в церковь. Там приказал попу служить молебен за твое здоровье, батюшка, и всему народу присягу учинить. Опосля того народ войнишкою ополчился на кабаки и разбил, конечно дело, все вчистую. И содеялось от радости не приведи Бог какое веселье. Гулеванили двое суток. Опосля того забрали мы добычу и честь по чести вышли из крепости. Оной крепостью мы и кланяемся твоему царскому высокоблагородию.

– Величеству, – поправил Падуров.

– Тьфу... величеству! – спохватился казак.

– Вот, господа полковники, – приосанившись, сказал Пугачев, – как видите, крепости сдаются не токмо мне, а даже императорскому имени моему... А ты, сотник, бери пару бараньих биточков в карман – и айда на улицу, там пожуюшь. Мы же выйдем к вам – смотр чинить!

Пугачев сунул жареное мясо в угребистую горсть сотника. Тот, приняв, пошел на цыпочках к выходу.

Затем делал доклад Шигаев, но Пугачев слушал плохо.

– Таперь, – восклицал он, прерывая Шигаева, – припасов у нас хватит, господа полковники, чтоб Рейнсдорпа как след быть пугнуть. Молодчина сотник Чернов! Всего привез. Однако довольно талалакать, пошли!

Домовитая Ненила, оставшись одна, стала гасить лишние свечи, брюзжала:

– И кисель не дожрали. Сколько сахара истрясла.

Любопытства ради она подошла к окну и, подняв волоковую раму, высунула голову на улицу. Липкий снег валил. Три ярких костра пылали. Невдалеке чернела виселица.

Овчинников подал команду, и две сотни приведенных им казаков с калмыками мигом вскочили в седла. У крыльца – на лафетах – две новые, доставленные Черновым, пушки, а слева, возле коновязей, весь облепленный снежными хлопьями, большой обоз с трофеями.

И как только показался на крыльце Пугачев, казаки и калмыки во всю глотку заорали:

– Ура!.. Алла!.. Ура!.. Бачке государю!.. Якши, якши!.. Здоров будь!.. Ура, Алла!..

Полетели вверх шапки, малахаи, заблестели в сильных руках сабли, замаячили пики. Даже пламя костров как бы приподнялось на цыпочки и вытянулось, чтобы ярким светом своим озарить вождя.

У Ненилы от приятного волнения захватило дух. Глядя сквозь умильные слезы на царя, на то, как народ приветствует его, она даже всхлипнула.

– Детушки! – взмахнув рукой, начал Пугачев громким голосом.

Глава XV

В густом тумане. Старец праведный Мартын. Мученики. Хлопуша вмиг озверел. Ванька Каин

1

По грязнейшим осенним, вдрызг разбитым дорогам, между Санкт-Петербургом и полосой мужичьего восстания, один за другим, взад и вперед спешили курьеры. Пересекая поперек Европейскую Россию, они безостановочно везли в столицу секретные пакеты от губернаторов казанского, оренбургского, астраханского, сибирского – с известиями о разгоревшемся мятеже. Эти пакеты адресовались в Военную коллегию, «в собственные руки» графу Захару Чернышеву. Ради соблюдения тайны курьеры держались в Петербурге под строжайшим надзором вплоть до обратного их выезда в Казань, Оренбург, Тобольск, Астрахань с повелениями, указами и манифестами.

Сведения, кои поступали в столицу с мест восстания, слишком запаздывали против фактов, и правящий Петербург, не знавший всей правды об успехах Пугачева, продолжал относиться к знаменательным событиям на Яике все еще пренебрежительно и высокомерно.

Так как война с Турцией все еще длилась, то, естественно, правительство опасалось обнаружить перед Европой свою слабость во внутренней политике и намеревалось покончить с восстанием одним ударом. Но для того удобный момент был уже упущен: ни Симонов, ни губернатор Рейнсдорп не смели пресечь мятеж в самом его начале.

И как ни старалось правительство все сведения о Пугачеве держать в глубокой тайне от иностранных при русской короне дипломатов, это ему не удавалось. Так, английский поверенный в делах Оакс Рихард сообщал лорду Уильямсу Фрезеру, что «хотя двор смуту на востоке России хранит в большом секрете, но повсюду известно, что один ловкий казак, воспользовавшись казацким неудовольствием в Оренбургском крае, выдал себя за Петра Третьего и число приверженцев его так велико, что произвело опасное восстание в этих губерниях. И вести оттуда все более и более неблагоприятные».

Для нанесения пугачевскому движению сокрушительного удара Военная коллегия, как уже было сказано, послала на место действия генерал-майора Кара и нетерпеливо ожидала от него добрых известий.

Но Кар двигался по плохим дорогам с крайним промедлением и лишь 20 октября достиг Москвы.

А вот посланный Пугачевым в Авзяно-Петровский завод простой человек Хлопуша, не в пример Кару, торопясь с честью исполнить данное ему его государем поручение, летел к месту назначения стрелою и вскоре достиг цели.

Весь душевный склад Хлопуши, все его мысли перестроились на новый лад. Ему стало безразлично, кто этот чернобородый детина: бродяга ли Пугачев, как оповещает всех губернатор, или впрямь Петр Третий, давным-давно ожидаемый народом. Кто бы он ни был, Хлопуша по-настоящему проникся верою, что назвавшийся государем человек стоит за правду, воюет противу правительства для ради народа, и он, Хлопуша, положил в своем сердце служить ему до последнего вздоха.

Хлопуша и с ним пятеро казаков и работный человек, пришедший к Пугачеву с Авзяно-Петровского завода, Дмитрий Иванов,правились заснеженною степью на восток.

Пряча от людей обезображенное лицо свое, Хлопуша был в сетке из конского волоса. Черная сетка эта, обхватывая борты шапки-сибирки, спускалась до подбородка. Такую снасть носят в таежных местах, спасаясь от укусов летучего гнуса.

На первом же привале Хлопуше довелось сетку снять – мешала принимать пищу – и повязать поврежденный нос тряпицей. Он сказал у костра спутникам:

– Ведь я сам не кто-нибудь, а работный человек, по паспорту – Соколов, а прозвище имею Хлопуша[100] за свой, значит, долгий рост. А работывал я в разных местах и по Сибири хаживал. За многие побеги били меня кнутьями, последний же раз приговорили к вырезанию ноздрей. Ноздри-то режут острым ножом, лишь бы знак сделать на человеке, а я палачу согрубил, «каторгой» обозвал его да обволочил, так он, подлая душа, клещами полноса вырвал мне, всех хрящей решил.

Казачьи соболезнующие причмокивали, качали головами, а заводской крестьянин Дмитрий Иванов сказал:

– Они, дьяволы, что палачи, что начальство, – нашего брата не больно жалеют! Я сам вот сквозь весь избит да истеган. И в левую ногу пулей стрелян.

– Трудно на заводах-то, дядя Митяй? – спросил молодой казак, развешивая у костра онучи.

– У-у-у, Боже ж ты мой!.. Да не в пример хуже каторги. Недаром же сотнями народишко в бега бежит. И я три раза бегивал. Где-нито в избушке лесной укрытие имеешь либо землянку откопаешь. Летом-то еще ничего, а вот, как снег ляжет, нашего брата-беглеца ловить учнут – по снегу-то ловить сподручней: и следы видать, и дымок явственней обозначается. И посылают тогда противу беглецов розыскные команды из старых казаков да полицейских.

Была вечерняя пора. Накатывал густой туман. Становилось сыро и холодно. Все семеро сидели на дне глубокой, поросшей кустами и глухим чапыжником балке. Для сугреву то и дело подживляли костер. В котелках у огня прело баранье хлебово с крупой. Дядя Митяй, щурясь от дыма, снимал пену с похлебки деревянной ложкой.

Митяй широк в плечах, но невысок и сухопар, щеки впалые, глаза большие, строгие, как на старинных иконах, а борода рыжеватая, с сильной проседью. Весь какой-то постный, болезненный, он больше походил на заправского бродягу, нежели на заводского рабочего. И лишь большие крепкие кисти рук изобличали в нем добытую в труде силу.

– А и староват же ты, дядя Митяй, – сказал кривой казак Дылдин. – Поди, годков десятков с шесть наберется.

– То-то, милый мой, что нет. И сорока нету, а обличьем вишь какой. Заводская жизнь меня изжевала этак-то, исчавкала. Да мы, заводские, почитай, все сквозь хворые.

– Сколько же людей на вашем заводе трудится? – спросил озабоченно Хлопуша. Он сидел на войлочном потнике по-татарски, посматривал то в хмурое лицо Митяя, то на хвостатые огоньки костра.

Дмитрий Иванов, он же дядя Митяй, ответил, что Авзян основан был ровно двадцать лет назад графом Шуваловым, затем укуплен Евдокимом Демидовым, а всего работных людей по заводу значится до пяти тысяч душ.

– Многолюдство великое, – прогнусил Хлопуша. – А вдруг да не примут нас, сомнут да в домницы, в огонь-полымя?!

– Уж ты об этом, дружок, не пекись, – сказал Митяй. Он снял лаптишки, стал переобуваться в сухие онучи. – Меня заводские изрядно знают, не сомневайся. Да и мужиков-то на заводе таперича самая

малость: кто лес валит да угли в курнях жжет, кто в шахтах руду копает, а на заводе-то, дай Бог, чтоб сот с пяток народу было.

Туман час от часу становился гуще. Вот скрылись лошади, хрупавшие вблизи костра овес, пропали иглистые очертания оголенного кустарника, замутнел, стал каким-то призрачным живой огонь в костре, а три казака, сидевших по ту сторону огня, потеряв облик человеческий, превратились в каких-то бурых чудовищ. Белый туман поглотил все пространство. Стало, как в бане, втугую насыщенную паром. Одежда у путников промокла, к лицам, к обнаженным частям тела липла влажная паутина, она проникала под рубаху и заставляла вздрагивать от пронизывающего озноба. С сучков кустарника, что поближе к костру, покапывала, как редкий дождик, прозрачная влага.

Путники изрядно продрогли, стали укладываться спать. Хлопуша и дядя Митяй улеглись бок о бок – седла в головы – на двух потниках, прикрывшись овчинным тулупом. Оба позевывали так, что трещали скулы, но сон бежал от них. Дядя Митяй, почесываясь и поохивая, неторопливо, душевным певучим голосом рассказывал:

– Родители-то мои, чуешь, пришлые из-под Казани крестьяне, насильно их пригнали на завод. От горя да с непривыку они и умерли. А мой братеник, парень по девятнадцатому году, у домницы работал. Как-то выпустили из домницы жидкоогненный чугун, он и потек по канавкам, жарища сделалась, как в пекле. А братеник-то мой, Пашка-то, чуешь, прочь, наутек, да возьми запнись и брякнись со всех ног поперек огненной той канавки... Брюхом упал... Так, веришь ли, напополам его пережгло. Схватили его люди за руки да за ноги – так надвое и раздернули...

– Неужто пополам?

– Как перерубило! Одним пыхом... – Страдалец...

– Страдалец-то не он, а мы страдальцы, кои вживе остались, – сказал в туман дядя Митяй. – Заводская жизнь самая страшительная, гаже ее нет. Самый крепкий человек возле домницы боле шести лет не выдюжит. Вот через это самое и ударяются трудники в побег. И я бегивал. И вот слушай, мил человек... Лет шесть тому натакался я в лесу на праведного человека, на дедушку Мартына, отшельника. Он тоже давным-давно с завода утек и поселился в самой трущобе, в уреме... И долго сила Господня спасала его от розыскных команд.

– Ишь ты!..

– Он себе избушку березовую срубил да опустил в землю ее. Крыша вровень с землей сделалась, а поверх крыши мох, чапыжник, деревьца растут – в двух шагах возле такого жительства пройдешь – не заметишь. Во как, миленькой... Избушка мерою до пяти аршин, лаз в ее тайный, потайное оконце на восток. А земля на полу укрыта хвоей насеченной: лежать мягко, и дух от хвои добрый. А в уголке чувал из дикого камня, для сугрева. Под потолком иконка старозаветная, пред ней самодельная свечечка – старец свечи-то сам делал, он в уреме на деревьях четыре диких бортовых улья сыскал... Ну-к у него и медок, и воск! И была у него святая рукописная книжица «Ефрем Сирин», он мне ее вгул читывал... Бывало, оба от умиления над книжицей плакали... – Дядя Митяй вздохнул, почмокал губами и вдруг умолк.

Хлопуша толкнул его в бок:

– Уснул, чего ли? Сказывай! Я уважаю этакое.

– Да нет, не сплю я. Думки разные одолевают про правду да про кривду... Вот я и толкую... Добро жить в пустыне, добро о душе пекчись. Как вспомнишь, вспомнишь жизнь людскую, пропащую, так кровь в жилах и застынет, – голос дяди Митяя стал еще душевней, еще трогательней, своими воспоминаниями он был по-настоящему взволнован. – Да-да... Такие страданья людям, такие печали да болезни! Пошто мы,

окаянные, на мир Богом посланы. Пошто одни в тепле да в радости, а другие весь век маяться обречены, в молодых годах стариками ходить?

– А-у, – вздохнул Хлопуша. – А-у, брат... Мается весь народ, все люди страдают, а в веселости век живут только господишки, да купчишки, да еще разве архиереи с протопопами. Я-то знаю, я-то, браток, все знаю. Я и архиерейскую бывальщину знаю, всю до подоплеки, я сам у тверского архиерея в услуженьи жил.

– Оо-о! Бывалый, значит, человек.

– Ну а как же отшельник-то, Мартын-то твой? – помолчав, спросил Хлопуша. – Как жили-то, чем питались-то вы?

– А питались мы больше всухоядь: то грибками, то ягодками. Ну, правда, приносил нам из деревни дед один хлебца, молочка когда. Приносил тайно. Помолится с нами, поплачет о грехах – и домой в радости. От молитвы да от покаянных слез всякая душа людская в радость приходит. Да и сам я в радости у старца жил. Душа играла, как солнышко о пасхе... А вот как сграбастали меня, да выдрали до полусмерти, да на руки, на ноги кандалы наложили, опять я заскучал! В Сибирь на вечное поселение просился – не пустили. Ой, многие, многие просятся в каторгу, чтоб от немилой заводской жизни уйти, – не пускают.

– А вот уж мы на заводах старые-то распорядки переломим, – убежденно проговорил Хлопуша.

– Дай-то Бог! – вздохнул дядя Митяй.

– Добро бы к старцу-то твоему зайти да покалякать с ним, – сказал Хлопуша и почему-то застыдился своих слов. – Хоша, правду молвить, не шибко-то я люблю святых: бездельники, пустобрехи... Ну только и промеж них попадаются трудники, людскому миру наставники. Знавал и таких я.

– Умер старец праведный Мартын, преставился! – уныло молвил дядя Митяй и перекрестился. – Как учинил я побег в последний раз недель с шесть тому, не боле, опять к старцу подался. Вошел я в келейку, в коей пять годков не бывал, гляжу – на сухой хвое кости человечьи лежат, руки сложены, череп в правую сторону откатился. А тела и следу нет, истлело скрозь. На ножных костях лапотки, на плечах да на руках армячишко тленный. И книжица «Ефрем Сирийский», открытая на груди... Ой и тяжело ж мне стало... Пал я наземь да и завыл в голос... А вскорости после того и сыскан я был. Вот привели меня в заводскую тюрьму, приговорили к двум тыщам шпирутов этих, – стало быть, к самой смерти! За многократные побеги мои то есть.

Дядя Митяй почвыкал носом, повздыхал и вновь заговорил, но голос его окреп и оживился.

– А тут, гляжу, явились ко мне в тюрьму середь ночи трое парней. Думал я – ангелы небесные. Нет, наши ж парни – Ванька, Степка да Тереха, что у кричных молотов робят. Вот явились да и говорят мне: «Мы караульных солдат водкой опоили. И бери ты, – говорят, – лошадь сготовленную, возле зимника в балчуге стоит, и беги ты, – говорят, – не медля к Оренбургу-городу, там царь объявился, и толкуй батюшке, пушай он к нам силу шлет. А мы ему, свету белому, служить согласны по вся дни...» Ну, я и поскакал. А достальное, миленький мой, сам знаешь... И я так полагаю своим умишком, что этакое дело благодатное приключилось не иначе, как по молитвам Мартына, старца праведного... Да ты слушаешь ай спишь?

Хлопуша храпел и взмыкивал.

2

На другой день, совершенно неожиданно, пристали к Хлопуше в степи четыре десятка конных башкирцев, готовых служить новоявленному государю. Башкирский старшина сказал:

– В нашу землю пресветлый царь указ прислал. Вот мы и поднялись.

Спустя сутки взбодрившийся отряд вступил в дремучие уральские леса. Митяй вел людей по узкой лесной дороге, которой возницы в огромных коробах доставляют на завод древесный уголь. Стало наносить дымком. Митяй, приняхиваясь, сказал:

– Скоро до куреня будем.

Действительно, в глубине леса, справа от дороги, показались сквозь чащу густые клубы дыма. Отряд свернул туда.

Просторная поляна сплошь завалена огромными бурунами бревен и саженных поленьев. Эти лесные богатства были заготовлены еще прошлой зимой и подвезены сюда для переработки в уголь. А без угля нет ни выплавки чугуна, ни выделки железа и стали. На поляне высился объемистый, в виде усеченной пирамиды, холм. От плоской маковки до обоснования склоны его были засыпаны землей, перекрыты дерном. Из вершины холма, как из печи, валил густой смолистый дым. Возле дымящегося холма копошились чернолицые, чернорукие, как трубочисты, люди, среди них бабы и подростки. Это – углежоги. Они насквозь прокоптели – казалось, им в жизнь не отмыться; у них воспаленные, гноящиеся глаза и жестокий кашель, они сплевывают «чернядью». В руках их длинные обуглившиеся колья, железные шести, лопаты.

Углежоги, старые и молодые, поклонились подъехавшим незнакомым людям. Больше всего их удивил вид сидевшего на рослом пегом жеребце огромного детины в черной сетке, из-под которой торчала рыжая, с проседью, бородища.

– Братцы! – прокричал с коня дядя Митяй, кивнул головой на Хлопушу. – Этот человек послан в Авзян пресветлым государем нашим добрую жизнь трудникам устраивать.

Углежоги, окружив всадников, сдернули шапки, усердно закрестились, заговорили гулко:

– Рады служить надеже-государю! Видно, и на нас оглянулся Господь – царя послал... О! Братцы, глянь... Да то, никак, наш Митрий Иванов... Здоров, Митрий!

– Здорово, мужики! – ответил Митяй. – Вас сколько здесь? Отберите-ка полста людей да айда с нами в Авзян. Топоры есть?

– Как не быть. Оруженья хватит. Да мы все, до единого, двинем!

– Всем нельзя, мирянушки, – зычным, гнусавым голосом прервал Хлопуша поднявшийся было галдеж. – Всем работу кидать не годится – царь-государь приказал скорейча пушки да ядра лить, а без вашей черной работы чего отольешь?!

Тем временем дядя Митяй стал объяснять казакам, как уголь жгут.

– Вот видите, люди саженное поленье укладывают в кучи и кладут их то встояк, то влещку, то встояк, то влещку. Через это получается «костер». Его закрывают со всех сторон хворостом, обсыпают землей, а сверх всего дерном обкладывают. На маковке дыру оставляют да сбоку дыру, чтобы, значит, тяга завсегда жила. Как сбоку подожгут, огонь-то и заберется в серединку, да шибко-то не горит там, а мало-мало тлеет, и поэтому самому поленья в костре не горят, а чахнут, через что уголь образуется... Ну, тут уж мастер не

зевай, а доглядывай, чтобы куча оседала ровно, чтобы огонь где-нито ход не прогрыз себе...

От «костра» валил дым, копоть, смрад, щипало глаза, захватывало дыхание. Казаки стали чихать и кашлять, из глаз у них катились слезы; казацкие лошади фыркали, мотали головами, пятились прочь.

– Вот так работка! – с горестным оживлением прогнусавил Хлопуша. – Мы тут раз дыхнули – и расчихались, а этим людям день-ночь тут бытовать доводится.

И он оглядел всех их, кому на протяжении долгой зимы неотступно приходилось работать у «кострища», подкидывать землю там, где начинал пробиваться огонь, ходить по этому огненному кургану, оправляя его.

– А другой-то курень далеко? – спросил дядя Митяй собравшихся в поход углежогов.

– А эвот-эвот, не будет и версты, – загалдели углежогои.

Вдруг как раз в той стороне, где соседний курень, раздались неистовый рев и крики.

– Ой, беда стряслась! – прислушиваясь к нараставшему гулу голосов, засуетились конные и пешие. И все бросились туда напрямки, через лес.

Поляна. Такой же огромный, перекрытый землей и дерном «кострище». Из черного склона буйное пламя пышет, с другого бока и с вершины густейший валит дым. А возле «кострища» орут, бестолково копошатся перепуганные люди, суют в пламенную пасть обуглившиеся жерди, кричат: «Хватай! Хватай!» Смелчаки карабкаются по откосу, пытаются подобраться к огненному провалищу. «Снегу, снегу давай! Воды!» Но снегу еще мало, воды один ушат, а до речки версты три.

– Что стряслось-то? – откинув с лица сетку, закричал с коня подскакавший Хлопуша.

Народ наперебой закричал:

– Двое провалились, отец да сын... Петриковы! С-под Тамбова приписаны, дальние...

– Братцы! – скомандовал своим Хлопуша. – Рой к чертовой матери всю печку, спасай души!

– Что ты, что ты, начальник? – прихлынув к Хлопуше, завопили углежогои. – Разроешь – все уголье спортишь, да нам с конторой-то и не расчесться... Загинем в кабале, сожрут нас демидовские приказчики.

– Завод ныне не Демидова, а царский! Царь все простит! – бросал с седла Хлопуша.

– Чего мутишь? – крикливо возражали ему. – Давно ли завод царским стал? Окстись! Демидова то завод, вот чей. Не дадим рушить. Ребята, гони орду! Дуй кольями!

– Стой, дураки! – завопил Хлопуша. – Христианские души в огне гибнут!

– Они гибнут – и нам погибать? Не дадим рушить!

Пока шла словесная перепалка, расторопные казаки с башкирцами, руководимые Митяем, выхватили из полымя крючьями обуглившийся труп старика, а из другого дымящегося провалища извлекли задохшегося молодого парня.

– Марья, очнись! Очнись, Марья! – отхаживали неподвижно лежавшую на земле женщину – жену старика и мать парня. – Зашлась, сердешная... Бабы, пособляйте!.. Трите пуще снегом загривок-то ей! Ах ты, Господи...

И вдруг, очнувшись, женщина метнулась к «костру», с нечеловеческой силой внесла себя на самый верх, вскинула руки, как пловец, готовый броситься в воду, и, страшно, завопив, исчезла, поглощенная огненной бурей.

Толпа охнула, окаменела. Затем поднялись бешеные крики, лютость охватила всех:

– Круши печь! Разметывай! Разметывай!..

К «костру» бежали казаки, башкирцы, углежоги – кто с чем. И не успел Хлопуша прийти в себя, как от печи остались лишь ворохи охваченных дымом поленьев да огненных углей.

В сторонке лежала обгоревшая женщина, ее выхватили из раздернутого «костра», но уже бездыханной.

А вокруг пылал новый, иной костер: бушевала людская ярость.

– Душегубы! Кровососы! – ревели голоса углежогов. – Хватит, братцы, с нас! Бери топоры, гони коней!.. Идем к царю-батюшке.

3

Толпа Хлопуши выросла до полутораста человек. Углежоги ехали на подводах, устроившись в угольных коробах. Был вечер. Проблеснули звезды. Дядя Митяй сказал:

– Слышишь, Хлопуша?.. Ты, может статься, с отрядом-то на ночевку где-нито расположишься, ну а я на завод махну, упредить надобно.

Он стегнул коня и пропал за поворотом извилистой дороги.

Вскоре в лесной глуши замаячили костры. А на самой опушке, прячась за старую сосну, высматривал проходивших людей рослый, одетый в полувоенную форму человек.

Хлопуша первый приметил солдата и крикнул ему:

– Чего шары-то выкатил? Эй ты, вылазь!

– А вы что за люди? – окрикнул солдат и, взяв ружье на изготовку, вылез из-за дерева. Но, увидав большую толпу вооруженных всадников, скрылся в чащобе.

– А-а-а! – удивленно протянул высокий углежог-старик, присмотревшись с коня к тускло светившимся кострам вдаль. – Да ведь это беглые, у огнищ-т. Глянь, сколь их, сердешных, наловили-то...

– Айда на выручку! – недолго думая, скомандовал Хлопуша; он взмахнул плетью и двинулся к кострам. – Окружай, братцы!

За ним бросились казаки, башкирцы. От костров грохнули два выстрела. Задетый пулей, упал с коня башкирец.

У Хлопуши не было ни ружья, ни пики, он выхватил из-за пояса безмен с чугунным граненым шаром на конце и, скакнув через костер к стрелявшему, разбил ему голову. Солдат рухнул тут же.

– Сдаемся, сдаемся!.. – видя направленные на них пики, взголосили солдаты – заводские стражники и сыщики. Их было человек двадцать. Шершавые стреноженные лошаденки их топтались рядом.

Хлопуша дрожал, в его груди хрипело, он сорвал густую хвою кедра и вытер ею окровавленный безмен.

Полсотни беглецов, молодых и старых, связанных по десятку арканами, еще не вполне понимая происшедшее, кланялись набеглому отряду:

– Ой, кормильцы... Хлебца, хлебца! Вторые сутки ни синь-пороха во рту. – Испитые, бессильные, посиневшие, одетые в рвань, они походили на таежных бродяг.

– Государь Петр Федорыч дал приказ быть вам вольными, – перехваченным от волнения голосом сказал Хлопуша и, потрясая безменом, продолжал: – А супротивникам царским – смерть!

Стало тихо.

Старый капрал, с длинной седой косой, в рыжем нагольном полушубке и в валенках, бросая на Хлопушу злобные взгляды, проговорил сипло:

– Нам неведомо, что вы за люди и кто такой царь Петр Федорыч. Мы состоим на иждивении дворянина Демидова, а присягали государыне Екатерине.

– А ну, приготовь-ка петлю! – сказал Хлопуша, оборачиваясь к своим.

– Вздерни, вздерни его, батюшка!.. Собака он! – зашумели голоса...

– Собака ли я, нет ли, – перебил их капрал и невозмутимо потянулся за угольком к костру, чтобы закурить трубку, – собака ли, нет ли, а я свою службу сполняю по приказу! Нашей сыскной команде велено утекляцов ловить, – ну, значит, не рыпайся, лови... А ты, вояка с безменом, ежели есть среди прочих начальник, разжуй нам, что к чему. А то налетели с ветру, солдата ухлопали ни за што ни про што. Да вы, может, разбойники, может, завод зорить едете! Откуль нам знать?

Поборов в себе неприязненное чувство к суровому служаке, Хлопуша стал рассказывать людям, по какому делу послал его государь на Авзянский завод и что самоглавная думка у государя – сделать свой народ вольным да во счастьяи.

Толпа приняла эту весть азартно. «Дай-то Бог, дай-то Бог!» – взволнованно крестясь, кричали углежоги и беглецы.

Капрал, хмуря седые брови и все еще по-злomu косясь на Хлопушу, сказал:

– Ежели ты правду молвил, мы, пожалуй, новому государю служить не отрекаемся, – и велел стражникам «ослобонить утекляцов».

Хлопуша поверил словам капрала и свой приказ о казни отменил. Разожгли еще ряд костров. Башкирцы, крикливо переговариваясь, варили в котлах махан. Ужин поспел скоро. Все плотно подкрепились. Беглецы набросились на еду с жадностью.

Стало довольно темно. До завода оставалось около тридцати верст торной дороги. Хлопуша торопился, он отдал приказ выступать в поход. Принялись суетливо собираться. Угрюмого капрала не оказалось в толпе. Никто не приметил, как он под шумок исчез.

– Эх, жаль, дюже жаль, что не вздернул я его, – сердито замотался в седле Хлопуша. Он велел всех людей сыскной команды нанизать на один аркан и отдал их под присмотр башкирцев.

Двигались ходко. Немощные беглецы ехали по двое, по трое на полицейских конях или в коробах, вместе с углежогами и их семьями. Путники надрали бересты, сделали смолистые факелы, зажгли их. Тьма, вспугнутая возникшим светом, закачалась, заструилась, как широкое полотнище темной рыхлой кисеи. Десятки факелов плевались во тьму ярким огнем и клубящимся красноватым дымом. Весь лес сразу преобразился, ожил, наполнился сказочной нежитью. Деревья, казалось, перебежали с места на место, подпрыгивали, замахивались на путников мохнатыми лапами. Обгорелые пни и поваленные бурей вековые стволы с вихлястыми сучьями напоминали таежных чудовищ. А факелов зажигалось все больше да больше. Ехать было не скучно.

Свет играл, колыхался, свет вступил в единоборство с тьмой. Зрелище было живописное. Верхоконная ватага башкирцев в своих цветистых халатах, в остроконечных шапках, с луками, колчанами, кривыми ножами, с длинными пиками, украшенными конскими хвостами; впереди – рослый бородатый всадник, лицо у него в свисавшей на глаза сетке, дальше вереница связанных общим арканом полицейских, а сзади – большая толпа черномазых углежогов. Вся эта необычайная картина, вырванная из мрака озорными огнями факелов, напоминала орду древних воинственных печенегов, возвращавшихся из тяжелого похода в свои кочевья.

Народ устал, двигался молча; башкирцы и казаки дремали, покачиваясь в седлах. Кое-где слышались ребячьи голоса.

Хлопуша въехал в толпу бегляцов, завел с ними беседу. Жалуюсь на свое житье-бытье, они говорили ему:

– От великого мучения на заводских работах уже затылок переломился, исхудали мы, обнищали все вконец.

– Ободрались мы все, обносились, из дырявых портков срам прет.

Хлопуша узнал, что заводские люди больше всего терпят от управителя да приказчиков: обмеры, обсчеты, дороговизна продуктов в заводских лавках.

– Ну а хозяин? – спросил Хлопуша.

– Хозяин наезжает редко. Да и он собака!

– Раскачку надо, начальник, зачинать! – выкрикнул курносый, с испытанным лицом парень.

– Да уж тряхнем! – сказал Хлопуша. – Ну, все ж таки из работных-то есть, которые ладно живут?

– Да есть малое число. Мастера в добре живут, вот кто... Они, почитай, все раскольники. Им и начальство мирволит. У них по две да по три коровки, да лошаденки, овцы, свиньи, хозяйство... Они, брат, живут в добре, это верно.

– Может, потому и в добре живут, что стараются да дело свое знают, – проговорил Хлопуша.

– Да уж это как есть, – ответил, крутнув головой, старик с хохлатыми бровями. – Они на работу горазды, и смысл есть в башке, это верно. Да ведь и мы-то стараемся со всех сил. А откровенно-то тебе сказать, начальник, ради кого стараться-то? Для Демидова-то? Да будь он трижды через нитку проклят! Тьфу!

– Дельно сказал, – одобрил старика Хлопуша. – Ради Демидова, худ ли, хорош ли он, жилы свои надрывать не для ча. А вот уж ради царя, ради миру слобождения – силушку свою в работе не жалеете...

– Да уж... Господи, чего тут толковать! – раздались голоса. – Раз дело мирское зачинается, на себя, дакось, наплевать... Мы в сознание!

Хлопьями стал падать тихий снег, и вся дорога вскоре побелела.

4

Пока дядя Митяй путешествовал из заводской тюрьмы в стан Пугачева, на Авзяно-Петровском заводе произошло жестокое событие.

Все уральские заводы строились по одному образцу: многоводный пруд, запертый плотиною, водоспуски, корпуса мастерских, церковь, контора, казармы, склады и заводской поселок. На старых, петровских времен, заводах мастеровые трудились из поколения в поколение. Их деды и прадеды, бывшие крепостные мужики, вывезены были из разных мест России и навечно закреплены за заводом. Заводские работали под руководством мастеров при домнах, при водяных молотах, в литейных, прокатных и прочих мастерских. Они являлись первостепенным ядром завода. Их было не так много, они составляли всего лишь пятую часть рабочей силы. Остальные четыре пятых трудились на подсобных предприятиях: рубили лес, жгли из него уголь, копали в разрезах и шахтах руду, занимались в обозах. Эта главная рабочая сила вербовалась из приписанных к заводу крепостных крестьян. Приписанные не теряли связь со своим хозяйством на родине, где оставались их семейства, и время от времени получали возможность в страдную пору отправиться домой для полевых работ, с тем чтобы по истечении положенного срока снова явиться на завод. Были среди них счастливчики, которым шагать до дому недалеко – порядочно деревень, острожков, сел находилось вблизи завода. А каково-то было тем, родные места которых отстояли на триста, на четыреста и более от завода верст, каково-то им было ломать «два конца», зачастую способом пешехождения?

Горькая, тоскливая, бессолнечная жизнь. А хозяину какое дело – будь то казна, или сиятельный вельможа, или оборотистый купец: мужики живут, не подышают, – значит, не о чем и толковать. А на случай бунта сыщется и управа: парочка залпов, куча убитых, раненых, и – снова благоденственное, мирное житье.

Так был убит отец Павла Сидорова, купленный еще прежним владельцем завода, графом Шуваловым, и перепроданный затем со всем семейством новому хозяину, Демидову.

Осиротевший Павел Сидоров остался пятилетним мальчонкой на руках у матери, а когда подросток, его определили в слесарную мастерскую, и через несколько лет он стал хорошим слесарем. Они жили с матерью в небольшой опрятной избе, имели огород, от которого и питались.

Павлу исполнилось двадцать два года. Благонравный, искусный и горячий в работе, он был на добром счету у начальства. Мать гордилась таким сыном, берегла его пуще глаза, подыскала ему невесту – дочь мастера, у которого Павел состоял в подручных. Мастер был рад породниться с Павлом, он прочил его на свое место. Мастер чувствовал, что собственные силы его на исходе, что все свое здоровье он ухлопал на умножение капитала графа Шувалова и дворянина Демидова, а себе вот, кроме мучительной грыжи да чахотки, ничего не нажил.

Итак, в ноябре ожидалась свадьба. Павел уже зарабатывал до трех, а иногда и до пяти рублей в месяц, что давало ему с матерью возможность безбедно существовать: пуд муки стоил пятнадцать копеек. Появилась корова, завелись лишние деньжонки.

Павел поехал в Екатеринбург, купил себе две пары штанов – суконные за восемь гривен, другие, из чертовой кожи, за двадцать семь копеек; купил овчинную шубу, кушак, шапку, сапоги, невесте – полотно, шаль и на платье шелку, а матери – добрые валенки. На все покупки и поездку издержал около семнадцати рублей и вернулся домой довольный и радостный.

На воскресенье было назначено обручение. Варили пиво, брагу. На заводе только и разговоров было, что о предстоящей свадьбе. Но в субботу утром произошли мрачнейшие события, поставившие черный

крест на жизни Павла.

Управитель завода, из обруселых немцев, бергмейстер Иван Абрамыч Швабе, прозванный мастеровыми за его жестокость Ванькой Каином, в субботу утром послал в слесарную мастерскую своего казачка с приказом, чтобы немедленно пришел в управительский дом Павел Сидоров для починки дверного замка в кабинете.

– Вот что, Сидоров, – встретил его Каин, рыжий, высокий, худой, бритый, с прямоугольным лицом и сердитыми, всегда прищуренными глазами; он был в высоких сапогах и дорожной теплой кацавейке, он только что вернулся из поездки по сутяжному делу в Екатеринбург. – Постарайся-ка, брат!

Павел поклонился и начал, а Ванька Каин ушел завтракать в соседнюю комнату. Павел знал о жестоком характере управителя. Немец за всякую безделицу драл правого и виноватого; драл своих служащих и приказчиков, даже как-то выдрал своего делопроизводителя из отставных офицеров, за что получил выговор от бергколлегии и... пятьдесят рублей награды от Демидова.

Павел сделал работу старательно и быстро: через каких-нибудь двадцать минут он доложил управителю, что работа готова. Тот буркнул: «Ступай!» Павел поклонился и вышел.

Позавтракав и выпив ежевичной настойки, управитель проверил работу Павла: дверной замок действовал отлично – затем вошел в кабинет скользнул глазами по зеленому сукну письменного стола.

– Кошелек!.. А где ж кошелек? – с испугом воскликнул он. – Я же вот сюда его положил, на стол. Я же твердо это помню. – Он бросился к столу, стал выдвигать ящик за ящиком, рыться в них, бормоча: – Да, да, это слесаришка! Это он к свадьбе. Больше некому, сюда никто не входил.

Управитель был страшный скряга, он копил деньги, воровал у хозяина, обсчитывал рабочих, за гроши или спирт скупал у бродяг и старателей золото. Вот и на этот раз, возвращаясь из Екатеринбурга, он выменял в лесу у двух бродяг на спирт, на хлеб, на две пары яловых сапог больше двух фунтов драгоценного металла.

– Ох, и задам же я ему свадебку! – Управитель схватил шапку, собачий арапник и стрелой, вприпрыжку, пустился в слесарную мастерскую.

– Сидоров! – закричал он.

Все слесаря бросили работу, уставились на потрясавшего арапником бергмейстера. А Павел, опустив руки, со страхом отозвался:

– Чего изволите?

– Кошелек! – заорал, затопал бергмейстер, грозя побледневшему Павлу собачьим арапником. – Подай мой кошелек, подай немедля, а нет – я тебе шкуру с плеч до пяток спущу!

Павел от неслыханной обиды весь затрясся, на глазах у него выступили слезы; прыгающим голосом, ловя ртом воздух, он вздохнул и говорил:

– Что вы, что вы?.. Господин управитель!.. Помилуйте, да мысленное ли это дело... Чтобы я... да взял ваш кошелек. Я и в горницы-то не смел войти. Что вы?!

– За парнем мы никакого худа не замечали. Парень честный, – раздались в его защиту голоса.

– Молчать! – с маху стегнув по верстаку арапником, взвизгнул Ванька Каин. – Кто пикнет, тому плетей не миновать. Значит, отпираешься? Ах ты, ворюга!..

Павел с плачем повалился на колени и не своим голосом завыл:

– Не порочьте, не губите... Грех вам!

Истязание происходило рядом с мастерской, в сарайчике для угля. Нагого Павла привязали к столбу. Свирепый палач, из каторжан, был пьян и работал со всем усердием. Павел сначала терпел, затем стал стонать. Управитель, приостановив палача, вновь обратился к несчастному с требованием вернуть кошелек. Павел в ответ только хрипел.

И снова свист плетки. Окровавленный человек перестал стонать, голова его упала на плечо, он потерял сознание. А как пришел в чувство, управитель вновь принялся допрашивать его. Павел тряс головой и мычал, как бы онемев.

Тогда его бросили на скамейку, управитель сел на сутунок, скомандовал палачу:

– Валяй!

Расстроенный неудачей пытки, съедаемый мыслью о пропавшем кошельке, бергмейстер едва доплелся до своего дома. Сухое, со вдавленными висками, прямоугольное лицо его было желто от разлившейся желчи.

– Ваня, что с тобой? Уж здоров ли ты? – участливо встретила своего супруга дородная Домна Карповна, одна из бывших любовниц хозяйского сына.

Бергмейстер бросился в кресло и, отдышавшись, сообщил Домне Карповне о пропавшем кошельке. Та, звякнув ключами, достала из посудного шкафа набитый самородками кошелек, подала мужу, сказала:

– Как ты спосылывал за слесарем, я взяла да и схоронила кошелек-то... От греха подальше!

– Тьфу ты! – выругался обескураженный управитель и, схватив кошелек, упрятал его в карман. – Какая ты, право, Домнушка!.. Из-за тебя вот... безвинного! – Он укорчиво взглянул в красивые глаза жены и зажевал губами. – Ну, ладно! Это парню впрок пойдет!..

Весть о нашедшейся у бергмейстера пропаже облетела весь поселок. Среди заводских поднялся шум. Вдоль улочек и переулков разъезжали в лохматых шапках вооруженные стражники.

В воскресенье гроб с телом забитого насмерть Павла стоял в той самой горенке, где должно было состояться обручение. Горенка оклеена веселыми розовыми шпалерами – ее отделявал к свадьбе сам Павел.

В воскресенье утром управитель послал за матерью Павла. Из окна управительского дома видна дорога. Управитель видит: кой-как бредет по дороге старая женщина, рядом казачок – мальчишка. Вот женщина всплеснула руками, покачнулась, повалилась на дорогу. Казачок пособил ей встать. Опять кой-как пошла.

«Пьяная... Нажралась!» – подумал управитель и послал кучера доставить старуху в дом.

Сидя в кабинете господина и ничего не видя перед собой, старуха скулила, крестилась. Управитель, сунув в карман старухи десять серебряных рублевиков, сказал ей:

– Вот что, бабка! На свете всяко случается. Ошибка вышла. Кто ж его знал, что он, этакий бык, плетей не выдюжит. А деньги тебе за несчастье немалые жертвую. Но помни, – закричал он и замотал пальцем перед сморщенным лицом старухи, – ежели кому из начальства пикнешь хоть слово, насчет кошелька-то, я тебя, бабка, на каторгу упеку, уж я ходы-выходы найду!

– Эх, злодей ты, злодей!.. – выкрикнула старуха и, собравшись с силами, плюнула управителю в лицо.

– Эй, выбросьте вон эту старую падаль! – заорал, распахнув дверь, взбешенный Ванька Каин.

Глава XVI

Капрал Сидорчук, дядя Митяй и медведь Мишка. Завод распахнул перед Хлопушей ворота

1

Старый капрал полицейской службы Сидорчук, злой по природе, был вконец развращен заводской администрацией подачками, поблажками и всяческими поощрительными награждениями за верность хозяину и за нескрываемую ненависть к работным людям. Мужики и мастеровые боялись его, как бешеной собаки. Он наущничал управителю, оговаривал невинных, умел ловить беглых, как борзая зайцев. Ему не раз грозила народная расправа. У него пробита голова, поломаны ребра, но счастливая случайность спасала его от гибели.

Он гонит коня по знакомой лесной дороге через тьму и начавшуюся непогоду. Ветер шел накатом: подует, приостановится да опять ударит. Снег валил. Сердце капрала радо: он счастливо сбежал от разбойников, от этого гнусавого лешего в черной сетке, от неминуемой петли. Ах, дьяволы, ах, каторжники!.. Вот уж, дай срок, он им покажет нового царя, Петра Федорыча!..

Капрал остановил коня, разинул рот, прислушался: слава тебе Господи, погони не чутко! Да разве мыслимо в такую непогоду человека отыскать в лесу. Поди, разбойники-то там у костров и заночуют, а он, Сидорчук, тем временем на заводе к утру будет, добрую встречу этой шайке головорезов устроить постарается. На заводе, слава Богу, сила есть – одних полицейских, солдатишек да стражников полтора человека, при четырех унтерах.

Раздумывая так, капрал подстегивал коня. Холодно зато чего-то стало. Эх, окатить бы душеньку вином!.. Эх, давно бы!..

Погода действительно разбушевалась не на шутку. Густой лес задвигал плечами, зашумел. Ветер теперь швырялся в лицо липким снегом, слепил глаза, затруднял дыхание. Конь капральский спотыкался, воротил морду от ветра, всхрапывал. Лес гудел сплошным, беспрерывным, все нарастающим гулом. Фу ты, напасть!.. Ужели ж доведется свернуть куда-нибудь в трющобу да огонек разжечь?

Ехал капрал, ехал и вдруг заметил: справа от дороги мутнеет сквозь сумасшедшую летучую пургу какое-то расплывчатое белесое пятно. Не иначе – костер. Кто же это там? Куреня, кажись, тут не предвидится. Стало быть, беглец какой.

Капрал минутку подумал, соскочил с коня и повел его с дороги в лес. Конь то и дело всхрапывал, приплясывал, осторожно косился по сторонам, словно чуял недоброе.

В густом лесу было тише, чем на дороге, и костер вдали обозначился более явственно. Да уж не так далеко до него, не будет и полтора сажен. Капрал осмотрелся, выбрал приметную кривую сосну, привязал к сосне коня.

– Стой-ка тут, а то, брат, ты только трохи-трохи мешать будешь, – сказал человек и, вынув из переметной сумы сложенный кольцами аркан с петлей на конце, направился в обход костра. Вот подкрадется и набросит на злыдня петлю.

Он шел осторожно, чтоб не трещали под ногами сучья, и оборонял глаза от колючих веток. Не успел пройти и сотню шагов, как раздался резкий хряст чащобы. Капрал вздрогнул и метнулся прочь. Но было уже поздно! Медведь рывкнул, всплыл на дыбы и, пыхтя, двинулся на человека. Всхрапывала, взвизгивала, была задом почуявшая зверя лошадь. Овладев собой, капрал что есть силы взголосил:

– Мишка, мишка!.. Я тебе!.. – И побежал к лошади: там у него осталось ружье со штыком. Однако медведь, бросившись за ним, ударил его лапой, свалил на землю и насел на него.

Вступив в единоборство с мишкой, капрал орал на него на всю тайгу. Рывкал и медведь. Капрал был одет плотно, в нагольном полушубке, в овчинных штанах, в высоких валенках. Он был увертлив, силен, он немало на своем веку ухлопал зверя. А медведь, по счастью, попался не из матерых, но все же сильно тискал человека и плевал ему в лицо, обдавая горячим, как из печки, дыханием. Капрал, как можно пряча от зверя голову, старался выхватить из-за пояса нож, но ему это не удавалось: медведь прижал его к земле как раз левым боком, где был нож... Стремясь выползти из-под мишки, сбросить его с себя, капрал всячески извивался, сучил ногами, взрывая запорошенный снегом мох... Но вот острый нож в его руке. Однако рука не имела размаха. Резким толчком капрал ткнул медведя в брюхо и рванулся. Медведь рывкнул, вскочил на все четыре лапы и, разъяренный, снова насел на человека. Раздирая когтями полушубок и оскалив пасть, зверь целился перегрызть человеку горло. Капралу пришел последний час, и он взмолил: «Господи, помоги!» Изловчившись, он забил в пасть зверя огромную мохнатую рукавицу из собачины. Тут прозвенел чей-то осатанелый голос:

– Бей его, бей его, черта! – и спасительный топор ударил медведя по черепу.

Зверь бросил свою жертву и, яростно скакнув к вновь появившемуся врагу, смял его на землю и навалился на него. Человек пронзительно закричал.

Вскочивший капрал кинулся на выручку и сильным взмахом всадил нож меж лопатками зверя. Медведь охнул, рывкнул, бросил человека с топором, мгновенно подмял под себя капрала и, кровожадно зарывав, впился ему в плечо предсмертной хваткой.

– Ой-ой-ой! – завопил капрал от нестерпимой боли. Но подоспевший человек с размаху рубанул топором зверя по загривку. Зверь клюнул носом, захрипел, рухнул на бок, вытянулся, подергал лапами, протяжно вздохнул и стих.

Измученные, потрясенные, два человека дышали надсадно, с хрипом. Им казалось, что вот-вот от напряжения сердца их разорвутся. Выпучив глаза и широко открыв перекосившиеся рты, они стояли один против другого, пошатываясь. Липкий пот, смешанный с растаявшим снегом, обильно стекал с их лиц, от обнаженных голов дымилась испарина.

Первым очнулся капрал. Отдуваясь и пыхтя, он поддел горсть снега, стал обтирать им окровавленные руки, освежать пылавшее лицо. Его коса в схватке растрепалась, длинные, как у женщины, волосы разметались по плечам.

И вот они через побуревшую от снега ночную темень взгляделись друг в друга, и оба сразу вскричали:

– Сидорчук!

– Митрий!

Два давнишних врага, более опасных и яростных, чем лесные звери, вдруг испугались своих голосов и опешили. Непостижимая встреча поразила их.

– Спасибо, Митрий. От неминуемой смерти спас ты меня! – задыхаясь, через силу, сказал капрал.

– Неизвестно еще, спас ли... Не больно-то благодари, – набираясь силы, буркнул дядя Митяй. В нем

поднялась давно копившаяся ненависть к насильнику.

Капрал попятился от своего врага, который был еще страшнее ему, чем убитый стервятник.

– Сволочь! – грубым басом выругался капрал. – Хотя ты и спас меня, а сволочь!..

– Кабы ведал я, что ты это, так не медведя, а тебя бы стукнул, – и Митрий, угрожающе надвигаясь на капрала, выхватил из-за кушака топор.

Капрал оробел. Боясь повернуться к мужику спиной, он напряженно следил за всяким его движением и пятился.

– Ты и так в прошлом годе мне голову, варнак, прошиб! – отступая, кричал он на мужика. – Едва я тогда ноги уволок из вашей ватажки разбойничьей... Варнак, язви тебя в душу!

Допятысь до истекавшего кровью медведя, капрал проворно нагнулся и выхватил застрявший в звериной туше нож.

Митрий замахнулся топором с правого плеча и заорал:

– А ну, капральская твоя душа, стой на месте!

«Убьет, леший!.. С ножом против топора не устоять», – совсем испугался капрал и пустился бежать.

Ветер почти затих. На фоне снега и побелевших, облепленных пургой деревьев чернели силуэты гнавшихся один за другим людей.

Капрал прытко поспешил к кривой сосне – где конь, но коня на месте не оказалось. И неизвестно, куда запропастилось ружье со штыком!

– Стой, нечистый дух, стой! – что есть силы голосил мужик.

– Геть с дороги... Убью! – гремел гулким басом озверевший капрал. Он было приостановился и засверкал ножом, но, струсив поднятого топора, спрятался за дерево.

Это был спасительный, в два обхвата, кедр. Тяжело дыша и ругаясь, враги кружились возле него. Только и слышались хруст валежника да безумные выкрики: «Убью! Убью! Молись, нечистая сила!»

Увертливо кружась под защитой кедра то в ту, то в эту сторону, капрал вспомнил о висевшем у него за поясом аркане и стал выискивать случай перехитрить ретивого врага. Вдруг петля жихнула и опутала Митяя. Капрал рванул аркан, мужик упал. С победным гоготом всю тушей капрал навалился на него.

Завязалась ожесточенная схватка. Враги хрипели, перекатывались один через другого. Силы мужика ослабевали, капрал тоже изнемогал. Но вот он сделал последнее усилие и оседлал врага.

– Только и жить тебе, проклятый! – с зубовным скрежетом торжествуя выдохнул капрал и, зажав в горсть острый нож, замахнулся им. Но в эту минуту он получил оглушительный удар по голове калмыцким «волнобоем» (ременная нагайка со свинцовой пулькой на конце).

– Биря-биря!.. А-гык!.. – визгливо вопил верхоконный башкирец, крутя нагайкой.

А двое спешившихся казаков рванули оглушенного капрала за шиворот. Помятый дядя Митяй поднялся кое-как. Из поцарапанной щеки его струилась кровь.

Капрал быстро пришел в себя. Он слышал вокруг злорадный хохот и выкрики:

– С праздничком, Сидорчук! Ха-ха!..

– А и не гораздо же далече утек ты от нас!

Капрал сидел на снегу, вытянув ноги, опершись кулаками в землю, уронив на грудь голову. В правой

руке – кривой татарский нож.

– Вздернуть! – приподняв сетку, подал с коня голос Хлопуша.

Башкирцы подобрали капральский аркан и стали готовить петлю.

Капрал встретил смерть молча.

2

На рассвете в заводский поселок прибежал капральский конь и стал ржать возле своих ворот. Жирная старая капральша растопляла печку. Накинув на плечи шаль, она взяла чадящий каганец и поспешила впустить хозяина во двор. Но хозяина не было. Едва не стоптав капральшу, вломился в калитку конь с оборванной уздой и, чмокая копытами по вязкому навозу, проскочил к яслям.

Старуха долгое время кричала мужу на все лады: «Наумыч! Наумыч! Где же ты, старый?!» Пурхаясь по сугробам, она обошла кругом избы, заглянула в переулочек, пробралась на огороды – нет нигде Наумыча. На старуху напал страх. Запыхавшись, она бросилась в полицейскую казарму.

– Ребята! Вставайте! Капрал пропал!

Вскоре шесть верхоконных молодцов с двумя цепными псами выбежали из ворот Авзяно-Петровского завода и галопом направились по лесной дороге.

В лачугах и домочках уже зажигались утренние огоньки. С востока шел рассвет. На чистом небе гасли звезды, морозные небесные просторы ширились.

Большинство заводских еще вчера решили на работу сей день не выходить – сей день надлежало проводить убитого Павла в могилу. Если же Каин умыслит совершить над ними какое лихое действо, в обиду не даваться!

Управитель еще спал, во сне скорготал зубами, мычал. Лежавшая с ним бок о бок Домна Карповна потрясла за плечо его:

– Ваня! Ваня, проснись!.. Чего ты?

Управитель вскочил, испуганно осмотрелся, нахмурил брови, снова прилег на изголовье, раздражительно сказал жене:

– Не буди... Не спал всю ночь. Сны какие-то... Нездоровится.

Но вот на деревянной колокольне с полной внезапностью сполошно зазвучал набат.

– Пожар! Ой, батюшки, пожар! – И управитель со своей супругой враз вскочили.

За окнами сумятица: люди бегают, всадники спуют, слышатся отрывистые выкрики.

– Ворота, ворота! Запирай ворота! – голосили с коней стражники, стремительно несясь к заводскому валу.

– Эй! Чего стряслось? – вопрошали выскочившие из жилищ полуодетые мастеровые.

– Братцы! Кто в дружине, лезь живчиком на стены, к пушкам. Орда идет! – кричал проезжавший на рыжем бегунце урядник.

По площади и через плотину торопились люди с ружьями, с железными палками, скакали стражники, урядники, строились в шеренги старые солдаты. Вся площадь шумела, суетилась. Разных мастей псы с лаем носились взад-вперед; у ворот хибарок, у колодца собирались любопытствующие бабы, ребята.

Дозорные с башни над воротами оповещали:

– Идут, идут!.. Орда идет!

И по всей площади, по всему поселку, из конца в конец испуганно передавалось:

– Орда идет!.. Орда!

Заводские люди не зря опасались подобных набегов. Из мести хозяевам заводов, оттягавшим себе почти задаром башкирские вольные земли, шайки башкирцев то здесь, то там делали порою набеги на русские жилища, жгли селенья, угоняли скот.

Ванька Каин носился на коне от крепостных ворот к цейхгаузу – откуда выкатывали пушки, вытаскивали самопалы, пищали, тесаки, – от цейхгауза скакал к «зелийному» (пороховому) погребу. А толпа Хлопуши уже подступала к самому валу. С башен и через щели тына раздалось несколько выстрелов.

– Не стреляй, не стреляй в своих! – заорали из толпы казаки, а за ними и освобожденные в тайге беглецы.

Хлопуша, приподняв сетку и потрясая бумагой, гулким голосом вопил:

– Отворяй ворота! По приказу батюшки-царя! Мы слуги царские.

– Ребята, слыхали? От самого царя это, от батюшки. А нам брякали – орда!

И многие из заводских людей уже покарабкались на тын, чтоб лично досмотреть царское посольство.

А вверху, увидав с башен подкативших из лесу на подводах беглецов и углежогов, кричали:

– Глянь, глянь! Наши! Вот те Христос, наши!

Шеренга набежавших солдат и стражников, выставив ружья в бойницы бревенчатого тына, сыпала из натрусок на полку порох, готовясь открыть пальбу по «набеглой сволочи».

Но в этот миг среди многолюдства сбежавшихся работников, словно из-под земли, вынырнул бородатый, большеглазый, с поцарапанным сухощеким лицом дядя Митяй.

– Ха! – изумился народ. – Откуль ты, Митрий?

– Чрез заплот, миленькие, перемахнул. А ну, братцы! Подыми-ка меня, чтоб всем слышать было.

Дядю Митяя подхватили на руки, приподняли. Он взмахнул шапкой и, видимый всей толпе, закричал:

– Ребятюшки! Страдальцы! Мы от государя Петра Федорыча. Я самовидцем был. Волю объявить вам прибыли. Хватай стражников, сукиных сынов! Вяжи солдат, отворяй ворота слуге царскому!..

И не успел он кончить, как радостный рев: «Ура!», «Бей царских супротивников», «Постоим за батюшку» – захлестнул всю площадь. Оповещенные набатом, к заводу сбегались углежог с ближних куреней, работные люди – с шахт, окрестные жители.

Тотчас ворота были распахнуты, пушкари уведены с башен, охрана связана.

Под воинственный гул тысячной толпы Хлопуша чинно въехал со всем своим отрядом на Авзяно-Петровский, дворянина Демидова, завод.

3

Церковный колокол снова неумолчно бил в набат, сзывая народ с окрестных жительство, шахт, рудников, куреней, с лесных работ. Уже многим известно было, что прибыл от самого государя главный «царев приказчик». На санях, телегах, верхом, пешком, вприпрыжку собирались к заводу работные люди с бабами, с малыми ребятами.

Управитель сидел под надежным караулом в своем доме. Хлопуша в сопровождении дяди Митяя, приказчика Максима Копылова и старых мастеров вот уже более двух часов осматривал заводские мастерские, домницы, склады. А когда ему сказали, что народ собрался, он снял сетку, повязал нос чистой тряпицей, сел на коня и, окруженный казаками, проехал на площадь к церкви.

– Здорово, работный люд! – закричал он во весь голос.

– Здорово, батюшка! – ответила гулко вся площадь, как одна могучая грудь.

– Привез вам, детушки, поклон да милость от великого государя Петра Федорыча!..

– Рады государю служить! – послышалось восторженное в передних рядах.

– Рады служить и работать великому государю! – подхватила вся площадь.

Хлопуша подметил, что все как-то по-особому пялят на него глаза, бабы, перешептываясь, указывают в его сторону пальцами.

– Люди заводские, прислушайтесь! – опять прокричал Хлопуша и поправил повязку на носу. – Ведь я тоже, навроде вас, работным человеком был, да вишь ты, начальству согрубил шибко, ну за это нос-от мне и вырвали, да еще и знаки клейменные поставили на щеках, всего опаскудили!..

– Ой, батюшка! – раздались соболезнующие восклицания. – Стало, и ты протерпел?

– А вот ныне царь-государь призвал и пожалел меня, вот как пожалел, свет наш!.. И к вам направил, – едва сдерживая свое волнение, выкрикнул Хлопуша и мотнул головой. – Вот послушайте указ царев... Приказчик, читай во весь народ, гулче, – он вынул из шапки бумагу и передал приказчику Максиму Копылову.

С бумагой за печатями взошел тот на церковное крыльцо. Толпа прихлынула вплотную к паперти, мужчины обнажили голову.

Указом между прочим повелевалось:

«Исправьте вы мне, великому государю, два марта и с бомбами и со скорым поспешением ко мне представьте».

Заводским людям обещались за это награждения и всякие вольности, а в конце – угроза ослушникам.

– Батюшка, милостивец! – загомонили приписные из деревень крестьяне. – Тут в бумаге воля объявлена. Отпусти нас домой, мы всяк в свое отечество подадимся!

– Тихо, тихо!.. Не все зараз! – отмахнулся от крикунов Хлопуша.

К нему протискался коренастый дед, побуревшее лицо деда заросло клочковатой бородой, овчинный полушубок в прорехах, голова плешивая.

– Кормилец, – заговорил он, кланяясь Хлопуше. – Мы вот как бежали к тебе сейчас, так промежду нас разговор был: как волю-де объявит, всем в свои деревни вертаться, кто где рожен. Потому как слых прошел, что по государеву приказу вся помещичья земля мужику отходит, ну мы и опасаемся, как бы нас

тамошние мужики-то, земляки-то наши, не пообидели. Вот, кормилец!..

Выслушав его, Хлопуша закричал в народ:

– Старатели! Упреждаю вас, крестьяне, всем миром уходить с завода не можно. Как покинуть завод в этокое время? Государю пушки надобны да ядра. Кто делать станет? Куда царь без оружия тронется? А ежели вы государю подсобы не дадите, так ни воли, ни земли не видать вам!...

– Пушков мы не делаем, – опять раздалась вразнобой голоса. – У нас меди нетути. Эфто в Воскресенском лют, пушки-то. А мы ядра да картечи с боньбами на турецкую войну мастерим...

– Чего, чего? – переспросил Хлопуша и, услышав позади себя звяк железа, обернулся. – Что за люди? – обратился он к толпе подошедших рудокопов.

Их человек с полсотни. Почти все они в ножных кандалах, а иные прикованы цепями к тачкам. В их лицах было нечто страшное. Все они оборванные, донельзя истощенные, с потухшими взорами, обросшие волосами, грязные, нечесанные. На фоне сытых, здоровых, щекастых мастеров и подмастерьев эти люди напоминали собой каких-то отверженцев от света и жизни. Все присутствующие взирали на них с жалостью и содроганьем.

– Что за люди? – повторил Хлопуша с коня.

Высокий, согбенный, лысый старик, похожий на выходца с кладбища, потряс цепями, хрипло загугнил:

– Мы вечно-отданные люди прозываемся... По грехам нашим, замест каторги да поселенья в Сибирь, нас на завод сослали... Батюшка начальник, пожалей несчастных, переведи ты нас всех на каторгу, куда-нибудь в Сибирь-землю!.. – Он задохнулся, седая голова его поникла к груди, и он сам повалился на колени.

Загремели цепи, и все вечно-отданные опустились на колени.

– Встаньте, люди, вечно-отданные царицей да дворянами! – громко, чтоб все слышали, сказал Хлопуша. – Будьте вы, указом государя, вечно-вольными... Кузнецы! Немедля снять с них оковы! Приказчик! Живо распорядись вдосыт накормить их, приодеть да приобуть. Вишь, у них на ногах-то ошметки какие? Идите, трудники, восчувствуйте нашу правду!

Освобожденные, обливаясь слезами, завывали от радости в голос и, поддерживая один другого, поплелись вслед за кузнецами.

А к ногам коня Хлопуши, всплеснув руками, упала старая мать замученного управителем Павла Сидорова. Смерть сына состарила ее: голова старухи тряслась, она шамкала губами, что-то бормотала непонятное.

На церковные приступки поднялся тот самый мастер, у которого работал Сидоров, и вкратце обсказал Хлопуше, как было дело.

– Ах, злодей! – закричал Хлопуша, и его обезображенное лицо перекошилось. – Немедля сюда этого Каина. Готовь петлю! – мотнул он на два столба с перекладиной: здесь о пасхе была качель для парней и девок.

Пока бегали за управителем, народ выкрикивал Хлопуше свои жалобы на Ваньку Каина. На хозяйского сына Ваську Демидова, что приезжает иногда пожить сюда, в свой барский дом, попойнствовать, покуролесить.

И еще жаловались на приказчика да расходчиков: их шестеро, они утесняют людей работных, обсчитывают, обмеривают. Правда, что среди них Максим Копылов – мужик ничего себе, он иным часом

работному люду и мирволит.

Хлопуша приказал:

– Приказчиков и всех мирских супротивников, кроме Копылова, заарестовать. Вешать их не стану, а поведу на суд, на расправу к бабушке.

Звонарю о деревянной ноге все видно с колокольни. Он видел, как выволокли из дома связанного по рукам Каина, как выскочила на мороз в одном платьишке растрепанная Домна Карповна и повисла на муже – не пускает. Вот ее отшвырнули прочь. А какой-то башкирец ахнул управителя и раз, и два тесаком по голове. Ванька рухнул, его стали топтать с усердием, словно утрамбовывали землю. Старому звонарю казалось, что мужики неведомо с чего в пляс пошли. А когда, заарканив за ноги, потащили по снегу обезображенный управительский труп, звонарь, стуча деревянной ногою, опустился на колени, осенил себя крестом и прошептал:

– Царство тебе Небесное, Ванька! Хошь и злодей ты был, собачья шерсть, хошь и ноги по твоей милости лишился, да не мне судить тебя. На то Бог в небе, царь на земле!

4

Хлопуша распоряжался толково, хозяйственно. Он велел старому священнику, отцу Степану, всех до единого рабочих людей привести к присяге новому царю. Присягнули также и те из солдат и стражников, кои не успели убежать и передались Хлопуше.

Были свезены и стащены на площадь сорок пушек. Хлопуша со старым солдатом-артиллеристом отобрал из них только шесть годных, а лафеты к ним велел заново оковать железом.

Солдат-артиллерист, потряхивая седоусой головой, сказал:

– Я, ведаешь, батюшка, сам-то с турецкой войны, дюже порченый. Головушка трясется, ноги дрыгают. Под страшный взрыв попал. Уволили вчистую. Вот сюды определился. Нас немало таких калек по заводам-то распихано...

– Поедем государю служить, – сказал Хлопуша-Соколов. – Будет тебе здесь околачиваться-то.

– Стар, батюшка, его величеству стараться.

Хлопушей был брошен клич идти в охотники служить государю. Набралось до пятисот человек – все молодежь и середовичи из заводских мастеровых, приписных крестьян, а также людей, работавших по вольному найму, среди коих много всякого сброда: утеклецов, бродяг, бежавших каторжан – все отпетые сорви-головушки.

По всем заводским жителям неумолчный гомон пошел, и почти все многолюдство, насильно вывезенное сюда Демидовым из дальних мест, вдруг стало торопливо готовиться к отвалу в родные свои, давно покинутые края. Чинилась веревочная сбруя, латались хомуты, подновлялись сани, вырубались в лесу березовые оглобли, бабы перестирывали бельишко, зашивали прорехи на тулупах, на шубенках.

Вот уже выпечены в дорогу хлебы, поотрублены курам головы, у хозяев исправных переколоты овцы и свиньи: не с пустыми же руками являться на родные места.

Через два дня все уже было готово к отъезду: возы уложены, лошаденки выкормлены, крестьяне разбиты на отряды по своим деревням – кому ехать в Котловку, кому в Чистое Поле [\[101\]](#), кому в село Толшино – всего в четырнадцать жительство.

Но русский крестьянин через опыт всей трудной судьбы своей привык жить с оглядкой и загадывать о будущем. Вот и теперь мудрые старики решили дело с отъездом обзаконить по-умному, чтоб впоследствии было чем оправдаться.

Собрание было шумное, но к согласью пришли скоро. Сделано постановление исключительного интереса: приговор вынесен *волею и от имени народа*. В нем, между прочим, говорилось:

«Мы посылаемы были на заводы в силу указов бывшей государыни Елизаветы Петровны, и тако ныне получили указ его императорского величества Петра Третьего, императора, и с тем, что не самовольно, а в силу одного указа ехать с заводов повелено. Мы все, приписные крестьяне, оному повинились: ехать в свои отечества согласны. Избрали мы для провождения оной нашей партии тебя, Степана Понкина. В том тебя и утверждаем, которым случаем мы, все заводские люди, тебя избрали. А нам, мирским людям, быть у одного выбранного послушными. А сей приговор по приказу одного народа писал крестьянин Федор Пивоваров».

Провожатый, Степан Понкин, получил из конторы на руки проездное свидетельство о том, что «он отпущен в дом свой по силе его императорского величества Петра Федоровича указу».

На третий день в ближайшей к заводу деревне священником был отслужен «в путь шествующим»

молебен, огромный обоз окроплен святой водою.

Каждая многодетная семья получила от Хлопуши на дорогу по три рубля, остальные по рублю – деньги немалые. – Прибудете в отечества свои, – говорил отъезжающим Хлопуша, – толкуйте крестьянству, пушай они барским хлебом грузят возы, берут барских коней да подвигаются под Оренбург, в государеву армию.

– Не учи! Мы теперь прозрели. Теперь мы силу заберем. Ого-го.

Избы заколочены, собаки с цепей спущены. Заскрипели по снегу полозья – обоз двинулся. За многими возами брели коровы.

Мужики шагают возле возов; на возах бабы, ребята, укутанные в рвань. Лица у всех радостные, на душе праздник, но кое-кого пугает неизвестность будущего, которое все лежит во мгле, в тумане.

– Ничо, ничо! – подбадривают мужики друг друга. – Долго ждали волюшку, вот дождались!

– Как бы та воля в неволю не оборотилась, – возражали малoverы. – Кто его ведает, как нас на родине-то встренут? Может, там солдатня с пушками нагнана?

– Ну, чего вы, мужики! – оборвали их неунывающие. – Безносый толковал, что у царя-батюшки своя сила стоит, по всей Руси!

– И чего вы, робята, купороситесь, – говорил долговязый старик, подстегивая коровенок. – Худо ли, хорошо ли – все наше! Хуже не будет. Хошь день да наш!.. Хошь спины разогнем да на Божьи леса посмотрим со приятностью.

А леса кругом стояли дремучие, тихие, околдованные зимним сном. Ни птицы, ни зверя. И воздух неподвижен. Знать, нашумелись леса за лето, за бурную осень; нашумелись, устали, натрудили упругие спины, раскачиваясь под ударами вихрей; теперь отдыхают, защурились, спят.

– А, мотри, робята, древо-то Божье на зиму умирает, – сказал старый Игнат. – Живая душа-то из древес в мать– сыру землю до весны скрывается... И хоть ты его руби, хоть пили – древу не чутко!

– А что, брат дедушка Игнат, ты правду баешь, – поддакнули ему.

– Да кто его знает... Однако так мнится мне, – скромничал Игнат, жадно оглядывая вековые леса; в его ясных голубых глазах загорелись молодые огоньки. – А как весной, при солнышке, потекут по древу живые соки, так и душа снова появится в нем... Господи, Боже мой, ну до чего все премудро устроено на Божьем свете. Только разуметь умишком своим нам ничего не дадено. Думки есть смыленные, да без корня, без укрепы. Спросишь себя, а как ответ дать – способов к тому нетути.

И уже возле него набралось человек с десятков мужиков: им любопытно послушать, как умствует старый Игнат – человек бывалый и до народа ласковый. И все стали присматриваться, прислушиваться к таинственному лесу, в обычную пору такому простому и понятному. Стали задумываться над словами дедушки Игната, и слова его казались им мудрыми.

Но не верилось людям, что лес мертв, что душа его скрылась до солнца в землю. Нет, лес жив, и жива его душа: лес дышит, лес все чувствует, он только заснул до весны, как засыпает медведь в берлоге.

Да, лес спит... А чтоб не ознобить на морозе свои корявые ноги, он закутал их белой горностаевой шубой, а свое темя и темно-зеленые хвойные лапы принакрыл белой шапкой, белыми пуховыми рукавицами... А эвот монахи идут, целая гурьба, – в темных рясах, в белых саванах, бороды их седые, брови хмуры. А эвот-эвот лесовое страховидное чудище лежит, морда круглая, глазища по лукошку, хребтина извихлялась, будто у змеи. А эвот, за той страшительной колодиной, – кучка пней, мал мала меньше, с черными рожицами, в белых, надвинутых на ухо колпачках, красные языки вывалились из губастых ртов,

над головами козлиные рога, – ну, чисто чертенята! А эвот на ветвях либо нежить, либо сама русалка разметалась-разлегла – свесила до земли косищи, бесстыдно выставила снеговые, круглые, как у девки, груди... Ох, Господи, прости!.. Много в лесу страхов, много и соблазна.

Впереди обоза ехал с семьей на паре провожатый Степан Понкин, чернобородый, с живыми, смышленными глазами дядя. По дороге вылезали из своих землянок дикие видом пещерные люди, бросали свое барахлишко на порожние подводы и, поклонясь артели, приставали к обозу.

– Ну, ваше степенство, господин Демидов, до увиданьица! – потрясали они кулаками в сторону немилостивого завода. – Гори, проклятый, огнем вечным!.. – И хриплый хохот вырывался из их пораженных недугом грудей.

Хлопуша с пятью казаками поместился в богато обставленном доме самого Демидова. Два писаря составляли подробные ведомости имуществу, а казаки с приказчиком и дядей Митяем грузили его на возы. Взято больше двух пудов серебряной посуды, столовые английские часы, клавесины, зеркала, богатая одежда и вся утварь. Хлопуша хотел надеть на себя хозяйскую лисью шубу с бобровым воротником, да передумал – как бы царя не прогневать. Снято со стен с десятков новых фузей да двадцать добротных ружей петровских да елизаветинских времен, сделанных на тульских, Демидова, заводах.

В конторе взято семь тысяч рублей серебром и медью. Все дивились на огромные, прямоугольной формы медные рубли сибирской чеканки. Народ прозвал их «пряниками». Четыре таких «пряника» тянули пуд, а круглые чеканки Сестрорецкого, что под Питером, завода, екатерининские рубли толщиной с полвершка назывались «пирожками». Два «пряника» и два «пирожка» Хлопуша велел завернуть в тряпицу и положить в «царев сундук». «Этими дарами поклонюсь батюшке особо», – подумал усердный к Пугачеву Хлопуша.

Из семи тысяч рублей он две тысячи роздал работным людям да пятьдесят рублей подарил матери убитого Павла, а на могиле «убиенного» распорядился положить каменную плиту и поставить чугунный крест.

Всех удовлетворив деньгами и выдав работным людям – кому сапоги, кому новые лапти, одежишку, шапки, рукавицы, Хлопуша назначил старшим при заводе приказчиком дядю Митяя, дал ему в подручные Копылова и стал готовиться к отъезду.

Согнали на площадь сто двадцать ездовых лошадей с прибором, триста баранов, восемьдесят быков, погрузили пять пудов пороху, ядра, государеву серебряную да медную казну, пожитки, провиант, сено, поставили на лафеты шесть пушек. При пушках отряжены были из заводских людей трое, что могли не токмо чинить пушечную утварь, но и метко палить.

На одном из возов сидела бывшая управительница в куньей шубке, прикрывшись беличьим одеялом. Чернобородый казак Нагнибеда, застращав дородную Домну Карповну, что могут ее повесить, предложил ей, во избежание казни, стать его женой. Домне Карповне, женщине в прыску, умирать паскудной смертью не хотелось, она думала недолго, только спросила:

– А будете ли мне верны вы?

– Это уж как водится! – ответил чернобородый Нагнибеда. Он был недурен собой, плотен в плечах, и Домна Карповна, попристальной присмотревшись к нему, сказала:

– Ах, я в согласьи!

Под громкие крики собравшейся толпы, под трезвон колоколов, приняв напутственное благословение священника, весь многочисленный отряд Хлопуши выступил в обратный путь.

На прощанье Хлопуша сказал народу:

– Поусердствуйте, люди работные, великому государю! Того гляди, сам батюшка к вам припожалует. Уж он-то никаких ослушностей не потерпит, я вам допряма говорю!

– Поусердствуем! Обещаемся! – кричал народ.

Среди оставшихся – лучшие мастера и мастеровые из раскольников-старообрядцев. Их от своих домков, от хозяйств, от огородов клещами не оторвешь, они – как вбитые в стену гвозди.

Примечания

1

1740—1748 гг.

2

Шляпа Фридриха хранится в Эрмитаже (Санкт-Петербург).

3

А. Т. Болотов, написавший впоследствии свои замечательные мемуары. – *В. Ш.*

4

Брат Пассека, известного по дворцовому перевороту 1702 г. – *В. Ш.*

5

Всадники.

6

Доверенное по секретному делу лицо. – *В. Ш.*

7

Воцарившимся Петром III Тотлебен был помилован, а Екатериною II – выслан за границу. – *В. Ш.*

8

Елизавета родилась до церковного брака Петра с Екатериной. Во время венчания родителей маленькая Елизавета, согласно обычаю, также ходила вместе с ними вокруг аналая, держась за платье матери. Таких детей называли «привенчанными». – *В. Ш.*

9

На углу Мойки и Невского проспекта у Полицейского моста. – *В. Ш.*

10

В 1742 году Елизавета Петровна, при своем воцарении, приказала из Сибири Бирона вернуть и поселить в Ярославле безвыездно. – *В. Ш.*

11

Впоследствии – граф Алексей Григорьевич Бобринский.

12

Удар по голой спине плашмя обнаженной саблей. – *В. Ш.*

13

Петр имел свидание с Иваном Антоновичем 22 марта 1762 года. – *В. Ш.*

14

Как царь – он Иван III (первый царь – Иван Грозный, второй царь – родной брат Петра I – Иван Алексеевич). А по числу князей Иванов – он Иван VI. Но логичнее называть его – Иван III Антонович. – *В.Ш.*

15

Впоследствии они получили прозвище «лейб-компанцев».

16

Бывшая Рязанская губерния.

17

Впоследствии были найдены 23 любовные записки Екатерины к графу, заделанные в стенку колокольни, в том селе Задонского уезда, которое некогда принадлежало графам Чернышевым. – *В. Ш.*

18

После рождения Павла Сергей Салтыков был отправлен в Гамбург в качестве полномочного посланника с запрещением возвращаться в Петербург. – *В. Ш.*

19

Знаменитый Арсений Мациевич, выступивший впоследствии против Екатерины и сосланный ею в заточение. – *В. Ш.*

20

Впоследствии – Марсово поле, против Летнего сада.

21

Пасынок князя Н. Ю. Трубецкого – *В. Ш.*

22

В то время церковь Рождества Богородицы. – *В. Ш.*

23

Ораниенбаум в просторечии Раибов. – *В. Ш.*

24

Отец генералиссимуса Суворова. – *В. Ш.*

25

Теплов был сыном знаменитого Феофана Прокоповича, но выдавал себя за сына истопника. – *В. Ш.*

26

Ржевский купчик Долгополов в 1774 году ездил в ставку Пугачева, некоторое время жил при нем. – *В. Ш.*

27

Ивановская, Дворцовая, Сенатская и другие площади Кремля будут в дальнейшем для краткости называться «Кремлевская площадь». – *В. Ш.*

28

Государственный бюджет 1763 г. составлял: доходов 16 497 381 руб., расходов – 17 235 596 руб. – *В. Ш.*

29

Раскольничий посад на берегу Сожи, недалеко от Гомеля. – *В. Ш.*

30

За политическую, за время Прусской войны, измену, в которой отчасти была замешана и великая княгиня (будущая Екатерина II), А. П. Бестужев был приговорен, по настоянию императрицы Елизаветы, к отсечению головы. Затем Елизавета, вместо смертной казни, лишила его чинов и орденов и навечно сослала в его вотчину, где «велено жить ему под караулом, дабы другие были охранены от уловлений мерзкими ухищрениями состарившегося в них злодея». – *В. Ш.*

31

Письмо приводится с пропусками.

32

Бывший флигель-адъютант Петра III. – *В. Ш.*

33

Прискорбный и безрассудный удар, казус.

34

»Позорище« – употреблялось тогда в смысле «зрелище». – *В. Ш.*

35

Мелкопоместный дворянин. – *В. Ш.*

36

Панталоны.

37

Двухлетняя попытка Чичагова пробиться сквозь льды оказалась неисполнимой: он дошел лишь до 80° с. ш. – *В. Ш.*

38

Зачинитель общества. – *В. Ш.*

39

В. Э. О. просуществовало до 1914 г., то есть полтора столетия. – *В. Ш.*

40

Приводится в сокращении. – *В. Ш.*

41

Пользуясь советами знаменитого историка Миллера, он в это время писал огромный труд «История Российская». – *В. Ш.*

42

М. М. Щербатов принадлежал к древнейшей на Руси фамилии, ведущей род свой от князя Михаила Черниговского. Его предки были при Иване Грозном «окольными» и «ближними боярами». – *В. Ш.*

43

Все речи депутатов приводятся в самых кратких извлечениях. – *В. Ш.*

44

Человек высокой культуры, переводчик, публицист, философ; он выпустил в 1768 г. книгу «Философические предложения», пронизанную духом свободной критической мысли. – *В. Ш.*

45

Город Рыбинск. – *В. Ш.*

46

Продажа крестьян без земли практиковалась в продолжение всего царствования Екатерины II. – *В. Ш.*

47

Все сведения в этой главе о злодеяниях Дарьи Салтыковой взяты из официальных того времени источников. – *В. Ш.*

48

Затем она была переведена в каменный застенок другой монастырской церкви, где и умерла в конце 1801 года, после тридцати трех лет заточения. – *В. Ш.*

49

Яков Павлович Козельский, мелкопоместный шляхтич, был учителем в артиллерийском корпусе (в Петербурге), а в конце 1768 года выбыл в действующую против турок армию. – *В. Ш.*

50

В те времена городничий – помощник воеводы. – *В. Ш.*

51

Заводной – запасной. – В. Ш.

52

Братья Панины получили графское достоинство в 1767 году. – В. Ш.

53

Из холста, проваренного в воске. – В. Ш.

54

Дьяк, подьячий – светские чиновничьи должности. – В. Ш.

55

Для устройства модели послужил лучший материал разобранного в 1767 году знаменитого Коломенского деревянного дворца, сооруженного в XVII веке. – В. Ш.

56

Живой, или плавучий (на судах), мост шел через Москву-реку и упирался в Козье болото – место наказания преступников. – В. Ш.

57

Очень толстый обрубок дерева, чурбан пуда на три. – В. Ш.

58

Река Яик и Яицкий городок после пугачевского восстания в 1755 году переименованы в реку Урал и город Уральск. – В. Ш.

59

С 1759 года. – В. Ш.

60

В будущем – один из главных пугачевцев. – В. Ш.

61

За восемь месяцев пути от болезней, стужи и разбойников погибло 100 000 калмыков. – *В. Ш.*

62

Как все это отзывается бородою наших предков. – *В. Ш.*

63

Впоследствии ближайшего сподвижника Е. И. Пугачева. – *В. Ш.*

64

В дальнейшем тоже один из ближайших сподвижников Е. И. Пугачева. – *В. Ш.*

65

В Лифляндии, на берегу Рижского залива. – *В. Ш.*

66

В бывшей Могилевской губернии, в то время захваченной Польшей. – *В. Ш.*

67

Подлинный паспорт Пугачева (в некотором сокращении): «Объявитель сего, вышедший из Польши и явившийся собою при Добрянском форпосте, веры раскольнической, Емельян, Иванов сын, Пугачев, по желанию его определен в Казанскую губ. в Симбирскую провинцию к реке Иргизу, которому по тракту чинить свободный пропуск и давать квартиры по указу, по прибытии явиться с сим паспортом в Симб. провинц. канцелярию... приметамы он: волосы на голове темно-русые и борода черная с сединой, от золотухи на левом виску шрам, от золотухи ж ниже правой и левой соски две ямки, росту 2 аршина 41/4 вершка, от роду 40 лет. Чего в верность дан Добрянского форпостного правления. В благополучном по чуме месте 1772 августа 12. Майор Мельников, пограничный лекарь Андрей Томашевский, каптенармус Никифор Базанов». – *В. Ш.*

68

Город Вольск бывшей Саратовской губернии. – *В. Ш.*

69

Бывший город Николаевск бывшей Самарской губернии. – *В. Ш.*

70

Пугачев раскольников не был, но по практическим соображениям называл себя таковым. – *В. Ш.*

71

При Петре I, в 1717 г., после Булавинского бунта много донских казаков под началом Игнатия Некрасы бежало из России на Кубань. – *В. Ш.*

72

Охотники.

73

Кожаный кисет для денег. – *В. Ш.*

74

Степных антилоп. – *В. Ш.*

75

Знамена. – *В. Ш.*

76

Хорошо очищенная водка. – *В. Ш.*

77

Средних лет. – *В. Ш.*

78

Первый обед – первая остановка на кормовом месте при выезде казаков из Яицкого городка на плавни; сюда со всех хуторов, со всех мест съезжаются казаки и присоединяются к общей массе. – *В. Ш.*

79

Военный казачий кафтан, мундир. – *В. Ш.*

80

Манифест приводится с сохранением орфографии. – *В. Ш.*

81

Мраморный дворец на набережной Невы, вблизи Б. Троицкого моста. Дворец подарен был

Екатериною фавориту своему Григорию Орлову. – *В. Ш.*

82

Эрмитаж перестроен и выведен главным фасадом на Миллионную (теперь ул. Халтурина) улицу в 1849 году. – *В. Ш.*

83

Тайно венчанный супруг императрицы Елизаветы Петровны. – *В. Ш.*

84

Будущий знаменитый баснописец И. А. Крылов. – *В. Ш.*

85

Казанский губернатор. – *В. Ш.*

86

Президент Военной коллегии (военный министр). – *В. Ш.*

87

М. Г. Шигаев, Т. Мясников, И. Зарубин-Чика, Д. Караваев, Максим Горшков. – *В. Ш.*

88

Умет – постоянный двор.

89

В село Котловку, в 1767 году. – *В. Ш.*

90

Портрет с приведенной надписью (на обратной стороне холста) хранится в Историческом музее в Москве. – *В. Ш.*

91

Она же Сейтовская слобода. – *В. Ш.*

92

Обращение к башкирскому народу, датированное 1 октября 1773 года, приводится здесь в сокращении. – В. Ш.

93

Другой глаз, замененный стеклянным, он потерял от болезни. – В. Ш.

94

О мое строптивое, капризное дитя! *(франц.)*

95

Ростов-на-Дону.

96

По этой линии, между Самарой и Оренбургом, следующие крепости: Борская, Бузулукская, Сорочинская, Татищева и др. – В. Ш.

97

Форштадт *(нем.)* – предместье города.

98

Пажить – имущество.

99

Отец знаменитого историка Н. М. Карамзина. – В. Ш.

100

Хлопушей зовется высокий деревянный шест, которым толкут рудную породу. – В. Ш.

101

Ныне г. Чистополь. – В. Ш.

РАССКАЗЫ
И ПЬЕСЫ

ЕМЕЛЬЯН
ИУДАЧЕВ



Annotation

Жизнь, полную побед и поражений, хмельной вольной любви и отчаянной удали прожил Емельян Пугачев, прежде чем топор палача взлетел над его головой. Россия XVIII века... Необузданные нравы, дикие страсти, казачья и мужичья вольница, рвущаяся из степей, охваченных мятежом, к Москве и Питеру. Заговоры, хитросплетения интриг при дворе «матушки-государыни» Екатерины II, столь же сластолюбивой, сколь и жестокой. А рядом с ней прославленные государственные мужи... Все это воскрешает знаменитая эпопея Вячеслава Шишкова – мощное, многокрасочное повествование об одной из самых драматических эпох русской истории.

Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев, т.2

Книга вторая

Часть вторая

Глава I

**Веселые тетки. Военачальник Кар идет на Пугачева.
Прапорщик Шванвич. Горячий на морозе бой**

1

Пугачева обычно с утра осаждали разные людишки: то два подравшихся по пьяному делу есаула просили рассудить их, то ограбленная башкирцами баба из окрестного селения, то сельский попик, у которого казаки вывезли со двора свинью и еще две копны сена; то жалоба на колдуна-мельника, что по злобе он килы людям ставит. И так каждый Божий день. Большинство просителей Пугачев отсылал на решение к атаманам или к писарям.

Но вот сегодня, после недавнего сражения, Падуров привел к государю не просителя, а только что прискакавшего в Берду молодого мужика. Крестьянин покрестился на образа, упал Пугачеву в ноги, сказал:

– Царь-государь, дозвожь слово молвить... К Сакмарскому городку казенный генерал идет с войском. Тебя, наш свет, ловить! Ямщик сказывал, Тереха Злобин. Поопасись, батюшка!

Пугачев изменился в лице. «Вот оно, начинается...» Правда, он ожидал против себя действий регулярных войск, но думал, что это еще долга песня: царицыны-то войска угнаны в Турцию. А тут на вот-те!

– Великое ль у него регулярство, много ль народу у него в команде? – спросил он крестьянина.

– Ямщишка сказывал, да и другие прочие баяли, что, мол, команда не шибко велика, да и не больно мала, середка на половину вроде как... А хвамиль генералу – Кар.

– Кар? – переспросил Пугачев и переглянулся с Падуровым. – Ну так я этого знаю!

Отпустив крестьянина, Пугачев приказал позвать Овчинникова с Зарубиным-Чикой.

– Вот что, атаманы, – сказал он им, – по нашу душу генерал Кар идет. К Сакмаре подходит... Ты, Овчинников, тотчас спосылай туда конные дозоры. А послезавтра и сам отправляйся в тое место вкупе с Чикой. Со всех сил постарайтесь Кара к Оренбургу не допускать, а расколотить его в прах, наголову. Возьмешь с собой пятьсот доброконных казаков да шесть пушек. Ну, ступай, Андрей Афанасьевич, дается тебе сроку два дня, приуготовь войско к маршу. А главное смотренье сам буду чинить опосля и

наставленье в подробностях дам.

Пугачев остался с глазу на глаз с Падуровым. Стараясь казаться бодрым, он подморгнул полковнику правым глазом и сказал:

– Эвот Катерина уж генералов на меня стала насылатъ. Садись, полковник, да прислушайся-ка, что молвить стану. Тебе ведомо, что по вчерашней ночи, опосля бою, к нам бежали с крепости четыре солдата, кои на часах стояли, да вдобавок два казака. А седни утром я им допрос произвел. Оные солдаты уверительно сказывали, что всему головой там яицкие да оренбургские казаки. Вся беднота-то казацкая ко мне приклонилась, к государю. Вот и ты, спасибо, шестьсот молодцов привел. А у Рейнсдорпа богатенькие остались, да еще молодые, замордованные Матюшкой Бородиным: они и пикнуть супротив него страшатся.

– Чувствую, государь, к чему вы речь ведете. Не написать ли письма увещательные к жителям?

– Во! – кивнул головой Пугачев. – Напиши поскладней жителям, чтобы до конечной погибели себя не доводили, а сдавались бы мне. Это от моего императорского имени слово. А от себя пиши оренбургскому атаману Могутову Василию да яицкому старшине Мартемьяну Бородину: ежели хотят прощение от меня принять за супротивность за свою, то пускай уговорит солдат и казаков, да и всех начальников, чтобы немедля город сдали и покорились бы в подданство моему державству. А ежели не покорятся, да милосердный Бог поможет мне взять город штурмом, я с них живьем шкуру-де на ремни стану драть. – Он тяжело задышал и притопнул. – Да в письмах-то, слышь, уверяй их, что я, мол, доподлинный Петр Третий. И приметы, что в народе про меня ходят, пропиши: верхнего, мол, зуба нет наперед и правым глазом прищуриваю. Слыхал такие приметы?

– Как не слышать.

– Гляди, – Пугачев приподнял пальцами усатую губу и показал меж зубов щербинку. – Видал? Ну, вот! Да, слышь-ка, Падуров, как будешь писать Могутову Ваське, напомни-ка, брат ему, постыди-ка: ты что ж, мол, нешто забыл государевы-то милости, ведь он сына твоего пожаловал в пажи.

Падуров слушал со вниманием, все больше и больше поражаясь сметке Пугачева. «А и верно, неплохой бы из него царь был», – подумал он.

К обеду письма были изготовлены в духе сказанного Пугачевым. Атамана Могутова Падуров старался запугать своей собственной выдумкой: мол, государем получены новые бомбы адской силы, каждая бомба чинится тремя пудами пороха, и, мол, «невозможно ли, батюшка, уговорить его высокопревосходительство Ивана Андреича, чтобы он склонился и, по обычаю, прислал бы к государю письмо, чтоб государь вас простил и ничего бы над вами не чинил». Было в письме сообщено и про царские приметы. «Сверх того вам объявляю, батюшка Василий Иванович, что государь упоминает вас всегда и вспоминает то, как вашего сына Ивана Васильевича произвел в пажи».

Бородина он уверял в письме, что Пугачев, как его облыжно называют, доподлинный царь есть. «Удивляюсь я вам, Мартемьян Михайлыч, что вы в такое глубокое дело вступили и всех в то привлекли. Сам знаешь, братец, против кого идешь». Письма были длинные, обстоятельные. Пугачеву они понравились.

Падуров сказал, что затруднительно будет доставить письма по принадлежности. Пугачев, подумав, велел Давилину скликать восемь оренбургских баб, что неделю тому назад были отхвачены от обоза, тайно приезжавшего из крепости на луга за сеном. Падурову стало любопытно, он улыбался и накручивал усы.

Шумно вошли восемь рослых, крепких теток, в лаптях, в душегреях, в пуховых шальях. Лица у них одутловатые, глаза покрасневшие, заплывшие, будто после неспросынного запоя. Покрестившись на икону,

они поклонились Пугачеву. Он принимал их в золотом зальце. Тетки вертели головами, рассматривая убранство горенки, толкали друг дружку в бока, перешептывались.

– Ну, с чем пришли, красавицы? – спросил Пугачев, прищуривая правый глаз и отправляя челку на лбу.

– Ой, надежа-государь, а чего ж ты нас, сирот, в полон-то позабрал? – заголосили тетки. – Диво бы мужиков, а то баб.

– А пошто вы сено мое по ночам воровать ездите?

– Ой, надежа, сено-то не твое, а наше, мы сами косили, сами и ставили.

– Сено ваше, а вы мои рабы – выходит, и сено мое.

– Отпусти ты нас, батюшка, век за тебя будем Бога молить!

– Пошто отпускать-то? Али плохо жить у меня? Может, кто пообидел вас?

Тетки переглянулись между собой и заулыбались:

– Много твоей милостью довольны. И обиды нам от твоих не было. И винца, грешным делом, попили вдосыт, и покушали, и поплясали всласть, – выкладывали развеселившиеся тетки. – Эвот и вина у тебя сколь хошь, и хлеб дешевый – грош фунт, и говядина с бараниной – всего много, все шибко дешево. А у нас... Ой, да чего уж тут...

– Ну, вот и оставайтесь.

– Слов нет, мы бы, конечно, остаться согласны, да ведь в городу-то робятенки малые, да коровки, да козочки...

– У вас козочки, а у меня зато казачки, – пошутил Пугачев, лукаво подмаргивая теткам.

– Ха-ха, – закатились тетки; им очень по нраву пришелся ласковый царь-батюшка. – Слов нет, казачки твои насчет женских сердец дюже сердитые... Ой ты! – сокрушенно, по-греховному вздохнув и снова переглянувшись, тетки повалились Пугачеву в ноги: – Отпусти, надежа-государь, не задерживай нас, сирот...

– А ты чего в ноги не валишься? – и Пугачев воззрился в лицо красивой, с веселыми глазами, бабы.

– А я остаться у тебя в согласье, – замигала она и потупилась. – Я как есть на Божьем свете круглая вдова, я под тобою внизу живу...

– Как так?

– Я, круглая вдова, взамуж за твоего казака, конечно, вышла, за Кузьму Фофанова. Кузьма-то мой у тебя внизу упомещается. Ну-к и я с ним.

– Хах! – хохотнул Пугачев. – Ты, я вижу, с понятием! – Конечно, с понятием, конечно... Я, как круглая вдова...

– Да уж чего круглей, – перебил ее Пугачев, покосившись на пышнотелую молодку. – Ну ладно, оставайся. А вы, тетушки... Вам я волю объявляю. Давилин, вели старику Почиталину выдать молодайкам замест лаптей обутики добрые, да по бараньей ноге чтобы выдал, да круп с мукой. А ихним ребятишкам чтобы сладких леденчиков Максим Горшков отвесил.

Бабы аж затряслись и с радостными слезами взголосили:

– Надежа, надежа!.. Спасибочка тебе, надежа-батюшка... Ой, забирай ты скорее городишко-то наш... Забирай!

– Город заберу скоро. Ну, тетушки, сослужите и вы мне службишку. Вот возьмите-ка эти письма да

передайте из рук в руки Мартемьяну Бородину да Могутову.

– О, это Ваське Могутову-то да Матюшке-то... Да зараз, зараз!

– Только, тетки, знайте: у меня в Оренбурге свои глаза и уши. Обманете – не прогневайтесь.

Тетки поклялись страшной клятвой, что все исполнят с радостью. Пугачев важно поднялся с кресла, дал каждой по полтине, сказал:

– Всем толкуйте, что я, великий государь Петр Федорыч, денно-нощно думаю о несносном житьишке всей черни замордованной, всех мирян оренбургских. Толкуйте и казакам, и солдатишкам, чтоб не супротивничали мне, своих командиров не слушались, а бежали ко мне. А нет – выморю крепость голодом, а город выжгу. Толкуйте, что у меня всего много и я милостив.

Он велел Давилину отправить женщин на двух пароконных подводах с бубенцами, подвезти их к крепости на пушечный выстрел и с честью отпустить.

Когда стемнело, Пугачев распорядился нарядить за фуражом тысячу подвод в сторону Илецкой защиты. Велено было ехать по сыртам, минуя город. Еще не рассвело, как нагруженные сеном возы, не замеченные городом, уже возвращались в Бердскую слободу.

Наступил срок отправления отряда Овчинникова в поход. На рассвете ударила вестовая пушка. Когда все было готово, к стоявшим в строю казакам подъехал Пугачев. Знамена склонились перед царем, все вокруг замерло. Только встряхивались в деревьях проснувшиеся галки и вороны.

Пугачеву нравился порядок, который завел атаман Овчинников среди своих казаков.

– Детушки! – начал он с коня. Звонкий его голос был слышен даже в хвосте растянувшегося на версту воинского обоза. – Детушки! Верные мои казаки! На мою императорскую армию измыслила поднять руку заблудшая жена моя, царица Катерина. Она выслала супротив меня генерала своего, бездельника, немчурку тонконогую, Кара. А нуте-ка, детушки, задайте тому Кару жару! (Казаки заулыбались.) Да такого жару задайте Кару, чтобы оный Кар и каркать позабыл. (Казаки по всем рядам всхохотнули.)

Пугачев обнял Овчинникова, обнял Чикю-Зарубина, скомандовал:

– С Бо-о-гом!.. Трогай!

2

Граф Захар Чернышев писал градоправителю Москвы, князю Волконскому, что для учинения сильного поиска «над злодеем Пугачевым посылается *ныне же наскоро* генерал-майор Кар».

Таким образом, Кар был избран наскоро и, как оказалось впоследствии, не совсем обдуманно. Да, впрочем, и выбирать-то было не из кого: в Петербурге в это время очень мало находилось армейских генералов вообще, а опытных и надежных среди них тем паче.

Василию Алексеевичу Кару не хотелось отправляться в немилый ему поход: наступала суровая зима, а здоровье его было не из важных, у него «хроническая трудно излечимая» болезнь, он только что вернулся с заграничных «теплых вод». Просился генерал в чистую отставку – не пустили... Ему всего сорок три года. Он звезд с неба не хватал, но все же был довольно опытный в военном деле командир, прошедший хорошую школу в Семилетнюю войну.

Невысокого роста, щуплый, большеголовый, виски запали, глаза расставлены широко и смотрят немного в стороны, как у зайца, рыжеватые волосы торчком, нос большой. Он совсем некрасив. С солдатами в мирное время очень холоден; в походе хотя он и старается наладить с командами отеческое отношение, но это ему плохо удается. В нем прорывается заносчивость, он временами становится без толку криклив и суетлив. Солдаты не любят его.

Он ехал до Казани по грязнейшим осенним дорогам в собственном хорошем экипаже и в сопровождении военного лекаря.

Не доезжая до Казани верст полтора, он обогнал роту 2-го гренадерского полка. Генерал остановил отряд. Командир отряда поручик Карташев отрапортовал ему, что эта рота гренадер выступила из города Нарвы через Питер и движется скорым поспешением тоже в Казань.

– Прекрасно, – сказал Кар. – Ваша рота назначена в мое распоряжение. Вы немедленно посадите солдат на подводы и как можно скорей последуете за мной. В Казани не задерживайтесь, а проворней гоните к Оренбургу. В Кичуевском фельдшанце я буду вас поджидать.

Стоявший тут же молодой прапорщик Шванвич, адъютант Карташева, записывал в книжечку приказания генерала.

Губернатора Бранта генерал Кар в Казани не застал – Брант еще не возвратился из поездки за границы губернии, где он своими распоряжениями старался оказать посильную помощь Оренбургу.

Осмотрев небольшие воинские части, собранные казанским губернатором, Кар отправил их в Кичуевский фельдшанец, находившийся в четырехстах верстах от Оренбурга, и вслед за ними вскоре выехал сам.

В попутных деревнях крестьяне не оказывали Кару ни малейшего почтения, прямо-таки дерзки были.

И чем ближе к Оренбургу, тем поведение жителей становилось беспокойнее, задирчивее. Вместо хороших лошадей в генеральский возок впрягли каких-то одров, ссылаясь на то, что ныне бескормица и что сытые кони потребованы под Оренбург. «Кто потребовал?» – «А кто же его ведает... Мы народ темный, нам говорили, что к самому батюшке-царю. И бумага от него была быдто бы...»

Кар всюду раздавал напечатанные в Петербурге увещательные манифесты, приказывал священникам и муллам оглашать их народу.

Иногда, и очень часто, вдруг выпорхнет из перелеска всадник в малахае и с луком за плечами, прощупает раскосыми глазами скользящий по скрипучему снегу возок генерала, сани его свиты и скачущий

конвой, погрозит нагайкой, гикнет гортанным, каким-то птичьим голосом и, словно птица же, умчится прочь. Конвой всякий раз безуспешно бросался за такими дерзцами, но те неуловимы, как ветер.

Сильный мороз, Кар зябнет. Изнеженные руки его в меховых варежках и к тому же засунуты в дамскую теплую муфту.

– Морозы, дурацкая степь, метелицы... – брюзжит Кар. – Черт знает!.. И какой дурак зимой воюет? Ну и удружил мне граф Чернышев. Ведь я же болен, ведь я ж только что на теплых водах был. Ноги ноют, бок покалывает... А главное, какая же в моем распоряжении воинская сила? У меня никого! Вы понимаете? Нет никого... Ну да я не теряю надежды и с моей командой раздавить воровскую сволочь.

В Кичуевский фельдшанец Кар прибыл 30 октября. Там уже ожидал его назначенный ему в помощь приехавший из Калуги генерал-майор Фрейман.

При свидании генералы обнялись.

– Ну, Федор Юльевич, – воскликнул Кар, – я крайне рад, что вы со мною. Правда, силы у нас малые, но мы подкопим, подкопим! И самозванца расшибем вдрызг. Опасаюсь лишь, что они, разбойники, сведав о нашем приближении, обратятся в бег и, не допустив наши отряды до себя, скроются... того пуще всего опасаюсь.

Тактичный Фрейман не хотел сразу огорошить Кара. Поэтому свой печальный доклад делал Кару после сытного обеда. По докладу оказалось, что воинские силы, которые должны были поступить в распоряжение Кара, недостаточны: отряд майора Астафьева в Кичуевском фельдшанце, отряд майора Варнстедта, стоявшего за Бугульмой, и отряд симбирского коменданта полковника Чернышева – всего в трех отрядах около трех тысяч пятисот человек. Из них полевых кадровых войск шестьсот человек, остальные – старые, малогодные гарнизонные солдаты и плохо вооруженные отставные поселенцы, забывшие военную муштру.

Но главная неприятность, доложенная Кару, – это измена двух тысяч башкирцев, собранных губернатором Брантом на Стерлитамакской пристани; они открыто заявили, что уходят к «законному государю», даровавшему им земли и вольности. Точно так же изменили и пятьсот человек калмыков, находившихся на сакмарской линии.

Эта новость была большим ударом для Кара: его экспедиция лишалась, таким образом, прекрасной и многочисленной конницы.

И еще известие: местное население к увещательным манифестам императрицы относилось недоверчиво. У живущих по форпостам и в Яицком городке казаков по получении манифеста будто бы оказалось «зловредное отрыгновение», казаки, не стесняясь, говорили:

– Хотя нас и устраивают публикуемым манифестом, но мы того не боимся. Эта грамота нам читана, да не про нас она писана.

Трезвым складом ума Кар сразу оценил свое незавидное положение. Да к тому же он точно не знал, где находится Пугачев, велики ли его «воровские» силы и, наконец, может ли Рейнсдорп оказать наступательным действиям Кара серьезную помощь. С душевной болью генерал воочию убеждался, что весь Оренбургский край погружен в смятение... Да, черт возьми, было над чем призадуматься!

Воинских сил у Кара мало, конницы нет, артиллерия так себе, провианта скудно, фуража того меньше, а стоит морозная пора, и плохо одетые солдаты страдают от холода, ропщут.

Что же делать в этой стране мятежников, забывших свой долг перед отечеством?

«Наступать, наступать», – с отчаянною настойчивостью решил генерал Кар.

Он тотчас отправил в Бугульму на усиление отряда Варнстедта только что прибывшую из Москвы роту Томского полка и двести человек солдат казанского батальона. А на следующий день, 2 ноября, и сам прибыл в Бугульму.

Майор Варнстедт ошеломил Кара известием о том, что все окрестные селения передались самозванцу, что жители покинули свои дома, что многие поместья выжжены, край разорен и что, прежде чем двигаться вперед, необходимо заготовить продовольствие и фураж.

Задуманное Каром наступление задерживалось. В разные стороны посылались отряды для реквизиции фуража, продовольствия, лошадей. Оставшееся население вконец озлобилось, ничего не хотело давать в казну, подвергалось наказаниям и почти поголовно бежало в стан к Пугачеву.

Между солдатами тоже замечалось колебание. Они не надеялись ни на свою малочисленную артиллерию, ни на способности генерала Кара. Среди солдат ходили слухи, что у Пугачева артиллерия знатная, что силы у него много и что Оренбург давно им взят, только наши генералы-де это скрывают.

Кар решил некоторое время подождать, пока придут из Саратова четыре обещанных орудия да ожидаемые из Москвы армейские команды. А тогда можно будет и с малодушными солдатишками посчитаться и посечь их, а нет, так одного-другого и повесить.

Но ждать было некогда.

– Быстрота действий есть единственное средство для успеха, – сказал Кар на военном совещании.

И его отряд в полторы тысячи человек при пяти пушках выступил вперед.

С дороги Кар послал второй приказ симбирскому коменданту, полковнику Чернышеву, чтоб он тотчас же шел из Сорочинской крепости и занял крепость Чернореченскую, откуда чтоб зорко следил за неприятелем и при первой же его попытке к бегству чинил изменникам жесточайший вред и истребление.

Стратегические расчеты генерала Кара были в общем правильны. Подходившие к Оренбургу воинские части должны были окружить мятежников с трех сторон. А с четвертой стороны – Оренбург, с грозной артиллерией и большой воинской силой. Единодушные действия наступающих отрядов могли бы поставить Пугачева в безвыходное положение.

Но «судьба» и на этот раз продолжала покровительствовать Пугачеву.

Полная неосведомленность Кара в наличности и расположении правительственных отрядов, отсутствие какой бы то ни было связи с ними нарушали все планы генерала. Он и не подозревал о близком нахождении значительных сибирских сил генерала Деколонга, а также отряда бригадира Корфа. С другой стороны, ни Деколонг, ни Корф не ведали, что из Петербурга прибыл генерал Кар с высочайшим поручением возглавить все действия против Пугачева.

Об экспедиции Кара, идущего на выручку Оренбурга, не знал и сам Рейнсдорп, отрезанный Пугачевым от всего внешнего мира.

О походе Кара знал лишь Пугачев. Только ему через своих людей были в точности известны и численность, и местонахождение всех выдвинутых против него правительственных сил. Емельян Иваныч был среди народа как у себя дома, а генерал Кар чувствовал себя незванным гостем.

Утром 7 ноября Кар получил запоздалые сведения, что некий пугачевец, каторжник Хлопуша, со своей толпой, разгромив Авзяно-Петровский завод, движется к Оренбургу, в стан мятежников.

Кар тотчас приказал секунд-майору Шишкину двинуться с пятисотенным отрядом напересек пути Хлопуши и занять деревню Юзееву, что находилась в тридцати верстах от резиденции Кара.

Авангард Шишкина из семидесяти пяти человек пехоты и девяноста двух всадников уже подходил к Юзеевой, расположенной в низине. С горы виднелись в беспорядке разбросанные избы, среди них торчал покривившийся минарет мечети. Кругом холмы, пологи, увалы, перелески, белый снег, морозные мечи у солнца. Все тихо, все спокойно...

И вдруг справа и слева от дороги вымахнули из перелеска всадники – их сотни три – и стали наезжать на выдвинутый Шишкиным авангард.

– Против кого идете, солдаты? Против своего государя идете! – крикнул с коня черноволосый Чика. – Кладите оружие, передавайтесь нам!

Часть конных татар тотчас же перешла на сторону Пугачева, но сзади быстрым маршем уже подходил крупный отряд Шишкина. Ободренная в авангарде пехота открыла по пугачевцам меткий огонь. С десятков яицких казаков и передавшихся татар попадали с коней. Чика скомандовал отступление, и пугачевцы ускакали.

Поздно вечером Шишкин занял Юзееву, а в три часа ночи явился сюда и генерал Кар со всем своим войском. Деревня была почти пуста, оставались лишь старики да малые дети. Взрослое же население, с лошадьми, скотом и даже с собаками, перекочевало в стан Пугачева.

Всему отряду Кара не хватило в избах мест, часть солдат расположилась на улицах и огородах. Было темно, жутко. В каждом крике, в каждом долетавшем издали звяке чудился крадущийся враг. Старые солдаты за ночной переход очень утомились, перезябли, а молодые рекруты, еще не нюхавшие пороху, тряслись от страха и от холода. Возле костров время от времени появлялись молодые офицеры, подбадривали пехотинцев, но и сами-то они были в боевых действиях еще неопытны и немало страшились пугачевцев.

– Полушубки да новые лапти с теплыми онучами нам треба, ваше благородие, – брюзжали солдаты. – А то пропадем! Эвот какие палящие морозы завернули.

Оба генерала и лекарь поместились в избе муллы. Душевное состояние Кара было отвратительное.

– Не угодно ли, не угодно ли! – говорил он, нервничая, помаргивая широко расставленными глазами. – Мы идем ловить Хлопушу и, вместо Хлопуши, неожиданно натыкаемся на сильную ватагу. Кар не знает, где Пугачев, а Пугачев-то, не беспокойтесь, точно знает, где мы. Не угодно ли! А?

3

Утром ударила вестовая пушка. Еще не смолкли ее раскаты, как в квартиру Кара вбежал растерявшийся адъютант, а за ним следом – майор Астафьев. Оба офицера в повязанных по ушам коричневых башлыках, в длинных, выше колен, валенках, сплошь запорошенных снегом; офицеры бежали целиной по сугробам.

– Ваше превосходительство! – задышливо отрапортовали они в два голоса Кару. – Деревня окружена неприятельской толпой численностью в пятьсот-шестьсот всадников!

– С чем вас и поздравляю! – с фальшивой иронией бросил Кар. И оба генерала при помощи денщиков и лакея поспешно стали одеваться.

– А как войска? – крикливо спросил Фрейман, натягивая валенки.

– Войска в боевой готовности. Пушки вывозятся на удобные позиции, – отрапортовал Астафьев.

– Где неприятель и что он? – опять спросил Фрейман.

– Толпа маячит по обе стороны деревни, по горам и взлобкам, опасаясь, видимо, приблизиться на ружейный выстрел.

– Бить по разбойникам из пушек! – надевая поношенный свой мундир, воскликнул Кар воинственно.

– Смею заметить, Василий Алексеич, – возразил ему Фрейман, – что у нас маловато боеприпасов... Поберегать надо.

– Поберегать, берегать, – с недовольным выражением лица завертел головою Кар, будто свободный воротник мундира был ему тесен. – Будем берегать, так нас немедля стопчут... Ни черта нет, ни конницы, ни пушек, ни снарядов! Поди воюй!.. – добавил он желчно, явно преувеличивая нехватку своего отряда.

– А кроме того, – попытался поддержать распоряжение генерала майор Астафьев, – молчание артиллерии приводит наших пехотинцев в робость.

– Вот видите, видите, Федор Юльевич! А вы – берегать! Эй, Мишка! – крикнул Кар старому лакею. – Достань-ка, братец, из сакvojа с десяточек увещательных манифестов.

Тем временем к солдатским группам подъезжали – по два, по три – смельчаки пугачевцы, кричали им:

– Бросьте палить, солдаты! Мы вам худа не сделаем...

А Зарубин-Чика, высмотрев участки, где не было офицеров, подъезжал к пехотинцам почти вплотную. Чернобородый, горбоносый, глядя в упор на притихших, растерявшихся солдат, Чика кричал им:

– Неужто не видите? Деревня ваша пуста и весь край пуст. Не зря же все жители повернули к государю. Не верьте офицерам, они господскую выгоду блюдут. А наш истинный, природный государь Петр Федорыч приказал бар изничтожить, а всю землю мужикам отдать, и всему люду свет наш батюшка волю объявил... А что касаясь солдатства, то слово нашего государя – быть всем в вольном казачестве!..

– Пошел прочь, злодей! – кричали старые солдаты. – Стрелять учнем!

– Ха-ха!.. Стрелять! – надрывался голосистый Чика. – Стрелял в нас один такой, да сам без головы остался!.. Станете супротивничать – пощады не ждите, солдаты!

– Ребята, сыпь на полку порох! Скуси патрон! – хриплым голосом скомандовал рыжеусый капрал.

Молодые пехотинцы тотчас вскинули ружья на изготовку, но их руки тряслись.

Вдали рванула пугачевская пушка, и певучая картечь хлестнула по солдатским рядам. Вышедший Кар приказал стрелять ответно из пушек. Но тут отряд Чики скрылся, стягиваясь к мельнице.

– Видали? Вот вам и «поберегать!» – посмеивался Кар над Фрейманом. – Как зайцы разбежались. Их теперь с гончими собаками не сыщешь... Эх, если б мне еще с десяточек пушек да добрую конницу, – показал бы я им!

Меж тем Чика, присмотревшись к численности и настроению неприятельских солдат, то есть исполнив поручение атамана Овчинникова, вернулся со своими казаками к главным полевым силам пугачевцев, что прятались в перелеске, подле мельницы-ветрянки, всего в двух верстах от занятой Каром деревни Юзеевой.

Направляясь сюда из Берды, Овчинников в пути присоединил к себе тысячу пятьсот башкирцев. А казак Самодуров, командированный Овчинниковым на дорогу к Авзяно-Петровскому заводу, перехватил возвращавшегося в Берду с толпой заводских людей Хлопушу. Из толпы было отобрано триста ратников и две пушки с заводскими пушкарями-наводчиками. Вместе с Хлопушей ратники двинулись за Самодуровым к атаману, остальная же часть заводской толпы с четырьмя пушками продолжала свой поход в Берду. Таким образом, у Овчинникова было под мельницей почти две с половиной тысячи народу, большинство – доброконных.

О существовании в двух верстах от себя столь серьезной силы Кар и не подозревал. Он утешался тем, что утром удачно «разогнал» противника, что противник тот труслив и малочислен, да к тому же и вооружен лишь одной паршивенькой пушчонкой. Значит, нечего было Кару унывать, значит, все будет отлично, надо стойко ждать подкреплений. Кар теперь чувствовал себя хорошо, и его не одолевала даже подагра – сей зело лютый внутренний враг.

Да уж кстати – радостное, давно жданное известие: прискакал подпоручик московских гренадер Татищев и доложил генералу, что сегодня в ночь должна прибыть сюда направленная из Москвы рота 2-го гренадерского полка.

– Ну, поистине мне сегодня бабушка ворожит! – воскликнул Кар и на радостях пригласил гренадера на обед.

Но бабушка ворожила, видно, не одному Кару. Почти в тот же час посчастливилось и атаману Овчинникову. Казачьи караулы схватили ехавшего в Юзееву квартирмейстера, из унтеров той же гренадерской роты, и доставили пленника Овчинникову. Допрос чинился у костра в лесу. Овчинников с Чикой и Хлопушей ели ушку из налимов, в котле плавали вкусные налимы печенки. Связанный гренадер отвечал на вопросы атамана вяло, без охоты.

– Командир нашей роты сначала послал к генерал-майору Кару офицера Татищева, а вслед за ним и меня. Мне велено прибывающим гренадерам квартиры приготовить.

– Квартиры мы твоим гренадерам и без тебя приготовим. Отвечай, сколько вас?

Квартирмейстер ответил и попросил, чтоб его развязали и, если будет милость, накормили: он прозяб и голоден. Овчинников строго спросил:

– Признаешь ли государя Петра Федорыча?

Квартирмейстер молчал, мялся, мускулы его широкого лица от внутреннего напряжения подергивались. Тут медленно поднялся в накинута на плечи шебуре мрачный Хлопуша. Его корявые пальцы вцепились в торчавший за опояской тяжелый безмен, а белесые глаза, уставясь в лицо гренадера, заблестели по-холодному. Затаив дыхание, он ждал, какой ответ даст пленник.

– Оглох?.. – резко крикнул Овчинников.

Гренадер вздрогнул, сказал:

– Мы, известное дело, люди простые, не ученые, и про государя ничего такого-этого не слышали. Только знаем, что он умерши, а была присяга государыне Екатерине.

– Так вот знай теперь, что государь жив-здоров и стоит со своим войском под Оренбургом. Мы слуги его величества... А твой Кар завтра на березе будет качаться, – со сдержанной силой сказал Овчинников. – Ну, так как, готов принять государя?

У Хлопуши захрипело в груди, он вытащил из-за опояски безмен и, избоченясь, угрожающе шагнул к гренадеру.

– В таком разе, – сорвавшимся голосом ответил гренадер, косясь на страшного, с безменом человека, – ежели он, батюшка, жив-здоров, мы, известное дело, с нашим удовольствием... Мы присягу и повернуть можем... Признаю государя! Чай, свой же, расейский!

Овчинников, махнув рукою Хлопуше, прощупал гренадера острым взглядом и приказал:

– Развязать его!.. Садись, квартирмейстер, к котлу. Эй, подайте-ка ложку!

Хлопуша сунул безмен за опояску, резким движением плеч поддернул сползавший бешмет и пошел в лесок. А освобожденный гренадер широко заулыбался. Но улыбка его выражала крайний испуг и душевное смятение. Он на морозе весь вспотел...

Ночь темная, тихая, морозная. Кар не спит. Кар нетерпеливо поджидает прибытия испытанной в боях гренадерской роты.

Рота движется медленно – дорогу перемело, попадаются длинные подъемы, лошади истомились. Обоз растянулся на версту – около полсотни подвод. На каждой подводе по четыре, по пять гренадеров. Обессиленное трудной дорогой и холодом, большинство их крепко спит, дежурные подремывают, веки слипаются, головы валяются на грудь. Тут же в санях кое-где сложены незаряженные ружья и мушкеты. А зачем их спозаранку заряжать, только зря порох отсыреет. Опасаться нечего: впереди отряд генерала – значит, врага нет и в помине.

В середине обоза, в спокойных санях, накрытые кошмой, – поручик Волжинский и прапорщик Шванвич.

– Черт, до чего надоело, – брюзжит молодой прапорщик. – Ямщик, скоро ли Юзеева?

– А кто же ее ведает! – повернувшись к седокам, шамкает древний старик возница; он в больших собачьих мохнатках и повязан по шапке белой шалью, из-под шали торчат кончик распухшего на морозе носа, покрытая сосульками борода. – Вишь, темно! Вот падь проедем, пять верстов останется до Юзеевой-то... Пять верстов. А то и с гаком!

Сзади побрякивали шаркунцы на лошадях и доносилась негромкая песня: заунывно тянули два тенористых голоса. Сидевший слева от Шванвича поручик Волжинский легонько храпел и посвистывал носом. По бокам дороги темнели кусты или целый перелесок – не разобрать было. Тишина, нарушаемая лишь скрипом полозьев да ленивым понуканьем приморившихся коней.

Шванвичу не спится. Ночная тишина и мерное покачивание санок будят у него воспоминания. Он вспоминает недавнюю встречу в Петербурге со своим приятелем Гришей Коробьиным. Встретились они в Милютиных рядах, на Невском, в погребке венгерского купца Супоняжа, пили токайское, а за токайским попросили венгерского, закусывали жареными фисташками. Затем, охмелев, стали откровенничать, стали

изъясняться в любви и дружбе. Офицер Коробьин, вплотную придвинувшись к Шванвичу, шепотом сказал ему, что он получил на днях от своего знакомого, из-под Оренбурга, от депутата Большой комиссии, сотника Падурова, необычайное письмо. «Вот прочти», – сказал ему Коробьин и подал исписанный кудрявым почерком лист. Шванвич прочел, вытаращил на приятеля глаза и спросил его: «Что сие значит?» – «А значит сие то, – ответил Коробьин, – что в нашей Россиюшке...»

На этом месте воспоминания Шванвича пресеклись. Из тьмы, как с неба гром, ударила пушка, другая, третья. По окрестности прогудело раскатистое эхо. На санях по всему обозу все повскакали, ночную тьму взорвали сотни крикливых, заполошных голосов. Обоз враз остановился. Мимо Шванвича проскакал на коне начальник роты поручик Карташов.

– Ружья! Гренадеры, ружья!.. – орал он с коня. – Стройся!

И путаные в ответ по всему обозу голоса солдат:

– Где ружья-то?.. Не заряжены они, чай?

– Ах, черт!.. Говорил – зарядить...

– Пули, пули забивай! Давай натруску!

Но ружья при себе были не у каждого. Капрал, стоя дубом в санях, изо всех сил кричал, размахивая шапкой:

– Сюда, черти, сюда!.. Здесь ружья-то! И ладунки здесь. Эвот, в этих санях!.. Давай, давай!

Но «давать» было уже поздно. Молодцы атамана Овчинникова со всех сторон окружили полусонную, перепуганную роту.

– Пли! – яростно командовал обезумевший поручик Карташов.

Затрещали недружные и малочисленные выстрелы grenадер.

– Клади оружие, солдаты! Нас две тысячи, да двенадцать пушек при нас. А вас сколько? – отовсюду раздавались крики наскაკивавших пугачевцев.

Засверкали сабли, пики. У Карташова вместе с мохнатой шапкой слетела голова. В быстрой свалке убиты были два офицера и семь солдат. Вся рота, бросая ружья, загалдела:

– Сдаемся!.. Не трог нас!

...Темнота, сутолока, крики. Пугачевцы забирают у пленных оружие, сгоняют их на дорогу. Многие озлобленные солдаты злорадно, с отчаянием выкрикивают:

– А так нам, дуракам, и надо: не ходи супротив царя! Слых-то давно шел...

Душевное состояние солдат было в высшей степени подавленное.

– Ой, Ванька!.. Да никак это ты? – прогудел здоровенный казак Брусов, схватив за шиворот и обезоруживая в потемках молодого grenадера.

– Батька! – вскричал тот, кого назвали Ванькою. – Здорово, батя! Это я...

– Вот где, сынок, довелось нам встренуться...

– Ой, батя, батя!.. Пропали мы! – всхлипнул молодой парень и принялся с жаром целовать у отца руки. – Сказнят нас всех... а?

– Не скули! Шагай за мной живчиком. Царь до простых солдат милостив. Вот офицерики – дело десятое, им не миновать на релях качаться.

Шванвич и Волжинский, шагая в толпе солдат рядом с Брусовым и слыша слова его, обратились к старику:

– Дедушка, вот мы два офицера, мы государю готовы служить и – не супротивники... Походатайствуй за нас.

И многие бывшие возле них солдаты, в особенности старик Фаддей Киселев, принялись упрашивать казака Брусова:

– Они господа хорошие, не вредные. Уж постарайся!

– За хороших господ я рад-радехонек словцо замолвить. Упрошу, укланяю! – гукнул в бороду старый казак.

Пленных пригнали в брошенный овин и там до утра заперли. Шванвич с Волжинским заметили, как старик Брусов, сдернув шапку и кланяясь, вел переговоры с начальником конвоя, татаринном Мансуром Асановым и безносым Хлопушей. На душе приунывших офицеров стало поспокойней.

4

Эти три пушечных выстрела, только что грохнувших во тьме над головами гренадерской роты, отчетливо долетели по морозному воздуху и до деревни Юзеевой.

– Пушки! В тылу! – выкрикнул еще не ложившийся спать генерал Кар и схватился за голову.

Было около часу ночи. Кар приказал адъютанту точно выяснить, откуда была слышна стрельба, созвать к нему на совещание офицеров и поднять солдат. Разбуженные Фрейман и плешивый, в очках, лекарь Мигунов, брюзжа, стали одеваться. Зажгли свечи. Грязно-бурые, прокоптевшие стены поглощали почти весь свет, было темновато.

На совещанье, по-заячьи покашиваясь на собравшихся широко расставленными глазами, Кар сказал:

– Итак, господа... Слышали пушечные выстрелы? Вот вам! И поскольку сейчас выяснились обстоятельства, что неприятель находится у нас в тылу, мы рискуем быть отрезанными от Казани... Нет, вы только подумайте, каковы нахалы эти висельники! Они не умеют по правилам воевать, совершенно не знают, не понимают регул. Они, как бешеные волки, носятся по горам и не идут не токмо на штыковой удар, но и не подпускают к себе на выстрел... А у меня конницы нет... Как я их стану преследовать?.. И какой дурак, позвольте вас спросить, стреляет из пушек ночью? Мужичье, каторжники, сволочь! Ночь, мороз, а они... – Уши Кара покраснели, рыжеватые волосы встопорщились, он закашлялся и выпил поданных лекарем капель. – Господин Татищев, где же ваши гренадеры?

Подпоручик Татищев, поднявшись и оправив портупею, ответил:

– По моим расчетам, ваше превосходительство, рота вот-вот должна быть здесь. Опасаюсь, уже не они ли подверглись нападению и терпят бедствие.

– Вздор, вздор! – вспылил Кар, но сердце его сжалось. – Садитесь, Татищев... Никакого бедствия! Гренадеры за себя постоят, – и, сморщившись, он стал растирать правую ногу.

– Болит? – сочувственно осведомился лекарь.

– Ноет, подлая; должно быть, к перемене погоды... Да и вообще инвалид я... Итак, господа офицеры, с рассветом выступать! Надо играть назад, пока не поздно, – ретироваться, выбрать подходящую деревню и там, ретраншировавшись, ожидать сикурса. К нам должны прибыть по Новомосковской дороге еще две роты да из Казани три или четыре пушки, таже отряд башкирцев с мещеряками. Прошу подготовить солдат, артиллерию и обозы к маршу.

В поход выступили еще до свету. Обескураженный внезапными событиями, Кар рысцою ехал с лекарем в крытом возке. У него теперь уже не было высокомерного предположения, что стоявшая где-то под Оренбургом толпа Пугачева, проведав о наступлении Кара, в страхе рассеется вместе с этим самозванцем Пугачом. «Не угодно ли, не угодно ли!.. Все мои диспозиции полетели к черту!» – злился Кар, его исхудавшее лицо передергивала судорога. Он стал зябнуть, на него напало уныние; где-то в тумане грезилась теплые воды, мягкий всплеск голубого ласкового моря, домашний уют... Он с грустью выглядывает из холодного возка в мороз, его душу охватывает чувство, близкое к отчаянию.

Полторы тысячи солдат Кара, с заряженными ружьями, продвигаются торопливым шагом, за ними трясутся в жестких седлах шестьдесят конных татар и экономических крестьян.

Среди конников шел негромкий сговор: как бы изловчиться да повернуть назад и – прямо к «батюшке»! Солдаты неодобрительно косились на теплый возок Кара, с тоской поглядывали на пять жалких, скрипевших колесами пушек.

Светало, восток алел, стоявший по бокам дороги лес, опушенный густым инеем, казался легким и нарядным. В ветвях белой пуховой елки встряхнулась большая птица – должно быть, филин, с дерева посыпался, засверкал снег.

От Юзеевой солдаты уже прошагали версты три. Головная рота, выступив из леса в чистое поле, вдруг загайкала, закричала, как стая галок, напуганная налетевшим ястребом:

– Глянь, глянь... Окружают!

И по всему отряду, из конца в конец, как по сигналу, не видя еще опасности, во всю глотку загалдели:

– Окружают, окружают!.. Погибель нам!..

Как только началась тревога, все конники – татары и крестьяне, – словно по уговору, вытянули коней плетками и дружно махнули в лесную гущу.

– Стой, стой, изменники! – кричали им вдогонку офицеры.

По приказу выскочившего из повозки Кара вся воинская часть остановилась. Теперь уже всем было видно, как по горам и взлобкам, с обеих сторон дороги, скакали врассыпную всадники. Отдельные из них кучки волокли по сугробам единороги и пушки, кричали, ругались, полосовали кнутами впряженных в орудия лошадей.

Осмотревшись, оба генерала определили, что неприятеля приблизительно около двух тысяч человек, а пушек при них – раз, два... четыре... восемь, девять.

Пугачевская артиллерия начала пристрел – перелет, недолет. На возвышенностях возле пушек копошились люди.

– Не угодно ли, – задыхаясь, сказал Кар. – Девять! И так далеко ставят, подлецы!.. Наши до них, чего доброго, и не до...

Он не закончил фразы, на левом фланге разорвалась граната, пущенная пугачевцами из единорога. Она повалила сразу пятерых солдат – двоих насмерть.

– Видали, каковы? – крикнул Кар стоявшему рядом с ним Фрейману и послал к месту поражения своего лекаря.

Воинские части Кара стали поспешно выходить за пределы дороги, строиться к обороне. Расставили по удобным местам всю артиллерию – четыре пушки и один единорог. Началась артиллерийская перестрелка. Ядра и картечь пугачевцев ложились как по заказу, пугачевцы стреляли метко. У пушек же Кара были все недолеты. И лишь единорог действовал прилично, но и он вскоре перевернулся вверх колесами: в его лафет брякнуло двенадцатифунтовое ядро.

– Анафемы! – осwirепел Кар. – Какие же это, к дьяволу, мужики?.. Нешто мужики столь искусно артиллерией управлять могут? А где же наши конники, где татары? Эй, капрал!

– А наши конники, ваше превосходительство, тю-тю! – прошлепал губами коренастый капрал и показал обнаженной шпагой на пригорок. – Эвот они пурхаются, видать – на сдачу покатили... Да и нам бы, ваше превосходительство... того...

– Что?.. – заорал Кар и, выхватив из теплой дамской муфты руку, погрозил капралу кулаком. – Я тебя расстрелять... расстрелять, мерзавец, прикажу! – Нас и так расстреляют... – огрызнулся капрал и, со злобой тряхнув локтями, пошагал прочь от генерала.

А Кар, проклиная изменивших ему конников, направился к возку за пледом: морозом сильно прихватило уши. Астафьев, Татищев и еще третий молоденький офицерик, отобрав по приказу Фреймана с

полсотни лучших стрелков-охотников, побежали с ними далеко вперед и, прячась за пригорками, открыли меткую ружейную стрельбу по пугачевцам.

Пушки пугачевцев подтягивались к Кару ближе и ближе. Раненых у Кара прибывало. Вот новобранец уронил ружье, перегнулся вдвое, с глухим стоном ткнулся головой в снег. Здесь, в длинной шеренге, тоже упал солдат, еще один упал, еще... словно в огромной, поставленной на ребро гребенке валились зубья. С воем летит граната; солдаты, спасаясь от смерти, валятся плашмя. Взрыв. Осколки ранят лошадь, солдата и лекаря Мигунова, что подле саней делал перевязку раненым.

Пугачевцы палили без передыху. Пушки Кара отвечали вяло, редко.

– Подноси проворней ядра! Пороху сюда! – до хрипоты кричали у пушек канониры.

– А где их узять, ядров-то?

И летело по рядам:

– Ядер нету... Пороху нету-у! Братцы!

– Эй, кто орет? Я те покажу «нету»! – бегали по фронту офицеры, призывно взмахивали шашками. – Давай, давай сюда! Все есть!

Но давать действительно нечего: снаряды на исходе. Длительное молчание пушек приводило оробевших солдат в уныние, в трепет.

– Братцы! Пушки наши ни черта не стоят, ядра недолетывают... Погибать доводится...

И уже раздавались то здесь, то там призывные голоса:

– Бросай ружья, бросай, братцы!

Солдаты плохо понимали, за что и против кого они воюют. Против ли самозванца Пугачева, как им внушает начальство, или же против истинного государя, как им выкрикивали пугачевцы. Солдаты были душевно подавлены и сбиты с толку, солдатам вовсе не хотелось воевать. А тут еще разные неполадки, голод, мороз.

Многие, не слушая окриков своих командиров, оставляли фронт, кидались в лес за хворостом, разжигали костры и лезли прямо в огонь, стараясь хоть немного отогреть коченевшие ноги, ознобленное тело.

– Это супостаты лихие, а не начальство! – сквозь слезы вопили они. – Этаким лютым мороз, а они... в ус не дуют. Босые мы, раздетые! За что страдаем, неизвестно. Да гори они все огнем! Сдавайся, ребята!..

И снова в разных местах безумные выкрики:

– Было бы за что воевать! Бросай ружья... К черту!

По всему фронту зачиналась паника. Пришедшие в отчаяние оба генерала и майор Варнстедт приказали канонирам усилить пальбу из пушек, кидались от пушки к пушке, уговаривали, угрожали, умоляли солдат не малодушничать, помнить присягу.

– Все будет, все будет у вас, ребяташки!.. И теплые шубы, и обувь, – запинаясь, говорил Кар. Капризный, самонадеянный, упорный, он наконец признал, что подставлять свои силы под расстрел неуязвимого врага преступно и бессмысленно. – Сейчас маршем уходить будем, ребята! Не робей... С нами Бог!

– Давно пора!.. – кричали ошестившиеся солдаты. – В могилу завели... Эх, вояки, лихоманка вас затряси!

Горнисты затрубили сбор. Наскоро построились, наскоро подобрали на сани раненых, обмороженных, умершего от ранения лекаря Мигунова и под бой барабана ходко пошагали по дороге. Отстреливаясь от неприятеля, отступающие в продолжение восьми часов прошли всего семнадцать верст.

Кар отошел к деревне Сарманаевой. Общие потери его отряда за три дня определялись в сто двадцать три человека.

– Довольно! Ни шагу вперед! Мы разбиты. Нас могли бы уничтожить... – сетовал Кар генералу Фрейману. – Будем сидеть и ждать подхода войска. Но, Боже милосердный, что я стану делать без лекаря?!

Кар захворал лихорадкой и слег.

Глава II

Пугачев любил народ. Милостивая беседа. Медные прянички и «Трансмордас». Вопрос был внезапен

1

Не понять было ни Кару, ни тем более графу Чернышеву, пославшему его охотиться за Пугачевым, что Пугачев – это тот самый сказочный Кашей Бессмертный, которого ни пуля, ни сабля не берет; живет и будет жить, пока на Руси бьется хоть одно горячее, жаждущее воли сердце... А и полно – не тысячи ли тысяч таких сердец, не бесчисленно ли войско мятежное, не полным ли полна земля русская богатырской крови? Уж ежели брызнет да прорвется – шибко забушует!.. И попробуй-ка останови, взнуздай этот огневой поток, положи-ка преграду ему!

Пленная рота 2-го гренадерского полка жила в Берде уже двое суток.

Пугачев принимал гренадер торжественно, всенародно. На крыльцо поставили золоченое кресло. Батюшку вывели под ручки Ненила и красивая каргалинская татарка. На нем богатый меховой чекмень, каракулевая шапка с бархатным красным верхом, через плечо генеральская лента, при бедре сабля, за поясом два пистолета. По бокам его встали два яицких казака – молодые, чубастые, высокие, в мухояровых казакинах; у одного в приподнятой руке булава, у другого – посеребренный топор. Вниз по лестнице, по обе стороны расписных перил, двадцать четыре казака личной охраны с обнаженными саблями – пугачевская гвардия.

Вся улица забита народом: казаки, башкирцы, татары и множество русских мужиков, пришедших за последнее время из ближайших и дальних селений. Народ подступил к самому крыльцу, многие залезли на заборы, на деревья, на крыши.

День был морозный, солнечный. Пугачев весь сиял – от солнца ли, от радости ли: впервые одержана столь легко победа над войсками царицы и вельмож.

Ермилка держал в руке сигнальную трубу и, косясь через плечо на «батюшку», взволнованно облизывал губы. Пугачев махнул ему белым платком, и, выставив ногу вперед, выпучив глаза, надув щеки, Ермилка затрубил сигнал. Враз забили барабаны, знамена встряхнулись и замерли в линию.

Через расступившуюся толпу попарно шагали пленные – рослые, с заплетенными косами, в треугольных шапках, гренадеры. Вел их Падуров. Выстроились в четыре ряда, впереди офицеры: Волжинский, Шванвич.

Пугачев окинул гренадер острым взглядом, поправил шапку, едва заметно ухмыльнулся, будто собираясь выкинуть какую-то любопытную штучку, затем прихмурил брови и зычно, но без злобы закричал:

– Так-то вы, сукины дети, несете военную службу, так-то регул исполняете? В дороге дрыхнете, как дохлые собаки, ружья не заряжены, едете без всякой остроги... Дисциплины не знаете, сукины дети! А еще гренадерами зоветесь... – Пугачев говорил выразительно, строго и потрясал кулаком, притопывал, а сам по-хитрому косился на казаков и башкирцев, на все свое воинство. – Да вас всех смерти предать надо!

Гренадеры, один по одному, опустились на колени. А весь народ повернул головы в сторону часовни, где темнели виселицы, затем снова все уставились на царя.

Стоявший на коленях Шванвич с любопытством присматривался к Пугачеву и, внутренне содрогаясь, дивился неожиданным словам его.

Гренадеры сняли шапки, прижали их к груди и, кланяясь, хрипло выкрикивали:

– Винимся, ваше величество, винимся! А супротивничать мы не хотели по уговору, от того от самого и ружья бросили.

Пугачев предвидел такой ответ, он сразу сложил гнев на милость и, подняв руку, проговорил:

– Встаньте, детушки, Бог и я, государь, прощаем вас! Офицерики, двое, приблизьтесь ко мне.

Шванвич и Волжинский взошли по ступеням крыльца наверх, к золоченому креслу, и, ударив каблук в каблук, замерли перед Пугачевым.

В мыслях Шванвича, как огненным углем, прочертились слова из того странного письма, которое подsunул ему приятель Коробьин, там, в Петербурге, на Невском, за бутылкой венгерского. «Доподлинный ли он государь, уверить тебя не берусь, – говорилось в письме, – только думаю, что за одиннадцать лет скитания по белому свету он царское обличье свое мог утратить». Так писал Коробьину казак Падуров, тот самый Падуров, который привел их сюда, а сейчас стоит позади этого осанистого, строгого, но, должно быть, справедливого, как никто, бородача в генеральской ленте.

Обратясь к офицерам и помаргивая правым глазом, Пугачев во всеуслышанье проговорил:

– Мне, господа офицеры, атаман Овчинников отписывал с моей действующей армии, что вы оба якобы супротивления в бою не оказали и обещались служить мне верно. Да и старик Брусов, илецкий казак, давеча мне сказывал про вас. Так ли это?

– Так, государь! – вскинув открытое, бодрое лицо, внятно произнес Шванвич.

– Так, – тихим голосом подтвердил и Волжинский, тотчас опустив голову.

– Добро, добро! – промолвил Пугачев и взмахнув платком, закричал: – Слышь, гренадеры! А что, вот эти хлопцы не забижали вас, не мордовали трохи-трохи?

– Никак нет, ваше величество! – откликнулись в роте. – Господа офицеры, двоечка, хороши до нас были, милостивы.

– Добро! – повторил Пугачев. – Так вот что, господа офицеры... Мы, Божию милостью, примыслили принять вас под свою императорскую руку и поверстать в казаки... Падуров! Ты здесь-ка? Выдать им доброе обмундирование и по хорошему коню. Да чтобы беречь офицеров, беречь! – выкрикнул он, повернул назад голову и, найдя взором Митьку Лысова, погрозил ему пальцем. Затем, обратясь к офицерам, он продолжал: – Старшего ставлю атаманом, а тебя, прапорщик, есаулом. Впредь будете управлять своими гренадерами, как и допреждь управляли.

Он протянул свою правую руку ладонью вниз. По знаку Падурова офицеры целовали руку и отходили в сторону. Затем были допущены к царской руке и солдаты.

– Вот, детушки, – говорил Пугачев, утирая платком навернувшиеся на глаза слезы. – Мне опять Бог привел над вами, гренадерами, царствовать по двенадцатилетнем странствии моем: был я в Ерусалиме, в Цареграде и в Египте. Опосля того в Россию, на родиму землю, перебрался. Исходил, истоптал я ее, сиротинушку, сквозь... Самовидцем был, как простой народ страждет от лютых бояр да от чиновников. И положил я землю свою устроить, как дедушка мой родной устраивал, великий Петр Алексеич... – Пугачев снова утер слезу. – Послужите же мне, детушки!

– Послужим, послужим, батюшка, отец наш, милостивец! – неистово закричала огромная толпа крестьян, казаков, солдат.

Это был голос, которого никогда не услышать царствующей Екатерине даже в мечтаниях своих...

– Благодарствую, други мои! – отвечал Пугачев, кланяясь народу. – Держитесь за мою правую полу, во счастье будете...

«Пугачев любил народ, и народ отвечал ему тем же – народ восторгался им и боготворил его»^[1].

Вот он сидит в золоченом кресле и чувствует, что люди смотрят на него множеством глаз, люди следят за каждым его движением, за тем, как хмурятся его густые брови, как трепетными пальцами охорашивает он генеральскую ленту на груди.

И вот как бы приподнят над землей, и уже не простой, безвестный казак он, Емельян Пугачев, а некто иной, неведомый и странный. И какая-то непонятная ему самому сила захватывает его: он весь во власти этой силы. Тут разом открываются животворящие родники в душе его, и летят, летят в толпу пламенные крылатые слова, сами собой возникают жесты, исполненные всепокоряющей воли.

Наступает минута ликования, душа толпы доведена до высокого накала: позови сейчас Емельян Пугачев людей на муки, на смерть – и вся толпа безоглядно двинется за ним.

...Целование руки кончилось.

Два старых солдата, растроганные милостивыми словами Пугачева, подойдя к царской руке, пристально вглядывались в лицо его.

– Мы, ваше величество, издали признали вас за истинного Петра Федорыча Третьего, – говорили они, захлебываясь от волнения. – Мы ведь не единожды стаивали на карауле в Зимнем дворце и видывали вас. Только втапору вы бороду не изволили носить, а правым глазом так же подмаргивали...

Старики, сами, видимо, веря в слова свои, говорили громко, отчетливо, обращаясь более к народу, нежели к Пугачеву.

В народе снова закричали оглушительно «ура». Громче всех кричали крестьяне: они солдатам верили не в сравнение больше, чем казакам. Крестьяне всегда были того мнения, что «казак – человек вольный, балованный, да и живет-то супротив мужика куда справней, а солдат – наш брат-савоська, только что косу отрастил, и нуждишка мужицкая – его нуждишка, он свой, ему вся вера».

– Как ваше прозвище? – спросил Пугачев у стариков.

– Я Фаддей зовусь, Фаддей Киселев, – кланяясь, ответил солдат с рыжими щетинистыми бровями и скуластым лицом. – А вот этот Самсон Астафьев, свояк мой.

– Давилин! Выдать своякам-гренадерам по хорошей шапке да замест лаптей обутки крепкие... В память нашей стречи!

Появился приبلудивший к стану Пугачева расстрига-поп Иван. Он в новых лаптях, в новых суконных онучах, в парчовой, поверх полушубка, ризе; в трясущихся руках его – крест и Евангелие, похищенные в егорьевской церкви. Нос у отца Ивана сизый, вспухший, узенькие глаза заплыли. Всех пленных он быстро привел к установленной присяге. Пугачев поднялся, махнул платком и возгласил:

– Жалую я вас, гренадеры, землями, морями, лесами и всякой вольностью, охочих – крестом и бородой! – торжественно поклонился и ушел, позвав за собой Шванвича. За порогом он велел Давилину провести нового есаула в золоченую горницу, а сам прошел к себе в спальню перевести дух и выпить водки для сугрева: он изрядно прозяб, ноги в козловых сапогах совсем зашлись у него.

Михаил Александрович Шванвич, девятнадцатилетний юноша, высокий, корпусный, с открытым краснощеким лицом, на вид казался значительно старше своих лет. Он точно так же порядком продрог и, прислонившись спиной к горячей печке, с любопытством оглядывал разукрашенную, как в театре, комнату. Трон, двуглавые орлы, знамена, английские, в высоком футляре, часы, даже портрет великого князя Павла Петровича!..

Внутренне ухмыляясь, столичный офицер Шванвич думал: «Ну, конечно же, он самозванец. У него и выговор-то малороссийский. Да и манеры грубые... Значит, верно мне сказали в Казани, что есть это простой донской казак Емелька Пугачев. А вот по осанке да сообразительности, пожалуй, мог бы и царем быть. Во всяком разе, актер натуральный! Роль свою ведет с искусством. Попробуем и мы играть свою». Голова юноши наполнена сумятицей, а в душе – то надежда, то уныние. Почва под его ногами колебалась, а впереди туман, туман, полное неведение! Все его солдаты в плену, сослуживцы-офицеры уничтожены. Да и сам-то он спасся чудом. Да и спасся ли?

– Скажи-ка, друг, откуда ты будешь родом? – прервав его мысли, заговорил вошедший Пугачев и сел к столу, на котором в порядке лежало несколько письменных приказов.

– Родился я в Петербурге, – ответил Шванвич. – Покойная государыня Елизавета изволила крестить меня.

В густых усах Пугачева промелькнула озорная усмешка. Взглянув в лицо Шванвича, он подумал: «Ты, брат, вижу, такой же крестник Елизаветы, как я был когда-то... хе-хе... крестником Петра Великого», – и сказал, расчесывая гребнем бороду и челку на лбу:

– Так, так!.. Значит, есть ты – Шванвич? Ну, так я про тебя и про родню твою от тетушки Лизаветы слыхивал. Не твой ли батька, алибо дядя, Алешку Орлова палашом рубанул?

Шванвича эти слова очень удивили – он не знал, разумеется, что необычной силы память Пугачева сохранила случайно подслушанный много лет назад, в Кенигсберге, разговор пьяных офицеров об той истории.

– Сей грех приключился с моим родителем, лейб-компанцем, тоже гренадером, – пролепетал Шванвич, широко открыв на Пугачева свои серые вдумчивые глаза.

– Жалко, что он, родитель твой, головы Алешке-т не смахнул, все бы одним недругом помене на свете было. – Пугачев вздохнул и потупился.

– Обидчик вашей персоны есть и кровный обидчик моего отца, каковой через Алексея Орлова по сей день в опале, – приходя в себя и пряча лукавый огонек в глазах, молвил Шванвич.

– Вишь ты! – воскликнул Пугачев, сделав в воздухе угловатый жест указательным пальцем. – Стало, мы с тобой вроде как... равнообиженные... Ну, ин ладно! А вот полковник Лысов сказывал мне, что ты маракуюшь говорить по-иностранному. Верно ли?

– Так, государь, умею.

– Ну, так подь-ка сюда, на тебе вот бумагу да перо, возьми вон в том месте напиши что-либо по-шведски...

Шванвич молча взял из рук Пугачева исписанную четвертушку бумаги – указ приказчику Воскресенского завода П. Беспалову, перевернул ее и принялся писать. Он шведского языка не знал, написал по-немецки: «Ваше величество Петр Третий».

– Теперь напиши еще... какой ты знаешь язык.

Шванвич написал по-французски: «Великий император Петр Первый».

Пугачев поднес листок к глазам, наморщился, проговорил:

– Эх, худо видеть стал, все глаза-то выплакал из-за злодеев, из-за гонителей своих. – Он достал очки, протер их уголком скатерти, неуклюжим жестом оседлал ими нос и долго всматривался в написанное, затем сказал: – Мастер! Дюже хорошо обучен. Ты пригодишься мне. Авось Бог приведет иноземным королям писать да государям. Обо мне вся земля услышит, а как дойдет до дела, все государи-одномышленники за меня горой вступятся. Я-то искони русский, не Катерине, а мне владеть русской землей... Ну да то еще долга песня! – Он взглянул на портрет Павла Петровича, хотел еще что-то сказать, но только махнул рукою: – Ну, иди! Служи мне верно. Да в порядке себя держи! – добавил с непонятными Шванвичу рассеянностью и равнодушием.

Шванвич ушел. В прихожей то и дело хлопала наружная дверь, стучали подкованные каблуки, слышались сдержанные голоса, иногда дверь в золоченую горенку приоткрывалась, высовывалась чья-либо борода. Пугачев отмахивался рукой, дверь со скрипом закрывалась снова.

Швырнув очки в ящик стола (он в стекла их ничего не видел), Пугачев с напряжением всматривался в мудреную пропись Шванвича. Раздувая ноздри, долго посапывал и морщил лоб. Затем взял перо и, поглядывая на бисер букв, стал писать каракульки. Рука, ловко владевшая саблей, с трудом держала мягкое гусиное перо... Дверь скрипнула, он бросил перо и поднял голову. Перед ним, покашливая в горсть, стоял Максим Шигаев.

– Слышь-ка, Максим Григорьич! – сказал Пугачев, прикрывая широкой ладонью бумагу. – За этими хлопцами – Шваныч да другой с ним – треба покрепче досмотр держать.

– Да ведь их, офицеров-то, много понахватано, батюшка Петр Федорыч, их без малого дюжина теперь у нас. Конечно – дворяне! За ними глаз да глаз!

– Мне желательно не в ком ином прочем, а в Шваныче увериться, – прервал его Пугачев. – Он иностранным обучен и нам горазд надобен. Ежели по молодости лет будет в нем шатание, ну так и одернуть можно, чтобы опять к нашей дорожке потянул. Смекаешь? Шваныч, я чаю, человек хоть и молодой, а кубыть надежный. Я чаю, Шваныч назад глядеть не станет. Его отец от вышнего начальства обиженный, а по отцу – обижен и сын. Смекаешь, что к чему? Алешка Орлов, граф, отца-то избидел, отец-то харю Орлову, графу, порубил палашом, из-за княгини одной перетырка вышла у них. Она и того и другого приголубливала, а собой такая – взглянешь, закачаешься, одно слово – фрухт, – с легкостью, даже с оттенком удовольствия плел измышление Пугачев. – И вот сдается мне, Максим Григорьевич, что хлопец не больно-то правителями довольный, а скорее всего нашу руку станет держать. Глаза у него дерзкие, и как сказывал он мне про обиду, аж затрясся весь. Ты как полагаешь?

Житейски опытный Шигаев не мог не согласиться с доводами Пугачева, но в его душе гнездились врожденное предубеждение к дворянству, и, мазнув концами пальцев по надвое расчесанной бороде, он уклончиво ответил:

– Время укажет, батюшка Петр Федорыч. Правда, что он не сам пришел к нам, а привели его... Ну да ведь своевольных-то дорожек ихнему брату, дворянам, к нам и нетути... Да еще надобно дознаться: богаты его родители алибо малосильны; родовитые господа алибо захудалые какие обсевки в поле?

– Бедные его родители, самые бедные! Он сам так толковал... – поднял голос Пугачев; ему очень хотелось склонить упорного и подозрительного Шигаева на сторону Шванвича. – Одним словом, Григорьич, недельки через две ты отрепортуешь мне о нем... Ты что, по делу?

– По делу, Петр Федорыч. Наши патрули «язычка» сграбастали. Схваченный показал, что-де

полковник Чернышев с Сорочинской подступает, а оттуда в Татищеву-де ладит идтить, а опосля и в Оренбург.

– Это которий Чернышев?

– А он симбирский комендант, его отрядил казанский губернатор идтить походом по Сакмарской линии к Оренбургу. Рейнсдорпа вызволять.

– Чернышева до Оренбурга допускать не можно, Григорьич.

– Да уж постараемся...

– Ежели сила не берет, хитростью надо обмануть.

– Время придет, обманем, батюшка.

Пугачеву понравился этот ответ, он усмехнулся, спросил:

– От атамана Овчинникова вести есть?

– Есть, Петр Федорыч. И об этом деле я доложиться пришел. От Овчинникова только что гонец прибежал: Кар-то дюже побит.

– О-о-о!.. Ведут ли его?

– То-то, что нет. От Юзеевой наши поворотили его да взад пятки верст на двадцать угнали...

– Эх, дураки!.. Генералишку не могли словить!.. – вскочил Пугачев и, руки назад, стал в волнении вышагивать по комнате.

– Да вы, ваше величество, не печалуйтесь. Мы бучку дали генералу и добро! Человек до двухсот повалили у него. А к нам сотню конных мужиков да татар с солдатами переметнулось от Кара-то.

– Добро, добро! Солдаты, видать, склонны повсегда к нам, Григорьич. Так, стало быть, Кар докаркался? Стало быть – победа?

– Победа, батюшка! И так и этак победа!

Пугачев подошел к лестнице на кухню, распахнул дверь и гаркнул вниз:

– Эй, кто там живой! Подать нам с полковником Шигаевым винишка покрепче, а на прикуску редьки тертой с маслом да жареной баранинки с жирком. Живо! Одна нога здесь, другая там!..

2

Два бывших гренадера – старик Фаддей Киселев и молодой Брусов, уже с обрезанными косами и в казачьих шапках-трухменках, поджидали Шванвича на улице.

– А мы уж вашему благородию и хибарку разыскать спроворили, – сказал старик, приветливо улыбаясь. – Извольте идтить за мной!

Втроем шагали они улицей. Народ уже разошелся со зрелища по своим делам. Навстречу попались подвыпившие казаки. Раскачиваясь в седлах, сладко улыбаясь и полузакрыв глаза, как соловьи, они горланили песню.

– Зюкнувши! – подмигнул в их сторону молодой Брусов и облизнулся. – Ох и гуляки же эти казачишки!

По дороге тянулся большой крестьянский обоз с бревнами. То здесь то там, между старыми жилищами, на огородах и в поле, не одна сотня мужиков наскоро рубили себе избы.

За четыре дня было выстроено до шестидесяти кой-каких хатенок, с глинобитными печами, об одном крошечном оконце, затянутом распяленным бычьим пузырем или тонкой льдинкой. А лесу заготовлено еще на сотню изб.

Тут же, на стройках, возились бабы; они доили коров, кормили овец, свиней: многие крестьяне, разгромив господские владения, перебирались в государев табор со всем своим имуществом, не забыв при этом прихватить и кой-что из барского добра. Крестьяне были одеты пестро: и в последнюю рвань – прореха на прорехе, и в добротные тулупы с полушубками. На ногах валенки, лапти, яловые сапоги с подковками.

Возле кустарника работали две новые кузни. Бежавшие от господ крестьяне-кузнецы подковывали казацких лошадей, делали для мужиков острые, в виде рогатки, копыя или оковывали железом концы закомелистых березовых дубинок.

– Это лучше сабли ошарашит! – смеялись крестьяне, пробуя дубинки.

Всюду костры, дымки, говор, смех, визг пил, стук топоров. Там вздымали верхний венец, поухивали: «Раз-два, еще разок! Раз-два, матка идет! Раз-два, подается! Пошла-пошла-пошла!»

Шванвич, шагая к себе, с удовольствием присматривался к этому живому, деятельному бытию. Фаддей Киселев хотя и хмурил для порядка рыжие щетинистые брови, но тоже посматривал по сторонам одобрительно, а в серых, глубоко посаженных глазах поблескивали искорки восторга. «Вот она Расея... Зашевелилась!» – внутренне улыбаясь, думал Киселев.

За околицей, до самого перелеска, расстилалось большое поле, усеянное какими-то закоптевшими буграми, из которых клубились сизые дымки, как будто под снегом по всему простору горела земля. А там подальше, в огороженном жердями огромном притоне, табунились косяки лошадей, над ними плавал в морозном воздухе туман. Справа стояли бесчисленные стога бурого сена, между дымящимися бугорками разъезжали на низкорослых, но сытых, исправных лошаденках люди в остроконечных шапках.

Небо было высокое, бледное. Солнце склонялось к закату.

– Тута-ка башкирцы кочуют, орда. Это их стойбище. Ишь, землянок да нор понарыли, чисто кроты! – пояснил старик Киселев.

– А где же казаки? – спросил Шванвич.

– А те, кои в чинах алибо по возрасту стары, в самых Бердах живут, в селенье, а молодежь-то по

огородам, в банях да в сарайчиках, а то и в землянках, по-походному.

– А наши где?

– Сейчас дошагаем! Горе мое, ноги-то обманывают меня, гудут и гудут!

Путники свернули в прогон. Навстречу – казачья полсотня с пиками и со значками. Впереди – есаул. Усталые кони клубятся паром. В середине два всадника поддерживают с боков третьего, тот бессильно изогнулся в правую сторону, постанывает, ежится, голова упала на грудь. Сзади, на двух конях, раненые казаки, татары.

– Откудов, сынки? – невпопад любопытствовал Киселев.

– А ты ослеп, чего ли?.. – огрызнулись казаки. – Не со свадьбы жа... Покалеченных везем... Под крепость подступали, ошибка была.

Путники постояли, сочувственно поглядели им вслед, пошли дальше. Вскоре все трое остановились возле маленькой крайней избушки.

– А вот тут-ка и палаты ваши, – сказал Киселев.

На задах избы, на обширном, в десятину, огороде, работала вся гренадерская рота. Солдаты строили себе землянки, грелись у костров, курили трубки.

– Ну, как, кипит работка, молодцы? – спросил подошедший Шванвич.

– Кипит, ваше благородие! – с добротью ответили солдаты. – Еще денечек, и в тепле мы. Да крестьянство баню обещало нам сварганить. Тогда нам прямо рай!

Шванвич с Киселевым и Брусовым вошли в избу. Застекленное оконце промерзло, давало мало света. Присмотревшись, Шванвич заметил две деревянные кровати; на одной из них, на сенном тюфяке, лежал в мрачной задумчивости Волжинский.

– А кто же в этой избушке на курьих ножках жил? – спросил Шванвич. – Уж не Баба ли Яга?

– Никак нет, тут мужской пол жил, – ответил Киселев, стоя навтыжку. – Полячок один, фидерат прозывается, да казак, да офицер. Казак будто в полон попал, полячок в сшибке убит, а офицер повешен.

– За что офицер-то?

– Да чевой-то супротив государя провирался, – сказал Киселев, и глаза его стали злыми, – с изменой, известно, турусы разводить неча!

Волжинский при этих словах порывисто поднялся, накинул шубу и, хмурый, вышел. Шванвич, посмотрев вслед ему, сказал:

– Ты, Киселев, с нами будешь жить. Согласен?

– Ой, ваше благородие! – обрадовался старик. – Да с полным нашим удовольствием!

– Эх, черт! – воскликнул Шванвич. – Жаль, вещишки пришлось бросить в пути.

– Никак нет, ваше благородие, – и Фаддей Киселев выволок из-под кровати походный чемодан Шванвича. – Вы бросили, а мы с Ванькой Брусовым подобрали. Как можно... Вот и ключик, пожалте, ключик-то я нарочно отвязал да в карман сунул, а то кто его ведает, тут народ аховый.

Растроганный Шванвич крепко обнял старого гренадера. Ванька Брусов, получив разрешение, ушел. Старик затопил еще не остывшую печку, принес из чулана кислой капусты, бок баранины, сбросил старенький мундир, засучил рукава рубахи, стал готовить щи да кашу.

– Таперича заживем, вот как заживем, ваше благородие!

– Только долго ли жить-то доведется, – вздохнул Шванвич, разбирая свои вещи.

– Вот то-то и оно-то, – ответил Киселев, – никому знать не дадено, один Бог знает, правда ли верх возьмет, алибо опять кривда укрепится. Ох, грехи, грехи!..

– А что же ты правдой считаешь и что кривдой?

– Ах, ваше благородие, да ведь правда-то на мужицкой стороне, ведь вся Расея-то на мужике стоит, мужиком кормится. Алибо взять бусурманскую войну. Кто турку побеждает? Опять мужик!.. Эх вы, косточки мужицкие!.. Дюже мне жалко вас...

Шванвич внимательно вслушивался в грубоватый говор Киселева. Ему нравился этот простосердечный, услужливый старик. Да и сам Фаддей Киселев за дальнюю дорогу успел присмотреться к Шванвичу и полюбить его.

Шванвич с удовольствием раскладывал свои пожитки по кровати. Вот зеркальце, три куса пахучего мыла, бритва, ножницы, свечи, походный подсвечник, чай, сахар, иголки, нитки, белье и, главное, с десяток немецких и французских книг, купленных им в Петербурге. Вот они, ненаглядные!.. С ними можно коротать время, в часы душевной тоски они унесут его мысль в область фантазии чудесной... И он готов был целовать свои книги, как горячо любимую женщину.

Бритва! «Ну, уж нет, надежда-государь, хоть ты и пожаловал нас бородой, а я все же буду бриться!» – подумал он и провел ладонью по заросшей щетиной щеке.

– Вот я и толкую... Мужик натерпелся ой как! Ведь вы сами, ваше благородие, видели, как походом шли, – мужик все к царю да все к царю лататы дает, мужика таперича ничего не утешит – ни розга, ни пуля. Уже раз заступник-царь объявился да посулил мужичку землю с волей, – мужик весь на дыбы поднимется, врагов зубами будет рвать... Миллионы их, мужиков-то!

– Толку мало в мужиках, – возразил Шванвич, приготовляясь бриться. – Вот армия придет с войны – государю, пожалуй, туго будет. Как полагаешь, Киселев?

– Вот то-то и оно-то. Войско-то у батюшки неахтительное. И порядку маловато; да и обучены, похоже, не Бог знат как... Ведь у государя все народ простой. Воевод, чтоб настоящих, нетути. А ему, батюшке, одному не разорваться стать. Вот, ваше благородие, – и Киселев, бросив мыть гречневую крупу, подошел вплотную к Шванвичу, – вот ежели б вы да и другие господа офицеры от всего чистого сердца взяли бы да и помогли наладить дело-то военное!.. Ежели офицерство поможет, дело-то крепко будет, а не поможет – карачун нам всем!.. Ваше благородие! Вот было бы добро-то!.. – Морщинистые щеки Киселева задергались, голос стал срываться. – Ваше благородие!.. Ведь один раз живем. Ты все знаешь, ты всю военную науку превзошел и на войне сражался... Уж ты прости меня, старика... Помоги, заступись, родной, за нас, сирых! – Старик, всхлипнув, неожиданно повалился молодому человеку в ноги.

– Что ты, Киселев! Да что ты, старый? – попятился изумленный Шванвич. – Встань!

– Не встану, ваше благородие! Пока слова твоего не услышу, не встану!

– Встань! – И Шванвич, смущенный, растроганный, принялся подымать гренадера. – Я всеми силами... что могу... Я ведь и сам... того... к простому люду... Я... понимаю, понимаю, старик!

Но Киселев, поднявшись и ничего не слушая, а только бормоча: «Ваше благородие, спасибо, ваше благородие!..» – схватился за голову и, шатаясь, как пьяный, вылез в одной рубахе на мороз. Он присел на крылечную ступеньку, сгорбился, взматывал головой, сморкался в рубаху и не переставая выборматывал: «Спасибо! Эх, вот спасибо-то!..»

За ним выскочил Шванвич:

– Киселев! Киселев! Да ты что?.. – и потащил старика в избу.

3

Поздно вечером, когда Пугачев уже собирался ложиться спать и, сидя в маленькой горенке, доигрывал с Шигаевым последнюю партию в шашки в поддавки, дежурный Давилин доложил о приходе Хлопуши. Пугачев велел впустить его.

Огромный Хлопуша сбросил с широких плеч лисью, с бобровым воротником, богатую шубу и, опасаясь повесить ее в прихожей («Чего доброго, стянут!»), вошел к Пугачеву, ужав шубу под мышку.

– Вот, батюшка! – сказал он, тряхнув лохматой головой. – Перво-наперво кланяюсь тебе вот этим гостинцем, – и он разбросил в ногах Пугачева лисью шубу мехом вверх.

– Благодарствую! – промолвил Пугачев и, подмигнув в сторону шубы, ухмыльнулся. – С кого снял? Ась?

– Ни с кого, батюшка, – усмехнулся в свой черед Хлопуша. – А то управитель Авзянского завода скоропостижно преставился, так он отказал тебе на поношение. Носи на доброе здоровье, батюшка!

– Садись, Хлопуша-Соколов!

– Постоим.

– Давилин! Подай сюда бархатный кресел... Садись, господин полковник!

Хлопуша покорно хлопнулся в придвинутое кресло.

– Жалую тебя, Соколов, полковником и ставлю командиром над заводскими крестьянами, коих ты привел ко мне: над пятьюстами!

Хлопуша вытаращил на батюшку глаза, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами и, подобно большой жабе, опрокинулся с кресла, как в омут, Пугачеву в ноги:

– Батюшка, помилуй! Какой я, к свиньям, полковник, я и грамоте-то ни аза в глаза!.. Ослобони, отец!

– Грамота ни при чем тут, – сказал, раздражаясь, Пугачев, – лишь бы человек в дело свое веру имел да честь бы блюл. Встань и не супротивничай! Объявляю тебе благодарность царскую за людей, за порох, за пушки да за пять тысяч рублей казны, что прислал мне. Пушки опробованы – добрые, бьют метко... А то что у тебя за узелок?

– А это, батюшка, второй гостинчик тебе – два «пряничка» да два «пирожка». – И Хлопуша, размотав холстину, вытащил медные увесистые плитки и подал их Пугачеву. – Орленые «прянички»-то, батюшка!

Пугачев с интересом повертел их в руках и сказал:

– Об эти пряники зубы поломаешь... Что за чертовщина?

– А это катерининские рублики, батюшка.

Пугачев прищурился и засипел язвительным смехом:

– Вот олухи царя небесного!.. Ха!.. Максим Григорьич! Видал? Да из полсотни таких рубликов добрую пушку вылить можно!

Хлопуша скреб за ухом и ухмылялся. Шигаев, встряхивая на ладони тяжелый прямоугольный рублевик, сказал:

– Кабы мастера-знатецы были, на пятаки бы нам перелить их.

– Не на пятаки, а на кресты, – поправил его Пугачев. – Серебреца подбросить, да на большие кресты и

перековать, чтоб те кресты в награждение давать людям за храбрость. Треба, Максим Григорьич, пошукать таких мастеров-та... Чтобы кресты, медали... Давилин! Подай-кось из опочивальни рубаху мою железную.

Давилин притащил легкую чешуйчатую кольчугу-безрукавку; сделана она из некрупных стальных планок, скрепленных проволочными кольцами.

– Вот башкирские знатецы ковали, – взял кольчугу в руки Пугачев и принялся встряхивать. Кольчуга заструилась, зазвенела, как ручеек в горах. – Башкирец Юлай с сыном Салаваткой в дар прислали мне... Хошь и легка штучка, а ее ни сабля, ни пуля не берет. Ну-тка, новый полковник, надень, я по тебе попробую из мушкетона пальнуть. – И Пугачев швырнул кольчугу на колени сидевшему Хлопуше. – Давилин, подай-кось ружье!

Хлопуша вскочил и замахал руками:

– Да что ты, батюшка, ваше величество?.. Не убивай, дай уж мало-мало в полковниках походить.

Пугачев захохотал, погрозил Хлопуше пальцем и крикнул:

– Дурак, да ведь пуля-то отскочит!

– А кто ее знает, батюшка, ей как взглянется... Пущай Максим Григорьич надевает, он человек стреляный, а у меня жена, ребенчишки.

– Да тебе говорят – отскочит! – смеялся Пугачев, потешаясь над перепуганным Хлопушей. По случаю одержанных побед Пугачев был в прекрасном состоянии духа.

Меж тем Давилин распялил кольчугу на полузакрытой двери и подал Пугачеву изготовленное ружье.

– Поостерегись, атаманы-молодцы, а то пуля в сторону прынет, как бы не зачепило кого, – сказал Пугачев, приложился и пульнул.

И как только грохнул выстрел, вбежала в горницу растрепанная, неприбранная, с подоткнутым подолом и с мочалкой в руке Ненила, а за нею горнист Ермилка с топором.

– Вы что тут воюете? – неистово завизжала Ненила.

Все захохотали. А в прихожую уже вломилась толпа яицких казаков – личная охрана Пугачева – с обнаженными саблями, с пиками. У всех разъяренные лица.

– Эй, кто палит? Где государь?.. – гулким басом орал сотник Белоносов.

– Заспокойтесь, детушки! Идите с Богом! – сказал вышедший к ним Пугачев. – Это я новое ружьишко пробовал.

Внимательно оглядывая государя – здоров ли, цел ли, казаки поклонились ему и, тяжело дыша, ушли.

Вместе с Ненилой прибежала из кухни и пестренькая кошка, любимица Пугачева.

– Мурка, Мурка, – погладил ее Емельян Иваныч и взял на руки. Шигаев, рассматривая кольчугу, говорил Пугачеву:

– Насквозь, ваше величество. И кольчуга прошиблена, и дверь насквозь!

Хлопуша, поправив тряпицу на носу и набожно осенив себя крестом, сказал:

– Вот, твое величество!.. Устукал бы ты меня за всяко просто!

– Дурак ты, полковник, императорских шуток не разумеешь, – ответил Пугачев. – Неужто стал бы я стрелять в тебя? Да ты медведь, что ли? Давилин, а ну-ка выброси эту чертову железную кофту на помойку!

– Эта кольчуга против сабли с пикой хороша. Да и пуля, ежели на излете, отскочит, – заметил Шигаев.

Затем были втащены с улицы два сундука и корзины с привезенным Хлопушей добром: три больших зеркала, столовые английские часы и клавесин. Пугачев с удовольствием разглядывал содержимое сундуков, прищелкивал языком, оглаживал руками богатые серебряные кубки, вазы, кувшины, енды, еще недавно принадлежавшие Демидову.

Серебряный орленый кубок с вензелем Петра I Пугачев тут же подарил Хлопуше; высокие, под потолок, часы велел отнести в хату атамана Овчинникова – вернется из похода, рад будет; большое зеркало – Ивану Творогову – пускай красавица Стеша любитесь в него; другое зеркало, поменьше, – полковнику Падурову – да пусть скажут там, чтоб в это зеркало смотрелся не сам полковник, а его татарочка; а вот эту вот мраморную голубь-красотку с отбитым носом – есаулу Шванвичу, да ему же и вот этот бисерный колпак с кисточкой, и меховые рукавицы. Словом, Емельян Иваныч всех оделил дарами. Не обидел и свою особу, отложив кой-какие приятные вещишки.

– А тут чего? – коснулся он ногой большой, как стол, плетеной корзины.

– А здесь-ка сряда всякая, барахлишко, тряпье бабское, – ответил Хлопуша, развязывая веревки на корзине и отпирая замок. – Есть и прянички.

– Медные? – подмигнул Пугачев.

– Пошто медные!.. Самые съедобные! И вареньице тут есть, банок с пять больших, ежели казаки не сожрали в пути.

Хлопуша, присев возле скрипучей корзины, открыл ее и вдруг, всех поразив, внезапно завизжал дурным, оглушительным голосом и повалился на бок.

– Мышь, мышь!..

Кошка Мурка мигом спрыгнула с плеча Пугачева и, урча, ухватила мышонка. Горенка грохнула дружным хохотом. Даже на лице Шигаева, строгом, бледном и постном, как лицо монаха в схиме, выдавилась улыбка. А Пугачев схватился за бока и от неумного хохота закашлялся.

– Уф, дьявол! Пуще смерти мышат боюсь, пятнай их душу! – сразу облившись потом, задыхливо пыхтел Хлопуша. – В тюрьме, в камере, я однажды мыша увидел, едва решетку не оторвал с окна...

– Бывает, бывает... – откликнулся Пугачев. – У меня в свите генерал-адъютант один был, старик, так тот черных тараканов боялся дуже. А на войне первеющий храбрец!

Он запер сундуки и корзину, ключи сунул в карман, велел скликать казака Фофана, хранителя имущества, и, когда тот явился, приказал ему:

– Перетащи-ка с Ермилкой все это к себе вниз. Завтра, в присутствии моей особы, составишь список всему добру.

Затем он указал на искусно сделанную из ясеневоего с резьбой дерева неведомого назначения вещь.

– А это что за оказия такая? Стол не стол, кресел не кресел?

– Музыка, – буркнул в бороду Хлопуша и поднял крышку. – Вот ежели по энтим клапанам вдарить, музыку можно вырабатывать.

– Ну, это мы видывали! – сказал Пугачев, придвинул стул, сел за инструмент и с силой ударил по клавишам обеими пятернями. Струны испустили душераздирающий, разнотонный звук. Пугачев простодушно засмеялся. – Я ведь во дворце игрывал на этой штуковине-то. Почасту игрывал, да вот забыл... Бывало, тетушка Елизавета сама меня учивала и за уши не раз трепала, как где собьюсь... – И он, закусив нижнюю губу, опять забрякал по клавишам, но помягче.

– Ты ногой-то, ногой-то, батюшка, орудуй, притопывай помалу, по приступке-то, – неожиданно проговорил Хлопуша, указывая корявым пальцем на нижнюю педаль. – Учи, учи!.. Не смыслю я с твое-то! – огрызнулся Пугачев и притопнул по педали. – Сия музыка зовется... Тьфу ты, черт!.. Трасмордас, что ли? Забыл.

– Уж вот нет, батюшка, ваше благородие! – опять ввязался Хлопуша. – Она называется – клавесин. А играть на ней надобно вот как... Пусти-ка, батюшка! Ты, я вижу, ни хрена не смыслишь.

Пугачев хотел оттолкнуть его, однако уступил место. Хлопуша засучил рукава, откашлялся, отплюнулся, скривил рот и заиграл.

Шигаев, Давилин и подошедший Максим Горшков придвинулись к Хлопуше и, разинув рты, глядели на него с приятным удивлением. Взяв несколько складных аккордов, Хлопуша подышал в пригоршни, пошевелил кривыми пальцами, стараясь размять их, затем стал двигать бровями и вышептывать, как бы что-то вспоминая. Вот он отбросил назад волосы, вытер вспотевший лоб, покосился на мрачного Пугачева и вдруг, ударив по клавишам, гнусаво, но складно запел заунывную священную стихирю: «Достоин еси во вся времена нет быти гласы преподобных...»

– Ах ты, сволочь! – не то в восторг и похвалу, не то в порицание выкрикнул Пугачев. – Откудов знаешь?

– А как же мне, батюшка, не знать? – захлопнув крышку клавесина, ответил сияющий Хлопуша, и большие белесые глаза его стали бегать от лица к лицу. – Ведь я из вотчины тверского архиерея Митрофана.

– Уж не попом ли был там. Ась?

– Пошто попом?.. Я родом крестьянин, из сельца Машковичи, Тверского уезда. А к архиерею по первости в истопники был взят, а тут в певчие попал, голосишка у меня, у мальчонки, подходящий был. Ну, как спевки у нас почасту случались, я и понаторел на клавесине-то брякать. Я мальчишка озорной был, нечистики-то и попутали меня пакость сотворить. Как-то в Троицын день заприметил я пьяного дьякона в канаве, взял да всю гриву под корешок и обкорнал ему ножницами, а бородищу начисто отхватил. Так дьякон-то от того позору чуть умом не тронулся, а меня – пятнай их черти! – выпороли и прогнали. Владыка-т Митрофан своеручно посохом меня отвозил. Да так мне, подлецу, и надо!..

Все засмеялись. Хлопуша сказал:

– Да уж я тебе, батюшка, когда на свободе, всю жизнь обскажу. Только знай слушай!

4

Сидели за накрытым столом, выпили по доброй чаре крепкого пенника[2]. В глубокое деревянное блюдо, в котором Ненила обычно толкла чеснок и лук, опрокинули банку демидовского малинового варенья. Ели его большими ложками, как кашу, хвалили, запивали квасом с кислинкой. За квасом появилась распластанная соленая рыба, за рыбой опять квас, за квасом тертая редька с конопляным маслом и баранина.

Хлопуша чавкал снедь со всем усердием, громко рыгал «в знак благодарности хозяину», утирал бороду широкой ладонью и неспешно вел свою чистосердечную исповедь.

– А звать меня, люди добрые, Афанасием Тимофеевичем, по роду – Соколов, я уж сказывал. А годов мне сорок пять. Опосля архиерейской службы вторично на деревне жил я, а придя в возраст, пошел в Москву в извозчики, и свел я там в кабаке знакомство с капралом да с сержантом Коломенского полку... Вот как-то закутили мы, по питейным домам ездили. А ночью заехали на Пречистенку; мне велели у рогаток дожидать, а сами ушли. А тут, глядь-поглядь, прут ко мне узлице с серебряной посудой, а через малое время два мешочка денег серебряных да маленький шкатульчик, оправленный золотом, в нем алмазные вещишки. А как зачали на Пречистенке у рогаток бить в трещотки тревогу, дружки мои пали ко мне в сани да дуй не стой на Москву-реку! Ну, иначе, стражники догнали нас, всех троих привели в часть. Путем-дорогой дружки научили меня, чтобы всем троим настоящинское званье укрывать, а показывать одно: все, мол, мы беглые, Черниговского полку солдаты. Нас отправили в военный гауптвахт. Там по суду меня приговорили к шпицрутенам и прогнали через сотню человек шесть разов.

– Не больно сладко, – вздохнув, сказал задумчиво сидевший Шигаев.

– Да, сладости не шибко много, – согласился Хлопуша и потянулся к штофу с вином; ему не препятствовали. – Два раза водой отливали меня, и валялся я изувеченный месяца с два. Шибко я здоровьишком своим скудался. Кровью харкал... Да, родимые мои, спортила меня Москва, вот как спортила! С мазуриками спознался, увечье немалое претерпел! А все через зелье это! – ткнул он пальцем в опорожненный штоф. – Правильно в божественных книгах сказано: не упивайтесь вином, в нем бо блуд.

– Ну, а как в конокрады-то попал? – спросил Шигаев. – Помнишь, в тюрьме ты мне сказывал?

– Нет, Максим Григорьич, не был я конокрадом, ни в жисть не был. То облыжно! После Москвы-то я опять в своей деревне очутился, под Тверью, и жил там в последней бедности. И поехал я в город Торжок и выменял там на базаре коня у мужика. А этот самый мужик – чтоб ему без покаяния, собаке, сдохнуть! – в провинциальной канцелярии возвел на меня поклеп, что я, мол, у него коня украл. А как считался я в своем сельце человеком худого состояния, жители принять и защиту дать мне не согласились. А канцелярия определила высечь меня кнутом и сослать на жительство в Оренбург.

– Вот видишь, Афанасий, – стало, не вино, а сам ты виноват, – укорчиво сказал Шигаев.

– Ничего не сам, а народ шибко виноват, жители. Они не приняли меня.

– Стало, ты согрубил народу, вот и поддержки тебе не дали, – настойчиво вел обвинение Шигаев. – Народ никогда зря не обидит.

– Ой ли? – ввязался в разговор Пугачев. – Нет, Григорьич, как хошь, а не соглашусь с тобой. В народе, брат, разные людишки бывают. Иных за ведро вина можно купить. Я, конечно дело, не про весь народ балакаю, а про скопище, про сброд. Чуешь? – Глаза Пугачева загорелись. Он вскочил и стал шагать по горнице.

Шигаев, сметив, что предстоит с батюшкой разговор «по душам», и считая Хлопушу человеком лишним, сказал ему:

– Слышь, приятель, сделай милость, дошагай до моей хаты, принеси записную тетрадь мою с расходами, буду государю отчет чинить, а я забыл... Я бы Ермилку спослал, да страшусь документ доверить – как бы не утерять...

– С полным нашим удовольствием, – проговорил Хлопуша, польщенный оказанным ему доверием, оделся и быстро вышел. Шигаев запер за ним дверь.

Тем временем Пугачев, припомнив свою давнишнюю беседу со скитским старцем Филаретом, продолжал:

– Ха, народ!.. А слышал ли ты, Григорьич, как рекомый народ ложного Дмитрия на царство посадил, оный же самый народ и разорвал царя Дмитрия на части. Вестимо вам это ай нет?.. Толпища – что комариный рой: куды ветер дует, туды и комары летят... Али взять хоша бы Степана Тимофеича Разина, казака донского, с чего он в руки бояр-злодеев попал и такую страшительную, на колесе, смерть принял?.. А с того, опять-таки, что в народе полного ладу не было и всякие водились душонки промежду него. Наслышавшись мы горазд много об этом, как по Дону довелось бродить. – Он остановился, помолчал и, воззрясь на смущенно покашливающего Шигаева, спросил его: – Ну, а как думаешь ты, Максим Григорьич?.. Вот ты все балакаешь – народ да народ... А ежели б я, к примеру, вышел да и объявил ему, что есть я обыкновенный сирий человек, а вовсе не царь?

Вопрос был столь внезапен, прям и необычен, что оба атамана выжидательно уставились на батюшку. И средь наступившей тишины Пугачев, раздувая ноздри, молвил:

– Народ, чаю, зараз прикончил бы меня... А не то – самовольнице Катерине предал бы...

Пугачев и сам, похоже, смутился этими своими словами. Как будто и повода к ним не было, но вот какая-то шипица вдруг кольнула его в самую душу, и он, не сразу одумав смысл своего вопроса, кинул его своим товарищам.

Безбородый, безусый, похожий на скопца, Максим Горшков, испугавшись, набычился и гулким, с дрожью, голосом сказал:

– Ты, ваше величество, царь есть. Сему народу ведомо это.

– Да знаю, что не лапоть я, не приبلудыш какой! – закричал Пугачев. – Я к примеру толкую. Вот, скажем, взял бы я да и крикнул людям: «Не хочу вас за нос, как индюков, водить, не внук я Петра Великого, а есть я правнук Разина, вольный житель!» Что бы тогда? Ась?

Шигаев приосанился, махнул по бороде концами пальцев вправо-влево, сказал:

– Народ, то верно, разъярился бы, пожалуй... Обязательно разъярился бы, батюшка! – добавил он уверенней и продолжал с внезапной угрозой в голосе: – И тебя бы убил, да и нас переколол бы... А почему так? А потому, что вы, батюшка, укрепил из-под ног у него, у народа-то, вышибли бы, надежду его рушили бы, даль-дорогу ему затмили б. А первой всего – за обман! Ведь не всякий простит обман-то... Эх, да чего там!.. И позднечко нынче про это про все талалакать...

– Позднечко, ваше величество, – повторил и шадристый, неразговорчивый Максим Горшков, двигая вверх-вниз бровями. – Взятся за гуж, не говори, что не дюж.

– Это самое, – вскинув на него глаза, сердито буркнул Пугачев и отошел к окну, за которым чернела глухая ночь.

Горшков и Шигаев переглянулись. Они, каждый по-своему, любили Пугачева, но, охраняя свои

интересы, все время зорко следили за ним. И теперь им обоим вдруг с ясностью припомнилась далекая потайная ночь в бане, припомнилось крестное целование и клятва – признать Емельяна за царя, дабы служить ему верно... Будь же здоров, будь до конца благополучен, отец наш, Емельян Иваныч! Благополучен и... послушен: затеяли дело вместе, так уж не брыкайся, ваше величество, не куролесь... А то и тебе, и нам несдобровать!

Емельян Иваныч напряженно глядел через окошко в тьму, как в стену, полный своим нелегким раздумьем, и в его ушах еще звучал голос, похожий на угрозу: «Народ, это верно, обязательно разъярился бы!» Да, так оно и есть... Ежели не Шигаев с Горшковым – им Пугачев крепко верил, – то другие атаманы вроде Чумакова помогли бы, пожалуй, народу в ярость прийти... Только объявись, попробуй: какой, мол, к лешему, я Петр Федорыч, я такой же, как вы, простой человек, лишь за всех вас духом воспрял! Попробуй-ка этак молвить, вот и заварится буча. Сыщутся, пожалуй, которые и поддержат его, а громада-то, чего доброго, за атаманами пойдет: поздненько, мол, батюшка... Царем-де за гуж ты взялся – царем и тяни, а ежели нет, так и нас с тобой нет. И разобьется народ, как вода и пламень, надвое, и получится великая смута, и проистекут побоища страшные... Нет уж, Емельян, видно уж, ежели «попала в колесо собака, пищи да бежи...» Точь-в-точь так. «А вот возьму, да и упрусь», – мысленно воскликнул он и угрозил во тьму взглядом.

В дверь постучали. Шигаев отпер, впустил Хлопушу, принял от него тетрадь в синей корочке, поблагодарил его. Хлопуша, раздевшись, присел к столу, ужал в корявую лапищу с набухшими жилами штоф темно-зеленого стекла с орлом, встряхнул его и, глотая слюни, с огорчением поставил на место.

– Эх, усохло винишко-то... Выпить ба, – сказал он и, повернувшись к Пугачеву, громким голосом воззвал: – Батюшка, твое царское величество! Подь сюды поближе, каяться перед тобой хочу!

Стоявший у окна, руки назад, Емельян Иваныч с готовностью прошагал к столу, поскрипывая подкованными сапогами, и сел в мягкое кресло. Лицо у него было хмурое, рот слегка подергивался, глаза блестели.

Хлопуша, обхватив ладонями локти и раскачиваясь взад-вперед, как пыльщик в работе, воззрился на Пугачева, заговорил:

– Батюшка, слушай! Как на духу тебе, без утайки.

Он начал рассказывать о том, как перебрался в Бердскую слободу, женился, обзавелся хозяйством, прожил на месте пятнадцать лет, затем ушел работать на Покровский, графа Шувалова, медный завод. И, проработав там трудолюбиво с год, спознался с тремя работниками из беглых людей.

– Оные злодеи в пьяном положении сказали мне: ведут-де в Троицкую крепость касимовские татары кровного дорогого иноходца. Пойдем отобьем!.. И мы, сволочи такие, пошли! Дорогой мы повстречали двух беглых мужиков, таких же воровских людей, как мы. Они обсказали нам, что жеребец уведен далеко, уж его не нагнать, а вот едут-де с Ирбитской ярмарки четверо татар на шести подводах, при больших деньгах, вот давайте-ка их тряхнем. Ну, мы, знамо, согласились и, как выследили татар, запали в буерачик. А как подводы противу нас поверстались, мы выскочили и после бою всех татар перевязали и ограбили. Денег взяли рублей с тридцать, да двенадцать мерлушек бухарских, да сколько-то халатов, да шесть лошадей. После разбою мы, сволочи, татар отпустили, а убитого своего товарища в землю закопали, чтоб ему, язвы его, век в аду гореть! Трое по московской дороге в дома свои пошли, а я с товарищем опять на завод повернул. И вот, батюшка, работаю я на заводе честь по чести, и доходит до меня слух, что ограбленные татары всех нас в Оренбурге оговорили и меня ищут солдаты. Я с товарищем ну-ка с завода бежать! А как не было у нас паспортов, мы и вдругорядь влопались. В Екатеринбурге судная изба при воеводстве определила наказать меня кнутом, вырвать ноздри, на щеках, на лбу поставить клейма... –

Хлопуша боднул головой, поправил тряпку на носу и, ударив себя в грудь, надрывным голосом выкрикнул: – Изувечили!.. На всю жизнь изувечили! Урод я стал. В меня пальцами все тычут, изголяются надо мной стар и мал, за десять сажень орут: «Глянь, глянь: страхолюдное чудище идет!» Тяжелехонько мне, братцы, на свете жить... Батюшка, твое величество! Вели подать вдругорядь эфту посудинку, – неожиданно попросил он, сделав плаксивую гримасу и позвякав ногтем о пустой штоф.

– Нет, не велю, Афанасий Тимофеич, – сказал Пугачев, хмуря густые брови. – Гуляшек безо времени не потакаю.

– Да ведь я, батюшка, не ради пьянки прошу. Плакать мне надобно перед тобой, душу свою богомерзкую тронуть, а плакать-то и нечем... Дай штофик, батюшка, уважь...

– Не проси, не дам, – еще строже сказал Пугачев. – Брось причитать!

Тогда Хлопуша, издав не то рычащий, не то плачущий звук, поднялся во весь рост и сорвал с лица тряпицу.

– Вот, твое величество! Гляди... на меня... изукрашенного... Хорош?!

Еще никто из присутствующих не видал лица каторжника открытым. И теперь, взглянув невольно, все с жалостью и необоримым отвращением откатнулись от Хлопуши... Из носового черного провала торчали безобразные ослизлые хрящи, на щеках и на лбу темнели зарубцевавшиеся несмываемые знаки: «В.О.Р.»

Человек злобно ухмыльнулся, всхлипнул и дрожащими руками вновь повязал тряпицу. От надсадного дыхания в его груди хрипело, булькало.

– Батюшка, царь-государь! – скосоротившись, завопил Хлопуша. – Хоть ты не дашь мне новой хари человечьей, а грех с моей души снять в твоей власти... Ты – царь!

– Да велик ли грех твой, Соколов? Эка штука, – откликнулся Пугачев и махнул рукой.

– Грехов у меня целый мешок, батюшка... не говори! Через них и душа-то у меня безносой стала, и сердце-то, как ошметок, высохло... Людишек убивал я, по пьяному разгулу грабил. Вот дело какое. Попы снимали с меня грехи-то, да ведь они за деньги и черта святым сделают. А вот ты прости меня, по чистой совести прости!.. – Хохлатые брови Хлопуши поднялись, белесые глаза стали как у сумасшедшего, он всплеснул руками и упал Пугачеву в ноги. – Сними ты с меня, окаянного, грехи мои... Помилуй!

– Встань, Афанасий Тимофеич, – сказал Пугачев лежащему у ног верзиле. – Бог и я, государь, прощаем вины твои, малые и большие. Служи мне правдой, тогда все грехи твои насмарку отойдут!

Хлопуша-Соколов с жаром поцеловал колени Пугачева, поднялся и, ни на кого не глядя, расхлябанным шагом пошел к выходу.

– Похоже, хватил Хлопуша-то лишнего, – заметил неодобрительно Горшков.

– Что ж, что хватил, – отозвался Пугачев. – Сказано: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке... Совесть в нем живет – это хорошо... Ах, сволочи! – продолжал он с сердцем. – Каких людей увечили... А еще Овчинников, дурак, все приставал ко мне: повесь да повесь Хлопушу. Экой дурак! Ну, а что же с Хлопушей после Екатеринбург-то сталося?

Шигаев, когда-то слышавший в тюрьме от Хлопуши о всех его мытарствах, сказал, что безносый сослан был на каторжные работы в Тобольск, оттуда бежал, снова был схвачен и сослан в Омскую крепость, но вскоре и оттуда бежал.

– Молодец! – воскликнул Пугачев. – Вот это молодец!..

– Бросился он к Оренбургу, чтобы со своим семейством свидеться, а был схвачен под Сакмарой

казаками и доставлен в Оренбургскую крепость, где в четвертый раз наказан плетью.

– Понравился, видно, кобыле ременный кнут, – буркнул Горшков.

– Да... и оставили Хлопушу страдать в кандалах при тюрьме вечно. Вот тут-то Рейнсдорп и призвал его.

Наступило короткое безмолвие. Все позевывали, закрепщивали рты. Пугачев, снимая послушенными пальцами нагар со свечи, сказал:

– Ну, вот, други мои... Кару, значит, мы всыпали в загорбок. Теперь за Оренбургом черед. Да вот, шибко долго возюкаемся с ним, с Рейнсдорпом-то. Не плюнуть ли нам на него да на матку Волгу податься?! Ведь земли в нашем императорском государстве неоглядно, а мы здесь, кабудь у журавля на кочке, топчемся. Ты как, Максим Григорыч, думаешь на этот счет? Ась?

– Да что, батюшка Петр Федорыч, – покашливая и сутулясь, откликнулся Шигаев, – наше казачье мнение ведомо тебе: без Оренбурга нам не можно! Ведь Оренбург-то у нас – один.

Пугачев, прищутив правый глаз, посмотрел на Шигаева с нарастающим раздражением. Шигаев, подметя это, примирительно сказал:

– Да о чем печаль? Время придет, батюшка, потолкуем наособицу.

– Ну, ин ладно, – отступился Пугачев. – Время что семя: был бы дождик, оно себя окажет. – И, снова обратясь к Шигаеву, спросил его: – А как ты, Григорыч, насчет турецкой войны? Ведь придет же когда-нито ей скончание? Как бы нам, мотри, не опростоволоситься, Григорыч. Ведь Катерина-то, чаю, дюже хвост поджала, вдруг да заключит она с султаном мир... да и двинет супротив нас с тобой целый корпус? А мы все околачиваемся возле Оренбурга твоего...

Сутулый, высокий и сухой Шигаев, не торопясь, поднялся, вправо-влево щелкнул по бороде концами пальцев, заложил руки назад и прошелся по горнице. Затем сказал:

– С войной еще долга песня, Петр Федорыч. Которые прибегают к нам из деревень да заводов, сказывают, что опять рекрутов набирают по России-то... А Оренбург так и так брать надо... Надо, Петр Федорыч, батюшка...

Пугачев насупился, передернул плечами, засопел и, недружелюбно поглядывая из-под хмурых бровей на Шигаева, с раздражением сказал:

– Ну, атаманы, спать пора! Ты, Шигаев, упреди-ка Федю Чумакова, чтоб завтра привел в боевой распорядок артиллерию, я смотренье буду делать, а всем канонирам строгую проверку учиню.

Было два часа ночи. Гости наконец ушли. Утомленный Пугачев прилег на кровать, не раздеваясь, и сразу захрапел.

Перед рассветом ему привиделся недобрый какой-то сон. Он заскрипел зубами, застонал, затем дико принялся вопить. Растолкала его прибежавшая на голос Ненила. Она – в одной рубахе, в накинутой поверх плеч пуховой шали. Теплая, разомлевшая от сна, склонилась над Пугачевым, перепуганно забормотала:

– Батюшка, батюшка, очнись!

Он оттолкнул ее и, не размыкая глаз, как бы продолжая с кем-то спорить, гневно говорил взхлеб:

– К лешему, к лешему Оренбург!.. Че-го-о! Да как вы смеете?! – Застонал, перевалился на бок и опять: – Ну, так и торчите здесь с Петром Федорычем своим... А я... А я на Дон, на Волгу... Геть с дороги, так вашу, геть, геть!

Он скрежетал зубами и захрипел, будто его сгребли за глотку. Вся дрожь от страха, Ненила принялась трясти его:

– Батюшка, ягодка моя, очнись! Уж не домовой ли тебя душит...

– Ась? – промямлил Пугачев, спустил с кровати ноги, сел, открыл глаза и, почесывая волосатую грудь, сонным голосом спросил: – Ты, Ненилушка?

– Я, батюшка, твое величество... я!

– Кваску бы мне... с кислинкой.

Обрадованная Ненила схватила со стола порожний жбан и кинулась на кухню:

– Чичас, родименький, чичас!

В этот самый час оправившийся от лихорадки генерал-майор Кар, сидя в деревне Дюсметевой, не спеша сочинял пространную реляцию в Военную коллегия. Описывая подробно все свои неудачные стычки с неприятелем и с неопровержимой, как ему казалось, логикой выставляя причины этих неудач, он между прочим требовал:

Затем он стал писать президенту Военной коллегии графу Чернышеву. Повторяя в частном письме причины неудач и свою просьбу выслать ему военную силу с артиллерией, Кар попытался запугать графа Чернышева.

В конце письма следовал погубивший карьеру Кара более чем рискованный постскриптум:

Глава III

У П. И. Рычкова гости. Отчаянный купчик

1

Знаменитый Рычков^[3], давнишний житель Оренбурга и Оренбургского края, член-корреспондент Академии наук, член Вольного экономического общества, принадлежал к числу недюжинных русских людей елизаветинского и екатерининского времени. Хотя Рычков и не получил систематического образования, но, будучи одаренным от природы и благодаря своему необычному трудолюбию и великой склонности к наукам, он был широко известен образованным кругам не только Москвы и Петербурга, но и ученым Западной Европы.

Высокий, очень упитанный, с размашистыми жестами, но уже достаточно престарелый – ему шел шестьдесят второй год – Рычков имел крупное овальное лицо с выражением упрямства и надменности. Серые выпуклые, необычайно спокойные глаза, слегка приплюснутый нос, круглый подбородок, длинные седые, в буклях, волосы.

Он состоял в должности начальника соляного дела Оренбургской области и очень печалился, что знаменитые соляные промыслы в Илецком городке пограблены и наполовину порушены пугачевцами.

В воскресный день, сразу же после поздней обедни, к нему неожиданно появились посетители.

– Ну, вот, Петр Иванов, уж не обессудьте, гостей к вам привел, двух благочестивых коммерсантов, – сказал прокурор Ушаков, подслеповатый, низенький, с брюшком, в мундире и при шпаге.

Оба купца поклонились хозяину с приятными улыбками. Первейший оренбургский купец Кочнев, высокий и долгодородый, бывший от купечества депутатом Большой комиссии, застенчиво потеребливая бороду, сказал:

– Ну извини, брат Петр Иванов. Не бывывал я еще в твоих новых хоромах-то. Вот, любопытства ради, и пришел, да и приятеля с собой привел, это купеческий сын из града Курска Авдей Иванов Полуехтов, прошу любить да жаловать!

– Знакомы будем, знакомы будем! – тенористо выкрикнул молодой кудрявый купчик, закатился беспричинным смехом и столь крепко сжал мускулистой лапищей пухлую руку Рычкова, что тот болезненно сморщился и выдохнул:

– Ой, ну и сила же у вас!

– Ха-ха!.. Силой Господь-батюшка не обидел, – снова закатился Полуехтов, закинул руки за спину и, бесцеремонно высвистывая какую-то бурлацкую, взад-вперед стал ходить по кабинету. Краснощекий, широкоплечий, в синей поддевке и алой шелковой рубахе, перехваченной персидским чеканным поясом, он, несмотря на ранний час, уже был навеселе: от него изрядно пахло водочкой.

Рычков поглядывал на него с некоторым удивлением. Степенный Кочнев, осматриваясь, сказал:

– Добрые, добрые у тебя хоромы, Петр Иванов!

– Оное обиталище выстроено на казенный кошт губернатором Рейнсдорпом и отведено мне, – ответил Рычков. – Дивлюсь на сего капризного барина: то он ко мне полный решпект имеет, то вдруг –

вожжа под хвост, и я уже не хорош ему. Наш губернатор, ежели хотите знать, низкопоклонство да лесть любит, а у меня ни того ни сего и в природе нет.

Брюхатенький прокурор Ушаков ядовито улыбнулся, он прекрасно знал мнение Рейнсдорпа о Рычкове. «Помилуйте, то ж Тартюф, настоящий Тартюф! – не стесняясь говорил про него губернатор. – В нем неограниченное самолюбие, глупое тщеславие и низкая зависть. Но иногда он прикидывается признательным. Впрочем, я отдаю всю справедливость его уму, хотя и не вполне возделанному».

Рычков был действительно умен и наблюдателен. Он тотчас разгадал смысл язвительной улыбки прокурора и, укорчиво взглянув на него, сказал:

– Ежели немец-губернатор, в силу своей душевной ограниченности, не умеет ценить таких, как я, то меня и фамилию мою ценит и чтит российское общество. И вот доказательство сему. Господа купцы, пожалуйста сюда! – Он взял их под руку и подвел к письменному столу, на котором лежали две большие медали. – Вот, извольте видеть, обе сии медали получены нами в награждение от Вольного экономического общества. Моя – серебряная – за сообщение туда разных моих сочинений и опытов. А эта вот – золотая – супруги моей, Алены Денисьевны Рычковой.

– О-о-о? За что же женскому полу этакая медалища? – удивился Полуехтов.

– А вот читайте! – И Рычков показал ему диплом: «За оказанное усердие нашему обществу присылкой как прежнего, так и нынешнего рукоделия».

– Ха! Стало, супружница-то перекрыла вас. Вам серебряную, а ей золотую!.. Ха! Ну, я бы не поддался, ей-Богу, право! Я свою бабу во страхе завсегда держу, – с чувством собственного превосходства воскликнул курский купчик.

Рычков улыбнулся и, достав из ящика третью медаль, сказал:

– Позвольте, позвольте... Победителем-то все-таки остался я. Вот большая золотая медаль, полученная мною не столь давно от того же Вольного общества в награждение трудов моих.

– Ну, слава те Христу, что вы верх взяли, – проговорил простоватый Полуехтов, взвешивая на ладони ценность золотой медали. – Нет, ваше высокородие, супружниц завсегда нужно в страхе содержать, чтобы не в свое дело не лезли. Медаль для бабы – это баловство, ей-Богу, баловство... Не женского ума сие дело. Да ежели б моя половина медаль получила, а я нет – ну, знаете... отойди-подвинься! Я бы после такого позору бабу свою извел бы... Я человек карахтерный, ей-бо, право! – Купчик говорил горячо и не стесняясь, даже с оттенком задорного бахвальства.

Рычков с удивлением и любопытством выпучил на него большие серые глаза, а купчина Кочнев стал своему приятелю пенять:

– Полно болтать-то, Авдей Иваныч, постыдись! Ведь твой родитель в купеческую гильдию по Курску вписан, а ты...

– Да ведь обидно, Илья Лукьяныч. – И одернутый купчик конфузливо зачесал в своей кудреватой голове. – Вдруг моя баба медаль бы получила, а я нет. Да меня тогда весь город засмеял бы!.. А вы меня, ваше высокородие, разожгли медалями-то... Эх, зачем я не офицер, не генерал, не дворянин хотя бы.

– Друг мой! – И Рычков, широко улыбаясь, взял молодого Полуехтова за плечи. – Ежели вы, будучи купеческого сословия, окажете доблесть на поле брани, то неукоснительно и медаль получите, а нет – и крест.

– Скажи на милость! – протянул купчина. – Я ведь драться охоч, у нас, в Курске, я кажинный праздник на кулачный бой выхожу. Бью крепко! – Он плюнул в горсть и, размахнувшись, ударил кулаком по

воздуху. – Р-раз – и с каблуков долой! Вот ежели б случай вышел здесь со злодеями схватиться!.. А?

– Здесь похвально было бы тем более, – поощрительно сказал Рычков. – Наш несчастный Оренбург является наивящей ареной для отличения подвига ратного...

– Ваше высокородие, отец родной! – с необычной горячностью вдруг закричал купчик, наступая на Рычкова. – Не можно ли обо мне губернатору доложиться?.. Я бы скуки ради...

– Брось, Авдей! Тут тебе не кулачный бой! – прикрикнул на него степенный Кочнев. – Это в тебе не отвага, а винцо говорит. И где ты, чадо лукавое, спозаранку клянуть-то спроворил?

– За обедней, Илья Лукьяныч, видит Бог – за обедней. Выскочил я из собора да в сторожку, а там у пономаря вино. Хлопнул на размор души да опять в собор... – Купчик подбоченился и бесцеремонно сплюнул. – А я на Пугача, поистине скажу, сердит. Он, супостат, в великие убытки меня ввел, ей-бо, право. Ведь я, господа хорошие, товаров сюда понавез, с бухарцами да с ордой на Меновом дворе менка ладил устроить, баш на баш, как говорится. А глянь, что вышло? Тьфу! Сидению здешнему конца-краю не предвидится. Нет, я с ними, с разбойниками, сшибусь, видит Бог, сшибусь!.. Я человек отчаянный. Эх, в казаки, что ли, записаться, к Мартемьяну Бородину...

– Ваше усердие, господин Полуехтов, вступить в бой с нашим общим врагом весьма похвально, – покашываясь на Кочнева, наставительно сказал Рычков. – Я чаю, вы не токмо о своих делах печетесь, но такожде и о чести родины помышление имеете.

– Ну, где там о родине! Просто – кровь кипит, поозоровать охота, – бесхитростно ответил купчик и стал осматривать, пробовать на ощупь, колупать ногтем всевозможные предметы, в порядке развешанные по стенам и разложенные по полкам: образцы знаменитых оренбургских шалей и других изделий из козьего пуха, канаты из крапивного волокна, колпаки и холстинку из травы кипрейника, куски разноцветной юфти, ткани из верблюжьей шерсти, осколки всевозможных минералов, медной и железной руд, кубики каменной соли, пробы «горячей угольной земли», то есть каменного угля, – целый музей.

– Многое из того, что вы видите, – сказал Рычков, – я собрал лично и с точностью описал места сих богатств земных недр. Мною описаны также и многие местные промыслы – как вязание шалей, выделка юфти, ткачество сукон из верблюжьей шерсти и прочее. Я приложил немало хлопот к тому, чтобы эти промыслы улучшить, расширить, и того достиг. Помимо сего, новым промыслам положил начало – например, выделка канатов из крапивного волокна, производство краски из травы кипрейника. Да всего и не перечислить. Все это описано мною и опубликовано в «Трудах Вольного экономического общества».

– Купцом бы вам быть, фабрику иметь! – польстил ему Кочнев.

– А что же? – сказал Рычков. – Родитель мой – именитый купец, жил он сначала в Вологде и через Архангельск имел с Голландией торг хлебом, да разорился и переехал в Москву, где и отдал меня, восьмилетнего мальчика, в обучение европейским языкам, арифметике, бухгалтерии. Мой родитель ладил из меня просвещенного купца сделать...

– А вышли вы, Петр Иваныч, ученым мужем, – вставил все время молчавший прокурор Ушаков и закурил трубку.

– Вашими устами глаголет истина, – с легким поклоном ответил осанистый Рычков и, оправив рукой седые волосы, торжественно проговорил: – В Священном Писании сказано: «Похвала детям – отцы их», а со мною вышло иначе, и я не без гордости могу похвасть: «Похвала отцам – дети их».

Гостям очень хотелось есть, они с нетерпением ожидали приглашения к хлебосольному столу, у них были унылые лица. А хозяин все говорил и говорил, он стал показывать прокурору и Кочневу свои многочисленные напечатанные статьи по многим хозяйственным, бытовым и экономическим вопросам

края.

– Это все мелочь, – говорил он, – а главная моя работа – «Оренбургская топография» – была еще двадцать лет назад одобрена самим Ломоносовым, коему я был персонально известен.

Рычков пространно стал рассказывать о своем поместье в селе Спасском^[4], о находящемся там опытном медном заводике, приносящем ему одни убытки, о том, как в Спасском пять лет тому назад его посетили и прожили по две недели знаменитые академики Лепехин и Паллас, в команде которого работал в чине прапорщика старший сын Рычкова.

Наконец, приметя, что гости утомлены, и желая привлечь внимание молодого купчика, Рычков приподнятым голосом и не без хвастливости стал говорить о том, как в 1767 году он преподносил императрице свои труды.

– И я, государи мои, удостоился слышать из уст ее величества следующие слова: «Мне известно, что вы довольно трудитесь в пользу отечества, за что вам благодарна». И более часу изволила расспрашивать меня владычица в парадной своей опочивальне об Оренбурге, о ситуации места, о хлебопашестве и коммерции столь снисходительно и милостиво, что тот день наилучшим и счастливейшим в жизни почитать мне надлежит. Предводителями к сему счастью были его сиятельство Григорий Орлов и приятель мой – историограф Миллер.

Прокурор снова язвительно заулыбался: его взор как раз наткнулся на лежавший перед его глазами пакет, предназначавшийся профессору-историографу, Федору Ивановичу Миллеру, с довольно странным адресом: «Дом его за Яузским мостом, идучи на гору, первья низменные каменные палаты на левой стороне, где прежде бывала аптека».

– И доходит? – поинтересовался Ушаков, указывая на пакет.

– Всенепременно, – ответил хозяин. – Мой милостивец и друг известен не только ведомству почтовому, но и всему миру.

– Верблюды! – взглянув в окно, вдруг вскрикнул купчик Полуехтов и стремительно выбежал на улицу.

Гости и хозяин прильнули к окну. По дороге неспешно шествовал большой караван верблюдов. Долговязые животные, слегка покачиваясь, гордо несли свои небольшие головы на мускулистых и длинных, слегка изогнутых шеях. Они, видимо, прошли трудный путь, были тощи, на их ребристых облезлых боках висела грязной бахромою свалывшаяся бурая шерсть. Меж их горбами навьючены огромные тюки. Животные были связаны нос в хвост – гуськом, по шести верблюдов в связке. Рядом с ними шагали худые, со втянутыми щеками, чернобородые люди, одетые в цветные халаты и войлочные остроконечные шапки.

Шумно вбежавший с улицы купчик замахал руками и закричал, как в лесу:

– Хивинцы! Тридцать верблюдов! А шесть верблюдов пугачевским разбойникам достались. Напали, дьяволы, двух хивинцев саблями порубали, третьего в полон увели. Ах, сволочи! Ну, тепереча Пугачу на портки да на рубахи всяких шелков хватит! – Купчик засунул в рот купленный на улице бублик и стал с азартом чавкать, как умирающий от голода.

Хозяин покосился на него с брезгливостью и позвонил в серебряный колокольчик. Вошедшего слугу спросил:

– Завтрак готов?

– Пожалуйте-с... Пироги из печки вынимают.

– Господа, прошу!

Все сразу повеселели.

У стола уже распорядилась краснощекая пожилая Алена Денисьевна. Поздоровались, поздравили хозяйку с праздником, сели за стол.

– Ой, да какие уж нынче праздники. Каждый час смерти ждешь, – вздохнула хозяйка, раскладывая по тарелкам пирог с рыбой.

– Бог не без милости! – сказал Кочнев, перекрестился и принял от хозяйки две доли пирога.

Потянулись разговоры о тяжелом осадном времени и желчные упреки по адресу губернатора: он нераспорядителен, ленив, не смог обеспечить город ни продуктами, ни фуражом, крепость в самом плохом состоянии, а главное, а главное... губернатор Рейнсдорп проплясал со своими завсегдатаями-гостями самый горячий момент и дал злодею Пугачеву непомерно усилиться.

– Вот уже месяц, как длится осада, – с горечью в голосе начал Рычков. – Надлежало бы в назидание потомкам летопись сему великому историческому событию писать. Но кто за сей почетный труд возьмется?

– Вы, вы, Петр Иванович. Вам и книги в руки! – раздалось со всех сторон.

– Истинно, мне надлежало бы, моему испытанному перу. Но, судари мои, десная рука моя скована: губернатор все сие дело держит в тайне, вся переписка у него под замком. Столь непонятное отношение ко мне со стороны Рейнсдорпа я считаю преступным, а для исторических перспектив – пагубным.

Вдруг близко ударила вестовая пушка. Алена Денисьевна, сильно вздрогнув, вскочила и зажала уши.

– Ну, начинается! – бросив салфетку, пробасил Рычков.

Ударила вторая пушка. Вскочил и купчик.

2

На крепостной вал, охвативший город пятиверстным хомутом, уже сбегались праздные зеваки.

Как только с угловой батареи прогремел пушечный выстрел, тетка Мавра, по прозвищу Золотариха, бросила у колодца ведра с водой и тоже побежала на вал. Высокая, черная, с большими плутоватыми глазами, в народной душегрее, она была столь любопытна и жадна до всяких происшествий, что не пропустила ни одной стычки пугачевцев с защитниками крепости. Эта сорокалетняя разбитная баба была известна городу как содержательница маленького веселого притона, где иным часом совершались жестокие драки, по базарным же дням она торговала на рынке пирожками, блинами, сбитнем.

Прытко взбежав на вал, она выбрала самое удобное место. Отсюда была хорошо видна вся окрестность: белое, запорошенное снегом поле, высокая Маячная гора, постройки Менового двора, стоявшего на отшибе от города, слева – мрачные кирпичные сараи, справа – выжженный пригород – Казачья слобода, а на горизонте – одетые лесами увалы гор.

Все тихо, все спокойно. Только видно, как между кирпичными сараями, из оврага в овраг, перебегают верхоконные пугачевцы.

Золотариха постояла, посудачила с соседями, оглянулась назад: в сиянье холодного солнца пестрел примолкший Оренбург. Над деревянными избами и белыми мазанками высились девять церквей, двухэтажные палаты губернатора и губернской канцелярии, обширный дом гауптвахты с обитым белой жестью куполом, над которым – городские часы с колоколами, далее – цейхгауз, артиллерийский двор, почта, госпиталь, торговые ряды, кирпичные дома купцов и местной знати. Город казался издали многолюдным, красивым и богатым. Золотариха часто любовалась с вала родным городом.

Вот она снова повернулась лицом к степи и, всматриваясь из-под ладони вдаль, звонко закричала:

– Глянь, глянь! Едут!

За кирпичными сараями, на возвышенном взлобке, действительно собралось сотни три пугачевцев. До них было версты полторы, и на таком расстоянии они крепостных пушек нисколько не боялись. Они, очевидно, выехали лишь погарцевать да по праздничному делу поразвлечься, подразнить осажденных. А ежели Рейнсдорп не стерпит да вышлет на них команду, то и сразиться. Они там горланили песни, орали, взапуски скакали на конях, снова собирались в круг.

Вскоре от круга отделились человек тридцать головорезов и, пригнувшись к луке, с гиком ринулись на крепость. Это были подгулявшие яицкие казаки. Впереди них – отпросившийся у «батюшки» побаловаться чубастый горнист Ермилка.

Вот они подкатили к самому рву против Бердских ворот, до них было не более полутора шагов. Молодые, веселые, разгоряченные вином и скачкой, они замахали шапками и закричали толпившимся на стене солдатам:

– Эй, не стреляйте! Видите – мы без ружей. Долго ль вам воевать? Сдавайте, солдаты, крепость! Государь милость окажет вам. А не взявши крепости, царю прочь не уйти.

– Убирайтесь, хриstopродавцы! – отвечали со стены. – Ах вы супостаты, изменники!.. Вот уж мы вас!

Казаки, потрясая пиками, горланили в ответ:

– Мы и сами, подобясь собакам, умеем против лаять, да не хотим так безумствовать...

– Ах, не хотите! – кричали со стен и с вала. – Что вы задумали, пьяные ваши рожи, с Пугачом-то со

своим?

– По-вашему – Пугач, а по-нашему – милостивый царь! Вот уж сам наследник Павел Петрович прибудет к нам. С ним семьдесят две тыщи войска. Тогда сотрем вас!

Вдруг они проворно подались назад и, отъехав сажен пятьдесят, остановились: из крепости выехала полусотня оренбургских казаков и пальнула в них из ружей.

– Ах, дьяволы! – звонкими голосами кричали пугачевцы, грозя нагайками и отъезжая на недосыгаемое для пуль место. – Так-то вы по безоружным... А ну, наезжай на нас! – заманивали они врага.

– А что, ребята, давай ударим на них! – сказал оренбуржцам бравый урядник. Он взмахнул нагайкой, скомандовал: – Айда! – и, увлекая свой отряд, помчался на пугачевцев.

Те, подпустив их очень близко, выхватили ловко спрятанные винтовки и, отскакав порядочное расстояние, вновь остановились.

– Труссы! Обманщики!.. Ишь ты, безоружными прикинулись! – сердито кричали им оренбуржцы и тоже остановились. Среди них было двое слегка раненных. – Труссы... Ваше дело зады казать! Собаки!

Вдруг с вала увидели: из гущи оренбургского отряда выехал на статном, рослом скакуне всадник и, размахивая какой-то длинной палкой, смело помчался один на пугачевцев. Те, прикинувшись испугавшимися, стали отъезжать, а всадник все еще продолжал скакать за ними и что-то кричал.

Заманив его подальше, пугачевцы, присвистнув, повернули коней и бросились ловить его. Всадник под самым их носом поскакал обратно. Когда он сравнялся с полусотней своих казаков, те тоже поскакали вместе с ним обратно, стараясь в свою очередь заманить теперь пугачевцев под выстрелы крепостных пушек. Но пугачевцы, заметив это коварство, вовремя остановились. С крепости раздался пушечный выстрел картечью, один пугачевец упал с коня, его подхватили товарищи и стали отступать.

Тогда всадник с палкой снова припустился за ними.

– Да ведь это знаете кто? – улыбаясь и оторвав правый глаз от подзорной трубы, сказал Рычков своему соседу, архивариусу Старцеву. – Это же курский купчик Полуехтов. Он у меня только что в гостях был и прилично выпил.... Вот отпетая башка!

– Да неужели он? Позвольте-ка! – попросил архивариус трубу и долго не мог поймать глазом снующих по полю всадников.

Золотариха, услышав, что речь идет о курском купчике, схватилась за голову и завопила:

– Ой, кормильцы! Что только таперь и будет! Ведь он мне два с половиной задолжал...

Полуехтов без шапки, в поддевке, не с палкой, как представлялось издали, а с железной увесистой клюкой в руке уже мчался за отступавшими. Вот он настиг их, врезался в толпу, вот клюка его проворно заработала по головам, по спинам, один кувырнулся из седла. К нему со всех сторон кидались пугачевцы, силясь схватить за узду коня, чтоб живьем привести «батюшке» свою добычу. Но сильный, рослый конь взвился на дыбы, ударил задом и под громоносные восторженные крики с вала, сминая пугачевцев, помчал своего хозяина назад.

Золотариха, облегченно ахнув, затряслась от радости. За купчиком с гиком, с визгом, вздымая тучи снега, во весь опор неслась разгоряченная погоня. Но резвый конь, наддавая ходу, всех оставил позади. Привстав на стремянах и размахивая клюкой, купчик на все поле кричал осатанелым скакунам:

– Не отставай, не отставай!.. Эй вы, лиходеи! – Вот он приостановился, подпустил их почти вплотную, обругал самым смачным словом и снова ринулся к крепости.

– Имай, так его... имай! Хватай живьем! – орал Ермилка, примеряясь ударить врага пикой.

Но, доскакав до опасного места, где может сразить крепостная картечь, хитрые пугачевцы – как в стену – враз остановились. Им люб был отчаянный детина. Молодые, разухабистые, хватившие вина, они сквозь одобрительный хохот вразноголосицу кричали:

– Эй, молодец! Айда к нам! Тебя государь доразу атаманом поставит.

Но пьяный Полуехтов, крутя железной клюкой, как нагайкой, с руганью снова бросился на них. Они, стараясь заманить его как можно дальше, опять кидались наутек.

Такая игра продолжалась недолго.

Полковник Хлудов, заместитель обер-коменданта, решил положить конец любопытному, но бессмысленному зрелищу. Чтоб как следует проучить эту надоедливую кучку пугачевцев, он приказал выпустить из запасных ворот еще две сотни казаков и, как только пугачевцы зарвутся вперед, ударить на них в лоб и с флангов. Но этот маневр сразу же заметили зоркие, стоявшие в резерве за сараями противники. И лишь прозвучал сигнал к атаке, как из-за кирпичных сараев, из глубокого лога выехало на взлобок густое скопище пугачевцев. Изготовив пики и ружья, они галопом пошли навстречу врагу. Тогда с батарей загрохотали пушки, две гранаты разорвались над головами пугачевцев, их ряды смешались, они повернули обратно, рассыпались по полю и вскоре исчезли за перелеском.

Солнце садилось. В воздухе тишина и легкий морозец. Казачьи команды по мосту через ров возвращались в крепость. Впереди на своем коне ехал, сугорбясь, притомившийся Полуехтов. Он утирал красное щекастое лицо подолом рубахи. От кудрявой простоволосой головы его и от широкой спины шел парок. Его разгоряченный конь был в мыле. Как бы сознавая важность исполненного долга, конь гордо выступал, грыз удила, мотал головой, фыркал, с презрением косился большими черными глазами на толпу.

Кто-то из толпы крикнул «ура». К Полуехтову подбежало несколько человек, чтобы пожать руку, чтоб одобрительно похлопать его по плечу. Купчик кланялся и, болезненно морщась, улыбался: он начинал мерзнуть и в душе ругал себя, что не надел полушубка, – пугачевцы все-таки здорово отлупцевали его нагайками, через полушубок не так было бы больно.

Ну да и он в долгу не остался: изогнутая в драке железная крюка висела у него с левой стороны, как турецкая кривая сабля.

– Авдей! Авдей! – звонко, чтоб все слышали, голосила чернявая Золотариха, поспешая за купцом и расплескивая из ведер воду. – Слышь, Авдей! Никуда не уезжай, прямо ко мне... Выпьем!

– Поди к черту! – с презрением бросил купчик в лицо слишком бесцеремонной бабы.

Толпа злорадно над Золотарихой всхохотала. Кто-то крепко прилепнул бабу по спине, рыжеусый казак игриво ущипнул ее с коня: «Почем сукнишко?» Она взвизгнула, затем по привычке разразилась площадной бранью.

Толпа оттерла купчика от казаков, и он поехал теперь среди народа. К нему протиснулся купец Кочнев со своим приказчиком.

– Ну, и дурак же ты, Авдей! – тихо сказал он Полуехтову. – Слезай, одевайся... Мороз ведь!

Купчик послушно слез с коня, с охотой надел поданный ему приказчиком лисий тулуп и уселся с Кочневым в ковровые купеческие сани. Пара пегашей неспешной рысцой тронулась по улицам.

В церквах благовестили к вечерне. Смерклось. У дома губернатора зажигали масляные фонари. Навстречу попадались конные разъезды и пешие патрули. Вот четыре огромных, по дому, воза сена, их тащат маленькие лошаденки. На каждом возу казак. Возле возов шагают рядом с казачьим урядником

пожилые озлобленные мещане.

Хивинцы вели на водопой верблюдов. Два высоких парня, быстро шагая в ногу, несли на головах глазетовый гроб. Пятеро пьяных гуляк, взявшись за руки, плелись цепочкой поперек дороги, нескладно горланили:

Пра-падай моя те-лега,
Все четы... четыре колеса.

– И чего ж ты ругаешь меня, Илья Лукьянович, – не попадая зуб на зуб, проговорил купчик Полуехтов; на него вдруг напала необратимая икота и стала бить нервная дрожь.

– Да тебя не ругать, а трепу тебе надо дать хорошего! – отечески брюзжал степенный Кочнев. – И с чем ты против них, сволочей, шел? Ну, хоша ружье бы у тебя было, либо пистолет, либо сабля, а то с бабьей кочергой какой-то... Тьфу! Срам смотреть! – Кочнев схватил клюку и с омерзением вышвырнул ее на дорогу.

– Кучер, стой! – крикнул Полуехтов и, шустро соскочив с саней, подобрал со снега боевое свое оружие. – Ты этой штучкой не швыряйся, Илья Лукьянович! Я ее в Курск свезу: вот, мол, видали, братцы...

– Дурак!.. Ведь тебя наповал могли убить. Да ты, никак, соколик, пьян?

– Ни в рот ногой, – проямлил купчик, икнул и затрясся еще больше. – С такой бучи опьянеешь! – Молодому сорванцу только сейчас во всей ясности представился весь ужас его безумной отваги, и ему стало по-настоящему страшно. Он зажмурился, схватился за виски и с отчаянием выдохнул: – Ух ты!..

В крепости забил барабан, в казармах заиграли зорю, в пугачевском лагере глухо стукнула зоревая пушка.

Перед ужином купцы ходили в баню.

– Ого, – со скрытым смехом сказал Кочнев, осматривая исхлестанную спину Полуехтова. – Да тебя супостаты-то в клеточку разделали!

– С нами Бог! Будем живы – заживет! – И бесшабашный купчик попросил приказчика натереть ему спину редькой.

3

На другой день Полуехтов был приглашен в канцелярию Рейнсдорпа.

– Маладец, маладец!... Гут-гут-гут! – встретил Рейнсдорп и покровительственно потрепал по плечу. – Как твоя фамилия, дружок?

– Полуехтов, – ответил широкоплечий купчик, поеживаясь: у него все еще болела со вчерашнего спина.

– Полу-эхтов, – протянул губернатор. – Странное имечко... Полу – это я понимаю, полу – сиречь половина. А что сей сон значит – эхтов? Господа, что означает – эхтов?

Чиновники пожимали плечами.

– Петр Иваныч, – обратился губернатор к бывшему тут Рычкову. – Вы человек резонабельный и оччень чудесно знаете русского языка. Что означает – эхтов? Полуэхтов?

– Затрудняюсь сразу в соображение взять, Иван Андреич, – потирая лоб, ответил озадаченный Рычков. – Не смею утверждать, но возможно, что сие слово произошло от простонародного восклицания: «Эх, ты!»

– Глюпая, глюпая прозвищ, чтоб не сказать более.

– Я из-за прозвища виноватым себя не считаю, – буркнул купчик и потупился, потеревливая свою небольшую бородку.

– Шо, шо?.. Но... молодой человек, – молодецвато повернулся на каблуках губернатор к робко стоявшему купчику. – Существует, молодой человек, в природе два храбростя: один разумный – ради долга перед отечеством, ради защищения ближнего, наконец – в защиту собственная честь. А другой храбрость – глюпый, сумасбродный, никому ненужный. Например, человек на спор, сиречь на пари, бросается с колокольни вниз тормашки. Это храбрость? Храбрость! А кому от такой храбрости, я вас спрашиваю, горячо или холодно?

Вполне довольный своим красноречием, губернатор вопросительно уставился на Полуехтова, а тот по простоте сердечной ждал, когда же губернатор приколет на его грудь медаль за храбрость.

– А где вы, голюбчик, проходил столь искусную кавалерийскую школу? Ты сидишь в седле много крепче, чем мой казак, ты как дикий башкирец ездешь, я сам вчерась видал в подзорный трубка.

– А это сызмальства я, родитель-то мой, всю жизнь конями барышничал.

– А, карашо, карашо!.. Понимайт. Ну, а для чего ты работал одна сабля? Я оччень наблюдать, как ты проворно рубил по головам, и... и... немало дивился, по какому казусу ни у одна разбойник не слетела с плеч башка.

– А как была у меня в руках клюка, я только глушил супостатов да по спинам долбал, – ответил купчик. – Клюкой головы ни в жизнь не срубишь.

– О, клюкой! – воскликнул губернатор. – Господа, что значит сей род оружия – клюкой?

– Клюка, ваше высокопревосходительство, это, – согласным хором ответили чиновники, – это железная палка с загогулиной, клюкой в печке ворошат...

– А-а-а, паньмайт... О! Вот вам русская герой. Похвально, оччень похвально! – с пафосом произнес губернатор. – В своей юности (он не хотел сказать «в молодости», ибо до сих пор считал себя молодым), в

юности я тоже был недозволительно храбрый, но, господа, я не отважился бы с одна крюка, с одна загогулин вступить в подобная шармюнецель. О нет!... Я не очшень стал бы скакать на эта, извиняйте, каторжники! О, нет! Да, молодой человек, за подобный поступка надо сажать в дальхауз, как это, как это... в дом безумства... Но, но... тем не менее, – отечески прикоснулся он к плечу купчика, – тем не менее – отдавая дань справедливости, я вам объявляю, милсдарь, своя благодарность за ваша беззаветный смелость, проявленный к нашему общему презренному врагу, за ваш патриотизм! – выкрикнул губернатор и пожал руку вконец растерявшемуся купчику. – Ну, ступай с Богом! Мой приказ о вашем поступка будет опубликован вслед за сим.

Красный, с горящими глазами, Полуехтов прикрякнул, отдал губернатору поклон, с неприязнью покосился на Рычкова, как бы говоря: «Ну, где же твоя медаль? Наобещал с три короба, лясник!» И, по-сердитому стуча каблуками, вышел. «Приказ, приказ... А черт ли мне в его приказе-то! Только по усам помазал», – злобно думал Полуехтов, сбегая по белокаменным ступеням.

Он отправился в притончик Золотарихи и с горя напился там.

Глава IV

Пальба продолжалась неумолчно. «Ату-ату!» – выкрикнул губернатор. Смертоносное ядро. Отвага Пугачева

1

К вечеру окреп мороз. В степи подымались туманы. Караульные у дворца казаки для сугрева развели костер. Запылали костры возле землянок татар и башкирцев. Туман усиливался. Огоньки в домах и лачугах Бердской слободы мерцали мутно, как сквозь слюду.

У Пугачева дотемна шло совещание. Пугачев настаивал, что, невзирая на сильный мороз, надо воспользоваться туманной ночью, подвезти к стенам пушки, расставить в укрытых местах отряды, а с утра учинить попытку ворваться в крепость и все разом кончить.

– А то мы, как клуши на яйцах, сидим да зря хлеб едим, – сказал он.

– Ах, напраслина, ваше величество, не во гнев будь вам сказано, – возразил атаман Овчинников. – Дня того не проходит, чтобы мы приступ под стены не делали. Хотя не шибким многолюдством, а нет-нет да и притопнем на Рейнсдорпа-то...

– Топал баран на волка, – криво ухмыльнулся Пугачев и велел начальнику артиллерии Чумакову подвезти ночью пушки к Маячной горе, к Бердским воротам и Егорьевской церкви, что в выжженной казачьей слободе. – Ты из пушек-то, Федотыч, почаству плюй, не жалея припасов-то, добудем... Да норови искосным огнем, дугою, чтобы в самый градский пуп бить. А на приступ я сам войска поведу.

Туман разлился белым молоком и захлестнул весь Оренбург, всю степь, весь Яик.

«Посма-а-тривай!» – то и дело кричали на валу часовые, устремляя взоры в степь, но перед их глазами – седая мгlistая пелена. И сердитый мороз хватает за нос, щиплет уши, уснащает ледяными сосульками усы и бороды.

В богатом доме Ильи Лукьяновича Кочнева еще не спят. Там идет уборка к завтрашнему дню: завтра именинница сама хозяйка. Стряпуха и приглашенный от губернатора повар ставят в кухне тесто для именинных пирогов.

Часовой Сенькин – из новобранцев – пристально смотрит в белую гущу тумана. Ему почудились вдали странные звуки: то ли кони проржали, то ли колеса скрипят по снегу, вот песик взлаял, а вот и человек голос подает.

– Эй, кто такие? – стискивая холодное, запущенное инеем ружье, кричит в туманный сумрак оробевший Сенькин. – Смотри, пульну!

Но туман по-прежнему немотно глух. Сенькин поглубже нахлобучил шапку и, чтоб согреть стынущие ноги, крепко притоптывая сапогами, поплясывал. И снова слышит те же звуки: отдаленные человеческие голоса, скрипы, звяки. Сенькин сбежал с валу, пнул попутно ногой сидевшего у костра и клевавшего носом солдата: «Эй, дрыхня, шапку сожгешь», – и, добежав до караульной избы, подергал у калитки колокольчик.

Поднялось волоковое оконце, высунулась усатая голова старого сержанта. Сенькин сказал:

– Так что, господин сержант, в степу беспокойно, кажись, вольница к валу прет.

– Ну и пускай прет на доброе здоровье, – сердито пробрюзжал сонный сержант. – Иди, где стоял. Я сейчас!

– ...Тихо, тихо, молодчики, – грозя с коня нагайкой, вполголоса прокричал Чумаков. – Это чего такое?

– Кажись, в кирпичные сараи рылом въехали, Федор Федотыч, – прозвучал из ночной мглы голос. – Скажи на милость, не видно ни хрена. Ну и туман-ан.

Чумаков осмотрелся, не спеша объехал кругом сараев, затем дал команду:

– Айда тихонько за мной!

Батарея в шесть орудий, поскрипывая колесами и полязгивая, двинулась за Чумаковым.

Остальные оружия повел к Егорьевской церкви сам Пугачев.

Часа через два, перед рассветом, когда туман стал оседать, тронулась пехота. Позже выехала конница – казаки и башкирцы с татарами.

Рядом с полковником Падуровым правилась одетая под казачка счастливо возбужденная Фатьма. Она впервые попала в боевую обстановку, вся от волнения дрожит, улыбочиво косится на Падурова. Фатьма еще не научилась стрелять, за ее плечами и ружья нет, но пикой да саблей владеть она умеет, в руках силы у нее, что у доброго джигита.

– Ты от меня ни на шаг, – говорит ей Падуров. – Куда я, туда и ты.

– Милый мой Падур, – откликается вполголоса и начинает дрожать еще сильнее. Зубы ее стучат, она никак не может справиться с собою.

Светало. Отряд Падурова в пятьсот коней стоял в укрытии, в глубоком логу за Маячной горой. Мороз крепчал. От лошадей подымался курчавый парок. Туман почти улетучился. По краям оврага стояли белые, в густом инее, березы. Они были легки и невесомы, как призраки. И Фатьме казалось, стоило ей взмахнуть руками да прикрикнуть, и – белопенные сказочные призраки развеются.

Едва заголубело небо и начал алеть восток, с пугачевских батарей густо прогудели первые выстрелы. Крепость сразу пришла в движение: ударила вестовая пушка, на всех воротах рассыпался дробью барабанный бой. Защитники высыпали на вал, немало дивясь внезапному зрелищу: сквозь клочья раздернутого в низинах тумана то здесь, то там темнели «злодейские» пушки, передвигались не торопясь всадники, скользили на лыжах стрелковые отряды.

– Ого-го, – причмокивая и потряхивая головами, переговаривались солдаты. – Он, брат, не зевает, он, брат, хитреный! Его ни мгла, ни мороз не берет. Глянь – ночью всю крепость обручем охватил.

Офицеры навели торчавшие из амбразур орудия; сотрясая стены, загрохотали раскатистые выстрелы. Завязалась гулкая, частая перестрелка.

Пугачевские пушки экономили ядра.

– Давай мешок, – покрикивал Чумаков; он перебежал на кривых своих ногах от пушки к пушке. – Давай еще мешок. Ядра напоследок пригодятся.

Мешки, наполненные осколками разбитых чугунных котлов, еще по осени похищенных пугачевцами в Меновом дворе, подтаскивали молодые татары. Тяжелыми мешками нагружены были три воза. Засыпанные в дуло, запыженные паклей, а то сырыми тряпками, осколки летели с устрашающим воем и визгом.

Вот на валу двое упали. Прискакавший обер-комендант Валленштерн приказал сосредоточить огонь на ближней, против Бердских ворот, батарее противника.

Бомбы и ядра стали донимать пугачевцев. На чумаковской батарее уже было два человека убитых, шестеро раненых. По степи во весь опор мчались два всадника, снежная пыль из-под копыт взвивалась выше голов их.

– Чумаков! Федор! – закричал подскакавший с Ермилкой Пугачев. – Эй, там! – Он в старом заплатанном полушубке, одет бедно, как простой казак. – Что ж ты, чертова голова, людей-то почему зря губишь. Подавайся живчиком к Орским воротам!

– ...Ваше превосходительство, мне сдается, что это сам Пугачев, – сказал капитан Наумов Валленштерну, наблюдавшему в подзорную трубу.

– Ну, вы тоже скажете... Оборванец какой-то. А с ним, надо быть, яицкий казачишка.

– Я по коню сужу, конь лихой.

– А вот мы его картечами. Эй, канонир! Наддай-ка пороху...

Но всадники – Пугачев, а за ним горнист Ермилка, – как бы почуяв опасность, уже неслись прочь.

Перевалило за полдень. Рейнсдорп проголодался, уехал домой. Пушки гремели. Во дворец губернатора то и дело скакали вестовые с донесениями.

К собору подкатила карета купца Кочнева – за чудотворной иконой и причтом. В купеческой кухне шла стряпня, в верхних покоях накрывали столы. Помаленьку собирались гости. Купчик Полуехтов, устроившись в темном уголке столовой и отхватив себе изрядный ломтище ветчины, тайно, под шумок, не дожидаясь приглашения, пожирал ее с отменным аппетитом. В спальне, пощелкивая раскаленными щипцами, завивал именинницу цирюльник.

...Губернатор Рейнсдорп велел закладывать сани, намереваясь снова следовать к фортам. Закутанный, как купец, в меховую шубу, он уже стоял в передней против зеркала, по его животу старый камердинер повязывал бухарского тканья кушак. Вдруг в соседнем зале раздался резкий треск, грохот, стены дрогнули, с потолка посыпалась штукатурка.

– Шо это? Шо это? – пошатнувшись, произнес губернатор.

– Ой, мать-владычица! – выкрикнул камердинер и, окрещивая себя, бросился в зал. – Ядро, ядро! – отчаянно закричал он оттуда.

Губернатор был уже в зале. Блуждающие глаза его широко открыты. Двенадцатифунтовое ядро, раздробив оконный переплет, ударило в печку, выворотило два изразца, отскочило и плюхнулось на пол, в стекольный дрызг.

– Ах он негодяй... Да как он смел палить в губернаторский дворец? – шумел он, наседая на вбежавшего адъютанта. – Я вас спрашиваю!

– Не могу знать, ваш-ш-ше...

– Вы все, все так: не могу да не могу... Дурацкий слоф! Ох, Боже мой, Боже мой!

Вдвинулся в бараньей куртке, в валенках толстощекий вестовой с нагайкой в лапе, гаркнул от двери:

– Обер-комендант приказал доложить: неприятель открыл пальбу от Егорьевской церкви, а равным манером от мишени[5] и супротив Орских ворот. По загоре откосом ползут пешие, палат из ружей да сайдаков... В Казачьей слободе в погребках засели они, оттоль и палат.

– Дурак... Пошел вон!... Оседлать коня мне!

Пальба продолжалась неумолчно. Крепость израсходовала уже около пятисот ядер, а враг не унимался.

Отчаянная Золотариха уже торчит на валу с небольшой гурьбой смельчаков-мальчишек в самом опасном месте. Когда с завыванием летит через вал ядро или свистят чугунные осколки, она всякий раз взвизгивает и, под хохот мальчишек, валится на землю.

– Ха-ха... Тетка, тетка, никак у тебя голову оторвало! – весело кричат озорники.

...Пугачев с хромоногим Овчинниковым и Зарубиным-Чикой распоряжаются возле Егорьевской церкви устройством форта-заставы. Каменная церковь расположена в выжженной Казачьей слободе (в форштадте) всего саженьях в двухстах от вала. В сущности, почти все было сделано еще туманной ночью: сотни рук всю ночь напролет стаскивали сюда находившийся поблизости бутовый плитняк. И вот по обе стороны церкви высится уже каменная твердыня, укрывая орудия. Отсюда «с руки» бить по городу.

Вторая батарея Пугачева утвердилась за мишенью, что в версте от крепости. Здесь пугачевцы тоже успели соорудить каменные амбразуры и боковые к ним крылья. Отсюда ядра, гранаты били по крепости метко, а ложась навесной дугой в городе, производили среди жителей немало переполоха.

– ...Что это такое, господин Валленштерн, что за безобразий?.. – наскочил на обер-коменданта губернатор. – Глядите, глядите, они из-за мишени бьют... Почему мишень до сей поры не скрыта?!

– Я трижды докладывал вам о необходимости скрыть мишень, но не было учинено, сами же вы приказали ее оставить, – насмешливо посматривая в лицо губернатора, ответил плотный пучеглазый Валленштерн. – Вы тогда изволили с немалым сарказмом молвить, что злодеи и носу сюда не посмеют сунуть...

– Они не сунул нос, а сунул пушка! Вы будете отвечать, да, да! Вы ворона, вы зевали! Как вы могли подпустить неприятель столь близехонько?!

– Виноват не я, а туман, а также и вы, ваше высокопревосходительство! А я-с, к вашему сведению, не ворона, а генерал-майор. Да-с.

– Шо, шо, шо? Ежели вы не ворона, то кто же... шорт возьми?!

– Ваше высокопревосходительство, вы... – сухо начал Валленштерн. – Вы распорядились обратить в пепел Казачью слободу, а церковь оставили. Военное совещание рекомендовало возвести тут фортецию и поставить батарею, но вы, именно вы-с, отклонили, и вот вместо нас форт соорудил Пугач.

Рейнсдорп перекошил тонкие губы и вполоборота бросил Валленштерну: – Вы грубиян и к тому же... трус!

Но тут вдруг вблизи раздался потрясающий грохот, губернатор взмахнул руками.

– О мой Бог!.. – и прытко сбежал с откоса вниз. – Шо, бомба?!

– Никак нет, пушку разорвало! – кричали пробежавшие мимо артиллеристы.

– Носилки! Носилки!.. – несло сверху. – Лекаря сюда!

Губернатор, облизывая пересохшие губы, проворно ощупывал бока, грудь, руки, даже пошевелил ногами – слава Богу, все цело! Нервно он выкрикнул:

– Ату, ату! – и, поддерживаемый адъютантом, снова полез на вал.

На батареях и за бастионами шум, крики, бой барабанов, сигнальные свистки, команда. Арестанты в

тюремных бушлатах, в ножных кандалах подносят снаряды: кандалы – «звяк-звяк». Ключья порохового дыма через вал к городу.

2

Молебен начинать медлили. Нетерпеливо ожидали, когда наконец стихнет перестрелка, но вот именинница в пышных буклях и золоте шепнула мужу: «Ой, перестоятся, перестоятся пироги у нас...»

Купец Кочнев улыбнулся и сказал седовласому священнику:

– Отец протоиерей, пальбу не переждешь. Давайте богомолебствовать.

– Сущая истина, – с готовностью откликнулся батюшка.

Ему, как и прочим, хотелось поскорее перейти к пирогу. Причетник принялся раздувать кадило.

Гости – их человек двадцать – разместились кто где, а купчик Полуехтов, окинув с опаской широкие проемы окон, что выходили на соборную площадь, почел за благо забиться в темный уголок, за изразцовую печку. Сердце ноет и ноет, а причины зримой как будто и не было, разве только эти глухие раскаты по улице.

Протоиерей облачился в парчовые ризы, наскоро понюхал из порцелинной табакерки носового зелья и, прислушиваясь одним ухом к пушечному эху, обратился к присутствующим:

– Не опасайтесь, чада возлюбленные, приблизьтесь. Господь сему дому защитник суть.

Поздравители, покашливая и шаркая по полу, стали кучкой против чудотворного образа. Только Полуехтов остался за печкой. Не переменил места и сам хозяин, он стоял вблизи иконы, невдалеке от окна, охватив, по давнему своему навыку, правой рукой левую, повыше локтя.

В переднем углу, на покрытом белой скатертью угольнике поблескивала фарфоровая миска, наполненная водой; прилепленные к ее краям, горели три восковые свечи; подле – крест, Евангелие и на серебряной тарелке – кропило.

Священник взмахнул кадилом, поднял брови, возгласил:

– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веко-о-ов...

– А-аминь, – не совсем дружно подхватил хор.

Начался молебен. Глаза всех воззрились на икону с мольбой и упованием, всем было тягостно переживать осаду, почти у каждого какое-либо горе или неприятность: торговля падает, подвозу товаров нет, у многих в Меновом дворе разграблены лавки, у иных близкие родственники живут в крепостях или форпостах по Яику, и Бог весть, какая судьба ожидает их; среди простонародья ходят предерзостные слухи, чернь в разбойнике Пугачеве готова признать царя, и промеж казацких всякая неподобная трепотня идет: ежели не приведи Бог будет измена, пугачевцы все купеческие семьи начисто вырежут. Пресвятая владычица, неужели же не спасешь род человеческий от проклятого самозванца, от пагубной его прелести?!

Богородица, державшая младенца, взирала с иконы на молящихся большими внимательными глазами, и все видели в этих божественных глазах защиту и милость. И в сердце каждого разливалось ласкающей теплотой чувство надежды. Ежели Господь похощет, то такое совершит, что ахнут все...

И все действительно ахнули... Все ахнули, а хозяин, Илья Лукьяныч Кочнев, с тяжким стоном свалился на пол. Посыпались стекла, упал еще другой человек, со страху, надо быть. Шестифунтовое ядро, внезапно ворвавшись в горницу, ударило в стену и грохнуло на пол.

Все кинулись к распростертому Кочневу. А купчик Полуехтов, взбросив обе руки и топя, подобно коню, мчался через весь зал, через столовую, через коридор, вопил:

– Караул! Смертоубийство! – Продолжая кричать, он припустился вдоль улицы, пока его не схватила спешившая домой Золотариха.

– Авдейка! Очумел ты?!

Купчик враз остановился и часто-часто замигал, как бы пробуждаясь от кошмарного сновидения. Затем, выдохнув: «Фу ты, Господи, что это со мной», – он приободрился и не спеша повернул обратно.

Хозяин, приподнявшись, громко стонал. Его посадили на диван, обложили подушками. Глаза его были закрыты, подбородок вздрагивал, большая борода, разметавшаяся по груди, шевелилась. Из оторванного на правой руке вместе с обручальным кольцом пальца струилась кровь, левая рука, перебитая выше локтя, висела плетью.

– Рученька, рученька моя, – через вздох и сипоту, передергивая густыми бровями, постанывал Кочнев.

Было три часа дня. Ядра по городу били чаще и чаще. Во дворец губернатора ударило второе ядро, в здании казначейства расщепило дверь; еще ядра попали в судейскую камеру, в архив, в купол собора, во двор Рычкова, едва не убив здесь протоколиста. В городе несколько человек было ранено, были и побитые насмерть. На перекрестке, возле казарм, лежал, разметавшись, мертвый бухарец. Те, кто потрусливей, прятались в ямах, в подполье, залезали в русские печи.

3

Пугачевцы метко стреляли от Егорьевской церкви, их батарею не удавалось сбить огнем из крепости. Однако орудие они поставили на паперть, а малую пушчонку даже затащили на колокольню, она-то и доставила городу хлопот.

– Глядите, глядите... – загалдели на валу мальчишки.

Из глубокой балки, что за Маячной горой, вырвалось несколько сот пугачевской конницы. В галоп доскакав до Егорьевской церкви, всадники спешили и, не обращая внимания на грохот крепостной артиллерии, двинулись пешей толпой по подгорью и вдоль реки Яика. Их намерением было пробежать сотню сажен ложиною, затем выбраться на высоту и оттуда через вал ворваться в город.

– Дету-ушки, не трусь! – громким голосом подбадривал Емельян Иваныч свою толпу. – В городе богатство несметное! Купечество перешерстим, губернатору чалпан долой, казной завладеем! – Он все в том же бедном одеянии бежал в середине наступавших.

Казачи и башкирцы понимали: батюшка нарочно так оделся, чтоб враг не мог узнать его и убить. Они глаз не спускали со своего царя и, подражая ему в мужестве, притко передвигались ложиною.

Рядом с Пугачевым бежал, пыхтя, огромный Пустобаев. В его голове крутятся обрывки мыслей. Он вспомнил, как пьяный губернатор целовал его в прихожей, вспомнил капитаншу Крылову с мальчуганом, сержанта Николаева, невесту сержанта – барышню Дарью Кузьминичну. Он косился на бегущего справа от него чернобородого детину и думал: «Оказия, вот те Христос... Ха, царь, голодранец... Эвон бежит как... А ежели не вор, не шатун, то поистине он внучек Петра Великого, поистине есть он государь».

– Не отставай, старик, не отставай от государя.

– Стараюсь, ваше величество! – раскатистым басом гудел Пустобаев.

– О, да ты мастак! Ты, я вижу, старого леса кочерга, – похвалил его Емельян Иваныч.

Начали быстро подниматься в гору. Тут, по команде Пугачева, враз приостановились и открыли частую оружейную пальбу, а башкирцы, гудя ременными тугими тетивами, принялись пускать стрелы из сайдаков.

С валу, заметив подступивших, стали стрелять залпами из ружей. Вот один пугачевец упал, другой бросил ружье и, схватившись за ногу, похромал прочь, вот кувырнулся третий...

– Ложись! – раздалась команда Пугачева, и все повалились по откосу в снег. – Бей не торопись. Цель вернее...

Пули защитников летели теперь над головами пугачевцев безвредно: спасал откос горы.

Отряд егерей легкой полевой команды, сбжав с валу, отважился перейти реку Яик по неокрепшему льду, чтобы, выйдя залегшим пугачевцам во фланг, открыть по ним ружейную стрельбу.

Чумаков, расположившись возле Егорьевской церкви, старался повернуть пушки на врага и никак не мог этого сделать быстро, да и ядра у него были на исходе. Только одна маленькая пушчонка, та, что была по городу с колокольни, принялась обстреливать отважных егерей. Падуров, залегший поблизости Пугачева, заметил, как от Маячной горы несется к пугачевцам всадник.

– Ваше величество! – закричал он. – От атамана Овчинникова гонец... Пикой маячит.

– Пускай себе маячит, – равнодушно ответил Пугачев и пустил из ружья меткий жребий по стрелявшему с колена егерю. Тот перекувырнулся и по-мертвому вытянул ноги.

Пробив лед и усевшись в лодки, на помощь егерям уже спешила из крепости новая ватага смельчаков. Теперь выстрелы со стороны егерей стали часты и метки. Среди пугачевцев началось замешательство. Первыми вскочили башкирцы и, крича тонкими голосами, побежали назад к церкви.

Бывшие на валу солдаты, видя это, с криком «ура» кинулись через ров, через рогатки, чтоб перерезать отступавшим путь. Тут подскакал гонец.

– Батюшка государь, втикайте! – заорал он, приметив Пугачева. – Из Бердских ворот большущий отряд прет.

– На конь! – вскочив, подал команду Пугачев, и все припустились бежать к оставленным у церкви лошадям.

Башкирцы и татары бегали плохо, они скоро отстали от казаков, их настигли солдаты с подоспевшими егерями. Было тут порублено человек тридцать, часть сробевших башкирцев бросились спасаться на Яик, но лед проломился, и они все потонули.

Солдаты в пылу битвы не заметили, как на них кинулись успевшие сесть на коней пугачевцы. Со всех сторон они кинулись на солдат, кололи их пиками, рубили. Но с вала загрохотали пушки, а вслед раздались ружейные залпы. Пугачевская конница, осыпаемая картечью, повернула обратно.

4

Бой продолжался.

Батальон пехоты при четырех пушках вывел из крепости сам Валленштерн. Конный отряд яицких и оренбургских казаков вел Мартемьян Бородин.

Был в исходе пятый час, солнце садилось. Губернатор Рейнсдорп – на валу, Пугачев – на Маячной горе, оба, затаив дыхание, наблюдали, как войско той и другой стороны, сближаясь, готовилось к бою.

Пугачев стоял в окружении ближних. Под ним рослый приплясывал конь. Горнист Ермилка, с трубой у бедра, глаз не спускал со строгого лица государя. Сбоку Ермилкиной лошаденки, такой же губастой, как и ее хозяин, приторочено четыре солдатских ружья со штыками, две пары новых валенок и шесть овчинных шапок. Все это добро Ермилка спроворил подобрать во время сшибки с солдатами. Валеные сапоги с красненьким горошком на задниках он непременно подарит Нениле.

– Эх, чего-то жрать хочется, ну прямо силы нет...

Он вытащил из-за пазухи крупитчатый пирог с печенкой и уже аппетитно разинул рот, как батюшка не то строго, не то милостиво покосился на него, и оробевшая рука горниста сама собой снова засунула пирог за пазуху. Ермилка только облизнулся. Тьфу ты!

– Полковник, – проговорил зычно Пугачев стоявшему рядом с ним Падурову. – Сигай попрытче в балку, пущай Овчинников шлет по две сотни неприятелю во фланги. Да не шибко чтоб ехали, а самой тихой бежью. Для заману!

Падуров поскакал.

– Ермилка, зажигай вестовой сигнал, – приказал Пугачев.

Ермилка спрыгнул с седла, пошарил взглядом, за что бы привязать лошадь, и, ничего не найдя, протянул повод Пугачеву.

– Подержи-ка маленько, батюшка, ваше величество... Я живчиком!

Пугачев, зорко присматриваясь к наступавшему врагу, взял под присмотр Ермилкину лошаденку. Ермилка уже успел повалить высокий шест с большим пучком просмоленной соломы наверху и добыть огня. Солома запылала. Ермилка стал размахивать огненным шестом и снова воткнул его на место. Он посмотрел в сторону Берды и радостно закричал:

– Запластало, ваше величество.

Пугачев, передав Ермилке повод, обернулся. В версте уже горел второй сигнал, а дальше занимался третий, и так – до самой Бердской слободы вспыхивали условные сигналы. Вот в слободе ударила вестовая пушка. Это означало, что сигнал принят и что скоро Максим Шигаев прибудет со свежеею силой на поле битвы.

Артиллеристы, под командой Чумакова, уже тащили свои пушки на санях и подсанках к кирпичным сараям и втаскивали на Маячную гору. Старик-великан Пустобаев, напрягая мускулы и потряхивая бородой, пер пушку вверх по откосу, как добрый конь.

Стало помаленьку смеркаться. Пугачевская конница приближалась с флангов к колонне Валленштерна. Вернувшемуся Падурову Пугачев приказал взять из балки, что за Сыртом, весь его, падуровский, казачий полк и, выждав время, ударить стремительно по врагу.

– Только одно – пушек остерегайся.

Впереди уже завязалась перестрелка.

– А ну, Чумаков, плюнь-ка во вражью силу. Без промаху да почаству!

– Припасов-то маловато у нас, – ответил Чумаков и, оглаживая свою бурую и широкую, как лопата, бороду, поскакал к пушкам.

Маячная гора загудела навстречу надвигавшемуся врагу, загудели пугачевские пушки и от кирпичных сараев.

Валленштерн остановился. Его четыре дальнобойных орудия грянули по наседавшей коннице картечью. Мартемьян Бородин кинул своих казаков в атаку. Пугачевская конница, отстреливаясь, рассыпалась по степи. Казакам Бородина, сидящим на заморенных лошаденках, за пугачевцами не угнаться, у тех кони сытые, степные.

И вдруг Бородин, Валленштерн, солдаты и сам стоявший на валу Рейнсдорп заметили, что от Бердской слободы валит народ: на санях, на телегах, бегом... Валит все гуще и гуще... Тысячи! Много тысяч.

А в это время Падуров вырвался из балки со своим полком оренбургских казаков и поскакал на Валленштерна. Солдаты с егерями встретили их оружейными залпами, пушки ударили картечью. Несколько казаков упало. Падуров скомандовал рассыпаться и преследовать бородинцев. Началась по степи скачка, работа пиками. Падуров скакал конь в конь с Фатьмой. Оба хорошо рубили саблями. Настигая врага, Падуров кричал:

– Подчиняйтесь государю! Не противьтесь! В Бреду езжайте, в Бреду!

Народ на валу смотрел на сражение с дрожью. Мальчишки, чтоб лучше видеть, вскарабкались на деревья. Скакавшие по степи лошади казались им издали собачонками, а сидевшие на них люди – тряпичными куклами, и все сражение – потешной игрой. – Глянь, глянь, упал!.. Ощо упал! Ощо! Наши это... Ей-ей, наши... У-у-у, глянь, народу-то што, народу-то што валит. Это из Берды, по сигналам, ишь пластают огнем сигналы-то...

Пугачев смотрел на свой подходящий к полю боя народ и хмурил брови. Затем он улыбнулся. Но его улыбка была не из веселых. Народ бежал, скакал, торопился на санях: мужики, татары, башкирцы с ружьями, с кольями, с пиками, с сайдаками. Потрясая дубинами, народ воинственно выл. Так воеет море в зимний шквал, ревет в бурю непролазный лес.

– Го-го-го-го... Давай-давай-давай!... – вопила толпа, наплывая на врага лавиной.

К Валленштерну уже неслись гонцы от Рейнсдорпа.

– Отступить! Отступить!

А чтоб поддержать отступающих, из крепости был выслан сильный сикурс из гренадерских и мушкетерских рот при шести орудиях. Валленштерн давал бородинским казакам сигнал за сигналом к отбою и, устрасая многотысячной силы врага, стал поспешно строить свой батальон в каре.

Над степью растекалась сутемень. В морозной выси замерцали звезды. Шигаев, доставив народ из Берды, подскакал к Пугачеву:

– Чего прикажешь делать, государь? Силы у нас – во!..

– Не силы, а кулаков да кольев...

Ретивый конь под Пугачевым плясал и всхрапывал. Конь делал «свечу» и косил глазом на необъятные степи, где носятся всадники.

– Яицкие где?

– А эвот, эвот, ваше величество, – показал нагайкой Шигаев.

– Теперь самая пора по крепости вдарить, Рейнсдорп более половины войсков-то в степь выгнал. – Пугачев надвинул на брови шапку, хватил коня в бок подкованными сапогами и, гикнув, помчался в сопровождении Ермилки, Зарубина-Чики и Творогова к отряду яицких казаков.

– За мной, детушки! – поравнявшись с ними, огненным голосом закричал он.

Падуров в пылу перестрелки заметил, как яицкие казаки взяли путь к Егорьевской церкви, а впереди них – Пугачев.

– Ба! Государь! – увидев Пугачева, вне себя заорал Падуров. – Эй, оренбуржцы!.. Собирай наших. Айда за государем! – И он с горстью своих поскакал за отрядом яицких казаков.

Шигаев тем временем ударил со своей толпой на отступавшего в батальонном каре Валленштерна. Его сильный отряд, отстреливаясь от пушек и ружей, подбирая своих раненых, полным ходом спешил к распахнутым крепостным воротам. Пугачевцы сильно теснили его, но вплотную сцепиться все же опасались.

– Наддай, наддай, детушки! – поощрял Пугачев скачущих за ним и впереди него казаков. – Рви кочки, ровняй бугры, держи хвосты козырем!

– Ура, ура! – голосисто гремели казаки, взяв наперевес пики и поспешая за государем. В их сердце отвага, огонь, в широко открытых глазах нет и тени страха.

А вот и Егорьевская церковь, вот он – ров, вот – вал, а за валом в таинственном сумраке взбудораженный город.

Пугачев выхватил саблю.

– На штурм! На слом! – и с горячностью повел казаков в конном строю через глубокий ров к валу.

– Ги-ги-ги! – пронзительно орали скакавшие молодцы, держа свои пики навзлете.

И вдруг притаившийся враг полохнул на валу и на ближайших батареях огнем пушек, ружей и мушкетов. Если б не спустившийся сумрак, смельчакам пугачевцам досталось бы на орехи! Все-таки отпор был столь силен, гул многочисленных орудий и бой барабанов столь устрашительны, что казаки смешались, подстреленные их лошади взвивались и падали, валились наземь раненые, убитые люди.

А на валу уже прогремела команда:

– В штыки!

Вновь набежавшие из резервов солдаты, хватив по стакану водки, с хриплым ревом «ура» ринулись в гущу конников.

Пугачев, Падуров, Фатьма, Зарубин-Чика, Пустобаев и многие другие рубились как богатыри. Ермилка остервенело орудовал пикой.

Пугачев во весь голос кричал солдатне:

– Изменники! Согрубители! Так-то вы встречаете государя? Ну, я ж припомню вам окаянство ваше!..

– Сам! Сам!.. Емелька это!.. Имай, хватай! – орали солдаты и, без голов, без рук, рассеченные от плеча до бедра, хлопались о землю замертво.

Вот стегнула крепостная картечь в гущу схватки в своих и чужих, а солдат из-за вала набегают все больше и больше. Вот защитники крепости выволокли на лафетах две пушки, забили картечью...

– Назад!.. – громогласно скомандовал Пугачев.

Ермилка резко затрубил отбой. Казаки отхлынули прочь и мигом рассыпались по степи, по сыртам. Защитники стали подбирать во рву убитых и раненых.

5

Крепость еще долго гудела от пушечных выстрелов. На башне отбили семь часов вечера. В Егорьевской церкви показался огонь. Там пугачевцы разложили большие костры. Возле костров неумелые дрожащие руки перевязывали раненых. Чугунные плиты церковного пола оросились кровью. Протяжные стоны, крики и тут же ядреные шутки с перцем крепких словечек.

В полночь обер-комендант Валленштерн и начальник полиции Лихачев чинили доклады Рейнсдорпу. Комендант сетовал на большой расход ядер и пороху. По подсчету было с крепости выпалено 1643 ядра, 71 заряд картечью, бомб брошено пудовых – 40, тридцатифунтовых – 34; одну пушку разорвало, у другой вырвало запал. Убитых семнадцать, раненых семьдесят человек.

Начальник полиции доложил, что убито по городу восемь мирян, в их числе именитый купец Кочнев.

– Как, Кочнев умираль? – удивился губернатор.

– Ему перешло руку, ваше высокопревосходительство, сильно раздробило кость. Сначала костоправ пользовал его, потом доктор. Доктор руку отнял по самое плечо, через что оный купец час тому назад помер.

– Ах, какой несчасть, какой несчасть, – скорбно качал головой губернатор. Он Кочнева уважал за его огромное состояние, нажитое... о нет! Совсем не мошенничеством, совсем не хапужничеством каким-нибудь. – Жаль, жаль, – бормотал губернатор. И, обратясь к Валленштерну: – Да, ваше превосходительство, господин обер-комендант... Силы неприятеля велики, силы очень грома-адны... И без скорая помощь извне нам несдобровать.

– Не так страшен черт, ваше высокопревосходительство, – ответил пучеглазый Валленштерн, губы его насмешливо дергались. – Людства у него хоть отбавляй, а регулярной силы весьма мало. Хотя, по правде-то молвить, в тактике этот Пугачев кой-что смыслит. Я чаю, сей вор в военном искусстве не хуже иных наших... полководцев.

Губернатор поморщился, приняв обиду коменданта на свой счет, рыжие букли на его выпуклом лбу задрожали. Плотный, грубоватый Валленштерн, прогремев шпорами вперед и назад, сказал как бы мельком:

– Между прочим, мне было доложено, якобы на приступе против Егорьевской церкви вел казаков сам Пугачев.

– Шо? Сам Пугашев?.. Оччень хорошо, чтоб не сказать более... Пффе... – И, в пику обидчику, делая руками хватательные жесты, он бросил: – Так что ж вы его ату-ату? Опять вы прозеваль, проворониль? И говорите о сем спокойно...

– Я в этот момент, как вам известно, был вне крепости, а против Пугачева на валу стояли вы, генерал... Почему же не изволили учинить это самое ату-ату? – И Валленштерн, глядя в упор на побледневшего губернатора, точно так же сделал руками хватательный жест.

Губернатор заерзал в кресле, а припудренное, в желтых веснушках, лицо его вспыхнуло и перекошилось.

– Вот вы всегда... всегда ты, господин обер-комендант, этак. Ваш тон, ваш тон... – мямлил губернатор, подыскивая наиболее сильное, но в пределах светских приличий оскорбление.

Начальник полиции полковник Лихачев счел нужным как-либо пригасить начавшуюся генеральскую перебранку. Он решил прервать губернатора.

– Простите великодушно, ваше высокопревосходительство, – щелкнул он шпорами и вкратце, но довольно ярким языком рассказал, как недавний герой купчик Полуехтов, проявил при несчастном случае с Кочневым непонятную трусость. – Он испугался гораздо больше, чем престарелый отец протопоп. Когда все, даже слабые дамы, бросились к пострадавшему Кочневу, купчик бежал по улице и таким благим матом вопил «караул», что от него шарахались верблюды...

Губернатор, слушая, округлил глаза, округлил рот, ударил себя по бокам и сипло захохотал:

– О! О! Вот вам рюсска герой...

В лагере Пугачева тоже шли разговоры.

– Сказывают, в ума исступление пришел ты, батюшка, – пеняли Емельяну Иванычу его атаманы. – Так-то негоже. Поберегать себя надо, Петр Федорыч, ваше царское величество.

– Страшно дело поначалу, – отшучивался Пугачев, чокаясь с атаманами. – А ну, други, промочим трохи-трохи горло с немалого устаточку...

Ужин Ненила приготовила добрый, поедали его с волчьим аппетитом.

– Так-то оно так, – пошевеливая бородами, говорили атаманы. – Храбрости в тебе не занимать стать, знаем, а все ж таки... Ежели тебя, ваше величество, порешат, с кем мы тогда останемся?

– Я замороженный, – подмигнул атаманам Пугачев. – Меня ни штык, ни пуля не возьмет. Мой дедушка, Петр Алексеич, превечный покой его головушке, не в таких еще баталиях бился, а здоров бывал... – Пугачев перекрестился и, вздохнув, выпил вторую чару. – Ежели я, детушки, на рыск пошел, так зато таперь ведаю – мои казаки храбрости отменной. Прямо – урванцы!

– А все ж таки, ваше величество, замороженный ли ты, нет ли, а так делать не могли, чтоб лоб под пули подставлять, – не унимаясь, поднял свой голос Овчинников и так взглянул на Пугачева, что тот стемнел в лице, нахмурился.

– Вот что, атаман, – медленно проговорил он, не глядя на Овчинникова. – Ты дядьку-то из себя не корчи. Ишь, аншеф какой выискался...

– Да что ты, ваше высочество, вспрял-то на меня? – смешавшись, откликнулся Овчинников. – Я ведь тебя же оберегаючи слово молвил.

– Знаю, знаю. Ты за собой позорче доглядывай, а уж я о себе, как-никак, сам...

– Сам-то сам, батюшка, а без советчиков кабудь и тебе негоже. Уж ты шибко-то не чипуришь, – ввязался в перепалку Чумаков и раскашлялся то ли от внезапного волнения, то ли от проглоченной чарки вина.

– Да ты спяну али вздуряшь, этакие продерзости мне?! – сверкнул глазами в его сторону Емельян Иваныч. – Много вас, советников!..

– А что ж, нешто плохи советчики? – задирчиво перебил его Творогов и вдруг, взглянув в лицо Пугачева, как бы подавился словом: в глазах царя – ни росинки хмеля, а по челу – крутая рябь морщин, будто в непогодь на Яике.

Все затаились, посматривая на «батюшку» с опасением. Однако Пугачев, поборов себя, спокойно и отдельно молвил:

– Лучше давайте-ка, атаманы, в добре жить, обиды друг на друга памятовать не станем. Вот и распрекрасно будет.

– А народной силы, ваше величество, у нас сколь угодно! Все дело обернется – не надо лучше, – примиряюще проговорил Падуров.

– Силы да крови у нас в жилах хоть отбавляй, – сказал Пугачев, – а вот сабель вострых да пороху с пушками маловато... Ой, маловато, атаманы!

– Да ведь не все вдруг, батюшка Петр Федорыч, – дружелюбно заговорил Шигаев. – Ведь и Москва не сразу строилась... Пушки с порохом и всякое оруженье наживем.

– На Воскресенском заводе приказчик Беспалов пушки да мортиры нам сготовляет, и бомбы с ядрами также, – вставил свое слово Падуров, покручивая темный ус.

– Надо, чтобы скоропалитно, а мы мешкаем, – сказал Пугачев. Помолчав, он лукаво прищурил глаз и ухмыльнулся: – Одно есть упование наше: хошь мало у нас пороху, а, поди, больше, чем разуменья у Катькиных губернаторов. Видали, атаманы, как он, Рейсдорпишка-т, туды-сюды с войском своим заметался, коль скоро мы в бока да в зад ему саданули. Ох, дать бы мне в руки регулярство его, я б такой шох-ворох поднял, что... не токмо Оренбург, а и столицу пресветлую деда моего встряхнул бы! Верно ли, орлы мои, детушки?..

– Да уж чего там! Доразу встряхнули бы...

– А ну, коли так, трохи-трохи по последней, да и спать...– Емельян Иваныч чокнулся со всеми, перекрестился, выпил и, прощаясь с атаманами, проговорил: – Только упреждаю: дело наше боевое, чтоб у меня чутко спать, на локотке!

Глава V

Чудо-юдо. Кар ловит Пугачева, граф Чернышев ловит Кара. «К умному разбойничку». Маячная гора

1

Иван Сидорыч Барышников, как только приобрел себе имение и вернулся в столицу, возжелал устроить пир, да не какой-либо кучке знакомцев, а всему работающему Петербургу.

Предвидя разлуку с обогатившей его столицей, Иван Сидорыч питал чувство некоей благодарности ко всему простому народу, который своими грошами, потом и кровью помог ему стать независимым и знатным. Завсегдатаи его трактиров и торговых лавок, строительные рабочие из приезжих крестьян и местных жителей, наконец, многие тысячи любителей выпить – когда-то он держал на откупе кабаки Петербурга и губернии – весь этот народ долженствовал быть участником сказочного пиршества.

Недолюбливая столбовое дворянство, считая знатных помещиков либо дармоедами, либо прямыми врагами всего промышленного сословия, Иван Сидорыч нарочно не пригласил на пиршество кого-либо из заносчивых господ.

С разрешения генерал-полицмейстера Д. В. Волкова (бывшего тайного советника Петра III) Барышников облюбовал для своего всенародного пира Летний сад. Торжество было назначено на 24 ноября, день тезоименитства Екатерины.

Засыпанный снегом сад был расчищен от сугробов. Отпечатанные в академической типографии пригласительные объявления запестрели по всему городу. Начало пиршества назначалось на 2 часа дня. Народ спозаранок повалил толпами к Летнему саду. Сбежавшиеся люди приникли к железной решетке и с жадностью глазели – каковы заготовлены в саду припасы. В полдень с верхов Петропавловской крепости загрохотал по случаю царского дня салют в сто один выстрел.

– Мишка, Мишка, глянть: что это за диво такое? – указывал рукой в середку сада седобородый, в лаптях, крестьянин.

– А пес его ведает... Вот ворвемся, так все высмотрим, – ответил курносый кудряш с широкими ноздрями.

– Эх, деревня! – ввязался в разговор пожилой дворовый в потертой ливрее с позументами и в заячьей шапке. – Это зовется кит – в объявлении сказано о нем.

– О-о-о, – изумился кудрявый и потянул воздух широкими ноздрями. – Чудо-юдо, рыба-кит... Ох ты, мать распречестная... Вот это ки-и-ит...

Действительно, среди просторной полянки на невысоком помосте разлегся искусно смастеренный огромный кит с загнутым хвостом и раскрытой пастью. Он внутри набит вяленой рыбой, колбасами, булками, кусками ветчины, а сверху покрыт цветными скатертями и задрапирован серебряной парчой. Справа от кита – овальный стол окружностью в двести пятьдесят аршин. Он завален всякими яствами, сложенными в виде пирамид: ломти хлеба с икрой, осетриной, вялеными карпами. Большие блюда с рыбой украшены раками, луковицами, пикулями. На других полянках такие же, непомерной величины,

столы с мясной снедью – говядиной, бараниной, телятиной.

Во многих местах сада бочки с водкой, пивом, квасом. Виночерпии, все как на подбор рослые бородатые красавцы в полушубках, высоких боярских шапках и белых фартуках, оглаживали бороды, перебрасывались шутками, ожидая возле бочек дорогих гостей. Были устроены качели, ледяные горы, карусели.

К часу дня на тройке вороных, с бубенцами, прибыл сам Сидорыч Барышников в пышной, с бобровым воротником, шубе. Рядом с ним в санях – его сын Иван, будущий офицер, в форме кадетского шляхетского корпуса. Он высок, курнос, глаза с прищуром. На облучке, рядом с кучером, в медвежьей шубе, Митрич, бородача во всю грудь.

Народ заорал: «Ура, ура!» Хор трубачей мушкетерского полка заиграл «встречу». Иван Сидорыч, привстав в санях, низко кланялся народу. Полетели вверх шапки, вся площадь дрожала от рева толпы. Иван Сидорыч принимал восторги людей как должное, полагая в душе, что народная масса чтит в его лице великого удачника, поднявшегося из низов на вершину жизни. Иван Сидорыч и не подозревал, что орал народ лишь потому, что сильно притомился ожиданием, изрядно проголодался и промерз, а в подкатившей тройке с бубенцами он угадывал сигнал к началу пиршества.

Растроганный приемом, Барышников прослезился даже. Он, кряхтя, вылез вместе с сыном из саней, наряд полицейских, в полсотни человек, отдал ему честь, помощник пристава крепко пожал богачу руку и, заискивающе заглядывая ему в глаза, поздравлял с праздничком.

В народе зашумели:

– Кто такие? Эй, кто там приехал-то?

– А домовый его ведает, какой-то главный.

Народ рьяно стал нажимать к центральным воротам, нетерпеливо ждал впуска в сад. На решетку по ту и другую сторону ворот вскочили двое, одетые в красные жупаны, затрубили в медные трубы и, отчеканивая слова, зычно закричали:

– Миряне! Знатнейший купец, его степенство Иван Сидорыч Барышников, хозяин торжества, приказать изволил: по первой пущенной ракете все гости, не толпясь, чинно, входят через главные ворота в сад, идут к виночерпиям, выпивают по стакашку водки, либо пива, либо квасу...

– Ма-а-ло! Водки-то по два либо по три стакашка надобно... – по-озорному отзывались из толпы.

– Выпив, гости ожидают второй ракеты, – продолжали выкрикивать красные жупаны, – после коей гости идут к «чуду-юду – рыбе-кит», где и принимаются за яства!

И вот над Летним садом, грохнув, взлетела ракета. Распахнулись главные ворота. Народ совсем не чинно, как было предугазано, а с дикими воплями хлынул в пролет, как бурный поток в прорву. Полиция и распорядители с белыми повязками мигом были опрокинуты. Любители выпить мчались, как степные кони, к бочкам с пойлом – кто по расчищенным дорожкам, а кто целиною, сугробами. Виночерпии принялись за дело. У ворот, забитых прущим народом, и вдоль всей длинной ограды – дикая костомятка. Люди, мешая один другому, стаскивали друг друга за бороды, за ноги, вмах перелезали через ограду. Необычный гам, визг, крики «караул, задавили!» сотрясали воздух.

Виночерпии до хрипоты орали получившим свою порцию:

– Отходи! Жди второй ракеты.

Но нетерпеливые уже мчались к сытным столам с закуской. А глядя на них, не дожидаясь второй ракеты, хлынула и вся толпища.

Возле кита тотчас началась невообразимая свалка. Чудо-юдо – рыба-кит был мгновенно растерзан в клочья. Люди принялись чавкать, давиться вкусными кусками, рассовывать пищу по карманам.

Оба Барышникова, вместе с Митричем, стояли в разукрашенной флагами и хвоей беседке, среди сада. Иван Сидорыч ждал от толпы поклонения и скорой благодарности. Но, увидев вместо порядка и благочиния одно лишь буйство, он померк, потемнел, обидчиво закусил губы. Он уже готов был мчаться к генерал-полицмейстеру за усмирительным отрядом, чтобы штыками и нагайками привести в порядок неблагодарный люд. По выражению глаз своего папаша сын сразу понял его мысли и негромко сказал:

– Охота тебе была подобную глупость затевать. И убыточно, и гадко.

И не успел он докончить, как к беседке начала подваливать пьяная толпа. Впереди шагал землекоп из артели Лукича, рыжебородый Митька. Он недавно кончил тюремную высылку за «своевольщину» в Царском Селе, на нем, невзирая на крепкий мороз, поверх рубахи – лишь рваная бабья кацавейка, голова простоволося. Засучив рукава и потрясая кулаками, он хрипло орал:

– Бей всех подрядчиков! Дави богачей! Из-за них, гадов, я тверезый зарок нарушил, в острог попал.

– Царь-то батюшка, слышно, по Яику гуляет с воинством своим... Могила богачам! – подхватили другие.

– И поделом! Богачи жилы из нас тянут, а тут, ишь ты, винишком улещают, рыбу-кит выставили...

– Бей не робей, сквозь, кто попадетса!

– Круши рыбу-кит! Имай ее за зебры!

И толпа нахраписто полезла по ступенькам. Барышниковы заскочили внутрь беседки, захлопнули за собой дверь. А верзила Митрич, распахнув медвежью шубу и отведя в сторону свою бородищу, чтоб видны были на груди кресты и медали, завопил:

– Стой, оглашенные! Что вы...

Кто-то в толпе выкрикнул:

– Робята! Это главный енерал...

– Бей генералов! – взголосил рыжебородый Митька. Он прыгнул к Митричу и схватил его за бороду. Но широкоплечий Митрич, по-медвежьи рявкнув, сгреб Митьку за портки и кацавейку и швырнул в толпу. Толпа попятилась, зло захохотала.

Пересвистываясь, бежали к беседке полицейские и служащие Барышникова. Первым поймали Митьку.

– Лошадей! К черту праздник! – вращая осовелыми глазами, кричал Барышников. – Выпустить вино из бочек... В снег, в снег!

– Не можно, Иван Сидорыч, – задышливо ответил упарившийся от бега управляющий. – Чернь всем вином завладела.

Озлобленные отец и сын, в сопровождении служащих и Митрича, быстро шли к выходу. Ну и распустила ж матушка царица столичный народишко! Они не замечали ни крутящихся каруселей, окруженных ротозеями, ни ледяных гор с катающимися в долбленных челноках, ни веселых качелей. Звуки гармошек, балалаек и военного оркестра, нескладная запьянцовская песня, отчаянные вопли пришедших в буйство запивох не касались сознания Барышниковых. Они лишь видели шагавших справа и слева от себя возбужденных, ненавидящих их людей. Барышниковы косились на них со страхом, отвращением и злобой.

Привлеченные криками, сбегались со всего сада пьяные и трезвые. Иные из толпы знавали Ивана

Сидорыча лично. Видя перед собою богача-хозяина, они считали нужным, хоть в пьяном положении, хоть раз в жизни, выместить на нем давно накопившуюся злобу.

– И не стыдно вам, рожам-то вашим, – отругивался Митрич, с опаской косясь на пьяниц. – Эх вы, народы... Благодарить должны!

– Благодарим, благодарим, – отвечали трезвые. – Спасибо за угощеньице, Иван Сидорыч.

– О-о-о, да это вон кто... Ванька Барышников, трактирщик! – выкрикнул подбежавший большеусый кузнец с бельмом.

– Ха-ха! Хватил нищего по затылку, – с ядовитым хохотом отвечали из толпы. – Он давно трактиры-то бросил, он на винных откупках разжился да на подрядах.

– Он, холера, пять бочонков апраксинского золота украл на войне! – подхватил кузнец. – Он вор казенный, вон он кто. Дай ему по шее!

– Врешь, мазурик! – дико захрипел на ходу Барышников и приостановился, грозя кузнецу вскинутым пальцем. – Быть тебе на каторге!

– Ха-ха! Бей его! – крикнул кузнец, с ловкостью скакнул к трясущемуся от ярости Барышникову и крепко ударил его в ухо. Бобровая шапка покатила в снег, а сам Барышников, покачнувшись, упал на руки Митрича.

Кузнеца схватили, но он вырвался, приказчики вступили в бой с гуляками, а Барышниковы, под свист и улюлюканье толпы, ходко побежали к тройке. Митрич вскарабкался на облучок, Барышниковы пали в сани. И только лишь кучер расправил вожжи, как бельмастый буйан кузнец кинулся к саням и сгреб богатого откупщика за шиворот. Но тройка рванула, и кузнец, цепко схваченный за руки Барышниковым-сыном, очутился на дне саней.

– Погоняй!

Валил хлопьями снег, с Невы порывами набегал ветер, кругом было мутно, сумрачно. Залились бубенцы, тройка бежала резво, кучер пронзительно кричал фальцетом:

– Па-а-а-ди! Па-а-а-ди-и!

Барышниковы, подмяв под себя кузнеца, сидели на нем в просторных санях и с яростью били его в лицо, в голову кулаками и ногами. Затем, окровавленного, потерявшего сознание, выбросили его из саней. Тройка ходом укатила дальше.

Было четыре часа. Спускались сумерки. Публика из Летнего сада стала разбредаться, уводя под руки покалеченных и пьяных. Однако веселье было там еще в полном разгаре. Играли три оркестра, на расчищенных полянках шел веселый пляс, пьяные, обнявшись, шатались взад-вперед, горланили песни.

С моря налетел на столицу резкий, шквалистый ветер. Вода в Неве, вздымаясь с седыми гребнями, стала прибывать. Ветер знобил прохожих, валил с ног пьяных, взвихривал буруны снега, раскачивал оголенные деревья, сердито трепал огромные полотнища трехцветных флагов, вывешенных по всему городу по случаю тезоименитства императрицы. Дворники и будочники никак не могли зажечь расставленные вдоль домов плошки с салом, только вдоль линии дворцов на Неве ярко пылали, раздуваемые ветром, смоляные бочки. В полночь ветер стих, ему на смену крепкий пал мороз.

Летний сад наконец опустел. Но по всему его простору, на аллеях и умятых сугробах валялись тела упившихся, уснувших или покалеченных в драке. Подбирать их было некому: перепившиеся полицейские либо разбрелись по квартирам, либо валялись тут же на снегу.

Наутро было обнаружено в Летнем саду множество окоченелых трупов. Замерз и рыжебородый

землекоп Митька. А избитый до полусмерти кузнец был на дороге раздавлен проезжавшим в темноте пожарным обозом. Так знатный купец Барышников, при попустительстве столичного начальства, отпотчевал работающий народ.

Екатерина, проведав о всем этом, возмутилась. 27 ноября она писала генерал-полицмейстеру:

Барышникову грозила неприятность. Он сильно перетрусил. Но все обошлось благополучно. Он где надо смазал, генерал-полицмейстеру Волкову подарил великолепные выездные сани с волчьей полстью, поклонился графу Алексею Орлову и вельможному И. П. Благину, прося у них совета и заступления.

– Пожертвуй несколько тысконок в пользу Московского сиротовского дома, – сказал ему Орлов. – Матушка это любит.

Барышников пожертвовал десять тысяч. И не успели у него зажить разбитые о голову кузнеца маклашки пальцев, как он получил медаль и высочайшую благодарность за щедрый дар.

Барышников ликовал, по крайней мере – на людях, а вот Митрич после безумного народного пиршества восскорбел душою. Митрич, или – полностью – Прохор Дмитриевич Шеремин, был когда-то крепостным графа Шереметева. При императрице Елизавете он состоял нижним чином в гвардии. На одной из царских охот, где он был вместе с другими солдатами в качестве егеря, он своим ростом, бравой выправкой и могучим голосом обратил на себя внимание фаворита императрицы, графа Алексея Разумовского, по ходатайству которого был зачислен в штат придворных егерей, затем приставлен дядькой к явившемуся из Голштинии мальчику – великому князю Петру Федоровичу, а по воцарении великого князя произведен в его лакеи.

В молодые и зрелые годы жизнь Митрича шла как по маслу: беспечное, сытое прозябанье при дворе. Время крутилось веселым колесом, и некогда было раздумываться, вникать в смысл мимотекущей жизни. Но когда приспела старость, когда с унижительным позором был он изгнан из дворца якобы за пьянство и поселился в маленьком домишке на Васильевском острове, а затем, овдовев, перешел в услужение Барышникову, он начал относиться к жизни по-серьезному, стал вглядываться в человеческие судьбы, стал вдумчиво проверять свой житейский путь.

Его многолетнее существование при дворе, в то время казавшееся ему столь высоким и блистательным, теперь представилось старому Митричу унижительным. Он был при дворе вещью, евнухом, бессловесным существом. Правда, от государя с государыней он видел «одно хорошее», зато всякая шушера придворная частенько кормила его то оскорбительным словом, то высидкой, то штрафом. А за что? Шибко винцом зашибать он стал... Да и как не зашибать, когда сам государь, царство ему небесное, почитай, всякий день пьяненький был.

Неприступная для простого человека твердыня дворца представлялась ему храмом Божиим, где почит истинная благодать и святость. Когда же он попал туда да и присмотрелся – дворец оказался не храмом, а без малого веселым домом с гулящими «мамзельками».

Да, да... В прошлой своей жизни он ничего не мог припомнить хорошего, ничего полезного для души и для людей, такого, что хотелось бы воскресить в памяти с внутренним удовлетворением. Ну, а в настоящем? Теперь Митричу тихо и сладко.

– Состарился я... Старуха умерла. Один... Жалко мне всех, и себя, и людей жалко, – бормочет он сам с собой бессонной ночью в своей каморке у Барышникова, и большая крепкая рука его тянется к графину с водкой. – Деньги у него шальные, у хозяина-то! Что хочет, то и делает. Эвот сколько людей опоил, проклятый, сколько семей осиротинил... А ему и горя мало!

Как-то, выпивши, он сказал Барышникову:

– Вот ты, Иван Сидорыч, награду получил, медаль. А подумал ли о людях, кои по твоей милости в Летнем саду окоchureились, помог ли ты родственникам их, пожалел ли?

– Всех жалеть, старик, жалелки не хватит. Эти обожрались от своей дури, и пес с ними – новые родятся.

– Твердокаменный ты человек, Иван Сидорыч. Жалости в тебе нет к простому люду. А ведь ты и сам из протонародья. Хоть и миллионщик, а все ж таки человек роду простецкого...

– Молчи! Проспись поди...

– Ладно. Ежели совесть в тебе молчит, ну-к и я помалкивать буду. Ладно. Только, мотри, гроза-то идет, гроза-то в вашего брата-богача стрелы мечет. Чернь-то ждет не дождется своего часа... Вот ты, Иван Сидорыч, помещик ныне стал. Мотри, Пугач-то и до тебя доберется, и к тебе в Смоленскую-то придет... Качаться тебе на березе...

– Тьфу тебе, тьфу, дурной!

– А ты не плюй, – подымал голос Митрич. – Плюнешь встречь ветру, плевков-то обратно в рыло прилетит.

– Пошел вон, пьяный мерин!

2

Утро в Петербурге было тусклое, туманное. По широким площадям, по прямым проспектам и улицам полз белый поземок. Седыми вьюнками он облизывал ноги прохожих, фонтаном взмывал возле фонарных столбов. Вдоль Невской набережной высились стройные громады Зимнего и Мраморного дворцов. За Невой серым призраком маячила крепость. Туман то сгущался – и тогда все тонULO в его мутной пелене, то, под взмахами северного ветра, редел, открывая оживленную перспективу улиц, заречные дали.

Всюду сновал деловой народ, проносились сани с седоками, плелись хмурые водовозные клячи – на дровнях стояли прикрытые дерюгой обледенелые ушаты с невской водой. Благородная собачонка в теплой кофточке играла с белым поземком: лаяла, прыгала, хватала ртом оживший снег.

– Кадо, Кадо! – кричал бравый лакей с бакенбардами и вскидывал послушного песика на руки.

Четыре казака в опрятных темно-синих чекменях с голубыми воротниками, в сдвинутых на ухо трухменках поскрипывали начищенными до блеска сапогами, правились к дому графа Алексея Орлова. Казаки жили в Петербурге больше месяца. Опасаясь, что за ними следят, они принуждены были вести жизнь замкнутую, по людным местам не шлялись. Поэтому не знали и не могли знать они о том, что творится на их родном Яике. Один из казаков – уже известный нам есаул Афанасий Перфильев. После убийства генерала Траубенберга и занятия Яицкого городка генерал-майором Фрейманом есаул со многими замешанными в бунте казаками бежал, некоторое время скрывался, а затем во главе делегации был послан опальным казачеством в Петербург ходатайствовать перед императрицей о смягчении приговора осужденным.

Заготовленное на имя императрицы прошение делегаты передали Алексею Орлову, на покровительство которого полагались. Орлов сказал им:

– Ждите резолюции. Просьбу вашу не замедлю вручить государыне.

Через две недели они были призваны к графу. И вот, прошагав по туманным площадям и проспектам столицы, они входят в графский дом.

– Слушайте, друзья мои, – ласково встретив их, начал граф. – Только имейте в виду – вверяю вам государственную тайну. За разглашение будете схвачены и на веки вечные посажены в Петропавловскую крепость. Поняли? С тебя, есаул Перфильев, первый взыск. Ну так вот. Правительству стало ведомо, что на Яике несчастье учинилось: некий вор и мошенник, беглый донской казак Пугачев, присвоил себе имя покойного императора Петра Третьего, собрал себе шайку из ваших же яицких ухорезов, укрывающихся от кары за убийство Траубенберга, и вот оный разбойник пошел гулять по Яику и даже подступил, говорят, к Оренбургу. Поняли, ребята?

– Поняли, ваше сиятельство! – Перфильев стиснул зубы и, в приливе искреннего возмущения, схватился за саблю. – Ах он подлец!

– Ну вот, – с удовлетворением проговорил Орлов. Ему понравился искренний порыв есаула. – Так съездите-ка вы, молодцы, к себе на родину да постарайтесь обманутых казаков уговорить, пускай-ка они от этого ложного царя отстанут да схватят его. Вот, постарайтесь-ка! Тогда по возвращении вашем в Петербург войсковое дело немедля будет решено в вашу пользу. А ты, Перфильев, сразу чин майора получишь.

– Рады постараться и послужить всемилостивой монархине! – вновь воскликнул Перфильев, и шадриное, в крупных оспинах, лицо его выразило полную преданность правительству. – Только предоставьте нам, ваше сиятельство, к вершению оногo великого дела подходящие способы. А уж мы...

– Вы, молодцы, у графа Чернышева были? Ах, нет? Ну и само хорошо, отлично! И не заходите, не заходите к нему. Он вам все время кашу портит. Кабы не он да не Мартемьян Бородин ваш, не быть бы и заварухе в яйцком войске, не гулять бы и Пугачеву там...

В конце ноября Перфильев и Герасимов, снабженные от Тайной канцелярии документами и прогонными деньгами, выехали через Москву в Казань под видом «черкесов» – так значилось в их паспортах за подписью князя Вяземского. А два других казака были оставлены в Петербурге в качестве заложников. Всем этим ведала Тайная канцелярия, Военная же коллегия вместе с графом Чернышевым была от этой затеи устранена.

Таким образом, в сиятельную голову Алексея Орлова влетела та же мысль, что и губернатору Рейнсдорпу: один послал ловить Пугачева каторжника Хлопушу, другой – есаула Перфильева.

И не успел еще Перфильев доехать до Казани, как в Военную коллегию пришли реляции и письма Кара, повергшие графа Чернышева в злобную растерянность, а императрицу – в гнев.

Однако выдавший виды полководец Чернышев не решился обвинять Кара в военных неудачах; его взорвало отсутствие у того должной дисциплины и, главное, полного сознания ответственности перед правительством. И вот, после доклада Екатерине, Чернышев тотчас написал Кару ответ:

Копия этого письма была направлена и главнокомандующему в Москве, князю Волконскому. «На случай же, – писал Чернышев князю, – если курьер как-нибудь с Каром разъехался, прилагаю при сем с оного моего письма дубликат и покорнейше ваше сиятельство прошу, как скоро Кар в Москву приедет, оное ему вручить, приказав наблюдать на почтовом дворе и где следует, чтоб Кар, не бывши у вашего сиятельства, Москвы проехать не мог».

Такого же смысла бумага была отослана и казанскому губернатору. Курьерам офицерского чина была дана особая инструкция.

Итак, шла ловля не только злодея Емельки Пугачева, но и генерала, против него сражавшегося и надумавшего бежать с поля военных действий. А что Кар действительно бежал, в этом не было ни малейшего сомнения. Он самолично передал командование отрядом генерал-майору Фрейману, сел в уютный возок и двинулся в Казань.

Среди солдат возникли по сему поводу толки:

– Ага, барабаны-палки. Учухали, братцы, пошто генерал-то удрал?

– Неужто нет!.. Он больше и глаз сюда не покажет.

– Знать, братцы, уверовал он... в царя-то. Барабаны-палки...

– Вестимо, уверовал... Не хочет супротив взаправдашного-то самодержца воевать... Пушай, мол, солдатня отдувается, с солдатни и спрос таковский.

– Во, во! Да и нам, ребятушки, это дело обмозговать надобно... Чать, не бараны!

Перфильев с Герасимовым тоже правились в Казань, к губернатору Бранту; денег у них было довольно, в пути питались они хорошо и выпивали почасту. Зимняя дорога наезжена, обставлена верстовыми полосатыми столбами, а на взлобках, где гуляют ветродуи, утыкана частыми вешками. Темные, неуютные зимою деревеньки с покривившимися, крытыми соломой избами, села с деревянными храмами, помещичьи усадьбы в садах да в рощах. Встречались порой и зажиточные, хорошо обстроенные села; церковь, два кабака, базар с торговыми балаганами, крепкие хозяйственные избы, даже церковная

школа для ребят.

По большой торговой дороге двигались взад-вперед скрипучие обозы с замороженной рыбой, мясом, свининой и птицей, с мешками муки, с возами сена. Или встречался собственный обоз какого-нибудь богатого купца-волжанина на пятидесяти сытых и рослых конях в доброй, кожаной, с медными бляхами сбруе. Под расписной дугой у каждого купеческого коня валдайский колокольчик, на шее шаркунцы с бубенцами, грива расчесана, хвосты подкручены. На объемистых возах, набитых в Москве красным товаром да сукном, укрытых от метелей кожами, перевитых пеньковыми веревками, сидят краснощекие, одетые в теплые тулупы купеческие извозчики; у каждого в ногах по самопалу, топору да по железному кистеню: в пути, случается, можно угодить и на разбойничков.

– Чей обоз-то? – перегоняя вереницу подвод, кричит со своих санок Перфильев.

– Кобелевых, именитых казанских купцов, Афанасья да Ивана, братья они.

– В Казань правитесь?

– Пошто в Казань? В Нижний! – И рыжебородый богатырь скатывается с воза, чтоб в ходьбе маленько поразмяться. – В Нижнем на склады сгрузим до весны, а весной-летом товары водой пойдут – кои до Макарья на ярмарку, а кои в Казань.

– А из Нижнего куда же вы?

– А мы опять в Москву. С Нижнего-то заберем железо демидовское, да медь с собственных кобелевских заводов, да хлеба хозяйского, да юфти. На войну все... Ведь война-то который год тянется, а у войны нуждишек немало. Так вот до весны и будем ездить меж Волгой – Москвой. А ваш путь куда принадлежит? – неожиданно спросил извозчик. – Ах, в Казань? Так-так. Чегой-то, бают, не вовсе спокойно там, будто царь-батюшка самоновейший объявился народу.

– Не царь, а самозванец, – возразил Перфильев и пустил свою лошадь шагом. – Да и не под Казанью, а под Оренбургом. А откуда слышал?

– Да пробалтываются! – шагая рядом с санками Перфильева, ответил рыжебородый. Он достал из-за пазухи житную лепешку, перекрестился и стал кусать белыми, как снег, зубами. – Ведь оттедова, из-под Казани-то, кой-какие из помещиков в Москву подаваться стали, ну-к слухи-то и катятся от их ямщиков да дворни. Царь-объявленец, мол, дворян-то не шибко милует, больше, мол, приклоняется он до простого народу, до черни, значит.

Перфильев переглянулся с Герасимовым, и оба пустили свои сани на полный ход.

Большая торговая дорога была оживленна и день и ночь. Много тысяч подвод ежедневно попадалось нашим путникам. И так по всей Руси, от черноморских степей до приполярной, почитай, тундры, от Балтийского моря до Уральских гор и дальше – по бескрайним просторам Сибири, особенно в зимнее время, кишели дороги обозами, проезжим и проходим людом.

Встречались нашим путникам и необычные, шумные подводы на плохих лошаденках, в веревочной да лыковой сбруе. Это какая-нибудь волость спешно доставляла в Москву очередную партию новобранцев. В широких санях-розвальнях, как сельди в бочках, сидели пьяные парни: одни орали песни, другие – упившиеся – лежали поперек саней мертвыми телами, третьи били себя кулаками в грудь и, скосоротившись, горько, неутешно плакали: «В Туретчину, братцы, к бусурманам!..»

Немало по дорогам моталось и пешеходов. То шли артелями плотники, то пильщики, то пимокаты. Вот крестьянин ведет тощую коровенку на базар, ее подгоняет хворостиной парнишка, укутанный мамкиной шалью; вот божьи старушки семянат неведомо куда и стрекочут между собою, как сороки, а вот два высоких крепких старика с посохами и заплечными берестяными кошельками. Они внушительного вида,

лица их свежи, взоры светлы, белые волосы волнисты. Один, выставив на мороз лысину, идет без шапки, он всю зиму – дома и в дороге – спит на сеновалах. Им в пути подают, а на ночлегах сытно кормят. Оба второй год шагают по обещанию из-под Иркутска в Киев, на поклонение киево-печерским чудотворцам, а ежели война с неверными «пресечется», то старцы-трудники, пожалуй, примут путь на Иерусалим-град и ко святой горе Афонской.

– А как же дома-то у вас? – любопытствовал Герасимов.

– А дома у нас, в Сибири-матушке, все исправно. Мы с Лукой соседи будем, шабры. У него семейство в двадцать душ, у меня того более. У нас у двоих-то до двухсот коровушек да по косяку лошадушек.

– Ха! – удивленно крутнул головой Перфильев. – Видно, помещиков-то нету у вас, в Сибири-то?

– Бог миловал... Этого сраму, позорища, чтоб человек человека, аки собаку, продавал да по своему хотенью истязал даже до смерти, у нас, в Сибири, не водится. Ваши мужики-то к нам бегут. Бе-егут, бегут!

– А сколько же вам лет будет, старички? – спросил Герасимов. – По шестидесяти есть?

– Мне восемьдесят девять, – сказал дед без шапки, – а Лука-т на восемь годков старей меня, ему уж к веку подваливает, к ста годкам. Вон он, дуй его горою, крепыш какой. Репа репой. Ну, прощайте-кося... – Светлые старцы легкой ступью пошагали дальше.

3

На ночевках, где-нибудь на постоялом дворе или в ямской избе, путники наши все чаще, все охотнее возвращались к одному и тому же заветному разговору. В дороге, при ямщиках, скрытые речи вести опасно, а вот с глазу на глаз, потягивая в теплой хате винцо или горячий сбитень с пахучим свежим караваем вприкуску, раскинуть умом-разумом весьма невинно.

– Да, брат, да, Перфильев, – начинал усатый казак Герасимов и ужимал глаза вприщур, – такие-то дела-делишки. Ведь я сказывал тебе, что видел покойного государя вживе не единожды, и буде сей, называющийся, и впрямь государь, узнаю его зараз.

– Каким, однако, побытом могло статься, чтобы простой человек взял да и объявил себя государем? – озадаченно вопрошал Перфильев. – Кажись, и статься сему не можно. А на мой смысл, называемый графом Орловым Емелька Пугачев и впрямь есть он – Петр Третий.

– Да ведь ходила молва, будто манифесты о смерти государя ложны, будто выкраден он из-под ареста...

– А ежели так, – озираясь, нашептывал Перфильев, – тогда воистину под Оренбургом это он и есть. Ведь должен же он, державец наш, где ни то объявиться...

– Знаешь что, Перфильев, – задышав в шадривое лицо товарища, таинственно говорил усатый Герасимов, – ежели я, повстречавшись, узнаю государя, тогда хоть убей меня, а злого умысла супротив него допускать не стану.

– А как иначе? Как можно руку поднять на государей! – восклицал Перфильев. – Их головы помазанные. Только вот ты што скажи, чью сторону держать нам: государя алибо государыни?

– Нам в их дела вступать нечего, они промеж собой как хотят, так пусть и делят. Наше дело маленькое... Наша хата с краю... как говорится.

– Что верно, то верно, – согласился Перфильев.

На том они и порешили. А как прибыли в Нижний Новгород, пошли в кремлевский Преображенский собор и в нем, над могилою приснопамятного сына России Кузьмы Минина, поклялись служить государю верой-правдой. То был зарок совести, отягченный раскаянием за данное графу Орлову слово – черное слово супротив государя.

Под Макарьевым произошла у них неожиданная встреча.

– Стой! Перфильев! Герасимов! Да никак это вы? Стой, ежова голова! – И к остановившимся саням подбежал бородатый косоглазый яицкий казак Федот Кожин. Простоватое лицо его выражало необычайное удивление и радость. – Ой, да и соскучился же я по своим людям-то, по казакам-то. Ведь я, дружки, с чумного московского бунта. Да отойдемте-ка подале куда. – И казак-гуляка кивнул в сторону курносого парня-ямщика.

Все три казака, взявшись под руки, стали неспешно прохаживаться вдоль дороги.

– Я после бунта московского по тюрьмам вшей кормил, под плетью, ежова голова, был, да вот Господь привел нам эвот с дружкой-то этим вырваться. – И Федот Кожин указал рукой на сидевшего в санях человека. – Да уж я... Эй, Нил Иваныч, вылазь сюда на кумпанство!

Нил Хряпов в вывороченной вверх шерстью овчинной шубе, в мохнатой шапке походил на огромного стервятника-медведя. Жир с него спал, брюхо стало много меньше, бородатое лицо по-прежнему красное,

запойное, под глазами отвисшие мешки. Он и Кожин были навеселе. Поздоровавшись с казаками, Хряпов, недолго думая, сказал:

– А нет ли у вас, господа проезжающие, винца глоточка с два? У нас было два штофа, да выпили, зато вареная курица есть да пироги-крупеники.

Через минуту возле саней бывшего мясника завязалась на морозце беседа с легкой выпивкой.

– Куда ж это ты пробираешься-то, Афанасий Петрович? – спросил Кожин есаула Перфильева и с жадностью опрокинул в рот стаканчик холодного вина.

– По секретному делу едем, – загадочно ответил тот.

– А-а-а, по секретному! Хм... Мы с дружкой тоже вроде как по секретному, – сипло захохотал вовсе охмелевший Кожин и облизнулся. – Ну, так вот вместях и поедемте, ежова голова... по секрету!

– Нам не по пути. Мы до губернатора Бранта едем, в Казань.

– Эво куда, – и косоглазый Кожин с какой-то веселой безнадежностью присвистнул. – Ну а мы, брат, губернаторов да воевод как можно объезжаем... ха-ха-ха! Я напрямки скажу, Перфильев, – хошь саблей меня руби, хошь из пистолета, – едем мы, без утайки тебе молвлю, как казак казаку, – поспешаем мы, значит, ежова голова, к самому Петру Федоровичу, царю-батюшке, вот куда!

– Да нешто он объявился где, государь-то? – схитрил осторожный Перфильев.

– Хах ты, ежова голова! – закричал Федот Кожин, давась пирогом-крупеником. – Неужели не слыхал? Да нам в кабаках все уши прожужжали: под Ренбургом, мол, сам царь стоит с великим воинством.

– Пьянчужки брешут, а ты, косоглазый заяц, слушаешь, – подзадорил Кожина Перфильев.

– Нет, не брешут, господа казаки, – убежденно и строго возразил Нил Иваныч Хряпов. Он широко распахнул шубу и стал набивать трубку табаком. – Мне доподлинно ведомо, что главнокомандующий Москвы князь Волконский военную силу из-под Москвы в Оренбург направил. Уж мне ли не знать. Ведь я первейшим купцом был, а по природе мужик я, крепостной барина Ракитина, в люди же вышел грешной головой своей. – И бородатый Хряпов, допив остаток водки, не торопясь рассказал казакам про свою жизнь: как он был богат и знатен, как разорился, как с горя стал пить и по дурости, ошалев от пьянства, ввязался в Москве в драку.

– Ведь я поставщик двора был, ведь я самого государя не токмо что видывал, а и в могилу провожал, царство ему небесное!

– Как так... в могилу? – исподлобья посмотрев на купца, воскликнул Перфильев, а Герасимов крутнул головой и прыснул смехом. – Да к кому же вы тогда едете, раз царь земле предан? Ну и чудодеи вы, братцы мои! Мылом объелись либо щелоком охлебались.

– А еду я, – отставив ногу и разгребая пальцами бороду, начал Хряпов, – еду я, честные господа, мужиков на бар подымать. Вот куда! А как сколочу шайку из крестьян, бар будем резать, барское жительство пеклу предавать, хе-хе... И есть мое усердие прибыть к батюшке по крайности вкупе с тысячью разнесчастных мужичков.

– Да к какому батюшке-то? – захохотал Перфильев, с большим любопытством присматриваясь к захмелевшему купцу.

– А вот как дойдем до него, тогда и угляжу, к какому: к воскресшему ли батюшке, али к умному разбойничку! Ежели есть он истинный царь, а замест него в Невском монастыре похожего на него человека погребению предали, я тут же оборочусь к царю спиной да и заявлю в народ: хошь ты и государь был, Петр Федорыч, а только не в своем уме царствовал, баба ты в повойнике, а не царь!.. – Хряпов чем дальше, тем

больше волновался, он вспотел на морозе, голос его стал сиплым, крикливым, занозистым. – А ежели он, дай Бог, разбойничек умный, упаду ему в ноги да не раз, а сто раз ударюсь башкой в землю. Разбойничек, заору, пресветлый разбойничек мой! Давай оба вместе, оба враз царствовать! Покажем свету, что и чрез разбой правда открыться может! – По пухлым морщинистым щекам его, по бороде текли слезы. – Ой, братцы, мужик я, мясник я, так уж замест коров стану резать я помещиков и прочих душителеев мужичьих!.. Эх, братцы!.. Еще бы винца мне, разбойничку, а! – Он бил себя опухшими кулаками в грудь и всячески спяна юродствовал. Перфильев толкнул Герасимова в бок, и они исподволь покинули гуляк.

4

Полковник Чернышев, не получая никаких распоряжений от Кара, в ночь на 13 ноября выступил к Чернореченской крепости с целью пробраться в Оренбург. Он отправил губернатору Рейнсдорпу двух казаков с просьбой оказать его отряду содействие.

Гонцы еще не успели прибыть в Оренбург, как Рейнсдорп получил рапорт бригадира Корфа, что ночью 12 ноября он остановится в двадцати верстах от Оренбурга. Губернатор тотчас отправил как Корфу, так и Чернышеву приказание выступить от своих ночлегов одновременно, на рассвете, и направиться к Оренбургу со всеми военными предосторожностями.

Однако губернаторские гонцы были схвачены в дороге расторопными мятежниками, и это обстоятельство открыло карты Пугачеву.

Полковник Петр Матвеевич Чернышев^[6] в первом часу ночи на 14 ноября прибыл в Чернореченскую крепость, разместил свой отряд по квартирам и лишь расположился на ночлег в доме священника, как к нему постучались. Вошел с двумя казаками только что прибывший в Чернореченскую сакмарский атаман Углецкий.

– Я вас должен предупредить, господин полковник, – сказал он, – что силы злодея весьма порядочные. И ваш отряд непременно будет атакован, ежели вам не удастся пройти как-нибудь скрадом. Мой совет – вам надлежит выступить сейчас: может, в темноте и проскочите.

– Да что-о вы, право... – опешил Чернышев.

– Да уж поверьте!

– Но я не имею точных указаний ни от Кара, ни от губернатора Рейнсдорпа, к коему отправлены мною два казака.

– Ваши казаки наверняка пойманы врагом. Что касемо Кара, то он разбит и отступил, а высланная в помощь ему гренадерская рота схвачена пугачевцами и угнана самозванцу в лагерь.

– Да что-о вы, – опять протянул крайне озадаченный Чернышев, прислушиваясь к какому-то гаму за окном.

Через двойные рамы долетало: «Не имеешь права, подлюга!» – «Какие мы пугачевцы... Сперва расчухай!..» – «Не хватай за глотку, а то нос отгрызу и выплуну!»

В опрятную комнату с накрахмаленными занавесками и чижиком под потолком вбежал запыхавшийся адъютант:

– Господин полковник! «Языков» поймали...

Вскоре ввалилась к Чернышеву шумная толпа: чернышевские солдаты притащили пятерых пугачевцев.

– Вот, ваше высокоблагородие, – едва переводя дыхание, прохрипел старый капрал. – Пошли мы, уж не погневайтесь, в шинок, конечно, в корчму. А эти молодчики там водку хлещут. Ну, мы не знаем, кто такие, может, местного гарнизону, а шинкарь и шепчет мне: «Хватай, это изменники, от самозванца утекли...»

– Кто вы такие, молодцы? – перебил капрала Чернышев, потряхивая седою головою.

– Дозвольте! – выдвинулся из толпы бравый безбородый, в рыжих усах, казак. – Нас, казаков-бунтовщиков, четверо, а пятый – это солдат, он не наш...

– Я, ваше высокоблагородие, рядовой крепостного гарнизона Крылов. – И толстогубый, с водянистыми глазами, солдат шагнул вперед. – При сшибке я к злодеям в полон попал, а третьего дня от воров бежал, теперь здесь-ка скрываюсь...

– Дозвольте! – перебил его рыжеусый и заиграл глазами. – Каемся, мы, четверо казаков, у батюшки служили по глупости. А вот уж третий день, как тоже утекли... Батюшка-т не батюшка, а первый лиходей оказался, вор!.. Ему бы людей вешать... Вот, ваше высокоблагородие, хошь верь – хошь нет... Хошь жилы из нас тяните... Обидел меня батюшка, вот как обидел... Принародно по зубам дал... А я ли ему не служил по глупости... – Казак зафыркал носом и плаксиво скосоротился, прикрываясь широкой ладонью.

– А нас не мордовал батюшка, что ли? – подали голос остальные трое пугачевцев. – Он только своих яицких жалует, а мы, слава Богу, илецкие... Как добро делить, он все себе да себе, а нам фига с маслом...

– Не в том дело! – выкрикнул рыжеусый, тараща на Чернышева заплаканные глаза. – Дозвольте! А зорно стало нам в изменниках великой государыне ходить. Ведь мы не слепые щенята, ведь мы понимаем, васкородие, долго ли, коротко ли, самозванцу царю крышка... – И рыжеусый, а с ним и остальные повалились пред Чернышевым на колени. – Ваше высокоблагородие! Помилуйте нас, охлопочите нам прощение, примите к себе на службу хошь в самые последние обозные...

– Изменники! – поднялся широкоплечий Чернышев и сердито затопал на них. – Как вам, чертовы дети, могу верить, раз вы присяге изменили?! Повесить вас мало...

– Нас, ваше высокоблагородие, и Пугач грозил повесить... Уж схваченные были, да угодники святые пособили утечь от виселицы-то! Господи, батюшка! Так где же нам оправдаться-то? – стал в отчаянии заламывать руки рыжеусый казак. – Помилуйте, не дайте душе загинуть! Ведь мы молодые, вся жизнь впереди... А уж мы вам службу сослужим. Васкородие, миленькие...

– Какую вы, мерзавцы, можете сослужить мне службу?

– А вот какую. – И рыжеусый пугачевец поднялся с колен. – Ежели вы пробудете здесь в Чернореченской до утра, так несдобровать вам: Пугач непременно атакует вас, и вам, васкородие, со своей командой супротив злодея устоять будет не можно... У него силищи много, уж мы-то, васкородие, знаем доподлинно...

– Вот видите, господин полковник, – вмешался молчавший атаман Углецкий, – стало быть, я дело вам советовал... Надо немедля выступать вам.

– А выступать надо тихо-смирно, чтоб без барабанов, без огней, – говорил раскрасневшийся, возбужденный рыжеусый. – А уж мы возьмем на себя проводить вас скрытой дорогой, чтобы злодею не чутко было... Нам ведь самим опять попасться к нему – слаще дьяволу в лапы!

– Как бежал я вчерась из злодейского лагеря, там пьянка зачиналась, – сказал солдат Крылов, отстраняя рыжеусого. – Они всю ночь нынче будут гулеванить, винище лопать. А я дорогу в Оренбург знаю во как, защуря пройду, восемнадцать-то верст еще до свету промахнем, вашескородие...

Чернышев задумался и уже более милостиво поглядел на беглых пугачевцев.

Во время разговоров один по одному собрались к полковнику все тридцать два офицера. Им тоже казалось, что беглецы дают резонные советы. Тем более что советы эти полностью совпадали с предостереженьем атамана Углецкого. А уж Углецкий свой человек, ему вся вера.

– Как удобнее нам выступать? – обратился Чернышев к офицерам. – В каком порядке?

Те пожимали плечами, переглядывались друг с другом.

– А вот как удобнее, – опять заговорил рыжеусый беглец-пугачевец. – Дозвольте! Вперед, конечно,

конницу пустить, следом артиллерию, а тут – пехота да обоз. А порох-то наготове держать, да ружья-то чтобы заряженные были, не как у гренадерской роты, коя и в плен-то попала из-за дурости своей... На них злодеи налетели, а у гренадеров-дураков ни пороху, ни ружей...

– Истинно так, – подтвердил атаман Углецкий.

Чернышеву понравилось поведение рыжеусого казака, он сказал:

– Ежели, ребята, благополучно дело сделаете, в Оренбурге награжу вас – по двадцать пять рублей каждого!

Казак и солдат Крылов низко поклонились Чернышеву и сказали:

– Не в награждении дело, ваше высокоблагородие. Конечно – спасибо... деньги великие... А само главно – похлопчи за нас, бедных...

Чернышев приказал капитану Ружевскому:

– Возьмите, Осип Федорыч, человек пять-шесть казаков, да выбирайте самых смысленых, и скачите к Рейнсдорпу, скажите ему, что я сейчас отправляюсь в марш и прошу от него сикурса. Будьте осторожны, враг зорок и хитер.

Было еще темно, выступили тихо. Редкий-редкий порошил снежок. Впереди без шума, без закура трубок двигалась конница: пятьсот ставропольских калмыков да сотня крепостных казаков. За конницей – пятнадцать орудий с полным снаряжением. Далее – семьсот гарнизонных солдат и огромный обоз. Вступили в темный лес. Дорога виляла среди зарослей, была узка и неудобна: отряд растянулся на большое расстояние. В голове ехали беглые казаки-пугачевцы и солдат Крылов – указывали дорогу.

Рыжеусый пугачевец нет-нет и повернет коня назад и проедет вдоль отряда, зорко наблюдая, в порядке ли движется обоз. «Тихо, тихо», – грозит он нагайкой. А подъехав к сбившимся в кучу офицерам, он негромко говорит:

– Еще часок, и на Маячной горе будем. А как гору перевалим, тут тебе и Оренбург, версты с четыре останется.

Сам Чернышев, скрытно от всех нарядившись мужиком, в рваном, измызганном армяке, в овчинной с ушами старой шапке, сидит на обозной подвозе, правит лошадежкой, помахивает кнутом. В темноте его никто не замечает и никто не знает, где он, полковник Чернышев. Да его теперь сам сатана в очках не сыщет. Его лошадь идет то шагом, то ленивой рысью: тух-тух-тух, сани клонит вправо-влево, на Чернышева накатывается дрема, но он упорно борется с ней.

Впереди, за две подводы от него, завалился воз, набежали соседи, стали подымать. Тотчас появился рыжеусый пугачевец, спрыгнул с коня, тоже впрягся в дело, внатуг нажимает плечом, кряхтит, а сам вполголоса предупреждает возчиков: «Тихо, тихо, мужики, не шумите громко-то».

Воз поднят, все двинулись вперед. Мимо Чернышева проехал все тот же душа-парень, рыжеусый. Чернышеву хотелось крикнуть молодцу: спасибо, мол, за старанье! Не двадцать пять, а сто рублей награды примешь.

Он стал думать о том, что его ожидает впереди. Как будто все ясно и как будто все в густом тумане: для человека не только завтрашний день, но и предстоящий час, даже ближайшее мгновенье скрыто непроницаемой, как могильный мрак, завесой. Впрочем... вот он, полковник Чернышев, скоро вступит в Оренбург с огромным запасом продовольствия, изголодавшиеся жители осажденной крепости будут благословлять его имя, а губернатор Рейнсдорп, получив новую воинскую силу, придет в радость. А там –

грозная, под командой Чернышева, вылазка из крепости, бродяга Пугачев схвачен и закован, его злодейская толпа разогнана, полковник Чернышев за боевой опыт и отвагу произведен в генералы. Генерал Чернышев!..

И может статья – государыня императрица, просматривая списки награжденных, споткнется на его фамилии своим светлым взором. «Чернышев, Петр Матвеевич... а-а-а, да ведь это кто!..» – мысленно воскликнет великая монархиня...

Тут думы Чернышева стремительно несутся в прошлое. Высокий, статный седеющий красавец, физические качества которого не замаскировать никакими рваными мужичьими тулупами, вспомнил о днях своей юности, о счастливой поре своей придворной жизни в звании камер-лакея великого князя Петра Федоровича. Да, поистине чудесная, неповторимая пора, похожая на волшебную сказку Шехерезады!

Их было при дворе три брата: рослые, красивые, услужливые; они были любимы великим князем, но особой благосклонностью юной супруги великого князя – Екатерины Алексеевны – пользовался их старший двоюродный брат – Андрей Чернышев. Однако привольная жизнь баловней судьбы продолжалась недолго: подозрительная императрица Елизавета положила быстрый и суровый предел альковным шашням Андрея Чернышева и Екатерины: все три брата были удалены из дворца и после двухлетнего ареста в Рыбачьей слободе под Петербургом направлены на военную службу в отдаленные местности.

Увязая мечтой в давно минувшем, Чернышев глубоко вздыхает, пристрачивает кнутом ленивую лошаденку, озирается по сторонам: справа и слева мелкий лес, кругом таинственная сутемень, но небо, стремительно вздымаясь ввысь, понемногу бледнеет, проясняется.

Все стало на виду: лес исчез, тянется лысая пологая гора, и сквозь рассвет откуда-то слышится резкий и бодрый, уже не таящийся голос рыжеусого:

– Маячная гора! Горой едем... Теперь, почитай, дома мы... Вот вздымемся на лысину – и Оренбург как на ладошке будет.

У Чернышева расплзлась по губам приятная улыбка, он снял шапку и со всем усердием перекрестился. Он по плану припоминал, что Бердская слобода, этот вертеп разбойников, осталась далеко правее.

5

Но вдруг, как с неба гром, раскатился где-то впереди пушечный выстрел, за ним другой, третий.

Все пришло в неопишное смятение.

Конный отряд, уже переваливший Маячную гору и внезапно осыпанный пушечной картечью, сразу остановился. Подлетевший к конным чернышевцам все тот же рыжеусый казак-пугачевец с появившейся на пике развевавшейся белой повязкой что есть силы заорал:

– Довольно вам, ребяташки, царице-немке служить!.. За мной!.. Айда к государю императору! – И все шесть сотен чернышевской конницы с гиканьем помчались за пятью лихими пугачевцами.

– Стреляй, стреляй изменников! – вопили всполошившиеся офицеры. Затрещали ружейные выстрелы, но пули летели безвредно.

Чернышев с ужасом видел, как из-за лысой Маячной горы темной тучей по белому снегу вымахнули пугачевские всадники. Стреляя из ружей и поигрывая пиками, они помчались на артиллерию и на растерявшихся пехотинцев. Чернышев смертельно оробел, не знал, на что ему решиться, хотел бежать к сбившимся в кучу офицерам, но душевные силы оставили его, он как бы впал в столбняк, весь обмер и затаился на возу.

К Пугачеву, державшемуся со свитой в некотором отдалении, подскакал с белой на пике повязкой рыжеусый казак Тимофей Чернов, тот самый сорви-голова, который недавно докладывал батюшке, как он, казак Чернов, чуть ли не один взял Сорочинскую крепость, и над которым батюшка весело подшучивал.

– Вот, ваше величество! – гаркнул он, молодецкато вскидывая голову. – Приказ твоей милости исполнен, дело сделано, неприятельский отряд заманули мы не надо лучше.

– Спасибо, Тимоха, благодарствую, – кивнул ему Пугачев и обернулся к свите: – А ну, атаманы, вперед!

Но впереди почти все уже было кончено: пугачевцы сидели на лафетах чернышевских пушек, четверо сопротивлявшихся артиллеристов валялись порубленными, поколотыми. Канониры, бомбардиры и куча обозных мужиков, стоя на коленях, просили о пощаде.

Семьсот старых и молодых, переязбших на морозе солдат, дрожа от волнения и не видя возле себя офицеров, впали под напором многочисленной вражеской конницы в робость.

– Кто за государя императора, бросай ружья! – скомандовал подскакавший к ним с илецкими казаками полковник Творогов.

Солдаты, недолго думая, будто по уговору, покорно сложили тесаки, ружья, патронные сумки, опустились на колени, завопили:

– Не чините нам смерти! Мы согласны служить вашему величеству...

Все покорились наскакавшим пугачевцам. Лишь офицеры, стоя плечо в плечо, яростно защищались.

– Падем в честном бою, но не сдадимся разбойникам! – в исступлении выкрикивали они, отстреливаясь из ружей, из пистолетов, с отчаяньем рубились шашками.

Казачи напирала со всех сторон.

– Бей их! Не нашего стада скотина... Бей! – визгливо орали казаки и падали, сраженные офицерскими пулями.

Но пули расстреляны, силы в плечах иссякли, еще момент – и все они, офицеры, будут растерзаны.

– Не трог их, детушки. Бери живьем, – приказал подъехавший ближе Пугачев.

Он был в простой казацкой одежде и ничем не отличался от рядового казака. Офицеры не обратили на него внимания, они ругали вязавших их казаков, плевали им в лицо, вгрызались в руки.

– Изменники подлые! Клятвопреступники! – выкрикивали охрипшими голосами наиболее мужественные из них. – Вот уж будет вам... дураки!.. Царя себе выдумали... Беглый казакишка Емелька вас за нос водит... Где он? Покажите-ка нам хоть рожу-то его богомерзкую...

– А вот в Берду придешь, там увидишь! – прокричал с коня засверкавший гневными глазами Пугачев. – А эти ваши бабьи сказки-то слышали мы, про Емельку-то... Своими ложными манифестами царица Екатерина только простой народ с толку сбивает. Да только простой-то народ поумней вас, дураков.

Двухтысячная пугачевская конница и весь захваченный отряд с крупным обозом провианта, которым Чернышев собирался порадовать осажденных оренбуржцев, на виду у проснувшейся крепости неспешно двигались по сыртам в Бердскую слободу.

На крепостном валу, как всегда в тревожные часы, стояли жители. Был тут со своими знакомцами именитый Рычков, духовенство, многие начальствующие лица, была и любопытная Золотариха с курским купчиком Полуехтовым.

На белом, покрытом снегом, высоком валу пестрели серенькой грязью солдаты, казаки, толпы простолюдинов. Все, решительно все с неимоверной тоской в глазах провожали взглядами огромный обоз с продовольствием, ползущий вдали в сытую, пьяную Берду.

– Прощай, хлебец-батюшка, прощай, мяско... Э-эхма-а-а-а!.. – вздыхали голодные люди, и по их иссохшим щекам невольно катились слезы.

Губернатор Иван Андреевич Рейнсдорп, окруженный свитой, укутанный в теплую шубу – воротник кибиткой, – тоже присутствовал здесь, на валу, чуть-чуть в сторонке от народа. Время от времени он прикладывал подзорную трубу к глазу, постанывал и морщился, как от зубной боли.

В центре города башенные часы над зданием гауптвахты пробили восемь утра.

Рядом с губернатором стоит гонец Чернышева, капитан Ружевский. Каким-то чудом ему удалось благополучно и вовремя добраться до Оренбурга. С пятью казаками он подъехал к воротам крепости четыре часа тому назад, когда было еще совсем темно.

Ружевский мчался к Рейнсдорпу, чтоб доложить убедительную просьбу полковника Чернышева выслать ему навстречу скорую помощь. Когда Ружевский, разбудив губернатора, сообщил ему о разгроме пугачевцами генерала Кара, озадаченный губернатор изумленно воскликнул:

– Какого генерала Кара? Где он, откуда?

– Неужели вам, ваше высокопревосходительство, ничего не известно про Кара?

– Голубчик!.. Откуда ж мне знать? Весь крепость окружен... Люди этого каторжника Пугашов день и ночь кругом крепости чинят разезды. Кар... Кар! О мой Бог!.. Но надо действовать, действовать... Эй, одеваться! – Он бросил колпак, сбросил стеганный шлафрок с кистями, сказал: – Пардон, – и остался в одном исподнем.

Было уже шесть часов утра, когда они вышли на улицу. И в этот миг, раз за разом, ударили вдалеке три пушечных выстрела. Губернатор затаенным шепотом выдохнул: «О! Ви слышаете?»

Сели в сани, поехали в крепость, чутко прислушиваясь к морозной тишине. Но выстрелов больше не повторялось. Рейнсдорп обреченно произнес:

– Ясно... Все ясно! Чернышев либо сыграл ретираду, либо попался в плен.

– А третьей возможности вы, ваше высокопревосходительство, не допускаете?

– Шо? Штоб победа была на стороне полковник Чернышев? Нико-гда! Я не могу победить эта шволочь, даже я!

Тем временем в Бердскую слободу уныло шагали тридцать два арестованных офицера.

– А где же Чернышев? Где полковник Чернышев? – озираясь, спрашивали они друг друга.

– Я видел Петра Матвеевича в Чернореченской, пред самым маршем, – густым басом сказал тучный майор Семенов. – Он отдавал какие-то приказания капитану Ружевскому и неизвестно куда исчез...

– Но ведь не мог же он отправить в марш нас одних... Не сидит же он в Чернореченской, – сказал такой же тучный, задыхающийся на ходу капитан Калмыков.

– А вдруг да он не дай Бог убит, – предположил молодой подпоручик Аверкиев. – Шальная пуля либо картечь...

В Берде пугачевцы тоже всполошились, опрашивали офицеров, опрашивали солдат:

– Где ваш начальник? Где полковник Чернышев?

Офицеры как в рот воды набрали, отворачивались, глядели в землю. Спрошенные солдаты только руками разводили:

– Знать не знаем. Мы люди мелкие...

Рыжеусый Тимоха Чернов, так ловко одурачивший полковника Чернышева, из себя выходил от злости, он внимательно всматривался в лицо каждого солдата, выкрикивал:

– Ну и хитер, ну и хитер ваш змей полковник! Как сквозь землю... Да уж не черт ли его с кашей съел?..

Дежурный Давилин пытливо осматривал всех обозных мужиков, коим велено смирно сидеть на козлах. Осмотрены тридцать семь извозчиков, еще осталось больше половины. Подошел к тридцать восьмому, сидевшему в рваном армяке, в овчинной с ушами шапчонке. Ой, что-то лицо не мужичье, барское, бритое лицо, тонкий нос горбинкой... Э-ге-ге!

– А ну, дядя,ними рукавицу, покажь руку.

У полковника Чернышева задергались концы губ, в помутившихся глазах стал меркнуть свет.

– Что за человек?

– Из-извозчик...

Подбежавший на разговор Тимоха Чернов, захлебываясь мстительной радостью, громко закричал:

– Он, он! Вот те Христос, он... – И, состроив плаксивую рожу, Тимоха повалился перед Чернышевым на колени: – Ваше высокоблагородие! Помилуйте... Пожалейте мою молодую жизнь!

– Братцы, – обратился Давилин к подбежавшим солдатам. – Скажите по правде-совести, что за человек?

– Наш полковник это, Петр Матвеевич Чернышев, – не сморгнув глазом откликнулись в кучке солдат.

Бледное, помертвевшее лицо Чернышева вдруг налилось кровью, глаза ожесточились, он соскочил с облучка и крикнул:

– Да, это я... Вешайте, негодяи! – Затем сорвал с себя армяк и с силою бросил в лицо Давилина.

Глава VI

Гипохондрия. Страшный суд. Павел Носов. Блестящая победа

1

Секунд-майор Наумов зашел проведать капитаншу Крылову, сообщить ей свежие вести о несчастье с полковником Чернышевым, да к стати и позавтракать: капитанша была изрядная мастерица стряпать. Но оказалось, что Крылова о судьбе Чернышева уже знала и встретила Наумова с заплаканными глазами. Четырехлетний карапуз Ваня, с измазанной вареньем мордочкой, сшибал клюкой расставленные на полу бабки.

– Ну что, от благоверного никаких вестей? – приласкав мальчика, спросил Наумов капитаншу.

– А откуда же могут быть вести, батюшка? Разве что сорока на хвосте... Вот все ждали, надеялись получить весточку с полковником Чернышевым, да видишь, какая беда стряслась... Пропasti-то на него нет, на этого Пугача треклятого!

– Дядя Наум, – ввязался Ваня, – а он царь взаправду или нарочно, Пугач-то?

– Царь, царь... Только с другого боку.

– Х-х, с другого... А с какого? Вот с этого али вот с этого? – подбочениваясь то правой, то левой рукой, спросил озадаченный Ваня.

– Он вор, – сказал Наумов.

– А кого он украдывал? – оживился мальчонка и пристукнул клюкой по бабкам.

Нянька, вырвав у Вани клюку, увела его.

Вошел с вязанкой дров старый, хромой слуга Крыловых, сбросил дрова к печке.

– Ну, какво живешь, Семеныч? – приветливо улыбаясь старику, спросил Наумов. – Не слыхал ли чего новенького?

– Новое хуже старого, ваше благородие, – виновато откликнулся старик, припадая на хроную ногу. – День ото дня гаже! Известно, простой народ не в довольстве находится, вот и шумит.

– Чего ради он шумит-то? – любопытствовал Наумов и принялся раскуривать трубку.

– Харч дорог, ваше благородие. День ото дня дороже. Эвот до осады самая лучшая крупчатка была тридцать копеек пуд, а таперя к шести рублям пудик подходит. Во как! А в злодейском лагере дороже четвертака за пуд крупчатку продавать не повелено... Сам Пугач быдто запретил.

– А ты, Семеныч, всерьез скажи, чего народ-то гуторит, особливо солдаты да казаки?

– Всяко, ваше благородие, брякают. Иным часом и прикрикнешь на другого обормота: ах ты, мол, такой-сякой – видно, присягу позабыл? Ну, он язык-то и прикусит. Эвот недавно купчик Полуехтов в разгул ударился и всех вином потчевать стал в кабаке. Ну, солдатня и дорвалась до дармовщинки-то! Кричат пьяные: надо-де в царев лагерь иди, там вольготней, там вином хоть залейся и харч добрый, кажинный

Божий день убоинку едят, а у нас-де что?

– Ах, мерзавцы! – нахмурился Наумов и, не докурив, стал выколачивать трубку.

Старик постоял, помялся, пробурчал: «Эхе-хе, жизнь!» – и покултыхал вон.

– Да и то правду молвить, уж больно распустили солдатишек-то, – проговорила капитанша, накладывая в глубокую тарелку моченых слив с яблоками.

– Нимало не распустили, – возразил Наумов, и у него при виде вкусностей стала набегать слюна. – Да и не в одних солдатах дело. Промеж штрафных офицеров надо сыскивать смутьянов-то, вот где. Штрафных-то много сюда ссылают из столицы. Взять, к примеру, того же Андрея Горбатого, прапорщика, – ой-ой, цаца какая!.. Его из капитанов разжаловали да турнули сюда. Генерал Валленштерн досматривать за ним приказал мне.

– А вот эти самые, как их... полячки пленные...

– Конфедераты? Я бы их всех в мешок – да в воду. Я бы их... И напрасно господин губернатор компанию с ними водит.

Отведав моченых слив и настоянной на рябине водки, секунд-майор Наумов, ради служебного соглашения, направился к прапорщику Горбатову.

Андрей Ильич Горбатов со своим знакомцем конфедератом Плохоцким снимал две небольшие горницы в доме столяра-краснодеревца, выплачивая хозяину по семьдесят пять копеек в месяц. Восемь месяцев тому назад по приговору дисциплинарного военного суда он был выслан из Петербурга на службу в Оренбург. Держал он себя здесь независимо, обособленно, с офицерами не водился, перед начальством не заискивал. С солдатами всегда был хорош, у начальников же на плохом счету. «Спесив, надменен, к тому же леностен», – говорили про него.

На приветствие вошедшего Наумова ответил Горбатов сухим кивком и не предложил сесть.

– Что вам угодно? – спросил он незваного гостя.

– Напрямки вас спрошу, по-военному, как офицер офицера, – неприязненным тоном произнес Наумов, хмуря густые брови, – пришел я проведать, чем вы занимаетесь, и вообще...

– А какое вам дело, чем я занимаюсь? И кто вам дал право задавать мне подобные вопросы?

– Я сие вершу по праву начальника, вы мой подчиненный.

– В первый раз слышу. Считал себя в подчинении у оберкоменданта Валленштерна.

– Вот бумага, приказ. – И Наумов бросил официальное предписание на стол, поверх которого лежала географическая карта. – Извольте прочесть и твердо помнить, что вы уже месяц назад прикомандированы к моему отряду.

– От подобной чести буду отказываться до тех пор, пока не получу о сем ордер из канцелярии. – И Горбатов, прочтя бумажку, небрежно положил ее вновь на стол.

– Извольте в канцелярию пожаловать за орденом сами.

– И не подумаю.

– Прошу пререкания со мной в сторону отложить – они опасны.

– Прошу принять в мысль, что грубый ваш тон по отношению ко мне тоже для вас может стать опасным! – Темные, в упор устремленные на секунд-майора глаза Горбатова засверкали.

Наумов смутился и, сдерживая голос, спросил, прихлопнув рукой географическую карту:

– Это что за карта и откуда взялась она?

– Вам до этого нет дела! Впрочем, это карта Польши... Речи Посполитой.

– Ах, Польши? Очень хорошо! Эта карта ваша?

– Она принадлежит Плохоцкому...

– Ах, Плохоцкому? Чудесно!

– Смею спросить, вы ко мне явились как офицер или как полицейский чин?

Наумов, не вдруг поборов невольное внутреннее беспокойство, ответил:

– И то и другое...

– Ах так! Приятно слышать, – воскликнул Горбатов и, усмехнувшись, подал гостю стул. – В таком разе прошу присесть.

«Давно бы так, сукин сын», – не поняв злой насмешки столичного офицера, подумал простяга Наумов и сказал:

– Не утруждайте себя! Я скоро откланяюсь.

Ему очень хотелось как-нибудь уколоть задиру, загнать его в тупик, и он официальным тоном спросил его:

– Скажите, господин прапорщик, чего ради вы отсутствовали при вылазках из крепости третьего числа, девятого числа и сегодня утром?

– По причине уважительной, – подумав, ответил Горбатов. – Я страдаю желтой гипохондрией, это болезнь души, а телесный недуг мой – это подагрическая немочь.

– Имейте в виду, ваши дальнейшие уклонения в делах против самозванца будут истолкованы высшим командованием вам во вред.

– Имейте в виду и вы, господин секунд-майор, что больной воин – помеха делу, а не помощь. – Горбатов схватился за виски, застонал и стал вышагивать по комнате.

– Что с вами? – жестко спросил Наумов.

– Начинается гипохондрия...

– Да что это за гипохондрия такая? Не доводилось слышать.

– Это сильный душевный припадок. В состоянии гипохондрии я готов схватить пистолет и застрелить кого угодно... И в ответе не буду.

Наумов вытаращил глаза. У него на языке вертелся последний, но главный вопрос: «А правда ли, что, по имеющимся у нас сведениям, вы сеете противозаконную смуту промеж солдат?» Однако, поймав глазом лежащие на ломберном столике два заряженных пистолета и в точности не представляя себе, что есть гипохондрия, Наумов от приготовленного вопроса воздержался и через минуту ушел, сказав примиряюще:

– Ну, не взыщите. Уж как умел. Может быть, что и не так... Уж не взыщите.

Как только за ним затворилась дверь, к Горбатову вышел из своей горницы пан Плохоцкий – лысеющий, с жирным усатым лицом, подбородок бритый, круглый, с ямочкой, глаза большие, водянистые.

– Хе-хе-хе... Гипохондрией испугался?

– Гипохондрией, – сказал, смеясь, Горбатов. – А человек, видать, хороший и отличный боевой офицер,

каких здесь не то что мало, а вовсе нет...

– О-о! А я что вам, пане добродию, молвил? Все офицеры русской армии – дрянь!

– Ах, оставьте пане Плохоцкий! – с раздражением бросил Горбатов. – Младший и средний командный состав офицерства, особливо же солдатство, у нас золото.

– Может быть, и золото, только фальшивое.

– А кто вашего брата бил под Баром, кто бил Фридриха, кто бил турок? А вы забыли, как Стефан Баторий, ваш наймит круль Батур, на Пскове зубы обломал при Иване Грозном? Забыли?

– Цо то, цо такое? – подбоченясь и наступая на Горбатова, повысил голос пане Плохоцкий. – Наш польский народ... О-о, велика мосць!

– Да вы, пане, знаете ли свой народ?

– Я не знаю свой народ, я? Да я за польский народ саблюкой бился! – с наигранным пафосом ударил Плохоцкий себя в грудь ладонью. – Я ранен, я кровь за него пролил!

– Вы не за народ, а за шляхту бились. А свой народ вы зовете «быдло» и презираете его. Кто за народ стоит? Правду в народе ищет? Ну-ка, скажите.

– Может быть, вы Емельяна Пугачева сюда причислите, а? – осклабился Плохоцкий.

– И причислю! – подхватил, волнуясь, Горбатов. – Хоть он и Пугач, а воистину за народ и с народом! А до него Степан Разин был, Болотников был, Некрас и другие прочие. Вот доподлинные вожди народа, а не ваши разные Пулавские.

– От-то чертяка! Бардзо мувит...

Плохоцкий, смущенно улыбаясь, подошел к этажерке, стал вытаскивать и машинально перелистывать книги офицера Горбатова. Вдруг круто повернулся к нему, снова ударил себя в грудь и, раздувая густые усы, крикнул:

– Пан Плохоцкий всегда за народ! Бежим к Пугачеву! Цо?

Горбатов с изумлением отступил на шаг, смерил насмешливым взглядом петушившегося Плохоцкого и, не сдерживаясь, рассмеялся.

– Что? К Пугачеву? Ха-ха! Не знаю, как вы, пане Плохоцкий, а вот я действительно, кажется, сбегу... – серьезно ответил он. – Я признаю в Емельяне Пугачеве зело одаренного человека. Возьмите его легкие войска, его каждодневные шермиции. А как они нашего Валленштерна оттузили, а как Кара расколошматили или сегодня поутру зеваку Чернышева? У него, у Чернышева, войско немалое было да пятнадцать пушек. Ведь я, нарядившись в хозяйский архалук да шапчонку, с утра на валу толочся. А недавнишний приступ самого Пугачева с конницей?.. Ведь едва-едва крепость не взяли. А его артиллерия? Палят хлестко, дай Бог всякому! Весь город под обстрелом... помните? Нет, что-что, а голова у Пугачева – золото!..

– Жебы его вшистци дьябли взяли!.. Цо? – возразил по-польски пан Плохоцкий.

Их оживленную, с пикировкой, беседу прервал гул пушечных выстрелов. Прибежавший с улицы столяр, хозяин, приотворил дверь и крикнул:

– Эй, постояльцы! Бригадир Кофт вступил в город!

Бригадир Корф на соединение с Чернышевым не пошел, а, оставя Верхнеозерскую крепость, переправился на реку Яик и принял путь к Оренбургу противоположным берегом. Вскоре соединился с

казаками, высланными Рейнсдорпом. Невдалеке от крепости примчался к Яику сильный отряд пугачевцев. Но было уже поздно: их отделяла от Корфа река, да и крепость с дальнбойными пушками была под носом.

Корф привел с собою полторы тысячи солдат, тысячу казаков и двадцать два орудия. Но этот большой отряд мало что мог дать оренбуржцам: солдаты Корфа были художонны и к боевым действиям почти что не пригодны. Словом, две с половиной тысячи малополезных едоков не были находкой для полуголодного, впавшего в беду Оренбурга. Но все же в честь их была произведена пальба с верхов крепости.

2

Пугачев сидел в золоченом кресле. В некотором отдалении от него – четыре угрожающие виселицы с четырьмя угрюмыми палачами. Страховидный Иван Бурнов ладил из аркана петли, деловито перекатывал чурбаны, на которые, с петлей на шее, будут ступать осужденные.

Все тридцать два офицера стояли вблизи Пугачева нескладной кучей, как почуявшая волка отара овец без пастуха. Выстроиться в шеренгу они наотрез отказались. Хмурые, озлобленные, с окаменелыми лицами, они стояли в небрежных позах, с руками, засунутыми в карманы, как бы стараясь этим подчеркнуть полное презрение к сидевшему в золоченом кресле бородачу.

Пугачев, едва сдерживаясь, хранил суровое молчание, затем он перевел свой взор на пленных солдат, чинно стоявших поодаль в строевом порядке, и подумал: «Эти бесхитростные».

– Как вы осмелились, – вдруг разразился он резким окриком на офицеров, – как вы осмелились вооружиться супротив меня? Как в вас совести-то хватило?! Нешто вы не знали, что я ваш государь? На солдат моего гнева нет, они люди простые. Да и то вон ружья-то побросали первые. А ведь вас силою взяли, сколько народу моего поизранили вы. А еще офицеры! Как же вы регулы военные не знаете?.. – Он помолчал. – Какой-то средь вас обормот кричал там, требовал царя показать. Вот я – царь ваш!..

Кто-то в кучке офицеров всохотал, кто-то голосисто выкрикнул:

– Не тебе бы, вору, рацеи нам читать!

Пугачев эти дерзкие слова слышал, но сделал вид, что пропустил мимо ушей.

– Вам бы в ноги мне, государю своему, валиться да прощенья просить, а вы и в ус не дуете, кой-как, избоченясь, стоите пред императором и ручки в кармашки... – смягчив голос, проговорил Пугачев, стремясь внушить им надежду на свою милость. Но офицеры нисколько не меняли своих вызывающих поз.

Пугачев, потеряв терпение, вскочил, сжал кулаки, его глаза дико вспыхнули, он с силой крикнул:

– Смирно! Руки по швам, злодеи!

Офицеры, как бы пронизанные огненным током, вздрогнули и, не отдавая себе в том отчета, враз опустили по швам руки. Пугачев, едва переводя дыхание, сел. Он ждал, с явным нетерпением ждал, что офицеры всенародно раскаются, как сделали это Шванвич, Волжинский, прапорщик Николаев, и что он, Пугачев, кой-кому из них окажет милость: ведь добрые офицеры из служилой бедноты до крайности ему нужны. «Ну пусть бы хоть для виду признали меня, а уж что у них на душе было бы, леший с ними», – думал Емельян Иваныч.

Однако тридцать два офицера стояли как окаменелые. Их бледные лица как бы говорили: «Умрем, а присяге не изменим!»

Тогда Пугачев, выждав время, обратился к Чернышеву:

– И ты еще смеешь называть себя полковником! Какой же ты есть, к чертовой бабушке, полковник, когда свой отряд бросил да мужиком вырядился? Ежели б шел в порядке, так, может статься, и в Оренбург попал бы... Вот вы стоите передо мной, пред государем, – продолжал он более серьезно. – И волен я вас смертью казнить, волен и помиловать...

Осужденные безмолвствовали. Лицо Пугачева внезапно исказилось, меж глаз врубилась складка, он взмахнул платком и закричал:

– Вздернуть! – Он задохнулся и хриплым голосом закричал: – Всех до одного!

Осужденные стали прощаться друг с другом, некоторые обнимались. В рядах солдатства послышались соболезнующие вздохи, кряхтенье. По знаку Давилина с казнимых начали срывать одежду, стаскивать сапоги и каждого по очереди подводить к виселице.

Еще утром мечтавший о славе полковник Чернышев, ощутив на шее петлю, со смертной тоской подумал: «Вот как припало умереть».

Пугачев велел позвать попа, чтобы учинить солдатам присягу. Поп Иван был сильно выпивши. Его, облаченного в ризу, вел под руку Ермилка, внушал ему:

– Держись за меня крепче... Шагай чередом лаптями-то! Правой, левой, правой, левой!

Вдруг, и совершенно неожиданно, когда Ермилка уже раздул кадило, а поп Иван, торопясь освежиться, натирал лицо снегом, из солдатского отряда выдвинулись тринадцать стариков и, дрожа, громогласно заявили:

– Старую присягу всемилостивой государыне мы рушить не в согласии! Хошь вешай, хошь жги нас!

На минуту стало так тихо, что было слышно, как, врываясь из степи, присвистывает у виселиц тугой ветер. Но вот, пораженная небывалым случаем, толпа, окружавшая площадь, загалдела что-то непонятное.

У Пугачева сжалось сердце. Привстав с кресла, он в крайней запальчивости крикнул:

– В петлю! Всех! Офицеров и солдат... – Затем, взглянув в сторону раскоряки-попа, добавил: – А как поп присягу кончит, вздернуть и попа, чтобы без время не пил.

Поп Иван, услышав звонкий голос государя, со страху сел в снег, потом, под сдержанное улюлюканье толпы, пополз на карачках к золотому креслу.

Утомленный Пугачев сидел, низко нагнувшись. Он упер левый локоть в подогнутую ногу, подшибил ладонью щеку, будто у него зуб болел, и глядел себе под ноги, как бы рассматривая узор персидского ковра, на котором стояло кресло. По ковру бежал, поводя усам, рыжий таракан. Пугачев приподнял ногу, раздавил его.

Ударил барабан, царь вскинул голову и выпрямил корпус. Мимо него вели на казнь тринадцать старых солдат. Связанные по рукам, с седыми из-под шляп косичками, согбенные, они шли расхлябанной старческой походкой, тяжело отдирая от земли согнутые в коленях ноги. В глазах у них сознание своей правоты и примирение со смертью. Один из стариков, проходя мимо Пугачева, зорко взглянул в лицо его и, шагая к виселице, низко опустил голову. Вдруг Пугачев прищурился, схватился за поручни кресла, подался вперед.

– Давилин, беги узнай, как зовут старика... вон-вон того, что обертывается, с красным носом.

Через минуту Давилин доложил:

– Оный солдат, ваше величество, Носов... Павел Носов.

Борода Пугачева дрогнула: как бы пробудившись от сна, он провел сверху вниз по лицу ладонью и приказал Давилину:

– Немедля развяжите его, отвести в канцелярию. Пускай там ждет.

Затем рывком поднялся с кресла, махнул платком, барабан смолк, солдаты-смертники остановились у самых виселиц. Громко, чтобы слышали не только солдаты, но и все скопище народа, Пугачев проговорил:

– Всем старикам-непослушникам дарую жизни царским своим именем. Их, сырых, в обман ввели офицеры. Они люди старые и на многих сражениях в чужестранных землях не единожды бились... За мать-Россию кровь лили, за дедовщину нашу. Будьте же вы, старики, вольны!

Народ, бросая вверх шапки, закричал «ура». Не ожидая, когда покончат с офицерами, царь ушел к себе. Трупы казненных были брошены в овраг, и потом долго по ночам, подвывая, бродили вокруг волки.

3

Старый солдат Павел Носов в полном душевном изнеможении сидел в углу избы, безучастно глядя перед собой и ни о чем не думая. В избу входили военные люди, о чем-то говорили между собой. За двумя, топорной работы, столами писались бумаги, пришлепывались к ним сургучные печати. Горела под шапкой копоты вставленная в бутылку сальная свеча. В углах – потрепанные разноцветные знамена с белыми крестами по полотнищам. Под лавками и на лавках – бумаги, писцовые книги, сапоги – старые и новые, со шпорами и без шпор, офицерские шпаги и шляпы, седла, уздечки, всякая рухлядишка. На полу – плевки, клочья рваной бумаги, пепел, растоптанные угли.

В окно постучал с улицы какой-то бородач и крикнул:

– К ужине, к ужине! Снедать! Эй, канцелярия!

Трое писарей и четверо сидевших на лавках пожилых казаков быстро встали. Молодой писарек дунул на свечку, сказал Носову:

– Ты, дедушка, сиди до особого приказа государева. Я тебя запроу здесь-ка. Вот тебе хлебца, пожуй. Зубы-то есть, еще не все на службе выпали? Да вот два яичка тебе, а тут соль.

Носов ничего не сказал, даже не поблагодарил, он как будто и не слышал слов молодого, в суконном кафтане, человека.

Прошел час, а может – два. Стемнело. Загремел замок. В избу, широко распахнув дверь и заперев ее изнутри на крюк, вошел с большим зажженным фонарем широкоплечий Пугачев. Он был в простом темно-синем казацком чекмене, через плечо у него – широкая голубая лента с генеральской звездой, при бедре богатая сабля. Он во все стороны поводил фонарем, отыскал сидевшего в самом темном углу старика, подошел ближе и, направив свет фонаря в его лицо, просто, задушевно спросил:

– Павел Носов, узнал ли ты меня?

Лицо Пугачева было в тени, а старые глаза солдата видели плохо.

– А чего мне узнавать, – недружелюбно ответил он, ошаривая сердитым взглядом голубую ленту со звездой. – Все толкуют, что ты царь, а я этому глупству веры не даю. И ни в жизнь не дам... Государь Петр Федорыч преставился давным-давно. А ты кто? Ты набеглый царь, самозванец!

– Неужто невмочь тебе узнать меня? – еще мягче промолвил Емельян Пугачев, колупая ногтем наплывшее на фонаре сало. – Я Пугачев, казак Емельян Пугачев. Припомни-ка!

– Ась? – Носов вздрогнул, наставив к уху согнутую козырьком ладонь. Имя «Емельян Пугачев» хотя и прозвучало в его сердце чем-то близким, но незнакомый голос и чуждый вид стоявшего над ним матерого человека не вызвали в памяти старика вполне отчетливых представлений. – Ась, ась? А подь-ка сюда! – Закряхтев, он взял из руки Пугачева фонарь и направил свет в его лицо. – Ну-тка, ну-тка...

– Да ведь мы с тобой, дядя Павел, вместиах Фридриха били! Как прощались с тобою, ты говорил: а доведется ли, мол, встретиться нам, Омелька?

Павел Носов часто задышал, голова его тряслась. Пугачев сказал, густо улыбаясь:

– Ну так как, дядя Павел? Подлого мы с тобой званья? Не люди мы? Помнишь слова свои тогдашние?

Носов вспомнил наконец. Вот оно что! Пред ним тот самый казак Омелька, с которым много лет назад он коротал время при Гросс-Эггерсдорфской битве^[7].

– Аа-а, вот ты кто! – выдохнул он сурово и, сунув фонарь на лавку, стал приподыматься, расправляя

уставшую спину.

Пугачев было бросился к нему, чтобы поддержать, но растерялся, попятился: встряхивая головой, с сжатыми кулаками, старик наседавал на него.

– Злодей, злодей!.. – кричал он удушливо, брызгая слюною. – Клятвопреступник! Душегуб! Пошто ты людей-то в обман вводишь, разбойник? Пошто кровь-то льешь неповинную?.. Эвот господ офицеров на виселице вздернул! А за что?.. За то, что присяги не нарушили, тебе, неумытой харе, не присягнули... Да как это, сукин ты сын, царем-то умыслил нарекчи себя?.. Ну, вот что: не поклонюсь я тебе, Ирод! Ты вот дверь-то запер, так я в окошко выпрыгну да и загайкаю на весь народ: «Хватай Омельку, я давно знаю его, подлеца!» Так на ж тебе, царская твоя морда самозваная!.. – Павел Носов плюнул в горсть и замахнулся на Пугачева.

– Стой, старый петух, прочухайся! – И Пугачев схватил его за руку.

Павел Носов был свиреп и непокладист, как все старые, повидавшие горя солдаты того времени. Вырвавшись из рук Пугачева, он был вне себя. Он чувствовал близость конца своего и безбоязненно ждал его, как избавления от всех долголетних мук своих.

И вдруг зазвучал тихий, убеждающий голос Емельяна Иваныча:

– Эх, дедка, дедка! Поверь, не ради себя, ради всех вас, обиженных, иду, за правду постоять иду. Я ведь только супротивников народных изничтожаю, а того и народ хочет, того и народ ищет. Ты только покрепче подумай, старик, взмысли хорошенько: ведь мне-то, Емельяну-то, ничего не надобно! Нешто легко мне? Эх, не гораздо легко мне, дедушка Павел. Чую я, долго ли, коротко ли, сказнят голову мою... Ну да ведь я не страшусь. Я, дед, за сирый народ жизнь кладу. За тебя и за твоих внуков такожде, чтоб все вы вольными человеками стали. Сам же, старый, там у костра, на прусском-то походе, молвил мне: подлого-де званья мы с тобою, Омелька, не люди мы. Помнишь ли слова свои, Носов?

– Помню, ой помню! – откликнулся старик, приметно оседая духом.

– Вот я и взмыслил, Носов, чтобы в нашем царстве-государстве подлого званья и в помине не было.

Пугачев длинные речи не умел высказывать, стоя на одном месте. Он заложил руки за спину, стал шагать по скрипучим половицам. Неровный желтоватый свет фонаря скупо освещал жилище, пламя моталось во все стороны, и чудилось, что знамена в углах колебались, пошевеливалась беленая печь, подпрыгивали вверх бревенчатые стены, словно бурые выцветшие шали под слабым ветром.

Подергивая плечами, сидел в углу екатерининский солдат с седыми, распущенными по плечам, как у монаха, волосами. Он овладел собою и уже внимательно вслушивался в слова Пугачева, которые становились все сердечней, выразительней:

– Эй, дядя Павел, дядя Павел!.. Много ль заслужил ты солдатством своим? Ноженьки твои едва несут тебя, стар ты стал, всю силу свою порешил на царской службе. А кто приют тебе даст на старость-то бездомную? Под забором где-нибудь смерть примешь, как пес. А ведь всю жизнь ты отечество защищал, Россию защищал, в бомбардирах ходил. Вот и теперь, Павел Носов, и теперь супротив меня как супротив разбойника шел, за царицу на виселице возжелал самолично умереть, за бар да за начальство стоять хотел. Ну-тка ответь по чистой по совести, супротив кого на дыбки поднялся? – Пугачев, круто повернувшись, остановился вблизи солдата. – Супротив народа шел ты, Павел. А народ проснулся, проснулся-таки на один глазок, народ воли захотел да земли барской, да с великим тиранством помещичьим расчестья порешил народ... С тем и в цари над собой меня поставил... меня, в цари!.. Чтob я землю учинил от бар всю пусту! А что я, простой казак, в цари залез, так ведь и от черной коровы молоко-то белое... Правду ли говорю, Носов, ась?

Старый солдат взмотнул головой, лицо его задергалось, губы задрожали, казалось, он вот-вот всхлипнет, расплчется. Некий внутренний свет озарил всю жизнь его, и стало ему жалко себя. Да не только себя. «Господи, прости ему измену его противу присяги... Господи, пособи ему, окаянному, авось что и выйдет путное», – думал он, вслушиваясь в речь Пугачева. Опираясь руками о лавку, он с трудом поднялся и, заскулив, припал головою к плечу своего бывшего любимца.

– Эх, Омелянушка, Омелянушка!.. Растревожил ты сердце мне.

И они оба умолкли.

– Вот что, старик, – начал снова Пугачев, отстраняясь от Носова. – Пусть для тебя Емельяном буду, а для прочих всех – царь я. Понял?

– Тебя ли мне не понять!..

– Хочешь, служи у меня, не хочешь – иди на все четыре. Отныне не подлого званья человек ты есть, а вольный казак государев. А чтобы было тебе чем старость свою согреть да время до смертного часа скоротать, вот тебе, дедушка, прими от меня. – И Пугачев подал солдату холщовую увязку с золотыми червонцами.

– Что ты, что ты, батюшка!.. – всхлипывая и шамкая, забормотал Носов. – Дозволь уж мне, древнему, верой-правдой вместях с тобой послужить.

– Служи, Павел Носов, – сказал Пугачев, взял фонарь и быстро вышел.

4

Губернатор Рейнсдорп предпринял новую против пугачевцев вылазку.

Сильный отряд в две с половиной тысячи человек при двадцати шести пушках, под командованием Валленштерна, выступил около полудня чрез Бердские ворота и беспрепятственно добрался до занятой пугачевцами высоты, что в пяти верстах от Оренбурга.

Вскоре и Пугачев двинулся против Валленштерна со всеми своими силами. В его действующей армии было сейчас до десяти тысяч человек при сорока орудиях. Чернышевские солдаты, а также тысячи невооруженных крестьян были выгнаны из Берды и расставлены по сыртам, чтобы многолюдством своим внушить неприятелю страх.

Отдельными отрядами командовали Шигаев, Падуров, Творогов и возвратившиеся из походов Овчинников с Зарубиным-Чикой. Чумаков, как всегда, распоряжался артиллерией. Общее же командование принадлежало Пугачеву.

Выходил со своими, посаженными на коней, гренадерами и есаул Шванвич. Гренадеры в деле слились с оренбургскими казаками Падурова.

Переодетая казаком Фатма впервые увидела Шванвича, перемолвилась с ним несколькими словами и осталась весьма довольна этой встречей. Наоборот, Падуров был немало встревожен тем, что атаман Овчинников назначил в его роту есаула Шванвича.

После пушечных гулов передовые конные отряды той и другой стороны вошли в соприкосновение и ружейную перестрелку. Конники, сшибаясь, начали пощупывать друг друга пиками, башкирцы, хватившие вина, с азартом пускали стрелы, работали копьями, ножами, волкобаями. Обе стороны бились храбро. Пугачев вел сражение. А Чумаков, передвигая с места на место пушки, имел расчет подальше заманить Валленштерна, отрезать его от крепости и раздавить. Крепость оставалась позади верст на пять, Берда же, куда, заманивая противника, помаленьку отступали пугачевцы, стояла от них всего верстах в двух-трех. А уже был в исходе пятый час, скоро лягут сумерки. Валленштерн утрастился многочисленного, на прекрасных лошадях, врага, которому он никак не мог противопоставить свои легкие полевые части, сидевшие на замороченных клячах. По ходу боя он ясно видел грозившую ему опасность попасться в лапы врага и приказал своему отряду строиться в боевое каре для обратной ретирады в крепость.

Он злился, он негодовал на пугачевцев – уж который раз ему приходится с позором отступать, – но и на сей день для него иного исхода не было.

Отступление Валленштерна походило на бегство. Пугачевцы с таким проворством со всех сторон насккивали на врага и, сделав свое дело, снова уносились в степь, что отряду Валленштерна было бы несдобровать, если б на выручку не подошел со своими казаками Мартемьян Бородин.

Сильно потрепанный отряд Валленштерна, пробиваясь сквозь назойливую конницу неприятеля, вскоре ушел под защиту крепостных пушек, и пугачевцы свое преследование прекратили. Валленштерн без всякой пользы для дела потерял тридцать два человека убитыми, девяносто три ранеными и четыре пушки.

Эта новая, уже третья за короткое время, блестящая победа радовала Пугачева.

Он передал взмыленного коня Ермилке, забрался на бугор и сел на большую удобную корягу. У него побаливала голова, он с утра почти ничего не ел, возбужденные продолжительным боем силы его просили отдыха. Он расстегнул нагольный полушубок, нахлобучил на глаза лохматую шапчонку, достал из кармана

кусок баранины да круто посоленный ломоть хлеба и принялся с аппетитом есть.

Мороз был слабый. Спустились сумерки. Через серую муть видно было, как вдали, на крепостном валу, один за другим зажигались костры. А по снежному полю, то здесь то там, темнели небольшие разезды пугачевцев. Они подъезжали к какому-нибудь труп, раздевали его догола, ехали к другому мертвецу. Иные трупы они подвязывали к хвостам лошадей и волокли в Берду. Пугачев видел, как во многих местах, пособляя лошадям, люди перли на себе через увалы пушки.

Вот всадник скачет от орудия к орудию, что-то кричит, размахивая руками. Это, должно быть, Чумаков. Вот впереди кирпичных сараев другой всадник, на белом коне, а по бокам его – двое. Это Овчинников со своими ординарцами.

И третий, необычный... Зоркий Пугачев подметил его еще издали, почти от самой крепости. Он скакал во весь опор, нашпаривая рослого коня нагайкой. Время от времени он на минуту приостанавливался возле пугачевцев, о чем-то спрашивал их и снова мчался вмах. Вот он ближе, ближе и – прямо к Пугачеву.

– Эй, казак! – хриплым, взволнованным голосом бросил он сидевшему на коряге оборванцу. – Где государь?

– Я государь, – прожевывая баранину, равнодушно ответил Пугачев.

– Подь к черту! – буркнул всадник. – Его всерьез спрашивают, а он... – И обиженный всадник понесся прочь от Пугачева.

Готовясь проглотить разжеванный кусок, Емельян Иваныч уставился вслед складному детине. А тот, подскакав к ближайшим пугачевцам, крикнул:

– Где государь?

– А эвот, эвот, на пригорке, на коряжине-то.

– Который? Вот тот?

– Ну да... Он самый и есть государь-ампиратор.

Изумленный всадник растерялся, опять подъехал к Пугачеву и снова, уже с колебанием и некоторой робостью, спросил его:

– Вы... государь?

– Экой ты дурень, братец! – ответил Пугачев. – Я ж сказывал давеча, что я и есть – кого ищешь. Что надо?

Всадник соскочил со взмыленного коня и, ведя его за собою в поводу, твердым шагом подступил к Пугачеву.

– Ваше величество, – сказал он, сдерживая взволнованный голос. – Я офицер Андрей Горбатов... из Оренбургской крепости...

– Ага... от Рейнсдорпа, что ли? – спокойно откликнулся Пугачев, кладя на всякий случай руку на рукоятку сабли. – Сдаваться, что ли, надумали там? Ась? Бумага имеется?

– Ваше величество! Могу ответ держать за себя лишь. Так что решил я послужить вам верой и правдой.

– А-а-а... Ништо, ништо, господин офицер! – ничем не выдавая своего смущения по поводу иного оборота дела, вымолвил Пугачев. – Ежели без коварства слово держишь, изволь – служи.

– Можете испытать меня, ваше величество.

– Ништо, ништо, – повторил Пугачев, цепко приглядываясь к рослому, белокурому, с темными глазами молодому человеку. «Вот это офицер!.. Не то что мошенники чернышевские», – подумал он и спросил: – А чего ж на тебе не офицерский мундир, а чекмень казацкий?

– Казацкую экипировку приобрел в Оренбурге я, на базаре, государь... Чтоб сподручней было бежать.

– И то верно. Какой чин на тебе?

– В Петербурге имел чин капитана, но по суду разжалован в прапорщики и выслан в Оренбург на службу.

– О! – повеселел Пугачев. – Видно, одна у нас с тобой судьба: и меня, братец, двенадцать годков тому назад в Питере-то такожде разжаловали... из царей. Да вот, как видишь, Господь опять призвал меня сесть на вышнее место, а добрые люди помогли тому. За что же тебя пообидели, друг?

– Накрыл я, ваше величество, с поличным нашего казнокрада-полковника. А у того большие связи, я же человек мелкого калибра. Виноватый оправдался, а мне от нашего правосудия довелось пострадать, государь.

– Ах, негодяи! – произнес, улыбаясь, Пугачев. – А во всем повинна насильственно восшедшая на престол супруга моя. Зело много она развела всяких корыстолюбцев да мздоимцев... А ты, видать, человек бесхитростный, честный. Таких уважаю... Ну, ладно, Горбатов, ладно, брат!

Пугачев поднялся, дал выстрел из пистолета. К нему подскакали ближайшие казаки.

– Проводите-ка, детушки, господина капитана в штаб, – на слове «капитан» он сделал ударение, – да велите моим именем Почиталину, чтоб немедля ему квартиру сыскал.

Горбатов с казаками уехал в Берду.

Ермилка подвел Пугачеву коня. Застоявшийся жеребец покосился умными глазами на широкоплечего грузного хозяина, легко и грациозно подбросил себя вверх, сделал «свечу», принялся по-озорному ходить на дыбах. Ермилка, внатуг державший его в поводу, проелозил по снегу сажени три на подошвах, слегка ударил жеребца нагайкой, весело заорал:

– Ты! Балуй, тварь!

Жеребец поджал уши, всхрапнул и словно вкопанный замер. Пугачев вскочил в седло.

В слободе уже светились огоньки. У ворот своей квартиры стояла, в темной шубе с белым воротником и в пуховой шали, Стеша Творогова. Узнав проезжающего государя, она низко поклонилась ему.

– Будь здорова, Стеша, – крикнул он. – Чего в гости не захаживаешь?

– Спасибо, сокол ясный... Зайду, улучу часок...

По случаю победы слобода всю ночь предавалась бражному веселью.

Гуляка поп Иван, за пьянство приговоренный Пугачевым к виселице, с радости, что получил помилование, пил без просыпу еще несколько дней.

Последняя военная удача так взбодрила Пугачева, что он решил послать генерал-поручику Рейнсдорпу указ, в котором требовал покорности и сдачи города. После довольно велеречивого вступления в указе говорилось:

Губернатор Рейнсдорп, читая указ в обществе начальствующих лиц, то впадал в бессильное негодование, то раздражался скрипучим желчным смехом. Глаза его с крайним подозрением виляли от лица к лицу. Он чувствовал, что все его поступки предаются резкой критике, что чиновники, от мала до

велика, считают его плохим военачальником и чуть не в глаза тычут ему, что есть он простофиля. О мой Бог! Какие настали времена, как изменились люди!..

– Да, господа, – сказал он, – к великому несчастью, наш гарнизон, как это усматривается чрез многочисленный неудачный опыт, ничего с этот плут Пугашов поделать не может. И мы, господа, стоим в оччень затруднительном положении, чтоб не сказать более...

– Мне сдается, – насмешливо поглядывая на губернатора, начал тучный, задышливый директор таможи Обухов, – мне сдается, что о гробе с музыкой, который вы собирались устроить самозванцу, нам надлежит забыть и усердно молить Бога, как бы Пугачев не устроил оногo гроба нам, но без музыки...

– О нет, нет! Ви оччень ошибайтесь, господин Обухов. Мы этому негодяю еще устроим гроб и музыку. Два гроба с двумя музыками! – выкрикнул губернатор, во все стороны повертываясь на кресле и грозя пальцем. Присутствующие невольно улыбнулись, а Обухов, таясь, выругался в шляпу. – Только не тотчас, не тотчас. Вот подоспеет сильный подкреплений извне, тогда разбойничкам – капут!

– Но ведь вы сами же изволили еще в начале октября писать генералу Деколону, предлагавшему помощь, чтобы он стоял на месте, ибо вы в его помощи нимало не нуждаетесь, – не унимался дерзкий на язык Обухов.

– То был один время, теперь настал другой время, – обиженно проворчал губернатор. – Ви еще оччень неопытна в военном деле, господа. Ви еще не знайт, что такое наш общий враг... этот... этот... Вильгельмян Пугашов. О, сей каторжный душа весьма опытный воячка! Да он, шорт возьми, настоящий Вобан, самый лючший французский инженер и стратег. Вот кто Пугашов! Этот самая маршал Вобан тактика оччень легко брал крепости. Сто лет тому назад, сто лет! Впрочем, ви и понятий о нем не имейт, чтоб не сказать более...

Плотный пучеглазый Валленштерн, качнув головой, стал с жаром Рейнсдорпу возражать:

– Ставить на одну доску Пугачева и Вобана несколько удивительно, особливо для такого опытного полководца, каким вы себя считаете. Кроме сего, к вашему сведению, генерал, ежели этого не знаете: ваш Вобан не только мастер был брать крепости, но умел и замечательно строить их. А наша Оренбургская крепость, невзирая на большие ассигнования, до сих пор руина. Куда деваются деньги, Аллах ведает.

Рейнсдорп нервно понюхал табаку, нестрашно посверкал глазами и, чтоб замять неприятный разговор, вскинул вверх руку с зажатым в ней платком.

– Господа! У меня созрел в голове оччень лючший прожект. – Он оживился, и все зашевелились, незаметно подталкивая друг друга и готовясь услышать от губернатора очередную забавную несуразность. – Генерал-майор Валленштерн и вы все, господа, помогайт мне. С завтрашня ночь сгоняйте наряды солдат, каторжников, разные воришки, а в равной мере – обыватель, штоб... штоб рыли за стенами крепости по полю много волчья яма. Чем больше, тем лючше.

– Земля промерзла, будет затруднительно...

– Отогревайте пожегом, взрывают порохом... А сверху надо прикрывать сучочками...

– Хворостом?

– Да, да, хворост, хворост! А еще сверху подсыпать снежок... Неприятельский самый пьяный касак поедет, ату-ату и – в яма... Еще ставить по всему степь волчий капкан. Да, да, волчий капкан! Прошу спрятать ваши улыбки. Приказать кузнецам делать много-много капкан...

– Хорошо, – иронически пожав плечами, дал вынужденное согласие обер-комендант Валленштерн. – Но, опасаясь, как бы и наши казаки не поломали себе шеи в этих ямах да капканах.

– Глюпости!– вскричал губернатор и, обратясь к верткому, похожему на обезьяну делопроизводителю: – Вот что, голубчик, заготовь-ка мне бумагу генерал-майору Кару такого содержания... (Губернатор и не подозревал, что злосчастный Кар, бросив свою боевую часть, подъезжал в это время к городу Казани.) Первое... Место расположения Кара, сколько у него войска, пусть как можно скорей поспешил наступлений. Когда намерен он прибыть к крепости, чтоб я мог высылайт ему навстречу отряд. Ви составьте, а я наведу окончательная штиль. Ну-с... Да, господа... наше дело швах! Продовольствия у нас на одна месяц, фуража для лошадей того менее... Швах, швах, господа!..

Глава VII

Генерал Кар пойман. «Персональный оскорбитель». Песенка о сарафане. Екатерина вела заседание нервно

1

Состояние Казани и той части Казанской губернии, которая граничила с губернией Оренбургской, во многих отношениях было самое плачевное.

Губернатор Брант все еще находился в Кичуевском фельдшанце. Отсюда он распоряжался расстановкой ничтожных воинских частей вдоль рубежей своей губернии, организовывал отряды из закамских дворян и их дворовых людей, их экономических, дворцовых и ясашных крестьян, чувашей и черемисов. Но эти ополчения были плохо вооружены, скверно обучены и не могли представлять собою сколько-нибудь внушительной силы. Иных же войск в Казани не имелось. К тому же Казань была обременена большим числом возвращавшихся из Сибири польских конфедератов, да, кроме того, в городских тюрьмах находилось до четырех тысяч колодников.

Отсутствие воинской силы необычайно тревожило жителей Казани. А тут пошли слухи о неудачах Кара, о том, что пугачевцы уже появились на Самарской линии и подступают у Бузулукской крепости^[8].

Наконец губернатор фон Брант возвратился из поездки.

Многочисленные шпионы, разосланные Брантом по дорогам, доносили ему о том, что крестьянское население про его поездку в один голос говорит:

– Губернатор к батюшке-царю на поклон ездил, там присягу принимал и поклялся, что, коль скоро государь прибудет брать Казань, губернатор с владыкой Вениамином встречь ему выйдут с хлебом-солью.

– Глупый народ, глупые мужики, глупые и подлые! – возмущался Брант. – Значит, они считают меня изменником и тайным слугой плута Емельки?.. О Боже мой! Этого только недоставало.

Следом за Брантом явился в Казань, как снег на голову, и расхворавшийся генерал Кар.

Когда в городе об этом узналось, купечество, зажиточная часть горожан и многочисленные, страха ради съехавшиеся сюда помещики пришли в немалое смятение: значит, плохо дело, значит, самозванец Пугачев силен, раз петербургский вояка-генерал не смог устоять противу него. Среди же бедноты шли скрытые и довольно своеобразные суждения, точь-в-точь повторявшие слова покинутых Каром солдат:

– Видали, мирянушки, куда дело-то повертывается? Стало быть, Кар-генерал уверовал в батюшку, что он доподлинный, а не подставленный, и не похотел воевать с ним, большим прикинулся.

И уже стали шляться по кабакам, по базарам разные пройдохи, стали разглашать всякую небылицу, охотно принимаемую народом за сущую правду.

Здоровецкий отставной солдат с деревянной ногой и беспальными, помороженными в пьяном состоянии руками, сидя с нищими у соборной паперти, таинственным шепотом бубнил:

– Вот государь-то ампирактор и вопрошает нашего губернатора: «Ну, Яков Ларивоныч Брант, ответствуй, кому желаешь служить: мне ли, царю законному, алибо Катерине?» А наш губернатор на коленях стоит, в грудь себя колотит, отвечает: «Ах, ваше величество, я хоша и сам немецких кровей, только нет у меня хотенья Катке служить. Раз вы объявиться соизволили, я вам верой-правдой служить постараюсь». А царь-то и говорит ему: «Вот и молодец, – говорит, – ты, Яков Ларивоныч Брант! Служи, служи!... Я знаю, как Катерина приплывала к вам Волгой, ей встреча была богатимая, так уж ты, Яков Ларивоныч, когда я в Казань стану входить, уж и меня ты встреть поприветней». – «Встречу, батюшка Петр Федорыч, встречу... Только дозвоьте вашего ампиракторского совета, как мне голову свою сберечь от царствующей Катерины?» – «А вот как, – отвечает государь. – Ты манифесты-то обо мне Каткины вычитывай, что я, мол, беглый казачишка Пугачев, а сам народу-то тихохонько нашептывай, что я, мол, царь истинный Петр Третий, ампирактор...»

– Откудов, кисла шерсть, знаешь все это? – забросали нищие старого вралья вопросами.

Таких вралей хватали, били плетьюми, сажали в тюрьмы, но чем усердней хватали, тем больше и больше их появлялось. Ими кишели дороги, деревни, города, они были неистребимы, как запечные тараканы.

Даже можно сказать так: в смутное, легковверное это время почти каждый был сам себе враль, потому что всякий бедняк, бесправный и поруганный, превращался в мечтателя-соблазнителя, каждый мыслил, что вот-вот придет наконец пора-времечко, когда будет земля, воля и всяческие послабления.

Вскоре прибыли в Казань и посланные из Петербурга «черкесы» – Перфильев с Герасимовым.

– Ну, что ж... Дело ваше для отечества отменное, – сказал, выслушав их, губернатор. – Отдохните да поезжайте с Богом к своему коменданту Симонову.

2

При свидании Кар сообщил Бранту о неудачных стычках с пугачевцами, о причинах этих неудач, затем стал жаловаться на свою застарелую болезнь: во всех костях снова появился нестерпимый «лом», а в теле лихорадка и трясение. И когда он, Кар, стал терять последние силы, то решил спасти как свою жизнь, так и безнадежное положение на фронте.

Губернатор Брант, раздраженный речами неудачника, с болью в сердце рассматривал вспухшие склеротические вены на своих старческих руках (следствие понесенных им за последнее время забот и неприятностей) и, укоризненно поглядывая на взволнованного Кара, то и дело повторял:

– А мы-то надеялись... А мы-то уповали на вас. И вот что вышло... Конфуз, неизгладимый конфуз!

– Но вы понимаете, дражайший Яков Илларионович, – оправдывал себя Кар, – без больших кавалерийских сил и без хороших пушек там и делать нечего: враг искусен, силен и весь на конях. Я-то боевой генерал, я-то смотрю на вещи трезво. А Захар Григорьевич Чернышев...

– Граф Чернышев тоже самый боевой генерал, – возразил мягкий по своей натуре старый Брант и, притворяясь строгим, сердито пожевал губами. – Первостепенный генерал. Герой!

– Да, да... Но Чернышев, да и все там в Питере самого превратного мнения о мятеже. Вот я и собрался в Петербург, я все приведу в ясность. И ежели моим словам не будет оказано достою должного доверия, ласкою себя смелостью дерзнуть обратиться к самой императрице. Надо спасти Россию, Яков Илларионович!

– Надо спасти Россию, надо спасти дворян! – подхватил Брант и, нащупав пульс, стал незаметно считать удары сердца. – Вся моя губерния встревожена, – продолжал он чуть погодя, – я уже не говорю об Оренбургском крае – помещики бросают свои поместья и бегут кто куда, крестьяне, оставшись без надежного обуздания, бесчинствуют, жгут поместья, режут скот, что творится... Бог мой! Но у меня нет воинских команд, чтоб приводить чернь к повиновению, чтоб карать мятежников, чтоб охранять священную собственность дворянства... И вы верно изволили молвить: Россию спасти надо!

– Надо, надо, Яков Илларионович!.. И аттестуйте мне какого-либо искусного лекаря.

Пульс у Бранта сто пять в минуту. Брант сразу упал духом, извинился, разболтал в рюмке воды успокоительные капли, выпил и сказал, обращаясь к Кару:

– Навряд ли вы найдете в Казани доброго эскулапа... Плохие здесь лекаря. Вот и я – пью, пью всякую аптеку, а облегченья нет.

Пробыв в Казани двое суток, болящий Кар двинулся в Москву, предварительно послав графу Чернышеву частное письмо, в котором между прочим сообщал: «Несчастье мое со всех сторон меня преследует, и вместо того, что я намерен был для переговору с вашим сиятельством осмелиться выехать в С.-Петербург, подхватил меня во всех костях нестерпимый лом, и, будучи в чрезвычайной слабости, принужден был поручить корпус генералу Фрейману, отъехать на излечение в Казань, где по осмотре лекарском открылась, к несчастью моему, еще фистула, которую без операции никак излечить не можно. По неимению же здесь нужных лекарств и искусных медиков решился для произведения сей операции ехать в Москву, уповая на милость вашего сиятельства...»

Еще в начале ноября Екатерина повелела архиепископу казанскому Вениамину составить увещание к верующим по поводу «богомерзкой смуты». Вениамин поручил это сделать архимандриту Спасского монастыря Платону Любарскому. Увещание было своевременно оглашено по всей Казанской епархии.

После же отъезда Кара в Москву, когда по Казани стали ходить неблаговидные по отношению правительства пересуды, Вениамин приказал снова огласить пастве свое послание.

«Твердитесь разумом, – писал он, – бодрствуйте в вере, стойте непоколебимо в присяге, яко и смертию запечатлети вам любовь и покорение к высочайшей власти».

Он между прочим в своем послании говорил, что Петр Третий, чьим именем назвал себя Пугачев, действительно умер и погребен в Александро-Невском монастыре, что тело его стояло в тех самых покоях, где жил Вениамин, и что на его глазах приходили вельможи и простолюдины, дабы поклониться праху почившего. Вениамин свидетельствует, что тело Петра Третьего перенесено при стечении народа из его архиерейских покоев в церковь, там отпето и самим Вениамином «запечатлено земною перстью», то есть предано земле.

Но простой народ уже не верил ни царицыным манифестам, ни непреложному свидетельству своего архипастыря, народ брал под подозрение все слова, все действия правительства и церкви. Униженные люди, раз почувствовав в себе некую, хотя бы призрачную, душевную дерзость и свободу, слепо верили только манифестам живого царя-батюшки, неведь как залетавшим в их родную Казань.

Дорога была гладко укатана, под полозьями скрипело. Кар с адъютантом и лекарем ехали в Москву на четверне.

В тридцати верстах от древней столицы болящий Кар был задержан. Курьер в офицерском чине вручил ему предписание графа Захара Чернышева.

Ну, разве не досада, не пощечина, не кровная обида: перед самой Москвой, в преддверии того, к чему так настойчиво стремился Кар, читать подобные оскорбительные строки:

«А буде уже в пути сюда находитесь, то где бы вы сие письмо не получили, хотя бы то под самым Петербургом, извольте тотчас, не ездя далее, возвратиться».

Кар лежал больной в избе зажиточного торговца-крестьянина. Он молча перечел бумагу дважды. Веки его подрагивали, волосы на запавших висках топорщились. Приподняв голову, он оправил слабой рукой подушку и сказал гонцу-офицеру:

– Передайте графу Чернышеву, что его приказания вернуться к корпусу, в силу своей болезни, я исполнить не могу. Коль скоро я поправлю в Москве свое здоровье, то буду ласкать себя надеждой видеть его сиятельство лично.

И, отдохнув, Кар к вечеру был уже в Москве.

Хотя по распоряжению главнокомандующего Москвы, князя Волконского, пребывание Кара в первопрестольной от всех скрывалось, однако, как это нередко случается, чем тщательнее правительство охраняет от народа какую-то тайну, тем скорее народ эту тайну узнает, – и весть о возвращении Кара из-под Оренбурга быстро облетела всю Москву.

Если появление Кара в Казани имело там нелестную для правительства «эху», то в Москве разные досужие кривотолки, а наравне с ними самая жестокая критика поведения Кара и нераспорядительности Петербурга приняли столь недозволенные масштабы, что Екатерина, проведав о них, рекомендовала Волконскому вновь опубликовать старые сенатские указы о болтунах. Дворяне и зажиточные круги говорили о Каре:

– Это не генерал, а баба – не мог с бездельниками совладать, сбежал. Под суд его!

Подливали масла в огонь и приехавшие из Казани беглецы помещики, разнося повсюду самые

тревожные известия.

Москва в своих низах далеко не была спокойна: отголоски недавнего чумного бунта^[9] все еще ходили по городу. О любопытных делах под Оренбургом, о грозном Пугачеве, о волнениях в Башкирии знал всякий. Изустные вести о мятеже долетели до Москвы скорее, чем писанные бумажки губернаторов.

Московские простые люди, проведав о приезде Кара, в трактирах, в банях, по базарам, а раскольники – в моленных с осторожностью передавали друг другу:

– Пугачев всыпал генералу-то... во как! Говори, где чешется... Только сумнительство берет, чтобы простой казак мог генерала с войсками покорить... Ой, не Пугачев это, не бродяга... Врут манифесты, истину от народушка сокрыть хотят... Сам Петр Федорыч это – не Пугачев...

Обер-полицмейстер Архаров хотя имел всюду свои глаза и уши, но сыщики либо не там, где надо, выслеживали болтунов, либо эти болтуны, за версту чужа врагов своих, прикидывались патриотами. Обер-полицмейстер, получавший от сыщиков утешительные сведения, вводил князя Волконского в заблуждение, докладывая ему, что на Москве «все обстоит благополучно». А князь Волконский, немало постаравшийся в деле возведения Екатерины на престол, в свою очередь обманывал свою обожаемую благодетельницу, письменно сообщая ей: «Здесь, всемилостивейшая государыня, все тихо и смирно и врак гораздо меньше стало. Только один большой, вашему величеству известный, болтун вздор болтает, не разбирая при ком, но при всех. А другие перебалтывают».

3

Большой болтун этот был не кто иной, как граф Петр Иванович Панин, давнишний «персональный оскорбитель» Екатерины. Крепкий духом и неподкупной честности вельможа, он стоял, как на поляне дуб, в стороне от придворных всяческих интриг. Упиваясь своим, может быть, призрачным величием и в то же время считая себя обойденным в заслуженных им наградах и милостях, он в озлоблении своем давал полную волю языку, отравляя желчью своих слов покой многих царедворцев и в первую голову покой самой императрицы.

После геройского взятия грозной крепости Бендер (где им был награжден за храбрость казак Емельян Пугачев званием «значкового товарища», или хорунжего) Панин никакого особого отличия не получил и, обиженный невниманием к нему императрицы, подал в отставку. Подозрительная и лицеприязненная Екатерина сочла поступок Панина демонстративным, разгневалась на него, и генерал Петр Панин попал, таким образом, в опалу.

В своем подмосковном имении Михайловке Панин задумал соорудить миниатюрную копию Бендер с гранитными стенами, воротами, бойницами и башней.

В нем, очевидно, теплились стремления к славе, неистребимая тоска по бессмертию. Показывая близким приятелям игрушечную крепость, он с солдатской грубостью и обычной дозой перца говорил:

– Мне памятника за мои государственные заслуги Катюша не поставит, я, как говорится, рылом не вышел и профиля античного лишен природой, так вот я сам себе поставил памятник. Вот он! – И Панин, встав в картинную позу, воинственно простирал руку к копии покоренных им Бендер.

Льстя его слабости повеличаться, гости делали ласкательные лица и наперебой говорили ему:

– Ну, конечно, Петр Иванович, ты достоин и не этакого памятника. Тебя вся Россия чтит за героизм твое.

– Эка хватили! Никто меня не чтит. Разве что солдаты, со мной бывшие. А Катерина... Ох уж эта Катерина!.. Она, кроме себя да своих друзей, никого не чтит. А впрочем сказать, и эфтого нет. Она друзей сердца поглощает и выплевывает в меру аппетита, как разбогатевший, обожравшийся откупщик из мужиков. Ему подавай то истинно русскую, то польскую, то французскую стряпню. Точка в точку и ее, нашу всемилостивую матушку, бросает от тертой редьки к шампанскому, от шампанского к гречневой каше с коровьим маслом, от каши к малороссийской колбасе. Синяя борода или Гарун аль-Рашид в сарафане. Ха!

Обескураженные гости, пугливо посматривая то в суровое с перекосившимся ртом лицо Панина, то друг на друга, смущенно покашливали и предавались короткому таящемуся смеху.

– Она покровительствует только тем, кто ей угождает да шлейфы ее пыльные целует, – желчно продолжал Панин, вышагивая с гостями по аллеям английского парка. – Эвота самое доверенное лицо нашего московского сатрапа по чрезвычайному секрету передало мне, быдто бы этот самый сатрап Мишка Волконский в своих цыдулях к всемилостивой матушке льстивые немецкие стишонки преподносит ей. Смысл оных таков: «Если хорошо нашей государыне, то все идет как по маслу, а ежели все идет как по маслу, то всем нам хорошо!» Ха! Как бы да не так... Ох и хитрец эфтог князюшка, друг-приятель Орловых!.. Петр Дмитрич! – обратился он к генерал-поручику Еропкину, положившему много труда в борьбе с чумой в Москве. – Ты помнишь, как наше просвещенное, ха-ха, правительство дедушку Салтыкова, прославленного русского фельдмаршала, хоронило?

– Ну как же, Петр Иванович, помню. Подобную пощечину памяти героя забыть не можно, – с готовностью ответил Еропкин.

И Панин снова и снова пересказывал приятелям скандальный эпизод похорон в прошлом году престарелого фельдмаршала Салтыкова, жившего в своем подмосковном Марфине. Покойный считался при дворе в опале, поэтому московские власти с князем Волконским во главе, желая подольститься к императрице, решили не устраивать почившему фельдмаршалу торжественных похорон. Уязвленный Петр Панин, воспользовавшись этим, не утратил сделать резкий вызов императрице, царедворцам и правительству. Он тотчас направился с собственным из крепостных крестьян эскадроном гусар в Марфино, с обнаженной шпагой стал у гроба и громко объявил: «Я, генерал Петр Панин, буду стоять, как солдат на часах, при гробе фельдмаршала до тех пор, пока не пришлют почетный караул мне на смену».

Так этот опальный вельможа, обитавший совершенно обособленно в своей вотчине, как маленький царек, продолжал наживать себе опасных врагов и вызывать в Екатерине приступы желчи.

От своих выходов он и сам немало пострадал, и у него тоже подчас вспухала печень. Появление же в Москве незадачливого Кара снова бросило его в желчную веселость. Панин лично знал Кара, считал его хорошим дипломатом, когда-то состоявшим в Польше при князе Радзивилле, неплохим военным генералом и человеком твердого характера. Может быть, только потому, что высокое общественное мнение всей Москвы было против Кара, граф Панин принял его под свою защиту.

– Я знаю, с какими силами был отправлен Кар против Пугачева, – слегка подвыпив за приятельской трапезой, крикливо высказывался Панин. – Две роты, две пушки да тысяча старых колченогих солдат в лаптях... Ха! Пускай-ка с эфтаким корпусом попробует Захарка Чернышев супротив самозванца выступить! Нет, братцы, Военная коллегия... Раз дали самозванцу большую силу забрать, так уж он таперича задешево жизнь свою не продаст... Не-ет-с, дудки! Это тебе, всемилостивейшая государыня, не твой супруг Петр Федорыч, которого ты с таким проворством... упразднила. Ха! Я солдат, я правду говорю!

Возражать Панину было рискованно. Гости смущались, до боли прикусывали губы, чтобы не рассмеяться над острословием хозяина. Однако все же раздался чей-то голос в порицание Кара: генерал виноват, мол, в том, что самовольно бросил свой корпус на произвол судьбы.

– Не на произвол судьбы. Кар передал командование Фрейману, настоящему боевому генералу, – с горячностью возразил Панин. – А что же, по-вашему, Кар в репортничках своих должен был доказывать, что Захарка Чернышев дурак? Вот он и приехал лично доложить ему об этом. Прав Кар, сто раз прав! А Чернышев, может, и не такой уж дурак, только сдается мне, что он ныне не тем местом думает, тамошних условий не знает, силы противника недооценивает. Он не понимает, что у Пугачева отчаянные казаки, поставившие башки свои на карту, да вдобавок превосходная башкирская конница. А у Кара что? Да туды надо полки двинуть, целую армию!..

А приехавшему к нему погостить брату, Никите Ивановичу Панину, он с глазу на глаз сетовал:

– Ну вот, ну вот... Если бы не Катя, а Павел Петрович на царстве-то сидел, тогда и самозванцы не посмели бы появляться. У нас царь в юбке, баба! А вот теперь царь в казацких шароварах пришел, Петр Федорыч, Емелька... И еще неизвестно, куды его кривая вывезет. Провороним, так народ и завопит, чего доброго: довольно нам баб, давай нам царя с бородой!

И, как бы спохватившись и вспомнив, что он граф, богач и вельможа, сверкая глазами, добавил:

– Впрочем, говорю тебе, Никита, как брату старшему. Хотя матушку и не люблю, но, ежели государству учнёт угрожать опасность, сам на защиту порядка и дворянских родов готов буду встать. И встану!

Многое из того, что говорил в самом тесном кружке Петр Панин, какими-то неведомыми путями – будто стены подслушивали – долетело до сведения царицы. Обозленная выходками своего «персонального оскорбителя», Екатерина вновь и вновь писала князю Волконскому: «Петр Панин, живучи в

деревне, весьма дерзко врет, и для того пошлите туда кого-нибудь надежного выслушать его речей... и дайте мне наискорей узнать, чтоб я могла унять мне непокорных людей... Я здесь кое-кому внушала, чтобы до него дошло, что если он не уймется, то я принуждена буду его усмирить наконец».

Но бывают обстоятельства, когда сегодня сказанное слово назавтра уже звучит абсурдом: Петр Панин, которого императрица грозила усмирять, вскоре будет ею же призван на усмирение Емельяна Пугачева. Это случится в то время, когда затрясутся основы империи, когда «казанская помещица», как впоследствии кокетливо нарекла себя Екатерина, и «московский барин», почувствовав опасность для трона, а стало быть, и для сословных интересов правящего класса, – два непримиримых врага – миролюбиво протянут друг другу руки. И тогда-то, в самом финале событий, осуществится заветная мечта Петра Панина: он обессмертит для потомков свое имя, он впишет его на страницы истории кровью побежденного народа.

4

Екатерина только что вернулась из Царского Села, куда выезжала с Григорием Орловым на тетеревиную охоту. Поездка, длившаяся двенадцать дней, была не особенно удачна. Во-первых, князь Орлов, навсегда потерявший в ее лице любимую женщину, был, так сказать, не в своей тарелке: он позволял себе дерзить Екатерине или, наоборот, падал к ее ногам и умолял восстановить невозвратно утраченное между ними счастье. Во-вторых, в покоях Екатерины было не особенно тепло и дымили печи. В-третьих, и сама охота, кроме чрезмерно льстивых услуг егерей и свиты, не могла принести ей радости. Так, на охоте в Баболовском парке Екатерина дала всего пять выстрелов, из коих три, по ее предположению, она наверняка промазала, а между тем как доказательство ее удачной стрельбы ей преподнесли шесть убитых тетеревей.

– Но я ведь всего пять раз выстрелила...

– Это ничего не означает, ваше величество. С одного выстрела вы, государыня, срезали сразу двух сидевших на березе тетеревей. Это-то удивительно! – с жаром тряс головой и жирными щеками Лев Нарышкин. – С вашим величеством могла бы соперничать лишь одна богиня Диана.

Екатерина, изумленная таким лганьем, взглянула на льстеца с укором, на ее глаза даже навернулись слезы.

Вызванный из деревни Бибииков сидел в кабинете Екатерины как на иголках. За его смелые суждения Екатерина стала относиться к нему с некоторой холодностью, и вот – он вызван ко двору. К чему бы это?

– И чтоб на глаза ко мне не дерзнул показываться! – крикливо говорила Екатерина расстроенному графу Чернышеву, собиравшему со стола подписанные государыней бумаги. Когда Екатерина давала важные распоряжения или кого-либо распекала, голос ее был властный, отрывистый. – Он, этот горе-генерал Кар, черт его возьми, не поправил дело, а напортил! Что скажут иностранные при нашем дворе послы? Какую эху будет иметь за границей его мерзкий поступок? Это ты мне подсунил его, Захар Григорыч, вот теперь и выкручивайся.

– Государыня, вы же сами изволили знать, – оправдывался Чернышев, – что все опытные генералы на войне.

– А вот опытный генерал! – воскликнула Екатерина, показав глазами на Бибиикова, у которого сразу вытянулось лицо и стало замирать сердце. «Ой, пошлют меня кашу расхлебывать!» – с горечью подумал он. – Болен? Но у тебя есть лекарь, лечись на месте, – продолжала нервно выкрикивать императрица, пристукивая табакеркой о стол. – Мало войска у тебя? Но дожидай, пришлем... А чтоб с позором сбежать... И в такое время... Он забыл долг перед отечеством, забыл присягу и, замест подвига, замест усердия и мужества, позорно, без разрешения, ретировался. Нет, это свыше моих сил! Трусы мне не нужны! Больные, расслабленные – тоже! Подобные мизерабли получать жалованье не имеют права. А посему, любезный граф, изволь заготовить мой указ Военной коллегии, чтоб Кара немедля уволить и дать апшид. Ну, а какие полки ты намерен послать против этой зловредной толпы каналовей?

– Сей вопрос еще не решался, – пожал плечами Чернышев.

– Пошли-ка князю Волконскому полк из Ладogi, а то Москва сидит без военных людей вовсе. А Бранту пошли немедля особую цедулу, дабы он взял все предосторожности к охранению нашей Казанской губернии от заразы. Ну, прощай! И я тобой тоже не есть довольна, Захар Григорыч. Ты с небрежением и вяло действуешь.

Чернышев выслушивал речь императрицы потупившись и стоя. Затем поцеловал протянутую ею руку

и ушел.

– Александр Ильич, голубчик, – обратилась она к Бибикову. – Ну вот, если бы ты был на месте Кара да, Боже упаси, захворал?..

– Я всему прочему предпочел бы смерть на посту, государыня! (Впоследствии, в далекой Бугульме, Бибиков с содроганием сердца вспоминал эту фразу.)

– Да, да, – прорекла Екатерина. – Тако думают и так отвечают своим государям истинные, со светлой головой, государственные мужи. – И, помолчав, как бы давая время подготовиться к ответу, она сказала: – Голубчик, Александр Ильич, я на вас имею виды. (Сидевший против Екатерины Бибиков опустил сложенные на груди руки и нервно шевельнулся в кресле.) Вы пока поезжайте исправить свои семейные дела, а после я вас покличу. (Бибиков встал, и выразительные глаза его округлились.) Не иначе, как тебе доведется туда скакать и маленько перевидаться с маркизом Пугачевым. Как ты полагаешь? – снова перейдя на интимное «ты», закончила Екатерина и с выжидательной улыбкой заглянула ему в лицо.

– Ваше желание для меня закон, его же не преjdeши... Смею ли я возражать, государыня.

– Очень смеешь, очень смеешь... Я тебя люблю, Александр Ильич, и пожалуйста, возражай!

– Нет, государыня... Хотя и горько мне, что я иным часом уподобляюсь сарафану...

– Что сие значит? – продолжая улыбаться, с нетерпеливым, чисто женским любопытством воскликнула Екатерина. – Я не понимаю твой иносказательный намек... Будь друг, поясни.

– Ваше величество, – поднял брови Бибиков, – да нешто вы забыли песенку?

Шесть лет тому назад, когда императрица путешествовала в Казань, Бибиков был в ее свите на галере «Волга». Екатерина держала себя со всеми, в особенности с Бибиковым, необычайно просто, поэтому он сейчас и позволил себе по отношению к императрице некоторую фривольность.

– Так вот, не казните меня, а выслушайте, песенка старинная... – Он подшибился рукой и негромко, но с ужимками запел фальцетом, подражая певуньям-бабам:

Сарафан ли мой, дорогой сарафан!
Везде ты, сарафан, пригождаешься;
А не надо, сарафан, – ты под лавкой валяешься.

В широкой улыбке Екатерина обнажила белые ровные зубы и, милостиво взглянув на Бибикова, сказала со снисходительной благосклонностью:

– Шутник... Ах, какой шутник вы, ваше высокопревосходительство! И понапрасну вы объявляете себя за сарафан. Вы не есть сарафан, вы – господин генерал-аншеф, кавалер высокого ордена святого Александра Невского. Очень сожалею, мой друг, что я чересчур плохая Габриельша^[10], а то я не преминула бы составить с тобою дуэт. Ты хорошо поешь. Ну, подойди сюда, Александр Ильич, голубчик.

Бибиков, склонив голову, уже целовал Екатерине руку, она слегка обняла его за шею и поцеловала в гладкий выпуклый лоб.

Проезжая в санях по снежным улицам столицы, Бибиков окидывал мысленным взором служебные этапы своей жизни. Ему только сорок четыре года, а он уже генерал-аншеф. Екатерина высоко ценила в нем просвещенного человека и талантливое политическое деятеля.

«Но почему же, почему жребий борьбы с мятежником пал на меня? Ну право же, не по душе мне это дело... А как откажешься? Я человек, прямо сказать, бедный, у меня семья, долги, в опалу попасть резону нет. Ну конечно же, я – сарафан: валялся под лавкой, а нынче в надобность пришел... А ничего не

попишешь... И с кем воевать? С каким-то чумазым казаком, да с башкирцами, да со своим народом... Со своим собственным!»

Об осаде Уфы толпами мятежников стало известно не только простому люду, но в этот раз даже и правительству.

Заместитель Кара, генерал Фрейман, донес об этом в Военную коллегию. Подробностей в рапорте не было, да их никто и не знал, кроме Емельяна Пугачева.

События под Уфой разворачивались так. Толпа башкирцев около пятисот человек под начальством самозванного полковника из башкир Кашкина-Самарова и уфимского казака Губанова 24 ноября заняла селение Чесноковку, что в десяти верстах от Уфы, а также и другие ближайшие к городу селения. Уфа была совершенно отрезана. В толпу ежедневно прибывали с разных сторон татары, помещичьи, государственные и экономические крестьяне. Через неделю в толпе было уже более тысячи человек.

Вскоре к городу подъехала группа башкирцев, они кричали с утра до полудня:

– Э-ге-гей!.. Давай языка сюда, давай начальства, мало-мало балакать будем... Э-ге-гей!

Из города выехал майор Пекарский и два чиновника.

– Сдавай нам город! – говорили им башкирцы. – Выдавай коменданта Мясоедова да воеводу Борисова.

– Отправляйтесь, изменники, по домам, – говорил им Пекарский. – Иначе мы всех вас побьем из пушек. Государыня сюда целую армию выслала, солдаты с генералами уже подходят к Волге.

– Врешь, собак кудой! У нас нет государыни, у нас есть бачка-царр...

Комендант, полковник Мясоедов, стал приводить Уфу в боевое положение. Вокруг города были установлены ночные разъезды, в которые назначались и служащие учреждений, сформированы боевые дружины, жителям розданы ружья и порох.

Большая толпа вооруженных луками и копьями башкирцев, сделавшая приступ со стороны села Богородского, была отогнана уфимскими казаками и посаженными на коней жителями. Башкирцы понесли большой урон. Их главари принуждены были обратиться к Пугачеву за помощью.

5

28 ноября состоялось большое собрание Государственного совета для обсуждения военных дел в присутствии императрицы.

– Какие полки вы намерены, граф, двинуть на место мятежа? – обратилась Екатерина к президенту Военной коллегии Захару Чернышеву. За креслом императрицы стоял навывтяжку дежурный при ее особе граф Строганов, чуть дальше – два розовощеких паж.

– Вчерась в ночь, – начал, подымаясь из-за стола, Чернышев, – мною отправлены, ваше величество, курьеры с приказами как можно скорей выступать в поход: Изюмскому гусарскому из Ораниенбаума, второму гренадерскому – из Нарвы и пехотному Владимирскому – из Шлиссельбурга. Всем полкам следовать в Казань трактом через Москву. Опричь того, выслано из Петербурга в Казань шесть пушек с прислугой и снарядами.

– Я держу описание, что войска наши будут поспешать слишком нескоро, а несчастный Оренбург долго упорствовать этим канальям не сможет, там недостача хлеба, жителям угрожает бедствие. Надо сию экспедицию как можно форсировать.

– Ваше величество! – воскликнул Чернышев. – Полки, посаженные на почтовые и обывательские подводы, прибудут на место не позже как через два месяца. Также могу поручиться за то, что Рейнсдорп будет держаться в крепости до последней капли крайности. В том головой ручаюсь!

– Вы, ваше сиятельство, поостерегитесь столь часто закладывать вашу голову, – выразительно прищурилась на него императрица. И ему сделалось неловко, он стал краснеть, кусать губы.

Екатерина вела заседание очень нервно, смута на востоке угнетала ее.

– Вы, помнится, еще так недавно клялись головой, что Пугачева можно прихлопнуть, как комара, с теми силами, кои у Чичерина, Деколонга и Рейнсдорпа. И что войск новых туда не след высылать... Да так и не выслали!

Чернышев хотел было возразить: он-де выслал туда несколько рот и четыре пушки, но, зная, что вступать в пререканья с императрицей в минуты ее раздражения опасно, в обиде прикусил язык.

– Впрочем, ты отослал туда две роты... Но... Но от твоей столь щедрой посылки только курам смешно... или, как это говорится? – продолжала, заметно волнуясь, Екатерина. – Попробуй-ка сам повоюй с двумя ротами, не желаешь ли, граф, туда прогуляться? – Она бросала на сановников косые взгляды, ее оголенные матово-белые плечи нервно передергивались.

Весь генералитет сидел как в рот воды набрал, уткнув носы в бумаги. Только князь Вяземский^[11] преданными глазами, со лстивым бессмыслием взирал на императрицу.

– Я позволю себе спросить вас, господа сановники, – снова зазвучал голос Екатерины; она вынула из бисерной сумочки раздушенный носовой платок, зал наполнился благоуханием. Юный черноволосый паж сладострастно потянул ноздрями воздух, ему вдруг захотелось чихнуть, со страху он обомлел, крепко-накрепко закусил губу и весь содрогнулся. Его товарищ скосил на него озорные глаза. Граф Строганов повел в их сторону прихмуренной бровью. – Я спрашиваю вас, господа, как быть? – вскинула императрица голову. – Поскольку Оренбург заперт, вся губерния остается без управления. Не направить ли туда второго гражданского губернатора?

– Я полагал бы, матушка, – заметил негромко князь Григорий Орлов, – все управление краем поручить Бибикову.

– Я склонен поддержать эту идею, – откликнулся Олсуфьев, – ибо все тамошние места заражены ныне возмущением и не могут без воинской помощи управляемыми быть.

– Против сказать ничего не нахожу, – проговорила Екатерина. – Прошу пригласить генерал-аншефа Бибикова.

Внешне бодрый, жизнерадостный, но очень бледный, с александровской через плечо лентой, вошел Бибиков, поклонился, занял указанное ему императрицей кресло.

За окнами дворца бушевала вьюга. Снежные космы, как беглый пламень, плескались по зеркальным стеклам. В зале сумеречно, хотя был полдень. Ливрейные слуги запалили горючие нити, которые вились от светильни к светильне всех ста пятидесяти свечей, и обе люстры вспыхнули, как рождественские елки. На длинном столе заседания зажгли кенкеты – фарфоровые масляные лампы. Четыре лакея в белейших перчатках подали государыне и всем присутствующим горячий чай в расписных гарднеровских чашках. Екатерине прислуживал сам граф Строганов.

В огромном зале было довольно свежо. Императрица поживалась, зябко передергивая плечами, дважды кашлянула в раздушенный платочек. Григорий Орлов сорвался с места и ловко накинул на ее плечи пелерину из пышных якутских соболей.

Екатерина посмотрела по-холодному на князя Вяземского, что не распорядился как следует протопить печи, сказала Орлову: «Мерси» – и потянулась к горячему чаю. Вяземский понял недовольство императрицы. Перестав преданно улыбаться, он пальцем подманил мордастого лакея, что-то сердито шепнул ему и, поджав сухие губы, незаметно лягнул его каблуком в ногу. Тотчас запылали два огромных камина.

– Разрешите, ваше величество, – сказал Вяземский, приподнявшись и щелкнув каблуками.

Екатерина, у которой рот был занят вкусным печеньем, кивнула головой.

Один из секретарей с благородным лицом и осанкой, стоя возле своего пюпитра, звучным баритоном стал читать проект манифеста по поводу разгоревшегося мятежа. Екатерина послала через стол Бибикову записку: «Прошу слушать внимательно».

Когда чтец дошел до места, где Пугачев уподоблялся Гришке Отрепьеву, граф Чернышев попросил, с разрешения Екатерины, еще раз повторить этот текст.

– Разрешите, великая государыня, – поднялся Чернышев, знаком остановив чтение. – Нам с князем Григорием кажется, что никак не можно уподоблять сии два события – возмущение древнее и бунт современный Пугачева.

– Ведь в те поры, матушка, – подхватил с места князь Орлов, – все государство в смятенье пришло, вкупе с боярством, а ныне одна только чернь, да и то в одном месте. Да этакое сравнение разбойника Пугачева с ложным Димитрием хоть кому в глаза бросится, оно и самих мятежников возгордит.

– Мне пришло в идею сделать подобное сравнение, – сказала Екатерина, – только с тем намерением, чтобы вызвать в народе самое большое омерзение к Пугачеву. Я еще раз готова над сим местом призадуматься и, ежели сочту нужным, допущу перифраз.

За сим была оглашена инструкция Бибикову, по смыслу которой он посылался в непокойный край полномостным диктатором. Бибикову давался открытый указ, по которому ему подчинялись все краевые власти: военные, гражданские, духовные.

Бибиков слушал весь этот словесный шум, низко опустив голову.

Повестка заседания исчерпана. Екатерина уже стала собирать в бисерный мешочек свои вещи:

табакерку, лорнет, носовой платок, бонбоньерку с шоколадными конфетами, а также неуместно подsunутую ей печальным Орловым записочку: «О богиня!» Но в это время поднялся генерал-прокурор князь Вяземский и обратился к государыне:

– Дозвольте, ваше величество... Последний вопрос, который, по внешним знатным опасностям, я считаю зело важным и отлагательства не терпящим. Осмелюсь, ваше величество, свою мысль сказать: не было бы бесполезно, если бы назначить знаменитую сумму денег в награду и прощение сообщникам, кои бы его, Пугачева, выдали живого, или б, по крайности, мертвого. Казалось бы, что из тех плутов могли таковые найтись. А мог бы и таковой к злодею предаться, чтобы, войдя к нему в услугу, его убил или, подговоря других, выдал. И оному удачнику надлежало бы от казны коликую выдать награду.

– Но ведь туда для сей цели уже направлены два казака – Порфи́ров и Грачев, кажется, – сказала Екатерина, перенеся взор свой на Вяземского.

– Перфильев и Герасимов, матушка, – поправил ее князь Орлов.

– Это сделано без моего ведома, – поднявшись, бросил с обидой в голосе граф Чернышев и сел.

– Это сделано при моем ближайшем участии, – встал Вяземский и снова сел.

– Сих шельмецов мой брат Алексей послал, – проговорил Орлов, – только, чаю я, из этого ни синь-пороха не приключится.

– А может, приключится... – холодно возразила ему Екатерина. – Однако же, Александр Алексеевич, голюбчик, – обратилась она к Вяземскому, – тебе в пору знать, что государю невместно заниматься поощрением убийства. А посему я согласна назначить награду только за живого...

«Чтоб потом живому оттяпать голову», – мелькнуло у князя Орлова, сумрачно брови насупившего.

Екатерина поднялась, и все вскочили, кроме старика Олсуфьева, одержимого подагрой. Опираясь на две палки, кряхтя и выгорбив сутулую спину, он еще долго бы корячился, если б его не подхватили под мышки два лакея, похожих на заморских послов.

Екатерину окружила свита. Одарив всех рассеянной улыбкой, она быстро направилась к выходу.

Глава VIII

Митька Лысов «окаянствует». Перфильев двинулся в Берду. Гавриил Романович Державин. Депутаты

1

В Петербурге и на том конце света – в Берде с одинаковой силой свирепствовала вьюга.

В столице заседание Государственного военного совета кончилось, а в Берде в это самое время открыла свои занятия Войсковая канцелярия. Прищуривая то правый, то левый глаз и прищелкивая языком, Пугачев с особым вниманием слушал прибывших из Уфы гонцов.

Гонцы – башкирец, русский и татарин, – не торопясь, рассказывали, как было под Уфой и почему склонившиеся на верную службу великому государю терпят неудачу.

– Для того мы и просим вашего царского милосердия: в нашу сторону прислать войско и мало-мальски пушек. А то ваших супротивников нам без оных сократить не с чем.

– Мне вестно стало, что в Башкирии немало коней, – заметил Пугачев, прямо не откликаясь на просьбу посланцев.

– Эге! Коней, как черной грязи, бачка! – живо подхватил башкирец. – Мы тебе целыми косяками пригонять будем. У справных хозяев отбирать будем. Эге!..

– Ахти, добро! – проговорил довольный Пугачев. – Как у меня много будет коней, я большую часть армии моей на конь посажу.

Одарив гонцов, Пугачев сказал им:

– Ну, езжайте, детушки! Будут вам пушки, будут люди, будет и главный над вами командир от меня.

Вошел, весь в снегу, офицер Андрей Горбатов, поклонился Пугачеву, сказал:

– Государь, вот казак прибыл к вам с вестями.

– Давай его, ваше благородие!

Вошел широкоплечий казак с плетью у пояса, с винтовкой за плечами и пикой в руке. Поставив пик у угол, он усердно покрестился на иконы и упал Пугачеву в ноги.

– Иван Жилкин да атаман Илья Арапов приказали тебе, батюшка, челом бить. А сам я – есаул Плешаков...

– Встань, – сказал Пугачев. – Илью Арапова знаю. Я его с полусотней казаков сам спосылал под Бузулук.

– Истина твоя, батюшка! А мы шестьдесят две четверти сухарей забрали, да сто шестьдесят кулей муки, да пороху, да на две тысячи рублей медяков.

– Стало, хорошие вести привез ты?

– Не надо лучше... Худые вести и гонцу не в радость, ваше величество.

– Ну, сказывай, друг!

Чернобородый, еще не старый, с умными глазами казак не торопясь рассказал о том, что город Бузулук с крепостью и почти все крепости с форпостами Самарской линии взяты ополченцами отставного солдата Ивана Жилкина, а еще беглого солдата Варсонофия Перешибиды-Носа^[12], да полсотней казаков вышереченного Ильи Арапова.

– Перешибиды-Нос, Варсонофий? – неприятно удивился Пугачев и даже откинулся на кресле. – Вот те клюква!.. Как бы он, забулдыга, не тово, не этого... – Откудова взялись Жилкин да Перешибиды-Нос какой-то? – ввязался в разговор Максим Шигаев; он в красной рубахе сидел на табурете, закинув ногу за ногу, засунув руки в карманы суконных штанов. – Илью Арапова с казаками, верно, мы спосылали, а эти двое – самочинцы. Их, ваше величество, надо бы вызвать да пристрастить.

– А чего же их пристращивать, – возразил Пугачев, – ежели они моим именем крепости берут? Пушай стараются.

– Для порядку ба... – сказал Шигаев и, вынув из карманов руки, сел прямо.

– Как порядок учнут рушить, так и не токмо что вызвать, а и повесить можно. – Пугачев обратился к чернобородому гонцу: – Толкуй, казак, дале.

– А комендант Бузулукской крепости-то, фамиль Вульф^[13], еще раньше того сбежал. Как узнал он, что полковник Чернышев в плен угодил, ушел со всем семейством. А тут вскорости ваш Илья Федорович Арапов с казаками прикатил в Бузулук, склады провиантские опечатал все, отобрал самолучших лошадей – и был таков. А в конце ноября и мы на двадцати санях понаехали. Жилкин с Перешибиды-Носом велели вина из складов выкатить. Тут все мы, грешным делом, в гульбу пошли! Уж не брани нас, батюшка. Два попа тоже гулеванили с нами. Некий солдат-старик опился в смерть. Во! Через день опять Арапов наскочил со своими. Тогда мы, все совокупясь, побежали на конях помещичьи именья зорить. Мужиков подбивали к тебе, батюшка, иттить, а двух бурмистров – вздернули. – Казак вынул из-за пазухи бумагу, протянул Пугачеву, сказал: – Это вот от атамана Арапова списочек, чего да чего шлет он тебе. Вели, батюшка, примать. Обоз подходит сюды.

Максим Горшков шершавым басом огласил бумагу.

Пугачев был необычайно доволен столь задачливым днем. Уфа заперта, Бузулук взят, форпосты и мелкие крепостишки Самарской линии передавались ему, подвозят добро с казной. А перед этим – Кар разбит. Чернышев в полон попал, Валленштерн не единожды трепку получал. После таких событий не грешно и передохнуть, разгуляться. И вот царь-батюшка с атаманом поехали под вечерок верхами в Каргалу, к знакомым татарам. Увязался с ними и Митька Лысов. В Берде начальником остался Максим Шигаев, который и велел объявить по казачьим полкам, чтоб завтра с утра приходили в канцелярию получать денежное жалованье.

2

Гости бражничали в Каргале до третьих петухов. Хозяина, сметливого татарина Мусу Улеева, Пугачев поставил каргалинским атаманом, а татарина Абрешита произвел в сотники. Ночью пугачевские атаманы разгуливали по улице в обнимку с татарами, пели песни, играли на дудках, целовались. Пугачев был крепче всех, да и пил в меру, он шел твердо, его по обе стороны поддерживали две красивые татарки в бархатных, вышитых золотом невысоких шапочках-тюбетейках и в накинутых на плечи меховых шелково-узорчатых охабнях. Одна из них жена Мусы Улеева, другая – жена Абрешита. Молодые женщины украдкой целовали государя в щеки, он на ходу немножко с ними заигрывал. Они весело смеялись, наперебой что-то лопотали ему по-татарски. Он ничего не понимал, только встряхивал бородой, широко улыбаясь, и, стараясь быть вежливым, то и дело говорил им:

– Ась, ась? Благодарствую... В гости, мол, приезжайте, в Берду... Саблея, вестивал. Шурум-бурум, шох-ворох...

Татары провожали их, как самых наипочетных гостей, дружными залпами из самострелов. Атаманы в ответ дали прощальный салют из своих пистолетов. Был предутренний час. Лобастая луна стояла высоко, окруженная яркими звездами, как новый среди гривенников рубль. Просторы голубели. Тишина. Только каргалинские собаки, разбуженные выстрелами, все еще побрехивали вдали.

– Братцы-атаманы! – сказал Лысов. – А пошто мы все пьяные, а батюшка тверезый?

– Батюшка хош и не мене тебя пил, – сказал Пугачев, – а вот брось на дорогу шапку, я на всем скаку дно ей вырву.

– А ежели не того... не вырвешь?

– Тогда назови меня никудышным псом!

Лысов, пьяно раскачиваясь в седле, помчался вперед, швырнул в снег шапку – в лунном свете она ярко чернела на голубом сугробе. Пугачев вынул из-за пояса пистолет, гикнул и, вихрем проносясь мимо шапки, выстрелил в нее. Шапка подпрыгнула и, как черная курица, распустила крылья. Все захохотали. Митька Лысов подцепил пикой шапку – на снегу остались клочья мерлушки, – кой-как надел ее на лысую голову, по-злему сказал:

– Ну и черт ты, батюшка!.. Не иначе, как с анчуткой неумытым знаешься... Ведь шапка-то дорогая, новая... Пес ты и есть, а не царь!

Отъехавший Пугачев этих дерзких слов не слышал. Безбородый, похожий на скопца, Максим Горшков, сверкнув прищуренными глазами, громохнул Митьке басом:

– Ты дурнилку-то эту брось!

– А то что? – задышливо спросил Митька Лысов и с мстительной ухмылкой уставился в спину удалявшегося Пугачева.

– А вот что! – крикнул суровый Овчинников. – Ссадим тебя с коня да хороших лещей по шее надаем...

Не слушая его, стиснув зубы, Митька нагнулся, гикнул и – пику наперевес – полным карьером помчался на Пугачева. Тот, ничего не подозревая, ехал ровным шагом. Чужое недоброе, атаманы ринулись вслед Митьке, заолошно крича:

– Берегись, батюшка! Берегись, ваше величество!

Но было уже поздно. Налетевший Митька с силой ударил Пугачева в левую лопатку. Пугачев держался

в седле крепко, как дуб в земле, он только клюнул носом и схватился за шапку, а Митька Лысов от сильного толчка кувырнулся прямо в снег, как сброшенный с воза куль.

Остро отточенная пика легко вспорола толстый меховой чекмень Пугачева и с маху уперлась в стальную, поверх рубахи, кольчугу. Все соскочили с коней: Почиталин, Творогов, Витошнов, Горшков, Яким Давилин, Овчинников. Все окружили Пугачева. Пегая кобылка Лысова, переступив всеми четырьмя ногами, повернулась к своему хозяину и с удивлением глядела на него, поверженного в снег, влажными, светящимися глазами, как бы силясь спросить, по какой причине его угораздило в сугроб?

– На сей раз прошибся ты, Лысов, – сказал Пугачев спокойным, застуженным голосом. – Не добыл кровушки-то моей.

– Здоров ли, батюшка? Цел ли? Не покарябал ли он тебя? – сыпались в его сторону вопросы близких.

– Нетути. Как видите, невредим!

– Вставай, чертяка! – грозно хором закричали на Митьку.

Тот повалился Пугачеву в ноги, сквозь шапку без дна блеснул под луной лысый череп.

– Спяну, спяну это я, – вопил он. – Прости, надежа-государь, прости, милостивец!.. Ведь мне попритчилось, что я под Оренбургом Матюшку Бородина пикой-то пырнул. – Лысов лил пьяные слезы, но волчьи глаза его были трезвы, жестки.

– Как повелишь поступить с ним, ваше величество? – спросил Яким Давилин.

– Встань, Лысов! – сказал Пугачев, взглянул на Митьку, брезгливо сплюнул. – Встань, на другой раз не окаянствуй. Не окаянствуй, говорю!

Лысов, крихтя, поднялся, с нахальцем взглянул в лицо казаков: что, мол, много взяли? – и с быстротой россомахи вскочил в седло. Его кобылка, видя, что все пришло в порядок, удовлетворенно встряхнула хвостом и с игривостью повела глазом на гнедого пугачевского жеребца.

Неспешной бежью все тронулись в путь.

– Воля твоя, батюшка! – хмурясь, проговорил Овчинников. – А Лысову надлежало бы всыпать для порядку.

– Нет мне охоты идти на комара с рогатиной, – ответил Пугачев раздраженно.

Лысов запыхтел, сравнялся с Пугачевым и, притворно всхлипнув, прогнусил:

– Ты всегда, ваше величество, кровно обижаешь меня. Вот опять... комаром обозвал!

– Какой там комар, ты вошь! – вскричал атаман Овчинников. – А ну, покажи руки, сними рукавицы! – Снова все остановились. – Давилин с Почиталиным, сдерните-ка с него рукавички-то козловые.

На пальцах Лысова заблестели крупные, в драгоценных камнях, перстни.

– Откуда взял? – сурово спросил Лысова Пугачев.

– А уж это мое дело... Не из твоих сундуков, что в подполье у себя держишь.

– То не мои сундуки, а государственные, – повысил Пугачев голос. – Я вчера из них три тысячи рублей Шигаеву выдал на жалованье казакам. Ты, супротивник, опять в щеть идешь?

– Не я, а ты, батюшка, в щеть-то идешь, – заикаясь и гнусаая, стал выкрикивать Лысов. – Ты за всяко-просто обиду мне чинишь... Много на мне обид твоих, батюшка! Я-то все помню...

– Засохни, гнида! – заорал на него Овчинников и пригрозил нагайкой.

– Сам засохни, хромой черт, бараньи твои глаза! – огрызнулся Митька и, выпустив поводья, стал истерично бить себя кулаками в грудь. – Накипело во мне!.. Дайте мне обиду выкричать! Меня тоже погоди обижать-то!.. Я полковник! Я выборный полковник!.. За меня войско заступится...

– Вот в войсковой канцелярии мы тебя спросим, откуда кольцо-то добыл, – поднял голос и молчавший до того Почиталин, но, сразу сконфузясь, покраснел, как девушка.

– Плюю я на твою, щенячья лапа, канцелярию, – не унимался Лысов, в злости то пружинно подпрыгивая на стременах, то снова падая в седло.

– Не плюй в колодец, Митя, – спокойно сказал Овчинников. – А что ты вор, всем ведомо. Ты помещикам живьем пальцы рубишь, чтобы перстеньками поскорее завладеть. Ты всякую поживинку хапашешь да прячешь – в купцы, видно, метишь выйти? Нам-то, брат, все известно. Хоть за пятьсот верст смошенничай – знать будем... Эх ты, полковник!.. Когда простые людишки грабят, ты их унимать должен, а ты сам путь им указуешь... Полко-овник!

– Ладно, поехали! – нетерпеливо крикнул Пугачев.

Застоявшиеся лошади пошли крупной рысью. Луна заметно помутнела, звезды выцвели. Наступал рассвет. До самой Берды всадники ехали молча.

Всяк думал о своем. Мысли Лысова были хитры, занозисты и мрачны. «Ха, царь! Много таких царей по острогам вшей кормит. А эти каверзники: Овчинников – бараньи глаза, да Горшков Макся – скобленное рыло, да Витошнов – старая кила, быдто сговорились: царь да царь... Спасибо Чике-Зарубину, пьяный сболтнул мне про батюшку-т... Сволочь, шапку вдрызг расшиб, а шапка-т генеральская, шелковая подшивка с золотым гербом. А он, сволочь, – бах! Да нешто цари так стрелять могут? Вот сразу и видать, что не царь, чувырло бородатое. Ха! Где кольца взял... А тебе какая забота? Набил себе сундуки-то... хапаным... Ну, ладно, недолго вам царствовать. Дай срок – всех вас выведу на чистую водичку!»

Пугачева тоже одолевали думы. Станный, непонятный какой-то этот казак-гуляка Митька Лысов. То он покорен, рачительно служит, сотнями пригоняет в лагерь крестьян, татар, калмыков, то вдруг – вожжа под хвост – и заурсит, заурсит Митька, сладу нет! «Ну, ладно, погожу. Как будет невтерпеж, так я и сабле волю дам: лети голова с плеч!»

3

Напутствуя главнокомандующего Бибикова, Екатерина говорила ему:

– Я вас, Александр Ильич, за большого патриота почитаю, за весьма также усердного к особе нашей. Всюду, Александр Ильич, действуй моим именем, как тебе Бог и совесть укажут. Ты в Казань езжай попроворней, дабы заранее ознакомиться с положением дел в крае, чем возмутители дышат, какие у них с землей связи, каковы ресурсы пропитания, да есть ли у них внутреннее управление, разрозненная ли орда то, подобная стаду овец, или действительно вооружены они дисциплиной? Во всяком разе, я чаю, что мужество и просвещение, искусством руководствуемые, дадут тебе, Александр Ильич, несравненное преимущество над толпою черни, движимой диким фанатизмом.

Беседа при участии Григория Орлова протекала довольно долго. Екатерина, прежде всех оценившая опасность оренбургского восстания, лично вникала теперь во все подробности дела, давала Бибикову всякие советы как в письмах, так и в изустных разговорах. Бибиков и без ее подсказа все это прекрасно понимал, но поневоле ей поддакивал, а сам думал: «Либо она считает меня глупым индюком, либо своим якобы знанием жизни поафишироваться хочет».

– Дворянство всегда было надежною опорой престолу, – говорила Екатерина, то принимая напыщенный вид, то облекая румяное лицо в приветливую улыбку, – и я верю, что оно, дворянство, и на сей раз явится на помощь нам по первому нашему призыву. Ты потрудись уж, Александр Ильич, разъяснить, что в их патриотическом усердии залог их личной безопасности, сохранности их имений и самой целостности дворянского их корпуса. Ты расскажи им, как Пугачев расправляется со дворянами и чиновниками, кои попадают ему в лапы.

– Матушка, не забудь насчет комиссии, – подсказал князь Орлов.

– Да! Решили мы тотчас послать в Казань секретную комиссию, коя будет, Александр Ильич, при твоей особе состоять. В ней три гвардейских офицера – Лунин, Савва Маврин и Василий Собакин, да секретарь тайной сенатской экспедиции Зряхов, человек в допросных делах зело сведущий. В Казани уже сидит сколько-то пугачевских молодчиков. Этих каналов надо опросить и, в страх черни, примерно наказать на публике. Ну, что еще? Как ты уже сам ведаешь, тебе в ближайшую помощь определяю генерал-майора Мансурова да князя Петра Голицына. Также возьмешь с собой, по своему выбору, некое число офицеров да двенадцать гренадер.

– Так ведь ты же бунтовщик был, ты же против генерала Траубенберга шел и принимал участие в его убийстве! – крикливым голосом говорил Перфильеву комендант Яицкой крепости полковник Симонов. – Как же могу я поверить тебе?

– Правда, был бунтовщик я, а вот теперича желаю искупить свою вину, – отвечал ему Перфильев, исподлобья посматривая на Симонова. – Ежели не верите мне, верьте бумагам. Я же передал вам письмо губернатора Бранта.

Умный Симонов только плечами пожимал, он прекрасно знал то, как губернатором Рейсндорпом был направлен ловить Пугачева каторжник Хлопуша и что из этого вышло. «Наивные в Петербурге люди, а уже про Бранта с дурнем Иваном Андреевичем и говорить не остается», – думал Симонов.

– Что ж, надеешься Пугачева изловить?

– Изловить мне одному невмочь. А вот казаков от него оторвать да мутню в шайке самозванца пустить – завсегда возможно.

– Ну, что ж, поезжай, – сказал Симонов и раздумчиво провел по стриженным в бобрик черным волосам своим ладонью. – Я бы не послал тебя в сию экспедицию, ибо она, на мой взгляд, бесполезна, даже вредна! Но раз эта идея относится до графа Орлова, то препятствия чинить не могу. Одно тебе посоветую: помни присягу! И еще возьми в память: у Пугачева шайка отпетых голов, у ее же величества – в триста тысяч армия. Кто будет в выигрыше-то?

Вскоре Петр Герасимов был направлен Симоновым на нижнеяицкие форпосты, а Перфильев, взяв с собою казаков Фофанова и Мирошихина, выехал в Берду.

4

В приемной Бибикова толпились офицеры. Среди них бравый лейб-гвардии конного полка подпоручик Гавриил Романович Державин. Когда дошла до него очередь, он явился в кабинет, щелкнул шпорами и вытянулся перед Бибиковым в струнку.

– Очень рад, очень рад! – сказал Бибиков, затягиваясь трубкой. – Слышно, изволите быть стихотворцем? Что ж, и то дело!

– Сие междуделье, ваше высокопревосходительство. Прежде всего есть я покорный раб ее величества и защитник отечества нашего. Кроме сего, имею в Казанской губернии личные интересы, как-то: небольшое именье, а наипаче того драгоценность – старушку мать... Сим руководясь, желал бы там, на месте, под вашим руководством проявить священные чувства, свойственные всем истинным сынам родины. Словом, великое у меня желание быть полезным вашему высокопревосходительству в походе похитителя императорского имени – казака Пугачева.

Бибиков слегка поморщился на излишнее красноречие офицера и сказал:

– Желание ваше почтенно, однако должен огорчить вас, что опоздали: все места нужного мне обер-офицерства заполнены.

Державин возвращался домой обескураженный. Лопнула его надежда повидаться со старухой матерью, да и деньжонок в командировке прикопить. Небогатому офицеру в гвардейском полку служить было трудно, там весело было лишь богачам да искусным картежникам. И если б не состоятельная дама, с которой молодой Державин был в близких отношениях, ему пришлось бы в жизни весьма туго.

Жил офицер Державин в маленьких «покойчиках» на Литейной, в доме Удалова. Войдя во двор, он еще раз осмотрел свою ветхую карету, которую недавно купил в долг. «Хоть бы какую клячонку завести либо полкового, отслужившего свой век коня, а то просто срам, выехать в люди не на чем». Он вошел в покойчик, послал денщика за возницей, бегло пересмотрел рукописи, задержался глазами на сером листке с началом оды, полюбовался блестящими английскими сапогами с серебряными шпорами и, как подана была лошадь, поехал на Васильевский остров, где жила «дама сердца».

– Не выгорело, любезная Степанида Порфирьевна! Ау, не выгорело! У генерал-аншефа без меня ловкачи нашлись, – печально пробасил он, целуя руки еще не старой, с высокой прической и с томными глазами женщины.

– Ну вот и слава Богу! – чуть не всплакнула она от радости. – Это пречистая Богородица мою молитву услышала. В этакую страсть ехать! Вот поди-ка послушай, Гаврюшенька, что люди мои говорят в кухне. С Ладожского канала, из моего именья, только что прибыли, харч привезли.

Державин прошел в кухню, там обедали трое крестьян. Один из них, бородатый, пронырливого обличья приказчик, на вопрос Державина стал рассказывать:

– Да вот, ваше благородие, дела-то какие! Дела прямо пакостные! Володимирского полка гренадеры, коих в Казань гонят, в роптание пришли. Как проезжали мы через селенье Кибол, сделали ночевку на постоялом дворе, вот там и слышали... Гренадеры-то в ямские подводы укладывались в дорогу, да и говорят громко, никого не страшась. «Вот, – говорят, – вызвали нас из армии, чтоб при свадьбе Павла Петровича быть в Питере. И хошь бы за это беспокойство по чарке водки подали, губы помочить, а замест благодарности по окончании торжества заставили нас, солдат, на Неве сваи бить, как строилась набережная дворцовая. Ну да ладно!.. Только бы нам, – говорят гренадеры, – до места доехать да не замерзнуть, а мы от этакой худой жизни все свои ружья сложим пред царем, что появился в низовых

местах... Царь он али не царь, – нам, да-кось, наплевать», – говорят.

– Ах, мерзавцы! – возмутился Державин. Полное лицо его стемнело. – И что же ты... ужели смолчал, слыша все сие?

– А чего мне гуторить? Нешто это мое дело? Мое дело сторона, – ответил бородатый приказчик, прожевывая кашу и рыгая.

Попивая чуть погодя ароматный кофе со своей приятельницей и с отменным аппетитом пожирая румяные, легкие, как вата, пышки, Державин говорил:

– Крамола, крамола, Степанида Порфирьевна! Всюду крамола, даже в армии. Вот времена пошли!... Я не сказывал вам, свидетелем какого ужасного случая года с два тому назад, в июле месяце, мне быть довелось?

– Ой, не стражай меня, Гаврюшенька! У тебя вечно случай. Да ты лей больше сливочек-то, пеночку-то... Ужо я тебе кружовничного варенья наложу, ты ведь сластена у меня!

– Этот случай отменный, Степанида Порфирьевна, уж дозвольте... Вызван я был со своей ротой на плац-парад в три часа утра. Стоим, ждем. И через часа два со стороны Песков слышим – кандальные цепи лязгают. Видим, в самом истерзанном облике двенадцать лучших гренадер ведут закованных, тринадцатый – унтер-офицер. Прочли им указ императрицы и приговор. Они на ее жизнь будто бы умышляли. И тут взялись за них каты! Великое избиение учинено им было кнутьями, а после сего обрядили, до полусмерти избитых, в рогожное рубище, повалили в кибитки и – прямо в Сибирь! Настрадался я, глядячи на все сие происшествие.

– Ой, ой! – всплеснула руками женщина.

– Да... Многие на жизнь матушки покушались, и все больше, представьте себе, – военные дворяне. Не угодна им государыня. Они бы не прочь Павла Петровича императором иметь... А теперь вот Пугачев. Беда! Не уявился – что будет!

Перед ним, просительно потягивая, крутилась на задних лапках ученая Мимишка в теплой кофточке. Державин стал швырять ей в рот маленькие кусочки сахара, она ловко ловила их на лету. Желтенький пушистый кенарь звонко распевал в клетке, топилась голландская печь, босая девчонка поливала герань и колючие кактусы; в переднем углу горела лампада, на шкафу стоял пыльный самовар.

– Ну, благодарю за угощенье! Теперь дозвольте мне счеты и приходно-расходную книгу вашего приказчика, учиню учет ему.

– Ой, ненаглядочка моя!.. Спасибо на заботе. А я тебе четыре пары бельяца из ярославского полотна сготовила. Монашка вышивает гладью вензеля твои. И с короной. Ну и долговязый же ты, батюшка! Я как прикинула твои исподние штанцы, так они от самого полу мне до подбородка. Да ты прямо Петр Великий будешь!

– Нет, Степанида Порфирьевна, сей чести не удостоился. В моем росте до Петра Великого вершка не достает...

– Что ты, что ты, Гаврик! А мне, грешнице, думается, ты на вершок длинше его.

Возвратясь домой, Державин с изумлением увидел в полковом приказе высочайшее повеление явиться ему к Бибикову. Через три дня он уже выезжал в Казань. И странно – отправляясь в путь, Гавриил Романович вовсе не испытывал радости по сему случаю. Напротив, с ним было такое, словно он взвалил себе на плечи груз – чужой и нелегкий. И даже мысль о возможности свидеться наконец с родной матерью мало успокаивала его.

5

Пугачев принимал в золоченом зальце главного судью – старика Витошнова, Максима Горшкова и думного дьяка Почиталина. Горшков зачитывал Пугачеву донесения, полученные из разных мест, а также изустно докладывал вместе с Витошновым разные сведения о победоносных действиях отдельных отрядов.

Пугачев узнал, что на протяжении прошлого ноября захвачены заводы: Катав-Ивановский, Симский, Усть-Катавский, Юрюзанский и другие. Он приказал немедленно направить в каждый завод своих управителей, поручив им лить, где можно, пушки, мортиры, брать порох, ядра, оружие, казну – и все это под верной охраной высылать в Берду. И чтобы в заводах и всюду читались вгул, где есть люди, его манифесты и указы.

– Можно ли к вам, государь? – приоткрыв дверь из прихожей, спросил Падуров.

– Входи, входи, полковник! Что скажешь?

– Я не один: привел двух выборных от преклонившихся вашему величеству жителей Бугуруслана.

Пугачев приосанился. В горницу вдвинулись маленький, лысый, в больших сапогах, Давыдов и высокий, пучеглазый Захлыстов. Оба повалились Пугачеву в ноги.

– Что за люди? – спросил Пугачев, приказав им подняться.

– Я депутат Большой комиссии, ваше величество, Гаврило Давыдов, ясашный крестьянин. Вот на мне и знак депутатский золотой, как у Падурова, Тимофей Иваныча, мы с ним вместе в Кремле-то, в Грановитой палате-то, сидели... – Он снял с шеи тоненькую золотую цепочку с депутатским знаком и показал его Пугачеву. Затем, мотнув головой на стоявшего истуканом своего соседа, продолжал: – А этот верзила-то Захлыстов прозывается, житель из Бугуруслана. Оба мы посланы от жителей града челом бить, и хлеб с пирогами вам жителями досланы... Да, грешным делом, наши лошаденки схрумкали в дороге хлеб-от с пирогами, и нам-то понюхать не доспелось. Ах, ах!.. Прости уж, батюшка! Ежели не гневаешься за пирог-от, я дале буду сказывать...

– Толкуй, толкуй. Пирог новый испечем! – сказал Пугачев, вслушиваясь в торопливую речь депутата.

– Я тебе по правде, я уж врать не стану – я ведь депутат, эвот и значок у меня золотой. А сам-то я грамотей. Шибкий грамотей я, у попа учился, – тараторил лысый, низенький мужичок в длиннополом заячем тулупчике. Он, видимо, знал себе цену, старался вести себя независимо – то подбоченивался, то выставлял вперед ногу в непомерно большом сапоге, то подхватывал спускавшиеся рукава. – Живу я, значит, в Бугуруслане, и пронеслась там молва, что на Яике император объявился. А я, прямо сказать, не верю. Знаю, что Петр-то Федорыч давно умер, доподлинно мне это ведомо. А вскорости и от государыни указы воспоследовали, что якобы появившийся – не кто прочий, как Емельян Пугачев, беглый с Дону казак.

Пугачева покорило, он повел плечами, испытующе прищурил глаза на говорившего. И все присутствующие зашевелились, закашляли.

– Я и этому веры не дал, – наморщив прыщеватый лоб, продолжал как ни в чем не бывало мужичонка. – Все манифесты врут! Катерина и о Петре Федорыче публикацию давала, что скоропостижно помер, мол. Врет! Убили!.. Орловы его убили... Я-то знаю, я депутат Большой комиссии...

– Стой, Давыдов! – прервал его Пугачев. – Царица врала, и ты заврался, мелешь, как мельница. Как же меня убили, когда вот он – я?.. Пред тобой сижу.

– Батюшка, ваше величество! – запрокинув бородатую лысую голову и ударяя себя в грудь, закричал Давыдов. – Да теперичь-то, как своими очами-то тебя узрел, так и я в разум пришел, теперичь-то и я вижу, что ты царь Петр Федорыч! А ведь издаля-то не видно. А башки-то наши темные, вырабатывают плохо. И вот, ваше величество, извольте слушать... Намеднись наехали на наш Бугуруслан сто калмыков со своим старшиной, Фомою Алексеевым, разграбили все обывательские дома, и мой домишка претерпел, выгнали весь народ на площадь, спрашивают: «Кому служите?» Тут мы, старики, отвечаем: «Прежде служили государыне, а ныне желаем служить государю Петру Федорычу». – «Ну, коли желаете послужить батюшке, – говорит тут калмыцкий старшина, – так выберите от себя сколько-то человек да пошлите к самому государю для поклона и объявите самолично верноподданническое свое усердие». Вот нас двоих, самолучших людей, и выбрал народ-от, и пирогов напекли тебе, батюшка... Да вишь, с пирогами-то чего стряслось: лошади почавкали! Ах, ах, ах!

– О чем же просите, бугурусланцы? – спросил Пугачев.

– Стой уж! – встряхнул рукавами Давыдов. – А просим мы тако, ваше величество: воспрети наш Бугуруслан впредь зорить и жечь, да не можно ли, батюшка, каким способом награбленное возворотить?

Пугачев с просителями всегда был обходителен. Он сказал, обращаясь к бугурусланцам:

– Ну, спасибо вам, детушки! Я велю, Давыдов, дать тебе указ, чтобы никто никакой обиды не чинил вам. А что у кого пограблено, ты сам разыщи и отпиши в мою канцелярию – для резолюции. Стало, Бугуруслан к моей державе отошел?

– Так, ваше величество! – воскликнул Давыдов, выпучив глаза и запрокинув голову. – Со всеми селениями к тебе приклонился. Я уж в дороге столкнулся с мужиками: вот вернусь – бекеты везде выставим, солдатишек казенных ловить учнем, оружаться станем супротив катерининских отрядов.

– Благодарствую! Почиталин, заготовь указ Гавриле Давыдову, ставлю я его там своим атаманом, и под его команду нарядить отряд в тридцать казаков. Доволен ли, друг мой?

– Ваше величество! – Давыдов повалился на колени.

– В другой раз как поедешь ко мне с пирогами, так за лошадьми-то следи лучше. А то они у тебя сладкоежки.

– Да уж... Ах, ах, ах!.. Схрумкали, схрумкали, ваше величество! А пироги-то какие!.. С узюмом!

Давыдов и Захлыстов уходили обласканные. Пугачев сказал:

– Ну вот, господа атаманы! Как видите – начинаются великие дела. Что ни день, все к нам да к нам преклоняются народы. Это восчувствовать надо! – Глаза его блстели, грудь от прилива чувств вздымалась. – А посему давайте-ка сегодня вечером поснедаем вмести, саблю учиним. А то как бы подарки-то, что атаман Арапов прислал нам, – белорыбицы разные да севрюжины провесные, – как бы, говорю, их тоже лошадки не схрумкали... Ась?

Вес засмеялись, засмеялся и Пугачев. Обратясь к Падурову, он сказал:

– Слышь-ка, полковник! А ты, как-нито, принеси-ка сюды... как ее... карту эту самую с городами да морями, кою мы взяли в Татищевой. Мы с тобой проверку учиним, что да что отошло к нам, какие заводы да жительства разные.

– Слушаюсь, ваше величество!

– Как-то, помню, зашел я в спальню сына своего любимого, а его граф Панин грамоте учит, карта на стене висит. «А ну-ка, Павлуша, – спрашиваю наследника своего, – покажь-ка, где Москва?» Он тырк пальцем. Я ему: «Верно, – говорю, – молодец! А где Питенбурх?» Он опять тырк пальцем. «Верно, –

говору, – хорошо стараешься. А где Киев-град?» Он тырк пальцем... «Врешь, – говорю, – это Уфа... Учись лучше, а то штаны спущу и выдеру. Не погляжу, что наследник!»

Все опять засмеялись, а Падуров, выждав, сказал, обращаясь к Пугачеву:

– Заждался вас, государь, дражайший наследник-то ваш. Вот как мы возле Оренбурга-то застоялись! Мы-то стоим, а время бежит, не ждет...

– Что задумал, полковник? Не тяни.

– Да что, ваше величество... Сказать правду, замечтался я этой ночью о всякой всячине... Взять, скажем, Москву. Слухи ходят, что и там ждет не дождется царя честной народ. А ведь Москва не Яик, государь.

Пугачев молчал, отдувался, как если бы кто внезапно подкинул ему на плечи нелегкую поклажу.

– Ты это зря, полковник, насчет Яика, – ввязался в разговор старик Витошнов. – Оренбург нам почище всякой иной столицы... Опять же, какой дурак вперед лезет, ежели у него враг за спиной во всеоружьи?

– А я так мекаю, – гулко заговорил Максим Горшков, воззрясь на Пугачева. – Оренбург, конечно, супротив Москвы птичка-невеличка... Одначе издревле сказано: не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. Слышал, Тимофей Иваныч?

– Как не слышать, слышал, – заволновался Падуров. – Только треба и то помнить: хоть тресни синица, а не быть ей журавлем! Чего зря ума болтать.

Спор оборачивался в перебранку. Пристукнув о стол ладонью, Пугачев сказал:

– Всякому овощу, детушки, свое время. А наша судьбишка такова: где силой, а где и терпежом бери. Нам еще над войском своим потрудиться предлежит. В дальнюю путину собираешься, упряжь как след быть изготвь да коня выкорми... Так-то, Падуров! – закончил он и миролюбиво потрепал полковника по плечу.

Глава IX

Боевые мероприятия. Пугачевская военная коллегия. «Что же тебе надобно, обиженный?»

1

Емельян Иваныч еще загодя отправил повеление приказчику Воскресенского – купца Твердышева – завода, Петру Беспалову: «Исправить тебе великому государю пять гаубиц и тридцать бомбов, и которая из дела выйдет гаубица, представить бы тебе в скором поспешении к великому государю и не жалеть бы государевой казны, – сколько потребно, давай работникам, а я тебя за то, великий государь, буду жаловать». Но докатились до Берды слухи, что приказчик Беспалов не больно-то государю усердствует, а, по всем видимостям, хозяйские, купца Твердышева, интересы блюдет.

Пугачев приказал Чике-Зарубину, казаку Ульянову да пушечных дел мастеру Якову Антипову, тоже казацкого рода человеку, немедля отправиться на Воскресенский завод и чинить там строгий надзор за исполнением государева приказа. «А в случае чего – приказчику Петьке Беспалову ожерельце на шею!»

Пугачев особую надежду возлагал на казака Якова Антипова, в пушечных делах особо дотошного.

– Я, батюшка, как поуправлюсь тамо-ка, стану новые пушки вам лить, – сказал горбоносый, рослый Антипов, степенно оглаживая рыжеватую круглую бороду. – Да у меня дружок на заводе проживает – Тимофей, а по прозвищу Коза, также по пушечным делам знатец изрядный. Ну-к мы с ним...

– Спасибо, Антипов, – поблагодарил Пугачев. – Сам, друг, ведаешь, сколь велика нуждица в пушках у нас. Уж поусердствуй. А на заводе пристрел-то пушками чините?

– А как же! На заводах-то у нас, батюшка, свои бомбардиры, свои наводчики.

– Ну, так и бомбардиров доразу отправляй к нам, в стан, при пушках.

– Всех не можно, государь, а которые лишние – отправлю.

С этим Антипов ушел. Прощаясь с Пугачевым, Чика хотел приложиться к его руке, но Пугачев не дозволил.

– Давай-ка почеломкаемся, брат, – сказал он. – Пуще всех, Чика, верю тебе. Простой ты, бесхитростный. Что лежит на душе, то и выкладываешь.

Вслед за Чикой были вызваны к царю Хлопуша и яицкий казак Андрей Бородин.

– Вот что, Афанасий Тимофеич, – приветливо обратился Пугачев к Хлопуше-Соколову. – Бери-ка ты три сотни из своего полка заводских людей, а ты, Бородин, – четыре сотни клецких казаков, да идите вы вместях крепость Верхнеозерскую брать. Там, сказывают, всякого продовольствия довольно. А как Бог не подаст вам удачи, известите меня, тогда прибуду лично, подмогу сотворю.

Под строгим, самолично царским досмотром отряд был снаряжен в поход быстро. Полк работных людей представлял собою немалую силу: люди друг с другом сжились еще на заводах. В Берде они гуртовались по артелям – свои к своим. Когда-то испытые, одетые в рубище, они за время пребывания в армии успели раздобреть и приодеться. Стойкость, сметливость, чувство товарищества присущи были им

еще в заводской совместной работе. Поэтому боевые их качества, как впоследствии оказалось, были несравнимо выше, чем у скопищ простых хлеборобов. Пугачев это знал и преотменно ценил полк заводских людей. Одна беда – их было пока мало – сот семь-восемь, не боле.

– Знайте, детушки, – напутствовал их Емельян Иваныч, – у меня, под нашими царскими знаменами, всяк за себя воюет, за весь свой род-племя. А заводы уральские от купчишек до бар в наши, государевы, руки перейдут. И кто по воле своей станет на них работать, тому я, великий государь, доброе жалованье платить учну... И во всяком довольствии отказу вам не будет.

...Как-то на военном совещании полковник Шигаев сказал Пугачеву:

– Нам, батюшка Петр Федорыч, Яицкий-то городок, как-никак, к рукам надо бы прибрать. Ежели Оренбург вскорости не осилим, так зимовать туды подадимся: там и жительство обширное, и съестного для армии хватит... У коменданта Симонова всякого куска наготовлено вдоволь... Он не Рейнсдорпу-выжиге чета.

– И ты, ваше величество, правильно умыслил, – подхватил Овчинников, – что Хлопушу спосылал Верхнеозерную брать. Как завладеем денежками, да довольствием, да зарядами с ядрами, тогда уж и Яицкий городок штурмуем.

Старый есаул Витошнов, человек со скуластым лицом и втянутыми щеками, потеревливая седую бороденку, сказал:

– Мое слово, молодцы, – надо нам на нижние яицкие форпосты Мишку Толкачева с манифестом спосылать: пушай он всех казаков забирает к себе... Вот чего надо.

– А к киргизскому Дусали-султану татарина Тангаича отрядить, – опасливо косясь на Пугачева (как бы не оборвал его), проговорил торопливо Лысов. – И тоже манифест вручить ему: пушай султан конных киргизов шлет нам поболе.

На следующий день Толкачев и Тангаич отправились с манифестом куда следовало, а штаб стал исподволь готовиться к походу на Яицкий городок.

Пугачев спросил главного атамана Овчинникова:

– Знаешь ли ты, Андрей Афанасьич, сколько у нас всего людства? И ведешь ли ты списки?

– А людей, ваше величество, невпроворот у нас, к десяти тыщам подходит. Списки же сначала я вел, но впоследствии времени бросил... На Кара ты услал тогда меня.

– Да, брат, всенародство простое ко мне валом валит, – с гордостью промолвил Пугачев. – Одна неустойка – командиров мало. Полагаю я, Андрей Афанасьич, офицеров к сему делу приспособить... Сколь их у нас?

– За десяток перевалило, батюшка. Горбатов-то, новый-то, уже впрягся, я ему казаков да народ на полки поручил разбить. Деляга человек и со старанием!

– Его отличить бы, Андрей Афанасьич. Он сам ведь к нам явился. Ты ему на жалованье не скупись, такому и три, и четыре, и все пять рублей в месяц не жалко. Пускай старается. Да и... как бишь его? Шваньчу оклад положь. А казакам-то в аккуратности платишь, ась? Смотри, брат!..

– Плачу, плачу! С заминкой, а плачу... Ну, да они свое из горла вырвут. А у меня иным часом и недостача случается в деньгах-то.

– У нас в казне тысяч до десяти, как не боле, лежит. Ничего, не скудаемся.

Пугачев сидел в кресле, позвякивая связкой ключей от «казны», атаман Овчинников, прихрамывая на левую, чуть покорооче, ногу, расхаживал вдоль золоченой горенки.

– При многолюдстве нашем полки-то можно покрупнее сбить, ваше величество, да на сотни построить.

– Гарно! Не ведаю вот, как мне с мужиками и прочим людом быть? Шибко просьбицами одолевают, – жаловался Пугачев. – Как выйду, на колени валятся... У каждого свое – то горе, то обида от соседа, то хлеба подай. Порешил я, о чем и допреждь мы с тобой толковали, утвердить свою Военную коллегия.

– Дело, дело... В Петербурге – своя, у нас – своя.

– Своя, казацкая, на казацкий лад! Чтобы там и судьи были, и повытчики, и чтобы все по армии дела вершились. И пущай народ туда идет с нуждицей... Маленько годя скличь-ка ты Падурова да Горбатова со Шванычем, они люди бывалые, книжные, пусть мозгами раскинут. Да и сам приходи, Андрей Афанасьич.

Как стало смеркаться, пробралась в царскую кухню красавица Стеша. Она покрестилась на образа и, увидав толсторожего Ермилку, сбивавшего мутовкой сметану в кринке, вызвала Ненилу в сенцы.

– Ненилушка, – сказала она, зардевшись, – допусти меня до государя.

– И не подумаю, – крутнула головой Ненила, и глаза ее сразу обозлились.

– Да ведь он меня, батюшка, сам присуглашал – приходи да приходи.

– А наплевать, что присуглашал. Он рад всех баб присугласить... На што он тебе сдался? У тебя свой хозяин есть. Вот ужо скажу Творогову-то, Ивану Лександрычу-то, он те косы-то долгие поубавит...

– Он уехатчи! А ты меня, Ненилушка, пусти, пусти, желанная.

– Вот прилипла! Иди, ежели совесть потеряла, с чистого крыльца.

– С чистого-т не пустят, стража там. Да и огласка мне ни к чему. А мне бы только рубашечку ему передать, сама вышивала шелками, – и она шевельнула узелком под мышкой.

– Рубашечки-то и мы горазды шить. Эвот у меня две татарки гладких на печи спят, нажрались за обедом вдосыт.

Стеша сняла с руки бирюзовое колечко и молча сунула его Нениле. Та приняла, поблагодарила и, вздохнув, сказала:

– Ну, ин пойдем... Только, чур, ненадолго. К нему народ вскорости потянется. Ой, да и стыдобушка с тобой, Степанида!

Когда поднялись они по внутренней из кухни лестнице, Ненила крикнула в покой:

– Эй, ваше велиство! Кундюбка тут одна припожаловала к тебе! Прймай!..

А Ермилка, потрянув чубом и облизнув мутовку широким, как у коня, языком, подумал: «Ну до чего приятно царем быть!»

2

Крепость Верхнеозерная была расположена в ста верстах от Оренбурга – вправо от него, на реке Яике. Афанасий Тимофеич Хлопуша со своим отрядом двигался по той самой дороге, по которой еще так недавно пробирался к Оренбургу бригадир Корф.

Поравнявшись с Верхнеозерной, Афанасий Тимофеевич сплюнул на далекое расстояние и сказал своим:

– Мы эту на закусточку оставим, а попервоначалу Ильинскую схрупаем, – и повел отряд еще на сорок две версты вперед, к Ильинской.

Крепость Ильинская была беззащитна. Хлопуша взял ее сразу, забрал деньги, пушки, заряды с ядрами, продовольствие и повернул назад, к более сильной Верхнеозерной крепости. Ее защитниками были две пришедшие из Сибири роты, около сотни гарнизонных солдат, отряд польских конфедератов, двести калмыков с башкирцами да десятка два казаков. Начальник крепости, полковник Демарин, сделал все приготовления к защите.

В ночь на 23 ноября Хлопуша двинул свое скопище на штурм, но захватить крепость врасплох не сумел. Перестрелка длилась все утро, целый день. Хотя калмыки, башкирцы и казаки сразу же передались Хлопуше, сибиряки и поляки сражались стойко, почему и второй штурм оказался безуспешным.

Хлопуша с Андреем Бородиным отступил в Кундуrowsкую слободу и послал царю известие о своей неудаче.

Между тем на вечернем совещании у Пугачева обсуждался важный вопрос об организации Военной коллегии.

– Мы должны какой ни на есть порядок завести, – сказал Пугачев, – чтобы нашему делу порухи не было.

Пугачев жаловался, что мало в войске дисциплины, что его войско не похоже на настоящую армию, что казаки, а глядя на них и прочие, сверх меры пьянствуют и под Оренбург выезжают частенько под хмельком, что по ночам войско орет песни и устраивает кулачные бои промежду себя, что иным часом, пользуясь особым своим положением, казаки обижают башкирцев и татар, а то и пришедших к нему, государю, крестьян.

– Коротко молвить, растатурица промеж моего народа идет, никакого настоящего уряду нет. Так впредь жить, други мои, не можно, – сетовал Пугачев, со строгостью посматривая на присутствующих.

Офицер Горбатов со вниманием и одобрительно прислушивался к речам Пугачева.

– Второе дело, – продолжал Пугачев, он поднялся из-за стола и стал расхаживать по горнице, – второе дело, как мы в народе суд чиним? Не суд то, а чистое бессудье. Иной час займется сердце, тут и велишь другого обидчика вздернуть, а опосля того всю ночь казнишься: а вдруг на обидчика-то облыжный поклеп взвели? Дела, други мои, теперь доведется вершить по совести, не как повелось в судных избах при воеводствах, да при губерниях, да при магистратах, а по чистой правде.

Третьим делом, – продолжал Пугачев, – учинили ли мы какую-нито управу в деревнях, да селах, да в местечках разных, кои нам преклонились?

– Вы административные дела имеее в виду? – подсказал офицер Горбатов.

– Да, да, министративные! Посажены ли там люди наши, а ежели посажены, как там правят они?

Совещание длилось всю ночь до рассвета, было высказано много нужных мыслей. Горбатов сообщил, что он с Падуровым, с двумя грамотными есаулами и при посредстве Овчинникова с Шигаевым составили новое распределение полков. Выделено несколько полков казачьих, остальные люди разбиты по племенным и, так сказать, сословным признакам.

Слушая Горбатова, Пугачев к нему присматривался и находил в нем стоящего офицера, а себе хорошего советчика.

– Сколько всего народу у нас? – спросил он.

– Полностью еще не подсчитано, – ответил офицер Горбатов, – только полагаю, не менее пятнадцати тысяч.

– А пушек да мортир?

– Восемьдесят шесть, – сказал Овчинников.

Составили списки полковников. Овчинников, оставаясь войсковым атаманом и общим руководителем армии, назначался командовать полком яицких казаков, Творогов – полком илецких казаков, Падуров – полком оренбургских и других казаков, взятых в крепостях, Билдин Семен – полком исецких казаков, Дербетов – полком ставропольских калмыков, Муса Алиев – полком каргалинских татар, мулла Кинзя Арсланов – башкирским полком и т.д. При артиллерии оставлен Чумаков, к нему в помощь назначен солдат Калмыков, умевший исправлять пушки, и, по личному приказу царя, старый бомбардир Павел Носов, пожелавший остаться на царской службе.

Очень долго, в горячих спорах, составлялся общий регламент для государственной военной коллегии. На следующий день был позван к Пугачеву штаб армии в полном составе. Оба офицера, а из приближенных – Дмитрий Лысов отсутствовали.

– Вот что, атаманы-молодцы! – припоминая слова и выражения Горбатова, обратился Пугачев к приближенным. – Мы, Божьею милостью, положили утвердить при себе государственную военную коллегия, коя поведет все дела нашей армии, а также и порядки государственные на казацкий лад, потому как государству нашему предлежит быть чином своим державой казацкой. Почиталин! Сделай огласку правил.

Ваня Почиталин (он за короткое пребывание у Пугачева возмужал, раздобыл, раздался в плечах, его перестали кликать «Ваня», величали Иваном Яковлевичем) четко и внятно стал читать регламент.

На Военную коллегия возлагались следующие повседневные заботы: давать указания поставленным от государя командирам, посылаемым в разные места для привлечения народа; ведать доставлением провианта и фуража, разграблением господских пожитков, отобранием в крепостях снаряжения и отправкой его в государев стан; следить строжайше, чтобы башкирские и мещеряцкие богатеи не чинили насилий над русскими крестьянами; в восставших селениях ставить новую выборную власть. О всех важных делах коллегия обязана чинить доклад государю и все важные дела купно с ним решать.

Иван Почиталин огласил регламент и раз и два. Пугачев задал приближенным вопрос, удовлетворяют ли их оглашенные правила, и, получив согласные ответы, велел прочесть именные списки членов Военной коллегии. Почиталин начал:

– Во главе Военной коллегии поставить четырех судей: Максима Шигаева, Андрея Витошнова, Ивана Творогова и Данилу Скобочкина...

Все назначенные судьи враз заговорили: они-де судьями быть не могут, им недосуг, к тому же – малограмотны... Пугачев с силою ударил о стол ладонью:

– Перечить моей воле кладу навсегда запрет! Слышали?!

Все присмирели, иным бросилась в голову кровь, лица стали красны. Старик Витошнов потупил взор, Шигаев, покашливая, запустил пальцы в надвое расчесанную бороду и замер в этой позе.

– При коллегии такожде состоят, – продолжал докладывать Почиталин, – секретарь Максим Горшков, думный дьяк Иван Почиталин, сиречь – я, и четыре повытчика: Иван Герасимов, Супонин, Пустаханов, четвертый – еще не назначенный, а всего будет в Военной коллегии десять человек.

– Тебя, Иван Александрыч, как доброго полковника, я назначаю главным судьей, – сказал Пугачев Творогову.

– Увольте, ваше величество! – встал и низко поклонился Творогов. – Главным пуццей будет Витошнов, он много почтенней меня летами.

Пугачев согласился. И отныне на заседаниях Военной коллегии Витошнов всегда сидел выше Творогова, а Шигаев хотя и ниже их обоих сидел, но как был он человек замысловатый и государем самый любимый, то судьи больше следовали его советам. Наиболее грамотным из всех был секретарь – Максим Горшков.

Так возникла знаменитая Военная коллегия Емельяна Пугачева.

Пока длилось это совещание, в лагере казаков был созван круг, на котором утверждался список полковников, сотников и есаулов. При оглашении большинства имен круг кричал: «Годен! Годен!» А когда кто-либо был казакам шибко не по мысли, круг кричал: «Долой! Не годен!» – и выбирал своих людей.

3

По зову Хлопуши Пугачев немедленно выступил в поход со всеми яицкими казаками и с частью артиллерии. Заместителем своим в Берде он назначил Максима Шигаева. По дороге добровольно к Пугачеву присоединился небольшой отряд художонных казаков, высланных Рейнсдорпом за сеном.

Утром 26 ноября, соединясь с отрядом Хлопуши, Пугачев двинулся к Верхнеозерной и приказал обстреливать крепость из пушек, ружей и сайдаков. Наезжавшие на крепость кучки казаков голосили часовым:

– Пускай ваши солдаты не палят в нас, а выходят с покорностью, ведь под крепость подступил сам государь! Он наградит вас!

– У нас, в России, государыня Екатерина Алексеевна, – отвечали с валу, – окромя нее, нет у нас государя!

С полдня Пугачев с Овчинниковым повели свой полторатысячный отряд на штурм. Однако крепость защищалась стойко, поражая противника метким огнем. Яицкие казаки и приведенные Хлопушей заводские крестьяне пришли в замешательство.

– Грудью, други, грудью! – кричал Пугачев, разъезжая между оробевшими казаками. – На штурм! На слом!

– Поди-ка сунься! – орали ему в ответ из толпы. – Супротивник-то вот как пальбу ведет... Пули в самый лоб летят...

– Вперед, детушки, вперед! – не унимался Пугачев, стреляя из пистолета и бросаясь в самые опасные места. Вот конь царя, подбитый картечью, взвился на дыбы, опрокинулся, едва не подмял своего хозяина.

Во рву и возле ворот уже полегло немало штурмующих казаков и заводских крестьян.

– Кусается враг! – сердито сказал Пугачев.

К вечеру штурм был прекращен, войска отошли в Кундуровскую слободу. Урон в пугачевской силе был порядочный, особенно среди заводских людей: дружные, отважные в бою, они, к сожалению, были плохими наездниками, на лошадей залезали неуклюже, падая животами, да и седел под ними не было – сидели кое-как на неоседланных башкирских лошадях, прикрытых лишь войлочным потником либо рогожей.

Взятая на днях Хлопушей крепость Ильинская снова была занята отрядом майора Заева, шедшего, по распоряжению генерала Станиславского, на помощь Верхнеозерной.

Пугачев всей силой двинулся к Ильинской крепости. Штурм был быстр и кровопролитен. Несмотря на упорное сопротивление гарнизона, крепость была взята, майор Заев изрублен, четверо офицеров, лекарь Егерсон и около двухсот нижних чинов убиты. Уцелевшая команда помилована. Два офицера – Камешков и Воронов – были Пугачевым опрошены:

– Пошто вы против меня, своего государя, идете?

– Ты не государь нам! – закричал старший офицер Воронов. – Ты самозванец! Ты бунтовщик! Народ обманываешь!

– Геть, изменник! – вспылil Пугачев. – Да я из твоего дедушки прикажу костылей наделать.

Он велел тотчас обоих офицеров повесить.

Ильинская крепость была сожжена, взяты пушки, пленным обрезаны косы. Захвачен проходивший возле крепости караван в двадцать пять верблюдов с двадцатью бухарцами. Пугачев приказал разделить товары между яицкими казаками. Обрадованные казаки кричали государю «ура».

Было получено угрожающее известие, что генерал Станиславский двигается сюда из Орской крепости, он уже подходит к Губерлинским горам, расположенным на полпути между Ильинской и Орской крепостями. Пугачев, остерегаясь встречи с войсками генерала, спешно повернул в Берду. На верблюдов погрузили оружие, снаряжение, снятую с убитых одежду и выступили в дорогу толпой в две тысячи двести человек при двенадцати пушках.

Крутил-завихаривал буран. Во рву, возле догоравшей крепости, намело свежие сугробы. Сквозь белесую муть темнели торчавшие из снега конские, вверх копытами, ноги, окоченевшие трупы людей. Ветер мел-перекатывал по рыхлым сугробам две казацкие шапки, а там из снежной заструги торчала рука с зажатым в горсти, неопасным теперь, ножом.

Было морозно. Пугачев в дороге стал зябнуть, выпил вина, пересел в кибитку.

Пугачев оробел перед генералом Станиславским, а тот испугался Пугачева и, узнав про участь майора Заева, отступил в Орскую крепость.

Здесь Станиславского ждал приказ генерала Деколонга немедленно отступить на север, в Верхнеяицкую крепость.

Таким образом, Деколонг, находившийся в Троицкой крепости, не только не шел на выручку Оренбурга, но допустил совершенно обнажить от воинской силы обширную область. Он опасался за целостность Исетской провинции, горные заводы которой были охвачены волнением, его беспокоила также судьба Екатеринбурга – административного центра горной промышленности на Урале. Он вместе с тем знал, что в Башкирии пламя мятежа разгорается, что всякое сообщение с Оренбургом прервано, что отдельные отряды пугачевцев безнаказанно хозяйничают в разных местах Башкирии, что ими заняты многие уральские заводы[15].

Видя столь угрожающую обстановку в крае и не имея воинских сил для предотвращения мятежа хотя бы в Исетской провинции, Деколонг обратился к сибирскому губернатору Чичерину за помощью.

Однако губернатор Денис Чичерин и сам не располагал достаточным количеством воинской силы, чтоб охранять обширнейший Сибирский край от «повсеместно распространявшейся, подобно моровому поветрию, пугачевской заразы». А между тем признаки этой «заразы» уже начали обнаруживаться и в Челябинске, и в Омске, и даже в Тобольске.

Уже ходили слухи, что башкирские полчища, разоряя и предавая огню попутные селения, подступают к Уфе и что этому крупному административному центру грозит участь Оренбурга.

Казанский губернатор Брант и военачальники точно так же пришли в замешательство, не зная, что им делать. Все их взоры были устремлены на Петербург: только Петербург спешной помощью мог придушить мятежные страсти в народе.

Но Петербург, во главе с Екатериной, еще не был осведомлен о масштабах восстания. Петербург сам был связан по рукам затянувшейся войной с Турцией, у Петербурга не было свободных войск. А сверх того – и это самое главное, – правящие круги столицы все еще недооценивали крупного значения событий, совершавшихся в Оренбургском крае, на Южном Урале и по ту сторону Уральского хребта.

Итак, несомненный перевес воинских сил и возможностей был пока что на стороне Пугачева. Население относилось к нему с большим сочувствием, тогда как ко всем правительственным карательным мероприятиям оно было настроено то холодно, то открыто враждебно. Поэтому военная удача почти

всюду сопутствовала Пугачеву.

Но чем дольше длилась осада Оренбурга, тем трудней становилось народной армии удерживать за собою все свои преимущества. Чрезмерное сидение Пугачева под Оренбургом дало правительству возможность осмотреться и накопить воинскую силу. И недаром Екатерина, в связи с разгромом Чернышева, писала Волконскому: «В несчастье сем можно почесть за счастье, что сии каналы *привязались* два месяца целые к Оренбургу, а не далее куда пошли».

4

Пугачев приехал в Берду еще засветло. Следуя мимо квартиры Творогова, он на этот раз не увидел Стешу, обычно поджидавшей его приезд на крылечке. (Впоследствии Ненила сообщила ему, что Иван Александрыч Творогов, пока царь ходил воевать, жестоко оттрепал Стешу за косы и отправил ее под конвоем в свою сторону.)

По дороге стояли на коленях пришлые крестьяне с котомками за плечами, кланялись, простирали к Пугачеву руки, о чем-то молили.

Пугачев кивал народу головой и ласково, как только мог, говорил:

– Детушки! Со всякой нуждицей спешите в Военную коллегию, она все разберет, и хлеба вам выдаст, и жительство определит.

А вот и Военная коллегия – обширная, приземистая, в шесть окон на улицу, изба с вывеской, ярко намалеванной офицером Горбатовым на гладко оструганной доске.

Пугачев приостановился, хотел войти.

Через слегка приоткрытую дверь вылетал на улицу дружный хохот, громкий разговор. «Чего это там ржут?» – с неприязнью подумал Пугачев и поехал дальше, ко дворцу.

В Военной коллегии перед судьями стоял плечистый, коротконогий дядя. Он одет в заплатанный полушубок с чужого плеча – талия спустилась очень низко, полы волочились по земле; он лохматый, густобородый, нос у него картошкой, в глубоко посаженных глазах озлобленность, тоска и безнадежность. Он говорил звонким тенорком, по-смешному растягивая слова, взмахивая рукой, притоптывая лаптем.

Главный судья, старик Витошнов, посмеиваясь в седую бороденку над любопытным рассказом приземистого дяди, предложил:

– А пойдемте-ка все к государю, благо прибыл он, поздравим с благополучным возвращением, да пушай-ка он, батюшка, на потешение себе, послушает этого самого Сидора Бородавкина...

Все с Витошновым согласились, толпой повалили к Пугачеву.

После общих приветствий, поздравлений и расспросов главный судья учинил доклад государю о делах и велел думному дьяку Почиталину огласить отправленные Военной коллегией и полученные ею бумаги.

– Ладно! – сказал под конец Пугачев. – Приемлемо... А что это за человек?

Все сидели за столом, а стоявший возле двери мужичок, приударив себя в грудь, с азартом закричал:

– Надежа! Надежа! Надежа! – и повалился на колени. – Дозволь слово молвить, кормилец наш! – Уперев ладони в пол, он земно поклонился Пугачеву, из кармана разметавшегося по полу длинного полушубка выпало куриное яйцо и покатилося к ногам батюшки. Все заулыбались.

Пугачев, подметив, что у крестьянина нет на левой руке указательного пальца, проговорил:

– Встань, раб мой! С чем пришел и откуда?

– Не смею и стать-то я. Недостоин! – Лохматый мужичок подполз к яйцу, подобрал его, поднялся, выложил на стол целый десяток печеных яиц и, кланяясь, сказал: – Уж не прогневайся, прими. Как узнали, что я к тебе правлюсь, всего понадавали в дороге-то – вот и шубенку дали, а то в соломе обмотанный шел, как сноп. Ребятишки, бывало, как завидят, так и заблажат: «Сноп, сноп! Глянь – сноп идет!..» – Он задвигал

густыми бровями и стал рассказывать, почесывая бока: – Питан был и клещами жжен... И было мне пятьсот плетей и три стряски – все косточки во мне с мест сшевелены...

– Палец? – спросил Пугачев.

– Как топором вдарили – и палец отлетел... Хотели напрочь и рученьку рубить, да вот царица небесная спасла. А с чего зачалось? Бежал я от своего помещика-людоеда – от гвардии секунд-майора в отставке Лукьянова. Он, боров гладкий, и рученьку-то мою покалечил... Ну, я хвост в зубы, да и тягала!.. Вот пымали меня под городом Ставрополем. А сам-то я с-под Арзамасу. «Как прозвище?» – «Сидор Бородавкин», – молвлю. Вот ладно. И приходит к воеводе какой-то ставропольский барин и говорит ему: «Сто лет тому назад, – говорит, – у моего прадеда мужик Бородавкин сбежал. Ну так этот, – говорит, – от его кореню. Он мой», – говорит. «Как отца звать?» – спрашивает. «Иваном», – говорю. «А деда?» – «Деда – Петром». – «А прадеда?» – «Не упомяну». Тогда воевода с барином поглядели в книгу, говорят мне: «Прадеда твоего Пантелеем звать, ты от его рода и производишь. Верно ли?» – «Нет, – говорю, – не верно. Мой прадед и все сродственники на одном погосте лежат за много сотен верст отсель, под Арзамасом, а здесь-ка Ставрополь. Это не мой прадедушка, которого вы Пантелеем называете, а я не ваш». – «Ах, Пантелей не твой прадедушка, а ты не наш? Пороть!» Вот спустили мне штанцы, заголили рубаху, шибко выдрали. Опосля порки сказал я: «Точно... прадедушку моего, превечный покой его головушке, Пантелеем звали, я от него произошел».

Члены Военной коллегии густо заулыбались, Пугачев нахмурился.

– Тогда новый мой барин отвез меня в свое поместье. А тут узнал другой барин, евонный сосед, приехал и говорит: «Этот мужичок Бородавкин – мой! У моего прадеда, – говорит, – тоже крепостной Бородавкин был, да сто лет тому назад минуло, как в бегах скрылся... Стало быть, этот мужик мой». Опять меня в суд поволокли, и оба-два барина со мной. Опять сызнова зачал меня воевода выпытывать: «Как батьку твоего звать?» – «Иваном», – отвечаю. «Врешь, не Иваном, а Гарасимом». Я сказал тут: «Какой же он Гарасим, когда завсегда Иваном звался. Я не в согласии: он по сей день жив-здоров, мой батька-то, подите справьтесь». – «Нам, – говорят, – справляться не приходится, а только что отец твой – Гарасим. Снимай портки!» Тогда я сказал: «Ну, будь по-вашему, пушай родителя моего, Ивана, Гарасимом звать. Я в согласье». – «Ну, а деда как звать, а прадедушку?» – «Дедушку Петром звать, а прадедушку, кажись, Пантелеем». – «Врешь, вшивая твоя борода! – загайкал на меня, затопал ногами воевода, – он, должно, со второго барина взятку-то ухапал поболее, чем с первого. – Твой дед не Петр, а Гаврила, а прадед не Пантелей, а Никанор. От его кореню ты и производишь. И в списках так... Подать плетей сюда!» И принялись меня самошибко пороть. Тут, знамо дело, довелось мне признаться, что и от этого Бородавкина я вроде как второй раз произошел.

Максим Горшков уткнулся в шапку и заперхал сиплым хохотом, а глядя на него, дружно всхохотнули и прочие. Пугачев укорчиво сказал:

– До смеху ли тут! Сказывай, дядя...

– И только я, батюшка ты мой, вымолвил, что у меня-де прадедушка не Пантелей, а Никанор, а родной отец мой не Иван, а Гарасим, как судьи с воеводой затопали, завопили: «Ах ты, холопская твоя душа! Как ты посмел переменные речи молвить?! То Пантелей у тебя прадед, то Никанор. За переменные речи – пытка!» Я аж закачался. Ну, думаю, порешат мою жизнь на пытке-то. Слышу, оба барина руготню из-за меня подняли: «Мой он! Не отдам!» – «Нет, мой!» Да давай плевать в морды, а тут и в волосья друг другу вцепились. Судьи разнимать их кинулись и про меня забыли, а я чох за окно да на Волгу, да в челн, – так вот и утек. Да прямо к тебе, надежа-государь, хошь казни, хошь миловой!..

Пугачев почесал за ухом, посмотрел вопросительно на судей, сказал:

– Что же тебе надобно, обиженный?

От тихого, уветливо произнесенного самим батюшкой слова «обиженный» у мужика брызнули слезы, но, сделав над собою усилие, он сдержался. Глубоко запавшие глаза его вслед за слезами вдруг наполнились яростью, он закричал, ударяя себя в грудь кулаком:

– Дай мне, надежа-государь, человек с двадцать разбойничков, брошусь я помещиков резать... Перво-наперво свою барина, гвардии секунд-майора Лукьянова, жизни решу, а тут воеводу устукаю да двух бар тех, что за прадедушек чужеродных шкуру мне со спины спустили... Душа из них вон, дай!

– Утихомирься, друг мой, – махнул рукой Пугачев и, подумав, спросил Бородавкина: – Вот ты гораздо много места прошагал – ну, как крестьянство-то там? Приклонятся ли они ко мне, государю своему?

– И не спрашивай, надежа-государь! – опять закричал Бородавкин. – Только дай весточку, да подмогу какую ни то пришли, да свою грамоту орленую... А уж там... Чего тут... Ведь я к тебе тридцать шесть парней привел да четверых солдат беглых. Шесть самопалов у них, звероловы – мужички-то...

Военная коллегия, по совету Пугачева, постановила: организовать легкий полевой отряд, во главе поставить сотника Калинина и челобитчика – крестьянина Бородавкина, снабдить их манифестами для оглашения в людных местах и раздачи населению, направить отряд в сторону Волги, указав руководителям отряда их задачи: разорять помещичьи гнезда, провиант и фураж доставлять на барских и крестьянских подводах в Военную коллегию, подымать народ именем государя Петра Федоровича Третьего.

Подобных отрядов в двадцать пять, пятьдесят, а иногда и в сто человек создавалось Военной коллегией все больше и больше, благо находились охотники с горячими головами. Эти летучие отряды посылались во все стороны от Оренбурга. Помимо того, то здесь то там, в близких и весьма отдаленных от Оренбурга местах, самостоятельно возникали мятежные «толпы» со своими атаманами, со своими полковниками, а иногда и собственными Петрами Федоровичами Третьими. Особенно много таких «толп», как грибов после дождя, зарождалось в башкирских степях, а также на Южном и Среднем Урале.

Глава X

Веселая застольица. Митька Лысов пьет водичку.

«Граф Чернышев». Два офицера

1

Ужин проходил шумно. Витошнов знал старинные проголосные песни, дрожащим тенорком он клал зачин, атаманы подхватывали. Пели складно, зычными голосами, запивали водкой и господскими винами. Пугачев пил с воздержанием, он выпил только четыре чары при общих тостах – в честь его здоровья, за Павла Петровича, за яицких казаков, за всю его армию.

Плешивый, брюхатенький, но упругий телом Митька Лысов тоже выпивал с воздержанием, стараясь перелить вино в стакан соседа или незаметно выплеснуть под стол. Однако он притворился пьяным и вел себя занозисто. Он старался всех уязвить, ужалить, за последнее время вообще стал ядовит и опасен, как гадюка. То начинал подсмеиваться над Иваном Твороговым, делать оскорбительные намеки насчет поведенья его супруги. То встревал в дружный хор певцов и своим бараньим голоском нарочно путал песню, искажал ее мотив. То подмигивал Пугачеву хитрым глазом и, подергивая свою козлиную бороденку, слюняво, под шумок, гнусил:

– Ваше императорское величество! Хи-хи-хи!... Давайте опрокинем чупурышку за здравие всемилостивейшей государыни Екатерины, ведь мы ей присягу чинили. Да, поди, и сам ты присягал ей... Хи-хи-хи...

Пугачев, разговаривавший с Падуровым, так сдвинул брови и таким взором ожег Митьку, что тот заерзал по лавке, забубнил: «Не буду, не буду, стрелять ты в пятку!»

Гостей было человек тридцать. Кроме главных военачальников и судей, за столом и вдоль стен сидели наиболее видные из простых яицких казаков: есаулы, сотники, старик Пустобаев, а также два каргалинских татарина и царский толмач Идорка, увешанный кривыми ножами.

Широкоплечий крепыш, с коротко подстриженными бородой и усами, Идорка сидел против Пугачева, неотрывно глядел на него восхищенными глазами, и когда Митька Лысов начинал батюшке докучать, он, скрипнув зубами, хватался за нож, ждал от бачки-осударя повеления.

У печки, возле маленького столика, торчал спиной ко всем поп Иван, в рясе, лаптях и архиерейской митре, похищенной казаками в Егорьевской оренбургской церкви. Поп к ужину приглашен не был, затесался сюда сам, без зова, однако Пугачев, увидя его, разрешил ему остаться. Лицо у попа широкое, простое, борода мочальная, в воспаленных глазах неумная тоска, под глазами мешки, а меж бровями резкая складка, изобличавшая, что носит отец Иван в душе какое-то незабываемое горе. Никто не знал его прошлой жизни, да он об ней никому и не заикался.

Хотя он был пьяница, расстрига, или, как его называли, «распоп», но богомольная Ненила все же видела в нем носителя божественной благодати, поэтому подавала ему пищу столь же усердно, как и самому государю. Возле попа у стенки стоял штоф водки, отец Иван прикладывался к нему с усердием. Ему уже, верно, стало казаться, что начинается землетрясение, он хватался за стол, за стены, дико кричал: «Спасайся, братия!» – и силился подняться, чтобы бежать, но сделать этого был не в состоянии. Гости, глядя

на попа, впадали в веселый хохот.

Седоголовый Витошнов, раскрасневшийся, пьяненький, оперев локоть о стол, голосисто затянул:

Как на Яике, на родной реке,
Собирались в круг все казаченьки.

Его зачин разом дружно подхватили. Могучий старичина Пустобаев, широко разевая заросший густыми волосами рот, рявкал своим басом оглушающе. Не утерпел и губастый Ермилка, притащивший из кухни две большие чаши со студнем из телячьих ножек. Он сунул студень на стол, потрянул чубом и складно впелся в песню таким высоким, почти женским голосом, что все посмотрели на него с приятностью. Пробовал под стать и поп Иван, но для него опять началось землетрясение, он снова заорал: «Спасайся!» – и едва усидел на стуле. А песня гремела:

Атаман-боец кругу речь держал,
Кругу речь держал, сам приказывал:
– Вы, казаченьки прирубешные,
Вы не кланяйтесь каменной Москве.
Каменна Москва Яик выпила,
Осетров в реке всех повывела,
К нашей волюшке подбирается,
Нас в дугу согнуть собирается...

Но вот все набросились на студень. Когда управились с этим вкусным блюдом, запели веселую – «Колечко ты мое, колечко». Давилин отворил дверь на лестницу в кухню, крикнул вниз:

– Эй, Ненила! Пироги-то готовы? Подавай!

В кухне засуетились. Пироги были горячие, румяные, с рыбой, с мясом.

– А где с узюмом пирог? – спросила своих помощников управная Ненила.

– А эвот, эвот!.. Я его Ермилкиными портками накрыла, чтоб отволгла корка, – ответила подслеповатая баба Лукерья.

Молодая татарка, Ненила и подоспевший Ермилка потащили пироги наверх.

– Ура! Пироги плывут! – закричал застенчивый Ваня Почиталин и тотчас же смутился.

– Ура, ура! – подхватили падкие на еду казаки.

– Караул! Спасайся! – во всю глотку заорал поп Иван и, не выдержав землетрясения, под общий хохот упал со стула.

От горячих пирогов валил вкусный дух.

– А вот с узюмом, самый сладкий! Ешьте, ешьте! – расхваливала сдобный пирог румяная Ненила.

– Гуляй, ребята, покамест Москва не проведала! – занозисто ввинтил свой голос в общий гомон Митька Лысов.

– А что нам Москва? Мы сами себе Москва! – вскозырились казаки.

– Хошь горько, да жидко! Давай еще! – басит Пустобаев и пудовой лапой тянется к вину. – С самим батюшкой гуляем, а не с кем-нибудь!

– ...на кораблике уплыл, – продолжает слегка захмелевший Пугачев рассказывать о своем прежнем житье-бытье. – Как взняли паруса, так ветрище и попер нас. Таким-то побытом я и стал ходить из царства в царство, из королевства в королевство.

Атаманы, особливо же чиновная казачья молодежь, попевали усердно управляться с пирогами и с любопытством внимать речам обожаемого батюшки.

– И наущает меня турецкий султан: что же, говорит, ты по чужим-то огородам шатаешься, у тебя, говорит, свой зеленый сад цветет. Толкнись-ка, говорит, к орлам своим бородатым, к казакам, да присугласи, говорит, их к себе. А уж через них – получишь ли, нет ли, что тебе по праву следует. А так, говорит, ты, ваше величество, ни за что ни про что десять лет мытаришься без места своего...

– Вот султан-то и верно угадал, – проговорил опрятно одетый, всегда трезвый Максим Шигаев. – Казаки-то бородатые первые вас, ваше величество, Петр Федорыч, поддержали.

– Ежели они первые подмогу дали мне, так первыми и в государстве моем будут, – важно и громко произнес Пугачев и покосился на Митьку Лысова, как бы ожидая от него новых дерзостей. – Яицкое казачество у самого сердца моего.

Митька Лысов прыснул в шапку, но Шигаев, сердито хлестнув его по спине рушником, как плетью, спросил казаков:

– Слышали, молодцы, что батюшка-то изволил сказать? Мы первые у него будем.

– Благодарим, благодарим! – закричали казаки и стали чокаяться с Пугачевым. – Будь здоров, отец наш! Жить да быть тебе, долго здравствовать!

– Благодарствую, – ответил Пугачев и со всеми выпил. – Да, детушки, придет пора-времечко, да ежели Бог благословит, я на Питенбурхе крест поставлю, а своей столицей ваш Яицкий городок объявлю. И сотворю по всей земле казацкое царство! И вечная будет всем воля!

– Ура! – закричала застолица, и все, кроме Лысова, снова чокнулись с Пугачевым.

– А с изменниками своими, что сгубить измыслили меня, – ну, не прогневайся, – как донесет меня Бог до Питера... жарко будет им. Я им не токмо что головы покусую, а черева из них повытаскиваю. Геть, злыдни! – И Пугачев, сверкнув углами глаз на Лысова, грохнул кулаком о столешницу. Все вздрогнули, стаканы подскочили, а Митька Лысов, схватившись за виски, прятнул прочь от Пугачева.

Чавканье, бряк посуды постепенно стихали, гости были сыты, холостые казаки, крадучись, рассовывали себе по карманам куски пирогов, все стали еще прилежней вслушиваться в речи Пугачева. Он говорил плавно, неторопливо, делая паузы и внимательно всматриваясь в лица гостей.

– А чем я не люб-то им был, великим вельможам, генералам да князьям? А вот послушайте. Еще когда тетушка моя была жива, Елизавета Петровна (Митька Лысов опять хихикнул, но тотчас зажал рот рукой), а потом и при моем царствовании многие бояре да и середовичи шли своей волей в отставку, уезжали на жительство в поместья свои и зорили своих бедных крестьян. Я зачал таковых нерадивцев к службе принуждать и намеренье имел отнять от них деревни, а их посадить на жалованье. А судей неправедных, кои с народа последние потроха выматывают, хотел я смерти предавать. Как они увидели, что я крут, навроде дедушки моего Петра Великого (Митька Лысов, оскалив гнилые зубы, снова нацелился хихикнуть, но Шигаев крепко пнул его под столом ногой) ...как увидели они норы мои, сразу тут и умыслили всякие козни мне чинить, яму копать подо мной. Как-то поехал я по Неве в шлюпке – разгуляться, они меня и заарестовали и разные поклепы на меня стали возводить. И быть бы мне убитым, да Господь не допустил коснуться главы помазанника своего – добрые люди спасли меня. И стал я странствовать с того времечка по свету, и какой только нужды я не претерпел...

Пьяный Пустобаев, распустив веником бородицу и приоткрыв рот, сидел за столом копна копной, смотрел в глаза батюшки, в три ручья лил слезы умиления, утирался скатертью. А Митька Лысов крутил носом, подмигивал казакам, прикрывал.

– Да что уж об этом толковать-то, – продолжал Пугачев задумчивым, негромким голосом. – Вы сами ведаете, в каком несчастном виде обрели меня; вся одежонка-то моя гроша ломаного не стоила – бродяга и бродяга! А вот теперь, ежели его святая воля будет (Пугачев усердно перекрестился), утвержду царство праведное, чтобы гарный порядок был и чтобы народ не знал отягощения. А там от всех дел отрешусь, странствовать пойду!

Он замолк, и все молчали, сидели смиренхонько, не шевелясь, только Пустобаев все еще кривил рот от избытка чувства и посмаркивался в скатерть да поп Иван, лежа на полу, легонько во сне постанывал, охал.

– Ну, а как же, Петр Федорыч, держава-то российская? – спросил Максим Шигаев и прищелкнул пальцами по надвое расчесанной бороде. – Как же с державою, ежели вы странствовать уйдете? Кто же царствовать-то станет?

– А на царство пусть садится сын мой, Павел Петрович, – подумав, ответил Пугачев, и на лице его изобразилась скорбь, правое веко задергалось.

Жизнерадостный Творогов, взглянув быстрыми глазами в загрустившие глаза царя, ударил ладонь в ладонь, крикнул:

– Братцы казаки! А ну, песню! А ну, притопнем!

Вновь стало шумно. Грянула веселая хоровая. Сытые казаки быстро поднялись, сбросили чекмени, оттащили спящего попа к сторонке, встряхнули чубами и под пару балалаек да под пяток дудок пустились в пляс.

За столом остались Пугачев с Горшковым да Митька Лысов. Оперев локти о стол, обхватив ладонями голову, похожий на скопца, Горшков притворился спящим, даже чуть похрапывал: ему необходимо знать, как будет вести себя с государем полковник Лысов.

Дмитрий Лысов, ехидно улыбаясь, оттопырив зад и припав грудью к столу, воззрился в упор на батюшку. Шея у Митьки втянулась в плечи, сутулая спина еще больше сгорбилась, лысина тускло блестела, он походил на большую пучеглазую жабу, которая вот-вот прыгнет на Пугачева и вопьется ему в горло. И верно: он подъезлозил по скамейке к батюшке, схватил его левую руку повыше кисти двумя руками и лукаво взглянул ему в глаза. Пугачев сверху вниз смотрел на него, настороженно и с гадливостью.

– Давай, давай, давай мириться, – забормотал Лысов пьяным голосом, облизывая запекшиеся губы. – Ведь я тебя в тот-то раз, ей-Богу, по ошибке... пикой-то пырнул! Хи-хи-хи!.. Ведь я люблю тебя, слышишь, шибко люблю! А ты не веришь? Хи-хи-хи!..

– Ты пообидел меня не пикой, а иным манером, – сказал Пугачев. – За пику, за окаянство твое мы как ни то еще сквитаемся, а вот как за Харлову я с тобой разочтусь, не ведаю... Пошто ты, бес, прикончил Харлову? Я ведь по сей день скучаю о ней. – Пугачев часто замигал, нижняя губа его задрожала, он тихо, почти шепотом, проговорил: – Жалко мне убиенную, вот как жалко!.. Может, такая одна на свете была, разъединственная!..

Лысов как-то слабоумно захихикал, заперхал, стал крутить руку Пугачева. Тот с сильным напряжением сказал:

– Брось, а нет – ударю!

– Ты, брат, не пугай, не пугай! Хоть ты и Пугач, а я не шибко-то пугаюсь тебя, Емельян Федорыч, то бишь как тебя... Петр Иваныч... Тьфу!.. Петр Федорыч... Хи-хи-хи!.. (Максим Горшков, все еще притворявшийся спящим, сквозь топот залихватских плясунов, сквозь шум и песни с трудом ловил речь Лысова.) Ведь Чика-то поведал мне по чистой совести, кто ты есть. Царь, царь! Ваше величество! Хи-хи-хи!

Да ты, батюшка, не страшись: ведь здесь все пьяные, вишь, как орут, наш разговор никому не чутко. А я, видит Бог, люблю тебя, а вот ты злобишься на раба своего, рад бы живьем меня схрупать, да я ершист, уколешь глотку-то, батюшка, Емельян Федорыч, то бишь как тебя?! – брызгая слюной, бормотал Лысов, а сам все накручивал-крутил руку батюшке.

В глазах Пугачева загорелись злобные огни, он хотел крикнуть, чтоб вывели Митьку вон, или выхватить саблю и смахнуть гадюке голову. Однако последним усилием воли он сдержался, только зубами заскрипел и вырвал руку из лап Лысова. Тот чуть не опрокинулся на пол от сильного рывка.

– Хи-хи-хи!.. Силен, силен, слов нет! А слажу с тобой, ей-ей – слажу! Ишь ты... царь!

Тут, бросив прикидываться спящим, вдруг вздыбил коренастый, угрюмый Максим Горшков. Уперев кулаки в стол, он хрипло сказал Лысову:

– Ты что? Ты это что тут раскудахтался?

– А ты, голомордый черт, чего чепляешься?! – вскочив, закричал Лысов на безбородого, безусого Горшкова и выругался матерно.

Горшков мигнул наблюдавшему их разговор Шигаеву, и оба они, пробираясь между плясунами, быстро вышли.

2

Между тем веселье было в полной силе: присвист, балалайки, дудки, плясы – дом дрожал. Грузно кидаясь вправо-влево, тряс боками семипудовый Пустобаев, разухабисто выкрикивал:

– Эх, кахы, кахы, кахы! Эх! Кахы, кахы, кахы!

Верткий Падуров выкручивал с носка на каблук забористые штучки. Скакали веселыми козлами Иван Александрыч Творогов в паре с атаманом Овчинниковым. Возле них крутились каруселью, взвизгивали, гикали молодые казаки. Вот втерлась в круг танцоров пышнотелая Ненила, за ней – молоденькая черноглазая татарка, за ней – подслеповатая полупьяная баба Лукерья в новых липовых лаптях и чубастый Ермилка с наклеенными под носом, смеха ради, черными усами. И все это – живое, пестрое – загайкало, с силой завертелось в вихре.

Митька Лысов, продолжая ругаться и бубнить, схватил самую большую кружку, до краев наполнил ее вином и с жадностью, единым духом выпил. Затем грохнул кружку об пол, вскочил на стол, спиной к Пугачеву, и диким голосом заорал что-то несурзное в толпу.

– Полковник Лысов, слезь! – озлобленно выкрикнул из хоровода плясунов разгорячившийся атаман Овчинников и резко взмахнул рукой: – Геть! Государю смотреть мешаешь.

– Ха! Государь... – истошно, стараясь заглушить шумливый, беснующийся в плясе хоровод, закричал Лысов. – Знаю, знаю я, кто батюшка-то наш... Емелька Пугач он, вот кто! В манифестах государыни все пропечатано... – Он, видимо, потерял всякую волю над собой и безудержно катился в пропасть. – Гей, казаки! Выбирай меня едино... единоподержавцем... Завтра же Оренбург возьмем, по колена в золоте ходить станем, в господском вине купаться!

Пугачев впился руками в локотники кресла:

– Заткните ему глотку!

Горбоносый Овчинников, схватив Лысова за ворот ярко-красного чекменя, уже сдернул буяна со стола, опрокинул его на пол, начал душить. Лысов отчаянно барахтался, хрипел.

– Стой, Авдей Афанасьич! Не трог полковника! – кинулся к Овчинникову прибежавший с улицы Максим Горшков, – он в меховом чекмене, в шапке и с плеткой через плечо.

Пляска чуть приостановилась, наиболее трезвые казаки уже вытягивали шеи, стараясь всмотреться и понять, что такое среди начальства приключилось.

– Митя, друг! – меж тем обратился Горшков к Лысову. – Что ты наделал... Ведь тут тебя... Ах, друг!... Пойдем, Митя, тихо-смирно на улку.

– Макся, ты? – проквакал насмерть испугавшийся Лысов и стал чихать. – Этот сволота Овчинников... за горло... головушка гудит. Охмелел я... Пойдем, пойдём скорей.

Была звездная ночь с морозцем. Свежий воздух благотворно вламывался в грудь, охлаждал взбудораженную кровь, прогонял хмельной удар из головы. Во дворе уныло тявкала продрогшая собака, гремела цепью. У высокого столба с сигнальным колоколом маячили черными тенями два неподвижных человека. Вдоль прясла привязаны казацкие лошади, они хрупали овес, отфыркивались, всхрапывали.

– Веди меня домой, Макся, я тебе два золотых перстня подарю, – бубнил Лысов. – Стой! Колодец... Водички бы. Душа горит, объелся. Чхи!

Колодец был с высоким журавлем, с железной бадьей.

– Кто тебе, Лысов, сказал про батюшку, что он Пугачев? – сквозь зубы прошипел Максим Горшков.

– А сам Чика сказал, что вот кто.

– Ой, врешь! А ежели и так, ежели проболтался кто тебе, так по тайности, да и зазря, потому как ты сволочь, – скоргоча зубами, шипел Горшков, – ты всякому болты болтаешь. Мы знаем, как ты третьего днись в тверезом виде нашим илецким казакам о том же самом брякал, а вчера – трем пленным гренадерам, их сомушал...

– А вот буду брякать, буду! А вы...

Он не договорил. Сзади подскочил Идорка, размахнулся, ударил Митьку кирпичом по затылку. Тот враз уткнулся по плечи в колодезный сруб.

– Спускай!

Татарин схватил Митьку за ноги и с силой сбросил его вниз головой в колодец.

Загремела собачья цепь, залаял Шарик. За высоким тыном, вдоль дороги, громко переговариваясь, ехал казачий дозор. Во дворце, сквозь подернутые морозом стекла, тускнели огоньки, просилась наружу заунывная степная песня.

– А где Митя? – спросил Андрей Овчинников вошедшего в шумное зальце Горшкова.

– Воду пьет, – басом сказал Горшков и задвигал бровями; глаза его хмурые, беспокойные, взбаламученное сердце гулко колотилось.

Казачи с Витошновым дружно выводили песню. Затем, усталые, сытые, принесли благодарность государю, начали расходиться по домам. Остались только ближние.

Поднялся с полу проспавшийся поп Иван, разыскал митру, истоптанную каблуками плясунов. Качая головой и причмокивая, он выправил ее, пообчистил, водрузил на кудлатую голову, поклонился Пугачеву в пояс и поблагодарил за угощенье...

– Не обессудь, – ответил мрачный Пугачев. – Пошто ты в архиерейском колпаке-то?

– А как я могу в другом виде пред очами отца отечества, государя самого, явиться?

– Изрядно говоришь. А на ногах лапти... Пошто вы ему, господа атаманы, сапожнишек не добудете?

– Ох, царь-батюшка, – опустил поп голову, – добывали мне благодетели, добывали... да я... я возьму да и пропью, благословясь. Вот все корят меня – пьяница, пьяница! А чего ради винопивцем-то стал аз, грешный, об этом-то никто не спросит.

– Ну, ступай себе, отец Иван, ступай! Да не жри винцо-то зря, а то я выгоню, а нет – так плетью велю выдрать.

Чем свет труп Дмитрия Лысова был извлечен из колодца и повешен. Палач Иван Бурнов вздымал его на виселицу охотно и с легким сердцем. А ближние все еще сидели с государем в молчанку, грызли поджаренные арбузные семечки или вели разговор о пустяках. О скандальном же поступке Лысова никто не вымолвил слова. Пугачева стало клонить ко сну. Последним уходил от хозяина Шигаев.

– А где же полковник Лысов, запьянцовская голова? – спросил Шигаев Емельян Иванович. – На фатеру, что ли, увели его, али под арестом?

– Нет, ваше величество, – ответил Шигаев резко. – Подмок он маненько, ну так и подвесили его... сушиться.

Пугачев не вдруг понял. А поняв, сказал глухо:

– Так, так... Что ж, сам в петлю влез...

По армии было объявлено:

Труп Митьки висел три дня, на четвертый был брошен в овраг, на съедение волкам и хищным птицам.

3

По прибытии в Берду Перфильев сразу направился к своему доброму знакомцу, с которым важивал в Яицком городке хлеб-соль, главному атаману Овчинникову. Атаман с грамотным молодым казаком Ершиком проверял записи по выдаче казакам жалованья: Ершик диктовал цифры, атаман щелкал на счетах.

– Ба! Перфиша! Да откуда это ты? – воскликнул Овчинников, пораженный столь нежданной встречей с другом. Обняв гостя, он отправил Ершика домой, а свою прислугу – форсистую, в скрипучих сапогах и бусах Фросю – послал к Горшкову: – Добудь-ка нам, девонька, веселенький штоф хмельничку!

Гость и хозяин остались одни. Перфильеву сорок три года, Овчинников был почти на десять лет моложе его, а уже имел при Пугачеве высокое звание. За короткое время атаманства он привык властвовать, был строг и тверд характером. Серыми умными глазами уставился он на гостя с некоторым подозрением. На него исподлобья смотрел Перфильев; его некрасивое, изрытое оспой лицо было сурово. Так они старались испытать один другого. Да оно и понятно: время стояло необычное, смутное, когда нельзя поручиться не только за приятеля, но и, дико сказать, – за самого себя.

Вспомнив, однако, про свою давнишнюю дружбу, они оба, как по уговору, облегченно захохотали. Овчинников потрепал приятеля по плечу, сказал:

– Толкуй-ка, брат, толкуй!

– А я, друг, из Петербурга, Андрей Афанасьич, – пряча завивавшие глаза, пробасил Перфильев. – А как прослышал, что здесь-ка объявился своею персоной государь, не стерпел, бросил все дела, да тайком и ударился сюда, послужить хочу батюшке.

– Хм... – недоверчиво хмыкнул длиннолицый горбоносый Овчинников, оглаживая кудрявую, как овечья шерсть, бороду. – Да ведь ты же был нашими казаками послан в Питер по войсковым делам. Как же ты, не окончивши делов, улепетнул оттудова?

– А чего же попусту поклоны там терять, Андрей Афанасьич? Рассудил я, что милости искать сподручней у самого государя.

– Так-то оно так, теперича мы и сами резолюции кладем, – сказал Овчинников. – Только нам, яицким казакам, все милости от пресветлого государя уже дадены по манифесту его. А вот ответь-ка мне: каким ты побытом из Питера мог вырваться самовольно? Да тебя уже двадцать разов изловили бы, покудов ты сюда ехал. Сдается мне, лукавишь ты, Перфиша, чего-то, какую-то утайку творишь от меня.

Перфильев надул губы, отвернулся, побарабанил пальцами по столу, затем с сердцем сказал:

– Не чаял я, что этак примешь меня, Андрей Афанасьич, с подозрением с таким.

– Вот и обидно, что своему приятелю врешь ты. Сознайся, ведь врешь, Перфильев? Я, брат, не терплю этого. У нас, брат, знаешь как? У нас, брат, здесь-ка строго!

Перфильев взглянул в серые похолодевшие глаза Овчинникова и сказал, вздохнув:

– Ну, слушай! Опасался я тебе открыться-то, понимаешь? Как бы ты простой казак, так моя душа вся пред тобой настежь была, а теперь ты самоглавный атаман. Эвот у тебя сабля-то какая, вся в серебре да золоте, и чекмень с позументом. Думал, наляпаешь на себя лишнего, так ты...

– А ты говори, говори о деле-то, а то девка скоро вернется, – нетерпеливо сказал Овчинников и раскинул по столу крепкие руки.

– Прямо, без утайки скажу, – решительно начал Перфильев. – Послал меня сюда граф Алексей Григорьевич Орлов и дал повеленье казаков от самозванца отвращать, чтобы они от него отстали да связали бы его. Тогда, сказал мне граф Орлов, вы и все милости от государыни примете...

– Вот видишь, Перфиша, не прав ли я был, что в подозрении держал тебя? – тяжело задышав, сказал Овчинников и нахмурил брови. Наступило томительное молчание.

Затем Овчинников заговорил:

– Начхай ты на этого Орлова, мы сами здесь-ка Орловы-Чернышевы, графья! Плюнь, говорю, да служи верно батюшке – он точный государь, Петр Третий. Эвот его даже офицеры признают. Недавно Горбатов, офицер из Оренбурга, перебежал к нам, так и он в государе уверился довольно. А что Екатерина нашего государя злодеем обзывает, так это ее дело: ей податься некуда, ей так и так надобно простой народ обмануть. Идем, идем, Перфиша, к государю нашему, откройся ему во всем...

Пугачев только что вернулся с Маячной горы, куда он ездил с офицером Горбатовым, дававшим ему наглядное пояснение, как Оренбургская крепость устроена.

Войдя во дворец, Овчинников велел Перфильеву обождать в прихожей, а сам, прихрамывая, прошел в золоченое зальце и доложил Пугачеву о приехавшем из Петербурга казаке.

– Покличь! – сказал Пугачев. – А сам ты, Андрей Афанасьич, шагай до Военной коллегии, пущай все сюда идут. Надо нам под Уфу человека слать, чтобы обначалить дело наше, полагаю Чику туда спосылать, благо он на Воскресенском заводе, не столь уж далече от Уфы-то.

– Отменно, ваше величество, рассудить изволили! Чика хорош будет. Ну-к, я пошел в коллегию.

Войдя к царю и взглянув на чернобородого плечистого человека в простой казачьей одежде и в длинных валенках, Перфильев сразу заскучал сердцем. «Вот так царь, – подумал он, – мужик – мужик и есть... Ах, сукин сын Овчинников!» – и повалился Пугачеву в ноги. Сделал это вопреки всем своим мыслям, как если бы кто с силою толкнул его: на колени! – столь повелителен был взгляд у этого детины.

– Встань и расскажи, что ты в Питенбурхе делал?

– Был по войсковому делу там, да, не дождавшись резолюции, коль скоро услышал, что вы здесь-ка объявились, бежал, чтоб служить вам верой и правдой.

– Истину ли говоришь мне, есаул? Не кривишь ли? Не шпионствовать ли прибыл к нам? Ась?

– Нет, ваше величество, супротив вас я никакого намерения не имею. Не такой я человек, чтобы...

– Ой ли? Ну, гарно, гарно... В таком разе оставайся, служи верно, как все казаки ваши мне служат. – Пугачев разглядывал Перфильева в упор. Он казался ему человеком твердым, воинственным и как будто честным. Лишь не нравились глубоко запавшие глаза казака, то, как исподлобья, сурово и хмуро смотрел он. – Ну, иди с Богом!

Когда Перфильев вышел через сени на крыльцо, охрана яицких казаков расступилась перед ним. Его все знали, спрашивали наперебой:

– Каким побытом пожаловал к нам, Афанасий Петрович? Ну, каково в Питере? Каково в дороге? Поди, государыня-коварница войско по нашу душу шлет?

– Нет, не бойтесь, братья казаки, – здороваясь со знакомыми, говорил коренастый, небольшого роста Перфильев, рыжеватые щетинистые усы его топорщились. – В Питере есть слых, что промежду великим князем Павлом Петровичем и его матерью черная кошка юлит. Быдто бы Павел-то Петрович сторону родителя держать собирается, Петра Федорыча!

– Дай-то Бог! – откликнулись хором казаки.

Перфильев, умный и бывалый, после краткой встречи с Пугачевым враз почувал в нем человека стоящего, сильного духом. «Эка диво, что в мужицком шебуре! Он ведь с похода прибыл... А вот как взглянул в глаза, так насквозь, кажись, и усмотрел меня. Эх, дурак я, дурак!.. Не открылся сразу! Беспременно открыться надо. Все начистоту доложить!»

К явившейся во дворец Военной коллегии Пугачев вышел не вдруг. Он облекся в нарядный, с позументами, кафтан, в бархатные, малинового цвета, шаровары, в желтые татарские, шитые шелками, сапоги.

Иван Почиталин вытащил из кармана бутылку с чернилами, Максим Горшков – свою. Поднялась вслед им из кухни Ненила, зашумела:

– Это чего же вы, молодцы, озоруете? Склянок поганых понатыркали на чистую скатерть... Опрокинете, кому стирать? Уберите!

Почиталин с Горшковым, оробев крикливой бабы, сняли чернильные бутылки. Ненила сдернула скатерть, сказала:

– Ладно, и на голом столе наварачкаете бумажонки-то, не бо знать какие писаря великие!.. – Она пренебрежительно крутнула носом. – Эта скатерть батюшке дареная... Сама Стеша Творогова препоручила ему... Ой, да уж... Не глядели б мои глаза... Чего пялишься-то на меня, Иван Александрыч? Не узнал? Твоя хозяйка батюшке скатерку-то приперла!.. Твоя, твоя!

– Геть на кухню! – притопнул на нее появившийся на пороге Пугачев.

Ненилу как ветром сдунуло. Иван Творогов, вдруг помрачнев, метал косые взгляды на батюшку и, потеревливая черную, в крупных кольцах, небольшую бороду свою, сидел все время молча.

Пугачев приказал думному дьяку Ивану Почиталину составить именной указ Чике-Зарубину, находившемуся на Воскресенском заводе, чтоб он немедля отправлялся в Уфу и принял начальство над всей собравшейся там толпой усердных государю воинов.

– Окромья того... Ну-ка ты, Горшков, возьми бумажку, подбортней которая, голубенькую, да напиши Ивану Зарубину тако: «Я, Божией милостью Петр Федорыч Третий, император, тебя, Зарубина-Чика, облакаю навсегда полной мочью. И всем, как военным, тако и гражданского и церковного званья особам, тебе во всем покоряться. Облакаю тебя полной мочью казнить и миловать».

Пока Горшков, сопя и выдывая губами натужливые гримасы, писал, Пугачев, наморщив полуприкрытый челкой лоб, выискивал в своей памяти знаменитых генералов, с коими приходилось ему встречаться. «Граф Чернышев, с ним мы Берлин брали!» – мысленно воскликнул Пугачев и спросил Горшкова:

– Ну, что, господин секретарь, написал, что ли? Пиши еще... как его... лескрип: «И жалуем мы тебя, Ивана Зарубина, в графы Чернышевы. Отселева ты больше не Зарубин-Чика, а именоваться тебе по всей государственной форме тако: граф Чернышев...» Господа Военная коллегия, поздравляю вас с новым произведенным графом! И напредки нам надобно, внушения ради, званья графьев да князьев раздавать достойным. Давилин, прикажи, чтоб из пушки три раза вдарили в честь нашего казацкого графа Чернышева. А ты, Овчинников, не забудь объявить по полкам, чтобы честь честью касалась чина и порядка.

4

С казнью полковника Лысова воздух очистился: атаманы и все приближенные вздохнули свободнее. На душе Пугачева тоже полегчало, как будто ему вырвали больной, сгнивший зуб.

За последнее время Дмитрий Лысов стал вносить в армию начало распада. По природе предприимчивый и коварный, он явно горел завистью к Пугачеву, умышлял тем или иным манером свалить его, захватить власть и объявить себя «не каким-то там царем», а доподлинным «казацким батюшкой». В этом духе он и действовал: копил богатства для подкупа нужных людей, старался расположить к себе казацки низы, крестьян и солдат. Привлек на свою сторону офицера Волжинского. Эти кривые, но далеко нацеленные пути Лысова впоследствии узнались.

Пугачевскому штабу довелось принять меры, дабы на корню прикончить брожение в армии. Военной коллегией было предано казни двенадцать явных изменников. А когда начались побегі заговорщиков, беглецов ловили и немедля вешали. «Нечего злодеям мирволить, – говорил Емельян Иваныч в Военной коллегии и добавлял с угрозой: – Я еще доберусь и до шатунов-паскудников, кои не прочь повоздыхать об участии изменников... То в понятие воздыхатели не берут, что не укроти мы бешеного пса – он тысячи невинных загубит!»

Большую, полезную для порядка работу среди казаков, крестьян и солдат вели офицер Горбатов, атаман Витошнов, Горшков, Шигаев, полковник Падуров, отчасти офицер Шванвич. К речам депутата Большой комиссии, полковника Падурова, всегда носившего на себе депутатский золотой знак, народ относился с особым доверием. Верили люди и слову Горбатова, они уважали его как офицера, самовольно передавшегося батюшке.

– Мы, как люди образованные и в Петербурге подолгу жившие, – говорил Горбатов, – можем вас заверить, что тот, который называет себя государем, есть истинный государь Петр Третий, уж вы никакого сомнения не держите в мыслях. Он и в военном деле искусен, и ум у него крепкий, и государственные знания его предостаточны, да и по портретам зело схож, только что бороду отпустил.

Эти речи говорились не как заранее приготовленные, а как случайные дружеские беседы во время обычных учебных стрельбищ при полевых экзерцициях. Пугачеву было известно усердие офицеров, он прислал в подарок Горбатову и Шванвичу по отличной шубе.

Офицер Волжинский, живший в одной избе со Шванвичем, был арестован и казнен. Ему вменялась в вину государственная измена. Он подговаривал своих гренадер сесть ночью на казацких коней и мчать к губернатору Рейнсдорпу. Выдали его сами же гренадеры, в том числе денщик Шванвича, старый Фаддей Киселев. Он еще в походе усумнился в Волжинском и непрерывно следил за ним.

Вскоре после казни Волжинского в избу к Шванвичу с небольшим мешком в руке вошел Андрей Горбатов.

– Здравствуйте, Шванвич, – поприветствовал он молодого человека, читавшего возле окна книгу. – Вы не удивляйтесь, что я вломился в вашу келью без зова. Меня полковник Падуров направил к вам в сожители. Которая койка Волжинского? Эта? Чудесно! Жизнь есть жизнь, война есть война! Один уходит – другой на его место! – Он бросил мешок в угол, снял шубу.

Молодые люди пожали друг другу руки. В связи с изменою Волжинского юный Шванвич приметно насторожился и с людьми держал себя замкнуто. С Горбатовым он уже успел встретиться несколько раз, Горбатов был симпатичен ему.

– Слушай, Горбатов, я ласкаю себя надеждой, что мы сойдемся хорошо.

– Что ж, Шванвич, я буду рад этому... Вот дурак какой сожитель ваш, Волжинский этот, – продолжал он. – Взял да и сгубил себя безрассудно. Да разве побегу устраивают так?.. Сущий дурак! Без меры болтал и... все прочее.

Горбатов отдернул занавеску в кухню, заглянул на печку, спросил:

– Вашего личарды, Киселева, нету?

– За бараниной ушел.

– Так вот, – раздумчиво сказал Горбатов, провел пальцами, как гребнем, по волнистым белокурым волосам, сел на кровать и уставился в лицо Шванвича темными улыбающимися глазами. – Так вот, Шванвич, можно нас с вами поздравить: мы оба на службе у самозванца... Да, да, у самозванца! Но какого! Талантлив, как сто чертей...

– О каком вы самозванце? – воскликнул Шванвич с явным притворством, тем не менее вздрогнул, как при ударе. – Он же царь, Петр Третий. Я безоглядно почитаю его таковым.

– Ай-яй, Шванвич! Как не стыдно прикидываться! – по-серьезному возразил Горбатов, глаза его перестали улыбаться. – Он такой же царь, как царица Екатерина – мать всех скорбящих. Оба неплохие актеры, только наш играет по воле народной, а та – под дудку сиятельной знати... Что, не так?

Шванвич вскочил с табуретки и принялся взволнованно вышагивать из угла в угол.

– Эге, голубчик, Михаил Александрыч, да вы изменились даже в лице... Уж не опасаетесь ли, что предам вас? Не бойтесь. Ведь вот я же нимало не страшусь, открыв с вами беседу по столь щекотливому предмету. Впрочем, вы можете поступать как вам угодно... К смерти я с равнодушием отношусь.

– Да что вы, Горбатов, с ума сошли! – вскричал Шванвич с жаром. – Какой же я предатель!

– Успокойтесь, успокойтесь! Я к слову. А что касаясь этой казацкой затеи с мятежом супротив Екатерины, то прямо скажу: как бы мы ни расценивали дело, кончится-то оно печально. И меня, и вас ждет виселица, плаха. Словом, наша приверженность к царю-лиходею нам даром не пройдет. Вы юны, вы очень юны, Шванвич, и еще не знаете, на какую месть способно вельможное дворянство...

– Стойте! – прервал его Шванвич, густо краснея и прихмуриваясь. – Вы так говорите, такой держите со мной тон, будто наперед видите во мне труса.

– Нисколько, Шванвич. Я нимало не сомневаюсь в вашем мужестве и потому-то столь откровенен с вами... Да я и в помыслах не допускаю, что вы... что вы захотите повредить мне...

– Я – вам? Ни-ко-гда!

– Верю... Итак, извольте: мы с вами служим не царю, а всего лишь казаку Пугачеву. И, ежели угодно, не ему, а черни... И вот я спрашиваю вас, бывшего офицера армии ее величества, спрашиваю в упор: готовы ли вы в полной мере к испытаниям судьбы, связав себя службою с самозванцем? – Горбатов, сидя на кровати, засунул кисти рук под мышки, вытянул ногу, глядел вприщур на Шванвича.

Тот остановился, присел у стола, беспомощно вскинул голову.

– Собственно, об этом я еще не думал как следует, – сказал уклончиво и припал спиной к стене. – Пожалуй, думал, но... не решил еще вполне, как быть.

– Голубчик! – воскликнул Горбатов почти весело. – Да нам с вами и решать-то нечего. Обстоятельства за нас решили все. Нам с вами в удел – либо конец, как Волжинскому, от руки Пугачева, либо честная служба ему. Какой еще третий предвидите выход? Бегство?

– Хотя бы...

– Ах, милый юноша... Но ведь там, куда вы убежите, спросят вас: а скажите-ка, почему это тридцать два чернышевских офицера и сам Чернышев предпочли измене мученическую смерть, а ты, голубчик, на кровати у злодея полеживал да под окошком книжечки читал?..

Что вы на это ответите? Винюся, мол, прошибся – как солдаты отвечают. «Ага, – скажут, – прошибся? Срубите этому офицеру голову, чтоб он в другой раз не прошибался!» Ну, так как, Михаил Александрыч, решена наша судьба или не решена?..

Шванвич некоторое время молчал, грудь его вздымалась, на верхней губе проступили капли пота.

– Вы правы... Все кончено, – глухо произнес он и опустил голову.

Глядя на него с лаской и жалостью, Горбатов продолжал:

– Суцая правда говорится: «Попала в колесо собака – пищит, да бежит». Так и мы. Впрочем, я-то сам в свою судьбу скакнул. А почему? Надобно знать жизнь мою, чтобы понять – почему. Жестокая, нещадная жизнь!.. Как-нибудь на досуге расскажу вам про себя.

– Расскажите сейчас.

– Нет, после. Итак, мой друг... Друг, не правда ли? (Вспыхнув, Шванвич кивнул в знак согласия головою.) Итак, дорогой друг, одна, неизбежная для нас обоих, развязка говорит нам о многом... И прежде всего о том, что жизнь и долголетие *нашего* царя есть *наша* жизнь, его преуспевание – *наш* успех... Да только ли наш? Ведь речь идет об участи несметного числа людишек, коим он, реченный царь, сулит вольную волю... Читали вы его манифесты да указы? Вот... А ежели так, то подь к черту всякое колебание мыслей!.. Вытянем! А вытянем общее дело – спасем и себя. Что, не так? Ей-Богу, так!.. И еще: вы, Шванвич, к нему, к царю-то нашему, присматривались? Присмотритесь-ка, очень советую. Конечно, Вольтера и Монтескье он сроду не читывал, зато в нем есть что-то такое... этакое, как бы вам сказать? Ну, одним словом – силища! Такой человек, ежели что вбил себе в голову, запросто не сдаст. Такого за здорово живешь не взять. Что, не так? Так, так Шванвич! Вы заметили, как он атаманов своих в лапах держит!

– Атаманы у него дельные, – отозвался Шванвич, оживляясь.

– Дельные, башковитые и... отчаянные! – проговорил Горбатов. – Слушайте, Шванвич, а вы, надеюсь, чем-нибудь меня покормите?

– Всенепременно! Сейчас придет мой Киселев, он нами и займется.

– И знаете что, Шванвич, – после короткого раздумья молвил Горбатов. – Я опять про нашего государя. Особый он человек, широкой души человек и вдобавок немалого внутреннего зрения; берет сердце человеческое теплым, трепыхающимся, берет рукой уверенной... И вот, Шванвич, я дал себе клятву служить ему до издыхания!

Шванвич в волнении закинул под затылок скрещенные руки, прикрыл глаза.

– А я еще буду с ним говорить, – сказал Горбатов. – Всенепременно! И по-серьезному! Душа в душу.

Помолчав некоторое время, он продолжал:

– Вы, Шванвич, наверно, немало удивлены, что я вот так вломился к вам и по первому же абцугу с самого щекотливого вопроса закрутил. Ведь так? Не изумляйтесь, милый юноша. Я многое слышал про вашего родителя, про то, например, как он вздумал подпортить ударом шпаги портрет красавчика Орлова. Ваш родитель человек честный, стойкий, с характером. И вы в него! Я многих ваших гренадер расспрашивал про вас... Ну, так вот... По этому самому я с вами и откровенен.

За окнами послышался нарастающий шум. Горбатов приник к окну. С песнями, с криками шагали мимо избы подвыпившие казаки, человек сорок. Они вели под руки какого-то коренастого, видимо,

почетного, казака, с повязанным через плечо белым полотенцем. Впереди несли штоф, а на капустном листе – закуску. Вот приостановились, подали почетному казаку чарку, подали закуску, закричали «ура» и тронулись дальше.

Вошел, прихрамывая, старый гренадер Киселев.

– Что там за шум, Фаддей? – спросил его Горбатов. – Кого это вели по улице с песнями?

– А это, ваше благородие, какой-то Перфильев прибыл. С самого Питера! Его Перфишей казаки зовут. А кто он, в точности не ведаю. Уж я подумал, не с весточкой ли какой к государю от Павла Петровича? Был слых, будто великий князь с маткой-то своей повздорил, полки сюда ведет, отцу родимому на помощь, нашему Петру Федорычу, амператору.

Горбатов подмигнул Шванвичу и сказал, обращаясь к старику:

– А тебе матки-то Павла Петровича нешто не жалко? Ведь, как-никак, сын единокровный – и вдруг супротив нее пошел!

– Кого жалко? – сердито воззрился старик на Горбатова. – Да такую жалеть – себя потерять надо! Небось она батюшку-то нашего, а своего богоданного супруга не шибко-то жалела, как на жизнь-то его покушалась!..

Старый гренадер все повышал и повышал голос, поблескивая на молодых людей взором возмущения, а те, затаившись, глядели на него с жадным любопытством.

Затем они втроем стали полудневать, аппетитно уписывая ржаной хлеб с малосольным салом. При этом старик, как ни упрашивали его занять место за столом, устроился со своим куском в сторонке, поближе к печке: сердцем-то льни, а чин да порядок соблюдай!

Часть третья

Глава I

Губернатор Брант жуёт губами. Пожар все шире да шире. Чесноковка

1

Искры брошены – вспышки, вспышки, пламень и потоки огня. Как подожженная с многих сторон сухая степь, клубится, горит, охваченная народным волнением, восточная окраина России.

В Казанской и Оренбургской губерниях, от Саратова до Пензы, от Самары до Арзамаса, широкие тракты и малые проселочные дороги были полным-полны вышедшим из повиновения крестьянством; встречалось тут немало также помещиков, торговых и прочих людей, напуганных близкой опасностью. Вооруженные чем попало, толпы мужиков текли громить барские усадьбы либо – по лесам и долам – к месту нахождения объявившегося «батюшки». Мужики стремились к Пугачеву; дворяне – подальше от него: в Москву, в отдаленные от пагубы губернии.

Направляющийся в Казань член секретной комиссии, лейб-гвардии Семеновского полка капитан-поручик Савва Маврин, спрашивал встречных дворян:

– Ради Бога объясните, что сие значит? Все куда-то спешат, куда-то передвигаются. Что за причина?

– Ах, сударь! – отвечали ему. – Да разве вы сами-то не понимаете? Наш вам совет, коль службой вы не обязаны, в Казань не ездить... вертайтесь-ка, сударь, обратно вспять.

При своем двухнедельном переезде от Петербурга до Казани Маврин наслушался немало беспокойных речей, испытал многие от крестьян угрозы: «Ахвицер?! Имай его, братцы, да на березу!»

Впоследствии он доносил императрице: «Торопясь прибыть в Казань, некогда мне было всем буянам и предрезателям делать примечания и оных, забирая, отсылать к начальникам, да и невозможно в самом деле по причине множества их».

Казань переживала времена тяжелые. Тревожные слухи плыли, ширились, обыватель не знал, что делать. Губернатор одной рукой старался навести хоть какой-нибудь порядок, другой рукой, поддавшись общему настроению, успокоительные свои мероприятия первый же нарушал.

Так, в конце ноября, темной ночью, распахнулись дворовые ворота губернаторского дома, и двенадцать возов имущества Бранта тайно тронулись в более безопасное место – в Козьмодемьянск. А перед рассветом выехало туда же и все семейство его. «Эге-ге-ге», подумал обыватель, пронюхав о сем происшествии, и впал в еще большее уныние.

Примеры заразительны. Вслед за губернатором и многие крупные казанские чиновники, а вместе с ними и скопившиеся в городе дворяне-беженцы принялись вывозить свое добро в тот же богоспасаемый Козьмодемьянск.

И вот разнесся по Казани слух (может быть, пустил его какой-либо затесавшийся в город пугачевец):

«К городу царь Петр Федорыч с воинством подходит».

Этот слух – очередная выдумка, но жители поверили. И вот зашумела, замутилась Казань. Обыватель ударился в разгул и пьянство.

Губернатор перетрусил. 1 декабря он выпустил к гражданам оглашенное по церквам воззвание. Он объявил, что все слухи о приближении мятежников к Казани есть сущий вздор, что сам душегуб Пугачев по сей день сидит под Оренбургом, а войско его вооружено дубинками, и что вообще Пугачев «отнюдь не имеет толикого числа людей, как слух о том носится».

Но словам губернатора уже не давали веры. Не стесняясь, людишки выкрикивали в церквах:

– А почто ж он свое-то добро спозаранку вывез? Обман кругом!

Капитан-поручик Маврин, имевший от Бибикова поручение выведать, пока что путем неофициальным, настроение Бранта, пришел рано утром в губернаторский дом. И немало удивился: дом был пуст, в залах ни стола, ни стула. Маврина провели в кабинет. Он представился губернатору как старший офицер, командированный Петербургом в Казань, где он, Маврин, будет ожидать из столицы особых инструкций. О том, что он член секретной комиссии, Маврин умолчал. После краткого и ничего не значащего светского диалога он спросил:

– Что это значит, ваше превосходительство? Ваш дом подобен пустыне... Уж не было ли вашему превосходительству какой тревоги?

– Да, господин капитан-поручик, тревога была и доднесь существует. Я всех отпустил в Козьмодемьянск, – ответил, виляя взором, Брант и пожевал губами.

– Что ж, очевидно, злодеи приближаются?

– О да!.. Без всякого сомнения... И в великих толпах злодействуют.

– В великих, изволите молвить? – переспросил притворно удивленный Маврин. – Но ведь вы в своем воззвании как раз наоборот... Впрочем... Да... – замялся он. – Значит, от этого самого и в городе почти никого из видных жителей не осталось?

– От этого от самого, – холодно ответил губернатор и незаметно стал нащупывать пульс на левой руке.

– А не находите ли вы, ваше превосходительство, что, отправив свое семейство, а также имущество в Козьмодемьянск, вы тем самым подали дурной пример гражданам?

«Дерзкий человек или круглый дурак», – подумал Брант и не ответил ему, только сердито стал жевать губами.

– Да, да, – продолжал Маврин настойчиво. – Все куда-то бегут, устремляются... Не все, а класс состоятельный... Но что же, ваше превосходительство, делать тем, коим бежать некуда и увезти нечего? Не остается ли им отпирать, в случае нашествия самозванца, ворота да встречать его?.. И, заметьте, не по предательству, а по необходимости, яко истинного гостя, чернь втуне не покидающего!

Губернатор от этих вызывающих слов какого-то... какого-то петербургского щеголя поежился и, ощутив в области сердца боль, совсем затревожился. «Да уж полно, не соглядатай ли, подосланный по мою душу?..» – подумал старик.

– А вы какого мнения, ваше превосходительство, по сему смутному казусу? – И Маврин, сказав это, окинул пристальным взглядом сановную персону.

Они сидели друг против друга в обширном кабинете. В ярко топившемся камине непрерывно постреливали еловые дрова. Губернатор, приняв надлежащую осанку, сухим тоном произнес:

– Милостивый государь, я не считаю нужным и возможным ответить вам на ваш несколько... эм-м... щекотливый вопрос... И прошу, молодой человек, принять в мысль, что перед вами не кто иной, как сам генерал-аншеф. – Губернатор затряс головой и снова сердито зажевал губами.

Маврин нимало не смутился. Он был лично известен императрице, и ему казалось, что она ценила его как умного, исполнительного офицера, а также и первого великосветского танцора.

– Ваше превосходительство! – вздернув плечи и гордо вскинув голову, отвечал Маврин. – Я не осмелился бы докучать вашей особе праздными разговорами, но я обязан это сделать в силу данных мне лично ее величеством инструкций: я член так называемой секретной комиссии, назначенной ее величеством. Цель комиссии – расхлебать заварившуюся в ваших местах кашу. Я ничуть, ваше превосходительство, не теряю из памяти, что имею честь беседовать с генерал-аншефом, и счастлив уведомить вас, что на ближайших днях к вам прибудет в качестве главнокомандующего всем краем, охваченным мятежом, Александр Ильич Бибилов, тоже генерал-аншеф.

Покрытое старческим румянцем лицо Бранта то удивленно вытягивалось, то слагалось в подобострастную улыбку. «Ну, так оно и есть – соглядатай. Гм... Гм...» Губернатор встал и, крепко пожимая руку поднявшемуся Маврину, задабривающим тоном произнес:

– Очень рад сие слышать, господин капитан-поручик. Ведь мы с Александром Ильичом, мы с ним... как бы это вам сказать...

Собравшиеся в этот же день члены секретной комиссии: Маврин, лейб-гвардии Измайловского полка капитаны Лукин и Собакин, а в качестве секретаря – сенатский чиновник Зряхов, приступили к занятиям. Ознакомившись с истинным состоянием края, секретная комиссия воочию убедилась в том, что правящий Петербург имеет совершенно превратное понятие об оренбургской трагедии, что местная власть в крае парализована и что опасный мятеж, охватив Оренбургскую губернию, начал перебрасываться и в Казанскую.

Да и на самом деле: вся северо-западная часть Оренбургской губернии была во власти Емельяна Пугачева, а южная подверглась нашествию киргиз-кайсаков. Их предводитель Нур Али-хан подался с кочевниками к берегам Волги и появился неожиданно близ Черного Яра. Киргизские орды разоряли и жгли попутные деревни, забирали скот, а жителей уводили в полон.

Вслед за киргиз-кайсаками стали все настойчивей пошаливать гулящие люди и в степях Башкирии. Русские толпы, соединившись с башкирцами, бродили возле Бугуруслана и в окрестностях Бугульмы. А в Бугульме сидел со своим отрядом генерал Фрейман, покинутый на произвол судьбы злополучным Каром.

Толпы башкирцев стали проникать на пермские горные заводы и в Исетскую провинцию. Губернатор Брант организовал защиту заводов, поручив эту заботу члену главного заводоуправления на Урале, коллежскому асессору Башмакову. Юговский казенный завод (в шестидесяти верстах от Кунгура) был построен в виде крепости, чем и воспользовался Башмаков, решив защищаться тут от мятежников.

Большинство заводского населения, руководимого раскольниками, Башмакову не подчинилось. Горячие головы шумели по заводам:

– Не верьте, мастеровые да работники, начальству. Врет начальство, что это беглый казачишка Пугачев. Он истинный есть царь.

Почти все рабочие многих заводов приняли сторону Емельяна Пугачева. Восстание всюду разгоралось.

Вскоре в управление всей Башкирией вместе с уральскими заводами вступил, как уже было ранее сказано, «граф Чернышев», то есть Иван Зарубин-Чика.

Атаман Илья Арапов, когда-то посылавший Пугачеву в дар осетров с провесными севрюгами, находился в захваченном им Бузулуке. Пугачевской Военной коллегией ему приказано двинуться к Самаре и укрепиться на самарской линии. К нему пришло до тысячи крепостных крестьян графов Орловых и многие из волостей близ Сызрани.

Восстание охватило весь Ставропольский уезд. Арапов подошел к Самаре и был торжественно встречен населением. Комендант Балахонцев и поручик Кутузов с частью солдат еще загодя бежали в Сызрань.

Был жестокий рождественский мороз, но народу навстречу гостю высыпало много. Атаман Арапов, коренастый, с черной бородкой и горящими быстрыми глазами лихой детина, одет был в лисий, крытый темно-зеленым сукном чекмень, на ногах у него рысьи теплые сапоги. Грубое, продубленное степными ветрами лицо его с мясистым, нависшим на густые усы носом казалось особенно внушительным под форсисто надвинутой на ухо мерлушковой шапкой с красным верхом. За поясом у атамана пистолет, при бедре богатая, как у Пугачева, сабля. Подбоченившись, он зычно крикнул в народ: – Спасибо вам, самарцы, что предались мне без супротивленья! Это нашему батюшке в самый раз по сердцу, он, государь наш, отблагодарит вас, мирянушки, а ваш город Самару обратит в губернию.

– Вот бы добро было, вот бы славно! – отвечали дружно самарцы.

Арапов велел выкатить из питейных заведений бочки с водкой. Подгулявший народ, собираясь в шумные кучки, кричал до хрипоты:

– Здравствуй, батюшка наш Петр Федорыч!.. Ура-а!

2

Зарубин-Чика прибыл под Уфу в сопровождении своего помощника, яицкого казака Ильи Ульянова, и тридцати работников Воскресенского завода^[16]. По пути Зарубин-Чика всюду встречал сочувствие и собрал толпу в полтысячи человек заводских крестьян, башкирцев, беглых барских мужиков.

Местом своей ставки он выбрал село Чесноковку, что в десяти верстах от Уфы, и поселился в доме священника Андрея Иванова.

Новоселье было проведено шумно, пьяно, весело. Нашлись скрипачи и дударя. Стараясь, страха ради, угодить пугачевцам, подвыпивший отец Андрей прикинулся дурачком: бил в такт музыкантам по медному подносу то кулаком, то лысой головой, то железными клещами. Удалей всех плясал сам «граф Чернышев» в набойчатой простой рубахе и широких плисовых штанах; ему под стать, с гиком и звонким хохотом кружились в плясе охмелевшие – кровь с молоком – девки да бабенки. Даже молодые поповны и сама попадьа, не в меру приурезав наливки и медов, вились вихрем возле разухабистого чернобородого цыгана.

– Не брезговаю вами!.. – кричал «граф», высоко подскакивая и ударяя ладонями по голенищам. Подхватив железной рукой за талию какую-нибудь краснощекую красотку, он крутил ее по горнице, как мельницу. – С самим графом Чернышевым пляшете! – гремел он. – А по утрие – все за дело, дружки! Уфу зорить, супротивников батюшкиных изничтожать. А кто не с нами, тому перекладинка с петлей!

У многих гостей, как ни были они пьяны, на душе становилось тревожно, а поп с попадьей всю ночь не сомкнули глаз.

– Пропали мы с тобой, матка!.. Со всем приплодом нашим, со всем жительство, – стонал батюшка, не находя себе покоя.

До рассвета гуляла Чесноковка, а на рассвете Зарубин-Чика принялся за дело. Напористый и на соображение скорый, он в полной мере чувствовал власть в своих руках.

«Будь в спокойе, Емельян Пугачев, нареченный царь-государь, уж кто-кто, а Ванька Чика тебя не подведет», – держал он в мыслях, положив до последнего вздоха служить обожаемому «батюшке».

Ударили в набат. Сбежавшемуся к церкви народу «граф» сказал:

– Во всеуслышанье объявляю настрого: жителям собраться в поход! Чтобы с каждого двора по одному человеку, и с оружием. За супротивство – смерть! Отец Андрей, – обратился он к рыжеволосому священнику, – всех без изъятия мужиков и баб и всю мою армию приведи к присяге на верную службу государю Петру Федорычу. И зачти вгул манифест его величества.

До полден шла присяга. Зарубин-Чика немедля стал рассылать во все концы манифесты Пугачева.

Население в Чесноковке и по всему уезду спешно вооружалось, садилось на конь, торопилось к «графу Чернышеву». Вскоре армия его стала насчитывать более четырех тысяч человек. А спустя несколько дней, когда в Чесноковку прибыли толпы работных людей со многих остановившихся заводов, силы Зарубина-Чики утроились; у него скопилось до двенадцати тысяч человек. Громада!

Заводское население, спасая свою жизнь от разбойных наскоков башкирских толп, бежало и в Берду, и в Чесноковку. Депутаты жаловались:

– От набегов воровских башкирских партий спасу нет! наших людей, кои за сеном выезжали, многих башкирцы поувечили да насмерть покололи безвинно. И не стало нам николикой свободности.

Хотя таких своевольных башкирских партий было не так уж много, однако пугачевская Военная коллегия все же предписала «графу Чернышеву» принять строгие меры к прекращению бесчинств башкирцев и к возвращению награбленного хозяевам. Военная коллегия повелела:

«Да и впредь, ежели такие злодеи окажутся, не приемля от них никаких отговорок и не возя сюда, в Берду, чинить смертную казнь».

Зарубин стал широко пользоваться этим правом. Возле его дома были поставлены две виселицы. Под наметом из соломы и в поповском амбаре хранились пушки, боевые припасы и оружие, привозимые его людьми из разных городов и заводов.

Зарубин-Чика через два дня в третий послал в Военную коллегию свои донесения, а ответы коллегии приказывал публично читать на улицах. Впоследствии эта деловая связь с Бердой становилась все реже и реже – Чика решил действовать самостоятельно. Он назначал атаманов и полковников, у него была и своя военная коллегия, где он единолично принимал просителей, вершил суд и расправу, диктовал писарям свои распоряжения.

И стал он как бы вторым Пугачевым, а Чесноковка – второй Бердой.

Приказы Зарубина-Чики были разумны и толковы. Не в пример губернаторам фон Бранту и Рейнсдорпу, он обладал редким даром администратора. Этот задирчивый, с нахрапцем, казак-гуляка, забубенная головушка, беспечный в обыденной жизни, и сам теперь приходил в немалое удивление, открыв такие у себя качества, о существовании которых и не подозревал.

«Ха-ха!.. Ай да Ванька, ай да сукин сын!.. Правителем стал!» – рассуждал он сам с собой в минуты душевного спокойствия.

Он издал приказ выбрать всем жителям в каждом селении и на заводе атамана или старосту и обязал их смотреть за порядком, содержать пикеты и заставы, всех подозрительных направлять в Чесноковку.

Рождественского завода атаману он писал:

Оставшимся семействам выступивших в поход людей приказано было выдавать провиант из казенных магазинов.

Вскоре у Чики-Зарубина скопилось много денег, много вооружения, много всякого добра. Он ласково обращался с духовенством – задобренный священник может оказаться сообщником полезным; он иногда щадил и представителей правительственной власти: чем черт не шутит, могли пригодиться и они... Зарубин-Чика человек себе на уме: в его руках власть, в голове – русский охватистый разум.

3

На улице метель – свету белого не видно, снежная кутерьма от земли до неба. А вот в квартире нареченного графа Чернышева тепло, угревно. Покрытый белыми скатертями, нарочито сколоченный большущий стол ломится от изобильного хмельного питья и вкусной, горой наваленной снеди: пускай гости вдосыт наедятся и упьются – для дела польза. И что сегодня съедено, назавтра втрое доброхоты нанесут. Недаром поп Андрей внушал им: «Рука дающего не оскудеет».

Стены горницы, замест золоченой фольги, как у Пугачева, увешаны самодельными, из кошмы, башкирскими коврами, а сверх ковров – собранные в помещичьих домах ружья, сабли, кинжалы, старозаветные мечи. А возле икон врезанный в рамку старанием священника ярлык: «Быть Чике-Зарубину графом Чернышевым»; на ярлыке красная сургучная печать, как сгусток крови.

– Матка! – кричит «граф» попадье и утирает взмокшее лицо рукавом расстегнутой у ворота рубахи. – Брось швырять поленья в печку, и так мы как в аду...

Кроме Ильи Ульянова и ближних, среди гостей два попа: отец Андрей и прибывший из села Березовки, Сарапульского заказа, родной брат его – отец Данила. Андрей рыжебород, Данила черен.

Уже отгремели здравицы за государя Петра Федорыча, за наследника с супругою, за «графа Чернышева».

Пили, чавкали, «граф Чернышев» кричал:

– А вы, господа попы-святители, тоже слушай мою команду! Ваше дело доглядывать за своими прихожанами само крепко. Дабы не было супротивников его величеству... Чтобы, значит... его высокой власти. Поняли, святители? А ежели кто где сыщется, таковых отвращать от сей пагубы добрым словом.

Оба родных брата, рыжий и чернявый, вылавливали из овсяной похлебки куриные потроха, согласно кивали грозному начальнику умащенными елеем головами:

– Паки и паки постараемся, ваше графское сиятельство, господин граф Чернышев, Иван Никифорыч.

У попа Данилы черноволосая бородатая голова посажена прямо на крутые плечи, он могуч, пышен со спины и предостаточно брюхат.

– Писаря, слушай! – продолжал Чика. – Чтобы точию отписать мои слова всем попам, всем муллам, не исключая... А буде кто и чрез оное поповское увещевание от злоумышлений не отвратится, то таковых ловить и доставлять ко мне немедля, а будет с таковыми поступлено в силу указов немилосердно!..

Так великий хлопотун Зарубин-Чика даже и во время попоек не забывал своего дела.

Отец Данила слово свое сдержал. Прибыв в Сарапул, он собрал сход и убедил жителей присягнуть новоявленному императору. Сарапульцы немало попу дивились:

– Да, бывают, мирянушки, чудеса на свете, – говорили они. – Уж раз сам иерей Божий царя признал, так нам и сомневаться нечего. Аминь тому делу.

Иные же, слушая отца Данилу и накопив горькую слюну, сплевывали и зло возражали:

– Поповское ли это заделье в усобицу встречать? Такого кутье хлеба вверх пятками повесить бы... Да и повесят, уж это как Бог свят!

Отец Данила, закутавшись в теплую, подаренную ему графом Чернышевым шубу, объезжал окрестные селения, он всюду успешно привлекал жителей под знамена Пугачева и лишь на Ижевском заводе осекся. Народ шел в отпор, не желая признавать какого-то нового царя. Один из разгорячившихся

сердцем работных людей во время словесной схватки ударил ретивого попа кулаком по шее. Пострадавший отписал обо всем в Чесноковку, и уже через три дня в Ижевский завод явилась высланная Чикой партия в триста человек.

Завод был приведен в повиновение, казенные дома разбиты и разграблены, забраны ружья, порох, девять тысяч рублей денег. Мастерские и работники из приписных крестьян распущены на волю, по домам, завод закрылся. А вскоре поп Данила был схвачен отрядом правительственных войск, пытан в Казани и повешен.

В это время по Башкирии гуляли толпы мещеряков и башкирцев. Их вели «начальный возмутитель» мещеряк Канзафар Усаев и двадцатилетний башкирец Салават Юлаев. Молодой батыр Салават обладал редким даром слагать песни, был отважен и любим своими соплеменниками. Имя Салавата в скором времени с шумом пролетит по башкирским степям, по предгорьям Урала.

Канзафар и Салават лихим набегом заняли Красноуфимск; захваченную при этом казну они послали Пугачеву, а пушки оставили себе.

Чесноковка на первый взгляд напоминала собою пугачевскую столицу Берду, но здесь, начиная от хозяина, все было второго сорта. Хозяин вел себя необычайно просто, вовсе не по-царски и не по-графски даже, а как Бог на душу положит. Любил он всласть поесть и крепко выпить, любил громко поохотать и подурить с бабенками. Одевался так себе – ни генеральских лент, ни позументов. За своей наружностью следил плохо: борода запущена, с мылом умывался редко, да и то кое-как, словом – цыган и цыган. Когда дома – ворот рубахи всегда расстегнут, густо волосатая грудь обнажена, а на морозе – замызганный овчинный чекмень накинута на одно плечо. Квартира не из важных, у него золотой горенки нет и почетного караула нет, свиты тоже не положено. Подруги сердца его живут в двух избушках, на краю селения.

Ранний вечер, уже мерцают звезды. Коров подоили, несет по Чесноковке парным молоком. Улочки, переулочки заметены снегом. Высоко приподнятая метелями дорога укутана горбом. Она, как крепостная насыпь, громоздится выше окон. По откосам ее, от избушек, от домков, выются проторенные тропинки. И ежели б дыхнуть враз и по-настоящему на Чесноковку жаром, все селение захлебнулось бы снеговой водой – столь глубоки, столь обильны тут сугробы. На задах, на огородах и возле Чесноковки, на степи, многочисленные, из плотной кошмы, башкирские юрты. Из их круглых отверстий валит дымок. Кругом костры, костры; гривастые кони хрумкают овес и сено. На кострах медные, до десяти ведер, котлы, в них баранина, или махан. Башкирцы сыпят в котлы соль, крупу, болтают в котлах большими, как оглобли, жердями, готовят ужин. Скулят там и тут собаки. И откуда шайтан принес их? Башкирец выхватил из котла оглоблю, огрел ею собачью свору: «Аря, аря!» – и снова оглоблю в котел.

Кругом селения ездят бессменно дозорные – казаки, крестьяне, башкирцы. И там, далеко впереди, стоят зоркие пикеты. Недавно Зарубин-Чика в три часа ночи объезжал проверкой все посты и заставы. Караульные всюду бодрствовали. Лишь в перелеске, возле моста, дозорный спал у потухшего костра, дремала, опустив голову, и пегая его кобылка.

– Так-то караулишь, сволочь! – гаркнул Чика. Мужик вскочил, протер глаза, сказал хрипло:

– Прошибся! Сон одолел...

– Ха-ха-ха!.. Сон одолел? А ежели б из-за тебя, гада, нас всех одолели?! – И Чика выстрелом из пистолета уложил дозорного на месте: в пример другим.

А приехав домой, он сказал атаману Грязнову:

– Сменить дозорного, что под ельником у моста! Уснул до самого второго пришествия.

Веселый Чика! Бесшабашный Чика! А с народом обходительный, простой. Однако его все как огня боятся. Граф разговаривать долго не станет. У него пить так пить, воевать так воевать.

На улице сумерки гуще, звезды в небе ярче. Выдоенные коровы, подогнув сначала передние ноги и кряхтя, неуклюже валятся на соломенную подстилку, на них накатывает дрема, они устало, вполглаза, глядят во тьму и всю ночь пережевывают жвачку.

По взгорбленной дороге вдоль села, покачиваясь и обнявши друг друга за шеи, движутся трое: Чика, атаман Грязнов и сотник Кузнецов. Остановятся, поцелуются, Чика всохотнет на все село и – дальше.

Скачет всадник, кричит:

– Стронись, ожгу!

– Стой, куда? – гремит Чика.

– К хозяину, ко грахву, гонец я...

– Я граф. Что надо?

Гонец скатывается с лошади, срывает шапку, рапортует:

– Так что докладую: Красноуфимск занят Салаваткой, ваше благородие. Ижевский завод занят такожде...

– Ха-ха-ха! Слыхали, атаманы? Ижевский занят... Чья это изба?

– Мужичка Абросима.

И уже грохает в калитку железное кольцо. Гонец кричит, припав голоусым лицом к волоковому оконцу:

– Эй, дедка Абросим! Вздуйвай огня, сам грахв к тебе, сам Иван Никифорыч.

Чика вломился в избу, поздоровался «об ручку» со стариком, со старухой, с парнем, велел принести от попа снеди с выпивкой.

– Ну, как, казаки-удальцы? – заговорил он, усаживаясь за стол. – Дела наши идут не надо лучше! Города и заводы сдаются нам с легкостью... Ты что притуманился, атаман Грязнов? Поди, все – хаха! – о божественном помышляешь, а?

Лысый, бородатый, с умным глубокомысленным лицом, еще не старый, атаман Грязнов, потупя свои бесцветные, водянистые глаза, ответил:

– Эх, Иван Никифорыч... Думал я когда-то и о божественном, а вот как определил себя на кроволитье за простой народ, уж тут не до божественного...

– Ха-ха-ха!.. Ну-к, удальцы, чего же дале-то нам делать? Обмозгуем, чего ли...

– А тут и мозговать неча. Наше дело воевать! Уфу брать надобно.

– Уфа – что... – возразил Чика. – Придет час, эту фрукту мы съедим. Нам вширь распространяться треба. Покамест народишко не остыл, главные города забирать, кои в отдаленности. Да и за Урал-горой пожарище неплохо бы пустить! Ха-ха-ха! Недаром ведь народишко-то с огоньком пошаливает...

– Командуй, батюшка Иван Никифорыч, мы всеобщему отцу отечества Петру Федорычу послужить рады, – степенно оглаживая бороду, сказал атаман Грязнов.

– Стало быть, так. – Чика со всей застолицей выпил, положил в белозубый рот склизкий соленый груздок и, чавкая, продолжал: – Главный город Пермской провинции какой? Слыхал я – Кунгур. Стало быть, брать нам Кунгур! Это я тебе доверяю, Иван Кузнецов. (Черноусый табынский казак, сотник Кузнецов,

встрянул пьяной головой, поклонился Чике.) И ставлю тебя главным российского и азиатского войска предводителем... Чувствуй, чертова ноздря!

– Чу-чу-чувствую, – сказал сильно захмелевший Кузнецов; он кособоко поднялся, впился руками в стол, чтоб не упасть, и вновь стал кланяться. – Вдругорядь благодарим тебя, Иван Никифорыч, гы-гы... грахв...

– Ха-ха-ха!.. Ладно, садись скорей, а то ляпнешься, – и Чика обернулся к Грязнову: – А тебе, атаман, подлежит идти с отрядом под Челябину. Она Челяба, как мне известно стало, главный городок Исетской провинции. Верно ли? И где-то там Деколонт генерал бродит, и где-то Чичерин, губернатор сидит всей Сибири. В Тобольске, кажись? Верно ли? Ивану Кузнецову подмогу дадут верные нам башкирцы с Салаваткой да Канзафаром Усаевым. А тебе, Грязнов, предлежит забирать всех заводских крестьян. Опослезавтра и выступать. Кончено!.. А ну, нальем!..

Военные планы Чики были широки и основательны. Изрядно грамотный атаман Грязнов, удивляясь его сообразительности, недоумевал: то ли оный человек заранее обдумывал свои намерения, то ли это накатывало на него вдруг, вроде как «от благодати».

Отправив сотника Кузнецова под Кунгур, атамана Грязнова под Челябину, Зарубин-Чика 23 декабря сделал первую попытку овладеть Уфой.

Но Уфа не поддалась.

Глава II

Купчик Полуехтов. Есаул Перфильев. «Ты, батюшка, похитрее сатаны». Бибиков в Казани

1

Бесшабашный купчик Полуехтов, чтоб восстановить былое уважение к своей храбрости со стороны Рейнсдорпа и оренбургских граждан, решил, с пьяных глаз, немедля направиться в стан Пугачева. Он заручится в Берде каким-нибудь доказательством своего пребывания там и личного свидания с Пугачевым. Вот и все. Купчик обрядил себя под бухарца: выкрасил рыжеватые усы и бороду в черный цвет, добыл цветистый халат, голову обмотал чалмой и отправился в это отчаянное путешествие на верблюде, ночью, с небольшим тюком бухарских товаров.

Утром был он схвачен пугачевским разъездом и доставлен в Берду. Прикинувшись «азиатом», он по-русски ни слова не говорил и на допросе в Военной коллегии объяснялся знаками, а если и лопотал, то всякую неудобь-тарабарщину.

– Не высмотрень ли Рейнсдорпа? Как знать?.. – выразил опасение главный судья, старик Витошнов.

– Может статься, и так... – подал голос угрюмый Горшков.

– А ежели так, то не иначе – шея его по петле стосковалась.

Полуехтов испугался, нижняя губа его задрожала, как у зайца, глаза осоловели.

– Да нет, господи судьи, – сказал молодой Почиталин. – Он кубыть действительно бухарец-купец. На мою статью, не следует чинить ему помехи, пускай себе торгует!

Полуехтов, прислушавшись к Почиталину, приободрился, даже оскалил в легкой ухмылке зубы. Осторожный Максим Григорыч Шигаев, все время наблюдавший бухарца, нажимисто проговорил:

– Нет, чего там... Повесить! Всенепременно повесить его!

Полуехтов пошатнулся, часто задышал. На щеках Шигаева заиграли улыбочивые ямки. Обратясь к судьям, он громко сказал:

– Надо скликать сюда бухарца, их десять человек живет в землянках подле мельницы. Ежели бухарец дознается, что оный пойманный тоже бухарец, так мы оставим его в Берде жить без выпуска под крепким смотрением, а ежели это русский перевертень, так мы его тотчас на перекладинку... Эй, казак, живо сюда бухарца! А этой птице связать назад руки...

В это самое время подъезжал к себе на тройке Пугачев, сзади него с пиками отряд телохранителей.

Вдруг он видит: по снежной дороге что есть сил бежит бухарец в полосатом халате и чалме, за ним гонится Ваня Почиталин: «Держите, держите его!» Вот оба они шмыгнули в проулок, и Пугачев, остановив тройку, приказал:

– Взять!

Купчика вволокли во дворец два молодых казака, а следом за ними пришел и запыхавшийся Почиталин. Один из казаков, двигая бровями, заявил:

– Это, надежда-государь, не бухарец и не персюк, это кулачный боец из Оренбурга. Он, тварь, самый русский, он супротив наших воевать намеренсь выезжал на коне...

– А-а-а, – протянул Пугачев и прикрыл правый глаз. – Так это ты моему верному казаку зубы клюшкой выбил?

– Я, – ответил Полуехтов. Он хотел многое рассказать Пугачеву и не мог: его трепала нервная дрожь, рукава длинного халата встряхивались, зубы стучали. Он только выдохнул: – Винца бы... Невмоготу мне...

Пугачев умел ценить храбрость и на оробевшего молодца посматривал со снисходительной улыбкой. Пока молодой гуляка тянул из стакана настоящую на перце водку, Почиталин торопливо докладывал Пугачеву все, что знал о пойманном купчике.

– Военная коллегия присудила оното шпиона вздернуть, – заключил секретарь.

Забористая водка уже успела всосаться в кровь курского купчика, трясение кончилось, он вновь почувствовал в себе прилив дерзости.

– Вешать меня не за что, – молвил он и с наглостью посмотрел на Почиталина. – Вам такого права нет надо мной... Я человек не разбойный, а мирный.

– Хорош мирный! – улыбнулся Пугачев. – Я, ведаешь, сам видал, как ты наших-то... И велели мы тебя живьем словить, чтоб быть тебе при мне, люди отчаянные мне любы... А ты и сам к нам припожаловал. Чего ради, не дождавшись святок, бухарцем-то вырядился да ко мне в таком обличье дерзнул?

– А вот слушай, хозяин, – проговорил купчик и принялся рассказывать Пугачеву все свои похождения, вплоть до последнего свидания с Рейнсдорпом. – Ты дай мне, хозяин, удостоверение, что я у тебя был и с тобой разговор имел, да отпусти-ка меня за ради Христа либо к папаше моему в Курск, либо в Оренбург...

– А что у вас деется в Оренбурге, ну-ка отвечай. Ась?

– А в Оренбурге у нас расчудесно, всего вдосталь, народишко живет безбедно, войсков боле двадцати тысяч...

Пугачев, охватив грудь руками, сердито захохотал, закачался в кресле, крикнул:

– Ах ты, негодник! Ах ты, подлая твоя душа! С голоду вы там все, дьяволы, подыхаете, лошадей жрать начали...

Полуехтов тарачил глаза, молчал.

– Я б тебя, чувырло неумытое, немедля повесить приказал, да вот за проворство, за отчаянность твою прощаю тебе. Оставайся у меня служить, сыт будешь и награду примешь от меня.

– Нет, хозяин! Я не в согласье...

– Какой я тебе хозяин! – поднял голос Пугачев. – Ты раб мой, а я твой царь...

Винные пары затуманили голову молодого забулдыги. Глаза его стали дикими, голос наглый, скандальный, он потерял всякую волю над собой.

– А мне горя мало – царь ты али кто! – выпучив глаза, закричал он и покачнулся в сторону Пугачева. – Ты только дай мне знак какой алибо записку, что я был у тебя.

Улыбка, похожая на судорогу, тронула лицо Пугачева, брови его сдвинулись.

– Так знак, говоришь, тебе?

– Без знака не уйду!

– Ладно, я тебе знак сделаю... Эй, обрежьте-ка ему правое ухо да спровадьте немедля с поклоном

Рейнсдорпу.

Купчик сразу отрезвел, упал Пугачеву в ноги:

– Батюшка, царь-государь! Батюшка!..

– Стой! Как прозвище твое?

– Полуехтов, царь-государь! Полуехтов...

– Ну, так таперь Полуухов будешь... Взять его!

2

Пугачев сидел в маленькой боковой горнице за фасонистым, на гнутых ножках, столом, придвинутым к самому окну, чтоб лучше видеть. Большой, широкоплечий, он, ссутулясь, громоздился кое-как на легком золоченом стуле, держал в правой, испачканной чернилами руке гусиное перо, смотрел в четко написанный Шванвичем на особом листке русский алфавит и с напряжением выводил на бумаге робкие каракули: палочки, хвостики, кружки. От натуги на носу и лбу выступила у него мелкая россыпь пота, он прикрывал, поскрипывал зубами, ударял пяткой в пол, но толку было мало. Без сторонней помощи осилить грамоту – дело многотрудное. «Эх, голова, голова, – горестно укорял себя Емельян Иваныч, – кабы знала ты, голова, да ведала сызмалу, не то было бы. А теперь, не иначе, катиться тебе, темная головушка, с крутых плеч долой, а все из-за того, что темная!»

Иногда он взглядывал за окно, в синие сумерки: там проезжали с песней казаки, повизгивал полозьями по калену, наезженному снегу обоз. А вон прошагал вовсе трезвый поп Иван, опираясь на длинную палку с завитком; пробрела вдвое перегнутая временем старуха, пробежала с санками гурьба ребятишек. Жизнь шла своим чередом, и никому не было дела до мучительного труда Емельяна за этими самыми «буками, ведями, глаголями».

За белыми пуховыми крышами нежно блестел на светло-зеленом небе тонкий серп месяца. На улице крепчал мороз, а здесь, в натопленной вволю горенке, было жарко, как в бане. Царь сидел в одной рубашке, с расстегнутым воротом, обнажив белую грудь со старинным серебряным крестом на гайтане и «царскими знаками» под правым и левым соском. Босые, начисто отмытые ноги его отдыхали от узких щегольских сапог, широкие, как юбка, алого сукна шаровары касались пола.

– Ваше величество, Перфильев просится, – проговорил появившийся в дверях несменный дежурный, пухлый рыжеусый Давилин.

Пугачев проворно прикрыл ладошками свою работу, с досадою сказал:

– Пущай войдет.

Перфильев, взглянув исподлобья на Пугачева, повалился ему в ноги.

– Ну, с чем явился?

– Батюшка, виноват пред вами. Намеднись всей правды не сказал вам, вроде как утаил.

– Коль винишься, Бог простит. Встань! – молвил Пугачев и подумал: «Второй раз смотрю на него... Обличьем злой, а характером, кажись, крепок, да и вояка, сказывают, бывалый... Обласкать надо молодца». – Какую же ты от меня утайку сделал, друг? Ну-ка?

Перфильев глубоко передохнул, переступил с ноги на ногу, овладев собою, заговорил:

– Меня на Яик государыня послала и приказ дала: яицкое войско уговаривать, чтоб оно от тебя отстало да пришло бы в повиновение ее величеству, а тебя чтобы мы связали да доставили в Питер.

– Ох ты, ох ты, окаянство какое! – помрачнел Пугачев. – Ах, злодеи, чего измыслили. Да ты ведаешь ли, на какую пагубу толкали тебя? – потрянув головой, воскликнул Пугачев и отбросил упавшие на глаза волосы. – Стало быть, угадал я тогда, Перфильев, что со злым намерением ты прислан. Ах, Перфильев, Перфильев!

– Винюсь, ваше величество! Опасался вдруг-то открыться вам, язык не поворачивался... ну, только что положил я в душе служить вам верно-неизменно.

– Правду ли говоришь, Перфильев?

– Я за правдой к тебе и пришел! – воскликнул казак.

Он был горяч и скор в решениях, зол на незадачливую жизнь свою, на холодный, себялюбивый Питер, на графа Орлова, что втравил его в лихой умысел, особо же на самого себя – за то, что неоглядно взялся за этокое окаянное дело. К черту же, к черту! Он еще тогда, впервые взглянув в мужественное лицо Пугачева, заколебался, а потом и окончательно решил связать свою жизнь с этим человеком. В нем, в Перфильеве, вскипала казацкая кровь, сердце его рвалось разделить участь с обиженным царицей казачеством и помочь Пугачеву поднять народ.

Бывалый, смысленый, он ясно видел, что все атаманы вместе с Овчинниковым, Падуровым, Витошновым умышленно притворялись, признавая Пугачева за императора Петра Третьего. Все они до единого обманывали близких и дальних, а ныне, когда народ и взаправду поверил им, стали эту веру народную оберегать, стали зорко следить друг за другом – не споткнулся бы кто. Что ж, он, Перфильев, и сам нынче готов на все, хотя бы впереди и ожидала его жестокая расправа царицы... Пусть! Пятиться он не станет... Лед взломало, река тронулась, полые воды затопляют берега, и – гуляй душа, добывай казак волю!

Вытаращенными глазами глядел Перфильев в хмурое лицо Пугачева, он весь был в каком-то исступлении, готовый на любые жертвы по зову этого, вдруг ставшего родным его сердцу, человека.

– Богом клянусь и всем светом белым, – вымолвил он звонко и, выхватив саблю, с жаром поцеловал ее сталь. – Клянусь, ваше величество, на боевом оружии своем! Веди, куда народ зовет!..

Пугачев поднял руку, сказал:

– Благодарствую, Перфильев. Поди и служи мне. Служи, как я сирому народу служу!

Так был вовлечен в круг пугачевских дел один из самых верных приверженцев царя-самозванца – яицкий казак Афанасий Петрович Перфильев.

Поклонившись, Перфильев было собрался уходить, но Пугачев остановил его.

– Поддай-ка мне обутки сюды, – неожиданно сказал он, мотнув рукой к печке, где лежали сапоги.

Перфильев с готовностью подал. – Пособи-ка обуться, брат... – сказал Пугачев и вытянул ногу, зорко наблюдая за выражением лица Перфильева.

Тот, припав на колени, со всем усердием напялил на ногу Пугачева сначала теплый чулок, затем форсистый подкованный сапог, вскочил, ухватился за ременные ушки и натянул поглубже, сказав при этом:

– А ну, притопните, ваше величество, ногой-то... Вошел ли?

– Вошел. Спасибо, – ответил Пугачев и многозначительно добавил: – Не гордый ты, без чванства. Ну, а другой сапог я уж сам. – Однако правую ногу обувать Пугачев не стал. Спросил казака: – Слышь-ко Перфильев, а что да что про меня в Питере-то балакают?

– Да кто его ведает, батюшка... Чернь проговаривается, пьяненькая, да и то не въявь, а скрытно: явился-де возле Оренбурга государь Петр Третий и города с крепостями берет...

– А что ж, сущая истина! – сказал Пугачев. – Сам видишь, сколько крепостей взято. А народу у меня несметно, кажинный Божий день пятьсот да тысяча, пятьсот да тысяча! Меня чернь с радостью везде примет, куда бы ни пошел я. Крестьянство, как стадо без пастыря, только голоса моего ждет. А я, братец, уж крикнул, крикнул! Аж гулы кругом пошли! Ну, а как, того... наследник мой?

– Павел Петрович обручен, а теперь, поди, и свадьбу сыграли...

– Ах, ах!.. Не довелось мне на свадьбе у сынка своего погулять. – Пугачев вздохнул и опустил голову. – Детище мое рожиное... – Затем он поднял лицо, глаза его были влажны.

Встряхнув волосами, спросил в упор:

– Веришь ли мне, Перфильев, что есть я истинный Петр Федорович Третий, император?

Перфильев замялся. Пугачев пронзил его строгим взглядом. Казак дрогнул. Испорченное оспой лицо его стало сизо-красным, как бурлак, небольшие острые глаза беспокойно шмыгали по сторонам.

– Отвечай, Перфильев, – дружелюбно повторил Пугачев и как бы приоткрыл для казака некую лазейку: – Веришь ли обету моему?

– Верю, ваше величество! – громко, с облегчением выкрикнул казак.

– Верь, Перфильев!.. Ты в меня верь, а я в тебя и во всех вас верю, а наипаче народу-труднику... позову его и объявился. И еще скажу: ежели не будет в нас веры обоюдной, от нашего дела, от обета нашего одни черепки, как от разбитого горшка с кашей, останутся, а каша-то барам в лапы угодит. Я есть царь твой, а ты мой верный раб. На том стой до смерти!

Пугачев подарил Перфильеву кармазиновый красный кафтан, одиннадцать рублей денег и коня.

Едва казак ушел, Емельян Иванович, кряхтя, стащил сапог с ноги и, оставшись снова босым, принялся за прерванную работу. Серп месяца еще больше высветлился и успел подняться над пуховыми, погрузившимися в сумрак крышами. В зеленоватом небе взмигивали звезды. Ермилка принес две зажженные свечи, задернул окна занавесками.

– Ваше величество, – сказал, входя, Давилин, – к вам выборные от Воскресенского завода просятся. Да еще от четырех волостей ходоки-крестьяне.

– Фу ты, и заняться не дадут, – молвил Пугачев и сплюнул. – Ну ин ладно!.. С завода пушай войдут, а крестьян на утро либо... в Военную коллегию пусть. Стой, крикни-ка Нениле, валенки мои на полатах... Да подай-ка сюда государев кафтан мой при ленте, при звезде который.

3

О приезде из Петербурга Перфильева и о том, что государь почтил его богатыми дарами, уже знала вся армия. А перебежчики донесли о нем весть и до Оренбурга. Сам Пугачев и атаманы пустили молву, что прибыл из столицы гонец с известием от самого наследника Павла Петровича: наследник выйдет-де скоро на помощь отцу с сильным воинством и тремя генералами.

Вскоре сам Пугачев с двухтысячным отрядом подступил рассыпным строем к городу. Все яицкие казаки, оставшиеся верными правительству, залезли на вал крепости в надежде увидеть Перфильева, которого знали лично.

Было раннее утро. Красноватый шар солнца медленно выплывал из-за горизонта. Перестрелка не зачиналась. Обе стороны оглядывали друг друга. Перфильев молодежато вымахнул вперед своей части и, подъехав к валу, закричал:

– Эй, казаки-молодцы! Поприглядитесь ко мне да узнайте-ка, кто я есть!

Тысячи любопытных глаз влипли в бравого наездника, любовались его красным, с меховым воротником, кафтаном, лихо заломленной на затылок высокой шапкой, серым, удало приплясывающим конем.

– А кто ж тебя знает, кто ты! – кричали с крепости. – Видим, что казак... У кого барского-то коня украл?

– Я есаул яицкого войска, Перфильев, был по вашим делам в Петербурге. А оттуда прислан великим князем Павлом Петровичем. С приказом к вам, яицкие казаки! Чтобы вы крепость бросали да шли бы служить законному императору Петру Федоровичу!

– Перфильев ли ты, не знаем, отсель личность твою не можно рассмотреть. Подъезжай ближе! Да покажи нам грамоту от Павла Петровича. Тогда мы все уйдем к вам...

– На что вам грамота? – звонко голосил Перфильев. – Смотрите на меня: я сам есть живой, Павла Петровича посланник!

– Нет, брат! – отвечали с крепости. – Ты, может, и верно – посланник, только невесть от кого. Отъезжай, куда цел!..

Тут ударила с крепости пушка, морозный воздух дрогнул, пролетевшая ворона метнулась вбок, ядро с воем пронеслось над пугачевцами. Пугачев отдал приказ возвращаться восвояси.

– Пустобаев, – сказал он могучему старику казаку. – У тебя силенка есть и голос – что труба... Садись-ка ты в эти сани да подвези под самые стены пять мешков муки...

– Кому же, ваше величество, муку-то? – соскочив с коня, пробасил гулко Пустобаев. С проседью широкая борода его моталась под ветром венником.

– А вот кому, – ответил Пугачев. – Сбрось ее там, в степу. А как сбросишь, дак возгаркни, что, мол, от государя императора подарок. Ни ружья, ни пики не бери с собой, а поезжай мирно... Чуешь?

– Сполню, ваше величество, батюшка! – Пустобаев, шевеля бровями и морща лоб, уселся в сани, заехал за мукой и двинулся по направлению к бердским крепостным воротам.

«Вот так уха из петуха! – раздумывал он. – Да уж не с ума ли спятил батюшка, чтоб непокорных снедью жаловать?»

Вскоре раздался на всю степь зычный голос старика:

– Эй, народы! Слышь, нет?

– Слышим! – донеслось от крепости.

– Как вы все изголодались, лошадей всех переели, а теперь скотские кожи в пищу употребляете, так вот царь-батюшка жалость возымел к вам... Слышите? И жалует он вас по-первости пятью мешками оржаной мучицы. Молите за отца нашего Богу да ешьте на здоровье!..

Он сбросил мешки при дороге, стегнул лошадь и, все время оглядываясь, понесся прочь.

...Вскоре возле мешков выросла толпа. Поднялись крик, ругань, а затем и потасовка. Мешки то грузились на салазки, то вздымались на загорбки. Но более сильные с боем завладевали нечаянным добром.

– Это не по-божецки! – вопили в толпе.

– Всем поровну, всем! Волоки на важно!.. Там разделим.

А когда вкатился народ с мешками в городские ворота, его сразу же окружил наряд конных полицейских да сотня казаков.

– Мирянушки! Не отдавайте! Это нам Бог послал...

– А ну, в нагайки! – скомандовал казачий сотник.

– Окаянные! Хриstopродавцы! – завывали разбежавшиеся под ударами нагаек голодные горожане. Иные из них, придя в отчаянье, повалились на тугие мешки. – Убивайте нас, – кричали они, – а добро не отдадим!..

Со всех сторон сбегались люди с дубинами, топорами, железными палками. В крепости забил барабан, скатывалась вниз, в город, вооруженная подмога. По улицам и переулкам вскипела драка. Двух стариков затоптали насмерть, какой-то тетке вышибли нагайкой глаз, кузнецу раскрыли саблей голову, многим повредили руки, ноги. Люди валялись на снегу, стонали, изрыгали ругательства, ползли, обливаясь кровью, на карачках.

Перемешанные с грязным снегом и лошадиным калом, серели на дороге кучи ржаной муки, на кучках с усердием работали воробьи. Там и сям валялись в клочья раздернутые пустые мешки, чернели лапти, шапки, опорки, оторванные в драке полы.

От губернаторского дворца проскакал на коне обер-полицмейстер, следом за ним, в открытых санях, губернатор Рейнсдорп с генералом Валленштерном. Губернатор пучил во все стороны изумленные глаза, ничего не понимая.

Емельян Иваныч узнал о происшествии лишь поздно вечером. Во дворец ввалился пьяный Пустобаев, без шапки, в наспех наброшенном на плечи полушубке и, низко кланяясь сидевшим за столом Пугачеву и Шигаеву, закричал:

– Ключуло, батюшка, ключуло!

Он сипло дышал и щурился на огоньки свечей.

– Ты о чем, дед? – спросил Пугачев. – Что там у тебя ключуло!

– А мучица-то, пять мешочков-то, – оглаживая пудовой рукой бороду, ответил Пустобаев. – Ключуло, говорю... Как на приваду... Сей минут прибегли оттедова, с Оренбурху, четверо штукатуров, да три сапожника со всем инструментом, да мастеров слесарного цеху человек шесть, тоже со инструментом, да восемнадцать человек солдат с ружьями, с порохом, да пятьдесят два наших яицких казачишек, при них

четыре бабенки, ваше величество. Ур-ра, батюшка, ура!.. – скосоротившись, заорал вдруг Пустобаев и замахал руками; по горнице гулы пошли, а Пугачев, ткнув Шигаева локтем в бок, захохотал:

– Видал, Максим Григорьич? А ты муки жалел...

Пустобаев вытер кулаком слезы на глазах и восторженно сказал Пугачеву:

– Ну, батюшка, твое царское величество! Сатана хитер, а ты, не во вред тебе будь сказано, похитрей сатаны будешь...

Пугачев опять захохотал, поспешил пальцы и снял со свечей нагар.

– А я, как ты мне приказ отдал, все думал да думал: зачем бы это царю-государю в ум взбрело муку неприятелю подбрасывать? – продолжал Пустобаев.

– А таперь спознал? – милостиво спросил Пугачев. – Всякий теперь убедится, что в Оренбурге голод живет. Не долго уж Рейнсдорпу супротивничать моему царскому величеству. А ежели будет упорствовать, так народ с голодухи-то сам ворота отворит мне. А за верность твою и за усердие жалую я тебя, Пустобаев, чином сотника. Твои атаманы вместе с комендантом Симоновым в рядовых тебя до седых волос держали, а я вот, император, награждение тебе дарую. Служи и впредь верно, как предки твои служили моим предкам блаженной памяти.

Пустобаев повалился Пугачеву в ноги и со всем усердием стукнулся широким лбом в половицу.

Военная хитрость Пугачева имела удачный для него отзвук в Оренбурге. В народе говорили, что не пять мешков, а целых шесть возов было с хлебом, да бедноте-то не досталось ничего: немилое начальство весь хлеб спроворило себе забрать.

Вездесущая Золотариха в хлебной склоке участия не принимала, у нее в то время гулял купчик Полуехтов. Он поведал шинкарке о своем приключении в Берде, о том, как разбойник Пугачев приказал обрубить ему ухо, но спас его промысел Божий да дюжий старичина Пустобаев: «Я, говорит, этому жулику и ухо обкорнаю, и в город отвезу». В город он действительно Полуехтова отвез, но к уху его не прикоснулся и ни гроша за услугу свою не взял. «Только, говорит, на глаза батюшке не показывайся...»

– А ведь я ему император совал... Ну-тка, милушка, налей во здравье Пустобаева. Ура!

4

Бибиков даже при поверхностном знакомстве с положением дел в Казанской губернии пришел в отчаяние. Боже, что за колпак, что за безвольная тряпка этот Брант! Ему ли, этому старому немчуре, управлять губернией в столь смутное время?

Не выпуская из руки пера, Бибиков, при посредстве секретной комиссии, сразу впрягся в неослабную работу: день и ночь писал он инструкции, приказы, принимал множество просителей с жалобами на нераспорядительность начальства, на многие обиды и убытки, творимые восставшей чернью и башкирцами; выгонял с должностей нерадивых чиновников, заменяя их надежными людьми из своей многочисленной прибывшей с ним свиты. Узнав, что нелепой прихотью Бранта некоторые ответственные места в губернской иерархии заняты пленными польскими конфедератами, Бибиков состроил брезгливую мину. «Отказываюсь понимать милейшего Якова Илларионыча... Какая вопиющая политическая беспринципность!»

Он все еще не находил времени как следует перемолвиться с губернатором. И вот 1 января, когда губернские чиновники приносили Бибикову новогоднее поздравление, он взял Бранта под руку, отвел в кабинет и там заперся с ним.

– Яков Илларионыч, как это случилось, что Пугачев на ваших глазах мог столь усилиться?

Брант мялся, не находя надлежащего ответа. Наконец сказал:

– Дражайший Александр Ильич, я считал бы справедливым подобный вопрос адресовать не мне, а губернатору Рейнсдорпу... В нем корень зла!

– Может быть, отчасти вы правы. И подобный вопрос, только в сугубой степени, будет своевременно Рейнсдорпу предложен. Но вот вы-то, скажите мне по-приятельски, почему так нерешительны стали в делах своих? И все у вас... гм-гм... шиворот-навыворот. Подчиненные сверх меры распущены, ни дисциплины, ничего. И эти конфедераты... Ох уж эти конфедераты! А вы с ними цацкаетесь, на балах они у вас первые гости.

Брант, волнуясь и мысленно шепча «умную» молитву, стал оправдываться:

– Ну, а что же я могу поделывать, когда все меня обманывают? Кем места занимать, если честные люди редки в наш век? Тут и про конфедератов вспомнишь, и им поклонись...

– Нет, Яков Илларионыч, вы не правы. Среди нашего чиновничьего мира много людей добропорядочных, лишь надо знать секрет выискивать их. Или, быть может, вы нашим людям предпочитаете вообще иноземцев? Я прежде знавал вас за человека энергического и справедливого, а вот ныне... – Бибиков развел руками. – Сами посудите, на что сие похоже: воеводы и гражданские начальники страха ради из многих мест удалились, бросили города свои на расхищение злодеям. Край оставлен без правителей, без защиты...

Брант был до чрезвычайности взволнован, он весь внутренне сжался, даже позабыл следить за пульсом.

– Все меня обманывают, все обманывают, – бормотал он и сокрушенно потряхивал головой.

– Ежели сами не можете всем распорядиться, за всем усмотреть, так приказали бы присматривать за порядком кому-либо из надежных...

– Как это возможно! – воскликнул Брант скрипучим голосом и зажевал губами. – Ежели я не поеду по губернии, так и никто не поедет...

– Удивляюсь, – сказал Бибииков и стал отдуваться, как будто ему не хватало воздуха. – Уж не больны ли вы, ваше превосходительство? Может быть, на покой хотели бы, да стесняетесь? Прошу вас быть со мной откровенным.

Бранта стало бросать в жар и в холод. «Вот оно... вот... началось», – мелькало у него в мыслях.

– Ваше высокопревосходительство, – нервно откашлявшись, сказал он, и старческие глаза его оживились. – Прошу повергнуть к священным стопам ее величества изъявление моих верноподданных чувств и заверить государыню в моей ревностной в столь тяжелое время для нашего отечества службе.

Бибииков насупился, молчал. Он заметил, как рука Бранта, оправлявшая орденский бант на груди, дрожит мелкой дрожью.

– Ну, а каков же у вас план, Яков Илларионыч, для истребления злодея?

Тогда, собрав последние силы, Брант стал излагать Бибиикову свои соображения. Слушая его сбивчивую речь, Бибииков то удивленно вскидывал брови, то пожимал плечами. Неужели этот немец выжил из ума, он вовсе не мыслит широким планом, как подобает государственному мужу? Сдается, Пугачев для него то же самое, что для ребенка бука, не больше!

– Не кажется ли вам, – едва сдерживая чувство горечи, начал главнокомандующий, – что ваш план для уловления плута Пугачева недостаточно основателен и, я бы сказал... я бы сказал... просто наивен! Вы советуете защищать границы Казанской губернии, дабы не допустить за оные толпы мятежников. Не так ли? Но разве Оренбургская и прочие губернии за пределами нашей империи? Пугачева надлежит истреблять всюду, где бы он ни был обнаружен. Ежели б он и под водою скрылся, то и там его должно атаковать... – Подметив, как лицо Бранта покрывается мертвенной бледностью, Бибииков оборвал речь, испуганно звякнул в звонок и поспешил старику на помощь.

Хотя сегодня большой гражданский праздник – Новый год, но у Бибиикова полна охапка всяких дел. Он направился в дом предводителя дворянства Макарова, где ожидали его казанские дворяне.

В приподнято-патриотической речи Бибииков изложил дворянам свой взгляд на происходящие в крае события и напомнил, что первый долг дворянина жертвовать не только всем своим имением, но и жизнью для спасения отечества.

– Я говорю с вами, как дворянин с дворянами. Наши интересы суть едины. Я призываю вас оказать мне немедленную помощь к прекращению до крайности возросшего зла.

Ответив Бибиикову не менее парадной патриотической речью, припугнутые дворяне тут же постановили составить из собственных крепостных и своим иждивением вооружить конный корпус, собрав для этой цели по одному человеку с каждых двухсот душ. Командование корпусом было поручено родственнику Бибиикова, отставному генерал-майору Ларионову.

На другой же день казанский магистрат, ведающий купечеством, постановил, по примеру дворянства, сформировать конный эскадрон гусар на своем иждивении и содержании.

В поощрение дворянству Екатерина приняла на себя звание «казанской помещицы». Bravo, bravo! Императрица умеет играть на душевных струнах своих подданных. Получив известие от Бибиикова, она весьма довольна была поведением казанского дворянства: «Сей образ мыслей прямо есть благороден». И 20 января 1774 года дала указ дворцовой канцелярии: собрать с государственных крестьян Казанской губернии по одному человеку с двухсот душ и «снабдить каждого всем к службе потребным: мундиром, амуницией и лошадью с прибором».

Гонец из столицы скакал быстро. Уже через неделю Бибииков получил от Екатерины рескрипт и личное письмо. А три дня спустя, то есть 30 января, он собрал дворян, живших в Казани и окрестностях, для объявления им высочайших словоизлияний.

Дворяне, заранее ознакомленные с содержанием рескрипта, в эти три дня успели к торжественному собранию подготовиться. Предводитель дворянства Макаров позвал к себе в гости возвратившегося из Самары Державина и попросил его составить ответную от имени дворянства речь, к императрице обращенную.

– Я осведомлен, молодой человек, от вашей достопочтенной родительницы, – сказал он, – что вы искусны в пиитических опусах, а также с отменным изяществом излагаете свои мысли на бумаге.

Державин, отдавая поклоны, сначала отказывался, краснел, наконец согласился. Удалясь в кабинет хозяина, куда были поданы ему для вдохновения графин смородиновой наливки и закуски, он довольно быстро набросал нужную речь и затем, сияющий, вдохновенный, приподняв плюшевую портьеру, вернулся в зал.

– Готово, ваше превосходительство! – воскликнул он, прищелкнув по бумаге перстнем. – Разрешите огласить?

– Стойте, стойте... – вымолвил задремавший в кресле хозяин. – Сейчас, душенька, своих скличу, – и приказал позвать жену и четверых ребятишек.

Явившиеся уселись на широкий, в парчовой обивке, диван. Маленькая Верочка, в бантах, удивленно открыв малиновый ротик, уставилась темными детскими глазками на великана. А тот, оправляя офицерский кушак с шелковыми кистями, нетерпеливо поглядывал на предводителя. В полукруглые, выходящие на запад окна падал солнечный холодный свет. Всюду блеск позолоты и хрусталя. В простенке – большой, писанный масляными красками, портрет императрицы во весь рост, а в противоположном простенке, от потолка до пола, богатое трюмо. Екатерина, в накинутой на плечи порфире, гляделась в зеркало и приятно самой себе улыбалась.

– В сей зале послезавтра, – сказал предводитель, сделав плавный жест пухлой барственной рукой, – генерал-аншеф Бибииков будет принимать доверившееся моему попечению дворянство. – Лицо предводителя крупное, овальной формы, одутловатое, нос широкий, приплюснутый. – Итак, приступим, – сказал он.

Державин выставил вперед левую ногу, правую руку закинул за спину и откашлялся. И все, приготовившись слушать, тоже легонько откашлялись. Откашлялась, подражая взрослым, и маленькая Верочка. Державин повел взором по портрету государыни, по лицам хозяев дома и стал с выражением читать мужественным басом, напрягая голос, все громче и громче.

Когда он закончил чтение речи, хозяин восторженно закричал:

– Bravo! Великолепие! – Он подшаркал по скользкому паркету к Державину, обнял его и трижды чмокнул в мясистые, чисто выбритые щеки. – Ах, какой слог, какая сила и... какой благородный пафос! Златоуст! Демосфен!

Варсонофий Перешиб-Нос, беглый екатерининский солдат, заохотился самолично взглянуть на славного мужицкого царя. Он еще по осени слышал царицыны манифесты, где говорилось, что бунт на Яике поднял какой-то беглый казак Емелька Пугачев. Да уже не тот ли это казак Емелька, который шесть лет тому назад распорядился совместно с ним, с Варсонофием, на войнишке в селе Большие Травы? Чем черт не шутит, пожалуй, он самый и есть! Еще ведь о ту пору казачишко поваден был озорству и дерзости.

Варсонофий подъехал к Берде поздним вечером. Сидевшие в овраге караульные мужики остановили его и, узнав, кто он, дали ему приют в землянке. За ужином, у пылавших костров, Варсонофий расспрашивал крестьян о государе, каков он из себя. Ему отвечали: «Батюшка черноволосый, крепкий, кость широкая, взгляд орлиный, а когда идет пеш – народ едва успевает за ним вприпрыжку». – «Ну, стало, он и есть», – решил Варсонофий.

Случайно повстречал он Пугачева, с глазу на глаз, лишь на третий день. Емельян Иваныч вышел разгуляться. Был погожий вечер. Варсонофий сразу признал Пугачева и даже улыбнулся ему по-приятельски, но вслед за тем повалился в ноги.

– Здрав будь, Емельян Иваныч!

Пугачев с суровостью взглянул на него, негромко, но резко спросил:

– Кто таков?

– Перешиб-Нос я... Не признал?

– Стой, стой!.. Варсонофий, что ли?

– Я и есть.

– Встань. Откудова прибыл?

– Из отряда Арапова.

– Где же ты шесть, почитай, годков скрывался?

– На Иргизе, у скитских старцев время проводил, батюшка.

– Так... Добро! Прибудешь ко мне об эту пору завтра – потемну. Да чтоб на левом рукаве у тебя холстинка была. С повязкой белой пропустят. И чтоб язык твой касаясь прошлого онемел вовсе... Я царь твой. Понял? Прощай! – И, сдвинув брови, Пугачев ходко зашагал прочь.

...Беседа Пугачева с Перешиб-Носом состоялась тайно, в комнате-боковушке, где когда-то принимал царь Дашеньку с Устиньей Кузнецовой.

Густые рыжеватые усы Варсонофия свисали на грудь. В широко открытых глазах его – полная покорность и пристальное, как у солдата в строю, внимание.

Они говорили, выпивали. Дверь плотно закрыта, горит на столе сальная свеча.

– За усердную службу твою, Варсонофий, спасибо тебе. Мне про тебя Илья Арапов докладал, атаман. Жалую тебя, Варсонофий, полковником своим...

– Благодарствую, батюшка, Емельян Иваныч, – ответил Перешиб-Нос и, распрямив насупленные брови, встал и поклонился Пугачеву.

– При народе меня царем зови, слышь? Царь и царь...

– Понимаем, все понимаем, батюшка.

– То-то! Будь верен мне и дела нашего по глупости своей, смотри, не сгуби... Помнишь, как мы с тобой в Больших Травах бучу подняли?

– До смертного часа не забуду, ерш те в бок!.. – оживился солдат.

– М-да... О ту пору у нас только травы были, а теперь, выходит, – вековые деревья. Давай-ка, братец, вместе столбы рубить, заборы-то сами повалятся. Ась?

– Истина твоя, ваше величество, повалятся. Ежели столбы срубить – заборы рухнут! – Варсонофий

покрутил усы, осторожно тронул Пугачева за коленку. – Всю жизнь у меня, у старого солдата, в мыслях было: чем бы и как нашу мужичью судьбишку прикрасить... А вот теперича...

– В судьбу свою зашли мы, как в темный лес, – перебив его, раздумчиво откликнулся Пугачев. – И конца-краю тому лесу не видно... – Он вздохнул, однако глаза его поблескивали упрямым непокорством. Пристукнув о стол кулаком, он, не таясь, повысил голос: – Эх, либо в стремя ногой, либо в пень головой! Так, что ли?

– Так, так, ваше величество, Емельян Иваныч!

Наступило молчание. Над Бердой с гулом проносилась вьюга. Поскрипывали оконные ставни. Изразцовая печь прогорала: по алой россыпи углей, подернутых седоватым пеплом, струились синие огоньки. Хозяин подбросил дров, прошелся взад-вперед и, как бы прислушиваясь к словам своим, тихо молвил:

– Опаска берет меня, Варсонофий, сумнительство. Дела-то нам, мотри, пожалуй, не кончить. Силенок маловато при нас.

Жадно уплетая осетрину, Варсонофий сказал:

– Что там! Силенки, батюшка, добавятся. Вот ужо крестьянство понатужится, да к тебе и повалит. В больших тысячах будешь, отец родной!

– Крестьянство и так валит. Только велик ли прок в том? Мы на Катьку-царицу с клюшками, а она на нас – с пушками. Вот, слышно, самого Бибикова, генерала, выслала по наши души.

Голос Пугачева дрогнул, брови дугами высоко вскинулись, а концы губ приопустились. Он знал, что Санкт-Петербург зашевелился, собирает против него силы, и не наследник-цесаревич полки в его защиту ведет, а сам генерал-аншеф Бибиков ополчился на него... Слух был – уже в Казани он, Бибиков. Помнит его Емельян Иваныч еще по Пруссии: вояка что надо!

– Вот какие дела-то, Варсонофий! – проговорил он глухо, остановился подле солдата и, заложив назад руки, ищуще заглянул ему в суровое, мужественное лицо.

В последнее время частенько вступал Емельян Иваныч в беседу с теми из своих близких, кого считал не только надежным, а наособицу и крепким душою. Он как бы искал помощи и опоры, предвидя близкие нелегкие дни в неравной тяжбе своей с дворянами и с первою среди них дворянкою – царицей.

Перешиби-Нос толкнул в сторону блюдо с жирною осетриной, сытно рыгнул и, подумав, сказал:

– Известно, с сильным не борись, ерш те в бок, с богатым не судись!.. А только одно держу я в мыслях, Емельян Иваныч: не мы, так другой кто, а кому-то зачинать надобно было. Вот ты о генералах... Генералов-то царских десятками считают, а крестьянства-то на Руси великие миллионы... Всех, значит, не перемнешь. Нас, горемык, потопчут – другие которые встанут... Главное – начать! Не век же, ерш те в бок, мужику под барами маяться!..

– Правильно судишь, Варсонофий, – одобрил Емельян Иваныч. – Всею голова – начало... А ежели начало положим, так уж... того... не пятиться! Накинем, что ли? – И Пугачев потянулся к чарке. – Поболе бы мне таких, как ты, Варсонофий. Да вот еще тяглых людишек с заводов. Да, прямо скажу – отменный народ! Намедни с Воскресенского завода выборные были... Ну, любо послушать. «Мы, – говорят, – твоему величеству – ядра да пушки, а ты нам – солдат своих на защиту. А солдат, – говорят, – у тебя вдосталь, только, слышно, распорядку мало!» Я, конечно, вскипел. «Не вам, – говорю, – в распорядок мой царский носы совать!..» И прочее такое. А один тряхнул башкой и говорит: «Ваша, – говорит, – воля, а без распорядку и лопаты не выкуешь». Дале – боле, шумели мы изрядно, ну а все же в полном расстались согласии, при общем антиресе.

Они проговорили до рассвета, а чуть стало светать, Перешиб-Нос пошел на кухню отсыпаться.

5

Тот же, у предводителя, зал. Дворянство в сборе. За Бибиковым поехали два депутата. Он в военном мундире с андреевской через плечо лентой, в ботфортах. Глаза, как всегда, живые и быстрые, но лицо утомленное, бледное, с желтоватым оттенком.

Выезд был пышный. За ковравыми санями главнокомандующего скакали на холеных конях уланы в щегольских мундирах. Народ махал шапками, кланялся, выкрикивал приветствия. За месячное пребывание Бибикова в Казани жители успели оценить его, они опознали в нем начальника твердого, справедливого. Да, Бибиков по душе пришелся казанцам. Многие чиновники, казнокрады и взяточники, «слетели» со своих мест, едва их коснулась рука главнокомандующего. Туда им и дорога! Это тебе не Кар и не Брант, не «фон-барон» какой-нибудь, а наиприродный русак – Александр Ильич Бибиков. И всяк знал, что есть он прославленный герой-войка... Ура Бибикову, ура, ура!..

В вестибюле главнокомандующий, как полагается, был встречен одним из помещиков. А на верхней площадке парадной лестницы, обставленной аляповатыми гипсовыми статуями, представлявшими копии античных образцов, Бибикова приветствовал сам хозяин, предводитель дворянства Макаров. Он в старинном пышном парике, в кафтане табачного цвета с серебряным шитьем, потемневшим от времени. В зале, возле портрета Екатерины, стояли полукругом, в напряженных позах, дворяне – разных возрастов и разных комплекций: высокие и приземистые, тощие и толстые, плюгавые и большебрюхие. Все взирали на подходившего к ним Бибикова с подобострастием, рабской преданностью: «Грядет избавитель!»

Бибиков пожал всем руки, затем отступил на несколько шагов и начал:

– Господа дворяне!..

Но в этот миг приоткрылась дверь в соседнюю комнату, и вихрем ворвалась похожая на куклолку предводительская Верочка в коротеньком платьице и панталончиках. Бибиков, улыбнувшись одними глазами, видел, как от дверей бросилась в сторону одетая в воздушное платье хозяйка и трое детей, а гувернантка уже бежала за Верочкой, которая, по-детски хохоча и повизгивая на бегу, лепетала:

– Ах, глупости, глупости. Я здесь хочу. Я буду дядю глядеть... – Взхлеб тараторя, она ничего перед собой не видела, мчалась прочь от гувернантки, с разбегу налетела на блестящие ботфорты Бибикова, шлепнулась задом на пол и, ударившись затылком о ковер, потешно закорючила свои крохотные, в панталончиках, ножки. Но не заплакала.

Гувернантка и наиболее прыткие из дворян кинулись к ней на помощь. Пользуясь сумятицей, пожилой ловелас Ушаков, вместо маленькой Верочки, ухватил под мышки пышногрудую Амалию Карловну... Та кокетливо взвизгнула, вильнула локтями... И – все пришло в достойный порядок.

Бибиков поцеловал Верочку в щечку.

– Ах, какой чудесный ребенок! – Усадил ее в кресло, сказал: – Ну, сиди и слушай, что будут говорить старшие.

Отец, улыбаясь в душе, сурово грозил присмирившей Верочке глазами и пальцем. Амалия Карловна стояла за креслом Верочки, пунцовая, словно пион, и строгим взором косилась в сторону толстобрюхого Ушакова.

– Господа дворяне! – вновь воззвал Бибиков. Верочка, с детским любопытством разинув маленький ротик, воззрилась на красивого дядю и перестала мигать.

Ей неинтересны, да и непонятны были слова – она только слушала чужой голос, как слушают музыку.

У дяди волосы темноватые, зачесаны назад («парика потому что нет»), а на маковке лысинка. Вот дядя выкинул руку вперед и маленько поклонился царице и что-то громко сказал, а потом руку опустил: «уморился потому что...»

Бибиков кончил читать рескрипт государыни. Дворяне закричали:

– Да здравствует великая наша самодержица! Да царствует над нами щедрая мать наша! Рады жертвовать всем достоянием своим и кровь свою готовы пролить за великую мать отечества. Ура, ура!..

Верочке очень понравилось, как на разные голоса вопили эти... самые... Особенно старался дядя Кузя. У него ножки коротенькие, только чересчур уж толстые, и живот толстый очень, будто большой глобус, «а во рту ни одного, почитай, зуба», кричит и приседает, кричит и приседает – совсем дергунчик... Верочка сначала улыбнулась, потом захохотала и, испугавшись, тотчас прикрыла обеими руками свой непокорный ротик.

Далее – слово предводителя дворянства, затем слово командира дворянского ополчения генерала Ларионова, готового «остаток дней своих посвятить на службу дворянства, благодарно воспламененного ревностью и примером». Старичок прослезился, нижняя губа его отвисла, он стал искать по карманам платок, не нашел, лицо его омрачилось.

Затем Бибиков огласил собственноручное письмо Екатерины, в коем она принимала на себя звание казанской помещицы. Снова прозвучало восторженное «ура».

Предводитель дворянства поблагодарил главнокомандующего за объявление столь высокой и приятной вести и попросил дозволения высказать дворянам свои чувства перед самодержицей. Бибиков кивнул головой:

– Прошу!

Речь должен был прочесть казанский помещик Бестужев, но он простудился, охрип, и вместо него пришлось потрудиться самому Макарову. По его округлому жесту все повернулись лицом к портрету царицы, как в храме к престолу Всевышнего. Некоторые молитвенно подняли брови, закатили глаза, иные с благоговением сложили на груди руки, будто перед причастием. Екатерина взирала на всех них с усмешечкой, не то одобряя, не то издеваясь над ними.

Предводитель дворянства извлек из-за обшлага голубоватый листок с сочиненной офицером Державиным речью.

Через двойные рамы донесся первый удар большого соборного колокола: призыв к богослужению. Предводитель надел очки, отчего одутловатое лицо его приобрело особую солидность и важность. Громким, слегка гнусавым голосом он стал говорить, как хороший актер, то приподымаясь на цыпочках и ударяя себя в грудь ладонью, то простирая руки к монархине.

– «...с исполнением долга нашего – хотя мы не заслуживаем особого вашего императорского величества высокого нам признания; хотя мы недостойны любезного дражайшего нам товарищества твоего, однако высочайшую волю твою разверстым принимаем сердцем и за наивеличайшее ее почитаем благополучие. Начертываем неценные слова благоволения твоего с благоговением в память нашу. – Предводитель надулся и, взбросив к портрету обе ладони, прокричал: – Признаем тебя своею помещицею! Принимаем тебя в свое товарищество! Когда угодно тебе, равняем тебя с собою! – От азарта, от напора чувств он весь вспотел и налился опасным румянцем. – Но за сие ходатайствуй и ты за нас у престола величества твоего. Ежели где силы наши слабы совершить усердие наше тебе будут, помогай нам и заступай нас у тебя! Мы более на тебя, нежели на себя, надеемся!» – вновь надулся и выкрикнул он, потрясая всем корпусом, головой и руками.

Прислушиваясь к чрезмерному крику хозяина, Бибиков насмешливо поднял брови и покосился на Верочку. Но Верочки не было. Верочка убежала к матери и там звонко выкрикивала:

– Ой, ой, мамочка! Папка царицу ругает...

Все направились в собор. Впереди стоял Бибиков с прибывшим к началу богослужения Брантом, за ними дворянство с именитым купечеством. Потом Вениамин служил благодарственный молебен.

Бибиков снова весь погрузился в работу. Были получены сведения, что дворяне симбирские, свияжские и пензенские, по примеру казанских, приступили в свой черед к формированию ополченских корпусов. Екатерина 22 февраля издала особый манифест с восхвалением дворянства, а также и купечества.

Бибиков не обольщал себя надеждою на то, что ополченские отряды могут принести в усмирении мятежа основательную помощь, он смотрел на ополчение лишь как на средство поднять поникший дух населения. Он просил императрицу прислать в его распоряжение несколько полков пехоты, в особенности кавалерии. «Обнаженный от воинских команд здешний край, – доносил он, – не в силах удерживать стремление многолюдной сей и на таком великом пространстве рассыпавшейся саранчи».

Глава III

Яицкий городок. Подкоп. Иван Белобородов

1

И снова – Яицкий городок, былой оплот, столица яицкого казачества. Казаки-пугачевцы давненько не видали его: ушли, когда еще златолистая осень была, а теперь зябкая зима лежит, сугробы, стужа.

Вот он, родимый, красуется – весь тут, в кучке! Те же каменные церквушки, те же узкие, кривые, утонувшие в сугробах улочки, обстроенные рублеными избами, украинскими белыми мазанками, есть и кирпичные домишки.

А на взлобке – крепость, кремль. Комендант полковник Симонов немало потрудился над приведением крепости в боевую готовность, он словно знал, что пугачевская вольница обязательно нагрянет и сюда. Да так оно и вышло!

Атаманы за последнее время снова и все упорнее стали напирать на Пугачева:

– Пора, батюшка, надежа-государь, Яицкий-то городок брать. Там всего много, там и зимовать станем. А Оренбург-то обождет, он весь у нас в горсть зажат.

Не желая снимать осады с Оренбурга, Пугачев был согласен послать под Яицкий городок особый отряд под началом дельного казака Михайлы Толкачева. Но башкирские полковники, муллы, князя, не разобрав, в чем дело, решили крупно поговорить с Пугачевым.

В теплых, вывороченных вверх шерстью шубах, в меховых малахаях они ввалились в царский дом и, подогнув ноги, бесцеремонно расселись на полу. Взволнованный Пугачев стоял, прислонясь спиной к горячей печке. Толмачом был широкоплечий крепыш Идорка. Башкирская знать – муллы, князя, полковники, перебивая друг друга, говорили:

– В Яицкий городок мы тебя не пустим. Ты уверил нас, что есть ты государь Петр Федорыч, и обещал Оренбург брать. А взяв Оренбург, сделать так, чтоб губернии не быть и чтоб мы, башкирцы, оной не были подвластны. А замест того ты, бачка-государь, задумал оставить нас на пагубу, которую претерпевали отцы наши, смертью казненные.

И вот наш сказ тебе! – выкрикнул башкирский старшина Кидряс. – Покуда ты не исполнишь своего обещания, мы тебя никуда не выпустим!

– Как же умыслили вы, неразумные, удерживать меня, повелителя вашего? – Пугачев прошелся по горенке, почесал за ухом, задвигал бровями: дело осложнялось. – Чтобы удержать меня, нет такой силы. Я стрела, пущенная из лука, – сказал он миролюбиво, но в сердце его закипала кровь.

– Стрелу, пущенную из лука, можно перенять на лету стрелой встречной, – строптиво возразил Кидряс и запыхтел с таким напором, что обвисшие концы скатерти (он сидел на полу возле стола) заколыхались и вокруг запахло едко кумысом.

– Для учинения нового к Оренбургу приступа я повелел высокие строить лестницы, – сказал Пугачев.

– Знаем.

– Ко мне на помощь идет мой сын, цесаревич Павел Петрович, с тремя генералами. Они ведут много

войска.

– Этого не можем знать.

– Так знайте! – не сдерживаясь уже, крикнул Пугачев. По его пальцам пробежала судорога; пальцы сжимались в кулаки и разжимались. – Давилин! Живо сюда портного, чтобы тащил чекмень его высочества...

Еще не дошитый вполне чекмень из тонкого алого сукна с золотыми галунами Пугачев швырнул на головы ближних башкирцев и сказал:

– Вот казацкая сряда сыну моему, его высочеству. Как прибудет сюда, в казаки поверстаю его.

Чекмень переходил из рук в руки, башкирцы оживились, щупали сукно, прищелкивали языками: «Якши, якши... Бульно караша...» Затем снова нахохлились, поглядывая на Пугачева хмуро. Седобородый, с живыми черными глазками мулла, капризно оттопырив губы, сказал:

– Ежели ты в Яицкий городок откочуешь, мы от тебя со всем народом нашим тоже утеем!

– Народ не слушает вас.

– А вот посмотрим!

– Они присягу принимали мне.

– Я твой присяга сниму с них, – раздувая седые усы, сказал мулла. – У нас свой присяга.

– Присяга разная, а Бог один... Я им волю дарю, своим царством Башкирия станет жить.

– Знаем! Сначала Оренбург бери.

Пугачев, стиснув уста, задышал шумно через ноздри, хотел крикнуть мулле «собака» – но сдержался. Сказал:

– Ступай мирно по домам. Ответ дам завтра.

– В какую пору? – спросил старшина Кидряс.

– В полдень.

Семеро башкирцев – муллы, полковники, князя – поднялись с полу и, не попрощавшись с Пугачевым, шумной гурьбой вышли. По знаку Пугачева вышел и толмач.

Вся накопившаяся ярость в Пугачеве рвалась наружу. Он залпом опрокинул в горло большой стакан вина, выгнал вон подносящуюся наверх с веником Ненилу, топнул, крикнул:

– Палача сюда!

Прибывшему Ваньке Бурнову сказал:

– Завтра к полудню чтоб были готовы на виселице семь ожерельев из веревок... Чуешь?

– Чую, царь-отец. Кого ловить прикажешь?

– Сами придут.

Миновал день, миновала ночь.

Поутру явился к Пугачеву Максим Шигаев, покрестился на икону, отдал поклон и, помахивая перстами по раздвоенной бороде, с волнением, но тихим таящимся голосом заговорил:

– Что ты удумал, батюшка, Петр Федорыч?.. Да нешто возможно башкирских начальников принародно вешать? Тут такая растатурица пойдет с башкирским людом, что обери...

– Они в казни повинны, супротивники мои... Смерть им! – закричал Пугачев. – Не встревай в мое дело, Максим Григорьич!

– Дело, батюшка, Петр Федорыч, не твое и не мое. Дело наше мирское.

– Знаю.

– Так на том и порешим, ваше величество. Дело делай, а умей и головы свои жалеть.

– Жалей свою...

– Твоя голова, Петр Федорыч, дороже моей. Твою и жалею! Да ежели бы ты, Боже спаси, повесил их, вся башкирь ушла бы, а за ними и калмыки, и киргизы, и, чего доброго, татары.

– Так как же мне их, изменников, в оглобли-то ввести?

– А никак, ваше величество. Тех семерых, предателей народных, уже нету больше.

– Как так нету? – вскинул крутые брови Пугачев.

– Да так вот и нету! – развел руками Шигаев и, ухмыльнувшись в бороду, закашлялся.

Пугачев вдруг как бы поглупел, он полуоткрыл рот, вопросительно уставился Шигаеву в лицо:

– Уж полно, не повесил ли ты их? Ась?

Шигаев стал рассказывать. Он вчерась видел вышедших от Пугачева башкирских «коноводов», они ругали «батюшку». Затем встретил Ваньку Бурнова, поговорил с ним и, сразу все смекнув, велел ему ставить виселицу среди башкирского стойбища, а Почиталина послал обойти тех семерых смутьянов и сказал им, чтоб они до завтрашних полден никуда из Берды не отлучались. «Для кого виселица ставится?» – спросили они. «Не знаю», – ответил Почиталин.

– Вот и все, батюшка, Петр Федорыч. Вот и все. А в ночь, оседлав коней, все семеро тайно бежали. Да ведь они из богатеев богатеи, с ними пива не сварить, батюшка! Им – что ты, что Катерина царствующая... Лишь бы их не шевелили!

Пугачев ударил себя по лбу и захохотал.

– Значит, убегли? Туда им и дорога! Море по рыбе не тужит.

Шигаев повернулся к двери. Пугачев остановил его:

– Слышь-ка, Максим Григорьевич! Надо бы башкирцам-то дополнительно в котлы отпустить, да вот праздник у них какой-то на очереди, «ураза», что ли, по-ихнему. Треба им к празднику-то вина откатить бочонок да браги трохи-трохи.

– Больно щедр ты, Петр Федорыч, – насупился Шигаев. – У нас эвона сколько вер всяких. На каждого бога и вина не напасешь.

– А я тебе говорю – выкатить бочонок. Самолично буду на ихнем празднике.

– Под Аллаха никнешь?

– Ну и что?.. С православием – я поп, с расколом – раскольник. А понадобится – и Аллаху поклонюсь, голова не отвалится. Чуешь?

– Чую, чую... раз приказываешь, – сказал Шигаев и поспешил к выходу.

Между тем полковник Симонов как следует приготовился встретить непрошенных гостей. Жену с горемычной Дашенькой он отправил подальше от опасности – в Казань, а сам с воинскими частями принялся за работу. По осени земля была еще талая, и он успел возвести непрерывную линию укреплений.

Вновь сооруженный высокий вал с кружевом крепкого частокола из заостренных бревен обоими концами упирался в Старицу[17] и опоясывал часть города с главными зданиями. Церковь и колокольня составляли одну линию с валом, вплотную примыкавшим к их каменным стенам. За вал проникнуть было невозможно: в крепость, кремль тож, вели лишь два входа, запиравшиеся бревенчатыми, окованными железом воротами. На высокой колокольне были устроены под колоколами два помоста с восьмью окнами – во все стороны. На помостах поставлены две пушки при искусных пушкарях. Пушки могли нанести большой вред врагу: при широком обстреле ядра их били вглубь на целую версту. Внутри крепости хранился провиант, боевые припасы, дрова и устроены для нижних чинов теплые землянки.

По приказу Емельяна Иваныча казак Михайло Толкачев уже выступил в поход. В попутных форпостах и мелких крепостях он присоединил к себе казаков и солдат. Жестокий и своевольный, Толкачев всех сопротивлявшихся казнил.

Узнав о приближении к городку толпы пугачевцев, полковник Симонов велел бить в набатный колокол. Стоя с офицерами на валу, возле соборной колокольни, он призывал сбежавшихся казаков войти в крепость, чтобы стать на ее защиту. Вскоре за крепостные стены перебралось около семидесяти казаков – «покорных» и «непокорных»[18]. Много «покорных» осталось при своих домах. Они между собой говорили:

– Мишка Толкачев – зверь! Ежели уйти нам в крепость, выбьет он все наши семьи, а имущество пограбит.

В ночь на 30 декабря Симонов выслал встречу пугачевцам восемьдесят оренбургских казаков под началом старшины Мостовщикова. В семи верстах от городка отряд был окружен мятежниками, казаки передались на их сторону, Мостовщиков брошен в воду.

Утром Толкачев с распущенным знаменем, под звуки рожков и дудок, беспрепятственно вступил в городок. Собравшемуся народу он объявил поклон от царя-батюшки. Не теряя времени, вместе с присоединившимися к нему городскими казаками он двинулся затем к ретраншементу и открыл огонь по крепости. Пугачевцы стреляли с чердаков, из высоких изб или надворных построек, почти вплотную примыкавших к крепостному валу. В своих укрытиях пугачевцы были для ружейных выстрелов неуязвимы.

Симонов решил все ближайšie к крепости строения сжечь и приказал бить по ним раскаленными докрасна ядрами.

Вскоре строения запылали. Ветру не было, и потому пожар далеко не углублялся. Однако мятежники разбежались кто куда. Вдгонку им летели пули с крепостного вала.

Тимоха Мясников прямо с боя, как только пали сумерки, прискакал на коне домой. Рослая branчливая жена встретила хозяина по-строгому:

– Ах ты, бунтовщик проклятый! Дождешься, краснорожая твоя душа... Качаться тебе в петле!

Но все же сменила гнев на милость, повисла у мужа на шее и даже всплакнула. Тимоха пыхтел, приятно отдувался. Он достал из торбы два господских платья, черную шелковую шаль, большую темную, из куницы, муфту, еще золотое колечко. Жена приняла дары, сказав:

– Дождешься, дождешься, краснорожий! – Однако голос ее на этот раз звучал милостиво.

Жаркая банька, распаренный для здоровья веник можжевельный, ужин с крепким пивом, ласковые разговоры под пологом в кровати до третьих петухов, освежающий, какого давно не бывало, сон. Вот добро, вот славно!.. Век бы так... Отдохнуть, растянувшись на перине, а на левой руке – любимая женушка. Да не тут-то было: опять завтра крепость доведется беспокоить. Того и гляди, пулю в лоб получишь. А во всем проклятый Ванька Чика повинен, это он еще по осени соблазнил Тимоху: поедем да поедем царя

смотреть. Вот и досмотрелись! Ну да теперь уж поздно об этом вспоминать. Эх, славно было бы потихоньку да как-нибудь в кусты! Вот ужо государыня войско найдет да великих генералов, живо нашего батюшку-то сцапают, а нас, дураков, на вечные времена к медведям в гости... Эх, эх!

Так думал не один Тимоха Мясников, так думали многие другие казаки-пугачевцы, с трудом и волнением засыпая возле баб на теплых перинах.

Да, хороша, приятна человеческому сердцу своя многомилая домашность, свои родные дети, да мать с отцом, да хлебушек свой, да дух в избе, сыздетства знакомый, сверчок в запечье и прочее. Но... отчего же так бывает: вдруг на простор, на кровавую потеху потянет разгульную головушку? Гуляй, казак, дыши вольным ветром, носись с пикой, с саблей возле самой смерти!.. Удасть ли гонит казака на поле битвы или честь велит?

2

В продолжение трех дней капитан Крылов делал вылазки из крепости, пугачевцы с боем отходили. Пожар еще не кончился. Над взбудораженным городком сизыми облаками плыл дымище, пощелкивали выстрелы, бухали изредка пушки. Выгорела перед крепостью большая, сажен до сотни, площадь. С вала, от соборной колокольни видны устья нешироких улиц, идущих к окраинам. Пугачевцы и все население по ночам устраивали поперек улиц высокие и крепкие завалы из бревен, дров да камня. Симонов принялся громить эти заграждения из орудий. Толкачев струсил, послал к Пугачеву пожилого казака Изюмова за помощью. Он писал: «Оборони, ваше величество, нас от Симонова, а мы тебе все покорны».

Пугачев тотчас выслал на подмогу атамана Овчинникова с полсотней казаков, тремя пушками и единорогом.

Шестого января, в день Крещения, перестрелки не было, а на другой день к городку подъезжал сам Пугачев со свитой и при конвое в пятнадцать человек. В свите – Иван Почиталин, Афанасий Перфильев, в конвое – Варсонофий Перешиби-Нос.

Овчинников с Толкачевым, в сопровождении полсотни казаков, выехали царю навстречу. На окраину городка, куда не могли достать симоновские пушки, сбежались горожане – поглазеть на давно поджидаемого батюшку.

Духовенство в парчовых ризах стояло с хоругвями впереди народа.

Затрезвонили колокола. Казаки сняли шапки, женщины оправили шали и пуховые платки. Сановито подъехал Пугачев. Окинув по-орлиному все сборище, он громко крикнул с коня:

– Здорово, детушки!

Вся толпа, закричав приветствие, посунулась к царскому коню. Еще не проспавшийся со вчерашней праздничной гульбы, старик Денис Пьянов стоял, покачиваясь, впереди всех. Пугачев сразу увидал его, сказал:

– А вот, кажись, и знакомый... Здорово, дедушка Денис! Узнаешь ли меня?

– Как не узнать... – встряхнув локтями, ответил Пьянов и заулыбался. – Узнал, узнал... Ведь дело-то недавно было. У меня на печке-то бок о бок лежали мы с тобой.

– Я тогда Емельян Иванов был, купцом назвал себя. А таперь я царь твой и всея России, Петр Федорович Третий, император. Я хлеб-соль твою помню, дедушка Денис. Служи мне...

– Ур-ра, батюшка! Ура, ядрена каша! – Старик Пьянов восторженно замахал руками, подбросил шапку, споткнулся и упал.

Пугачев приложился ко кресту и сел в приготовленное тут же, на улице, кресло. Началась обычная церемония целования руки.

Две молоденькие девушки, Марфочка и Варя, стояли в обнимку, переводили восхищенные взоры с чернобородого царя-батюшки на красавца Ваню Почиталина да на лихого усача Варсонофия Перешиби-Нос.

Девчонки Емельяну Иванычу понравились. Приметив, как они «пялятся» на Почиталина, Пугачев, сидя в кресле, покосился на своего любимца и подморгнул ему. Ваня Почиталин тотчас сбил шапку на ухо и кивнул головой знакомым девушкам.

Устинья Кузнецова тоже пришла с народом, уж она-то этакую оказию ни за что не прозевает. Статная,

нарядная, в синем душегрее, отороченном белым мехом, во козловых татарских сапогах, она стояла на отшибе, возле чьей-то высокой избы с резными ставнями. «И не подумаю в ручку его чмокать, – шептала она, вприщур оглядывая батюшку. – Только архиереям да попам целуют. А мне, да-кось, наплевать, что он царь». Но сердце девушки сладко замирало: батюшка пригож, батюшка в обхождении с простым человеком милостив и деньгами когда-то швырял в нее, пряничками угощал. Только удивляться надо, чем же он прогневил супружницу свою, всемилостивую государыню Катерину Алексеевну? С характером, должно, матушка, крутая, самонравная... Может, когда он пьяненький, за косы ее оттащил, она и возневалась... Поди, и у них драчки-то случаются. Эх, эх... Проворонил царство-государство, вот и бьется нынче, как рыба об лед.

И видит Устинья Кузнецова: батюшка навстречь ей брови соколиные взметнул, воззрился на нее, черный ус свой крутит, крутит... А на перстах-то драгоценные камешки. И надо бы красной девке улыбнуться, надо бы низехонько поклон батюшке отдать, но, замест того, она резко повернулась, показала батюшке спину, прочь пошла. Озорливый бес, что ли, боднул ее козлиным своим рогом под ребро? Разгоревшимися глазами провожал Пугачев красавицу. «Хороша девка, да норовиста», – подумал он, вздохнув.

С освещенного зимним солнышком пригорка перебрался он мыслью в туманные дали своего родного дома. «Софьюшка, детушки, матушка родимая... Каковы-то они там?» Щемящее чувство тоски закачало его сердце. Но вот опять валяется в снегу этот надоедливый Денис Пьянов. Который уж раз тянулся он облобызать батюшкину руку, но его снова и снова отталкивали прочь.

– Не трог меня, ядрена каша! – шумел он, отбиваясь руками и ногами. – Он царь, ядрена каша, а мы с ним... на печи вместе... Рыбу скупал он у нас...

– Ваше величество! – вытянулся перед государем Михайло Толкачев. – Не погнушайтесь, батюшка, разрешите вам в мой домик пойтить. Не побрезговайте рабами своими...

Симонов с Крыловым наблюдали сборище в подзорную трубу с соборной колокольни.

– И попы там, – сказал Симонов, спускаясь по темной, загаженной голубями лестнице. – Вместе с этой сволочью и долгогривые к самозванцу затесались.

– Попы... от страха смертного! – проговорил Крылов. – Им Мишка Толкачев виселицей пригрозил.

– Благочестивый священник, как и хороший солдат, не должен отступать перед смертью...

Внизу, возле выхода с колокольни, стоял, прижавшись к стене, черноглазый, беловолосый малолеток. При виде начальства он сдернул шапчонку.

– Ты откуда, мальчик? – спросил Симонов.

– А я из городка.

– Как же попал сюда?

– А через заплот перемахнул. Меня батенька послал к вам, казак Федор Неулыбин.

– Неулыбин? Знаю Неулыбина... – Симонов нахмурил брови и по-недоброму посмотрел на мальчонку. – Что ж он, к предателям перешел, к Пугачу записался?!

– Пошто? Ничего не записался... – мальчик смущенно замигал. – Батенька велел сказать вам, барин, что верой и правдой он... А в крепость к вам нейдет, потому что разбойники мамыньку пришибут и всю... всю домашность нашу поруют...

Симонову понравился смысленный и словоохотливый паренек. Он спросил:

– Как зовут тебя?

– Ванькой... Уж вы, барин, как бунт прикончится, помилуйте батеньку-то мово... Он верой-правдой... А уж мы чем да нито вашему благородию отслужим.

– Ну, вот что, Ваня... – Симонов погладил мальчика по вихрастой голове. – Ты примечай-ка, что у вас там деяться будет... Прикинь и то, сколько пушек у Пугача да сколько разной сволочи при нем... Понял? Да нет-нет к нам и прибеги. Тебе возле ворот лесенку будут подавать веревочную; да норови в сумерки, чтобы незаметно... А как явишься к крепостной стене, кукушкой трижды прокукуй... На вот тебе на прянички. – И Симонов кинул мальчишке пятак. Он торопился с капитаном Крыловым в войсковую канцелярию.

3

Следующим утром Пугачев принялся за дело. Он приказал собрать к полудню полтора человека копачей да с десятка плотников, а сам с приближенными направился осматривать вновь возведенные симоновские укрепления.

Они шли пешком. Их путь лежал мимо дома казака Кузнецова, мимо красавицы Устиньи. Девушка, слегка покачивая тугими, круглыми плечами, несла на коромысле воду из колодца. Она с улыбкой обменялась с Иваном Почиталиным поклонами. Пугачев сразу узнал ее. В другое время он остановился бы, пошутил с ней, попросил бы воды напиться, но тут взглянул и отвернулся, прибавив шагу. Из-за предосторожности он был одет по-бедному, вовсе неказисто: на нем засаленный толкачевский полушубок, растоптанные донельзя валенки.

– Что твой розан, девка-то, ваше величество, – обронил, заглянув в глаза батюшке, Михайло Толкачев.

– Которая?

– А вон... С ведрами-то прошла.

– А мне ни к чему, – с притворным безразличием кинул Пугачев.

Они подошли к бугру, на котором красовались три березы с черными шапками покинутых грачиных гнезд.

– Стой! Вот где доброе для батареи место. Распорядись, Михайло, чтобы за ночь каменье да лесу сюда навозили. Отсюдава учнем Симонова ядрами понужать... – Он залез на березу, стал осматривать крепость. По березе с колокольни ударили из ружья, посыпался из грачиного гнезда хворост. Пугачев спустился с дерева в сугроб. Побежали провожатые.

– Не задело ль, батюшка?

– Кого? Меня? Я замороженный... – с ухмылкой ответил Пугачев. – Слышь-ка, Овчинников! Это что у них тут будет, направо-то, в углу-то?

– А то новая батарея ихняя фланговая, – ответил атаман Овчинников, тыча из-за березы рукой. – Ретраншемент ихний обороняет. Она для нашего городка самая опасная...

– Ну так вот ее и фукнем на ветер... Мину подведем.

– Ми-ину? – округлив глаза, протянул Овчинников. – Да ведь нам, ваше величество, несподручно это, знатецов у нас нетути.

– А я на что? – Пугачев живо повернулся на пятках, пытливым взглядом посмотрел по сторонам, спросил: – Чей этот справный дом?

– Казака Ивана Губина, надежа-государь.

Все поспешно направились к дому Губина. В горнице второго этажа, за столом, седобородый хозяин ел жирную, из сомовины, похлебку; старуха возле печки накладывала ему из обливного горшка в миску гречневой каши со шкварками. Хозяин, поглядывая на вошедших, продолжал с проворством работать деревянной ложкой. Увидав на божнице, вместе с темноликими иконами, большой восьмикопеечный, убранный финифтью крест, Пугачев, а за ним и свита помолились. Пугачев крестился двоеперстием по-старозаветному. Затем отвесил поклон старику.

– Здоров будь, мой верный раб Губин. Я царь твой...

Старик выплюнул кусок сомовины, вскочил, хотел было упасть Пугачеву в ноги, но тот подхватил его.

– После, после кланяться будешь, казак. А на мою сряду не дивись – в дозоре мы... Идем-ка, друг, с нами, по хозяйским делам. Аршин есть у тебя?

– Есть, ваше царское величество! – по-военному выкрикнул хозяин. – Старуха, подай сюда аршин клейменный, железный!

Пугачев осмотрел обширный двор, обставленный разными постройками. В обмазанном глиной хлевушке хрюкали свиньи, в птичнике зимовали гуси, утки, куры. Конюшня.

Емельян Иваныч, с огарком в руке, спустился в глубокий погреб, уходящий под землю деревянным срубом сажени на полторы. От погреба до крепостной батареи было на глаз около полсотни сажен.

– Ну, старик, прощайся с погребом, – сказал Пугачев и ухмыльнулся. – Самому Симонову могилу тут спроворим... Ну-ка, светите сюда! – По стене сруба, обращенной в сторону крепости, он самолично отмерил три аршина так, три – этак и, вынув из-за пояса кинжал, острием его расчертил на стене квадрат. – Эти бревна плотникам велеть вырубить. А через проем подкоп рыть. Работать по ночам, с темна до свету, чтобы симоновский глаз не видел, ухо не слышало. А ты, Толкачев, предостороги ради, проход с проездом в этой местности закрой караулом... Смотри, казак, – обратился он к Губину, – чтобы ни одна живая душа работку эту не распознала... Особливо бабку свою упреди.

Все вернулись к дому Толкачева, где имел жительство Емельян Иваныч. Возле крылечка ожидали их плотники и копачи с лопатами, многие из них сидели на завалинках и на ограде палисада. Рабочие не видели раньше «батюшку» и, тотчас приметив приближавшихся к ним атамана Овчинникова с Толкачевым, они повскакали на ноги. И вдруг...

– Здорово, детушки! – Чернобородый, в потертом полушубке, человек, подойдя к крылечку, звонко крикнул: – Я царь ваш!..

Рядом с одетыми по-праздничному свитскими своими людьми Пугачев казался замухрышкой, тем не менее, словно под ударом ветра, с голов слетели шапки, толпа повалилась на колени. И – чудно! – как только чернобородый назвал себя царем, рабочему люду стало казаться, что все в незнакомом человеке, как ни был он плохо одет, особенное: и голос, и осанистые плечи, и то, как держал он голову... А глаза, глаза-то! Однажды увидишь такие глаза – вовек не позабудешь...

– Встаньте, детушки, – сказал Пугачев и начал расспрашивать людей, откуда они, что в городке делают, не творит ли им кто обид и поношений.

– Нет, надежа-государь, они всем довольны, – сказал Толкачев, – кой-кто из них беглые помещичьи крестьяне, есть беглые солдаты татаре, черемисы, но среди копачей много и местных жителей.

– Нет ли среди вас доброго знатеца, чтобы подкоп под землей рыть? – спросил Пугачев, снижая голос.

– Подкоп? Так, так, – заговорили копачи, оглядывая один другого. – А вот, надежа-государь, есть такой знатец, он на Авзянском заводе шурфы копал. Яшка, выходи! Эй, Кубарь! Где он?

Был вытолкнут вперед маленький кривоногий человечек с желтыми, морщинистыми щечками, раскосыми глазами, – новокрещенный мордвин из Пензенского края.

– Вот ты какой!.. Кубарь и есть, – пошутил Пугачев, оглядывая кривоногого, с жиденькой бородашкой человека. – Правду ли люди бают, что подкопы ты горазд вести?

– Да уж... – закивал головой Кубарь. – Со всех сил стараться стану, царь-батюшка. А прошибусь в чем, не казни, милостивый.

По-особому, хитренько, посматривал он на Пугачева, как бы прицеливаясь, с какой стороны его

обойти, объегорить.

Пугачев несколькими вопросами сделал проверку его знаний.

– Будешь главным мастером, – сказал он затем. – И чтоб работные люди тебе во всем послушны были. Да я и сам почасту буду приходить... И вот еще что... Прислушайтесь, трудники. Идите таперь по своим жителям, забирайте всякий струмент, кой на потребу будет, а как падут сумерки, сюда, не мешкая, шагайте... Работать по ночам станете, а спать днем. И покамест свои работы не окончите, в дома свои вам ни ногой, без выпуска работать будете, уж не прогневайтесь. Дело ведь государственное, превелико секретное. Ну и, Боже упаси, изменник какой промеж вас сыщется да до времени секрет разболтает, голова тому будет рублена! – резко взмахнув рукою, крикнул Пугачев и быстро пошагал к дому. За ним, прихрамывая на левую ногу, поспешал Овчинников.

Едва затеплилась на небосводе первая звезда, работа в погребе казака Губина закипела. Начало положил сам Емельян Иваныч, он вместе с Варсонофием Перешибиди-Носом вырубил из стены первые три венца. Он побрякивал, по-мужичьи поплеывал.

– Мой преславный покойный дедушка Петр Великий, – говорил он, смахивая пот с лица, – сам кораблики рубил. И рубить и снастить горазд был. А вот супружница моя, самозванная императрица, та и по бабьей своей части ни в зуб толкнуть... Чепчик себе вышить не могла. Чего чепчик, даже к моим императорским шароварам пуговицу пришить не умела. Велел как-то я на мои парадные портянки вензель положить. Куды тебе! Она и губы надула – я, говорит, вам не девка деревенская... Бывало, глядишь, глядишь на нее, безделицу, да и раскричишься: эх, ты... ни в дудочку ты, ни в сопелочку!.. Конечно, шибко обижалась... С того больше и пошли нелады у нас.

Окружавшие, прищелкивая языками и причмокивая, с почтительным восхищением внимали его словам.

Поздним вечером, под светом ярких звезд, Пугачев обнял Ваню Почиталина за талию, ходил с ним взад-вперед возле своей квартиры. Разговор меж ними был веселый: Пугачев громко хохотал, Почиталин осторожно посмеивался.

– А с Мишкой, с племяшем Дениса Пьянова, я еще с утра разговор имел, – сказал Пугачев. – Значит, твоя предбудущая – Марфочка Головачева, сиротка... Ладно, замест отца я ей буду... Ну, а таперь иди, хлопец, к своей матке спать, а я уже приоденусь да сватом и пойду по девкам... Мне и Мишку на этой... как ее? Варьке Пачколиной обженить надобно... Чтоб завтра обоих вас и к венцу. Обе свадьбы зараз обыденком справим.

– Шибко скоро, государь, – взмолился Ваня Почиталин. – Ведь у нас, у казаков, обрядность всякая... В баню с неженатиками ходим, да прочие разные там...

– Ладно, ладно, – перебил его Пугачев. – Нынче время военное, нынче всякие дела-делишки чохом-мохом, живчиком...

Вскоре Пугачев в дорогом с позументом чекмене и при сабле правился вместе с Варсонофием в избы молоденьких казачек: Марфочки и Вари... То-то обомлеют, изумятся девки, то-то будут рады!.. Ну и затейлив же царь-батюшка!

...Старый соборный пономарь Наумыч, отбивавший часы в крепости, вышел из сторожки, поглядел на семь звезд «ковшиком» и, полагая, что наступила полночь, вместо двенадцати, спросонья дернул за веревку четырнадцать раз.

Капитан Крылов, в сопровождении однорукого капрала, совершал обход караулам и дозорам.

– Наумыч, ты?

– Я, ваше благородие, – прокряхтел старик.

– Чего же ты, Бог тебя люли, четырнадцать-то раз отбрыкал? Уж скоро три пополуночи.

– Да ведь кто е знает, ваше благородие... Я-то, конечно, на печи дрыхнул, а певун-то мой, петушишко-т одноглазый, на полатах... Вот он и скукарекал. Ну, стало быть, выходи, старик, звони. Ни часов, ничего такого нетути, по петуху звоню. Да вот беда, петушишка-т шибко старый стал, сбивается, одно званье, что петух... Давно пора голову ему оттяпать да в похлебку... Ан жаль. Все-таки душа в нем, хоть и плевенькая, петушина, а все ж душа... Чегой-то жалостив я стал ко всему живому – пред смертью, что ли?.. Охо-хо... – Наумыч зевнул и принялся закрещивать рот.

Капрал с фонарем впереди, Крылов позади – оба залезли на самый верх колокольни. А там, на соломенных постельниках, спала стража, два старых солдата – Зуев и Безруких. Обычно спали они чутко. Вот и сейчас, услышав скрип ступеней, оба они враз вскочили: отогнули высокие, покрытые густым инеем воротники тулупов и – за ружья.

– Посма-атривай! Погля-а-адывай!.. – дружно закричали они в ночь.

– Ну, как, молодцы, живы? Не спите?

– Как можно, ваше благородие! – воскликнули они. – Такое ль таперич время, чтобы спать... Пугач-то у Толкачева Мишки, бают, содержится... чтоб утробе его распасться натрое...

А Пугачева у Мишки Толкачева и не было. Он хлопотал возле погребца Ивана Губина: проверил работы и подал плотникам совет, как ставить в траншее крепи – этому делу он научился еще в бытность свою в Кенигсберге. Покончив тут, он взобрался на бугор с тремя березами, где должна быть батарея. За ночь сюда уж много было навезено и камня, и бревен. Распоряжался стройкой есаул Перфильев. Всем довольный, Пугачев направился с Варсонофием домой. Оба они успели «угоститься» у Марфочки и Вари, были навеселе. Емельян Иваныч подарил девушкам к свадьбе по золотому, обещал, помимо того, справить им добрую сряду.

Уже заря просилась в небо, восток бледнел, звезды блекли. Придя домой, Емельян Иваныч приказал будить хозяев. Заспанному, еще не успевшему умыться Толкачеву он сказал:

– Будет тебе, Михайло, спать. Глянь на меня, я еще и не ложился.

– Да ведь вы, известно, двужильный, батюшка, – борясь с одолевающей зевотой, ответил хозяин.

– Не жалуюсь... Вот что, братец... Скажи-ка своей хозяйке: у вас тут, в твоём доме, две свадьбы сегодня будем играть.

– Свадьбы? Это какие же такие свадьбы, надежа-государь? Чего-то в толк не возьму... – Удивленный хозяин, запустив руки под беспоясную рубаху, принялся скрести брюхо.

– Какие, какие! Самые обнакновенные. Двух казаков женю... Чувешь? Смотри – чтоб гулеванье истовое было... завей горе веревочкой!

– А подкоп-то, батюшка?..

– Подкоп своим чередом... А ты режь баранов, в лавках у торговых людей забирай моим именем, что надо... Да поболе пива медового добудь – поди, у попов есть, они, кутьехлебы, сладко живут, знаю их. Вторым делом, гостей со всех волостей пригласи да девчонок. Ась? Всю проторь на свой государев счет беру... Лескриптом!

– Что-то невидано-неслыхано, батюшка, ваше величество, чтобы этак напыхом свадьбу править... Ведь на нас собаки брехать станут. Ведь к свадьбе-то год готовятся...

– Ладно, Михайло Потапыч, балакать мне недосуг... Да чтобы музыка была, да пироги... Эх, жаль, Ненилы моей при мне нет... Аншеф-стряпуха моя! Ну, спать пойду. Через три часа либо через четыре буди! Отбрыкиваться стану, за шиворот хватай. Да скажи Овчинникову, чтобы казаки с башкирцами на изготовке были – поведу их за городок штурму обучать. – Говорил он скороговоркой, но притомленным расщепленным голосом, да и всем обличьем своим он был уставший.

– Пожалте, в таком разе, на пуховичок, царь-государь...

– Ну нет... Вы со своей стряпней брякать-стучать станете, заснуть не дадите... Ты ведаешь, как по-походному надлежит казаку спать?

– Господи! Мне ли не ведать.

– Ан вот и не ведаешь... По-походному так: саблю сбоку, кулак под голову, а высоко – два пальца сбрось. Чуешь? Ну, до увиданьяца!..

4

Иван Наумыч Белобородов до сей поры и сном-духом не знал, что в великом восстании Емельяна Пугачева предлежит ему быть видным человеком.

Жил он собственным хозяйством в доме жены своей Ненилы Федотовны, что в большом селе Богородском. Село стояло на проезжем тракте между Кунгуром и Бирском, от него до Оренбурга, до Бердской слободы, до горячего сердца Емельяна Пугачева целые полтысячи верст. Но сказано: «Сердце сердцу весть подает». Так оно и тут вышло. Весть о появившемся царе, полыхая молнией во все стороны, достигла и села Богородского. Впрочем, в это время город Кунгур как раз осаждался башкирской толпой полковника Батыркайя, а от Кунгура до Богородского – рукой подать.

В своей лавке, помещавшейся в прирубе к дому, Белобородов торговал по малости медом, воском, сальными свечами, дегтем, веревками и прочим.

Сегодня праздник – Новый год, базарный день; торговля шла бойко. Белобородов выручил четыре рубля тридцать шесть копеек с грошем – деньги не малые. После сытного обеда он сидел за прилавком, покупатели схлынули. Без дела стало Белобородову скучно, он сладко зевнул, почесал рыжему коту за ухом, покосился на икону: надо бы возблагодарить Создателя за удачный торг, да рука словно онемела. «Боже, милостив буди мне, грешному», – набожно вздохнул он, раскинул по прилавку руки, опустил на них голову и задремал. И слышит сквозь сон, будто кот курныкал-курныкал да и вымолвил по-человечьи: «Хозяин, беда!» Поборов сон, Иван Наумыч продрал слипшиеся веки, вытер рукавом рубахи бороду: «Ты что это, дрянь, колдуешь?» – насупив брови, боязливо посмотрел он на кота вприщур. Но кот, как ни в чем не бывало, спокойно сидел на мешке с мукой, умывался. Белобородов сплюнул, пробурчал: «Вот уж кошкодавы поедут мимо, я тебя, тварь, за полушку сбегрю...» – и, желая разогнать сон, стал грызть каленые орехи.

Тут скрипнул дверной блок с привязанным на веревочке кирпичом, взбрякал колокольчик, дверь с шумом распахнулась, с улицы, вместе с клубами мороза, ворвались в тепло трое.

– Иван Наумыч, беда стряслась! – какими-то придушенными, не своими голосами прокричали все трое. – Прибежали смутьяны каки-то на конях, возле церкви царский манифест вычитывают... Чу, набат!

И всех словно ветром вымело из лавки. Навстречу заполошному звону бежал народ. Опираясь на клюшку, култыхал и Белобородов: он сильно прихрамывал на правую ногу, сведенную еще смолоду в коленном суставе.

Подле церкви стояли пятеро конных башкирцев, шестой – Данила Бурцев, земляк Белобородова. Он только что кончил читать по бумаге манифест царя Петра Федорыча и, обратясь к толпе, гулко заговорил:

– Мимо вас, жители, идет государев полковник Канзафар Усаев с пятьюстами башкирцев да русских. А идет он по приказу государеву Кунгур брать. А и находится он во сю пору от вашего села близехонько. А мы высланы Канзафаром, чтобы занять для его воинства квартиры, а также опечатать питейные дома и торговые лавки. И кто его, Канзафара, встретит, дома того разорять не будем, а станем льготить и жаловать всякой вольностью. А кто противиться альбо в бега, тех ловить и вешать, дома же отписывать на государя.

– А где он, государь-батюшка наш? – раздались голоса.

– А отец наш государь находится в Оренбурге. Оренбург он взял и Уфу взял. Собирается на Казань идти, а там и на Москву. Он, батюшка...

Но Белобородов дальше не слушал. Бросив толпу односельчан, он прытко-прытко покултыхал к себе

домой. Ахти, беда! Что делать, куда податься? Ежели в леса с семьей, дом с лавкой припечатают, отберут на государя. А ведь у него, Белобородова, жена, дети малые, да и достатком Бог не обделил. Ко всему прочему, еще неизвестно, государь ли он, – может стать, самозванный перевертень, плут и христианским душам погубитель, бродяжка Пугачев, как гласят о нем манифесты государыни... Да нет, кабы не был он государем, Оренбург с Уфой не покорились бы ему. Ох, Господи, твоя воля, что же делать-то? «Эх, – прищелкнул Белобородов себя в лоб, – разве постараться императору Петру Третьему? Нешто не солдат я царский? Нешто позабыл, как самопал в руках держать да как на лихом коне носиться? Хоть хром я, да ведь еще крепок, да и годы мои не такие уж запущенные...»

Он сказал жене:

– Приготовься гостей встречать. От государя гости к нам жалуют! – Работнику он велел заседлать коня, с проворностью вскочил в седло и поехал навстречь Канзафару, за околицу. Его нагнали выборные от сельских жителей. Они ехали на трех санях, с хлебом-солью и, по праздничному делу, были вполпьяна.

Встреча выборных с Канзафаром Усаевым произошла в версте от Богородского. Видный, дородный Канзафар неторопливо слез с коня, оправил кривую у бедра саблю, одернул цветную, на лисьем меху, шубу. Скуластое лицо его лоснилось от жиру.

Выборные, сохраняя достоинство, на колени не валились. Они лишь сняли шапки и отдали пугачевскому полковнику поклон.

– Добро вам, что встретили меня, – сказал полковник. – Я в великой чести у государя.

Канзафар Усаев со своими приближенными остановился у Белобородова. Канзафар на вид был строг и голос имел властный. Белобородов попервости страшился его. Собрались в дом сельский сотник, староста и лучшие люди из крестьян. Канзафар велел своему писчику читать вслух государев манифест. Выслушав оный, жители сказали:

– Мы государю покорны, будем стараться ему со усердием.

– В таком разе, – приказал полковник, – соберите немедля со своего села сколько можно молодых мужиков с лошадьми, я поверстаю их в казаки, и чтобы были они готовы к выступлению.

Было набрано двадцать пять человек. Канзафар к ним придал двенадцать из своих людей и определил, по их желанию, сотником над ними Ивана Белобородова.

Белобородов, изменившись в лице, вскочил со стула, хотел было возразить, что он, мол, человек покалеченный, хромой и многосемейный, командовать отрядом не может. Но Канзафар, насупив брови, взглянул на него сурово и по-строгому пальцем погрозил. Да и жители закричали в голос:

– Жалаим, жалаим тебя в свои начальники! Не отрекайся, Иван Наумыч, потрудись миру. Ведь ты царской службы солдат.

Белобородов сразу как-то осел, обмяк, потерял волю над собой.

Канзафар со своей толпой прогостил в Богородском двое суток. Белобородов получил приказ: выступать в поход вместе с Канзафаром. Вот беда! Что делать? В отпор идти – пожалуй, голова слетит... Значит, доведется всю домашность свою бросить. Ну, что ж, теперь пятиться поздно.

Ненила Федотовна, чтобы не подымать при начальнике гвалта, увела Белобородова на огород, в сарай, и там, как медведица на пестуна, насела на него:

– И куда тебя, хромого дурака, в этакую погибель-то несет?

Она долго ругала его, даже пыталась вlepить ему затрещину, да рука не поднялась: жалость к мужу повисла на руке тяжелой гирей. Белобородов выслушал женину бурю молча; душа его не покачнулась. Не

потому ли стала она вдруг твердой, что он, бывший солдат, усмотрел некую цель, как стрелок – мишень, куда ему вогнать пулю? Да нет, нет, никакой цели Белобородов перед собой не видел и, не случись в Богородском Канзафара Усаева, торговать бы ему, Белобородову, в своей лавке медом да воском до самой смерти. И со вздохом он сказал жене:

– Прости меня, Ненилушка, желанная моя!.. Прости ради Бога!

И бросились они друг дружке на шею, и губы их сомкнулись в прощальном целовании, и слезы разом брызнули из глаз.

А там, на церковной площади, уже высвистывали башкирские дудки, выбрякивали бубны, громкий клич стоял:

– По коням! Айда, айда!

И вот осталось Богородское позади. Прощайте все, простите...

Белобородов ехал рядом с Канзафаром. Сердце его стучало часто и тревожно, сердцу было больно. Всюду простор и солнце, кругом белые снега лежат, а перед мысленным взором непроглядные туманы: все, что впереди, укрыто-нахлобучено шапкой-невидимкой.

Если б знал Иван Наумыч, что боевой путь его будет славен, что предстоит одержать ему многие победы над врагом, он исполнился бы гордостью и великим ликованием. Но если б по-настоящему прозрел он сам или рыжий кот-вещун шепнул бы ему во сне: «Когда начнет желтеть на березе лист, сказнят тебя, хозяин, лютой казнью», – Белобородов круто бы повернул своего коня, приурезал его ременной плетью, и понес бы, понес его быстрый конь в синие леса, в тайное укрытие...

Однако ни славных своих дней, ни своего темного конца он не ведал. Человек, как ладья, мчится вместе с течением по волнам бесконечности. И трижды печальна участь пловца, ежели он кинется в волны без руля, без ветрил. Лишь сильные руки, железное сердце да прозорливый ум ведут человека к цели: в тихую заводь, против воли, в бешеной схватке с природой, с привычкой, с капризом случайности.

Торговец, из крестьян, бывший солдат царской службы, Белобородов пустился в путь без руля, без ясной, осмысленной цели. Но в его темном сознании, где-то под спудом, все же брезжил некий робкий свет... Может статься, был то отблеск далекого зарева – зарева дум и надежд многострадальных предков его...

В селе Алтынном военачальники разделились: Канзафар с толпой пошел под Кунгур, Белобородов с сотней людей подался в сибирскую сторону через Ачитскую крепость, к Екатеринбург.

Разлучаясь, Канзафар вручил Ивану Наумычу для публикации манифест государя и преподал наставление:

– Противникам рубить голову, а склонившихся жаловать вольностью, стричь их по-казацки и приводить к присяге.

Таково было начало Белобородова как самостоятельного вождя одного из главных отрядов пугачевского движения. Таким образом, их стало трое: Белобородов, Чика-Зарубин и сам Пугачев.

Глава IV

Штурм Яицкой крепости. Малые дети. Оренбург

1

Свадьбы прошли шумно. Обе пары молодых были своей судьбой довольны выше меры. Особенно ликовал, сидя на пиру рядом с своей ненаглядной Марфочкой, Ваня Почиталин. Девятнадцатилетний парень, он успел отпустить русую бородку и походил на заправского казака.

Пугачев в церкви не был, он приехал с военного ученья к свадебному столу.

Пир шел горой до третьих петухов. Выпито, съедено было много, у залихватских плясунов поотлетели каблуки. В плясы вступил и сам Емельян Иваныч. Он держал себя не так, как в Берде, в царском дворце своем – сановито да важно, а попросту, без затей, и лихо отплясывал с веселыми девами. Сам заводил игры, первым был запевалюю. И уж не просто песня, а зычный, в полсотни глоток, рев сотрясал стены, колебал хвостатые огоньки свечей.

Со свадебного пира дважды бегал Емельян Иваныч на работы. Копачи и плотники вели подкоп внатуг, без передыху. В траншее горело множество восковых и сальных свечей. Пробовали зажигать смоляные факелы, но они очень чадили.

– Вздох спирает, – жаловались землекопы, – шибко тяжело дышать.

– Да уж порадейте, детушки, таперь недолго, – подбадривал их Пугачев.

И велел в потолке минной траншеи сверлить отдушины наружу, через три сажени одна от другой.

Поздним часом гости со свадебной пирушки разошлись. Остались мертвецки пьяные да почтенные старики. Обе пары молодых, на разубранных тройках с бубенцами, отправились по домам. Гости пожелали им покойной ночи, всяческих успехов в жизни и дали в их честь ружейный залп.

И лишь залп отгремел, оба старика сторожа на колокольне враз вскочили и закричали что есть силы:

– Посма-а-атривай!

– Послу-ушивай!

И на батареях шевельнулись. Но снова все стало спокойно: песня, бубенцы, скрипка на морозном воздухе пиликает.

Из соборной сторожки вылез старый пономарь Наумыч, постоял, посмотрел на заветные семь звезд, потянулся к веревке и отбрякал в колокол десять раз. Надо бы еще надбавить, да дюже студено, и глаза слипаются, сон долит... Ох, Господи, твоя воля... Который же час-то взаправду? Чегой-то и петух не кукарекает: то ли спит, то ли сдох вовсе? Всякому дыханию свой конец приходит.

К 20 января подкоп был готов. Длина его тщательно промерена – около пятидесяти сажен, и надсмотрщик Яков Кубарь заверил царя-батюшку, что землекопы стоят уже под валом укрепления.

Темная ночь, небо в хмаре. Тишина. Пугачев с ближними торопится к подкопу.

И как раз в этот час возле крепостных ворот трижды прокуковала кукушка. По веревочной лестнице малолеток Ваня Неулыбин перебрался через вал и был отведен к самому коменданту. Симонов еще не

ложился, вышел в кухню, поприветствовал мальчонку, спросил:

– Как дела, малец? Чего долго не бывал?

– А неможно было, васкородие, караулы у них, разъезды. Подкоп под крепость роют.

– Подкоп?! Да полно, уж не врешь ли ты? Не подослан ли, чтоб с толку меня сбить? Батяка-то твой еще не переметнулся к Пугачу?

У мальчика задрожал подбородок, градом покатались слезы. Симонов, видя свою промашку, погладил мальчика по голове, сказал:

– Ну, ладно, ладно. Я пошутил. Верю тебе, Иван Неулыбин! Откуда же и куда они, изверги, подкоп ведут?

– Не знаю, – утирая слезы шапкой, ответил Ваня. – И никто не знает. Я ж говорю, что караулы у них... Батенька говорил, быдто ведут подкоп от дома отставного казака Ивана Губина, а куда – неведомо.

– Проверим, – сказал Симонов и отправил посыльного за капитаном Крыловым.

Тем временем Пугачев велел поставить в край подкопа бочку с десятью пудами пороха. Порох втугую забит был тряпьем.

Часа за три до рассвета без шума выведены были яицкие казаки и расставлены в боевых местах. Они получили от батюшки приказ: как только последует взрыв, тотчас же бросаться всем гамузом на штурм ретраншемента.

Многим казакам, постоянно жившим в городке, не особенно-то хотелось воевать, да еще среди темной ночи. А казаки-пугачевцы из Берды, дорвавшись до своих собственных теплых хат, за две недели жизни в Яицком городке успели порядочно обабиться и отвыкнуть от походной обстановки. Им тоже не больно-то хотелось воевать. Впрочем, большинство казаков было настроено по-боевому: Пугачев умел разжечь жар в их сердцах и мыслях.

Вместе с Кубарем и с одним работником Емельян Иваныч спустился в галерею. В руке у него толстая восковая свеча. От ее колеблющегося света по темным стенам, подпертым бревнами, призрачные пляшут тени. И чем дальше продвигались они вперед, тем душней становилось, спертый воздух плыл встречу, гасил пламень.

– Врешь, не погаснешь, – улыбаясь в бороду, говорит Пугачев, и его щекастое лицо в трепетном свете кажется медно-красным. – Светиленка-то в свечке зарубежная... – Он приготовил свечу сам, предварительно пропитав свечильню особым составом, секрет которого вывезен был им еще из Кенигсберга. Однако технику взрывания знал он только понаслышке, хотя и объявлял себя «полным сего дела знатцом».

Яков же Кубарь во взрывных работах еще меньше Пугачева смыслил. А ведь дело предстояло опасное: десять пудов пороха – не шутка!

Пугачев шел на верный риск, он в полном сознании ставил свою жизнь на карту. Все трое подошли наконец к бочонку с порохом. У всех заныло, затосковало под ложечкой.

– Ну вот, – сказал Емельян Иваныч, – теперь будем взрыв чинить. – В сыром и глубоком подземелье обычно громкий голос его звучал глухо, придушенно. С потолка просачивалась влага, покапывало и на бочонок. – Ну, Кубарь, значит, начнем?

– Начнем, батюшка...

– Дай-ка сухую тряпицу.

– Нету, батюшка, не запаслись. Ужо я сбегаю, – сказал Кубарь.

– Стой, некогда!.. Ну те к сатане... – Пугачев сбросил с плеч чекмень, снял тонкого холста набойчатую рубаху, скомкал ее и втиснул вместо отсыревшей тряпки в стоявший вверх дном бочонок с порохом. – Таперь так... Я этот огарок укреплю в середке бочонка в тряпках. Огарок догорит, огонь и перейдет на тряпки... Понял? А мы к тому времени успеем выскочить. Ну, молитесь Богу! – И он стал укреплять в тряпье горящий огарок.

– Как бы не упала свеча-то, борони Бог... И не выскочишь, – пробормотал Кубарь. Он дрожал, зубы его ляскали.

И вдруг, как по злomu слову, огарок кувырнулся набок, тонкой пряжи рубаха затлелась и разом вспыхнула. Кубарь дико вскрикнул, повалился на землю, работник с воем рванулся в глубину темного, как могила, штрека. Еще момент и...

Но Емельян Иваныч уже сорвал с бочонка пламя, смял его в пригоршне, кинул наземь и принялся топтать ногою. И стала вокруг тьма еще непроглядней.

– Слава Богу, – выдохнул он, обливаясь холодным потом. Смерть пронеслась над ним, как черная молния. Отдышавшись, он сказал Кубарю и вернувшемуся работнику: – А ну, у кого кресало да сверкач, высекай огня. – И достал из кармана новую свечу. Из ее конца свисала длинным, в аршин, хвостом насыщенная горючей смесью светильня – «запал». – С нами Бог, детушки! – вымолвил Емельян Иваныч, подошел к бочонку, утопил свечу в порох запалом вверх, не торопясь укрепил ее в тряпье. – Ну, таперь прочно. Уходи!

Оба помощника кинулись вон. Пугачев, стиснув до скрипа зубы, зажег запал и с горящим огарком прытко пошагал вслед за людьми. Маленький, кривоногий Кубарь, расставив руки, натыкался на стены и непрерывно бормотал: «Господи помилуй! Господи помилуй!» Он бежал впереди, за ним спешил работник.

– Беги, дьяволы, беги! – кричал Пугачев, обгоняя их. Огарок в его руке погас. Все трое очутились в густой тьме. Бежали молча, шумно, со свистом дыша. Наконец-то впереди засерело; выход, рассвет, спасенье!

2

Рассвет шел по седому небу, погода была тихая, мягкая. На улицах еще сутемь, в жилищах светились первые утренние огоньки. А там, за земляным, запорошенным снегом валом, в крепости, пылали жаркие костры, отблеск их елозил по белой колокольне, она как бы покачивалась, порою зябко вздрагивала. Над кострами огромные кипучие котлы со смолой, с бурлящим кипятком; кучки старых солдат сидят на корточках вокруг костров, подставляя теплу спины, вытянутые вперед руки. Тут же толкутся казаки, солдатские и казачьи женки с ведрами, с кувшинами, оловянными ковшами – работы им будет много. Прошагали два офицера: капитан Крылов и поручик б-й легкой команды Полстовалов. Лица их сердиты, озабочены. А Симонов на колокольне. Спасибо мальчонке, Ванюше Неулыбину!

В городке, среди пугачевских казаков, тоже немало женок и подростков. В их руках пилы, топоры, арканы: может, доведется крепостные столбы валить. Только доведется ли?

Пугачев отлично понимал, что все было сделано не по правилам, а тяп да ляп: не закрыты даже частые отдушины, не забит горн. Надлежало самый конец штрека завалить до потолка камнями да забить землей, чтоб бочонок с порохом сидел в склепе, как в скорлупе орех. Но для этого надобен длинный горючий шнур, который позволил бы вывести его от пороха наружу и поджечь. А где такой найдешь?

Рассвет все гуще растекался по седому небу, свеча в подземелье догорала. Что же так долго нету взрыва?

Вдруг земля под ногами встряхнулась, вылетевшая из устья штрека воздушная волна свалила кое-кого наземь, вслед за тем тарарахнул взрыв.

– Ур-ра! – заорали пугачевцы и схватились за оружие. С граем сорвались с берез галки и вороны, заполошно взлаяли псы, замычали коровы, лошади в конюшнях стали приплясывать и ржать.

Взрыв причинил лишь малый вред укреплению – был разрушен только внешний откос вала с головной частью батареи; земля осела в ров и засыпала его до половины. Облако порохового дыма заволокло собою место взрыва.

– На штурм! На слом!.. Вперед, детушки, вперед! – раздалась зычная команда Пугачева.

– На штурм! На слом! – подхватила огромная толпа, и пугачевцы, попережку с женщинами, яростно бросились вперед.

– Ур-ра! Гиг-ги-ги-ги! – гремело в воздухе.

До двухсот человек кинулись с лестницами, с топорами в ров, пытаясь залезть на вал, но солдаты, усердно работая штыками и прикладами, всякий раз отбрасывали их.

По площади, по переулкам бежали к крепости казаки:

– Ги-ги-ги!.. На штурм, братья казаки!.. Ура, ура!..

С вала, с колокольни загремели пушки, затрещали ружья, картечь и пули беспощадно поражали штурмующих, нанося им большой урон. Казаки побежали врассыпную, попрятались в ближайших избах, в развалинах недавнего пожарища, открыли бешеную стрельбу по ретраншементу. Однако расстояние до укреплений было слишком велико – недаром предусмотрительный Симонов выжег в этом месте порядочную площадь, выстрелы пугачевцев были для защитников крепости мало опасны.

Клубы тухлого дыма развеялись. Подымалось солнце. Пугачеву с высокой остроконечной крыши видно было, как двести человек его смельчаков, бросившихся первыми в ров, на штурм, отчаянно рубят

заплотные столбы, подкапывают насыпь, приставляют к валу лестницу, лезут, падают под градом пуль, отстреливаются и снова лезут. С вала солдаты и женщины, похожие издали на разъяренных зверей, поливают их расплавленной смолой, кипятком, швыряют в них раскаленный, с горящими углями, пепел. Изувеченные люди с душераздирающим воплем отскакивают прочь, валятся, ползут к сугробам, зарываются ошпаренной головою в снег.

Но штурм продолжается с неослабевающим упорством.

– Подмогу! Подмогу давай! – взывают осаждающие.

– А ну, детушки, на помощь! А ну! Разом, разом! – взмахивает с крыши руками Пугачев, стараясь подбодрить схоронившихся в избах и за укрытиями своих казаков.

Толкачев бегал от кучки к кучке и тоже кричал:

– Айда, айда!

Сотни три казаков и башкирцев повыскакали на погорелую площадь, пытались сбежать в ров, но, встреченные с вала картечью, падали десятками, а оставшиеся вживе разбежались.

Заскрипели крепостные ворота, отряд симоновских солдат и казаков, под командой поручика Полстовалова, кинулся в штыки на пугачевцев и после упорного боя окончательно выбил их из крепостного рва.

Военные действия закончились лишь к вечеру. Пугачевцы потеряли около четырехсот человек убитыми и ранеными. Потери Симонова были в десять раз меньше.

От неудачного штурма Пугачев был в сильном волнении и гневе. Вместе с Овчинниковым и Толкачевым, слегка раненным в руки, он стоял перед покинутым домом старшины Мартемьяна Бородина, еще в начале осени ушедшего в Оренбург с верными правительству казаками. На площади у дома торчала только что выстроенная виселица – щепки, стружки, перекинутая через перекладину веревка. Костер грел. Мимо окружавшей Пугачева толпы провозили на санях убитых и раненых. Стоны изувеченных мешались с плачем, с воплями осиротевших женщин и детей. Возбужденная толпа то обнажала головы и набожно молилась за убиенных, то в сотни глоток, не стесняясь присутствием царя, раздраженно орала:

– Повесить! Вздернуть Кубаря! Неладно подкоп прорыл.

– Эстолько людей зачем почем зря сгубили. Повесить! Повесить!

– Где он? Эй, Кубарь! Волоки его, гада!

А желтолицый коротыш Кубарь, обливаясь слезами, валялся в ногах у Пугачева.

– Помилуй, помилуй... – вопил он, ударяя себя кулачишком в грудь.

Грянул из толпы неожиданный выстрел. Пуля ударила Кубарю в живот. Кубарь охнул, опрокинулся навзничь и пополз в сторону умирать.

– Ведут, ведут!.. Вот они, голубчики... – в злорадстве загудела, почуяв близкую кровь, толпа. – Царь-государь! Прикажи их вздернуть! Они из богатеньких, старшинскую руку держат... Мы кровь льем, а они, злодеи, по запечью у себя...

Девять связанных по рукам рослых казаков, из тех, что на зов Симонова не пошли в крепость, а остались при домашности, были приведены к костру взбаламученным народом.

Не раздумывая, Пугачев взмахнул рукой в сторону виселиц.

Палача Ивана Бурнова здесь не было, он остался в Берде. Вешали казаки Зоркин и Бычинин. Столпившийся народ, еще так недавно мирно настроенный, все более и более ожесточался. Среди толпы

были пьяные. Прибежавшие матери выхватывали из людской гущи своих мокроносых на морозе ребятишек.

– Домой, чертенята, чтоб вас притка задавила! – сверкая глазами, грозились женщины ребятам.

И вот подволокли еще одного. Это дворовый человек ненавистного старшины Бородина, по имени Яков. Он был отправлен Бородиным из Оренбурга с донесеньем Симонову, но на дороге схвачен пугачевцами.

– Ваше величество, – стал рапортовать царю Михайло Толкачев. – Мы, как сюды шли из Берды с отрядом, поймали вот эту самую фрухту. А как вязали его, он твою милость сволочил.

– Как же ты смеешь, изменник, неумытая твоя харя? – проговорил Пугачев, глядя в упор на Якова.

– Сам ты неумытик! – закричал тот бешено. – Какой ты царь? Ты мужичина сиволапый, как и мы... В казанском остроге вшей кормил!

Вокруг все замерло. Рот Пугачева перекоксился, глаза широко открылись, он судорожно схватился за саблю. Рослый мужик Яков, похожий телосложением своим на Хлопушу, вырвал нож у зазевавшегося казака и бросился на Пугачева. Но казачья пика ударила разбойника в спину, и он без стога повалился в костер. От костра брызнули в сторону горящие головешки.

Все это произошло мгновенно. Поверженного смертельно раненного верзилу поволокли к плахе.

Стало совсем темно. Страсти в толпе затихали.

За ужином Пугачев был мрачен, вял, впал в какую-то, не присущую его характеру, сонливость. Ел мало, но выпивал с усердием и не хмелел. На вопросы отвечал нехотя, иным часом невпопад.

– Поеду от вас на короткое время в Берду, к своему воинству, – говорил он тихо. – А вы разыщите знатеца-минера, да не такого дурня, как Кубарь. Когда вернусь к вам, учнем новый подкоп вести. А то, вишь, неудобца вышла. А Симонова я доконаю. И повешу...

– Ваше величество, – подал голос старик Губин, – уж ежели подкоп делать, так надобно не из моего погреба, а под колокольню. Хоть и грешно, да Господь простит... Господь за бедность да обиженных кровь свою пролил... А мы ли не обиженные?

– Верно, Иван Захарыч, – поддержали старика гости. – Под колокольней кабудь у Симонова пороховой погреб. Народ так балакает, слых такой пропущен.

– Угу, – сказал Пугачев. – А вы, други, приготовьтесь-ка атамана себе выбрать. Присоветуйтесь друг с другом, кто да кто у вас на примете.

– А уж мы совет держали, надежа-государь, – заговорила застолица. – Большинство склоняется посадить атаманом Никиту Каргина. Он, правда, что старик злой, зато богомольный: спасения ради души своя в пустыне жил, на речке Ташле. А ныне здесь-ка, к семейным своим прибыл.

– Ладно, – сказал Пугачев и, ни с кем не простившись, ушел спать.

Но не спалось Емельяну Иванычу. Мерещился ему Кубарь. За что, про что погиб человек – неведомо... Мерещились и девятеро повешенных. Пугачев вздыхал, поджимал к животу колени, ворочался с боку на бок. Не спалось. Тоска сосала душу... И не хватало воздуха. Пьян, что ли? Нет, кабудь не вовсе. Скорее бы в Берду. Там все-таки чин чином, канцелярия, коллегия. А здесь самодовольство, без всякой узды люди, а внатыр против толпищи не больно-то пойдешь. Взнуздать народ надо! А то никакого с ним распорядка. А без распорядка и впрямь, как балакали заводские людишки, загинешь. Не числом воюют, а распорядком.

С тем он и уснул.

3

Наутро Пугачев усилил караул, выставил против Симонова крепкие пикеты, стал готовить батареи. Проходя по улицам, слышал долетавшие из хижин стоны раненых. Он сдвигал брови к переносице, бросал через плечо шагавшему чуть сзади него долговязому Почиталину:

– Ах, несчастные детушки мои... Сколь верного народу покарябал злодей Симонов.

В иных домах, где покойники, были прибиты к наружной стене черные платки – траур. Из дома в дом шлялись привезенный с бахчи знахарь и две бабушки-казачки – мастерицы останавливать кровь, залечивать рубленые раны, отхаживать «сколотых».

Знахарь, бородатый гриб, пользовал раненых заговорами, бараньей печенкой, еще собачьим мозгом. Были удавлены и освежены для «снадобья» пять дворовых псов. Колдун обладал большой силой внушения, и, когда он пристально смотрел раненому в глаза и что-то бормотал, режущая боль сразу же стихала, к больному возвращались силы.

В обширном подворье Мартемьяна Бородина большая толпа казаков и башкирцев, с котелками, кошельками. Промеж народа сигают собачонки. Возле амбара местный житель Иван Харчев, коему поручено питание прибывших из Берды пугачевцев, рубил, развешивал и раздавал пришедшим под особые квитки мясо, рыбу, хлеб.

– Чередом, чередом подходи! – звенели выкрики. – Становись в хвост!

Горластые вороны, рассевшись по голым березам, ненавистно посматривали на людей: не уходят, не дают поживиться вкусной снедью.

Сзади Пугачева, идущего с Почиталиным, семенили гурьбой подростки.

– Царь, царь это... Самый главный... Главней Матюшки Бородина, главней Симонова...

На скрип шагов, на дробный топот Пугачев обернулся и, остановившись, поманил детей к себе. Те тоже приостановились и, оправив шапки, с любопытством воззрились на него. Пугачев заулыбался и тихонько стал подходить к ним. Они попятились, собираясь бежать.

– Не страшитесь, казачата... Чего это вы? – сказал Пугачев. – Я вас гостинчиком угощу. – И велел Почиталину купить в лавке заедок да сластей на целую полтину.

Опустившись на одно колено, он взял за плечи четырехлетнего пузана, закутанного в мамкину шаль, спросил его:

– Как звать, атаман?

– Кешкой звать, – смущенно пролепетал круглый и пухлый, как шерстяной клубок, мальчонка и вложил палец во влажный розовый роток.

– Мать дерку дала ему седни, – проверещала осмелевшая девчонка лет семи, она подпрыгивала и крутилась на одной ноге. – Я евоная сестренка, Дунька.

– За что же тебя драли, Кешка? – участливо спросил Пугачев.

– За волосья, – прошептал шерстяной клубок.

– А ты как... царя-то любишь? – перевел Пугачев разговор на иное.

– Нет, – сказал Кешка, – я больше пряники люблю да мед, ощо кашу с маслом.

Ребятишки громко засмеялись, засмеялся и Пугачев, заулыбались и четверо конвойных молодцов-

казаков.

Прохожие снимали шапки, низко кланялись Пугачеву и, понуждаемые конвойными («Проходи, проходи!»), шагали дальше. Проезжали возы с сеном, шли бабы за водой, прошествовал долговязый верблюд, запряженный в дровни: на дровнях калмык в остроконечном малахае. Два казака выковыривали косарями из бревенчатой стены засевшую при вчерашней перестрелке картечь. На противоположной стороне дороги стоял на коленях подвыпивший Денис Пьянов и, скрестив руки на груди, кричал через всю улицу:

– Царь-государь!.. Пришли мало-мало на опохмел души, а то старуха ни синь-пороха не дает...

Его подхватили, поволокли в переулок.

Но вот Иван Почиталин доставил кошель гостинцев. На заедки, на леденчики, на медовые ореховые пряники ребята набросились с радостным криком.

– Спасибо, царь! Спасибо, царь-государь!

– Да нешто я царь?

– А то нет? Знаем, знаем!

– Ча-арь, – сказал и Кешка. Ему досталось сладостей больше всех. Пугачев с Почиталиным засунули парнишке за шаль две пригоршни, и широко улыбающийся счастливый Кешка стал как бы еще толще.

Он побежал догонять кинувшихся домой ребят, по дороге кувыркнулся в снег, вскакивал, снова катился шариком.

Пугачев смотрел им вслед, вспоминая о своей далекой семье, брошенной им в Зимовейской, на Дону, станице. Живы ли, здоровы ли? Он не знал, что все его семейство «по бедности между дворов бродит, питаясь – кто что даст». Он не знал и того, что Екатерина лично повелела жену и детей его «без оказания им наималейшего огорчения, яко не имеющим участия в злодейских делах Пугачева», направить в Казань, в распоряжение губернатора Бранта.

На другой день была «закличка», был собран казачий круг. Пугачев, с драгоценной саблей у бедра и в бобровой шапке с красным напуском, стоял в кругу на высоком руднике. Сзади него, с обнаженными саблями, – шестеро молодцов-казаков да атаман Овчинников. Был прочитан старый манифест, где царь жаловал казаков землей и вольностью. Затем Пугачев сказал:

– Извольте, войско яицкое, по издревле установленному обычаю отец ваших, выбрать себе атамана и старшин. Выбирайте, кого хотите, это в полной воле вашей, детушки. А ежели выбранные не будут войску угодность творить, хоть через три дня вольны вы сменить их и новых по душе да по общему в кругу совету выбрать... Довольны ли?

– Довольны, батюшка! Довольны, надежа-государь! – кричали казаки. – Спасибо, что старинный свычай наш блюдешь.

На звание атамана был выдвинут богомольный и злой старик Никита Каргин, на должность двух старшин – приехавший из Берды с письмом к Пугачеву Афанасий Перфильев и Фофанов Иван.

Высокий, сухой, с суровыми глазами, старик Каргин, сдернув шапку, низко поклонился Пугачеву.

– Батюшка, уволь! За старостью и малограмотством своим я в столь большом достоинстве быть не могу. Уволь, Бога для...

Пугачев подбоченился, приподнялся на носках и, прищутив правый глаз, напористо сказал:

– Весь мир теперь слушает меня и служит мне... А ты противиться надумал? Ась?

– Ин будь по-твоему, отец, – молвил старик и поклонился царю в ноги.

Поздравив казаков с новым атаманом и старшинами, Пугачев ушел из круга. А в кругу началась обычная церемония.

Казаки вызвали на круг трех выбранных и сорвали со своих голов шапки.

– Господин атаман и господа старшины, – говорили они, кланяясь выбранным. – Послужите нам, войску Яицкому, верою и правдою.

Те, как всегда в подобных случаях, никли головами, смиренно отговаривались:

– Недостойны мы, господа казаки, управлять вами. Скорбны мы разумом своим. Не обессудьте...

Уговоры и отказы продолжались долго. Наконец той и другой стороне игра прискучила. И выбранные, посоветовавшись друг с другом глазами, молвили:

– Так и быть, господа войско Яицкое, мы в согласье.

– Благодарим, благодарим! Спаси Бог! – во всю мочь заорал круг.

Самый старый из казаков подошел к новому атаману и трижды ударил его нагайкой по спине. Это означало: «Мы тебя выбрали, мы тебя и сверзить можем». Атаман снял шапку, покорно поклонился кругу, затем, взяв от старика нагайку, трижды опоясал ею вдоль спин двух новых старшин. Те тоже сняли шапки и поклонились сначала кругу, потом и атаману. После этого тот же старик, теперь уже сам обнажив лысую голову и припав перед атаманом на одно колено, торжественно, при общем кличе «ура», вручил ему булаву – знак власти.

Пугачев отправил Овчинникова с отрядом казаков в Гурьев-городок за порохом, деньгами и продуктами. И вскоре сам выехал под Оренбург.

4

Положение в запертом Оренбурге с каждым днем ухудшалось. Жителям и гарнизону выдавали половинную долю провианта, продукты в купеческих лавках неимоверно вздорожали, а базаров не существовало. Жители ходили как тени, многие стали опухать, многие захворали цингой.

Изобретательный Рычков выдумал новый способ питания: надо старую кожу – будь то сапоги, шуба и хомут – как следует распарить, затем мелко-мелко искрошить, чем мельче, тем лучше, и это крошево подбавлять в тесто, тогда хлеб будто бы приобретает особую питательность. Впрочем, сам он своей выдумкой не пользовался, а те, кто поверил ему и отведал рычковского хлеба, долго маялись животами и свирепо бранили ученого выдумщика.

Хотя губернатор, все начальство, купечество, Рычков и прочие люди состоятельные продолжали питаться сытно, но и они благодаря непрерывным волнениям духа пожелтели, исхудали. И коллежский советник Тимофеев, под командой которого состояли находившиеся в Оренбурге казаки и татары, был, как и прежде, тучен – в нем весу было двенадцать без малого пудов, – из-за своей тучности он очень редко выходил на улицу, и все, что доносили ему казаки, принимал за правду.

Купчик Полуехтов все пропил, впал в ничтожество. Золотариха не пускала его к себе, он питался у Рычкова на кухне из милости.

Казачьи лошади были истощены не менее людей, их кормили мелко рубленными прутьями, поэтому разъезды прекратились. Рейнсдорп не мог достать «языка» и не знал, что делается в Берде, у неприятеля. Однако и без «языка» губернатору как-то удалось выведать, что Пугачев из Берды уехал.

– В атака, господа, в атака! – кричал на совещании губернатор. – Мы грянем на Берда, будем схватить там с Божья помощь всякие запасы, и Оренбург спасен... О!

1700 человек пехоты, 400 казаков и 23 орудия были разбиты на три отряда. Под общим руководством генерал-майора Валленштерна 13 января, в 5 часов утра, когда рассвет чуть брезжил, крепостной гарнизон выступил вперед. Глубокий, выше колена, снег и ослабевшие лошади крепостного гарнизона замедляли движение.

Пугачевцы спешно приготовились к отпору. И вышло так ловко, так умело, что Валленштерн, вступив на дорогу в Берду, был почти со всех сторон окружен притаившимися в лощинах пугачевцами. Хотя он и успел подтянуть к себе отряды бригадира Корфа и майора Наумова, хотя он и открыл пальбу из двадцати трех пушек, но дело его было проиграно. Многочисленные сытые пугачевцы, на крепких конях, были сегодня в особом ударе. Они стреляли метко, рубили сильно, преследовали быстро. Валленштерн, сделав еще несколько пушечных выстрелов, приказал отступить: мятежники подавляли его своей массой и удалью, а из Берды, кроме того, крупными толпами валили вооруженные чем попало мужики.

Весь крепостной вал, словно серой плесенью, был покрыт народом. Сердца жителей трепетали так же сильно, как и сердца сражающихся: от исхода битвы зависело – жить им или голодной дорогой приближаться к могиле.

Любопытная Золотариха, как всегда, торчала в передних рядах. Она в богатой лисьей шубейке, на руках дорогие кольца, пропитые Полуехтовым.

– Повернули, повернули! – с отчаянием завопил народ. – Наших повернули.

Рейнсдорп, наблюдавший битву с вышки угловой батареи, затрясся, плюнул и сказал:

– Капут!

Преследование было жестокое. Под копытами конницы снег взлетал, как от взрывов, размятые в кашу сугробы осели. Пороховой дым растекался голубыми лохмотьями. Белое поле было покрыто мертвецами и ранеными: люди и лошади Валленштерна в смертельном беге к крепости падали, падали. Но вот спасительные стены неприступной твердыни – в распахнутые ворота потрепанный гарнизон втекал, как мутный поток в прорву.

Золотариха сбегала вниз, чтоб удостовериться, цел ли ее новый любезник, сержант Кушаков.

– Ох, миленький!.. Жив-живехонек. Эй, Васятка!

Шигаев приказал дать из пушек еще два залпа по хвосту гарнизона:

– А ну, плюнь на закуску. Чтоб помнили.

Гроном грохнул залп, засвистела картечь. Золотариха взмахнула руками и, пораженная свинцовым кусочком в висок, замертво рухнула на землю.

Прощай, веселая бабеночка, прощай... Все твои Васятки, все кутилы купчики сегодня же забудут тебя навеки. Но кто-нибудь, может, самый простой человек, с сердцем мудрым и любящим, вспомнит похорошему и тебя, веселая бабеночка: ведь ты не последний обсевок в поле, тебя всегда привлекало нечто необычное в этой скучной жизни. Прощай, мирская кума Золотариха!

Не опасаясь погони, пугачевцы возвращались домой кой-как, в беспорядке.

– Здраста, Шавантай! – И, наскочив на Шванвича, поехала с ним рядом разгоревшаяся в схватке молодая Фатьма. Она в казацком наряде. Черные с просинью косы ее выпали из-под шапки. Прекрасные глаза татарки были устремлены на смутившегося молодого человека. – О Шавантай, Шавантай... Я тебя... Знаешь чего?

Но тут подлетел на взмыленном скакуне Падуров, схватил коня Фатьмы за узду, и оба они помчались прочь.

Удивленный Шванвич видел, как Падуров ударил плетью сначала коня Фатьмы, а затем и ее. К Шванвичу подъехал Андрей Горбатов.

– Ну как, Шванвич?

– Да ничего... – хмуро ответил тот.

Вылазка дорого обошлась Рейнсдорпу: потеряны 8 орудий, 281 человек убит, 123 ранено.

Он отправил в Берду два манифеста императрицы и свое воззвание.

Губернатор умолял мятежников, пока не поздно, одуматься и разойтись по домам. В конце грозил судом Божьим и праведным гневом императрицы.

Но пугачевцы и не думали о покорности. У них тройной праздник: прибыл из Яицкого городка сам государь, разбит Валленштерн, явился со своим отрядом из покоренной им Илецкой защиты Хлопуша.

– Илецкая защита поклон тебе шлет, батюшка, – докладывал он Пугачеву, – да провианту множество, да пять пушек, да триста рублей денег. Три офицера заколоты, а капитан Ядринцев, о коем жители просили, как о человеке добром, мною посажен там комендантом.

Были выкачены бочки с вином, Пугачев разрешил народу маленько попьанствовать, поздравил их с двумя «шибкими» победами.

Улучив добрый час, Шигаев спросил Пугачева:

– Ну, а как у вас там, Петр Федорыч, в Яицком городке?

– Да не больно складно. Симонов, собака, горазд укрепился, кусается. Мы подкоп вели, да обмахнулись, таперь второй поведу.

На другой день Пугачев ознакомился с последним воззванием Рейнсдорпа.

– Эка, эка, что написал, сомуститель!.. Ах он каверзник! Он еще жив, старый баран, – сказал Пугачев и велел писать ответ. – Да такой, чтобы у немчуры в носу заперчило!

Ругательный ответ сочинялся в избе Военной коллегии «всем гамузом», точь-в-точь так же, как запорожские казаки когда-то писали турецкому султану. Сыпались подсказы, крутое сквернословие по адресу Рейнсдорпа, стоял раскатистый хохот, старик Витошнов загибал ядреные словечки горше всех.

«Оренбургскому губернатору, – писал, прислушиваясь к подсказам, Максим Горшков, – сатанину внуку, дьявольскому сыну. Прескверное ваше увещание здесь получено, за что вас, яко всескверного общему покою ненавистника, благодарим. Да и сколько ты себя, немецкий черт, по демонству сатанину ни ухищрял, однако власть Божию не перемудрил. Ведай, мошенник, да и по всему тебе, бестия, знать должно, сколько ты ни пробовал своего всескверного счастья, служишь единому твоему отцу – сатане. Разумей, что на тебя здесь хотя Варавиных не станет петель, ну да мы у мордвина, хотя гривну дадим, да на тебя веревку-удавку свить можем. Не сомневайся ты: наш всемилостивый монарх, аки орел поднебесный, во всех армиях на один день (одновременно) бывает и с нами всегда присутствует, дабы мы вам советовали, оставя свое зловердие, прийти к нашему чадолубивому отцу. Егда придешь в покорение, сколько бы твоих озлоблений ни было, тебя всемилостивейше прощает, да и сверх того вас прежнего достоинства не лишает, а здесь небезызвестно, что вы и мертвечину в честь кушаете. И тако, объяви вам сие, да пребудем по склонности вашей ко услугам готовы»[\[19\]](#).

Главный судья Витошнов да и другие, тужась насмешить собравшихся, требовали вписать выражения еще посолонее, однако Шигаев резонно сказал:

– Мы не варнаку какому пишем, а губернатору. Да ведь надо в мысль и то взять, господа судьи, что мы не кто-нибудь, а Государственная военная коллегия.

– Правду говоришь, Максим Григорыч, – одобрил Пугачев. – И так занозисто написано.

На следующий день Емельян Иваныч вместе с Падуровым и в сопровождении небольшого казачьего отряда снова выехал в Яицкий городок.

Военные действия на всем охваченном восстанием пространстве продолжались. В Чесноковку, Берду, Яицкий городок пугачевские гонцы привозили утешительные сведения о победах.

Гурьев городок взят Овчинниковым, Илецкая защита – Хлопушей. Были заняты Никиты Демидова Кыштымский и Каслинский заводы. Отряды Салавата Юлаева и Канзафара заняли Красноуфимск. Атаман Грязнов подходил к Челябину.

Белобородов с 16 по 21 января взял заводы: два Сергиевских, Билимбаевский и два Шайтанских. Выказав неожиданные военные способности, он наголову разбил правительственный отряд в сорока верстах от Екатеринбурга, а 29 января занял Уткинский завод. Атаманом калмыком Дербетевым был взят город Ставрополь. Кунгур осаждался отрядами Ивана Кузнецова[\[20\]](#). Уфа была заперта «графом Чернышевым» – Чикой. Казалось бы, все шло удачно.

Однако поступали в пугачевскую Военную коллегия и печальные известия.

Так, атаман Арапов, победоносно вступивший в Самару еще 25 декабря, через четыре дня был выбит из нее майором Муфелем и вскоре потерпел под Алексеевской крепостью второе поражение. Князь

Голицын 8 января разбил возле Черемшанской крепости отряды пугачевцев под командой Чернеева и Давыдова.

О движении крупных воинских частей князя Голицына и генерала Мансурова узнал Пугачев лишь по приезде в Яицкий городок. Он отнесся к этому известию спокойно, приказав вести за отрядами крепкое смотрение и почаще доносить ему.

Глава V

Челябинск и Кунгур. Поход Белобородова. Два Ивана

1

Главный город Исетской провинции Челябинск, или в просторечии Челяба, был основан в степной местности в 1736 году, на реке Миасе. Как и все города, имевшие в то время военное значение, Челяба обнесен был валом, увенчанным несколькими сторожевыми башнями, или раскатами, и деревянным заплотом.

Гарнизон крепости состоял всего лишь из нескольких десятков солдат, поэтому воевода Веревкин приказал собрать с сельского населения тысячу триста человек крестьян, образовать из них так называемое «временное казачество» и прислать в Челябинск под командой выбранных в селах отставных солдат.

«Временные казаки» в лаптях и сермягах, привыкшие драться лишь кольями, да и то по пьяному делу, собирались плохо. Веревкин, в усиление защиты, сформировал дополнительно роту из последнего рекрутского набора. Несколько десятков человек было вооружено еще и купечеством.

В Челябинске повеяло духом вольности. Народ выходил из повиновения, «временное казачество» и даже солдаты кричали в открытую:

– Что это за командиры, офицеришки какие-то!.. Нам пускай генерала пришлют, да чтобы настоящего, при ленте, при звезде... Было бы кого слушаться.

Почти вся Исетская провинция постепенно переходила на сторону Емельяна Пугачева. Повсюду разъезжали небольшие партии вооруженных башкирцев, русских или тех и других. Это были партизаны-агитаторы, частью посылаемые из пугачевских толп Кузнецова, Грязнова, Белобородова, Канзафара, частью же объединившиеся по своему собственному почину. Заезжая в селение, они собирали крестьян, вызывали старосту, зачитывали пугачевский манифест, приглашали идти на службу государю.

Многие из бедняков присягали Петру Федоровичу и тут же снаряжались в путь. И вот тянутся обозы со всем скарбом к Кунгуру, к Челябе, к Екатеринбург.

На берегах озер Миасском и Тургуяке, в дачах башкирского старшины Карымова, шестьдесят человек его крепостных – башкирцев и русских – долбят пешнями лед, ловят рыбу. Из гущи леса вымахнул всадник в остроконечной шапке, башкирец.

– Чего вы тут сидите, рыбку ловите? Не рыбу, а начальство надо ловить да вешать. В Чебаркульской крепости тумаша заварилась, бунт. Собирайтесь! – сказал он и, похлебав свежей ушки, уехал.

А вскоре появился на рыбном промысле и другой башкирец, из вотчины другого старшины, Таймасова.

– Съезжайте скорей с промыслу – в Кундравинской слободе тумаша. Собирайтесь!

Рыбаки, бросив семьдесят возов рыбы, иные на лошадях, а другие и пешком, направились к Долматову монастырю. Отъехав верст пять от промысла, они увидели в темноте великое к высоте простирающееся пламя.

– Это Кундравинская слобода пластает, – сказал их набольший, Башлык Лавров.

– То ли слобода, то ли казенный промывальный глиняный завод горит.

Таких пожаров было в то время множество. Пылали казенные и купеческие заводы, горело какое-либо барское имение или предавались огню русские и башкирские деревни. Нередки были случаи, когда озлобленные башкирцы, не имея крепкого над собою руководства, жгли русские селения.

Сибирский губернатор Чичерин тем временем выслал в Челябину под начальством офицера Пушкарева роту солдат и полевую артиллерию.

Едва эта рота успела вступить в Челябинск, как в городе вспыхнуло восстание. Ранним утром 5 января, в воскресенье, когда народ валил из церкви от заутрени, двести человек «временных казаков», под началом хорунжего Невзорова, с криками «ура» и ружейной пальбой помчались к воеводскому дому и захватили стоявшие там пушки.

Повстанцы-бомбардиры расхаживали возле пушек с зажженными фитилями. Невзоров, размахивая саблей, без умолку кричал в народ: «Покоряйтесь! Все миряне покоряйтесь законному императору Петру Федоровичу! Сбегайтесь сюды с оружием, вяжите начальство! Иначе – открою пальбу ядрами, разнесу весь город!..»

Не оставив возле пушек вооруженной охраны, он вбежал с толпой в обширный дом воеводы Веревкина. Одни принялись грабить, другие вязать всех, здесь живших. Самого Веревкина, избитого до полусмерти, казаки поволокли по снегу за волосы в свою войсковую избу, связали его там и продолжали бить. Но в этот миг, проложив себе штыками путь, ворвался со своей ротой в войсковую избу прибывший из Тобольска офицер Пушкарев и живо разогнал буянов. Невзоров бежал из города, Веревкин был освобожден, в городе настала тишина.

На другой день пришло известие, что находившиеся вокруг Челябинска крепости – Чебаркульская и Каельская, а также слободы Верхнеуфевская и Кундравинская захвачены мятежниками. Пугачевские отряды партизан во всех покоренных местах радушно принимались народом совместно с духовенством.

Челябинск был окружен мятежными толпами. Собранные «временные казаки» и крестьяне почти все разбежались из крепости, город был предоставлен своим силам: рота рекрутов да триста человек молодых солдат, приведенных из Тобольска офицером Пушкаревым.

Скрывшийся из города хорунжий Невзоров набрал в подгородных деревнях полтора человека крестьян и ночью на 7 января подступил с ними к Челябинску.

– Сдавайтесь! Отпирайте ворота! – кричал он с коня перед стенами города. – Государева сила в сорок тысяч человек подходит к Челябине!

Его партизанская толпа, отогнанная выстрелами, ушла в деревню, что в двух верстах от города.

Там уже находился прибывший из Уфы по приказу Пугачева и Зарубина-Чики атаман Иван Иваныч Грязнов.

Узнав о положении дел в Челябине, Грязнов отослал от себя своего мальчика-прислужника Малайку, заперся в избе, достал из походной сумы толстую восковую свечку, затеплил ее перед образом и, завесив единственное оконце боевым своим знаменем, опустился на колени для молитвы. Лысый, бородатый, но еще не старый, он устремил свои горящие глаза на темный лик иконы и с душевным жаром стал молиться. Молитва его была немногословна; он твердил одно и то же, то подымался во весь рост, то снова припадал на колени.

– Господи! Господи! – говорил он, возвышая голос до крика. – Будь милостив ко мне, грешному. Вразуми, научи. Не стерпело сердце мое. Ведь и Ты, Спасе наш, восставал за людишек простых. Вразуми, научи, что делать мне, сирому рабу Твоему!

Его вздохи, размахистые кресты и припадания были столь порывисты, что слабый пламень свечи в этой темной маленькой избе мотался во все стороны, как бьющаяся у свечи златокрылая бабочка.

В дверь давно стучали. Грязнов, проливая слезы, все молился и молился. Но вот загрохали в окно. Грязнов впустил своего сотника, заводского крестьянина Григория Туманова, хорошо знавшего татарский и башкирский языки.

– Человек с двести, батюшка Иван Иванович, подмоги к нам привалило из-под Челябины. А привел их хорунжий Невзоров. Молодец, видать, сорви-голова! Что прикажешь делать, батюшка?

Позвали Невзорова. Он – молодой человек, с беспокойными черными, навывкате, глазами, с черным чубом, сухощавый и юркий. Торопясь и захлебываясь, он рассказал Грязнову о происшествии в Челябине.

– Не знаю, жив ли воевода, – сказал он. – Его место заступил товарищ воеводы господин Свербеев.

И опять встал вопрос: что делать?

– Идите с Богом спать, а я подумаю, – сказал Грязнов и, положив низкорослому Невзорову руку на плечо, спросил: – Не страшишься изменить государыне-то, присягу-то рушишь?

– Государю хочу служить! – нервно выкрикнул Невзоров.

– Дивлюсь, как это в столь молодых годах сердце твое озлобиться могло?

– Душа вскипела, господин атаман... К бою рвусь, как на праздник!..

– Ну, ладно. Ежели сносишь буйну голову, толк будет из тебя. Ну, идите.

Наступила ночь. Старуха-хозяйка дала атаману поесть и завалилась на теплую печку спать. Малайка приготовил бумагу и чернила. Грязнов, надев очки, принялся писать, перечеркивая написанное, вставляя новые фразы, то и дело взглядывая на икону и вздыхая.

Первая грамота была товарищу воеводы – Свербееву:

Окончив письмо, напоминающее собою скорее послание апостола, Грязнов положил правый локоть на край стола, подпер голову рукой, задумался. Что он пишет, к чему призывает, какой смысл в его бумажке? «Не проливайте крови неповинной, разве мы не сыны церкви Божией?» – зывает он в своем послании. «Наглец и хриstopродавец! Не ты ли, заблудшее чадо христовой церкви, привел многие толпы проливать кровь неповинных? Иуда и раб сатаны! Кто уловил тебя в коварные сети духа зла, духа истребления и пагубы? Не сам ли, не своей ли волей ты бросился, как в черную пучину, в пасть хриstopорца Вельзевула и слуг его?!»

Так горестно раздумывал Иван Грязнов, полковник Пугачева. Эти мысли и раньше раздирали сердце атамана. Мысли темные, страшные, но теперь они с новою силой овладели им.

Вдруг где-то близко, за прокоптелю древнею стеною, всхлопав крыльями, горласто заорал петух. Иван Грязнов широко открыл блеклые глаза и ужаснулся, вспомнив реченное в Писании: «Петух не успеет пропеть в нощи, как ты трижды отречешься от меня».

– Господи! Прости, прости душу мою!.. – застонал он, бросился перед иконой на колени и заплакал.

И новые мысли, внезапно зародившиеся где-то в закоулках мозга, потекли в его взбаламученном сознании и стали согревать заскорбевшую душу атамана.

Ради кого он, на склоне лет, должен подставлять свою грудь морозам, бурану, пулям и картечам? Не

ради ли обиженных, поруганных младших своих братьев во Христе? Про себя же он твердо знает: не слава ждет его, а лихая смерть через мучительную пытку.

«О Господи, пронеси мимо чашу сию». И как огнем по бархату черной ночи, вспыхнули перед ним слова. «Нет больше любви, как душу свою положить за други своя», – вот что заповедано ему. Не сохранять душу свою в тиши жизни, а жертвовать ею во благо народа своего – вот в чем непобедимое оправдание его дел.

Облегченный, он снова примостился к столу, чтоб написать воззвание к народу. Было тихо, лишь старуха бредила на печке да Малайка похрапывал в углу. Оплывала свеча, прилепленная к опрокинутой деревянной чашке, коричневый таракан по каким-то неотложным делам спешно пересекал столешницу. Кошка, засверкав круглыми глазами, бросилась к печке на мышонка, снова запел петух. Грязнов перекрестился.

«Всему свету известно, – стал выводить он гусиным пером строки, – сколько во изнурение приведена Россия, от кого же – вам самим то неизвестно: дворянство обладает крестьянами. Хотя в законе Божьем и написано, чтоб дворяне крестьян так же содержали, как и детей своих, но они хуже их почитали собак, с которыми гонялись за зайцами. Компанейщики завели премножество горных заводов и так крестьян работой утруждали, что и в каторге того не бывает. Великий же государь Петр III, ежели снова на престол свой вступит, избавит народ свой от ига работы».

Он дальше писал, что дворянство сбросило государя и заставило его скитаться одиннадцать лет за то, что он приказал отобрать от помещиков всех крестьян, что и ныне то же самое дворянство распускает слух, что будто бы государь есть самозванец, донской казак Пугачев, с позорными клеймами на щеках и на лбу... Враки!

«Сдавайте город, сдавайтесь на милость государя! Знайте, братья во Христе, что каменные стены не спасут вас. И в великое удивление мне, что вы, мирянушки, не хотите себе добра и не покоряетесь. Орды неверные покорились государю, а вы противитесь».

Он дал сам себе обещание, как можно сберечь свою армию от кровавых ранений, от смерти. И да будет над всем воля Божия.

Он послал в город с особым гонцом оба возвания – и не получил ответа. Тогда он подошел к городу с огромной толпой своей и растянул ее «вдоль по рознице, чтоб городским жителям казалось силы боле». Город молчал. Он велел открыть пальбу по крепости из пяти пушек.

Грохотом восемнадцати орудий ответил ему город. Сделав десять залпов и не желая брать Челябинск штурмом, Грязнов приказал отступить опять к деревне Маткиной.

10 января, на восходе солнца, армия Грязнова, возросшая за последнее время до пяти тысяч человек (прибыли крестьянско-рабочие отряды из Кыштымского и других заводов), снова, уже с восемью пушками, подступила к городу.

Челябинцы сделали вылазку. Произошла горячая схватка. Хорунжий Невзоров, окруженный «ружейными» людьми, в каком-то диком иступлении наскочивал на неприятеля и, размахивая саблей, до хрипоты кричал:

– Сдавайтесь, сдавайтесь! Бросайте оружие! Покоряйтесь императору Петру! Ур-ра!

В яростной драке он был выбит из седла и захвачен в плен.

Грязнов, помня свое обещание оберегать людей и не видя покорности от города Челябинска, отступил со всей своей армией до Чебаркульской крепости. При отступлении он объявил народу:

– Отправляйтесь со мной токмо желающие. А кто не согласен – куда хотите, туда и идите.

Многие разошлись по своим жителям. Он оставил под Челябинском лишь небольшую толпу башкирцев с наказом никого не пропускать в город и никого из города не выпускать.

Хорунжий Наум Андреевич Невзоров был подвергнут допросу с тяжелыми пытками и через пятнадцать часов после жестокого избиения скончался смертью мученика. Последние слова его были:

– На вашей стороне сила, на нашей – правда. Слепые вы кроты!

2

В это же время и с той же неудачей для пугачевцев протекала и блокада города Кунгура, центра Пермской провинции, куда был послан табынский казак Иван Степанович Кузнецов, который Зарубиным-Чикой назван «главным российского и азиатского войска предводителем».

Атаман Кузнецов – человек молодой, грамотный, толковый, расторопный. Отряд правился под Кунгур через уральские заводы, где, по приказу «графа Чернышева», атаман Кузнецов должен был набирать в свою толпу людей, а также брать пушки, зелье (порох), ядра, казну и все это направлять с охраной в Чесноковку и в Берду – для главной армии.

В Катав-Ивановском, Саткинском и других заводах, куда заезжал Кузнецов, все заводское крестьянство и работные люди «встречали и принимали его беспрепятственно». В Саткинском заводе Кузнецов огласил манифест Пугачева с обещанием земли, вольностей и с призывом заготовлять для государя пушки, мортиры и вооружение. Работные люди ответили на манифест шумной радостью и стали выкрикивать из толпы:

– Оный манифест приказчик наш от народа скрыл, а батюшку государя всячески поносил позорным словом!

– Люди работные! Успокойтесь! – прокричал Кузнецов. Он – высокий, тощий, безбородый, только черные усы прильнули к впалым щекам накрученными кольцами. – Жизнь вашу устроим, новые порядки заведем. А приказчика – в петлю!

– В бегах он, батюшка, ваше благородие, как вас... Утек, паскуда!

Был разбит «господский дом» управителя Саткинского завода, забрано все состоящее в оном имени – лошади, рогатый скот, экипаж, утварь, – взято в конторе до десяти тысяч денежной казны, а также двенадцать пушек и больше пяти пудов зелья – все это для отправки в главную армию под Оренбург. Были выбраны всем народом для местного распорядка атаман, есаул, урядники.

События под Кунгуром развертывались так.

В конце декабря, узнав, что к Кунгуру приближаются башкирцы, воевода Миллер, человек трусливый, но заносчивый, вместе со всем начальством ночью, скрытно, бежал из Кунгура в Чусовские Городки. В управление брошенным городом вступил кунгурский магистрат, ведавший купечеством, и при помощи купцов начал готовиться к обороне. Под руководством двух торговых людей, братьев Хлебниковых, кунгурцы приступили к устройству батарей и к расстановке на них пушек, а жителям внушено было действовать «без всякой робости и трусости».

Подступившая к городу толпа башкирцев под началом Батыркая была дважды разбита и отступила в окрестные деревни. И все-таки, несмотря на видимый успех, кунгурцы считали себя беззащитными: вражеская сила была значительна, а порох подходил к концу. И совершенно неожиданно, как в засуху благодатный дождь, явился в Кунгур секунд-майор Попов с отрядом в четыреста человек вооруженных новобранцев.

Энергичный и умный боевой офицер, он взял оборону города в свои руки. Ободренные его разумными мерами, кунгурцы усердно помогали ему. Из позорного бегства явился наконец «градодержатель» воевода Миллер со всеми чиновниками.

Попов разбил город на участки, в каждом участке возглавлять воинские отряды поставил офицеров и

расторопных, вроде братьев Хлебниковых, молодых купцов, настоял прекратить по кабакам продажу вина и пива, усилил дозоры и пикеты. С наступлением темноты и до утра командиры должны находиться на своих местах и ночевать с солдатами. «А на все труды и опасности я усердно всего себя полагаю».

9 января, в полдень, восставшие подошли к Кунгуру по трем дорогам: от Осы, Екатеринбурга и Казани.

– Зачем вы нас мучите? – кричала у стен партия наездников-башкирцев. – Мы в мире хотим жить с вами. Только выдайте нам воеводу да начальников, а город сдайте. Мы не тронем вас.

С городского вала загрохотали пушки. Мятежники подались назад, но не разбежались.

Тогда Попов с небольшим отрядом при одной пушке произвел вылазку и бесстрашно атаковал неприятеля. Враг бежал. Испробовав свою силу и довольно слабые боевые качества врага, Попов решил дать сражение башкирцам в поле. 11 января он выступил из города. Пройдя три версты, он встретил пятисотенную толпу башкирцев под начальством Батыркая и вступил с ними в бой. После перестрелки, понеся большие потери, башкирцы бежали за двадцать верст, в селение Усть-Кишерт.

Секунд-майор Попов был встречен городом как герой. Жители кричали его отряду: «Ура, спасибо, братцы!» Был отслужен в соборе благодарственный молебен, прочитан манифест императрицы. Пучеглазый градодержатель воевода Миллер, потрясая шпагою и ударяя себя в грудь, произнес горячую речь, призывал к самозабвению и храбрости при защите богоспасаемого града Кунгура.

Молящиеся, дивясь столь великой наглости Миллера, переглядывались друг с другом, язвительно улыбались. А подвыпивший печник крикнул:

– Сволочь!

Его забрали и, по приказу воеводы, выдрали.

Вожди мятежных башкирцев и заводских крестьян: Салават, Канзафар, красноуфимский писарь Мальцов и другие, узнав про неудачи Батыркая, собрались со своими толпами в Старом Посаде и держали совет, как взять Кунгур.

В этот же день прибыл к ним и принял общее командование Иван Степаныч Кузнецов.

Прежде всего он отправил кунгурцам увещание, в коем призывал жителей верить тому, что объявившийся император Петр III есть истинный царь, «из неизвестности на монарший престол восходящий». Кузнецов уверял, что он уже прикладывает все старания к восстановлению разрешенных по неведению башкирцами церквей и просит жителей, не оказывая сопротивления, покориться.

Ответа от кунгурцев не последовало. Тогда утром 23 января, с двухтысячной толпой, Кузнецов подступил к Кунгуру и открыл пальбу из семи орудий. Кунгурцы, жалея порох, отвечали на выстрелы редко. Тогда Кузнецов велел подкатить пушки на ружейный выстрел. Над головами защитников засвистали ядра. Секунд-майор Попов и прочие офицеры ободряли жителей, но некоторые из них по неопытности, иные по трусости выходили из послушания, убегали со своих постов, прятались от свиста ядер по зауголью. Бесстрашные братья Хлебниковы увещевали их словами, а нет, так и сильным кулаком вернуться на места.

На ближайшей к мятежникам батарее Попов сам наводил пушки. Вот пушка ахнула картечью в группу всадников со знаменем. Всадники с гиканьем скакали вдоль линии мятежников и вдруг от выстрела смешались, поскакали обратно: две картечины стегнули в башкирского вождя, молодого Салавата.

Возле дома воеводы Миллера стояла наготове тройка, запряженная в простые крестьянские розвальни, а сам воевода, в женском меховом салопе, в длинных валенках, повязанный огромной шалью, вообще замаскированный под старую бабу, в большом волнении вышагивал по опустевшим своим горницам, охая и подпрыгивая при каждом пушечном выстреле.

Проходившие жители толпились возле тройки, шумели:

– Не пускай, братцы, не пускай его, немчуру! А ежели вздумает бежать, бей насмерть!.. За такового воеводу и государыня не вступится.

Башкирцы, вооруженные лишь стрелами да пиками, на штурм идти опасались, лишь орали во всю глотку:

– Выдавай воеводу! Выдавай изменника Попова!

Кузнецов к вечеру прекратил обстрел и отвел толпу на четыре версты от города. Все стихло.

По улицам двигался верхом на рослом коне, одетый не под старую бабу, а уже во всей своей боевой форме, градодержатель воевода Миллер, шпага сияла серебром. Объезжая батареи и пикеты, он, выкатив глаза, воинственно кричал в сторону хмуро улыбавшихся защитников:

– С победой, отважные молодцы! Враг бежал! С нами Бог и государыня великая Екатерина!

Мятежники много времени отсиживались в окрестных деревнях. Раненный в ногу и руку, Салават Юлаев уехал к себе на родину.

Желтолицый, сухой, скуластый, с закрученными в кольца черными усами, Иван Кузнецов особыми военными способностями наделен не был, но старался во всем подражать своему дружку «графу Чернышеву», с которым был знаком сызмальства. Он никогда не унывал, любил кутнуть и, подвыпив, был всегда задирчив. Как-то, во время попойки в квартире Канзафара Усаева, между ним и Канзафаром произошла передряга.

– Какой ты мне начальник? – напористо сказал выведенный из терпения всегда спокойный Канзафар. – Меня сам бачка-осударь ставил, и я не слуга тебе.

– О черт! О черт! Слыхали, братцы? – заерзал на скамье склонный к ссорам захмелевший Кузнецов. – Ты другой раз мне этого не моги говорить: я главный российского и азиатского войска предводитель! Ну, стало, и над тобой я предводитель. Черт толстый!

– Наплевать, что ты такой-сякой. Я сам полковников ставлю, – эвота недавно колченогого Белобородова полковником назначил. И ты не указ мне! Шайтан!..

Задетый за живое, Иван Кузнецов стиснул зубы, судорожно сгреб скатерть на столе, посунул к сидевшему против него дородному Канзафару, но сдержался, только, засверкав глазами, крикнул ему в упор:

– Арестовать, арестовать изменника! Я от графа Чернышева главный! Ярлык при мне!

Канзафар с ленивостью взглянул на вскочившего Кузнецова, сказал спокойно:

– Руки коротки, чтобы меня арестовывать. А ежели я тебе не по нраву, бери русских и командуй ими, а ко мне с Салаваткой не цепись. Уйдем от тебя, ежели орать будешь, и всю башкирь с татарвой уведем. Пьяный шайтан ты! Барсук!..

Кузнецов замотался на месте, топнул, испустил какое-то невнятное мычание и, схватив недопитый стакан, с маху плеснул вином в жирное лицо башкирца. Гуляки со страху разинули рты, опасаясь кровавой схватки.

Канзафар промигался, не спеша отер лицо рукавом белой рубахи, встал, высокий и дородный, молча шагнул к схватившемуся за саблю Кузнецову, крепко, до хруста костей, облапил его и вытолкнул за дверь.

Кончилось тем, что оскорбленные кузнецовские казаки – а их было в толпе сотни полторы – вступились за честь своего главного начальника.

На следующее утро вооруженный казачий отряд явился в избу Канзафара. По письменному приказу Ивана Кузнецова Канзафар был арестован, закован в железа и направлен на одноконной подводе с веревочной упряжкой в Чесноковку, на суд уфимского царька Зарубина-Чики. Следом за Канзафаром выехал в Чесноковку и сам Кузнецов.

Управлять толпой остался атаман Мальцов, бывший красноуфимский писаришка. Ему ли, пьянчуге, мечтать об овладении Кунгуром? Он лишь заботился о том, чтоб удержать свою толпу под городом и не выпустить из него майора Попова.

Время тянулось под Кунгуром в бездействии, и времени прошло много.

Бибиков понимал, что Кунгур является важным пунктом, и старался скорее освободить его от блокады. Он послал на выручку Кунгура и для наведения порядка в крае опытного офицера Гагрин с двумястами человек Владимирского полка при двух орудиях.

25 января Гагрин вошел в город беспрепятственно: мятежники, проведав о приближении его отряда, быстро отступили.

3

Более удачны были действия полковника Белобородова.

Расставшись с Канзафаром, он направился по большой дороге к Екатеринбург и 18 января прибыл на казенный Билимбаевский завод, расположенный в западных предгорьях Урала[21].

Остановившись в доме бежавшего со всем семейством управителя, он потребовал к себе писаря горного ведомства Дементия Верхоланцева. Это был рослый белокурый парень себе на уме.

– Здравствуй, друг любезный!..

– Желаю здравствовать вашему высокоблагородию! – гаркнул от двери Верхоланцев. Полковник Белобородов, в праздничной шерстяной рубахе, с аппетитом пил после бани чай с липовым медом и сибирскими румяными шаньгами. Его угощала стряпуха управляющего, старая сибирячка Власьевна. Она – в набойчатом синем сарафане с белой травкой и в черном повойнике. На столе, накрытом браной скатертью ярославской мануфактуры, стояли серебряные стопки и четыре хрустальных графинчика с настойками: ежевичной, рябиновой, смородинной и облепихи-ягоды.

– Сколько у вас людей на заводе самосильных, чтоб со мной в поход могли выступить? – обратился Белобородов к Верхоланцеву.

– А так что горнорабочих подходящего естества наберется человек с полтысячи, ваше высокоблагородие!

– Ну, так ты, любезный, подготовь их к завтрашнему утру на посмотренье мне.

– Сполню, ваше высокоблагородие!

Белобородову нравилось, что его величают «по-господски», но в то же время как-то и неловко было. Он сказал:

– Я ведь не больно-то шибкий барин... Я, допряма скажу, такой же, как и ты, простой человек, отставной солдат. А как объявился наш батюшка Петр Федорыч Третий, положил я в своем сердце послужить ему по край ума своего. Да ты садись, Верхоланцев, Власьевна, плесни ему травки-то этой... барского чайку-то.

Верхоланцев отнекивался, ежился, но после второго приглашения сел. Власьевна, его родная тетка, налила ему чаю, придвинула морщинистой старушечьей рукой шаньги, вздыхая и крестясь на богатый киот с иконами, принялась рассказывать Белобородову о том, как страждет на заводах простой народ.

– Мне все ведомо, знаю, – перебил ее Белобородов. – А ты вот лучше расскажи мне, молодец, какие да какие тут, возле Екатеринбурга, заводы стоят?

– Слушаюсь... Вот пожалуйста, ваше высокоблагородие, к стенке. Там карта висит, на ней занесены всякие жительствова, а также заводы всего горного ведомства.

Хорошо грамотный Верхоланцев был вхож к управляющему, имел от него разные ответственные поручения, часто ездил в Екатеринбург и поэтому знал всю подноготную о горном деле на Урале, и главное – настроение рабочего люда. Умный Белобородов быстро схватывал и запоминал все, что рассказывал ему, тыча перстом в карту, писарь Верхоланцев.

Разговаривали они очень долго: Власьевна успела подогреть самовар и приготовить яичницу. А вот ужо каким обедом угостит она этого колченогого из простых солдат полковничка! Она сдобных пирогов настряпает, гуся зажарит, маринованных рябчиков с луком да сметаной, в кипящем сохатином[22] сале

испечет пшеничных пышек с хрустом, пусть полковничек на доброе здоровье покушает их со сливками, с вареньицем. Ежели завод не удержится за новым царем-батюшкой да, Боже упаси, старый управитель вернется, она и перед ним сумеет оправдание себе найти: злодеи, мол, ей в лоб два пистолета наставили, а против сердца, мол, вострый нож держали, так тут уж пес с ними и с рябчиками!

Белобородов, слушая речи писаря, посматривал за окно на улицу. Вся площадь перед домом ожила. Взад-вперед сновал народ, как на пожаре: кто верхом, кто пеш, кто на подводе. А возле крыльца зеваки гуртовались, с любопытством посматривали на окна, пробовали заговаривать с вооруженными, стоявшими при дверях казаками. Через двойные рамы долетали до слуха Белобородова приглушенные крики:

– Эх, винишка бы, угощеньца бы!.. Ведь не кто иной, а сам государев полковничек припожаловал.

– Ванька! Ори громче. У тя голос-то, как у ведмедя... Требовай!

Опираясь на палку с завитушкой, Белобородов похромал к столу и, продолжая чаепитие, стал выспрашивать Верхованцева о Екатеринбурге.

Что ж, с полным нашим удовольствием! Екатеринбург город приличный. А главный начальник города, крепости и всех заводов полковник Василий Афанасьевич Бибиков человек вялый, малодушный и ненадежного ума. («Дурак не дурак, а захлебнувшись».) По приезде в Казань генерал-аншефа А. И. Бибикова стали в Екатеринбург поступать сведения, что в Исетской провинции неспокойно. Тогда наш полковник Бибиков, перетрусив на военном совещании, ляпнул, что Екатеринбург он держать отказывается и, чтобы не сделаться бесполезною извергов жертвою, всем благородным жителям предлагает выехать отсель в места безопасные. Хотя полковник Бибиков и приказывал сохранять его решение от народа в тайности, однако народ узнал об этом и пришел в великую робость и уныние. Особенно когда увидал, что у полковника пятьдесят подвод на дворе к побегу в готовности.

Тем временем многие жители Екатеринбурга потянулись с возами к Верхотурью да к Верхотурью. Бежали и власти. Да не токмо из Екатеринбурга, а даже из многих Камских заводов; еще в глаза не видя государевых отрядов, должности свои покинули. Вот и управитель ихнего Билимбаевского завода тоже удрал со своей семьей.

На следующее утро Верхованцев снова был допущен к пугачевскому полковнику.

– Ну что, любезный друг, исполнил ли ты мой приказ? – спросил его Белобородов.

– Точно исполнил, ваше высокоблагородие! Всю ночь не спал. Да и весь завод глаз не сомкнул.

Белобородов вышел на улицу в лисьей шубе, при бедре сабля. Опираясь на палку с завитком, он обошел пятьсот человек горнорабочих, выстроившихся против его квартиры в одну шеренгу. Он отобрал в свой отряд триста человек, боеспособных по виду, остальных – малолетних и слабых – забраковал. Затем вынул свою саблю, торжественно приподнял ее вверх и, подозревая Верхованцева, пожаловал его в чин походного сотника.

– А вас, ребята, поздравляю с товарищем!

Толпа ответила криками «ура», а Верхованцев поклонился полковнику и принял от него саблю.

– Когда, батюшка, в поход пойдем? – вопрошали из толпы.

– Ждите письменного от меня приказа! – гулко, по-солдатски, прокричал Белобородов. – Можете по жителям расходиться.

Толпа бросилась громить два кабака. Уже был связан кабатчик, уже вышиблено бочонку дно, и пьяницы побежали в погреб выкатить для распития еще бочонков с десятков, как подошли к Белобородову четыре мастера и двое молодых людей работных. Высокий старик, в самодельных очках, поклонившись

ему, начал говорить:

– Батюшка полковник царской! Вот мы, мастера, кои при домнице, кои на кричных молотах, прибегли предупредить тебя... Напились многие... буянят... Мы было унимать бросились, так нас едва не потоптали. Останови, отец! Белобородов крикнул Верховланцева, велел ему:

– Сотник, возьми казаков! Безобразие у кабака пресечь, вино выпустить в землю. А на заводе, у всех мастерских, крепкий караул поставить!

Вскоре разгул у кабака прекратился. Белобородов, прихрамывая, шел осматривать завод, вел в пути разговоры с мастерами. То один, то другой работник говорил:

– На заводе нашем людишки всякие. А как услышал народ, что твоя милость к нам припожаловала, углежоги с куреней да дровосеки набежали – народ оголтелый, им всласть винца пожрать, душа горит. Эвот на той неделе боле сорока семейств пригнали с Расеи, их какой-то барин в карты проиграл нашему хозяину. Ну так им терять нечего... Ухорезы! Так уж ты, господин полковник, не перекладай их охальничанья на нас, людей работных. Мы-то, коренные работники, званья не возьмем безобразить...

– Ну да ведь я рабочий люд довольно знаю, – сказал Белобородов, ласково посматривая в серьезные лица мастеров и подмастерьев. – Они и на работу люты, и в ратном деле хоть куда. А много ли коренных-то у вас?

– Да сот до пяти, отец. А всего-то людства поди в четыре тыщи не уложишь. Ведь у нас башкирцев да татар с черемисами немало. Ты, отец, построже с кобылкой-то востропятой, с буянами...

Пока Белобородов, в сопровождении мастеров, осматривал завод, толпа, хотя и лишенная соблазна выпить, все же продолжала шуметь и колобродить.

Белобородов пока что смотрел на дурачества толпы сквозь пальцы (пусть душу отведут!), он только выставил охрану на заводе и возле казенных складов. Его отряд возрос теперь до шестисот человек. Наименовав всех казаками, он разбил толпу на три части: русские, башкирцы, черемисы; над каждой частью поставил по сотнику. Каждому из сотников сочинил особую инструкцию: «Накрепко подтверждаю, что воинские команды содержать во всякой строгости и крайне наблюдать, чтоб было все в единодушном его императорскому величеству усердии. А если кто из казаков оказываться будет в самовольствах, озорничествах и вам в непослушании, таких упорственников наказывать вам без всякой пощады плетьюми: русских при собрании русской и татарской команд, татар – при собрании татарской и русской команд. Ежели же и затем кто окажется в наивящем своем упорстве, то уже, для настоящего усмирения, присылать ко мне».

Сочинять этот первый приказ было Ивану Наумычу весьма приятно: упоение властью обволакивало его мятущуюся душу. После трудового дня, после вкусного обеда и ужина он удобно лежал на управительских пуховиках в жарко натопленной горнице; перед образом лампада горела, на стене ковер с гривастым львом, на полу тоже пушистый шерстяной ковер, на окнах занавески, за окнами ночь, мороз и... неизвестность. Душу обсасывало непонятное томление – то сладостное, обольщающее великими надеждами, то гнетущее, от которого захватывало дух и сжималось сердце. Кто он, тридцатипятилетний колченогий солдат, мелкий торговец дегтем, медом, хомутами и веревками? Кто нарек его полковником?..

Так вопрошал он, вглядываясь в трепещущий от мерцания лампы красноватый полусумрак, и не получал ответа. Строгий Никола-чудотворец, сдвинув брови, немилостиво взирал на него с иконы.

Белобородову становилось душно. Он осенял себя крестом, скороговоркой бормотал взхлеб молитву, был готов подняться с кровати, незаметно выбраться из чужих хором, крадучись вскочить на коня и мчаться, мчаться в Богородское, к родному своему дому, к жене и двум малолетним дочкам, к такой

тихой, такой понятной и простой жизни, где «сегодня» похоже на «вчера», точь-в-точь такое же, как «завтра». Тихо, спокойно, малогрешно...

А что, ежели действительно без оглядки бежать, пока не поздно? И кто-то шепчет ему разящим душу голосом: «Лезешь в волки, а хвост у тебя собачий».

И вдруг из темного угла, из-под полу, из-под резной полированной кровати вздыбилось нечто безликое, мрачное, опрокинулось на него и прикрыло своими черными, как сажа, раскидистыми крыльями. Белобородов пискнул, как цыпленок в когтях коршуна, и разом провалился в преисподнюю, в бездонный, в беспамятный, в смертный какой-то сон.

В Билимбаевском заводе прожил Белобородов недолго и перешел в Шайтанский купеческий, покоровившийся ему, завод, что в сорока верстах от Екатеринбурга. Отсюда отправил тридцать человек в Уткинский казенный завод со строгим приказом, чтобы жители покорились ему и шли на службу к государю. Жители не противились, а заступивший место сбежавшего управителя унтер-шихтмейстер Журбинский выехал на поклон к Белобородову и отвез ему 1500 рублей казенных денег. Вот и денежки завелись! Теперь можно и жалованье казакам выдать.

Белобородов произвел Журбинского сотником, приказал вернуться на Уткинский завод и набирать там ополчение для государя.

А сам со своим отрядом двинулся по дороге к Екатеринбургу. Он рассыпал казачьи мелкие части, а также своих агентов по жителям и заводам, дабы приводить население к присяге на верность Петру III.

Некто Яков Волегов, живой свидетель тех дней, заносил в свой дневник:

«Для прельщения простых людей разъезжает с партией в знатной одежде наряженный казак, имеющий на голове золотой колпак с портретом якобы покойного императора Петра III, и носит с собой указ на показание за царской подписью народу, и приводит многих простяков в свою пагубную шайку. Мне сдается, судя по слухам, уж не Верховланцев ли это Дементий?»

Белобородов меж тем приступил к дворянина Демидова Уткинскому непокорному заводу^[23], где находился сержант Курлов с шестью солдатами и крупным отрядом вооруженных мастеровых. Курлов хорошо организовал защиту. Осада продолжалась трое суток, на четвертый день пугачевцы все же одолели. Взято было ими пятнадцать пушек, много пороха. Курлов был заколот.

После одержанной, хотя и нелегкой победы душевное состояние Белобородова круто изменилось. Сам командуя в бою и подвергая свою жизнь опасности, он стал себя чувствовать куда как крепче. И тревожные думы о своем селе Богородском, о домашности иссякли в нем, как высыхают в жаркие дни степные малые речушки. Да и думать-то о делах житейских было некогда: своих, военных, забот полна охапка. Надобно за всем самому смотреть – «свой глаз – алмаз», – верстать рабочих в казаки, забирать и вести учет деньгам, назначать правителей, в покоренных заводах оставлять верные гарнизоны – словом, всюду наводить строгий боевой порядок.

Вскоре Белобородов выбрал лучших людей: трех русских, башкирцев и черемиса.

– Вот что, друзья мои, видели ли вы когда-нибудь государя императора?

– Нет, батюшка. Не доводилось.

– Ну так поезжайте в его армию с пренижайшим от меня поклоном, расскажите о наших делах-делишках, да получше присмотритесь-ка, да прислушайтесь, чтобы знать в доподлинности, что есть он Петр Федорыч Третий – император. А то, сами знаете, в манифестах государыни всякую несурязицу плетут.

Много было у Белобородова побед, но вот и – неудача: Сысертский купца Турчанинова завод наотрез отказался признать какого-то там Петра Третьего, проходимца из беглых казашишек. Сам хозяин обнес завод рогатками, надолбами, устроил батареи, насыпал снежный с хворостом вал, полил его водою – не скоро-то на него заскочишь, – хорошо вооружил своих рабочих, а главное – наобещал им всякие туры на колесах и для поддержания боевого духа сдобривал подарками и подпаивал винцом тех из них, кои почитались в «заводелах».

В течение трех дней, с 15 по 17 февраля, тысячная армия [\[24\]](#) Белобородова тщетно пыталась овладеть заводом.

Из Екатеринбургa была выслана на помощь осажденным большая воинская команда. Белобородов отступил.

4

Заглянем опять в Берду, в главную ставку пугачевской армии.

Отец Иван жил вместе с Бурновым в маленькой покосившейся хате. Он допился до чертиков и в горячем состоянии был опасен. В своей избе порубил топором стол и табуретки, разворотил печь, отыскивая в ней спрятавшихся бесов, ошпарил кипятком черного кота, а бородатую козу убил поленом, приняв ее за нечистую силу. Одутловатое лицо его с отвисшими мешками ниже глаз стало багровым, водянистые выпученные глаза блуждали, как у сумасшедшего, он весь трясся и был жалок видом. Захворав белой горячкой, он сразу бросил пить. Бурнов стал ухаживать за ним, как за родным отцом: каждый день водил его в жаркую баню, до потери сознания хвостал его там веником, отпаивал огуречным рассолом, кормил кислой капустой, редькой, луком, чесноком. И ни капли не давал вина. Сознание попа начало постепенно проясняться. А когда коновал припустил ему двадцать пять пиявок, отец Иван окончательно в ум вошел.

Спустя неделю после вытрезвления, однажды вечером, под завывание жестокой бури, они затопили русскую печь и на придвинутой скамье оба уселись возле живого огонька. Свечу не зажигали, так лучше. Сумерничали молча, бесперечь курили трубки, вздыхали.

Отец Иван весь как-то обмяк душой, ему захотелось поведать о себе постороннему человеку, услышать от него сочувственное слово. Дрова, потрескивая, разгорались. Отблески красноватого пламени прыгали людям на колени, елозили по груди, озаряли задумчивые лица, и узкое оконце с морозной белой росписью плавно покачивалось, розовело.

– Я Иван да ты Иван... два Ивана, – начал поп и прищурился в хайло печки на игривые взмахи пламени. – Два Ивана мы с тобой, токмо поставлены Богом в разные концы. Я жизнь давать людям чрез святое крещение в купели, а ты – смерть. И хоть в разные концы мы поставлены с тобой, два Ивана, а дорога наша теперича одна – во ад кромешный, в пекло, идеже плач и стенания. – Расстрига-поп горестно покивал поникшей головой и, потрепав мрачного соседа по плечу, молвил: – Слушай, чадо Иване... Как приспеет тебе время на шее моей петлю затягивать, молю тебя: сперва ударь меня по затылку кирпичом, чтоб очумел я... Просто-напросто возьми да и тяпни! Трезвый молю тебя о сей милости. А то боюсь, страшно.

– Пошто я тебя стану вешать?

– Нет, нет, будешь... Чую, что будешь! Тебе повелят тако сотворить. Язык мой неистов. Я страшусь, как бы не повернулся он супротив батюшки. А батюшка иным часом лютует... Сам не свой... Зело боюсь.

Угрюмый Бурнов молчал, поленья потрескивали, бушевала вьюга, калитка во дворе скрипела и хлопала.

– Хочешь, поведаю тебе всю печаль мою? Никогда не говорил тебе, а скажу. Слушай. Сотворил мне толикое огорчение помещик наш, гвардии штык-юнкер в отставке Гневышев, – начал бородатый батя, не обращая внимания на всегдашние грубости Ваньки Бурнова. Отец Иван был без рясы, в синих в белую полоску заплатанных портках из домотканины, в такой же рубахе, подпоясанной мочальной лычкой, и вдрызг растоптанных грязных лаптишках. В таком наряде он походил на обычного бородатого, лысого мужика. – Попадья моя, Марья Митревна, осиротила меня еще в молодых годах. Умерла, голубка, премного мучаясь родами, и оставила на моих руках младенца, дочку Вареньку, небесного херувима... Ох Господи, твоя воля!.. Тяжко и вспоминать-то мне...

– Ну, так и не вспоминай!.. Ишь пристал! – кричал Бурнов, в то же время подавая отцу Ивану уголек

для раскура трубки.

– Балда, слушай, – сказал расстрига, попыхивая трубкой. – И вот выросла моя возлюбленная дочь, аки лазорев цвет в саду. Столь прекрасна была моя Варенька, столь обильна женской прелестью, что зрящие ее ахали и руками всплескали: ах, красота, ах, зрелище небесное! И любил я доченьку свою превыше всего на свете. Ну да и она, спасибо ей... Только и слышалось, бывало, в горинцах моих: «Папенька, милый мой папенька! Радость моя, папенька!» Господь среди нас пребывал, благодать Божия почивала... И стал я, грешный иерей, жениха присматривать ей, голубице чистой, супруга благонравного. Приход наш был бедный – а каков приход, таков и поп: жили мы с Варенькой в нуждишке. И одевалась она, как простая вахлячка, в лапотках ходила. Да ты, чадо Иване, слушаешь меня?

– А подь ты... Я про свое думаю... Отстань!

– Ну, ладно, коли так. Молчать буду. Прильпне язык мой к гортане моя.

Обиженный поп смолк, закинул ногу на ногу, сугорбился. Бурнов, подбросив в печку дров, поворошил клюкой, снова сел плечом в плечо с расстригой, сказал:

– Чего молчишь, как удавленник? Сказывай!

– Вот арясина! – забрюзжал поп. – Ладно, слушай... Пошла как-то под осень Варенька моя с девчоночкой малой в лес по грибы и не вернулась... А девчоночка соседская вмах прибежала, чуть жива, трясется вся, говорит: «Наехал, – говорит, – с дворней со своей наш барин, подхватили они Вареньку, да и были таковы. Варенька на весь лес гвалт подняла, как кошка, – говорит, – царапалась, да где там... А я, – говорит, – со страху чуть не лопнула, ой!» Боже мой, Боже мой! И с того клятого часа начались мои сугубые страдания, великая скорбь, горше человеческой... Иване, милый, ведь дочери, дочери единокровной лишился. Слушай дале. Я в плач, я в стенания великие; власы на себе рву, головой об стену колочусь. Нарядился я во все новое, пошел к помещику, оскорбителю своему, усачу штык-юнкеру Гневышеву. Не допустили, в шею вытолкали. Я в город, с жалобой к воеводе. А там только зубы скалят, и никакой помощи. Гневышева все боятся – богач он, задаривает и воеводу, и всех стрюцких. Так неделя проходит, другая проходит, и стал я, грешный иерей, попивать. А тут, под самую осень, такая пора подоспела, что ах! Мужички бунтишки по нашему уезду зачались то в одном, то в другом месте, крестьянство царя-заступника поджидало. Глядь-поглядь, привалила ко мне толпища мужиков с топорами, с вилами, с ружьишками и говорит: «Батя, мы тебя шибко жалеем, извелся ты весь. Хочешь, Вареньку твою от барина отвоевывать пойдем?» А я малую толику выпивши был. И вот всей толпой двинулись мы на барский двор. Тут дворня выскочила, егеришки, собачья псытня – гвалт, лай, крики, стрельбище! Мои мужички как напрут, да как напрут – кого перекололи, кого связали, в хоромы ворвались. Я команду: «Православные! Ищи кровопивца барина!» А старик дворецкий и говорит: «Барин вскочил верхом да в город за солдатами ускакал. Ужока будет вам!..» – «Кажы, Архипыч, где Варенька моя?» – «А твоя поповна с прочими красотками в светелочках упомещаются, вверху». Мы гурьбой наверх, я да трое старичков, духовных чад моих. Вбежали мы наверх по вертучей лесенке, рывком распахнул я дверь, глядь: прикорнула моя голубица на диване, горько плачет, кружевным платочком утирается. А сама одета будто княгиня – в шелках да в бархатах, и на лебединой шейке жемчуга. Я припал пред ней на колени: «Варенька, утешение мое, ангел Божий! Выручать тебя прибежали мы... А ежели оскорбителя твоего, штык-юнкера, поймаем, в куски изрубим. Бежим скорей, несчастное детище мое!» А она как завизжит: «И не подумаю!.. А ежели ты, отец, хоть пальцем тронешь моего Васеньку, знай, удавлюсь либо зарежусь!» Чуешь, Иване, чуешь, что дочь-то мне рекла?

– Она! – закричал Бурнов. – Так и надо... И я бы не пошел к тебе, будь на ее месте...

Поп Иван, весь дрожа, посмотрел с горестью в его одноглазое страховидное лицо, с рыжими

торчащими вихрами, тяжело закашлялся с сипотой и вздохом и, успокоившись, укорчиво сказал:

– Э-хе-хе!.. Выгнала она меня, своего родителя, и ножкой топнула. Так у меня, веришь ли, сердце человеческим голосом застонало, кровь черными печенками спеклась. Я затрясся, с порога крикнул ей: «Ты не дочь мне. Ты блудница вавилонская! Будь проклята отныне и до века!»

– Дурак ты, распоп... Бороду гладишь, а денег нет, – проговорил Бурнов. – Уж на что рыбина, и та на добрую приваду идет, а человек, тем паче девка, и подавно...

Поп Иван встал, закинул руки назад и, сильно ссутулясь, будто нес он на загорбке мешок тяжелого, как свинец, горя, принялся ходить в сумраке от стены к стене. Палач живым своим глазом внимательно следил за ним.

– С тех самых пор, чуешь, заделался я беспросыпным винопивцем, – печально сказал поп. – За стаканчик почасту держаться стал. А тут оклемался малость, и довелось мне парня с девкой в храме Божиим венчать. Как возложил на них венцы да повел вокруг аналоя – замест «Исаия, ликуй» затянул я во всю глотку: «Ай, Дунай ты мой, Дунай», подобрал рясу да ну вприсядку... Меня и расстригли и с позорищем превеликим из прихода изгнали. И стал я шататься по России, яко Христа ради юродивый. Конец свой чаял где ни то в крапиве под забором; да, слава Богу, дал мне приют в жизни сам царь-государь. Аминь.

Возженная попом-расстригой лампада сияла у икон. Бурнов готовил ужин, а поп Иван надел рясу, надел измызганный парчовый епитрахиль и, возгласив: «Господу помолимся!», опустил перед иконой на колени.

– Молись, чадо мое, Иване!

– Отстань! – возразил Бурнов. – Так и так пропала душа моя.

– Молись, Иване!

– Отстань! Я лучше разогрею к ужину...

Отец Иван под вой вьюги за окном с горячим усердием выкрикивал: «Боже, милостив буди нам, грешным!», гулко ударялся лбом в пол, орошая половицы солеными слезами. Палач натаскал в большой чугун воды, с помощью ухвата задвинул его в пламенную печь, принес корыто, выволок из мешка грязное поповское исподнее: вот уложит попа спать и займется стиркой.

За ужином поп молчал, а палач вел разговор, бросая слова отрывисто и скупно:

– Видишь, глаз у меня кривой? Это – барин. А за что? Барин пьянствовал с голыми девками, а я, парнишка, в щелку, через дверь подсматривал. Я при барине жил, трубку подавал. Мать моя тоже при барине. Прачка. Барин приметил меня, выскочил! Меня за волосья. В прихожей цветок стоял. Он вытащил из плошки палочку – цветок к ней подвязывали. Бряк меня на пол! Сел на меня да вострым-то концом палочки тырк-тырк мне в глаз! Я заорал и чувствий порешился. Уж дюже больно! Вспомню – о сю пору мурашки по спине. Мамынька прибегла, барина по рылу. Тот свалил ее, топтать зачал. А она пузатая... Скинула мертвенького, померла. Батьки у меня не было. Сбитень я! Меня так и звали «Сбитень». Спалил я дом барский да в бега ударился. В казаки попал! А тут и к батюшке царю. Бар ненавижу люто... И всех супротивников батюшки. Вздернуть кого – кладу себе во счастье. Счет веду! Я царя-батюшку хоша люблю, только, ежели не царь он, а обманщик, – и его повешу...

– Неужели, Иване?!

– Вот те Христос, повешу!.. – прокричал Иван Бурнов, не подозревая, что в судьбе царя-батюшки ему доведется впоследствии и впрямь сыграть роль мрачную.

Пужинав, поп лег спать. Во сне мычал и громко бредил, иногда вскакивал, таращил беспокойные

глаза, закрещивал воздух: «Сгинь, сгинь!» И вновь валился.

Бурнов с усердием долго стирал бельишко. Затем разогнул уставшую спину, осмотрел поповы ошметки-лапти и швырнул их в пламя, а возле кровати, на которой храпел поп, поставил свои запасные, подшитые валенки. Голова попа-расстриги скатилась с изголовья – он спал, разинув толстогубый рот и чуть приоткрыв глаза; выражение отечного лица его было болезненно и жалко.

По спящей слободе горластые перекликались петухи, отбивали где-то близко «побудку» да высвистывала свою песню вьюга.

Глава VI

Державин у Бибикова. «На чернь обиженную уповаю я». Преступное место выжжено и проклято. Страшный сон

1

Из Самары вернулся в Казань Державин. Бибилов, одетый в теплый, на гусином пуху, шлафрок, принимал его в своем просторном кабинете. В углу, за ширмой, походная кровать генерал-аншефа. Хозяин пил горячий пунш, ему нездоровилось.

– Садитесь, поручик. Не стесняйтесь, курите. Михайлыч, подай-ка господину офицеру трубку, – обратился он к старому, толстому и ленивому слуге из крепостных. – Пуншу хотите, поручик?

– Не откажусь, ваше высокопревосходительство. Зело промерз с дороги – домой не заезжал, торопился к вам, о самарских делах доклад чинить.

– Ну, как дела?

– Прекрасны...

– Прекрасны?! – зябко передернув плечами и засунув руки в рукава, недоверчиво переспросил Бибилов, внимательно всматриваясь в обшарканное степными ветрами мужественное лицо Державина.

– Прекрасны, да не совсем...

– То-то же! Ну, излагай, голубчик.

Державин жадно отхлебнул горячего пунша и начал:

– Как известно вашему высокопревосходительству, Самара была занята атаманом изувера Пугачева Араповым в самый праздник Рождества Христова. Вы изволили приказать майору Муфелью двинуться из Сызрани на освобождение Самары, а подполковнику Гриневу выступить из Симбирска и идти на соединение с Муфельем. В конце декабря Муфель подошел к Самаре. Мятежники открыли по его отряду огонь из восьми пушек. Муфель атаковал врага в лоб и выгнал его из города штыками, захватив в плен двести человек и все орудия. Великий снег валил, страшная метель была, многие трупы убитых были занесены сугробами, многие же разнесены по своим домам обывателями, а посему и число убитых мятежников определить точно не можно.

– Обывателями, говоришь? Значит, жители Самары сочувственно встретили злодейскую толпу Арапова?

– Увы, господин генерал-аншеф... Даже и до днесь самарцы оказывали нам, своим избавителям, более суровости, нежели ласки...

– Что им надо, что им, малоумным, надо?

– Даже священники, этот столп и утверждение православной веры, и те нарушили присягу всемилостивой государыне, исключив поминовение ее имени в ектениях, а поминая имя злодея

самозванца. Таковых девять человек, сиречь все самарское духовенство. Поскольку мне было препоручено вами, генерал, блюсти порядок, я оказался в положении зело щекотливом: что делать с сими прегрешившими иереями?

– Арестовать! – насупясь и затягиваясь трубкой, воскликнул Бибииков.

– Винюсь, генерал, – смущенно молвил Державин и звякнул под столом шпорами. – Я не признал возможным сего делать опасения ради, что, лиша церковь священнослужителей, не подложить бы в волнующийся народ, обольщенный разными коварствами, сильнеею огня к зловердному разглашению, что мы-де, наказуя попов, стесняем веру.

Бибииков согласно кивнул Державину, вызвал из канцелярии капитан-поручика Савву Маврина и сказал ему:

– Вот что, голубчик, сей же день съездите, пожалуйста, к владыке Вениамину, просите его моим именем немедля отправить в Самару девять добротимых священников взамен... э-э-э... отстраненных там по случаю бунта. И распорядитесь, чтоб оные долгогривые бунтари были доставлены из Самары ко мне, в Казань.

Лишь вышел Маврин, явился Зряхов, правитель канцелярии Бибиикова. Всмотревшись в утомленное лицо главнокомандующего и положив пред ним список просителей, сказал:

– Мне сдается, ваше высокопревосходительство, что вы недомагаете. А посему не прикажете ли закрыть список чающих аудиенции с вами? Записалось семьдесят девять человек.

– Боже мой! – И Бибииков схватился за голову. – Лезет всякий, кому надо и кому не надо. Да когда же я всех их смогу принять? Ведь этак и ночи не хватит. А мне еще надлежит на высочайшее имя пространное доношение сочинять, да князю Волконскому, да графу Чернышеву! Верите ли, вторую неделю не могу домой жене письмо составить. Объяви, голубчик, что я смогу принять только сорок человек. Сошлись на мое здоровье, извинись. Да отбери неотложно нуждающихся, достальных вежливою выпроводи.

Когда Зряхов уходил в кабинет, через открытую дверь ворвался из приемной шумливый гул многих голосов.

– Вчерась бородатый купчина с медалью явился сказать, что он жертвует на нужды действующей против турок армии десять кип сукна и тысячу рублей. А сам, пьяный, повалился мне в ноги, а уж встать не мог. Ну, так я поблагодарил его и приказал отвести в часть до вытрезвления. Народ странный, но патриотизм есть! Однако зараза весьма сильна. И сие нахожу зело опасным, – говорил главнокомандующий Державину уставшим голосом. – Не Пугачев важен, важно всеобщее... э-э-э... негодование... Вот что, голубчик, страшно! А что ж Пугачев... Пугачев – чучело, которым воры – яицкие казаки – играют. Да, довели-таки мы чернь до пагубного состояния... Да не токмо чернь, а среди духовенства, среди горожан и того же купечества наблюдается шатание умов...

– И дозволено мне будет добавить: среди солдат.

– Верно, поручик! Сие тоже немало меня угнетает... Я сам в дороге слышал! Я говорю о военных частях, двинутых сюда, на утешение мятежа. И вот тебе – мне князь Волконский сказывал, якобы среди солдат, пришедших в Москву из Петербурга, всякая гнусь стала распространяться. Солдаты Владимирского полка болтали, что под Оренбургом, мол, не Пугачев, а истинный государь, да, мол, сама государыня уж трусит – то туда, то сюда ездит из Питера, а, мол, братьев Орловых и дух уж не поминается. За полком был учрежден строгий надзор, и в Нижнем несколько солдат довелось арестовать. Я это говорю тебе, голубчик, доверительно, как лейб-гвардии поручику Преображенского полка.

Державин в ответ поклонился и снова щелкнул под столом шпорами.

Бибиков питал некоторую привязанность к этому толковому, исполнительному офицеру, а как человек образованный он ценил в нем и дарование стихотворца. С своей стороны, Державин, видя к себе отеческое отношение главнокомандующего, всеми силами старался не за страх, а за совесть служить ему.

– Разрешите рапортовать дальше? (Бибиков кивнул.) Четвертого января подполковник Гринев тоже подоспел в Самару, а вкуче с ним – и я. Расследовав положение дела, я распорядился наиболее опасных из самарских обывателей и в мятеже сугубо замешанных заковать в железа и отправить сюда, в Казань. А достальных... – Державин вдруг замялся и опустил глаза.

– Ну, что достальных? – как бы подталкивая смутившегося офицера, мягко спросил Бибиков. – Как ты выполнил приказание мое?

– А достальных, ваше высокопревосходительство, довелось для страха всенародно наказать плетьюми.

– Вижу, молодой человек, тяжело тебе было этим заниматься по первости-то?

– Смею признаться, меня охватило в то время сугубое волнение...

– А мне, думаешь, легко все это? Думаешь, я сугубо не волнуюсь! – вскинув породистую голову, выкрикнул Бибиков. – Ну, продолжай.

– Всех самарских жителей снова привели к присяге. И внушено им было: как самого Пугачева, так и воровскую шайку его почитать разбойниками и злодеями.

– Внушено? – с насмешливостью улыбнулся генерал-аншеф и вздохнул. – Ах, молод, молод ты еще зело, поручик... Ну-с... А где теперь Гринев со своим отрядом?

– Подполковник Гринев, невзирая на темноту ночи и большую метель, дошел до пригорода Алексеевска, что в тридцати верстах восточнее Самары, и там остановился, дабы дать людям и коням роздых. И только отряд расположился, как был атакован двухтысячной конной толпой злодейских атаманов Арапова и Чулошникова. Подполковник Гринев построил свой малочисленный отряд в каре; пугачевцы много раз налетали на каре, но всякий раз достодолжный отпор получали. Разбойники ушли вверх по реке Кинели. И я беру на себя смелость доложить вашему высокопревосходительству, что наши солдатики во всех делах, и в Самаре, и под Алексеевском, проявляли должную отвагу и стойкость, так же и казаки, немало свергая злодеев с коней пиками.

– Ну, спасибо, голубчик Державин, – со вздохом облегчения сказал Бибиков, и морщины на его высоком лбу распрямились. – Это успокаивает меня, это придает мне веры. Да и со многих мест я получаю донесения, что войска, благодарение Создателю, обходятся с сообщниками Пугачева как с мятежниками и посланные команды всюду имеют верх над злодейскими толпами. Стало быть, ныне смело можно перейти нам в наступление. И тогда, с помощью Божией... Да вот, смотри сюда...

Он подвел Державина к карте, раскинутой на огромном, придвинутом к окну столе, заваленном делами, бумагами, книгами. Тут же грудились немудрые дары, приносимые тайно от Бибикова, через его слугу, пухлого Михайлыча: банки с медом и вареньем, бонбоньерки с конфетами, диванные подушечки с вышитыми цветами и мопсами, картузы с лучшим табаком, шелковый вязаный колпак с кисточкой, носки, чулки, фланелевые портянки, графины, побольше и поменьше, с домашними наливками и пр., и пр. Все это добро было натащено поклонниками Бибикова: помещиками с их супругами, купцами, заводскими служащими и просто обывателями.

На возглас барина выплыл из-за ширмы толстяк в опрятной ливрее и, запыхтев, остановился вблизи. Лицо старого слуги круглое, приятное, с большими ласковыми глазами.

– Зачем, Михайлыч, ты все это берешь? – проговорил, кивая на подарки, Бибиков.

– А как же не брать, батюшка Александр Ильич, раз дают? Это они от усердия, ведь они ничего не просят. Этак недолго и обидеть людей-то... Гоже ли будет?.. Сказано: всяко деяние благо, и всяк дар совершен, батюшка Александр Ильич...

– Ну, нешто с тобой сговоришь? Вот это варенье, бонбоньерку и достальное все отвези ребятам в гимназию, вон тут и копченая рыбешка, и сыр, и голова сахару. Да, кажется, здесь есть детский приют, туда отвези... Ступай!.. Ну дак вот, Гаврило Романыч, гляди сюда! Тебе надлежит в курсе всех наших дел быть. Гляди скорей: вот Челябинск, вот Кунгур – оба эти города блокируются пугачевцами: Грязновым да Кузнецовым с Канзафаром. Вот Самарская линия, вот Казань, Сызрань, Оренбург. – И Бибиков, делая карандашом отметины на карте, стал излагать план наступательных действий. – Всюду, куда нужно, уже двинуто несколько отрядов с приказом не только ловить, уничтожать и пресекать, а главное, самое главное – внедрять и выправлять поколебленный порядок. Да не крутыми мерами, а попечением отеческим, ибо виселицей неразумную чернь не устрашишь, ее лишь отпугнешь, озлобишь, укажешь верный путь в стан Пугачева. А для сего, помимо храбрости, помимо искусства воевать, нужна житейская мудрость и сердце не заскорюзлое. Словом, нужны настоящие люди! А где их взять? А где их взять? – с горячностью и досадливой печалью дважды спросил Бибиков и внимательным взглядом уставился в лицо распрямившего плечи Державина, затем, бросив карандаш, воскликнул: – Ба! Ведь я ж забыл... Совсем из памяти вылетело. Да Михельсона сюда надо, Ивана Иваныча! Ты, Державин, когда-либо встречался с ним?

– Никак нет, не доводилось. Но слышать слышал.

– Подполковник Михельсон!.. Храбрец и умница... Завтра же пошлю бумагу. – Бибиков слегка прищурил карие глаза, посмотрел вбок, в пространство, мысленно представил себе весь внутренний облик Михельсона и, одоббив свое решение, снова обратился к Державину. – А пока, слушай... пока я опираюсь на двух действующих со мной военачальников: на генерал-майора Мансурова и князя Голицына. Мансурову предписано мною принять общее начальство над четырьмя легкими полевыми отрядами, продолжать наступление живо и проворно вверх по реке Самаре и войти в соприкосновение с отрядом генерал-майора Фреймана, расположенного в Бугульме, где, помнишь, бросил его незадачливый Кар. Ну, так-с... Далее, очистив пространство между Самарой и Бугульмой, оба генерала должны двигаться к Оренбургу, составляя авангард главных сил князя Голицына, попечению коего я вверил очистить землю в стороне Оренбурга. Я надеюсь Оренбург спасти, а сим уповаю и главную всему злу преграду сломать. Однако рассеявшуюся сволочь сперва переловить и землю очистить надобно, а то сей саранчи так много, что около постов генерала Фреймана и проходу нет, на нас лезут! Теперь Башкирия... Там весьма и весьма тревожно, там пожар на уральских заводах, пожар!.. Надо огонь тушить, надо Казанскую губернию оберегать от воспламенения. Ну-с, мне пора в приемную, меня там заждались, а ты прочти последние донесения этих офицеров, они для тебя будут интересны. Эй, Михайлыч! – И Бибиков ушел за ширму надевать мундир и ленту со звездой.

Державин остался один. Он уселся за письменный стол, развернул папку с донесениями, начал рассматривать бумаги. Михайлыч принес изрядный кусок жареного гуся с моченой брусникой, коробку конфет.

– Кушайте-ка, молодой человек. Вы, я вижу, голодные совсем, с дороги-то... А наш генерал-аншеф пробудет в приемной часа с два, как не боле.

– Ну и достается же Александру Ильичу, – сказал Державин, с проворством уписывая гуся.

– У-у-у, – закрутил слуга круглой лысой головой. – Страсть, прямо страсть! И во сне-то все разными делами бредит. Исхудал. Мундир-то хоть перешивай, с плеч валится. Не по годам лысеть стал да сиветь. Ну да ведь генерал-аншеф!.. Сама государыня препоручила ему этакое дело несусветное – богатых бар беречь от мужиков... А только... – Старый слуга-толстяк приостановился, опустил круглую голову и стал в

раздумье рассматривать свои ногти, затем с некоторой опаской покосился на молодого офицера и продолжал тихим, таящимся голосом: – А только, говорю, нам с Александром Ильичом защищать нечего, мы с ним, можно сказать, из бедных бедные, кругом в долгу, и деревенька наша заложена-перезаложена. А ведь семья, детишки, опять же вышний дворянский фасон надо держать. А как же!.. Вот в чем суть... Да и государыня-то напоследок нам не шибко мирволила, в отдаленности нас от своей особы держала: Александр-то Ильич как-то правду в глаза ей молвил, вот она и... Другим прочим награждения, а нам с Александром Ильичом – фигу с маслом. Только и всего, что чины шли... Да, да, исхудал кормилец наш... А барыня наказывала беречь барина-то. А как ты его, этакого прыткого, убережешь! Эвот бал у губернатора был, он и поплясать горазд. Только как увидел на балу этих самых, как их... фидератов польских, надул губы, ушел. Не уважает Александр Ильич фидератов-то... Опять же в гимназии, там дворянские сынки обучение имеют, ну так и там вечер был с музыкой и вроде как ахтерское представление показывали: сами же выученики играли, и две губернаторские дочери в игре были, собой прехорошенькие...

– О-о-о, надо как-нибудь и мне повеселиться, – улыбнулся Державин.

– А чего же зевать-то, батюшка! Ваше дело молодое, жениховское-с. А невестов тут, в Казани, как цветов в саду: прямо георгины алибо розаны. Особливо купеческого звания барышни пригожестью славятся тут-ка: рослые этакие да румяные, и губки бантиком, фу-ты ну-ты! Богачки-с!.. У-у-у, страсть какие богачки!

– Надо приударить мне...

– Надо, надо, ваше благородие! Вот Пугача словим, честным пирком да и за свадебку-то.

Утомленный в дороге, Державин с неохотой и леностью принялся за бумаги.

Из донесений было видно, что полковник Юрий Бибииков на пути к Заинску побил шестисотенную толпу атамана Аренкуда Асеева.

В Заинске бой шел целый день. Мятежники бежали.

От Заинска команда Бибиикова двинулась на выручку Мензелинска. Оказалось, что из Мензелинска мятежные толпы ушли в степь и, в числе двух тысяч человек, укрепились в селении Пьяном Бору, но и там, после самого упорного сопротивления, были побиты и рассеяны.

Оставался Нагайбак, «куда жмутся мятежные толпы». На защиту Нагайбака пугачевец Зарубин-Чика отправил из своей Чесноковки большой отряд в четыре тысячи человек при тринадцати пушках. Отряд этот остановился в крепости Бакалах. Бибииков атаковал крепость и взял ее. Мятежники отряда Зарубина-Чики рассыпались. Полковник Бибииков получил приказ идти на соединение с Голицыным. Князь Голицын, сосредоточив свой отряд у реки Камы, разделил его на три части и пустил их по нужным направлениям. Глубокие снега задерживали движение Голицына. Он приказал, чтоб в каждой роте было по двадцати пяти лыжников. Его отряды быстро справились с калмыками, очистили окрестности Ставрополя, рассеяли толпу Арапова, вступили в связь с отрядом Юрия Бибиикова. Сам Голицын соединился в Бугульме с генералом Фрейманом, а отряду полковника Хорвата приказал войти в связь с генерал-майором Мансуровым, наступавшим по Самарской линии.

– Ну, вот... Теперь положение военных дел мне ясно. А то как впотьмах бродил, – сам себе сказал Державин, отправляя в рот последнюю из коробочки конфетку (он большой сластена был), записал для памяти в свою походную тетрадь: «Из донесения лиц командующих явствует, что в начале февраля 1774 года очищено от мятежников все пространство от границ Башкирии до реки Волги и далее на юг, по рекам Ику и Кинели, до Самарской крепостной линии».

Под конец офицер Державин обратил внимание на черновик письма Бибиикова к «комедиографу»

Фонвизину от 29 января 1774 года. Бибиков между прочим писал: «Бить мы везде начали злодеев, да только сей саранчи умножилось до невероятного числа. Побить их не отчаиваюсь, но успокоить почти всеобщего черни волнения предстоит трудности. Ведь не Пугачев важен, а важно всеобщее негодование. А Пугачев чучело, которым воры, яицкие казаки, играют».

Державин споткнулся взором на фразе «важно всеобщее негодование» и глубоко над нею призадумался. «Против чего же всеобщее негодование черни имел в виду генерал-аншеф? – задал он вопрос и сам себе ответил: – Я чаю, против существующих порядков». Домой Державин возвращался в довольно омраченном состоянии.

2

Связь между главнокомандующим и его воинскими отрядами теперь была более или менее налажена. И ни сам Пугачев, ни его Военная коллегия не могли, разумеется, располагать такими обширными и точными сведениями о движении правительственных войск, какими располагал Бибииков. Да к тому же пугачевцы и не в состоянии были разом охватить и осмыслить создавшуюся довольно сложную обстановку. Емельян Иваныч кой-что знал о действии отрядов Мансурова и Голицына, но далек был от подлинной тревоги.

– Таперь снега глубокие, кругом бескормица, – говорил он, поддакивая своим атаманам, – не больно-то прытко они поскачут. Им еще далеко до нас. Генералишке Кару надавали тумачков, ну так и Голицыну-князю накостыляем в шапочку.

Однако вот уже четыре месяца осаждает он Оренбург и напрасно тратит силы на овладение Яицким городком. Четыре месяца – немалый срок.

Когда-то он гордо бросил: «Кто едет, тот и правит». Но тот, кто топчется на месте, никуда не едет. Это видит и этому радуется правящий Петербург, видит и понимает Бибииков. Чем дольше Пугачев проканителится под Оренбургом, тем легче будет Екатерине собрать против него силу. И Екатерина уже начинает оболящаться мыслью, что «самозванный супруг» ее близок к поражению. Впрочем, царице могло так казаться только издали, и вряд ли она ясно представляла себе трагическую глубину народного движения. А правящий Петербург, со всеми Чернышевыми, Орловыми, по части пугачевского восстания, пожалуй, понимал еще меньше, чем Екатерина. И лишь генерал-аншеф Бибииков своим русским охватистым умом трезво оценивает всю серьезность грозного народного движения. Он близок к центру мятежа, ему с горы видней.

А что ж сам Пугачев? Как он смотрит на события, спешившие ему навстречу? И видит ли он что-либо в непроглядной кутерьме поднявшейся бури? Одно было несомненно: пока что весь свет заслонен для Пугачева двумя преградами: Оренбург и Яицкий городок. И где-то там «граф Чернышев» Уфу берет; атаман Грязнов – Челябинск; Кузнецов – Кунгур. Пускай берут, пускай множат его славу! Башкирцы, татары, киргизы поднялись, под его знамена крестьянство собирается, крепости ложатся в прах, уральские заводы преклоняются. Но прежде всего две горы надо повалить: Оренбург и Яицкий городок, того и атаманы ждут. А там судьба укажет...

Однако тревожные думы нет-нет да и понижут душу Пугачева: не прозевать бы больших дел, не остаться бы в круглых дурнях на голом месте возле Оренбурга.

...Звенит колокольчик под дугой, брескочут шаркунцы, тройка бежит внатуг то ровной степью, то с увала на увал. Невиданно глубокие, белейшие снега кругом. Пугачев закутан в лисью шубу, на Падурове меховой чекмень. Круглолицый, в полушубке, парень поспешает за царскими санями, тащит в поводу тройку заводных на смену лошадей. Впереди и сзади «батюшки» движутся две полсотни яицких молодцов-казаков.

Тройка мчалась под гору. Ермилка, присвистывая, посматривал на сверкавшие подковы двух пристяжек: у левой пристяжки задняя подкова хлябала, надо подковать.

– Слышь, полковник, – обращается Пугачев к своему соседу. – А ну-ка ответь, пошто это люди женятся? И стоит ли человеку жениться? Только чего-нито смеховитое загни, а то скука! Ась?

– Со всем нашим усердием, – ответил Падуров. Ему тоже хотелось развеселить Пугачева. – Насчет женитьбы так, ваше величество. Один юноша спросил старика: стоит ли ему, юноше, жениться? Старик,

нимало не смутясь, ответствовал: «Делай, как знаешь. Впрочем, в том и другом разе пожалеешь».

– Мудрено, шибко мудрено, – помолчав, проговорил Пугачев, двигая бровями. – Стало, выходит: женишься – пожалеешь, что женился, не женишься – пожалеешь, что не женился. Ха-ха-ха!.. Вот так загнул загадку!

– Сие называется восточная мудрость, ваше величество.

– Наша казацкая премудрость куда сподручней: чик-чик, да и к сторонке... Ну, а как Фатьма-то твоя? Дружно ли живете-то? Обиды не творишь ли ей?

– Избави Бог, государь, – проговорил Падуров. – Живем душа в душу. Она и по хозяйству хороша...

– Да и в бою не промах! – прервал его Пугачев. – Золотая баба! Скажи на милость – баба, а сколько сердито с неприятелем бьется! Вот гляжу-гляжу да в сотники произведу ее... А что? Да, брат Падуров, вот я все пристреливаюсь глазом к людям-то разным, к татарам да башкирцам, да и думаю: эх, думаю, руки развязать бы им да пригреть людишек-то, что и за народ был бы!.. Якши народ, Падуров!

– Народ —не надо лучше, государь. Якши!

– Ну, а братишка-то ейный, как его...

– Ее брат, Али, при нас. На татарском наречии он многие деловые бумаги пишет, паренек не без пользы для нас. Намеднись огорошил он нас известием. Долетел до него оный слух чрез «длинное ухо», как говорят степняки-киргизы, – сиречь чрез народную молву...

– Да в чем слух-то? Говори, друг!

– Будто бы родной отец Фатьмы и Али, обозлясь на Фатьму, что мусульманский закон нарушила, ищет ее погибели. Он закоснелый изувер...

– А пускай-ка появится, мы ему башку-то с чалмой снимем... Ну, а поп Иван, тот как? Жаль, с собой не прихватили его.

– А он, государь, трезвый зарок дал, больше не пьет. А в пути соблазну опасается.

– Добро, добро, ежели пить-то бросил. Ведь он, ведаешь, тоже усердствует нам. Уж не сделать ли мне его митрополитом, ха-ха... Ась?

Снова едут молча и час, и два. День сиял, день звенел солнцем и морозом. Подобно расплавленному серебру, сверкали белевшие снега. И если б не были густы длинные ресницы Пугачева, резкий свет, казалось, ослепил бы его глаза. Небо было голубое и высокое, как раскинутый над землею купол круглого шатра, и купол тот усыпан лепестками незабудок. А вверху купола солнце; оно горит, но не согревает, от солнца – свет и холод.

Лошади притомились. Ермилка стал перепрягать тройку. Свежие заводные кони побежали шибкой рысью. Пугачев хмуро посматривал по сторонам. В его темных глазах отражалась не радость морозного сияющего дня, не приятное чувство быстрого, под звон бубенцов, движения, а какое-то душевное смятение, беспокойство.

– Иным часом дума у меня: не дурака ли валяю, что под Оренбургом эстолько времени возюкаюсь? – обращается Пугачев к Падурову; густые пушистые его ресницы смерзлись, он с усилием продрал глаза. – Ведь, поди, помнишь, полковник, как дело зачинали, ты присоветовал мне перво всего на Москву идтить?

– Да, надежа-государь... На Москву было бы складнее. Хотя Шигаев тогда и стыдил меня, что...

– То-то, что стыдил! Он и меня-то втапоры с толку сшиб. Все шумел: Оренбург – столица да столица, перво Оренбург взять надо. Да и не единожды разговор был. И Горшков Макся его руку тянет... Ах, анчутка

их забори! Они на Оренбург меня толкают, а вот башкирцы с татарами ругать меня, государя своего, измыслили: пошто под Оренбургом сижу, а не иду Казань брать. Да ведь всех не переслушаешь! – Пугачев позевнул, примял стоячий воротник, чтоб удобней было говорить, и продолжал: – Да и то сказать, ну как я мог по первости против атаманов в натыр идти? Да они бы меня в степу бросили, зараз отреклись бы от помазанника Божия... Что бы тогда? Втапоры, при начале-то, душа моя скорбела ой как! Да ничего не поделаешь. А таперь уж, когда увязли мы тут по самую поясницу, не бросать же дело... Ась?

– Меня, ваше величество, сомнение берет, что, пока сидим здесь, правительство силу против нас уготовляет.

– Ах ты, неразумный! – круто повернувшись к Падурову, воскликнул Пугачев, и большие глаза его позлону засмеялись. – А что есть правительство твое? Это Орловы-то, да Разумовские, да разные князья Голицыны, да Бибиковы генерал-аншефы? Они на Катку да на дворянство уповают, а я на простой народ, на чернь обиженную... уповаю!

Падуров внимательно посмотрел на Пугачева.

– Я нахожу опасность в том, государь, что правительство распоряжается войсками. Правительство свои войска супротив нас подвигнуть может. Да и двигает...

– Экой ты... чудака-рыбак! – перебил его Пугачев, сбрасывая с усов замерзшие сосульки. – А еще книжной... Хотя ты и книжной, хоть и депутат с золотой медалью, а царского понятия в тебе нетути. А ну-ка, ответь, кто такие войска? А войска, я тебе допряма молвлю: это сущий народ и есть, мужики... Токмо с бабьими косичками. А ежели я им в манифесте всю волю дам, да землю, да избавлю навеки от солдатства, – как думаешь, Падуров, не приклонятся ли они к государю своему, не пожалеют ли меня, обиженного боярством, для ради того, что я народ свой замордованный возлюбил? Ась? Чаю, крепко чаю – так и будет. Да, брат! Да, Падуров! Ни на кого иначе, как на милость Божию да на народ свой уповаю!

Он говорил горячо и с такою поспешностью, точно убеждал самого себя. Падуров молчал.

Пугачев, как когда-то, остановился в доме Михайлы Толкачева. Падуров велел вывесить на крыше большой серый, с белым крестом, флаг, у крыльца выставил почетный караул из десяти казаков. Вообще он принял на себя заботы об особе государя – «батюшка» не был теперь беспризорным, как в первый свой приезд. Жители это поняли и подтянулись.

Явился с докладом новоизбранный атаман, Никита Каргин. Дежурный Давилин не сразу допустил его до «батюшки», выдержал в коридоре – знай, мол, к кому пришел. Высокий, постного вида, богомольный и злой Каргин, войдя к Пугачеву, долго крестился на иконы, затем, по научению Почиталина, облобызал протянутую «батюшкой» руку, сказал:

– Все, твое величество, в благополучии у нас. Посты, бекеты кругом кремля денно-ночно караулят. Новые батареи мы с Перфильевым распорядились сделать, кое-где улицы поперек завалили бревнами да камнищами. Симонова-полковника взаперти содержим, – сидит в кремле смирно, не рыпается...

– А подкоп?

– Подкоп руют справно. Работники кажинные сутки стараются наскрозь в две перемены... Без выпуску, как изволил приказать ты, чтоб разглашенья не было. Поначалу-то не соглашались под землю лезть, шумок подняли, бучу; довелось повесить семерых.

– Повесить?

– Этак, этак, батюшка. – И старик вскинул на Пугачева суровые глаза. – Перфильев приговор-то сделал, а я, атаман, утвердил.

– Ну ладно, слушай, Каргин: я к вечеру прибуду на подкоп своей персоной.

Приходил Денис Пьянов со своими стариками, бортового меду, да соленых грибов, да осетровой икры принесли в дар царю. Были по делам атаманы Чумаков, Овчинников, Творогов, заглянул Перфильев.

На место работ Пугачев с Почиталиным и Падуровым покатили в ковровых расписных санях. Тройкой правил Ермилка. Он парень хитрый, смысленый, он еще не забыл, как «батюшка» однажды повстречал на пути двух девушек, пересадил в свои сани Устью Кузнецову, повез в Берду и вел с ней веселый разговор. Ермилка по-озорному подмигнул себе, прилепнул тройку вожжами и, сделав околесицу, покатыл «батюшку» вдоль широкого посада, где стояла чисто выбеленная хата с голубыми ставнями и крашеным крыльцом. Но, к огорчению покосившегося на «батюшку» Ермилки, тот в разговоре с Почиталиным и глазом не повел на дом красотки Усти. «Эх, была не была, а царю утрафить надо! Либо взбучку даст, либо скажет „благодарствуйте“, – подумал Ермилка, повернул тройку за угол, обогнул квартал и снова поехал тем же местом, по улочке Устиньи.

– Ты что взад-вперед меня крутишь? – незлобливо крикнул Пугачев.

– С намереньем, ваше велиство! – распутив толстощеюе лицо в улыбку, через плечо ответил Ермилка и указал кнутом на голубые ставни.

Пугачев в момент узнал знакомый дом, он в первый свой приезд, совсем недавно, повстречал здесь Устью с ведрами воды.

– А ты, казак, я вижу – хват! – И Пугачев в шутку ткнул лихого ямщика кулаком в спину. – Хотел чуприну накрутить тебе, да уж...

– Благодарствую! – радостно всхрипнув, воскликнул Ермилка и снова припустил тройку вокруг квартала. – Эй вы, ка-ма-арики!

Пугачев лихо взбил шапку, подбоченился и, выставив из саней в сторону домика чернобородое лицо, козырем промчался мимо окон Устьи. И то ли почудилось ему, то ли вправду девушка приветливо помаячила ему из окна рукой. Нет, погрезилось, стекла как ледышки...

...И все зашевелилось: казаки соскочили с лошадей, ударил барабан, землекопы опустились на колени. К Пугачеву чинно подошел атаман Никита Каргин, подвел ядреного мужичка, сказав:

– Вот этот хрестьянин – набольший указчик по работам, он гонит продольную жилу – сиречь подкоп под колокольню ведет. Матвей Ситнов, знать, беглый с заводов графа Шувалова. Старается зело борзо.

Невысокий, но широкоплечий и приземистый, с ярко-рыжей бородой, указчик был похож в своем длинном нагольном полушубке и в лисьей шапке на боровой гриб-красноголовик. Аккуратно сняв двумя руками шапку, он низко поклонился Пугачеву и приятным тенорком сказал:

– Ведем, надежа-государь, подкоп из погреба. До колокольни сто печатных саженей, высотой в мой рост будя; и не прямо ведем, а как ты повелеть изволил, коленами то в ту, то в оную сторону. А пошто так? Да чтобы Симонов не перенял встречным лазом, вот, вот... Это самое...

– Ну знамо. Отвечай, часто ли продушины вертите?

– А вертим часто большим коленчатым буравом, а то свечи гаснут.

Пугачев со свитой спустился вниз, прошел до конца галереи, просчитал двести шестьдесят два шага, сказал: «Добро, не шибко далеко уж осталось». Снова выбрался наверх. Вынул из кармана медный компас, положил его на ладонь, пустил стрелку. Все уткнули носы и бороды в ладонь «батюшки», следили за бегающей стрелкой, прищелкивая языками. Пугачев имел самое отдаленное понятие, как пользоваться компасом, но многозначительно сказал:

– Наука! – тоже прищелкнул языком и положил диковинку в карман.

– Ну, Ситный, благодарствую, – обратился он к указчику. – Струмент с наукой гласят, что галдарея твоя добропорядочная. Каргин! Вели дать всем трудникам по стакану винишка.

Они стояли, прикрытые от взоров с крепостного вала. Ермилка, сидя на облучке, рвал зубами, как волчонок, хвост вяленой рыбы; ресницы и выпущенный из-под шапки чуб его запушнели инеем. Тройка на морозе курилась паром. Пугачев посмотрел из-за соломенной подстриженной крыши на купол колокольни с сияющим под солнцем большим крестом, вздохнул, сел в сани и поехал.

Вечером собрались к нему почетные старики и, чтоб потешить государя, привели с собой древнего слепца-сказителя со старинными гуслими.

Принесли вина. Стали выпивать. Слепцу поднесли большую чару. Воодушевившись, тот спел былину о том, как была Казань взята:

Уж ты, батюшка грозный царь,
Грозный царь Иван Васильевич.
До больших бояр немилостив,
До простых людей отец родной.

Старики сразу обратили свои головы от слепца к Емельяну Пугачеву: «Вот он, живой грозный царь!» Но Пугачев слушал певца рассеянно, думал о чем-то своем. Слепец-гуслиар нутром учуял это и повернул свой певучий и широкий, как степные просторы, голос, повернул звонкие трепещущие струны на веселый лад и ударил плясовую-разбойничью, разудалую и страшную:

По головушкам топорики полязгивают,
Белы косточки в могилушки попадавают!
По боярам панихиду ворон каркает...
Ты гори, гори, восковая свеча!
Ты руби, руби, топорик, со плеча!

Старики задвигали ногами, заулыбались, подбоченились. Пугачев тоже улыбнулся и сказал:

– Вот добрая песня, – но сразу же и погас.

Гуслиар-сказитель исполнил далее «старину» о Стеньке Разине. Когда он кончил, Денис Пьянов обратился к Пугачеву:

– А вестно ли тебе, батюшка, что Степан-то Тимофеевич единожды в нашем Яицком городке зимовал?

– Да неужто? – удивился Пугачев.

– Этак, этак, надежа-государь, – откликнулся слепец-гуслиар. – Меня в та поры еще на свете не было, а родитель-то мой гулял с ним, с Разиным-то – по Каспию гулял и в персицкие земли хаживал. Ну так он, батька-то, много кой-чего балакал о Степане.

– Занятно! – воскликнул Пугачев и налил всем хмельнику. – А ну, тряхни памятью-то, стар человек, расскажи, слышь.

Густоволосый слепец с белой бородой, которая росла почти от самых глаз, уставился незрячими очами в сторону царя, нахмурил взрытый глубокими морщинами лоб с запавшими висками и неторопливо начал:

– Когда-то некогда поплыл Разин со своими удальцами морем из града Астрахани к устью преславной реки Яика. А там уже наши казаки дозорили-поджидали его в гости, беднота. И потянулись они вкупе всем

гамузом вверх по Яику. Тут напыхом настигла Степанушку царская погоня, стрельцы да солдатишки. И содеялся велик бой. На бою том голов да старшин стрелецких со стрельцами многих горазд побили, того боле переимали, а солдат порубили в капусту... А городок-то наш Яицкий взял Степан Тимофеевич хитростью [25]. Человек с сорок вольницы его, да и сам он на придачу, оделись кои нищелюдными с костылями да торбами, кои богомольцами и приступили к запертым воротам крепостным. И зачали стучать в те ворота, и зачали просить слезно: «Ой, пустите нас Бога для, в церковь Христову помолиться: мы люди мирные, мы люди православные». Ну, их и впустили через лазеечку... Они же, не будь дураки, всем караульным скрутили руки назад, а ворота-то распахнули да и впустили в крепость всю свою вольницу. Вот ладно... Как вошла вольница в крепость, Разин собрал жителей да стрельцов с солдатами в кучу и зыкнул им: «Вам всем воля! Я вас не силюю: хотите – за мной в казаки идите, хотите – оставайтесь». А опосля сего, замест богомолства, казни начались. Головы, да сотники стрелецкие, да казаки из богатеньких, кои супротивничали Разину, все смерть приняли, до тысячи душ... Вот какие дела-то, да... Он, отец наш, Разин-то Степан, пожаловал к нам седой осенью, перезимовал у нас, а по весне, как Яик вспенился, ушел на стругах на понизовье, к морю. И родитель мой с ним уплыл.

– Что же Разин зимой тут делал? – спросил Пугачев.

– Царствовал, – ответил гусяр-сказитель. – Он сам царствовал, Степан-от, а вольница его рыбу ловила, зверя промышляла алибо с татарвой да с калмыками торг вела.

– Вот диво! – сказал Пугачев. – Много любопытного слыхивал я о Степане Тимофеиче, ну, а о том, что в вашем городке зимовал он, впервой слышу.

– Да, надежа-государь, – подхватил старик Пьянов, ласково посматривая на Пугачева. – Разин-то – превечный покой его рубленой головушке! – за голытьбу стоял, за чернь, бар с воеводами изничтожал, за правду жизнь положил свою. А вот сто лет минуло, как год единый, – ты, не простой человек, а сам царь, явился об это место, на нашем Яике. И мыслечки твои, я гляжу, точь-в-точь, как у Степана!..

Слепец всхлипнул и начал ошаривать руками воздух, стараясь нащупать руку сидевшего против него царя.

– Дай рученьку, дай рученьку твою, – прерывистым голосом твердил он. – Очи мои давно погасли, а руки зрят. Перстами своими оглядеть тебя хочу. Царь-государь, дозвожь!..

И оба они, слепец и царь, поднялись. Пугачев подошел к нему вплотную, сказал:

– Ну вот, дедушка, зри меня: я весь перед тобой.

– Ой, родименький, ой, дитячко мое! – дрожа и хныча от волнения, бормотал слепец, обняв Пугачева и припав седой головой к могучему плечу его. Растроганный Пугачев бережно посадил его на место. Похныкивая, подобно малому ребенку, дед отвел в сторону серебряную бороду свою, вытащил из-за рубахи висевший на груди вместе с нательным крестом маленький кожаный кисетик, порылся в нем пальцами и вынул на свет золотой перстень с изумрудом.

– Вот колечко, – сказал он трясущимся голосом. – Знаешь ли, царь-государь, кто оное колечко носил на своей рученьке? А носил его сам Степан Тимофеевич Разин. А сделано колечко мастерами уральскими, и камень в нем драгоценный, уральский же.

Все с изумлением уставились взором на заветное кольцо. Глаза Пугачева засверкали, щеки подобрались, губы вытянулись в трубку.

– И жаловал он кольцом этим родителя моего, а своего есаула, – продолжал приподнятым голосом старец. – Родитель мой в тайности держал кольцо, никто о нем не ведал, ни единая душа. А как собрался на тот свет, передал сокровище мне, единородному сыну своему. Я все на похоронки берег кольцо-то, а

ведь мне невзадолге сто годов минет. Люди добрые, чаю, и так похоронят меня и поминать станут... И, помоляся Господу, – зазвенел старец высоким голосом, – положил я в сердце своем поклониться разинским кольцом твоей царской милости. Прими, отец наш, без всякия корысти дарю тебе! Ни денег, ни чего другого прочего от тебя мне не треба. А как услышишь, что приспело скончание живота моего, поминай в мыслях своих раба Божия старца Емельяна... Емельяном меня звать... яицкий казак я родом, Дерябин... На, носи во здравие!

– Ой, дедушка... Сударик мой! – громко воскликнул донельзя взволнованный Емельян Иваныч и, широко улыбаясь, надел на свой палец перстень с зеленоватым самоцветом. – Я сугубое береженье буду к тебе иметь, дедушка, чтоб в сытости да тепле жил ты... А я с этим кольцом заветным ни в жизнь не расстанусь, до гробовой доски буду носить его... – Произнося эти слова, он так и этак повертывал перед пламенем свечи левую руку с перстнем. Самоцветы играли на свету зеленоватыми лучами.

На радостях выпили еще по чарке. У стариков покраснели носы, а глаза стали слезиться. Денис Пьянов отер слюнявый рот и брякнул:

– Эх, батюшка, царь-государь! Вот у тебя и перстенок завелся знатный. И не худо бы тебе для уряду обручальное колечко на рученьку надеть да благословясь и ожениться... Ей-Богу, правда! Для ради уряду это нужно, батюшка, для благочиния. Ведь всякому государю супруга полагается. На сем русская земля стоит... Душевно тебя просим, прими венец честной!

Пугачев сразу вспыхнул, даже уши покраснели, а по желобку на спине, между крутых ребер, холодок прополз.

Тут встал другой старик и, поклонившись государю, молвил:

– А жениться тебе, батюшка, предлежит на казачке нашей, незамужней девушке. У нас приглядистые девчата есть и с понятием.

– Вся статья на казачке жениться тебе, ваше величество, – встал и поклонился третий старик с лицом костистым.

А Денис Пьянов подтвердил:

– Ежели оженишься на казачке, все наше войско тебе прилежно будет. Да и нам, казакам, шибко лестно: сам государь нашим родом не брезгует.

Среди наступившего безмолвия раздался задушевный, но укорчивый голос слепца-сказителя:

– Ах, старики... Да ведь батюшка-т женатый... Ведь супруга-то его Катерина Алексеевна...

– Какая она мне супруга! – крикнул, внезапно вспыхив, Пугачев и притопнул о пол. – Она с престола меня свергла, а сама в блуд пошла... Она враг мне лютей!..

– Этак, этак, батюшка! – в голос закричали старики. – А ты, слеподыр, не сбивай батюшку с толков!.. А на Катерину, на немку, нечего глядеть, раз она батюшку эвон как пообидела, смерти предать хотела. Да и войско-то яицкое немало претерпевает через нее. Она не в счет! Ой, надежа-государь, женись, отец наш, на казачке, как и допрежь русские цари, и дедушка твой Петр Великий, и прадедушка на своих же русских боярышнях женились...

– А что! Возьму да и женюсь! – подбоченившись, молвил Пугачев. – Назло Катьке, а вам, казачеству, на радость. Да ведь которая глянется-то, пожалуй, и не пойдет за меня, фордыбачить умыслит, скажет – стар, – потряс себя за бороду и заулыбался Пугачев.

Подвыпившие старики в ответ засмеялись, замахали на Емельяна Иваныча руками:

– Брось шулки-то шутить, твое величество! Господи! Только глазом поведи. Да чего тут... Ваше

величество, дозволю сватов засылать!

– К кому же сватов-то, отцы? – шутливым голосом спросил Пугачев.

– Господи... Да ужли ж мы не знаем... Утрафим!.. Доволен будешь! – еще более оживились старики, самовольно выпивая по стакашку.

Пугачев подергал ус, нахмурился, сказал:

– Царская женитьба, старики, – дело зело важное... И мне, государю, предлежит совет об этом держать со своими атаманами. Уж такой закон издревле положен. Из предвека так. Ну, прощевайте, деды! Когда черед придет, покличу, зык подам.

– Прощевай, отец наш, царь-государь! Так засылать сватов-то?

Пугаче вмахнул рукой и, чтоб отвязаться от дедов, бросил:

– Коль охота большая, засылайте!

...Ночь Пугачев спал плохо. Раздумывая над словами стариков, он мимовольно кружил мыслями около одной из многих девушек, которых он перевидал на своем веку; была то Устинья Кузнецова. Строгая и почти суровая, она реяла вокруг легкой тенью. То, помахивая платочком, пускалась в пляс в паре с государем и обнимала его, и жарко целовала в губы, то подходила вплотную к изголовью Емельяна Ивановича, нежной рукой гладила густые его волосы, воркующим голосом ворожила над ним: «Спи, мой желанный, спи...»

И разомлевший Пугачев, улыбаясь своим грезам, уснул.

Проснулся он рано утром. Слышно было, как на кухне, за перегородкой, хозяйка Аксинья Толкачева гремит ухватами, – должно быть, сдобные пироги либо блины к завтраку печет: уж очень духовитый, такой приятный запах! Умывшись и налюбовавшись вчерашним подарком – изумрудным перстнем, Пугачев достал из своей укладки круглое фасонистое зеркальце, посмотрелся, с неудовольствием моргнув самому себе: «Ишь ты, шибко сиветь зачал», и с горькой шутливостью подумал: «А я сажай подмажу, черным не уважу». Он когда-то слышал от стариков-казаков заповедь: «Постризало да не взыдет на браду твою», – однако соблазн помолодеть взял свое, и Емельян Иванович послал Ермилку за цирюльником.

Брадобрей Мотыка, с облезлой головой и большим кадыком на длинной шее, упал пред государем на колени.

– Встань, раб мой, – сказал Пугачев важно. – Вот тут у меня, чуешь, с бочков возле ушей сединка завелась... Обработай-ка меня по-императорски. Бороды не трожь, а с боков сними. Потрафь, брат!

Руки брадобрея дрожали. Прикусив кончик языка, он слегка побрил, слегка постриг высокую особу, припудрил оголенные щеки – Пугачев значительно помолодел. Он взглянул в зеркальце и удивился: да он ли это? Ха! Да ведь он теперь точь-в-точь, каким был семь лет тому назад на Каме, с дружкой своим Ванькой Семибратовым. «Вот бы взглянул он на меня на императора! Как-то он там, чувырло неумытое?»

3

В это время там, в Зимовейской станице, казак Иван Семибратов вместе с большой толпой станичников стоял возле хаты своего бывшего друга Пугачева. Ядреный, большебородый, с лицом простым, широким и несколько придурковатым, он глазел на то, как сжигали пугачевское жилище.

Впереди толпы стояли: майор Рукин, войсковой старшина Туроверов, станичный атаман Прохоров, местное духовенство в облачении, почетная сотня донцов с ружьями. А возле самого дома орудовал с горящим факелом в руке палач.

Что же это за странное «позорище», чьим велением пущено пламя, превратившее в дым и пепел жилище Емельяна Ивановича Пугачева?

В январе императрица повелела Бибикову и атаману войска Донского:

«Что же касается дома Пугачева, то Донское войско имеет, при командированном из крепости св. Димитрия [26] штаб-офицере, собрав священный той станицы чин старейшин и прочих жителей, при всех них сжечь и на том месте чрез палача или профоса пепел рассеять; потом то место огородить надолбами, оставя на вечные времена без поселения, яко оскверненное жительством на нем все казни и лютые истязания делами своими превосходшего злодея, которого гнусное имя останется мерзостью навеки, а особливо для донского общества, яко оскорбленного ношением тем злодеем казацкого на себе имени».

И вот он, по приказу царицы, совершает обряд огневого поругания жилища того, чье имя должно было остаться «мерзостью навеки».

Станичный атаман, длинноусый и толстый, громоздясь на высоком, в четыре ступени, рундуке, кончил читать грамоту императрицы:

– «...яко оскорбленного ношением тем злодеем казацкого на себе имени. Хотя отнюдь одним таким богомерзким чудовищем ни слава войска Донского, ни усердие к нам и отечеству помрачиться не могут».

Изба Пугачева стояла в унылой покорности, как ожидающий казни человек, и задумчиво слушала слова царицы. Два окошка ее распахнуты, будто живые немигающие глаза, готовые заплакать. Серая с прозеленью из трухлявой соломы крыша притулилась вправо, словно отчаянно сдвинутая на ухо шапка. Эх, пропадать так пропадать!

А ведь старая изба многое могла бы рассказать родным станичникам. Ведь ее выстроил и умер в ней первый ее хозяин – Иван Пугач. В ней родился Омелька, и вот Омельки нет, и нет его Софьюшки с ребятами. И продали ее, избу, отставному казаку Евсееву за 24 рубля 50 копеек, и новый хозяин перевез ее к себе в Есауловскую станицу. А после приехал офицер, отобрал избу от Евсеева, велел сломать и снова перевезти «прямо на то место, где его, злодея, Зимовейской станицы обитание имелось».

Протрубил медный рожок, забили барабаны. Казаки дали дружный залп из ружей. Палач, в красном фартуке сверх полушубка, враскачку подошел к пугачевской избе, набитой соломкой, и через открытое оконце ткнул в солому горящий факел. Изба-преступница разом вспыхнула и, стремительно выбросив из окошек мстительные пламенные руки, как бы пыталась схватить палача, превратить его в головешку. Но палач уже бежал к другой пугачевской «хижине с огорожею». И там запылали огни. Затем загулял топор по садовым деревьям: трупы вишен и яблонь свалены были в кучу и также преданы огню.

Иван Семибратов с грустью смотрел на пожарище, глубоко вздыхал, вспоминая своего боевого друга, и на его глаза навертывались слезы. В мыслях его, одна за другой, возникали картины из совместного странствия из Зимовейской станицы, от этих сгоревших стен на многоводную Каму. Да, да, попито,

погуляно! Золотое было время. А ныне вот Семибратов остепенился, милозорную жену себе завел, двух ребят имеет. Ну и жаль, ну до чего жаль, что нет с ним Емельяна Пугачева. «Эх, дурак, дурак, сколько всем хлопот наделал, в цари полез... Хоть бы разок взглянуть на твою рожу-то, Омелька, каков ты есть», – в простоте душевной раздумывал степенный Семибратов.

Все сгорело, все навеки исчезло с лица земли, пепел развеян, преступное место посыпано солью и проклято. Огонь, дым и пепел. Так возникла, пришла и закончилась одна из диких сказок русской истории.

Впоследствии, якобы по просьбе жителей, станица Зимовейская перенесена была в другое место и названа Потемкинской.

Екатерина, соблюдая интересы государства, издавна нянчилась с донским казачеством: одаривала чинами, землями и деньгами начальствующих, давала широкие льготы и рядовым казакам. Такая политика Екатерины принесла во время пугачевского движения свои плоды: еще в октябре 1773 года, когда раздались первые раскаты бури, войско Донское постановило выбрать тысячу человек из лучших (зажиточных) казаков, с тем чтобы они были готовы к походу против мятежников. А в конце ноября полковник Илья Денисов просил разрешения Военной коллегии идти с отрядом в пятьсот казаков прямо под Оренбург для поражения самозванца. В рапорте он писал, что «Емельян Пугачев его старый приятель», он в Семилетнюю войну был у Денисова ординарцем, и Денисов за некий дисциплинарный проступок наказал его «нешадно плетью».

Екатерина приказала Денисову следовать с казаками в Самару и поступить там под начальство генерал-майора Мансурова.

На подавление мятежа Екатерина потревожила и малороссийского казачество. Направляя тысячу казаков к Бибикову в Казань, царица писала ему: «В сих исстари ненависть примечена к яицким, а употребить их будете, как знаете».

Волжское казачество тоже получило соответствующие распоряжения. Таким образом, против Емельяна Пугачева с частично передавшимися ему яицкими, илецкими и оренбургскими казаками были подняты отряды почти всего казачества империи.

– Вот прислушайтесь, атаманы-молодцы, – обратился Пугачев к собравшимся своим ближним. – Старики кладут мне совет на казачке жениться, дабы вашей и всероссийской царицей она была.

Озадаченные столь неожиданными словами «батюшки», атаманы нахмурились: то друг с другом перебросятся взглядом, то на Пугачева взор переведут.

Лишь Иван Творогов, ревновавший «батюшку» к своей красавице жене, подумал: «Разлюбезное дело было бы женить царя».

Понуждаемый упорным взглядом Пугачева, атаман Каргин, человек суровый и благочестивый, первый поднялся, первый с поклоном слово молвил:

– Батюшка, твое величество, дело со свадьбой персоны вашей зело многотрудно, надо бы об этом всем войском усоветоваться, а не тяп да ляп. Мое слово стариковское – подождать тебе, не торопиться...

Пугачев нахмурился. Вот опять атаманы в его тайные планы нос свой суют. Поднялись Перфильев с Овчинниковым, сказали:

– Ты, батюшка, еще не основал порядочное царство. Как бы худа какого не стряслось... Кто его ведает...

– Я ведаю! – сухо промолвил Пугачев и поднял голову, глаза его горели и чуть враскос пошли. – В том

есть моя государственная польза. И годить мне с этим делом недосуг!

– Когда ты, батюшка, в том видишь пользу, так женись, – с готовностью сказал Иван Творогов. – Верно ли, атаманы?

– Да уж... чего тут... Его царская воля, – ворчливо отозвались старшины с атаманами.

– У нас на примете девица пригожая и постоянная, – стараясь смягчить свой суровый голос, сказал атаман Каргин. – Да к тому же, отец наш, она и тебе ведома.

Пугачев хмуро ухмыльнулся, поскреб ногтем чисто выбритое на щеке место.

Встревоженная бившим в ночи сном, Устинья сидела под окошком в унынии. А сон вот какой: будто бы идет она вдоль речки с венком на голове, а из омутины вдруг рука выставилась, на пальцах драгоценные перстеньки сияют, поманила ее рука и снова – в омут.

– Сон дрянной, – со вздохом сказала Устинье сноха ее, Анна Григорьевна. Сам-друг сидели они дома. – Как бы тебя сатана какой в омутину не упер.

– От сатаны открещусь, – сверкнула Устинья глазами и вдруг услышала бубенцы. Прильнула маленькими губами к оконцу, быстро продышала глазок в замороженном стекле, взглянула. – Глянь, Анна, кто подъехал-то... Глянь скорей!

И не успела от оконца отойти, как вошли в избу Толкачев со своей женой Аксиньей и Ваня Почиталин.

– Стой, Устинья Петровна! – крикнул Михайло Толкачев. – Куда ты убегаешь?

– Садитесь, гостеньки, – сказала Анна Григорьевна, сноха.

Все, не раздеваясь, сели. Устинья, опустив голову, стояла возле притолоки, исподлобья смотрела на пришедших. Толстозадая Толкачиха, оправляя шаль, приторно и лукаво улыбалась. Толкачев, отставив ногу в бараньем вверх шерстью сапоге, с важностью проговорил:

– Мы, Устинья Петровна, голубка наша, на посмотренье к тебе пришли. А ты, глупенькая, было в бег ударилась.

– Я не лошадь, а вы не цыганы. Чего меня смотреть, – дерзко ответила казачка.

– Мы со счастьцем к тебе пришли, Устинья Петровна, – начал застенчивый Почиталин и замялся.

– Уж такое ли счастьце привалило к тебе, свет ты наш Устиньюшка, такое ли счастье, что и не вымолвишь... Честь-то какая, Господи помилуй, – сладким голосом взговорила Толкачиха.

У девушки обмерло сердце, и темная омутина возникла перед ее глазами. Царица небесная, спаси...

– Мы, Устинья Петровна, пришли высватать тебя за гвардионца, – сказал, подбоченясь, Михайло Толкачев. – Оный гвардионец кланяться тебе наказывал.

– Никакого вашего гвардионца мне не надобно, – опять сверкнув глазами, проговорила Устинья. – Да к тому же и мой батенька хоронить своего племянника уехал.

Сноха Анна подала гостям кринку молока и хлеба. Гости отказались, им недосуг, их с нетерпением поджидает гвардионец, прощайте-ка, покамест, извините за беспокойство, до скорого свиданьца.

И как только, низко поклонясь одной Устинье, ушли они, Анна раздраженно залопотала:

– Легко ли дело, тоже выискались... сваты, ха, подумаешь! Их много, этих гвардионцев-то, батюшка с собой навез... Эвот усач какой-то при нем, Перешибиди-Нос, и прозвище-то какое, тьфу! Да нешто мало их прибудилось к государю-то?

Вскоре приехали братья Устиньи – младший, живший при доме, – Андреян и старший Егор – казак пугачевской армии. А за ними следом, уж во второй раз, все те же сваты в сопровождении целой сотни казаков, прискакавших под началом полковника Падурова. Есаулы, сотники, хорунжие, вместе с Падуровым, тоже вошли в дом. Устинья заперлась в соседней горнице. Падуров толкнул к ней дверь.

– Устинья Петровна, пожалуйста к нам! Здесь собрались ваши доброжелатели.

Андреян с Егором и Анна удивленно пучили глаза. Устинья через дверь ответила:

– Как я выйду на люди, когда я не срядно одетая?..

– Ничего, ничего! – раздувая усы и улыбаясь, прокричал Падуров. – Выходите запросто, в чем есть, без всякого наряда.

– Повремените малость, выйду, – ответила Устинья, в ней стало разгораться и любопытство и охвативший ее дух упрямства: и чего они, псовы дети, к ней вяжутся? Ох, и намахает же она этого непрошеного гвардионца...

Наскоро переоделась, но не в лучший наряд, а в скромное платьице, в то самое, в котором ездила с симоновской Дашей к «батюшке», расчесала медным гребнем пробор на голове, взбила природные возле ушей кудряшки, белыми зубами немножко пожевала губы, чтоб оказывали ярче, и принялась со всем усердием креститься на деревянную икону.

Вдруг слышит: в горенке зашумел народ и что-то прокричал, скамьи с табуретками задвигались, шаги загромыхали, и чей-то знакомый голос звонко взговорил:

– А ну-ка подивлюсь, какая такая отецкая дочка есть? Покажите-ка мне ее, сироту...

У девушки сжалось сердце, она стиснула зубы, рванула дверь и, вся осиянная своей юной красотой, вышла на люди.

Глянула вперед, и голова ее закружилась: закинув ногу на ногу, сидел перед ней чернобородый, помолодевший царь в цветном полукафтани и с саблей при бедре. А позади него стоял, накручивая длинные усы и улыбаясь, бравый усач с чубом (Тимофей Падуров). Должно быть, сам «батюшка» главным сватом хочет быть. Но ведь она молодешенька, ей еще в девках охота погулять...

Устинья, тяжело передохнув, поклонилась Пугачеву, обвела помутившимся взором собравшийся народ и встала возле печки, дивясь самой себе, почему на нее вдруг накатила такая робость.

– Посмотреть хочу, какова ты есть, отецкая дочка! – повторил Пугачев, прищуривая то правый, то левый глаз и подбоченившись. – Выросла, подобрела... А ведь не столь давно была у меня, за Пустобаева просила. Ну, так сродственник твой, старик Пустобаев, здесь, с моим императорским конвоем в Яицкий городок прибыл. Довольна ли? Ась? Чего молчишь? Ну, подойди, подойди ко мне...

К Устинье подскочила сноха Анна, взяла ее за руку и подвела к Пугачеву. Устинья в упор, не мигая, смотрела на него. Глаза ее горели, горели щеки.

– Хороша... Хороша-а-а, – сказал Пугачев, накручивая ус, и встал. – Ну, так быть тебе всероссийской императрицей!

Устинья всплеснула ладонями, ее сильные руки упали, как у мертвой.

Пугачев подал ей шелковый мешочек с тридцатью серебряными рублями и проговорил:

– Помнишь, швырял я в тебя деньгами, да попасть не мог, ну а теперь вот попаду: бери! – Тут он обнял ее, поцеловал и молвил: – Поздравляю тебя царицей.

Заскрипела дверь, в избу вошел вернувшийся Петр Кузнецов. Ошеломленный, он ничего не мог

понять. Плачущая дочь бросилась ему на шею:

– Батюшка... родимый!

Два казака живо подхватили Кузнецова и опустили на колени перед Пугачевым.

– Встань, – приказал Пугачев. – Ты ли хозяин сего дома и твоя ли это дочь?

Шестидесятилетний видный Петр Кузнецов, подымаясь, сказал:

– Так, надежда, точно! Я хозяин здесь, а эта девушка – родная дочь моя, Устинья.

– Ну, спасибо, что поил да кормил ее. Я, государь, намерен возвести ее в супруги свои.

У Кузнецова разошлась бледность в лице, он снова повалился Пугачеву в ноги и подавленным голосом, пополам с отчаяньем и скорбью, закричал:

– Батюшка! Тупа, глупа она да молодехонька, ей только семнадцать минуло... Не понуждай ее, голубку, неволей замуж выходить хоша бы и за тебя, наш свет. Да и меня-то пожалей: уйдет, некому будет меня, старика, обшить, обмыть. Старухи-то нет у меня, померши.

Пугачев нагнулся и вместе с Падуровым поднял его, плачущего.

– Слушай, старый! Вдругорядь говорю тебе: я, государь, намерен на дочери твоей жениться! И чтоб к вечеру готово было к сговору, а завтра быть свадьбе! Время военное, чтоб скоропалитно было!

Затем подошел к рыдающей Устинье, приголубил ее, сказал:

– Брось слезы лить, Устиньюшка. Готовься к венцу, – и в сопровождении свиты вышел.

Для дворца был выбран самый лучший в городке двухэтажный дом Бородина.

За убранством дворца досматривал Падуров. Он же выдумывал и всю церемонию предстоящего торжества.

Овчинников сказал ему:

– Слышь, Тимофей Иваныч! В недавнем походе бывши, я толстобрюхого повара-француза с собой привез... Барина-то Овсянкина, по приговору мужиков, приказал повесить, а евоного повара взял, подумал, что авось сгодится нам.

– Вот и расчудесное дело, Андрей Афанасьич!.. Пущай-ка он заморским обедом удивит нас.

Повар Людвиг орудовал в кухне Михайлы Толкачева, готовясь к завтрашнему балу. Он такое аля-трю-трю загнет, что гости пальчики оближут. Уж ежели в разбойничье гнездо попал да от виселицы спасся – бьен мерси, – он всмятку расшибется, а ихнему «мужицкому царю» потрафить должен непременно.

В избе старика Пустобаева дежурил казак: приказано было одному казаку следить, чтоб Пустобаев за эти дни к вину не касался, ибо он будет на свадьбе читать в церкви «Апостола»; он всегда, бывало, занимался этим делом на знатных свадьбах; могутней его голоса нет по всему Яику, нет ни в Оренбурге, ни в Казани. Вот-то уже рявкнет! Безграмотный, он знал «Апостола», как многие церковные стихиры, наизусть. Скучая без вина, старик становился лицом к иконам и начинал пробовать голос. Старуха бросала прясть куделю, затыкала уши, кричала:

– Окстись!.. Чего ты гайкаешь, как в степу... Верблюд нескладный!

Весь городок, узнав о свадьбе, пришел в смятение. Экое счастье привалило этим Кузнецовым, казацкой голытьбе, ужо-ка носы как задерут! А Устька-то, девчонка-то, царицей будет, ха-ха-ха! Ну да и то

сказать: казакам лестно. Только надолго ли все это, ох – надолго ли?

Около сумерек к Кузнецовым подъехала в сопровождении судьи Военной коллегии Данилы Скобочкина подвода с сундуком. Скобочкин открыл внесенный в светлицу сундук и стал швырять из него на девичью постель всякое добро, приговаривая:

– Государь наш Петр Федорыч кланяется тебе, Устинья Петровна, сими дарами. Вот новая шуба лисья длинная – раз! Вот душегрей меховой, малодержанный – два! Вот два сарафана, вот наряд боярышни парчовый с кокошником и поднизью. Да пять рубашек самолучших голевых, да сороки, да кички бабьи, да всякого добра. Ты, свет Устинья Петровна, принарядись и суженого поджидай. Таков наказ.

Посланец уехал. Главная сваха Толкачиха с подругами невесты начали Устю обряжать. Когда принялись надевать рубаху на дрожащую всем телом девушку, разбитная курносая баба Толкачиха, успевшая хлебнуть винца, было начала отпускать всякие словесные нескромности по поводу женской наготы, однако девушки ее тотчас осадили.

Вот они звонкими голосами подняли заунывную:

Ой, зори, вы, зори,
а весенние...

Устинья горько заплакала; глядя на нее, принялись плакать и подруги, заплетавшие ее густую, льняного цвета, косу.

Возле печки, за переборкой, гремя ухватами и плошками, возились со стряпней сноха Анна и родная сестра невесты, двадцатидвухлетняя Марья Петровна, по мужу Шелудякова. Пекли, жарили всякую всячину, варили из сушеных урюка, ягод и ржаной муки любимую казаками кулагу.

То и дело в кухню отворялась дверь, приходили казаки-соседи, вынимали из кошелей разную снедь, с поклоном совали ее на скамьи:

– Нате-ка-те, возьмите-ка-те, – прислушиваясь к жалобным песням за перегородкой, мотали бородами, уходили. А в подворье, где старик Кузнецов чистил с сыном Андреяном лошадь, брали старика за плечи, целовали, поздравляли с царской милостью, заискивающе говорили:

– Кой да чего принесли твоим бабам-то... Икорки, да баранинки... да рыбки! Ты ведь наш, Петр Михайлыч; ты ведь рядом с нами в непослушной стороне супротив генерала воевал. А ныне вот милосердный Господь через Устинью Петровну вознес тебя. Ну так при случае и ты не забудь нас, бедных, батюшка.

А как пал на землю вечер, в домишке Кузнецова собрались на «подвеселок» званые гости. Приехал с ближними и сам Емельян Иваныч. Он сел в красном углу под образами.

Сноха с Толкачихой вывели под локотки невесту. Высокая, статная, в голубом сарафане с позументами, с большими серебряными пуговицами на груди, в девичьем богатом кокошнике, Устинья сразу приковала к себе все взоры.

– Эх, и одета-то как! – восхищенно выкрикнул старик Денис Пьянов.

Заплаканные темные глаза Устиньи глядели как-то отрешенно в пустоту. Может быть, вместо знакомых и родных, вместо своего суженого она снова увидела бездонный омут с торчавшей из него рукой. «Сюда, ко мне», – откуда-то снизу, со дна живой реки раздается мертвый голос. И черная рука тянется, тянется из омута к ее девичьему сердцу, и все пальцы той руки в драгоценных кольцах. Ветер, шум, тьма, гнутся к земле ветлы.

Вдруг властно:

– Устинья! – и ласково-ласково, как тихие гусли: – Иди, кундюбочка моя, сюды.

Видение сразу лопнуло, как дождевой пузырь: сгинул омут, нету ветра, и вместо тьмы – мигучие огоньки горят.

И побледневшая Устинья, сомкнув обескровленные губы, села рядом с государем.

– Я буду бережение к тебе держать, Устинья, – еще ласковей шепнул он ей на ухо. Она в ответ лишь повела бровями.

И подвеселок, или сговор, начался. Гуляли, ели, пили до самой утренней зари.

Глава VII

Царская свадьба. Долматов монастырь. Душевное смятение Устиньи. Пугачевская Военная коллегия.

Ропот

1

После подвеселка надо же было всем проспаться, поэтому венчанье назначено на два часа пополудни.

В Петропавловскую церковь пускали с разбором. Полковником Падуровым было кому надо внушено, что дедовские обычаи на свадьбе побоку, ибо венчаться станет не простой казак, а сам всероссийский император. Пугачев относился к затее Падурова с внутренней ухмылкой. «А что ж, пусть позабавится, – думал он. – Да и казаков треба отблагодарить за их верность. Пусть эта свадьба им в праздник будет. Они в армии-то моей в корню идут».

Среди церкви высилось в две ступени архиерейское место, на нем – аналой с Евангелием и крестом. Возле четырех углов этого помоста стояли в почетном карауле с обнаженными – к плечу – саблями четверо богатырей казаков в богатой сряде.

В храме пахло ладаном, воском, разбросанным по полу можжевельником. Отец Кузьма в парчовой ризе, с наперсным крестом на груди, имел вид торжественный и строгий, даже грубые, выдавшие всякую работу руки были начисто отпарены горячим щелоком и мылом.

На правом клиросе – хор певчих из стариков, середовичей и малолеток. Возвышаясь на голову над всеми, громоздился среди басов казак Петр Алексеич Пустобаев. Он в новом чекмене – подарке государя, а как заслуженных наград у него не было, дал ему на подержание три медали старик Яков Почиталин да одну медаль старшина Фофанов. Так что стал Пустобаев для торжественного случая о четырех медалях. На широкой груди он разместил медали очень низко, почти у пояса, чтоб они не были закрыты огромной пегой бородой.

Приглашенных было сотни две, они вели себя чинно, с нетерпением посматривали в сторону паперти, поджидали жениха с невестой. В церкви зажжены все паникадила. Прискакал гонец: «Едут!»

Духовенство направилось на паперть. С колокольни рассыпался медным плясом веселый трезвон во все колокола. Осиянный солнцем воздух взорвался за стенами церкви могучими криками «ура». Регент ударил камертоном по костяшке зажатого в кулак большого пальца. Певчие откашлялись.

Заскрипели двери, раздался возглас священника, вошел со свитой бравый Пугачев, хор дружно грянул входной концерт:

«Господи, силою твоею возвеселится царь!»

Жених взошел на возвышенное место, к аналою. Сзади него стали два шафера из неженатых детей казацких. Пугачев с рассеянным любопытством озирался по сторонам, тужась отделаться от беспокойных мыслей (еще час назад он побывал на подкопных работах, сыскал там всякие неустойки). На нем

красовалась надетая через плечо широкая муаровая лента со звездой. Саблю, как учил его Падуров, он снял и передал ее Давилину.

Вскоре подкатил невестин поезд. Родня и женщины с девицами под водительством разухабистой бабы Толкачихи, окружив невесту, вошли в церковь шумно, с разговорами, как цыганский табор.

И вот невеста со своими тремя шаферами на возвышении, рядом с царем. Она в боярском сарафане, отделанном парчой и мехом, на голове ниспадающая к полу, подобно волне белого тумана, легкая кисейная фата, на шее дорогие бусы, через плечо красная лента со звездой.

Начался чин венчания. Отец Кузьма служил благолепно. Емельян Иваныч все покашивался то на невесту, то на правый клирос, где над всеми возвышалась кудлатая голова Пустобаева. Скорее бы вся эта музыка кончалась!

И вот с божественной книгой в руках Пустобаев вышел на середину церкви. Он остановился перед возвышенным местом, отстегнул на тяжелой книге «Деяние Апостолов» застежку с медным «жуком» на конце, не торопясь открыл книгу, развернул широкие плечи и чуть откинул назад крупную голову. Нескладный дьякон возгласил надтреснутым голосом:

– Премудр-о-о-ость!

В тон ему, но могучим потоком, прогудело из уст Пустобаева:

– К галатам послание святого апостола Павла, чтение-е-е...

– Вонме-е-е-ем! – призывая молящихся ко вниманию, ответил дьякон.

Тогда, немного опустив голову и настроив кадык как надо, Пустобаев пустил свободной густой октавой:

– Бра-а-а-тие-е-е...

В церкви водворилась полная тишина, лишь приведенный родителями пятилеток Кешка, показывая на Пугачева, лепетал:

– Знаю... Чарь, это чарь... Гостинцев дарил мне...

Его одернули, схватили за руку, но он вырвался, закричал:

– Туда, там... К дедушке, – закутанный в мамкину вязаную шаль, он, подобно пухлому шерстяному клубку, покатился по церкви, встал впереди Пустобаева, лицом к нему, задом к иконостасу, и замер. Ну и слава Богу, пусть стоит.

Пугачев, увидя Кешку, улыбнулся. Тут вмиг возникла перед ним его живомужняя жена Софья Митревна с ребятами. И покажись ему, что она с силой ударила его в самую грудь чем-то невещественным. Он боднул головой, сердце его больно защемило. Но в уши все могучей, все гуще напирали могущественные возгласы чтеца.

Голос русского богатыря властно хозяйничал во всем храме: стучался в окна, в стены, упругими валами катился по полу, орлиным взмахом взлетал в купол и, подобно каменному граду, падал оттуда вниз. От неимоверной силы звука сотрясался не только налитый ароматным дымом воздух, но и деревянный пол небольшой уютной церкви. Застывший во внимании народ воспринимал голос Пустобаева в настороженном любопытстве, все приковались взором к вещавшему богатырю. Казалось, что даже святые угодники милостиво взирали на чтеца широко открытыми, строгого письма, глазами. Кешка тоже пучеглазо возрился на долгобородого дедушку, пыхтел и, погруженный в созерцание, пускал носом пузыри.

– Слушай, Устя, сейчас дед хватит про жену да про мужа, – шепнул Пугачев, припомнив всем известные слова «Апостола».

– Знаю, – через силу прошептала Устя. Из глаз ее катились слезы. Она вынула платок, посморкалась и надвинула на глаза фату. Где она? Что с ней? Мать ли она свою хоронит, или по себе панихиду служит, или в великий четверг на христовых страстях стоит? В ее руке теплится толстая, в золотых завитушках и цветах, свеча. Кто зажег, кто вложил ее в помертвевшую руку Усти? И как она, Устя, опора старого отца, попала в эту церковь, и чей на ней наряд, и чья фата, и чьи драгоценные бусы, подобно удавке, затянули ее лебединую шею? Ах да, свадьба! Господи помилуй, свадьба...

Из мрачных дум вырвал ее все тот же громоносный Пустобаев. Он раскачнулся, передернул сильными плечами, расставил для устойчивости крепкие, как бревна, ноги и пустил из широкой глотки сотрясший всю церковь язык:

– А жена-а-а да убо-и-ится своего му-у-ужжаааа!!!

Дзинькнули стекла. Кешка шлепнулся задом на пол и засмеялся.

Отец Кузьма, при подобающих возгласах, надел на пальцы брачующихся обручальные кольца. Пугачев было протянул левую руку, с перстнем Разина, но священник, мягко улыбаясь, шепнул ему: «Извольте, ваше величество, правенькую ручку пожаловать» – и кивнул шаферам: «Венцы!»

При радостном пении хора «Положил еси на главах их венцы», затем «Исаия, ликуй», – отец Кузьма надел брачующимся на головы венцы и трижды обвел их вокруг анаоя.

Устинья все еще как в тумане, и происходящее перед ее глазами она воспринимала как-то смутно и безжизненно. Пугачев выступал чинно, стараясь придать лицу царственную величавость. Мысли его были рассеяны и сбивчивы: он думал о подкопе, о Максиме Григорьевиче Шигаеве, оставшемся вместо него в Оренбурге, то грезился ему Ванька Семибратов, то безносый каторжник Хлопуша, то любезная его сердцу покойная страдалница Харлова.

Дьякон начал возглашать многолетие:

– Благоверному государю нашему Петру Федоровичу и благоверной супруге его государыне Устинье Петро-овне...

И только тут Устинья пришла в чувство.

– Что это?.. Кому это?! – сбросив с лица фату, неожиданно воскликнула она, одновременно обращаясь к мужу, народу и священнику. Глаза ее широко открылись, как у внезапно пробудившейся от сна.

На колокольне забухали во все колокола. В ограде, раз за разом, трижды грянули ружейные залпы. А затем, по команде атамана Овчинникова, грохнула пушка.

– Пушка! – воскликнул Симонов, он писал донесение в Военную коллегию, бросил перо, схватил шапку и в одном мундире побежал на вал. За ним вприпрыжку слуга тащил его шубу.

Прогудел сигнальный колокол, ударили барабаны. Возле крепостных пушек уже стояли офицеры и солдаты. Симонов с Крыловым залезли на колокольню. Но было все спокойно, выстрелы не повторялись, и смолкли колокола отдаленной Петропавловской церкви.

– Почему пальба и трезвон?

– В толк не могу взять, – пожимая плечами, ответил Крылов. – Уж не именинник ли Пугачев?

– Надо в святцы заглянуть, у меня есть, – ответил Симонов. – Только когда он именины-то правит: на

Петра или на Емельяна?

В это время Емельян Иваныч вместе с новой царицей сидели в креслах, принимая поздравления. Все подходило в полном порядке, «вожжой», целовали руку сначала царю, затем царице. Пугачеву хотелось есть. Он засунул свободную руку в карман бархатного, расшитого серебром кафтана, стал по кусочку незаметно отщипывать от просвирки и совать в рот. Скорей бы уж... Наскучила ему вся эта падуровская да поповская, Бог их любил, затея.

Лицо Устиньи рдело от стыда, а руки были холодны. Она приветливо, даже заискивающе всем улыбалась, как бы говоря: «Не осуждайте меня, я не по своей воле...» Глаза улыбались, но не натурально: как будто не живой луч солнца, а лишь солнечный отблеск светился в мертвых льдинках. Полное спокойствие к ней вернулось только тогда, когда она села с мужем в сани.

«Их величества» были встречены свитою. Вылезавшего из саней Пугачева поддерживал атаман Каргин, Устинью подхватил под локоток Падуров. Когда «их величества» изволили следовать по лестнице вверх, их осыпали хмелем и житом. При входе «их величеств» во внутренние покои хор Петропавловской церкви запел «Встречу». «Их величества» были торжественно посажены под образа на красное место, за отдельный стол, к которому примыкали два длинных, вдоль стен, стола. Сзади молодых – два «царицына» брата, нечто вроде пажей, и две девушки-казачки: Прасковья Чапурина и Марья Череватая – фрейлины. Они стоят навтыжку, внимательно посматривая на Падурова, главного распорядителя.

– Садитесь, господа гости! В ногах правды нет, – говорит Пугачев.

Все, покряхтывая, почесываясь, неуклюже толпясь, принялись усаживаться. На столах баклаги и бутылки с вином, разные обильные закуски, столь затейливо изготовленные французом-поваром, что к ним страшно прикоснуться. Тут были какие-то игрушечные башенки из сливочного масла, и крутые яйца, начиненные чем-то вкусным, и разных фасонов пирожки, и всяких сортов балыки, нарезанные тонкими ломтиками, и свежая зернистая икра, усыпанная мелким луком, соленые и отварные грибы, шинкованная и тушенная в сухарях капуста... Господи ты, Боже мой, чего-чего тут только не было! Приглашенные, весело переглядываясь, сглатывали слюны, их животы давно скучали.

Пока гости, по указанию Падурова, садились по местам, Пугачев, пользуясь общим замешательством, схватил ложку, незаметно поддел икры и – в рот, поддел отварных грибов и – в рот, откусил кусок калача. Прикрывшись от Падурова ладонью и поглядывая на него с опаской, как бы не одернул, быстро стал прожевывать закуску. Лицо его сразу стало добрым, веселым.

– Прошу наполнить до краев кубки! – с неестественной для него изысканностью проговорил Падуров и слегка всем поклонился. Он стоял позади гостей, рядом с хозяйкой дома бабой Толкачихой, на голове которой красовалась нарядная кичка с фасонными рогами.

Гости с готовностью исполнили просьбу и сразу залили вином скатерть.

– А не можно ли, полковник, попроворней к снеди скомандовать? – сказал Пугачев и умоляюще посмотрел на Падурова.

Казачки, расправляя усы и бороды, согласно закивали головами.

– До разу, ваше величество! – откликнулся усач Падуров и турнул за плечо старшего по чину атамана всех пугачевских сил Овчинникова. Тридцатипятилетний горбоносый атаман быстро встал, огладил кудрявую, как овечья шерсть, русую бородку, высоко поднял чару и, устремив умные серые глаза на Пугачева, звонким голосом провозгласил:

– Здравствуйте, отец наш, ваше величество, царь Петр Федорыч. Жить да быть тебе, долго

здравствовать!

– Спасибочко, – ответил Пугачев.

Все, как один, мужчины и женщины, поднялись и пошли чокаться с государем. Выпивали и отходили к сторонке. Толчая, пыхтенье, наступали друг другу на ноги, расплескивали вино – горенка изрядно тесновата.

Падуров, прихлопнув в ладоши, произнес:

– Наш великий хозяин присуглашает дорогих гостей приступить к закуске. (Гости вмиг похватили вилки и ложки.) – Впрочем сказать, – продолжал Падуров, улыбаясь, – хозяин просит сверх меры не наедаться, так как...

– Какое еще так-растак? Ешь сколь влезет! – зашумел подвыпивший Денис Пьянов. Вместе со слепцом-гусяром он сидел в углу возле печки, за опрокинутой вверх дном шайкой, превращенной в стол. Перед ними много закусок, а в самом уголке, на полу – баклага с водкой.

– ...так как, – закончил Падуров, – опосля тостов последует обед французской кухни.

– Хранчюской? Ха-ха-ха! – захохотал Пьянов.

К нему подошел Давилин и кратко, но внушительно шепнул ему на ухо:

– Выведем!

– Молчу, молчу, – так же кратко ответил испугавшийся Пьянов.

Певчие, стоявшие за перегородкой в соседней горенке, возле открытых дверей, пели государю «многолетие».

Когда все утолили первый голод, по знаку Падурова встал с кубком новоизбранный атаман войска Яицкого старик Каргин.

– Здравствуй, матушка, благая государыня наша Устинья Петровна! – подняв над головой кубок с вином, воскликнул книжный и набожный Каргин. – Ты суть ветвь от древа нашего казацкого, праведная дочь роду нашего. Прими на себя, матушка, заступление свое за нас, сырых, за войско казацкое и за старую веру нашу дониконианскую.

Устинья слегка улыбнулась, вздохнула и, не подымая глаз, кивнула старику. Снова все с шумом поднялись, прокричали:

– Здравствуй, матушка, государыня Устинья Петровна! – и гурьбой пошли чокаться к царице.

Певчие пропели «многолетие» государыне, гости выпили, сели, закусили. Затем, с той же церемонией, была провозглашена здравица за наследника Павла Петровича. Вскоре столы были опустошены: закуски съедены, вино выпито. Многие «любожорцы», забыв предосторогу Падурова, умудрились наесться до отвала.

Стало темновато, зажгли многочисленные свечи, для прохладения распахнули на минуту дверь. Шибанул в горенку морозный воздух, гости враз взбодрились, жадно задышали полной грудью.

– Повелите, государь, открыть почестен пир, – с разученным поклоном и как бы играючи обратился Падуров к Пугачеву.

– Приемлемо, – кивнул головою Пугачев.

В открытую наружную дверь ввалился толстый, как бочка, повар. Он был в белом с нагрудником фартуке, в белом колпаке, за поясом кухонный широкий нож. Припав на одно колено и вскинув вверх

правую руку, повар, обращаясь к Пугачеву, быстро-быстро залопотал по-французски.

– Благодарствую, – нетерпеливо прервал его Пугачев. – Я ведь зело борзо знал по-иностранным-то, да трохи-трохи позабыл... Ну ладно, мирсит твою! Давай, чего у тебя... Вали!

Повар принял из рук поваренка дымящуюся густым паром фарфоровую миску, передал ее в руки подскочившему казаку Андреяну, а тот бережно поставил миску перед их величествами.

– Антре потофе! – грассируя, громко выкрикнул повар, повернулся и вышел.

– Давай, давай сюда!.. Что за Андрей Катафей такой, – шутили рассоловевшие гости, наливая черпаками из поданных пяти мисок горячий суп по своим тарелкам.

Услужливые руки расставляли по столам горы слоеных пирожков и поджаренных розоватых гренок. Наступило вожделенное молчаливое чавканье. Устинья после трех чарок раскраснелась. Она шарила взором по лицам гостей: вот ее любимый отец, вот сестра Марья с мужем, Шелудяковым, вот огромный, потешный Пустобаев с усердием питается – только ложечка мелькает да в широкий рот пирожки летят, вот ее близкие подруги... Устинья улыбается отцу, улыбается подругам, и те отвечают ей приятными улыбками, отец даже подмигнул Устинье и закивал седовласой головой. И все, сколько было гостей, с каким-то особым упованием нет-нет да умильно и посмотрят на нее. Устинью это взбадривает, вино течет по жилам, дурманит голову, мрачные думы отлетают, будущее тонет в настоящем, таком необычном и сладостном, как колдовское сновидение. «Я вас всех люблю, – хочется крикнуть ей, – только поберегите вы меня, младешеньку». Она берет слоеный пирожок, он рассыпается у нее во рту и тает.

– Эта похлебка, – во всеуслышание начинает Пугачев, – помню, звалась при дворце трю-трю...

– Ах, ах, ах!.. Неужто трю-трю? – поднял бороду атаман Каргин.

– Трю-трю, – так и говорилось. Ведь я, бывало, сладко ел, тетушка Лизавета Петровна, превечный покой ее головушке, баловала меня. Бывало, позовет да и скажет: «А нут-ка, скажет, Петенька, открой вот тот шкафчик, я тебе кое да что приготовила». Ну, я открою, а там на трех блюдах оладьи, кои с патокой, а кои с вареньем. Ну и нажрешься до отвалу... То бишь, это... как его... – спохватился Пугачев.

– Я слышал, ваше величество, – начал Падуров, всегда в трудные минуты поспевавший царю на помощь, – я слышал, будто бы в некое время, в Париже, был для знати обед, а главный повар сплеховал: кушанье одно не удалось. Так он из самолюбия повесился.

– Вона! – вскричал Пугачев. – Я в та поры в Париже-то был своей персоной. Он, поваришка-т, не сам повесился, а его взяли да повесили. Не плошай. Только и делов...

В пол снизу, из кухни, постучали. Услыхав этот сигнал, Падуров приготовился. Явился вновь повар с блюдом, прокричал:

– Экстюржон!

Огромный, пуда в два, осетр покоился, за неимением большого блюда, на саженом деревянном подносе, прикрытом холстиною. В ноздрях у него гераневые зеленые листочки, вареные глаза взирают на людей с любопытством и презрением, как на рыбешку, которая мелко еще плавает. Осетр пронес себя над головами притихших гостей и неспешно подплыл к их величествам.

– Пошто рыбина-то не порушена на порциины? – досадливо спросил Пугачев, ковырнув вилкой в розово-серую кожу осетра, покрытую чешуйчатым панцирем.

Повар быстро, взახлеб, заговорил по-французски: «Пуасон, пуасон... экстюржон» – и ловким движением, при помощи двух вилок, загнул наверх кожу осетра, там лежали желтоватые ломти разварной рыбы, уснащенные подливками. Вильнув хвостом и оскалив острые зубы, осетр поплыл от стола их

величеств к зачарованным гостям. А вино убывало, убывало, и все развязней становились гости. Пугачев поцеловал Устинью в правый локоток, а затем в щечку, Давилин прижал к печке пышную бабу Толкачиху, Падуров щекотнул в бочок царицыну сестрицу Марью. Бражники закричали:

– Будет еще какая еда?

– Будет, будет!

– Ха-ха-ха!.. Ей-бо, лопнем.

Толкачев с Каргиным, хотя и пьяны были, но дела своего не забывали, они вышли во двор, вскочили на коней и поехали проверять караулы, дозоры. Потемневшее небо уже было в звездах, из-за сыртов выходила плешивая большелобая луна. Тихий воздух свеж, бодрящ.

А там, перед глазами их величеств, новое усердное чудачество француза-чародея: на круглом блюде сидит обыкновенный заяц; этакий белобокий степной «куян». Сидит себе на задних лапах, левое ухо торчком, а правое прижато лапкой, будто зверек умывается. И раскосые глаза блестят. Живой, что ли? Ха-ха-ха!

С трудом опустившись на одно колено, повар держал блюдо с зайцем над головой, перебирая руками, медленно вращал его во все стороны, как бы давая всем полюбоваться. Пугачев, ничего не понимая, защелкал языком, а охмелевшим бражникам казалось, что заяц дрыгает передними лапками, рубит ими воздух, как капусту. Ха-ха-ха!

Повар поставил блюдо на стол перед их величествами, схватил зайца за уши и свободно сдернул с него шкурку. Заяц сразу утратил свое звериное достоинство: стал бос, наг и жалок видом. Затем повар перевернул прошипованную свиным салом тушку на бочок и заработал ножом: внутри зайца лежала прожаренная утка, в утке цыпленок, в цыпленке – рябчик, в рябчике – два особо фаршированных грецких ореха. Повар меж тем непрерывно лопотал и сальными руками делал выразительные жесты, очевидно, желая внушить их величествам, в каком порядке надо кушать сие блюдо. Гости тарачили пьяные глаза, недоуменно подталкивали локтями друг друга.

– Приемлемо, мирсит-твою, Людовик, – покровительственно молвил Пугачев и махнул повару рукой. Тот поклонился и, расталкивая брюхом толпившихся гостей, вышел.

– Заяц-то пил, ваше величество! – смешливые зазвенели голоса. – Винишка-то добавить треба. Усохло.

Волшебные руки вмиг подсунули на стол полные вина баклаги.

– Эх, разнопьяное винцо-пойлицо! – и гости наполнили кубки, выпили.

– Сторонись, душа, – оболью! – гаркнул Пустобаев и тоже выпил.

Заяц и вся жареная убоинка были съедены их величествами с сидевшими возле них гостями. Что же касемо крупных, начиненных пряностями грецких орехов, то их, как некие ненужные, положенные для украшения отбросы, проглотили не жевавши каких-то два затесавшихся с улицы пьяных старика.

Пугачеву заяц очень понравился, он удовлетворенно обсасывал пальцы, утирался рушником. Вот так заяц!

Вошедший с сахарными пышками-пампушками повар, узнав, что оба грецких ореха были сожраны простыми стариками, пришел в ужас.

– О мон Дье! – схватившись за голову, воскликнул он полным отчаянья голосом. Его белый колпак съехал на ухо, чисто бритое тестообразное лицо с двойным подбородком исказилось гримасой возмущения. – Ой, вей-вей. Разве такие императоры бывают. Он не смыслит, как надо кушать старинное

блюдо королей великой Франции. В этом блюде кушают лишь два орешка, знатно фаршированных. А все остальное – зайчатину и прочее – выбрасывают псам. Ведь вся мясная оболочка не более как футляр для драгоценного сувенира – двух орехов. Черт бы побрал эту варварскую Россию! Вив ля Франс!..

– Что это он там выборматывает? – Со скорбью посмотрев на пустое из-под зайца блюдо, Пугачев прищурился на несчастного француза, взметнул рукой, крикнул: – Квасу с тертым хреном, мирсит-твою. Эй, Людовик!

Пять блюд с сахарными пышками-пампушками поплыли воздухом к «высочайшему» столу и на столы обыкновенных смертных. Все лакомились пышками-пампушками с особым восхищением. Впрочем, пьяные казаки утратили всякий вкус к еде. Они уже не понимали, где у них руки, где ноги, только еще не забыли, где дорога в рот, и, закрыв полусонные глаза, шумно чавкали, пожирая сахарные пышки.

Появился холодный квас. Было притомившийся Емельян Иваныч вновь ожил. Он поболтал в своем жбане ложкой, чтоб взбаламутить осевший на дно хрен, и стал пить не отрываясь. Бражники с каким-то радостным утробным прикряком тоже отводили душу забористым, в меру убродившимся кваском.

Удовлетворенный Пугачев сонным голосом, без обычного огня, рассказывал:

– Помню, у короля прусского Фредерика я в гостях был, ну дак там подали целого теленка жареного. А в теленке-то большой баран с рогами, в баране-то добрый поросенок полугодовалый, а в поросенке четыре курицы, пятый петух...

– А орехи-то были, ваше величество?

– Орехи были, сам видел. Да мы их двум собачонкам стравили, мопса два. А достальное скушали. Ну дак ведь застолица-то немалая там сидела, сто пятьдесят шесть человек, окромя женских.

Впрочем, его почти никто теперь не слушал, все, как сумасшедшие, криливо говорили разом, невпопад, смеялись, обнимали друг друга за шеи, соприкасаясь мокрыми растрепанными бородами, заводили песни. Старик Витошнов, переложив винца, дважды падал с лавки на пол. В дальнем углу стали бить посуду.

Пугачеву не понравилось такое невнимание к его словам. Он нахмурился и уже потвердевшим голосом заговорил:

– Вот мы сидим да бражничаем, а Симонов рядом, как бельмо на глазу. А мы тут... Эй, атаманы, слышите?!

Но пьяные гости продолжали гулко шуметь, совсем забыв про государя своего. Пугачев вскочил и грохнул кулаком в столешницу:

– Замолчь!

Вскочила и Устинья, она схватила его за руку и, заглядывая вдруг потемневшими глазами в искажившееся лицо его, взывала:

– Батюшка, заспокойся! Сдурел ты?!

Он оттолкнул ее. Она сдвинула брови и снова схватила его за руки. Пугачев, сверкая взором на примолкших, поднявшихся на ноги гостей, крикнул:

– Затяели гулянку... Послать в Берду за Шигаевым! Где Шигаев? Где Горбатов офицер? Я им верю.

– А нам, батюшка, не веришь, что ли? – косясь на Пугачева и потряхивая широкой бородой, обидчиво кидал шумно дышавший Чумаков.

– Верю! И вам верю... Да не всем. Забыли Митьку Лысова? Я ему тоже поначалу верил... Ох, вы мне,

атаманы-молодцы!

Пугачев, стиснув зубы и вырвавшись из рук Устиньи, заорал:

– К черту! Все перекострячу!.. Я царь ваш, царь!

Люди разинули рты, замерли, кое-кто трясся со страху. Вдруг где-то совсем близко ударила пушка.

– Казаки! На конь! – весь как-то оскалившись, во всю мочь гаркнул Пугачев.

Витошнов упал. А Пугачев с Падуровым и Пустобаевым выбежали в чем были на улицу. Следом вынесли им теплую срядку. Устинья со всем усердием одевала мужа. Из дома гурьбой выходили гости. Все сгрудились возле государя.

Вот вывернулись из-за угла и подъехали два всадника – Каргин и Толкачев.

– Чего вы тут?! – нетерпеливо крикнул навстречу им Емельян Иваныч.

Они соскочили с коней, сдернули шапки. Толкачев сказал:

– Проверку, твое величество, делали... Симонов спит, наши дозоры да посты в оба глаза смотрят...

– А кто палил?

– Да это я, царь-государь, распорядился, – ответил зело подгулявший атаман Каргин, держась за повод лошади и привалившись плечом к Михайле Толкачеву. – Хотелось поздравку сделать в честь... в честь свадьбы вашей, так я чугунный арбузик в крепость на закуску бросил. Ха-ха-ха...

– Спяну это ты, атаман, – неодобрительно молвил Пугачев.

И все двинулись по направлению к церкви. Широкая улица, легкий морозец. Звезды окрепли, полношная луна круто стояла в небе. Ее голубое сияние текло по всему просторному миру. Но никто из бражников не видел ни звезд, ни сиянья, ни луны. Впереди их величеств шествовали музыканты: две скрипки, гусли, дудки и рылейки. Они играли с азартом, подгикивая, подсвистывая.

Пугачева вели под руки «пажи», Устинью – «фрейлины». Пугачев следил за своими ногами. Все хорошо, прилично. А ежели его и брал легкий шат, так это уж не его вина: вся дорога под его ногами ходила ходуном, покачивалась.

К церкви поспешал Падуров. Там Ваня Почиталин и молодые казаки зажигали плашки с салом, с дегтем. Загорелись два вензеля, сначала «П», затем «У» – Петр и Устинья.

– Пу! – прочел громко Пугачев, ткнув, как маленький, пальцем по направлению к вензелю. – Пу! – повторил он и испугался: а вдруг после этого «пу» да «глаголь» загорится, а потом «аз» и прочие буквицы, будет «Пу-га-чев»... «Тогда до разу сничтожу Падурова», – покачиваясь с пяток на носки, подумал он. Но вместо буквиц загорелись огненные колосья, опахнули полнеба красные, синие и желтые «мигальские огни».

Удивленная Устинья била в ладоши, хохотала. Гости кричали «ура» и тоже хохотали.

Назад пришли не все, иные по дороге попадали, ползали на четвереньках, норовили где ни то притулиться в сугробе под забором «напродрых» – их разводили по домам. Благочестивый атаман Каргин, присоединившийся к компании, возвращался с прогулки так: несколько шагов влево, несколько шагов вправо, шага три назад, затем, набравшись ретивости, он бежал по прямой линии вперед и, упав плашмя, бороздил снег горбатым носом. Пугачев шел вольно, в окружении атаманов, старшин и есаулов.

...И как только собралась шумная застольица, как только подали новые сладости с горячим сбитнем и медовым квасом, сразу зазвенела песня. Нарядные девушки, посматривая с завистью на Устинью, запели:

Без тебя, ой без тебя, мой друг,

остелюшка холодна,
Одеяльце призаиндело в ногах.

Осипшими хмельными голосами подхватили и мужчины:

Одеяльце призаиндело в ногах...

Было исполнено много старинных, трогających сердце песен. Пугачев, облокотившись на стол и подперев кулаком встрепанную голову, слушал внимательно. Устинья, потупясь, сидела не шелохнувшись.

– Теперь послушайте-ка донскую казачью, только чур, не сбивать меня, – внезапно проговорил, оживляясь, Пугачев.

Ему давно хотелось показать свое уменье. Не меняя позы, он поднял брови, окинул гостей взглядом и не спеша запел. Он пел с большим природным мастерством, полузакрыв глаза и прислушиваясь к тому, как звучит родная песня. Его звонкий, доходчивый голос то выразительно взлетал, то падал и бередил сердце. Он пел:

Под ракитовым кустом казак навек уснул.
Перед ним-то стоит его верный конь,
Он копытом бьет во сыру землю,
Выбил ямищу по колено он.
Своего будит он хозяина:
Ты хозяин мой, млад донской казак,
Ты садись на меня, слугу верного,
Понесу я тебя да на тихий Дон.

Слова были самые обыкновенные, простые, но певец вкладывал в них столько души, что гости, замерев, глубоко вздыхали, никли головами и уже не могли вырваться из охватившего их сладостного плена. Ну и наградил же Бог человека таким даром, ну и горазд же «батюшка» голосом владеть!

– Эту песню, – сказал растроганный Пугачев, – я перенял от моих конвойных донцов, что были при дворце.

Огромный и могучий, словно отлитый из меди, Пустобаев стоял возле перегородки и не спускал с «батюшки» глаз.

Пугачев улыбнулся, наскоро обнял Устинью, сбросил с плеч кафтан со звездой и, попробовав, могут ли работать ноги, сказал:

– Эх, притопнуть бы, господа казаки, а то скука берет... Поплясать бы надлежало. Да, вишь, теснота... Простору нет!

– Как это простору нет?! – насупясь, гаркнул Пустобаев и со всей силы ударил кулачищем в переборку. Две доски с хрустом вылетели вон. – Как это простору нет? – повторил мрачно Пустобаев и двинул кулаком во второй раз. Доски снова затрещали, вылетели вон. – Как это простору нет? – сказал Пустобаев в третий раз и, развалившись плечом на дверные косяки, вместе со всей рухнувшей перегородкой растянулся в соседней горенке.

Дружный общий хохот, победные крики, будто неприступную крепость взяли. Молодые казаки, бабы, девчата живо убрали древесный хлам – зальце стало вдвое больше, плясы начались.

Первым бросился отплясывать неумный Пустобаев. Мужественное лицо его было все так же хмуро, почти мрачно, но вся душа в нем хохотала и козырилась.

Эх, лапоточки мои – рыта бархата,

Вы онучи мои – объярь алая!

Когда он пустился вприсядку, гуляки выкрикивали:

– Легче, легче, подполковник! Мотри, на бороду себе не наступи...

...Перед утром молодых повезли на новую квартиру, в дом Бородина. И как только залез Пугачев в сани, рядом с Устиньей, вдруг отрезвел он, да так, что кровь смерзлась в жилах.

«Эх, Емельян, Емельян, отпетая твоя головушка», – подумал он с тоской и злобой.

Луна уже не сияла, как раньше, но звезды пылали еще ярче, и в их холодном огне зловеще вычерчивались на сизом небосводе высокая колокольня и зубчатые стены крепостного частокола. Вот она, крепость, – вся как на ладони, а поди-ка выкуси ее... А там – Оренбург, а за Оренбургом многие тысячи подобных крепостей – до самого аж Петербурга.

Он откинулся к задку саней, отдаваясь своему мрачному раздумью, тяжело, протяжно вздохнул. Устинья вся затаилась: вот оно, начинается... И чем дальше летели минуты, тем угрюмей становилось на сердце у нее. Не выдержав, она уткнулась в пушистую шаль и всхлипнула.

Емельян Иваныч опомнился. Он высвободил из-под шали голову новореченной супруги, зажал в своих ладонях девичьи щеки и заговорил голосом, какого Устинья не слышала раньше, не услышит и потом – до конца дней ее с этим желанным и страшным человеком.

– Ястребок мой сизый... подстреленный, – вымолвил он и вздохнул еще тягостней.

Тройка лихо подкатила к изукрашенному флагами крыльцу Бородина. Из-под порожек с пронзительным лаем выскочила востроухая собачонка, человек замахнулся на нее с облучка кнутовищем:

– На царя гавкать, а!..

И грозно полез с облучка, но Емельян Иваныч остановил его:

– У нее хозяин дома – царь, на том стоит!

На другой день были розданы свадебные подарки новой родне и духовенству. Начальствующие лица пришли поздравить молодых. Благочестивый атаман Каргин – голова у него омотана, переносица расцарапана, глаз распух – кланяясь государю, сказал смиренно:

– Вот, батюшка, ваше царское величество, со свадьбы-то твоей по-лягушечьи довелось до дома-то добираться...

– Как по-лягушечьи? – улыбнулся Пугачев.

– А так по-лягушечьи... Где поползешь, а где и прыгнешь. Вот глаз подбил.

Пугачев засмеялся и, обратясь к Овчинникову, спросил:

– А где Грязнов старик да Кузнецов Иван? Помнится, я их к графу Чернышеву направил, к Чике.

– Граф Чернышев доносил нам, ваше величество, – ответил Овчинников, – мол, атаман Грязнов под Челябину им отправлен, а Ванюха Кузнецов под Кунгур.

– Надлежало бы гонцов к ним спсылать, дознаться, что да как? – молвил Емельян Пугачев.

И все двинулись осматривать подкоп.

2

Тем временем атаман Грязнов, после неудачного приступа к Челябинску, отошел к Чебаркульской крепости. А Челябинск вскоре занял Деколонг.

Грязнов снова подступил к Челябинску и остановился в шести верстах от города в деревне Першиной. У него в толпе 4000 человек – крестьян, башкирцев и киргизов. Небольшие грязновские партии разъезжали по окрестностям, хозяйничали в селениях. Трусливый и старый Деколонг бездействовал. Окрестное население, не видя себе законной защиты от Деколонга, передавалось Грязнову. Силы пугачевцев с каждым днем возрастали. Челябинску угрожала блокада, отряду Деколонга и всем жителям – голод.

Чтоб не быть запертым в городе, Деколонг вынужден был Челябинск покинуть. Кстати представился случай: от полковника Василия Бибикова он получил из Екатеринбурга письмо с просьбой о помощи, так как «самый Екатеринбург и его окрестности от злодейских обращений весьма опасны».

8 февраля весь воинский отряд его – около 3000 человек – выступил из города. Деколонг забрал с собой воеводу Веревкина, всех рекрут, всех чиновников, купцов, казну и годную артиллерию.

По дороге пугачевцы то и дело нападали на Деколонга, но тот ни разу не переходил в наступление, торопливо удирая, и через неделю достиг села Воскресенского. Отсюда послал полное отчаянья донесение сибирскому губернатору Чичерину, стараясь преувеличить опасность и прося себе помощи.

С уходом Деколонга из Челябинска пугачевцы стали полными хозяевами не только всей Исетской провинции, но отдельные партии их начали проникать и в Сибирскую губернию.

Чичерин скрепя сердце послал Деколонгу некоторую помощь и в то же время пожаловался на него генерал-аншефу Бибикову. Разгневавшись на бездейственного Деколонга, Бибиков между прочим писал императрице:

«Странность поведения генерала Деколонга или лета его, или вкоренившаяся сибирская косность причиною. Признаюся, всемилостивейшая государыня, что я бы лучше желал, чтоб сей генерал на нынешнее время там не был, и если бы возможно кого надежнейшего отправить, а его отозвать...» и т. д.

Екатерина ответила ему, что сделала указание отправить на место Деколонга генерал-поручика Суворова. Однако фельдмаршал Румянцев с театра военных действий Суворова не отпустил и, таким образом, полученного им повеления императрицы не исполнил.

Деколонг остался на прежнем месте и продолжал с той же трусливой осторожностью командовать своим отрядом.

Часть пугачевцев из армии Грязнова мелкими отрядами направилась к Долматову монастырю. Эта старинная твердыня большим была для них соблазном. Заняв ее, они могли держать в своих реках всю долину реки Исети с многолюдными селеньями: в монастыре были пушки, порох, ружья, продовольствие.

Долматов Успенский монастырь^[27] стоял на высоком левом берегу реки Исети, на сибирском тракте, в 160 верстах к востоку от Екатеринбурга. Монастырь был обнесен высокими кирпичными стенами с башнями, бойницами. Он напоминал собою крепость.

Подтянувшиеся к монастырю отряды полагали овладеть им с помощью экономических крестьян, ненавидевших монастырское начальство за притеснения и неправомерные поборы. Двенадцать лет тому назад возле монастыря возгорелся бунт^[28]: крестьяне пытались поколотить монахов, а жестокого настоятеля, архимандрита Иакинфа, – убить. Бунт был подавлен, наказанные крестьяне затаили к монастырю злобу.

При первом же известии о появившемся под Оренбургом Петре Федорыче все монастырское крестьянство подняло голову. Архимандрит Иакинф, предвидя беспокойное время, стал готовиться к защите и в начале января 1774 года выехал в Тобольск просить губернатора Чичерина о воинской помощи.

Вскоре отряд пугачевцев в полтысячи человек прибыл из-под Челябинска в окрестности монастыря. Командовали отрядом Пестерев и Тараканов.

Отсутствующего архимандрита заменил экономический казначей, секунд-майор Заворотков. Человек деятельный и бывалый, он хорошо подготовил монастырь к встрече мятежников. Он приглашал на борьбу с ними подчиненных ему крестьян близлежащего многолюдного села Никольского.

– Спешите укрыться в стенах святой обители! Беритесь за мечи, за ружья.

Более зажиточные крестьяне, всего 383 человека, перебрались в монастырь с семействами и скарбом. Огромное же большинство крестьян осталось в Никольском. Дух мятежного неповиновения поддерживал в своих прихожанах сельский священник Петр Лебедев.

11 февраля с высокой монастырской колокольни дозорные заметили приближавшихся пугачевцев. Защитники высыпали на стены и взялись за оружие. В монастыре было 15 пушек, 80 ружей.

Местный крестьянин Боголюбов, приблизясь от толпы мятежников к монастырю, передал монастырской братии бумагу. Походный атаман Пестерев писал в своем «известии о благополучии», что он прислан от армии его величества с полутора тысячами человек команды при двадцати орудиях и просит без кровопролития покориться ему. Он сообщал, что вся Казанская губерния, царствующий град Москва, также Нижний и другие города «склонены наследником, государем-цесаревичем Павлом Петровичем, так и государем нашим Петром Федоровичем. Оренбургская губерния и показанные: Челябин, Троицкая крепость и прочие жительства в склонность приведены благополучно...»

В тот же день, к вечеру, мятежники, не получив ответа, ворвались в Никольское, зажгли два крестьянских овина и разбрелись по избам. Атаман Пестерев велел устроить возле своей квартиры две виселицы.

Бушевавшая толпа приволокла к месту казни несколько монастырских служителей, капитана Врубова и попа Хорсина. Все они были повешены.

На другой день Пестерев послал к воротам монастыря крестьянина Мокрушников с требованием монастырю сдаться. Все монастырские стены снова были усыпаны защитниками. Мокрушников, задрав бороду, кричал:

– Сдавайтесь, православные! Довольно злодей архимандрит измывался над вами! Царь-батюшка всех нас, рабов своих, льготить обещал. Он, отец наш, все вольности дает нам, крест и бороду, леса, реки, травы!.. Вот я тут царский манифест на колышек приколю. А вы сдавайтесь, а то смерти-то всех вас исказнят.

В сводчатой трапезной, размалеванной рукой немудрого живописца, собрались монастырские заправилы со старшей братией и при тусклом свете восковых свечей стали сочинять увещание мятежникам. Писал гусиным пером на добротном листе бумаги молоденький послушник Дорофей, сын крестьянский. Волосы у него длинные с льняным отливом, лицо сухощекое и бледное, глаза голубые, в них смятение и грусть об уходящей юности, руки белые с длинными тонкими пальцами, и весь он, как березка, тонкий, с перехваченной кожаным поясом девичьей талией. На голове бархатная остроконечная скуфейка.

Экономический казначей из села Никольского секунд-майор Заворотков да седой монах с крупным красным носом и блудливыми глазами диктовали:

– Пиши, сыне...

«О благополучии вашем, – выводил пером юный Дорофей, – известие сюда от вас, через нашего мужика, прислано, в коем смешного достойныя прописаны бредни, чему никоим образом статья не можно. Да и помыслить ужасно, чтоб покойному государю Петру III, прежде чаемого общего воскресения, из мертвых одному воскреснуть...

...А сия гнусная чучела, Пугачев, назвавшись таким ужасным по России именем, наподобие якоб вокрес из мертвых и желает похитить самим Богом узаконенную власть грабежами, разбоем и кровопролитием, чего и в целом свете не слыхано. Всякий монарх вступает на престол тишиною и полезным всему обществу спокойствием. А как ваш мнимый император Петр III, в своем ложном, и то письменном, а не печатном, манифесте, всему обществу в сведение не предъявил, где он и в каких местах через двенадцатилетнее время находился и для чего только в одну Оренбургскую губернию вкрался... И склонившихся ему ослепленных мужиков прельщать старается крестом и бороною, травами и морями – чем мы и без его награждения от милостей нашей монархини довольствуемся. Крест Спасителя нашего всякий из православных чтит и поклоняется, а бороды природные у всякого по человечеству имеются. Растущие на ней волосы по всей воле кто стрижет и бреет, а иной отпускает. Травами же мы без награждения вашего довольны и недостатка никакого не имеем».

Строчки перечеркивались, вместо них скрипучее перо выводило новые, юный Дорофей дважды чинил перо брандмейстерским ножом, перемазал чернилами пальцы, и, Боже, милостив буди нам, грешным! – в его неискушенное людскими страстями сердце вползал от лукавого сатаны соблазн: вот, сейчас он безраздельно верит тому, что пишет, а когда читался манифест новоявленного государя, он без колебания верил тому манифесту. Господи, отведи напасть, изведи из темницы душу!.. Впрочем, на лице светловолосого с голубыми глазами юноши не отразилось и тени страдания, он только на минуту задумался, но его думы прервал повелевающий голос:

– Пиши!

Красноносый седой монах то и дело нюхал их тавлинки и чихал, сотрясая стол и колебля огоньки свечей. Секунд-майор в новом мундире похаживал, крутил черные усы.

«Покориться, конечно, мы были бы готовы, – писал послушник под диктовку, – ежели б называющий себя государем Петром III появился в царствующем граде Петербурге, там был принят и объявил о своем восшествии на престол без грабежей и разорения народа».

Грамота эта, помеченная 12 февраля 1774 года, была без подписей, но с монастырскою со шнуром печатью[29].

Многие крестьяне и монахи ночь провели в соборе, с усердием молились Богородице. Юный Дорофей высоким, почти женским голосом читал книгу о разных чудесах, о том, как благословенная Богоматерь спасла великий град Константинополь от Епифского воеводы, свирепого зверя-кабана, и потопила в море лютые бусурманские полки его. Читал он бледными устами, а сердцем был в селе Никольском возле родной своей крестьянки-матери, возле двух своих сестренок. И твердо решил послушник, если будет неустойка, он передастся царю Петру Третьему: государь простой народ льготит и повсеместно волю возвещает.

Ранним утром были отслужены в переполненном людьми соборе утренняя, обедня и молебен о ниспослании победы. Иеромонах благословил крестом всех защитников.

Вдруг, сотрясая воздух, загрохотали пушки. Началась перестрелка между враждующими сторонами. Пальба из пушек, ружей и пищалей длилась весь день, весь вечер до полуночи, потери в том и другом лагере были ничтожны. Обстрел монастыря продолжался и на следующий день, ядра отскакивали от монастырских стен, ворота были крепки и хорошо защищены, монахи и не думали сдаваться. Такая

канитель, бесполезная для пугачевцев и нестрашная для монахов, длилась две недели.

К толпе атамана Пестерева подходили новые партии, отделившиеся от Белобородова, разбитого майором Гагариным, а также – от Кузнецова, но толку не было: монастырские стены стояли, как скала.

1 марта произошло под стенами монастыря непостижимое для осажденных чудо. Со стен заметили приближение со стороны Шадринска новой толпы пугачевцев. Прибывшие наскоро переговорили с осаждающими и вдруг всей массой стали поспешно отступать по дороге к Челябинску, покинутому Деколонгом. Монахи, вытаращив глаза, смотрели им вслед, мотали бородами, воздевали руки к небу, громогласно славословили владычицу мира за содеянное ею чудо.

Но никакого чуда не произошло. Переполох в толпе пугачевцев наделало разосланное Деколонгом объявление, в котором он требовал от них полной покорности и в дальнейшем сообщал, что «состоящими при мне войсками, коих не менее трех тысяч, имею следовать к Екатеринбург, для того в деревне Коротковой, в Долматовом монастыре и в прочих по тракту лежащих местах приготовить к продовольствию тех войск провианта, овса и сена безнедостаточно».

Возблагодарив Богородицу за чудесное избавление от злокозненных нечестивцев, монастырское начальство и представитель гражданской власти секунд-майор Заворотков приступили к расправе. Крестьян, принимавших участие в мятеже, собрали к северным воротам, якобы для выслушивания «всемиловейшего» манифеста императрицы, а жившие в монастыре солдаты окружили их и штыками загнали в ограду.

Было опознано двадцать девять главных бунтовщиков. Их возвели на открытое крыльцо верхнего корпуса и учинили им скорый суд. Допрашивали: секунд-майор Заворотков и возвратившийся из Тобольска архимандрит Иакинф, человек жестокий и ненавидимый крестьянами. Участь двадцати девяти была предрешена.

– Палки! Плети! – неистово кричал на подсудимых иссохший рыжий Иакинф, ударяя в каменный пол тяжелым архимандритским жезлом. – Властью, мне данною, я вас научу, зверей несмысленных, как присягу рушить. Вы, скоты безрогие, самозванцу предались, священника да офицера и с ним сколько-то монастырской братии повесили.

– Мы не вешали...

– Молчать! – и архимандрит с такой силой ударил жезлом в каменные плиты, что из-под стального острия брызнули искры. – Камни сии вопиют к небу о вашем злодеянии! Вы святую обитель нашу и покровительницу Долматова монастыря преблагословенную Богородицу в немалую скорбь ввели! И за сие примете наказание велие... Так ли, всечестная братия моя? – обратился он к заседавшему ареопагу старцев.

– Так, – невнятно гнусили седобородые монахи, с тяжелыми вздохами опуская взоры: могут ли они прекословить столь строптивому Иакинфу?

– Палки! Плети! Стража, хватай! Палачи, постарайся во имя святой обители, дабы прочим изуверам-мужикам неповадно было.

Приговоренных по очереди валят на каменный промерзший пол, срывают одежду и начинают увечить гибкими палками и ременными плетями. Вопли избиваемых несутся по белу свету во все стороны, в исетские леса, на уральские заводы, догоняют отступающих пугачевцев, летят по сыртам, степям, увалам, мчатся в Оренбургский край к самому Емельяну Пугачеву – авось мирской заступник услышит их чутким своим ухом, а не услышит, так ему вольный ветер перескажет, а всего верней – примчится к царю на скакуне какой-нибудь отчаянный крестьянин-самовидец, упадет в ноги, завопит: «Слышишь ли, надежа-

государь, как лихой богоотступник Иакинф мучает верное тебе крестьянство?» – «Слышу, – ответит государь. – Точи топор, настанет пора-времечко катиться голове твоего Акинфа с плеч долой».

Внизу, сострадая воплям избиваемых, гулко шумела огромная толпа крестьян:

– Какой ты архимандрит! Ты бесу служишь!

– Богоослушник ты!

– У тебя две любовницы на стороне, две бабы!

– Ты жилы из нас тянешь!.. Да и все монахи-то клянут тебя!..

Сухопарый Иакинф, мстительно стиснув зубы, криво улыбнулся, его реденькая, мочального цвета борода загнулась влево, испитое желтоватое лицо покрылось болезненными пятнами, из-под густых щетинистых бровей сверкали какие-то ехидные, шныряющие по сторонам глаза.

Вот он сорвался с места и, путаясь в длинной лисьей шубе, подскочил к перилам высокого крыльца.

– Молчать, дети сатаны! – закричал он на шумевшую толпу. – Здесь суд господен совершается!

– Сам сатана! Сам пес рыжий! – выкрикивали из толпы. – Дай срок, дождешься. Пошто ты мужиков-то мучаешь, рысь лесная? Ежели они винны пред тобой, отправь в губернию... А ты не судья нам!

– Молчите, изуверы!

– Сам молчи, рыжий дьявол!.. Ты и веру-то православную мараешь.

– Про-о-о-клянун!

– Кляни!

Иакинф, подняв над головой руку с жезлом и отведя ее назад, скривил рот, избоченился и с силой низринул в толпу тяжелый жезл свой, как копьё.

– Гей, стража! Хватай изменников! – закричал он резким и скрогочущим, как скрип немазаной телеги, голосом. – Хватай черномазого с цыганской образиной. Волоки!

День шел к концу. Вечернее солнце облекало снежные увалы то в розовые, то в светло-голубые нежнейшие оттенки, оно отражалось своим сверканием в остекленных окнах монастырских зданий, в золоченых церковных крестах и главах, в бисерных глазенках нахохлившихся воробьев, что подняли предвесенний гомон на пряслах и в кустарнике, оно сверкало в наперсном, выпущенном поперек шубы золотом кресте архимандрита и в луже крестьянской крови, растекавшейся по каменным плитам пола. Вечернее солнце заботливо освещало мягкими лучами весь грешный мир суеты и скорби. Солнце было ко всему равнодушным и далеким.

О, как тяжело, как бесконечно больно в этот осиянный солнцем вечер умирать! Ведь весна не за горами; вот растает снег и разольются многоводьем реки, а там подспеет благодное лето, и все кругом зазеленеет, зацветут душистые цветы, засеребрится ковыль в степях, зазвенят весенние хоры залетных птиц, заколосятся золотистые нивы. И вот прощай, жизнь – всему и навсегда прощай!..

Лишившихся чувств или едва дышавших, по знаку Иакинфа, подволакивали к внешнему краю стены, уходившей в глубокий овраг. На дне оврага, сквозь сугробы, бурели, как стадо медведей, крупные скатные камни.

– Подхватывай! – командовал секунд-майор стражникам и старикам солдатам. – Швыряй!

Казнимых схватывали за руки и за ноги, раскачивали и, творя покаянную молитву, швыряли в пропасть. Так было сброшено двадцать девять человек.

Послушник Дорофей находился в толпе монастырской братии на широкой с зубчатыми бойницами стене. Всякий раз, когда сбрасывали в овраг очередную жертву, он вскрикивал и судорожно хватался за голову. Волосы его растрепались, свисли на лицо, глаза горели, он весь содрогался.

Когда, кувыряясь в воздухе, полетел вниз последний человек, Дорофей внезапно нагнулся, внезапно подхватил увесистый камень и, набежав на Иакинфа сзади, метко швырнул ему камень в голову. Архимандрит ахнул и упал. В поднявшейся суматохе юному Дорофею удалось бесследно скрыться.

Сидевший в Шадринске Деколонт иногда выходил из города, отгонял бродившие в окрестностях толпы, иногда наносил им поражения, но отойти далеко от Шадринска боялся. От 27 февраля он рапортовал Бибикову: «Я здесь, а вокруг меня и за мною в Сибирской губернии, по большой почтовой дороге в Тюмени, сие зло, прорвавшись, начинает пылать» и что силы мятежников растут все больше и больше.

Деколонт был прав: общее количество многочисленных отрядов пугачевцев составляло в окольных местах пять с лишним тысяч человек. Отдельные группы партизан ныне составлялись из монастырских крестьян села Никольского и других экономических селений. Они направились к сибирским городам – Тюмени, Туринску, Краснослободску, а самая большая группа, под начальством священника-пугачевца Петра Лебедева, пошла в сторону Кургана. К его отряду пристал и послушник Дорофей. Он подстриг волосы в кружок, сменил рясу на старый полушубок, а скуфейку на овчинную шапку. Слезы матери и двух девушек-сестренок не могли остановить его, он уверовал в правое дело «царя-батюшки» и пошел мстить за обиженных крестьян.

К сибирскому городу Кургану, кроме группы священника Лебедева, стянулась трехтысячная толпа пугачевцев с пятью пушками. Для отражения мятежников был сформирован двухтысячный отряд вооруженных крестьян, к нему придана рота солдат при одной пушке. Майор Салманов повел отряд к окруженному пугачевцами Кургану. Как только обе стороны вошли в соприкосновение, крестьяне правительственного отряда схватили своего командира майора Салманова с двумя офицерами и выдали мятежникам. Все трое были повешены, пугачевцы заняли Курган. Большая часть населения окрестных сел и деревень, более 18 000 человек, целиком передались пугачевцам.

Сибирский губернатор Чичерин быстро мобилизовал остатки сил, имевшихся в его распоряжении, и направил на выручку Кургана небольшой, но крепко сбитый отряд майора Эрдмана. Смелою атакою Эрдман разогнал у Осиновой слободы трехтысячную толпу пугачевцев и вскоре взял Курган.

Прочие отряды мятежников тоже претерпевали неудачи. В Краснослободске, Туринске и Тюмени они получили поражение от сибирских рот и ополченцев. Чичерин доносил Бибикову: «Оных поражая, разгоняют, предводителей ловят и присылают в Тобольск, слободы и деревни утверждают вновь присягою».

Напрасно Чичерин своими донесениями вводил в заблуждение генерал-аншефа Бибикова: новые присяги никакого спокойствия среди взбаламученных крестьян не утверждали, и лишь только правительственные отряды покидали «замирненную» местность, как многие из крестьян, только что присягнувших на верность государыне, брались за топоры и поспешали к «батюшке».

Западные окраины Сибирской губернии, вся Исетская провинция с Екатеринбургом и северная часть Оренбургского края были в полном восстании, там целиком властвовали пугачевцы.

3

Подкоп подходил к концу. Русский мужик Ситнов, руководивший работами, известил Пугачева, что траншея уперлась в фундамент колокольни. Пугачев велел приостановить работу, выкопать в конце траншеи глубокую яму и заложить в нее бочки с порохом. Затем все рабочие были выведены из траншеи и помещены в двух амбарах «безвыходно» впредь до того часа, когда воспоследует взрыв.

В самую полночь, 19 февраля, возле крепостной стены вскуковала кукушка. Казачок Ваня Неулыбин, и на этот раз впущенный в крепость, сообщил полковнику Симонову, что казаки собираются взорвать колокольню и броситься на кремль. Какие-то темные, неуловимые силы, вопреки всем предосторожностям, принятым Пугачевым, продолжали действовать.

Симонов приказал тотчас же убрать хранившийся у него под колокольной пороховой и приступить к устройству контрминной траншеи.

А пугачевцы меж тем приготовились к штурму. Небо было затянуто низкими тучами. Яицкий городок лежал во тьме. Не прошло и двух часов, как раздался глухой звук, словно отдаленный раскат грома, земля встряхнулась, белая колокольня вздрогнула и тихо-тихо начала валиться в ретраншемент. И – удивительное дело: два спавших на верхнем ярусе колокольни старых стража вместе с соломенными постельниками были как бы «положены» на землю^[30]. Очнувшись от страха, они вскочили и, ничего не соображая, дико закричали свое привычное:

– Посма-а-тривай!

– Погляя-а-а-дывай!

Камни рухнувшей колокольни не были расшвыряны, они свалились в груды, придавив собою около полсотни защитников крепости. И не успела еще осесть пыль от взрыва, как с крепостных батарей загрохотали пушечные выстрелы, затрещали залпы ружей.

– Измена! – пронеслось по рядам казаков-пугачевцев. – Откуда мог Симонов пронюхать?

Они надеялись, как только рухнет колокольня, неожиданно ворваться в спящую крепость – и все кончено! А теперь, когда всюду гремят пушки, казаки на штурм не отважились.

– На штурм! На слом, атаманы-молодцы! – слышались в темноте разрозненные выкрики, но в них мало было воинственного пыла.

Засев за своими завалами и укрываясь по задворкам от сильного крепостного огня, казаки кричали: «На штурм, на слом! Ги-ги! Ги...» – но сами ни с места.

От кучки к кучке перебежали озлившиеся и растерянные атаманы: хромой Овчинников, Витошнов, с подбитым глазом Каргин. Все вместе поощрительно зывали:

– Не трусь, казаки-молодцы. Вперед, вперед! Дай духу, дай духу!..

Один лишь Пугачев мог бы увлечь за собою казаков и бросить их в бой. Но он видел, что дело проиграно, и не хотел зря жертвовать самым верным своим оплотом. К тому же он не мог не понимать, что не в Симонове, не в Яицкой крепости наипервейшая задача, ведь он и походом-то двинулся сюда, уступая настоянию атаманов.

Штурм был отменен. Все труды с новым подкопом пропали даром. Симонов, видя бездействие со стороны мятежников, сбавил силу огня, а перед утром крепость вовсе замолчала. Однако крики, гиканье, устрашающий визг звучали со стороны штурмующих до самого рассвета.

Начались сборы Пугачева в Берду. Тихий городок зашевелился: приводились в порядок сани, лафеты, колеса пушек, грузились возы рыбой, овсом, мукой, казаки чистили скребницами кошлатых своих лошадок.

Пугачев говорил войсковому атаману Каргину:

– Послужи же, старик, мне верою и правдою. Я, государь, отправляюсь под Оренбург к своей великой армии, а государыню здесь оставляю. Ежели Бог приведет, я вскорости возворчусь сюда. А вы все, от мала до велика, почитайте государыню все равно так, как и меня чтите, своего государя. И во всяк час будьте ей послушны.

– Сполню, батюшка, ваше величество, – сказал Каргин и, достав из кармана, подал Пугачеву две вырезанные печати с гербом и прописью «Петр Третий». – Вот, батюшка, государственные печати вам сготовлены.

– А-а-а, ништо, ништо... Знатно сработаны, – залюбовался Пугачев печатями. – Кто делал?

– А делали их три серебряных дел мастера, дворцовые крестьяне, а четвертый – проживающий в нашем городке армянин.

Прошел в сборах день, наступила последняя ночь. Разлучаясь с мужем, Устинья плакала. Она лежала на кровати, прикрывшись до подбородка шелковым одеялом и разбросав по одеялу красивые обнаженные руки в браслетах и кольцах. Он взад-вперед ходил, босые ноги его неслышно ступали по пышному ковру. Нарядный кафтан был небрежно кинут на стул, лента со звездой валялась на столе, покрытом суконной вышитой скатертью. Стол был уставлен блюдами со сладостями, орехами, подсолнечными семечками и кувшинами с вишневой наливкой, квасом, медовой брагой. Скорлупки, шелуха, гребень с очесами волос, янтарные бусы. Две свечи горят. От изразцовой печки пышет зноем. Пугачев в беспоясой рубахе, ворот расстегнут, широкие и длинные шаровары, как юбка.

Устинья глядит в пространство, слезы покапывают на подушку, но лицо у нее окаменелое, застывшее. Она говорит негромко, то вызывающе и властно, то робко и приниженно, и тогда Пугачеву становится жаль ее.

– Вот пир был, свадьба... Царицей я стала, – говорит она. – А на сердце-то спокойно ли у меня, на душе-то, ну-ка, спроси? Две недели скоро, а я все еще, как полоумная... Лихо мне.

Пугачев на ходу почесывает поясницу, поддегивает шаровары, ерошит волосы, кряхтит. Он груб, прямолинеен, и в женской душе ему трудно разобраться. «Блажит баба», – думает он.

– Скажи, уж подлинно ли ты государь есть? – раздается ее голос. Пугачев хмурит брови, молчит, сердито гремит кружкой, большими глотками пьет квас. – Сумнительство меня берет, почто ты женился на мне, на простой казачке? Обманул меня, молодость мою заел. Ведь ты человек старый, держаный, а мне восемнадцатый пошел.

– Ну, ладно, ладно!.. Чего больно-то в старики меня произвела? Вот бороду да усы сниму, все рыло выскоблю – много моложе буду. Я в Питенбурхе-то, понимаешь, завсегда бритый ходил.

– Бороду снимешь, казакам не будешь люб, – возразила Устинья.

– Да уж это так... Пуще всего этого опасуюсь. А для ради тебя – готов, прилюбилась ты мне шибко, – сказал Пугачев и подошел к Устинье, поцеловал ее в губы и протянул ей медовый пряник. – Не плачь, кундюбочка моя, утри слезки.

– Где это слыхано, где это видано, чтоб у царя две жены было? – помедля, сказала Устинья и устремила пристальный взор в смущенное, с круто вздернутыми бровями лицо своего супруга. – Ведь ты имеешь государыню... И смех, и грех, вот те Христос!

– Какая она мне жена! – вскричал Пугачев. – Она потаскуха! А меня с царства сверзила. Она злодейка мне!

– Не кричи столь громко-то, – тихо сказала Устинья. – А то внизу подумают, что бьешь меня... Так неужели тебе супругу-то свою прежнюю не жаль, Екатерину Алексеевну-то?

– А она меня жалела? Мне только Павлушу жаль, детище мое возлюбленное. Он, наследник-цесаревич, законный сын мой... А ей, коварнице, как только милостивый Господь допустит в Питер, тем же часом голову срублю.

– Тебе допрежь голову-то срубят, – сказала Устинья, и на ее щеках, покрытых еще не просохшими ручейками слез, заиграли улыбчивые ямочки. – Разве этакого допустят в Питер?

– Вот Оренбург возьму, до Питера дойду беспрепятственно...

– До Питера, поди, еще много городов.

– Мне бы только Оренбург взять, а достальные города сами ко мне преклонятся... Народ мой замаялся под изменницей жить. Меня, государя своего законного, ждут не дождутся все...

Снова наступило безмолвие. Сбивчивые, противоречивые мысли бросали Емельяна Ивановича в щемящий сердце сумрак. «Мне ли, темному, быть царем? Да Россией-то, пожалуй, и самому Рейнсдорпу не управить. Дворяне, генералы, царедворцы, они – один хитрей другого... Да нешто всех переказнишь? А ведь от них вся канитель... И, пожалуй, верно говорит Устинья: „Тебя, мол, первого и казнят“. Он гонит хмурые мысли прочь, он утомился. „Поспать бы да напоследок Устинью приголубить“, – думает и надбавляет шагу. Но горенка не особенно просторна, и он движется, как в клетке волк. Вдруг наступил ногой на острую скорлупку, резко крикнул: „Ой!“

– Ой! – встряхнувшись, вскрикнула и задремавшая было Устинья. – Чтой-то ты, миленький, взгайкал так?..

– Скорлупка, стрель ей в пятку, до боли проняла. – Пугачев нагнулся и швырнул скорлупу от грецкого ореха в печь.

– Тебе вот больно, а мне того больней, – со вздохом протянула Устинья. – Вот ты наутро в поход... Поиграл со мной, как кот с мышью, да и бросил... И осталась я, молодешенька, ни в тех, ни в сех... Ну, кто я, кто?

– Государыня!

Устинья сдвинула брови и, приподнявшись на кровати, крикнула:

– А ты-то кто?! Богом святым заклинаю тебя – царь ты али... злодей-путаник?

Пугачев запыхтел, жилы на висках у него надулись. «Эта похуже, пожалуй, Лидии Харловой! Допросчица какая...» Он дунул на одну, на другую свечу – в горенке темно стало; а когда глаз присмотрелся, – выплыли из тьмы два голубых оконца: через разукрашенные морозом стекла глядела полуночная луна.

Емельян Иваныч разделся, подошел к Устинье, проговорил:

– А ну, чуток подвинься... Государю всея России спать охота.

Утром в соседней горенке был приготовлен стол с яствами и питием. При государыне оставлены две фрейлины из молодых казачек: Прасковья Чапурина и Марья Череватая. А главной смотрительницей дома – баба Толкачиха. Из мужчин в придворный штат входили: отец Устиньи – Петр Кузнецов, Михайло Толкачев и Денис Пьянов. Пугачев распорядился отвести в нижнем этаже «дворца» горенку для старца-

сказителя Емельяна Дерябина и взять его на казенный кошт.

Уезжая, он приказал иметь у дворца постоянный казачий караул, а войсковому атаману Никите Каргину сказал:

– Ты, старик, держи Симонова в блокаде. А учрежденные мною посты сохранять безо всякой отмены. Нарушишь приказ – строгий взыск буду чинить.

По отъезду Пугачева сила блокады не ослабевала: крепость была обложена старательно.

Перфильев попытался вступить с комендантом крепости в переговоры. Полковник Симонов выслал для переговоров капитана Крылова.

Беседа происходила в просторной, опрятной избе Перфильева. Он жил с женой хорошо, угощал гостя по-богатому. Откупорил бутылку рому, привезенного из Питера. Икра, жареная рыба, яичница со свиным салом, жаренные в масле пышки, соленый арбуз. Сначала выпили по стакану водки, а затем уже перешли на ром. Крепкий, склонный к полноте Крылов за время блокады отощал. Вчера пошел во щи последний кусок солонины. А с сего дня капитану пришлось перейти на хлеб, капусту, брюкву.

– Тактося, ваше благородие, Андрей Прохорыч, – завел речь Перфильев. – Вот я и толкую... Не пора ли вам образумиться да принести Петру Федорычу покорность?

– Брось-ка ты, Перфильев, злодействовать-то... Ведь разбойнику вы служите. Бога ты забыл, да и присягу на верность ее императорскому величеству. Ведь ты от всемилостивой монархини сюда, на Яик, с высочайшим повелением из Санкт-Петербурга послан.

– Я знаю, с чем я послан от государыни, – с горячностью возразил Перфильев, – и меня увещевать и учить тебе, Андрей Прохорыч, не приходится. Мне в Питере граф Орлов сказал, что батюшка – не царь, а простой казак Пугачев. Так это врачки!.. Уж поверь мне! Как приехал к нему да увидел – ну, подлинный государь!.. Так как же мог я услышанное злодейство предпринять супротив законного царя, коему в оное время присягу творили и ты, и я, и Симонов полковник?

– Плетешь ты, Перфильев, петли крутишь, как заяц в степи. Рому, что ли, переложил?..

– Не я, господин капитан, а вы петляете по-лисьи. – Изрытое оспинами лицо Перфильева покраснелось, угрюмые глаза сердито сверкали исподлобья. – Лучше придите в память да сдайтесь батюшке, он всех вас простит да и пожалует. Ты вот здесь капитан, а у него, может статься, генералом будешь. Уж ты не сумлевайся, пожалуй, – он, право, подлинный.

Крылов захохотал, похлопал Перфильева по плечу.

– Брось-ка ты, брось, Афанасий Петрович, пожалей свою голову! Ведь тебе сколько? Сорок пять годков есть? Вот то-то же... Ведь ты и в Питере сколько времени жил, да и вообще казачество считает тебя человеком умным... А ты вот с линии сшибся... И тебе ли меня в обман вводить? Меня, строевого офицера?

– Вот ты не веришь, господин капитан, – вспыхнул Перфильев, и рыжеватые щетинистые усы его встопорчились. – А при государе в Берде один коллежский асессор из Симбирска служит, так ему уж видней, чем нам с тобой, кому он служит – царю или самозванцу.

– Да плюнь ты этому асессору в маковку! – вспыхнул в свой черед Крылов. – Ум-то у тебя в башке есть или собаки съели? Умер государь Петр Федорыч! Откуда же ему в живых быть? А самозванцы часто бывали на Руси. И темные люди шли за ними, а потом и ахали... Нет, Перфильев, нам с вами не по дорожке...

– Как знаешь, Андрей Прохорыч, как знаешь. Не согласны ворота отворить, мы вас голодом выморим.

– Вам выморить нас не удастся, а что вы все в петле качаться будете – это да...

– Ну, что ж, либо рыбку съесть, либо раком сесть! Слыхал такое?

4

В Военной коллегии всяческих дел было выше головы. Ежедневно занимались с утра до вечера, иногда и в вечернюю пору, при огне. Максим Григорьевич Шигаев, заменявший в Берде Пугачева, начальник строгий, требовательный.

Возле избы, где коллегия помещалась, кучка ходоков-крестьян. Так было почти всякий день. По белым степным просторам шагали ходоки в Берду. Он и сбивались в кучки, чтоб можно было обороняться от волков или от лихого человека. Мужики шли в поисках правды, несли царю свои обиды и ожидали от него защиты, скорой милости.

Губернская администрация, давным-давно выведенная из привычного строя, бездействовала, единственная в крае власть была – власть Пугачева.

Крестьяне окружили подошедшего Шигаева (на рукавах у него нашивка из золоченого позумента), иные поклонились ему в пояс, иные опустили на колени и загалдели в десяток голосов.

– Стойте, мирянушки, – выкрикнул Шигаев, – давай по порядку. Дед, говори, с чем пришел?

– Ой, батюшка ты мой, да вот атаман-то ваш, Илья Карпов. – И старик с печальными, уставшими от жизни глазами, кашляя и поматывая бородой, обсказал Шигаеву свои жалобы на атамана. – Меня от семи деревень, отец, послали до царя управу искать: Машкино, да Кочки, да Красные Петушки, да...

Шигаев опросил всех крестьян, писчик записал: кто, откуда, по какому делу.

– Ступайте ночевать вот в тот домик, – сказал ходокам Шигаев, – да скажите, чтоб попитали вас. Мол, полковник Шигаев приказал.

– Да у нас свое, отец... Свой харч-то прихвачен, свой кус.

– Добро! А утресь об это место приходите: будет резолюция.

Он вошел в избу, посмотрел бумаги, зашумел на писчиков:

– Плохо стараетесь, ребята... Дело наше не куется, не плющится.

– Да ведь с государем которые уехали, господин полковник. А нам не ослепнуть стать, – оправдывались писчики из молодых казаков.

Их пятеро. Они с усердием скрипели перьями. Был еще не поздний час, но крошечные оконца давали скудный свет. Горели два фонаря да две свечи. Груда написанных бумаг: к Нур-Алихану в Башкирию, во многие горные заводы, к «графу Чернышеву» под Уфу, на форпосты и подначальные пугачевцам крепости. В особой стопке лежали полковые листы, с поименными списками коренных казаков и новых людей, поверстанных в казаки. Тут же – ведомости на выдачу жалованья всем служилым людям. Вот описи принятого в покоренных крепостях имущества и прочее, и прочее...

В местностях, занятых Пугачевым, Военная коллегия вершила массу сложнейших дел. Так, во многих городах и селениях вновь посаженным атаманам вменялось в строгую обязанность блюсти государственные доходы от торговли солью и «о сих доходах рапортовать в коллегия с присылом собранных денег». Нужно было следить и за правильной работой «постоянно действующей почты». «Кто какого жительство услышит неприятельские находы, то чтобы неотложно во всякой скорости рапортовали в Военную коллегия через почту». Надо было заботиться и о том, чтобы крестьяне, поверстанные в казаки пугачевской армии, а также и жители, нуждающиеся в «личных документах», были снабжены от Военной коллегии паспортами. Военная коллегия указывала: «Из здешней армии без письменных билетов много в

дома свои разошлись, того ради тебе, села Крылова, старосте Дмитрию Запарову, естли хто из здешней армии без билетов, оных людей не пропускать». Были также «указы» к защищению православной церкви. Так, указ Военной коллегии на имя есаула Чугвинцова, находившегося в Красноуфимске, повелевает:

«...Да и того вам некрепко незаконной причины наблюсти: всякого звания люди – башкирцы, киргизы или мещеряки до российских церквей Божиих обиды или грабежи как сам их начальник, так и его команды люди, то есть иноверческие, разорения никакого бы не оказывали. Да и от веры христианского закона, кто будучи в нем от того не отпадать. А кто противу сего учинит нарушение христианской веры, таковы примут от его величества за нарушения закону тягчайшие истязания».

При решении сложнейших и важных вопросов, в особенности когда дело касалось смертной казни, присутствовал сам Пугачев. И нередко, если вопрос не задевал интересов движения в целом, Емельян Иваныч, вопреки постановлению коллегии, оказывал виновным милость. Но к нарушителям воинской дисциплины, явным изменникам или злостным «супротивникам» он неизменно был суров.

Шигаев послунил пальцы, снял нагар с двух свечей, присел к столу и принялся за дело. Горшков читал ему и подписывал указы, именные повеления, ярлыки на беспрепятственный проезд, а коллежский ассессор Струков, запойный лысый старичок с трясущимися руками, прилепывал к бумагам печать с государственным гербом. Говорят, он занимал в Сызрани доходное место, но пропил казенные деньги и, будучи человеком одиноким, недавно бежал от суда в Берду вместе с несколькими крестьянами и дворовыми людьми, приклонившимися «батюшке». Впрочем, точных сведений о том, кто этот человек, Военная коллегия не имела и проверку его личности, к сожалению, не чинила. Коллежскому ассессору почему-то поверили на слово. Шигаев дорожил им как знатцом казенных порядков.

Начали готовить указы и повеления по ходатайству крестьян-просителей.

Вдруг послышался звяк бубенцов, отворилась дверь, и в сопровождении Падурова вошел в канцелярию Пугачев в лисьей шубе. Поздоровался, задвигал строго бровями, сказал:

– Поздравляю вас с новой государыней, Устиньей Петровной. (Все удивленно вытаращили глаза и почему-то испугались. У Шигаева замерло сердце.) Оповестить о сем по армии! Также наказать попам, чтобы в церквах Устинью Петровну упоминали. Ты кто? – обратился он к старику ассессору, насквозь прощупывая его взором.

– Чиновник, ваше величество... Струков... Коллежский ассессор, – забормотал тот, пуская пьяную слезу и кланаясь. – Будучи затравлен гонителями... верой и правдой... по неисповедимым путям...

– Служи... Только, вижу – пропойца ты... Нос-от выдает тебя. На деле, гляди, не пей, ваше благородие, иначе гнев увидишь мой.

Пугачев задал несколько вопросов касательно крестьянских дел и вслед направился домой. Вместе с ним сел в сани и Шигаев.

– Что же вы государыню-то с собой не прихватили, хе-хе-хе-хе, – засмеялся, закашлялся Шигаев. – А напрасно! Ах, напрасно!

– А чего ей тут делать? У нас жизнь военная тут-ка.

– Я не про то, батюшка Петр Федорыч... Напрасно, мол, ожениться-то изволили, не ко времени.

– Вот те здравствуй... Мне старики казаки присоветовали.

– Казаки-то казаками, им лестно, а ведь у нас, в армии-то, мужиков многие тысячи... Звон пойдет... пересуды! Маху дал ты, батюшка Петр Федорыч, как бы худа какого не приключилось.

Пугачев хмуро молчал. Бубенцы звякали, тройка неслась, Ермилка присвистывал, он нарочно мчал по

всей слободе; пусть знают людишки, что «сам возворотился».

– Окудесили тебя, ваше величество, оволхвовали! – как шмель, зудил Шигаев над ухом Пугачева. – Ну да уж теперича не воротишь... Ау!

– Брось нить! Сколько у тебя вина?

– Сто семьдесят бочек, батюшка.

– Выкати народу бочек сорок. – И, помедля, добавил: – А за этим стрюцким, за пьянчужкой-то, глаз да глаз надобен... Чегой-то не дюже он поглянулся мне.

На другой день были призваны к Пугачеву атаманы со старшинами. Он объявил им о своей женитьбе на дочери яицкого казака Устинье Кузнецовой и закончил:

– Признайте и вы, господа атаманы, Устинью Петровну за всероссийскую государыню, почитайте ее со всем усердием и пребудьте верны как мне, великому государю, так и ей, великой государыне.

Полковник Шигаев поклонился Пугачеву и громогласно, при всех, поздравил его с супругой. А все прочие, как бы опечалась «сею ведомостью», наклонили головы и стояли молча. Такое настроение ближних кольнуло Пугачева. Он понял, что дело с женитьбой вышло для него боком. Он почувствовал себя на какой-то момент одиноким и слабым, но тут же оправился.

– А ну, атаманы, подержимся за стакашки да выпьем в честь государыни!

Все выпили по чарке, затем не спеша разошлись.

Ненила к женитьбе Пугачева отнеслась также не очень благосклонно. Она пожурила «батюшку», но, играя на мужском самолюбии, обольстила его приятными словами:

– Да ведь ты, батюшка, амператрское велиство, эвон какой пригожий стал, как подбрил щечки-то! Не любя полюбишь, не хваля похвалишь! Вот девка-то и кинулась тебе на шею. – А уходя к себе, она, по простоте душевной, добавила точь-в-точь словами Максима Шигаева: – Ой да и окудесили тебя там, оволхвовали!

В тот же день вся армия узнала о свадьбе государя. По пушечному выстрелу началась гулянка. Виночерпиями был поп Иван, палач Бурнов, «чиновная ярыжка» – как прозвал народ коллежского ассессора, и другие. Но ассессор скоро свалился и был отнесен в баню.

– Надрался, чадо неразумное, – подмигнул трезвый поп Иван своему другу Ваньке Бурнову.

Вот загремели песни, запылали костры, гуляки разбились на кучки. Одни ударились в плясы, другие, взявшись за руки и растянувшись поперек улицы «цепочкой», расхаживали по слободе, встречных почетных людей качали с криками «ура». Навстречу попался им сотник Лункин; народ презирал этого соглядатая и доносчика.

– Качать! – заорали гуляки. Схватив и высоко подбросив Лункина, все прытко разбежались. Лункин ударился о накатанную дорогу и повредил себе руку. Зато офицера Горбатова качали любовно, со всем усердием.

– Спасибо, братцы!

– Тебе спасибо, ваше благородие! Мы тобой много довольны. Ты до нас приклоняешься, до наших нуждишек. Ты усерден к нам!

Когда стемнело и загорелись яркие предвесенние звезды, в отдельных кучках у костров, в землянках, ямах, избах завязались разговоры. Может быть, в сотне мест говорили все про одно и то же. Говорили

шепотом, с оглядкой, с опасением, чтоб не подслушал какой-нибудь высмотрень, а то ведь недолго и на релях закачаться.

– Оно, конечно, дело не наше, дело государево, – кряхтел пожилой крестьянин, переобуваясь у костра. – А все-таки... этово-ово... нескладница, мол, получилась, несуетница... От живой жены... Двоеженство это, не по-Божески... Мужик, к примеру, и то не допустит такого срама, а ведь он, мотри, реченный царь.

– Да царь ли? – без опаски выкрикнул курносый парень Андрейка, сын этого крестьянина.

– Нишкни! – прошипел батька.

В другой кучке, в версте от слободы, илецкие казаки, караулившие дорогу, толковали:

– Мысленное ли дело, чтобы на простой казачьей девке царь обженился...

– Ведь цари-то, – сказал хорунжий Ополовня, – берут за себя из других государств, на королевах, на царских дочках женятся.

– То ца-а-ари, – почесывая затылок и ухмыляясь в бороду, тянет степенный казак с толстыми обмороженными щеками. – А мы сидим вот под Оренбургом который месяц... Ни Оренбурга, ни Яицкий городок полонить не можем.

В бане, где приютились трое старых солдат и двое работных людей Шимского завода, горит в глиняном черепке жировушка. Люди доедают коровью требуху, допивают остатки винца, но не пьяны. Да и многие, захмелевшие с полден головы, будучи взбудоражены небывалым известием, скоро протрезвели.

– Ладно, барабаны-палки, – продолжая разговор, шамкал старый солдат. – Допустим, что царь волен и не по поступкам поступать, – какую захочет, такую и возьмет, барабаны-палки!.. А все-таки, братцы, куда ни поверни, у него, у батюшки, супруга есть – государыня Екатерина Алексеевна. Ведь она, чуετε, жива-здорова. Вот какая штука, барабаны-палки! – Он насупил брови, зажег от жировушки лучинку, принялся раскуривать трубку. – А вторым делом, кабудь не ко времени свадьбу-то играть... Войной надобно к Москве идтить да к Питеру, барабаны-палки, а не женихаться... Зазря только деньки уходят, вот ты что говори...

– Во-во-во! – ввязался другой солдат. – Нам горазд наскучило на одном месте-то толочься. Надобно либо крепость забирать, либо плюнуть на Оренбург-то, да в Расею подаваться, вот чего... А ежели батюшка свадьбу справил, так и само хорошо!.. Не в свадьбе дело...

– А все же таки, сдается, не прямой он царь, а подставной, – хрипит низким голосом третий солдат и достает из кармана еще полштофа водки. – Тот куст, да не та ягода!

– Ну, это ты, служба, обожди молоть! – тенористо восклицает черный, как жук, заводской работный человек. – Прямой ли, подставной ли – не нашего ума дело. Уж мы на готовенькое с тобой пришли. А раз народ почитает его за царя – значит, царь!

Почти каждая яма, почти каждый куст в степи повторяли одно и то же. Камень-невидимка, прилетевший из Яицкого городка в оренбургское людское озеро, разогнал широкую волну, и кой-кто в этой волне захлебнулся.

Военная коллегия была хорошо осведомлена о начавшемся – отнюдь не во всей, а лишь в неустойчивой части армии – глухом брожении. Наиболее толковые из приближенных Пугачева прекрасно понимали, что тут дело не в одной свадьбе, что известие о женитьбе государя могло быть лишь причиной разговоров, а что корни брожения лежат, видимо, в военных неудачах последнего времени. Да и на самом деле: дважды брали Яицкий городок, два подкопа вели и не одолели; почти полгода армия сидит под

Оренбургом, крепости взять не может... А бывшие пугачевские победы, как-то: поражение генерала Кара, пленение полковника Чернышева, неудачные вылазки Рейнсдорпа – все эти славные дела народом позабыты. А время-то идет... Эдак до той поры на одном месте досидеться можно, что царицыны генералы окружают вольную армию, и тогда, батюшка пресветлый царь, прости-прощай барская земелька да вольность мужицкая... Так народ и думал. Народ ждал больших и скорых дел, ждал похода в глубь России, а тут вот... свадьба!

Так или иначе, начавшееся брожение довелось Военной коллегии, кроме словесных наставлений, пресекать мерами жестокими: двадцать человек из зачинщиков было выдрано, трое повешено. Но среди очень немногих пугачевцев все же остались недовольные «батюшкой» и главным образом начальствующей верхушкой. Были такие недовольные и среди приближенных Емельяна Иваныча. Например, краснощекий Тимоха Мясников, немало потрудившийся при самом зарождении пугачевского восстания. Как-то зазвал он к себе на квартиру приятеля своего Максима Горшкова. Угощались вином и пивом, охмелели. Мясников гораздо сделался пьян, начал бранить Овчинникова.

– Смотри, пожалуй, – говорил Тимоха, – допрежь этого Овчинникова и черт не знал, а ныне в какую большую милость вошел к государю! И сделался над нами командиром, так что и слова не дает нам, хромой черт, вымолвить и ни во что нас не почитает. Да ведь государя-то мы нашли! – бия себя в грудь, кричал тонким голосом Тимоха. – Мы его, батюшку, возвели! А в те поря этаких Овчинниковых-то и в глазах не было. А ныне государь-то изволит жаловать больше его и других, подобных ему, не знаю за что. А нас оставляет.

Пугачев тайком приказал Падурову написать письмо государыне Устинье. И как только письмо было готово, Падуров пришел во дворец. Оба они с Пугачевым затворились в горенке-боковушке, Падуров огласил письмо.

– Складно. Только шибко кудреватисто, – сказал Пугачев. – Давай-ка вмestях варачкать, ты да я.

И вот государево письмо готово:

«Всеавгустейшей, державнейшей великой государыне, императрице Устинье Петровне, любезнейшей супруге моей радоваться желаю на несчетные лета! О здешнем состоянии, ни о чем другом сведению вашему донести не нахожу: по сие течение со всею армией все благополучно, напротив того я от вас всегда известного получения ежедневно слышать и видеть писание желаю. При сем послано от двора моего с подателем сего, казаком Кузьмою Фофановым, семь сундуков за замками и за собственными своими печатями, которые, по получении вам, что в них есть, не отмыкать до моего императорского величестве прибытия... Сверх того, что послано съестных припасов, тому при сем прилагается полный реестр. Впрочем, донеся вам, любезные моя императрица, остаюся я, великий Государь»[\[31\]](#).

– Извольте подписать, – предложил Падуров.

– Нет, полковник, – просматривая письмо, ответил Пугачев. – Пока не воссяду на прародительский престол, руку свою оказывать опасаюсь: ведь где рука, там и голова. Отправь лескрии без подпису...

Они спустились в нижний этаж, в подызбицу, где жил Кузьма Фофанов. Пугачев открыл сундуки, велел Фофанову перебрать вещи, а Падурову составить в двух экземплярах опись отправляемого богатства. В первом сундуке были материи кусками и 25 серебряных чарок; во втором – мужские бешметы и казачьи уборы с позументами; в третьем – восемь шуб мужских и женских; в четвертом – меха лисьи и белычьи; в остальных трех сундуках – серебряные стаканы, чарки, подносы, подсвечники, кумачи, китайки, белье, домашняя рухлядь. В кладовой на шесте висели шубы, одежда мужская и женская.

– Это все не мое, а государственное, – сказал важно Пугачев. – Я человек военный, сегодня здесь,

завтра там, мне оный шурум-бурум не надобен. Настанет черед, народу буду раздавать. Возьми-ка ты себе, Тимофей Иваныч, шубу самую добрецку, – обратился он к Падурову, – а вот этот бабий салопец, крытый бархатом, своей жене перешли в Оренбург, она, поди, там в бедности живет, сердешная. А этот беличий бешмет ты, Фофанов, себе забирай. Опричь того отбери-ка вон те две шубы попроще да отдай их моим именем есаулу Ваньке Бурнову с попом Иваном. Оному же попу-расстриге вот энти обутки выдай – жрать винище бросил, сказывают. – Пугачев снял с шеста пару новых сапог и швырнул их к ногам Фофанова.

Затем он потрогал висевшую на гвозде смотанную восьмеркой казацкую веревку и, притворно нахмурившись, сказал:

– Сей арканчик надлежало было переслать от нашего державства губернатору Рейнсдорпу в дар, а то ему, сердяге, поди, и удавиться-то не на чем. Да, дюже жаль...

– Кого, ваше величество, Рейнсдорпа? – с вольной игривостью спросил Падуров.

– Ха-ха-ха... Вережку!

Глава VIII

Генеральный бой под стенами Татищевой

1

Тем временем большие отряды князя Голицына и генерал-майора Мансурова, преодолевая глубокие снега, все ближе продвигались к Оренбургу.

Мансуров шел по Самарской линии, в сторону Бузулука. Пугачевским немногочисленным отрядам трудно было бороться с правительственными войсками, они постепенно отступали. В Бузулуке, как и в Бугульме, находились продовольственные склады пугачевцев. Военная коллегия предусмотрительно выслала туда большую толпу крестьян с лопатами – дорога между Бузулуком и Яицким городком была очищена от снежных сугробов, и двести пятьдесят подвод с хлебом и мясом было из-под носа Мансурова вывезено в Яицкий городок.

Атаман Арапов сосредоточил в Бузулуке две тысячи человек при пятнадцати орудиях. Мансуров обложил крепость со всех сторон. Сражение длилось четыре часа. Арапов был разбит и, бросив все пушки, отступил.

Мансуров стал поджидать в занятом им Бузулуке прибытия Голицына. Морозы и метели замедляли продвижение голицынских частей. Им доводилось много раз останавливаться в степи и укрываться от буранов под обозными кибитками. В конце февраля Голицын приказал Мансурову занять крепость Тоцкую, а сам двинулся к крепости Сорочинской, расположенной в ста пятидесяти верстах западнее Оренбурга.

В Сорочинской было большое сборище мятежников. На защиту ее спешил и сам Пугачев с Овчинниковым.

Высланный Голицыным довольно сильный отряд майора Елагина без всякого сопротивления занял деревню Пронкину и, не имея сведений о неприятеле, там заночевал.

Ночь настала бурная, темная. Разбушевавшийся буран выл, крутил, валил с ног все живое. Даже в деревне было страшно высунуть нос на улицу. А в степи и по сыртам творилось что-то несусветное. В степи верная гибель грозила путнику: закрутит, бросит наземь липким вертучим снегом, и следов не сыщешь!

Однако Емельян Иваныч со своей смелой ратью страха не боится. Как сказочные богатыри, они презирают опасность и самую смерть. Впереди – железный всадник с отважным сердцем, за ним – конная дружина, за нею – пешая немалая толпа. То здесь, то там пробуют кричать команду, или подбодрить отстающих, или, наконец, подренее обругать эту свалившуюся с неба адскую кутерьму. Но какая тут команда, когда всякий звук, всякое слово ветер тотчас вбивает обратно в рот! Среди сумасшедшей ночи, с трудом преодолевая удары снежной бури, движутся черные призраки. Они прошли без передышки тридцать семь томительных верст!

Буря носилась по степи – слепая, страшная, безудержная сила. Задышавшимся путникам чудилось, что в этой свистопляске без лешего, без окаянных демонов не обошлось. Это они согнали на сырты всех ведьм, разлохматили им седые космы, заставили выть и плакать замогильными голосами. Это они взломали ржавые льды на болотах, вымели оттуда всю нечисть, всех чертей, больших и малых, и велели им дудеть в лешевы дудки, высвистывать в кулак, бить в ладони, хохотать и гайкать на всю степь. Это они опрокинули

кресты на погостах, подняли из могил мертвецов, чтобы те затевали пляс, чтоб громче стучали костями, чтоб в вихрях снега яростней взмахивали белыми саванами.

В буре слышался путникам вой, свист, плач, стон, залиvistый хохот и скрежет зубов. Все трудней становилось дышать, некуда было податься: будто все сущее сгибло, будто исчез простор, исчез воздух, и небо упало на землю, и степь всколыхалась; буря встряхивала всю твердь, как белую козью шубу.

Под ногами всадников вдруг разверзались ухабы, вырванные резким ударом урагана, и конь нырял в них, как с крутой волны челн. То, вихрясь белым облаком, вмиг вырастал курган, и конь, отчаянно всхрапывая, набирался последних сил, чтоб превозмочь его... Да, труден, мучителен путь... А куда он ведет ватагу отчаянной вольницы, в жизнь или смерть, – неведомо...

Конь Пугачева притомился. Он подставлял бурану то правый, то левый бок, но ветер бьет коня в хвост, в лоб, в гриву. Пугачев стиснул зубы. Он знает, что в его двухтысячной толпе много обмороженных, есть и упавшие, погибшие, засыпанные снегом.

Люди изнемогали. Ветер с маху врывался под одежду, знобил тело, охлаживал кровь. И вот измученные, растрепанные бурей люди подходят к спящей деревне Пронкиной.

Передовые вражеские пикеты сбиты, орудия внезапно захвачены, часть толпы с гиком ворвалась в селение. По первой же тревоге майор Елагин бросился с резервом вперед и тотчас был окружен пугачевцами. Гренадеры и егерские команды дрались отчаянно. Защищавший пушки поручик Москотиньев получил двенадцать ран. Вблизи него отбивался майор Елагин. Его подняли на копья.

Буран улегся, ночь окончилась, наступило погожее утро.

Меж тем оставшийся в живых секунд-майор Пушкин успел привести в порядок потрепанный отряд grenадер и напал на пугачевцев, а два других офицера со своими частями атаковали неприятеля в тыл и фланг. Истомленные ночным переходом, пугачевцы, потеряв добытые в бою орудия, отступили в крепость Сорочинскую.

Отправляясь со всей толпой обратно в Берду, Пугачев дал приказ атаману Овчинникову:

– Вот что, Афанасьич... Ты сиди в Сорочинской, скопляй себе силу. А коль скоро князь Голицын займет Пронкину, ты втикай тем же часом в Илецкую крепость. Ведь мы не знаем, куда Голицын-то пойдет: чи на Яицкий городок, чи к Оренбургу. Ну, как думаешь, Афанасьич, супротив правительственных-то выдюжим?

– Да надо бы, батюшка! Ведь в твоих руках, в Берде-то, сила эвона какая!

– Да ведь и у них тоже не мала, Андрей Афанасьич.

Вскоре обстоятельства сложились так, что пугачевцам довелось во что бы то ни стало оборонять крепость Татищеву^[32]. Эта крепость была важным пунктом для обеих сторон: она прикрывала пути в Оренбург, Илецк и Яицкий городок.

Пугачев собрал в Берде добрую половину армии и, оставив там, по обыкновению, своим заместителем Шигаева, спешно двинулся в Татищеву. С присоединением отряда атамана Овчинникова, приведшего из Илецка около двух тысяч человек, у Пугачева скопилось в Татищевой более семи тысяч войска.

Предстояли жестокие бои. Пугачев с отчетливостью представлял себе все значение надвигавшихся событий. Он знал, что правительственные войска наступают на него широким фронтом и что его многочисленные отряды почти всюду терпели от них поражение.

И вот приспело время столкнуться в единоборстве двум крупным силам – правительственным

многочисленным воинским частям под начальством трех опытных генералов и армии Пугачева под его личным водительством.

Неудачный для Пугачева исход сражения мог бы оказаться смертельной раной всему казацко-крестьянскому движению.

Емельян Иваныч дни и ночи был в труде, никто не знал, когда он спит. Он приказал к полуразрушенным крепостным стенам досыпать снеговые валы и обильно поливать их водой. Все работали не покладая рук, вплоть до женщин и детей. Валы превратились в лед, окрепли, казались неприступными. Он сам расставил на батареях и раскатах пушки, назначил к ним прислугу из опытных людей горнозаводских, а также из захваченных в плен канониров и солдат, среди коих пожелал быть и престарелый бомбардир Павел Носов.

– Ну вот, дедушка, опять мы вместе с тобой, как в прусскую войну, – сказал ему Пугачев.

– Вместе, батюшка, как есть вместе, – ответил старик, оглаживая лоснящееся дуло медной пушки. – Я еще, мотри, зорек, мое ядро зазря не полетит.

Пугачев с офицером Андреем Горбатовым повертывал пушки жерлами в ту сторону, с которой ожидался враг. Было сделано несколько пробных пушечных выстрелов. Емельян Иваныч лично измерял расстояние до различных отметок впереди крепости, обозначая вешками и разноцветными флажками определенные поражаемые пункты. Все было обдуманно, налажено, разнесены по местам ядра и ящики со снарядами, роздан порох и свинец, всякий человек снабжен с достатком сухарями и вяленой таранью, выточены сабли и ножи, вывострены пики, отлиты свинцовые пули, или, как их называли казаки, «жеребьи». И – ни капли никому вина... Пугачев объявил: «Пьяному – петля!»

Перед трудными днями Емельяну Иванычу захотелось остаться одному, душа его была беспокойна. С поникшей в раздумье головой он снова обошел вал крепости, залез на вышку, осмотрелся. Вот погоревший, знакомый Пугачеву Татищев-городок, вот мрачная крепость с домом капитана Елагина. В этом самом доме родилась и проводила юность Лидия Харлова. Теперь нет на свете ни Елагина, ни его жены, ни Харловой с ее братом. Повешен и толстомясый бригадир Билов.

Сколь скоротечно летит время! Уже полгода минуло, как здесь гремел жестокий бой – и крепость пала. Полгода – немалый срок, а словно был это вчерашний день. Вот ряд оголенных, озябших берез. Сейчас зима идет, а тогда была золотая осень. Тогда березы еще не всю потеряли листву, и ярко рдела поспевшая рябина, и дрозды порхали перелетными стайками, и вовсю звучал набат, стреляли пушки, и бушевало среди построек разливное огненное пламя.

Через два дня, поутру, Емельян Иваныч велел делать «закличку» в круг. Под звуки трубы и бой тулумбаса народ сошелся на крепостную площадь, все разделились по своим полкам: три тысячи яицких, илецких и оренбургских казаков, две тысячи двести заводских и ссылочных крестьян, остальные – около двух с половиной тысяч – башкирцы, татары, калмыки, киргизы и набеглые крестьяне. Над всеми начальствовал Овчинников.

Пугачев – при ленте, при звезде, за поясом два пистолета, у бедра дорогая сабля, в кармане – «глядельная» труба (он с нею редко расставался). Он звонко, с коня, кричал в народ:

– Ну, детушки, вот и генералы настигли нас! Токмо вы не опасайтесь, а служите мне, государю, и делу нашему казацкому с храбростью! Генерал Кар трохи-трохи каркнул на нас, да едва ноги уволок... Ну, так мы и Голицыну-князю пятки к затылку подведем, – смешается, в кою сторону бежать. И я вам, детушки, верные мои народы, делаю предосторогу: коль скоро Голицын-Рукавицын к Татищевой приступать учнет, чтобы у нас тишина была и чтобы люди всячески скрылись, дабы не видно было ни единой души. И до та пор к пушкам и каждому к своей должности не приступать, покудова князя корпус не подойдет к нам на

пушечный выстрел. Крепче держитесь, детушки, и чтобы рука ваша не дрогнула! Над нами Бог, впереди нас враг, а я, государь ваш, с вами!

В 4 часа утра, 21 марта, князь Голицын лично произвел рекогносцировку возле крепости Татищевой. Его разъезды, побывавшие вблизи крепостных стен, никого не встретили. Голицын решил, что крепость либо пуста, либо будет без боя оставлена мятежниками. Но посылаемые в течение дня новые разъезды убедили его, что крепость многолюдна и намерена защищаться.

На следующее утро Голицын атаковал пугачевцев. В его распоряжении было около семи тысяч человек. Он выслал под начальством полковника Юрия Бибикова авангард в составе двух батальонов гренадер-егерей, трех эскадронов кавалерии и двухсот лыжников. Через час двинулись и основные голицынские силы. Бибиков успел подойти к валу на четыре версты. Крепость молчала, и – нигде ни коня, ни человека. Подступившие почти вплотную к крепости разъезды никого не обнаружили. Три чугуевских казака поехали удостовериться, есть ли кто-либо там, за валом.

Пугачев с Овчинниковым и Араповым, притаившись за вышкой возле крепостных ворот, зорко наблюдали за движением вражеских разъездов. Пугачев подозвал мимо проходившую молодую женщину, дал ей заранее приготовленное блюдо с хлебом-солью, сказал:

– Вот что, милая... Выходи ты вражеским разведчикам встречу, кланяйся ото всех мирян тутошних хлебом-солью и толкуй: были, мол, воры-злодеи, да все ушли невесть куды. А все миряне-татищевцы просят, мол, князя Голицына вступать в крепость безбоязненно... Поняла ли, милая? Ась? Ну, ступай, голубка!

Тетка, страшась ослушаться, покрестилась на церковь и вышла за ворота. Чугуевцы, не слезая с лошадей, выслушали женщину, но не поверили ей, закрутили головами. Рыжебородый казак-чугуевец подъехал к чуть приоткрытым воротам и заглянул внутрь: там густо толпились вооруженные люди, стояли подернутые инеем заседланные лошади.

Чугуевец сердито засмеялся, крикнул своим:

– Обман, братцы!

И едва успел рот закрыть, как его шею обвила удавка, ноги его выскочили из стремян, а тело грузно поползло по ледяному валу вверх. Рыжебородый хрипел, болтал в воздухе руками.

Два других чугуевца, оробев, стоптали тетку и двинулись на рысях прочь, то и дело оглядываясь. Пугачев с Овчинниковым и Ермилкой бросились за ними в погоню:

– Коли! Руби! Хватай!

Овчинников ловко накинул на заднего петлю, тот грохнулся на землю, а его лошадь, сделав круг, возвратилась к поверженному хозяину. Третий чугуевец, напаривая своего скакуна плетью, быстро уходил. И ему удалось бы скрыться, если б не вывернувшийся из густого черемушника Пустобаев. Наскакав сбоку на врага, старик ударил его пикой с такой силой, что проколол ему грудь насквозь, а пика в мощной руке старика хрустнула, как сухая лучина.

– Откудов ты взялся? – спросил подъехавший Пугачев, одобрительно поглядывая на Пустобаева, который снимал оружие с убитого чугуевца.

– Да вот сена коню пошукать выехал, – ответил старик.

Рыжебородого казака Пугачев допрашивал в крепости лично. Тот показал, что у Голицына пять тысяч только одной пехоты, не считая многочисленной кавалерии, и семьдесят больших пушек.

– Слыхал, Овчинников? Семьдесят!.. – нахмурившись, воскликнул Пугачев.

– Да, ваше величество, – вздохнув, ответил тот. – Ежели изменник не врет, у них вдвое более супротив нашего-то...

– То-то и оно-то...

Тем временем по приказу Голицына полковник Юрий Бибииков занял ближайшие высоты егерями и лыжниками, на выдающихся же местах выставил орудия. Прибывший к авангарду князь Голицын «учредил своему корпусу марш и две колонны». Правую колонною командовал генерал Мансуров, левую – генерал Фрейман, а передовой detachment Бибиикова составлял с правой стороны особую, третью колонну, «дабы отнять способы бунтовщикам зайти во фланг».

Обе колонны, Мансурова и Фреймана, спустились в глубокий овраг, который, по предположению Голицына, никак нельзя было обстреливать из крепости. Воспользовавшись этим, Голицын построил в глубине оврага войска в боевой порядок: в первую линию он поставил пехоту, во вторую – кавалерию, состоящую из четырнадцати эскадронов. Когда же обе линии были построены, вдруг, с полной неожиданностью, «спасательный» овраг подвергся обстрелу: чугунные ядра, одно за другим, били по людям. Это три вывезенные с Воскресенского завода секретные пушки с высоко приподнятыми, особого устройства, лафетами стреляли по оврагу крутым навесным огнем. Батарея была сооружена в крепости лично Пугачевым, и пушки заранее по оврагу пристреляны: Емельян Иваныч предвидел, что неприятель оврагом воспользуется. Пушки наводил сам Пугачев с Чумаковым, канониром был подручный Чумакова, казак Алексей Темнов. Кроме секретных орудий, открыт был огонь из единорога и двух мортир. Они били разрывными, начиненными в Берде, бомбами.

– Давай, давай! – покрикивал Пугачев, потирая руки и перебегая от пушки к пушке. – Кажись, вlepили ладно!..

Вот он заскочил на вышку, воззрился через «глядельную» трубу в сторону оврага, закричал:

– Дай духу!.. Шпарь еще! Зашевелились, скаженные!

Голицын с тремя офицерами стоял на невысокой сопке. Наблюдая происходившее в овраге, он выкатил удивленно глаза и гулко закричал команду:

– Прими влево!.. Пехота, влево!.. Ах, дьяволы!.. Представьте, господа, навесным жарят, – сказал он, обращаясь к офицерам. – Кавалерия, вправо! Повзводно, впра-а-во!.. – И снова к офицерам: – Мечутся, как угорелые... Орлов и вы, Веселаго, скачите, перестройте ряды... (Офицеры двинулись через глубокие снега.) Ах, дьяволы! Валются, валются мои... Батюшки! Бомбы... Да еще с каким эффектом рвутся!.. Фу ты!..

Обе колонны, то есть пехоту и четырнадцать эскадронов, пришлось вывести из «спасательного» оврага и построить значительно дальше от крепости.

Две главные высоты, командующие над местностью, пугачевцы прозевали занять. Их захватил Голицын и поставил там пушки. Оставалась еще в левой стороне третья высота. Опасаясь, что ее займут мятежники и выставят на ней свои пушки, Голицын направил туда батальон князя Одоевского с четырьмя орудиями.

С трудом прокладывая себе через снега дорогу, батальон уже успел подняться на половину высоты. И вдруг из лесу, что сзади сопки, вымахнули конные башкирцы и татары, конная сотня заводских работников и большая толпища набеглых крестьян с топорами, с дубинами. И вся эта масса с гиканьем, свистом, ревом устремилась на врага. Батальон Одоевского, изумленный столь неожиданным нападением, опешил. Завыли стрелы, затрещали ружья.

Весь крепостной вал был усеян любопытными. Пугачев кричал на вышке:

– Дай бою! Дай бою!.. Грудью, грудью, детушки! – Он знал, что его слова не долетят до сопки, но уже так, само собой, кричалось. Он весь кипел, глаза пылали. Он велел бросить к лесу на подмогу сотню илецких. Битва длилась недолго. На сопке снег взлетал облаками, кони взвивались на дыбы, люди падали десятками. Под напором пугачевских всадников одоевцы начали скатываться со склонов сопки. Бросив четыре свои пушки и обоз с припасами, они стали спешно отступать.

– Ур-ра!.. Ур-ра-а-а! – радостно раскатывалось по всей крепости: пугачевцы приветствовали с вала победителей.

К сопке выехал Чумаков, чтоб установить на ее вершине отбитые у врага орудия.

Утро выдалось солнечное. Снега кругом ослепительно сверкали. Стоявшие на валу люди жмурились. У Пугачева за последнее время болели глаза, воспалившиеся от весеннего солнечного света в снежных степных просторах. Поэтому на его лицо была приспущена сетка из черного конского волоса.

Он был на той же самой сторожевой вышке, на которой полгода тому назад стоял во время боя отец Харловой – старик Елагин. Окинув бодрым взором выстроившиеся внутри крепости войска свои, Пугачев остался доволен их молодецким видом. Это не безлика толпища собранных с бору да с сосенки людей, это хотя и недостаточно вооруженная, но все же благоустроенная армия. Над созданием ее долгие месяцы старались Овчинников, Шигаев, Падуров, Чумаков, Творогов, позднее – офицер Горбатов, а наипаче – сам Емельян Иваныч. Его железной волей и неусыпными заботами многотысячная масса превратилась во внушительную боевую силу. Казачьи конные полки стояли со значками, пешие полки с боевыми знаменами, в стороне – три сотни лыжников.

– Добро, зело! Гарно, – проговорил кто-то подле Пугачева. – Гарно-то гарно, да не вовсе, – подал в ответ голос Емельян Иваныч. Он прикидывал в уме да сравнивал силы свои и вражь.

Выходило так. У него, Пугачева, народа под десяток тысяч, у Голицына тысяч до семи. Зато у Пугачева всего-навсего тысяча двести семьдесят ружей, а у Голицына – не менее семи тысяч штук огнестрельного оружия; у Пугачева тридцать восемь пушек, у Голицына все восемьдесят.

– Да, плохо, брат Афанасьич, плохо, – бросил Пугачев подошедшему Овчинникову.

– Это чего, батюшка, плохо-то?

– Оруженья маловато! Огня у нас маловато! – И Пугачев изложил атаману свои соображения.

– Зато народу у нас гораздо больше супротив Голицына, ваше величество, – помявшись, сказал Овчинников.

– Так у нас – народ, а у Голицына – войско, Афанасьич... Чуешь, где ночуешь? Войско, говорю!

Крупных военных действий ни с той ни с другой стороны еще не начиналось. Вскоре Голицын приказал открыть огонь по крепости. Пугачев подал команду, и крепость тотчас ответила из тридцати орудий. Все кругом застонало. Галки и грачи сорвались с крепостных деревьев, темным облаком принялись кружиться над крепостью, оглашая воздух граем, затем скрылись за лесами. Жители городка попрятались в погреба, подвалы, многие из местной молодежи, похватав оружие, присоединились к пугачевцам.

Время от времени приподымая сетку, Емельян Иваныч, прищурившись, всматривался в даль. Там, далеко-далеко, возле сопки, копошились среди снегов маленькие человечки – пешие либо конные, на крохотных, как кошки, лошаденках. Они карабкаются по склонам возвышенностей, втягивают на их взлобки смертоносные орудия. «Проворонили», – с досадой думает Пугачев и, косясь через плечо на стоявшего рядом с ним офицера Горбатова, говорит ему:

– Проворонили, ваше благородие, сопочки-то? Ась?

– Мнится мне, государь, что ихние ядра едва ли до нас достигнут. Дистанция, на мой взгляд, с двух дальних сопок более полутора верст.

– Наверяд, Горбатов... Ось попробуем!

Пугачев живо сбежал по ступенькам сторожевой вышки и приблизился к Павлу Носову:

– А ну-ка, стар человек, плюнь горяченьким! Эвот, эвот в ту сопочку, в толпишку.

Пушкари, внатуг работая, повернули забитую ядром пушку, Носов направил дуло, куда надо, Пугачев проверил, сказал: «Так» – и звонко крикнул:

– Горбатов! Присмотрись в трубу!

Пушка грохнула, откатилась на лафете, клуб порохового дыма задумчиво остановился на момент в воздухе и стал вздыматься вверх. С вышки Горбатов ответил:

– Недолет, ваше величество! Сажен с сотню не донесло...

– Чуть покруче надобно, – виновато сказал Павел Носов.

– Держи так, – возразил Пугачев, наведя пушку. – Трохи-трохи пороху поболее всыпь.

Второе ядро угодило прямо в цель. Простым глазом видно было, как люди на увале прыгнули во все стороны, а Горбатов с вышки закричал:

– Пушка вверх колесами!.. Двое по снегу ползут... Третий – замертво!

– Спасибо, Носов! – весело бросил Пугачев.

Растроганный Носов тихо, чтоб никто не слышал, пробубнил в ответ:

– Видать, ваше величество, Емельян Иваныч, уроки-то мои в прусском походе впрок тебе сгодились: знатный бы бомбардир из тебя вышел, кабы не эта затея твоя...

Пугачев подмигнул ему и побежал к Горбатову на вышку.

Канонада с обеих сторон длилась больше трех часов. Изредка попадавшие в крепость ядра особого вреда не причиняли. Но вот с воем прилетела пущенная с высокой сопки бомба, из нее торчал короткий хвост дымящегося запала, она врезалась в дальний угол крепости и тотчас там разорвалась, ранив казака и покалечив лошадь. Вторая бомба ударила в людное место, зарылась в снег и зашипела. Ближние прыгнули в сторону. Увешанный кривыми ножами, Идыркей выхватил шипевшую бомбу из снега и, пробежав шагов пять, спустил ее в чан с питьевой водой. Оцепеневшие на миг люди заорали: «Ура!» И Пугачев с вышки крикнул: «Молодчага, Идорка!.. Благодарствую!»

Идыркей всей грудью выдохнул – ууух! – сдернул лохматую шапку, отер рукавом азяма толстое вспотевшее лицо с подстриженной бородкой и, пошатываясь, заковылял в толпу.

2

Голицын приказал Фрейману начать наступление на правый фланг врага, Фрейман двинулся вперед.

Пугачев велел распахнуть ворота, затем скомандовал атаману Арапову взять батальон пехоты с тремя сотнями оренбургских казаков и сделать вылазку за пределы крепости.

Слыша эту команду, многие из боевых частей закричали, устремляя глаза на вышку к государю, потрясая пиками, дубинками, взмахивая шапками:

– Нас, нас!.. Батюшка, нас пошли!..

– Надежа-государь! Нас спосылай... Застоялись мы... Погреться охота!

– Давай, бачка! – выкрикивали из башкирской толпы. – Адя, адя, бачка!.. Тудой-судой...

Пугачев довольным голосом гремел с вышки:

– Каждому свой черед, детушки! Дождитесь зову моего императорского.

В крепости горели яркие костры. Бегали две собачонки – они рады были многолюдству: им перепали вкусные куски, они нажрались до отвала. Крестьяне у костров переобувались, сушили прелые онучи, попыхивали трубками, на их загорелых лицах то робость, то отвага, то отчаяние: многие из них порох нюхают впервые. Башкиры с татарами рвут белыми зубами вяленое мясо, тарань, лепешки, – кабы не война, самое время обедать. Крестьяне и парни из местных жителей без перерыва подтаскивают к батареям заряды. Над крепостью плавает сизоватый с прожелтью, пахнувший тухлятинкой дымок от пушечной пальбы.

В темно-зеленом чекмене, в рысках, вверх шерстью, сапогах стоял перед Пугачевым Илья Арапов – храбрец и забулдыга, недавний покоритель Самары. Лицо у него огрубевшее, чернобородое, длинный нос навис на густые усы, глаза горят задором. Напутствуя своего верного вояку, Пугачев приказал:

– Вот что, атаман! Прихвати-ка с собой с полдюжинки пушек! – И, обращаясь к Горбатову: – Так ли, ваше благородие?

– Правильно, ваше величество... Дозвольте мне с седьмой...

– Вали!

Все семь пушек потащились к пригорку, выбранному Горбатовым. Орудия везли лошади, в трудных местах их подхватывали люди: кругом убродные снега, путь был неспособен. Заскрипели, распахнулись кованые железом крепостные ворота. На волю из ворот выходил в строю батальон пехоты с белыми повязками на рукавах, выезжали оренбургские казаки в лихо заломленных шапках. Низкорослые, но сытые лошаденки, частокол высоких пик, бороды, бороды, выпущенные из-под лохматых шапок чубы.

В крепости, как в огромном улье, многоголосый говор сливается в общий глухой гул, будто в обширной осиновой роще при порывах ветра. И, как большой шмель среди пчел, рокочет всюду слышимый голос Пустобаева. Народ пока что держит себя вольно: кто лежит у костра, кто дуется в карты, в «носки», кто бродит возле своей части.

– Ну, барабаны-палки!.. Только держитесь таперь! Ни кто да нибудь, а генералы противу нас прут, барабаны-палки! – говорит седоусый беззубый солдат старому гренадеру Фаддею Киселеву, который грел в котелке воду (чтоб хлебнуть с сухарями горяченького). – Ну да как-нито выдюжим, барабаны-палки! Ведь у нас, мотри, крепость, да вал водой улит, на него и кошке не залезть.

– С нами Бог, выдюжим, дядя Сидор! – отзывается Киселев, подбрасывая в кипящий котелок толченой

черемухи. – А ежели и не выдюжим, так нам, брат-старина, все едино жить-то уж недолго... Не зря, чай, головы кладем... А вот своего барина-то молодого, офицера Шванвича, не довелось сманить с собой. Больным сказался...

– А Горбатов-то офицер, видал, барабаны-палки? Прямо сокол!..

– Ого!.. Горбатов совсем другого смыслу господин. Мы с ним вместих живем, с ним да со Шванвичем... Ну, Горбатов-то, чуешь, сам передался батюшке...

– Знаю, барабаны-палки...

– Стой-ка, ужо!.. Чегой-то государь шумит...

– Детуш-шки! – покрывая гул толпы, гремел голос Пугачева. – Приготовься-ка сотенка заводских! Да полсотни илецких!..

В крепости зашевелились.

Меж тем умело выставленные Горбатовым на двух взлобках семь пушек открыли по наступающим огонь картечью. А конные и пешие пугачевцы, выбравшись из крепости и пройдя версты две, устремились рассыпным строем в контратаку. Два наступавших батальона генерала Фреймана едва сдерживали бурный натиск одного батальона пугачевцев.

– Братцы! Солдаты! – в разных местах взывали пугачевцы, врезаясь в серые ряды солдат. – Что вы делаете? Своих братьев-крестьян убивать идете? Опомнитесь! Ведь мы его величество защищаем, государя Петра Федорыча. Он здесь, в крепости, сам находится, отец наш всеобщий!..

Слыша эти призывы, солдаты было дрогнули, приостановились. Даже послышались бесстрашные голоса:

– Будет нам братскую кровь проливать! Ведь они за мужика, супротив бар. Сдавайся, братцы! – Но к смелым крикунам тотчас подлетали офицеры, замахивались на них прикладами, тесаками, устрашающе кричали:

– Расстрела захотели?

И все же два фреймановских батальона стали шаг за шагом пятиться, ряды расстроились. А пугачевцы все крепче и крепче наступали.

– Берем, берем, берем!.. Не трусь, ребята! – разжигал свою пехоту удалой атаман Арапов. А три сотни его оренбуржцев уже заводили на флангах неприятеля легкие пока схватки с вражеской кавалерией.

Генерал Фрейман, видя растерянность своих солдат, тотчас двинул им на помощь свежий батальон князя Долгорукова. И, подбодрив солдат, снова перешел соединенной силой в наступление.

Пугачев, стиснув зубы, следил за ходом битвы. Он время от времени подбрасывал в бой новые, хотя и небольшие, части.

Сражение постепенно разгоралось. Глубокие снега, местами коню по грудь, сильно мешали военным действиям. Но обе стороны дрались отчаянно.

И Голицын, и Пугачев понимали, что участь Татищевой решается именно здесь, именно сейчас – под крепостными стенами.

Вот уже несколько часов шел вблизи крепости упорный бой с переменным успехом. То бежали вспять группы солдат, и тогда с крепостных стен кричали: «Наша берет!.. Солдатня в бег ударила!.. Ура!..» То под натиском кавалерии пятились пугачевцы, и тогда ликовали Голицын со штабом: «Побежала сволочь! Смотрите, смотрите-ка – солдаты на валу!»

Действительно, порядочная толпа смельчаков из голицынского стана, пробравшись к дальнему краю крепости, пыталась вскарабкаться по ледяному валу: обрывались, впереверт скользили вниз, снова с азартом лезли, прорубали тесаками во льду ступеньки. Вот с криком «ура» солдаты достигли вершины, но притаившиеся за валом казаки быстро смели их пиками, а офицеру успели накинуть на шею аркан и, поддернув, снести ему голову.

А там, на главном фронте, сражение не ослабевало, и кто кого – неизвестно: боевое счастье переходит то к голицынцам, то к пугачевцам. Князь Голицын теперь сам принял команду над всеми своими войсками. Он перевел на левый фланг всю пехоту генерала Мансурова, а ему самому поручил начальствовать над всей кавалерией. В резерве Голицына оставался всего лишь один батальон Томского полка под командой поручика Толстого. Голицын решил и этот последний запас свой ввести в дело: он шел на неизбежный риск.

В резерве у Пугачева были яицкие и оренбургские казаки, под командой Андрея Витошнова с Григорием Бородиным, да еще небольшой отряд отборной пехоты из заводских людей и беглых солдат под начальством Варсонофия Перешибиды-Нос.

Пугачев вскочил в седло и вместе с атаманом Овчинниковым и Витошновым стал готовить казаков к бою.

Пушки с занятых Голицыным высот из опасения нанести ущерб своим пальбу по людям прекратили, лишь изредка стреляли в сторону опустевшей крепости. Место битвы подернуто пороховым дымом, всюду стоял гул от ружейной стрельбы, людского крика, звяка оружия. Башкирцы пускали из сайдаков стрелы, однако под напором вражеской кавалерии многие из них с гиком и визгом стремились наутек, и только некоторые хорошо рубились. Бросив ненужную теперь пушку, бежал на врага офицер Горбатов, увлекая за собой группу конных и пеших крестьян с забеглыми солдатами.

– Вперед, вперед! – кричал он. – Добывай землю! Добывай волю!

И Пугачев подавал с коня громкую, всюду слышную команду:

– Детушки! Верные казаки! Не трусь... Равняй бугры, рви кочки!.. – Его взмокшие на морозе волосы вылезли из-под шапки, в лице ни кровинки, лишь черные глаза горели. – Грудью, грудью, детушки! Дай духу!

– Ура! Ура!.. – голосили бежавшие на врага казаки. – Або добыть, або дома не быть!.. Дай духу, дай духу!

Старик Витошнов двинулся с сотней яицких казаков вправо, Григорий Бородин – влево, навстречь наседавшим вражеским конникам.

Витошнов действовал храбро и в открытую, Григорий Бородин все больше норовил скакать по-за кустами.

Засверкали, закровянились сабли, пики. Кони взмывали на дыбы, сшибаясь грудью. Белыми вьюнами снег взлетал из-под копыт. Многие кавалеристы под казацкими ударами падали с коней, но и яростно рубившиеся казаки тоже несли изрядные потери.

– Гайда, гайда, детушки! – неистово голосил Пугачев.

По всему снежному, побуревшему полю лежали многочисленные трупы людей и лошадей, взлохмаченные шапки и пики, ружья. То здесь, то там со стоном ползли раненые. Пугачев видел, что его людей побито много больше, чем голицынских.

– В оружии нехватка, Афанасьич! – жалуясь, бросал он Овчинникову. – У голицынских-то семь тысяч

ружей, а у нас и полутора тысяч не набрать.

– Правда твоя, батюшка... Маловато у нас, маловато...

Вот бежит на врага насыщенная яростью, оглушительно орущая толпа. Впереди, с крепко ужатым в руках штыком, Варсонофий Перешибид-Нос. Рыжеватые усищи его разлохматились, рот перекосялся. «Ур-ра! Ура!» – не переставая вопит он сиплым голосом. За ним – рыжебородый дядя в расстегнутой овчинной безрукавке. Он охмелел от битвы, тычет острой рогатиной, «на злу голову» кричит:

– Ой, раз родила мати, раз и умирати! Ур-ра!.. – и с маху падает, сраженный пулей.

Чубастый Ермилка на коне держит возле Пугачева высоко приподнятое государево знамя. Пугачевцы в разгаре боя нет-нет да и воззрятся в эту сторону и, завидя священную хоругвь, подумают: «Батюшка с нами».

Вот, не дождавшись команды, вырвались из перелеска затаившиеся там башкирцы с калмыками. Они было помчались в атаку на чугуевцев, но попали под губительный обстрел голицынской батареи. К ним от Овчинникова уже скакал гонец.

– Назад, черти, назад! – голосил он. – Нешто была вам команда?

– Бульна долга терпеть, бачка! – тонкими голосами вразнойбой кричали в ответ башкирцы. – Не можна терпеть! Адя, адя! – и, обнажив кривые сабли, насторожив копыя, продолжали наезжать на врага.

Картечь сражала их десятками. Упал с коня посланный к ним гонец, раненный.

– Эх, дурни! – взмотнул головой Пугачев. Он тотчас послал вестового к бившемуся с врагом у дубовой рощи Илье Арапову, чтобы тот кинул на подмогу оплошавшим башкирцам полсотни оренбургских.

И вот завязалась в сугробах, возле башкирцев, схватка. Подоспели казаки, набежали с топорами, с вилами мужики, а на помощь чугуевцам спешили солдаты Томского полка. И когда пальба картечью прекратилась, разгорелся не на живот, а на смерть рукопашный бой. Всадников стаскивали за ноги с коней, валили наземь ударами вил. В драке, незаметно для самих себя, люди разбились на кучки. Бросались впятером на одного, били чем попало, топали, вминали сапожищами в снег столь глубоко, что и человека не было видно. На победителей, в свою очередь, нападали со всех сторон, сшибали с ног, втапывали в сугробы, бежали дальше... Уже было умерщвлено или покалечено множество народа: чугуевцев, мужиков, башкирцев, солдат Томского полка.

Обезлюдившие сугробы, где только что происходила схватка, вдруг начинают оживать: то здесь, то там из глубоких снеговых могил выпрастываются люди, тяжело подымаются на ноги, встряхиваются, иные снова падают, иные, набрав силы, идут, пошатываясь, прочь, всяк в свою сторону – один к крепостным воротам, другие к голицынским частям.

Бой постепенно откатывался к лесу. Туда стремились укрыться голицынцы, считая себя побежденными. Туда же отступали и мужики с башкирцами да с оренбургскими казаками, они также полагали себя побитыми.

Среди некоторых отступавших мужиков с набеглыми солдатами был злобный ропот:

– Пропадаем зазря!.. Палки да вилы-то наши не стреляют...

– Нет чтобы пушек да ружей из Яицкого городка доставить, а он, царь-то, замест того обабился там, другую государыню завел!..

– Ну и пущай сам воюет, а мы ему не ваньки!

– Геть, замолчь! – крутя нагайкой, шумел на крикунов казак. – Другую государыню, другую

государыню... А перва-то нешто по головке гладит вас? Это она и есть с генералами своими в зад-то вам, дурням, шпарит!

– Ды мы ведь ничего, мы ведь промеж собой, сынок...

– Ура! Ура! – гремит вдали. И снова грохот умолкших было пушек. С ближних сопот сползают голицынские солдаты. С крепостных батарей летят в них ядра. Поле битвы стало широким, обе стороны ввели в бой все свои силы.

Подскакали к Пугачеву три казака; один из них пожилой, бородатый, двое голоусиков. Взмыленные кони курились паром: примчались удальцы издалека.

– Батюшка-надежа, – задышливо начал пожилой, у него часть уха и шапка разрублены, висок и щека в крови. – Мы далече заехали, да с гусарами сшибку имели, семерых прикончили, ну и наших троечка полегла... Ух ты!.. Дай передохнуть...

– Хлопцы, толкуйте вы, – приказал Пугачев молодежи.

– Ваше велиство! – выкрикнул круглолицый, у него наискосок разрублен на спине полушубок, ключьями торчит овчина. – Как мы были во вражеском тылу, так усмотрели...

– Усмотрели, батюшка, – снова заскрипел старик. – У Голицына-то князя не осталось в резерве ни хрена, все тут. И сам князь последних солдат повел, поскребыши.

Емельян Иваныч, советуясь с Овчинниковым, то и дело рассылает гонцов то в одну, то в другую сторону.

– Эй, шурин! – наказывает он своему родственнику, Егору Кузнецову. – Айда к оренбуржцам, пускай живчиком примут вправо: голицынские чего-то там зашевелились. Да Гришухе Бородину вели настрого ехать, чтобы живо подавался на переднюю!.. Я вижу, как он, бугай такой, по рощам-то хоронится... Дьяволов племянник!..

Иван Почиталин был направлен Пугачевым с наказом к третьему батальону уральско-заводского полка, Василий Коновалов – к илецким сотням и к башкирцам с каргалинскими татарами.

Князь Голицын видел, что враг далеко еще не сломлен, силен и опасен. Боясь упустить время, Голицын решил действовать со всей энергией. Он приказал Юрию Бибикову ударить с егерями во фланг пугачевцам, генералу Мансурову перейти с конницей в наступление, генералу Фрейману атаковать мятежников сразу тремя батальонами.

Офицеры и солдаты сражались самоотверженно, Фрейман схватил знамя Второго гренадерского полка и бросился вперед, увлекая за собой остальные войска, в их числе и резервный, последний батальон капитан-поручика Толстого.

Впереди этого батальона, почти по грудь в снегу, поспешал с обнаженной шпагой сам князь Голицын.

На левом фланге отчаянно бьются с мансуровской конницей казаки атамана Витошнова. Но под напором превосходящих сил казаки пришли в замешательство, ряды их редуют.

– Братья казаки!.. Держись! – кричит с коня изнемогший Витошнов. – Держись!.. Арапов бежит на выручку...

– Ги-ги-ги! – орал араповцы, врезаясь в ряды вражеской конницы. Впереди озверевший Илья Арапов, зеленый праздничный чекмень на нем весь изорван, под ним уже третий конь – два коня убиты – и левая рука его пониже плеча поражена. – Рубай, так их так!.. Ги-ги-ги!..

Витошновцы оправились и вместе с подоспевшими товарищами стали дружно наседать на

неприятельских конников. Вскоре показался со своей потрепанной сотней и Григорий Бородин. Казаки крепче солдат сидели в седле, отважней рубились, ловчее сажали на пики. «Ги-ги-ги!.. Ур-ра!..» Вот кувыркнулся щеголь-офицер, вот упали в снег два вахмистра в белых форсистых полушубках с черной выпушкой, казацкие сабли то смертельно ранили солдат, то сносили им головы. Передние ряды кавалеристов впали в робость. Но у Мансурова четырнадцать эскадронов – сила!.. Свежие ряды кавалеристов, подбадриваемые военачальниками, продолжали с упорством наседать на казаков, подавляя их численностью.

На правом фланге, верстах в полутора от крепости, шла схватка с егерями Юрия Бибикова. Там старался Андрей Горбатов со своими наполовину конными, наполовину пешими заводскими работниками и беглыми солдатами. Егеря Бибикова заняли большую березовую рощу и повели наступление цепями. Пешие горбатовцы засели за поваленные давнишней бурей деревья и оттуда стреляли в наступавших.

– Лети, моя пуля, барабаны-палки! – напутствовал свои меткие выстрелы седоусый солдат-гренадер. Рядом с ним, выгорбив уставшую спину, целился из-за пня гренадер Фаддей Киселев. Он лежал в снегу, вытертая овчинная кацавейка грела плохо. У старика ломило поясницу, он надрывно кашлял, чихал.

Разделив конников на две части, Горбатов собирался повести их в бой. Приказом Овчинникова сюда подвозили два орудия с запасами картечи и пороха.

Все три генерала действовали теперь уверенно. Им стало ясно, что их силы значительно превосходят силы плохо вооруженных пугачевцев, что поражение мятежников неизбежно.

Генерал Фрейман с полковым знаменем в руках двигался вперед. Его три батальона, увязая в сугробах, шли убивать безоружных мужиков. Солдаты злы: их подняли чем свет, целый день то вправо, то влево передвигали по нетоптаным снегам; они вконец измотались и к тому же, как собаки, голодны... Но вот им поднесли по чарке вина и сказали: «Добивайте изменников государыни, получите награждение и – по домам!» Одурманенные на голодный желудок сивухой, пехотные батальоны свирепо перли вперед.

– Вперед, братцы! Помни присягу! За мной! – покрякивал Фрейман, приостанавливаясь и потрясая знаменем.

Из крестьянской сизо-желтой хмары тоже летели к солдатам отчаянные выкрики:

– Солдатушки! Родненькие!.. Одумайтесь... На кого руку поднимаете? На своих... Хватайте генералов!

А когда солдаты стали приближаться к ним, тысячи мужиков и несколько сот башкирцев с калмыками подняли столь громкий воинственный вопль и гвалт, что начавшаяся пальба из пушек казалась ничтожной. В солдат облаками полетели гудящие стрелы, они пронзали подбитые куделью казакины и впивались в тело. Солдаты отстреливались из ружей. Наконец враги сблизилась вплотную. Пугачев, видя это, скомандовал яйцким: «На конь!»

У крестьян пошли в ход топоры, вилы-тройчатки, железные дубинки. Башкирцы работали с коней саблями и копьями. Солдаты разили их штыками.

Небольшую кучку пожилых крестьян пехотинцы оттеснили от общей схватки, загнали в сугроб. Крестьяне были безоружны: они в драке потеряли даже шапки с рукавицами. Стоя выше пояса в снегу, они ненавистно смотрели в глаза солдатам. Лысый благообразный старик кидал в сторону остановившихся в смущении голицынцев: – Бога вы забыли, подлецы!.. Глянь, сколь народу-то положили, каиновы дети!.. Ну, убивайте, убивайте и нас!.. – По щекам, по бороде старика градом катились слезы, он перхал, горбился, отсмаркивался в снег.

– Замолчь! – орали солдаты, замахиваясь штыками.

– Мы царю-батюшке помогать набежали. Он, крестьянский заступник, супротив бар идет... – не

унимались мужики. – А вы что, баре, что ли, сукины вы дети?!

Старый солдат с косичкой гаркнул на крестьян:

– А ну вас в дыру!.. Из-за вас вся мутня! Айда в полон!..

– Подь ты к кобыле с полоном-то! – заголосили крестьяне в обиде и злобе. – Краше нам сдохнуть. Бей!

Из крепости пушечная пальба почти смолкла, ядра там были на исходе, но по всему полю гремел гром битвы – крики «ура», разрозненные ружейные и пистолетные выстрелы, исступленное гиканье, визг, стоны, ожесточенная ругань, ржание коней.

3

Три последние сотни яицких казаков двинулись в бой. Впереди, выхватив саблю, – сам Пугачев; возле него серое знамя с восьмиконечным белым крестом. Знамя, как легкое облако, гонимое вихрем битвы, проплывало над полем; под знаменем, подобно вспугнутому орлу, носился на сером скакуне Пугачев. Рядом с ним, не отставая от него, – атаман Овчинников, позади – двадцать всадников-богатырей, личная охрана государя, или, как их называл Пугачев, «черные гусары». Среди них огромный бородатый старик – Пустобаев.

Емельян Иваныч, всюду выкрикивая слова воодушевления, видел, что армия его, невзирая на всю свою отвагу, отходит к стенам крепости. Он знал, что многие из его воинства имели против вражеских ружей – топоры, против пистолетов и сабель – кулаки да палки. А когда враг докатится до крепости на пушечный выстрел, у него, Пугачева, пожалуй, не будет ни пороху, ни ядер.

Меж высоко вскинутыми бровями Емельяна Иваныча врубилась складка, и мучительно сжимается, не переставая ноет сердце.

Все притомились – люди и лошади, пугачевцы и голицынцы; притомилось, устало и солнце; закрывшись тучей, оно склонялось к горизонту.

Ведущий наступление генерал Мансуров предпринял коварный шаг: два эскадрона он послал на илецкую дорогу, двум сотням чугуевских казаков и двум эскадронам бахмутских гусар приказал занять большой оренбургский тракт, дабы отрезать пугачевцам отступление. В напутствие своему отряду генерал Мансуров сказал:

– Ежели вам этот маневр удастся, Пугачеву вживе не уйти от нас.

Гусары и чугуевцы начали не спеша огибать городок и крепость, но глубокие сугробы препятствовали их действиям.

Овчинников, заметив это движение врага, тревожно сказал Пугачеву:

– Видишь, батюшка?

– Вижу, – ответил Пугачев и тяжело, рывком, вздохнул. – Что делать, Афанасьич?

– Нам воевать, а тебе скрываться, батюшка! А то не дай Боже как бы в лапы тебе к ним не угодить. Я навстречь им кину сотенки полторы яицких да толпишку башкирскую, пускай задержат врага на часок. А покамест дорога свободна, батюшка...

– Как можно, Афанасьич, – насупясь, прервал его Пугачев. – На то нет моего согласия, чтобы спокинуть армию...

– Не перечь, твое величество! – взбросив голову, уже сердито проговорил Овчинников. – Не перечь! Худого советовать не стану.

Пугачев ударил себя в грудь:

– Да лучше я лютую смерть приму, чем народ спокину!

– Брось, батюшка! Беги, пока не поздно!

– Сам беги!

– Нас-то таких много, а ты – царь! Пожалей себя и нас.

– Себя мне не жалко!

– Дело пожалей.

От сильного душевного смятения в лице Емельяна Иваныча подергивались мускулы и непроизвольно взмигивал правый глаз.

Умысел генерала Мансурова подметили и многие из пугачевцев. По два, по три, а то и в одиночку они скакали на конях, бежали пешими с разных мест к государеву знамени.

– Батюшка, втикай! – задышливо кричали люди, указывая на пробиравшихся к дорогам мансуровских всадников. – Глянь, дорога-то! Уходи, отец наш!

И вот толпа набежавших людей окружила Пугачева.

– Скрывайся, батюшка! Сохраняй себя, государь великий!

И к Овчинникову:

– Уйми, атаман, дьяволов-то, не лезли бы на дороги!

– А нешто не видите? – И атаман Овчинников махнул с коня рукой в сторону спешившего напересек мансуровцам отряда яицких казаков и башкирцев. Впереди скакал на рыжей лошади атаман Арапов.

– Детушки! – во всю грудь взголосил Пугачев. – У меня умысел был положен: либо побить всех изменников, либо с народом смерть принять.

– Ой, што ты, што ты! Тебе ли погибать?! – закричали в народе. – Не сироти нас.

Пугачев опустил голову.

– Ин будь по-вашему, – проговорил он глухо. – Поспешайте же и вы всяк в свое место!

Когда народ отхлынул, Пугачев обратился к Овчинникову:

– Прощай, Афанасьич! И вот что: коль скоро Катькины войска будут наступать с горячностью, доразу и ты втикай... всем гамузом. Да в крепость запирайтесь, там и стойте до последа!..

Они обнялись и под несмолкаемые шумы сражения расцеловались.

Битва шла теперь все более убыстряющимся потоком. Овчинников предвидел скорую развязку. Он приказал распахнуть крепостные ворота, и ближайšie к валу пугачевцы уже начали втягиваться в крепость, другие же отхлынули к городским постройкам.

...По дороге к Оренбургу скакали во весь опор всадники. С Пугачевым ехали: Почиталин, Коновалов, шурин Пугачева – Кузнецов, ослабевший в бою старик Витошнов, Пустобаев, Ермилака и незаметно примазавшийся Григорий Бородин. Вслед им мчалась полусотня чугуевцев, гикая и стреляя. Одна пуля на излете угодила в плечо Пугачеву, но под его чекменем надет железный башкирский панцирь. Бородач Пустобаев, видя, что Пугачев схватился за плечо, зычно крикнул ему:

– Батюшка, скачи! А мы чуток отстанем да острастку ворогу дадим.

Пугачев ударил коня плетью, а сопровождавшие его приостановились и, укрывшись за деревьями, приготовились к защите. Но притомившаяся на измученных лошадях погоня преследование прекратила. Чугуевцы повернули назад, а пятеро из них, подняв ружья кверху и звонко голося, устремились к выехавшим на дорогу пугачевцам.

– Не стреляйте! – голосили они. – Мы с поклоном к государю.

И всей гурьбой, радостные, поскакали вслед за Пугачевым.

А когда начало темнеть и утомленные, проголодавшиеся путники принуждены были позаботиться о

пристанище, Коновалов сказал:

– Эвот в той рощице, недалечко от трахту, умет[33] есть. А содержит его оброчный крестьянин, старик Фома.

Иван Почиталин тотчас поскакал в умет для наведения там порядка. Остальные, чтоб дать коням роздых, поехали шагом.

Емельян Иваныч со всеми ласково беседовал. Только на Григория Бородина – ни малейшего внимания. Впрочем, ему соблазнительно было спросить казака: «Пошто, мол, ты, этакий детина, не остался в крепости?» Но он воздержался от вопроса, опасаясь, что Гришуха, подобно Митьке Лысову, чего доброго, внатыр пойдет да скажет: «А ты, мол, сам пошто из крепости-то сбежал?» И еще у Пугачева был соблазн: послать своего шурина Егора Кузнецова в Яицкий городок за голубкой осиротевшей, за великой государыней Устиньей. «Нет, не под стать мне оные непотребные думки, да еще в этокое время», – упрекнул себя Емельян Иваныч.

Между тем правительственные войска, окружив крепость, лезли на обледенелый вал со всех сторон. Вдоль вала шла резня. Солнце давно село, наступили сумерки, а крепость еще держалась. Гренадеры и владимирцы ворвались в крепость первыми. Кавалерия, преследуя отступавших, проникла к Татищеву тремя въездами. Большая часть пугачевцев, после сильной перепалки, успела из крепости вырваться. Отступая, они вели упорный бой на илецкой дороге, противу команды Юрия Бибикова. Те, что остались в Татищевой крепости, защищались от ворвавшихся голицынцев с отчаянным ожесточением.

Войска Голицына преследовали отступавших. Атаман Овчинников с частью своих сил ушел в Илецкий городок, остальная толпа побежала бездорожной степью в сторону Переволоцкой крепости. Потери пугачевцев были очень велики. В плен попало около трехсот яицких и илецких казаков и более двух тысяч плохо обученных военному делу крестьян, башкир, татар, калмыков.

Потери правительственных войск тоже были значительны: три офицера и сто тридцать восемь солдат убито, девятнадцать офицеров и четыреста семнадцать солдат тяжело ранено.

Вконец истоптанное поле битвы было пусто. Лишь играли на нем две прибежавшие из Татищевой сытые собаки. Одна, черная, с торчащими ушами, схватила валявшуюся шапку и помчалась прочь, все время косясь через плечо – гонится ли за ней лохматый, рыжий, хвост кренделем, приятель. Тот догнал, на бегу вцепился в ту же шапку, и вот оба бегут рядом, как в дышлах кони. Враз бросили поноску – человеческая голова лежит! Наскоро полизали запекшуюся кровь на разрубленной шее, лизнули в нос, в бороду, в полузакрытые глаза. И снова – обе к шапке. Схватили, и каждая тянет шапку в свою сторону, упруго приседая на задние лапы, улыбочиво поглядывая друг дружке в зеленоватые глаза и незлобно урча.

Когда же спустилась сутемень, из рощи, из перелесков прокрались на место побоища хозяйственные мужички, весь день махавшие топорами и вилами на этом поле. Этакий изъян учинился им!.. Андрон топор потерял да самодельный нож, Ванюха – железный штырь с набалдашником да кожаные голицы, Вавила – топор да шапку, Митрий – новый кушак с кистями.

В небе каленые звезды крепили, всходила луна. Вправо темнела крепость. Из-за вала маячили отблески огней. Доносились к мужикам отдельные выкрики, звяк котлов. Вот ударил, рассыпался мелкой дробью барабан, затем ненадолго – тишина, и, нарушая ее, полилось во все стороны тысячегрудое пение вечерней молитвы: войска Голицына напились, наелись, готовились ко сну.

Крестьяне, их десятка два, ползали по снегу, выискивали нужное: топоры, шапки, рукавицы, пистолеты, ружья.

– В домашности все сгодится... Аркан? Давай аркан... Седла-то, седла с уздечками снимай с палых

лошадей. Седла да ружья с пистолями царю-батюшке пойдут. Поди, сыщем его, надежу-государя...

В иных местах крестьяне, кряхтя и корячась на снегу, проворно переобувались: подобранные добротные валенки надевали на свои помороженные, в лаптишках, ноги.

– Ну, мужики, возище добра-то!.. А как дотащим?.. Мотри, пымают – головы ссекут!..

– Ни хрена не пымают!.. Дрыхнут! И солдатня, и начальники. Притомились все...

– Глянь! На коне кто-то бежит. Втикай, робя! – И крестьяне стадом бросились к оврагу.

– Стой, стой!.. – кричал, настигая их, всадник. – Не страшитесь, православные, это я, Максим!.. Ужли не признали?.. Я – Максим Обабкин!..

– Макся, ты?

– А кто же? – прохрипел всадник. – Ну, робя, молись Богу, Господь-батюшка нам милости послал! Полдюжины коней из крепости в рощу прибежали, там сено в стогах. Лошади-то, должно, еще днем сено-то заприметили, как бой был... У лошадей-то, чуешь, память дюжее, чем у кошек... Во!

Шестеро крестьян, прытко взягивая, побежали к роще.

...На следующий день Голицын распорядился отслужить панихиду на могилах коменданта Елагина, его жены и бригадира Билова. В их память прогремел пушечный салют.

В числе четырех приговоренных к казни пугачевцев был повешен и старый дядька Шванвича – солдат-гренадер Фаддей Киселев. Он сам вызвался следовать из Берды за «батюшкой» в Татищевскую крепость и там нашел себе могилу.

К генерал-аншефу Бибикову и в Петербург поскакали курьеры с донесением князя Голицына о полной победе над Пугачевым.

4

На умете, куда подъехали путники, оказалось немало нагруженных скарбом подвод да с десятков верховых коней. Седла сложены в кучу, покрыты дерюгой. С полсотни было людей – пожилых и молодежи. Все они из дальних деревень устремлялись к Берде, к «батюшке».

Когда узналось, что сам батюшка приближается, народ всколыхнулся:

– Государь!

А вот и он сам. Крестьяне опустились на колени, вышел с непокрытой головой и старик Фома, хозяин умета, с ним трое бородачей – его сыны.

– Встаньте, детушки! – сказал Пугачев утомленным голосом. – Кто такие? И куда правите путь?

– К тебе, отец наш, к тебе, надежа-государь!.. – загалдели, подымаясь, крестьяне.

– Спасибо, детушки! Я в людях немалую нуждицу имею. Вот генералы царицыны наседают на меня. Крушат мою силу-то. Чаю, и посейчас под Татищевой бой идет. А я за подкреплением в Берду спешу.

– Не тужи, батюшка, не печалуйся, осударь великой, – заговорили в толпе крестьян. – Нашей мужицкой силушки будет при тебе, свет наш, сколь хошь.

– Благодарствую... Не ради себя, ради вас, мир людской, радею, – растроганно сказал Пугачев. – Ну, здорово, дедушка Фома! – обратился он к кивавшему лысой головой хозяину умета. – Вот приехали погостевать к тебе. Дай, стар человек, приют нам.

– Батюшка, отец наш! – закричал и от прилива чувств скосоротился старик. – Все для вашей милости и для слуг твоих сготовлено...

Уж из трубы дым валил, в печке потрескивали поленья, две хозяйки стряпали в обширной избе ужин.

– Ты, как поснедаешь, твое величество, – обращаясь к Пугачеву, сказал пожилой вожак артели, – ложись с Богом на покой. А уж мы твою милость постережем. Животы положим за тебя. Уж ты поверь, с тем шли. Мы, ведаешь, из лесов сами-то, звероловы, ружьишки с собой прихватили, вот и две собачонки-медвежатницы. Эй, Андрюха! – закричал он, оглядывая сквозь густые сумерки толпу крестьян. – Отбери-ка поскорейча с десятков наших, кои подюжее, да айда за мной к околице. Ребята! Оружайся! Бекеты выставим, всю ночь караул держать будем. Да парочку вершних коней, еще Волчка с Шариком. В случае чего – примчим, шум подыдем!.. Сами не дозрим – псы учухают.

– Где, старинушка, ногу-то потерял? – спросил Пугачев ядреного, брюхатенького, на деревянной ноге деда.

– В прусскую кампанию, ваше величество! Бывший лизаветинский солдат.

– Под Кенигсбергом был?

– Бог сподобил, ваше величество! А при корпусе графа Румянцева, как брали крепость Кольберг, ноженька моя обманула меня, похарчилась, ядром сразило...

– Так неужели и ты ко мне против супостатов собрался?

– Этак, этак, ваше величество!.. Да ведь на коне-то я управный. Из ружья могу, а нет – так и пикой чекалдыхну!

– Ведь он, батюшка, паронщик, пароны снимает, – заголосили обступившие царя крестьяне.

– Какой такой паронщик? Не слыхивал, – сказал Пугачев.

– Да я, ваше величество, кровь останавливаю да от ран лечу, стреляных да рубленых. Сего ради зовусь – паронщик. И заговаривать могу. От пули, от картечи, от ядра...

– А пошто же себя не заговорил? – улыбнулся Пугачев.

– Да, чуешь, заговор-то спознал я опосля ноги поврежденья, ваше величество...

– Ну, послужи, послужи мне, старина!

Когда Емельян Иваныч направился к избе, его бережно подхватили под руки.

– Люб ты нам, надежа! – закричали мужики срывающимися голосами. – Простой ты, ваше величество, свой! – шумели они, гурьбой провожая батюшку до дверей.

Во дворе зажгли костры. Приготовились караул держать всю ночь.

Емельян Иваныч долго не мог после ужина уснуть. На него, как пуганые птицы на приманку, спускались сны и тотчас отлетали, опять опускались и отлетали вновь. В его взбудораженном мозгу одна за другой возникали только что пережитые сцены боя. В полубредовом состоянии он вдруг встряхивался, кричал: «Детушки, грудью, грудью!» – и приходил в сознание. Его сердце переполнялось кровью, в ушах гремели раскаты пушечной пальбы, перед закрытыми глазами скакали всадники, бежали, валились люди... Так неужто же всему конец?

Непереносимая тоска опрокинулась на него, он застонал, поднялся с кровати и, выставив вперед руки, пошагал через тьму к слабо освещенному извне окну. Сквозь наполовину промерзшее стекло заглянул во двор. Два костра, возле них крестьяне: сидят, балакают, попыхивают трубками. «Караулят меня, государя», – подумал Емельян Иваныч и вдруг почувствовал, что тяжесть сваливается с его сердца.

– Нет, врешь! Погодите-ка, Голицыны-Рукавицыны... Мы еще побарахтаемся! – произнес он вслух и широко заулыбался.

Вот этого главного, этого основного у Емельяна Пугачева – «побарахтаемся!» – недооценили ни правящий Петербург, ни сам Бибииков. «Точно жернов с сердца свалился», – писал он жене в день получения известия о победе под Татищевой. А князю Волконскому, в Москву, генерал-аншеф писал: «Теперь я почти могу ваше сиятельство с окончанием всех беспокойств поздравить, ибо только одно главное затруднение и было, но оно теперь преодолено, и мы будем час от часу ближе к тишине и покою».

В свою очередь князь Волконский спешил поздравить Екатерину: «Я обрадован, что злодей Пугачев с его воровскою толпой князем П. М. Голицыным совершенно разбит и что оно, внутреннее беспокойство, которое столь много ваше милосердное матерно сердце трогало, ко концу почти пришло, приношу всенижайшее и всеусерднейшее поздравление».

Радостное известие это Екатерина прочла рано утром, еще в папильотках, чепце и пеньюаре.

– Браво, брависсимо! – воскликнула она. – Стало быть, инсurreкции конец! C'est fini!..

На имя Екатерины тотчас посыпались поздравления, и она сама спешила поделиться этой радостной вестью со своими близкими. В одном из своих писем она говорила, что после дела под Татищевой «гордящиеся сим разбоем ненавистники наши поубавят свое ликование». В адрес таких «ненавистников» в коллегии иностранных дел уже сочинялась графом Никитой Паниным для гамбургских газет особая статья о победе под Оренбургом. Послы и посланники европейских держав спешили известить свои правительства. Так, сэр Роберт Гуннинг писал 8 апреля графу Суффольку: «Вчера от генерала Бибиикова приехал курьер и привез весьма приятное известие об окончательном подавлении мятежа, вследствие совершенной победы, рассеявшей все мятежное войско».

Однако ближайшие события показали, что взбаламученное народное море еще долго будет шуметь и волноваться.

Глава IX

Оборона Уфы. «Чиновная ярыжка». Берда встревожена. Хлопуша идет за кандалами

1

Говорят, сердце сердцу весть подает. А вот сердце Устиньи не почуяло, что с ее венчанным супругом приключилась сущая беда. Она все еще томилась новизной своего необычного положения, наслаждалась сытой жизнью и тем непривычным вниманием, которым была окружена. Но все же продолжала скорбеть и тосковать, как тоскует вольная птица, посаженная в золотую клетку. Где ты, красная девичья воля, где душевный покой, где ты, юная казачка Устя, песенница и первая плясунья.

Просыпается она поздно, и белоснежная наволочка на ее подушке почасту мокра от слез. Одеваться помогают ей «фрейлины», обращаются к ней: «ваше величество». Такое титулование ей было сначала смешно – она снисходительно улыбалась; затем вызывало раздражение; теперь она стала привыкать, как привыкает человек к обидной кличке.

Сегодня одно платье, а завтра другое; сегодня – утренний чай с малиновым вареньем и жареными в масле пышками, завтра – с янтарным медом и пирожками с осетриной, рисом, яйцами. Щеки Устиньи начали круглеть, движения отяжелели, молодое тело расслабилось в непривычной, вынужденной лени.

Ее отец Петр Кузнецов, Михайло Толкачев и Денис Пьянов – «стражи ближние ее здоровья» – жили в том же доме, внизу. Там же помещался и гусяр-слепец Дерябин. Поднимались они наверх только по зову, и к обеду Устинья их не приглашала. С нею обедали лишь «фрейлины» и главная распорядительница, Аксинья Толкачиха. Обеды были обильные, с вином и сладостями. Внизу тоже кормились неплохо: баба Толкачиха, заботясь о своем муженьке Михайле, тащила туда жареным и пареным. Денис Пьянов со слепым Дерябиным всегда были под хмельком.

Степенный Петр Кузнецов тосковал по дочери, он иногда заходил к ней без приглашенья и не знал, как вести себя с «великой государыней». Ежели был у нее народ, она отзывала отца в спальню, кидалась ему на шею, жарко выдыхала: «Батюшка, родимый батюшка» – и тихо плакала. Он всячески старался подбодрить ее, успокоить; неискренние, не от сердца, а от фальши, ронял ненужные ей слова: «Это Господь вознес тебя на такую высь... Шутка ли – царица!» Она выслушивала отца молча, сквозь слезы смотрела на него скорбными глазами, говорила: «Да ведь ежели это счастье, то и ему, батюшка, конец виден... Чует сердце-то...» – «Ништо, дитячко, ништо, – утешал ее отец, и глаза его тоже увлажнялись. – Молись Богу, пуще молись, вот и во счастье будешь. Да ведь о твоем здравии царском и по церквам попы богомолбствуют. Поди, скучаешь о государе-то своем?» – «Скучаю», – помолчав и повертывая голову к окну, раздумчиво отвечала Устинья. Отец, пристально посмотрев на нее, вздыхал и говорил: «Вишь, в какой холе содержит государыню свою... Эвот платище-то какое!» – «Это называется – фижмы: китовый ус подоткнут с испода-то, – вишь, как топорщится». – «Богатства у тебя много, семь сундуков у нас внизу». – «Так ведь они запечатаны, государь не приказывал трогать». – «Часто ли пишешь государю-то?» – «Часто. Ведь я у дьячка Парамоныча училась грамоте-то, сам знаешь. Хошь и коряво, а выходит. И оставлены мне батюшкой формы, как подписываться: „царица и государыня Устинья“. Старик опять крадучись вздыхал, смотрел на дочь с великим сожалением, затем осенял себя крестом и, улыбаясь, говорил: „Взыскал нас

своей милостью Господь праведный“.

Каждое утро приходит к Устинье атаман Каргин, чтоб рапортовать государыне о состоянии постов и вообще о разных «казенных» делах-делишках. Иногда он или его помощники спрашивают ее приказаний. Она машет на них рукой, говорит:

– Уж это как хотите, так и делайте. Коли сами не умеете, шлите гонца к государю, он вас поправит.

Она сидит, они стоят навтыяжку.

По воскресеньям и в другие праздничные дни приходит к ней на поклон с поздравлением все начальство. Благочестивый атаман Каргин, кланяясь, кладет возле нее на стол просвирку:

– За драгоценное ваше оздравие подавал я, твое величество, – говорит он, снова отвешивая поклоны.

Кивком головы она благодарит его и приказывает Толкачихе поднести гостям по стакану вина. Они выпивают, кланяются и уходят.

Когда она появляется с Толкачихой и фрейлинами на улице, дежурный есаул выкрикивает честь – приветствия. Государыня милостиво раскланивается с бравыми молодцами и садится в сани, чтоб из улицы в улицу проехать по городку.

Грачи прилетели. Солнышко. Весна идет. Радоваться бы! Но у государыни Устиньи голова огрузла от дум. Едет она из улицы в улицу, отвечает встречным на поклоны. «Эх, Даши нет, прокатилась бы с нею, умным словечком перемолвилась бы, – думает она. – Несчастливая Даша... Государь сказывал мне, что Николаева твоего убили. Нет, ты счастливая, ты найдешь себе по душе другого. А вот я – как птица в клетке. Придет кот, взломает клетку и... прощай жизнь! Может, Симонов, может, Рейнсдорп или другой какой... Да закогтят они и государя моего...»

– Поворачивай лошадок, Васенька, довольно, накаталась!

Иногда по ее зову собираются к ней девушки поиграть, повеселиться. Они одеты в лучшие наряды. Устинья надевает аметистовые бусы, жемчужные серьги, дорогие кольца. Самоцветы искрятся переливными огоньками, как под морозною луною снег. Девушки ведут себя стеснительно, жеманно. Говорят вполголоса иль шепчутся, а сами не спускают умильно улыбчивых, но завидующих глаз с этой Устиньи Кузнечихи, что вознеслась над ними, что увешала себя разноцветными камнями да расфуфырилась, как пава!

Но вот подают вина, подают сладости. Девушки пьют, языки их развязываются, ноги просятся в пляс. Призывают слепца-гусяра, начинается веселье. И чем больше выпито вина, тем угарней становится пирушка. А когда в теплых сенцах кукарекают третьи петухи, все пьяным-пьяно. Пьяна и государыня. Возле нее сгрудились подгулявшие казачки. Одни стараются обнять ее за шею, ласться к ней, как котята к кошке, другие ползают в ногах, целуют колени, третьи норовят ехидно ущипнуть ее, якобы щупая добротность платья. И все наперебой уже не «ваше величество», а:

– Устя! Слышь, Устинья!.. Подруженька наша... Высоко залетела ты!

Устинья, опираясь о ручки кресла, вдруг вскакивает, прикусывает побелевшие губы, с силой топает золотою тувелькою в пол и, сверкая обозленными глазами, кричит:

– Подите прочь! Вон! Все вон!

Становится тихо и безлюдно, лишь свечи горят да, капелька по капельке, булькает из рукомойника вода в лохань. Одинокая Устинья срывает с себя дорогие бусы, валится возле стола на колени, взбрасывает локти на столешницу, стискивает ладонями голову и раздражается жалобным плачем.

Толкачиха выглядывает из-за двери и страшится войти, чтоб ее утешить.

2

Одновременно с боями под Татищевой, под Кунгуром и Челябинском завязались большие дела и под Уфой, у Зарубина-Чики, – наступление правительственных войск шло по широкому фронту.

Мы уже видели, что нападение на Уфу, предпринятое «графом Чернышевым» 23 декабря 1773 года, ни к чему не привело: город умел обороняться.

На освобождение Уфы был направлен из Казани шеф дворянского корпуса генерал-майор Ларионов (родственник главнокомандующего Бибикова). Этот старый щеголь, хотя и «воспаленный ревностью и примером патриотических чувств дворянства», был человек ленивый и трусливый. Он возил за собой сундук с костюмами и раза по три в день менял всяких фасонов куртки.

Испуганный известием, что Нагайбак снова захвачен пугачевцами, Ларионов с прямой дороги на Уфу свернул в Бугульму, здесь усилил свой корпус людьми и пушками, а 28 февраля 1774 года прибыл в селение Акташ, откуда донес Бибикову, что мятежники, услышав о его движении, в страхе разбежались.

Отдохнув в Акташе, генерал Ларионов не спеша двинулся к Нагайбаку и занял его. Мятежники тем временем отступили к Стерлитамаку и Бакалам. Ларионов выступил было на выручку Бакалов, но, испугавшись глубоких снегов и пугачевских партизан, вернулся обратно.

Прошло полтора месяца, как Ларионов выступил из Казани на освобождение Уфы, но Уфа еще долго не могла получить от него никакой помощи. А. И. Бибиков, весьма недовольный медлительностью Ларионова, писал: «За грехи мои навязался мне братец мой, генерал Ларионов, сам вызвался командовать особым detachmentом, а теперь с места сдвинуть не могу». Бибиков крайне был обрадован, вскоре получив от Ларионова письменную просьбу об отставке.

К этому времени прибыл в Казань Санкт-Петербургский карабинерный полк, в котором находился долгожданный Бибиковым подполковник Иван Иванович Михельсон. Этого деятельного храброго вояку Бибиков и определил вместо Ларионова, с приказанием освободить Уфу. Бибиков 10 марта писал состоявшему в секретной комиссии капитану Лунину: «Дворянского шефа Ларионова принужден переменить со всеми его куртками, а послать Михельсона. Упелал меня сей храбрый герой Ларионов: не мог с места целый месяц двинуться».

Город Уфа, обложенный со всех сторон пугачевцами, расположен в гористой, обрывистой местности. Лед на реке Белой, обтекающей Уфу, был вырублен, свободное течение реки значительно способствовало защите города. Вокруг Уфы были построены четыре земляные батареи: на реке Белой – для обстрела Оренбургского тракта; на Усольской сопке, на кладбище – для обороны доступов со стороны сибирской дороги; и на горе, над рекой Белой – для обстреливания трех улиц. А пятая батарея, из четырех орудий, была подвижная – для усиления, в случае надобности, мест угрожаемых. Город разбит на участки, охраняемые вооруженными гражданами.

Душою обороны были: комендант города полковник Мясоедов, воевода Борисов и прибывший в Уфу из Ростова Великого купец Иван Игнатьевич Дюков.

Купцу всего двадцать три года. По своему уму, деловитости, трезвому уменью разбираться в событиях он был прямой противоположностью придурковатого чудодея Полуехтова, подвизавшегося в Оренбурге. Дюков – невысокого роста, мускулистый; простое щекастое, с густым румянцем, лицо его чисто выбрито, большие серые глаза то строги, то улыбкивы, голос крепкий: купец крикнет на шумную толпу – и сразу тишина. Видя в молодце характер стойкий, люди ему с охотой подчиняются.

– Глянь, по годам он парнишка, а ума у него – не баран начхал!

Мещанство и купечество выбрало Дюкова своим предводителем. А съехавшееся из поместий многочисленное дворянство, составив из себя ополчение, избрало своим начальником отставного майора Пекарского. Прочими силами – гарнизонною ротою, казаками и крестьянами окрестных сел, сбежавшимися под защиту города, – командовал капитан Пастухов. Общее число защитников было до двух тысяч человек при сорока орудиях.

В начале осады башкирцы не решались брать город силой и потому вели непрерывные переговоры с уфимским начальством.

– Передай воеводе, – говорили башкирские старшины купцу Дюкову, – чтоб он не противился законному государю. Ежели добровольно не сдадите город, все жители до одного человека будут перебиты.

Дюков, раскурив трубку, стал дружелюбно передавать ее для затяжки старшинам. Затем повел с ними хитрый разговор.

– Мы с начальством совещаемся каждый день, – начал он. – Мы сами видим: городу не устоять – людей у нас мало, оружия с порохом мало, да и хлеба недостаточно. А вот ничего с народом поделаться не можем, народ хочет защищаться. Ежели угрожать жителям, чтобы сдавались, – бунт подымется, людишки все начальство перережут. А надо выждать: может статься, воевода с комендантом как-либо и договорятся с жителями сдать город.

Сбитые с толку депутаты помолчали. Один из них, уральский работный человек Сизов, недоверчиво прищурившись на румяного, как анисовое яблоко, купца, сказал:

– По указу его величества, Петра Федорыча, дается вам сроку три дня. Страшитесь государева гнева! – выкрикнул он, затаившись трубкой, передал ее Дюкову и в упор спросил его: – А ты, умная голова, тоже не из командиров ли?

– Нет, – утаив правду, ответил молодой купец и снял пыжиковую с наушниками шапку. – Я ныне только временный солдат всемилостивой государыни нашей Екатерины Алексеевны, исполняю волю начальства, как совесть и присяга повелевают.

– В таком разе ступай, умная голова, да перескажи начальству, что слышал от нас, да и жителям толкуй, особливо казакам, что-де тяжкий грех подымать руку на законного государя, что-де Бог и царь их накажут.

По возвращении Дюкова был собран на базарной площади народ. Воевода Борисов приказал Дюкову сообщить толпе о своих переговорах. Затем воевода спросил горожан:

– Что же, православные, защищаться или сдавать город злодеям-клятвенарушителям?

– Защищаться! Ур-ра! Веди нас, воевода, супротив злодеев!.. Мы рады стоять за веру и отечество!.. – вразноголосицу кричала толпа.

Однако среди населения было много сторонников царя-батюшки. Пугачевские манифесты и указы, поступавшие от мятежников, тайно расклеивались жителями на воротах, домах, даже церквах. Для прекращения подобных публикаций было объявлено, что за принятие, хранение или расклейку «воровских листов» – виновным смертная казнь. Вскоре были схвачены с «воровскими листами» двое и публично повешены.

«Граф Чернышев» (Чика) появился в Чесноковке, как уже известно, в начале зимы. После нескольких

неудачных наступлений на Уфу он всюду стал рассылать приказы, чтоб все способные носить оружие собирались в его ставку. В течение нескольких дней стекло в Чесноковку до двадцати тысяч мятежного населения. Это были главным образом плохо вооруженные башкирцы, отчасти татары, а также помещицы безоружные крестьяне.

С этими силами Чика-Зарубин 23 декабря двинулся чем свет на Уфу и открыл канонаду из 23 пушек. Городские батареи метко отстреливались.

Чика заметил, что на окраине города, у выхода Усольской улицы, мало защитников. Тогда его распоряжением через реку Белую мятежники переправили два орудия, втянули их на гору и открыли огонь по городу. От обстрела страдали городские строения, были человеческие жертвы, но захватить эту опасную батарею доставало у защитников сил. Отставной вахмистр из дворян, Дмитрий Аничков, с двадцатью вооруженными людьми умело обошел батарею и стал стрелять в тыл пугачевцам. Прислуга при батарее была частью перебита, частью бежала. К трем часам дня вся остальная толпа Зарубина-Чики была отогнана от города.

25 декабря, в день Рождества, было после обедни торжественное молебствие. Купечество, дворяне и люди зажиточные устроили защитникам праздничное угощение. От казны было отпущено пять бочек вина. Многие взяли к себе в дом вооруженных людей «к сделанию с приятелями веселого времени».

Ровно месяц спустя Зарубин-Чика с двенадцатитысячной армией предпринял новый штурм города. С колоколен раздались звуки набата. Призванные к оружию защитники заняли свои места. Купец Дюков и начальство сели на коней. Обе стороны открыли артиллерийский огонь. Полковник Губанов из армии Чики прорвался было со своим полком на Сибирскую улицу, но был оттуда прогнан. А сам «граф Чернышев» направился опять на ту же улицу Усольскую и, расположившись на горе, командовал боем.

В эту необычайно снежную зиму сугробы лежали в Уфе выше заборов. Татары с башкирцами под командой своих старшин двинулись вдоль улицы. Они были вооружены преимущественно луками, копьями, закомелистыми дубинками и топорами. Меткие пули защитников разили их насмерть. Сугробы задерживали путь; нападающие, увязая в снегу, подвигались вперед медленно. Купец Дюков с отставным капралом Лодыгиным, прихватив с собою человек тридцать хорошо обученных мещан, зашли атакующим в тыл и открыли ружейный огонь. Татары с башкирцами дрогнули. Им на выручку бросился Чика с удалцами. Он – в белом полушубке, под полушубком железная кольчуга.

– Не поддавайся, братцы! – кричал он с коня; потемневшее лицо его грозно, зубы оскалены. – Ура! Ура! Бей их!

– Алла-а-а... Алла-а-а! – вопили татары с башкирцами, пуская меткие стрелы и стреляя из ружей.

В пылу схватки капрал Лодыгин налетел с обнаженным тесаком на Зарубина-Чика, тот выстрелил в нападавшего из пистолета, но пистолет дал осечку. Тогда Чика выхватил саблю и, отбив смертельный удар тесака, срубил Лодыгину голову. Команда убитого стала разбегаться. В это время купец Дюков примчался с подвижной батареей, и все четыре орудия, одно за другим, ударили картечью в густую толпу атакующих.

– Не робей, братцы-товарищи! Вперед, вперед! – громко выкрикивал Чика, сверкая отточенной саблей. Но смертельно раненный конь его рухнул вместе со всадником.

На упавшего Чика бросился было разгорячившийся Дюков с задорным криком: «Хватай его, ребята!» Однако его лошадь тотчас провалилась в сугроб по брюхо.

Зарубин-Чика успел вскочить на другого коня и, смяв окруживших его мещан, умчался. За ним двинулась вся его большая толпа.

Отступление было тяжелое. Люди вязли в сугробах, их расстреливали, кололи, рубили.

Эта неудача обошлась Чике-Зарубину не особенно дорого, он потерял всего лишь двести пятьдесят человек убитыми и около сотни пленными.

На следующий день состоялись в Уфе торжественные похороны при Смоленском соборе капрала Лодыгина и других погибших защитников.

Для офицеров и начальства комендант полковник Мясоедов устроил обед. Провозглашались тосты, произносились патриотические речи. Очередь дошла до купца Дюкова. Он долго отказывался, отбивался руками и выкрикивал: «Что вы, господа почтенные, куды мне!» Затем встал, окинул гостей вдумчивым взглядом, опустил голову и в замешательстве принялся чертить на скатерти указательным пальцем. Наконец, овладев собой, сказал:

– Мы люди простые, торговые, известное дело, к такой господской компании не приобвыкли. Мы – как собаки: все понимаем, а говорить не можем...

– Вы можете! – поощрил молодого купца Мясоедов, оправляя Георгиевский офицерский крест на груди. – Вы умная голова... Вас и народ так зовет: умная голова... Продолжайте, голубчик Иван Игнатьич...

Дюков еще более раскраснелся, исподлобья взглянул в седоусое лицо Мясоедова, стал в волнении катать из хлеба шарик. Гости, прекратив еду, с любопытством смотрели на конфузливого молодца, лишь священник Троицкой церкви отец Илья продолжал усердно трудиться над сдобным пирогом с вязигой.

– Вот вы, ваше высокоблагородие, – сдвинулся с мертвой точки Дюков, – вы говорите, что простой народ прозвал меня умной головой. Хорошо-с... Так и запишем. И вот-с, этот простой народ требует: веди, дескать, нас под Чесноковку, мы выгоним оттуда ихнего царька пугачевского, град Уфу освободим... А то, дескать, нам жрать скоро будет нечего. И я, ростовский первой гильдии купец Дюков, советую: давайте-ка, господа командиры, общими силами ударим по разбойничьему гнезду и разом положим крамольному делу окончание. Храбрыми Бог владеет! Вот и весь сказ. – Дюков сдвинул брови, порывисто сел, впопыхах не заметив своего бокала, залпом осушил бокал соседа-священника, схватился за нож и вилку, стал с проворством есть утку с мочеными яблоками.

– ...Неосновательно, – продолжал говорить между тем Мясоедов. – Хотя одушевление защитников и вера в свои силы зело велики у них, но тем не менее нам, господа, об действиях наступательных нечего и помышлять, а дай Боже отсидеться под прикрытием пушек. Малейшая же неудача в наступлении может предать город в руки инсургентов. А мы уж лучше, уповая на защищение Божие, будем терпеливо ожидать прибытия помощи.

Гости согласно закивали головами, а священник сказал:

– Правильно, правильно. Нет, благодарю покорно в плену у извергов быть! Я сидел, я знаю!.. Хватит!

– Отец Илья, сделайте милость, расскажите, как это вы... – попросил недавно прибывший в Уфу пухлый помещик с отвисшими, как у старой собаки, нижними веками.

– Извольте, извольте, досточтимый Геннадий Львович, – священник огладил темную бороду, башкирского склада лицо его осерьезилось. – Не далее как двенадцатого декабря минувшего года большая часть жителей, даже женщины, вышли за город на соседние луга к нетронутым стогам, дабы запастись сеном, ибо ощущалось в городе оскуденье фуража. Нас прикрывала воинская команда при одной пушке. И только мы приступили к делу, как налетел на нас злодейский отряд, команду нашу опрокинул. Народ побежал, а полсотенки уфимцев в полон попало, и аз, многогрешный иерей, вкуче с ними. В Чесноковке обыскали нас, завязали глаза, увели в тюрьму с объявлением, что мы будем повешены. Всю ночь, пребывая в узилище, мы взывали ко Господу, стенали и плакали горько. Утром повели нас к

наиглавнейшему начальнику. Сия персона квартиру содержала в доме тамошнего священника отца Андрея. Видим мы: сидит в переднем углу под образами полуодетый, босой, цыганского обличья подгулявший человек. Нам объявили, что сидящий в углу суть «граф Чернышев». Мы стоим, трясемся, ждем гнева и казни. Вдруг рекомый граф поглядел на нас, улыбнулся, сказал: «Ну, мирянушки, ни толикой казни вам не учиню, всех вас милую, дарую жизнь! Идите с Богом по домам, перескажите людям, что слышали и видели, да уговаривайте население исполнить волю государя Петра Федорыча – сдать город без боя. Пускай хватают начальство, а я именем государя великую вам милость окажу». Сказав так, граф отпустил нас с честью. Оное происшествие я занес на память потомству в дневник свой, а прибыв домой, слег со страху в постель на целую неделю. Так будем же, возлюбленные чада мои, паки и паки ожидать помощи от Господа Бога и христолюбивого воинства...

3

Однако время шло быстро, о помощи же ни слуху ни духу.

«Граф Чернышев» не очень горевал, что Уфа не дается ему в руки.

– Не беда, не беда, – успокаивал он своих атаманов. – Сам батюшка эвона сколь времени с Оренбургом возюкается, да не может взять... Как он, свет наш, умыслил Оренбург выморить голодом, но так и мы той же дорожкой пойдем.

Атаманы хмурились, да и сам Чика утратил всегдашнюю веселость. Больше уж не раздавался по Чесноковке его хохот, и перестал он выпивать.

– Отрезано! – кричал он, борясь сам с собой. – Отрезано!..

Запертая со всех сторон Уфа испытывала все невзгоды: население терпело голод, стали развиваться болезни, а вместе с тем появился ропот, начались побегі. Бежали главным образом помещичьи крестьяне, собранные на защиту города.

Уфа не знала, что Михельсон спешит на помощь ей, но Зарубин-Чика имел о движении правительственных войск точные сведения. Поэтому все имевшееся у него, добытое в помещичьих усадьбах ценное имущество и богатую казну он распорядился переправить в Табынск.

Михельсон, выступив из Бакалов и пройдя несколько селений, не мог добыть «языка», так как при стычке ему не удавалось захватить в плен ни одного человека. «Из сих злодеев ни один живой не сдается», – доносил он Бибикову. Наконец Михельсон узнал, что по дороге из Уфы, в деревне Жуковой, стоит две тысячи человек при четырех орудиях, а в Чесноковке – сам «граф Чернышев» с армией в десять тысяч человек и значительным числом орудий.

Михельсон решил устремиться на главные силы противника, на Чесноковку. С успешными боями он быстро шел вперед. Когда он оказался в пяти верстах от Чесноковки, Зарубин-Чика успел выслать ему навстречу семь тысяч человек при десяти орудиях. Он приказал растянуть по дороге в одну линию, на целую версту, до четырех тысяч пехоты и конницы, а по бокам выставить лыжников.

– Мы, братцы-товарищи, окружим Михельсона с флангов и с тыла, – уже в третий раз пояснял Чика своим командирам. – А как облапим изменника, тогда напустим на него с фронта густую толпу в три тысячи коней. Геть с дороги!..

Рано поутру, 24 марта, когда над черной землей распевали жаворонки, враги сцепились. Шедший в авангарде майор Харин, встреченный огнем семи орудий, остановился, выдвинул вперед одну пушку и начал отстреливаться. Михельсон отправил ему подкрепление. Мятажники, большинство татары и башкирцы, действовали отчаянно, в плен не сдавались. Бой длился уже несколько часов. Михельсон наконец перешел в наступление. В конном и пешем строю он атаковал неприятеля. Мятажники, израсходовав все патроны и стрелы, после яростного сопротивления и не в силах выдержать согласованных действий правительственных войск, бросились бежать к Чесноковке, которую уже успел занять майор Харин.

Уфимцы, услышав пушечную пальбу, не знали, что и подумать.

«А не иначе, как межусобица в злодейском лагере вышла, друг в дружку палят», – думали многие жители.

Однако вскоре получилось в Уфе известие, что «граф Чернышев», будучи разбит подполковником Михельсоном, с двумя десятками человек своих ближних бежал в Табынск.

Заняв Чесноковку, Михельсон повесил захваченных двух главных предводителей – башкирского старшину и русского, а трех жестоко высек плетью. Отец Андрей, приютивший Зарубина-Чика и гулявший с ним, хотя от наказания был освобожден, но получил от Михельсона строжайший выговор. Все же остальные пленные – а их более полутора тысяч человек – после увещаний были распущены по домам. Михельсон в своем рапорте жаловался Бибикову на отчаянность башкирцев: «В них злость и жестокосердие с такой яростью вкоренились, что редкий живой в полон отдавался, а которые и были захвачены, то некоторые вынимали ножи из карманов и резали людей, их ловивших. Найденные в сенях и под полами, видя себя открытыми, выскакивали с копьями и колами, чиня сопротивление».

В городок Табынск, расположенный по реке Белой, между Уфой и Стерлитамаком, Зарубин-Чика прибыл ночью. Его сопровождали Илья Ульянов, Губанов, несколько яицких казаков и работников с Воскресенского завода.

Все были в удрученном состоянии, в особенности сам Чика. Он впервые видел отличные действия михельсоновского отряда, хорошее вооружение солдат и впадал в отчаяние, предчувствуя невозможность выполнить взятое им на себя обязательство перед государем. «Одно остается – втиснуть до батюшки, повалиться ему в ноги да и молить: прости-помилуй, отец, Михельсону Уфа досталась, а не графу Чернышеву твоему!» Он приказал казакам все переправленное сюда из Чесноковки имущество с казной, нагрузив на подводы, немедля везти, пока не поздно, в Берду, в государеву армию. «Прими, батюшка Емельян Иваныч!.. Последний поклон тебе до сырой земли... Доведется ли на сем свете нам встреться?» – печально раздумывал Чика, прощаясь с самым любимым в жизни человеком.

Чике с Губановым и Ульяновым отвели для ночлега хорошую избу, хозяев выгнали к соседям, печку жарко протопили. Расстроенный Чика сказал своим товарищам:

– Желательно мне, атаманы, одному побыть. Идите с ночевой в другое место.

Губанов с легким сердцем ушел, а Илья Ульянов, приглядываясь при свете масляного фонаря к болезненно-напряженному лицу Чики, сказал: – Да что с тобой, граф Иван Никифорыч? Ты прямо весь сказался!

– Тоска, понимаешь! – И Чика вдруг заплакал. Он недвижно сидел на скамейке, запрокинув голову и опираясь затылком в стену.

Ульянов пристально, с жалостью глядел на него. По исхудавшему горбоносому лицу Чики из полуприкрытых глаз катились слезы, а обросший бородой и усами рот беспомощно кривился. Ульянов вздохнул и, не сказав ни слова, тоже сел на лавку. Он никак не чаял увидеть товарища в таком подавленном душевном состоянии. Неужели этот разудалый Чика, этот задирчивый, бесстрашный и решительный сорви-голова может плакать?

– Эка штука, что чуток помяли нас... Дакось, наплевать, – стараясь подбодрить товарища, но все-таки дрогнувшись голосом, проговорил Ульянов. – Опять народишко собирается к нам... Эка штука!

– Иди, Ульянов к себе, чегой-то меня сон долит, – тихо сказал Чика-Зарубин, продолжая сидеть неподвижно, все так же с полуприкрытыми глазами. Ульянов, пробыв некоторое время, вздохнул и ушел.

Чика остался один, запер дверь на крючок. Глухая ночь была, ставни закрыты, на улице спокойно, тихо. Кругом безмолвие, а в душе Чики жестокая бушевала буря. «Как я свою рожу покажу батюшке? – вслух думает он, безнадежно разводит руками, хмурит густые брови. – Что скажу ему? Прогулял! Пропьянствовал! Ведь двадцать тысяч народу!.. Двадцать, а какой прок в них? Где ружья, где пушки с порохом? А все ж таки батюшка не кому иному, а мне доверился, меня под Уфу послал, меня в графья произвел. Вот и награфствовал я, нагадил батюшке-то замест помощи!.. Эх, Ванька, Ванька! Рассукин ты

сын, подлая твоя душа!..

Вдруг ярость вломила в кровь Чики.

– Казнить меня, казнить! – закричал он, затряс кулаками, опрокинул ногою скамейку, отшвырнул табуретку к печке и с заполошным воем стал рвать на себе волосы, стал биться лбом о стену, а слезы ручьем, ручьем:

– Ой, Емельян Иваныч!.. Прости ты меня, прости!..

Вдруг, оборвав крик и плач, он пришел в чувство, распахнул глаза, глубоко передохнул, огляделся, вынул из-за пояса пистолет и весь, от загривка до пят, содрогнулся. Страшно ли умирать? Нет, не страшно... Он твердой рукой взвел курок, натрусил на полку пороху и нащупал то место в груди, где бьется сердце. Но сердце вдруг упало. В нижней части живота прошла неприятная судорога. Руки и ноги онемели, и все тело стало чужим, безвольным и бесчувственным. К горлу подкатился тошнотный ком, обильная слюна пошла, а вискам стало холодно... Он стиснул зубы и крепко сжал в руке пистолет. В последний момент жизни оружие показалось ему страшным: в нем пуля, пламя, смерть. «Не дури, Ванька, брось, – сказал он вслух. – Лучше вгони пулю в лоб Михельсону, сшибись с ним, подкарауль...» Защурив и вновь распахнув глаза, он осмотрелся. Все чуждо, все мертво, только живое сердце с силой стучится в грудь, хочет выпрыгнуть, бежать от смерти.

В этот миг на улице родились, окрепли многие голоса, в калитке сбрыкало кольцо, и в запертую дверь Чики стали ломиться.

– Отпирай, шайтан! Эй, слышишь?.. Граф Чернышев!..

Еще момент и – дверь слетела с петель. Чика враз загасил огонь, наугад выстрелил в ворвавшихся людей и в каком-то исступлении стал направо-налево рубить во тьме саблей.

...Отправив своих раненых, отбитые пушки и собственные экипажи в Уфу, Михельсон направился к Табынску и по дороге получил рапорт табынского казачьего есаула о том, что он, есаул Медведев, собрав поздней ночью народ, схватил и заковал в цепи прибывших в Табынск Зарубина-Чики, Ульянова и Губанова со всеми их товарищами. «Как брали, пятеро наших порублено, постреляно злодеем не душевредно, не до смерти, а шестого пересек злодей Чика надвое».

По прибытии в Табынск Михельсон препроводил арестованных под сильным конвоем в Уфу. А 4 апреля и сам вступил в этот город, где был встречен жителями восторженно. С этого времени спокойствие в Уфе не нарушалось.

С поражением и арестом Зарубина-Чики башкирцы, мещеряки и русские стали разбредаться по своим деревням и присылать к Михельсону депутатов с повинной. Особенно усердно раскаивались мещеряки. Их старшины, Мендей Тюнеев и Султан-Мурад Янышев, даже собрали пятьсот человек отборного, из мещеряков, войска и передали его Михельсону. «Каждый из наших старшин наберет войско, каковое будет следовать, куда ты укажешь, – говорили депутаты. – Мы благодарны тебе, что ты всех наших пленных, не сделавши им наказания, отпустил по домам». Башкирцы, под давлением своих начальников, во многих селениях стали доставлять Михельсону фураж, продукты, лошадей.

Но не везде выходило так гладко. Например, в окрестностях Бакалов «пошаливала» большая толпа русских с башкирцами. Вели толпу атаман Торпов и бывший депутат Большой комиссии Гаврило Давыдов, тот самый лысый, низкорослый, в больших сапогах мужичок, который не столь давно посетил Емельяна Иваныча и между прочим жаловался ему, что, мол, вез он, Давыдов, сладкие пироги в подарок батюшке, да по дороге «лошади пироги те схрумкали».

А вот ныне башкирский старшина Кидряс «схрумкал» самого Давыдова, а за компанию с ним и атамана Торнова. Лишенная руководства, толпа рассыпалась. Старшина Кидряс – человек зажиточный. Семь лет тому, во время путешествия Екатерины в Казань, он за свое усердие получил особое награждение, но, невзирая на это, когда появились пугачевцы, он вступил в толпу мятежников, однако вскоре опомнился и снова возвратился «на путь истины, ибо колебание его верности происходило единственно от слабости духа».

Подобное «колебание верности» с последующим вступлением «на путь истины» повторялось и с прочими случайными руководителями восстания. Всюду по Башкирии водворялся «порядок». Да иначе и быть не могло, ибо мятежным жителям некуда было податься: с запада и юга они были окружены правительственными войсками, на востоке простиралась обедневшая, разоренная часть Пермской провинции, с севера угрожал отряд майора Гагрина, освободивший от осады Кунгур и разогнавший бродившие в его окрестностях скопища.

Впрочем, Башкирия только внешне могла казаться «замиреной». На самом же деле мятежные силы лишь по необходимости на время притаились, бунтарский огонь ушел под землю. При первом же бушующем ветре он снова выступит наружу и разгорится в пожарище восстания.

4

О пленении Зарубина-Чики и освобождении Уфы никто в Берде не знал.

Емельян Иваныч прискакал в Берду в полночь и тотчас приказал сменить с постов и караулов всех солдат и крестьян, а вместо них поставить яицких казаков, как более опытных в сторожевой службе.

Пикетчики немало дивились тому, что их сменяют казаками, и, толпами возвращаясь в Берду, переговаривались между собою:

– Что такое, братцы? Ночь глухая, а они тут... Чего-то не тае... Неспроста.

Их начальники, к которым они обращались за разъяснением, тоже ничего не могли ответить, они и сами удивлялись непонятному распоряжению.

А над Бердой и над всем Оренбургским краем нависло темное небо в крупных весенних звездах. Вся природа была скована сном. Спали Пугачев, Рейнсдорп, Хлопуша, Фатьма, Падуров, Шванвич, даже спали горластые петухи, и только лишь совы с огненными глазами бодрствовали по лесным труппам, да незамерзающий теплый ручеек журчал в овраге.

Впрочем, кроме стражи да пикетов при дорогах, не спали еще двое: Григорий Бородин и коллежский ассессор Струков. Этот почтенный старичок, или, как звали его в Берде, «чиновная ярыжка», какими-то темными путями первый пронюхал о несчастье под Татищевой крепостью. Как хищная лиса, он прокрался в землянку, где жили бежавшие с ним из Сызрани четверо дворовых людей помещика Хворова. Впрочем, теперь в землянке только трое, а четвертый – лакей, ловкий парень Васька, несколько дней тому назад по приказу «чиновной ярыжки» ускакал в Ставрополь, к агенту французской разведки де Вальсу, бывшему управляющему псковской вотчиной графа Ягужинского. Васька повез тайное известие о том, что мятежники дважды штурмовали Яицкую крепость, дважды вели подкопы под крепостной вал, взорвали церковь, но никакого успеха не имели; и что сам Пугачев женился на простой казачке Яицкого городка, девке Устинье Кузнецовой.

– Теперича твой черед, Вахромеев, – потирая руки и покашливая, сказал «чиновная ярыжка», обращаясь к бритому барскому егерю с хитрыми глазами. – Бери-ка ты в дорогу всякого кусу: баранины, рыбы, пшена, да скачи немедля к де Вальсу. Пока ночь, сведешь себе двух лошадей, башкирцы дрыхнут. Ну, парень, не мешкай, одевайся, одевайся живчиком!

Нора была вырыта в полугоре, земляные стены укреплены бревнами, еловыми ветвями; глинобитная небольшая печка еще не остыла, горела масляная «жировушка». Было мрачно, грязно, неуютно. Пока Вахромеев обувался, ассессор, заглядывая через очки в бумагу, говорил ему:

– Запоминай!.. Толкуй де Вальсу: пугачевская толпа, численностью до десяти тысяч человек, вдрызг разбита под Татищевой крепостью. Численностью до десяти тысяч... Слышишь? Войсками руководствовал князь Голицын, ему помогал генерал Мансуров. Оба военачальника шествуют сюда, на выручку Оренбурга. Прибежавший в Берду Пугачев завтра же должен убираться отсель, куда глаза глядят. Но бежать ему затруднительно, ибо он окружен верными правительственными войсками. Есть некая надежда, что его схватят атаманы и предадут властям. Имею сведения, что Зарубин-Чика, рекомый «граф Чернышев», под Уфой побит подполковником Михельсоном. Слышишь? Подполковником Михельсоном... Тщусь сей слух проверить – дай Бог, чтоб сие было не ложно. С гонцом Вахромеевым ожидаю от вас, господин де Вальс, договоренного жалованья как мне, коллежскому ассессору Струкову, так и моим четверым ребятам, вперед за два месяца, да на разную смазь нужным людишкам, – то есть всего не менее, как триста рублей серебром. Прошу сие исполнить неукоснительно. Впредь мы будем полезны, ибо события обещают быть

зело любопытными.

Струков прочитал бумагу дважды, велел Вахромееву сказанное повторить на память.

– Ну, ладно. Правильно. Соображенья у тебя достаточно. А в случае чего эту бумажку подавись, да сожри! Иначе так и так башку с тебя снимут – и бунтовщики, и военный разъезд какой-нибудь.

Вахромеев взял бумажку, скатал ее в трубочку, зашил в шапку.

– На обратном пути заедешь в Сызрань, к Ивану Иванычу, передашь вот эту цыдулю. И деньги также возьмешь от него, сколь прошу.

– Ладно, – сказал Вахромеев, натягивая на плечи полушубок. – А где мне тебя, Нил Нилыч, искать прикажешь?

– А ты догадлив, – ответил чиновник, – спросил правильно. Ежели меня здесь не дозришь, стукнись к попу Сидору, он скажет, в кою сторону ушел Пугачев. Другой человек – в Каргале, татарин Махмет Беков. Он также вестен будет. Да навряд ли мы далеко-то уйдем. Дней через восемь тебя в обрат ждать буду.

Вахромеев покряхтел, покрестился, сказал:

– Ну, прощайте, Нил Нилыч. Прощайте, братцы! – Поклонился он чиновнику и двум сидевшим на нарах полусонным товарищам, нахлобучил шапку, заткнул нагайку за кушак и вышел.

Чиновник повалился на его еще не остывшее место – спать.

На другой день уже возвратился из своей поездки к де Вальсу Васька. Пока он ехал обратно, зашифрованное сообщение де Вальса, согласно донесению «чиновной ярыжки» о событиях в Яицком городке, уже было вручено в Питере французскому послу, и вскоре секретной почтой эти сведения очутятся в Париже.

Польская и немецкая разведки тоже имели своих агентов в лице немногих, живших при пугачевской армии польских конфедератов. Все эти три тайные агентуры вели свое дело столь скрытно, что ни одна из них не подозревала о существовании других разведок в стане Пугачева.

Старик Струков действовал весьма умело. Он пил мало или вовсе не пил, но прикидывался пьяницей; сумел проникнуть в Военную коллегию и вот уже больше месяца, войдя в доверие Шигаева, знал все, что в коллегии, а равным образом и в доме Пугачева происходит. Его в свое время подкупил де Вальс и направил в самую гущу народного движения.

Пока «чиновная ярыжка» вел переговоры с Вахромеевым, в избу Максима Шигаева постучали. Он не вдруг проснулся. Его разбудила хозяйка избы. Он встал, вздул свет в масляной лампе, накинул на плечи бухарский халат, впустил Григория Бородин.

– А, Гриша! – воскликнул удивленный Шигаев. – Да откуда это ты, живая душа? Ночь ведь...

– Ночь, Максим Григорыч, это верно, – каким-то загадочным, с придыханием, голосом сказал Бородин и запер дверь на крюк.

Шигаев жил, как монах, – один, в чистой половине, через сени от хозяев. Семейство оставил он в Яицком городке.

Волнуясь, Бородин поведал полковнику о поражении пугачевцев у крепости Татищевой.

– Ай, беда, беда!.. Ай, беда, беда! – всплескивая руками, причмокивая, крутил головой Шигаев; его вдруг охватило душевное смятение, робость. Он опустился на скамью, положил локти на стол, стиснул ладонями голову и, закрыв глаза, сидел в молчании с минуту, затем спросил: – А сам-то где? Цел ли?

– А чего ему подеется... С нами прискакал... – Григорий Бородин был толстощекий, белобрысый,

бритьё детина лет тридцати. – Давай-ка по душам, Максим Григорьич... Чевой-то не вовсе по нраву мне... Как бы не тово, не этово... Ой, маху дадим, пропадем тогда!.. Всю кашу из нашей утробы повытрясут...

– Ну-у-у... Малодушной!..

– Супротив генералов нам не выдюжить, Григорьич... У нас еще головы не с того боку затесаны.

– Выдюжим!.. Бивали мы и генералов. Вон Кар едва ноги уволок. Дело, Гриша, в людях да пушках, а не в генералах.

Шигаев говорил вдумчиво, старался успокоить Бородин. Тот вел свою линию, под конец стал сердиться и собрался уходить. На прощанье Бородин тихо, чтоб никто не мог подслушать, сказал:

– Я лажу уехать в Оренбург. Может, возворчусь, а может, и там останусь. А вам, атаманы, советовал бы связать его. По всем видимостям, он не природный, а подставной.

– Будет тебе брякать-то! Он, батюшка, доподлинный! – Ну, там доподлинный ли, нет ли, а головы наши все едино повалятся с плеч, как стреляные галки с тына.

Шигаев на эти слова Бородин как бы призадумался. Желая поглубже проверить мысли казака, он пристально посмотрел ему в лицо, сказал:

– Да я и сам подмечаю, что усердие к его службе стало кой у кого истребляться. Только знай, Гришуха, – твердо добавил он, – я клятву приносил и нашему казацкому делу не изменник!.. Иди-ка, брат, домой.

Выпроводив незваного гостя, взволнованный Шигаев уже не ложился спать. Он умылся, расчесал надвое бороду, усердно помолился Богу и вышел на улицу.

Ночь кончалась, звезды бледнели. В церковной сторожке горел огонек: должно быть, пономарь собирался звонить к заутрене. Вот замутнели огоньки и в доме Пугачева. Полковник Шигаев с робостью в сердце направился туда.

В это время Григорий Бородин уже кончал ночные переговоры с хорунжим Трифоном Горловым, Осипом Бановым и калмыком Гибзаном. Он всячески запугивал их, рассказав о страшном поражении под Татищевой.

– Ныне добра нам ждать нечего, друзья-товарищи. Батюшке больше не оправиться. Может, мужики-то и сбегутся к нему, а пушек-то черт ма – они все Голицыну в руки попали. Советую вам, братьяники, покамест не поздно, батюшку выдать да и явиться с повинной в Оренбург. Тогда и всей мутне придет скончание, спокой увидим.

– Кто увидит, а кто и нет, – бросил хорунжий Горлов, покосился на Бородин и пошел прочь.

Долговязый Шигаев, ссутулясь более обычного, приблизился к Пугачеву на цыпочках, поклонился ему. «Батюшка» надевал валенки. Ненила с припухшими, заплаканными глазами суетливо накрывала на стол. Кошка, задрвав хвост, ластилась к Пугачеву, мурлыкала свою бесконечную уветливую песенку. Горели две свечи. Лицо Емельяна Иваныча бледное, помятое, голова не причесана, давно не бритые щеки заросли седоватой щетинкой.

– Садись к столу, полковник, – отрывисто сказал Пугачев. – Дело наше дохлое под Татищевой. Овчинников там остался, а я вот за подкреплением сюда... Да уж какое тут подкрепление!.. Так думаю, поскорей втикать нам отседа доведется, Максим Григорьич.

– Надо оглядеться, Петр Федорыч, батюшка, да подумать покрепче, – унылым голосом молвил Шигаев, мазнув концами пальцев по надвое расчесанной бороде.

– А бились мы, друг мой, не надо лучше! – вскричал Пугачев, расчесывая гребнем волосы и бороду. – Знатно бились! Кабы силенки поболе нам, а первым делом – оруженья, – стоптал бы я этого Рукавицына-Голицына вместиах с Мансуровым да еще с третьим каким-то генералишком... Надо бы мне отсюдов хоть бы народу-то поболе в та поры взять... Обмахнулись мы!.. Так вот что, Максим Григорьич, бери-ка вот эту трубку да езжай на Высокую гору, пошукай с вершины-то, не идет ли из Черноречья наш Овчинников с воинством моим, да не гонятся ли за ним генералы?.. Предосторога не вредит. А я покамест атаманов скличу, а как вернешься, станем совет держать, в кою сторону подаваться нам теперь... Да, Максим Григорьич, проторчали мы, как кулики в болоте, коло Оренбурга-то, раздуй его горой... – Пугачев засопел, нахмурился и недружелюбно сказал Шигаеву: – А ведь мотри, верно я при изначале дела толковал: под Казань-то идти треба, а не под Оренбург... А вот ты поупорствовал тогда и меня-то с Падуровым сшиб с толков... Эхма!...

Шигаев взял подзорную трубу и, глядя в землю, холодно ответил:

– Да ведь... Кабы знато да ведано, – и не спеша, нога за ногу, вышел. Горько было на его душе.

...Серый конь под ним бежит ходко. С неба рассвет плывет.

– Стой, Шигаев! – слышит он сзади и останавливает коня.

Подъехали начальник артиллерии Федор Чумаков – бурая борода лопатой, с ним Василий Беспрозванный, бывший запорожец. А как взобрались все трое на гору да стали во все стороны в трубу глядеть, подкатили на рысах Григорий Бородин – в дорогом чекмене, при дорогом оружии, с ним яицкий казак Морунов. У Бородина в поводу запасной конь, нагруженный туго набитыми кожаными торбами.

– Чего рано дозорите? Еще не рассвенуло! – Каким-то фальшивым голосом выкрикнул толстощекий Бородин, посматривая выпученными глазами в сторону окутанного предутренней мглой Оренбурга. А Шигаеву, вплотную приблизясь к нему, чуть слышно сказал: – Я, Григорьич, чуешь, многим балакал, да и калмыков повестил... Чаю, ты, как вернешься, застанешь его уже связанным. А я с Моруновым, понимаешь, спворил ехать в Оренбург и оповестить там. Помчим вместиах с нами, Максим Григорьич... Пожалей голову свою...

Шигаев подумал, помигал часто, сказал через вздох:

– Нет уж, Гришуха... Управь Бог твой путь! Поезжай, коли совесть потерял. У тебя там дед – бывший атаман, да дядя Мартемьян Бородин – главный старшина Яицкий, они за тебя заступят. А я никого там не имею, да и пред батюшкой изменником не хочу быть. А ты, видать, – в дядю, вам с ним окаянствовать-то не впервой!..

– Считал я тебя, Шигаев, за умного, а ты дурной!.. – оскалив в притворной улыбке зубы, бросил Бородин. – Ведь я шулки ради тебе брякаю, а ты думал – вправду. Заспокойся, друг!.. Я тоже в изменниках царю-батюшке не хаживал...

Все стали спускаться с горы. Бородин с опаской посматривал на незнакомого ему запорожца, говорил всем вслух:

– Что вы, братцы-казаки, знаете? Ведь сотник Михайло Логинов изменил батюшке-то, в Оренбург ушел... Вот змей какой! Да и опричь него которые изменники бегут. Вы правьтесь в Берду, а я с Моруновым поеду по речке Сакмаре да пошукаю, не попадутся ли беглецы какие. Насмерть рубить их стану!.. И не крикну! – Глаза Бородина виляли, лукавили.

Вдвоем с Моруновым Бородин тронулся на Сакмару. А Шигаев с Чумаковым и запорожцем, переговариваясь о делах, шагом двигались обратно к Берде.

И уже, в разговорах, спустились с горы, вдруг видят: во весь мах скачут от Берды десять казаков – у

кого винтовка, у кого пика.

– Тьфу, чертяка тебя заведи! – крикнул с коня ведущий казаков хорунжий Трофим Горлов. – Государь думал, что и ты, Шигаев, с Бородиным ушел. Не видал ли ты его? Ведь он и меня, дьявол-изменник, подбивал...

– Я только что встрелся с ним, – сказал взволнованный Шигаев, мазнув пальцами по бороде. – Он брякал нам, что поедет с Моруновым ловить по Сакмаре беглых.

– Ха!.. Ловить! – зло захохотал Горлов. – Он-то словит. Ведь он сам бежал. Ведь государь, сведав о том, едва старика Витошнова не повесил, что за Гришкой не досматривал. Казаки насилу упростили батюшку помиловать старого человека. Ах, змей! Ах, змей тот Гришка!.. В дя-ядюшку!

– Ну, коли Бородин бежал, его уж не догонишь. Он, может, теперь близко от Оренбурга, – сказал Чумаков.

– Ну, черт с ним, коли ушел! – И хорунжий Горлов обругался матерно. – За всеми ведь не угоняешься...

...И Шигаев снова у батюшки. Пугачев был хмур, сердит. Как сдвинул брови, так, кажется, целую неделю их и не распрямлял. Руки назад, быстро вышагивал взад-вперед по золотому зальцу. Уж не последние ли часы доводится быть ему в своем обжитом «дворце» с гербами, зеркалами от потолка до полу, с портретом своего «любимого детища»?

– Ничего с горы не дозрили, батюшка Петр Федорыч, – сказал, кланяясь, Шигаев. – С Чумаковым Федей смотрели мы...

– А ты Бородина Гришку не видал? – крикливо спросил Пугачев.

– Видал, батюшка. Он сам сказал, что едет ловить беглых.

– Да ведь он, собака, сбежал от нас!.. Измену сотворил мне!.. Я ведь за ним погоню выслал...

– Погоня, ваше величество, назад вернулась... Уж теперь не словить его...

– Ну, милостив его Бог! А я тотчас повесил бы его. Ведь ты не ведаешь, что он наделал: ведь он, наглец, зачал было подговаривать многих, чтобы меня связали да отвезли в Оренбург! Только спасибо Горлову-казаку, он мне донес об этом. Вот, брат!.. А уж я ли этому бесу Гришухе не мирволил? В товарищи, нечестивец, втерся ко мне. Ведь он крест целовал, клялся во всем добра мне хотеть. Ах, изменник, ах, клятвопреступник! Ведь он и в Татищевой-то, как бай шел, все больше по перелескам пырхал, берег себя. Ну да отольются ему мои слезы-воздыхания. – Пугачев круто повернулся к смирно стоявшему Шигаеву, взмахнул рукой и приказал: – Ну, иди, полковник, снаряжай армию в поход. Чтоб сегодня же выступить!

На улицах, распоряжением полковника Творогова, некоторые казачьи части уже начали грузить воза. Среди подвод расхаживал и Творогов. К нему подошел Хлопуша, спросил:

– Куда это, Иван Александрыч?

– А тебе что за нужда? – нахмурился Творогов. – Это казаки, что приезжали из своих мест за хлебом, а теперь в обрат собрались, вот и я жену свою отправляю с ними. А ты, Хлопуша, знал бы свое дело да лежал бы на своем месте. Чего поднялся этакую рань?..

Рассвет быстро шел с востока. Румяная заря вставала. Пономарь ударил в колокол к заутрене. По слободе заскрипели калитки, бабы с ведрами пошли за водой. К Пугачеву, один по одному, собирались военачальники: Чумаков, Горшков, Падуров, Витошнов, Творогов. Последним пришел покашливающий Шигаев.

...В это время Григорий Бородин уже бражничал в Оренбурге у своего дяди Мартемьяна. Безбородое

лицо Григория заплакано, дядя шпыняет его изрядно, без пощады.

– Осрамил ты род наш бородинский не надо хуже, – брюзжит он. – Как я поручусь, что его высокопревосходительство, генерал Рейнсдорп, пойдет на милость и клятвопреступничество твое простит?..

– Да пусть он меня накажет по-отечески, уж я за этим не гонюсь, – кривит рот Григорий, – только бы окончание живота мне не положил... Вот чего... Эх, дядя! Добро было бы по Берде ударить сейчас, без промедления. Башкой поручусь – всех бы злодеев на аркане приволокли сюда. Ты, дядя, не умедли доложить о сем господину губернатору...

– Пойду доложусь, – согласился Мартемьян и, подбирая большое брюхо, начал одеваться в парадную форму. – Только напередки ведаю, что высокопревосходительство на это ни в жисть не отважится, чтоб приступ сделать. Добрых коней у нас нет, Гришуха, сеченым прутом, замест овса да сена, лошадей-то кормим, они, бедные, едва ноги волокут...

– Ну вот, атаманы, – проговорил Пугачев. – Я без утайки поведал вам, как было. Теперь рассудите да присоветуйте, куды двинуться нам, чтобы последней порухи делу нашему не доспелось?..

– Твоя воля, батюшка, а мы не ведаем, – помедля, уклончиво ответили пугачевские соратники.

Дверь на кухонную лестницу вниз была чуть приоткрыта. Прячась за дверью и прильнув к щели ухом, Ненила прислушивалась к разговорам, из ее глаз покапывали слезы.

– Нам, атаманы, способней всего было бы пробираться степью через Переволоцкую крепость да прямо в Яицкий городок. Поусердствовав, Яицкую крепость мы с Божьей помощью одолели бы да укрепились бы в ней. Ась?

– Куды вы, туды и мы, – отвечали присутствовавшие. – Власть ваша!.. Приказывайте, батюшка...

«Власть, власть... Что я прикажу? – злобился Пугачев, чувствуя, что его власти кладется некий предел, его же не преjdeши. – Повластвовал! – Его душе было муторно. Он искал среди своих поддержки и, казалось ему, не находил ее. – Гришка, злодей, связать меня хотел, народ подбивал... Да и свяжут, свяжут!» Он, впрочем сказать, принял меры к охране своей жизни. В передней и на крыльце топчутся две дюжины богатырей, среди них верный Идорка, увешанный кривыми ножами. А возле «батюшки» – три изготовленных пистолета да две сабли.

Он испытующе, не распрямляя сдвинутых бровей, водит сумным взором от лица к лицу. Творогов, посматривая через окно на улицу, где грузят добром его воз, говорит:

– А не поехать ли нам, ваше величество, под Уфу, ко графу Чернышеву? А если не удастся, там под боком Башкирия, прокорм там сыщется и укрыться есть где.

Пугачев не ответил ему и, глядя в глаза Шигаеву, сказал:

– Не лучше ли нам убраться на Яик, на реку, ведь там близко Гурьев-городок, он весьма крепок, и хлеба там много оставлено...

– А что ж, – ответил Шигаев. – Речи ваши ладные, батюшка Петр Федорыч. Через Сорочинскую крепость можно на Яик-то пройти. Только вот путик-то неведом нам.

Послали за Хлопушей. Пугачев спросил его:

– Ты шатался много по степям, так не ведома ли тебе дорога Общим Сыртом, чтобы на Яик пробраться нам?

– Нет, не доводилось, – с неприязнью в голосе ответил Хлопуша, задетый за живое тем, что его раньше не позвали на совещание: ведь он, как-никак, полковник!

– Ваше величество, – поднялся Падуров. – У меня имеется хутор на Общем Сырту. Вчерась оттуда прибыл казак Репин, он сказывал, что дорога там есть. Вот его и заставим вожатым быть.

Решено было: всем полковникам готовить свои полки к походу. Брать в поход только доброконных, а остальные и все пешие идут, кто куда хочет.

– Ты, Максим Григорыч, – приказал Пугачев полковнику Шигаеву, – вино и все деньги раздай людям по усмотрению. В казне свыше четырех тысяч, да, кажись, больше медяками все – куда их нам, их на десять возов не уложишь... А ты, Тимофей Иваныч, – обратился он к Падурову, – расставь скорей в сторону Оренбурга на особицу караулы из самых верных людей, чтоб не пропускать туда ни единого беглеца, а кто вознамерится бежать, того колоть.

После несчастной битвы под Татищевой в душе Падурова произошло мучительное раздвоение. Всем существом своим он чувствовал, что судьба его навсегда связана с судьбой обожаемого им Емельяна Пугачева. Но он уже не рад был этому странному, овладевшему им чувству. И, как-никак, у него в Оренбурге жена и сын... А главное, он предвидел все усиливающийся напор правительственных войск на слабую во многих отношениях мятежную армию, и ему подчас думалось, что Пугачеву гулять не долго. Так не лучше ли загодя бросить его, отрясти прах от ног своих, посыпать голову пеплом?

«Нет, не могу! Ну, разрази меня гром небесный, не могу!.. Офицер Горбатов сам пришел к „батюшке“, я тоже передался без принуждения... Так можно ли бросать человека в такое время, можно ли изменить свой клятве? Не по-казацки это, не по-честному!» И Падуров твердо решил остаться при Пугачеве до конца. И как только решил он это, как только прекратились его колебания, на душе у него стало, как никогда раньше, светло и спокойно, точно довелось ему выиграть сражение, затемнившее тяжкую неудачу под Татищевой.

Впоследствии, в секретной комиссии, он дал любопытные показания. Вот его подлинные слова:

«...помышлял было от него отстать. Но сего исполнить – не знаю, по какой причине – не в состоянии был, ибо не знаю, как будто что удерживало меня и наводило страх отстать от него. Словом сказать, привязан я был к нему так, как бы невидимую силою или, просто сказать, волшебством. Но отчего сие со мною последовало, я не знаю».

В этих своих показаниях Падуров, без сомнения, несколько кривил душой. Он великолепно знал, что «волшебство», привязавшее его к Емельяну Пугачеву, есть высокое чувство его преклонения перед личностью вождя, принявшего на свои плечи непомерный груз быть защитником угнетенных. Да здравствует вовеки Емельян Иваныч.

Встало весеннее солнце. Это было 23 марта. В слободе столпотворение. Сроду не бывало здесь такой суеты, такого шума. Взад-вперед рыскают казаки, тянут за собой в поводу лошадей, седлают их. По дворам, огородам, переулкам, улицам запрягают подводы, велят, кто на сани, кто на телеги, всяк свое добро. Перебранка: не туда положил, не свое кладешь, сволочь! Возле Военной коллегии густая – не пробиться – толпа крестьян: что случилось, куда им деваться, где надежда-государь? Еще никто не знал толком о поражении под Татищевой. В Военной коллегии Максим Горшков со штатом писарей, среди которых «чиновная ярыжка», строчат последние бумаги. Поп Иван печальной тенью проходит вдоль шумной улицы.

Красавица Стеша, в тугой шубейке с белым воротником и в шелковой, нежно-голубого цвета, с фасоном повязанной шали, сидит на своем возу, глаз не спускает с заветных окошек государева «дворца». «Где ты, свет мой, покажись...» – шепчут ее губы, и вся она – томная, сияющая красотой своей, свежая, статная, в неизбывной тоске и горести. «Прощай, батюшка, прощай!»

А там, возле склада, выкачены с вином бочки, упивается народ. Там драка, свалка, шум. Около своей квартиры, где в сарае хранилась под караулом армейская казна, Шигаев раздает людям медяки. Без счету, без весу, пригоршнями сыплет он деньги в шапки подходящему волной народу: крестьянам, башкирцам, казакам.

– Чего ты спозаранку расселась, быдто барыня? – сказал сердито своей жене подъехавший Творогов. – Иди пока в избу, а то, мотри, замерзнешь в козловых-то сапогах, форсуня!..

– А ты куда, Иван Лександрыч? – хмурясь от солнца, спросила Стеша.

– Надо посты проверить, а то живо Голицыну в хайло угодим.

– Ой, скорей вертайся, да уж не то поедем, что ли!

Творогов усмехнулся в бороду, стегнул коня и ускакал.

Стеша видит: Ненила с Ермилкой да с Фофановым вытаскивают из подызбицы государева жилища всякое имущество, накладывают на телеги. Стеша соскочила с возу и стремглав по крыльцу во «дворец». Пугачев, нагнувшись над столом, свертывал в трубку знамя. Стеша стремительно заперла дверь в кухню, закрючила входную дверь, сбросила шубейку с шалью и кинулась на грудь Пугачеву. Прерывистые вздохи, всхлипы, последнее – навек – прощай.

– Родненький ты мой! И пошто ты на Устинье оженился-то!

Поцелуи длились и переставали, переставали и, возникнув, как блеск огня, снова обжигали душу.

– И вот – разлука!

Стеша обвила его шею и, заглядывая ему в орлиные глаза, шептала сквозь всхлипы:

– Теперича до гробовой доски, свет мой! Ты в одну сторонушку, а я, горькая-разгорькая, в другую. Живи, царствуй, да не дюже атаманам-то верь своим...

– Связать меня хотел дьявол Гришка Бородин, паскудник!.. Заговор супротив помазанника вел...

– Берегись, батюшка, свет мой!.. А в случае – к нам беги... У сердца своего тебя укрою. Мужа кину, с тобой, зернышко мое, в Узени уйдем, либо на Иргиз, в леса... – Говоря так, она заливалась неудержимыми слезами и уже не видела из-за слез лица светлого царя, только ощущала его своими руками, своей грудью...

Пугачев снял с руки алмазное кольцо, надел его на палец Стеши, сказал:

– Береги. Такого колечка у самой государыни Устиньи нетути...

По лестнице из кухни заскрипели шаги. И последние слова Стеши были:

– Вот бы, вот бы цареву детище мне от тебя родить, государева сына.

– Родишь, кундюбочка моя! Как свят Бог родишь! – прощаясь с ней, шепчет Пугачев.

5

Толпа у бочек с вином все еще бушевала. Многие перепились, свалились. Ненужная, несурзная в эту пору песня распластала крылья над опечаленной Бердской слободой. Шум, гвалт, дикие крики.

– Чего это они, безумцы? Рейнсдорпу сигналы, что ли, подают? – сказал Пугачев и велел выбить из бочек днища, а людям готовиться немедля к походу.

И вот полилось вино по улицам Берды, воздух замутился пьяным духом. К Емельяну Иванычу пришел Хлопуша.

– Батюшка, дозвожь проводить жену да сына в Сакмару? – попросил он, кланяясь в пояс.

– Ну, дак иди, только не задерживайся больно-то...

– Живчиком, царь-государь, живчиком!

– Деньги-то есть ли у тебя?

– Есть, батюшка.

– На еще, сгодятся. – И Пугачев подал ему два червонца. Он привязался к Хлопуше-Соколову, он любил его.

Емельяну Иванычу опасно было дожидаться, пока соберется вся армия, он решил взять с собой лишь десять пушек и две тысячи отборного войска вместе с яицкими казаками.

Перед маршем он еще раз обратился к атаманам:

– А как же с крестьянством быть? Ведь их в пять тысяч не уложишь...

– Да ведь мы усоветовались, батюшка, чтобы излишек крестьянства по жилам распустить, – сказал Шигаев, – чтобы всяк в свою сторону правился.

– Негоже так-то, Максим Григорьич. Ой, негоже что-то! – возразил Пугачев. – Для крестьянства так-то горазд обидно покажется.

Он велел собрать крестьян и появился на коне среди огромной их толпы. – Детушки, верное мое крестьянство! – приветливо и громко возгласил он. – Вам, поди, ведомо, что царицыны генералишки одолели нас под крепостью Татищевой. А бились мы, особливо крестьянство, да и казачество, допрямо скажу, бились храбро. А ныне мы рассудили, что пришло время нам отсюдов уходить. А то припрутся генералишки да Рейнсдорп из укрытия выйдет... Ну, так мы опасаемся, как бы нам не очутиться вмести с народом промеж двух костров.

– Так, батюшка, государь великий, правильны твои речи! – закричали из толпы. – Конечно, уходить отсель нужно... А вот мы-то как?

– Нудить вас, детушки, за собой идти мне, государю, негоже... А пошто так? Да пото, что в дороге сражение с генеральскими войсками доведется иметь. И вас, безоружных, солдаты порубят да постреляют насмерть. И вот вам мой императорский совет: кто похощет, езжай в обрат в свои дома, а ежели встренутся где в лесах солдатские отряды, бей их, а ихние обозы – грабь! А кои у вас доброконные, и ежели у них есть хотенье от моей армии не отлучаться, езжай за нами следом. Ну только, в таком разе, за жизни ваши ответы на свою душу не беру. И вдругорядь говорю вам: в пути армии моей многая опасность предлежит.

– Надежа-государь! – раздались голоса. – А коли мы проведем, что ты, свет наш, где да нибудь

обосновался, живой рукой оглобли повернем к тебе!

– Спасибо, детушки! Благодарствую! Да и по жителям подымайте народ, чтобы ко мне скопился. А то куда я без народа? Сила моя в вас!

Пугачев помедлил, затем снял шапку, поклонился народу, гулко сказал:

– Ну, а покамест прощай, верное мое крестьянство! Прости мне все прегрешенья пред тобой!..

– Что ты, батюшка, что ты! – взорвалась криками толпа. – Нас прости, Бога для, государь великой!..

Пугачев заметил, что многие крестьяне утирали кулаками слезы. Да и у него самого дрожало в груди.

Не мешкая, окруженный ближними, он впереди своей армии выехал из Берды в Переволоцкую крепость.

В сторону Оренбурга посмотрел он с яростью.

Взбаламученные крестьяне по отъезде Пугачева не расходились: вопрос о своей судьбе им предстояло решать немедленно. Положение их было действительно отчаянное: дороги рухнули, из Берды нет хода ни на санях, ни на телегах. Начались горячие споры, советы, пререкания. На душе у людей сплошное горе, переходящий в гневный, но бессильный ропот на судьбу, на Бога, на то, что вот они со многих отдаленных местностей собрались защищать «батюшку», ожидали скорой победы над врагом, а замест того под Татищевой беда стряслась! И удар этот упал на их головы совершенно неожиданно, как небесный гром зимой. Крестьяне соболезнующе говорили:

– Уж ежели нам, мужикам, тяжелехонько, так батюшке-то какво?

– Прямо с лица он изошел! Видали, братцы? Обыденком щеки-то ввалились.

– Нам горе, а ему вдвое!..

И снова споры, рассуждения. Конники склонялись к тому, чтобы, побросав сани и телеги, спешить верхом за «батюшкой», либо податься в свою сторону. Безлошадникам же выбраться было тяжеленько: поди-ка пошагай сотни верст по рухнувшим дорогам. Эхма-а-а!..

И вот среди шумной, озлобленной толпы появился в накинутой на плечи замызганной овчинной шубе, в чиновничьей шляпенке с бляхой тертый калач «чиновная ярыжка». Прислушался, принялся и стал крестьян застрашивать, стал давать всякие советы.

– Глупые вы, разглупые мужики! – обидно подхехекивая и прихлупывая утиным носом, гнусил он. – Ежели за рекомым батюшкой – хе-хе! – ударитесь, тогда войска ее императорского величества государыни Екатерины из вас кишки выпустят. А ежели домой тронетесь, тогда воинские отряды его высокопревосходительства губернатора Рейнсдорпа вас настигнут, в Оренбург отведут, там учнут вас, сиволапых, пытать да вешать... Так и так пропадать вам!..

– Так чего же делать-то? – вопрошали сбитые с толку, вконец запуганные и еще более озлобившиеся крестьяне.

– А вот вам мой совет, мужики неразумные, – прошамкал беззубый стрюцкий, облизнулся и поджал бритые изморщиненные губы. Затем, подбоченясь, каким-то начальническим тоном произнес: – Немедля ступайте-ка вы всем миром в Оренбург, ко дворцу господина губернатора, да со слезами и стенаниями покайтесь в великих ваших прегрешениях перед государыней императрицей!..

– Мила-а-й! – закричали крестьяне, в их глазах вдруг вспыхнуло гневное сверкание. – А ты сам-то, сам-то? Ведь мы тебя в канцелярии при батюшке видали сколько разов. А ты эвона какие слова зашибаешь!..

Да ты кто, этак твою так? За батюшку ты али за губернатора?

– А уж это не ваше собачье дело, – окрысился, забрызгался слюной «чиновная ярыжка». – Мне вас жаль, неразумные вы мужики! Вас злые люди в обман ввели и меня такожде... Я думал – царь он, батюшка-то ваш, а он обманщик, он беглый из казанского острога казак Пугачев Емелька, вот он кто!..

Тут разом налетели на него крестьяне:

– Бей ярыжку, бей стрюцкого! – Сшибли с ног, стали колошматить его, топтать ногами. Крестьяне – как взбесились: за время сборов и душевного смятения в них столько накопилось ярости, что они уже не помнили себя, они били ярыжку беспощадно, как насмерть бьют зачумевшую собаку.

Трусливый Рейнсдорп не предпринимал никаких действий к занятию опустевшей Берды. И лишь под вечер, когда армия Пугачева со всем обозом скрылась из поля зрения оренбургских жителей, усеявших вал крепости, губернатор решил послать в Берду воинский отряд под начальством офицера Зубова. Отряд, окруженный толпой голодных оренбуржцев, двигался степью. Зубов занял слободу без всякого сопротивления, захватил около пятидесяти, правда, неважных, пушек с боевыми припасами и семнадцать бочек медной монеты (1700 р.). А пришедшие с ним жители расхищали остатки имущества пугачевцев и все, что попадало под руку, главным же образом накидывались на продукты. И тут, конечно, не обошлось без ссор, без драк: изголодавшиеся люди раздражительны, жестоки.

К офицеру Зубову подвели схваченного, одетого в казацкий чекмень Шванвича. Под мышкой у молодого человека французская книга, в руке свежесрезанный хлыстик.

– Я офицер Шванвич – племянник Пугачева, – просто и без особого волнения сказал он.

– А вы знали, что то был Пугачев? И ежели знали, то почему же не предприняли никаких шагов к побегу?

– Считаю это бесполезным и опасным для своей жизни.

– Вы арестованы! Вы изменник! – запальчиво выкрикнул Зубов.

– Вопрос о том, кто я – изменник или не изменник, надеюсь, будет выясняться не здесь и не вами, – отпарировал грубый наскок пугачевский есаул Шванвич.

Оставленных пугачевцами припасов было в Берде немалое количество. В Оренбург потянулись обозы со съестным. Цены в городе сразу понизились. Пуд ржаной муки, стоивший за последнее время тринадцать рублей, 24 марта продавался за пятьдесят копеек.

Таким образом, всякая угроза Оренбургу миновала.

24 марта к Рейнсдорпу прискакал от князя Голицына гонец с известием о победе под Татищевой.

А вслед за явившимся гонцом привезли в город скованного по рукам и ногам Хлопушу.

Когда с женой и сыном он прибыл в Каргалу, то спросил пугачевского ставленника, каргалинского атамана Мусу Улеева:

– Собираешься ли ты, батюшка, за государем-то? А я вот в Сакмару бабу-то с ребенчишком везу.

– Дело наше бульно кудой, брат Хлопуша, – ответил Улеев. – Ты собирайся, куда знаешь, а я своего полка не пустил ни одна татарина. Все по домам сидят. Дело наше – яман... Сапсем дрянь!..

Хлопуша запечалился, мигал белесыми глазами, отяжелевшей, словно чужой рукой опраивлял он тряпицу на носу.

– А наш татарка Фатьма у вас работат? – спросил Улеев, покосив на Хлопушу глаза.

– У нас, – ответил Хлопуша. – Саблей рубится славно, казаку не уступит!

– Яман ее дело!.. Сапсем тьфу! Сапсем кудой... Закон рушит... Ая-яй, какой дрянь баба!.. Ая-яй!

В это время послышались за окнами женский визг и крики. Это голосили на улице жена Хлопуши с сыном. Их вязал с артелью татар тоже ставленник Пугачева, каргалинский сотник Абрешит. Хлопуша выбежал на шум и также был схвачен, отведен в кузню и закован.

Новые кандалы показались ему много тяжелее старых.

Страшная судьба этого человека завершилась внезапно... Судьба оглушила Хлопушу, как рыбаки глушат рыбу подо льдом. Сквозь густую тучу его жизни вдруг прорвалось яркое солнце, обманно засверкала недолгая свобода, и снова туча сомкнула свою хмурь – впереди стена, мрак, беспощадный путь в насильственную смерть. Хлопуша – закаленный человек, но и он сник. И одно лишь желание в нем было – желание вечного покоя.

Оренбург украсился флагами. В соборе служили благодарственный молебен. Рейнсдорп писал Голицыну на немецком языке:

«Победа, которую ваше сиятельство одержали над мятежниками, возвратила жизнь обитателям Оренбурга. Блокированный в течение шести месяцев, город этот обречен был на ужасный голод, а теперь оглашается радостью, и жители шлют пожелания благоденствия своему знаменитому избавителю».

В конце послания Рейнсдорп не постеснялся приписать и себе немалые заслуги: «Пугачев, через высланную от меня команду, будучи приведен в крайнее замешательство, бежал через общий Сырт, по видимому, на Переволоцкую крепость». Впрочем, наглое вранье губернатора послужило ему на пользу. Впоследствии он был хотя и не особенно щедро, но все же награжден Екатериной. Ему пожалованы знаки ордена Александра Невского и пятнадцать тысяч рублей.

Жители Оренбурга были на два года освобождены от подушного сбора.

Так закончилась знаменитая осада пугачевцами Оренбурга.

Книга третья

Часть первая

Глава I

Город Ржев. Долгополов собирается в опасный путь.

Москва, перелески, лес

1

Ржев – городишко торговый, довольно бойкий и промышленный.

Еще с начала века, при Петре I, был Ржев не в хорошей у правительства славе, как гнездо потаенного раскольничества и всякого рода противностей, продерзостей.

К числу раскольников принадлежал и состоятельный ржевский купец Остафий, Трифонов сын, Долгополов. Он изворотлив, тороват, гонял баржи с хлебом и со всякими товарами, вообще вел крупную торговлю, одно время был откупщиком, что приносило ему большие выгоды. Часто навевался в Питер, доставлял овес для царских конюшен и, по своей необычной пронырливости, имел даже беседу в Ораниенбауме с самим Петром Федоровичем, наследником престола.

Как-то сдал Долгополов в Ораниенбауме пятьсот четвертей овса, принимали тот овес Нарышкин и Д. И. Дебресан, денег же Долгополову пока что не дали, сказали: «В следующий приезд уплатим и с процентами». Ну что ж, без долгов не торговать, а за Богом молитва, за наследником престола долг не пропадет.

И случилось тут печальное событие: Петр Федорович воцарился и скоропостижно умер. Долгополов скорее в столицу, стал в царской конторе долг просить. Там ответили:

– Ежели у тебя расписки нет, так и не получишь ничего. Много тут вашей братии по смерти государя за долгами ходят.

Погоревал Долгополов и ни с чем возвратился восвояси...

Да уж, полно, не тот ли это Остафий Трифоныч, что, приехав в Петербург, сидел в день похорон Петра Третьего в трактире «Зеленая Дубрава» и, помнится, вместе с трактирщиком Барышниковым да придворным мясником Хряповым правили поминки по усопшем императоре? Да, он самый... Но то было давно, в 1762 году, с того времени одиннадцать лет прошло, мясник Хряпов разорился и подвизается где-то на полях пугачевского восстания, Барышников же разбогател чрезмерно, из трактирщиков стал знатным помещиком. Вот что с людьми делает время... Однако Долгополов о судьбе бывших своих знакомцев не знал ни сном ни духом, да и не до знакомых было человеку! Счастье изменило Долгополову. Он разорился, за неплатеж по векселям дважды в тюрьме сидел, вел темные торговые делишки, жил на каверзах, на мелких плутнях, купцы презирали его, но иные все же о нем думали: «Вернется, не таковский, хапнет где ни то».

Сам Долгополов также не терял надежды на милость Божию, вынюхивал, высматривал, как бы хитрого перехитрить, как бы ротозею за пазуху скакнуть. От скользких дум в ночи подушка под его головой вертелась.

И вот ударил час...

В зиму 1773 года шел Остафий Трифонович по базару, хотелось березовых веников для бани расстараться, и нагоняет его кум, и отводит его в сторону, и с уха на ухо говорит ему:

– Слышал, кум, про дела-то про великие? Будто под Оренбургом государь объявился, Петр Федорыч Третий.

Сухонький, невысокого роста, Долгополов отпрянул от кума, лицо выразило страх и удивление.

– Да что ты, кум, очнись! – замахал он на кума руками. – Статочное ли дело! Государь наш Петр Федорович умер, я в Невском монастыре не единожды на могиле его молился, ведь на нем семьсот рублей моих долгу числится... Откудов слух идет?

– От народа, от черни.

Домой Остафий Долгополов вернулся будто пьяный. Жене ни слова. После трапезы пошел в Божью горенку на ночь помолиться, встал на колени, разбросил коврик маленький, чтобы лбом в грязный пол не колотить, а сам все о кумовых словах думает, и молитва не идет на ум. И только руку с двоеперстием для крестного знамения занес, как встал в его мыслях – будто бы живой – царь Петр Федорович и улыбается, встали знатные бояре Нарышкин с Дебресаном и тоже улыгнулись. «Пользуйся», – сказали они все трое и, словно дым, исчезли. А в углу послышалось явственно, как царские лошади хрупают овес... Чей овес? Его овес, Остафия Долгополова.

«Эге-ге-е», – хитроумно подумал купец, подмигнул божнице с горящею лампадою, да из молельни вон.

И голова у него в огне, метался до самого утра. И тысячи соблазнов раздирали его сердце.

«Здравствуй, батюшка, светлый царь Петр Федорович! А дозвольте вашему величеству счетик предъявить, должок маленький имеется на вас...»

«Господи, вразуми меня, как пред государем речь держать... Скуден я разумом своим, а только клятву тебе приношу, Господи: ежели поверстаю долг, тебе свечку превеликую, попу ризу, а бедному люду целый рубль раздам».

Лютая трясовица напала на Остафия Трифоновича, а сверх нее – неборимая икота. Утром он обратился к мягкотелой, кругленькой жене, Домине Федуловне:

– Ну, баба, слушай со смирением и рюмы распускать чтобы ни-ни... Иначе сорву чепец, косу намотаю на руку. Отправляюсь я, баба глупая, в незадолге в Москву, засим во город во Казань, повезу туда красок, сказывают, там красок нетути, большую корысть чрез то можно поиметь. Сбирай меня в путь-дорогу, баба моя милая, покорливая...

Домина Федуловна сморщилась вся, захныкала, губки сковородничком, а плакать страшно. Вздохнув, сказала:

– Я воле твоей, государь Остафий Трифонович, не перечу. Езжай, ни то, благословлясь... Ау... – и с тем отошла горько постенать в молеленку.

А втапору жил-проживал во Ржеве великий открыватель, достославный химик и механик и на все руки искусный мастер Терентий Иванович Волосков. Сын беднейшего часовщика, благодаря неусыпным

трусам своим он был зажиточен и славен.

Вот к нему-то и направился хитрый купец Остафий Долгополов. Купцу всего сорок пять лет, а на вид можно дать и шестьдесят. Небольшой, щупловатый, в длинном раскольничьем кафтане, шел он, чуть прихрамывая (мозоли на ногах), крадущейся кошачьей походкой; на сухощекоем, в рябинах, личике крупный нос, безбровые прищуренные глазки да кой-какая бороденка с проседью, личико в постоянной плутовской улыбке с подхалимцем, а глазки туда-сюда виляют остренькими щупальцами, будто купчик хотел вымолвить: «Ой, пожалуй, не трожьте вы меня, приятели... Я раб Божий, тихо-смирно существую на земле. Ну а ежели кто в мои лапки попадетса – объегорю». Шапка, не по голове большая, рысья, на плечах лежит. Костромские рукавицы желтой кожи, с презрительной вышивкой. Широкий кушак, темный иссиня, с кистями.

Знатный морозец был, из труб дым столбом, жаренной на конопляном масле рыбой пахло. Шел купец, покряхтывая.

Дом достославного механика Волоскова стоял подле Волги, при овраге, – длинный, приземистый, крашенный в красную краску под кирпич, семь окон на улицу, да мезонинчик в три окна. Двор большой, надворная постройка справная, воздух пахнет скипидаром, щелоком и всякой дрянью, как в красильне. Люди ходят, их руки, лица вымазаны краской.

– Сам-то дома?

– Дома-с. Проверку часов делает. Ежели вы наелись чесноку, не дышите, механизмам вредно. Хи-хи-хи-с...

Отворил дверь, обшитую рогожей с войлоком, – сердито блок заскорготал, кирпич на веревочке поднялся – в кухне толстобокая стряпуха двумя пятернями голову скребет; проследовал в прихожую – пусто, козлиным голоском почтительно прикрякнул.

– Кто там? Шагайте сюда, ни то...

Батюшки мои, светы батюшки! Горница о четырех окнах, и чего-чего в ней не понатыркано: станки, ременные проводы, колесья, верстаки. А хламу разного во всех углах: железа, жести, меди, обрубков деревянных – горы... А вот и человек с толстой книжицей в руках. Высокий, в пестрединном балахоне, длинные в скобку волосы, густая борода, нос горбатый, пальцы желтые, продубленные крепкой кислотой, а черные глаза глядят со вниманием и строгостью.

Долгополов покрестился на иконы, разинул рот, левую руку на сердце положил, правую елико возможно вытянул и, согнувшись пополам в поясном поклоне хозяину, коснулся концами пальцев половицы.

– Здоров будь, Терентий Иваныч, со всеми чадами и домочадцами твоими во веки веков, аминь!..

– И ты здоров будь, Остафий Трифоныч, – мужественным голосом ответил хозяин. – С чем пожаловать изволил? Похвального любопытства ради али по делам?

– По делам, по делам, Терентий Иваныч-свет, – расправляя спину и прилизывая, будто кот, ладонями лысоватую голову свою, вкрадчивым голоском ответил гость. – Уж мне ли, неразумному, при худобе моей пытаться механику твою премудрую... Темен-бо умишком своим малым.

– Сие смирение зело похвально, но не основательно. – И хозяин ввел гостя в соседнюю горницу, штукатуренные стены коей, а равно и потолок были расписаны знаками Зодиака и затейными картинами.

– Батюшки, пушка! – удивленно с беззубым пришепетом прошлепал губами гость, ткнул перстом в медную, стоявшую на треноге махину.

– Вот и ошибся, гость дорогой, – заулыбался хозяин, – эта зрительная труба суть плод моего художества, чрез нее можно наблюдение иметь за ходом и природой тел небесных, сиречь можно улавливать природу в самом действии ее работы, а сие в едино и поучает, и забавляет. Да вот беда, стекла дюже плохи, нет прозрачности, и трещины кой-где идут. И горюшко мое, нет способа дознаться, как добрые стекла лить.

– Да-да-да, да-да-да, – прищелкивал языком, кивал головою, льстиво улыбался Долгополов. – О Господи, твоя воля... до чего доходит ум людской, до какой премудрости! А я к тебе, друг, за советом...

Хозяин хмуро взглянул на гостя, как на глупого барана, и подвел к знаменитым, своего изобретения, часам:

– Уж не взыщи, все покажу тебе, в чем жизнь моя течет. Вот – часы. Я положил на них много лет, чуть умом не тронулся, больше недели без памяти лежал. Но одолел, одолел! Время покорил. Законы заключил в медь и камень. Зри... – Да, да, добре строенные, пречудно... – Плюгавенький Долгополов, нагнув голову, смотрел исподлобья снизу вверх не столько на часы, сколько в рот с горячностью говорившего сорокалетнего бородача.

На крепком дубовом столе помещались в виде небольшого шкапика знаменитые часы Терентия Волоскова. Футляр красного дерева прост, изящен, отделан по бокам и по фронтону желтой медью, в середине – главный циферблат, по углам – четыре дополнительных. Они указывают ход солнца, фазы луны, год, месяц, число и исчисление церковного календаря.

– Особенного зраку нету в них, – без всякой любви, скорее с неприязнью к своему детищу, сказал, вздохнув, хозяин. – Пусть часы мои заслуживают почтения не пышными нарядами, а внутренней добротностью. В них в совокупности охвачено все, что соединено в природе неразрывной связью. – Бледное умное лицо хозяина приняло печальное выражение, на возбужденных глазах показались слезы, он снова вздохнул и, опустив голову, сел на скамью. – Эхма... Вот бьешься, бьешься... Ни науки не знаешь, ничего. Да и откуда знать? Дыра здесь. Ни людей, ни умного духа не слышать... Ну кому нужны эти часы, кому? Простолюдину они ни к чему. У помещика же труд даровой, пошто ему время знать? Вот и стоят часы мои, как чудо. Разве что знатный вельможа, может статься, забредет в мою келию да купит в кунсткамеру свою на погляденье людям...

– Дозволь тебя, Терентий Иваныч, спросить, – прервал хозяина заскучавший гость. – Слых в народе идет, будто бы объявился в Оренбурге государь Петр Федорович Третий.

– Нет, не слыхивал, – с суровостью ответил хозяин. – Да подобной глупости и слухать не хочу... А вот принес мне весточку ученый один знатец. Будто бы англичанин Гаррисон изобрел морские часы с цилиндрическим спуском, они полтора года в море плавали, в зыбь и бурю, и уклонились от истинного времени токмо на полторы минуты. Вот это часы!.. От адмиралтейства Гаррисон премию зело великую получил...

– Оный разговор для меня вещь недоуменная, Терентий Иванович... Уж не обидься, пожалуй, – прошамкал гость. – Ведь я насчет красочки к тебе, насчет кармину...

– Пойдем, – встал хозяин и ввел гостя в третью горенку с книжными шкапами. – Эта хранина вивлиофика называется. Мысль мудрецов мира сего заключена в письма, письма в листы, листы в переплет, сиречь в книгу, книги же заключены в шкапы. А вкупе все – по-гречески – вивлиофика...

– Господи, Господи... – причмокивая губами и закатывая глазки, воскликнул гость. – Каких же капиталов тебе стоила эта премудрость... Сколько овса на эти денежки можно закупить, да муки, да ситцев с сукнами, какие великие обороты можно делать... Эх, бить тебя некому, Терентий Иваныч, уж ты прости меня, пожалуй, не сердчай...

– Бить? – нахмурился хозяин, и по его бледному лицу дрожь прошла. Гость попятился и замигал. – Меня и так жизнь бьет изрядно... Вся душа избита невниманием... Многие знатные люди перебивали у меня – и графы, и губернаторы, и чиновники всех рангов. Насулят-насулят и ни с чем уедут. Только насмеются в душе беспримерному упорству моему над машиной сложнейшей, но никому не надобной. А окажи мне государственные люди вниманье да помощь, эх, что бы было, каких бы громких делов я натворил, каких бы затей навывдумывал на пользу отечества... А здесь... Знаешь что, знаешь что, гость любезный? Здесь даже поговаривали, особливо попы наши, чернокнижием-де занимается Волосков, планеты небесные-де рассматривает. О прошлом годе науськали мужиков на базаре бить меня... Ну, пойдем из сада мудрости, чую – не по плечу тебе...

– Ах, верно, друг, ах, верно... Истинно сад мудрости... – обрадованно загнусавил, зашамкал Остафий Долгополов и, юрко протянув руку к лежащему на столе немецкому гаечному ключу, незаметно сунул его на ходу в карман свой. – Ах, ах! Ну до чего речи твои мудрые, до чего пресладок глас твой...

Они вышли из покоев, пересекли двор; барбосы, виляя хвостами, залаяли на чужака, хозяин и гость вошли в избушку возле бани, маленькую красочную фабричку.

– Отец мой, царство ему небесное, был, как тебе ведомо, часовщиком, искусству от немцев обучен, и жил он в скудной бедности. Нешто часами в сем городишке проживешь! И стал он яркие краски выделывать – кармин да бакан. Только краски, надо прямо сказать, были плоховаты у отца. А тут, сам знаешь, армия наша зело возросла, сукна для обмундирования занадобилась бездна, на краски страшный спрос. Ну вот, значит, как возмужал я, начал с красочным делом возиться, сорт улучшать...

– Терентий Иваныч, свет, одолжи ты мне, Бога для, кармину да бакану своего. Еду я в Казань-город, тамо-ка, сказывают, в красках великая нужда, вот поеду, продам с барышом и денежки тебе доставлю, свет, с поклоном низким... А нет, лисьих мехов в орде куплю... Уж я не обману, я человек верный, кого хошь спроси.

Хозяин знал, что слава про Долгополова идет худая: прощельжник, жох, но по мягкому нраву своему не мог отказать купцу:

– Ладно, краски дам, ни то. (Долгополов косорото осклабился – рот до ушей, бороденка уперлась в левое плечо.) А кармин у меня добрецкий, можно сказать – на всю Россию знаменитый, пробу посылал в Санкт-Петербург, в Академию художеств, постановлено признать кармин Терентия Волоскова «зело отличным и пригодным для изображения на картинах багрянца и малинового бархата с отливом», так и в грамоте на сей счет прописано. Да и на фабриках для ситцепечатания, для сукон кармин мой в ход пошел, заказов не обери-бери! – Волосков выпрямился, гордо откинул голову. – В сем звании красочных дел мастера служу государству и промышленности нашей... И сим горжусь...

– Исполать тебе, свет Терентий Иваныч! – вновь отвесил ему купец поясной поклон.

Льстивостью, нахрапцем Долгополов сумел выклянчить у хозяина два изрядных тючка красок и сто рублей наличными деньгами.

2

Мороз крепчал. На базаре крик, гам, толчея. Долгополова за полы хватают, всяк рвет покупателя к себе:

– А вот поросеночек, а вот!..

Купил Долгополов живого поросенка, взвалил в мешке на загорбок и посеменял мелкими шажками к воеводе. «Первейшее дело – пашпорт. А ну как не даст?..»

Воевода Ржева-города всем воеводам воевода, секунд-майор Сергей Онуфриевич Сухожилин, а по прозванию Таракан. Такое от народа прозвище он получил не зря и вовсе не за свою наружность, а по причине практичного, во благо градожителй, ума. Но об этом замечательном событии мы своевременно читателей оповестим.

Воевода Сухожилин-Таракан – сын полка, он в армии Елизаветы дослужился до сержанта, а по хлопотам проживавшей во Ржеве княгини Хилковой был произведен в офицерский чин и назначен ржевским воеводой. Несет он бремя службы вот уже двадцать лет, сначала был корпусом строен, затем стал богатеть, толстеть. Сначала ходил бритым, в парике, затем, махнув рукой на приказ, отпустил бородищу и лохматые волосы, как у кержака. Нрав у воеводы крутой, горячий, глаза завидущие, руки загребущие, да к тому же и добрым разумом не наделил его Господь, водились за ним такие фокусы, что – ах! Но милостию Божией, доброхотным заступлением престарелой княгини Хилковой, а наипаче через взятку златом, снедью и чем попало, воевода Таракан всякий раз выходил из-под суда бел и чист, аки снег блистающий. Слава тебе, Господи, и тебе, княгиня, и вам, продажные суды, продажные души, великая слава и честь во веки веков. Аминь.

Мороз за щеки хватает, поросенок визжит, купец покряхтывает. А вот и богатый каменный воеводин дом. У ворот в полосатой будке дремлет будочник с алебардой на плече, возле его ног рыжая шавочка по-сердитому пошавкивает.

– Песик, песик, на! – С опаской оглядываясь на собачку, купец юркнул во двор, сдал поросеночка на кухне с низким поклоном воеводине, сам – в канцелярию.

Пусто, столы заляпаны чернилами, гусиные перья разбросаны, пол в плевках, в рваных бумажонках. На воеводинском, под красным сукном, столе – петровских времен зеркало, пропыленные дела, на делах разомлевший кот дремлет, над столом в золоченой раме ее величество висит, через плечо генеральская лента со звездой, расчудесными глазами весело на Долгополова взирает.

Нет никого, в открытую дверь мужественный храп несется, надо быть, сам воевода после сытной снеди дрыхнет. Долгополов топнул, кашлянул. Храпит начальство. Долгополов двинул ногой табуретку, двинул стол, барашком крикнул:

– Здравия желаю! Это я...

Храп сразу лопнул, воевода замычал, застонал, сплюнул и мерзопакостно изволил обругаться:

– Эй, писчик! Ты что, сволочь, так шумишь, спать не даешь? Рыло разобью!

– Это я, отец воевода, – загнусил высоким голосом Остафий Трифионович. – Раб твой худородный, купчишка Долгополов челом тебе бить пришел. Не прогневайся, выйди, отец-благодетель...

В доме жара, от печей горячий воздух тек, обрюзгший большебрюхий воевода выплыл из покоев в подштанниках, в расстегнутой рубашке, босой. Волосы всклоочены, борода лохмата, глаза бараньи, губы толстые. За окном сумерки, в канцелярии серый полумрак.

– Ты чего, дьявол, стучишь? – крикнул воевода. – Ах, это ты, Долгополов? Я думал – подканцелярист... Пошто поздно? Присутствие закрыто ведь, – воевода рыгнул, перекрестил рот, почесал брюхо, сел за стол. – Что скажешь?

– Ой, отец-воевода, Сергей Онуфрич, до твоей милости я, паспорт хочу исхлопотать, хочу в Москву да в Казань-город ехать по спешным делам моим.

– Эй, дай-ко-те квасу мне! – опять крикнул воевода и пожевал пересохшими губами. Потом прищурился на Долгополова, державшего под пазухой два тючка с красками, подумал: «Прощельжник... Давно бы тебя, прощельжника, надобно в кнуты взять, в тюрьме сгноить... Ишь ты, тюрючки. Мне люди добрые мешками носят». И воевода, отдуваясь, прохрипел: – Пашпорт тебе надобен? В Москву? В Казань?

– Так точно, милостивец, – переступил Долгополов мозолистыми ногами и благопристойно покашлял в горсть.

Воевода вдруг заорал:

– Марья! Квасу! – и стукнул жирным кулачищем по столешнице.

Спавший на столе кот в испуге вскочил, хищно прижал уши, хозяин сшиб его на пол, а купчик рыбкой нырнул в кухню, принес деревянный жбан и кружку белого фаянса. Воевода окатил душу холодненьким, перевел дух и сказал:

– Нет, не будет тебе пашпорта. Ты весь век свой шляешься, не сидится тебе на месте-то... Ты хлюст порядочный...

Долгополов сунул тюрючки на скамейку, всплеснул руками и, скосоротившись, повалился на колени:

– Милостивец, батюшка! Не губи, выдай... Самонужнейшие дела у меня в Казани.

– С пустыми руками к воеводе не ходят. Нет, не дам...

– Я твоей супруге поросеночка живенького принес. Сосунок. К Рождеству Христову выкормишь.

– Поросеночка? Сам ешь. Не больно корыстен поросенок твой. Ступай с Богом, не дам.

– Батюшка, воевода пречестной! – взмолился Долгополов. – Я ныне человек разорившийся, панкрут, сам изволишь знать... А в дороге чаю дела поправить, может, паки богатым стану, паки откуп в Питере сниму, золотом засыплю тебя, отец.

– Ты на посуле, как на стуле... Знаю тебя, хлюст ты... Ступай!

Воевода встал и ушел в покои, захлопнув дверь.

Долгополов покачал сокрушенно головой, вышел ни с чем на улицу. Сумерки сгущались. На западе широкая заря стояла. На желтом небе, как на золоте, синели маковки церквей и колоколен. Будочник, взгромоздившись на приставленную к столбу лестницу, оправлял фонарь, подливая в него конопляное масло. На мрачно прошагавшего Долгополова рыжая шавочка пошавкивала. На душе у Долгополова кошки скребут. Ну да ничего, он этого воеводу-хабарника еще уломает.

– А ну-ка, стукнусь к Твердозадову, авось еще не дрыхнет, авось денъжат с него сдерну; без денъжат куда пойдешь, – вслух подумал опечаленный Остафий Трифонович.

Купец Абросим Твердозадов канатную фабричку имел, почитался в больших тыщах, недавно кирпичную церковь старообрядцам пожертвовал, но был груб, суров и на руку дюже ёрзок. Во Ржеве до пятнадцати таких канатных заведений, купцы делали из конопли веревки самым незатейливым способом, а в работных людях у них городская голытьба да оброчные крестьяне.

Подошел Долгополов к кирпичному двухэтажному дому. Над дубовыми воротами крест восьмиконечный врезан, под ним – медный складень. Постучал в калитку, спросил дворника:

– Сам-то дома?

– Дома. Токмо ной у него в поясах, спину пересекло, кажись, лежит.

По блоку злющий кобель на цепи взад-вперед сигал и люто лез на оробевшего купца. Творя молитву от укусов песьих, Долгополов на черное крыльцо, дернул в кухню дверь – не поддается, дернул со всей силы – плохо заложенный крючок слетел, дверь разом распахнулась. Долгополова обдало паром, как из бани. Он шагнул в кухню и, чтоб тепла не упустить, захлопнул за собой дверь. Два сальных огарка сквозь пар чадят. Опершись о печку руками, согнув широкую красную спину (бородатую с плешью голову вниз), стоял голый человечище, хозяин Абросим Силыч Твердозадов, а его дородная красавица жена, тоже голая по пояс, в какой-то коротенькой юбчонке, со всем усердием и с молитвенным от немощи причетом растирала редькой поясницу супруга своего. Голый человечище кряхтел, охал, жалобно постанывал.

И лишь захлопнул вошедший Долгополов за собой дверь, вспугнутая хозяйка с визгом: «Ой-ой, кто это такое вперся?» – бросилась в покои, голый же человечище, не меняя положения, только обернул бородатый лик свой в сторону вошедшего и сипло закричал:

– Дворник, ты? Эк тебя, дьявола, прости меня, Господи, черти-то носят. Никак, крюк с двери сорвал. Пошел, стерва, вон!..

– Не извольте беспокоиться, Абросим Силыч. Это не дворник, а самолично я, Долгополов Остафий...

– Ты? Пошто ты, тварь, не в показанное время лезешь, пошто двери чужие ломаешь, аки тать? Тут женщина в нагом естестве, а он, собака...

– Я, Абросим Силыч, видит Бог, защурившись стоял и наготы вашей супруги не заметил, – врал Долгополов, отлично зная, сколь ревнив был Твердозадов к красавице жене своей. – Я, Абросим Силыч, в простоте душевной деньжонок у вас попризанять насмелился-с... Дозарезу нужны, Абросим Силыч... Погибаю-с, – пел елейным голосочком Долгополов.

Забыв про поясницу, ревнивый муж вгорячах быстро распрямылся, от резкой боли застонал и, шагнув к попятившемуся Долгополову, весь затрясся в злобе:

– Тебе... денег... Тьфу!.. Ты, мошенник, чуть в трубу меня не выпустил. Плут ты, по тебе давно тюрьма плачет... Уйди, зелье лихое, пока я тебе щелоком морды не ошпарил.

Долгополов схватился за дверную скобку:

– Не извольте гневаться, Абросим Силыч. Уж ежели я мошенник да плут, так вы вдвое...

Великан хозяин молниеносно сгреб ухват, замахнулся им на Долгополова, пинком ноги вышиб его за дверь и, выскочив вслед за ним, орал:

– Митька! Ивашка!.. Спускай собак... Трави его, асмодея!

Впереверт кувыркаясь с лестницы, заполошно орал и Долгополов:

– Постой, постой, длиннородый черт! Я те покажу, как честных людей увечить... Я самому воеводе жалобу подам! Он те бороду-то рыжую убавит...

– Чихал я на твоего воеводу-дурака! Жулик твой воевода, крохобор. Ивашка, черт, чего смотришь? Дуй его!

И Твердозадов, опять заохав, скрылся в кухню, а дворник схватил Долгополова за шиворот и поволок со двора, как волк барана.

3

На другой день мрачный Остафий Трифонович, похлебав толокна с квасом, снова направился в воеводскую канцелярию. Скучала поясница, побаливала голова от вчерашней затрешины. Подьячий в медных больших очках, писчик и два подкopiиста, поскрипывая гусиными перьями, строчили бумаги. Кот сидел на полке с законами, умывался лапой, зазывал гостей. Воеводы не было. По случаю рождественского поста он говел, еще из церкви не приехал. Долгополов вышел на улицу, ждал у ворот, вел беседу с будочником.

– Идет, идет такой слушок, – охрипшим голосом говорил бударь, для сугрева переминаясь с ноги на ногу. – Токмо я сему веры не даю, ни Боже мой! Может ли такое статься, чтобы из мертвых царь воскрес? Ни Боже мой! Вчерась двоих пьяных загребли в кабаке за язычок, маленько попытали батожьем острастки ради, да с пьяного чего возьмешь...

Подкатил воевода с бубенцами. Прохожие, сдернув с голов шапки, низко кланялись начальству. Долгополов подхватил воеводу под ручку, подсобил из саней выпростаться, на крыльцо взойти.

– Не дам, не дам, – бормотал воевода, обдирая сосульки с густых усов. – За пашпортом? Не дам...

– Я, отец воевода, с жалобой к твоей милости пришел. Дай защиту...

– С жалобой? На кого показываешь?

– На ирода и разбойника, на Аброську Твердозадова.

– Ась, ась? – и воевода, чтоб лучше слышать, отогнул стоявший кибиткой лисий воротник. – На кого? На Аброську Твердозадова? Давай-давай его сюда... Он предо мной шапки не ломает, его гордыня заела. Он, подлец, на меня в Тверь жалобу писал... Он вроде тебя – хлюст, а нет, так и погаже... Давай-давай... В чем обвиняешь? Шагай за мной...

Воевода стал веселым, суетливым, сказал:

– Обожди, пожалуй, в канцелярии, я чайку испью. Приобщался сегодня я...

Через час в канцелярии появился воевода в кургузом мундире и при шпаге. Все вскочили, бросили перья, с низким, подобоострастным поклоном гулко прокричали:

– С принятием святых таинств поздравляем, васкородие! Имеем честь!

– Спасибо, ребята... Долгополов! Показывай, в чем дело. Иван Парфентьич, садись сюда, пиши...

Долгополов и подьячий подошли к красному столу. Подьячий, гусиное перо за ухом, сел, разложил перед собой голубовато-серые листы бумаги, протер концом скатерти очки, откашлялся. Писчики, вода вхолостую перьями и притворяясь, что усердно пишут, наострили уши. Долгополов гундосым голосом стал давать показания, стараясь обелить себя и во всем обвиновать Твердозадова.

– ...Тут он, аспид, сверзил меня с лестницы и начал всячески поносить твою милость, отец-воевода, непотребной бранью...

– Какими словесами?

– Срамно вымолвить. Не точию словом произносить, но и писать зело гнусно и мерзко, сиречь такие словеса, ажно язык мой прильпне к гортани моя... Боюсь.

– Ну, молви, молви смело, не опасайся... А нет – и тебе, хлюст путаный, кнуты будут. – И бараньи глаза воеводы омрачились.

– Господин воевода! Лучше допроси дворника евонного, Ивашку. Он, смерд, слышал хозяйскую хулу на твою милость... Вели сыскать его. Да и Аброську Твердозадова зови...

– Писчик! – крикнул воевода. – Пошли солдата за Ивашкой.

Вскоре привели в канцелярию Ивашку. Это – широкоплечий, приземистый парень лет двадцати пяти, кудрявый, без бороды и без усов. Глаза злые, губы толстые. Он – сирота, крепостной господ Сабуровых, числился на оброке, подрядился, по письменному договору, служить три года Твердозадову на его канатной фабричке. И, как водится, попал в большую кабалу: помещик вскоре запродавал его еще на два года и половину денег за его службу забрал вперед. А служба у купца анафемская. Пробовал Ивашка бежать, но был сыскан, отдан на расправу воеводе. Получив от Твердозадова мзду, воевода самолично избил Ивашку, приказал выдрать его, а после порки водворил бегуна снова в кабалу к купцу, Ивашка озлобился. На своего хозяина, на зажиточных людей и на все начальство глядел лютым зверем.

– А-а, знакомый! – притворно весело, но с затаенной неприязнью воскликнул воевода. И начался допрос.

Ивашка, опасаясь от Твердозадова побоев, запирался:

– Знать не знаю, ведать не ведаю, а чтоб хозяин ругал вашу милость, не слыхивал.

– Ишь, мужик-деревня, голова тетерья! – зашумел на него Долгополов и угрожал перстом. – В запор пошел. А не ты ли меня, волчья сыть, выволок за ворота да кулачищем по загривку? После того разу я смешался, куда бежать...

– Нетути, не видел я вас, – сказал Ивашка, – я втапору в трепальне обретался, пеньку чесал.

Долгополов хлопнул себя по бедрам, закачал головой и прогнусил, ехидно улыбаясь:

– А-я-яй, а-яй... Подлец какой ты, парень! Побойся Бога, пост ведь.

– Выходит, ты не слыхал, как меня хозяин твой честил? – сердито спросил воевода и нахмурился.

– Сказывал, не слыхал, – с грубостью ответил парень. Воевода ударил в стол и закричал:

– Р-розог сюда!.. Палача сюда! Ребята, вали его на пол, спущай портки!

Три старых солдата брякнули Ивашку на пол, сорвали полушубок, перевернули носом вниз, оголили спину. В красной рубахе косою палач пришел, под пазухой – пучок розог. На ноги Ивашке сел солдат, на шею – другой, а третий солдат крепко держал вытянутые вдоль пола руки парня. Ивашка пыхтел, скрежетал зубами.

– А ну, ожги, – командирским басом приказал воевода, встал, подбоченился, шагнул к Ивашке.

И только палач замахнулся, Ивашка заорал:

– Винюсь! Винюсь!!

Палач недовольно кинул розги, парень встал.

– Сказывай! – крикнул ему воевода. – Иван Парфентьич, записывай за ним.

Глаза Ивашки засверкали, застучала кровь в виски, он подумал: «Эх, была не была, и хозяину, и воеводе молебен закачу...» – и, вымещая злобу, с плеча начал поливать начальника:

– А пушил он твою милость вот как: «Этот сукин сын, воевода Таракан самый, – говорит, – из подлецов подлец... Самый хриstopродавец. Я его знаю, Таракана, подлеца!.. Он чем попало, мол, хабару берет. Весь город ограбил. Народ истязует. Девку, мол, изнасильничал... Каторжник воевода, подлюга, казнокрад... В петлю его, сукина сына, давно пора... Убивец! Вор! Тараканище, этак и этак его растак...»

Поднялся переполох. Воевода размахнулся, подпрыгнул и, ударив парня по шее, сверзил его на пол. Писчики, подкопиисты повскакали с мест.

– Волоки его, волоки! В холодную! Держать, гада, без выпуска, – свирепел воевода. – Гей, люди! Сыскать купца сюда! Твердозадова! Крамола! Смерды головы подьемлют, аки змеи... Эвот под Оренбургом низкая сволочь бунт бунтует. Я вам покажу Петра Федоровича императора! Слава Богу, государыня у нас, матушка Екатерина! Сыскать купца!

Парня поволокли вон. Служащие стояли как в оцепенении, тряслись. Лисье личико Долгополова покрылось крупным потом, красными пятнами пошло, а в прищуренных глазах неудержимый смех. Ослабевший от бешенства, толстобрюхий воевода пробирался, словно пьяный, к себе в покои, тяжело переводил дух, хватался за сердце.

– Батюшка, Сергей Онуфрич, – взяла его под руку молодая краснощекая воеводица, дочь простого посадского человека, – что же ты, голубчик мой, ради принятия святых таинств в этакий раж вошел: кричишь, ругаешься, людей бьешь... Ой, грех какой, ой, грех какой, право ну. Разденься, ляг, отдохни. Глянь, вздышишь-то, словно рыба на песке. Мотри, кондрашка хватит.

Воевода струсил слов ее, разделся, отдуваясь, выпил квасу, лег в постель. Свалили его поносные выкрики Ивашки. Господи, Боже мой, ведь всю правду смерд про воеводу молвил. Христопродавец, взяточник, вор, насильник, казнокрад... Так оно и есть. А как иначе? Вот нагрянет губернаторская ревизия – тут неладно, там неладно, здесь упущение по службе, – всех надо ублаготворить, всякому хапуге-ревизору взятку дать. Вот и приходится с застращенных жителей тянуть... Эх, доля ты служилая!

Вернулись солдаты, доложили подьячему, а подьячий воеводе:

– Повинного пред твоей милостью купца Твердозадова добыть солдаты не доспелись. И сказали те посланные тобой солдаты, коль скоро-де подошли они к хороминам купца, ворота-де оказались на запоре, а сам винный пред твоей милостью купец шумел-де из-за ворот: у воеводы-де руки коротки тягать промышленных купцов в воеводскую канцелярию, такого-де закона нет, а есть закон тягать оных фабрикантов в мануфактур-коллегию. И посему-де уходите прочь, иначе псов спущу, работных людей скличу, худо будет! И, шумя так, два выстрела из пистоля в воздух дал. Какое изволишь, воевода-государь, распоряжение учинить?

И подьячий поклонился воеводе. Тот, лежа на кровати, помедлил, поохал и слабым голосом сказал:

– Для ради того, как я сей день причащался, а вчерась каялся в грехах самому Христу, кой заповедал нам прощать врагам своим, я данной мне от великой государыни властью того винного предо мной купца Твердозадова на сей раз прощаю. Объяви сие.

– А как прикажешь...

– А того смерда Ивашку, дав ему острастки ради двадцати пяти горячих лоз, отпустить домой, мерзавца, с миром.

Когда подьячий на цыпочках вышел, воевода, устремив глаза к образу с лампадой, переживал в душе светлые минуты христианской добродетели: обидчика простил, парня наказал слегка рукой отеческой и отпустил домой.

– Зарежу воеводу, нарежу воеводу... Вот подохнуть, нарежу, – с остервенением бубнил измордованный Ивашка себе под нос, уходя с воеводского двора.

4

Наступили рождественские праздники. Все учреждения – воеводская канцелярия, суд, земская изба – закрыты на две недели. По старинному обычаю отворились двери тюрьмы, колодники были распущены по домам на подписку и поруки. В неволе остались на праздник только те, которых надлежало держать «неисходно без выпуску».

Загудели колокола, праздный народ валом повалил в церкви. Затем пошло исстари установленное обжорство, пьянство, плясы. Иные опивались насмерть или в пьяном виде замерзали под забором. По улицам в вечернюю пору разъезжали, шлялись ряженые.

У воеводы, бургомистра, ратмана, именитого купечества шли шумные пиры. Подвыпив, иногда на пирах дрались, вырывали друг другу бороды, били посуду.

Воевода за святки допился до чертиков, его дважды отливали водой, цирюльник пускал кровь ему.

А в день Крещения, после водосвятия на Волге, как ушел крестный ход, многие стали купаться в иорданской проруби. Поохотился и воевода очистить в святой воде тяжкие прегрешения свои. Он подкатил на расписных санях с коврами. Жена плакала, вопила: «Не пущайте его, люди добрые, не пущайте: он не в себе, утонет!» Воевода рванулся от жены, сбросил шубу на руки рассыльного, сбросил валенки, длинную фланелевую рубаху (больше ничего на нем не было), перекрестился и, загоготав, скакнул, как грузный морж, в прорубь. Зеленая вода взбулькнула, волной выплеснулась на сизый лед. Праздничная толпа зевак захохотала. Выкрикивала:

– Эй, Таракан! Воевода! Город горит!

– Воевода! Тараканы ползут!..

– Поджигай!..

Зажав ноздри и уши, воевода трижды с поспешностью погрузился в святую воду, выскочил, сунул ноги в валенки, накинул шубу, упал в сани:

– Погоняй!

Вдогонку хохот, свист, бегущая орава веселых ребятишек.

– Эй, Таракан, Таракан! – голосили мальчишки.

– Глянь, глянь, Таракан водку хлещет!

Воевода, злобно выкатывая бараньи глаза, грозил кулаком, ругался:

– Гей, стража! Дери их, чертенят, кнутом, – и тянул из фляги романею.

Давно было дело, а народ все еще не может забыть той смешной истории и до сих пор зовет воеводу Тараканом. История же такова. Однажды в летнее время по неосторожному обращению с огнем просвирни Феклы Ларионовой сгорело почти полгорода. После пожара к растерявшемуся воеводе валили кучами разные советчики: старушонки, посадские люди, ворожейники, духовенство, Христа ради юродивые, закоренелые старообрядцы, прорицатели и, предсказывая второй пожар горше первого, давали воеводе разные суеверные советы, один глупей другого. Воевода сшибся с панталыку, а как не густ был разумом, то, избегая брать на себя ответственность, решил подать в Санкт-Петербург запросную бумагу.

Этот рапорт в виде курьеза был доложен государыне.

Прочтя оный, Екатерина Алексеевна грустно улыбнулась, потом рассмеялась, потом стала хохотать. Засим помрачнела, изволила взять в ручку карандашик золотой и, поджав губы и сделав ямки на щеках, положила резолюцию:

Так и пошло с тех пор воеводе прозвище – Таракан да Таракан.

Святки в городе, слава Богу, завершились. Без душевного, без телесного повреждения остались во Ржеве-граде немногие. В их числе был и знаменитый самоучка Терентий Иванович Волосков. В первый день Рождества, по своему почетному положению, принимал у себя поздравителей, сам ездил с поздравкой, но пил сдержанно, да и то самое слабое вино. На второй день накатила на него от непривычного безделья зеленая скучища. На третий день изобретатель с утра обложился книгами, с жадностью поглощал рукописные листы перевода «Астрономических лекций шотландского механика Джемса Фергесона» (перевод сделан тоже ржевским жителем – механиком Собакиным), читал Евангелие, Апокалипсис, Библию, стараясь вникнуть в премудрость притчей Соломона. А назавтра собрался сходить в гости к мозговитому купцу Матвею Алексеевичу Чернятину: купец сам измыслил и по своим чертежам сооружал какую-то небывалую механическую кузницу. Ржев славен был одаренными людьми!

Невзирая на свою деловитость, на преданность изобретательским идеям, Терентий Иванович Волосков был одинок душой и по-своему несчастен. Он искренне скорбел неустройством жизни русской, повреждением нравов, торговлей крепостными, как собаками, всеобщей темнотой. И не было такого человека по плечу ему, чтобы разделить с ним тягостные думы.

– Доколе, Господи, потерпишь всю мерзость запустения на Руси святой? – жаловался он в пространство. – Кругом бесправие, разбой, прямо сердцу больно. Держава наша, Господи, в опасности... Бабий век грянул: не помнящая родства Екатерина^[35], две Анны, веселая Елисафет, опять Екатерина. Пышно, суетно живет царица, сразу по пятьдесят тысяч мужиков с землей любовникам своим дарит. Вот где горе земли русской, вот над чем должно зубовно скрежетать и злобные слезы лить! А при высочайшем дворе блеск горше тьмы и блуд горше Вавилона. От этого ослепляющего блеска слепнет всякий, стоящий в блеске, – иноземные послы, русские вельможи и дворяне – слепнет и уже не видит ничего, что творится в зело просторной стране нашей. Вот я, Терентий Волосков, паки и паки вопрошаю себя: что делать, с чего начать, чем помощь оказать родине своей? Вопрошаю тщетно, и нет ответа, все нет ответа на помыслы мои.

Так мучился сам с собою совестливый самоучка Терентий Иванович Волосков.

И подобных людей большого ума и сердца, несчитанных, неизвестных, было несметное в России множество. Сидели они, как жемчужины в навозе, во Ржевах, Нижних Новгородах, Барнаулах, Бежецках, Великих Устюгах, в селах, в весях, в тюрьмах, на каторге.

Сильные духом, но беспомощные разьединенностью своей, они даже не ведали друг о друге.

И неустроенная жизнь текла над ними.

Жизнь – голодная и мрачная – в низменных пластах деревни; жизнь – блестящая, среди даровой бесчеловечной роскоши – в тоненьком пласте вельможного дворянства; жизнь – расчетливая до полушки, жизнь – грабительская – в гнездах молодой породы: крупных коммерческих дельцов, фабрикантов, именитого купечества, – вся эта неустроенная жизнь, бедная богатством, богатая малограмотными попами, разбойниками при больших дорогах, продажными сенаторами, подкупными судьями, всякой строкой приказной и тому подобными паразитами, сосущими кровь людскую, – эта сумеречная, несправная жизнь во всей полноте своей и наглой обнаженности текла неспешно над головами людей большого сердца, людей несчитанных, неизвестных.

И вот несчитанный, неизвестный купец Остафий Долгополов пылко восхотел считанным да славным

сделаться, и, того не ведая, из неизвестных он таки в русскую восемнадцатого века историю попал. С превеликим злоключением, опасностью, страхом – того достиг. А достигнув, не рад был своей жизни.

В конце февраля, после масленичной гульбы с блинами, Остафий Долгополов помчался на ясные очи Петра Федорыча Третьего – в его царские нозы бултыхнуться, должок сквитать, всякие, корысти ради, выгоды себе заполучить...

Знай, ямщик, кого снежными полями мчишь. Легче, ямщикок, на поворотах, громче свищи, удалей песни пой, подстегивай кнутом своих кобылок!

Сани скользом-скользом, снегом голубеющим осыпаны просторы, серебристые посвисты в ушах, колокольчик под дугой выбрякивает заунывную какую-то, тоскливую, тоскующую музыку: «Со святыми упокой душу новопреставленного раба твоего Остафия». Но никто не скажет: в смерть или к преуспеянию жительскому несется смелый Остафий Долгополов.

Остафий Долгополов несется скользом-скользом прямо в пекло, на опасное свиданьице к самому Емельяну Пугачеву.

5

До Москвы Долгополов ехал весьма благополучно. Правда, в пути, по наущению дьявола, были мелкие невзгоды, впрочем сказать, денег за постой он не платил, а при прощании объявлял хозяевам, что, мол, правится в Москву за благословением к митрополиту, оттуда же через море-океан во славный град Ерусалим, к святой Пасхе, и нет ли, мол, у вас, хозяева, усердия записать ваши имена в «о здравие», чтоб ерусалимский владыка-патриарх помянул их на Голгофе. Ну, известное дело, благочестивые хозяева постоянных дворов с радостью совали купцу деньги на красную свечу ко гробу Господню, купец деньги принимал, а святые имена доброхотов вписывал в книжицу свою. Так, не торопясь, и ехал, незаметно прихватывая впопыхах то новые рукавицы, то девичий платок, то старушечьи чулки из толстой шерсти.

Лишь в притрактовом селе Паскудине заминка вышла. Ночевал Долгополов у попа, приветливая матушка накормила его пирогом с солеными груздями да ухой, он в благодарность благовествовал, либо сказывал побаски, утром распрощался по-приятельски и поехал с миром.

И только миновал лесок, глядь-поглядь, нагоняют двое верховых:

– Стой, ворище, стой!

Долгополов вскочил дубом, выхватил у парнишки-ямщика кнут, стал с плеча охаживать лошадок. Однако всадники настигли, рослый дьякон сгреб коренную под уздцы, седовласый плюгавенький попик, искажаясь в лице, шумел:

– Ты, тать, мою серебряную лжицу хлебальную украсть спроворил! Грех тебе. Подавай хапаное!

Рослый дьякон соскочил с коня, вытряхнул мешок Долгополова, подхватил зазвеневшую увесистую ложку, подал батюшке. Купец пал на колени, сдернул рысью шапку, стал большие кресты класть, стал лбом в землю бухать:

– Богом клянусь, не брал! Подсунул кто-то, не иначе – сатана...

Дьякон загнул Долгополову салазки, в меру потрепал его и, подбив левый глаз, оставил купца лежащим на снегу, в безмолвии. Затем духовные лица, оба-два с отцом Прокофием, поскакали обратно, радуясь и славя Бога.

Остафий же Трифонович, заохав, приподнялся мало, спросил ямщика-парнишку, не закрылся ли, мол, поврежденный глаз, тот ответил: «не совсем чтобы»; Долгополов, благословясь, встал, вынул из денежной кисы медный сибирский с двумя соболями пятачище, приложил к опухшему глазу, обвязался белым платком, сел в сани, с горестной ухмылкой взглянул на истоптанное в сугробе место и тяжело вздохнул.

В первопрестольный град Москву прибыл он в середке марта. На окраинах, над Кремлем и за Москвой-рекой по рощам граяли грачи, встречали весну, гнезда вили. Остафий Трифонович то и дело на соборы, на монастыри, на церквушки крестился, аж десная рука устала, аж зазябла голова. Ну и храмов Божьих, ну и звону на Москве!

По иным улицам и переулкам, где проезжал купец, особенно на Варварке, многие дома как бы нежилые: двери заколочены, стекла в окнах побиты.

– А это, вишь ты, в третьем годе чума в Москве шалила, поди, слышал? – пояснил седоку старик-возница. – Ена, чтоб ей лихо было, тьма-тьмушую народу загребла, прямо счету нет.

Долгополов остановился в купеческом подворье знакомого купца-раскольника Нила Титова. Посещал Рогожское кладбище [\[36\]](#), в чуму 1771 года отведенное старообрядцами для погребения. В нововыстроенной деревянной часовне собрались многие раскольники капиталовладельцы. Долгополов

старался завязать с ними торговые дела с расплатой векселями, но раскольники, сами жохи, видели Долгополова насквозь, в руки не давались.

Бродил Долгополов по кабакам, трактирам, иногда бывал вполпьяна, а больше притворялся пьяным, вынюхивал, чем дышит народ московский, нельзя ль, мол, из подслушанных речей какую ни есть себе корысть извлечь.

А народ по кабакам собирался разный. Тут тебе и младший повар княгини Уваровой с приезжим из деревни земляком пришли продернуть по стакашку сиводрала. Тут тебе с фиолетовым запойным носом долгогривый монах-бродяга – на груди жестяная кружка с образком, десятый год собирает на сгоревший прошлым летом храм Преполовения в несуществующем селе Крутые Задки – человек бывалый, беспаспортный, битый, не единожды в тюрьме сиживал. Тут и воинственный будочник – угощает его пойманный на барахолке жулик: «Не веди, дяденька, в приказ, пойдем выпьем». У жулика – желтая опухшая рожа, щека подвязана просаленной тряпицей, из-под тряпицы кончик носа и рыжий ус торчат. А больше всего пригородных крестьян в добрых овчинных тулупах, извозчиков и господских челядинцев в цветных камзолах, в сермяжных свитках, в стареньких ливреях. Большой трактир – «распивочно, на вынос» – занял нижний этаж каменного дома у Петровских ворот.

Вечер. Чадят под потолком заправленные деревянным маслом два фонаря, на кабацкой стойке сальные свечи; плешивый чахоточный целовальник, послонив пальцы, то и дело срывает со свечи нагар. Меж грязными столами с пьющей братией шныряют половые – парни в красных рубахах с засученными рукавами, в руках деревянные, а то и железные подносы, на подносах штоф с водкой, стакашки, кучками разложены огурчики, рыжики, рубленое осердие, печенки. Шум, крики:

– Эй, половой! А поджарь мне на три копейки рыбки боговой, салакушки...

– Сбитню, сбитню нацеди погорячей...

– А ну, завари на пробу китайской травки, по-господски желаю!

Долгополов съел целую селедку, рыгнул, брусничного квасу запросил. За одним столиком с ним молодой приказчик богатого купца Серебрякова.

– А где ж твой хозяин торговлю имеет и промышляет чем? – пришепетывая, заговорил с незнакомцем Остафий Трифионович.

– А как же! – тряхнул кудрями шустрый молодец. – Наша лавка на три раствора упомещается в красных рядах, аккурат супротив храма Василия Блаженного. Ситцы, сукна, шелк, веревки, хомуты.

– Так-так-так. Веревки?

– А как же! Мы веревки на Волгу продаем, опять же на Макарьевскую ярмарку. Нам веревки ржевские фабриканты поставляют. А как же!

– Так-так-так. Эй, половой! – весело крикнул Долгополов и стал бороденку свою на пальчике крутить. – А ну-ка, друг, справь полштофика винца да яишенку на двоих, глазунью. – И обратись к молодцу: – А знаешь, кто пред тобой сидит? Я пред тобой сижу, ржевский купец Абросим Твердозадов, фабрикант.

Приказчик открыл рот и вытаращил глаза. Долгополову показалось, что малый сомневается в истинности слов его, и, чтоб убедить приказчика, заметил:

– Ты не взирай, голубь, что одежонка скудная на мне, здесь кабак, опасаясь, в сряде-то обнимают. А в церковь, скажем, я в бобрах хожу, человек я самосильный.

Веснушчатое лицо молодца сразу поглупело, он встал, осклабился, сладким голосом сказал:

– Ах, какая честь... Я даже сести теперича не смею.

– Садись, садись... Молви-ко ты мне, парень хороший, сам-то дома?

– Нету-с, – робко присаживаясь, ответил молодец. – К Троице-Сергию говеть уехали Сила Назарыч-то, грехи повез. И с хозяйкой со своей. И с доченькой, с невестой. Честное слово-с...

– Жаль. Ах, жаль до чего, – пригнул Долгополов голову, по-несчастному уставился глазами в пол. – А я у Силы-то Назарыча хотел товаров красных отобрать, ведь он же у меня веревки-то покупает, сиречь моей выделки. Я в обмен хотел.

– Ах, не извольте печаловаться, господин фабрикант: замест Силы Назарыча его сынок-с, наследник-с... А как же! Пожалуйста к нам в лавку за всяко-просто, я с превеликим усердием потщусь вам добрый товарец подобрать.

– Так-так-так, – радость подкатила к сердцу Долгополова, пронырливые глазки то пропадают в узких щелочках, то выскочат. – Эх, друг... Ведь сам знаешь, я изо Ржева-города-то и не выезжаю николи, не токмо сына, а и самого Силу-то Назарыча в очи не видел. Вот в чем суть. – И Долгополов, слезливо замигав, посморкался в клетчатый платок. – А ты послушай, приятель, удружи мне, потолкуй с молодым хозяином-то: так, мол, и так, фабрикант Твердозадов, мол, приехал в Москву, на пятнадцать тысяч товаров закупил, пеньки, красок, парчи попам на ризы; деньгами, мол, поистряся, а нуждается, мол, еще в красных товарах... Понял, друг?... А мы бы с молодым хозяином твоим дело сделали. Я договор подписал бы на постав веревок и вексель выдал бы.

Молодец с готовностью воскликнул:

– Милости просим, вашество, уж я все подлажу, будьте-те без сомнения-с...

– Ну, спасет тя Бог, дружище. И я тебя не оставлю. Уж поверь. Ты вот что: ты приезжай во Ржев, я тебя, кудрява голова, на богатой купеческой дочери женю, в люди выйдешь... Ей-Богу, правда.

Молодец от прилива чувств всхрипнул, затряс головой и ну целовать руки Долгополова, обливая их пьяными слезами:

– Ну, такого обходительного человека впервые вижу... Верьте совести-с!!

– Ну, полно, полно... Эй, половой! А ну-кось, романи по стакашку на двоих.

Им подали романию и, ради уваженья, сальную зажженную свечу.

– Братия! – гнусаво вопил в темном углу, где сгрудилось простонародье, пьяный самозванец монах-бродяга. – Братия, православные христиане!.. А ведомо ли вам, от царя-батюшки, из Ренбург-города, манифест на Москву пришел... Черни избавитель, духовный покровитель, бар смиритель, царь! На царицу войной грядет...

Народ зашумел, задвигался, потом притих.

– Слыхали, ведомо! – отозвался кто-то из середки. – Намеднись сотню гусар на телегах погнали в Казань, шуряка моего заграбастали, гусар он.

– Правда, правда, – поддержали голоса. – Слых есть, царь по Яику-реке гуляет, города берет, на Волгу ладит.

– Посмотри на Калужскую заставу, – по два гонца на день оттедов по Москве к генерал-губернатору скачут... Война там.

– А пошто ж о сем по церквам не объявляют?

– Трусу празднуют...

– Ха-ха!.. – шумел народ.

Многие, выпрастываясь из столов, пошагали к кучке, где монах. Резкий раздался свист.

– Ого! А ну еще подсвистни, – опять загнул человек, одетый монахом. Распаленный сочувствием толпы, он залез на скамейку, вскинул руки вверх. – Готовься, Москва, великого гостя встретить!.. Будя нам под бабой жить!.. Точите, ребята, топоры!

Тут двое ражих из другого темного угла, опрокидывая скамьи, подскочили к лохматому монаху, ударом по шее сбили его с ног – кружка с медяками взбрыкала, – сгребли за шиворот, вон поволокли.

– Прошибся, ой, прошибся, слуги царские, облыжно говорю! – вырываясь, вопил бродяга и лаял по собачьи. – Гаф-гаф-гаф! То вино во мне глаголет, бес хвостатый вопиет во мне... Гаф-гаф! Заем! Порченный я, слуги царские, зело порченный... Гаф-ууу!.. А матушке Катерине верой-правдой...

Поднялась суматоха. Стражники хватили людей без разбора. Народ сразу оробел. Всей толпой давя друг друга, хлынули на улицу, косяки дверей трещали. Чахоточный целовальник налетал на завязших в дверях гуляк, визгливо орал им в спины:

– Православные! Ребята! А деньги-т, деньги-т! Напили-нажрали... Побойтесь Бога-т... Кара-у-ул!

На другой день, простояв обедню в раскольничьей часовне на Рогожском кладбище, Долгополов вошел в покои своего квартирного хозяина, купца Титова, отвесил поясной поклон, поздравил с праздником Благовещенья Пресвятые Богородицы и, помявшись мало, сказал:

– Отец Нил Сидорыч! Уважь мне в твоей лисьей шубе знатнецкой да в шапке бобровой по городу взад-вперед проехать на лошаденке на твоей...

– Пошто это? – строго спросил горбоносый, в большой бороде старик.

– А так, что дело у меня, отец, немаловажное. Кой к кому заехать из людей великих. Подарок привезу тебе, отец.

Старик подумал, провел по морщинистому лбу рукой.

– Бери... Токмо не изгадь, мотри, одежину-то, да и лошадь не упарь.

Касаясь пальцами цветных половиков, Долгополов поклонился старику, сказал: «Спаси Бог за доброту твою» – и на цыпочках пошагал обратно.

– Стой, Остафий! – Старик подобрал длинные полы кафтана и сел в мягкое кресло. – Вот собираешься ты в Казань-город ехать да в Ренбур... Смотри, брат, не влопайся в оказию. Тамотка сугубая волноваха заварилась, головы с плеч аки кочаны летят, народ вешают, кровь льется.

– Откудов ведаешь?

Старик-раскольник, как бы опасаясь чужих ушей, огляделся по сторонам – и тихо:

– От игумена Филарета, настоятеля нашей обители в Мечетной слободе, что на реке Иргизе. Он впервые и Пугачева обогрел...

– Какого Пугачева, отец?

Старик пристально из-под седых бровей посмотрел на Долгополова и, ничего не ответив на его вопрос, продолжал:

– А в генваре месяце года сего игумен Филарет прибыл в Казань хлопотать, чтобы с иргизских скитов рекрутов не требовали в набор. И прислал оттудов нашему рогожскому протопопу грамотку. И пишет в ней игумен Филарет, что был он самовидцем, как в городе Казани предали лютой казни некоего пугачевского главаря и что-де войско генерал-майора Кара разбито Пугачевым, а сам-де Пугачев на Москву идет...

Впрочем сказать, ступай, Остафий, верши дела свои... Вижу, невтерпеж тебе... Иди. Да приглядишься позорче, что на Москве-то деется. Шумки по Москве идут... Народ пришествия государя ожидает...

Остафий Трифонович смутился, сказал, виновато улыбаясь:

– Да уж не Петра ли Федорыча Третьего? – и, не получив ответа, продолжал: – А я все ж таки в Казань поеду и в Ренбург поеду... Я смелый. Уж ты, пожалуй, не отговаривай меня, отец Нил Сидорыч, не застрашивай, пожалуй...

...Часа через два Остафий Долгополов подкатил на хозяйском рысаке к обширному дому купца Серебрякова, что в Замоскворечье. Долгополова радушно встретил у железных ворот знакомый кудряш-приказчик и повел в дом.

В большой горнице обедали двое: молодой хозяин с курчавой бородкой на нежно-розовом лице и его жена, широколицая грудастая Машенька. Хозяин встал, Машенька облизала ложку и тоже встала. Долгополов истово покрестился на богатый кивот, уставленный с потолка до полу образами в позлащенных ризах, и отвесил поклон хозяевам.

– Добро пожаловать, – приветливо проговорил тенорком хозяин. – Сдается мне, что вы Абросим Силыч Твердозадов из города Ржева будете? Мне наш Василий сказывал...

– Так и есть. Я – Твердозадов, ржевский фабрикант, – развязно сказал Долгополов, испытующе поглядывая на молодого купчика. – А вы Силы Назарыча сынок?

– Так точно. Угадали. Митрием Силычем зовусь. А это вот моя половина, Марья Карповна. Будемте знакомы напередки.

Машенька, покраснев, заулыбалась и, стараясь скрыть в огромной цветной шали свою беременность, проворковала Долгополову:

– Да вы разболокайтесь, пожалуй, да залазьте за стол потрапезовать с нами, чем Бог послал.

– Благодарствуем-с на приглашеньи, – и Долгополов важно снял с плеч богатейшую с бобровым воротником чужую шубу, аккуратненько положил ее на парчовый диван, еще раз покрестился и сел за стол. Ему подали на оловянной тарелке леща с кашей.

– Тятенька не единожды говаривал: сколь годов, говорит, с фабрикантом Твердозадовым торговлю веду, а в глазе-де человека и не видал. А вот вы и пожаловали. И что ж, большая ваша фабрика канатная? – и хозяин положил гостю две доли пирога.

– А так ежели без хвастовства, первая по городу.

– А вот у Лукьянова Никандра Тимофеевича, у того как?

– Много гаже-с. И пенька второй сорт. Браку много-с. А я делаю канаты с веревками даже против заморских без охулки... – Долгополов обсосал жирные после рыбы пальцы и, незаметно закорячив ногу, обтер их о голенище.

– Ах, что-то вы, – заметив это, сказала Машенька и протянула гостю полотенце: – Вот, извольте, рушничок.

После пирога с изюмом, после клюквенного киселя с миндальным молоком хозяйский сын, сыто рыгнув и приказав жене: «Покличь-ка Ваську», повел гостя в контору.

Дело при участии кудряша-приказчика Василья быстро завершилось. Долгополов отобрал по образцам красного товару на две тысячи, дал письменное обязательство погасить долг на тысячу рублей

веревками своего производства, а на остальную тысячу выдал вексель. Оба документа подписал: «Города Ржева канатных дел фабрикант Абросим Твердозадов».

Помолившись Богу, ударили по рукам, на прощанье поцеловались.

6

В ночную пору, когда Долгополов, похрапывая, спал, плеча его коснулась чья-то крепкая рука.

– Восстань, Остафий, – тихо, но внушительно сказал старик Титов. – Обряжайся, едем в Рогожскую часовню, соборное бдение у нас тамотко. Велено тебе быть...

По темной Москве ехали долго. Ледяным морозцем сковало грязь. Кой-где колеса тарахтели по деревянному из накатника настилу. Ночная Москва тиха. Разве-разве какой гуляка прокуролесит с тоскливой песней, пока не свалится где-нибудь на куче навоза и, ядрено обругавшись, не заснет. Да у кабаков то здесь, то там гуднет-расшумится драка с поножовщиной, с диким криком: «Спасите, режут!»

Опаски ради у старика Титова меж коленями трехфунтовая на веревке гиря, а в передке у толстозадого кучера-богатыря под рукою безмен. Но, слава Богу, странствие завершено благополучно.

Рогожская часовня чернела неуклюжей горой. Огней не видно, окна снаружи закрыты ставнями, чтоб не было блазну людям. Старик Титов постучал трижды в дверь.

– Господи Исусе Христе, помилуй нас.

– Аминь, – ответил изнутри голос, и обитая железом дверь отворилась.

Горело паникадило, топились изразцовые печи, было тепло, душно, пахло воском, ладаном, овчинами. Остафий Долгополов торопливо закрестился и отвесил четыре поясных поклона; восседавшему на кресле, спиной к алтарю, лицом к народу, благообразному седому старику в скуфейке и с лестовкой в руке, затем вправо-влево и назад сидевшему на скамьях и на полу народу. Здесь на ночной совет были собраны надежнейшие старообрядцы, старики.

– Друзе Остафий! – окончив совещание, строгим голосом проговорил, обращаясь к Долгополову, раскольничий протопоп Савва. – Мы известны, собрался ты в Казань-город по торговым делам своим. Мы радеем о душе твоей и бранных телесах твоих.

Долгополов, смутясь, молчал. На византийского письма иконах сияли ризы в дорогих камнях. Старцы, шевеля белыми бородами, широко зевали, закрещивая рты.

– Может статься, – снова заговорил Савва, – встретишь ты в скитаниях своих старца Филарета с Мечетной слободы, что на Иргизе-реке. Был он допрежь из московских купцов второй гильдии, мелочную торговлю вел, а теперича, соизволением Божиим, игумен. А не его, так, может, Гурия встретишь, тоже скитский старец с Иргиза, а допрежь был нижегородским купцом Петелиным...

– Я, святой отец, не токмо в Казань, а и подале правлюсь, – перебил Остафий протопопа Савву. – А куды, о том желательно, отец, перемолвиться в тайности с тобой.

– Изрядно хорошо, – ответил Савва и, восстав с седалища, вошел вместе с Долгополовым в предстанье алтаря.

– По тайности, сокровенно глаголю тебе, отец всечестной, – зашептал Долгополов, – чаю я повстречать самого батюшку Петра Федорыча...

– Сие ведомо мне... – При тихом сиянье огоньков Долгополов заметил, как седобородое, с румянцем, лицо старика заулыбалось. – Езжай, езжай, – зашептал он жарко, – толкуй государю: мол, евовное знамя голштинское добыто в Ранбове[37] нашим старанием через великий подкуп... И послано то знамя голштинское в царское становище с неким знатным ляхом Владиславом. Подержи, Остафий, сие в памяти... Можешь?

– Всегда могу, памятью Бог меня взыскал.

– Клянись – нищий под пыткой, нищий при смертном часе никому не поведаешь тайны сей, как токмо государю, – возвысил старец голос, и глаза его засверкали. – Клянись!

– Клянусь!

– Стань на колени... Клянись пред святым Евангелием и крестом Господним...

– Клянусь, клянусь! – преклонив колена и воздевая десную руку, восклицал купец.

Вынув из-за пазухи записку, старец передал ее поднявшемуся Долгополову.

– А сию грамотку сокровенную отдай Гурию алибо Филарету с рук на руки. Послание изображено цифирью, ключ к пониманию вестен им.

Тут загудел колокол к заутрю, и Савва рек:

– Изыдем, чадо, к братии, сотворим молитву... А государю молви: старозаветная Москва ждет его и сретение ему готовляет.

И они вышли к народу.

Беседой с протопопом Долгополов был ошеломлен. Сердце его билось, мысли путались. Вот так чудеса в Москве!

Дома старик Титов секретно сказал ему:

– Токмо, чур, не обидься, Остафий. Гадала наша община денег тебе вручить для государя, да я, грешный, отсоветовал: зело легкомыслен ты и весь в мечтаниях. Уж не прогневайся, Остафий.

На другой день Остафий Трифонович купил в долг у знакомого купца Волкова красок на триста восемьдесят рублей, а все свои деньги, серебро и медь, поменял на золотые империялы и зашил их в штаны и шапку. В шапку же зашил и тайную грамоту протопопы Саввы. А с обеда выехал в путь с целым возом красного товара, что взял у купеческого сына Серебрякова.

В конце апреля Русь зазеленела, одевались листвою деревья и кустарники, звенели жаворонки над полями, вовсю палило солнце, дороги подсохли, товары Долгополова помаленьку убывали, деньги прибывали, ехать становилось все веселей, все легче.

Давно ж вернулся из Троице-Сергиевой лавры Сила Назарыч Серебряков с женой и дочерью. Вернулся в Москву человеком безгрешным, омыв душу в святоотеческой лавре слезным покаянием, и в первый же день нагрешил с три короба. А дело было так. Купеческий сын Митрий Силыч, похваляясь успехами торговых дел в отсутствие родителя, сказал отцу о доброй сделке с фабрикантом Твердозадовым. Взглянув на подпись в документах, Сила Назарыч с суровостью спросил:

– Это чья рука?

– Фабриканта Твердозадова, тятенька.

– А паспорт глядел у него?

– Нет, тятенька, поопасался требовать...

Тут Машенька вовремя ввязалась:

– Они даже у нас трапезовали...

– Молчать! – топнул на нее Сила Назарыч. – Ишь ты, растопырилась с брюхом-то со своим... Пошла вон! – И, обратясь к растерявшемуся сыну: – Каков он из себя?

– Шуба с бобровым воротником, прямо тысячная шуба. А сами они, тятенька, не всякого большого росту, худощавые, с бородкой, лицо рябое.

– Твердозадов-то худощав? Дурак ты, черт... Да у Твердозадова спина – как этот шкаф, и росту, почитай, сажень...

– Да ведь он же в Москве сроду не бывал, тятенька.

– Зато я у него во Ржеве-городе бывал. Эх ты, дубина стоеросовая! Жулику товар продал! – заорал косоглазый и тщедушный Сила Назарыч, уцапал с горсть кудри широкоплечего Митрия, стал с ожесточением мотать его голову во все стороны, ударяя кулаком то по скуле, то по загривку.

Митрий Силыч, могший одним щелчком убить папашу, даже и не пытался вырваться, только молил:

– Тятенька, простите великодушно... По молодости по моей... Васька меня уверил...

Хозяин разбушевался, сшиб ладонью блюдо с пирогом, схватил нагайку, опоясал ею сына, побежал пороть сноху, что принимала с честью жулика, но был схвачен женой своей:

– Машенька на сносях, дурак плешивый!

Хозяин ударил жену по щеке, грохоча подкованными сапогами, сверзился по внутренней лестнице в «молодцовскую» и так порядочно измордовал кудряша-приказчика. Утомленный столь резкими и многими движениями, лег спать, бормоча:

– Господи, прости ты мое великое прегрешение... Вот тебе и лавра...

А как назначена была после Пасхи свадьба его дочери Клавдии и поручика Капустина, то он и положил в мыслях – оба темных документа на две тысячи всучить будущему зятю в приданое за дочерью совокупно с наличными деньгами: зять – человек военный, с кого надо и не надо взыщет денежки свои.

Долгополов все ближе и ближе подавался к Волге. Примечал, что настроение крестьян в деревнях не больно-то спокойно: крестьяне стали дерзки, на улицах гуртовались кучками, перешептывались, а то и громко говорили: вот и к нам-де скоро припожалует царь Петр Федорыч, велит всех дворян предавать, а землю мужикам отдаст. Долгополов всячески поддакивал.

Как-то в селе Троицком черномазый парень, покупая шелковый для кисета лоскут, посверкал на Остафия острыми глазами, молвил:

– Торгуй, торгуй, купец, да поскорей, а то нагрянет царь-государь, еще неизвестно, будет ли миловать торговых... Тоже кровушку-то нашу ладно высасываете, сальные пупы!

Толпа поддержала парня недобрый смехом. Долгополов наскоро задернул воз дерюгой и с шуткой, с прибауткой тронулся на большак, на главный тракт: там все-таки воинские разъезды рыщут, на мужиков наводят страх.

Однажды застиг его в лесу вечер, быстро смеркалось, дождь накрапывал. Навстречу – ватага крестьян, все – вполпьяна. За кушаками топоры, в руках дубины, у иных за голенищами ножи, за спиной смотанные кольцом веревки. Долгополов заорал вознице:

– Гони!

Лошади помчались. Внезапно схваченный веревочной петлей, Долгополов, под дружный смех толпы, перелетел вверх пятками с воза на дорогу. Едва встал, его мотнуло в сторону, кой-как скинул с шеи петлю, слезливо сморщился и захныкал, повизгивая щенячьим, с подвойкой, голосом: «Ой, ой, ой...»

Перед ним всплыл, как медведь, грозный солдат с ружьем, в лаптях, усищи сивые, горбатый нос

разбит.

– Кто такой? Кому служишь? – сурово спросил солдат и стукнул ружьем в землю. – Государыне али государю?.. Держи ответ.

Взирая на солдата, как на своего избавителя от пьяных живорезов, Долгополов воскликнул:

– Вестимо – благочестивейшей государыне Екатерине! – и отвесил солдату поясной поклон.

– Ребята, вешай торгового по указу его величества императора Петра! – скомандовал набежавшим мужикам.

Душа Долгополова наполнилась ужасом, он пал на колени, завопил:

– Вру, вру, вру... Ей-Богу, вру! Со страху я... Петра Федорыча законным государем почитаю! А от Катки давно отшатнулся... Она, ведьма заморская, извести хотела государя нашего, да Бог...

– А-а-а, – перебил солдат и в свирепой улыбке оскалил зубы. – Слыхали, ребята, поносные речи на государыню Екатерину Алексеевну?.. А подайте-ка сюда, ребята, нож повострей, пороху на эту гниду жаль тратить...

Мужики весело заржали. Долгополов затрясся, окинул толпу отчаявшимся взглядом, прошептал, утирая слезы кулаком:

– Братцы, сударики! Да кто же вы сами-то? Сами-то вы за кого – за Петра Федорыча Третьего алибо за государыню Екатерину?

– А тебе пошто знать?

– Ах, братцы... за кого вы, за того и я...

Ватага еще пуще заржала.

– Братцы, я человек покладистый, я добрецкий человек, я вам, братцы, каждому на рубаху самолучшего канифасу оторву... Дарма!..

– Да мы и сами возьмем... В долг... Поди, поверишь? Ребята, хватай! – И толпа, пытаясь, бросилась к возу. Впереди всех бежал солдат в лаптях. – Токмо на саван, ребята, оставьте старичонке-то. Ха-ха!

Хлынул дождь. У воза жадная свалка началась. Долгополов, спасая жизнь, невидимкой юркнул в гущу леса. «Грабьте, грабьте, сволочи, товару там безделица, да не шибко дорого он и достался-то мне...» – мелькало в мыслях беглеца. Он утекал куда глаза глядят, прислушиваясь к драчливым крикам полухмельной ватаги. Пробежав с полверсты, он изнемог, пал в густой ельник, затаился. У воза делили его товары, орали, мордобой шел, вот раза два из ружья пальнули, и все смолкло.

– Батюшки, – не своим голосом, как настигаемый волками заяц, пропищал Долгополов. – Батюшки! Шапка! Шапку потерял...

Он вскочил, схватился за виски, хотел бежать, однако ноги сдали, и он снова упал в ельник и, хныкая и боясь громко кричать, давился слезами и повизгивал: ведь в шапке-то зашито, почитай, все его богатство, паспорт там, скрытная бумага протопопа Саввы... Боже мой, Боже мой, что же ему делать? Он сообразил, что шапка свалилась, когда его сдернули с телеги. И, выждав время, пошел к тому месту, где должен стоять воз.

– Максим! Максим!.. – кричал он и прислушивался, не ответит ли возница. Но отовсюду тишина. Тьма сгущалась. Шел, шел, натываясь на деревья, звал Максима, творил молитву, сворачивал то вправо, то влево, то забирал назад, вконец закружился, потерял остатки сил и, внутренне раздавленный, сел на пенек. Руконю ограбленного скряги он прощупал зашитые в штаны империялы, освидетельствовал все тайные и

явные карманы, в них серебро и медяки. Тут скаредные мысли поослабли, от сердца отлегло, и Долгополов только в этот миг осознанно почувствовал себя в неминуемой опасности: разбойники, глухая ночь и лес дремучий, набитый медведями, волками, лешими. Узенькие глазки его расширились навстречу страху и стали круглы, как у филина, слух обострился, душа сжалась. Долгополов сроду не бывал в ночном лесу и со всех сторон ждал на свою голову погибели.

– Максим! Макси-и-им! – неистово взывал Долгополов. Эхо звонко гудело во всех концах. Ответа не было. Дождь давно перестал, ночные ветерки шумели по верхушке леса.

Мало-помалу успокаиваясь, купец начал подремывать. «Нет, спать не можно, черти замучают, лесовик придет – душу вынет...» Покряхтывая и разминая поясницу, он встал, отломил сук, обвел им по земле вокруг себя черту, приговаривая: «Бог в черте, черт за чертой», – опять сел на пень, окрестил воздух со всех четырех ветров, затем вяло позевнул, голова его упала на грудь. Засыпая, он вдруг услышал: «Максим, Максим!» – будто спустя большое время передразнили его. Он открыл глаза и во весь голос закричал:

– Макси-и-им!.. Я ту-та-кааа!!!

Только эхо сонно пробубнило, и никто не ответил Долгополову. Он слабо удивился, но испугаться не успел: глаза его опять смежились, все исчезло вокруг.

Глава II

Мечь муллы. Падуров и другие. Конеч Яицкого городка. Полудержавный властелин

1

Узнав, что Пугачев оставил Берду и принял путь к Переволоцкой крепости, князь Голицын приказал подполковнику Бедряге эту крепость занять и выслать разьезды к крепости Ново-Сергиевской. А Рейнсдорпу было предписано наблюдать за всем течением Яика и занять войсками слободы: Бердскую, Каргалинскую и Сакмарский городок. Но, под впечатлением неудач во время осады, Рейнсдорп продолжал находиться в бездействии и приказа в полной мере не исполнил. Даже Берда не была занята его войсками. Пугачев этой оплошностью губернатора впоследствии воспользовался.

Пройдя верст пятьдесят от Берды, он вдруг встретил до тридцати человек лыжников из разведки Бедряги. Это испугало Пугачева.

– Нет, други мои, – сказал он, – этим местом нам не пройтись, видно, и тут у них много войска, как бы не пропасть нам всем.

Повернули назад, опять в сторону Оренбурга. Шли не быстро, потому что дороги были убойные: то раздрябшие сугробы, то по колено коням грязь. Бросили три пушки для облегчения. Лица спутников Пугачева были грустны. Желая как-нибудь подбодрить людей, он сказал вполусерьез-вполухутку:

– Если нам в здешнем краю не удастся, пойдём, детушки, прямо в Питенбург. Чаю, наследник мой, Павел Петрович, нас встретит там...

Атаманы упорно молчали. Их дюже удивили такие несуразные о Петербурге речи. Всей армией ночевали на хуторе проводника казака Репина.

Снег быстро таял. Всю ночь с крыш дружная капель била. По оврагам бежали мутные шумливые потоки. Полным ходом шла весна.

Пугачевцы сознавали, что они почти со всех сторон окружены голицынскими отрядами.

– Теперича мы, Петр Федорыч, словно бы в шашки с Голицыным играем, – через силу улыбаясь, сказал Шигаев. Они сидели в хате за столом, ели кашу. – Как бы нас с тобой, батюшка, в нужник не запер Голицын-то...

– Не моги ты, Григорыч, об этом и думать, – угрюмо возразил Пугачев. – Лучше прикинем-ка, детушки, куды теперь пойдём.

– Пойдём в Каргалу, Сакмару ды на Яик. А с Яика спустимся на Гурьев городок^[38], там добудем провианта, – отвечали ближние.

– Да можно ли отсидеться-то в Гурьеве? – усомнился Пугачев.

– Конешно дело, долго там сидеть несподручно будет, – отвечали атаманы.

– Я бы вас на Кубань провел, – задумчиво сказал Пугачев, – да теперь как пройдешь? Крепости, мимо коих идти, врагом заняты, в степу еще снега, да и провианту маловато у нас... Пожалуй, и не пройдешь

таперь...

Никто не знал, куда идти, как от беды спастись. Падуров тоже играл в молчанку. Он мрачен наособицу, он не может разыскать свою Фатьму. Куда она запропастилась? Нет ни Фатьмы, ни ее брата джигита Али, ни Шванвича... Неужели они все трое остались в Берде? Неужели угодили в полон к Рейнсдорпу?

Бывший в хате башкирский атаман Кинзя, видя замешательство пугачевских атаманов, спросил Пугачева чрез переводчика Идорку:

– Куда вы, государь, нас ведете и что думаете делать?

– А веду я вас в Сакмарский городок, либо в Каргалу, либо еще куда подале... Пробудем там до весны, а коль скоро дождемся хорошего времени, поведу я свое воинство на Воскресенские Твердышева заводы.

Кинзя вдумчивыми глазами воззрился в похудевшее лицо Пугачева и бодрым голосом сказал:

– Ну, ежели вы на заводы придете, в нашу Башкирь, я вам чрез десять дней хоть десять тысяч своих башкирцев поставлю, конницу.

– Благодарствую, Кинзя Арсланыч, спасибо тебе!.. Верный ты, – растроганно сказал Пугачев, и на его душе несколько потеплело, но брови были все так же хмуро собраны над переносицей.

Он тотчас приказал Падурову и Почиталину написать воззвание к башкирскому народу. И письмо князю Голицыну.

– Пускай князь пораздумает, с кем воюет, супротив кого идет, – приподнято говорил Пугачев, силясь произвести впечатление на ближних. – Да не забудьте, господа писаря, напомнить ему, что, мол, отцы и деды его верой и правдой служили моим приснопамятным предкам.

Уходя спать, Пугачев уже который раз подумал: «Где-то Овчинников мой, да Горбатов офицер с Перфишей? Да в добром ли здоровье верный мой старик Павел Носов?»

26 марта Пугачев с войском был в Каргале, он занял ее без боя, так как Рейнсдорп и не подумал прислать туда воинский отряд. Емельян Иванович с большим сожалением узнал об аресте здесь Хлопуши. Он приказал атаману Мусу Улеева и всех каргалинских старшин насмерть переколоть, дома их сжечь.

Две красавицы татарки – Улеева и Абрешитова, крепко любившие «бачку-осударя», принимавшие его у себя и приезжавшие погостить к нему в Берду, умоляли Пугачева помиловать их мужей – сотника и атамана. Но Емельян Иванович в раздражении сказал им:

– Ваши мужья – не люди, а собаки! Они, изменники, наипервейшего слугу моего погубили – Хлопушу.

Учиня быструю расправу, он поставил в Каргале начальствовать Тимофея Мясникова, при нем оставлено было 300 человек башкирцев и крестьян. Наконец-то и краснощекий Тимоха, приятель Зарубина-Чики, в большие начальники попал.

В тот же день Пугачев занял Сакмарский городок, а так как провианту в армии было маловато, он послал Творогова в Берду: «Авось чего ни то там сыщешь».

Творогов взял с собой отряд конников в тысячу человек. Пред его отъездом в путь подошел к нему озабоченный Падуров и спросил:

– Когда ты свою Стешу отправлял домой, не приметил ли Фатьмы, не увязалась ли она за твоей жинкой?

– Нет, Тимофей Иваныч... За суетой и ни к чему мне было... Не до баб теперь.

Творогов быстро налетел на Берду, захватил в плен немногочисленную команду Рейнсдорпа, добыл

провианта, но, приметя, что к слободе подступает авангард Голицына, вернулся в Сакмару. На обратном пути пристали к нему Али и Фатма на своих конях. Невзирая на весенние, радостные дни, Фатма с опечаленным сердцем и тоской в глазах ехала к своему Падуру.

– А где Шванвич? – спросил Творогов.

– Мы искали его, нету, – ответил Али и переглянулся с сестрой.

Губернатор Рейнсдорп, чтоб как-нибудь оправдать свое ротозейство, в донесенье по начальству сообщил, что вчерашнее нападение на Берду было произведено «злодеями» под прикрытием густейшего тумана: «Внезапну подкрались и ударили». Но член-корреспондент Академии наук Рычков рад был случаю поглумиться над Рейнсдорпом. В дневнике он записал: «Могло статься, что в одной слободе был густейший туман, но в городе во весь сей день никакого тумана не было».

Тем временем князь Голицын отправил для преследования Пугачева крупный отряд полковника Хорвата. Сам наступая из Татищевой, Голицын оставил в этой крепости Мансурова, предписав наблюдать, чтоб «злодей» не мог пробраться к Яику, а затем, ежели зимний путь допустит, идти ему, Мансурову, на Яик.

Хорват вскоре занял Берду и донес Голицыну, что Пугачев снова успел скопить себе силу, к нему на помощь прибыли до двух тысяч башкирцев и присоединилось много «отчаянной сволочи», что «злодей» с пятитысячным войском, набрав провианта и фуража, сидит в Сакмарском городке (в двадцати верстах от Оренбурга) и намерен защищаться.

Князь Голицын принял нужные меры. Он 31 марта занял Берду и с небольшим конвоем и свитой пышно въехал в Оренбург как триумфатор. Его прибытие приветствовалось колокольным трезвонном, пушечной пальбой и радостными криками обывателей.

Повернись судьба иначе, и, может быть, многие горожане, казаки и солдаты с еще большей торжественностью, с еще большим рвением встречали бы Емельяна Пугачева.

Дворянством, начальством и купечеством был дан Голицыну обед. Разговоры кружились возле событий последнего времени, возле непомерных трудностей пережитой Оренбургом блокады. Коснулись также театра военных действий в Турции. Но Голицын, к сожалению, ничего нового о войне не знал, так как давно не получал оттуда известий; может быть, письма, ему адресованные, где-нибудь путаются по оренбургским и башкирским просторам. После обеда в гостиной губернаторского дворца подвыпившему, как все гости, князю Голицыну был представлен в виде курьеза собравшийся уезжать в свой Курск купчик Полуехтов. Довольно живо, с потешными ужимками, то размахивая руками, то почесывая за ухом, он рассказал князю о своей схватке со «злодеями», о поездке к Пугачеву и страшном разговоре с ним. Слушая его, развеселившийся князь, а за ним все гости немало смеялись.

– А господин Пугачев-то, смотрите-ка, остроумец изрядный, – говорил князь и обратясь к купчику: – Так кто же вы теперь, Полуехтов или Полуухов?

– Ухи целы, ваше сиятельство... Стало, я, как и допрежь, Полуехтов, – захлебываясь, бормотал купчик.

– Герой, ваше сиятельство!.. О! Герой! – восторгался Рейнсдорп. – С одной крюшка, ваше сиятельство, инсургентов прогонял!

Князь поднялся, снял со своей груди золотую медаль, повесил ее на грудь задохнувшегося от внутреннего трепета купчика и обнял его, сказав:

– Носи с честью, молодой человек, такие люди, как вы, отечеству нашему на пользу.

Первого апреля, в два часа утра, Голицын двинулся из Берды. Приближаясь к Каргале, князь узнал,

что ему навстречу выступили из Сакмарского городка Пугачев с двумя третями своего войска.

Каргала с окрестностями находилась среди Губерлинских гор, в местности, изборожденной высокими сопками, глубокими рвами и дефилями, что создавало весьма большое преимущество для обороны и невыгодные условия для наступления. Пугачев приготовился к защите своей сильной позиции и на «самонужном» возвышенном месте выставил батарею из семи орудий.

Когда показался головной сводный батальон капитан-поручика Толстого и конный отряд подполковника Аршеневского, дружно загремели пугачевские пушки. Однако умелая атака воинских отрядов принудила пугачевцев бросить свои позиции и начать отступление. Они отступили на три версты к лесопильной мельнице, что на реке Сакмаре, между Каргалой и Сакмарским городком.

Голицын, осмотрев местность, намеревался разгромить здесь противника. Он приказал выставить орудия на господствующей над местностью высоте. Пугачев тоже довольно искусно расставил свои уцелевшие пушки, но у него было слишком мало зарядов. Он предвидел опасность поражения от голицынских испытанных и приносившихся к боевой обстановке солдат. Пугачевская толпа, в особенности башкирцы и часть вновь примкнувших крестьян, точно так же взирала на многочисленного, хорошо вооруженного врага с внутренним шатанием.

И действительно, после нескольких удачных выстрелов голицынских пушек среди пугачевцев возникло замешательство.

Пугачев скакал по рядам своих войск, зычно кричал с коня:

– Грудью, детушки! Не трусь! Стой на месте!.. – но в его голосе уже не слышалось разжигающего задора.

Суетились в своих частях и Падуров с Почиталиным, и Жилкин с Горшковым, и Максим Шигаев.

«Ну до чего жаль, что нет Овчинникова», – скучал сердцем Пугачев.

Сердце Фатьмы было тоже беспокойно. Вместе с братом своим Али она в боевом полку оренбургских казаков Тимофея Ивановича Падурова. Ей чудится близость чего-то недоброго. Она с тревогой поглядывает в сторону своего Падурова... Почему у него такое, совсем темное, лицо, и усы обвисли, и чуб спрятан под мерлушковую шапку, и помутившиеся, словно пьяные, глаза? Скверно на душе у Фатьмы.

За Емельяном Пугачевым скачет Ермилка, у него в поводу – три заводных коня «на всякий случай для батюшки, он – Бог с ним – хоть и не толст, да дюже грузен – как из железа сбит, под ним любой конь заживо зашатается».

Меж тем бой крепнет, входит в силу. Голицынская картечь как градом стегает по пугачевцам. Вот засвистели ядра. Оробевшая толпа, теряя убитых и раненых, то здесь то там кидается врассыпную, но, воодушевляемая личной отвагой Пугачева и полковника Шигаева с Падуровым, вновь овладевает собой. Оренбургские и яицкие казаки спешили. Засев за огромные камни, хоронясь за деревья, они метко отстреливаются, сшибая наступающего врага. Но враг упорно движется вперед. И всюду гремит, раскатывается солдатское «ура».

Стремясь отрезать отступление противника, голицынские гусары спешат охватить фланги пугачевцев. Заметив это, казаки всполошились: они срываются с мест и, вскочив на коней, готовятся утечь подальше. Вскочила в седло и Фатьма. Ее конь храпит и кружится. Фатьма бьет его нагайкой, а сама все ищет взором то место, где пестреет боевое знамя, где носится с Ермилкой одетый в простое платье государь.

– Казаки! Вперед! Не робей! – размахивая саблей, командует с коня Падуров.

Казаки выхватывают сабли, берут на изготовку пики, кричат воинственно «ги-ги-ги!». Но под ударами

вражеской картечи, не принимая боя, отступают. Падуров растерялся. Чтоб не остаться в поле одному, он и сам по необходимости устремляется вперед за казаками, за Фатьмой. Вдруг он с удивлением усмотрел, что среди гусар, наступающих на левый фланг, рыщет стая татар, а с ними седобородый, с желтым иссохшим лицом старик с поднятой в руке кривой турецкой саблей. Рядом с желтолицым громоздится на коне тучный мулла с белой чалмой на голове.

– Глянь, Падур! – прокричал испуганно Али. – Мулла с купцом... Ой, алла-алла, они Фатьму ищут...

– Не государя ли?

– Нет, Фатьму!.. Давно ее ищут... Худой дела... – И Али, взмахнув локтями, поскакал.

Бой еще не сломился. По заснеженному полю, по увалам и сопкам туда и сюда, вправо и влево, вперед и назад снуют пугачевцы и голицынцы. И непонятно было, где свои, где чужие, – все смешалось.

Еще немного, и под жестким натиском голицынцев, под грохот их пушек пугачевское воинство ударилось в бег к Сакмарскому городку.

Чувствуя, что оробевшую толпу ничем нельзя уже остановить, Пугачев скакал среди отступающих и в гневе голосил:

– Гей, гей! Гуртуйтесь в городке! Не допускай злодеев! Кроши их!..

Отделясь от толпы, он поскакал с Ермилкой и небольшой охраной на правый фланг, чтобы ободрить оборонявшихся там уральских работников и казаков.

Гусарский офицер-рубака, ткнув нагайкой в сторону мчавшегося вдали Пугачева, заорал своим:

– Лови Пугачева! Кто словит – десять тысяч!

И вот изюмские гусары, сминая кусты, топча бегущих мужиков, поскакали напересек Пугачеву.

– Государь! Эвот государь! – вырвавшись из перелеска с горстью храбрецов-казаков, пронзительно закричала Фатьма. – Спасай бачку-государя!..

И кучка смельчаков помчала за нею наперерез скачущим гусарам. Татарка потеряла шапку, длинные косы ее плескались по спине, в сильной руке сабля.

А позади нее, догоняя сестру, спешил молодой джигит Али. Его конь то вязнет в сугробе, то выпрастывается на притоптанное место. Али бьет его плетью, надрывается в крике:

– Фатьма, назад!.. Назад!.. Мулла здесь! Гей, Фатьма!.. Мулла Ахметов... – Но, смертельно сраженный пулей, он, круто качнувшись вбок, на всем скаку падает с седла, хрипит, корчится в судорогах и затихает.

Казаки Фатьмы бурей врезались в ряды гусар. Медведеобразный казак Илюха, прикрывшись, рассек ретивого офицера пополам и, бросив сломавшуюся свою саблю, схватился за пикку.

Рев, гвалт, отчаянная ругань, сеча, редкие выстрелы. Кони, похрапывая, взвиваются грудь в грудь на дыбы. Внезапно атакованные гусары вначале смешались, затем, опомнясь и видя, что напавших на них казаков небольшая горстка, стали прижимать их к перелеску. Казакам и Фатьме грозила опасность. Зато Емельян Иванович успел скрыться из виду.

Ратное поле от лесу до лесу теперь было чисто, лишь чернели на белом снегу тела убитых и раненых. А все живое мелькает и движется – одни отступают с боем к Сакмарскому городку, другие преследуют отступающих.

Падуров вдруг усмотрел свою татарку.

– Фатьма! Фатьма! – во все горло кричит он и, весь охваченный страхом, стремится на помощь к ней.

За татаркой, пурхаясь в снегу, спешат гусары. Преграждая ей дорогу справа и слева, они стараются загнать ее коня в глубокую снежную застругу.

Падуров ничего не видит, кроме сверкающего возле Фатьмы клинка турецкой сабли да ослепительной белой чалмы.

– На по-о-омощь! – кричит обезумевший Падуров. – Братья казаки, на помощь!

Но казаков нет вблизи, – спасаясь от гибели, они прянули в лес.

И не треск ружейных выстрелов по бегущим казакам, не глухой гул ухнувшей пушки вдали, а пронзительный крик старика в чалме поразил слух Падурова.

– Алла! Алла! – визгливо вопил старик, настигая Фатьму.

Коня татарки загнали по грудь в сугроб. Из ее рук гусары выбили саблю.

– Падур! Падур! – кричит Фатьма.

Метко брошенная петля гусарского вахмистра вмиг валит ее с коня. С гортанными криками, подобными клекоту хищных птиц, поверженную на землю женщину окружают татарские всадники.

И внезапно падает в сугроб сбитый пикой Падуров. На него налетели сразу пятеро, ему вяжут назад руки, набрасывают на шею аркан, ведут прочь, подгоняя ударами плеток; он беспрестанно оглядывается, в ужасе стучит зубами.

Меж тем костлявый старик, наскоро засучив рукава, уже взмахнул над головой Фатьмы кривой своей саблей.

– Сто-сто-стой! – неистово завопил подскакавший мулла. – Ля илля! Именем Мухамеда, стой!

В пухлой руке муллы – грузный жезл с отточенным концом и позлащенным набалдашником. Мулла тяжело дышит, возводит налитые кровью глаза к небу и сиплым голосом бросает Фатьме: – Проклятая! Закон Аллаха повергла!.. Так умри же, дочь шайтана! – и, занеся жезл, он с силой пронзает острием грудь Фатьмы.

Татарка пронзительно взвизгнула и, затрепетав, пала.

Изо рта ее хлынула кровь. Мулла весь дрожит, затем начинает громко икать, двойной подбородок его, обтянутый лоснящейся кожей, колыхается.

– Руби!

Желтолицый костлявый старик, взмахнув саблей, разом отсек Фатьме голову. Лицо Фатьмы бело, глаза полузакрыты.

Все кончено. Цвела жизнь, и не стало жизни. Но тот, кто отдает свою жизнь за других, идет мимо смерти – в память народную.

Голова воткнута на копье и вознесена над землей. Иссиня-черные косы повисли, как ветки плакучей ивы. Указывая на мертвую голову, мулла поучающе молвит:

– Великий Аллах и Мухамед, пророк его, дали мне мощь сразить цвет горький, отравляющий дыхание нашей правоверной земли. Давайте молиться о Фатьме... Проклятье человеку, соблазнившему плод от плода нашего, кровь от кровей наших!.. Ля илля!..

Он заунывно поет из Корана, к его голосу хором пристают татары.

2

Тем временем отступавшие пугачевские толпы, отстреливаясь, подтягивались к Сакмарскому городку. Но задержаться здесь было невозможно: изюмские гусары и чугуевцы с двух сторон налетели на мятежников, а сзади густыми цепями бежали, пуская ружейные залпы, солдаты карабинерского полка. Гористая местность, покрытая лесом, вся в глубоких оврагах и падах, по дну которых стремились потоки вешней воды, была гибельна для отступающих.

Преследуемые, утратив в конце концов всякий порядок, бежали пешими и скакали на конях, не помня себя. В узком междугорье они стеснялись так густо, что давили друг на друга. Лишь отдельные кучки удалцов с последней яростью продолжали обороняться, но большинство их гибло или попадало в полон, а кто спасался – бежал в городок прятаться в подпольях, в банях, на чердаках.

Емельян Иванович скакал на свежем коне к Пречистенской крепости. Пугачевцы были разбиты и рассеяны.

Сакмарский городок оцепили воинские части Голицына. Производились повальные обыски. Уже было сыскано и арестовано несколько видных мятежников.

Связанного Падурова с арканом на шее вели через опустевшее поле. У него темнело в глазах, мутились мысли, звучал в ушах непрерывный, пронзающий душу голос татарки: «Падур! Падур!..»

Возле него стонут, ползут, кой-как движутся раненые, он шагает словно в бреду через трупы своих и врагов, и все вокруг него захлестнуло дымкой.

Вдруг он видит – лежит в стороне сверх сугроба атаман Витошнов – руки раскинуты, глаза в небо, безмолвствует.

– Андрей Иваныч! Витошнов! – вскричал Падуров и приостановился. – Господа гусары, дозвоьте... Он нашей Военной коллегии главный судья. Может, старичок жив еще.

– Иди! Иди!.. Жив, так приколем... – закричали гусары, и один даже слегка стегнул Падурова плетью.

В станичной избе, куда ввели Тимофея Падурова, сидели на скамье связанные: близкий друг Пугачева – Максим Григорыч Шигаев, Иван Почиталин, солдат Жилкин и главный писарь Военной коллегии Максим Горшков. Они сидели понурые, сгорбленные, с низко опущенными головами. Холеная, обычно расчесанная надвое борода Максима Шигаева теперь обвисла мочалкой. Ваня Почиталин, уставившись в пол, часто взмигивал, утирал глаза рукавом изодранного в свалке чекменя.

Падуров взглянул на товарищей, остолбенел, покачнулся. Измученным голосом сказал:

– Братья казаки, старик Витошнов убит, Фатьма убита... Жив ли батюшка?

Ему никто не ответил. Кровь разом отхлынула от его мозга, задрожало, остановилось сердце, он судорожно стал хвататься за воздух и с закрытыми глазами упал боком на стол.

С толпой в пятьсот человек [\[39\]](#) Емельян Пугачев, как гласят показания сообщников его, бежал «не кормя во всю прыть до Тимошевой слободы. По приезду в ту слободу, только что накормили лошадей, то поскакали опять и, приехав в село Ташлу, ночевали».

Избежав прямой опасности, Емельян Иванович стал приводить в порядок собственные мысли. Он недосчитывался многих соратников своих. Где они, забубенные головушки? Он ничего не знает о судьбе друга своего Шигаева, Вани Почиталина, верного полковника Падурова, Горшкова и Витошнова.

Прошло в нетерпеливом ожидании еще два дня. Никто из его сподвижников не появлялся. Пугачев, охваченный душевной мукой, наконец решил, что они либо убиты, либо угодили в полон. «А может быть – во всем благополучии, да только на след мой не нападут. А вот где Овчинников с Горбатовым?»

Он не знал, что главный атаман его бывшей армии Овчинников с остатками толпы отступил из-под Татищевой крепости в Яицкий городок. Он также ничего не ведал и о том, что офицер Андрей Горбатов с Варсонофием Перешиби-Нос, с двумя яицкими казаками, башкирцем и работным человеком с Авзяно-Петровского завода, прячась от вражеских разъездов, пятый день ищут Пугачева по степи.

Но вот наконец-то они напали на его след. Вот уже слышен топот их коней, вот Андрей Горбатов, едва державшийся на ногах от пережитого им в скитаниях голода, холода и треволнений, входит к Пугачеву в дом.

– А-а-а, ваше благородие! Откудов ты? – вскакивает Пугачев, морщины над его переносицей распрямляются, он с приветливой улыбкой спешит навстречу офицеру. – Ну, как да что?

Братски поздоровавшись с Пугачевым, Горбатов кратко перемолвился с ним. Затем сели обедать.

Обед подавала Ненила. Ермилка еще в Сакмарском городке прикрутил ее веревками к заводному коню, чтобы не упала, и примчал вместе с попом-расстригой. За обедом, на котором присутствовал и Кинзя Арсланов, Горбатов рассказал Пугачеву об окончании боя под Татищевой, о бегстве в Яицкий городок уцелевших казаков и заводских крестьян вместе с атаманом Овчинниковым и о своем, Андрея Горбатова, желании во что бы то ни стало разыскать государя. И вот желание его сбылось!

Подробно расспросив Горбатова о всех военных делах и снова запечалившись, Пугачев принялся, в свою очередь, рассказывать о неудачном сражении его людей у лесопильного на реке Сакмаре завода.

– Как видишь, я всех растерял своих, один остался... Эхе-хе-хе. Вот Кинзя еще, да Ермилка полководец, да Ненила генеральша. Да еще, кажется, поп Иван. Вот и все свитские мои... – пробовал шутить Пугачев, но это ему на сей раз не удавалось. – А знаешь ли ты, что подеялось со стариком моим Павлом Носовым, бомбардиром? Убит, поди?

– Нет, государь, не убит...

– Ранен, что ли?

– Ни то, ни другое...

– Так что же с ним?

– Повесился, государь. Перешиби-Нос видел это...

– Ой ты!.. – выдохнул Пугачев и рванул рубаху против сердца.

Позвали Варсонофия. Необычайно худой, костистый, только большие обвисшие усы все еще те же. Варсонофий поздоровался с «батюшкой» и прочими и на вопрос Пугачева о судьбе Павла Носова насковозь прозябшим хриплым голосом заговорил:

– Бегу это я, ерш те в бок, во вся тяжкие, как бы, думаю, в лапы им, дьяволам, не угодить... Бегу, а сам глазами зыркаю, нет ли где коня. Глядь-поглядь – направо пушка стволиной над обрывом свесилась, на пушке – на стволине, ерш те в бок, петля ременная, в петлю Павел Носов свою головушку вкладает. А сзади нас: бах-бах-бах, бах-бах-бах... Пули, как шмели, над нами жужжат-свищут... Я кричу во всю глотку: «Дедушка-дедушка!.. Что ты надумал... Побежим!» А он: «Батюшку побереги!..» – да с этими словами и скакнул вниз и закрутился на ременной петле. Ахти, беда!.. А сзади, ерш те в бок, бах-бах-бах, бах-бах-бах... Я на коня, да и укатил. А как отъехал в безопасность, слезы, понимаешь, ваше величество, то есть такие горькие слезы закапали из глаз. ...Дивно хорош старик-то был, ведь мы его с тобой... это, как его... – вдруг

осекся Варсонофий. – Я ведь его, дедушку Павла-то, еще на Прусской войне знал.

Пугачев слушал рассказ, низко опустив голову. Затем перекрестился и сказал с чувством:

– Превечный покой его головушке... Верный был.

Емельян Иванович еще ниже опустил голову и, зажимая то правую, то левую ноздрю, отсморгнулся на пол. Видя это, Ненила тотчас подала ему прибереженный ею чистенький платочек.

– Благодарствую, – каким-то сорвавшимся, почти детским голосом, едва сдерживая душившие его всхлипы, сказал он Нениле и вытер платком глаза, потом выдохнул с шумом воздух, не глядя ни на кого, улыбнулся и молвил:

– Скажи-ка отцу Ивану, чтобы помянул старика Носова... Павла Носова. Да и других прочих, которых... Э-эх! – отмахнулся он рукой, ссутулился и повернул голову вниз и вправо, как будто силясь что-то рассмотреть в темном углу избы. Затем тихо проговорил:

– В Яицком городке слепой старик такой есть, Дерябин прозвищем, он мне вот этот самый перстень подарил Степана Разина, – и Пугачев, приподняв руку, посверкал кольцом. – Ну так вот старик пел: «По боярам панихиду ворон каркает...» Страшусь, как бы не по боярам, а по нам по всем ворон не скаркал панихиду-то... Мы здесь люди свои, да прямо говорю, без обиняков, в открытую... Истомилось сердце-то мое... Сон пропал. Не горазд радуют меня дела-то наши...

Горбатов, видя расстроенные чувства Пугачева, воскликнул:

– Не унывайте, государь! После ненастья будет и солнышко.

Эти идущие от сердца слова снова озарили озябшую душу Пугачева.

– А я, ведаешь, и не унываю, – вскинув голову, ответил он. – В военном деле, ваше благородие, удача переменчива: сегодня он меня за бороду, а завтра я ему ногой на брюхо и кровь сосать. Еще мы, ведаешь, этим Рукавицыным-Голицыным пятки-то к затылку подведем. Кабы я тогда поболее народу из Берды захватил, под Татищевым-то мы смяли бы князя. Поди, сам видел, ваше благородие, наших-то хулить не можно, гарно бились.

Пугачев то подбочивался, то пристукивал ладонью по столешнице.

– А скажите-ка, ваше благородие, где Шваныч? – вдруг обратился он к Горбатову.

– Не ведаю, государь, – ответил тот. – Только знаю, что в Татищевой его не было.

– Хм, – сказал Пугачев и призадумался.

Как раз в это время в Оренбурге снимали с Михаила Шванвича второй допрос. Между прочим он показывал: «А как Пугачев по разбитии под Татищевой приехал ночью в Берду и отправил несколько возов, неизвестно – с чем и куда, а сам поутру из Берды ушел, оставив в Берде множество еще злодеев. Потом пришел ко мне оренбургского гарнизона сержант Лубянов, которого я спросил, все ли уехали? А как отвечал: „Почти все“, то вышел я на двор к воротам, мимо которых ехали оренбургские казаки, человек восемь, которых спросил я: „Куда вы едете?“ А как они отвечали, что „гонят нас насильно за Пугачевым“, на то я им сказал: „Лучше поедете не за Пугачевым, а в Оренбург“, почему они и согласились. Но тут я был схвачен солдатами, высланными из Оренбурга господином губернатором Рейнсдорпом, и передан офицеру».

В этом показании, ради облегчения своей участи, Шванвич несколько отступил от правды. Дело было так. Когда из Берды началось бегство, девятнадцатилетний юноша Шванвич совершенно растерялся. Он не мог решить, что ему делать: следовать ли безоглядно за самозванцем или, спрятавшись куда-нибудь и выждав время, когда все пугачевские из Берды уйдут, явиться в Оренбург с повинной. Его оставляли силы,

и ясность мысли затмевалась. О, если бы был с ним Падуров, или Андрей Горбатов, или даже старый его дядька Киселев Фаддей! Он почувствовал острую нужду в дружеской помощи, в добром совете, но кругом его пустота, и душа была объята смятением. Он в общей суматохе скрылся в чью-то землянку. И вот гнусный, хехекающий голос: «Здесь, здесь, берите его, я видел...» Шванвича выволокли из могильной тьмы на вольный свет.

– Хе-хе-хе... С праздничком, ваше благородие! – с подлой ужимкой, потирая руки и кланяясь, барашком проблеял в лицо Шванвичу «чиновная ярыжка».

Шванвич с презрением взглянул на него, крепко сжал губы и сразу почувствовал в себе прилив силы и бодрости. Арестованный, он стоял позади сидевшего на бревнах офицера и слышал его слова, обращенные к пропойце чиновнику:

– Ревностное поведение твое может послужить к облегчению твоей участи. Так иди же, братец, к одуроченному мужичью и внушай сим скотам бессмысленным, чтоб шли в Оренбург с повинной.

3

Емельян Иваныч все чаще и чаще вспоминал пропавшего без вести главного атамана своего Овчинникова, жену-государыню Устинью и непокорный Яицкий городок, к которому уже подступал генерал-майор Мансуров.

Положение Симонова с гарнизоном было тяжелейшее. Солдатам выдавали по четверти фунта муки на день при изнурительной работе. Половина людей всегда была «в ружье», другой половине дозволялось дремать сидя.

Девятого марта полковник Симонов произвел вылазку, но был мятежными казаками разбит и надолго заперся в ретраншементе. Спустя после этого пять дней над крепостью взвился бумажный змеек, к мочальному хвосту его был привязан конверт с пакетом. То было письмо казаков к полковнику Симонову и всему гарнизону. Мальчишки, в том числе Ваня Неулыбин, клеили змейка, с увлечением ровняли «подхвостницу», крепили «репицу», устраивали «трещотку». Как только змей поднялся над крепостью, мальчишки подрезали нитку, и он, давая «курны», упал в расположение ретраншемента.

В письме казаки советовали Симонову, во избежание напрасного кровопролитья, от вылазок на будущее время воздержаться, а лучше отворить ворота крепости, угрожая в противном случае «зверояростною мезтью». В ответ на это Симонов отправил к атаману Каргину увещание с требованием покорности и прекращения смуты. Каргин со старшинами, прочтя увещание, стал обдумывать, как бы поскладней да «позабористей» ответить Симонову. Составление ответа было поручено писарю Живетину.

А в это время проживал в подызбице Устиныного дворца изгнанный с Иргиза игуменом Филаретом раскольничий старец Гурий. Этот лохматый и черноволосый пьяница, похожий на старого цыгана-конокрада и выдававший себя за Христа ради юродивого, был нравом буйный, на слова дерзкий, до баб охочий. Священник, который венчал Устинью, внушал ей, что сама государыня Елизавета Петровна всегда привечала Христа ради юродивых, кликуш и всяких людей Божьих, то и вам, мол, матушка-царица, надлежало бы сим богоугодным обычаем не брезговать.

И старца Гурия стали приглашать наверх. Войдя в светлицу, он обычно с усердием молился в передний угол, а сам ошаривал глазами стол, достаточно ли выставлено выпивки, вкусна ль закусь. Преподав благословение и выпив, «любожорный» старец начинал грубым голосом благовествовать. Он застрашивал Устинью и всех присутствующих баснями о хождении праведной Федоры по мытарствам или рассказывал «житие» святого пустытника Исаакия Долматского, как соблазняли его бесы, как они уловили его в свои сети и, наигрывая на дудках, восклицали: «Наш Исаакий! Да воспляшет с нами!» Когда на слушающих накатывались дрожь и воздыхания, старец начинал увещать их, не стеснясь в выражениях, побасенками о блудных деяниях монастырских и раскольничьих. Слушая его греховные речи, подвыпившие гости покатывались со смеху, улыбалась и Устинья. Затем старец, паки преподав благословение, уходил «еле можаху» к себе в подызбицу, уманив с собой, аки шаловливый бес, и мягкотелую бабищу Толкачиху, главную опекуншу над здоровьем государыни.

Вот этот старец праведный и был привлечен атаманом Каргиным в помощь к писарю Живетину. И старец Гурий постарался. Он написал такое воззвание к Симонову, что даже матерые, выдавшие виды казаки ахнули. В письме были включены разные непристойные слова по адресу императрицы Екатерины, и собрание старшин, под давлением богобоязненного атамана Каргина, решило, что «не должно священную особу государыни так поносить, что это не только дурно, но и противно Богу». В конце концов был позван сидевший в арестантской избе «шибкий грамотей» беглый солдат Мамаев. Он и занялся исправлением борзописных трудов старца Гурия.

Это письмо было вручено Симонову. Подъехавшие под стены крепости казаки кричали солдатам:

– Эй, служивые! Довольно вам голодать, сдавайтесь! Все царицыны войска батюшка побил. Уфа батюшкой взята, Казань с Самарой взяты! А Оренбург, в самой крайности, с голодухи пухнет. Сдавайтесь подобру-поздорову.

А солдатики, имевшие жительство в городе, по наущению казаков голосили:

– Эй, мужнишки, кисла шерсть! Сажайте своего коменданта с офицерами в воду да вылазьте из крепости!

Чтобы поднять среди гарнизона смуту, подсылались в ретраншемент разные беглые солдаты, погонщики, отчаянные казаки. Полковнику Симонову огромных трудов стоило держать голодающий гарнизон в повиновении. Он внушал защитникам, что от мятежников нельзя ожидать теперь пощады, так уж не лучше ли умереть с честью, без нарушения присяги.

На помощь извне никакой надежды у Симонова не было. Напротив, в начале апреля явился в городок атаман Овчинников с остатками воинских сил, уцелевших под Татищевой. Таким образом, силы осаждающих значительно возросли, силы же осажденных с каждым днем иссякали. Их донимал голод, холод. Солдаты вываривали лошадиные обглоданные собаками кости, даже ели мясо лошадей, павших сапом. А когда все было съедено, варили из глины подобие киселя и им питались.

А весна все ширилась, сгоняла последние сугробы по сыртам. Всюду дружная капель и солнце, на деревьях набухали почки, воробьи и разные птички-свиристелочки словно с ума сошли, голосистый жаворонок завел свою нескончаемую песенку, в лесной чащобе закуковала кукушка.

Трудно душе человеческой по весне в неволе быть в окруженной врагами крепости... Еще труднее умирать...

...Настало 14 апреля. Ранним утром, когда солнце, озаряя весенние небеса, выплыло из-за горизонта, дозорный приметил в крепостной церкви необычное в городке движение. Он тотчас сообщил коменданту. И вот все начальство и кто мог держаться на ногах высыпали на вал крепости.

С вала видно было, как из городка большими партиями выходят и выезжают казаки. Они в полной боевой готовности – с пиками, с ружьями, с двумя знаменами. Их провожают женщины и дети.

– Гляньте-ка, гляньте, Иван Данилыч! – обращаясь к Симонову, радостно кричал капитан Крылов. – И пушки с ними... Раз, два, три... Пять! А ведь это неспроста, ей же Богу, неспроста!..

– А знаете что? – взволнованно бросает Симонов рядом стоящему с ним Крылову. – Это значит, что к нам выручка идет... А казачишки навстречь... Уж поверьте... Слава Богу, слава Богу! – Симонов крестится, и шрам на его щеке от прилива крови синееет.

Все защитники сразу взбодрились. «Как будто мы съели по куску хлеба, которого давно не видывали, и это укрепило наши силы», – вспоминали они впоследствии.

Симонов не ошибался. Накануне, в начале ночи, разъезды донесли войсковому атаману Каргину, что по направлению к Яицкому городку движутся воинские отряды. Тогда атаман Овчинников ночью всех поднял на ноги, перед утром сформировал отряд из пятисот казаков, части заводских работников с калмыками, взял пять пушек, и вот громада выступает из города в поле, чтобы задержать врага.

Тем временем генерал-майор Мансуров, совместно с Г.Р. Державиным 6 и 7 апреля заняли крепости Озерную, Рассыпную и Илецкий городок, в котором разогнали толпу мятежников и захватили четырнадцать пушек. Подойдя к Иретскому форпосту и рассеяв пушечными выстрелами передовой отряд яицких казаков, Мансуров принужден был остановиться. «Ведь транспорт мой, будучи на санях, стал, –

доносил он Голицыну. – Здесь снег весь пропал, на санях продолжать путь никак не можно».

Не дожидаясь формирования колесного транспорта, Мансуров пошел вперед и возле тесного прохода у речки Быковки, недалеко от Рубежного форпоста, встретил Овчинникова.

Началось военное состязание. Казаками руководили Овчинников, Перфильев, Дегтярев.

Генерал Мансуров, выставив на берегу Быковки семь орудий, начал переправу. В первую голову переправились выступавший из Оренбурга Мартемьян Бородин со своими казаками и подполковник Бедряга с тремя эскадронами кавалерии. Затем переправилась пехота. Для пугачевцев бой был неудачен: артиллерия Мансурова работала прекрасно и действия частей его отряда хорошо согласованы, тогда как пушки мятежного казачества отстреливались вяло. А самое главное, силы сражающихся были слишком неравны: на каждого пугачевца приходилось по два мансуровца. Под конец боя мятежники, дрогнув, побежали. Дегтярев с двумя хорунжими попался в полон, Овчинникову же с Перфильевым с частью казаков удалось прорвать окружение и скрыться в степи.

С вала Яицкой крепости гарнизон не расходился. Солдаты и офицеры чутко прислушивались к отдаленным раскатам боя. Под конец дня осажденные заметили, как в городок спешно въехала толпа разбитых казаков, и вскоре прозвучал с колокольни набат, что означало «собраться в круг».

Спускались сумерки. В городке началась невиданная суматоха. Всюду слышалось: «Наших побили, генерал идет!» Зажиточные и степенные казаки подняли головы, издевательски кричали: «А-а-а, достукались со своим царем-то, сучьи дети!» Ударили два выстрела. Богатенький упал, свалился и пробегавший пугачевец.

Богатенькие со степенными рыскали по городку, ловили поставленных Пугачевым атамана и старшин. Были схвачены старик Каргин, Михайло Толкачев, Денис Пьянов и другие.

В подызбице Устинына дворца грохот, звяк выбиваемых стекол, приглушенные крики «караул». Там вяжут пьяного, лютого на драку старца Гурия. Прислушиваясь к нарастающему уличному шуму и гвалту в нижнем этаже, Устинья хватается за голову, всплескивает руками, носится взад-вперед в горнице. Вот, вскинув брови, она упала пред образом, с жаром молила: «Господи, спаси нас!» Затем вскочила, сорвала с себя дорогое ожерелье, швырнула на пол. Глаза ее пылали, ноздри вздрагивали, грудь тяжело вздымалась. Две девки-фрейлины вязали узлы с добром, подвыпившая баба Толкачиха, опрокинувшись на диван, рыдала в голос. Петр Кузнецов просунулся было к дочери: «Устиньюшка, дитятко...», но она оттолкнула его. Вихрем ворвался с улицы брат Устины, Адриан, и зашумел:

– Беги скорейча! Казачишки поскакали уж.

– Лошадей! – закричала Устинья и выбежала во двор. – Стража, лошадей! Тройку! Сани!

– Дороги рухнули, ваше величество, – с обидным хохотом откликнулись люди. – Казаки, хватай царицу!

Устинья метнулась в сени, поднялась наверх, за нею громыхали богатенькие, шумели в ее горенке:

– Будет, Устинья Петровна, поцарствовала! – Они подхватили Петра Кузнецова под руки: – Идем, идем, старик, не упирайся...

– Куда?

– К Симонову, вот куда.

Устинья сгребла со стола остро отточенный хлебный нож и, закричав:

– Вон отсюда, гадюки, вон, предатели! Геть, геть! – кинулась на казаков. В безудержном порыве своем она была страшна.

Безоружные богатеи, сразу перетрусив, побежали к выходу и, подталкивая друг друга, с руганью скрылись за дверь.

– Не поддамся вам, гадюки!.. – буйно выкрикивала она и никого уже не примечала: ни плачущего отца с Толкачихой, ни брата Адриана.

– Господи, Боже наш... Что с нами будет, что будет! – скулила Толкачиха, ей вторил старый Петр.

Адриан надрывался из сенец, навалившись плечом на дверь:

– Родитель-батюшка, сестрица! Заперли нас...

Устинья, не выпуская из рук ножа, металась от стены к стене, искаженное отчаянием лицо ее то вспыхивало, то белело. Вдруг она увидела в окно привязанную у прясла лошадь под седлом, сильным ударом распахнула раму, выпрыгнула из второго этажа на улицу и, доскочив к коню, занесла в стремя ногу... Крепкие руки схватили ее сзади:

– Стой, баба!

И еще набежали казаки. Устинья, ослабев в неравной борьбе, взмолилась:

– Батюшка! Царь-государь! Пошто ты оставил меня? Пошто спокинул свою молодешеньку?!

Только тут она пришла в себя, из глаз ее разом хлынули слезы.

Когда сумерки сгустились, шумная толпа, главным образом зажиточных и степенных казаков, подступила к ретраншементу. Симонов скомандовал: «Огонь!», и по толпе загрохотали крепостные пушки. Мятежники подняли белый флаг и закричали:

– Не стреляйте!.. Мы с повинной. Признаем ее величество государыню Екатерину...

– Выдавайте главных предводителей! – в свою очередь закричал с валу немало изумленный Симонов.

– Ведут, ведут!.. Из кузни всех наших смутьянов ведут...– откликнулись казаки. – Овчинников с Перфильевым бежали, а к дому Устиньи Кузнецовой мы караул приставили!

Вот, в сопровождении казачьего отряда, показались скованные десять человек: атаманы – Каргин, Михайло Толкачев, Денис Пьянов и прочие.

Гарнизон подкрепился пищею, доставленною сложившими оружие казаками.

На следующее утро, 16 апреля, вступил в Яицкий городок генерал-майор Мансуров и ненавидимый бедняцкой стороной старшина, полковник царской службы Мартемьян Бородин, или, как его звали в народе: «жирный Матюшка».

Один из участников обороны в своих записках говорил: «Радость освобожденных от осады трудно описать. Самые те из нас, которые от голоду и болезни не поднимались с постели, мгновенно были исцелены. Все было в движении: разговаривали, бегали, благодарили Бога и поздравляли друг друга».

Из Яицкого городка многие казаки, оставив свои жилища, разбежались: с ними утекли все жившие в городке бродяги беспаспортные. Но старец Гурий и беглый солдат Мамаев, два сочинителя письма к Симонову, были схвачены и вскоре попали на допрос к Державину.

Для окончательного очищения окрестностей от мятежных толп, а также поимки «ушлецов» генерал Мансуров сформировал два отряда – Муфеля и Державина.

Тем временем в конце Страстной недели атаманы Овчинников и Перфильев, с ними сорокалетний Изюмов и около двухсот яицких казаков, перейдя речку Чаган, остановились. Настроение у всех было тревожное, унылое. Как будто пригнали людей на край крутого обрыва, преградившего все пути-дороги, и

толкают в пропасть, в темное провалище.

Овчинников, разыскав образ Спаса у жившего на берегу скрытника, сделал закличку «в круг». Образ был прикреплен к столетнему осокорю. Овчинников обратился к кругу:

– Вот, братья казаки, сами видите, положение наше хуже некуда. Нам всем предлежит государя отыскать, к нему, отцу нашему, прилепиться. Без него пропадем мы, с ним жизнь увидим и дыхание наше не скончается. Братья казаки! Не отставайте от меня, следуйте за мною, я вас выведу к батюшке, и станем служить ему до последней капли крови. Кто в согласье, целуй образ Спасов со усердием, кто не в согласье, отъезжай прочь, тот нам больше не товарищ!

Казаки кричали:

– Идем за тобой! Только ты, Андрей Афанасьич, не спокинь нас! Нам один путь: алибо к царскому самодержавству, алибо затыкай хвосты за пояс, да и за Кубань!

Все, как один, они обнажили головы и двинулись чередом лобызать старинную икону. Первым приложился Перфильев.

Переночевав, все двинулись по бузулукской дороге.

Длиннолицый горбоносый Овчинников взглянул умными глазами в угрюмое лицо ехавшего с ним рядом Перфильева и сказал:

– Вот видишь, дружок Перфиша, дела-то какие. А давно ли, кажись, ты из Питера вернулся, да мы с тобой за чарочку держались.

– Да, брат, да-а-а-а, – вздохнув, протянул Перфильев.

– Был Яицкий городок, и нет его... Был царь-батюшка, и того затеряли мы... В аккурат, как лягушки: болото высохло, и мы во все стороны поскакали.

Вскоре отряд переправился через реку Сакмару и вступил в Башкирию. Здесь Овчинников стал чрез башкирцев разыскивать затерявшиеся следы Пугачева.

4

Весть об освобождении Яицкого городка уже не застала генерал-аншефа Бибикова в живых. Он успел получить известие об освобождении лишь Оренбурга и Уфы. Наладив наступление на действующие в крае многочисленные группы восставших и на главные силы Пугачева, генерал-аншеф решил перебраться в центр событий. Для окончательного успокоения края Бибиков создал несколько отрядов, составивших вторую, тыловую линию, передал команду этими отрядами князю Щербатову и выехал из Казани в Кичуевский фельдшанец.

Условия жизни здесь были бивуачные, весьма тяжелые, главнокомандующий квартировал в плохом и сыром помещении, без нужных в обиходе вещей (обоз с его имуществом еще не приходил). Бесперывная работа днем и ночью, напряженное состояние духа надломили здоровье Бибикова, и в конце марта месяца он тяжело захворал. «Лихорадка, посетившая меня в сие время, – писал он, – мучает меня, и я неподвижно лежу в постеле».

Превозмогая болезненное состояние и почувствовав себя бодрее, Бибиков переехал в Бугульму. Дорогою он простудился, в Бугульме болезнь его усилилась, опытного врача возле него не было, и он слег окончательно.

Из Бугульмы Бибиков отправил Екатерине через силу написанное прощальное послание. Между прочим он сообщал: «Поспешил бы я, всемилостивейшая государыня, прибытием моим в освобожденный ныне Оренбург, если бы приключившаяся мне жестокая болезнь меня здесь не остановила, которою в такое изнеможение приведен, что не имею почти никакого движения, едва только могу приказывать находящемуся при мне генерал-майору Ларионову, который, повеления мои подписывая, в разные места рассылает...» 9 апреля Бибиков скончался.

Тело генерал-аншефа, под прикрытием эскадрона карабинеров, было перевезено из Бугульмы в Казань и поставлено в приделе собора впредь до отправления, согласно воле покойного, Волгой в его костромское имение.

Бибиков не оставил своему семейству никакого состояния, небольшое имение его было заложено. Екатерина пожаловала его семье в Могилевской губернии несколько деревень с угодьями. Она очень сожалела о его кончине.

Однако глубоко переживать эту утрату Екатерина была не в состоянии: вся ее душевная деятельность была в это время направлена к возвышению генерал-поручика Григория Александровича Потемкина, своего нового кумира.

На этот раз сердце и разум Екатерины шли рука об руку, она в своем выборе не ошиблась: Григорий Потемкин представлял собою персону крупного государственного размаха.

Во время переворота 28 июня 1762 года, то есть двенадцать лет тому назад, когда Екатерина была возведена на престол, Потемкин принимал в перевороте участие в качестве всего лишь вахмистра конной гвардии. После этого он был замечен императрицей, стал ей лично известен, быстро пошел вперед по службе. Вскоре Екатерина писала ему: «Вы умны, вы тверды и непоколебимы в своих принятых намерениях. Мне кажется, во всем ты не рядовой, но весьма отличаешься от прочих».

На заседаниях Большой комиссии в 1767 году, в Грановитой московской палате, камер-юнкер Потемкин являлся представителем интересов инородцев. Двадцать два депутата башкирцев, татар, калмыков и других народностей выбрали его своим защитником. В следующем году он был пожалован действительным камергером, стал часто бывать на придворных куртагах, вел остроумные беседы с

Екатериной.

Князь Григорий Орлов усмотрел в этом «марьяже» прямое посягательство на свое личное достоинство. Хотя фаворитом Васильчиковым он и был отодвинут на задворки в сердце коварной императрицы, хотя, невзирая на все попытки, он и не надеялся восстановить былой взаимности с Екатериной, тем не менее он продолжал жить во дворце и пользоваться покровительством ее величества. И вдруг новое, неслыханное вероломство... Он почувствовал себя в высшей степени оскорбленным и устроил Екатерине сцену ревности. С присущей ему бесшабашной прямолинейностью он не удержался бросить:

– Ну, матушка, либо я, либо этот мастодонт со стеклянным глазом! Выбирай.

Екатерина только вздохнула. Она предвидела подобный оборот дела. Но какой же тут может быть разговор... Не будь Гришеньки Орлова, она была бы, может статься, не самодержавной императрицей, а всего лишь регентшей при малолетнем Павле. И теперь ей ничего не оставалось, как под разными благовидными предложениями на время удалить Потемкина от своего двора.

Не принадлежа ни к одной из враждующих партий – ни Орлова, ни Панина, – Потемкин, будучи человеком военным, решил посвятить себя делу начавшейся Турецкой войны. Вскоре состоялось повеление Екатерины. «Нашего камергера Григория Потемкина извольте определить в армию», – писала она графу Захару Чернышеву.

Под руководством фельдмаршала Румянцева Потемкин сразу же зарекомендовал себя выдающимся военачальником. В крупной битве при Фокшанах генерал-майор Потемкин, по свидетельству Румянцева, «был виновником одержанной тут победы». Почти на протяжении всей войны Потемкин, командуя крупными отрядами, то отражал атаки турок, то разбивал их армии. Так, 12 июня 1773 года, подходя к крепости Силистрия с кавалерией и легкими войсками, он опрокинул неприятеля, «отнял весь лагерь и артиллерию всего турецкого корпуса, выведенного из города Осман-Пашою».

Фельдмаршал Румянцев назначал Потемкина на самые ответственные места как человека энергичного, с отличной военной репутацией. «Со всей охотой, – отвечал Потемкин, – желаю я исполнить волю вашего сиятельства и с радостью останусь, где угодно будет меня определить». Всю осень Потемкин провел со своим корпусом против Силистрии, почти ежедневно бомбардировал крепость, отражал вылазки, нанося туркам превеликий вред и страх.

Вдруг... неожиданное собственноручное письмо от императрицы:

«Господин генерал-поручик и кавалер! Вы, я чаю, столь упражнены глазеньем на Силистрию, что вам некогда письма читать; и хотя я по сю пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардирада, но тем не меньше я уверена, что все то, что вы сами предпримлете, ничему иному предписать не должно, как горячему вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному отечеству, которого службу вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то вас попрошу по пустому не вдаваться в опасности. Вы, читав это письмо, может статься, сделаете вопрос: к чему оно писано? На сие вам имею ответить: к тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мыслей об вас, ибо я всегда к вам весьма доброжелательна».

Потемкин тотчас догадался, «к чему сие письмо писано», и, бросив все дела, в январе 1774 года прибыл в Петербург, затем в Царское Село, куда случайно в разгар зимы выехала Екатерина, и был принят ею с честью.

Полтора месяца спустя Потемкин был пожалован в генерал-адъютанты «ее императорского величества», то есть облечен наивысшим доверием женщины-императрицы.

С этого момента начинается «царствование» Потемкина, или, вернее, его соцарствование с Екатериной.

Счастливая Екатерина не преминула поделиться своей радостью с Бибиковым, которому в то время было вовсе не до этого.

«Во-первых, скажу вам весть новую, – писала ему императрица. – Я прошедшего марта 1 числа Григория Александровича Потемкина, по его просьбе и желанию, к себе взяла в генерал-адъютанты, а как он думает, что вы, любя его, тем обрадуетесь, то сие к вам и пишу». Заканчивалось письмо так: «А я, глядя на него, веселюсь, что хотя одного человека совершенно довольного около себя вижу».

Она написала было: «хотя одного подданного», но, подумав, переменяла «подданного» на «человека».

Бибиков получил это письмо за три недели до смерти. Он только головой покачал на сердечные несвоевременные причуды «всемилостивой матушки».

Граф Сольмс в депеше королю Фридриху II писал: «При дворе начинает разыгрываться новая сцена интриг и заговоров. Императрица назначила генерала Потемкина своим генерал-адъютантом, а это необыкновенное отличие служит признаком величайшей благосклонности, которую он должен наследовать от Орлова и Васильчикова. Потемкин высок ростом, хорошо сложен, но имеет неприятную наружность, так как сильно косит. Он известен за человека хитрого и злого, и поэтому выбор императрицы не может встретить одобрения».

Граф Сольмс отчасти был прав. Обе партии – великого князя Павла Петровича, во главе которой стоял граф Никита Панин, и партия братьев Орловых – были поражены каждая по-своему и недовольны новым выбором.

Но, с другой стороны, хотя Потемкин и стал твердой ногой между интригующими партиями, однако он счел для себя удобным временно перейти на сторону Никиты Панина. Потемкин прекрасно понимал, что Никите Панину приятно все то, что способствует уменьшению власти Орловых и влияния князя Григория Орлова на Екатерину.

Вскоре, к обоюдному удовольствию Потемкина и Панина, между Екатериной и Григорием Орловым произошла окончательная размолвка. Он и его партия запротестовали против необычайно быстрого возвышения Потемкина по служебной лестнице. Так, 5 мая Потемкину было повелено заседать в Государственном совете, 30 мая он назначался помощником графу Захару Чернышеву в звании вице-президента Военной коллегии, а 31 мая – генерал-губернатором Новороссийской губернии и главным командиром войск, там поселенных.

Словом, ревность и оскорбленное достоинство переполнили чашу Григория Орлова. После бурного объяснения с Екатериной он вынужден был просить позволения удалиться на пять недель в деревню, что ему и было разрешено.

Навсегда освобожденная от Орлова, Екатерина писала Потемкину: «Только одно прошу не делать – не стараться вредить князю Орлову в моих мыслях, ибо я сие почту за неблагодарность с твоей стороны... Он тебя любил, а мне они друзья – я с ними не расстанусь».

Впавший в мрачное отчаянье Орлов ударился в пьянство. Окруженный сочувствующими ему бражниками, он злобно кричал по адресу Потемкина:

– Я знаю, что с ним сделать! Я разотру его, как пыль! Гог-магог и тот не смеет против меня идти!.. Меня Европа, вся Европа меня трепещет... Ко мне Бог милостив...

Вскоре выехал из дворца и последний неудачный фаворит А.С.Васильчиков.

«Васильчиков, – писал Роберт Гуннинг графу Суффольку от 4 марта 1774 года, – любимец, способности которого были слишком ограничены для приобретения влияния в делах и доверия своей государыни, теперь заменен человеком, обладающим всеми задатками для того, чтобы овладеть тем и другим в высочайшей степени».

В дальнейшем Потемкин назначается командующим всей легкой кавалерией и всеми казачьими войсками, влияние графа Захара Чернышева сходит на нет, он подает в отставку. Президентом Военной коллегии вместо него становится Потемкин.

И почти все дела по борьбе с пугачевским восстанием (с конца августа 1774 г.) переходят в руки этого человека.

5

Петербург был в радости. Петербург то и дело получал с востока обольщающие известия: главная армия мятежников разбита под крепостью Татищевой, Пугачев из Берды бежал, Оренбург освобожден. Правительство было почти убеждено, что сила восстания сломлена, остается лишь успокоить население и переловить отдельные мятежные шайки, лишённые общей между собой связи.

Поэтому, назначая после кончины Бибикова главнокомандующим князя Щербатова, Екатерина определила ему возглавить лишь военные, действующие против Пугачева силы, а все административные дела, в том числе и усмирение бунтующего населения, предоставить губернаторам, каждому в своей губернии. Таким образом, неограниченная власть, которою обладал Бибиков, была у нового главнокомандующего изъята. В Казани к тому времени скопилось сто семьдесят колодников-пугачевцев, в Оренбурге – до четырех тысяч семисот. Нужно было торопиться снимать с них допросы. И поэтому вместо одной были образованы две секретные комиссии: одна в Казани, другая в Оренбурге. Дополнительно отправляя в эти комиссии новых офицеров, Екатерина в своем указе между прочим писала, чтоб они «при допросах по тайным делам ни малейшего истязания не делали». А между тем в самой столице, охраняя престол Екатерины и не без ее, конечно, ведома свирепствовал воевода обер-секретарь Сената, палач «кнутобойник» Шешковский.

Уезжая из Казани в Оренбург, князь Щербатов доносил Екатерине, что в Казанской губернии «волнование народное совершенно прекращено и бывшие в предательстве – в законном повиновении находятся». Такого же мнения был и престарелый Брант.

Однако в казанских краях было не так уж спокойно, и «волнование народное», погаснув в одном месте, внезапно вспыхивало в другом. Между городами Мензелинском и Осю свободно бродили мятежники. Против них Брант отправил секунд-майора Скрипицына. Другой отряд под командой Берглина преследовал восставших башкирцев по реке Тулве. Тысячная толпа их отошла к северу и бродила по Пермской провинции, в Красноуфимске «колобродили» казаки, поджидавшие к себе Салавата Юлаева, скитавшегося с башкирцами за рекой Уфой.

Как только генерал Мансуров занял Яицкий городок, ставропольские и оренбургские калмыки с женами, детьми, скотом, в числе шестисот кибиток, бежали в сторону Башкирии на соединение с Пугачевым. После нескольких упорных стычек с правительственными отрядами калмыки всякий раз разбегались, но снова сходились вместе. Около двух тысяч калмыков были достигнуты и разбиты на переправе через реку Ток. От полного пленения они спаслись чрез хитрость своего предводителя Дербетова. В разгаре боя он приказал зажечь степь. И вот степь за клубилась огнем и дымом. Ветер шел на солдат и казаков. Преследующий отряд стал задыхаться в дыму и пламени и вскоре, спасаясь от гибели, разбежался. Калмыки той порой перебрались через реку и пошли по самарской линии уничтожать мелкие крепости и форпосты. В конце концов высланный генералом Мансуровым из Яицкого городка значительный отряд стал преследовать Дербетова. Калмыки, спешно отступая, бросали на пути усталых лошадей, верблюдов и даже своих жен, спешили укрыться в вершинах Иргиза. Произошел бой, многие калмыки попали в полон и были отправлены в Оренбург; раненый их вождь Дербетов дорогою умер.

Тем временем князь Голицын, получив известие о бегстве Пугачева в Башкирию, сформировал для преследования мятежников два сильных отряда – генерал-майора Фреймана и подполковника Аршеневского.

Подполковник Михельсон, освободивший Уфу и пленивший Зарубина-Чикю, был застигнут в Уфе ледоходом. Он намеревался выступить к Симскому заводу, где, по его мнению, бродил Белобородов с

тысячной толпой и неподалеку от него Салават Юлаев с тремя тысячами башкирцев. Михельсон рассчитывал, уничтожив эти бунтующие сборища, повернуть к Белорецкому заводу, куда будто бы направился Пугачев.

Наступившая распутица значительно задерживала движение всех правительственных отрядов.

Военачальники Щербатов, Голицын, Мансуров и прочие, разъединенные между собой пространством, раскинув каждый на своем месте топографическую карту, судили и рядили, каждый на свой лад, куда бы выслать им воинские отряды, дабы как можно скорей и успешней окружить Пугачева, попутно пресекая на местах волнение народное. Но беда военачальников заключалась в том, что сам Пугачев был как бы прикрыт шапкой-невидимкой – где он, кто с ним? И военачальникам волей-неволей приходилось бороться с ветром, с пустотой, с неуловимым призраком. Одни из отрядов спешно посылались выставить заслоны на таких-то и таких-то реках, чтоб самозванец оказался в ловушке, другие отряды спешили занять те или иные населенные пункты с той же целью окружить Пугачева, но Пугачев в это время находился от них за сотни верст. Третьи военачальники, например Михельсон, отыскивая затерявшийся след самозванца, тянули, попросту говоря, «верхним чутьем», как породистые собаки. Они свои действия зачастую основывали на ложных показаниях и бесплодно бросались то в одну, то в другую сторону. Вся эта, естественная в тех условиях, неразбериха была на пользу Пугачеву, позволяя ему осмотреться и усилиться.

Мы знаем, что вместе с Кинзей и остатками своего воинства Емельян Пугачев направился из села Ташлы в Башкирию. По дороге он получил известие о занятии Уфы Михельсоном и пленении Чики-Зарубина.

Как ни старался Пугачев взбодриться, это ему не всегда удавалось. Легче, кажется, пережить потерю отца-матери, нежели лишиться таких своих верных помощников, как Падуров, Шигаев, Горшков, Зарубин-Чика, Ваня Почиталин, старик Витошнов и другие. Сердце его томилось, однако на людях он держался бодро. И выходило это не потому только, что он того желал, но главным образом потому, что люди были для него как подпора одинокому дубу в бурю. Чем больше верных людей вокруг, тем крепче, спокойней сердцу.

– Не унывай, детушки! Не клони головушек своих... Весна идет, а там и летичко. Бог велит, во здравии будем и с победой...

Небольшой Вознесенский завод, куда они прибыли, встретил царя-батюшку с честью. Чтоб снова «поставить на колеса» свою Военную коллегия, лишившуюся нескольких руководителей, Пугачев пожаловал в секретари казака Шундеева, а в повытчики – заводского мастерового из хорошо грамотных раскольников – Григория Туманова.

Чернобородый, приземистый, с большими глазами и широкими крылатыми ноздрями, Туманов сразу внушил к себе доверие Пугачева.

– Горные заводы наши рады будут, что вы припожаловали на Урал, батюшка, – было первым словом этого человека. – И помощь вам окажут в людях и в оружии.

– Верю, брат Туманов, верю! Да ведь и я так разумею. Люди заводские из крепких крепкие. Довольно присмотрелся я к ним. Да вот беда: как сражение, так и отхватят у меня сотни две. А пошто так? Ан дело-то, видишь ли, выходит просто... Как сшибка, иные помашут дубинками да и бегут врассыпную, как цыплята. Ну а заводские, те до последнего бьются: кои ранение получают, кои смерть. Эх, кабы не они, заводские, да не казаки-молодцы, не выдюжить бы нам. Ась?

– Справедливы ваши речи, батюшка.

Повелением Пугачева новые члены коллегии составили указы башкирским старшинам и заводскому населению о наборе вооруженных людей и о присылке их в стан государя. Указы подписывал Иван Творогов, к ним ставились сургучные печати с изображением Петра III.

Были также разсланы указы с требованием, чтоб население в окрестностях Челябинска и Чебаркуля готовило фураж и печеный хлеб «для персонального нашествия его величества с армией».

Пугачев, забрав на Вознесенском заводе годных для службы людей, перешел на Авзяно-Петровский завод, покоренный прошлой зимой Хлопушей-Соколовым. Здесь он осмотрел тринадцать отлитых для него чугунных пушек, поблагодарил работных людей за старание, выдал им денег, а некоторым, как, например, дяде Митяю, и медали.

Вешая медаль на грудь дяди Митяя, Пугачев говорил:

– Я тебя помню. Ведь ты у меня в Берде был. Сказывал мне про тебя Хлопуша, как ты с медведем да с капралом бился в тайге. И про то сказывал Хлопуша, как ты у старца праведного в землянке жил. А теперь вот ты главный здесь.

– Твоим веленьем, батюшка... Стараемся...

– Служи!

Прихватив с собой часть людей, провиант и сено, Емельян Иваныч двинулся дальше, к Белорецкому заводу. По причине весеннего бездорожья пушек он не взял, приказал доставить их в армию при первой возможности.

В Белорецком заводе пугачевцы провели всю пасхальную неделю. Первые два дня праздника было вдосыт попито-погуляно. Затем Пугачев с горячностью взялся за дело. Кой-как налаженная Военная коллегия продолжала, с помощью старшины Кинзи Арсланова, рассылать по Башкирии манифесты и указы. Отовсюду начали стекаться башкирцы, татары, заводские люди, калмыки, казаки, беглые солдаты. Емельян Пугачев приступил к комплектованию и устройству новой армии. Ему усердно помогали в том Андрей Горбатов, а равно и полковник Творогов.

Однако, после Берды, с Твороговым начало твориться что-то неладное: он принялся почасту выпивать, даже под выговор батюшки себя подвел.

Заметно Творогов стал охладевать ко всей этой азартной игре в войну, к этой страшной, но заманчивой идее. Эх, видно, сам черт бросил его в руки батюшки! Сидеть бы Творогову со своей разлапушкой-женой в собственном, крепко налаженном доме, ведь достаток у него немалый, ведь он сотник был, а вот на, вот видишь, что подеялось. Ради каких это выгод он обрек себя на опасную скитальческую жизнь? Людям во вред, своей безрассудной голове на погубу. Мало ли у них сгнуло народу: где Шигаев, где Падуров да Горшков Макся, где Витошнов с Ваней Почиталиным. Эхма!.. Да и Стеша... Удавить бы ее, непутевую, только жаль... ведь она к его сердцу живой кровью приросла... Ну, допустим, батюшка есть прирожденный царь-расцарь, Творогову-то от этого не легче, нешто Творогов не знает, что Стеша вот как ублажала батюшку и навовсе согласна бы уйти к нему... Не зря же при всей любви его к изменнице Иван Александрович сколько раз принимался колошматить, трепать за длинные косы вероломную, ветреную Стешу. Да... Только тридцать два года ему стукнуло, а глянь – в черные кудри его стала вплетаться седина, и весь молодцеватый вид его начал как-то блекнуть, как в знойное лето степь.

Однажды в минуту душевного волнения подвыпивший казак непрошено вломился в хибарку Горбатова, взял его за рукав и, задвигав бровями, молвил:

– Слышь, офицер, ваше благородие. Душа у меня чегой-то закачалась, сон пропал. Ответь по правде истинной: царь ли он, наш батюшка?

– Что ты, Иван Александрыч! – с возмущением вскинул Горбатов свое открытое чистое лицо, обрамленное волнистыми белокурыми, подрубленными по-казацки волосами. – Без сомнения, царь... В противном случае ужли ж я пошел бы за ним? Самый доподлинный Петр Федорыч.

– На мою статью, ежели он, верно, Петр Третий, уйти бы ему опять к римскому папе в сокрытие... Тогда и мы бы разбрелись по домам. А то ему и нам худо будет.

– А ты почему же, скажи-ка, пошел за государем?

– Я? А по глупству!.. Овчинников с Горшковым подзудили – иди да иди... Ну а ты пошто из офицерского звания приник к мужичью?

– Отнюдь не по глупости, Иван Александрыч. Я, так сказать...

– С высокого барского ума? – насмешливо и раздраженно перебил Творогов, потеряв свою темную бороду.

– Ну уж с барского, – обиженно проговорил Горбатов. – Просто душа потянулась к государю, поскольку он свое знамя за бесправный народ поднял.

– Стало, народ ты пожалел? – Серые, хитрые, глубоко посаженные глаза Творогова ухмыльнулись. – А мне сдается, на вольную жизнь потянуло тебя, как осу на мед: всласть поесть да попить, в веселый марьяж с девками позабавиться... Вот ты из голодного Оренбурга-то и метнулся в нашу шайку... А теперь вот...

– Что?

– Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй!

Горбатов неприязненно прищурился на Творогова.

– Обидно мне от тебя слышать это, Иван Александрыч! Ей-ей, обидно. Ведь ты Военной коллегии судья и должность главного писаря до сей поры правишь. Нешто неведомо тебе, что я выпиваю редко, а девки мне и на ум не идут? Да и зазорно было бы свою голову класть за такое добро... Ведь головы-то наши считаны, Иван Александрыч, расплаты не избежать нам. Ну что ж, ведь на это мы и шли с тобой. Так ли?

В офицерскую избу вечерние сумерки врывались. На столе – склянка с чернилами, два гусиных пера, песочница, исписанные листы бумаги – списки новоприбывших: кто с чем пришел, есть ли конь, каково вооружение. Творогов, все время стоявший возле офицера, покачнулся под ударами его слов – «не избежать расплаты», сел на скамью, опустил голову. Вздохнув и раз, и два, он уныло сказал:

– Все в гору, в гору с батюшкой-то лезли, а теперь под гору бежим... Дермо наше дело, собачье дермо на лопате... От веселой нашей игры эвот я сесть зачал, – казак уставился напряженным взором в пол, омраченное лицо его окаменело.

– Не печалуйся, Иван Александрыч, на нашем пути еще не одна гора и не одна удача будет. Силы накопим, по России с дымом, с грохотом пойдём! А крестьянства там, в России-то, да всякого обиженного люда великое множество... Пусть простой народ знает, что и у него есть заступники, что он, бездельный, может голову поднять да правды себе потребовать. Наше дело взбудить спящих, внушить им это. Понял ли меня, Иван Александрыч?

Творогов вскочил с места.

– Ты, господин Горбатов, точь-в-точь как Падуров говоришь... Эх, ни в ком в вас разума настоящего нет, ни в ком! – выкрикнул он, насупился и, не простившись с хозяином, быстрым шагом вышел вон.

На улице рабочего поселка, во дворах, на огородах и за пределами Белорецкого завода почти та же

картина, что и в Берде: пестрые толпы народа, верблюды, кони, сияющие сквозь сутемень златогривые костры, говор на разных языках, крики, смех. У костров казаки впрыскают пляшут.

Двигается шагом конная сотня башкирцев, лошади вспотели, над ними легкое облачко, они притомились в быстрой, недавней дороге.

– Эй, котора место бачка-осударь? Кажы дорога! – вопрошает вожак башкирской сотни.

С презрением поглядывая по сторонам, чинно и лениво шагает по дороге караван навьюченных верблюдов. Калмыки и киргизы, шумно перекликаясь, ставят свои «дюрты» из серой кошмы и решетчатых щитов, сколоченных из деревянных реек.

Четверо конных казаков, в их числе палач есаул Иван Бурнов и Ермилка. Вот они разъезжаются в разные стороны, останавливаются у каждого костра, громко возглашают:

– По приказу его величества, завтра с полдён в поход!

Ермилка, подбоченившись, трижды играет в трубу, трижды возглашает. Он любит красоваться. На правой его руке золотое обручальное кольцо. Перед великим постом поп Иван венчал их с Ненилой в церкви. Ненила теперь пишется: «казацкая женка Ненила Недоскокина».

Отец Иван, не отстававший от пугачевской толпы, на масленой неделе «соскочил с зарубки», снова ударился в пьянство, пропил обе пары сапог, подаренных ему Ванькой Бурновым, тот поучил его кнутом и пригрозил повесить. Но все обошлось благополучно.

Итак, над Уральскими горами предвесенние полыхают звезды, всюду немая, от земли до неба, тишина: птица не взлетит, собака не взбредет, все погрузилось в непробудный сон – завтра выступить. Все живое спит, но по окраинам и при дорогах дозорят люди: где-то, и, может быть, очень близко, коварный враг скрадом бродит, а где он, кто он – никому не известно: то ли князь Голицын, то ли Мансуров с Деколонгом, то ли Михельсон?

Карауль, казак, не больно-то любуйся звездами небесными, не клони на грудь отпетый головы своей, не верь могильной тишине – она обманна, чутко лови ухом каждый шорох, каждое дуновенье ветерка: из ветра родится буря.

Три всадника: Кинзя Арсланов, Горбатов, Чумаков под лучистыми звездами едут проверять дозоры.

Глава III

Пугачев на Воскресенском заводе

1

Как только узналось, что царь-батюшка прошел Малые Ярки и приближается к Воскресенскому заводу, все работные люди с детьми и бабами высыпали на дорогу версты за две от городских построек. Народ бежал, шел и ехал из деревни Александровки, что стояла у больших прудов за плотиною, а также из рабочего поселка, расположенного внутри завода.

Поселок, состоявший из немудреных хибарок, среди которых, впрочем, высились и обширные, изукрашенные резьбой избы, растянулся от земляного вала с деревянной стеной до так называемого канала. Хотя, в сущности, это не канал был, а небольшая речка Тора. У самой заводской стены речка была запружена плотиною, получилось многоводное озеро – «скоп воды», а дальше, в пределах заводского участка, речку Тору выпрямили, одев берега ее в бревна и доски, – получился канал.

Ежели залезть на высокую сосну, можно видеть, как вся заводская площадь, огражденная земляным валом, разрезана каналом на две части: на одной – рабочий поселок, на другой – управительская усадьба, контора, заводские мастерские, склады и церковь во имя Воскресения Христова, отчего и завод назван Воскресенским. На самом же канале стояли две вододействующие мельницы – лесопильная и мукомольная. Ни в рабочем поселке, ни даже в управительской усадьбе не было огородов, да и вообще на всем заводе не имелось никакой растительности – ни деревца, ни зеленой травки, и единственная сосна была мертва. Эта пустыньность участка – результат тлетворного действия смертоносных газов, изрыгаемых «домницами» и «штыковыми» горнами. И сами люди, жившие в поселке, немало хрипели от газов. Испитые, бледные, с лихорадочно блестящими или вовсе потухшими глазами, они были физически еще сильны, но оставляли впечатление людей болезненных, как будто на солнечном Урале никогда не ласкало их горное солнышко.

...Народ бежит, бежит навстречу царю-батюшке и выстраивается по обе стороны дороги. Ведь снег давно ушел в землю, деревья обтрясло ветром, на дороге старая хвоя, шлак, угольная пыль, песок.

– Едут! – дружно заорали парнишки.

Тысячная толпа зашевелилась, бородачи пятернями расчесали бороды, бабы оправили платки и полушалки, старенький попик в ризе вышел с клиром на середину дороги, две красивые молодайки в ярких сарафанах держали блюдо с хлебом-солью.

Показались желанные гости. Впереди полсотня казаков со значками-хорунками, за ними, окруженный близкими, сам царь-батюшка на крупном жеребце в наборчатой сбруе, возле него распущенное большое знамя. А позади – казаки отдельными сотнями, башкирцы и прочее войско. В хвосте – далеко растянувшийся обоз. И лишь только показался царь в своем зеленом суконном полукафтаны с позументами, толпа опустила на колени.

– Встаньте, ребятушки! – крикнул Пугачев. – Вот я, царь ваш, прибыл проведать вас, нуждицу вашу посмотреть, каково живете. Не творят ли вам, рабочему люду, утеснения. Ведь я своего человека поставил над вами, Якова Антипова.

Лица у всех просияли довольными улыбками. Раздались бодрые выкрики:

– Яковом Антипычем мы не обижены... Тухлятиной он, как допрежь бывало, не кормит!

– И жалованья он, Яков-то Антипыч, по копейке на день набросил. И харч подешевле супротив прежнего отпускает...

Слезать с коня Емельяну Иванычу помогли рыжебородый с хохлатыми бровями Яков Антипов, поставленный управлять заводом, и мастер-литейщик Петр Сысоев. Емельян Иваныч приложился ко кресту, принял хлеб-соль от двух пригожих теток, пошутил с ними, затем спросил:

– Далече ль до завода?

– Да версты полторы, царь-государь. Ишь из-за лесу дымок валит. Ну-к, там.

– Гарно. В таком разе я пешком пойду. Поразмяться... А на моего коня, – усмешливо прищурившись, проговорил Пугачев, – посадите какого не то старичка почтенного. Кто из вас самый старей-то?

– Да старей нашего батюшки, отца Панфила, никого нетути.

– Отец Панфил, садись, – сказал Пугачев. – Ермилка, подмогни попу вскарабкаться, – и пошагал по дороге.

Маленький попик, не сразу поняв, в чем дело, вытаращил глаза и со страху пошатнулся, затем, когда Ермилка, схватив его в охапку, стал подсаживать, попик закричал, а как сел в седло, расплылся в самодовольной улыбке.

Слегка придерживая левой рукой саблю, Пугачев шел своей сильной и легкой походкой столь быстро, что люди едва поспевали за ним. Пойдут, пойдут – да вприпрыжку.

У людей и хворь, какая была, кончилась; бабы с девками от быстрого хода раздумялись, похорошели, как вешние цветы; ребятишки, попевая за пешим государем, сверкали голыми пятками, вполголоса перекликались меж собой.

По плотной дороге раздавался дробный цокоток кованых копыт и звяк оружия: то мерно двигалась пугачевская конница. Вот начался обоз: проехал фаэтон с какими-то красотками, возы сена, несколько телег с мукой и крупой, тарантас с Ненилой и расстригой-попом Иваном. Поп курит трубку, поплевывает на дорогу и правит лошадей. Он в трезвой полосе теперь и на все руки мастер: приводит новых людей к присяге, поминает убитых в сражениях: «Помяни, Господи, во царствии твоём нашего казака-воина Сергия, нашего есаула-воина Митрофания, нашего убиенного атамана-воина Андрея». Помяная их в молитвах, он упирает на слово «нашего», дабы в небесах не произошло путаницы, не смешали бы там за великими делами душу какого-либо голицынского злодея с праведной душой павшего за веру, царя и отечество, скажем, атамана Андрея Витошнова. Помогает он также на кухне, учит Ермилку и Ненилу азбуке, чистит царю-батюшке сряду, ловит для царского стола рыбу.

Пугачев, бывало, нет-нет да и пошутит с ним:

– Ты, поп Иван, вижу, стараешься... И прилепился ко мне крепко!

– Все упование мое в тебе, царь-государь.

– Ну, так я тебе попадью приглядел. Правда, что она из татарок, жена муллы, а муллу я повесил.

– А пригожа ли татарка-то, царь-государь, да молода ли?

– Прямо красавица! И не перестарок, а в самом прыску.

– Неподходящее дело, царь-государь. Мне бы какую кривоглазую бабу-раскорячку.

– Ха-ха-ха... Пошто так?

– Молодую да красивую Ванька Бурнов себе приспособит.

Загудел, залился, рассыпался по всему лесу трезвон колоколов, и вслед за тем грянул с заводской батареи пушечный выстрел. Завод торжественно встречал своего заступника, по-царски.

Пока Пугачев ходил с атаманами и отцом Иваном в баню да после бани отдыхал, Андрей Горбатов готовился чинить государю подробный доклад о заводе. Он побывал в канцелярии, рассмотрел там планы, указы, побеседовал со старыми штейгерами, затем, уже вечером, направился в управительский дом, где остановился Пугачев.

Дом был хороший, просторный, в лапу рубленный из кондовых сосен. Пугачев со своими ближними поместился в небольшом, но уютном зальце. Под потолком бронзовая люстра, на столах и по стенам бронзовые же подсвечники, кенкеты, шандалы – все эти отличные, тонкой работы, вещи были отлиты здесь же, на заводе. Большой, из латуни, самовар, тоже местного изготовления, пускал на столе пары и шумел, как сухой веник, когда им с усердием метут полы. Пугачев с атаманами и Кинзей Арслановым, держа зажженные в подсвечниках свечи, столпились возле висевшей на стене картины. Они звонко хохотали, отпускали чудаковатые словечки по поводу изображенной на облаках голой красотки.

– Слышь, Чумаков, – прыская в горсть, шутил Творогов. – Да уж не твоя ли это духовная? Вишь, развалилась, и левая ножка у нее кабудь покорооче...

– Ты тоже брякнешь, – притворно обидчиво возразил Чумаков, уткнул в грудь широкую, с проседью, бороду.

– А до чего гладка, до чего гладка! – восторгался Творогов, рассматривая картину. – Не ущипнешь...

– Я видел девку, – проговорил хмурый усатый Данилин, – ну, так та горазд поздоровше этой будет. Она щеки да шею жиром смазывала, ее, вишь, застращали, что, мол, кожа лопнет...

– Стой! Я знаю, кто это срисован, – сказал Пугачев, освещая картину свечой. – Это либо Апраксина графиня, либо Строганова Танька в пьяном положении. Я их знавал. Их, бывало, приоденут, приоденут, а они все с себя до нитки промотают, нагишом и сидят по неделе в горнице. Вот те и графини!

– Нет, государь, – сказал вошедший Горбатов. – Здесь изображена богиня Венера... Вот и серпик месяца в ее волосах запутался. Это из греческой древней религии.

– Верно, верно! – вскричал Пугачев. – Я в Греции бывал и у турецкого султана. Да вот, послушайте...

Все обратили улыбочивые взоры к Пугачеву. После баньки, после сытой трапезы, а впереди – самовар кипит, настроение у батюшки хорошее, уж он что-нибудь да «отчубучит». Когда на душе у Емельяна Иваныча спокойно, он мог порассказать о всяких занятных в его жизни приключениях. Он при этом так искусно перемешивал бывшее с небывшим, правду с вымыслом, что подчас и сам удивлялся, сколь складно получается. Впрочем, подвирал он с умом и на пользу дела. Удивленные слушатели или взаправду верили его рассказам от слова и до слова, либо только притворялись, что верят, и все же в немалом восхищенье думали: «Хоть батюшка иным часом и плетет лапти с подковыркой, а под конец, глядишь, и на всамделишную жизнь повернет, людям на поученье... поистине, у батюшки ум густой, охватистый».

Вот Емельян Иваныч поставил подсвечник со свечой на стол, подбоченился и, не спеша расхаживая по горнице, начал:

– Как-то заходим мы с султаном к нему в гарем, оба выпивши. Ну, там всякие цветочки, дерева разные произрастают, маленькие попугайчики перепархивают с веточки на веточку, а султанские женки в водоеме плавают, аки белорыбицы. И показывает султан пальцем: «Вот, говорит, ваше самодержавное величество, Петр Федорыч Третий, взгляните на это мое сокровище, главную жену-супругу. Поступила она,

говорит, ко мне трех пудов весу, и кажинный год, говорит, по пуду надбавляет, а живет семь лет у меня в гареме и вес имеет десять пудов без трех фунтов». Вот султан команду подал ей: «Вылазь на сухое место!» Как она из воды вылезла, да трепыхнулась, так у меня, верите ли, аж в голове круженье сделалось. Поцеловал я султана в маковку и спрашиваю по-французски: «Как это, ваше султанское величество, могло статься, чтоб молодая красотка таким пышным телом обросла?» Султан отвечает: «А чего же ей, ваше самодержавное величество, белые телеса не растить, ежели она проснется, в водичке поплавает, полбарана умнет, кофею запьет, да опять на боковую». Ну, султан, конечно, старый, я молодой. И спознался я с ней ночью, стражу подкупил. «Откудов ты сама-то, красавица, будешь?» – спрашиваю ее по-французски. А она мне по-русски: «Я, говорит, не понимаю, чего вы, ваше императорское величество, лопочете...» Тогда я на русскую речь перетолмачил. Она отвечает: «Я, говорит, девушка Федосья, а теперь Фатьма называюсь, двадцать два года мне, и весу тяну пять пудов три фунта, а не десять пудов, султан наврал вам».

«А как же ты, разнесчастливая, попала сюда?»

«А я, говорит, крепостная крестьянка распроклятого князя Голицына, он, говорит, злодей, променял меня султану на двух туркинь да на ефиопа с халдеем, да еще ученого журавля о трех ногах в придачу выпросил, вроде чуда». Тут она причмокнула меня и горько заплакала.

«Ах, говорит, ваше императорское величество! Вызвольте меня отсель. Хоша тут и распрекрасно, хоша султан меня ни разу за волосья даже не трепал, иначе шибко я по Расеюшке тоскую, по отце-матери, по роду-племени. А как вспомню про леса да про березки белые, про малых пташек да соловушку, сама не своя, руки на себя наложить готова... Ой, спасите вы меня, спасите!»

Я тут едва передохнул, дюже жалко мне ее стало. Говорю ей:

«Лишь бы мне снова престолом завладеть, я бы Голицыну князю ноги из спины повыдергивал».

А она мне:

«Ой, повыдергайте ему ноги-руки, уж очень шибко тиранит он крестьян своих, чтоб его лихоманка затрясла!»

– Да уж не тот ли это Голицын-то, ваше величество, что под Татищевой супротив вас шел? – спросил, улыбаясь, Горбатов, присаживаясь к самовару.

– А кто же? Он и есть! – подмигнув, воскликнул Пугачев. – Голицын-то один у царицы, князь-то. Он, собака, этот самый Голицын-Рукавицын дознался, что мы за крестьян стоим, вот и полез на нас. Мы ему как кость поперек горла. А солдатне-то своей набрехал про нас – мы-де разбойники, народ грабим. Те сдуру и поверили!

Затем все уселись за стол. Творогов разливал по расписным гарднеровским чашкам чай. Ненила притащила пышек да густого меду.

– Ну-ка, ваше благородие, докладай, что да как? – обратился Пугачев к Горбатову. – В коем году завод-то обоснован?

– В тысяча семьсот сорок шестом, государь, – ответил Горбатов, раскинув пред собою исписанный им лист бумаги.

– Стой-ка ужо... Слышь, Яков Антипов, – сказал Пугачев. – А где приказчик Петр Беспалов, коему мы, помнится, указы слали?

– А его, батюшка, повесить довелось, – встав и поклонившись государю, ответил рыжебородый, рослый, корпусный Яков Антипов.

– Чем же он не угодил тебе? Делу нашему, что ли, прилежен не был?

– Не токмо николикой пользы не приносил, но делу вред творил! Стакнулся он, приказчик-то, с немцем Мюллером, главным при заводе шихтмейстером и механиком, да и принялся бронзовый сплав, что для литья пушек, портить: не ту плепорцию олова в медь давал. Через что изъян получался и делу пагуба: как поставят отлитую болванку на станок да учнут сверлить стволину, весь сплав в раковинках да в трещинах.

– Как дознались, что изъян сплаву был от неверной плепорции? – спросил Пугачев.

– А сам Беспалов показал... Как присудил народ покончить с ним, он на колени, да и ну каяться.

– Народ, говоришь, присудил-то? – вскинул Пугачев голову.

– Народ, народ, ваше величество! – воскликнул Яков Антипов. – Весь работный люд... Уж очень большая охота у мастеров да работников угодить тебе, царь-государь, пушек да mortиров-то поболее отработать...

– А с немцем Мюллером как? – прищутив правый глаз, по-строгому спросил Пугачев.

– Сохранили Мюллера мы. Хоша народ и шумел «повесить немчур», да я не дозволил.

– То-то же, – и Пугачев с шумом передохнул. – Немца, ежели он знатец дела, обласкать надо. Покличьте-ка его.

Побежали за Мюллером. Антипов сказал:

– У него, у немца-то, голова дюже смекалистая... Ведь по его плантам пушки да mortиры-то делались, кои перекидным огнем палят. Правда, что не он один, а с ним вместиах другой знатец работал, наш...

Явился тучный шихтмейстер Мюллер. Он нес перед собой тугой живот, подпертый толстыми ногами в клетчатых коротких штанах, шерстяных чулках и грубых башмаках с медными пряжками. На плечи небрежно накинутая, тоже клетчатая куртка-распашонка. Лицо круглое, наливное, глазки плутоватые, с усмешкой. Длинные рыжие волосы на концах завиты в локоны. В зубах дымит трубка. На ходу немец задыхается. Вошел и со спесью небрежно кивнул головой.

– Здравствуй, Карл Иванович, – произнес Пугачев, воззрившись на немца.

– Мой – Генрих Мюллер, – хрипло промямлил мастер, не выпуская изо рта трубки.

В русских придворных делах он разбирался плохо, однако знал, что Екатерина свергла Петра III с престола. А вот ныне будто бы свергнутый царь снова появился и ведет войну против царицы. По крайней мере так толкуют заводские работники, но главный приказчик Беспалов когда-то говорил ему, что оный человек, обложивший со своим сбродом Оренбург, есть беглый каторжник, лжецарь Пугачев. Мюллер поглядывал на Пугачева и гадал: кто он?

Пугачев в упор с любопытством и строгостью посмотрел на немца. Тот несколько поежился, стал усиленно попыхивать трубкой.

– Умеешь ли по-англицки, Карл Иванович? Либо по-гишпански? – приосанившись и покручивая ус, спросил Пугачев.

– Нет, Генрих Мюллер говорит только по-немецки и маленько по-русски.

– В таком разе балакай по-русски, как умеешь, – сказал Пугачев, скользом взглянув на Горбатова, внимательно следившего за разговором. – Отвечай: знаешь ли, что я – Петр Федорыч Третий, царь всея России?

– Нет, не знайт, – потряс головой и щеками немец.

– Ну, так знай! – с сердцем сказал Пугачев. – А когда этак мне русский человек отвечает – не знаю, мол... так я, чуешь, приказываю тому человеку голову рубить! – И Пугачев пристукнул ребром ладони по столу.

Позади Емельяна Иваныча стоял широкоплечий Идорка, увешанный кривыми ножами, и свирепо смотрел в густо покрасневшее, щекастое лицо немца. Мюллер явно испугался слов царя и задышливо произнес:

– Мой голова рубить не можно есть... Голова Генрих Мюллер подданный великий король Фридрих Прусский.

– А ты не фырчи... Не то, мотри, у меня недолго и с перекладной спознаться... Тогда узнаешь, чей ты верноподданный... Ты, с Беспаловым сговорясь, вред чинил моему императорскому делу... – сказал Пугачев, пронзая Мюллера суровым взором.

Немец, хорошо понимавший по-русски, открыл рот и покачнулся. Затем выхватил изо рта дымящуюся трубку и, выбив ее о каблук, поспешно сунул в карман. Лицо его вытянулось, окаменело. Подметив его замешательство, Пугачев сказал помягче:

– Ну, Карл Иваныч, как ты угодил мне своими пушками, кои под Оренбург присланы были, я все твои вины передо мной прощаю. Пушки новые есть?

– Есть два пушка, два мортир, кайзерцар...

– Приготовься назавтра пробу учинить. Иди, Карл Иваныч.

Генрих Мюллер, потеряв спесь, шаркнул ногами вправо, шаркнул влево, дважды притопнул каблуком, изогнулся корпусом вперед, подобрал брюхо и с подобострастием на лице выпятился оттопыренным задом в дверь.

Все с веселостью заулыбались, посматривая на батюшку.

2

– Ну, Горбатов, докладдай таперь, – приказал Пугачев офицеру.

Заглядывая в свои записи, Горбатов начал:

– Итак, Воскресенский завод был основан тридцать лет тому назад симбирскими купцами братьями Твердышевыми. Этот завод, как и многие заводы, стоит на башкирской земле. Выпытав у простодушных башкирцев, где имеется медная руда, они облюбовали возле этого места огромный участок земли, ни много ни мало, как в пятьдесят тысяч десятин, с медными богатствами и высоким строевым лесом. За всю эту землю они умудрились заплатить хозяевам ее, башкирцам, всего четыреста рублей, то есть меньше одной копейки за десятину. – Во-во! – проговорил Пугачев, обжигаясь горячим чаем. – Мне об эфтом самом и полковник Падуров, бедная головушка, когда-то сказывал.

– Яман, яман, дермо дело! – закричал тонким голосом Кинзя Арсланов и стал лопотать наполовину по-башкирски, наполовину по-русски.

Толмач Идорка, переводя его речь, говорил, что купцы спаивали башкирских старшин вином, одаривали их разными вещичками и подсовывали им купчие. Старшины в пьяном виде ставили на купчей свою тамгу (подпись), и законная сделка таким образом считалась совершенной.

Кинзя Арсланов через переводчика сказал:

– Поэтому наша башкирь и пошла к тебе, бачка-осударь... За правдой пошла, верит, что ты обидчиков нашего народа покароешь, а землю опять вернешь первоначальным хозяевам, значит, нам, башкирцам.

Пугачев подумал, подвигал бровями и, обратясь к переводчику, проговорил:

– Перетолмачь: мало, с землей дело прошлое; что с возу упало, то пропало. А то выходит – лежит собака на сене, ни себе, ни людям. Стой, погоди, Идорка! Насчет собаки не перетолмачивай, а толкуй тако: ныне, мол, завод со всеми землями в нашу государеву казну отошел, а земля для завода так и так нужна. Уж пусть башкирцы не прогневаются, им той земли хватит, коей владеют. И еще башкирцы пускай ведают, что без государевых заводов России не стоять: заводы пушки с ядрами льют, оружие сготовляют. А то придет враг со стороны и заберет всю землю – башкирскую и русскую. А без русского народа малым-то народцам где устоять? С них, с бедных, враг шкуру-то до ребер спустит, ни земли, ни лошадей, ни жилища не оставит им. Сам на всю землю сядет и распространится. Горе тогда всем вам, малым! Будете, как желторотые птенцы в брошенном гнезде, когда орел с орлицей застрелены. Ты только покрепче подумай, Кинзя Арсланыч, да и сородичам расскажи своим. Вот заводчики, разные там Твердышевы да Демидовы, замест пользы один вред приносили вам, обиды да притеснения сотворяли башкирскому люду простому. А я тебе, Кинзя, говорю своим великим царским словом – впредь этого не будет. Кто башкирцев на заводской земле обижать станет, голова тому будет рублена!

Идорка перевел. Кинзя, выслушав, кивнул головой, сказал:

– Якши.

Горбатов, прислушиваясь к резонным речам государя, сказал:

– Это вы правильно, государь, рассудили, умственно.

– Ну, а как инако-то?.. – возразил Пугачев. – Тут само дело указывает.

– Для полного уяснения обстоятельств, – продолжал Горбатов, – надо вам сказать, государь, что башкирцы подпали под власть Москвы еще при Иване Грозном, после покорения Казани. И вплоть до

петровских времен в Башкирии не было ни русских заводов, ни русских деревень. Далекая Башкирия никому не нужна была. А вот когда Петр Первый новые порядки на Руси заводить начал, тогда все круто переменялось. Петр укреплял государство силою оружия. При нем постоянные войны шли, требовалось много пушек, много прочего оружия, значит, занеобходимы и медеплавильные и железоделательные заводы. Наш торговый флот к тому времени знатно увеличился, расходы на войны были чрезмерны, довелось усилить торговлю с заграницей хлебом – стало быть, потребовались под пашню новые земли. И вот потянулись в Башкирию купцы вроде Твердышевых, да и на придачу им – помещики: пронюхали они, что дикой, незапаханной земли в Башкирии много и земля та чернозем. – Горбатов сделал паузу и продолжал:– Вскоре государыня Елизавета Петровна возвела Твердышевых в звание потомственных дворян и обещала оказывать им воинскую помощь, ежели от башкирцев да от киргизов предвидена будет какая-либо бунтовская опасность.

– Эх, напрасно это, – крутил головой Емельян Иваныч. – Этакую тетушка моя, блаженные памяти, промашку допустила. По-бабски это! Тут полюбовно надо было, полюбовно, говорю. А народ на народ неча, как собак, натравливать. Она бы лучше, тетушка Лизавета, вечная память преславному ее имени, указ-то издала, чтобы купцы Твердышевы недоданные деньги выплатили башкирцам за землю сполна, по справедливости. Да их бы, Твердышевых-то, надо было, сукиных детей, не в потомственное дворянство, а на каторгу! А этиакие указы давать станешь, кого хошь озлобишь.

– Вы правы, государь, – вновь выговорил Горбатов. – С тех пор башкирцы возненавидели и русских заводчиков с купцами, а заодно и русских мужиков, тех самых, коих навезли в Башкирию помещики да разные предприниматели.

Пугачев расправил бороду, откинул со лба челку и, подумав, сказал:

– Идорка, перетолмачь, а ты, Кинзя, слушай... Мы решили тако, и наша императорская Военная коллегия не единожды о том манифесты выпускала – бедноте башкирской я слезу вытру, а что касасемо, чтобы русских мужиков изобижать, тому строгий запрет кладу, чтобы ни-ни! Уж не прогневайся, Кинзя Арсланыч. Наслышавшись мы немало, как башкирские толпы безначальные, наушаемые муллами да богатыми баями, мужиков беззащитных забижают... Да нешто мужики виноваты, што господа сюда их перевезли, в Башкирию?

Когда Идорка перетолмачил, Пугачев, хмуро насупясь, спросил башкирского старшину:

– Понял ли, Кинзя Арсланыч? (Тот кивнул головой.) А понял, так на ус покрепче намотай... Идорка, перетолмачь.

Горбатов, поглядывая в бумажку, продолжал:

– Предприимчивые Твердышевы принялись распространяться по Уралу все шире и шире. За каких-нибудь пятнадцать лет они открыли еще десять заводов[40].

Пугачев встал, подошел к поднявшемуся Горбатову и, похлопав по плечу, сказал:

– Благодарствую. Мастер докладывать. Таперь мне все явственно. А вот что это такое, ваше благородие, в трубке-то у тебя свернуто?

Горбатов сорвал с рулона нитку и раскинул на столе чертеж пушки и мортиры, по бокам чертежа пестрела рябь мелких цифр.

– Сие есть изобретение шихтмейстера Мюллера, государь, – сказал он. – Хотя нешто подобное было, кажись, введено в нашей артиллерии еще в Семилетнюю войну.

Все сгрудились подле чертежа. Пугачев влил глазами в рисунок, наморщил нос, посапывал. Яков

Антипов сказал:

– Не один Мюллер над этим башку-то ломал. А ежели по правде-то молвить, не Мюллер, а наш мастер-пушкарь, по прозвищу Коза, пушку-то эту выдумал. Он знатец великий. У него два сундука разных книг с цифирью, у Козы-то... Вот те и Коза! Он и зовет себя «механикус». Только пьяница – не приведи Бог!

– Где он, Коза ваш? – оживился Пугачев.

– Нетути его, ваше величество, – ответил Яков Антипов. – Он, пьянь горячая, на Каму невесть зачем подался. Нешто его, Козу, удержишь?

Чай пили с каким-то ожесточением, и вскоре самовар усох. Ермилка притащил другой – в полтора ведра – с клеймом Воскресенского завода. Стало темновато. Зажгли в люстре восковые свечи. Разговоры не смолкали.

Старый заводской мастер, литейщик Петр Сысоев – человек высокий, со впалой грудью, лицо сухощавое, скуластое, в небольшой темной бороде, глубоко посаженные глаза сильно косят, он стал рассказывать о Тимофее Ивановиче Козе.

История Козы такова. Он сын крестьянина Ярославской губернии. Будучи мальчишкой шустрим и затейливым, он почасту играл со своим сверстником барчонком, был вхож в господский дом, затем отобран от родителей и помещен в людскую. Барчонка обучал разным наукам гувернер из отставных офицеров-артиллеристов. На уроках всегда находился и Тимошка, барин хотел вывести его в люди, чтобы иметь доморощенного механика, архитектора, садовода и вообще на все руки мастера. Но выходило так, что Тимохе наука давалась легко, а барчонок ни в зуб толкнуть. Тимоха стал по-немецки говорить и «всю рихметику произошел». Барин, присутствуя на уроках, злился на сына, что ничего не может усвоить, тряс его за вихры, давал подзатыльника, а Тимоху за то, что отвечает бойко, без заминки, отсылал на конюшню драть.

Когда Тимохе исполнилось двадцать лет, на него начала заглядываться пятнадцатилетняя барская дочка Танечка. Однажды родители нашли у нее под подушкой Тимохино письмо: «Ненаглядная, золотая, дорогая. Бежим, не бойся, будет хорошо. Бери денег. Поженимся, а после заявимся к родителям. Меня избьют, выдерут и тебя такожде, а тут – простят. И жизнь пойдет не надо лучше». Ну, словом, что-то в этом роде, сам Коза сколько раз Петру Сысоеву об этом толковал. Хоть и жаль было расставаться барину с Тимохой, а ничего не поделаешь; продал он его за хорошую цену на Воткинский завод, разлучив дочь свою с крестьянским сыном, а крестьянского сына с родителями его. И заделался он на заводе подмастерьем, а через четыре года мастером. Вошел в доверие. Хозяин послал его с железным товаром на Макарьевскую ярмарку. А в те поры проживал в Нижнем Новгороде великий изобретатель, механикус Кулибин, самой государыне ведомый. Тимофей Коза направился к нему, прожил у него двое суток, насмотрелся всяких диковин: видел он у Кулибина золотые, с гусиное яйцо, часы, им изобретенные, дивные-предивные, еще видел «ликтрические машины» со стеклом и трубу длиной в сажень луну рассматривать.

– Много Коза рассказывал о премудрости всякой, кою видел у Кулибина. И книжиц охапку оттудова привез, – говорил Петр Сысоев. – Яков Антипыч, нет ли у тебя какой из его книжек?

Антипов сходил к себе в спальню и принес в кожаном переплете измызганную книгу: «Георг Крафт. Краткое руководство к познанию простых и сложных машин, сочиненное для употребления российского юношества. Переведена с немецкого языка чрез Василия Ададурова, адъютанта при Академии Наук, 1738 год».

Книгу полистали и Горбатов, и Чумаков, и сам Емельян Иванович.

– Ах, добро! Ах, добро!.. Замысловатая книга! – восторгался он. – И картинки. Ну-к, а что же дальше-то с Козой?.. Толкуй, Петр Сысоев... А ты, Творогов, нацеди-ка мне еще чашечку покрепче.

– С этих пор, – продолжал Сысоев, прищуривая то один, то другой глаз, – с этих пор Коза полез в гору на Воткинском заводе, и его за большую цену купили братья Твердышевы, купили и, видя в нем старание, а от сего большую для себя корысть, в награждение дали ему вольную. И определили его на Воскресенский завод, сиречь сюда, в помощники немцу. Старший-то из Твердышевых, Иван Яковлич, хотя и совсем стариком сделался, а ума палата, он пекся о процветании дела своего, и было у него устроено здесь вроде школы: ребята обучались грамоте, штейгерскому и всякому ремеслу. Школу вел немец Мюллер. Только та беда, что главных секретов он ученикам не передавал, чрез что хозяин был им недоволен. Поэтому он и Козу-то Тимофея к нему определил, в мыслях у хозяина было немца прогнать, а Козе препоручить весь завод. Пронюхав это, немец, проклятая душа, принялся Козу вроде как бы спаивать. И стал Коза на работу пьяненький являться. А напьется – плачет, слезами разливается, все Танечку свою вспоминает, забыть не может, волосы на себе рвет. И было ему в те поры под сорок годков...

– А таперь-то сколько же? – спросил Пугачев.

– Теперича, ваше величество, к шестидесяти подходит... И образовался он вроде как запойный: месяц работает, неделю пьет, четыре месяца на деле, два в гульбе. До зеленого змия допивался. И чрез сие содеялся плотию немощен, ну а разумом, как и допреждь, крепок. Хозяин, Иван Яковлевич, зело скорбел о нем, потому – мастер золотые руки. Ему сверхурочное жалованье шло. Одначе он завсегда пропивался до ниточки и все Танечку свою вспоминал, еще до сей поры жениться на ней мыслит. Мы, бывало, говорили ему: «Сдурел ты, Тимофей Иваныч... Да твоя Танечка-то ненаглядная давно старухой сделалась, а может, Богу душу отдала». А он: «Над ней смерть власти не имеет, Танечка ко мне, пьяному горемыке-бражнику, завсегда во образе прекрасной юницы появляется. О мучения мои великие, о распятая на кресте жизнь моя!..» – скажет так, схватится за голову и горько-прегорько восплачет. И нам-то до смерти становится жаль его, и у нас-то зачинает в носу свербить.

– Скажи на милость, скажи на милость, до чего прочная любовь! – рывком поставив на стол блюдце с чаем, восклицал Пугачев и приударил себя ладонями по бедрам. Он вдруг вспомнил недавнюю жену свою, государыню Устю, вспомнил Катерину, с которой слушал на Каме соловьев, вспомнил дворянскую дочь, ненаглядную Лидию Харлову, замученную хриstopродавцем Митькой Лысовым, еще вспомнил, наконец, красавицу Стешу Творогову, последнюю разлуку с ней в Берде. Все милые его сердцу женщины пришли на память вдруг, как слетевшие с облаков райские жар-птицы. Вихрем крутнулись в мыслях, опалили сердце и исчезли. Пугачев вздохнул.

И все вздохнули. Под влиянием рассказа внезапно родились у всех воспоминания о счастливых днях юности, о звездных ночах, о жарких поцелуях, о горьких слезах, пролитых при разлуке с милой. Да, хороша незабываемая юность, вся в цветах, вся в хмельных соках жизни! Но лучше не вспоминать о ней – она неповторима.

Старообрядцу Петру Сысоеву даже пришла на ум старинная стихира, которую он и произнес вслух: «Увы мне, увy мне, на горе рожденному: вот грядет юность, за юностью младость, за младостью старость, за старостью – смерть».

После бани, после пеннику и соленой рыбки чай пили с неослабевающим азартом и никак не могли утолить жажду. За самоваром чайничали ввосьмером, на месте же всегда сидело только семеро, восьмой, в порядке очередности, отсутствовал. Огромный самовар вдруг зафырчал, зашумел и неожиданно осел на бок.

– Глянь, распаялся! – с удивленной веселостью вскричал Пугачев, ткнул рукой в похилившийся

самовар.

– Ах, беда! Должно, воды нет, – взволновался подскочивший к самовару Творогов. Он торопливо потянул вверх крышку и вместе с ней вытащил из самовара распаявшуюся трубу. – Ишь ты, вся горловина рухнула...

– Вот это попили чайку! – со смешливостью и сожалением подхватила вся застольца. – Эх, самовар жаль!

Часы пробили двенадцать, все принялись укладываться спать.

3

Выждав время, когда вокруг заснули, Пугачев оделся и вышел. Была холодная весенняя ночь. В небе серебрился полумесяц в окружение ярких звезд. Плавные очертания поросших лесами невысоких увалов и приземистых гор, чуть охваченных голубоватым светом, мутно темнели вдали. Из двух медеплавильных печей валили густые клубы дыма, то черного, как сажа, то желто-грязного. Из открытых дверей и окон мастерских неслись мерные удары водяных молотов, звяк металла, отдельные людские выкрики, да еще слышался неумолчный шум воды, ниспадающей из обширного пруда чрез приподнятый щит плотины. Серел рабочий поселок – большая куча хат с остроконечными кровлями. В поселке один за другим горласто перекликались петухи. Из лесу наплывал хищный пронзительный писк сов и всякой ночной твари.

К заводским, окованным железом воротам подходил обоз: поскрипывали телеги, отфыркивались лошади. Забрякало железное у ворот кольцо. Привратник прокричал:

– Кого Бог дает?

Из голубоватой сутемени загалдели:

– Углежоги с угольком!.. Да еще известкового камня на сорока возах. Отворяй, Макарыч!

Ворота распахнулись. Обоз потянулся к складам, часть телег стала разгружаться возле литейной мастерской. Старший обозный и еще два углежога вошли в мастерскую, а вместе с ними пробрался туда и Пугачев. Он был в будничной казачьей сряде, с простоволосой головой. Мастерские люди – литейщики и сварщики – за недосугом встречать с народом «батюшку» не выходили и поэтому не знали, каков он из себя.

– Любопытствуешь, господин казак? – спросил его пожилой мастер в больших очках с синими стеклами.

– Любопытствую, – ответил Пугачев, – из государевой армии я.

– Не заспалось, должно?

– Не заспалось, братец.

– Слых есть – быдто царь-отец самолично завод станет осматривать со всеми нашими фабричками.

– Похоже – будет. А ты кто таков сам-то, в какой должности?

– А сам я первой руки токарь по меди. Осиноватиков. А ныне надсмотрщиком поставлен. Я с семейством из выкликанцев, по вольному найму, из государева экономического села. Да отойдем, казак, к сторонке, вот тут, в уголке-то, столик мой, я тебя молоком угощу. Желаете?

Они сели у засаленного, прокоптелого стола, возле которого тускло горел на стене масляный фонарь, стали пить густое молоко, прикусывая ржаной духмяный хлеб.

– Добрецкое молоко, – начал Пугачев. – Вот и коровка у тебя. Стало, живешь в достатке?

– Две коровы, да две телки, да лошадь, ну там, овцы, свиньи, куры с утками.

– Ишь ты! Должно, изрядно зарабатываешь?

– Да как сказать, – ответил Осиноватиков, снимая синие очки. – Нас в семействе шестеро работников-то: я с братаном, да два сына наших, да еще отец, да дедушка, все получаем заработку в год триста двадцать пять рублей серебром, то есть, ежели расчесть, по пятнадцать копеек на день на каждого...

– Что же, маловато тебе, ай нет? – спросил Пугачев, прищуривая правый глаз.

– Да нет, господин казак, – откликнулся мастер. – Оно и не так мало на поверку-то... Ведь ржаная мука пятнадцать копеек пуд, стало быть, мы по пуду на день зарабатываем, кажинный человек. А как полковник Зарубин-Чика Иван Никифорович от государя на наш завод был послан, он всем нам надбавку добрую учинил по вышнему царскому приказу.

– Как у вас новый управитель-то, Яков Антипов-то? – спросил Пугачев.

– Да ничего... Только дюже строг. Правда, што не штрафует и по зубам не бьет, а требовать дело – требует.

– Он царские антиресы блюдет, – сказал Пугачев, – ведь, поди, ныне работаете не на купца.

– А мы нешто не понимаем. Да мы и ране работали не худо, на Турецкую войну лили немало пушек-то. Мы с понятием. И совесть в нас есть.

– Ну а скажи ты мне без утайки, мастер, раз вы, работные люди, добропорядочно живете, так почто же себе заступника народного поджидаете, избавителя?

– А вот пошто, господин казак, слухай, – проговорил надсмотрщик, ласково коснувшись рукой колена Пугачева. – Первым делом редкие зарабатывают, как я. А много работных людей получают по семь да по пять копеек на день. Так тут не до жиру. Что получишь, то и проешь. А взять коренного мужика. Хоша мужик и живет во множестве своем не вовсе голодно, одначе промеж крестьянства и бедности достаточно, и земли у многих маловато. Только, говорю, не об этом крестьянство думушку свою думает, а думает о том, что несносные обиды ему творятся, от коих весь мир крестьянский стонет. Мужик человеком восхотел быть, вот что!

– Верно, верно! – с горячностью воскликнул Пугачев, а надсмотрщик продолжал:

– Вот поэтому-то и бунты повсеместные, все крестьянство государя ждет, такожде и по заводам. Добер ли до нас, сырых, государь-то, господин казак?

– К барам строг, к народу-труднику – милостив.

В это время дверь распахнулась; раскачивая крутыми плечами, вошел управитель, Антипов.

– Ну как, плавка готова? Скоро ли выпускать?

– Нет еще, Яков Антипыч, – сказал, подымаясь ему навстречу, надсмотрщик. – Часика этак через два...

– Ой, ваше величество! Так вот ты где... А мы-то тебя, свет наш, ищем, – удивленно воскликнул Антипов, приметив сидевшего у стола под фонарем Емельяна Пугачева.

– Что?! Так это кто же будет? – перепуганно забубнил надсмотрщик, лицо его вытянулось.

– Это владыка наш! Петр Федорыч Третий, – торжественно сказал Яков Антипов.

Надсмотрщик суетливо подскочил к поднявшемуся Пугачеву и кувырнулся ему в ноги.

4

На другой день рано поутру Пугачев с Яковом Антиповым и мастером Петром Сысоевым, заседлав коней, направились на ближайшие медные рудники, верстах в пятнадцати от завода. Рудники разрабатывались здесь открытыми шахтами от 5 до 25 сажен глубиной. Пугачев видел, как руду засыпают в большие бады и вздымают наверх на ручных «валках». Этот рудник иногда затопляло. Для водоотлива была устроена «водяная машина», приводимая в движение конной тягой.

– Оные машины на Урале новшество. Твердышевы первые ввели, – говорил Антипов. – На прочих заводах медная руда из рудников идет напрямиком на завод. А у нас тут другой обряд, тоже Твердышевы завели.

– Какой же? – спросил Пугачев.

– А вот вздымемся на пригорок. Оттуль видать.

С пригорка им открылся вид на широкую поляну с площадкой посредине. Площадка была черна, она походила на место пожарища. Здесь производился предварительный обжиг руды в открытую, чтобы сделать ее мягкой, годной к проплавке.

– Попервоначалу разжигают кострище из сушняку и в огонь руду валят, – пояснил Антипов. – Дело обжига, ваше величество, тяжелое, опасное. И работы эти зовутся «огневыми».

– При обжиге, – сказал Петр Сысоев, – руда исходит ядовитым газом, самым зловредным для здоровья. Газ по земле стелется, и, ежели его погоняет ветерком на открытую шахту, рудничные работники с рудников бегут без оглядки... А то – смерть неминуемая.

От сернистых газов погибали не только люди, но и все живое, вплоть до птиц, пчел и растений. Весь лес, даже сосны, пихты, елки, на большое пространство вокруг стоял оголенным, без листвы и хвои.

– Когда руду здесь обожгут, – продолжал мастер, – привозят ее на завод и разбивают по сортам. А крупные-то куски в толчее толкут да в мелкий порошок перемалывают. А после того заготавливают «флюс»: это известной камень, белая глина да песок. Перемешают все с дробленой медью, получится «шихт». Ну а теперича, батюшка, поедемте не то на завод к домницам.

Вернувшись на завод, первым делом зашли в «пробницу» – лабораторию. Это светлая изба, в середине пробирная печь с ручными мехами для дутья, на полках и на большом столе тиглы, пробирки, весы грубые и весы точные под стеклянным колпаком, пробирный свинец, бура, ступа для толчения проб.

– Здеся-ка орудует немец, – пояснил Антипов, – а иным часом и Тимофей Коза.

В углу стояло несколько четвертных бутылей с разными настойками.

– А это вот, батюшка, сладкие наливочки. Немчура сам мастерит их. Бывало, зайдут сюда с Козой, да и пьют без выхода целую неделю. Немец жиреет, Коза чахнет.

В плавильном цехе, куда вошел Пугачев с провожатыми, было жарко. Каменный цех довольно просторен и достаточно высок. Вдоль одной из стен стояло в ряд пять пузатых печей, они топились дровами.

– Мы зовем их домницы, а немец называет – крумофены, – сказал Петр Сысоев.

Пылали три домны, а в две производилась загрузка. По особым, на столбах, выкатам подвозились на тачках к горловинам печей уголь и «флюс» с толченой медью, то есть «шихт». Высоко, почти под потолком, стоит работник, называемый «засыпка». Он покрикивает на тачечников:

– Эй, вы, гужееды сиволапые! Шагай, шагай! А ну, надуйсь! Стой, довольно шихту! Уголь сыпь!

Он командует загрузкой домны: пласт угля, пласт руды и флюсов и снова пласт угля, пласт руды и флюсов [41]. Донельзя прокоптелый, взмокший от пота «засыпка» как будто ради озорства вымазан жидким дегтем. Из трех топящихся печей наносит газом. От жары, газа, угольной и известковой пыли «засыпка» задыхается. Он не может выскочить из цеха хоть на минуту, чтобы отдышаться на свежем воздухе, – его держит на месте непрерывный ход работы. Он ковш за ковшом пьет воду, исходя чрезмерным потом. Он жалок, хил, кашляет, сплевывает копотью и кровью.

– Слышь, Яков Антипыч, – обратился Пугачев к управителю. – И на иных прочих заводах приглядывался я к «засыпкам»; работа их, ведаешь, из трудных трудная...

– Верно, батюшка. Люди вредятся часто. Самый крепкий «засыпка» больше пяти лет не выдюжит: либо калека, либо на погост...

– «Засыпке» да еще рудокопу в подземных шахтах – одна честь, – продолжал Пугачев, от нараставшей жары пятась к двери. – Я на Авзянском самолично спускался в бадье – на лычной веревке, она у них в глыбь сажен на полсотни. Люди там по штрекам да по штольням на четвереньках ползают, как звери, а руду тягают на себе вьючно, в тележке. – Он ухватил управителя за руку, пониже плеча; управитель поежился от боли. – Как воззрился я, Антипыч, на рудокопцев-то, что середь грязищи да сырости грузность на четвереньках волокут, аж на сердце у меня захолонуло. То ли люди, то ли скотинка вьючная! А заговоришь да послушаешь любого-каждого, диву даешься: что ни слово, то – золото, ей-ей... И нет, ведаешь, промежду трудников-то этих ни ссор, ни подковырок. Одна вроде бы у всех думка – как из тьмы кромешной выкрутиться. Поднялся я на свет Божий из штольни ихней да и взмыслил: эх, вот бы народа такого державе нашей, да поболее!.. – Помолчав, он строго продолжал: – Вот что, Яков Антипыч, надлежит тебе почаще сменять «засыпок»-то этих, на другую работу ставить их. О сем, слышь-ка, строгий наказ даю тебе. А кои покалечены в работе, тех на безденежное кормление взять, навечно... Моим царским именем!

– Сделаю, батюшка, постараюсь, – ответил Антипов.

Пугачев, видимо, волновался; он то засовывал руку за кушак, то одергивал чекмень, то оправлял на голове шапку. В цехе было шумно: гремели по крутым выкатам чугунные колеса тачек, шуршали сваливаемые в домны шихт и уголь. Возле домниц понаделаны холодные амбарушки, там вовсю пытели две пары ветродуйных кожаных мехов. Сильная струя воздуха со свистом врывалась в поддувало, в печную утробу и разжигала угли. Через кривошипы и колесный вал мехи приводились в движение шумевшей за стеной водою, она падала на водоемные колеса.

Людей в цехе было десятка полтора. Бороздниками и веничками они прочищали вырытые в земляном полу небольшие ямки, соединенные между собой мелкими узкими канавками. Вскоре по ним брызнет-потечет огнежидкая, расплавленная медь. Все, вместе с Пугачевым, надели синие очки, а рабочие и мастера – кожаные фартуки да кожаные голицы. Старший мастер проверил, правильно ли наклонен желоб от печной лещади к канавкам. Работники похватили железные лопаты. Старший еще раз подошел к одной из трех домниц, чрез слюдяной глазок всмотрелся в бушующее пламя печи, чутко прислушался к тому, как в брюхе ее гудит и клоочет расплавленный металл, и поднял руку:

– С Богом, ребята! – Затем он схватил тяжелый лом, перекрестился и долбанул ломом в замазанное глиной выпускное оконце.

– Пошла, матушка, пошла, пошла! – закричал он, ударяя второй и третий раз.

Глиняная пробка вылетела из брюха домницы, хлынул огненный, ослепительно белый поток. Расплавленная жижа потекла по желобу вниз, в канавки, в ямки.

Мастера и подмастерья суетились с лопатами; они направляли лаву из канавки в канавку, куда нужно. Сразу сделалось вокруг нестерпимо жарко. Люди в пылу работы скакали, как козлы. Фартуки затвердели, мокрые от непрерывного пота рубахи высыхали на ходу, на них выступила соленая пыль, как иней. Пугачеву показалось, что от жару у него затрещала борода, он вскинутыми ладонями заслонил лицо и попятился к выходу.

– Готово! – прокричал старший; он снова вбил затычку в спусковой продух опустошенной домницы, велел замазать его глиной и поспешил ко второй пылавшей печи. За ним потянулись работники и подмастерья.

– Самое главное, знать, когда медный сплав в домнице дозрел, – пояснял Пугачеву сопровождавший его Сысоев. – Знатецы нюхом чувят. Зевать уж тут не приходится, а минута в минуту чтобы. Таких мастеров-знатоцев хозяева берегут, за ними даже тайный досмотр установлен, чтоб мастер не сбежал к другому заводчику да секрет свой не передал.

Один из мастеров плавильного цеха подошел к «батюшке» и низко поклонился ему.

На расспросы Пугачева мастер принялся объяснять ему, что сейчас получилась черная медь, сплав меди с железом и другими металлами. А чтоб окончательно очистить сплав от ненужных примесей, медь отправляют в соседний Верхотурский завод и там будут плавить сначала в особых печах – «сплейсофенах», а затем еще раз переплавлять в штыковых горнах. Тогда получатся бруски или «штыки» чистой меди^[42]. Затем раскаленные докрасна штыки будут класть под тяжелые водяные молоты и расплющивать в «доски» весом до пятидесяти фунтов.

Тем временем ко второй печи начали подтягивать висевший на цепях, перекинутых чрез блоки, огромный каменный ковш с двумя ручками и «рыльцем». Подошедший мастер сказал:

– Теперича сплав не в землю станем пускать, а в тот вон ковш. Как наполнится он до краев, переведут его вон к тем глиняным формам, к опокам. Это для пушек болванки будут. Трое суток остывать им, а потом в сверлильный цех потянут стволину делать. Сплав этот с примесью олова – бронза.

Пугачев попросил напиток. Ему подали подсоленной воды.

– Это пошто же с солью? – спросил он.

– А чтобы жажда не столь долила, – пояснил Сысоев. – Соли-то, ишь ты, джуге много из человека от жару выпаривается, ну так недостаю-то и надбавляют ввнуро с водичкой...

Вышли на улицу и направились в невысокий, но довольно просторный кирпичный цех. Пугачев здесь оставался недолго,ковка железа была ему знакома по другим заводам. Все-таки он посмотрел, как многопудовые молоты, приводимые в движение водой, обжимают железные крицы^[43].

И здесь стояла нестерпимая жаруца. Люди с опаленными бровями и бородами, с раскрасневшимися, как бы испеченными, сухощеками лицами и слезящимися глазами ловко и проворно перехватывали клещами раскаленный добела металл, подставляли его то одним, то другим боком под молоты. От удара молотов брызгали во все стороны огненно-белые искры нагара и окалины.

– Ну, батюшка, а вот это моя фабричка... Здеся-ка твоей царской милости пушки изготовляем, – сказал Петр Сысоев, вводя Пугачева с Антиповым в сверлильно-обделочный цех. – Уж я тут останусь, спокину тебя, а то недосуг – работка-то не ждет.

Мастерская рублена из пихтовых бревен, стены грязные, прокоптелые. Три широких застекленных окна давали нужный свет. На сверлильном станке была укреплена бронзовая стволуна для пушки, над ней трудился широкоплечий мастер Павел Греков, с окладистой русой бородой и длинными волосами, схваченными чрез лоб узким ремешком. Когда Пугачев стал приближаться к мастеру, он нажал ногой

деревянный на ремнях привод, вал со стволиной заработал вхолостую.

– Здорово, друг мой! – поприветствовал мастера Пугачев.

– Здрав будь на много лет, царь-государь всенародный! – гулко и внятно ответил тот, низко поклонившись.

От крайнего окна, где был стол с раскинутым на нем чертежом, отделился немец и, неся впереди себя свой раздувшийся живот, подплыл к Пугачеву.

– О, кайзерцар, кайзерцар! – восклицал он, пыхтя и кланяясь Пугачеву.

– А, Карл Иванович! Ну, как дела? Скажи-ка, сколько пушек послано мне было да голубиц с мортирами?

– Мой – Генрих Мюллер, кайзерцар, Мюллер! – с гордостью пристукнув себя в грудь, ответил немец, и на щекастом крупном лице его проступила обида. – За пять месяц Берда отлит дванасать пушек, три мортира, два хаубиц и трех тысяч ядра, гранат.

– Верно, а теперь?

– Новый работать трех пушка, этта – четверти, этта – пяти, – ответил шихтмейстер Мюллер, тыча пальцем в стволину и в бронзовую болванку, которую четверо работников подымали на станок. – Шестой пушка готовый, на улочка, пытанье будет ему при вас, кайзерцар...

– Ту пушку Коза Тимофей мастерил, по его расчислению... – сказал Антипов. – А Генрих Мюллер только помогал ему.

– Я мастериль! Мой пушка! – снова приударил немец себе в грудь и по-злomu посмотрел на Якова Антипова.

– Ладно, учиним пробу, – проговорил Пугачев и, обратясь к мастеру, сверлящему стволину, спросил: – Как таперь – без изъяна бронза-то?

– Без изъяна, батюшка, без трещин, без раковин. Добрецкая бронза...

– Благодарствую, – молвил Пугачев, погладил гладкую стволину, как шею любимого коня, и, пошарив в кармане, подал бородачу золотой империял. – Ты, мастер, старайся... На-ка вот... Ни на кого иного, на себя стараешься!

Новая пушка на высоком лафете стояла за чертой завода, на берегу пруда. Возле нее толпились казаки, башкирцы и прочий пугачевский люд. Тут же рассматривали пушку Андрей Горбатов, Чумаков, Творогов. С башкирцами, сидя на коне, беседовал о чем-то Кинзя Арсланов.

Когда Пугачев, сопровождаемый немцем и Антиповым, быстрой своей походкой приблизился к толпе, народ дружно обнажил головы. Антипов объяснил Пугачеву, что пушка должна пальнуть чрез завод и чрез вон тот лесок прямо в известковый сарайчик, отсюда невидимый. До сарайчика расстояние измерено межевой цепью и равняется двум верстам ста сорока сажням. Пугачев сел на коня, вместе с Кинзей Арслановым смахал туда и, осмотрев сарайчик, вернулся. Возле сарайчика – два «глядельщика»; они схоронились за сделанным из плитняка укрытием. Пушку зарядили по указанию немца, количество пороха отмерял он сам на весах. С правого бока пушечной стволины, возле «казенной части» была приделана медная дуга в четверть окружности, разделенная на девяносто градусов. А к стволине был припаян «указатель», при подъеме и опускании дула он ходил по окружности и показывал градус подъема стволины над горизонтальной плоскостью. Немец дал наклон стволине в двадцать четыре с половиной градуса. По межевому плану местности пушка заранее была поставлена так, что она, церковь и сарайчик находились на одной прямой линии. И если взять направление выстрела через крест колокольни, а дулу

пушки придать правильный уклон, то при удаче ядро должно обязательно ударить в сарайчик.

– Можно пальять, скоро-скоро невидим цел... Дафай скоро! – скомандовал немец.

Пушка стрельнула чрез завод, чрез крест колокольни, чрез лес. Эхо раскатилось по горам. Вот прискакал на коне «глядельщик» и сказал, что ядро «прожужжало» над их головами и пролетело выше сарайчика.

– Да на сколько выше-то, парень? – спросил Антипов.

– А кто ж его ведает, може, на сажень, може, на двадцать саженев, а може, и на два лаптя... Как знать... Только что чик-в-чик не вдарило.

Немец слушал, разинув рот, и двигал бровями. Вдруг (от пруда видно было) к управительскому дому, звеня колокольчиками, подкатила таратайка. Сидевший в ней человек что-то кричал и размахивал руками. Затем полез из кибитки, оборвался, упал, с усилием поднялся, посмотрел по сторонам и, завидя на берегу пруда большую толпу, пошел на нее с громкими криками. Весь народ устремил на него свои взоры. Кто-то в толпе сказал:

– Да ведь это Коза прибывши... Ишь его из стороны в сторону мечет.

Невысокий человек в черном одеянии то бежал, то шел, то частенько падал.

– Он, он!.. Тимофей Иваныч это... – раздавалось в толпе. И действительно, вскоре стало все отчетливей доноситься с ветерком:

– Я Коза! Тимофей Коза! Встречайте! Коза-дереза приехал!.. Прозвищем – Коза!.. Я Коза, а вы люди-человеки... Коза приехал!.. Я Коза! Прозвищем – Коза! – беспрерывно, как одержимый, резким и тонким голосом кричал он, приближаясь.

Пугачев во все глаза глядел на него, оглаживая бороду. Навстречу Козе двинулся Антипов.

– Я Коза, Коза! – продолжал кричать тот, не переставая. – Вы люди-людишки, а я Коза! Прозвищем Коза!.. Врешь, немецкая твоя образина, я сам механикус! – взмахнул он рукой, его круто бросило в сторону, он упал. – Я Коза!.. Любое число... могу в зензус и в кубус возвести. На-ка, выкуси, Мюллер!.. Ты Мюллер, а я Тимофей Коза...

К нему подбежал Яков Антипов, поставил его на ноги, стал что-то говорить, указывая в сторону Пугачева. И видно было, как механикус заполошно взмахнул руками, нетвердым, но торопливым шагом приблизился к пруду, сбросил с себя свитку и шляпу, припал к холодной воде на колени и суетливо стал окачивать лысую свою голову. Антипов меж тем встряхивал, чистил его свитку.

И вот перед Пугачевым остановился протрезвевший механикус. Он – низкорослый человек, лицо костистое, широколобое, с темными, глубоко посаженными глазами; в них светился ум и затаенная скорбь. Пугачев с любопытным вниманием всматривался в чисто бритое, исхудавшее лицо его и хмурил брови.

– Я Тимофей Коза, твое величество! – выкрикнул механикус и, держа шляпу под мышкой, поклонился Пугачеву. – Прости, отец... В ноги тебе не валюсь, не приобык царям кланяться земно. Цари бо царствуют, вельможи господствуют, рабы стонут-воздыхают, пресмыкаются. А я, горький, того не желаю – я сам себе царь!

– Цари, друг мой, всякие случаются, – возразил Пугачев, глядя в упор на механикуса. – Одни, верно, царствуют да бражничают, а есть и другие, кои труждаются и страждут.

Механикус опустил взор в землю, лысая голова его склонилась. Пугачев участливо спросил его:

– Пошто пьешь, Тимофей Иваныч? Мастер ты, слышать, отменный, а этакое погубление себе чинишь.

Званье свое марашь. А ведь ты не мал человек на белом свете...

– Обида, обида, твое величество! – закричал Коза и закашлялся. – Убери неправду с земли, тогда брошу. Чья пушка? Моя пушка! А немец говорит – его пушка. Вот он в небо вдарил, а я в сарайчик тот, зашуря глаза, влеплю.

– Мой пушка! – брызгая слюной, закричал немец.

– Ну, ладно, твой – так твой... – более спокойно сказал механикус. – Ты ее по моим исчислениям сделал, а выдумал ее я, Тимофей Коза. Полгода сидел над чертежами. Для турецкой войны старался.

– Мой пушка! – снова запальчиво воскликнул Мюллер, напирая брюхом на механикуса.

– Царь-государь, дозволю! – отодвигаясь от немца, заголосил Коза и крикнул пушкарям: – А ну, ребята, заряди! – Он бросил шляпу в руки малайки-башкиренка, достал из кармана измызганную записную книжку с карандашом и спросил Антипова о расстоянии до сарайчика.

Тимофей Коза, морща лоб и двигая бровями, делал в книжке нужные расчеты, бубнил себе под нос:

– Я и субстракцию знаю, и, что есть радикас, знаю... Зензус, кубус...

Он замолк, проверил свои исчисления, присвистнул, всмотрелся в показатель на дуге, выкрикнул:

– Враки, немец! Траектория неверна. Двадцать три с четвертью градусов надо, а у тебя, черт некованый, двадцать четыре с половиной.

Все с нетерпением ждали выстрела. Пугачев, покусывая усы, прищуривал то левый, то правый глаз. Коза перевел показатель, закричал:

– Пали!

Ударил выстрел. Пугачев сказал механикусу:

– Слышь, Тимофей Иваныч. Все едино – утрафишь ты, не утрафишь ли в цель – люб ты мне. Хочешь вольной волей идти в нашу императорскую армию – иди, рад буду... Только допряма говорю тебе: пьянству положи зарок.

– Зарекаюсь, царь-отец, зарекаюсь! Сей же день пить брошу. И в армию к тебе вступлю. Авось мимо нареченные невесты моей путь твой предлежать будет... Я вживе ее почасту вижу, она, юница непорочная, до сей поры из своего сердца не истребляет меня. И я, горький, также верность ей блюду и не творю блуда нижей делом, нижей помыслом своим... – Тимофей Коза говорил жарким, захлебывающимся голосом, глаза его горели безумством, испещренное морщинами желтое лицо покрылось красными пятнами.

– Брось ты нескладицу молоть, Тимофей Иваныч, – отмахнулся Пугачев. – Опомнись!.. Слышал я про юницу про твою, она старухой давно стала.

– Отец! – с отчаянием закричал Коза и, скривив рот, заскорготал зубами. – Я думал, ты един поверишь мне, а ты – как все... Сказываю тебе, время не трогает ее, время над ней идет. До днесь Таня моя в юности обретается. Да вот и сей день, как подъезжал к заводу, она сидела у лесной опушечки, вьюнок плела. «Это, говорит, Тимошенька, тебе». Вот он, вьюночик-то, вот, – механикус, тяжело, с прихлюпом, вздыхая, достал из кармана свитки небольшой веночек первых полевых цветов и помаячил им перед Пугачевым.

– Едут, едут! – вдруг зашумела настороженная толпа.

Не один, а оба глядельщика, настегивая лошадеенок, неслись вскачь, орали:

– Попало, попало, ядрена бабушка!.. В самую крышу брякнуло... Вдрызг разворотило!

Пугачев сдернул кафтан и накинул его на плечи Козы.

– Премудрая голова у тебя, Тимофей Иваныч, – произнес он громко, и в толпе, как бы подхватив слова его, дружно закричали: «Ура, ура!» Затем он резко повернулся к Мюллеру: – А ты, Карл Иваныч, ежели хочешь, будь при нем подмастерьем. А не хочешь – валяй себе к своему Фридриху косолапые пушки ему лить... Понял ли?

Немец понял и помрачнел, как ночь. Дымя трубкой и распихивая брюхом толпившийся народ, он со свирепостью покосился на Козу и грузно двинулся прочь, как медведь через чащобу.

5

Емельян Пугачев всем заводским людям решил сделать угощение. Работникам были накрыты столы в двух цехах. А в деревню Александровку Горбатов отправил расторопного секретаря коллегии Шундеева с двумя казаками устроить мужикам «царский обед с выпивкой».

В управительский же дом были созваны все мастера и восемь наилучших подмастерьев. Тимофея Иваныча Козу всюду искали и, к великой досаде Пугачева, не могли найти.

Стол был накрыт пышно. У братьев Твердышевых сундуки ломались от дорогой посуды. Пугачевские начальники и гости чинно ожидали появления государя. Среди подмастерьев выделялся исполинским ростом и богатырской статью молодой парень Миша Маленький. Плечи у него широченные, а кудрявая голова не по корпусу маловата. Рядом с ним кряжистый Чумаков казался карапузиком. Темного сукна, перехваченная цветистым кушаком поддевка парня была туго набита мускулами. В каждый подкованный сапог его могли бы поместиться по мешку крупы. Словно вылитый из чугуна, Миша Маленький давил ногами пол.

Вскоре вышел из соседней горницы Емельян Иваныч в ленте через плечо и со звездой. Все низко поклонились ему. Тут выступил вперед мастер-сверлильщик при пушечном деле Павел Греков. У него широкое лицо в густой русой бороде и длинные, перехваченные ремешком волосы. Он взял за концы лежавшую перед ним саблю, приподнял ее вровень со своими плечами и, передавая «батюшке», сказал:

– Вот, царь-государь... Это подарочек вашей милости от нашего завода, в путь-дорожку тебе и во счастье. Прими, отец, не обессудь!

Пугачев взял саблю, прищурился и, рассматривая ее, заприщелкивал языком. Сабля была изумительной работы. Рукоятка в густой позолоте, ножны серебряные с золотыми насечками, с вытравленным, покрытым эмалью и чернью сложным узором. Драгоценные камни, крупные и мелкие, были вкраплены и в рукоять и в ножны.

– Спасибо, трудники, благодарствую, – сказал растроганный Пугачев, продолжая любоваться подарком. – Этакой сабли я ни у Фридриха Прусского, ни у турецкого султана не видывал... Чья работа?

– Мастеров-оружейников завода Златоустовского, – ответил Греков, одергивая свою свиту синего сукна. – Твердышевы заказали оную саблю для ради подношения князю Григорию Орлову, да не занадобилась, сказывали, его место Потемкин заступил.

– А, знаю, – ухмыльнулся Пугачев и поставил саблю в угол. – У Катки этих Потемкиных-то сколько хошь. Она ведь и сама весь свой век в потемках, как сова, живет да измышляет, кого бы закогтить...

– Спаситель наш, Христос, рек, – начал поп Иван, уставясь водянистыми глазами на саблю: – «Не мир я принес на землю, а меч». Вот он – меч!.. Для истребления злобствующих, для защиты праведников.

Пугачев махнул на него рукой, сказал:

– Ну, детушки, садитесь-ка потрапезовать. Эх, редко мне доводится с работным людом-то!.. Все в походе да в походе...

Стали пить здравицу за государя. Приветствие произносил Петр Сысоев. И как только закричали «ура», нежданно грянул возле самых окон орудийный выстрел, весь дом встряхнулся. Отец Иван привскочил за столом и расплескал вино. Гости бросились к окну. Горбатов успокоил их. Пугачев, улыбаясь, сказал:

– Это, други мои, зовется салют, не страшитесь.

– Да ведь как, батюшка, не страшиться-то, – раздались голоса. – Время самое тревожное, по заводам начали воинские отряды рыскать. Предосторога не вредит.

Ненила с Ермилкой и стряпухой разносили блины. Полон дом напустили кухонного чаду; хотя и холодновато было, довелось открыть окна.

Пили здравицу за государыню Устинью. Чокнулись, прокричали «ура», ждали повторного громового раската пушки. Отец Иван даже схватился за столешницу, но выстрела не последовало. Блины уничтожались во множестве. Масло, сметочки, белорыбица. Старик Пустобаев, а глядя на него, и Миша Маленький ели блины зараз стопочками, по пяти штук в каждой. Пили за здоровье наследника Павла Петровича с его супругой. Отец Иван опять схватился за столешницу и напряженно ждал, вот-вот ахнет пушка. Но и на этот раз пушка промолчала.

Завязались разговоры. Мастера наперебой старались выразить царю-батюшке свою любовь и преданность, любопытствовали о его походах, о здоровье: слых прошел, что батюшка был ранен. Пугачев отвечал на все с готовностью и в свою очередь расспрашивал заводских людей об их житье-бытье.

И вот приказал он наполнить чары очищенным крепким пенником, встал (и все поднялись) и внятно произнес:

– Ну, детушки, подымаю я чарочку в честь вашу и всех заводских трудников, какие только водятся на белом свете. Здравствуйте, люди заводские!

Широко улыбаясь и весело между собою переглядываясь, гости чокнулись с государем, громогласно закричали «ура». И вдруг вновь грянула-хватила пушка. Отец Иван привскочил, лягнул ногой и опрокинул чарку. Уж вот тут-то он никак не ожидал этой окаянной пушки... За государыню молчала, за наследника молчала, а тут... Все засмеялись на отца Ивана, Пугачев сказал:

– Ведь ты, батя, кабудь обстрелянный, а лягаешься, как конь...

– Боюсь, ваше величество, боюсь... Сердце у меня, как у кошки у худой.

Затем начали разносить из свежих карасей уху. На вопрос Пугачева, велико ль на заводе людство, мастер Греков, осанистый и важный видом, расправив бороду, отвечал ему:

– Работных людей у нас, твое царское величество, полторы тысячи человек мужского пола. Из онога числа – тысяча двести крепостных, они куплены Твердышевым у разных помещиков.

– Поди, в вашей деревне Александровке крестьянство-то бедно живет? – спросил Пугачев.

– Да не шибко прибористо, а прямо сказать – бедно да грязновато, – ответил Петр Сысоев. – Хозяева-то дали им на каждую семью землицы малую толику, да недосуг людям обрабатывать-то ее.

– Ведь с утра до потух-зари на заводских работах бьются, – сказал старик мастер с густо морщинистым лицом.

– Ну, а идет ли им плата-то? – спросил Емельян Иваныч.

– Идет, идет, – хором подхватила засталица. – От трех до семи копеек на день.

– На эти деньги жиру не накопишь, – вздохнул Пугачев. – А скажите-ка, кто же здесь, окромя вас да мужиков закрепощенных?

– По вольному найму, царь-государь, иные прочие труждаются, – ответил морщинистый старик. – Есть и государственные, и оброчные помещичьи крестьяне, городские ремесленники, башкирцы да всякие беглые беспаспортные людишки. Вольнонаемным выкликанцам плата идет хорошая. Плотники подражаются по двадцати пяти копеек на день.

– Был у меня дружок, – начал Греков, накладывая себе в тарелку каши с маслом. – Приехал он сюда вольной волей с бабой да с двумя малыми ребятами плотничать по писаному договору. Сроком на пять лет. Земли ему не дали, стало быть, своего хлеба нет, а хозяева из своей лавки продавали харч с хлебом да одежду втридорога. Вот придет он в контору за деньгами, а ему там и скажут: «Ты, браток, дюже прохарчился, да шапку купил, да сапоги. Не тебе контора, а ты ей должен». – «Ну, что ж, дайте в долг, пить-есть надо». Контора в долг давала ему с охотой. Сегодня возьмет да через месяц возьмет, ну там с горя винца купит, глядишь – и закабалится человек. И стал он из вольных крепостным. Вскорости спился и умер без покаяния: в деревне Александровке его, пьяного, медведь задрал...

– Как, неужто в деревню медведи-то заходят? – удивился Пугачев.

– Медведи-то? Еще как заходят, батюшка! – подхватила вся застолица. – Ведь Александровка-то в самой трущобе торчит, в тайге. Как-то медведь-набызень едва старуху не задрал, она в лачуге жила, зверь-то на крышу залез, стал крышу разворачивать, да, спасибо, Миша Маленький подоспел...

– Какой такой Миша? – спросил Емельян Иваныч.

– А вот, что супротив вас сидит.

– Это я Миша Маленький зовусь, – проговорил богатырь писклявым мальчишеским, не по росту, голосом и стыдливо прикашлянул в широкую, как лопата, ладонь.

Все заулыбались, улыбнулся и Пугачев. Миша возвышался над столом горой и, облизывая пальцы, смачно чавкал вкусный пирог с мясом. Все взяли пирога по дольке, по другой, а он придвинул к себе один из четырех поданных Ненилой пирогов и работал над ним самостоятельно. Ненила, поглядывая на него, втихомолку удивлялась.

– Как же ты, Миша, медведя-то? Из ружья, что ли? – спросил Пугачев.

– Нет, я ружья боюсь, твое величество, – пропищал детина. – А я его по башке стяжком березовым. Стяжок пополам, а зверь кувырком с крыши. Ну, я его за глотку. Он и язык вывалил.

– Наш Миша-то, царь-государь, – сказал Петр Сысоев, скосив оба глаза к переносице, – на себе коня протащить может, сажень с сотню...

– А как-то воз с медной рудой захряс в грязнице, позвали тут на помощь Мишу. Он лошаденку выпряг, сказал: «Нешто тут коню совладать?!», да как впрягся в оглобли, да как дернул-дернул, сразу на сухое выкатил.

– Так неужто всякого коня на себе протащить можешь? – спросил Пугачев, прищурив на парня правый глаз.

– Всякого ношу, твое величество, – пропищал Миша, доедая остатки пирога. Ему услужливо придвинули баранью ногу.

– Что ж ты, друг мой, мало пьешь винца-то? – спросил Пугачев.

– Как мало?! Со всеми вровень пью, – сказал Миша. – Да ведь оно меня не берет. Вода и вода...

– Ну, как это не берет? Ненила, подай-ка нам ковш сюды! – велел Пугачев, ухмыляясь на Мишу.

Миша Маленький вылил из графина в поданный ковш очищенной водки, долил до краев из другого графина, перекрестился и, не отрываясь, принялся большими глотками пить. Пугачев, посунувшись вперед и полуоткрыв рот, смотрел на парню. И все, затаясь, взирали на него. Вот он кончил, крякнул, вытер кулаком губы. Пугачев вместе со всеми громко засмеялся.

Миша исподлобья взглянул на всех своими дремучими, с прозеленью, медвежьими глазками. Затем,

принявшись за баранью ногу, сказал:

– Оно, конечно, после пирожка да после блинков жажда долит, не грех жижицы попить... А так – водичка и водичка!

Помолчали. Пугачев задумчиво смотрел перед собой в пространство. Затем, окинув взором бодрые лица мастеров, сказал:

– Вот, други мои, о чем хочу попечаловаться... Пушек да мортир с ядрами дюже мало льете. Не можно ли, детушки, горазд поболее лить?

– Нет, надежа-государь, – подумав, ответили мастера. – Это дело многотрудное. Уж мы промеж себя еще до твоего царского приезда мозговали так и этак. И меди в достаточности нетути, а пуще всего станков работных нет... Оно, конешно, можно бы, да не вдруг.

– А нельзя ли, детушки, как ни то поскорейча дело повернуть, покруче?

Пугачев всем налил чарки, ждал ответа. Отец Иван все порывался что-то сказать. Емельян Иваныч грозил ему пальцем. Мастера шептались меж собою. Наконец мастер Греков, поклонясь Пугачеву, произнес:

– По край сил своих постараемся, царь-государь. За медью завтра же спосылаем на другие заводы, да, может статься, и станки добудем. Мы, заводские, народ дружный. Приналяжем, царь-государь.

– Твое царское величество! – воскликнул отец Иван, он держался за столешницу не ради опасения пушечного выстрела, а потому, что от выпивки изрядно кружилась голова его. – Царь-государь, прислушайся! Сказано бо: «Низложу сильные со престол и вознесу смиренные...» Внемли и подумай, отец наш!.. И вы, братия, подумайте, ибо все вы смиренны. А на престоле-то Катерина, великую силу в руках держащая! Творогов! Споем стихру глас восьмый.

Творогов кивнул головой и гулко откашлялся. Вызывающе косясь на Мишу, он загремел баском, поп Иван подхватил усердным тенорком:

Низложу си-и-ильные со престол
И вознесу смире-е-ные!

...И вот царский поезд прибыл в заводскую деревню Александровку. После сытной трапезы народ веселился на полянке, душой гулянья был затейливый Шундеев. Люди разбились на кучки, шли песни, плясы, игры. Царя-батюшку встретили громкими, дружными криками приветствия, благодарили за угощение.

– Гуляйте, веселитесь, детушки! А завтра – на работу.

– Рады постараться тебе, свет наш!

Пугачев посмотрел на борьбу татар с башкирцами, полюбовался на забавные фокусы, которыми потешал толпу секретарь Шундеев. Принесли большую и глубокую деревянную чашу, почти до краев наполненную жидкой сметаной.

– Ваше величество, дозвоьте рубль серебра, – попросил Шундеев, встряхивая головой. Пугачев протянул ему рублевик. Шундеев при всех опустил его на дно чаши и сказал гулякам: – Кто зубами монету достанет, того и рубль.

Все заулыбались. Охотников на такую потеху не было. Однако вызвался низкорослый парень. Он обвел толпу подслеповатыми глазами, виновато всхотнул, забрал в грудь воздуха и погрузил курносое лицо в сметану. На виду остался только рыжеволосый затылок. Толпа, готовая разразиться хохотом, плотно

окружила потешную игру. Рыжий затылок пошевеливался и подрагивал, словно плавающий на волне клок овчины: видимо, парень со всем усердием старался поймать зубами рубль. Но вот вынырнула из чаши обляпанная сметаной голова с открытым ртом, с зажмуренными глазами и как-то по-собачьи отфыркнулась. Толпа громко захохотала, ребята с бабами от удовольствия повизгивали. Парень, боднув головой, продрал глаза и продул ноздри. Сметана текла с лица на грудь, на землю. Парень не знал, что ему делать.

– К ручейку ба, к водичке ба, – бормотал он, сбрасывая с себя липкую сметану. Три лохматые собаки облизывали его штаны, лапти, рубаху.

– Присядь, Ванюха, либо ляг на луговину, – в шутку советовали ему, – склонись к собакам-то.

Ванька сел на землю. Собаки в момент умыли его начисто. Он засмеялся и сказал:

– Ну, маленько я его не уцепил, два раза в зубах был, дьявол...

– Дозвольте! – вылез из толпы другой парень. За ним в очередь встали еще три парня. Потеха продолжалась при общем хохоте и с той же неудачей. Сметана убывала, чашу довелось восполнить. Рублевик, словно заколдованный, лежал на дне. Бородачи в игру не вступали, им казалось ззорным топить в сметане бородачи. Вот подошел к чаше кривоногий длинноносый мужичок с козлиной бородкой и сказал: «Мы желаем».

– С твоим ли, Вася, носом? – зашумели веселые зеваки. – У тя нос-то как у журавля. Упрется!..

Но Вася набожно перекрестился, погрузил голову в чашу и быстро вытащил зубами рубль.

– Матрен! – крикнул он. – Получай!.. – Матрена взяла рубль. Мужичок сказал: – Давай еще! И харю утирать не стану. – Емельян Иваныч с готовностью передал второй рублевик. Мужичок нырнул и снова ловко вытащил, как собака тащит из болота утку. – Матрен! Огребай деньги! – Матрена радостно улыбалась и творила про себя молитву: ведь эстолько денег дай Бог за месяц заработать.

Когда счастливый мужичок достал из чаши четвертый рублевик, завистливая толпа и смеяться перестала, слышались недоброжелательные выкрики:

– Он, носатый дятел, с чертом знается!

А Ермилка, обратясь к Пугачеву, сказал:

– Ваше величество, этак-то я сотню рублевиков мог бы выловить. Дело бывалое. А вот, дозволь! – И, пошлепав губами, Ермилка закричал в толпу: – Эй, народы! Зубами всякий дурак вытащит, хитрости в том нет. А надо эвот как! – Он прихватил обеими руками чубастые волосы свои и засунул лицо в сметану. Зрители разинули рты, замерли. И вот вскинулось вверх Ермилкино лицо: рубль не в зубах у него, а возле глаза: казак умудрился зажать его между бровью и щекой. Вся толпа ахнула, принялась выкрикивать Ермилке похвалу. Похвалил его и Пугачев. В это время ребяташки закричали:

– Миша пришел! Миша пришел!.. Миша, пошто ты такой маленький?

– Бог росту не дал, – пищал тот, пробираясь к государю.

– Что, Миша, пехтурой, никак? – спросил его Емельян Иваныч.

– Пешечком, ваше величество... Лошадки подходящей нетути. Обнаковенный коняга сразу сомлеет подо мной.

– Ну и крепок ты... Вино-то не сборило?

– Водичка и водичка.

– Канат тащите, канат! Перетягу устроим! – шумел Шундеев.

Меж тем Миша, закинув руки за спину и чуть ссутулившись, не спеша пошел по луговине, улыбочиво посматривая на мужичков своими медвежьими глазками. Мужики, зная его повадку, опасливо сторонились от него: бросил он взгляд на Митродора, Митродор нырнул в толпу, взглянул на Карпа, Карп скорей в толпу. Вдруг он круто повернулся, сгреб в охапку зазевавшегося мужичка-брюханчика и с легкостью швырнул его вверх. «Караул!» – благим матом завопил брюханчик и упал в мягкие ладони Миши. «Ура!» – заорала толпа.

– Становись, становись к канату! – И вот десяток крепких мужиков, поплевав в пригоршни, вцепились в конец длинного каната, другой же конец схватил правой рукой Миша Маленький. Началась игра в перетягу. Миша стоял к своим противникам правым боком, немного откинувшись назад и заложив свободную левую руку за спину. Он, казалось, не делал никакого усилия, легко сопротивляясь натужливому старанию своих противников.

– Надбавь ощо! Давай ощо столько жа! – прокричал Миша.

К канату бросились на подмогу мужики и парни... Канат натянулся до отказа и дрожал, как приведенная в колебание струна. Стал слегка дрожать и Миша, его глядевшие исподлобья узенькие глазки раздвинулись пошире, он покруче откинулся назад. Тут из толпы вышел широкоплечий кряжистый старик в овчинной шапке, он вцепился в канат и загайкал на весь лес:

– Ай-ха!.. Давай, давай, православные! Надуйсь!..

Миша Маленький сразу почувствовал богатырскую силу казака. Сдернутый с места, он, подаваясь помаленьку вперед и стараясь удержаться, пахал землю каблуками.

– Ай-ха!.. Тяни-тяни-тяни! – шумел старичина, за ним дружно подхватывал народ:

– Ага, Миша!.. Сдал?!

Но Миша вдруг остановился, схватил канат обеими руками, стиснул зубы и весь напряжился. Круглощечное лицо его сделалось напряженным, злым, огромные кисти рук стали красны, как клешни вареного рака. Канат гудел, толпа противников, выбиваясь из сил, орала. А Миша Маленький все-таки ни с места. Тут откуда ни возьмись пьяненький отец Иван. Путаясь ногами в длинной рясе и поблескивая на солнце наперсным крестом, он вшаг подошел к канату, схватился за его конец и закричал:

– Низложу сильные со престол! – стал внатуг тянуть его.

Вдруг Миша весь затрясся, широко разинул рот и выпустил канат из рук. И все, кто держался за другой конец каната, разом кувырнулись вверх лаптями. В толпе взорвался хохот.

Пока шло игрище, Емельян Иваныч с Антиповым, сев на коней, осматривали деревню Александровку.

– Деревня обширная, – сказал Антипов. – Мужиков поболее тысячи сволочилось сюды со всех мостов, и народ добропорядочный. А хозяйева, Твердышева братья, вишь каких хлевов людям понастроили.

Действительно, серенькие, подслеповатые избенки в одно оконце были понатыканы кой-как, без всякого тщания и смысла. Большинство изб стояло без труб, они топились по-черному и мало походили на жилище человека. А между тем кругом высились заросли строевого леса, уж где-где, а здесь-то вся статья быть крепко рубленным высоким хатам с расписными воротами, тесовыми кровлями. И люди жили бы тогда по-другому, в чистоте и просторе, и зазвучали бы по лесам, по заводам бодрые, веселящие душу песни. Но этим людям лишь во сне, как туманное воспоминание, грезится сытая, веселая жизнь – жизнь господ, которые когда-то продали их на чужбину. И они продолжают тянуть ярмо свое. Втайне они думают, что живут здесь временно, что, может быть, завтра погонят их в Сибирь, перебросят на другой завод или продадут другому господину. Поэтому у них нет и прицепки к жизни, и живут они, словно стая перелетных птиц, от весны до холодов, чтоб бросить свои постылые гнезда и лететь дальше, неведомо куда.

Пугачев глядел на эти обомшелые избенки, глядел на огромный погост, густо утыканный крестами, как донские плавни тростником, и его сердце сжималось. И потому, что больно сжималось сердце, в голове Емельяна Иваныча крепла мысль, что дело его свято.

Обратной дорогой Пугачев со свитой ехал шагом. Миша с отцом Иваном тащились на телеге, запряженной парюю. Поп, телега и лошадки в сравнении с Мишей казались игрушечными. Окруженный мастеровыми, Емельян Иваныч был в праздничном настроении и вел с ними беседу. Яков Антипов сказал:

– Как приедем, покажу тебе, ваше величество, одну штуку. Тимофей Коза сварганил, таясь ото всех, особливо от Мюллера. Только я один знаю.

– Да, други мои, – кивнув головой Антипову, проговорил Емельян Иваныч. – Коза немал человек, такие люди в редкость, им цены нет. Поберегать его надо. Как придет он в память, пускай замест немца становится. А этого самого Карла Иваныча закиньте в степь, пускай к королю Фридриху ползет, раз иноземец похваляется, что есть он его подданный.

На заводском дворе тоже шло веселье. Работный люд гулял вместе с яицкими казаками. Было шумно, весело, но не пьяно.

День погас. Вечерело. Яков Антипов велел слесарю прихватить инструмент, чтоб вскрыть замок на амбарушке механикуса Козы. Когда же приблизились вчетвером к амбарушке, усмотрели, что ворота в нее отперты.

– Глянь! – вскричал Антипов. – Сам Тимофей Иваныч здесь, нашелся друг сердешный...

Распахнули ворота, но Козы в амбарушке не заметили. Темновато там. Посредине громоздилась какая-то станина с небольшими пушками. Подошел Миша и всю станину выкатил наружу. Люди увидели на снегу нечто неожиданное. Большой, сколоченный из байдаку и брусьев деревянный круг, диаметром около сажени, лежал горизонтально на катках и легко мог, как карусель, вращаться в одну сторону – справа налево. На круге, на равном друг другу расстоянии, были размещены восемь малых пушек. Антипов залез в широкую прорезь круга и стал вместе с пушками неспешно вращать его, поясняя:

– Вот надежа-государь, смотри. Допустим, все пушки заряжены. Первая пальнула, круг маленько повертывается. Вторая пальнула, круг опять повертывается. Вот и третья. А в это времечко первую да вторую уже заряжают. А как из восьмой пальнут, уже первая снова к стрельбе соготовлена. И таким побытом, без всякого перерыва знай себе шпарь.

– Здорово! – восхищался Пугачев. – А ежели, скажем, неприятель окружил, так и зараз из восьми палить можно картечами. Токмо грузновата махина-то, вот беда.

– Грузновата, батюшка, – проговорил Антипов. – Возить трудно по нашим убойным дорогам. Да ведь колесо-то, впрочем сказать, разборное.

В это время из амбарушки донесся заплешный голос Петра Сысоева:

– Эй, сюды, сюды! Беда!

Все вскочили в амбарушку. В темном углу лежал ничком, не шевелясь, Тимофей Иванович Коза.

– Он, голубчик, стружками был засыпан. Я думал пьяненький. Потолкал, потолкал – молчит, не дышит.

Тело механикуса бережно вынесли на свет, положили на кошму, стали осматривать.

– Убит, – сказали все в голос. – Глянь! Затылок-то проломлен...

Костлявое лицо убитого потемнело, глаза полузакреты.

– Вот тебе и поберегли, – мрачно сказал Пугачев, с печалью вглядываясь в лицо мертвеца.

– Не иначе – немцево это заделье... Его, его! Больше некому, – проговорил Антипов.

Все обнажили головы, закрестились. Глаза Пугачева вспыхнули. Раздувая ноздри, он сказал:

– Выходит, маху мы с тобой, Антипов, дали, что загодя не повесили иноземца-лиходея. – И закричал, сжимая кулаки: – Подать мне его! Из земли выкопать!

Ударили в набат. Гулянка сразу прекратилась. В Александровку поскакал нарочный. По всему поселку разыскивали немца. Объездчики со стражниками седлали лошадей. Работная молодежь собиралась в кучки, чтоб искать исчезнувшего Мюллера.

По армии было объявлено: завтра выступать в поход. Ночь прошла в тревоге, в поисках, в приготовлениях к маршу. Была обшарена со зверовыми собаками вся окрестность. Немец исчез бесследно.

Наступило солнечное утро. Отец Панфил служил заупокойную литургию по убиенном рабе Божиим Тимофее. Гроб с телом механикуса стоял в церкви.

На заводском дворе собрался весь работный люд. Немногочисленная армия с обозом была вполне готова к выступлению. На видном месте стояли полторы сотни молодых работников завода, пожелавших вольной волей следовать за «батюшкой». У многих за плечами ружья. Тут же поблескивали свежей бронзой новые, только что изготовленные пушки, запряжены они были сытыми лошадками. Впереди работного отряда Андрей Горбатов на коне.

Когда окрепло солнце, Емельян Иваныч выехал к народу в богатой сряде, с лентой, со звездой, при драгоценной сабле (подарок Воскресенского завода). Пугачев поднял руку с платком, взмахнул, и все затихло.

– Детушки! – прозвучал в тишине властный голос. – Приспело мне время шествовать дальше с воинством моим. А вы оставайтесь и мне, государю, порадейте. Поспешайте пушки лить да ядра, в них шибкая нуждица у меня! По жителям вашим покамест не распускаю вас, воли не даю вам и не дам, покуда не воссяду на прародительский престол. А как воссяду, тогда и вам новые порядки выйдут. Работное время сбавлю, жалованья набавлю, харч положу сытный. И воздыханиям вашим придет окончание (многие в толпе стали осенять себя крестом). И распущу вас по домам вашим, объявлю волю всему крестьянству во всеуслышанье. А впредь укажу набирать по заводам выкликанцев, по вольному найму и хотенью. И заводы расширю, и новые выстрою, и управлять заводами будут выбранные вами люди. Еще вот чего. Управитель ваш Яков Антипыч, по моему указу, выдаст в награждение всем семейным работникам, мужикам и бабам, по рублю серебром на человека, а холостякам по полтине. («Спасибо, царь-государь!» – дружно закричали в толпе.) Ну, детушки! Век бы жил с вами, да ничего не поделаешь: разлученый час настал. Прощайте покудов! Живите в труде и во счастье.

И заорала толпа, замахала шапками. Окруженный ближними и провожаемый народом, Пугачев двинулся в путь-дорогу.

Глава IV

Встреча Белобородова и Пугачева. Крепость Троицкая. Девочка Акулечка. Подполковник Михельсон

1

8 мая генерал Фрейман занял Авзяно-Петровский завод, в котором так недавно побывал со своей толпой Емельян Иванович.

Приказчиков, «как людей весьма усердных», Фрейман отправил в Табынск, чтоб «их здесь не убили», а двух человек, верных Пугачеву, повесил. Многие работные люди бежали в горы.

Дядя Митяй сплеховал, был пойман и тоже повешен. Пред смертью вспоминал старца праведного Мартына, надеясь в простоте душевной повстречаться с ним на том свете.

Фрейман направился через Белорецкий завод к Верхне-Яицкой крепости, полагая найти там Пугачева. Где находятся отряды Деколонга и Михельсона, Фрейман не знал, лазутчики давали ему ложные, сбивчивые сведения, он шел вслепую. Тем временем выступившему из Уфы Михельсону предстояли в пути большие затруднения. Для переправы через разлившиеся реки ему пришлось делать паромы, строить снесенные водой мосты. Согнанные из деревень крестьяне, проработав день, ночью убегали. Возле деревни Юрал Михельсон наткнулся на полторатысячную толпу башкирцев под водительством Салавата. Башкирцы были расположены несколькими отдельными кучками. Михельсон приказал майорам Харину и Тютчеву атаковать их левый фланг, а сам устремился против правого фланга. О происшедшем бое Михельсон доносил:

Куда же идти Михельсону дальше? По сведениям, которые никак нельзя было проверить, Пугачев покинул Белорецкий завод и направился к Магнитной крепости, Белобородов ушел с Саткинского завода в неизвестном направлении, в окрестностях Симского завода бродят толпы башкирцев со старшиной Аникой – они шли на помощь Салавату, но опоздали. Михельсон разбил Анику с его толпой, привел эту местность в повиновение и двинулся к Катавскому заводу, окруженному мятежниками. Он их опрокинул и рассеял, атамана Сидора Башина в «страх другим» повесил, а многочисленных пленных распустил по домам, обещая полное помилование всякому, кто явится к нему с повинной.

На подмогу Пугачеву спешил разбитый под Екатеринбургом атаман Иван Наумыч Белобородов. Не покладая рук собирал атаман людскую силу, всюду рассылал приказы, направлял башкирских и мещерятских старшин с призывом к их сородичам, давая указания собираться людям к Саткинскому заводу. Сотнику Коновалову Белобородов от 16 апреля 1774 года выдал ордер:

Отдавая такие приказы, Белобородов с точностью не знал, где в данное время Пугачев. О месте пребывания самозванца не знали и екатерининские военачальники: Михельсон полагал, что Пугачев на Авзяно-Петровском заводе, князь Щербатов имел сведения, что он с башкирцами уходит за Урал, в Сибирь. Трусливый генерал Деколонг доносил, что «злодей свои отважные и отчаянные силы могутно устремляет»

под Челябину на его, Деколонговы, войска.

И снова – уже который раз – в правительственном лагере неразбериха, толчея, перетасовка отрядов.

Князь Щербатов из Оренбурга отправил башкирцам увещание; он, подобно Михельсону, обещал полное прощение всем бунтарям, кои оставят самозванца и придут в повиновение правительству. В ответ на это башкирцы призадумались. Они собирались на совещание, и наиболее робкие из них стали высказывать желание покориться.

Но вот появились посланцы Пугачева, они привезли с собой башкирца, изуродованного комендантом Карагайской крепости полковником Фоком. Пойманному пленнику Фок приказал отрезать нос, уши и на правой руке все пальцы.

– Вот, братья башкирцы, присмотритесь к своему сородичу! – бросал в толпу новый пугачевский понытчик Григорий Туманов.

Изувеченный, с непомерной печалью в глазах, показывал окружившим его беспалую, еще плохо поджившую культяпку, стараясь левой ладонью стыдливо укрыть страшное, как у Хлопуши, лицо свое. Он ничего не говорил и не обливался слезами, но небритый, в черной щетине, подбородок его дрожал, и широкая грудь надсадно дышала.

Чернобородый, приземистый Григорий Туманов, окинув большими глазами толпу, достал из сумки бумажку, вздернул вверх голову и вновь заговорил:

– А вот прислушайтесь, братья башкирцы, что пишет змей Ступишин, комендант Верхне-Яицкой дистанции...

Рядом с Тумановым сидел на коне толмач Идорка. Он резким голосом переводил прочитанное и в крепких местах угрожающе потрясал плеткой. Толпа башкирцев шумела.

– «Возле Верхне-Яицкой, – продолжал Туманов, – я, комендант Ступишин, поймал башкирца Мусина с воровскими от разбойника Пугачева письмами. Письма я велел принародно под барабанный бой сжечь, а тому вору-башкирцу приказал отрезать нос, уши и к вам, вора, с сим листом, от меня посылаю!..»

Толпа в ответ шумела еще громче.

– Не с вами ли оный Мусин? – спросил Туманов.

– Нет, бачка-начальник! – закричали башкирцы. – Зеутфундин Мусин помрил, горло себе резал, сапсем кончал. Срамно был свой наслег показаться, свой дюрта.

Многие сотни башкирцев, как по уговору, вскочили в седла.

– Веди нас к бачке-осударю!.. Вот уж Салават-батыр придет, вот уж-ужо Юлай придет! Постоим за бачку-осударя! Стрелы наши метки, кони, как ветер, быстры. Степь застонет от их топота, и все супротивники будут раздавлены, как ползучие гады...

И уже не слушали Григория Туманова, только вопили:

– Веди!

Так было во многих скрытных местах, во многих селениях. И вскоре почти вся Башкирия, раздраженная жестокостями разных Ступишинных с Фоками, потянулась к Емельяну Иванычу. Так тянется к теплему солнцу освобожденная от ледяного холода весенняя степь.

К началу мая скопилось у Пугачева до пяти тысяч народу. И вот он выступил по направлению к Верхне-Яицкой дистанции, туда, где его меньше всего ожидали. Из четырех крепостей этой дистанции

самая большая была Верхне-Яицкая. Пугачев прошел мимо: он знал, что всякий его неуспех мог гибельно отразиться на его деле, тогда как удача в овладении той или иной крепостью могла склонить на его сторону даже и то население, которое находилось в положении выжидательном.

И Пугачев, подойдя к более слабой – Магнитной крепости, окружил ее. Тем временем Военная коллегия послала строгий указ Белобородову, в коем указе «настрожайше определяется с получением сего тот самый час выступить и секурсировать под Магнитную к его величеству в армию с имеющейся при тебе артиллериею».

Комендант крепости Магнитной капитан Тихановский, при содействии гарнизона и жителей, успешно до вечера отбивал все атаки наступавших.

У пугачевцев было мало пушек. В последнем штурме вел войска на приступ сам Пугачев.

– Грудью, грудью, детушки!.. Эх, тряхни!.. – подбадривал он свою рать.

В разгаре боя он был ранен картечью в левую руку. Его отвели в кибитку. Встревоженный Андрей Горбатов осмотрел руку – кость цела – и, как умел, перевязал ее.

С наступлением ночи, разделившись на пять отрядов, пугачевцы близко прокрались к деревянным заплотам. Во тьме они зорко следили, как зажженный вражеский фитиль «подносился к выстрелу», и разом падали ниц. Затем, когда пушки выпускали снаряд, осаждающие, вскочив, мчались к заплотам, дружным натиском быстро ломали их. И к утру, после упорного боя, ворвались в крепость.

Капитан Тихановский с женой и жена убитого поручика были повешены.

На следующее утро, а именно 8 мая, в стан явился Белобородов с отрядом в шестьсот человек, главным образом заводских крестьян. Вскоре он был позван к Пугачеву в его обширную кибитку (юрту) белой кошмы, разукрашенной узорами из разноцветного сафьяна. Пол кибитки и тахта – в дорогих коврах. Белобородов с душевным трепетом подошел к кибитке. Он знал, что на него были царю доносы, что царь на него в гневе.

Дежурный Давилин при входе отобрал от Белобородова все оружие, оставив ему лишь палку с завитком, на которую тот опирался. Белобородов еще более оробел.

В кибитке, куда он с яркого света вошел, дремал полусумрак, мешавший прибывшему рассмотреть выражение государева лица. Он сразу же опустился перед Пугачевым на колени и уткнулся лбом в ковер. С левой рукой на перевязи, Емельян Иваныч сидел в кожаном кресле. Невзирая на вчерашнее ранение, он был бодр и весел – крепость взята с боем, а Белобородов привел шесть сотен молодцов.

– Встань, Иван Наумыч, – обратился он к Белобородову и насупил брови. – Скажи мне, – отделиться ты от меня хотел, чтобы своевольничать. Не гоже это!

– Облыжно оклеветали меня, ваше величество, – опираясь на палку, поднялся Белобородов. – Как служил вам верой и правдой, так и по гроб служить намерение твердое имею. А это я знаю, кто это, – Шибав[45] казак клеветает на меня.

– Верно, он... Стало, ты не супротивник мне? Не злоумышлял против меня, государя своего?

– Ваше величество! – ударил Белобородов кулаком себя в грудь. – Я весь перед вами. Верьте мне! И дозвоьте молвить...

– Сказывай, Иван Наумыч. Эй, Давилин, подай-кось сюда какое ни то стуло! Ну вот, садись, атаман, да сказывай.

Ободренный милостивым обхождением, Иван Наумыч сел, выпрямился и, опираясь на клюшку, стал кратко, но толково докладывать о всех делах своих. Пугачев попутно ставил ему вопросы, Белобородов по-

умному отвечал на них. Беседа тянулась долго. И вот она идет к концу.

– В бытность же мою на Саткинском заводе прислал от вашего величества в помощь мне атаман из бывших унтер-офицеров, дворянин Михайло Голев. А как я увидел, что тот Голев стал делать непорядки и пьянствовать, то, сковав его, отослал обратно к вам.

– Голев Михайло под Татищевой убит, – вздохнув, молвил Пугачев.

– Царство ему небесное, – перекрестился Белобородов. – А когда пришел я в Нижние Киги, явились ко мне из вашей армии два казака да атаман. Казак по тайности донес мне, что они все трое отложились от вас и прибыли ко мне с увещательным князя Щербатова указом отвращать людей от вашего величества. Тех двух казаков да атамана я велел повесить.

– Гарно, – сказал Пугачев, и суровые складки над его переносицей распрямились.

– Вскорости после того прибыл от вас илецкий казак есаул Иван Шибает, он привез приказ двигаться мне под Магнитную крепость, а сам уехал обратно. Меня подзадержало с выступлением разлитие рек, все дороги рухнули. Довелось ждать. И вот получаю я от жителей Шайтанского завода известие, что Иван Шибает в оном заводе хозяйский дом разграбил, у жителей лошадей и седла отобрал, почему я и послал следом за ним команду в сто человек поймать его и заковать. Прибыв и сам туда, я уведомился, что Иван Шибает скован, что он послал на меня вашему величеству рапорт, будто бы я хочу-де от вас отложиться. Тут я в гнев вошел, огрел вот этой самой клюшкой Шибаета Ваньку по морде и под караулом препроводил его к вам, батюшка.

Пугачев встал, обнял правой здоровой рукой поднявшегося Белобородова и по-братски поцеловал его в щеку.

– Будь и впредь верен мне, Иван Наумыч, спасибо тебе за службу твою.

Он вынул из кармана большую медаль – рубль Петра Первого с припаянным ушком и красным бантом – и, наморщив нос, приколот ее на грудь Белобородова. Поймав царскую руку, тот облобызал ее.

– Давилин! – позвал Пугачев. – Поддай нам с атаманом по чарке сладкой водки.

По выходе Белобородова из кибитки к нему просунулся Федор Чумаков и, оглаживая ширококую, как новый веник, бороду, тайным шепотом спросил его:

– Узнал ли ты государя? Ведь в Питере видывал его, поди, не раз.

Щеки Белобородова вспыхнули, сердце защемило; помедля, он твердым голосом сказал:

– Узнал.

– Гм, – неопределенно гукнул Чумаков и подергал себя за нос.

...И – радость за радостью. Явились в стан без вести пропавшие: Овчинников, Перфильев, Пустобаев – старые верные друзья, испытанные соратники! Овчинников привел с собой триста яицких казаков да двести заводских работных крестьян.

Встреча была самая душевная. Емельян Иваныч рад был наособицу. Еще бы! Его боевой любимый атаман Овчинников вернулся из опасного похода цел-невредим. Все трое по очереди валились Пугачеву в ноги, спрашивали наперебой: «Рученька-то, рученька-то у ты што?» Богатырь Пустобаев, уже успевший «клюнуть», обливался слезами. Так встречаются долго не выдавшиеся любящие братья или отец с дорогими его сердцу сынами. Тут уж, хочешь не хочешь, надо было батюшку угостить и самим угоститься.

Под звездным уральским небом песни гремели во всю ночь, раскатистое эхо раздольно гуляло по горам, пламенное созвездие огромных костров – здесь сухостоя сколько хочешь – огненными взмахами

опаляло нависшую над землею плотную тьму. Пой, казак, полным голосом боевую песню, швыряй во все концы земли свой победный зык! Только бойся дремать, удалой казак, чутко вслушивайся в мертвенные дали: враг, как сова в ночи, крадучись, ищет тебя всюду.

Наутро был смотр пришедшим людям и торжественный прием башкирских и татарских старшин. Все они были позваны к кибитке Пугачева. Он стоял, окруженный свитой, знаменами. На нем парчовая бекеша троеклинном, красные сапоги, золотая, из ковanej парчи, шапка. Он обошелся со старшинами ласково, разрешил им, по их неотступному хотенью, рушить и жечь дотла крепости, чтоб не давать царицыным войскам в них обосноваться.

– Объявите верным моим башкирцам и сами ведайте, – взволнованно сказал он, – вся Башкирь будет отдана вам, яко хозяевам. И ни губернаторов, ни иного прочего начальства у вас не станет. И будете вы управляться сами собой, чрез выборных своих людей, коим довериться можно. Будете моего величества верными подданными казаками, и весь военный распорядок у вас насажу казацкий, без солдатчины, без рекрутчины. Довольны ли, детушки?

Старшины упали Пугачеву в ноги, а толпа башкирцев закричала:

– Урра-а-а!! Само якши есть! Пасибо, бачка-осударь!..

Находившийся возле Пугачева Горбатов заметил ему:

– Мудрым словом, государь, одарили вы башкирский народ.

– С народом, ваше благородие, разговор надо вести умеючи, – приняв осанистый вид, откликнулся Пугачев. – А то: будешь сладок – разлижут, будешь горек – расплюют.

Горбатов посмотрел на Пугачева с чувством большого уважения.

Белобородов и донесший на него илецкий казак Шибаетов помирились. Пугачев обоим содружников своих произвел в полковники. Белобородову дал он четыреста заводских крестьян и полсотни илецких казаков.

Забрав в Магнитной четыре пушки, Пугачев 19 мая овладел довольно сильной Троицкой крепостью[46]. Крепость упорно сопротивлялась, но пугачевцы все-таки взяли ее после трех отчаянных штурмов. Комендант крепости бригадир Фейервар и четыре офицера были убиты, супротивные солдаты и жители переколоты копьями.

Жену Фейервара башкирцы привязали к лошадиному хвосту и таскали по улицам. Жилища состоятельных подвергались ограблению. Торговые лавки оренбургского купца Крестовникова были расхищены, а его салотопенный и кожевенный заводы сожжены.

Пугачев недолго оставался в крепости, он стал лагерем в полутора верстах от нее. Настигающий его Деколонг доносил о ту пору Рейнсдорпу: «Шельма самозванец проклятые свои силы имеет конные и несказанную взял злобу по причине полученного себе в руку блесирования[47], так скоро свой марш расположил, что угнаться за ним не можно».

Сады в цвету. Луга позеленели. Уже степной ковыль – краса весны – распускает свои пышные кивера. Всюду неумолкаемый бубенчик – песня жаворонков. Воздух гудит, трепещет от их трелей. И сердца собравшихся у костров людей охвачены волнением свободы. Весна, солнце, бачка-осударь, воля! Никого нет над ними, над башкирцами, кроме царя и солнца!

А бачке-осударю, а Юлаю с Салаватом честь и прославление из края в край!

Озорные суслики, пересвистываясь, приподнимаются на дыбки, греют на солнце свои пестрые грудки,

с любопытством осматривают ожившую степь. Хохлатые чибисы перепархивают с места на место и тоскливо стонут: неведомо откуда пришли какие-то, пригнали лошадей, и вот их гнезда с малыми птенцами обречены на гибель. И обиженные птицы по-своему плачут, по-своему жалуются царю жизни – солнцу.

Лошади пасутся на густой траве, молодые кобылицы сильны, их сосцы набухли живительной влагой, турсуки с крепким кумысом переходят из рук в руки.

У дальнего костра семеро заводских крестьян. Тюмин варит кашу. Мажаров с Ильиным пекут по башкирскому способу, на раскаленных камнях, житные лепешки. К костру подходит рослый белокрысый парень Дементий Верхованцев, секретарь Белобородова. Он любопытен, как суслик, бродит от костра к костру, выщупывает настроение людишек.

– Мир честной компании!

– Спаси Бог, присаживайся. Каша живчиком упрет. Ложка есть?

– По горло сыт, – отвечает он, садится и раскуривает от уголька трубку. Сапоги у него начищены, рубаха новая, синяя, с кумачовыми ластовками, ворот высокий, на горловине семь пуговиц. Опытным глазом он приглядывается к крестьянам и сразу определяет: заводские. У одних босые ноги в чирьях, суставы пальцев на руках и на ногах опухли – эти люди трудились в подземных шахтах. У других преждевременно вылезли волосы, гноящиеся воспаленные глаза – эти работали у домниц, выпускали чугун. Вот тот, сутулый, кривоплечий, надрывался у кричного молота, а эти двое с неотмываемыми, изъеденными копотью и угольной пылью исхудалыми лицами – углежоги.

– С каких да каких заводов вы, старатели? – спросил Верхованцев крестьян.

– С Златоустовского, желанный, все семеро оттоль, с Златоустовского железно-чугунного... А ты, чистяк такой, откуль?

– Я с Билимбаевского.

– Ну, знаем. Из писарей, поди, сам-то? Форсистай этакой, гладкой. Еще перекинулись кой-какими словами, и крестьяне повели прерванный разговор.

– Вот я и толкую, – заговорил Тюмин, – он жидковолосый и безбровый, глаза добрые. – Пошто беззащитных людей мучать? Я воевать воюю, в драчке кого хочешь пристрелю, а чтобы беззащитных увечить, в том моего согласия нет. Совесть воспрещает! – выкрикнул он и сорвал с пламени котелок с кашей.

– Не совесть, а душа, – поправил его седоусый Мажаров с острыми слезящимися глазами.

– А я тебе говорю: не душа, а совесть воспрещает разбойничать! – осердился Тюмин.

Верхованцев сказал:

– Я самолично видел, как комендантшу Фейервар то ли пьяные башкирцы, то ли калмыки к лошадиному хвосту привязали да по улицам волокли...

– Я тоже видал, – сказал Тюмин, бросая в кашу масло. – А царь-то батюшка, дозрив оное убийство, зараз запретил. А калмыка-то, мучителя-то, кажись, повелел казнить...

– У батюшки недолго с петелькой спознаться, – проговорил Мажаров, – батюшка всегда справедлив.

– Он, когда осердится, лютует, сам не свой, а несчастный да обиженный за всяк час у него заступленье сыщет, – сказал Тюмин. Он постучал ложкой о котелок и пригласил всех к каше. – Я ведь с батюшкой-то сызначала хожу. И вот, как-то по зиме, плетусь Бердой – мимо государева жительства. Гляжу – брыластый

этакий парень, казачина, у костра рубаху сушит, а сам голышом по зимнему времю. «Неужели на морозе-то взопрел?» – спрашиваю его. А он мне: «Нет, говорит, не на морозе, а с батюшкой чижолый разговор имел...» Вот каков батюшка-то наш. Дай Бог его царскому величеству здравствовать...

Семь деревянных ложек мелькали быстро. Проголодавшиеся заводские крестьяне глотали кашу не жевавши.

– Эвот у того дальнего костра, – сказал Верховланцев, – слышал я, будто бы матушка Екатерина от престола отрекнулась.

– Истина, истина это! – воскликнул Тюмин. – Она, царица-т, на покой ушла. На покой, на покой, уж это верно. А Павел Петрович со своим дядей Жоржем десять полков на помощь батюшке ведет...

– Да уж полно, так ли? – И глаза Верховланцева вспыхнули от любопытства.

– И не сомневайся, и не сомневайся! – замахал на него ложкой восторженный Тюмин.

Вскоре Верховланцев чинил подробный доклад полковнику Белобородову о том, чем живет, чем дышит его, белобородовская, армия.

В конце доклада Верховланцев с особой торжественностью, задыхаясь от восторга, – вот-то обрадует полковника! – сообщил о том, что ныне-де предвидится скорая победа государя императора, что вот-вот вся Россия покорится ему, ибо царица передала престол сыну своему, а сын идет-де с войском восстановить поруганные права своего великого родителя.

Белобородов, слушая его, сначала улыбнулся, затем нахмурился и бросил:

– А и дурак же ты, братец мой...

Верхоланцев крякнул, одернул рубаху и выпучил на полковника удивленные глаза.

Ночь в лагере под Троицкой крепостью переспали благополучно. А чуть зорька в небе, примчались на взмыленных конях дозорные.

– Вставайте, вставайте! – с шумом, с криком скакали они по мертвецки спавшему лагерю.

Засвистали медные дудки, забили из конца в конец трещотки. Сонный Ермилка, надув толстенные щеки, со всех сил наигрывал в начищенную трубу, Чумаков пальнул из сторожевой пушки – по степи раскатистые гулы пошли, суслики испуганно нырнули в норы, из кибитки выскочил в одном белье встрепанный, нечесаный Емельян Иваныч.

21 мая, в семь утра, генерал Деколонг, сделав со своим сибирским корпусом трудный марш, подошел к пугачевскому лагерю вплотную.

Чумаков с Варсонофием Перешиби-Нос и с канонирами из заводских мастеров открыли по врагу дружный огонь из пушек. А Пугачев с Овчинниковым и Белобородовым атаковали Деколонга всеми своими силами. Вначале атака была удачна: Деколонг пятился, но вскоре в его крупном боевом отряде замешательство от первого удара кончилось. Перестроив ряды и подтянув резервы, Деколонг перешел в наступление. После упорного боя нестройные толпы пугачевцев дрогнули. Первыми поскакали в разные стороны башкирцы – их было около двух тысяч. А затем, будучи не в состоянии держаться без их помощи, и остальные силы армии – казаки и крестьяне обратились в бегство.

Пугачев был узан по перевязанной руке и по окружавшей его на хороших конях свите. Два офицера – Беницкий и Борисов – с отрядом драгун бросились его преследовать... И вот он, вот он, Пугачев!.. Беницкий был от него в каких-нибудь пятнадцати шагах, уже рослый конь Пугачева швырял копытами в лицо офицеру комьями земли с зеленой травкой... Но лошади драгун истомились, конь же Пугачева был свеж,

рысист... взмах плетки, еще, еще, – и Емельян Иваныч скрылся в густом лесу. Лес укрыл и спас от пленения не одну тысячу пеших и всадников.

Подобно дробящимся до бесконечности шарикам ртути, все пугачевцы рассыпались в разные стороны. И когда будет можно, они снова стекутся к «батюшке». Они найдут его, куда бы он ни скрылся.

В этой несчастной битве потери Пугачева были огромны. Майоры Гагрин и Жолобов, преследовавшие пугачевцев, впоследствии доносили, что «лежащих мошеннических трупов на четырех с лишком верстах перечесть было невозможно». В бою погибли новый секретарь Военной коллегии Иван Шундеев и новый повытчик Григорий Туманов. На глазах Пугачева оба они с кучкой дружных заводских крестьян яростно бились с врагами. Пугачев впоследствии долго печалился об этой потере. Он давно наблюдал, что утрата среди заводских крестьян всегда наибольшая. Жалко, очень жалко их, слава им! Они либо бьются до смерти, либо, лишившись последних сил, попадают в пленение. Они, эти крестьяне с уральских заводов, да еще вот природные казаки – первый оплот его, Пугачева, армии. Только одна беда – маловато их.

Потери Пугачева под Троицкой крепостью – двадцать восемь пушек, около четырех тысяч убитых и раненых.

Печальный, но все еще твердый духом Пугачев неизвестно куда скрылся. Екатерининские воинские части надолго потеряли его из виду.

2

Леса. Хвойные леса: ель, сосна, пихта, кедровник. Ой, солнце, как оно ласково пригревает и какой духмяный, смолистый воздух течет по узкой лесной дороге!

Меж высокими стенами густолесья едет горстка всадников. Это Пугачев со своими немногими близкими, которым удалось скрыться из-под Троицкой крепости. У Емельяна Иваныча нет больше армии. Она разбежалась, рассыпалась по непролазным лесам и потеряла след своего владыки. Пугачев один. Возле него нет ныне армии. И хвойные леса сопровождают его загадочным шепотом: то ли удачу сулят ему, то ли пророчат конец его грозным деяниям, предрекают всякие бедствия. Ветру нет, а лес шумит-пошумливает шелковым шелестом. Ветру нет, и нет возле батюшки армии. Армии нет!

Навстречу Пугачеву попадаются захудалые деревеньки в десяток-другой домков. Бродят в перелесках коровы и овцы, при них то старуха с хворостиной, то пузатенький на тонких ножках парнишка с кнутом – пастух.

Вот, завидя едущих рысью всадников, малыш выхватил из-за пояса самодельный берестяной рожок и начинает наигрывать заунывную. Он перенял эту песню от родимого дедушки. Его рожок выговаривает трогательным человеческим голосом, жалуется на что-то, о чем-то неутешно плачет без слез. Лесная русская песня бередит душу всадников, они задерживают коней возле мальчика и тоскующими глазами улыбаются ему. Эх, песня, русская заунывная песня! Играют тебя и на разгульных свадьбах, и на печальных похоронах, когда правят тризну... Нет у Пугачева армии. Подольше послушать бы тебя, дивная песня, погрузить бы возле тебя, поднять с души всю горечь...

Пугачев протягивает пастушку пятак, все благодарят его за добрую игру – и дальше, дальше...

А вот движется навстречу малая девчоночка. Она издали похожа на крохотную старушку-карлицу. В руках батог, через плечо холщовая торба под куски.

– Здравствуй, девочка! – приветливо крикнул Пугачев с седла, и всадники остановились.

– Здорово, дяденьки! – Девочка тоже стала среди дороги и воззрилась на всадников. Она – щупленький заморыш, ноги в потрепанных лапотках и руки худы, личико бледное, вытянутое, темно-русые волосы растрепались, сзади косичка. Глаза большие, серые, они оживляют лицо, делают его привлекательным. В разговоре она сдвигает брови, тогда над переносицей появляется какая-то не по возрасту страдальческая складка, и детское личико приобретает выражение большой заботы.

– Куда ты летишь, пчелка? – спросил Пугачев.

– До царя лечу, – охотно и доверчиво ответил ребенок. – Только не ведаю, в коей стороне царь-то живет. Велели мне до царя идти, правды-матки искать... А вы кто такие, дяденьки?

– Вот я – царь. А со мной атаманы да полковники...

– Нет, уж ты, дяденька, не загибай... Врачек-то я слыхала на своем веку много...

– Ой, да и век же твой долог... Ха-хи... – засмеялись атаманы.

– А пошто же ты за царя-то не хочешь меня признать? – улыбаясь, сказал Пугачев и подбоченился; он был в простой казацкой сряде, без ленты, без звезды.

– Да нешто цари такие? – проговорила девочка. – На царях злат венец и одежина из бархату... Ведь, поди, я знаю сказы-то... И про Бову-королевича знаю. Вот подай грошик либо хлебца кусок, и тебе сказку расскажу. Дяденьки, миленькие, где же мне царя-то искать? – И девочка, крестообразно сложив на груди

тонкие руки, низко поклонилась всадникам.

– Царь перед тобой, – сказал Овчинников и кивнул головой на Пугачева. – Вот он – царь.

– О-о-о, – протянула девочка и, вложив в рот палец, недоверчиво уставилась в лицо ласково улыбавшегося всадника с черной бородой, на его рослого выхолненного коня в дорогой упряжке.

– Как звать тебя?

– Акулькой звать, – ответила девочка Пугачеву. – Я сирота. Добрые люди сказали мне: иди в куски. А я спрашиваю: куда же? А они мне: иди хошь куда, везде доля худа, – проговорив так, она замигала, потупилась, из глаз ее закапали слезы.

Атаманы переглянулись, вздохнули, закрутили головами. Пугачев, обратясь к ним, тихо спросил:

– Возьмем?

– Возьмем, – ответили они.

И сразу всем стало легко. Будто услышали, как небо сказало им «спасибо», и лес сказал «спасибо», и воздух сказал «спасибо вам». И натруженные сердца их обмякли.

Тут вывернулись из-за леса четверо встречных всадников и, взвивая на дороге пыль, подкатили к Пугачеву. Это Ермилка со значком в руке, два рядовых казака и сотник Дегтярев. Они на сутки опередили батюшку, ехали, не смыкая глаз, всю прошлую ночь, в попутных селениях Дегтярев вычитывал народу государев манифест, приглашая крестьян гуртоваться возле села Заозерья, куда самолично должен прибыть батюшка.

– Царь-государь! – сдернув шапку, выкрикнул Ермилка, и все приехавшие с ним тихо обнажили головы, а девчоночка, теперь уверившись, что действительно перед нею государь, воззрилась на него, как на икону.

– Место для тебя, ваше величество, выбрали у села Заозерья, палатки разбиты, народишко скопляется. Отсель верстов десяток...

– Знатно, – похвалил Ермилку Пугачев и, переговорив с Дегтяревым, сказал: – А ну, казаки, посадите-ка сироту позади меня. Мы ее в стан берем. В согласье, девочка Акульчка?

– В согласье, светлый царь, в согласье! – пропищала девочка и, подхваченная Ермилкой, закрасовалась позади батюшки.

– Держись крепче, а то ляпнешься, – сказал ей Пугачев.

– Ну, ляпнусь... Я-то не ляпнусь, я цепкая... Сам-то не ляпнись, мотри, – запищала девочка. – А ты ляпнешься, тады и я ляпнусь.

И вот все тронулись в путь тихой трусцой – кони уморились. Девочка достала из своей торбы кусок завалящей лепешки, сдунула сор с нее, принялась есть. Улыбка не сходила с лица ее. Ермилка подал ей кусок свиного сала с хлебом. Она съела. Овчинников дал две большие ватрушки с творогом. Она обе съела. Дегтярев протянул девочке с десяток тонких овсяных блинов, свернутых в трубку, и два печеных яичка. Акульчка с удовольствием съела и блинки с яичками. Стала веселенькой. Вытрясла на дорогу из своей торбы крошки и кусочки.

– Это птичкам да собачкам. Пушай едят да Богу за нас молятся, – сказала она, оправива волосы и звонким голосом принялась рассказывать: – Дедушка мой недавно похарчился, умер, сердешный... Схоронили добрые люди. А тятю в Сибирь барин угнал, а маменька занемогла да и умерла от горя. Я как есть одна осталась. А промеж народу-то волновашка зачалась, царя народ-то ждет, помещикам грозит...

– Да ты откуда? – спросил Овчинников, ехавший трусцой рядом с Пугачевым.

– А я, дяденька, тамбовская, села Лютикова, мы барина секунд-майора в отставке Кулькова-Перетыкина крепостные. Вот я кто. Только вы, дяденьки, не подумайте, что я обжора... Я не объем вас... Это я с голодухи поднаперлась-то. А так я шибко мало ем, не бойтесь...

Всадники засмеялись. Пугачев сказал:

– У меня армия-то двадцать тысяч, и всяк сыт... А уж тебя-то, цыпленка, как-нито прокормим...

– Ой, спасибо, царь-государь!.. Я кашки лизну ложки две, мне и будет... Ну, хлебца еще корочку... А уж я отработаю, я, мотри, управная: и бельишко постирать, и латки положить, и чулки заштопать, нужда-то всему научит. Опять же сказки умею, песни.

– О, ишь ты!.. Ну, как же ты жила-то, расскажи?

– А жила я в барском доме, за щенятами полы замывала. А щенят-то по всему дому, по всем горницам более двух дюжин. Ой ты, какая срамота, страсть! Старик барин-то собачник. И злой-презлой, ой да и злюка же... Мужики говорят, как царь-батюшка придет, мы барина-т задавим... Хворь какая-то перешибла ему поясницу, дюже на охоте простыл, волков гоняли. Вот, ладно... Пересекло, значит, старику барину поясницу, он в кроватку слег, хворь мучает его, шевельнуться больно. Вот, ладно. Я чегой-то набедокурила, кажись, щенку на лапу наступила. Щенок взвыл. А барин-то дозрил, да ну реветь на меня, ну реветь, ругаться, а встать не может. Кричит: «Подойди сюда, чертенок». А сам палку в руки взял. Я знаю, что он бучу мне даст, не иду, а еще грублю ему: «На-ка, выкусь! Не возьмешь меня!» Он тогда застонал, да на подушку этак опрокинулся, да как завопит: «Ой, дурно, дурно мне!.. Ой, чичас умру!» Я тогда испужалась. «Ой, матушка Акулюшка, не сердчай на меня, прости меня, Христа ради, подь скорейча, да поправь мне подушечку-то, ох, ох, ох...» Мне жалко стало старика барина, подбежала я к нему, принялась изгололье оправлять, а он, не будь прост, сгреб меня за волосенки да давай палкой по спине возить, давай палкой охаживать меня.

– Какой же годок тебе втапору был? – спросил Творогов.

– Сказывали, семь годов, а сейчас восьмой идет, – ответила девочка.

– Ну а как же ты попала-то сюда из Тамбовской-то?

– А с народом, батюшка царь-государь, с мужиками. Попервоначалу-то пешая шла верстов сто, а то двести, дюже волков боялась. Опосля того мужики меня подсаживали, то один, то другой... К тебе, батюшка, мужики-то правятся, тебя ищут...

Вскоре подъехали к лагерю. Сотни крестьян сбежались навстречу, пали на колени. Пугачев перемолвился с ними ласковым словом и проехал к своей палатке. Акулечка покарбалась с коня на землю. И такая тщедушная, такая несчастненькая, остановясь в сторонке, вопросительно взирала снизу вверх на могучего «батюшку». Подошедшей Нениле он сказал:

– Вот тебе дочь наша всеобщая... Возьми к себе, береги ее. Приодень. Вишь пестрединный сарафанишко-то на ней поистрепался как...

...И стала девочка Акулечка среди пугачевского народа любимой «всеобщей дочерью».

3

О разгроме под Троицкой крепостью Михельсон сведений не имел. Он лишь догадывался, что Пугачев «путается» где-нибудь поблизости, по ту сторону Уральских гор. Поэтому на заводе он не задержался и 17 мая был уж в вершине речки Ай.

Разведка донесла, что в восьми верстах, в глубине Уральского хребта, стоит тысячная толпа башкирцев. Михельсон выслал авангард и со всем отрядом пошел вперед. Башкирцы спешили и, карабкаясь по кручам, заняли высоты, чтоб задержать врага в тесном проходе между гор. Подскакав к чугуевским казакам, Михельсон крикнул:

– Поручик Замошников! Потрудитесь с эскадроном зайти неприятелю в тыл.

И полтораста сабель помчались в обход горы. Как только казаки показались в тылу повстанцев, Михельсон ударил в наступление. Башкирцы очутились между двух огней, но, к удивлению Михельсона, дрались отчаянно. Когда башкирцами выпущены были все стрелы, израсходован порох, пошли в ход топоры, ножи и зубы. Бойцы схлестнулись врукопашную. Вспоров врагу живот, вонзив в грудь нож, смертельно раненные, они валялись на землю, судорожно переплетались руками и ногами, с визгом грызли один другого и, уже мертвыми, сцепившись в обнимку, парами скатывались с круч в пропасть. Многие башкирцы в кольчугах и в латах, сделанных из толстой заводской жести. Оставив триста бойцов убитыми, башкирцы скрылись в горах.

Михельсон заметил: в версте от него разубаюются пятеро солдат, лезут в глубокое болото, где, по пояс завязшие, два башкирца, молодой и старый. В руках по кривому ножу, бронзовые лица в крови, зубы оскалены яростно.

– Сдавайтесь! Бросайте ножи! – надвигались на башкирцев солдаты.

– Вам я не сделаю худого! – кричал, подъехав, Михельсон. – Я начальник. Накормлю вас, отпущу к своим...

– Шайтан, бачка, шайтан! – выплевывал старик. – Смертям будем себе делать, башкам крошить, сдавать не будем...

По знаку Михельсона солдаты со всех сторон бросились к башкирцам. Старик успел перерезать себе горло. Молодой был схвачен. Но ни слова не говорил или не желал говорить по-русски, дрожал и озирался. Солдаты предложили ему хлеба, каши. Он тряс головой, шептал: «Шайтан». Михельсон, подавая ему серебряный рубль, сказал:

– Иди домой, в свою юрту, да передай людям, что повинившихся мы милуем!

Башкирец швырнул рубль в траву, глядел на Михельсона зверем.

Михельсон пожал плечами, двинулся к сопкам, где подбирали раненых солдат: их сорок пять, да восемнадцать человек убиты. Среди них поручик Замошников, пронзенный тремя стрелами. Была вырыта братская могила, прогремел прощальный залп. Все так обычно и просто.

Отряд выступил дальше. На сером жеребце, окруженный офицерами, ехал Михельсон.

– Дивлюсь, господа офицеры, – говорил он глуховатым голосом, – не могу понять, отчего такое упорство в этих народах? Ни в плен не сдаются, ни в службу к нам не идут. Ну, правда, что злодей Пугачев манит их многими посулами да застрачивает их: мы-де пленных мятежников истребляем... Однако, господа, я всегда стараюсь показать противное. Сами ведаете: попавшихся ко мне я частенько не только оставлял без наказания, но и давал им несколько денег и отпускал оных нехристей с манифестами и

печатными увещаниями в их жилища[48].

Потрепанный сюртук на нем расстегнут, грудь с золотым нательным крестом обнажена, из-под шляпы выбиваются белокурые волосы, сапоги стоптаны, до самого верху заляпаны грязью.

– Эх, Иван Иванович, – начал седоусый майор Харин; он ехал, сгорбившись, рядом с Михельсоном, – попервоначалу вы этак-то, не озлобились еще шибко... А вот полковник Фок нынешней весной одному пленному башкирцу приказал отрезать нос, уши и на правой руке все пальцы. Фу, черт... И вот, так оболванив человека, прогнал его домой и сказал ему: «Объяви, мол, своим, пускай-де прекратят буйство, иначе жестокой казни не минуют». Ну что это такое?..

Михельсон, насупившись, откликнулся:

– Сидят по крепостям, ничего не делают, пороху не нюхают, свою шкуру берегут да пакости чинят нам ежечасно... Сие действо их – вред, великий вред!.. Так мужика не усмиришь! Надобно – где плеткой, а где и пряничком...

Бойцы-офицеры ухмыльнулись.

– Прахов, а ну-ка, огонька, – обратился Михельсон к денщику, выехал в бок дороги, остановив лошадь, сказал офицерам: – Продолжайте, господа, я нагоню.

Денщик огнивом высек искру, зажег трут, выпучивая глаза, раздул его, подал барину. Михельсон закурил трубку, стал лицом к проходившим войскам. В отряде молодец к молодцу, стариков очень мало. У солдат не было сзади обычных косичек с воткнутой в них до затылка лучинкой: на летнее время Михельсон, пренебрегая уставом, приказал всех под гребенку остричь. Вот прошли, блестя длинными штыками, команды Томского, Вятского и Фузилерного полков. За ними эскадрон изюмских гусар, три эскадрона карабинерных и казачьих полков, за ними эскадрон, сформированный казанским купечеством.

Далее двигалась небольшая команда мещеряков под начальством старшины Султана Мурада Янышева. Мещеряки вооружены самопалами, ножами и длинными нагайками со свинцовыми гирьками на концах. Одеты кто во что горазд, на головах овчинные шапки.

– Спасибо, мещеряки-молодцы, за работу! – громко поблагодарил их Михельсон.

– Ур-ря! Ур-ря!.. – тонкоголосо ответили мещеряки. – Давай, казьян, отдыха! Коняки пить хочет, люди жрать... Бульно жара.

Действительно, было жарко, дорога шла лесом, густая пылица висела в воздухе, взмыленных лошадей кусали слепни. Вот прогрохотала артиллерия, в телегах – снаряды, порох. Потянулся обоз: возницы из слабосильной команды – остроплечие, худые, с опухшими ногами, обмотанными тряпьем. Зорко оглядывая свой отряд, Михельсон покрикивал:

– Эй, Сидорчук! Подтяни постромки! Пластунов! Глянь, лошадь холку стерла. Нешто не видишь? Подверни шлею. Эх, ты, баба! Потник потерял. А еще казак зовешься... Федоров! Почему босиком? Где сапоги?

– Выбросил, вашескородие... Дрызг один. Мне бы хоть лапти пожаловали. Таперича лето.

Затем стал поскрипывать обоз больных и раненых: десятка три подвод; по бокам – несколько всадников; среди них – три военных фельдшера.

Больные, по три человека на телеге, лежали на голых досках; они, с головой укутанные шубами, мешками и всяким барахлом, задыхались от жары.

Обоз двигался, лесная дорога в корнях, телеги подскакивали, встряхивались, лес наполнялся протяжным стоном и резкими криками раненых. Михельсон опустил голову, вздохнул.

К нему подъехали из лесу трое. Впереди рослого бородача казака с пикой, взгромоздясь почти на шею коня, сидел связанный по рукам парень.

– «Языка» нашли! «Языка» нашли! – еще издали кричали казаки. – Пугачева Деколонг побил...

– Снимите его. Чу, парень, сказывай! Только не ври, а то пытать учну. А правду скажешь – награжу...

Рыжий рябой парень, скосоротившись, повалился Михельсону в ноги:

– Ой, не вели ты меня вешать, барин дорогой! По глупости я... Все мужики к царю приклоняются. Вот и я... Вестимо, дурак.

– Ладно, ладно... Где Пугачев, где царь твой? Сказывай.

– Ой, барин добрый! Побито народу страсть. Дядьку моего ухлопали, отца да брата в полон взяли. Ой, Господи... А Пугач ли, царь ли, Бог его ведает, утек.

– Да где было дело-то?

– А дело, вишь ли, было вот где-ка... Ой, в соображение не возьму, забыл, всее память отшибло... Ядра, сабли, пики... Ой ты!..

Парень жмурился, тряс рыжей головой и хныкал.

– А ну, Прахов, дай ему водки.

Денщик из оловянной фляги налил стаканчик. Парень, стуча зубами, выпил, крикнул, утер губы подолом рваной рубахи.

– Вот где было дело-то... Вспомнил! – повеселев, сказал он и сел на землю.

– Встать! – крикнул Михельсон.

Парень вскочил.

– Под Троицкой крепостью буча нам была, вот где... Верстах в двух, поболе, от крепости-то.

– Много вас?

– У-у-у... Видимо-невидимо! Особливо гололобой орды, башкирцев. С утра до полдень драчка была. Опосля того наутек пошли, кто куда, дай, Боже, ноги!

«Значит, если парень не врет, главные силы Пугачева под Троицкой крепостью разбиты. С нами Бог!» – торжествовал подполковник Михельсон.

В это время в слободе Кундравинской, куда подходил отряд, били на колокольне всполох, по улицам из конца в конец бегали ребяташки, орали:

– Енарал идет!.. Енарал идет с солдатней!

Слобода оживилась, как на пожаре. Бабы прятали холсты, ловили кур, гусей, старики загоняли телят, кричали парнишкам:

– Васька, Федька, Степка! Дуй на конях в лес! Да подале, в трущобу, коней прячь, а то сыщут.

4

В Кундравинскую, расположенную в семидесяти верстах на юго-восток от Златоуста, Михельсон с конвоем въехал ранним вечером: возле скворешен еще напевали скворцы, лоснясь на заходящем солнце атласным оперением, в церкви началась всенощная. Солдаты и казаки табором расположились за слободой. Задымили на лугу костры, солдаты стали таскать из колодцев воду, варить кашу, похлебку с бараниной, на воткнутых внаклон к огню кольях развесили прелые онучи, началась стирка белья, охота за вшами. Расседланные, распряженные кони выстаивались, курясь духовитым парком. По табору шел гул, смех, перебранка и, на соблазн слободским девкам, песни с трензелем и бубном. Малые ребяташки гурьбой повалили в табор. Подросток Дунька страшила четырехлетнего плачущего братишку:

– Не ходи, не ходи с нами, Петька! Солдаты зарежут тебя, съедят. Беги к дедушке... Ты думаешь, это царь? Это солдаты... Стра-а-шные!

Слобода будто вымерла. Во многих избах окна заколочены, двери приперты бревешками. Улицы пустынные.

Михельсона встретил староста Ермолай, с ним человек с десяток стариков, старух, баб, кучка любопытной детворы.

– Слышали что-нибудь про злодея Пугачева? – спросил Михельсон и слез с коня. Тотчас спешились и все конвойные.

– Был слых, был слых, – стал кланяться, сгибаясь в три погибели, чернобородый староста, глаза его недружелюбны, хитры. – Прибегали тут на лошаденках из евонной силы старый солдат да башкиренки молодой, объявили нам: побил-де их великий начальник... Вот, твое происхождение, дела-то какие... В пух, говорит, расхвостал. Много-де тыщ полегло... Под Троицкой крепостью быдто. Вот!

– А почему избы заколочены? Где народ?

– А кто же их ведает. Пыхом собрались – и тягу... Уж недели с две.

– Куда же?

– Вестимо куда, к нему, к нему... Боле некуда. Вишь ты, отряд от него прибегал на нашу слободу. Отряд, отряд, кормилец... Манихвест вычитывал набольший-то: покоряйтесь-де государю Петру Федорычу, а то все жительство огню предам... А мы, знамо, люди темные, боязливые. Вот многие и приклонились к нему.

Михельсон нахмурился.

– Чем же оный вор и злодей Пугачев соблазняет-то вас, дураков?

– А поди знай, чем, – переступил с ноги на ногу староста и многодумно наморщил лоб. – Да вы пожалуйте в жительство, барин. Правда, что пакостно в избенках-то наших, тараканы, срамота. Живем мы скудно. Одно слово – мужичье.

Михельсону было ясно, что староста хитрит.

– Что ж он, злодей и преступник государынин, поди, всю землю вам обещает? Подати не платить, в солдаты не ходить?

– Это, это! – в один голос ответили крестьяне.

– А бар да начальство вешать?

– Так-так... Да ведь мы – темные. Може, он обманщик и злодей, как знать. А може, и царь... Где правда, где кривда, нам не видать отсель. А ты-то как, барин, мекаешь?

– Мне думать нечего, я отлично вижу, где правда, где кривда, – все более раздражаясь, отрывисто проговорил Михельсон. – Да и вы не хуже меня это ведаете, только прикидываетесь.

Он подозвал к себе старосту, поднялся. Брови его хмурились, взор сверкал.

– Вот что, староста. Ведомо мне, что у вас много добрых лошадей. Я намерен сменить своих истомленных на свежих, дабы удобнее воровскую шайку преследовать.

– Коней у нас нетути, твое происхождение. Сами бьемся, – кланяясь, сказал староста Ермолай и часто замигал.

– Где же ваши кони?

– Коих волки задрали, а большая часть к самому уведена, евоный отряд забрал. А достальных лошадушек наши утеклецы с собой прихватили.

– Врешь! – крикнул Михельсон и погрозил пальцем старосте. – Мне ведомо, коней своих вы угнали за околицу. Тотчас прикажу гусарам оцепить ваш лес, искать коней, и ежели ты, староста, и впрямь осмелился наврать мне, будешь сегодня же повешен! – И, обращаясь к конвою, Михельсон бросил с небрежностью: – Сказать плотникам, чтоб возле церкви два столба с перекладиной изладили.

Староста Ермолай побелел, переглянулся со стариками. Тогда, неожиданно, выдвинулся вперед древний дед Изот – во всю голову прожженная солнцем лысина, бородачи с прозеленью, правый глаз с бельмом, посконная рубаха – заплатка на заплате, ворот расстегнут, на волосатой груди деревянный, почерневший от пота крестик. Когда-то был он высок, широкоплеч, время сломило человека пополам. Наморщив брови, с печалью смотрел Изот в землю, будто стараясь найти нечто драгоценное, давным-давно утерянное, чего никогда никому не сыскать. Опираясь на длинную клюшку, с трудом отдирая босые ноги от земли, дед тяжело пошагал внаклон к Михельсону. Тому показалось, что сгорбленный старец валится на него, он подхватил деда под руки. Тот мотнул локтями, как бы отстраняя помощь, приподнял иссеченное глубокими морщинами лицо, глухо прокричал:

– Реви громчей, я ушами не доволен, глухой я! – И – помолчав: – Чего же ты? Вешать людей хочешь? Ну, дык вот меня вешай перьвова... Мне за сотню лет другой десяток настагает... Я Петрушу, государя моего, Ликсеича, мальчонкой знавал. Я в Москве службу царскую нес. Опосля того Азов с Петром вместях брали. А ты кто будешь? А?

– Я слуга ее величества государыни Екатерины Алексеевны, – наклонясь и обхватив старика за плечи, громко крикнул в его ухо подполковник Михельсон.

– А-а, так-так... Слышу! – закричал и дед, елико возможно распрямляя спину. – Катерина-то соромно на престол садилась, через убивство. А муж-то ейный, Петра-то Федорыч, бают, опять ожил... Аль не по нраву тебе слова мои? Ежели не по нраву – вели вешать али так убей, ты этому обучен.

Глаза Михельсона все шире, шире.

– Уведите прочь сумасшедшего, – не стерпев, отдал он приказ глухим голосом.

Старика взяли под руки, повели. Горбя спину, он волочил ноги, как паралитик, упирался, норовил обратить взор к Михельсону, кричал надсадно, с хрипом:

– А ты, барин набольший, вникни, не будь собакой, как другие прочие! Мы, слышь, мертвый народ, мертвяки! Никто за нас не вступится.

– Мертвяки и есть... – подхватили старики. – Бездыханные... Ни на эстолько вздыху нам нет. Тьфу!

Михельсон смутился.

– Коня! – велел он денщику и вставил ногу в стремя.

Отдернутый в сторону, дед Изот все еще шумел:

– Погодь, ироды! Мы, хрестьяне, может статься, навскрес мрем. Мы навскрес мрем, вот чего. Петра Федорыч, царь-государь, поспешает к нам... Не страшусь вас, разбойники, не страшусь!..

Михельсон резко стегнул коня. Было бессмысленно упускать время со стариками.

На ночь раскинули палатку в обширном огороде старосты. Было всюду тихо, но Михельсону не спалось: думал о том, где теперь враг его, неуловимый Пугачев, где войска Деколонга и, вообще, регулярные отряды других военачальников. Ни одна собака не идет ему на помощь, бросили его, совсем забыли о нем... И вновь обрывал себя: «Стоп, стоп... Я воин... завтра подыматься чем свет, а сейчас спать... Мертвяки!.. Ну, и что же? У меня у самого ежечасно за плечами смерть». Он вытянулся, заложил руки за голову, напряг волю, приказал себе: «Спать, спать, спать» – и быстро накрепко уснул.

В пять часов утра его разбудил барабанный бой. По заре доносилась из лагеря хоровая молитва войск. Михельсон вышел умываться. Денщик смазывал дегтем стоптанные сапоги своего барина. На картофельной ботве, на травах сверкала под солнцем алмазная роса. В борозде возилась с котятками рыжая кошка.

В шесть часов явились с докладом офицеры, хорунжие.

Михельсон с офицерами сели за общий завтрак.

– Ну, как, красная девушка, чувствуешь себя? – обратился Михельсон к Игорю Щербачеву.

– Ничего, господин подполковник, – щеки молодого человека зарумянились, голубые глаза сияли. – Рад служить ее величеству и вам...

– Добро... Токмо и о матери своей подумывай, зря не лезь на рожон-то, – и Михельсон наложил ему из своей банки целое блюдечко свежего варенья. – На, красная девушка, полакомься.

Офицерик еще больше покраснел. Все поглядывали на него с приятностью.

В семь часов утра отряд выступил в поход.

5

Дорога все еще тянулась лесом. Но вот к полудню распахнулись широкие поля и степи с ковылем. Вдруг все увидели: верстах в пяти, на открытом месте, темнеет огромный воинский отряд.

– Деколонг! – от радости подскочив в седле, закричал Михельсон. – Ребята! Корпус генерал-поручика Деколонга...

– Урр-ра!! – заорали солдаты.

Михельсон перекрестился, на глазах навернулись слезы.

Наконец-то истощенный отряд его усилится свежими войсками: ведь люди Михельсона сорок дней преследуют врага без отдыха, у многих опухли, стерлись ноги, иные на ходу валяются от слабости.

Подзорная труба в руках Михельсона плясала.

– Треногу! – приказал он, живо слез с коня и, пристроив трубу на треноге, жадными глазами стал прощупывать толпу.

– Не вор ли это, васкородие? – заметил бородатый казак. – Сдается, злодейские то войска!

– Какой, к чертовой матери, вор! – и Михельсон, чтоб лучше через трубку видеть, сдвинул шляпу на затылок. – Пугачев разбит и бежал. Тут тыщи две-три... Хорунжий Попов! Бросьте полсотню в разведку.

Казачий разъезд на рысях двинулся вперед. Михельсон на всякий случай построил войско к бою.

Вдруг, к немалому удивлению всего отряда, из толпы вырвалась сотня всадников и поскакала навстречь казачьему разъезду. А вся толпа с двумя развернутыми знаменами устремилась в боевом порядке на отряд Михельсона, стараясь обогнуть его левый фланг.

– Ребята, Пугачев! – громко крикнул Михельсон, проносясь на коне пред своими войсками. – Не трусь, молодцы! Подтянись! Жарко будет.

Он быстро перестроил отряд лицом к врагу, ввел в дело артиллерию, дружно загремели пушки. От пугачевцев тоже раздался единственный орудийный выстрел.

– Очень хорошо, – сказал Михельсон адъютанту, – либо у них пушек черт-ма, либо в порохе нехватка.

У Михельсона шестьсот человек регулярных войск, небольшую часть он отделил для прикрытия обоза.

Пушки гремели. Густая толпа пугачевцев, поражаемая картечью, ядрами, наполовину спешила в версте от врага и, невзирая на сильный урон, бросилась на орудия, ударила в копья. Все заволокло дымом, завоняло тухлыми яйцами.

В этот миг Емельян Пугачев, в обычном своем сером казацком кафтане, на черном диком скакуне неся с конницей на левый фланг врага, тенористо кричал, размахивая саблей:

– Де-е-тушки! С нами Бог! Кроши!

Его конница живо смяла, опрокинула команду мещеряков. Те, как цыплята от стаи ястребов, с писком бежали и замертво падали.

– Пушки, пушки забирай, атаманы! Артиллерию! Кроши! – кричал Пугачев, подбадривая своих.

Большинство – башкирцев, заводских крестьян, мужиков, – видя, как дрогнул и бежит левый фланг Михельсона, уже считало себя победителями. С воинственным ревом бросились врассыпную на обоз. Ни

гневный окрик Пугачева, ни отчаянные попытки Горбатова, Белобородова, старшин и яицких казаков-пугачевцев задержать их, сгрудить в один кулак не помогли: вновь набранные толпы народной армии плохо подчинялись дисциплине.

Опытный Михельсон, стоявший в стороне с эскадронам изюмских гусар, сразу оценил положение врага и воспользовался моментом. Встав во главе эскадрона, он приказал всей кавалерии немедля ударить на пугачевцев с разных пунктов.

– Изюмцы! – скомандовал он своему эскадрону, высоко подымая блеснувшую на солнце саблю. – Помни присягу, изюмцы! Рази врага, лови злодея Емельку – и по домам... Кто живьем словит вора, тому десять тысяч.

– А где он? – неслось по рядам. – Они все на одну рожу.

Эскадрон гусар ринулся сквозь сизый дым, сквозь дробную трескотню ружей, сквозь крики, стоны, рев прямо на отряд яицких казаков, окружавших Пугачева.

Взбешенные лошади сшиблись грудь с грудью. Ржанье, визг, блеск сабель, кровавая работа пик. Сеча была коротка. Казаки-пугачевцы дрогнули и, окружив своего вождя, с гиком помчались в степь.

Воздух в степи чист, ковыль-трава мягка. По всему простору, пригнувшись к шее лошадей, летят, как птицы, всадники.

– Держи, держи!.. Вот он скачет... От своих отбился...

– Пугачев!.. Пугачев!.. – орали изюмцы, настигая своих уставших лошадей.

Впереди них шибкой рысью бежал рослый черный жеребец, унося на себе широкоплечего мужицкого царя, золотую десятитысячную приманку.

– Лови! Чего ж отстали? – закричал Пугачев, осадил жеребца, круто повернулся лицом к погоне. Под обычным казацким его кафтаном голубела генеральская лента со звездой. – Эх, детушки! Видать, Михельсон плохо кормит вас и ваших клячонок... А ну!.. – и всадник под самым носом прихлынувших к нему изюмских гусар как ветер умчался вдаль.

Изнуренные кони, в мыле, выбиваются из сил. Молоденький щуплый прапорщик Игорь Щербачев, позабыв и смерть и жизнь, лупил нагайкой свою кобылу-полукровку, голосил:

– Настигай, настигай!.. Дави его! Дуй с боков, бери напересек!

Он всех опередил, вот-вот подскочит к Пугачеву, в руках пистолет, метит в спину – раз!

Пугачев резко повернул к нему коня, несколько секунд проскакал рядом с офицером.

– Худо, барин, целишь... А ну! – и, распустив поводья, с гиком унесся прочь. Оглянулся и опять остановил коня.

На пригорке возле леса отряд яицких казаков, от которых только что отбился Пугачев, с любопытством наблюдал за своим вождем.

– И чего это он игру завел? – сквозь зубы проворчал Белобородов. И – громко: – А что, казаки-молодцы... не ударить ли нам на выручку государя-императора?

– Ни черта! – успокоил Творогов. – У него конь ученый, не дастся.

Меж тем сзади, на позициях, снова гремели пушки, пуская картечь вслед нашим пугачевцам. Батареей командовал и наводил орудия сам Михельсон.

А погоня за Пугачевым все дальше, дальше. К изюмцам пристала часть чугуевских казаков. Вместе с

ними скакал и волонтер-поляк Врублевский. Горячий офицерик Щербачев надрывался в крике:

– Братцы! Неужели упустим?.. Нажми, нажми!

Пугачев вымахнул в сторону и, сделав по степи крутую дугу, заколесил вокруг скачущей погони.

– Детушки! – вопил он на скаку; черный жеребец храпел под ним, ярился желтым глазом. – А нет ли среди вас, детушки, барина Михельсона? Нетути? Ну, так сказывайте ему поклон от государя-императора. Шли бы, детушки, ко мне... Я до простого люда шибко милостив!

Всадники, как охотники за волком, раздувая ноздри, тараша закровенелые глаза, насакивали на Пугачева, до сипоты ревели:

– Имай! Имай!.. Стреляй в коня!

Но черный жеребец, топча ковыль, копытами швыряя землю, карьером мчал по степи, как разъяренный волк. Погоня сразу осталась позади.

Зазеленели перелески, засинел огромный лес. Щербачев, с турецким пистолетом наготове, визгливо кричал:

– Упустим!.. В лес уйдет!

Его глаза безумны, кровь бьет в виски, весь мир для него пропал, и сумасшедший взор лишь неотрывно ловит дьявольскую спину врага на черном жеребце. Вот вылетел он на быстроногой кобыле далеко вперед, вот настиг ехавшего шибкой рысью Пугачева, сыпнул на полку пороху, прицелился, спустил курок. Емельян Пугачев болтнул головой, схватился за плечо. Повернув жеребца, он стал делать коварный круг возле скачущего офицера. Бронзовое лицо Пугачева помрачнело, в черных глазах огонь.

– В царя стрелять, лиходей? Я те! – и Пугачев приподнял нагайку.

– Вор! Собака! – гремел в пламени задора обезумевший офицерик Щербачев. Но вдруг сердце его остановилось: не человек, страшной силы зверь скачет рядом. «Назад, назад!» – кричали ему в уши небо, степь. Щербачев втянул голову в плечи, разинул рот, зажмурился и, леденея, оцепенел.

– Ха-ха! – играл с ним Пугачев, гикал, присвистывал.

Стараясь увильнуть от своего мучителя, офицерик судорожно дергал поводья вправо-влево, его кобыла скакала вмах зигзагами, но рядом, не отпуская, скакал, храпя, черный жеребец.

И вдруг взвился в воздухе аркан. Черный жеребец резко скакнул вперед. Офицерик Игорь Щербачев, сдернутый с седла, в жутких корчах поволочился на аркане по степи, подпрыгивая на буграх и крепко ударяясь о землю. Пугачев внатуг держал аркан, во весь опор мчался, посвистывая, к лесу. А вот и лес – березы, липа, осокорь. Вдруг в чаще леса аркан ослаб. Пугачев остановил коня, подтянул окровавленную петлю, прищурился, сам себе сказал:

– Петля целехонька... Стало быть, башка оторвалась.

Глава V

Салават Юлаев. Стычки в кабинете императрицы. Пугачев «скопляется»

1

Конница Михельсона на пятнадцать верст преследовала уходящих пугачевцев.

Эта легкая победа не дала Михельсону полной радости: он огорчен мучительной смертью офицера Щербачева. Тело безрассудного храбреца нашли завязшим между двух берез, а голову – по кровавому следу – сажень на двадцать в стороне.

Предполагая, что Пугачев снова бросится к заводам, Михельсон переночевал на поле сражения и спешно выступил к Чебаркульской крепости. Получив сведения, что Пугачев копит силу в двадцати верстах от Чебаркульской, Михельсон свернул на Златоустовский завод.

25 мая возле Златоустовского завода Михельсону донесли, что недавно приезжала на завод сотня яицких казаков-пугачевцев набирать ополчение и что оные казаки объявили: государь с двухтысячным войском идет-де на Саткинский завод, где его ждет с башкирцами походный полковник Салават Юлаев.

Михельсон тотчас двинулся на Саткинский завод. Ранним утром 27 мая, как только его отряд появился под заводом, огромные толпы башкирцев, сев на конь, хлынули наутек.

Чрез захваченные «языки» вскоре выяснилось: башкирцы, отступив от Саткинского завода, вновь сгрудились, и Салават Юлаев повел тысячную толпу башкирской конницы на Симский завод.

Двадцатидвухлетний Салават – бронзовый, скуластый, краснощекий, с горящими задором глазами, в цветном полосатом халате, на голове зеленый тюрбан. Он молодецки сидел в серебряном с бирюзой седле на быстрой степной кобылке. Башкирское население чтит своего героя: в селениях, чрез которые шли толпы башкирцев, Салавата встречали шумными криками, выносили в турсуках кумыс, мед, бишбармак, крут, салму, падали ниц.

– Встаньте! – приказывал Салават, кланяясь народу. – Бачка третий государь Петр Федорыч под Троицкой крепостью побил наших врагов. Все войско сибирское полегло, как цвет-ковыл под копытами степного табуна. Немчин Михелька, уж вот сколь хитрый, прямо шайтан, – а и его бачка-государь смял. Немчин едва ноги уволок. Кто поймает Михельку, тому жалую триста рублей. Пусть об этом знают все родичи наши: учергане, донгаурцы, бурзане, и помогают нам святое дело делать...

– Ой, ой, это больно славно! Велик Аллах и Магомет, пророк его! – радостно ответствовали ему со всех сторон старики и женщины, но тут же лица их омрачились: – Салават, Салават! Много мы терпим напастей всяких от русских солдат и от своих терпим. Коней у нас поубавилось, коров да овец поубавилось, сыновья наши бросили нас, на войну сбежали. А травы по колено стоят, а хлеба колос наливают, кто работать будет? Некому. А солдаты скот режут, юрты жгут, непокорных вешают. Скоро ли проклятой усобице конец?.. Пожалей нас, Салават, ты умный, ты сильный!

Бритые бронзовые черепа стариков лоснились на солнце, у женщин – головы в накиннутых цветистых

платках, на груди обшита монетами, унизанная бисером «сакома».

Салават повел строгим глазом по толпе.

– Не слышать бы мне ваших речей, старики и женщины, не видеть бы вас! – громко сказал он, оглаживая серебряные с золотыми насечками ножны изогнутой своей сабли. – Разве забыли времена славного батыра нашего Батырши? Ведь только два десятка лет прошло. Большие годы бился наш народ за свои земли, за вольности свои. И таких речей, как ваши, тогда Батырша не слышал...

– Шесть годов дрались мы тогда с неверными, правду говоришь! – закричали в ответ старики. – Почитай, двадцать тысяч казней было, всю землю кровью своей полил наш народ, а что получили взамен? Подумай, Салават, ежели Аллах не отнял у тебя весь разум...

– Ха! Что получили, что получили! – заерзал в седле Салават и натянул поводья: застоявшаяся кобылка его начала выплясывать. – При Батырше мы шли один на один против притеснителей, и они нас побили, а ныне с нами такие же, как и мы, обиженные русские. Их сила неисчислима. И вот заодно с ними правду мы ищем. И найдем!..

Старики, вздохнув, надели тюбетейки. Молодые девушки и подростки, загораясь волнением, улыбочиво подталкивали друг дружку локтями, не спускали с Салавата глаз. «И найдем, и найдем, Салават! Мы с тобой, Салават Юлаев, все, как один!» – хотелось крикнуть им молодому витязю.

Восемнадцатилетняя женщина, вдова старшины, убитого в схватке под Уфой, порывалась кинуться Салавату в ноги, обнять его, сказать ему громким, во всю грудь, голосом: «Салават! Возьми меня в жены, люблю тебя. Дай мне кривой нож, плечо в плечо с тобой брошусь на врагов наших...» Но она безмолвствовала, она лишь обнажала в печальной улыбке свежие зубы, а в черных глазах ее, в грустно приподнятых бровях сквозило горе, мучительное одиночество. На голове ее соболя высокая, с серебром, калябаш-кошмау с изогнутым наподобие каски верхом. На запястьях золотые блязды, в маленьких ушах серебряные с самоцветными камнями – алки, в двух черных тугих косах – звонкая нанизь импералов. Сердце Салавата сладко замерло. Салават улыбнулся про себя, подумал: «Какая же ты красавица... У меня две жены, двое детей, но если б не война, тотчас взял бы тебя третьей». И уж было с неохотой тронул он коня, чтоб ехать дальше, как бросилась из толпы к Салавату простоволосая, лет десяти, девчоночка. Косолапо загребая пыль и быстро помахая левой, согнутой в локте, тоненькой рукой, она пересекла пространство и, привстав на цыпочки, подала Салавату берестяной туюсок, наполненный спелой земляникой.

– На, батыр!.. – сказала она – и бегом прочь в толпу.

И не успел Салават рта разинуть, чтоб поблагодарить за подарок, как к нему со всех сторон кинулась черноголовая детвора. Отстраняя друг дружку, малайки и апайки совали смущенному Салавату: кто горстку ягод, кто пучок зеленого лука, кто цветы или кусочек сотового меда на листке лопуха.

– На, Салават!.. Поешь, Салават!.. Понюхай, Салават!.. – звенели детские голоса, как беззаботный щебет птиц.

Толпа улыбалась, причмокивала языками, хвалила детей: «Якши, якши, якши!..» А какой-то древний старик загнул подол длинной рубахи, поднес к лицу и, всхлипнув, принялся утирать слезы.

Благодарно улыбаясь детям, Салават подал знак седобородому всаднику принять дары, кивнул толпе, сдвинул брови, поднял голову и двинулся в путь, за ним вся свита. Толпа закричала: «Прощай, батыр наш, прощай!» Старики махали тюбетейками, женщины плакали.

Ребятишки, сопровождаемые собачонками, долго еще бежали за всадниками.

Салават то и дело оглядывался на провожавшую его толпу. По дороге и лугам тянулись конные

башкирцы, иногда на одной лошаденке по два, по три, иные ехали одвуконь, ведя запасного в поводу. В беспоясных рубахах, в бешметах из верблюжины, в разноцветных хиялях, похожих на халат, на бритых головах сверх тюбетейки – остроконечный войлочный тельпек, за плечами колчан со стрелами; лук, редко-редко самопал; у многих тесаки, кривые ножи, пики, тяжелые безмены, вокруг сиденья – спущенные с плеч овчинные тулупы. Кто в лаптях, кто в сафьяновых или суконных сапогах с загнутыми носами. Пеших мало, огромный обоз скрипучих двуколок с поклажей и с народом, две чугунные пушки, но ни пороху, ни ядер. Толпа оживлена, воздух звенит хохотом, слышатся выкрики, взвивается под свирельную дудку песня, то веселая, то грустная. Молодежь взад-вперед носится на скакунах вперегонки: «аля-аял-аля!» Всюду раскатистый смех, визг, посвисты, гиканье, дружеская с перцем перебранка – и снова хохот.

Тысячная толпа растянулась версты на две, было жарко, пыль клубилась от земли до неба, пахло лошадиным потом, свежесрезанным медом, кумысом в турсуках, дегтем. Со всех сторон подъезжали на взмыленных конях группы новых всадников. Поприветствовав Салавата прикладыванием правой ладони ко лбу, к сердцу, переговорив с ним, отъезжали, смешивались с толпой. И снова начинались разговоры без конца, спросы да расспросы, смех да крики.

Вот на трех верстах две разрушенные русские деревни, все выжжено, все сровнено с землей.

– Эта земля издревле нашего рода, моего деда, моего отца Юлая и моя, – говорил Салават, кивая головой направо-налево. – Большие земли у нас были, а лет двадцать тому отобрало начальство, отдало наши природные угодья купцам Твердышеву да Мясникову. Я весной был здесь с баткой, обе деревни разрушил, мужиков, кои передались мне, отослал к государю в стан. Нынче пришел черед Симскому заводу. Все попалю огнем!

– Э-э, – поддакивали башкирцы.

– О, если б мне достать тех двух купцов-заводчиков, привязал бы их за ноги к лошадиному хвосту, целый день волочил бы их по степи нешибкой рысью, чтоб не сразу сдохли... – и Салават, шумно дыша, заскрежетал зубами.

– Не в этом дело, дружок, – возразил седобородый Илчигул. – Двоих смерти предашь, десять новых на твою землю сядут. А надо права наши кровью утвердить... э!

– Ты верно, Илчигул, сказал. Пусть будет имя твое свято, – в раздумье молвил Салават. Вдруг вскинул голову, схватил за руку пониже плеча ехавшего с ним рядом Илчигула, со всех сил встряхнул старика, сам затрясся, закричал на весь народ: – Всю землю огнем пройду!.. Все пожгу! Всех посеку, в полон изловлю! На срубленных башках врагов моих степные птицы будут вить гнезда, на щеках их станут размножаться мухи и комары!

Илчигул взглянул в освирепевшее лицо его, изумленно разинул рот, седая козлиная борода отвисла.

– Успокой свое сердце, Салават, – тихо сказал он. – Башке верь, сердце – тьфу... э!

Салават опять задумался, поник головой, завздыхал шумно. Долго ехали молча. И вдруг в мыслях Салавата мелькнул образ той женщины в богатом наряде, что так ласково улыбалась ему. Какая красавица! И как звать ее, кто она, что с ней сейчас? Не сидит ли возле озера с крутыми берегами, не думает ли думать? Не складывает ли «баит» о нем, о храбром Салавате? Эх, если б не такое время, он, прославленный певец степей, сам сложил бы про нее песню!..

Да, она складывала песню и тихим вздрагивающим голосом напевала:

Пою я не от охоты,
От множества дум, от горя...

Как только скрылся от взора Салават, она подобрала шитый бисером безрукавый зюлень-платье и, быстро перебирая стройными ногами в ярко-красных широких шароварах, побежала через ельник, через поляны к озеру. Села на крутой зеленый берег и задумалась.

Наслаждений, удачи нет и тени,
А тоски много в этом безжалостном свете... —

вновь швырнула Шаккур над степью и над озером запавшую в ее сердце жалобу.

По ту сторону плескучего озера расстилалась степь. Далеко-далеко на горизонте, докуда глаз хватал, в стороне от проезжей дороги клубились бесчисленные дымки летних кочевий кошей. Туда удалились старики, женщины и дети и еще те из башкирцев, которые не желали пристать ни к Салавату с Кинзей[49], ни к Каравату с Крюкаем, ни к прочим башкирским старшинам-воителям.

Молодая Шаккур подносит к пунцовым губам тростниковую свирель и, перебирая тонкими пальцами, начинает высвистывать что-то тоскливое. Свирель стонет над простором, как живая, свирель горько оплакивает несбывшиеся мечты Шаккур и навеки утраченную радость. Прощай, милый муж, убит ты русской пулей, прощай и ты, Салават-батыр, умчавшийся в неминуемую погибель, в смерть. От тоскующих звуков свирели зарождаются мрачные мысли, из мыслей растут слова песни. И вот, положив свирель к ногам и скрестив руки на груди, Шаккур начинает:

Ах, буран, буран, ветер свирепый,
Времена тяжелы, сердце одиноко...
В молодое время беги шибко,
Подобно промчавшемуся по степи оленю.

Дымки клубятся, солнце село. Вот и вечерняя звезда зажглась, даль призакрылась сизо-молочною завесой, на западе погасла желтая, с прозеленью, с алым отблеском заря.

Молодая Шаккур быстро поднялась, с хрустом переломила через колено свирель, забросила ее в озеро.

Беги, беги скорей, конь чубарый,
Неси, неси меня к Салавату!

Шаккур всплеснула руками и заплакала. И раздался тут отчаянный голос:

– Шаккур, Ша-а-акку-ур! Эге-ге-ей...

Это старая мать кличет единственную дочь свою: уже лег на землю поздний вечер, и месяц стал серебрить ковыли степей, а в степях вот-вот схватит Шаккур злой дух – шайтан.

2

Негодую на бездеятельность сибирского корпуса генерала Деколонга и не имея сведений о действиях отряда князя Голицына, подполковник Михельсон все-таки решил со своим малочисленным отрядом двинуться на Красноуфимск для преследования толп Салавата Юлаева.

30 мая он пошел к Симскому чугуноплавильному заводу, что в живописной котловине среди лесистых гор.

Ненавистный Салавату этот завод вместе с поселком весь был башкирцами разрушен, разграблен, выжжен, и около сотни жителей умерщвлено.

Михельсон увидел зарево и поспешил на пепелище. Однако переправа через реку Ай была уничтожена, паромы сломаны, лодки угнаны, а крутые горы за рекой заняты толпами Салавата.

31 мая на рассвете Михельсон выставил вдоль берега все орудия и, под прикрытием их огня, переправил свой отряд. После короткого боя башкирцы рассеялись, сто пятьдесят из них убито, в плен попало трое, четвертый русский. Где находился сам Пугачев, пленные не знали. Крестьянин был повешен, башкирцы оделены деньгами, продуктами и пущены на свободу.

– Идите по домам, – сказал им Михельсон, – толкуйте своим, чтоб сидели смирно, чтоб не слушались разных врак злодея Пугачева Емельки.

3 июня, ранним утром, возле деревни Киги, Михельсон внезапно был атакован двухтысячным войском Пугачева. В первую минуту Михельсон растерялся:

– И откуда в такое короткое время спроворил злодей набрать столько сволочи? Да, поистине зверь сей неистребим.

Замешательство унялось. Загремели пушки. Поражая пугачевцев огнем, Михельсон бросил силы в контратаку. Вскоре враг был сломлен, бежал. Кавалерия преследовала отступавших. Михельсон с двумя адъютантами ехал рысцой позади кавалерии. Отдалясь от обоза версты на две, он остановил коня.

– Глядите... что это? Башкирцы никак... – и Михельсон вскинул к глазу зрительную трубу. – Ну да, они!

Отряды башкирской конницы, скатываясь с гор, выскакивая из ущелий, мчались на поддержку отступавших.

– Слышь, дружок, – подъехал Михельсон к майору Харину. – А двинь-ка ты в эту нечисть картечью.

Тут подскакал к Михельсону на взмыленной лошади казак, глаза выпучены, весь он потный.

– Вашескорodie!.. Так что сам Пугачев!.. С тыла!.. Обоз атаковал!.. – заикаясь, прокричал он, как в лесу.

Положение Михельсона было не из легких. В эту опасную минуту его боевая натура вмиг преобразилась. В голове молниеносно созрел весь план предстоящего сражения.

Приказав Харину удерживать с частью отряда наступление башкирцев, Михельсон с кавалерией и остальной пехотой бросился к атакованному неприятелем обозу. Визг стрел встретил скачущих михельсоновских всадников. Трое свалились с седел.

– Изюмцы! Сабли вон! – закричал Михельсон, опережая кавалерию. – Казаки, не подгадь!.. По полдюжинке на пику, братцы!

Изюмцы и казаки на всем скаку взяли рассыпным строем неприятеля в обхват. Но Перфильев с

яицкими казаками и Салават Юлаев с башкирцами, не страшась смерти, всюду попевали, поощряя своих боевым кличем и личным примером храбрости.

Пугачев с сотней яицких казаков стоял чуть поодаль, наблюдая разгоравшуюся сечу. В моменты успеха он привставал в стремени, пронзительно кричал:

– Детушки! Вали, вали, вали!.. Так их!

То вдруг бросался с казаками в то место, где враг одолевал.

– Детушки!.. Грудью, грудью!.. Спину береги, детушки! – и, вновь выбравшись из схваток, вихрем скакал вдоль фронта, останавливая бросавших оружие и бежавших, вдохновляя колеблющихся, разжигая победителей.

Всеобщая резня и суматоха длится час и два. По степи, скрываясь в перелески, уже удирают пешие мужики, мчатся конные башкирцы. Опять загрохотали смолкшие было пушки. Вонючий дым, лязг металла, неистовые крики. Вот пан Врублевский с высоко поднятой саблей, с ножом в зубах, сильно подавшись корпусом вперед, скачет к кучке башкир, отбивавшихся вместе с Салаватом от изюмцев.

– Алла!.. Алла!.. – поражая врагов своих, дико визжат башкирцы.

Салават с силой рубит саблей направо и налево. Его халат изодран, рубаха окровавлена. Он круто повертывает коня и с гиком налетает на Врублевского. Их сабли, скрещиваясь, звякая, сверкают в воздухе лишь несколько мгновений. Враги сцепились один в другого руками, и с резким воем оба брякнулись с коней на землю. Через момент пан Врублевский был поднят на пиках, он извивался в воздухе, как на остроге налим.

– Детушки! – вопил Пугачев. – А ну, за мной!.. Кажись, Салаватку прикончили.

Он вытянул черного коня нагайкой и вместе с казаками ринулся вперед.

– Чугуевцы!.. Казанцы!.. – командовал Михельсон. – Марш, марш на выручку изюмцам. Враг бежит!.. С Бо-о-гом!..

Вскоре по всему фронту пугачевцы были отбиты. Они отступили к вершине реки Ай.

На другой день, едва пройдя пятнадцать верст, Михельсон вновь был атакован.

– Ну, брат, ваше окаянское величество, – пробрюзжал Михельсон. – Вы изволите надоедать мне пуще комаров.

Схватка была горяча и непродолжительна. Пугачев, потеряв около сотни бойцов, отступил.

И обычная комедия: Пугачев дерется с Михельсоном, а в этот самый час, в ста пятидесяти верстах от боя, коменданту Верхне-Яицкой крепости Ступишину грезится, что Пугачев семитысячной громадой стоит в десяти верстах от его крепости. Перепуганный Ступишин шлет к бездействующему в Кизильской крепости генералу Фрейману гонца с отчаянным воплем выслать немедленную помощь.

Главнокомандующий князь Щербатов, в Оренбурге пребывающий, получил сразу два рапорта: от генерала Фреймана, что Пугачев с армией в семь тысяч человек 4 июня осадил Верхне-Яицкую крепость, а другой от Михельсона, что того же 4 июня он разбил Пугачева вблизи деревни Киги. Взглянув на карту военных действий («ха, полтора верст!»), князь Щербатов долго чесал за ухом, тщетно ломал голову, который же из военачальников бредил? Он грыз в раздумье ногти и, поплеывая, говорил в сердцах:

– Дураки... Все мы дураки, все больны. Пугачев в десять раз умней нас, во всяком случае – расторопней.

Разгневанный на себя и на всех, главнокомандующий тотчас же отправил к Фрейману гонца с приказом точно выяснить, где обретается «мерзкий самозванец», и немедленно выслать отряд для скорейшего уничтожения «бунтующей сволочи».

Отряд Михельсона численно слабел, в боевых припасах ощущался великий недостаток, лошади наполовину покалечены. Михельсон прямым путем двинулся к Уфе в надежде укомплектовать там свой отряд людьми и лошадьми.

3

В Петербург все чаще поступали с востока известия о поражении пугачевцев. Но наряду с этим стало правительству ведомо, что в середине мая в Воронежской, Тамбовской и других смежных с ними губерниях возникли сильные крестьянские волнения. Внезапно «волнование» возгорелось и среди крепостных крестьян смоленского «новоявленного барина» Барышникова.

Императрица Екатерина собрала у себя совещание из ограниченного круга лиц. Были: новгородский губернатор Сиверс, Григорий Потемкин, Никита Панин, генерал-прокурор Сената князь Вяземский, граф Строганов, неуклюжий, большой и пухлый Иван Перфильевич Елагин, когда-то влюбленный в Габриельшу, и другие. Беседа велась в кабинете Екатерины за чашкой чая, без пажей и без посторонних. Чай разливала сама хозяйка.

Высота, свет, простор, сверкание парадных зал. Всюду лепное, позлащенное барокко, изящный шелк обивки стен, роскошь мебели на гнутых ножках, блеск хрустальных с золоченой бронзой люстр. Всюду воплощенный гений Растрелли, поражающая пышность царских чертогов. Но кабинет Екатерины уютен, прост.

Теплый, весь в солнце, майский день. Окна на Неву распахнуты. Воздух насыщен бодрящей свежестью близкого моря.

Все пьют чай с вафлями, начиненными сливочным кремом. В вазах клубничное и барбарисовое варенье. Граф Сиверс ради здоровья наливает себе в чашку ром. А князь Вяземский, также ради здоровья, от рому воздерживается. Григорий же Александрович Потемкин, опять-таки здоровья для, предпочитает пить «ром с чаем». И пьет не из чашки, а из большого венецианского, хрустального, с синими медальонами, стакана, три четверти стакана рому, остальная же четверть – слабенький чаек. Впрочем, ему все дозволено...

Екатерина начинает беседу. Хотя она и спряталась от солнца в тень, но, если пристально всмотреться в ее лицо, можно заметить легкие недавние морщинки – следы сердечных страстей и неприятных политических треволнений. Подбородок ее значительно огруз, лицо пополнело, вытянулось, утратило былую свежесть.

– Теперь, Григорий Александрович, доложи нам по сути дела, – обратилась она к Потемкину.

Тот порылся в своих бумагах и, уставившись живым глазом в одну из них, начал говорить:

– Итак... прошу разрешения вашего величества. (Екатерина, охорашиваясь, кивнула головой.) Воронежский губернатор Шетнев доносит, что меж крестьянами вверенной ему губернии стали погуливать слухи, что за Казанью царь Петр Федорыч отбирает-де у помещиков крестьян и дает им волю. Раз! Второе: крестьяне Кадомского уезда, села Каврес, в числе около четырехсот душ, собрались на сходку и порешили всем миром послать к царю-батюшке двух ходоков с прошением, чтобы не быть им за помещиками, а быть вольными... «Требовать от батюшки манихвесту...»

Он привел еще несколько подобных же примеров и, отхлебнув обильный глоток рому с чаем, сказал, словно отчеканил:

– Вот-с каковы у нас дела.

– Да... И впрямь дела не довольно нам по сердцу, – отозвалась Екатерина, тоже отхлебнув маленький глоточек чаю с ромом.

После недолгого молчания Потемкин вновь заговорил:

– А тут еще милейший губернатор Шетнев вздумал с бухты-барахты обременять население излишними работами и тем самым неудовольствие в народе возбуждать. В этакое-то время, во время столь жестокой инсurreкции, он взял себе в мысль приукрашать подъезд к городу Воронежу дорогой перспективой, обсаженной ветлами. И для сего согнал более десяти тысяч крестьян. Сие некстати в рассуждении рабочей поры, а еще больше не по обстоятельствам. Не с перспективы губернатору начинать бы нужно, а есть дела важнее в его губернии, которые требуют поправления. А посему, – поднялся Потемкин и, закинув руки за спину, принялся мерно и грузно вышагивать, – а посему, смею молвить, надлежало бы губернатору написать построжее партикулярное письмо... а еще лучше вызвать его к нам да немного покричать на него... Покричать! – резко бросил Потемкин. Голос у него – могучий, зычный. Когда он говорил, казалось, что грудь и спина его гудят. И голос, и его властные манеры вселяли некий трепет не только в сердца обыкновенных смертных, но даже сама Екатерина, преклоняющаяся перед своим любимцем, за последнее время стала испытывать в его присутствии чувство немалого смущения, граничащего с робостью.

– Александр Андреич, – обратилась Екатерина к князю Вяземскому. – Что вы имеете на сие ответить?

Вяземский поднялся, развел руками и, как бы оправдываясь, заговорил:

– Ваше величество и господа высокое собрание! Поскольку мне не изменяет память, губернатору Шетневу был заблаговременно послан высочайше опробованный план прокладки сквозь густые леса новой дороги, шириной не более не менее как тридцать сажен, дабы воровские люди не имели способа укрыться и делать вред и грабеж жителям.

– Ваше сиятельство, – на низких нотах проговорил Потемкин и остановился среди кабинета, на щекастом лице его играла умная ухмылка. – Я, если мне будет дозволено ее величеством, нимало не дерзаю возражать против сего полезного прожекта... Но поймите, князь! Горит Россия! С востока летят головешки и падают чуть ли не в колени нам, князь. А вы тут... А вы... Россия горит! – подняв пудовый кулак, крикнул он так громко, что голос его, наверное, был слышен за Невой.

Князь Вяземский втянул шею в плечи, будто его пристукнули по темени, и завертел во все стороны немудрой головой своей.

– Ваше высокопревосходительство, – адресовалась Екатерина к Потемкину, – приглашаю вас чуть-чуть умерить пыл и пощадить хотя бы мои уши.

Их взоры быстролетно встретились. Потемкин, почувствовав себя виноватым, приложил руку к сердцу, почтительно императрице поклонился, подошел к круглому столу и сел. Он был к Екатерине весьма предупредителен, особенно при посторонних, но иногда вдруг весь вскипал и тогда терял самообладание.

– Александр Андреич, – снова обратилась императрица к Вяземскому. – Вызывать сюда губернатора Шетнева в такую пору мы считаем бесполезным, а пусть Сенат заготовит, пожалуй, указ ему, чтоб он подобные работы тотчас прекратил, жителей распустил и в дальнейшем принял меры к тому, чтобы не раздражать их. Вы сами, господа, разумеете, – повела Екатерина взором по лицам присутствующих, – что нам подобает взыскивать меры к отвращению елико возможно населения от маркиза Пугачева. Особенно же нам надлежит ласкательными мерами удержать от злодейской прелести казаков на Дону. А посему мы постановляем... Потрудись, Александр Андреич, записать. Постановляем тако: обер-коменданту крепости святого Димитрия[50] генерал-майору Потапову сообщить письменно наше повеление – прекратить все следственные дела над донскими казаками, выпустить всех арестованных и объявить им наше милостивое прощение и оставление дальнего взыскания, в рассуждении верных и усердных заслуг сего войска, в

нынешнюю войну с Турцией оказанных... – Отвратив взор от своей записной книжки, Екатерина вскинула голову и спросила: – Не имеет ли кто высказаться по сему за и контра?

Желающих не нашлось. Разумное отношение в данное время к населению все считали необходимым и на вопрос Екатерины согласно ответили, что решение императрицы почитают мудрым.

Потемкин, сдерживая голос и улыбку, сказал:

– Кстати о казаках... Вам всем ведомо, господа, что до Петербурга дошли слухи, якобы Пугачев отправил к нам, в столицу, трех своих казаков с ядом для отравления императорской фамилии...

Новгородский губернатор Сиверс, выразив удивление, сказал, что он лишь сегодня утром прибыл из деревни и о «сем неслыханном изуверстве» впервые слышит. Потемкин охотно сообщил ему, что поручик Державин чинил в Казани допрос некоему беглому солдату Мамаеву, пойманному на Иргизе в числе мятежников. При этом Державин доносил с экстрой в Питер, что «тайность души Мамаева открыть не мог, но только по всему видать, что он весьма не дурак, хранящий великое таинство, и самый важный». Мамаев на допросе якобы говорил, что он-де был секретарем самозванца и знает, что яицкие казаки отправили-де в Петербург для покушения доверенных с ядом. И даже приметы оных мизераблей сообщил.

По выражению лица Потемкина было заметно, что он тоже хранит в себе некое «великое таинство». И, насупив высокий и гладкий лоб, он сказал:

– Вот тут-то у нас сыр-бор и загорелся... Хотя я и наперед знал, что сие больше на вздор, нежели на дело походит... (Тут Екатерина и все присутствующие насторожились.) Однако в столь важнейшем пункте, как драгоценному здравью касающемся, счел нужным сделать строгое взыскание. Да к тому же и его сиятельство князь Вяземский добавил рвения: ищите, говорит, промежду челобитниками, бродягами, так и между работниками. Ну уж, тут и-и-и давай хватать без разбору всякого! Очевидцем я был, как в Царском Селе, куда всеблагая государыня изволила на три дня выехать, сграбастали какого-то парнюгу. Его волокут под мышки, а он орет блажью: «Ой, не хватайте меня под пазухи, чикотки страсть боюсь!»

Все засмеялись, улыбнулась и Екатерина. Потемкин достал из камзола простую берестяную тавлинку, понюхал табаку и продолжал:

– Оный Мамаев, по воле ее величества, доставлен был в Петербург. Сегодня я спросил Шешковского в шутку: «Ну как, Степан Иваныч, хорошо ли кнутобойничаешь?» (Тут Екатерина, сделав на лице брезгливо-возмущенную гримасу, откинулась в кресле столь стремительно, что шелк на ее роброне зашуршал.) А он мне: «Да не худо, говорит. С Мамаевым, говорит, малу толику минувшей ночью перемолвился». И Шешковский поведал мне, что Мамаев вовсе не Мамаев, а дворовый человек помещика Ржевского Смирнов, был в шайке Пугачева, но секретарем самозванца никогда не состоял, что посылка казаков с ядом им измышлена, он-де в Казани лгал и болтал от страха, видя, что поручик Державин грозитя его сжечь.

Известие о признании Мамаевым своего лганья было для всех новостью. Все весело переглядывались друг с другом.

Екатерина сказала:

– Для чего ж ты, Григорий Александрович, меня о сем казусе не предупредил?

– По причине того, матушка, что я не считал эту пустяковину делом государственной важности и не осмеливался до времени беспокоить ваше величество.

Сидевший в подчеркнуто небрежной позе Никита Панин, переглянувшись с директором императорских театров Елагиным, сказал:

– Сей сюжет, я чаю, сгодился бы нашему комедиографу Денису Иванычу Фонвизину.

– Речь о сюжетах пока отложим в сторону, – с оттенком явного высокомерия обратилась Екатерина к Панину, – из сего же мы усматриваем, что следственным комиссиям, одной в Казани, другой в Оренбурге, быть невместно. Мы склонны к тому, и от вас, господа, совета ищем, чтобы обе комиссии соединить в одну и назначить общего руководителя...

– Каковым и мог бы быть, – выждав время и ласково уставившись в лицо всесильного фаворита, произнес князь Вяземский, – каковым для общего руководства и мог бы быть Павел Сергеевич Потемкин [\[51\]](#), с отменной радостью изъявивший на то свое согласие.

– Быть по сему, – скрепила, чуть подумав, Екатерина. Скрывая в ясных и по виду откровенных глазах что-то свое, она раздраженным тоном продолжала: – Губернаторы Брант и Рейнсдорп не имели возможности всецело посвятить себя следственным делам, и оные дела перешли в руки молодых, преданных нашему престолу, но малоопытных офицеров. От сего, под влиянием страха и угроживания, происходили оговоры невинных лиц. Паче всего мы опасаемся, чтоб не были пущены в ход истязанья и пытки. Сие иметь в виду при составлении инструкции Павлу Сергеевичу Потемкину... Пытки есть дело, противное нашему матернему сердцу, – закончила она, опустив глаза подобно школьнице, ожидающей похвалы.

Князь Вяземский слушал ее с немалым возмущением. В его памяти вдруг возникло недавнее письмо к нему императрицы. «Я весьма любопытна, – писала она, – еще раз перечесть вздорное показание арестованного злодея Мамаева. Нужно его самого сюда взять, дабы он противоречиями комиссию тамошнюю неiskonфузил. А для примера и без него есть у них кого повесить».

Особенно любопытной показалась Вяземскому последняя фраза письма императрицы, бывшая в кричащем противоречии с только что сказанными ею словами касательно пытки. И он с желчью подумал про Екатерину: «Ах, ах, сколь много в тебе, матушка, великого лицемерия!»

Подумав так, он до смерти сразу же перепугался: а не спрятался ли где-нибудь за портьерой, или не сидит ли под столом заплечных дел мастер, страшный человек Степан Иваныч Шешковский, и не читает ли в его, князя, голове крамольные эти мысли? Поддавшись страху, Вяземский безотчетно покосился назад через плечо и даже пошарил под столом ногою.

Совещание продолжалось. Лучи солнца передвинулись на Екатерину. Пролетающая белоснежная чайка мочила в Неве свои упруго очерченные крылья. С барабанным боем, с песнями прошли строем солдаты, отбивая шумно прусский шаг. По реке скользили челны, рябики, лодки. Две неуклюжие баржи с сеном поднимались на завозных якорях по теченью вверх к Стрелке. Над Петербургской стороной нависала сероватая хмурица.

Потемкин, прикрывшись широкой ладонью, позевывал.

4

После неудачного боя под Кундравинской Пугачев через леса и горы пробрался с яицкими казаками на реку Миас и стал здесь «скоплять» народ. Вскоре присоединились к нему сотни три башкирцев, бродивших воинственной толпой между Челябиной и Чебаркулем.

В живописной долине Миаса, где бурная речка кипела меж камней, башкирцы поставили Пугачеву из кошмы и ковров юрту.

Было пасмурно, дул холодный ветер. В юрте шло совещание.

– Надо указы писать, а секретаря нету... Ни Горшкова, ни Шигаева с Почиталиным. Федор Федотыч, займись-ка ты, – сказал Пугачев атаману Чумакову.

– Я не шибко горазд, ваше величество, – с преднамеренной грубостью ответил хмурый Чумаков. – Мое дело воевать, а не пером водить. Обмарались мы с войной-то! Как зайцы по кустам: пырх, пырх! Этак на край-свет загонят нас...

– Помолчи-ка ты, Федя, без тебя тошнехонько! – крепко проговорил Пугачев, сверкнув глазами. – Лучше пиши-ка, что велю. А Творогов пособит...

– Сказываю тебе, не горазд я! – Чумаков отвернулся. – Вот народ сгуртуется, нужно артикулу его учить да стрельбе. Порядку нет у нас, вот чего...

– Заладил, как ворона на падали: кар да кар, – вспыхнул Пугачев. – Баешь, народ сгуртуется? А того не ведаешь, что для оного дела треба зазывные грамоты слать по жительствовам. Эх, ты, тетерьья башка...

Обиженный Чумаков скосил на Пугачева сердитые глаза, потряхнул бородищей, крикнул:

– Вот сам и пиши зазывные-то! Раз ты царем назвался...

– Я не назвался царем, а я царь есть!.. Сукин ты сын! Пошел вон, дурак!

Чумаков тотчас встал и, сутулясь, молча вышел из юрты. Афанасий Перфильев, вздохнув, молвил: «Эхе-хе...» – и покрутил головой. Творогов успокоительно сказал:

– Брось, ваше величество, чего зря карактер себе портишь? Я бы приказы написал, да, вишь, правая рука болит. И я вот, слушай-ка, добрецкого тебе секретаря подыскал.

– Кто таков?

– Забеглый купецкий сын, из Мценска города, Иван Трофимов, а прозывает он себя – Алексей Дубровский. Парень выше меры смышленный. И, чаю, предан тебе по гроб. Он давненько с нами ходит.

– Проверку учинял?

– Говорю, парень самый наиверный. Одно слово – наш!

– Ладно, – повеселел Пугачев. – Ужо пришли его. Ну, ин иди, Иван Александрыч... И ты, Афанасий Петрович. Голова чегой-то болит... Тот черт-то перечит все, умней царя хочет быть, черт... Втолкуйте ему... Что ж это, царь я или не царь?

– Вестимо, царь-повелитель, ваше величество. Ну, отдыхай не то. – Творогов с Перфильевым встали, поклонились и бесшумно вышли.

Пугачев тоже вышел на волю – ветер унялся, опять пекло солнышко, – присел на горячий камень у реки, задумался. Подошел приятного вида человек лет тридцати, низко поклонился Пугачеву, стал в отдалении.

– Кто ты?

– Алексей Дубровский, ваше императорское величество, – с готовностью гаркнул человек, держа руки по швам. – Господин Иван Александрыч Творогов к вашей милости послал меня.

– Ладно. Подойди! – Дубровский подошел. Он был высок, сухощав, лицом бел и чист, русые вьющиеся волосы, маленькая борода. – Слых идет – шибкий грамотей ты. Так ли?

– Совершенно так, ваше величество, грамотой Господь да добрые люди вразумили меня изрядно, да и по письменной части зело успешен. И в жизнь свою немало предивных книг прочел.

Пугачеву понравились быстрые и складные ответы молодого человека. Он снял казацкий простой кафтан, одернул шелковую с серебряными пуговицами рубаху, сказал, ласково поглядывая на Дубровского:

– А ну, поведай, молодец, кто ты, каким побытом прилепился ко мне? Только правду молви, я врак не люблю.

Алексей Дубровский кивком головы откинул назад русский чуб, откашлялся и, все так же держа руки по швам, заговорил:

– Как на страшном Христовом пришествии, так и перед вами, всемилостивейший государь, поведаю о всем чистосердечно, не утая и не скрывая ничего, чинимого мною в свете. Сначала находился я при родителе моем, мценском купце Стефане Трофимове; служил родитель по обнищанию своему у разных господ и четыре года тому назад помре своей смертью. Став сиротою, вступил я во услужение московского богатейшего фабриканта и обер-директора Гусятникова, а служба моя на все руки: и приказчик я, и письменных дел правило. Краше меня, бывало, никто прошенья в приказ или письмо должнику не сочинит. Дар такой во мне, ваше величество. И был послан я фабрикантом в город Астрахань для взыску по вексяям одиннадцати тысяч рублей. А на получении истрачено было мною на свои мотовские нужды тысячи с три... – закончил он, потупившись.

– Эге-ге! – оживился Пугачев. – Хмель винцом шибанул, да с девчонками, поди?

– Был грех, ваше величество, не смею утаить...

– А бабы-то в Астрахани как – матерые, поди?

– Как на страшном Христовом суде показывают, разные бабы суть: есть и в телесах.

– Так, так, – улыбаясь, молвил Пугачев. – Ну, поди, водятся и сухоребрые?

– Водятся, ваше величество, и сухоребрые, – не дрогнув ни голосом, ни мускулом лица, складкопечно повествовал начитанный, книжный Дубровский, надеясь красноречием своим повеселить государя. – Они для нашего мужеска пола, аки мед для мух. Подобно облаку небесному, зрак их легок, руки в лобзании охватисты, уста – что розов цвет, сладостью напитанный; голос, аки свирель, призывающая к тихому отдохновенью. Охти мне...

Пугачев не прочь был позабавиться шутивным разговором. Похикивая, он прыскал в горсть или, будто спохватившись, проводил ладонью по лицу от закрытого челкой лба до бороды и, подернув книзу бороду, старался напустить на себя важность. Когда Дубровский, осмелев, принялся живописать о многих астраханских грехопадениях своих, Пугачев внезапно всхохотнул и замахал руками.

– Брось, брось, Лексей! Негоже мне это слушать, – утирая рот, бороду и взмокшее лицо, строго сказал он, помедлил мало и снова спросил: – Ну а рыжие под Астраханью есть?

– Ох, есть, ваше величество... Всякие... И рыжие, и чернявые, и совсем чернущие, аки фрукта чернослив. Сии зовутся – персианки...

– Во! – ткнул ему в грудь Пугачев пальцем. – Слышал, поди, про Степана Разина, старики песни про него спевают? Вот у того Степана персианочка была пригожая... Я, слышь, тоже лажу по делам государственным на Астрахань путь принять...

– Ежели дозволите мне, ваше величество, слово молвить, я бы присоветовал, скопив силу, на Москву вдарить. Отворив сию дверь, вы шагнете прямо в Питер.

– Знаю, знаю, Лексей, где раки-то зимуют, – сразу переменив тон, нахмурился Пугачев и посмотрел в глаза Дубровского испытующе. – А ты, я гляжу, не глуп, молодец. И в лице твоём хитрости не зрю. Да ты, Лексей, садись.

Дубровский торопливо подошел к соседнему с государевым окатному камню и присел. Внизу, под обрывом, река Миас лениво журчала меж камней.

– Ежели дозволено будет мне, скудоумному, слово молвить, я бы сказал так: посулить бы народу великие обещания и войску, противу вас прущему, такожде. Насчет рекрутского набору да податей, насчет бар и прочих утеснителей...

– Все оное в указах моих прописано, Лексей. Поди, читал... А вот надо иноверцам – указ. Сам я хотел писать, да чего-то не клеится. Турецкому султану послал намеренье грамоту по-турецки, своеручно писал, чтоб братскую подмогу оказал мне. А шведскому королю писал по-шведски, а немецкому Фридрику Второму по-немецки, ведь мы в закадычные приятели с ним подыгрывали. Бывало, пьяненькие целовались с ним. «Не плачь, – говорит, – Петруша, а я чую, на прародительский престол воссядешь ты, как пить дать, уж я тебя не оставляю». – «Спасибо, – отвечаю ему, – на царском верном слове твоём, Федя». Ведь я у него, почитай, три года гостил, как Катька-то с боярами пообидела меня. – Пугачев говорил взахлеб, но не без лукавства в глазах. Потом он вскинул голову. – А вот сын мой, наследник Павел Петрович, дай Бог, не оставляет меня, с сорокатысячным войском сюда идет, на подмогу мне, старику. Да храни его Бог и Божья Матерь! – Пугачев перекрестился, глаза его увлажнились.

Дубровский растроганно вздохнул, прижал к сердцу руку и так низко склонился, словно собирался упасть государю в ноги.

В полуверсте от них, на просторной, в редких кустарниках, долине шла потешная война: Перфильев, Чумаков, офицер Горбатов обучали ратному делу башкирцев, а заодно и вновь прибывших заводских крестьян. Были тут и те, что отстали от Пугачева в последней схватке с Михельсоном, а потом, напав на след, вновь влились в народную армию. Потрескивали ружейные выстрелы, скакали всадники – парами и общим строем, сшибаясь друг с другом и как бы пронзая один другого деревянными, вместо пик, кольями, иные на всем скаку рубили саблями чучело из соломы и с криком «урра, алла» бросались в штурм на воображаемые города, крепости.

– Ишь, шумят, ишь, храбрятся! Кабы на войне так-то. Это Перфильев с Горбатовым стараются, – сказал Пугачев, поглядывая на задорную воинишку. – Добре, добре, – сказал он и поднялся. Вскочил и Дубровский.

Желая укрыться от боевого шума, они пошли вдоль берега, к серо-красной обрывистой скале. Дубровский нес государев кафтан.

– Сказывай-ка про себя дале.

– А дале так. Промотал я все одиннадцать купеческих тысяч, ваше величество. Как и не бывало их... А промотав, убоюсь возвращаться к толстосуму Гусятникову и сочел за благо удариться в бега. Дав мзду, поплыл я на кашкурской кладной вверх по Волге до городу Сызрани, оттуда прошел пеш через Казань, Кунгур, Екатеринбург, полковника Имашева на винокуренные заводы. Здесь, каюсь, состряпал я

фальшивый паспорт на имя Алексея Ивановича Дубровского, переведя на оный с просроченного своего паспорта Мценского магистрата сургучную печать.

– Мастер, значит, – подал голос Пугачев, пряча в бороду ухмылку.

– И был с тем паспортом допущен я в контору заводскую для письменных дел, – продолжал Дубровский живо. – Не учинив никаких пакостей, а видя лишь пакости начальников и служащих, оттуда через год сбежал я на Златоустовский завод. В октябре же прошлого года был отправлен с работными людьми на медный рудник. Вот уже где хватил я поту соленого! На заводе да в руднике-то, работным человеком бывши, я все жилы надорвал... О ту самую пору приехали башкирцы с командиром Мраткой Бытырем, всюду разглашая, что явился-де под Оренбургом истинный государь Петр Федорыч Третий. И со оными башкирцами отправился я под Оренбург, в Берду. С той поры неотлучен от вашей, государь, великой армии.

Пугачев, остановившись, круто повернулся к Дубровскому, в упор взглянул на него, сдвинул брови:

– Верить ли, Лексей, что есть я истинный государь Петр Федорыч?

Дубровский сшиб щелчком букашку, ползущую по царскому кафтану, который бережно нес он, и повалился Пугачеву в ноги.

– Верю, аки в самого Господа, и служить вам клянусь до самые до смерти!

Пугачев поднял его, проговорил:

– Жалую тебя главным секретарем моей коллегии и еще богатым кармазинным кафтаном с золотым позументом. Верь мне, верь, Лексей, в великих чинах будешь, как сяду на престол. В путь мой престолодержавный, народу угодный, все таперь поверили. Взять Деколонга генерала. Шепнул я ему под Троицкой крепостью, он сразу же и повернул с сибиряками в Челябину, сидит теперь там смиренно, не рыпается. А командующий князь Щербатов, письмо получив от меня за царской печатью, такожде без шуму в Оренбурхе сидит: я-де противу государя своего воевать-де не могу. Один немчин Михельсон Фан Фаныч супротивится. А и он долго ли, коротко ли, низринут будет... Какая да нибудь береза давно по Михельсонишке, по собаке, плачет. Ну и закачается! У меня все вороги закачаются! – взмахивая рукой, закончил Пугачев. – Весь свет закачается! Все раскачаю и оземь грохну... На! Вот кто я есть. – Он тяжело дышал, глаза его сверкали. Дубровский разинул рот, попятился от государя. Вдруг, оглядевшись по сторонам, Пугачев тихо сказал: – А ты, Лексей, нет-нет да ухом и приклоняйся, и вслушивайся, что вокруг бают... графья-то мои да атаманы... Они тоже в присмотре нуждаются... Мало ль их вьется возле. Языком треплют ладно, а что на душе – сами, поди, иной час не ведают. Ну, да я ведь крут. Я ведь в обиду не дамся...

Шли медленным шагом, обсуждали разные дела: как писать, кому направлять указы. Затем, отпустив Дубровского, Пугачев накинул на плечи кафтан, легким скоком подбежал к пасущейся на луговине незаседланной чьей-то лошади, поймал ее за гриву, мигом вспрыгнул на нее и помчался в поле, на ученье.

– Здорово, детушки! Помогай Бог работать!

– Здоров будь, бачка-осударь!.. Здравия желаем вашему величеству! – дружно неслось со всех сторон.

Пугачев подъехал к хмурому Чумакову.

– Вот что, Федя. Неча на меня губы дуть. Ежели обидел, не взыщи... Слышь-ка, сколь у нас пушек?

– Три, – сквозь зубы заговорил Чумаков. – Одна сбоку трещину дала, бросить доведется. Я людей на завод спосылал, обещали восемь пушек отлить.

– Где пушки?

– А эвот на пригорке.

Пересев с клячи на своего заседланного жеребца, Пугачев нахлобучил поданную шапку и подъехал к пушкарям.

– А ну, стрельцы-молодцы, как вы пушки заряжаете да наводите? Григорьев, ты, кажись, канониром себя считаешь. Эвот сосна на скале. С версту, а то с гаком будет. Ну-ка, наведи...

Расторопный, с рваными ноздрями, Григорьев Федор сказал: «Слушаюсь» – и стал поспешно налаживать орудие.

– Готово, батюшка.

Пугачев соскочил с коня, проверил прицел, сказал:

– В небо нацелил... Эх, ты! Больно скор... Ну-ка, Митрий, ты...

Наводил Митрий, наводил Андрей Петров и многие другие. И всякий раз Пугачев поправлял их, давал прицел сам.

Засыпали пороху, вложили ядро. Пугачев старательно нацелился по дереву на скале: «Прощай, матушка-сосна, только тебя и видели» – и велел запаливать фитиль. Пушка грохнула, сосна кувырнулась в реку, от верхушки скалы пыль-каменья полетели.

– Вот как надобно, пушкари! – подморгнул Емельян Иванович восхищенным артиллеристам и заломил шапку набекрень.

5

К вечеру рядом с юртой государя стояла юрта Военной коллегии. Там Дубровский, обливаясь от жары потом, доканчивал указы к русскому населению, к башкирцам, к мещерякам. А кончив, понес на провер царю. Над юртой развевалось государево знамя, при входе стояли вооруженные бородачи-казаки. Дежурный Давилин ввел секретаря к государю. Пугачев сунул полупустую бутылку под стол. Он в свежей шелковой рубахе сидел на ковре за низеньким башкирским столиком, трапезовал. Дубровский подал указы, приметно волнуясь. Пугачев, говоря: «Давай, давай, давай», – стал внимательно рассматривать исписанные кудрявым почерком листы. Сопел, хмурил брови, то близко поднося бумагу к глазам, то отстраняя, усердно шевелил губами.

– Ах, добро!.. Ах, добро! – сказал он. – Знатно, красиво пишешь... Мастер.. А ну, прочти сам, не борзясь. Указы-то народу будут читаться во всеуслышание, да вот ладно ли? Я вроде как за народ буду, а ты чти, проверку, значит, сделаем, на слух. Забирай, Лексей, в гул, да погромче, как на площади.

Дубровский поклонился, взял листы, откашлялся и басистым голосом начал:

– «Указ нашего императорского величества самодержавца всероссийского верноподданным рабам, сынам отечества, наблюдателям общего спокойствия и тишины».

– Добавь, отколь указ. Из Государственной военной, мол, коллегии, – заметил Пугачев.

– Эх, запомятовал...

– «Мы отеческим нашим милосердием и попечением жалуем всех верноподданных наших, кои помнят долг свой к нам присяги, вольностью, без всякого требования в казну подушных и прочих податей и рекрутов к набору, коими казна сама собою довольствоваться может, а войско наше из вольножелающих к службе нашей великое начисление иметь будет. Сверх того, в России дворянство крестьян своих великими работами и податями отягчать не будет, понеже каждый восчувствует вольность и свободу».

– Ладно, – похвалил Пугачев. – Точь-в-точь как толковал я тебе. Токмо надлежало бы насчет подушных, да податей, да вольности, да рекрутского набора появственней, чтоб запомнили, чтоб сразу в башку вдарило да влипло.

– Перебелять буду, покрупней выделю сие...

– Во, во... Такжеде и насчет дворянства. Пишешь, что крестьян великими-де работами да податями господишки отягчать не станут... Просто сказать бы: вешать-де дворян к чертовой бабушке, башки рубить! – Взор Пугачева засверкал. – Еще добавь, Лексей, насчет Катькиных войск, чтоб все мои верноподданные истребляли оных злодеев, аки саранчу, и себя тем злодеям в обиду не отдавали бы.

– А это дальше прописано, как вы повелеть изволили. Дозвольте огласить указ главному над мещеряками полковнику Канзафару Усаеву, как вы внушали мне утресь, когда учиняли променаду.

– «Усмотрев, государь, твои прежние справедливости службы, так и ныне повелевает тебе ниже сего поверенные приказы исполнять. Во-первых, получа тебе сей указ и приложенный при сем именной манифест, во объявление не склоняющемуся народу во всех жительствовах, в которых ты склонение иметь будешь... дабы они под скипетр его императорского величества склонялись...»

– Прибавь: «доброупорядочно».

– «...склонялись доброупорядочно, который по получении всероссийского престола от всяких прежде находившихся податей...»

– Прибавь: «от бояр и завистцев несытного богатства».

– Слушаю. – Дубровский взял из-за уха гусиное перо, обмакнул в походную, привязанную к поясу медную чернильницу, вписал.

Вошел дежурный Яким Давилин.

– Творогов, ваше величество, желает твою милость видеть...

– Чего без зову лезешь? – вспыхнул Пугачев. – Видишь, государственными делами занимаюсь... Ну, что Творогов?

– Творогов Иван Лександрыч привел нового повытчика...

– Нет нового повытчика, пока я не поставил! – опять вспыхнул Пугачев. – Ну? – Ощо привел он писчиков да толмачей, указы твои на татарскую речь поворачивать...

– Пусть торчат в Военной коллегии, зову ждут. И с Твороговым вместе. И ты не лезь, стой за дверьми, пока не покличу. Да пуцай Творогов сготовит башкирцев да русских человек с двадцать, пуцай на конь сядут да указы, да манифесты мои в ночь развезут по жителям. Чтоб стрелой летели, вмах! Слышь, Давилин, дакось какую тряпицу почище, рожу утереть, взопрел.

Дежурный подал рушник. Пугачев, принудив себя, сказал: «Благодарствую» – и обратился к Дубровскому:

– Ты не дивись, Лексей, что я другой раз по-мужицки толкую: «рожу» да «взопрел». Мне ведь много лет с народом простым довелось путаться, от царского-то побыта отвык.

Дослушав со вниманием все указы и повеления, Пугачев сказал:

– Ну, теперь, Дубровский, припечатать треба указы-то, смыслишь, поди, как? Смолка-то есть?

– Сургуч при мне, ваше величество, царскую печать дозволейте.

Сидя по-татарски на ковре, Пугачев вытянул правую ногу и, отвалившись назад и влево, полез в карман штанов. Вытащил полную горсть всякого добра и высыпал на низенький, по колено, столик. Тут были золотые и серебряные монеты, огниво с кремнем, сахарный леденчик, две свинцовые, неправильной формы пули, волчий клык, женская подвязка с медной пряжкой, огарок восковой свечи, какая-то медаль в прозелени, маленький, шитый бисером сафьяновый кошелек и, наконец, сердоликовая печать с княжеской короной и буквами П. Н. В. Секретарь Дубровский с удивлением и доброжелательной улыбкой глядел на этот пересыпанный хлебными крошками хлам, по-видимому, и сам Пугачев был удивлен такому в своем кармане беспорядку.

– Это зовется по-персиански шурум-бурум, – ухмыльнулся он и подал секретарю печать. – Поганенькая печатка, не хворменная, надлежит с моей императорской личностью, да вот настоящего знатеца не усчастливилось добыть. Ты, Лексей, учнешь печати ставить, как можно слюнь печатку-то, не желей слюней-то...

Он был в хорошем настроении, вполне довольный и Дубровским, и указами. Секретарь принялся ставить печати. Пугачев, плутовато таясь, взглянул на него, вынул из шитого жемчугом кошелечка пучок волос, перехваченных маленьким колечком, легонько провел ими по щеке, понюхал и, покивав головой и вздохнув, спрятал.

– Оные власы, – сказал он Дубровскому печально и тихо, – отхвачены мной своеручно ножницами от косы супруги моей, великия государыня всея России Устиныи Первой...

– Поскольку мне ведомо, – приятным голосом заговорил Дубровский, капая на бумагу сургуч, –

великая государыня Устинья Петровна не первая, а вторая супруга ваша... Первая-то Екатерина Алексеевна... сколь помнится, – и, послунив печать, он пристукнул ею по кипящему сургучу.

– Врешь, Лексей, врешь, – прищурился Пугачев на секретаря и облизнул губы. – Катька не первая, а вторая пишется. Так и в манифестах ее поганых пропечатана: вторая. Ась?.. Не спорь, Лексей... Ведь я Катькины волосы тоже таскал в ладане при кресте, да в Цареграде в печку швырнул. Тама-ка султан свою дочь султаночку за меня сватал. – Пугачев говорил плавно, не торопясь, не скрывая, однако, улыбочивого блеска в глазах. – А султаночка – раз взглянешь, век будешь помнить девку; поди, покраше твоих астраханских присух. Тут разум мой закачался, грусть пала, тоска-кручина забрала меня. Вот втапору Катькины-то волосы я и выбросил. А с его величеством, султаном, в цене не сошлись мы. Я требовал за дочь полцарства, да еще Русалим-град, с Гробом Господним, а он, собака, сулил мне одно Черное море со всей рыбой, какая в нем есть, а сверх того ни хрена. Тут я его величеству, турецкой образине, и плюнул в бороду. Ась?

Дубровский прыснул, затем отвернул кудрявую голову и, боясь неудовольствия государева, но не в силах сдержаться, громко засмеялся. Захотел и Пугачев.

Наступили густые сумерки, в юрте серело. Зажгли фонарь.

– Слышь-ка, Лексей, пошарь-ка, пожалуй, эвот в той суме, бутыль там, давай опрокинем по чарочке. Пьешь?

– Грешен, ваше величество, как на страшном Христовом суде показываю, ваше величество, пью. И пью, и лью, и в литавры бью...

– О-о, весельчак ты... А я вот не пил бы, не ел, все на милую глядел... Эхма!.. Давай, что ли, за Устинью! (Он поднял над головой чару.) Здравствуй, великая государыня, Устинья Петровна! Пей... (Выпили.) А я вот все сохну и сохну по ней, по ее величеству... Ась? (Дубровский стрельнул глазами в румяное, щекастое лицо Пугачева и, мысленно ухмыляясь, подумал: «Оно и видать... Сохнешь, как в омуте рыба-сом».) Сохну и сохну. А ни хрена не поделаешь, у меня Россия на руках, несусветная война, а у ней что? Кончил, Лексей? Благодарствую. Ступай в Военную коллегию, пушай писчики строчат копии проворней, чтоб в ночь указы были разсланы... Головой отвечаешь!.. Вся коллегия головой отвечает! – крикнул он изменившимся, властным голосом. – Да послать сюда Творогова!

На указы и воззвания Пугачева народ откликнулся с готовностью: башкирцы и заводское население восстали как один человек.

Начался в Уфимской губернии разгром заводов: Вознесенского, Верхотурского, Богоявленского, Архангельского, Катавского и других. Хозяева, или управляющие, спасаясь бегством, сидя в городах, еще не охваченных восстанием, просили у главнокомандующего князя Щербатова быстрой помощи. Князь Щербатов резонно отвечал, что не может на каждый завод поставить воинский отряд и что если заводы разоряются, то в этом более всего повинны сами заводчики, ибо «жестокость заводчиков со своими крестьянами возбудила их ненависть против господ».

По дорогам, по горным тропам стали прибывать к Емельяну Пугачеву толпы заводских крестьян: с проклятьем побросав свои немилые деревни, они бежали сюда с семьями. Были доставлены две пушки, свинец, порох, ружья.

Пугачев «скоплялся» в долине реки Миаса восемь суток. Под его знамена собралось ополчение более чем в две тысячи душ.

А военачальники правительственных отрядов потеряли и самый след его.

Покидая свои семьи, бросая родимые места, народ сознательно обрекал себя на всякие лишения, на

голод, болезни, пытки и даже смерть. Народ ничего не страшился, им руководило единое желание – поскорей сыскать вождя, хотя бы атамана, старшину, либо государева полковника, всего же лучше самого батюшку Петра Федорыча, мужицкого заступника.

Меж тем на реке Миасе вожди мещеряков и башкирцев – Рахмангул Иртуганов, Кинзя Арсланов и другие – вели с Пугачевым переговоры.

– Когда же твоя царства будет? – взывали они. – Бьемся, бьемся, а толку нет. Уфа, да Казань, да Москва брать надо, на царство залазить надо, а то мы спокинем тебя! – кричал Иртуганов. – Жизнь своя всяк собак жалеет, мы помним, какой казня был нам при государыне Лизавет. Ты тоже нас в беду хочешь бросить? Ты вскочил на конь да и был таков, а мы оставайся.

Сидели в юрте государя. Пугачев был мрачен. «Опять зачинается непокорство, как и там, в Берде», – горько раздумывал он.

– Детушки, верные мои мещеряки и башкирцы, – заговорил он уветливым голосом. – Послушайте, что скажу... Поддержите меня таперича. Наш Бог да ваш Бог Аллах авось помогут мне одолеть врагов и воссесть на прародительский престол всероссийский. Тогда утру вам слезы и возвеличу вас.

Иртуганова он пожаловал в генералы, другого старшину – в бригадиры, а человек пять произвел в полковники.

Глава VI

Путь-дорога. Пред лицом царя

1

Наконец-то купец Долгополов добрался до Казани. Здесь проведал, что бунтовщики стоят в Берде, под Оренбургом. А другие толковали, что самозванец у Троицкой крепости.

Долгополов немедля пошел на толчок, купил там разные и интересные вещички: шляпу с золотым позументом, красные козловые сапоги форсистые, еще кой-что, нанял надежного провожатого Гаврилу (кузнец и крашенину красил) и, помолившись усердно Казанской богородице, выехал на Оренбургскую дорогу.

Гаврила поругивал Пугачева, говорил, что он самозванный вор, послушай-ка, мол, что про него, злодея, казанский архиепископ Венимин в бумагах пишет... Тогда Долгополов разоткровенничался, сказал:

– По правде-то, я не сына еду искать, как тебе сказывал, а этого злодея. Я покойного государя знавал, он мне за овес должен остался сот семь, поболее... Ежели оный злодей доподлинный государь, спрошу долг, а ежели нет, назовусь купцом, так, полагаю, вешать меня будет не за что...

К вечеру встретили запряженную четверней карету. В карете старый барин с седыми усищами трубку курит, рядом с ним старуха в чепце, на запятках лакей. А сзади – обоз, на пятнадцати подводах барское добро везут. На переднем возу девка с двумя кошками.

– Откудова, куда? Кто такие? – не утерпел Долгополов.

– Барин Зотов, секунд-майор в отставке, в Казань перебирается, – ответил с воза рыжий мужик.

– А пошто в Казань?

– Животы спасаем. Лихо у нас, – и мужик махнул рукой в сторону Оренбурга.

Долгополов переглянулся с кузнецом Гаврилой, вздохнул, прочел про себя «умную» молитву. По дороге – гонцы взад-вперед на взмыленных лошаденках, надетая через плечо кожаная с медными бляхами сумка бьет по бедру.

– Дорогу, дорогу! – кричат они.

Попадались в кибитках – во весь мах – офицеры, трусцой пылили на двуколках сельские попики в поярковых, порыжевших от времени шляпах грибом. Вышагивали, подоткнув подола, странницы по святым местам. Плелись слепцы, калеки, нищоброды.

В татарской деревне Долгополов нанял возницей татарина. Поехали дальше. Стали встречаться кучками человек по полсотне и больше пешие русские мужики, башкирцы, татары. Вид их необычен: загорелые, обросшие волосами, в лохмотьях, с топорами, пиками, дубинами.

– Откудова Бог несет, братцы?

– Из-под Берды, – отвечали Долгополову. – Царя-батюшку злодеи осилили там, с малым войском в горы батюшка ушел, а мы по домам вот разбреемся... Отвоевались!

– С чем же воевали-то? У вас и оружия-то нет.

– Ха, с чем!.. С кулаками!.. По тому по самому наших там густо полегло. Кои в плен забраны, кои побиты... прямо тысячи... а мы уткли.

– Что ж, виниться будете? – спросил кузнец Гаврила.

– Пошто виниться... Мы за правду стояли, за землю, за вольности... Нам так и так пропадать.

– Супротив кого же, православные, воюете вы? – улыбаясь, спросил Долгополов.

Его телегу окружили. Высокий широкогрудый старик сказал гулким басом:

– Мирских супротивников много, мил человек... Господ будем щупать да начальников. Вся Русь вскорости возьмется полымем, уж поверь. Либо наш верх содеется, либо миру окончание наступит.

Долгополов тронулся вперед. Из толпы закричали:

– Эй, проезжающие! А что, солдатишек не чутко там?

– Нет, – ответил кузнец, – шагайте смело.

Вскоре попалась путникам ватага арестованных крестьян, человек в сорок. Все они связаны общей длинной веревкой, идут в две вожжи, непокрытые головы наполовину выбриты, руки скручены назад, в глазах хмури и злоба.

– Куда, солдатики, гоните? – спросил Долгополов.

– В Казань, в Секретную комиссию, – неохотно пробурчали конвойные.

– В чем проштрафились?

– За царя-батюшку постоять хотели, родимый, вот и казнимся! – с надрывом прокричал тоненьким голосом широкобородый дядя.

На третьи сутки, поздним вечером, путники увидели, как горит в версте от дороги барский дом со службами. Со всех сторон на подводах и вскачь мчались к пожарищу мужики соседних деревень, весело перебрасывались докрасна раскаленными словами:

– Зачинается и у нас хвиль-метель!.. Ха-ха!

– Четвертое поместье на сей неделе пластает.

– Ой и лихо ж будет барам!

Долгополов с Гаврилой решили остановиться в большом селе Мазине, недельку отдохнуть, переждать тревожное время. Поселились у старого попа – отца Нила. Поп жил, как мужик, грязно, с клопами, с тараканами, ходил в лаптях, в холщовых портках и рубахе, а сверху – ветхая ряса из домотканой крашенины. Церковную землю обрабатывал сам-друг с поповичем, возил навоз, пахал, сеял, косил траву. Гаврила помогал отцу Нилу, Долгополов слонялся без дела, высматривал, вынюхивал, чем пахнет сегодняшняя жизнь. Повадился он к старому пасечнику Прову, на речке возле леса пчел держал, сорок колодок барских да пять своих. Даст купец деду копейку или две, а тот ему меду в угощенье.

– Пчела ныне медиста, – говорит согбенный дедка Пров, – гляди, Господь-батюшка цветов-то што насеял да уродил.

Разведут костер. Долгополов щепоть чайку принесет, попотчует деда невиданной травкой. Дед доволен: с медом, да при речке, да за разговорами целый котелок опорожнят с гостем.

К деду частенько хаживали крестьяне. Как-то под вечер собралось десятка полтора молодых и старых мужиков, среди них беглый солдат, бывший в лагере Пугачева, и еще барский конюх-парень – он накануне,

по приказу управляющего, был выдран. Появилось вино. Дед речист. Подвыпив, стал небылицы говорить.

– Доподлинно это Петр Федорыч, своего прародительского добивается престола. Уж так, ребяташки, уж так, – шамкал Пров; лицо и лысый череп крылись потом. – Путешествовал он по всему своему государству в тайности, разведывал обиды да отягощения мужикам от бар. И желал он еще три года не объявляться, что жив, а токмо не смог стерпеть: уж больно в шибкой пагубе простой люд живет. Он теперича, наш надежа-государь, многими городами завладел, на Москву для покорения сто полков отправил, а под Кунгур собственный его полковник Белобородов двадцать полков ведет. Два завода государь в степу построил, белый да черный порох вырабатывать чтобы... Белый порох, сказывают, шибко палит, а огоньку не дает ни на эстолько...

– Враки... это... как его... Уж я в точности ведаю, враки, дедка, – перебил беглый солдат-пугачевец; левая рука его подрублена под пазухой саблей, на перевязи; он лежал у костра, курил трубку, поплевывал в огонь. – Белого пороху вовсе нет, дедка, а черный, это... как его... есть. Много. И пушки есть. Пушек без счета. У Ново-Троицкой крепости они в шесть ярусов понатырканы. А зовется тая крепость Петербургом, а Чабаркуль – Москвой.

Пасечник Пров озлился на беглого солдата, зафырчал:

– Есть белый порох, есть! Мне верные люди сказывали, тоже самовидцы... и еще сказывали: приехали-де в Оренбург его высочество наследник Павел Петрович с супругой Натальей Алексеевной, и сам граф Захарий Чернушев с ними. Ну, знамо, и главный командующий, генерал-аншеф Бибииков Александр Ильич, прикатил. Да как съехался Бибииков с государем, да как увидел точную его персону, зело устранился. Вовсе это не Пугачев Емелька, как в питерских манихвестах врут, а сам государь Петр Федорыч перед ним. Что делать, как быть? Тут Бибииков глотнул из пуговицы лютого зелья, крикнул: «Прости меня, дурака, ваше величество!» – и умер. Вот как было дело-то. А ты баешь, служба, белого пороху нет... Есть белый порох! Эй, ребята! Давайте-ка винца чуток.

Мужики не знали, кому верить: сухорукому солдату или Прову, однако они ловили каждое слово с упоением, поощрительно перемигивались друг с другом, с охотой поддакивали и Прову и солдату – они в душе верили им обоим.

– Хоша белого пороху на свете и нет, – упрямо сказал солдат, с раздражением посмотрев на старика, – одначе, это... как его... Одначе ты, дедка...

– Не может тому статья, – оборвал солдата подвыпивший Долгополов, – чтобы сам Павел Петрович с супругой прибыл из Петербурга. В газетине печатали бы, гонцы бы скакали, скороходы, скоморохи... Я из Москвы недавно, в известности был бы об этом самом.

– Ну вот, толкуй, кто откуль, – недовольно перебил купца пасечник Пров. – А я-то знаю доподлинно. Нашему мельнику отписывал про это Гаврило Ситников, служитель Юговского завода, он ныне при армии государя в атаманах ходит. Ему ли уж не знать!

– Да уж эт так, – поддержали деда со всех сторон. – Мимо нас беглые то и дело сигают: кто к царю в войско, кто от царя... Много верных толков идет в народ... Ну и приврут когда, уж без того слово не молвится, а все же таки...

– Да и каждому разуметь можно, – опять начал пасечник Пров, – ежели бы то был не подлинный государь, давно бы царица против него полки прислала... А где они, полки-то? Пришлют роты две-три, и те без вести пропадут...

– Ну а кто же царя под Бердой-то разбил? – прищурился на старика Долгополов. – Мне повстречались давеча мужики в дороге из его армии, сказывали.

– Врут мужики твои, либо ты врешь! – закричали на Долгополова. – А мы все с часу на час ждем, чтоб быть за государем. Хоша Катерине Алексеевне присягу и принимали, токмо не от чистого сердца, а поневоле. Раз она бабского званья, так пущай бабы и служат ей.

Разговоры велись до глубокого вечера. Вот и заря угасла, пчелы спать легли, перебрякивались утки в камышах, потянуло из лесочка смолистым запахом. Выпито компанией изрядно. Конюх Гараська, что вчера выпорот на конюшне был, слетал к целовальнику за водкой. Долгополов на это дело три гривенника дал. Гулянка продолжалась. Костер жарко потрескивал. Гараська плакал, бил себя в грудь, скрежетал зубами:

– Вот токмо пусть, токмо пусть государь придет али гонец евоный, кишки управителю выпущу... Не трог мужиков!

– А помещика-то, барина-то своего, будешь вешать? – глядя на его буйство, хохотал народ.

– Пошто?! – крикнул Гараська и перестал плакать. – Барин у нас добрецкий, худа от него нет никому... Да и наезжает к нам редко...

– Это все едино, – шумели мужики. – Худ ли, хорош ли, а вешать неминуемо. От царя-батюшки указ: дави!..

Пьяный солдат приплясывал, падал на землю, шумел:

– При государыне Анне Ивановне служил! А вот теперя батюшке Петру Федорычу этого... как его... довелось служить... мирскому печальнику. Он до простого люда жалостлив!

– Эка штука – Анна Ивановна твоя, – перебил его дед Пахом. – Я при самом Петре Перьвом службу нес, да и то молчу, – кряхтел старик, стараясь приподняться с четверенек. – Он, царь-отец, может, своеручно дубинкой меня на смотру вдоль спины огрел... Да и то молчу... Он крут был, покойничек... А белый порох есть. Без полымя палит... Есть белый порох, есть!..

Пьяный Долгополов шел домой один.

– Ур-ра царю Петру Федорычу!.. Ур-ра!! – не помня себя, вопил он.

Тут на него наехал всадник, нагайка с визгом опоясала его вдоль спины, он сверзился под изгородь в крапиву и потерял сознание. Как сквозь сон чувствовал: волокут его за ноги по земле и накладывают в зашиворот.

2

Ранним утром Долгополов сидел в поповской избушке против офицера и трясся, как в лихорадке. Все вчерашнее вылетело из головы, в мыслях мелькало: «Фальшивый вексель, фальшивый вексель, купец Серебряков погону из Москвы послал... пропал я...» У печки седовласый поп в лаптях трубку курит, на пол поплевывает, взглянет исподлобья на купца – улыбнется, взглянет на офицера – нахмурит брови. Попович курицу щиплет, матушка блины печет. А в церковной ограде восемь под седлами коней пасутся, солдаты враспяжку на траве лежат.

Начался допрос с острасткой, то есть с поднесением офицерского кулака к бороденке Долгополова и с угрозой выбить зубы, на что Долгополов смиренным голосом отвечивал, мол, зубы у него давно выбиты, а что касемо векселя...

– Какого векселя?.. Отвечай на вопросы, мерзкий дурак! Мне возиться некогда с тобой.

Долгополов тотчас смекнул, что дело тут не в векселе, значит, все слава Богу, из остального всего можно, как ни то, выкрутиться... Паспорт есть, денежки в штанах. Он сразу взбодрился.

Стал показывать, что он ржевский купец Остафий Трифоныч Долгополов, стал густо врать, что у него во Ржеве две мельницы, фабрика канатная, на три раствора лавка с красными товарами, он при дворе бывал, овес для царских конюшен доставляет, саму матушку-государыню, ее императорское величество, Екатерину Алексеевну не единожды видывал. А ищет Долгополов распутного сына своего Ваську: он, наглец, с красным товаром в орду поехал, да, надо полагать, и товар и деньги пропил... Ах, как наказан он сыном от Господа!

Узнав о богатстве Долгополова и просмотрев подорожную его, офицер тотчас изменил свое отношение к нему:

– Вот что, господин купец... Поелику пред законом ее величества все равны, то я вас, в силу долга и присяги, обязан привлечь за ваши крамольные вчерашние кличи... Кому вы кричали «ура»?

– Не помню-с. Зело пьян был, васкородие. В забвении-с... Хоть убейте, ей-ей, ничего не помню-с. Окромя сего, не угодно ли в картишки со мной, васкородие, на золотце?

Офицер был умягчен питательным обедом, крепкой выпивкой и золотой игрой. В игре офицеру дьявольски везло. Долгополов от подозрения был освобожден, офицер перепорол на соседнем селе восемь человек да двух поджигателей повесил, в селе же Мазине, где квартировал купец, наказал розгами двенадцать крестьян и увез с собой закованного в кандалы солдата-пугачевца.

По отъезде офицера с карательным отрядом отец Нил перекрестился, взял Долгополова за плечи, сказал:

– Ну, чадо Остафие, возблагодарим Господа, еже избавил еси тя...

Оба встали на колени и кланялись в землю с усердием.

На другой день Долгополов заторопился ехать дальше. Кузнец Гаврила в ночь от него сбежал, сказывают – поймал в поле барского коня и махом утек в Уфу, будто бы в стан самого Емельяна Пугачева.

Долгополов двинулся с верным татаринном Махметом. Стали попадаться частые пугачевские разъезды. Татарин присоветовал сказывать встречным, что едут-де они к государю. Долгополов так и делал. Поэтому обиды от пугачевцев путникам не было. Из разговоров татар да башкирцев Долгополов примечал, что были те к Пугачеву весьма усердны.

– Царь-бачка на реке Миас пошла, оттуль побежит крепости брать, воевод крошить. Красноуфимск заберет да Осу. Оттуль на Казань...

– Ну, а что, – любопытствовал Долгополов, – дворян-то много извел царь-батюшка?

– У-у-у... Борони Бог! – зашуриваясь, причмокивая, взмахивали татары руками. – Бульно много... Что дворян, что офицеров...

– Ну, а купцов не вешает?

– Нет, – сказал татарин.

– Ну, слава Богу. Я купец.

– Купцам он... секим башка! – Татарин, ударив ребром ладони себе по шее, вытаращил глаза на купца.

Долгополов съежился, испуганно передохнул.

В селе Яныч Долгополова окружили мещеряки и татары: «Куда едешь? Пошто едешь?»

– А еду я к великому государю Петру Федорычу искать приказчика... С товаром поехал, без вести пропал. Пущай государь по своей великой милости сыск учинит подлецу!

Бывший тут «походный мещерятский полковник», мулла Канзафар Усаев, увидя в телеге Долгополова туго набитую кису, строго спросил его:

– Куда едешь? Какой дела? Какой прикащик? Чего врешь?..

Он вытащил кинжал, раскосыми глазами стал рассматривать клинок, стал щупать на ноготь лезвие.

Долгополов оробел, подумал: «Влопался, никак. Кажись, бунтовский начальник?» И, запинаясь, ответил:

– Я везу государю подарок из Питера.

– А ну, кажи! – еще строже приказал видный, дородный Канзафар и посверкал кинжалом.

Долгополов нехотя развязал кису.

– Карош подарок, шибко карош, – проговорил Канзафар.

Он был очень подозрителен и решил сопровождать купца до царской ставки. Приняли путь к городу Осе. Разъезды попадались еще чаще, но путников никто теперь не останавливал.

На другой день Канзафар стал настойчиво приставать к купцу, от кого он везет подарки государю. Долгополов сначала мялся, потом не колеблясь объявил, что едет он с дарами от великого князя цесаревича Павла Петровича. Жирное скуластое лицо Канзафара растеклось в сладостную улыбку. Прикряхтывая, он зачистил: «Якши, якши, якши!» И послал сына своего предупредить государя о радостном известии.

3

Через три дня Долгополов прибыл в войско. Пугачев стоял в сорока верстах от Осы. Сын Канзафара Усаева, присланный своим отцом, успел прискакать сюда еще вчерашний день. Весть о гонце от наследника престола стала известна многим.

Долгополов был позван к Пугачеву. С немалым трепетом он подходил к царской палатке: вот сейчас увидит государя императора, бритого, напудренного, в буклях, в треуголке, в высоких тугих ботфортах. Но, войдя к царю, он остолбенел, едва не крикнул: перед ним сидел на ковре, поджав по-татарски ноги, чернобородый дядя в шелковом халате, лицо крепкое, румяное, с загаром, темные глаза выпуклые, быстрые, почти весь лоб закрыт в кружок подрубленными, наперед зачесанными волосами. Все же Долгополов низко поклонился.

– Здорово, дедушка, – ответил Пугачев. В палатке никого больше не было. – Что за человек, откуда прибыл, к кому и зачем? – спросил Пугачев негромко, усталым голосом.

– Я ржевский купец Остафий Долгополов, прибыл к вашему величеству с подарками от великого князя, наследника Павла Петровича.

– Гм, – промычал Пугачев, и под его усами мелькнула едва приметная улыбка. – От наследника, говоришь?

– Так точно, ваше величество... Павел Петрович приказал вам кланяться и вот подарочки шлет, – и Долгополов, развязав черную козловую кису, вышитую мишурой, стал подавать дары: шапку с золотым позументом, сапоги красные, отороченные серебром и мишурою, перчатки замшевые, шитые шелком.

– Благодарствую, – сказал Пугачев, – и тебе и Павлу Петровичу! Ну, каков он, все ли благополучен?

– Он молодец хороший, ваше величество. На немецкой принцессе изволил обвенчаться.

– Как звать принцессу?

– Наталья Алексеевна... У меня и от нее есть вашему величеству подарок, два, многой цены стоящие, камня, – и, привстав на колени, Долгополов подал государю два самоцветных камушка: восточного хрусталя сердечко и четырехугольный желтоватый.

Взяв на ладонь, Пугачев полюбовался ими, лизнул один, сунул оба в карман за пазуху.

– Гм, – крепко сказал Пугачев и сдвинул брови.

По спине Долгополова забегали мурашки. Запинаясь и отвешивая низкие поклоны, он зашамкал:

– А я служил при вашем величестве и ставил овес для лошадок ваших в Рамбове. Я сразу узнал вас... Вы были еще великим князем тогда, и за пятьсот четвертей мне контора не заплатила.

– Ага! Помню, помню тебя... Знаю и то, что должен тебе.

– А я теперича в несчастье, ваше величество, дорогой-то ограбили меня.

– Молись Богу, старче, вот разбогатею, все уплачу, да, сверх того, и награду примешь.

Надо платить. Пугачев сразу понял, что перед ним плут и проходимец. Он лихо посмеивался в бороду, щурил глаз, побрякивал.

Долгополов, в свою очередь, понимал, что бородатый казак, прикинувшийся императором, ни капельки ему, Долгополову, не верит, только ловко прикидывается, что верит.

Вслушиваясь, как сдержанно шумит и топчется за палаткой народ, Пугачев что-то про себя решил. Он

похлопал в ладоши. Вошел Яким Васильевич Данилин. Пугачев приказал приподнять полы палатки и, увидав стоявших сзади казаков: атамана Овчинникова, Перфильева, Творогова, Канзафара Усаева, Ильчигула, Чумакова и других, велел им войти в палатку.

– Садитесь на чем стоите, господа, – шутливо сказал он.

Все сели на ковер, плечо в плечо.

– Вот, прислушайтесь, господа генералы, и вы, атаманы... Сей день Бог великую радость послал мне, – и Пугачев, указав на Долгополова, спросил его: – Ты с чем, дедушка, прислан? Говори!

– А прислал меня, ваше величество, наследник Павел Петрович. «Поезжай немедля, – говорит, – посмотри хорошень, доподлинно ли то родитель мой, да вертайся, – говорит, – обратно с отповедью».

– Узнал ли ты меня? – ликующим голосом воскликнул Пугачев и вскинул голову.

– Как не узнать! – захлебнувшись восторгом, воскликнул Долгополов. – Вы в Санкт-Петербурге жаловали меня, ваше величество, вот этим самым зипуном и шапкою... – Купец дернул за лацкан у своего купленного в Казани на барахолке коричневого зипуна, тронул бархатную, с мерлушковым околышем шапку и убежденно сказал собравшимся: – Вы, господа великие начальники, не сумлевайтесь: есть он доподлинный император Петр Федорыч, уж я точно знаю, много раз в Питере видывал их особу.

Пугачев показал старшинам подарки, затем сказал хмуро:

– Сделайте народу объявление о сей радости нашей. И пускай прочь расходятся, каждый ко своему месту!

Все, вместе с Долгополовым, ушли. Остался один Перфильев. Полы палатки опустились. Корявый Перфильев, крутя ус, проговорил:

– Сдается мне, не высмотрень ли это подосланный... Помнишь, государь, как граф Орлов подослал меня схватить? Надо глаз да глаз за ним!

– Нетути, – молвил Пугачев рассеянно, – этот человек верный! Он в Рамбове у меня бывал.

– Ну, как хошь... Тебе с горы виднее, – грубовато сказал Перфильев.

Свидание и весь разговор государя с Долгополовым облетел за ночь все войско. Большинство уверилось, что старик прибыл послом от цесаревича, стало быть, царь-батюшка есть воистину Петр Федорыч Третий, не для-ча и мозги ломать.

И были среди яицких казаков, старшин и есаулов такие, кои в другой раз приступили к Пугачеву:

– Веди нас, ваше величество, на Москву! Непокорных князьев да графьев мы переловим, а простой люд за тебя весь горою! И наследник престола там с войском... И все прочие близкие твои!

Пугачев не очень-то надеялся на «близких» своих в Москве и отвечал людям с хитринкою:

– Время, время, детушки, не приспело еще мне! Яблочко созреет, само упадет... Вот втапоры и царь-колокол подыдем, и из царь-пушки пальнем по супротивнице моей Катьке... Расходитесь, молодцы, с Богом по местам. Сам ведаю, когда нам милостью Божией на Москву идти.

Глава VII

На берегах реки Камы

1

Оса стояла в трех верстах от Камы на главном Казанском тракте. С падением Осы мятежникам открывался свободный путь на Казань. Узнав, что к Осе приближаются толпы пугачевцев, казанский губернатор фон Брант забил тревогу.

В распоряжении губернатора военной силы было слишком мало. Он послал гонца в Сарапуль с приказом находившемуся там майору Скрипицыну немедленно выступить со своим отрядом на выручку Осы.

По дороге Скрипицын присоединил к себе отряд капитана Смирнова, а также воинскую команду Рождественского завода; всего скопилось двести солдат и сто вооруженных крестьян. С этой горсткой бойцов Скрипицын 18 июня пробился без потерь в крепость. Всего защитников Осы было тысяча человек, при тринадцати пушках.

Едва успел майор Скрипицын осмотреться и принять общее командование, как к пригороду подступил сам Пугачев. Он расположился станом в трех верстах от Осы и послал в крепость приказ: «Сдавайтесь на милость». Ответа он не получил и велел расседлывать коней, идти на штурм.

Пригород Осы имел тесную крепостцу: вал, деревянные стены с башнями, за стенами жались друг к другу Успенская церковь, канцелярия, воеводский дом и склады.

Дозорные увидели движение в стане пугачевцев. В пригороде поднялся переполох: женщины, старики, чиновный люд ломались в крепость спасать животы свои. Майор Скрипицын, воевода Пироговский и унтер-шихтмейстер Яковлев всячески ободряли жителей. Капитан Смирнов даже вышел с отрядом из крепости, чтобы отбросить башкирские толпы. С крепостных батарей открыли огонь картечью, осажденные стреляли из бойниц по врагу без умолку, лили с навесов горячую смолу, скидывали бревна, швырялись камнями. Однако Смирнов был сломлен, бежал за стены, часть его людей ушла в стан мятежников.

Пугачев наблюдал штурм издали. У него только три пушки, одну пушку разорвало. Он не хотел зря терять людей, приказал дать отбой, чтоб назавтра увеличить штурмующие силы и сразу раздавить Осу.

Яицкие казаки кучкою гарцевали вокруг крепости, кричали:

– Сдавайтесь, сдавайтесь! С нами сам батюшка Петр Федорыч...

Пугачев со старшинами ехал берегом Камы, хозяйским глазом осматривал течение реки, выбирал место для переправы войск, чтобы в скором времени двинуться дальше, к Казани. Дорога плоха, шла нагорным лесистым берегом, в логах она спускалась в мочажины, мосты через речушки ветхи.

– Наумыч, – обратился Пугачев к ехавшему рядом колченогому атаману Белобородову. – Пошли ты по деревням, пущай мужики день и ночь мосты ладят, в топах гати мостят, дороги ровнят.

Возле деревни Пристаничной, пониже острова, ватага рыбаков бродила у берега сетью. Увидав на горе всадников, рыбаки приостановились, защищаясь ладонями от солнца, задрали вверх бороды.

– Здорово, детушки! – крикнул Пугачев и стал со свитой спускаться к воде: с откоса посыпался песок и

галька. – Ну, как рыба, ловится?

Голоногие, без порток, рыбаки, спешно подтянув сеть, вылезли на берег, подолы посконных рубах у них взмокли. Дед прищурил на гостей белесые глаза, сказал:

– Рыба ничего, рыбы довольно живет в нашей реке. А вы кто такие?

Белобородов, улыбаясь глазами, пробасил:

– Нешто не видишь, старый хрен? Вот – государь наш, – и кивнул головой на Пугачева.

Государь был в обшитом позументами шелковом бешмете, в высокой мерлушковой шапке, за зеленым кушаком у него два пистолета, вдоль бедра сабля, в руке подзорная труба. Черный рослый конь плясал под ним. Разинув рты, вся ватага бросилась, как встрепанная, надевать портки. Приведя себя в порядок, народ повалился в ноги Пугачеву.

– Встаньте, детушки, не страшитесь: я защита ваша!

Четырехлеток Фомка, стоявший у куста в драной рубашонке – в прореху большой синеватый пуп торчал, – увидав, как мужики пали на колени, вдруг заорал блажью: «Ой! Ой! Ой!»

– Брось выть, пошто кричишь? – сказал Пугачев. – Заедку, малец, хочешь? Скусная заедка... Держи! – и бросил примолкшему Фомке розовый пряник.

– Кланяйся, сукин сын, – строжились повеселевшие крестьяне. – Скажи: спасибо, надежа-осударь!

– Па-а-си-бо, – хрипло протянул Фомка и, тоже повеселев, принялся грызть подарок.

– Пошто, пузан, плакал? Испугался, что ли? – опять проговорил Пугачев, улыбаясь на мальчонку.

– Спужа-а-ался, – пыхтел, усердно жуя, Фомка. – Думал: ба-а-рин... мужиков драть бу-ди-и-ишь...

Все засмеялись – всадники и рыбаки. А Фомка еще сильнее запыхтел, из левой ноздри его выскочил пузырь.

– Откуда будете, крещеные? – спросил Пугачев крестьян.

– Кои из Пристаничной, кои из Зубачевки, а вот мы с Назарием, два старика, государственные, твоей милости, крестьяне села Дубровы, уж прости нас, дураков, твое царское величество...

Пугачев попросил крестьян указать удобное место переправы; два старика вскарабкались на запасных лошадей, и все двинулись вперед. Дорогой Пугачев расспрашивал стариков про помещиков, про тяготы... А знают ли крестьяне, что он, великий царь, жалует их землей, и вольностью, и честью? Старики радостно поддакивали, кивали головами, утирали кулаками слезы.

Обласканные, взволнованные, они наперебой рассказывали государю про свое житье-бытье. Народишко зашевелился в ихнем месте еще в прошлом году о Рождестве. Прикатил к ним напыхом отряд башкирцев, коней в пятьсот. Набольший указ вычитал, что царь Петр Федорыч жив и стоит-де силою под Оренбургом. Мужики враз поверили, и набольший приказал слать выборных крестьян под Уфу, к графу Чернышеву, с объявлением о своей государю покорности.

– Как нам было сказано, мы так и повершили. А нынешним годом о масленице нагрязнул к нам твоей царской милости атаман Носков с шайкой, и наказал он нам быть сторожками от набегов казенных отрядов солдатских, велел расставить бекеты, караул держать. Опосля того наехал Федор Шмотин со своей шайкой, велел делать по селам заборы из жердья с двух сторон, чтобы солдатишкам препону положить. И был в его команде Воткинского завода мастеровой Тимофей, по прозвищу Коза...

– Знаю, знаю Козу. Изрядный мастер. Он при мне сейчас, – сказал Пугачев, вздохнув при мысли о злой гибели механикуса.

– Во-во! – оживились старики. – Сделал тот человек деревянную пушку, не хуже чугунной. И краской выкрасил. А первого апреля, как сейчас помним, подошла к нашему селу казенная команда смуту прекращать: «Пли да пли!» Тимофей Коза из деревянной пушки два раза и ахнул. С ружей палили, камнем швырялись. Одначе команда казенная верх взяла, вломилась в село, многих наших порубила и село огню предала. Мы в бег ударились, а кой-кого заграбастали да в Казань на расправу увели... Вот, твое царское величество, как дела-то у нас вершились.

Пугачев слушал со вниманием, то вздыхал, то покрикивал: «Ой, черти, ой, черти!» Потом сказал:

– Казань возьму, всем верным моим крестьянам, что в тюрьме маются, свободу дарю. А на место их, в тюрьму-то, врагов наших упрячу!

Место переправы выбрано было против Рождественского завода. Завод стоял на том берегу, за сосновым бором, попыхивал дымом и копотью.

– Белобородов! – крикнул Пугачев и насупил брови. Тот быстро сдернул шапку с черной головы. – Скажи Дубровскому, пущай писчики экстренные приказы пишут моим именем, чтоб все деревни оповещены были: на сем месте плоты ладить, лодки да челны гуртовать, баржи гнать сюды со всех местов. Все оное повершить в трое суток!

Казаки спешились, воткнули в песок пики, прислонили к кустам самопалы, чтобы разводиться костер. Ординарец, казак Ермилка, поскакал к рыбакам за котлом и рыбой.

День ясный, теплый, на душе Пугачева хорошо. У него опять большая армия, и народ все прибывает к нему. Он знал, что Оса завтра же будет взята, путь на Казань свободен: Михельсонишка где-то закрутился в горах, отстал, князя Долгоруковы да Щербатов сидят в Оренбурге с солдатишками, Деколонг в Челябине... Самый раз дело творить.

2

Перестрелка продолжалась. Казаки возле стен горланили:

– Ежели не верите, что истинный государь, посылайте к нам знатеца, пусть дознается!

После обеда того же дня пойманный башкирец показал: у царя-то восемь тысяч войска, много пушек, вдосталь пороху. Население приуныло. Воевода собрал народ в крепость, все начальство появилось на паперти Успенской церкви.

– Пригород наш окружен со всех сторон, – говорил воевода, – помощи ждать неоткуда. Вот, решайте. А мое слово – биться до послета.

Народ разделился на два лагеря. Одни настаивали, что надо защищаться против вора, другие – что надо сложить оружие: Пугачев не вор, а истинный царь Петр III. Страсти крепки. Попахивало дракой.

Тут вышел из толпы отставной сержант гвардии Анцыферов. Старый, с торчащими, как у кота, усами, с седой косой, лежавшей на спине, он был в ветхом мундире, подпирался палкой с завитком, семенил мелкими шажками.

– Его величества покойного государя Петра Федорыча я самовидцем был. Я у его величества на карауле стоивал. Дозвольте во вражий стан сходить, дознаться!

Тогда написали на имя Пугачева предложение, сунули записку в зеленого стекла штоф, и, как подъехали к стене яицкие казаки, силач-целовальник Михайло Калач швырнул в них этим штофом:

– Лови!

Царский стан в трех верстах, на берегу Камы. Когда прочли Пугачеву бумажку, сказал он:

– Ага, смотрины! Ладно... Седлай коня под хрыча-сержанта. Пускай едет сюды.

После обеда он был навеселе, приказал адъютанту скликать в круг сотни две казаков, созвать старшин, сотников, есаулов, хорунжих.

– Вот, детушки, – сказал, посмеиваясь, Пугачев. – Сейчас смотрины мне будут, вдругорядь удостоверитесь, что есть я истинный царь Петр Федорыч Третий. Ну-кося, детушки, дайте мне казацкую одежду, коя погаже, облокуюсь в нее, пускай по обличью узнает.

Одетый простым казаком, Пугачев вышел из палатки, спросил:

– Что, не приехал еще?

– Едет.

– Двадцать казаков-молодцов – становись в ряд. Я в середке стану двадцать первым.

Шеренга бородатых казаков построилась. Гвардии сержант Анцыферов, сухопарый, высокий и согбенный, в застегнутом на все пуговицы мундире, с тремя медалями и в напудренном парике, подведен был к кучке старшин. Указав на шеренгу, главный атаман и походный полковник Белобородов сказал ему:

– Вот, старичок служивый, посередь этих казаков его императорское величество изволит упомещаться. Присмотрись и узнай владыку своего. Он нарочно облик простого казака принял, без обману чтоб...

Гвардии сержант кивнул головой, покашлял, пожевал губами, ссутулился и, подпираясь палкой, мелкими шажками подсеменял к живой шеренге. Солнце било ему в оловянно-блеклые, обморщиненные глаза. Он прикрыл их, как козырьком, ладонью, прищурился, подал корпусом вперед и, пристально

всматриваясь в лицо и фигуру каждого казака, не спеша прошел весь строй. В конце сам себе скомандовал: «Кругом! Ать-два» – и круто повернулся. Его от дряхлости качнуло в сторону.

Вдруг взгляд его столкнулся с хмурым взором Пугачева. Старик враз остановился, его как бы толкнул кто назад и вбок, для устойчивости он растопырил ноги, уперся палкой в землю и выпучил глаза.

– Что, гвардии сержант, узнаешь ли меня? – властно, громко, чтоб все слышали, спросил старого служаку Пугачев и тяжело задышал, нахмурил брови.

– А Господь тебя ведает, – зашамкал тот. – Ежели истинно ты ампирактор, так дивно помоложе втапоры был и... бритый. А теперича в бороде вон.

Все присутствующие, сразу оробев, водили взглядом от Пугачева к старику. Стоявший тут любопытства ради Остафий Долгополов приоткрыл рот и, шевеля ноздрями, обнюхивал воздух, как лисица. Пугачев еще строже насупился, еще шумнее задышал.

– Смотри, дед, лучше! Узнавай, коли помнишь меня.

Народ затаил дыхание. Задние приподымались на цыпочки, чтоб лучше видеть. Всяк понимал, что, ежели сержант не угадает, будет худо ему. Понимал, надо быть, и старик это. Но не страх, а глубокое раздумье было на лице его. Сугорбясь и покашливая, подошел он вплотную к Пугачеву и, прищурившись, пристально, как в зеркало, вглядывался в прижмуренное лицо его. Сделалась глубокая кругом тишина. И вдруг негромко, так что Пугачев едва расслышал его, негромко, но строго старик спросил:

– С Катериной-то, царицей-то, как? Уймешь, да рядком и сядешь, нам на погибель... Ась?..

Голова сержанта тряслась, он пуще сощурил глаза, наморщил нос – кошачьи усы его встопорщились. Враз ухватив все, что сказал и не досказал старик, Пугачев одну руку опустил ему на плечо, другую вскинул в сторону бугорка, где, темнея в голубине небесной, стояла виселица-глаголица:

– Видишь? Это ей со дворянством, Катьке моей, гостинец... Чуешь ли меня, старче?

– Чую... Чую... ваше... величество! – гаркнул внезапно старый сержант, отступил на шаг и – руки по швам – замер, как в строю.

– Значит, признаешь, друже? – поднял Пугачев голос и взыграл глазами.

– Признаю, ваше величество!

Вся толпа вдруг разрядилась дружным выдохом, все заулыбались. Пугачев неторопливо стирал с побелевшего лица пот. Затем он шагнул к старику и крикнул ему в рот, как глухому:

– В таком разе иди к своим да толкуй, чтоб не противились мне, государю вашему, а я уж позабочусь о всех!..

Воевода Ф. П. Пироговский, тот, что был в гостях у Зарубина-Чики в Чесноковке, еще майор Скрипицын, духовенство и народ, бывший в Успенской церкви, набросились на возвратившегося сержанта: ну что, ну как, похож ли?

– Ежели по волосам да по глазам, быдто он и не он, – ответил сержант, – а по слову своему правильному – царь и есть... Полагаю я, старый, так: неча нам кровь своевольно лить, покоряться нам ампирактору без бою!..

После минутного молчания майор Скрипицын, потупив глаза в землю, сказал:

– У нас весьма мало патронов да и пороху. И силы наши ничтожны. Мое мнение – пока не поздно, сложить оружие.

– Как же это можно?! – сверкая глазами, воинственно проговорил унтер-шихтмейстер Яковлев. – За сдачу без боя государыня не похвалит нас.

– Государыня не похвалит, зато государь скажет спасибо! – с горячностью выкрикнул низенький, быстроглазый подпоручик Федор Минеев.

Все головы разом повернулись к нему. Воевода застучал в пол шпагой. Начальник гарнизона майор Скрипицын вскочил, закричал:

– Арестовать, арестовать мальчишку! Вы, подпоручик, какого же государя в виду имеете?

– Петра Федорыча, вот какого! – неожиданно прогудел вместо Минеева тучный, красноносый протопоп. Он поднял обе руки и, потрясая ими, гулко говорил: – Сон видел аз, грешный. Сама богородица явилась, рекла: понудь, протопоп, возлюбленный народ мой: да преклонятся Петру, восставшему супротив жены прелюбодейные...

– Сдаваться, сдаваться! – громогласно поддержали протопопа в толпе.

Народ опять пришел в волнение. Начальство растерялось. Арестованный офицер Минеев передал шпагу Скрипицыну и был уведен солдатами на гауптвахту. Воевода тянул бесновавшегося протопопа за ряску:

– Опомнись, отец Панфил.

Тот вырывался, тряс кулаками, вопил:

– Оставь, куда тянешь!.. Сон видел я. Богородица...

– Сдаваться, сдаваться! – орал народ.

Майор Скрипицын и капитан Смирнов, чтоб положить конец шумной расправе, сказали:

– Давайте нам срок, будем за всех обсуждение иметь, как быть.

День клонился к вечеру. Над лесами, за Камою, поднялись туманы.

У царской палатки, называемой башкирцами кибиткой, стояли со знаменем часовые и группа спешенных казаков с пиками, на пиках разноцветные флажки. Сам Пугачев со старшинами и дежурным Давилиным ожидали в палатке, какой ответ даст Оса, обсуждали план штурма. Пугачев был в цветном платье – кафтан в позументах, на груди звезда, сапоги красного сафьяна.

– Я полагаю, – говорил Белобородов, – надобно навить десятка два возов сена, да соломы, да бересты и двигать их фрунтом к крепости, а за ними казаки да люди наши. А как придвинем ближе, зажжем и в штурм ударим... Я таким побытом взял Уткинский завод.

Неожиданно ввели гвардии сержанта. Пугачев подбоченился. Увидав его, старик пал на колени.

– Ваше ампирасторское величество! Как есть вы царь-государь, народу богоданный, об одном докладую вам: выжди время, крепость твоя будет.

Пугачев милостиво протянул ему руку. Сержант зажмурился и облобызал пахнущую чесноком и бараниной руку государя.

– Давилин! Поднеси-ка старикану вина. Пей, гвардии сержант! (Старик выпил изрядный стакашек крепчайшей водки и закашлял.) Пей еще! Редко гостишь у меня...

– Какое редко! Докучаю ежечась... Урра-а-а!.. – завопил сержант и выпил вторую чару, вслед третью, забодал головой, стал отфыркиваться, как конь в воде.

– Ну, гвардии сержант, теперь езжай обратно вспять. Толкуй офицерам, чтоб ворота отворяли да с

честью встречали меня. Да смотри – с коня не ляпнись, как поедешь: вино дюже забористо, сам наследник в дар мне дослал его.

Старик стал от трех чарок багровым, едва взобрался на коня и обратной дорогой ехал в великой радости. Вез его губастый казак Ермилка, сидели они верхом двое на одном коне: впереди казак, сзади, крепко обхватив казака под мышки и припав к его спине, тряся сержант. Треуголку и палку с завитком он потерял, седая коса моталась по спине, как маятник. Закрыв глаза, он сплевывал, что-то бормотал, потом задудил по-стариковски жалостливую песню:

Ах вы, бедные головушки солдатские,
Как ни днем, ни ночью вам покою нет,
Что со вечера солдатам приказ отдан был,
Со полуночи солдаты ружья чистили,
Ко белу свету солдаты по строю стоят...

В крепость вели его под руки. Он кричал:

– Господа офицеры! Полно, не противься... Ниспослан нам подлинный царь-государь Петр Федорыч... Уррра-а!..

Однако и весь следующий день прошел у осажденных в совещаниях: сдаваться или нет? Пугачев выжидал. Но вот 20 июня, поутру, не получив ответа, пугачевцы стали приближаться к пригороду. Впереди двигалась вереница возов с горючим. Из крепости прогремело несколько пушечных выстрелов, башкирцы в ответ пустили из луков рой каленых стрел. Войдя в пригород, лошадей выпрягли, возы подталкивались людьми, за возами шло войско с горящими факелами. Опасаясь пожара, жители кричали с крепостных стен:

– Стой, стой! Дайте нам сроку до завтрашнего дня, без драки сдадимся.

Наступление приостановилось.

3

Ранним утром 21-го ворота крепости распахнулись. Войска с воеводой Пироговским и прочими офицерами, а также духовенство и вся масса горожан при колокольном звоне вышли из пригорода с крестным ходом, с хлебом-солью. Обезоруженные солдаты, распустив по плечам длинные волосы, уныло шли с боевым знаменем.

Вдали показался со свитой Пугачев.

Огромная толпа, предшествуемая духовенством, вразноголосицу пела: «Спаси, Господи, люди твоя». Гвардии сержант Анцыферов нес перед собой запрестольный слюдяной фонарь с зажженной свечой; кашляя и посовываясь носом, он тоже подпевал за толпой дребезжащим старческим баском: «Побе-еды благоверному императору нашему Петру Фео-о– доровичу на супротивные твоя да-а-руй!» А шедшая впереди старушонка, забыв наставление попов, по старинке верещала фистулой: «Благоверной государыне нашей Катерине Алексе-е-евне...» Сержант крикнул: «Дура!» – и, поддав ей коленом «киселя», надсадно и зычно, чтобы все слышали, запел: «Императору нашему Петру Федоровичу...»

– На колени, братцы! Шапки долой! – раздались голоса.

Все стали на колени. Тучный, в золотых ризах, протопоп, с крестом и Евангелием в руках, опустился возле воеводы, прямо в пыль.

Тихим шагом подъехал Пугачев, взглянул хмуро на лежавшую у ног своих толпу. Под взором его жители сникли, многих прохватила дрожь; в страхе ждали, каким судом осудит их грозный царь.

Только ребяташки бесстрашно столпились возле нарядного всадника. Две собачонки, побольше и поменьше, яростно облаивали царского коня. Проворный казак Ермилка ловко поддел на пику лохматую дворнягу и швырнул через плечо, а ребят разогнал, помахивая плеткой.

Начальник гарнизона майор Скрипицын, униженный и растерявшийся, скомандовал преклонить знамя. Пугачев милостиво взглянул на майора, громко проговорил:

– Бог и государь прощают тебя. Ежели будешь верно служить мне, награждение примешь... Белобородов! Шпагу не отымать у его. Что касемо остальных офицеров – отнять!

Пугачев слез с коня, приложился ко кресту и приказал – солдат и жителей привести к присяге, воинскую команду отправить в лагерь, солдат остричь в кружальце, одеть по-казацки, в крепости забрать все ружья, порох, пушки, а крепость сжечь.

В этот миг тарарахнул с крепостной стены пушечный выстрел. За ним – другой... Картечь трижды метко стегнула по толпе. Начался переполох, крики: «Измена!» Старый сержант бросил фонарь в пыль, со стоном свалился. Вместе с ним упало с десятка жителей Осы. Сидевший на коне Остафий Долгополов, ахнув, пронесся прочь, сослепу налетел на всем скаку на всадника-башкирца, перемахнул через голову своего коня и ляпнулся в кусты.

Пугачев вскочил в седло, насупил брови, обернулся к своим, махнул рукой. Башкирцы и казаки бросились к крепости. Унтершихтмейстер Яковлев, а с ним два престарелых солдата, отказавшиеся пойти на поклон к «злодею», были захвачены на крепостной стене, у дымящихся пушек. Их тут же подняли на пики.

Крепость запылала в трех местах. Начался вольный грабеж пригорода.

Вернувшись в ставку, Пугачев произвел майора Скрипицына в полковники.

– Ведомо мне, что ты стоял за сдачу крепости без бою. Из твоих солдат я Божией милостью делаю Казанский полк. Ты будешь командиром...

Бывший тут подпоручик Минеев, завидуя внезапному возвышению Скрипицына, мстительно посверкал глазами на своего обидчика.

Наутро были собраны яицкие казаки с башкирскими старшинами. Пугачев объявил им:

– Ну, детушки! Получил я с нарочным от наследника, от сына своего великого князя Павла Петровича, богатые дары с письмом. Назначает он мне свиданьице на Волге. Многое множество войск у него. А посему мы, Божией милостью, решили сегодня же выступить во город во Казань со всем воинством своим верным.

Под вечер, когда крепость вместе с церковью догорала, забили барабаны, затрещали трещотки, с гиком рыскали по стану вестовые – пугачевцы выступили походом вдоль реки.

Ни офицерам, ни даже Скрипицыну верховых лошадей не дали, их рассадили по отдельным повозкам, за ними негласный учинили надзор. Погода стояла отличная. Скрипицын верст пять прошел пешком. Он видел, что у вольницы мало дисциплины: башкирские толпы слабо вооружены и плохо обучены, у мужиков рогатины, топоры да вилы, дороги убойные, в походе полная неразбериха, тыл брошен на произвол судьбы, лишь пугачевское имущество да свитские «дамы» в карете воеводы и сам Пугачев сопровождаются сильным отрядом яицких удальцов-казаков. Скрипицын пред походом приметил, как выгоняли нагайками пьяных бражников из оврагов, из кустов, как вышибали днища у бочонков с вином, – крики, перебранка, гвалт... Нет, какое же, к черту, войско это! С таким войском долго не погуляешь.

Сердце Скрипицына сжималось. Да, прав был воевода Пироговский: Оса могла продержаться некоторое время, а там подоспел бы Михельсон. И вечная память офицеру Яковлеву.

– Где полковник Скрипицын? Эй, где полковник Скрипицын? – продираясь через встречные толпы, ехал ординарец Пугачева, губастый казак Ермилка, в поводе у него незаседланный конь.

– Здесь я. Что надо?

– Господин полковник? – подъехал к Скрипицыну Ермилка, широкая рожа его растеклась в улыбке. – Его величество приказал вас сыскать, все ли вы в добром здоровье, и пушай, говорит, на конь сядет да со свитой вместе едет.

Скрипицын с неохотой залез в седло и поехал с казаком подле дороги, лесом. Казак спросил:

– Ну, глянется ли вам здесь?

Скрипицын посмотрел в хитрые глаза Ермилки, подумал: «Подослан, черт... выпытывает» – и ответил:

– Порядку маловато. Я государю служить стану верой, правдой и, ежели дозволено будет, порядок наведу.

Ермилке понравился ответ, он был искренне рад, что в их войске, слава Богу, имеется теперь всамделишный вояка-полковник. Курносый Ермилка утер ладонью рот, опять заулыбался, хвастливо сказал:

– Ха! Да это ж мы просто переезжаем, тут всячинки с начинкой. А вот вы уже на деле поглядите нас... Мы на драку лютые!..

Впереди во много глоток заорали:

– Стой! Стой!

Скрипицын вымахнул из леса и поскакал вперед. На круто спускавшейся дороге – треск, грохот, черная ругань, лошадиный визг. Многочисленные кони, впряженные в тяжелые орудия, карьером мчались с кручи, сшибали друг друга, путались в построюках. Пушки, на резком повороте, одна за другой кувыркались под скалистый обрыв, увлекая за собой лошадей.

– Стой! Держи коней! Тормози! Руби построюки! – что есть силы закричал Скрипицын.

Люди лавой бросились напересек остальным, мчавшимся с горы орудиям и, не щадя себя, кой-как остановили лошадей. Пять человек затоптано тут было насмерть, с десятков изувечено. А под откосом – вверх колесами четыре чугунные пушки и мортира. Две лошади раздавлены, многие с перебитыми ногами, с распоротыми животами жалобно стонали, повизгивали. Их пристрелили. Скрипицын созвал своих людей, и под его умелой командой пушки волоком потащили вдоль реки к низменному берегу. Прискакал второй ординарец:

– Чего стряслось? Пошто стреляли?

– А вот, гляди! Коней покарябали.

Узнав от ординарца о случившемся, Пугачев нахмурился, повернул жеребца, хотел сам наводить порядок, однако передумал.

– Кто вожатый? Подать сюда вожатого, – приказал он, а красотке Василесе пригрозил нагайкой за то, что не вовремя при всем народе по-нахальному подмигнула ему из экипажа.

В той же карете с красотками торчал на облучке Остафий Долгополов. Видом был он несчастен и жалок: ссутулился, шею втянул в плечи, голову обмотал тряпицами, уши и левую ноздрю заткнул куделью, дабы в мозги не проникла дорожная пылица. Голосом умирающего он повествовал свитским девкам, как поранен был под Осой двумя картечинами, из коих одна ударила ему в грудь и, как черт, отскочила от святого нательного креста, другая прошибла череп и благополучно вылетела вон. Дамы, подпрыгивая, хохотали, били в ладоши.

– Ах, какой вы, папаша, веселенький!..

Сзади кареты, на поповских дрогах – колокольчик под дугой – двигалась семья атамана Белобородова: жена Ненила и малые девчонки – Авдотья с Марфочкой. Белобородов вывез их из родного села Богородского. Жена недавно прислала в стан гонца, велела сказать мужу: «Пушай забирает нас к себе: жили вместе и умирать будем вместе». Девчонки с любопытством посматривали вокруг, сосали леденцы, царь-батюшка подарил им целое лукошко сладостей, а Марфочке – цветистый полushалок.

Впереди отряд казаков высокими голосами, под удары тулумбаса, залиvisto пел боевую песню. А с противоположного берега плыли поперек реки в челнах, в лодках и на саликах сотни крестьян. Сняв войлочные шляпы и поднявшись дыбом, они кричали:

– Эй, надежа-осударь! Прими нас, отец! Эй, где ты, кормилец?..

Привстав на стремянах, Пугачев махал им шапкой:

– Здорово, детушки. Я здесь! Ладьте к берегу. Айда за мной!

Емельян Иваныч сразу повеселел, и, когда рыжебородый вожатый подъехал к нему с повинной (голову вниз, без шапки, губы сияют что-то сказать – не могут), Пугачев только и всего что огрел его крест-накрест нагайкой да сквозь зубы прошипел:

– Прочь с глаз моих!

Вожатый, виновник катастрофы, поеживаясь, нахлобучил шапку и нырнул в толпу. А Пугачев обернулся к Скрипицыну. Тот подъехал, взял под козырек.

– Вольно, полковник! – скомандовал Пугачев. Ехали они рядом, голова в голову. – Спасибо мое царское тебе, полковник, что стараешься. Доложили мне, что пушки, кои под гору дураки мои кувырнули, поднял ты и опять на колеса поставил. Спасибо, спасибо!

– Рад стараться, – глухим голосом, без всякого подобострастия, ответил Скрипицын.

Ночевали в лесу, на берегу Камы, вблизи Рождественского завода. Приплыла из-за реки заводская депутация (расходчик Иван Кондюрин да четверо рабочих), поклонилась пудом сотового меду: рабочие ждут, мол, царя-батюшку к себе в гости.

Ночь была светлая, теплая. От леса шел хвойный дух. Рыбаки старались наловить к царскому столу рыбы. Всюду костры, шорохи, выкрики, звяки. Ржали, всхрапывали кони, жировали на сочной лесной траве. Пятнадцать пушек сгружены в одно место, задернуты дерюгами. Возле пушек часовые, чуть подальше – палатка начальника артиллерии Федора Чумакова. Бледная северная ночь опоила блаженным сном всю пугачевскую вольницу. Тишина. Высланные во все стороны дозоры охраняли людской покой.

Вновь произведенный полковник Скрипицын, несколько часов тому назад присягнувший Пугачеву, лежал под сосной на войлочном потнике, глядел в небо. На его сухощавом скуластом лице выражение крайней подавленности. Да, ему не до сна теперь. Он – предатель, он – клятвопреступник, он не воин, не защитник российского престола, попросту – подлец. На глазах у него злобные слезы, зубы скоргочут, как во сне у болящего глистами. Да, да, надо отыскать своих... Он вскакивает, озирается по сторонам.

– Господин майор, – слышит он негромкий, но внятный окрик.

Он передергивает плечами, придерживая шпагу и пригибаясь, идет на голос, садится рядом с капитаном Смирновым, тут же молодой офицер Бахман. Скрипицын говорит:

– Давайте ляжемте, будет удобнее и не столь заметно. Хорошо, что вы близко. А не знаете, где Пироговский и Минеев?

– Я здесь, – выдвигается из полумглы низенький сутуловатый подпоручик. – Здравствуйте, господин полковник, – говорит он.

– Простите, Минеев, я не полковник, а майор.

– Но вы же сегодня произведены...

– Бросьте, Минеев! Вы на меня все еще сердитесь, да? Простите, пожалуйста. Сами понимаете, долг службы, а вы тогда, в крепости, при всем народе: Петр Федорович – царь. Теперь сами видите, какой он царь. Ложитесь, Минеев, потолкуем.

– Да я змей тутошних боюсь, я постою.

– Чего ж бояться змей? – озлобленно, как бы издеваясь над собою, говорит Скрипицын. – Мы сами змеи...

– Да, змеи. Однако можем и орлами стать... От нас зависит, – двусмысленно говорит Минеев и садится.

Вздрагивающим голосом Скрипицын дает оценку того положения, в которое они все, по малодушию своему, попали.

– Исхода нет. Мы погибли, – безнадежно шепчет он.

Томительное молчание. Капитан Смирнов сказал:

– Есть два выхода: бежать или пулю в лоб...

– Тсс... потише, – предостерегает его Скрипицын. Вблизи проехал дозор из трех казаков. – Ха, бежать! Разве не видите? Нас караулят. Да и куда? В Осе пугачевский отряд, а в лесу, в степи да всюду, всюду рыщут башкирцы и восставшие смерды...

– Мне сдается, – зашептал Смирнов, – Михельсон вот-вот нагонит Пугачева и расколотит его в прах. Куда мы, изменники, денемся? Ну, куда?

– Нет, господа, – привстав и опираясь рукой о землю, с взволнованной решимостью сказал Скрипицын. – До такого позора нам не дожить. Совесть замучит. Да лучше башкой о камень...

У подпоручика Минеева на бритых губах чуть приметная улыбка.

– А выход есть, – тенорком проговорил молодой Бахман и тоже приподнялся. – Надо написать казанскому губернатору... Так, мол, и так... Предупредить об опасности...

– А знаете?.. – ткнув офицера в плечо, вскричал Скрипицын и тотчас зажал себе ладонью рот. – А знаете, Бахман, я тоже об этом думал, ей-Богу, клянусь вам, – возбужденно шептал Скрипицын. – Значит, решено? А я сумею собрать своих солдат в кучу, и, когда начнется бой, мы ударим пугачевцам в тыл. Так и напишем губернатору...

– Да, но с кем и как послать? – уныло спросил капитан Смирнов, вздохнул и задвигал морщинами на лбу.

– Ну, об этом не сомневайтесь, – сказал Скрипицын. – Этим письмом, буде оно дойдет до губернатора, мы облегчим свою вину.

– Хм, – хмыкнул подпоручик Минеев и нервно потянулся, кости в суставах хрустнули. – Напрасно, господа, делаете себе иллюзию. Какие бы письма мы ни выдумывали, как бы кулаками себя в грудь ни били, все равно все мы будем преданы суду. И, поверьте, пощады нам не будет...

– Следовательно? – посунулись все к Минееву и шумно задышали.

– Выход из сего предоставляю сделать вам самим, – голос Минеева вздрагивал, в глазах неприязненный блеск.

– Пулю в лоб? Бежать?

– Нет, – ответил Минеев.

– Ну, так что же, говорите.

Вести спор и раздумывать было некогда. Обстановка требовала действий. Да к тому же и Минеев от прямого ответа уклонился.

Рапорт губернатору Бранту составили короткий, «с приложением к оному двух его, Пугачева, злодейских, о преклонении к нему народа, указов». Рапорт подписали майор Скрипицын, капитан Смирнов, подпоручик Бахман.

4

Следующим утром пугачевцы двинулись в путь. Из-за реки, с лесных дорог, с боков, навстречу продолжали валить толпы конных и пеших мужиков, спрашивали встречных-поперечных:

– Где царь-батюшка? Мы, братцы, к вам... Господ своих порешили под метелку. Вот, всей гурьбой. Послужить желательно... Веди к царю, указывай! Челом бьем.

Так множилась вольная мужицкая рать Емельяна Пугачева.

К обеду войско подтянулось к переправе.

У берега красовались чисто струганные «колумевки», плоты, лодки, великое множество челнов, весь берег у Рождественской пристани кишмя кишел ожидавшими государя крестьянами. Горели костры, варилось в котлах пиво. Много раскинутых холщовых палаток. Бабы, девки, ребяташки, распряженные телеги с лесом поднятых оглобель.

Пугачев к народу не спустился. С высокого взлобка он осматривал в подзорную трубу всю переправу (опорой для трубы служило плечо низкорослого подпоручика Минеева), сказал:

– Кажись, дивно хорошо, посуды много, и погодые задалось доброе... Ну, наперед поснедать надо, а уж после того... Эй, стряпухи, накрывай скатерти в холодке, на травке под сосной... – Пугачев был весел, скреб обеими пятернями густоволосую, давно не мытую голову. На взлобке они – вдвоем с Минеевым. – Ну, как, ваше благородие, служишь?

– Служу, ваше величество, – стукнув каблук о каблук, вытянулся Минеев.

– Служи, брат, служи, ништо... Бывало, как на престоле сидел, многих вот таких молодчиков, как ты, в чин производил. А иным часом на другого и притопнешь, и оплеуху дашь... Служи, брат, служи. Ась?

– Я завсегда верой и правдой, – козырнул Минеев; глаза его вдруг заискрились решимостью, губы стали кривиться. – И дерзну доложить вам... одну неприятность... с полковником Скрипицыным...

– Царская палатка готова! – под самое ухо Пугачева заорал подбежавший верзила-казак в бараньей шапке. – Так что пуховики взбиты, мамзели нарумянились, рыбаки живых налимов принесли...

Вздвогнув от громоносного крика, Пугачев сердито отмахнулся:

– Пошел! – и, нахмурив брови, глянул в смущенные глаза Минеева. – Ну-ну, толкуй: какая еще там неприятность?

Минеев оглянулся, поближе подступил к Пугачеву и тихо, с волнением, забормотал:

– Государственная измена, ваше величество. Скрипицын, Смирнов и третий, немчик, написали казанскому губернатору поносное письмо с изветом на вас, ваше величество.

Пугачев прищурил правый глаз и зло погрозил Минееву искривленным пальцем:

– Ну, смотри, офицер: Скрипицын в военном деле знатец, к тому же старается... Ежели на Скрипицына ты облыжно показал, – вот эту елку видишь? На ней и закачаешься...

– Верьте мне, государь. Я вам пригожусь. Я всю Казань, как свои пять пальцев... Имею свои соображения, как быстро взять ее.

– Ты богат, поди? Деревни, поди, есть? Сердце, поди, поет, что царь дворян зорит?.. А как вас, супротивников, миловать-то?

– Из бедных я, государь, ни деревень у меня, ни денег... Мне терять нечего... Я из самого низкого,

убогого шляхетства.

Пугачев быстро ушел в палатку. «А что, ежели Скрипицын уничтожил письмо или успел его отправить? Ведь он шушукался с целовальником и с голицынским приказчиком?» Минеева бросило в жар и в холод. «Что сделал, что сделал я! – мысленно повторял он, прикрыв лицо ладонью и бессильно повесив голову. Он чувствовал, как ноги его начинают трястись, сердце сжимается. – Но ведь я же обдумал все, я же сознательно. Это не мальчишеский порыв, а так и надо было».

И, как молния, вломилась в душу дерзость, разгоряченную голову охватил азарт игры в жизнь и смерть...

– К черту! Держись, Минеев Федька! – с задором выкрикнул он. – Либо в герои, либо на виселицу.

...Трех оговоренных офицеров нашли не вдруг. Их привели под конвоем. Пугачев кончал с атаманами под сосной обед. Стол был прост: тертая редька с квасом, налимья уха, гречневая с медом каша. Вдовица Василиса в венке из полевых цветов шелковым платочком обмахивала ему взмокшее лицо.

Было очень жарко, душно, от земли подымалась испарина. Пугачев восседал на пуховых подушках; он в беспоясой, мокрой от пота желтой рубахе с расстегнутым воротом, в широких штанах.

Офицеры со связанными назад руками стояли возле. Молоденький Бахман дрожал. Полуплешивая голова капитана Смирнова поникла на грудь, безжизненными глазами смотрел он в землю; земля вся в хвоях, мураши бегают, рогатый жук ползет. Майор Скрипицын как бы не в себе, белобрысые брови его нахмурены, покрасневшие от бессонницы глаза смело и ненавистно глядят в лицо Пугачева.

От места переправы сбегались крестьяне на любопытное зрелище. Яицкие казаки кольцом окружили царскую ставку, никого не пропускают. Дежурный Давилин передал Пугачеву отобранный у Скрипицына пакет с двумя манифестами. Емельян Иванович поспешил пальцы, развернул письмо, приготовился читать. Рядом сидевший с ним Чумаков шепнул ему: «Вверх ногами держишь». Пугачев перевернул письмо, нахмурился и, водя взглядом по строкам, стал шевелить губами. Затем ткнул Чумакова локтем, сказал ему:

– Да-а, зело похабно написано. Измена... – и крикнул: – Секретарь! Дубровский! Где ты? Читай само громко.

Алексей Дубровский, в новой казацкой одежде, с подобострастием принял бумагу из царских рук и начал внятно вычитывать.

– Так-так-так, – протянул Пугачев, – хорошо, сукины дети, пишут, складно! Все, что ли? Та-а-к... Подпоручика Минеева сюда!

– Я здесь, ваше величество, – выдвинулся вперед Минеев.

Он дрожал всем телом, был бледен, как мертвец.

– Жалую тебя, подпоручик Минеев, чином подполковника. Дубровский, слышишь? Чтоб моя Военная коллегия написала о сем именной указ. – Затем Пугачев наскоро отер подолом рубахи пот с лица и обратился к связанным: – Что ж, сволочи, в ступе вас, змей ползучих, истолочь али живьем изжарить? (У Смирнова вдруг ослабли ноги, он как-то боком повалился на колени, побелел.) Ну, Скрипицын, полковник мой, недолго же ты послужил мне. А ведь я тебя и в князя мог произвесть... – Голос Пугачева, как это ни странно, звучал теперь мягко, глаза подобрели. Минеев неприятно поежился, а Белобородов с Перфильевым поняли, что недаром атаманы за обедом втолковывали царю, что Скрипицын – полковник дельный, опытный, что он может принести еще им большую пользу. Да и сам Пугачев не особенно-то обескуражен был обнаруженным письмом: хоть сто писем посылай губернатору, все равно Казань будет взята. – Ах, Скрипицын, Скрипицын, – сожалительно качал Пугачев головой. – Ведь мне доведется лишить тебя полковничьего чина. Уж не взыщи... И как ты мог умыслить такое против государя своего! Ась?

– Какой ты мне государь! – громко сказал Скрипицын.

Пугачев в изумлении открыл рот, выпучил глаза, откинулся спиной к сосне.

А Белобородов в досаде махнул рукой, буркнул: «Пропал, дурак» – и отвернулся.

– Ты вор и обманщик, – возвысил Скрипицын голос. – Ты преступник государственный. Ты...

– Замолчи! – Пугачев вскочил, весь затрясся, швырнул в Скрипицына горшком с кашей.

Скрипицын плюнул в него и закричал:

– Солдаты, казаки, мужики! Чего смотрите на врага государыни?! Вяжите его!

Пугачев в бешенстве выхватил из-за пояса Чумакова нож, кинулся к Скрипицыну, чтоб поразить его, но тот увернулся, Скрипицына сгребли в охапку. Пугачев бросил нож, лицо его стало багровым, он закричал резким, как свист стрелы, визгом:

– Вздернуть! Вздернуть! Немедля!

Мужики прорвали цепь, хлынули к связанным, чтоб расправиться с ними. Казаки ощетинили пики, гнали толпу прочь. Беспоясый, босоногий Пугачев, едва дыша от приступа ярости, спешил в свою палатку. Никто еще не видал мужицкого царя в таком исступлении.

Скрипицын, Смирнов и Бахман повешены были на двух тихих соснах-близнецах. По указанию Минеева были схвачены приказчик Ключников и целовальник. Минеев обвинил их в знании и сокрытии предательского умысла Скрипицына.

Вновь прилепившиеся к пугачевцам крестьяне, видя впервые, как вешают людей, испуганно похохатывали.

А дед Агафон, пришедший с народом из села Сайгатки, чтоб пристать к воинству батюшки-царя, пожалел казненных, перекрестился, прошептал: «Упокой, Господи, их душеньки», взмотнул бородой и плаксиво сморщился.

– За что же это их, сердешных? – утирая слезы, спросил он пробежавшего мимо казака.

– За шею, дед, за шею! Что, жалко господ-то?

– А чего их жалеть, – испугался Агафон и замолчал.

Казак запустил руку в правый карман штанов, вытащил горстку медных денег, запустил руку в левый карман, вытащил алую ленточку.

– На, старинушка. Поди, внучка есть алибо сноха молодая?.. Видел ли государя-то нашего?

– А к чему мне его видеть-то? Царь и царь...

Он поблагодарил казака, закинул за плечо кошель и потащился по лесной тропке в обратную дорогу.

На следующий день, чем свет, войско стало переправляться через Каму. Все обошлось благополучно. Утонуло лишь несколько лошадей, две негодные пушки да человек десять пьяных мужиков.

Переправой артиллерии руководил сам Емельян Иванов. Отъезжая от берега в дальний путь, он в последний раз взглянул на сосны, где смирнехонько висели казненные им офицеры. Взглянул и тяжело вздохнул.

Глава VIII

«Как во городе было во Казани»

1

Как только было получено губернатором Брантом известие о падении Осы, Казань с усиленным рвением принялась готовиться к самообороне.

Вскоре прибыл из Петербурга начальник следственной комиссии Павел Потемкин, вызванный из действующей армии Румянцева и только что произведенный в генерал-майоры.

Мот, форсун, картежник, он с полной уверенностью ждал подачки от высочайшего двора, чтоб хотя отчасти погасить висевшие на нем долги. Да, ему во что бы то ни стало надо выслужиться перед императрицей, завоевать себе ее милостивое расположение. Не старый, очень высокий и тощий, лицо круглое, серые, слегка раскосые глаза с наглинкой. Он приехал сюда повелевать, он готов считать себя выше главнокомандующего, он утрет нос всем этим незадачливым воякам, разным Фрейманам, Деколонгам и Щербатовым, он, Павел Потемкин, троюродный брат «великого» Потемкина, он всем, всему миру покажет, как надо сокрушить набеглого царя Емельку Пугачева с его «каторжной сволочью». Потемкин со всеми обращался надменно, он любил пускать пыль в глаза, похвалялся своей храбростью и тем, что он наторелый знаток военного искусства. Прочих же военачальников, в том числе и губернатора, он считал бездарью, бездельниками и трусами. «Мне бы только грудь с грудью с Пугачевым встретиться!» – в открытую бахвалился он.

А между тем распорядительный губернатор Брант при помощи генерала Ларионова принял всевозможные меры к защите города. Но беда его заключалась в том, что средств к обороне было слишком недостаточно. Город располагал всего-навсего семьюстами человек регулярной команды, дальнейшая защита зависела от числа и доблести вооруженных жителей.

Тогдашняя Казань, расположенная между речками Казанкой и Булаком, состояла главным образом из деревянных строений. Она делилась на три части: крепость, город, слободы. Кремль, или крепость, был в состоянии полуразрушенном, он стоял на берегу Казанки и тянулся вдоль Булака, образуя собою замкнутый многоугольник общей длиной около двух верст. В нем помещался Спасский монастырь, над стенами высилась старинная башня Сумбеки, татарской ханши. На восток от кремля раскинулся город с каменным гостиным двором, женским монастырем, многочисленными храмами, мечетями и немногими каменными домами именитого купечества, помещиков, крупных чиновников.

Далее стояли слободы, составлявшие предместья города. На берегу озера Кабана – слобода Архангельская, влево от нее – Суконная, здесь шла дорога на Оренбург. К Суконной слободе примыкало огромное Арское поле, в западной части его – загородный губернаторский дом, кирпичные заводы и роща; здесь пролегал большой сибирский тракт.

Спешно было приступлено к возведению оборонительной линии вокруг города и слобод общим протяжением пятнадцать верст. Она должна была состоять из девяти земляных батарей, соединенных между собою рогатками. Но к приходу Пугачева успели сделать лишь пять батарей, да и те вооружены были только одной пушкой каждая.

Отправлены нарочные в отряды Михельсона, Попова и других военачальников с просьбой как можно

скорей поспешать на спасение города Казани и губернии.

Однако между начальниками небольших воинских частей не было согласованности. Старшие в чине старались присоединить к себе отряды младших, возникали ссоры.

Вся эта неразбериха и сумятица была на руку Емельяну Иванычу. Силы его возросли до семи тысяч человек при двенадцати орудиях. Пугачевцы широко раскинулись по обоим берегам Камы, охватив огромное пространство.

Главные силы армии двигались сухопутьем, вдалеке от Камы, через Ижевский завод, на селение Мамадыш. Затем, переплыв реку Вятку, они взяли путь прямо на Казань.

Меж тем Казань продолжала готовиться к самозащите. Все вооруженные жители были распределены по участкам, каждому назначен свой пост. По орудийному выстрелу и церковному набату всем защитникам города предписано быть на своих местах.

Деятельно готовились к обороне слободы Суконная, Ямская, Архангельская, а также Первая казанская гимназия. Это учебное заведение для дворянских детей находилось в ведении Московского университета. Начальник гимназии фон Каниц человек военный и не старый, у него все было поставлено на военную ногу. Еще с появлением в Оренбургском крае Пугачева фон Каниц ввел обучение воспитанников пешему строю, стрельбе, фехтованию. Молодые люди занимались этим делом с охотой [52].

Когда подошло время, фон Каниц сообщил губернатору, что гимназия может выставить семьдесят четыре человека, все они будут вооружены пиками, ружьями, а учителя и два дежурных офицера, как люди «шпажные», будут иметь по паре пистолетов. Губернатор назначил гимназическому корпусу действовать против Арского поля, вблизи Грузинской церкви и гимназии. Гимназисты должны были защищать батарею, поставленную на открытом месте. Ученики принялись укреплять свои позиции: врывали в землю надолбы, ставили рогатки, копали траншеи. Работали весело, много было пылу в молодых сердцах, но иные из них нет-нет да и вздохнут, и покосятся в ту сторону, откуда должен появиться Пугачев. У них нет и не было сомнения в том, что Пугачев душегуб, разбойник, что он кровный враг им. Недаром же, вспоминают они, и архиепископ Вениамин несколько месяцев тому назад предавал его «анафеме»; они помнят, как всем строем они стояли на площади возле собора, как заунывно перезванивали колокола и хор трижды пел Емельке Пугачеву «анафема проклят». Их, учеников гимназии, тогда было много, теперь же осталась горстка – почти все разъехались с папеньками-маменьками в укромные местечки.

– Ничего, ничего, – говорит толстяк юнец Мельгунов с шарообразной головой. – Я схватку с разбойником жду с нетерпением. С народом не страшно. Глянь, сколь людей-то!

– Да, – отвечает ему черноглазый красивый юноша Михайлов, отшвыривая лопатой землю. – Я тоже ни капли не боюсь... Начальник у нас храбрый, свои офицеры есть. Да может статься, Пугач-то и не придет сюда: Михельсон по пятам за ним гонится, авось не допустит до Казани.

– Жаль только, губернатор староват у нас.

– Староват-то староват, зато дочки его хороши.

– Хороши-то хороши... Это верно... Особливо Людмила, а губернатор-то староват.

– Староват-то староват, зато дочки хороши.

– Хороши-то хороши...

– Ха-ха... Ну, заладил!

Они оба бросили лопаты, сели на бревно и, заглядывая друг другу в глаза и улыбаясь, повели разговор про девушек, про беспечальное житье в гимназии. Забыв о Пугачеве, они вспоминали недавние

пасхальные каникулы, как три вечера подряд ученики, вместе с приглашенными барышнями, ставили трагедию «Семира», пьесу «Синеус и Трувер» Сумарокова, «Школу мужей» Мольера. Играли неплохо, даже был балет, на коем особенно отличались своим изяществом две дочери губернатора Бранта и три девушки-польки из семей ссыльных конфедератов.

– Черт! – сказал толстяк Мельгунов и, вытащив из кармана долю пирога, стал закусывать. – Я первый раз в жизни увидел наяву такие хорошенькие женские ножки. Две недели, понимаешь, снились мне.

– А мне и до сих пор снятся, – сказал черноглазый Михайлов. – Отломи-ка мне кусочек пирожка. Спасибо! И как только Пугача разделаем, в университет ни за что не поеду, гимназию брошу, женюсь. Мне скоро девятнадцать.

– Ты богатый, тебе можно и жениться, – проговорил толстяк, вытаскивая из другого кармана две ватрушки с творогом. – А ты знаешь, в кого я влюблен?

– Господа гимназисты! – прозвучал оклик офицера. – Вы что, баклуши сюда бить пришли? А ну, за дело!

Оба молодца схватили лопаты и с усердием принялись копать землю. Мимо них по Арскому полю громыхали возы с добром, двигались пролетки и дроги со спешно покидавшими Казань помещиками.

Вправо и влево по линии обороны идут работы. Не одна тысяча жителей, множество лошадей с утра до ночи трудятся над созданием надежных позиций. Бревна, камень, железо, хворост – все пущено в ход. Всюду пыль, костры, перебранка, крики. На шести конях пушку к батарее волокут. Слева, по лугу, маршируют утомленные солдаты. Там – группа проплыла на конях. Женщины с мешками собирают щепки, стружки. На лугу, в нескольких местах, раскинуты палатки торговцев, квас, сбитень, рубленое осердие, копченая рыбешка, «сорок душ на палочке», гороховики. По тайности есть в палатках и сивушное вино, и очищенный пенник.

– Наливай! – кричит обросший волосами бурлак и бросает торгашу деньги. – Сыпь на все, так и так пропадать.

– Пошто пропадать, – говорит кузнец в кожаном фартуке, похохатывая и поддергивая накиннутую на плечи кацавейку. – Пущай баре пропадают, а мы не пропадем... Батюшка нас не потрожит...

– Цыть! Засохни! – нестрашным окриком, по-приятельски, страшит его торговый. – Мотри, живо заметут...

Гурьба ребятишек, разделившись на две стаи, играет в войну: Михельсон в шляпе с петушиным пером, Пугачев с пикой, со звездой на груди и с наведенной сажеею бородищей. Швыряются галькой, тузят друг друга деревянными мечами, колют пиками: «Ура, ура! Бей Михельсона! Защищай царя!»

Старый бритый приказной с длинной шеей, замотанной гарусным шарфом, и с берестяным кошельем, из которого торчит большая, с сердитым оскалом щука, присмотревшись к игре, ласково кричит им:

– Эй, который здесь Пугачев? На конфетку!

– Я – Пугачев, дяденька... – с готовностью выкрикнув, подбегает к нему запыхавшийся мальчонка в черной бороде.

Приказной, сделав свирепый вид, схватывает его за вихры и начинает трясти:

– Вот тебе, змееныш! Вот тебе Пугачев, вот тебе царь! Ужо я полицейских сюда, ужо-ужо...

А там, за палатками, возле канавы свалка: толпа схватила двух подозрительных татар и двух русских.

– Вяжи их! От Пугача подосланцы...

– Да что вы, родимые!.. Мы тутошние, казанские...

– Айда, айда! – с криком бегут на скандал мальчишки, спешат солдаты, подкатил на коне офицер.

– Документы! Ах, нету? Забрать!

По луговине ехал верхом долговязый Потемкин.

И так по всей Казани и ее пригородам шла суетливая работа. Впрочем, мало кому верилось, что Пугачев в скором времени придет в Казань. Не верил этой возможности и недавно прибывший сюда Павел Потемкин. Он уже успел послать императрице Екатерине верноподданническое донесение. Между прочим он писал: «Нашел я Казань в столь сильном унынии и ужасе, что весьма трудно было мне удостовериться о безопасности города. Ложные известия о приближении злодея Пугачева к Казани привели в неописуемую робость, начиная от губернатора, почти всех жителей, почти все уже вывозили свои имения, а фамилиям дворян приказано было спасаться. Я не хотел при начале приезда оскорблять губернатора, но говорил ему, что город совершенно безопасен». Далее Потемкин уверял Екатерину, что скорее погибнет, чем допустит разбойника Пугачева атаковать город. «Я предлагал губернатору, что если он имеет хотя малый деташемент, человек в пятьсот, то я приемлю на себя идти навстречу злодею. По первому известию о приближении его от Вятки к Казани, я тотчас выступлю с помянутым деташементом».

Все это был лишь бахвальный дребезг слов. Еще не успеет донесение дойти до Екатерины, как автор его окажет все признаки подлинной трусости.

– Вот вам, пожалуйста, – говорил Потемкину губернатор Брант, представляя письмо татарина Ахмаметова, уведомлявшего, что 4 июля Пугачев со своей толпой стоял в экономическом селе Мамадыше. – А сегодня у нас уже седьмое июля.

Разговор происходил в кабинете губернатора. Потемкин, не знавший географии края, тотчас уткнулся в карту и, найдя Мамадыш, воскликнул:

– Не верю! Ложь!.. Господин губернатор, ваш татарин врет. Он или пугачевец, или вообще нечестный человек. Да посудите сами: ведь от Мамадыша до Казани по прямой линии полтора верста.

– Ну, по прямой линии Пугачев вряд ли пойдет... а дорогой до нас верст двести. Это ему на пять, на шесть переходов. Значит, дня через три злодей может оказаться здесь... Как снег на голову!..

В глазах Потемкина зарябило. «А мое донесение! Боже, что подумает императрица?!» Спотыкаясь на гладком ковре длинными, вдруг одрябшими ногами, сказал:

– Что же вы предприняли в смысле пресечения злодею пути?

– Мною послан навстречу деташемент в двести человек карабинеров и пехоты при одном орудии.

– Мало, мало, ваше превосходительство!

– Может быть... Но не могу же я оставить город без войска, – ответил губернатор и, пожевав губами, вперила глаза в заметно взволнованное лицо Потемкина. – Я бы мог, конечно, выделить еще человек пятьсот и бросить навстречу злодейской толпе, да беда моя, нет у меня искусных военачальников. Вот вы, Павел Сергеевич, вы вояка... Возьмитесь-ка за сию патриотическую миссию да потрепайте хорошенько злодеев в поле! Впереди вы, позади Михельсон. Прославленным героем были бы.

Потемкин побледнел, ему померещилась злодейская виселица, и сердце его еще более заскучало. Что за черт! Этот старикашка Брант либо колдун, либо... прочел, каналья, его, Потемкина, донесение императрице.

– Что я? Идти в поле? – обиженным тоном воскликнул он, и чуть раскосые глаза его заюлили. –

Досточтимый Яков Ларионович! Вы изволили запомнить, сколь высокий пост поручен мне ее величеством. И уж ежели я буду командовать, то не таким же жалким detachmentом, а воинскими силами всей Казанской губернии. Загляните в инструкцию, данную мне ее величеством. Мои полномочия... безграничны!

Губернатор тяжело задышал, ему ненавистен был апломб этого выскочки, он брезгливым голосом молвил:

– Я высочайшую на ваше имя инструкцию пристально смотрел. Там ничего такого нет, о чем вы изволите говорить... Вы, Павел Сергеевич, не более как главный начальник двух секретных следственных комиссий, в одну сливающихся. А главнокомандующим войск, против Пугачева выдвинутых, суть князь Щербатов...

– Да!.. Но, Яков Ларионович, именные высочайшие указы надо уметь читать между строк. Да к тому же и мой братец, Григорий Александрович Потемкин, говорил...

– Извините, господин Потемкин, – колко перебил его Брант. – Я сему предмету не обучался – читать высочайшие указы между строк. И обучаться не желаю.

2

Местность была лесистая. 10 июля Пугачев разгромил высланный ему навстречу отряд полковника Толстого, полковник в стычке был убит, солдаты его частью разбежались по лесам, частью передались Пугачеву.

– Дубровский! – обратился к вызванному секретарю довольный успехом Пугачев. – Напиши-ка жителям мой царский указ, чтоб покорились мне, государю, без сопротивления да приняли б наше императорское величество с честью, а город сдали без бою.

На другой день Пугачев подошел к Казани и остановился в семи верстах от нее, на Троицкой мельнице. Его толпа, растянувшаяся на несколько верст до села Царицына, постепенно подтягивалась к ставке. Армия Емельяна Иваныча никогда не была столь многочисленна: в ней насчитывалось по крайней мере до двадцати тысяч человек. Беда была лишь в том, что большинство крестьян вооружено из рук вон плохо: пики, рогатки, дубины, топоры. Несколько лучше снабжены вооружением горнозаводские крестьяне: многие из них – охотники – имели старинные ружья-малопульки.

Как ни старались офицеры Горбатов и Минеев, атаманы Овчинников и Творогов навести в армии боевой порядок, научить мужиков от сохи ратному делу, это им не удавалось: слишком быстро армия двигалась вперед, толпы крестьян то вливались в нее, то выбывали, чтобы попасть домой на полевые работы.

К таким воякам, наострившим лыжи восвояси, зачастую выезжал на коне сам Пугачев.

– Детушки! – начинал он стыдить людей. – Гоже ли, детушки, в этакую горячую пору покидать меня? Нивы ваши никуда не уйдут, бабы со стариками да ребятишками без вас там управятся. А ежели помощи не окажете мне – всего лишитесь: опять оседлают вас баре! Уж раз встряли, хвостом трясти нечего! Глянь, сколь народу с нами. А как подадимся к Москве, вся Русь мужицкая подыметя. Тогда мы, детушки, всех сомнем под себя, всех царицыных прихвостней-генералов повалим.

– Рады послужить тебе, надежа-государь! Остаемси! – кричали коноводы. Тем не менее многие уходили по тайности.

И вот – Казань. Пугачев отправил в город атамана Овчинникова со своими манифестами. Овчинников пробрался в пригороды Казани с четырьмя хорунжими, но вскоре вернулся.

– Не слушают, батюшка, – докладывал он Пугачеву. – Не слушают, а только бранятся.

– А коли бранятся, так мы с ними по-свойски перемолвимся, – гневно сказал Пугачев. – Готовь, Афанасьич, армию к штурму. Да не можно ли, чтоб сегодня в ночь Минеев с Белобородовым по тайности побывали в Казани да высмотрели, что надо?

– Слушаюсь, Петр Федорыч, – сказал горбоносый Овчинников, покручивая курчавую, как овечья шерсть, русую бородку.

– А утресь сам я объеду позиции. Да хорошо бы «языков» добыть.

– Перебежчики есть, батюшка. Перфиша с них допрос снимает.

– Ну так – штурм, Андрей Афанасьич! Я чаю, народу у нас сверх головы. Одним гамом страху нагоним. А Михельсонишка-то кабудь затерял нас...

– Да ведь мы ходко подаемса.

– Слышь, Афанасьич. А чего-то я депутата-то от наследника давно не видел, Долгополова-то Остафья.

Не сбежал ли уж?

– Нет, батюшка. Он дюже войнишки страшится, больше по землянкам хоронится. Да шея у него болит... Ему, чуешь, Нагни-Беда накостылял по шее-то.

– О-о-о, пошто же так?

– Да было вздумал Остафий-то с его жинкой поиграть, с Домной Карповной, ну и...

– Ишь ты, старый барсук... А что, хороша Домна-то?

– Да ничего себе, телеса сдобные.

– Ишь ты, ишь ты! Где ж он, Нагни-Беда-то, такую поддедюлил?

– А на Авзяно-Петровском заводе, батюшка, когда с Хлопушей в походе был. Она вдовица управителя завода – Ваньки Каина...

Когда пали сумерки, к палатке Пугачева нежданно-негаданно подъехала пара вороных, запряженных в широкий тарантас. Из тарантаса выскочили двое: пожилой и парень, оба одеты в длиннополье раскольничьи кафтаны, на головах войлочные черные шляпы. Приезжих сопровождал конный казачий дозор, перехвативший их по дороге как людей подозрительных.

– Не можно ли нам батюшку увидеть? – обратился пожилой приезжий к окружавшей палатку страже. – Мы казанские купцы, отец да сын.

– Зачем не можна, – можна, – сказал увешанный кривыми ножами Идорка.

Тут вышел из палатки Пугачев в накинутом на плечи полукафтаны с золотым шитьем. Приезжие сняли шляпы и, касаясь пальцами земли, поклонились ему.

– Кто такие? Откуда? – спросил Емельян Иваныч.

– Купцы Крохины, твое величество, отец да сын. Я – Иван Васильевич буду, а это Мишка, оболтус мой...

– Ах, тятенька... по какому же праву... оболтус? – заулыбался кудрявый парень – косая сажень в плечах.

Все вошли в палатку.

– А я за тобой, твое величество. Уж не побрезгуй, бью тебе челом в гости ко мне пожаловать. Отец Филарет с Иргиза поклон тебе шлет, письмо получил от него намеднись, а с письмом и тебе вещицу прислал он зело важную... – напевным голосом говорил Крохин, высокий здоровенный человек. Открытое, с крупными чертами лицо его было не по летам молодо и свежо. Светло-русская густая борода аккуратно подстрижена, в веселых навывкате глазах светится крепкий ум.

Пугачев несколько опешил. Уж не подосланы ли от Бранта? Чего доброго, схватят да в тюрьму.

– Уж ты будь без опаски, батюшка, – как бы переняв его настроение, сказал, кланяясь, Иван Васильевич. – Мы люди по всему краю известные. Крохиных всяк знает.

Пугачев пристально взглянул в хорошие русские лица купцов и поверил им. Малый развязал узел и подал Пугачеву купеческую сряду, затем подпоясал его цветистым азарбатным кушаком, – и вот он, Пугачев, купец.

Все же, уезжая, Емельян Иваныч призвал атамана Овчинникова, сказал ему:

– Слышь, Афанасьич, собрался я к купцам Крохиным в гости. Коль к полночи не вернусь, навстречь мне с казаками иди...

– Да заспокойся, батюшка!.. Мы люди верные, свои, – проговорил, улыбаясь, старик Крохин.

Кони подхватили, понесли.

Вскоре замерцала вдали линия сторожевых костров. Возле городских укреплений стали попадаться разъезды Бранта.

– Кто едет?

– Крохин!

– А, Иван Васильевич! Проезжай с Богом!

На иных пикетах, узнав издалека купеческую пару вороных, говорили «Крохин это» и без задержки пропускали.

В черте города кони пошли шагом. Емельян Иваныч любопытным взором водил по сторонам. Впрочем, в Казани многое было ему знакомо. Старик Крохин пояснял ему:

– А это вот каменные палаты-те именитого купца Жаркова, Ивана Степаныча. Он нашего же старообрядческого толку и к вере нашей zelo прилежен, самолучшая часовня у него.

Большой свежепобеленный дом Жаркова стоял на левом берегу Булака, упираясь огородами и фруктовым садом в усадьбу Егорьевской церкви.

– А это что на цепях-то? Мост, никак? – спросил Пугачев.

– А это через Булак подъемный мост, чтобы суда с грузом пропускать. Сам Жарков для себя же выстроил, на свой кошт. Он купец тороватый...

– Да ведь нам, купцам, тятенька, и не можно растяпистыми-то быть, – подергивая вожжами, сказал малый; он сидел вполоборота к седокам.

– А ты помолчи! – прикрикнул на него отец не то всерьез, не то в шутку. – А нет – живо святым кулаком да по окаянной шее... Чуешь?

– Какой вы, право, тятенька! – обидчиво произнес сын. – Да ведь я к слову.

– А это ж чьи суда-то? Его же? – спросил Пугачев.

– Жарковские, жарковские... С товарами! По Каме да по Волге ходят. Унжаки, тихвинки, беяны, астраханские косные лодки. Впрочем говоря – тут и других купцов, и моих пара посудинок есть. Вишь, Булак-то многоводен ныне, а вот ужо осенью одна тина останется да ил.

– А какие же товары-то грузятся тут? – допытывался Пугачев.

– А товары – перво-наперво хлеб, ну там еще рогожи, лубок, ободья колесные, кожа, мыло, свечи сальные, холст. Да мало ли! Ведь Жарков-то, мотри, оптовую торговлю ведет по всей России. У него есть расшивы с коноводными машинами: по бокам колесья с плицами по воде хлещут. А это вон амбары, вишь, пошли жарковские, да еще Петрова купца. И мой амбаришка... вон-вон, с краю стоит.

Небо в лохматых тучах, накрапывал дождик. Вдали погромыживало. Становилось темно. Сзади золотым ожерельем туманился отблеск костров – то передовые позиции, куда было выведено немало жителей.

А вот и крохинский дом. Заскрипели ворота, подбежали люди с фонарями. Хозяева с гостем вошли в горницы.

– Ну, гостенок дорогой, пойдем-ка наперед в баньку, в мыленку, с великого устаточку косточки распарить.

– Ништо, ништо, Иван Васильевич, – обрадованно сказал Пугачев и даже крикнул. – До баньки я охоч.

Провожали в баню гостя и хозяина два рослых молодца с фонарем. Шли огородом, садом. Путанные тени от деревьев елозили, растекались по усыпанной песком дорожке. Пахло обрызнутыми дождем густыми травами, наливавшимися яблоками, волглой, разопревшей за день черной землей.

Обширная бревенчатая баня освещена была масляными подвесными фонарями. Липовые, чисто, добела промытые с дресвой скамьи покрыты кошмами, а сверху – свежими простынями. На полу в предбаннике вдосталь насыпано сена, прикрытого пушистым ковром. На полках – три расписных берестяных теса с медом да с «дедовским» квасом, что «шибает в нос и велие прояснение в мозгах творит». На особом дубовом столе – вехотки, суконки, мочалки, куски пахучего мыла. Мыловарнями своими Казань издревле славилась. В парном отделении, на скамьях, обваренные кипятком душистые мята, калуфер, чабер и другие травы. В кипучем котле квас с мятой – для распаривания березовых веников и поддавания на каменку.

В бане мылись вдвоем, гость да хозяин, говорить можно было по душам, с глазу на глаз. Купец принялся ковш за ковшом поддавать. Баня наполнилась ароматным паром. Шелковым шелестом зажихали веники. Парились неумно. А купец все поддавал и поддавал, не жалея духмяного квасу. Пар белыми взрывами, пыхнув, шарахался вверх, во все стороны.

Приятно побрякивая и жмурясь, Пугачев сказал:

– Эх, благодать! Ну, спасибо тебе, Иван Васильич!.. Отродясь не доводилось в этакой баньке париться. На что уж императорская хороша, а эта лучше.

– С нами Бог! – воскликнул купец в ответ. – А не угодно ли тертой редечкой с красным уксусом растереться?

– Давай, давай.

Терли друг друга, кряхтели, гоготали, кожа сделалась багряною, пылала. В крови, в мускулах ходило ходуном, и на душе стало беззаботно и безоблачно.

– Ну, как, батюшка, дела-то твои, силушки-то много ли ведешь?

– А людской силы у меня хоть отбавляй, Иван Васильич. Народу, как грязи! Куда ногой вступлю, туда и всенародство бежит по следам моим.

– Слышно, оруженье-то у ты плоховато? Поди, с кулаками да с дрючками больше народ-от?

– Оруженья, верно, маловато, – не сразу откликнулся Пугачев. – Ну, да ведь я подмогу с Урала жду. Урал мне весь покорился.

– Вестно нам, батюшка, – продолжал, помолчав, купец, – будто под Татищевой-то дюже пообидели тебя царицынские-то генералишки, чтоб им в тартар всем, к сатанаилу в пекло!

Прежде чем ответить, Пугачев глубоко, всей грудью вздохнул. Тяжелая неудача под Татищевой висела над ним подобно туче, по сю пору давила его сердце. Он тихо сказал:

– Да, Иван Васильич... Верно, опростоволосились мы трохи-трохи под Татищевой. Довелось и оруженья сколько-то побросать, пушек... Что поделаешь!.. Видно, тако Господу угодно.

– Хм, – с грустью хмыкнул хозяин. – Ну, вот чего – не горюй, батюшка!.. Судьбы мира сего в руке Божией. А мы, старозаветное купечество, подмогу тебе учинить порешили. Как поедем в обрат, я тебе меж кустов амбарушку покажу, черемуха там растет. Пришли-ка ты туда удалцов, у меня там ружей сотни четыре припрятано, да пороху пудов с двадцать, да свинцу. Больше бы скопили, да ведь не чуяли, не ведали, куда ты путь свой повернешь.

– Благодарствую, Иван Васильич... Старание твое век помнить будем, – растроганно сказал Пугачев, с проворством работая мочалкой. Пахучее мыло пенилось, играло тысячами глазастых пузырьков.

– Деньжонок ощо дадим тебе, да снеси, да продуху разного. Ну, и ты нас, купцов-то, ину пору уважь, батюшка! Не вели грабить-то да жегчи-то нас, старозаветных. Мы для государства люди нужные... Мы отечественные капиталы созидаем! Иные среди нас даже с заграницей торг ведут, чрез что, слышь, течение капиталов иноземных в Россию усугубляется. Впрочем сказать, о сем мы за трапезой толковать будем. Поснедаем, выпьем – стомаха ради – монастырского да побалакаем.

– Ахти добро, – ответил Пугачев. – Только, чуешь, на деле-то не впотребляю я хмельного, Иван Васильич. У меня устав такой.

– А ты, батюшка, слышал: в чужой-то монастырь со своим уставом не ходят.

– А я и не собирался ходить, сам ты присугласил меня...

– Мало ли бы что... Ину пору можно и выпить. Сказано: год не пей, а после баньки укради да выпей. Ох, Господи помилуй, Господи помилуй!.. Грехи наши тяжкие, грехи неотмолимые! – Купец повздыхал и, чуть подняв голос, спросил: – Ну, а како, батюшка, касаемо веры нашей древлей, равноапостольной? Станешь ли берегчи ее, как воцаришься?

– Слых был, – вслед ответил Пугачев, – архирей казанский клял меня, анафемой принародно сволочил. А вы, старозаконники, за меня Богу молитесь. Так вот и раскинь умом, Иван Васильич, за кого же наше самодержавство стоять будет?

– Да, поди, за нас же, за наших христолюбцев, батюшка?

– Верно сказано, правду со истиной... Давай-ка кваску, хозяин.

Выпили раз за разом по три кружки пенного квасу с имбирем, опять стали мыться, париться.

И вдруг с высокого полка, из облаков густого пара загудел бесхитростный голос хозяина:

– Так-то, Емельян Иваныч, батюшка, так-то.

Пугачев, сидевший на скамье внизу, враз прекратил мыться, его руки с мочалкой опустились. «Уж, полно, не попритчилось ли, не запарился ли я?» – мелькнуло в мыслях изумившегося Пугачева. А голос продолжал из облаков, с высокого полка, как с неба:

– Нас, чадо Емельяне, тут-ка только двоечка, а третий – Господь Бог над нами. И ты, родимый, не страшись и не гневайся. Я человек простой, крови русской, души прямой и к твоему делу зело усердный.

– Так, так! – перебил его Пугачев, сдвигая к переносице брови и приподнимаясь. – Морочить голову мне задумал? Ась? Не распаляй ты моего сердца!

– Будет, будет тебе, Емельян Иваныч. Заспокойся, родной, – все так же простодушно говорил хозяин. – Слушай-ка. Нам во всей России, я чаю, только пятерым старозаветным людям вестно, что ты не того... не царских кровей будешь. Ну, токмо мы, старозаветные, тайну сию крепко блюдем. Мы, слышь, по дорожке Митьки Лысова, атамана твоего, не пойдем ни в жизнь. Видишь, и о сем христопродавце осведомлены мы.

Душа Пугачева закипала. Он хотел показать купцу царские знаки на своей груди, хотел сгрести его за бороду, но сдержался, может быть, баня умягчила его чувства.

– Так, так, – кидал он сквозь зубы. – Выходит, по-вашему, по-старозаветному, не царь я?

– Пусть бы и царь, да токмо еще не самодержавец ты, батюшка, – с тем же спокойствием говорил из облаков купец. – Ведай, заступник наш: царь без престола все едино, что конь боевой без седла алибо

обширная храмина, у коей замест каменных столбов песок сыпучий.

Купец свесил с полка сильные волосатые ноги, дружелюбно уставился в широко открытые глаза Пугачева.

– А мы тебе самодержавцем-то стать всякую помощь повсеместно учиняем, – продолжал старик гулко. – У нас и по заводам и по городам свои приспешники. Мы к тому и дело клоним, чтоб тебе престол отвоевать, чтоб тебе, а не Катерине, царем царствовать. Досюльные-то цари, и с Катериной вместе, скорпионы да вервия уготовляли нам...

– Кто это тебе набрякал, что я не царь, не Петр Федорыч? Уж не Катькины ли манифесты отуманили тебя? Ась?

– Тьфу, тьфу нам ейные манифесты, батюшка. А сказал мне про это самое купец Щелоков, помнишь, калачи-то он тебе в острог нашивал? Да еще всечестной старец Филарет, у которого гостил ты попутно. Он тебя и в деле видел, в Бердах, под Оренбургом: то ли сам, то ли через своих посланцев. Зело одобрял он дела твои, и храбрость твою лыцарску, и распорядок. И прислал мне он, рекомый игумен Филарет, вещь тайную, коя зело поможет тебе въяве...

– Чего же такое? – смягчившись, спросил Пугачев, встал и поддал в каменку два ковша квасу.

– А прислал он тебе, родимый, голштинское знамя покойного Петра Федорыча Третьего, императора.

Купцы Крохины были роду-племени старинного. Иван Васильевич почасту ездил в Москву, водил знакомство с московскими тузами-старообрядцами, маливался в Рогожском кладбище – духовной твердыне русского старообрядчества, заглядывал в Петербург, путешествовал и в скиты керженские, где свел дружбу со знаменитым старцем Игнатием, родственником всеильного Григория Потемкина. Да, знал Крохин многое, что творится на Руси, и был к тому же пытлив, дотошен и умен. Поэтому он тут же и рассказал Пугачеву о всем, что представляет собою голштинское знамя.

– У покойного Петра Федорыча, голштинского выкормка, – начал он, – содержался под Питером, в Ораниенбауме, корпус доверенных телохранителей голштинцев. И было их три тысячи человек. Он им муштру производил, а для красоты и порядка было у них четыре знамени. Егда же Петр Федорович прежде времени кончину воспринял, знамена те схоронены досужими людьми в сундук, заперты и печатями опечатаны. Единое из оных знамен, голубое с гербом черным, путями неисповедимыми похищено, доставлено игумену Филарету на Иргиз, а чрез одного благоуветного старца-христоролюбца и мне, грешному.

Он кончил, Пугачев молчал, усердно работал вехоткой. Потом спросил, но уже с тем же, как и у хозяина, спокойствием:

– Коли я с войском своим – самозванный царь, так кто же ты, Иван Васильевич, с голштинским тем знаменем притаенным? Ась?

Озадаченный хозяин не понял, смущенно молчал. Пугачев вскинул шайку и с силой брякнул ею о скамью:

– Эх, купец, Иван Васильич! В знамя поганое, иноземное веришь, а в меня, всея державы царя русского, нет!.. Так-то вот и все вы, сырые, разнесчастные. Зраку своему да ощупи – вера, а что дальше да выше, тому и веры нет... Впрочем сказать, – понизил он голос, – ин будь по-твоему: Емельян так Емельян! Мужик, алибо и вам, купцам-старателям, Петр ли, Емельян ли – все едино: был бы делу привержен да верен...

– Вот, вот! – понял, оживился вновь хозяин.

– Как говорится, – продолжал Пугачев весело, – сивый ли, пегий ли... лишь бы вез...

– Об чем и речь! Значит, царь-государь, зазря я знаменю-то держал-сохранял?

– Как так зазря? Не портянка, чай. С ним, подарком твоим, и в Казань войду. Благодарствую во как, а пуще всего за верность. Верность – она города берет. Так ли, Иван Васильич?

– Золотые слова, батюшка! Послухать бы их из уст твоих милостивых всему миру нашему, старозаветному.

– Дай срок – всяк услышит, у кого слух-то не помрачен... Не пора ли кончать, хозяин?

– Пора, пора. Телеса омыли, о грешных душах наших попеченье надо сотворить. В моленную ко мне заглянуть бы тебе предлежало, по чину, по правилу.

– От молитвы не бегу, Иван Васильич.

3

Одевшись, гость и хозяин направились в моленную при доме. Было здесь тихо, благолепно. Стены с полу до потолка уставлены старинными, в дорогих окладах, иконами. Горели восковые свечи в небольшом паникадиле, мерцали кроткие огни лампад. Впереди, у самого иконостаса, стоял аналой, прикрытый атласной, вышитой шелками пеленою. Справа, на стене, янтарные, костяные и кожаные лестовки. На отдельном столике – медная кропильница с кропилом. Пахло воском, розовым маслом, ладаном. Пол в ковровых дорожках.

Моленная была пуста.

Вздыхая и крестясь, Иван Васильич «сотворил» семипоклонный уставный начал пред Спасовым образом, и оба затем, хозяин и гость, совершили метание. Емельян Иваныч неплохо присноровился к этому обряду, еще когда жил у старца Филарета.

Крохин достал из киотного, что под образами, шкафа запакотанный в холст опечатанный сверток и, склонив седую голову, подал Пугачеву:

– Вот оно, знамя-то. Ты его пуще глазу береги! – молвил купец строго. – Оное знамя не токмо господам офицерам да генералам в великий соблазн будет, а и самое Катерину с толков собьет.

В зальце их поджидало все купеческое семейство: крупная, дородная Василиса Ионовна, в черном повойнике и темно-синем шушуне с золотой травкой, с густыми назади сборками; дочь ее, рослая, миловидная девушка Таня, в косоклинном саяне – сиречь сарафане на пуговках сверху донизу; и уже знакомый Пугачеву хозяйский сын Миша – косая сажень в плечах.

– С легким паром, надежа-государь! – хором возгласило семейство и дружно кувырнулось Пугачеву в ноги. Хозяин благодушно улыбался.

Сердце Емельяна Иваныча будто кто ласково погладил. «Стало, Крохин и впрямь блюдет мою тайну», – подумал он.

Затем хозяин с сыном, вооружившись двумя горящими свечами, повели гостя осматривать хоромы. Крашенные, из широких досок, полы натерты маслом с воском, блестят, всюду постланы пестрые дорожки, мебель хотя и неуклюжая, дедовская, зато из мореного дуба, словно литая из железа. По углам и вдоль стен спряты, укладки, сундучки, обитые цветным сафьяном или вологодской, «под мороз», жестью. В углу большой шкаф, называемый ставец. Иван Васильич, загремев ключами, открыл дверцы, расписанные изнутри библейского содержания картинками, по бокам – райские птицы Алконост и Сирин. Весь ставец набит тяжелыми книгами в деревянных, крытых кожей переплетах.

– Сии книги старопечатные, – сказал Иван Васильич, выкладывая перед Пугачевым книгу за книгой. – Старопечатные и рукописные, до римского сатанинского нововводства Никона. Вот – малая, глаголемая «Беседословие». А вот «Святая боговдохновенная, составленная Давыдом-старцем». А вот отреченная тетрадь монастыря Святотроицкого. Слушай, царь-государь, а ты, Миша, посвети... – Старик надел на нос медные очки, перелистал рукописные страницы и, откашлявшись, прочел чуть-чуть гнусаво: – «Мрак объял землю русскую, солнце сокрыло лучи свои, луна и звезды померкли, и бездны все содрогаются. Изменились злобно все древние святые предания, все пастыри в еретичестве потонули, а верные из отечества изгоняются – царит там вавилонская любодейница и поит всех из чаши мерзости». Внемлешь, государь? Сие старцами-христоролюбцами про Катерину Вторую писано, – захлопнув тетрадь с титлами и сунув ее в ставец, пояснил хозяин.

И вступил тут в старика соблазн сделать гостю испытание: грамотен или темен? Иван Васильич достал

книгу и стал листать ее, от книги пахло плесенью. Испытующе скосив глаза на Пугачева, он передал ему книгу и сказал:

– На-ка, батюшка, прочти в гул вот энто местечко, стихирку.

Сердце Пугачева захолонуло. Ах, черт!.. Тут уж не отвертишься...

– Да ведь я без очков-то ни хрена не вижу, а очки забыл, – сказал он.

Хозяин же, как бы не слыша его, велел сыну:

– Миша, посвети!

У Пугачева зарябило в глазах, запрыгали губы, он влип взором в строчки и напряг память. Ну, слава тебе, тетереву: буквы знакомые, не зря же старец Василий обучал его грамоте по старозаветным книгам, когда Пугачев жил у него в келии под Стародубом. И вот теперь, хотя и с большим трудом, Емельян Иваныч, не помня себя от радости, стал разбирать слова и строчки.

– Оную книгу, нарицаемую Лусидариус, сиречь Златой бисер, я без мала всю вытвердил, – говорил старик, нетерпеливо заглядывая в лицо гостя.

И вдруг Пугачев, насупив брови и откинув рукой волосы со лба, стал медленно, с запинкой, напряженным голосом читать:

– «Идет старец, несет ставец, в ставце зварец, в зварце сладость, в сладости младость, в младости старость, в старости смерть».

– Вот, батюшка! – воскликнул хозяин и подумал: «Стало, врут манифесты, что самозванный царь безграмотный да темный». – А дале-то тако сказано: «Как на ту ли злую смерть кладут старцы проклятыице великое». Такося, гостенек мой дорогой... Ну, а теперича идем в рабочую мою горницу, где течет жизнь моя земного обогащения ради. Ох, Господи, Господи!.. Миша, зажги-ка свечи! – приказал он сыну, когда все трое вступили в обширную комнату, пропахшую кожей, скипидаром, мылом.

Великан Миша привстал на носки и засветил семисвечовую люстру – железный, на трех цепях обруч.

Огромный стол, заваленный бумагами, расчетными книгами, ярлыками. Большие костяные счеты, чернила с перьями, песочница, недоеденная доля пирога на тарелке, облупленное крутое яйцо, леденчики. По стенам развешаны разной выделки кожи, юфть, разноцветные сафьяны, ящики со свечами, с мылом – образцы производства крохинских фабрик. В стеклянных банках разных сортов крупа, мука – ржаная, пшеничная, гороховая, гречушная, солод для пива. В углу две больших бочки денег: в одной медь, в другой серебро. Купец указал Пугачеву на объемистый холщовый мешочек:

– А это вот, батюшка, твоему царскому величеству от старозаветных купцов помощь: серебряные рублевики да полтины. Унесешь ли?

– Было бы что!

Пугачев схватил мешочек за ушки, играючи подбросил его к самому потолку и поймал растопыренной ладонью.

– Ого! – изумился купец. – Тут серебра три пуда без малого. Ну, поспешим к трапезе.

Придя в столовую, все помолились, сели. На столе: енды, кувшины, пузатые штофики, граненые графины.

– У меня, ведаешь, своя пивоварня. И для себя и для торга, – сказал хозяин, наливая серебряные чары. – Мое пиво пряное, тонкое, для здоровья полезное, крови не густит... Хлебнешь – упадешь, вскочишь – опять захочешь... Ха-ха-ха!.. Вот в этой ендове – забористое, зовется «дедушка», в этой «батюшка», а в

этой слабенькое, бабий сорт – «сынок».

Угощение было простое и сытное: лапша, ветчина, яичница-верещага, индейка с солеными огурцами, утка с солеными же сливами. Пугачев ел «по-благородному», оттопырив мизинцы, руки у него чистые, на указательном пальце перстень Степана Разина.

К концу трапезы прибыл именитый купец Жарков, тридцатипятилетний, и такого же, что и у Крохина, осанистого вида, дородный человек. Густоволос, бородат.

– Ага. Вот и сам подъемный мост пожаловал. Оптовых промыслов и трех фабрик с заводами содержатель... А мы вот тут, Иван Степаныч, с государем калякаем. Он, отец наш, милостив, не брезгует нашим братом, не гнушается. Присаживайся.

Жарков помолился в передний угол, низко поклонился Пугачеву, затем хозяевам, сказал:

– Дозвольте присесть, ваше величество, на краюшке...

– Пошто на краюшке... Садись посередке, господин купец, – проговорил Пугачев, отодвигаясь со стулом в сторону. – Торговым людям, кои не супротив нашего самодержавства, мы милость завсегда творим.

Купцы одобрительно переглянулись. Пили горячий сбитень. Ни чаю, ни табаку – этих сатанинских травок – в доме не водилось. Откашлявшись в горсть, Жарков сказал:

– Торговое сословие, батюшка государь, всякому государству основа.

– Основа-то основа, Иван Степаныч, – возразил широкоплечий хозяин, оглаживая светло-русую бороду, – а главная суть, мотри, в народе обитает: народ богат – и купец богат, народ сир да нищ, и купец ни в тех, ни в сех, середнячком ходит.

– А не можно ли, господа купцы, тако повернуть речи ваши, – встрял в разговор Пугачев. – Народишко, мол, и беден чрез то, что помещики с купцами чересчур богаты. Ну, правда, купцам-то и Бог велит от трудов своих богатеть, а вот помещики – те особь статья. Ась?

– Правда, правда твоя, батюшка! – воскликнул хозяин, и его выпуклые умные глаза заблестели. – Ведь подумать надо, откуль народу-то справным быть, коль у мужика ничем-чего своего собственного... Все, вишь, барское! Барин захочет, всего лишит, захочет – на каторгу сошлет, а нет, так и продаст, аки скотину рогатую.

– Ломать надо, господа купцы, порядок такой, ломать надо! – сказал Пугачев. – А сомнем – всем враз вольготно станет. Не так?

Купцы согласно закивали головами. Жарков сказал:

– А нам, торговым да промышленным людям, нешто мало всяких утеснений творят разные там берг-коллегии, да мануфактур-коллегии, да магистраты с воеводами, с судьями, со всякой строкой приказной. Вот они где, сгинь их головы, сидят! – пришлепнул он себя ладонью по загривку. – Ох, батюшка государь, кабы знал ты да ведал...

– Доподлинно сие вестно мне, господа купцы, не сомневайтесь, – подхватил Пугачев негромко, – немало моим царским именем перевешано злоумыслителей таких.

– Взяточка, взяточка сушит да крушит нас, ваше величество, – жаловался Жарков. – Не подмажешь – не поедешь... Замест помощи что видим мы от начальства-то? Палки в колесья суют! Ежели, скажем, наживешь рубль-целковый, так им гривен семь хабару с рубля-то отойдет, а нет, так и обанкрутят, в трубу пустят, сгинь их головы! Да вот, извольте послушать, про себя скажу. Тятенька мой, покойна головушка (Жарков перекрестился), оставил мне огромный капитал, тысяч во сто. А я оный капитал рвением своим

умножил и преумножил. А как? Где не доем, где не досплю, взад-вперед по России гоняю, можно сказать, не дома на пуховиках – в таратайке да в санях живу. А иначе ничего и не выйдет. Зато салотопенный завод у меня, да свечной, да стекольный, да два мыловаренных. Со Швецией да с Англией торг веду чрез Архангельск. Им, вишь, сало за гроши подавай, а уж они свечи-то да мыло сами наделают, да нам в обрат затридорога привезут, сгинь их головы! А я по-своему повернул...

– Ну-ка, ну-ка, доложи, как ты их, иноземных, в оглобли-то ввел? – подзуживал гостя Крохин, косясь на Пугачева.

А тот, помаргивая правым глазом, со вниманием вслушивался.

– А вот как... Я все сало, до фунтика, в Архангельске чрез своих доверенных скупил и в свои склады запер. Иноземцы приплыли на своих кораблях, туда-сюда... Нету сала! Пошумели, пошумели, а податься некуда. И довелось им все свечи с мылом скупить у меня, я невысокую назначил цену, они в своей стороне мой товар тоже не без выгоды распродадут. Так и впредь намерен поступать. Ужо до Риги доберусь и там таким же побытом дело обосную...

– Вот, ваше величество! – воскликнул Крохин. – А дворяне этак-то деньгу наживать не смыслят.

– Знаю я дворян, – отмахнувшись рукой, сказал Пугачев и попросил у хозяйки творожку.

– Взять такого Шереметева алибо князя Голицына, – подхватил Жарков, – сладко едят, до полуден дрыхнут, живут – палец о палец не ударят, сгинь их головы! Театры по вотчинам позавели, с плясуньями – из крепостных красоток – любовью забавляются, дедовские капиталы прожигают... Ах, если бы ихние великие капиталы да купцам в руки – нешто такая Россия-то наша была бы! Народ у нас самый работающий, толковый, уветливый народ. Первешей страной в мире была бы Расеюшка наша! – Жарков завздыхал, запищелкивал языком и, выждав время, обратился к Пугачеву: – А ты, ваше величество, окажешь ли поддержку купечеству-то, ежели Господь приведет тебе престолом завладеть?

Снова прищурился глазом, Пугачев откинулся на стуле, сказал:

– А я и так уж подмогу даю вам. Нешто не видите? Моим царским именем вся земля верному моему крестьянству отходит. А ведь вы сами же, господа купцы, толкуете: мужик крепок, так и купцу разворот. Не так?

– Так, так, батюшка! – И купцы снова закивали головами.

– Стало, будьте, други мои, без сумнительства. А всех помещиков я с земли сгоню, посажу на жалованье и повелю тружиться. И кликну клич по всей земле люду торговому: а ну, купцы, торгуй! Только... мошенство какое дозрю либо народу обидение – голова с плеч летит! – И Пугачев пристукнул ладонью по столешнице.

– Спаси Бог, царь-государь, на ласковом твоём царском слове. А за порядком в сословии нашем сами следить будем.

Купцы не спеша и с толковостью продолжали жаловаться Пугачеву: на то, что торговлю вести им очень затруднительно, что, первым делом, денег в России в обороте мало, что денежки у великих вельмож да у помещиков в заграничных банковских конторах либо дома, в кованых, к полу привинченных сундуках. «Да и двумя войнами – Семилетней да Турецкой, коя ныне в затяжку пошла, много мы золота с серебром за границей растрясли. У крестьянства же, почитай, денег вовсе нет, а ежели и заведутся какие от „оброчного“ заработка, мужик норовит их в землю закопать, чтобы не прикарманил барин».

– И ежели, бывало, поедешь по Руси с товарами, как я в молодости ездил, так наплачешься, – говорил Иван Васильевич Крохин. – Мужики всего тебе на обмен дадут: масла и сала, овчин и пеньки, а что касаемо денег – не прогневайся.

– Вот, батюшка, ваше величество, такие-то дела, – сказал Жарков, и его молодые, с оттенком удалого ухарства глаза заиграли. – Ежели мужикам волю даровать, все к самому лучшему повернется, все в достолюдиный порядок придет.

– Стало, выходит, господа купцы, однодумье у нас с вами? – спросил, подбочениваясь, Пугачев.

– Однодумье, однодумье, батюшка! – в один голос молвили купцы. – А помещиков, сгинь их головы, от торговли в сторону! Отойди-подвинься...

Пугачев заулыбался, произнес:

– Благодарствую, голуби мои, – и, хлопнув Крохина по мясистому плечу, воскликнул: – Ну, Иван Васильич, хоша дал я зарок не пить, а на радостях чару, пожалуй, опрокину. Налей-ка той вон хреновинки с травкой.

Все поклонились Пугачеву, выпили.

– И дозволю уж, царь-государь, насмелиться еще тебя спросить, – проговорил Жарков, повышая голос. – Ну а как ты насчет веры, не станешь ли нашу веру старозаветную утеснять да рушить?

– Наше самодержавство веру станет блюсти всякую, чтоб никому ни обиды, ни утеснений не творилось. Вот мое слово.

Тогда все, как по уговору, поднялись и низко Пугачеву поклонились. Вслед завязалась живая беседа. Емельян Иваныч расспрашивал купцов про город: как укреплена Казань, велика ли в городе сила, с какой стороны сподручней штурмовать укрепления.

К полуночи Емельян Иваныч был уже дома. К нему в палатку вошли черноглазый щуплый офицер Минеев и колченогий полковник Белобородов.

– Мы не столь давно, ваше величество, вернулись с Иваном Наумычем из разведки, – начал свой доклад Минеев. – Я татаринoм был одет, по-татарски мало-мало смыслю лопотать, а Белобородов нищим, с костью да торбой. – Он подробно доложил Пугачеву о расположении укреплений, о количестве пушек и примерном числе защитников, о настроении народа. – В народе и так и сяк толкуют. Пожалуй, многие намерены преклониться нам. И поголовно все перед армией вашего величества в страхе стоят. Даже солдатство.

– Старик один встренулся нам, из садов вышел, – сказал Белобородов. – Он толковал, что ежели государь придет, встречать его не станут с крестами да иконами, а побросают оружие да и перебегут к нему. Нам, говорит, объявлено, что ежели с крестами народ выйдет государя встречать, то генерал Потемкин с губернатором Брантом и по крестам учнут из пушек палить. Потемкин-де недавно из Питера прибыл, такая собака, что страсть.

До конца выслушав разведчиков, Пугачев обратился к Минееву:

– А ты вот что, ваше благородие... Не ведома ли тебе купца Крохина, Ивана Васильевича, крупорушка, она по сю сторону ихней обороны стоит?

– Знаю, там кустарник и черемушник, это и с версту не будет от дачи с огородами купца Осокина.

– Во-во-во... Ну, так там, возле крохинской крупорушки, сарайчик немудрененький есть. Понял ли, ваше благородие? А ежели понял, бери немедля полсотни казаков да башкирцев либо ситовских татар и езжай скорым маршем туда. В амбарушке тихо-смирно заберешь ружья, штук четыреста, да порох со свинцом... Караульный хаю не подымет, свой поставлен... Чуешь?

– В точность выполняю, ваше величество!

– Ну, с Богом!.. Утресь доложишь мне. Иди и ты, Иван Наумыч, спать хочу. Да пришлите-ка мне офицера Горбатова, ежели он близко...

Вскоре вошел Горбатов.

– Возьми-кося, ваше благородие, вот этот сверточек да разверни. Тут-ка голштинское знамя, мой наследник Павел Петрович прислал мне оное... (Горбатов распаковал сверток, вынул голубое шелковое полотнище, встряхнул его.) Узнаешь ли?

– Не видывал, государь... Слышать слышал про четыре знамени, при голштинском корпусе в Ораниенбауме бывших, а видать не доводилось, врать не стану.

– Мое, мое знамя, самое доподлинное голштинское, уж я-то знаю!.. – проговорил Пугачев, прищуривая то правый, то левый глаз. – Чтоб завтра с утра прибить это знамя к древку и показать всей армии нашей императорской. Значит, ваше благородие, весь лагерь с ним объедешь и всем толкуй про знамя-то, что да как. Возьми барабанщика, чтоб в турецкий тулумбас бил, народ сзывал. Тебе это, Горбатов, поручаю да полковнику Творогову; поди, уж дрыхнет он... Да и я вот чего-то носом поклевывать зачал, карасей ловить. Ну, поди с Богом. А про Михельсонишку нет слухов?

– Его отряда на сотню верст и в помине нет, государь!

Горбатов, уходя со знаменем, немало дивился: откуда оно взялось? Судя по вензелю и по черному прусского начертания орлу, знамя действительно голштинское. Да, много на белом свете всяких чудес бывает...

Вошла давно поджидавшая у входа Ненила, туесок кумысу да жбан сыченого меду принесла. Живот Ненилы заметно округлился, через месяц, через другой, пожалуй, приспеет пора и родить. Взбила горой перину.

– Ну вот, спи-почивай, батюшка, – сказала Ненила печальным голосом, – когда прикажешь будить-то?

– На зорьке, Ненилушка, на зорьке, – и, пошарив в карманах, он протянул ей два сахарных леденчика. – На-ка, возьми девочке Акулечке. Да смотри, чтоб Ермилка не сожрал. Он таковский...

– Что ты, батюшка!

4

Утренняя заря едва окрасила безоблачное небо. С Волги на Казань подымался ветерок. Пугачев, окруженный полусотней яицких казаков, подъехал к городу, слез с коня, опустился на колени, стал молиться на соборы и шептать: «Матушка Казань! Бежал из тебя острожником, вхожу в тебя царем». Подражая ему, казаки сдернули шапки и тоже принялись молиться на соборы.

Затем Пугачев говорил с коня:

– Господа командиры и полковники! Творите неусыпный досмотр, дабы всякий человек из нашей императорской армии не страшась в штурм шел. У кого есть оружие – грудью вперед иди! У кого, окромя дубинок, нет ничего, те пускай само-громко в голос орут, криком да гвалтом помогают штурму.

Затем Емельян Иваныч принялся осматривать в трубу расположение городских укреплений. Вот на горе кремль. От Спасских ворот его тянется книзу, через весь город, кривая неширокая улица. Идет она к Черному озеру. В конце ее за погостом Воскресенской церкви, на откосе горы разбросаны там и сям деревянные лари, лавки. Это – Житный торг. Дальше по откосу, у самого озера, закоптелые курени. Здесь, бывало, с утра до ночи шла оживленная стряпня: блины, студень, лапша, пельмени. А вот вблизи дома купца Осокина – «Серебряный кабак». Пугачев хорошо помнил это место: не раз он пилил здесь для кабака дрова в паре с арестантом Дружининым, с которым и бежал из казанского острога.

Атаманы помогли Пугачеву подняться на высокое дерево. Вид открылся много шире. Под зарею розовела Волга. По Арскому полю и дальше, к Волге, зеленели рощи с постройками и кой-где фруктовые сады. Золотились кресты шестнадцати городских церквей и монастырей. Тянулись замкнутым четырехугольником каменные гостиные ряды. Из серого месива деревянных домов и лачуг высились там и сям каменные купеческие, не то помещичьи постройки.

Все защитники города были на своих местах. Вот она – гимназическая батарея, о которой говорил вчера Минеев. Недалеко от батареи стоял корпус Потемкина, в нем, на взгляд, сот до пяти солдат да сотни две конных чувашей. Пугачев подметил, – ему об этом докладывал и Белобородов, – что город хоть и прикрыт батареями и обнесен на пятнадцать верст рогатками, однако же укрепления сделаны без уменья, наспех, открывалась полная возможность действовать здесь с тыла и с фланга.

Едва всплыло солнце в небо, к городу стали подходить пугачевские отряды. Армия была в полном порядке и построена в пятисотенные полки. Емельян Иваныч собрал в круг всех атаманов, полковников и держал к ним речь, как сподручнее сделать на город нападение. Офицер Горбатов стоял рядом с Пугачевым, в его руках развернутое голштинское знамя. После краткого совещания армия была разделена на четыре части. Над лучшей из них, где были казаки, командование принял сам Пугачев, над второй – Белобородов, над третьей – Минеев, над четвертой – Творогов. Атаман Овчинников, недомогая в это утро, остался в лагере с резервами.

Среди армии разнесся слух, что, как только Казань будет взята, государь пойдет на Москву. Все подтянулись, поокрепли духом, и даже у вооруженных дреколем обозначился молодцеватый вид.

Из кремля ударила вестовая пушка. От рокового этого грохота у многих сжались сердца и кровь прихлынула к вискам. Вслед за пушкой со всех городских колоколен загудел сплошной звон. Защитники приготовились к бою, с трепетом взирая на огромные, показавшиеся вдали силы Пугачева. Дрогнув духом и гимназический «корпус», к коему присоединены были художники и еще ремесленники из немцев, проживающих в Казани. Учителя стояли по крыльям, а в середине, в две шеренги, ученики – передняя шеренга с карабинами, задняя – с пиками. Всего было пятьдесят карабинов.

Потемкин из своего пятисотенного отряда выделил авангард в восемьдесят человек при двух пушках и расположил его впереди рогаток.

По улицам и переулкам житейская суета еще не закончилась. Весь вчерашний день и всю прошлую ночь горожане стаскивали, свозили свое добро в погреба, в подземелья, в склады, в церкви. Но времени покончить с этим не хватало. И вот, под звуки сполоха, старики, женщины, дети продолжали еще тащить свой скарб в места, которые они считали безопасными. Всюду слышались раздернутые крики:

– Васятка, не отставай, сынок, не отставай! Где у тебя корзина-то с едой?

– Дедушка Петрован! Подмогни мне тележку через мостки перетянуть.

– Тяжел у тебя сундук-то, – кряхтит дед, налегая на тележку.

– Тяжел, бес его задави, упарил он меня.

И еще в разных местах, вплетаясь в начавшийся общий гул, звучали голоса:

– Поспешайте, поспешайте!.. Ох, вот наказание-то Господь послал...

– Теките, православные, в храмы Божии. Запирайтесь там.

В широкие ворота женского Покровского монастыря дворня вносит на качалке престарелого генерал-майора Кудрявцева. Ему сто десять лет. Он отлично помнит Степана Разина, но уже не понимает того, что сейчас вокруг происходит. Он брит, броваст, лицо обрюзгло, на голове огромный парик.

– Подать сюда губернатора! Подать губернатора... Не позволю, – выкрикивает он капризным старческим голосом. – Его казнили. Стеньку Разина! Сам видал, сам видал!.. В Москве... Голову снесли!

Внук купца Сухорукова, тринадцатилетний Ваня, любопытства ради залез на крышу своего высокого дома, что на Арском поле. Рядом – Грузинская церковь, и все поле открыто его взору^[53].

Утро začínалось доброе, погожее, однако ветер из-за Волги все больше набирал силы, не дай Бог – пожар.

– Горим, горим! – с писклявым криком пробегает бородатый, в бабьем сарафане, дурачок Сережа-бабушка. – Вся Казань горит!

– Замолчь!.. Эк что выдумал. Замолчь, Сережа-бабушка! – кричат на него со всех сторон.

Купеческому внуку Ване наблюдать за всем этим с высокой крыши любопытно. Вот уж-ко он всем, всем порасскажет. Но занятней всего смотреть ему на то, как вдруг зашевелилась вражеская армия. А вот и сам Пугачев на белом большом-большом коне. Он, он, ей-Богу! Его окружают нарядно одетые казаки, да и сам он, как на картинке. Возле него голубое знамя полощется под ветром. Ой-ой-ой, какая же у Пугачева сила войска-то: подходят, подъезжают! А сколько башкирцев да калмыков с татарвой, у всех луки, копья.

Но вот Пугачев приподнялся на стременах, огляделся во все стороны, широко взмахнул рукой, что-то крикнул. Затрубили в рожок, ударили в барабаны, и все люди, конные и пешие, тотчас направились вперед и в стороны. По Арскому полю местами в пяти двигались длинными линиями огромные телеги с возами сена и соломы. Телеги подталкивались сзади народом. Меж возами тянулись пушки, а сзади укрывались сотни пугачевцев.

Загрохотали пушки. Крыши начали вздрагивать, и все в глазах Вани закачалось. Воинственный пыл ударил ему в голову. «Вот сейчас слезу, побегу. Кто будет побеждать, к тому и пристану...»

– Ваня, Ваня! Слезай живей! – заполошно кричал снизу его родной дедушка.

И вот они, вместе с дедом, бегут спасаться в ближайшую Грузинскую церковь. Она вся набита народом. Горы сундуков и узлов с имуществом. Через окна в алтаре льются лучи восходящего солнца. Все

духовенство – в простых рубахах, в штанах, босиком, чтоб не узнали мятежники, – сидит на узлах среди прихожан. Слышатся шепоты, стенания, вздохи. Все притаились. Пушечная пальба сотрясает церковные стены. Народ то и дело падает ниц. Здесь и там слышится молитвенное:

– Пресвятая Богородица Грузинская, спаси нас!

Ваня видит через окно, как над куполом носятся голуби. А дедушка Вани, старик Сухоруков, спешно ушел из церкви в свой дом: там остались на стене занятые часы с кукушкой – дед хочет доставить их в церковь.

Отряды Белобородова и Минеева, под прикрытием возов соломы и сена, прошли Арское поле, заняли рощу помещицы Нееловой и отдельные домики, стоявшие по сторонам сибирской дороги.

Белобородов стал окружать с трех сторон потемкинский авангард, возглавляемый полковником Неклюдовым. Авангард встретил Белобородова ружейными залпами и пальбой из двух пушек. Пугачевцы падали, но, позабыв страх, дружно шли вперед. На помощь к Неклюдову двинулся сам Потемкин, но, видя, что пугачевцы, не боясь урона, заходят с обоих флангов, подал команду отступить за рогатки. Началась горячая перестрелка. Сотни башкирских стрел с гудящим воем летели в защитников. На городских батареях не было при пушках хороших канониров, поэтому пушки стреляли по пугачевцам неумело и вяло. Оробевшие солдаты тоже плохо отстреливались.

Потемкин с ротой отборных стрелков находился в засаде за невысоким земляным валом. Вдруг на поле показался, в окружении свиты, Пугачев. Он на крупном белом коне, в красном с позументами жупане, в высокой шапке. Не замечая засады, всадники скакали наперекосых к Рыбачьей слободе, где шел жестокий бой. Судя по взятому ими направлению, они должны были промчатся невдалеке от засады.

– Ребята! – радостным голосом закричал Потемкин. – Это Пугач! Пали в него!

– Ррр-о-та! – передали команду офицеры.

Стрелки, лежа грудью на валу и выставив лишь головы, вскинули к плечу ружья. Острия штыков утапились прямо на переднего всадника.

– Пли! – скомандовал выскочивший на вал Потемкин.

– Пли! Пли! – подхватили команду офицеры.

Пугачев скакал впереди своей свиты, совсем близко от засады. Видя лицо в лицо величавого всадника на белом коне и в красном жупане, солдаты враз оторопели. Их сковала непонятная сила и какое-то волшебное очарование. И, словно по уговору, ни один солдат не осмелился выстрелить в него.

– Пли, сволочи! – вне себя заорал Потемкин и грянул по всадникам из пистолета. Пугачев на всем скаку повернул в его сторону лицо и, грозя вскинутой нагайкой, скрылся в клубах пыли и порохового дыма.

Растерявшийся Потемкин не мог теперь поручиться за своих солдат. Тем временем белобородовские молодцы продолжали наступать на потемкинцев с устрашающим гвалтом, визгом, ревом – качался воздух, звенело в ушах. Потемкин, прикидывая в уме создавшееся положение, начал подумывать о ретираде в кремль.

Отряд офицеров Минеева успел занять загородный губернаторский дом и двинулся дальше, к «корпусу» гимназистов.

– На изготовку! – прозвучала команда. – Не трусь, молодцы! Помни присягу.

«Корпус» защищался отчаянно. Гимназисты, толстяк Мельгунов с черноглазым Михайловым, сначала перепугались, затем позабыли о всякой опасности. Они успели выпустить из карабинов по десятку пуль,

затем принялись защищаться тесаками.

– Руби косоглазых! Руби сволоту! – не помня себя, орал юный толстяк Мельгунов, размахивая тесаком. – Михайлов, бей!

Но вот что-то оглушило его ударом в голову, он упал и был тут же заколот копьем башкирского всадника.

Следом замертво пали два дворовых человека фон Каница, два учителя, четверо немцев; несколько гимназистов было ранено стрелами, слегка ранен и директор. Вскоре «корпус» дрогнул, побежал, рассыпался по полю.

– Воспитанники! За нами, к кремлю, к кремлю! – сзывал их фон Каниц и двое уцелевших офицеров.

Прорвав цепь гимназических рогаток, отряд Минеева оказался в тылу ближайших к этому месту защитников.

Пугачев вел нападение на левый фланг обороны, где сражались жители Суконной слободы. Защитники пальнули в нападавших из единственной чугунной пушки, в которую, по незнанию, переложили пороху, орудие разорвало, четверо пушкарей было изувечено. Тогда суконщики схватились за железные ломы, самодельные копья, сабли. Пугачев приказал открыть по слободе огонь картечью. Слобода была взята, защитники ударились в бегство. Но большинство рабочих-суконщиков тут же передалось Пугачеву.

Глядя на опрокинутой гимназический «корпус» и на побежавших суконщиков, главные караулы и места защиты, еще не видя на себя нападения, впали в такую робость, что побросали пушки, оставили неприятелю весь снаряд и без всякого порядка, опрометью кинулись спасаться в кремль.

Под неослабевающим напором белобородовцев спешно двинулся к стенам крепости и генерал-майор Потемкин с остатками своего отряда в триста человек при двух пушках. Часть его солдат и почти все конные чуваша также передались «царю-батюшке».

Торопливо утекавший Потемкин не имел возможности захватить с собой находившихся в городской тюрьме заключенных, среди которых было сто семьдесят арестованных по многим местам пугачевцев, уже побывавших на допросах Секретной комиссии. Общее число арестантов было велико, и Потемкин не напрасно опасался, что, передавшись Пугачеву, они изрядно увеличат его силы. Из этих соображений он проявил необычайную жестокость, приказав караульному офицеру: «В случае опасности, не щадить жизни заключенных и не оставлять их мятежникам». Многие колодники были заколоты, однако большая часть их все-таки вырвалась на свободу.

Толпы пугачевцев с разных сторон хлынули в город, опрокидывая, преследуя, забирая в плен остатки защитников. Дома купцов по Булаку – Крохина, Жаркова и прочих, а также купеческие амбары и баржи с грузом царь запретил грабить; возле подъемного жарковского моста стояло множество караульных крестьян. Среди них расхаживали одетые в мухояровые кафтаны вооруженные купеческие приказчики.

– Прочь, прочь! Нет проезду! Государем не приказано! – покрикивала стража на появившихся башкирских и калмыцких наездников. Они останавливались, крутили нагайками и поворачивали обратно.

И как только хлынули пугачевцы в город, снова пошла пальба из пушек, ружей, поднялись крики: «Режь, коли!» По Грузинской улице бежал к кремлю отряд генерала Потемкина, отстреливаясь кое-как от наседавшего врага. Картечь барабанила в купола и стены Грузинской церкви. Спасавшиеся там люди пришли в неизъяснимый страх. Ваня Сухоруков сидел на кованом сундуке между плачущей матерью и бабушкой. Так продолжалось часа два.

– Кричат, чу, кричат! К нам лезут! – испуганно говорил Ваня.

В дверь действительно ломались со всей силы, и было слышно:

– Отпирай! Мы вас не потрожим!.. Не то ворвемся, всех смерти предадим!

Началась стрельба в окна. Зазвенели стекла, посыпалась штукатурка. Тогда решили открыть обитые железом двери. И вот пугачевцы, почти сплошь крестьяне, руководимые освобожденными колодниками, вломились в храм.

– Выходите вон! Эй, вы, пленные!.. Вон, вон отсюда! – галдели они, потрясая топорами.

Люди покидали церковь нехотя, оглядывались на оставляемое имущество, тяжело вздыхали и постанывали. Ваня притаился за «казенкой», где обычно торговали свечами. Он видел, как двое взломали сундук, набитый дорогими иконами в серебряных окладах. Они ни одной иконы не взяли, сундук захлопнули.

– Мальчишка, уходи! – услышал Ваня и поспешил вон из церкви. На улице его сразу оглушили шумы. Пальба еще не кончилась. По дворам мычали испуганные коровы, кудахтали куры, кричали утки, рев пешей толпы сотрясал воздух, гортанно гикали и пронзительно свистали разъезжавшие с нагайками калмыки в войлочных остроконечных шапках. Хлопали всюду калитки, дзинькали, сыпались градом из разбиваемых рам стекла, скрипели тяжелые ворота, из окон летели на улицу одеяла, утварь, подушки, скарб. Хозяев выгоняли на улицу, в общую толпу пленных, направляемых под охраной в лагерь. Над Арским полем, над кремлем, над городом темным облаком с граем табунились галки, вороны.

Начинались пожары. Ярко горели гимназия и Суконная слобода. Окрепший ветер подымал по дорогам пыль, гнал пламя в город. Вспыхнули высокие и обширные триумфальные ворота, через которые семь лет тому назад торжественно въезжала в город «казанская помещица» Екатерина. От ворот огонь перебросился на соседнее питейное заведение и на прочие дома Грузинской улицы. Ветер подхлестывал огонь, швырял горящие головни на деревянные кровли. Шумливая толпа, опасаясь пожара, начала подаваться к Арскому полю.

По улице, где проходил мальчонка Ваня, валялось много побитых русских, башкирцев, татар. В переулке, вблизи церкви, он увидел среди дороги убитого дедушку. Старик Сухоруков, одетый в немецкое платье, очевидно, был принят за барина и умерщвлен. Мальчик с отчаяния завыл и закрестился, из глаз его текли слезы. Он вскоре нагнал толпу пленных и разыскал там своих. Пленных вели через Арское поле. Горожане, ища спасения, все еще устремлялись к кремлю, но Спасские ворота принимали не всех, а по выбору.

Древнему генералу Кудрявцеву, скрывавшемуся в женском Покровском монастыре, люди говорили:

– Давайте, барин батюшка, мы вас отнесем в кремль. Там все начальство.

Но столетний старичище отказался.

Монастырский собор, как и все церкви города, был полон людьми. У левого клироса особо стояли со своей игуменьей во главе перепуганные монахини. Вблизи генерала Кудрявцева усердно молилась опечаленная Даша, приемная дочь полковника Симонова. Круглое, чернобровое, с оттенком душевного страдания, лицо ее в слезах. Даша в темном траурном платье. Она все еще скорбит о своем пропавшем без вести Митеньке, сержанте Дмитрие Павлыче Николаеве, сердечная рана ее не заживала. Если не сыщется Митя, Дашенька твердо решила остаться в стенах этого монастыря, принять постриг, сделаться монахиней. А если судьба вновь приведет встретиться ей с Пугачевым, она упадет пред ним на колени и в последний раз спросит: где же он, Митя ее?

5

Пугачев тем временем, окруженный близкими, гарцевал на белом коне. Показывая нагайкой в сторону кремля, он что-то говорил офицеру Минееву. Вдруг сквозь гул и шум он услышал чутким ухом детский голос:

– Мамка! Глянь, тятенька на коне...

Пугачев повернул в ту сторону. И видит: Софья, Софья Митревна, жена и все его семейство! Как? Здесь? В Казани? Кровь отхлынула от головы Емельяна Иваныча и снова с силой ударила в виски.

– Ах, змей, супостат лихой, собака... – заругалась Софья, прикрывая ладонью глаза от солнца и уставясь на бывшего в отдалении мужа.

И уже дальше ждать было невозможно: баба глупа, болтлива, выдаст его!.. Он рванул узду, вмиг подлетел к Софье Митревне и, сделав страшное лицо, прошипел:

– Помни, я – царь... Не муж твой, а ты не жена мне... Пикнешь – голову срублю!

И тотчас же отъехал прочь. Софья крепко стиснула зубы и, как пьяная, зашаталась. Подъехав к своим и указывая на женщину с ребятами, Пугачев, едва сдерживая дрожащий голос, сказал:

– Подайте вон той бабе с ребятами телегу да отвезите к моей палатке. Она жена приятеля моего, а он, бедная головушка, замучен во имя меня в тюрьме под розыском... Я не оставлю ее.

И обратясь к казачьему отряду и к Минееву:

– Детушки! Айда за мной, в крепость! Как бы зевка не дать. Где Федор Чумаков? Пушки забирай, пушки!..

Все – яицкие казаки, часть башкирцев с татарами, конные горнозаводские работники, – вытянув коней нагайками, поскакали через город за Пугачевым и Минеевым. Но крепость захватить врасплох уже не удалось. Спасские ворота были заперты, завалены камнями и бревнами. С крепостной стены, навстречу пугачевцам, загрохотали пушечные выстрелы.

Пугачев только за ухом почесал и обругался. Затем, действуя со всей расторопностью и сметкой, он занял гостиный двор, расположенный на удобном месте вблизи крепости, и начал готовиться к обстрелу кремля. Он самолично расставлял и наводил захваченные у защитников, а также и свои орудия. Минеев же со своим отрядом забрал тем временем девичий Покровский монастырь – удобную позицию для обстрела крепости.

В монастырскую церковь ворвалась толпа: башкирцы, калмыки, крестьяне и мещане из раскольников, все в шапках. Укрывшихся здесь до двухсот монахинь, а также людей посторонних погнали вон. Некоторые из раскольников с калмыками вбежали в алтарь, стали срывать с икон дорогие оклады.

Древний генерал Кудрявцев, видя бесчинство, затопал ногами. Седые хохлатые брови его ощетинились, выцветшие, потухшие глаза засверкали по-молодому; опираясь на две палки, он кой-как поднялся и, содрогаясь согбенным телом, закричал:

– Злодеи! Изменники! Как смеете вы дерзать против своей государыни, осквернять храм Божий?!

В ответ загремел дикий хохот, и старик тотчас был поднят на пики. Стоявшая вблизи Даша от ужаса всплеснула руками, крикнула, без чувств повалилась на пол.

Минеев приказал игуменью с монахинями и весь народ отвести под караул на Арское поле. На церковной паперти он поставил две пушки и открыл пальбу по Спасскому монастырю, находившемуся в

крепости.

В стены этого монастыря била и батарея Пугачева. Крепость отстреливалась. Емельян Иваныч с Горбатовым и Перешиби-Нос перебежали от пушки к пушке. Пущенное с крепости ядро ударило возле самой батареи в стену – с шумом и грохотом посыпались кирпичи.

– Метко, – сказал Пугачев и велел людям перекатить две пушки в другое место. Он залезал на крышу, зорко присматривался к крепости, к разгоравшемуся пожару, но в мыслях то и дело всплывал образ Софьи, и его сердце замирало: баба может головой выдать его и погубить перед народом.

Потемкин сквозь амбразуру стены всматривался через подзорную трубу в то место гостиного двора, откуда громыхали пушки.

– Боже!.. Что такое?.. – воскликнул он, заметив развевавшееся там голубое с черным орлом знамя государя Петра Третьего. – Скорей всего я брежу... – Он, как и все вокруг него, провел бессонную ночь и едва держался на ногах.

Солнце стояло в зените, но его сияние затмевали густые черно-сизые тучи дыма. Почти сплошь деревянный город одновременно подожжен был в двенадцати местах. Раздуваемый крепким ветром, огонь гулял по всему широкому простору, перебрасываясь с жилища на жилище. Едкий дым, насыщенный пеплом и горящими головнями, валил через бушевавшую толпу к горе, прямо на крепость. Да и языки пламени, там и сям возникавшие, постепенно подбирались к кремлю грозным шквалом. Войскам и набежавшим в кремль жителям час от часу становилось тяжелей. Было жарко, дымно, душно. От перекинутых головешек стали загораться в кремле деревянные постройки. С Черного озера и Казанки ведрами таскали воду. Все деревянное в крепости народ принялся ломать, с кирпичных камней сбрасывать тесовые крыши.

Подвалы Спасского собора, монастырских зданий и присутственных мест битком набиты спасавшимся людом. В соборе непрестанно шло молебствие. Стрелы, пули, ядра летели через стены в самую крепость. Были убитые, было немало раненых среди солдат и жителей.

Крепостные пушки, сотрясая дымный воздух и стены, продолжали пальбу по пугачевцам, солдаты стреляли из ружей. Шла упорная борьба, и все тяжелее становились бедствия осажденных. Слышались стоны, крики о помощи, плач ребят, рыдания женщин.

Горожане, которым за многолюдством уже негде было спрятаться, перебежали с места на место, ища спасения. И только у самой часовни седобородый старик-простолюдин, с длинными волосами и в холщовом фартуке, сидел спокойно на камне, привалившись спиной к стене. Сгорбившись и проворно работая кочедыком, он плел липовые лапти, не обращая ни малейшего внимания на царивший вокруг содом. Вдруг шальное ядро ударило в стену над головой его, полетела штукатурка, кирпичные осколки, ядро расколосось, упало. Старик вскинул опущенную в работе голову, перекрестился, сказал: «Да будет, Господи, воля твоя» – и как ни в чем не бывало продолжал стараться над лаптем.

В этом эпическом спокойствии седовласого человека было столько покоряющей силы, что многие, приглядевшись к нему, вдруг находили в себе способность возвращать сердцу успокоение, голове – ясные мысли.

Губернатор Брант в обществе старших чиновников, двух генералов, членов Секретной комиссии и своего приятеля польского конфедерата помещался в безопасной комнате губернского правления. От старости, чрезмерных забот и тревожений ему нездоровилось, он лежал на кожаном диване, маленькими кусочками глотал лед – против поднявшейся икоты: его испещренную набухшими жилами руку держал доктор, отсчитывая пульс.

На вершине башни Сумбеки стоял со своим молодым адъютантом насмерть перетрусивший генерал-майор Потемкин. Он притворялся храбрым и воинственным, но руки его тряслись, длинные в ботфортах ноги подрыгивали. Со страхом смотрел он в сторону пожара.

Пожирая на своем пути все деревянное – дома, мечети, заборы, избы – островки пламени ширились, стекались в один бушующий поток. Дым, дым, дым и, словно потешные огни, фонтаны искр. Кой-где пожар затихал, кой-где занимался с новой силой. Упругий ветер дул на кремль с Волги, не утихая. По еще не загоревшимся улицам и на Проломе сновали пугачевцы. Крепость со всех сторон окружена была башкирцами, калмыками, яицкими казаками. Укрываясь за ближайшими строениями, они пускали в крепость через неширокую площадь стрелы, пули. Пушки Пугачева продолжали громить твердыню Спасского монастыря, поражая вместе с тем и ветхие крепостные стены.

Потемкин на башне повертывался в сторону Волги. Видит: широкая луговина, местами поросшая кустарником и рощами, на зеленом лугу зеркально поблескивают мочажины, озерки, наполненные стоялой водою, пасется бурое издали стадо коров, табун лошадей скачет неведь куда сломя голову. Тихая Казанка извивается, подкатывая свои воды к самой крепости. И еще видит Потемкин: спешит от Волги к городу гурьба людей – пойдут-пойдут да побегут. Он присмотрелся в трубу: бурлаки с волжских караванов.

Внизу, в набитом людьми кремле, покрывая и путая уже привычный слуху Потемкина гул мятущейся толпы, вдруг раздались бунтовские голоса:

– Мирянушки! Сдавайся! Айда ворота открывать!.. Эй, солдаты!

И среди солдат:

– Братцы! Он так и так нас возьмет... Сгорим здесь! Чего же начальство смотрит?!

– Эй, начальнички! – кричат из толпы зычно. – Надо с крестами выходить, с крестами! Пойдем к владыке Вениамину... Айда губернатора просить...

И по всему кремлю – с крыш, со стен, с камней, из подземелий – гудело:

– Сдаваться, сдаваться! Ворота открывать!

– Гарнизону не защитит нас! Дым очи выедает!.. Огонь, огонь идет!

– Сдава-а-ться!

Потемкин, свесившись в башни, неистово заорал:

– Молча-а-ть! Всех пе-ре-ве-шаю!

Но его брошенные в шум, в гам слова не долетели до земли, их подхватил ветер и понес на опаленных крыльях навстречу бегущим луговиной бурлакам.

Только подвыпивший шорник, одетый в опорки, рвань, услышал генеральские слова. Задрал голову вверх, он по-цыгански свистнул и свирепо закричал:

– А ну, слазь! Мы тебя самого вздернем! – Затем, погрозив Потемкину вскинутыми кулаками – мол, на-ка, выкуси! – нырнул в шумливую толпу. Потемкин, подметив этого раскоряку-мужика, окончательно перестал владеть собою. На соборном крыльце вдруг появилась его долговязая и тощая фигура. Бледное лицо генерала было страшно, серые раскосые глаза метали огонь, голос пресекался и хрипел:

– Этта-а что? Бунт? Сми-и-ррна! Повесить!.. Двоих повесить! Я вам покажу, так вашу так! – скверно выругался и скоро-скоро пошагал, окруженный конвоем, к зданию присутственных мест.

Провожая Потемкина злобными взглядами, толпа снова зашумела. Урядники и стражники хватили крикунов за шиворот, вязали им руки. На ближнем дереве появились две веревочные петли, а вскоре

закачались тут двое: пожилой, суконной фабрики работник, в очках, да молодой кудрявый ямщик с серьгой в ухе. При совершении казни многие падали ниц, иные стояли, крепко сжимая кулаки. Недобрый, пугающий гул шел по толпе. Сидевший неподвижно у часовни старик поставил возле себя готовый лапоть, перекрестился и сказал:

– Вечная вам память, страдальцы! Это Лукьянов да Кешка, ямщикок. – И к народу: – Не бойтесь, не страшитесь, мирянушки, убивающих тело, души же убить не могущих... – Еще раз перекрестился, смахнул слезы и принялся за новый лапоть.

А к Казани поспешали бурлаки.

– Не отставай, робяты! – кричали они, перебегая по мосткам через речку. Вслед, кучками, они поднялись по взгорью, миновали крепость и направились по улице, называемой со времен Ивана Грозного «Проломы».

– Где царь-батюшка, где он, заступник наш? – спрашивали они встречных пугачевцев. – Нам вестно, что тут-ка он... Робяты! Эвот знамя-то, флаг-то... Сыпь туды!

Сыскав наконец Пугачева, все, до сотни человек, опустили на колени в дорожную пыль, смешанную с пеплом и остывшими углями.

– Здорово, детушки! – окинув бурлаков приветливым взглядом, прокричал Пугачев. Лицо и одежда его запачканы сажей. Он в шелковом полукафтаны, на груди звезда. – Встаньте! Кто такие и откуда?

– А мы хрестьяне, батюшка, ваши государственные хрестьяне, – поправив холщовую повязку на голове, ответил плечистый, заросший волосами дядя. – В бурлаках, свет наш, в бурлаках ходим. Дворянина Демидова посудины с товарами вверх тягаем, его, его... На Макарьевску ярмарку, да вот запозднились.

– Какой да какой товар плавите? В коем месте посудины на приколе? – спросил Пугачев.

– А в наших шести баркасах – железо демидовское листовое, да шинное, да круглое... А вот эти робяты графа Строганова соль везут с Солей Камских. А посудины мы причалили под Услоном-селом, на том берегу, батюшка. Весь караван там – посудин, никак, с двадцать. А сами-т на челнах мы сюда, на челнах, отец родимый, на челнах.

– Ну, так чего вы, детушки, удумали?

– А удумали мы, надежа-государь, к тебе приклониться. Как проведали, что здесь-ка ты на раздольице гуляешь, остановили караван да мирской круг скликали. И обсудили на миру – дворянские товары бросить, а тебе всей нашей силушкой подмогу дать! – выкрикивали они, потрясая топорами и железными, демидовского изделия, палицами.

– Благодарствую, – сказал Пугачев, и в глазах его проблеснула радость. – А теперь, детушки, идите в мой лагерь на Арское поле да ждите моего прибытия. А я немедля человека своего в Услон спысалаю с указом по деревням, чтобы сельчане разбирали соль да железо моим царским именем безденежно...

– Верно, верно, батюшка! – закричали еще голосистей бурлаки.

Подле гостиного двора становилось жарко. Пугачев приказал Чумакову и Горбатову перенести батарею на другое место, а сам поехал в лагерь передохнуть, собраться с мыслями.

По переулкам и улицам, еще не застигнутым пожаром, гнали пленных, двигались взад-вперед пугачевцы, кой-кто из них с узлами и в странных одеяниях. Вот две пары калмыков и пара башкирцев, все одеты в церковное облачение: в ризы, в стихари и рясы, а иные – в женском платье. На голове старого бабая красная, расшитая золотом митра. За крестьянином, прытко шагавшим с наживой, бежала охотничья

собака – сеттер, на него лаяла, хватала за портки. Кой-где дрались пьяные или, обняв друг друга, орали песни. По дороге и вдоль заборов валялись убитые.

Навстречу Пугачеву беспоясый белобрысый парень вез на ручной тележке дряхлого старика. Вот он остановился, дает старику из бутылки молока, приговаривает:

– Родной мой тятенька, потерпи. Там полегчает тебе.

– Куда везешь? – спросил с коня Пугачев, поравнявшись с парнем.

– В церкву, на отсидку... А то, вишь, горит кругом, а родитель-то занедужился.

– Какого званья?

– Кто, тятя-то? Он суконных дел мастер, а я слесарь при заводе при купецком.

– Заверните-ка сюды телегу! – приказал казакам Пугачев. И, когда подвода подкатила, он велел парня с отцом отвезти в лагерь и там напоить, накормить их. – Мастера, вишь.

Пугачев со свитой двинулся дальше. Парень стоял в остолбенении.

– Это кто жа? – спросил он казака.

– А это, дурья твоя голова, сам государь, – ответил казак беззлобно.

Парень вдруг сорвался с места и, суча локтями, со всех сил бросился за Пугачевым. Но догнать того ему не довелось: Пугачев подстегнул коня, надал рысью. Парень вернулся к отцу, что-то сказал ему на ухо, и оба закрестились в сторону удалявшегося Пугачева.

Тем временем Потемкин расположился в присутственном месте, рядом с комнатой, где помещался Брант. Потемкин был в отчаянии. Он злился на Бранта, на Михельсона, что вовремя не подоспел, злился на казанских жителей, мятежно настроенных, склонных к измене, сильнее же всего злобствовал на самого себя. Да, поистине, нет ему ни в чем удачи, фортуна отвернулась от него, ему никогда не везло и в картежной игре, не везет и теперь в эту отъявленную смуту. А что, ежели Михельсон промедлит, а черные силы завладеют крепостью? Эх, прощайся тогда, Павел Сергеич, с жизнью. А ведь жизнь-то какая предстоит, подумать только: знаменитый троюродный брат его – любимец императрицы!.. «Несчастливая ж голова моя, – терзался Потемкин, обхватив руками виски и прислушиваясь к шуму битвы и пожарища. – Глупая голова, незадачливая голова. И что я наделал, хвостун, в донесении императрице?! Клялся и божился, будто Пугачев и носу не покажет в Казань, и вот Казань горит. Обещал я также выйти навстречу злодею и поразить его, но вот убегаю сам, трусу подобен. Неужели звезда моя, не успев разгореться, закатилась, неужели позорная на всю Россию смерть?»

Предвидя полное крушение своей карьеры, а может, и жизни, он приказал подать перо и бумагу, выслал адъютанта, остался в горнице один. Перекрестился, вздохнул и принялся писать Григорию Потемкину: выгораживая себя, чернить других.

«Я в жизнь мою так несчастлив не бывал, – писал он, – имея губернатора, ничего не понимающего, и артиллерийского генерала-дурака. Теперь остается мне умереть, защищая крепость. И если Михельсона не будет, то не уповаю более семи дней продержаться: со злодеем есть пушки, и крепость очень слаба. Итак, осталось одно средство – при крайности pistolет в лоб, чтоб с честью умереть, как верному подданному ее величества, которую я, как Бога, почитаю. Повергните, братец, меня к ее священным стопам, которые я от сердца со слезами лобызаю. Бог видит, сколь ревностно и усердно ей служил. Прости, братец, если Бог доведет нас до крайности... А самое главное несчастье, что на наш народ нельзя положиться».

Имея в своем распоряжении воинскую силу, ничуть не меньшую, чем у Михельсона, этот будущий

царский лизоблюд сидел в каменных стенах крепости и поджидал спасения извне.

Однако генерал-майор Потемкин своим письмом прекрасно потрафил в намеченную цель: всесильный фаворит полученное им послание представил Екатерине, замолвил за родственника нужное словечко, и вот в скором времени, через одиннадцать дней, получился результат. В собственноручном письме-экстре Екатерина сообщала: «Дабы вы свободнее могли упражняться службою моею, к которой вы столь многое показываете усердное рвение, приказала я заплатить, вместо вас, при сем следующие возвратно к вам 24 векселя, о чем прошу более ни слова не упомянуть, а впредь быть воздержаннее».

Вот и отлично: замест гневного высочайшего выговора погашены долги, можно делать новые. Да здравствует премудрая Екатерина!

В дверь постучали. Вошел осанистый иеромонах, поклонился, сказал:

– Ваше превосходительство! Владыка Вениамин отпел благодарственный молебен в соборе по случаю некоего затишения злодейского стрельбища и желал бы совершить в кремле крестный ход с крестами и иконами, дабы укрепить дух как защитников, так и богоспасаемого народа...

– Рад слышать... Дальше-с?

– Владыка послал меня упредить вашу милость, чтобы вы, услыша благовест и большой трезвон, испугу не предались.

– Кто, я?! – Потемкин побагровел, поднялся и гневно произнес: – Передайте владыке, что я не так уж слаб душевно, как он думает... Вы лучше предупредили бы губернатора, чтобы сей кавалер со страху не испустил дух.

– Его высокопревосходительство уже в соборе.

Глава IX

Неожиданная встреча. Три битвы с Михельсоном

1

После торопливого обеда Пугачев быстро прошел в палатку Софьи, разбитую в нескольких шагах от его собственной.

– Ну, здравствуй, Митревна, – обнимая жену, сказал он, сколь мог, ласково, но с тревожным холодком и отчужденностью. Затем поцеловал ребят.

Они одеты бедно, платьишки обветшали, выцвели, ноги босы. Трошкина рубашонка подпоясана лычком. Софья в грязных чулках и старых чоботах. Когда-то красивая, работающая казачка, она поблекла, захирела. Лицо удлинилось, щеки ввалились, губы утратили сочность. И ранняя седина начала серебрить темные волосы. Да, есть отчего поседеть, поизноситься!

Трошка, чуть набывшись, с любопытством рассматривал большую светлую звезду на груди отца, девчонки, застенчиво улыбаясь, никли к матери.

Пугачев, насупившись, стал расспрашивать Софью: каким случаем она здесь, в Казани, очутилась? Софья Митревна упавшим голосом отвечала ему, как она с малыми ребятами ходила по Зимовейской станице меж дворов, Христовым именем собирала милостыню, как затем ее схватили, увезли в Казань и бросили с детьми в тюрьму, потом стали выпускать на базар с приказом «срамить тебя и разглашать народу, что ты муж мой, что ты простой казачишка с Дону, бродяга Емельян Пугачев».

– Вот что, Софья, – нетерпеливо взмахнув рукой, начал Емельян Иваныч. – Неисповедимым промыслом Божиим народ признал меня за царя и в том утвердился. Чуешь? (Жена, вздрогнув, опустила голову, из глаз ее брызнули слезы.) Не плачь и не кручинься, – подавив вздох, продолжал Емельян Иваныч. – Таперь помни: я тебе не муж, а царь твой, и ты не жена мне. Ты есть вдова Емельяна Пугачева, казака, дружка моего. Покудов я, низверженный царь Петр Федорыч, в рабском виде скитался по Руси, оный Емельян был схвачен и на пытке замучен замест меня. Крепче запомни, что говорю, Митревна. (Тут, поняв смысл его слов, жена и дети, что повзрослей, изумленно воззрились на него, а у Трошки дрогнул подбородок.) А ежели станешь языком брякать, – засверкав глазами, закончил шепотом Пугачев, – атаманы мои смерти предадут тебя и ребят твоих с тобою вместе. Поняли ли?

– Поняла, Омельянушка, – побледнев, шепотом же откликнулась Софья.

– А поняла, так помни...

Пугачев порывисто повернулся и вышел вон. Сердце его дрожало, в ушах гудело, он дышал вздохом, отдувался. Справившись с собой, приказал Давилину позвать Ненилу и в его присутствии сказал ей:

– Слышь-ка, Ненилушка. Бабу с ребятами, кою седни доставили сюда, ну... в палатке... рядом... Ты корми ее и ребяток малых, Ненила, от моего царского стола. Она, ведаешь, жена первого друга моего, казака Пугачева, кой, укрываячи меня, государя, в скитаниях моих, Богу душу за меня отдал, царицыны слуги замучили его, бедного... А мне сам Господь препоручает толикое попечение о сиротах иметь. Я не оставляю их.

Подобное же приказание получил и казак Фофанов, хранитель царского имущества: все сирое

семейство одеть, обусть.

Затем Емельян Иваныч, не отдохнув, снова на рысях вернулся в город.

Пожар подкрался к самой крепости и тут вдруг начал затихать.

Но вот налетел вихрь, рванул, закрутил, зашвырялся огнем и пеплом. Огонь вновь сразу воспрянул. Стройные минареты пламенными столпами вздымались к задернутому дымом небу. Опаленная пыль с дорог, смешанная с пеплом и дымом, завихаривалась, гуляла над пожарищем. Все выло, металось, гудело, все бежало прочь в поисках спасения. Летучие пылающие головни, подобно огненным драконам, расшвыривались вихрем в разные стороны. Пугачевцы начали отступать в укромные места, где пожар уже сделал свое дело. Однако пушечные выстрелы, приглушенные общим гулом, слышались как со стороны мятежников, так и ответные – с крепостной стены.

В кремле становилось нестерпимо жарко, душно. В кремлевских зданиях лопались стекла, воспламенялись рамы. Люди валялись на землю. Возле ведер с водой драка.

– Воды, воды глоточек! – зывали истомленные. Кремль то покрывался тучами дыма и становился невидим, как сказочный город Китеж, то, под ударами бури, вновь выплывал на свет.

Вот вихрь крутнул, крутнул в последний раз и так же внезапно, как возник, сложил крылья, замер. Стало тихо. Изнемогающий огонь припал к земле и, как пожиравшее себя с хвоста до головы чудовище, исходил ползучим дымом.

Пожар, осветив площадь перед крепостью, как бы расширил ее. Теперь можно было вести обстрел из пушек на большое расстояние, и пугачевцам некуда укрыться.

Емельян Иваныч, щадя силы, отменил брать крепость штурмом. Он убедился, что крепостная артиллерия стреляет дальше, чем его немногочисленные пушки. Да и зарядов у него не так уж много, их надо поберечь для схватки с Михельсоном, который не сегодня-завтра должен подойти сюда: в этом Пугачев не сомневался.

Конные башкирцы и калмыки с гиком подскакивали к крепости, пускали стрелы и под картечными выстрелами, теряя людей и лошадей, откатывались прочь. В кремле басисто гудел могучий благовест раскаленного большого колокола. Из двух соборов – Благовещенского и Спасского – выходил народ и крестный ход. И вот залился трезвон во многие еще не остывшие от близкого пожарища колокола. Престарелый Вениамин, окруженный клиром и жителями, чинно шел вдоль крепостных стен. Всем миром пели богородичные тропари. Люди, усердно крестясь и вздыхая, плакали. Плакали люди оттого, что не ведали, что им сулит приближающаяся ночь, они ожидали ежечасного нападения, готовились к смерти. Да и вернуться многим было некуда, одеться не во что: все расхищено, все пожрал огонь.

Было шесть часов вечера. Вышел из укрытия воинственный Потемкин, он снова взобрался на башню Сумбеки и чрез трубу осматривал пожарище. Кроме каменных построек, города почти не существовало. По самую Егорьевскую улицу в нем не осталось ни кола ни двора. Уцелели только части Суконной да Татарской слободы да купеческие постройки по Булаку.

Большинство населения было выгнано на Арское поле. Казань опустела. Над погорелыми просторами снова стали табуниться галки и вороны. Пугачевцы, по приказу командиров, постепенно оставляли город, выстрелы прекратились.

Ваня Сухоруков всем пережитым был подавлен. Особенно поразил его детскую душу невиданный пожар. Вот-то страх! Он забыл и про смерть своего любимого дедушки. Под вечер Ваня, да и его мать с бабушкой Ульяной сильно проголодались. Ему, малышу, разрешили выйти из огромного лагеря схваченных, и он пошел гулять по Арскому полю, переходя от костра к костру, в надежде поживиться чем-

либо съедобным. Он подошел к трем казакам. Они из глинобитной самодельной печурки вынимали свежий хлеб. Он стал кланяться, просить кусочек. Они сначала пригрозили ему нагайкой, затем смиловались и дали четверть краюхи хлеба.

– Батюшка приехал. Царь, царь! – услышал Ваня раздавшиеся по полю крики. Он отнес хлеб своим родным, взял с собой корку и побежал к царской ставке.

Пугачев сидел возле своей палатки в кресле, принимал казанских татар. В его обширную палатку входили и выходили какие-то молодые женщины, одетые в немецкое платье. «Дворянки, должно, а нет – купеческие дочки», – подумал Ваня. (И так впоследствии, уже седовласым, записал в свои мемуары.) У другой палатки сидела на завалинке простая женщина, рядом с ней паренек да две девчонки. Возле Пугачева развевалось воткнутое в землю голубое с черным орлом знамя, при знамени смирно стояли два казака с обнаженными саблями.

Татары подходили к Пугачеву друг за другом, – некоторых Ваня узнал: торговцы мехами, – целовали его руку, клали пред ним подарки: кто лису, кто цветной бешмет или полукафтанье, что-то говорили ему, жаловались, трясли головами, указывали в сторону сгоревшей Казани. Но их слов Ваня не слышал. Он и сам хотел подбежать и пожаловаться царю на свою обиду, он даже прикинул в уме, что должен был сказать: «Вот, мол, дедушку моего, ваше величество, приняли за барина и решили жизни». Но подойти не осмелился, только мордочка его плаксиво сморщилась. Ваня часто-часто замигал.

Солнце закатилось, спустился вечер, всюду зажглись костры, из города привезли пятнадцать бочек вина, разделили его по полкам, стали угощаться.

Пугачев самолично объезжал войска, благодарил народ за взятие Казани, просил и впредь грудью стоять за дело правое, никаких Михельсонов не бояться, брать пример с храбрецов – яицких казаков, не щадить себя, слушаться военачальников, свято повиноваться государю.

Шум, песни, смех не умолкали до полуночи. Казаки плясали у костров. Лишь далеко выдвинутые секреты и дозоры не принимали участия в гульбе, да под пушками, никуда не отлучаясь, чутко подремывали канониры: им настрого приказано быть готовыми на случай ночной тревоги.

В палатке, отведенной под канцелярию, за топорным, на козликах, столом сидели Творогов, Дубровский, Горбатов с Минеевым и при свете свечей строчили воззвания к укрывшемуся в крепости гарнизону, а также манифесты к крестьянскому населению и еще указы на уральские заводы о скорейшей присылке пушек с зарядами.

Пугачев заранее приказал приготовить для «высочайшего» осмотра лагерь пленных. В сопровождении Овчинникова и небольшого конвоя он с наступлением сумерек поехал в лагерь. Он знал, что среди пленных много безвинно пострадавшей бедноты, которой надо оказать помощь. Хотя в казне Пугачева денег много, но он рассчитывал взять еще дополнительно у купцов Крохина, Жаркова и других обещанные ими деньги. Вот он и направится к купцам, да, кстати, не грех ему и в баньке похвостаться веником, смыть с себя грязь и копоть: ведь у него не токмо полукафтанье, а и рубаха-то исподняя прожжена в десяти местах.

– Едет, едет! – заорали многогласо в таборе пленных. – К нам, кажись! Царь едет!

Началась сумятица, все сгрудились, опустились на колени.

– Детушки! – во всю мочь взголосоил въехавший в толпу Пугачев. – Вы, люди подъяремные, отныне будьте вольны. Все до единого!

– И так, батюшка, вольные, – угрюмые раздались голоса. – Ни кола, ни двора таперича. Огонь все пожрал.

– А в оном зле сами, детушки, повинны. Ежели б честь честью встретили меня, государя своего, и Казань бы целехонька была. А вы вот с генералами да с солдатней за рогатки схоронились да моих верных слуг, что волю вам добывают, побили да поранили.

– По принуждению, надежа-государь! Потемкин генерал да Брант. Ведь супротив них никому и рта отворить нельзя.

– Ну, да уж таперь не воротишь, – говорил Пугачев. – После драки кулаками неча махать... Поди, вам вестимо, детушки, что Катерина-то приезжала к вам пиры задавать, а чего доброго-то она для народа сделала? Плешь на голом месте, вот чего она сделала! А я для вас, детушки, для-ради пользы вашей войной на ваших супротивников иду, грудь свою под пули да под ядра подставляю. Спасибо, народ простой, чернь замордованная, подмогу мне дает, а вы вот не дали... Ну, да уж ладно... Казань сгорела, хибарки ваши, – не кручиньтесь, новая Казань из земли подыметя, краше первой... И объявляю вам, детушки: заутро бедноте будет раздаваться деньгами вспоможение...

В этот миг из большой толпы черничек девичьего монастыря вырвалась молодая женщина и подбежала к Пугачеву. Простирая к нему трепетавшие руки, устремив на него испуганные глаза, она пронзила душу Пугачева криком:

– Батюшка! Я Симонова, Дарья!

– А-а-а, знакомая, – вымолвил, несколько смутившись, Пугачев. Его удивило столь внезапное появление Даши. Как могла она попасть сюда и почему этакая пригожая, а одета как монахиня? Пугачеву в момент вспомнилась его ненаглядная Устя, великая государыня Устинья Петровна, подруга Даши, сердце его больно защемило. Где-то она, горемычная, как здравствует?

– Помню, помню тебя, милая, – с ласковостью в голосе произнес он.

– Ради всего святого, скажите мне, батюшка, не утайте от меня, жив ли сержант Дмитрий Павлыч Николаев, нареченный жених мой?..

Голова Пугачева опустилась на грудь, быстротечные думы опалили его сердце, он заглянул в хмурое лицо Овчинникова и, обратясь к девушке, спросил ее:

– Можешь ли по-казацки ездить?

– Усiju, батюшка, не раз езжала, – с безоглядной решимостью ответила Даша. Она все на свете позабыла, в ее мыслях – лишь незабвенный Митенька.

Ей подвели коня. Она, как во сне, не вполне сознавая происходящее, взобралась в седло.

– Пойдите тут, подождите меня, – сказал своим Пугачев. И оба с Дашей рысью поехали в царскую ставку.

– Ну, слезай, – сказал Пугачев девушке, – я сейчас, – и вошел в палатку с канцелярией.

У входа стоял какой-то полнотелый казак с рыжими усами, на руках позументы. Невысоко над городом висела серебристая луна, к ней тянулись от потухавшего пожарища легкие дымки. На дальнем взгорке, видимый теперь издалека, словно каменный орех, очищенный от скорлупы, высился многострадальный кремль с башней и соборами. Возле палатки, где стояла Даша, пылал костер.

Вдруг полы палатки распахнулись, вышел Пугачев, он вел за руку рослого, красивого, с белокурыми волосами молодого человека.

– Вот твой суженый, – проговорил Пугачев, подталкивая офицера Горбатова к ошеломленной девушке. – Вот твой любезный, – повторил он и, вскочив на коня, умчался. Движения его сердца были искренни и внезапны. Он был уверен, что Даша и Горбатов, два цветка с одной гряды, встретятся – водой

не разольешь. Ну до чего приятно доставить людишкам хоть какое ни есть счастье!

Конь скакал, как зверь, вокруг вихрились ветерки.

В изумлении стояли один против другого молодые люди. Они всматривались друг в друга обостренными воспоминающими глазами. И вот...

– Даша!

– Я вас не знаю...

– Даша, Дашенька! Я Горбатов...

– Андрей!.. Неужели ты?!

Все пред ними исчезло, только кусочек тверди под ногами да их двое. Они разом бросились друг другу на шею.

2

Пробежавшая беленькая собачонка, хвост калачом, наспех обнюхала их и, слезливо всхамкнув, поскакала дальше – разыскивать своих хозяев.

Подхватив Дашу под руку, Горбатов повел ее подальше от людей, в сторонку. Он усадил ее на чей-то брошенный сундук. Она все еще не могла прийти в себя, дрожала. Первый ее вопрос был о Мите Николаеве. Андрей Горбатов колебался, ему больно было взволновать девушку горестным известием.

– Говори всю правду, – сказала она и подняла на него глаза свои. – Чувствую я, почти что наверное знаю: он погиб. Только, ради Господа Бога, не скрывай, расскажи все, что знаешь...

Горбатов стоял возле нее, она сидела. Луна светила ярко, ему хорошо было видно лицо девушки со страдальчески вскинутыми бровями. Он сказал ей, что сержанта Николаева давно нет в живых, что в его смерти повинен некий злодей, атаман-предатель, тогда же казненный.

Даша со стоном уткнулась в платок, в отчаянье замотала головою. Горбатов сел рядом на сундук, взял Дашу за руку и старался успокоить ее.

– Значит, все кончено, – сдерживая глухие рыдания, проговорила Даша. – Мне теперь один путь – в монастырь.

У Горбатова обмерло сердце, он отстранился от нее, воскликнул:

– Даша! В твои-то годы?

– Я буду молиться за его душу.

– Его душа, чаю, не очень нуждается в чьих бы то ни было молитвах. Он мученик.

Даша снова приложила платок к глазам. Горбатов сказал:

– Тебе надо думать о том, как бы устроить жизнь свою, она вся впереди, а не бежать от жизни...

Даша вскинула голову и с особой пристальностью, будто вспомнив самое главное, уставилась в лицо Горбатова заплаканными глазами. Затем спросила:

– А ты-то, ты-то, Андрей, как попал в плен к разбойнику?

Андрей Горбатов, шумно задышав, поднялся. Он вдруг уразумел, что между ним и Дашей – пропасть, что она, из бедных бедная, давно осиротевшая дворянка, ненавидит Пугачева и все дела его. А ненавидит потому, что обо всем, что касалось Пугачева, имела самое превратное понятие. И вот он начал исподволь, с одним желанием направить ее мысли в нужное ему русло.

У костров по всему лагерю после легкой выпивки началось безудержное веселье. Старик-богатырь Пустобаев, сидя подле бурлацкого костра и потряхивая бородой, рассказывал бурлакам о том, как он однажды вступил в борьбу с медведем – цыганы ручного медведя водили – и как он, понатужившись, перебросил зверя через поленницу; и еще рассказывал, как на царской свадьбе довелось ему «возгаркнуть» многолетие. «Вот было попито-погуляно!» Секретарь Дубровский от нечего делать играл на утопанном месте с мягкотелым Давилиным в орлянку. Поп Иван, с трудом воздержавшийся от выпивки, сидел возле палатки Ненилы, обучал девочку Акулечку молитвам и без передыху дымил цыганской трубкой. Атаманы Овчинников и Творогов разъезжали по лагерю с отрядом казаков, следили за порядком, скандальных «питухов» приказывали хватать, тащить к пушкам под караул – на продрых. Брант и Потемкин, независимо друг от друга и как бы сговорившись, писали графу Меллину, находившемуся с отрядом неподалеку, чтобы он немедля следовал в Казань. Монахини, возвратившиеся вместе с игуменьей

в монастырь, близки были к отчаянию. Игуменья послала к губернатору трех своих рясофорных стариц с известием о том, что злодей похитил Дашу.

В это время «злодей» вел деловые разговоры с купцами, благодарил их за деньги, за оружие, за полсотни купеческих работников, вступивших в его армию.

...А эти двое, взявшись за руки, неспешно ходят взад-вперед по луговине за палатками и под голубоватым светом луны говорят без умолку. Изложенные с горячностью, со всей искренностью доводы Андрея показались Даше убедительными, и после резких возражений, переходящих в крик, она постепенно успокоилась.

С нею никто за всю жизнь не говорил так серьезно, так умно и убедительно, как говорил сейчас Андрей. Она со всеми своими мыслями как-то неожиданно для себя подчинилась ему и во многом стала согласна с ним. Теперь она этого чернобородого человека с открытым к добру сердцем никогда больше не назовет «злодеем». Но как же, как же человек этот не смог уберечь от гибели Митю Николаева!

Впрочем... «Да будет, Господи, воля твоя», – и Дашенька мысленно перекрестилась.

– Да, наша встреча – чудо, превеликое чудо, – с каким-то благоговением сказала она и на миг подняла свой взор к небу. – Но как ты мог узнать меня, Андрей? Так вот, сразу?

– Какая-то сила шепнула мне: это Даша, – проговорил Андрей Горбатов, заглядывая в такое милое, знакомое с детских лет лицо. – Мои родители, ты ведаешь, были неимущи, а твои еще беднее. Наши усадьбы соприкасались. Яблони вашего сада глядели в наш, и цветы ваших вишен осыпались на нашу землю. Боже, до чего было хорошо существовать! Невозвратимое детство...

– Помнишь, как мы играли в любовь, Андрей? Ты был моим женихом, я твоей невестой.

– Мы играли, – ответил Горбатов, – а наши родители, по крайней мере мои, считали это дело решенным. Мне в ту пору было лет четырнадцать, а тебе, Даша, восемь... И вот ты, ангелоподобная девочка, на протяжении каких-нибудь двух-трех месяцев лишаешься родителей, и мою Дашу увозят от нас добрейшие Симоновы сначала в Москву, затем в Яицкий городок... И знаешь что, Даша? Я, мальчишка, без памяти был влюблен в тебя, ей-ей! Я места себе не находил после того, как разлучили нас. Я плакал не один день, клянусь тебе, и надо мною все смеялись.

Они остановились, ласково и нежно заглядывая друг другу в глаза.

– А я разве не любила тебя? Ты думаешь, я не плакала? Я помню твои первые письма ко мне... А потом ты замолчал. Почему?

– Потому, что со мной самим стряслось ужасное...

– Ужасное? – передернув плечами, испуганно переспросила Даша. – Расскажи, Андрей.

– Изволь, – согласился Горбатов. – Только допрежь я хочу сказать тебе знаешь что?

– Нет, не знаю.

– Гм, не знаешь? – проговорил Андрей дрогнувшим голосом, глаза его загорелись. Он стиснул руки девушки и тихо сказал: – Я люблю тебя.

– Безумный! Сомутитель мой... – простонала Даша, она больше ничего не успела сказать, отдавшись ласкам Горбатова. Впрочем, она вскрикнула: – Милый!.. Я тоже люблю тебя!.. – И тут же, как бы спохватившись, добавила: – А как же Митя? Как же память о нем?

– С Митенькой кончено, – проговорил Горбатов. – Живому о живом думать предлежит, а никак не о мертвом. Вот ты встречу нашу чудом назвала. Верно... Чудо и есть. И я чаю, судьба не зря столкнула нас.

Ты, Даша, должна стать моей женой. Согласна ли?

– Безумный! – снова воскликнула Даша и в сильном волнении готова была разрыдаться. – Так быстро решить. Возможно ли?

– Чем скорее, тем лучше. Ты сама видишь, каковы обстоятельства. Надо быстро, не колеблясь. Нерешительность – удел слабых.

Даша посмотрела на него с раздумьем и жалостью, затем вымолвила:

– Довольно, Андрей... После... А теперь расскажи о себе.

И они опять принялись ходить по луговине. Луна обливала их голубоватым сиянием. И под благодетельными брызгами этого серебристого дождя душа девушки распускалась как бы заново. Но в отуманенной голове ее копошились беспокойные, раздернутые мысли: то укорчивые вопросы самой себе и неясные, сбивчивые на них ответы, то запоздалый, может быть, ложный голос совести, что вот она, легкомысленная девчонка, столько хлопот наделала всечестной игуменье Ираклии и сестрам во Христе, принявшим горячее участие в судьбе ее. Ждут, поди, ждут и в великую впадают горечь. А Симоновы, а тень Мити Николаева, а этот неразрешимый для нее вопрос, так настойчиво высказанный соблазнителем ее Андреем?..

– Говори, говори, Андрей, я слушаю, – тихо произносит она, стараясь придать своему лицу выражение радости и счастья. Но голова ее в тумане и сердце мрет.

Огненный страшный день еще не кончился. Казань еще не догорела. Вдали дремлет голубоватый кремль с соборами, над городским пепелищем плавают лохмы дыма, то приныкая к земле, то седой волной вздымаясь вверх. Воздух пропитан гарью, у Даши заболела голова.

– И вот понаехали к нам гости, – продолжал Горбатов, – мой двоюродный дядя из Воронежа, для закупки или, как он говорил, «ремонта» лошадей его воинской части – усатый с брюшком майор, а другой, питерский чиновник Пятнышкин, вез в губернское казначейство много новых, только что выпущенных бумажных денег. Прожили они у нас с неделю, оба картежники превеликие. Да, кажись, и шулеры к тому же. Словом, обобрали они как следует соседних помещиков, и родитель мой, помню, немало пострадал. И стали собираться в обратный путь. А я забыл тебе сказать, что заехали-то они к нам по окончании своих дел. Мой двоюродный дядя, этот усач с брюшком, на коротких ножках, и говорит моим родителям: «А отпустите-ка со мной вашего Андрея. Я вскорости перевожусь в Питер и там определю Андрюшу в кадетский шляхетский корпус, по крайности офицером будет. А воспитание мальчика я приму на свой полный кошт, я человек со средствами и бездетный».

Я, признаться, услыша от дяди такие речи, сразу пришел в радость: «Черт возьми, Питер, офицерство, вот счастье-то!»

Тогда и другой гость, чиновник Пятнышкин, этакий неуклюжий... он тоже взглянул на моего младшего братейника Колю да и говорит: «Знаете, достопочтенные родители, я человек, как видите, известный, в чине партикулярного полковника, и к новому году светским генералом чаю быть... А человек тоже бездетный. Отпустите-ка вы в науку и Коленьку, он мальчик премилый. Я замест сына воспитывать его стану, в коллегия определю, в люди выведу».

Родители, жившие в изрядной бедности, подумали, поплакали, отслужили молебен и нас обоих с братом отпустили. Не доезжая трех станций до Нижнего Новгорода, мы с Колей распрощались и поехали с дядей дальше. А с Колей случилось так...

Даша слушала со вниманием. Луна вздымалась все выше. По луговине ходили женщины с подойниками, бегали мальчишки, разыскивая своих коров.

– С Колей так... Ему шел тогда десятый год. Он был щупленький, болезненный. Чиновник Пятнышкин остался на почтовой станции играть в карты. Денег у него было множество, но он нарвался на шулеров, пробиравшихся на Макарьевскую ярмарку. Он все спустил им, и свои и казенные деньги. Проиграл и Колю...

– Как, Колю проиграл? – с изумлением воскликнула Даша.

– Да, представь себе... Проиграл. Колю купил в рабство содержатель почтовой станции, местный разбогатевший мужик. И с тех пор несчастный братишка перестал быть дворянским сыном Колей, а сделался крестьянским сыном Васюткой. Ну и запродажные фальшивые документы были сфабрикованы – почтарь мужик богатый... – Горбатов снял казацкую шапку-трухменку, провел рукой по своим светлым волнистым волосам и, обращаясь к девушке, с жаром добавил: – Вот видишь, Дашенька, какие дела творятся под скипетром обожаемой тобой государыни Екатерины.

Даша, опустив голову, молчала, глаза ее заслезились: Коля был ее сверстник, они вместе играли с ним в куклы и в шармазлу.

– Чиновный изверг Пятнышкин, – продолжал Горбатов, – доехал до Нижнего и там на постоялом дворе застрелился. А ни в чем не повинный Васька, он же бывший Коля, был переодет в крестьянскую сряду, в лапотки. И под жестокими побоями хозяев, обливаясь слезами, стал прислуживать в кухне, исполнять всякую черную, тяжелую для мальчонки работу... «Эй, Васька! Принеси дров да разлей телятам поило!» – «Эй, Васька! Вычисти господам проезжающим сапоги да самовар поставь!» В то время уже вводились в моду самодельные, из толстой жести самовары. Мальчик под зуботычинами, под плетью постепенно свикался со своим положением. Но иногда на него накатывало отчаяние, он при проезжающих кричал: «Я не Васька, я дворянский сын Николай: мой отец Горбатов! Господа проезжающие, возьмите меня с собой, спасите!» Тут врывался хозяин с веревкой, выбрасывал мальчишку вон, а проезжающим говорил: «Вот наказал меня Господь... Взял на воспитание сироту, а он с тоски, чего ли, алибо с глаза худого с ума сошел, вроде дурачком делается». Так прошел год с лишком. Родители встревожились: никаких вестей ни от меня, ни от Коли, ни от Пятнышкина нету. И вдруг случай... Что ты, Дашенька?

– Так, ничего, продолжай, – невнятно ответила Даша, начавшая приметно дрожать, как в ознобе.

– Наша соседка помещица Проскурякова ехала в Петербург, и, понимаешь, Дашенька, остановилась она передохнуть на этой самой станции. Она ехала в столицу по своим делам, довольно состоятельная была, и родители упросили ее навести справки обо мне и Коле. Она женщина премилая, к нам расположена отменно, она и меня крестила, и Коля был ее крестник. Почтарь-хозяин ввел ее в горницы, дождик был, высунулся в окно, крикнул: «Васька! Беги, бесенок, сюды, барынин архалук у печки просуши, грязь отчисти». Вот вбежал в горницу грязный, лицо в саже, отрепанный мальчонка в лапотках... Помещица Проскурякова сидела в тени, голова у нее болела, шалью замотала голову, и Коля не сразу узнал свою крестную. А она как взглянула на парнишку, так сердце у нее и обмерло. Она возьми да и спроси: «Мальчик! Как тебя звать?» Он посмотрел в передний угол: «Батюшки, крестна!» – с ужасом взглянул на зверя-хозяина с веревкой в руке и торопливо, захлеб, ответил: «Я Васька, Васькой меня зовут, вот дяденька купил меня, он добрый...» А Проскурякова и говорит: «Преудивительное дело... Ты точь-в-точь как сын помещиков Горбатовых, Коля». Тут мальчик как бросится с воем на шею помещицы да как заблажит: «Крестна! Крестнушка! Это я, Коля...» – и залился горячими слезами. И она горько заплакала. Хозяин заорал: «Вон, вражонок!» Коля в страхе убежал, а мужик попробовал было фордыбачить, однако Проскурякова, женщина роста крупного, как вскочит да как затопает ногами: «В каторгу тебя, мерзавец, в каторгу!» Мужик кричит: «Вот вы докажете-ка, что он есть Коля, а я завсегда докажу, что он Васька, куплен там-то и там-то, при свидетелях таких-то и таких-то, эвот документы-то у меня». И вот Проскурякова начала против мужика дело. Многих денег ей это стоило, великих хлопот, но уж ей хотелось завершить сие

благополучно и по чувствам человеческим, да и амбицию ее задела. Почти целый год тянулись суд да волокита. Злодея-мужика все же засудили, а мальчонку возвратили в прежнее состояние. Но пока шел суд да дело, Коля на той клятой почтовой станции, битый да голодный, захворал и умер... Умер, Дашенька!

– Боже мой, Боже мой! – всплеснув руками, воскликнула Даша. – Бедный мальчик, бедный, несчастный мой Коленька... Я как сейчас вижу, такой тихий, такой нежный, особенный какой-то. Вот такими душеньками праведными и полнится церковь Божия на небеси.

– Да, неоцененная моя Дашенька, – глубоко вздохнув и почмыкивая носом, проговорил Горбатов. – На небесах-то душенькам, может статься, и неплохо, а вот каково-то на земле живым жить при наших проклятых порядках? И мне нимало не удивительно и народа нашего восстание, что потянулся народ за правдой, что поверил в царя-батюшку и идет за ним. – И, помолчав, добавил: – Ну а теперь, ежели желаешь, о себе расскажу.

Как ни любопытно было Даше послушать Андрея, но она заторопилась.

– Ну и растревожил ты меня, Андрей, – сказала она, глядя в сторону и помигивая грустными глазами, опущенными длинными ресницами. – Всю ночь спать не буду... Милый, бедный Коленька... Проводи меня, Андрей. Поздно уж. Расскажешь завтра... ежели встретимся.

– Ты останешься здесь?

– Нет, не проси, меня там ждут.

Андрей не мог убедить ее остаться ночевать в лагере. И вот он видит: едут рысью справа и слева от него два всадника, кричат тонкими пронзительными голосами:

– Горбатов! Где Горбатов?!

Андрей выхватил из кармана медную свистульку и резко засвистал. К нему тотчас подкатили оба всадника.

– Господин Горбатов! – проговорил один из них, молоденький и юркий. – Вас требует атаман всей армии Овчинников.

– Что за экстрa? – спросил Горбатов.

– Получены вести: подходит Михельсон. Верстах в сорока отсюда.

– Ну, это не столь близко, – несколько успокоился Горбатов. – А где государь?

– За ним помчали, за его величеством.

Горбатов приказал заложить для девушки таратайку.

– Я завтра приду к тебе чем свет, – говорит Даша, сжимая его руку. – А еще лучше, приходи за мной сам, Андрей. Боже мой, что же опять будет?.. Стрельба, кровь, опасности. Как это ужасно!

– Чаю, крепко чаю: ты останешься со мной, будешь моей подругой...

– Не знаю... Подумаю... Буду молиться Богу со всем усердием... – И она, вздохнув, добавила: – А все-таки как я в душе благодарна этому чернобородому, что свел нас. Господи, прямо чудеса! Опомниться не могу. И о нем помолюсь с усердием.

Горбатов, физически измученный, но душевно бодрый, возвращался домой в настроении необычайном. Сколько потрясающих событий сегодня свалилось на него: горячий бой, взятие и пожар Казани, Даша. Ну что ж!.. Такова жизнь теперь!

3

Ранним утром, при восходе солнца, вся армия Пугачева была приведена в боевой порядок и построена в восьми верстах от Казани, вблизи села Царицына. Все полки, во главе с полковыми командирами, стояли по своим местам. В центре расположены были самые сильные, испытанные части с пятнадцатью пушками. Здесь был Пугачев с Овчинниковым, Горбатовым, Белобородовым, Минеевым. Старые и молодые екатерининские солдаты, захваченные в Осе и Казани, были, по совету офицера Минеева, разоружены: «По совести говоря, на них, ваше величество, вполне положиться опасно». Солдат отвели в тыл, по флангам, и замест ружей дали им окованные железом шесты, а их ружьями снабдили, по совету Белобородова, уральских горнозаводских крестьян: «Они люди надежные и, будучи охотниками да звероловами, из ружей палить привычны».

– Гарно, гарно, – одобрил Пугачев. – А храбрости да усердия к делу нашему им не занимать стать. Знаю!

Пугачев лично проверил все пушки, подсчитал заряды.

– Эх, маловато ядер-то, – сказал он, почесывая за ухом. – Ты, Чумаков, зря ума не пали из пушек, с понятием норови. – И, обратясь к офицеру Минееву, добавил: – Вот ты, ваше благородие, бахвалился все: возьмем да возьмем крепость. А где она, крепость-то? Зевка дали мы! Поди, пороху-то у них там сколько хошь, да и пушки...

Минеев что-то забормотал в свое оправдание, но Пугачев, отвернувшись от него, подошел к Горбатову.

– Ну, как, полковник, сговорился ли с девушкой-то? Осталась, нет?

– Нет, государь... Обещалась прибыть утром, да вот... не сдержала слова.

– Ну и само хорошо, и само хорошо! – воскликнул Пугачев, прищурился правый глаз. – Бабское сословие, ведаешь, в нашем деле одна помеха. Вот и я, как видишь, свою государыню оставил. Где-то она, цела ли, сердешная? Ведь Яицкий-то городок тью-тью от нас.

– Мне уповательно, – сказал Горбатов, – что атаман Никита Каргин как-нито убережет ее.

– Дай-то Бог да Матерь Божия... А я, ведаешь, как Дашу-то дозрил вчерашний день, сразу вспомнил: да ведь она верной подружкой моей государыни Устиньи-то была. Эх, только бы отечеством завладать, быть бы Даше у государыни во фрейлинах, а ты – генерал-аншеф. Ась?

– Премного благодарен... До этого далеко еще.

– Верно, полковник, далеко! Глазкам-то видно, да ножкам-то трудно...

– Будем дерзать, государь.

– Эвот пятерых турок из Туретчины пригнали в Казань, прямо с войны, тепленькие, как со сковороды олады. Наши казаки вчерась забрали их, в Ивановском монастыре скрывались, нехристи. А как мы учинили им допрос, они показали: Катька-то моя замирение с султаном ладит заключить... Тады, чуешь, супротив нас целые полки двинут... Ась?

– Сие не так скоро, государь.

– И то верно: улита едет, как говорится, когда-то будет.

Пока шли эти разговоры, Даша сидела взаперти и тихомолком плакала. Игуменья Ираклия и рясофорные монахини встретили вернувшуюся Дашу радостными криками: «Ой, дитяtko наше! А мы уж и

вживе тебя не чаяли видеть. Да и как это тебе Казанская Божия Матерь помогла от злодея-то вырваться?» Даша в ответ рассказала старухам какую-то малоправдоподобную историю. На совете старицы постановили: во избежание каких-либо несчастий Дашу держать взаперти без выпуска, пока злодейские толпы не будут отогнаны от Казани.

И вот Даша сидит под замком, со строптивостью взглядывает на икону и неутешно плачет. Неужели ей не суждено снова встретиться с Андреем?

Меж тем точных сведений о приближении разведки Михельсона еще не поступало, поэтому армия вела себя вольно. Многие, развалясь на земле, сладко спали, иные варили на кострах хлебово, некоторые, швыряясь вверх медными пятаками, играли в орлянку. Кони паслись на траве, вездесущие собачонки всюду шмыгали.

В лагере, на Арском поле, предусмотрительно грузились возы добром, запрягались барские экипажи под семейство колченогого Ивана Наумыча Белобородова, Софью Пугачеву с детьми, царскую стряпуху Ненилу с девочкой Акулечкой и под временных гулящих женок пугачевской верхушки, вроде дебелой Домны Карповны. Все эти красотки, одетые по-дорожному, грудились возле карет и фаэтонов. То крикливо тараторя меж собой, то с тревогой прислушиваясь, они ждали первого пушечного выстрела, чтоб сесть в экипажи и спешить прочь от страшной кутерьмы.

В стороне ползала на четвереньках по луговине девочка Акулечка и, опустив голову, что-то пристально искала. Одетая в серое чистое платьишко и аккуратные сапоги с голяшками, она походила издали на овечку, которая щиплет зеленую траву.

– Чего потеряла, Акулька? – спросил ее подскочивший Трошка Пугачев.

– Иголку потеряла, вот чего, – ответила девочка Акулечка. – Вишь, казаку на рубаху латки ставила, а иголочка-т мырк! Ах она, проваленная... – и девочка, продолжая ползать, тоненько залепетала: – Черт, черт, поиграй да опять мне отдай!.. Потеряли да нашли, подобрали да пошли. Ищи, Трошка, ты глазастый.

Подбежали Трошкины сестренки – Христина с Грунькой, в их руках по тряпичной кукле с льняными косичками, бусинками вместо глаз и алыми губами. Смастерила их Акулька. И вот ребятенки стали ползать вчетвером, искать иголочку. Искали долго, усердно.

– Эти куклы маленькие, – сказала Акулька, поднимаясь с четверенек. – А я тебе, Христя, большую куклу смастерю, толстая такая барыня будет, платье с карналином, волосы из кобыльего хвоста. Ужо, ужо я притащу. – И Акулька, подхватив починенную рубаху казака, побежала к себе в Ненилину палатку. И вдруг, волчком крутнувшись на одной ноге, радостно закричала:

– Эвот она, иголочка-т! В рубахе.

Оставшиеся в лагере пожилые крестьяне, исполнявшие службу старост при своих походных деревенских артелях, запрягали телеги, сваливали на них артельное добро. К некоторым телегам были привязаны коровы, сведенные из городского стада. И по всему огромному полю двигались без суеты люди и животные, – лагерь, хотя и неспешно, готовился на всякий случай к отступлению.

Солнце поднялось довольно высоко. В армии Пугачева, занимавшей большое, пересеченное оврагами пространство, все сразу оживилось. Раздалась бой тулумбусов и барабанов, пронзительные высвисты дудок, резкие командные выкрики:

– По полкам, молодцы! Казаки, на конь!.. Канониры, к пушкам!

Вдали, верстах в четырех, начал выдвигаться из леса тысячный корпус Михельсона. Хотя солдат и кавалерии в отряде мало, но все они наторелые вояки, закаленные непрерывными походами. Народ

молодой, отборный, заласканный. Они вошли во вкус сражаться с безоружными крестьянами и одерживать над ними легкие победы. Им обещаны всякие льготы, всякие милости от военачальников и от самой царицы, и они работают на славу, безжалостно, порой без всякой нужды, истребляя своих собратьев. Офицеры отряда отличались умением воевать с огромной, но малодисциплинированной толпой и были преданы престолу, как и сам подполковник Михельсон.

Боевые качества Михельсона высоко ценились покойным Бибиковым, Брантом, Паниным, Голицыным и впоследствии даже самой Екатериной. Мир дворянства и крупных промышленников видел в нем спасителя отечества. Так, полгода спустя, известный богач, горнозаводчик Прокофий Демидов, посылая Михельсону ценный «презент», между прочим писал ему: «Ты с малым, но храбрым корпусом не утратился нападать на толпу разбойничью... Ты отвратил злодейское намерение притти на царство Московское... Ты дал мне жизнь и прочим московским гражданам от убиения собственных наших людей, которые, слышав его злодейские прелести, многие прихода его жадно ожидали и разорять, грабить и убивать господ своих желали».

Михельсона знал и Пугачев. В Кенигсберге ему, молодому казаку, довелось тащить на носилках раненого Михельсона в лазарет и перемолвиться с ним немногими словами, вслух пожалеть его. И вот теперь, через пятнадцать лет – частые встречи на полях непрерывных схваток. Пугачев яростно ненавидел его, но и, не скрывая, умел ценить в своем враге умную воинственность.

– Эх, ежели б этого вояку да мне в помощники, натворил бы я делов, – с большой душевной скорбью иногда говорил он. – Добрую половину своих атаманов поменял бы я на одного его.

Михельсон тоже немало приходил в изумление от храбрости и умелых действий пугачевцев. Он не раз в своих донесениях писал: «Мы нашли такое сопротивление, какого не ожидали: злодеи, не уважая нашу атаку, прямо бесстрашно шли нам навстречу, однако помощью Божией, по немалом от них сопротивлении, были обращены в бег». И еще: «Злодеи на меня наступали с такою пушечною и ружейною стрельбою и с такою отчаянною храбростью, кою только в лучших войсках найти надеялся».

И вот снова Михельсон и Пугачев лицо в лицо.

Михельсон, обозрев в трубу стоявшую против него силу, сказал:

– Ого! Да их тут в двадцать тысяч не уложишь. И откуда берется эта сволота? Ну, как, господа офицеры, отдыхать будем или на приступ поспешим?

Офицеры – их человек двадцать, – рекомендовали отдых: солдаты, особенно кони, от длительных непрерывных переходов выбиваются из сил.

– Ежели мы на них тотчас не ударим, то они обрушатся на нас всей лавой, – возразил Михельсон тоном, не терпящим противоречий.

Он приказал майору Дуже обойти с небольшим отрядом левый фланг неприятеля, а майору Харину – правый.

– Сам же я с корпусом ударю в центр расположения, постараюсь разрезать неприятельскую толпу пополам, и тогда станем по частям бить. Ну, с Богом!

После осмотрительной, неторопливой подготовки силы Михельсона стали мало-помалу переходить в наступление. Первые двинулись вперед, в обхват флангов, небольшие отряды Дуже – Харина.

Пугачев, объехав своих молодцов с бодрящим словом, поместился на пригорке сзади армии и принял команду боем.

Как только михельсоновцы двинулись к центру фронта, вся пугачевская армия, в особенности многотысячное крестьянство, подняла оглушительный воинственный рев и крики, а главная батарея открыла по врагу огонь. Общий неимоверный рев толпы и грохот пушек, перехлестывая Арское поле, летели далеко за Волгу. Казаки и горнозаводские метко стреляли из винтовок, ружей и мушкетов. Башкиры и калмыки наскakивали на вражеские перебежавшие шеренги, осыпали их стрелами. Вскоре михельсоновцы дрогнули, попятились.

– Вперед, ребята, вперед! – раздался голос подскакавшего к ним Михельсона. – Что, гвалту перепугались?

– Не гвалту, а стегает, черт, подхoдяво! – останавливаясь, отвечали солдаты.

– Детушки! Фланги борони, фланги! – кричал Пугачев, видя, как на фланги насаждают отряды двух майоров. Он послал туда Горбатова с Минеевым, а сам поскакал к центральной батарее.

– Чумаков! Варсонофий! Пали без передыху! Где у вас заряды? Детушки! Веселей подноси ядра-то да картузы с порохом!

Возле батареи уже валялось несколько убитых, бежали прочь, в глубину расположения, раненые и оробевшие. Свистали пули. Битва во всему фронту тянулась больше двух часов, но сражающимся время показалось как одна минута. После ожесточенной перестрелки и рукопашных схваток середка пугачевского фронта заколебалась: пушки, подхваченные сытыми конями, затарахтели, по приказу Пугачева, на другое место. Вломившимся с криком «ура» михельсоновцам, несмотря на их порядочные потери, удалось разорвать пугачевскую громаду на две части. Большая часть, вместе с Пугачевым и Овчинниковым, повернула направо и наткнулась на отряд Харина, а меньшая – на майора Дуве. После непродолжительной схватки Дуве удалось рассеять неприятеля и забрать у него две пушки. Отряд же Харина, на который с гамом и гиком налетели отчаянные пугачевцы, оробел, смешался, стал поспешно отступать.

Пугачев с Овчинниковым выбрали хорошую позицию. Они остановили свое войско за глубоким рвом, тесным проходом возле мельницы, и открыли по неприятелю убийственный огонь. Майору Харину для поражения врага надлежало спуститься в овраг, затем подыматься открытым местом в гору. Харин, страшась больших потерь, на это не осмелился. Михельсон, подтянув резервы, поспешил ему на помощь. После жестокой схватки ров в трех местах был перейден, пугачевцы атакованы. Непрерывный бой длился семь часов, солнце давно закатилось, на землю пали густые сумерки, приближалась ночь.

В конце концов пугачевцы не выдержали, бросили шесть орудий и рассыпались во все стороны. Михельсон преследовать их не решился. Все-таки за самим Пугачевым с Горбатовым и Ермилкой небольшой отряд чугуевцев учинил погоню, но Пугачев нырнул со своими в лес и там скрылся в темноте. Когда за ними неслась погоня, Пугачеву попритчилась в кустах на Арском поле всеми забытая девочка Акулечка. Он вымахнул из лесу и, полный тревоги, бросился догонять обоз.

Нагнав, Пугачев помчался вдоль многочисленных телег с народом и, не переставая, выкрикивал:

– Где девочка Акулька? Где Акулька?

– Я здесь-ка, батюшка, здесь-ка! – пропищала с воза девчонка, выпрастывая из-под дерюги голову. – Я седни иголку потеряла, да нашла!

С сердца Пугачева – как с души камень. Обшлагом полукафтання он вытер лоб и с облегчением передохнул.

Снова взошла луна. Даша все еще сидела взаперти. На возвышенности громоздился, притаившись, кремль. Там были слышны раскаты битвы, но Потемкин, сказавшись больным, на помощь Михельсону не вышел.

Михельсоновцам досталось несколько пушек и до семисот пленных, главным образом безоружных крестьян, которые не умели прытко бегать, и горнозаводских работников, которые стойко бились. Попал в плен и офицер Минеев. Отряд Михельсона ночевал на месте боя. Минеев, выданный пленными солдатами, был приведен к Михельсону.

– Ты офицер Минеев? – спросил Михельсон.

– Да.

– Это ты предал на Каме трех офицеров, которые были злодеем казнены?

– Я не предавал. Они сами попались с поличным.

– Мерзавец! – холодно крикнул Михельсон и было бросился на пленника с кулаками, но сдержался. – Повесить эту сволочь!

И Минеев, под лунным светом, на густой опушке леса закачался в петле.

4

Наутро Михельсон двинулся к Казани и остановился на Арском поле. Его ошеломило печальное зрелище: полусгоревший город еще дымился. И не успел Михельсон по-настоящему осмотреться, как заметил надвигавшиеся на него силы Пугачева. Он послал к губернатору Бранту поручика барона Дельвига с просьбой выслать ему воинскую помощь.

При содействии выведенного из крепости отряда подполковник Михельсон перешел в быстрое наступление и вторично разбил оплошавших пугачевцев.

За усталостью своей кавалерии Михельсон не мог преследовать отступавшего врага и ночевал под Казанью, на месте боя.

Пугачев переправился за реку Казанку и, отойдя верст двадцать от города, начал собирать свои разрозненные силы. Слава о царе-защитнике гремела по всему Поволжью, к нему отовсюду валил народ: крестьяне, бурлаки, городская гольтьба. И уже через два дня под знаменами «батюшки» снова скопилось вместе с основными его силами до пятнадцати тысяч сермяжного воинства.

Сбежавшиеся к нему люди точно знали, что «батюшка» терпит поражения, что ему не дают покоя генералишки и что они, безоружные мужики, плохая ему помощь. Они знали также, что «проклятущие катерининские супостаты» побивают насмерть многие тысячи крестьян, а того больше – забирают в плен, чтобы затем драть плетью, рвать ноздри, вешать. Но преклонение перед именем «батюшки-заступничка», неистребимая тяга к земле и воле, лютая тоска по правде-справедливости были сильнее всех страхов: крестьяне, бросая свои засеянные нивы на заботу женщин, спешат к «царю-радетелю» и многие из них готовы в схватке с «кромешной силой Катерины» пролить кровь свою.

И чем хуже становилось «батюшке», тем сильнее тянуло к нему народ.

Несколько по-иному складывались дела с башкирцами. По мере того как Пугачев стал отдаляться от Башкирии, башкирская конница начала помаленьку отставать от Пугачева. Из-под Осы ушла третья часть башкирцев, после поражения «бачки-осударя» под Казанью их осталось в его армии не так уж много. Это не значит, что они успокоились и навсегда сложили оружие. Нет, продвинувшись к себе в Башкирию, они под начальством своего вождя Салавата Юлаева или самостоятельно, без руководства, толпами, продолжали свое дело. Но со стороны неустроенных башкирских толп иногда снова проявлялись бессмысленные насилия над русским населением.

Эти неполадки омрачали Пугачева и его близких.

– Вот непутевые, – брюзжал он, лицо его дергалось. – Это богатые баи да муллы с толков их сшибают... Они, несмысленные, забрали себе в голову, что волю-то с землей только в ихней Башкирии берут... Ан нет, еще до воли-то, мотри, вопреешь, язык-то мокрый станет. А ежели начал положен, работай до последа, не порти путь наш, не сбивай... – И, грозя пальцем, сурово добавлял: – Еще спокаются они, башкирцы-то, спокаются! Их, одних-то, генералишки замордуют вот как, говори, где чешется. Ихние баи да муллы завсегда правы останутся, а народ-то простой претерпит люто.

И другие немаловажные обстоятельства заставляли призадуматься вождей пугачевской армии: чем дальше армия отходила от Урала, тем меньше оставалось надежды получить с заводов пушки, порох, снаряжение.

Шествие Пугачева теперь уже не могло быть свободным, выбор пути его с каждым днем становился ограниченнее: и здесь и там возникали заслоны из правительственных войск. А сзади заседал неуязвимый Михельсон. Да! Надо было во что бы то ни стало раздавить его громадой, надо было штурмом взять

казанскую крепость. Ох и зудят же у Пугачева кулаки на Михельсона, изомлела вся душа!

Военный совет был скор: единодушно постановлено идти вновь под Казань.

Девочка Акулечка уже успела нарвать полевых цветов для «батюшки», казаки у котлов ели кашу, Ермилка доругивался с Ненилой. По армии пронеслась команда – готовиться к походу.

К вечеру пугачевцы подтянулись опять к Казани. Переночевали и чем свет принялись строиться в боевой порядок.

Михельсон получил от Потемкина подкрепление в двести человек. Этому вспомогательному отряду приказано было атаковать врага во фланг, но пугачевцы с такой яростью набросились на атакующих, что половина потемкинских солдат подверглась уничтожению, половина в страхе разбежалась.

Бой с Михельсоном длился более четырех часов. Пугачевцы метко отстреливались из пушек и ружей, ряды наступавших михельсоновцев редели. В рукопашном бою пугачевцы брали верх. Мужики орала, как тысячи медведей, глушили солдат топорами, рогатинами, кольями. Михельсон приуныл духом. Неужто этот сброд осилит его? Он с минуты на минуту ждал из крепости дополнительной помощи себе – ведь там до тысячи солдат, – однако помощь не появлялась. Но ни тени колебания, иначе – все погибнет. Пугачевцы в двух-трех местах с превеликим гамом и ревом уже перешли в наступление. Еще, еще усилие, и они опрокинут михельсоновцев.

– Де-е-тушки! – то здесь, то там гремит голос Пугачева.

Распаленный Михельсон бросился к своим укрытым в лесу резервам.

– Солдаты! – закричал он, взмахивая саблей. – Нам надлежит либо умереть, либо победить! Вперед, к победе! Матушка-государыня не оставит вас без награды!..

Он верил в силу своего слова, солдаты были отлично вымуштрованы, и во главе с офицерами весь резерв ринулся на пугачевцев. В запасе, кроме обозных и раненых, не осталось ни одного человека. Впереди уланского полужэскадрона, рядом с бароном Игельстромом и поручиком Фуксом, скакал польский конфедерат Пулавский. А впереди всех – сам Михельсон.

Натиск был для пугачевцев неожидан. Перетянутые на ближний пригорок михельсоновские пушки принялись шпарить по толпе картечью. У Чумакова же с Варсонофием Перешибиди-Нос оставались считанные заряды. Крестьянство, поражаемое картечью, опрометью кинулось врассыпную.

Вскоре дело было кончено: пугачевцы отступили, потеряв последние девять пушек.

И Михельсон только тут заметил голубое знамя с черным орлом, оно ослепило его.

– Знамя! – хрипло заорал он. – Голштинское знамя!.. Ребята, хватай, лови!.. – И он поскакал за Пугачевым.

Вместе с «батюшкой» мчались на свежих лошадях Горбатов, Ермилка со знаменем, атаман Овчинников. Проскакав верст пять, Михельсон повернул назад, но чугуевцы продолжали погоню. «Нет, не может быть, не может быть, – бормотал Михельсон. – Подделка... Ну а ежели доподлинное? Откуда же оно взялось? Чудеса в решете!»

Преследование длилось на протяжении двадцати верст. У погони запалилось и пало немало коней. Пугачев ушел.

Сведений о разорении Казани в Петербург еще не поступало. Но запоздалое известие, что Пугачев со своей армией, обманув бдительность высланных против него отрядов, повернул в начале июля на Каму и

может угрожать Казани, вызвало в правящих кругах большое беспокойство. В особенности известием недовольна была Екатерина.

На военном совещании Григорий Александрович Потемкин, некоронованный властитель империи российской, заявил:

– Нет, это уму непостижимо... Какой-то казак Пугачев, столь грубый разбойник, славно, однако же, умеет отыгрываться от наших генералов. За нос их водит, аки индюков. И мне сдается: либо генералы у нас плохи, либо Пугачев изрядный молодец. И по моему мнению, ежели позволит всемилостивая государыня, сей генеральский кризис надо разрешить тако: малорасторопного главнокомандующего князь Федора Щербатова с должности снять и на его место поставить князь Петра Михайловича Голицына. В разгроме толпы под Татищевой крепостью, следствием чего было освобождение Оренбурга, он показал себя сущим героем. А Щербатова вызвать сюда для изустного доклада о настоящих того края обстоятельствах.

Возражать Потемкину считалось опасным, да, в сущности, и не было причин его оспаривать. Князь Григорий Орлов, как-то невнятно посмотрев на Потемкина, сказал:

– Надлежало бы направить на восток воинское пополнение, ибо...

Но его без всякой уctивости тотчас перебил Потемкин:

– Сие уже сделано и вступило в силу. – Он вынул из кармана составленный им от имени императрицы черновик рескрипта князю Голицыну, высокомерно взглянул на прикусившего язык Орлова, с нескрываемым укором посмотрел в лицо «всемиловейшей матушки», опрометчиво пригласившей на это совещание своего бывшего «друга», и, встряхнув головой, стал гулко читать выдержки рескрипта: – «Получа известие, что злодей со своею толпою впал в пределы Казанской губернии, я приказала нарядить полки: пехотный Великолуцкий, Донской казачий и драгунский Владимирский. Сие войско будет в окружности Казани как обсервационное, которому, по усмотрению пользы, действовать согласно с нами».

Далее в умело составленном Потемкиным рескрипте перечислялись меры к защищению границ сибирских и башкирских, а также давались указания, как удобнее «прижать пугачевскую вольницу к которому ни есть неподвижному пехотному нашему посту». Рескрипт заканчивался: «Начинайте с Богом! Я ожидаю от усердия вашего ко мне полезных следствий. Екатерина».

При закрытии совещания Потемкин как бы невзначай бросил:

– А в конце-то концов надлежало бы отправить туда для командования войсками некую знаменитую особу, вровень с покойным генералом Бибиковым стоящую.

За эту знаменательную фразу мысленно уцепился присутствующий тут министр иностранных дел граф Никита Панин и, не задумываясь, решил в уме: «Знаменитая особа – это мой родной братец Петр. В лепешку расшибусь, а так оно и будет».

Где-то там бушевало людское море, гремели пушки, пылали города, но молодой столице все нипочем. Богатые дворяне по-прежнему «бесились с жиру», чиновники гнули спины над бумагами, мздоимствовали, купцы торговали, барская дворня (ее было почти половина столичного населения) с привычной покорностью обслуживала своих господ, прислушиваясь одним ухом к народным толкам о мужицком царе-избавителе.

А в общем, все шито-крыто, тишь да гладь. Правительство всего более заботилось о том, чтобы сокрыть от народа грозную смуту на окраине и неуклонно пресекать всякую «народную эху» о пожаре на востоке.

Петербург хорошел, веселился. На проспектах, на одетых в гранит набережных – гением Растрелли-

сына, Деламота, Кваренги и других – на удивление всему миру и на многие века возникали великолепные дворцы и храмы. Был в работе «Медный всадник» – бессмертное творенье Фальконета, вечный памятник бессмертному Петру.

Столичные власти негласным повелением Екатерины всячески старались развлекать народ праздничными гуляньями, которым придавалась как бы роль горчичников, вытягивающих излишний в подъяремном народе жар. Гулянья устраивались на Царицыном лугу и на обширной площади вдоль Адмиралтейства, где впоследствии разбит был Александровский сад. Петрушка, балаганы, карусели, катанье с искусственных гор. В торжественные дни гулянья кончались «огненной потехой», то есть фейерверком.

В Летнем саду с двух часов гремела придворная или шереметевская роговая музыка. Хор придворных егерей-рожечников в сто человек был одет в красные кафтаны с белыми камзолами и в черные треугольные шляпы с плюмажем из белых перьев. Музыкальные рожки, от маленького до трехраршинного, неприглядные с виду, внутри покрыты лаком и тщательно отделаны. Они издавали нежные, приятные звуки, и хоровое исполнение на них напоминало собою звучание органа. Послушать эту «ангельскую музыку» сходилось множество народа, секрет и особенность которой заключались в том, что каждый рожок, за отсутствием ладов, мог издавать лишь одну определенную ноту: ре или соль, ля или фа-диез и так далее. Таким образом, музыкант не тянул мелодию, как это делается при игре на флейте, а, следя за нотами, ждал своего времени, когда ему дунуть в рожок, ни на момент раньше или позже. В этом состояло все искусство, и пьеса напоминала собою музыкальную мозаику, выложенную из отдельных звуков. Рожечники при продаже из одного рабства в другое расценивались дорого: до двух, до трех тысяч за человека, тогда как обычная рабская душа стоила в среднем рублей тридцать.

Заботу о народных развлечениях взяли на себя отдельные вельможи: Елагин, граф Строганов, Нарышкин. Они делали это не только в угоду «матушке», но и в целях своего дворянского благополучия. У Строганова в его большом саду бесплатно угощали жителей вином и яствами, во время гулянья «ломались» паяцы, акробаты, пускались потешные огни. Нарышкин имел на петергофской дороге огромный трехверстный сад, при входе висело объявление: «Приглашаем всех городских жителей воспользоваться свежим воздухом и прогулкой в саду для рассеянья мыслей и соблюдения здоровья». В саду были раскинута палатки с закусками, с пивом, дымились котлы со сбитнем. Пели и плясали цыгане в цветных костюмах. Здесь же обычно завязывались и первые в сезоне кулачные бои, до которых граф Алексей Орлов был большой любитель.

Иногда сад навещало высшее общество. На особых площадках, под звуки оркестров, затевались танцы, как-то: полонез, променад, альман, уточка, экосез, котильон и другие. Под сенью деревьев за ломберными столами дулись в карты: тритри, рокамболь, квинтич, ерошки и пр. Зачастую за этими столами проигрывались целые деревеньки. Не повезло барину в азартную игру юрдон, – как тогда говорили, «проюрдонился в дым». Барин горюет. А мужички в это время сидят себе, не ведая беды, дома, но через месяц им скажут: «Ну, собирай котомки да айда в Тамбовскую губернию: вас барин другому господину проюрдонил».

Сановники и богатые помещики славились широким русским гостеприимством. Обеды, ужины, рауты были почти ежедневно то в одном, то в другом барском столичном доме. Какой-нибудь захудалый дворянин мог во весь год не иметь своего стола, ежедневно питаясь у знакомых и даже незнакомых лиц. На вечерах гремела музыка, в десятом часу накрывали ужин человек на двести. Толпа слуг в галунах, под началом дворецкого, угождала веселящимся гостям. На одном из столов ставился сервиз серебряный, на другом – из саксонского фарфора. За первым суетилась прислуга почтенная, старая, за вторым служили молодые. Подавались аршинные стерляди, судаки из собственных прудов, спаржа из своих огородов,

белая телятина, выхолощенная в люльках на своем скотном дворе. Персики, ананасы, виноград – тоже из своих оранжерей. Во всем – обилие, роскошь. Так проходил будничным приемный день. Торжественные же балы были баснословны. Умопомрачительной расточительностью устроителей они приводили в изумление даже иностранных дипломатов, знавших блестящие версальские пиры Людовика XVI.

Пышность и роскошь жизни вельмож поощрялись сверху не только в тяжелое для государства время, как взбадривающее начало, но и на протяжении всего царствования Екатерины. Лишь Павел I, предпринявший гонение на все вообще екатерининское, положил конец пирам да балам. Он замкнулся в своем семейном кругу, жил в рамках умеренности и, как исторический курьез, назначил своим подданным число блюд по чинам и сословиям, но не свыше трех.

Вся народная Россия знала о том, как «на весь свет пыжится» богатое дворянство. Такие купцы, как Жарков да Крохин из Казани, деньгу берегли, каждый грош пускали в оборот, своим приказчикам внушали: «Ты узоров-то глупых с дворян-кутилок не бери, ты человеком должен быть честным, бережливым. Ежели невеста тебе любя, веди в церковь, а пировни там разной не задавай, в этом один грех да изъян». Купечество относилось к «дворянам-бездельникам» с презрением, крестьянство – с лютой ненавистью: «Баре оладьи со сметаной да сало с салом жрут, а нам собачий хвост сулят». Но кому пожалуешься? Прежде мужик нес свою обиду Богу, ныне – новоявленному мужицкому царю.

Глава X

Андрей Горбатов. Слово мужицкого царя. Матушка Волга

1

Мужицкий царь со своими малыми разрозненными силами двигался левым берегом Волги в сторону Нижнего Новгорода. Пройдя около ста верст от Казани, он 18 июля остановился и решил переправиться на правый, нагорный берег реки, возле деревни Нерадовой и селения Сундырь.

Здесь поджидали Пугачева сотня бурлаков с купеческими «посудинами» и много плотогонов, сплавлявших с Керженца лес на понизово в степные края. На иных плотках были разведены большие огороды со всякой овощью.

Волгари вскарабкались на берег, хлынули к царской палатке, но «царя-батюшку» там не нашли, царь стоял среди своих казаков на бровке берега, любовался нагорной стороной, обильными плотами, баржами.

Наконец, разыскав «батюшку», толпа окружила его. Рассматривая огород на ближнем плоту, он говорил стоявшему подле Горбатову:

– Глянь, ваше благородие! Двенадцать гряд. Лучок зеленый... Ну и затейники, вот затейники!

Обернувшись на шум, возникший за его плечами, он увидел наконец опустившихся на колени бурлаков.

– Кто такие, откуда? – спросил он.

– Бурлаки, надежа-государь! Бурлаки мы, волгари... Да вкупе с нами – плотогоны.

– Ну, здравы будьте, детушки!.. Вставайте-ка, будет вам кувыркаться-то...

– И ты здрав будь, твое величество! – закричали, подымаясь, бурлаки.

Началась беседа. Пугачев рассказал о поражении, постигшем его армию. Ну, да ведь он шибко головы не клонит. Казань-то все ж таки взята, только кремль не покорился, – он, государь, крепко надеется на помощь Божию да на свой народ, первым делом на крестьянство: не выдадут, помогут. «Поможем, свет наш!» Бурлаки принялись толковать, что их у Макарья на ярмарке да в Нижнем Новгороде наберется много тысяч. А как тянули они, бурлаки, посудины вверх по Волге, своими глазами видели, своими ушами слышали, как попутные селенья сжигают и громят помещичьи гнезда, помещиков ловят да вешают, а сами всем скопом собираются к «батюшке».

Слушая, Пугачев вдруг заметил в толпе женщину. Не старая, с загорелым добрым лицом, одетая в сарафан, в чистую, тонкого холста рубаху, она то прикрывала лицо рукой, то опускала руку и умильно взглядывала на «батюшку», подбородок ее дрожал, из серо-голубых глаз капали слезы.

– Эй, о чем, милушка, плачешь? – подняв руку, спросил женщину Пугачев. – Уж не изобидел ли кто тебя?

– Да как же не плакать-то, свет наш!.. От радости, батюшка, плачу. От радости, – часто замигав,

откликнулась женщина и сквозь слезы улыбнулась.

– Ты сорви-ка, Матрена, огурчиков батюшке-т, – сказал рыжебородый дядя в беспоясой рубахе с засученными рукавами, по-видимому – муж ее. – Репки да моркови с брюквой...

– Ужо-тка, ужо я всего с грядок понадергаю, – обрадованно сказала женщина и шустро двинулась к плоту с огородом.

– Стой, Матренушка! – остановил ее Пугачев. – Не рушь зря огорода, вам еще долго плыть, пригодится. А мне бы луку зеленого пучочка три да чесноку малость. Уважаю я чеснок-от...

Пока баба бегала на плот, Пугачев, продолжая беседу с плотогонами, заговорил о переправе его армии на тот берег, расспрашивал о Нижнем Новгороде. Они сказали, что губернатор Ступишин город укрепил хорошо, есть пушки, есть и солдаты. Что касаясь переправы, то лучше этого места не найти, да к тому же у них много челнов, а у бурлаков два порожних баркаса.

Матрена притащила с огорода всякой всячины, передала Ермилке, а «батюшке» вручила вышитое, тонкого холста, полотенце.

– Прими, батюшка!.. – сказала она, кланяясь. – Личико свое пресветлое утирать будешь да нас, сырых, вспоминать.

– Благодарствую, – проговорил Пугачев и, сняв с руки кольцо, подал его женщине. – Возьми, милушка. Радость ты мне принесла.

– Что ты, что ты, желанный наш!.. Недостойна я твоего царского подарка... Ой, ты!

Она повалилась Пугачеву в ноги.

Он поднял ее, спросил:

– Чьих ты господ?

– Кожевниковых, батюшка.

– Будь отныне вольна! – властно проговорил Пугачев. – И все вы вольны будьте, детушки! А ежели крестьянство даст нашей императорской армии подмогу, то и вся Русь с землей, с волей будет.

– Спасибо, отец наш! – закричали бурлаки. – Продли тебе, Господи, живота да веку!

Вскоре под наблюдением Овчинникова с Твороговым началась переправа на тот берег. Полсотни челнов заскользили по зеркальному течению тихой Волги. На том берегу уже дымились костры.

Постепенно стягивались к царской ставке части разбитых под Казанью пугачевских сил, подходили, подъезжали из ближних селений новые кучки крестьян, иные приводили с собой на царский суд лихих помещиков, бурмистров, старост.

Прибывшие каргалинские татары доложили Пугачеву, что их атаманы Алиев и Махмутов схвачены высланными из Казани розыскными командами. А прискакавший белобородовский писарь Верхоланцев сообщил, что полковник Иван Наумыч Белобородов пленен.

– Да неужто? – схватившись мимовольно за голову, воскликнул с горестью Пугачев. Все меньше и меньше становилось у него атаманов. Не стало Зарубина-Чики, рассудительного Максима Шигаева, убит атаман старик Витошнов, без вести пропал Падуров, золотая голова. А вот теперь лютое несчастье поразило и верного Наумыча.

Оправившись от тяжелого известия, Пугачев ездил по берегу от толпы к толпе, верховодил переправой. К жаре он человек привычный, но волжский раскаленный день и его сморил.

– А поплывем-ка, ваше благородие, купаться.

И вот они вместе с Горбатовым, раздобыв лодку, отправляются вдвоем на середку реки. Лодку поставили на прикол и бросились в воду. Купались не торопясь, со вкусом: поплавают, побарахтаются да опять в лодку. Горбатов сказал:

– Вы, государь, шибко-то не унывайте. Я, как человек военный, несмотря ни на что, считаю, что дело под Казанью было одной из блестящих побед ваших...

– А кремль-то, кремль?

– Взяли бы и кремль, когда бы нам Михельсон не помешал да будь у нас поболее артиллерии.

– Верно! А Михельсонишка-т того... дюже пообидел нас.

– Наша армия сопротивлялась неплохо ему. И о вас, о вашем начале хулы не скажешь.

– Благодарствую... А все ж таки трепку дал нам Михельсон.

– Был момент, могли бы Михельсона раздавить вовсе. Но... – Горбатов развел руками. – Дисциплина у него железная, солдаты вымуштрованы, да и вооружены как надо. Тысячный отряд его врубался в нашу несметную толпу, как топор... в гречневую кашу.

– Вот то-то и оно-то, – проговорил Пугачев.

– А все ж таки...

– А все ж таки наша взяла, да только, вишь, рыло в крови! Так, что ли? – выкрикнул Пугачев и улыбнулся, но голос его звучал невесело, и во взоре было темно, без огонька.

Помолчали. Емельян Иваныч, спустив ногу в воду, смотрел, как мелкая рыбешка льнет к ноге, щекочет кожу.

– Офицер ты на диво! – продолжал он. – А ведаешь, я не знаю, кто ты есть? Было у меня в помыслах, уж не высмотрень ли ты, а таперь думаю – не-е-ет, мы с тобой, ваше благородие, одной глины горшки. Ну, кто ж ты, ась?

– Извольте, государь, с большой охотой поведаю вам о судьбе своей, – ответил Андрей Горбатов и принялся рассказывать сначала об участии своего брата Коли, именно то, что он рассказал уже Дашеньке (где-то она, что-то с ней?), затем повел речь о себе:

– Когда мы разлучились с Колей, мой досточтимый дядюшка, этакой усач с брюшком на коротких ножках, повез меня на юг: «Там мы, говорит, лошадей закупим дешевле и хороших статей». И подъехали мы после долгих странствий к самой, как потом оказалось, турецкой границе. Остановились в корчме у грека. В корчму начали приезжать какие-то богатые толстые люди, оказалось – молдаванские купцы. Все пальцы их сплошь унизаны драгоценными перстнями. Стала завязываться картежная игра. Дядя прожил в корчме около недели и умудрился спустить двадцать тысяч казенных денег. Когда опамятовался, хотел стреляться, но раздумал. И вот, помню, ужин. Грек вынес из-за перегородки три стакана виноградного вина – мне красное, а себе и дяде белое. Кроме нас, никого в корчме не было. Я выпил, у меня замутилась голова, и я потерял сознание. Был в обмороке, по моим расчетам, больше суток...

– Эге ж!.. Да это они, анчутки беспятые, сонного зелья тебе всыпали, – проговорил Пугачев, посапывая.

– Очнулся я и не могу признать ни себя, ни окружающей обстановки. Довольно приличная, увешанная коврами чужая, незнакомая комната, возле меня старый турок в красной феске с кисточкой, а на сундуке, у двери наш хозяин корчмы, грек. Я лежу на скамье. На мне старые синие шаровары, турецкая заплатанная

куртка, на ногах мягкие чуваки. Я приподнялся, спросил: «Что это означает? Куда это меня завезли, где мой дядя-офицер?» Грек сказал: «У тебя дяди нет, ты в Турции, ты больше своей России не увидишь. Вот тебе записка от дяди». Я весь затрясся, я едва мог прочесть дядины каракули. Он писал: «Дорогой Андрюша! Я из подлецов подлец. Я лишился всего: денег, чести, родины. Я проиграл и твои золотые часы, и твоё ношебное платье, и все вещи твои. Чтоб перебраться за границу, я принужден был продать тебя. Вырученные деньги дадут мне возможность кой-как добраться до Бухареста, где у меня есть дальний родственник, зажиточный человек. Но думаю, что сего позора не переживу, лишу себя жизни... Прощай, мой мальчик, навсегда».

– Вот видишь, вот видишь, Горбатов, какие есть сволочи помещики-то! – со страстностью вскричал Пугачев, брови его сдвинулись к переносице.

– Прочитав записку, – продолжал Горбатов, – схватился я за голову, и мне показалось, что со мной продолжается кошмарный бред или я сошел с ума. Я вскочил, стал кричать, топтать ногами, требовать, чтоб меня тотчас везли домой, к родителям. И в отчаянии ринулся с кулаками на грека. Грек дал мне зуботычину, свалил меня, связал веревкой. «Ты брось буянить, – сказал он. – На помощь к тебе никто не придет, а государыня Екатерина воевать из-за тебя не станет. Вот твой господин, – и он указал на старого турка. – У него есть на тебя запродажная бумага, бумага заверена у русского и турецкого начальников». Сказав так, он распрощался с турком и поехал к границе, чтоб ночью перебраться чрез нее к себе домой. Я лежал связанный и тихо плакал. Турок сказал мне: «Имя твое – Гирей. Будешь работать на моих виноградниках. Подрастешь, примешь нашу истинную веру, женишься на дочери моей, будешь славный турок». Я заплакал пуще. Он развязал меня, велел подать для меня баранью похлебку с кукурузными лепешками. Еду приносила горбатая старуха. Хозяин-турок говорил по-русски кой-как, едва поймешь. Он сказал: «Ты будешь жить на кухне. У меня гарем. Морда у тебя красивая. Ежели что замечу, знай, сделаю из тебя евнуха. Бойся!» Я две недели каждый день буянил, на работу не ходил, требовал отвезти меня в Россию. Меня били плетью, били кулаками, я изнемог и целый месяц пролежал, как мертвый. Когда поправился и окреп, в ночное время бежал, но был пойман. И хозяин посадил меня на цепь, как собаку. Тут я на своем опыте познал, до чего худо, до чего унижительно быть человеку в рабском состоянии.

– Во! – крикнул Пугачев. – А из-за чего и сыр-бор-то весь горит, супротив чего и мы-то с тобой стараемся да страждем?

– Так, государь, так... – согласился Горбатов. – В течение года трижды пытался я спастись бегством, меня ловили и снова сажали на цепь. Так прошло два года. Я пробовал писать письма отцу, своей крестной, помещице Проскуряковой, даже одно письмо императрице. Посылал, казалось мне, с верными людьми, но всякий раз письма мои попадали в руки хозяина, и он, издеваясь надо мной, швырял их на моих глазах в печку. Тогда я понял, что, ища себе спасенья, надо поступать по-другому. И я начал... втираться в доверие к хозяину. Сделался веселым парнем, на славу, за троих работал. Хозяин был доволен, подарил мне хорошую сряду – красную куртку со шнурами, с позументом, атласные шаровары, сафьяновые туфли. И стал я красивый турок, участвовал в игрищах, выпивал, ловко плясал, славно пел. К тому же и турецкий разговор кой-как осилил, научился неплохо лопотать по-ихнему. Как-то хозяин спросил меня: «Ну что, Гирей, бросил по России скучать?» Я весело ответил: «А чего мне скучать! Отвык я от России. Здесь лучше!» Он сказал: «Ты знаешь по-французски, учи мою дочь, а как примешь наш истинный святой закон, женись на ней». Я притворился, что очень рад, и согласился.

Горбатов замолк. Пугачев вскинул на него взор и проговорил:

– Сыпь дальше, занятно, слышь. А хороша ли турецкая девчонка-то?

– Нет, государь, подслеповатая, кривоплечая, а на правой руке шесть пальцев...

Емельян Иваныч смешливо присвистнул. Горбатов продолжал:

– В конце года хозяин уже доверял мне вполне: я ездил с деньгами в город, вершил там разные дела. Я принял турецкое подданство, получил паспорт, через месяц должна была состояться моя свадьба, мне шел восемнадцатый год. Тут мне улыбнулось счастье. Хозяин тяжело захворал, а меня отправил в городок по денежным делам. Я туда выехал и больше не возвратился. Я купил пару чудесных лошадей и направился верхом прямо в Константинополь.

– В Цареград? Эге ж! Да ты парень пройди-свет, я вижу,– прищелкнув языком, сказал Пугачев.

Солнце спускалось за Волгу большим красно-огненным шаром. Казалось, оно трепещется, играет, то увеличиваясь в объеме, то сжимаясь. По смирной воде протянулась к лодке прямая самоцветная тропинка с зазубринами по краям. Изжелта-красный цвет ее постепенно угасал. Обманную тропинку эту то и дело пересекали скользящие челны, издали они казались черными ползущими букашками. На горе, в лучах заката, розовела белая церковка села Сундырь, а многочисленные избы с загоревшимися слюдяными оконцами – будто скопище невиданных зверей: вот они вышли из дремучего леса и, развалясь отдохнуть на берегу, уставились пылающими глазами на солнце. Беззвучно прилетали, взмахивая мягкими крыльями, лиловые чайки, парами и в одиночку. Кругом было тихо, благостно.

– Словом, коротко сказать,– говорил Горбатов,– очутившись в турецкой столице, я измыслил пробраться в канцелярию нашего посольства и объявить там стряпчему, кто я такой и как попал в Турцию. Стряпчий отечески потрепал меня по плечу и молвил: «Приходите, молодой человек, через недельку, авось, на ваше счастье, кой-что и наклюнется. Есть перспективы». Так оно и вышло. В скором времени Турция объявила войну России, наш посланник, очень почтенный человек, взял меня под свое покровительство, и вот я с русским посольством снова на родине. Ах, государь! Какое великое, какое святое слово – родина! Когда ступил я на родную землю, сердце мое сжалось, и я заплакал. И как бы вновь родился я на Божий свет. И подумал тогда, да не перестаю и ныне так думать: только тот наособицу любит родину, кто вкусил долгой разлуки с ней, тем паче будучи в неволе лютой.

– Истина твоя... – подтвердил Пугачев.

– Вскорости прибыл я в свое гнездо, надеясь упасть к ногам бесценных родителей моих... И что же там встретил я? Встретил я там то, отчего на веки вечные померкла, озлобилась душа моя... – Горбатов опустил светло-русую свою голову и часто-часто замигал. – Ставни на окнах в нашем доме закрыты, парадная дверь забита доской. Я прошел на кухню. Наш старый слуга Федотик спросил меня: «Что вам угодно?» Я говорю: «Здравствуй, Федотик! Нешто не признал?» Он бросился мне на шею: «Андрюшенька, Андрюшенька!» – и заперхал стариковским плачем. «Где мои родители, где Коля?» – спросил я не своим голосом. Он перекрестился и, утирая слезы, сказал: «Все они по воле Божьей на том свете, Андрюшенька: и барин с барыней, богоданные родители твои, и родной твой братец Коленька». У меня закружилась голова, едва я не упал с лавки. Старик подал мне квасу и, видя, что я пришел в чувство, стал рассказывать о Коле, погибшем на почтовой станции под Нижним. «А мамашенька ваша, говорит, как узнала, что Коленька скончался на чужбине, да и от тебя-то ни толикой весточки нет, тронулась умом да невзадолге, сердешная, и преставилась». Ну а с папенькой моим, со слов Федотика, было так. Наш сосед, помещик Янов, пьяница и скандалист на всю губернию. А капитал у него отменный. Вот этот самый Янов, охотясь со своей псарней за зайцами, собственноручно выдрал нагайкой бедного помещика-одногодворца за то, вишь, что тот не снял пред ним шапки. Мой отец этому злодейству очевидцем был, научил одногодворца подать в суд, а сам пошел в свидетели. Любил отец правду, почасту встречал он за обиженных. Янова суд оправдал, все судьи были им подкуплены, а отца этот самый Янов с тех пор возненавидел и стал искать случая к его погублению. К примеру, обреет полголовы, словно каторжному, какому-либо из своей дворни и велит ему скрытно запереться в бане моего отца. На другой день, по поручению Янова, наедет к отцу полиция: обыск!

Ага, укрывать беглых каторжников! Отца в суд. Присудят к отсидке либо к большому штрафу и на приметину возьмут. Так в моем отсутствии было с отцом трижды. Отца уже повезли в острог, да спасла его все та же Проскурякова, крестная моя: взяла его на поруки. А то как-то глубокой осенью приехал этот разбойник Янов со своей шайкой на двадцати подводах, приказал сорвать замок с житницы и весь хлеб, весь урожай, какой там был ссыпан в закрома, увез к себе. Этот разбой происходил днем на глазах у всех. Несчастный родитель мой, когда ему об том сказали, весь затрясся, схватил ружье и в одном халате, по морозу, побежал к своей житнице, да в горячах и ахнул из ружья в кучу насильников. Кого-то ранил. «Бей его!» – закричал Янов. И отца стали бить. А сердце у него было слабое, не выдержало... не перенесло стыда и боли... отстучалось!..

– Ну, а земля-то за тобой осталась? – спросил Пугачев. Он сидел насупясь и шумно отдувался, густые усы его шевелились.

– Нет! Какая там земля... – ответил загрустивший от воспоминаний Горбатов. – Отец мой разорился с судами, имение было заложено, и, как не оставалось ни одного наследника, да к тому и я пропал без вести, пошло имение с молотка, было куплено тем же Яновым. Наша деревенька небольшая, шестьдесят дворов; крестьяне работающие, не пьющие, жили безбедно, имели побочный заработок – мастерили колеса для телег. Отца они уважали, и отец заботился о них. Еще при мне деревня сгорела дотла, отец заложил имение и выстроил им избы. А треклятый Янов начал с того, что всех мужиков насильно переселил в дальнюю новгородскую губернию на плохую неродимую землю. Такое варварство взъярило наших крестьян, несколько семей в бега ударились. Оставил новый барин при доме только нашего старика Федотика.

Он примолк.

– Знаешь что, ваше благородие, – сказал Пугачев. – Ужо-ка я казачишек спосылаю за этим змеем, пуцай сыщут да привезут его ко мне, я из него окрошку сделаю!

– Оного помещика уже нет на свете – убит крестьянами, – отозвался Горбатов, – а наше бывшее поместье в третьих руках... Э, да что там! – прервал он себя и махнул рукою.

– Так, так... Ну, друг, теперь ты для меня как облупленное яичко! Верю тебе крепко, – оживленно сказал Пугачев и, помолчав, с некоторой опаской в голосе добавил: – Вот ты и за государя меня признаешь... – А подметив смущение офицера, торопливо продолжал: – Глянь-ка, глянь, ваше благородие, зорюшка-то полыхает!

Офицер вскинул голову. Солнце село, волшебная тропинка на воде исчезла. Зато половина небосвода расцветилась оранжевым цветом, густым у западного горизонта, постепенно гаснущим к зениту. Слюдовая гладь воды между пугачевской лодкой и закатом, отражая нежное сияние небес, зарделась ровным блеском. Все пространство от земли до неба, от края и до края, наполнилось сумеречной волнующей печалью. Это – последняя ласка, прощальный привет земле великого небесного светила. Издалека донесло протяжную песню, приглушенный дально благовест, заунывный, узывчатый голос пастушеской свирели с лугов.

И тут ближе, из-за самой реки, взнялась и поплыла бурлацкая песня:

Матушка Волга, широка и долга,
Ты нас укачала, ты нас увалаляла...
Эх, нашей-то силушки,
Нашей силушки не стало!

С надрывом, с жалобным стоном песня то настигала затаившихся в лодке людей, то вдруг куда-то

удалялась от них, словно приманивая к себе, в заволжские леса и нивы.

Горбатов чутко внимал самобытной песне, созерцая погасавшую красоту заката. По-иному переживал пышное угасание этого вечера Пугачев. Уж не казанские ли пожары полыхают над Волгой, не заревом ли от них охватило полнеба? А вот два огненных, невеликих, в шапку, облачка. Уж не дым ли от выстрелов Михельсоновых пушек? А это беспрестанное кряканье селезня в камышах – не звуки ли медной трубы горниста Ермилки?

Житель привольного Дона, Пугачев любил природу и понимал в ней толк... Но нынче вся душа его потревожена, приплюснута бедами, раздернута, и не до любованья ему закатом... Снова запахло будто бы удушливым порохом, в уши ломятся отзвуки грохота пушек, ржания коней, стоны раненых, а в глаза наплывают призраки: пламя пожарищ, клубы пыли и дыма, блеск сабель, – и бегут, бегут, подобно отарам овец, преследуемых волками, безоружные его скопища... Нет, не до небесных закатов Емельяну Иванычу. А тут еще, как надоедливый комар, зудит и зудит досадливая мысль о соседе Горбатова – помещике Янове: подох, скот, а то вот как бы отыгрался на нем Емельян Иваныч... Впрочем, не в Янове-помещике дело! Всех их, злодеев, не перевешаешь, не угомонишь... Тут, гляди, как бы самому целым остаться... Вон ведь Михельсонышка-то чего натворил!

2

– Двинулись, ваше благородие, пора, – сказал Пугачев и начал от прикола отвязывать лодку.

В это время к ним подплыла распашная ладья, в ней два рыбака – старик да парень, сеть и много не уснувшей еще рыбы. В носу кучей лежали стерлядки и большой, пуда на два, осетр.

– Здорово-то живете, удальцы! – поприветствовал Пугачева с Горбатовым рыбак, тормозя веслом лодку.

– Здоров бывай, стар человек, – ответил Пугачев. – Кто такие?

– А мы, сударик, Лозьевой деревни жители, крепостные крестьяне Табакова-господина, рыбаки. Царю-батюшке рыбкой поусердствовать хотим, слых прошел, что здесь он, солнышко наше, а как его найти, неизвестно нам, – сказал старик, вопросительно глядя на Пугачева из-под надвинутой на глаза ветхой шляпки.

– Ну, так поплывем нито с нами, – проговорил Пугачев. – Мы слуги его величества.

– Ой, робяты, не оставьте нас! – обрадованно улыбнулся в большую волнистую бороду сутулый старик.

Лодки, спарившись, заскользили наискосок реки к берегу.

– Ну, а чего народ-то гуторит о государе? – спросил Пугачев.

– Давно ждут, мил человек, давно поджидают батюшку. Народишка-т высвобожденья чаает. Ведаешь, помещики-то с приказными да воеводами всякое нам насильство чинят, кормы от нас берут сверхсильные, податями душат. От этого, мил человек, мир-от и закачался.

Пугачеву эти слова по душе пришлись, он переспросил:

– Так, баешь, закачался мир-от?

– Закачался, мил человек! Как при Разине, шум в народе идет, – ответил старик. – Мой родитель самовидцем Степана-то Тимофеича был, ну так сказывал мне: запорожцы-то с черкесами пеши да конны берегом Волги шли, а сам Степанушка-то на стругах.

Обе лодки тянулись неторопливо, самосплавом, а встречу им плыли береговые костры, и гул огромной толпы слышался с берега явственной.

– Стенька-т, сказывал родитель, человек многогрешный был, любил погулять, подурить, да и на барскую кровь не скупился, – продолжал старик, затягиваясь из берестяной тавлинки табачными понюшками. – И за грехи его, сказывал родитель, мать сыра земля не приняла быдто Стеньку-то, как сказнили его в белокаменной, на Красной на площади. И слых в народе остался, быдто бы он, Степанушка-то, сызнава явится. – На скуластом, сухощеком лице рыбака вновь появилась улыбка. – А вот, замест Стеньки-то, почитай, сто годов погодя, сам царь-государь объявился ныне... Только слых идет, быдто его, батюшку нашего, в Казани-городе генералишки пообидели... Ну, да горя мало, народ-то, сила-то мужичья, чай, не с генералами! А где народ, там и Бог, там и правды истинной крепость! Еще пропущен слых, быдто наследник Павел на помощь батьке-то идет с превеликим воинством. Поди, и у вас гуторят? Ась?

Пугачев смолчал, приметно нахмурился, и, как бы разгадав его мысли, подал голос Горбатов:

– Настанет пора, пожалуйет и наследник. А только народу-то об одном помнить надобно: на царя надейся, да и сам не плошай...

– Царь-то, – подхватил Пугачев, светлея в лице, – без народной силушки – что дуб без корней: вдарит буря – он, глядь, и свалится, дуб-то.

С берега заголосил дозорный:

– Государь, государь! Батюшка плывет!

Люди шарахнулись к берегу. Казаки принялись расчищать в толпе проход к царевой палатке. Пугачев сказал рыбаку:

– Рыбу у тебя, дедушка, сейчас примут, а ты с мальцом где-нито в народе побудь, невзадолге и самого государя узришь.

...Пока готовилась стерляжья уха, Пугачев вел беседу с Дубровским.

– Уразумел ли ты, друг, каков должен быть мой царский манифест к народу?

– Из ваших личных слов, ваше величество, уразумел в полной мере, – бойко ответил молодой Дубровский. – Само главное, по нуждишкам крестьянским пройтись...

– А коли уразумел, ступай поскорей, пиши. А как покончишь, вычитку мне сделаешь, да чтоб грамотные казачишки всю ночь напролет оное наше слово множили. Скорей!

К ужину собрались приглашенные командиры: Овчинников, Чумаков, Перфильев, Творогов, Горбатов, Федулъев и другие. Вели разговоры о делах народного ополчения. Никто не знал толком, каковы были потери в боях казанских. Не было вовсе командирам известно, что Михельсон переловил около десятка тысяч безоружного крестьянства да старых пленных солдат. Немалый был урон и среди казаков, и среди горнозаводских, предводительствуемых Белобородовым.

– Шибко жаль уральских работников, вон какой смышленный да отчаянный народ, – сказал Емельян Иваныч.

Потолковав, решили приняться за устройство армии, «во вся тяжкие» мужиков ратному делу обучать. Трудное, прямо-таки маловозможное занятие: ни оружия, ни времени. А ничего не напишешь – надо!

– Пушек да мортиров, господа атаманы, черт-ма у нас, – сумрачно сказал Пугачев. – Последние под Казанью растеряли. Твоя, Чумаков, вина. По шее бы тебя.

– Я свою шею не для чужих кулаков растил, – сдерзил Чумаков.

– А для чего ж? Для удавки, что ли? – крикнул Пугачев, и его рот слегка перекоксился, брови вздернулись.

Чумаков скраснел, рывком накренил к груди голову: широкая, лопатой, борода как бы сломилась надвое. Чтоб замаять ненужную перепалку эту, Овчинников громко заговорил:

– Когда мы под Казанью бились, с Камы, вверх по Волге, баржу мимо нас тянули. А в той барже шесть медных пушек с зарядами да немало пороха с ружьями. Пушки сработаны на Воскресенском заводе... И плавают все это оруженье до Рыбинска, а там по Шексне-реке, дальше же на колесах, в Питер.

– Перехватить! – вскричал Пугачев и пристукнул кулаком по столешнице. – Взять, говорю, баржу ту!

Овчинников тряхнул густоволосой головой, ухмыльнулся:

– Да уж взяли, батюшка, взяли. Все шесть пушек на лафетах к берегу выкачены.

Пугачев откинулся, прищурился на атамана и в раздражении крикнул:

– Смеешься ты?

– Правду говорю, – поднял голос Овчинников. – Все дельце спроворили, пока купался ты, батюшка,

Петр Федорыч. Не веришь, покличь мастера с Воскресенского завода, Петра Сысоева. Он на барже при пушках спосылыван был, а теперича здесь.

– Добре, добре, – повеселел Пугачев и крепко, вразмах, обнял Овчинникова.

Позвали Сысоева. Это был высокий, опрятно одетый человек со впалой грудью. Лицо у него сухощекое, скуластое, обрамлено темной бородой. Глубоко посаженные глаза сильно косили.

– Во! Знакомого Бог дает! – вскричал, враз узнав мастера, Пугачев. – Ну, здорово, Петр Сысоев, здорово, мастер отменный! Садись, друг, да поведай нам, что да как?

Сысоев поклонился, сел и обстоятельно, не торопясь, заговорил:

– Спустя неделю, как ты, царь-государь, удалился от нас, с Воскресенского, нагрянул к нам воинский отряд. Кой-кого похватали, кой-кого кнутьями выдрали, а Якова Антипова в железа заковали, куда-то утащили.

– Ахти, беда... Ну, а немец? Отыскался, нет? – спросил Пугачев.

– Нет, царь-государь, Мюллер как сгинул... Был слух, будто в Екатеринбург он пробрался. Да врут, поди. А что касемо пушек, для вашей милости отлитых, так их приказано было доставить до Камы, нагрузить там на баржу и – в Питер.

Сысоев рассказал, что их баржа возле Казани стала в самой середке Волги на якорь – ночь была, ветер, опасались сесть на перекате; а он, мастер, махнул на челне в Казань, с поручением к купцу Крохину, радетелю древлего благочестия. Купец отрядил с ним пять своих молодцов с ружьями да еще приказчика. Приказчик, прибыв на баржу, упросил двух офицеров, дабы те за хорошее вознаграждение приняли к себе на судно молодцов да самый малый груз с товаром и чтобы тех купецких людей доставили к Нижнему, на Макарьевскую ярмарку.

– Обдурил, значит, офицеров-то? – нетерпеливо спросил Пугачев, заскакивая мысленно вперед.

– Офицеры деньги, конечно, взяли и на все согласные сделались, а купецкие молодцы с нашими заводскими в пути стакнулись, добыли из купецких тюков бочонок с водкой, по тайности ночью споили солдат и ружья у них отобрали. А офицеров, кои вздумали сопротивление оказать, побросали в Волгу...

– Так. А пушки, где пушки? – спросил Пугачев, приподымаясь.

– А пушки за Волгу перегнали, царь-государь, вместях с баржой. Миша Маленький на берег их выволок, – наморщив деловито лоб, откликнулся Петр Сысоев.

– Как, и Миша здесь? – воскликнул Пугачев.

– Здеся-ка, здеся-ка, царь-государь, с нами.

– Жалую тебя в есаулы, – взволнованно сказал Пугачев, вынул из кармана широких шаровар медаль и подал мастеру. – Носи, есаул, в честь награждения за труды, за ловкость, за верность нам, а наипаче – превеликому умыслу нашему... И будь ты, трудник, по праву руку нашу!

Пугачев был растроган. Велел Овчинникову на барже всех людей одарить деньгами, в знак милости. Затем все направились осматривать драгоценную добычу.

На берегу, укрытом строевым сосновым лесом, к вечеру уже скопилась вблизи царской палатки не одна тысяча народу. Люди прибывали водой и берегом. Пылало множество костров. Шум стоял, говор, крики. Кони всхрапывали, побрехивали вездесущие собачонки. Кто-то истошным голосом зывал на берегу:

– Ванька! Ле-ш-а-ай... Где ты?

Под песчаным невысоким курганом, у костра, артель бурлаков, поужинав ухой, завела складную песню. На кургане стояла телега, на телеге, подмяв под себя сено, притаилась Акулька. Она лежала вверх спиной, опершись локтями о дно телеги и обхватив щеки ладонями. Ей давно пора спать, но как же можно пропустить мимо ушей эти бурлацкие, такие складные, такие заунывные песни?!

Бородатый плешастый дядя зачинал, ватажка подхватывала. Натужив грудь, запевала тянул:

Что на синем славном море Хвалынском
Сходились мазурушки персидские
Да низовые бурлаченьки беспашпортные.
Они думали-гадали думу крепкую:
«Вот кому из нас, ребятушки, атаманом быть?» —
«Атаманом быть Степану Тимофеичу!»
Атаман речь возговорил, как в трубу струбил:
«Не пора ли нам, ребята, со синя моря
Что на матушку Волгу, на быстру реку...»

Ах, песня... Вот песня! Ну до чего складно, до чего узывисто поют! Век бы слушать! А тут еще дедушка, степенный такой да приятный, в гусли бурлакам подыгрывает. Струны гудут-гудут, и тренькают, и словно плачут.

Акулька затаила дыхание, у нее тоже просились наружу слезы, только плакать ей хотелось не от грусти-печали, а от злой досады. Она злилась на себя и на дяденек: на себя за то, что ей ни в жизнь длинной такой песни не запомнить и, значит, не повторить ее любимому царю-батюшке, а на дяденек – что они вон как голосисто, на всю Волгу, орут: еще, чего доброго, батюшка сам песню-то дослышит, тогда и ее, Акульки, перепев ни к чему государю пресветлому.

Так оно и случилось: долетела эта песня до Емельяна Иваныча, вышел он из палатки на волю, замер один-одинешенек под звездным небом и внимает складному голосу издавна знакомой и оттого вдвойне милой ему песни.

Подошел к нему секретарь Дубровский:

– Вот манифест, ваше величество, согласуемо вашего повеления. Прикажете зачесть?

– Идем в палатку.

Тем временем проворная Акулечка уже успела подкатиться к ватажке бурлаков.

– Ой, дяденьки, ой, миленькие, – засюсюкала она с хитренькой улыбкой. – Ой, да научите меня этой песне, а я вам свою спою, смеховатенькую.

– Глянь, братцы, девчонка! – оживились бурлаки. И все враз заулыбались.

– Откедова ты в этаким лесу, уж не русалья ли ты дочка? А может, лесная кикимора выродила тебя?

– Ой, полуумные какие, а еще мужики, – с напускной заносчивостью проговорила Акулька. – Я баба, да и то умнее вас.

Бурлаки захохотали: вот так баба – от земли едва видать...

– Глянь, бесенок какой... Хватай ее! – пугающе крикнул бородатый плешастый запевала и, поймав Акульку, усадил ее к себе на колени.

– А давайте-ка из девчонки, ха-ха, похлебку варить! – крикнул толстогубый, в рыжей бороде, лохмач.

– Хм, похлебку, – хмыкнула Акулька и встряхнула простоволосой головой. – Да за такие паскудные

слова царь-государь живо тебя за волосья.

– А откуда он проведает про слова-то мои?

– А я скажу.

– Так и допустят тебя до царя, – откликнулись бурлаки, с любопытными ухмылками поглядывая на девчонку.

– Хм, допустят... Да я, может, царю-батюшке-т кажинный день шаровары да рубахи латаю.

– Ах ты, бабья дочь, теткина племянница! – грохнули бурлаки. – Да нешто ампираторы в латаном ходят?

– А вот и ходют... Пираторы – не знаю, а наш – бережливый. Меня батюшка-т в лесу подобрал, – неожиданно сообщила она. – Я по миру в куски ходила, христарадничала, а он меня, сироту, взял. На его коне я и ехала попервоначалу.

– А не врешь, сопатая? Больно нужны ему сироты!

– А вот и нужны!.. Ненила, стряпуха батюшкина, сказывала: он всех на свете сирот привечает; сиротский царь, говорит, потому што...

Неумолчно болтая, раскрасневшись от явного внимания к себе всей артели, Акулька потянулась к своему узелку, достала из него иглу с ниткой и принялась зашивать бородачу разорванный рукав рубахи.

– Я вас ужо-ужо всех обошью, у меня лоскутьев – во! А кому так и воши в голове выищу.

– Ой, спасибо тебе, доченька! – перестав смеяться, заговорили бурлаки. – А то, вишь, и впрямь в дороге обносились, при нас баб-то нет. Кузьма! Дай-кось ей заедочку, пряничек.

– Ха! Заедочку... – сморщив нос, сказала Акулька. – Да я кажинный день с пряниками-то щи хлебаю. Не верите, так вот вам! – И, вытащив из своего узелка две заедки, она кинула их в колени Кузьме. – У нас в обозе кажный сосунок с пряниками.

– Сироты все, ай как?

– Всякие! Эвон взять Трошку, парнишка такой, с сестренками, ну-к при них matka. А тятюку ихнего, Омельяном звать, баре замучали. Да неспроста замучали-то, а зачем он за нашего царя-батюшку вступился... В товарищах он при батюшке ездил, с самого, вишь, с Дона-реки, казак потому што.. – пояснила она и так же внезапно, как начала о сиротах, вернулась к песне: – Ну, так чего же, дяденька, охочи, нет, нашу деревенскую?

Она отерла рукой рот, часто замигала и каким-то птичьим голосом, с прихлюпкой и потешным придыханием, запела:

Как у нас во деревне
По будням-то дождь-дождь,
По будням-то дождь-дождь.
И по праздникам дождь-дождь.

Густой сумрак окутал лес, всю Волгу, лишь цепь костров, поблескивая багрянцем, клубилась дымом. Вдруг справа на кургане, что недалече от костра бурлаков, забил барабан, затрубила труба, и четыре смоляных факела разом осветили вершину кургана. Там, на той самой телеге, где только что лежала Акулька, стоял во весь рост Емельян Иваныч. Он был в парчовом полукафтаны, на голове высокая шапка с красным напуском, при бедре сабля, за поясом два пистолета, в руке медная, начищенная бузиной, зрительная труба.

– Гляньте – царь, сам царь! – закричала, забыв о песне, Акулька.

Бурлаки ахнули, вскочили, побежали на призыв трубы и барабана. И все несметное людское скопище кругом зашевелилось. Многотысячная толпа, расположившаяся среди сосен, начала сгруживаться и, сменяя все на своем пути, бурно устремилась через сутемень к пылавшему в огнях кургану. Старый рыбак с парнем, что приплавили в подарок государю рыбу, попали в костомятку. Толпища, как прорвавшая плотину река, неудержимо хлынула к царю-батюшке. Живым водоворотом она крутилась возле сосен, возле всякого встречного препятствия, подавалась вправо, сваливала влево, откатывала назад, перла напролом вперед.

От растоптанных костров во все стороны летели головешки, трещали опрокинутые телеги, падали сбитые с ног более слабые люди. Всюду неистовый рев, стоны, выкрики: «Легше, легше, дьяволы!..» Старый рыбак, теряя силы, вцепился в своего парня, и они оба отделились живому течению; их, как сухие снопы, много раз перебрасывало с одного места на другое. Наконец людские волны начали униматься, и все скопище подтекло к кургану.

– Детушки! – подал свой зычный голос Пугачев, зорко осматриваясь по сторонам: вот оно, истое кондовое мужичье царство: широкогрудые, бородатые, богатырь к богатырю, сыны Волги, нив, полей, вековых лесов ее. – Детушки! Верное мое крестьянство! И вы, люди ратные! Нам Божией милостью уповательно завтра с зарей перелазить всею силою на тот, на правый, берег Волги-матки. А малая часть уже туды и переправилась. И коль скоро мы, оставив Башкирию с землями приуральскими, вступаем в крестьянское царство-государство, то и положили себе огласить вам, пахарям, бурлакам, лесорубам, рыбакам и прочим, прочим всем трудникам, свой императорский манифест. Прислушайтесь!

Вскинулся одинокий голос, подхваченный в сотни глоток:

– На колени, братцы! На колени!

Народ с глухим шорохом опустился на колени. Возле самой телеги, сложив на груди худенькие руки, приникла на колени и Акулька. А старик-рыбак, пробившись вперед, к самой царской повозке, истово осенял себя крестом и все время, пока оглашали манифест, крестился и всхлипывал.

На телегу к царю заскочил ловкий кудреватый Дубровский, развернул лист бумаги и голосисто начал:

Стало слышно, как дышит вокруг взволнованный народ да шелестят под легким ветром ближние осины. Выждав, Дубровский продолжал:

Дубровский передохнул, вслушиваясь в незримую жизнь несметной людской громады. И он услышал, как плещется у берега бегучая вода, как взныривает-играет на приплеске рыба, а тут, рядом, пофыркивают голубыми плечочками четыре факела. Невольно он оглянулся на Пугачева и увидел, как вздымалась волною под парчовым полукафтanjem широкая его грудь, как горели его глаза, устремленные к людям, и тотчас, тайным чутьем, почувствовал: то, что хотел и не мог понять и подслушать он, Дубровский, слышал и понимал этот необычный человек в парче.

Встряхнувшись, Дубровский продолжал:

Закончив, он опять оглянулся на Пугачева и услышал:

– Чти сызнова! Да появственней...

И вновь, смахнув пот со щек, Дубровский звонким, чистым голосом принялся вычитывать то, что было записано им самим, но что уже не принадлежало ему, как перестает принадлежать сеятелю зерно, отданное пашне.

Знаменитому пугачевскому секретарю всего больше по душе были заключительные строки о «тишине

и спокойной жизни, кои до века продолжаться будут». Для царя и его советников этот день тишины и покоя – лишь присказка к суровой правде о лесах и земле, о податях и помещиках-злодеях. Ну что ж, ведь та добрая присказка нужна страждущим людям, как нужна истомленному путнику на трудной его дороге думка о далекой обетованной стране, где ждет человека сладостный отдых. И не может быть, чтобы сирый народ не понял благостных слов о царстве тишины и покоя.

И, как задушевную песню сердца, как зов к безмятежному будущему, истово, всей грудью, скорее пропел, чем проговорил Дубровский слова о светлой грядущей жизни, «коя до века продолжаться будет».

Взглянув затем на толпу, он почувствовал, что коленопреклоненный народ до предела насыщен надеждой и ликованием. И у Дубровского вспыхнула мысль, что теперь же, сию же минуту, ему надлежит выразить пред всеми и за всех этот страстный порыв народный. Не помня себя, он вырвал из рук Ермилки багровое в зареве факелов государево знамя и, потрясая им, во всю мочь закричал:

– Да живет вовеки наша правда! Смерть супротивникам нашим!.. Ура, ура, ура-аа тебе, воитель, заступник наш, царь-государь всенародный!

– Ура-а-а батюшке-царю! Ура-а-а! – прынув с колен, заревела единой могучей глоткой толпа – та, что была близко, и та, что тучей залегла средь леса, до самых речных песков.

«А-а-а-а...» – гремучим эхом раскатилось по белесым волжским водам.

И все, кто был тут, позабыв себя, опьяневшие без хмеля, неукротимые в своем порыве, с орущими, разверстыми ртами, с глазами, в которых, казалось, кипела кровь, ринулись к телеге царя, подхватили, подняли ее, как скорлупу широкие волжские волны.

– Стой! Стой! Опрокинете! – вопил царь, топоча и кренясь в телеге из стороны в сторону, как на палубе в бурю. Он был один теперь со своим знаменем, похожий на мачту под парусом, а вокруг шумные бушевали волны, и вот со скрипом, с треском закачалось, поплыло сказочное судно невесть куда.

– Де-е-тушки!.. Черти... дьяволы, опомнись!..

Он кричал в полный голос, взмахивал зажатым в руках знаменем, грозился императорским своим именем, а телега скрипела, трещала, и вот уже вывернулось переднее колесо, хрустнули, посыпались доски в кузове. Телега накренилась, – и Емельян Иваныч очутился в чьих-то любовных, бережных руках.

Дико, будто в страшном сновиденье, где-то повизгивала Акулька, охал, постанывал зажатый народом бородатый рыбак. Мишка Маленький, Пустобаев и пятеро дюжих казаков пробивались к государю. Но толпа уже качала его: коренастое тело царя летало вверх-вниз, вверх-вниз вместе с черным градом войлочных шляп, шапок, малахаев, картузов. И торжествующие вопли, и радостные крики «ура, ура» повсюду.

Офицер Горбатов стоял, прижатый к сосне, дрожал в ознобе восторга, заодно со всеми кричал «ура». Он чувствовал себя, как в победной битве, проникая всем существом своим в буйное ликование сердец, не знающих страха. И рядом, плечо к плечу с ним, как свой, как брат по крови, стоял кто-то неведомый, медведеобразный, с глазами, залитыми слезой.

Разгребая плечом дорогу, шумел Овчинников, и, держась за его полу, тащилась за ним, как нитка за иглой, Акулька. Она уже не плакала, она смеялась и что-то бормотала. Заметив у сосны Горбатова, кинулась к нему, схватила за руку, потянула за собой.

– Чу! Батюшкин голос!.. Слышь, слышь?.. Ой, дяденька, ой, миленький, ну и напужалась я... Думала, батюшку-т колотят мужики... – Она лепетала, не выпуская его руку из своей, еще мокрой от слез, и так, вдвоем, они выбрались к реке. Тут было тихо: люди стояли плечо к плечу и, затаив дыхание, слушали заветные царские слова.

Пугачева в ночном полумраке не было видно, однако голос его звучал повсюду. Услышал его и Горбатов, услышала и Акулька, поднятая офицером на руки.

– Детушки! – выкрикивал Пугачев горячо и крепко, как всегда в беседах с народом. – Вы теперь ведаете, детушки, мою цареву волю. Только восчувствуйте, что мне одному, без подмоги вашей, ничего сотворить не можно. Один в поле не воин...

– Чуем, отец!.. Поможем, постоим за тебя, батюшка наш! – шумел народ.

– Поможем! Всем миром навалимся!..

– Куда глазом кинешь, и мы за тобой!

И снова голос его, отменный от всех других:

– Ну, так не бросайте меня, детушки! А делайте то, что повелеваю. Мы вознамерились, чтобы в каждом селении, в каждом городе, велик ли, мал ли он, сидело свое выборное начальство – атаманы, сотники, судьи. Отседова и легкость вам доспеется в жизни. И всяк будет равен всякому! – Пугачев помолчал и снова: – Слышали, детушки, под Казанью-то погнулись мы, порядка у нас настоящего не было, вот и... – Голос его дрогнул, но вслед зазвучал еще сильнее: – Споткнулись, это верно, а только опять вот на ногах. Как говорится: упал больно, да встал здорово!

В толпе послышались дружные возгласы одобрения.

– А теперь, люди мои верные, уповательно нам, собравшись с силами, на полный штурм двинуться. Не можно терпеть, чтоб земля под барами оставалась, чтоб кровь из мужика всякие мздоимцы сосали. Крепи себе волю, детушки, изничтожай злодеев-помещиков!.. Руби столбы, заборы сами повалятся...

Из-за лесистого крутояра показалась ясная луна. Черная тень опажнула берег. Меж землей и звездами стал разливаться голубоватый свет. По речному широкому раздолью брызнуло огненное серебро, и мокрые весла скользящих по воде челнов блестели, как стеклянные.

Было уже поздно, когда Пугачев распрощался с народом.

– Дорогу, дорогу государю! – покрикивала стража, расчищая Пугачеву путь. Впереди пер напролом уральский великан Миша Маленький. Умильно улыбаясь, он как бы шутя разводил в стороны руками, но люди слетали с ног, кренились, отскакивали прочь.

Еще долго, до самой зари, толпились на берегу люди, горели костры, ржали кони.

3

На другой день, едва взошло солнце, началась переправа на тот берег. Зрелище было необычайное. Ничего подобного Волга еще не видала. Поперек ее течения шел легкий живой мост, выложенный темневшими над водою человеческими и конскими головами. Мост двигался через Волгу наперекосях, течение сшибало его книзу. Это «перелазили» вплавь казачьи части и небольшие отряды башкирцев, оставшихся верными Пугачеву.

Казачьи плавились так: на связанные из жердья легкие салики[55] они складывали одежду, ружья, боевые припасы, седла и плыли вперед, держась одной рукой за хвост или гриву коня, а в другой руке у них была ляжка от салика.

И все это двигалось лавиной, с фырканием и всхрапыванием лошадей, с людским гамом, смехом, гиканием. Тут же скользили челны и лодки, чтоб в случае нужды подать помощь ослабевшему.

Возле ближайшего села Кокшайского люди и обоз переправлялись через Волгу на пароме. В другом месте сотни набитых людьми челноков и лодок бороздили воду. Бурлаки пригнали четыре купеческих паузга и две емкие баржи. Переправа пошла быстрее.

К обеду на правом берегу уже скопилась не одна тысяча человек. День был невыносимо жаркий, вода – как парное молоко. Множество людей с гоготаньем, раскатистым хохотом и визгом принялись купаться. Акулька с пугачевскими девчонками барахталась у отмели, учась плавать. Ниже по течению казаки с башкирцами и татарами купали и чистили лошадей. Голые, бронзового цвета, с крепкими мускулами, молодые люди въезжали в воду на лошадиных спинах. Кони подрагивали взмокшей кожей, хватали воду опаленными губами, иные до глаз погружали в воду голову и гулко затем отфыркивались.

Среди конников началась в воде возня, слышались крики, смех. Какой-то гололобый калмык в шутку накинул сзади петлю на зазевавшегося казака и с силой дернул ее в свою сторону. Казак, описав пятками круг в воздухе, слетел с коня и воткнулся головою в воду. Затем он вынырнул, обозленный, стал отплевываться, фыркать.

Весь берег, глядя на казачьи забавы, покатывался со смеху.

Потянуло к воде и Емельяна Иваныча. Сбежав вниз, он прошел направо, в кусты, чтоб быть неприметным народу, снял нарядный чекмень с генеральской лентой и звездой, разделся и кинулся в воду. Поплавал, понырял один-одинешенек. «А ну-ка, – подумал, – к людям сплаваю; вишь, какой хохот там, – должно, складно врут... А голый и царь – человек. Поди, разбери его!»

Сбросив царский наряд, он враз ощутил в себе свободу, сердце его возликовало: по правде-то молвить, прискучило в царя играть.

Он нырнул и, пройдя под водой порядочное место, выскочил в самой людской гуще.

– Эй, братухи! Ощо борода объявилась, – закричали, смеясь, здоровенные парни. – Давайте и эту бороду топить... – И трое из них, не узнав Пугачева, по-озорному полезли на него.

– Еще бабушка надвое сказала, кто кого! – крикнул Емельян Иваныч и, набрав полные легкие воздухом, скрылся под водой.

– Аа-а, испужался, умырнул? – засмеялись парни.

Тут глубина им до подбородка, они из муромских лесов, плавать не умели, твердо стояли на песке. Вдруг один из них, дико вытаращив глаза и взмахнув руками, опрокинулся затылком в воду. Следом за ним забурлили на дно еще двое. Это Емельян Иваныч проделывал свои штучки: он поочередно схватывал под

водой парней за ноги, повыше пяток, и сильным рывком опрокидывал на дно. Вот два парня выскочили на поверхность, лица у них глупые, осатанелые. Отплевываясь, захлеб дыша, они вопили:

– Ах он, змей!.. А где Митька-т?

Курносого, с заячьей губой Митьку Емельян Иваныч несколько попридержал в воде. Но вот вылетел поплавок и Митька. Посиневший, с дикими глазами, он ловил ртом воздух, тряс головой, фыркал и плевался, отхаркивая воду. Эта озорная забава напомнила Пугачеву юные годы, он вынырнул к парням, улыбающийся и счастливый.

– Ах, язва! А и ловко же ты хрещеных топишь, – с хохотом закричали оправившиеся парни, но подступить к нему боялись.

– Это, братцы, суконщик из Суконной слободы. Я его в Казани заприметил, – сказал, придя в сознание, курносый Митька с заячьей губой.

– Ничего не суконщик, – возразил другой. – Татарин это, Балдыхан, маханиной торгует... Хватай бороду! Топи!

Но смеющийся Пугачев снова скрылся под водой и вынырнул в другом месте, где бултыхались степенные бородачи. Они ни малейшего внимания на него не обратили, возясь меж собою: заскакивали друг другу на плечи, брызгались водой, боролись.

Пугачев услышал знакомый, приближающийся берегом голос: «Государь! Где государь?» Против купающихся вырос на берегу Ермилка, протрубил в трубу и опять закричал:

– Государь! Эй, ребята! Нет ли где тут ампиатора?

– Ермилка! Я здесь! – выкрикнул Емельян Иваныч и поднял руку. – Я тут!

Стоявший позади Пугачева бородач, озлясь, стукнул его по загривку:

– Я те покажу, как государем величаться!

Получив от ретивого бородача затрещину, Емельян Иваныч не захотел заводить с ним ссору, он нырнул и начал пробираться под водой к кустам, к своей одежде.

Бородачи смеялись. Один из них, весь, как баран, заросший шерстью, проговорил:

– А что, робяты... Мы, голые-то, все государи, ха-ха!..

– Сказал тоже, – встрял бельмастый рябой дядя. – Голым-то всяк родится, да не всяк в цари годится!

Одеваясь в кустах, похихикивая, Емельян Иваныч оценивал случай с подзатыльником. «Гм... Хлестко он по загривку-т мне, мужик-то. А ничего, окромя спасибо, не скажешь... Ведь он за государя своего поусердствовал... Эх, – вздохнул он, – было бы добро называться мне принародно не Петром Федорычем, а Емельяном Иванычем. Называл же себя своим крещеным имечком Степан Тимофеич Разин...»

Перед ним стоял навтыжку Ермилка, бестолково докладывал:

– Так что прибыл, ваше величество, с казанского трахту гонец с известием.

– С добрым али с худым?

– Да не шибко доброе, ну не шибко худое... Середка наполовину вроде. Впрочем сказать, я толком ни хрена не знаю! – зашлепал Ермилка толстыми губами. – Он Ивану Лександрычу Творогову репортовал, гонец-то...

Атаманом Овчинниковым была налажена крепкая связь с Казанью: начиная от города, через каждые

тридцать верст дежурили по два казака. Сведения передавались от пикета к пикету. Нужные вести пугачевцы получали от своих «ушей и глаз», оставленных в Казани, а главным образом через купеческого доверенного, которому купец Крохин вменил в обязанность вынюхивать все необходимое, что творится как в губернской канцелярии, так и в Секретной комиссии Потемкина.

Впоследствии пугачевцы узнали, что военными действиями и пожаром Казань была приведена в жалкое состояние. Она потеряла убитыми, ранеными, сгоревшими, пропавшими без вести 779 горожан. Из 2900 хозяйств было сожжено и разгромлено 2063 дома. Большинство населения коротало теперь время на Арском поле. Казань опустела. Разбежавшиеся в разные стороны жители начали помаленьку возвращаться на погорелое место. Они не имели пристанища, валялись под открытым небом. Не имелось у жителей ни сена, ни хлеба. Церкви были завалены всякой кладью, пожитками, по свободным уголкам ютились тут люди. На улицах смрад от тлеющих головешек, от разлагающихся на жаре трупов. Стали развиваться болезни – горячка, лихорадка.

Почти все жители Казани в той или иной степени претерпели несчастье, зато казанский победитель Михельсон со своим отрядом был щедро награжден императрицей. Михельсон произведен в полковники, и ему пожаловано 600 душ крестьян с землею. Его офицерам роздано 3146 душ крестьян с землею, а нижним чинам выдано в награду третное жалованье. «Да сверх того, – писала Екатерина Голицыну, – прикажите весь деташемент Михельсона хорошо одеть и обувь на мой счет». Поощренные таким образом отборные михельсоновские солдаты сделались еще более усердными к своей службе и стали преследовать Пугачева с особым рвением.

Прибывший в Казань граф Меллин соединил свои силы с отрядом Михельсона. Однако люди и лошади у обоих военачальников были чрезмерно измотаны, поэтому о быстром преследовании толп Пугачева нечего было и думать. Для восстановления в окрестностях хотя бы относительного спокойствия Михельсон направил во все стороны лишь небольшие команды, которые все же успели захватить важных помощников Пугачева. Так, был схвачен полковник Иван Наумыч Белобородов, татарские сотники Алиев, Махмутов и другие.

Пленные татары показали Михельсону, что, по их сведениям, армия мятежников после переправы разделилась на две части: одна толпа, во главе с Пугачевым, собирается пойти на Чебоксары и на Нижний, другая – по чувашским селениям и помещичьим усадьбам.

Руководствуясь этими сведениями, губернатор Брант тотчас отрядил нарочных в Нижний Новгород, в Воронеж и Москву с известием об угрожающей центральным губерниям опасности.

Нижегородский губернатор Ступишин немедленно закрыл Макарьевскую ярмарку, всех съехавшихся туда купцов распустил и приказал наблюдать за Керженцем, не волнуются ли там в своих скитах раскольники. Перепуганный Ступишин писал в Москву князю Волконскому: «Несчастье велико в том, что рассыпанные злодеи, где они касались, все селения возмутили и уже без Пугачева делают разорения, ловят и грабят своих помещиков». Он писал, что у него до смешного мало воинской силы и всего семнадцать малокалиберных пушек. «Дайте мне хотя бы двести человек легких войск, – взывал он. – Ведь я примечания должен иметь на великие тысячи бурлаков, кои на судах к Нижнему приходят».

Главкомандующий князь Щербатов, не имея известия, что он уже смещен со своего поста, все еще продолжал сидеть в Оренбурге. Михельсон передал Меллину часть своей команды и отправил его за Волгу для преследования пугачевцев, а сам остался в Казани дожидаться какого-либо отряда, «ибо, – доносил он, – весь народ в великом колебании, на моих же руках более 7000 пленных мужиков, кои после присяги хотя и распускаются по домам, но, при отсутствии войск, могут образовать шайки и предаться грабежам».

Взбудораженный опасным положением Казани и ее губернии, генерал-майор Потемкин сообщил

своему полудержавному родственнику: «Не можно представить себе, до какой крайности весь народ в здешнем краю бунтует, так что вероятия приложить, не видево оное, невозможно. Источником оногo крайнее мздоимство, которое народ разорило и ожесточило...» Главнокомандующему же князю Щербатову, не имея на то никакого права, он писал, в форме приказа, что нужно немедленно идти с воинскими частями в Казань, и заканчивал свое послание так: «Впрочем, вы знаете, князь, что злодей найдет везде шайки и что он наделает много зла, перейдя Волгу. Я ожидаю ваше сиятельство с крайним нетерпением».

В сущности, князь Щербатов в Оренбурге не бездействовал, но, будучи стеснен недостатком легких войск, он прибегал к полумерам, и то с крайним запозданием. Он приказал Муфелю двигаться к Казани, а князю Голицыну, не останавливаясь в Уфе, тоже идти в Казань. Наконец главнокомандующий сам прибыл в Казань, уже разоренную пугачевцами. Первою его заботою было прикрыть Москву от всяких действий мятежников. Он приказал Михельсону идти на фланг пугачевской армии и отрезать ей путь к первопрестольной столице.

Михельсон вскоре выступил из Казани и, несмотря на полученное им в пути известие, что Пугачев повернул на юг, к Царицыну и Курмышу, предписал Меллину не идти прямо по пятам мятежников, а иметь их толпу всегда с левой от себя стороны, то есть препятствовать ей повернуть к Москве.

Михельсон рассчитывал, что Пугачев в своем движении к югу наткнется на свежие силы Муфеля (до 500 человек), следовавшего с Самарской линии в Казань. В то же время граф Меллин будет наступать на пугачевцев слева, а он, Михельсон, угрожать с фланга. Совместными действиями трех отрядов Пугачев мог быть, по расчетам Михельсона, прижат к Волге и оказаться в безвыходном положении. Соответствующие меры к окружению пугачевской армии были предприняты и главнокомандующим.

Но все эти меры и распоряжения сильно запоздали. Емельян Иванныч не встречал на своем пути ни пришедших войск, ни отпора со стороны местных властей. А потому в течение почти месяца беспрепятственно властвовал он в приволжских губерниях.

Часть вторая

Глава I

Главнокомандующий Петр Панин. Мир с Турцией. На юг. Курмыш, Алатырь. Суд

1

Никита Панин не дремал. Как только услышал он оброненную Григорием Потемкиным фразу о «знаменитой особе», тотчас написал об этом брату, а вскоре и сам выехал к нему в подмосковную деревню.

Братья любили друг друга и при встрече прослезились. Время брало свое. Но старший, Никита, выглядел моложе своего брата и был крепче его. Петр Панин заметно дряхлел, становился тучным, однако жизненного огня было в нем еще довольно.

В беседе Никита сказал:

– Как я уже сообщал тебе, Петр, в виде письменном, фаворит на военном совещании молвил матушке тако: надлежало бы, мол, отправить некую знаменитую особу, вровень с покойным Бибиковым стоящую.

– А и умен этот Гриша одноглазый, ей-ей, умен, – перебил брата Петр, расхаживая с палочкой по горнице.

– Да, охаять его в этих смыслах никак не можно... Человек с принципами твердыми. И я думаю... – Никита сделал паузу и, уставившись в глаза брата, продолжал: – И я думаю, что сей знаменитой особой надлежало бы быть не кому иному, а тебе.

Петр прищурился на брата, поправил на лысеющей голове голубой колпак с кисточкой, его лицо изобразило ложную гримасу равнодушия, сменившуюся затем выражением властолюбивого тщеславия.

– Что ж, Никита, – сказал он, – я об этом казусе довольно думал. Но-о-о!..

– Ведь ты пойми, брат, – перебил его Никита под напором обуревающих его мыслей. – Потомки нарекли бы тебя героем, яко благополучно разрешившим сей бедственный народный кризис. И род наш, старинный род Паниных, вознесясь, навеки укрепился бы в истории.

– Да, ты сугубо прав, – высоко вскинув голову, ответил Петр. – Но... Ты сам ведаешь: матушка на меня зуб имеет и ни за что на свете не отважится создать из меня персону знаменитую. Побоится! – воскликнул Петр, пристукнув тростью в пол. – Она и Гришки-то одноглазого побаивается, а тут ты меня толкаешь в грансеньоры... Да ведь я царских полномочий себе запрошу.

– Так и надо, так и надо, Петр! Лишь бы ты согласился, а уж там... Положись на меня.

– Я согласен... Что ж, ради спасения отечества и пошатнувшегося корпуса дворянского утверждения, я согласен...

Братья снова крепко обнялись и снова прослезились. Петр вдруг почувствовал, что душа его ширится, за плечами как бы вырастают крылья, под ноги подплывает некий пьедестал и вздымает его все выше,

выше. Призрак власти реет над ним, захватывает его, зовет на подвиг...

21 июля в Петербурге уже было получено известие о сожжении Казани.

Правительство, в особенности сама императрица, отнеслось к этому известию весьма тревожно: распространение мятежа угрожало не только внутренним губерниям, но даже и Москве.

– Черт возьми! – воскликнула Екатерина. – Все, все, даже Михельсон, не могут угнаться за маркизом Пугачевым!

– Это ничего, – ответил ей Потемкин, – сие оттого и происходит, что Пугачев больше не царствует. Он царствовал в Оренбурге, а ныне бежит, как заяц.

Екатерина собрала заседание Государственного совета. Она явилась на совет запросто, без пажей, без адъютантов. Открыв заседание, она в своей речи дала общую характеристику восстания, гневно отзывалась о действиях главнокомандующего Щербатова и подчиненных ему лиц. И в конце речи заявила:

– Я весьма и весьма опасаюсь за Москву. Пугачев прокрадывается к первопрестольной, дабы как-нибудь там пакость какую ни на есть наделать – сам собою, фабричными или барскими людьми. А посему и ради спасения империи я намерена сама ехать в Москву и взять на себя все распоряжения к усмирению восстания и ко благу общества клонящиеся! Прошу Государственный совет высказать по сему свои суждения.

У нее был столь возбужденный вид и крикливый, какой-то запальчивый голос, что присутствующие сочли нужным, потупив глаза, отмолчаться. Молчал и Никита Панин. Видя замешательство присутствующих, Екатерине ничего не оставалось, как спросить каждого персонально.

– Скажите, Никита Иванович, – обратилась она к Панину, – хорошо или дурно я поступаю?

Опасаясь испортить отношения с Екатериной и не теряя надежды возвысить брата до «особы знаменитой», Никита Панин отвечал ей чрезмерно почтительным, даже вкрадчивым голосом:

– Не только не хорошо, ваше величество, но и бедственно в рассуждении целости империи. Она ваша поездка в Москву, увеличив вне и внутри империи настоящую опасность, более нежели она есть на самом деле, может ободрить и умножить мятежников и даже повредить дела наши при других дворах. – Считая, что он достаточно запугал императрицу, пожелавшую занять пост «особы знаменитой», Никита Иванович опустил голову и смолк.

Екатерина прищурила на него глаза и отвернулась. Ее поддержал Григорий Потемкин:

– А что ж, а что ж, – сказал он. – Я по сему с Никитой Ивановичем не согласен в корне. Поездка вашего величества в Москву навряд ли повредит империи внутри и вне ее.

Был опрошен князь Орлов. Он сидел с презрительным ко всему равнодушием, хмуро косился на Потемкина и, ссылаясь на нездоровье, на плохой сон, извинился, что по сему поводу «никаких идей не имеет».

«Окликанные дураки», – как выражался про них в письме к брату Никита Панин, – бывший гетман Разумовский и Голицын – тоже твердым молчанием отделались. Скаредный Чернышев трепетал между фаворитами, он вполголоса вымолвил, что самой императрице ехать-де вредно, и сделал вид, что спешит записать имена тех полков, которым к Москве «маршировать вновь повелено».

В общем, поездка императрицы в Москву была отложена. Государственный совет постановил: послать в первопрестольную два полка пехоты, два полка конных гусар и казаков да легкую полевую команду с несколькими орудиями; побудить московское дворянство к набору и содержанию конных

эскадронов по примеру казанского дворянства и, наконец, отправить в Казань для командования войсками знаменитую особу с полной мочью.

Кто будет знаменитой сей особой – ни один из многочисленных присутствующих не знал. Гадали на Григория Орлова, на Румянцева, на бывшего гетмана Разумовского, наконец – на самого Потемкина, но ни у кого и в помыслах не было о назначении на пост главнокомандующего генерала Петра Панина, столь неприятного императрице.

Вот тут-то Никите Панину и приспело время действовать.

В тот же день, после обеда во дворце, он отвел Потемкина в сторону и не без пафоса сказал ему:

– Дорогой друг, Григорий Александрович, сделай мне, старику, Божескую милость, похлопочи у всемилостивейшей, дабы она позволила мне принять на себя тяготы главнокомандующего для прекращения народных бедствий. Не могу терпеть больше... Ночи не сплю!

– Да что ты, Никита Иваныч... Перекрестись! – отступив на шаг и сцепив кисти рук пальцы в пальцы, с немалым изумлением проговорил Потемкин. И тотчас же смекнул: «Ага, сейчас о Петре зачнет, лисица». – Ты человек сугубо не военный, где ж тебе. Да и как мы без тебя здесь останемся? Подумай...

Никита потупился, в смущении погрыз ноготь, глаза его увлажнились. Он сказал:

– Ведь дело становится там час от часу важнейшим и сумнительнейшим. Ну... в таком разе, ежели не я, то Петр Иваныч Панин мог бы с честью стать на защиту империи. Сей прославленный воин не столь дряхл еще. Да ежели и на носилках довелось бы его нести, он все едино примет на себя ратный подвиг ко спасению отечества. А ведь он бодр душою и телом. Поди, поди, друг, Григорий Александрыч, доложи о сем всемилостивой государыне.

Потемкин сообразил, что братья Панины ищут случая привлечь его на свою сторону. «Ну, что ж, это хорошо. Они, в случае чего, помогут мне бороться с партией Орловых», – подумал он и направился в кабинет Екатерины.

Она только что кончила с Бецким партию в шахматы. Иван Иваныч Бецкий был первый просвещенный аристократ, долго живший в Париже, где познакомился с течениями по части особого воспитания детей, «дабы создать породу людей новых». Екатерина считала Бецкого своим единомышленником и благоволила к нему, этому гибкому, ловкому царедворцу. Прощаясь с Екатериной, он насмешил ее французским анекдотом, поцеловал руку и ушел.

Проводив его, Екатерина принялась переключивать с письменного стола на шифоньерку новые книги, доставленные из академической лавки, чтоб захватить их в Царское Село.

– Я сейчас уезжаю, Гришенька, – сообщила она вошедшему Потемкину.

– Куда, в Москву?

– Пока в Царское, – с улыбкой ответила она. – Уже лошади заложены.

– Матушка, тебе надлежит быть здесь ежечасно. Сама понимаешь... Хотя бы дня два-три. Послушайся меня, матушка. – Он вскинул брови, брякнул в звонок и явившемуся камер-лакею приказал: – Ее величество остаются в Петербурге. Распорядись, братец.

Екатерина насупилась, но вслед за сим на ее вспыхнувшем лице появилась прощающая улыбка. Влюбленная в Потемкина, она подмечала, что начинает несколько побаиваться его. Однако, видя в нем государственный ум и сильную волю, старалась оберегать свои отношения к нему, как к человеку ей необходимому. Да, Григорий Александрович – не Гришенька Орлов со своей мягкой, словно воск, натурой... Она сказала:

– Ты, Григорий Александрыч, чересчур ретив.

– Матушка, так надо. Да и глянь, какая туча заходит, – промолвил он, осанисто вышагивая к огромному, как дверь, окну, выходявшему на невские просторы.

– Глупости, – бросила Екатерина, – я в карете... – Она тоже подошла к окну и почувствовала себя возле великана в светло-зеленом, расшитом серебром кафтане не более, как подростком-девочкой. Из-за Невы действительно вздымалась туча, и на ее свинцовом фоне сверкал под солнцем золоченый шпиль Петропавловской крепости.

– Так в чем же дело? – став рядом с Потемкиным и положив ему руку на плечо, спросила Екатерина.

– А вот. – И Потемкин, осторожно повернувшись к ней лицом и с нежностью целуя ее руку, доложил ей свой разговор с Никитой Паниным.

– Что, Петра? Главкомандующим?! – отступив от Потемкина и зажимая пальцами уши, воскликнула Екатерина. – Нет-нет-нет!.. Не слушаю, не слушаю.

– А все же выслушай, матушка. – И Потемкин усадил ее против себя в кресло.

– Это невозможно, невозможно! – отмахиваясь руками и потряхивая головой, противилась Екатерина. – Это ж мой персональный оскорбитель!..

– Матушка, обстоятельства требуют от тебя жертвы. Сложи гнев на милость.

– Но ведь он враг мой, враг! – вновь воскликнула она, пристукнув маленьким кулачком по своей коленке.

– Матушка, – спокойно возразил Потемкин. – Ежели он враг, то... в первую голову враг Пугачеву, а потом уж тебе.

Этот мудрый ответ заставил Екатерину призадуматься... Да! Григорий Александрыч, как всегда, прав. Петр Панин, конечно же, будет прежде всего защищать интересы дворянского корпуса и этим самым утверждать неколебимые устои государства. Но у нее по сему поводу другое основательное опасение, бросающее в душевный трепет. Ей достаточно известно властолюбие обоих братьев Паниных и их всегдашняя приверженность к наследнику престола Павлу. И вот сама судьба, попустительством ее, Екатерины, дает им, братьям, в руки страшную доподлинную силу: войска и власть. Нет, нет, этого невозможно допустить!..

И она вновь, вся загоревшись, с азартом принялась атаковать Потемкина:

– Ты только вдумайся, Гришенька. Господин граф Никита Панин из брата своего тщится сделать повелителя с беспредельной властью в лучшей части империи: в Московской, Нижегородской, Воронежской, Казанской и Оренбургской губерниях, а *sous entendu* есть и прочие. Ведь в таком разе не токмо князь Волконский будет огорчен и смешон, но и я сама ни малейше не сбережена, а пред всем светом первого враля и мне персонального оскорбителя превыше всех в империи хвалю и возвышаю... Что ты на сие скажешь? – Сердце Екатерины усиленно билось, грудь дышала прерывисто, она поджала губы и уставилась в лицо Потемкина, она ожидала от своего друга возражений и приготовилась к самозащите. Но ощущение своей пред ним малодушной робости сбивало ее с твердых позиций обороны. Ах, как неприятно, как мучительно сознание собственной слабости...

Потемкин, заложив ногу за ногу, обхватив руками коленку и скосив глаза, внимательно рассматривал изящную пряжку своей туфли, осыпанную бирюзой и гранатами. Он повернул к Екатерине голову и на басовых нотах сказал спокойно:

– На сие отвечаю, матушка, тако: ни огромной военной силы, ни безграничной власти у Петра

Панина не будет. Не будет! Царем он никогда себя не возомнит, а тебя, матушка, мы сберегчи да оборонить завсегда сумеем... Уж поверь, всеблагая. В этом смысле и указ заготовить прикажи. Ну, так скликать сюда Никиту-то? Он ждет не дождется.

– А это нужно?

– А как ты полагаешь? – повелительным тоном сказал он.

– Зови.

Переборов себя, она милостиво кивнула вошедшему Панину, усадила его в кресло, деланно заулыбалась и, не дав ему открыть рта, обрушила на него каскад приятных слов и восклицаний:

– Я очень, очень растрогана вашим патриотическим поступком, Никита Иваныч! А что касаемо Петра Иваныча, то клянусь вам всем святым, что я никогда не умаляла доверенность к сему славному герою. Более того, совершенно я уверена, что никто лучше его любезное отечество наше не спасет. Передайте Петру Иванычу мой полный к нему решпект и что я в оное время с прискорбием его от службы отпустила. А ныне я с чувствительной радостью слышу, Никита Иваныч, что ваш знаменитый брат не отречется в сем бедственном случае служить нам и нашему отечеству.

Потемкин, стоя у окна, наблюдал происходившую беседу. Он с удивлением прислушивался к словам Екатерины, его брови скакали вверх и вниз, губы складывались в язвительную улыбку.

Никита Панин, пораженный столь быстрым и благоприятным решением «жребия» брата, припал на одно колено и, склонив покорную голову, поцеловал руку императрицы.

– Итак, положась на промысел Божий, будем, Никита Иваныч, действовать.

– Будем действовать, ваше величество! – взволнованно откликнулся Панин, вспомнив с острой болью в сердце насильственную смерть шлиссельбургского узника [\[56\]](#) и ту же фразу о «промысле Божьем», произнесенную тогда императрицей.

За окнами хлынул дождь, ослепительно сверкнула молния, резко ударил трескучий громовой раскат. Екатерина вздрогнула, приказала задернуть на окнах драпировки, отошла в дальний угол комнаты.

Граф Никита Панин, не мешкая, отправил в Москву к брату гонца – гвардии поручика Самойлова, родного племянника Потемкина. Панин посылал письмо, Потемкин давал словесное поручение племяннику – убеждать Петра Иваныча, чтобы он «просил государыню всеподданнейшим отзывом о желании его служить и быть полезным государству для укрощения беспокойств».

2

На другой день, 23 июля, было получено донесение фельдмаршала Румянцева о заключении так называемого Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией. Мир был подписан 10 июля на довольно выгодных для России условиях. Черноморские портовые города: Азов, Керчь, Еникале и Киндури, а также важнейшие торговые пути – устья рек Дона, Буга, Днестра и Керченский пролив переходили во владение России. Русские купцы получали особое покровительство со стороны турецких властей при плавании купеческой торговой флотилии как по Черному морю, так и вообще по морским путям Турции. Кроме того, Турция выплачивала России 4 500 000 рублей контрибуции в золотой монете.

Таким образом, для русской торговли с иноземными рынками как хлебом, так и прочими земледельческими товарами открывались широчайшие возможности. И эти новые ворота чрез Черное море на Запад были прорублены победоносной русской армией, геройски сражавшейся в течение семи лет под начальством прославленных полководцев Румянцева, Суворова, Панина, Потемкина, Каменского и прочих. Им и всему российскому народу – честь, слава и вечная благодарность потомков!

Сам Потемкин, да и некоторые вельможи о славном победителе графе Румянцеве отзывались так:

– Фельдмаршал – один из людей, кои в долгих веках счетны.

Английский министр иностранных дел писал посланнику Георга III в Петербург:

Правительство торжествовало. Императрица считала «день сей счастливейшим днем в своей жизни, ибо мир был заключен на таких превосходных условиях, которых ни Петр Великий, ни императрица Анна за всеми трудами получить не могли».

«Теперь, – писала Екатерина в Казань Павлу Потемкину, – осталось усмирить бездельных бунтовщиков, за коих всеми силами примусь, не мешкая ни единой минуты».

Потемкин отвечал ей превыспренным посланием: «Сей мир не одну только славу оружия возвышает, но перед целым светом доказывает премудрость монархини державы российской и великость ее духа. Когда страшная война с Турцией разделила силы российского оружия, объемля круг от Кавказских гор до Белого моря, тогда Европа чаяла видеть Россию на краю падения. Премудрые учреждения вашего величества и высокие предприятия явили всем державам, что может сделать государыня, имея дух столь великий.

Совершенный с Турцией мир возвысил славу пресветлого вашего имени, укротил надменность завидующих держав, обрадовал народ и преподает ближайшие средства к искоренению внутреннего врага. Имея ныне более свободы к истреблению его, уповать должно, что сие скоро кончится. Дело великого духа вашего величества, чтоб наказать неблагодарный народ и миловать врагов своих».

(Екатерина так и поступила: она оказала милость своему врагу Петру Панину и дала ему право «неблагодарный народ» наказывать.)

В интимной беседе Григорий Александрович говорил Екатерине:

– Ну, матушка Катенька, теперь плавай на здоровье. Ныне тебе не страшны ни Пугачев, ни Панин, ни кто-либо тре-е-тий! – подчеркнуто произнес он, вскинув мясистую руку и погрозив пальцем.

Екатерина поняла, что под словом «третий» надо разуместь великого князя Павла с его партией. Глаза ее увлажнились, она взглянула на Потемкина с чувством глубочайшей благодарности.

– Гришенька, – сказала она. – Я хочу знать о процветании нашей внешней торговли, чтобы связно доложили мне и, елико возможно, обширно. Пригласи для этой цели, пожалуй, кого-либо из Вольного

экономического общества, ну того же Сиверса, буде он еще не уехал.

С верхов Петропавловской крепости 24 июля загрохотал салют в 101 выстрел. Начались торжества, длившиеся трое суток. Вся Россия особым манифестом была оповещена о благоприятном мире с Турцией. В глухих углах обширнейшей России, где давным-давно забыли про войну, встретили известие о мире как нечто неожиданное, а в иных отдаленных трущобах впервые услышали, что когда-то началась война с «неверными» и что она закончилась. Многочисленные пленные турки партиями отправлялись к себе на родину по завоеванному Россией Черному морю. Те из них, что кой-где сражались совместно с гарнизонами против Пугачева, получили награждение. Некоторые, приняв русское подданство и поженившись на деревенских девках, пожелали навсегда остаться в новом отечестве.

Засим правительство поспешно открыло энергичные действия против Пугачева.

На усмирение восстания решено было отправить генерал-поручика Суворова. Семь конных и пеших полков, квартировавших в Новгороде, Воронеже и других городах, получили приказ немедленно двигаться к Москве, причем сильный воинский отряд должен был занять Касимов, как пункт, из которого удобно действовать на Москву и Нижний Новгород. Московское дворянство приступило к формированию боевого корпуса.

В это время в самой Москве и окрестностях ее было неспокойно. Простой люд – рабочие, фабричные, крестьяне, многочисленная дворня, а отчасти ремесленники и мещанство – вел себя развязно и с полицией задирчиво. Нередко между дворовыми людьми и их господами происходили несогласия. На рынках, по площадям, тупичкам и улицам народ гуртовался в толпы. Шли шепотки, а иногда и крамольный разговор в открытую. Имя царя-батюшки, освободителя, было желанным предметом шумных бесед в трактирах, обжорках и на воздухе. С полицией и будочниками случались кровавые схватки. Иногда в толпе появлялось оружие. За последний месяц было схвачено несколько «пугачевских агентов». После допроса с пристрастием их вешали во дворе тюремного замка.

Достаточной воинской силы для борьбы с начавшимся народным движением у князя Волконского до сих пор не было. Но с заключением мира с Турцией в Москву уже начали прибывать войска, и обстоятельства резко изменились в благоприятную для правительства сторону.

Волконский всю площадь пред своим домом устали орудиями, усилил разъезды по городу, приказал полиции зорко следить за сборищами.

25 июля он объявил московским департаментам правительствующего сената, что Пугачев двинулся на Курмыш и намерен сделать покушение на Москву. Сенат постановил, чтобы все денежные суммы городов Московской губернии немедленно были отправлены в первопрестольную и чтоб сведения о движении самозванца были сообщаемы сенату ежедневно с нарочным. Сенат призывал к самозащите как дворян, так и торговый люд с мещанами. Провинциальные канцелярии, в свою очередь, просили Волконского прислать им воинские силы, порох, ружья и орудия.

Нижегородский губернатор сообщил Волконскому, что мятежники уже вступили в его губернию и разделились на две части: одна направилась к селу Лыскову, другая – к Мурашкину, то и другое село в восьмидесяти верстах от Нижнего. Губернатор просил у Волконского помощи. Волконский послал в Нижний двести человек донских казаков, а также сформировал отряд из двух конных полков под начальством генерал-майора Чорбы, приказав ему охранять подступы к Москве.

Екатерина почти ежедневно писала Волконскому, диктуя ему те или иные указания. Волконский на одно из таких писем отвечал: «Здесь за раскольниками недреманным оком чрез полицию смотрю, но еще никакого подозрения не вижу. Впрочем, всемиловитая государыня, здесь все стало тихо, и страх у слабых духом начал уменьшаться».

Наоборот, Петр Панин смотрел на видимое спокойствие Москвы по-иному. Ему было выгодно представить состояние дел в самых мрачных красках, чтоб получить более обширные полномочия и таким образом увеличить в будущем свои заслуги. Он писал своему брату, что «весь род всего дворянства терзаются внутренно и обливаются слезами, ожидая себе жребия, случившегося в Казани. Видя огромный город обнаженным от войск, не знают, что делать, куда отправлять свои семейства...» «Прошу тебя припасть, вместо меня, к ногам государыни, омыть их слезами благодарности за возобновление доверенности и уверить ее, что никто никогда в нерушимой моей верности и усердии собственно к ее величеству и к отечеству не превосходил и не превзойдет, потому что я не притворством, а существом службы на оное готов был и есмь всегда посвящать мой живот».

В тот же день, кривя, казалось бы, неподкупной душой, он писал к своему вчерашнему врагу – Екатерине:

«Повелевайте, всемилостивая государыня, и употребляйте в сем случае всеподданнейшего и верного раба своего по вашей благоугодности. Я теперь, мысленно пав только к стопам вашим с орошением слез, приношу мою всенижайшую благодарность за всемилостивейшее меня к тому избрание и дерзаю всеподданнейше испрашивать той полной ко мне императорской доверенности и власти, в снабжениях и пособиях которых требует настоящее положение сего важного дела и столь далеко распространившегося весьма несчастливого приключения».

Екатерина читала письмо с неприятным волнением, она кусала кривившиеся губы, глаза то победоносно улыбались от сознания, что ее враг унижен, то в ее взоре отражались огоньки истинного страха за себя, когда она видела, что этот опасный человек настойчиво добивается для своей персоны неограниченных прав. Она еще и еще раз вчитывалась во фразу: «дерзаю всеподданнейше испрашивать полной ко мне императорской доверенности и власти...» – и лицо ее покрывалось розоватыми пятнами.

Петр Панин в дальнейших строках этого письма «всеподданнейше испрашивал», чтобы ему были подчинены не только войска, но все гражданское население, правительственные учреждения, судебные места, городские управления и чтобы над всем подчиненным ему населением он имел власть живота и смерти; чтоб он мог по своему произволу и усмотрению распоряжаться всеми войсками, находящимися внутри империи и пр. А сверх того Панин просил об отпуске ему достаточной суммы денег, но не ассигнациями, а золотом и серебром.

Дивясь тому, что «враль и ее персональный оскорбитель» столь резко переменил свои отношения к ней, императрица старалась объяснить это изменчивостью человеческой природы и превратностью мира вообще. Она продолжала страшиться Петра Панина, как своего замаскировавшегося врага, но тем не менее, уступая навязчивости его брата и помня изречение Потемкина – «он прежде всего враг Пугачеву, а потом уж и тебе», императрица в конце концов решила назначить графа Петра Панина главнокомандующим. Причем, советуясь с Потемкиным, она подчинила ему только те войска, которые уже были определены для прекращения смуты или находились на театре действий, а также возложила на него право верховодить гражданским управлением лишь трех губерний: Казанской, Нижегородской и Оренбургской. Она отказалась подчинить ему Секретные комиссии и не дала полного права «живота и смерти». Напротив, зная понаслышке черты жестокости в характере Петра Панина по отношению к «черни», Екатерина в рескрипте от 29 июля 1774 года с тайным, вероятно, двоедушим писала ему: «Намерение наше в поручении вам от нас сего государственного дела не в том одном долженствует состоять, чтоб поражать, преследовать и истреблять злодеев, оружие против нас и верховной нашей власти восприявших, но паче в том, чтоб поелику возможно, сокращая пролитие крови заблуждающихся, возвращать их на путь исправления, чрез истребление мглы, души их помрачавшей».

Отвергнув притязания Петра Панина на полноту власти, императрица ограничила его будущую

деятельность определенными рамками закона. Подобное действие Екатерины сильно омрачило обоих братьев Паниных. Особенно не понравилось это главнокомандующему, и в его душе снова закипела злоба к порфиноносной немке.

Под команду генерала Петра Панина начали поступать воинские силы. Волконский передал ему отряд генерала Чорбы в 3162 человека при восьми орудиях. Остальные войска подходили к Москве или сосредоточивались в местностях, охваченных восстанием. Так, в Оренбурге, кроме крепостного гарнизона, стояли три легкие полевые команды Долгорукова; на полпути от Оренбурга по Ново-Московской дороге и в Бугульме находились отряды Юшкова и Кожина. В Башкирии, по реке Белой, от Уфы к Оренбургу, действовал отряд полковника Шепелева. Верхне-Яицкую линию защищал генерал-майор Фрейман. Уфа была прикрыта отрядом полковника Рылеева. Были защищены войсками города Мензелинск, Кунгур, Красноуфимск, Екатеринбург. Крупный корпус Деколонга прикрывал Сибирскую линию. После переправы Пугачева за Волгу генерал Мансуров, оставив Яицкий городок, двинулся к Сызрани. Преследование Пугачева возлагалось на Михельсона, Меллина и Муфеля. Сверх того были двинуты полки из Крыма, из-за Дона и с Кубани.

Итак, в распоряжении главнокомандующего находились и еще должны были поступать громадные силы. Екатерина писала ему: «Противу воров столько наряжено войска, что едва ли не страшна таковая армия и соседям была».

На самом деле, на поле действий к концу июля уже находились восемь полков пехоты, девять легких полевых команд, восемнадцать гарнизонных батальонов, восемь полков регулярной кавалерии, четыре донских полка, полк малороссийских казаков и другие более мелкие части.

Таким образом, против Емельяна Пугачева, под конец его деятельности, была выставлена целая армия.

3

Народная громада снова была разбита на полки, на сотни. В основу мужицких полков вошли те крестьяне, которые примкнули к Пугачеву еще до Казани и уцелели после трех казанских поражений. Формированием армии были по горло заняты все пугачевские военачальники. Особливым же рвением отличались офицер Горбатов, атаман Овчинников и сам Емельян Пугачев. Но все это теперь делалось на ходу, спешно и не так, как нужно бы. Некоторые молодцы купца Крохина, пожелавшие остаться с Пугачевым, а также казанские суконщики были причислены к полку заводских работных людей, и команду над ними, вместо плененного Белобородова, принял на себя, по вынужденному приказу Пугачева («на безрыбье – рак рыба!»), полковник Творогов. В этот полк определились есаулами бывший секретарь Белобородова разбитной парень Верхоланцев и вновь приставший в «батюшке» литейный мастер Воскресенского завода Петр Сысоев.

Пред отправлением армии в поход к Емельяну Иванычу приступили старшины Яицкого войска.

– Ваше величество, батюшка, – сказали они. – Долго ль нам еще путаться зазря да проливать человеческую кровь? На наш смысл, приспело вам время, ваше величество, на Москву идти и принять престол.

Пугачев обещал своим приспешникам исполнить и принять их желание. И вот вскоре народная громада двинулась по направлению к Москве в расчете пройти через Нижний Новгород. Однако дело повернулось по-иному. Отойдя от Волги пятнадцать верст, Пугачев повстречал чувашей, толпа коих, соединившись с народной армией, поведала ему, что Нижний сильно укреплен, что в городе много войска, а из Свияжска движется отряд правительственных войск.

На военном совещании, в присутствии старшин яицкого казачества, после долгих споров было решено от похода на Нижний и Москву отказаться. Пугачев собрал в круг всех яицких казаков, которых осталось в армии немногим более четырехсот человек, и с хитринкой объявил им:

– Детушки! Вы чрез своих начальников звали меня на Москву. Ну, так потерпите, детушки, еще не пришло мое императорское время. Яблочко созреет – само упадет. Вот втапору и царь-колокол подыдем, и из царь-пушки вдарим по супротивнице моей Катьке. Тогда я и без вашего зову поведу вас на Москву. Теперь же, усоветовавшись с атаманами, я Божьей милостью вознамерился идти на Дон, там меня знают и примут с радостью.

Казаки поневоле с «батюшкой» согласились.

И вот армия двинулась на юг, к Цивильску. Крестьянский манифест, в сотнях списков, далеко опередил армию. Пугачевские люди развозили царскую грамоту по деревням, а там – сами мужики распространяли ее от селения к селению. Крестьянство Чебоксарского, Козьмодемьянского и других смежных уездов, подогреваемое словами манифеста, восстало почти поголовно. Начался разгром поместий. Чуваша, вотяки, вооружившись копьями и стрелами, открыто говорили, что ждут «бачку-государя», как родного отца. Народ гуртовался в толпы, шел либо к Пугачеву, либо распылялся по уезду и начинал действовать самостоятельно. Помещики и все начальство разбежались. Оставшееся без администрации население за разъяснением разных бытовых вопросов обращалось к Пугачеву. Так, бурмистр и староста села Алферьева, Алатырского уезда, писали государю: «Ныне у нас имеется господский хлеб, лошади и скот, и что вы об оном, государь, изволите приказать? В вотчине нашей много таких, которые и пропитания у себя не имеют и просят милосердия у вас, великого государя, чтоб повелено было из господского хлеба нам дать на пропитание и осемениться» – и т. д. Таких прошений подавалось Пугачеву множество, но они, в большинстве случаев, оставались без ответа, так как Военной коллегии при

армии больше не существовало и армия двигалась вперед «скорым поспешанием».

Не задерживаясь в Цивильске и переменяя под артиллерию свежих лошадей, пугачевцы направились к Курмышу. В дороге Пугачев узнал, что лежавший на пути городок Ядрин хорошо укреплен и приготовился к обороне.

– А пускай его готовится, – сказал Пугачев, – нам недосуг воробьев ловить, ежели мы медведя брать идем.

И Ядрин был оставлен в стороне.

Утром 20 июля Пугачев подходил к Курмышу. Чернь в сопровождении духовенства встретила его на берегу реки Суры. Пугачев приказал прочесть манифест, жителей привести к присяге. Пугачевцы забрали из воеводской канцелярии тесаки, ружья, порох инвалидной команды, а также казенные деньги. Вино было выпущено на землю, соль безденежно роздана крестьянам и чувашам. Были повешены два майора, дворянка и канцелярист. Пугачев взял шестьдесят человек, добровольно записавшихся в казаки, и, пробыв в Курмыше всего пять часов, двинулся к Алатырю.

Узнав о приближении Пугачева, жившие в городе дворяне собрались в провинциальной канцелярии на совещание. Решили: ежели в «злодейской толпе» не более пятисот человек – защищаться, в противном случае выйти навстречу с хлебом-солью. Прапорщик инвалидной команды Сюльдяшев доложил, что, по его сведениям, в пугачевской толпе более двух тысяч народу.

– Ну, стало быть, надо лататы задавать, – сказал воевода Белокопытов.

В тот же день все дворяне и лица начальствующие во главе с воеводой из города скрылись.

Возле храма на соборной площади возникла большая толпа. Проходивший Сюльдяшев спросил жителей о причине их скопища.

– Советуемся, как спасти жизнь свою, – отвечали люди. – Начальство сбежало, оружия у нас нет, противиться нечем. Мы согласились встретить незваных гостей хлебом-солью.

В двух верстах от города армия остановилась лагерем. Здесь встретили Пугачева духовенство, монахи Троицкого монастыря, купечество и прочие горожане. Тут же был и прапорщик Сюльдяшев. Обычный молебен, обычное целование руки, и Пугачев, оставив лагерь на попечение Горбатова, в окружении свиты, духовенства и народа, под колокольный трезвон, поспешил в Алатырь. После молебна в соборе он поехал осматривать старинный, времен Ивана Грозного город, побывал в воеводском доме, найденные под колокольной деньги велел раздать народу, заехал к прапорщику Сюльдяшеву, выпил там со своими сподвижниками очищенной водки – пеннику – и приказал бургомистру раздать народу соль бесплатно, а также немедленно выпустить из тюрьмы колодников.

Вскоре нахлынула из лагеря пугачевская толпа, народ бросился из купеческих, «ренсковых погребов» выкатывать бочки с вином. Началась гульба, веселые песни, скандальчики и драки. Среди гуляк озабоченно шмыгала взад-вперед девочка Акулечка. «Ой, дяденьки, не пейте шибко много винища-то, ой, миленькие, не деритесь... А то батюшка дознается, худо будет», – то здесь, то там слышался ее заботливый голос. Она подавала пьяницам оброненные в драке шапки, замывала разбитые носы либо, с детской наивностью и противоречия самой себе, где-нибудь под окном выпрашивала гулякам соленьючки.

Заметив шум и беспорядки в городе, Емельян Иваныч приказал Перфильеву бочки рубить, вино выпустить. Казаки отгоняли крестьян от вина плетками, иногда трепали за бороды. Да вообще и раньше, во все времена восстания, казаки относились к мужикам с высокомерием. Крестьян это обижало, они пробовали жаловаться на казаков по начальству, но отношения между сторонами не улучшались. А

подобных жалоб до самого Пугачева не доходило.

После третьей чарки Емельян Иваныч вдруг с гневом спросил гостеприимного Сюльдышева:

– Ты что, подрядился, что ли, за воеводу остаться в городе? Вот я первого тебя велю сказнить.

Сюльдышев опустил на колени и сказал:

– Я, ваше величество, человек шибко маленький и, невзирая, что двадцать пять лет служу, чин имею мелкий... Так где ж мне за воеводу наниматься!

– Ну, ладно. Я тебя жалую полковником и ставлю воеводой. Рад ли?

– Не могу служить, ваше величество, за болезнями и ранами.

– Ничего! Я и сам в болезнях и обраненный... А вот собери-ка ты из жителей в мою армию добровольцев.

– Ваше величество, сие уже сделано! До двухсот человек и двадцать гарнизонных солдат изъявили согласие послужить вам верою и правдою.

– Ништо, ништо, ладно, – ответил довольный Пугачев.

Затем все поехали в воеводский дом, во дворе которого ожидали «батюшку» прибывшие со всего уезда еще три дня тому назад делегации крестьян. Они привезли на подводах схваченных в поместьях дворян, управителей, бурмистров, приказчиков на государев суд. Народ бежал за царем, кричал «ура». Давилин швырял в толпу медные пятаки.

Проезжая по улицам, Пугачев заметил Акульку: припав возле пруда на колени, девчонка старательно отмывала грязь с чьего-то сапога. А две пары сапог, смазанных дегтем, сушились на солнце. Тут же на берегу, закинув руки за голову, храпели три краснорожих воина.

Пугачев приостановился, позвал идущего пьяным шагом молодого казака с подбитым глазом, спросил его:

– Где твой конь?

– В лагере, ваше величество.

– Как ты попал сюда, по чьему вызову? (Казак молчал, опустив взор в землю.) Кто тебе блямбу под глазом посадил?

– Самовольно упал, ваше величество, – виновато моргая, прогугнил казак и вновь потупился.

– А как падал, так на чей-то кулак, видать, наткнулся? Давилин! Арестовать казака. На гауптвахту!

Затем, скливав бородача из своего конвоя, велел ему:

– Домчи-ка ты, Гаврилов, девочку Акулечку до лагеря. Нечего ей здесь околачиваться да пьяницам сапоги мыть.

Девчонка, находившаяся по ту сторону пруда, поднялась и не знала, бежать ли ей к батюшке или продолжать работу. Пугачев погрозил ей пальцем и поехал дальше.

4

Обширный воеводский двор был огражден с трех сторон надворными постройками, тут же стояла длинная приземистая воеводская изба (канцелярия) и «каталажка» с небольшим за железной решеткой оконцем.

В глубине двора на столбах с перекладинами вздымались две петли. На одну из виселиц налетели воробьи, пошумели, покричали, посердились, что людишки мешают им спуститься к свежему лошадиному помету, и, нахохлившись, упорхнули прочь. Тут же стояло несколько телег – оглобли вверх, лошади хрумкали свежее сено, крестьянство и дворня, прибывшие со всего уезда, поджидали выхода батюшки-царя. В каталаге отчаянные крики, визг, плач, стоны. А когда появился из воеводского дома Пугачев, за железной решеткой все сразу смолкло, народ же закричал «ура!», полетели вверх шапки.

Пугачев сел на обитое сафьяном богатое кресло, поставленное на площадке каменного крыльца. На ступеньках и по бокам кресла разместились казаки – сабли наголо, сзади – свита.

Крестьян было множество. Иные забрались на крыши, на деревья. В ожидании чего-то необычного, страшного – у всех напряженные лица, кругом полная тишина.

Пугачев вынул белый платок, взмахнул им, приказал:

– Ведите.

Из каталажки и сарайчика начали выводить дворян, помещиков, управителей, приказчиков – с женщинами и детьми. Выводили долго, всех их около сотни человек. Некоторые шли бодро, иные упрямылись, их подталкивали либо волокли за шиворот. У большинства связаны руки. Их взоры сначала искали Пугачева, затем останавливались на виселицах. Тут же возле виселиц была плаха и врубленный в нее, блестящий на заходящем солнце, отточенный топор. При виде всего этого ожидающие себе суда содрогались, лица их бледнели, женщины впадали в ужас, хватались за голову, подымали вопль и стоны, валились на колени, простирали к Пугачеву руки, без умолку кричали:

– Пощадите! Мы не виноваты! Пощадите нас!

Крестьяне, привезшие своих господ на суд, старались, наперекор им, перекричать дворянок и орали на них кто во что горазд. А казаки, поставленные для порядка, наскakивали на тех и на других с нагайками, во всю мочь горланили:

– Замолчь! Замолчь! Что вы, дьяволы, как белены объелись!

Ермилка затрубил в рожок, возле виселиц ударил барабан. Пугачев взмахнул платком – и снова тишина. Но все кругом было, как пред грозой, напряжение усугублялось, душевная настроенность крестьянской толпы быстро накаливалась. Чувствовалась в народе назревшая жажда мщения, а в кучке приведенных на суд – обреченность.

Внимание Пугачева привлекал некий суетившийся мужичок. Одетый в суконную поддевку и хорошие, видимо, господские сапоги, он был невысок, сутул и сухощав, бороденка реденькая, на голове войлочная шляпа грибом. Он перебегал с места на место, что-то быстро-быстро бормотал, размахивал руками, встряхивал головой, грозил дворянам кулаком, то одного, то другого крестьянина ласково, с улыбочкой пришепывал по плечу ладошкой. Он напоминал собою Митьку Лысова и был Пугачеву неприятен. Да и мужики недружелюбно сторонились от него.

И еще Пугачев заметил стоявшего среди дворян высокого осанистого человека. С седыми всклокоченными волосами, надменно сложив руки на груди, он стоял неподвижно, подобно каменному

изваянию. Неделю тому назад он был схвачен крестьянами в своем поместье. «Я предводитель дворянства! – прикрикнул он тогда на мужиков. – И не смей мне руки вязать!»

И вот снова ударил барабан. Начался суд. Крестьяне выхватывали из господской толпы того или иного человека, оглашали его вины, не давали ему выговорить слова, требовали казни. Пугачев против воли крестьян не шел, торопливо взмахивал платком, приговоренного вешали. Так было казнено шестеро мужчин, немало в своей жизни проливших слез и крови мужичьей.

К судьбам женщин Пугачев относился более бережно. Когда крестьяне старались обвиновать какую-либо помещицу, Пугачев, подозревая, что не вгорячах ли они это делают, спрашивал:

- Неужели столь шибко барынька согрубляла вам?
- Заодно с барином была, батюшка! – в один голос кричали мужики.
- Может, она когда и добро вам делала, и заступалась за вас пред мужем-то своим?
- Нет, заодно они: змей да змеиха!

Пугачев дергал уголком рта, будто у него болел зуб, и взмахивал платком. Ванька Бурнов подавал палачам команду. Получив чин хорунжего, он при казнях только распоряжался. Под его началом были калмык и сеитовский татарин – оба в красных рубахах.

Непрерывный шум, крики, вопли, перебранка висели в воздухе.

Вот вытолкнули из толпы высокую, худощавую, в белом роброне женщину. Черноволосая, с большими глазами, обведенными глубокими тенями, она взглянула на Пугачева умоляюще, затем склонила на грудь голову и уже все время безучастно стояла, не шелохнувшись, с опущенными вдоль тела тонкими руками. Эта странная покорность тронула Пугачева. Ее муж – толстенький, на коротких ножках помещик – был только что повешен. И толпа крепостных его крестьян кричала:

- Туда же и барыню!
- Какие особливые вины на ней? – громко спросил Пугачев.

Тогда крестьяне начали выкрикивать ее проступки перед ними. В этих выкриках Емельян Иваныч не усмотрел единодушия, а в проступках барыни чего-либо особо черного, злостного, и он шепнул Перфильеву: «Отправишь ее в лагерь и велишь, чтоб там выдали ей пропускной билет да отпустили на все четыре стороны». А обратясь к женщине, закричал:

– Тебя, злодейку, я сейчас казнить не стану, а велю в свой лагерь отвести, да там допрос сниму! В моей императорской канцелярии, детушки, на нее есть бумага. Она не простая смутьянка, а государственная. Атаман Перфильев, возьми ее!

Перфильев поспешил исполнить приказание, атаман же Овчинников, слышавший скрытные слова Пугачева к Перфильеву, покосился неодобрительно на «батюшку», сердито прикрикнул.

Никто из малолетних детей и даже из пришедших в юный возраст казнен не был. Да мужики и не требовали этого: «Знамо дело, ребята ни в чем не виноваты». Тут же Пугачевым приказано было осиротевших малолеток раздать по «справным» мужикам.

Вдруг возник во дворе шум, крик, неразбериха. Похожий на Митьку Лысова мужичок в суконной поддевке схватил за шиворот щуплого помещика с седыми длинными усами, свалил его наземь, пронзительно заорал:

– Вот, батюшка, твое величество, он, подлюга, вашу милость всячески ругал, крестьян мытарил, в Сибирь угонял!

– Врешь! – закричали мужики. – Чего врешь, Зук? Наш барин добрый, до нас милостивый... Кого хошь спроси!..

– Ах милостивый?! – продолжал орать юркий мужичонка, наскакывая с кулаками на крестьян. – А кто старика садовника насмерть плетьюми засек?

– Ты, вот кто! – загалдели мужики, отшвыривая от себя бесновавшегося Зуйка. – Ты барский бурмистр, тебе старик садовник яблоков воровать не давал. Ты нас мытарил-то, а не барин. Царь-батюшка! Прикажи Зуйка вздернуть, он кровопивец наш, даром что мужик. А старика барина слобони, желаем жить с ним, он нам половину самолучшей земли еще о третьем годе нарезал!

Пугачев кивнул Ермилке. Тот подал сигнал в рожок. Стало тихо. Пугачев приказал:

– Бурнов! Помещика освободить, Зуйка повесить.

– Спа-си-и-бо! – гаркнули крестьяне. – По справедливости, по-Божецки!..

Пугачев видел, что пред ним стоят не самосильные богатые помещики, не верхи, а низы, не генералы, а капралы. Он понимал, что и наперед так будет, что все князья, графья и богатейшие дворяне давным-давно из своих барских гнезд сбежали, осталась мелкая рыбешка – окуньки с плотвой. Пугачев почувствовал душевную усталость, томительное ощущение тоски. Во рту пересохло, ломило затылок, подергивалось правое веко. Он уже подумывал посадить вместо себя Овчинникова – пускай судит, а самому уехать в лагерь. Вот разве этого еще... вон того, что на манер каменного статуя стоит дубом. Должно, какой-нибудь помещик знатный. Ну и гренадер!..

– Подведите-ка его поближе, – приказал Емельян Иваныч. – Вот того, высокого...

Огромный человек в генеральском поношенном кафтане со звездой и взлохмаченными седыми волосами все так же продолжал стоять, скрестив руки на груди и закусив нижнюю губу. Его придвинули к крыльцу. Он был от Пугачева в десяти шагах и глядел в лицо его ненавистно и пронзительно. Пугачев передернул плечами и спросил барина:

– Кто ты?

– Предводитель дворянства Сипягин, генерал-майор в отставке, – гулким голосом ответил тот и, откинув голову, выкрикнул: – А ты государственный преступник! Ты самозванец, похитивший имя покойного государя Петра Федорыча! Изменник ты престолу и отечеству!

– Кто, я самозванец? Я изменник? – с немало открытым удивлением воскликнул Пугачев, впиваясь руками в поручни заскрипевшего кресла.

И тотчас поднялась шумная сумятица. Взвинченная толпа, заполнившая воеводский двор, разом прыгнула к помещику Сипягину и обрушилась на него с неистовыми криками. Идорка, посланный Овчинниковым, бросился умирять толпу.

– Батюшка-т изменник? Ха-ха! – хохотали крестьяне. – Ты сам изменник, боров гладкий!

– Для вас, дворян, может, он и изменник. А для крестьянства отец родной!

– Темные вы, кроты слепые! – плеснул в кипевшую толпу, как масла в огонь, предводитель дворянства. – За кем идете? За бродягой!

Тут возле самого Сипягина вынырнул Идорка; лицо его было свирепо, рот кривился, борода хохолком тряслась. А какой-то низкорослый мужичок в лаптях и в зипунишке с низко опущенной талией, скорготнув зубами, вприскокку ударил помещика в висок. Тот чуть покачнулся и вновь окаменел. Идорка, держа наготове сверкнувший под солнцем нож, воззрился на бачку-осударя. Пугачев погрозил ему пальцем. Идорка, ссутулясь, снова нырнул в толпу.

– Детушки! – крикнул Пугачев, но его зычный зов потонул в поднявшемся содومه. Горнист проиграл в рожок, ударил барабан, крики лопнули, настала тишина, только похрюкивали запертые в хлеву поросята да шмель гудел, вясь над Пугачевым.

– Детушки! – опять раздался наполненный внутренним ликованием голос государя. – Вот дворянский предводитель обзывает меня самозванцем да изменником. Я бы загнул ему словечко, да, чаю, вы лучше с ним перемолвитесь.

– Заспокойся, отец наш, мы сами...

И вновь закрутился голосистый вихрь, град, гром. Улица и переулок возле воеводского дома были запружены огромным людским скопищем. Во двор никого более не впускали. Любопытные лезли на заборы, деревья, даже умудрялись забраться на крышу жилища воеводы. Какой-то беспоясый пьяный бородач, держась за печную трубу, пронзительно кричал с крыши: «Бей их, захребетников!.. Бей, бей, не жалей!»

Ближайшие к Сипягину крестьяне, из его крепостных и дворни, встопорщились, как пред медведем лайки; беснуясь, они наскакивали на него, плевались в его сторону, потрясали кулаками. А он, осыпанный проклятиями, все так же невозмутимо стоял, окаменевший. Вот подкултыхал к нему старый солдат на деревяшке, что-то зашамкал, ударяя себя в грудь и пристукивая в землю липовой ногой. Черноволосая баба сорвала с головы платок, стеганула им барина, как плетью, завопила: «Суди тебя Бог, только что кровопивец ты, кровопивец!» Сутулый, широкоплечий дядя, растолкав толпу локтями, заорал на Сипягина хриплым и страшным, как рев зверя, голосом. Он сжимал кулаки, взмахивал руками, затем, повернувшись в сторону «батюшки», отбивал ему поклон, касаясь земли концами пальцев, и, снова обратясь к барину, продолжал со свирепостью пушить его. Из-за сильного шума до Пугачева долетали только разрозненные фразы:

– Ха! Дворянский предводитель... В болото... В болото нас загнал! Хлеб не родит... Две деревни на заводы продал... На Урал-гору. А батюшка царь-государь – наш кровный, сукин ты сын!

– Ваше величество!.. Ваше величество!.. – надрывался в крике солдат на деревяшке. – Прикажете вздернуть его!

– Смерть, смерть ему!.. – заорала вся толпа.

И лишь только на момент примолкли все, ожидая знака государя, совершенно спокойный внешне предводитель дворянства, с ненавистью ткнув по направлению к Пугачеву каменной рукой, гулко взголосил:

– Лжец он, ваш Емелька Пугачев!

Тут мгновенно появившийся Идорка поразил его ударом кривого ножа в грудь... Затем, уже мертвого, крестьяне подволокли барина к плахе с топором.

Всего за этот день казнено было немало. Большинство – помещики-дворяне, остальные – управители государственных экономических селений и господских вотчин, а также бурмистры, старосты, приказчики.

Когда Пугачев возвратился в лагерь, к нему приступила артель крестьян с угнетенным выражением на бородатых лицах.

– Батюшка, царь-государь, – сказали они, кланяясь. – К твоей царской милости мы, с просьбицей. Леску бы нам малую толику надо, вишь ты – погорели мы.

– Каким побытом беда стряслась? – передавая коня Ермилке, спросил Пугачев. – И велико ль селение

ваше?

– А мы, вишь ты, барский сарай ночью подожгли, а ветер-то, чтоб ему, на нас поворотил, на нас, батюшка, на деревеньку. Ну и пошли пластать избенки наши. Пятьдесят три двора – как корова языком: пых – и нету! Дозволь, кормилец, леску-то твоего взять, строиться ладим. Охти беда... Уважь мужикам-то...

Пугачев подумал, почесал за ухом, прошелся с опущенной головой у своей палатки. Затем выпрямился и велел позвать Петра Сысоева да Мишу Маленького. А крестьянам сказал:

– Сей минут будет вам мое царское решение. Где деревня ваша?

– А как побежишь к Саранску-городу, тут тебе и деревня – Красноселье, барина штык-юнкера Кочедыжникова... Барина-т мы, вишь ты, повесили своим судом... Ох и лют был!

На рысях прибежал усердный Петр Сысоев, торопливо пришагал Миша Маленький с девочкой Акулечкой. Она сидела у него на руке, как белка на лапе у медведя, улыбчиво поблескивала шустрыми глазами на мужиков, на «батюшку». С Мишей она в приятельских отношениях, с ним да еще с отцом Иваном.

– Петр Сысоич! – обратился Пугачев к мастеру. – Отбери-ка ты сколько нужно плотников да лесорубов, этак человек с тышчонку, особливо которые со струментом... пилы, топоры... Да кстати прихвати с собой Мишу, он пособит грузности таскать.

– Это мы можем, – сказал парень-великан, спуская с рук Акульку.

– Да что рубить-то там, ваше величество? – спросил Сысоев.

– Что, что... Этакый ты недогадливый какой, – сказал Пугачев. – Деревню строить, вот что... – и, обратясь к Мише: – Ну и дылда ты... Тебя бы в Кенигсберге на ярмарке показывать.

– Это мы можем, – повторил Миша и заулыбался во все свое голоусое лицо.

А крестьяне враз повалились на колени и запричитали:

– Батюшка, свет ты наш!.. Неужто деревню, своей царской силой?

Пугачев отмахнулся рукой, сказал мастеру:

– Ну, так поторапливайся, Петр Сысоич. Да чтоб избы-то покраше были, а печи-то чтоб с трубами...

– Да ведь кирпичу-то нет поди, ваше величество.

– Есть кирпич! – закричали мужики. – Барин каменный дом ладил строить. Кирпичу сколь хошь...

Мастер Сысоев тем же вечером выступил с огромной толпой плотников в поход.

А на следующий день рано поутру Емельян Пугачев, похлебав кислого кваску с тертой редькой, хреном и толченым луком, направился в поле, где военачальники и яицкие казаки муштровали крестьян, обучая их ратному делу.

Все занимались весело, с усердием, с шуткой-прибауткой. Люди сотнями бегали с ружьями, с пиками на штурм, учились прятаться по оврагам, за пни, за бугры от картечных выстрелов, скакали на лошадях, привыкали колоть пиками, рубиться тесаками. Чумаков орудовал с толпой у пушек. Творогов с грамотными казаками приводил в порядок амуницию, составлял списки конного крестьянства. Дубровский с Верхоланцевым строчили манифесты, указы, пропускные ярлыки. Уральские мастеровые чинили ружья, пистолеты, оттачивали шашки, сабли, острили пики, подковывали лошадей.

Овчинников и Перфильев формировали малые летучие отряды по пять, по десять человек яицких казаков, уральских работников и расторопных мужиков. Снабдив эти «летучки» манифестами и всем

необходимым, Овчинников, по указанию Пугачева, направлял их по окольным и дальним местностям, вплоть до Смоленской губернии, наказывая всюду «бросать в солому искру», повсеместно подымать народ именем Петра Федорыча Третьего.

Горбатов обучал крестьян стрельбе из ружей. По совету склонного к выдумкам Емельяна Иваныча, он выдавал за каждый удачный выстрел чарку водки, а ежели стрелок «промажет» – пей вместо водки ковш воды.

И вот подъезжает «батюшка». Все сняли шапки, низко поклонились. Он глянул на ведро с вином, улыбнулся: ведро было целехонько; глянул на шайку – воды там оставалось немного.

– Как винцо-то?! Вкусно ли? – прищуривая правый глаз, спросил Пугачев.

– Да еще не пробовали, батюшка! – виновато засмеялись мужики. – Оно замороженное... Водичкой утробы-то накачиваем. А она с горчинкой, не столь с ружья палим, сколь от нее в кусты сигаем, вот она, водичка-то, какая душевредная!

– Дозволь-кось, господин полковник, мне, – сказал конопатый босой дядя, за его ременным поясом заткнуты кисет и трубка. – Душа горит!

– Да у тебя руки-то ходят ходуном... – заметил кудрявый парень.

– Ладно, ладно, пушай ходят. Вбьяю чик-в-чик! А то стыднехонько будет при батюшке-т, не проморгаться бы.

Он приложился, расшаршил ноги, ружье в его руках качалось.

– Отставить! – скомандовал Горбатов и, подойдя к нему вплотную, принялся еще раз обучать его нужным приемам. – Понял?

– Боле половины. Да оторвись моя башка, ежели промахнусь! – Дядя торопливо прицелился, грянул выстрел: промазал. Услужливые руки подали ему ковш с водой:

– На-ка, прохладись!.. Угорел, поди? – Конопатый выпил воду с омерзением, швырнул на землю ковш и сплюнул, с боязнью посмотрев на батюшку.

– Дозволь еще пальнуть.

– Не давай, не давай!.. Этак он всю воду выпьет! – засмеялись в толпе.

– И верно, – сказал конопатый, направляясь с проворностью в кусты. – Уж пятый ковш... Опучило...

По двум мишеням стреляли еще с десятков, и тоже неудачно. В широкий щит из досок попадали, а в круг утрафить не могли. Шайка усыхала, побежали за водой к ручью.

– Ружье с изъяном, стволина косая, фальшивит. Им только из-за угла стрелять, – брюзжали неудачники.

– Эх, что-то винца выпить захотелось, – подмигнув стрельцам, сказал Пугачев и соскочил с коня. – Ну-ка, ваше благородие, заряди косую-то стволину.

Горбатов подал ему заряженное ружье. Пугачев осмотрел его, вскинул к щеке, прицелился и выстрелил.

– Попал, попал! – закричали глазастые. – Попал, царь-государь, попал! В самую тютельку...

Толпа, как зачарованная, широко распахнула на батюшку восхищенные глаза. Затем загремело многогрудое «ура, ура!», и полетели вверх шапки.

– Вот, детушки, видали, как из косой стволины стрелять? – передавая ружье Горбатову, молвил

Пугачев и принял из рук подавалы чарку. – Ну, здравствуйте, детушки!

– Пей во здравие, отец наш! – загорланили стрельцы.

Пугачев перекрестился, выпил, провел ладонью по густым усам, а пустую чарку для показу, что все выпито, опрокинул над своей головой. Горбатову же прошептал:

– У тебя мишень, кажись, на двести шагов, так переставь, друг мой, на полтораста. – Затем вскочил в седло и поехал дальше, провожаемый долго несмолкаемыми криками.

Глава II

Саранск. Трапеза в монастыре. Среди дворян смятение

1

Пугачев пробыл в Алатыре двое суток. Это был первый отдых на правом берегу Волги. Из множества прибывших на государственную службу крестьян он взял только конных, а пешим объявил:

– Детушки, я походом тороплюсь! Не угнаться вам за конниками-то моими. Уж вы как-нито расходитесь по лесам да по оврагам, а как встренутся катерининские отряды, крушите их. А дворян да помещиков ловите и доставляйте ко мне на судбище.

Пешие, не принятые в армию, разбивались на партизанские партии, выбирали себе вожakov, растекались по окрестностям, разоряли помещичьи гнезда, а зачастую и вступали в схватку с правительственными отрядами, давая тем самым возможность Пугачеву более спокойно продвигаться к югу.

Перед отъездом из Алатыря у Емельяна Иваныча произошла в его палатке передрыга с атаманами. Переобуваясь в путь, он спросил Перфильева:

– Выполнено ли касемо пожилой дворянки, кою я помиловал? Отпущена ли?

Переглянувшись с товарищами, Перфильев молвил:

– Отпущена, ваше величество... Как приказал ты, так и сделано.

Горбоносый, долговязый Овчинников, покручивая кудрявую, как овечья шерсть, бороду, вздохнув, сказал:

– Казаки закололи барыню в дороге, Петр Федорыч.

После разгрома под Татищевой, после трех неудачных сражений под Казанью, Овчинников с Чумаковым перестали титуловать своего повелителя «величеством», а называли его попросту – Петр Федорыч, как в былое время называл Пугачева близкий друг его Максим Григорьевич Шигаев.

Пугачев отбросил снятый с ноги сапог и, ни на кого не глядя, крикнул:

– Как это так – закололи? По чьему приказу?

– По своему хотенью, батюшка, – нахмурившись, ответил Овчинников.

– Невместно, Петр Федорыч, – встрял в разговор большебородый Чумаков, – неместно, мол, народу да казачеству с дворянами возюкаться. Вот и прикончили барыньку.

– Так-то приказ мой выполняете?! – гаркнул раздраженно Пугачев. – Значит, дисциплинку-то побоку?.. Этак вы всю армию развалите!

– Да ты, батюшка, не гайкай... Слава Богу, слышим, – прыгающим голосом проговорил бровастый, испитой, со втянутыми щеками Федульев, татарского склада глаза у него острые, злые, с огоньком.

Пугачев сдвинул брови, запыхтел. Чумаков, потряхивая бородой, сказал крикливо:

– Мы не хотим на свете жить, чтоб ты наших злодеев, кои нас разорjali, с собой возил да привечал...

– Истинная правда! А нет, так мы тебе и служить не будем! – выкрикнул Федульев и закашлялся.

Стало тихо. Атаманы почувствовали себя возле Пугачева, как возле бочки с порохом...

– Благодарствую, – сказал Пугачев с горечью, меж его бровей врубилась складка, глаза горели. – Кто же это не хочет мне служить? Уж не ты ли, Чумаков? Не ты ли, Федульев? Может, ты, Творогов? Ну, так знайте. Ежели я только перстом на вас народу покажу, народ вас, согрубителей, в клочья разорвет, в землю втопчет! – Пугачев вскочил, опрокинул стол со всем, что на нем стояло, и, потряхивая кулаками, завопил: – Геть из моей палатки! Чтобы и духу вашего здесь не было...

Чумаков с Федульевым опроретью – к выходу. Пугачев с ненавистью глядел им вслед.

– Заспокойся, Петр Федорыч, плюнь, – примирительно сказал Овчинников.

– Это они по глупству, не подумавши, – добавил Перфильев.

– Да ведь, поди, не в первый раз они этак.

Перфильев подал Пугачеву сапог и с усердием начал помогать ему обуваться, как при самом первом свидании с ним там, в Берде. «Этот верный», – подумал про него Емельян Иваныч и стал утихать. Раздувая усы, брюзжал: «Волю какую забрали... Служить, вишь, не станут. А кому служить-то? Неразумные... Ну, идите и вы на покой. Иди, Андрей Афанасьич, и ты, Перфиша. За службу народную спасибо вам».

Дух Пугачева сугубо помрачался. Над ним все еще висели непроносной тучей воспоминания о битве под Татищевой, его мучил не решенный им самим вопрос – куда идти: на юг ли, на Москву ли... И самое важное – это начавшаяся между ним и его ближними грызня. Он чувствовал, что и атаманами обуревают немалое раздумье, что вряд ли они верят уже в успех дела, что и пред ними один выбор: либо плаха с топором, либо бегство из армии, пока не поздно. И Емельян Иваныч не удивится, ежели узнает, что Федульев или тот же Чумаков скрылись от него, как сделал это изменник и предатель Гришка Бородин. «А ты-то, Емельян, веришь ли в победу?» – «Верю!» – сам себе отвечал он. Силою духа он заковал себя в панцирь своей веры в сырый народ, веры в судьбу свою, в счастливую звезду, в удачу! И так продолжал жить и действовать.

На пути к Саранску Пугачев провел бессонную ночь под покровом дубовой рощи. Снова и снова возникал перед ним вопрос: куда идти? Решительно и бесповоротно направиться ли ему на юг или, пока еще не поздно, повернуть на запад, в сторону Москвы?

Ночь была теплая, лунная. Сияние луны играло на курчавых дубках, отражалось в бегучей воде небольшой речонки, что шла через рощу. Он шел вдоль берега. Лагерь давно спал. На том берегу, в низинке, догорал брошенный костер, блеклыми шапками стояли стога сена, пофыркивая, побрякивая боталами, паслись на отаве стреноженные лошади. И перепела кричали неугомонно.

Пугачев присел на пенъ и отдался думам. На Москву или на Дон? Эх, удалился он от Башкирии, башкирцы бросили его, и не стало у Пугачева могучей конницы. Урал с заводами тоже остался позади: вот и в пушках у Емельяна Иваныча Пугачева недостача, и в заводских умелых людях немалая нехватка. Да, паскудно, плохо... Однако, ежели пойти чрез Дубовку, чрез сердцевину волжского казачества на Дон, к родным донским казакам, будет у него и лихая конница, и отборное боевое войско. Опречь того, в попутных городах – Саратове, Царицыне – можно завладеть изрядной артиллерией.

Стало быть, путь на юг даст ему конницу, даст боевую силу, пушки, порох, ядра. «Хорошо-то хорошо, только дюже путь далек», – раздумывает Емельян Иваныч.

Ну а ежели на Москву свернуть? К первопрестольной-то ближе, и весь путь лежит чрез места, густо населенные крестьянами. А ведь это самое наиглавнейшее: все мужичье царство разом подыметсЯ и пойдет за ним, Пугачевым. Но тут припоминаются ему разговоры с бывалым людом. На днях прибыли в армию три партии хозяйственных крестьян: одни из земли Московской, другие из Смоленщины, третьи из Тамбовского края, – и все в один голос: «В наших местах скрозь недород, царь-государь, засуха была, с голодухи народишко пропадать учнет». Да и весь пришлый люд в одну трубу трубит: «Ежели и всех бар изведем, все едино барских кормов едва ли до нового хлеба хватит». Вот тут поневоле призадумаетсЯ: чем в походе многотысячную армию кормить? Не возропщет ли на государя сидящий в своих селениях мужик: «Мы и сами-то, мол, с хлеба на воду перебиваемся, а ты, мол, батюшка, сколько народу еще с собой приволочил»... Ну, да ведь с голодом как-нито управитсЯ будет можно...

Вторым делом – на Москву тем обольстително идти, что, толкуют, в дороге множество фабрик и заводов встретитсЯ, а на них дружные работные люди проживают... Однако, ежели умом раскинуть, не ахти какая выгода и в этом... Емельян Иваныч припоминает недавние разговоры с знатецами: с людьми торговыми, заводскими мастерами, а также с небогатыми дворянами, передавшимися Пугачеву, – отставным корнетом Васильевым, отставным поручиком Чевкиным и еще третий какой-то, все они из Подмосковья[57]. И что на поверку оказалось? Оказалось, что, действительно, на пути к Москве фабрик да заводов много, а толку-то в них мало, все они слабосильны, и работного люда на них – кот наплакал. У многих помещиков имеются фабрички суконные, ковровые, фарфоровые, с числом работников от полсотни до трехсот. Вот чугунолитейный завод в Темниковском уезде тульского купца Баташева, чугуна выплавляетсЯ там сто тысяч пудов в год, а работников на нем всего-навсего сто двадцать. Да, да, это тебе не уральские заводы, на коих по три, по пять тысяч человек. Вот это – сила! Там можно было вербовать по полтысячи с завода. А со здешних – ни пушек, ни людеЙ, значит – их и с костей долой...

Третья загвоздка – Москва, по всем статьям, хорошо укреплена: уж ежели зазря полгода под Оренбургом кисли, так как же будет под Москвой?

А самое наиглавнейшее – с московской-то стороны движутсЯ на Пугачева крупные воинские силы. Намедни был схвачен курьер князя Волконского с грамотой астраханскому губернатору; в бумаге значилось, что против «злодейской вольницы» двинуты пехотные, пришедшие из Турции полки, с конницей, с артиллерией, и что главнокомандующим назначен граф Панин... Ба! Знакомый генерал... Не приведи черт Емельяну Иванычу встречатсЯ с ним!

Вот какова дорога на Москву... Близок локоть, да поди-ка укуси.

Пугачев, как рачительный хозяин, в глубоком раздумье сидел над весами собственной судьбы и бросал то на одну, то на другую чашу свои упования и свои сомнения. Да, как ни кинь – все клин. Стало быть, пока что на Москве надобно поставить крест! А там видно будет...

Значит – на Саратов, на Царицын, на Дубовку, на вольный Дон! У Пугачева и в мыслях не было рассматривать свой торопливый марш к Дону как бегство от грозных надвигавшихся событий. Нет, он считал путь на юг лишь продолжением борьбы в новых, нуждою предуказанных обстоятельствах.

«Вы, детушки, не подумайте, что от страха пред царицыными войсками алибо от каверзы какой мы путь переломили... Сам Бог и наши попечения о вас предуказывают тако делать».

Он подымет на берегах родного Дона всю казацкую громаду и уж потом, с новыми силами, двинетсЯ к сердцу империи... Такова была мечта Емельяна Пугачева. И как она обольщала большое, беспокойное его сердце, как ему огненно хотелось в нее верить!

На худой же конец, размышлял он, ежели вольное казачество не согласитсЯ поддержать его, то ему, Пугачеву, все же будет сподручнее скрытсЯ с донских степей на Кубань, а то и дале куда... Там

перезимовать, скопить силу и с весны поднять сызнова восстание.

2

Приближаясь к Саранску, Емельян Иваныч отправил в город Федора Чумакова с отрядом казаков и с указом воеводе и мирским людям. В указе между прочим писалось, что «...ныне его императорское величество с победоносною армией шествовать изволит чрез Саранск для принятия всероссийского престола в царствующий град Москву». Посему повелевалось заготовить под артиллерию 12 пар лучших лошадей, а для казачьего войска – хлеба, съестных припасов, фуража, «дабы ни в чем недостатка воспоследовать не могло». Далее предлагалось учинить государю и армии «по должности пристойное встречу с надлежащею церемонией».

Не доезжая до города, Пугачев вступил в новую, только что из-под топора деревню. Его встретила тысячная толпа крестьян. Впереди – Петр Сысоев и похудевший, согнувшийся, с усталыми глазами, Миша Маленький.

– Какая деревня? – спросил Пугачев.

– Она деревня ныне зовется в твою честь – Царская, – ответили ближние крестьяне. – А называлась – Красноселье... Братцы! Вались на колени! Благодарите государя-благодетеля! – И вся толпа пала в прах, уткнулась лбами в землю.

– Встаньте, трудники! – взмахнул Пугачев рукою. – Кой здесь тутешние?

– Вот мы, батюшка, здешние деревни жители... В кучке стоим.

– Ну, так не меня благодарите, а вот эту громаду работную! Не было деревни, а вот она – она... Двух суток не прошло.

Пугачев решил остановиться здесь на краткий роздых. Он слез с коня и пошел осматривать постройки. Большинство изб было закончено. В некоторых из труб валил уже дым. «А ране-то по-черному топились», – пояснили мужики. Несколько хат подводилось под крыши, две-три только начинали строить. Возле них собралось плотников впятеро больше, чем надо. Таскали бревна, клали готовые венцы, выводили печи. Пильщики, пристроившись на высоких козлинах, в восемь пар пилили байдак и тес. «Эй, Миша, подмогни бревешко накатить!» Согнувшийся Миша тряс головой, отмахивался руками, показывая на больную поясницу.

– Надорвался, сердяга, на работе-то, – сказал государю Петр Сысоев. – Ну, да ничего, до свадьбы заживет... Бабы-то сомлели, глядя на этакого парнюгу.

– Ну, так ведь... Бабы на такую приваду, поди, как пчелы на липовый цвет, летят, – проговорил Емельян Иваныч.

Он отказался идти в помещичий дом, а пошел наскоро «поснедать» в первую попавшуюся избу, шел, пробираясь со своими ближними среди кудрявых, пахнувших сосною стружек и опилок, как по пышному сугробу.

Меж тем отец Иван в сопровождении старика Пустобаева ходили из избы в избу с кратким молебствием. Поп кропил новые жилища «святой водой», которую вместе с кропилом таскала в особом медном сосуде девочка Акулька, подтягивая цыплячьим голоском слова незнакомых ей молитв. Отец Иван еще в Казани приобрел себе исправное облачение и некоторые церковные сосуды. Да и вообще, он начал следить за собой, стал благообразен. Теперь не только простой народ, но даже и некоторые державшиеся православия чопорные яицкие казаки не гнушались подходить к нему под благословение. С Ванькой Бурновым он разругался: тот как-то спяну непочтительно отозвался о царе-батюшке, мол, «какой он царь,

путаник он». Отец Иван сказал тогда ему: «Прощай, брат Ваня. Я никому о твоих речах паскудных не скажу, а жить с тобой не стану!» И после этой размолвки с бывшим другом поп прилепился к Пустобаеву.

За освящение жилищ бабы подавали отцу духовному яички, творог, лепешки, хлеб. Пустобаев это добро совал в мешок. В одной избе баба налила два стакана зелена вина, батя пить отказался. Пустобаев выпил и за себя, и за священника. Прожевывая лепешку, он попросил еще налить. Акулька закричала на него: «Дедушка, октись! Ведь ты молитвы поешь. Грех!» Пустобаев взглянул на девчонку хмуро, а бабе скомандовал: «Отставить».

Когда Пугачев вступил в новую избу, старуха со стариком и две молодайки упали батюшке в ноги.

– Встаньте, трудники, – сказал Пугачев. – Будет кувыряться-то. Я не архирей...

– Ой, желанный! – поднимаясь, запричитала хозяйка. – Кланяться-то мы горазды, а вот молвить не умеем.

– Ничего! Я сердцем чую слово ваше.

Стружками и щепами ярко топилась печь. Пахло сосной и мхом; из тесаных бревен желтоватыми, словно янтарными, слезами сочилась смола.

Гости сели за новый стол. Соседи натащили всякой снеди. Из барских погребов доставили целое беремя бутылок сладкого вина.

– Каково живете-то? – спросил Пугачев суетившихся хозяев.

– Ой, кормилец, – откликнулась старуха, утирая фартуком глаза, – живем голь голью. Была коровушка с телушкой, да барин за провинку нашу отнял. И овец, окаянная сила, отнял: вишь, на барщину намеднись о празднике не вышли мы да оброк уплатить в срок не из чего было... Была и лошадка, ну так на ней Семка наш в твое царское войско укатил. Вот так и живем – кол да перетырка.

– Наказан ли барин-то? – спросил Пугачев.

– Повешен, повешен он! – вскричали толпившиеся у двери старики и бабы. – Со всем приплодом его.

– А поп где ваш? Пошто он не встретил меня, государя своего?

– А поп в город сбежал, – заговорили возле двери. – А ваш военный священник, отец Иван, кажись, твоей милости двух казаков венчает на скорую руку. За них две наших дворовых девки пожелали.

– Вот уж это негоже в нашем скором походе жениться, – недовольным голосом молвил Пугачев и, обратясь к Творогову: – Иван Александрович, этих двух новых женок допусти, а чтоб впредь баб в армию не брать.

– Ладно, ваше величество. Будет, как сказал.

Прощаясь, «батюшка» подарил старухе две золотые монетки. Та бултыхнулась ему в ноги, заплакала, запричитала:

– Ой, ягодка боровая!.. Да ведь на эти деньги и коровку, и лошадку с телегой можно купить.

Пугачев подъехал к Саранску 27 июля, в семь часов утра. На реке Инзаре он был торжественно встречен населением и духовенством с крестным ходом. Во главе духовенства стоял представительный с холеной черной бородой архимандрит Петровского монастыря Александр. Он был в полном облачении и в митре. Пугачев, еще издали заметив его «по шапке с камнями, кабудь золотой», подъехал к нему, приложился к кресту и велел Дубровскому огласить манифест; затем под радостные крики горожан проследовал в собор, где во время ектении произносилось имя Петра Федорыча, Устиньи и наследника с

супругой. На молебне участвовал и поп Иван в парчовой ризе. Мочальная борода его расчесана, волосы припомажены. Но вчера на двух свадьбах он перехватил сладкого господского вина, за молебствием переминался с ноги на ногу, его слегка покачивало.

Подарив духовенству тридцать рублей, Емельян Иваныч с ближними направился в дом вдовы бывшего воеводы, Авдотьи Петровны Каменицкой, на званый обед.

Атаман Перфильев в начале обеда отсутствовал: вместе с воеводским казначеем он принимал в канцелярии казенные считанные деньги. Их оказалось медною монетою 29 148 рублей. Они были погружены на тридцать пять подвод. Казначей сказал Перфильеву:

– Это что за деньги... А вот вы вдову Каменицкую хорошенько обыщите. У ней сто тысяч серебром да золотом схоронено где-то.

– Да верно ли говоришь, твое благородие? – спросил Перфильев.

– Об этом весь город знает. А я врать не буду, я старый человек. Муж-то ее покойный с живого-мертвого хабару тянул. Да еще к тому же спроворил казенный лес продать, а денежки в карман... А она ему во всем мирволила да помогала. Кого хошь спроси.

Перфильев явился на обед хмурый. Щербатое, в оспинах, лицо его было сурово. Он подсел к Пугачеву и стал что-то нашептывать ему. Пугачев ожег хозяйку взором, а как кончился обед, сказал ей:

– Вот что, воеводиха! За то, что хорошо приняла нас, спасибо тебе царское. А вторым делом... Ведомо мне, что у тебя сто тысяч денег где-то в земле закопано, так ты сдай оные деньги мне, законному государю своему.

Подвыпившая, раскрасневшаяся бой-баба во время речи Пугачева стала бледнеть, бледнеть, затем, едва поднявшись с кресла, визгливо закричала, ударяя себя в грудь:

– Нет у меня денег, нет, нет!.. Наврали на меня вороги мои.

Тут вдвинулся в горницу служивший у стола старый дворовый человек ее, одетый в холщовую ливрею, и, укорчиво потряхивая головой, сказал:

– Ах, барыня, барыня... Грех вам. Вся дворня знает, как ты с дворовым своим Куприяном-стариком закапывала деньги-то. Да та беда, Куприян-то о той же ночи в одночасье умер... Уж не отравила ль ты его?

Воеводиха затряслась, снова налилась вся кровью и, схватив нож, бросилась к слуге:

– Убью, каторжник! Убью, вор!..

Ее сзади поймал Перфильев:

– Сдавай деньги в царскую казну!..

Не владевшая собой, пьяная воеводиха, вырываясь от него, орала:

– Ах, вы, душегубы! Я их пою-кормлю, а они...

– Повесить! – раздувая ноздри, вскричал грозный Пугачев.

Вдова тотчас была вздернута на собственных воротах. Толпа местной бедноты притащила на суд «батюшки» своих обидчиков: магистратского подьячего Васильева и купца-сквалыгу Гурьева. Подьячего повесили, купца засекли плетьюми.

А в это время некоторые пугачевские военачальники разъезжали по городским улицам, по «торгу» и по крепости, щедро швыряли в бежавшую за ними толпу медные деньги, на углах останавливались и громогласно зывали:

– Царь-батюшка прощает вам как подушные поборы, так и государственные подати, а также повелевает быть от помещиков вольными! А немилостивых помещиков повелевается государем императором вешать и рубить!

Подвыпившая толпа, состоявшая из городских мещан и наехавших со всего уезда мужиков, низко кланялась бравым всадникам, одетым в праздничные, обшитые позументом чекмени, при медалях.

– Ура, ура! – раздавались крики. – Спасибо царю-батюшке!.. Вот соли бы нам. Соли, мол, соли!..

Были открыты казенные склады, роздано несколько тысяч пудов соли. Из купеческих наполовину разграбленных лавок и складов выкачены бочки с вином.

Пугачев осмотрел и взял себе семь годных пушек, три пуда порошу, полтора ядра.

На другой день явился в стан к Емельяну Иванычу послушник архимандрита Александра с приглашением пожаловать на монашескую трапезу в богоспасаемый Петровский монастырь.

– Благодарствую, прибуду, – ответил Пугачев. – Сказывали мне, ушицу добрую вы, монахи, горазды готовить да густой квасок варить.

– И то и се всенеуклонно будет, царь-государь. Сверх же сего с гусями потрохами расстегайчики, черносморозинный кисель с ледяным миндальным молоком, выпеченные на соломе сайки, и прочая и прочая, всего восемь перемен. Ну и всякая, стомаха ради, выпиванция.

– Это что за стомах такой? Впервые слышу.

– А сие слово монастырское. По изъяснению отца Александра, стомах – сиречь по-гречески живот, утроба.

– Ну-ка, передай отцу Александру на обитель. Люб он мне. – И Пугачев протянул молодому, развязному, с веселыми глазами послушнику пятьдесят рублей.

3

Обед происходил в монастырской трапезной торжественно. Трапезная, похожая своим убранством на церковь, была обширна, каменные столбы и стены расписаны в византийском вкусе. Под потолком небольшое паникадило. У восточной стены иконостас, возле него аналой с переплетенным псалтырем, по нему во время трапезы монастырской братии молодой инок читал во всеуслышанье псалмы. Братия закончила обед час тому назад; пахло кислой капустой, сметками, медом, ладаном.

Гости сидели чинно. Против Пугачева – представительный чернобородый архимандрит Александр, в черном клобуке и мантии, справа и слева от Александра – два седовласых иеромонаха и ключарь, рядом с ключарем – отец Иван. Юные служки в черных подрясниках, перехваченных по тонкой талии ременными поясами, шустро и неслышно взад-вперед мелькали, разнося питье и пищу. Пред началом обеда хором пропели «Отче наш». Пустобаев изумил своим басом архимандрита, и тому мелькнула мысль предложить казаку остаться в монастыре, дабы занять в скором времени место иеродиакона. Но когда, к концу трапезы, Пустобаев напился пьян и стал непотребно ругаться, отец Александр от своего намерения воздержался, а Пугачев велел вывести охмелевшего старика на улицу. Зато отец Иван в продолжение обеда выпил только два стакашка «чихирьного» вина и был трезв, как стеклышко. Емельян Иваныч благосклонно кивал ему головой, улыбался.

Подняты были, как водится, здравницы за государя, государыню и наследника с супругой. Все шло как по маслу. Но тут бес искусил отца архимандрита блеснуть своим немалым красноречием. Он был мастер произносить проповеди для монашествующей братии и приходивших богомольцев, убеждая свою паству творить добрые дела, ибо «вера без дел мертва есть». Архимандрит хотя и не блистал особой подвижнической жизнью, но и никогда не нарушал ни догматических правил, ни монастырского устава, ни строгого монашеского обета.

Чрез многочисленных богомольцев-простолюдинов, стекавшихся в обитель даже с отдаленных губерний, он прекрасно знал о всех жестокостях, ныне производимых крестьянами именем царя-батюшки над своими помещиками и прочими угнетателями народными. А за последнее время в том же Алатыре суд и расправу над врагами крестьянства чинил сам государь. Да и здесь, в Саранске, уже были и вновь готовятся казни. Архимандрит Александр, приглядываясь к своему гостю, гадал в душе, царь он или не царь, и не мог дать себе точного ответа. Ежели он царь, все обойдется благополучно, ежели он самозванец, архимандриту не миновать кары от синода и от правительства. Поэтому он, архимандрит, решил заготовить себе некую лазейку на тот случай, ежели его призовут и спросят: «Как ты смел принимать в святой обители душегуба и разбойника?» Он тогда ответит: «Того ради, чтоб наставить злодея на путь истинный».

И вот он поднялся, принял от послушника посеребренный посох, молитвенно сложил густые брови, ласково и в то же время с внутренней твердостью уставился глубоким взором в лицо Пугачева и, крепко опираясь на посох, начал:

– О, царь благопобедный! (Сидевший на краю стола Дубровский вынул бумажку и записал слово: «благопобедный», – пригодится.) Прими от меня, многогрешного, – продолжал отец Александр, – знаки благодарности за щедрое пожертвование твое на украшение святой обители нашей. Такжеде и прочие цари-христоролюбцы делывали от времен древних и доднесь, принося лепту свою на храмы Божии. («Придется еще полсотенки подсунуть, – подумал Пугачев, – красно говорит да и употчевал изрядно».) И аз, грешный, возьму на себя дерзновение напомнить тебе, свете наш, что государи всероссийские бывали характером и делами своими разны суть. Одни, како Алексей Михайлович, тишайше правили народом

русским, другие, како Великий Петр, собственноручно рубили корабли и устроили свою державу на иноземный лад, третьи – не корабли, а боярские головы крамольные рубили с плеч, како Иван Васильевич Грозный. А вот ты, царь благопобедный... – Архимандрит отвел свои смутившиеся глаза от Пугачева и опустил взор в землю, затем, напрягая мысль и как бы готовясь сказать самое важное, он снова вскинул взор на Пугачева. – Ты, свет наш, нежданно объявился на Руси образом чудодейственным. Двенадцать лет будто бы и не было тебя, и вот ты, яко паки родившийся, снова присутствуешь своей персоной посреди верноподданных твоих. Да, поистине чудо неизреченное... Токмо не нам, грешным, знать, что сотворяется в нашем греховном мире! – воскликнул архимандрит, сокрушенно потряхивая головой. – Сказано бо есть: высь земная падает, высь небесная создается.

– Выхь земная падает – это царицы любодейной трон восколебался, – гукнул в бороду отец Иван и опустил очи.

– И неведомо нам, – продолжал архимандрит, – по какой стезе совершаешь ты, царь-государь, свое шествие. Но аз, многогрешный, зрю в руке твоей карающий меч и предваряю тебя, великое чадо мое, ибо аз есмь пастырь Христовой церкви. – Отец Александр, опираясь на посох, простер правую руку с янтарными четками в сторону Пугачева и громким голосом, чтобы все слышали и запомнили слова его, сказал: – Паки и паки реку тебе, о царь благопобедный, не проливай напрасно крови людской, обсемени сердце свое добром и милостью! Не иди тропой царя Грозного, а прилепляйся к делам добрым... И тогда...

– Стой, отец Александр! – прервал его Пугачев, уперев ладони в стол и отбросив назад корпус. Все гости враз насторожились, будто почуяв в словах его боевой призыв. – Ты уж не учи меня и в наши дела не суйся, – продолжал Пугачев, поднимая свой голос. – Маши кадиллом да бей за нас поклоны перед Богом. А уж мы не с добром, не с милостью, а с топором да петлей шествуем... Добро опосля само собой придет.

– Сказано в Писании, – закричал отец Иван, вскинув руку и косясь на архимандрита, – сказано: «Я не мир принес на землю, а меч!»

– И допрежь нас пробовали, ваше священство, и добрым словом и милостью, – ввязался атаман Овчинников, покручивая кудрявую бороду, – да толку мало: помещик к мужику все равно как волк к овце. Лютого волка добрым словом не проймешь...

– А кого слова не берут, с того шкуру дерут! – прилепнул Пугачев ладонью по столешнице.

Архимандрит не на шутку испугался: сразу сник, и вся величавость его слиняла. Ему представилась повешенная на воротах воеводиха, у которой вчера пировали его сегодняшние гости.

– Послушать бы мне тебя, отец Александр, – молвил Пугачев, откидывая со лба волосы, – что ты станешь балакать, когда катерининские генералы, ежели заминка у нас выйдет, за казни примутся. Да уж и принялись кой да где! У меня дворянская кровь по каплям исходит, у них мужичья ушатами потечет. Ну так и молись, чтобы держава моя крепла. На мече – держава моя... Понял?

– Царь благопобедный! – передав посох послушнику и приложив к груди холеные руки, воскликнул архимандрит. Лицо его сложилось в плаксивую гримасу. – С тоской и душевным трепетом помышляю о будущем. И, предчувствуя его, вижу в нем оправдание пути твоего. Путь твой есть путь правды, ибо в Святом Писании сказано тако: «Вырви из пшеницы плевелы и сожги их, тогда хлебная нива твоя утучнится!»... Нива – это народ, плевелы – это супротивники народные.

– Ну, то-то же, – проговорил Пугачев. – Вот ты все толкуешь: правда, правда. А ответь-ка мне по правде истинной, как перед Богом: за кого меня чтишь? Кто ж есть я?

Архимандрит стоял, а все сидели. Лицо его вдруг побледнело, он с опасением взглянул на двух сидевших возле него иеромонахов и, опустив глаза, тихо, через силу, молвил:

– Вы есть император Петр Федорович Третий.

В это время раздались за открытыми окнами шумливые крики и топот множества ног по монастырскому, выложенному кирпичом двору.

– Допустите до царя-батюшки! – кричали во дворе. – Он нас рассудит!

Пугачев подошел к окну, глянул со второго этажа вниз и видит: большая возбужденная толпа крестьян – пожилых и старых – подступала к закрытой двери, а стоявшие на карауле казаки гнали их прочь. Среди толпы вихлялся толстобрюхий монах. Крестьяне хватили его за полы, тянули к двери, он вывертывался, орал: «Прочь, нечестивцы!» Крестьяне, задирая вверх бороды, продолжали взывать: «Эй, допустите до царя!»

– Давилин! – высунувшись из окна, прокричал Пугачев вниз. – Пусти народ!

И вот, грохая по лестнице каблуками, шаркая лаптями, ввалилась в трапезную толпа, покрестилась, пыхтя, на иконы, отдала глубокий поклон архимандриту и пала Пугачеву в ноги.

– Встаньте, мирянушки! С чем пришли?

– С жалобой, надежа-государь, с жалобой... На монахов, на гладкорожих... Баб да девок... Тово... Жеребцы! Прямо жеребцы стоялые, – раздались со всех сторон голоса.

– Да не галдите разом-то, – прикрикнул на крестьян Овчинников. – Толкуй кто-нито один.

Емельян Иваныч расчесал гребнем бороду, сел в кресло, приготовился слушать. Выступил вперед седобородый крепкий дед с ястребиным носом, с горящими глазами.

– Надежа-государь, эвот чего вчерась содеялось, – начал он, кланяясь Пугачеву. – Ведомо ли тебе, кормилец, что у нас два монастыря? Один вот этот самый, Петровский называется, а другой в пяти верстах отсель, на Инзаре на реке. Ну тот, правда что, небольшой монастырек...

– Даром что небольшой, – подхватили в толпе, – а монахи молодые, здоровецкие!

– И оба монастыря на заливных лугах покосы имеют, – продолжал старик. – Покосы у них рядышком. А наш, крестьянский, впритык к монастырским... покос-от.

– Впритык, впритык, батюшка, – снова подхватил народ. – Вот этак ихние покосы, а этак наш.

– На нашем одни девки с молодыми бабами робили да на придачу – старики, а парни-то да середовичи быдто одурели, – все в бунт, в мутню ударились: кои в твою армию вступили, кои по уезду разбрелись, помещиков изничтожать...

– Изничтожать, изничтожать лиходеев-бар, согласуемо царского, твоей милости, веленья! – шумел народ.

– И вот слушай, царь-государь! – клюнув ястребиным носом, громко сказал старик и покосился на только что приведенного людьми гладкого монаха, стоявшего поодаль. – И как заря вечерняя потухла да стала падать сутемень, бабы с девками домой пошли. Глядь-поглядь: за ними краснорожие монахи бросились, женщины от них ходу-ходу, монахи за ними – дуй, не стой... Мы кричим: «Бабы, девки, лугом бегите, луговинной!» А они, глупые, к кустарникам несутся... Они к кустарникам, монахи за ними, как кони, взягивают, гогочут...

– Догнали? – нетерпеливо спросил Пугачев, пряча в усах улыбку.

– Нет, что ты, батюшка! – отмахиваясь руками, в один голос откликнулась толпа. – Наши молодайки на ногу скорые, а девки того шустрей... Убегли, убегли, отец. Все до одной убегли! Да их на конях надо догонять...

– Царь-батюшка, – опять заговорил старик с ястребиным носом, – положи запрет монахам, чтобы напередки не забижали наших женок-то... Вот он, царь-батюшка, пред тобой этот самый игумен того монастыря. Его монахи-то охальничали, его! – И старик строптиво взмахнул в сторону смиренно стоявшего гладкого игумена. – Отвечай, отец Ермило, чего молчишь?

– Не мои монахи, – потряс головой игумен, обхватив руками тугой живот и устремив к потолку хитрые масляные глазки. У него загорелые пышные щеки, между ними задорно торчит красный носик пуговкой, на скулах и подбородке реденькая, словно выщипанная, темная борода.

– Как так – не твои! – зашумели крестьяне, надвигаясь на игумена. – Так чьи же?

– Не мои монахи...

– Ну, стало быть, твои, отец архимандрит, твоего монастыря.

– Нет, братия, – возразил отец Александр. – Мы посылаем на покос монахов богобоязненных и годами преклонных. А молодые трудники в лесу дрова заготавливают.

– Не мои монахи! – гулко бросал игумен, будто топором рубил.

– Ха, хорошенькое дело! – возмутились мужики. – Мы своеглазно видели: твои!

– Не мои монахи! – вновь затряс брыластыми щеками игумен.

– Ну вот, заладил, как филин на дубу: не мои да не мои... – осердился Пугачев. И все старики со злобой уставились на отца Ермилу.

– Твое царское величество! – начал упрямый игумен, и лицо его тоже стало злым и дерзким. – Я правду говорю: не мои монахи. Я знаю своих! Мои баб с девками всенепременно догнали бы... Как пить дать – догнали бы! А это не мои. – И отец игумен, выхватив платок, порывисто отер им вспотевшие загривок и лицо.

Первым прыснул в горсть смешливый Иван Александрович Творогов. А вслед за ним и всем прочим стало весело. Даже улыбнулся архимандрит Александр и прихихикивали в шляпки пришедшие с жалобой старики. Лишь один отец Ермил, столь ретиво вступившийся за честь своих монахов, с видом победителя щурил на всех хитренькие глазки. Старик с ястребиным носом, кланяясь Пугачеву, молвил:

– Заступись за нас, сирых, батюшка.

Пугачев подумал и сказал:

– Дело это несурзное, путаное. Ведь ежели б монахи вас, стариков, ловили, а то – ваших девок с бабами. Ну так женские и с жалобой должны были прийти, а не вы, люди старые... Может статься, девки-то сказали бы: «Надежа-государь, вздрючь монахов, что нагнать нас не смогли...»

Снова все заулыбались. На этот раз улыбнулся и отец Ермил.

Крестьяне разошлись. Стали собираться до дому и гости. Явился Перфильев, тихо сказал Пугачеву:

– На воеводском дворе, твое величество, все готово. Крестьянство ждет. Помещиков и прочих приведено с полсотни.

Пугачев и гости поблагодарили отца Александра за угощенье, направились к выходу. Архимандрит, радуясь за спасение монастыря и своей жизни, приказал проводить гостей трезвоном во все колокола.

На дворе воеводы города Саранска, как и в Алатыре, были произведены казни. А на следующее утро, 28 июля, Пугачев двинулся походом к Пензе. Между тем полковник Михельсон, выступив из Казани, встретил в пути графа Меллина и приказал ему выступить на Курмыш к Симбирску для преследования самозванца, а сам 25 июля пришел в селение Сундырь, вблизи которого несколько дней тому назад

Пугачев переправлялся на правый берег Волги. Он не имел точных сведений о том, куда делся самозванец. Посылаемые им гонцы пропадали без вести, назад не возвращались. В Сундыри он узнал, что Пугачев направился в сторону Алатыря. Однако Михельсон не поверил, будто самозванец пошел на юг.

– Это он делает маску, чтобы обмануть нас... Я уверен, что злодей бросится к Москве, – говорил он своим офицерам. – И наша наипервейшая задача оберегать пути к первопрестольной.

Графу Меллину, догонявшему быстрых пугачевцев, приходилось идти форсированным маршем. Граф доносил: «По всему моему пути я нашел до тридцати человек повешенных и по деревням почти никаких жителей. Какое это наказание Божие, которое я вижу: господа дворяне по дорогам – который повешен, у которого голова отрублена». Граф Меллин горел чувством жестокой мстительности. Вступив в Алатырь, он распорядился вывести из тюрьмы пойманных мятежников и переколоть их, что и было исполнено, а в Саранске он несколько человек засек плетью. По стопам мщения пошел и Михельсон. В начале своей деятельности осмотрительный и мягкий к пленным бунтарям, Михельсон с течением времени все больше и больше ожесточался; он стал применять к своим жертвам кровавую расправу, ибо, по его мнению, «сие производит в сих варварах великий страх». Так, в селе Починках, Саранского уезда, восставшими крестьянами был захвачен конский казенный завод. Михельсон разогнал «злодейскую толпу», из пойманных крестьян троих повесил, остальным распорядился урезать по одному уху. Его страшила сила и крепость народного восстания. Он доносил: «Окрестность здешняя генерально в возмущении, и всякий старается из здешних богомерзких обывателей брать друг у друга преимущества своими варварскими поступками... Нет почти той деревни, в которой бы крестьяне не бунтовали и не старались бы сыскивать своих господ, или других помещиков, или приказчиков к лишению их бесчеловечным образом жизни».

Отряд генерала Мансурова следовал меж тем на Сызрань, отряд Муфеля торопился к Пензе. Несколько дней спустя после ухода Пугачева из Саранска город этот был занят Муфелем. Он приказал архимандрита Александра арестовать, заковать в железа и направить в Казань, в потемкинскую Секретную комиссию на суд и поругание.

4

Крестьянское восстание на правом берегу Волги подымалось во весь рост. Суд над лихими помещиками и жестокими приказчиками в барских вотчинах главным образом чинился самими крестьянами на мирских сходах.

Вот весьма картинное письмо земского человека, Афанасия Болотина. Он крепостной князя Долгорукова, помещика Саранского уезда, владельца села Царевщины. Афанасий Болотин доносил своему господину:

Подобных донесений своим господам от их служащих и крепостных сохранилось довольно много.

Глава III

Долгополов действует. В царских чертогах.

Смятение среди дворян

1

Улучив время, когда Пугачев прогуливался вдоль берега попутной речонки, ржевский купец Долгополов подошел, поклонился, молвил:

– Царь-батюшка, ваше величество. Приспела мне пора-времечко в Петербург возвращаться, наследнику престола, а вашему сынку богоданному отчет отдать. Сделайте Божескую милость, отпустите...

– Нет, Остафий Трифоныч, – возразил Пугачев, прищуриваясь с недоверием на прохиндея. – Ты еще мне сгодишься.

Пугачев не без основания опасался отпустить от себя такого выжигу: «Учнет там невесть чего плести». А тут, в обозе, он вовсе безопасен.

Долгополов, согнав с лица подобострастную улыбку, прикрякнул, сказал:

– Я бы вам, царь-государь, из Нижнего много пороху прислал. У меня там девять бочонков зелья-то оставлено у купца Терентьева в укрытии, у дружка. В подвалах его каменных. А чтобы незнатно было, что это порох, я сверху-то толченым сахаром засыпал. Под видом сахара и подсунул купцу-то.

– Коли не врешь, так правда...

– Как это можно, ваше величество, чтоб государю облыжно говорить!.. – воскликнул Долгополов, всплеснув руками и отступив на шаг. – В молодости не вирал, а уж под старость-то...

– Ладно, пущу, – подумав, ответил Пугачев, – только не прогневайся: своего человека с тобой отправлю...

– Да хоть двух! Еще мне лучше, сподручней ехать будет. Твоему доверенному и тот порох передам с рук на руки.

Дня через два, тихим летним вечером, Долгополов выехал из стана Пугачева. Провожатый, илецкий казак Осколкин, проехал с ним не больше полсотни верст, затем в попутном селе напился и отстал.

Долгополов ехал теперь один, с возницей, лошадей получал по выданной пугачевской Военной коллегией подорожной. Настроение его было приподнятое, радостное. Он словно из тюрьмы сбежал, и вот перед ним снова воля. Да будь им неладно, этим головорезам, мало ли он, Долгополов, страху с ними претерпел; сегодня стычка, завтра стычка, еще слава Богу, что в плен не угодил. Они, разбойники, чуть что – так и по коням, а он на коне, как баран на корове. Нет, довольно, с него хватит...

Хоть он и мало покорыстовался от Пугачева – самозванец, чтоб его лихоманка затрясла, прижимист, лют, согруби ему, он живо – камень на шею да в воду, но лишь бы Долгополову во всем благополучии до Питера добраться – у него на уме дельце затеяно великое... то есть такое дельце, что Долгополов, ежели праведный Господь благословит, генералом будет и по колено в золоте учнет ходить... «Поддай, поддай, Господи! А я уж, грешный раб твой, каменную часовню всеблатому имени твоему сгрохаю во Ржеве, в

триста пудов колокол повешу! Трубы обо мне трубить будут... Сама матушка Екатерина деревеньку с мужиками отпишет мне, к ручке своей допустит... Знай, воевода Таракан, знай, треклятый обидчик Твердозадов, знай, вся Россияшка, кто есть Остафий Долгополов!»

Невзирая на тревожное время, проведенное Долгополовым среди пугачевцев, прожорливый купец порядочно-таки отъелся, подобрел, налился на степном воздухе здоровьем, из заморыша в порядочных годках превратился он в крепкого и совсем будто бы не старого человека. Но плутовские глаза его те же, и козлиная борода та же.

Пугачевские разъезды на дороге, мужицкие пикеты при околицах восставших деревень, осматривая документы за государственной печатью, относились к нему, как к царскому посланцу, предупредительно. Крестьяне наперебой тащили его в свои избы, топили баню, кормили его, делясь последним, расспрашивали про «батюшку» – все ли здоров наш свет, да много ли скопил возле себя мужиковской силушки, да куда намерен путь держать?

И день, и два, и три едет Остафий Долгополов во всем благополучии, сытый, веселый, любуется природой: лесами, полями, рощами, речонками, а вот на горе вдали белеет благолепного вида Божий храм, глядят на Долгополова обширные барские хоромы. И только он шапку сдернул, чтоб перекреститься на святую церковь, – шась к нему из-за кустов разъезд.

– Кажи документы, проезжающий! – бросил с коня усатый малый в лапоточках, за поясом пистолет, у бедра сабля, сам слегка подвыпивши.

– С нашим превеликим удовольствием, – проговорил купец и, вынув из шапки подорожную, подал ее усачу в лаптях.

Тот повертел ее пред глазами, поколупал сургучную печать, спросил:

– Куда правишься?

– А еду я к самому наследнику престола Павлу Петровичу в столичный град Санкт-Петербург. Да ты, служба, прочти в бумаге-то...

– Кто послал тебя?

– А послал меня сам государь Петр Федорыч...

– Ребята, хватай его! – неожиданно крикнул усатый малый.

Долгополов не больно-то испугался этого крика, только весь злобой вспыхнул.

– Как смеешь, пьяная твоя рожа, на меня, государева слугу, орать?! – в свою очередь закричал он на усача в лаптях. – Я, мотри, в больших чинах у государя-то хожу. Мотри, живо на осине закачаешься!..

Усач захохотал и крикнул:

– Это у какого такого государя? Какой еще государь нашелся?

– Петр Федорыч! Великий император!..

– Ванька! Сигай к нему в тарантас да заворачивай к селу, – приказал усач другому парню.

Долгополов смутился, не на шутку перетрусил. Да уж полно, не от казенного ли какого отряда дураки это посланы – подозрительных людей хватать?

А усач в лаптях, держась за пистолет, сказал Долгополову:

– Чегой-то шибко много развелось этих самых Петров Федорычей. А истинный царь-батюшка, взаправдашний Петр Федорыч государь, завсегда с нами ходит. Видишь барский дом? – сердито ткнул он

нагайкой по направлению к селу. – Вот тамotka он, отец наш, жительство имеет. Он тебя, супротивника, спросит, кто ты такой есть. Поехали!

Долгополов кричал и ругался, выходил из себя, потрясал кулаками. Его горбоносые лошаденки, нахохлившись, неохотно свернули с большака на проселок, усач в лаптях припугнул их нагайкой да заодно вытянул ею и купца.

Остафий Трифоновч вскоре был втащен за шиворот по каменным ступеням барского дома с белыми колоннами к самому крыльцу. Из распахнутых окон доносился шумный говор, бряканье посуды, пьяные выкрики, раскатистый хохот, запьянцовская разухабистая песня и грузный топот плясунов. Видимо, шла там гульба. Долгополова крепко держали за руки. Он все еще продолжал кричать, буйно сопротивлялся.

Вокруг дома подремывало несколько заседанных лошадей, под кустами в разных позах валялись спящие крестьяне, в изголовьях одного из них сидел мальчишка лет пяти, он теребил храпевшего человека за бороду и сквозь горькие слезы тянул: «Да тят-а-а, вста-ва-ай, мамынька кличет». Угасший костер, палки, вилы, два опорожненных штофа брошены в истоптанную траву, два старика сидят, согнувшись, на пеньках, курят трубки, морщинистые лица их скорбны. Грязный, весь в репьях, вонючий козел, привстав на дыбки, тянется губами к свежим листкам молодой липы.

Вдруг с треском распахнулась дверь, и на крыльцо вылез из барского дома присадистый мужик в домотканом зипунишке, за опояской – топор, в руках – жирная селедка, головка зеленого лука. Пошевеливая скулами и коричневой всклокоченной бородой, он неспешно прожевывал пищу. Нахмутив брови и окинув шумевшего Долгополова недружелюбным взором опухших глаз, он сипло спросил:

– Чего, так твою, орешь?

– Вот, пымали птичку-невеличку. Сказывает, от какого-то Петра Федорыча едет, от государя, ха-ха-ха!

– Поди, доложь батюшке, – пропойным голосом сказал мужик; оторвав зубами кусок селедки, он поправил топор за опояской и, пошатываясь, стал спускаться в палисадник к зеленым кустикам.

И вот, окруженный пьяными гуляками, появился во всей славе «сам царь-государь Петр Федорыч Третий».

Долгополов разинул рот, вытаращил изумленные очи, попятился. Пред ним стоял, подбоченившись, толстобрюхий детина, бывший поставщик «высочайшего двора» в Петербурге, разоренный Барышниковым мясник Хряпов. С тех пор, как Долгополов встретился с ним в питерском трактире, в день похорон Петра III, прошло двенадцать лет, однако Долгополов сразу же узнал когда-то знаменитого по Питеру мясоторговца. Боже мой, Боже мой, что же это делается на белом свете!

Долгополов не был осведомлен про то, что мясник Хряпов, вышедший на оброк крепостной крестьянин, еще в молодых годах перебрался в столицу и быстро там разбогател, затем, три года тому, уже разорившийся, появился в Москве на чумном бунте, в пьяном виде ввязался в драку с подавлявшим мятеж воинским отрядом, вместе с прочими попал в тюрьму, где и просидел около двух лет. Не мог знать Долгополов и того, что мясник Хряпов, оплакивая свою горькую судьбу, возненавидел сильных мира сего: вельмож, помещиков, богатых купцов и всякое начальство, что, прослышав о мятежной заварухе среди казаков на вольном Яике, он прошлой зимой пробирался к себе на родину, в деревню. Он полагал набрать там ватагу храбрых и двинуться на помощь к «батюшке». Он понимал, что на Яике под Оренбургом великие дела вершит не царь, а самозванец, но Хряпова это нимало не смущало, царь ли, не царь ли, только бы разумный да отчаянный человек был «батюшка». Он так и говорил тогда: «Пойду служить умному разбойничку».

Хряпов стоял перед Долгополовым, весь налитый жиром, весь красный, тяжело пыхтящий, под

волглыми глазами морщинистые, дряблые мешки, на переносице кровавая подсохшая ссадина, к неопрятной, подмоченной водкой бороде пристали хлебные крошки, рыбы косточки. Через оба плеча, по казакину с позументами, две генеральские ленты, на груди военные ордена и сияющие звезды. Густые волосы, смазанные маслом и причесанные на прямой пробор, спускались к ушам, как крыша. Он был изрядно выпивши. Его поддерживали под локотки два низкорослых пьяных старичка с подгибавшимися в коленках ногами. Старички похохатывали, утирали ладонями мокрые рты, притопывали в пол пятками и, потешно избоченясь, гнусили:

– С его величеством гуляем, с самим батюшкой!

Из-за плеч широкотелого Хряпова, сверкая на Долгополова глазами, выглядывали хмурые бородачи с малоприятными лицами.

– Вались в ноги, волчья сыть! – крикнул Хряпов на купца. – Сам император пред тобой!

Но Долгополов, состроив самую лисью, самую преданную физиономию, заулыбался во все лицо и, выбросив вперед руки, елеиным голосом воскликнул:

– Здрав будь, кормилец наш, Нил Иваныч, батюшка! Вот где приспело встретиться с тобой!

Хряпов потрянул локтями, брюхом, всем корпусом – потешные старички отскочили прочь – и, выкатив глаза, гаркнул на Долгополова:

– Ах ты, крамольник, песий сын! Какой я тебе Нил Иваныч?! Вались в землю, а то сказню!.. – И он ударил кулаком в ладонь, кресты и звезды на его груди зазвенели.

А бородачи, высунувшись из-за его спины, принялись засучивать рукава своих сермяг.

– За что же меня хочешь сказнить-то, Нил Иваныч? – собрав морщинки на вспотевшем лбу, жалобно проговорил Долгополов. – Ежели ты у нашего государя в великих генералах ходишь, так ведь и я-то у батюшки не обсевок в поле... Ведь я, мотри, послан его величеством...

– Замолчь! – топнул Хряпов, заплывшее жиром лицо его стало зверским, пугающим. – Повешу!

– Побойся ты Бога, Нил Иваныч... – молитвенно складывая руки, пролепетал Долгополов. – Вот у меня и ярлык от государя императора... Он, пресветлый царь, с воинством своим сюда шествует. А меня передом послал... Мотри, худо будет...

Обалделые глаза Хряпова вылезали из орбит, на припухших губах появилась пена, он надул щеки, чрезмерно тяжело задышал и не своим голосом гаркнул:

– Вздернуть! Раз он, сволочь, меня государем императором не признает – вздернуть!

Тут выскочил из кустов страховидный дядя с топором за поясом и, поддергивая штаны, шустро поднялся по ступенькам на крыльцо.

– Кого вздернуть-то? Пошто вздергивать-то? Дозвольте, царь-государь, я этому старому петуху, растак его, голову топором оттяпаю... – и мужик выхватил остро отточенный топор.

Остафий Долгополов, видя свой последний час, рухнул Хряпову в ноги, пронзительно завопил:

– Винюсь, винюсь! Я все наврал, батюшка! А теперича вспомнил: вы есть истинный государь Петр Федорыч Третий, ведь я у вас в Ранбове во дворце бывал, видывал вас самолично... Ребята! Не сомневайтесь, это истинный государь наш...

Пьяный Хряпов ткнул его ногой в сафьяновом желтом сапоге и, что-то пробурчав, повернулся обратно в дом.

В прах поверженного Долгополова схватил за шиворот страховидный дядя с топором:

– Вставай, козья борода! Андрюшка, Васька, ведите его под ворота к петле.

Долгополов стал вырываться, стал кричать истошным голосом:

– Братцы! Что же это... Сударики! Я вам денег... Ведь я купец из Ржева-Володиминова...

– Иди, не упирайся, так твою! Нам от батюшки даден приказ купцов не миловать...

– Караул! Караул! – жутко завизжал купец, увидев висевшие под воротами трупы. – Мужики, не озоруйте! Паспорт у меня... Денег дам...

– Молись Богу, черная твоя душа... – прохрипел дядя с топором. – Андрюха, спущай веревку!

– Господи! Прими дух мой с миром, – молитвенно воскликнул Долгополов и устремил глаза к небу. – А вы, дурачье сиволапое, не царю, а вору служите, мяснику Хряпову...

И когда петля уже была накинута на шею Долгополову, вдруг где-то за околицей ударили один за другим три выстрела, рассыпалась дробь барабана, загремело «ура»...

Мужики, их человек пятнадцать, бросились от Долгополова врассыпную. В барском доме и около поднялась суматоха, послышались крикливые, перепуганные голоса:

– Втикай, братцы!.. Догуля-я-лись! Солдатня пришла! Пропали! Батюшку-то береги!

– Где батюшка? Вавила! Митька!

– Тройку, тройку царскую сюда!..

– Пали из пушки!.. Ой, Господи Христе!

От сильного волнения сердце Долгополова остановилось. Он закрыл глаза и повалился наземь.

Кругом все крутилось как в вихре. С колокольни неслись заполосные звуки набата. Взад-вперед бестолково скакали на клячах, неумело встряхивая локтями, трезвые и пьяные мужики. Мясник Хряпов, сорвав с груди кресты и звезды, охая и крича, залезал с какой-то бабой в барскую пролетку.

– Всем бекетчикам головы долой! – свирепо орал он, стреляя из пистолета в воздух. – Так-то они караулят императора!

– Окружа-а-ють! Казаки окружають, солдатня! – галдели с колокольни.

– Огородами, огородами!.. В лесок беги! – будоражили воздух раздернутые голоса.

Десятками, сотнями устремлялись спасаться в ближайший лесок кой-как вооруженные люди из хряповской ватаги. Стрельба и воинственные крики раздавались со всех сторон.

Слепая черная собака, сидя на перекрестке и задрвав вверх морду, жутко выла. Стайками носились возле крыш быстрые стрижи, со свистом рассекая тугими крыльями вечерний тихий воздух.

Длительный обморок Долгополова кончился. Кончилась и уличная суматоха. Наступили прохладные сумерки. Долгополов не сразу пришел в память. Он то ощущал себя при смертном часе, то ему представлялось, что он уже по ту сторону бытия и ожидает, когда ангел смерти поведет его душу к престолу Бога... Но вот баба в сарафане протянула ему ковш студеной воды, он с жадностью половину ковша выпил, другую половину, согнувшись, вылил на полуплешивую свою голову, чтобы освежить горящий мозг и привести в порядок взбудораженные мысли.

И, быть может, впервые в жизни его охватило высокое человеческое чувство благодарности. Он взглянул в лицо стоявшего перед ним офицера, вмиг залился слезами, повалился ему в ноги.

– Ваше благородие! Спа-спа-спаситель мой!.. От неминуемой смерти избавили меня, – выскуливал Долгополов, заикаясь, и лицо его как-то просветлело, и слезы капали из глаз его.

– Кто вы такой и как очутились здесь? – спросил загорелый, со строгим взглядом офицер.

От этого отрезвляющего голоса все благостное с души Долгополова разом схлынуло. Он снова сделался самим собой, как будто и не бывал в зубах у смерти. Прихлупывая, пофыркивая носом и вытирая голову холщовым фартуком, поданным ему бабой, он, спасая себя, начал выкручиваться пред офицером, стал врать ему о своем несчастном положении, о том, как он скитался по разным городам в поисках беспутного своего сына, уехавшего с товарами еще по весне из Ржева-города и невесть куда скрывшегося: то ли вьюнош спился с кругу, то ли угодил в лапы богомерзкого разбойника Емельки Пугачева.

– А имеется ли у вас паспорт и отпускной билет на проезд? – сухо спросил офицер.

– В наличности, ваше благородие, в наличности. – Долгополов достал из штанов складень, отогнул зубами лезвие ножа и стал им вспарывать подкладку казакина, где были зашиты документы.

К офицеру со всех сторон солдаты подводили связанных крестьян, молодых и старых, испугавшихся и наглых, трезвых и подвыпивших. Вытаскивали с чердака и подвалов господского дома, подводили долговолосых лохматых людей, беглых монахов, дьячков или бородатых нищевродов, одетых кто во что горазд: в барские халаты, в женские кружевные капоты, в парчовые душегреи, в рваные пестрядинные портки и растоптанные лаптишки – какой-то святочный потешный маскарад. Привели трех кричащих, в голос плачущих и пьяных баб в кисейных и муслиновых платьях, в кокошниках с самоцветными камнями. Кого-кого тут не было, и больше всего – господских челядинцев, дворни. Но главный зачинщик, мясник Хряпов, умчался на тройке вороных.

Невообразимый гвалт стоял в воздухе: одни молили о пощаде, другие клялись в верности матушке Екатерине, третьи, наиболее хмельные, ругали солдат и офицеров, горланили песни, орали: «Не робей, братцы! Сей минут батюшка вернется с воинством своим... Ур-ра третьему ампиратору!»

Поднялся ветер, зашумела листва, пыль коричневым вьюном закрутилась на дороге. Но вот, разрывая все звуки, резко затрубила медная труба горниста. Командирский строгий голос офицера приказал:

– Всех на конюшню! Плетей! Палок! Да виселицу изладьте.

И сразу стало тихо. Лишь ветер шуршал листвой да пронзал наступившие сумерки такой заунывный, такой пугающий вой собаки.

2

Ночью прошел дождь. Наутро, чем свет, Остафий Долгополов правился по холодку вперед. В его душе снова мир и благодать. Страх смертного часа скользнул над его душой, как темный сон. «А чего тут слюни-то распускать... Себе дороже», – думал он, беспечально посматривая на созревшие, ожидавшие хозяев нивы.

Но хозяев не было, хозяева разбежались по лесам или устремились за злодеем Хряповым, чтоб под его рукой вершить бессмысленное по своей жестокости дело.

– Погоняй, погоняй, паренек! – покрикивал Долгополов вознице. – Три копейки прибавлю тебе...

Прошлую ночь Долгополов ночевал в бане вместе со странником старцем Каллистратом. Оный странник пробирается «сиротскою» дорогою на реку Иргиз, во святые обители всячестного игумена Филарета. А идет он из-под Макарьева и на своем пути вот уже четвертого встречает Петра Федорыча. «Оные злодеи только путик гадят истинному царю-батюшке, кой, по слыху, из Башкирии к Каме подается», – печаловался странник Каллистрат. Эти ложные Петры Федорычи, по его словам, лишь одну свирепость по земле творят, а никакого уряду для крестьянства не делают. Грабят, жгут, убивают правого и виноватого. Видел он в одном месте семьдесят два человека удушенных: господа и слуги их, попы и крестьяне из упорствующих.

Да, да, да... Много самозванцев развелось, уж не заделаться ли и ему одним из них, мечтал Долгополов, погулять, поколобродить, великие капиталы приобрести, а как придет опасность, можно и в кусты. «Нет, годы мои не те, супротив государя – стар... Да и страшновато... А уж лучше я свои великие дела вершить учну».

Он вспоминает свои недавние разговоры с яицкими казаками. Как-то зашел он в избу к полковнику Перфильеву. Зачалась легкая выпивка, душевные разговоры потекли. Долгополов, прикинувшись пьяненьким, между прочим говорил ему:

– Да, брат, Афанасий Петрович... В бороде царь-то наш, в бороде... Да еще в черной бороде-то. А ведь в Ранбове я без бороды государя-то видел, чисто бритого... И волосом он не так темен был... Чегой-то наш батюшка мало схож с тем, кого я видел... Ой, прошибся я...

Помолчав, Перфильев отвечает ему:

– Ежели кому хошь бороду отрастить, лицо переменится. Взять, скажем, меня. Али тебе бороденку сбрить, хоть плевенькая она, а и твое лицо изменится, не вдруг признаешь.

– Да, это так, – раздумчиво соглашается Долгополов и сопит.

Перфильев же выпил чарку, закусил икоркой да опять:

– А у тебя, Остафий Трифоныч, кабудь есть что-то на языке еще... Так уж ты без опаски говори, я не обнесу, не бойсь.

Тогда Долгополов тоже выпил для куражу полчарочки, прикинулся еще более охмелевшим, подъезлил по скамейке к хозяину, обнял его за плечи и, припав мокроусыми губами к его уху, задыхаясь, прошептал:

– Да уж, мотри, царь ли он?

Сказав так, Долгополов испугался. Он знал, что Перфильев человек свирепый, чего доброго, схватит нож и поразит его прямо в сердце. Опасливо, с кошачьими ужимками, он пересел со скамейки на стул

против хозяина и, вобрав голову в плечи, притаился, не сводя с хмурого, в сильных оспинах, лица Перфильева своих ласково-покорных, выжидающе-хитрых глаз.

Но Перфильев и не думал озлобляться, он только шумно задышал и унылым голосом промолвил:

– Ежели по правде баять, мы и сами промеж собой балакаем: не царь он. Да уж, коли в дело вступили, не для чего раком пятиться. Ну, сам ты посуди: как я домой вернусь, что начальству стану говорить? Ведь всяк ведает, что мы были у батюшки в команде...

– Так-так-так, – поддакивая Перфильеву, прикрюкивает, как утка, Долгополов.

– Ведь я, чуешь, когда был в Петербурге, граф Алексей Григорьевич Орлов просил меня поймать Пугачева и живьем доставить в Питер. За сие он пожаловал мне в задаток больше ста рублей и высокий чин пообещал...

– О-о-о! – изумился Долгополов, и прищуренные глазки его как бы покрылись маслом. – Живьем? Пугачева привести? Ишь ты, ишь ты.

– Я тебе допряма говорю, – продолжает Перфильев, – допряма и без утайки. Ежели б ты и надумал фискалить...

– Что ты, Афанасий Петрович! Окстись! Голубчик... Да чтобы я, да на тебя! – замахал Долгополов руками и выдавил на лице гримасу кровной обиды.

– Да знаю, что не станешь... А я тебе, Остафий Трифонович, как старому человеку, откровенно говорю: я свою душу черту продал, и мне все едино, кто батюшка – природный царь али Пугачев. И даже так тебе скажу, хошь верь, хошь нет: ежели не царь, а Пугачев противу властей народ ведет, так лучше того и требовать не можно. И мне его жаль, Остафий Трифонович, вот как жаль... Больше, чем себя, жаль его... Чую, словят его рано-поздно, сказнят. И меня сказнят с ним заодно. Я, брат, припаялся к нему, сросся с ним, как сук с родным деревом. Он на плаху, и я туда же. Вместях скорбь несли, вместях ответ держать будем. Пред народом-то мы с батюшкой завсегда оправдаемся, а правительство в жизнь не простит нам... Эх, да тебе ни черта не понять, из другого ты, брат, теста сляпан, уж ты не погневайся на меня, на казака...

– Так-так-так, – прикрюкивает купец, как утица. – Зело велики страдания твои! Ох, велики...

– Не в похвальбу себе говорю, а душа того просит, – продолжает Перфильев, безнадежно прошупывая умными, глубоко посаженными глазами сидевшего пред ним малопонятного ему, чужого человека. – Ежели мне до смерти жаль Емельяна Пугачева, то в ту же меру будет жаль и государя, ежели наш батюшка не Пугачев есть, а истинный император Петр Третий...

– Ну-у-у, неужто? – опять изумился Долгополов. – Разжуй, уразуметь на могу.

– Вот то-то и оно-то, – прищелкнув пальцами, сказал Перфильев и выпил с купцом по чарке. – Я ж говорю, что тебе не понять, Остафий Трифонович. Да навряд и другой кто поймет. Наши атаманы думают: Перфильев злой, свирепый, Перфильев себялюбец. А ведь поверь: ни одна собака из них, окромя разве Чики-дурака, так не любит батюшку, как я люблю. Так вот слушай и, ежели у тебя есть хоть какой умишка, мотай на ус.

– Дай мне, Господи, разуменья умные речи твои, Афанасий Петрович, слышать, – подхалимно перекрестился купец и прикусил губу.

– Смекни! – погрозил Перфильев пальцем. – Если отец наш натуральный государь, так нешто правительство примет его за такового? Да правительство, по наущению Екатерины Алексеевны, монархини, лучше согласится Пугачева польготить, а уж истинному-то Петру Федорычу голову снимет бесприменно. Если он натуральный царь, так он враг для них самый опасный, на всю Европу враг. Тут не

только государыня, не только Орловы исконные недруги его, а даже сам Никита Иванович Панин возопил бы: «Ради спасения России голову с плеч ему долой...»

– Он, батюшка, в таком разе за границу мог бы, там поддержку дали бы ему, – возразил Долгополов.

– Ха! Да как он, явившийся в Европу во образе бродяги, смог бы удостоверить, что есть император Петр? Ну, как? Бродяга и бродяга. Нет, Остафий Трифонович, тогда-то уж окончательный был бы ему каюк. Стало – так и так пропал. Как ни кинь, все клин.

Припоминая во всех подробностях разговор этот и перебирая в памяти наблюдения в стане Пугачева, Долгополов все больше и больше распалялся потаенной мечтой своей. Если Перфильев не постеснялся нарушить присягу и обмануть графа Алексея Орлова, так почему ж ему, Долгополову, не пойти по той же дорожке и не обмануть князя Григория Орлова, а вместе с ним и самое матушку Екатерину Алексеевну? Нет, Бог с ней, со славой, Долгополов не столь глуп, чтоб гоняться за какой-то там славой, за чинами. И черт с ним, с Емельяном Иванычем, век его не видеть. А что касемо золота, то Долгополов сумеет его хапнуть не как-нибудь, а на законном основании. Уж на что, на что, а на такое прибыльное дельце смекалки у него хватит.

Только вот беда: передрыга с этим разбойником мясником Хряповым изрядно-таки отозвалась на его здоровье – стала сильно подергиваться верхняя губа, а глаза нет-нет да и закатятся сами собой на малое время под лоб. «Ну и настрашали меня, окаянные живорезы... Только подумать надо: петля на шее была».

Но черные воспоминания тонули в каком-то розовом тумане, и легкомысленный Долгополов уже начал слагать в уме каверзное письмо князю Григорию Орлову.

А как добрался до приволжского городишки Чебоксар, снял на постоялом дворе отдельную комнатку и, сытно пообедав, сразу засел за письмо. Он стал писать не от себя, а от имени известного братьям Орловым казака Перфильева.

Верхняя губа Остафия Долгополова задергалась, нижняя отвисла, глаза ушли под лоб. Быстро справившись с приступом недуга, купец стал обдумывать, как бы похитрее обмануть князя Григория Орлова, внушить ему полное доверие к письму, к затее, в нем изложенной. Купец скользком взглянул на свежепросольный огурец, на графин водки, стоявший перед ним, и сразу вдохновился.

Ох, если б крылья, если б письмецо доставить в Питер тепленьким, с непросохшими чернилами! Но у Долгополова крыльев нет, он, не жалея денег, заторопился ехать на лошадаках.

Восьмого августа, в четыре часа утра, он был уже в Петербурге, возле дворца князя Орлова^[59], что на берегу Невы, против Петропавловской крепости.

Он попытался нахрапом пройти вовнутрь дворца, но часовой остановил его. Однако Долгополов прикрикнул на солдата, как имущий власть:

– Живо веди во дворец, буди камердинера! Я по неотложному государственному делу.

Видя пред собой человека в годах степенных и одетого в казацкую, хотя и потертую, темно-зеленого сукна, форму, молодой солдат крикнул будочника с алебардой и велел ему провести казака в княжеские покои. Там все еще спали. Долгополов поднял шум, из своей комнатки вышел бравый, высокого роста камердинер в халате с барского плеча и спросил казака:

– Что тебе, служивый, надобно?

– Нагни голову, тогда я тебе скажу на ухо, что мне надо, – проговорил Долгополов. И когда удивленный камердинер нагнулся, Долгополов строго зашептал ему: – А вот что, миленький. Разговор с

тобой мне вести недосуг, а ты сей ж минут буди князя. Да велика закладывать карету в Царское, к самой императрице.

Повелительный тон и соответствующие жесты казака сделали свое дело: камердинер поспешно переоделся в кафтан и, пройдя вместе с Долгополовым к опочивальне князя, постучал в дверь.

– Кто? – послышался из спальни громкий голос.

– Я, ваша светлость, Гусаков.

– Войди! Чего ты ни свет ни заря?..

Вместе с камердинером юркнул в дверь и Долгополов. Камердинер отдернул на высоком окне драпри. Князь лежал в кровати, руки за голову, по грудь приукрытый легким одеялом. Долгополову показалось, что он стоит в благолепной церкви – столь много кругом позолоты, лепных порхающих херувимов, шелковых золотистых, как парча, тканей.

– Что ты за человек? – сурово спросил князь Долгополова.

Низко поклонившись князю и касаясь пальцами пола, Долгополов ответил:

– Я, ваша светлость, родом яицкий казак Остафий Трифонов. Вот вам письмо от моих товарищей, извольте, ваша светлость, вставать с постельки. Государственное дельце от вас, самое горяченькое, что изволите усмотреть из сего цидула. Куй железо, пока горячо, как говорится, ваша светлость, – без остановки сыпал Долгополов словами, как горохом.

Орлов, не распрямляя хмурых бровей, быстро спустил с кровати богатырские ноги на ковер, потребовал трубку, закурив, стал внимательно читать. Долгополов, затаившись и крепко зажав в руке казачью мерлушковую шапку-трухменку, неотрывно следил за ним. Протекали самые опасные для прохиндея минуты: или все обернется как не надо лучше, или его схватят и навсегда замуруют в крепостном каземате. Верхняя губа его неудержимо трепетала, глаза то и дело закатывались под лоб. Вдруг он возликовал, заметив, что лицо князя прояснилось, что на его губах заиграла самодовольная улыбка. Орлов бросил письмо на круглый, изукрашенный перламутром столик, взволнованно сказал:

– Сия овчинка, сдастся мне, стоит выделки... Одеваться – и тотчас карету!

Вбежал негритенок в красном жупане, принялся одевать князя, а Долгополов с камердинером удалились.

3

Тройка орловских рысаков летела по гладкой дороге быстро. Долгополов был удостоен сидеть в карете рядом с князем.

– На сей случай ты не казак, а мой гость, – простодушно говорил Орлов. – Только не могу в толк взять: ведь есаул Перфильев, помнится, еще зимой был откомандирован братом моим схватить Пугачева. По какой же это причине столь великое с его стороны промедление?

– Ах, ваша светлость! – воскликнул Долгополов, закатывая под лоб узенькие глазки. – Раз Перфильев Пугачеву в руки попал, нешто злодей отпустит его от себя живым? Ведь и я-то убегом здесь, скрадом. Пугачеву сказали, что я в сраженье под Осой убит. Конечно, Перфильев прикинулся злодею преданным и начал по малости казаков щупать. На поверку вышло, что многие казаки Емельку-то за истинного государя принимали. Вот только ныне Господь посетил их просветлением ума...

А вот и Царское Село, в нем Долгополов по своим коммерческим делам много раз бывал.

Погода пасмурная. Семь часов утра. Парадные и жилые апартаменты помещались во втором, верхнем этаже дворца. Екатерина занималась в кабинете. Возле дверей стояли на карауле два гренадера с ружьями и какой-то господин в кафтане с золотыми галунами. Князь, оставив Долгополова за дверями, прошел к императрице. Екатерина с растерянной улыбкой и некоторым удивлением поднялась ему навстречу. Орлов поцеловал правую ее руку, перехватил и поцеловал левую, затем снова правую, затем, задерживая ее руки в широких своих ладонях и вздохнув, сказал:

– Давно не видал тебя... Вот и морщинки появились. Счастлива ли ты?

– А что есть счастье? – вопросом уклончиво ответила Екатерина, вскинув в лицо бывшего любимца свои загрустившие глаза и тотчас опустив их. – С чем пожаловал такую рань? Что за экстрa? Уж не в Гатчину ли свою на охоту едешь да по пути завернул?

– На охоту, матушка... Да еще на какую охоту-то. Зверь крупный! На-ка прочти, – и Орлов протянул Екатерине письмо ржевского мошенника.

Внимательно прочитав письмо, Екатерина сразу оживилась, в ее глазах блеснули огоньки. Взволнованная, она понюхала из хрустального флакончика какого-то снадобья, села в кресло, оправила стального цвета широкую робу, сказала Орлову:

– Где делегат? Пожалуй, покличь его, Григорий Григорьевич.

Долгополов вошел в царские покои без всякого смущения, как в свою собственную спальню. Приблизившись к императрице, он бросил к ее ногам шапку, опустился на колени, крестообразно сложил руки на груди и уставился на царицу, как на икону в церкви.

– Встань, казак, – сказала Екатерина и милостиво протянула ему для лобзанья руку.

– Ваше величество! – воскликнул Долгополов, прикладываясь горячими губами к женской ручке. – Светозарная повелительница великой империи Российской, идеже и солнце не захождает... Припадаем челом к священным стопам твоим все триста двадцать четыре яицких казака, что уловил в свои богомерзкие сети враг человечества Емельян Пугачев, а ему же убо плеть – плеть, а ему же убо страх – страх, а ему же убо смерть – смерть...

Тертый калач Остафий Долгополов, в бытность свою человеком состоятельным, научился «точить лясы» со всяким: с архиереем и конокрадом, с князем и строкой приказной, с купцом и вельможей, ему даже разок удалось перемолвиться с самим Петром Федоровичем, когда тот был еще наследником

престола, а купец доставлял овес для его конюшни. Вот только с государыней разговаривает он впервые. Ну, да ничего... С матушкой-то не столь опасно говорить, как с мясником злодеем Хряповым, треклятым самозванцем.

– Давно ли ты, Остафий Трифонов, у господина Пугачева в услужении, когда ты верность данной нам присяги нарушил? – спросила государыня.

– Винюсь, матушка, ваше величество! Все мы винимся, все мы горьким плачем обливаемся. Нечистая сила околдовала нас, темных, в сентябре прошедшего года...

– Стало быть, вы Емельяна Пугачева за покойного императора Петра Федорыча приняли?

– За него, ваше величество, за него. Винимся!

– Стало, вы против меня шли, угрожали спокойствию империи?

Долгополов, закатив глаза под лоб и прикидываясь простоватым казаком, с жаром воскликнул:

– Против тебя шли, ваше величество, как есть против тебя. Винимся!

– Значит, вы, казаки, мною недовольны были?

– Довольны, матушка! Выше головы довольны... А это лукавый сомустил нас, сатана с хвостом.

– Нет, казак, ты неправду говоришь, – возразила Екатерина. – Среди яицкого казачества еще допрежь того было недовольство и крамольное возмущение.

– Было, было недовольство, ваше величество!.. Рыбку от казаков старшины отобрали. Мы о рыбке в цидуле пишем...

– Я казакам всегда мирволила, и донецким, и яицким. И впредь будет так же. Обещаю вам, казаки, и рыбу и льготы всякие. Только скорей кончайте...

Екатерина задала казаку еще несколько вопросов: где Пугачев, сколько у него народу, каков состав его армии, нет ли среди его сброда иностранцев каких или пленных турок?

Долгополов с развязностью отвечал, врал. Екатерина к его словам относилась настороженно. Наконец спросила:

– А как ты мог в своей казачьей сряде проехать чрез Москву? Ведь она заперта крепким караулом со всех сторон.

Долгополов, жестикулируя и закатывая глаза, ответил:

– Ежели вы, ваше императорское величество, пожелали бы, то я проведу через оную Москву десять тысяч человек. И никто о том не прочухает. А я пробрался чрез первопрестольную столицу тако. Верст за пять до Москвы я примостился к едущим на базар подводам с сеном да дровами. У заставы – ах, думаю, Господи, благослови, да и пошагал живчиком мимо часового. Часовой хватить меня за леву полу: «Стой, куда, чувырло, прешь?! Есть ли письменный вид?» А я ему бесстрашно отвечаю: «Господин служивый, письменный вид у меня – это верно – был от старосты казенного селения, да верст за десять отсюда вот из этого кармана в дыру выпал, да и другое кое-что потерял по мелочишке». Солдат засунул в левый карман руку, там, верно, дырища, опосля того он съездил меня кулаком по загривку столь добропорядочно, что я, грешный человек, едва с ног не слетел, да щучкой-щучкой через заставу-то и проскользнул. Солдат с народом захохотал, а я вприпрыжку – дуй, не стой – вдоль по улице. Вот, ваше величество, каким побытом пробрался я в город Москву.

Екатерина улыбалась. Чуть прищуриив глаза, она, чтоб пересказать Строганову, старалась запомнить некоторые выражения старого казака, которые показались ей курьезными, вроде того, как он «живчиком»

проскочил, как его «съездили» по заливке, как он «щучкой-щучкой» проскользнул через заставу. Затем она подала Долгополову знак удалиться и осталась вдвоем с Орловым.

Мнимого казака отвели в комнаты, где обычно останавливался князь Орлов. Вскоре подошел к нему человек в позументах, должно быть, лакей, спросил:

– Не хочешь ли ты, брат, водки выпить да подзакусить?

Долгополов ответил:

– До водки не охоч, а вот кусочек хлеба с солью съел бы.

Ему подано было – холодная жареная курица, свежие крендели, ситный с солью и графин водки. Долгополов встал, перекрестился и с жадностью, стоя, принялся есть ситный.

– Да ты сядь, братец, и питайся как следует. Откуда ты?

– А я издалика, с Белого моря.

– Ого, ну как там?

– Да ничего. Киты плавают, всякая рыбина.

– Ишь ты... Большие киты-то?

– Да не так чтобы уж очень, иначе на нем деревеньку невеликонькую построить можно...

– Ха! Скажи на милость... Вот так это чудо-юдо!

Долгополов наелся, выпил две стопки водки, задремал.

Разбудил его все тот же лакей:

– Шагай за мной!

Раззолоченным, изукрашенным замысловатой резьбой парадным коридором, выходящим широкими окнами на плац-парад, они миновали несколько комнат. В одну из них лакей ввел его и захлопнул за ним дверь.

– А, знакомый, – сказал Орлов. Из пузатого, отделанного бронзой шкафчика на гнутых ножках князь достал кошелек с золотой монетой и протянул Долгополову, проговорив: – Бери. Да смотри, опускай не в левый карман, а то там дыра.

– Да, ваша светлость, – осклабился Долгополов, схватив кошелек. – Там мыши были, гнезда вили, дыру проточили.

– Хм... Ты женат? Возьми еще вот этот узелок. Всемилостивейшая государыня на первый случай жертвует тебе кошелек и этот сверток, а когда дело в благополучии совершишь, то будешь более и более награжден.

Глаза Долгополова закатились под лоб, губа задергалась, он повалился князю Орлову в ноги. В узелке оказалось два куска бархата – яхонтового и вишневого цвета, десять аршин золотого глазета и столько же золотого галуна с битью.

В десять часов вечера Орлов с ржевским жуликом выехали в Петербург.

На следующее утро Долгополов был позван в кабинет Орлова. Там находился гвардии капитан Галахов. Указав ему на вошедшего Долгополова, князь сказал Галахову:

– Вот это и есть депутат Остафий Трифионов. С ним и поедешь. И вот тебе два пакета: в этом рескрипт на твое имя, а этот, запечатанный, вскрой, когда потребуется надобность в том. Ну, поезжайте с Богом на

предлежащее вам дело, а как кончите оное со усердием и верностью, будете взысканы милостью государыни императрицы.

Итак, ловкий обман Долгополова вполне ему удался. Он усыпил подозрительность даже самой Екатерины. Вгорячах она, между прочим, писала градоправителю Москвы, князю Волконскому: «Они берутся вора Пугачева сюда доставить, за что просят 100 р. на человека, и то не прежде как руками отдадут, а вероятие есть, что он у них уже связан, но не сказывают. Я нашла, что цена сия умеренна, чтоб купить народный покой». Затем, трезво рассудив, Екатерина отнеслась к этой затее более сдержанно, она вымарала из письма вышеприведенные строки и в тот же день составила на имя того же Волконского рескрипт такого содержания:

Галахову приказано было ехать в Москву, явиться к графу Панину и князю Волконскому. Получив от Панина конвой, а от Волконского деньги, Галахов должен был направиться в Муром, куда казакам было наказано доставить Пугачева и его близких сообщников. По доставлении самозванца приказано выдать на каждого казака по сто рублей.

Таким образом, вся выдумка Долгополова была исполнена волею императрицы в тот же день. Видавший виды Долгополов немало и сам был этому удивлен. Он полагал, что с ним все-таки как-то поторгуются, более основательно прощупают, он даже, идя на риск, думал, что ему, может быть, придется претерпеть допрос с пристрастием, под плетью, на дыбе. А могло, Господи помилуй, и так случиться: «А, так ты, подлая твоя душа, закоснелый пугачевец? Оттяпать ему худародную башку!» Господи помилуй, Господи помилуй... Да, ржевский прохиндей, безусловно, шел на огромный риск.

Чрез четыре дня Долгополов, Галахов и два гренадера Преображенского полка были уже в Москве.

Здесь Галахов представил графу Петру Ивановичу Панину, недавно назначенному главнокомандующим воинскими, действующими против Пугачева силами. Панин, прочтя рескрипт Екатерины, прикомандировал в помощь Галахову отставного майора Рунича [\[60\]](#), лично Панину известного, и добавил для сопровождения комиссии еще десять человек гренадеров и гусар.

– Где ныне находится злодей, я точных данных не имею, – сказал Панин. – Знаю только, около Шацка и Керенска чернь бунтует. Я отправил туда полковника Древица с четырьмя эскадронами Венгерского гусарского полка. Догоняйте его, а там увидите, куда путь держать.

Князь Волконский выдал Галахову 32 400 рублей золотом и серебром – условленная плата казакам, плюс 1000 рублей на путевые расходы.

Вскоре комиссия в полном составе прибыла в провинциальный город Рязань. Здесь же находился полковник Древиц со своими эскадронами.

4

Город Рязань был в смятении. Волны народного восстания докатились и до этих недалеких от Москвы мест. Воевода Михайла Кологривов подал полковнику Древицу рапорт о том, что прилегающие к Рязани селения не слушаются его распоряжений, не дают лошадей для проезда царских курьеров.

– Окромя сего, – докладывал воевода, – я ежедневно получаю донесения от воеводы града Шацка, полковника Лопатина, о возмущении народа в его провинции. Да еще он пишет мне, что град Керенск трижды осаждался бунтовщиками, коих примечено до десятка тысяч.

После совещания полковник Древиц сказал, обращаясь в Руничу: – Вы, господин майор, тотчас же секретно отправитесь в Шацк, только переоденьтесь в простое платье и получше вооружитесь. А я выступлю завтра вслед за вами.

Получив инструкцию для дальнейших действий, майор Рунич переоделся прасолом и вечером выехал в Шацк. В попутных селениях он примечал, что народ ведет себя вольно, дерзко, было много подгулявших.

На одном из перегонов, когда пара лошадок пробежала лесом версты две, вдруг возница остановил лошадей, обернулся к одетому в потертую простонародную чуйку Руничу, задвигал бровями и, оттопырив волосатые губы, спросил в упор:

– Уж не к батюшке ли государю ты едешь из Москвы? (Рунич отрицательно потряс головой.) Ну, а как, нет ли на Москве слуху, – продолжал возница, – быдто наследник Павел Петрович собирается к родителю своему здесь-ка проехать? Мы его, Павла-то Петровича, всякий день сюда ожидаем...

– Ты бы лучше, дядя, помолчал, – оборвал его седок.

В Шацке Рунич проехал прямо в земляную крепость, к воеводскому дому. Во дворе, усыпанном песком и обставленном со всех сторон сарайчиками, клетушками, птичниками, четыре старых солдата тюкали топорами по березовым брускам, мастерили лафеты для чугунных пушек.

– Не из Москвы ли, слышь? – сказал один старик другому, указывая глазами на подъехавшую пару.

– А кто его знает, – ответил тот, – может, из Москвы, а может статься, и от батюшки...

– Ну, ляпнул... – осердился первый, воткнул топор в бревно, стал набивать самосадом трубку. – От батюшки-то казак бы прискакал... С ампиаторским манихвестом...

Рунич – невысокого роста, худощавый и невзрачный, но с быстрыми строгими глазами – вошел в дом. В передней, на дубовом диване, припав виском к стене, сладко спал в сидячем положении слуга в нанковом грязном сюртуке и босоногий. На его коленях недовязанный чулок с железными спицами и клубок черной шерсти. Рунич прикоснулся к его плечу, громко спросил:

– Где господин воевода?

Слуга продрал глаза, вытер рукавом слюнявый рот, не спеша позевнул и, не обращая внимания на стоявшего перед ним человека, одетого в мещанскую чуйку, занялся вязаньем. Рунич повторил вопрос.

– На что он тебе? – спросил слуга, хмуря брови и старательно поддевая спицей спущенную петлю. – Воевода недавно после кушанья почивать лег. Не знаю, как тебя назвать, только что воевода не уважает, чтоб его после обеда будили.

– Поди! Ну, ну! – прикрикнул на него Рунич и пошел в соседнюю горницу. – А то я сам разбужу.

Через несколько минут вышел из спальни поднятый слугой воевода – высоченный, толстый, заспанный, в пестром шлафроке.

– Чего тебе надобно? – грубо спросил он Рунича, а слуге приказал: – Ты, Иван, постой здесь.

Рунич молча подал ему ордер за подписью полковника Древица. В ордере податель именовался майором, командированным в Шацк. Воевода, прочитав, с торопливостью снял очки, сбросил колпак с облысевшей головы, подошел вплотную к Руничу, смущенным голосом проговорил:

– Извините меня, господин офицер, покорнейше прошу присесть... Иван! Накрой на стол и скорее кушать дорогому гостю...

Поблагодарив хозяина, Рунич вышел во двор. Возле старых солдат, тесавших брусья, уже собралась толпа обывателей: мастеровые, посадские, приехавшие на базар крестьяне. Рунич расплатился с возницей и приказал одному из солдат, чтоб он взял чемодан, достал из-под сена в повозке военный плащ, спрятанные два пистолета с саблей и отнес в дом. Солдат-плотник, видя, как его товарищ вытаскивает из повозки вооружение, подмигнул толпе и проговорил:

– Ну так и есть... казак переодетый... от самого батюшки...

Услышав эти слова, Рунич подошел к солдатам и громко, чтоб слышала толпа, сказал:

– Перестаньте, служивые, зря трудиться возле чугунных пушек: завтра придут сюда настоящие медные пушки.

– А чьи же? – послышалось из толпы. – Уж не отца ли нашего, не государя ли?

– Кто это?! – крикнул Рунич и пошел на толпу. – Это кто осмелился сказать?

Народ, один по одному, стал быстро расходиться. Снова затюкали по дереву солдатские топоры.

Застав воеводу уже в мундире, Рунич тоже надел военную форму и отправился за крепостной вал, на торговую площадь. Некоторые крестьяне снимали шляпы, кланялись офицеру, но большинство отворачивались, отходили прочь.

Затем наступило время обеда. Хозяйка была очень любезна, гостеприимна, хорошо говорила по-французски. Зато приглашенные гости – судья, ратман, товарищ воеводы и секретарь – были необычайно стеснительны, их пришлось долго упрашивать сесть за стол. Какие-то были они испуганные, растерянные, ожидающие несчастья. Рунич успокоил их, сказав, что завтрашний день прибудет сюда корпус полковника Древица, и просил воеводу подготовить войскам квартиры.

После обеда хозяин вывел Рунича под руку в соседний обширный зал. Там, к немалому удивлению офицера, его встретили человек семьдесят съехавшихся в Шацк помещиков с женами. Они все встали, мужчины низкие отвешивали поклоны, барыньки жеманно кивали головами в старомодных шляпках и чепцах, делали книксен, и – общий гул голосов:

– Отец наш... ты своим приездом оживил нас всех. Погибель на нас идет от супостата.

Рунич смутился. Ему всего лишь двадцать восемь лет, а его величают «отцом» и «избавителем». Помещики, оправившись, стали изливаться пред новым человеком свои житейские невзгоды.

Грузный старик в клетчатом потертом кафтане и штанах, в пышном, с большими буклями, парике принял печальным голосом повествовать, то и дело прикладывая платок к слезящимся глазам:

– Вот послушайте, господин майор, горесть сердца моего, стенания мои душевные. Была у меня двоюродная сестра, старушка богатая и чрезмерно скупая. Она хоронила у себя где-то зарытыми сто тысяч серебряною и золотою монетою, кои богатства соблюдала паче души своей, о чем известно было всем в городе живущим. А я, примите на замечание, ее единственный наследник. И вот, выходит она навстречу Пугачеву с хлебом-солью: удостойте, мол, батюшка, посетить мой дом и остановиться у меня. Злодей Пугачев принял безбожной сестры моей приглашение и гулял у нее со штабом всю ночь. Утром,

возблагодарив ее за доброе угощение, самозванец сел на коня, а старушка пошла проводить своего благодетельного гостя за ворота. И только что в середину ворот вошла, то и поднята была за шею веревкою вверх и, повешенная, кончила все радости своей жизни. А я остался сир и нищ, ибо никто не знает, где были сокрыты ее сокровища.

Едва он кончил, как выступил вперед поджарый, высокий и кривоплечий помещик. Вид у него воинственный, большие черные с проседью усы висли книзу, волосы небрежно всклокочены, у бедра длинный палаш, за поясом кинжал и пистолет, на левом рукаве белая повязка.

– Нас, помещиков, ваше высокоблагородие, съехалось сюда до трехсот мужчин, – начал он командирским голосом. – А как в нашем граде Шацке и окрест оного неспокойно, то мы, помещики, вкуче с преданными нам дворовыми людьми, положили устроить из себя конницу и поджидаем отставного генерал-майора Левашева, коего и выбрали командиром... Постоим, дворяне, за мать-Россию, за обожаемую монархиню нашу Екатерину Алексеевну! – И вояка, вытаращив глаза, азартно застучал в пол тяжелым палашом.

– Отцы, братья и сестры! – вдруг воззвал из глубины зала седовласый, благообразного вида протопоп в лиловой рясе с наперсным золотым крестом. – Я чаю, все вы согласны подтвердить...

– Согласны, отец протопоп, согласны! Подтверждаем, – вырвалось из уст присутствующих.

– Братие, сии возгласы ваши скороспешны и зело неосновательны, – подняв вверх руку с вытянутым указательным перстом, наставительно, с оттенком укоризны, произнес священник. – Неосновательны, ибо вы не ведаете, о чем собираюсь сказать слуге царскому. – Он приблизился к Руничу и продолжал, крепко налегая на звук «о»: – Ну, так вот, внемлите мне, господин майор, и высшему начальству своему поведайте. Не более как в пятнадцати верстах от богохранимого града нашего Шацка, в селе, рекомом Сасово, в моем благочинии, мне довелось не столь давно быть по нужде служебной. И вот вижу – в базарный день въехал в оное село некий казачий генерал в голубой ленте и с ним тридцать человек казаков. Оные казаки, вкуче с генералом, кричали народу: «Государь император Петр Третий изволит шествовать!» Тут мужики – одни бросились к генералу, другие пали на колени, стали восклицать: «Ура, ура!» Но генерал, передав в толпу некий ложный, якобы царский лист, поехал со штабом своим дальше; народ побежал за ним, а казаки стали махать руками, чтоб мужики возвратились к торгу. Вот о чем хотел я поведать... Сие лицезрел воочию и свидетельствую о сем не ложно.

– Про то же и мы, отец протопоп!.. Оный казус известен всякому, – раздались голоса.

Майор Рунич вслушивался в эти речи с большим интересом и вниманием, намереваясь с точностью пересказать их полковнику Древицу и изложить в письме своему бывшему патрону, с которым брали крепость Бендеры, графу Петру Ивановичу Панину. Так вот каково народное настроение весьма близких к первопрестольной столице мест!

– Господа дворяне! – обратился Рунич к собравшимся. – Не падайте духом. Завтра сюда ожидается корпус полковника Древица. А вскорости проследует через ваши места сам граф Панин с воинством для уловления и истребления злодейских шаек. Недалеко то время, когда в державе нашей снова наступит мир и благоволение.

Растроганные помещики взволнованно закричали «ура», священник взывал: «Уповайте на Господа!» Многие выхватывали платки, проливали слезы, тучная старуха, охнув и закатив глаза, без чувств упала в кресло. Началась немалая возле нее сумятица

Но вот через открытое окно послышался конский топот и крик со двора: «Дома ли воевода?» Следом за сим в зал ворвался с воли живой, бодрый человек, весь пропыленный, в охотничьей венгерке со шнурами, голова кудрявая, лицо бритое, в руке нагайка. Громко стуча каблуками и не обращая внимания

на присутствующих, он браво подошел к рослому воеводе, щелкнул каблук о каблук и задышным голосом начал:

– Гонец от керенского воеводы господина Перского, сержант в отставке, Пухлов!

В зале наступила любопытствующая тишина. Оставив старуху маяться в кресле, все на цыпочках приблизились к воеводе и гонцу. Гонец сказал:

– Рапортую вашему высокоблагородию! Не далее как прошедшей ночью у града Керенска дело закрутилось с мятежными толпами мужиков, между коих примечено и малое число яицких казаков. Мужиков надо считать близко к десятку тысяч. Они держали город в страхе двое суток. Ох, и натряслись все миряне, ваше высокоблагородие... – Гонец поперхнулся, кашлянул в шапку, облизнул пересохшие губы.

Хозяйка распорядилась подать ему кружку квасу. Тот одним духом выпил, отер мокрое лицо грязной ладонью, заткнул за пояс нагайку, стал продолжать:

– Воевода Перский, видя свою и города неизбежную гибель, вымыслил закрутить дело. Он уговорил пленных турок, чтобы они согласились вооружиться. Он снабдил басурман саблями, пиками, пистолетами и дал по коню. Дал им по коню и сказал: «Коль скоро вы мне окажете помощь, будете отпущены из плена к себе на родину». Турки обрадовались, «якши, якши!» закричали. Да еще воевода кое-как нарядил в турецкое одеяние человек с сотню отчаянных чернобородых да черноусых мирян, они по обличью тоже сделались вроде как турки. И также посадил их на лошадей. А сверх того собрал воевода человек до двухсот дворни пешей с двумя пушками. Да пред рассветом, помолясь Богу со усердием, сам с воеводским товарищем повел своих ратников в атаку на бунтовщиков. А весь их табор спал-почивал, ничего такого не предвидя. И вот дело закрутилось. Как грянули пушки да как заорали турки: «Алла-Алла!», а за ними и наши гвалт подняли: «Алла-Алла, шурум-бурум!» – да напыхом на табор. Спящие вскочили. Страх на них напал и ужас. «Братцы! Турки, турки!» – блажью завопили они да, забыв и про лошадей своих, кинулись бежать в потемках пешие – кто куда. Все побросали – и лошадей, и телеги, и поклажу. И на много верст конники рубили их саблями, секли железными косами, на пики сажали, забирали в полон. Одначе не довелось дознаться, вашескорodie, кто из бунтовщиков закручивал дело, а также ни единого казака, посланного Пугачевым, в полон не попало...

– Ну, господа, поздравляю! – воскликнул воевода, улыбаясь во все широкое лицо, и, простодушно обняв сержанта Пухлова, поцеловал его трижды.

Все сразу взбодрились, расцвели, как после дождя засохшие травы. Пожимали друг другу руки, обнимались. Тучная старуха сама собой пришла в чувство и молча плакала. Протопоп, обратясь к иконе, возгласил:

– Господу помолимся!

Глава IV

Барин Одышкин. В Пензе. Горят барские гнезда. «Не падайте духом, государь». Дурные вести. «Народ с вами, государь»

1

В Пензенском уезде, куда надвигалась полоса восстаний, существовал барин Павел Павлыч Одышкин. Он был человек недалекий, а иным часом придурковатый. Ему этим летом минуло пятьдесят два года. Вел он жизнь замкнутую, неподвижную, ленивую. За последние десять лет он так обленился, что и на улицу не выходил. Сидел под окном, с утра до ночи пил чай или кофей, наблюдал из окна жизнь во дворе. И все хождение его было от окна в клозет, из клозета к окну, к столу, опять в клозет, опять к окну да и на кровать. Хозяйство вела барыня – высокая, черная, властная. Но она предусмотрительно сбежала с двумя детьми в Пензу, спасая жизнь свою от «погубления злодейскими толпами». Невзирая на ее уговоры, Павел Павлыч за ней не последовал: ему лень было двигаться, да он надеялся, что Бог пронесет грозу мимо его владений, а в случае чего он придумал хитроумную штучку – ежели Пугач и нагрянет, Павел Павлыч вживе останется. Впрочем, жена и не особенно-то настаивала на его отъезде: «Какой он хозяин, какой в нем прок?» Ежели она овдовеет, кто ей запретит выйти замуж за конюха, кудряша Софрона?

Сидит Павел Павлыч под окном, чай кушает, смотрит через окно, думает: «Вот ужо буянство мужичье кончится, Пугача изловят, велю под окном во дворе пруд выкопать да квакуш-лягушек напустить в пруд, пущай квакают, а я буду чай пить да слушать. Я лягушек больше соловьев люблю».

Он, кроме календаря да лечебника под названием: «Прохладный вертоград, или Врачевские вещи», ничего не читает, с мрачностью думает о многих болезнях, гнездящихся в его организме, вроде «нутряного почечуя», и пьет во исцеление души и тела всякие настойки и знахарские снадобья. Прислушивается к своему организму, следит за ним неотрывно и каждый день со тщанием ведет запись в особой книге.

Например:

Дворня и крестьянство с барином нимало не считались, иной раз, завидя его сидящим под окном, даже и шапки не ломали перед ним. Мужики про него говорили какому-нибудь чужому, прохожему или проезжему человеку: «Наш барин рассудком не доволен, всю жизнь дурачком прикидывается». Однако Павел Павлыч, когда одолевала его «животная обструкция», иногда напускал на себя строгость.

Вот барин сидит под окном, пьет чай с малиновым вареньем. У его ног на полу лежит старый крупный мопс. Мопс жирный, и барин жирный, мопс пучеглазый, и барин пучеглазый, глаза навывкате, серые, бессмысленные, под глазами мешки. У мопса на лбу многдумные глубокие складки, и у барина тоже, мопс брыластый, и барин брыластый, дряблые белые щеки полезли книзу, нос обыкновенный, губы бантиком, на голове напوماженные, хорошо причесанные волосы. И вот Павел Павлыч начинает «свиристовать».

– Эй, Митрошка! – кричит он в окно.

В горницу входит бурмистр из хозяйственных старых крестьян: лицо желтое, постное, черная

бороденка клинышком. Большой хитрец и миру согрубитель. Отвешивает барину поклон.

– Ну, как овсы?

– Да ничего овсы, ваше высокородие, только вот беда – волки овсы-то помяли. Не столько жрут, сколько топчут.

– Волки? Разве у нас есть волки? Разве они едят овес? Надо стрелять!

– Да ведь стреляли, батюшка барин, – потешается над Павлом Павлычем бурмистр. – Только что ружьишки-то у нас никудышные, не берут волков-то.

– Смотри, Митрошка, чтоб этого у меня впредь не было. А то своеручно драть буду! – сердито говорит барин и, взяв с подоконника арапник, стегает им в пол. Мопс просыпается, хрипло лает в пространство.

– Вот уж я на птичник выберусь, – говорит Павел Павлыч. – Чего-то куриц да уток мало стало...

– Уменьшилось, батюшка барин, уменьшилось, – потешается хитрый бурмистр, и острые глазки его улыбаются. – Зайцы одолели, ваше высокородие, этта семь курей задавили, да певуна, да сколько-то уток с утятами. Никогда этакое не бывало, чтоб зайцы!..

– Зайцев надо ловить... Смотри у меня. Драть буду! – И барин снова бьет по паркету арапником.

У господ Одышкиных на взгорке, возле речки, обширный фруктовый сад. Весь урожай яблок доходит до тысячи пудов. И хоть бы по два яблочка малым деревенским ребятишкам к празднику Преображения, ко второму Спасу, когда церковь освящает плоды к употреблению всей человеческой твари. Жаден не барин, а барыня. Павел-то Павлыч нет-нет да и подкличет ребятишек к окну и выбросит им розовых яблочков.

Но вот беда: за последние годы сад стал мало давать плодов: как только начинали созревать яблоки, на сад нападали разбойники. И замест тысячи пудов оставляли барам Одышкиным пудов двести-триста. Вот и в прошлом году вдруг услышал барин чрез открытое окно отдаленные крики, вот ближе, и уж явственно слышны голоса:

– Ой, батюшки... Разбойники!..

И вбегают в барский двор люди: простоволосая баба Лукерья-скотница, два старика, парень и трое мальчиков. И все в один голос:

– Ой, светы, ой, светы!.. Батюшка барин!.. В лесу разбойники, к саду подходят! Кешку избили, Фомку, кажись, до смерти зарезали, Фомка ходил коня ловить.

– Где разбойники?! Как разбойники?! – задрожав, как листы на осине, вскричали барин с барыней, высунувшись из окна на двор. – Бей в набат, собирай мужиков!

Загудел колокол, собаки залаяли, мопс залился хриплым лаем, под окнами дворня бегала, шумела: «Господи светы, разбойники... Всех нас жисти лишат».

Павел Павлыч стал как ребенок, пискливо взывал:

– Пашка, Машка, Дуня, Аверьян!.. Ой, прячьте нас скорей с барыней в подпол!.. Аверьян, выдай дворне ружья, мужикам топоры...

Бар спустили чрез люк в подполье, барин велел поставить на люк кухаркину кровать, да чтоб на кровать кто-нибудь лег да прикинулся спящим: ежели разбойники нагрянут в дом, люка не заметят и не проникнут в подполье.

Был вечер. Крестьяне с девками и подростками, покрикивая на ходу: «Разбойники!.. Бей разбойников!.. Вот уж-ужо мы их!..» – гурьбой валили в сад.

И слышат баре Одышкины, как в саду началась пальба из ружей и загрохотали крики. Баре дрожат, стрельба и крики крепнут. Павел Павлыч сидит на мешке с луком, крестится, шепчет:

– Господи Боже... Сюда идут... Отведи грозу, Господи... Прасковья Захаровна, молись, молись!

Проходит и час и два. Вся эта комедия кончается тем, что крестьяне расходятся по домам, трое понятых идут в барский дом, объявляют вылезшим из укрытия барам, что разбойники прогнаны, но христородавцы, мол, успели обить множество яблок и увезти с собой на подводах, что, мол, разбойники в красных рубахах, бородатые, с большими ножами, лица повязаны тряпками. Баре этим рассказам верили, крестьяне и дворяне весело пересмеивались, всю ночь тайно делили меж собой душистую антоновку, анисовку, белый налив и коробовку.

Уже третий год, как только снимать яблоки – посещают господ Одышкиных эти, в красных рубахах, с большими топорами, разбойники. А вот нынче появились на правом берегу Волги не разбойники, а в тысячу раз жесточе, опаснее их, появились ватаги «злодея» Пугачева, они баламутят крестьян, жгут поместья, вешают бар. Ну да как-нибудь Бог пронесет... Этот «сброд сволочной» еще, слава Богу, далече, а верные ее величеству полки гонят мятежную дрянь, как баранов.

Но вот пронесся слух, что пугачевские толпы свернули на юг, прошли будто бы Алатырь, движутся к Саранску. А кругом зачинались пожары, и небо по ночам то здесь, то там трепетало от зарева. Да и крестьяне помещика Одышкина стали не на шутку шебаршить, чрез открытое окно долетали до барина ругань, споры, шумные крики. Словом, барин понял, что ему начинает угрожать опасность. Тогда он без промедления решил сберечь жизнь свою самым хитроумным, как ему казалось, способом.

Призвал барин старика Зиновия, своего бывшего пестуна. Зиновий старше барина лет на десять. В давнюю пору, когда Павел Павлыч был маленьким, они часто ходили с Зиновием и другими парнишками в лес по грибы, пугали шустрых белок, разыскивали птичьи гнезда. С тех пор так и установилась дружба между крестьянином и баринком. Барин любил Зиновия, старик Зиновий любил барина.

И вот они оба закрылись в спальне, толкуют по тайности. Беседа шла к концу, оба сидели раскрасневшиеся, графинчик усыхал, но закуски вдоволь.

– Пей еще, Зиновий... И я выпью... Хотя и вредно мне – почечуй нутрянной у меня, а для такого раза выпью. Да, да... Вот я и говорю: боюсь душегуба, пуще огня боюсь. Дурак я, что не уехал с женой-то...

– Дурак и есть, батюшка барин, Павел Павлыч, опростоволосился ты, – говорит старик.

– Ведь от душегубов никуда не денешься, ни в лес, ни в воду... Найдут. Говорят, собаки у них есть ученые, охотничьи – бежит, нюхает, и сразу над баринком стойку...

– Что ж, батюшка барин, я в согласьи...

– Согласен? Ну, спасибо тебе, Зиновий... Значит, чуть что, ты баринком срядишься, все мое парадное наденешь, а я в твою одежду мужиком выряжусь.

– Мне уж недолго жить, – утирая слезу, говорит подвыпивший Зиновий, – не жилец я на белом свете, грыжа у меня. Пущай убивают... Только, чур, уговор, барин...

– Проси, чего хочешь, ни перед чем не постою!..

– Дай ты, барин, вольную сыну моему Лексею со всем семейством, еще дай лесу доброго, чтоб хорошую избу срубил себе Лешка-то мой, да триста рублей деньгами.

Павел Павлыч с радостью обнял старика и тотчас исполнил все его условия: написал приказ о вольной его сыну, велел сколько надо лесу выдать и вручил триста рублей священнику, сказав ему, что по уходе Пугачева деньги те священник обязуется передать старику либо его сыну Алексею.

Зиновий на всякий случай исповедовался и причастился, а когда дозорные донесли, что Пугачев приближается, он отслужил молебен. Священник, благословляя его, сказал прочувствованное слово о блаженстве тех, кто душу свою полагает за других.

На следующий день, поутру, запылила дорога, раздался праздничный трезвон во все колокола, священник, страха ради, вышел с крестным ходом за село.

Сначала проехало сотни три казаков, за ними – кареты, коляски, берлины, за ними, в окружении свиты и большого конвоя, сам «царь-батюшка». Сабля, боевое седельце, конская сбруя горят на солнце, и сам он, как солнце, свет наш, отец родной. Он не слез с коня и ко кресту не приложился, только прогремел собравшимся крестьянам:

– Детушки! Верные мои крестьяне... Уж не обессудьте, не прогневайтесь, гостевать у вас не стану, дюже походом тороплюсь. Всю землю дарю вам безданно, беспошлинно, с лесами, угодьями, полями. Владейте, детушки!

– Волю, пресветлый царь, волю даруй нам, батюшка! – кричали крестьяне, махали шапками, кланялись, отбрасывали горстями свисавшие на глаза волосы. – Волю, волю дай, слобони от помещиков!

– Чье поле, того и воля, детушки! – снова прокричал Пугачев. – Будьте вольны отныне и до века!

Он двинулся было вперед, чтоб, миновав поместье, ехать дальше, но Чумаков сказал ему:

– Не грех было бы, батюшка, с полчаса передохнуть, закусить да выпить.

Тогда Пугачев завернул со свитой в барский двор, в дом вошел, прошелся по горницам. На столе появилось угощение, вино, бражка. Атаманы с Пугачевым наскоро присели, стали питаться. Пугачев поторапливал. Макая в мед пышки, вдруг спросил:

– А где хозяйева, где помещик тутошний? Повешен, что ли?

Произошло замешательство. Дворня, прислуживавшая пугачевцам, замерла на месте.

– Где ваш помещик?! – резко крикнул Пугачев и хмуро взглянул на дворню.

Из соседней боковушки-горенки выступил на согнутых в коленях ногах трясущийся старый Зиновий, он одет в барский кафтан, длинные чулки, туфли с серебряными пряжками, борода аккуратно подстрижена, на голове господский парик.

– Я помещик Одышкин, твое величество, государь ампирапор. Как есть перед тобой, – низко кланяясь, сказал старик.

– Пошто навстречу ко мне не вышел? Должно, злобишься на меня?

– Занедужился, твое царское величество, – еще ниже кланяясь, продрожал голосом старец. – Вдыху не было, сердце зашлось...

– Занедужился? Так я тебя живо вылечу. Ведите во двор...

Дворня, желая спасти всеми любимого старика Зиновия, стала упрашивать:

– Помилуй, отец наш... Он помещик добрый. Обиды не видали от него ни на эстолько...

– Нет во мне веры вам, – проговорил Пугачев, подымаясь. И все атаманы поднялись. – Своих дворовых баре завсегда подкупают, задабривают. А вот мы крестьянство спросим... Мужик знает, кто на его лает... Айда!

Во дворе много народу: кто угощается, кто грузит подводы господским добром, кто седлает барских коней. Чубастый Ермилка затрубил в медный рожок, полковник Творогов зычно скомандовал:

– Казаки, на конь!

Пугачеву подвели свежего барского коня. На воротах качался в петле еще не остывший труп мирского согрубителя бурмистра. Пугачев, занеся ногу в стремя и взглянув на удушенного бурмистра, приказал:

– Вздернуть барина!

Тут было много чужих крестьян, приставших к пугачевцам из другого уезда. Они схватили человека в барском платье, стали тащить его к виселице. Старик Зиновий, видя свой смертный час, сразу оробел: страх подступил под сердце, кровь заледенела, и он истошно закричал:

– Я не барин, я мужик Зиновий!.. Ищите барина!..

В это время два парня и подросток волокли по двору упировавшегося Павла Павлыча Одышкина. Он в домотканине, в рваной сермяге – дыра на дыре, – в лаптишках, жирное лицо запачкано сажей, обезумевшие большие глаза выпучены.

– Я не барин, я мужик!.. – вырываясь, вопил он писклявым голосом. – Эвот, эвот барин-то, кровопивец-то наш!.. Вешайте его!..

– Врет он! – вопил и Зиновий, тыча в Одышкина пальцем. – Он природный наш барин, только мужиком вырядился. Он меня обманул... Я – мужик Зиновий!.. А он – барин!.. Кого хошь спроси...

Дальние, пришедшие за «батюшкой» крестьяне улыбались, чесали в затылках – вот так оказия... Морщины над переносицей «батюшки» множились, нарастали в грозную складку.

Из толпы было выступил местный крестьянин, намереваясь восстановить правду-истину. Но шум с перебранкой между Зиновием и барином крепил.

– Я природный мужик! – не переставая, кричал помещик.

– Ты барин!.. Вешайте его!

– Врешь, паскуда, ты барин-то! В петлю его! В петлю!

В сто глоток оглушительно заорали и местные крестьяне – ничего не разберешь. Пугачев взмахнул рукой, сердито крикнул:

– Геть! Неколи мне тут с вами... Обоих вздернуть! – Он тронул коня и, хмурый, поехал со двора долой.

Трое оставшихся яицких казаков быстро исполнили царское повеленье. Когда вешали барина, осатаневший жирный мопс мертвой хваткой впился в ногу казака. Мопс был заколот пикой.

2

Несколько в стороне от Волги лежало обширное село, раскинувшееся на крутых зеленых берегах речушки.

На свертке с большака в селение встретила Пугачева повалившаяся на колени перед ним толпа крестьян. Среди них – рыжебородый священник с крестом. Емельян Иваныч поздоровался с людьми, велел подняться. К нему робко подошел пожилой человек с бороденкой и косичкой, он в служилом кафтане с серебряным галуном по вороту и рукавам. Низко кланяясь и приветствуя Пугачева, он задышливым от страха голосом проговорил:

– Оное село экономическое, сиречь живут в нем государственные, вашего величества, крестьяне. Управляющий сбежал, убоясь вашего пришествия, а я евоный писарь и правлю должность повытчика. – Он закатил глаза, облизнул сухие губы и добавил: – Осмелюсь доложить: почитай, половина наших жителей охвачена скопческой ересью, коя имеет отсель распространение и на окольные местожительства. Об этом всякий размышляющий человек зело скорбит. Даже царствующая императрица Екатерина Алексеевна о сем указ в публикацию изволили издать.

– А ну, чего она там, не спросясь меня, указывает в указе-то своем? – подняв правую бровь, спросил Емельян Иваныч.

Писарь вытащил из-за обшлага бумагу и, откашлявшись, сказал:

– Вот копия с копии оного указа[61]. – Он зачитал бумагу и добавил: – Мера наказания изложена тако: «Начинщиков выдрать публично кнутом, сослать в Нерчинск вечно; тех, кто быв уговорены, других на то приводили, – бить батожем, сослать на фортификационные работы в Ригу, а оскопленных разослать на прежние жилища».

– Та-а-ак, – огребая пятерней бороду, протянул в недоуменье Пугачев. – Ишь ты, ишь ты... Строгонько! Строгонько, мол... А какая такая скопческая ересь? – спросил он; ему никогда не доводилось вплотную встречаться со скопцами. – Скопидомы, что ли, они, деньги себе, что ли, скопляют всякой плутней?

– Ах, нет, ваше величество, – возразил писарь, он замигал и, напрягая неповоротливую мысль, силился, как бы поприличней изъясниться. – Чрез тяжкое усечение детородных приспособлений оные душегубы лишаются благодати продления рода христианского. Власы у них на усах и браде вылезают, а голос образуется писклявый, как у женщин. И нарицают они себя: скопцы.

Пугачев заинтересовался. Хотя ему и недосуг было, он приказал армии двигаться походом дальше, а сам с Давилиным и полсотней казаков повернули к селу.

Писарь с потешной косичкой, торчавшей из-под шляпы, ехал верхом рядом с Пугачевым и все еще задышливым от страха голосом докладывал ему подробности скопческого изуверства. Пугачев крутил головой и причмокивал, улыбался, затем начал сердито хохотать.

– Ну а как же баб? Неужели и баб портят?

– Скопят и женский пол, – закатывая глаза, ответил писарь и опять принялся излагать подробности: – Тут двое богатеньких мужичков орудуют: мельник да пасечник, они подзуживают да подкупают бедноту. Вчуже парнишек жаль, вьюношей прекрасных, в секту вовлекаемых, – наговаривал осмелевший писарь, он подпрыгивал в седле, как балаганный дергунчик, косичка моталась на спине. Тут же, среди свиты, кое-как ехал, встряхивая широкими рукавами рясы, и пугачевский «протопресвитер» – поп Иван. Он в трезвой полосе, ноги обуты в добротные сапоги с подковками, но на случай запоя болтаются привязанные к

вещевому мешку новые лапти.

На площади, перед церковью, собралось все село. Среди пожилых мужиков – половина безбородых и безусых. Люди повалились в прах, завопили:

– Будь здоров, твое царское величество!

– Встаньте! – крикнул Пугачев и хмуро сдвинул брови, рука его цепко сжимала нагайку, ноги внатуг упирались в стремя. Было жарко, Пугачев вытер пот с лица. Пригожая грудастая молодая в сарафане подала ему в оловянной ковшу студеного квасу. Выпив, сказал: «спасибо», спросил толпу:

– Не забирают ли вас управитель алибо поп?

Одни закричали: «Забирают, забирают!» Другие: «Нет, мы довольны ими!»

Тут выступил опрятно одетый в суконный кафтан со сборами и смазанные дегтем сапоги невысокий мужичок. Безбородый, безусый, с изморщиненным лицом, он был похож на старого мальчика.

– Это мельник наш, самый сомуститель, – подсказал писарь Пугачеву.

Низко поклонившись государю, мельник женским голосом, слащаво, как-то нараспев, заговорил:

– Начиная с попа, отца Кузьмы, все нас забирают, заступник батюшка. А царствующая государыня забирает нас, сырых, пуще всех... Токмо в тебе, твое царское величество, мы, рекомые скопцы, чаем обрести верного заступника. Слых по земле идет, что всякая вера тебе любя и ты защитишь всем верным...

– Творю, творю... Будет тебе по-куриному-то кудахтать, – нетерпеливо произнес Пугачев, он торопился в путь. – Сколько ты времени петухов на куриц переделываешь?

Подслеповатый мельник, плохо присмотревшись к хмурому взору Пугачева, принял его слова за милостивую шутку и с проворностью ответил:

– А стараюсь я спасения ради вот уж десяток лет. И посадил в свой святой корабль, аки кормчий, двести двадцать одну душу, охранив их от блуда и бесовской прелести. А по священному слову апокалипсиса предлежит посадить в корабль число зверя, сиречь шестьсот шестьдесят шесть душ спасенных. Ежели посажу оное число, превечный рай узрю, со благим Христом вкупе обрящуся...

– Есть у ты помощники?

– Есть, есть, царь-государь, – и скопец, обернувшись лицом к толпе, позвал: – Егорий, Силантий, Клим! Выходите, не опасайтесь.

Вышли еще три безбородых, безусых старых мальчика и низко поклонились государю. Тот взглянул на них сурово и с язвинкой в голосе сказал:

– Ну, спасибо вам, старатели... Спасибо!

Все четыре скопца истово закланялись царю – шутка ли, сам государь их благодарствует, – и померкшие, неживые глаза скопцов потонули в самодовольных морщинистых улыбках.

– А кто женщин увечит? Вы же?! – снова спросил Пугачев.

– Уговаривает баб да девок богоданная жена моя, а груди им вырезает, для прельщения мужиска пола сотворенные, мой сподручный раб Божий Клим. Он же и большие печати мужчинам ставит, а малые печати – Егорий.

Пугачева покорило, он сплюнул и, передернув плечами, приказал:

– Покличь жену.

– Дарьюшка, Дарья Кузьминишна, выходи, государь зовет! – пропищал в толпу мельник, «водитель корабля».

Стала пред Пугачевым еще не старая в цветном повойнике женщина с хитрыми глазами и утиным носом. Утерев ладонью рот, она в пояс поклонилась Пугачеву, замерла.

– Опосля того, как мельник оскопился, – пояснил писарь Пугачеву, – мельничиха завела себе вздыхателя кузнеца Вавилу и блудодействует с оным пьяницей двадцать лет.

– Как это влетела тебе в лоб сия пагуба? – спросил мельника Емельян Иваныч.

– Аз, грешный, творю долг свой по слову евангельскому, царь-государь, – кланяясь и одергивая рубаху под распахнутым халатом, ответил мельник. – Ибо сказано в Священном Писании: «Аще око твое соблазняет тебя, изми его, вырви от себя, тогда спасен будешь...»

– Так то око! – закричал Пугачев, ударив взором стоявшего пред ним скопца-начетчика. – А ведь вы звона чего чекрыжите... – Приметив попа Ивана, он кивнул ему: – А ну-ка, отец митрополит, махни ему от святости, от Писания, поводырю-то этому слепому...

Застигнутый врасплох отец Иван задвигал бровями, закричал, отвисшие под его глазами мешки зашевелились, лоб морщился, толстые обветренные губы что-то шептали, на лице отразилось отчаянье: не столь давно он твердо знал многие нужные тексты Священного Писания, но пропил память, все перезабыл... Ахти, беда!

– Чего молчишь? Язык в зад втянуло, что ли? – бросил сердито Пугачев.

Поп Иван судорожно подскочил в седле и с испугом прокричал первое пришедшее на память – ни к селу, ни к городу – евангельское изречение:

– Еже есть написано: Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, Иаков роди Иуду и братьев его, Иуда роди...

– Стой, хватит... Слышали, пророки голорылые? – закричал на скопцов Пугачев, ему как раз по душе пришлось слова попа Ивана. – Роди – сказано, вот как... Роди! А вы как заповедь Господню исполнять станете? Ась?

Изумленные грозными словами государя, скопцы выпучили глаза, разинули рты и схватились друг за друга. А мельничиха заохала и скосоротилась.

– Вы что, сукины дети, наро-о-од губить?! – еще громче закричал Пугачев, потрясая высоко вскинутой нагайкой. – Нам треба, чтоб народ русский плодился да множился, а не на убыль шел! Чтоб земля наша была людна и угожа. В том есть наша государственная польза. И чтобы этакого глупства у меня больше не было! Слышите, мужики?! Я в гневе на вас на всех! – И, обратившись к адъютанту: – Давилин! Всех четверых разбойников немедля повесить! Пятую – бабу с ними, уговорщицу... Я вам покажу, сукины дети, звериное число!..

– Батюшка! – И все пятеро, вместе с бабой, как подкошенные повалились в прах.

– А достальных голомордых межеумков, кои обмануты, всех перепороть кнутом. Вместях с ихним дураком попом, что не отвращал от пагубы! Я вам, сволочи...

Надсадно, во всю грудь дыша, Пугачев поехал прочь. Затем, круто повернув коня, позвал:

– Эй, писчик! (Тот, потряхивая бородашкой и косичкой, подскочил.) Деньги в канцелярии есть?

– Малая толика есть, царь-отец... Тысчонки с две.

– Медяками али серебром?

– Середка на половинку, ваше величество.

– Давилин! Примешь от него. А соль имеется в магазее?

– Имеется, царь-отец.

– Детушки! – закричал Пугачев, снова въезжая в толпу. – Кто из вас самый верный человек есть?

Мужики, не раздумывая, закричали:

– Обабков, Петр Исаич!.. Староста наш... Самый мирской, без обману. Эй, Петра, выходи!..

Вышел осанистый крестьянин, в его темной бороде густая седина.

– Ставлю тебя, Петр Обабков, правителем. Служи мне, благо ты народу верен. Рад ли?

Обабков поклонился, хотел что-то сказать, должно быть, в отпор, но язык не пошевелился, только серые глаза испуганно уставились в лицо грозного царя.

– Раздай соль безденежно по два пуда на едока, а как явится старый управитель, прикажи вздернуть его, чтобы другой раз не бегал от меня. – И опять к народу: – Детушки! Жалую вам всю государственную землю с лесами, реками, рыбой, угожьями, травами... Расплодитесь вдосталь и живите во счастии! А скопцам я, великий государь, ни синь-пороха не даю. От них, от меринов убогих, роду-племени не будет, доживут свой век и так. И паки повелеваю: из мужиков, кои без изъяна, наберите полсотни конных, вооружите, и пуцай догоняют мою армию. А ежели мужики уклоняться учнут, село выжгу, вас всех каре предам! – Он было тронул коня, но вновь остановился: – Эй, девки да бабы, кои без поврежденья, а мужнишки да женихи коих изувечены, гуртуйте ко мне, да поскорейча – недосуг мне... – И, обратясь к сбежавшимся на его зов женщинам: – Сколько вас?

– Да без малого сотня, свет наш, надежа-государь...

– Ты, свет наш, мужнишек-то наших куда-нито на чижолые работы угони: они все траченые, – наперебой застрекотали бабы. Многие из них вытирали платками слезы.

– Не плачьте, милые... ждите женихов себе! – И Пугачев, стегнув коня, в сопровождении казачьего отряда ускакал. Догнав армию, он на первом привале рассказал своим о скопческом селенье и, обратясь к Овчинникову:

– Вот что, Афанасьич... Отбери-ка ты полсотенки людей, кои поздоровше, да скорым поспешанием отправь-ка в то село денька на два, на три, пуцай они там для-ради государственного антиресу, для-ради Божьей заповеди поусердствуют.

Когда Овчинников предложил Мише Маленькому, первому, поехать в то село, тот улыбнулся в ус, сказал:

– Не в согласьи я... У меня дома баба есть...

– Да ведь для государственного антиресу...

– Не в согласьи! Откачнись! – крикнул уже с сердцем богатырь Миша и, повернувшись к атаману спиной, прочь пошел.

3

Проживающий в Пензе секунд-майор Герасимов вместе с офицерами-инвалидами направился в провинциальную канцелярию и спросил воеводу Всеволожского, где находится самозванец и какие меры приняты властями для защиты города. Воевода ответил:

– По разорении Казани злодей действительно следует к Пензе. Соберите свою инвалидную команду и приготовьтесь к отпору.

Герасимов собрал всего лишь двенадцать человек, среди коих были безрукие, безногие, и приказал им вооружиться. В городе оказалось больше 200 000 рублей денег. Их начали прятать по подвалам, зарывать в землю. Но всех медных денег схоронить не успели, они впоследствии достались Пугачеву.

Начальство, во главе с воеводой, в ночь бежало. Наступило безначалие. Остался лишь один Герасимов. На базарной площади в последних числах июля собралось до двухсот пехотных солдат, живущих в городе.

– Что вы здесь делаете? – осведомился у них проходивший рынком Герасимов.

– А мы судим да рядим, как быть, – отвечали пехотные солдаты. – Все начальники убежали, некому ни делами править, ни город оборонять. Вы, господин секунд-майор, самый большой чин здесь. Просим вас принять команду и город защищать.

Оставшийся в городе бургомистр купец Елизаров собрал всех людей торговых в ратушу и спросил их:

– Надо защищать город или не надо?

Купцы долго молчали, переглядывались, разводили руками. По выражению их лиц, озабоченных и смятенных, видно было: купцы что-то хотят сказать, но не решаются. Тогда заговорил седобородый, почтенный, с двумя медалями, бургомистр Елизаров:

– Вот что, купечество, ежели без обиняков говорить, начистоту, то прямо скажу – противиться нам нечем: ни оружия, ни народа у нас, ни чим-чего... Так уж не лучше ли встретить самозванца честь по чести? Авось город спасем тогда от пожара, а жителей от смерти лютыя.

Купцы сразу оживились, дружный крик в зале зазвучал:

– Правда, правдочка, Борис Ермолаич! Где тут ему противиться? Эвот он какой: крепости берет, Казань выжег! А нас-то он одним пальцем повалит. А давайте-ка, люди торговые, ежели мы не дураки, встречать батюшку хлебом-солью.

В это время влетел в зал напорный шум толпы, собравшейся возле ратуши. Среди народа – почти все двести человек пехотных солдат. Бургомистр Елизаров вышел на балкон и объявил толпе, что купечество решило самозванцу не противиться.

И удивительное дело: народная толпа, паче всякого чаяния, купеческим решением осталась недовольна.

– Вам, толстосумам, хорошо так толковать! – кричали из толпы. – Вы тряхнете мощной, откупитесь... А нас-то вольница за шиворот сграбастает да к ногтю...

И вся толпа, брюзжа и ругаясь, повалила к провинциальной канцелярии, где совещались майор Герасимов, три офицера и несколько пензенских помещиков.

Толпа крикливо требовала вооружить ее. Вышедший наружу офицер Герасимов сообщил народу, что за отсутствием казенного оружия пусть жители сами вооружаются, чем могут.

В три часа дня (1 августа) нежданно-непрощенно явились на базар человек пятнадцать конных пугачевцев. Затрубили призывные дудки, забил барабан. К всадникам со всех сторон устремился народ. Есаул Яков Сбитень выдвинулся на коне вперед и, как сбежались люди, достал из-под шапки бумагу.

– Жители города Пензы! – воззвал он, протыкая толпу строгим взором бровастых глаз. – Прислушайтесь к манифесту отца нашего государя.

Народ обнажил головы. Есаул отдельно и зычно стал читать:

– «Божиею милостью мы, Петр Третий, император и самодержец всероссийский и проч. и проч. ...

Объявляется во всенародное известие.

По случаю бытности с победоносной нашей армией во всех, сначала Оренбургской и Симбирской линии, местные жительствующие разного звания и чина люди, которые, чувствуя долг своей присяги, желая общего спокойствия и признавая как есть за великого своего государя и верноподданными обязуясь быть рабами, сретение имели принадлежащим образом. Прочие же, особливо дворяне, не желая от своих чинов, рангу и дворянства отстать, употребляя свои злодейства, да и крестьян своих возмущая к сопротивлению нашей короне, не повинуются. За что грады и жительства их выжжены, а с оными противниками учинено по всей строгости нашего монаршего правосудия».

Настроение толпы было выжидательное, неопределенное, да и манифест показался народу не особенно понятным. Подметив это, есаул обратился к жителям попросту, как умел:

– Верьте, миряне, что к городу подходит не самозванец, как власти внушают вам, а сам истинный природный государь! Он послал нас объявить, что ежели горожане не встретят его хлебом-солью, а окажут противность, то все в городе до сущего младенца будут истреблены и город выжжен.

После этого, пригрозив нагайкой, всадники повернули коней и галопом поехали из города.

Озадаченная толпа молча смотрела вслед всадникам. Затем, как по сговору, снова повалили всем скопом к провинциальной канцелярии, куда, по набату соборной колокольни, сбежался почти весь город. Вышедшему из канцелярии на площадь секунд-майору Герасимову народ кричал:

– Защищаться нам нечем! Погибли мы... Веди нас государя встречать хлебом-солью.

Герасимов повиновался.

Вскоре вся толпа, в сопровождении духовенства и купечества, вышла из города и в версте на возвышенном месте остановилась.

День был золотой, солнечный, и кругом было рассыпано золото: блистали богатые ризы духовенства, отливали блестками иконы, кресты, хоругви с мишурными кистями, золотились поспевшие нивы, часть хлеба уже была сжата. Но жнецов в поле не было, золотистые нивы – сплошная пустыня. Дозревали высокие льны. Пред глазами широкая лежала даль, подернутая таинственной сизой пеленой, за которой чудилось жителям шествие грозного царя. Что-то будет, что-то будет, Господи?..

Народ разбился на кучки, уселись на земле, а некоторые и прилегли – снопы в головы. Духовные лица, сняв парчовое облачение, вместе с офицерами Герасимовым, Никитиным и Чернцовым, расположились вдоль канавы, поросшей розоватой кашкой и пыреем. Священник вынул из корзины, поданной босоногим попovichем, сдобные ватрушки, с проворством стал жевать. Дьякон разломил овсяный пирог с морковной начинкой. Офицеры задымили трубками. Всюду разговоры, разговоры. Огромный жужжащий табор.

А золотое, все в пожаре солнце сияет с высоты, и нежно голубеет спокойное небо. Легкие, как бы невесомые, жаворонки утвердились в воздушном океане, словно на ветвях невидимого дерева, и,

перекликаясь друг с другом переливчатыми трелями, с зари до зари воздавали хвалу животворящему духу. Ветра нет. Стоявшие по пригоркам мельницы сгорбились, замерли. Они, как и люди, поджидают ветра с восточной стороны. С восточной стороны на присмирившую толпу надвигается ветер ли, буря ли, а может, шествует в кротости, в благостном своем милосердии мужицкий царь.

Золотистая пыль показалась вдалеке. Ближе, ближе – и вся дорога запылила, версты на три. Глаз стал различать ехавший впереди отряд всадников.

Духовенство принялось облачаться, офицеры – одергивать мундиры, подтягивать шелковые с кистями кушаки, купцы – расчесывать гребнями бороды и волосы, толпа – размещаться по обе стороны дороги, выдвигать наперед почтенных стариков.

Пугачев к молчавшей толпе подъехал со свитой. Рядом с ним начальник артиллерии Федор Чумаков и адъютант Давилин.

По обычаю, приложившись ко кресту, Пугачев устроил целование руки. С духовенством, купечеством и офицерами он милостиво шутил, а с простыми людьми вел беседу:

– Вот и царя узрели, детушки... Дарю вам жизнь безбедную. В моем царстве-государстве, ежели всемогущий Господь сподобит воссесть мне на престол, тиранства вам от бар не будет. Я слезы ваши вытру, только послужите мне.

– Послужим, отец наш! Будь в надежде! – радостно откликнулся народ.

– А где же воевода ваш и достальное начальство? – спросил Пугачев.

– А воевода Всеволожский сбежал, твое величество.

Пугачев переглянулся с Чумаковым, насупил брови.

Он согласился отобедать в самом лучшем по городу доме купца Андрея Яковлевича Кознова. Для пущего парада Емельян Иваныч приказал ратману купцу Мамину ехать впереди верхом. Толстобрюхий купец едва взгромоздился на коня, он сроду так не езживал: сидел в седле потешно; рыжая, как пламень, борода его дрожала, левая штанина вылезла из сапога, шляпа сползла на затылок, купец в страхе бормотал:

– Ой, упаду, ой, светы мои, брякнусь! – Красное лицо его покрылось испариной.

Глядя на него, Пугачев улыбался. А осмелевший народ, попевая вприпрыжку за процессией, смеясь, кричал:

– Падай, падай скорее, Иван Павлыч, покедова мягко!..

Однако купец при въезде в город успел-таки оправиться: распутив по груди пламенную бородищу и помахивая нагайкой, он уже покрикивал:

– Шапки долой перед государем! Шапки долой!

Но и так все были без шапок. «А бургомистр, купец Елизаров, ускоря прежде всех, – как впоследствии отметил местный летописец, – дожидался у ворот встретить злодея».

Пугачев пригласил за стол из своих ближних только двенадцать человек. Пищу разносили не слуги, а сами купцы с шутками и прибаутками. Бургомистр, судьи, офицеры угощали гостей. Пили за здоровье Петра Третьего, государыни Устиньи Петровны и наследника-цесаревича. Пугачев был доволен. Он снял кафтан со звездой и остался в одной шелковой рубахе. Он заметно похудел, за собой не следил, щеки не подбривал, на висках белела седина. После сытного обеда его вдруг потянуло на пищу острую. Он велел покрошить в блюдо чесноку и луку да хорошенько потолочь, подлить конопляного масла и покрепче

посолить. Ел, облизываясь и от удовольствия побрякивая. Блаженно жмурился, говорил:

– Это кушанье турецкое. К нему приобвык я, как жил в укрытии у дружка моего – турецкого султана. Ась? Ну, вот, господа купцы, теперь вы, да и все городские жители моими казаками называетесь. Ни подушных денег, ни рекрут с вас брать не стану. А соль я приказал раздать безденежно по три фунта на человека. А впредь торгуй солью кто хошь, запрету от моего царского имени не будет, и промышленяй всякий про себя.

В это время в городе и на базаре было шумно, разгульно, весело. Пугачевцы выпустили из тюрьмы всех колодников, растворили питейные дома, трактиры, соляные амбары, разрешив народу пить вино и брать соль безденежно. Однако они выставили от себя надсмотрщиков, чтоб соль бралась по справедливости и вином чтоб не упивались до потери сознания.

Тем не менее многие перепились. Бродили по улицам, орали песни, ругались. Чахоточный высокий сапожник в кожаном фартуке, с ремешком на голове, совался носом по дороге, потрясал кулаком, хохотал и пьяно выкрикивал:

– Эй, народы! Дома кашу не вари, все по городу ходи! Ха-ха-ха... Грабь богатеев!

Кое-где действительно уже начинались драки, грабежи. Купеческие дома и ворота на запоре. Грабители перелезали заплоты, вваливались во дворы, вступали в бой с цепными, спущенными на волю собаками, приказчиками, купеческими сыновьями. Были увечья, кровь. На соборной площади толпа разбивала торговый, с красным товаром, лабаз. Пугачевцы отогнали толпу нагайками. В одном месте священник кладбищенской церкви вышел с крестом в руках увещевать буйанов, но толпа надавала ему по шее, поп едва убежал.

По улице пугачевцы волокли вешать усача-целовальника, однако толпа вступилась за него:

– Кормильцы, радетели! Не трог Моисея Лукича... Он человек бесхитростный, добрецкий. В долг бедноте дает...

Целовальника отпустили. От неожиданной помощи у него градом полились слезы. Толпа вдруг посунулась к проезжавшей тройке:

– Стой!

В тарантасе сидели, связанные, бледные, трое: пожилой мужчина со злыми глазами, женщина, должно быть, жена его, и сын, паренек лет тринадцати. Рядом с ямщиком и в тарантасе – четверо дюжих крестьян с топорами. Они соскочили на дорогу, зашумели:

– Получайте! Их, гадов, бар-то этих, человек двадцать ночью сбежало из города-то... А пымали одного. Это помещики Арбузиковы, самые лиходеи! Сам-то из полицейских крючков выслужился, нахапал взяткой, хабару с живого-мертвого драл...

– Вешать!.. – заорала толпа. – Веди к воротам...

– Братцы! Огонька бы по городу пустить!.. – кто-то выкрикнул.

Но крикуна-поджигателя живо нашли и пригрозили ему петлей.

Прислушиваясь к доносившемуся буйному шуму, Пугачев сказал:

– Полковник Чумаков! Пойди уйми народ...

– Да уж таперичь не унять, батюшка твое величество, – ответил Чумаков. – Пушай погуляют...

– Ну, ин ладно... Только чтоб купцов моих не забижали. А пикеты расставлены?

– Расставлены, батюшка, – почтительно сказал Чумаков. – Ччас оттудов сержант Мишкин да два

есаула... Доклад чинили мне. Наши в городе пушки да порох с ядрами забирают да медные деньги на возы грузят...

– Добро, – сказал Пугачев и вдруг, обратясь к сидевшим против него офицерам, поразил их такими словами: – А ведомо ли вам, господа офицеры, что вожу я с собой в походах знамя голштинское? Ась? Ведь у меня было в Ранбове, где я пребывание имел, трехтысячное войско голштинцев, и пешие и конные полки. Ну, так у них свои были знамена. – Обо всем этом Пугачеву удалось своевременно выведать у полковника Падурова и передавшегося ему под Оренбургом офицера Горбатова. Поэтому рассказ он вел уверенно. – А как жена моя, прелюбодейная Катерина, сговорившись с великими вельможами да с жеребцами Орловыми, лишила меня престола, все оные знамена были Сенатом схоронены в кованный сундук до моего возвращения на престол. А сын мой, наследник Павел Петрович, как пришел в возраст, так отца-то своего пожалел. Пожалел, детушки, дай Бог ему здоровья! – Пугачев перекрестился. – И с доверенным человеком прислал мне тайно одно знамя при грамоте, писанной золотыми литерами. Давилин! Покажи господам офицерам знамя мое.

Дежурный Давилин принес из угла комнаты древко со свернутым знаменем, снял кожаный чехол и распустил голубое полотнище с вышитым серебряным вензелем «П III» и крупным черноперым орлом.

Пугачев поднялся, и все три офицера, обуреваемые крайним любопытством, вскочили.

Секунд-майор Герасимов сначала побледнел как полотно, затем вдруг налился кровью, и в глазах его потемнело. Он подумал, что теряет рассудок. Пред ним было доподлинное императорское знамя, принадлежавшее голштинскому в Ораниенбауме воинскому отряду.

– Ну, господин майор, что скажешь?

– Ваше величество, – весь внутренне содрогаясь, ответил Герасимов, – когда я кончил шляхетский в Петербурге корпус, мне посчастливилось быть в Ораниенбауме... А вы в то время...

– Стой, майор Герасимов! Будь моим полковником...

– Низко кланяюсь вашему величеству... Не заслужил... Благодарю... государь, – заволновался, нервно замигал полнощекий, в годах, Герасимов.

Емельян Иваныч постучал костяшками согнутых пальцев в стол и крикнул:

– Гей, атаманы! Да и вы, люди торговые! Прислушайтесь, что полковник Герасимов толкует.

Шум и разговоры тотчас смолкли. Взоры всех направились в сторону государя. Он сел, откинул свисшие на глаза волосы, огладил бороду, кивнул офицеру. Тот, сметив, что от него требуется, громко повторил сказанное и продолжал:

– В то время, помню, вы изволили чинить смотр своим голштинским войскам. Вы тогда были молодой, без бороды. А общие черты вашего лица сохранились теми же и поныне...

– Ась? Сохранилось лицо-то мое? – радостно подбоченился Пугачев и, приосанившись, поглядывал орлом то на Герасимова, то на атаманов с купечеством. – Слышали, господа казаки? Говори, полковник.

– И вот как сейчас вижу пред своими глазами это голубое знамя... как сейчас... Без всякого сумления, это оно и есть...

– Как есть оно! А я, стало быть, не кто иной, как природный император Петр Федорыч Третий... Пускай-ка Михельсон с Мүфелем понюхают знамя-то, чем пахнет, да носами покрутят... Ах, злодеи, ах, изменник! Ну, погоди ж!

Пугачев уехал из Пензы под вечер, забрав с собою 6 пушек, 590 ядер, 54 пуда свинца, 16 пудов

пороху, много ружей и сабель. А медных денег было взято 13 233 рубля 63 3/4 копейки, ими нагрузили 40 подвод. Пугачев распорядился три бочонка с деньгами подарить протопопу, два бочонка – штатным солдатам, шесть бочонков – инвалидной команде, а часть денег была разбросана народу. Емельян Иваныч направился к городу Петровску, в сторону Саратова, и, отъехав от Пензы всего верст семь, остановился лагерем.

На другой день с утра по улицам города было расклеено объявление:

В тот же день было вывешено и другое объявление, от нового воеводы – полковника Герасимова:

Далее следовало перечисление, с каких сословий сколько людей брать.

Вскоре было набрано 200 человек и при прапорщике отправлено к Пугачеву. Тот остался недоволен столь малым числом набранных, потребовал к себе на ответ Герасимова, а сам двинулся с армией дальше. Герасимов, искренне принимавший самозванца за царя, тотчас поскакал в его стан и нагнал его уже в сорока верстах от Пензы.

– Что же ты, полковник, не исполняешь моего приказа? Ась?

Герасимов, выразив верноподданническое чувство, сумел оправдаться и был отпущен в Пензу.

Пугачев двигался быстро. Он опасался встречи с правительственными отрядами и спешил загоя уйти от них. Отряды же Муфеля и Меллина, в свою очередь, боялись встречи с главной пугачевской армией. Они с успехом разбивали мелкие повстанческие партии, состоящие из крестьян, барской дворни, однодворцев и поповских сыновей, грозного же Емельяна Пугачева страшились как огня. Так, граф Меллин, имея тысячу человек отлично вооруженной пехоты и двести улан-кавалеристов, остановился в экономическом селе Городище, в сорока верстах от Пензы, которая в это время занята была Пугачевым, и стал выжидать здесь, когда Пугачев Пензу покинет^[62]. А ведь Меллину было предписано идти по следам «злодейской толпы» и, как только она будет обнаружена, немедля вступить с ней в бой. Но он, очевидно, переоценивая силы Пугачева и желая сохранить жизнь свою, на это не отважился. Прожив в полном бездействии трое суток, он послал туда двух ямщиков села Городища – братьев Григорьевых, а вдогонку им сельского старосту с наказом разузнать и донести ему о выходе Пугачева из Пензы. И Меллин только тогда насмелился выступить походом к Пензе, когда ему все три посланца, вернувшись, сообщили, что «злодейская толпа еще вчерась побежала по саратовской дороге». Подобные очень важные и весьма курьезные обстоятельства были на руку Пугачеву: они укрепляли в населении веру в несокрушимую силу «батюшки-заступника» и в то, что он действительно природный царь есть.

– Видали, братцы, – озадаченно говорили мужики. – Генералы-т побаиваются... Чуют, что не кто иной, а сам ампирактор Петр Федорыч шествует. Уж они-то, генералы-т, зна-а-ют, их на мякине-т не обманешь.

– Гей, братцы. Живчиком собирайся к батюшке...

Вслед за Меллиным 5 августа вступил в Пензу и Муфель.

Ставленники Пугачева – Герасимов и купец Кознов были арестованы, отправлены в казанскую Секретную комиссию. Многие горожане, примеченные в беспорядках, были на площади под виселицей наказаны кнутом, четверо закачались в петлях. Здесь же были сечены плетями и купцы-хлебосолы.

Граф Меллин, делая форсированные марши по сорок, по шестьдесят верст в сутки, выступил далее. А оставшийся в Пензе Муфель оказался среди большого разрушения и почти поголовного мятежа в окрестных помещичьих селениях.

Проходя со своей армией, Пугачев видел, как днем и ночью горят повсеместно барские гнезда. И со всех сторон толпами валят к царю-батюшке мужики.

Но, несмотря на это, ядро пугачевских сил не возрастало, а постепенно таяло.

Огромной толпе, не в одну тысячу человек, с большим обозом идти по одной дороге не было возможности: не хватало ни кормов для людей, ни фуража для коней. Поэтому волей-неволей от главной армии отделялись порядочные толпы воинственно настроенных крестьян.

Не спросясь Пугачева, они самочинно выбирали себе полковников и растекались во все стороны по уездам.

Так, отрываясь от главного пожарища, всюду разлетаются гонимые ветром огненные головешки, они падают то здесь, то там, и вот воспламеняются новые пожары, вступают в жизнь новые проявления мстящей вольности народной.

Эти мстительные толпы, передвигаясь с места на место, быстро обрастали почувшими волю крепостными крестьянами, пахотными солдатами, а зачастую и обнищавшими дворянами-однодворцами.

Так, крепостной крестьянин графини Голицыной, Федот Иванов, успел собрать толпу до 3000 человек и носился с нею вихрем по всему уезду.

Предводители этих отдельных от Пугачева толп возили с собой указы «мужицкого царя», хватили помещиков, направляли их к Пугачеву или убивали на месте. Находившиеся в таких ватагах пугачевские казаки были много милосерднее крестьян. Казаки иногда пробовали держаться в каких-то, впрочем, довольно призрачных, рамках законности, требовали хоть какого-нибудь расследования обстоятельств дела – может статься, помещики не были для своих крестьян жестокими тиранами. Однако крестьяне в один голос вопили:

– Вешать! Он нынче хорош, а завтра хуже дьявола. Батюшка всех бар вешать повелел, под метелку! Бар не будет, земля вся мужику перейдет. Вешать!

Вешали помещиков, приказчиков, старост.

Богатые помещики сравнительно страдали мало – они своевременно успевали скрыться. А баре вельможные, вроде княгини Голицыной или графа Шереметева, и вовсе не платились жизнью, они прозябали либо в столицах, либо за границей. Они отделялись только материальными убытками: их поместья сжигались, богатства расхищались.

Как это ни странно, немало было истреблено помещиков средней руки и даже мелкота. Впрочем, многие из них, именно владельцы среднего достатка, в своей погоне за наживой, за тем, чтоб не отстать в роскошествах от помещиков крупных, выжимали из своих крестьян путем насилия все, что можно, и этим страшно озлобляли против себя подъяремных крепостных. Народная месть обрушивалась, помимо помещиков, также на управителей имениями, на приказчиков, бурмистров. Эти наемники, стараясь оправдать доверие своих господ, да и себе нажить копейку, были по отношению к крестьянам более жестоки, чем сами баре.

Сбежавшие из Пензы пред вступлением Пугачева в этот город воевода Всеволожский, его товарищ Гуляев и два офицера были захвачены толпой Иванова в имении помещика Кандалаева. Их отправили к Пугачеву на суд, но по дороге в деревне Скачки конвоиры заперли арестованных в амбар и там сожгли. А два пензенских секретаря, Дудкин и Григорьев, тоже сбежавшие от Пугачева, были повешены толпою Иванова в селе Головшине.

Спасаясь от Пугачева, все они угодили в плен к разъяренным толпам. И как знать! Сдайся они на милость мужицкого царя, может быть, все остались бы целы-невредимы. И таких случаев народной мести было немало. За короткое время в одном только Пензенском уезде так или иначе пострадало до 150 помещичьих семейств, или до 600 человек.

Однако Емельян Иванович Пугачев вряд ли целиком виноват в тех подчас излишних жестокостях, которые творились его именем, но без малейшего его участия.

Если внимательно всмотреться в грозные события, быстро развернувшиеся на правом берегу Волги, то можно с ясностью видеть, что пугачевское движение теперь утратило почти всякое организационное начало и вылилось в форму движения стихийного.

Да оно и понятно. Лежавшие к западу от правого берега Волги великорусские губернии, по которым спешным маршем проходил Пугачев, это не то, что мятежная столица Берда, где мужицкий царь полгода сидел со своим штабом, где была и действовала знаменитая Военная коллегия. Это мудрое государственное учреждение, возникшее волей Пугачева, сразу положило предел стихийности, сразу ввело сложнейшее народное движение в рамки организованности и какого-то порядка. В Военную коллегию являлись за приказами пугачевские полковники и атаманы, они без ее повелений не смели пикнуть. Военная коллегия вела весь распорядок в армии, коллегия руководила всем народным движением, и почти ни один сколько-нибудь заметный народный мятеж не ускользал от ее внимания.

Потерпевший поражение на Урале и разбитый под Казанью, Пугачев бежал на правый берег Волги с малой толпой, всего в полтыщи человек. Теперь, преследуемый по пятам правительственными воинскими частями, он уже не мог задерживаться на одном месте более двух-трех дней. И не было времени ему одуматься, чтоб снова собрать вокруг своего знамени грозную силу и обучить ее для окончательной схватки с докучливым врагом.

И все пошло самотеком. В руках Пугачева ныне осталась не власть, а как бы призрак власти. Пугачев сугубо страдал. Зачинался массовый стихийный мятеж крестьянской Руси, зачиналось пугачевское движение без Пугачева, вне его направляющей воли.

Как уже мы видели, от центральных пугачевских сил отделялись толпы и, без ведома своего царя, устремлялись на самостийную работу.

Зачастую подобные толпы возникали сами собой в разных местах. Участники их в глаза не видали Пугачева, – что им мужицкий царь – они сами Петры Федоровичи! И набеглых Петров Третьих – разных Ивановых, питерских мясников Хряповых, канцеляристов Сидоровых, поповичей Преклонских – можно было насчитать по России немалое количество. Все они Петры Третьи или его полковники. Но сам Пугачев не имел о них ни малейшего понятия, они тоже знали его только понаслышке.

А в Новороссийской губернии даже объявился император Иван Антонович [\[63\]](#), шлиссельбургский узник, с младенческих лет заключенный в Шлиссельбургскую крепость и там давным-давно убитый. Этот самозванец разъезжал в богатом экипаже и всех проходящих к нему щедро награждал деньгами. «Меня хотели убить, Екатерина выпустила манифест о моей ложной смерти, – взывал он к народу, – но всемогущий Бог спас меня. Я ваш император Иоанн». Темные попы валились пред ним на колени, служили о его здравии молебны.

В маленький городишко Инсар, в захолустную глухомань, приехали два верховых, хорошо вооруженных крестьянина. Оба – грозные обличьем, заросшие густыми бородами.

Один из них, Петр Евстафьев, одетый в лакейскую ливрею с позументами, бросил с коня в толпу на людном базаре:

– Я – царь ваш, миряне, Петр Федорыч Третий! Великое воинство идет за мной.

Легковерный народ только того и ждал. В народе только и разговору было, что о царе-батюшке, потерпевшем от генералов поражение и неведомо куда скрывшемся.

– Ой, батюшка! Ой, свет ты наш! – завопили окружившие всадников крестьяне.

Как водится, ударили в набат. Горожане, окрестные жители и помещичья дворня стали сбегаться на базар, воевода и все начальство страха ради скрылись. Сразу скопилась шайка вольницы, город подвергли разграблению, побито было до восьмидесяти человек народу, преимущественно чинов инвалидной команды, оказавших насильникам сопротивление.

Из Инсара «Петр Третий» (он же Евстафьев) увел толпу в Троицк, жители которого сразу покорились самозванцу, приволокли к нему на расправу всех своих немилых начальников. Воевода Столповский, его товарищ князь Чегодаев и управитель дворцовых имений Половинкин были толпой убиты, имущество их расхищено. Далее толпа на телегах, верхами или пешком, с дубинками, косами, топорами повалила за своим «Петром Третьим» в Краснослободск, затем в Темников и, разбив эти города, стала приближаться к Ардатову. Около Керенска он был разбит.

Действовал также со своей толпой литейный мастер Инсарского железного завода Савелий Мартынов. В его команде были заводские рабочие, русские и мордовские крестьяне. Ими были разгромлены помещичьи и казенные заводы Сивинский, Рябукинский, Виндреевский и Троицкий винокурный. Толпа мастера Мартынова выросла до 2000 человек, но в конце концов была разбита.

Работала также команда из двенадцати человек какого-то вахмистра, говорившего по-польски; он объявил себя посланцем государя Петра III. К нему присоединились многие однодворцы, пахотные солдаты и крестьяне. Они разбили город Керенск и Богородицкий монастырь. Когда служили в монастыре молебен с провозглашением многолетия Петру III, подгулявшие бунтовщики, стоя в церкви, стреляли из ружей. Монахи со страху попадали на пол.

Начал организовываться отряд повстанцев и среди рабочих тульских оружейных заводов. Возникали «колебания» и «замешательства» и в других местах Тульской провинции. Но мерами правительства движение это вскоре прекратилось. «О тульских обращениях» Екатерина писала в Москву князю Волконскому: «Слух есть, будто там, между ружейными мастерскими, беспокойно. Я ныне там заказала 90 000 ружей для арсенала; вот им работа года на четыре, – шуметь не станут».

Было много и других мятежных отрядов, но все они действовали, так сказать, очертя голову, без дисциплины, без должного порядка, да и возглавлялись людьми неподходящими.

Более организованно и уже в крупном масштабе действовала трехтысячная толпа предприимчивого, смекалистого Иванова, самовольно назвавшегося «полковником государя императора». От его огромной толпы, в свою очередь, отделялись небольшие отряды и, опять-таки без ведома Иванова, устремлялись на добычу.

Прибывший в Пензу подполковник Муфель ясно видел, что оставлять уезд в таком положении невозможно и что надо в первую голову, разыскав главные силы Иванова, покончить с ним. Оказалось, что руководимая Ивановым толпа движется к Пензе. Навстречу мятежникам Муфель выслал двести человек улан дворянского пензенского корпуса под начальством предводителя дворянства Чемесова.

В тридцати верстах от Пензы, возле села Загошина, загорелся бой. Несмотря на дружный и меткий огонь улан, толпа держалась крепко. Тогда Чемесов с одетыми в голубые мундиры уланами врубился в самую середину толпы. Народ побежал, оставив до трехсот человек убитыми, сто семьдесят крестьян попало в плен, были захвачены несколько чугунных пушек и две медные мортиры.

Вскоре после этого дворянство и купечество, скрывавшееся в лесах без пропитания, стало стекаться в Пензу под защиту правительственных войск.

Однако не всем скрывавшимся дворянам удалось отделаться так благополучно. Многие из них были изловлены крестьянами, связаны, посажены в телеги и отвезены в Пензу, на суд царя-батюшки. Но Пугачева там крестьяне уже не застали и, раздосадованные, повезли дворян обратно, вслед за государем.

– Куда везете этих гадов? – остановили подводчиков случайно встретившиеся пугачевцы. – Везите их в Пензу, там воеводой поставлен полковник Герасимов. Он их всех подымет кверху. А нет, сами расправьтесь.

– Пятые сутки треплемся, – жаловались крестьяне. – Лошадей-то притомили. Эй, Макар! – кричали они переднему вознице. – Поворачивай нито в лесок. И впрямь кончать надо с гадами.

Один из находившихся в этой группе обреченных – помещик Яков Линева впоследствии писал в Москву своему приятелю: «Остановясь в лесу, велели всем выходить из повозок и вынимали рогатины, чтобы переколоть нас. Но в самый тот час прибывший конвой чугуевских казаков спас нам жизнь, и всех мужиков переловили. Из коих злодеев шестеро – застрелены, четыре повешены, прочие, человек двадцать, кнутом пересечены. Посмотрели бы вы на верного друга вашего пред казнью, то и увидели бы меня в одном армячке, сюртуке без камзола, стареньких шелковых чулках без сапог, скованного и брошенного в кибитку».

4

– ...Не падайте духом, государь, – продолжая прерванный разговор, негромко вымолвил офицер Горбатов.

Пугачев молчит. На исхудавшем лице его гнетущая тревога.

Глухая ночь. Небольшая комната купеческого дома. Две догорающие свечи на столе. В переднем углу, перед образами, скупо помигивает огонек лампы. Истоптанный ковер на полу. Возле изразцовой печи – голштинское знамя и другое – государево, с белым восьмиконечным крестом. В стороне, за печкой, на брошенном тюфяке храпит – руки за голову – верный друг царя атаман Перфильев.

За окном – костры, отдельные выкрики, посвисты, затихающая песня, и возле церковной ограды – устрашающая виселица. Темно. В темном небе серебрятся звезды. В комнате сутемь. Колышутся дремотные огоньки, ходят тени по стене.

Пугачев в угрюмой позе за столом. Андрей Горбатов стоит в отдалении, прислонясь спиной к изразцам холодной печи. Его открытое, обрамленное волнистыми белокурыми волосами лицо полно решимости, взор напряжен. Ну, что будет, то будет: смерть так смерть, но он решил, наконец, перемолвиться с Пугачевым откровенным словом.

– Не падайте духом, государь, – повторяет он. – Замысел ваш бесспорно смел... А посему и ошибки – а их много у вас, – тоже неизбежны, понятны и... я бы сказал... зело немалые.

– Ошибки не обман, – хмуро промолвил Пугачев.

– Избави Бог, ничуть, – пожал плечами Горбатов. – Хотя вы своей цели, может быть, и не достигнете, то есть не совершите того, что у вас в мыслях, что задумали совершить, однако дело ваше станет навсегда известно русскому народу.

– Верно, верно! – Пугачев порывисто поднялся с кресла и в волнении начал вышагивать от стены к стене. Он хмурил брови, что-то бормотал про себя, останавливался, глядел в пол, с досадным прикриком взмахивал рукой. Видимо, он искал слов, которые правильно выразили бы его думы, и сразу не мог таких слов найти. Горбатов смотрел на него с интересом, с удивлением, наконец сказал:

– Ведь ваши намеренья большие, я бы сказал – огромные. И ежели вы все потеряете из-за немалой смелости своей, за вами все же останется слава великого бунтаря. И потомки упрекнут вас в неспособности не посмеют.

Жадно вслушиваясь в слова офицера, Пугачев вдруг остановился, щеки его затряслись, глаза внимательно поглядели на Горбатова. Пристукнув себя в грудь, он громко произнес:

– Мила-а-й! Благодарствую. И как на духу тебе. Намеренья-то мои, это верно, горазд большущие, а силенки-то надежной в моих руках нетути... Нетути! Вот и казнюсь таперь, и казнюсь. Ночи не сплю. Иной час слезами горячими обливаюсь. Только таюсь от всех. И ты, друг мой, никому не сказывай об эфтом... А за те слова твои золотые, что народ, мол, вспомянет меня по-доброму, спасибо тебе, сынок... Да ведь и мне так думается: ежели и загину я, на мое место еще кто да нибудь вспрянет, а правое дело завсегда наверх всплывет.

Пугачев отсморгнул, вынул платок, утер глаза и нос, подошел к Горбатову, положил ему руку на плечо, тихо заговорил:

– Верно, что, когда дело зачинал, помыслы мои были коротенькие, как воробыный скок... Эх, думал я, дам взбучку старшинам яицкого войска за их злодейства лютые, трягну начальство, да и прочь с

казацкой гольтьбой куда глаза глядят. А тут вижу – не-е-ет... Вижу – день ото дня гуще дело-то выходит, крепости нам сдаются, людишки ко мне валом валят. И уж чтоб уйти, чтоб взад пятки сыграть, у меня мысли чезнули. И подумал я: будь что будет! И покатился я, как снежный ком, все больше и больше стал облипать народом. А тут – пых-трах, без малого весь Урал-гора, все Поволжье загорелось, в Сибирь гулы пошли, у царицы Катьки сарафаны затряслись! Во как... Вот тут-то, чуешь, когда многие тысячи народу-то ко мне приклонились, уж не сереньким воробушком, а сизым орлом я восчувствовал себя... Орлом! У меня тут, чуешь, гусли-мысли-то и заработали. А ну, царь мужицкий, не подгадь! И уж замысел у меня встал, как заноза в сердце, шибко облестительный: ударить на Москву, поднять всю Русь, а как придут из Туретчины с войны царицыны войска, сказать им само громко: «Супротив кого идете? Я вам всю землю, все реки, все леса дарую, владейте безданно, беспошлинно, будьте отныне вольны. Нате вам царство, нате государство, давайте устраивать жизнь-судьбу как краше». Не враг я народу, а кровный друг! – Пугачев перевел дух и спросил: – Ну, как думаешь, полковник?

– Я не полковник, а майор, ваше величество, – перебил его Горбатов.

– Будь отныне полковником моим. Ну, как думаешь, господин полковник, что сказало бы в ответ мне войско?

– Войско перешло бы на вашу сторону, пожалуй. Не полностью, может быть, а перешло бы.

– Правда твоя, генерал. Будь отныне моим генералом. Люб ты мне. Лицо у тебя прямое, не лукавое. Я тебя и в фельдмаршалы вскорости произвел бы, да чую, бросишь ты меня... И все вы меня бросите, предадите... – с особым надрывом, тихо сказал Пугачев и опустил на грудь голову.

– Избави Бог, государь! Я до конца дней с вами! – прокричал Горбатов.

– Знаю. А все ж таки чую, и ты спокоишь меня, убоишься петли-то... – Пугачев сдвинул брови, вскинул руку вверх и снова закричал: – А вот я не боюсь, не боюсь!.. Мне гадалка-старушечка древняя предрекла: высоко взлетишь, далеко упадешь, на четыре грана расколешься. А я не боюсь!.. Пожил, погулял двенадцать годков после своей неверной смерти – и будет с меня... Прощайся с жизнью, великий государь Петр Федорыч...

По губам Андрея Горбатова скользнула легкая усмешка. С минуту длилось молчание. Пугачев опять было начал вышагивать по горнице, но вновь приостановился, вперил испытующий взор свой в лицо офицера, спросил:

– Так веришь ли ты, Горбатов, в меня, в императора своего, что я есть Петр Федорыч Третий?

Грудь Горбатова поднялась и опустилась. Он смело произнес:

– Да нешто вы и в самом деле император Петр Третий?

Пугачев, как боевой конь, дернул головой и, ошеломленный, отступил на два шага от офицера.

– А как ты думаешь, твое превосходительство? – стоя влоборота к Горбатову, сурово и отдельно спросил он и затаил дыхание. Хмурое лицо его враз болезненно взрыбилось, стриженные в кружок волосы свисли на глаза.

Горбатов знал, что за столь дерзостные речи он мог очутиться в петле. Однако, овладев собой, с напряженным спокойствием проговорил:

– Кто бы вы ни были, ваше имя будет вписано в летопись о борцах за народ! Про вас станут песни складывать, как про Разина...

Пугачев не вдруг осмыслил слова офицера.

– Борцов? За народ? Песни складывать? – недоуменно бросал он, двигая бровями и глядя через

плечо в глаза Горбатова. – Ишь ты, ишь ты... – Затем, собравшись с мыслями, он прищурил левый глаз, потряхнул головой, напористо спросил: – Ну, а все ж таки... Раз на тебя сумнительство напало... Ежели я не царь, по-твоему, не Петр Федорович... так кто же я? Отвечай немедля!

Горбатов как замороженный молчал, губы его подергивались, сердце сбивалось.

– Отвечай, царь я или не царь?! – резко притопнув ногой, крикнул Пугачев.

– Нет, вы не царь, – все тем же спокойным голосом ответил Горбатов, от крайнего напряжения он весь дрожал, лицо быстро бледнело, на высоком лбу выступила испарина.

Пугачев прынул в сторону, взмотнул локтями. В мыслях стегнуло: «Неужто и Горбатов такой же злодей, как Скрипицын, Волжинский и многие другие офицеры?» Желчь растеклась по жилам Пугачева. В нем все кипело.

– Изменник! Согрубитель! – свирепо закричал он. Горбатов, как от оплеухи, весь внутренне сжался, пальцы на его руках затрепетали. – Мало я вам, злодеям, головы рубил! – Пугачев порывисто схватил стоявшую в углу саблю и подскочил к Горбатову. Он по-настоящему любил этого молодого человека, ему было жаль умерщвлять его.

– В последний раз! Царь я или не царь?!

Горбатов все так же стоял, руки по швам, прислонившись спиной к холодной печке. В глазах его потемнело. Не помня себя, он вздохнул:

– В последний раз говорю: нет, нет!

– Так кто же я?! – взревел Пугачев и выхватил из ножен острую, в белом огне, саблю.

– Вы выше царя! – каким-то особым, приподнятым голосом прокричал Горбатов, содрогаясь под страшным взором Пугачева. – Вы народа вождь! – И Горбатов вытянулся перед Пугачевым, как в строю.

Емельян Иваныч враз остыл и присмирел. Округлив полуоткрытый рот и еще более выпучив глаза, он шумно задышал и швырнул саблю на пол. Так они оба стояли один возле другого в каком-то призрачном, как бред, молчании.

– Выше царя... Как это так – выше? Чего-то шибко заковыристо, в толк взять не могу, – бормотал Пугачев, растерянно опустив руки и с неостывшей подозрительностью косясь на офицера.

– Все просто, все понятно, – сказал Горбатов и, помедля малое время, продолжал: – Кабы я знал, что царь вы, я бы не пошел за вами, не служил бы вам, как теперь служу, а бежал бы от вас без огляда...

– Пошто так?

– А кто такой покойный Петр Федорыч, имя которого вы носите? – продолжал Горбатов. – Голштинский выкормок, вот кто. Россию он не знал и ненавидел ее. Что ему Россия, что ему простой народ? Да и сам по себе он был царек ничтожный... Бездельник он великий и пьяница!

Снова наступила тишина. Из груди Пугачева снова вырвалось шумное дыхание. Он никогда не слышал подобных слов: они ударили его в сердце. Потемневший взор его светлел. Откинув упавшие на глаза волосы, он приблизился к Горбатову, опять положил ему руки на плечо и взволнованно сказал:

– Милый... Друг... Уж ты прости меня, ежели пообидел. Ведь я, мотри, иным часом, как порох. Уж не взыщи! Может, ты и прав... Только, чуешь, хитро, ой хитро ты говоришь... И со смелостью!

Охваченный внезапными мыслями, он неторопливо повернулся и – нога за ногу – подошел к окну. Стоя спиной к побледневшему, еще не пришедшему в себя Горбатову, он грыз ноготь и что-то разглядывал за окном в глухой ночи.

«Народа вождь... Выше царя...» – каким-то далеким эхом продолжали звучать в его ушах набатные необычные слова... «Выше царя... Неужто так-таки выше?»

Молчание длилось долго. За дверью мяукала кошка. Атаман Перфильев под знаменем, открыв усатый рот, похрапывал, бредил. Горбатову стало неловко. Он вздохнул и, с особой любовью поглядывая на широкую спину Пугачева, произнес:

– Покойной ночи, ваше величество!

Пугачев, не поворачиваясь, отмахнулся рукой. Горбатов, придерживая саблю, на цыпочках вышел вон.

5

Вскоре из Оренбурга прибыл в лагерь пожилой казак Оладушкин, дальний родственник Падурова, привез ему от жены с сыном поклоны и благословенный образок святителя Николы. Он едва от слез удержался, когда узнал, что Тимофей Иваныч без вести пропал.

– Эка, эка беда стряслась!.. Сокол-то какой был...

– А ты сам-то как до нас добрался? – спрашивали его.

– Когда Оренбург освободили да Матюшка Бородин пошел с казаками в Яицкий городок, ну и меня к себе зачислил. Я поупорствовал, повздорил с ним. Меня заграбастали, к плетям приговорили, а я взял да и махнул до батюшки... Да я не один, девять яицких казаков привел с собой. Ох, и насмотрелись мы делов, вся Русь вскозырилась, кажись... – Голос у старого Оладушкина хриплый, усы большие, сивые, подбородок голый, глаза навывкате – задорные.

Его привели к Пугачеву. «Батюшка» обрадовался, начал обо всем с жадностью выпрашивать, казак отвечал срывающимся робким голосом, а когда Емельян Иваныч усадил его и велел поднести вина, Оладушкин осмелел, стал говорить красно и без запинки. Он рассказывал об Оренбурге и, понаслышке, об Яицком городке, что государыня Устинья Петровна арестована и неизвестно куда увезена, а вместе с ней схвачена вся ее родня, атаман Каргин, Денис Пьянов и другие-прочие.

Брови Пугачева изломились, рот перекосялся, он ударил кулаком в коленку и, замотав головой, крикнул:

– Пропала государыня! Пропала Устинья Петровна! Замучают ее, бедную...

Он приказал подать крепкого вина, залпом выпил стопку, за ней – другую, наполнил третью... Закусывал селедками, рвал их руками, обсасывал пальцы, отирал о рушник. Выпил третью... Быстрые глаза его погасли, голос сник. Он больше уже не выкрикивал, а продолжал бормотать в темную с заметной сединой бороду:

– Пропала, пропала... Эх, пропала бедная головушка...

– И еще хочу сказать, – обсасывая хвост селедки, заговорил Оладушкин. – Хлопуше, названому полковнику вашего величества, принародно казнь была.

– О-о-о, – протянул Пугачев и вскинул на казака вновь ожившие глаза. – Ты видел, что ли?

– Самовидцем был... В крепости вешали-то, под барабаны. Мы с солдатней кругом помоста стояли, в походном строю, с хорунками да со значками. А народ-то на валу. Густо народу было... И как кончил чиновник бумагу оглашать да повели Хлопушу к петле, вот он и возгаркнул во весь народ, как в колокол брякнул: «А Казань-то, – орет, – батюшкой взята!.. Начальство перевешано!..» Тут ему рот хотели заткнуть, а он, безносый, страшительный, рванулся да свое: «И вам, кричит, то же будет от батюшки, сволочи!.. Он истинный царь!»

Пугачев опять замотал головой, схватился за поседевшие виски, сказал с горечью:

– Верный он, самый верный... Хлопуша-то... И не Хлопуша он, а Соколов – работный человек. Да, брат, да, казак... Невеселые ты мне вести привез, старик. Вести твои дрянь дрянью...

Пугачев снова потянулся к чарке. Под впечатлением предсмертных слов Хлопуши ему вспомнилась Казань, вспомнились встречи в ней с разными людьми, и он спросил:

– Слышь, казак! А про приемную дочку Симонова ничего не чутко? Она подружкой государыни

Устинья была.

– Как же, известно! – воскликнул казак и, оскалив зубы, чихнул в шапку. – Нареченная мать ее, комендантша-то, одна возворотилась быдто. А барышня-то, Даша-то... Кто его знает, чего подеялось с ней. Одни болтают, быдто она из монастыря в бега ударилась, жених быдто у нее где-то... А другие толкуют, что от тоски да от печали с колокольни бросилась. То ли с колокольни, то ли в Волге, сердешная, утопилась...

Пугачев, закинув ногу на ногу, сидел с низко опущенной головой и посматривал на казака недружелюбно, исподлобья. Раздумывал: «Сказать Горбатову про Дашу или не надо говорить?» И решил: «Не надо!»

– Мне ведомо, что Яицкий городок захвачен неприятелем, – раздувая усы, сказал он. – Только в помыслах было у меня, что государыня Устинья на коне ускачет, она, поди, роду-то казацкого... А она, вишь, оплошала... Как же так не уберегли ее, не удозорили...

– Да вы, батюшка, ваше величество, не печалуйтесь: авось Господь праведный и спас Устинью-то Петровну, – взбодрившись, сказал казак, накручивая сивый ус и похотно косясь на свой пустой стакашек. – Как ехали мы, батюшка, Русью, всячинки с начинкой нагляделись. Повсеместно мужик остервенел, бар изничтожает.

– Так остервенел, говоришь, мужик-то? – И Пугачев прищурил правый глаз.

– Истинно остервенел, батюшка. От злости на господишек рукава жует, как говорится. А поверх того, народ со усердием повсеместно поджидает вас, а того боле – самосильно к вам, батюшка, валит. Насмотрелись мы и страшного и смешного. В одном селенье сказывали нам, приехал-де царицынский отряд, а мы с великого-то ума думали – это от батюшки, вышли встречать вместиях с попом и всем миром, со старостой да с десятскими, повалились-де на колени, а сами кричим: «Мы все слуги верные царя-батюшки... Мосты все у нас вымощены, гати излажены, ждем не дождемся отца нашего, где он, царь-батюшка, далече ли?» А офицер на нас: «Ах вы, сволочи! Хватай их!» Ну мы-де все – кто в кусты, кто в лес, как зайцы от гончих собак, дай Бог ноги...

Пугачев улыбнулся, налил стакашек, сказал:

– Пей, старик! Чего поздно ко мне-то передался, ведь я полгода под Оренбургом был?

– Батюшка, царь-государь! Я, ведаешь, не один к тебе, нас десятеро, да двоих, правда, смерть сразила в сшибках со врагом. Вот я и говорю молодым ребятам-то, вроде как ты мне: ой, ребята, поздно... А они мне: может, тебе, старому, поздно, а нам в самый раз, ты-то вот куда прешься? А я им: перед народом-де оправдаться хочу, чтоб было с чем на Божий суд после смерти прийти, я-де вижу, как весь народ подъяремный страждет, а я, старый окомелок, на боку лежу, трубочку покуриваю да вот с такими голоусиками, как вы, в кости играю, в зернь.

– Ну, спасибо тебе, старик. А где ж дружки-то твои?

– Воюют, батюшка... Да, поди, внезадолге явятся. Ведь мы двадцать пять ружей да пудов с пять пороху в дороге-то поднакопили. А под Царицыном слых был, мол, на Дону казачья беднота пошумливает, к тебе ладит подаваться...

– Добро, добро, – повеселел Пугачев и, обласкав старика, приказал явиться ему к атаману Овчинникову.

После варварской казни Хлопуши в Оренбурге состоялась и жестокая расправа с архимандритом Александром в Казани.

Живейшее участие в этом принял председатель Секретной комиссии генерал-майор Потемкин.

Превысив полномочия, он усугубил постановление синода и решил учинить расправу с архимандритом при многолюдстве.

Допросы с пристрастием вел сам Потемкин. На вопрос: зачем ты принимал у себя самозванца яко царя? – последовал ответ: страха ради. Тогда Потемкин своей рукой нанес Александру заушение. Тот удивился и сказал: «Если я враг ваш, то Христос и врагов своих заповедовал любить, зачем бьете меня?» Тогда Потемкин, развернувшись, ударил Александра с такой силой, что из носа архимандрита поструилась кровь. На многочисленных допросах пугачевцев Потемкин привык избивать людей, это питало его злобу и составляло удовольствие. Он помаленьку всех смирил, вот только Зарубин-Чика упорен, как скала. Этот отъявленный злодей с цыганской харей неустрашим и дерзок. Он позволил себе назвать Потемкина дохлой обсняманной собакой... Ну да он с этим заядлым башибузуком еще найдет способ перемолвиться.

В 12 часов дня Александр был приведен из Секретной комиссии прямо в алтарь соборной церкви. Он был в тяжелых оковах. Его трудно было узнать. Величественный и стройный, он сгорбился, темная пышная борода висела ключьями, белые холеные руки трепетали, измученные глаза глубоко запали, он весь состарился, стал жалок видом.

В алтаре, не снимая с него оков, бывшего архимандрита облачили в парчовые ризы и митру со сверкающими камнями-самоцветами. Протопоп с протодиаконем вывели его на середину церкви, переполненной народом. Он шел, низко опустив голову и гремя цепями. Солдаты с ружьями и примкнутыми к ним штыками стояли у северных дверей алтаря. Затем появились губернатор, Потемкин и архиепископ казанский Вениамин с клиром.

Все двинулись на улицу. Александр был введен на эшафот. Соборная площадь кишмя кишела народом, и все ярусы колокольной унизаны зеваками. На кресте сидела галка, серое небо куксилось, вот-вот брызнет дождь.

Эшафот был окружен солдатами. Впереди толпы, выставив тугой живот, стояла беременная женщина в сермяжной паневе, держала за руку ребенка. Говорили, что это родная сестра Александра, а рядом с ней муж ее, суконный мастер, одетый в коричневую чуйку.

Ударили барабаны, чиновник прочел приговор, к Александру подошел высокий и тощий палач в красной рубахе и с овечьими ножницами в руке, он остриг архимандриту темную, когда-то холеную бороду и обрезал под самый корень длинные густые волосы на голове. Затем сорвали с осужденного парчовое облачение и одели в потрепанный мужицкий кафтан и лапти. И стал великолепный архимандрит Александр закованным в кандалы, задрипанным крестьянином, уже не Александром, а Андреем.

Возомнив свою особу стоящую выше губернатора и престарелого владыки Вениамина, генерал-майор Потемкин не постеснялся нарушить установленную форму карающего судопроизводства. Уже когда казалось все конченным, он взобрался на эшафот и, долговязо путаясь ногами в длинной шашке, подошел к осужденному вплотную. Затем сердито дернул бывшего архимандрита за рукав зипуна и, обратясь к народу, гулко прокричал командирским голосом:

– Отвечай, смерд, каторжник Андрейко, пред всем православным народом, отвечай, да не мямли, а громко и отчетливо... Признаешь ли ты богомерзкого злодея Емельяна Пугачева самозванцем?

Испитое лицо осужденного побледнело еще больше, но глаза вспыхнули огнем, он встряхнул кандалами и резким, пронзающим голосом на всю площадь закричал:

– Да, признаю Пугачева самозванцем, но он несравнимо более милосерден, чем ты, христианин, и вся твоя комиссия!

Потемкин, стиснув губы, наотмашь ударил его со всей силы. Осужденный упал, и тотчас же с воем и

рыданием упала женщина, сестра его.

6

После ночного разговора с Горбатовым у Пугачева осталось чувство недоговоренности, в словах офицера ему многое еще было неясно. И вот на следующий день, улучив время, он подхватил Горбатова под руку, и они пошли в отдаление, к берегу речушки.

– Вчерась ты мне брякал, Горбатов, мол, император Петр Федорыч и такой и сякой, бездельник да пьяница и Россию не любил... А верно ли то? Ведь, мотри, народ-то любит Петра Федорыча. (Пугачев умышленно так выразился: вместо «любил» молвил «любит».)

– Вряд ли народ любил Петра Федорыча, а просто по темноте своей ждал от него облегчения, – подумав, ответил Горбатов. Они сидели плечо в плечо, на берегу, среди кустов. – Простонародье думало, что Петр Третий хотел от помещиков землю отобрать и отдать крестьянам, а крестьян сделать вольными, да дворяне, мол, не дозволили, лишили его царства и посадили на престол Екатерину.

Пугачев слушал внимательно, слегка склонив голову и поглядывая то на пичуг, прилетавших хлебнуть водички, то на красивое, с улыбочивыми ямками на щеках, лицо Горбатова.

– А на самом-то деле, – продолжал Горбатов, – Петр Третий Россию и все русское презирал, а боготворил Фридриха Второго и все немецкое. Он издевался над русскими обычаями, русских вельмож гнал со службы, а возвышал немцев. Это показалось вельможам оскорбительным, за живое задело их, и они, при помощи офицеров гвардии учинив против ничтожного царька заговор, сбросили его с престола. А затем – убили... С ведома Екатерины, разумеется. Екатерина в манифесте опубликовала, что, дескать, император умер волею Божией от геморроидальных коллик. Однако народ этому веры не дал и в мечте своей решил, что Бог спас помазанника своего и он скрывается в народе... Да, впрочем, вы все это знаете...

– Ой, смело, ой, смело говоришь, Горбатов, – прервал его Пугачев и нахмурился.

– Всю правду говорю, ваше величество...

Пугачев резко повернулся в его сторону и в недоумении произнес:

– Дивлюсь на тебя, Горбатов. Ведь ты вчерась говорил мне, что я не царь, а сам величаешь меня государем да вашим величеством. Ась?

– И буду! – торопливо воскликнул офицер, и оба они уставились глаза в глаза. – По мне, вы превыше всякой земной власти, я считаю вас вождем народа, посему и называю высшим на свете титулом – вашим величеством.

– Добро, добро, – грустно проговорил Пугачев и, помолчав, спросил: – Так убили, говоришь, Петра Третьего?

– Убили, государь, – смутившись, ответил Горбатов.

– Смело, смело говоришь, – пробормотал Пугачев. – Все в аккурат у тебя, Горбатов... В одном концы с концами не свел ты. А пошто же все-таки народ-от десяток лет ждал его, как избавителя, раз он такой паршивец, по-твоему? Поди, не с бухти-барахти? Ась?

– А народ верил в него, как в чудотворную икону, как в свою мечту о воле, о земле... Народ ждал царя-избавителя еще вот по какому случаю, – делая ножом хлыстик из таловой ветки, ответил офицер. – Я полагаю, вы изволите знать, что Петр Федорыч жил не с Екатериной, а с придворной девицей Елизаветой Воронцовой...

– Эва!.. Уж мне ли этого не знать?! – впервые услышав это, притворно обиженным тоном воскликнул

Пугачев и бросил в пролетавшую ворону камнем.

– Так-с, – протянул Горбатов, и на его щеках обозначились улыбочивые ямочки. – Ну, так вот... Оба графа Воронцовы, отец Елизаветы и дядя ее, чаяли Екатерину арестовать, а Петра Федорыча поженить на Елизавете, чтоб царицею она была. Разумеется, и сам царь этого добивался. Вот тут-то и понадобилось братьям Воронцовым укрепить в народе добрую славу о царе. А поскольку царь государственными делами заниматься не любил, да и не умел, они сами сочинили и подсунули царьку к подписи два-три указа, к облегчению участи народа клонящихся.

– Какие же указы-то? – спросил Пугачев и начал переобуваться: в правом сапоге кололо ногу.

– О том, чтоб соль народу дешевле продавать, об отобрании у монастырей крестьян и переводе их в государственные, еще предоставлялось право раскольникам, за границей находящимся, возвращаться в Россию и свободно молиться, где и кто как пожелает. Вот крестьяне и подумали: царь-то батюшка заботится о них, цену на соль сбросил, а раз от монастырей отобрал мужиков, стало – отберет и от помещиков: воля, братцы, будет. А тут старообрядцы стали в Россию приезжать да нахваливать царька: покровитель наш... Так и укрепилась за никомушным царьком в народе слава.

Горбатов смолк. Пугачев встряхнул портянку – выпал острый камушек – и принялся снова обуваться.

– Значит, о всем об этом в Питенбурхе ведомо было?

– В придворных кругах полная известность была, ваше величество. А впоследствии даже все заурядное офицерство об этом знало.

– Стало, слава-то о Петре Федорыче ложная была?

– Правильно изволили молвить, ваше величество, ложная, – ответил Горбатов. И с жаром продолжал: – А самое-то главное вот в чем. Петр Третий не только высшее офицерство, но и солдатство рядовое возмутил против себя своим неожиданным миром с Фридрихом Вторым... Помните прусскую-то Семилетнюю войну?

– Ой, большая заваруха тогда в Пруссии-то стряслась, – взволнованно молвил Пугачев. – Уж так-то ли мы Фридриху наклали, уж так-то распатронули, что... Все подпоры из-под ног у него вышибли и в самом Берлине были...

– Были, контрибуцию взяли, – горячо подхватил Горбатов, – а только все насмарку пошло, псу под хвост. Сколько крови пролили русские, сколько добра извели, а ему, голштинскому выродку, все нипочем, лишь бы дружка своего Фридриха выручить – и выручил!

– Вы-ручил, выручил, сукин сын! – совершенно неожиданно вскричал вдруг Пугачев и сплюнул. – Его не то что казнить, четвертовать надо было, в порошок стереть!

– Петра-то Федорыча? – едва не прыснув смехом, спросил Горбатов.

– Кого боле, – его, подлеца! – сурово сказал Пугачев и отвернулся. – Выходит, зря я его из мертвых поднял? Ась?

– Не только подняли, а и прославили, – подхватил Горбатов.

– Моя, моя, выходит, прошибка... Ой, моя вина!..

– Нету вашей вины в том, – возразил Горбатов. – Народ захотел того, народ признал вас Петром Третьим.

– Народ? – насторожился Пугачев. – А послухай-ка, что я тебе скажу. Вот вчерась насчет замыслов да намерений моих толковал ты, велики-де они. Велики-то, может, они и велики, да много ли толку-то от них,

какая польза народу-то? Слышь, я тебе случай один поведаю. На Урале было дело, возле Белорецкого завода. Занятно, слышь. Сижу я один-одинешенек на высокой на скале, кругом непролазный лес, а подо мной речка взмыривает неширокая. И вижу я – поперек речки, от берега до берега, рыба густо идет, косяком, как говорится, видимо-невидимо. И вот, батюшка ты мой, медведь шаст с того берега в воду. Встал он посередке речки на задние лапы навстречь рыбе и ну пригоршнями рыбу хватать да на берег выбрасывать. Бросит да посмотрит, бросит да опять через плечо посмотрит, видит: на берегу рыбешка трепыхается. Вот он и принялся работать со всей проворностью – швырк да швырк, швырк да швырк. Уж он и не смотрит, куда рыба летит, а все через голову, все через голову, из воды да опять в воду – швырк да швырк... Уж он кидал, кидал, аж упыхался... Ну, думает, теперь хватит жратвы мне на всю осень, да и на зиму останется... А я гляжу на него со скалы, и таково ли мне смешно... Вот вижу, рыба вся прошла, медведь оглянулся на берег – много ли, мол, наловил. А на берегу нет ни хрена, окромя малой толики рыбешки, что попервоначалу выбросил. Так что б ты думал? Как увидал Мишка прошибку свою, схватился обеими лапами за башку, весь расшарашился и пошел, сердяга, на берег, а сам воет, ну таково ли жалобно воет, словно бы как навзрыд человек плачет...

– Занятно, весьма занятно, – откликнулся Горбатов, улыбаясь, и стал сшибать хлыстом листы на таловом кусте. Заложив руки за спину и все так же вышагивая взад-вперед, Пугачев остановился и сказал:

– Вот, ведаешь, как погляжу я на свои на дела на замыслы, и горько мне станет. А ведь, пожалуй, и я такой же медведь-дурак, ни на эстолько не задачливей его... Сам посуди, Горбатов: швырял я, швырял целый год народу рыбу, а оглянешься – нет у народа ни хрена! Я кричу: «Детушки! Земля ваша, реки, озера и вся рыба в них – ваши!» Ну точь-в-точь, как медведь-дурак в речке, а на проверку-то – на голом месте плешь... Где она, воля-то? Где земля-то? Я покричал да ходом дальше, а Катькины войска понабежали на то место да ну людей кнутьями пороть да вешать. Вот мужики-то и подумают... Ах, скажут, батюшка, батюшка... Много ты наобещал, а сполнить ничевошеньки не мог, ни синь-пороха! Обманщик ты, батюшка.

Пугачев замолк, лицо его стало еще мрачнее, в глазах вспыхивали дикие огоньки.

– Томленье во мне какое-то, – немного погодя сказал он глухим голосом и снова сел рядом с Горбатовым, плечо в плечо. – Чего-то, чуешь, делается со мной. Спокой потерял я.

В воде всплеснула рыбешка. За речкой два татарина ловили лошадей.

Емельян Иванов взял Горбатова под руку, тихо, сокровенно заговорил:

– Одно скажу тебе, Горбатов: настоящий ты... Мол, человек ты настоящий, без фальши. Был у меня еще один такой, Чика-Зарубин, да загинул... У тебя прямо от сердца все, своих думок ты не хоронишь. – Пугачев посмотрел на него в упор, с горячностью сказал дрогнувшим голосом: – Так будь же ты, Горбатов, закадычным другом моим. А друг, я чаю, превыше всякого генеральского чина и званья, – и крепко обнял его.

У Горбатова запершило в горле, он не мог произнести ни слова, лишь заметил, как надсадно вздымается грудь Пугачева, и его темные, широко открытые глаза увлажнились.

– Ну, стало, будем с тобой во друзьях, – сказал Пугачев, – а для всех прочих до поры до времени я – царь, ты – генерал мой. Понял? На том и прикончим. – Он встал, встал и Горбатов. – Слушал я тебя, голубь, и думал: вот бы поболее мне таких! А то, ведаешь, вовсе я среди атаманов своих сиротою стал, ей-ей...

– Вам ли о сиротстве говорить, государь! – возразил Горбатов. – Весь замордованный народ с вами.

– Народ, друже мой, что зыбь морская, а ведь мы-то, чаю, сухопутные с тобой, по морю плывешь, а о землице думаешь: хоть бы островишко какой, где бы стать, голову преклонить, раны подлечить, душу отвести. Дошло до тебя это, нет?

– Дошло, ваше величество! – откликнулся Горбатов и опустил голову. – Рад служить вам...

– Устоишь?

– До последнего издыхания...

– Ой ли?

– Клянусь всем дорогим мне на свете! Хоть на плаху... с вами... за вас...

Пугачев горько улыбнулся, одернул поношенный чекмень.

– Плаха, брат, штука плевая. Жить-воевать пострашнее. Особливо нам с тобой. Ведь не за себя одних ответ держим. Нас-то на плаху, а с нашим... царством... как?

– Ваше величество! – вскричал, блестя мокрыми глазами, Горбатов. – Наше царство на правде стоит, а правда живет вовеки.

– Вот и я этак же помышляю: правда со дна моря вынесет. Завали правду золотом, затопчи ее в грязь – все наверх выйдет. И коль нам с тобой суждено животы за правду положить, другие ее, матушку, подхватят. Може, мы с тобой-то, знаешь, кто? Може, мы с тобой – воронята желторотые. А ворон-то вещун еще по поднебесью порхает. Ась?

Глава V

Гости с Дона. Огненный поток. Смерть Акулечки.

Саратов пал. Враг следует по пятам

1

Пугачев двинулся к Саратову. По пути лежал город Петровск, куда выслан был Чумаков предуготовить государю встречу. Воевода и его секретарь бежали в Астрахань. Воеводский товарищ Буткевич тоже собирался к бегству, но, по совету бывшего в Саратове Державина, остался. Он приказал вывести артиллерию из города, а канцелярские дела погрузить на подводы. Жители Петровска главным образом занимались хлебопашеством, и около 2000 так называемых пахотных солдат, собравшись вместе, побросали с телег все дела, лошадей увели, воеводского товарища арестовали, приставили к его дому караул. А прапорщику Юматову бунтари сказали:

– Ты, ваше благородие, никуда не бегай. Ежели батюшка в город вступит, мы тебя защитим: ты, мол, человек добрый и никаких обид простому люду не чинил. Принимай над нами команду и встречай государя с колоколами да хлебом-солью.

Прапорщик Юматов, человек простецкий, с круглым, бритым, сильно обветренным лицом, посоветовавшись с женой и положившись на волю Божию, согласился: он человек многодетный, неимущий, а солдаты обещали убрать и обмолотить весь засеянный им хлеб, а также снять вторые покосы.

Пугачев вступил в Петровск к вечеру 4 августа. Население встретило его с почестями. Юматов, написав рапорт о благосостоянии города, на другой день рано поутру в мундире и при шпаге явился в царскую ставку. Пугачев не принял его, а велел привести воеводского товарища, секунд-майора Буткевича, и, услышав жалобы на него, как на обидчика и притеснителя, приказал пятерить его. После казни собравшимся прочитали манифест. Юматова же Пугачев произвел в полковники и назначил воеводою. И повелено ему было: выдать безденежно жителям соль по три фунта на человека, вино продавать по полтора рубля ведро, а в государеву армию сколько можно доставить «казаков» и вооружить их. Юматов собрал больше трехсот человек и в рапорте на имя Пугачева назвал себя полковником. (Он был настолько простоват, что по уходе Пугачева, рапортуя в пензенскую канцелярию о происшествии в Петровске, точно так же подписался не прапорщиком, а полковником Юматовым, за что и был графом Меллиным, занявшим впоследствии Петровск, дважды высечен плетьюми.)

Меж тем к Петровску приближалась команда донских казаков в шестьдесят человек, высланная из Саратова по просьбе Г.Р. Державина, собиравшегося уехать в Петровск, чтобы захватить там пушки, порох, деньги, навести справки о том, где Пугачев и велика ли у него сила, а также чтоб показать приунывшим саратовским властям «пример решимости».

Казачья команда под командой есаула Фомина, не доехав до Петровска десяти верст, остановилась. Сам же Фомин, майор польской службы Гогель и прапорщик Скуратов с десятью казаками выехали вперед и послали четырех казаков разузнать о числе мятежников. Эти четыре молодца – не то что проворонили, а ради любопытства – сдались в плен и были доставлены Пугачеву.

Тот, взглянув на молодых, с бритыми бородами донцов, сразу узнал своих: бравая выправка, лукавые

глаза и вихрастые чубы торчат.

– Вы что за люди? Кому служите?

– Мы донские казаки, а служим всемилостивейшей государыне.

– Зачем, детушки, в нашу императорскую ставку подались?

– А мы присланы от командира проведать, какие люди в город вошли.

– Служили вы государыне, а теперь, как видите, сам государь пред вами, ему будете служить. Кто ваш командир и велика ли ваша сила?

Казаки ответили. Пугачев оставил троих у себя, а четвертого отослал к есаулу Фомину со строгим повелением, чтобы тот и его команда, не дравшись, преклонились, а ежели драться станут, то он, государь, их всех изловит и казнит.

Получив это известие, есаул Фомин вместе с двумя офицерами и отрядом казаков в семь человек тотчас поскакали обратно и, промчавшись мимо своей команды, скрылись. Оставшийся отряд казаков растерялся, а между тем по дороге из Петровска взвилась пыль: то скакала пугачевская за Фоминым погоня в полтора человека. Донцы стояли молча. Пугачевцы тоже остановились. Из их толпы выехал вперед рыжебородый яицкий казак с медалью и прокричал:

– Сдавайтесь, братья казаки, не противьтесь оружием! Здесь-ка сам царь-государь Петр Федорыч. Айда с лошадой долой!

Донцы молча переглянулись между собой, но с коней не слезали. От пугачевцев был послан гонец в Петровск, и вскоре снова запыхала дорога: то ехал со свитой сам Пугачев, окруженный знаменами и значками. На знаменах – изображения святых, вышитые мишурой звездочки, по краям – позументы.

Тот же рыжебородый с медалью снова крикнул:

– Айда с коней! Коль скоро государь к вам подъедет, вы сложите оружие и, припав на колени, поклонитесь.

– Вы какие? – спросил подъехавший Пугачев опустившихся на колени казаков.

– Донские мы. Были в Саратове.

– Детушки! Бог и я, государь, вас во всех винах ваших прощаем. Ступайте в лагерь ко мне.

Пугачев взмахнул нагайкой и с несколькими всадниками погнался за офицерами. А казаков повели в лагерь. Удиравшие офицеры, встретив по пути поджидавшего их Державина, увлекли и его к Саратову. Все четверо немилосердно полосовали коней нагайкой и мчались так, что в ушах выл ветер. Страшная погоня далеко осталась позади.

Лагерь армии расположился возле самого города, на луговине. Тут были разбиты две палатки для Пугачева, его семьи с ребятами и третья – для секретаря Дубровского с войсковой канцелярией. Стража из яицких казаков охраняла палатки. Донские казаки прибыли в лагерь при заходе солнца и были зачислены в полк Афанасия Перфильева. Взглянув на привезенный донцами бунчук с изображением «Знамения Богородицы», Перфильев спросил сотника Мелехова:

– Откуда у вас бунчук?

– Мы отвоевали его у яицких казаков еще весной, при сшибке на реке Больших Узеньях... – ответил сотник и отвел глаза в сторону.

– Эх, негоже это, братья-казаки, междусобицу-то затевать. А надо всему казачеству к одному берегу

прибиваться. Хоть вас и льготит государыня наособицу, только она одной рукой по шерстке гладит, другой за чубы трясет. И у вас многие вольности она прихлопнула...

– Мы понимаем, – протянул сотник, – да сумнение берет, мол, не выгорит ваше дело... Опоздали вы, опростоволосились... Под Оренбургом канитель на полгода развели. А теперь победные войска из Турции вертаются, сказывают – Панин да Суворов поведут их...

– Войска, брат Мелехов, загадка, бо-о-льшая загадка, – сдвигая и расправляя лохматые брови, сказал Перфильев. – И мне уповательно, что солдатская сила и за чернь заступиться может, за свою родную кость и кровь.

– Нет, господин полковник, – возразил Мелехов, – военачальники найдут способа оплести их да одурачить, солдат-то...

– Не знаю, не знаю, – растерянно протянул Перфильев, и его большие усы на бритом шадрином лице недружелюбно встопорщились.

Когда проиграли зурю и смолкли барабаны, в палатку государя были позваны сотник Мелехов с хорунжими Малаховым, Поповым, Колобродовым. Все они рослые, молодые и нарядные. В палатке был накрыт ужин. Кроме казаков, присутствовала и государева свита.

Емельян Иваныч был в приподнятом душевном настроении: ведь заваривается дело нешуточное – кладется пробный начал дружбы между воюющей народной армией и вольным Доном. Эх, если бы да сбылись мечты Емельяна Пугачева.

Когда выпили по две чарки водки, Пугачев ласково сказал:

– Пейте, детушки, не чваньтесь да служите мне и делу нашему верно. (Казаки поклонились.) Какое вы получаете жалованье от государыни?

– Мы от всемилостивейшей нашей государыни жалованьем довольны, – ответили донцы.

– Хоть вы и довольны, – наполняя чары, сказал Пугачев, – да этого и на седло мало, не токмо на лошадь. Вы, детушки, послужите у меня, не то увидите, я прямо озолочу вас... Ведь в Донском войске господа жалованье-то съедают ваше, а вам-то, бедным, уж оглодочки.

Донцы слушали со вниманием, утвердительно кивали головами, а сами все приглядывались к Пугачеву, все приглядывались. Пугачев держал себя настороженно, в свою очередь наблюдая за молодыми донцами. Он поднял серебряный кубок с изображением императрицы Анны Иоанновны и сказал:

– Вот эта чара мне в наследство досталась от бабки моей царицы Анны. Ну, выпьем со свиданьем да и закусим. Берите, молодцы, свинину-то, ешьте! Слышь, Анфиса! – обратился он к прислуживающей у стола женщине. – Угощают ли казаков-то во дворе?

– Угощают, угощают, батюшка, – ответила она и повела черными крутыми бровями в сторону Горбатова. – Ермилка из кухни от Ненилы то и дело пироги таскает им да всякого кусу.

– Угощают, заспокойся, государь, – подтвердила и свита.

Гости и сподвижники Пугачева любовались на Анфису, в особенности Иван Александрович Творогов: она походила на его жену, красавицу Стешу. Одета в голубое фасонистое с черным бархатом платье, Анфиса сверкала своей русской красотой, молодостью и дородством. Она, казанская пленница, черничка старообрядческой часовни, своей вольной волей пожелала идти за «батюшкой» хотя бы до нижегородских керженских лесов, чтоб перебраться в женский скит, где у нее имеется подружка, но «батюшка», не дойдя до керженских лесов, свернул на юг; ну что ж, на все воля Божия – Анфиса без особой грусти так и осталась

у него. Она, сирота разорившегося купеческого рода, обихаживает обожаемого «батюшку» и досматривает за ребятами его погибшего дружка, какого-то Емельяна Пугачева.

– Был я, други мои, в Египте три года, – продолжал Емельян Иваныч, обращаясь к донцам, – и в Царьграде года с два, и у папы римского сидел сколько-то в укрытии, от недругов своих спасаясь, так уж я все чужестранные примеры-то вызнал, там не так, как у нас. А ведь вас, сирых, наши высшие-то власти, вздурясь, объегорили. Полковников вам посадили, да ротмистров, да комендантов. И многих привилегий казацких лишили. Эвот бороды скоблить заставили да волосья на прусский манер стригут. А вот я воссяду на престол, все вам верну да с надбавкой. И вы всю волю, всю землю получите, с реками, рыбой, лугами и угодьями, и будете в моем царстве первыми. И взмыслили мы всю Россию устроить по-казацки. Чтобы царь да народ простой империей правили. И чтобы всяк был равен всякому. А господишек я выведу и всех приспешников выведу! – все громче и громче звучал голос Пугачева. – Ни Гришек Орловых, ни Потемкиных у меня не будет... Только поддержите меня, детушки, не споконьте на полдороге... Эх, наступит пора-времечко... – Пугачев поднялся, распрямил грудь, потрянул плечами, зашагал по обширной палатке. – Наступит пора-времечко... И пройдуся я улицей широкой, да так пройдуся, что в Москве аукнется. – При этом он выразительно взмахнул рукой, остановился и вперил взор в безбородые лица донцов. – Ну, детушки, радостно сей день у меня на сердце... Горбатов, наполни-ка чарочки... Выпьем за вольный Дон, за всех казаков! Воцарюсь, Запорожскую Сечу опять учрежду; Катька повалила ее, а я сызнова устрою. – И, обратясь к казакам: – Ну а как, други, казачество-то? Склонно ли оно ко мне пойти и что промеж себя говорят люди?

– А кто его знает, – с застенчивостью и некоторой робостью отвечали гости с Дону. – Мы, конечно, слышали, что наказной атаман Сулин сформировал три полка для подкрепления верховых станиц. И приказано как можно поспешнее следовать им к Царицыну. Только не ведаем, будет ли из этого какой толк...

– Для нашего дела алибо для казаков толк-то? – по-хитрому поставил Пугачев вопрос.

Гости смутились. Сотник Мелехов, виляя глазами, ответил:

– Да, конечно, казаки с войны вернулись, им охота трохи-трохи дома побыть, а их вот опять на конь сажают... Ну, конечно, пошумливает бедность-то, ей не по нраву...

– Пошумливает? – спросил Пугачев, прищурился правый глаз.

– Пошумливает, – подтвердили хорунжие.

Выпили еще по чарке, и Пугачев сказал:

– Ну, донцы-молодцы, приходите ко мне завсяко-просто, утром и вечером, ежели надобность в том встретится. А завтра – на обед.

Он велел позвать Ненилу и молвил ей:

– Вот что, Ненилушка, ты к обеду состряпай-ка нам, как мой императорский повар-француз делывал, этакое что-либо фасонистое, чтобы год во сне снилось... Ась? Трю-трю зовется...

– Да зна-а-а-ю, – протянула Ненила, прикрывая шалью тугий живот. – Редьку, что ли?

– Редьку?! Дура... Этакая ты лошадь дядина... Благородства не понимаешь... – Пугачев на миг задумался, сглотнул слюну и молвил: – Хм... А знаешь что? Давай редьку! Ты натри поболее редьки с хреном, да густой сметанки положи, ну еще луку толченого...

– Да зна-а-а-ю, – снова протянула Ненила, почесывая под пазухой. А стоявшая сзади Горбатова Анфиса хихикнула в горсть и отерла малиновые губы платочком.

– А ты слушай... – прикрикнул на Ненилу Емельян Иваныч. – Ну, крутых яичек еще подбрось. А самоглавнейшее – как можно боле крошенных селедочек ввали, кои пожирней. Ну, конешное дело, сверху – квас... – И Емельян Иваныч подмигнул донцам.

Один из них, курносый и веселый, спросил:

– А где же повар-то у вас французский, ваше величество?

– Да его, толстобрюхого, чуюшь, мои яички вздернули. Величался все, я-ста да я-ста. У нас-де во Франции все хорошо, у вас все яман. Ну, те смотрели, смотрели, обидно показалось им, крикнули: «Ах ты, мирсит-твою», – да и петлю на шею.

Казачи опять переглянулись.

Вскоре Пугачев простился с гостями и пожелал им покойной ночи. Невдалеке от царской палатки гремели донские песни, шли плясы, подвыпившая полсотня донцов веселилась у костра. Девочка Акулечка, любовавшаяся плясунами, сидела на плече у Миши Маленького, как в кресле.

– Ну, господа атаманы, начал положен, – сказал Пугачев по уходе донцов и перекрестился. – Авось по проторенному путику и другие прочие донцы-молодцы прилепятя к нашему самодержавству...

Атаманы промолчали. Анфиса глаз не спускала с мужественного, красивого Горбатова, ловила его взор, но он не обращал на нее ни малейшего внимания. Овчинников, катая из хлеба шарики, сказал:

– Мнится мне, как бы они не переметнулись... По всему видать, они из богатеньких. Седельца-то у них с серебряной чеканкой, у всей полсотни. Да и сабельки-то – залюбуешься.

– Да уж чего тут... – буркнул Чумаков в большую бороду. – Известно, бедноту по наши души не пошлют.

Впоследствии так оно и вышло.

Захватив с собою девять пушек, порох, свинец и триста сорок человек команды, набранной услужливым новым воеводою Юматовым, Пугачев 5 августа со всею армией выступил из Петровска по дороге к Саратову.

2

Крестьянское движение, распространившееся по всему широкому Поволжью, никогда и нигде не возникало с такой мощной силой, как теперь, в августе 1774 года.

Повстанческие отряды почти одновременно появились в Нижегородском, Козмодемьянском, Свяжском, Чебоксарском, Ядринском, Курмышском, Алатырском, Пензенском, Саранском, Арзамасском, Темниковском, Шацком, Керенском, Краснослободском, Нижнеомовском, Борисоглебском, Хоперском, Тамбовском и других уездах, а также в городах Нижегородской, Казанской и Воронежской губерний[64].

По мере того как Пугачев с главной армией продвигался на юг, к Нижнему Поволжью, мятежные действия крестьян в Среднем Поволжье не уменьшались, а росли.

Все пылало, и не было возможности сбить огонь восстания. Князь Голицын доносил Петру Панину: «Во всей околичности подлой народ столь к мятежам поползновение сделал, что отряды, укрощающие великие партии, не успев восстановить тишины в одном месте, тотчас должны стремиться для того же самого в другое, лютейшими варварами дышущее. Так что, где сегодня, кажется, уже быть спокойно, на другой день начинается новый и нечаянный бунт».

Вновь назначенный главнокомандующий Панин доносил Екатерине, что в Переяславской провинции (Московской губернии) «разглашениями начинает появляться другой самозванец и что искры ядовитого огня от настоящего самозванца Пугачева зачинают пламенем своим пробиваться не только в тех губерниях, коими сам злодей проходил, но обнимают и здешнюю Московскую и Воронежскую губернии».

Михельсон доносил с марша, что он во многих местах встречал партии вотяков (удмурты), «из коих одна партия была до 200 человек. Сии злодеи не имели намерения сдаться. Они все до единого, кроме купцов, склонны к бунту и ждут злодея Пугачева, как отца».

Английский посол Гуннинг, вернувшись из «секретной поездки», сообщил Суффолку, что «неудовольствие не ограничивается театром мятежа, но повсеместно и ежедневно усиливается».

О размахе крестьянского восстания на правом берегу Волги можно, забегаая вперед, судить по следующим данным. За два месяца – с 20 июля по 20 сентября – правительственными войсками было ликвидировано более 50 отдельных отрядов, иногда достигавших до 3000 человек. Причем отбито 64 пушки, 4 единорога, 6 мортир, убито 10 000, пленено 9000, освобождено от плена «дворян, благородных жен и девиц 1280 человек».

Восстание шло быстро, неотвратимым стихийным потоком. Так брошенный в стоячую воду камень дает неудержимую рябь, так лесной пожар, раздуваемый ветром, сжигает все на пути своем – и сухостойник, и живые деревья.

В каждом барском селении группы крестьян, почуяв приближение воли, вдруг становились воинственны, смелы. Они вербовали односельчан в добровольцы-казаки, вооружали их чем могли и под началом какого-нибудь отставного капрала, согласного постоять за мир, или однодворца из разорившихся господишек, а то и просто удалого попovichа, направляли своих добровольцев в стан «батюшки».

– Ищите, где он, отец наш, челом от нас бейте, мы все рады умереть за него.

Несогласных же или колеблющихся мятежные крестьяне устраивали, отбирали у них избы с пожитками, шумели на сходах:

– Ежели на барскую работу пойдете, мы всех вас переколем да перевешаем.

Люди, оставшиеся в селениях, принимали меры самообороны от вторжения карательных отрядов: огораживали входы в село крепким тыном, рыли поперек дороги огромные рвы, для устрашения иногда ставили у ворот деревянную пушку на манер чугунной, учреждали пикеты, посылали разъезды, день и ночь несли караул на колокольне или каком-нибудь «дозористом» дереве. И всегда старались держать живую связь с ближайшими пугачевскими отрядами.

Барские дома расхищали, зачастую жгли дотла со всем строением; хлеб, продукты, скот и лошадей делили между собой по справедливости.

Большинство помещиков, бросив свое имущество, загодя бежало в места безопасные. Оставались в своих гнездах лишь престарелые да пораженные болезнью, либо те из них, которые жили с крестьянами в больших ладах и при случае опасности надеялись на их заступление.

Так или почти так всюду возникали, крепи и ширились крестьянские волнения. И если б промчатся нам на орлиных крыльях по всему простору восстания, можно было бы видеть необычайное зрелище. Ночью почти на тысячеверстном пространстве – бесконечные огни пожарищ. Уж не Мамай ли снова пришел на Русь, или, может быть, сама собой земля возгорается, может, демоны, разъяв недра земли, пускают на многострадальную Русь пламень кромешного ада, или крылатые ангелы, низринувшись с небесных высот, стремятся сжечь на бесправной земле плевелы греха и раздора?

Днем все просторы – на восток и на запад, на север и на юг – кроются клубами дыма. Хлеб не убран, поля позаброшены, скот бродит без пастырей. По деревням и селам безлюдца. Но дороги живут, дороги кишмя кишат народом, обозами. Туда и сюда, по всем направлениям, движутся толпы людей. Вот кучка всадников торопливо пылит по дороге, где-то пушка ударила, где-то беглый ружейный огонь протрещал. Это короткая схватка двух враждующих сил – восставших и их усмирителей.

Нам видно сверху, с крылатых высот – обширная лесная поляна, церковь белеет, догорают остатки барских хором, почти все избы в селе заколочены, на завалинке, осиянный солнечным отблеском, сидит старчище в посконной рубахе, в валенках, ему под сотню лет, бурая лысина лоснится. Вблизи него лохматая – рыжая с белым – собака. Она не знает – к пожару ей выть или к покойнику, задрать ли голову вверх или уторнуть нос книзу. Она ставит морду повдоль и начинает выть жутким голосом, глаза ее влажны, собака учится плакать по-человечьи. Все ее бросили, она отбилась от ушедших людей, а на деда косится сумнительно, как на неживую ходячую тень. Дед смотрит на собаку блеклыми глазами, и она представляется ему вопленицей на могиле его старухи. Жалобно вопила тогда Митрофаниха, и над гробами двух сынов его она за три копейки вопила, тогда все хрещеные плакали... Охо-хо, кто-то над ним будет вопить, давно умерла Митрофаниха. Двух сынов у него прибрал Господь, да трех внуков, да много правнуков. Ну да ведь, слава тебе, Господи, еще остались у него и сыны, и внуки, и правнуки. Двенадцать внуков, то ли двенадцать, то ли двадцать, семья большая. Раньше-то поименно знал их, да вот давно уж память-то всю отшибло, забыл – Петькой всех зовет, Петька да Петька.

– Да не вой ты, сделай милость, Шарик. Вот придут, вот ужо придут наши-то, за землей ушли к государю, земли да воли требовать у отца отечества. А как земля будет, так и бараны будут, и тебе кое-когда кость перепадет. Пойдем, Шарик, в избу, собачья твоя шерсть... Я тебе сухарей дам. Сухарей мне оставили да квасу... А луку я надергаю. Чу! Едут! Нам видно сверху, с подоблачных высот, как Шарик с радостным визгом бросился навстречу. Телега тарыхтит, на телеге покойник, рядом с покойником парень, голова у парня обмотана, через тряпицу – бурыми пятнами – кровь. Кобылой правит баба в сером зипуне.

– Ой, дедушка, ой, желанный! – заверезжала она, и все лицо ее исказилось в плаче.

– Землю-то добыли? – прошамкал дед, подымаясь с завалинки и едва разгибая спину.

– Добудешь ее, как жа-а! – закричала баба, въезжая во двор. – Вот Карпа надо в землю зарывать,

хозяина моего, а твоего сына... Вот и земля...

– Ох, Господи, твоя воля... А государь-то где?

– Государь стороной прошел, на понизово, – ответил деду внук.

– Чего башку-то обмотал, Петька?

– Я не Петька, а Костянтин... А башку мою едва не ссекли... – сказал внук, прыгивая с телеги. – Всех наших раскатали царицены конники, казенные гусары... Сот до трех нас было, все разбежались, как зайцы, кто куда... Ну, да опять гуртоваться учнут, а без земли да воли не жить нам.

– Будет воля! – кричит дед. – Царь-государь нашу слезу утрет.

– Матушка, давай внесем батюшку-то в избу. И помочь-то некому, а меня ноги не держат, шат берет. Кровь из меня текла, как из барана... – задышливо проговорил парень.

– Убитый, что ли, он, Карп-от, али пьян нажрался? – шамкал, суетился возле телеги слабоумный дед. – Господи, твоя воля...

А там, в другой далекой деревне, птичка-невеличка на кустышке сидит, смотрит бисерным глазком на рыдающую малую девчоночку, чивикает по-своему, будто говорит ей:

– «Не плачь, девочка, не плачь... Я тебе песенку спою. Чик-чири-рик...»

– Бросили... Все ушли... Есть хочу...

– Паранюшка! – кричит через дорогу вдвое согнувшаяся баба. – Подь ко мне, девонька, я тебя кашкой покормлю... У меня тоже нет никого, все к царю-батюшке походом укатили... Подь скорей, подь.

И еще видно нам с птичьего полета: земля Нижегородская – Ветлуга, Керженец, непроходимые леса, в лесах керженские раскольничьи скиты. Вот благолепный скит игумена старца Игнатия, сородича генерал-адъютанта государыни Екатерины Григория Потемкина. Обширная часовня, полукругом – избушки братии, рубленные из толстых кондовых сосен, приукрашенные резьбой и расписными ставнями, среди них – келарня и жилище самого Игнатия. Возжено в часовне паникадило со многими восковыми свечами, скит соборне молится о даровании победы царю Петру Третьему, покровителю старозаветной веры. Все иноки и зашедшие помолиться мужики делают усердные метания, припадая лбами к маленьким коврикам, лежащим на полу пред каждым молящимся.

Затем, сотворив семипоклонный уставный начал и метание, молящиеся подходят под благословение старца: игумен Игнатий прощается с братией, он отъезжает в Питер к великому своему сородичу, дабы упросил он Екатерину-немку не чинить керженским скитам разорения.

А вот сотни и тысячи сел и деревенок, в коих не все население ушло «за землицей к батюшке»: сильные ушли «казачить», а женщины, старики с детьми и маломощные остались дома, поджидать царя. И в тех селениях, что по царскому пути, уже принялись крестьяне готовиться к встрече «батюшки» – варили пивб, из господской муки пироги пекли, резали барских овец, кололи кур.

А там что еще такое видно? Какие-то чинным строем идут толпищи, за ними обозы тащатся. Они, эти многолюдные толпы, пока сотнями верст отделены друг от друга, но все ближе и ближе сходятся к одной цели, как охотники, обложившие в берлоге медведя. Это воинские отряды князя Голицына, Мансурова, Михельсона и других военачальников. Они ловят Пугачева, они тщатся окружить его, отрезать ему путь.

И ежели присмотреться к далеким горизонтам в юго-западную сторону, можно видеть многие тысячи войска. Война с Турцией преждевременно окончена, полк за полком идут от границы Украины и Польши, идут в глубь российских губерний на истребление бунтовщиков.

Дальше, дальше... С орлиных высот видит наше человеческое око освобожденный Оренбург; вот вольный Яик прочертил сырты плавным своим течением, вот Иргизские леса, в них многие раскольничьи скиты, тысячеверстным расстоянием разъятые от древних скитов керженских. А вот скит всечестного старца Филарета, здесь малое время когда-то скрытничал Емельян Иваныч Пугачев. Во всех иргизских скитах бьют малые деревянные и большие железные била, подвешенные на ветви сосен и елей. Это сбор на молитву. Из своей кельи выходит старец Филарет, он во всем черном, на голове скуфейка, в правой руке посох, в левой – лестовки. Проходя в часовню, он направился к двум завалинкам, на которых сидел народ – казаки и беглые крестьяне. Они поднялись и низко поклонились Филарету.

– Чего ради вы, христороубцы, сидите здесь и киснете, как опара в квашне? – начал чернобородый, сухой, с пронзающим взглядом Филарет. – Государь наш Петр Федорыч, како вестно мне, терпит большую нужду в людях, царские генералы зело докучают ему, защитнику древлего нашего благочестия. Служение государю в правом деле защищения угнетенных и обиженных есть самая угодная молитва Богу. Тецйте к царю, христороубцы, не мешкая. Скиты наши вооружат вас, чем могут, и яства дадут, и денег, и добрых лошадушек. Да благословит вас на ратное дело Господь Бог, и аз, многогрешный, благословляю вас... Русь наша в огне и пламени, Русь немощствует...

А вот и сам Пугачев Емельян Иваныч. Он идет со своим воинством скорым поспешением – кони, знамена, пушки, – он не хочет принять боя с сильнейшим, чем он, недругом, он ищет какой-нибудь неодолимой крепости, он все еще надеется на донских казаков, он ждет помощи от всей мужицкой Руси. Трепет и скорбь на душе его. Но конь под ним скачет, и вьется, и бьет о землю кованым копытом. И припоминается Пугачеву раскольничья стихира, он слышал ее в скиту у Филарета-игумена:

Видю я погибель,
Страхом весь объятый,
Не знаю, как быти,
Как коня смирити.

Эх, конь ты, конь, народный выкормок! Куда ты мчишь мужицкого царя, в погибель или в жизнь?

Трепет и скорбь на душе Емельяна Иваныча, и тщетно он ищет утешения то в беседах с офицером Горбатовым, то у Акулечки, чья детская резвость и ласка, смех звонкий и безобидный лепет действуют на полное тревоги сердце как бальзам.

Но вот не стало Акулечки.

3

Случилось это совсем просто и неожиданно. После раннего обеда Акулька пошла в лес набрать «батюшке» к ужину грибков. Пошла она, да в лесу-то и закружилась. Она туда, она сюда, да ну кричать, звать на помощь, никак не может выйти на тропинку. Уж не лесной хозяин, сам леший-лесовик, принакрыл тропу, утыкал ее елками – поди найди... Должно быть, далеко зашла, вся измучилась, последних силенок лишилась, села на пенек, заплакала. Стали чудиться ей волки, вот набегут волк с волчицей и задерут ее. Ни чертенят, ни самого лесовика Акулька не боялась, от этой нечисти крестом да молитвой оборониться можно, отец Иван вразумил ее, а вот лесного зверя страшно.

Она подхватила корзинку с белыми грибами и, вытаращив глаза, неведомо куда побежала по лесу. Бежала, бежала, и слава тебе Господи, – наткнулась на желанную тропинку. А стало вечереть, солнце село, даже верхушки сосен погасли. В какую же сторону по той тропе бежать? И девочка Акулечка припустилась влево. Бежит, кричит: «Эй, эй!.. Мужики!.. Я здесь». Вдруг речка, девчонка стала перебираться по лесине, нечаянно оборвалась и бултыхнулась в воду. А вода ключевая, холодная, вода сразу обожгла разгорячившуюся на бегу Акульку. Девочка едва выползла из воды на берег, вся мокрая, и почувствовала резкую боль в ноге. Она приподнялась, прошла два-три шага и снова упала на землю. Больно. Ну, так больно, что ступить нельзя. Она прилегла и застонала. И взглянула на небо, и просила у Бога помощи, чтоб Бог исцелил ей ногу и помог выбраться в стан, – иначе волк с волчицей задерут ее.

– Боженька, миленький, уж ты постарайся...

Ночь наступила холодная. Девчонка не могла согреться, она была мокрехонька и вся продрогла. Ее трясло. Она вскакивала, пробовала идти, но от нестерпимой боли в ноге снова падала, и плакала, и кричала на весь лес.

Вот голову стала обносить дрема. Акулька, похныкивая, впадала в забытие. Какая-то несурразица грезилась, то страшная, то забавная, будто сам царь-батюшка стаю волков саблей рубит, прокладывая путь к Акульке, а возле Акульки цыган-волшебник сидит с зеленой рожей, с синими усами, колдовскую трубку курит, сам песню на три голоса поет, из трубки душевредный дым полыхает. И огоньки... все огоньки, огоньки бегут... много огоньков.

– Аку-уль-ка-а-а!..

– Здесь-а-а!.. – отзывается замест Акульки колдун-цыган и крутит, крутит над своей вихрастой головой волшебной трубкой. И вот с факелами подлетают казаки. Ермилка срывает с нее мокрый сарафанишко, пеленает девочку, как куклу, в свой сухой чекмень, берет ее в седло, говорит ей:

– Эх, ты, диковинка!.. Вот где ты...

Она уж и слова не может вымолвить, впрочем, сказала:

– Грибки не забудьте... батюшке... – Ее била лихорадка, она больше ничего не помнит, ну словно бы провалилась сквозь землю.

Проходил день за днем, Акулька не поправлялась. Армия шла походом вперед, вперед. Девочку перевозили в отдельном экипаже. А на дневках и ночевках ей разбивали маленькую палатку, мужики смастерили походную кровать, натаскали сена. При ней находились по очереди то Ненила, то красивая молодая купчиха Мария Павловна, плененная в Казани и приставленная к пугачевскому семейству. Да и помимо них было много желающих – и мужчин, и женщин – послужить девочке Акулечке: ее все очень любили и жалели. Возле палатки всегда толпа – и днем, и ночью. И лагерь как-то весь стих, и вино не пилось, песни, как по уговору, смолкли. И каждый живущий в лагере чувствовал какое-то тяжелое душевное

томление: хоть всем чужая девочка была, но, может быть, поэтому всяк любил ее, пожалуй, не меньше, чем родное свое дитя.

Возле нее сидел Горбатов, прикладывал к голове холодные компрессы. Лицо у нее восковое, кости да кожа, нос заострился. Дыхание прерывистое, взхлеб. Девочка пришла в себя, распахнула большие глаза и осмотрелась. Трошка стоит в красной рубашонке, Ермилка... – Ну, как нога-то, диковинка? – спросил Ермилка, улыбаясь во все широкое лицо. – Болит, нет?

Акулька пошевелила под одеялом той и другой ногой, сказала:

– Нет.

Ногу ей выпользовал костоправ, он ежедневно растирал ее и обкладывал густо намыленным мочалом.

– А где батюшка? – спросила девочка.

– За батюшкой побежали, сейчас придет.

– Ну, здравствуй, девочка Акулечка, здравствуй, милая! – проговорил вошедший Пугачев.

Трошка попятился от отца и вышел из палатки.

– Здравствуй, батюшка, светлый царь... – сказала Акулька шепотом, и в широко распахнутых глазах ее сразу показались слезы. – Грибков... тебе брала... да упала... вот видишь... нога...

– Оздоровливай, доченька, оздоровливай, – наклонясь над девочкой и глядя ее по голове, говорил Пугачев трогательным голосом. Он босиком и в одной рубахе с расстегнутым воротом: в чем был, в том и прибежал. – А то без тебя скука нам!

– Нет уж, – глядя пред собой в пустоту, сказала больная. – Маменька наказывала, ждет... В дорогу надо... В царстве небесном лучше...

Она попросила молока, выпила глоточка три. Ненила притащила свежепросольных огурцов и горячих оладий с медом. Горбатов тотчас прогнал ее. Девочку затошнило, стала она икать и снова впала в забытие...

– Умрет, – прошептал Емельян Иваныч, застегивая ворот рубахи. – Ну а где же лекарь-то?

– Нету, государь, – ответил Горбатов. – Во многие места посланы гонцы... Нету.

– Умрет, – повторил Пугачев, встряхнув головой, и, ссутулясь, вышел.

Он не ошибся. Через два дня девочки Акулечки не стало. Последние ее слова были:

– Я маленькая... Бог мне счастья не дал.

Два крестьянина – отец и сын – мастерили ей гроб, Миша Маленький под двумя липами на холме рыл могилу. Глаза его были мокрые, он пыхтел и прикрывал. Все в лагере ходили, понурились.

Пугачев велел выдать розовой материи на обивку гроба. Позументов не было. Он приказал спороть их с одного из своих кафтанов.

Вся в цветах, покойница лежала в розовом гробу, возле палатки Пугачева. В ее руке лазоревый цветок. И никому не хотелось верить, что девочки Акулечки больше нет среди народа, что она неожиданно ушла из жизни, что над землей только тень ее, однако и эта тень скоро навсегда скроется в могиле. Останется лишь одно воспоминание о погасшем дитяти, но и оно, как ночной туман, развеется: время безостановочно взрывает глубоким плугом ниву жизни, перевертывая вверх корнями все цветы и травы, все воспоминания о прошлом, нетронутыми остаются лишь редчайшие дубы, которым по заслугам их даровано бессмертие...

Цветы... Много цветов... Гроб от самой земли засыпан полевыми цветами. Но еще больше народу, не одна тысяча людей собралась проводить покойницу в могилу, царскую любимицу.

Цветы и солнце, яркое, все еще горячее. Оно согревало своими лучами восковое похолодевшее лицо лежавшего во гробе мертвеца, восковую исхудавшую детскую руку с зажатым лазоревым цветком. Как знать, может быть, маленькой покойнице было приятно погреться на солнышке последний раз и чрез сомкнутые ввалившиеся веки в последний раз взглянуть на пылающее в синеве небес великое паникадило. И вот побелевшие губы девочки Акулечки под угревным солнцем как будто чуть-чуть заулыбались. Нет, это игра блуждающих, неверных светотеней. Нет, нет... Кровь в ее жилах навсегда остановилась, и улыбка на устах – простой обман: смерть припечатала своей неотвратимой печатью и глаза и губы. Вот она, благая смерть!.. В золотистой с багрянцем длинной мантии, с лицом бледным и вдохновенным, с глазами широкими, излучающими таинственный свет вечности, она стоит, словно в сказке, в изголовье розового гроба, опершись на косу с отточенным лезвием. Возле нее кружатся с безмолвным щебетом невидимые ласточки. И никто из живых не видит ни благой сказочной смерти с лучами вечности в глазах, ни порхающих ласточек. Их, может быть, видит любившая сказки девочка Акулечка да еще пьяненький отец Иван, давнишний знакомец зеленого змия и прочей чертовщины. С криком, рыданием, воплем, едва держась на ногах, он продирался чрез толпу к гробу. Его схватили, унесли в дальние кусты и там связали. Он без передыху шумел, что обманет смерть, что сам ляжет в Акулькину могилу, а девчонка-сирота пуццей живет. В борьбе с вязавшими его людьми он ослабел, но все еще во всю мочь кричал: «Господи, побори борющиеся мя!» Однако его уgomонили. «Плотию уснув, яко мертв...» – лишившись последних сил и засыпая, мямлил он.

Светило яркое солнце, порхали бабочки. С востока на запад двигалось по небесной пустыне белое крылатое облако. А Нениле казалось, что это ниспосланный Богом по праведную детскую душеньку белый ангел.

Панихиду служил старый-старый иеромонах из соседнего захудалого монастыря. Борода у него древняя, брови древние, голос старый, а голубые глаза молодые, лучистые. Он в черной траурной ризе с серебряным позументом, на голове черный клобук, на ногах березовые лапти. Служил он не торопясь, величественно и строго. Хор из двадцати казаков с Пустобаевым пел складно. Когда иеромонах, взмахивая кадиллом и устремив взор к белому облачку на синем небе, стал возглашать: «Со святыми упокой, Господи, душу новопреставленной рабы твоя, отроковицы Акулины, и сотвори ей вечную память», – весь народ вместе с царем-батюшкой опустился на колени и трижды во всю грудь пропел: «Вечная па-а-амьять».

Люди плакали. И не оттого только плакали, что жаль было девочку Акулечку, а заодно с ней где-то покинутых чад своих, а плакали потому, что вот пришла какая-то вещая минута, и все, все до единого, и атаманы, и монах-старик, и офицер Горбатов, вместе с царем-батюшкой, – все, все, как один человек, опустились на колени. И душевные родники сами собой у всех разверзлись... Что-то будет, какая судьба-участь ждет каждого?!

Когда гроб опустили в землю, начальник артиллерии Чумаков махнул платком: одна за другой грянули три пушки. На могиле поставили большой крест с надписью: «Здесь лежит всеми любимая девочка Акулина, без роду, без племени. Умерла в августе 1774 года, в армии государя Петра Третьего, при походе».

Этот холм под двумя старыми липами народ назвал «Акулькина могила».

– Вот больше и нет у нас Акулечки, – вздохнув, сказал Пугачев и скоротился. – Сникла, как цветик на морозе...

И впервые за весь путь он вспомнил с беспокойством о своем Трошке, вспомнил и подумал: «Надо бы

приглядеть за мальчонкой...»

Люди все еще продолжали стоять с опущенными головами. Затем начали молча расходиться.

В своем крестном пути от Оренбурга, через Башкирию, Казань, Саратов и другие города русский мятежный люд оставил при дорогах неисчислимое множество могил с крестами. То поистине был путь к мужицкой Голгофе – крестный путь!

Прошло время, кресты сгнили, могилы поросли бурьяном, сровнялись с землей и затерялись. И только «Акулькина могила» долго еще бытовала в памяти народной, как приметное урочище, как скорбная веха на большой дороге мужицкого царя.

4

В начале 1774 года Саратов почти весь выгорел и только с лета стал постепенно застраиваться. Большинство населения жило в землянках, в шалашах. Саратов – крупнейший город Астраханской губернии, в нем насчитывалось более 7000 жителей. Он расположен в котловине между тремя сопками, обходящими город полукругом. С севера над городом возвышается шихан, или гора Соколова, – около восьмидесяти сажен высоты. С юго-запада – меловая гора Лысая и далее – гора Алтынная.

Чтоб руководить новой распланировкой города, в Саратов прибыл астраханский губернатор генерал Кречетников. Кроме распланировки, у него было намерение привести Саратов в боевую готовность на тот случай, если б «злодейские толпы» метнулись в эту сторону. Но из Сената от князя Вяземского было получено весьма запоздалое распоряжение возвращаться губернатору в Астрахань, так как угроза для Саратова совершенно миновала: Пугачев вдребезги разбит под крепостью Татищевой, а ныне за ним гоняется по всей Башкирии неустрашимый Михельсон.

Уезжая в Астрахань, Кречетников «все правление воинских дел по городу» поручил коменданту полковнику Бошняку. Таким образом, Бошняк назначался единственным распорядителем по укреплению города и начальником всех войск, в нем находящихся.

Вот тут-то и начались всякие пререкания между начальствующими лицами. Так, управляющий конторой опекунства иностранных поселенцев Ладыженский по всему Саратову кричал, что он первое лицо в городе, что он крайне обижен губернатором, который предпочитает ему Бошняка, что он, наконец, бывший бригадир, а ныне носит чин статского советника и ни в коей мере не считает себя обязанным подчиняться какому-то полковнику Бошняку.

А находившийся в Малыковке и вызванный в Саратов поручик Державин вообще-то никакого начальника над собой не признавал, кроме власти государыни Екатерины. Да и на самом-то деле, рассуждал он, со смертью главнокомандующего Бибикова не губернатор же Кречетников над ним, Державиным, начальник! Правда, несколько побаивался он генерал-майора Потемкина, сидевшего в Казани, страшноват ему был и новый главнокомандующий Петр Панин, сидевший в Москве. А какому-то захудалому коменданту Бошняку он волен только приказывать и ни в коем случае не подчиняться. И вот трое впряглись в воз и потянули его всяк в свою сторону.

Во второй половине июля докатилось до Саратова поразившее всех известие: Пугачев выжог Казань и перебрался на правый берег Волги.

И начальство и жители сразу повесили носы, все въяве представили себе грозившую городу опасность. Как быть, что делать?

24 июля состоялось военное совещание. Пришли к заключению, что обширно раскинувшийся Саратов, окруженный высокими холмами, не может быть укреплен вполне: не хватает ни времени, ни средств, да к тому же и воинской силы маловато, артиллерии и вовсе недостаточно – всего четырнадцать чугунных пушек, да и те на обгоревших при пожарище лафетах. Было вынесено довольно странное, ничем не подкрепленное постановление: самозванца к Саратову не допускать, а встретить его в поле и разбить. В случае же неудачи и чтоб было где воинским частям и жителям укрыться, устроить земляное укрепление вблизи города, на берегу Волги, там, где опекунские провиантские магазины с хранившимися в них 30 000 четвертей муки с овсом.

Ладыженский, как бывший инженер, запроектировал укрепление, а Бошняк обещал выслать на работу городских жителей. Поручик же Державин снова выехал в Малыковку, чтоб там собрать и

вооружить 1500 человек крестьян на помощь Саратову.

На третий день после военного совещания комендант Бошняк получил от князя Щербатова уведомление, что Пугачев трижды разбит Михельсоном и ныне он, с остатками своей толпы, удирает на переменных лошадях к Курмышу и Ядрину, за ним по пятам гонится граф Меллин и другие военачальники, а посему «городу Саратову опасности быть не может».

И в тот же день было получено из города Пензы другое ошеломляющее известие, находящееся в полном противоречии с уведомлением князя Щербатова: «Пугачев с толпой в 2000 человек приближается к Алатырю», то есть, в общем, держит путь на Саратов.

Кому же верить: князю ли Щербатову или пензенской провинциальной канцелярии? Бошняк поверил князю и до выяснения обстоятельств прекратил меры по укреплению города. Статский советник Ладыженский, возмущаясь беспечностью Бошняка, велел своему сподручному чиновнику Свербееву вызвать Державина из Малыковки в Саратов. «Эти пречестные усы (Бошняк), – писал Свербеев Державину, – обеззаботили всех нас своим упрямством. На заседании некоторые с пристойностью помолчали, иные пошумели, а мы, будучи зрителями, послушали и, пожелав друг другу покойной ночи, разошлись, и тем спектакль кончился. Приезжай, братец, поскорее и нагони на него страх!»

Желая сохранить за собой мнение, как о человеке влиятельном, поручик Державин немедленно выехал в Саратов «наводить страх». Но страх и без того навис над городом и начальством: было получено известие, что Пугачев занял Саранск, находившийся всего в трехстах верстах от Саратова, и что силы его огромны.

Начался кавардак, суетня, а между начальством обоюдные упреки, свара, перепалка. Одно за другим возникали заседания с недоговоренностью, противоречивыми постановлениями, бранью и угрозами. Рыжий, воинственного вида Бошняк, поддерживая огромные, ниспадавшие на грудь усы, настаивал, что оставить город без защиты он не может, потому что «церкви Божии будут обнажены, к тому же острог с колодниками и немалое число вина останется на расхищение злодеям». Тучный, коротенький Ладыженский, оправляя круглые большие очки на маленьком носу и седой парик, доказывал, что город защищать не стоит, так как почти все строения истреблены пожаром, и возобновлять городской вал не позволяет время. Ладыженского поддерживали и его клеветы. Задирчиво вел себя, потрясая шашкой, и Державин.

– Мы думаем сделать укрепление внутри города, чтоб укрыть в нем собор, женский монастырь, Никольскую и Казанскую церкви, воеводскую канцелярию с острогом, дом соляной конторы и винные погреба, – говорил Ладыженский, ссутулившись и упираясь в стол мясистыми кулаками. – Я, как бывший инженерный бригадир, составил сему укреплению прожект.

– А я ваш прожект и смотреть не стану, – возразил Бошняк, топорща длинные усы. – В военном отношении он сущий вздор: тогда пришлось бы сломать многие дома, дабы удобнее по неприятелю пальбу производить. И вашего прожекта я утверждать не намерен.

– Вот что, почтеннейший господин полковник, – снова поднялся тучный, низкорослый Ладыженский и, запыхтев, сбросил на стол круглые очки. – Я не могу надивиться вашему упрямству. Вы возмечтали, что вы комендант, но вы вовсе не комендант, ибо коменданты ставятся только в крепостях, а Саратов не есть крепость. И по вашей должности вы никому не имеете права делать приказаний, кроме батальонных солдат. Сие и прошу принять в память. Во всяком разе начальник здесь не вы, а я!

Бошняк завертел во все стороны рыжей, гладко причесанной головой и не успел рта открыть для возражения, как на него напустился Державин:

– Если его превосходительство астраханский губернатор Кречетников, отъезжая отсюда, не дал вам знать, с чем я прислан в сторону сию, – проговорил молодой задира, – то имею честь вашему благородию

объявить, что я прислан сюда от имени покойного генерал-аншефа Александра Ильича Бибикова, вследствие именного ея величества высочайшего повеления по Секретной комиссии, и предписано по моим требованиям исполнять все. Все! – выкрикнул Державин, облизывая губы и широко распахнув глаза.

Не удостоив Державина даже взглядом, обращаясь только к Ладыженскому, Бошняк спокойным голосом сказал:

– Предполагаемое вами укрепление провиантских магазинов не имеет цели: ведь туда, за дальностью расстояния от города, трудно перевезти и собрать имущество жителей. А гораздо сподручней было бы перенести укрепление на Московскую дорогу, оно находилось бы как раз на прямом пути наступления мятежников.

– Нет-с, Иван Константинович, – ответил Ладыженский коменданту Бошняку. – Разговоры наши кончены, и я не дам вам из своего ведомства ни своих команд, ни мастеровых для исправления пушек.

Обескураженный Бошняк направился домой и нашел там предписание губернатора Кречетникова, где вновь требовалось от Бошняка, чтобы он в качестве коменданта взял на себя оборону города: «К чему находящихся тамо во всех командах воинских людей собрав, употребить на защищение и отпор в случае нападения, а именно: всех состоящих при опекунской и соляной конторах казаков истребовать, несмотря ни на какие отговорки, чтобы все они отданы были в команду и распоряжение ваше». Кречетников приказывал ордер этот секретно показать Ладыженскому и начальнику соляной конторы, дабы они не имели права чинить Бошняку каких-либо препятствий. Державин же в бумаге совершенно не упоминался, как чин второстепенный и прямого касательства к обороне Саратова не имеющий.

В тот же день Бошняк поехал к Ладыженскому, где сидел и Державин с начальником соляной конторы. Раздеваясь в прихожей, он слышал из-за дверей громкий голос Державина:

– Эх, уж эти мне пречестные усы! Я на вашем месте, господин Ладыженский, не постеснялся бы арестовать его...

После объяснения с Бошняком Ладыженский согласился осмотреть избранные комендантом места для укрепления. Бошняк повторил требование передачи ему всех команд и присылки двадцати артиллеристов, но Ладыженский это отклонил, заявив, что он с опекунской конторой «у губернатора не под властью». Бошняк после такого афронта со стороны Ладыженского был совершенно обескуражен: город покидался беззащитным. Что же оставалось делать Бошняку? Ему оставалось плюнуть в кулак и ударить этого толстого битюга по физиономии. Но Бошняк сдержался. А тут еще за чаепитием, которое устроил Ладыженский, на незадачливого Бошняка наскочили приглашенные.

После этого «дружеского» чаепития Бошняк ретировался к себе и (2 августа) описал положение дел Кречетникову. «Державин и другие, – доносил Бошняк, – всячески, ругательными и весьма бесчестными словами поносили и бранили, а он, г. Державин, намерялся меня, яко совсем, по их мнению, осужденного, арестовать, в чем я, при теперешнем весьма нужном случае, ваше превосходительство, и не утруждаю, а после буду просить должной по законам сатисфакции».

Бошняк вынужден был от всех склочных дел себя самоустранить, а на его место, по собственному хотению, вступил предприимчивый Державин. Он собрал купцов, явился к ним в магистрат и потребовал, чтоб немедленно было приступлено к постройке укрепления и чтоб высланы были на работу все без исключения трудоспособные. Он призывал защищаться до последней капли крови и грозил, что если кто окажет малодушие, тот будет, как изменник, скован и отправлен в Секретную комиссию. Перепуганное купечество дало подписку, что за измену они сами себя обрекают на смертную казнь. Подписал эту бумагу и первостатейный купец Федор Кобяков, впоследствии сыгравший при занятии Пугачевым Саратова виднейшую роль. Независимо от этого Ладыженский пригласил к себе, тайком от Бошняка, пять

подчиненных коменданту офицеров. Руководимые Ладыженским и Державиным, они наспех выработали и подписали особое постановление. В нем говорилось о том, что немедленно нужно приступить к устройству укрепления только возле конторских магазинов, а не распространяя его на другие части города, как это предполагал Бошняк, ибо оборонять город по широкому фронту невозможно – упущено время и нет достаточного числа команды и орудий. Тут же отмечалось, что Ладыженский, будучи в чине бригадира, в распоряжении Бошняка состоять не может. Далее – коль скоро замечено будет приближение к городу злодеев, то, оставя в том укреплении небольшое число военных людей, с прочей командой идти навстречу злодеям и стараться разбить и переловить их. В следующем пункте постановления поручалось артиллерии майору Семанжу привести в боевую готовность все пушки и расставить их по батареям. «В рассуждении же того, чтобы помянутые злодеи не покусились прокрасться Волгою, коменданту приказать, в случае близости злодеев к городу, стоящие во множестве суда затопить или сжечь, а на берегу сделать батареи». В постановлении еще значилось несколько второстепенных пунктов.

Бошняк не принял это постановление и донес о том Кречетникову. Его взорвало выражение «коменданту приказать». В ответ на подобный захват власти Ладыженским самое лучшее, что мог бы предпринять Бошняк, – это немедленно арестовать Ладыженского, а может быть, по военному времени, даже и повесить, а власть взять в свои руки. Но Бошняк на подобный поступок не решился, он только внешним видом походил на старинного разбойника, на самом же деле нраву был тихого, к тому же, кроме «всечестных усов», он ничем не обладал, у Ладыженского же была немалая заручка в Петербурге и порядочное именье под Костромой. Так ли, сяк ли, но дело с обороной продолжало оставаться в плачевном состоянии. Если б поблизости находился главнокомандующий Панин, немедленно было бы учреждено единовластие и все сверчки разлетелись бы по своим шесткам, но Панин все еще барствовал в Москве. Бошняк все же тужился, как находил нужным, делать свое дело. Державин немедля сообщил в Казань Потемкину о том, что много труда и хлопот положил он в борьбе с комендантом Бошняком, но что «теперь все привел в подобающий порядок». Бошняк же, чтоб сбить спесь Державину, тем временем послал ему копию полученного письма губернатора Кречетникова, в коем, между прочим, тот предписывал «объявить Державину, чтоб он оставил Саратов и пребывал на Иргизе, в Малыковке, неподвижным»^[65].

Впоследствии, когда Пугачев разгромил Саратов и ушел дальше, была получена Державиным от Потемкина из Казани бумага, где между прочим Потемкин писал: «К крайнему оскорблению, из вашего рапорта вижу, что саратовский комендант Бошняк, забывая свой долг, не только не вспомоществует благому учреждению вашему к охранению Саратова, но и препятствует укреплять оный: того дня объявите ему, что я именем ея императорского величества объявляю, что ежели он что-либо упустит к восприятию мер должных... тогда я данною мне властью от ея величества по всем строгим законам учиню над ним суд».

Эта взбалмошная попытка недалекого человека ввязываться в несвойственные административно-военные дела неподвластного ему отдаленного края лишний раз показывает, до какой степени истрепались к тому времени колеса государственного механизма. Почти всюду наблюдалось среди ответственных чиновников отсутствие сознания долга, превышение власти, вмешательство в чужие дела.

Конечно, все эти «недочеты механизма» были на руку пугачевскому движению. И Петр Панин, расправляясь впоследствии с приверженцами Пугачева, в первую голову должен был бы повесить казанского сатрапа Потемкина и ему подобных. А между тем, как мы видели, деятельность того же Потемкина была высоко оценена Екатериной: она скупила на много тысяч рублей все векселя промотавшегося картежника и препроводила их своему ставленнику в подарок, по окончании же смуты наградила его чинами, деньгами и землей с людьми.

Между тем укрепление города кое-как продолжалось. Люди, вооруженные лопатами, топорами, пилами, рыли землю, возили на тачках и телегах глину, известь, камни, мастерили деревянные рогатки, из мешков с мукой, овсом, известью складывали заграждения. Стояла жара. Водовозы ушатами развозили людям воду с Волги. Чернобровая молодая баба, напоминавшую оренбургскую Золотариху, торговала вразнос пирогами, копченой рыбой и осердием. Всюду выпирали из земли обгоревшие печные трубы, валялись обглоданные огнем бревна, головешки, пепел. На огородах шалаши – убежища погорельцев. Кой-где уцелевшие церкви, у одной из них опален купол, выбиты стекла, золоченый крест валяется поперек тропинки. На Соколовой горе степной ветродуй вздымает пыль вместе с блеклыми, преждевременно облетевшими от засухи листьями.

Работают люди по-казенному, с леностью, не на полную силу: позевывают, поплевают, почесываются, щурятся на солнце. Люди в душе знают, что все эти укрепления ни к чему: хоть ты тут каменную крепость выстрой, «батюшка» все равно заберет.

Купцы выслали своих приказчиков. От Федора Кобякова пришло четверо. Купец Кобяков – друг-приятель казанскому купцу Крохину, в бане у которого мылся Пугачев.

Кобяковский приказчик старик Яков Сергеич, копая землю, беззубо шамкает:

– Эх, напрасно это... Ни к чему... Одна канитель людям. Все равно Емельяну Иванычу, батюшке нашему, достанется...

– Да ты, Сергеич, сдурел? – набросились на него приказчики. – Какой же он Емельян Иваныч, когда он природный Петр Федорыч, третий император!

– Да будет вам лопотать-то!.. «Природный», «природный», – окрысился на них Сергеич и, сбросив на землю шляпу, отер рукавом выцветшей рубахи вспотевшую лысину. – Он природный и есть, только простой природы, мужичьей, наш он! От царя-косаря, от царицы-чечевицы... Вот он какой – батюшка! – не унимался Сергеич; в пустом рту его мелькали два больших желтых зуба, и бороденка была беленькая с прожелтью.

– Небылицу городишь, Яков Сергеич... Приснилось, что ли!

– Казаки сказывали!.. – бросил старик. – Намедни у хозяина по тайности два казака ночевали, ну так вот, по их розмыслу, батюшка-то наш – Пугачев Емельян Иваныч...

– Печалуешь ты нас, старик...

– Эх, вы, непутевые... Радоваться надо, а не кручиниться... Свой батюшка-то, заступник-то, а не немецкий выродок...

Вот если бы подобные речи принес волжский ветер в уши Емельяну Пугачеву! Сначала они испугали бы «батюшку» и поразили, затем сердце его наполнилось бы радостью. Крепко был бы рад этому и Андрей Горбатов, и кой-кто из пугачевских атаманов. Может быть, может быть... Эти слова не выдуманные, они действительно впервые прозвучали на Волге. Они еще кой-где прозвучат, они впоследствии найдут свой отзвук и в Москве.

И откуда взялись они? Эх, видно, не одна в поле дороженька разнесла их по России... Сверху, что ли, натрясло их, или вместе с яблоками и всяким злаком созрели они сами по себе? Врал старый приказчик, что слышал те слова от заезжих казаков. Правда, были казаки тайком в купеческом доме, но они толковали о том, что вот-вот сам государь Петр Федорыч пожалует в Саратов. А старика-приказчика словно шилом в бок: «Нет, это не Петр Федорыч, это сам Емельян Пугачев – мужицкий царь, как в царицыных манифестах преуказано», – подумал он.

Когда же стал он поусердней к народной молве приклоняться, то и сам опознал воочию, что и многие

из простолюдинов помышляют так же, как и он. Значит, попы долбили-долбили каждое воскресенье по церквам, вычитывая царицыны манифесты, да и додолбились: кой-кому начало влетать в голову, что, пожалуй, правильно в манифестах говорится: заступник-то народный, пожалуй, не Петр Федорыч, третий царь, а сам Емельян Пугачев, казак простой. Впрочем, такие помыслы были у немногих – раз, два и обчелся, но все же они стали в народе самостийно возникать. Будь здоров, Емельян Пугачев, мужицкий царь!

5

Уныние в Саратове не ослабевало. Горячий офицер Державин, чтоб взбодрить саратовцев и показать им «пример решимости», с шестью десятками донских казаков и с офицерами поскакал в Петровск, навстречу Пугачеву.

Но мы уже видели, что экспедиция эта закончилась плачевно: почти все казаки передались «злодею Емельке», а Державин ускакал от погони. В четыре часа утра 5 августа примчался он со спутниками в Саратов и объявил, что Петровск занят Пугачевым, а донцы изменили.

Это известие повергло жителей в крайнее замешательство. Многие бросились в бегство, иные начали грузить свое имущество на баржи, чтоб спуститься подобру-поздорову вниз по Волге. Но владельцев барж было очень мало, и почти все суда были взяты у купцов правительственными учреждениями, началась спешная погрузка канцелярских дел, денег, имущества.

Но главный саратовский герой Ладыженский проявил расторопность наибольшую: он захватил судно с еще не разгруженной купеческой мукою, в первую голову погрузил не казенное, а свое личное добро, вплоть до сковородников и кочерги, 15 000 рублей казенных денег и часть дел конторы опекунства иностранных. Для погрузки же архива и казенного имущества лишь к вечеру была едва-едва отыскана «посудина». За отсутствием лошадей все перетаскивалось на руках, и работы были окончены пред самым появлением пугачевских отрядов в виду города. Полковник Бошняк также отправил на судно главнейшие дела и денежную казну в 52 000 рублей, поручив охранение всего этого поручику Алексееву.

Началась спешная расстановка малочисленных воинских сил. Бошняк вывел саратовский батальон за сделанный пред городом вал и окружил укрепление рогатками. Ладыженский и Державин все еще пытались склонить его идти со всеми силами навстречу Пугачеву. Бошняк их предложения не принял.

– Ежели желаете, командуйте сами, а я совершенно устрою себя. Либо подчиняйтесь мне!

– За Пугачевым, – заявил Державин, – гонятся преследующие его отряды. Чрез два-три дня они настигнут мятежников. Нам бы только на это время позадержать злодеев пред городом. А для сего надлежало бы накидать грудной вал из кулей муки и извести и при содействии пушек отсиживаться в нем...

– Извините, поручик, теперь заниматься этим поздно, – возразил сухо Бошняк.

Тогда Ладыженский – все тот же Ладыженский! – приказал артиллерии майору Семанжу выступить с фузилерной ротой против мятежников и стараться до Саратова их не допустить, в случае же неудачи отступить, присоединиться к Бошняку и действовать совместно с ним.

Семанж выступил с отрядом в четыреста человек, прошел около трех верст и, остановившись, выслал вперед разъезды волжских казаков под начальством есаула Татарина. Позади Семанжа, возле самого города, пред московскими воротами находился полковник Бошняк с тридцатью офицерами и ста восьмьюдесятью рядовыми саратовского батальона. А между Бошняком и Соколовой горой стояла плохо вооруженная толпа сотни в полторы разночинцев, собранных купечеством.

Ночь прошла спокойно, а наутро 6 августа Бошняк узнал, что Ладыженский ночью сел на баржу и отплыл вниз по Волге. Что же касается Державина, то и он, поняв всю бессмысленность при сложившейся обстановке защиты Саратова, ускакал из города. К тому же за час до этого он получил из села Чердынь, где находилось его ополчение, известие, что собранные им в помощь Саратову полтысячи человек крестьян подняли волнение.

И только теперь Бошняк остался единственным распорядителем по защите города.

Невдалеке от Саратова, на привале, Пугачев вспомнил, что плененные им под Петровском донцы не приведены к присяге. Он велел скликать сначала сотника Мелехова. Он подал ему золоченую медаль, установленную за франкфуртское сражение, и сказал:

– Жалуют тебя Бог и государь, служи верно!

Мелехов взял медаль и поцеловал руку Пугачева. Были пожалованы медалями и хорунжие. Затем всех донцов привели к присяге пред образом в медных складнях и тотчас выдали месячное жалованье по двенадцать рублей, а начальствующим лицам по двадцать рублей. Казаки остались довольны.

На заре 6 августа пугачевская армия, в количестве от четырех до пяти тысяч человек, начала приближаться к Саратову. Часть их шла по Московской дороге, а другая часть двинулась на Соколову гору.

Бошняк выслал вперед саратовских казаков и приказал им стараться забирать в плен мелкие передовые партии мятежников. Казаки поехали на Соколову гору и после встречи с пугачевцами почти все там остались. Два вернувшихся казака объявили, что «государевы» командиры требуют доверенного человека для переговоров.

Эта весть, как на крыльях птицы, быстро облетела и защитников и жителей. Меж тем с Соколовой горы ударили по городу восемь пушек. До укрепленного района, где Бошняк, долетело лишь одно ядро. И все ж таки среди защитников началось смятение. Жители, мещанство и в особенности купечество, хоронившиеся возле торговых каменных рядов, точно так же заколебались, и как-то сам собой возник вопрос: «На защищение надежды мало, так уж не лучше ли загодя сдаться на милость мятежников, а то хуже будет». После краткого совещания, под гром пугачевских пушек, ратман и есаул саратовских казаков Винокуров обратились к купцу Кобякову:

– Федор Елисеич, не пострашись, съезди в стан да узнай, для каких переговоров требуют туда человека.

Кобяков, бравый, средних лет купец, с рыжей бородой и горбатым носом, попрощался с заплаканной женой, сыном и со всем людом, сел верхом на коня, перекрестился двуперстием и поехал на Соколову гору. И лишь только остановился там и собрал возле себя толпу мятежников, как Бошняк приказал открыть огонь по кучке народу возле Кобякова. Оставшееся купечество вознегодовало на действия Бошняка. Бургомистр Матвей Протопопов вскочил на лошадь, помчался к Бошняку.

– Батюшка, ваше высокоблагородие, – стал купец выговаривать ему. – Да ведь ты своими выстрелами лучшего нашего купца изничтожишь. Одумайся!..

– А что же, любоваться мне на изменников?!

Тем временем Кобяков, окруженный казаками, поехал в стан Пугачева, что верстах в трех от города, в зимовье саратовского колониста.

Пугачев сидел в саду, в холодке, ел яблоко. Кобякову показался он грозным. Купец упал на колени.

– Ты что за человек? – спросил Пугачев. – Встань.

– Ваше величество, я саратовский купец Кобяков. Город прислал меня к вашей милости за манифестом. Жители хотят под вашей рукой быть и служить вам, а манифеста нет...

– Дубровский! – закричал Пугачев. И когда секретарь, поспешая к государю, выскочил в окно из дома, Пугачев раздраженно сказал ему: – Как это так, Дубровский, в Саратове моего императорского манифеста нет? Вот жалуется человек.

– Был манифест послан, ваше величество, – ответил секретарь. – И не один...

– Может, и был, – сказал Кобяков, – да не в наши руки попал он. Начальство завладело им.

– Сколько у вас там солдатства-то и кто командир, Бошняк, что ли?

– Бошняк, ваше величество, – проговорил купец. – А воинской силы мало, да и та в колебании...

– Вот видишь... А у меня сейчас пять тысяч, а завтра и все десять будут... Так и скажи там. А Бошняка поймать надо да голову срубить... На, возьми манифест, казачьему есаулу Винокурову отдай... Иди. Слышь-ка, у тебя баньки нет, купеческой?

– Была, ваше величество, – тряхнул рыжей бородой купец, – была, да пожар слизнул.

– Жалко. А то я с самой Казани веничком-то не хвостался... Вот банька была у купца Крохина, отдай все, да и мало.

Крупное лицо купца растеклось в улыбку, меж рыжими усами и бородой сверкнули белые зубы, он сказал:

– Первейший дружище мой, Крохин-то Иван Васильич... Самый закадычный.

– О-о, ишь ты, – прищурил правый глаз Емельян Иваныч. – Ну, иди с Богом.

И только он ушел, ввалились в сад посланцы от трехсот бурлаков.

А в это время купец Кобяков, держа над головой бумагу с манифестом, подъезжал к окраинам города. Навстречу ему скакал с тремя казаками Бошняк, огромные усы его развевались по ветру.

– Что это у вас? Давайте сюда! – Он выхватил бумагу из рук Кобякова, соскочил с седла, мельком взглянул в манифест, тотчас в клочья разорвал его. – Крамола-а-а!.. Крамола-а-а!..

Набежавшие купцы и мещане заявили Бошняку, что они драться не будут, а пойдут всяк в свое жительство.

Тем временем Кобяков, пользуясь замешательством, объезжал ряды солдат и с коня кричал им:

– Эй, служивые! Себя поберегите! Да и нас такожде. У батюшки сила-а-а!

– Арестовать крамольника!.. Арестовать! – голосил подоспевший Бошняк.

Но его уже никто не слушал: обстрел города произвел переполох и всеобщую сумятицу. Жители сначала в одиночку, а затем и толпами начали перебегать в лагерь пугачевцев.

Вскоре, побросав свои посты, двинулись сдаваться в плен и воинские части. Прапорщик Соснин, находившийся на крайней батарее Бошняка, вместе с двенадцатью канонирами и прислугою бросил свою батарею и направился к городским воротам.

– Эй! – кричал он городничему. – Живо отворяй ворота! Иначе в куски изрубим.

Но ворота уже и без того трещали: в них ломилась мятежная толпа. Ворота рухнули, часть пугачевцев кинулась по улицам. Соснин привел команду в стан Пугачева, всем фронтом отдал ему честь, опустился на колени и, принимая его за истинного Петра III, передал ему свое оружие.

Видя появившихся в городе пугачевцев, все бывшие за укреплениями разночинцы и пехотные солдаты, а вслед за ними и триста шестьдесят человек нижних чинов под начальством двух офицеров и под предлогом вылазки устремились к Соколовой горе и там тотчас передались мятежникам.

Наблюдая почти поголовное бегство на Соколову гору, Бошняк приходил в негодование. Усищи его обвисли, лицо позеленело.

– Пожалуйте! Кругом измена!.. Бегут, как бараны!.. – кричал он. Ему было видно, как со всех мест устремяются в стан неприятеля и защитники и жители: бегут торговки, пирожницы с лотками на головах, с

кринками молока, с кошельками, набитыми всякой снедью, бегут мальчишки, девчонки, семяны, подпираясь батогами, старики.

Бошняк приказал командиру саратовского батальона Салманову построить солдат в каре и отступить к Волге. Но вместо отступления майор Салманов командовал солдатам:

– По рядам налево! – и повел батальон на Соколову гору.

– Мерзавец! – заорал ему в спину Бошняк и от негодования затрясся. Около трехсот солдат, побросав ружья, двинулись с барабанным боем за своим командиром. Салманов [66] точно так же был совершенно уверен, что ведет солдат не к самозванцу, а к царю. Придя в ставку, он и его батальон опустили на колени. Тут же находилась и рота прапорщика Соснина.

– Пленные, ступайте в лагерь. Там будет учинена вам присяга, – сказал Пугачев солдатам и велел наградить их деньгами.

При Бошняке остались лишь двадцать шесть офицеров и горсть солдат. Он приказал оторвать полотнища знамен от древков и спрятал их. Остатки отряда во главе с Бошняком кой-как пробились глухими местами чрез разьезды пугачевцев и спешно стали отступать по дороге к Царицыну. Пугачевцы, спохватившись, преследовали их до глубокой тьмы. В деревне Несветаевке отряд сел на лодки и 11 августа прибыл в Царицын.

Между тем воинство Пугачева растеклось по всему городу. Они освободили арестантов, взломали винные погреба, предались пьянству. Казенные и купеческие дома подверглись разграблению, обороняющихся умерщвляли. По улицам валялись мертвые тела. Гостиный двор, лавки, богатые дома и церкви были обобраны, все ценное уносилось на Соколову гору. Там было поставлено несколько виселиц, на них вешали правого и виноватого, мужчин и женщин, мещан, священников, купцов, колонистов, бурлаков. Особенно свирепствовали получившие свободу арестанты.

К позднему вечеру страсти разгулялись вовсю, начались поджоги, кой-где запылали пожары. И не было возможности остановить потока накопившихся в народе мстительных порывов. Толпой были избиты есаул и два хорунжих, высланных Овчинниковым для утишения пьяной завирухи. Все гудело кругом, гуляли огни пожарищ, раздавались выстрелы, неистовые крики, пьяная – во всю ивановскую – песня, похожая на сплошной рев. Большинство населения привалило на Соколову гору, где у ставки Пугачева подгулявшие священники приводили народ к присяге. Тут же пугачевские командиры всем годным на государеву службу стригли по-казацки в кружало волосы.

Темная ночь и проливной дождь положили конец гульбе.

Наутро наступил некоторый порядок. Пугачев в окружении яицких казаков приехал в город и в соборной церкви приводил жителей к присяге. Он приказал открыть амбары и соляные склады и выдавать народу хлеб и соль безденежно. На обратном пути в ставку к нему подъехал некий хорошо одетый пожилой всадник с пегими усами, снял шапку, низко поклонился и сказал:

– Царь-отец! Поприсмотрись-ка ко мне, батюшка. Я торговый Уфимцев, роду казацкого... Помнишь ли, когда шел ты от Яика к Оренбургу, близко году тому назад, повстречал меня, а я гнал втапору триста лошадей. Ты, ваше величество, сторговал их у меня за три тысячи пятьсот рубликов, я, конечно, отдал, а расчету с тебя не получил. Может, батюшка, вспомнишь да отдашь? – несмело закончил казак Уфимцев и надел шапку.

Присмотревшись к нему, Пугачев сказал:

– Справедливо говоришь. Помню, помню! Я тогда не при деньгах был. – И обратясь к своим свитским: – Слышь, Дубровский, да и ты, мой друг Горбатов, как приедем в лагерь, выдай ему медяками три тысячи

пятьсот. На-ка, Горбатов, от казны ключ тебе. А не четыре ли тысячи, Уфимцев, денег-то за мной...

– Нет, надежа-государь, три тысячи пятьсот, как одна копейка...

– Ты тутошный?

– Здешний, ваше величество... Дом справный был, да погорел. Живем теперича с двумя сынами в амбаре, старший-то сын женат, младший в парнях ходит.

Пугачев тут же на ходу назначил его на место Бошняка саратовским комендантом, старшего сына произвел в полковники, младшего определил в свою армию казаком.

– И чтоб сей же день явились ко мне в ставку!

По армии с утра производилось усиленное учение. Пугачевцы забрали в Саратове более тысячи ружей, много пороху, пять медных пушек – знай стреляй! Крестьяне под руководством опытных казаков занимались учебой весьма охотно и с немалым успехом.

На следующий день Емельян Иваныч приехал со своими ближними к Троицкой церкви, там было спрятано Ладыженским двадцать шесть тысяч рублей денег медною монетою. Все деньги, а также двадцать тысяч кулей муки с овсом приказано было грузить на подводы.

Подошла толпа бурлаков. Кланяясь государю, они доложили, что ими захвачен на Волге баркас с господским имуществом.

– Осмотри, батюшка, а пожитки прими...

Пугачев спустился к воде и прошел на «посудину». Бурлаки предъявили пять бочонков медных денег, большой сундук с серебряной посудой, два сундука с богатой срядой. Осмотрев вещи, Пугачев запер сундуки, опечатал их своей государевой печатью, велел судну подвигаться вниз вслед за армией. А три ключа от сундуков, широко размахнувшись, бросил при всем народе в воду. Мальчишки тотчас скинули с себя рубахи и порточки и, в надежде овладеть ключами, принялись нырять.

9 августа армия двинулась походом дальше. Пугачев с атаманами замешкались. Батюшку снаряжали в поход Ненила и красавица Анфиса. Одевали его в простое платье. Атаманы толкались возле, молодецкато крутили усы, сверкали на Анфису глазами, но девушка была сумрачная и печальная – ей начхать на всех атаманов да, пожалуй, и на «батюшку», она искала взором статного Горбатова и не находила его. Ох, уж этот недотрога офицер, никакими бабьими чарами его не купишь, он бежит от нее, как монах от нечистой силы. Вареная рыбина какая-то, а не военный кавалер. Видно, другую в сердце носит. А ведь Анфиса-то не какой-нибудь обсевок в поле, на нее, бывало, сам сынок Крохина, казанского купца, заглядывался. Эх, замест души спасения, видно, гибнуть Анфисе, в кромешном огне гореть. Господи, спаси и помилуй сироту.

– А где Горбатов? – спросил Емельян Иваныч, надевая через плечо саблю.

Андрей Горбатов в это время стоял на берегу Волги, досматривал, чтоб все средние и малые «посудины», нагруженные армейским имуществом, были как следует оснащены и не замедлили спускаться вниз, к Царицыну.

Саженьях в ста от берега держалась на якоре небольшая баржа. На ее верхней палубе стояла кучка женщин. Они громко кричали, стирали к берегу руки, махали шальями, фартуками. От баржи к берегу плыл на лодке бородатый казак с винтовкой за плечами. Его лодку течением снесло, он причалил ее к берегу и побежал к идущему ему навстречу – конь в поводу – Горбатову.

– Господин начальник, – сказал казак, видя на левом рукаве Горбатова широкие позументные нашивки. – Я эвот с той баржи. Мы с Казани сено, овес, крупу с мукой плавим, по деревням собирали, у

помещиков.

– Кто это – мы? – спросил Горбатов.

– Как кто? Слуги царские. Нас семеро: вот я – казак, достальные – суконщики казанские да четыре бурлака, они и купеческую баржонку с продохтой из Казани увели. На ней и плывем мы. Опричь того, нам мужики сдали с рук на руки шесть девок, помещичьи дочки, дворянки, стало быть, либо сродственницы. А одну мы от рыбака отобрали, рыбак плавил ее на понизово, из благородных она тоже и собой приятненькая, все плачет, все плачет. Мы недавно приплылись. Женщины просятся на берег, чтоб, значит, батюшку увидеть, чтоб слободил их, значит, на волю. Они подаваться в Москву хотят, женские-то.

– Побудь тут, я сейчас, – сказал Горбатов и стал садиться на коня.

С баржи снова поднялся неистовый крик и рев. Женщины кричали пронзительно. Горбатов сделал руку козырьком, чтоб защитить глаза от пламенного солнца, спустившегося к закату как раз позади баржи, и, ослепленный солнечным сиянием, не мог как следует разглядеть того, что творится на палубе. Там все погрузилось в густую тень. Зато весь правый берег Волги и сам Андрей Горбатов были с баржи ясно видны.

Даша Симонова сразу узнала своего дружка по его статной фигуре, движениям.

– Андрей! Андрей! – надрывалась она, но ее голос тонул в общем крике.

– Садись-ка и ты, казак, ко мне, – приказал Горбатов, – так дело управней будет.

Бородатый казак заскочил сзади Горбатова на его рослого коня, и вот они догнали Пугачева верстах в трех за Саратовом. Выслушав своего любимца, Пугачев сказал ему:

– Мне теперь, Горбатов, не до девок, не до дворянок! – Затем, подумав, кивнул казаку: – Иди в обрат, и вот тебе мое царское повеленье: дворянок плавить до Царицына и мне там представить. В дороге питать без отказа, обид не творить им, а иметь к ним береженье, никакой вины на них супротив меня нету. А караул держать. Ступай, казак.

Армия продолжала идти маршем, казак сел в лодку и поплыл к барже, а зоркие глаза Даши уже не нашли Горбатова на берегу. Ну что же это за напасть такая!.. Ведь вот почти рядом был, вот у той землянки с белой дверью. Неужели он не слышал ее отчаянного голоса, неужели не мог заметить ее среди других женщин? «Ведь я же видела его. Значит, он совсем отвернулся от меня, навек забыл свою Дашу». Ей и в мысль не приходило, что единственной причиной ее несчастья было солнце.

Узнав от казака царев приказ, девушки заплакали... Когда-то еще подплывут они к Царицыну, а пока что сиди с этими мужланами в неволе. Но... что за чудеса! Все грубости от караула разом прикончились, обхождение резко изменилось, и не стало к девушкам иного обращения, как «барышни».

Глотая слезы и вся в ознобе, Даша спросила казака:

– Не знаешь ли ты прозвище офицера, который тебя на лошадь посадил?

– Как не знать! Царь-государь говорил ему – Горбатов... Послушай, мол, Горбатов, господин...

– Так что ж ты не сказал Горбатову, что я родная сестра его! – схитрила Даша. Она боялась назвать себя Симоновой, не зная, как отнесся бы к этому казак.

– Ха! Смешная какая ты, ей-Богу, барышня. Кабы знамо да ведомо, я бы сказал ему...

– Ты не из Яицкого городка?

– Нет, мы из Илецкой защиты.

Солнце село, хвост армии пылил вдали, надежда свидеться с Андреем исчезла. Даша, вся опустошенная, спустилась в свой уголок, упала на сенник и закуталась в шаль с головою. На нее напало

тяжелое томление. Ей бы плакать надо, удариться в голос и кричать от душившего ее терзания. Но благодатных слез не было, и внутри как бы все застыло. Она уже перестала верить в добро и счастье на земле, в существование на небе Бога. Ежели Бог есть, так почему же он не хочет оказать Даше милость и как нарочно устраивает так, что Дашу всюду преследуют неудачи: была у нее подружка Устя, был Митя Николаев, и нет их; был Андрей, единственная верная любовь ее, и нет Андрея, может быть, не повидавшись с ней, он завтра же будет сражен пулей. Уж не мстят ли ей силы небесные, что сменила она путь спасения грешной души своей на зовы юного сердца и, рассорившись с матерью-игуменьей, с монастырскими сестрами, ринулась в поиски Андрея Горбатова?

Она перебирает в своей памяти бурную размолвку с гостеприимной женской обителью и тайный побег свой из монастыря на берег Волги, где ждали девушку два старых рыбака, чтобы сплавить ее вниз по течению и передать в руки другим рыбакам или устроить ее на какое-либо попутное суденышко – их множество в ту пору проплывало по Волге. В конце концов, имея при себе единственное богатство – небольшой зеленый сундучок с кой-каким тряпьем, – она сидит в большой лодке; баба и старик с парнем возили в Нижний Новгород арбузы, а теперь возвращаются к себе, в Камышин-город. И однажды перед утром, когда все четверо спали у костра на берегу, их поднял крик:

– Эй, вставай! Ты кто такая?

И вот Даша, как подозрительная личность, схваченная пугачевским отрядом, попала со своим зеленым сундучком на эту баржу. Такова судьба.

К Даше приставлен был на барже работник с суконной казанской фабрики Макар Сизых. Борода у него густая с проседью, коротко подстриженная, нос вздернут кверху, в разговоре несносно гнусит, глаза безбровые, но пристальные, нелюдимые. Он сибиряк, из байкальских казаков, много лет тому назад приехал с женой в Казань, чтоб дальше двинуться – в Москву, да в Казани и застрял. Жена его умерла, собственная хибарка сгорела, когда царь-государь город брал, детей у него нету, вот он и догоняет «батюшку», чтоб помочь ему – ничего не поделаешь, душа затосковала. «Иди да иди, Макар», – прямо в уши ему зудил невидимый человеческий голос, ну что ж, собрался в одночасье – и айда! За опояской у него пистолет с кинжалом, в углу на гвозде охотничье ружьишко, он устроился почти рядом с Дашей. У нее часто происходили разговоры с ним по душам.

– Ну а скажите, Макар Иванович, – начинала Даша, – вы верите, что батюшка победит?

– Кто, я? Ни в жизнь не верю... – отвечает тот. – Я доподлинно знаю, что государя разобьют. А пошто? Да потому что оруженье у него дрянь дрянью, а войско – сиволапое мужичье с кулаками. Вот теперь с турецкой войны уж-ко какие супротив него полки будут двинуты! Пороху понюхали достаточно. А у батюшки-то что?! Тьфу, можно сказать...

– Так зачем же вы, Макар Иванович, погубили себе ищите?

– Ах, барышня!.. Да говорю вам – душа требует. Вот повоюю сколько можно – ружье у меня есть, зверолов я первейший, – а как придет дело к неустойке, стрелача задам в Сибирь: дуй, не стой, дорога лугом!

– Вот и мы с женихом моим думали в Сибирь, – вспомнив свой казанский разговор с Горбатовым, раздумчиво говорит Даша. – Только что там делать-то?

– Ха! Милая вы моя барышня... В Сибири-то? Да ведь Сибирь край-то какой... Богатейший край!.. Там всего много и все дешево. И люди там супротив здешних другие. Верный народ, вольный!.. Ни помещиков, ни купчишек, шибко душевредных. А ежели начнет который даже забижать крестьян, у нас с ним расчет короток: нож в бок либо шкворнем по башке. Так они с нами-то дела ведут с оглядкой, а вот якутов с тунгусами да бурят шибко забижают. Бегите-ка, барышня, и вы в нашу Сибирь-матушку, безбедно со своим

нареченным проживете, благодарить меня будете.

Он вынул из плисовых штанов сверкач с огнивом, закурил трубку, стал обсказывать, как расчудесно можно прожить в каком-нибудь глухом углу в тайге, в кедровнике, да чтобы речка была. Тут тебе и росчисть можно сделать под хлеб да под огород, и двух коровушек с овечками завести, пасеку устроить. Осенью ягоды, орех поспеет, рыбы за лето наловите, знай живи – не тужи! Ежели хотите, и я могу с вами вместях, найду себе бабу, да и заживем вчетвером...

– Ах, это было бы чудесно! – В голосе Даши слышались и радость и печаль: она знала, что в жизни редко случается так, как об этом мечтаешь, жизнь поступает с человеком подчас жестоко и бессмысленно, у жизни свои, скрытые от людей законы.

Но так или иначе Даша несколько приободрилась и стала нетерпеливо поджидать встречи с Андреем.

Пугачев в пути был хмур и мрачен. Прав был атаман Овчинников, предрекая, что донские казаки, переметнувшись к государю, ненадежны. Так оно и вышло. Все шестьдесят казаков, вместе со своими начальниками, один по одному скрытно из армии бежали. Даже победа над Саратовом не смогла прилепить их к царской армии. Уж не встречались ли они с Пугачевым раньше, когда он был среди них простым казаком? Разумеется, могло быть и это...

– Не я ли тебе, Петр Федорыч, говорил, что утекот от нас казачишки-то? – говорил Овчинников.

– Правда твоя, Афанасьич, – ответил Пугачев атаману. – А уж я ли их не ублажал: и медалями наградил, и деньгами.

– Ничего, батюшка, не помогло, даже присягу тебе рушили. А почему? Да из богатеньких они, дорожки у них с нами разные.

– Нагадят нам в кашу, – уныло сказал Пугачев, – ужо-ко трепать языком учнут...

– Нагадят, ваше величество, нагадят.

В это время преследующие Пугачева отряды Муфеля и графа Меллина, боясь встретиться с пугачевцами в открытую, остановились в пятидесяти пяти верстах от Саратова, в деревне Крюковке. Узнав, что пугачевцы 9 августа покинули город, оба военачальника 11 августа вступили со своими отрядами в Саратов.

Муфель выгнал оставшихся в городе мятежников, многих из них публично повесил. Он приказал убитых самозванцем погребать по христианскому обряду, трупы же пугачевцев, «яко непотребных извергов, вытаща по земле за ноги за город, бросить в отдаленности в яму, прикрыв землю, повешенных же злодеев отнюдь не касаться, а оставить их на позор и показание зараженным и колеблющимся разумом людям».

14 августа пришел в Саратов полковник Михельсон, а вслед за ним приближался генерал Мансуров со своим отрядом.

Граф Панин, недовольный действиями Муфеля и Меллина, поручил Михельсону сделать им замечания, что они не подспели на помощь Саратову и, находясь вблизи мятежников, устрашились атаковать их.

Тем временем Пугачев, подаваясь на юг, полагал пробиться возле Царицына в узкий промежуток между Волгой и родным ему Доном. Он совсем недавно мечтал в ночное время на берегу речушки прийти на Дон, поднять казачество и, не мешкая, выступить походом на Москву. Но теперь этих мыслей у него не осталось и в помине. Он знал определенно, что по пятам за ним гонятся правительственные отряды, а

прилепившиеся к нему казаки-донцы коварно изменили ему, покинули его... Поэтому единственным желанием Пугачева было поднять, сколь возможно, силу донских казаков и не на Москву с ними двинуться, а на Кубань, чтобы перезимовать в тех местах. А что дальше делать – видно будет...

Вновь и вновь, по приказу Емельяна Иваныча, летели гонцы в глубь земель Войска донского с указами царя, в которых говорилось о «злодеях-дворянах», намеревающихся ввести по всей России гнусные немецкие обычаи, уничтожить вольность казачью и прочее.

Говоря о «борзых псах», преследующих его по приказу Екатерины, Пугачев с ненавистью перечислял своим атаманам немцев, стоящих во главе правительственных отрядов. Он начинал с Рейнсдорпа и кончал Муфелем.

– Рейнсдорпишка – раз, – говорил он, загибая палец на руке. – Брант – два... Кар, Грейман, Корф, Михельсон, Валленштерн... Пальцев на лапах не хватит, – сколько их, псов немецких! Вроде как ране, с Фридрихом ихним воюем...

Глава VI

Прохиндей. По следам царя. «Я – солдат». «Мужицкий царь». Заговор. Слово пастора

1

Долгополовская комиссия во главе с Галаховым и Руничем, оставив Рязань и Шацк, двигалась вперед с поспешностью.

Из официальных донесений комиссия узнала, что Пугачев со своей армией стремится к Саратову и уже подходит к крепости Петровской, а подполковник Михельсон, преследуя Пугачева, находится от него в ста верстах. Комиссия тотчас выехала в Арзамас, пытаясь догнать корпус Михельсона.

Проехали Арзамас, проехали Починки с казенным конным заводом. От воеводы узнали, что несколько дней тому назад завод был пугачевцами разбит, кони уведены в лагерь мятежников.

Вскоре комиссия прибыла в Саранск. Город был опустошен, частью выжжен. На соборной площади человек с полсотни жителей торговали в ларьках съестным. Прохиндей Долгополов с гусарами закупил на всю комиссию продуктов: молока, творогу, соленых рыжиков, до которых он сам был большой охотник.

– Ну и похозяйничали же тут у вас злодеи, – сказал он продавцу, расплачиваясь с ним и стараясь по вкоренившейся привычке обсчитать его.

– У-у-у, – затряс тот бородой, – что и было здесь-ка, что и было... Воеводу сказнили с товарищем да шестерых помещиков. Теперича от батюшки посажен у нас в Саранске свой воевода, однорукий. Мы промеж собой смеемся: мол, поди, он и хабару с нашего брата в два раза меньше будет брать, одной рукой-то.

– Ты про батюшку лучше помалкивай, приятель, – строго сказал ему Долгополов и пальцем погрозил. – А то у нас живо плетей получишь...

– Да ведь... по глупости это, господин хороший, – проговорил торгаш и вдруг запричитал вдогонку Долгополову:

– Стой! Эй, ты!.. Вернись! Слышь, двадцать две копейки недодал...

Но Долгополов, как ни в чем не бывало, окруженный гусарами, ходко шагал к своим экипажам.

Пред Галаховым стоял однорукий воевода в пестрядинном полушубке, опоясанный портупеею со шпагой. Он бывший подпоручик штатной команды.

– В городе Саранске, ваше высокоблагородие, все благополучно, – докладывал он. – Бывший воевода убит, а город предоставлен мне...

– Кто тебя назначил воеводой? – презрительно спросил Галахов.

Однорукий замялся, опустил голову, исподлобья посматривал в замешательстве на Галахова.

– Убирайся прочь! – крикнул на него Галахов. – И больше не смей называть себя воеводой... Прочь!

– Стыдись, сукин сын! – не стерпел бросить в спину пошагавшего пугачевского воеводы Долгополов.

И, обратясь к Галахову: – Вот, извольте подивиться, ваше высокоблагородие, какие подлецы на свете водятся. А еще бывший офицер... Ая-яй, ай-ай... Да такого не жаль и вздернуть.

Пока подкреплялись пищей да перепрягали лошадей, стало темнеть. Двинулись дальше в сумерках.

Долгополов важно восседал в тарантасе вместе с Руничем. Ржевский купчик еще в Москве сбросил с себя измызганное казацкое платье и вырядился с форсом, по-богачу: в суконной свитке и штанах, в опойковых сапогах со скрипом, а поверх, чтоб не запыхалась сряда, надевал он добротный пеньковый архалук. А что ему! У него за пазухой изрядный гаманец, набитый золотыми империалами, – подарок матушки царицы; узелок же с ценными вещами, что вручил ему князюшка Орлов, он в Москве с хорошим прибытком продал. Ну, ему покамест хватит. А впереди крупная, богатейшая получка! Только бы не сорвалось. «С нами Бог! – мысленно восклицает, полный упования, прохиндей. – Деньги ваши – будут наши. Не впервой!»

Не успели путники отъехать от Саранска и двадцати верст, как их захватила хмурая августовская ночь. Темно было. Временами вставало на горизонте далекое зарево, справа другое, слева третье. Огонь то разгорался, то стихал. С рассветом представилась путникам суровая картина опустошения. Казенных селений с государственными крестьянами было в этих местах очень мало, почти все села и деревни состояли в помещичьем владении, поэтому здесь порядочно-таки набедокурили восставшие. Жительства по тракту были пусты. В них оставались лишь старики да старухи с малыми ребятами. Все же остальное население, кто только мог сесть на коня, в телегу или добрым шагом идти пешком, вооружась косами, топорами, рогатинами, дубинками, присоединилось к армии «батюшки-заступника» и правилось вместе с нею.

Было время жатвы. Кругом ширились тучные, изобильные, с наливным колосом, поля и нивы, но жнецов не было видно... Разве-разве где покажется седая голова согнувшегося с серпом деда или промелькнет среди колосьев согбенная женщина в темном повойнике на голове. Работая через силу и видя одно лишь разорение, они льют пот и соленые слезы. А над их головами безмятежно звучит песня жаворонка, последняя песня пред отлетом в теплые края. Прощай, прощай, веселая птичка! И ты покинешь стариков...

По несжатым нивам топтался беспризорный всякий скот – коровы, овцы, свиньи, – рыл, уничтожал хлеб, довершая бедствие крестьянина. Печально скиталось множество лошадей, измученных, покрытых кровавыми язвами, в которых гнезилось гниение, копошились черви. Это изувеченные в битвах кони, брошенные армией Пугачева или воинскими частями преследователей его. Иные лошади скакали на трех ногах, поддерживая на весу перебитую в боях четвертую, иные валились на бок и, судорожно подергивая ногами, скалили рот, как бы прося у проезжих смерти. Галахов дал гусарам приказ пристреливать страдающих животных. Вот на обочине дороги вздувшаяся туша заседланного боевого коня, возле – труп всадника, левая нога вставлена в стремя.

– Эта башка татарская, вишь – гололобая! – закричал Долгополов, указывая пальцем.

А несколько подалее из помятых хлебов торчат три пары ног, обутых в лапти. Всюду смердящий дух по ветерку.

– Погоняй! – приказывает Рунич.

Попадались опрокинутые вверх колесами телеги, одноколки, переломленная коса валяется, топор, лапоть. В канаве лежит, как боров, чугунная, какая-то кургузая пушка без лафета. Опять труп – лицом вверх, руки раскинуты – русский бородач.

– Видать, работка господина Михельсона, – сказал Долгополов. – Работенка чистая! Добрую выволочку дал он сволочи этой!

Сухощекий, тщедушный Рунич спросил, высекая огонь и раскуривая трубку:

– Ну, а что, сам-то Пугачев храбрый, боевой?

– Хе-хе-хе! – закатился бараньим хохотом Остафий Долгополов. – Первостатейный трус...

– Да что вы, Остафий Трифоныч! – усомнился Рунич.

– Да уж поверьте, ваше благородие, – возразил ему Долгополов, и маленькие глазки его ушли под лоб. – Да ведь он, злодей, во все времена пьян. Как мало-мало шум, он либо на дерево и там отсидку делает, либо в нору сигает. Смехи!

– Позвольте, позвольте... А кто же восстание-то ведет? Ведь, Боже ж ты мой, сколько возмутители крепостей позабрали... Кто же это, как не Пугачев?

– Ха, кто! – воскликнул Долгополов. – Атаманы с есаулами, вот кто. Овчинников, Шигаев, еще этот изменник Падуров. Оный Падуров был даже член Большой комиссии, медаль на нем депутатская, вот какая сволочь... Ну, иным часом и я командовал, грешный человек. Осу – я брал, пригород Осу...

– Вы? – Рунич со строгостью взглянул на своего соседа.

Тот испугался, прикусил язык, верхняя губа его задержалась, сказал:

– Известно, какой я командир? А, бывало, как крикну: «По коням, молодцы!» Да как вскочат все на коней... Соберу это я казаков в круг: «Нам, молодцы, так и так с верными правительству войсками не сладить. Утекай полным маршем врассыпную, пушай Михельсон мужиков крошит...»

Рунич недоверчиво улыбался, искоса поглядывал на Долгополова, затем после молчания:

– Так как же он, пьяница и трус, армию-то в повиновении держит, Пугачев-то?

– Лютостью, ваше благородие, великой лютостью. Чуть что не по нем – в мешок да с камнем в воду. А был случай, он своего самого верного слугу Лысова – из-за девок спор вышел – приказал связать, раздеть-разуть да все двадцать пальцев самолично у него кинжалом отхватил с рук и ног. – Долгополов вприщур поглядел в хмурое лицо соседа, вздохнул и продолжал: – Да таких злодеев от сотворения мира не было... Прямо сатана из преисподней... Ой, ты! Видя от Пугачева одну лютость, я и подговорил атаманов – предать разбойника в руки правосудия. Он, висельник, и меня оскорблял не раз. Полбороды мне выдрал, ведь у меня борода окладистая была, и лик у меня был не то что степенный, а без хвастовства скажу – первостепенный. Куда полбороды, – почитай, всю бороду оторвал, каторжник, с мясом выдернул. Уж разрешите, ваше благородие, коль скоро схватим самозванца, я ему первый в морду дам. – И, помолчав немного, вкрадчиво спросил: – Ваше благородие, а деньги, что на поимку выданы в Москве, у кого находятся?

– У капитана Галахова.

– Целиком? Алибо часть у вас?

– А вам зачем это знать, Остафий Трифоныч?

– Как зачем, как зачем? – завертел шеей Долгополов и не знал, как половчее выкрутиться. – Мало ли что в дороге... Надо бы разделить, и я бы часть взял на сохранение. А то, оборони Бог, несчастье какое, вроде нападения... Всяко бывает, ваше благородие... Господи, спаси, Господи... – И Долгополов стал креститься по-раскольничьи, двуперстием.

– Вы, я вижу, Остафий Трифоныч, старозаветной веры придерживаетесь?

– А как же! Ведь у меня во Ржеве... то бишь... это, как его... У меня в Яицком городке и молеленка в доме имеется. Ведь мы, казаки, почитай, сплошь равноапостольской старой веры...

– Да вы родом-то откуда будете? – насторожился Рунич. – Вот вы... насчет Ржева...

– Какой там, к свиньям, Ржев? – испугался вовсе Долгополов. – И слыхом об такой местности не слышал, не то что... Путаете вы меня, ваше благородие.

– Гм, гм... – промычал Рунич, скосив глаза на сторону.

Лошадки бежали ходко, ямщик – древний старец, выгорбив сухую спину, лениво помахивал кнутом, причмокивал. Впереди пылила тройка Галахова с четырьмя гусарами. Галахов плотно сидел на пуховой подушке и кожаной сумке с секретными бумагами и казной. Ложась в каком-либо селенье спать, Галахов неукоснительно клал сумку у головы, у входной двери всю ночь несли караул с обнаженными саблями рослые гусары.

2

Где-то пылил о ту пору по российским дорогам знаменитый генерал-поручик Александр Васильевич Суворов.

Еще двадцать третьего июля в Петербурге от фельдмаршала П.А. Румянцева было получено донесение о заключении с Турцией мира. Это радостное известие внесло в умы правительственных сановников бодрость и полную надежду быстро справиться с мятежом Пугачева.

Тем не менее, опасаясь более всего за Москву, Екатерина вознамерилась отправить из обеих освободившихся от войны за границей армий всех генералов тех дивизий, которые постоянно квартировали в губерниях Казанской, Нижегородской и Московской.

– Пусть каждый генерал возьмет с собою по небольшому отряду и дорогою распускает слух, что за ним идут большие войска. Надо чаять, что сие отрезвит население, – вгорячах предположила Екатерина. Но впоследствии, успокоившись, она решила отправить в помощь главнокомандующему Панину только одного генерал-поручика Суворова.

Едет Суворов просто, не по-генеральски, в немудрой кибитке, на облучке – ямщик, а рядом с Суворовым – старый верный слуга его. Сверх потертого обыденного мундира надет на Александре Васильевиче крестьянский армяк (куплен был в дороге), на голове крестьянская же, валяная, «грешневиком», шляпа с узкими полями.

Суворов мрачен. Молчит, поплеывает под ветер на дорогу, что-то бормочет про себя и вдруг – выкрикнет, ни к кому не обращаясь:

– Помилуй Бог! Я солдат, солдат...

Пылит путь-дорога, тянутся скучные версты: то пашни, то болота, то пески сыпучие.

Пустынно вокруг, сумрачно. Хотя бы какая-нибудь молодайка-баба в ярко-красном сарафане прошагала или веселая деваха с цветистым венком на голове порадовала проезжающих своей звонкоголосой песнью. Тоскливо, сумрачно на душе.

Суворов подергивает плечами, по его подвижному лицу скользят сменяющиеся быстро гримасы: он то защуривает большие глаза, то широко их распахивает и снова выкрикивает резким, раздражительным голосом, будто оспаривая кого-то или старясь убедить себя:

– Я солдат, солдат... Приказано – выполняй...

Ни возница, ни слуга не понимают, что странные сии выкрики означают. Но Суворов кричал, потому что этого требовала душа его.

На слугу накатывает дрема. Он начинает позевывать, клевать носом. Дремлется и Суворову. Бельмастый мужик на облучке уныло гундосит в бороду:

Ай, кто пиво ва-а-арил?

Ай, кто затира-а-ал?

И затем быстро-быстро, скороговоркою:

Варил пивушко сам Бог,
Затирал Святой дух,
Сама Матушка сливала,
Вкупе с Богом пребывала,

Святы ангелы носили,
Херувимы разносили,
Херувимы разносили,
Серафимы подносили...

– Эй, там! – окликал Суворов мужика. – Из хлыстов, что ли, будешь?

Бельмастый испуганно смолкал.

Перед самым въездом в какую-то деревню Александр Васильевич оживился. Ткнул себя в грудь, снова закричал:

– Домашний враг! Домашний враг! – и закудахтал по- куриному: – Ку-дах-тах-тах... Куда ты едешь, дурак? Помилуй Бог, солдат, солдат я... Приказано...

– Чего-с? – просыпается слуга.

Бельмастый ямщик оборачивается на проезжающего и стеснительно ухмыляется: «Гы-гы-гы». Он видит гневно сверкающие глаза барина и тотчас же отворачивается, хлещет коренника вожжою. Парнишки распахнули заскрипевшие ворота чрез дорогу и, выжидательно поглядывая в лица проезжих, запросили:

– Дяденька, дай копейку, дай грошик!

Суворов снял с мочального лычка пять баранок, кинул их парнишкам и спросил:

– Чего делаете, малыши? В городки, никак?

– В городки, дядя, в городки... В рюхи...

– А ну, примите меня. Кости поразмять...

Белобрысый брюханчик, лет шести, в большом картузе, сдвинутом на затылок, в пестрядинной рубашонке с поясом, сказал:

– Да тебе и палкой-то не швырнуть... Куда тебе... – Помилуй Бог, швырну!

Суворов сбросил армяк, мундир, шляпу, засучил рукава белейшей ярославского полотна рубахи и, приказав подводе подыматься к церкви, остался с мальчишками. Смачно чавкая баранки, ребятишки шумливо принялись ставить рюхи, разбирать палки.

– Ты, дяденька, хватай вот эти палки-то, мои самые толстые. В них поп с дьячком играют. Да тебе, поди, и в рюхи-то не попасть, – сказал, скаля зубы, все тот же белобрысый, в большом картузе, брюханчик.

– Молодец! Бойкий! – заулыбался Суворов, поплевал в ладони, взял самую толстую палку, отбежал к задней черте, сам себе скомандовал: «Целься!» Прищурился: «Пли!» – да как ахнет.

Рюхи, словно черные галки, в разные стороны, аж завыли... Вот так саданул! Парнишки рты разинули.

– Хох ты, – прохрипел с восхищением рыжий карапуз.

А другой, беспортошный, в мамкиной кофте с длинными рукавами, сюсюкал:

– Сильна-а-й... Си-и-ль-на-а-ай ты...

Тут подошел к Суворову слуга с тюрючком, сказал:

– Ваше превосходительство, не отведаете ли курочки?

А мальчонка смахнул к затылку спустившийся на глаза картуз и говорит:

– Нет, ты не енерал.

– А кто же я?

– Ты... солдат. Нешто енералы играют в рюхи? Хы!

Суворов засмеялся:

– А вот я играю, а когда и заморского врага бью... Бей, не робей.

Опять прищурился на новый городок – да как ахнет! С трех палок выщелкнул все рюхи, крутнулся на одной ноге, сказал:

– А ну, кто скорей до кибитки? А ну!

Да как пустится вприпрыжку, всех опередил.

– Ну, прощайте, пузаны! – говорил, залезая в кибитку. – Ямщик, а ну припусти лошадок... Как это ты распевал-то? «Херувимы разносили, серафимы подносили...» Хе-хе...

Суворов вплотную приблизился к местам, охваченным восстанием. Брошенные деревни, сожженные поместья, необрушенные нивы, беспризорный скот. Крестьянские обозы со всем скарбом, малые толпишки вооруженных чем попало пешеходов. Никто на Суворова не обращал внимания. В одном месте разъезд гусар повстречался, восемь человек, тоже на проезжих ни малейшего внимания.

Но вот под вечер, возле деревеньки Забойной, Суворов наскочил на троих конных пугачевцев. За их плечами казацкие короткие винтовки, с левых боков – сабли. У бородача – прикрепленная к стремени пика.

– Стой! – закричал бородач.

И Суворов, оправив шляпу, тоже крикнул:

– Кто такие?

– Не твоего ума дело. Документы есть?

Ямщик съежился от страха, старый слуга творил молитву.

– А где нынче государь? – строгим голосом спросил Суворов.

– Какого тебе?

– Петра Федорыча Третьего... Один он у нас...

– Да мы сами его, батюшку, ищем днем с огнем... Тебе пошто к нему?

– Яицкие вы или илецкие? – не отвечая на вопрос, поднял голос Суворов.

– Я с Яику, а эти двое оренбургские, – ответил бородач. – А нет ли у вас, проезжающие, винца либо пожарить чего?

– Сами скудаемся в винишке-то, – торопливо отозвался слуга. – Эвот, господа казаки, на горе церковь – видите? Верст с пятнадцать отсель. Ну, так там у попа много пивов наварено. Езжайте, даст. – Та-а-к... – протянули казаки, из-под ладоней глядя на село.

Бородач спросил:

– А тебе, проезжающий, все-таки пошто государь-то зандобился?

– Словесную радость везу ему от великого человека.

– Каку-таку радость?

– А это уж тайна государственная... помилуй Бог. С государем с уха на ухо разговор буду иметь, – сказал Суворов, устремляя на бородача быстрый взор. – А вы, казаки, в дороге-то поостерегайтесь.

– А што?

– А то... Генерал Суворов сюда с воинством марширует...

– О-о-о... – наострили казаки уши.

– Я про Суворова слыхивал, – проговорил бородач, озираясь по сторонам. – Он в Пруссии против Фридриха воевал, он до солдата неплох был... Его, помнится, втапору в подполковничий чин клали... А теперича, кто ж его знает, может, спортился человек, как генералом-то стал. По какой дороге едет Суворов-то этот, по большаку?

– По этой по самой... Прощевайте, казаченьки. Ямщик, а ну, пришпандорь лошадок...

Встревоженные казаки свернули с большака на проселок, в сторону. Старый слуга, вытирая вспотевшее лицо, бормотал:

– Ох, батюшка, Лександр Васильич... душенька-то вся истряслась за вас. Думал, конец пришел... Надо бы вам, батюшка, конвой с собой прихватить... Долго ль до греха... Ни за синь-порох пропадешь...

На ночлеге, при свете огарка, Суворов записал в походной тетради:

«Дабы избежать плена – помилуй Бог, – не стыдно мне сказать, что сей день принимал я на себя злодейское имя... Жив, жив!»[\[67\]](#).

3

Небольшой городок, что лежал на тракте за Саратовом, в великом был смятении: приближался Пугачев.

А давно еще начал залетать в городок тот слух, что «злодей» город за городом берет. А вот теперь будто бы сюда прется, в полсотне верст видели проклятое стойбище его... Что делать, как спасти животы свои?

Торговцы закрыли свои лавки и ларьки, кто спозаранку бежал, кто решил отсиживаться дома, выискивая, где бы схорониться, когда нагрянет душегуб. Купцы, попы, воевода и чиновники так запугали темный люд, что городская голытьба тоже поддалась общей тревоге, говорила: «Ему, Пугачу, какая мысль падет, не утрафишь, живо на березе закачаешься».

В воскресный день, после литургии по настоянию воеводы служили всенародный молебен. В соборе от молящихся ломились стены, и вся ограда полнехонька народом. Протопоп сказал прочувствованное слово; говоря, лил слезы, утирал мокрое лицо рукавом подрясника. Плакал и народ. Все опустились на колени, с усердием вопили: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»

На амвон, к протопопу, поднялся низкорослый, сутулый старичок, он в длиннополом армяке, перепоясанный сыромятным ремнем, нос орлиный, белая борода закрывала грудь. В толпе прошелестело:

– Василий Захарыч, Василий Захарыч...

Сутулый кривобокий старичок почитался в народе самым уважаемым после протопопа человеком. Сызмальства до последних дней занимался он сапожным рукомерлом, денег за работу не брал, кой-кто иногда платил ему скудной снедью: калачик принесут, квашеной капусты, квасу. Любил ухаживать за болящими, защищал униженных, помогал убогим. И всяк находил у него суд правый и слово утешения.

Вот старец ударил в пол посохом и тенористо крикнул:

– Мирянушки, слушай! – Народ совсем стих, шире открыл глаза и уши. – Час наш – час великого испытания. Сей день целы, а наутрие не уявится, что будет. Сего ради – коя польза в слезах наших и в воплях наших! А нужно вот что... Нужно верного человека спосылать гонцом к Пугачу, и пускай тот гонец как можно присмотрится к нему, велика ль цена делам его. И ежели он царь и добра людям ищет, мы покоримся ему без кроволитья, а ежели вор, мы супротив него выйдем, как один, и, кому написано на роду, умрем, ничтоже сумняшеся...

Он смолк. И молча стоял весь собор, паникадило прищурило огоньки свои, лики святых хмуρο взирали с отпотевших стен. Но вот взволновалось людское море, вразнотык загудели голоса:

– Верно, Василий Захарыч! Правильно толкуешь! Указывай, кого послать?

И еще кричали:

– Василья Захарыча послать! Тебя, тебя, отец. Мы тебя за отца чтим. Постарайся, пожалуй, потрудись.

Старец приподнялся на цыпочки, запрокинул голову, замахал на толпу руками. А как смолк народ, поклонился чинно, в пояс, на три стороны, и заговорил:

– Спасибо, мир честной. Я согласен. Я молвлю ему слово сильное. И ежели голову снимет с плеч моих злодей, не поминайте Василья Захарова лихом.

Кругом поблекшая под зноем степь. Солнце закатилось. Запад окрасился в кровь. Становилось

холодно. Широкоплечий Емельян Пугачев, обхватив колени и скрючившись, сидит на обомшелом камне подле кустов дикого боярышника. Он зябко вздрагивает и полными забот глазами смотрит в степь. Его полчища готовятся к ужину: всюду костры, курящиеся сизым дымом, возле них – кучками народ. Вон там, по склону пригорка, пасется табун башкирских коней, там, на высоких курганах, чернеют пушки, около них тоже костры и люди. Звяк котлов, крики, посвисты, лошадиное ржание – все эти отдаленные звуки не раздражают Пугачева, да он и не слышит их. Он ушел в себя и, как слепорожденный от века, невнятно читает судьбу свою. Прошлое ясно для него, а будущее все в густом тумане, и сквозь туман мерещится Емельяну черный, как зев пушки, конец. И гибнет в нем вера в успех великих дел своих. У него нет надежного воинства. Сколько раз в горячем бою башкиры, татары, киргизы, чуть неустойка, сломя голову кидались наутек, и стоном стонала степь от топота удалявшихся коней. Да не лучше, выходит, и мужичья рать!.. А немчин Михельсон – чтоб ему, собаке, сдохнуть! – прется по пятам, не дает Емельяну Иванычу сгрудить разношерстные полчища свои, вооружить их, обучить ратному делу... Да, все плохо, все не так... Эх, если б полка три донских казаков Пугачеву, натворил бы он делов, Михельсонишка давно бы качался где-нибудь на сухой осине.

Он услышал сзади себя крадущиеся шаги. Круто обернулся. Абдул стоит, новый конюх его. Приложил Абдул ладонь к сердцу, ко лбу и закланялся:

– Бачка-осударь! Пришла к тебе бабай, шибко старый. Толковал, по большой дела до тебя, отец. Шибко большой...

– Веди!

– Кого? Тебя туда водить, до кибиткам, али старика к тебе таскать?

– Старика сюда!.. Стой! Перво, принеси синий мой государев кафтан с галунами да бобрячью шапку с красным верхом. А кто он таков: воевода ли, комендант ли, али боярин какой знатный?

– Ох, бачка-осударь, какой к свиньям бояр, сапожник он, сапоги тачат, ой-ой-ой какой беднай, только шибко справедливай, самый якши старик Василь Захарыч, его все знают округ-около, всяк шибко бульно любит, – взახлеб бормотал Абдул, прикладывая ладонь то ко лбу, то к сердцу.

Пугачев сказал:

– В таком разе одежины срядной не нужно, ладно и так... Чего ему надобно? Веди!

Пугачев был в поношенном казацком костюме, за поясом два пистолета, при бедре сабля.

Вскоре предстал пред грозным Пугачевым смиренный Василий Захаров, в старом армяке, в дырявых опорках, в левой руке мешочек со ржаными сухарями. Он не отдал поклона Пугачеву, только сказал:

– Здоров будь, человеце!

– Кто ты есть? Откуда?.. – Пугачев подбоченился и отставил ногу. – Пошто шапки не ломаешь, пошто в ноги не валишься?

Василий Захаров, низенький и кривобокий, чуть откинул седобородую голову и пытливо прищурился в сердитые глаза сидевшего на камне человека. Пожалев, что не оделся в праздничный кафтан, Емельян Иваныч нащупал в кармане большую генеральскую звезду, захваченную по пути в помещицьем доме, и, таясь от старика, приколол ее на грудь.

– Разве не ведомо тебе, пред кем стоишь? – тыкая в звезду, сурово повторил Пугачев, и каблук сафьянового, запачканного навозом сапога его ввинтился в землю. – Кто пред тобой сидит?

– Вот то-то, что не ведаю, свет, кто ты есть? Сего ради и пришел сюда! Да не своей волей, мир послал, городок наш избрал меня гонцом к тебе, дитятко...

Пугачев выпучил глаза на старика. Старик по-умному прищурился. – Царь ты или не царь? – спросил он смягченным голосом, и пронзительные глаза его чуть приметно улыбнулись. Похоже было, что у него возникло подозрение: не царь перед ним, а обыкновенный серый человек.

– Сядь, старинушка, – вздохнув, указал Пугачев на соседний камень.

– Нет, я не сяду, свет... Ты наперво ответь мне, кто ты есть и что держишь в сердце? Ты ли силу мужичью ведешь за собой, аки воевода, алибо сила качает тебя, аки ветер колос полевой? В правде ли путь твой лежит, али кривда накинута тебе аркан на шею?

Тихий голос старца показался Пугачеву преисполненным тайно дерзновенной власти. Емельяна Иваныча охватила оторопь. Но большие серые глаза Василия Захарова излучали какую-то особую теплоту, от нее таяло на сердце Пугачева, и старик вдруг стал ему свойским и близким, как отец. «Вот кто душу облегчит мою, вот кто беду мою поймет», – подумал он, дивясь себе.

Глаза Василия Захарова вдруг стали строги, пронзительны.

– Ежели ты доподлинный царь-государь Петр Федорыч, – сказал он, – ежели верно, что Бог уберет тебя в Питере от руки злодейской, наш городок примет тебя с честью, и к ноге твоей припадет, и крест на верную службу тебе поцелует. Ну а ежели ты обманщик...

– Дедушка! – прервал его Пугачев и поднялся. – Я тебе прямо... как отцу! – Мясистые щеки его задергались, взор упал в землю, плечи обвисли. – Нет, дедушка, не царь я, не царь!.. Простой я человек, казак донской.

Взмотнув локтями и посохом, старец отпрянул назад, он вдруг стал выше ростом, хохлатые брови встопорщились, в груди захрипело.

– Только, чур, старик... Молчок! – продолжал Пугачев. – Сия тайна великая. Я тебе первому, первому тебе, как отцу родному! Люб ты мне... Пойми, вникни в меня да раздумайся по строгости.

Крупными шагами Емельян Иваныч начал ходить взад-вперед вблизи Василия Захарова и отрывисто выкрикивал слова, полные желчи:

– Им царя нужно! Им Петра Федорыча подай, покойника!.. Вот я – царь! Я – Петр Третий, император всероссийский... Ха-ха... Я, дурак, царскую харю ношу, как скоморох о святках. Я, дурак, манифесты в народ выпускаю, грамоты. А мужики верят, мужики за царем идут! А что же я-то для них? Что для них я – казак простой?.. Я для них – ничто! Узнай они, что не царь я, а казак Емельян, невесть еще что со мной сделают... «Вор, обманщик!» – завопят. – Он шагнул к смутившемуся старцу, взбросил ладони на костлявые плечи его и с надрывом заговорил: – Дедушка! Обидно мне... Ой, обидно, ой, тяжело, дед!.. Нет Пугачева на белом свете, а есть, вишь, Петр Федорыч, царь. А не Пугачев ли все дело ведет, не Пугачев ли все народу дал: вольность, землю, реки с рыбами, леса, травы, все, все...

Он искажился лицом, затряс кулаками:

– Господи, Царь небесный! Пошто этакую муку взвалил на меня? Чего ради такой крест несу?! – Пугачев обеими руками схватился за голову, шапка сползла ему на глаза, и пошатнулся он. Обратив затем лицо к стану, где дымились огнистые костры – расположилось там войско его, – он угрожал униженным драгоценными кольцами перстом, выкатил глаза, закричал зычно:

– Черти вы, черти! Ежели б уверовали вы не в царя Петра, а в кровного брата своего, Емельяна, он бы вас повел войной дальше... Москву бы опрокинул, Питер взял бы, Катюку под ноготь, наследника долой, злодеев Орловых и всех бар тамошних в петлю... И – владей тогда, мужик, царством-государством, устраивай себе волю по казацкому свычаю. А таперича что я? Один! Один, как дуб в степи под грозой... – Емельян Иваныч дышал во всю грудь, глаза его то вспыхивали, то меркли, из-под шапки клок черных волос

упал до самой переносицы.

– Спокою, понимаешь, мне нет... Иным часом, дед, и ночь, и две, и три не сплю, все думаю-гадаю...

Шатаясь, Пугачев расхлябанно сел на поросший мохом камень, опустил голову. Старец видел, как горестно задергалось лицо «царя», как затряслась борода и завздрагивали его плечи.

В это время вернулся от кибиток Абдул: не прикажет ли что бачка-царь – и слышит – говорит что-то старый Захаров, а что, понять невозможно. Присел Абдул по ту сторону куста и ждет, когда разговору царя с Захаровым конец будет. А разговор там то вскинется, то угаснет... И вдруг видит Абдул: бросил старик посох и повалился пред царем-бачкою на колени, припал морщинистым лбом к траве степной и возопил:

– Друзе мой, друже! Царь ты есть... – И всхлипнул. – Мужайся, свет Емельян. Во прахе пред тобой лежу, поклоняюсь тебе, свет, радетелю сирых, убогих... Так вот и всему народу, пославшему меня, глаголати буду: есть ты, Емельян, воистину царь – вожак всенародный...

Тут Абдул понял, что нельзя мешать беседе, и ползком удалился прочь, а как оглянулся назад, не было уже при царе старика Захарова: исчез в сумраке, как сквозь землю провалился. И чуть погода – пронзительный свист. То бачка-царь вложил пальцы в рот и оглушительно три раза свистнул.

– Эгей, Абдул, коня!

Опрометью Абдул за конем. Подал царю поводья, помог бачке сесть в седло. Белый конь понес седока мгlistой степью, только гул шел под звездами. С гиком, с присвистом скакал Емельян Иваныч и выкрикивал, сам не свой, встречу ветру:

– Будя в чужой харе ходить! Бу-дя-а-а-а... Не хочу больше по свету – протухлым покойником... Живой я! Живой! Москву возьму, царь-колокол, царь-пушку... Нате, сукины дети! Пир, фиверки, звоны по всем царствам. Я вождь ваш... А кто не уверует – башку долой. Казню, всех казню! Великие крови пущу...

В ту же самую ночь подле яркого костра расположились на белой кошме атаманы. Они приказали подать себе спелых арбузов, чтобы утолить жажду после жирного ужина. Их было пятеро: Овчинников, Творогов, Чумаков, Перфильев, Федульев.

– ...А как в царицыных манифестах пишут, так оно и есть, – продолжал молодцеватый видный Творогов, муж красоты Стеша. По борту его нарядного чекменя с галунами тянется толстая золотая цепь к часам, на пальцах три драгоценных перстня. – Макся Горшков – скобленное рыло – жив ли, нет ли, все уверял меня по первости: это царь, это царь... А мы сами насмотрелись, какой он царь...

– Да и парнишка Трошка пробалтывается Нениле, – ввязался Чумаков, заглатывая сочный кусок арбуза и прикрывая ладонью длинную бороду, чтоб не замочить, – пробалтывается парнишка, что, мол, царь-то ваш не кто прочий, как мой батька.

– Хоть, может, он и не царь, а лучше царя дела вершит, – сказал Перфильев, сверкая исподлобья на Чумакова злобными глазами.

– А поди-ка ты, Перфиша, к журавлю на кочку! – крикнул Творогов. – Не он, а мы воюем, тот же Овчинников. В цари-то мы кого хошь могли поставить.

– Кого хошь? Хе! – сказал Перфильев, и усатое шадриное лицо его передернулось в ухмылке. – Чего ж вы не кого хошь, а батюшку над собой поставили? Да и не ошиблись. Батюшку народ любит, идет за ним.

– Кто его ставил, тех нет, – выплевывая арбузные семечки, проговорил Чумаков.

– Стало, вы на готовенькое пришли? Ну, так и не рыпайтесь, – строго сказал Перфильев.

– Батюшка – царь есть, Петр Федорыч Третий! – вскинув мужественное горбоносое лицо, воскликнул Овчинников. – И вы, казаки, не дурите.

– Полно-ка ты, Андрей Афанасьич, лукавить-то, – укорчиво перебил его Творогов. – Ежели и царь, так подставной.

– А уж это не наше дело, – сказал Овчинников.

– А чье же?! – сорвав с головы шапку и ударив ею в ладонь, заорал Федульев.

– Всеобщее – вот чье! – прикрикнул на него Перфильев. – И казацкое, и мужиковское... И всей России, ежели хочешь знать!

Помолчали. Ожерелье костров меркло: лагерь укладывался спать. Творогов вынул золотые часы, посмотрел время, спросил:

– А все ж таки, там царь он алибо прибудыш, как же нам, братья казаки, быть-то? Ведь нас царицены-то войска, как рыбу в неводу, к берегу подводят... Какую нам всем!..

Никто не ответил. Все чувствовали себя несчастными, все покашивались на Перфильева, хмуро смотревшего на огоньки костра. Федульев, испитой и длинный, со втянутыми щеками, прищурив узкие татарского склада глаза, сказал срывающимся голосом:

– Связать надо да по начальству представить... Пока не поздно... Изрядно мы набедокурили. Авось чрез это милость себе найдем.

– Кого это связать?.. – повернул к нему Перфильев усатую голову.

– Пугачева, вот кого, – раздраженно ответил Творогов.

– А тебя, Перфиша, упреждаем, – вставил Федульев, – пикнешь, в землю ляжешь, с белым светом распрощаешься.

– Да уж это так, – поддержал его Федор Чумаков.

Перфильев ожег их обоих взглядом, крепко, с азартом обругался, встал и, волоча за рукав азам верблюжьего сукна, быстро пошагал от костра в тьму августовской ночи.

– Стой, Перфильев! – нежданно поймал его за руку Емельян Иваныч. – Вертай назад, слышал я разговорчик-та. Пойдем! – И, приблизясь к костру, поприветствовал сидевших: – Здорово, атаманы!

– Будь здрав, батюшка!.. Петр Федорыч... Ваше величество... – ответили казаки, поднялись: Овчинников с Твороговым проворно, Федульев с Чумаковым нехотя. В колеблющихся отблесках костра лицо Пугачева казалось сумрачным, суровым и встревоженным. Он еще не остыл после дикой скачки по степи, тело млело и томилось, как в жаркой бане, и вся душа была взбаламучена разговором с дивным старцем.

– Ну, атаманы, – помедля, начал Пугачев. – Ругаться мне с вами негоже, а я вижу вас насквозь: глаза отводить да концы хоронить вы мастаки... Ну, да ведь меня не вдруг обморочишь... Я одним глазом сплю, другим стерегу.

– К чему это ты, батюшка? – в бороду буркнул Чумаков.

– А вот к чему. – И Пугачев подбоченился. – Я восчувствовал в себе мочь и силу объявиться народу своим именем. Надоело мне в прятки-то играть, люд честной обманывать. Зазорно!..

– Дурак, ваше величество... – как топором, рубнул Федульев, сердито прищуривая на Пугачева татарские глаза.

– Да как ты смеешь?! – вскричал Пугачев, сжимая кулаки.

– А вот так... Объявишься – скончают тебя, на части разорвут.

– Полоумнай! Не скончают, а в книжицу мое имя впишут. В историю! Слыхал? И вас всех впишут...

– Оно и видать... Впишут, вот в это место, – с издевкой сказал Творогов, прихлопнув себя по заду.

– Разина Степана вписали жа, – не унимался Пугачев, – а ведь он себя царем не величал.

– Ха, вписали... Как не так! Разина в церквах каждогодно проклиняют. Дьякон так во всю глотку и вопит: «Стеньке – анафема».

– Народ меня вспомянет... В песнях али как...

– Держи карман шире... Вспомянет! Царей да генералов в книжицу вписывают, а не нас с тобой. А наших могил и не знатко будет. Брось дурить, батюшка! Ты об этом самом забудь и думать, чтоб объявляться!

– Запозднились с эфтим делом-то, батюшка Петр Федорыч, – сказал Овчинников, покручивая кудрявую бородку. – Поздно, мол... Ежели объявляться, в Оренбурге надо бы. А то народ сочтет себя обманутым и вас, батюшка Петр Федорыч, не помилует, да и нас, слуг ваших, разразит всех.

– И ты, Андрей Афанасьевич, туда же гнешь? А я тебе верил.

– И напредки верьте, батюшка. Не зазря же я присягу вам чинил.

– Так что же мне делать? – с внезапной обреченностью в голосе воскликнул Пугачев и, вложив пальцы в пальцы, захрустел суставами. – Неужто ни единая душа не узнает обо мне? – Он качнул плечами, сдвинул брови и, сверкая полыхнувшим взором, бросил: – Объявлюсь! Завтра же в соборе объявлюсь. Н-на!

Костер почти погас. Черная головешка шипела по-змеиному. Мрак охватывал стоявших лицо в лицо казаков. Слышалось пыхтенье, вздохи. И сквозь сутемь вдруг раздались угрожающие голоса:

– Попробуй... Объявись... Только смотри, как бы не спокаяться.

Пугачева как взорвало. Он так закричал, что на голос бросились от недалекой его палатки Идорка и Давилин.

– А вот не по-вашему будет, а по-моему! Слышали?! – притопывая, кричал Пугачев. – Не расти ушам выше головы... Согрубители! Изменники! – Он круто повернулся и, в сопровождении Перфильева, шумно выдыхая воздух, прочь пошел. Растерявшиеся казаки поглядели ему вслед с холодным озлоблением.

«Эх, батюшка, – горестно раздумывал Перфильев, придерживая под руку шагавшего рядом с ним родного человека, – жаль, что ты вконец не освирепел: лучше бы три головы коварников покатались с плеч, чем одна твоя». Подумав так и предчувствуя недоброе, Перфильев силился что-то вслух сказать, но его язык как бы прилип к гортани.

Вскоре удалился и Овчинников. Оставшаяся тройка переговаривалась шепотом.

– Ваня Бурнов – мой приятель. Он пронюхал, что батюшка не царь, – сказал Федульев, поднимая с кошмы надрезанный арбуз. – Он в согласьи.

– А я Железного Тимофея подговорил, полковника, – прошептал Творогов, – он верный человек и на батюшку во гневе.

– Надо, братья казаки, с эфтим делом поспешать, – пробубнил Чумаков, – а то он проведает, всех нас сказнит.

– Да уж... Ежели зевка дадим, голов своих лишимся, – заложив руки в карманы, сказал Творогов.

– Он таковской, – подтвердил Федульев. – Ежели проведает, у него рука не дрогнет. – И, помолчав, добавил: – А не убрать ли нам Перфильева с дорожки?

– Как ты его уберешь, раз все сыщики на него работают? – усмехнулся Чумаков. – Скорей не мы его, а он нас уберет.

– Ну, ладно, время укажет: батюшка ли к нам в лапы угодит алибо мы к нему попадем в хайло.

Тьма налегла на костер и приплюснула его. Чадила головешка. Небо было в звездах. Под ногами атаманов неясно обозначалась сизым дымом белая кошма. Вдруг – странный, как будто незнакомый голос:

– Да, приятели... Времечко к расчету близится.

Казак переглянулись: кто это сказал? И еще неизвестно, откуда прозвучало: то ли степная тьма дыхла в уши, то ли, издыхая, головешка прошипела по-змеиному, а верней всего – в трех растревоженных казачьих сердцах враз отозвалось:

– «Пре-да-те-ли»...

В городке гулко бухал соборный колокол. Церковь полна народу. Весь базар привалил к собору, на возах остались ребяташки и старухи. Народ с нетерпением ждал, что скажет возвратившийся Василий Захаров. В алтаре пред иконостасом и в паникадилах вздули огни. Воеводы не было, он в ночь сбежал.

Перед началом молебна на амвон взошел смущенный, с лихорадочным румянцем на впалых щеках, Василий Захаров. Народ замер, народ широко открыл глаза и уши. Василий Захаров все так же чинно поклонился народу на три стороны, огладил белую бороду и начал надтреснутым, в трепете, голосом:

– Удостоился я на старости лет зрети очами своими царя НАШЕГО. Это воистину НАШ царь, НАШ государь великий! Поклонитесь ему и послужите ему, ибо паки реку: он НАШ!..

Началось в соборе, а потом и в ограде, и на площади людское смятение, радостный народ кричал, не переставая:

– Царь, батюшка-царь наш идет сюда, государь великий! Ребята, дуй в колокола! Айда навстречу батюшке!

Мужицкий царь со свитой, с частью войска пышно приближался к городку. И был он встречен со славой, с честью, с колокольным звоном. Допустил народ до своей белой руки, а Василия Захарова трижды обнял, сказал ему:

– Будь здоров, отец, надежа моя!

Старик всхлипнул. Весь вид мужицкого царя был строг и наособицу решителен. Еще дорогой Емельян Иваныч намекал приближенным, что сегодня, в соборной церкви, случится такое диво, что все ахнут, и многие сегодня же, может быть, лишатся головы своей. Все с трепетом ждали чего-то необычного.

Но на темной паперти, когда Пугачев протискивался со свитой внутрь собора, два его атамана, Федульев с Твороговым, толкнув его локтем в бок, мрачно процедили сквозь зубы:

– Ты, ваше величество, брось-ка, брось, что затеял. Ты ампирактор, а не кто-нибудь. Смо-три, брат...

Царь взглянул в сурово-загадочные лица приближенных, подумал: «Эх, зря я Горбатова в разведку услал», – смутился, погас.

И повелено им было: поминать на ектениях по-прежнему Петра Федорыча Третьего, самодержца всероссийского.

4

Тем временем комиссия с Долгополовым въехала в Петровскую крепость, обнесенную деревянной рубленой стеной с башнями. Подьячий Нестеров, встретив приезжих в воеводской канцелярии, объявил им, что комендант крепости и воевода дня за два до вступления Пугачева в крепость убежали в степь и неизвестно, где схоронились. А сам Пугачев с армией, не останавливаясь в крепости, дней тому с семь пошел прямо к Саратову. А дня два спустя проследовал за ним Михельсон со своим корпусом.

– Давайте, господа офицеры, поспешать за злодеем-то, – по-хитрому прищуриваясь, сказал Долгополов. – Лишь бы нам настигнуть его, а как настигнем, возьму у вас денег да с казаками, товарищами своими, свяжусь. Глядишь, дело государственное враз завершим.

– Сначала дело, а уж опосля того деньги, Остафий Трифоныч, – заметил строго Галахов.

От столь неприятных для него слов прохиндей закатил глаза, и верхняя губа его задергалась.

– Конечно, ваше дело, господа офицеры, – сказал он, – только, мню, сие не согласуемо будет со словесной инструкцией его светлости князя Орлова, мне данной.

Галахов, насупясь, молча сидел на кожаной сумке с серебром и червонцами.

С большим трудом добыв подводы, комиссия выехала в Саратов, куда и прибыла на другой день утром.

По Московской улице выбрались на площадь. Человек до полутораста торговали здесь различными припасами. Покупая продукты, Долгополов спросил прасолов:

– А где у вас в Саратове начальство?

– Никого нет, милостивец, город пуст. Только и народу, что здесь на площади, да и тот дней с пять как собрался. Кто разбежался на стороны, а кто с батюшкой ушел.

Комиссия решила сделать в Саратове продолжительный отдых и, пока разыскивают по окрестным деревням лошадей, расположилась на площади, возле торговых шалашей. Разожгли костер, стали готовить пищу.

К костру, один по одному, собрались старики. Завязались разговоры. Сметив, что дело имеют с людьми, посланными против «батюшки», старые люди говорили с оглядкой, а «батюшку» называли «злодеем». Но по выражению их лиц и по тому, как не без лукавства переглядывались они друг с другом, было ясно, что здесь хитрят, боясь сказать правду.

– О-хо-хо! – вздыхает плешивый, лобастый дед. – Ой, и много злодей бедственных делов натворил... Великие злости от него в городу были.

– Просто на удивленье, – перебивает его другой, беззубый, с испытанным лицом. – Хошь и злодей он, это верно, а мотри, сколь много народу к нему приклонилось. Первым делом – вся артиллерия, вся анжынерская часть, весь гарнизон да в придачу сот шесть команды... Во!

– Да как же им не стыдно присягу преступать? – возмутился Галахов, и его открытое горбоносое лицо выразило неподдельный гнев.

Долгополов криворотом ухмыльнулся, а старик сказал:

– Да ведь он, ваше высокоблагородие, злоковарной хитростью всех опутал... Вторым делом – артиллеристы двадцать четыре орудия подарили Пугачу, со всем снарядами. А своего начальника, князя Баратаева, связали да Пугачу в руки: на – получи... Во как!

Глаза беззубого старика злорадно засияли, в голосе послышались горделивые нотки.

– Да нешто один Баратаев! – воскликнул третий старик, пытаясь смягчить разглагольствование товарища; он был благообразен, хорошо одет. – Еще немец какой-то схвачен был, великий книжник, звездочет. Его сама царица быдто бы прислала выведать да высмотреть, можно аль не можно промеж Волгой да Доном канаву пропустить. Да еще четверых из начальства... Да многих хватали яко неблагопокорных!

Старики говорили долго, путано, один другого перебивая, и, как оказалось потом, рассказы их были не вполне достоверны.

Отъехав от города на пятнадцать верст, путники заметили возле самой дороги две свежие могилы.

– Это что за могилы? – спросил Галахов возницу.

– А здесь полковник Баратаев да немец один, – ответил возница из саратовских посадских людей. – Тут им конец жизни доспелся.

В попутной колонии «лютерского исповедания» комиссия остановилась у кирхи, возле которой толпился народ. Селение было хорошо обстроено и содержалось опрятно. Из побеленного домика под черепичной кровлей вышел прилично одетый, чисто выбритый старик-пастор и пригласил офицеров с Долгополовым к себе в дом, а старосте приказал готовить подводы.

Колонисты относились к своему пастору с большим уважением, в разговоре с ним обнажали головы, отвечали на вопросы с почтительностью.

Скромный дом пастора состоял из трех комнат и кухни. Впереди дома – палисадник, сзади, за обширным, усыпанным желтым песочком двором, большой фруктовый сад и пасека в полсотни колодок.

В доме – уют и чистота, на окнах белейшие гардины и цветы в расписных майоликовых вазонах. В переднем углу распятие итальянской работы из черного дерева и слоновой кости. Книги в хороших переплетах. Много книг. Клавесины, ковровый диван, уютные кресла, круглый стол под свеженаутюженной палевой скатертью.

– Вот, господа хорошие, если б вы знали да ведали, сколь скудно живет наш деревенский батюшка и сколь роскошно, дай вам Бог, живете вы, господин пастор, – сказал Долгополов, с удивлением рассматривая обиталище хозяина.

– Да? – не то спрашивая, не то утверждая, застенчиво проговорил пастор и пригласил гостей присесть. – Я не особенно знаком с условиями существования сельского духовенства, но знаю, что ваше духовенство городское живет в большом достатке. А меня не забывает паства, не оставляет своими щедротами Господь Бог, да и сам я суть человек труждающийся по мере сил моих.

– Вы... из немцев будете? – спросил Долгополов.

– Нет, я природный латыш, родился возле города Риги, в крестьянской семье, но обстоятельства сложились так, что довелось мне более полжизни в России провести, в Петербурге.

– А как же здесь-то очутились? – поинтересовался молчаливый Рунич.

– А сюда привели меня, во-первых, указующий перст Божий, – ответил старик, – во-вторых, веления собственного сердца и любовь к природе и занятиям сельским хозяйством. Состою корреспондентом Вольного экономического общества, покровительствуемого императрицей.

Пастор угостил приглашенных вкусным кофеем и простым, но сытным завтраком. Завидя, как Галахов с Руничем стали шептаться и вынимать кошельки, чтобы отблагодарить хозяина за угощение, взволнованный этим старик стал возражать:

– Не ослепляйте, господа, глаз моих никакими подарками, – сказал он тоном обиженного. – И ежели вы что-либо ассигновали мне, то умоляю передать это бедной братии, коя, без сомнения, на пути вашем встретится.

– Тогда, отец пастор, вы все-таки возьмите от нас и раздайте бедным своими руками, – сказал Галахов. – А то при нашей скорой езде раздавать подаяние нам будет несподручно.

– Что вы, что вы! – с приятной улыбкой ответил хозяин. – Если б вы и на быстрых крыльях ветра летели, то и тогда успели бы посмотреть на нищету светлыми очами доброго своего сердца.

По просьбе Галахова пастор сообщил, что несколько дней назад Пугачев с армией прошел мимо их селения.

– За несколько часов до своего прихода, – рассказывал пастор, – он прислал пять своих казачьих офицеров к нашему старосте с повелением, чтоб жители из своих домов не выходили дотоле, доколе он со своей армией не удалится из виду от селения нашего, дабы не мог кто-либо претерпеть от его войска какой обиды и несчастья. – Голос пастора дрогнул, глаза внезапно увлажнились, он справился со своим волнением и закончил: – Моими пасомыми оный приказ Пугачева был точно выполнен. И все обошлось благополучно.

– А нам известно, что каналья-злодей повсеместно лютость оказывает! – запальчиво проговорил Галахов.

– Слухи идут всякие, – вздохнув, ответил пастор. – Я склонен думать, что сам Пугачев не столь жесток, как про него молва идет. А вот его сподвижники, по своей темноте и коренящемуся в них сатанинскому духу мщения, поистине могут быть в своем поведении жестоки... И что же вы хотите, господа! – вскинув седую голову и сделав рукой нетерпеливый жест, воскликнул пастор. – Ведь бунт, ведь темного народа восстание проистекает! Силы адовы распоясались, сатана спущен с цепи. Но я верую, господа, можете осудить меня, а я верую, что в смуте сей действует указующий перст Божий.

– А Пугачев, выходит по-вашему, чуть ли не посланец неба? – с язвительностью спросил Галахов.

– Я этого не хочу сказать. Но... что свыше предначертано, тому не миновать.

– А вот увидим, откуда оно предначертано, – с той же запальчивостью возразил Галахов. – Когда государственный преступник будет схвачен, суд выяснит все начистоту.

– Да, но сей государственный преступник, – подчеркнутым тоном произнес пастор, – будет судим не токмо судом человеческим, но и судом человеческой истории! А первой всего предстанет он пред судом Божьим! – и пастор взбросил руку вверх. – Однако милосердный Бог не преминет судить не токмо его, а вкупе с ним всех, кто сеял бурю среди народа жестокостями своими.

– Вы, отец пастор, чрезмерно смелы в своих суждениях! – Возмущенный Галахов поднялся, стал в волнении ходить по горнице.

– Да, смел, – дрогнув голосом и потупясь, ответил пастор. – Иначе я не носил бы на своей груди распятого по приговору синедриона Христа!

Долгополов стал плести про Пугачева какую-то несурязицу, но его никто уже не слушал.

При прощании капитан Галахов отвел хозяина в соседнюю комнату и, крепко пожав ему руку, сказал:

– Вы простите мне мою горячность... Такие люди, как вы, зело редки, особливо в провинции... Свидетельствую вам свое уважение.

Пастор широко улыбнулся, произнес:

– Да сохранит вас Бог, – и по-отечески благословил капитана.

Встретилась в пути еще колония с жителями «католицкого» исповедания. Огорченный, унылого вида ксендз нарисовал перед отдохавшими у него путниками мрачную картину пугачевского нашествия.

– Свыше тридцати молодых людей нашей колонии, – сказал он, – разумеющих язык российский, ограбили меня, а также прочих состоятельных колонистов и ушли за Пугачевым. Вот веяние времени! А сверх того, увели оные отщепенцы пятьдесят самых лучших лошадей, в числе коих и мои три.

– Сделал ли самозванец какие-либо разорения вашей колонии? – спросил Галахов.

– Нет, Господь сохранил нас, ни насилий, ни разорений от врага мы не видали, – ответил ксендз.

Путники хотя и с большим трудом доставали лошадей, однако двигались довольно быстро. Вскоре прибыли в приволжский городок Камышин. До Царицына оставалось сто восемьдесят верст.

Явившийся начальник волжских казаков доложил Галахову:

– Из Царицына вот уж третий день идут слухи, якобы Пугачев разбит. А посему я отрядил триста человек надежных казаков на ту сторону Волги и приказал им: ежели встретятся бегущие тем берегом из пугачевской армии люди, оных ловить, а кои добровольно сдаваться не станут, тех колоть.

– Чинились ли Пугачевым жестокости, разорения? – задал тот же самый вопрос капитан Галахов.

– По приказу Пугачева, – ответил казацкий офицер, – был казнен комендант города Камышина. А от войска его никакого разорения городу не было, только взято двадцать подвод припасов.

Этот ответ, равно как и все дорожные впечатления, любознательный офицер Рунич тщательно заносил в тетрадь.

Предположив, что упорные слухи о разгроме Пугачева имеют основание, комиссия, посоветовавшись, решила: Галахову, Руничу и Остафию Трифонову, прихватив с собой двух гренадеров, двигаться к Царицыну. Команду же гусар оставить в Камышине.

Ехать без сильного конвоя, по мнению комиссии, было теперь не так уже опасно: пугачевских скопищ нигде не встречалось, наоборот, стали попадаться в пути воинские разъезды.

Глава VII

«Это Пугачев! Бегите!» Над Суворовым небо в звездах. Предательство. Побег

1

Впятером направились дальше. В одной из казачьих, Волжского войска, станиц остановились для перепряжки лошадей.

Станица, расположенная на правом берегу Волги, была почти безлюдна. Гренадеры Дубилин и Кузнецов пошли собирать по хатам жителей. Им удалось привести к Галахову всего пятнадцать старых казаков. Галахов спросил их, где же народ. Они ответили, что самосильные казаки «кои на турецкой войне, кои по форпостам службу несут».

Зная уверенно, что большинство казаков ушло вместе с Пугачевым, Галахов не стал распространяться об этом со стариками, а велел им идти в табун и, поймав ездовых лошадей, привести их для упряжки. Старики отправились за конями, а два гренадера – на бахчи, за арбузами.

Галахов, Рунич и Долгополов присели у амбара, стоявшего на бугристом берегу Волги. Кругом – полное безлюдье. Впереди, перед глазами, мутнели неширокие воды обмелевшей Волги, но и Волга – сплошная пустыня: ни ладьи, ни сплотов, ни белого паруса. Впрочем, два старых рыбака на челне греблись возле берега, проверяли самолосы. А за Волгой зеленела после пролившихся дождей безмерная луговая сторона.

Галахов, приложив к глазу «перспективную» трубу, всматривался в даль. Верстах в десяти на взлобке белела церковь, кучились, как овцы, серые избенки. Далеко-далеко ехали два всадника, отдаваясь от реки.

Прошел битый час. Остафий Трифонов, чтоб скрасить утомительное время, принялся рассказывать небылицы о Пугачеве, стал валить на него всякий беспутный наговор, как на мертвого.

– Семнадцать сундуков с награбленным добром было отправлено им, злодеем, своей государыне – ха-ха! – Кузнецовой Устинье, в Яицкий городок. Одних золотых вещичек пять пудов три фунта. Уж это я доподлинно знаю, мне сам Овчинников, злодейский атаман, сказывал...

– А вы не видали императрицу-то его? Поди, красива? – поинтересовался Рунич, молодые глаза его заблестели при этом.

– В натуральности чтобы – не видел, а портрет живописный видел, – соврал Долгополов и запричмокивал, закрутил головой: – Ах, краля, ах, кралечка, ягодка-малинка в патоке!.. Ну, да ежели б я ее видел, не ушла бы от меня!

Рунич и Галахов, взглянув на него, залились откровенным смехом...

– Вот вы, вашескородия, смеетесь, – обиделся Долгополов, уши его вспыхнули. – Думаете: где, мол, ему, червивому мухомору, красоток обольщать... А, промежду прочим, я приворотное словцо знаю. Да чрез оное щучье словцо я со всеми пугачевскими девчонками в любовном марьяже состоял. Ей-Богу-с... Ведь я у Пугачева генералом был, а опосля первого марьяжа он меня в полковники попятил, а опосля второго, с помещицьею дочкой Таней, что у Пугача в плену находилась, батюшка однажды схватил меня за

бороду: «Я тебе с полковника еще три чина спущу, будь отныне простым хорунжим. А ежели сызнава любовную прошибку сотворишь, так и этот чин спущу, а заодно и шкуру до ребер, а самого вздерну...» Вот он сволочь какая, извините на черном слове-с...

Офицеры улыбались. Галахов продолжал рассматривать горизонты за рекой. Ни лошадей из табуна, ни арбузов с бахчи все еще не было.

– Зело интересует меня, – молвил Галахов, – куда это Пугачев с вольницей со своей ударится? Ежели только слухи о поражении его верны.

– Я так полагаю, – помедлив, откликнулся Долгополов, – ежели Пугачев схвачен живьем, то тем все дело и закончится. А ежели сего с ним не приключится, он с оставшимися яицкими молодцами переплывет на луговую сторону Волги и пустится по оной к Астрахани алибо вверх по реке, чтобы податься к Яику...

– А чего Пугачеву на Яике делать? – сказал Рунич. – Да его воинские наши части и не пустят туда...

– А не пустят, тогда он обманет своих яицких сотоварищей, – продолжал рассуждать Долгополов, – и уйдет от них один в Малыковку. А уж оттудова проберется скрадом в керженские леса, к раскольникам, алибо на Иргиз, в раскольничьи скиты, к игумену Филарету...

Тут Долгополов смолк, опустил глаза в землю и задумался. Упомянув имя Филарета, он вдруг припомнил свое пребывание в Москве и ночной разговор в часовне со старцем Саввой, протопопом Рогожского кладбища. Даже всплыли в памяти строгие слова протопопы Саввы: «Езжай, чадо Остафие, к всечестному игумену нашему Филарету, а от него и к государю, да толкуй государю-то: мол, евоное голштинское знамя добыто нами в Ранбове чрез великую мзду и отправлено оно царское знамя в армию императора Петра Федорыча с неким ляхом Владиславом... Токмо клянись, чадо Остафий, тайны сей никому не открывать, окромя государя...» – «Клянусь!» – ответил тогда протопопу Долгополов и, в знак верности, облобызал святой крест с Евангелием. Припомнив это, Долгополов глубоко вздохнул. Душевное смятение отражалось в его утомленных обморщиненных глазах. Один за другим в сознании его возникали праздные вопросы самому себе: зачем он, бросив жену, помчался к Пугачу, почему обманул и Господа Бога и протопопы Савву, не исполнив своей клятвы и не сказав Пугачеву о голштинском знамени, почему вся нелепая жизнь его проходит в плутнях да обманах и, в довершение всего, зачем он не убоился надуть даже императрицу и вот торчит здесь с офицерами, обещая им поймать самозванца?.. Господи! Да ему ли, прохиндею, быть ловцом, самого-то его вот-вот схватят... Эх, хоть бы поскорее капиталец тяпнуть да с ним и бежать... хоть к черту на кулички!

– А вестно ли вам, господа офицеры, – вдруг поднял он голову, – что у злодея имеется голштинское государево знамя?

– Что? Голштинское знамя?! – удивились офицеры. – Не может тому статья, Остафий Трифоныч, – и оба они с сугубым недоверием воззрились в лицо соседа.

– Мне от его сиятельства Петра Иваныча Панина ведомо, – помедля, сказал Рунич: – Все голштинские знамена – одиннадцать пехотных да два кавалерийских – хранятся в военном комиссариате, в сундуке за орлеными печатями.

– Вот вам и за печатями! Я сам видал...

– Видали? Какого же оно цвета?

– Да как бы вам сказать-с, – замялся, заприщелкивал пальцем Долгополов, – этакое желтоватенькое... этакое с прозеленью...

– Смотрите-ка, смотрите-ка, – неожиданно встревожился Галахов и приставил к глазу «перспективную» трубу. – Пыль и шестеро верховых!

Все трое поспешно поднялись, начали водить напряженными взорами вдоль заречной стороны; обмелевшая Волга была в этом месте не очень широка, луговая дорога отчетливо виднелась за рекой.

– Глядите, глядите, черт побери! – взволнованно бросил Галахов. – Еще народ!

За шестью проехавшими рысью верховыми двигалась партия всадников, человек с полсотни, а следом за ними – две дюжины строевых конников, по два в ряд. Шагах в сорока позади конников подвигался одинокий всадник на крупном, соловой масти коне, а за ним еще шесть человек.

– Мать распречестная! – досиня побледнев, прохрипел Долгополов и закатил глаза. – Пугачев!.. Ей-Богу, сам Пугач... Я по соловому коню признаю... Его конь! Гляньте, гляньте... За ним еще молодцы, он завсегда этак марширует... Ой, схоронитесь, вашескородие, хошь за амбар, – засуетился Долгополов. – А то он, злодей, как сравнивается против нас, живо дозрит... У него завсегда при себе зрительная трубка...

– Постой, постой, – шепотом сказали офицеры, словно испугавшись, как бы их не подслушали за версту опасные проезжие.

– Бегите! – закричал вдруг Долгополов. – Смерть нам всем! Дозвольте сумочку с казной подсоблю нести...

Притаившись за амбаром и выглядывая из-за угла, все трое наблюдали движение за рекой пугачевской силы.

Вот новый отряд в двадцать четыре человека с поднятыми пиками, за ним – запряженная тройкой лошадей богатая коляска, за ней две кибитки тройками, далее опять отряд человек в тридцать, в две шеренги, со значками и знаменами. Следом пылила добротная рать, по примерному подсчету – до полутора тысяч человек, разбитых на пять отделений, впереди каждого отделения гарцевали атаманы и полковники. Далее двигалось около сотни навьюченных лошадей, ведомых людьми пешими. А сзади, отстав на версту, последняя партия человек в четыреста.

– Да, народу у злодея немало... Не иначе как близко к двум тысячам, – выходя из укрытия, проговорил Галахов.

А Рунич по молодости лет, не посоветовавшись с Галаховым, огорошил Долгополова такими словами:

– А что, Остафий Трифонович... Ежели, по примечанию вашему, это Пугачев со своей армией, то, чего лучше, мы вас отсюда и отпустим.

«Хм, отпустим... А денежки?» – подумал Долгополов. Он взглянул на Рунича с ожесточением и в сердцах бросил:

– Ха! Вот как... Видно, вам хочется, чтоб нас всех повесили? Я сам разумею, когда предлежит к Пугачу идти...

Разговор оборвался. Все трое снова сидели на бугре, провожали взглядом проезжавшую рать. Солнце еще стояло довольно высоко. Густая пыль долго клубилась по ожившей дороге, мертвенная степь наполнилась необычным движением. Очевидно, проехавшая армия в питании не нуждалась, иначе фуражиры Пугачева не преминули бы заглянуть в станицу, где комиссия поджидала коней.

Галахов, покусывая густые усы и нахохлив брови, раздумывал над только что, как в сновидении, промелькнувшей пред его глазами необычной картиной. Так вот каков этот грозный самозванец! Оптические стекла зрительной трубы приближали в двадцать пять раз, а до Пугачева всего было не более полутора верст, значит Галахов рассматривал «царя» на расстоянии каких-нибудь ста шагов. Ему запомнилось смуглое чернобородое лицо, горделивая осанка всадника, рост и поступь могучего солового коня. Каким-то древнерусским богатырским эпосом пахло на Галахова со степных просторов Волги,

будто он воочию увидел и запечатлел навек ожившую русскую сказку об Илье Муромце или Микуле Селяниновиче с их железными дружинами. Вот он, русский народ, творец истории! «Уж ты гой еси, богатырь степной!..» – хотелось крикнуть вдогонку всаднику на соловом скакуне, но рассудительный офицер, руководствуясь служебным долгом, вдруг резко оборвал возникшую в его душе сумятицу, и его глаза снова стали суровы, замкнуты.

– Черт возьми, – сказал Рунич, – ежели даже разбитая армия идет у него в таком порядке, то...

– То, – перенял Галахов его мысль, – нам, несчастным, вряд ли удастся изловить разбойника!

– Не сомневайтесь, дело наше верное! – в раздражении кинул Долгополов и собрался еще что-то сказать, но не сказал, сердито отмахнулся.

Комиссия Галахова, двигаясь не особенно быстро, наконец достигла города Царицына. Комендант крепости, полковник Цыплетев, сообщил, что двадцатитысячная армия Пугачева разбита Михельсоном. Но он, Цыплетев, достоверных донесений еще не имеет, ожидает их со дня на день. Галахов в свою очередь рассказал Цыплетеву, как на глазах комиссии пугачевская армия проследовала мимо одной из станиц.

– А в Дубовке нам сказали, – продолжал Галахов, – что Пугач разгромил команду подполковника Дица и что сам Диц убит, а его команда частью порублена, частью попала в плен. И сколько-то пушек злодей захватил.

– Сие тоже правильно, был грех, был! – вздохнул Цыплетев. – Да, глядя правде в глаза, надо прямо сказать: неплохо дерется Пугачев...

– Но ведь Михельсон-то не единожды бивал его...

– И будет бить... Разве у Пугачева войско? Сброд, лапотники! – воскликнул с озлоблением полковник, не замечая противоречий в своих высказываниях.

2

На другой день неожиданно прискакал в Царицын генерал-поручик Суворов с адъютантом Максимовичем и слугой.

А к вечеру явился со своим корпусом и «победитель забеглого царя», подполковник Михельсон. Он тотчас же начал своих солдат переправлять в ладьях и баркасах на луговую сторону Волги, чтоб выступить в погоню за Пугачевым. Но, узнав, что командовать корпусом прислан Суворов, Михельсон передал ему своих людей и, чрез день роздыха, выехал к главнокомандующему, графу Панину.

Комиссия, представившись Суворову, просила разрешения следовать за его корпусом.

– Ну что ж, – сказал Суворов, – у меня тысяча да вас трое, авось схватим молодца! А ты кто? – ткнул он пальцем в Долгополова.

– Казак, ваше превосходительство.

– Да уж полно, казак ли? Не пономарь ли беглый?

– Казак... Яицкий казак, – промямлил Долгополов.

– С ружья палить можешь? Саблей можешь? Пикой можешь?

– М-м-могу, – страшась, как бы генерал не учинил ему проверку, едва слышно вымолвил Долгополов и закатил глаза.

– Как во фрунте стоишь?! – резко крикнул Суворов. – Пятки вместе, носки врозь! – Затем, обратясь к Галахову: – А вы, гвардии капитан, извольте быть готовы со своей комиссией завтра с утра к амбардации на тот берег, в Ахтубу!

Комиссия перегнала в ночь две свои кибитки за Волгу, а рано утром вместе с Суворовым отправилась на тот берег в особом баркасе.

Суворов был неразговорчив, сумрачен, но на месте не сидел: то мерил шестом воду, то, схватив весло, помогал гребцам. Долгополов жался в сторонке: он явно страшился Суворова.

В Ахтубе, после непродолжительного завтрака у хозяина шелковичного завода Рычкова, Суворов сел на приготовленную саврасую казачью лошадь, взял в руки плеть, поклонился всем и в сопровождении одного донского казака пустился вверх по луговой стороне Волги нагонять свой корпус. А сто пятьдесят донских казаков оставил он в Ахтубе, в ариергарде, с приказом выступить им через три часа.

Галахов со своим вестовым, гренадером Кузнецовым, решил следовать с ариергардом, а Руничу с Долгополовым и гренадером Дубилиным приказал ехать следом за Суворовым. Сума с казною, к немалому соблазну Долгополова, была вручена Руничу.

Путники пустились догонять Суворова. Пред ними лежала необозримая пустынная степь, и лишь при закате солнца они увидели впереди двух всадников – Суворова с казаком. Вот, подъехав к стогу сена, всадники остановились.

– Дубилин, останови-ка и ты лошадей, – приказал Рунич гренадеру. – Его превосходительство не терпит, когда кто-либо без его призыва является к нему.

Они повернули тройку в кусты и начали, таясь, присматриваться, что будет делать генерал. До него было сажен полтора.

Суворовский казак, соскочив с седла, воткнул пик в землю, привязал к пике свою и генеральскую

лошадь, стал из стога теревить сено и складывать его в кучу. Затем кучу поджег. Суворов сбросил мундир, выдернул из штанов рубаху, закинул ее на голову и, поворотившись к огню, начал поджаривать себе спину и приплясывать. Затем поворотился животом, опять стал разогревать себя на вольном огоньке, потом разулся, разделся догола. Меж тем казак подхватил берестяное черпало, побежал в овраг, набрал в проточном ключе воды и, возвратившись, принялся с ног до головы обливать генерала ледяной водой. Бегал казак за водою четыре раза. «Наддай, наддай!» – кричал Суворов. Затем он, проделав гимнастику, проворно оделся, накинул на себя мундир и улегся на отдых, седло под голову.

Солнце село. Для Суворова это была уже ночь. Он обычно в два часа пополуночи вставал, в десять утра обедал, в восемь вечера вновь уходил ко сну. Впрочем, в боевой обстановке этой привычкой Суворов пренебрегал.

Заночевали в кустах и путники. Утром, чем свет, велели закладывать бричку. Суворова возле стога уже не было. Нагнали его часа в два. Рунич, настигая генерала, поднялся в повозке и осмелился крикнуть:

– Батюшка, ваше превосходительство Александр Васильич! А не угодно ли будет вашей милости винца?

Суворов повернул свою савраску и, остановившись возле кибитки, сказал:

– Помилуй Бог, можно выпить и закусить.

Рунич подал ему чарку, хлеба с солью, кусок сухой курицы. Суворов, перекрестясь, выпил, взял хлеб и курицу, сказал: «Спасибо, братцы», поворотил лошадь, забросил плетку на плечо – и был таков.

Суворов нервничал. Водка не успокоила его. Он дергал головой, моргал, выкрикивал, как и в тот раз, в кибитке:

– Я солдат, солдат! Приказано! Всемилостивой государыни приказ... – Сделав версты две, он остановил савраску, отхлебнул из походной фляги сам, угостил и бородатого донского казака с голубыми добрыми глазами. Но успокоение не приходило к нему. – История, история! – выкрикивал он. – Творится история.

В его ушах еще не замолкли раскаты турецких и русских пушек, обоняние еще хранило запах порохового дыма, перед глазами все еще мелькают штурмующие колонны чудо-богатырей... И вот, извольте вершить историю! Охотиться за «домашним врагом»!.. На сердце Суворова сумеречно, вся степь, вся ширь степного простора, все русское раздолье – в мрачных красках, угнетающих душу.

– Нет, нет, всемилостивейшая! – опустив голову, вслух думает Суворов. – Я с мужиком драться не привык... Помилуй Бог! – выкрикивает он и ловит чутким ухом, как сзади него цокают по отвердевшей дороге копыта казачьей лошаденки. – Турку бью, немца бью, поляка бью, всякого врага бить буду. А мужика сроду не бивал...

– Чего изволите молвить, ваше превосходительство? – подлетает к нему казак.

Как бы пробудившись от сна, Суворов вскидывает голову, смотрит, указывает куда-то плеткой, говорит казаку:

– Видишь, Семеныч, стог? Вон-вон... Езжай, братец, приготовь из сенца пуховичок, ночевать будем.

Казак прищпоривает коня. Суворов еще отпивает водки, трясет головой, сплевывает через зубы, по-солдатски, и вперед, вперед на своей савраске.

– Ха, мужик... А кто он, мужик? Кто в армии российской?.. Пусть Михельсоны, да Муфели, да Меллины домашнего врага ловят... Да, да! А я... сам мужик, сам солдат, сам русак среди русаков!

Он смотрит на запад, от солнца осталась золотистая горбушечка, сверху редкие облака, а по степи

теплая рыжеватая сутемень.

– Мятаж, восстание... Мужик бунтует... У меня в Кончанском тоже мужик сидит... А не бунтовал... ни при мне, ни при отце, ни при деде моем... Извольте посмотреть, всеблагая, как валятся пред вашим рабом Александром мужички... «Батюшка, Ляксандра Васильич, купи ты нашу деревеньку!» – «Да как я вас, помилуй Бог, куплю, у вас своя госпожа, моя соседка...» – «Ляксандра Васильич, она у нас все жилы вытянула, насмерть велит бить, а ты, батюшка, по-божецки своих содержишь, жалеешь их». Да, да, извольте посмотреть, ваше величество! А то – бунт, бунт!.. Я, матушка, знаю почище тебя мужика и барина!.. Ты проведай-ка, матушка, много ли Суворов на вотчинах своих нажил? Ни рубля, ни козы, не токмо что кобылы! – Суворов закатился скрипучим смешком. – Нет, матушка, с мужиком тоже надо уметь... А то разворошили муравьиную кучу, натворили делов, а теперь наш брат, солдат, поди расхлебывай!

Не спалось Александру Васильевичу этой ночью на сенце под стогом. Он вытянул голую ногу, растолкал пяткой храпевшего вблизи бородатого казака.

– Семеныч! Не спишь?

– Никак нет, вашество, чегой-то не заспалось, – мямлит спросонья казак.

– Помнишь, братец, как мы Туртукай брали? Ты в деле-то был?

– Был, как же... Семерым басурманам головы снес да троих на пику поддел...

– Молодец!

– Рад стараться.

– Старайся, старайся... «Слава Богу, слава нам, Туртукай взят, и я там!..» Ну, да ведь я, Семеныч, хитрый! Фельдмаршалу-то Румянцеву донес тогда: «Слава Богу, слава вам!» Ха-ха...

– Да уж, эфто чего тут, – мямлил казак, борясь со сном, и вдруг снова захрапел.

Суворов лежал на спине, глядел в небо. В его глазах – восторженность и слезы. Все небо усыпано крупными четкими звездами. Боже мой! Какие таинственные письмена в высотах, какое непостижимое вокруг величие! «Вся премудростию сотворил еси», – звучат в растроганной душе Суворова слова стихиры: певал когда-то такое в деревенской церковке села Кончанского...

– История, история! – выкрикивает Суворов. – Но что есть история?

Искушенный в математике, он начинает прикидывать масштабы, измерять несоизмеримое.

Боже мой! Что есть история... Монарх и солдат?.. Пугачев и Суворов?.. Что есть шар земной?..

– Природа – мать, природа – мать! – бормочет он. – Не земля, а картечинка, помилуй Бог. И мы – на ней!.. Каждой планиде своя судьба... И земле – своя, и мне, и Пугачу, и царю Додону, и всем, всем своя, неподкупная участь... Галилеи, Коперники, Невтоны... А Суворов – солдат... Штыком, штыком, да на ура! Эка штука... Семеныч, спишь?

– Никак нет, вашество!

– Нога, Семеныч, мозжит у меня... Зашибли басурманы мне ногу, в овраг с конем сверзился... Помнишь?

– Как не помнить – помню... Вам бы, ваше превосходительство, вздохнуть да покоиться, а тут... с нашей мужичьей дурью хлопочи – справляйся!

– Служба, казак!

– Известно – служба, что дружба, через плечо ее не кинешь... Никак заря близко?

3

С утренней зарею Рунич и Долгополов пустились в путь, но генерала Суворова на месте уже не было. Целый день гнались они за ним, да так и догнать не смогли. Еще протекла ночь, и лишь на следующее утро прибыли оба в населенное малороссами село Никольское, что против Камышина. Избы здесь высокие, многие строения на сваях, – во время вешних разливов Волги местность затоплялась. Жители – чумаки – промышляют поголовно возкою соли с Элтонского озера.

Путники остановились у приподнятой на сваях избы. Их поджидал здесь адъютант Суворова, молодой Максимович.

– Я уже успел заготовить как вам, так и генералу помещение, – проговорил он. – А хозяйке заказал, чтоб она избу не мела и стол скатертью не покрывала: мой генерал терпеть того не может, чтоб для него суетились да прибирали.

В это время подъехал Суворов.

– Здравствуйте! – крикнул он, соскочил с савраски и по высокой лестнице, спускавшейся к самой дороге, прытко пошагал вверх, за ним – Максимович.

И не успели еще путники вылезти из кибитки, как Максимович выбежал из хаты на крыльцо, по следам его Суворов с криком:

– Ай! Ай! Ай! Держи!.. Уши надеру, уши надеру!

Максимович, сбегая по лестнице, оступился, упал. Споткнувшись, упал на него и Суворов, оба скатились впереверт по ступеням вниз. Вот длинноногий Максимович вскочил и, взягивая, с хохотом опрометью через ворота в огород, за ним, поддерживая штаны, Суворов.

Рунич с Долгополовым, стоя с открытыми ртами в кибитке, недоумевали: что стряслось с генералом? И лишь в избе все разъяснилось. Оказывается, войдя в избу, Суворов увидел, что, вопреки его хотенью, хозяйка накрывает стол чистой скатертью, а ее дочь домывает с дресвой пол.

Вскоре прибыл в село и капитан Галахов с ариергардом.

Час спустя Суворов пригласил Галахова и Рунича к себе. Похаживая по избе, руки назад, генерал спросил:

– Как располагаете, со мной ли пуститься в степь или здесь останетесь? Пять тому дней назад Пугачев прошел чрез это село, не делая никакой наглости, помилуй Бог. При нем корпус в три тысячи голов. Собрав провиант и до двадцати подвод парами, пустился воров по элтонской дороге. А другой отряд, до пятисот голов, миновав село, потянулся вверх по Волге. Я направлюсь за первым, к Элтонскому озеру, а второй отряд... – Он помолчал. – А второй с кем-нибудь и без меня в верховьях встретится.

Офицеры комиссии испросили позволения генерала посоветоваться с Остафьем Трифоновым. Нетерпеливо поджидавший комиссию Долгополов сказал:

– А зачем нам по степи за Пугачевым слоняться? Он Бог знает куда промчаться может. А мы, слонясь, того гляди, попадем в лапы разбойников – киргизов, кои вдоль и поперек шныряют по степи. – Он вздохнул, лицо его вытянулось. – По правде-то сказать, я обе эти ночи не спал: залезу на кибитку да во тьму и посматриваю... Страшновато было. А ехать нам надобно в Саратов, вот куда. Там и рассудим, куда вам, куда мне путь держать.

Простившись с Суворовым, комиссия направилась к Саратову. В конце второго дня ее нагнал

скакавший в Саратов курьер. Он поведал, что генерал Суворов со своим корпусом выступил по дороге к озеру Элтонскому, а ночью в степи верховые люди, по виду – киргизы, напали на телегу его превосходительства, в коей ехал камердинер из пруссаков, и того камердинера убили. Не иначе – нападавшие приняли слугу за самого Суворова.

Долгополов перекрестился, сказал:

– Ну, если б мы за его превосходительством ехали, то и нам досталась бы хорошая взбучка!

А вот и Саратов опять. Комиссия остановилась в пустом архиерейском доме. Вечером, после ужина, Долгополов, приосанившись, заявил спутникам:

– Вы, господа офицеры, снабдите меня надежными Донского войска урядниками или сотниками, а также паспортом, дабы нигде не могли задержать меня. С оными воинскими чинами я завтра же тронусь в путь, а вы езжайте в Сызрань и там ждите от меня известий.

Галахов, пренебрегая развязным тоном Остафия Трифонова, не только не сделал ему на этот раз замечания, но даже обрадовался началу с его стороны практических мероприятий по уловлению Пугачева.

К генерал-майору Мансурову, находившемуся со своим detachmentом вблизи Саратова, был тотчас отправлен Галаховым гонец с просьбой прислать комиссии трех благонадежных казаков, что и было Мансуровым исполнено.

На другой день, собираясь в путь, Долгополов сказал:

– Я с донцами поеду к Сызрани, там переправлюсь обонпол на луговой берег и возьму путь на Яик. Одного донца оставляю в том месте, где признаю за нужное, другого оставляю за семьдесят верст от первого, а третьего – верст за полсотню от второго. Сам же поеду один, буду вызнавать, где Пугачев с войском. А коль скоро проберусь до него да сговорюсь с яицкими казаками, кои вызвались выдать злодея, тотчас отправлю спешного курьера к третьему моему донцу, тот – ко второму, второй – к первому, а уж этот к вам примчится. И вы немедля спешите тогда к тому месту, где третий донец мною оставлен будет. В это место мы и доставим Пугача. Вот! Извольте мне выдать пропуск и деньги.

Доводы Остафия Трифонова показались комиссии резонными. Галахов протянул ему пропуск за подписью руки Мансурова и тысячу рублей на издержки.

Долгополов откинулся в кресле, закусил губу, глаза его закатились под лоб. Затем крикливо он бросил:

– Что сие означает, вашскородие? Как это вы умыслили со столь малою казною отпустить меня? Нет-с, уж не прогневайтесь... Должны вы мне выдать золотом не боле не мене все двенадцать тысяч.

Рунич и Галахов остолбенели. Затем глаза Галахова, устремленные в упор на Долгополова, сверкнули гневом. Рунич выразительно крикнул, его каблук с нервностью запристукивал в пол.

– Как можно, – помедля и овладев собою, сказал Галахов, – как можно со столь значительной суммой пускаться тебе, Остафий Трифонович, одному в опасный эскурс... Опомнись!

– Понапрасну пугаетесь, господин капитан, – с настойчивостью возразил Долгополов. – Это дело не ваше, как я с сими деньгами до Пугачева доберусь. Извольте-ка выдать мне оные без промедления! Извольте-ка, господин капитан, распечатать пакет его светлости князя Орлова, на коем – я самолично зрил – рукой его светлости написано: «Распечатать во время надобности». Извольте посему учинить исполнение, удостоверьтесь-ка, что требование мое справедливо...

Пройдоха говорил столь напористо, что оба офицера, удалясь в другую комнату, сочли нужным

вскрыть пакет Орлова. В пакете – паспорт на имя Остафия Трифонова за княжеской печатью и собственноручное письмо князя к товарищам Трифонова, яицким казакам. В письме между прочим значилось: «Государыня императрица соизволила послать с Остафием Трифоновым всем его 360 сотоварищам, яицким казакам, на ковш вина 12 т. рублей золотою монетою, а впредь будут ее высокомонаршей милостью и больше награждены».

– Черт его знает... – сказал Галахов. – Написано довольно неопределенно. Ведь не сказано же: вручить деньги Трифонову для передачи казакам... Нет, врешь, голубчик, я тебе всех денег не дам! А то дашь, да только тебя и видели мы, ищи-свищи ветра в поле.

Они вышли к Долгополову. Тот, нахохлившись, взад-вперед похаживал, припухшая щека его повязана клетчатым платком – болел зуб. Начались пререканья и споры. Галахов с горячностью доказывал Остафию:

– С такую суммою можете вы, Остафий Трифонович, погибнуть и тем самым погубить все столь важное государственное дело.

Долгополов продолжал упорствовать. Горячие споры, доходившие порой до крика, с обоюдным застрашиванием, длились дотемна.

– Я вскочу на лошадь да раз-раз к главнокомандующему графу Панину, упаду ему в ноги, нажалуюсь на вас. Я человек отчаянный! – боевым петухом бегая по залу, выкрикивал Долгополов.

– Его сиятельство прикажет тотчас же вас повесить, как пугачевского приспешника, – огрызались офицеры.

– А вас, а вас... колесовать! – брызгал слюною Остафий. – Вам ее величество повелит кишки на колесо намотать, яко преступникам лютым, ее монаршую волю нарушившим! Матушка императрица хорошо меня знает, я, чай, обедал с нею и чарой чокался...

Наконец Долгополов согласился принять 3000 рублей, кои ему были выданы с распискою, что коль скоро, по благополучном завершении дела, потребует он остальные 9000 рублей, то будут оные вручены ему беспрекословно.

Долгополов между прочим настоял, чтобы деньги были ему сейчас же отсчитаны, да не серебром, а золотом, дабы сподручнее было везти их. Постановив от зубной боли, он принялся со злостью пересчитывать монеты, затем снял со стены овальное зеркало, положил его на стол и в присутствии офицеров, с явным желанием как-нибудь окорбить их, начал брякать в зеркало червонец за червонцем, якобы с целью удостовериться, нет ли фальшивых.

– Что ты, что ты, Остафий Трифоныч! – ядовито улыбаясь, сказал Галахов. – У нас без фальши! Вот только сам-то не сфальшивь как-нибудь.

– Я? Я человек в годах, к тому же из предвека верный... У нас в роду испокон века честность жила, а вы... этакое!

Уладив таким манером дело, Галахов на другой день, рано поутру, проводил Остафия в путь, а сам, по договору с ним, выехал в Сызрань. Рунича же послал он к графу Панину в Пензу с донесением, что казак Остафий Трифонов отправился из Саратова на завершение своего обязательства.

Граф Петр Панин двигался на усмирение мятежа медленно и с большой помпой, в Пензе отведено было ему лучшее помещение. При графе – блестящая свита, большой штат канцеляристов всех рангов. Панин – крупный, располневший старик с грубоватым солдатским лицом – встретил Рунича приветливо. Он знал его еще с того времени, когда тот учился в кадетском корпусе, а впоследствии и по турецкой кампании.

– А, здорово, Павлуша! Ну, как дела? Ловите?! Мотри, Михельсон-то скорей вас изловит злодея. Я уж, брат ты мой, только что послал в Питер капитана Лунина... с извещением, что преследуем Пугачева, который степью бежит со своим войском к реке Узень.

Донесение Рунича Панин выслушал внимательно и похвалил, что не отдали Трифонову всех двенадцати тысяч.

– Если сей плут хитрый и скроется куда с тремя тысячами, ему врученными, то не ахти какая будет для казны потеря. А ты вот что, Павлуша... Поезжай-ка немедля назад, к своей команде, да объяви, пожалуй, Галахову, чтоб непременно квартиру он для меня назначил в городе Симбирске. Через три денька и я туда отправлюсь со своим штабом.

Приемная, куда вышел из кабинета высокого сановника Рунич, была полна просителями. На обратном пути, проехав село Нарышкино[68], он увидел вблизи дороги две виселицы-глаголицы, на коих, умерщвленные, качались два человека.

– Кто же их вешал-то? Пугачевцы? – спросил Рунич.

– Окститесь, барин, – приостановив лошадей и обернувшись к Руничу, с укоризной в лице и в голосе сказал пожилой ямщик. – Пугачевцев-то, кои с батюшкой, в этих самых местах ныне и помину нет. Да и задавленники-то эти – наш брат, мужик! То, сказывают, «спедитор» какой-то приезжал, офицерик молодой, тутошних мест уроженец, при нем шестеро гренадеров конных. Вот он... и казнил!

Рунич подернул плечами, его в дрожь ударило, он вынул тетрадь и записал:

«Не видав никогда до сего времени страшной сей казни, по законам злого человеческого разума выдуманной, вострепетало во мне сердце и в сильное глубокое погрузило меня уныние»[69].

Не доезжая верст пятидесяти до Сызрани, Рунич неожиданно встретил в одном из селений своего гренадера Кузнецова.

– Ты как тут? – с удивлением спросил его Рунич.

Гренадер ответил:

– Господин капитан Галахов и вся его команда вот уже четвертый день в здешнем селе квартирует.

И в это время, улыбаясь во все лицо, подходит к остановившейся бричке сам капитан Галахов.

– Ну, кричите «ура», – молвил он. – Пугачев пойман! Но... без участия нашего Остафия Трифонова.

Рунич соскочил на землю и, забыв субординацию, бросился на шею к Галахову.

– А я уже распорядился послать поручика Дитриха следом за Остафием Трифоновым, чтобы возвратить его. Посему и здесь сижу да вас поджидаю, – сказал Галахов. – Не далее как с час тому проскакал здесь курьер князя Голицына к главнокомандующему в Пензу с известием о поимке Пугачева.

– Кто поймал? Уж не Суворов ли?

– Доподлинно не знаю... Но, по слухам, предан самозванец своими же, близкими ему атаманами. Его связали и привезли в Яицкий городок.

Вскорости известие целиком подтвердилось: Пугачев был предан атаманами Твороговым, Чумаковым, Федульевым и другими.

Получив извещение о случившемся, Суворов тотчас же двинулся с легким конвоем к Яицкому городку, куда и прибыл почти в одно время с пленным Пугачевым. «Суворов взял Пугачева под свое ведение и распоряжение, не задерживаясь с ним в Яике, и, приказав заготовить кибитку открытую, которую прозвали простолюдинцы клеткою, отправился с ним в Симбирск к графу Панину, куда прибыл

граф вечером, в один день с генералом Суворовым»[\[70\]](#).

4

Поручик Дитрих, человек молодой и весьма исполнительный, поскакал следом за Остафием Трифоновым, чрез Сызрань, затем по симбирской дороге, по направлению к Казани.

Все дороги, столбовой большак и прилегающие к нему проселки за какие-нибудь три-четыре дня необычайно оживились. Взад-вперед двигались и в сторону Казани, и в сторону Симбирска сотни, тысячи крестьян на подводах или пешеходью. Крестьяне молодые, старые и подростки-парни. Вид у всех изнуренный, головы понуры, глаза погасли, словно взоры их уперлись в непроницаемый мрак. Нередко попадались партии, человек по пятьдесят, нанизанных на одну веревку, они шли по обочине дороги в одну линию, гуськом. Их конвоировал солдат с ружьем. Иногда встречалась толпа человек в двести-триста, с каждой стороны по солдату. Передний, размахивая штыком, кричал встречным проезжающим:

– Сворачи-ва-а-а-й!

На многочисленных телегах, долгушах, бричках, двуколках, таратайках, запряженных худоробрыми клячками, под охраной солдат или деревенских старост с бляхами, сидели в несчастных позах мужики, бабы и парни, хмурые, угрюмые, с обветренными исхудалыми лицами, с покрасневшими от слез глазами. Впрочем, взоры иных сверкали огнем непримиримым. А иные даже ухмылялись про себя загадочно, будто говорили: «Ладно, ваш верх, наша маковка!»

Это тысячи крестьян-вольнолюбов, схваченных в армии Емельяна Пугачева, движутся под воинской охраной в Казань да в Симбирск, на суд Секретных комиссий. Суд и расправу будут вершить над иными также по месту их жительства.

Небывалое движение можно было бы с орлиных высот наблюдать по всему взбаламученному краю – от Уральских гор, от вольного Яика, от берегов моря Каспийского вплоть до Петербурга. Толпы, толпы, одиночки, курьеры, всадники, воинские отряды, генералы, офицеры, пушки, барабаны, именитые вельможи в сверкающих лакировкой каретах с золотыми гербами, и где-то под шумок, может быть, уже поскрипывают на двух столбах перекладины, с плеч головы летят.

И где-то в курных овинах, при запоздалой сушке проросших снопов, может быть, слагается уже ночью полная горести песня:

Плетка взвизгнула,
Кровь пробрызнула.

Но еще долгое время и во многих глухих местах потрясенной России будет гулять-разгуливать мстительный пламень неумирающей вольницы.

Поручик Дитрих догнал Остафия Трифонова, не доезжая до Казани ста верст. Узнав о поимке Пугачева, ловкий притворщик всплеснул руками, закрыл глаза и в радости воскликнул:

– Дивны дела твои, Господи! Ну, слава Богу, что злодей в руках. А кем пойман и выдан, это все едино...

Дитрих и Долгополов с тремя есаулами донцов, которых он взял с собой, повернули обратно. Дорогою Дитрих раздумывал: «Зачем Остафию Трифонову занадобилось ехать к Казани? Ведь прямой путь ему был к Яицкому городку или к Узеням, куда устремлялся Пугачев». Но обратиться к своему спутнику с таким вопросом Дитрих постеснялся.

Решили ночевать в большом селе, не доезжая пятидесяти верст до Симбирска. Кончался сентябрь месяц, ночи держались холодные, но есаулы все-таки пошли спать на сеновал. Поручик приказал им

смотреть за лошадьми, чтоб завтра, рано поутру, выехать с ночлега.

Изба, где остановился Дитрих с Долгополовым, была просторная и чистая. Попросили хозяйку сварить курицу. За ужином велись беседы. Плечистый старик-хозяин говорил:

– А мужики нашего селенья все, почитай, дома оставались, не преклонялись к Пугачеву-то... Нас так и прозвали «останцы».

Долгополов был весел, разговорчив, он забавлял молодого Дитриха разными побасенками. Отходя на покой, он сказал офицеру:

– Раз злодей схвачен, нам великого резону нет, чтобы спешить... Можно и подоле поспать... Чегой-то зуб у меня разболелся... Охти мне...

– Нет, уж давайте пораньше, Остафий Трифонович, – нерешительно сказал Дитрих. – Я и казакам так велел.

– Ну, как знаете, – с раздражением ответил Долгополов. – Кабы не зуб, так я бы...

На другой день, проснувшись довольно рано, еще до свету, поручик Дитрих с удовольствием заметил, что Остафий Трифонов, видимо, пробудился раньше его: место на двух стоявших впритык сундуках, где он лежал, было прибрано.

Дитрих ощупью пошарил трут, сверкач, огниво, закурил трубку. Стало рассветать. Пришла хозяйка, развела на шестке таганок, принялась кипятить воду, готовить гостям яичницу.

– А где же мой сотоварищ? – спросил Дитрих бабу.

– Да, поди, во дворе... Где боле-та...

Дитрих оделся, вышел во двор. Два есаула седлали лошадей.

– А где наш казак, Остафий Трифонович? – спросил их офицер.

– Мы, ваше благородие, его не видали.

Подошел третий есаул. Он, оказывается, тоже не видал Остафия. Дитрих приказал двоим поискать его по селу, а третьего направил к старосте за лошадьми, чтоб пригнал сюда заказанный с вечера экипаж с тройкой. Затем вошел в избу, стал бриться. Прошло полчаса. Дитрих успел позавтракать. Остафий не являлся. «Что такое?.. Уж не ушел ли он со своим зубом к какому знахарю либо к зубодеру?» – с нарастающей тревогой в сердце подумал поручик. Возвратились есаулы, сказали:

– Обошли мы, ваше благородие, все избы подчистую. Точные приметы его сказывали. Повсюду нам отвечали, что, мол, ни ночью, ни поутру к ним такой казак не захаживал.

Дитрих сразу изменился в лице, выбежал во двор, строжайше приказал сельскому старосте собрать тотчас всех людей и немедля приступить к обыску амбаров, овинов, огородов, полей и перелесков. А сам с одним есаулом поскакал верхом по Казанскому тракту. И по всем селениям, чрез которые проезжал, приказывал он местным сотским и десятским со всем народом искать по приметам скрывшегося яицкого казака.

– Ежели найдете живого или мертвого, берегите его у себя, я обратно мимо поеду. Кто найдет, тот награждение получит...

Дитрих с есаулом доскакали до селения, где был в первый раз задержан Долгополов. Но и здесь беглеца не оказалось. Дитрих сделал те же распоряжения относительно розыска пропавшего важного казака и, поручив следить за этим делом есаулу, сам поскакал обратно. Ни в одном селении беглец обнаружен не был: как в воду канул. Поручик впал в отчаяние: кончилась его служебная карьера, за

упущение столь загадочного лица да к тому же с огромной суммой денег шутить не станут, чего доброго, разжалуют в солдаты...

От сугубого отчаяния и скорби в его крови «сделалось страшное распаление», он велел как можно поспешнее везти себя в Симбирск и в дороге умер. Ходили слухи, что несчастный офицер принял будто бы яду.

Тем временем Долгополов успел пробраться на Волгу, договориться с бурлаками за десять рублей тянуть его на попутной посудине до Нижнего Новгорода. И вот он восседает на небольшой барже, нагруженной низовыми арбузами, яблоками, медом, воском и прочими товарами.

Слава те, Христу, кончено опасное лицедейство, он больше не яицкий казак, не пугачевец, он снова купец второй гильдии града Ржева-Володимирова, у него за рукой воеводы и должный паспорт есть. «Да им век не сыскать меня! Там был яицкий казак Трифонов, ныне купец Долгополов. Ужо-ужо обличье себе перемену: парик добуду да усы с бороденкой выскоблю напрочь. Поди узнай тогда. Родная жена трекнется».

Да, все бы хорошо, вот только жаль, что товары-то не его, не Долгополова. Распрекрасно было бы купить по сходной цене эти товары у хозяина – половину за наличные, на другую половину – вексель, затем в Нижнем Новгороде раскинуть палатку да и продавать сии блага земные с большой корыстью. А там, умножив и паки преумножив свои достатки, удариться в керженские потаенные леса – до них от Нижнего рукой подать – к своей братии и сестрам по старозаветной вере, всечестным скрытникам. С деньгами-то можно и хатку себе выстроить, и «малину-ягоду» завести – какую-нито черноокою скитницу, дабы споручней было отмаливать великие грехи свои. В старозаветных книгах пропечатано: «Убо согрешишь, покаешься». А приятней было бы сказать: «Мотри, покаешься, ежели не согрешишь...»

«Ой, согрешу, ой, согрешу», – раздумывает, разжигается в греховных помыслах Долгополов, жмурясь, как кот на сливки, на пригожую молодайку в кумачах, что возле крутится: то кисленького кваску подаст, то сладкой бражки, то моченых антоновских яблочков. Он давно забыл богоданную свою жену, кругленькую Домну Федуловну, что ждет не дождется во Ржеве-городе неверного своего супруга. «Ой, согрешу, ой, согрешу», – бормочет Долгополов и, спустившись вниз, в жилой закуток, наскоро обнимает молодайку, сует ей двадцать две копейки серебром.

А Волга течет себе широкая да вольная. Много в жизни своей она слыхала, много видела, помнит, как первый человек окунулся в ее воды. С тех пор пролетали над ней века, подобно быстрокрылым птицам, и тысячелетия двигались неспешной ступью, как мерные шаги нагруженного верблюда. А она все та же, и то же над ней небо, лишь несколько изменилось ее течение, и прозрачная кровь в ней поусохла, да размножился по ее берегам человек. Научился сей двуногий ловить в ее глубинах рыбу, выдумал огонь, и зачастую несла Волга воды свои чрез сплошной пламень горевших по ее берегам вековых лесов. Стал человек складывать песни, но в песнях тех не было и тени веселья, были тоскливы, походили песни на стон: должно быть, тяжело жилось человеку. Разве что разбойничьи стружки взрежут грудью волжские волны, и зазвучит, зазвучит с них, разнесется по зеленым просторам лихая песня с присвистом, с гиканьем: «Сарынь на кичку!»

Да еще помнит Волга: в тысяча семьсот шестьдесят каком-то человечьем году проплывала в Казань цветущим летом царствующая Екатерина. С разукрашенных императорских барж складно звучали серебряные трубы оркестров, а многочисленные хоры рожечников, подхваченные звонкими голосами певцов, радостно будоражили прогретый солнцем воздух. Императрице и свите ее было весело, а людям, стоявшим по берегам и швырявшим вверх шапки, было грустно: веселый караван, как сказочное привидение, уплывал из простора в простор, вот он замкнулся в розоватых безбрежных туманах, больше

никогда не вернется обратно. И была вокруг все та же угрюмая, вся в тоске, вся в жалобе, песня.

Вот она и сейчас надрывно звучит над песками, над зеркальной гладью реки:

Ма-туш-ка Во-о-о-лга,
Ши-ро-ка и до-о-о-лга,
Ты нас ука-ча-а-ала,
Ты нас ува-ля-а-ала!

Это бурлаки, внатуг налегая грудью на лямки, совершают последнюю в этом году путину, тянут встречу воды баржу с арбузами, а на арбузах – плутец Долгополов.

Бурлаки идут, идут... Лохматые нечесанные головы опущены, рыжие, черные и пегие с проседью бороды всклокочены, мускулы во всем теле напряжены до отказа – течение воды убыстрилось. Кто в новых лаптях, кто в ошметках, а беглый монах – босиком. Холщовые, в три ряда, лямки за лето пропитались потом и грязью, как ворвань. Погода холодная, но людям жарко: поросшие шерстью груди открыты. Идут в ногу, мерно покачиваясь. И в такт шагам чуть покачиваются повисшие руки. Обходят большой, версты за три, приплесок, идут трудно, песок сыпуч, упор ногам слаб, скорей бы на луговину. Их – восьмеро крепостных крестьян пошли от барина на оброк, а девятый – беглый монах. Он голосом груб, глаза у него запьянцовские. Он заводит, все подхватывают:

Ты нас ука-ча-а-ала,
Ты нас ува-ля-а-а-ала,
На-а-шей-то силушки,
На-а-шей силушки не ста-а-ло...

Ноет песня, ноет сердце, скулит душа... Эх, лучше бы гулять не по Волге-матке, а по степям да раздольям с воинством мужицкого батюшки-царя, мирского радетеля. Он ладный укорот давал немилостивым барам, да лихим воеводам, да судьям-грабителям... Где-то он, свет наш, жив ли, здоров ли? Сказывают, быдто схватили его, отца нашего, генералы царские...

Плывет песня, плывут думы, течет похолодевшая вода. Мужичкий сытный праздничек Покров позади остался, стало холодно, по утрам закрайки из стеклянного ледку, а вчерась снежок порхал. Ну, да уж не столь далеко и до Нижнего...

А вот и Нижний Новгород. Долгополов снял картуз, истово покрестился на соборы. В дороге ему удалось оплести нехитрого хозяина, теперь арбузы и весь товар совместно с посудинной – его, Остафья Долгополова.

Он расчелся с бурлаками по-хорошему, лишь малость кое-кого объегорил, нанял сподручного, разбил на отведенном месте торговую палатку и на другой день, в воскресенье, открыл лавочку. День был ясный, в воздухе снова потеплело. Необозримое Заволжье с обмелевшей Окой, с посадками, белыми церквями и голубоватым лесом, уходило на край земли, к далеким горизонтам.

Над похолодевшей водой, плавно стремившейся к востоку, кой-где курились кудрявые завитки тумана, с ленивой медлительностью пролетали белые чайки. По берегам, возле Нижнего, и там, в заречной дали, грудились баркасы, огромные баржи, каюки и прочие посудины. На них копошились человечки с шестами, арканами, снастями, торопились ставить караваны судов на зимовку. Всюду разносились деловые выкрики, команды, ругань, песня, тягучая «Дубинушка». Взад-вперед сновали челны да лодки.

Народу на базар подвалило много. Арбузы шли ходко, всяк знал, что это последняя с понизовья партия. До обеда было продано Долгополовым больше тысячи арбузов и двести пудов антоновки... Да как

еще продано-то!.. С изрядным барышом.

– Эй, калашник! Эй, сбитеньщик! Давай сюда! – звал-кричал проголодавшийся купец и, обратясь к подручному: – А ты, Ванюха, шагай в трактир, порцион стерляжьей селянки принесешь да поджаристых мясных расстегайчиков парочку.

Подходили, подъезжали покупатели, конные и пешие. Товар убывал, деньги прибывали. Вот подъехали двое конников: полицейский чин с бляхой на картузе, а другой – какая-то приказная строка. Слезли с лошадей, подошли к палатке.

– Пожалуйста, господа покупатели! – сняв картуз, поклонился Долгополов. – Не арбузы, а сахар! Господин воевода сразу сто штук купил, а господин губернатор – генерал Ступишин – двести пятьдесят...

– Ладно, – сказал приказный и наморщил приплюснутый с бородавкой нос. – Мы у всех документы проверяем. А ты новый. Ну-тка, покажи паспорт.

– С полным нашим удовольствием-с... Вот-с паспорт, а вот...

– Ты кто таков, откудава?

– А я – ржевский купец Остафий Трифонов Долгополов, со многими купеческими фирмами дела веду.

– Значит, ты Долгополов? – спросил легким голосом приказный, утыкая с бородавкой нос в пропотевший паспорт.

– Истина ваша, – Долгополов.

– Из Ржева-Володиминова?

– Из богоспасаемого града Ржева-Володиминова...

– Ну, так вот мы тебя-то и ищем, – легким голосом продолжал приказный и, обратясь к полицейскому: – Пантюхин, хватай его, вяжи.

Глаза Долгополова закатились под лоб, верхняя губа сама собой задергалась, весь затрепетал он.

Со всего берега сбегался на происшествие народ.

А разгадка такова. В личном докладе главнокомандующему Панину о побеге «яицкого казака» майор Рунич между прочим выразил некую свою догадку, однако не придавая ей особого значения: догадка и догадка.

– Как-то в пути я обратил внимание, – говорил Рунич, – что казак крестится двуперстием. Я спросил его, не старозаветной ли он веры? «А как же! Ведь у меня во Ржеве... – Он вдруг замялся, потом поправился: – Ведь у меня в Яицком городке даже домовая часовня есть...»

Граф Панин нашел эту обмолвку казака весьма существенной, и во Ржев тотчас поскакал курьер. При опросе ржевских жителей оказалось, что действительно купец Остафий Трифонов Долгополов, человечиска плутоватый и неверный, еще по весне прошлого года выехал якобы в Казань по каким-то торговым своим делам да с тех пор, вот уже полтора года, и глаз домой не кажет. Жена его, обливаясь горькими слезами, подтвердила то же самое.

Курьер возвратился. Панин выпустил и повсеместно разослал строгий приказ о задержании преступника. Впоследствии Панин говорил Руничу:

– Вот видишь, Павлуша... сказано: «Слово – не воробей, выпустишь – не поймаешь». А вот мы зато по одному выпущенному слову не только воробья, а целого стервятника поймали [\[71\]](#).

В ноябре Рунич был командирован в Петербург. А оттуда помчался курьером к фельдмаршалу графу

Румянцеву в Могилев, что на Днестре.

Отправляя его в путь, граф Григорий Александрович Потемкин, передав Руничу три пакета, сказал:

– Два от государыни, один от меня лично. Государыне угодно, чтоб ты наедине объяснил Петру Александровичу со всею подробностью все происшествие пугачевского возмущения. – И, прощаясь, промолвил: – Тебя там многие и о многом будут расспрашивать, ты говори: «Все наше, и рыло в крови».

В начале января Рунич представился фельдмаршалу. Тот обошелся с молодым офицером весьма любезно.

– Вы нас всех весьма обрадовали своим приездом, – сказал он, – ибо мы вот уже два месяца не имеем из Петербурга никаких известий. Вы отобедаете с нами за нашим солдатским столом. Вы имеете повеление наедине нечто мне пересказать? – спросил фельдмаршал, просмотрев бумагу Потемкина.

– Да, ваше сиятельство.

Румянцев пригласил за собою Рунича в спальню и закрыл дверь. Он был в халате. Такой же крупный, щекастый, слегка курносый, с высоко вскинутыми бровями, фельдмаршал после мучительной задунайской лихорадки сильно сдал. Его лицо, вместо обычно цветущего, было болезненное, желтое.

– Я от своей хворобы еще не совсем оправился, – проговорил он, садясь в кресло.

Рунич чинил фельдмаршалу обстоятельный доклад о пугачевском движении, ликвидации мятежа, о привозе Пугачева в Москву.

Фельдмаршал не сделал по докладу ни одного замечания и не высказал никакого мнения. Но когда Рунич рассказал о происшествии с Долгополовым, фельдмаршал улыбнулся.

– Поверите ли вы мне, что я сему негодяю прорекал, что будет повешен?

Услышав эти слова, Рунич пришел в замешательство. Фельдмаршал сказал:

– Не удивляйтесь. Помню, очень давно, лет тому с двадцать пять, как не боле, наш Воронежский полк квартировал во Ржеве-Володимирове. Я тогда молодым офицером был и снимал комнату у Трифона Долгополова, купца. Он в достатке жил, и мне было у него тепло. И вот, помню, этот самый Осташка, парень лет шестнадцати-семнадцати, такой ухорез был, такая бестия, что страсть!.. Всякие городские сплетни, все новости, даже что у нас в полку делалось, он, арнаут, вперед всех узнавал. Дознавшись о столь великом его пронырстве, я часто говорил его отцу: «Ой, береги ты своего Осташку, по его затейливому уму, смотри, попадет он на виселицу». А отец с матерью, глядя на своего недоросля, только веселились да радовались.

Румянцев подошел к столику, отхлебнул настоя лихорадочной корки «хина-де-хина» и сказал, указывая на разложенные на столе снадобья:

– Вот видите, сколько мне всякой дряни наши «людоморы» насовали: тут и базиликанская мазь, и мушки гишпанские, и перувианская корка. Пичкают всякой дрянью, а толку нет... Ну, так вот. Дивлюсь, прямо-таки дивлюсь, как этого ракалю в Петербурге-то не могли раскусить, до императрицы допустили... Ведь он был в Питере винным откупщиком, затем банкротом сделался и сбежал. Это случилось не более как лет семь тому, – я слышал, живя в Глухове, быв правителем Малороссии... Вот прохиндей, вот так прохиндей!!

...Сей разговор происходил 10 января 1775 года, в день казни в Москве Емельяна Пугачева.

К О Н Е Ц

Примечания

1

Из рассказов стариков уральцев. – *В. Ш.*

2

Пенник – очищенная водка.

3

Автор известной летописи «Осада Оренбурга». – *В.Ш.*

4

На дороге из Оренбурга в Казань, в пятнадцати верстах от Бугульмы. Земля с тремя деревнями была отведена Рычкову оренбургским губернатором Неплюевым еще в 1743 году за его ревностную службу. – *В. Ш.*

5

Высокая и широкая насыпь из дерна, служившая для обучения крепостного гарнизона артиллерийской стрельбе. – *В. Ш.*

6

Двоюродный брат А. Г. Чернышева, к которому Екатерина, будучи еще великой княгиней, была благосклонна. – *В. Ш.*

7

Во время Семилетней войны с прусским королем Фридрихом II. – *В. Ш.*

8

Невдалеке от Бугульмы.

9

В 1771 году. – *В. Ш.*

10

Итальянская певица Габриэль, служившая в придворном театре в Петербурге. – *В. Ш.*

11

Генерал-прокурор Сената. – *В. Ш.*

12

Пугачев случайно встретился с Перешибиди-Носом шесть лет тому назад, во время крестьянского бунта, в поездку свою с Дона в Котловку, что на Каме. – *В. Ш.*

13

Зять губернатора Бранта. – *В. Ш.*

14

Кус – провизия.

15

Усть-Ивановский, Троицкий, Кухтурский и др. – *В. Ш.*

16

Зарубин-Чика и Ульянов были в начале декабря посланы Пугачевым на этот завод для литья пушек и ядер. – *В. Ш.*

17

Старица – старое русло реки Яика.

18

Казачьи подразделения делились на «покорных», или «старшинской руки» (состоятельные), и на «непокорных», или «войсковой руки» (беднота). – *В. Ш.*

19

Подлинное письмо из Берды от 23 февраля 1774 г. – *В. Ш.*

20

Кузнецову были подчинены отряды Батыркай, Салавата, Канзафара и Михаила Мальчева. – *В. Ш.*

21

В тридцати пяти верстах к северо-западу от Оренбурга. – *В. Ш.*

22

Сохатый – лось.

23

Уткинских было два завода: казенный и частный, Демидовский. – *В. Ш.*

24

700 башкирцев, 300 заводских крестьян. – *В. Ш.*

25

Из материалов о «Возмущении Стеньки Разина». – *В. Ш.*

26

Впоследствии – Ростов-на-Дону.

27

Впоследствии город Долматов. – *В. Ш.*

28

Известный под именем «дубинщины». – *В. Ш.*

29

Приводится в большом сокращении. – *В. Ш.*

30

«Отечественные записки», 1824, № 52, с. 171. – *В. Ш.*

31

Это письмо, без числа и месяца, хранится в Государственном архиве. – *В. Ш.*

32

В 50 верстах западнее Оренбурга. – *В. Ш.*

33

Умет – постоянный двор.

34

Рапорт и резолюция Екатерины – подлинные. – *В. Ш.*

35

Екатерина I, жена Петра Великого. – *В. Ш.*

36

Впоследствии знаменитый оплот старообрядчества. – *В.Ш.*

37

Ораниенбаум под Петербургом, резиденция Петра III. – *В. Ш.*

38

На северном берегу Каспийского моря, при устье реки Яика (Урала). – *В. Ш.*

39

Около ста человек яицких и илецких казаков, около ста заводских крестьян и триста человек татар с башкирцами. – *В.Ш.*

40

Преображенский, Богоявленский, Благовещенский, Верхотурский, Катав-Ивановский, Симский, Белорецкий, Юрюзанский, Усть-Катавский и Сысертский. – *В. Ш.*

41

В каждую печь входило 200 пудов руды, 60 пудов флюса и 80 коробов угля. – *В. Ш.*

42

Каждые 100 пудов руды дают до 4 пудов чистой меди, она обходилась по 3 р. 80 к. за пуд. С начала

войны с Турцией производство меди на заводе Твердышевых поднялось до 12 000 пудов в год. – В. Ш.

43

Крица – железный брус.

44

Это воззвание от 4 апреля 1774 г., очень многословное, здесь дается в выдержках. – В. Ш.

45

Фамилия, созвучная с фамилией М. Г. Шигаева. – В. Ш.

46

В 100 верстах к юго-востоку от Челябинска. – В. Ш.

47

Ранения.

48

См. рапорт кн. Щербатову от 22 мая 1774 г.

49

Канзафар Усаев.

50

Впоследствии – Ростов-на-Дону.

51

Троюродный брат Г. А. Потемкина. – В. Ш.

52

Владимиров. «Исторические записки о Первой Казанской гимназии». – В. Ш.

53

Некоторые сцены даются на мемуарном материале «Сказания казанского купца И. А. Сухорукова о пребывании Пугачева в Казани» (см. Прибавление к «Казанск. губ. ведомостям» за 1843 год, с. 44). – В. Ш.

54

Манифест выпускался не раз, под ним даты – 18, 20, 28 и 31 июля 1774 г. – *В. Ш.*

55

Салик – маленький плот.

56

Император Иван Антонович, убитый в Шлиссельбургской крепости в 1764 году. – *В. Ш.*

57

Труды Саратовской архивной комиссии 1913 г. и Труды Тамбовского исторического архива № 1659—1665. – *В.Ш.*

58

Орфография этого документального письма от 6 августа 1774 года выправлена, письмо приводится в сокращении и в некоторой обработке. – *В.Ш.*

59

Ныне Мраморный дворец.

60

П.С. *Рунич* – автор записок о путешествии с Долгополовым. «Русская старина», 1870 г. – *В.Ш.*

61

Указ от 1772 г. на имя полковника Волкова по поводу скопческой ереси.

62

Тхоржевский. «Пугачевщина в помещичьей России», с. 107. – *В.Ш.*

63

Из рапорта губернатора Украинской Слободской губернии генерал-поручика Щербинина графу П. И. Панину. – *В. Ш.*

64

Жижка М. В. «Емельян Пугачев».

65

Предписание Кречетникова Бошняку от 27 июля. – В.Ш.

66

Впоследствии Салманов был лишен всех прав и сослан в Таганрог на вечную каторгу. – В.Ш.

67

«Северный архив», 1823 г., т. V, с. 219. – В. Ш.

68

Впоследствии г. Кузнецк.

69

Записки П.С. Рунича, «Русская старина», 1870 г.

70

Записки П.С. Рунича, «Русская старина», 1870 г.

71

Судьба Долгополова была такова. В сентенции о наказании Пугачева и его сообщников об Остафии Долгополове сказано: «Ржевский же купец Долгополов разными лжесоставленными вымыслами приводил простых и легкомысленных людей в вящее ослепление, так что и Канзафар Усаев (мещерятский сотник), утвердясь больше на его уверениях, прилепился вторично к злодею. Долгополова велено высечь кнутом, поставить знаки и, вырвав ноздри, сослать на каторгу и содержать в оковах». Где и как кончил дни свои ржевский плут-прохиндей, – нам неизвестно. – В.Ш.